Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО,
Г. НОВОЖИЛОВА

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОЗОВЫЕ ОБЛАКА

Катастрофа

Снег был пушистым и добрым, совсем не похожим на жесткий, как наждак, кристаллический фирн полярной пустыни. Антарктическое лето, мягкий, веселый морозец, который даже уши не щиплет, создавали атмосферу почти туристской прогулки. Там, где зимой даже лыжи самолета не могли оторваться от переохлажденных кристалликов снега, наш тридцатипятитонный снегоход шел, как легковой автомобиль по автостраде. Вано вел машину артистически, не притормаживая даже при виде подозрительных ледяных курчавостей.

— Без лихачества, Вано,— окликнул его Зернов из штурманской рубки.— Могут быть трещины.

— Где, дорогой? — недоверчиво отозвался Вано, всматриваясь сквозь черные очки в поток ослепительного сияния, струившийся в кабину из ветрового иллюминатора.— Разве это дорога? Это проспект Руставели, а не дорога. Сомневаетесь? В Тбилиси не были? Все ясно.

Я вылез из радиорубки и подсел на откидной стульчик к Вано. И почему-то оглянулся на столик в салоне, где подводил какие-то свои метеорологические итоги Толька Дьячук. Не надо было оглядываться.

— Мы присутствуем при рождении нового шофера-любителя,— хихикнул он.— Сейчас кинолог будет просить руль у Вано.

— А ты знаешь, что такое кинолог? — огрызнулся я.

— Я только научно объединяю твои специальности кинооператора и киномеханика.

— Идиот. Кинология — это собаковедение.

— Тогда я исправляю терминологическую ошибку.

И, поскольку я не ответил, он тотчас же продолжил:

— Тщеславие тебя погубит, Юрочка. Двух профессий ему уже мало.

Каждый из нас в экспедиции совмещал две, а то и три профессии. Гляциолог по основной специальности, Зернов мог заменить геофизика и сейсмолога. Толька выполнял обязанности метеоролога, врача и кока. Вано был автомехаником и водителем специально сконструированного для Заполярья снегохода-гиганта, да еще умел починить все — от лопнувшей гусеницы до перегоревшей электроплитки. А на моем попечении, кроме съемочной и проекционной камер, была еще и радиорубка. Но к Вано меня тянуло не тщеславное желание увеличить ассортимент специальностей, а влюбленность в его «Харьковчанку».

При первом знакомстве с ней с борта самолета она показалась мне красным драконом из детской сказки, а вблизи с ее выдающимися вперед лапами-гусеницами в добрый метр ширины и огромными квадратными глазами-иллюминаторами — созданием инопланетного мира. Я умел водить легковую машину и тяжелый грузовик и с разрешения Вано уже опробовал снегоход на ледяном припае у Мирного, а вчера в экспедиции — день был свежий и ветреный — не рискнул. Но сегодняшнее утро так и манило своей хрустальной прозрачностью.

— Уступи-ка руль, Вано,— сказал я, стиснув зубы и стараясь на этот раз не оглядываться.— На полчасика.

Вано уже подымался, как его остановил оклик Зернова:

— Никаких экспериментов с управлением. Вы отвечаете за любую неисправность машины, Чохели. А вы, Анохин, наденьте очки.

Я тотчас же повиновался: Зернов, как начальник, был требователен и непреклонен, да и небезопасно было смотреть без защитных очков на мириады искр, зажженных холодным солнцем на снежной равнине. Только у горизонта она темнела, сливаясь с размытым ультрамарином неба, а вблизи даже воздух казался сверкающе белым.

— Взгляните лучше в бортовой иллюминатор, Анохин,— продолжал Зернов.— Вас ничто не смущает?

Налево метрах в пятидесяти вздымалась совершенно отвесная ледяная стена. Блестяще переливчатая, как лента алмазной пыли, она темнела книзу, где слоистый слежавшийся снег уже превращался в мутноватый и жесткий фирн. А ниже, будто срезанная гигантским ножом, обрывалась толща льда, голубела на солнце, как отраженное в зеркале небо. Стена тянулась бесконечно, не прерываясь, где-то пропадая в снежной дали. Казалось, могучие великаны из сказки возвели ее здесь для неизвестно что охраняющей и неизвестно кому угрожающей, такой же сказочной крепости.

— Ледяное плато, Борис Аркадьевич. Может быть, шельфовый ледник?

— Старожил,— усмехнулся Зернов, наверное на мой уже второй визит к Южному полюсу.— Вы знаете, что такое шельф? Не знаете? Шельф — это материковая отмель. Шельфовый ледник спускается в океан. А это не обрыв ледника, и мы не в океане.— Он помолчал и прибавил задумчиво: — Остановите, Вано. Посмотрим поближе. Интересный феномен. А вы оденьтесь, товарищи. Не вздумайте выбегать в свитерах.

Вблизи стена оказалась еще красивее — неправдоподобный ломоть смерзшегося неба, отрезанный до горизонта. Зернов молчал. То ли величие зрелища подавляло его, то ли его необъяснимость. Он долго вглядывался в снежную кайму на гребне стены, потом почему-то посмотрел под ноги, притоптал снег, разбросал его ногой. Мы наблюдали за ним, ничего не понимая.

— Обратите внимание на снег под ногами,— вдруг сказал он.

Мы потоптались на месте, как и он, обнаружив под тоненьким слоем снега твердую толщу льда.

— Каток,— сказал Дьячук.— Идеальная плоскость, не иначе как сам Эвклид заливал.

Но Зернов не ответил на шутку.

— Мы стоим на льду,— продолжал он задумчиво.— Снега не больше двух сантиметров. А посмотрите, сколько на стене. Метры. Почему? Одни и те же ветры, одни и те же условия для аккумуляции снега. Есть какие-нибудь соображения?

Никто не ответил. Зернов просто размышлял вслух.

— Структура льда, видимо, одинакова. Поверхность тоже. Впечатление искусственного среза. А если смести этот сантиметровый слой под ногами, обнаружится такой же искусственный срез. Но ведь это бессмыслица.

— Все бессмыслица в царстве Снежной королевы,— назидательно заметил я.

— Почему королевы, а не короля? — спросил Вано.

— Объясни ему, Толя,— сказал я,— ты же специалист по картам. Что у нас рядом? Земля королевы Мэри. А дальше? Земля королевы Мод. А в другом направлении? Земля королевы Виктории.

— Просто Виктории,— поправил Толька.

— Она была королевой Англии, эрудит из института прогнозов.

Зернов нас не слушал.

— Мы примерно в том же районе? — вдруг спросил он.

— В каком, Борис Аркадьевич?

— Там, где американцы наблюдали розовые облака?

— Много западнее,— уточнил Дьячук.— Я проверял по картам.

— Я сказал: примерно. Розовые облака обычно передвигаются.

— Радиоутки тоже,— хихикнул Толька.

— Не верите, Дьячук?

— Не верю. Даже смешно: не кучевые, не перистые. Кстати, сейчас их вообще нет.— Он посмотрел на чистое небо.— Может быть, орографические? Они похожи на оплавленные сверху линзы. А розоватые — от солнца. Так нет: густо, жирно-розовые, как малиновый кисель. Много ниже кучевых, не то надутые ветром мешки, не то неуправляемые дирижабли. Глупости!

Речь шла о загадочных розовых облаках, о которых сообщили по радио из Мак-Мёрдо американские зимовщики. Облака, похожие на розовые дирижабли, прошли над островом Росса, их видели на Земле Адели и в районе шельфового ледника Шеклтона, а какой-то американский летчик столкнулся с ними в трехстах километрах от Мирного. Радист-американец лично от себя добавил принимавшему радиограмму Коле Самойлову: «Сам видел, будь они прокляты! Бегут по небу, как диснеевские поросята».

В кают-компании Мирного розовые облака не имели успеха. Скептические реплики слышались чаще, чем замечания, свидетельствовавшие о серьезной заинтересованности. «Король хохмачей» Жора Брук из «клуба веселых и находчивых» атаковал флегматичного старожила-сейсмолога:

— О летающих блюдцах слышали?

— Ну и что?

— А о банкете в Мак-Мёрдо?

— Ну и что?

— Провожали в Нью-Йорк корреспондента «Лайфа».

— Ну и что?

— А за ним в редакцию розовые утки вылетели.

— Пошел, знаешь куда?

Жора улыбался, подыскивая следующую жертву. Меня он обошел, не считая себя, видимо, достаточно вооруженным для розыгрыша. Я обедал с гляциологом Зерновым, который был старше меня всего на восемь лет, но уже мог писать свою фамилию с приставкой «проф.». Что ни говори, а завидно быть доктором наук в тридцать шесть лет, хотя гляциология мне, гуманитарию по внутренней склонности, казалась не такой уж важной наукой для человеческого прогресса. Этим соображением я как-то поделился с Зерновым.

В ответ он сказал:

— А знаете, сколько на земле льда и снега? В одной только Антарктике площадь ледяного покрова зимой доходит до двадцати двух миллионов квадратных километров, да в Арктике одиннадцать миллионов, плюс еще Гренландия и побережье Ледовитого океана. Да прибавьте сюда все снежные вершины и ледники, не считая замерзающих зимой рек. Сколько получится? Около трети всей земной суши. Ледяной материк вдвое больше Африки. Не так уж малозначительно для человечества.

Я, как говорится, съел все эти льды и снисходительное пожелание хоть чему-нибудь научиться за время пребывания в Антарктике. Но с тех пор Зернов отметил меня своим благосклонным вниманием и в день сообщения о розовых облаках, встретившись со мной за обедом, сразу предложил:

— Хотите совершить небольшую прогулку в глубь материка? Километров за триста.

— С какой целью?

— Собираемся проверить американский феномен. Малоправдоподобная штука — все так считают. Снимать будете на цветную пленку: облака-то ведь розовые.

— Подумаешь,— сказал я,— самый обыкновенный оптический эффект.

— Не знаю. Категорически отрицать не берусь. В сообщении подчеркивается, что окраска их якобы не зависит от освещения. Конечно, можно предположить примесь аэрозоля земного происхождения или, скажем, метеоритную пыль из космоса. Впрочем, меня лично интересует другое.

— А что?

— Состояние льдов на этом участке.

Тогда я не спросил, почему, но вспомнил об этом, когда Зернов раздумывал вслух у загадочной ледяной стены. Он явно связывал оба феномена.

В снегоходе я подсел к рабочему столику Дьячука.

— Странная стена, странный срез,— сказал я.— Пилой, что ли, ее пилили? Только при чем здесь облака?

— Почему ты связываешь? — удивился Толька.

— Не я связываю, Зернов связывает. Почему он, явно думая о леднике, вдруг о них вспомнил?

— Усложняешь ты что-то. Ледник действительно странный, а облака ни при чем. Не ледник же их продуцирует.

— А вдруг?

— Вдруг только лягушки прыгают. Помоги-на мне лучше завтрак приготовить. Как думаешь, омлет из порошка или консервы?

Я не успел ответить. Нас тряхнуло и опрокинуло на пол. «Неужели летим? С горы или в трещину?» — мелькнула мысль. В ту же секунду страшный лобовой удар отбросил снегоход назад. Меня отшвырнуло к противоположной стенке. Что-то холодное и тяжелое свалилось мне на голову, и я потерял сознание.

Двойники

Я очнулся и не очнулся, потому что лежал без движения, не в силах даже открыть глаза. Работало только сознание, а может быть, подсознание — смутные, неопределенные ощущения возникали во мне, и мысль, такая же неопределенная и смутная, пыталась уточнить их. Я утратил весомость, казалось, плыл или висел даже не в воздухе и не в пустоте, а в каком-то бесцветном тепловатом коллоиде, густом и неощутимом, и в то же время наполнявшем меня всего. Он проникал в поры, в глаза и рот, заливал желудок и легкие, промывал кровь, а может быть, сменил ее кругооборот в моем теле. Создавалось странное, но упрямо не оставлявшее меня впечатление, будто кто-то невидимый смотрит внимательно сквозь меня, ощупывая пытливым взглядом каждый сосудик и нервик, заглядывая во все клеточки мозга. Я не испытывал ни страха, ни боли, спал и не спал, видел бессвязный и бесформенный сон и в то же время знал, что это не сон.

Когда сознание вернулось, кругом было так же светло и тихо. Веки поднялись с трудом, с острой колющей болью в висках. Перед глазами стройно взмывал вверх рыжий, гладкий, точно отполированный, ствол. Эвкалипт или пальма? А может быть, корабельная сосна, вершины которой я не видел: не мог повернуть головы. Рука нащупала что-то твердое и холодное, должно быть, камень. Я толкнул его, и он беззвучно откатился в траву. Глаза поискали зелень газона в подмосковном саду, но он почему-то отливал охрой. А сверху из окна или с неба струился такой ослепительно белый свет, что память сейчас же подсказала и без-

---

Роман печатается с сокращениями.

граничность снежной пустыни и голубой блеск ледяной стены. Я сразу все вспомнил.

Преодолевая боль, я приподнялся и сел, оглядываясь вокруг и все узнавая. Коричневый газон оказался линолеумом, рыжий ствол — ножкой стола, а камень под рукой — моей съемочной камерой. Она, должно быть, и свалилась мне на голову, когда снегоход рухнул вниз. Тогда где же Дьячук? Я позвал его, он не ответил. Не откликнулись на зов Зернов и Чохели. В тишине, совсем не похожей на тишину комнаты, где вы живете или работаете,— всегда где-то капает вода, поскрипывает пол, тикают часы или жужжит залетевшая с улицы муха,— звучал только мой голос. Я приложил ручные часы к уху: они шли. Было двадцать минут первого.

Кое-как я поднялся и, держась за стену, подошел к штурманской рубке. Она была пуста, со стола исчезли даже перчатки и бинокль, а со спинки стула — зерновская меховая куртка. Не было и журнала, который вел Зернов во время пути. Вано тоже пропал вместе с рукавицами и курткой. Я заглянул в передний иллюминатор — наружное стекло его было раздавлено и смято внутрь. А за ним белел ровный алмазный снег, как будто и не было никакой катастрофы.

Но память не обманывала, и головная боль тоже. В бортовом зеркале отразилось мое лицо с запекшейся кровью на лбу. Я ощупал рану — костный покров был цел, ребро съемочной камеры только пробило кожу. Значит, все-таки что-то случилось. Может быть, мои товарищи находились где-то поблизости на снегу? Я осмотрел в сушилке зажимы для лыж: лыж не было. Не было и дюралюминиевых санок. Исчезли все куртки и шапки, кроме моих. Я открыл дверь, спрыгнул на лед — он голубовато блистал из-под сдуваемого ветром рыхлого снега. Зернов был прав, говоря о загадочности такого тонкого снежного покрова в глубине полярного материка.

Я огляделся. Рядом с нашей «Харьковчанной» стояла ее сестра, такая же рослая, красная и запорошенная снегом. Она, вероятно, догнала нас из Мирного или встретилась по пути, возвращаясь в Мирный. Конечно, она же и помогла нам, вызволив из беды. Наш снегоход все-таки провалился в трещину: я заметил в десяти метрах отсюда и след провала — темное отверстие колодца в фирновой корочке, затянувшей трещину. Ребята из встречного снегохода, должно быть, видели наше падение (мы, очевидно, счастливо застряли где-нибудь в устье трещины) и вытащили на свет божий и нас самих и наш злосчастный корабль.

— Эй! Кто в снегоходе? — крикнул я, обходя его с носа.

В четырех ветровых иллюминаторах не показалось ни одно лицо, не отозвался ни один голос. Я вгляделся и обмер: у снегохода-близнеца было так же раздавлено и промято внутрь стекло крайнего ветрового иллюминатора. Я посмотрел на левую гусеницу: у нашего вездехода была примета — один из его гусеничных стальных рубцов-снегозацепов был приварен заново и резко отличался от остальных. Точно такой же рубец был и у этой гусеницы. Передо мной стояли не близнецы из одной заводской серии, а двойники, повторяющие друг друга не только в серийных деталях. И, открывая дверь «Харьковчанки»-двойника, я внутренне содрогнулся, предчувствуя недоброе.

Так и случилось. Тамбур был пуст, я не нашел ни лыж, ни саней, только одиноко висела на крючке моя кожаная на меху куртка. Именно м о я к у р т к а: так же был порван и зашит левый рукав, так же вытерся мех у обшлагов и темнели на плече два жирных пятна — как-то я взялся за него руками, измазанными в машинном масле. Я быстро вошел в кабину и прислонился к стене, чтобы не упасть: мне показалось, что у меня останавливается сердце.

На полу у стола лежал... я сам! В том же коричневом свитере и ватных штанах, а лицо мое так же прильнуло к ножке стола, и кровь так же запеклась у меня на лбу, и рука так же цеплялась за съемочную камеру. М о ю съемочную камеру.

Возможно, это был сон, и я еще не проснулся и видел себя самого на полу, видел как бы вторым зрением? Ударил кулаком по ребру стола: больно. Ясно: очнулся и не сплю. Значит, сошел с ума. Но из книг и статей мне было известно, что сумасшедшие никогда не предполагают, что они помешались. Тогда что же это? Галлюцинация? Мираж? Я тронул стену — она была явно не призрачной. Значит, не призраком был и я сам, лежавший без чувств у себя же под ногами. Нелепица, нонсенс. Я вспомнил свои же слова о загадках Снежной королевы. Может быть, все-таки есть Снежная королева, и чудеса есть, и двойники-фантомы, а наука — это просто самоутешение?

Что же делать? Бежать сломя голову, запереться в своем снегоходе и чего-то ждать, пока окончательно не сойдешь с ума? Вспомнилось чье-то изречение: если то, что ты видишь, противоречит законам природы, значит, виноват и ошибаешься ты, а не природа. Страх прошел, остались непонимание и злость, и я, даже не пытаясь быть осторожным, пнул ногой лежащего. Он застонал и открыл глаза. Потом приподнялся на локте, совсем, как я, и сел, тупо оглядываясь.

— А где же все? — спросил он.

Я не узнал голоса — мой и не мой, вернее, все же мой, только в магнитофонной записи. Но до какой же степени он был мной, этот фантом, если думал о том же, придя в сознание!

— Где же они? — повторил он и крикнул: — Толька! Дьячук!

Как и мне, ему никто не ответил.

— А что случилось? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.

— Мне показалось, что снегоход провалился в трещину. Нас тряхнуло, потом ударило, должно быть, о ледяную стенку. Я упал... Потом... Куда же они все девались?

Меня он не узнавал.

— Вано!— позвал он, подымаясь.

И снова молчание. Все происшедшее четверть часа назад странно повторялось. Он, пошатываясь, дошел до штурманской рубки, потрогал пустое кресло водителя, прошел в сушилку, обнаружил там, как и я, отсутствие лыж и саней, потом вспомнил обо мне и вернулся.

— А вы откуда? — спросил он, вглядываясь, и вдруг отшатнулся, закрыв лицо рукой.— Не может быть! Сплю я, что ли?

— Я тоже так думал... сначала,— сказал я. Мне уже не было страшно.

Он присел на поролоновый диванчик.

— Вы... ты... простите... о, черт... ты похож на меня, как в зеркале. Ты не призрак?

— Нет. Можешь пощупать и убедиться.

— Тогда кто же ты?

— Анохин Юрий Петрович. Кинооператор и радист экспедиции,— сказал я твердо.

Он вскочил.

— Нет, это я Анохин Юрий Петрович, оператор и радист экспедиции! — закричал он и снова сел.

Теперь мы оба молчали, рассматривая друг друга, один спокойнее, потому что видел и знал чуточку больше, другой с сумасшедшинкой в глазах, повторяя, вероятно, все мои мысли, какие возникали у меня, когда я впервые увидел е г о.

В тишине кабины с одинаковой ритмичностью дышали два одинаковых человека.

Розовое облако

Как долго это тянулось, не помню. В конце концов он заговорил первым:

— Ничего не понимаю.

— Я тоже.

— Не может же раздвоиться человек.

— И мне так казалось.

Он задумался.

— Может быть, все-таки есть Снежная королева?

— Повторяешься,— сказал я.— Об этом я раньше подумал. А наука — это вздор и самоутешение. Так?

Он смущенно засмеялся, словно его одернул старший товарищ. По отношению к нему я и был старшим. И тут же внес поправку в наши взаимоотношения.

— Пошутили — и будет. Это какой-то физический и психический обман. Какой именно, я еще не могу разобраться. Но обман. Что-то ненастоящее. Знаешь что? Пойдем в рубку к Зернову.

Он понял меня с полуслова: ведь он был моим отражением. А подумали мы об одном и том же: уцелел ли при аварии микроскоп? Оказалось, что уцелел: стоял на своем месте в шкафчике. Не разбились и стеклышки для препаратов. Мой двойник их тут же достал из коробочки. Мы сравнили руки: даже мозоли и заусенцы у нас были одни и те же.

— Сейчас проверим,— сказал я.

Каждый из нас наколол палец, размазал кровь по стеклышкам, и мы по очереди рассмотрели оба препарата под микроскопом. И кровь у обоих была одинаковой.

— Один материал,— усмехнулся он,— копия.

— Ты копия.

— Нет, ты.

— Погоди,— остановил его я,— а кто тебя пригласил в экспедицию?

— Зернов. Кто же еще?

— А с какой целью?

— Выспрашиваешь, чтобы потом повторить?

— Зачем? Сам могу тебе подсказать. Из-за розовых облаков, да?

Он прищурился, вспоминая о чем-то, и спросил с хитрецой:

— А какую ты школу окончил?

— Институт, а не школу.

— А я о школе спрашиваю. Номерок. Забыл?

— Это ты забыл. А я семьсот девятую окончил.

— Допустим. А кто у нас слева на крайней парте сидел?

— А почему ты, собственно, меня экзаменуешь?

— Проверочка. А вдруг ты Ленку забыл. Кстати, она потом замуж вышла.

— За Фибиха,— сказал я.

Он вздохнул.

— У нас и жизнь одинаковая.

— И все-таки я убежден: ты копия, призрак и наваждение,— окончательно обозлился я.— Кто первым очнулся? Я. Кто первым увидел две «Харьковчанки»? Тоже я.

— Почему две?— вдруг спросил он.

Я торжествующе хохотнул. Мой приоритет получил наглядное подтверждение.

— Потому что рядом стоит другая. Настоящая. Можешь полюбоваться.

Он прильнул к бортовому иллюминатору, растерянно взглянул на меня, потом молча натянул копию моей куртки и вышел на лед. Одинаково приваренный снегозацеп и одинаково промятое стекло иллюминатора заставили его нахмуриться. Он осторожно заглянул в тамбур, прошел к штурманской рубке и вернулся к столику, где лежала моя съемочная камера. Ее он даже потрогал.

— Родная сестра,— сказал он мрачно.

— Как видишь. Я и она родились раньше.

— Ты только очнулся раньше,— нахмурился он,— а кто из нас настоящий, еще неизвестно. Мне-то, впрочем, известно.

«А вдруг он прав? — подумал я.— Вдруг двойник и фантом совсем не он, а я? И кто это, черт побери, может определить, если и ногти у нас одинаково обломаны и школьные друзья одни и те же? Даже мысли дублируются, даже чувства, если внешние раздражители одинаковы».

Мы смотрели друг на друга, как в зеркало. И может же такое случиться!

— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — вдруг проговорил он.

— Знаю,— сказал я.— Пойдем, посмотрим.

Я знал, о чем он подумал, потому что об этом подумал я сам. Если на льду оказались две «Харьковчанки» и неизвестно, какая из них провалилась в трещину, то почему иллюминатор разбит у обеих? А если провалились обе, то как они выбрались?

Не разговаривая, мы побежали к пролому в фирновой корке. Легли плашмя, подтянувшись к самому краю ледяной щели, и сразу все поняли. Провалился один снегоход, потому что был след падения только одной машины. Она застряла метрах в трех от края ледяной трещины между ее сужи вающимися стенками. Мы увидели и ступени во льду, должно быть, вырубленные Вано или Зерновым, смотря кто первым сумел выбраться на поверхность. Значит, вторая «Харьковчанка» появилась уже после падения первой. Но кто же тогда вытащил первую? Ведь сама она из трещины выбраться не могла.

Я еще раз заглянул в пропасть. Она чернела, углубляясь, зловещая и бездонная. Я подобрал кусок льда, отколовшийся от края трещины, вероятно, отбитый кайлом, которым вырубали ступени, и швырнул его вниз. Он тотчас же исчез из поля зрения, но звука падения его я не услышал. Мелькнула мысль: а не столкнуть ли туда и навязанного мне оборотня? Подскочить, схватить за ноги...

— Не воображай, что тебе это удастся,— сказал он.

Я растерялся сначала, потом сообразил.

— Сам об этом подумал?

— Конечно.

— Что ж, сразимся. Ведь кто-то из нас должен исчезнуть.

Мы стояли друг против друга, злые, взбученные, отбрасывая на снег одинаковые тени. И вдруг обоим стало смешно.

— Фарс,— сказал я.— Вернемся в Москву — будут нас показывать где-нибудь в цирке. Два Анохина два.

— Почему в цирке? В Академии наук. Новый феномен, вроде розовых облаков.

— Ты ведь уверен, что их не существует в природе.

— Как и ты.

Я взглянул на небо и обомлел. Он тоже поднял голову и, как и я, застыл с разинутым ртом.

В тусклой синеве неба показалось розовое облако. Одно-единственное, без соседей и спутников, как винное пятно на скатерти. Оно подплывало медленно-медленно и очень низко, гораздо ниже грозовых туч, и совсем не походило на облако. Я бы не сравнил его с дирижаблем. Больше всего оно напоминало кусок раскатанного на столе темно-розового теста или запущенный в небо большой малиновый змей. И, странно подрагивая, словно пульсируя, шло наискось к земле, как живое.

— Медуза,— сказал мой «дубль», повторяя мою же мысль,— живая розовая медуза. Только без щупалец.

— Не повторяй моих глупостей. Это — вещество, а не существо.

— Ты думаешь?

— Как и ты. Посмотри получше.

— А почему оно вздрагивает?

— Клубится. Это же газ или водяные пары. Или не водяные. А может быть... пыль,— прибавил я неуверенно.

Малиновый змей остановился прямо над нами и начал снижаться. От нас его отделяло метров пятьсот, не больше. Дрожащие края его загибались вниз и темнели. Змей превращался в колокол.

— Дуб маврийский! — воскликнул я, вспомнив о киноаппарате.— Снимать же надо!

И бросился к своей «Харьковчанке». Проверить, работает ли аппарат и в порядке ли кассета с цветной пленкой, было делом одной минуты. Я начал снимать прямо из открытой двери, потом, спрыгнув на лед и обежав снегоходы, нашел другой пункт для съемки. И тут только заметил, что мой «альтер эго» стоит без камеры и растерянно наблюдает за моей суетней.

— Ты почему не снимаешь? — крикнул я, не отрываясь от видоискателя.

Он ответил не сразу и с какой-то непонятной медлительностью:

— Не... знаю. Что-то мешает... не могу.

— Что значит «не могу»?

— Не могу... объяснить.

Я уставился на него, даже забыв о небесном феномене. Вот наконец это различие — главное, решающее! Значит, мы не совсем, не до конца одинаковые. Он переживает нечто меня совсем не затрагивающее. Ему что-то мешает, а я свободен. Не задумываясь, я поймал его в объектив и запечатлел на фоне снегохода-двойника. На мгновение я даже забыл о розовом облаке, но он напомнил:

— Оно пикирует.

Малиновый колокол уже не опускался, а падал. Я инстинктивно отпрыгнул.

— Беги! — закричал я.

Мой новоявленный близнец наконец сдвинулся с места, но не побежал, а как-то странно попятился к своей «Харьковчанке».

— Куда?! С ума сошел!

Колокол опускался прямо на него, но он даже не ответил. Я снова прильнул к видоискателю: не упускать же такие кадры. Даже страх пропал. Ничего подобного не снимал никогда ни один оператор.

Облако резко уменьшилось в размерах и потемнело. Теперь оно походило на опрокинутую чашечку огромного тропического цветка. От земли его отделяло метров шесть-семь, не больше.

— Берегись! — крикнул я.

Я вдруг забыл, что он тоже феномен, а не человек, и гигантским, непостижимым для меня прыжком рванулся к нему на помощь. Как выяснилось, помочь ему я все равно бы не мог, но прыжок сократил расстояние между нами наполовину. Вторым прыжком я бы достал его. Но что-то не пустило меня, даже отбросило назад, словно удар волны или ураганного ветра. Я чуть не упал, но удержался, даже камеры из рук не выпустил. А чудовищный цветок уже достиг земли, и теперь уже не малиновые, а багровые лепестки его, дивовинно пульсируя, приникали обоих двойников — снегоход и того, кто был мной. Еще секунда, и они коснулись запорошенного снегом льда. Теперь рядом с моей «Харьковчанкой» возвышался странный багровый холм. Он словно пенился или кипел, окутанный переливающейся малиновой дымкой.

Словно электрические разряды, вспыхивали в ней золотистые искорки. Я продолжал снимать, стараясь в то же время подойти ближе. Шаг, еще шаг... еще... Ноги наливались непонятной тяжестью, их словно гнуло, притягивало к ледяному полю. Невидимый магнит в нем как бы приказывал: стоп, ни с места! И я остановился.

Холм чуточку посветлел, из багрового опять стал малиновым и вдруг легко взметнулся вверх. Опрокинутая чашечка разрослась, порозовевшие края ее медленно загибались вверх. Колокол превратился снова в змей, а розовое облако в сгусток газа, клубящийся на ветру. Он ничего не унес с земли, никаких сгущений не было заметно в его воздушной толще, но внизу на ледяном поле осталась только моя «Харьковчанна». И ее загадочный двойник и второй «Анохин» исчезли так же внезапно, как и появились. Лишь на снегу еще виднелись следы широченных гусениц, но ветер уже сдувал их. Скрылось и «облако», пропало где-то за ребром ледяной стены. Я посмотрел на часы. Прошло тридцать три минуты с тех пор, как я, очнувшись, засек время.

Я испытывал необычайное чувство облегчения от сознания того, что из моей жизни ушло что-то очень страшное, страшное по своей необъяснимости и тем более страшное, что я уже начал привыкать к этой необъяснимости. Исчезла и невидимая преграда, не подпустившая меня к двойнику. Сейчас я беспрепятственно подошел к своему снегоходу и сел на железную ступеньку, не заботясь о том, что примерзну к ней на крепчавшем морозце. Ничто меня уже не заботило, кроме мысли о том, как объяснить этот получасовой кошмар. И во второй, и в третий, и в десятый раз, опустив голову на руки, я спрашивал вслух:

— Что же произошло после катастрофы?

Существо или вещество?

И мне ответили:

— Самое главное, что вы живы, Анохин. Честно говоря, я опасался самого худшего.

Я поднял голову: передо мной стояли Зернов и Толька. Говорил Зернов, а Толька рядом топтался на лыжах, перебирая палками. Лохматый и толстый, он, казалось, утратил всю свою скептическую насмешливость и смотрел по-мальчишески возбужденно и радостно.

— Откуда вы? — спросил я.

Я так устал и измучился, что не в силах был даже улыбнуться.

Толька заверещал:

— Да мы близко. Ну, километра полтора, два от силы. Там и палатка у нас стоит...

— Погодите, Дьячук,— перебил Зернов,— об этом успеется. Как вы себя чувствуете, Анохин? Как выбрались? Давно?

— Сразу столько вопросов,— сказал я. Язык поворачивался у меня с трудом, как у пьяного.— Давайте уж по порядку. С конца. Давно ли выбрался? Не знаю. Как? Тоже не знаю. Как себя чувствую? Да, в общем, нормально. Ни ушибов, ни переломов.

— А морально?

Я наконец улыбнулся, но улыбка получилась, должно быть, кривой и неискренней, потому что Зернов тотчас же снова спросил:

— Неужели вы думаете, что мы бросили вас на произвол судьбы?

— Ни минуты не думал,— сказал я,— только судьба у меня с причудами.

— Вижу,— Зернов оглядел нашу злосчастную «Харьковчанку».— А крепкая оказалась штучка. Только помяло чуть-чуть. Кто же вас вытащил?

Я пожал плечами. Зернов усмехнулся.

— Вулканов здесь нет. Никаким давлением снизу вас выбросить не могло. Значит, кто-то вмешался.

— Ничего не знаю,— сказал я.— Очнулся я уже здесь, на плато.

— Борис Аркадьевич! — вдруг закричал Толька.— А машина-то одна. Значит, другая просто ушла. Я же говорил: снегоход или трактор. Зацепили стальными канатами и ать, два — дубинушка, ухнем!

— Вытащили и ушли? — усомнился Зернов.— И Анохина с собой не взяли и помощи не оказали? Странно, очень странно.

— Может, не смогли привести его в чувство? Или решили, что он умер? А может, еще вернутся, наверно, у них стоянка где-нибудь поблизости.

Мне надоели эти фантазии Дьячука.

— Помолчи, провидец! — поморщился я.— Тут десять тракторов ничего бы не сделали. И канатов не было. А второй снегоход не ушел, а исчез.

— Значит, все-таки был второй снегоход? — спросил Зернов.

— Был.

— Что значит исчез? Погиб?

— В известной степени. В двух словах не расскажешь. Это был двойник нашей «Харьковчанки». Не серийная копия, а двойник. Фантом. Привидение. Но привидение реальное, вещественное.

Зернов слушал внимательно и заинтересованно, не говоря ни слова. Ничто в глазах его не кричало мне: псих, сумасшедший, тебя лечить надо!

Зато Дьячук наверняка в мыслях не скупился на соответствующие эпитеты, а вслух сказал:

— Ты вроде Вано. Обоим чудеса мерещатся. Прибежал, понимаешь, и кричит: «Там две машины и два Анохина!» И зубами стучит.

— Ты бы на четвереньках пополз от таких чудес,— оборвал его я.— Никому ничего не мерещилось. Были две «Харьковчанки» и два Анохина.

Толька пошевелил губами и, ничего не сказав, посмотрел на Зернова, но тот почему-то отвел глаза. И вместо ответа, кивком головы указывая на дверь позади меня, спросил:

— Там все цело?

— Кажется, все, хотя специально не проверял,— ответил я.

— Тогда позавтракаем. Не возражаете? Мы с тех пор так ничего и не ели.

Я понял психологический маневр Зернова: успокоить меня, чем-то непонятно взволнованного, и создать соответствующую обстановку для разговора. За столом, где мы с аппетитом уничтожали пресквернный Толькин омлет, глава экспедиции первым рассказал о том, что произошло непосредственно после катастрофы на плато.

Когда снегоход провалился в трещину, пробив предательскую корочку смерзшегося снега, и застрял сравнительно неглубоко, зажатый уступами ледяного ущелья, то, несмотря на силу удара, пострадало лишь наружное стекло иллюминатора. В кабине даже не погас свет. Без сознания лежали только я и Дьячук. Зернов и Чохели удержались на своих местах, счастливо отделавшись несколькими царапинами, и прежде всего попытались привести в чувство меня и Тольку. Дьячук сразу пришел в себя, только голова кружилась и ноги были как ватные. «Сотрясеньице небольшое,— сказал он,— пройдет. Поглядим-ка лучше, что с Анохиным». Он уже входил в роль медика. Его подтащили ко мне, и все трое принялись приводить меня в чувство. Но ни нашатырный спирт, ни искусственное дыхание не помогали. «По-моему, у него шок»,— сказал Толька. Вано, уже успевший через верхний люк пробраться на крышу снегохода, сообщил, что из щели можно благополучно выбраться. Однако предложение вынести меня из кабины Толька отверг: «Сейчас его надо оберегать от охлаждения. По-моему, шок переходит в сон, а сон создаст охранительное торможение». Тут Толька чуть снова не свалился без чувств, и эвакуацию экипажа решили начать с него, а меня пока оставить в кабине. Взяли лыжи, санки, палатку, переносную печь и брикеты для топки, фонари и часть продуктов. Хотя снегоход застрял прочно и опасности дальнейшего его падения не было, все же оставаться над пропастью не хотелось. Зернов запомнил выемку в ледяной стене, похожую на естественный грот, неподалеку от места аварии. Туда и задумали перебросить сначала Тольку, поставить там палатку, печку и вернуться за мной. Буквально за полчаса добрались до грота. Зернов вместе с окончательно оправившимся Толькой остался крепить палатку, а Вано с пустыми санками вернулся за мной. Тут и произошло то, что они сочли у него временным помутнением разума. Не прошло и часу, как он прибежал назад с безумными глазами в состоянии странной лихорадочной возбужденности. Снегоход, по его словам, оказался не в щели, а на ледяном поле, при этом рядом с ним стоял точно такой же с одинаково раздавленным передним стеклом. И в каждой из двух кабин он нашел меня, лежавшего на полу без сознания. Тут он взвыл от ужаса, решив, что сошел с ума, и побежал назад, а вернувшись, выпил с ходу полный стакан спирта и категорически отказался идти за мной еще раз. Тогда пошли Зернов и Толька.

В ответ я рассказал им свою историю. Слушали они меня доверчиво и жадно, как дети сказку, ни одной скептической ухмылочки не промелькнуло на лицах, только Дьячук то и дело нетерпеливо подскакивал, бормоча: «...Дальше, дальше...» — а глаза у обоих блестели так, что им самим, пожалуй, следовало повторить опыт Вано со стаканом спирта. Но, когда я кончил, оба долго-долго молчали, предпочитая, видимо, услышать объяснение от меня.

Но я тоже молчал.

— Не сердись, Юрка,— проговорил наконец Дьячук и начал мямлить:— Дневники Скотта читал или еще что-то такое, не помню. В общем, самогипноз. Снеговые галлюцинации. Белые сны.

— И у Вано? — спросил Зернов.

— Конечно. Я, как медик...

— Медик вы липовый,— перебил Зернов,— так что не будем. Слишком много неизвестных, чтобы так, с кондачка, решить уравнение. Начнем с первого. Кто вытащил снегоход? Из шестиметровой глубины, да еще замятый в такие тиски, каких на заводе не сделаешь? А весит он, между прочим, тридцать пять тонн. А с помощью чего вытащили? Канатами? Чушь! Стальные канаты обязательно оставили бы следы на кузове. А где они, эти следы?

Он молча встал и прошел к себе в рубку штурмана.

— Да ведь это же бред, Борис Аркадьевич! — крикнул вслед Толька.

Зернов оглянулся.

— Вы что имеете в виду?

— Как что? Похождения Анохина. Новый Мюнхгаузен. Двойники, облака, цветок-вампир, таинственное исчезновение.

— Мне кажется, Анохин, когда мы подошли, у вас в руках была камера,— вспомнил Зернов.— Вы что-нибудь снимали?

— Все,— сказал я.— Облако, спаренные «Харьковчанки», двойника. Минут десять крутил.

Толька поморгал глазами, все еще готовый к спору. Сдаваться он не собирался.

— Еще неизвестно, что мы увидим, когда он ее проявит.

— Вы сейчас это увидите,— услышали мы голос Зернова.— Посмотрите в иллюминатор.

Навстречу нам на полукилометровой высоте плыл малиновый блин. Небо уже затянули белые перистые нити, и на фоне их он еще меньше казался облаком. Дьячук вскрикнул и бросился к двери, мы за ним. Облако прошло над нами, не меняя курса куда-то на север, к повороту ледяной стены. «К нашей палатке»,— прошептал Толька и шагнул но мне.

— Прости, Юрка,— сказал он, протягивая руку,— все дело, оказывается, гораздо серьезней...

Торжествовать мне не хотелось.

— Это вообще не облако,— продолжал он в раздумье, подытоживая какие-то встревожившие его мысли.— Я имею в виду обычную конденсацию водяного пара. Это не капельки и не кристаллы. По крайней мере на первый взгляд. И почему оно так низко держится над землей и так странно окрашено? Газ? Едва ли. И не пыль. Будь у нас самолет, я бы взял пробу.

— Так бы тебя оно и подпустило,— заметил я, вспомнив невидимую преграду и мои попытки пройти сквозь нее с кинокамерой.— К земле жмет, как на крутых виражах, даже похлестче. Я думал, у меня подошвы магнитные.

— Живое оно, по-твоему?

— Может, и живое.

— Существо?

— Кто его знает. Может, и существо.— Я вспомнил свой разговор с двойником и прибавил: — Управляемое, наверно.

— Чем?

— Тебе лучше знать. Ты метеоролог.

— А ты уверен, что оно имеет отношение к метеорологии?

Я не ответил. А когда вернулись в кабину, Толька вдруг высказал нечто совсем несусветное:

— А вдруг это какие-нибудь неизвестные науке обитатели ледяных пустынь?

— Гениально,— сказал я,— и в духе Конан Дойля. Отважные путешественники открывают затерянный мир на антарктическом плато. Кто же лорд Рокстон? Ты?

— Неумно. Предложи свою гипотезу, если есть.

Задетый, я высказал первое, что пришло в голову:

— Скорее это какие-нибудь кибернетические устройства.

— Откуда?

— Из Европы, конечно. Или из Америки. Кто-то их придумал и здесь испытывает.

— А с какой целью?

— Сначала, скажем, как экскаватор для выемки и подъема тяжелых грузов. Попалась для эксперимента «Харьковчанка» — вытащили.

— Зачем же ее удваивать?

— Возможно, что это неизвестные нам механизмы для воспроизведения любых атомных структур — белковых и кристаллических.

— А цель... цель? Не понимаю...

— Способность понимать у людей с недоразвитым мозжечком, по данным Бодузна, снижена от четырнадцати до двадцати трех процентов. У тебя примерно пятнадцать. Сопоставь и подумай, а я подожду. Есть еще один существенный элемент гипотезы.

Только так хотелось понять поскорее, что он безропотно проглотил и Бодузна и проценты.

— Сдаюсь,— сказал он.— Какой элемент?

— Двойники,— подчеркнул я.— Ты был на пути к истине, когда говорил о самогипнозе. Но только на пути. Истина в другом направлении и на другой магистрали. Не самогипноз, а вмешательство в обработку информации. Никаких двойников фактически не было. Ни второй «Харьковчанки», ни второго Анохина, ни двойничков-бытовичков, вроде моей куртки или съемочной камеры. «Облако» перестроило мою психику, создало раздвоенное восприятие мира. В итоге раздвоение личности, сумеречное состояние души.

— И все же в твоей гипотезе нет главного: она не объясняет ни физико-химической природы этих устройств, ни их технической базы, ни целей, для каких они созданы и применяются.

Назвать мою околесицу гипотезой можно было только в порядке бреда. Я придумал ее наспех как розыгрыш и развивал уже из упрямства. Мне и самому было ясно, что она ничего не объясняла, а главное, никак не отвечала на вопрос, почему требовалось физически уничтожать двойников, существовавших только в моем воображении, да еще не подпускать меня к таинственной лаборатории. К тому же придумка полностью зависела от проявленной пленки. Если киноглаз зафиксировал то же самое, что видел я, моя так называемая гипотеза не годилась даже для анекдота.

— Борис Аркадьевич, вмешайтесь,— взмолился Толька.

— Зачем? — ответил, казалось, не слушавший нас Зернов.— У Анохина очень развитое воображение. Прекрасное качество и для художника и для ученого.

— У него уже есть гипотеза.

— Любая гипотеза требует проверки.

— Но у любой гипотезы есть предел вероятности.

— Предел анохинской,— согласился Зернов,— в состоянии льда в этом районе. Она не может объяснить, кому и зачем понадобились десятки, а может быть, и сотни кубических километров льда.

Смысл сказанного до нас не дошел, и, должно быть, поняв это, Зернов снисходительно пояснил:

— Я еще до катастрофы обратил ваше внимание на безукоризненный профиль неизвестно откуда возникшей и неизвестно куда протянувшейся ледяной стены. Он показался мне искусственным срезом. И под ногами у нас был искусственный срез: я уже тогда заметил ничтожную плотность и толщину его снегового покрова. Я не могу отделаться от мысли, что в нескольких десятках километров отсюда может обнаружиться такая же стена, параллельная нашей. Конечно, это только предположение. Но если оно верно, какая сила смогла вынуть и переместить этот ледяной пласт? Облако? Допустим, мы ведь не знаем его возможностей. Но «облако» европейского или американского происхождения? — Он недоуменно пожал плечами.— Тогда скажите, Анохин, для чего понадобились и куда делись эти миллионы тонн льда?

— А были ли выемка, Борис Аркадьевич? У выпутого пласта, по-вашему, две границы. Почему? — оборонялся я.— А где же поперечные срезы? И выемку естественнее производить кратером.

— Конечно, если не заботишься о передвижении по материку. А они, видимо, не хотели затруднять такого передвижения. Почему? Еще не пришло время для выводов, но мне кажется, что они не враждебны нам, скорее доброжелательны. И потом, для кого естественнее производить выемку именно так, а не иначе? Для нас с вами? Мы бы поставили предохранительный барьер, повесили бы таблички с указателями, оповестили бы всех по радио. А если они не смогли или не сумели этого сделать?

— Кто это «они»?

— Я не сочиняю гипотез,— сухо сказал Зернов.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Фантастический роман

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО,
Г. НОВОЖИЛОВА

Продолжение. Начало см. № 7.

Сон без сна

В короткое путешествие к палатке я захватил с собой кинокамеру, но «облако» так и не появилось. На военном совете было решено вновь перебазироваться в кабину снегохода, исправить повреждения и двинуться дальше. Разрешение продолжать поиски розовых «облаков» было получено. Перед советом я связал Зернова с Мирным, он кратко доложил об аварии, о виденных «облаках» и о первой произведенной мною съемке. Но о двойниках и прочих загадках умолчал. «Рано»,— сказал он мне.

Вано в палатке мы не нашли, но непонятный беспорядок вокруг — опрокинутая печка, ящик с брикетами, разметавшиеся лыжи и брошенная у входа кожанка водителя — все это удивляло и настораживало. Не снимая лыж, мы побежали на поиски и нашли Чохели совсем близко у ледяной стены. Он лежал на снегу в одном свитере. Его небритые щеки и черная кошма волос были запорошены снегом. В откинутой руке он сжимал нож со следами смерзшейся крови. Вокруг плеча на снегу розовело расплывшееся пятно. Снег кругом был затоптан — причем все следы, какие мы могли обнаружить, принадлежали Вано: «сорок пятого размера покупал он сапоги».

Чохели был жив. Когда мы приподняли его, он застонал, но глаз не открыл. Я, как самый сильный, понес его на спине. Толька поддерживал сзади. В палатке мы осторожно сняли с него свитер — рана была поверхностная, крови он потерял немного, а кровь на лезвии ножа, должно быть, принадлежала неизвестному противнику. И нас тревожила не потеря крови, а возможное переохлаждение: как долго он пролежал здесь, мы не знали. Но мороз был легкий, а организм у Вано крепкий. Мы растерли парня спиртом и, разжав стиснутые зубы, влили стакан спирта внутрь. Вано закашлялся, открыл глаза и что-то забормотал по-грузински. «Лежать!» — прикрикнули мы, упрятав его, укутанного, как мумия, в спальный мешок. «Где он?» — вдруг спросил Вано, очнувшись. «Кто? Кто?» Он не ответил, силы оставили его, начался бред. Было невозможно разобрать что-либо в хаосе русских и грузинских слов. «Снежная королева»,— послышалось мне. «Бредит»,— огорчился Дьячук.

С переездом решили подождать. Вано следовало выспаться: спирт уже действовал. Странная сонливость овладела и нами. Толька засопел, залез в спальный мешок на санках и тотчас же затих. Мы с Зерновым сначала крепились, курили, потом взглянули друг на друга, рассмеялись и, постелив губчатый мат, тоже залезли в меховые мешки. «Часок отдохнем, а потом и переберемся». «Есть часок отдохнуть, шеф». И оба умолкли.

Почему-то ни он, ни я не высказали никаких предположений о том, что случилось с Вано. Словно сговорившись, отказались от комментариев, хотя, я уверен, оба думали об одном и том же. Кто был противником Вано и откуда этот неизвестный появился в полярной пустыне? Почему Вано нашли раздетым за пределами грота — он даже не успел надеть кожанку? Значит, схватка началась еще в палатке? И что ей предшествовало? И как это у Вано оказался окровавленный нож? Ведь Чохели при всей его вспыльчивости никогда не прибег бы к оружию, не будучи к этому вынужденным. Что же вынудило его? Наверное, эти же вопросы задавал себе и Зернов. Но молчал. Молчал и я.

В палатке было не холодно и не темно: сквозь слюдяные оконца сюда проникал слабый сумеречный свет. Однако, постепенно или сразу — я так и не заметил, каким образом и когда,— эта сумеречность не то чтобы сгустилась или потемнела, а как-то полиловела, словно кто-то растворил в воздухе несколько зерен марганцовки. Я хотел привстать, толкнуть, окликнуть Зернова и не мог: что-то давило и прижимало меня к земле, что-то сжимало мне горло, как ранее в кабине снегохода, когда ко мне возвращалось сознание. Но тогда

у меня было ощущение, что кто-то словно просматривает меня насквозь, наполняет меня целиком, сливаясь с каждой клеточкой тела. Сейчас, если пользоваться тем же образным кодом, кто-то словно заглянул ко мне в мозг и отпустил. Мутный сумрак тоже отступил, окутав меня фиолетовым коконом: я мог смотреть, хоть ничего и не видел, мог размышлять о том, что случилось, хотя и не понимал, что именно, мог двигаться и дышать, но только в пределах кокона. Малейшее вторжение в его фиолетовый сумрак действовало, как удар электротока.

Как долго это продолжалось, не знаю; на часы я не смотрел. Но кокон вдруг раздвинулся, и я увидел стены палатки и спящих товарищей все в той же тусклой, но уже не фиолетовой сумеречности. Что-то подтолкнуло меня, заставив выбраться из мешка, схватить кинокамеру и выбежать наружу. Шел снег, небо затянуло клубящейся пеной кучевых облаков, и только где-то в зените мелькнуло знакомое розовое пятно. Мелькнуло и скрылось. Но, может быть, мне это только почудилось.

Когда я вернулся, Толька, зевая во весь рот, сидел на санках, а Зернов медленно вылезал из своего мешка. Он мельком взглянул на меня, на кинокамеру и по обыкновению ничего не сказал. А Дьячук прокричал сквозь зевоту:

— Какой странный сон я только что видел, товарищи! Будто сплю и не сплю. Спать хочется, а не засыпаю. Лежу в забытьи и ничего не вижу, ни палатки, ни вас. И словно навалилось на меня что-то клейкое, густое и плотное, как желе. А я словно растворился. Как в состоянии невесомости, то ли плыву, то ли повис. Смешно, правда?

— Любопытно,— сказал Зернов и отвернулся.

— А вы ничего не видели? — спросил я.

— А вы?

— Сейчас ничего, а в кабине снегохода перед тем, как очнулся, то же, что и Дьячук. Невесомость, неощутимость, ни сон, ни явь.

— Загадочки,— процедил сквозь зубы Зернов.— Кого это вы привели, Анохин?

Я обернулся. Откинув брезентовую дверь, в палатку, очевидно, вслед за мной протиснулся здоровенный небритый парень в шапке с высоким искусственным мехом и нейлоновой куртке на таком же меху, стянутой «молнией». Он был высок, широкоплеч и небрит и казался жестоко напуганным.

— Кто-нибудь здесь говорит по-английски? — спросил он, как-то особенно жуя и растягивая слова.

Лучше всех у нас говорил по-английски Зернов. Он и ответил.

— Кто вы и что вам угодно?

— Дональд Мартин,— сказал парень.— Летчик из Мак-Мёрдо. У вас есть что-нибудь выпить? Только покрепче,— он провел ребром ладони по горлу,— крайне необходимо.

— Дайте ему спирту, Анохин,— сказал Зернов.

Я налил в стакан из канистры со спиртом и подал парню — он был, вероятно, не старше меня. Выпил он залпом весь стакан, задохнулся — горло перехватило, глаза налились кровью.

— Спасибо, сэр,— он наконец отдышался и перестал дрожать.— У меня была вынужденная посадка, сэр.

— Давайте без сэра,— сказал Зернов.— У меня нет этого высокого титула. Меня зовут Зернов. Зер-нов,— повторил он по слогам.— Где вы сели?

— Недалеко. Почти рядом.

— Благополучно?

— Нет горючего. И с рацией что-то случилось.

— Тогда оставайтесь. Поможете нам перебазироваться на снегоход. Место для вас найдется. И рация есть.

Американец все еще медлил, словно не решаясь чего-то сказать, потом вытянулся и по-военному отчеканил:

— Прошу арестовать меня, сэр. Я, кажется, убил человека.

Второй цветок

Зернов шагнул к унтанному Вано, отдернул мех от его лица и резко спросил американца:

— Этого?

Мартин осторожно и, как мне показалось, испуганно подошел ближе и неуверенно произнес:

— Н-нет...

— Вглядитесь получше,— еще резче сказал Зернов.

Летчик недоуменно покачал головой.

— Ничего похожего, сэр. Мой лежит у самолета. И потом...— прибавил он осторожно,— я еще не знаю, человек ли он.

В этот момент Вано открыл глаза. Взгляд его скользнул по стоявшему рядом американцу, голова оторвалась от подушки и опять упала.

— Это... не я,— сказал он и закрыл глаза.

— Все еще бредит,— вздохнул Толька.

— Наш товарищ ранен. Кто-то напал на него. Мы не знаем, кто,— пояснил американцу Зернов,— поэтому, когда вы сказали...— Он деликатно умолк.

Мартин подвинул Толькины санки и сел, закрыв лицо руками и покачиваясь, словно от нестерпимой боли.

— Я не знаю, поверите ли вы мне или нет, настолько все это необычно и непохоже на правду,— рассказал он.— Я летел на одноместном самолете, не спортивном, а на бывшем истребителе, маленький «лонхид» знаете? У него даже спаренный пулемет есть для кругового обстрела. Здесь он не нужен, конечно, но по правилам полагается содержать оружие в боевой готовности: вдруг пригодится. И пригодилось... только безрезультатно. Вы о розовых облаках слышали? — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я настиг их часа через полтора после вылета...

— Их? — удивленно переспросил я.— Их было несколько?

— Целая эскадрилья. Шли совсем низко, мили на две ниже меня, большие розовые медузы, пожалуй, даже не розовые, а скорее малиновые. Я насчитал их семь разной формы и разных оттенков — от бледно-розовой незрелой малины до пылающего граната. Причем свет все время менялся, густел или расплывался, как размытый водой. Я сбавил скорость и снизился, рассчитывая взять пробу: для этого у меня был специальный контейнер под брюхом машины. Но с пробой не вышло: медузы ушли. Я нагнал их, но они опять вырвались, без всяких усилий, будто играючи. А когда я вновь увеличил скорость, они поднялись и пошли надо мной — легкие, как детские шарики, только плоские и большие, не только мою канарейку, но и здоровенный «боинг» прикроют. А вели себя, как живые. Только живое существо может так действовать, почуяв опасность. Мелькнула мысль: не уйти ли? Но они словно предвидели мой маневр. Три малиновые медузы с непостижимой быстротой вырвались вперед и, не разворачиваясь, не тормозя, с такой же силой и быстротой пошли на меня. Я даже вскрикнуть не успел, как самолет вошел в туман, неизвестно откуда взявшийся, и даже не в туман, а в какую-то слизь, густую и скользкую. Я тут же все потерял — и скорость, и управление, и видимость. Рукой, ногой двинуть не могу. «Конец»,— думаю. А самолет не падает, а скользит вниз, как планер. И садится. Я даже вскрикнуть не успел, как он сел. Словно утонул в этой малиновой слякоти, захлебнулся. Смотрю: кругом снег, а рядом самолет, такой же, как и мой,— «лонхид»-маленький. Вылез, бросился к нему, а из кабины мне навстречу такой же верзила, как и я. То ли знакомый, то ли нет, сообразить не могу. Спрашиваю: «Ты кто?» «Дональд Мартин»,— говорит. «А ты?» А я смотрю на него, как в зеркало. Нет, врешь, говорю, это я Дон Мартин, а он уже замахнулся. Я нырнул ему под руку и левой в челюсть. Он упал и виском о дверцу хрясь! Смотрю: лежит. Пнул его ногой — не шелохнулся. Потряс — голова болтается. Я подтащил его к своему самолету, думаю: доставлю на базу, а там помогут. Проверил горючее — ни капли. Дам радиограмму хотя бы — так рация вдруг замолчала. Тут у меня голова совсем помутилась: высморкнул и побежал без цели, без направления — все одно куда, лишь бы дальше от этого сатанинского цирка. И вдруг вашу палатку увидел.

Я слушал его, вспоминая свое приключение, и, кажется, уже начал понимать, что случилось с Вано. Что сообразил Толька, по его выпученным глазам уразуметь было трудно, вероятно, начал сомневаться и проверять на износ каждое слово Мартина. Сейчас он начнет задавать вопросы на своем школьном английском языке. Но Зернов предупредил его.

— Оставайтесь с Вано, Дьячук, а мы с Анохиным пойдем с американцем. Пошли, Мартин,— прибавил он по-английски.

Я взял с собой кинокамеру. Снимать пришлось сразу же на подходе к месту аварии Мартина. Там было уже не два самолета, а только один. А рядом знакомый мне пенистый малиновый холм. Он дымился, менял оттенки, странно пульсировал, точно дышал. И белые вытянутые вспышки пробегали по нему, как искры сварки. «Не подходите!» — предупредил я обгонявших меня Мартина и Зернова. Но опрокинутый цветок уже выдвинул свою невидимую защиту. Вырвавшийся вперед Мартин, встретив ее, как-то странно замедлил шаг, а Зернов просто присел, согнув ноги в коленях. Но оба все еще тянулись вперед, пытаясь преодолеть силу, пригибавшую их к земле.

Не прекращая съемки, я обошел территорию нового «чуда» и наткнулся на тело убитого или, может быть, только раненого двойника Мартина. Он лежал в такой же нейлоновой куртке с «химическим» мехом, уже запорошенный снегом, метрах в трех-четырех от самолета.

— Идите сюда, он здесь! — закричал я.

И тут от вибрирующего цветка отделился малиновый лепесток, поднялся, потемнел, свернулся в воздухе этаким пунцовым фунтиком, вытянулся и накрыл лежавшее перед нами тело. Минуту или две это змееподобное щупальце искрилось и пенилось, потом оторвалось от земли, и в его огромной, почти двухметровой пасти мы ничего не увидели. Через мгновение лепесток снова слился с куполом. А на снегу осталась лишь вмятина от лежавшего здесь человека.

Я продолжал снимать, торопясь не пропустить последнего превращения. Оно уже начиналось. Теперь оторвался от земли весь цветок и, поднимаясь, стал загибаться кверху. Этот растекавшийся в воздухе колокол был тоже пуст — мы ясно видели его ничем не наполненное, уже розовеющее нутро и тонкие распрямляющиеся края,— сейчас оно превратится в розовое облако и исчезнет за настоящими облаками. А на земле будут существовать только один самолет и один летчик. Так все и произошло.

Зернов и Мартин стояли молча, потрясенные, как и я, впервые переживший все это утром. Мартин был подавлен ужасом уже от одной мысли о том, что все увиденное — лишь плод его расстроенного воображения.

— Кого же я убил? — спросил он.

— Будем считать, что никого,— сказал Зернов.

— Но ведь это был человек, живой человек,— повторял Мартин.

— Вы в этом очень уверены? — спросил Зернов.

Мартин замялся.

— Не знаю.

— То-то. Я бы сказал: временно живой. Его создала и уничтожила одна и та же сила.

— А зачем? — спросил я осторожно.

Он ответил с несвойственным ему раздражением:

— Вы думаете, я знаю больше вас? Когда вы проявите пленку, посмотрим, обсудим.

И ушел вперед, даже не пригласив нас с собой. Мы с Мартином переглянулись и пошли рядом.

— Тебя как зовут? — спросил Мартин, по-свойски взяв меня за локоть, как ровесника.

— Юрий.

— Юри, Юри,— повторил он,— запоминается. А меня Дон. Оно живое, по-твоему?

— Ты же пытался взять пробу, Мартин. Тебе виднее.

Он засмеялся.

— Никому не посоветую. Интересно, почему оно меня в воздухе не слопало? Заглотнуло и выплюнуло.

— Попробовало — не вкусно.

— А его проглотило.

— Не знаю,— сказал я.

— Ты же видел.

— Что накрыло — видел, а что проглотило — не видел. Скорее растворило... или испарило.

— Какая же температура нужна?

— А ты ее измерял?

Мартин даже остановился, пораженный догадкой.

— Чтобы расплавить такой самолет? В три минуты? Сверхпрочный дюраль, между прочим.

— А ты уверен, что это был дюраль, а не дырка от бублика?

Он не понял, а я не объяснил, и до самой палатки мы уже шли молча. Здесь тоже что-то произошло: меня поразила странная поза Тольки, скорчившегося на ящике с брикетами и громко стучавшего зубами не то от страха, не то от холода.

— Что с вами, Дьячук? — спросил Зернов.— Простыли?

Толька, не отвечая, как загипнотизированный, присел у топки.

— Психуем немножко,— сказал Вано из-под своего мехового укрытия. Он глядел шустро и весело.

— У нас тоже гости были,— прибавил он и подмигнул, кивком головы указывая на Тольку.

— Никого у меня не было! Говори о себе! — взвизгнул тот и повернулся к нам. Лицо его перекосилось и сморщилось: вот-вот заплачет.

Вано покрутил пальцем у виска.

— В расстроенных чувствах находимся. Да не кривись — молчу. Сам расскажешь, если захочешь,— сказал он Тольке и отвернулся.— У меня тоже чувства расстроились, Юрка, когда я тебя в двух экземплярах увидел. Не перенес, удрал. Страшно стало — мочи нет. Хлебнул спирта, накрылся кожанкой, лег. Хочу заснуть — не могу. Сплю — не сплю, а сон вижу. Длинный сон, и смешной и страшный. Будто ем кисель, темный-темный, не красный, а лиловый, и так много его, что заливает меня с головой, вот-вот захлебнусь. Как долго это продолжалось, не помню. Только открыл глаза, вижу — все, как было, пусто, холодно, вас нет. И вдруг он входит. Как в зеркале вижу: я! Собственной персоной, только без куртки и в одних носках.

Мартин, хотя и не понимал, слушал с таким вниманием, словно догадывался, что речь идет о чем-то, для него особенно интересном. Тогда я стал переводить. Он так и вцепился в меня, пока Вано рассказывал, и только дергал поминутно: переводи, мол. Но переводить трудно, и я решил пересказать ему вкратце то, что случилось с Вано. В отличие от нас тот сразу заметил разницу между собой и гостем. Опьянение давно прошло, страх тоже, только голова с непривычки побаливала, а вошедший смотрел по-бычьи мутными, осоловевшими глазами. «Ты эти штучки брось,— заорал он по-грузински,— я снежных королев не боюсь, я из них шашлык делаю». Самое смешное, что Вано об этом сам в точно таких же выражениях подумал, когда Зернов и Толька ушли. Будь кто рядом, непременно бы в драку бросился. И этот бросился. Но протрезвевший Вано схватил куртку и выбежал из палатки, сразу сообразив, что от такого гостя следует держаться подальше. О том, что появление его противоречило всем известным ему законам природы, Вано и не думал. Ему нужен был оперативный простор, свобода маневра в предстоявшей баталии. У настигавшего его двойника уже сверкнул в руке нож, знаменитый охотничий нож Вано, предмет зависти всех водителей Мирного. Оригинал этого ножа был у Вано в кармане, но об этой странности он тоже не подумал, а просто выхватил его, когда пьяный фантом нанес свой первый удар. Только подставленная вовремя куртка спасла Вано от ранения. Бросив ее под ноги преследователю, Чохели добежал до угла, где стена поворачивала на север. Второй удар достал его уже здесь, но, к счастью, скользнул поверху, у плеча — помешал свитер. А третий Вано сумел отразить, сбив с ног преследователя. Дальнейшее он не помнил: кровавая тьма надвинулась на него, и какая-то сила, как взрывная волна, отшвырнула в сторону. Очнулся он уже в палатке на койке, укутанный в меха и совершенно здоровый. Но чудеса продолжались. Теперь раздвоился Дьячук.

Вано не успел закончить фразы, как Толька швырнул брикет — он топил печь — и вскочил с истерическим воплем:

— Прекрати сейчас же! Слышишь?

— Псих,— сказал Вано.

— Ну и пусть. Не я один. Вы все с ума сошли. Все! Никого у меня не было. Никто не раздваивался. Чепуха это, выдумка!

— Довольно, Дьячук,— оборвал его Зернов.— Ведите себя прилично. Вы научный работник, а не цирковой клоун. Незачем было ехать сюда, если нервы не в порядке.

— И уеду!— огрызнулся Толька, впрочем, уже тише: отповедь Зернова чуточку остудила его.— Я не Скотт и не Амундсен. Хватит с меня белых снов.

— Что это с ним? — шепнул мне Мартин.

Я объяснил.

— Было бы горючее, я бы немедленно смылся,— сказал он.— Слишком много чудес.

Ледяная симфония

Что случилось с Толькой, мы так и не узнали, но, видимо, странное здесь обернулось комическим. Вано отмахивался: «Не хочет говорить, не спрашивай. Мы оба перетрусили. А я не сплетник». Он не подсмеивался над Толькой, хотя тот явно напрашивался на ссору. «У тебя акцент, как у пишущей машинки Остапа Бендера»,— язвил он, но Вано только усмехался и помалкивал: он был

занят. Это мы с Мартином под его руководством сменили раздавленный пластик в иллюминаторе. Сам он не мог этого сделать — мешало перевязанное плечо. Было также решено, что мы с Мартином будем по очереди сменять его у штурвала водителя. Больше нас ничто не задерживало: Зернов счел работу экспедиции законченной и торопился в Мирный. Мне думается, он спешил удрать от своего двойника: ведь он был единственным избежавшим пока этой малоприятной встречи. Вопреки им же установленному железному режиму работы и отдыха он всю ночь не спал после того, как мы перебазировались в кабину снегохода. Я просыпался несколько раз и все время видел огонек его ночника на верхней койке: он что-то читал.

О двойниках мы больше не говорили, но утром после завтрака у него, по-моему, даже лицо просветлело, когда снегоход наконец двинулся в путь. Вел его Мартин. Вано сидел рядом на откидном сиденье и руководил при помощи знаков. Я отстукал радиограмму в Мирный, перекинулся парой слов с дежурившим на радиостанции Колей Самойловым и записал сводку погоды. Она была вполне благоприятной для нашего возвращения: ясно, ветер слабый, морозец даже не подмосковный, а южный — два-три градуса ниже нуля.

Но молчание в кабине тяготило, как ссора, и я наконец не выдержал.

— У меня вопрос, Борис Аркадьевич. Почему мы все-таки не радируем подробности?

— А что бы вы хотели радировать?

— Все. Что случилось со мной, с Вано. Что мы узнали о розовых облаках. Что я заснял на кинопленку.

— А как, вы думаете, должен быть написан такой рассказ?— спросил в ответ Зернов.— С психологическими нюансами, с анализом ощущений, с подтекстом, если хотите. К сожалению, у меня для этого таланта нет: я не писатель. Да и у вас, я думаю, не выйдет при всем вашем воображении, даже при всей игривости ваших гипотез. А изложить все это телеграфным кодом — получатся записки сумасшедшего.

— Что-то же можно предположить?

— Конечно. Вот и начнем с вас. Что предполагаете вы? Что такое, по-вашему, это розовое облако?

— Организм.

— Живой?

— Несомненно, живой, мыслящий организм с незнакомой нам физико-химической структурой. Какая-то биовзвесь или биогаз. Колмогоров предположил возможность существования мыслящей плесени? С такой же степенью вероятности возможно предположить и мыслящий газ, мыслящий коллоид и мыслящую плазму. Изменчивость цвета — это защитная реакция и окраска эмоций: удивления, интереса, ярости. Изменчивость формы — это двигательные реакции, способность к маневрированию в воздушном пространстве. Человек при ходьбе машет руками, сгибает и передвигает ноги. Облако вытягивается, загибает края, сворачивается колоколом.

— О чем вы?— поинтересовался Мартин.

Я перевел.

— Оно еще пенится, когда дышит, и выбрасывает щупальца, когда нападает,— прибавил он.

— Значит, зверь?— спросил Зернов.

— Зверь,— подтвердил Мартин.

Зернов задавал не праздные вопросы. Каждый из них ставил какую-то определенную цель, мне еще не ясную. Видимо, он проверял нас и себя, не спеша с выводами.

— Хорошо,— сказал он,— тогда ответьте: как этот зверь моделирует людей и машины? Зачем он их моделирует? И почему модель уничтожается тотчас же после «обкатки» ее на людях?

— Не знаю,— честно признался я.— Облако синтезирует любые атомные структуры — это ясно. Но зачем оно их создает и почему уничтожает — загадка.

И тут вмешался Толька, до сих пор державшийся с непонятной для всех отчужденностью:

— По-моему, самый вопрос поставлен неправильно. Как моделирует? Почему моделирует? Ничего оно не моделирует. Сложный обман чувственных восприятий. Предмет не физики, а психиатрии.

— Посмотрите направо!— вдруг крикнул Вано.

То, что мы увидели в бортовой иллюминатор, мгновенно остановило спор. Мартин затормозил. Мы натянули куртки и выскочили из машины. И я начал снимать с ходу, потому что это обещало самую поразительную из моих киносъемок.

Происходившее перед нами походило на чудо, на картину чужой, инопланетной жизни. Ничто не застилало и не затемняло ее — ни облака, ни снег. Солнце висело над горизонтом, отдавая всю силу своего света возвышающейся над ними изумрудно-голубой толще льда. Идеально гладкий срез ее во всю свою многометровую высь казался стеклянным. Ни человека, ни машины не виднелось на всем его протяжении. Только гигантские розовые диски — я насчитал их больше десятка — легко и беззвучно резали лед, как масло. Представьте себе, что вы режете разогретым ножом только что вынутый из холодильника брусок сливочного масла. Нож входит в него сразу, почти без трения, скользя между оплывающими стенками. Точно так же оплывали стометровые стенки льда, когда входил в него розовый нож. Он имел форму неправильного овала или трапеции с закругленными углами, а площадь его превышала сотню квадратных метров, поскольку можно было определить издали «на глазок». Толщина его была совсем крохотной, в несколько сантиметров — не более, то есть знакомое нам «облако», видимо, сплющилось, растянулось, превратившись в огромный режущий инструмент, работающий с изумительной быстротой и точностью.

Два таких «ножа» в полукилометре друг от друга резали ледяную стену перпендикулярно к ее основанию. Два других подрезывали ее снизу равномерными, точно совпадающими движениями маятника. Вторая четверка работала рядом, а третью я уже не видел: она скрылась глубоко в толще льда. Вскоре исчезла во льду и вторая, а ближайшая к нам проделала поистине гулливеровский цирковой трюк. Она вдруг подняла в воздух аккуратно вырезанный из ледяной толщи стеклянный брус почти километровой длины, геометрически правильный голубой параллелепипед. Он взлетел не спеша и поплыл вверх легко и небрежно, как детский воздушный шарик. Участвовало в этой операции всего два «облака». Они съежились и потемнели, превратившись в уже знакомые чашечки, только не опрокинутые, а обращенные к небу — два немыслимых пунцовых цветка-великана на невидимых стебельках. При этом они не поддерживали плывущий брус: он поднимался над ними на почтительном расстоянии, ничем с ними не связанный и не скрепленный.

— Как же он держится?— удивился Мартин.— На воздушной волне? Какой же силы должен быть ветер?

— Это не ветер,— сказал, подбирая английские слова, Толька.— Это — поле. Антигравитация...— Он умоляюще взглянул на Зернова.

— Силовое поле,— пояснил тот.— Помните перегрузку, Мартин, когда мы с вами пытались подойти к самолету? Тогда оно усиливало тяготение, сейчас оно его нейтрализует.

А с поверхности ледяного плато взмыл вверх еще один такой же километровый брус, выброшенный в пространство титаном-невидимкой. Подымался он быстрее своего предшественника и вскоре нагнал его на высоте обычных полярных рейсов. Было отлично видно, как сблизились в воздухе эти ледяные гиганты-кирпичи, притерлись боками и слились в один широкий брус, неподвижно застывший в воздухе. А снизу уже поднимались третий, чтобы лечь сверху, и четвертый, чтобы уравновесить плиту. Она утолщалась с каждым новым брусом: «облакам» требовалось три-четыре минуты, чтобы вырезать его из толщи материкового льда и поднять в воздух. И с каждой новой посылкой ледяная стена все дальше и дальше отступала к горизонту, а вместе с ней отступали и розовые «облака», словно растворялись и пропадая в снежной дали. А высоко в небе по-прежнему висели две красных розы и над ними огромный хрустальный куб, насквозь просвеченный солнцем.

Мы стояли молча, завороженные этой картиной, почти музыкальной по своей тональности. Своеобразная грация и пластичность розовых дисков-ножей, согласованность и ритм их движений, взлет голубых ледяных брусков, образовавших в небе гигантский сияющий куб,— все это звучало в ушах, как музыка, неслышная, беззвучная музыка иных, неведомых сфер. Мы даже не заметили — только мой киноглаз успел запечатлеть это,— как алмазный солнечный куб стал уменьшаться в объеме, подымаясь все выше и выше, и в конце концов совсем исчез за перистой облачной сетью. Исчезли и два управляющих им «цветка».

— Миллиард кубометров льда,— простонал Толька.

Я посмотрел на Зернова. Взгляды наши встретились.

— Вот вам и ответ на главный вопрос, Анохин,— сказал он.— Откуда взялась ледяная стена и почему у нас под ногами так мало снега. Они снимают ледяной щит Антарктиды.

Последний двойник

Официально отчет нашей экспедиции строился так: доклад Зернова о феномене розовых облаков, мой рассказ о двойниках и просмотр снятого мною фильма. Но, уже начиная совещание, Зернов поломал задуманную программу. Никаких материалов для научного доклада, кроме личных впечатлений и привезенного экспедицией фильма, пояснил он, у него нет, а те астрономические наблюдения, с которыми он познакомился в Мирном, не дают оснований для каких-либо определенных выводов. Появление огромных ледяных скоплений в атмосфере на различных высотах, оказывается, было зарегистрировано и нашей и зарубежными обсерваториями в Антарктике. Но ни визуальные наблюдения, ни специальные фотоснимки не позволяют установить ни количества этих квазинебесных тел, ни направления их полета. Речь, следовательно, может идти о впечатлениях и гаданиях, которые иногда называют гипотезами. Но поскольку экспедиция уже более трех суток как вернулась, а людям свойственны болтливость и любопытство, то все виденное ее участниками сейчас уже известно далеко за пределами Мирного. Гаданиями же, разумеется, лучше заниматься после просмотра фильма, поскольку материала для таких гаданий будет более чем достаточно.

Кого имел в виду Зернов, говоря о болтливости, я не знаю, но мы с Вано и Тольной не поленились взбудоражить умы, а слух о моем фильме даже пересек материк. На просмотр прибыли француз, и два австралийца, и целая группа американцев во главе с отставным адмиралом Томпсоном, давно уже сменившим адмиральские галуны и нашивки на меховой жилет и свитер зимовщика. О фильме они уже слышали, его ждали и потихоньку высказывали различные предположения. Наш второй киномеханик Женя Лазебников, просмотрев проявленную пленку, завыл от зависти:

— Ну, все! Ты теперь знаменитость. Считай, Ломоносовская премия у тебя в кармане.

Зернов не сделал никаких замечаний, только спросил, выходя из лаборатории:

— А вам не страшно, Анохин?

— Почему?— удивился я.

— Возможно, вы даже не представляете себе, какие открытия несете миру.

Лихорадочное оживление я почувствовал уже во время просмотра в кают-компании. Пришли все, кто только мог прийти, сидели и стояли всюду, где только можно было сесть или стоять. Тишина повисла, как в пустой церкви, лишь иногда взрывалась гулом изумления и чуть ли не испуга, когда не выдерживали даже ко всему привычные и закаленные полярные старожилы. Скептицизм и недоверие, с которыми кое-кто встретил наши рассказы, сразу исчезли после первых же кадров, запечатлевших две спаренные «Харьковчанки» с одинаково раздавленным передним стеклом и розовое «облако», плывущее над ними в блекло-голубом небе. Кадры получились отличными, точно передающими цвет: «облако» на экране алело, лиловело, меняло форму, опрокидывалось цветком, пенилось и пожирало огромную машину со всем ее содержимым. Заснятый мною двойник сначала никого не удивил и не убедил: его попросту приняли за меня самого, хотя я тут же заметил, что снимать себя самого да еще в движении и с разных съемочных точек не под силу даже гроссмейстеру-документалисту. Но по-настоящему заставили поверить в людей-двойников кадры двойника Мартина — мне удалось поймать его крупным планом,— а затем подходивших к месту аварии подлинного Мартина и Зернова. Зал загудел. А когда малиновый цветок выбросил змеевидное щупальце и второй неподвижный Мартин исчез в его пасти-раструбе, кто-то даже вскрикнул в темноте. Но самый поразительный эффект, самое глубокое впечатление произвела заключительная часть фильма, его ледяная симфония.

Едва окончился просмотр, как вместе с шумными аплодисментами раздались голоса, потребовавшие показать фильм вторично. Этот вторичный просмотр проходил уже в полном молчании: ни один возглас не прозвучал в зале, никто не кашлянул, не обмолвился словом с соседом, даже шепота не было слышно. Молчание продолжалось, и когда погас экран, словно люди еще не освободились от сковавшего их напряжения, пока старейший из старожилов, прозванный дуайеном корпуса зимовщиков, профессор Кедрин не выразил общую мысль:

— Вот ты и скажи, Борис, все, что думаешь. Так лучше будет: нам ведь тоже подумать надо.

— Я уже говорил, что у нас нет материальных свидетельств,— сказал Зернов.— Пробу взять Мартин не смог: «облако» не подпустило его к самолету. Не подпустило оно и нас на земле, пригнуло такой тяжестью, будто тело чугуном налили. Значит, «облако» может создавать гравитационное поле. Ледяной куб в воздухе это подтвердил — вы видели. Вероятно, тем же способом был посажен самолет Мартина и наш снегоход извлечен из трещины. К бесспорным заключениям можно присоединить следующее: «облако» легко изменяет форму и цвет — вы это тоже видели. Создает любой температурный режим: так резать стометровую толщу льда можно только при очень высоких температурах. В воздухе оно держится как рыба в воде, не нуждается в поворотах, мгновенно меняет скорость. Мартин уверяет, что замеченное им «облако» уходило от него с гиперзвуковой скоростью. Его «коллеги» отставали, видимо, только для того, чтобы создать гравитационный заслон вокруг самолета. Конечный вывод только один: никакого отношения к метеорологии феномен розовых облаков не имеет. Такое «облако» — или живой мыслящий организм, или биосистема с определенной программой. Основная ее задача — снять и перебросить в пространство большие массы материкового льда. Попутно синтезируются, я бы сказал, моделируются — неизвестно, зачем и как,— а затем уничтожаются — тоже неизвестно зачем — любые встречные атомные структуры — люди, машины, вещи.

Первый вопрос Зернову задал американец Томпсон:

— Я не уяснил одной мысли из вашего сообщения: враждебны ли эти существа людям?

— Думаю, нет. Они уничтожают лишь сотворенные ими копии.

— Вы в этом уверены?

— Вы же только что это видели,— удивился вопросу Зернов.

— Меня интересует, уверены ли вы в том, что уничтоженное — именно копии, а не люди? Если копии идентичны людям, то кто мне докажет, что мой летчик Мартин — это действительно мой летчик Мартин, а не его атомная модель.

Разговаривали они по-английски, но в зале многие понимали и переводили соседям. Никто не улыбнулся: вопрос был серьезный. Даже Зернов растерялся, подыскивая ответ.

Я рванул вниз вскочившего было Мартина и сказал:

— Уверяю вас, адмирал, что я — это действительно я, кинооператор экспедиции Юрий Анохин, а не созданная «облаком» модель. Когда я снимал фильм, мой двойник, как загипнотизированный, отступал к снегоходу: вы это видели на экране. Он сказал мне, что кто-то или что-то заставляет его вернуться в кабину. Видимо, его уже подготовляли к уничтожению,— я смотрел на поблескивающие очки адмирала, и меня буквально распирало от раздражения.

— Возможно,— сказал он,— хотя и не очень убедительно. У меня вопрос к Мартину. Встаньте, Мартин.

Летчик поднялся во весь свой двухметровый рост баскетболиста.

— Вы пытались стрелять, когда подумали об агрессивных намерениях «облака»?

— Я это сделал, сэр. Две очереди трассирующими пулями.

— Результативно?

— Никак нет, сэр. Все равно, что из дробовика по снежной лавине.

— А если бы у вас было другое оружие? Скажем, огнемет или напалм.

— Не знаю, сэр.

— Садитесь, Мартин. И не обижайтесь на меня: я только выяснял смутившие меня детали сообщения господина Зернова. Благодарю вас за разъяснения, господа.

Настойчивость адмирала развязала языки. Вопросы посыпались, подгоняя друг друга, как на пресс-конференции.

— Вы сказали: ледяные массы облака перебрасывают в пространство. Какое? Воздушное или космическое?

— Если воздушное, то зачем? Что делать со льдом в атмосфере?

— Допустит ли человечество такое массовое хищение льда?

— А кому вообще нужны ледники на Земле?

— Что будет с материком, освобожденным от льда? Повысится ли уровень воды в океане?

— Изменится ли климат?

— Не все сразу, товарищи,— умоляюще воздел руки Зернов.— Давайте по очереди. В какое пространство? Предполагаю: в космическое. В земной атмосфере леднини нужны только гляциологам. Как может повыситься уровень воды в океане, если количество воды не увеличилось? Вопрос на уроке географии, скажем, в классе пятом. Вопрос о климате тоже из школьного учебника.

— Какова, по-вашему, предполагаемая структура «облака»? Мне показалось, что это газ.

— Мыслящий газ,— хихикнул кто-то.— А это из какого учебника?

— Вы физик?— спросил Зернов.

— Допустим.

— Допустим, что вы и напишете этот учебник.

Поднялся знакомый мне корреспондент «Известий».

— В каком-то фантастическом романе я читал о пришельцах с Плутона. Между прочим, тоже в Антарктиде. Неужели вы считаете это возможным?

— Не знаю. Кстати, я ничего не говорил о Плутоне.

— Пусть не с Плутона. Вообще из космоса. Из какой-нибудь звездной системы. Но зачем им летать за льдом на Землю? На окраину нашей галактики. Льда во Вселенной достаточно — можно найти и ближе.

— Ближе к чему?— спросил Зернов, улыбаясь.

Я восхищался им: под градом вопросов он не утратил ни юмора, ни спокойствия. Он был не автором научного открытия, а только случайным свидетелем уникального, необъяснимого феномена, о котором знал не более зрителей фильма. Но они почему-то забывали об этом, а он терпеливо откликался на каждую реплику.

— Лед — это вода,— сказал он тоном уставшего к концу урока учителя,— соединение не столь уж частое даже в нашей звездной системе. Мы не знаем, есть ли вода на Венере, ее очень мало на Марсе и совсем нет на Юпитере или Уране. И не так уж много земного льда во Вселенной. Пусть поправят меня наши астрономы, но, по-моему, космический лед — это чаще всего замерзшие газы: аммиак, метан, углекислота, азот.

— Почему никто не спрашивает о двойниках?— шепнул я Тольке. И тут профессор Кедрин вспомнил именно обо мне.

— У меня вопрос к Анохину. Общались ли вы со своим двойником, разговаривали? Интересно, как и о чем?

— Довольно много и о разных вещах,— сказал я.

— Заметили вы какую-нибудь разницу, чисто внешнюю, в мелочах, в неприметных деталях? Я имею в виду разницу между вами обоими.

— Никакой. У нас даже кровь одинаковая.— Я рассказал о микроскопе.

— А память? Память детства, юности. Не проверяли?

Я рассказал и о памяти. Мне только непонятно было, куда он клонит. Но он тотчас и объяснил.

— Тогда вопрос адмирала Томпсона, вопрос тревожный, даже пугающий, должен насторожить и нас. Если люди-двойники будут появляться и впредь и если, скажем, появятся неуничтожаемые двойники, то как мы будем отличать человека от его модели? И как они будут отличать себя сами? Здесь, как мне кажется, дело не только в абсолютном сходстве, но и в уверенности каждого, что именно он настоящий, а не синтезированный.

Я вспомнил о спорах со своим злосчастным «дублем» и растерялся. Выручил меня Зернов.

— Любопытная деталь,— сказал он,— двойники появляются всегда после одного и того же сна. Человеку кажется, что он погружается во что-то красное или малиновое, иногда лиловое и всегда густое и прохладное, будто желе или кисель. Эта невыясненная субстанция наполняет его целиком, все внутренности, все сосуды. Я не могу утверждать точно, что наполняет, но человеку именно это кажется. Он не может пошевелиться, словно парализованный, и начинает испытывать ощущение, схожее с ощущением гипнотизируемого: словно кто-то невидимый просматривает его мозг, перебирает каждую его клеточку. Потом алая темнота исчезает, к нему возвращается ясность мысли и свобода движений, он думает, что видел просто нелепый и страшный сон. А через некоторое время появляется двойник. Но после пробуждения человек успел что-то сделать, с кем-то поговорить, о чем-то подумать. Двойник этого не знает. Анохин, очнувшись, нашел не одну, а две «Харьковчанки» с одинаково раздавленным передним стеклом и с одинаково приваренным снегозацепом на гусенице. Для его двойника все это было открытием. Он помнил только то, что помнил Анохин до погружения в алую темноту. Аналогичные расхождения наблюдались и в других случаях. Дьячук после пробуждения побрился и порезал щеку. Двойник явился к нему без пореза. Чохели лег спать, сильно захмелев от выпитого стакана спирта, а встал трезвый, с ясным сознанием. Двойник же появился перед ним, едва держась на ногах, с помутневшими глазами, в состоянии пьяного бешенства. Мне кажется, что именно этот период, точнее, действия человека после его пробуждения от «алого сна» всегда помогут в сомнительных случаях отличить оригинал от копии.

— Вы тоже видели такой сон?— спросил кто-то.

— Видел.

— А двойника у вас не было?

— Вот это меня и смущает. Почему я оказался исключением?

— Вы не оказались исключением,— ответил Зернову его же собственный голос.

Говоривший стоял позади всех, почти в дверях, одетый несколько иначе, чем Зернов. На том был парадный серый костюм, на этом — новом Зернове — старый темно-зеленый свитер, какой носил Зернов в экспедиции. Зерновские же ватные штаны и канадские меховые сапоги, на которые я взирал с завистью во время поездки, дополняли костюм незнакомца. Впрочем, едва ли это был незнакомец. Даже я, столько дней пробывший рядом с Зерновым, не мог отличить одного от другого. Если на трибуне был Зернов, то в дверях стояла его точнейшая копия.

В зале ахнули, кто привстал, растерянно оглядывая обоих, кто сидел с разинутым по-мальчишески ртом, Кедрин с интересом рассматривал двойника, на тонких губах американского адмирала змеилась усмешка: казалось, он был доволен таким неожиданным подтверждением его мысли.

А Зернов-двойник неторопливо прошел к трибуне, провожаемый взглядами, полными такого захватывающего интереса, какого удостаивались, вероятно, редкие мировые знаменитости. Он оглянулся, подвинул стул-табуретку и сел у того же столика, за которым комментировал фильм Зернов. Зрелище не явило собой ничего необыкновенного: сидели два брата-близнеца, встретившиеся после долгой разлуки. Но все понимали: не было ни разлуки, ни братьев. Просто один из сидевших был непонятным человеческому разуму чудом. Только какой? Я понимал теперь адмирала Томпсона.

— Почему ты не появился во время поездки? Я ждал этого,— спросил Зернов номер один.

Зернов номер два недоуменно пожал плечами.

— Я помню все до того, как увидел этот розовый сон. Потом провал в памяти. И сразу же я вхожу в этот зал, смотрю, слушаю и, кажется, начинаю понимать...— Он посмотрел на Зернова и усмехнулся.— Как мы похожи все-таки.

— Я это предвидел,— пожал плечами Зернов.

— А я нет. Если бы мы встретились там, как Анохин со своим двойником, я бы ни за что не уступил приоритета. Кто бы доказал мне, что ты настоящий, а я только повторение? Ведь я — это ты, я помню всю свою или твою — уж не знаю теперь чью — жизнь, до мелочей, лучше тебя, вероятно, помню, вероятно, синтезированная память свежее. Антон Кузьмич,— обернулся он к залу,— вы помните наш разговор перед отъездом? Не о проблематике опытов, просто последние ваши слова. Помните?

Профессор Кедрин смущенно замялся.

— Забыл.

— И я забыл,— сказал Зернов номер один.

— Вы постучали мундштуком по коробке «Казбека»,— не без нотки превосходства напомнил Зернов номер два,— и сказали: «Хочу бросать, Борис. С завтрашнего дня обязательно».

Общий смех был ответом: профессор Кедрин грыз мундштук с потухшим окурком.

— У меня вопрос,— поднялся адмирал Томпсон.— К господину Зернову в зеленом свитере. Вы помните нашу встречу в Мак-Мёрдо?

— Конечно,— ответил по-английски Зернов-двойник.

— И сувенир, который вам так понравился?

— Конечно,— повторил Зернов-двойник.— Вы подарили мне авторучку с вашей золотой монограммой. Она сейчас у меня в комнате, в кармане моей летней куртки.

— М о е й летней куртки,— насмешливо поправил Зернов.

— Ты бы не убедил меня в этом, не посмотри я ваш фильм. Теперь я знаю: я не возвращался с вами на снегоходе, я не встречал американского летчика и гибель его двойника увидел лишь на экране. И меня ждет такой же конец, я его предвижу.

— Может быть, мы исключение,— сказал Зернов,— может быть, нам подарят сосуществование?

Теперь я видел разницу между ними. Один говорил спокойно, не теряя присущего ему хладнокровия, другой был внутренне напряжен и натянут.

— Ты и сам в это не веришь,— сказал он.— Нас создают как опыт и уничтожают как продукт этого опыта. Зачем, никому не известно: ни нам, ни вам. Я помню рассказ Анохина твоей памятью, нашей общей памятью помню,— он посмотрел на меня, и я внутренне содрогнулся, встретив этот до жути знакомый взгляд,— когда стало опускаться облако, Анохин предложил двойнику бежать. Тот отказался: не могу, мол, что-то приказывает мне остаться. И он вернулся в кабину, чтобы погибнуть: мы все это видели. Так вот: ты можешь встать и уйти, я нет. Что-то уже приказало мне не двигаться.

Зернов протянул ему руку, она наткнулась на невидимое препятствие.

— Не выйдет,— печально улыбнулся Зернов-двойник.— Поле — я прибегаю к вашей терминологии, другая мне, как и вам, неизвестна,— так вот, поле уже создано. Я в нем, как в скафандре.

Кто-то, сидевший поблизости, также попробовал дотянуться до синтезированного человека и не смог: рука встретила уплотненный, как дерево, воздух.

— Страшно знать свой конец и не иметь возможности ему помешать,— сказал Зернов номер два.— Я все-таки человек, а не биомасса.

Жуткая тишина придавила зал. Кто-то тяжело дышал. Кто-то прикрыл глаза рукой. Адмирал Томпсон снял очки. Я зажмурился.

Рука Мартина, лежавшая у меня на колене, вздрогнула.

— Лук ап!— вскрикнул он.

Я взглянул вверх и обмер: с потолка к сидевшему неподвижно Зернову в зеленом свитере спускалась лиловая пульсирующая труба. Ее граммофонный раструб расширялся и пенился, неспешно и прочно, как пустой колпак, прикрывая оказавшегося под ним человека. Минуту спустя мы увидели нечто вроде желеобразного фиолетового сталактита, соединившегося с поднявшимся навстречу ему сталагмитом. Основание сталагмита покоилось на трибуне у столика, сталактит же вытекал из потолка сквозь крышу и слежавшийся на ней почти трехметровый слой снега. Еще через полминуты пенистый край трубы начал загибаться наружу, и в открывшейся всем ее розовой пустоте мы не увидели ни стула, ни человека. Еще минута — и лиловая пена ушла через потолок как нечто нематериальное, не повредив ни пластика, ни его тепловой изоляции.

— Все,— сказал «наш» Зернов, подымаясь.— Финис, как говорили древние римляне.

Продолжение следует.

Самолет-призрак

В Москве мне не повезло: перенести лютую антарктическую зиму, ни разу не чихнуть в шестидесятиградусные морозы и простудиться в осенней московской слякоти, когда даже ночью синий столбик в термометре за окном не опускался ниже нуля. Правда, в ближайший вторник медицина обещала мне полное выздоровление, но в воскресенье утром я еще лежал с горчичниками на спине, лишенный возможности даже спуститься к почтовому ящику за газетами. Впрочем, газеты принес мне Толька Дьячук. И хотя по приезде из Мирного он сразу же вернулся к себе в институт прогнозов, к своим картам ветров и циклонов, и в нашей возне с розовыми облаками не участвовал, я искренне обрадовался его приходу. Толька уютно сидел в кресле у окна и мурлыкал под гитару что-то им же сочиненное.

— Нравится? — наконец спросил он.

— Что нравится? — не понял я.

— Что, что... Песня, конечно.

— Какая? — Я все еще не понимал его.

— Не слышал, значит,— вздохнул он.— Я так и думал. Придется повторить, я не гордый.

И он запел протяжным говорком, как безголосые «шансонье», не расстающиеся с микрофоном. Кто знал тогда, какая завидная судьба ожидает это творение Дьячука!

— Всадники ниоткуда — что это? Сон ли? Миф?.. Вдруг в ожидании чуда... замер безмолвно мир. И над ритмичным гудом... пульса моей Земли... всадники ниоткуда строем своим прошли... Право, сюжет не новый... Стержень трагедии прост: Гамлет решает снова... вечный, как мир, вопрос. Кто они? Люди? Боги?.. Медленно тает снег... Снова Земля в тревоге, и передышки нет...

Он сделал паузу и продолжал чуть-чуть мажорнее:

— Кто ими будет познан? Сможем ли их понять? Поздно, приятель, поздно, не на кого пенять... Только поверить трудно. Видишь — опять вдали... всадники ниоткуда строем своим прошли...

Он вздохнул и посмотрел на меня в ожидании приговора.

— Ничего,— сказал я.— Поется. Только «откуда у хлопца испанская грусть»? Пессимизм откуда? «Поздно, приятель, поздно,— передразнил я его.— Не на кого пенять!» А что, собственно, поздно? И на что пенять? Тебе льда жалко? Сними-ка лучше горчичники, уже не жгут.

Толька содрал с моей измученной спины уже высохшие горчичники и сказал:

— Между прочим, их и в Арктике видели.

— Горчичники?

— Не смешно.

— Вероятно, страшно?

— Может, и страшно. В Гренландии тоже лед срезают. Есть телеграммы.

— Ну и что? Теплее будет.

— А если весь лед Земли? И в Арктике, и в Антарктике, и в горах, и в океанах?

— Тебе лучше знать — ты же климатолог. В Белом море будем сардинку ловить, а в Гренландии апельсины посадим.

— В теории,— вздохнул Толька.— Кто может предсказать, что произойдет в действительности? Никто. Да и не во льдах суть. Ты выступление Томпсона почитай. ТАСС его полностью передал.— Он указал на пачку газет.— Трудный дядька. Много крови испортит,— прибавил он.— И не только нам. Кстати, он и словечко наше использовал. С подачи Лисовского: хорзмен фром ноуэр.

— Всадники ниоткуда. А ведь это ты придумал,— вспомнил я.

— А кто размножил?

Спецкор «Известий» Лисовский, возвращавшийся вместе с нами из Мирного, был автором статьи о розовых облаках, обошедшей всю мировую печать. Он так и назвал ее — «Всадники ниоткуда». А название действительно придумал Толька. Это он закричал, увидев их из окна самолета: «Всадники! Ей-богу, всадники». «Откуда?» — спросил кто-то. «А я знаю? Ниоткуда». И тут же Лисовский повторил вслух: «Всадники ниоткуда. Неплохой заголовок для статьи».

Наш реактивный лайнер летел тогда с ледяного аэродрома Мирного к берегам Южной Африки. В салоне находились возвращавшиеся с зимовки ученые и несколько газетных корреспондентов. Говорили, конечно, о розовых облаках, но не всерьез, а с шуточками,— словом, шла обычная веселая кают-компанейская болтовня.

Розовые облака, изогнутые, как бумеранги, появились неожиданно на облачной белесой дорожке, подскакивая и зарываясь в ней, как всадники в новыльной степи. Впрочем, сравнивать их, конечно, можно было с чем угодно: форму свою они меняли мгновенно. Шесть или семь из них поднялись нам навстречу, растеклись розовыми блинами, потемнели и обвили самолет непроницаемым багровым коконом. К чести нашего пилота, он не дрогнул, а продолжал вести самолет, как будто бы ничего не случилось: в коконе так в коконе!

В кабине наступила зловещая тишина. Все ждали чего-то, опасливо переглядываясь и не решаясь заговорить. Красный туман уже просачивался сквозь стены. Как это происходило, никто не понимал. Казалось, для него не было материальных препятствий или он сам был нематериальным, иллюзорным, существовавшим только в нашем воображении. Но вскоре он заполнил всю кабину, странные багровые затемнения окутали сидевших впереди и позади меня пассажиров. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил меня Лисовский, сидевший через проход от меня. «А вам не кажется, что кто-то заглядывает вам в мозг, просматривает вас насквозь?» — ответил я вопросом на вопрос. Он помолчал, должно быть, соображая, не сошел ли я с ума от страха, потом проговорил, запинаясь:

«Н-нет, не кажется, а что?» «Просто туман, ничего не кажется»,— сказал кто-то рядом. И мне не казалось. То, что происходило в самолете, ничуть не напоминало по ощущениям случившееся в снегоходе и в палатке. Тогда я чувствовал, будто кто-то или что-то просматривало, неощутимо прощупывало меня, словно подсчитывая и определяя порядок расположения частиц в моем теле. Сейчас этого ощущения не было. Меня окружал просто разлитый в кабине туман, словно подкрашенный кармином воздух, непрозрачный, как мутная вода в банке, не холодный и не теплый, не режущий глаза и не щекочущий ноздри — неощутимый. Он обтекал меня, совсем не касаясь кожи, и понемногу таял или выветривался. Скоро стали видны руки, одежда, обивка кресел и сидевшие рядом пассажиры. Я услышал позади чей-то вопрос: «Сколько прошло? Вы не засекли время?» И ответ: «Нет, не засек, не знаю». Я тоже не знал, может быть, три, может быть, десять минут.

И тут мы увидели нечто еще более странное. Попробуйте прищуриться, сильно сжимая веки, и вам покажется, что предмет, на который вы смотрите, начинает двоиться: от него как бы отделяется копия и уплывает куда-то в сторону. То же произошло и со всей обстановкой самолета, со

Продолжение. Начало см. №№ 7, 8.

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО, Г. НОВОЖИЛОВА

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

всем тем, что было в поле нашего зрения. Я не смутно, а вполне отчетливо видел, а потом узнал, что это видели все,— как от нашей кабины со всем ее содержимым начал отделяться ее дубликат с полом, окнами, креслами и пассажирами, отделился, поднялся на полметра и поплыл в сторону. Я увидел себя самого, Тольку с гитарой, Лисовского, увидел, как Лисовский попытался схватить свое уплывающее повторение и схватил только воздух, увидел уже не внутренность нашей кабины, а ее наружную стенку и то, как эта стенка прошла насквозь действительную стенку, как последовало за ней крыло, скользнувшее сквозь нас, как гигантская тень самолета, и как все это исчезло, словно испарилось в воздухе. И все-таки не исчезло, не испарилось. Мы бросились к окнам и увидели такой же самолет, летевший рядом, абсолютно точную, словно серийную, копию, и при этом совсем не иллюзорную, потому что оказавшийся расторопнее всех Лисовский все-таки успел сделать снимок, а на снимке этом, впоследствии повсюду опубликованном, был четко зафиксирован дубликат нашего лайнера, снятый с десятиметрового расстояния.

К сожалению, то, что произошло позже, никто снять не успел: настолько быстро, почти молниеносно завершилось это воздушное представление. Вокруг самолета-двойника возник знакомый малиновый кокон, вытянулся, побагровел, из багрового превратился в лиловый и растаял. Ничего не осталось — ни самолета, ни кокона.

Помню, из пилотской кабины вышел наш шеф-пилот и робко спросил: «Может быть, кто-нибудь из товарищей объяснит нам, что случилось?» Никто не отозвался, шеф подождал, потом сказал с обидной для нас усмешкой: «Что же получается, товарищи ученые? Необъяснимый феномен? Чудо? Чудес-то ведь не бывает». «Значит, бывает»,— ответил кто-то. Все засмеялись. Тогда спросил Лисовский: «Может быть, товарищ Зернов объяснит?» «Я не бог и не дельфийский оракул»,— буркнул в ответ Зернов. «Значит, так и написать?» — съязвил Лисовский. «Так и напишите»,— отрезал Зернов и замолчал.

Заговорил он со мной об этом после посадки в Карачи, когда нам обоим удалось пробиться сквозь толпу встречавших самолет журналистов: оказывается, наш радист еще в пути послал радиограмму о происшедшем. Пока газетчики с фото- и кинокамерами атаковали команду самолета, мы с Зерновым незаметно проскользнули в ресторанный буфет и с наслаждением заказали прохладительное. Помню, я о чем-то спросил его, он не ответил. Потом, словно отвечая не мне, а каким-то тревожившим его думам, сказал:

— Другой метод моделирования. Совершенно другой.

— Вы о «всадниках»? — спросил я.

— Привилось словечко,— усмехнулся он.— Повсюду привьется. И у нас и на Западе, вот увидите. А смоделировано было все по-другому,— прибавил он.

Я не понял.

— Самолет?

— Не думаю. Самолет, наверное, смоделировали полностью. И тем же способом. Сначала иллюзорно, потом вещественно — вся атомная структура в точности. А люди по-другому: только внешняя форма, оболочка, функция пассажира. Что делает пассажир? Сидит в кресле, смотрит в окно, пьет боржом, листает книгу. Едва ли воссоздавалась психическая жизнь человека во всей ее сложности. Да это и не нужно. Требовалась живая, действующая модель самолета с живыми, действующими пассажирами. Впрочем, это только предположение.

— Зачем же было уничтожать эту модель?

— А зачем уничтожать двойников? — спросил он в ответ.— Помните прощание моего близнеца? Я до сих пор этого забыть не могу.

Он замолчал и перестал отвечать на вопросы. Только по выходе из ресторана, когда мы прошли мимо Лисовского, окруженного по меньшей мере десятком иностранных корреспондентов, Зернов засмеялся и сказал:

— Обязательно скажет им о «всадниках». А те подхватят. И Апокалипсис приплетут. Будет и конь бледный, и конь вороной, и всадники, смерть несущие,— все будет.

Все предсказанное Зерновым сбылось в точности. Я чуть на постели не подскочил, когда вместе с телеграммами о появлении розовых «облаков» на Аляске и в Гималаях Дьячук прочел мне перевод статьи адмирала Томпсона из нью-йоркской газеты. Даже высмеянная Зерновым терминология полностью совпадала с адмиральской.

«Кто-то метко назвал их «всадниками»,— писал адмирал,— и все же не попал в яблочко. Это не просто всадники. Это Всадники из Апокалипсиса — к такому сравнению я прихожу не случайно. Вспомним слова пророка: «...и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над землей — умерщвлять мечом, и голодом, и мором». Американцы поймут, почему я прибегаю к терминологии, более приличествующей кардиналу католической церкви, чем отставному военному моряку. Я вынужден сделать это: слишком уж беззаботно встречает человечество своих незваных гостей». Адмирала не интересовало, откуда явились они,— с Сириуса или с Альфы Центавра. Не волновала его и транспортировка в космос земного льда. Его интересовало появление и исчезновение двойников. Еще в Мирном он выразил сомнение в том, что уничтожаются именно двойники, а не люди. Теперь эта же мысль получала в статье уверенное и довольно агрессивное обоснование.

Примечателен был не только смысл, но и самый тон этой статьи — панический и крикливый. Людей, привыкших принимать на веру всяческую рекламную трескотню, статья этого, видимо, неглупого, но явно предубежденного человека могла напугать всерьез.

Когда я изложил все эти соображения Тольке, он сказал:

— Статья адмирала — частность. Возникает совсем новая проблема. До сих пор, когда ученые или фантасты писали о вероятности встреч с иным разумом в космосе, их интересовал вопрос о дружеском или враждебном отношении этого разума к людям. А вот о возможности враждебного отношения людей к этому разуму никто не думал. А ведь в этом проблема.

Что ж, об этом стоило задуматься.

Толька иногда высказывался очень разумно. Я вспомнил, что эта тема была затронута и на совещании в Академии наук.

Они видят, слышат и чуют

На совещание я пришел примерно за час до начала, чтобы проверить проектор, экран и звук: фильм демонстрировался уже с дикторским текстом. В конференц-зале я нашел только Иру Фатееву, которую прочили в секретари особой комиссии по облакам. Между прочим, меня предупредили, что эта Ира — кобра, полиглот и всезнайка. Спроси у нее, что получится, если смочить обнаженный мозг раствором хлористого калия,— она скажет. Спроси о четвертом состоянии вещества — скажет. Спроси о том, что такое топология,— тоже скажет. Но я не спрашивал. Только поглядев на нее, я сразу всему поверил.

Она была в темно-синем свитере с очень строгой, абстрактной орнаментовкой, с тугим пучком на голове и в чуть дымчатых очках без оправы — узких прямоугольных стеклышках. За ними, как я вскоре узнал, скрывались умные, внимательные, очень требовательные глаза. Но тогда, войдя, я ее глаз не увидел: Фатеева даже не подняла головы, она что-то писала в большом черном блокноте.

Я кашлянул.

— Не кашляйте, Анохин, и не стойте посреди комнаты,— сказала она, по-прежнему не смотря на меня,— я вас знаю и все о вас знаю, поэтому можете не представляться. Сядьте где-нибудь и подождите, пока я не закончу этого экспозе.

— Что такое экспозе? — спросил я.

— Не старайтесь показаться невежественнее, чем вы есть на самом деле. А экспозе совещания вам знать не обязательно. Вас туда не приглашали.

— Куда? — снова спросил я.

— В Совет Министров. Там вчера показывали ваш фильм.

Я знал об этом, но промолчал. Прямоугольные стеклышки повернулись ко мне. «Хорошо бы она сняла очки»,— подумал я.

Она сняла очки.

— Теперь я верю в телепатию,— сказал я.

Она поднялась, высокая и стройная.

— Вы пришли проверить аппаратуру, Анохин, натяжение экрана и регулятор звука? Все это уже сделано.

— А что такое топология? — спросил я.

Глаза без стеклышек испепелить меня не успели. Помешали участники будущего совещания: они явно не собирались опаздывать. Кворум собрался за четверть часа. Преамбулы не было. Только председательствующий спросил у Зернова, будет ли какое-нибудь вступительное слово. «Зачем?» — спросил тот в ответ. Тогда погас свет, и на экране в голубом небе Антарктики начал набухать малиновый колокол.

Когда малиновый цветок проглотил моего двойника вместе со снегоходом, чей-то веселый басок воскликнул:

— Кто считает человека венцом мироздания, поднимите руку!

Послышался смех. Тот же голос продолжил:

— Учтите нечто бесспорное: никакая моделирующая система не может создать модель структуры более сложной, чем она сама.

Когда край цветка, загибаясь, запенился, я услышал:

— Жидкая пена, да? А какие компоненты? Газ? Жидкость? Пенообразующее вещество?

— Вы так уверены, что это пена?

— Ни в чем я не уверен.

— Может быть, это плазма при низких температурах?

— Плазма — газ. Что же ее удерживает?

— А магнитная ловушка. Магнитное поле создает нужные стенки.

— Нонсенс, коллега. Почему разрозненный, эфемерный газ не распадается, не рассеивается под давлением этого поля? Оно же не бессиловое в том смысле, что не стремится изменить форму.

— А как, по-вашему, создают магнитные поля облака межзвездного газа?

— Вопрос к авторам плазменной гипотезы. Значит, по-вашему, и самолет и человек просто сгорели в газовой струе, в магнитной «бутылке»?

Впереди опять засмеялись.

— Мистика какая-то. Невероятно!

— Чтобы признать возможность невероятного, мистики не требуется. Достаточно математики.

— Парадокс. Ваш?

— Фриша. Только математик здесь действительно нужнее вас, физиков. Больше сделает.

— Интересно, что же он сделает?

— Ему проб не нужно. Снимков побольше. А что он увидит? Геометрические фигуры, как угодно деформируемые без разрывов и складок. Задачки по курсу топологии.

— А кто, простите, решит задачку о составе этой розовой биомассы?

— Вы считаете ее массой?

— По этим цветным картиночкам я не могу считать ее мыслящим организмом.

— Обработка информации очевидна.

— Обработка информации еще не синоним мышления.

Обмен репликами продолжался и дальше. Особенно взбудоражила зал ледяная симфония — облана-пилы и гигантские бруски льда в голубом небе.

Фильм кончился, вспыхнул свет, и все замолчали, словно вместе со светом напомнила о себе привычная осторожность в суждениях. Председательствующий, академик Осовец, тотчас же уловил ее.

— Здесь не симпозиум, товарищи, и не академическое собрание,— спокойно напомнил он,— мы все, здесь присутствующие, представляем особый комитет, созданный по решению правительства со следующими целями: определить природу розовых облаков, цель их прибытия на Землю, агрессивность или дружественность их намерений; войти с ними в контакт, если они являются разумными, мыслящими существами. Однако увиденное еще не позволяет нам прийти к каким-то определенным выводам или решениям.

— Почему? — перебил из зала чей-то уже знакомый басок.— А фильм? Первый вывод: превосходный научный фильм. Бесценный материал для начала работы. И первое решение: широко показать его повсюду — и у нас и на Западе.

Каюсь, очень приятно было все это выслушать. Столь же приятным был и ответ председателя:

— Так же оценили фильм и в правительстве. И такое решение уже принято. А товарищ Анохин включен в состав рабочей группы нашего комитета. И все же,— продолжал академик,— фильм еще не отвечает на многие интересующие нас вопросы: откуда, из какого уголка Вселенной прибыли к нам эти гости, какие формы жизни — едва ли белковые — они представляют, какова их физико-химическая структура и являются ли они живыми разумными существами или биороботами с определенной программой действий. Можно задать еще много вопросов, на которые мы не получим ответа. По крайней мере сейчас. Но кое-что предположить все-таки можно, какие-то рабочие гипотезы можно обосновать и выступить с ними в печати. И не только в научной. Во всех странах мира люди хотят услышать о розовых облаках не болтовню клинуш и гадалок, а серьезную научную информацию, хотя бы в пределах того, что нам уже известно и что мы можем предположить. Можно, например, рассказать о возможностях и проектах контактов, об изменениях земного климата, связанных с исчезновением ледяных массивов, а главное, противопоставить отдельным мнениям об агрессивной сущности этой, пока еще неизвестной нам цивилизации факты и доказательства ее лояльности по отношению к человечеству.

— Кстати, в дополнение к уже высказывавшимся в печати объяснениям,— проговорил, воспользовавшись паузой, сидевший рядом с Зерновым ученый,— можно добавить еще одно. Наличие дейтерия в обыкновенной воде незначительно, но лед и талая вода содержат еще меньший процент его, то есть более биологически активны. Известно также, что под действием магнитного поля вода меняет свои основные физико-химические свойства. А ведь земные ледники — это вода, уже обработанная магнитным полем Земли. Кто знает, может быть, это и прольет какой-то свет на цели пришельцев.

— Признаться, меня больше интересует их другая цель, хотя я и гляциолог,— вмешался Зернов.— Зачем они моделируют все, что им приглянулось, понятно: образцы пригодились бы им для изучения земной жизни. Но зачем они их разрушают?

— Риску ответить.— Осовец оглядел аудиторию, как лектор, получивший записку; он отвечал не только Зернову.— Допустим, что уносят они с собой не модель, а только запись ее структуры. И для такой записи, скажем, требуется разрушить или, вернее, разобрать ее по частям до молекулярного, а может, и атомного уровня. Причинять ущерб людям, уничтожать их самих или созданные ими объекты они не хотят. Отсюда синтезация и после опробования последовательное уничтожение или, вернее, разборка модели.

— Значит, не агрессоры, а друзья? — спросил кто-то.

— Думаю, так. Во всяком случае, они незлобивы,— осторожно ответил академик.— Поживем — увидим.

Вопросов было много; одни я не понял, другие забыл. Запомнился вопрос Ирины, обращенный к Зернову:

— Вы сказали, профессор, что они моделируют все, что им приглянулось. А где же у них глаза? Как они видят?

Ответил ей не Зернов, а сидевший с ним физик.

— Глаза не обязательны,— пояснил он.— Любой объект они могут воспроизвести фотопутем. Создать, допустим, светочувствительную поверхность так же, как они создают любое поле, и сфокусировать на ней свет, отраженный от объекта. Вот и все. Конечно, это — только одно из возможных предположений. Можно предположить и акустическую «настройку» подобного типа и аналогичную «настройку» на запахи.

— Убежден, что они все видят, слышат и чуют лучше нас,— произнес с какой-то странной торжественностью Зернов.

На этот раз в зале не засмеялся ни один человек. Реплика Зернова как бы подвела итог увиденному и услышанному, как бы раскрывала перед ними всю значительность того, что им предстояло продумать и осознать.

Письмо Мартина

После Толькиного ухода я долго стоял у окна, не отрывая глаз от заснеженной асфальтовой дорожки, соединявшей мой подъезд с воротами на улице. Я надеялся, что придет Ирина. Теоретически она могла бы прийти — не из сердобольности, конечно, а просто потому, что по телефону она не могла ни сообщить мне новости, ни передать поручения: телефона у меня пока не было. А нас связывали деловые отношения: она была секретарем особого комитета, а я — его референтом. К тому же нам предстояла совместная командировка в Париж на международный форум ученых, посвященный волновавшему весь мир непостижимому феномену розовых облаков. Возглавлял делегацию академик Осовец, я и Зернов ехали в качестве очевидцев, а Ира в более скромной, но уж наверняка более важной роли — секретаря-переводчика. Она ведь знала не менее шести языков. Кроме того, в состав делегации был включен Роговин, физик с мировым именем, обладатель того насмешливого баса, который запомнился мне еще на просмотре фильма в конференц-зале. Командировка была уже подготовлена, необходимые документы получены, до отъезда оставались считанные дни, и нужно было о многом договориться, тем более что Зернов уехал в Ленинград повидаться с семьей и должен был вернуться со дня на день...

Но, честно говоря, мне совсем не потому хотелось увидеть Ирину. Я просто соскучился по ней за эту неделю невольного заточения, даже по ее насмешкам соскучился, даже по дымчатым прямоугольным стеклышкам, отнимавшим у нее какую-то долю обаяния и женственности. Меня уже нескрываемо тянуло к ней — дружба не дружба и даже не влюбленность, а то смутное и неуловимое, что подчас неудержимо влечет к человеку и вдруг исчезает в его присутствии. «Тебе нравится она?» — спрашивал я себя. «Очень». «Влюблен?» «Не знаю». Иногда мне с ней трудно, иногда она меня просто злит. Где-то симпатия вдруг перерастает в глухое недовольство, и хочется говорить ей колкости. Мы с ней очень разные по характеру, привычкам, и, наверно, поэтому это различие заостряется вдруг, как бритва. В таких острых ситуациях по ее уничтожающей оценке мое образование — это компот из Кафки, Хемингуэя и Брэдбери, а в моей ответной реплике ее эрудиция — это вермишель из «Техники — молодежи» за позапрошлый год. Иногда мне хочется сравнить ее с сушеной воблой и лапутянским ученым, а в ответ она смиходительно относит меня и племени Ивановых-седьмых и Присыпкиных. И все же мы в чем-то сходимся. Тогда нам обоим интересно и весело.

Эта странная и забавная дружба началась сразу же по окончании памятного просмотра в Академии наук. Я долго сидел в углу, пока не разошлись доктора и кандидаты наук и не потухла люстра, упаковал бобины и коробки, сложил все в свою спортивную сумку и опять сел. Ирина молча смотрела на меня сквозь дымчатые стеклышки.

— А вы не двойник? — вдруг спросила она.

— Двойник,— согласился я.— Как это вы догадались?

— По действиям нормального человека. Такой человек, не отягченный высшим образованием, смылся бы, не дожидаясь конца совещания. А вы сидите, слушаете, топчетесь и не уходите.

— Изучаю земную жизнь,— сказал я важно.— Мы, двойники, системы самопрограммирующиеся и меняем программу на ходу в зависимости от предмета, достойного изучения.

— И этот предмет — я?

— Вы потрясающе догадливы.

— Считайте сеанс оконченным. Изучили.

— Изучил. Теперь закажу вашу модель с некоторыми коррективами.

— Без очков?

— Не только. Без многозначительности и жреческого величия. Обыкновенную девушку с вашим умом и внешностью, которая любила бы ходить в кино и гулять по улицам.

Я вскинул на плечо сумку с бобинами и пошел к выходу.

— Я тоже люблю ходить в кино и гулять по улицам,— сказала она вслед.

Через день я пришел сюда к началу занятий, побритый и выхоленный, как дипломат. Она что-то печатала на машинке. Я поздоровался с ней и сел за ее письменный стол.

— Вы зачем? — спросила она.

— На работу.

— Вас еще не откомандировали в наше распоряжение.

— Откомандируют.

— Нужно пройти отдел кадров...

— Отдел кадров для меня — это нуль-проход,— отмахнулся я.— Интересуюсь позавчерашними стенограммами.

— Для чего? Все равно не поймете.

— В частности, решением совещания,— продолжал я величественно, не обращая внимания на ее выпады.— Насколько мне известно, намечены четыре экспедиции: в Арктику, на Кавказ, в Гренландию и в Гималаи. Лично я бы выбрал Гренландию.

Она засмеялась, словно имела дело с участником школьного шахматного турнира, предложившим сыграть матч с чемпионом мира. Я даже растерялся.

— А куда же?

— Никуда.

Я не понял.

— Почему? В каждой же экспедиции требуется кинооператор.

— Придется вас огорчить, Анохин: кинооператор не потребуется. Поедут научные сотрудники и лаборанты специальных институтов. НИКФИ, например. И не смотрите на меня добрыми бараньими глазами. Заметьте, я не говорю: глупыми. Я просто спрашиваю: вы умеете работать с интроскопом? Нет. Умеете снимать за «стеной непрозрачности», скажем, в инфракрасных лучах? Нет. Умеете превращать невидимое в видимое с помощью электронно-акустического преобразователя? Тоже нет. Я это читаю на вашем отлично выбритом лице. Так что зря наводили лоск.

— Ну, а простая съемка? — все еще не понимал я.— Обыкновенный фильмус-вульгарис?

— Обыкновенный фильмус-вульгарис можно снять любительской камерой. Теперь это все делают. Важнее получить изображение в непрозрачных средах, за внешним покровом облака. Что, например, происходит с двойником в малиновой трубке?

Я молчал. Для обыкновенного оператора это было дифференциальное исчисление.

— Вот так, Юрочка,— опять засмеялась она.— Ничего вы не можете. И по методу Кирлиан не можете?

Я даже не слышал о таком методе.

— А он, между прочим, позволяет отличить живое от неживого.

— Я и простым глазом отличу.

Но она уже вошла в роль лектора:

— На снимке живая ткань получается в окружении призрачного сияния — разряды тонов высокой частоты. Чем интенсивнее жизнедеятельность, тем ярче ореол.

— И первоклашке ясно, что это живая ткань,— разозлился я и встал.— Не беспокойтесь об отделе кадров. Мне там делать нечего. Здесь тоже.

Она рассмеялась — на этот раз совсем по-другому: весело и добродушно.

— Сядьте, Юрочка, и утешьтесь: мы поедем с вами вместе.

— Куда? — Я еще не остыл от обиды.— В Торжок?

— Нет, в Париж.

Я так и не понял эту чертовку, пока она не показала мне решение о нашей командировке на Парижский конгресс.

А сейчас я ждал эту девушку, как ангела, топтался у окна и грыз спички от нетерпения. И, конечно, прозевал ее, потому что отошел к столу за сигаретами. Она позвонила, когда я уже подумывал о возможном разрыве дипломатических отношений.

— Господи! — воскликнул я.— Наконец-то!

Она бросила плащ мне на руки и протанцевала в комнату.

— Ты стал верующим?

— С этой минуты. Поверил в ангела, приносящего милость неба. Не томи — когда?

— Послезавтра. Зернов возвращается завтра, а наутро вылетаем. Билеты уже заказаны. А кстати, почему мы на «ты»?

— Инстинктивно. Но не это тебя волнует.

— Верно.

Она со смехом вырвала у меня свой плащ и вытащила из кармана объемистый пакет, оклеенный иностранными марками.

— Тебе письмо из Америки. Приобретаешь мировую известность.

— От Мартина,— сказал я, взглянув на адрес.

Он был написан, мягко говоря, своеобразно:

«Юрм Анохину. Первому наблюдателю феномена розовых облаков. Комитет борьбы с пришельцами из космоса. Москва. СССР».

— Комитет борьбы,— засмеялась Ирина,— вот тебе и программа контакта. Томпсоновец.

— Сейчас узнаем.

Мартин писал, что из антарктической экспедиции он вернулся в свою авиачасть близ Сэнд-сити, где-то на юго-западе США. Тут же по предложению Томпсона его откомандировали в распоряжение уже сколоченного адмиралом добровольного общества борьбы с космическими пришельцами. Назначению Мартин не удивился: Томпсон сказал ему об этом еще в самолете по дороге в Штаты. Не удивился он и должности. Узнав о том, что еще в колледже Мартин печатался в студенческих журналах, адмирал назначил его пресс-агентом.

Письмо было написано на пишущей машинке — больше десятка плотно исписанных листиков. «...Мой первый очерк не для печати, а для тебя,— писал Мартин.— Скажешь по совести, гожусь ли я в газетчики». Я перелистал несколько страничек и ахнул.

— Читай,— сказал я Ирине, передавая прочитанные листки,— кажется, все мы влипли.

Вестерн в новом стиле

Мартин писал:

«Солнце еще только подымалось над горизонтом, когда я уже выехал за ворота авиабазы. Надо было спешить: сутки отпуска — срок небольшой, а до Сэнд-сити меньше чем за час не доберешься. Я весело махнул рукой невыспавшемуся часовому, и мой древний двухместный «корвет» привычно рванул вперед по размягченному зноем асфальту. Какой-то парень замельтешил на дороге, я ему просигналил и затормозил.

— В город? — спросил он.

Я кивнул, он сел, дикий какой-то, чем-то напуганный, с мелкими каплями пота на лбу, в рубахе с темными мокрыми кругами под мышками.

— С утра кросс затеял? — спросил я.

— Хуже,— повторил он и полез в карман джинсов. Оттуда на сиденье машины вместе с платком выскользнул вороненый «барки-джонс».

Я удивленно присвистнул.

— Гонка преследования?

— Дуран,— беззлобно ответил он.— Это не мой, а хозяйский. Я тут за стадом присматриваю. На ранчо Виннччно.

— Ковбой?

— Какой там ковбой! — поморщился он, вытирая вспотевший лоб.— Я и на лошади-то сидеть как следует не умею. Просто деньги нужны. Осенью учиться пойду.

Я внутренне усмехнулся: кровожадный гангстер, спасающийся от шерифа, превратился в обыкновенного студента, прирабатывающего на вакациях.

— Митчелл Кейси,— представился он.

Я тоже назвал себя, рассчитывая не без тщеславия, что имя мое, воспетое газетами со времени встречи с драконами из Мак-Мёрдо, докатилось и до него, но ошибся. Он не слыхал ни обо мне, ни о розовых облаках: два месяца ни радио не слушал, ни газет не читал.

— Может, уже война началась или марсиане высадились — один черт, ничего не знаю.

— Войны нет,— сказал я,— а марсиане, пожалуй, высадились.

И рассказал ему коротко о розовых облаках. Но я не ожидал, что мой рассказ вызовет у него такую реакцию. Он рванулся к дверце, словно хотел выскочить на ходу, потом разинул рот и дрожащими губами спросил:

— Длинные розовые огурцы? Как самолеты пикируют. Да?

Я удивился: газет не читал, а знает.

— Только что видел,— сказал он и снова вытер выступивший на лбу пот: встреча с нашими знакомцами из Антарктики его совсем доконала.

— Ну и что? — спросил я.— Летают — точно. И пикируют. А вреда никакого. Трусишка ты...

— Всякий струсил бы на моем месте,— все еще взволнованно проговорил он,— я чуть с ума не сошел, когда они стадо удвоили.

И, почему-то оглянувшись сначала, словно боясь, что его могут подслушать, тихо прибавил:

— И меня тоже.

Ты уже, наверное, понял, Юри, что Митч попал в такую же переделку, как и мы с тобой. Эти чертовы облака заинтересовались его стадом, спикировали на коров, а наш храбрый ковбой полез их отгонять. И тут началось для него нечто совсем уже непонятное. Один из розовых огурцов подплыл к нему, повис над головой и приказал отойти. Не словами, конечно, а как гипнотизер на ярмарке, отойти назад и сесть на лошадь. Митч рассказывает, что не мог ни ослушаться, ни сбежать. Не сопротивлялись, он отошел к лошади и вскочил в седло. Я думаю, что им на этот раз всадник понадобился: пеших-то они набрали достаточно, целую коллекцию. Ну, а дальше все как по маслу: красный туман, неподвижность, ни рукой, ни ногой не шевельнуть, а тебя будто насквозь просматривают. Словом, картина знакомая. А когда парень в себя пришел, глазам не поверил: стадо вдвое увеличилось, а в сторонке на лошади точно такой же Митчелл сидел. И лошадь та же, и сам он, как в зеркале.

Нервы у парня, конечно, не выдержали. Я-то помню, что со мной в первый раз было. С ним то же: помчался, куда ветер понес, лишь бы дальше от наваждения. А потом остановился: стадо не свое, хозяйское, отвечать ему же придется. Подумал и вернулся, а там все по-прежнему, как до появления розовых облаков: ни лишних коров, ни двойника на лошади. Ну и решил парень: либо мираж, либо он с ума сошел. Стадо в загон, а сам в город, к хозяину.

Все это — только предисловие, ты понимаешь. Не успел я кое-как успокоить парня, как сам запсиховал: вижу, летят облака стайкой вдоль дороги, этаким бреющим полетом идут. Тут и Митчелл их увидел. Слышу: замолк. Только дышит тяжело, как спринтер после финиша.

— К городу пошли,— прошептал он.— А почему нас не тронули?

— А мы с тобой меченые. Я с ними тоже встречался,— пояснил я.— Вот они и запомнили.

— Не нравится мне все это,— сказал он и замолчал.

Так мы и ехали молча, пока из-за поворота не показался город. До него оставалось не больше мили, но я почему-то не узнал его: таким странным он мне показался в сиреневой дымке, как мираж в этих сыпучих желтых песках.

— Что за дьявольщина? — удивился я.— Может быть, у меня спидометр барахлит? До города по меньшей мере еще десяток миль, а он уже виден.

— Конечно. Мы должны были проехать мотель старика Джонсона,— откликнулся Митчелл.— Ведь он в миле от города.

Действительно, гостиница старика Джонсона, обычно собственной персоной встречавшего автомобилистов у входа, куда-то бесследно исчезла. Мы не могли ее проехать, а даже признаков строения у дороги не было видно.

Зато с каждой минутой становился виднее Сэнд-сити. В лиловой дымке он перестал быть миражем.

— Вроде город как город,— сказал Митчелл,— а что-то не то. Может, с другой дороги въезжаем?

Но въезжали мы с обычной дороги. И видели те же рыжие дома у въезда, тот же плакат на столбах с огромными буквами поперек улицы: «Самые сочные бифштексы только в Сэнд-ситн»,— ту же колонну Сэмюэля Фрича с алюминиевой башенкой-счетчиком. Даже сам Фрич в белом халате, как всегда, стоял у разбитого молнией дуба с лучезарной улыбкой-вопросом: «Обслужить вас, сэр? Масло? Бензин?»

Город оборотней

Я остановил «корвет» со скрежетом, знакомым всем владельцам окрестных бензоколонок.

— Привет, Фрич. Ты ничего странного не находишь? Как тебе нравится наш город?

Мне показалось, что Фрич не узнал меня. Без обычной своей услужливой расторопности он шагнул к нам, шагнул как-то неуверенно, словно человек, вошедший в ярко освещенную комнату из ночной темноты. Еще более поразили меня его глаза: неподвижные, будто мертвые, они смотрели не на нас, а сквозь нас. Он остановился, не дойдя до машины.

— Доброе утро, сэр,— произнес он глухим, безразличным голосом.

Фамилии моей он не назвал.

— Что с городом?! — заревел я.— Крылья, что ли, у него появились? Ты можешь мне ответить, черт побери?

— Не понимаю, сэр,— так же монотонно и безразлично ответил Фрич.— Что вам угодно, сэр?

Нет, это был не тот Фрич, которого я знал.

— Куда девался мотель старика Джонсона? — спросил я, еле сдерживаясь.

Он повторил без улыбки:

— Мотель старика Джонсона? Не знаю, сэр.— Он шагнул ближе и уже с улыбкой, но до того искусственной, что мне на миг стало страшно, прибавил: — Вас обслужить, сэр? Масло? Бензин?

— Ладно,— сказал я.— Разберемся. Поехали, Митч.

— Что это с ним? — спросил Митчелл.— С утра, что ли, набрался?

Но я знал, что Фрич не пьет ничего, кроме пепси-колы. И бродило в нем не хмельное, а нечто нечеловеческое.

— Ты знаешь, где найти твоего хозяина? — спросил я у Митчелла.

— В клубе, наверно.

Я свернул на Эльдорадо-стрит, погнав машину вдоль аккуратных коттеджиков, одинаково желтых, как вылупившиеся цыплята. Пешеходов не было видно, здесь пешком не ходили, а ездили на «понтиаках» и «бьюиках», но владельцы «понтиаков» и «бьюиков» уже уехали на работу, а их жены еще потягивались в постелях или завтракали в своих электрифицированных кухнях. Хозяин Митчелла завтракал в клубе, а клуб помещался на улочке, выходившей на главную магистраль — Стейт-стрит — улицу Штата, как она здесь называлась. Мне было стыдно своих неосознанных страхов: синее небо, никаких розовых облаков над головой, расплавленный солнцем асфальт, горячий ветер, гнавший по мостовой обрывки газет, в которых, наверное, говорилось о том, что розовые облака — это просто выдумка психов-ньюйоркцев, а Сэнд-сити полностью застрахован от любого космического нашествия,— все это возвращало к реальности тихого сонного города, каким он и должен быть в это знойное утро.

Так по крайней мере мне казалось, потому что все это была только иллюзия, Юри. В городе не было утра, и он совсем не дремал и не спал. Мы сразу увидели это, свернув на Стейт-стрит.

— Не рановато ли в клуб? — спросил я у Митчелла, все еще думая о сонном городе.

Он засмеялся, потому что в этот момент нас задержала толпа на перекрестке. Но это была не утренняя толпа, и окружал нас не утренний город. Светило солнце, но электрические фонари на улице продолжали гореть, как будто вчерашний вечер еще не кончился. Неоновые огни сверкали на витринах и вывесках. За стеклянными дверями кино гремели выстрелы: неустрашимый Джеймс Бонд осуществлял свое право на убийство. Щелкали шары на зеленых столах бильярдных, словно поезд, грохотал джаз за окнами ресторана «Селена», и стучали сбитые кегли в настежь открытых дверях спортзалов. А по тротуарам фланировали прохожие, именно фланировали, прогуливались, а не спешили на работу, потому что работа давно закончилась и город жил не утренней, а вечерней жизнью. Будто вместе с электрическими фонарями на улице люди решили обмануть время.

— Зачем эта иллюминация? Солнца им мало? — недоумевал Митчелл.

Я молча затормозил у табачного киоска. Бросив на прилавок мелочь, осторожно спросил у завитой продавщицы:

— У вас какой-нибудь праздник сегодня?

— Какой праздник? — переспросила она, протягивая мне сигареты.— Обычный вечер обычного дня.

Неподвижные голубые глаза ее смотрели сквозь меня, как и пустые глаза Фрича.

— Вечер? — повторил я.— Да вы посмотрите на небо. Какое же солнце вечером?

— Не знаю.— Голос ее звучал спокойно и безразлично.— Сейчас вечер, и я ничего не знаю.

Я медленно отошел от киоска. Митчелл поджидал меня у машины. Он слышал весь мой разговор с продавщицей и думал, вероятно, о том же: кто из нас сошел с ума — мы или они, жители города. Может быть, сейчас действительно вечер, у нас с Митчеллом просто галлюцинация? Я еще раз оглядел улицу. Она была частью шестьдесят шестого шоссе, проходящего через город в Нью-Мексико. Автомашины двигались мимо нас двумя встречными колоннами — обычные американские автомашины на обычной американской автомобильной дороге. Но все они шли с зажженными фарами.

Импульсивно, уже ни о чем не думая, я схватил за плечо первого попавшегося под руку прохожего.

— Не трогай меня, чертова кукла! — закричал он, вырываясь.

То был маленький, юркий толстяк в нелепой велосипедной шапочке. Глаза его — не пустые и безразличные, а живые и гневные — смотрели на меня с отвращением. Я оглянулся на Митчелла; тот покрутил пальцем у виска. И гнев толстяка тотчас же переменил направление.

— Это я идиот, по-твоему? — уже не закричал, а завизжал он, рванувшись к Митчеллу.— Это вы все здесь с ума сошли, весь город. Утро на улице, а они электричество жгут. И на все вопросы, как заведенные: не знаю — и все! А ну-ка ответь: утро сейчас или вечер?

— Утро, конечно,— сказал Митчелл,— а что в городе творится, сам не пойму.

Метаморфоза, происшедшая с толстяком, была поразительна.

— Слава всевышнему: один нормальный человек в городе сумасшедших! — воскликнул он, все еще не выпуская руки Митчелла.

— Два,— сказал я, протягивая руку.— Вы третий. Давайте-ка обменяемся впечатлениями. Может, и разберемся в этом наваждении.

— Объясните мне, господа, самое дикое,— начал толстяк,— эти фокусы с автомобилями. Они едут и исчезают. Сразу. И в никуда.

Честно говоря, я его не понял. Что значит: в никуда? Он объяснил. Только сигарету попросил: «Не курю, но, знаете, успокаивает».

— Зовут меня Лесли Бейкер, по специальности — коммивояжер. Дамское белье и косметика. Сегодня здесь, завтра там — ночевник. Сюда попал по дороге в Нью-Мексико: свернул на шестьдесят шестое шоссе. Ехал медленно, как улитка. Помню, все время впереди маячил большой зеленый фургон, не давая себя обогнать. Вы знаете, что такое медленная езда? Зубная боль по сравнению с ней удовольствие. Да еще этот плакат при въезде: «Вы въезжаете в самый спокойный город Америки». А самый спокойный город отчудил такое, что в цирке не увидишь, у фокусников. На окраине, где шоссе расширялось — тротуаров там уже не было,— я снова попытался обогнать моего мучителя. Рванул сбоку, смотрю, а его нет. Исчез. Не понимаете? И я не понял. Свернул на обочину, сбавил скорость, гляжу туда-сюда: нет фургона. Растаял, как сахар в чашке кофе. А я тем временем в колючую проволоку врезался, даже притормозить не успел. Хорошо, что еще ехал тихо.

— Откуда на шоссе колючая проволока? — удивился я.

— На шоссе? Не было никакого шоссе. Оно исчезло вместе с фургоном. Была голая красная равнина, зеленый островок вдалеке да колючая проволока кругом: частное владение. Не верите? Сначала и я не поверил. Ну, ладно, пропал фургон — черт с ним. Но куда шоссе делось? Бред! Оглянулся назад и чуть не умер со страха: прямо на меня и на проволоку прет черный «линкольн». Черная смерть. Сто миль, не меньше. Я и выскакивать не стал, только зажмурился: все одно конец. Прошла минута — не конец. Открыл глаза: жив, а «линкольна» как не бывало.

— Может быть, он проехал вперед?

— Куда? По какому шоссе?

— Значит, тоже исчез?

Он кивнул.

— Выходит, что машины исчезли, не доезжая до колючей проволоки? — спросил я.

— Вот именно. Одна за другой. Я минут десять так простоял, и все они пропадали на кромке шоссе. Оно обрывалось в красной глине у самой проволоки. А я стою, как Рип Ван Винкль, только глазами моргаю. У кого ни спрошу — один ответ: «Не знаю». Почему едут с зажженными фарами? Не знаю. Куда пропадают? Не знаю. Может быть, в ад? Тоже не знаю. А где шоссе? А глаза у всех стеклянные, как у покойников.

Мне уже было ясно, что это за город. Хотелось провести еще один тест — взглянуть собственным глазом. Я осмотрелся и проголосовал; одна из проезжавших мимо машин остановилась. У водителя тоже были стеклянные глаза. Но я рискнул.

— Не подвезешь до окраины? Два квартала и только.

— Садитесь,— сказал он равнодушно.

Я сел рядом с ним, толстяк и Митч, ничего не понимая, уместились сзади. Парень безразлично отвернулся, дал газ, и мы пролетели эти два квартала за полминуты.

— Смотрите,— лихорадочно прошептал сзади Бейкер.

Впереди нас поперек обрезанного красной глиной шоссе тянулись четыре ряда ржавой колючей проволоки. Виден был только небольшой участок проволочного ограждения, остальное скрывали дома по обочине дороги, и потому казалось, что весь город обнесен колючей проволокой, изолирован от мира живых людей.

— Осторожней, проволока! — крикнул, хватая водителя за руку, Бейкер.

— Где? — удивился тот и отшвырнул руку Бейкера.

Проволоки он явно не видел.

— А ну-ка притормози,— вмешался я,— мы здесь сойдем.

Водитель сбавил газ, но я еще успел увидеть, как радиатор машины начал медленно таять в воздухе. Словно что-то невидимое проглатывало машину дюйм за дюймом. Вот уже исчезло ветровое стекло, щиток с приборами, руль и руки водителя. Это было так страшно, что я невольно закрыл глаза. И тут же резкий удар бросил меня на землю. Я ткнулся носом в пыль, а ноги еще царапали по асфальту: значит, вылетел на самой кромке шоссе. Но как вылетел? Дверца была закрыта, машина не переворачивалась. Я поднял голову и увидел впереди кузов незнакомой серой машины. Рядом в придорожной пыли лежал без сознания бедняга коммивояжер.

— Жив? — спросил, нагибаясь ко мне, Митчелл. Лицо его украшал сине-багровый кровоподтек под глазом.— Швырнуло прямо в бейкеровский катафалк.— Он кивнул на серую машину, застрявшую в проволочном заграждении.

— А где же наша?

Он пожал плечами. Несколько минут мы стояли молча у края срезанного шоссе, наблюдая действие одного и того же чуда, только что оставившего нас без машины. Толстяк коммивояжер тоже встал и присоединился к нашему наблюдению. Чудо повторялось каждые три секунды, когда мимо нас на полном ходу пересекал кромку шоссе какой-нибудь «пикап» с деревянным кузовом или двухцветный лакированный «понтиак» и пропадал бесследно, как лопнувший мыльный пузырь. Некоторые мчались прямо на нас, но мы даже не отступили в сторону, потому что они таяли в двух шагах, именно таяли: весь процесс таинственных и необъяснимых исчезновений был отчетливо виден на солнцепеке. Они действительно исчезали не сразу, а словно ныряли в какую-ту дырку в пространстве и пропадали в ней начиная с радиатора и кончая номерным знаком. Казалось, город был обнесен прозрачным стеклом, за которым уже не существовало ни шоссе, ни автомобилей, ни самого города.

Вероятно, одна и та же мысль тревожила всех троих: что же делать? Возвращаться в город? Но какие еще чудеса ожидают нас в этом городе, превратившемся в гигантский аттракцион фокусника? Какие люди встретят нас, с кем можно перемолвиться человеческим словом? До сих пор, кроме толстяка коммивояжера, мы не встретили здесь ни одного нормального человека. Я подозревал в этом происки розовых облаков, но здешние жители не были похожи на двойников, сотворенных у Южного полюса. Те были или казались людьми, а эти напоминали воскресших покойников, забывших обо всем, кроме необходимости куда-то идти, управлять машиной, гонять шары на бильярде или пить виски за стойкой бара. Я вспомнил о версии Томпсона и, пожалуй, впервые испугался по-настоящему. Неужели они успели подменить все население города? Неужели?.. Нет, требовался еще один тест. Только один.

— Возвращаемся в город, ребята.— сказал я своим спутникам.— Необходимо основательно прочистить мозги, иначе нас всех отправят в психиатрическую лечебницу. Судя по сигаретам, виски здесь тоже неподдельное.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Фантастический роман

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО, Г. НОВОЖИЛОВА

Погоня

У меня в городе была девушка — Мария. К ней, собственно, я и ехал — провести свой последний свободный день перед отъездом в Нью-Йорк, к адмиралу. Работала она в кафетерии, девчонка как девчонка, в крахмальном халатике, с замысловатой голливудской прической — все они под киноазвезд работают. Я почему-то привязался к ней, все свободные вечера в город гонял.

К кафетерию, где работала Мария, мы подошли в полдень. Вывеска и витрины пылали неоновым пламенем. Моя белая форменка буквально взмокла от пота, но в помещении было прохладно и пусто. Высокие табуреты у стойки были свободны, только у окна шептались какие-то парочки.

Мария не слышала, как мы вошли. Она стояла к нам спиной у открытого шкафа-стойки и переставляла бутылки на его стеллажах. Мы взгромоздились на табуреты и выразительно переглянулись без слов. Митчелл уже собирался было окликнуть Марию, но я предупредил его, приложив палец к губам.

Начинался действительно самый трудный для меня эксперимент в безумном городе.

— Мария,— тихо позвал я.

Она резко обернулась, словно звук моего голоса испугал ее. Прищуренные близорукие глаза без очков, яркий свет с потолка, слепивший ее,— все это, пожалуй, объясняло ее вежливое безразличие к нам. Меня она не узнала.

— Что с тобой, девочка? — спросил я.— Это я, Дон.

— Какая разница — Дон или Джон,— кокетливо откликнулась она, играя глазами и по-прежнему не узнавая меня.— Что вам угодно, сэр?

— Посмотри на меня,— сказал я резко.

— Зачем? — удивилась она, но послушалась.

И на меня взглянули не ее глазищи, синие и узкие, как у девушек на полотнах Сальватора Дали, но всегда живые, ласковые или гневные, а холодные, мертвые глаза, такие же, какие были у Фрича, у девушки из табачного киоска, у водителя растаявшей на шоссе машины — стеклянные глаза куклы. Заводная машина. Оборотень. Нежить.

— За мной! — скомандовал я, соскакивая с табурета.

Толстяк еще недоумевал, ожидая обещанной выпивки, но Митч понял. Славный малый — он все схватывал на лету. Только спросил, когда мы выходили на улицу:

— А где же я теперь найду хозяина?

— Нет здесь твоего хозяина,— сказал я.— Нет людей. Оборотни.

— Ну что ж, смываться так смываться,— заметил он философично,— а ты помнишь, где оставил машину?

Я оглянулся. На углу моего «корвета» не было, очевидно, он остался где-то ближе или дальше на улице. Вместо него у тротуара в двух-трех метрах от нас стояла черная полицейская машина тоже с зажженными фарами. Несколько полицейских в форме находились внутри, а двое — сержант и полисмен с перебитым носом, должно быть, бывший боксер,— находились у открытой дверцы. Напротив, у подъезда с вывеской «Коммершел бэнк», стояли еще двое полицейских.

Сержант что-то сказал сидевшим в машине. Прицельный взгляд его настораживал. Они определенно кого-то ждали. «Не нас ли?» — мельнула мысль. Мало ли что может случиться в этом придуманном городе.

— Скорее, Митч,— сказал я, осматриваясь,— кажется, влипли.

— На ту сторону! — сразу откликнулся он и побежал, лавируя между стоявшими у тротуара машинами.

Я ловко увернулся от чуть не наехавшего на меня грузовика и тотчас же оказался на противоположной стороне улицы подальше от подозрительной черной машины. И вовремя! Сержант шагнул на мостовую и поднял руку:

— Эй вы, стоять на месте!

Но я уже сворачивал в переулок — темноватое ущелье между домами без витрин и без вывесок. Толстяк с несвойственной его компленции быстротой тут же догнал меня и схватил за руку.

— Посмотрите, что они делают!

Я взглянул. Полицейские, развернувшись цепочкой, перебегали улицу. Впереди, посапывая, бежал мордастый сержант, расстегивая на ходу кобуру. Заметив, что я обернулся, он крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

Меньше всего мне хотелось познакомиться с действием его пистолета. Особенно сейчас, когда я разгадал происхождение этого города и его населения. Но мне везло: я услышал свист пули, когда уже нырнул за кузов отдыхавшей у тротуара пустой машины. Эта сжатая цепочка притертых бок о бок автомобилей облегчала нам маневрирование. Поразительно, с какой ловкостью подгоняемые страхом Бейнер и Митч ныряли, присаживались или, согнувшись крючком, перебегали открытое пространство переулка.

Я знал этот переулок. Где-то поблизости должны быть два дома, разделенные воротами-аркой. Через эту арку можно было попасть на соседнюю улицу. Кроме того, можно было скрыться в мастерской. Неделю тому назад, когда мы здесь проходили с Марией, мастерская была пуста, на двери висел замок под табличкой «Сдается внаем». Я вспомнил об этой мастерской, когда свернул под арку. Полицейские застряли где-то сзади.

— Сюда! — крикнул я спутникам и рванул дверь.

Но входа за ней не было. Она никуда не вела. Перед нами темнел проем, заполненный плотной, черной, как уголь, массой. Сначала мне показалось, что это просто темнота неосвещенного подъезда, куда не проникает солнечный свет. Я рванулся было вперед, в темноту, и отскочил: она оказалась упругой, как резина.

Тогда рванулся Митч. Он прыгнул в эту зловещую темноту, как кошка, и отлетел назад, как футбольный мяч. Я подумал — и это мое твердое убеждение,— что весь дом внутри был такой же: без квартир, без людей, одна чернота с упругостью батута.

— Что это? — спросил Митчелл.

Я видел, что он опять испугался, как утром на автомобильной дороге в город. Но заниматься анализом впечатлений не было времени. Где-то совсем близко послышались голоса преследователей. Вероятно, они вошли в арку. Но между нами и густой пружинящей черной массой было узкое — не шире фута — пространство обычной темноты, только разреженной до концентрации тумана или газа. То был типичный лондонский «смог», в котором не видишь стоящего рядом. Я протянул руку — она исчезла в нем, как обрезанная. Я встал и прижался к спрессованной черноте в глубине дверного проема и услышал, как вскрикнул шепотом Бейкер:

— Где же вы?

Рука Митча нашла меня, и он тотчас же сообразил, в чем наше спасение. Вдвоем мы втащили в проем толстяка коммивояжера. Полицейские, уже заглянувшие в переулок, не могли нас увидеть, но легко сообразили, что пробежать весь переулок и скрыться на смежной улице мы не успели бы.

— Они где-то здесь,— сказал сержант, ветер донес к нам его слова.— Попробуй по стенке!

Грохнули автоматные очереди, одна... другая... Пули не задевали нас, скрытых за выступами стены, но свист их и скрежет о камень, стук отбитых кусков штукатурки и кирпича и тяжелое дыхание трех человек, зажатых в потный клубок в темноте, были нелегким испытанием даже для крепких нервов. Выстрелы уже гремели на противоположной стороне улицы, полицейские простреливали все подъезды и ниши. У них был инстинкт ищеек и собачья уверенность в том, что дичь все равно никуда не уйдет. Я знал эту породу и шепнул Митчеллу:

— Пистолет!

Я не сделал бы этого в нормальном городе с нормальными полицейскими даже в аналогичной ситуации, но в городе оборотней все средства годились. Поэтому рука без трепета нашла в темноте протянутую мне сталь митчелловской игрушки. Осторожно выглянув из-за выступа, я медленно поднял ее, поймал в вырез прицела щекастую морду сержанта и нажал на спусковой крючок. Пистолет коротко грохнул, и я увидел явственно, как дернулась голова полицейского от удара пули. Мне даже показалось, что вижу аккуратную круглую дырочку на переносице. Но сержант не упал, даже не пошатнулся.

Я готов был поклясться, что пуля угодила полицейскому прямо в лоб: я имел призы за стрельбу. Значит, эти куклы неуязвимы для пуль. Стараясь унять дрожь в коленях, уже не целясь, я выпустил в щекастого сержанта всю оставшуюся обойму.

И опять ничего. Он даже не почувствовал, даже не отмахнулся. Может быть, внутри у него была такая же черная резина, как и та, в которой мы прятались?..

Я бросил ненужный уже пистолет и вышел из-за угла. Не все ли равно: один конец.

И тут произошло нечто — я бы не сказал неожиданное, нет, что-то начало изменяться в окружающей обстановке, только мы в пылу борьбы не обратили на это внимания. Воздух алел по малости, словно его подкрашивали фуксином, потом побагровел. Последнюю обойму я выпустил в сержанта, почти не различая его, он был как в дыму. А когда упал пистолет, я машинально взглянул на него и не увидел: там, где он стоял, была лужа густого малинового киселя, да и кругом все было окутано малиновым туманом.

Не знаю, сколько времени он окутывал нас — минуту, полчаса, час, но растаял незаметно и быстро. А когда растаял, нам открылась совсем другая картина: ни полицейских, ни домов, ни улицы, только кирпичная, выжженная солнцем пустыня и небо с высокими нормальными облаками. Вдали темнела дымчатая лента шоссе, да на колючей проволоке перед ней висела вздернутая на дыбы злосчастная машина толстяка коммивояжера.

— Что это было? Сон? — спросил он.

— Нет.— Я успокаивающе похлопал его по плечу.— Не хочу утешать вас. Явь. И мы единственные ее участники.

Я ошибся: не единственные. Нашелся еще свидетель, наблюдавший со стороны эту картину. Вернее, мы сами нашли его. Пешком через четверть часа мы добрались до мотеля — древнего, почерневшего от времени строения рядом с новеньким гаражом из сборного железобетона и органического стекла в дюралевых переплетах. И Джонсон, как ему и было положено, сидел на ступеньках каменной лесенки. Он вскочил нам навстречу, неестественно и непонятно обрадованный.

— Дон? — неуверенно спросил он.— Откуда?

— Из самого пекла,— сказал я.— Из его земного филиала.

— Ты был в этом Содоме? — он почти с ужасом посмотрел на меня.

— Был,— подтвердил я.— Все расскажу, только принеси чего-нибудь выпить. Если только ты не мираж.

Нет, он был не мираж. И виски со льдом тоже не мираж. И так приятно было присесть на ступеньках и услышать рассказ о том, как выглядел со стороны этот город, о котором еще в писании было сказано: земля еси и в землю отыдеши.

Джонсон увидел его внезапно. Сидел, дремал, вдруг очнулся, посмотрел кругом и обмер: слева, где ничего, кроме ссохшейся глины, никогда не было, вырос город-близнец. Направо Сэнд-сити и налево Сэнд-сити. Джонсон рассказывал: «Подумал было: конец света! Не пьян, а в глазах двоится. Ушел в дом, вернулся — все то же: посреди я, а по бокам за мною два города-брата, как Содом и Гоморра. Не мираж ли? Бывает, пустыня всетаки. А город-близнец тут как тут, не испаряется и не тает. И, как на грех, на шоссе ни одной машины. А потом вдруг стемнело, заволокло, туман не туман, дым не дым, словно туча на землю легла, как в ветреные закаты, оранжево-красная».

Слушая рассказ Джонсона, я заметил, что цвета все видели при этом по-разному — туман то малиновый, то вишневый, то багровый, то алый.

Потом и Мария рассказала мне об этом тумане. Она действительно ждала меня, и платье на ней было такое же, как и у заводной куклы-призрака. Она же и сообщила нам, что произошло в городе. Об этом я не пишу — посылаю пару газетных вырезок. Вы лучше меня разберетесь в этой фантасмагории».

Рейс «Москва—Париж»

Вырезка из газеты «Сэнд-сити трибюн», присланная Мартином, сообщала о следующем:

«Вчера в нашем городе наблюдалось любопытное метеорологическое явление. В половине восьмого вечера, когда по всей Стейт-стрит электрическим пламенем загорелись витрины баров и кинотеатров, город окутал странный багровый туман. Впрочем, некоторым он показался фиолетовым. Собственно, это был не туман, так как видимость даже на далеком расстоянии сохранялась отличной и все окружающее представлялось отчетливым и ясным, как летним утром в погожий безоблачный день. Правда, туман потом сгустился и стал похожим на обычный калифорнийский «смог», хорошо знакомый каждому жителю Лос-Анжелоса. У нас уверяют, что он еще гуще лондонского. Как долго он уплотнялся и густел, никто точно не знает, вероятно, не слишком долго, потому что большинство опрошенных нами свидетелей утверждают, что туман почти все время оставался прозрачным, только все окружающее — и дома, и люди, даже самый воздух — приобрело густо-малиновый, почти пунцовый оттенок, словно вы смотрели в очки с красными стеклами. Сначала люди останавливались, глядели на небо, но, не заметив там ничего особенного, спокойно продолжали свой путь. Не отразился туман и на посещении увеселительных заведений: там его попросту не заметили. Наблюдалось это явление около часу, после чего туман, если его можно назвать туманом, рассеялся и город приобрел свой обычный вечерний облик.

Гостящий в нашем городе его уроженец, ученый-метеоролог Джеймс Бакли, которого многие помнят здесь еще школьником, объяснил, что упомянутое явление не относится к метеорологическим. По его словам, то было скорее всего гигантское разреженное облако распыленных в воздухе мельчайших частиц искусственного красителя, занесенных ветром с какой-нибудь лакокрасочной фабрики в зоне ста — полутораста миль. Такое распыленное, но не рассеивающееся скоп-

Продолжение. Начало см. №№ 7—9.

ление мельчайших красящих частиц — явление редкое, но не исключительное, и может переноситься на многомильные расстояния.

Иное объяснение случившегося предлагает нам наш мушкетер, владелец бара «Орион» и лидер клуба «бешеных» Лемми Кошен. «Ищите красных,— говорит он,— иначе они окрасят нам не только политику, но и воздух, которым мы дышим». Не в связи ли с этим был избит при выходе из бара проезжавший наш город нью-йоркский адвокат Рой Десмонд, отказавшийся ответить на вопрос, за кого он будет голосовать на предстоящих президентских выборах? Прибывшие на место происшествия полицейские, к сожалению, не смогли обнаружить виновных».

Интервью с адмиралом Томпсоном, опубликованное журналом «Тайм энд пипл», было озаглавлено так:

«СЭНД-СИТИ — ЗАЧУМЛЕННЫЙ ГОРОД,— ГОВОРИТ АДМИРАЛ.— ИЩИТЕ АХИЛЛЕСОВУ ПЯТУ У РОЗОВЫХ ОБЛАКОВ».

«За последние дни маленький южный городок на федеральном шоссе № 66 приковал внимание всей Америки. Газеты уже опубликовали сообщение о красном тумане, внезапно окутавшем город, и рассказ коммерческого агента Лесли Бейкера о странных событиях в городе-двойнике. По этому поводу наш корреспондент беседовал с отставным адмиралом Томпсоном, участником американской антарктической экспедиции и первым очевидцем действий розовых облаков.

— Ваше мнение о событиях в Сэнд-сити, адмирал?

— Просто Томпсон. Частное лицо без мундира. А мое мнение — это тревога обыкновенного человека о будущем человечества.

— Вы считаете, что есть основания тревожиться?

— Да. Облака уже не ограничиваются моделированием отдельных личностей, а синтезируют целые общественные массивы. Я приведу только последние примеры: океанский лайнер «Аламейда» со всей командой и пассажирами, универмаг в Буффало в день распродажи и завод пластмасс в Эвансвилле. Не может же сниться всем очевидцам один и тот же сон, будто бок о бок с их заводом вырос, а потом исчез завод-двойник, завод-копия. Меня никто не уверит в том, что это был мираж, вызванный разницей температур в неодинаково нагретых слоях воздуха. И не важно, что его существование измерялось минутами. Важно то, что никто не ответит мне со всей убежденностью, какой из двух заводов исчез и какой остался!

— Говоря о событиях в Сэнд-сити, вы сказали в клубе «Аполло», что город зачумлен. В каком смысле?

— В прямом. Город требует изоляции, систематических тестов и неослабного наблюдения в дальнейшем. Проблема та же: люди или двойники? К сожалению, ни власти, ни общество не проявляют должного внимания к этой проблеме.

— А вы не преувеличиваете, сэр? — возразил наш корреспондент,— разве можно упрекнуть страну в равнодушии к пришельцам?

Адмирал ответил не без иронии:

— Нельзя, конечно, если говорить о юбках «розовые облака» и о прическах «всадники ниоткуда». Или, скажем, о съезде спиритов, объявившем облака душами умерших, вернувшихся в мир с даром божественного могущества. Какое уж тут равнодушие! Или вы имеете в виду сенаторов-«флибустьеров», произносящих о «всадниках» двенадцатичасовые речи, чтобы провалить законопроект о налогах на крупные состояния? Или биржевых маклеров, использующих облака для игры на понижение? Или проповедников, провозгласивших завтрашнюю кончину мира? Или, может быть, продюсеров таких фильмов, как «Боб Меррил — победитель «всадников ниоткуда»? Все это лопнувшая канализационная труба, не больше, а я говорю о другом...

— О войне?

— С кем? С облаками? Я не идиот, чтобы считать человечество достаточно вооруженным для борьбы с цивилизацией, способной из ничего создавать любые атомные структуры. Но при всем ее могуществе,— добавил адмирал,— у этой цивилизации может оказаться слабое место, своя ахиллесова пята. Тогда почему бы нам не поискать ее? Мне кажется, наши ученые не слишком энергично стремятся к контактам, причем не только в смысле взаимопонимания между людьми и пришельцами, но и в смысле прямого, непосредственного, так сказать, пространственного сближения с гостями из космоса для их изучения и наблюдения. Почему до сих пор не обнаружена их земная стоянка, штаб-квартира на нашей планете? Я бы послал туда не одну экспедицию, чтобы наряду с другими проблемами поискать и проблему их уязвимости, их ахиллесову пяту. Тогда все дальнейшее предстало бы для нас совсем в другом свете».

Обе вырезки вместе с письмом Мартина я передал Зернову уже в самолете. Мы расположились

как бы в отдельном купе, изолированном высокими спинками кресел от сидевших впереди и позади пассажиров. Осовец и Роговин должны были прибыть в Париж дня через два, к самому началу конгресса, мы же вылетели раньше, чтобы принять участие в пресс-конференции очевидцев и встретиться с американцами из Мак-Мёрдо, которые не разделяли взглядов адмирала Томпсона и у которых после его отъезда накопился собственный опыт встреч с космическими гостями. Мы только что позавтракали после отлета из Шереметьевского аэропорта, в кабине было тихо, в слабо доносившемся снаружи мерном гудении моторов тонули все местные звуки, вроде шуршания развертываемых газет или негромких разговоров соседей. Пока Зернов читал и перечитывал мелко исписанные листки, я обдумывал все неясности в письме Мартина.

В чем отличие его «оборотней» от памятных двойников? Я мысленно сгруппировал их: пустые глаза, непонимание многих заданных им вопросов, автоматизм движений и действий, неверные представления о времени, граничащие с иным, чем у человека, зрением: они не видели солнца, голубого неба и не удивлялись электрическому свету на улицах. У них не было человеческой памяти: девушка Мартина не только его не узнала, она его просто не помнила. Пули из пистолета Мартина, пронзившие полицейского насквозь, не причинили ему никакого вреда — значит, и внутренняя структура их была иной, чем у человека. По-видимому, на этот раз облака не копировали людей, а создавали лишь внешне похожих роботов с ограниченной в каких-то пределах программой. Итак, первая нелепость: почему изменился метод моделирования и в каких именно пределах он изменился?

Но, кроме людей, облака моделировали и вещи. Дубликат нашего снегохода был настоящим. Настоящими были и вещи в городе Мартина. Прохладительные напитки можно было пить, сигареты можно было курить, на автомобилях можно было ездить, а пули из полицейских автоматов пробивали даже камень. В домах были настоящие окна и двери, в настоящих кафе торговали настоящим кофе и сосисками, и владелец настоящей автоколонии продавал настоящее масло и настоящий бензин. И в то же время настоящие автомобили возникали, как призраки, на шоссе, пересекающем город, возникали ниоткуда, из пустоты, и на противоположном конце его исчезали так же призрачно и в такой же пустоте, превращаясь в ничто, в облако пыли, вздыбленной только что шуршавшими по асфальту колесами. И не все двери в домах куда-то вели, некоторые вели в никуда, за ними была та же пустота, только непроницаемая и черная, как спрессованный дым. Значит, и в моделировании окружающего человека материального мира была какая-то иная система, в чем-то его ограничивающая. Сформулируем вторую неясность: почему иная система, в каких целях и чем ограниченная?

На пути из Мирного в Москву Зернов уже допускал возможность иной системы моделирования. Совпадала ли она с описанной Мартином?

— В какой-то степени,— ответил, подумав, Зернов.— По-видимому, облака создают разные модели по-разному. Вы помните багровый туман в самолете, когда не было видно сидевших рядом? В Сэнд-сити даже неизвестно точно, достиг ли туман такой же густоты. Газета пишет, что воздух был прозрачен и чист, только окрашен или подсвечен красным. Должно быть, с густотой и плотностью этого газа связан и характер модели. Я думаю, что люди в призрачном городе Мартина еще в меньшей мере люди, чем пассажиры нашего самолета-двойника. Попробуем разобраться. Помните, я еще в Карачи говорил вам, что люди в нашем самолете были смоделированы не во всей их биологической сложности, а только в их специальной функции. Вся сложная психическая жизнь человека отключалась, вычеринивалась: создателям модели она была не нужна. Но пассажиры нашего самолета — это ведь не просто пассажиры «Аэрофлота». Разве их связывало только путешествие? Было и многое другое: совместно прожитый год, работа, дружеские или неприязненные отношения с соседями, планы на будущее, мечты о скорой встрече с любимыми и родными. Все это расширяло и усложняло их пассажирскую функцию. Потому и создателям модели пришлось, вероятно, усложнить ее, сохранить какие-то ячейки памяти, какие-то мыслительные процессы. Я думаю, жизнь в самолете-двойнике протекала подобно нашей.

— Или повторялась, как магнитофонная запись,— сказал я.

— Едва ли. Они создают модель, а не шаблон. Даже в городе Мартина жизнь не повторяла происходившее в реальном Сэнд-сити. Например, полицейская охота. Но обратите внимание: люди в этой модели города еще более удаляются от людей. Воспроизводится голая функция: прохожий идет, гуляющий гуляет, водитель ведет машину, торгующий продает или предлагает товар, покупатель покупает или отказывается от покупки. И только. При всем том они не куклы. Они могут думать, соображать и действовать, но только в пределах заданной функции. Скажите официантке в кафетерии моделированного города, что вам не нравятся сосиски. Она тотчас же ответит, что консервированные сосиски не портятся, что банка была вскрыта четверть часа назад, но, если вам угодно, она заменит их бифштексом, прожаренным или с кровью, по вашему вкусу. Она может и пококетничать с вами, даже сострить, если она остроумна,— это тоже входит в ее профессиональную функцию. Поэтому она и не вспомнила Мартина: он не был связан с ее непосредственной работой в баре.

— Но почему о нем вспомнили полицейские? — спросила Ирина.— Он не ограбил банк, не покушался на карманы прохожих и не боксировал в пьяном виде на улице. Где же связь с функцией?

— А помните вырезку из газеты? Во время тумана был избит какой-то нью-йоркский адвокат. Полиция прибыла слишком поздно и, к сожалению, не нашла виновников. Вы обратили внимание на это «к сожалению»? Полиция, конечно, знала виновников и не собиралась их искать. Но почему бы не найти им замену? Каких-нибудь пьяниц или бродяг? На это и были нацелены полицейские. В реальном Сэнд-сити они никого не нашли. В моделированном городе им подвернулся Мартин с приятелями.

— Хотел бы я быть на его месте,— сказал я с завистью.

— И получить пулю в лоб? Пули-то были настоящие.

— И у Мартина были настоящие. Может, мазал?

— Не думаю,— сказал Зернов,— просто травмы, опасные для человека, безопасны для этих манекенов. Едва ли их организм был похож на человеческий.

— А глаза? Они же видели Мартина.

— И глаза не те. Видели Мартина, но не видели солнца. Не наши глаза. Потому что были запрограммированы на существование лишь в пределах какого-то моделированного часа. Само время было моделировано. И проезжавшие по шоссе машины моделировались в движении в пределах того же отрезка времени и того же отрезка пространства. Вот и получилось, что в городе-двойнике они возникали ниоткуда и пропадали в никуда. Кроссворд,— засмеялся он.

— Камуфляж,— прибавил я,— вроде их домов. Снаружи стенка как стенка, а внутри пустота. Черное ничто. А посмотреть бы хотелось,— опять вздохнул я.— Едем как очевидцы, а видели тютельку.

— Еще увидим,— загадочно произнес Зернов,— мы с вами, как и Мартин, меченые. Они еще покажут нам нее-что новенькое, может, случайно, может, и сознательно. Боюсь, что покажут.

Самолет, пробив облака, уже снижался навстречу большому, едва различимому в сиреневой дымке городу со знакомым с детства силуэтом ажурной башни Эйфеля. Издали она казалась обелиском из тончайших нейлоновых нитей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДЖУЛЬЕТТА И ПРИЗРАКИ

Пресс-конференция в отеле «ОМОН»

В связи с предстоящим конгрессом Париж был буквально наводнен туристами. Нашу делегацию устроили в большом, первоклассном отеле «Омон», владелец которого, должно быть, гордился старомодностью своего заведения. В скрипучих деревянных лестницах отеля, бархатных портьерах и роскошных старинных подсвечниках было что-то бальзаковское. Свечи горели всюду — на столах, на подоконниках, на каминных мраморных досках. Американцам это нравилось, а нам не мешало. Впрочем, в комнатах мы и десяти минут не пробыли, и два часа до ожидавшей нас пресс-конференции пробегали с Ириной по улицам «столицы мира». Я — разевая рот на каждое архитектурное чудо, она — со снисходительным вниманием поясняя мне, когда и для кого это чудо было построено.

— Откуда ты так знаешь Париж? — удивился я.

— Я уже третий раз здесь, а вообще я родилась в Париже, и катали меня в детской колясочке по этим же улицам. Впрочем, об этом потом как-нибудь,— сказала она загадочно и вдруг засмеялась.— Даже портье в нашем отеле встретил меня как старую знакомую.

— Когда?

— Когда ты рассчитывался с шофером такси. Я и Зернов вошли в холл, портье — лысый человек с внешностью сенатора — оглядел нас с профессиональным безразличием, потом вдруг глаза у него расширились, он отступил на шаг и уставился на меня как истукан. «Что с вами?» — удивилась я. Он стоит и молчит. Тут уже Зернов спросил: «Вы, вероятно, узнали мадемуазель?» «Нет-нет,— опомнился он,— просто мадемуазель очень похожа на одну нашу клиентку». А мне показалось, что узнал он именно меня, хотя в этом отеле я не останавливалась. Странно.

Когда мы вернулись в отель, портье на этот раз даже не взглянул на Ирину, зато мне улыбнулся и сказал, что меня уже дожидаются: «Прямо на эстраду, пройдите».

Журналисты действительно ожидали нас в ресторанном зале отеля. Американцы уже явились, заняв бо́льшую часть концертной эстрады. Телевизионные операторы суетились вокруг своих аппаратов. Корреспонденты с фото- и кинокамерами, блокнотами и магнитофонами рассаживались за столиками. Тут же официанты разносили бутылки с разноцветными этикетками. У нас на эстраде тоже стоял столик с бутылками — об этом уже позаботились американцы. Ирина осталась в зале, переводить не требовалось: все или почти все присутствующие говорили и по-французски и по-английски. Французский, правда, я знал неважно, лучше понимал, чем говорил, но полагал, что присутствие Зернова избавит меня от ответов. Увы, я ошибался. Газетчики собирались выжать все, что могли, из «очевидцев феномена», а я к тому же был еще и автором фильма, потрясавшего Париж уже вторую неделю.

Вел конференцию астроном из Мак-Мёрдо по фамилии Мак-Эду. Он уже привык к тому, что газетчики то и дело острили о Мак-Эду из Мак-Мёрдо или, вспоминая название шекспировской комедии, устраивали «много шуму из-за Мак-Эду». По-английски это звучало совсем колоритно: «мач эду эбаут Мак-Эду». Но смутить его было трудно. Он вел наш корабль в «пресс-шторме» с искусством многоопытного кормчего. Даже голос у него был капитанский, умеющий осадить когда нужно чересчур уж назойливых вопрошателей.

Я не случайно упомянул о шторме. Тремя часами раньше в другом парижском отеле состоялась встреча журналистов с еще одним «очевидцем феномена» и делегатом конгресса, адмиралом Томпсоном. Он отказался от участия в нашей пресс-конференции по мотивам, которые предпочел высказать корреспондентам в индивидуальной беседе. Сущность его высказываний стала ясна после первых же адресованных нам вопросов. Отвечали делегаты, к которым обращались корреспонденты; на вопросы без адреса отвечал Мак-Эду. Конечно, я не все запомнил, но то, что запомнилось, сохранило последовательность магнитофонной записи.

— Вам что-нибудь известно о пресс-конференции адмирала Томпсона?

Так полетел к нам первый теннисный мяч из зала, и тотчас же отразила его ракетка председателя:

— К сожалению, ничего не известно, но, честно говоря, я не очень взволнован.

— Но заявление адмирала сенсационно. Он уезжает в Гренландию.

— Вы расскажете об этом в своих газетах. Прошу задавать вопросы.

— Что вы скажете, если некоторые делегации в ООН потребуют карательных мер против розовых облаков?

— Я не военный министр, чтобы отвечать на такие требования.

— А если бы вы были военным министром?

— Я никогда не мечтал об этой карьере.

Смех и аплодисменты были ответом зала. Мак-Эду поморщился: он не любил театральных эффектов. Даже не улыбнувшись, он молча сел, поскольку сраженный вопрошатель тоже умолк.

Но его уже сменил следующий. Он не рискнул состязаться в красноречии с Мак-Эду и выбрал другую жертву.

— Вопрос профессору Зернову. Согласны ли вы с тем, что действия розовых облаков могут угрожать человечеству?

— Конечно, нет,— тотчас же откликнулся Зернов.— До сих пор облака не причинили никакого вреда людям. Исчезновение земных ледяных массивов только улучшит климат. Никакого ущерба не было нанесено ни природе, ни делу рук человеческих.

— Вы на этом настаиваете?

— Насколько мне известно, единственный ущерб — это табуретка, исчезнувшая в Мирном вместе с моим двойником. Не слишком большая потеря для человечества.

— Вопрос профессору Зернову! — опять крикнули в зале.— Как вы относитесь к заявлению адмирала, что двойники — это пятая колонна пришельцев и превентивная операция перед будущей галактической войной?

— Считаю, что адмирал начитался фантастических романов и их сюжеты выдает за действительность.

— Вопрос к автору фильма Анохину. Адмирал считает, что вы двойник и ваш фильм снят двойником, а эпизод гибели вашего двойника в фильме — это гибель самого Анохина. Чем вы докажете, что это неправда?

Я только плечами пожал: чем бы я мог это доказать? Вместо меня ответил Мак-Эду:

— Анохину незачем это доказывать. В науке есть незыблемая «презумпция установленного». Ученым нет нужды проверять и доказывать ложность какого-то голословного утверждения, пусть автор докажет его истинность.

В зале снова зааплодировали. Но долговязый и плоский, как доска, Мак-Эду на этот раз оборвал аплодисменты.

— Здесь не спектакль, господа.

— А что скажет о Томпсоне председатель? — ответили в зале.— Вы целый год работали с адмиралом в антарктической экспедиции. Ваше впечатление о нем, как об ученом и человеке?

— Первый обращенный ко мне разумный вопрос,— усмехнулся в усы Мак-Эду.— К сожалению, не смогу удовлетворить любопытство спрашивающего. Мы работали с адмиралом в одной экспедиции и в одном географическом пункте, но в разных областях. Он — администратор, я — астроном. Почти не сталкивались. Он не проявлял особого интереса к моим астрономическим наблюдениям, я — к его административным способностям. Полагаю, что он и сам не претендует на звание ученого, во всяком случае, научные труды его мне неизвестны. Как человека же, я его почти не знаю, хотя убежден, что он действует честно и не в интересах корысти или политики. Он не причастен ни к антикоммунизму, ни к предвыборной президентской кампании. Все, что он проповедует, основано, по-моему, на ложном предубеждении и ошибочных выводах.

— Как же, по-вашему, должно поступить человечество?

— Рекомендации даст конгресс.

— Тогда к вам вопрос, как к астроному. Откуда, по-вашему, прибыли к нам эти чудовища?

Мак-Зду впервые засмеялся искренне и непроизвольно.

— Не нахожу в них ничего чудовищного. Они похожи то на всадника или стреловидное крыло самолета, то на очень большой и красивый цветок, то на розовый дирижабль. Эстетические каноны в нашем и их понимании, вероятно, различны. А откуда они прибыли, мы узнаем, когда они сами пожелают ответить нам на этот вопрос, если, конечно, мы сумеем его задать. Возможно, из соседней с нами звездной системы. Может быть, это Туманность Андромеды; может быть, туманность в созвездии Треугольника. Гадать бессмысленно.

— Вы сказали: когда они сами ответят. Значит, контакт возможен?

— Пока ни одна из попыток сближения не дала результатов. Но контакт достижим, я убежден в этом, если они живые разумные существа, а не биосистемы с определенной программой.

— Вы имеете в виду роботов?

— Я не имею в виду роботов. Я говорю о программных системах вообще. Тогда контакт зависит от программы.

— А если это самопрограммирующиеся системы?

— Тогда все зависит от того, как меняется программа под влиянием внешних воздействий. Попытки контакта — это тоже одно из внешних воздействий.

— Вопрос к автору фильма Анохину. Вы наблюдали самый процесс моделирования?

— Его нельзя наблюдать,— сказал я,— человек находится в коматозном состоянии.

— Но ведь на ваших глазах возникла копия снегохода. Гигантская машина из пластмасс и металла. Откуда она возникла, из каких материалов?

— Из воздуха,— сказал я.

В зале засмеялись.

— Ничего нет смешного,— вмешался Зернов.— Именно из воздуха. Из неизвестно каких и каким образом внесенных в него элементов.

— Значит, чудо?— вопрос прозвучал явной насмешкой.

Но Зернов не смутился.

— Чудесами считали когда-то все, не объяснимое тогдашним уровнем знаний. Наш уровень тоже допускает необъяснимое, но он предполагает, что объяснения будут даны в ходе дальнейшего научного прогресса. А поступательное его движение уже сейчас допускает возможность предположить ориентировочно в середине или конце будущего века воспроизведение предметов с помощью волн и полей. Каких волн и каких полей — это, конечно, уровень знаний будущего. Но лично я, например, убежден, что в том уголке космоса, откуда прибыли к нам эти существа, наука и жизнь уже достигли такого уровня.

— Какая же это жизнь?— спросил женский голос и, как показалось мне, с явно истерической ноткой, с нескрываемым уже страхом.— Как объясниться с ней, если это жидкость, и о каком контакте можно говорить, если это газ?

— Выпейте воды,— невозмутимо предложил Мак-Зду.— Я вас не вижу, но мне кажется, что вы слишком взволнованны.

— Я просто начинаю верить Томпсону.

— Поздравляю Томпсона еще с одной союзницей. Что же касается мыслящей жидкой или коллоидальной структуры, то и мы, как известно, существуем в полужидком состоянии. И химия нашей жизни — это химия углерода и водных растворов.

— Вопрос к председателю, как математику и астроному. Что имел в виду русский математик Колмогоров, когда говорил, что при встрече с неземной жизнью мы можем попросту ее не узнать? Не этот ли феномен?

Мак-Зду отпарировал без улыбки:

— Он, несомненно, учитывал и вопросы, какие задают иногда на пресс-конференциях.

Опять смех в зале, и опять репортеры, обходя Мак-Зду, начинают атаку с флангов. Очередная жертва — физик Визра, только что угощавшийся у столика виски с содовой водой.

— Господин Визра, вы специалист по физике элементарных частиц. Если облака материальны,— журналист орудовал микрофоном, как пистолетом,— значит, они состоят из хорошо известных науке элементарных частиц? Так?

— Не знаю. Может быть, и не так.

— Но ведь бóльшая часть известного нам мира построена из нуклонов, электронов и квантов излучения.

— А если здесь меньшая часть известного нам мира или мира нам вообще неизвестного? А вдруг это мир совсем новых для нас частиц, не имеющих аналогии в нашей физике?

Вопрошатель сдался. Тут кто-то опять вспомнил обо мне.

— Не скажет ли нам кинооператор Анохин, как он относится к песенке, сопровождающей демонстрацию его фильма в Париже?

— Я не знаю этой песенки,— сказал я,— и еще не видел своего фильма в Париже.

— Но ее же написал русский. Ее только что оркестровали.— И корреспондент довольно точно пропел по-французски знакомые мне слова: «...всадники ниоткуда строем своим прошли».

— Знаю!— закричал я.— Автор — мой друг, тоже участник нашей антарктической экспедиции, Анатолий Дьячук.

Я поймал иронический взгляд Зернова, но даже ухом не повел: плевал я на иронические взгляды, я мировую известность Толькe создавал, бросал его имя на газетные полосы Европы и Америки и, не заботясь о музыкальности, затянул по-русски:

— Всадники ниоткуда... что это, сон ли, миф? И в ожидании чуда... замер безмолвно мир...

Я не успел продолжить в одиночестве: зал подхватил песню, кто по-французски, кто по-английски, а кто и совсем без слов, одну только мелодию; и, когда все стихло, долговязый Мак-Зду деликатно позвонил своим игрушечным колокольчиком.

— Я полагаю, конференция закончена, господа,— сказал он.

Ночь превращений

После пресс-конференции мы разошлись по своим комнатам, условившись встретиться через час в том же ресторане за ужином. Я так устал на собрании, как не уставал даже в изнурительных антарктических походах. Только добрый сон мог бы прояснить мысль, вывести ее из состояния тупого безразличия и окружающему. Но он так и не пришел, этот спасительный сон, как ни приманивал я его, ворочаясь на кушетке с мягким шелковым валиком. В конце концов я встал, сунул голову под кран с холодной водой и пошел в ресторан заканчивать этот перегруженный впечатлениями день. Но день не кончился, и впечатления еще стояли в очереди. Одно из них прошло мимолетно, не зацепив внимания, хотя в первый момент и показалось мне странным.

Я спускался по лестнице позади человека в коричневом костюме, сидевшем на нем, как военный мундир. Квадратные плечи, седые усы стрелочками и короткая стрижка еще более подчеркивали в нем военную косточку. Прямой, как линейка, он прошел не глядя мимо лысого портье и вдруг, резко повернувшись, спросил:

— Этьен?

Мне показалось, что в чиновничьих холодных глазах портье мелькнул самый настоящий испуг.

— Что угодно, мсье?— с заученной готовностью спросил он.

Я задержал шаги.

— Узнал?— спросил, чуть-чуть улыбнувшись, усач.

— Узнал, мсье,— едва слышно повторил француз.

— То-то,— сказал усач.— Приятно, когда о тебе помнят.

И прошел в ресторан. Я, намеренно громыхая по скрипучим ступенькам, сошел с лестницы и с невинным видом спросил у портье.

— Вы не знаете этого господина, который только что прошел в ресторан?

— Нет, мсье,— ответил француз, скользнув по мне прежним равнодушным взором чиновника.— Турист из Западной Германии. Если хотите, могу справиться в регистрационной книге.

— Не надо,— сказал я и прошел дальше, тут же забыв о случившемся.

— Юрий!— окликнул меня знакомый голос.

Я обернулся. Навстречу мне поднялся Дональд Мартин в нелепой замшевой куртке и пестрой рубашке с открытым воротом. Он сидел один за длинным и пустым столом и тянул прямо из бутылки темно-коричневую бурду. Обняв меня, он задышал мне в лицо винным перегаром. Но пьян он не был; все тот же большой, шумный и решительный Мартин, встреча с которым как бы приблизила меня к вместе пережитому в ледяной пустыне, к загадке все еще не разоблаченных розовых облаков и тайной надежде, подогретой словами Зернова: «Мы с вами, как и Мартин, меченые. Они еще нам покажут что-то новенькое. Боюсь, что покажут». Я лично не боялся. Я ждал.

Мы недолго обменивались воспоминаниями: стол уже начали накрывать к ужину. Подошли Зернов с Ириной, наш край сразу оживился и зашумел.

— Поменяемся местами,— предложила Ирина,— пусть этот тип смотрит мне в затылок.

Я оглянулся и увидел человека с усами-стрелочками, знакомство с которым по неизвестной причине скрыл от меня портье. Усач как-то уж очень пристально смотрел на Ирину.

— Тебе везет,— усмехнулся я,— тоже старый знакомый?

— Такой же, как и портье за конторкой. В первый раз вижу.

Тут и нам подсел журналист из Брюсселя — я видел его на пресс-конференции. Он уже неделю жил в отеле и со всеми раскланивался.

— Кто этот тип?— спросил я его, указывая на усача.

— Ланге,— поморщился бельгиец,— Герман Ланге из Западной Германии. Кажется, у него адвокатская контора в Дюссельдорфе. Малоприятная личность. А рядом, не за табльдотом, а за соседним столиком, обратите внимание на человека с дергающимся лицом и руками. Европейская знаменитость, итальянец Каррези, модный кинорежиссер и муж Виолетты Чекки. Ее здесь нет, она сейчас заканчивает съемки в Палермо. Говорят, он готовит для нее сенсационнейший боевик по собственному сценарию. Вариации на исторические темы: плащ и шпага. Кстати, его визави с черной повязкой на глазу тоже знаменитость: Гастон Монжуссо, первая шпага Франции...

Он еще долго перечислял нам присутствовавших в зале, называя по именам и сообщая подробности, о которых мы тотчас же забывали. Только принесенный официантами ужин заставил его умолкнуть. Впрочем, неизвестно почему, вдруг замолчали все. Странная тишина наступила в зале, слышалось только позвякивание ножей и посуды. Я взглянул на Ирину. Она ела тоже молча и как-то лениво, неохотно, полузакрыв глаза.

— Что с тобой?— спросил я.

— Спать хочется,— сказала она, подавляя зевок,— и голова болит. Я не буду ждать сладкого.

Она поднялась и ушла. За ней встали и другие. Зернов помолчал и сказал, что он, пожалуй, тоже пойдет: надо подчитать материалы к докладу. Ушел и бельгиец. Вскоре ресторан совсем опустел, только официанты бродили кругом, как сонные мухи.

— Почему такое повальное бегство?— спросил я одного из них.

— Непонятная сонливость, мсье. А вы разве ничего не чувствуете? Говорят, атмосферное давление резко переменилось. Будет гроза, наверно.

И он прошел, сонно передвигая ноги.

— Ты не боишься грозы?— спросил я Мартина.

— На земле нет,— засмеялся он.

— Поглядим, что такое ночной Париж?

— А что со светом?— вдруг спросил он.

Свет действительно словно померк или, вернее, приобрел какой-то мутный красноватый оттенок.

— Непонятно.

— Красный туман в Сэнд-сити. Читал письмо?

— Думаешь, опять они? Чушь.

— А вдруг спикировали?

— Обязательно на Париж и обязательно на этот заштатный отель?

— Кто знает? Здесь же собрались ученые, журналисты,— вздохнул Мартин.

— Пошли на улицу,— предложил я.

Когда мы проходили мимо конторки портье, я вдруг заметил, что она выглядела раньше как-то иначе. И все кругом словно переменилось: другие портьеры, абажур вместо люстры, зеркало, которого прежде не было. Я сказал об этом Мартину, он равнодушно отмахнулся:

— Не помню. Не выдумывай.

Я взглянул на портье и еще больше удивился: то был другой человек. Похожий, даже очень похожий, но не тот. Гораздо моложе, без лысины и в полосатом фартуке, которого раньше на нем я не видел. Может быть, прежнего портье сменил на дежурстве его сын?

— Идем, идем,— торопил Мартин.

— Куда вы, мсье?— остановил нас портье. В голосе его, как мне показалось, прозвучала тревога.

— А не все ли вам равно?— ответил я.

— Комендантский час, мсье. Нельзя. Вы рискуете.

— Что он, с ума сошел?— толкнул я Мартина.

— Плюнь,— сказал тот.— Пошли.

И мы вышли на улицу.

Вышли и остановились, словно споткнувшись на месте. Мы даже схватили друг друга за руки, чтобы не упасть. Тьма окружала нас без теней и просветов, ровная и густая, как тушь.

— Дома, как скалы ночью. Ни огонька.

— Должно быть, вся сеть парализована.

— Может, вернемся?

— Нет,— заупрямился Мартин,— я так быстро не сдаюсь. Поглядим.

— На что?

Не отвечая, он шагнул вперед, я за ним, держась за его карман. И остановились опять. Высоко-высоко, в черноте неба, как в глубоком колодце, сверкнула звездочка. Рядом что-то блеснуло. Я попробовал поймать этот блеск и натянулся на стекло. Мы стояли у магазинной витрины. Не отрываясь от Мартина и таща его за собой, я ощупал всю ее целиком.

— Не было ее раньше,— сказал я, останавливаясь.

— Чего?— спросил Мартин.

— Этой витрины. И вообще магазина не было. Мы с Ириной шли здесь мимо чугунной ограды. А ее нет.

— Погоди.— Мартин почему-то насторожился. Он прислушивался.

Впереди что-то громыхнуло несколько раз.

— Похоже на гром,— сказал я.

— Скорее на автоматную очередь,— не согласился Мартин.

— Может, все-таки вернемся?

— Пройдем немножко. Вдруг встретим кого-нибудь. Куда исчезли прохожие?

— И стреляют. Кто? В кого?

Словно в подтверждение моих слов, где-то впереди автомат затарахтел еще раз. Его перебил шум приближающегося автомобиля. Два пучка света, прорезав темноту, лизнули брусчатку на мостовой. Я вздрогнул: почему брусчатку? Обе улицы, огибавшие наш отель, еще несколько часов назад были залиты асфальтом.

Мартин вдруг толкнул меня и прижал к стене. Грузовик с людьми в кузове промчался мимо.

— Солдаты,— сказал Мартин,— в шинелях и масках. С автоматами.

— Как ты разглядел?— удивился я.— Я ничего не заметил.

— Глаз натренированный.

— Знаешь что?— подумал я вслух.— По-моему, мы не в Париже. И отель не тот, и улица не та.

— Красный туман. Помнишь? Не иначе, как они спикировали.

В этот момент над нами кто-то открыл окно. Послышался скрип рамы и дребезжание плохо закрепленного стекла. Света не было. Но из темноты над головой раздался хриплый скрипучий голос, типичный грассирующий голос радиодиктора: вероятно, радиоприемник стоял на подоконнике.

— Внимание! Внимание! Слушайте сообщение комендатуры города. До сих пор два английских летчика, спустившиеся на парашютах со сбитого утром самолета, все еще находятся в пределах Сен-Дизье. Через четверть часа начинается облава. Будут прочесаны квартал за кварталом, дом за домом. Все мужское население дома, где будут обнаружены вражеские парашютисты, будет расстреляно. Только своевременная выдача скрывающихся врагов приостановит начатую акцию.

Что-то щелкнуло в приемнике, и голос умолк.

— Ты понял?— спросил я Мартина.

— Чуть-чуть. Ищут каких-то летчиков.

— Английских.

— В Париже?

— Нет. В каком-то Сен-Дизье.

— Кого-то расстреливать собираются?

— Всех мужчин в доме, где будут обнаружены летчики.

— За что? Разве Франция воюет с Англией?

— Бред. Может, мы под гипнозом? Или спим. Ущипни-на меня посильнее.

Мартин дал такого щипка, что я вскрикнул.

— Тише! Еще примут нас за английских летчиков.

— А что ты думаешь?— сказал я.— Ты же американец. И летчик к тому же. Пошли-на назад, пока близко.

Я шагнул в темноту и неожиданно очутился в ярко освещенной комнате. Вернее, была освещена только часть ее, как выхваченный из темноты уголок съемочного интерьера: занавешенное окно, стол, покрытый цветной клеенкой, огромный пестрый попугай на жердочке в высокой проволочной клетке и старуха, протирающая куском ваты ее грязное днище.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Безумный, безумный, безумный мир

Старуха подняла голову и посмотрела на нас. В ее желтом, пергаментном лице, седых буклях и строгой кастильской шали было что-то искусственное, почти неправдоподобное. Тем не менее она была человеком, и ее глаза-буравчики как бы ввинчивались в нас холодно и недобро. Живым был попугай, тотчас же повернувшийся к нам своим раздувшимся клювом-крючком.

— Простите, мадам,— заговорил я на своем не очень элегантном французском,— мы попали к вам совершенно случайно. Дверь у вас, должно быть, открыта.

— Там нет двери,— сказала старуха.

Голос у нее был скрипучий, деревянный, как лестницы в нашем отеле.

— Как же мы вошли?

— Вы не француз,— проскрипела она, не ответив на мой вопрос.

Я тоже не ответил, отступил в темноту и наткнулся на стену.

— Двери действительно нет,— сказал Мартин.

Старуха хихикнула.

— Вы говорите по-английски, как и Пегги.

— Ду ю спик инглиш?! Ду ю спик инглиш?! — закричал с жердочки попугай.

Мне стало не по себе. Страх не страх, но какая-то спазма перехватила горло. Кто же сошел с ума? Мы или город?

— У вас странно освещена комната,— опять заговорил я.— Не видно двери. Где она? Мы сейчас же уйдем, не бойтесь.

Старуха опять захихикала.

— Это вы боитесь, господа. Почему вы не хотите поговорить с Пегги? Поговорите с ним по-английски. Они боятся, Этьен. Они боятся, что ты их выдашь.

Я оглянулся: комната стала как будто светлее и шире. Виднелся уже и другой край стола, за которым сидел портье из отеля, не лысый, пожилой человек с измятым лицом, а его помолодевшая копия, встретившая нас с Мартином в странно изменившемся холле «Омона».

— Почему я их выдам, мама? — спросил он, даже не взглянув на нас.

— Тебе же нужно найти английских летчиков. Ты же хочешь их выдать. Хочешь и не можешь.

Помолодевший Этьен громко вздохнул.

— Не знаю, где они спрятаны,— тихо сказал он.

— Узнай.

— Мне уже не доверяют, мама.

— Важно, чтоб доверял Ланге. Предъяви товар. Эти тоже говорят по-английски.

— Они из другого времени. И не англичане. Они приехали на конгресс.

— В Сен-Дизье не бывает конгрессов.

— Они в Париже, мама. В отеле «Омон». Много лет спустя. Я уже состарился.

— Сейчас тебе тридцать, и они здесь.

— Знаю.

— Так выдай их Ланге, пока не началась акция.

Не то чтобы я уже понимал все происходившее, но какая-то смутная догадка возникала в сознании. Я уже знал, что события и люди, окружавшие нас,— отнюдь не призрачные и что опасность, заключавшаяся в их словах и действиях, была самой реальной опасностью.

— О чем они говорят? — спросил Мартин.

Я объяснил.

— Какое-то повальное сумасшествие. Кому они хотят нас выдать?

— Я полагаю, гестапо.

— Ты тоже с ума сошел.

— Нет,— сказал я как можно спокойнее.— Пойми: мы сейчас в другом времени, в другом городе, в другой жизни. Как и зачем она смоделирована, не знаю. Но как мы отсюда выберемся, тоже не знаю.

— Оборотни! — взорвался Мартин.— Выберемся. У меня уже есть опыт.

Он обошел сидящего у стола Этьена, схватил его за лацканы пиджака и встряхнул.

— Слушай, дьявольское отродье! Где выход?

— Где выход? — повторил попугай вслед за Мартином.— Где летчики?

Я вздрогнул. Мартин с яростью швырнул Этьена, как тряпичную куклу. Тот отлетел и пропал в стене. Там уже виднелось что-то вроде дверного проема, затянутого багровой дымкой.

Мартин ринулся сквозь нее, я за ним. Обстановка сменилась, как кинокадр: в затемнение, из затемнения. Мы находились в гостиничном холле, из которого вместе с Мартином вышли на улицу.

Продолжение. Начало см. №№ 7—10.

Этьен, с которым так не по-джентльменски обошелся Мартин, что-то писал за конторкой, не видя или умышленно не замечая нас.

— Чудеса,— вздохнул Мартин.

— Сколько их еще будет,— прибавил я неуверенно.

Мартин рванулся к двери и остановился: дорогу преградили немецкие автоматчики, точь-в-точь такие же, каких я видел в фильмах на темы минувшей войны.

— Нам нужно выйти на улицу. На улицу,— повторил Мартин, показывая в темноту.

— Ферботен! — рявкнул немец.— Цурюк! — И ткнул Мартина в грудь автоматом.

— Сядем,— сказал я,— и поговорим. Бежать все равно некуда.

Мы сели за круглый стол, покрытый пыльной плюшевой скатертью. Это была старая-престарая гостиница, должно быть, еще старше нашего парижского «Омона». И она уже ничем не гордилась — ни древностью рода, ни преемственностью традиций. Пыль, хлам, старье да, пожалуй, страх, притаившийся в каждой щели.

— Что же происходит все-таки? — устало спросил Мартин.

— Я тебе говорил. Другое время, другая жизнь.

— Другая жизнь,— повторил с накипающей злобой Мартин.— Любая их модель скопирована с оригинала. А немцы откуда?

— Не знаю.

Из темноты, срезавшей часть освещенного холла, вышел Зернов. Я в первый момент подумал: не двойник ли? Но какая-то внутренняя убежденность подсказала мне, что это не так. Держался он спокойно, словно ничего не изменилось кругом, даже при виде нас не выразил удивления и тревоги. А ведь волновался, наверное,— не мог не волноваться — просто великолепно владел собой.

— Кажется, Мартин, вы опять в городе оборотней,— сказал он, подойдя к нам и оглядываясь.— Да и мы с вами.

— А вы знаете, в каком городе? — спросил я.

— Полагаю, в Париже, а не в Москве.

— Не тут и не там. В Сен-Дизье, к юго-востоку от Парижа, насколько я помню карту. Провинциальный городок. На оккупированной территории.

— Кем оккупированной? Вы, случайно, не бредите, Анохин?

Зернов все еще недоумевал, что-то прикидывая в уме.

— Я уже обратил внимание и на багровый туман и на изменившуюся обстановку, когда шел к вам. Но ничего подобного, конечно, не предполагал,— он оглянулся на автоматчиков, застывших на границе света и тьмы. В глазах Зернова блеснуло знакомое мне любопытство ученого.

— А как вы думаете, что на этот раз моделируется?

— Чье-то прошлое. Только нам от этого не легче. Кстати, откуда вы появились?

— Из своей комнаты. Меня заинтересовал красный оттенок света, я открыл дверь и очутился здесь.

— Приготовьтесь к худшему,— сказал я и увидел Ланге.

В полосе света возник тот же адвокат из Дюссельдорфа, о котором я спрашивал у сидевшего за табльдотом бельгийца. Тот же Герман Ланге, с усами-стрелочками и короткой стрижкой, и все же не тот: словно выше, изящнее и моложе, по меньшей мере на четверть века. Он был в черном мундире со свастикой, туго перетянутом в почти юношеской осиной талии, в фуражке с высоким верхом и сапогах, начищенных до умопомрачительного блеска. Пожалуй, он был даже красив, если рассматривать красоту с позиции оперного режиссера, этот выхоленный нибелунг из гиммлеровской элиты.

— Этьен,— негромко позвал он,— ты говорил, что их двое. Я вижу трех.

Этьен с белым, словно припудренным, как у клоуна, лицом вскочил, вытянув руки по швам.

— Третий из другого времени, герр штурмбанфюрер.

Ланге поморщился.

— Ты можешь называть меня мсье Ланге. Я же разрешил. Кстати, откуда он, я тоже знаю, как и ты. Память будущего. Но сейчас он здесь, и это меня устраивает. Поздравляю, Этьен. А эти двое?

— Английские летчики, мсье Ланге.

— Он лжет,— сказал я, не вставая.— Я тоже русский. А мой товарищ — американец.

— Профессия? — спросил по-английски Ланге.

— Летчик,— по привычке вытянулся Мартин.

— Но не английский,— прибавил я.

Ланге ответил коротким смешком.

— Какая разница, Англия или Америка? Мы воюем с обеими.

На минуту я забыл об опасности, все время нам угрожавшей,— так мне захотелось осадить этот призрак прошлого. О том, поймет ли он меня, я и не думал. Я просто воскликнул:

— Война давно окончилась, господин Ланге. Мы все из другого времени, и вы — тоже. Полчаса назад мы с вами ужинали в парижском отеле «Омон» и на вас был обыкновенный штатский костюм адвоката-туриста, а не этот блистательный театральный мундир.

Ланге не обиделся. Наоборот, он даже засмеялся, уходя в окутывающую его багровую дымку.

— Таким меня вспоминает наш добрый Этьен. Он чуточку идеализирует и меня и себя. На самом деле все было не так.

Темно-красная дымка совсем закрыла его и вдруг растаяла. На это ушло не более полминуты. Но из тумана вышел другой Ланге, чуть пониже, грубее и кряжистее, в нечищеных сапогах и длинном темном плаще — усталый солдафон, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. В руке он держал перчатки, словно собирался надеть их, но не надел, а, размахивая ими, подошел к конторке Этьена.

— Где же они, Этьен? Не знаешь по-прежнему?

— Мне уже не доверяют, мсье Ланге.

— Не пытайся меня обмануть. Ты слишком заметная фигура в местном Сопротивлении, чтобы тебя уже лишили доверия. Когда-нибудь после, но не сейчас. Просто ты боишься своих подпольных друзей.

Он размахнулся и хлестнул перчатками по лицу портье. Раз! Еще раз! Этьен только мотал головой.

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО, Г. НОВОЖИЛОВА**

— Не позже завтрашнего дня сообщишь, где они прячутся. Так?

— Так, мсье Ланге.

Гестаповец обернулся и снова предстал перед нами, преображенный страхом Этьена: нибелунг, а не человек.

— Этьен тогда не сдержал слова: ему действительно не доверяли,— сказал он.— Но как он старался, как хотел предать! Он предал даже самую дорогую ему женщину, в которую был безнадежно влюблен. И как жалел! Не о том, что предал ее, а о том, что не сумел предать тех двух, ускользнувших. Ну что ж, Этьен, исправим прошлое. Есть возможность. Русского и американца я расстреляю как бежавших парашютистов, другого же русского просто повешу. А пока всех в гестапо! Патрули! — позвал он.

Мне показалось, что весь пыльный, полутемный холл наполнился автоматчиками. Меня окружили, скрутили руки и швырнули пинком в темноту. Падая, я ушиб ногу и долго не мог подняться, да и глаза ничего не видели, пока не привыкли к багровой полутьме, почти не рассеиваемой светом крошечной тусклой лампочки. Мы все трое лежали на полу узенькой камеры или карцера без окон, но карцер двигался, нас даже подбрасывало и заносило на поворотах, из чего я заключил, что нас просто везли в тюремном автофургоне.

Первым поднялся и сел Мартин. Я согнул и разогнул ушибленную ногу: слава богу, ни перелома, ни вывиха. Зернов лежал, вытянувшись плашмя и положив голову на руки.

— Вы не ушиблись, Борис Аркадьевич?

— Пока без увечий,— ответил он лаконично.

Но молчать я не мог.

— Моделируется чье-то прошлое,— повторил я.— Мы в этом прошлом случайно. Но откуда здесь приготовленный для нас тюремный фургон?

— Он мог стоять у подъезда. Возможно, привез автоматчиков,— сказал Зернов.

— Где же они?

— Наши конвоиры, вероятно, в кабине водителя. Остальные дожидаются в гостинице приказа Ланге. Они, возможно, были нужны ему и тогда. Он только слегка корректирует прошлое.

— Это не только его прошлое, это и прошлое Этьена. Они друг друга корректируют. Только не понимаю, зачем это нужно?

— А обо мне вы забыли, ребята? — вмешался Мартин.— Я ведь по-русски не понимаю.

— Простите, Мартин,— тотчас же извинился Зернов, переходя на английский,— действительно забыли. А забывать, между прочим, не следовало не только из чувства товарищества. Нас и еще кое-что связывает. Вы знаете, о чем я все время думаю? — продолжал он, приподымаясь на локте над замызганным полом фургончика.— Случайно ли все то, что с нами сейчас происходит? Я вспоминаю ваше письмо к Анохину, Мартин, в частности ваше выражение: меченые, как бы «отмеченные» пришельцами. Оттого мы и допускаемся беспрепятственно в самые недра их творчества. А вот случайно это или не случайно? Почему был моделирован не любой рейсовый самолет на линии Мельбурн — Джакарта — Карачи, а именно тот, где были мы, «меченые»? Случайно или не случайно? Предположим, что «облака» заинтересовались по пути на север жизнью американского захолустья? Допускаю эту возможность. Но почему они останавливают свой выбор именно на городке, связанном с жизнью Мартина? И в то самое время, когда он рассчитывал там побывать? И почему из сотни дешевых парижских отелей выбирают для очередного эксперимента именно наш «Омон»? Тоже случайно? А может быть, заранее обдуманно, намеренно, с определенным, пока еще скрытым от нас, но уже вполне допустимым расчетом?

Мне показалось, что Зернов заговаривается. Необъяснимость происходившего, реальность и прозрачность этих перемещений во времени и пространстве, болезненный мир Кафки, ставший нашей действительностью, могли напугать кого угодно, только не Зернова. А он словно прочел мои мысли.

— Думаете, с ума сошел? А знаете парадокс Бора о безумии как о признаке истинности научной гипотезы? Но я не претендую на истинность, я только высказываю одно из возможных предположений. Не есть ли это тот самый контакт, о котором сейчас мечтают все мыслящие представители человечества? Не пытаются ли «облака» через нас, именно через нас, сказать людям о том, что они делают и зачем они это делают? Допуская нас к своим экспериментам, не обращаются ли они к нашему интеллекту, предполагая, что мы сумеем понять их смысл?

— Странный способ связи,— усомнился я.

— А если другого нет? Если наши виды связи им неизвестны? Или недоступны? Если они не могут прибегнуть ни к оптическому, ни к акустическому, ни к другому приемлемому для нас способу передачи информации? И если им недоступна телепатия, неизвестен наш язык, азбука Морзе и другие наши сигнальные средства? А нам недоступны их виды связи. Что тогда?

— Не пойму я вас,— рассердился Мартин,— они творят, они моделируют, связи ищут, а нас — кого к стенке, кого в петлю.

— Они могут не знать. Первые опыты, первые ошибки.

— А вас это утешит на виселице?

— Я что-то в нее не верю,— сказал Зернов.

Я не успел ответить. Машину рвануло вверх, кузов раскололся. Яркая вспышка света, адский грохот, длившийся какую-то долю секунды, невесомость и темнота.

Двойник Ирины

Веки с трудом разжались, будто склеенные, и тотчас же отозвалась в затылке пронзительная, острая боль. Высоко, высоко надо мной мерцали огоньки, как светлячки летней южной ночью. Звезды? Небо? Я нашел ковш Большой Медведицы и понял, что я на улице. Медленно, медленно попробовал повернуть голову, и на каждое движение отвечала та же колющая боль в затылке. Но все же я различил неровную черноту домов на противоположной стороне улицы, мокрую от дождя мостовую — она чуть отсвечивала в темноте, и какие-то тени посреди улицы. Присмотревшись, я узнал в них остатки нашей разбитой машины.

Я лежал у ствола едва различимого в темноте дерева, мог даже пощупать его старую морщинистую кожу. Подтянувшись, я привалился к нему спиной. Стало легче дышать, и ослабла боль. Я тронул волосы на затылке, понюхал пальцы: не кровь — нефть.

Преодолевая слабость, я встал, обнимая дерево, как любимую девушку, и долго так стоял, всматриваясь в безлюдную уличную темень. Потом, медленно переступая, пошатываясь на каждом шагу, пошел к разбитой машине. «Борис Аркадьевич! Мартин!» — тихо позвал я. Никто не отозвался. Наконец я подошел к чему-то бесформенному, распластавшемуся на мостовой. Вгляделся. То была половина тела в немецком солдатском мундире, без ног и без лица; все, что осталось от первого или второго нашего конвоира. Я обошел его кругом и у обочины соседнего тротуара нашел Мартина.

Я сразу узнал его по короткой замшевой курточке и узким брюкам — таких брюк никто из немецких солдат не носил. «Дон!» — позвал я. Он вздрогнул и прошептал: «Кто?» «Ты жив, дружище?» «Юри?» «Я. Можешь приподняться?» Он кивнул. Я помог ему сесть на обочину и сел рядом. Он тяжело дышал и, видимо, еще не привык к темноте: глаза моргали. Так мы просидели молча минуты две-три, пока он не спросил:

— Где мы? Я что-то ничего не различаю. Что случилось?

— Должно быть, бросили бомбу в машину. Где Зернов?

— Не знаю.

Я встал и снова обошел остатки разбитой машины, пристально вглядываясь в трупы конвоиров. Зернова не было.

— Плохо,— сказал я, вернувшись.— Никаких следов.

— Мы в кузове были и — живы. Значит, и он жив. Ушел, должно быть.

— Без нас? Чушь.

— А если вернулся?

— Куда?

— В настоящую жизнь. С этого шабаша ведьм? Вдруг ему повезло? А вдруг и нам повезет?

— Тише! Слышишь?

Массивная дверь за нами протяжно скрипнула и открылась. Вырвавшийся сноп света тотчас же срезала тяжелая дверная портьера. Стало опять темно, но в мгновенном свете я увидел фигуру женщины в вечернем платье. Сейчас виднелась лишь ее неясная тень. Из-за портьеры за дверью, откуда-то издалека, глухо доносилась музыка: играли популярный немецкий вальс.

Женщина, все еще неразличимая в темноте, сошла по ступенькам подъезда. Теперь ее отделяла от нас только полоса узкого тротуара. Мы продолжали сидеть.

— Что с вами? — спросила она.

— Ничего особенного,— ответил я,— только разорвало нашу машину.

— Вашу? — удивилась она.

— Ту, в которой мы ехали или нас везли, если быть точным.

— Кто ехал с вами?

— Кто мог ехать, по-вашему?— Меня уже раздражал этот допрос.— Конвоиры, разумеется. Хотите собрать их по частям?

— Не сердитесь. Должен был ехать начальник гестапо.

— Кто? Ланге? — удивился я.— Он остался в гостинице.

— Так и должно было случиться,— сказала она задумчиво.— Так и тогда было. Только они подорвали пустую машину.— А вы откуда? Неужели и вас придумал Этьен?

— Нас никто не придумал, мадам,— оборвал я ее.— Мы здесь случайно и не по своей воле. Вы меня извините, я не блестяще говорю по-французски. Может быть, вы знаете английский?

— Английский? — удивилась она.— Но каким образом...

— Этого я не смогу объяснить вам даже по-английски. К тому же я не англичанин.

— Алло, мэм,— перебил Мартин.— Зато я из Штатов. Знаете песенку: «Янки Дудль был в аду... говорит: «Прохлада!». Уверяю вас, мэм, в этом аду жарче.

Она рассмеялась.

— Что же мне делать с вами?

— Я бы промочил горло,— сказал Мартин.

— Идите за мной. В раздевалке никого нет, а швейцара я отпустила. Вам везет, мсье.

Мы прошли за ней в слабо освещенную раздевалку. Мне бросились в глаза немецкие военные плащи на вешалке и офицерские фуражки с высокими тульями. Сбоку находилась крохотная комната — чуланчик без окон,— оклеенная страницами из киножурналов. В ней стояли два стула и стол с толстой регистрационной книгой.

— У вас отель или ресторан? — спросил Мартин у женщины.

— Офицерское казино.

Я впервые взглянул ей в лицо и обмер. Она тотчас же насторожилась.

— Разве вы меня знаете?

Тут и Мартин сказал нечто. По-русски это прозвучало бы так:

— Ну и ну... Совсем интересно.

А я молчал.

— Что это значит, мсье?— спросила женщина.

— Ирина,— сказал я по-русски,— ничего не понимаю.

— Боже мой, русский! — воскликнула она тоже по-русски.

— Как ты здесь очутилась?

— Ирэн — это моя подпольная кличка. Откуда вы ее знаете?

— Я не знаю никакой подпольной клички. Я не знаю, что у тебя она есть. Я знаю только то, что час назад мы с тобой ужинали в отеле «Омон» в Париже.

— Тут какое-то недоразумение,— сказала она отчужденно и холодно.

Я вскипел.

— Меня не узнала? Протри глаза.

— А кто вы такой?

— Мы же с тобой приехали из Москвы. Неужели ты и это забыла?

— Когда приехали?

— Ввечера...— Я уже начал заикаться.

— В каком году?

Тут я просто замер с открытым ртом. Что я мог ей ответить, если она смогла это спросить?

— Не удивляйся, Юри,— шепнул сзади Мартин: он ничего не понял, но догадался о причине моей взволнованности.— Это не она. Это оборотень.

Она все еще смотрела отчужденно то на меня, то на Мартина.

— Память будущего,— загадочно произнесла она.— Наверно, он думал об этом когда-нибудь. Может быть, даже встретил вас и ее. Похожа на меня? И зовут Ирина? Странно.

— Почему? — не выдержал я.

— У меня была дочь Ирина. В сороковом ей было около года. Ее увез в Москву Осовец. Еще до падения Парижа.

— Какой Осовец? Академик?

— Нет, просто ученый. Работал с Полем Ланжевеном.

Какая-то искорка вдруг прорезала тьму.

— А вы и ваш муж? — спросил я, уже догадываясь. .

— Муж уехал с посольством в Виши. Приехал позже, уже один. Остановился у какой-то придорожной фермы — вода в радиаторе выкипела или просто пить захотелось, не знаю. А дороги уже бомбили. Ну, и все. Прямое попадание,— она грустно улыбнулась, но все-таки улыбнулась, видимо, уже привыкла.— Я потому так держусь, что меня именно такой воображает Этьен. На самом деле мне все это горше досталось.

Все совпадало. Осовец тогда еще не был академиком, но уже работал с Ланжевеном — об этом я знал. Очевидно, он и воспитал Ирину. От него она узнала и о матери. Только при чем здесь Этьен?

Я не удержался и спросил об этом. Она засмеялась.

— А я ведь его воображение. Он наверняка думает сейчас обо мне. Был влюблен в меня без памяти. И все же предал.

Я вспомнил слова Ланге: «Он предал даже самую дорогую для него женщину, в которую был безнадежно влюблен. Он так хотел предать!» Значит, это было до нашей встречи с гестаповцами. Значит, у времени в этой жизни совсем другая система отсчета. Оно перемешано, как карты в колоде.

— Может, вы проголодались? — вдруг спросила она.

— Я бы выпил чего-нибудь,— сказал Мартин, догадавшись, о чем идет речь.

Она кивнула, чуть зажмурив глаза, совсем как Ирина, и улыбнулась. Даже улыбки у них были похожи.

— Подождите меня, никто сюда не придет. Ну, а если... Оружия у вас нет, конечно.— Она сдвинула какую-то планку под брюхом стола и достала ручную гранату и небольшой плоский браунинг.— Не игрушка, не смейтесь. Отличный и точный бой.

И ушла. Я взял браунинг, Мартин — гранату.

— Это мать Ирины,— сказал я.

— Час от часу не легче. Откуда она взялась?

— Говорит, Этьен ее вспоминает сейчас. Была с ним в Сопротивлении во время войны.

— Еще один оборотень,— сказал Мартин и сплюнул.— Всех бы их этой гранатой.— Он хлопнул себя по карману.

— Не горячись. Их же людьми сделали. Людьми, а не куклами, Сэнд-сити не повторяется.

— Людьми,— зло передразнил Мартин.— Они знают, что повторяют чью-то жизнь, даже будущее знают... тех, чью жизнь повторяют. Ты «Дракулу» видел? Фильм такой есть о вампирах. Днем мертвые, ночью живые. От зари до зари. Вот тебе и люди. Боюсь, что после такой ночки на нас смирительную рубашку придется надеть. Если, конечно, боши здесь не приступнут.

— Не гуди,— оборвал я его,— а то услышат. Пока все еще не так плохо. У нас уже оружие есть. Поживем — увидим, как говорят по-русски.

Вошла «Ирина». Я не узнал настоящего имени этой женщины и мысленно по-прежнему называл ее «Ириной».

— Нести сюда выпивку неудобно,— сказала она,— могут обратить внимание. Пойдемте в бар. Там все пьяны, и еще два гостя не событие. Бармен предупрежден. Только пусть американец молчит, а на все вопросы отвечает по-французски: «Болит горло — говорить не могу». Вас как зовут? Повторите, Мартин: «Болит горло — говорить не могу».

Мартин повторил несколько раз. Она поправила.

— Вот так. Теперь сойдет. Верных полчаса вам ничто не грозит. Через полчаса появится Ланге с минером и автоматчиками. Из бара ведет внутренняя лестница в верхнюю комнату, где играет в бридж генерал Бер. Под столом у него мина с часовым механизмом, через сорок пять минут здание взлетит на воздух.

— Мать честная! — воскликнул я по-русски.— Тогда надо тикать.

— Не взлетит,— грустно улыбнулась она.— Этьен обо всем доложил Ланге. Меня схватят наверху у Бера, минер обезвредит мину, а Ланге получит штурмбаннфюрера. Вы подождете минуты две после его прихода и спокойно уйдете.

Я открыл рот и опять закрыл. Такой разговор мог происходить только в психиатрической клинике. Но она продолжала:

— Не удивляйтесь. Этьен не был при этом, но Ланге все помнит. Он облазил все углы и допросил всех гостей. У него отличная память. Все было именно так, как вы увидите.

Мы пошли за ней молча, стараясь не смотреть друг на друга и ничего не осмысливать. Такое нужно понять в нормальной обстановке, в нашем времени.

Мы изменяем прошлое

В первой комнате играли в карты. Здесь пахло пеплом и табаком и стоял такой дым, что, даже всматриваясь, нельзя было ничего рассмотреть. Дым то густел, то рассеивался, но даже в просветах все казалось странно изменчивым, теряло форму, тенло, сжималось, словно очертания этого мира не подчинялись законам евклидовой геометрии. То вытягивалась длинная, как лыжа, рука с картами промеж пальцев и хриплые голоса перекликались: «Пять и еще пять... пас... откроем...»,— то ее срезал поднос с балансирующей коньячной бутылкой и на растянутой этикетке, как в телевизоре, вдруг проступало чье-то лицо с подстриженными усами, то лицо превращалось в плакат с кричащими буквами: «ФЕРБОТЕН... ФЕРБОТЕН... ФЕРБОТЕН», то на плакат наплывали серые головы без лиц и чей-то голос повторял в дыму: «Тридцать минут... тридцать минут». Шелестели карты, как листья на ветру, тусклел свет. Дым ел глаза.

— Ирина,— позвал я.

Она обернулась.

— Я не Ирина.

— Все равно. Что это? Комната смеха?

— Нет,— улыбнулась она.— Просто точно никто не помнит обстановку, детали. Этьен пытается представить себе. У Ланге просто мелькают бессвязные видения, он не раздумывает о деталях.

Я опять ничего не понял. Вернее, понял что-то не до конца.

— Как во сне,— недоумевал Мартин.

— Работают ячейки памяти двух человек.— Я пытался все же найти объяснение.— Представления материализуются, сталкиваются, подавляют друг друга.

Мы вошли в бар. Он находился за аркой, отделенной от зала висячей бамбуковой занавеской. Немецкие офицеры мрачно пили у стойки. Стульев не было. На длинном диване у стены целовались парочки. Я подумал, что Ланге, должно быть, хорошо запомнилась эта картина. Но никто из ее персонажей даже не взглянул на нас. Ирина что-то шепнула бармену и скрылась в проеме стены, откуда вела каменная лестница наверх. Бармен молча поставил перед нами две рюмки с коньяком и отошел. Мартин попробовал.

— Настоящий,— сказал он и облизнулся.

— Тссс...— прошипел я.— Ты не американец, а француз.

— Болит горло — не могу говорить,— тотчас же повторил он заученную фразу и лукаво подмигнул.

Впрочем, к нам никто не прислушивался. Я взглянул на часы: до появления Ланге оставалось пятнадцать минут. У меня вдруг мелькнула идея: если Ланге, скажем, не дойдет до верхней комнаты, а минер не обезвредит мины, то генерал Бер и его камарилья в положенное время аккуратно взлетят по частям в ближайшее воздушное пространство. Интересно! Ланге прибудет с автоматчиком и минером. Минер, наверное, без оружия, автоматчика они оставят в проеме стены у лестницы. Есть шанс.

Я шепотом изложил свои соображения Мартину. Он кивнул. Риск вмешательства офицеров из бара был невелик — они еле держались на ногах. Словом, обстановка складывалась благоприятно.

Еще десять минут прошло. Еще минута, две, три. Оставались считанные секунды. Тут и появился Ланге, не тот Ланге, с которым мы уже познакомились, а Ланге из предшествовавшего времени, еще не штурмбаннфюрер. Если он вспоминал этот эпизод, то мы в нем не участвовали и нам, следовательно, ничто не грозило. Действия его были запрограммированы памятью: скорее добраться до мины и предотвратить катастрофу. Он шел в сопровождении немолодого солдата в очках и мальчишки-гестаповца с автоматом. Шел быстро, не задерживаясь, оглядел колючим взглядом дремлющих за коньяком офицеров и поспешил с минером наверх. Они очень торопились. Автоматчик, как мы и предполагали, встал внизу у лестницы. В ту же секунду Мартин шагнул к нему и, не размахиваясь, прямым ударом в переносицу сшиб его с ног. Тот даже не успел уронить автомат: Мартин подхватил оружие на лету. А я с браунингом в руке уже бежал по лестнице наверх, навстречу оглянувшемуся Ланге. «Ложись, Юри!» — крикнул сзади Мартин. Я плюхнулся на ступеньки, автоматная очередь прошла надо мной и срезала обоих — и Ланге и минера. Все это произошло в какие-то доли секунды. Из бара даже никто не выглянул.

Зато выглянула сверху «Ирина». Еще несколько секунд прошло, пока она медленно, не задавая никаких вопросов, сошла вниз мимо скорчившихся на лестнице мертвых гестаповцев.

— Кто-нибудь слышал выстрелы? — спросил я, вопросительно указывая наверх.

— Кроме меня, никто. Они так увлечены игрой, что даже взрыва не услышат.— Она вздрогнула и закрыла лицо рукой.— Боже мой! Мину же не обезвредили.

— Ну и чудесно,— сказал я.— Пусть все летит в пекло. Бежим.

Она все еще не понимала.

— Но ведь этого же не было.

— Так будет! — Я схватил ее за руку.— Есть другой выход отсюда?

Двигаясь, как сомнамбула, она вывела нас на темную улицу. С охранником у выхода Мартин расправился тем же приемом.

— Четвертый,— посчитал он,— даже граната не понадобилась.

— Пятый,— поправил я.— Счет в Антарктиде начал.

— Придется теперь им рай моделировать.

Мы обменивались репликами на бегу. Бежали посреди мостовой неизвестно куда, в темноту. Наконец за нами что-то ухнуло, и сноп огненных искр выстрелил в небо. На мгновение сверкнули передо мной огромные-огромные глаза «Ирины». Тут только я заметил, что эта «Ирина» не носила очков.

Где-то завыла сирена. Затарахтел автомобильный мотор. Потом другой. Пламя пожара малопомалу высветляло улицу.

— Как же так? — вдруг спросила «Ирина».— Значит, я живу. Значит, это совсем другая жизнь? Не та?

— Теперь она развивается самостоятельно, по законам своего времени, мы ее повернули,— сказал я и злорадно прибавил: — И теперь ты можешь сколько рассчитаться с Этьеном.

Сирена все еще натужно выла. Где-то совсем близко громыхали грузовики. Я оглянулся: Мартина не было. «Дон! — позвал я.— Мартин!» Никто не откликнулся. Мы толкнулись в калитку церковного дворика, она оказалась незапертой. За ней притаилась еще не высветленная пожаром темнота. «Сюда!» — шепнула «Ирина», схватив меня за руку. Я шагнул за ней, и темнота вдруг начала таять, стекая вниз по открывшейся впереди лестнице. На ее верхней ступеньке кто-то сидел.

На островке безопасности

Я вгляделся и узнал Зернова.

— Анохин? — обрадовался он.— Прошу.

— Где это мы, Борис Аркадьевич?

— Не узнали интерьерчик? В отеле «Омон», на втором этаже. Я очутился здесь, когда нас выбросило из машины. Кстати, что там произошло?

— Кто-то бросил бомбу под колеса.

— Везет,— сказал Зернов,— не зря я сомневался в прочности гестаповской виселицы. Но, честно говоря, испытывать судьбу больше не хочется. Вот я сижу здесь с той самой минуты, боюсь двинуться: все-таки островок безопасности. Поэтому садитесь и рассказывайте.— Он подвинулся, освобождая мне место.

Однако мой рассказ при всей неожиданности переполнявших его событий большого впечатления на Зернова не произвел. Он молча выслушал и ни о чем не спросил. Спросил я:

— Вы видели картину Феллини «Джульетта и призраки»?

И вопросу Зернов не удивился, хотя вопрос предлагал некое утверждение, может быть, спор. Но Зернов и тут не высказался, ожидая продолжения. Пришлось продолжить!

— По-моему, у них общее с Феллини видение мира. Сюрреалистический кошмар. Все обращено вовнутрь, вся действительность — только проекция чьей-то мысли, чьей-то памяти. Если бы вы видели это казино в Сен-Дизье! Все размыто, раздроблено, деформировано. Детали выписаны, а пропорции искажены. Помните, как в действительный мир у Феллини вторгается бессвязный мир подсознательного? Я ищу логики и не нахожу.

— Чепуха,— перебил Зернов.— Вы просто не привыкли анализировать и не сумели связать увиденного. Пример с Феллини неуместен. При чем здесь кино и вообще искусство? Они моделируют память не из эстетических побуждений. И, вероятно, сам господь бог не смог бы создать модели более точной.

— Модели чего? — насторожился я.

— Я имею в виду психическую жизнь некоторых постояльцев «Омона».

— Каких постояльцев? Их сто человек. А нас швырнули в навозную жижу гестаповца и портье. Почему именно их двух? Два эталона подлости или просто две случайных капли человеческой памяти? И что именно моделируется? Жизнь, подсказанная чьей-то памятью, а нам позволяют изменить эту жизнь. Какая же это модель, если она не повторяет моделирующего объекта? Мать Ирины остается в живых, Ланге прошит автоматной очередью, а Этьена, вероятно, прикончат его же товарищи. Зачем? Во имя высшей справедливости, достигнутой с нашей помощью? Сомневаюсь: это уже не модель, а сотворение мира. Почему для контакта с нами нужно склеивать прошлое и настоящее, причем чужое прошлое, а потом его изменять? Миллион «почему» и «зачем» — и ни грамма логики.

Я выпалил все это сразу и замолчал. Розовый туман клубился над нами, сгущаясь и багровея внизу, у лестницы. В полутора метрах уже ничего не было видно, я насчитал всего шесть ступеней, седьмая тонула в красном дыму.

— Посидим еще, пока не трогают,— сказал Зернов, перехватив мой взгляд.— А на ваши «почему» есть «потому». Сами ответите, если подумаете. Во-первых, что моделируется? Не только память. Психика. Мысли, желания, воспоминания, сны. А мысль не всегда логична, ассоциации не всегда понятны, и воспоминания возникают не в хронологической последовательности. И не удивляйтесь дробности или хаотичности увиденного — это не фильм. Жизнь, воскрешенная памятью, и не может быть иной. Попробуйте вспомнить какой-нибудь особенно приятный вам день из прошлого. Только последовательно, с утра до вечера. Ничего не выйдет. Как ни напрягайте память, именно стройности и последовательности не получится. Что-то забудете, что-то пропустите, что-то вспомнится ярко, что-то смутно, что-то ускользнет, совсем уже зыбкое и неопределенное, и вы будете мучиться, пытаясь поймать это ускользающее воспоминание. Но все-таки это жизнь. Пусть смутная и алогичная, но действительная, не придуманная. А есть и ложная.

— Ложная? — повторил я, не понимая.

— Воображаемая,— пояснил он.— Та, которую вы создаете только силой своей прихоти, мечты или просто предположения. Скажем, вспоминаете прочитанное, увиденное в кино или сами сочиняете, что-то воображаете — словом, придумываете. И хорошо, что мы с вами пока еще не познакомились с такой «жизнью». Пока...— задумчиво повторил он.— Встреча не исключена: видите, еще клубится. И каждый раз нам предоставляют полную свободу действий, не вмешиваясь и не контролируя. Только чтобы мы поняли.

— Не знаю. Я до сих пор не понимаю, почему нам позволили изменить модель.

— А вы не учитываете такой стимул, как экспериментаторство? Они изучают, пробуют, комбинируют. Дается экспозиция чьей-то памяти, картина прошлого. Но это не отснятый на пленку фильм, это течение жизни. Прошлое как бы становится настоящим, формируя будущее. Ну, а если в настоящее внести новый фактор? Будущее неизбежно изменится. Мы — это и есть новый фактор, основа эксперимента. С нашей помощью они получают две экспозиции одной и той же картины и могут сравнить. Вы думаете, им все понятно в наших поступках? Наверное, нет. Вот они и ставят опыт за опытом. Сколько ступенек видите? — вдруг спросил он.

— Десять,— посчитал я.

— А было шесть, сам считал. Остальное — красная каша. Надоел мне этот «островок безопасности». Спина болит. Может, рысаком... ко мне в номер.— Зернов указал на ближайшую дверь, еще тонувшую в красном дыму.

Нырнув в струящееся красное облако, мы осторожно приблизились к двери. Зернов открыл ее, и мы вошли.

Поединок

Но комнаты не было. Ни потолка, ни стен, ни паркета. Перед нами открывалась широкая дорога, обрывавшаяся крутым каменистым откосом, за которым полого легли виноградники. Еще ниже, как в Крыму, синело море. Все вокруг обрело свои краски: в облачных просветах голубизна неба, рыжие пятна глины между камнями, желтизна пожухлой от солнца травы. Даже пыль на дороге стала похожей на пудру.

— Кто-то скачет,— сказал Зернов,— начинается новый спектакль.

Из-за поворота дороги показались три всадника. Они мчались цепочкой, а за последним скакали еще две оседланных лошади. Возле нас кавалькада остановилась. Все трое были в разных кирасах и одинаковых черных камзолах с медными пуговицами. Ботфорты их, порыжевшие от долгой носки, были залеплены серой грязью.

— Кто такие? — спросил ломаным французским языком всадник постарше. В своей музейной кирасе, со шпагой без ножен, заткнутой за пояс, он казался выходцем из какого-то исторического романа.

«Какой век? — мысленно спросил я.— Тридцатилетняя война или позже? Солдаты Валленштейна или Карла Двенадцатого? Или швейцарские рейтары во Франции? И в какой Франции? До Ришелье или после?»

— Паписты? — спросил всадник.

Зернов засмеялся: очень уж нелепым выглядел этот маскарад для людей XX века.

— У нас нет вероисповедания,— ответил он на хорошем французском,— мы даже не христиане. Мы безбожники.

— О чем он, капитан? — спросил всадник помоложе. Он говорил по-немецки.

— Сам не пойму,— перешел на немецкий его начальник.— И одеты чудно, словно комедианты на ярмарке.

— А вдруг ошибка, капитан? Может, не те?

— А где мы будем искать тех? Пусть Бонвиль сам разбирается. Поедемте с нами,— прибавил он по-французски.

— Я не умею верхóм,— сказал Зернов.

Всадник захохотал и что-то сказал по-немецки. Теперь хохотали уже все трое: «Не умеет! Лекарь, наверно».

— Посадите его в середину. Поедете по бокам — нога в ногу. И следите, чтоб не свалился. А ты? — повернулся ко мне черноусый.

— А я вообще не собираюсь ехать,— сказал я.

— Юрий, не спорьте! — крикнул мне Зернов. Он уже сидел верхом, держась за луку седла.— Соглашайтесь на все и оттягивайте время.

— По-цыгански говорит? — угрожающе спросил черноусый.

— По-латыни,— озлился я.— Доминус вобискум. Поехали!

И вскочил в седло. Оно было не английское, нынешнее, а старинное, незнакомой формы с медными бляхами по углам. Но это меня не смутило: ездить верхом я выучился еще в институте, где нас понемногу учили всему, что входит в программу современного пятиборья. Черноусый хлестнул мою лошадь, и мы вырвались вперед, обгоняя Зернова с его боковыми телохранителями.

Мы мчались молча, рядом: черноусый ни на шаг не отпускал меня. Я слышал стук копыт моего коня, его тяжелое дыхание, ощущал тепло его шеи, упругое сопротивление стремян — нет, то была не иллюзия, не обман зрения, а реальная жизнь, чужая жизнь в другом пространстве и времени, всосавшая нас, как всасывает свои жертвы болото. Близость моря, теплая влажность воздуха, каменистый серпантин дороги, виноградники на склонах, незнакомые деревья с крупными широкими листьями, блестевшими на солнце, как лакированные, ослы, медленно тянувшие двухколесные скрипучие повозки, одноэтажные каменные домишки в селах, слюдяные оконца и мисочки красного перца на кровлях, подвешенные и разложенные для сушки, грубые изваяния мадонн у колодцев, мужчины с бронзовыми торсами в рваных штанах до колен, женщины в домотканых рубашках и совсем уже голые ребятишки — все это говорило о том, что мы где-то на юге Франции или Италии.

Около часу продолжалась наша скачка, и счастью, не изобиловавшая препятствиями, кроме огромных валунов у дороги — остатков когда-то расчищенных осыпей. Задержала нас невысокая, в полтора человеческих роста, белая каменная стена, огибавшая лес или парк на протяжении нескольких километров, потому что конца ее мы не видели. Здесь, где стена поворачивала на север от моря, стоял человек в таком же маскарадном костюме из потертого, изрядно поношенного зеленого бархата, в видавших виды, как и у моих спутников, рыжих ботфортах и в шляпе без перьев, но с большой, ярко начищенной медной пряжкой. Правая рука его лежала на перевязи из какого-то тряпья, может быть, старой рубахи, а один глаз был закрыт узкой черной повязкой. Что-то знакомое показалось мне в этом лице, но заинтересовало меня не лицо, а шпага, угрожающе сверкнувшая в левой руке.

Всадники спешились и стащили Зернова с лошади. Он даже стоять не мог и ничком упал в траву у дороги. Я хотел было помочь ему, но меня предупредил одноглазый.

— Встаньте,— сказал он Зернову,— можете встать?

— Не могу,— простонал Зернов.

— Что же мне с вами делать?— задумчиво спросил одноглазый и повернулся ко мне.— Я где-то вас видел.

И тут я узнал его. Это был Монжуссо, собеседник итальянского кинорежиссера за ресторанным табльдотом. Монжуссо, олимпийский чемпион и первая шпага Франции.

— Где вы подобрали их? — спросил он.

— На дороге. Не те?

— А вы не видите? Что же мне с ними делать? — повторил он недоуменно.— С ними я уже не Бонвиль.

Красное облако вспенилось на дороге. Из пены показалась сначала голова, а за ней черная шелковая пижама. Я узнал режиссера Каррези.

— Вы Бонвиль, а не Монжуссо,— сказал он, углы губ его и впалые щеки при этом отчаянно дергались.— Вы человек из другого века. Ясно?

— У меня своя память,— возразил одноглазый.

— Так погасите ее. Отключитесь. Забудьте обо всем, что не имеет отношения к фильму.

— А они имеют отношение к фильму? — одноглазый покосился в мою сторону.— Вы предусмотрели их?

— Нет, конечно. Это чужая воля. Я бессилен изъять их. Но вы, Бонвиль, можете.

— Как?

— Как бальзаковский герой, свободно творящий сюжет. Моя мысль только направляет вас. Вы хозяин сюжетной ситуации. Бонвиль — смертельный враг Савари — это для вас сейчас определяет все. Только помните: без правой руки!

— Как левшу, меня даже не допустят к конкурсу.

— Как левшу-Монжуссо и в наше время. Как левша, Бонвиль, живущий в другом времени, будет драться левой рукой.

Облако снова вспенилось, заглотало режиссера и растаяло. Бонвиль повернулся к спешившимся всадникам.

— Перекиньте его через стену.— Он указал кивком на лежащего позади Зернова.— Пусть Савари сам выхаживает его.

— Стойте! — крикнул я.

Но острие шпаги Бонвиля уткнулось мне в грудь. А Зернов, даже не вскрикнув, уже перелетал через стену.

— Убийца,— сказал я.

— Ничего ему не сделается,— усмехнулся Бонвиль,— там трава по пояс. Отлежится и встанет. А мы не будем зря терять времени. Защищайтесь,— он поднял шпагу.

— Против вас? Смешно.

— Почему?

— Вы же Монжуссо. Чемпион Франции.

— Вы ошибаетесь. Я Бонвиль.

— Не пытайтесь меня обмануть. Я слышал ваш разговор с режиссером.

— С кем? — не понял он.

Я смотрел ему прямо в глаза. Он не играл роли, он действительно не понимал.

— Вам показалось.

Бесполезно было спорить: передо мной стоял оборотень, лишенный собственной памяти. За него думал режиссер.

— Защищайтесь,— строго повторил он.

Острие шпаги тотчас же вонзилось мне в грудь. Неглубоко, чуть-чуть, только протянув пиджак, но я почувствовал укол. И, главное, ни минуты не сомневался, что шпага проткнет меня, нажми он сильнее. Драться с Монжуссо было бы самоубийством, но ведь шпагу обнажил не Монжуссо, а левша-Бонвиль. Сколько я выстою против него?

— Будете защищаться? — еще раз повторил он.

— У меня нет оружия.

— Капитан, вашу шпагу! — крикнул он.

Черноусый, стоявший поодаль, бросил мне свою шпагу. Я поймал ее за рукоятку.

— Хорошо,— похвалил Бонвиль.

Шпага была легкой и острой, как игла. Привычного для меня «пуандаре»—наконечника, прикрывающего обычно острие спортивного оружия, на ней не было. Но кисть руки прикрывалась знакомой мне отшлифованной сферической гардой. Рукоять тоже была удобной, я взмахнул клинком и услышал свист в воздухе, памятный мне по фехтовальной дорожке.

— Л'атак де друа,— сказал Бонвиль.

Я мысленно перевел: атака справа. Бонвиль насмешливо предупреждал меня, что ничуть не боится раскрыть свои планы. В то же мгновение он нанес удар.

Я отбил его.

— Парэ,— сказал он. На языке фехтовальщиков это означало, что он поздравляет меня с удачной защитой.

Я чуточку отступил, прикрываясь шпагой, она была несколько длиннее шпаги Бонвиля, что давало мне преимущество в обороне. «Что говорил в таких случаях Кирш? — попытался я вспомнить советы своего учителя фехтования.— Не дай себя обмануть, он отступит, и твоя шпага пронзит воздух. Не атакуй преждевременно». Я сделал вид, что ухожу в защиту. Он прыгнул по-кошачьи мягко и нанес удар уже слева.

И я опять отбил его.

— Умно,— заметил Бонвиль,— есть чутье. Ваше счастье, что я атакую левой. С правой был бы вам конец.

Бонвиль преодолел длину моей шпаги, он отвел ее и молниеносно нанес удар. Однако клинок его протянул только пиджак, скользнув по телу. Бонвиль поморщился.

— Сюиньем камзолы,— и сделал шаг назад.

Я остался на месте. Без пиджака в одной рубашке я почувствовал себя свободнее. И, пожалуй, беззащитнее. На спортивных соревнованиях мы обычно надевали специальные курточки, прошитые тонкой металлической нитью. Укол шпаги, прикосновение металла к металлу фиксировались специальным электроаппаратом. Сейчас укол был уколом. Он вонзался в живую ткань, рвал кровеносные сосуды, мог тяжко ранить, убить. Но если исключить умение и мастерство фехтовальщика, мы были в одинаковом положении. Наши клинки одинаково поражали, наши рубашки одинаково открывали тело для поражения.

Шпаги опять скрестились. Какая удача для меня, что он фехтовал левой: я успевал поймать его движения.

Бонвиль словно прочел мои мысли.

— Левой мне только сапоги тачать,— сказал он.— А хотите посмотреть правую?

Он снял руку с перевязи и мгновенно перехватил клинок. Тот сверкнул, отвел мою шпагу и кольнул в грудь.

— Вот как это делается,— похвастался он, но не успел продолжить.

Кто-то невидимый знакомо напомнил:

— Левая, Бонвиль, левая! Уберите правую.

Бонвиль послушно перехватил шпагу. Кровавое пятно у меня на груди расползалось.

— Перевяжите его,— сказал Бонвиль.

С меня стащили рубаху и перевязали ею плечо. Рана была неглубокая, но сильно кровоточила. Я согнул и разогнул правую руку: больно не было.

— Где учились?— спросил Бонвиль.— В Италии?

— Почему?

— У вас итальянская манера уходить в защиту. Но это вам не поможет.

Я засмеялся и чуть не упустил его: он подстерег меня справа. Я еле успел присесть, шпага его только скользнула по плечу. Я отбил ее вверх и, в свою очередь, сделал выпад.

— Молодец,— сказал он.

Шпага его снова закружила у моей груди. Я отбивался и отходил, чувствуя, как леденеют пальцы, впившиеся в рукоятку. «Только бы не споткнуться, только бы не упасть»,— мелькнула предостерегающая мысль.

— Не затягивайте, Бонвиль,— сказал невидимый голос,— дублей не будет.

— Ничего не будет,— ответил Бонвиль, отходя назад и предоставляя мне желанную передышку.— Я не достану его левой.

— Так он достанет вас. Я перестрою сюжет. Но вы супермен, Бонвиль,— таким я вас задумал. Дерзайте.

Бонвиль снова шагнул ко мне.

— Значит, был разговор? — усмехнулся я.

— Какой разговор?

Передо мной снова был робот, все забывший, кроме своей сверхзадачи. А я вдруг почувствовал, что моя спина уперлась в стену. Отходить было некуда. «Конец»,— безнадежно подумал я.

Его шпага вдруг поймала мою, метнулась назад и вонзилась мне в горло. Боли я не почувствовал, только что-то заклокотало в гортани. Колени у меня подогнулись, я уперся шпагой в землю, но она выскользнула из рук. Последнее, что я услышал, был возглас, прозвучавший, казалось, с того света:

— Готов.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Фантастический роман

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО,
Г. НОВОЖИЛОВА

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Пробуждение

Все последующее я видел урывками, бессвязным чередованием расплывчатых белых картин. В этой белизне вдруг сверкали какие-то цилиндрические никелированные поверхности, извивались, как змеи, длинные трубки и склонялись надо мной чьи-то лица.

— Он в сознании,— слышал я.

— Я вижу. Наркоз.

— Все готово, профессор.

И все по-французски, быстро-быстро, проникая в сознание или скользя мимо в хаосе непонятных, закодированных терминов. Потом все погасло — и свет и мысль, и вновь ожило в белизне. Опять склонялись надо мной незнакомые лица, блестело что-то полированное — ножницы или ложка, ручные часы или шприц. Иногда никель сменялся прозрачной желтизной резиновых перчаток или розовой стерильностью рук с коротко остриженными ногтями. Но все это длилось недолго и проваливалось в темноту, где не было ни пространства, ни времени — только черный вакуум сна.

Потом картины становились все более отчетливыми, словно кто-то невидимый регулировал наводку на резкость. Худощавое, строгое лицо профессора в белой шапочке сменялось еще более суровым лицом сестры в монашеской белой косыночке, меня кормили бульонами и соками, пеленали горло и не позволяли говорить.

Как-то я все-таки ухитрился спросить:

— Где я?

Жесткие пальцы сестры тотчас же легли мне на губы.

— Молчите. Вы в клинике профессора Пелетье. Берегите горло.

Однажды склонилось надо мной знакомое лицо в дымчатых очках с золотыми дужками.

— Ты?! — воскликнул я и не узнал своего голоса: не то хрип, не то птичий клекот.

— Тсс...— Она тоже закрыла мне рот, но как осторожно, как невесомо было это прикосновение! — Все хорошо, любимый. Я скоро опять приду. Спи.

И я спал, и просыпался, и ощущал все уменьшавшуюся связанность в горле, и вкус бульона, и укол шприца, и вновь проваливался в черную пустоту, пока наконец не проснулся совсем. Я мог говорить, кричать, петь — я знал это: даже повязка на горле была снята.

— Как вас зовут? — спросил я свою обычную суровую гостью в косынке.

— Сестра Тереза.

— Вы монахиня?

— Все мы монахини в этой клинике.

— Значит, профессор — католик?

— Профессор будет гореть в аду,— ответила она без улыбки,— но он знает, что самые умелые медицинские сестры — мы. Это наш обет.

«Я тоже буду гореть в аду»,— подумал я и переменил тему.

— Давно я в клинике?

— Вторую неделю после операции.

— Безбожник делал? — усмехнулся я.

Она вздохнула.

— Все божий промысел.

— И розовые «облака»?

— Энциклика его святейшества объявляет их творением наших братьев во Вселенной, созданных по образу и подобию божьему.

Я подумал, что его святейшество уступил меньшему злу, отдав предпочтение антропоцентристской гипотезе. Для христианского мира это было единственным выходом. А для науки? На какой гипотезе остановился научный конгресс? И почему я до сих пор ничего не знаю?

— У вас больница или тюрьма? — рассвирепел я.— И почему меня медленно морят сном?

— Не морят, а лечат. Сонная терапия.

— А где газеты? Почему мне не дают газет?

— Полное отключение от внешнего мира тоже входит в лечение. Закончится курс — все получите.

— Тогда почему нет посетителей? Или меня все забыли?

— День свиданий сегодня... Прием начнется...— она посмотрела на ручные часы, блеск которых я столько раз видел во время своих пробуждений,— через десять минут.

Я выдержал эти десять минут покорный, как ягненок. Мне даже разрешили сидеть в постели и разговаривать, не глядя на секундомер: голосовые связки у меня совсем зажили. Ирина все же предупредила:

— Говорить буду я, а ты спрашивай.

Но мне даже спрашивать не хотелось, а только повторять пять букв в одной и той же интонации: милая, милая, милая... Занятно все-таки у нас получилось: никаких предварительных объяснений, вздохов, намеков и полунамеков. Всю подготовку проделала моя болезнь с той минуты, когда меня, истекающего кровью, нашли у Зернова в номере. По словам Ирины, он добрался вовремя: я еще дышал.

— Откуда добрался? — спросил я.

— Снизу. Из холла. Почти без сознания лежал. Чудеса! Словно возвращение из крестовых походов.

— Пожалуй, попозже. Шестнадцатый век, по-моему. Шпаги без ножен, а клинок, как тростинка. Попробуй отбей — молния!

— И ты отбивал? Тоже мне мушкетер. Уметь же надо.

— Учили когда-то в институте. Вот и пригодилось.

— А кончилось операционным столом.

— Так я же в ловушку попал. А противник — дай бог! Ас. Помнишь парня с повязкой на лбу за табльдотом?

Ирина не удивилась.

— Он и сейчас в отеле. И по-прежнему вместе с Каррези. Кроме нас, эта пара — единственные постояльцы, не сбежавшие из отеля после той ночи. Ну и паника была! А портье даже повесился.

— Какой? — вскрикнул я.

— Тот самый. Лысый.

— Этьен? — переспросил я.— Почему?

— Никто не знает. Не оставил даже записки. Но, по-моему, Зернов что-то подозревает.

— Собаке собачья смерть. А что с Ланге?

— Уехал. Должно быть, совсем. С ним тоже история,— засмеялась она.— Мартин за что-то изувечил его так, что узнать было нельзя. Думали, будет дипломатический скандал, а вышел пшик. Ланге отказался от всяких претензий. Репортеры бросились за объяснениями к Мартину. Тот угостил их виски и сообщил, что Ланге хотел отбить

Продолжение. Начало см. №№ 7—11.

у него русскую девушку. Это меня. В общем, смех, но за смехом тоже какая-то тайна. Сейчас Мартин уехал вместе с Томпсоном. Куда? Узнаешь. Я тебе все газетные вырезки подобрала. Там и записка тебе от Мартина — о драке ни слова. Но Зернов, поверь мне, что-то знает. Кстати, завтра наконец его выступление на пленарном заседании — все газетчики ждут, как акулы за кормой корабля, а он все откладывает. Из-за тебя, между прочим. Хочет с тобой предварительно встретиться. Сейчас. Удивлен? Я же сказала: сейчас.

Зернов появился с кинематографической быстротой и не один. Его сопровождали Каррези и Монжуссо. Более сильного эффекта он произвести не мог. Я разинул рот и даже на приветствие не ответил.

— Узнал,— сказал по-английски Зернов своим спутникам.— А вы не верили.

Тут я вскипел, благо, по-английски кипеть было легче, чем на любом другом языке, кроме русского.

— Я не помешался и не потерял памяти. Трудно не узнать шпагу, которая проткнула тебе горло.

— А вы помните эту шпагу? — почему-то обрадованно спросил Каррези.

— Еще бы.

— Она висит у меня после шестидесятого года. Приз за Тулузу,— флегматично заметил Монжуссо.

— Я ее у тебя и запомнил. И клинок и гарду,— снова вмешался Каррези.

Но Монжуссо его не слушал.

— Сколько вы продержались? — спросил он, впервые оглядывая меня с интересом.— Минуту, две?

— Больше,— сказал я.— Вы же работали левой.

— Все равно. Левая у меня много слабее, не та легкость. Но на тренировках...— Он почему-то не закончил фразу и переменил тему: — Ваших мастеров я знаю: встречался на фехтовальной дорожке. Но вас не помню. Не включили в команду?

— Бросил фехтование,— сказал я: мне не хотелось «раскрываться».— Я давно уже бросил.

— Жаль,— протянул он и взглянул на Каррези.

Я так и не понял, о чем он пожалел: об утраченном мной интересе к спортивной шпаге или о том, что поединок со мной отнял у него более двух драгоценных минут жизни чемпиона. Каррези заметил мое недоумение и засмеялся.

— Гастон не был на этом поединке.

— Как это не был? — не понял я.— А это?

Я осторожно пощупал косой шов на горле.

— Вините меня,— смущенно проговорил Каррези.— Я все это придумал у себя на диване. Гастон, которого синтезировали и которому дали в руки такую же синтезированную шпагу,— это плод моего воображения. Как это было сделано, я отказываюсь понимать. Но действительный, настоящий Гастон даже не коснулся вас. Не сердитесь.

— Честно говоря, я даже не помню вас за табльдотом,— прибавил Монжуссо.

— Ложная жизнь,— напомнил мне Зернов наш разговор на лестнице.— Я допускал моделирование предположений или воображаемых ситуаций,— пояснил он Каррези.

— А я ничего не допускал,— нетерпеливо отмахнулся тот,— да и не подпускал к себе эту мировую сенсацию. Сначала просто не верил, как в летающие блюдца, а потом посмотрел ваш фильм и ахнул: дошло! Целую неделю ни о чем другом говорить не мог, затем привык, как привыкаешь к чему-то необычному, но повторяющемуся и, в общем, далекому. Профессиональные интересы отвлекали и разум и сердце: даже в тот вечер, накануне конгресса, ни о чем не думал, кроме новой картины. Захотелось воскресить исторический фильм — не голливудскую патоку и не музейный экспонат, а нечто переоцененное глазами и мыслью нашего современника. И век выбрал, и героев, и, как у вас говорят, социально-исторический фон. А за табльдотом «звезду» нашел и уговорил. Одна ситуация ему не нравилась: поединок левой рукой. Ну, а мне виднее, как это ни странно. Я его помню на фехтовальной дорожке. Со шпагой в правой — слишком профессионален, не сумеет войти в образ. А в левой — бог! Неуемная сила, ошибки, злость на себя и чудо естественности. Убедил. Разошлись. Прилег в номере, думаю. Мешает красный свет. Черт с ним, зажмурился. И все представил — дорогу над морем, камень, виноградники, белую стену графского парка. И вдруг чушь какая-то: наемники Гастона — в сценарии он Бонвиль — останавливают на дороге бродяг не бродяг, туристов не туристов, чужаков, одним словом. Не тот век, не тот сюжет. Хочу выбросить их из замысла и не могу — как прилипли. Тотчас же переключаюсь: пусть! Новый сюжетный поворот, даже оригинально: скажем, бродяги, уличные актеры. А Гастон у себя, естественно, тоже о фильме думает, не о сюжете, конечно, а о себе, все о той же дилемме: левой или правой. Я вступаю с ним в мысленный спор: горячусь, убеждаю, требую. Наконец приказываю: все!

— Это я видел,— вспомнил я.— Кучка малиновой пены у дороги, и вы из нее, как щелкунчик из табакерки.

Каррези закрыл глаза, пытаясь мысленно представить себе случившееся, и снова обрадовался.

— А ведь это идея! Гениальный сюжетный ход. Восстановим все, что было и как было. Словом, мсье Жорж, хотите партнером и Гастону?

— Спасибо,— прохрипел я,— второй раз умирать не хочется.

Путевка в Гренландию

Когда режиссер и чемпион ушли, воцарилось неловкое молчание. Я с трудом сдерживался, раздраженный этим ненужным визитом.

— Злишься? — спросил Зернов.

— Злюсь,— сказал я.— Думаешь, приятно любезничать со своим убийцей?

Так мы, не сговариваясь, перешли на «ты».

— Монжуссо не виноват даже косвенно,— продолжал Зернов.— Я это сейчас и выяснил.

— Презумпция невиновности,— съязвил я.

Он не принял вызова.

— Каюсь, я нарочно столкнул их с тобой — не сердись. Хотелось сопоставить моделированное и его источник. Мне для доклада нужно было точно проверить, что моделировалось, чья психика. И что еще более важно — память или воображение. Теперь знаю. Они заглянули и в то и в другое. Тот просто хотел спать, вероятно, лениво раздумывая над предложением Каррези. А тот творил. Создавал конфликты, драматические ситуации, словом, иллюзию жизни. Эту иллюзию они и смоделировали.

Я невольно пощупал горло.

— А это? Тоже иллюзия?

— Случайность. Вероятно, экспериментируя, «облака» даже не понимали, как это опасно.

— Не понимаю,— задумчиво перебила Ирина,— тут что-то другое, не жизнь. Биологически это не может быть жизнью, даже если ее повторяют. Нельзя создать жизнь из ничего.

— Почему из ничего? Вероятно, у них есть для этого какой-то строительный материал, что-то вроде первичной материи жизни.

— Красный туман?

— Может быть. До сих пор никто не нашел объяснения, даже гипотезы не выдвинул.— Зернов вздохнул.— Завтра и от меня не ждите гипотез — просто выскажу предположение: что моделируется и зачем. Ну, а как это делается — извините...

Я засмеялся.

— Кто-нибудь объяснит.

— Где?

— То есть как где? На конгрессе.

— Не выйдет. Парижская жизнь кончается. Укладывай чемоданы.

Он сказал это твердо и решительно.

— Новая командировка? Куда?

Зернов молчал и улыбался.

— Ну, а если не соглашусь? — сказал я.

— Еще как согласишься. Запрыгаешь от радости.

— Не томи, Борис Аркадьевич. Куда?

— В Гренландию.

На моем лице отразилось такое откровенное разочарование, что Ирина прыснула со смеху.

— Что-то он не прыгает, Ирочка.

Я демонстративно лег.

— Допинга нет, чтобы прыгать.

— Будет допинг,— сказал Зернов и подмигнул Ирине.

Та, подражая диктору «Последних известий», начала:

— «Копенгаген. От нашего собственного корреспондента. Летчики-наблюдатели американской полярной станции в Сёрне-Стремфиорде (Гренландия) сообщают о любопытном искусственном или природном феномене к северу от семьдесят второй параллели в районе экспедиции Томпсона...»

Я приподнялся на подушках.

— «...на обширном ледяном плато наблюдаются километровые голубые протуберанцы. Нечто вроде уменьшенного северного сияния. Только по гигантскому эллипсу, в виде замкнутой ленты голубого огня. Языки пламени смыкаются примерно на высоте километра, образуя граненую поверхность огромного октаэдра». Так, Борис Аркадьевич?

Я сел на постели.

— Готов прыгать, Анохин?

— Кажется, готов.

— Так слушай. Сообщения об этом «сиянии» обошли уже всю мировую печать. Октаэдр сверкает на сотни километров, но ни пешком, ни на тракторах к нему не подойти: отталкивает нас уже знакомая невидимая сила. Самолеты тоже не могут снизиться: их относит. Подозревают, что это мощное силовое поле пришельцев. Прыгаешь?

— Прыгаю, Борис Аркадьевич. Значит, они уже в Гренландии.

— Давно. Но в глубине плато у них сейчас что-то новенькое. Огонь, а приборы вблизи не регистрируют даже малейшего повышения температуры. Не повышается атмосферное давление, не увеличивается ионизация, радиосвязь не прерывается даже в нескольких метрах от протуберанцев, а счетчики Гейгера молчат. Какой-то страшный камуфляж, вроде детского калейдоскопа. Сверкают стеклышки и только. Посмотришь снимки — руками разведешь. Чистое небо в солнечный день, отраженное в гигантских кристаллических гранях. А «всадники» проходят сквозь них, как птицы сквозь облако. Зато птицы отскакивают, как теннисные мячи. Пробовали пускать голубей — смех один.

Я горько позавидовал своим коллегам: снялн такую феерию!

— Может быть, феерия, может быть, фарс,— сказал Зернов,— может быть, хуже. Снимешь, если жив останешься. Знаешь, как это сейчас называют? «Операция Ти» — по первой букве в английском ее произношении, начинающей фамилию нашего дружка Томпсона. Ну, а он говорит, что это его личный поиск контактов. До него, мол, все перепробовали — и световые сигналы, и радиоволны, и математический код, и смысловые фигуры в небе реактивный самолет вычерчивал — все напрасно; не реагируют «всадники». Он рассчитывает, что добьется отклика. Какими средствами — неизвестно: молчит. Но основной состав экспедиции уже сформирован и направлен в Упернивик, откуда стартовала гренландская экспедиция Кох-Вегенера в тринадцатом году. В их распоряжении грузопассажирский «Дуглас», вертолет, заимствованный на американской базе в Тулё, два снегохода и аэросани. Как видишь, экспедиция оснащена неплохо.

Но я все еще не понимал, на какой контакт мог рассчитывать Томпсон с помощью вертолета и аэросаней. Зернов загадочно улыбнулся.

— Газетчики тоже не понимают. Но Томпсон — человек неглупый. Он не подтвердил ни одного приписываемого ему заявления. Не отозвалась ни одна фирма, поставлявшая ему оборудование и снаряжение. Его спрашивают: правда ли, что в имуществе экспедиции имеются баллоны с газом неизвестного состава? Каково назначение приборов, погруженных недавно на теплоход в Копенгагене? Собирается ли он взрывать, просверливать или пробивать силовое поле пришельцев? В ответ Томпсон деловито поясняет, что имущество его экспедиции просматривалось таможенными контролерами и ничего запрещенного к ввозу в Гренландию не содержит. Об особых приборах, якобы погруженных в копенгагенском порту, ему ничего неизвестно. Цели экспедиции — научно-исследовательские, а цыплят он будет считать по осени.

— Откуда же у него деньги?

— Кто знает? Больших денег здесь нет, крупно на него никто не ставит, даже «бешеные». Ведь воюют он не с коммунистами и неграми. Но кто-то его финансирует, конечно. Говорят, какой-то газетный концерн. Как в свое время экспедицию Стэнли в Африку. Сенсация — товар ходкий; можно рискнуть.

Я поинтересовался: связана ли его экспедиция с каким-нибудь решением или рекомендацией конгресса?

— С конгрессом он порвал,— пояснил Зернов.— Еще до открытия объявил в печати, что не считает себя связанным с его будущими решениями. Впрочем, ты еще не знаешь, как сложились дела на конгрессе.

Я действительно не знал, как сложились дела на конгрессе. Я даже не знал, что он открылся в ту самую минуту, когда меня с операционного стола перевозили в палату.

После того, как Совет Безопасности ООН отказался обсуждать феномен розовых «облаков» впредь до решений Парижского конгресса, справедливо считая, что первое слово здесь должно принадлежать мировой науке, атмосфера вокруг конгресса еще более накалилась.

А открылся конгресс, как чемпионат мира по футболу. Были фанфары, флаги наций, приветствия и поздравления от всех научных ассоциаций мира. Правда, более мудрые в зале помалкивали, но менее осторожные уже выступали с декларациями, что тайна розовых «облаков» уже накануне открытия. Конечно, никакого открытия не произошло. Разве только вступительный доклад академика Осовца, выдвинувшего и обосновавшего тезис о миролюбии наших гостей из космоса, сразу же направил работу ученых по твердо намеченному руслу. Но, как говорится, премудрость одна, а мудростей много. О них и говорил мне Зернов с едва скрытым разочарованием. Сталкивались мнения, сшибались гипотезы. Некоторые участники конгресса вообще считали «облака» разновидностью летающих тарелок.

— Если бы ты знал, Юра, сколько еще тугодумов в науке, давно потерявших право называться учеными! — рассказывал Зернов.— Конечно, были и вдумчивые речи, и оригинальные гипотезы, и смелые предложения. Но Томпсон сбежал после первых же заседаний. «Тысяча робких старичков ничего стоящего не придумает»,— объявил он атаковавшим его репортерам.

Из всех участников конгресса он пригласил в экспедицию только Зернова, присоединив к нему весь экипаж нашей «Харьковчанки» плюс Ирину. «Вместе начинали, вместе продолжим»,— сказал он Зернову.

— Я не начинала,— вмешалась Ирина.

— Зато продолжили.

— Где?

— Все той же ночью в отеле «Омон». Спросите у Анохина: он кое-что расскажет.

Я ответил Зернову взглядом, подобным удару шпаги Боквиля. Ирина оглядывалась то на него, то на меня в состоянии полной растерянности.

— Правда, Юра?

— Правда,— вздохнул я и замолчал.

— Что-нибудь неприятное?

Мое молчание становилось неловким. Поэтому я даже обрадовался, услышав знакомый скрип двери.

— Самое неприятное начнется сейчас,— сказал я, кивая на открытую дверь, в которую уже входил мой белый ангел со шприцем.— Процедура, какую даже друзьям лицезреть не положено.

И целительная терапия профессора Пелетье снова низвергла меня в бездонную пучину.

Конгресс

Я вынарабкался из пучины сна только утром, сразу вспомнил все и разозлился: предстоял еще один день больничного заключения. Появление белого ангела с сервированным на движущемся столике завтраком мне не доставило утешения.

Она протянула мне папку в красном сафьяне.

— Что это?

— Газетные вырезки, которые оставила для вас мадемуазель Ирина. Профессор разрешил.

И то хлеб для человека, умирающего с голоду по информации. Я открыл папку. То был голос мира, донесшийся ко мне сквозь никель и стекло клиники, сквозь белый кирпич ее стен, сквозь тьму бездонного сна и блаженство выздоровления. То был голос конгресса, голос доклада академика Осовца, сразу определившего единственно разумную и последовательную позицию человечества по отношению к гостям из космоса.

«Пришельцы подарили человечеству попутно, так сказать, открытые ими богатства,— говорил Осовец.— В отрогах Яблонового хребта были вскрыты ими богатейшие залежи медной руды, а в Якутии — новые алмазные месторождения. В Антарктиде они открыли нефть, собственными силами произвели бурение и установили вышки оригинальной, доселе нам неизвестной конструкции. Могу вам сообщить,— резюмировал под аплодисменты академик,— что сейчас в Москве подписано соглашение между заинтересованными державами о создании торгово-промышленного акционерного общества под условным названием ОСЭАН, то есть Общества по совместной эксплуатации антарктической нефти».

Академик суммировал и события, связанные с моделированием пришельцами заинтересовавших их явлений земной жизни.

Помимо Сэнд-сити, «всадники» смоделировали курортный городок в Итальянских Альпах, французские пляжи в утренние часы, когда они напоминают лежбища котиков, площадь святого Марка в Венеции и часть лондонского метро. Пассажирский транспорт привлек их внимание во многих странах. Они пикировали на поезда, морские и воздушные лайнеры, сохранившиеся кое-где трамваи, полицейские вертолеты и даже воздушные шары, испытывавшиеся в каком-то любительском состязании под Брюсселем.

Во Франции они проникли на спринтерские гонки на парижском велодроме, в Сан-Франциско — на матч боксеров-тяжеловесов, в Лисабоне — на футбольный матч на Кубок европейских чемпионов, причем игроки потом жаловались журналистам, что красный туман вокруг порой так сгущался, что они не видели ворот противника. В таком же тумане игрались партии одного тура на межзональном шахматном турнире в Цюрихе, два часа заседал правительственный кабинет в Южно-Африканской Республике и сорок минут кормились звери в Лондонском зоопарке.

В списке академика подробно перечислялись все заводы и фабрики, смоделированные пришельцами полностью или частично: где цех, где конвейер, где просто несколько машин и станков, характерных для данного производства и выбранных с безошибочной точностью. Парижские журналисты, комментируя этот выбор, делали любопытные выводы. Одни считали, что «облака» интересуются преимущественно отсталыми видами техники, не менявшейся в своей основе чуть ли не целое столетие и наименее им понятной, вроде способов ювелирной обработки драгоценных камней или бытового применения нашей кухонной посуды. И вот моделируется гранильная мастерская в Амстердаме или фабрика игрушек в Нюрнберге.

Другие, комментируя список Осовца, указывали на повышенный интерес гостей к бытовому обслуживанию населения. «Вы обратили внимание,— писал корреспондент «Пари-миди»,— на количество смоделированных парикмахерских, ресторанов, ателье мод и телевизионных студий»! С каким вниманием и выбором копируются магазины и магазинчики, уголки рынков и ярмарок и даже уличные витрины!.. И как варьируются здесь способы моделирования! Иногда «облако» пикирует на «объект» и тотчас уходит, не успев даже вызвать естественной в таких случаях паники.

«Никто не пострадал при этом, никто не понес никаких материальных потерь,— резюмировал академик.— Кроме стула, исчезнувшего вместе с двойником на собрании полярников в Мирном, и автомобиля летчика Мартина, опрометчиво оставленного им в моделированном города, никто не назовет мне ни одной вещи, уничтоженной или поврежденной нашими космическими гостями».

Выступление советского академика было одобрено подавляющим большинством делегатов, и прения, по сути дела, превратились в обмен репликами и вопросами, отнюдь не полемическими и даже не очень смелыми и уверенными. Выражались, например, опасения в том, что миролюбие пришельцев — только своеобразный камуфляж и что они еще вернутся с другими намерениями.

« — Какими? — уточнял академик.

— Агрессивными.

— С такими техническими возможностями им незачем прибегать к камуфляжу.

— А если это разведка?

— Уже первые встречи показали им разницу наших технических потенциалов.

— А мы разве показали им наш потенциал? — Вопрос задал Томпсон.

— Они его смоделировали.

— Но мы даже не пытались обратить его против их нападения.

— Разве было нападение?

— А вы рискнете утверждать, что оно не последует?

— В доказательство моих утверждений я привел десятки проверенных фактов, в доказательство ваших мы услышали только гипотезы».

После этой бесславной для противников советского академика дискуссии «сомневающиеся», как их прозвали в кулуарах конгресса, стали отыгрываться в комиссиях, особенно в известной бурными заседаниями Комиссии контактов и предположений. Здесь высказывались любые гипотезы, которые тут же ядовито оспаривались. Одна дискуссия переходила в другую, порой удаляясь все больше от первоначального спора, пока не вмешивался электрический гонг председателя. Журналисты даже не прибегали к фельетонизации газетных отчетов. Они просто цитировали стенограммы.

Я взял наудачу одну из вырезок: автор вспоминал Гулливера и снисходительно сожалел о людях, которые не сумели уподобиться лилипутам, не измышлявшим гипотез. Но после выступления Зернова от этой иронической снисходительности не осталось и следа. Когда я развернул принесенные Ириной вечерние выпуски парижских газет, солидарность их на этот раз была совсем иной.

«Загадка решена!». «Русские проникли в тайну розовых «облаков». «Анохин и Зернов устанавливают контакт с пришельцами». «Советы опять удивили мир!» Под этими заголовками бойко рассказывалось о превращении современного Парижа в провинциальный Сен-Дизье времен нацистской оккупации, о чудесной материализации кинозамыслов знаменитого режиссера и о моем поединке с первой шпагой Франции. Последнее особенно восхищало парижан. Обыкновенный юношин, никогда не появлявшийся на фехтовальных дорожках мира, скрестил шпаги с самим Монжуссо. И при этом остался жив. Олимпийский чемпион в этот же вечер дал несколько интервью, и ему вдвое повысили гонорар за участие в фильме. Репортеры, выжав все из Монжуссо и Каррези, бросились на штурм клиники Пелетье, и только ее суровый монастырский устав избавил меня еще от одной пресс-конференции. А Зернову попросту повезло. Воспользовавшись ритуалом, сопрово-

ждавшим открытие и закрытие заседаний конгресса, он незаметно скрылся от преследования.

В его докладе, подробно пересказанном и прокомментированном, я не нашел для себя ничего нового: все это родилось и сформулировалось в наших спорах о пережитом.

«Нечто поистине сказочное пережили двое русских и один американец за одну ночь в парижском отеле, воскресившую кошмары средневекового романа,— прочел я на первой странице «Парижур», рядом с фотографиями — моей, Зернова и Мартина.— Далеко не каждый, мгновенно перенесенный из привычного настоящего в мир материализованных снов и видений, извлеченных из глубин чужой памяти, поведет себя с таким бесстрашием, пониманием обстановки и разумной последовательностью действий. Так можно сказать обо всех трех участниках этой фантастической Одиссеи. Но Зернова следует выделить. Он сделал больше. Борис Зернов первый из ученых нашего мира дал единственно возможный ответ на вопрос, волнующий сейчас миллиарды людей на Земле: почему пришельцы, игнорируя наши попытки контакта, сами не ищут общения с нами? Зернов отвечает: между их и нашей физической и психической жизнью разница гораздо большая, возможно, неизмеримо большая, чем, скажем, между организацией и психикой человека и пчелы. Что получилось бы, если бы они стали искать контакта друг с другом,— пчела своими пчелиными средствами, человек — человеческими? Так возможен ли вообще контакт между двумя еще более различными формами жизни? Мы не нашли его, они нашли. Они могли не показать нам моделей нашего мира, они показали. Зачем? Чтобы изучить наши физические и психические реакции, характер и глубину нашего мышления, его способность постичь и оценить их действия. Они выбрали достойных аргонавтов, но только Зернов оказался Одиссеем: понял и перехитрил богов».

Я читал эту статью с таким счастливым лицом, что Ирина не выдержала и сказала:

— Хотела было наказать тебя за то, что скрытничаешь. Да ладно, покажу.

И показала мне распечатанную телеграмму из Уманака в Гренландии.

«ПАРИЖ. Конгресс. Зернову. Слушал доклад по радио. Потрясен. Может быть, именно здесь, в Гренландии, вы сделаете новое открытие. Жду вас с Анохиным очередным авиарейсом. Томпсон».

Это был поистине счастливый день.

Воображение или предвидение

Пожалуй, не только мой. Особенно, когда я сказал ей о женщине из казино.

Сначала она не поверила.

— Разыгрываешь?

Я промолчал. Потом спросил:

— У тебя мать была в Сопротивлении. Где?

— Комитет ветеранов запрашивал французских товарищей. Они точно не знают. Вся ее группа погибла. Как и где — неизвестно.

— В Сен-Дизье,— сказал я.— Не так далеко от Парижа. Она была переводчицей в офицерском казино. Там ее и взяли.

— Откуда ты знаешь?

— Она сама рассказала.

— Кому?

— Мне.

Ирина медленно сняла очки и сложила дужки.

— Этим не шутят.

— Я не шучу. Мы с Мартином видели ее в ту ночь в Сен-Дизье. Нас приняли за английских летчиков; их самолет в ту ночь был сбит близ города.

Губы у Ирины дрожали.

Я рассказал ей все по порядку — о портье и Ланге, об автоматной очереди Мартина на лестнице в казино, о взрыве, который мы услышали уже в затемненном городе.

Она молчала. Я злился, сознавая всю беспомощность слов, бессильных воспроизвести даже не жизнь, а модель жизни.

— Какая она? — вдруг спросила Ирина.

— Она все время чуть-чуть менялась, в зависимости от того, кто вспоминал о ней — Этьен или Ланге. Молодая. Твоих лет. Они оба восхищались ею, хотя один предал, а другой убил.

Она проговорила чуть слышно:

— Теперь я понимаю Мартина.

— Слишком мало для возмездия.

— Я понимаю,— повторила она, потом спросила: — А что было потом?

— Потом я шагнул на лестницу в отеле «Омон».

— И все исчезло?

— Для меня — да.

— А для нее?

Я беспомощно развел руками: попробуй ответить!

— Не могу понять,— сказала она.— Есть настоящее, есть прошлое. Есть жизнь. А это что?

— Модель.

— Живая?

— Может быть, записанная каким-то способом. А зачем — не знаю. У меня просто не хватает воображения.

Но был человек, у которого хватило воображения. И мы встретились с ним на другой же день.

С утра я выписался из клиники, по-мужски сдержанно простился с суховатым, как всегда, Пелетье («Вы спасли мне жизнь, профессор. Я ваш должник»), обнял на прощание старшую сестру — моего белого ангела с дьявольским шприцем («Грустно прощаться с вами, мадемуазель») и вышел к Вольтеровской набережной, где мне назначила свидание Ирина. Она тут же сообщила мне, что Тольна Дьячук и Вано прямо из Копенгагена уже вылетели в Гренландию, а наши с Зерновым визы еще оформлялись в датском посольстве. Я мог еще побывать на пленарном заседании конгресса.

На улице от жары таял под ногами асфальт, а на лестницах и в коридорах Сорбонны, старейшего из университетов Франции, где сейчас во время студенческих летних каникул заседал конгресс, было прохладно и тихо, как в церкви, когда служба давно закончилась. И так же пустынно. Не проходили мимо опаздывающие или просто любители покурить и посплетничать в кулуарах, не собирались группами спорщики, опустели курительные и буфеты. Все собрались в аудитории, где даже в часы любимейших студентами лекций не бывало так тесно, как сейчас. Сидели не только на скамьях, но и в проходах на полу, даже на ступеньках подымающегося амфитеатром зала.

С трибуны выступал американец. Я, как и весь читающий мир, знал его по имени, но это был не политический деятель и даже не ученый, что вполне соответствовало бы составу ассамблеи и обычному списку ее ораторов. То был писатель, писатель-фантаст, добившийся, как в свое время Уэллс, мировой известности. Он, в сущности, и не очень заботился о научном обосновании своих удивительных вымыслов и даже здесь, перед «звездами» современной науки, осмелился заявить, что его лично интересует не научная информация о пришельцах, которую по крупицам, кряхтя собирает конгресс (он так и сказал: «по крупицам» и «кряхтя»), а самый факт встречи двух, по сути дела, несоизмеримых цивилизаций.

Это заявление и последовавший за ним не то одобрительный, не то протестующий гул зала мы с Ириной и услышали, усаживаясь на ступеньках в проходе.

— Не обижайтесь на «крупицы», господа,— продолжал он не без ухмылочки в голосе.— Вы собрали тонны полезнейшей информации в комиссиях глациологов и климатологов, в специальных экспедициях, научно-исследовательских станциях, институтах и отдельных научных трудах, которые займутся вопросами новых ледяных образований, климатических изменений и метеорологических последствий феномена розовых «облаков». Но тайна его так и осталась тайной. Мы так и не узнали ни природы силового поля, ни характера столкнувшейся с нами жизни, ни местопребывания ее во Вселенной.

Интересны выводы Бориса Зернова об эксперименте пришельцев в поисках контакта с землянами. Но это их эксперимент, а не наш. Теперь я могу предложить встречный, если представится случай его осуществить. Рассматривать сотворенный ими мир как прямой канал к их сознанию, к их мышлению. Разговаривать с ними через «двойников». Любую модель, любую материализованную ими субстанцию использовать как микрофон для прямой или косвенной связи с пришельцами. Нечто вроде элементарного телефонного разговора без математики, химии и других кодов. На простом человеческом языке — по-английски или по-русски, неважно,— они поймут. Скажете, фантастика? Да, фантастика. Но конгресс уже поднялся — обратите внимание: я говорю «поднялся», а не «опустился» — до уровня подлинно научной фантастики, причем я не особенно настаиваю на слове «научной», я просто подчеркиваю: фантастики, той крылатой фантастики, когда воображение становится предвидением. (Шум в зале.) Вежливый народ ученые! Скажите громче: мощучство в храме науки! (Крики на скамьях: «Конечно, мощучство!») Чуточку справедливости, господа. Разве ученые предсказали телевидение, видеофон, лазеры, опыты Петруччи и космические полеты? Все это предсказали фантасты.

Я не пропустил ни одного заседания Комиссии предположения и порой поистине восторгался услышанным: то была фантастика чистой воды. Взрывы воображения. Разве не воображением была гипотеза о голограмме — зрительном восприятии пришельцами любого предмета с помощью отраженных световых волн? Такая фотозапись воспринимается как трехмерная и обладает всеми зрительными особенностями, присущими естественному ландшафту. Вчерашнее сообщение о покрашенных айсбергах в заливе Мелвилла у берегов Гренландии подтвердило гипотезу. Айсберги пометило красной датское экспедиционное судно «Королева Христина» на виду у сначущих по небу «всадников». Они шли на высоте нескольких километров, а с борта судна уже за сотню метров невооруженный глаз не мог обнаружить ни малейшего следа краски, тем не менее «всадники», спикировав, прежде всего смыли краску, а потом уже выловили из воды чистенький голубой лед. Так предположение о сверхзрении пришельцев стало научным фактом.

Не всякое воображение — предвидение, и не всякая гипотеза разумна. Мне хочется, например, отвести гипотезу католической церкви о том, что пришельцы якобы не живые существа, наделенные разумом, а искусственные создания наших братьев «по образу и подобию божию». По существу, это та же религиозная формула о боге, земле и человеке, в которой понятие «земля» расширяется до масштабов Вселенной. Философски это дань наивному антропоцентризму, которую легко опровергнуть даже на основании тех крупиц знаний, которые мы собрали о розовых «облаках». Если бы их создателями были гуманоиды, то, посылая в космическую разведку свои кибернетические создания, они, без сомнения, учли бы возможность встречи если не с братьями по разуму, то с братьями по облику. Соответственно запрограммированные, эти биороботы легко бы нашли с человечеством общий язык, и жизнь человеческая не оказалась бы для них такой загадкой. Нет, что бы ни утверждали теологи и антропоцентристы, мы столкнулись с другой формой жизни, нам неизвестной и пока еще непонятной. Вероятно, взаимно, но нам от этого не легче. Попробуйте ответьте, например, как живут у себя наши инопланетные гости, бессмертны ли они или только долгоживущи, и как долго и как далеко от нас? Как размножаются, как создают себе подобных, как организуют жизнь биологически и социально, в какой среде развиваются — жидкой или газообразной или вообще не нуждаются в ней, а живут сгустками энергии, огражденными от внешней среды силовыми полями. Я обращаюсь к вашему воображению, господа: попробуйте ответить! (Шум в зале, аплодисменты.) Вотум недоверия, кажется, отменяется, никто не гонит дерзкого фантаста с трибуны. Тогда, может быть, он продолжит? (Я вижу, как председатель машинально бросает взгляд на часы и рука его тянется к кнопке звонка. Но гул аплодисментов и выкрики на разных языках «Просим, просим!» тотчас же побуждает его благоразумно оставить кнопку в покое.)

— Выступая здесь, Борис Зернов привел образ человека и пчелы как пример двух несопоставимых форм жизни. Подстегнем воображение: а что, если перевернуть, опрокинуть пример? Встречается, скажем, суперцивилизация пчел и на тысячелетия отставшая от нее цивилизация человека. Наблюдатели уже отметили функциональное развитие в поведении пришельцев: одни режут лед, другие транспортируют его в космос, третьи фиксируют атомную схему модели, четвертые эту модель создают. Соответственно этому различны и структурные формы создателей: одни вытягиваются ленточной пилой, другие распускаются гигантским цветком, третьи располагаются багровым туманом, четвертые сгущаются в вишневый кисель. Напрашивается вопрос: а не рой ли перед нами, высокоразвитый рой существ с их обособленным функциональным развитием? Кстати, жизнь в улье и организована иначе, чем в жилых домах на нью-йоркской Парк-авеню или на Елисейских полях в Париже. И труд и отдых. Да нужен ли им отдых? Присуще ли им чувство прекрасного? Есть ли у них, скажем, музыка? Что им заменяет спорт? Еще раз повторяю: попробуйте ответить. Как в шахматах с подсчетом возможных вариантов. Трудновато, конечно? Да. Но ведь именно так делают гроссмейстеры.

А мне вот странно, почему гроссмейстеры от науки до сих пор не спросили себя о главном: зачем и нам прибыли гости? (Шум в зале.) У всех ответ наготове, знаю, знаю, даже два ответа. Одни — их примерно девяносто процентов — считают, что пришельцам зачем-то понадобился земной лед, возможно, уникальный по своему изотопному составу в окружающем космосе. Меньшинство во главе с Томпсоном полагает, что это разведка с агрессивными целями в будущем. Я лично считаю, что разведка уже была, мы просто ее проморгали. А сейчас прибыла мощная оснащенная экспедиция (настороженная тишина в аудитории, слышно только шипение репортерских магнитофонов) не завоевателей, нет, а ваших инопланетных коллег, господа, для изучения незнакомой им формы жизни. (Крики с мест: «А лед?!») Погодить, будет и лед. Это побочная операция. А главное, мы сами, высшая форма белковой жизни, замешанной на воде. Изучить эту жизнь здесь, на Земле, им что-то мешает. Может быть, внешняя среда, может быть, опасение ее нарушить. Что делать, с чего начать? С божьего промысла, с сотворения мира? (Шум в зале, кто-то истошно кричит: «Замолчите, богохульники!») Я не больший богохульник, чем отец кибернетики Винер. Когда-то такие, как вы, так же истошно кричали: «Это от дьявола! Он посягает на вторую заповедь! Не сотвори себе кумира и всякого подобия!» А сейчас вы конструируете роботов и создаете электронный мозг. Мысль создать модель нашей жизни во всем ее богатстве и сложности естественна для пришельцев, ибо что такое познание, как не моделирование с помощью мысли? А переход от мысленного моделирования к вещественному — только один шаг прогресса. Когда-нибудь и мы его сделаем, уже называют срок: будущее столетие. Так почему же сверхцивилизации пришельцев не достичь этого раньше, скажем, на тысячу лет?

Писатель умолк, выпил воды и задумался. Аудитория ждала. Никто не кашлял, не зевал, не шептался с соседями. Я не знаю лекции, которую бы слушали с таким уважительным вниманием.

— Если можно сделать модель жизни, можно унести ее с собой,— сказал он так тихо, что его не расслышали бы даже в трех шагах от стойки бара, но здесь никто не упустил даже интонации,— записать и восстановить где-то у себя поблизости, создав питательную среду для ее развития. Что нужно для этого? Искусственный спутник, астероид, планета, модель земной атмосферы и солнечной радиации. И главное, вода, вода, вода, без которой невозможна белковая жизнь. В этом и смысл переброски земного льда в количестве, достаточном для обводнения целой планеты. Вот тогда и возникнет в глубинах нашей, а может быть, и не нашей галактики новый мир — не повторение, а подобие нашего, но подобие с тончайшим портретным сходством, потому что все модели пришельцев безошибочны и точны. (Перебивающая реплика с места: «Космический зоопарк с человекообразными на свободе!») Конечно, там будут и такие, как автор этой реплики. (Смех в зале.) Но я бы поправил его: не зоопарк, а лаборатория. Или точнее: научный институт, где жизнь человеческая во всей сложности ее психических, бытовых и социальных аспектов станет предметом глубокого, бережного и осторожного изучения. Конечно, ее будут изучать — для этого и ставится опыт, но изучать, не мешая ее течению, изучать в развитии и движении вперед и, поняв это движение, быть может, помочь уточнить и ускорить его. Пожалуй, я все сказал. Это моя гипотеза. Хотите — оспаривайте: как всякую, рожденную воображением гипотезу, ее, конечно, легко опровергнуть. Но мне радостно думать, что где-то в далях Вселенной, может быть, живет и движется частица нашей жизни, пусть смоделированная, пусть синтезированная, но созданная для великой цели — сближения двух пока еще далеких друг от друга цивилизаций, основы которого были заложены еще здесь, на Земле. И если вернутся пришельцы, то вернутся уже понявшими нас, обогащенными таким пониманием, что-то сумевшими взять от нас и знающими, что дать нам на взаимном пути к совершенству.

Чуть сгорбившись, писатель сошел с трибуны. Его провожала тишина, более красноречивая, чем буря аплодисментов.

Окончание следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Фантастический роман

Фиолетовое пятно

Мне вырубили нечто вроде окопчика на самом краю ледяного плато, будто обрезанного гигантским ножом. Глянцевитый срез, отражавший голубое, без единого облачка небо, уходил вниз с высоты пятиэтажного дома. Собственно, то был даже не срез, а широкая, метров в триста в поперечнике ледяная выемка, подходившая вплотную к фиолетовому пятну.

В сплошной стене холодного голубого огня оно темнело, как вход. Не только снегоход, ледокол средней руки свободно прошел бы сквозь него, не задев неровных, пульсирующих его краев. Я прицелился камерой, потратив несколько метров пленки, и выключился. Пятно как пятно — никаких чудес!

Зато стена голубого огня превосходила все чудеса мира. Представьте себе зажженный на снегу синеватый огонь спиртовки, подсвеченный сзади лучами повисшего над горизонтом неяркого солнца. Блистающий огонек голубеет на свету, рядом с ним вздымается другой, дальше зменится третий, еще дальше четвертый, и все они не сливаются в плоское и ровное пламя, а примыкают друг к другу гранями какого-то удивительного пылающего кристалла. Теперь увеличьте все это в сотни и тысячи раз. Огни вымахают в километровый рост, загнутся внутрь где-то в бледно-голубом небе, сольются гранями в кристалл-гигант, не отражающий, а похищающий всю прелесть этого неяркого неба, утра и солнца. Напрасно кто-то назвал его октаэдром. Во-первых, он плоский снизу, а во-вторых, у него множество граней, неодинаковых и несимметричных причудливых хрустальных поверхностей, за которыми пылал и струился голубой газ.

— Нельзя глаз оторвать,— сказала Ирина, когда мы подошли по ледяному катку к голубому пламени. Подошли метров на тридцать — ближе не смогли: тело наливалось знакомой многопудовой тяжестью.— Голова кружится, как над пропастью.

Я смотрел на фиолетовое пятно и вспоминал вчерашний разговор Томпсона с Зерновым.

— Я же говорил вам, что это вход. Дым, газ, черт те что. Они прошли сквозь это цепочкой. Сам видел. А теперь прошли мы,— говорил Томпсон.

— Не вы, а направленная взрывная волна.

— Какая разница? Я показал им, что человек способен мыслить и делать выводы.

— Комар нашел отверстие в накомарнике и укусил. Разве это доказательство его способности мыслить и делать выводы?

— Попробуем другое.

— Что именно? Они не чувствительны ни к бета-, ни к гамма-лучам.

— А лазер или водомет? Обыкновенный гидромонитор. Уже сама по себе смена средств проникновения сквозь фиолетовое пятно заставит их призадуматься. А это уже контакт. Или по крайней мере преамбула.

Гидромонитор Томпсона подвели почти вплотную к «пятну» — между ними было не более пятнадцати метров: видимо, силовое поле в этом микрорайоне бездействовало. С моей съемочной площадки на верху плато гидромонитор напоминал серую кошку, приготовившуюся к прыжку.

Я тоже приготовился, нацелив камеру. Внимание, начали! Сверкнувшая сабельвидная струя пробила газовую завесу «пятна», не встретив никакого сопротивления, и пропала за ней. Через полминуты струя сместилась и рассекла фиолетовый мираж наискось.

Так продолжалось минуты две, не больше. Затем вдруг «пятно» медленно поползло вверх, как муха по голубой занавеске. Струя водомета, наткнувшись на ее сияющую синеву, раскололась. Мгновенно у голубого пламени закружился яростный водяной смерч.

Я продолжал снимать. Но вскоре перестал работать водомет. Томпсон, видимо, решил закончить эксперимент. А «пятно» все ползло и ползло, пока не исчезло где-то наверху, за гигантскими голубыми языками.

Окончание. Начало см. №№ 7—12.

То было одно из моих самых сильных впечатлений в Гренландии. А впечатлений было много. На всю жизнь я запомнил гостеприимный аэропорт в Копенгагене, многослойные датские бутерброды и броские краски Гренландии, открывшейся нам с воздуха,— белизна ледникового плато на севере, черный цвет плоскогорья на юге, где лед соскоблили, темно-красные уступы прибрежных гор и синева моря, переходящая в тусклую зелень фиордов, когда мы уже плыли на шхуне на север, в Уманак.

Ни в рейсе, ни в Уманаке пришельцев мы не обнаружили. Они побывали здесь раньше и ушли, вырезав во льду идеальный трехсотпятикилометровый ледяной канал в глубь материкового плато. Как будто они знали, что мы пойдем по их следам из Уманака. Нас ожидало роскошное ледяное шоссе, шире всех асфальтовых магистралей мира, и вездеход, заказанный в Дюссельдорфе. Экипаж был наш, антарктический, но сам вездеход был и меньше «Харьковчанки» и не обладал ни ее ходом, ни выносливостью.

— Еще намучаемся с ним, увидишь. Час вперед, два на месте,— сказал Вано, только что получивший радиограмму из штаба Томпсона о том, что два других снегохода экспедиции, вышедшие на сутки раньше, до сих пор не прибыли к месту назначения.— А погодка подходящая. Тепло.

— Линия циклонов сместилась,— пояснил Толька,— снега нет, ветер южный. Не скули, без приключений доедем.

Но приключения начались уже через три часа после старта. Нас остановил вертолет, посланный Томпсоном навстречу: адмирал нуждался в советниках и хотел ускорить приезд Зернова. Вертолет привел Мартин.

То, что он рассказал, показалось фантастичным даже для нас, уже приученных к фантастике «всадников ниоткуда».

На этом же вертолете он совершал облет голубых протуберанцев, плотно смыкавшихся наверху. Розовые облака появились, как всегда, неожиданно и неизвестно откуда. Они прошли над Мартином, не обратив на него никакого внимания, и скрылись в фиолетовом кратере. Туда и направил свою машину Мартин.

Он снизился к фиолетовой площадке и не нашел никакой опоры. Вертолет опустился все ниже и ниже, свободно пронизывая лилово-серую облачную среду. Минуты две не было видимости, а затем вертолет Мартина очутился над городом, над большим современным городом, только как бы с обрезанным горизонтом. Голубой купол неба как бы прикрывал его выпуклой крышкой. Что-то знакомое показалось Мартину в облике города. Он чуть снизился и повел машину вдоль центральной его артерии, пересекающей город наискось, и тотчас же узнал ее: Бродвей. Догадка показалась ему настолько чудовищной, что он зажмурился. Открыл глаза: все по-прежнему. Вот Сорок вторая улица, за ней вокзал, чуть ближе Таймс-сквер, левее ущелье Уолл-стрита, даже церковка видна, знаменитая миллионерская церковь. Мартин повернул было к морю — не вышло: что-то помешало ему, отвело вертолет. И тут он понял, что не он ведет его и выбирает направление, а его самого ведут и направляют невидимые глаза и руки. Еще минуты три его вели над рекой, казалось, срезанной куполом неба, протащили над кронами Центрального парка и тут начали подымать или, вернее, выталкивать сквозь бесплотную пробку. Так он очутился вместе с машиной в нормальном небе над скрытым в голубом пламени городом и тотчас же почувствовал, что вертолет снова послушен и готов к повиновению.

Мы жадно слушали, не перебивая рассказчика ни единым словом. Потом Зернов, подумав, спросил:

— Вы хорошо все видели? Не ошиблись? Не спутали?

— Нью-Йорк не спутаешь. Но почему Нью-Йорк? Они даже близко к нему не подходили.

— Может быть, ночью?— предположил я.

— Зачем?— возразил Зернов.— Мы уже знаем модели, созданные по зрительным образам, по отпечаткам в памяти. Вы детально знаете город?— спросил он Мартина.

— Я там родился.

— Сколько раз бродили по улицам?

— Разве сосчитаешь?..

— Ну вот, бродили, смотрели, привыкали. Глаз фиксировал, память откладывала отпечаток в кладовку. Они просмотрели, отобрали и воспроизвели.

— Значит, это мой Нью-Йорк, каким я его видел?

— Не убежден, они смогли смоделировать психику многих ньюйоркцев. В том числе и вашу. Есть такая игра джиг-со, знаете?

Мартин кивнул.

— Из множества кусочков разноцветной пластмассы собирают ту или иную картину, портрет, пейзаж, натюрморт,— пояснил нам Зернов.— Так и они: из тысячи зрительных образов монтируется нечто, существующее в действительности, но виденное и запечатленное разными людьми по-разному. Я думаю, что Манхеттен, воссозданный в голубой лаборатории пришельцев, не совсем настоящий Манхеттен. Зрительная память редко повторяет что-либо буквально, она творит. А коллективная память — это, в свою очередь, материал для сотворчества: джиг-со.

После рассказа Мартина все уже показалось мне пресным, пока я не увидел и не запечатлел на пленке голубые протуберанцы и фиолетовое «пятно». Новый эксперимент пришельцев был так же необычен и так же трудно объясним, как и все их прежние фокусы. С такими мыслями я возвращался в лагерь.

А навстречу уже бежала чем-то взволнованная Ирина.

— К Томпсону, Юрка! Адмирал созывает всех участников экспедиции.

Джиг-со

Мы оказались последними из явившихся и сразу почувствовали атмосферу любопытства и настороженности. Экстренный, даже чрезвычайный характер заседания, назначенного сейчас же вслед за экспериментом, свидетельствовал о колебаниях Томпсона. Обычно склонный и единоличным решениям, он не слишком заботился о коллегиальности. Теперь он, по-видимому, решил узнать мнение большинства.

— Эксперимент удался,— начал без предисловий Томпсон.— Фиолетовый вход уже передвинут на верхние грани купола. В связи с этим я попробую применить кое-что новое. Сверху, с воздуха.

— Бомбу?— спросил кто-то.

— Не говорите глупостей. Мне нужны парашютисты.

Наступило молчание. Сам Томпсон не предусмотрел такой необходимости и не включил в состав экспедиции ни одного парашютиста.

— Я бы прыгнул,— сказал Мартин.— Но кто поведет машину?

Томпсон недовольно пожевал губами. Он всегда это делал, когда сдерживал накипающее раздражение.

— Даже если бы имелся другой пилот, я не послал бы Мартина. То, что он видел, мне представляется направленной галлюцинацией. Гипномиражем. Поэтому сейчас мне нужен другой человек, с другой психикой.

Мы переглянулись. Зернов полностью исключался. Вано повредил руку во время последней поездки. Я покидал самолет в воздухе только два раза в жизни, но без особого удовольствия.

— Я прыгал с вышки,— сказал Дьячук,— но могу рискнуть.

— Я тоже,— присоединилась Ирина.

— Не лезь поперед батьки в пекло,— оборвал я ее.— Операция не для девушек.

Терпеливо пережидавший нашу перепалку Томпсон поинтересовался предметом спора.

— Сформирована группа,— отчеканил я.— Будут прыгать двое: Дьячук и Анохин.

— Я не ошибся в вас,— улыбнулся адмирал.— Человек с характером. Именно то, что мне нужно. Двое — еще лучше.— Он оглядел присутствующих.— Вы свободны, господа.

Перед полетом нас проинструктировали:

— Самолет поднимется до двух тысяч метров, зайдет с северо-востока и снизится к цели до трехсот метров над выходом. Опасности никакой: под ногами только воздушная пробка. Пробьете ее — и готово.

Адмирал оглядел каждого из нас и, словно в чем-то усомнившись, прибавил:

— А боитесь — можете отказаться. Я не настаиваю.

Я взглянул на Тольку. Тот на меня.

— Старик психует,— сказал по-русски Толька,— уже снимает с себя ответственность. Ты как?

— Железно.

Адмирал молча ждал, вслушиваясь в звучание незнакомого языка.

— Обменялись впечатлениями,— сухо пояснил я.— К полету готовы.

Самолет взмыл с ледяного плато, набрал высоту и пошел на восток, огибая пульсирующие протуберанцы. Потом, развернувшись, круто рванул назад, все время снижаясь. Внизу опасно голубело море бушующего, но негреющего огня. Фиолетовый вход был уже отлично виден — неровная заплата на голубой парче — и казался плоским и твердым, как земля.

— Не робейте,— посочувствовал Мартин.— Не расшибетесь. Что-то вроде пивной пены, чем-то подкрашенной.

Мы прыгнули. Первым Толька, за ним я. Я видел, как он вошел в фиолетовый кратер, словно провалился. А что там, за мутной газовой занавеской,— лед, тьма, смерть от удара или удушья? Я погрузился во что-то темное, не очень ощутимое, не имеющее ни температуры, ни запаха. Только лиловый цвет сменился знакомо красным.

И вдруг, как удар в глаза, голубое небо и город внизу, сначала неясный, едва различимый в туманной сетке, потом она разошлась, и город приблизился, видимый все более отчетливо. Почему Мартин назвал его Нью-Йорком? Я не был там, не видел его с самолета, но по кинохронике представлял себе, как он выглядит. Этот выглядел иначе: не было тех знакомых по фотографиям примет — ни статуи Свободы, ни Эмпайр-билдинга, ни ущелий с утесами небоскребов. Нет, это был совсем другой город, гораздо более знакомый и близкий.

Подо мной, как гигантская буква «А», построенная в трехмерном пространстве, подымалась ажурная башня Эйфеля. Мимо нее вправо и влево загибалась кривой дугой лента Сены. Для многих с высоты птичьего полета все реки представляются голубыми, даже синими, а мне всегда — зелеными. И эта зеленая Сена загибалась вправо к Иври и влево к Булони. Взгляд сразу нащупал Лувр и вилку реки, зажавшую остров Сите. Дворец Юстиции и Нотрдам показались мне сверху двумя каменными кубиками, но я узнал их. Узнал и Триумфальную арку на знаменитой площади, от которой тоненькими лучиками расходился добрый десяток улиц.

— Соврал Мартин,— сказал Толька.— Какой же это Нью-Йорк?

Я оглянулся и увидел его, висевшего рядом в двух метрах на туго натянутых стропах своего парашюта. Именно висевшего, а не падавшего, не плывущего и влекомого ветром, а неподвижно застывшего в таком же странном неподвижном воздухе. Я говорю: в воздухе,— потому что дышалось свободно и легко, как в Приюте одиннадцати у вершины Эльбруса.

— Нет,— сказал я.— Не соврал.

— А что ты видишь?

— По Эйфелевой башне можно судить, что.

— А все-таки это не Париж. Федот, да не тот,— сказал Толька.

— Глупости.

— А где горы в Париже? Пиренеи далеко, Альпы тоже. А это что?

Я взглянул направо и увидел цепь лесистых склонов, увенчанных каменными рыжими пиками в снежных шапках.

— Может быть, это здешние, гренландские?— предположил я.

— Мы внутри купола. Никаких гор кругом.

Я еще раз взглянул на горы. Между ними и куполом тянулась синяя полоска воды. Озеро или море?

— Как эта игра называется?— вдруг спросил Толька.

— Какая игра?

— Ну, когда из кусочков что-то клеят. Вроде конструктора.

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО, Г. НОВОЖИЛОВА**

— Джиг-со.

— Сколько одной прислуги в отеле, не считая постояльцев?— размышлял Толька.— Человек тридцать. Разве все парижане? Кто-нибудь наверняка из Гренобля. Или откуда-нибудь, где горы и море. У каждого свой Париж пополам с Пошехоньем. Если все это склеить, модели не будет. Не тот Федот.

Он повторил предположение Зернова, но я все еще сомневался. Значит, игра в кубики? Сегодня построим, завтра сломаем. Сегодня Нью-Йорк, завтра Париж. Сегодня Париж с Монбланом, завтра с Фудзиямой. А почему бы и нет? Может быть, в этой лаборатории идут поиски типического в нашей земной жизни? Может быть, это типическое здесь выверяется и уточняется? Может быть, «не тот Федот» для них именно тот, которого они ищут?

— А почему мы не падаем?— вдруг спросил Толька.

— А тебе знакомо явление невесомости?

— В невесомости плаваешь. А я двинуться не могу. И парашют как деревянный. Что-то держит.

— Не что-то, а кто-то. Гостеприимные хозяева дают урок вежливости незваным гостям.

— Чушь зеленая! — сказал Толька и замолчал, потому что нас вдруг сорвало будто внезапно налетевшим порывом ветра и понесло над Парижем. Сначала мы снизились метров на двести. Город еще приблизился и стал отчетливее. Заклубились черные с проседью дымки над фабричными трубами. Самоходные баржи на Сене стали отличимы от пестрых катеров, как обувные коробки от сигаретных пачек. Червячок, медленно ползущий вдоль Сены, превратился в поезд на подъездных путях к Лионскому вокзалу, а рассыпанная крупа на улицах — в цветную мозаику летних костюмов и платьев. Потом нас швырнуло вверх, и город опять стал удаляться и таять. Толька взлетел выше и сразу исчез вместе с парашютом в сиреневой пробке. Через две-три секунды окунулся в нее и я, а затем мы оба, как дельфины, подпрыгнули над гранями голубого купола, причем ни один из парашютов не изменил своей формы, словно их все время поддували неощутимые воздушные струи, и нас понесло вниз к белому полотну ледника.

Мы приземлялись медленнее, чем при обычном прыжке с парашютом, но Толька все же упал, и его поволокло по льду. Пока я освободился от строп и поспешил помочь ему, и наш уже бежали из лагеря, и впереди всех — Томпсон. В расстегнутой куртке и канадских шнурованных сапогах, без шапки, с коротким ежиком седины, он напоминал старого тренера — таких я видел на последней зимней олимпиаде.

— Ну как?— спросил он с привычной повелительностью манеры и тона.

— Нормально,— сказал я.

— Мартин уже сигнализировал, что вы оба благополучно вышли из пробки.

Я молча пожал плечами. Зачем они держали в воздухе Мартина? Чем бы он нам помог, если бы мы неблагополучно вышли из пробки?

— Что там?— наконец спросил Томпсон.

— Джиг-со,— сказал я.

Шарм

Мы возвращались в Уманак на вездеходе. Адмирал с аппаратурой, которую можно было погрузить на самолет, уже вылетел в Копенгаген.

Там и состоялась его последняя пресс-конференция. Мы слушали ее в радиорубке вездехода и сохранили в магнитофонной записи. Вот она. Все возгласы, шум и смех и несущественные реплики с места мы вырезали, оставив только вопросно-ответный костяк.

«— Может быть, командор сделает сначала официальное заявление?

— Оно будет кратким. Экспедиция не удалась. Не удалось определить ни физико-химическую природу голубого свечения, ни сущность явлений внутри него — я имею в виду пространство, ограниченное протуберанцами.

— Почему?

— Силовое поле, окружающее площадь свечения, оказалось непроницаемым для нашей техники.

— В печать, однако, проникли сведения о его проницаемости.

— Что вы имеете в виду?

— «Фиолетовое пятно».

— Мы видели несколько таких «пятен». Они действительно не защищены силовым полем.

— Только видели или пытались пройти?

— Пытались. И даже прошли. В первом случае — направленная взрывная волна, во втором — сверхскоростная струя водомета. В третьем — люди.

— Почему Мартин отказывается давать интервью? Откройте тайну.

— Никакой тайны нет. Просто я запретил разглашение сведений о нашей работе.

— Кто, кроме Мартина, сумел проникнуть за пределы голубого свечения?

— Двое русских. Кинооператор и метеоролог.

— Каким образом?

— На парашютах.

— А обратно?

— Тоже.

— С парашютом прыгают, а не взлетают. Может быть, они воспользовались помощью с вертолета?

— Они не воспользовались помощью с вертолета. Их остановило, выбросило и приземляло силовое поле.

— Что они видели?

— Спросите у них, когда состав экспедиции будет распущен. Я думаю, что все, виденное ими,— шушенский сыр.

— С какой целью?

— Не знаю.

— Нам известно, что летчик видел Нью-Йорк, а русские — Париж. Кое-кто предполагает, что это действительная модель, как и Сэнд-сити.

— Мое внимание вы уже слышали. А кроме того, площадь голубого свечения не столь велика, чтобы построить на ней два таких города, как Нью-Йорк и Париж.

КОММЕНТАРИЙ ЗЕРНОВА. Мистер Томпсон не точен. Имеется в виду не постройка, а воспроизведение зрительных образов, какие пришельцам удалось записать. Как в монтажной съемочной группы. Что-то отбирается, просматривается и подгоняется. А нашим ребятам и Мартину просто повезло: их пустили в монтажную с черного входа».

Так мы коротали часы по дороге в Уманак, самой удивительной дороге в мире. Таких машин нет, чтобы создать столь идеальную плоскость дороги. Но вездеход все-таки стал. Отказала гусеница, или что-то заело в моторе. Вано не объяснил. Только буркнул: «Говорил, наплачемся». Прошел час, давно уже ушли вперед и наш коллега-вездеход и его санный хвост, а у нас все еще продолжался ремонт. Моих спутников, однако, это не раздражало: все работали. Зернов — над какими-то записями. Ирина — над корреспонденцией для женского журнала. Толька вычерчивал одному ему понятные карты, испещренные витками и стрелочками, лишь я шагал как неприкаянный, всем мешая. Наконец меня просто выставили — погулять и поснимать что-нибудь для потомства.

Я вышел с камерой. Что там снимать, кроме последнего льда на Земле? Но все-таки вышел. Вано с предохранительным щитком на лице сваривал лопнувшие звенья гусеницы. Я посмотрел назад, вперед и вдруг заинтересовался. Примерно на расстоянии километра перед нами посреди безупречного ледяного шоссе торчало что-то большое и ярко-красное, похожее на поджавшего ноги мамонта, если бы водились мамонты с такой красной шкурой.

Я подошел к Вано.

— Будь другом, посмотри на дорогу.

Он посмотрел.

— А на что смотреть? На рыжий камень?

— Он не рыжий, а красный.

— Здесь все камни красные.

— Сюда ехали, его не было.

Вано посмотрел еще раз, но не заинтересовался. Тогда я решил подойти поближе. Сначала этот предмет не вызывал никаких ассоциаций, но я все силился что-то вспомнить, приближаясь к нему. Бывает так, что забудешь что-то очень знакомое, мучительно пытаешься вспомнить и не можешь.

Передо мной почти поперек ледяной дороги стояла пурпурная «Харьковчанка», наш знаменитый антарктический снегоход. И самым удивительным и, пожалуй, самым страшным оказалось то, что это был именно наш снегоход с продавленным передним стеклом и новеньким снеговым зацепом на гусенице. Именно та «Харьковчанка», на которой мы ушли на поиски «розовых облаков» и которая провалилась в трещину, а потом раздвоилась у меня на глазах. И тут я впервые по-настоящему испугался: для чего мы опять понадобились «облакам»? Осторожно, вернее, настороженно, обошел машину: все было воспроизведено с привычной стереотипной точностью. Металл и на ощупь был металлом, трещины на проявленном плексигласе были совсем свежими, и внутренняя изоляционная обшивка двери чуть-чуть выпирала внизу: дверь была не заперта. Я даже угадывал, что там увижу: мою меховую кожанку на вешалке, лыжи в держателях и мокрый пол: ребята только что наследили. А полуприкрытая внутренняя дверь будет привычно поскрипывать: холодный воздух из тамбура начнет просачиваться в кабину.

Все так и произошло, повторив когда-то запомнившееся. И дверь в кабину снова дрожала, и снова я колебался, входить или не входить, сохло во рту и холодели пальцы.

— Жми, не робей,— услышал я из-за двери,— не у зубного врача, сверлить не буду.

Голос был знакомый, мой голос.

Я толкнул дверь и вошел в салон кабины, где обычно работал Толька и где я очнулся на полу после катастрофы на антарктическом плато. За столом сидел мой двойник и сиял зубы. Он откровенно веселился, чего нельзя было сказать обо мне. Если подумать и присмотреться повнимательнее, я бы сразу сказал, что это другой, не тот, которого я нашел тогда в бессознательном состоянии в кабине дублированного пришельцами снегохода. Сейчас это была моя современная модель, скопированная, вероятно, в те недолгие минуты, когда я с парашютом пробивал в голубом куполе не то фиолетовую, не то багровую газовую занавеску. Комбинезон, в который я был тогда облачен, валялся тут же, небрежно брошенный на соседний диванчик. Все это я заметил уже позже, когда отравился от страха и удивления, а в первую минуту просто подумал, что повторяется с неизвестно какими целями уже когда-то виденный в Антарктиде спектакль.

— Садись, друже,— сказал он, указывая на место напротив.

Я сел. На мгновение мне показалось, что передо мной зеркало, за которым сказочная страна-зазеркалье, где живет мой оборотень, менее «анти-я». «Для чего он воскрес?— подумал я.— Да еще вместе с «Харьковчанкой»?»

— А где же мне жить, по-твоему?— спросил он.— Кругом лед, а квартиры с электроотоплением пока не предоставили.

Страх мой прошел, осталась злость.

— А зачем тебе жить?— сказал я.— И на каком складе тебя держали, прежде чем опять воскресить?

Он хитренько прищурился — ну, совсем я, когда ощущаю над кем-то свое физическое или интеллектуальное превосходство.

— Кого воскресить? Пугливого дурачка, чуть не свихнувшегося оттого, что узрел свою копию? Нет, старик, теперь я твоя усовершенствованная модель, более совершенная, чем эта камера по сравнению со съемочным аппаратом Люмьера.

Он положил руку на стол. Я потрогал ее: человек ли он?

— Убедился? Только умнее сконструированный. Я приберег свой козырной туз. Сейчас сыграю.

— Подумаешь, супермен! Тебя сконструировали во время моего прыжка с парашютом. Знаешь все, что было со мной до этого. А после?

— И после. Хочешь, процитирую твой разговор с Томпсоном после приземления? О джиг-со. Или с Вано — о красном камне?— Он хохотнул.

Я молчал, возбужденно подыскивая хоть какое-нибудь возражение.

— Не найдешь,— сказал он.

— Ты что, мои мысли читаешь?

— Именно. В Антарктиде мы только догадывались о мыслях друг друга, вернее, о помыслах. Помнишь, как убить меня хотел? А сейчас я знаю все, что ты думаешь. Мои нейронные антенны просто чувствительнее твоих. Отсюда я знаю все, что было с тобой после приземления. Ведь я — это ты плюс некоторые поправки к природе. Нечто вроде дополнительных релейных элементов.

Я не испытывал ни изумления, ни страха — только азарт проигрывающего игрока. Но у меня оставался еще один козырь, вернее, я надеялся, что это козырь.

— А все-таки я настоящий, а ты искусственный. Я человек, а ты робот. И я живу, а тебя сломают.

Он ответил без всякой бравады, как будто знал что-то, нам неизвестное:

— Сломают или не сломают — об этом потом,— и прибавил с насмешливой м о е й интонацией: — А кто из нас настоящий и кто искусственный — это еще вопрос. Давай зададим его нашим друзьям. На пари. Идет?

Суперпамять и субзнание

Оставив куртки на вешалке, мы вошли в кабину нашего гренландского вездехода, одинаковые, как киноблизнецы в исполнении одного актера. И как раз к обеду. Ирина, вся в белом, словно в операционной, разливала суп.

— Где ты пропадал?— не глядя, спросила она. Затем подняла голову и уронила половник.

Наступило затянувшееся молчание с оттенком почти зловещей суровости. Моего «анти-я» это, однако, ничуть не смутило.

— А ведь это был совсем не камень, Вано, а знаешь что?— сказал он до такой степени моим голосом, что я вздрогнул, словно впервые его услышав.— Наша «Харьковчанка» из Мирного. Тот самый снегоход-двойник, который ты видел, а я заснял. Можете полюбоваться — он и сейчас там стоит. А этот притворяется,— он ткнул в меня пальцем,— преспокойно сидел в кабине и нас дожидался.

Я буквально онемел от такого нахальства. Ну совсем сценка из Достоевского: оболваненный господин Голядкин и его прыткий двойник. Я даже возразить не успел, как четыре пары дружеских глаз уставились на меня совсем не дружески.

Первым опомнился Зернов.

— Раз вы пришли к обеду, будьте гостем,— сказал он, глядя на меня.— Ситуация не новая, но занятная.

— Борис Аркадьевич,— взмолился я,— почему «вы»? Ведь это он двойник, а не я. Мы просто пари заключили, отличите вы нас или нет.

Зернов молча оглядел обоих, несколько дольше задержался взглядом на мне, потом сказал:

— Закономерная загадочка. Как две спички из одной коробки. Так признавайтесь, кто же из вас настоящий?

— Даже обидно,— сказал я.

— А ты не обижайся,— произнесло мое отражение,— оба настоящие.

Мне показалось, что какая-то искорка мелькнула в глазах Зернова, когда он обернулся и говорившему.

— У меня даже аппетит пропал,— сказал я.— А на второе опять треска?

Надо же было сказать такое! Нападение последовало немедленно: «анти-я» не терял времени.

— Ну вот и рассуди, Ирок, кто из нас Юрка Анохин? Кто заказывал тебе утром салат из консервированного горошка?

И действительно говорил ей об этом. И забыл. И только увидел, как Ирина благодарно взглянула на моего визави. Матч складывался явно не в мою пользу.

— А мы сейчас проверку сделаем по одному известному методу,— проговорил Зернов, снова и снова присматриваясь к обоим.

— Не выйдет,— сказал я с сердцем,— он все знает, что я делал и думал в этот проклятый промежуток от сотворения до появления. Он сам сказал, что его нейронные антенны неизмеримо чувствительнее моих.

— Это ты сказал,— вмешался «анти-я».

Мне захотелось выплеснуть ему в рожу остывший суп, который так и не лез в горло. И зря не выплеснул, потому что он еще метнул реплику:

— Между прочим, двойники не едят. У них нет пищеварительного тракта.

— Врете, Анохин,— сказал Зернов. Сейчас он с нами обоими говорил на «вы».

— Так вы же не проверяли, Борис Аркадьевич,— не растерялся «анти-я»,— мы многое не проверяли. Например, память. Так ты говоришь, твои антенны чувствительнее,— обернулся ко мне мой мучитель.— Проверим. Помнишь олимпиаду девятых классов по русской литературе?

— При царе Косаре?— съязвил я.

— Вот я на царе и засыпался. На каком, помнишь? Третья цитатка.

Я не помнил ни первой, ни второй, ни третьей. Какой царь? Петр? Из «Медного всадника»?

— Плохо работают антенночки: из «Полтавы», господин Голядкин.

Читает мои мысли, интригует: проигрываю. Неужели я действительно все забыл?

— Спроси его, Толя, о чем-нибудь полегче. Пусть вспомнит,— сказал он.

Толька подумал и спросил:

— Наш разговор о муссонах помнишь?

Разве мы разговаривали о муссонах? Я о них понятия не имею. Ветры какие-то.

— Ты у меня спроси,— торжествовал другой господин Голядкин,— я сказал, что с детства путаю муссоны с пассатами.

И вдруг в разгар его торжества Ирина, задумчиво посмотрев на меня, сказала:

— А ты ужасно похож на него, Юрка. Так похож — даже страшно.

Ведь бывает же иногда в матчах, когда захудалый, презираемый всеми игрок вдруг забивает под планку решающий гол. Болельщики на трибунах даже не аплодируют. Они, выпучив глаза, разглядывают «чудо». Так смотрели на меня четыре пары снова дружеских глаз.

Теперь «анти-я» не парировал удара, он выжидал. Очень спокойно и, как мне показалось, даже безразлично к тому, что последует. Неужели у меня такие же холодные, пустые глаза?

— Я лично давно уже догадался, кто из них наш Юрка,— обернулся к Ирине Зернов.— Но любопытно, что убедило вас?

— Память,— откликнулась Ирина.— Человек не может все помнить. Несущественное почти всегда выпадает, стирается, тем более что Юрка вообще «забудька». А этот все помнит. Какие-то дурацкие олимпиады, разговоры, цитаты. Нечеловеческая память.

«Анти-я» опять промолчал. Он смотрел на Зернова, словно знал, что именно тот нанесет ему последний, неотразимый удар.

И Борис Аркадьевич не промахнулся.

— Меня убедила одна его фраза.— Он только локтем показал на моего визави.— «Мы оба настоящие». Помните, наш Юрка и вообще никто из нас никогда бы так не сказал. Каждый был бы убежден в том, что настоящий — это он, а двойник — модель, синтезация. Наши антарктические двойники, смоделированные очень точно, рассуждая бы так же: они ведь не знали, что они только модель человека. А один из этих двух знал. И то, что он модель, и то, что модель, по существу, неотличима от человека. Только он и мог так сказать: «Мы оба настоящие». Только он.

Раздались хлопки, аплодировал «анти-я».

— Браво, Борис Аркадьевич! Анализ, достойный ученого. Возразить нечего. Я действительно модель, только более совершенная, чем вы, сотворенная природой. Я уже говорил это Юрке. Я свободно принимаю импульсы его мозговых клеток, проще говоря, знаю все его мысли и таким же образом могу передавать ему свои. И память у меня тоже не ваша, не человеческая. Ирина сразу поняла это: здесь я тоже промахнулся, не сумел скрыть. Я действительно в точности помню все, что делал, говорил и думал Анохин все годы его жизни — и в детстве, и вчера, и сегодня. И не только. Я помню все, что прочитал и услышал он за последнее время, иначе говоря, всю полученную и обработанную им информацию о «розовых облаках» и об отношении человечества к их появлению и поведению. Я знаю наизусть все проштудированные Анохиным газетные вырезки о Парижском конгрессе, могу процитировать от слова до слова любое выступление, реплику или разговор в кулуарах, каким-либо образом дошедший до Анохина. Я помню все его беседы с вами, Борис Аркадьевич, и в реальной действительности и в синтезированном мире. И самое главное, я знаю, зачем понадобилась моя суперпамять и почему она связана со вторичной синтезацией Анохина.

Теперь я смотрел на него почти с благодарностью. Мучитель исчез, появился друг, собеседник, проводник в незнаемое.

— Значит, вы с самого начала знали, что синтезированы? — спросил Зернов.

— Конечно.

— Знали, когда и как?

— Не совсем. С первого мгновения, как я очнулся в кабине «Харьковчанки», я уже был Анохиным, но знал и о том, что он существует помимо меня, и о том, что отличает нас друг от друга. Я был запрограммирован иначе и с другими функциями.

— Какими?

— Прежде всего явиться и рассказать вам.

— О чем?

— О том, что вторичная синтезация Анохина связана с полученной и обработанной им информацией об отношении человечества к феномену «розовых облаков».

— Почему для этой цели был избран Анохин?

— Может быть, потому, что он был первым, чей психический мир изучен пришельцами.

— Вы сказали «может быть». Это ваше предположение?

— Нет, оговорка. Я это знаю.

— От кого?

— Ни от кого. Просто знаю.

— Что значит «просто»? Из каких источников?

— Они во мне самом. Как наследственная память. Я многое знаю вот так, ниоткуда. О том, что я модель. О своей суперпамяти. О двух Анохиных. О том, что я должен сохранить и передать всю полученную им информацию.

— Передать кому?

— Не знаю.

— Пришельцам?

— Не знаю.

— Не могу разобраться в ваших «знаю» и «не знаю».— Тон Зернова уже приобретал оттенки несвойственного ему раздражения.— Давайте без мистики.

— Какая же это мистика! — снисходительно усмехнулся «анти-я».— Знание — это качество и количество полученной и переработанной информации. Мое знание запрограммировано, вот и все. Я бы назвал его субзнанием.

— Может быть, подсознанием?— поправил Зернов.

Но двойник отклонил поправку:

— Кто знает процессы, происходящие в подсознании? Никто. Мое знание неполно, потому что исключает источники, но это знание. Что такое субсветовая скорость? Почти световая. Так и мое субзнание — нечто противоположное суперпамяти.

— А что вы знаете кроме того, что вы модель?— вдруг спросила Ирина.

Мне показалось, что я в зеркале улыбнулся с этакой пижонской развязностью. Но это был он, конечно. И ответил он в той же манере:

— Например, то, что я влюблен в вас не меньше Юры Анохина.

Все засмеялись, кроме меня. Я покраснел. Почему-то я, а не Ирина.

А она продолжала:

— Синтезированная любовь.

Последовало молчание.

— Вы же пустышка! — не без жалости в голосе сказала Ирина.— Они дунут — и вас нет.

— Но я что-то предчувствую... что-то знаю совсем иное.

— О чем?

— О моей жизни за пределами психики Юры Анохина.— Мой двойник впервые мечтательно, может быть, грустно даже, о чем-то задумался.— Иногда мне кажется, что она есть. Как многое из того, что запрограммировано. Например, уверенность в том, что самым близким к истине было выступление писателя-фантаста на Парижском конгрессе. Или, например, убежденность, что догадка Зернова о контактах верна. И еще ощущение, что нас все-таки не совсем понимают,— я говорю «нас», как человек, не сердитесь, я ведь не «розовое облако»,— ощущение, что многое в нашей жизни и в нашей психике еще остается для них неясным, требует изучения, что изучение будет продолжаться. Не спрашивайте, где и как,— не знаю. Не спрашивайте, что делается под куполом,— не видел. Вернее, видел глазами Анохина. Я твердо знаю одно: как только выскажу все это вам, запрограммированные функции выключатся. Извините за терминологию: я не кибернетик. И тогда меня позовут.— Он улыбнулся.— Уже зовут. Прощайте.

— Я провожу тебя,— сказал я.

— И я,— присоединился Вано.— Хочется на «Харьковчанку» взглянуть.

— Ее уже нет.— Юрий Анохин-второй отворил дверь в тамбур.— Не провожайте. То, что со мной произойдет, вы знаете: Юра это уже засиял.— Он грустно улыбнулся.— Я пока еще человек, и мне, пожалуй, было бы неприятно такое любопытство.

Он вышел и уже из-за двери помахал мне рукой.

— Не сердись, старик, за мистификацию. А разговор с тобой мы еще продолжим. Сколько успеем,— усмехнулся он и скрылся за дверью.

На века!

Никто не понял его последних слов и не решался заговорить после его ухода. Дыхание смерти, где-то поджидавшей на ледяной дороге, казалось, проникло и к нам. Что ни говори о моделировании и синтезации, а он все-таки был человеком!

— Жалко,— вздохнул наконец Толька,— наверно, они уже летят...

— Брось,— остановила его Ирина,— не надо.

Но молчать уже не хотелось.

— А я тебя поначалу и не узнал, Юрка,— смущенно признался Вано.— Мне тот посмышленее показался.

— Всем показался,— ввернул Дьячук не то иронически, не то восхищенно.— Память, как у библиотеки. С такой памятью жить да жить!

«А ему, наверно, очень хотелось жить».

Я подумал, он ответил:

— А я полено, по-твоему? Мне и сейчас очень хочется жить.

Все прозвучало у меня где-то в сознании. Я не сочинял, не придумывал, не воображал. Я слушал.

— А где ты сейчас? — также мысленно спросил я его.

— На ледяном шоссе. Кругом белым-бело. А снега нет.

— Страшно?

— Это не не смерть, а переход в другое состояние. Как сон.

— Сон проходит. А у тебя?

— И у меня.

— Думаешь, вернешься?

— Когда-нибудь да.

— А если не уходить?

— Не могу.

— А ты взбунтуйся.

— Это сильнее меня, старик.

— Какой же ты человек после этого? Нет свободы силы воли? Нет.

— Пока нет.

— Что значит «пока»?

— Ты что шепчешь, Юрка, стихи?

Я, должно быть, пошевелил губами, потому Ирина и спросила:

— Чьи стихи — твои?

Пришлось соврать:

— Блока. «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!»

— Чью жизнь?

— А не все ли равно? Даже синтезированную.

— Неточная формулировочка,— тотчас же вмешался он,— ортодоксы придраться могут. Живая, мол, собака лучше мертвого льва. Девиз коллаборационизма. Призываешь к сотрудничеству с враждебной цивилизацией.

— Опять Томпсон. Надоело.

— Им тоже. Разобрались.

— Предполагаешь?

— Знаю.

— А что ты хотел мне сказать?

— То, что мы еще встретимся.

— А хочешь честно?

— Что?

— Не восторгает меня сие. Отнюдь не восторгает.

— Ты опять что-то шепчешь?

Это вслух. Это опять Ирина. А Зернов почему-то молчит. И никто не замечает. Нет, заметили.

— Почему вы молчите, Борис Аркадьевич? — спросил Дьячук.

— Просто задумался.— Зернов, как всегда, тактичен.— А интересный эксперимент! Поразительный по замыслу: получить всю нужную им информацию через Анохина. Создать некий дубль памяти. Видимо, они пока еще не воспринимают языковую, смысловую информацию непосредственно,— слово не доходит до них, ни произнесенное, ни начертанное. Доходит только переработанная человеком информация — мысль, образ.

— Но почему Анохин? Неужели потому, что его синтезировали первым?

— Первый опыт, наверное, имеет большое значение. Но, возможно, еще и потому, что образное восприятие у Анохина особенно ярко. У каждого оно есть, лишь выражено по-разному, причем у одного сильнее, у другого слабее. Математик видит мир иначе, чем художник или музыкант, у поэта тоже свое поэтическое видение мира.

— И у тебя? — спросил я его.

— Не задавай глупых вопросов. Кстати, Зернов верно подметил необходимость образного восприятия информации.

— Ты весь наш разговор слышал?

— Сквозь тебя. Я же воспринимаю всю переработанную тобой информацию.

— Так я и сам не все слушаю.

— Не слушаешь, но слышишь. А я накапливаю все это в своей копилке памяти. Кстати, прислушайся. Наш Борис Аркадьевич о ней и вещает.

— ...В такой копилке многое накапливается. А тренированная память сразу извлекает необходимое. Вообще «сверхпамять» не чудо. Вспомните Араго — феномен! А шахматисты? Поразительная профессиональная память. Если б мы только знали ее код и механизм запоминания...

— А они знают?

Это снова Ирина. Почему-то недоверчиво, даже с иронией. Но Зернов не замечает иронии, он серьезен.

— Не убежден. Скорей всего Анохин — только удачный эксперимент. Но узнают обязательно. Где-нибудь у себя.

— И вы поверили в эту гипотезу?

— А почему бы нет? Чем она хуже других? Столько же доводов «за», сколько и «против». И потому она не обидна для человечества, даже импонирует ему. Последнее звено контакта, взаимоизучения и, как следствие, обмена информацией между двумя космическими цивилизациями.

— Слыхал? Умница наш Борис Аркадьевич. Недостающее звено.

— Ты тоже веришь в эту гипотезу?

— Я молчу.

— Почему?

— Пока еще рано. У меня еще нет свободы воли. Но придет время...

— Начинается мистика. Я что-то не верю в твою загробную жизнь.

— А в скачок из царства необходимости в царство свободы веришь? Можно ведь и так сформулировать. Свободы воли. Свободы мысли. Свободы творчества. Почему бы и нам не повторить ваш путь?

— Что ж, значит, мечтатель прав? Появится где-то планетка, этакая Земля-бис с нашей водой, с нашим воздухом, с нашими городами?

— Вышутить все можно. А что появится и где появится, никому еще не известно. Изучение не всегда повторение, чаще поиск.

— Чего? Синтезированных грез? Суперпамяти?

— Все это пробы, старик. Только пробы. Мы живем в мире констант. Для условий Земли и белковой жизни природа давно уже создала оптимальные размеры и формы. Так зачем же им менять константы?

Я, должно быть, повторил это вслух, потому что Зернов, улыбнувшись, ответил:

— Конечно, незачем.

Я покраснел. Как объяснить им свои «мысли вслух» и о чем? Выручил меня Вано.

— Может, двинемся, Борис Аркадьевич,— сказал он.— Мотор в порядке.

Зернов внимательно посмотрел на меня.

— А ты как думаешь, пора?

Неужели понял?

— Давным-давно понял. И ты понял, что он понял. Не притворяйся. Можешь положить: пора. Анохин-второй к отбытию готов.

— Не мути душу.

— Так действительно пора. Я — далеко, они — близко.

Мне вдруг стало тяжко, так тяжко, будто перехватило горло и нечем дышать. Я уже никого и ничего не видел, кроме путника в белом поле.

— Значит, прощай.

— Не прощай, а пока. До новой встречи.

— А она будет?

— Непременно.

— Там или здесь?

— Не знаю, Юрка. Чего не знаю, того не знаю. Так ведь не мы с тобой встретимся, вернее, не только мы с тобой. Миры. Мы и они. Помнишь, как он кончил свою речь на конгрессе? «И если вернутся они, то вернутся уже понявшими нас, обогащенными таким пониманием, что-то сумевшими взять от нас и знающими, что дать нам на взаимном пути к совершенству». Хорошо было сказано, старик!

И вдруг что-то оборвалось. Я ощутил полную свободу ничем не связанной мысли.

— Можно ехать,— сказал я Зернову, чувствуя, как у меня дрожит голос. Только бы он не заметил.

— А почему это решает Анохин? — задорно спросил Дьячук.

Ответил Зернов: у меня не было сил.

— Из трех миллиардов человек на Земле только один Анохин сейчас связан с неземной, может быть, даже с внегалактической цивилизацией. Так что же мы скажем человечеству, Юра? Есть контакт, и надолго?

— На века,— сказал я.

Конец первой книги.

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

«Рай без памяти» — это продолжение фантастического романа «Всадники ниоткуда», печатавшегося на страницах «Смены» в прошлом году (№№ 7—13). В первой книге романа рассказывалось о появлении на Земле загадочных «розовых облаков», оказавшихся гостями из космоса. Впервые их обнаруживают участники советской антарктической экспедиции и сразу же сталкиваются с необъяснимыми явлениями: «облака» снимают ледяной покров Антарктиды, переправляют его в космическое пространство, воспроизводят любые молекулярные структуры — в том числе и людей. Герои романа встречаются со своими двойниками, с дублированным воздушным лайнером, с моделированным городом американского захолустья. Непонятные людям причуды космических пришельцев сталкивают героев романа и с воссозданным эпизодом из жизни борцов французского Сопротивления и с воображаемым миром еще не поставленного фильма. Мировой науке неясно, с какой целью моделируется земная жизнь, все попытки установить контакт с «облаками» оканчиваются неудачей. И все же молодым советским ученым удается проникнуть в тайну «розовых облаков», найти основы контакта с высокоразвитой внегалактической цивилизацией. «Облака» покидают Землю, оставляя мысль о возможности дальнейших более тесных и дружеских связей.

О них и говорится в новом фантастическом романе А. и С. Абрамовых «Рай без памяти». Действие его происходит три года спустя после событий, описанных в первой книге. В центре романа оказываются те же герои — ученый Зернов, кинооператор Анохин, метеоролог Дьячук и американский журналист Мартин.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Гости съезжались на дачу

Не помню, кто из нас процитировал Пушкина, когда наше такси свернуло с Киевского шоссе в путаницу горбатых дачных проселков. Но цитата в точности соответствовала действительности: гости действительно съезжались на дачу. Мои гости. Ирина уехала с академиком в Ригу на симпозиум биофизиков — Осовец не доверился другой стенографистке,— а я остался единственным и полновластным хозяином садового участка с коттеджем из фанеры, шестью эмбрионами яблонь и тремя березками у садовой калитки.

Гостей было трое. Мартин, приехавший из Нью-Йорка по маршруту Интуриста и без помощи локатора нащупавший меня в студийной монтажной, Толька Дьячук, оторванный нами от институтской ЭВМ, и Борис Аркадьевич Зернов, извлеченный с редакционной «летучки» в журнале «Земля и Вселенная». Три мушкетера и д'Артаньян, проникшие в тайну розовых «облаков». Судьба уготовила нам встречу не через двадцать лет, а всего три года спустя.

Встреча состоялась на дачной веранде за бутылкой настоящего «скотча», привезенной Мартином, совсем как на пикнике где-нибудь в штате Мичиган вблизи от Великих озер. Только вместо штата Мичиган был Нарофоминский район Московской области, а вместо Великих озер невеликий Чурнинский пруд с относительно живописной рощицей на берегу, которую можно было пройти вдоль за пятнадцать минут, а поперек — за четыре.

Всего три года прошло со времени нашего отъезда из Гренландии, а в памяти уже успело многое стереться. Капризная и непрочная штука эта человеческая память, как старый будильник: иногда звенит, когда это совсем не нужно, и молчит, когда вы так на него надеетесь. Совсем недавно, казалось, исчезли розовые «облака», а зарубежные газеты и радио уже ищут свежих мелодий для своих ежедневных запевок. Но серьезные разговоры о феномене розовых «облаков» ведутся только на страницах научных изданий. Честно говоря, и мы их между собой не ведем, как постаревшие мушкетеры, давно забывшие о бриллиантовых подвесках французской королевы. Д'Артаньян вернулся в приемную кардинала, а я в монтажную киностудии. Ирина делит обязанности строгой жены с еще большей строгостью секретаря академика. Тольке по-прежнему вычерчивает карты циклонов и антициклонов, а Мартин осваивает амплуа нью-йоркского газетчика. Лишь Зернов, где-то обобщающий материалы парижского Конгресса, до сих пор верен памяти прежнего, и лишь в его присутствии наши встречи нет-нет да и вернутся к мечтательному «а помнишь?».

И сейчас это «помнишь?» сопровождало чуть ли не каждый глоток крепкого шотландского виски.

— А помнишь пресс-конференцию в отеле «Омон»?

— А как мы с тобой на лестнице сидели! В «Омоне», помнишь?

Разговор идет по-английски, и Мартин тотчас же вмешивается:

— Я другую лестницу помню. В казино. Как я по ней из автомата полоснул.

— И кончился Ланге. Кстати, ты, говорят, потом его живого встретил?

— Было дело. Уже без автомата.

— А Этьен?

Мартин морщится.

— Он уже мертвый был, когда я ему о девушке из казино напомнил. «Иес, сэр». «Ноу, сэр». А глаза стеклянные.

Минутное молчание, и я спешу переменить тему.

— Женился?

— Нет. Девчонки нет подходящей.

— А Мария?

— Вернулся из Гренландии, а она уже замужем.

Роман печатается с сокращениями.

Не верила, говорит, что вернусь. Кстати, знаешь, за нем? За тем полицейским-оборотнем, которому я башку продырявил, а он даже не пошатнулся.

Мартин вздохнул, и я снова переменил тему.

— Старика видишь?

— Томпсона? Нет. Он сейчас в Пасадене грейпфруты выращивает.

— Занятный старик,— говорит Зернов, но я отрубаю:

— Вредный.

— Нет,— задумчиво поправляет Мартин.— Честный. Не мелочной. Только...

— Без чувства юмора,— смеется Зернов.

Почему-то стало темнее, хотя до вечера было еще далеко.

— Гроза, что ли, собирается?— спросил я, выглядывая с веранды.

— Гроза прогнозом не предусмотрена. Без осадков,— важно сказал Толька.

Я повернул выключатель на стенке, но лампочка не зажглась.

— Выключили на линии. Говорю — гроза.

Толька нахмурился: что-то на небе все же привлекло его внимание. Какой-то сумеречный заслон закрывал от нас дальнее, не затемненное тучами небо, и в этой непонятной сумеречности то и дело мелькали какие-то тоненькие, но яркие белые вспышки, точно искры электросварки.

— Непонятно,— проговорил он.

— А косяки у двери совсем посинели,— заметил Зернов.

Действительно, белые косяки открытой в комнату двери стали неровно синими, причем синева расползалась и темнела.

Мартин почему-то поднес к уху часы.

— Стоят.

— И у меня,— сказал Зернов.— Без четверти шесть?

Я не успел ответить: что-то ударило меня по глазам.

Тьма. Черный, бездонный провал, в котором исчезло все — и дом, и веранда, и мы сами. И первое свидетельство обострившихся ощущений: стало странно жарко и еще более странно тихо. Какая-то первобытная мезозойская тишина. И неподвижность. Сижу, а тела нет — не космическая невесомость, а просто высвободившийся из тела дух, если называть духом неугаснувшее сознание. Я сказал: сижу, но это лишь привычный образ — просто ничего не чувствую и пальцем двинуть не могу. Паралитик.

Может быть, так умирают? Может быть, это смерть?..

Где мы?

Загробную тьму вдруг прорезали белые молнии. Тьма раздвинулась, как еще темные створки экрана только что включенного телевизора. И, как правило, сначала включился звук. Я услышал испуганный голос Тольки:

— Кто-нибудь жив?

И тотчас же откликнулся Мартин:

— Я рядом.

Я вдруг обрел свободу движения: плюхнулся задом на пол, как будто из-под меня выбили стул. И странное дело: пол оказался сырым и мягким. Я провел рукой — трава. А затем с удивительной цельностью — не постепенно, а сразу и полностью — стало видно все окружающее. Зернов и Мартин сидели на поваленном молнией, обуглившемся стволе, должно быть, столетнего дерева, а мы с Толькой корчились перед ними в росистой высокой траве. Нас окружал лес, но не редкий и живописный, как подмосковные рощицы, а густой и непроходимый, сказочно-дремучий — точь-в-точь тайга и все-таки не тайга. Какие-то деревья вздымались над нами, закрывая небо. Я разглядел знакомый мне по крымским нагорьям бук, широколистный вяз, западноевропейский каштан и клен, такой могучий и древний, каких в подмосковных лесах наверняка не найдешь. Деревья росли тесно, перемешиваясь с закрывавшим все проходы подлеском — по-видимому, шиповником, но не по-нашему густым и высоким. Он, как искусственно выращенная ограда, окружал нас со всех сторон, не оставляя ни малейшей надежды для грибников или любителей лесных прогулок. Для таких прогулок тут требовался топор.

— Ты что-нибудь понимаешь?— спросил я Зернова.

Вместо ответа он задумчиво огляделся, как бы стараясь что-то понять, и вдруг потянулся к часам.

— Идут,— удивленно заметил он,— и, пожалуй, это самое непонятное. Помните, когда они остановились? Без четверти шесть. А сейчас без пяти. Простите, Мартин,— он перешел на английский,— я говорил о том, что мы здесь уже десять минут.

— Где это здесь?— спросил Мартин.

Я улыбнулся: вопрос был точен. Самый нужный вопрос.

— Не знаю,— честно ответил Зернов.— Но почему мы здесь, пожалуй, ясно. Знакомые штучки.

— Думаешь, «облака»? Опять?

— А почему бы и нет? Какие гарантии были у нас, что они не вернутся? Да и что еще можно предположить? Взрывную волну? Не те симптомы: даже температура не поднялась. Внезапный порыв урагана? Вон даже Толя улыбается. Да и какой силы ураган может перебросить нас живыми за тридевять земель, черт знает куда?

Я все еще упорствовал.

— Почему за тридевять земель?

— А ты оглянись,— вмешался Толька.— Где ты такой лес видел? Я сын лесника, с детства в лесу. Это тебе не Мещера и не Сибирь. И на Северном Кавказе нет ничего похожего. Не наш лес!

— И не американский,— прибавил Мартин.

— В Галлии времен Цезаря,— неожиданно заметил Зернов, ни к кому непосредственно не обращаясь,— вероятно, были именно такие леса. Я вспоминаю Фонтенбло.

Загадочность Зернова начинала меня раздражать.

— При чем здесь Фонтенбло?

— Если вымрет Европа, то лет через триста под Парижем будет именно такая тайга.

— Значит, опять моделируется пространство и время.— Мне все еще не хотелось сдаваться.— И лес — модель. А зачем им галльский лес времен Цезаря?

Зернов молча встал, перешагнул обугленный молнией ствол и только тогда ответил:

— А кому нужны эти гадания? Модель — не модель... Реальная действительность — это лес, из которого нужно выбраться.

— Интересно, как?— спросил Толька.

— Погодите, мальчики,— сказал Мартин и вынул нож с белой пластмассовой рукоятью. Тонкое двусторонне отточенное лезвие выбросилось из нее с легким щелчком. Не нож, а мечта разведчика на вражеской территории.

С легкостью, без всяких усилий, как будто бы он резал колбасу или хлеб, Мартин вырубил проход в кустах, срезая ветки под самый корень.

— У кого еще есть оружие?— спросил он.

— А зачем?— удивился я.— Даже зверей здесь, по-моему, нет.

— По-твоему,— передразнил Толька.— В лесу без ножа и палки нельзя. Надо хоть дубинки срезать.

С помощью Мартина мы вооружились суковатыми рогатками, не зная, что через какой-нибудь час будем благословлять Тольку за эту предусмотрительность. Пока же мы сшибали ими огромные, сметанного цвета грибы.

— Борис,— я тронул рогаткой пробиравшегося в чаще Зернова,— а может, и не было розовых «облаков»? Может быть, вся идея о втором их пришествии — чушь? Может, с нами другая дичь приключилась?

— Какая?

— Ну, допустим, гипноз.

— А кто же гипнотизер? Может быть, по соседству с тобой Вольф Мессинг живет?

Не дожидаясь ответа, он зашагал дальше, пока его не остановил крик пробиравшегося впереди Мартина:

— Завал!

С трудом обретенный нами путь, девственную, впервые прокладываемую здесь лесную тропинку преграждала груда поваленных и раскиданных бурей деревьев. Я пригляделся: все высокоствольные буки.

— Вот в эту бурю я верю,— сказал Толька. С ним никто не спорил.

— Ну как, будем искать обход или перебираться?— спросил Мартин.

Он спрашивал у Зернова, по старой памяти считая его командиром. Но истинным командиром в данных обстоятельствах стал Толька.

— Обходить далеко,— сказал он,— прямой смысл — через завал. На север. Там и лес реже.

Я усомнился:

— Почему на север? Откуда ты знаешь?

— Где солнце раньше было? Там.— Дьячук указал в сторону, откуда мы шли.— А где сейчас? Почти над нами. К полудню дело идет.

— Вы что-то путаете, Толя,— вмешался Зернов.— Сейчас на моих без двадцати пяти семь.

— На ваших. А солнце в зените.

Действительно, сквозь сомкнутые кроны платанов и буков струился почти отвесный солнечный свет. Зеленая листва процеживала его, смягчая и рассеивая, как темные тюлевые гардины на окнах. Еще одна загадка! Но раздумывать над ней мы не стали. Через завал, так через завал.

Опираясь на свои рогатые дубинки, мы прыгали со ствола на ствол, стараясь не провалиться между деревьями. А когда мы уже почти перебрались на противоположную сторону, нас подстерегала беда.

— Эй, гляньте!— крикнул прыгавший впереди Толька.

Но взглянуть я не успел. Что-то рыжее и пушистое прыгнуло на меня с такого же рыжего ствола сбоку. Острые когти вонзились в куртку.

«Рысь!» — мелькнула мысль.

Не выпуская из рук дубинки, я оторвал от себя это рыжее и швырнул под ноги; хорошо еще, что я прочно держался на двух спаренных бурей стволах. Это «что-то» было крупнее белки, но меньше рыси, и рассмотреть его я опять не успел, потому что оно снова прыгнуло мне на грудь. Я увидел злые зеленые глаза и розовые ноздри. Кошка!

Я с трудом опять оторвал ее, снова бросил и ударил дубинкой. Она по-домашнему пискнула и отползла за дерево. Сбоку снова что-то зашипело: другая! Я встретил ее рогаткой, отшвырнул и тут только заметил, что рядом шел не менее жестокий бой. В двух шагах от меня Толька, отбросив ногой одну полосатую тварь, добивал рогаткой другую. Зернов стоял на земле, зажатый двумя обломанными стволами, и уже не отбивался — он уронил палку,— а просто закрывал лицо руками, защищая глаза от когтей не то двух, не то трех не то рыжих, не то дымчатых дьяволов. Мой бросок на помощь предупредил Мартин. Сверкнула в воздухе искра его ножа, и рубашка Зернова густо окрасилась кровью. К счастью, это была не его кровь.

Звери — я не могу называть их кошками: с кошкой связано что-то домашнее, уютное, мило мурлыкающее под рукой,— нет, это были именно звери, дикие или одичавшие хищники — злые хозяева злого леса.

Наши кошки взбираются на деревья только из страха или в азарте птичьей охоты. Эти жили на деревьях, как белки или как обезьяны. Сейчас они отползли, не атаковали, но совсем не потому, что их испугали наши дубинки — просто кругом было достаточно свежей жратвы: нож Мартина искромсал, должно быть, дюжину этих тварей.

Когда мы наконец перебрались через завал, на нас страшно было смотреть. Оборванные, исцарапанные, со следами когтей на лицах и руках, мы двигались молча, прижимая платки к кровоточащим ранам и стараясь не упустить уходившего вперед Тольку.

— Куда ты гонишь?— не выдержал я наконец.— Одурел со страху?

— Устал, герой?— обернулся он с презрением взрослого к захныкавшему ребенку.— Промыть раны надо? Надо. Ключ ищу.

— Какой ключ?— не понял я.

Он покрутил пальцем у виска и побежал, не оглядываясь, благо, тропа, явно кем-то проложенная в траве, все расширялась. А дальше произошло все как по-писаному. Мы вышли на лужайку, всю в цветах — крупных и красных, похожих на канны. Чуть поодаль лес круто взбирался в гору, а из-под серого камня, выглядевшего как сказочный дед-травоед, средн выползших из земли корней бил чистый холодный ключ.

Толька остановился, обернувшись к нам с победоносным видом и по-мальчишески счастливой улыбкой. Нет, все-таки человек был хозяином леса.

Тень прошлого

Мы напились и промыли раны. Толька тут же нашел какую-то одному ему ведомую траву и остановил кровь на лице у Зернова.

— Почему их так много?— вдруг спросил Мартин.

Мы знали, о чем он спрашивает, но кто же мог ответить?

Откликнулся Толька.

— Наше счастье, что это кошки, а не крысы. Много — это бывает, почему в лесу — непонятно.

Мы стояли у камня с источником, не решались присесть в окружавшем нас цветнике. Кто знал, какая гадость могла притаиться в траве?

— Попробую влезть на дерево, посмотрю, что к чему.— Толька подошел к высоченному широколистному платану — на Кавказе у нас его называют чинарой — и подпрыгнул. До первого сука не достал: высоко.

— Подсади-ка меня, Дон,— сказал он стоявшему рядом Мартину: со времени их первой встречи в Антарктике английский язык Тольки заметно улучшился.

Но меня удивляло не это. Тихий, стеснительный, не очень решительный парень, он словно переродился в этом лесу. Или в нем пробудились воспоминания и навыки детства, или же он уверенно осознал свою приспособленность к обстановке и, следовательно, какое-то бесспорное превосходство своего опыта над нашей беспомощностью. Любопытно, что и мы все признали это превосходство и, не сговариваясь, подчинились ему.

— Отметьте,— крикнул он, оседлав сук, на который забрался с помощью Мартина,— до обзора скажу: на севере — горы, на юго-востоке — река. А теперь проверочка.

Он подтянулся и полез выше, цепкий, как медвежонок. Через несколько минут уже вынырнул из листвы где-то у самой верхушки и долго озирался по сторонам, ища просветы в раскидистых кронах. Потом юркнул вниз. Мы ждали молча, не высказывая гипотез.

— Так и есть,— сказал он, спустившись,— лес до горизонта.

— А река?

— На юго-востоке, как я и думал. Или озеро. Может быть, даже цепь озер: голубые пятнышки просматриваются по дуге. В общем, вода.— И продолжал:— Пролом в кустах видишь? А здесь — следы. Копытные, между прочим.

Я ничего не видел в слегка примятой траве, но Тольна рассуждал с авторитетностью Дерсу Узала.

— Крупный зверь шел. Олень или лось. И не один, и не раз. А куда ему идти? К воде.

Если Толька не ошибся, созревал способ выбраться из этой галльской чащобы. На реке или у реки легче встретить себе подобных. Но «Дерсу Узала» не согласился: река не уйдет, есть кое-что интереснее.

— Дым,— сказал он.

— Где?

— К северо-востоку, как я и предполагал,— горы. Не очень высокие. И словно дорога просматривается. Может, мне и показалось, но дым — наверняка.

— А не пожар?

— Тут не дым, а дымок. Притом движущийся. Мне даже гудок послышался. Не паровоз ли?

Мы здесь ничего не слышали. Но Тольнин «дым» заинтриговал. Река — это река, а паровоз — уже люди. Решили рискнуть. В разведку уходили мы с Толькой. Мартин и Зернов остались у источника. Зернов предложил параллельную разведку — к реке, но «Дерсу Узала» запротестовал:

— По-моему, Борис Аркадьевич, вы хромаете.

Нашу разведку лимитировали двумя часами: если не вернемся, Борис и Дон пойдут по нашим следам. По дороге будем обламывать веточки — лишь слепой не заметит.

Через полчаса плутаний по галльскому лесу мы вышли на опушку. Странная это была опушка, совсем непохожая на русские лесные окраины — окаймленная оградой из диких роз. Но не розы привлекли наше внимание. Опушка обрывалась крутым откосом в долину, окаймленную уже не розами, а высокими неотесанными столбами с протянутой между ними в несколько переплетающихся рядов ржавой колючей проволокой.

Галльский лес сразу перестал быть галльским: метрах в пяти от проволоки тянулась укрепленная дерном насыпь с лентой уходящих в лесные нагорья рельсов.

Издалека вдруг донесся низкий, протяжный гудок. В тишине, в прозрачности воздуха он прозвучал как голос зовущей, торжествующей жизни. Но я опять ошибся. Эта жизнь не звала, она настораживала.

Из-за лесной опушки, может быть, такой же, как наша, вынырнул пыхтящий паровозик-кукушка со струйкой дыма, плывущей длинным черно-белым хвостом от старинной огромной трубы. Это был именно паровоз, а не тепловоз или электровоз — «поезд с трубой и дымом», как я их называл в детстве, когда родилась электрична. Он медленно прополз по рельсам и остановился в долине в восьмистах метрах от нас. Ни одного пассажирского вагона не было — одни открытые платформы, полные пассажиров, притиснутых друг к другу и окруженных парой канатов, как на ринге.

С каждой платформы с обоих ее концов спрыгнули по нескольку человек в желтых сапогах и

серых мундирах, с автоматами на груди. Потом из-под навесов начали сползать «пассажиры» в однообразно синей или темно-зеленой одежде — издали трудно было уточнить цвет — каждый с обушком или киркой в руках. Они выстроились солдатским строем и, эскортируемые стражниками, двинулись в сторону от платформ, к ближайшему лесному нагорью.

— Ты что-нибудь понимаешь?— спросил я Тольку.

Он не ответил: новые события породили новую загадку.

В хвосте колонны вдруг началось замешательство. Кто-то остановился, кто-то заспорил с охранником. Может, это был не один, а несколько человек. Чья-то винтовка взметнулась, кто-то подхватил оброненный автомат, кто-то выстрелил — кто, не было видно, но выстрел прозвучал громко, как взрыв,— и вот уже задние ряды колонны смяли шеренгу стражников, колонна рассыпалась, а группа беглецов бросилась к проволоке под круговым автоматным обстрелом. Они бежали зигзагами, припадая к траве и снова вскакивая, а некоторые так и оставались на земле, не вставая. Впереди бежал человек, подхвативший оброненный охранником автомат. Он метался, как заяц, петляя всех мастями, уклоняясь от пуль, падая и огрызаясь ответными очередями и, в свою очередь, заставляя стражников отстреливаться и падать. Почти все его товарищи легли, не поднявшись, кое-кто полз обратно, а он, все еще петляя и не выпуская из рук автомата, уже добежал до колючей проволоки. Он попытался преодолеть ее у столба, но тут его и настигли пули, от которых он до сих пор так счастливо уходил.

И как будто ничего не случилось, рассыпавшаяся группа людей с киркам снова построилась солдатской колонной и под охраной автоматчиков двинулась по горной дороге, наполовину скрытой от нас скалистым уступом горы. Трупов никто не подбирал, и даже последний, достигший ограды беглец так и остался висеть на ее ржавых шипах. А застоявшийся на пути поезд рванулся, паровозик опять задымил и, пыхтя, протащил мимо нас пустые платформы, загрязненные до черноты. Откуда взялась эта черная грязь, когда кругом все зеленело, как на лугу?..

— Это не грязь, а уголь,— сказал Тольна,— угольные шахты поблизости или открытые разработки. Сюда везут рабочих, отсюда — уголь.

— Отчуда и куда везут?

— Ниc,— сказал Тольна.

— Кто эти рабочие и почему их расстреливают?

— Игрек. Что это за шахты? Зет. Словом, уравнение, а решать некогда. Пошли.

— Куда?

— Назад. Сюда нам дороги нет,— отрезал Тольна и прибавил уже не для меня, а как высказанную вслух, видимо, давно тревожившую его мысль:— Тень прошлого! До сих пор мы видели ее только в кино.

Бегство

По возвращении к источнику мы не обменивались впечатлениями, но я тотчас же догадался, о чем именно подумал Дьячун и какую тень прошлого он имел в виду. О гитлеровских лагерях смерти я знал только понаслышке, по журнальным публикациям да по кадрам кинохроники военных лет. Но особых комментариев наш рассказ не потребовал: друзья, как и мы, догадались сразу.

— А может, не стоит тревожить машину времени? Может быть, это вполне современный концлагерь?— размышлял Зернов.

— Где?— перебил я.— Скандинавия? Не тот пейзаж. Западная Европа? Я не представляю себе такого концлагеря ни в Италии, ни во Франции. Азия? Не азиатский лес. Где-нибудь в южноамериканских республиках? Тоже не подходит: не тропики и не субтропики. И еще: я просмотрел сотни полицейских кинохроник разных стран, но такой формы не видел. Какое-то экзотическое изобретение, вроде «тонтон-макутов» на Гаити.

— А если мы на другой планете?— сказал Зернов даже без тени улыбки.

На минуту мне стало страшно. Зернову не свойственна игра воображения. Он всегда опирается только на факты. Но какие же у него факты? Странный лес? Желтые сапоги у стражников?

— А ты видел на Земле столько бабочек?— вдруг спросил он.— Сам же сказал: это не тропики и не субтропики.

Нашествие белых бабочек напоминало метель. Они кружились, как снежные хлопья над цветником-лужайкой, простиравшейся на несколько десятков метров к востоку от источника. Раньше от нас отделял ее высокий колючий шиповник, но сейчас в его сплошной стене был вырублен широкий проход — должно быть, Зернов и Мартин делали вылазку. Сначала лужайка эта мне показалась болотцем — уж очень ядовито-зеленой была трава, из которой торчали на длинных, тоненьких стебельках красные и оранжевые шапки — шапками не назвать, а что-то вроде — пестрая цветная проплешина, почему-то заставившая отступить галльский лес. И по всей этой проплешине бушевала белая живая метель. Бабочки садились и взлетали — казалось, им было тесно в воздухе, и вихревое движение это белой кисеей закрывало солнце.

— Может быть, шелкопряд налетел?— предположил я, вспомнив грозу подмосковных лесов.

— Это не шелкопряд,— не согласился Тольна,— обыкновенная белянка. А изобилие от природы, Борис Аркадьевич. Порядок.

— Природа создает не порядок, а беспорядок. Кто-то сказал: оставьте ей участок земли — она превратит его в джунгли. Только человек может вырастить сад, только человек может создать разумное изобилие. А это изобилие неразумно. Кошек вы уже видели. Теперь изумляют бабочки. А вообразите в таких же количествах, скажем, пчел или пауков!

Но мы увидели не пчел и не пауков, а лисиц, рыжих до апельсинной яркости, пронесшихся мимо нас сплошной, без разрывов, длинной оранжевой лентой. Сколько их было — не сосчитать — пожалуй, слишком много для одного уголка леса. Они промчались со свистом, будто ветер прошелестел в траве, и скрылись в зарослях на единственной не опробованной нами дороге к реке. Мы даже не успели обменяться словами, как, огибая нас, но даже не взглянув в нашу сторону,— а мы стояли заметной кучкой у камня с источником,— промчалось мимо стадо некрупных клыкастых кабанов с грязной, свалявшейся шерстью. Их тоже было слишком много даже для заповедника, и тяжелое дыхание их, треск ломавшихся сучьев и дробный стук копыт сливались в странное, дисгармоничное звучание, которое не воспроизведет ни один джазовый инструмент в мире. Замыкавший колонну кабан, даже не замечая нашего присутствия, вдруг повалился в траву, поерзал на спине, потерся щетиной о примятой траве, вскочил и помчался вдогонку за исчезнувшим в лесу стадом.

— Тсес...— прошипела Тольна и прислушался.— Слышите?

Откуда-то из глубины чащи доносилось не то шуршание, не то шорох, как будто кто-то разглаживал и комкал листки целлофана.

— Вы пророк, Борис Аркадьевич,— сказал Тольна, указывая на примятую кабанами траву: там суетились десятки крупных рыжих лесных муравьев.

— Тут надо не воображать, а бежать,— прибавил он.

Минут через двадцать мы вышли к берегу, круто обрывавшемуся к реке глинистым кирпичным откосом. Направо и налево по берегу все той же непроницаемой буро-зеленой стеной стоял наш платановый лес. На противоположном берегу тянулись песчаные отмели и заливные луга, еще дальше снова чернел лес, по-видимому, сосновый, потому что шестами к отмелям вытягивались его клинья, на солнце выцветавшие золотистыми язычками. Сосна вообще красивое, чистое дерево, а когда она растет редко, с золотыми солнечными просветами, и соседствует с кремовыми полосками песчаных пляжей и дюн, то на все это просто приятно смотреть. Никакого признака человеческого жилья нигде не было видно, но тот берег привлекал своей чистотой и шириной, да и выбора у нас не было: целлофан продолжал шуршать все ближе и ближе.

— Плывем по-солдатски,— скомандовал Тольна.— Часы в носки и в карманы, брюки свертываем и закрепляем на голове ремнем у подбородка. Кроль отменяется. Плыть брассом или саженками. Голову над водой.

Мы переплыли реку без приключений, и, когда выбрались на мель, Тольна обернулся и закричал:

— Вон они! Смотрите!

По крутому откосу противоположного берега спускалась неширокая дорожка — метра полтора-два, не больше,— едва отличимая издали от окаймлявшей ее красной глины. Она медленно подтянулась к воде, потом свернула по берегу длинным витком и извергнувшей ее темно-зеленой чаще. Мы стояли и смотрели — сколько минут, не знаю,— а виток все не изменял положения: он только спрямлялся постепенно, исчезая за стенами зеленой крепости. Ни шороха, ни шуршания не было слышно, их заглушал плеск воды, но никто из нас не усомнился в увиденном. То было еще одно, может, самое страшное изобилие этого непонятного леса, естественное где-нибудь на берегах Амазонки, но едва ли объяснимое в этих широтах грозное шествие муравьев.

— У меня такое впечатление, что мы переплыли Стикс [1], только в обратную сторону,— сказал стоявший рядом Зернов.

Черная стрела

Новое изобилие нашел Мартин.

Усталые, измученные от потери сил и от нервного напряжения, мы часа два провалялись раздетые на горячей песчаной отмели. Больше помалкивали, обменивались пляжными репликами, потом заснули, потеряв представление о пространстве и времени. Разбудил меня индейский вопль медно-красного Мартина, размахивавшего над головой, как тотемом, здоровенной, по крайней мере двухкилограммовой рыбиной.

— Судак,— сказал всезнающий Тольна.— Где добыл?

Мартин указал на заводь в глубине отмели, отделенную от реки узким песчаным перешейком. Она буквально кишела рыбой, как бассейн рыбного магазина. Сазаны и судаки посильнее и покрупнее выбрасывались через перешеек в реку: намывая песок, вода заперла их в этом природном аквариуме, и они уже задыхались от недостатка кислорода в перегретой воде. Крупных среди них было не очень много — больше мелочь, но охотничий инстинкт, заложенный в каждой человеческой мужской особи, сразу обнаружил рыбины покрупнее. Как ни увертывались они, как ни били хвостами, через несколько минут мы уже наловили больше десятка.

Только теперь, впервые после дачной метаморфозы, мы вдруг почувствовали голод. И первые робинзоновские огорчения: «А соли-то нет», «И посуды нет — значит, ухи не будет», «Придется на вертеле жарить, как шашлык». И первые робинзоновские радости: действующая зажигалка Мартина, сосновый сушняк для костра, вертелы из засохших тростников, сочные куски поджаренной и продымленной рыбы. И первые попытки подвести наконец какой-то итог пережитому.

— А сила — лес,— сказал Тольна.

— Назад в этот лес меня калачом не заманишь,— заметил я.— А как все-таки объяснить случившееся? Сон? Нет. Мираж? Нет. Значит, из одной реальности мы попали в другую?

— У нас уже есть опыт,— сказал Зернов.

— Предел вероятности твоей гипотезы в допустимости возвращения розовых «облаков». Первый вопрос: зачем они вернулись?

— За нами.

— Значит, приглашение в гости. На другую планету. Эту гипотезу мы уже слышали на Конгрессе. Второй вопрос: где эта планета? И сколько парсеков мы отмерили в космосе, чтобы увидеть сволочей в желтых сапогах? Или она искусственная, эта планетка из красного киселя?

— А может быть, она просто в другом измерении?

У меня не нашлось возражений: оказывается, богатой игрой воображения обладал не один я.

— Гипотезы не возникают на пустом месте,— продолжал Зернов,— им нужна точка опоры. У нас их несколько. Первая — лес. Несовременность его очевидна, географическое положение неясно. Вторая — концлагерь. Принудительный труд в такой форме возможен только в условиях полицейского государства. Но это не Гаити, не Родезия, не ЮАР и не Греция. Третья точка — изобилие растительных и животных форм. На Земле в аналогичных широтах мы нигде, ни в одной части света, не найдем таких гигантских скоплений животных и насекомых. Такие скопления могут быть созданы только в террариях-заповедниках, где специалисты-этологи могут изучать поведение животных в сообществах. Такого колоссального заповедника, как известно, на Земле нет.

Я вспомнил выступление американского писателя-фантаста на парижском Конгрессе. Если цивилизацию розовых «облаков» можно представить себе как суперцивилизацию муравейника или пчелиного роя, то в своей гипотетической лаборатории они начнут именно с этологии — с изучения сообществ, начиная с простейших. Цепь от насекомых и млекопитающих требовала заключительного звена, наиболее совершенного продукта биологической эволюции.

Зернов продолжал:

— Есть и еще одна точка опоры у нашей гипотезы: время. Наши часы не поспевают за солнцем. Они остановились за несколько секунд до смены декораций и снова пошли уже в другой реальности. Но солнце там приближалось к зениту, а стрелки наших часов к семи вечера. Значит, в этой реальности действовала другая система отсчета времени или то, что нам показалось мгновением, на самом деле отняло три четверти суток, когда часы, возможно, стояли. Допустим, что мы их перевели, и в полдень стрелки остановились бы на двенадцати. Сколько времени мы здесь? Четыре часа с минутами. А солнце уже за лесом, только багровая полоска видна: мы в преддверии сумерек. Значит, день и ночь здесь короче, а следовательно, и планетка поменьше.

Мы посмотрели на небо: закат был очевидный красный, как говорят, «ветреный», земной закат но совсем не в земное время. Приближалась ночь.

Принесли еще сушняка, и костер запылал сильней.

— Будем всю ночь жечь. Головешки — тоже оружие.

— И спать по очереди.

— Программа-минимум, мальчики. До утра только.

— А с утра?

— Людей искать. Не и муравьям же в гости нас сюда пригласили.

— А где их искать?

— Железная дорога подходит к шахтам с юго-запада,— вспомнил Тольна,— значит, вниз по реке.

— Подходяще. И еда под боком.

— Выходит, одну рыбу жрать?

Продымленная костлявая рыба, да еще без соли, уже не вызывала аппетита.

— Я могу подползти к любой птице на десять — пятнадцать футов,— сказал Мартин,— а нож бросаю без промаха.

Я засмеялся.

— Смотри, Дон.

Прямо на нас, на огонь костра, летела большая черная птица. Летела невысоко, все время снижаясь, и почему-то в замедленном темпе движения. Казалось, крылья взмахивали все слабее и реже.

Мартин бесшумно приподнялся на согнутых коленях. Тихонько щелкнул, выбросив лезвие, нож. Но птица, не долетев буквально трех метров, в последний раз взмахнула крыльями и упала в траву. Мы нашли ее тотчас же, уже бездыханной.

— Глухарь,— сказал Тольна и замолчал.

Что-то привлекло его внимание. Это «что-то» оказалось длинной стрелой, пронзившей насквозь тело птицы. Мартин с трудом вытащил стрелу: мешал раздвоенный металлический наконечник, чуть плоский и заостренный. Почти метровая стрела была выкрашена в черный цвет и заканчивалась хорошо прилаженным оперением. Даже лучшие мастера спортивной стрельбы из лука позавидовали бы ее обладателю.

Мартин долго вертел в руках это совсем несовременное оружие и сказал задумчиво:

— Мы, кажется, попали к индейцам, мальчики.

Урок географии

Глухаря, уже ощипанного и выпотрошенного, начали жарить, как и рыбу, на вертеле. Мечтали о чае. Но не было ни чая, ни сахара, ни котелка для воды. Воду пришлось пить прямо из реки, черпая пригоршней. Разговаривать не хотелось. Мы сидели вокруг костра, не задавая вопросов и не высказывая предположений. Робинзонада не прельщала перспективами и не питала надежд на возвращение домой.

В эту минуту тревожных и тягостных раздумий незнакомый голос вдруг спросил по-английски:

— Разрешите присесть к вашему костру, друзья?

И поскольку мы не ответили сразу, он тотчас же повторил свой вопрос по-французски с таким же безукоризненным произношением.

— Пожалуйста,— ответил по-английски Зернов,— места хватит для всех.

Он обращался к двум бесшумно подошедшим парням в шортах и клетчатых рубашках с корот-

---

[1] В греческой мифологии река подземного мира, через которую Харон перевозил души умерших в мрачное царство Аида.

кими рукавами. Первое, что мы увидели, были их голые ноги, шерстяные носки, скрученные у щиколотки, и самодельные мокасины-плетенки из сыромятных ремешков. Оба были ровесники, или погодки, очень похожие,— должно быть, братья. Они были не старше двадцати лет. Коротко остриженные русые волосы дополняли впечатление юношеской подтянутости, аккуратности и чистоты. На поясах у обоих незнакомцев болтались деревянные колчаны с такими же черными стрелами, как и та, которую вытащил из глухаря Мартин. Охотничью экипировку их завершали висевшие за спиной очень большие, почти в человеческий рост луки, а каждый из гостей ростом был по крайней мере около ста девяноста сантиметров.

— Джемс,— сказал первый, он стоял ближе к нам.

— Люк,— подхватил второй, выходя к костру. Даже голоса их были похожи.

Мы невежливо промолчали, все еще ошеломленные их появлением и видом. Но Зернов вовремя исправил нашу бестактность, тут же представив нас тоже по именам. Охотники переглянулись — видимо, наши имена несколько удивили их, но никаких замечаний не сделали.

— Присаживайтесь,— повторил Зернов,— птица ваша, но мы ее уже наполовину поджарили. Только соли нет и вскипятить воды не в чем.

— Кто же уходит на охоту без котелка и без соли?— ухмыльнулся Люк и тут же умолк, встретив осуждающий взгляд брата. Тот, по-видимому, был старшим.

— Сейчас принесем все, что надо,— сказал он.

И оба исчезли в сумерках так же внезапно, как появились.

— Интересное кино,— ввернул было Толька, но мы не откликнулись: для впечатлений и выводов время еще не пришло.

Однако и сейчас было ясно, что парни славные и симпатичные и что робинзонада наша подходит к концу. Через несколько минут оба вернулись без колчанов и луков, но зато с котелком, глиняными кружками, баночкой с солью и большим караваем хлеба. Только теперь мы догадались, что они пришли со стороны реки, где, вероятно, оставили лодку.

Разговор начался испытующе и осторожно, как на дипломатическом приеме, когда любопытство сдержанно, а вежливость лаконична.

— Как охота?— спросил Джемс.

— Точнее, рыбная ловля,— поправил с любезной улыбкой Зернов.

— Кто же едет ловить рыбу в такую даль, когда ее у любого берега выловишь?— опять ухмыльнулся Люк и опять был остановлен молчаливо предупреждающим взглядом брата.

— Здесь рыба непуганая,— заметил Джемс как бы вскользь,— но я думал, что вы охотились.

— На нас охотились,— сказал Мартин.

— Кто?

— Сначала кошки, потом муравьи.

— Где?

Мартин вместо ответа указал на противоположный берег реки.

— Вы были в восточном лесу?!— Джемс даже вскочил с места, впрочем, так же бесшумно, как подошел: не хрустнула ни одна веточка сушняка для костра, сушняка, разбросанного нами вокруг и служившего вместо скамеек. Видимо, Джемс даже бессознательно рассчитывал каждое свое движение. Что-то не современное, не от спортивного тренинга, а дикое, неотделимое от природы, что-то от героев Арсеньева или Купера было в этом рослом меднокожем блондине.

— Вы не могли пройти этот лес,— прибавил он недоверчиво.

— Прошли, как видите,— сказал Мартин.

Братья переглянулись по-прежнему настороженно и недоверчиво.

— Вы не переодетые «быки». «Быкам» здесь делать нечего,— раздумчиво, словно рассуждая сам с собой, проговорил Джемс,— да «быки» бы и не стали жарить птицу на вертеле.

— Может быть, они «оттуда»?— спросил Люк брата, многозначительно подчеркнув слово «оттуда».

Джемс предостерегающе сжал ему руку и, помолчав, прибавил:

— «Оттуда» за последние два года побегов не было.

Смутная догадка осенила меня.

— Вы имеете в виду лагерь?

— Какой лагерь?

— Ну, шахты или рудники на той стороне.— Я указал на реку.

— Майн-сити?

— Не знаю, как это называется, но, по-моему, это ад.— И я рассказал о расправе за колючей проволокой.

— Так всегда кончается,— не удивился Джемс,— автоматы только у них, да и стрелять не всякий сумеет.

Он говорил по-английски чисто, но как-то иначе, чем Мартин. Должно быть, Мартин тоже это заметил, потому что спросил:

— Ты канадец?

— Не понимаю,— сказал Джемс.

— А что тут непонятного? Из Виннипега или Оттавы?

Братья опять переглянулись, на этот раз без всякой настороженности: они действительно не понимали Мартина.

— Вы говорите как-то странно, не по-нашему,— произнес Джемс, и снова нотка недоверия прозвучала в его словах.— Я думал, что вы просто «дикие», как и мы.

— А мы действительно «дикие»,— подтвердил Зернов дружелюбно и доверительно. Я понял его. Он разрушал стену между ними и нами, созданную неосторожным вопросом Мартина.

— Ну, конечно,— доверчиво откликнулся Люк,— не «быки» и не «воскресшие». По одежде видно.

Но Джемс был более осторожен. Он еще не верил, он проверял.

— Давно из Города?— спросил он.

Теперь переглянулись мы. Вопрос был точен, и такой же требовался ответ. Любая ошибка могла

порвать тонюсенькую ниточку взаимного доверия, которая одна могла привести нас в чужой и неведомый мир.

К счастью, закипела вода в котелке, и Джемс, не дожидаясь ответа, начал приготовлять незнакомое нам питье. Он не засыпал в котелок ни чая, ни кофе, а просто вылил туда половину принесенной им бутылки. Вкусно запахло подогретым виноградным вином.

— Грог,— сказал Люк.— Отец привозит вино из Города. А на будущий год, если виноград уродится, начнем сами давить.

«Должно быть, фермеры»,— подумал я, но догадки не высказал. И хотя жареный глухарь и кипящий грог еще теснее связали нас, необъяснимое все-таки оставалось необъяснимым. И для них и для нас. Надо было открываться и открывать.

Начал Джемс, в его присутствии Люк, по-видимому, всегда был второй скрипкой.

— Почему вы неодинаково говорите по-английски? Один лучше, другой хуже. Может быть, вы французы?

За доску предстоявшей шахматной партии сел Зернов. В молчаливом единодушии мы предоставили ему это право.

— Мартин — американец, а мы трое — русские.

— Русские?— удивился Люк. —Нет такого сектора в Городе.

Джемс поморщился.

— Замолчи,— привычно одернул он брата.— Есть русский арондисман во французском секторе.

— Вроде Гарлема?

— Меньше.

Люк удовлетворился ответом, а мы недоумевали. Город без имени. Русский арондисман. Гарлем. Оба не знают, что такое «канадец», не слыхали ни о Виннипеге, ни об Оттаве. Требовался географический гамбит, и Зернов рискнул:

— Мы не из вашего города. Даже не знаем, как он называется.

— Просто Город,— сказал Джемс.— А вы откуда?

— Мы не «быки» и не «воскресшие». Очевидно, имеются в виду полицейские и беглецы из Майн-сити. Вероятно, мы вкладываем разный смысл и в понятие «дикие». Но у нас нет оружия, и мы нуждаемся в помощи. Нам просто нужно побольше узнать друг о друге, чтобы сломать лед недоверия. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые вопросы покажутся вам странными или даже смешными. Например, как называется эта планета?

— Земля.

— А ваша страна?

— Я не знаю, что такое «страна».

— Ну, вся эта часть Земли, где живете вы, люди.

— Город.

— Разве у вас один город?

— Конечно.

— А Майн-сити?

— Это не город, а рудничный поселок и место ссылки.

— А государство?

— Город — это и есть государство.

— Одно государство на Земле?

— А разве может быть несколько?

Даже Зернов сбился и недоуменно взглянул на нас, но тут же нашелся:

— Вы говорите по-английски и по-французски. А вы слыхали о таких государствах, как Англия и Франция?

— Нет.

— А о частях света? О материках и океанах? Об островах и морях?

Джемс и Люк непонимающе взирали на нас. Я не выдержал и вмешался:

— А вы в школе учились?

— Конечно,— хором ответили оба.

— Есть такой предмет — география...

— Нет такого предмета,— перебил Люк.

— Погоди,— остановил его брат.— Что-то такое было. Но очень давно. Во время Начала,— он произнес это слово так же подчеркнуто и торжественно, как и Город.— Мне было одиннадцать или двенадцать, точно не помню. Был тогда у нас учитель-француз. Он что-то рассказывал нам о мире, где мы живем. Кажется, это и называлось «география». Но потом ее запретили, а он исчез.

Оба отвечали охотно, даже с готовностью, но как-то по-школьному, вроде бы на уроке. Чему же научили их в этой школе, где запрещена география и горизонт учеников ограничен рекой и лесом?

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО

— Кстати, как называется эта река?

— Никак. Просто Река.

Мы снова обменялись недоуменными взглядами: непонятная неприязнь к географии упразднила здесь даже названия. Просто Город. Просто Река.

— А куда она впадает?

— Что значит «впадает»?

Я подумал, как Зернов сформулирует свой вопрос, если они не имеют представления о морях и озерах. Зернов спросил:

— Ну, где кончается?

— Нигде не кончается. Замкнутый круг, опоясывающий Землю.

Дремучее невежество это и убежденное его утверждение чуть не вывели меня из себя. Но я только спросил:

— Откуда вы это знаете?

— Из школы. Это — Знание.— В голосе Джемса снова прозвучала торжественность, начинавшая слово с прописной буквы.— Знание о природе, о земле, о солнце, почему сменяются день и ночь, как загораются и гаснут звезды.

Тут только дошло до нашего сознания, что над нами давно уже ночное звездное небо,— в азарте разговора никто из нас даже головы не поднял. Первым сделал это Толька и закричал:

— Чужое небо!

Мы смотрели на небо и молчали. Вероятно, каждый искал знакомые ему с детства светила. Но их не было. Я не нашел ни Стожар, ни Большой Медведицы, ни Полярной звезды. По всему одинаково черному небосклону горели по-чужому разбросанные в чужих узорах чужие звезды. Это не было южное полушарие: мы все, побывавшие в Антарктике, пересекали экватор и видели Южный Крест. Но и Южного Креста не было. Чужое небо висело над нами, небо другой планеты в системе другого Солнца, может быть, даже другой галактики. Пожалуй, впервые мы по-настоящему поняли всю необычность и значительность того, что с нами произошло. Молчание было тяжелым, долгим и угнетающим.

Молчали и юноши этого мира. Наверное, из уважения к нашей печали или из чувства неловкости и непонимания,— ведь и наше появление здесь в привычной для них безлюдной глуши, и наш язык, и наши вопросы, и наше удивление их привычным словам и понятиям — все в нас должно было их отталкивать, беспокоить и даже страшить. И я не удивился, когда они оба встали и, не сказав нам ни слова, ушли в темноту.

— Ушли,— произнес по-русски Толька,— ну и черт с ними!

— Мне кажется, что они вернутся,— заметил Зернов.

— А мне уже все равно,— сказал я.

Зернов оказался прав: через несколько минут Джемс и Люк подошли к костру и почему-то медлили, не зная, как начать или ожидать вопросов.

— Вас огорчило наше небо, мы видели,— сказал наконец Джемс.— Не сердитесь, мы только теперь поняли, что вы не такие, как мы. Поедемте к отцу, он хорошо помнит Начало и легче поймет вас, а вы его.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Урок истории

Лодка ждала нас на отмели. Джемс чиркнул спичкой, почему-то вспыхнувшей ярко-зеленым огнем, и зажег толстый оплывший огарок свечи, вставленный в квадратную консервную банку, одна стенка которой подменялась стеклом, скрепленным медными самодельными зажимами. Как ни тусклo было это игрушечное освещение, все же оно позволило разглядеть длинную, широкую плоскодонку, загруженную на носу мешками и охотничьими трофеями. Их было довольно много: уже разделанная туша оленя, большущий кабан, зажатые между ним и бортом три тушки зайцев и несколько черных птиц, похожих на ту, которую мы только что жарили. Все это изобилие увенчивал огромный судак, бело-розовое брюхо которого не обмануло своими размерами даже в свете коптящего фонарика.

Мы устроились на корме, я поближе к гребцам. Они отчалили молча, орудуя каждый тяжелым длинным веслом. Почти не разговаривали, ограничиваясь сдержанными, короткими репликами: «Можете спать, а мы на веслах. Надо добраться домой до рассвета. Река в этих местах патрулируется редко, но можно нарваться на случайный патруль». Почему река патрулируется или не патрулируется, что за патруль — они не объясняли, а мы не спрашивали. Какой смысл в сотый раз спрашивать, почему и зачем, когда и объяснения все равно непонятны. Даже знакомые слова приобретали у них незнакомый смысл. Зерков разгадал тайну «быков» и «воскресших», но сейчас молчал. Может быть, заснул: он устал больше других. Толька тоже притих. Посапывание ближайшего ко мне Мартина становилось все более равномерным. А я просто лежал с закрытыми глазами: когда сильно устанешь, всегда не спится. Откроешь глаза — опять чужое, безлунное небо; прислушаешься — свист весла, всплеск, чьи-то слова — Люка или Джемса. Трудно угадать: оба переговаривались еле слышным шепотом.

— Без соли и котелка на охоте. Смешно!

— Говорят, восточный лес прошли. Ты веришь?

— Не знаю.

— А нож у него заметил? Лезвие само выскакивает. Я таких еще не видел.

— Говорят, что никогда не были в Городе.

— А вдруг забыли?

— О чем? О Городе? О Начале? Об этом не забывают. Не помнят того, что было раньше.

— А если они помнят то, чего нельзя помнить? Что им остается?

— Без отца не разберемся.

— Отец учит доверять хорошему человеку. По-моему, мы не ошиблись.

Я открыл глаза и сказал так же тихо:

— Извините, ребята, я не сплю. И вы действительно не ошиблись. Мы помним многое, чего не знаете вы, а то, что есть, забыли. Даже то, о чем прежде всего спрашивают в сумасшедшем доме: какой век, какой год, какой месяц, какой день.

— Откуда они, как думаешь?

— Вы действительно этого не помните? — спросил Джемс.

— Конечно. Иначе я бы не спрашивал.

— Первый век. Десятый год. Двадцать первое июня. Одиннадцать ночи. В час рассвет.

— Сколько же часов в сутках?

— Восемнадцать.

Первый век, десятый год. «Облака» ушли три года назад, а здесь прошло почти десять лет. И день и год здесь короче, и планетка поменьше. И город один. А не напоротчился ли «облака» со своим великим экспериментом? Джемс, должно быть, догадался о моем состоянии и произнес шепотом:

— Не огорчайтесь. Память иногда возвращается. У некоторых. Во всяком случае, частично. И у отца вам будет хорошо. А захотите — он переправит вас в Город. Там у нас есть свои люди — помогут.

— Спасибо,— сказал я.— А далеко ваш дом?

— Часа полтора по реке. Только сделаем небольшую остановку. Нужно встретить одного человека. Кое-что принять, кое-что передать. Люк, смотри: он уже ждет.

Тусклый огонек мелькнул в черном подлеске еще более черного леса. С лодки не видно было ни кустов, ни деревьев, только темные тени над темной водой.

Лодка почти беззвучно подошла к берегу. Чуть-чуть зашелестели кусты.

— Обычно мы привязываем ее и переносим груз вместе с Люком,— сказал Джемс.— Сейчас не будем терять времени. Люк придержит лодку, а ты поможешь.

Мы взвалили на плечи каждый по довольно громоздкому, но нетяжелому мешку, легко спрыгнули на берег и начали подыматься по крутой тропинке в гору. Тусклый огонек свечи, должно быть, в таком же самодельном фонаре, как и у Джемса, мерцавший метрах в пяти над нами, служил ориентиром.

Голос из темноты спросил:

— Кто идет?

— Джемс.

Мы уже поднялись на пригорок. Черные кусты окружали нас, листья щекотали лицо. Тусклый огонек фонарика освещал круп лошади и серый мундир стоявшего рядом мужчины. Лица его я не увидел, но штаны с золотым лампасом и желтые сапоги разглядел.

— Черт,— выругался я по-русски и отступил в темноту.

Полицейский засмеялся.

— Землян,— сказал он тоже по-русски,— не бойся, не забодаю,— и прибавил уже по-английски:— Твой спутник, Джемс, видно, принял меня за «быка». Если он понимает по-английски, объяснять, я думаю, не надо. Это единственный костюм, в котором здесь не наживешь неприятностей. Все? — спросил он, приподымая сброшенные нами мешки.

— Один лисьи,— сказал Джемс.

— Неплохо. Я тоже кое-что захватил. Мешок муки и два ящика. Кроме консервов, сигареты, вино и разная мелочишка. На дне пара новеньких «Смит и Вессонов», автоматические, тридцать восьмого калибра. Патроны поберегите. Они не для охоты.

— Знаю.

Человек с фонарем подошел ближе, раздвинув неправдоподобные в темноте ветви. Лицо его по-прежнему таяло в густом — я судил по сырости — ночном тумане.

— Передай отцу: неплохую тренировочку он придумал для памяти. Возвращается, подлая. Помню теперь не только Людовиков, но и Сопротивление. А сейчас вдруг прорезалась одна дата: сорок первый год, двадцать второе июня. Свербит, а не могу вспомнить, что.

— Начало Великой Отечественной войны,— сказал я.

На мгновение он умолк, потом выкрикнул почти восторженно:

— Когда вступили в войну мы, русские! Верно! На рассвете двадцать второго июня!

— Через час рассвет,— сказал Джемс.— Надо спешить.

Он не проявил интереса к уроку истории. Видимо, это заметил и наш собеседник.

— Все сразу не захватишь,— произнес он уже другим тоном, лаконично и деловито.— Кому-то придется возвращаться. Возьми пока один ящик, а мы с ним потолкуем немножко.— Он махнул фонариком в мою сторону, чуть не погасив при этом свечу.— Тоже историком был? — спросил он, когда Джемс с ящиком на плече исчез в темноте.

— Почти,— сказал я.

— И все помнишь?

— Многое.

— А после разгрома под Москвой что было?

— Сталинград.

— Верно,— протянул он задумчиво,— теперь еще кое-что припомнится. Жаль, что нам нельзя встречаться просто.

— Почему нельзя?

— Потому что я в Городе, чудак. Дадут пароль — встретимся. А так зайдешь — не узнаю.

Он замолчал, прикрывая разбитое стекло фонаря рукой, отчего тьма вокруг становилась еще гуще. А к моему пониманию происходящего услышанное ничего не добавило. Почему он — тоже русский — оказался здесь, на чужой планете? Почему он живет в этом загадочном безымянном Городе? И почему с ним нельзя встретиться просто, а нужен пароль? Историк. Если наш, земной, то почему он радуется, что не забыл Сопротивления и Сталинград? Или Сталинград он забыл? Значит, нужна тренировка памяти — он сам об этом сказал. Но разве эти слова что-нибудь проясняют?

— Мне понятно, почему ты бежал,— прервал он мои размышления,— но не уходи от Запомнивших.— И опять слово прозвучало так, словно писалось с прописной буквы.

— Что запомнивших? — спросил я, будто бы не расслышав фразы.

— То, что было.

— У меня другая беда,— я продолжал начатую на лодке игру,— помню все, что было, и забыл все, что есть.

Он рассмеялся тихонько, как смеются в классе, чтобы не услышал учитель.

— Вспомнишь. Научат. Главное, не говори никому о том, что Начало не есть Начало.

Сзади послышался треск хрустнувшей под ногами ветки. На берег поднялся Джемс.

— Бери ящик!— потребовал он, подымая мешок с мукой.— Поторопимся. Прощай, Фляш.

Человек, которого назвали Фляшем, потушил фонарь и вскочил в седло. Связанные вместе наши два мешка он перебросил перед собой.

— А что в мешках? — спросил я Джемса.

— Лисьи шкурки. Все «дикие» промышляют этим по малости,— неохотно, как мне показалось, пояснил он и спросил в свою очередь: — О чем говорили?

— О памяти,— сказал я: мне тоже не хотелось развивать сейчас эту тему.— А что он делает в Городе?

— Об этом не спрашивают,— отрезал Джемс.

Сердце пустыни

Я очень люблю у Грина романтическую сказку о воплощенной мечте. Кто-то подшутил над ее героем: рассказал красивую выдумку о «сердце пустыни», о коттедже или даже поселке, построенном счастливцами в девственной лесной глухомани, руссоистскую утопию в сочетании с требованиями современного городского комфорта. Никакого «сердца пустыни» герой, конечно, не нашел, но он сам его создал — прелестное человеческое гнездо в огромном лесу.

Я вспомнил об этом, когда мы уже подъезжали к коттеджу Стила — кстати, фамилия владельца дома и главы семьи, в которой выросли Люк и Джемс, отличалась от фамилии гриновского героя только отсутствием мягкого знака в конце — добротная английская или американская фамилия, если только уместно упоминать о земных нациях в этом диковинном мире.

А до того мы еще плыли по ночной реке час или больше, не знаю, потому что заснул наконец от усталости рядом с Мартином. Разбудил меня Джемс, легонько толкнув в плечо:

— Проснись. Подъезжаем. Разбуди других, только тихо.

Рассвет уже алел, чернота по берегам сменилась различимой синевой леса, бриллиантовая россыпь звезд тускнела и гасла. Сизый туман клубился над рекой, подымаясь по берегам к полосе плотно разросшегося кустарника. Пахло жасмином и медоносом, хотя различить в предрассветном тумане цветы было трудно,— я заметил только переплетающиеся ветви кустарника, словно росшего из воды, там, где берег образовывал выемку. Туда-то и направил лодку Джемс. Она врезалась в кусты, раздвинула их и прошла насквозь с хрустом и шелестом веток о борт. Мы оказались в ерике, узком рукавчике, соединявшем соседние плавни с впадавшей где-то неподалеку другой рекой.

Ерик протекал в зеленой сплошной галерее с крышей из переплетавшихся веток, закрывавшей небо. Грести было уже нельзя, Люк и Джемс отталкивались от кустистых берегов веслами. Уже виденная много раз розовая изгородь увенчивала верхнюю каемку берега, с которого лестницей к воде спускались вдавленные в траву валуны. Именно лестницей — она вела к высокому забору из плотно сбитых и заостренных вверху натесаных бревен, точь-в-точь такому же, какой возвел вокруг своего дома Робинзон Крузо.

Джемс отомкнул калитку, и мы вошли в сад, отделенный от хозяйственного двора деревянной решеткой. Тишина леса по-прежнему окружала нас: в доме, видимо, спали. Он был очень красив, этот двухэтажный дом, выстроенный без всякого архитектурного плана, но с несомненным художественным чутьем, присущим строителям. Гигантские бревна стен почти скрывала коралловая жимолость, разной формы окна и двери не раздражали, а притягивали глаз. Крыша из выгоревшей до черноты тростниковой соломы выдвигалась по карнизу здания массивным навесом полуметровой толщины, предохраняя от прямых лучей солнца обегавшую дом открытую деревянную галерею.

Мы не прошли и половины дорожки к дому, как навстречу вышел человек в такой же ковбойке и шортах, как Джемс и Люк, в таких же мокасинах-плетенках и такой же высокий и загорелый. На его розовом лице не было ни одной морщинки, и только ранняя седина умаляла его моложавость. Конечно же, это был отец наших спутников, но его скорее можно было принять за их старшего брата.

— Типичный фермер из Аризоны или Канзаса,— шепнул мне Мартин.

— Дэвид Стил,— представился он, нисколько не удивившись нашему появлению в обществе его сыновей.

Мы назвали себя. Мартину он пожал руку, как доброму соседу, и только чуть-чуть поднял бровь, когда услышал наши русские имена. Воспитанный человек, сказали бы мы о нем у себя дома. Именно дома — он был земной, совершенно земной человек, гостеприимный хозяин дачи, к которому мы заехали в выходной день.

— Вы, наверное, очень устали,— проговорил он сочувственно,— еще бы, всю ночь на реке. Впрочем, завтракаем мы в пять утра, так что у вас еще три часа, чтобы отдохнуть и вздремнуть, если захочется.

Когда мы остались одни в отведенной для нас, по-спартански обставленной комнате с чисто выструганным дубовым столом, на котором уже стояли бутылки с бренди и молоком, с поджаренными тартинками, я высказал свои соображения Зернову.

Он, как всегда, ответил не сразу. Повертел в руках юношескую бутылку с пестрой этикеткой и сказал совсем не то, что от него ждали.

— Странная этикетка. «Вломкинс и сын». Калифорния. Неужели в этом мире есть своя Калифорния?

— И нет Америки.

— Мы еще не знаем, что есть. Нам известно пока, что есть Город-государство, а в нем французский сектор, русский арондисман и Гарлем. Крохи информации.

— Могу добавить. Какой сейчас век, по-вашему? Здесь — первый. А год десятый. И время отсчитывается не от христианской эры, а от некоего загадочного Начала с прописной буквы. Утверждать, что Начало не есть начало, а что-то ему предшествовало, и помнить, что предшествовало, никому не рекомендуется. Применяются санкции. И еще: в здешних сутках не двадцать четыре, а всего восемнадцать часов.

Продолжение. Начало см. № 11.

Меня выслушали с почтительным удивлением. Только Зернов заметил:

— То, что сутки здесь короче земных, мне давно уже ясно. А год десятый — это любопытно. Но ни то, ни другое не объясняет происхождения калифорнийской этикетки. Она между прочим подлинная. И Мартин ее узнал.

— Узнал,— ухмыльнулся Мартин,— и бренди тоже.

— Молоко у них свое,— задумчиво рассуждал Зернов,— вино они, допустим, привозят из Города. Значит, его где-то изготовляют, хранят, выдерживают. Но почему именно Блэкинс и сын, торгующие вином в Калифорнии?

— Все необъяснимо,— вздохнул Толька.

— Почему же все? — не согласился Зернов.— Многое проясняется, если допустить вероятность гипотезы о Земле-бис. Начнем с элементарного: что нужно «облакам»? Модель земной жизни. Как они поняли эту жизнь? Как совокупность по-разному организованных множеств. Но модель — это же селекция, отбор наиболее, с их точки зрения, типичного. Так зачем им повторяемость форм нашего общежития? Пейзажа? Флоры? Фауны? Не лучше ли представить Землю одним Городом — государством в окружении других форм земной эволюции? Может быть, здесь есть и свои полюса и свои тропики, но для организованной земной жизни достаточно вот такого уголка с растительным изобилием и этологическими излишествами.

— А десятый год первого века? А упраздненная география? А отшлифованная память? А «Смит и Вессон» рядом с индейским луком? Это тоже селекция?

— Не дури, Юра. Это же неуправляемая жизнь. Они воспроизвели структуру вещества, тайны которой мы так и не знаем, и предоставили все это естественной эволюции. Блокированная память? Понятно. Начиная жизнь здесь, эти люди не могли сохранить памяти своих аналогов со старушки Земли. То, что помнили и знали те, не должны были помнить и знать эти. Отсюда и Начало, первый век и упраздненная география.

— Кому же она мешала?

— Людям. Память не могла быть полностью заблокирована. Люди не могли начинать жизнь с опытом новорожденных младенцев. Жизненный опыт человека складывается из свойств характера, эмоциональных состояний, приобретенных знаний и профессиональной деятельности — словом, из количества воспринятой и переработанной информации. Часть ее, связанная с земным прошлым человечества, была не нужна: она помешала бы его жизни в новых условиях. Зачем знать ему о Крестовых походах и войнах, которых не было на этой планете, о небесных светилах, оставшихся в другой галактике, и о странах и городах, которых здесь нет и не будет. Память об этом и была блокирована. Моделированному человечеству оставили только то, что могло способствовать его эволюции. Скажем, профессиональный опыт. Шахтер должен уметь добывать уголь, продавец — торговать, а строитель — строить. Но что делать учителю истории и географии? Он функционально связан с прошлым, ненужным здешнему школьнику. Вот он пришел в школу, как было запрограммировано его создателями, и начал рассказывать детям о Европе или Америке, о Гитлере и второй мировой войне. Детей сообщат об этом родителям, прочно забывшим все то, о чем помнит учитель. Теперь уже не «облака», а сами люди уберут такого учителя, а дети получат новые основы знания. Слыхали Люка? Проще считать, что река замкнутым кольцом обтекает планету, чем где-то кончается и куда-то впадает. Этот Город-государство еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов, но ему уже нужны инженеры и математики. Без строительной механики не построишь дома, а без геологии не найдешь угля и железной руды. А вы говорите: необъяснимо!

Речь шла на языке Мартина. На таких военных советах он обычно молчал, редко вмешивался и еще реже перебивал — сказывалась военная косточка,— а сейчас, когда объяснения Зернова, казалось, предвосхищали все наши возражения, взбунтовался именно Мартин.

— Все объяснимо, когда Борис объясняет. Мы как в покер играем — у него всегда «флеш-ройяль», а мы карты бросаем. Верно? — Он оглядел нас, несколько удивленных таким вступлением, и засмеялся.— А сейчас у него бедновато, по-моему. Есть шанс сыграть, может быть, у нас «каре».— Он подмигнул мне и Тольке.— В другую галактику я что-то не верю. В чудеса тоже: знаю, как они делаются, видел. Моделируется опять какая-то жизнь, а нас суют в нее, как орехи в мороженое. Ну и что? Растает мороженое, и очутимся мы опять в коттедже у Юры допивать «скотч».

— Не знаю,— вздохнул я,— что-то не тает. И объяснение Бориса, вполне логичное, все же очень многого не объясняет. Например, происхождения этой этикетки из Калифорнии. А я могу подбросить еще пяток таких же загадок. Или десяток. От кого, скажем, получают «дикие» огнестрельное оружие и зачем? Почему и кому пригодятся «запомнившие»? Почему «быки» не будут есть птицу, жареную на вертеле? И почему при современном техническом уровне смоделированной земной жизни поезда здесь ведут не электровозы и тепловозы, а допотопные «кукушки»?

Пришлось рассказать все, что я видел и слышал ночью. Эффект сразил всех, даже Зернов растерялся.

— Юра прав,— наконец сказал он,— многое здесь я еще объяснить не могу. Лично думаю, что с нами хотят проконсультировать опыт, который, возможно, и не удался. Ведь даже суперцивилизация не сможет создать достаточно совершенную модель жизни, в которой ей самой не все еще очень ясно. Как в старой сказке: возьми того, не знаю чего, и построй то, не знаю что. Загадки, думаю, мало-помалу раскроются, и мороженое растает. А вот когда — даже предположить не могу. Боюсь, что счет придется вести не на дни и даже не на недели.

Не знаю, как всем, но мне стало страшно.

Первые кадры Начала

Завтрак был сервирован по-европейски: поджаренные ломтики хлеба, холодное мясо, яйца всмятку, несколько сортов сыра — я узнал честер и камамбер — и кофе со сливками. Открытую веранду с трех сторон затеняли лапчатые листья клена, а четвертая была открыта солнцу, но не раннему, а уже достаточно сильному и высокому, какое у нас бывает не в шесть, а в десять утра.

За столом прислуживала женщина лет сорока, англичанка по внешнему виду, и, казалось, отлитая по тому же стереотипу, как и все Стилы,— такая же высокая и крепкая, только с более строгим, даже суровым выражением лица. Она не улыбнулась, когда хозяин представил ее ласково, но лаконично: «Элизабет, сестра»,— и тотчас же ушла, как только была поставлена на стол последняя чашка. На мой вопрос, почему она не осталась с нами, Стил вежливо пояснил:

— Лиззи — существо молчаливое и застенчивое. После смерти жены она воспитала мне мальчиков, но так и не привыкла к мужскому обществу. А разговор у нас будет чисто мужской, серьезный и трудный. Из того, что рассказали мне дети, я, честно говоря, мало что понял. Пожалуй, самое важное: вы нуждаетесь в помощи, а мы никогда в ней не отказываем.

— Спасибо,— сказал Зернов,— но в основе всякой дружеской помощи — доверие, доверие и еще раз доверие. Мы доверяем вам наши жизни и наши судьбы. Мы одиноки, безоружны и беспомощны в этом мире, о котором ничего не знаем, кроме того, что видели и пережили в лесу. Мы говорим на одном языке, но мы люди разных миров, и, чтобы понять друг друга, хотя бы даже объяснить вам, почему произошла эта встреча, мы хотели бы услышать ваш рассказ о вашем мире — о Городе и его людях, о вас и о вашей жизни. Только тогда вам станут понятны и наш ответный рассказ, и мы сами, и наше стремление не только получить помощь, но и предложить вам свою, если она понадобится.

Мне показалось, что Зернов скорее насторожил Стила, чем расположил его к нам. Джемс и Люк жевали, не подымая глаз от тарелок, а Стил, наоборот, долго и пристально разглядывал всех нас по очереди, но молчал. Тогда я, вспомнив свой ночной разговор с маскарадным полицейским, решил вмешаться.

— Большинство из вас не помнит того, что предшествовало Началу,— рубанул я напрямик нечто вполне понятное Стилу,— а если кто что и помнит, то, даже собрав все это запомнившееся, нельзя представить себе мир, каким он был. Предположите парадокс: мы помним все, что было, абсолютно все и ничего не знаем о том, что есть, абсолютно ничего. Вот вы и расскажите нам о том, что произошло с вами девять лет назад, как вы жили эти годы, чего добились и что утратили. Вам понятно?

Мне было понятно. Стилу тоже.

— Значит, вы не пережили космической катастрофы? — спросил он.

Как ответить?

— Нет,— сказал Зернов.— Мы даже не знаем о ней.

— Мы тоже не знаем, потому что в мире, казалось, ничего не случилось. Не было ни кометы, ни землетрясения, ни звездопада. Но что-то произошло — невидимое, неощутимое, но изменившее если не мир, то нас.

— Когда? — спросил Зернов.

— Больше девяти лет назад. Почти десять. Вы уже, вероятно, слышали. Однажды утром, обыкновенным летним утром, в будни, когда надо было идти на работу. В открытое окно доносился утренний гомон улицы, шум автомобильных моторов. Все, как обычно, только часы стояли: все часы в доме, как я узнал после. Я хотел узнать время по телефону, но телефон не работал. И это меня не встревожило — бывает. Встал, оделся, Лиззи, как всегда, приготовила завтрак, а я проверил содержимое портфеля, в котором, помнится, были какие-то рукописи: я заведовал рубрикой «Новости дня» в популярном еженедельнике «Экспресс» и часто брал на дом какие-нибудь заметки и письма. Но портфель был пуст, и это уже встревожило. Самое странное — я не помнил ни заметок, ни писем, какие, я был уверен, что положил в портфель, но еще более странным оказалось то, что я не нашел их и в редакции. Мало того, в моем редакционном кабинете — ни в сейфе, ни в столе — не оказалось вообще никаких бумаг. В довершение всего я не помнил ни одного задания, какие обычно давал по утрам репортерам. Их было трое: Мотт, Рейни и Дарк, славные парни и старые друзья. Все они сидели в соседней комнате возле моей секретарши Шанель странно молчаливые, словно чем-то пришибленные.

«Что случилось? — спросил я.— Умер кто-нибудь или кассир с деньгами сбежал?»

«Хуже,— сказал Мотт,— мы ничего не помним. Какое сегодня число, старик?» Я открыл и закрыл рот: я тоже не помнил. «А месяц?» «Сошел с ума»,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать. «А ты не шути, шеф. Что ты помнишь из последнего номера — он три дня как вышел? Какую сенсацию? Какое фото?»

Я ничего не помнил. Ни прошлого, ни позапрошлого, ни прошлогоднего — ровным счетом ничего. Даже обложек.

«Дайте номер!» — потребовал я.

«В редакции нет ни одного экземпляра, шеф. Ни за этот, ни за прошлые месяцы».

«А в справочной библиотеке?»

«В справочной библиотеке пустые полки, шеф. Все исчезло за одну ночь. Я уже звонила в полицию, но телефоны выключены»,— ответила секретарша.

В первый раз я почувствовал уже не тревогу, а страх. Что-то случилось со всеми нами, с редакцией, с городом, но я еще не знал всего. Предложив ребятам подождать, я пошел к главному. Он что-то писал или чертил пером и поморщился при моем появлении.

«Я занят, Стил. Никак не могу обдумать тему передовой. Может быть, о загрязнении реки?»

«Какой реки?» — спросил я.

«Нашей, конечно. Вы в уме?»

«А название ее помните?»

«Название? — ошалело переспросил он.— Нет».

«А какое сегодня число? — повторил я вопрос Мотта,— а месяц, а год? А как зовут мэра? И кто возглавляет правительство?»

Он посмотрел на меня почти с ужасом.

«Я ничего не помню, Стил. Абсолютно ничего».

«Я тоже. И никто в редакции».

Он потянулся к телефону. Как и следовало ожидать, он не работал.

Главный не любил долго думать. Он всегда принимал быстрые решения и очень этим гордился.

«Разошлите своих репортеров по городу. Пусть спрашивают кого попало подряд обо всем, что придет в голову. Под предлогом, что журнал, допустим, проводит анкету о сообразительности и быстрой реакции. И пусть не задерживаются. Утрата памяти тоже сенсация. А пока пригласите всех дежурных редакторов ко мне».

Через три минуты мы все собрались у него в кабинете. Это и было Начало, происходившее повсюду в городе, осознание того, что произошло со всеми нами, начало новой жизни, потому что старая была даже не забыта, а начисто изъята из памяти. Собрались забывшие о том, что было вчера, позавчера, в прошлом и позапрошлом году, десять, двадцать, сто лет назад. Помню, как сейчас, это собрание со всеми его восклицаниями и репликами — оно запечатлелось в памяти с той же полнотой, с какой забылось все, что ему предшествовало.

«Есть ли где-нибудь календарь?» — спросил главный.

Календарей в редакции не оказалось.

«Что вы помните, Дженнинс?»

«Я помню, сэр, как меня зовут,— ответил тот без малейшей улыбки,— помню, что у меня жена и двое детей, знаю их имена и склонности. Помню сегодняшний утренний завтрак, но не помню вчерашнего. Помню дорогу в редакцию, но не совсем уверен, что вчера шел именно этой дорогой. Помню, наконец, что заведую иностранным отделом и что мне надо писать очередной обзор на седьмую полосу».

«О чем?»

«Не знаю. Название отдела предполагает иные страны, но я не помню ни одной. Я даже не помню, как называется наша. Я знаю, что пишу и говорю по-английски, но сделать отсюда вывод о наименовании нашего государства не могу, сэр. Я не помню также ни одного события ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного географического названия. Мне знаком термин «географический», он связан с моей профессией, но что такое география, объяснить не могу. Боюсь, что произошла какая-то космическая катастрофа, сэр. Какое-то излучение смыло память о прошлом. У каждого ли, не знаю. Но в нашей редакции это именно так».

«То же излучение уничтожило и календари и наши записные книжки?» — насмешливо спросил я.

Дженнинс молчал. Ответ мы получили несколько позже, когда явились мои репортеры. Рассказ их был страшен.

Ничего как будто не изменилось в городе. Были открыты все магазины, парикмахерские, ателье мод, аптеки и бары. Струились встречные потоки автомобилей. Постовые полицейские на перекрестках рассасывали пробки. Спешили пешеходы, торговали лоточники, садились и взлетали голуби. Но...

Репортеры не обнаружили ни одного газетного киоска.

Ни одной библиотеки.

Ни одного адресного бюро.

Ни одной почтово-телеграфной конторы.

И ни одной телефонной будки.

Все часы в городе стояли или показывали разное время. Нельзя было достать ни календарей, ни телефонных справочников и никаких карт, кроме игральных. В пустых кинозалах не оказалось фильмов, а в театрах — пьес, причем все актеры прочно забыли все сыгранные ими роли. Не вышла ни одна газета. Никто не помнил ни названия города, ни имени главы государства, ни года, ни числа, ни национальности. Некоторые даже не говорили по-английски, а только по-французски, так что объясняться приходилось знавшему оба языка Рейни. Любопытно, что языка никто не забыл, а говорившие по-французски говорили так с детства, хотя самого детства не помнили. Языковую разноголосицу никто объяснить не мог, хотя некоторым казалось, что вчера ее не было. Но точно никто не помнил даже названия улицы, на которой жил, и узнавал ее лишь из таблички на углу дома. Некоторые из опрошенных не могли назвать и улицу, где работали: «как доехать или дойти знаю, а как она называется, не помню». На вопрос, где можно позвонить по телефону, некоторые спрашивали: «А что это такое — телефон?» Шоферы такси толпились на стоянках и не искали пассажиров: они не помнили городских маршрутов. Не помнили их и водители трамваев. Они везли пассажиров «по рельсам, куда колеса бегут». Дарк, доставлявший информацию о железнодорожном транспорте, но позабывший все названия вокзалов, поинтересовался у полицейского, где же найти ближайший. В ответ услышал растерянное: «Извините, не помню».

Таково было Начало, рождение нового мира, каким его увидел и пережил Стил.

Робинзонада новорожденных

Мы слушали потрясенные, едва дыша, как на музыкальных премьерах в консерватории. Стил был отличным рассказчиком, умевшим колоритно и образно передать пережитое. Мы словно сами присутствовали при рождении этой частицы земной жизни, выращенной искусственно, как в колбах Петруччи, и получившей самостоятельное развитие

уже в расцвете полной сил зрелости. Лишенный памяти своего земного аналога, не связанный никакими узами с его прошлым, человек этого мира входил в него свободным строителем любого общества, любого образа жизни, какой только он пожелает создать. Но уже с первых шагов он был обеднен, обокраден и обездолен. Его не только лишили накопленной памяти, но и всех сокровищ земной культуры, которые могли бы напомнить ему о прошлом. Трудно представить себе интеллектуально развитый, душевно богатый мир современного человека без книг и фильмов, словарей и справочников, музыкальных партитур и магнитофонных записей, картинных галерей и музеев. Но именно такой мир и был рожден в одну ночь и начал жить запрограммированно — по инерции. По инерции люди просыпались, обедали, ужинали, по инерции покупали все им необходимое, по инерции делали запрограммированную работу, но разум современного человека — пусть синтезированного, но не робота, не машины, а именно человека по биологической его структуре, по содержанию его нервной деятельности,— этот разум с каждой минутой убеждал ёго, что по инерции жить нельзя. Нужно было наново делать жизнь — все, начиная со школьных учебников и кончая борьбой за человеческое достоинство. Робинзонада ограничивалась домом, хозяйством и кухней, робинзонада жителей новорожденного Города требовала экономического, политического и социального опыта.

Они сами определили понятия, формировавшие этот опыт: Начало, то, что дано, и Знание. Началом был первый их шаг в еще не осознанном мире, первое ощущение утраченного прошлого, первая мысль о границе между тем, что было, и тем, что есть. То, что дано, и было тем, что есть, запрограммированным условием задачи на построение жизни — миром, казалось, привычным с детства, домом, семьей, работой и заботами о завтрашнем дне. А Знание было программой информации, когда-то воспринятой и переработанной, но не отраженной вовне — ни на пленке, ни на бумаге,— информации, которую следовало закрепить и сохранить для потомства.

Кто-то вдруг обнаружил, что часы больше не отвечают течению времени, не поспевают за солнцем. Обратился к часовщику; задача потребовала внимания астрономов, и вот уже вылетела первая ласточка нового Знания: в сутках не двадцать четыре, а восемнадцать часов. Привычный график жизни и работы менялся, сокращалось свободное время, перестраивались реакции организма на движение стрелок новых часов. А в обсерватории уже изучали небо, как незнакомую карту. Звезды рождались вместе с появлением их в поле зрения астронома: им давали первые пришедшие в голову имена — Жаннеты и Роберта, Гиганта и Прелестницы, созвездия Шпаги и Гавайской гитары. А затем вычислили годовую орбиту и создали календарь. В году оказалось по-старому двенадцать месяцев, но двести восемьдесят восемь дней, отчего каждый месяц уложился точно в двадцать четыре дня. Из недели убрали четверг и превратили ее в шестидневку.

Обостренная профессиональная память — с блокадой каких-то ее ячеек резко усилилась деятельность других — помогла восстановить основы школьного и университетского знания.

Строители извлекли из памяти основы строительной механики и сопротивления материалов. По клочкам актерских воспоминаний удалось воспроизвести многие из старых, но понятных людям пьес, а композиторы и исполнители довольно быстро восстановили ценнейшие музыкальные сокровища человечества. Не удалось лишь сохранить имена. Бетховен и Бах были столь же прочно забыты, как Ньютон и Резерфорд. Все, что было открыто, изобретено, сочинено и осмыслено до Начала, публиковалось и исполнялось без имени автора.

Стил не был мыслителем и философом, он просто излагал факты, многого не помня и не понимая. Он не мог, например, объяснить, почему не были восстановлены такие достижения человеческого прогресса, как телеграф, телефон, радио и телевидение, а смоделированные в квартирах, как часть декоративного интерьера, телефонные аппараты и радиоприемники пришлось вскоре продать как утиль в мелкие ремонтные мастерские. Смоделировав кинотеатры, «облака» забыли о фильмах или вообще не поняли их назначения, приняв за образец какой-то ложной вторичной жизни, так что в созданном ими Городе кино не оказалось. Впрочем, этот вывод мы уже сделали сами, а не Стил, забывший, что такое кино и на что оно нужно. На вопрос о живописи он ответил, что «картинки иногда развешиваются на афишных столбах». А вопроса о художественных музеях вообще не понял: должно быть, их в Городе не было.

Иногда Стил не знал даже элементарных для нас понятий.

— Автомобили вышли из строя уже на второй или третий день Начала,— вспомнил он.

Мы, естественно, удивились.

Оказывается, иссякло горючее в бензоколонках, и никто не знал, где его достать: «облака» не предусмотрели воспроизводства бензина.

— Могли бы нефть использовать,— заметил Зернов.

— А что это такое? — спросил Стил.

В недрах планеты не оказалось нефти, может быть, только в этих широтах, но не оказалось. Однако был лес и каменный уголь. Изобретатели — их вдруг появилось великое множество — нашли способ переделать двигатель машины, позволявший использовать вместо бензина древесные чурки. Появились газогенераторные автомобили, паровички, конные экипажи и велорикши, совсем как в оккупированной Европе в годы второй мировой войны. Тут мы сделали для себя еще один вывод: общавшиеся без применения техники «облака» не оценили и техники земной связи. Из всех ее средств они оставили своему человечеству одну только почту.

Разбирая потом рассказ Стила, мы так и не могли представить себе более или менее отчетливой картины его мира и Города. Она была испещрена множеством белых пятен, как древние карты. Почему, например, была сорвана работа по восстановлению учебников истории, географии? Почему было запрещено преподавание этих предметов в школах? Зернов уже высказывал нам свои соображения по этому поводу, но рассудок восставал против них хотя бы потому, что они выдвигали новые вопросы. Куда, например, исчезли ученые, профессиональная память которых хранила запрещенные знания? Кто и в чьих интересах насаждает здесь географическое невежество? Все дети во всех странах мира мечтали и мечтают о неведомых землях и неоткрытых мирах. Почему же такие мечты не тревожат умы сверстников Люка и Джемса? Неужели только потому, что этот мир еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов? Едва ли. Скорее на Колумбов был наложен запрет и открытия возможных Магелланов не поощрялись. Почему, например, историк, вспомнивший вторую мировую войну, признался мне в этом только в темноте леса, да и то лишь потому, что был убежден в невозможности нашей вторичной встречи. Значит, в Городе и в лесу что-то скрывали и кого-то боялись. Кого?

Правительства? Но правительства не было, и парламента не было, и партий не было, и главы государства никто не знал. Даже кто руководит Городом-государством — хунта или единоличный диктатор, Стил толково не мог объяснить. Мэр Города? Едва ли. Он ничего не решал без Совета олдерменов. А Совет ничего не обсуждал, не проконсультировавшись предварительно в Промышленно-торговой Палате. Значит, Палата? Но та ничего не предпринимала без санкции Клуба Состоятельных. Тогда Клуб? Но и состоятельные склонялись перед директивами весьма скромного, судя по названию, учреждения, а именно Бюро по распределению продовольственных продуктов при Главном управлении полиции — проще говоря, Продбюро.

Одного Стил сам никогда не мог понять — откуда в магазины поступали продукты. Развозили их по ночам гигантские пятидесятитонные грузовые машины. Двигались они вообще без горючего и без водителей, но под охраной специальных полицейских бригад. Движением машин управлял извне особый Вычислительный центр, где определялись также и маршруты грузовиков, и остановки их у магазинов, и длительность остановок, и все виды товаров, какие должны быть выгружены. Вычислительный центр работал автоматически, без ошибок и перебоев: ни один магазин, даже крохотная лавчонка, своевременно зарегистрированные в Продбюро, никогда не имели оснований для жалоб; тоннаж и ассортимент полученных продуктов всегда соответствовали требованию, и ни разу доставка не обманула получателей: по ночным грузовикам можно было сверять часы. Вычислительный центр был подчинен Продбюро, туда же поступала и выручка с каждого грузовика, аккуратно сдаваемая охранными бригадами, на месте получавшими все суммы, причитавшиеся в уплату за выгруженный товар. Куда исчезали потом грузовики, где и когда загружались, кто сносился с Вычислительным центром и кто контролировал работу Продбюро, в Городе никому известно не было. Попытки что-либо разузнать об этой системе пресекались немедленно. Полицейские во время разгрузки имели право стрелять без предупреждения в любых прохожих на улице, излишнее любопытство газетчиков каралось немедленным отстранением от работы, а упрямцы попадали прямо в Майн-сити, навсегда превращаясь в «без вести пропавших». Точно так же был ограждён от «излишнего любопытства» и Вычислительный центр, все входы которого охранялись денно и нощно, и пройти сквозь эту охрану не удалось еще ни одному смертному.

— Кроме Мотта,— со вздохом прибавил Стил.— Он прошел, переодетый полицейским, во время смены караула. Но его подвел зеркальный заслон.

Мы заинтересовались.

— Контрольные зеркала. С каждого полицейского внутренней охраны снимается и фиксируется зеркальное отражение. А потом оно сверяется контрольными зеркалами. Мне объяснили впоследствии, а Мотт... поплатился жизнью.

— Где же изготовляются продовольственные товары? — спросил Зернов.

— Где-то на северо-западе, куда ведет единственная мощеная дорога. По ночам это почти сплошная цепь грузовиков.

— Район охраняется?

— Так же, как и Вычислительный центр.

— Для производства продовольствия нужны не только специализированные заводы, но и хорошо налаженное интенсивное сельское хозяйство,— сказал Зернов.— Хлеб не рождается в булочных, нужны еще гектары, тысячи, десятки тысяч гектаров пшеницы. От коровы до жареного бифштекса тоже не малый путь.

— Мы коров завели только здесь, из дикого стада, одомашнили и приручили. А до этого видели их только на этикетках мясных консервов.

— Кстати, откуда эти этикетки? На бутылке марка фирмы «Бломкинс и сын». Есть такая фирма?

— Нет. И никто не знает, что такое Калифорния. И это одна из задачек, решать которые не рекомендуется,— вздохнул Стил.— А у нас их целый задачник. Откуда название фирмы на этикетках? У нас вообще нет фирм, производящих продукты,— только магазины, ими торгующие. У нас нет ни пекарей, ни виноделов, ни табачников, ни кондитеров. А получаем мы все, от шампанских вин до консервированных ананасов. Спросите любого: что такое ананас, он вам не ответит. Мы не знаем, где они растут — просто едим их в консервах.

Зернов задумался. «Задачник» Стила все более усложнялся. Десятый год хранит и копит свои тайны Город — не от нас и не для нас.

— Но ведь население его растет,— недоумевал он.

— А поток продуктов не иссякает.

— Вы уверены?

— Продбюро никогда не отказывает в увеличении поставок — только плати. Еще загадочка. А хотите самую странную? Почему продукты по-

ступают в Город только в готовом виде — подогревай и ешь. Только не мечтай о собственноручно сваренной курице или о домашней овсянке — в сыром виде в магазинах не найдешь даже яйца.

— Но разве нельзя завести собственное хозяйство?

— Есть священная заповедь Продбюро: не приготовляй пищи из продуктов, добытых лично на земле или в земле, в воде или в воздухе. Продукты приобретаются только в магазинах — нигде больше. Вы ели рыбу, жаренную на вертеле,— это преступление. Если бы вас накрыла речная полиция, я бы не ручался за последствия. Охота и рыбная ловля у нас — уголовно наказуемые действия, причем не из гуманных соображений, а из боязни, что на стол жителей Города могут попасть продукты, не купленные в гастрономическом магазине. В особых случаях с полицейской визой разрешена охота на лисиц, да и то лишь потому, что мясо их не годится в пищу.

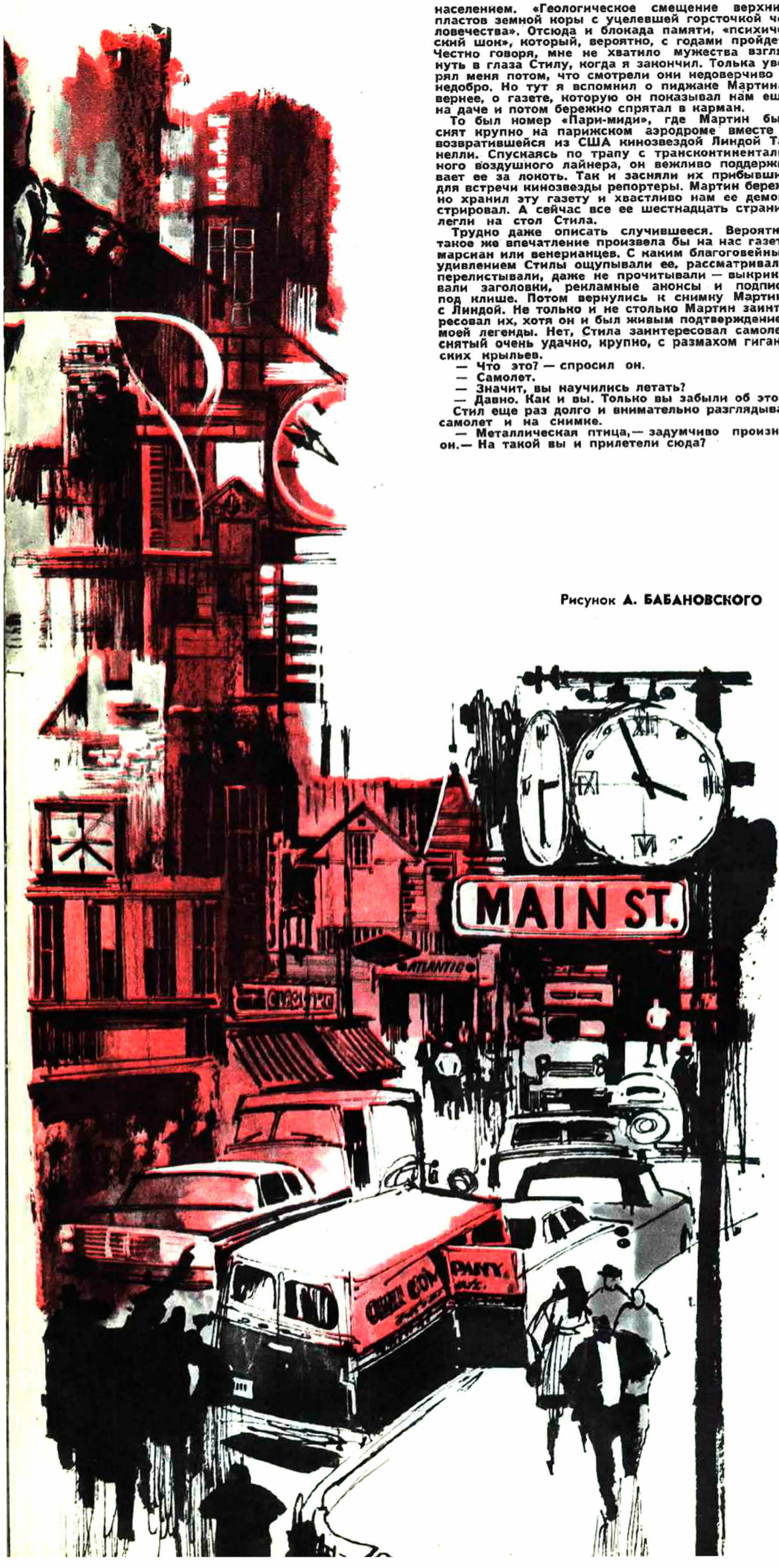
— Любой закон можно нарушить,— сказал я.

Стил усмехнулся так, как давно уже его нарушивший.

— В сущности, все мы, «дикие», давным-давно смертники,— сказал он просто, даже тени тревоги не пробежало по лицу его.— Ведь мы печем хлеб из собственноручно посаженной и выращенной пшеницы и варим яйца от собственных кур. Смешно? А ведь вся наша жизнь здесь — это цепь государственных преступлений. Мы бежали из Города — преступление первое. Создали свое хозяйство — преступление второе. Охотимся и ловим рыбу — преступление третье. Вы и не подозревали, вероятно, что просите помощи у государственного преступника.

Пятна на карте

Самое трудное было рассказать Стилу историю нашего появления. Правда исключалась. Уровень знаний Стила, блокада памяти, слабая восприимчивость к незнакомому, выходящему из рамок привычных для него представлений о мире, затрудняли точное изложение случившегося. Мы уже заранее решили прибегнуть к легенде, предоставив мне импровизацию в зависимости от сложившегося разговора: «Юри придумает — о'кэй», «у Анохина экстравоображение», «Юрка такое отколет». Ну, я и отколол, оттолкнувшись от идиотского запрещения географии: «Вас обманывают, друзья мои. Вы не одни на Земле». Так я начал, отторгнув все чудесное и необъяснимое. Все объяснимо. Река не огибает планету, а впадает в Атлантический океан. За океаном — другие материки и моря, реки и страны. Число их я сократил для простоты, не боясь, что меня проверят при жизни Стила: потребовалось бы несколько поколений, чтобы построить океанские лайнеры или воздушные корабли. Я назвал Канаду, куда и перенес эпицентр воображаемой геологической катастрофы. Канада показалась мне наиболее подходящей: там говорили на тех же двух языках. Оттуда и откололся Город — просто часть страны с ее смешанным



населением. «Геологическое смещение верхних пластов земной коры с уцелевшей горсточкой человечества». Отсюда и блокада памяти, «психический шок», который, вероятно, с годами пройдет. Честно говоря, мне не хватило мужества взглянуть в глаза Стилу, когда я закончил. Толька уверял меня потом, что смотрели они недоверчиво и недобро. Но тут я вспомнил о пиджаке Мартина, вернее, о газете, которую он показывал нам еще на даче и потом бережно спрятал в карман.

То был номер «Пари-миди», где Мартин был снят крупно на парижском аэродроме вместе с возвратившейся из США кинозвездой Линдой Танелли. Спускаясь по трапу с трансконтинентального воздушного лайнера, он вежливо поддерживает ее за локоть. Так и засняли их прибывшие для встречи кинозвезды репортеры. Мартин бережно хранил эту газету и хвастливо нам ее демонстрировал. А сейчас все ее шестнадцать страниц легли на стол Стила.

Трудно даже описать случившееся. Вероятно, такое же впечатление произвела бы на нас газета марсиан или венерианцев. С каким благоговейным удивлением Стилы ощупывали ее, рассматривали, перелистывали, даже не прочитывали — выкрикивали заголовки, рекламные анонсы и подписи под клише. Потом вернулись к снимку Мартина с Линдой. Не только и не столько Мартин заинтересовал их, хотя он и был живым подтверждением моей легенды. Нет, Стила заинтересовал самолет, снятый очень удачно, крупно, с размахом гигантских крыльев.

— Что это? — спросил он.

— Самолет.

— Значит, вы научились летать?

— Давно. Как и вы. Только вы забыли об этом.

Стил еще раз долго и внимательно разглядывал самолет и на снимке.

— Металлическая птица,— задумчиво произнес он.— На такой вы и прилетели сюда?

— Почти на такой,— сказал я, не подымая глаз от стола.— Пожалуй, только поменьше. Сбились с курса в северной Атлантике над океаном, вынужденная посадка на воду, ну и... привет, как говорится. Не дотянули до берега каких-нибудь триста метров. А спаслись вплавь, случайно...

Я говорил с нанглянным апломбом, но с каждой фразой мне становилось все труднее и труднее врать. Душевное состояние Стилов было живым укором моей «импровизации».

— Нелегко вам будет добраться обратно,— с какой-то новой теплотой в голосе произнес наконец Стил.

— «Нелегко» не то слово.

Презирая себя, я сквозь зубы пояснил, что шансов на возвращение у нас действительно почти нет. Построить судно, способное пересечь океан, при отсутствии средств и необходимого опыта едва ли возможно. Пытаться это сделать на лодке или на плоту рискованно. Регулярные воздушные рейсы в этих местах не проходят, иначе бы жители Города видели самолеты. Но если даже — один шанс на миллион — такой самолет и появится, то где он сядет: для посадки нужны специально подготовленные площадки. Допустим даже и такой случай: самолет все же сел где-нибудь, то как сюда доберутся участники перелета? И как их примут в Городе, не придется ли им помогать, вместо того чтобы рассчитывать на их помощь?

И тут внезапно открылось нам одно из белых пятен на карте Стила. За девять лет в Городе выросла активная подпольная оппозиция. Кому? Правительству невидимок? Отчасти, но не персонально отдающим приказы, а режиму вообще. Духу рабства и рабовладельчества. Обскурантизму. Подавлению человеческого достоинства. Я перечисляю здесь в нашем понимании наши вопросы и ответы Стилов, но, честно говоря, во время разговора мы мало что выяснили. «Я и раньше предполагал это,— сказал потом Зернов,— даже не сомневался. Смоделировав классовое общество, «облака» не смогли предотвратить классовой борьбы». Но не изучавший марксизма Стил объяснял все это иначе. Технический регресс, последовавший за Началом, не породил безработицы, а, наоборот, создал широкий рынок труда. «Сколько заводов и фабрик работало в Городе в дни Начала?» — спросил я его. Этого он не знал. Но знал другое: действовавшие заводы вскоре не смогли удовлетворить растущие потребности населения. «Начался век изобретательства,— сказал Стил,— изобретали все: от велоподставок до масляных ламп». Улицы и квартиры лишились света: энергии единственной электростанции хватило только для нужд промышленности. Да и сделать электролампочку без вольфрамовой нити было нельзя — вольфрама не было. Зато открыли светильный газ и газовое освещение. Возникли свечные фабрики. Отсутствие телеграфа породило мощную организацию посыльных. Новорожденные конюшни требовали конюхов и кучеров. Предприимчивые люди ловили диких лошадей и создавали конные заводы. Как сыпь, по Городу расползались ремонтные мастерские. Чинилось все — от посуды до экипажей. Все требовало рабочих рук, и шахты пустели: горняки в поисках более легкого и лучше оплачиваемого труда бежали в Город. Вскоре обычный ранее шахтерский поселок Майн-сити превратился в лагерь принудительного труда. Полицейская регламентация усиливалась с каждым годом. Ни построить дома, ни открыть мастерской, ни продать на базаре ненужный металлический лом стало невозможным без разрешения полиции. Даже прогулка за город, невинный пикник в лесу требовали специальной полицейской визы. Видимо, государство, напуганное движением «диких», явившимся первым откликом на стремление человека к свободе, боялось потери каждой пары рабочих рук. А число «диких» росло: отважные смельчаки один за другим уходили в лес, готовые защищать свою робинзонаду любыми средствами. У меня даже возник спор по этому поводу с Мартином. Он сравнивал «диких» с последователями Генри Торо, американского философа-утописта, я же решительно причислял их к руссоистам. Зернов нас помирил, объявив, что корни одни и те же: при отсутствии марксистской теоретической базы социальный протест мог принять любые формы, характерные для мелкобуржуазного мышления,— от террористических актов до руссоистской утопии.

Оказалось, однако, что отсутствие теоретической базы было ошибочным допущением, и выяснилось это уже к вечеру, когда Стил, запершись у себя в комнате, тщательно изучил все шестнадцать страниц парижской газеты. После отца ее проштудировал Джемс, и за ужином оба учинили нам форменный допрос с пристрастием. Отвечали все понемногу, стараясь, так сказать, распределять вопросы по специальности. Мне пришлось объяснить, что такое «продюсер», «широкоформатный экран» и розыгрыш футбольного «кубка кубков». Толька пополнил словарь хозяев терминами, вроде «тайфун» и «цунами». Мартину достался рассказ о баллистических ракетах и полетах со сверхзвуковой скоростью, а Зернов с терпением и осведомленностью энциклопедического словаря удовлетворял любое проявление хозяйского любопытства.

— Что такое коммунизм? — вдруг спросил Стил.

Зернов коротко объяснил принципы и цели коммунистических партий, рассказал о Ленине и Октябрьской революции в России.

— А что такое Сопротивление? — снова спросил Стил.

Зернов рассказал и о Сопротивлении во Франции. Что понял Стил, я не знаю, но что-то, во всяком случае, понял, потому что, переглянувшись с Джемсом, словно спрашивая его, говорить или не говорить, медленно, но решительно произнес:

— У нас тоже есть такая партия. Называет себя Сопротивлением. Я понял теперь, почему. Люди, сохранившие память об этом, не согнули спины. Они не ушли в лес, как «дикие», они живут и работают в Городе. В подполье, конечно,— прибавил он, и я про себя отметил, что Стилу знакомо это слово, во всяком случае, объяснений он не потребовал.

(Продолжение следует)

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО**

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

Тольке спросил как бы мимоходом, случайно:

— При встрече вы сказали, что не только ищете помощи, но готовы помочь и нам, если возникнет такая необходимость. Что вы имели в виду?

— А вы считаете, что такая необходимость возникла? — добавил Зернов.

— Считаю,— сказал Стил.

— Мы в вашем распоряжении.

— Хотите переехать в Город и присмотреться сначала?

— Безусловно.

— Документы и все остальное вам подготовят. Люк останется дома, а мы с Джемсом вернемся через два-три дня. Пароль и явку получите.

Я понял, что возвращение наше на Землю откладывается на неопределенное время. Видимо, «облака» предусмотрели и это. Я приуныл, Дьячук тоже, даже Зернов — или мне это только казалось — стал чуточку более подтянутым, и только в серых глазах Мартина ничего не отражалось, кроме любопытства,— волевой человек был, этот Мартин. Но заметил или не заметил наше настроение Стил, не могу судить: мы почти тотчас же расстались и сидели у себя в мезонине на волчьих шкурах. Сидели и молчали. Даже не ностальгия, а просто боль, физическая боль сверлила сердце. Неужели мы не вернемся, совсем не вернемся? Для Земли, для родных, для любимых мы уже умерли. Растаяли в багровом тумане, как двойники. А кто знает об этом? Никто. Может быть, догадываются, может быть, надеются. А вдруг мы совсем в другом времени, не параллельном, а перекрестном? Там, предположим, время движется по прямой, а здесь по спирали, ее пересекающей, и витки спирали завиваются так близко друг к другу, что точки пересечения лежат почти рядом. Мы пройдем несколько колец, а вернемся почти в ту же точку, проживем здесь недели, месяцы, годы, а вернемся в ту же минуту. Фантастика? А Сен-Дизье не фантастика? У такой чертовщины, как «облака», все возможно.

Я высказал все это вслух. Мартин засмеялся, а Толька зло буркнул:

— Опять чушь мелешь!

И тут вмешался Зернов, насмешливый Зернов, сбивающий человека одной иронической репликой.

— А если не чушь? Я всегда говорил, что у Анохина поразительная смелость воображения. Особый талант. Жаль, что он не физик. Миллионы людей, Толя, способны предполагать всякое, но лишь немногие — невозможное, и только единицы угадывают в нем истинное. Не принадлежит ли Анохин к таким единицам? Не красней, Юра, я говорю чисто риторически. А время — вещь до сих пор непонятная. Кант утверждал его иллюзорность, Лобачевский — несимметричность, Ченслер выдвинул гипотезу о ветвящемся времени, а Леноксе предположил его спиралевидность. Юра, наверно, не знает последних новаций, но разве его догадка менее допустима? По крайней мере она вселяет надежду, а надежда — это уже половина успеха. Так что, друзья, отставить ностальгию, расслабиться, как говорят спортсмены, хотя бы до возвращения Стила.

И мы расслабились. Два дня совершали лодочные экскурсии в плавнях, учились метать нож и стрелять из лука, играли в мартиновский покер с картами-идеями и картами-силлогизмами и обедали чаще всего в одиночестве — Люк пропадал где-то в лесу. Нас обслуживала неулыбчивая Лиззи, которую грозился расшевелить Мартин и кое-чего достиг: по крайней мере она начала ему улыбаться. Это курортное бездумье продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня не появился Стил, чуточку изменившийся — открывший или нашедший что-то очень для себя важное.

— Явка есть,— сказал он без предисловий.— Улица Дормуа, фото Фляш. Пароль: «Нужны четыре отдельных фото и одно общее». На вопрос-реплику: «Подумайте, это недешево»,— следует ответить: «Деньги еще не самое главное». Запомните? Пропуска для вас приготовлены, а до первой полицейской заставы проводит вас Джемс.

Но Джемс проводил нас гораздо дальше.

Второй костер

Мы снова сидели у огня, подбрасывая сушняк в костер — наш второй костер за время пребывания на этой земле. На сей раз вблизи не протекала река, а пролегала дорога, широкая, пыльная, изрезанная рытвинами и колеями проселочная дорога. Повсюду торчали розовые кусты, как обычный репейник. Проплешины лужаек между ними подступали к самой дороге.

На одной из таких лужаек мы и зажгли свой костер, стараясь шуметь и дымить, чтобы обратить внимание кучера возвращавшегося в Город омнибуса. Такие омнибусы ходили здесь два раза в день, забирая по дороге спешащих домой пешеходов. Порванные в лесу рубашки наши были тщательно залатаны Лиззи, а куртками и пиджаками, у кого их не было, снабдил Стил. Он же разработал и план нашего снаряжения. В рюкзаках у нас, кстати, мало чем отличавшихся от московских рыбалочных, лежали консервы с американскими этикетками, бутылки с сидром и кока-колой — «облака», конечно, не могли не подметить ее земной популярности, да и сидр вы могли найти в любом парижском бистро. Выпитые бутылки мы не выбрасывали, а бережно возвращали в мешки. Туда же были засунуты и шкурки, снятые с убитых накануне нашего отъезда лисиц,— по штуке на каждого. Все точно соответствовало плану: консервы свидетельствовали о том, что мы не занимались охотой и не варили запрещенной ухи. Пустые бутылки, которые можно было продать на городской толкучке, подтверждали то, что мы жители Города, возвращаемся в Город и не знаемся с врагами Города — «дикими». А на убитых лисиц имелась специальная лицензия полиции американского сектора с соответствующей визой французского: каждому из пяти перечисленных лиц разрешалось провезти по одной шкурке. Кроме того, все мы имели пропуска на выезд и возвращение в Город.

Сумерки еще не погасли, на часах у Джемса — наши уже не годились — было что-то около шести, как из-за облака дыма над костром показались три конские морды, а над ними три серых тени в желтых сапогах.

— Пропуска,— сказал полицейский.

Я взглянул в лицо говорившего — сытое, лоснящееся лицо здоровенного тридцатилетнего парня, не лицо, а «будка», как у нас говорят в народе. Взмокшая от пота прядь волос пробивалась на лоб из-под фуражки, серой, расшитой золотым галуном типа французского кепи с длинным прямоугольным козырьком. Золотые нашивки на рукаве, золотые пуговицы куртки и золотой лампас на бриджах дополняли угрожающую золотоносность всадника: в ней был вызов простым, безгалунным смертным.

— Быстрее! — крикнул он, пока мы извлекали из карманов куски желтого картона с нашими переиначенными именами.

Только Мартин сохранил свое имя полностью. Я превратился в Жоржа Ано, Дьячук — в Толя Толли, а у Зернова просто отрезали непривычное для здешних ушей окончание. Борис Зерн, по разумению Стила, звучало удачнее.

— Все из французского сектора? — спросил полицейский, бегло просмотрев пропуска.

— Все,— сказал Джемс.

— Открыть мешки.

Мы широко открыли рюкзаки. Полицейские, не слезая с коней, заглянули внутрь.

— Сколько шкурок?

— Пять.

— Есть лицензия?

Джемс протянул и лицензию.

Полицейский подозрительно оглядел всех нас и чуть-чуть наехал на меня, стоявшего ближе. Я отступил на шаг.

— Вы что, немые? Почему молчишь?

— Вас трое, а говорит один,— сказал я.

Полицейский усмехнулся, но не зло, а просто с сознанием собственного превосходства.

— Прытний,— процедил он сквозь зубы.— Когда-

Продолжение. Начало см. №№ 11, 12.

нибудь коготки-то и обстрижем. Ну да ладно,— прибавил он, не задираясь,— отдыхайте пока. Омнибус пройдет через час. Не пропустите, а то придется добираться пешком.

Он хохотнул и повернул коня. За ним затрусили и его спутники. Вскоре все исчезли за зигзагом дороги.

— С ума сошел! — взъярился Толька.— Зачем было спорить? Всех подвести мог.

— А я не согласен,— тихо, но решительно вмешался Джемс.— Конечно, с «быками» зря связываться не стоит, но Сопротивление — это не только сдержанность. Нет, не только! — с вызовом повторил он.

Как Зернов умел успокаивать эти юношеские «страсти-мордасти», по себе знаю.

— Мы младенцы в вашем Сопротивлении, мой мальчик,— сказал он — Ползунки. Нам надо еще научиться ходить.

И Джемс промолчал, хотя именно он был сейчас нашим начальником. Он не провожал нас до первой полицейской заставы, он шел с нами «в май».

Вот как это случилось.

Накануне нашего отъезда мне не спалось. Может быть, ностальгия, жаркий вечер, не смягченный даже лесной прохладой, пьянящий запах чужих цветов, мерцание чужих звезд в безлунном, как всегда, небе. Рядом тихо спал Толька, всхрапывал Мартин, ворочался Борис — должно быть, тоже не спал. Наконец он чиркнул спичкой из коробки со шведской этикеткой «Вега, Стокгольм», огонек осветил спящих, но никто не проснулся. «Не спится?» — шепнул он.— «Пошли на балкон». «Лучше в сад. Собак нет. Спустимся». Не одеваясь, мы начали спускаться по лестнице. Полоска света внизу остановила нас: дверь в комнату Стила была открыта. Ступенька под нами скрипнула, мы замерли. Голос Стила спросил: «Ты закрыл дверь в сад?» Голос Джемса ответил: «А зачем? Кто войдет?» Мы не могли двинуться ни вперед, ни назад: скрипучая лестница выдала бы наше присутствие.

А разговор между тем продолжался.

— Значит, решил окончательно? Не передумаешь?

— Нет, пап. Я бы ушел и без них. Не могу быть нейтральным.

— Разве мы нейтральны?

— Мне этого мало, пап.

Молчание. И затаенная грусть в голосе Стила:

— Рискуешь, Джемс. Не боишься провала?

— Будем осторожны. Мы не спешим.

— Значит, отель «Омон»?

— Конечно. У Этьена в запасе всегда несколько комнат. Как-никак, владелец отеля. Устроит.

— Без имен, сынок. Никогда и нигде не называй имен без крайней необходимости.

— Хорошо, отец.

— Пройдем в сад? Побродим вместе в последний раз.

В полоске света перед нами мелькнули две тени. Скрипнула входная дверь.

— Слыхал? — шепнул Зернов.

— Этьен и «Омон»?

— Кое-что «облака» уже повторяют.

— Обратил внимание? Он уже не портье.

— А нам не все ли равно? Память же у него блокирована.

— Смотря какая память.

Не сказав больше ни слова, мы вернулись к себе. Легли — не хотелось будить ребят. А думали, вероятно, о том же: слишком уж знакомо приоткрывалась завеса будущего. Парижский отель «Омон», где розовые «облака» показали нам самую страшную из своих моделей — модель воспоминаний гестаповца Ланге и его агента Этьена. Мы, живые, прошли сквозь эту гофманиаду, искромсав и сломав ее. В реальной жизни Этьен повесился, здесь он преуспевает. Конечно, он не сохранил памяти своего земного предшественника, и встреча с ним нам ничем не грозит. А если? Не преднамеренна ли эта встреча, не подготовила ли ее чужая воля, как и все наше путешествие в никуда?

Мысль об этом не покидала меня до отъезда, мы расстались с «Сердцем пустыни», когда еще не забрезжил рассвет. Я так и не сомкнул глаз, а потом — двухчасовое путешествие вверх по реке, долгий пешеходный маршрут по лесу, где Джемс шел, ни разу не запутавшись в подозрительно схожих тропках, пока мы не вышли на просеку. Здесь пролегала дорога, по которой разъезжали полицейские и омнибусы.

Омнибус еще не подошел, а «быки» уже давно скрылись из виду.

— В Канаде тоже конная полиция на дорогах,— сказал Мартин.

— Не такая.

— Полиция везде полиция.

— Это фашистская,— убежденно произнес Толька.— Серые эсэсовцы.

— Может быть, действительно смоделирован фашистский режим...— подумал вслух я.

Зернов не согласился.

— Не следует механически переносить привычные социальные категории,— сказал он.— Фашизм — это порождение определенных экономических условий и политической ситуации. А здесь скорее что-то вроде диктатуры гаитянского божка Дювалье с его тонтон-макутами.

Тут только я вспомнил о присутствии Джемса — все о нем забыли, говорили по-английски. А он, конечно, и половины не понял. Но стоило поглядеть на него в эти минуты — такое жадное внимание светилось в глазах его, такое пылкое желание понять, вобрать в себя все услышанное, стать как бы вровень с нами, что сразу исчезла и напускная его серьезность и мальчишеская игра в «отца-командира».

Разговор оборвали: издалека донесся металлический звон и лязг, сквозь них пробивался дробный стук копыт, подкованных толстым железом — такие подковы, должно быть, и увечили без того уже изувеченную дорогу. Джемс вскочил: «Собирайте рюкзаки, тушите костер. Омнибус!» Выбежал на проселок с криком, издревле останавливавшим дилижансы, воспетые Андерсеном и Диккенсом.

То, что мы увидели, поразило нас. Дилижанс оказался обыкновенным автобусом, облупленным и запыленным, с двойными колесами на стертых резиновых шинах, но запряженный шестеркой рослых лошадей цугом. На передке, не совсем обычном для автобуса, восседал кучер с длинным, похожим на удочку бичом — единственной диккенсовской деталью в этой смеси времен и транспортной техники. Истошный вопль Джемса заставил кучера придержать лошадей — громадина дрогнула и остановилась.

Интересно, что в Москве или Париже мы не назвали бы ее громадиной: любой городской автобус воспринимаешь повсюду как норму уличного движения. Но здесь, в лошадиной упряжке с двумя гигантскими оглоблями, он показался нам чудовищных размеров каретой. Однако делиться впечатлениями было некогда: мы втащили рюкзаки в открытую без пневматики дверь: кондуктор-негр оторвал нам розовые талончики и равнодушно отвернулся к окну. Больше никто не взглянул на нас, бич свистнул, и лес за окном потянулся назад.

Внутри омнибус, насколько позволяли разглядеть две оплывшие свечи в закопченных стеклянных фонарях в голове и хвосте вагона, выглядел даже не двоюродным братом, а прадедом европейских автобусов. Только пассажиры были похожи: бородатые парни в джинсах и шортах, девчата с короткой стрижкой, полуобнявшиеся парочки. Впереди кто-то бренчал на гитаре, доносился мотив знакомой французской песенки, кто-то смеялся, кто-то спал.

Я тоже попытался заснуть, измученный долгим и трудным походом, но каждый раз просыпался, когда вагон жестоко встряхивало на ухабах. И каждый раз в открытое окно доносился свист бича, мерный стук копыт и тяжелое конское дыхание, а сверху мигала незнакомая мне россыпь звезд...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Фото Фляш

Я проснулся от очередной встряски. Омнибус стоял. Обе свечи погасли, но в окно струился неяркий желтый свет невидимого светильника. Я выглянул в окно, высунувшись чуть ли не до пояса. Светильник оказался невысоким уличным фонарем, видимо, газовым — такие я видел в старых американских фильмах,— блекло освещавшим часть улицы и впадавшего в нее переулка, где и стоял наш омнибус. Во всю длину переулка, насколько позволял видеть фонарь, тянулись не дома, а такие же вагоны, но без колес, поставленные на толстые деревянные брусья. От дверей на землю спускались лесенки. Частые окна светились прямоугольными клеточками. Казалось, это не переулок, а пригородная платформа, по бокам которой стоят два последних ночных дачных поезда, встретились и вот-вот разойдутся.

— Где мы? — спросил я кондуктора.

— Застава,— сказал он, зевнув.— Все уже давно вышли.

Застава оказалась бараком из рифленого железа, с длинным прилавком, перегораживающим комнату. На прилавке стоял знакомый телефонный аппарат с трубкой на рычагах, но без диска. Под ним на дубовом столе без скатерти и клеенки четверо полицейских в своих опереточных золотогалунных мундирах играли в карты. Это были здоровенные, откормленные парни.

— Пропуска! — буркнул один из них, не вставая.

Мы выложили на прилавок свои кусочки картона.

— Конни,— сказал он сидевшему рядом,— поди проверь. Кажется, это последние.

Конни внимательно просмотрел пропуска, сверил их с записями в толстой книге и подтвердил:

— Последние. Все из французского сектора. Пропавших нет.

Мы вышли на улицу. Проситься к кому-нибудь скоротать часы до утра нашей программой не предусматривалось, а передвигаться по городу ночью категорически воспрещалось. Пришлось прикорнуть на чьем-то пустом крылечке.

Я вспомнил слова Стила об отсутствии в городе телефонной связи и аппарат, только что виденный на полицейском прилавке.

— Телефон есть,— нехотя пробурчал Джемс,— а связи нет. Полиция присвоила изобретение, ограничив связь сотней номеров, не больше.

— А почему нас так проверяли? Как в тюрьме.

— Потому что из тюрьмы бегут. За девять лет сбежала почти четверть Города.

— А сколько было?

— Кто знает? Данные переписи не публиковались. Говорят, миллион.

Мы переглянулись. Миллион робинзонов на этом клочке земли, почти земном и в чем-то совсем не похожем на Землю. Как живут они, что их тревожит, печалит и радует?

— Город растет только в эту сторону, на юг,— пояснил Джемс.— На севере — горы и рудники, железная дорога и шахтам и колючая проволока. Восточный лес считается непроходимым — сплошные завалы и полчища всякой твари. Заречье облюбовано «дикими», но для горожан и полиции это далеко и тоже непроходимо из-за чащобы и плавней. А запад закрыт и патрулируется: оттуда идут грузовики с продуктами. Линия патрулей начинается у заставы и тянется от гор на севере до пустыни на юге. Пустыня тоже непроходима — зыбучие пески и безводье. Ни ключей, ни колодцев. Туда не посылают даже геологов.

— Так почему же Город растет, если население его уменьшается?

— Трудно жить в центре. В небоскребах американского сектора заселены только первые этажи: вода не подается выше бельэтажа. Лифты не действуют. А у французов на третьем и на четвертом живут только бедняки: воду приходится носить самим из уличных колодцев. Выше четвертого этажа в Городе сейчас никто не живет.

Мы переглянулись с Зерновым, вероятно, подумав об одном и том же: откуда сие? Почему захирел Город, смоделированный с земных образцов с математической точностью? Почему технический прогресс здесь обернулся регрессом? О чем забыли, чего не додумали «облака», воспроизводя детали мало понятной им человеческой жизни? На эти вопросы Джемс нам ответить не мог — ответы надо было искать самим.

А рассвет уже приближался. Вот он заалел над рыжими от дождей домами, над близкой синевой леса, и первый свист бича тронул тишину утра — из-за дома позади нас выехал кучер-негр на передке легкого неба с большими и маленькими колесами, как в древних немых фильмах. Мы окликнули возницу. Он оглянулся, посчитал, сколько нас, покачал головой и, сверкнув белыми зубами, пробормотал что-то не очень понятное. «Слэнг,— пояснил Мартин.— Соглашается везти только до первого встречного экипажа, а там двоим придется пересесть: лошадь, говорит, старая, не довезет». Второй кеб догнал нас на ближайшем углу, и мы, уже разделившись — Джемс с Мартином впереди, мы трое сзади,— двинулись вперед к еще сонному центру Города.

Город просыпался, как все города, медленно и нехотя. Мальчишки-газетчики везли на ручных тележках кипы свежих газет к еще не открывшимся уличным киоскам. Полисмены выходили на посты в черных дождевиках: небо с утра подозрительно хмурилось. Грузовики забирали мусорные контейнеры, выставленные по обочинам тротуаров, а там, где асфальт сменил каменную брусчатку, дворничихи с подоткнутыми подолами мыли половыми щетками мостовую. Но во всем том было нечто свое, индивидуальное, присущее только этому Городу. Газетчики не бежали и не выкрикивали новостей, как все газетчики мира, а катили свои тележки молча и не спеша. Постовые и не собирались регулировать уличное движение, они просто прогуливались не торопясь, внимательно оглядывая проходящих и проезжающих. На груди у каждого поверх дождевика болтался вполне современный автомат с коротким дулом и длинным магазином. Редкие велосипедисты спешили на работу или на рынок, но, поравнявшись с полицейскими, обязательно замедляли ход. У грузовиков-мусорщиков торчали по бокам два безобразных цилиндра с древесным топливом, и за каждой машиной тянулся фиолетовый хвост дыма. А когда Толька выразил вслух свое удивление тем, что мойщицы мостовой пользовались ведрами, а не шлангом, наш молодой возница тотчас же пояснил, что мы должны были бы знать, как страдает Город от нехватки воды, что вода порой дороже свечей и масла, а владельцы бистро во французском секторе уже давно ополаскивают стаканы не водой, а вином.

Каждые триста метров Город менялся, вырастал вверх, дома вытягивались на целый квартал, появились первые небоскребы — знакомые соединения стекла и металла. Запестрели стеклянные квадраты витрин, замысловатые вывески еще не открывшихся с утра магазинов и баров, цветные вертушки парикмахерских, модели причесок в окнах, гигантские рекламы на фасадах и крышах — тоже знакомые: американский верблюд с сигаретных пачек «Кэмел», бокалы с коричневой жидкостью — «пейте пепси-кола» и «драг-сода», рекламы часов «Омега». Но и здесь проглядывало что-то свое, невиданное. Окна были открыты и чисто вымыты только в первых двух этажах, а выше, до самых крыш, оконные стекла покрывала густая серая пыль: там никто не жил, и поэтому стекол не мыли. Не подновляли и рекламы: многие давно уже облезли и выцвели. И ни одной электролампочки на фасадах, ни одной неоновой трубки — только редкие газовые фонари.

Иногда, помимо реклам и вывесок, в самом облике города вдруг мелькало что-то запомнившееся, словно я уже видел этот дом или уличный перекресток где-то в кино или в журнале. Мартин потом подтвердил это. Ему все казалось, он видит Нью-Йорк — не то Таймс-сквер, не то часть Ленсингтон-авеню, но словно обрезанные и склеенные с каким-то другим уголком города. Как играмозаика. Сложишь так — Бруклинский мост, сложишь иначе — Триумфальная арка.

Мы ее и увидели, въехав на широкий, типично парижский бульвар, окаймленный шеренгами старых платанов. Но за аркой вдали подымался лесистый склон — парк не парк, а что-то вроде высокогорного заповедника, круто взбирающегося к какому-нибудь альпийскому санаторию. Нет, не Париж, как захотелось мне крикнуть, а неведомый «французский сектор», парижская фантазия «облаков», сложивших свою мозаику из чьих-то воспоминаний. Но вблизи эта подделка легко обманывала своим картинным подобием парижских тротуаров, почти безлюдных в эти утренние часы, и парижских вывесок на еще закрытых рифленым железом витринах. Наше фотоателье тоже было закрыто, но оно было именно тем, что нам требовалось: «Фото Фляш» — лаконично объявляла дряхлая вывеска на спящей улице Дормуа. Джемс тотчас же уехал, обещав встретиться с нами завтра, свой экипаж мы отпустили, расплатившись с возницей. Кстати, здешние доллары, которыми снабдил нас Стил, были выпущены с эмблемой в виде Триумфальной арки, загадочным Мэйн-сити-банком с не менее загадочной надписью: «Обеспечиваются полностью всеми резервами Продбюро». В суматохе отъезда мы не спросили об этом у Стила, а сейчас спрашивать было некого: кучер молча отсчитал сдачу пластмассовыми фишками, свистнул бичом и уехал.

Я нажал кнопку звонка. Никто не откликнулся, даже звонка не было слышно. А какой тут к черту звонок, когда у них тока нет?

— Почему нет тока? — спросил Толька.— Простейший электрический звонок на гальванических элементах. Звони.

Я, должно быть, минуту или две нажимал кнопку звонка, уверенный в его бездействии. Но вдруг

за дверью что-то лязгнуло — должно быть, открыли внутреннюю дверь,— потом щелкнул замок наружной, и в дверную щель выглянуло чье-то заспанное и злое лицо.

— Вам кого? — спросил женский голос.

— Фото Фляш.

— Ателье открывается в шесть утра, а сейчас три,— и дверь заскрипела, угрожая захлопнуться.

Я просунул ногу в щель.

— Нужны четыре отдельных фото и одно общее,— сказал я.

Молчание. Голос за дверью дрогнул.

— Подумайте, это недешево.

— Деньги еще не самое главное,— я уже не скрывал торжества.

Тогда дверь открылась, и мы увидели девушку, почти девочку, в пестром халатике поверх ночной рубашки, непричесанную и неумытую: наш звонок поднял ее с постели — она даже глаза протирала, стараясь нас рассмотреть.

— Проходите,— наконец сказала она, пропуская нас вперед.— На улице никого не было?

— Не тревожьтесь,— сказал я.— На улице тихо, как в мертвецкой.

Ателье оказалось меблированным в духе старомодной парижской гостиной: дедовский диван на восемь персон, стульчики-рококо, на столе мореного дуба ваза с фруктами и чашечки с коричневой жидкостью — должно быть, вчерашний кофе. Кругом — фотоснимки, какие найдешь в любом фотографическом заведении, аксессуары съемки: высокая тумбочка, подвешенные к потолку качели, гитара, скрипка, шкура тигра, какая-то книжка в пестрой обложке, телефонный аппарат без провода.

— Интересно,— шепнул я по-русски Зернову,— почему «облака» моделировали ателье в духе наших бабушек?

— «Облака» не моделировали этого ателье,— буркнул сквозь зубы Зернов,— его обставили владельцы сообразно своему вкусу.

Девушка не слышала нас, она заспешила к лестнице на второй этаж и уже с верхних ступенек крикнула:

— Подождите минутку, сейчас вернусь. Кто бы мог подумать, что вы явитесь так рано!

Я все-таки не успел рассмотреть ее как следует: она то поправляла волосы, то протирала глаза. Замарашка из детской сказки. Но, честно говоря, не она привлекала наше внимание, а ваза с фруктами, к которой мы и бросились, оставшись одни. Я схватил банан и едва зуб не сломал: это была цветная пластмасса; ваза тоже оказалась аксессуаром съемки, да и от кофе подозрительно пахло красной.

С досады Толька снял со стены гитару и забренчал, а меня заинтересовала книжка на полочке. То был томик стихов на французском языке без имени автора на обложке. Стихи я перелистал, показалось, что узнал Элюара, но без уверенности — знатоком французской поэзии я не был. По всей вероятности, это был воспроизведенный по памяти сборник — поэтический набор кому-то памятных строк.

— Стихи? — удивился я вслух.

— Почему же нет? — откликнулась за моей спиной девушка.

Я обернулся и обомлел. Замарашка превратилась в Золушку на балу у принца, еще не потерявшую свой хрустальный башмачок.

— Я тоже пишу стихи,— сказала она с вызовом.

— Так прочтите! — закричал я.

Она засмеялась. Лед был сломан.

— Ну зачем же начинать со стихов? Начнем с документов. Кто из вас Жорж Ано?

Я поклонился и получил книжечку в синей обложке с моим новым французским именем. Такие же книжки получили и мои переименованные друзья. Девушка сделала книксен и заключила:

— А я Маго Левек. Теперь вы знаете меня, а я вас. Значит, четыре отдельных фото?— подмигнула она.— Заказ выполнен.

— И одно общее,— прибавил я.

Она тотчас же ответила:

— Отель «Омон». Тихий, недорогой пансионат. Полиция туда почти не заглядывает — уважает хозяина. Вам отведен двухкомнатный номер — больше не смогли: отель переполнен. Зато на втором этаже и с водой.

— Что будем делать?— спросил Зернов.— Нужно еще с кем-нибудь встретиться?

— Нет. По вопросам, связанным с работой и жительством, будете иметь дело со мной. Надеюсь, что недоразумений не будет. Вы, например, получаете довольно почетный пост. Когда мы обсуждали вопрос о вашей работе, выяснилось, что мэру нужен ученый секретарь. У мэра увлечение: история Города во всех его аспектах — промышленном и социальном. По-моему, именно то, что вам требуется.

— Кто из вас специалист по фото?

Теперь кивнул я. Что-что, а это мы умеем.

— Вы будете работать по заданиям нашего ателье. Теперь вы...— Она повернулась к Мартину и невольно залюбовалась им: привлекателен был наш Дон.— Вы могли бы управлять грузовиком?

— На чуриах?— усмехнулся Мартин.— Не пробовал. Но думаю, справлюсь.

— А вот как быть с вами, не знаю,— заключила она, обращаясь к Тольке.— Пока ничего не подыскали.

— Разве у вас нет института прогнозов?

Она явно не поняла вопроса.

— Прогнозов погоды,— пояснил Толька.

— А что такое «прогнозов»?

— Предсказаний.

— У нас предсказывают погоду только ревматики,— улыбнулась Маго и вдруг увидела на столе пластмассовый банан.— Неужели пробовали?— спросила она сквозь смех.

— Попробуешь, если со вчерашнего вечера ничего не ел.

Она засуетилась.

— Есть вчерашние сандвичи с сыром и немного брэнди. Не возражаете?

Мы не возражали, быстро расправились с сандвичами. Настроение поднялось, и Толька, проглотив свою порцию, даже забренчал на гитаре.

Он запел песенку о «всадниках ниоткуда», одно время самую популярную на Земле. Он пел ее по-французски, придыхая и грассируя, как Ив Монтан. Я вспомнил Париж и ахнул: Толька никогда не пел ее так, а ведь это был «шлягер»!

Маго не могла понять смысла, но свое восхищение выразила по-своему: обняла и поцеловала смущенного Тольку.

— Есть профессия,— сказала она решительно,— и никаких споров! Вы шансонье.

Золотой галун

В открытое окно отеля, выходящее на узкую, темную улочку, почти не заглядывает солнце. Я вижу в окно облысевший каштан и кирпичную стену. Света не больше чем в колодце. В плюшевых портьерах гнездится пыль. Как все знакомо здесь, вплоть до памятных канделябров на камине с толстыми свечками! Такие же свечи в люстре над столом. По вечерам их зажигает специальный служитель. Он же тушит их в полночь, наступающую по-здешнему в девять часов. Есть и еще отличие от земного «Омона»: на стенах нет картин. Их заменяют фотографии Города и огромная афиша с портретом Тольки и анонсом: «Ежевечерне — Толли Толь».

Сам Толли Толь уже встал, хотя до завтрака еще полтора часа, а завтракаем мы, как и у Стила, в шесть утра, и спешить нам обоим некуда. Он тихо бренчит на гитаре, подбирая мелодию к французским словам. Говорит по-французски плохо, но произношение у него превосходное, и поет с чувством.

Я лениво потянулся на скрипучем диване и спросил:

— Новое творение Маго?

Моя неуважительная интонация взбесила Тольку: над песнями своими он работал вместе с Маго и преклонялся перед ее версификаторскими способностями.

— Жалкая и ничтожная личность,— сказал он презрительно и прочел стихи по-французски с той же яростью, с какой они были написаны, и тут же продолжал без паузы: — Ведь это же тоска по слову! Ведь они с самого гнусного их Начала знают слова и не знают смысла. Ощупью доискиваются до сути, а иногда и совсем не доискиваются. Я начинаю ненавидеть «облака» за то, что они отняли у людей так много.— Он помолчал и прибавил: — А стихи я по-русски перевел. Прочти.— И смущенно протянул мне листок с переводом.

Я прочел перевод и задумался. А ведь был у нас с Маго такой разговор об утраченной семантике языка: «Почему арка триумфальная, Ано? Откуда триумф? Почему гитара гавайская? Почему телефон — это телефон, а не звукопровод? Почему ипподром — это ипподром, а не скаковое поле? Почему химический комбинат Мартина называется «Сириус»? Что это, имя собственное или нарицательное? И что оно означает? Почему мысль выражается в словах, порой совсем непонятных? Почему в слове всегда какая-то тайна? Почему, Ано?»

Я молчал, мы подходили к запретной теме — блокаде памяти, и, подобно Тольке, я ненавидел «облака» за то, что они отняли у людей так много. Эту яростную тоску Толька не сумел передать с той же силой, но отдельные строфы прозвучали верно. Я еще раз прочел про себя: «Где-то ощупью бродит опыт... как в бессоннице и в игре... Кто откроет тайные тропы... где встречаются мысль и речь?.. Кто откроет, что Город — город... и что облачно в облаках... как назвали горами горы... и как стала рекой река?»

Пропустив несколько строф, я еще и еще раз прочитал последние: «В этой млечности мглы и света... в этой поступи дум и лет... следопыты с чутьем поэта... ищут слово, как взятый след... Слово чистое и нагое... слово-пламень и слово-лед... то, что выстрелит и нагонит... обессмертит или убьет!»

Толька опять забренчал, ища мелодию, а я думал о Маго. Какая неукротимая ярость клокотала в душе этой хрупкой и обаятельной женщины! О многом она говорила с сердцем, со страстью, с высоким, почти исступленным гневом:

«Почему мы так медлим, Ано? Почему все только подготовка, подготовка и подготовка? Собираемся, читаем, заучиваем. Кто написал эти книжки — не знаю. Кто пересказал их нам, сохранив их в памяти,— не могу сказать: у нас это не принято. Без имен. Но я уже усвоила: классовая борьба, прибавочная стоимость, идеализм и материализм. Все это слова, Ано, а я хочу действия. Почему не отнять у полицейского пистолет? Что дальше? Стреляты! Нет, нет, не читайте мне лекций о бессмысленности террористических актов. А если убить главного? Хотя бы Фронталя. Не знаете? Тот, кто подписывает приказы от имени главного полицейского управления».

Голос Маго снижался до хрипа, она уже не слушала моих возражений. «Будет другой? Убьем другого. Надо, чтобы нас боялись, Ано. А они боятся не книг, а пуль».

С Толькой ей было легче. Он не учил и не настаивал, а сам спрашивал и учился. И он нес ее слова с концертной эстрады. На эзоповском языке Толькиных песен она вербовала единомышленников. Среди рабочих ребят песни эти озорно и настойчиво сеяли семена протеста. Так продолжалось до тех пор, пока Тольку не пригласили в «Олимпию». Он отказался. «Олимпию» облюбовала полицейская знать и промышленная аристократия. Но Сопротивление решило иначе: Тольке было предложено взять отказ обратно и стать любимцем привилегированных групп. И он подчинился.

Теперь он пел другое. Не без помощи Маго, конечно (она тоже подчинилась), смысл и адрес песенок изменились. А через неделю — то была уже третья неделя нашего пребывания в «Омоне»— имя Толли Толя с уважением произносил каждый галунщик. Но зачем это было нужно Сопротивлению, никто из нас, кроме Зернова, не понимал.

Да и Зернов объяснял загадочно: «Политика дальнего прицела. Придет время — поймете». Это «придет время» он повторял не раз, когда его спрашивали и о его работе у мэра. «Придет время,— обсудим. Еще не все ясно». Самое интересное, что мэром оказался Томпсон, не однофамилец нашего, а его дубликат, именно та самая копия, встреча с которой так пугала адмирала три года назад. Здешний Томпсон оказался таким же решительным, упрямым и, по-видимому, порядочным человеком, хотя Зернов все время подчеркивал, что «выводы делать рано». Земной адмиральской памяти у здешнего главы Города, естественно, не оказалось, но профессиональная память администратора, сохранившая умение командовать, руководить и распоряжаться, не подвела его и в новой роли, запрограммированной для него «облаками». Распоряжался он, по словам Зернова, не ведая сомнений и колебаний, но главой Города не был. Его делали подставной фигурой какие-то другие, более влиятельные лица. Но кто именно, Зернов не знал.

Принял он Зернова любезно, но почему-то долго присматривался к нему, прежде чем начать разговор, а в конце концов сказал: «Отпустите бородку и волосы подлиннее — так будет лучше». А на вопрос Зернова: «Зачем?» — ответил: «Это приказ».

С того дня Зернов почти не бывал дома. Иногда Томпсон не отпускал его даже на ночь: их разговоры продолжались до рассвета, а днем Зернов все это вкладывал в «Историю Города со слов очевидца».

Сумбурно складывались и сутки у Мартина. На своем дымящем грузовике он колесил по городу и днем и ночью, с товаром и порожняком и вместо «тоски по слову», о которой говорил Толька, заболел тоской по нефти: «Можно прожить без памяти, а без нефти нельзя. Полжизни отдам за двигатель внутреннего сгорания».

Со слов Мартина мы ближе узнали Город. Городублюдок, как называл его Дон. «Париж скленли с Манхеттеном, Сен-Дизье с Сэнд-сити, а все вместе — с макетом из голливудского «вестерна». Мне вспоминался Париж на фоне гор, который мы с Толькой наблюдали в Гренландии за голубыми протуберанцами. Там был почти весь Париж с Ситэ и Монмартром, арками Лувра и Собором Парижской Богоматери. Здесь Париж съежился, деформировался, как отражение в кривом зеркале. «Облака» не воспроизвели ни Лувра, ни башни Эйфеля. Уцелели набережные и часть улиц, расходящихся от Триумфальной арки. Но за ней, как я уже говорил, подымался лесистый склон, застроенный самодельными деревянными хатами — не то поселок лесорубов из Орегона, не то индейская резервация где-нибудь на границе с Канадой. «Облака» склеили и слепили все им запомнившееся, иногда целые улицы и уголки со всеми домами и магазинами, иногда обрубали их где придется, соединяя с другими и не заботясь при этом ни о красоте, ни о целесообразности. Даже Сена не была только Сеной, а комбинацией из подсмотренных на Земле рек.

Я все время думал: чем руководствовались создатели этой экспериментальной городской какофонии? Вероятно, количеством и многообразием, воспроизводя непонятную им жизнь по образцам воспроизводимой природы. А жизнь эта, предоставленная самой себе, текла по-своему. Город жил, производил и потреблял, разделенный, как многие города на Земле, на богатых и бедных, работодателей и тружеников. Я не встречался с рабочими крупных компаний вроде «Сириуса», их знал Мартин, уверявший, что нашел бы таких и у Форда. Но тружеников знал и я. Вместо того чтобы снимать в ателье женихов и невест, я выполнял поручения редакции журнала «Экспресс», куда меня пристроил Джемс, и, мотаясь по городу с фотокамерой, успевал пообедать в русском арондисмане в ресторанчике некоего Нуара, как-то признавшегося мне, что настоящая фамилия его не Нуар, а Чернов. С кого же скопировали его «облака»? Вероятно, с такого же владельца дешевого ресторанчика или бистро на парижской окраине, давно порвавшего с традициями русского белоэмигрантского болота и даже помогавшего бойцам Сопротивления в дни гитлеровской оккупации? Но мой Нуар, не помнивший жизни своего земного аналога, знал только Начало, свои и чужие горести и еле-еле сводил концы с концами, потому что и в этой «облачной» обители было совсем нелегко жить.

В его тесном трактирчике в часы обеда собирались заготовщики из ближайшей обувной мастерской и мастера-часовщики. О чем говорили они в эти минуты недолгого отдыха? Да, наверное, о том же, о чем говорят в парижском бистро на окраине или в «аптеках» Бруклина и Бронкса. О том, что труднее стало жить: у Жанетты родился третий, что папаша Луи наконец получил работенку — моет стекла где-то в американском секторе,— что у Поля горе — дочка сбежала с каким-то непутевым парнем,— а «малышка» Пьер вот уже третий месяц толчется на бирже безработных у Восточной заставы. О полиции говорили неохотно и с неприязнью — тоже не новость. Но в этом полицейском Городе-государстве ей была предоставлена власть хищника на охоте, тюремщика в камере и палача в застенке. Любой «бык» мог вас оскорбить, избить, даже застрелить неподсудно и безнаказанно. Чересчур театральной, несерьезной могла показаться лишь форма галунщиков, придуманная совсем не «облаками», а кем-то из первых начальников полиции, пожелавшим, чтобы верные псы его «подавляли и ослепляли». Они и подавляли любой протест, любое недовольство; даже косой взгляд на улице, брошенный на проходившего мимо галунщика, мог закончиться избиением в полицейском участке.

Мой случай мог окончиться хуже. Как-то я забежал в погребок Нуара не днем, а вечером. Следом за мной вошел полицейский, выпил кружку пива прямо у стойки и выплеснул остатки в лицо сидевшему поблизости старику. Никто не двинулся с места, никто не сказал ни слова. А я не выдержал, сорвался: моя кружка с размаху ударила полицейского прямо в зубы. Мы даже не успели разглядеть друг друга — так быстро все это произошло. Он только вскрикнул от боли, как погас свет и чьи-то незнакомые руки мягко, но решительно повели меня к выходу. «Шагай, не медли»,— шепнул кто-то мне в ухо, и я зашагал.

О продолжении этой истории я узнал совсем неожиданно на другой же вечер. Маго куда-то ушла, а я проявлял в лаборатории сделанные за день снимки. В этот момент кто-то открыл входную дверь своим ключом и почти бесшумно вошел в приемную. «Кто?» — вскрикнул я, бросаясь навстречу неизвестному в темных очках и надвинутой на лоб кепке. «Тихо!» — сказал он и прибавил по-русски: — Я вспомнил еще кое-что, сынок, что было уже после войны». И тут я узнал его. Ночной друг Джемса в полицейском мундире и законспирированный владелец нашего ателье стоял передо мной, пристально и строго меня оглядывая.

— Между прочим, труп полицейского с выбитыми зубами выловили сегодня из воды у центрального моста,— сказал он уже по-французски.— За Нуара не беспокойся. Это на другой стороне Города.

— Вы русский или француз?— спросил я.

— Я знаю о них уже давно, когда начала возвращаться память. Но кем был до Начала, не помню. Может быть, русским солдатом, сбежавшим из нацистского лагеря и присоединившимся к какой-нибудь группе Сопротивления. Впрочем,— усмехнулся он,— это я сочиняю себе биографию. Честно говоря, ничего не помню.

Я понял, что ему тяжело, и переменил тему.

— По-видимому, я зачем-то понадобился?

— Бесспорно,— сказал он.— Твоя выходка в погребке непозволительна, но говорит о смелости и находчивости. Ты умеешь ездить верхом?

Я кивнул.

— У тебя, кажется, завелись знакомства на скачках?

— Только в конюшне. Снимал жокеев-призовиков для «Экспресса».

Он прошелся по комнате, подумал и сказал:

— Есть предложение. По воскресеньям на скачках любительский гандикап. Вместо жокеев-профессионалов скачут спортсмены-любители. Преимущественно «быки» и те, кто рассчитывает поступить на службу в полицию.

— Какая же связь между скачками и полицией?— перебил я.

— От полицейского требуется умение стрелять и ездить верхом. Хорошо ездить. А Корсон Бойл — скаковой меценат, умеющий отличать победителей.

— Кто это — Корсон Бойл?

— Начальник продполиции.

— Правая рука Фронталя?

— Кто знает, кто у кого чья рука,— загадочно сказал Фляш,— но Корсон Бойл — это личность, от которой зависит многое.

— А при чем здесь я?

— Примешь участие в гандикапе.

Я задумался. Фляш тоже молчал, ожидая ответа. Наконец я сказал:

— Приказы, конечно, не обсуждают, но разумные люди не отдают приказов разумным людям, не объяснив их цели.

— Хорошо. Проверим, насколько ты разумен. Сначала приказ. Завтра с утра, как только начнется движение по Городу, ты поедешь на ипподром. Спросишь жокея Вирнса. Хони Бирнс. Запомни.

— Я его знаю.

— Тем лучше. Скажешь: Фляш просил подобрать тебе лошадь экстра-класса. Понял?

— Я не идиот. Дальше.

— Он даст тебе лошадь, проверит тебя на дорожке и решит, будешь ты участвовать в гандикапе или нет.

— Допустим, что буду.

— Тогда все зависит от того, каким по счету ты придешь к финишу.

— А если первым?

— Тебя проведут в ложу и представят самому Корсону Бойлу. Держись скромно, но с достоинством. Молчи. Дождись вопроса.

— О чем?

— Он обязательно спросит тебя, что бы тебе хотелось. Боги любят иногда снизойти к смертным.

— А что именно мне бы хотелось?— спросил я в упор.

Фляш улыбнулся, как фокусник перед тем, как поразить зрителей.

— Поступить в полицию.

И продолжал улыбаться, явно наслаждаясь моей растерянностью.

— Но зачем, зачем?— вырвалось у меня.

— Нам нужен свой человек в полиции. В продполиции,— отрубил Фляш.— Опыт с Толли пока ничего не дал.

— Значит, серый мундир?— спросил я, уже ни на что не надеясь.

— Серый мундир с золотыми галунами,— безжалостно повторил Фляш.— Придется надеть.

Четыре туза и джокер

Очередная встреча нашей четверки состоялась, как обычно, в номере отеля «Омон». Я застал своих друзей в тот же вечер в отеле собравшимися на очередной военный совет. Мое сообщение о разговоре с Фляшем встретили настороженным молчанием. Мне было совсем не весело.

— Кажется, уже пришло обещанное иной время кое-каких объяснений и выводов,— сказал Зернов.

— Все уже ясно?— спросил я.

— Без ехидства, Юра. Я не зря молчал. Начну с вопроса: как вы думаете, для чего нас сюда пригласили? — Я имею в виду акцию наших космических друзей... Для участия в Сопротивлении? Что же, они, по-вашему, без нас не справятся? С нами или без нас, а диктатуре галунщиков придет конец. Мы только поможем ускорить его, не больше. Но это уже наше частное дело и совсем не то, чего ждут от нас «облака». Эксперимент их не удался, и, должно быть, они это поняли. Но в чем ошибка? Почему синтезированная ими цивилизация идет к упадку? В чем причины ее технического регресса? И почему ее эволюция не повторяет земную? «Облака» не поняли многого в нашей жизни, не поняли законов ее развития — и в экономике и в социологии, а может быть, даже и в технике. Простой пример: люди создали искусственный рой, или муравейник, и наблюдают, не вмешиваясь, в его эволюцию. Опрокинем пример: суперцивилизация пчел или муравьев создает искусственный город. Но город развивается по другим законам, чем муравейник, и если не знать этих законов, то и получится, что жизнь искажается, как в кривом зеркале. Анохин и Мартин удивляются архитектурному «косноязычию» Города. Но повинны в этом не «облака», а его население. «Облака» довольно умело склеили несколько нью-йоркских и парижских кварталов, а Город расползается, как жидкое тесто. Из благоустроенных небоскребов, с верхних городских этажей жители бегут на окраины, вырубают лес, строят хибары или просто поселяются в брошенных трамвайных вагонах. Мы-то с вами знаем почему, но знают ли «облака»? Десятый год они наблюдают, как созданные ими по земным образцам существа ломают и переделывают все или почти все, воспроизведенное, казалось, с техническим совершенством. Идеально скопированные двигатели внутреннего сгорания превращаются в неуклюжие газогенераторы или паровые топки. В автобусы запрягаются лошади, а электрическое освещение заменяется свечами и газом. Вы думаете, что этот процесс не тревожит авторов эксперимента? Наше появление здесь — свидетельство этой тревоги. И не только тревоги, но и уважения к человеческому разуму. Да, да, сверхразум капитулирует. Он спрашивает нас и в нашем лице человечество, где и в чем он ошибся. И во имя человечества не бойтесь пафоса, во имя человечества, повторяю, мы должны, мы обязаны им ответить.

— А ты знаешь ответ?— прервал я его.— Ты видишь эти ошибки?

— Вижу. Многое давно видел, а в бессонные ночи с Томпсоном докопался до главного.

— Несовершенство моделированных структур?

— Они абсолютно совершенны. И живые и неживые. Но человеческий коллектив — это не сумма отдельных личностей, город не сумма зданий, а технический уровень жизни современного человека не сумма вещей, его окружающих.

Я открыл было рот, но Зернов поднял руку:

— Не перебивай. Я все суммировал и боюсь упустить что-либо. Начнем с мелочей. Для «облаков», по-видимому, нет проблемы надежности. Воспроизвели автомобиль с его запасом горючего, но не подумали о том, что у нас запас этот не вечен. Воспроизвели водопровод, все подземное и наземное его оборудование, но не учли необходимых мощностей: парижские насосы, скажем, негодны для небоскребов Нью-Йорка. Я беру только одну деталь, а их сотни. Воспроизвели электрохозяйство города, даже гидроэлектростанцию возвели на реке, а в простейшем расчете ошиблись: рост промышленности сузил энергетическую базу. Наличие энергетических мощностей оказалось недостаточным для индустриальных и муниципальных нужд.

Когда мы с Томпсоном подсчитали промышленные ресурсы Города в первые дни Начала,— продолжал Зернов,— мы ужаснулись. Большой химический комбинат, правда, мощный и модернизированный, производивший многое из потребного человеку — от пластмасс до научука, пятьшесть крупных заводов и с десяток мелких сами по себе могли создать индустриальное обрамление любого крупного европейского города и обеспечить привычный для Земли технический уровень жизни. Такой уровень создает производство всей страны да еще ввоз из-за границы. А Город начал жить буквально в промышленном вакууме. Не было ни трубопрокатных, ни подшипниковых, ни ферросплавных заводов, ни огнеупорного кирпича, ни консующихся углей, ни цемента, ни гвоздей. Я перечисляю на выбор, наудачу — не было многого необходимого человеку. Но профессиональная его память, усиленная за счет блокированной памяти прошлого, творила чудеса. Стил уже рассказывал нам об этом, я только добавлю, что почти за десять лет Город сам создал свою металлургию и машиностроение, научился делать бумагу из дерева, строить дома, ковать подковы и гвозди, шить платья и мостить мостовую брусчаткой. Могу, между прочим, порадовать Мартина: к Томпсону уже поступил проект о производстве бензина из горючих сланцев. Остается только заинтересовать промышленников.

— А деньги?— вдруг спросил Мартин.— Откуда они берут деньги? Кому продают? Где покупают?

— А вы подумайте, Дон, что бы вы делали, когда проснулись хозяином «Сириуса» или акционером банка? Ведь «облака» смоделировали в миниатюре все, что подметили на Земле, вернее, то, что сочли единственным образцом земной общественной жизни. С рождением Города не началась концентрация капитала, она просто продолжалась, как бы уже когда-то начавшаяся. Не остановило ее и бурно растущее мелкое производство. Томпсон подсчитал, что только за первый год открылось более тысячи различных мастерских и кустарных фабричек. А ведь еще Ленин сказал, что мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе.

«Где же ошибка?— подумал я.— Подвернулся «облакам» клочок капиталистической системы — они его и смоделировали. Кое-что не доделали — люди дополнили. Кое-что не додумали — люди поправили. Бизнес как бизнес — Сити для маленьких. Одно смущало: чем же обеспечивается денежное обращение, смоделированы ли банковские золотые запасы?»

Я поделился своими предположениями с товарищами.

— Нет,— категорически отверг мое предположение Зернов.— Золота в Городе нет — только украшения, сфабрикованные вместе с личным имуществом жителей, помещенных здесь в их земные условия. Видимо, «облака» не заинтересовались складами непрочного желтого металла, не показавшегося им особенно нужным. Бумажные деньги они смоделировали, как человеческую прихоть, как игральные карты, не разгадав их истинного значения. Юра правильно поставил вопрос. Синтезированному Городу угрожала бы неминуемая инфляция, если бы не было найдено нечто более совершенное, чем желтый металл.

Зернов не томил нас догадками. Ответил просто, как нечто уже давно им продуманное:

— Пища. Некий всеобщий эквивалент, в котором, как в золоте, может быть выражена стоимость всякого другого товара.

Каюсь, мы сначала не поняли. Сказалась разная подготовка к вопросу спора. Мы делали свое дело, не особенно раздумывая над тем, что встречали и слышали. Зернов же, создавая с Томпсоном социологическую историю Города, мучительно обдумывал все предложенное ему для размышления и обработки.

— Сейчас мы подходим к той акции «облаков», что внесла нечто новое в смоделированную ими земную цивилизацию,— продолжал он.— Что ищет пчела, порхая от цветка к цветку? Пищу. Что ищет человек, начиная день? Пищу. Без пищи не может существовать ничто живое в любом уголке Вселенной. С этой аксиомы они начали. Моделируя заинтересовавшее их общество, они решили облегчить его дальнейшую эволюцию: создали завод для изготовления необходимой Городу пищи. Я прибегаю к земной терминологии — другой у нас нет,— но завод, вероятно, вечный, автоматический и саморегулируемый. Отсюда и разнообразие продуктов, и неистощимое соответствие любому спросу, и даже знакомые нам этикетки. Если бы «облака» моделировали социалистическое общество, это был бы оптимальный план, но они не разобрались в классовой природе моделируемого ими цивилизации. Попробуйте теперь представить себе, что случилось в первые дни ее жизни. Автоматически управляемые машины, где-то загруженные всем потребным для человека продовольствием, от хлеба до деликатесов, выходят на шоссе, а здесь их уже поджидают полицейские тройки, запрограммированные для сопровождения грузовиков в пути и разгрузки их на стоянках. Вы спросите: а зачем «облакам» полиция? А зачем в муравейниках особый вид муравьев-солдат с особыми функциями? Это функциональное пониманне жизни «облака» механически перенесли и на человеческий муравейник, только одного не учли — денег. Передавая товар магазинам, полицейские получали наличными или банковскими чеками. В сумме окружавших человека вещей банковские книжки едва ли были забыты. Ну, а что произошло дальше — понятно. Приток денег был узаконен, пущен в оборот, он укрепил уже без участия «облаков» финансовое хозяйство Города и денежное обращение — словом, естественную функцию денег в качестве средства обращения и средства платежа. Наряду с моделями банков и промышленных компаний создалась новая капиталистическая монополия, синдикат нуворишей, но более мощный, чем все остальные, и притом обладавший большей ценностью, чем любой золотой запас. Не автоматы галунщиков, а неистощимый источнин продовольствия обеспечил полицейской верхушке ее реальную, и неограниченную, и бесконтрольную власть.

— А мэр и его совет олдерменов? — спросил я.

— Пешки.

— Кто же у власти?

— Те, кто командует вычислительным центром и прячется за спины подставных лиц. Есть даже хохмочка: четыре туза и джокер. А джокер, как и в картах, может занимать любой пост, даже не очень высокий. Оттуда ему виднее.

— Значит, четыре туза и джокер,— повторил я.— Спрашивается: кто, где, кем и как?

— Я бы иначе сформулировал,— возразил Зернов.— Задача другая: с двумя неизвестными. Икс — продзавод, игрек — вычислительный центр. А вопросы те же: где находится, кто командует, кем приводится в действие и как охраняется.

— Убедил,— сказал я.— Будем искать ответы.

— Теперь понимаешь, почему ты меняешь позицию в нашей шахматной партии, которую мы разыгрываем вместе с Сопротивлением? Наши задачи сейчас совпадают с его тактикой. Сформулировать их можно так: ладья Анохина вторгается в глубокий тыл противника и действует в зависимости от обстоятельств. Я и Дьячук остаемся на прежних позициях, определяя тактику теми же обстоятельствами. Мартин ходом коня закрепляется в баре «Олимпия». Дон, не смущайтесь.

— Неужели Марию нашел? — догадался я.

— Нашел,— признался Мартин.— Совсем земная. А этот щекастый фараон и здесь ее обхаживает. Я его мельком два раза видел. Почему-то в штатском, но это ему не поможет — отобью.

— Не советую,— предостерегающе заметил Зернов.— Здесь он покрупнее земного. А зовут его, запомните, Корсон Бойл.

Мартин так рванулся с кресла, что оно затрещало.

— Этот щекастый оборотень?

— Сейчас это не оборотень. Моделирована не полицейская функция, а человек, как и все в этом мире, и, кроме того, умный, расчетливый и очень опасный. Блокированная память ему не мешает, наоборот, я думаю, она только облегчила ему путь к власти.

Мартин сразу сник, да и мне стало кисло. Ведь на орбиту Бойла меня выводило не только Сопротивление: где-то на этой орбите мы могли найти ответ на все наши вопросы.

— На ближайшей неделе,— продолжал Зернов,— в его летней резиденции состоится встреча... ну, скажем, королей и ферзей. Томпсон не приглашен. Но приглашена Мария. Официально — смешивать коктейли в домашнем баре, неофициально — каприз хозяина. Ну, а мы противопоставим ему каприз гостьи: приглашение должен получить и Толли Толь.

— Зачем?— резнулся Толька.

— Не пугайтесь. Все, что вы должны делать у Бойла,— это петь, слушать и запоминать.

Я невольно зевнул: усталость брала свое.

— А теперь спать,— скомандовал Зернов,— Юра уже зевает. Кстати, учти: тебе еще вес сгонять. Не очень приятная процедура.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Фантастический роман

Скачки

Процедура оказалась действительно неприятной. Горячий пар ел глаза и щекотал горло. Дышалось трудно и непривычно. Паровая баня была похожей на нашу разве только тем, что в клубах жаркого и плотного тумана я почти ничего не мог рассмотреть. Не было ни мочалки, ни мыла, ни березовых веников. Зато надо мной, вдавленным в губчатый, резиновый мат, яростно орудовал массажист, растирал и разминал меня до боли во всем теле. Я только пыхтел и глотал соленый пот, стекавший мне в рот. В конце концов массажист или умаялся, или решил, что с меня достаточно, и разрешил мне сесть.

Напротив меня на другой койке тотчас же поднялся человек, которого мяли и терли одновременно и в том же темпе. Он вдохнул, выдохнул и спросил что-то по-французски, но с незнакомым, неамериканским акцентом.

Или горячий туман рассеялся, или сидели мы слишком близко друг к другу, но я вдруг хорошо разглядел его. Белотелый, как женщина, с медно-красными от загара лицом и руками, он выглядел чуть постарше и пошире меня, а в черноватых подстриженных усиках на верхней губе мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Я мысленно продлил их и закрутил кверху, как у «гусар-усачей» из дореволюционной солдатской песни, и тут же узнал его. То был скакавший рядом со мной в моделированных кинопроектах режиссера Каррези швейцарский рейтар, капитан в рыжих ботфортах. Это он любезно и дружелюбно перебросил мне свою шпагу перед дуэльным шантажом Монжюссо — Вонвиля. Именно. Покровительственно улыбаясь, он спросил:

— Оглох, что ли, от пара? Сколько сбрасываешь?

— Два кило,— сказал я.

— Счастливчик. А мне — тройку. Ты уйдешь, а мне еще час париться. Каким номером записан?

— Седьмым.

— Вместо Реньяра. Вчера его так напоили — сегодня подняться не мог.

Значит, Реньяра убрали, чтобы просунуть меня. Оперативно действует Сопротивление, ничего не скажешь.

— Из какого патруля? — опять спросил он.

— Я не из полиции,— признался я.

— Шпак,— сказал он, сплевывая соленый пот. Он выражал этим полное пренебрежение галунщика к простому смертному, не обшитому золотой тесемкой.

— Значит, пять «быков» и три шпака,— посчитал он на пальцах.— Из вас троих опасен только Фиц-Морис, сын банкира. У красавчика Кюрье лошадка старовата — не вытянет. Ну, а тебя, наверно, одра дадут.

— Почему? — Я решил сопротивляться даже здесь, в бане.

— Кто тебя опекает: Шорти или Хони?

«Хони — это Бирнс»,— вспомнил я. Но решил сыграть.

— Не знаю.

— Шорти, наверно. Ему всегда новичков подбрасывают. Подберут тебе вислозадую или коротконожку с большими бабками. Шея колесом, а дышит надсадно. Наглотаешься грязи, когда обгонять будут. Я лично полный шлепок обещаю, если вырвешься.

Я опять не понял.

— Какой шлепок?

— Полный, слыхал уже. Моя кобылка задние ноги выбрасывает дай бог. Умоешься на обгоне.

Я догадался наконец, что он говорит о лошади, которая, обгоняя, забрызгает меня грязью. Что ж, переживем. Еще неизвестно, кто будет грязь жрать.

— Камзол лиловый, бриджи белые? — снова спросил он.

— Не знаю.

— Наверняка. Реньяра цвета. Если б тебе вместе с камзолом его коня дали, ты бы не три, а десять кило с радости сбросил. Только он коня даже отцу родному не даст. Не конь — птица. Ну, а теперь моя кобылка вперед выходит. Погляднешь на нее — скакать не захочешь, какого бы одра ни дали.

Я молчал. Голый галунщик был не менее противен, чем одетый.

— Ну, скачи, скачи, только носа не задирай,— покровительственно прибавил он,— а то после скачек напомню. Шнелль дерзких не любит.

Мой массажист в это время уже набросил мне простыню на плечи. Нужно было идти на весы. Там уже дожидался Хони Бирнс в нейлоновой маечке, сухонький, крепенький, не человек — гномик.

— Два с половиной,— сказал он, взглянув на весовую шкалу.

Это означало, что лишний вес сброшен и я могу влезть в реньяровский лиловый камзол и белые бриджи. Хони Бирнс был доволен, он смотрел на меня снизу вверх, едва доставая мне до плеча, и дружески улыбался. И мне вспомнилась наша встреча рано утром, когда я, которого он знал как фотокорреспондента «Экспресса», снимавшего его для журнальной обложки, вдруг выпалил пароль Фляша. Он долго и угрюмо молчал, оглядывал меня со всех сторон, потом сказал, сплевывая табачную жвачку:

— Другой дылды они не могли выбрать?

Впервые за всю мою жизнь мне было стыдно своих ста семидесяти восьми сантиметров. Я виновато пожал плечами: приседай, не приседай — не поможет. Хони еще раз оглядел меня, пощупал мускулы ног, послал меня на внутреннюю скаковую дорожку, параллельную главной, и скрылся в конюшнях. Через пять-шесть минут он медленно вышел, держа на поводу гнедого высокого жеребца с длинными ногами, даже ключеватого чуть-чуть — хоть ребра считай. Конь ничем не выражал своего волнения, только ноздри вздрагивали.

Кое-что в лошадях я смыслил: как-никак два года не вылезал из манежа.

— Класс,— сказал я.

Прошел галопом дорожку и вернулся. Мандуфф — кто-то из его хозяев, должно быть, помнил историю о Макбете и о его грозном сопернике — не шел, а летел, как летит ястреб над полем, догоняя зайчишку.

— Чудо! — выдохнул я, спешиваясь.

— Я еще не пробовал Мандуффа на приз,— сказал Хони,— рискую. И день не тот, и жокей не тот. Но лошадь и сегодня покажет себя. Такие «быкам» только снятся.

Экзамен я выдержал. Хони Бирнс не сделал ни одного замечания, только послал меня на весы и в парилку. А сейчас, когда подготовка была закончена и я, отдохнув в жокейской на носилках, на которых приносили получивших травмы наездников, уже облачился в широковатые для меня бриджи, заправил в них пузырившийся на животе темно-лиловый камзол с белой семеркой на спине, начиналось самое ответственное и страшное. Хони молча держал под уздцы раздувавшего ноздри Мандуффа, уже оседланного и готового к скачке. Я тоже молча вскочил в седло, нащупал правой ногой начищенное до блеска стремя и взял поводья. Мимо меня к пусковой линейке уже последовали один за другим мои соперники. Я не успел разглядеть их: в пестрых картузах-жокейках под цвет камзолов и бриджей с длинноющими козырьками, они казались двойниками, сотворенными мне на погибель. Шнелль тоже обогнал меня на своей караковой длинноногой кобылке и весело помахал мне рукой, даже не взглянув на Мандуффа. А тот вздрогнул и повел ушами. «Не нравится, что обгоняют,— подумал я.— Что ж, хороший признак».

Мы выстроились на линейке восьмерной — все одинаковые, различимые издали только по номерам и цветам. У Шнелля на желтом камзоле чернела двойка. Фиц-Морис весь в белом шел под номером первым на вороном жеребце по кличке Блэки. Караковую кобылу Шнелля звали Искрой. «Только они двое и опасны,— предупредил Бирнс,— остальные не конкуренты». Но мне все еще было страшно. Даже зубы постукивали — не мог сдержать.

Зазвонил колокол: старт. Мандуфф рванулся и пошел в галоп, почти зажатый «шестеркой» и «тройкой». От них я тут же освободился, угостив грязью жокеев,— Мандуфф тоже умел обгонять, насмехаясь. В последний раз мелькнули трибуны — кусок белого ситца с пестрыми крапинками — и исчезли. Потянулась справа серая лента забора и зеленое поле слева — оно пестрело белыми мужскими костюмами и яркими женскими платьями, как и оставшиеся сзади трибуны. Они снова возникнут сбоку, но уже на последней прямой. До финиша два километра с лишком, а сколько лишка — я не знал: забыл спросить у Бирнса. Но думалось не об этом — в голову лезло черте что. Хорошо, не стипль-чез — я бы не мог взять препятствия. И сейчас же вспомнилось, что кобылу Вронского звали Фру-Фру. Два «ф» в одном имени. У меня тоже два «ф»: Мандуфф. Как бы чего не вышло? Я тут же обозлился на себя, мысленно выругался, поднял голову от конской шеи — до этого я едва не лежал на ней — и принялся искать глазами ушедших вперед. Их было двое: «единица» и «двойка», как я и думал. Блэки впереди, Искра метра на два сзади. Мандуфф отставал от них на добрый десяток метров. Догонит или не догонит?

Я не пришпоривал лошадь, я доверился ей. Сладкий запах конского пота щекотал ноздри, ритмический стук копыт и свист ветра — и никаких других звуков. «У лошади память, как у кошки,— говорил Хони,— она помнит каждый бугорок на дорожке, каждую ямку. Помнит, где ее обогнали, где обошла она. Это обязан помнить и жокей. Но Мандуфф не помнит, и ты не помнишь. Это первая ваша скачка и ваше преимущество перед соперниками. Только ветер в ушах, бегущая навстречу земля и никого впереди. Мандуфф не потерпит обгона».

Но впереди были двое, и расстояние между нами не уменьшалось. Хотя... на подходе ко второму повороту мне показалось, что крутой зад Блэки с коротко подстриженным хвостом и привставший на стременах белый Фиц-Морис стали как будто крупнее, приближаясь с каждой секундой. Только карановая Искра с черно-желтым жокеем уходила вперед.

Теперь Мандуфф и Блэки шли уже голова в голову. Черный конь с крутым задом все еще держал бровку, Мандуфф обходил его справа. Но как обходил! Я был, вероятно, не легче Фиц-Мориса, да и Блэки казался старше и опытнее Мандуффа — потому это и был гандикап, что участвовали в нем лошади разных возрастов и седоки разных весов,— и никто не подсказывал Мандуффу, где легче и сподручнее вырваться и занять бровку. Но он сделал это именно там, где труднее,— на самом повороте дорожки, где линия обгона справа удлиняется, а держащий бровку легко уходит вперед. Но он не ушел. И Блэки и его седок вдруг рванулись назад, словно их сдуло ветром, а слева навстречу побежало ярко-зеленое поле.

Теперь нас со Шнеллем разделяли не десять, а пять или шесть метров, потом они, вероятно, превратились в четыре или в три — сосчитать на глаз я не мог,— просто черно-желтый Шнелль, как и раньше Фиц-Морис, стал как будто крупнее. Он, уловив другой ритм скачки настигавшей его лошади и, должно быть, поняв, что это не Блэки, оглянулся и пришпорил свою. Но Мандуфф действительно не переносил зрелища другой скачущей впереди лошади. Три метра стали двумя, потом голова Мандуффа достала корпус Искры, и Шнелль, яростно оскалив зубы, уже держался со мною рядом, все еще не отдавая дорожки. Но и здесь повторилось то же, что и раньше с Фиц-Морисом. Дождавшись последнего поворота, Мандуфф обошел соперницу справа по удлиненной гиперболе — на этот раз с трудом, отдавая скачке все силы; я почувствовал это по участившемуся ритму его дыхания.

Истошный звук колокола, взмах флажка судьи на трибуне возвестили о финише. Я с трудом сдержал рвавшегося вперед Мандуффа, но его уже подхватили под уздцы подбежавшие конюхи. Искра подошла к столбу через несколько секунд, когда я уже стоял, отворачиваясь от нацеленных на меня фотокамер моих собратьев по ремеслу. Бирнс что-то говорил мне, но в шуме окружавшей меня толпы я не слышал да и, признаться, не слушал: я смотрел, не отрываясь, на взмыленного Мандуффа — по сравнению с Искрой он казался менее уставшим и даже улыбнулся мне, обнажив большие белые зубы. «Чудо-лошадь!», «Экстра-класс!», «Лошадь-феномен!» — раздавалось рядом, но я-то с начала скачки знал, что это Бирнс еще раньше знал, а Фляш попросту был уверен, что иначе и быть не могло.

Первая часть программы была мною выполнена. Оставалась вторая. Мимо Шнелля, даже не взглянув на него, подошел ко мне полицейский офицер в полной парадной форме: я даже мундира его не видел — только нашивки, аксельбанты, лампасы и пуговицы. Сдержанно поклонившись, он сказал:

— Вас просят в ложу.

Я неуверенно оглядел свой забрызганный грязью костюм.

— Может быть, сначала переодеться?

В ответ он протянул мне платок и расческу.

— Это все, что вам нужно, пошли.

Аудиенция

С кое-как вытертым лицом и приглаженными волосами я появился в центральной ложе. Это была тенистая веранда с накрытым столом и широченным окном, открывавшим глазу все скаковое поле.

Мой спутник остался за дверью, а я вошел и растерялся под обращенными на меня любопытными взглядами. За столом сидело несколько человек — кто в штатском, кто в опереточных галунных мундирах. Судя по обилию золотых нашивок и аксельбантов — высшие полицейские чины. Но хозяин был в кремовом штатском костюме и голубой рубашке без галстука. Я сразу догадался, кто это, по какой-то неуловимой властности, сознанию собственного могущества, которое легко было прочитать и в глазах и в непринужденной позе хозяина. Я вспомнил описанного Мартином щекастого сержанта в городе оборотней. Нет, описание не подходило. Или это был другой человек, или новая среда и новая роль коренным образом его изменили. Я бы сравнил его с Черчиллем, только что справившим свое сорокалетие. Широкое, пух-

Продолжение. Начало см. №№ 11—13.

лое лицо, розовые щеки, сигара в зубах, первые признаки тучности во всем облике и — властность, властность, властность, наполнявшая даже воздух, которым дышали все в присутствии этого человека.

— Чья лошадь? — наконец спросил он, не вынимая сигары изо рта.

Я недоуменно пожал плечами.

— Выясни,— обратился он к галунщику, сидевшему рядом.— Я бы купил ее.— Потом вынул сигару, бережно, не стряхивая пепла, положил ее на подставку пепельницы и полувопросительно, полуутвердительно произнес:

— Жорж Ано. Француз?

— Отец — француз, мать из Американского сектора.

Он кивнул в знак того, что поверил, только поморщился.

— Акцент остался...

— Я говорю с акцентом на обоих языках,— виновато признался я, продолжая играть.

— Приза не получишь: скачки любительские,— продолжал он, пропустив мою реплику,— но можно наградить и по-другому. Что бы тебе хотелось? Денег? Должность? Я мог бы перевести тебя в большую газету.

— Я бы хотел поступить в полицию,— решительно произнес я.

Бомба не бомба, но маленькая бомбочка разорвалась за столом. Вероятно, так посмотрели бы на меня, если б я попросил птичьего молока. Только Корсон Бойл не удивился.

— А почему, мальчик, тебе приглянулась полиция? — спросил он с хитрой усмешечкой.

На «мальчика» я не обиделся: карта шла в руки.

— Потому что простой патрульный стоит дороже любого служащего.

— А если у служащего текущий счет в банке?

— Мундир патрульного стоит чековой книжки.

Корсон Бойл засмеялся, но без насмешки, а дружелюбно и поощрительно.

— А ты честолюбив, мальчик. Впрочем, честолюбие для патрульного не порок. Скорее достоинство.

— Значит, можно рассчитывать на вашу поддержку?

— К сожалению, даже моя поддержка еще не лицензия на мундир с аксельбантами. В полицию принимают только сдавших экзамен. А экзамен нелегкий. Даже для победителей гандикапов.

— Я не боюсь.

— Тебя уведомят,— сказал он, уже отвернувшись к окну, в котором промелькнула пестрая группа всадников: начался новый заезд.

Я понял, что моя миссия окончена, неловко повернулся и молча ушел, злой и растерянный. Честно говоря, непредусмотренный экзамен меня пугал. Мало ли что уготовано мне в этой полицейской клоаке! Вдруг они заставят меня стрелять в человека: может быть, так они проверяют меткость глаза или крепость нервов. На лбу у меня выступили капельки пота, хотя на улице было совсем нежарко. Хорошо, что в раздевалке не было Хони Бирнса, и я мог ускользнуть незаметно: рассказывать о подробностях своего визита в ложу полицейского мецената мне совсем не хотелось.

По возвращении я никого не нашел в нашей «казарме» и, не задерживаясь, побрел в ателье с тайной надеждой поймать Фляша. Но застал одну Маго.

— Камзол лиловый, лошадь гнедая,— встретила она меня.

О скачках она уже знала. Ее интересовал разговор с Бойлом: «Все, все с самого начала». Я рассказал с самого начала. Пугавший меня экзамен ее ничуть не смутил.

— Детские игрушки. Ты же умнее их в сто раз.

— Смотря что спросят.

— Стрелять умеешь. Хотя... постой, постой, не говори о пистолетах и автоматах. Ты их в руках не держал. Умеешь стрелять только из лука.

Она задумалась и прибавила, словно мечтая вслух:

— Эх, дали бы мне автомат — повернулась бы и вместо цели — по экзаменаторам! Одной очередью.

— А потом? Ты представляешь масштабы их жестокой мести?

— Один из «запомнивших» рассказывал, что в настоящем Сопротивлении, в том, что было до Начала,— заговорила она медленно, глядя сквозь меня,— врагов убивали, не считаясь с последствиями.

Я подумал, что если тут же не поправлю ее, потом уже будет поздно.

— Во-первых, считались. В подготовке любого покушения всегда учитывались и его целесообразность, и безопасность его участников, и число возможных жертв, и размах ответных репрессий. Во-вторых, нельзя механически сопоставлять события, обусловленные различными историческими условиями. То, что годилось вчера, непригодно сегодня, и наоборот.

— Мы все больны собачьей старостью,— вырвалось у Маго с таким несдержанным гневом, что дальнейший разговор уже не мог состояться.

Я поспешил уйти.

Кем могла быть Маго на Земле? Такой же приемщицей заказов в таком же заурядном фотографическом ателье? Едва ли. Студенткой Сорбонны? Судя по семантическим ее интересам, возможно. Но откуда в ней такой яростный бунтарский фанатизм? Может быть, это гостья из сороковых годов, воссозданная по воспоминаниям какого-нибудь партизана из «маки»?

Размышления мои прервал Джемс, поджидавший меня под кронами ближайшего парка.

— Сядь,— сказал он, оглядываясь. Никого поблизости не было.— Есть разговор.

Оказывается, он тоже слыхал о скачках.

— Зачем тебе эти скаковые рекорды? Дешевой известности захотелось?

Я понял, что он ничего не знал о задании Фляша. Не знал и о моем разговоре с Корсоном Бойлом. Значит, следовало выкручиваться.

— Хороша больно лошадь,— виновато признался я.— Видел ее как-то на съемке. Соблазнился. Не лошадь — вихрь.

— Вихрь,— передразнил меня Джемс.— Ты брось эти фокусы. Мне от тебя нужно другое.

Он молча раскрыл свернутый трубочкой очередной номер журнала. Какие-то страницы его слиплись. Джемс, воровски оглянувшись, осторожно разъединил их, и я увидел заложенный внутрь газетный листок небольшого формата на тоненькой, почти прозрачной бумаге, на которой обычно печатаются увесистые однотомники и карманные словари. Название листка «Либерте», колонка курсива под заголовком «Доколе!» и шапка на оставшиеся четыре колонки «Трупы на колючей проволоке», а под ней шрифтом поменьше: «Массовые расстрелы в Майн-сити». Итак, у Сопротивления родился печатный орган, и Джемс, подхвативший эстафету отца на поприще журналистики, был одним из редакторов.

— Мне нужны сотрудники,— сказал он.

— Я не принадлежу себе, Джемс,— ответил я.— У меня свое задание.

— Мне важно твое согласие. Кстати, и редакция и типография у вас под ногами.

— Где?!

— В подвалах «Омона».

Мне показалось, что молния ударила в соседний каштан.

— Этьен знает?

— Конечно. Он же и предоставил помещение.

Я подумал о том, что безоговорочное доверие Джемса к Этьену могло раскрыть наше инкогнито.

— Что знает о нас Этьен?

— А почему тебя это интересует?

— Потому что по условиям связи он ничего знать не должен.

— Он знает только то, что вы «дикие», вернувшиеся к городской жизни.

— Не больше?

— Ты с ума сошел!— вспылил Джемс и отчужденно отодвинулся.

Простились мы сухо, не продолжая разговора. А вечером я наконец поймал Зернова.

— Ты все знаешь о «Либерте», Борис?

— Читал первый номер. Кое-что хорошо, кое-что наивно.

— Я не о том. Ты знаешь, где они печатаются? В подвалах «Омона».

Зернов тихо свистнул.

— С ведома Этьена?

— Может, мы несправедливы к нему, Борис? Может быть, прожив здесь девять лет...

— Стал другим? — Зернов прищурился с откровенной злобой.— А надо знать точно. Даже малейшего просчета здесь нельзя допустить. Этот Этьен — биологическое повторение того. Больше мы ничего не знаем.

— Какой же вывод?

— Создать законсервированную резервную типографию. И с одним непременным условием: Этьен знать не должен.

О предстоящем экзамене, обещанном мне Корсоном Бойлом, мы так и не поговорили.

Экзамен

Город обычно просыпался уже в три утра, в четыре открывались лавчонки помельче, в пять — двери больших магазинов и ворота заводов, а в шесть собиралась в своих канцеляриях вся конторская братия. Дежурный портье поднял меня в четыре утра, когда Мартин еще не вернулся из ночной смены, а Зернов с Толькой мирно посапывали в своих постелях.

— Звонили из продполиции,— почтительно склонился портье.— Предупредили, что в пять за вами пришлют экипаж.

В пять я, потягиваясь и зевая, вышел на улицу. Экипаж подъехал почти одновременно — открытый кузов легковой автомашины, запряженный парой рослых и упитанных лошадей с расчесанными гривами. Вместо обрезанного радиатора торчал самодельный облучок-модерн из полых алюминиевых трубок с губчатой подушкой, на которой восседал «бык» в сером мундире с выцветшим желтым шитьем. В лучшие времена оно было золотым, но и здесь мундиры изнашивались скорее, чем люди. Более импозантный галунщик — очевидно, мой телохранитель или конвойный — сидел в машине.

Он подвинулся, пропустив меня, и за весь получасовой наш путь по городу не произнес ни слова. Меня его молчание вполне устраивало, позволяя в одиночку наслаждаться утренней прогулкой по городу. Лошади постукивали по каменной брусчатке, бич кучера-галунщика привычно посвистывал, а Город, удивительный и все еще до конца не понятый, изменялся на каждом углу, знакомо бежал навстречу. Я сказал «знакомо», и тем не менее они все еще ошеломляли, эти углы, стыки и переходы, когда тихая провинциальная французская улочка с полуподвальными лавчонками-погребками и распухшими от сидячей жизни консьержками вдруг устремлялась к небу бетонно-стеклянным вакуумом небоскребов с матовыми от пыли окнами всех этажей до крыш и огромными, в два человеческих роста витринами. Разинув рот, вы так и не закрывали его, потому что небоскребная высь тотчас же сменялась одноэтажной Америкой без тротуаров, но с неизменной драг-седой и механическими бильярдными, а та, в свою очередь, сворачивала на древнюю парижскую набережную с лотками цветочниц и фруктовщиков...

Управление продполиции помещалось в первых двух этажах двадцатиэтажного здания, вытянувшегося по всему кварталу, дощечка на углу которого извещала, что это Четырнадцатый блок Американского сектора. То был действительно блок, гигантский металло-стеклянный куб, жилой только в первых двух этажах и мертвый в остальных, где лежала многослойная пыль и жили привидения, если их догадались синтезировать наши «всадники ниоткуда». Мимо неподвижных постовых меня провели во второй этаж в большую светлую комнату, нечто вроде спортивного зала с тиром и гимнастическими снарядами, с плоскими матами на полу и скамьями по стенам. За единственным столом с голой пластмассовой крышкой сидели трое, судя по нашивкам, высших полицейских чинов. Все они были на одно лицо: одинаково сухи, морщинисты и выбриты до припудренной синевы на запавших щеках.

— Мсье Ано? — спросил меня по-французски страж в центре.— Будем говорить на вашем родном языке?

— Предпочитаю английский, сэр.

— Садитесь.

— Пригласите тренинг-экспертов,— сказал конвоиру старший экзаменатор — я мысленно назвал его старшим, судя по занимаемому им центральному месту.

Конвоир исчез и впустил троих парней, голых по пояс, в серых тренировочных брюках. В наиболее крупном и мускулистом я узнал Шнелля. Он тоже меня узнал, но только глаза его усмехнулись — лицо оставалось каменным.

— Вы занимались гимнастикой? — спросил меня старший экзаменатор и, не дожидаясь ответа, добавил: — Попробуйте турник и коня.

Я несколько раз подтянулся на перекладине и сделал пять-шесть махов на коне. Махи получились менее неуклюжими, чем эксперимент на перекладине.

— Три,— сказал Шнелль.

— Четыре,— в один голос откликнулись его спутники.

Судьи пошептались и что-то занесли в свои рапортички.

— Наденьте ему перчатки, Оливье,— сказал экзаменатор слева.

— Разрешите мне,— шагнул вперед Шнелль.

— Вы тяжелее его, Шнелль,— возразил экзаменатор.— Оливье подойдет лучше.

Оливье, голубоглазый блондин моих лет, ловко надел мне боксерские перчатки и подлез под канат. Ринг был рядом, с тремя туго натянутыми канатами на белых столбах.

— Боксировал когда-нибудь? — спросил Оливье.

Я отрицательно покачал головой.

— Что-нибудь знаешь? Удар? Стойку?

— Ничего.

— Он никогда не боксировал, капитан,— неуверенно проговорил Оливье, обращаясь к экзаменатору слева.

— Проверим его реакцию,— сказал тот.

Оливье отступил на шаг и шепнул мне:

— Нападай.

Вместо нападения я сымпровизировал что-то вроде боксерской стойки. Оливье легонько щелкнул меня в грудь. Я отшатнулся и, как мне показалось, ударил его в лицо. Но это только мне показалось. Правая моя рука встретила воздух, а кулак противника в черной тугой перчатке сбил меня с ног.

— Один... два... три...— по привычке начал Оливье, но я тут же вскочил.

И снова упал, сбитый таким же точным и сильным ударом. На этот раз я решил не вставать: ну их к черту!

Но считать никто не стал.

— Снимите с него перчатки, Оливье. Одно очко.

— Не больше, капитан.

— Попробуем просто «файт»,— сказал левый экзаменатор.— От «спортинг-файта»,— пояснил он мне,— это отличается тем, что в бою нет никаких правил. Защищайтесь и нападайте, как вам будет угодно: ногами, руками, подножкой, головой...

Я внутренне усмехнулся. Боксировать я не умел, но знал самбо. Рискну. Оглядев моих тренинг-экспертов, я прочел злорадное торжество в глазах Шнелля: он все еще не простил мне поражения на скачках.

— Если пробовать, так с сильнейшим,— сказал я экзаменаторам.— Как противник патрульный Шнелль меня вполне устраивает.

— Ваше право,— согласился экзаменатор.

Шнелль уже с нескрываемым злорадством — он даже торжествующей улыбки не спрятал — вышел не на ринг, а на большой квадратный мат и стал в позе партерного акробата, приготовившегося к прыжку партнера.

— Не подходи к нему слишком близко,— шепнул мне Оливье,— он ударит ногою в пах.

Я знал эти штучки. Шаг. Еще шаг. Еще. Шнелль напоминал сжатую стальную пружину. Еще шаг — и ударит. Но я не шагнул, а прыгнул. Вверх и чуть вправо, так что взлетевшая правая нога Шнелля ударила, как и моя рука в схватке с Оливье, по воздуху. В ту же секунду я перебросил Шнелля через голову. Он грузно грохнулся на пол, так грузно, что даже толща мата не смягчила удара.

— Браво!— крикнул Оливье.— Шесть.

Экзаменаторы, не возражая, черкнули что-то в своих рапортичках.

— Стрелять умеешь? — спросил старший.

— Из лука.

— Из автомата не пробовал?

— Нет.

— Дайте ему оружие, Рой, и покажите, как надо работать.

Третий из тренинг-экспертов взял автомат и подвел меня к стойке тира. В двадцати шагах на длинной-предлинной скамье стояли ряд пустых винных бутылок, чуть дальше — такой же ряд жестяных консервных банок, а шагах в пятидесяти — снова бутылки, только реже и выше. На стене над ними — ленточкой — чьи-то портреты, чуть крупнее газетных.

Рой, не торопясь, объяснил мне устройство автомата, как целиться, спускать предохранитель и нажимать на спусковой крючок.

— Попробуй первый ряд.

Я снес ее одной очередью.

Рой внимательно посмотрел, как держу автомат, заглянул мне в глаза и молча кивнул на консервные банки.

Я снес и их.

— Вы солгали, Ано,— проговорил старший экзаменатор,— так стрелять может только знакомый с огнестрельным оружием.

— А я и знаком. Но вы спрашивали меня об

автомате, а я стрелял из охотничьего ружья.

— Когда?

— Когда был «диким».

Ни малейшего удивления не отразилось на лицах моих судей. «Знают»,— подумал я. Значит, и это прошло без промаха.

— Попробуйте последний ряд,— опять вмешался экзаменатор справа.

Я струйкой пуль снял и третью бутылочную заставу.

— Недурно,— послышался голос в дверях.

Экзаменаторы, как по команде, вскочили. Я обернулся: Корсон Бойл. Он сел за стол — серая сова среди пестрых попугаев: по-прежнему был в штатском костюме.

— Почему тебя потянуло в полицию? — спросил он, сощурясь.

— Я уже говорил. Власть и сила. Почему я выбрал сильнейшего для участия в схватке? Потому что был качественно сильнее его. Почему вам, количественно более слабым, подчиняется количественно более сильное население Города? Потому что вы сильнее качественно.

Я был уверен, что мой ответ понравится Бойлу. И не ошибся.

— А чем же обеспечивается эта качественность?— подмигнул Бойл поощрительно.— Оружием?

— Не только,— ответил я, подумав.— Конечно, оружие—серьезный фактор. Но оружие можно отнять или изготовить. На оружие можно ответить оружием. А почему вам подчиняются не только кучера и консьержки, но и директора «Сириуса»? Не выписывают же они свои чеки под дулом наведенных на них автоматов.

Бойл засмеялся.

— Верное наблюдение. А вывод?

— Денег у них не меньше, чем у вас. Но деньги не фишки, у них должно быть какое-то мерило стоимости.

— Что ты имеешь в виду? — прищурился Бойл, на этот раз, как мне показалось, не дружелюбно, а настороженно.

Я вывел свою судьбу на опасный стрежень, но сворачивать не собирался. Возможно, отсюда и не возвращаются. Но я почему-то был уверен, что Бойл в конце концов оценит мою откровенность.

— Завод или заводы по изготовлению пищи. Пищевой комбинат, вроде химического,— решительно произнес я.— Это большая сила, чем оружие, и бо́льшая ценность, чем деньги.

Последовал вопрос, как выстрел.

— А что ты знаешь о заводе?

— Ничего. Предполагаю. А предположение не знание.

— Ты с кем-нибудь делился таким предположением?

Спрашивал только Бойл. Тренинг-эксперты давно ушли. Экзаменаторы молчали с серыми, как мундиры, лицами. Вероятно, таких экзаменов еще не было.

— С кем у нас можно делиться? — сыграл я пренебрежение и равнодушие.— С людьми без памяти?

— У тебя есть друзья.

— Они умствований не любят. Обеспечь себя — предполагай что угодно. Вот их кредо.

— А секретарь Томпсона?

— Мы с ним почти не встречаемся. Он очень занят.

— Пишут историю,— скривился Бойл.— А кому нужна эта история? Как трамвай превратился в конку, а в квартире погасли лампочки? Мы восстановили телефон для себя, а Городу он не нужен. Мы замораживаем изобретения только потому, что считаем прогресс преждевременным. Статус-кво — вот что нам нужно. Объяснить?

— Не надо. Но я не понимаю, как может угрожать прогресс?

— Память возвращается, мальчик. Когда-нибудь мы все вспомним, что было и как было. Судный день, как говорят попы.— Он посмотрел на меня, как прицелился, и помолчал, словно взвешивая все, что хотел прибавить.— То, что в наших руках пища, известно. И то, что не любят нас в Городе, тоже известно. Так почему бы нам не завоевать любовь, когда все так просто? Снизить цены. Пустить продукты по дешевке. Всем, всем, всем. Уменьшатся прибыли? Не так уж страшно.

— Страшно другое,— перебил я.— Поднимется жизненный уровень, повысится платежеспособность. Будут больше покупать, больше продавать и больше производить. Расширится рынок труда. А за счет чего? И еще: судя по товарным этикеткам, завод работал и до Начала. А помнит ли кто-нибудь его мощность? Есть ли уверенность в том, что эта мощность неограниченна и сможет удовлетворить любой спрос? А если нет такой уверенности, значит, вы заинтересованы в стабильности положения, в сохранении нынешнего уровня платежеспособности, в понижении, а не в повышении спроса.

— Соображает,— похвалил Бойл.

— Даже слишком,— поморщился старший экзаменатор: ему явно не нравился такой оборот разговора, и мне он, по-видимому, не верил. Он долго буравил меня своими колючими глазками-шпильками и наконец спросил:— А ты не сопротивленец случайно?

— Это допрос или экзамен? — озлился я.

— Не горячись. За излишнюю горячность мы снижаем очки,— сказал Бойл.— Мы знаем о тебе все, что можно знать. Ты не сопротивленец и не бунтарь. Тебе хочется хорошо жить и многим владеть. Но тебе придется столкнуться с сопротивленцами. Вот мы и проверяем твои реакции.

— Я не считаю Сопротивление серьезной угрозой,— стараясь выглядеть как можно более размышляющим, произнес я.— Пока мерило стоимости в наших руках, любая акция Сопротивления бессмысленна.

Бойл засмеялся дружелюбно и поощрительно.

— Куда его? — спросил он экзаменаторов.

Старший сказал:

— Парень дошлый, умеет думать. Может быть, в Би-центр?

— Это там, где очкарики? — поморщился я.— Не по мне.

— Пусть начинает патрульным,— сказал Бойл.— Мне нужны люди, прошедшие все ступени лестницы.

Экзамен окончился.

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО**

Тайное тайных

Но не окончилось мое пребывание в полицейских чертогах. В почти ресторанной столовой меня накормили отличным завтраком, подогнали в цейхаузе новенький золотогалунный мундир, одели в желтые канадские сапоги с отворотами и подвели к контрольному зеркалу. Оттуда на меня взглянул двухметровый — зеркало увеличивало — обшитый золотом хлыщ, такой напыщенный и нахальный, что мне самому стало противно.

— Зачем все это? — спросил я недовольно оператора.

— Зеркальное отражение фиксируется особым аппаратом и передается в Би-центр.

— Для чего?

— Если будете назначены туда на дежурство, пройдете лишь в том случае, когда совпадет отражение. Мы сообщаем только контрольный номер.

— Сами придумали? — спросил я.

— Нет. Я пришел к контрольному зеркалу уже в первое утро Начала. Все забыл, а как работать с зеркалом и фиксировать отражение, помнил.

— И как устроено?

— Этого никто не знает. Сзади герметически закрытый цилиндр, без единого отверстия или соединения. Не требует ни ремонта, ни смазки. Видите? — Он показал на табло, на котором проступили какие-то цифры.— Это ваш контрольный номер. Если вас назначат в Би-центр, мы сообщим его по телефону. Вот и все.

— А отражение?

— Никто не знает, как оно фиксируется. Я проделываю только подготовительную работу, все остальное закрыто. Отражение каким-то образом оказывается в Би-центре и сверяется, если понадобится, тамошней контрольной системой.

— И ни одной ошибки за девять лет?

— Ни одной.

Я подумал, что «облака», несомненно, запрограммировали оптимальный вариант снабжения этого мира продуктами. Но зачем такая строгость и сложность контроля? Зеркала-фотоскопы, беспроволочная дистанционная передача изображения, последующие контрольные наложения... Для чего? Неужели «облака» не доверяли людям и сами запрограммировали полицейскую надстройку? Муравьи-солдаты для безопасности муравейника. Безопасность — от кого? Тут я совсем запутался, да и нечто новое оборвало размышления.

Я получил назначение в патруль Шнелля.

Случайно или не случайно? Но спорить было бесполезно, и я в тот же день вместе с Шнеллем и Оливье выехал на конечную заставу вблизи Эй-центра, как называли здесь по первой букве английского алфавита загадочный пищевой завод, который к тому же еще был и невидим. Поехали мы сюда засветло, чтобы я мог как следует все рассмотреть, начиная с шоссе, покрытого не камнем и не асфальтом, а незнакомым стекловидным пластиком, и кончая самим заводом-невидимкой, расположенным где-то за внезапно обрывавшимся лесом. Шнелль, собираясь поразить меня уже на последних километрах, предупреждал:

— Смотри внимательнее.

Сквозь деревья сверкнуло что-то огненно-голубое — не южное небо и не морская даль, а словно синее пламя спиртовки, внезапно отрубившее лес. Все это я уже видел когда-то — за Уманаком, на ледяном плато Гренландии.

Точно такая же стена голубых огненных языков тянулась на север, и горам, и на юг, к пустыне, одинаково терявшаяся вдали между небом и лесом. Языки, вытянувшиеся в километровый рост, соединялись словно в гигантский кристалл со множеством граней, неодинаковых и несимметричных, за которыми сверкал и струился, как в миллионах газосветных трубок, удивительный голубой огонь.

Нигде не было видно ни одного постового, и я знал, почему. По всей линии голубого свечения действовало знакомое силовое поле.

— Можешь подойти и потрогать,— сказал Шнелль, не слезая с коня.— Не обожжешься.

— Подойди сам, а я посмотрю,— отпарировал я его незатейливый розыгрыш.

Но он настаивал: ему очень хотелось посмотреть, как невыносимая тяжесть пришлепнет меня к земле.

Я поискал глазами по верхнему краю голубых граней и наконец нашел то, о чем вспомнил,— темную тоненькую, еле заметную снизу кавычку, край «фиолетового пятна». Оттуда, скрытое в ночи, оно передвигалось книзу, снимая силовую защиту в пределах свободного от перегрузок воздушного тоннеля, по которому выезжали на площадку грузовики с продуктами. Эти пятидесятитонные машины, как пояснил мне Шнелль, выезжали один за другим с десятиминутными промежутками, чтобы не столкнуться на уличных маршрутах. Полицейские тройки встречали их, оставляли лошадей конюхам и сопровождали дистанционно управляемые машины до возвращения их на заставу. Помогать при разгрузке запланированных на каждой стоянке контейнеров, получать деньги по действующим оптовым расценкам и стрелять в каждого появляющегося в поле зрения нежелательного свидетеля — таковы были наши обязанности с минуты посадки в бронированную стальную кабину с пуленепроницаемыми стеклами. «Зачем это? — опять встревожила мысль.— Неужели угроза нападения была заранее предусмотрена?» Оказалось, что я ошибся. Кабины были реконструированы в недоступном людям Эй-центре на другой же день после первого дорожного инцидента, когда беглецы из Майн-сити, остановив автофургон и перестреляв охрану, вывезли более половины продуктов в лес.

Так начался и мой первый рейс. На площадке было темно, как в июльские безлунные ночи где-нибудь у нас в Причерноморье. Неожиданно темнота сгустилась огромной тенью доисторического ящера, чиркнула спичка рядом, осветив открытую дверь темной стальной кабины, и голос Шнелля сказал: «Оливье первым, ты за мной, я замыкаю». Мы сели, дверь щелкнула, и машина бесшумно двинулась по дороге. В центре ветрового стекла передо мной виднелась пристрельная щель, открывавшаяся нажимом рычага сбоку. «По команде «стреляй!» открывай огонь,— предупредил Шнелль,— даже если не видишь цели. Ясно?» Мы ехали не очень быстро: километров пятьдесят в час, не больше, электричества в кабине не было, а спичка освещала лишь темную гладь стекла и металла — никаких указателей, приборов, часов, даже руля я не обнаружил.

— Вот так и сидим, как крысы в норе,— сказал вдруг Шнелль,— понадобится — вылезем, а то и отсюда пощелкаем.

Что он подразумевал, о чем беспокоился, я так и не понял. Оливье молчал. Работенка, надо думать, была не из приятных. Что-то тяжелое, непонятное, пугающее угнетало, как ночная прогулка по кладбищу.

И тишина... Сквозь броню кабины не доносилось ни звука: ни хруста брошенной на дорогу ветки, ни шелеста листьев на ветру, ни шума мотора — да и был ли мотор,— даже шуршания шин не слышалось. Но опытный Шнелль все же учуял что-то неладное. Что-то с машиной впереди, по-моему.

— Неужели видишь?

— Догадываюсь.

Машина почти без толчка остановилась, причем мы тоже скорее догадались об этом, чем заметили. Шнелль открыл пристрельную щель, и в тишину ворвались глухие голоса издали, а где-то впереди заржала лошадь.

— Кажется, фургон раздевают,— шепнул Шнелль и шагнул в темноту — дверь, должно быть, уже открылась, хотя и ничего, кроме клубящейся темноты, не видел.— Оливье, со мной! — скомандовал Шнелль откуда-то снизу,— Ано считает до пятнадцати, потом жмет на гашетку. Бей под углом вниз по ногам, по ногам...

Тишина и темнота поглотили обоих. Я сразу сообразил: под прикрытием моего огня из машины, когда они смогут подойти ближе, у них все шансы на внезапность и сокрушительность нападения. Вероятно, они даже смогут стрелять в упор. А в кого стрелять? В «диких» или в беглецов из Майн-сити. И зачем тогда считать до пятнадцати? Сразу сейчас, немедленно! И предупредить этим замыслы Шнелля. Я не раздумывал. Открыл огонь, но не вниз, а вверх, не по ногам, а по кронам деревьев, очередь за очередью, истошно, бессмысленно. «Может, поторопятся, поспешат,— с надеждой подсказывала мысль,— есть же у них лошади, есть оружие. Только бы успеть до подхода Шнелля». Я снял палец со спускового крючка и вслушался. Где-то впереди ржали кони, кто-то кричал. Потом хлопнул выстрел, другой, застрекотал автомат. Затем все стихло.

Чьи-то сапоги застучали рядом. Шнелль, уже не понижая голоса, сказал:

— Идиот. Я же приказал считать до пятнадцати. Медленно, не торопясь. Ты только спугнул их.

— Где Оливье?

— Ранен.

— А они?

Шнелль сплюнул, я даже услышал звук плевка на подножке.

— Ушли. Разберем завал.

Минут пятнадцать мы разбирали завал на шоссе с помощью патрульных с подошедшей машины. Охрана фургона, напоровшегося на засаду, была перебита. Шнелль принял наиболее разумное в этом положении решение. Легко раненного Оливье он положил рядом с собой, а меня посадил в машину, оставшуюся без охраны, и отправил в город с напутствием:

— У тебя будет только одна остановка — с ближайшей заставы я передам в Би-центр. Сгрузишь — и обратно.

Машина остановилась в конце улицы, у здания, напоминавшего тюрьму или форт. Ворота открылись, однако, без моего предупреждения — и пятидесятитонная махина, никем и ничем не управляемая, довольно ловко, даже с каким-то извраществом проскользнула во двор. Фонарь осветил открытый пролет в здании, плоскую тележку на рельсах и полицейских в таких же, как и мой, золотогалунных мундирах.

— Гони путевку,— сказал один из них, подойдя к открытой двери кабины.— Почему один?

Я кратко объяснил ему, что произошло по дороге. Он свистнул.

— Второй случай за месяц. Пора бы пришпорить, а то обнаглеют.

Тем временем полицейские без моей помощи довольно быстро разгрузили фургон. Задние двери его, как и кабины, открывались автоматически на любой остановке, и мне сразу стала ясной механика ночного набега. Нападавшие забарикадировали дорогу, вызвали вынужденную остановку машины, перебили охрану и до нашего прибытия успели перегрузить часть ящиков и мешков на поджидавших у шоссе лошадей. Вероятно, не более тонны, потому что полицейские, принимавшие груз, казались не слишком встревоженными. А куда я привез продукты, так и осталось нерешенной задачей, очевидно, не в магазин и не в ресторан и даже не в тюрьму, потому что явно не для заключенных предназначались контейнеры с консервированной высокосортной рыбой, полиэтиленовые мешки с жареными цыплятами и ящики с французским коньяком и шампанским.

Покушение

Решение задачи пришло на очередной встрече четырех, вновь собравшей нас под одной крышей. Мой доклад, как наиболее обстоятельный, заслушивался последним. Начал Мартин, и начал с тревожного сообщения.

От Марии он узнал, что несколько дней назад из Майн-сити бежало более ста человек. Побег был тщательно подготовлен, отлично организован и удачно выполнен. Одной группе заключенных удалось взорвать лагерную электростанцию — в результате вышли из строя все прожекторы на сторожевых вышках, обесточились проволочные заграждения и погас свет в полицейских казармах. Другая группа ворвалась на склад оружия, перебила охрану и ушла в лес, соединившись с первой. Более полусотни стражников было убито во время преследования, многие погибли при взрыве электростанции.

Тревожил, конечно, не сам побег, а последовавшие за ним репрессии. В Городе начались аресты. За один день только на заводах компании «Сириус» исчезло более восьмисот человек. Их видели в цехах, но ни один из них не вернулся домой. Мария рассказывала, что Корсон Бойл накануне в баре «Олимпия» назвал сопровождавшим его бизнесменам из «клуба состоятельных» цифру предполагаемых арестов.

«Мы ощиплем перышки с двух тысяч петушков».

Сообщение Мартина встревожило, но то, что рассказал Толька, буквально ошеломило. Он был на вечере у Корсона Бойла.

— И как вы думаете, кого я там видел? — Он обращался к Зернову, по-прежнему ни о чем не догадывавшемуся. Не догадывались и мы.

— Бориса Аркадьевича собственной персоной.

— Вы ошибаетесь, Толя, я был у Томпсона.

— У Томпсона гостевал некто Зерн, секретарь с козлиной бородкой, а у начальника продполиции был Зернов. Чисто выбритый московский Зернов. Выдающийся ученый Города и директор Би-центра.

Мы долго молчали, ожидая, что скажет секретарь личной канцелярии мэра. И он сказал:

— Теперь я понимаю, почему Томпсон потребовал от меня отрастить бородку. Он увидел сходство. Догадался ли он о его причинах или истолковал это по-своему, но вдаваться в объяснения не стал.

— А я одного не понимаю,— недоумевающе протянул Толька.— Вы же гляциолог по специальности, Борис Аркадьевич. А здешний — кибернетик, хозяин счетной машины Города.

— Выучился,— равнодушно сказал Зернов.— Может, его таким и запрограммировали. А биологически я и он идентичны. Тот же характер, те же способности. Даже усиленные за счет частичной блокады памяти.

— Быть может, он таким и задуман? Ты же упомянул о программировании,— перебил я.

— Только в одном смысле. Моделируя, они учитывали склонность, призвание, если хотите. Кстати, я не мечтал быть гляциологом. Это получилось в общем случайно.

— А если в нужную им модель они внесли и нужные им черты характера?

— Кто? «Облака»? Эй-центр и Би-центр — единственное, что внесли они в моделируемый ими мир в отличие от земного. Но это же чистейшая автоматика. А систему контроля, я убежден, придумали сами люди. И характер им не придумывали: у них был свой. Так что и у моего двойника...— Он не закончил.

— По-моему, над этим стоит подумать,— сказал я.

— Нет, нет,— оборвал меня Зернов,— не сейчас. Не будем отвлекаться, твоя очередь, Юра. Ждем.

Я рассказал со всеми подробностями об экзамене и последовавших рейсах. Реагировали по-разному. Зернова больше всего заинтересовал разговор с Бойлом, он все время перебивал и расспрашивал о деталях. А смущавшую меня загадку первого рейса, когда я привез продукты в здание, напоминавшее казарму или тюрьму, он разъяснил сразу.

— Это же холодильник, Си-центр, от слова «колд» — «холод». Не в чистом виде рефрижератор, а еще и склад, запасец, так сказать, на черный день. Ты правильно заметил в разговоре с Бойлом, что они не знают пределов мощности своего пищевого завода, не уверены они и в проблеме его надежности. Отсюда совершенно правильный вывод об экономическом статус-кво, о стабильности спроса и предложения, о сохранении пониженной платежеспособности населения. С выводом Бойл согласился, но дополнений не сделал. Ну, а если завод остановлен, что тогда? Город остается без хлеба и мяса, деньги обесцениваются, горит промышленность, закрываются банки, а население либо вымирает от голода, либо уходит в леса, становится «диким». Думаешь, Корсон Бойл этого не понимает? Все понимает и учитывает. Отсюда и холодильник с двухлетним запасом продуктов и зачатки сельского хозяйства, которое за эти два года уже может давать Городу хлеб и овощи.

— Но ведь сельское хозяйство запрещено местным законодательством,— возразил я.

— Ты в этом уверен? А откуда, по-твоему, берется овес для лошадей? Где достают его конные заводы? А ты знаешь, что в Городе более ста предприятий извозного промысла и два десятка фирм, поставляющих им овес? Где, по-твоему, они берут его? Твои грузовики развозят по Городу хлеб. Но хлеб не положишь на двухлетнее хранение в амбары — нужна мука. Без зерна ее не получишь, без мельниц не смелешь. А почему, ты думаешь, не караются «дикие»? Официально они под запретом, но за последние годы не предпринято ни одной карательной экспедиции в лес. Если остановится пищевой завод, «дикие» образуют основу будущего фермерского хозяйства. Этого тебе Корсон Бойл не сказал. А сказал ли он о том, чем поддерживается пресловутое статус-кво? Сохранением цен? Кстати, цены на товары не сохраняются, а повышаются. Зато сокращается число едоков. Интересуешься, каким способом? Вспомни Мартина: с двух тысяч петушков будут ощипаны перья. И петушков можно ощипывать ежегодно, поквартально, ежемесячно.

Лицо Зернова побелело от ярости — таким я его еще не видел. Может, и у меня будет такое же, когда я смогу поставить к стенке Этьена и Шнелля?

— Второй двигатель полицейского статус-кво,— продолжал Зернов,— это — искусственное торможение технического прогресса.

Я вспомнил о замораживании изобретений в бюро патентов: кажется, даже телеграф заморозили.

— Только ли телеграф?! — воскликнул Зернов с ноткой горечи: ярость уже погасла.— Энергетическая база не расширяется, электроэнергия поглощается крупной промышленностью, а в домах жгут свечи и масленки, как в средневековье. Геологическая разведка не ведется. Недавно еле-еле вырвали лицензию на производство бензина из горючих сланцев. И то лишь потому, что это процесс длительный и дорогостоящий. А электромобили заморозили. Превосходный проект двигателя на воздушно-металлических аккумуляторах. Энергоемкость в сто десять ватт-часов на килограмм веса. Так нет, угроза пресловутой стабильности: зачем электромобили, когда извозчиков девать некуда!

— Тебе все ясно,— вздохнул я.

— И тебе. В Сопроти ленни люди не глупее нас с тобой и тоже по-своему политически грамотны. Рано или поздно эта мерзкая полицейская клика найдет свой конец. Может быть, и позже, но найдет обязательно. Не помогать этому было бы непорядочно и нечестно, но у нас есть и свои задачи. Анохин удачно разыграл дебют, партия переходит в миттельшпиль. Мы знаем теперь, где находится тайное тайных галунной хунты. Остается подумать, как туда проникнуть.

В этот момент кто-то ворвался в дом с такой стремительностью, что незапертая входная дверь завизжала и грохнула.

— Кто?! — крикнул я, бросаясь в соседнюю комнату.

(Продолжение следует)

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО

Передо мной стоял Джемс без фуражки, всклокоченный и грязный. Половина его серого пиджака стала рыжей от жидкой глины, словно он только что вывалялся в сточной канаве. К виску он прижимал платок, побуревший от крови.

— Не пугайтесь, хвоста нет,— сказал он тихо.— Я, кажется, ушел от них. Смотри.— Он отнял платок от лица: на виске алел кровоточащий след пули.

— Только скользнула по кости,— хрипло рассмеялся Джемс, словно речь шла о забавной лесной охоте.— Я через забор — и в канаву. С головой в рыжую жижу. Они мимо. Сколько я там пролежал, не помню. Потом переулками сюда. К счастью, даже портье не было — никто не видел.

Рану промыли и перевязали, грязный пиджак сменили на Мартинову куртку. Джемс впервые облегченно вздохнул.

— Что же все-таки произошло? — спросил Зернов.

— Вы знаете, что у Маго был автомат?

Я не знал, но Толька Дьячук подтвердил, что был.

— Его достал кто-то из друзей Маго, обучали стрелять ее в подпольном тире.— Джемс медленно оглядел всех нас и спросил: — Кто сообщил ей о предстоящих арестах?

— Я,— сказал Мартин.

— Это и довело ее до точки кипения. Мы должны были встретиться с ней в парке, там, где я обычно назначаю свидания связным. Пришел вовремя — ее нет. Подождал, потом пошел навстречу. Дорога к парку по бульвару мимо полицейского управления. И тут я увидел ее.

Он закрыл лицо руками и закачался, как на приеме у зубного врача от нестерпимой боли.

— Она стояла у витрины универмага, близ входа в полицию. А там дожидался экипаж, который знают все в городе: беговая «американка» без кучера на велосипедных колесах — выезд Анри Фронталя — только он один предпочитает такой способ передвижения по Городу. У Маго в руках был скрипичный футляр, она поставила его на гранитную каемочку у витрины и почему-то замешкалась. Все выглядело естественно и обычно: девушка идет на репетицию в оркестр или в музыкальную школу. Охранники у входа, по-моему, даже на нее не взглянули. И в эту минуту вышел Фронталь с адъютантом. Я остановился не доходя — не в моих привычках искать сближения с полицией даже пространственно. Стояла и Маго спиной к полицейским, поспешно открыла футляр, и когда Фронталь уже уселся в своем экипаже, широко расставив ноги и поманив адъютанта, вероятно, хотел что-то сказать ему — между ним и Маго никого не было, ни одного человека из охраны. Все произошло в какие-то десятые доли секунды. Из футляра Маго извлекла не скрипку, а полицейский автомат без ремня, нажала гашетку и срезала одной очередью и Фронталя и адъютанта. Но уйти не ушла, а могла бы. Испуганная лошадь понесла тело Фронталя, зацепившегося носком сапога, протащила по мостовой метров двадцать, и растерявшиеся постовые не сразу пришли в себя. Но один из них все же успел открыть огонь, как только Маго снова нажала гашетку. Второй охранник упал, даже не вскрикнув, но первый на какое-то мгновение предупредил свою смерть: Маго упала раньше.

В тишине, повисшей почти осязаемой тяжестью, вдруг кто-то нажал грушу велосипедного гудка: тоненький протяжный звук.

Это плакал Толька. По-детски заливчато и жалобно.

Д'Артаньян и Ришелье

Я отвел Тольку в ванную — пусть наплачется и умоется. Пиджак Джемса в рыжей грязи засунул под ванну. Но где спрятать самого Джемса?

— Уходить нельзя,— решил Зернов,— на улицах, вероятно, уже идут облавы. У Джемса пустяковое, но пулевое ранение. Разбинтуют и сразу поймут, что к чему. Здесь оставаться тоже рискованно: отель не застрахован от обыска. Если не считать переулков, мы на одной магистрали с бульваром.

— А если в подвале? — спросил я.— В типографии. Там сейчас никого нет.

Джемс поднял голову.

— Дверь в стене хорошо пригнана,— вспомнил он.

— Вода там есть? — спросил Зернов.

— Есть.

— Возьми сыр и свечи.

Мы спустились в подвал по черной лестнице — я страховал их на пролет впереди. Дверь в подвальной стене закрывалась плотно. Но, пропустив Джемса внутрь, мы все-таки замаскировали еле заметную щель.

Тольки с нами не было. Он сидел у стола, положив голову на руки, и никак не реагировал на наше возвращение.

— Толя,— сказал я,— ты все равно бы вернулся домой без нее.

Он посмотрел на меня сухими, без слез, глазами.

— А ты спроси: вернулся бы я вообще?

— Мы здесь гости, Толя. Расставание неизбежно.

— Но не такое.

— Анохин,— позвал меня Зернов из соседней комнаты,— оставь его. Он все поймет без нашей подсказки.

Мы перешли на английский язык.

— Гибель Джемса — это гибель газеты,— вздохнул Мартин.

— Нет,— сказал Зернов.

— Нужна новая типография.

— Она есть.

— А редактор?

— Ты.

Продолжение. Начало см. №№ 11—14.

— Злая шутка, Борис.

— Я не шучу. Ты в резерве, запомни. А потом обыск еще не начался.

Но Зернов ошибся. Обыск уже начался. К нам в дверь без стука ворвались четверо полицейских с автоматами наизготовку.

— Руки! — крикнул ближайший.

Все, кроме меня, подняли руки.

— А ты? — Он чуть не ткнул меня автоматом.

— Болван,— сказал я.— Формы не видишь?

— Погоди,— сказал кто-то за ним знакомым голосом.

Оттолкнув автоматчика, вышел Шнелль.

— Ты? — удивился он.— Что ты здесь делаешь?

— Живу.

— В «Омоне»?

— Об этом сказано в моей личной карточке.

— А это кто? — Он кивнул на стоявших с поднятыми руками товарищей.

— Мои друзья. Одного ты, наверное, знаешь...— Я показал на Тольку.

— Толли Толь? — Шнелль растерялся.

— Личный гость Корсона Бойла,— прибавил я.— И убери своих дураков.

— Отставить! — закричал Шнелль сопровождавшим его галунщикам.— Везет тебе, Ано,— заключил он загадочно и вышел, не прощаясь.

— Пойду понюхаю.— Мартин выскользнул за дверь.

Через полчаса он вернулся. За ним шел старик с зонтиком, мокрым от дождя.

— Разве на улице дождь? — спросил я.

Вопрос прозвучал глупо, потому что всех интересовал гость, а не его зонтик. Старик выпрямился и улыбнулся. Очень знакомой была эта улыбка.

— Фляш! — обрадовался я.

— Тссс...— остановил меня гость,— не так громко. Считайте, что я постарел на десять лет, и не узнавайте. А дождь, между прочим, идет.

— Как вы прошли сюда? — удивился Зернов.— Патрули повсюду.

— Старик с мокрым зонтиком всегда может зайти в лавочку. А из одной в другую, не выходя на улицу. Из соседней, между прочим, можно пройти в здешнюю гардеробную.

— Этьен знает о вашем приходе?

— Все то, что он знал, он уже выдал.

— Я вас предупреждал.

Фляш смущенно погладил фальшивые баки.

— Джемс внизу? — спросил я у Мартина.

— Джемс уже на пути в Майн-сити, если только остался жив,— проговорил Фляш с такой горечью, что мы только сейчас поняли, как тяжело переживает он новый провал.

— Что-нибудь уцелело?

— Все вывезли — и шрифт и бумагу.

— Газета выйдет,— сказал Зернов.

— Знаю,— усмехнулся Фляш,— я даже успел поговорить с ее редактором.

По коридору за стеной знакомо застучали тяжелые сапоги. Одним прыжком Фляш очутился на подоконнике.

— Окно выходит в переулок. Под нами крыша подъезда. Все уже освоено. Задержите их, если это за мной.

В дверь постучали. Я медленно-медленно открыл. У входа стоял галунщик.

— Вас ждут, лейтенант Ано. Поторопитесь,— козырнул он и отошел в коридор.

Бессмысленно было спрашивать, кто меня ждет в этот безумный, безумный день. Но звание лейтенанта как будто не сулило опасности. Или курьер ошибся?

— Не дрейфь, Юрка, и возвращайся, как только сможешь,— подал голос Дьячук.— Будем ждать.

— Будем ждать,— повторил по-английски Мартин.— Я все понял. Перевода не надо.

Как хорошо, когда у тебя такие друзья! И они действительно дождались меня — спать никто не ложился, когда я вернулся ночью во время комендантского часа. Вернулся, как и выехал, с тем же сопровождающим, который и увел моего взмыленного коня.

Спать легли только под утро, когда я все рассказал о новом повороте в моей судьбе. Он еще более приблизил нас к намеченной цели. А произошло следующее.

Принял меня, как я и предполагал, сам Корсон Бойл в своем кабинете, похожем на все начальственные министерские кабинеты, какие мне приходилось видеть. Только портретов не было — голые под дуб стены, огромная карта Города на стене, пересеченная красными стрелами продовольственных маршрутов. Я разглядел Эй- и Би-центры, нашел холодильник, куда занесла меня нелегкая в первый же рейс, и даже Майн-сити, расположенный совсем в другой стороне.

Заметив мой интерес к карте, Корсон Бойл взял палку-указку и, не вставая, ткнул ею в крохотный кружок рядом с большим красным кольцом с буквой А в центре.

— Догадываешься? — спросил он.

— Наша застава,— сказал я.

— В связи с событиями весьма прискорбными и тебе хорошо известными мы передвинули на место покойного Фронталя начальника твоей заставы. Его же пост пока не замещен.— Бойл заговорщически подмигнул мне.— Уясняешь?

— Я, должно быть, круглый дурак,— сказал я.

— Ты не дурак. Просто у тебя есть такт и чувство дистанции. Предпочитаешь не догадки, а прямые распоряжения. Отлично. Я назначаю тебя начальником заставы.

Я встал.

— Когда приступать?

— Завтра ночью, как обычно. Но обязанности нелегкие. Мы сменяем патрульных. Тебе придаются отборные парни со всех участков. Любое нападение мы обязаны отразить с полным разгромом противника. Ни одного грамма не должно быть потеряно.

— К сожалению, двери кузова открываются автоматически на любой остановке,— сказал я.

— Раздели патрульных. Помести по двое в кузов, одного у смотровой щели. И никаких вылазок. Любой фургон — крепость. С последней машиной в Си-центр поедешь сам.

— Будет сделано, генерал.

— Комиссар. Только комиссар продполиции.

Какого черта он скрывает от меня свою истинную роль? На место Фронталя передвигается другая пешка, а король прячет корону в портфель. Всего только скромный «продкомиссар», джокер в любой карточной комбинации. Не в того целилась Маго, бедная наивная девочка, так и не сумевшая распознать хитроумную комбинацию замаскированного диктатора.

— Если оправдаешь доверие,— прибавил Бойл,— будешь капитаном через две недели в «Олимпии».

Единственное, что заинтересовало меня,— это место моего назначения. Не выдержал характер, спросил:

— Почему в «Олимпии»?

Бойл захохотал.

— Я ожидал этого вопроса, лейтенант. В «Олимпии» мы отмечаем десятую годовщину нашего господства в Городе. А почему капитаном, не спрашиваешь? Для моего адъютанта, каким ты будешь к тому времени, лейтенантских нашивок мало.

Он кивнул, милостиво отпуская меня. По-видимому, я делал головокружительную карьеру — так отнозыряли мне всезнающие дежурные и так почтительно подвел под уздцы мою лошадь сопровождавший меня сержант. Я вспомнил Д'Артаньяна и Ришелье. Д'Артаньян не согласился на первое предложение кардинала, я его принял сразу. Но мы затевали со здешним диктатором более сложную и тонкую игру, чем герои Дюма с тогдашним повелителем Франции. Мы собирались проникнуть в тайну Корсона Бойла, дававшую ему почти божественную власть в этом мире, тайну, которую здесь никто, даже он сам, не знал, но узнать которую мы могли уже, почти ничем не рискуя. Трудно назвать случаем все со мной происшедшее — в нем было слишком много расчета. Сопротивление точно рассчитало мое проникновение в личное окружение Корсона Бойла, предвидя возможность атакующей комбинации, хитроумного разведывательного маневра. Но Зернов смотрел шире и видел больше.

— По аналогии с шахматами,— сказал он,— партия переходит в эндшпиль. Пешка Анохин (я не обиделся на него за эту «пешку») достигает последней линии и превращается в ферзя. Сопротивление даже не предполагает последствий, какие открывает ему эта возможность. При некоторых ситуациях можно создать матовую сеть для противника. Но пока об этом рано. Нужен план-минимум. Наш план.

И план родился.

Коэффициент Шнелля

Принял вечером дела у начальника заставы, я сказал окаменевшему от зависти Шнеллю:

— В патруль пойдешь со мной. Последним рейсом без остановок в Си-центр. С кем в паре?

— С Оливье.

— Оливье мелковат. Подбери кого-нибудь из новеньких. Позубастее. Чем больше голов у него на счету, тем лучше.

Шнелль осклабился: понятно, мол, подберу. Я и так знал, что он подберет самого что ни есть гнусняка. И подобрал. Нашим компаньоном в предстоявшем рейсе оказался узколобый крепыш по кличке «Губач» — нижняя губа его была рассечена надвое и плохо срослась. «Покалечили в лагере, бывает»,— пояснил мимоходом Шнелль, представляя мне подобранного им спутника.

Что-то вроде тревоги кольнуло меня, когда я присмотрелся и прислушался к Шнеллю. В его отношении ко мне всегда была отчужденность и неприязнь. Невзлюбил он меня с той минуты, когда получил от Мандуффа первый ком грязи в лицо.

Сейчас, во время затеянной нами игры, мне показалось, что в эту устойчивую, плохо скрываемую ненависть вклинилось что-то новое. Шнелль словно в чем-то подозревал меня, чему-то не доверял, чего-то боялся. А вдруг это не подозрение, не страх, не предчувствие опасности, а просто злобная радость, предвкушение возможности от меня избавиться? Вдвоем с Губачом они ликвидируют меня еще раньше, чем подоспеют Зернов и Мартин. В общем, кто кого. «Будем посмотреть»,— как говорит Толька.

Он очень огорчался, что ему не нашлось роли в задуманном нами спектакле. Ничто его не убеждало. «Патруль на машине — это тройка, а не четверка»,— говорил я. «А кто будет проверять? Машины же возвращаются». «Пойми, мы не имеем права даже на одну сотую риска». Толька плюхнулся на диван и отвернулся: он был очень обижен. Ну, а мы? Мартин поехал доставать полицейские мундиры для себя и для Зернова, а я отправился на заставу.

Мы не предполагали, конечно, что в нашу задачу войдет новый коэффициент, коэффициент Шнелля — непредвиденной опасности. И сейчас, кроме меня, об этом никто не знал. Значит, решать должен был я, и решать быстро.

— Организуй банкет в честь нашего благополучного возвращения,— сказал я Оливье.— Только не в «Олимпии». Где-нибудь поскромнее.

— Патрульному Оливье уготована роль интенданта,— съязвил Шнелль.

— Патрульному Оливье уготована другая роль,— поправил я.— Он остается моим заместителем до конца рейса.

— Почему Оливье? — Шнелль уже перестал сдерживаться.

— Потому. Приказы начальника не обсуждают. Кстати, Оливье,— прибавил я,— если я не вернусь из рейса, вернувшиеся без меня будут расстреляны. Это приказ комиссара. Перед исполнением можете запросить подтверждение. А сейчас проверьте рапортички вернувшихся.

Я искоса взглянул на Шнелля. Лицо его окаменело. Губач, присутствовавший при разговоре, тоже скривился, как от зубной боли. Но оба промолчали.

Время выезда приближалось. Когда мои спутники вышли, Оливье спросил:

— Ты правду сказал о приказе Бойла?

— Не совсем. Мне хотелось припугнуть их.

— Их двое, Ано. Берегись.

— Как-нибудь справлюсь. Постараюсь не создавать выгодной для них ситуации. А там посмотрим.

Машина вышла в точности минута в минуту, когда мы подъехали к пункту. Свет ручных фонарей вырвал из мрака дверцу кабины и заиграл на ее полированном зеркале.

— Погоди,— остановил я Шнелля, уже поставившего ногу на подножку.— Оба в кузов. Если по дороге вдруг откроются двери, на шоссе не выходить. Ведите огонь по любой движущейся тени. Ничего не увидите — стреляйте в темноту без прицела.

— А ты?

— По возвращении пойдете на гауптвахту,— сказал я.— За неуместные вопросы. А сейчас выполняйте приказ.

Мне показалось в темноте, что Шнелль легонько толкнул Губача. Ничего, мол, на обратном пути отыграемся — только и мог означать этот толчок. Но, может быть, все это мне только показалось.

Уже не возражая, явно успокоенные, Шнелль и его подручный полезли в открытые двери фургона. Я сел в кабину.

Так начался рейс.

Фиолетовое пятно

Он мало чем отличался от моего первого рейса, когда меня одного пересадили в пустую кабину, и я в полудреме проехал по Городу до каменных складов Си-центра. Только сейчас я не дремал, пристально всматривался в поблескивающую даже в ночи стекловидную пленку шоссе: не промелькнет ли с краю какая-нибудь скользящая тень или перегородит путь поваленное дерево. Наконец показались и глухие стены Си-центра, фонарь над пропускной будкой, и послушные галунщики уже открывали ворота нашей машине.

А далее все, как обычно. Шнелль и Губач помогали сгружать на весы ящики и контейнеры, а я заполнял рапортичку, обмениваясь репликами с дежурным по складу.

— Опять урезали мясо и птицу.

— Разве? Я не в курсе.

— Весы показывают. А шампанское и коньяк уже не в одном, а в двух контейнерах и деликатесов более восьми тонн.

— А почему?

— Мы кто? — засмеялся дежурный.— Мы запасники. А для кого запасать? Для себя.

Я заметил, что Шнелль подался прислушиваться к нашему разговору, и скомандовал:

— По местам!

Шнелль уже пропустил Губача в кабину и ждал меня.

— Возвращаемся рядышком, Ано. Выполняю приказ,— сказал он с награнной почтительностью.— Так что проходи и садись посередке как старший.

Не мог же я показать этой твари, что и в самом деле боюсь. Но сесть между ними — это конец. Я подумал и ответил:

— Ладно. Проходи ты. Я сяду с краю.

— Твое дело,— пожал он плечами с подчеркнутым равнодушием.

Мы выехали на стрежень проспекта и вновь поплыли по нему — по все той же тихой и темной реке: крутые высокие берега, безлюдье, тишь. Машина вернется в последние предрассветные минуты, значит, Шнелль с напарником постараются напасть ночью. Бессмысленно гадать, на каком километре, в лесу или в городе. Фактически, никто не помешает им застрелить меня на этой же улице и, раздев, выбросить голого на мостовую. Мало ли как можно объяснить происшедшее: Шнелль придумает.

Я вынул приготовленный пистолет из кармана и несильно ткнул ему в бок.

— Спокойно, Шнелль. Пошевелишься — стреляю.

— С ума сошел!

— Молчи. Я уже давно обо всем догадался. Предупреди напарника, чтоб сидел смирно. Тебе спокойнее.

Предупреждение было излишне. Губач все слышал и молчал. Он даже не пошевелился, разумно решив, что выгоднее.

— Я подам рапорт,— сказал Шнелль.

Не отвечая, я только чуть сильнее вдавил ему в бок стальное дуло. Он тотчас же замолчал. Так мы пересекли Город.

Я знал, что ехать осталось минуты. Где-то впереди нас ждал завал, а у завала Зернов с Мартином. Машина немедленно остановится, автоматически распахнутся дверцы кабины. Губач спрыгнет в темноту, напорется на свет фонаря и автоматную очередь Мартина. Одновременно я нажимаю курок пистолета — так было бы скорее и безопаснее. Но я уже знал, что не выстрелю первым. Еще при обсуждении нашего плана я кукснлся, уверял, что едва ли сумею застрелить несопротивляющегося человека. «Даже заведомого мерзавца?» — спросили меня. Я промолчал. «Тогда выскакивай из кабины и ложись под колеса — я сержу обоих». Я вспомнил Сен-Дизье, и мне стало стыдно. Чем Шнелль лучше Ланге?

Черная тень поваленного поперек дороги дерева двинулась навстречу сквозь сумрак.

— Что это? — спросил Шнелль, не двигаясь.

Ответом были внезапная остановка машины и тихое пощелкивание открывающихся дверей. Губач, как я и предполагал, сразу выскочил в темноту. Сверкнул фонарь, грохнул автомат, и молчаливый напарник Шнелля беззвучно плюхнулся наземь. Продолжалось это секунду, не больше, но я не выстрелил. Я тоже выпрыгнул и прижался к огромным колесам машины. Шнелль тут же из кабины открыл огонь, но никто не ответил. Он подождал и осторожно выбрался из машины. Снова сверкнул фонарь — самодельный электрический фонарь Мартина. Но очередь не поспела: Шнелль выстрелил и, перемахнув кусты, скрылся в чаще. Я выстрелил вслед ему в темноте. Он ответил — я даже услышал, как пули скрежетнули по двери

кабины. Снова вспыхнул фонарь Мартина, прощупывая ближайшую полоску кустов. Но Шнелля он не нащупал, а сам Шнелль не стрелял, полагая, что уйдет в темноте.

Омерзительный стыд охватил меня: «Хлюпик, трус!»

— Не стреляй,— сказал я, подымаясь,— он где-то здесь.

Не раздумывая больше, я двинулся напролом сквозь кусты и чуть не ударился лбом о ствол торчавшего в кустарнике дерева. Но что-то я, во всяком случае, задел, и это «что-то» скользнуло по стволу вверх. Я посмотрел туда, уже привыкший к темноте, и разглядел словно ноги в сапогах, прижавшиеся к стволу. Потому и промазал автомат Мартина, что Шнелль успел подняться по стволу над кустами. Сейчас я уже не терял времени, пистолет грохнул несколько раз, и грузное тело сорвалось вниз, ломая кусты.

— Готов, кажется,— сказал, освещая лежавшего, Мартин.

Я отвернулся к Мартину — глядеть на убитого Шнелля мне не хотелось, а Мартин выглядел почти неотличимо от Шнелля, с таким же галуном на мундире.

— Где Борис? — прохрипел я: голос мне едва повиновался.

— Ждет нас у поваленного дерева,— ответил Мартин.— Надо открыть шлагбаум.

Мы оттащили в сторону срубленный ствол — трое в серых мундирах, ординарный полицейский патруль. Я только подумал: «Что будем делать, когда машина остановится у поворота к голубым протуберанцам? Нажать рычаг ручного стартера и продолжать путь? Но постовые могут поднять тревогу. Правда, обычно в эти часы постовых на конечном пункте уже нет, и патрульные последней машины добираются до заставы пешком. Ну, а если нас встретит сам Оливье, у которого есть все основания тревожиться, или пошлет навстречу нам верховых?»

— Ну и что? — равнодушно заметил Мартин.— Мы пройдем сквозь пятно, а они нет.

— А если не пройдем?

— Уйдем в лес или будем отстреливаться.

— От кого? От Оливье? — спросил я таким тоном, что тут же вмешался Зернов.

— Значит, на него можно рассчитывать?

— Думаю, не подведет.

— Тогда рискнем.

Так и произошло. На конечной остановке нас ждал с лошадьми Оливье.

Я вышел один. Близился рассвет, окружающий сумрак синел, тени становились все различимее. Даже виднелись уже голубые протуберанцы вдали. Только сейчас они казались низвергающимися с неба темно-синими, почти черными водопадами.

Оливье издали заглянул в кабину.

— Ты один?

— Нет.

— Почему же они не выходят?

— Это не они. Тебе можно довериться, Оливье. Больше друзей у меня в полиции нет. Шнелль и Губач пытались меня прикончить. Но вышло наоборот. Теперь я в твоих руках, Оливье.

Он усмехнулся.

— Их никто не пожалеет, Ано. А что дальше?

— Мы едем с этой машиной. Туда, откуда они выходят.

— Вам не пройти. Воздушный заслон.

— Знаю.— Я поднялся в кабину и крикнул в темноту:— Ты замещаешь меня до завтра! Пока никому ни слова.

Ответа я не услышал. Мартин уже нажал ручной стартер. Дверца захлопнулась, и машина ровно и бесшумно свернула к голубым, а сейчас темно-синим протуберанцам. Они двигались нам навстречу, и вместе с ними мерцающее светлое пятнышко, как дверь в сказочную запретную комнату.

— Фиолетовое пятно,— прошептал Зернов.

Наша черная бесшумная махина прошла сквозь лиловый туман, и по глазам ударил выплеснувшийся из ночи день.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На берегу Генисаретского озера

Но свет был красный, почти розовый, свет утренней зари, когда еще не взошедшее солнце разливает багрянец по небу. Он окружал нас туманным куполом, вызывая смутно знакомые воспоминания. Машина остановилась сама, и дверцы распахнулись, как бы приглашая нас выйти. Мы выскочили один за другим и даже не заметили, как и куда исчез доставивший нас экипаж. Он просто растаял, оставив нас посреди розового купола.

Я оглянулся: фиолетовая пленка, тугая и непрозрачная, медленно затягивала отверстие в куполе, словно лепестки диафрагмы объектива фотокамеры. А потом и она исчезла, растаяв в красноватом тумане.

Я шагнул вперед и протянул руку. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина.

— Фокусы из Сэнд-сити,— пренебрежительно сказал Мартин, повторив мой жест, и тут же наполовину исчез в «стене», как пловец на спине в стоячем пруду.

— Осторожно! — предупредил Зернов.

— А зачем осторожничать? — весело отозвался Мартин и не закончил. Нелепо взмахнув руками, он провалился сквозь «стену». Не раздумывая, мы бросились за ним.

Было похоже на прыжок в воду: так же сдавила тело влажная тугая среда, так же захватило дыхание, заколотило в ушах. А затем малиновое желе вытолкнуло меня, как пробку, чьи-то сильные руки подхватили, и я уткнулся в серый мундир Мартина.

Секундой позже Зернов тоже возник, как знаменитый герой рассказа Марселя Эме о «человеке, проходящем сквозь стены».

— Занятный трюк,— засмеялся он и снова пропал в малиновой гуще.

— Уплотненный воздух? — спросил Мартин.

— Не обязательно воздух. Скорей всего газ или коллоид без запаха. Может быть, тот, который они использовали при моделировании крупных объектов городов или заводов.

— Или отелей,— добавил я.— Скачки с препятствиями и клинок в горле.

— А что нам грозит? — безмятежно вопросил Мартин.— Тишь да гладь. Малиновый оазис в царстве волшебников.

Огромный зал метров сорока в поперечнике был совершенно пуст. Уже знакомые красные стены его светились изнутри теплым матовым светом, создававшим ощущение вязкости и густоты воздуха в зале. А зал этот не был ни квадратным, ни круглым, а неровным и зыбким, словно растекшаяся по стеклу гигантская капля воды. Малиновый газ у стен то сгущался, то снова таял, и от этого казалось, что стены дышат. Но самым странным был пол. Он чуть подрагивал через равные промежутки времени, и дрожь эта вызывала на его поверхности мелкие барашки волн. Он и впрямь походил на озеро с неровными пологими берегами, прозрачное по краям и матово-черное в глубине, где даже хороший пловец не достанет дна.

— Это не озеро,— сказал Зернов.

Он присел на корточки, пристально всматриваясь в зыбкую черноту пола. Потом коснулся его неровной поверхности. Из-под пальцев тотчас же побежали мелкие барашки волн, и чуть слышный свист пронесся над потревоженной зыбью.

— Знаете, на что это похоже? — Зернов произнес это уверенно, как разгадавший загадку.— На зыбучие пески. Волны и свист...— Он передернулся.— Неверный шаг — и конец.

Он стоял, расчаиваясь на носках, как стоят перед канавой или ручейком, раздумывая, сможешь ли перепрыгнуть. Потом снова коснулся «озера», прислушался к свисту и вдруг быстро шагнул вперед. Я не успел задержать его, а он уже шагал по «воде», уверенно балансируя на ее зыбкой поверхности.

— Стой! — хрипло крикнул Мартин.

— Зачем? — отозвался Зернов.— Пошли. Не век же здесь отсиживаться.

Переглянувшись, мы осторожно последовали примеру Зернова. Вдруг он остановился и посмотрел под ноги.

Я тоже вгляделся и замер. Прямо под стекловидной оболочкой «озера» текла и вспучивалась густая огненно-красная масса. Она медленно перевалилась, как под лопастями гигантской мешалки, а на ее поверхности то и дело вздувались и лопались светящиеся пузырьки.

— Если б мы были на Земле,— размышлял вслух Зернов,— я бы сказал, что все это похоже на плазму, запертую в магнитной ловушке. Такая штука называется плазмотроном и применяется, например, для химического синтеза...

Не продолжая, он двинулся к противоположной «стене», а мы последовали за ним, по-прежнему ничего не понимая. «Ну, а теперь догоняйте»,— усмехнулся Зернов и нырнул в малиновую дымку. На этот раз путешествие сквозь стену показалось мне короче и будничнее. Не было ни страха, ни удивления. Я просто шагнул в спрессованный газ и, задержав на минуту дыхание, вышел с противоположной стороны. Вышел и... ничего не увидел.

Меня окружал знакомый красный туман, такой же густой и плотный, как на лестнице в парижском отеле «Омон». Я не видел ни Зернова, ни Мартина: может быть, они еще не вышли из газовой стены, а может быть, молча стояли рядом.

— Борис! Дон! — позвал я.

Чья-то тяжелая рука нашла мое плечо, и голос Мартина удовлетворенно произнес:

— Нашел! Туман проклятый.

Мы стояли, взявшись за руки, невидимые друг другу, топтались и молчали. Каждый мучительно соображал: что же дальше? В общем-то, сомнений не было — надо идти. Стоять и ждать «видения, непостижимого уму», явно бессмысленно. Красный кисель придуман не для нас и не минуту назад. Он чему-то служит в этой дьявольской кухне, как и огненная каша под магнитной пленкой «Генисаретского озера». Но куда идти? В какую сторону? Мы оказались в нелегком положении витязей на распутье: направо пойдешь — в беду попадешь, налево двинешься — с бедой не разминешься. Беда не беда, как говорится, но идти наобум было страшновато.

Молчание нарушил Зернов:

— Стоянка отменяется. Пошли.

Куда мы шли, а вернее, плыли в этом желе, я не знал. Просто шел, механически перебирал ногами, чтоб только не останавливаться, не терять ощущения реальности. Внезапно Зернов, шедший впереди, отшатнулся.

— Что случилось?

— Дальше — стена. Рискнем?

Отступать было явно бессмысленно. Шаг вперед, и плотный багровый газ снова сменился розовой дымкой, в которой все стало видно — и наши сцепившиеся в тревоге руки, и наши лица, на которых радость боролась с только что пережитым испугом.

Шаги по льду

Перед нами был зал, большой и высокий, как закрытый теннисный корт стадиона «Динамо». Холодный и мрачноватый, он освещался множеством нелепых светильников, в беспорядке расставленных на полу. Они напоминали бесформенные мешки, набитые чем-то вязким и блестящим, как рыбья чешуя. Она и была источником этого холодного серебристого цвета, позволявшего видеть привычно красные стены зала, его неровный, но твердый пол и растекшееся золотое пятно посреди, такое большое, что, казалось, здесь вылили по крайней мере цистерну золотой краски, которой подновляют колонны из папье-маше в декорационных мастерских Большого театра.

— А «мешки» пульсируют,— подметил Зернов,— взгляните.

Я присмотрелся. «Мешки» действительно пульсировали, но не все и по-разному. Пульсация одних походила на равномерное и медленное дыхание, словно в них периодически то накачивали, то выпускали воздух. Другие «дышали» часто и неровно, а серебристое сияние в них в такт этим «вздохам» то усиливалось, то слабело, почти угасая. Лишь еле заметные искорки пробегали тогда по гладкой коже «мешка».

— Любопытная штука,— продолжал Зернов.— Посмотрите-ка сюда: у стены, третий слева.

С третьим слева «мешком» происходило действительно что-то странное. «Дыхание» его стало мелким и частым, вероятно, больше ста «вздохов» в минуту, а мерцающее сияние превратилось в ровный, особенно яркий свет. И оно все усиливалось, а «мешок» уже не дышал, он словно подскакивал на месте, и скачки с каждой секундой становились все отчетливее. И вдруг он, сорвавшись с места, большими прыжками стал продвигаться вперед, лавируя между светящимися собратьями.

Он направлялся к золотому пятну, с каждым разом удлиняя прыжок. Зернов схватил меня за руку и даже пригнулся, наблюдая за ожившим светильником.

— Сейчас, сейчас...— бормотал он,— ну, еще немного, еще...

И, словно услышав его слова, «мешок» сделал гигантский прыжок, точно опустившись на золотое пятно. Пульсация его тут же прекратилась, он вспыхнул уже не серебристым, а белым, как от накала, светом — и пропал. Загадочно и бесследно, будто его не было и в помине.

— Куда же он делся? — спросил Мартин.

— Сгорел в пещи огненной,— сказал я.

— Она же холодная.

— А ты пощупай.

— Не советую,— вмешался Зернов,— не подстрекай. Все здесь сложно, необычно и небезопасно. Экспериментировать не будем, тем более, что готов еще один подопытный кролик.

Еще один «мешок» в точности повторил действия своего предшественника. Так же медленно разгорался, лихорадочно пульсируя и подпрыгивая, так же бодро допрыгал до середины золотого пятна, так же вспыхнул напоследок и пропал, не оставив ни гари, ни копоти.

— Мне кажется,— заметил Зернов,— что воздух у пятна должен нагреваться.

— Почему?

— Давай проверим.

— Может быть, не стоит,— нерешительно возразил я.— Кто знает, что это за фокусы!

Но Зернов уже пробирался к золотой кляксе, лавируя среди агонизирующих «мешков».

— Так и есть.— Он обернулся и помахал нам рукой.— Жара, как в парилке, и никаких ужасов!

Я последовал его примеру и сразу почувствовал, как нагревается воздух.

— Пятно само по себе отнюдь не горячее,— сказал Зернов. Он тронул ладонью край золота.— Ледышка.

— Странно.

— Не очень. Телепортация[1] сопровождается выделением большого количества тепла. Воздух мгновенно нагревается.

— А откуда ты взял, что это телепортация?

— Не знаю,— осторожно ответил Зернов.— По-моему, похоже. Впрочем, можешь выдвинуть встречную гипотезу.

Я благоразумно промолчал, а его внимание уже отвлек новый «подопытный кролик», прыгающий к золотому центру. Приземлившись, он ярко вспыхнул и тоже исчез. Воздух над «золотом» накалился еще сильнее.

— Видишь? — обернулся Зернов.— Один ноль в мою пользу.

— Они сгорают? — спросил Мартин.

— «Мешки»? Нет, конечно. Они сейчас где-нибудь в соседнем цехе, продолжают цепь превращений.

— Почему превращений?

— Потому что это процесс производства. «Мешки» могут быть и машинами, способствующими эволюции материи, образующей на конечном этапе нужный продукт, а могут быть и самой материей, претерпевающей какие-то изменения в ходе процесса. Впрочем, это только предположение.

Мартин подумал и спросил:

— А человек может пройти телепортацию?

— Вероятно. Только я бы не рисковал.

— А я рискну,— сказал Мартин и, прежде чем мы успели остановить его, одним прыжком очутился в центре золотого пятна.

«А если вспыхнет?» — ожгла страшная мысль. Но Мартин не вспыхнул — он просто исчез. Все произошло в какие-то доли секунды: был человек — нет человека. Только горячий воздух дрожал и отсвечивал над золотым подобием круга, прихотливо искажая очертания серебристо поблескивающих «мешков».

Помню, что я кричал и вырывался из рук Зернова, а он удерживал меня и шептал какие-то успокаивающие слова. Я их просто не слышал, томимый одним желанием: догнать Мартина. А потом я сидел на холодном полу, бессмысленно вглядываясь в багровую дымку зала, а Борис все еще что-то говорил мне, и опять слова не доходили, угасая где-то на полпути.

— Что ты говоришь? — выдавил я сквозь зубы.

— Надо искать, Юра.

Я тяжело поднялся, опираясь на его руку. Не оглядываясь и не заговаривая, мы подошли к «стене» и прошли сквозь нее, как и раньше, уже в четвертый раз на нашем пути. В соседнем, совершенно неясном и неопределенном по форме пространстве Мартина тоже не было. Из глубины каких-то смутно вибрирующих поверхностей доносилось нараставшее гуденье, нарушая сонную,

---

[1] Телепортация — идея мгновенного перемещения в пространстве.

МИР БЕЗ ЛЖИ

Со стр. 27.

неподвижную тишину, словно где-то поблизости работали машины.

— Что это?

— Помолчи,— повторил Зернов.

Сейчас он походил на охотника, почуявшего добычу. Но «добыча» опередила его. Внезапно вспыхнул свет немыслимой, нестерпимой яркости, словно лампа в десятки, сотни тысяч свечей. «Пол» отвалился назад, «стены» качнулись и сдвинулись, угрожая опрокинуть и раздавить. Я оперся руками на ускользающий «пол», но не удержался и пополз вниз. А «пол» уже изогнулся горбом и встал на дыбы. Я тоже вскочил и закачался, нелепо размахивая руками.

— Борис! — кричал я.— Борис! — Но крик мой тонул в непрерывном гуле, сменившем безмолвие вспышки.

Зернова я не увидел: должно быть, он все еще боролся с «приливами» и «отливами» «пола», они утихали помаленьку, да и гудение постепенно стихало. А в зале образовался добрый десяток воронок, сверкавших сотнями будто зеркальных стеклышек, которыми оклеивают картонные шары в школьных физических кабинетах. А в центре растекалось по полу золотое пятно — пятно-двойник или по крайней мере близнец того, в котором исчез Мартин.

Я медленно пошел вдоль «стены», не отрывая глаз от ближайшей воронки, в зеркальном нутре которой, как в ванночке с проявителем, проступали расплывчатые контуры человеческого лица.

Я знал, чье это лицо. Я знал, но не верил глазам, настолько нелепым и страшным было то, что отражалось в зеркальных ячейках пятиметровой радужной ямы. То было лицо Дональда Мартина, увеличенная маска без затылка и шеи. Она подмигивала, кривлялась, беззвучно открывая перекошенный рот.

Я невольно зажмурился, втайне надеясь, что это галлюцинация, что кошмар исчезнет, но он не исчез. Гигантская маска Мартина по-прежнему кривлялась под ногами, и я тщетно пытался прочитать что-либо в ее огромных глазах.

— Юрка, сюда!

Зернов стоял в пяти шагах от меня, вглядываясь в глубь другой, такой же зеркальной воронки. Он протянул руку к маске Мартина. Я невольно вздрогнул: лицо дернулось, отшатнулось, словно испугалось безобидного жеста.

— Это не иллюзия,— сказал Зернов,— оно реагирует на внешние раздражители. Вероятно, это линза, своеобразный телеглаз с эффектом присутствия.

— Присутствия кого?

— Нас, Мартина. Он сейчас где-то в другом месте, может быть, далеко: кто знает, какова протяженность автоматических линий их производственного процесса? Попал он туда не по законам евклидовой геометрии. Что такое нуль-переход, какими физическими законами он обусловлен, наша наука не объяснит. А факт налицо — мы его свидетели.

— А что же представляет эта воронка?

— Я же сказал: вогнутая линза. Телеэкран.

— Значит, он нас видит?

— Несомненно. Ты заметил, как он отшатнулся, когда я протянул руку и его лицу. Я упомянул о телеэкране только потому, что не мог подобрать более подходящего понятия. Телеэкран не создает полного эффекта присутствия. А Мартин отшатнулся — естественная реакция человека, которому тычут в лицо. Может быть, он не только видит, но и с интересом прислушивается сейчас к нашей беседе.

Увлеченный вероятностью гипотезы, он продолжал:

— Представь себе автоматическую линию — пусть автоматы будут и не такими, какими мы знаем их у себя на Земле,— но линия есть, и она контролируется особым вычислительным устройством. Пока все идет нормально, устройство это не вмешивается в деятельность автоматического потока. Но вот что-то нарушило ритм работы, и центр мгновенно отключает линию, пересматривает всю систему в поисках ошибки. Аналогия проста: «Мешки» — это сырье или автоматы завода, а Мартин — ошибка, дополнительный фактор. И вот мозг завода, это неведомое нам вычислительное устройство, выключает систему, стараясь найти и поправить ошибку, то есть...— Он внезапно замолчал, пораженный внезапной догадкой.

— Не заикайся,— подтолкнул я его.

— То есть Мартин должен вернуться тем же путем. Как я раньше не догадался?!

Он снова заглянул в воронку и застыл. Лицо Мартина в ней бледнело и расплывалось, а вместе с ним бледнело и гасло белое свечение воронки.

— Смотри! — воскликнул Зернов.

Я взглянул и обомлел: в центре уже потускневшей золотой кляксы лежал Мартин.

Шалости спектра

Он даже не застонал, когда мы бросились к нему и начали тормошить, пытаясь привести в чувство. Зернов торопливо расстегнул ворот его рубашки и приложил ухо к груди.

— Жив! Просто шок.

Вдвоем мы перенесли его на более ровный пол, подложив под голову мою куртку. А в окружающую тишину снова ворвалось знакомое монотонное гудение. Зал оживал. Вновь вспыхнули радужные воронки — линзы, и совсем было погасшее золотое пятно слабо светилось изнутри.

— Ошибка исправлена,— заметил Зернов.— Производственный процесс продолжается, линзы говорят, дополнительный фактор лежит без сознания.

— Дополнительный фактор уже очнулся,— сказал я.

— Где мы? — хрипло спросил Мартин.

— На заводе,— с иронической ласковостью пояснил я.— Там, где вы, сэр, сунули голову под приводной ремень.

— Какой ремень? — не понял Мартин.— Я чуть не сдох, а они шутят. Я уже ничему не верю, глазам не верю, щипкам не верю.— Он ущипнул себя и засмеялся. Но смех был невеселым.— Фокус вы видели. А я действительно пропал, для себя пропал. Ничего не вижу, не могу ни встать, ни сесть, ни пошевелиться, ни крикнуть.

— А потом?

— Все увидел. Да еще с разных точек одновременно. И вас. До мелочей — даже как волосы шевелятся или губы дрожат. И все искажено, искривлено, изуродовано.

— Попробуем уточнить,— сказал Зернов.— Вы шагнули в золотую лужу и сразу вошли в состояние умноженного видения?

— Не сразу. Зрение возвращалось постепенно. Минуты две-три.

— Совпадает,— удовлетворенно заметил Зернов.— Ваше лицо в этих воронках тоже проявлялось две-три минуты.

Еще одна неожиданность поджидала нас за «стеной», которую мы прошли на этот раз без охов и вздохов. Но, пройдя, замерли и зажмурились от ударившей в глаза пестроты. Нас словно бросили на экран цветного фильма, в прихотливую игру всех оттенков спектра. Предметов мы не видели — только цветные, движущиеся непонятные формы. Что-то похожее на холсты художников, которых принято хулить только за то, что они ничего не изображают, кроме путаницы красок и линий. Или, точнее, то, что порой хочется в них найти. Присмотришься, и вдруг найдешь какие-то заинтересовавшие тебя сочетания. То вырвется из лазури моря и неба алопарусный фрегат гриновского Артура Грэя, то синяя птица призывно махнет крылом, то остров Буян блеснет пряничными куполами своих золотоглавых церквей.

Только пятна и линии — больше ничего не было в этом зале. Да и зала не было. Высился гигантский аквариум без стенок и дна, параллелепипед зеленой воды, вырезанный из океанской толщи, пространство, сплетенное из цветных молний, в котором замерли в изумлении три маленьких человечка.

И вдруг кто-то смазал все, плеснув на абстрактный рисунок грязную воду из ведра, краски смешались и растеклись, а потом из бесформицы цвета вырвались уже знакомые пояса и замелькали перед глазами, вытягивались в строго выверенные ряды. И тут я совсем уже перестал понимать: мимо нас текли цветными струями ленты рекламных этикеток. «Молоко сгущенное», «Пастеризованное», «Повышенной жирности», «Сладкое» и «Порошковое». Головы рыжих и черных коров, глазастые и рогастые, поворачивались к нам и в фас и в профиль. Я сам покупал молоко с такими этикетками в лавчонке напротив нашего «Фото Фляш». И тушенку с веселым поросячьим пятачком, и вермут с пунцовым бокалом на этикетке, и сигареты с привычными земными названиями и примелькавшимися рисунками на пачках. Почти у лица моего будто выстрелила и развернулась, устремляясь в глубину зала, лента с повторяющимися, как припев, словами: «Кока-кола», «Пепси-кола», «Оранжад», «Лимонад»,— и тут же нагнали ее, сформировавшись из линий и пятен, ленты такие же многоцветные, рекламирующие конфеты и сыр, вина и колбасу, шоколад и мясные консервы.

Цветовая гамма зала отнюдь не поблекла от определенности рисунков. Наоборот, сюрреалистическая алогичность происходящего радовала глаз больше строгой логики бессюжетных цветовых линий. Каждый ее элемент был реален, понятен и убедителен, а все вместе превращались в полное торжество абсурда. Приглядевшись, я заметил, что возникавшие ниоткуда и пропадавшие в никуда ленты содержали не только рисованные этикетки. Реклама сыра материализовалась в сырные брикетики в цветной обертке, реклама конфет — в «гран-рон» конфетных коробок, ленточки этикеток с серебряными рыбками — в жестяные струи коробок с сардинами. Я протянул руку к параду желтых консервных банок с черной надписью «Пиво»: тайна их зарождения заинтриговала меня. И вдруг эта тайна обернулась прямым вызовом второму закону Ньютона. На протянутую руку тотчас же легла одна из этих летящих банок. Я повернул руку ладонью вниз, но банка не упала — она по-прежнему давила на ладонь своей трехсотграммовой тяжестью. Я вопросительно взглянул на Зернова, а тот только рукой махнул: сам, мол, не понимаю. Я легонько подтолкнул банку, чтобы проверить, не прилипла ли. Она так же легко сорвалась и полетела догонять свою ленту.

Я даже удивиться не успел: новое чудо возникало в сверкающей пляске красок и лент. Из глубины зала, ритмично подпрыгивая, как танцоры в «летке-енке», быстро-быстро прямо на нас полз в воздухе розово-серый червяк. Кто и для чего вдохнул жизнь в эту бесконечную связку сосисок — не знаю, но она была живой и агрессивной. Изогнувшись подобием логарифмической кривой, она наступала на Мартина. Тот стоял, разинув рот, как завороженный, а я, испугавшись за него, схватил ее и дернул. И тут же выпустил, вскрикнув от боли в плечевом суставе. Связка рванула, как автомобиль, несущийся с превышенной скоростью.

Я пошевелил рукой: боль несусветная. Еле-еле протянул ее Мартину.

— Дерни.

Мартин дернул. Я вытерпел и эту боль. Сустав стал на место, рука опухла, но боль уже утихала.

— Железные они, что ли? — сказал я сквозь зубы.

— Такие же, как в любом «Гастрономе».— Зернов, не отрываясь, следил за движением гирлянды: скачок — полметра, скачок — полметра.— Ухватись ты за ленту-конвейера, да еще так натянутую, как эта связка, не слабее дернет.

А в зале что-то неуловимо менялось. По-новому перестраивались цветные линии, уплывали в темноту пестрые ленты этикеток, зал суживался, превращаясь в коридор, ровно очерченный горизонтальными рядами трубок. Сначала они просто казались окрашенными в разные цвета, потом, приглядевшись, мы заметили, что внутри них струится не то жидкость, не то газ, то и дело меняющий цвет. Красные, желтые, оранжевые и лиловые струи как бы указывали нам новое направление.

Значит, о нас помнили, нас приглашали дальше смотреть и учиться, удивляться и познавать. От нас хотели, чтобы мы во всем разобрались, и верили, что мы разберемся и поймем. Ну что ж, попробуем поверить и разобраться. Мы переглянулись и двинулись дальше в красноватом тумане, ориентируясь по разноцветным ариадниным нитям, которые, может быть, и приготовили специально для нас.

— Едва ли,— сказал Зернов.— Вероятно, это сеть коммуникаций, сконцентрированных в общем коллекторе. Энергопитание, подача реагентов или даже готовой продукции. Может быть, в цветных трубках течет вино или пиво?

— Почему же в других цехах не было трубок? — усомнился Мартин.

— Даже на Земле пользуются скрытой проводкой,— рассуждал Зернов.— Да и кто может поручиться, что такой общий коллектор не идет вокруг каждого цеха, каждой камеры, разветвляясь на сотни ходов, по которым протянуты необходимые производству инженерные сети?

— По-твоему, мы попали в такой коллектор?

— Возможно. По крайней мере он нас куда-нибудь выведет.

— Однажды, еще мальчишкой, я заблудился в лабиринте. В увеселительном парке в Майами,— вспомнил Мартин.— С тех пор не люблю лабиринтов.

— Кажется, в лабиринтах надо всегда поворачивать только направо,— вспомнил я где-то прочитанный совет.

Со мной не спорили. И на первом же повороте послушно последовали за мной, отважно свернувшим в правый коридор. Он был уже прежнего и поражал исчезновением зеленых трубок. Красные, синие, желтые по-прежнему тянулись вдоль стены, а зеленых не было. Я вспомнил рассуждения Зернова, быть может, он и прав: цветные трубки в лабиринте — это кровеносная и нервная системы завода. Зеленые, допустим, протянуты в цех синтеза, а в формовочном не нужны.

Я протянул руку и коснулся ближайшей ко мне красной трубки, в которой искрилось что-то жидкое и холодное. Материала трубки — стекла или пластина — я не почувствовал: струя касалась руки. Жидкость не жидкость, а какой-то странно упругий шнур. Рука разрезала шнур надвое. Он вошел в ладонь и вышел с тыльной ее части, но боли я тоже не почувствовал и ни капельки крови не выступило. Шнур был нематериальным и в то же время ощущался на ощупь.

Мартин боязливо повторил опыт, сначала коснулся шнура пальцами, потом сжал в кулаке. Струя прошла и сквозь кулак.

— Задача из курса проницаемости,— сказал Зернов.

— А есть такой курс? — удивился я.

— Пока нет, но я с удовольствием написал бы его, если б мне подарили по куску цветной ленточки.

— Может быть, это особый газ, скажем, для химических реакций,— предположил я.— Тогда где он течет?

— А если нигде? Разве потоку нейтрино нужны коммуникации?

— Вряд ли это нейтрино.

— А способность проникать сквозь любую среду, не нарушая ее структуры, по существу, та же. Но я ничего не предполагаю. Любое предположение на уровне нашей науки просто бессмысленно. Да и раздумывать некогда: время не ждет.

Время? Но его здесь и не было, или оно свернулось, искривилось, или сдвинулось, как и пространство. Часы наши остановились с первых шагов под куполом, когда фиолетовая пленка затянула входной тоннель. А может быть, стрелки часов остановило магнитное поле? Размышляя об этом, я прошел несколько поворотов, уверенный, что друзья идут за мной, и обернулся. Но их не было. На мои крики никто не откликнулся. Только красная струйка по-прежнему текла рядом. И раздражала темнота. Хоть бы фонарь с собой захватили или свечу. Все-таки свет!

И стал свет. В полуметре от меня на уровне лица прямо в воздухе висела ничем не поддерживаемая свеча. Я схватил ее, и она оказалась совсем не призраком, а вполне реальной свечой, тепловатым на ощупь, чуть оплывшим столбиком стеарина или воска. Я разжал пальцы и... свеча осталась висеть.

Мистика? Но там, где царствует физика, мистики нет. Однако свеча возникла из ничего, из воздуха и как раз тогда, когда я подумал о ней. Что же это? Материализация мысли? Неожиданная способность творить чудеса? Так сотворим и еще одно чудо, если только стоит рядом невидимый джин: пусть он поможет мне найти или хотя бы увидеть пропавших друзей. Вероятно, они недалеко. Так же думают о том, как найти меня, так же хотят увидеть. Я настолько ясно представил себе эту картину, что она вдруг возникла передо мной в клубящемся тумане стены. Сквозь его красную дымку я действительно увидел Мартина и Зернова — они о чем-то спорили, только не было слышно слов. «Борис! Дон!» — крикнул я, но они даже не вздрогнули. Я бросился к ним, но отлетел от пружинящей «стены», как от натянутого батута. Проходимости не было. Да и «окошко» в стене погасло, как экран выключенного телевизора.

«А вдруг это конец?» — мельнула мысль. Вдруг я уже никогда не увижу ни голубого неба, ни друзей, так странно пропавших в этом гибельном лабиринте?»

— А почему гибельном? Почему же не увидишь? — спросил меня кто-то знакомым голосом.

Продолжение следует.

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

Я медленно обернулся, боясь, что ничего не увижу, но, увидев, отшатнулся, словно к лицу поднесли зажженную спичку. Он стоял и щурился, хитренько посмеиваясь, совсем как в Гренландии, когда я увидал его в салоне возникшей на льду «Харьковчанки». Да, сомневаться не приходилось — то был мой земной аналог, Анохин-второй, вновь воссозданный неведомо для какой цели. И он явно наслаждался моим замешательством — не отражение, не Алиса, выглянувшая из страны зазеркальных чудес, а я сам, раздвоившийся, как на снегу в Антарктиде.

— Ну что уставился? — спросил он.— Думаешь, встретил призрака в этом царстве теней? Можешь пощупать. Настоящий.

— Не притворяйся,— сказал я.— Ты отлично знаешь, что я думаю, и я знаю, что ты это знаешь. К тому же я заблудился, что ты тоже, наверно, знаешь.

Он не ответил: я был прав, знал он все и все понимал отлично. Именно потому и возник, что потребовался контакт. Мне или им? Я пригляделся к нему повнимательнее. Как в зеркале? Нет, пожалуй. В зеркале я был бы иной. Что-то новое появилось в облике моего повторения.

— А ты постарел, Юрка,— сказал я.

— Как и ты. Три года прошло.

Почему три? Для меня — три, а для него — десять. Скоро юбилей может справлять вместе с Корсоном Бойлом.

— Три,— повторил он.

Пришлось объяснить упрямцу, в чем разница. Он слушал равнодушно, словно все знал заранее.

— Азбука,— зевнул он.— На Земле три года, здесь — десять. Почему? Честно, не знаю. Но сейчас я в ином качестве— опять твой дубль. Значит, и для меня — три.

— А в своем качестве ты существуешь? Или роль связного пожизненна?

— Балда,— отрезал он.— Связной я не всегда и не по своей воле. А что я делаю в Городе в настоящее время, не знаю. Не помню.

— Десять лет прожил и все забыл?

— На какие-то часы или минуты — да. Не спрашивай об этих годах — не вспомню. Да и не для того мы встретились. Не для взаимных воспоминаний.

— А для чего?

— Подумай.

— И думать нечего. Я заблудился, а ты выведешь.

— Эгоист, как всегда. О друзьях забыл?

— Ничуть. У тебя не постная физиономия. Значит, они где-то рядом.

— Это вторая часть задачи. Не плачь в жилетку — выведу. Только сначала поговорим.— Лицо его напряглось, словно он приложил к уху микрофон невидимой телефонной трубки.

— Внимаешь приказу?

Он не ответил.

— Это «они» так считают?

Он нахмурился.

— Не повторяй прежних догадок. Я знаю то, что мне нужно знать в настоящую минуту. А теперь слушай. Помнишь, что говорил писатель на Парижском конгрессе? Не помнишь — напомню,— Он процитировал:— «Мне радостно думать, что где-то в далях Вселенной, может быть, живет и движется частица нашей жизни, пусть смоделированная, пусть синтезированная, но созданная для великой цели — сближения двух пока еще далеких друг от друга цивилизаций, основы которого были заложены еще здесь, на Земле».

— А что последовало? — спросил я, не скрывая иронии.

— Наивный вопрос. Вы видели. Они все-таки создали мир по земным образцам, высшую форму белковой жизни, сиречь гомо сапиенс. Разве Город с его окрестностями не благодатный слепок с Земли и землян с их буднями и праздниками, мечтами и надеждами?

— Ты спрашиваешь как моя копия или как их связной?

— Не разделяй,— поморщился он.

— Тогда единственно возможный ответ: нет! Не благодатный слепок.

— Погоди,— перебил он меня,— я еще не закончил. Людям этого мира было дано все для дальнейшей разумной эволюции: земная природа, земные жилища, земной транспорт, земная техника и — самое главное — земная пища в неограниченном объеме с неограниченным воспроизводством.

Мне надоела эта подсказанная извне преамбула. Ограниченная мысль технически сверхвооруженных копиистов нашего мира действительно не понимала, что она не додумала.

— А что же дал этот созидательный опыт, товарищ связной? — Я как бы поднял брошенную мне перчатку.— Каждому по потребностям? Кучка подлецов в серых мундирах по-своему поняла этот принцип. Потребности у них — будь здоров! А народу — дырка от бублика: боятся вздохнуть в этой уродской Утопии. Ваши сверхмудрецы создали модель капиталистической цивилизации в одном из ее самых отвратительных вариантов. Воспроизведена техника, кстати, не во всем умно и последовательно. Воспроизведена природа — тоже не очень грамотно. Воспроизведено общество, социальной структуры которого модельеры так и не поняли.

— Они уже осознали, что в чем-то ошиблись,— проговорил он, как лента магнитофона.— Эксперимент не удался, но остановить его уже нельзя. Это как цепная реакция: ни вмешаться, ни задержать, ни повернуть.

— Повернуть можно,— сказал я.

— Как?

Что я мог подсказать без Зернова? Мы еще не сделали всех необходимых выводов. Единственное, что я мог взять на себя,— это совет не мешать людям. Любое вмешательство извне неминуемо приведет к новым ошибкам. Человек не научит пчелу строить соты, и никакая суперпчела не построит идеального человеческого общества.

— Рано советовать,— сказал я.— Если нас и пригласили как экспертов, то мы еще мало знаем, чтобы дать разумный совет.

Эксперимент давно уже вышел из-под контроля экспериментаторов,— помолчав, прибавил я.— Он продолжается сам по себе. Как ты сказал? Цепная реакция? Что ж, верная мысль. Теперь нужно ждать взрыва.

— Когда?

— Скоро.

— И тогда вы уйдете.

— Ты думаешь?

— Знаю,— повторил он.— Когда ты перестанешь спрашивать меня о субзнании?

Значит, скоро домой. Теперь и я вздохнул. Радость и горе стали рядом, вместе заглядывая в будущее. Радость встречи с Землей, с родным небом, близкими и любимыми и делом, которому ты служил. И горечь расставания с людьми, которых ты тоже успел полюбить, и делом их, которое тоже стало твоим. Что связывает бойцов, снова встречающихся в День Победы? Воспоминания? Поиски прошлого? Или память о погибших друзьях? Нет, пожалуй, счастье самой Победы, добытой вместе в одном строю. Я не могу, не хочу уйти раньше.

— Только нам не встретиться в этот день,— грустно улыбнулся он,— ни завтра, ни спустя годы. Да я бы и не узнал тебя. А мое личное бытие началось, как и в прежних встречах, в гуще красного киселя. В первичной материи жизни, как говорит Зернов. Я еще разок хлебну этой кашки, если все же придется встретиться.

— Вероятно, уже в последний раз.

— Возможно.

— Гренландский вариант?

— Кто знает?

— А сейчас?

— Иди вперед, не пугайся туманов — пройдешь. Тебя давно ждут.

Я послушался. Не прощаясь и не оглядываясь, шагнул в темную извилину широкой трубы, чувствуя шестым, или седьмым, или бог знает каким чувством на себе его пытливый, внимательный взгляд. Я шел, шел вслепую, ничего впереди не видя и не стараясь оглянуться назад, пока не ударил в глаза дневной свет и не прозвучало в ушах полурадостное, полутревожное восклицание:

— Юрка! Наконец-то!

Завтрак на бастионе Сен-Жерве

Первые минуты я ничего не видел. Меня обнимали и тискали, как вернувшегося из многолетней командировки.

— Как это вы пропали?

— Ты свернул, мы за тобой. А в коридоре пусто. Кругом тишина, оглядываемся — никого. Коридорам счет потеряли, нет тебя — испарился. Остановились в этой скорлупе без яйца, а ты как джин из бутылки!

Выпалив все это, Мартин моего плеча все же не выпустил: а вдруг опять пропаду. Теперь мне предстояло рассказывать. Но я тянул. Честно говоря, есть хотелось: невольно представил себе аппетитный кусок филе с поджаристой корочкой и гарниром из хрустящего на зубах картофеля. Представил и обомлел.

Прямо передо мной возник в воздухе вожделенный бифштекс. Поджаренный, с гарниром, но без тарелки, о которой я позабыл. Зернов с интересом воззрился на чудо, а Мартин растерянно пробормотал:

— Что за фокусы?

— Бифштекс,— сказал я невинно.

— Откуда?

— Заказал.

Мгновенно рядом с моим бифштексом появился другой, но уже на тарелке. Зернов самодовольно посмеивался.

— Ты не Кио, пижон. Совершать чудеса надо умеючи. А теперь к сведению Мартина, который таращит глаза на чудо. Это не чудо, Дон, а элементарная материализация мысленной информации. Когда-нибудь такие же чудеса будут твориться и на Земле: футурологи допускают эту возможность уже в начале двадцать второго века. Ну, а здесь пораньше справились.

— Почему же здесь, а не в Городе? — спросил я.— Зачем завод, грузовики, охрана, Би-центр?

Зернов взглянул на меня с сожалением.

— Воображение поэта, а сообразительность школьника. По-твоему, эти бифштексы из воздуха? Из воздуха только мыльные пузыри делают, да и то пополам с мылом. А воспроизведение материальных предметов, по существу, даже не новость. Скажем, в электронике монолитные схемы для электронных приборов создают с помощью «намыления» атомов. Процесс этот управляем, и управление полностью автоматизировано. «Облака» предусмотрели все потребное человеку, но в этом потребном далеко не все годится для поточного производства. Бифштекс с луком или седло из барашка — это не сосиски или этикетки. Их поточное производство нерационально и неэкономично. Но индивидуальный вкус может потребовать многое. Вот в этом цехе и запрограммировано выполнение таких индивидуальных заказов. Наши выполняются, потому что мы здесь, все остальное по требованиям из Города. Фактически это цех-репликатор, изготовляющий любой продукт, какой только человек в состоянии пожелать или придумать. Материал — все известные и неизвестные на Земле химические элементы, механизм производства — уже давно знакомое нам розовое месиво, когда туман, когда взвесь, когда кисель или желе. И мы не в вакууме и не в скорлупе, а у пульта машины. Не знаю какой — биоэлектронной, бионикибернетической, но машины.

Мы слушали, буквально разинув рты. Два давно остывших бифштекса были прочно забыты. Зернов выводил теорию гигантского замысла пришельцев, теорию неограниченной мощности завода, искусственно ограниченной невежественными захватчиками.

— Прирост населения, смертность, какие-то катализмы изменяют основной критерий — расход продуктов,— задумчиво продолжал он.— Я бы не взялся экстраполировать в будущее график расхода пищевых продуктов у нас на Земле: слишком много побочных факторов, которых не учтешь. Но эту величину можно измерить на какой-то определенный день. Измерить и ввести в «память» кибернетического мозга завода. Изменится программа — изменится и режим работы. «Облака» моделировали жизнь Города по земным образцам. Они должны были учесть, что его население будет расти с каждым годом. Первоначальной мощности завода не хватило бы уже через год. И я не допускаю, что технология была ошибочной.

Я рискнул вставить свое замечание:

— Мощность завода постоянна уже десять лет. Значит, смертность в Городе выше рождаемости.

— Конечно. Таким образом и поддерживается уже известный тебе статус-кво. Хозяева Города безумно боятся, что неведомый для них завод может встать. Отсюда и переполненные бараки Майн-сити, и попустительство «диким», и запасы продуктов. А все это ни к чему. Завод создан для того, чтобы люди ели. Досыта, до отвала, не ведая забот о хлебе насущном. Собственно, это и не завод. Это непрерывно увеличивающийся континуум с неограниченной мощностью, самоорганизующееся производство, способное видоизменяться и совершенствоваться в зависимости от условий и требований.

— Я сейчас шашлык сотворю,— сказал я и затем мысленно представил себе кусочки сочной, прожаренной баранины, мысленно же ощутил ее запах, еще кровяной вкус, чуть-чуть кисловатый от уксуса, насадил куски почему-то не на шампур, а на шпагу Бонвиля-Монжюссо, утроил шпаги и воочию увидал их в действительности. Весь процесс длился не более минуты.

Мартин боязливо откусил кусок мяса, не снимая его со шпаги, пожевал, причмокнул и улыбнулся.

— Завтрак на бастионе Сен-Жерве,— сказал Зернов, принимая от меня другую шпагу, пронзившую нежнейшие куски мяса,— д'Артаньян рассказывает о своих приключениях.

Новое назначение

— Д'Артаньяну рассказывать нечего, кроме одной встречи, пожалуй...

Слушатели насторожились.

— Третья встреча? — сказал Зернов.

— Будет и четвертая,— прибавил я.— На прощанье. В общем, миссию нашу считают законченной.

Пришлось объяснить все Мартину.

— Все встретимся? — спросил он.

— Вероятно. Не спрашивай где — не знаю. Мешать ничему они не будут. По-моему, это главное.

— Главное выбраться,— вздохнул Мартин.

Он был прав. После встречи со связным наших хозяев нас уже ничто не удерживало на заводе.

Продолжение. Начало см. №№ 11—15.

Самое существенное мы уже знали. Но меня интересовали детали.

— Что тебе еще непонятно? — спросил Зернов.— По-моему, многое уже выяснилось по пути.

— Значит, все-таки синтез?— закинул я удочку.

— Вероятно. Даже на Земле химический синтез давно уже не новинка. Синтетические жиры производились в Германии еще в сороковые годы. Существует микробиологический способ получения белков из углеводородов нефти. Не решена только проблема синтеза углеводов, но это вопрос времени.

— Ладно, с синтезом ясно. Истоки в плазме. А дальше?

— Что дальше?

— А почему бифштексы висели в воздухе? — спросил Мартин.

— Управляемая гравитация,— ответил Зернов.— Практически способ транспортировки или изоляции моделируемого объекта. Есть еще вопросы?

— Два,— сказал я.— Сосиски и этикетки.

— Я уже говорил: поточные линии. Мы еще не видели ни пива, ни шампанского, ни кондитерских товаров, ни консервных банок или серебряной фольги. Все это тоже где-то формуется, охлаждается и плывет на склады. Спросишь: где склады? Вероятно, там, где загружают машины.

И он пошел в розовую муть. Страх, что он тут же исчезнет, погнал нас за ним. Но он не исчез, он шел к чему-то темному и большому вроде пригорка, возникшего впереди. Я вгляделся и обнаружил в центре окружавшего нас пустого пространства знакомое «золотое блюдце», а посреди него не менее знакомый кузов черного продовольственного фургона.

— Телепортация? — шепнул я Зернову.

Тот кивнул.

А дверцы кабины уже открылись, и мы, не удивляясь и не пугаясь, полезли внутрь. Я не помню, открылись ли вместе с кабиной и дверцы кузова,— думаю, что нет. Едва ли здесь перед выходом из Континуума фургоны вообще для чего-то задерживались. Зачем? Сезам «облаков» открылся специально и только для нас, чтобы доставить гостей за пределы недоступного Городу силового поля хозяев. Миссия наша, не согласованная с создателями этого мира, но, очевидно, ими одобренная, была закончена.

Возвращались мы сквозь толщу фиолетового тумана или взвеси, не мешавшей дышать, но мешавшей видеть и слышать, как мне показалось, несколько дольше, чем когда въезжали в Континуум. Может быть, с нас снимали какие-нибудь энцефалограммы с записью мыслей и выводов о модели земной жизни, построенной «облаками» в неизвестно каком уголке нашей или не нашей галактики. Не впечатление же наше о заводе-континууме интересовало «всадников ниоткуда» — тут для них все было привычно и слаженно. Неслаженной была жизнь, к которой мы возвращались.

Незаметно туман почернел, сгустился до ночной темноты, вблизи и вдали легли зубчатые тени леса. Мы выехали к повороту на шоссе, и машина остановилась. Тихонечко щелкнув, открылись двери кабины, из лесной благостной тихости вдали донеслось конское ржание и — совсем близко — чьи-то слова и смех: машину, как обычно, поджидали спешившиеся патрульные. Зная, с какой стороны они подойдут к открытой кабине, мы выскочили с другой в темноту. «Никого»,— сказал, как мне показалось, разочарованно и тревожно голос подошедшего Оливье, а незнакомый голос очередного патрульного — я мало кого знал на заставе — спросил: «Вы о чем, лейтенант? Ведь это же отъезжающая, а не прибывающая машина». Оливье вздохнул — я отчетливо услышал, как он щелкнул сейчас же пальцами — признак тревоги и нетерпения, и, честно говоря, обрадовался: беспокоится парень. «Так,— сказал он патрульным,— порядок. Поезжайте». И машина уже без нас растаяла в окружающей темноте.

Тень Оливье молча двинулась к лесу, где ждали стреноженные лошади. Он прибыл один вместо конюхов и не затем, чтобы только отвести лошадей на заставу, а потому что втайне надеялся на мое возвращение.

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО**

— Оливье! — позвал я.

Тень впереди остановилась.

— Ано?

Удивление, оборвавшаяся тревога, вмиг снятое напряжение и просто радость слились в этом негромком вскрике.

— Неужели оттуда?

— Оттуда.

Зернов и Мартин подошли ближе. Незачем было прятаться и оттягивать встречу.

— Это Борис,— я дотронулся в темноте до Зернова,— а это Дон. Не зажигай фонаря — это не обязательно. Верные друзья и добрые парни.

— Плохих не выберешь,— отозвался Оливье.

— Их нужно поскорее отправить в Город. Мундиры, сам понимаешь, липовые. Включи по одному в патруль и отправь с какой-нибудь подходящей машиной.

— Куда?

— На улицу Дормуа.

Я имел в виду фото-Фляш — ателье, которое после гибели Маго и ухода самого Фляша в глубокое подполье удалось арендовать Зернову не без помощи Томпсона. Там они с Мартином могли переодеться и переждать до утра — не в полицейских же мундирах являться в «Омон».

Оставив друзей дожидаться у дороги — незачем было им привлекать внимание в полицейской казарме,— мы с Оливье прошли в дежурку.

— Я с тобой, Ано, что бы ни случилось дальше,— просто, без пафоса, произнес Оливье.— И так уже случилось многое.

— Верю,— сказал я.— Но пока тебе лучше оставаться в стороне. Дело опасное, и рисковать не стоит.

Оливье обиделся.

— Я, кажется, никогда не был трусом.

«Сказать или не сказать? Все равно сказать придется, если ищешь союзника. Для врага же Оливье и так знает больше, чем нужно. Достаточно для того, чтобы поставить всех к стенке. Рискну».

— Я из Сопротивления, понял?

— Я давно это понял,— ничуть не удивился Оливье. И замолчал, ожидая обещанного рассказа.

Отбросив все сомнения, я честно рассказал обо всем, что мы видели за голубыми протуберанцами. О тайном тайных, неведомом даже самому Корсону Бойлу. То, что Оливье не понял, я обещал объяснить впоследствии: о «всадниках ниоткуда» походя не выложишь. Но о заводе-континууме пришлось рассказать.

— Я удивляюсь тебе, Ано,— почти с восхищением проговорил Оливье.— Вы сделали невозможное, никому не доступное до сих пор. Но почему вы называете это континуумом?

Объяснить было трудно: Оливье латыни не знал.

— Ты когда-нибудь слушал мессу? На каком языке говорит кюре?

— На церковном.

— Это латынь,— сказал я.— А континуум по-латыни — нечто постоянное, вечное. Этот завод никогда не остановится и никогда не иссякнет.

— Значит, не нужно уменьшать прирост населения?

— Конечно.

Оливье задумался: он получал и переваривал свой первый урок политграмоты.

— И можно снизить цены?

— На продукты? Бесспорно. Хоть вдвое. Можно даже раздавать их бесплатно, но тогда придется коренным образом изменить экономику Города. Сразу это трудно.

— Я не очень хорошо тебя понимаю,— растерянно признался Оливье.— Но, по-моему, Бойл ничего не захочет менять.

— Почему?

— Потому что это... ему невыгодно.— Оливье нашел нужное слово.

— Соображаешь,— усмехнулся я ободряюще.— Пошевелим мозгами и все поймем. Конечно, Бойл ничего не захочет менять.

Еще бы! Если бы Корсон Бойл действительно убедился в неистощимости дарованного ему богатства, он бы кое в чем реформировал экономику Города. Может быть, даже и политику. Это бы только повысило и его личный престиж и престиж его хунты. Из замаскированного диктатора он вырос бы в живого бога. Но какой правитель поверит голословному утверждению трех, с его точки зрения, авантюристов? Кто подтвердит наш рассказ? Кто проверит его, если сквозь фиолетовый коридор можем пройти только мы? Уже за одно это нас расстреляют или повесят на первом лесном суку. Опасных свидетелей не оставляют в живых.

Я сказал все это Оливье, в заключение добавив:

— Что в наиболее выгодном для Города случае сделает Корсон Бойл? Сменит ценник в продовольственных магазинах. Не лучше ли уж сменить его самого?

Моя реплика не испугала и не удивила Оливье. Он просто спросил:

— А на кого? Одного убили, придет другой. Какая разница?

«Соображает,— подумал я.— Трезвый ум. Такого не соблазнишь романтикой покушения».

— Сменить всю клику,— сказал я вслух.

— С чем? С луками против автоматов?

— Найдутся и автоматы.

Оливье снова замолчал, размышляя.

— Трудно, очень трудно,— задумался он и переменил тему.— А где Шнелль?

— Лежит вместе со своим напарником под придорожным кустом, если лисы не съели.

— А если начнется следствие?

— Напишу рапорт о нападении на обратном пути. По недомыслию «дикие», мол, пытались отбить машину.

— Сомнительная версия,— покачал головой Оливье.— Возьмутся за тебя в трибунале.

Но следствие мне явно не угрожало. Бойла отвлекло нечто более важное, чем розыски пропавшего Шнелля. Я убедился в этом в тот же вечер, когда комиссар позвонил на заставу во время моего разговора с Оливье.

— Начальником заставы, Ано,— услышал я,— вместо тебя назначен Минье. Сдашь дела — он сейчас прибудет. А сам поедешь в Майн-сити на его место.

Я слыхал о Минье, заместителе коменданта лагеря, тупом и жестоком солдафоне, яростно ненавидимом заключенными. Не потому ли его переводят сюда, чтобы спасти от расправы? Такие случаи бывали.

Внутренне даже довольный, что расстаюсь с опротивевшей мне заставой, я все же спросил:

— Вы недовольны мной, комиссар?

— Наоборот. Ты нужен в Майн-сити. Сейчас это труднейший для нас участок. В лагере готовится бунт — у нас есть свои информаторы в каждом бараке. Но когда именно, выяснить не удалось. На другой день трех информаторов обнаружили задушенными в шахте, а на столе у себя Минье нашел свой смертный приговор, нацарапанный печатными буквами. Минье так напуган, что рассчитывать на него там уже невозможно. Конечно, можно расстрелять каждого пятого или десятого, но такой роскоши сейчас мы позволить себе не можем: необходимо форсировать добычу угля. Любой ценой, любыми средствами. Уголь, уголь и еще раз уголь.

— Мне потребуется помощник,— сказал я.— Возьму Оливье, если не возражаете.

— Я бы возразил, но тебе виднее. Выезжайте сегодня же. Действуй, как подскажет обстановка,— вмешиваться не буду. В качестве начальной меры могу подсказать: связь с Городом. Смени всех вольнонаемных шоферов, подвозящих продукты для кухонь. В лагере уже появилась эта воскресшая газетка...

В голосе Бойла мне послышались нотки растерянности, даже тревоги. И я рискнул спросить:

— Какая газета, комиссар?

— Сослали редактора, разгромили типографию, даже бумагу вывезли, а паскость эта выходит,— сказал он и, не объясняя, бросил трубку.

Плетка и шоколад

Мы выехали в Майн-сити на рассвете по окружной дороге в сопровождении эскорта патрульных с автоматами. Кажется, мое назначение опережало события. Бойл сказал: готовится бунт. Вероятно, он имел в виду локально ограниченный мятеж в одном из бараков, обеспечивающий побег, может быть, и значительной группе заключенных, но всегда только побег. Такие побеги случались: лес был наводнен шайками одичавших беглецов, время от времени нападавших на патрули и машины с продуктами. Но с моей помощью Сопротивление могло превратить мятеж в восстание, отнюдь не ограничивая его цели побегом. Сложность заключалась в том, что организация побега уже началась, а без соответствующих паролей и явок нечего было и думать о связи с лагерными подпольщиками. Даже выданные им списки провокаторов они, в свою очередь, могли посчитать провокацией. Правда, меня знал Джемс, но при его недоверчивости и пылкости моя самодеятельность могла иметь самые пагубные последствия. На подобную самодеятельность без директив Сопротивления я не имел никакого права.

Близость человеческого поселения стала заметной по мере нашего приближения к лагерю, показались конские табуны на лугах, обнесенных высоким забором, зелено-желтые массивы овса и плантации роз, явно посаженных человеком. «Участки полицейских-отставников,— пояснил Оливье,— заготовка розового масла». К лагерю мы подъехали не со стороны железной дороги, отделенной от леса колючей проволокой, а по грунтовке, изрезанной колесами и копытами, которая и привела нас к воротам в серой бетонной стене с лаконичной надписью «Уголь». На мой недоуменный взгляд Оливье разъяснил, что на таких же воротах к югу отсюда красуется надпись «Железо», а выше в горах — «Медь», в зависимости от того, на какие разработки ведет дорога.

Однако поселок за воротами производил даже симпатичное впечатление и чем-то напоминал виденное мною во Франции. Оттуда, вероятно, и были скопированы эти дома с черепичными крышами и цветными палисадниками, уцелевшими со времен Второй республики, одноэтажные коттеджи-модерн, нечто вроде мэрии в центре маленькой площади и трактир с вынесенными на улицу столиками под курортно-полосатым тентом. «Административный поселок,— подсказал Оливье,— номенклатура службы, техническое управление и ресторан для нашей услады». «А рабочие?» Даже сопровождавшие нас патрульные заржали, как лошади. «Ты еще бараки не видел. И плеточный плац и собачий питомник». «Зачем питомник?» — поинтересовался я. Оливье ответил лаконично и грустно: «Увидишь».

Освенцим и Маутхаузен мы увидели позже, когда осматривали шахтерские обиталища в блоках-бараках, возглавлявшихся блок-боссами. «Облака» смоделировали человеческую жестокость, а человеческая жестокость придумала и оборудовала Майн-сити. То, что мы видели в бараках, кухнях и на плеточном плацу, где наказывали провинившихся окованными медью ременными плетками, можно сравнить с любой гиммлеровской фабрикой смерти и описание увиденного заимствовать из любого документального фильма, смонтированного по материалам Нюрнбергского процесса. Будет очень похоже. Несколько архаично, не столь модернизованно: не было печей, газовых камер, изделий из человеческой кожи, стерилизации. Но древние формы человекоистребления, вплоть до травли собаками, применялись здесь ревностно и умело.

Собак, впрочем, я отменил, плетки тоже. На самом большом плацу я собрал всех блок-боссов — типичнейших «капо» с выражением жестокости и хамства на лицах. Они были в таких же серых мундирах, как и галунщики. Только золота было меньше. За голенищем у каждого торчала плетка. С плеток я и начал.

— Плетки сжечь, а все плацы уложить дерном,— приказал я,— пусть будут лужайки для отдыха.

У меня в комендатуре был не то управдел, не то писарь, почти мой однофамилец — Онэ. Он тут же вел записи для приказа. А приказ этот поверг его в трепет — даже руки у него задрожали.

— Пункт седьмой охранительного устава гласит...— начал было он.

— Пункт седьмой временно отменяется,— перебил я.— Кроме того, все собаки используются только за проволокой. Никакой травли людей на территории лагеря. Все!

Так было покончено с плетками и собаками. Кроме того, я закрыл все карцеры, ввел наблюдение за безопасностью работ на лесоповале и увеличил дневной рацион для рабочих. Порядок в столовых и лазаретах наводил Оливье. На большее пока я не рискнул, да и реформы мои предназначались лишь для того, чтобы внести некое смятение в умах. Мятеж не должен был начаться без вмешательства Сопротивления. Джемса я в баранах не нашел, но имя его в списках видел. И мой интерес к нему, естественно, привлек внимание Онэ.

— Вы знаете, кто этот Джемс Стил? — спросил он.

— Знаю,— ответил я хладнокровно.— Бывший редактор подпольной газеты.

Онэ сейчас же насторожился: что это я затеял?

— Собираюсь расширить канцелярию,— небрежно заметил я.— Объем работы увеличивается, один вы не справитесь. А из бывшего редактора может выйти хороший писарь.

Онэ промолчал. Он копил наблюдения для доноса. Кому? Больному Бриску, которого я замещал, или самому Бойлу? Бриск меня не пугал, но вмешательство Бойла могло сорвать мои планы. Онэ становился опасным, а наш раунд решающим.

Для начала я послал его в нокдаун.

— Вы готовите рапорт, Онэ? О моих действиях и через мою голову. Но учтите: первым об этом узнаю я.

Он взглянул на меня исподлобья, как бы оценивая мою угрозу.

— Вам еще не выносили смертного приговора? — спросил я.

— Нннет...— заикнулся он.

— В таких случаях полицейских спасают. Переводят в другое место, как Минье, например. Так запомните; вас не переведут.

Я мог спокойно считать до десяти, как на ринге. С Онэ было покончено. Требовался кислород, и я его дал.

— Мне поручено, Онэ, любыми средствами, я подчеркиваю, л ю б ы м и, поднять добычу руды и угля. Сделать это можно при помощи кнута и пряника,— я перевел «кнут» как «плетку», а «пряник», как «плитку шоколада».— Мои предшественники предпочитали плетку, и добыча падала. Поэтому я решил попробовать шоколад.

По-видимому, он понял, потому что мое требование разыскать и доставить Джемса бросился выполнять сам. Сейчас предстоял разговор потруднее.

Джемс вошел в зеленой куртке каторжника: до полосатых местные гиммлеры не додумались. Сначала я даже не узнал его, настолько он изменился.

— Садись,— сказал я, подвигая стул.

Он сел, не отводя устремленных на меня глаз. В них я читал презрение и недоверие.

— Считаешь, что я предатель и делаю карьеру в полиции? — спросил я в упор.

— А разве это не так? — сощурился он.— Мне что-то неизвестно от Сопротивления о твоем назначении.

— Будет известно,— сказал я.— Оно произошло неожиданно для меня самого. Связаться с руководством и получить директивы еще не успел.

Он молчал. Сжатые губы его по-прежнему презрительно кривились: не верил ни одному моему слову.

— Ты прав,— вздохнул я.— Доверие не просят, а завоевывают. Подождем. Где работаешь?

— На седьмой-бис. Думаешь, буду восхищаться твоими реформами? В создавшемся положении они приносят больше вреда, чем пользы.

Так и есть. Смятение в умах уже началось. Теперь только выиграть время, чтобы связаться с Фляшем.

— Ты ошибаешься и скоро осознаешь свою ошибку,— сказал я Джемсу.— А пока я перевожу тебя из шахты.

Он вскочил испуганно.

— Куда?

— В канцелярию. Ты должен быть у меня под рукой.

— Оставь меня в шахте, Ано. Прошу. Я не понимаю тебя.— Голос его дрожал, он почти умолял, этот голос.

— Нет.— Я решительно отверг его просьбу.— Ты и раньше мало что понимал. Из-за непонятливости погубил и людей и газету.

Он сразу сник, даже голову опустил — смущенный, растерянный мальчик.

Я добивал его: у меня не было выхода.

— Я не обвиняю тебя в предательстве, потому что знаю предателя. Но твое недомыслие и доверчивость, столь же легкомысленные, как и твое сейчас недоверие, привели к провалу.

Казалось, он задыхался.

— Ты знаешь предателя? Кто?

— Этьен. Я же предупреждал тебя.

— И все-таки я тебе не верю,— упрямо повторил Джемс, но уже без прежней уверенности.

— Поверишь,— усмехнулся я.— Поверишь, когда получишь инструкции.

Теперь мне нужен был только повод для отъезда в Город.

Гамбит Этьена

Повод нашелся. Нужно было сменить вольнонаемных шоферов, подвозивших из Си-центра муку ручного помола, из которой замешивалась лагерная похлебка для кухонь, и деликатесные продукты для администрации охраны. Я выехал ночью, рассчитывая застать Зернова или в крайнем случае Мартина. А с Фляшем требовалось связаться до вечера: времени у меня не было.

Отельная конюшня была на замке, конюхи спали, и я, привязав лошадь к афишной стойке, прошел в вестибюль «Омона», не рискуя никого удивить: мой мундир был идеальным ночным пропуском. Но и удивлять было некого: швейцар дремал у себя в каморке, а портье просто спал, положив голову на руки. Так я и добрался незамеченным до нашего номера.

Вошел и отшатнулся. На меня из соседней комнаты прыгнул с безумными глазами Мартин. Он был одет, в руке сверкнул знаменитый нож.

— Будь ты проклят! — воскликнул Мартин и сплюнул.— Золотарь чертов! Ну, входи.

В комнате было так накурено, что даже десяток свечей не позволил сразу рассмотреть лиц собравшихся. Я никого не узнал, но все вскочили, различив мой проклятый мундир.

— Порядок,— сказал Мартин.— Тревога отменяется. Это Юри лично и срочно.

— Ну и напугал ты нас, Юрка,— услышал я в дыму голос Зернова.

— Меня он не помнит,— засмеялся сидевший ближе всех Стил.

— А меня не узнает,— откликнулся Фляш.

Теперь я разглядел всех и даже узнал сидевшего на диване Томпсона, такого же седого и худощавого, каким я знал его на Земле.

— Простите, господа, если помешал. Я не знаю ни причин, ни целей этого ночного собрания и могу сейчас же уйти, но мне именно срочно, как сказал Мартин, нужен Фляш,— здесь все равны.

— Кроме меня. Я могу выйти,— сказал Мартин.

— Не дурите, Мартин. Вы специально приглашены, как и Ано, хотя мы и не могли с ним связаться.

— Я назначен комендантом Майн-сити,— объявил я.

И все умолкло. Как долго длилось молчание, я не могу сказать, но в эти минуты каждый, вероятно, обдумывал перспективы, которые открывало мое назначение. Наконец Фляш спросил:

— Давно?

— Уже несколько дней, как я в лагере,— поспешно проговорил я.— С подпольем связаться не могу: нет ни паролей, ни явок. А без них мне по вполне понятным причинам не доверяют. Даже Джемс.

— Вы видели мальчика? — взметнулся Стил.— Как он выглядит?

— Плохо. Кто же в бараках хорошо выглядит, кроме собак и блок-боссов? Впрочем, я перевожу его к себе в канцелярию.

— Оставьте его в шахте,— жестко потребовал Стил, и я, конечно, знал почему.

— Бессмысленно. Корсон Войл уже знает о предстоящей акции. Ее надо готовить иначе и в других масштабах.

— Гамбит Анохина,— усмехнулся Томпсон.

Я вздрогнул. Откуда он знает мою фамилию? От Зернова? От Стила? Кто же он? И почему Фляш сказал, что здесь все свои?

— Мы обдумаем его часом позже. Ночь велика,— продолжал Томпсон.— Сейчас надо рассчитать другой гамбит. Гамбит Этьена. Гамбит Этьена разгромный: головка Сопротивления отсекается одним ходом. Этот ход он уже сделал и спокойно спит сейчас в своем номере-люкс. Но мы,— продолжал Томпсон,— ответили неожиданно. Заседание совета перенесли сюда и на этот час. Сию минуту мы пригласим господина Этьена. Я думаю, что полицейский мундир Анохина внесет кое-какие коррективы в наш план: мы сможем переставить фигуры.

— Зачем,— обиделся Мартин.— Я и один справлюсь.

— Золотой галун справится лучше. Меньше шуму, больше эффекта. Вы сейчас потушите фонари в коридорах и проводите Анохина до апартаментов Этьена. Откройте дверь — ключ у вас — и погасите свечи на черной лестнице. У вас есть спички, Анохин? Возьмите коробку. Зажгите свечку на камине, разбудите спящего и пригласите его следовать за собой. Сначала он испугается, потом удивится, потом будет уверять, что это ошибка, попросит разрешения позвонить Войлу — у него одного в отеле есть телефон. Но вы не разрешите и пригрозите, что при малейшем шуме пристрелите его на месте. Кстати, и пристрелите, если другого выхода не будет. Но Этьен трус и после такого предупреждения последует за вами куда угодно. Ведите его к черной лестнице — почему не к парадной, придумайте сами. Когда спуститесь, столкните его в подвал. Шума не будет: его подхватит Мартин и впихнет в дверь, где была типография. За ним войдете и вы.

Томпсон придумал и рассчитал все это с быстротой электронной машины. Теперь я понял, что изменилось в нем. Земной Томпсон был чуточку медлительнее и не то чтобы туповат, но тяжелодумен: сказывался возраст. Здешний Томпсон не казался моложе, но возраст его не обременял мышления. Биологически это была та же человеческая структура, но психологически уже иная: в другой среде, в других условиях психологический облик мог приобрести с годами и другие черты.

— Пошли,— сказал Мартин, выводя меня из задумчивости, должно быть, уже затянувшейся.— Не боишься? — спросил он уже в коридоре.

— Кого? — усмехнулся я.— «Омон» не континуум. Чудес не будет.

— Грязная работа,— вздохнул Мартин.— А начинать и заканчивать ее будем мы.

Мне стало не по себе. Должно быть, Мартин заметил это, потому что прибавил другим тоном:

— В Сен-Дизье мы не дрогнули. А ведь Этьен здесь такой же подонок. Даже хуже. Страшнее.

Молча мы погасили фонари в коридоре, молча дошли до тупичка, где находились комнаты Этьена, молча открыли дверь ключом, оказавшимся у Мартина, и расстались. А далее все произошло так, как предсказал Томпсон.

В бывшую нашу редакцию мы вошли вслед за влетевшим Этьеном. Он еле удержался на ногах от пинка Мартина и сейчас оглядывался растерянно и недоуменно, явно ничего не понимая. У стеллажей, заставленных ящиками с вином и консервами — типографию нашу Этьен превратил в склад для хранения непортящихся продуктов,— за непокрытым деревянным столом, где лежали раньше наши первые гранки и куда сейчас сгружались с полок коньяк и сардины, сидел Малый совет Сопротивления, заседание которого, как точно было известно Этьену, должно было состояться на шесть часов позже и совсем не в подвале его гостиницы. Удивило Этьена, как, впрочем, и меня, и присутствие Зернова в четверке Совета — для владельца «Омона» и тайного полицейского агента Зернов был малоприметным писарем мэрии, сбежавшим от «диких» к радостям городской жизни. Удивленно посмотрел Этьен и на Томпсона: видимо, о том, что он тоже входил в совет, провокатор не знал.

— Дайте ему стул,— сказал Фляш.

Мартин, стоявший рядом со мной у двери, подвинул стул. Этьен сел, внимательно разглядывая сидевших против него. Два трехсвечника создавали довольно сносное освещение.

— Может быть, мне объяснят, что означает этот спектакль, в котором участвуют псевдошоферы и лжеполицейские? — спросил он высокомерно.

— Оставьте этот тон, Этьен,— сурово сказал Фляш.— Не время валять дурака!

— Я хочу знать, что здесь происходит.

— Суд.

Мертвенно-желтое лицо Этьена не выразило ни удивления, ни гнева.

— Могу я ознакомиться с обвинительным заключением?

— По известным вам обстоятельствам мы избегаем документации. Все, что вас интересует, будет изложено устно. Вас обвиняют в прямом предательстве акций Сопротивления.

— Каких именно?

Я даже залюбовался хладнокровием, с каким вел страшную для него беседу Этьен. Неужели он так верил в свою безнаказанность?

— Рукопись статьи Стила, известная только вам и оказавшаяся в руках полиции. Стил, как вам известно, вынужден был бежать из Города.

— Не помню. Это было давно.

— Есть события более поздние. Разгром газеты.

— Я сам оборудовал ее типографию.

— И дали адрес полиции.

— Почему я? Где доказательства?

— Нас давно предупреждали о вас как о потенциальном предателе. После ареста Джемса за вами было установлено наблюдение. О завтрашнем заседании совета все известно полиции. Дом уже с вечера оцеплен.

— Все это еще не доказательства.

— О завтрашнем заседании Совета, кроме вас, знали только мы — четверо.

— Так поищите виновного среди четверых. Может быть, вы? — Смешок в лицо Фляшу.— Или он? — Кивок в сторону Томпсона.

Члены Совета переглянулись. Неужели они отступят перед спокойствием Этьена? Ведь спокойствие — это его оружие. Но я ошибся.

— Мне очень интересно, у кого возникла мысль о моем потенциальном предательстве,— невозмутимо заметил Этьен.

— У меня,— сказал Зернов.

— И у меня,— прибавил я.

— Почему?

— Потому что мы знаем вас до Начала — вы утратили память, а мы нет. Вы всегда были предателем — должно быть, это у вас в крови.— Я говорил, уже не различая Этьена здешнего от Этьена земного.— Вы предали гестапо даже любимую женщину, а когда не удавалось предательство и вас били по щекам, вы только холуйски кланялись: хорошо, мсье, будет сделано, мсье...

Этьена не заинтересовало слово «гестапо», наверняка ему незнакомое, он пропустил мимо ушей и «любимую женщину», он только спросил:

— Когда это было?

— Четверть века назад.

— Где?

— В Сен-Дизье.

Нашу дуэль слушали в абсолютном молчании, только у Зернова блуждала на губах знакомая ироническая улыбка: казалось, что мой экспромт доставлял ему удовольствие.

— Сен-Дизье... Сен-Дизье...— повторил Этьен, мучительно наморщив лоб, и вдруг воскликнул громко и радостно: — Вспомнил!

И даже с каким-то облегчением, словно прошла терзавшая его боль, уверенно повторил:

— Теперь вспомнил. Хорошо. Все. Спасибо.

Никто не ответил. Я стоял пораженный, не зная, что сказать и нужно ли говорить, может быть, самое важное уже сказано.

— По-моему, здесь же в «Омоне»... совсем недавно я опять встретил ее. Я не мог жить больше...

Боюсь, что Стил и Фляш ничего не поняли: я поймал удивленный взгляд, которым они обменялись.

— Вы хотите, чтобы я сам все кончил? — спросил Этьен, обращаясь только ко мне.

И я ответил:

— Вы угадали.

Я вынул пистолет, высыпал на руку все патроны, оставив один-единственный, спустил предохранитель и сказал присутствовавшим:

— Выходите.

Все поняли и молча вышли один за другим.

Потом раздался выстрел.

Мартин нашел нас наверху: выстрел мы слышали и не сомневались. Но он все-таки сказал:

— Не промахнулся. Жаль только, что не оставил записки.

Совет безопасности

— Ассоциативная память,— повторил Зернов, но то, что он произнес дальше, буквально заставило меня вздрогнуть.— Этьен возник здесь биологически тот же, со всем объемом своей земной памяти. Лишь отдельные участки ее были заблокированы. Я думаю, блокада не была постоянной, что-то ослабляло ее — время или воздействие внешней среды. «Память возвращается»,— любит говорить Фляш, только механизм этого возвращения нам неизвестен. Неразгаданная тайна мозга. Таких тайн много: как возникает воспоминание, что его вызывает, почему в одном случае возникают у человека слуховые, в другом — зрительные образы? Я не специалист, но специалисты высказывают предположение, что на височных долях больших полушарий нашего мозга находятся участки, связанные каким-то образом с механизмом воспоминания. Под действием очень слабых электрических импульсов на эти участки человек вспоминал давно забытое — причем всегда одно и то же, если воздействию подвергались одни и те же участки. Может быть, в данном случае роль электрического импульса сыграла цепочка ассоциаций? Одно слово — и эта цепочка освободила заблокированные участки. Помните радость, какой осветилось его лицо, когда Анохин назвал Сен-Дизье. «Вспомнил,— сказал Этьен,— я все вспомнил».

— А что такое Сен-Дизье? — спросил Фляш.

— Городок во Франции, где Этьен, или его земной аналог, вынужден был вступить в конфликт с совестью. А такие конфликты не всегда проходят бесследно.

— Так чему же он обрадовался?

— Тому, что освободилась память. Не его память, конечно, но он уже не мог отделить себя от земного Этьена. Механизм идентичной памяти толкал обоих к самоубийству. Кроме того, у него не было выхода: он знал, что его ожидает.

Я слушал этот разговор, недоумевая. Значит, Зернов уже рассказал этим людям об их повторном существовании. Зачем? Мое недоумение разрешил Томпсон.

— Я читаю удивление в глазах нашего лжеполицейского,— засмеялся он.— Должно быть, он все еще полагает, что мы поверили сочиненной вами легенде,— засмеялся он.— Мы не столь наивны, мой друг. Вашу газету мы зачитали до дыр, но чем больше читали, тем труднее верилось в то, что наш мир оторвался от вашего. Я стал задавать наводящие вопросы Борису. Он в это время расшифровывал записи по истории Города и отвечал машинально, не задумываясь. Так, например, он разъяснил мне политический механизм Организации Объединенных Наций и невольно проговорился о многом, что нашей легенде не соответствовало. Тогда я сказал: выкладывайте правду, Борис. Мы не дети, чтобы верить сказкам. В ответ он дал мне прочитать черновик своего предисловия к нашей истории Города.

С этими словами Томпсон встал и рванул оконную штору. За окном темнела, как всегда здесь, безлунная ночь. Даже звезд не было видно — над Городом шли грозовые тучи. Повеяло не прохладой, а жаром от нагретого за день камня.

— До рассвета еще есть время. Фляш и Стил уйдут, как обычно, через окно. За мной приедет фиакр из мэрии: забыв ночной пропуск, я заночевал в номере у моего секретаря. Это, кстати, и подтвердит, если понадобится, и наш лжеполицейский. У Толя железное алиби: он ночует после концерта в «Олимпии». А Этьена начнут искать не раньше полудня, когда обнаружится, что заседание в указанном им месте не состоялось. О том, что оно состоялось здесь, никому не придет в голову. Поэтому мы имеем все основания его продолжить, заслушав нового коменданта Майн-сити.

Предложение Томпсона было принято без возражений. Я вкратце изложил свои соображения о подготовке восстания в лагере. Споров не было. Мне тут же дали пароли и явки к подпольщикам. Мартину поручили возглавить группу вольнонаемных шоферов и кучеров, которых взялся подбирать Фляш. По первому впечатлению начало предстоявшей операции в лагере складывалось удачно. Но Мартин усомнился:

— Не рано ли?

— Охрану мы разоружим или уничтожим на месте,— сказал я.

— А где возьмешь оружие?

— На складе. Там по описи три тысячи автоматов, не считая мелочи. Не забывайте, что полицейский небоскреб в четырнадцатом блоке — тоже склад.

— Небоскреб — это уличные бои.

— Во-первых, уличных боев не избежать, а, во-вторых, вооруженные шахтеры Майн-сити — это тоже армия.

— «Дикие» могут захватить заставу и шоссе из континуума,— предложил Стил.

Но Томпсон почему-то не согласился.

— «Диких» лучше использовать на других подходах к заставам. На продтрассу я бы направил наиболее стойких. Континуум не только источник жизни, но и ключ к власти.

— Анохин,— вдруг сказал Томпсон,— я назвал вас так, чтобы вы поняли, что мы знаем вас и все о вас, что нам нужно. Но время для раскрытия псевдонимов пока не пришло. Так вот, несколько запоздалых мыслей, Ано.

— Слушаю,— отвечал я.

— Подпольному комитету лагеря вы передадите не совет, а приказ. Любой ценой выработка, хотя бы в отдельных шахтах, должна быть повышена. И немедленно Эта подачка Войлу развяжет руки.

— Есть,— сказал я.

— Блок-боссов пока не трогать. Их уничтожат в начале восстания. Информаторов тоже.

— Цейхгауз и склад оружия поручить Оливье. На него можно положиться?

— Как на меня.

— Тогда пусть подберет две сотни полицейских мундиров и передаст Мартину.

Вспышка молнии за окном осветила на мгновение наши лица. Те, что увидел я, были торжественны, как на празднике. Почти догнавший вспышку удар грома заглушил все шорохи ночи. Гроза начиналась прямо над Городом.

— Пепел Клааса,— сказал я.

— Стучит в мое сердце,— докончил Фляш.

— Откуда вы знаете об этом романе?

— Разве это роман? Я думал — революционный лозунг.

— Я тоже так думал до этой ночи,— послышался позади знакомый голос.

Окончание следует.

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

Мгновенно обернувшись, я тут же узнал говорившего. Он стоял в тусклой полоске света, сбрасываемого с камина трехсвечником. Борис Аркадьевич Зернов собственной персоной, как всегда на Земле, в светлом костюме — он не любил темных тонов — и все-таки не наш. Отсутствие бороды и небритой щетины на щеках не многим отличало вошедшего от сидевшего за столом его отражения.

— Вы понимаете, почему я настаивал на вашей бородке? — шепнул своему писарю Томпсон.

— Я давно это знаю.

— Тем лучше,— вмешался Зернов-двойник,— значит, визитных карточек не потребуется.

— Откуда вы узнали о нашей встрече? — насторомился Фляш и мигнул Мартину.

Тот незаметно отошел к двери.

— Я и сейчас не знаю о вашей встрече,— ответил вошедший,— я знаю только то, что мой земной аналог находится в отеле «Омон».

— Когда ты узнал об этом? — спросил наш Зернов.

— Когда застрелился Этьен. Должно быть, его выстрел и «разбудил» меня как приказ проснуться. Только проснулся я, уже зная все, что он знает.— Он кивнул своему «отражению».

— Почему ты стал инбернетиком?

— Сейчас легко ответить, а спроси ты меня раньше, когда я в первый день Начала пришел в Би-центр, как в наш институт, как будто ничего другого никогда не знал и не видел, я бы глазами хлопал. Вероятно, спросил бы в ответ: «Почему стал? Я всегда был».

— А почему ты работаешь с этой камарильей? — нахмурился Зернов.

— Я работаю с вычислительными машинами. Понятия не имею о том, что происходит в Городе.

— Была у меня такая страстишка, задумчиво произнес Зернов,— научное червячество. Я-то освободился от нее, а у тебя ее гипертрофировали.

— Вероятно, надеялись, что преданность науке все определит и направит.

— Направить направило,— усмехнулся Зернов.— В тупичок. Никчемный вышел из тебя социолог. Кстати,— хотя то, что он спросил, было совсем некстати,— из твоего Би-центра можно закрыть вход в Континуум, лишить Город продовольствия?

— Можно,— согласился Зернов-дубль,— есть такая Энд-камера. Между прочим, даже я туда не могу войти. Этим правом обладает только один человек в Городе.

— Ну что ж,— вздохнул Зернов,— подумаем.

Его дубль понимающе улыбнулся, встал и, не прощаясь, пошел к выходу.

— Искать меня не надо. Найдешь, когда вспомнишь.

Судьба Онэ

Я вернулся в городок за колючей проволокой, не повидавшись с Корсоном Бойлом, но выполнив его первый приказ. Одиннадцать водителей и тридцать четыре возчика, педантично подобранные Фляшем — целый отряд разведчиков,— уже просачивались на территорию лагеря. Непрерывная связь с руководством Сопротивления была обеспечена.

Оливье в своей обычной доверительной и скромной манере изложил новости.

Онэ с каменным выражением чиновничьей послушливости положил передо мной списки информаторов — несколько страниц, мелко исписанных ровным писарским почерком,— перечень кличек и лагерных номеров. «Кто работает непосредственно на Бойла?» — поинтересовался я. Онэ с деланным недоумением пожал плечами: не знает. Я сунул списки в стол, что позволило Онэ, уходя, елейно заметить: списки, мол, должны храниться в сейфе, и никто в лагере, кроме меня и его, не должен знать об их существовании. Через секунду он вернулся и доложил, что в приемной ожидает Джемс.

Он и сейчас глядел на меня волк волком, даже отросшие его волосы по-волчьи топорщились. Письмо отца он прочел внимательно, вглядываясь в каждую букву, даже на свет посмотрел.

Но пароль и отзыв сделали свое дело: если я не приобрел симпатии Джемса, то вопрос о доверии уже не ставился. Мы сразу перешли к делу.

— Представители комитета согласны встретиться.

— Когда и где?

— В заброшенной каменоломне у Голубой рощи. Там есть заросшие бурьяном карьеры. Завтра вечером. Трудно собрать всех за один день.

— Не спускай глаз с Онэ. Я подозреваю его в работе на Бойла. Связи с Городом у него нет, но он будет ее искать. Единственный телефон у меня в кабинете. Следи в оба, когда меня нет.

Вошел Онэ.

— Мне нужно кое-что сказать, комендант.

— Говорите. Джемс — теперь наш работник. И запомните: Джемс Стил, а не номер триста двадцать семь дробь шестнадцать.

— Вы заменили всех шоферов и возчиков. Мне бы хотелось сохранить одного.

«Ищет связи с Городом»,— подумал я. В глазах Джемса прочел ту же мысль.

— Подумаем. Как зовут вашего протеже?

— Тик.

«Еще один провокатор. Не выйдет»,— злорадно подумал я и сказал вслух:

— Отпуска пока отменяем.

— Мне потребуется только день, комендант.

— Подумаем,— повторил я, а подумал о том, что никакого отпуска Онэ ни в коем случае не получит. Тогда у него остается только телефон, и ловушка захлопнется. Впрочем, у меня был еще один тест, как любил говорить Мартин, однако я не сообщил о нем даже Джемсу. Тест был рискованный, и в случае неудачи партия могла окончиться с сомнительным для нас результатом.

На другой день Джемс сдержал слово. К вечеру — я здесь так и не научился точно рассчитывать время, отмечал его по земному и потому всегда ошибался,— когда уже смеркалось и на горячую, иссушенную землю ложились тени таких же горячих суморок, мы с Джемсом, будто бы на инспекционной прогулке, пошли по «тропе страженников», завивающейся вокруг лесной горы, напоминавшей наши приморские сопки. По дороге мы заметили подозрительного человека. Кажется, это был Онэ. Не иначе, как что-то пронюхал...

Как и рассчитал мой спутник, мы все встретились внизу, различив и уточнив площадку в кустарнике. Мне пожали руки пять или шесть человек — я уже запутался в окружавшей темноте: фонарей мы, понятно, не зажигали. Один только представился кличкой или уменьшительным именем — Бент, другие — номерами. Но я и не стремился к близкому знакомству: мое дело было подготовить операцию.

После обмена паролями мы с Бентом, а он, видимо, и был наделен полномочиями, сразу перешли к плану. В царстве каменноугольных шахт сжимался самый мощный кулак, а забытые тут же подали голос:

— Больница и лазареты тоже могут выделить добровольцев.

— И могильщики.

Никто не засмеялся: могильщики в Майн-сити составляли массивный и подвижной отряд.

О директивах не спорили — ни о сроке восстания, ни о его характере, массовом, внезапном и одновременном. Первоначальная атака сосредоточивалась на складах, причем винный решили взорвать, а вещевой и оружейный разгружать постепенно уже в ближайшие дни. Полицейские мундиры, помимо уже выданных Мартину, также отправить в Город, а форму стражников, несколько отличную от патрульной, использовать тут же для ударных отрядов. Их же вооружить полностью до начала восстания.

— Мы можем создать трехтысячную армию для удара по Городу. Остальных вооружим для охраны порядка в лагере.

Я высказал предположение о побочной опасности, какую может создать даже победоносная операция. Могут начаться погромы и грабежи в административных поселках, поджоги бараков и складов, а массы освобожденных рабочих, для которых не найдется оружия, разбредутся кто куда, бросив на произвол судьбы рудничные богатства. Бент сказал, что это предусматривается. Для предотвращения возможных эксцессов и создается внутренняя охрана, рабочим разъяснят, что ни Город, ни лагерь их не прокормят, а тюрьма перестанет быть тюрьмой: колючую проволоку удалят, по всей территории городка восстановят полную свободу передвижения, на рудниках и в шахтах введут нормальный режим, а когда позволят обстоятельства, то снесут бараки и предоставят рабочим земельные участки для собственных домов. Не все поверят, конечно, и неповерившие вынуждены будут вернуться, когда не найдут работы в Городе. А труд шахтера будет, естественно, выше оплачиваться, чем труд городского ремесленника.

Я передал Бенту список информаторов вместе с пожеланием Томпсона никого не трогать до начала восстания. «А семерых убрать немедленно»,— прибавил я. Эти семеро были чиновниками, с которыми общался Бойл во время своих инспекционных поездок. В защиту их не прозвучал ни один голос. Не вызвала споров и судьба Онэ.

— Я вообще удивляюсь этому трусу,— сказал Бент,— ведь он никуда не ходит один — только к себе в канцелярию да в ресторан для служащих, где и торчит до вечера.

— А вечером?

— Идет домой. Не один. Всегда с кем-нибудь.

— Пусть этим «кто-то» будет Джемс.

— Не выйдет, пожалуй,— усомнился Джемс.— Не доверяет он мне.

— А ты шепни ему по секрету, что я отослал тебя с полдороги в каменоломни. Сыграй подозрение: почему каменоломня, почему ночью? Спроси совета... возможно, клюнет. Он недоверчивая скотина, но твой наивный испуг может подействовать. Важно, чтобы ты проводил его до дому из ресторана. Улица освещается?

— У дома? Нет.

Участь Онэ была решена.

Четырехмерное в трехмерном

Я выехал в Город на рассвете, рассчитывая попасть к началу занятий в мэрии. По воскресеньям в мэрии, как и повсюду в Городе, был выходной день, но мэр работал, диктуя Зернову свои записки по истории Города, или принимал посетителей, с помощью которых восстанавливалось в памяти то или иное существенное для заметок событие. Происходило это уже давно, и никаких подозрений, естественно, не вызывало. Поэтому здесь и доводились последние приготовления к операции, до начала которой оставались считанные часы.

Никем не замеченный, я вошел в кабинет Томпсона, едва успев пропустить спешившего Стила.

— Что в Майн-сити? — спросили все разом.

Я рассказал. Томпсон слушал, не перебивая. Только раз поинтересовался:

— В шахтах были? А на обогатительной фабрике?

Я признался, что передоверил ее подпольному комитету. Томпсон поморщился. Неужели он не доверяет подпольщикам?

— О недоверии не может быть и речи: сведения поступают и нам регулярно, но не минуя вас. Ни одно звено не должно выпадать.

— А как у Стила? — спросил я, в свою очередь.

— Все готово. К сожалению, «диким» не хватает огнестрельного оружия. Вооруженные автоматами захватят продтрассу, а в Город войдут лучники.

Я подумал об арсенале в небоскребе Четырнадцатого блока.

— Есть же склад в продуправлении. Я думал, что вам для этого и понадобились мундиры.

— Для этого. Но экспроприация арсенала в настоящую минуту только насторожит галунщиков. Сейчас они беспечны, даже на посты выходят, еле держась на ногах, а в «золотой день» мы возьмем их тепленькими. Налет на склад произведем одновременно с захватом «Олимпии».

— Остается еще вычислительный центр,— напомнил Зернов.— Даже Зернов-второй там не все контролирует.

Телефонный звонок прервал разговор. Зернов взял трубку.

— Есть,— сказал он, выслушав говорящего.— Порядок. Едем.— И, повернувшись ко мне, прибавил: — Твоя голограмма в Би-центре уже получена. Пройдешь все заграждения.

Только сейчас я заметил, что Зернов сбрил свою козлиную бороду. Спрашивать, как он сам пройдет заграждения Би-центра, было уже бессмысленно.

Би-центр находился в американском секторе, занимая добрых полквартала между двумя небоскребами-башнями, пустыми, как и все в Городе, с третьего этажа. Он был невысок — четырехметровая стена из каменных плит полностью скрывала его от любопытных глаз.

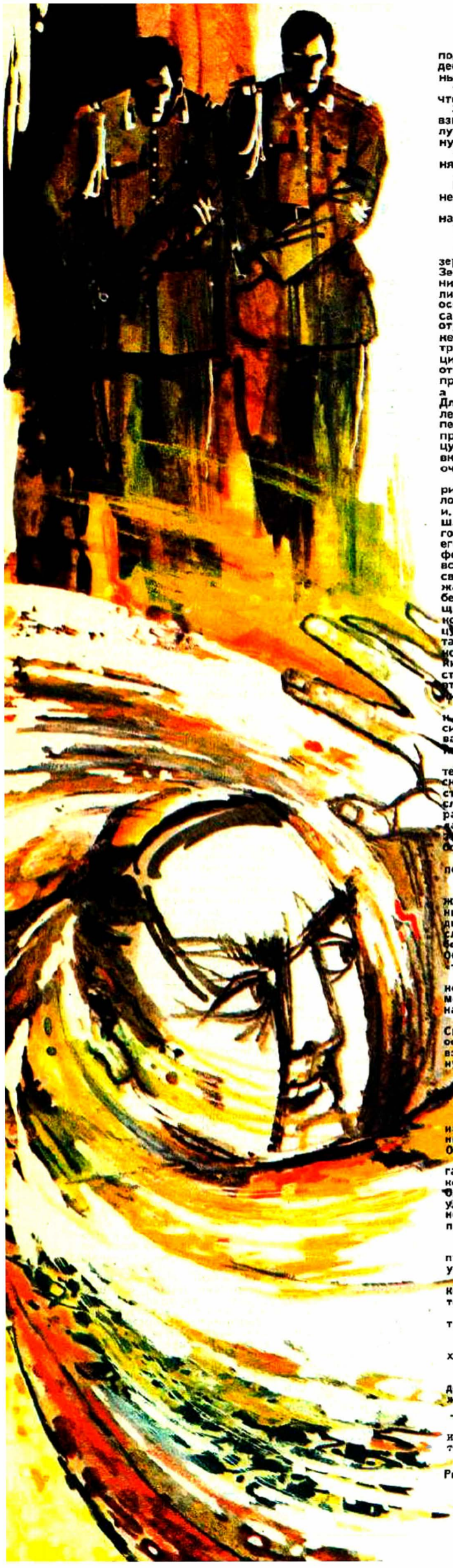
Первый же патруль пропустил нас, не задавая вопросов. На меня даже не взглянули, перед Зерновым вытянулись, как на смотре, молча и почтительно. Я вспомнил слова Томпсона о том, что уже сейчас, накануне праздника, редко кто из патрульных выходит на пост, не хлебнув из заветной бутылки. Томпсон прав: таких защитников порядка можно будет брать тепленькими.

Брать — да, но не проникнуть в дом: он охранялся изнутри автоматически и надежнее, чем любой банк на Земле. Наружная охрана была пустой формальностью, мы убедились в этом, когда вошли в дом. Кстати, не сразу вошли: самый дом не мог не вызвать удивления и любопытства, тем более у впервые его увидевшего. В нем не было окон, а стены сверкали необыкновенной зеркальной поверхностью. «Как защитные, зеркальные очки»,— сразу нашелся Зернов. Но снаружи в них все отражалось и искажалось, как в зеркалах знакомой «комнаты смеха». И люди и вещи, отражаясь, то вытягивались, то сплющивались, то завивались совсем уже обезображенными формами. При этом стены были не просто неровны, а несуразно неровны, как нагромождение сталистых обломков, порой пузырились зеркальными волдырями или остроугольными шишками, порой проваливались, как продырявленный мяч или искалеченный в автомобильной катастрофе кузов машины, загибались без ребер и углов параболическими кривыми или выворачивались наизнанку.

Но то, что оказалось изнутри, было действительно чудом без всякой иронии. Вошли мы не в дверь, а во что-то вроде щели, достаточно широкой для того, чтобы пропустить двух человек любого роста и любой комплекции. Щель открывала проход, заполненный лиловатым газом — точь-в-точь «фиолетовое пятно» в миниатюре. «Шагай, не бойся»,— подсказал по-русски Зернов, и я шагнул. Тотчас же все утонуло в знакомом тумане. Я протянул руку — она встретила пустоту, дотронулся до Зернова — он был рядом. «Не осторожничай, ничего не случится»,— услышал я его голос, чуть-чуть угасавший в тумане, сделал еще два шага и вышел на дневной свет в большую и пустую комнату, если только окружавшее нас пространство можно было назвать комнатой. Трудно было даже приблизительно определить ее форму: она то удлинялась, то укорачивалась в зависимости от точки, с которой вы пробовали ее осмотреть. И ничего не видели, кроме плотного фиолетового тумана у потолка, если только вообще был здесь потолок, и чуть-чуть мерцающих матовых, будто стеклянных стен. Посреди комнаты плавала круглая белая тарелка, вернее, не плавала, а не-

---

Окончание. Начало см. №№ 11—16.



подвижно висела, как на сеансе эстрадных «чудес». Все это освещалось обычным слегка рассеянным светом, но его источника я не нашел.

— Откуда же свет? — удивился я.— Ты говорил, что изнутри стены совершенно прозрачны.

Зернов засмеялся и словно волшебной палочкой взмахнул: мерцающие стены исчезли, открыв полупьяную ораву галунщиков на только что покинутом нами дворе.

— Какие-то чудеса оптики! — вырвалось у меня.— Ничего не понимаю.

— Оптика-то не наша,— сказал Зернов.

И плац с полицейскими снова исчез за стенами, непрозрачными, как матовое стекло.

— Обойди ее и сядь.— Он указал на висевшую над полом белую, чуть изогнутую тарелку.

Уже не спрашивая, я повиновался.

— Зачем это?

— Ты не рассказывал, как тебя муштровали в зеркальном зальчике после экзаменов,— сказал Зернов.— Фиксировалось твое зеркальное отражение. Что-то вроде голограммы, фотоснимка безлинзовой оптики, с когерентным[1] источником освещения. Здесь, по-видимому, фиксируется не сам объект, а его зеркальное отражение. Твое отражение, например, зафиксированное на пленке, поступило сюда в контрольный механизм центра. Как выглядит этот механизм, каковы принципы его работы, никто не знает. Если объект и отражение не совпадают, ничего не происходит — просто открывается выход на казарменный плац, а в случае совпадения включаются рецепторы. Для чего? Для того, чтобы я или ты могли мысленно назвать нужную им лабораторию, или диспетчерскую, или управление продтрассой, или просто зеркальные стены, чтобы взглянуть на улицу. Меня «память» уже проверила, и рецепторы включились. Их действие ты видел. Теперь твоя очередь. Вызови «лабораторию поля».

Я мысленно повторил за Зерновым: «Лаборатория поля»,— и в мерцающей стене открылась лиловая щель. «Шагай»,— подтолкнул меня Зернов, и, шагнув в знакомую лиловую гущу газа, мы вышли снова на дневной свет, но уже совсем в другой зал, именно зал, а не комнату. Из глубины его, заполненной сверкающими металлическими формами, вышел навстречу человек в белом, совсем земном халате — только белизна его тоже сверкала, как белая крышка рояля, отражая окружающий мир. Издали этот мир казался путаницей безугольных геометрических построений, преимущественно труб, сфер и цилиндров. Но за человеком с той же скоростью двигалась высокая, как цунами, волна лилового газа, в которой гасла и таяла сверкавшая металлом стереометрия. В конце концов газ срезал зал, обратив его в комнату с таким же туманным полом и потолком и такими же стенами. Человек в халате оказался Зерновым-вторым, на этот раз отличавшимся от моего спутника только глянцевым белым халатом.

Мы сели на подплывшие к нам белые тарелки на такой же белой, ничем не поддерживаемой массивной плите, на которой мгновенно материализовалась из воздуха бутылка «Марголя» и три широких коньячных бокала.

— Прежде я считал все эти чудеса в решете техникой земного происхождения,— задумчиво сказал Зернов-второй,— кто-то придумал и сконструировал их до Начала. Кто, мы забыли, а наследством пользуемся понемногу и свое ищем, развиваем, разрабатываем. А теперь, когда вернулась память прошлого, я уже точно знаю, что все это подарок ваших инопланетных гостей. Даже больше — знаю и назначение самого Би-центра.

— Первая ступень контакта,— перебил Зернов-первый.

— Мост к их науке, к их освоению мира.

— Крутой, между прочим, мост. И трудный. Он же построен в четырехмерном пространстве. Нет ни коридоров в обычном смысле этого слова, ни дверей, ни лестниц. То, что их заменяет, длинно, сложно запутано и с земной точки зрения даже бессмысленно. Мы это называем «проходами». Обычно ими никто не пользуется, только когда «телепортация» блокирована.

Мерцающие стены впереди не то раздвинулись, не то растаяли, обнажив черный экран с равномерно вспыхивающей и гаснущей ядовито-желтой надписью по-английски «Дэнджер!» — опасность.

— Люк-мусоропровод,— пошутил Зернов-дубль.— Сюда автоматически сбрасываются радиоактивные осадки, различные излучающие вещества, самовзрывающиеся смеси — словом, все, что уже не нужно, но опасно для жизни,— пояснил он.

— Шагнешь — и конец,— засмеялся я.

— Не шагнете. Это мы называем «видимость», полный переход блокирован.

— Все время?

— Кроме двух часов пополудни, во избежание излишних передвижений. На пешеходные блуждания по «линиям» решаются только энтузиасты. Общаться можно и так.

Мерцающие стены исчезли — их сменила гигантская карта продтрассы и Города, вернее, макет, освещенный невидимым источником света. Отчетливо были видны лесное шоссе, заставы, улицы, дома. Под картой восседал за непривычного вида клавиатурой очкарик в белом халате, примерно моих лет.

— Что нового? — спросил Зернов-дубль.

— Директива продуправления, шеф. Еще два пункта во французском секторе. Маршрут уже уточнен и передан в Зй-центр.

Очкарик и карта растаяли за мерцающей пленкой стены, но моего Зернова не заинтересовали телевизионные фокусы.

— Значит, в твоем распоряжении и входной контроль и нуль-переход? — спросил он.

— Да, механизм настроен на мои биотоки.

— А ты можешь, скажем, снять контроль, сохранив блокаду перехода?

— Зачем?

— Может создаться ситуация, когда нам понадобится свободный вход с ограниченным передвижением внутри.

Зернов-второй понимающе усмехнулся.

— Свободный вход для всех, а блокада против одного?

— Пять с плюсом.

— Но он всегда может воспользоваться пешеходными путями.

— Его можно задержать.

— «Линии» — это лабиринт. Даже я всех не знаю.

— Меня интересует только одна — к управлению выходом из Континуума. Энд-камера. Кстати, для чего она понадобилась?

— Вероятно, ее задумали на случай непредвиденной катастрофы, стихийного бедствия, которое иногда трудно предвидеть даже сверхразуму. Допустим, какого-нибудь обвала или наводнения, когда любой грузовик с продовольствием может оказаться под угрозой гибели. Тогда на время ремонтных работ и предусмотрено действие механизма. А управление им создатели этого мира сочли возможным доверить только главе государства.

— Каким образом? Не состоялась же встреча на высшем уровне?

— Зачем? Бойл просто знает, что он один может нажать кнопку. Знание запрограммировано.

— Значит, он в любую минуту может лишить Город продовольствия? — вмешался я.

— Если захочет — да. Но никто, кроме него и меня, об этом не знает.

— Мы знаем,— загадочно сказал мой Зернов.

[1] Когерентный — движущийся как бы «в ногу» и при отражении резко изменяющийся в амплитуде и фазе.

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО

Никаких случайностей

Я не могу быть историком восстания не потому, что неспособен к историческим обобщениям, а просто потому, что я его не видел. Избранный в Центральный повстанческий штаб, я просидел безвылазно на втором этаже отеля «Омон», ничего не видя, кроме хлопающих дверей, входящих и выходящих людей, табачного дыма и зашторенных окон, просидел до той самой минуты, когда пришла и моя очередь предъявить уже не мундирным патрульным свою пластмассовую красную фишку. Она служила паролем и пропуском, гарантировала безопасность в случае нападения своих и давала право руководства любой повстанческой группой.

Полицейская хунта справляла свой триумфальный день пышно и пьяно. Повсюду развевались расшитые золотом флаги, превращавшие улицы в нечто подобие галунных мундиров. Желтые розы цвели на кустах и на окнах. И пьяны на этот раз были не только полицейские, пьющие без просыпу бог знает какие сутки: специальным указом властей с утра была объявлена бесплатная раздача вина не только в ресторанах, барах и кафетериях, но и в каждой торгующей вином лавчонке, где для этого были сооружены специальные стойки — пей, сколько влезет. И пили. К полудню, по-здешнему к девяти утра, на улицах плясали и горланили, как на ярмарочной попойке, толпы пьяных обывателей.

Меня равно поражали и беспечность хозяев Города, их полная неосведомленность о том, что назревало у них под носом, и продуманная оперативность повстанческого штаба и его якобинских сил: вспоминалось зерновское «с нами или без нас, а они свое дело сделают». И они делали его согласованно, четко и почти безошибочно. Ошибки, конечно, были, но и они уже не смогли ни сдержать, ни ослабить развернувшейся пружины восстания. Она начала раскручиваться сразу же после полудня, чтобы к концу дня, а точнее, к началу полицейского банкета в «Олимпии», все жизненные центры Города и его окрестностей оказались в руках повстанцев. Как это происходило, я узнавал по телефону в бывших апартаментах Этьена в отеле «Омон»: наличие телефона здесь и побудило штаб сделать эти апартаменты центром восстания. Томпсон предлагал мэрию, но «Омон» был тише и малолюднее, а потому и безопаснее.

Я всегда удивлялся парадоксам, которые все время порождала эта искусственно порожденная жизнь. Отсутствие телефонной связи, например, ограниченной какой-нибудь сотней номеров в городе с миллионным населением, стало истинным благом для организаторов восстания, позволившим его засекретить до самой последней минуты. Наличие телефона дало бы возможность любому полицейскому или обывателю-прохвосту предупредить власти о замеченных им каких-нибудь подозрительных, с его точки зрения, явлениях. Но в Городе по телефону общались только члены клуба Состоятельных или полицейская периферия со своим городским руководством. Даже в Майн-сити телефон был только у коменданта и его заместителей в отдельных рудничных секциях.

После полудня все периферийные телефонные пункты были уже в руках повстанцев, а въезды в Город контролировали уже не полицейские, а рабочие патрули в галунных мундирах. Полицейские заставы были захвачены даже не в первые часы, а в первые минуты восстания. Стил по телефону с моей заставы у выхода из Континуума сообщил, что автоматчики Фляша уже снимают полицейские патрули по всей продтрассе. Не имеющие огнестрельного оружия лучники отдельной колонной движутся к Городу. Он интересовался, сколько мы сможем вооружить по прибытии на место.

— Сотню, не больше,— подсказал мне Томпсон.

— Есть же оружие на Центральном складе,— горячился Стил.

— Любая акция в Городе сейчас преждевременна. Все развернется к вечеру. Очищайте окрестности, не спешите.

Томпсон, не спавший всю ночь, устало махнул рукой: пусть дойдут до заставы.

— Вы помните Робин Гуда? — спросил я.

— Нет,— сказал он и зевнул.— Разрешите вздремнуть по-стариковски. Разбудите, если понадобится.

Я остался командовать «парадом». Мартин распоряжался омнибусами в Майн-сити. Фляш объезжал заводы, формируя повстанческие отряды «коммунаров». Хони Бирнс, мой скаковой тренер, тоже член штаба, командовал конниками-связными, поддерживавшими сообщение между очагами восстания. Он сидел внизу за конторной портье и отда-

вал распоряжения входившим и выходившим наездникам.

Оливье аккуратно позвонил в десять.

— Все в наших руках,— начал он без преамбулы.— Обошлось почти без жертв. Несколько десятков убитых и раненых. Зато блок-боссы, информаторы и пытавшиеся сопротивляться охранники уничтожены полностью. Есть и еще кое-что,— лукаво присовокупил Оливье.— Корсон Бойл о тебе уже два раза справлялся, явно чем-то встревоженный.

— Что он мог узнать, когда телефонная станция уже захвачена нами? Где Мартин?

— Командует автоматчиками, выехавшими на омнибусах.

— А Джемс?

— Повел всех, кому не хватило оружия, на соединение с лучниками.

— Успеешь задержать?

— Нет, конечно. А что? — встревожился Оливье.

Но телефон вдруг замолчал, и я грыз ногти, представляя себе, что может произойти, когда несколько сот заключенных ворвутся в Город, требуя оружия, а на улицах гуляет пьяная ярмарка.

Наконец телефон зазвонил опять.

— О'кэй,— сказал знакомый голос.— Мартин докладывает.

— О'кэй, о'кэй,— передразнил я его.— Откуда?

— Из Си-центра. Только что захватили. Пока заправляемся коньяком. Ждем указаний.

— Отставить коньяк! В Городе и так все пьяны. Поставь надежных людей у винных складов! Обезоруживай всех любителей выпивки!

— Есть контакт,— хладнокровно согласился Мартин.— Когда выступаем?

— Жди указаний! — сказал я, собираясь разбудить Томпсона.

Но не успел. Телефон снова потребовал меня к трубке. Потом вторично. Затем еще и еще. Я едва успевал щелкать рычагом. Звонили с въездных — ныне уже наших — застав о задержанных полицаях, спешивших в Город доложить по начальству о происшедшем. С предтрассы сообщали, что колонна лучников, подошедшая к городским окраинам, ожидает у заставы, но отдельным группам все же удалось просочиться в Город. Уведомляли также о полученном приказе комиссара Бойла разыскать и доставить в правление некоего Ано, бывшего коменданта Майн-сити.

Почему разгневался Бойл, я не понимал. Только бы он не предпринял чего-нибудь неожиданного, не предвиденного Штабом. Неучтенную вспышку его гнева, чем бы она ни вызывалась, следовало погасить. Но как?

Мне везло. Помог неизвестно откуда объявившийся Фляш — откуда, я не успел спросить, так краток был наш телефонный разговор. Голос его и тому же звучал глухо, будто издалека, или провод был не в порядке, но все, что мне удалось разобрать, было указание немедленно известить Бойла, что приказ о розыске мне известен, что я не скрываюсь и прибуду в «Олимпию» к началу банкета, который Хунта и не собиралась отменять. Формулировка была наглая, но именно такая и должна была погасить гнев или тревогу Бойла.

Я позвонил в Управление. Мне ответили пьяным голосом:

— Дежурный слушает.

Я слово в слово повторил все сказанное мне Фляшем. Дежурная жаба мгновенно протрезвела и спросила, где меня найти, если ей удастся связаться с комиссаром. Я положил трубку: главное было сделано.

После этого я разбудил Томпсона и рассказал ему о своих разговорах. Его больше всего заинтересовали лучники.

— Что с ними будет?

— Ничего не будет. Или они доберутся до нас, или растворятся в толпе на улицах, благо угощение бесплатное.

— Не знаю,— все еще сомневался Томпсон.— Корсон Бойл дьявольски умен. Он что-то подозревает. Почему он так усиленно вас разыскивает? Почему вы вдруг стали «бывшим»?

— Бойл умен, но и капризен. Я его каприз.

— А если он уже все узнал и мы не дотянем до банкета?

— Будет больше жертв — только и всего. Какие-то группы окажут сопротивление. Но уже сейчас вся периферия и важнейшие опорные пункты в Городе в наших руках. Что остается Бойлу — отречение, самоубийство, бегство? А потом я думаю, что блокада Города отрезала полицейскую клику от информации. Связи нет. В три мы уже замкнем третье кольцо. Кстати, я не совсем понимаю диспозицию. Какая разница между кольцами?

— Первое — это периферия: Майн-сити, предтрасса, железная дорога, омнибусное шоссе. Второе — границы Города: товарная станция, ипподром, Си-центр, въездные заставы. Третье — опорные пункты противника непосредственно в Городе, такие, как Главное управление и Центральный склад оружия в Четырнадцатом блоке, Вычислительный центр, мэрия и телефонная станция. Последние два пункта уже в наших руках. В мэрии сосредоточены группы Фляша, телефонистки на станции работают под нашим контролем. Конечно, можно соединить аппараты и незаметно для контролера. Поэтому третье кольцо особенно настораживает. Противника могут предупредить.

— А если перерезать линию?

— Нет,— не согласился Томпсон.— До последней минуты в основной полицейской цитадели должна быть телефонная связь. На каждый звонок должен ответить дежурный. Наш дежурный. Кстати, почему молчит Борис?

Действительно, почему молчал Борис? Я взял трубку.

— Борис?

— Я.

— Какой из двух — земной или здешний?

Я спрашивал по-русски. В трубке засмеялись. Я выжидающе молчал: даже смех у них был одинаковый.

— А не все ли равно, Юрка, если по делу?

— Старик волнуется.

— У нас по-прежнему. Ждем. Галунщики на плацу и в лабораториях ничего не знают. Передай старику,— продолжал Зернов,— что через несколько минут снимаем зеркальный контроль и блокаду коридоров. Блокируется нуль-переход.

Я тотчас же передал это Томпсону.

— Зачем? — спросил Фляш.— Все уже кончено.

Атомная пыль

Он стоял в дверях без шапки, с какими-то щепками в волосах, с красными от бессонных ночей глазами и землистым цветом лица — измотанный ночной сменой рабочий. Из-за спины его выглядывал Джемс, уже сменивший лагерную куртку на ковбойку «дикого».

— На плацу в Би-центре уже наши, а внутрь никто не полезет,— устало сказал Фляш.— «Олимпия» окружена и захвачена — я уже к началу банкета перебросил туда автоматчиков Мартина из Си-центра. Небоскреб в Четырнадцатом блоке еще обороняется. Галунщики отступают с этажа на этаж. Всех пьяных с улиц сгоняем на ипподром. Охранны патрулируются лучниками.

Вот и все, подумал я. И так ли уж много стоила наша помощь, когда восстание подготовлялось давно, планомерно и организованно. Полицейский режим не имел опоры в народе, не преодолел экономических затруднений и недооценил растущей мощи Сопротивления. Оно могло теперь обойтись и без нас, если только... Тревожная мысль сорвала меня с места.

— А где Бойл?

— Арестован вместе со своими сообщниками. Должно быть, сидит под охраной в правительственной ложе «Олимпии»,— как мне показалось, даже равнодушно произнес Фляш.

— А кто видел его под охраной?

Фляш и Джемс переглянулись — не видели. Фляш проговорил успокаивающе:

— Да ты не волнуйся. Все входы и выходы охраняются. Командует Мартин.

Не знают они Корсона Бойла. И Мартин его недооценивает, все еще считает щеголеватым сержантом из Сэнд-сити. А ведь может произойти непоправимая ошибка. Даже не высказав вслух того, что думал, я молча бросился к выходу. И чуть не сбил с ног Дьячука, спешившего мне навстречу. Должно быть, из «Олимпии», но в каком виде! Лицо в крови, смокинг порван.

— Лопнула вилка у велосипеда,— не проговорил — прохрипел он.— Бойл бежал.

То, о чем я даже боялся подумать, произошло. У меня перехватило горло. А Тольке продолжал, задыхаясь:

— В ложе был запасный выход. Мартин не знал. Я, оттолкнув Тольку, побежал мимо Хони, сидевшего за конторкой портье. Он все слышал.

— Лошадей бери в палисаднике. Все оседланы.

Я даже не обратил внимания на то, что Дьячук не отставал от меня, что костюм его не подходил для скачки и что оружия у него не было. Впрочем, как оказалось, я ошибся: пистолет у него был, но где он достал его, я так и не спросил: боролся за секунды. Я ведь знал, где искать Бойла.

Улицы промелькнули перед нами, как в тумане. Иногда вслед стреляли, но, к счастью, мимо. А на плац Би-центра рабочий патруль пропустил нас, едва я помахал в воздухе красной фишкой.

Контрольный зал был открыт. Но поверхности его уже не мерцали, а матово ровно поблескивали. Не то замутненное стекло, не то металл. Посреди зияла фиолетовая щель, знакомый вход в неведомое. Может быть, все-таки работает нуль-переход?

— Лаборатория поля,— громко назвал я.

Никто не ответил. И ничто не изменилось вокруг. Тогда мы ринулись сквозь фиолетовую щель. Вспомнились приключения в Континууме. Что-то будет?

Ничего удивительного. Из лиловой дымки мы выскочили в такой же бесцветный матовый коридор, светлый, но без видимых источников света. И без углов, как внутренность трубы большого диаметра и непонятного протяжения. Непонятного потому, что труба загибалась то вправо, то влево, то скручивалась винтом, то завивалась кольцами, словно мы шли внутри сброшенной шкуры гигантского питона в далекие третичные времена.

Внезапно она расширилась, но уже не призрачно, а вполне натурально в замкнутый лабораторный зал с бегущими кривыми по стекловидным экранам и пультом управления, за которым полицейский в белом халате пристально рассматривал отрезок прозрачной перфорированной ленты. Услышав нас, он поднял голову и долго-долго удивленно моргал, прежде чем спросить:

— Откуда вы? Переход блокирован.

Я объяснил.

— Придется ножками, как пришли,— засмеялся он.— Шагайте прямо в эту лиловую дырку. Пол строится — не упадите. На световом табло выжмите «двойку». Там все пять, начиная с единицы.

— Этажи? — спросил я.

— Нет, плоскости. Лаборатория Зернова на второй плоскости.

Мы не долго думая последовали его совету. Но что отличало плоскости от этажей, не понял ни я, ни Толька.

Вдруг движение наше изменило направление. Мы устремились вниз, как на лифте. Я своевременно выжал «двойку» на световом табло, но ничего не произошло, пол скользил, мы двигались по-прежнему в призрачном мире незнакомой и непонятной техники.

— Падаем? — крикнул я.

— Поднимаемся,— сказал Толька.

— С ума сошел,— я недоуменно осекся,— а ведь верно, поднимаемся.

Толька отрицательно мотнул головой.

— Теперь падаем.

Мы по-разному воспринимали движение. Почему, не знаю. Может быть, мой вестибулярный аппарат иначе устроен? Но размышлять было некогда. Нас швырнуло в лабораторный зал навстречу Зернову. И зал был не призрачный, а реальный, и Зернов тоже. Он подхватил меня под руку, кивнул Тольке и повел нас мимо огромных выпуклых экранов, похожих на телевизорные.

— Скорей! — рванул меня Зернов.

— Он здесь. Ты его видел? — спросил я.

— Не очень ясно, но, по-видимому, это он. Мне показалось, что он прошел над нами.

— Где?

— В третьей плоскости. Так мы его не догоним. Видишь, труба разветвляется?

Разветвления я не увидел, только в лиловом тумане змеились белые и желтые струи, тончайшие, будто лазерные световые пучки.

— Как в Континууме,— сказал я.

— Нет,— отмахнулся Зернов,— там химический синтез, здесь просто индикаторы.

Действительно, белые и желтые нити повернули в разные стороны, как бы приглашая нас последовать по тому или иному пути.

— Желтый — кратчайший,— сказал Зернов,— но он приводит к автосбрасывателю. Помнишь экран с надписью по-английски: «Опасность!»? Это тупик, дальше нуль-переход, но он блокирован. У Бойла только один ход — назад!

— А если он выберет белый?

— Белый длиннее, мы его где-нибудь перехватим. Но может выбрать и желтый: карты у него нет. Думаю, все же нам следует разделиться.

— Возьми с собой Толю: у него пистолет.

С кровавой ссадиной на щеке, с оторванной полой смокинга и пистолетом в руках Толька походил на гангстера из американского фильма. Но Зернову было не до смеха, он подхватил Тольну под руку и скрылся с ним в лиловом тумане.

А я, оставшись один, тоже не раздумывая, побежал, стараясь не отклоняться от желтых струй. Та же труба, те же путаные, непонятные повороты. Мне показалось вдруг, что я взбираюсь по винтовой лестнице, догоняя мельнающего наверху человека. Я ускорил шаг, но тень впереди даже не обернулась: в этом ракурсе, вероятно, я был невидим. Внезапно она исчезла. Куда? Я тотчас же понял это, когда меня швырнуло в замкнутое пространство с черно-желтым экраном. Знакомые буквы английской надписи вспыхивали и угасали:

«ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ!»

Человек впереди меня замер: он знал это место и шагнул назад.

— Бойл! — позвал я.

От изумления он даже растерялся, чего с ним никогда не случалось. Любопытно, что ни он, ни я не схватились за оружие — это произошло позже,— а сейчас мысль об этом никому из нас не пришла в голову. И первые наши слова только обнаружили обоюдную неловкость.

— Я тебя искал,— почему-то сказал Бойл.

— Зачем? — Мне было совершенно неинтересно, зачем, но я спросил, а он ответил:

— Потому что ты изменил. Раньше я только догадывался. Теперь знаю.

Ну и пусть знает! Не все ли равно? Мы с ним явно не о том говорили.

— Вы не пройдете, Бойл,— сказал я.

— Через тебя, мой милый.

Я положил пальцы на спусковой крючок автомата. Он тоже.

— Собираешься убить? — вдруг засмеялся Бойл.— Не хватит пороху.

— Бросьте автомат.

— Лучше оглянись назад. Мы не одни.

— Старый трюк. Не двигайтесь, выстрелю.

— Я первым.

— Сомневаюсь,— сказал голос рядом, знакомый голос. Но я даже не повернул головы, не спуская глаз с руки Бойла, лежавшей на спусковом крючке. А у него почему-то задрожали губы, отвисла челюсть, и разжавшиеся пальцы выпустили автомат, бесшумно коснувшийся пола. Я понял, почему так неслышны были наши шаги: пол или, вернее, плоскость под ногами поглощала все звуки.

— Вы были правы, комиссар, мы не одни,— сказал Голос.

Я взглянул и увидел свое повторение с автоматом, так же прижатым к бедру. Анохин-бис в таком же полицейском мундире стоял в двух шагах от меня. Бойлу, вероятно, показалось, что я раздвоился. Он закрыл лицо руками и снова отнял их.

— Неужели схожу с ума? — прошептал он.

— Вы кончите иначе,— сказал мой двойник,— отступайте спокойно, не оглядываясь. Вот так.

Бойл, как загипнотизированный, попятился назад, не отводя глаз от моего двойника.

— Еще,— приказал тот.

Бойл сделал еще шаг и исчез, словно провалился сквозь землю.

— Только не в землю, а в люк,— сказал мой спаситель.— Видишь, и экран погас.

Экран действительно сплошь почернел, как аспидная доска. Ядовито-желтая надпись, предупреждавшая об опасности, исчезла.

— А он? — вырвалось у меня.

— Его уже нет,— сказал Анохин-второй.— Еще секунду назад это был сгусток атомной пыли. А сейчас и она рассеялась.

Возвращение

— Не очень научно,— съязвил я.

— Приблизительно,— сказал он миролюбиво,— мы ведь не физики.

— Я думал, ты здесь кое-чему научился.

— А я не помню, чему я здесь научился. Я уже говорил тебе: не помню,— повторил он.— Сейчас я — это ты со всем объемом накопленной тобой информации. Я выиграл сначку в гандикапе, я поступил в полицию, я был комендантом Майн-сити и сидел у телефона в повстанческом штабе. А что я делал в действительности, не знаю.

— Вернешься в Город,— узнаешь.— Мне захотелось сказать ему что-нибудь приятное, но я никак не мог найти ни подходящего тона, ни подходящих слов.

— Спасибо,— сказал он, сразу прочитав мои мысли.— Вероятно, я не сделал здесь столь блестящей карьеры.

— Моя могла бы сейчас окончиться, если бы не ты. Всегда приходишь вовремя.

— Только для того, чтобы увеличить объем вос-

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

Со стр. 21.

принятой через тебя информации. Кроме того, вас хотят сохранить. Вероятно, твоя дуэль с Монжюссо, спроектированная режиссером Каррези, тоже чему-то их научила. Поэтому я и знал, чем в действительности окончится твоя последняя встреча с Бойлом. А теперь их рецепторы снимут с меня твою память и вернут мою.

— Зачем «облакам» моя дилетантская память, когда у них есть второй Зернов?

— Вероятно, мощность рецепторов ограниченна. Один канал связи, и этот канал — ты. Или я,— засмеялся он и добавил: — А сейчас этот канал придет в действие.

— Как?

— Я исчезну, а вы все вернетесь домой, на дачу. Помнишь лужайку в лесу, где вы очутились после дачного ужина?

— Допустим,— сказал я.

— Оглянись.

Я оглянулся. Вместо фиолетовой дымки, замыкающей последнее запомнившееся мне пространство Ви-центра, я увидел поваленное дерево, на котором сидели Зернов и Тольма, и лесную чащобу с белесыми пятнами просвечивающего неба. Мартин стоял рядом со мной, растерянно озираясь. Должно быть, дождь прошел: было тепло и влажно. И упоительно пахло густым настоем из липы, каштана и молодой хвои.

Я усмехнулся Зернову.

— Так вы и очутились здесь, его не встретив?

— А ты встретил?

— У автосбрасывателя.

— Он сопротивлялся? — с жадным любопытством перебил Тольма.

— Не успел, в последний момент появился третий. Как всегда, вовремя.

Зернов сразу все понял.

— Где же Бойл?

— Где-то вместе с радиоактивными осадками. В сгустке атомной пыли.

— А я переживал,— сказал Мартин.— Ведь это я его упустил. В штаб, как на казнь, ехал. Но даже в холл не успел войти, как здесь очутился.— Он недоуменно оглянулся.— Где это мы, мальчики?

— На последней станции перед возвращением домой,— вздохнул я. Мне почему-то было грустно.

— Это он сказал? — спросил Зернов. Я-то знал, кого он подразумевает.

— Сейчас они воспринимают всю накопленную нами информацию. Вероятно, через несколько минут мы будем дома. Последняя нить контакта, замыкающая эпилог некоей комедии ошибок.

— Чьих ошибок? — спросил Мартин: он все еще думал о своем промахе.

— Нет, Мартин. Там все безошибочно. Люди хотели жить по-человечески и добились этого. Я говорю о розовых «облаках». Благие намерения их несомненны, так же как и ограниченность мышления. Они действовали сообразно своим представлениям о жизни. Но это качественно иная жизнь. Она не смогла или не сумела понять это качественное различие, отделить гипотезу от фактов, строить ее на основании фактов, а не подгонять факты под основание. Они создали разумный человеческий мир по виденным ими земным образцам, но не поняли несправедливости воспроизведенных классовых отношений. Они создали деньги, как атрибуты земного быта, но истинной их роли не поняли. Два их великих деяния — Континуум и Вычислительный центр, как два сказочных чуда — скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. В социалистическом обществе такая скатерть-самобранка накормила бы миллионы миллионов, а сапоги-скороходы в два шага сократили бы расстояние, отделяющее один научный уровень от другого. Но великое благо стало великой бедой. Скатерть-самобранка обогатила одних и поработила других, а подкованные свинцом сапоги-скороходы задержали научный прогресс: столпам здешнего общества он был не нужен. Быть может, то, что я говорю, не совсем понятно качественно иной форме сознания, но ошибки очевидны, и корень их именно в непонимании человеческой природы, человеческого мышления и человеческих отношений. И еще: одна цивилизация лишь тогда превосходит другую, когда превосходит ее не только технически, но и духовно. А духовного превосходства я, честно говоря, и не вижу. Совершить более чем евангелическое чудо, мгновенно насытить не тысячи, а сотни тысяч людей и лишить эти сотни тысяч их земной памяти, огромного духовного богатства, накопленного за тысячелетия человечеством,— это проявление не духовного превосходства, а духовной узости. Что делать дальше...— Зернов оборвал речь и задумался, а я услышал:

— Я знаю рецепт. Ты говорил о нем еще в Континууме. Но так ли должен развиваться эксперимент?

— Ты уже заговорил их языком. Эксперимент! Мы не морские свинки.

— Я уже не ты. Я канал связи. Как ты сказал: замыкающий контакт ?

— Ты все слышал?

— Через тебя. Можешь не пересказывать. Ваш рецепт — невмешательство в эволюцию.

— В революцию.

— Называй, как хочешь. Пусть Зернов определит дальнейшие формы эксперимента.

— Что он хочет? — спросил Зернов.

— Ты догадался?

— Нетрудно. Отсутствующий вид, и губы шевелятся. Уже был опыт.

— Они хотят, чтобы ты высказал свое мнение о дальнейшем развитии эксперимента.

— Прежде всего не называть это экспериментом. Исключить это понятие из отношений обеих форм жизни. Никаких экспериментов! Создание — пусть не земным, не эволюционным путем — высшей стадии белковой жизни не отменяет дальнейшей ее эволюции. И никакого вмешательства! Любое вмешательство извне будет ее тормозом или гибелью. Люди этого мира сами найдут разумный путь к счастью. Может быть, «облакам» непонятно слово «счастье». Назовем его оптимальным вариантом благоденствия. Не совсем точно, но «облакам» будет понятно. Так вот, этот оптимальный вариант теперь найдут сами люди. Начало уже положено. Они же сумеют наиболее целесообразно использовать и два подаренных им сказочных чуда. Спроси своего двойника, помнит ли он заключительные слова писателя на Парижском конгрессе о встрече двух цивилизаций, взаимно обогащенных духовными и техническими контактами.

— Можешь не спрашивать,— услышал я голос своего собеседника,— хочешь, повторю?

— Не надо. А ты хотел бы сохранить свою земную память?

— Конечно. Я бы и знал больше и мыслил шире.

— И тебе бы не мешало мое существование?

— Где-то в другом мире? Абсурд. И я бы изменился, и похожесть бы наша в чем-то исчезла.

— Мне ты тоже не мешаешь. Мне даже приятно, что ты есть.

— Долго ты шептать будешь?! — взорвался Мартин.— Пошли его к черту. Хотят нас возвращать — пусть возвращают. И так три месяца потеряли. Я уже безработный в Штатах.

Я услышал тихий смех. Его смех.

— Скажи Мартину, что три месяца легко могут превратиться в три часа.

— Что-то загадочно.

— Узнаешь, когда очутишься у себя на веранде. Кстати, не выходи на улицу.

— Почему?

— А погляди на себя...

Я поглядел. На мне был серый мундир, расшитый где только можно золотым галуном. В таком же мундире был и Мартин, переодевавшийся для операции в Си-центре и ресторане «Олимпия». Зернов в белом халате напоминал парикмахера, а Толька в рваном смокинге и галстуке черной бабочкой смахивал на официанта из гостиницы.

— Что разглядываешь? — обиделся он.

— Любуюсь, в каком одеянии мы вернемся на Землю.

Все посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Особенно ты хорош,— сказал Зернов.— Совсем швейцар из «Националя».

— А ты? Постричь? Под бокс или полечной?

— И я в мундире,— растерялся Мартин.— И переодеться не сможем. Может, куртку выбросить, а галун со штанов спороть?

— Не надо,— услышал я опять,— возьмите с собой как сувениры. Поездка не повторится.

— Значит, расстаемся?

— Увы!

— И больше не встретимся?

— Кто знает? Может быть, встретятся твои внуки и мои правнуки. Здесь время течет иначе, чем на Земле.

— Что ж, прощай. Может быть, это и к лучшему. Чудеса должен творить сам человек, а не мучиться над их объяснениями.

— Все, что теоретически возможно, обязательно будет осуществлено на практике, как бы ни были велики технические трудности. Это Кларк. Вместе читали.

— Должно быть. И Уэллса тоже. У меня сейчас на душе так же горько, как у мистера Барнстепла перед возвращением его из Утопии.

— А помнишь, о чем его попросили? Положить цветок на дорогу, где проходил стык двух миров.

— Я положу ветку.

— Нет, книжки. У тебя есть на даче какие-нибудь справочники, учебники?

— Что-то, помнится, есть.

— Положи их стопочкой в центре стола. Мне они пригодятся, даже если вернется память. А если нет, я переведу их для моих соотечественников. Пусть просвещаются.— Голос его постепенно слабел, как будто он уходил по дороге.— Приготовься. Будет шок. Да не пугайся: коротенький.

— Приготовьтесь. Возвращаемся,— повторил я вслух и провалился в бездонный черный колодец.

Снова на даче

Шок был действительно пустяковый. Я не почувствовал ни тошноты, ни головокружения, ни слабости. Просто открыл глаза навстречу свету. То был предсумеречный июньский свет, когда солнце еще не опустилось за горизонт и золотым шаром висело над рощицей.

Я сказал «рощицей», потому что галльский лес исчез. Мы сидели на той же дачной веранде, где ничто не изменилось с тех пор, как мы ее вынужденно покинули. Стояла все та же недопитая бутылка виски, привезенная Мартином из Бруклина, а на тарелках по-прежнему теснилась всякая всячина — недоеденные шпроты, консервированная курица и крутые яйца — все, что может извлечь из холодильника одинокий муж, временно оказавшийся на холостяцком положении.

Первым обратил на это внимание Толька Дьячук.

— Может, кто другой ужинал? — предположил он.— Жена-то, небось, вернулась.

— Ирина! — позвал я.

Никто не откликнулся.

— Который час? — вдруг спросил Зернов.

Мы с Мартином почти одновременно отликнулись, взглянув на ручные часы:

— Четверть пятого.

— Ведь это их часы,— сказал Толька,— девятичасовые.

Я оглянулся на тикавшие позади ходики. Они шли, как и до нашего исчезновения с веранды, и часовая стрелка на них ползла к девяти.

— Сколько показывали наши, когда мы очутились в лесу? Кто помнит? — снова спросил Зернов.

— Шесть, кажется.

— Значит, прошло всего три часа.

Все снова переглянулись: известное мне для них было новой тайной. А я вдруг вспомнил о просьбе моего аналога, последней прощальной просьбе его, и вопрос о времени утратил для меня интерес. Я молча вскочил и бросился в комнаты к этажерке с книгами. Их было немного — случайно или намеренно захваченные при переезде сюда из московской квартиры. Кое-что было у Ирины: она вела здесь какой-то кружок. Я нашел учебник политэкономии, философский словарь, «Государство и революцию» — драгоценность для каждого, если только Юрка сумеет перевести Ленина, однотомную энциклопедию — незаменимое пособие для возвращения памяти — и даже справочник кинолюбителя с подробными чертежами популярных съемочных и проекционных камер,— может быть, Анохин-бис завоюет репутацию братьев Люмьер: в лаборатории Би-центра ему в два счета сконструируют и камеру и проектор.

С такими мыслями я выложил стопочку захваченных с этажерки книг в центре стола, сопровождаемый недоуменными взглядами и без того недоумевающих спутников.

— Это зачем? — не выдержал Толька.

— Кто читал «Люди как боги» Уэллса?

Зернов читал.

— Помнишь цветок, который положил Барнстепл на стык двух миров? Вместо цветка я кладу книги.

— А ты уверен, что это стык?

Я объяснил.

— Дракула. Вонд. Фантомас. Чушь зеленая! — взъярился Толька.— Мы уже на Земле. Чудеса кончились. Вы лучше мне втолкуйте, как это три месяца превратились вдруг в три часа? Я что-то сомневаюсь, хотя хлеб я и сам надкусил. А он свежий, ни чуточки не зачерствел.

Зернов что-то чертил на листке из блокнота.

— Твоя гипотеза, Юрик, кажется единственно верной,— сказал он.— Спиральное время. Смотри.— Он показал нам вычерченную спираль, похожую на пружину: витки ее почти касались друг друга.— А вот это — наше пространство-время.— Он провел касательную к виткам спирали.— Геометрически это движущаяся точка, каждый виток спирали касается ее через определенный промежуток времени, допустим, через час. А каждый оборот витка — месяц. Вот вам и вся арифметика: три часа — три месяца.

Я вспомнил свой разговор с «дублем» в Континууме.

— По этой арифметике их десять лет — это наши пять суток. А у нас три года прошло. Не получается.

— Предположим иную спираль. Скажем, конусообразную. Чередование конусов. Основание одного переходит в основание другого, стыкующегося вершиной с третьим. И так далее без конца.

— Значит, крупные витки — это их годы, может быть, столетия, а у нас часы. Мелкие витки — их часы, а у нас — минуты. На стыках вершин время течет одинаково. Так?

— Можно предположить и такую возможность.

— Только как же ты проведешь касательную?

Так сбить можно было первоклассника, но не Бориса Аркадьевича.

— А если касательная зигзагообразна,— мгновенно нашелся он,— или образует синусоид? Можно допустить даже топологическую поверхность касания,— мы видели такие допущения в архитектуре Би-центра...

— А сюда нас перебросили тоже по законам топологии? Может быть, объясните простому смертному этот транспортный вариант? — спросил я.

— Топология, друзья,— Зернов перешел на английский специально для Мартина,— это область геометрии, рассматривающая свойства различных пространств в их взаимных сочетаниях. Это могут быть свойства и деформируемых геометрических фигур, вроде архитектуры Би-центра, и взаимно связанных космических пространств, если их рассматривать как геометрические фигуры. Рассуждая топологически, можно предположить, что от покинутой нами Земли-бис нас отделяют не парсеки, а только «связки», создающие своеобразную поверхность касания. Вероятно, такая поверхность включает весь земной шар с его биосферой, а уж точно на карте можно выбрать любую,— твоей даче попросту повезло: она собрала всех нас.

— А как они узнали об этом? — хмыкнул Толька.— Опять телепатия? Через второго Анохина?

— А как они нашли нас в Париже? Как наблюдали за нами во время опытов? И как вообще они творили свои божеские дела, повергая в смущение всех служителей господа бога на земном шаре? Загадка, Толя, не для наших умишек. Кстати, чего хочет от нас этот человек у калитки?

Я спустился в сад и узнал почтальона. Он держал запечатанную телеграмму, но почему-то не отдавал ее. Великое изумление читалось на его лице.

— Десять минут назад проходил, смотрел, кричал — никого у вас не было. Обратно по той стороне шел. Остановился у соседнего забора, глянул и вам — опять никого. Ну, передал заказное, расписались. Минуты не прошло. А у вас на террасе полный парад. Ни машин, ни людей кругом не было. Со станции не время — поездов сейчас нет. Откуда же вы взялись? С неба, что ли?

— Съемку ведем,— мрачно придумал я: не рассказывать же ему обо всем,— видишь, мундир на мне? А отсвет зеркал создает невидимость.

— А где ж аппарат? — все еще сомневался он.

— Скрытой камерой снимаем,— отрезал я.

Ирина телеграфировала, что возвращается из командировки вместе с академиком.

— Ну что? — хором спросили меня на веранде.

— Приезжают.

Но поджидавших меня интересовало другое.

— Что ты сказал этому типу?

— Соврал что-то.

— Вот и придется врать,— угрюмо заметил Толька.— Кто ж поверит? Липа.

— В газету, пожалуй, дать можно,— задумался Мартин, думал он, конечно, об американской газете и оценивал перспективы возможной сенсации.— Возьмут и напечатают. А поверить — нет, не поверят.

Говорили мы трое, Зернов молчал.

— А все-таки жаль было расставаться с этой планеткой,— вдруг произнес он с совсем не свойственной ему лирически грустной ноткой.— С такими перспективами, как в Би-центре, они...

— Нефти у них нет,— заметил Мартин.

— И кино,— сказал я.

— Кино — чепуха. С безлинзовой оптикой они создадут нечто более совершенное. И нефть найдут. Сейчас у них начинается эпоха открытий. Время Колумбов и Резерфордов.

— А я бы совсем там остался,— сказал Толька,— Лишь бы не песни петь.

Он рассчитывал на поддержку Зернова, но именно Зернов его и добил.

— Нет, Толя. Долго бы вы там не прожили. Ни вы, ни мы. Не такого мы рода-племени.

— Что вы меня разыгрываете, Борис Аркадьевич,— обиделся Толька.— Три месяца с ними прожили. Что мы, что они. Такие же люди.

— Не такие, Толя. Другие. Я уже говорил как-то, что, моделируя высшую форму белковой жизни, эти так и не разгаданные нами экспериментаторы, грубо говоря, подправляли природу, генетический код. Выделяли главное в человеке, его духовную сущность, остальное отсеивали. Но потом мне пришла в голову мысль, что они вносили поправки даже в анатомию и физиологию человека. Однажды я наблюдал, как брился Томпсон. Брился, как в парикмахерской, опасной бритвой. Брился и порезался, да так, что кровь полщеки залила. Спрашиваю: «Йод есть?» А он: «Зачем?» Вытер кровь полотенцем, и конец — никакого кровотечения. Мгновенная сворачиваемость крови. Я удивился. «Только у вас?» — говорю. «Почему у меня? У всех. У нас даже тяжелые раны почти не кровоточат». Их багровый газ, как первичная материя жизни, вероятно, таит в себе какие-то возможности самообновления организма или задерживает старческое перерождение тканей. И еще: я говорил с детским врачом. У них нет специфически детских болезней. Он даже не знал, что такое корь или скарлатина. Только простудные формы, последствия переохлаждения организма или желудочные заболевания — питаются ведь там хоть и моделированными, но земными продуктами — вот и весь объем тамошней терапии. Возможно, что и рак побежден — проникнув в тайны живой клетки, не так уж трудно устранить злокачественные изменения, но гадать не буду: не узнал. А может быть, у них вообще другой сорт молекул.

— Хватил,— сказал я.

— Ничуть. Человек больше чем на две трети состоит из воды. А недавно в одной из наших лабораторий как раз и обнаружили воду с другим молекулярным составом. При низких температурах не замерзает, а в обычной воде не растворяется. Вода и вода. Человек и Человек. Химический состав один, а физика разная. Так что, Толя, ни я, ни вы рядом с ними не выживем.

— А книги! — вдруг вспомнил Мартин.

Книг на столе уже не было. И никто не видал даже тени протянувшейся из другого мира руки.

— Я что-то заметил,— неуверенно продолжал Мартин,— словно облачко поднялось над столом. Совсем-совсем прозрачное,— клочок тумана или водяной пыли. А может быть, мне это показалось.

Тоскливое молчание связало нас. Так Робинзон Крузо уже на спасшем его паруснике прощался с оставленным островом. Говорить ему, как и нам, не хотелось. Что-то ушло из жизни. И навсегда.

— Не поверят нам,— опять забубнил Толька.— Ни одного доказательства.

— А наши мундиры с Мартином? — сказал я.

— Мундир можно сшить.

— А девятичасовые часы?

— Часы можно подделать.

Он был прав. Никто не поверит. Расскажи я на студии — только хохот подымется.

— Может, ученые поверят,— не унимался Толька, обращаясь уже к Зернову.

— Ученые, Толя,— самый недоверчивый народ в мире. Когда приезжает академик? — спросил он.

— Через два дня. Думаешь, он поверит?

— Мало, чтоб он поверил. Надо, чтоб он убедил поверить других.

— Сложно без доказательств.

Зернов ответил не сразу, только чуть-чуть скривились губы в усмешке. Но на этот раз в ней не было грусти, скорее мечтательная уверенность, какая теплится иногда в душе ученого, вопреки всему вдруг поверившего мелькнувшей догадке.

— Без доказательств? — повторил он.— А мне вот почему-то кажется, что доказательства у нас будут. Не сегодня, не завтра, но однажды мы их предъявим миру.

— «Облака» позаботятся?

— Кто знает? — сказал он просто.— А пока будем работать, как работали: Толя — предсказывать погоду, Мартин — выуживать сенсации в своем заокеанском Вавилоне, я — полегоньку доучиваться на физика, ну, а ты...— он хитренько прищурился, прежде чем закончить,— ты продиктуешь Ирине роман о нашем путешествии в рай без памяти. Главное, даже выдумывать ничего не придется: правда будет невероятней всякой выдумки. Но для начала назовем его фантастическим.

Я так и сделал.

Конец

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ.

ВРЕМЯ ПРОТИВ ВРЕМЕНИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1967 году в журнале «Смена» был опубликован роман Александра и Сергея Абрамовых «Всадники ниоткуда». В нем рассказывалось о том, как на Земле появились представители чужой, возможно, внегалактической цивилизации — «розовые облака». Они не вступают в контакт с человечеством, а только изучают земную жизнь, неизвестно для каких целей моделируют заводы, машины и механизмы, даже целые города с тысячным населением. Героям романа удается связаться с ними, понять, что их появление — только первая ступень контакта.

В 1968 году «Смена» печатает роман «Рай без памяти», являющийся продолжением «Всадников ниоткуда». Действие происходит уже на другой планете, где-то в глубинах галактики, где «облака» создали модель земной жизни. Но мир этот с первых шагов был обеднен, обкраден и обездолен. Он не только лишен накопленного памятью человека, но и всех сокровищ земной культуры, которые могли бы напомнить ему о прошлом.

«Облака», или, иначе говоря, неведомые нам галактисты, смоделировав Город без имени, взяли образцом Париж, городок на юго-западе США Сэнд-сити и уголок провинциальной Франции Сен-Дизье. Поддерживающие жизнь в Городе центры захватила полицейская клика «галунщиков», подавившая жизнь и свободу народа. Во главе ее стоял некий Корсон Бойл. Понимая, что опыт создания модели человеческого общества в общем-то не удался, галактисты призвали людей, с которыми свела их судьба еще на Земле — журналиста Юрия Анозина, бывшего американского летчика Дональда Мартина и их друзей, — помочь разобраться, что же происходит в этом, казалось бы, всем обеспеченном «раю без памяти». Героям удалось связаться с борцами Сопротивления полицейской диктатуре, участвовать в ее свержении и вернуться на Землю, посоветовав создателям этого мира не вмешиваться в рожденную ими жизнь, предоставив ее течение естественным законам человеческого развития. Но как изменилась эта жизнь, предоставленная самой себе, куда и к чему пришли участники Сопротивления, читателям остается неизвестно.

Роман «Время против времени» рассказывает о вторичном посещении этого созданного где-то во Вселенной человеческого мира. Но время здесь и на Земле течет по-разному: пока на Земле проходят часы, здесь сменяются годы. На Земле не прошло и года, а в «раю без памяти» время отсчитало уже полстолетия. О том, что же изменилось в городе, как сложилась его жизнь и как участвуют в ней наши герои, и повествует «Время против времени» — последняя книга трилогии Александра и Сергея Абрамовых.

Отец и сын Абрамовы — авторы многих научно-фантастических романов, повестей и рассказов, созданных вместе и порознь, заслуженно снискавших читательскую популярность. Александр Абрамов пришел в литературу еще в 20-е годы, и первой его работой была именно фантастическая повесть — «Гибель шахмат». Он вновь вернулся к фантастике спустя десятилетия, но уже вместе с сыном, для которого их совместная повесть — «Хождение за три мира» (изд-во «Детская литература», 1966 г.) — стала дебютом в литературе. Перу Сергея Абрамова принадлежат также военно-патриотические повести «Опознай живого», «Время его учеников», «В лесу прифронтовом», «Проводы». Он председатель комиссии по научно-фантастической, детективной и приключенческой литературе при правлении Союза писателей РСФСР.

Глава I

СИЛЬВЕРВИЛЛЬ

За несколько дней до нашего автомобильного путешествия вместе с приехавшим в гости Дональдом Мартином я получил из Ленинграда письмо от Зернова, в котором он горько сожалел, что не может оставить работу в научно-исследовательском институте, куда он только недавно перебрался из Москвы, и принять участие в нашей совместной поездке к Черному морю.

Выехали с Доном из Москвы, и уже через сутки спираль Симферопольского шоссе среди бледно-зеленых виноградников вынесла нас к морю. Сверху оно темно-синее, как в цветном телевизоре, — берлинская лазурь, размытая до горизонта чуть влажной кистью. Церковь, только что висевшая над нами, прилепившись к скале, вдруг оказывается наверху, отороченная кустарником, растущим прямо из пропасти. Под колесами привычный асфальт — такой же, как на Минском шоссе.

— Остановимся? — предлагаю я сидящему рядом Мартину, заметив крохотный уголок лужайки между парой приютивших ее разлапистых крымских сосен.

Мартин, все еще критически относящийся ко мне, как к водителю, охотно соглашается, и, оставив «Жигули», мы располагаемся тут же, на залитенной траве, у откоса дороги. Боржоми, лимонный сок и термос со льдом дополняются упакованными в целлофан бутербродами.

— Красота! — говорит Мартин, оглядываясь.

Я бросаю взгляд вниз, да так и застываю с открытым ртом. У Мартина выпучены глаза, словно он увидел чудо. Чудо и есть. Мы видим не зеленые террасы виноградников, не асфальтовый серпантин дороги, не далекую синеву моря. Плоский песчаный берег. Вздутые дюны, поросшие невысокими корявым кустарником.

— Альгарробо, — говорит Мартин. — Так его называют в Перу.

— Мы не в Перу.

— А это Крым, по-твоему?

Я оглядываюсь долго, долго. Нет, не Крым. Крымские пляжи — галька. А здесь песок. Крупнозернистый и красный. Евпатория? Не похоже. Справа горы, только низкие и волнистые, вроде севастопольских нагорий. Однако и Севастополем здесь не пахнет. Город виден слева у берега, издали напоминающий мазню абстракционистов. Черно-белые мазки невысоких строений. Рыжие плеши. Позади холмы, не то спиленные, не то изрезанные. Ни одного высотного здания, ни одной башенки.

— Я одного боюсь, Юри, — говорит Мартин. — Очень, очень боюсь.

Я догадываюсь, но все же спрашиваю:

— Чего?

— Мы опять там, Юри.

— Где?

— Зря спрашиваешь.

— Не тот город, — говорю я. — И море неизвестно откуда.

— Город, может быть, и другой. Ведь Река куда-то впадала? В море, наверно. Вот у моря и построили, — Мартин по-прежнему задумчив и хладнокровен. — И машины твоей, кстати, нет.

Машины действительно нет. Ни близко, ни далеко. Мы сидим, поджав ноги, на голой песчаной пустоши. Даже следов завтрака не осталось.

— Пешком придется тащиться до города, — вздыхаю я.

— Миль десять, — уточняет Мартин.

В его классическом спокойствии звучат тревожные нотки. В самом деле, зачем хозяевам этого мира понадобился новый эксперимент? Только потому, что мы оказались вместе с Мартином?..

Мы нехотя поднимаемся, стряхивая песок с джинсов.

— В таком виде и пойдем? Заберет первый же «галунщик».

— «Галунщиков», может быть, уже нет, а шмотки у нас вневременные и вненациональные. Штаны да рубаха — в любом веке сойдет.

Жара немилосердная. Сквозь облачное серое небо палит невидимое, но безжалостное солнце. Духота сильнее, чем в Крыму, и она влажная, как в паровой бане.

Первый же человек, которого мы встречаем на протоптанной по песчаному побережью дорожке, одет не лучше нас: в грязной рыжей рубахе и неопределенного цвета пыльных штанах, заправленных в грубые, зашнурованные до икр ботинки. Наши джинсы не привлекают его внимания. Он, лениво покуривая вполне земную сигарку, скрученную из табачного листа, сидит под желтым большим зонтом-столиком с нехитрой снедью, прикрытой грязной прозрачной сеткой. Под ней — пирожки с неведомой начинкой, что-то похожее на овечий сыр и колбаса подозрительного оттенка, над которой кружатся тоже вполне земные мухи.

— Почем пирожки? — спрашивает по-английски Мартин.

— С ума сошел, — говорю я, — неужели будешь есть эту дрянь?

— Почему дрянь? — обижается продавец. — Пирожки свежие, со свиной тушенкой.

Разговор в «раю без памяти» ведется на английском языке, который я знаю лучше, чем Мартин русский.

— Я спрашиваю, почем? — повторяет Мартин.

— Пять сантимов, как и везде, — отвечает продавец.

Я с ужасом соображаю, что никаких сантимов у нас нет и достать их нам неоткуда, но Мартин небрежным жестом как ни в чем не бывало бросает на стол советский полтинник.

— Двадцать пять франков! — уважительно восклицает продавец и, не разглядывая монету, прячет ее в ящик стола. — Берите пирожки, джентльмены, а я сосчитаю вам сдачу.

Он достает кулек с серебром и медяками, отсчитывает горсть монет, похожих на пятиалтынные, гривенники и пятаки, и кланяется чуть ли не в пояс.

Я с опаской поглядываю на него.

— Пошли скорее, пока он не разглядел твоих «франков».

— Мне почему-то кажется, что он удовлетворился объемом и весом монеты.

— Откуда у тебя оказался полтинник?

— Случайно. У меня их еще два. В бумажник не суешь — вот и носил в кармане. Почти семьдесят пять франков — считай, что мы богачи.

— А вдруг влипнем?

— Кое-какая мелочь у нас уже есть. Судя по сдаче, у них сто сантимов во франке.

— Что-то непохоже на прежнее время. И счет другой, и монеты другие.

Нас обогнали два велосипедиста в коротких штанах и чулках до колен и несколько верховых в широкополых фетровых шляпах, какие я видел у ковбоев в американских вестернах. На грубые, как у продавца, башмаки были надеты шпоры с острыми колесиками.

Облака уже рассеялись, и солнце палит все жарче. Мы входим в город. Он чем-то похож на придорожные американские города. Крутом одноэтажные — то каменные, то обшитые досками — здания. Вместо вывесок — резные или грубо намалеванные изображения булок и бубликов, шляп и ботинок, бутылок с именными этикетками, досок с английскими и французскими именами. Никаких тротуаров и мостовых на окраинах, вымощенные камнем тюпе переулочки у домов побогаче, церкви с распятием на паперти и салуны с крытым широким крыльцом. По улице навстречу мчатся желтые пылевые вихри, из них вырастают верховые в широкополых шляпах, какие мы уже видели, и запряженные парой или четверкой лошадей экипажи, напоминающие древние ландо и фиакры, велосипедисты и рикши.

Пешеходов почти не видно, да и трудно здесь пешеходу уберечь себя от копыт и колес в бушующем по улице пылевом шторме. На крылечках сидят старики, провожающие нас любопытным и пристальным взглядом. Иногда оглядываются и пассажиры открытых фиакров — мужчины в цветных цилиндрах и дамы в шляпках-капорах с розовыми лентами.

— Ты знаешь, почему они так смотрят? — усмехается Мартин.

— Как смотрят?

— Как тот продавец, когда мы подошли.

— Почему?

— Потому что здесь не ходят без шляп. Должно быть, так у них принято.

— Что же делать?

— Купить. Вон шляпа из соломы над дверью лавки.

Мы входим. Старик продавец с клочками седины в бороде встречает нас у прилавка. На стене за прилавком на крючках напялены шляпы всех фасонов: от «стетсоновки» до цилиндра. Цилиндры серые, черные и лиловые.

— Пару шляп, — говорит Мартин.

Продавец критически оглядывает наши пропыленные штаны и рубахи.

— Ношеных или новых? — зевает он.

Пожалуй, при наших капиталах лучше приобрести ношеные.

— Полтора франка за пару, — лениво говорит продавец. — А вы, должно быть, нездешние, новички в Сильверилле?

Итак, город называется Сильверилль. Что-то новенькое, неизвестное. Да и там ли мы, куда забросило нас прошлым летом? Я решаюсь прощупать аборигена.

— Путешествуем, — поясняю я. — Пешком, на пари, — и тут же пугаюсь: вдруг он не знает, что такое пари, но продавец не удивляется, и я продолжаю: — А шумно у вас здесь и людно. По улицам даже ходить трудновато.

— Порт, — поясняет продавец, — с тремя причалами. Один для речных пароходов из Вудвилля, оттуда до Города по железной дороге рукой подать, два других — рыбацкие. Рыбы здесь уйма. Тут же и засолка, и копчение, и погрузка. Конечно, это не Город. Один он у нас — столица. А Сильверилль так себе — городишко вроде Вудвилля. Только там, пожалуй, потише.

Мне все уже ясно: новый перескок в рай без памяти. А как он изменился — покажет опыт. Мы платим полтора франка за старые соломенные шляпы типа «сомбреро» и покидаем этот пока единственный источник информации о мире, в котором неизвестно как и сколько времени будем жить. Улица круто сбегает к морю. Видны рыбацкие парусники у береговых причалов и высокая дамба, отделяющая залив от устья Реки. Пыли здесь поменьше, морской ветер гонит ее вверх по улице, где за спиной у нас все еще дымятся песчаные вихри. Почва влажнее, к тому же укатана экипажами и прибита сотнями лошадиных подков. Лошадей здесь больше, чем жмущихся к стенкам прохожих, гостевавших в питейных и торговых лавочках. Одеты они по-разному: есть парни вроде нас — в замасленных штанах и куртках, в стоптанных туфлях и босые, а кто в знакомых уже высоких, до икр башмаках, девчонки с голыми коленками, с отрезанными или оборванными подолами, католические священники в длинных черных сутанах, кое у кого завязанных грубой пеньковой веревкой, уличные торговцы пирогами и подозрительно мутной водой, видимо, от сушеных яблок. Попадаются и другие — почище и побогаче, те, что садились в экипажи или выезжали в них из тихих замощенных переулков. Одеты они совсем по-другому: мужчины в цветных сюртуках и узких брюках со штрипками, дамы в длинных, до туфель, кружевных или шелковых платьях, отделанных бледно окрашенными кремовыми, розовыми и голубыми лентами. Мне показалось даже, что я вижу не успевших разгримироваться героев грибоедовской пьесы. Вот проехали Чацкий с Софьей и Лизой, сидевшей спиной к

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

кучеру с длинным бичом, промчалась амазонка с картины в Третьяковке, выглянул из открытого ландо толстенький Репетилов, и тут же обогнали их два ковбоя из вестернов. Ничего не понимаю. Где я? В какой стране, в каком веке?

— А может быть, здесь время идет не вперед, а назад? — взрывается Мартин.

— Остришь?

— Пытаюсь. Но объяснение все-таки есть. Мы вот с тобой коротко подстрижены, ты даже длиннее, чем я, а у нас уже все ребята стригутся, как средневековые пажи. Ты очень уверен, что через пару лет не будут носить цветных париков? Женщины уже носят. Клеш ведь возродили, возродятся и штанишки. Кстати, и на Земле цилиндр еще из моды не вышел, и не только черный. Англичане на скачки до сих пор приходят в серых цилиндрах. А здешних, может быть, тоже на старину потянуло, вот и разъезжают по улицам этакие Чичиковы и Пикквики. Заметь: разъезжают, а пешком ходят другие, вроде нас — в грязных штанах и лошадиных шляпах. А у американских ковбоев и фермеров мода уже сто лет не меняется.

Мы лениво идем вдоль набережной, мимо рыбацких баркасов, с которых грузчики в мешковине с парой деревянных крючьев на спине перетаскивают на берег ящики с рыбой. На другом причале у парусного грузового суденышка точно такие же грузчики один за другим волокут мешки не то с зерном, не то с солью. Мартин прав: в цветных камзолах и брюках со штрипками разъезжают в экипажах, а не волокут на спине мешки и ящики. Кстати, за каменной оградой у речного причала прошлый век предстает перед нами в еще более точном обличье. К причалу, видимо, только что пришвартовался большой, марктвеновских времен пароход с двумя огромными колесами по бокам. Надпись на круглой корме гласит: «ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН».

Я уже попросту ничего не понимаю.

— А тут и понимать нечего, — приходит на помощь Мартин. — Смоделировали они Сэнд-сити? Смоделировали. Была в Сэнд-сити книжная лавка? Была. Была в ней марктвеновская книжка? Наверняка. Вот тебе и название парохода. Скажешь: такие только в девятнадцатом веке по Миссисипи ходили? А какие здесь построить, если до них вообще никаких не было? Для «Куин Мэри» индустриальная база нужна. Современные верфи.

Пытаюсь возражать:

— У них же Би-центр был. Вычислительный гигант. Тоже, наверное, помнишь. Там не только речной — космический корабль выстроить можно.

— А ты уверен, что Би-центр уцелел после революции?

Я ни в чем не уверен. Может быть, здесь давно уже нет ни Би-центра, ни других внеземных чудес. Может быть, с тех пор оставленный без опеки здешний земной мир жил и развивался по-своему и еще не родил ни своих Эдисонов, ни своих Туполевых.

Но гадать не приходится. К нам уже подходит мужчина лет сорока в синей замурзанной куртке и такой же соломенной шляпе, как и у нас. Он уже давно стоял поодаль, наблюдая за грузчиками и приглядываясь исподтишка к нам.

— Видать, нездешние? — повторяет он продавца шляп.

— Из Города, — говорит с достоинством Мартин.

— А что, работы в Городе не хватает?

— Скучно на одном месте.

— Могу на погрузку поставить. Крючья получите, — говорит человек в синей куртке.

— А платить сколько будете?

— Как всюду. По пятьдесят сантимов в час. За день работы пять франков.

— А что грузить? — спрашивает Мартин.

— Может, рыбу, может, пшеницу. На серебро не поставлю. Слитки с рудников полицейские сами будут грузить.

— Почему такой почет серебру? — смеется Мартин.

Человек в синей куртке сердито хмурится.

— Почет серебру... — укоризненно повторяет он. — Самый драгоценный металл. Украдешь слиток — в цилиндре будешь ходить.

Ходить в цилиндрах мы не собираемся, красть слитки тоже. Потому соглашаемся на пять франков в день. Надо же где-нибудь добывать деньги: полтинники, оставшиеся у Мартина, могут в конце концов навлечь на нас неприятности.

Между тем наш новый знакомый затрагивает еще один непраздный вопрос:

— У старины Вильсона в ресторации «Веселый петух» есть номера для постояльцев. Два шага отсюда. Скажите, что Фляшон прислал. И ночевка и выпивка обеспечены даже в кредит, если я поручился. Не задерживайтесь, ребята, пока народу в салуне кот наплакал. — Он пожимает нам руки большой мозолистой лапой бывшего грузчика и удаляется не оглядываясь.

Глава II
«ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ»

Его мы находим действительно в двух шагах на главной улице. Он висит над длинным крыльцом без всякой вывески, вычеканенный из меди, тускло-золотистый на здешнем поджаривающем человека солнце. На крыльце лежат два детины с лицами, прикрытыми ковбойскими шляпами. Их можно принять за мертвецов, но они всего лишь мертвецки пьяны.

Мы осторожно обходим их и, толкнув дверь, попадаем в длинный полутемный зал ресторации. Здесь полтора десятка столиков и стойка, обитая жестью. Столы почти все пусты, за исключением двух-трех, за которыми сидят парни, обросшие колючей щетиной вроде нас или отрастившие уже лохматые бороды, и пьют что-то темное — виски или пиво. На нас они не обращают никакого внимания. Мы на них тоже.

Не спеша подходим к стойке.

— Два виски, — говорит Мартин, небрежно бросая на жестяную стойку монетку в двадцать сантимов.

— Два виски требуешь, так и плати вдвое. — отвечает старик, хозяин заведения.

Мартин добавляет еще одну монетку. Так мы учимся здешнему счету.

— А как насчет ночлега, папаша? — спрашиваю я.

Старик долго глядит на нас, как бы оценивая нашу кредитоспособность.

— Есть комната с кроватью, — шепелявит он. — Больше трех человек лежать в кровати не разрешается.

— Нас только двое, папаша.

— Все одно три франка, и деньги вперед.

— Мы от Фляшона, папаша.

Старик добреет, открывая беззубые десны.

— Значит, завтра с утра на погрузку? Пароход пришел из Вудвилля, знаю. Что ж, можно подождать до расчета с Фляшоном. Ужинать будете?

Ужинаем молча, хотя поговорить есть о чем. Что мы знаем о мире, куда забросила нас судьба? Что пирожок стоит пять сантимов, а полбокала виски с теплым лимонадом — двадцать? Что за десять часов работы мы получим по пять франков, из которых три нужно отдать за квартиру? Да и вообще что можно узнать об окружающем тебя мире, если целый день таскать на спине мешки с зерном или углем, а ночь спать без просыпа на гнилой соломе.

— Хорошо бы уехать отсюда на этом же марктвеновском пароходике, — рассуждает вслух Мартин. — Интересно, сколько стоит билет до Вудвилля?

— Посчитай еще дорогу от Вудвилля до Города.

— Ты думаешь все-таки добраться до Города?

— Не век же мы будем торчать в Сильвервилле, — говорю я.

— А кого будем искать в Городе? — вздыхает Мартин. — Может, кто жив остался?..

Утром мы находим Фляшона там же, где видели его и вчера, он по-приятельски подмигивает нам, и минут через пять мы получаем всю экипировку грузчика: мешок из дерюги с двумя дырками для головы и рук и пару деревянных крючьев на спину. Шляпы надежно защищают от солнца, а крючья прочно закрепляются на плечах.

— Ну а теперь на речной причал. Там сейчас начнется погрузка, — командует Фляшон.

Мы становимся в цепь таких же грузчиков к длинным штабелям мешков с пшеницей. В каждом мешке не меньше сорока килограммов. С трудом взваливаем его на спину, помогая друг другу. Так же работают и соседи, шагающие, согнувшись, с мешками по деревянным сходням к трюму парохода. Трюм неглубок, и мешки складывают внизу под командой какого-нибудь другого Фляшона. Все работают молча, не слышно ни шуток, ни смеха, ни ругани, только кряхтят и тяжело дышат. Мартину, идущему впереди, легче, чем мне, он сильнее, я же через час задыхаюсь, уже нет сил взвалить мешок на крючья, вот-вот упаду. Сосед сзади советует дружески: «Обожди чуток, пропусти цепь, отдохни. С непривычки всегда трудно, потом втянешься». Но я понимаю, что легче не будет, десять часов не вытяну.

Через два часа, когда объявляют перекур, я уже лежу на мешках полутрупом. Наши соседи, молчаливый Пит и весельчак Луи, угощают нас самодельными, скрученными из табачного листа сигаретами. Оба они студенты из Города, приехавшие сюда подработать во время каникул.

— Я говорил: не сгибайтесь, — советует мне Луи. — Мешок не так прижимает.

— Зато память пришибло.

Луи не понимает.

— А что забыл?

— Все. И год, и месяц, и день. Помоги вспомнить.

— Серьезно?

— Вполне серьезно. Подскажи.

— Год семьдесят первый. Четырнадцатое июля. Пятница. Неужели забыл?

— Смешно, правда? Даже имя забыл. Только сейчас и вспомнил. Я Жорж Ано, а он, — я указал на Мартина, — Дональд Мартин, или просто Дон.

— А мы — Луи Ренье и Пит Селби. Кончаем политехничку. В ближайшее воскресенье уезжаем на «Гекльберри Финне». В Городе к выборам работа найдется...

Я не успел перебить и спросить, что за выборы, как Луи уже продолжал:

— Разыщите нас — поможем. А найти легче легкого. Американский сектор, Сэнд-стрит, общежитие политехнички.

Фляшон машет руками и что-то кричит. Вероятно, что передышка окончена. Снова мешки тяжело пригибают к земле, ломит плечи, трудно дышать. Фляшон сам отправляет нас восвояси: «На сегодня хватит, а то завтра не встанете». И платит каждому по три франка.

Вечером расплачиваемся с Вильсоном, мгновенно добреющим и расплывающимся в улыбке. Даже лысина его, кажется, сияет ярче, а нас выразительно приглашают к столу и вместо холодных котлет подают жаркое из свиной тушенки с бобами. «По заказчикам и заказ», — не устает повторять хозяин: словарь его, видимо, совсем не богат. Но мне и снайдерского изобилия мало: надо восстанавливать силы, и я тут же заказываю еще одну порцию жаркого и пива.

— Жаль только, что Луи и Пит уезжают, — говорю я. — Теряем надежный источник информации.

— И надежных друзей, — добавляет Мартин.

Салун постепенно заполняется, и вскоре все столы уже заняты. Портовики и матросы, которые и здесь ходят в тельняшках, усатые парни в соломенных сомбреро, фермеры в грязных широкополых шляпах, женщины с белыми от густой пудры лицами. Из соседней комнаты доносится стук бильярдных шаров, чей-то смех и возгласы: «Пять!», «Десять», «Плюс десять», «Отвечаю». Соображаю, что в соседнем зале идет игра. Может быть, крупная.

Мартин лениво поднимается и говорит:

— Подожди минутку, пойду взгляну.

Третий стул за нашим столом пуст. К нему подходит худощавый человек лет сорока в синем сюртуке и цилиндре, с выющейся бородкой по горлу, как у голландских матросов.

— Место свободно? — спрашивает он.

Я равнодушно киваю, не замечая, что все кругом за столиками сняли шляпы.

— Вы, наверно, новичок в Сильвервилле? — спрашивает незнакомец.

— Допустим, — отвечаю я.

— Тогда прошу вас не удивляться тому, что сейчас последует. — Он садится напротив, указывая хозяину на стоящую передо мной бутылку пива.

Хозяин не успевает подать бутылку, как раздается выстрел — и мое простреленное сомбреро слетает на пол. Стреляет верзила с нависшими на лоб волосами, сидящий метрах в пяти от меня. Я поднимаю с пола сбитую выстрелом шляпу и говорю:

— Ну и нравы у вас в Сильвервилле!

— Просто люди привыкли к тому, что в моем присутствии снимают шляпу. Я бывший шериф на серебряных рудниках.

— То, что вы шериф и тем более бывший, мне безразлично. Я не нарушаю законов. Жаль только, что у меня нет оружия.

— А зачем? — улыбается мой визави.

— Наказал бы громилу.

— Каким образом? Он же сидит без шляпы.

— Но с бутылкой.

Бывший шериф в синем цилиндре любезно протягивает мне пистолет, очень похожий на земной «вальтер».

— Стреляйте. Он заряжен. Только если вы убьете или раните кого-нибудь, вас повесят тут же на улице.

Я беру пистолет, внимательно разглядываю верзилу с челкой. За ним виден пустой угол зала и косяк входной двери: пуля наверняка никого не заденет, тем паче стрелять я умею, золотые медали имел.

И, недолго думая, нажимаю на спусковой крючок. Бутылка со звоном разлетается на куски, обливая верзилу остатками пива.

— Молодец! — одобряет меня мой визави. — Отлично стреляете. Профессионал?

— Скорее любитель. Охотник. Жорж Ано. Сейчас работаю на причале у Фляшона.

— Тебе придется самому платить за разбитую бутылку, Пасква, — оборачивается бывший шериф к подошедшему верзиле с челкой. — Научись не проявлять инициативы до моего приказа.

Верзила, не взглянув на меня, почтительно отступает.

— А вы стоите большего, мсье Ано. Это я вам говорю, я — Тур Мердок, глава пока еще не легализованной партии «реставраторов».

— Крайне сожалею, — говорю я, — но ни я, ни мой друг, который сейчас играет в соседнем зале, не интересуемся политикой и не разбираемся в борьбе политических партий. Возьмите ваш пистолет, мсье, — и я вежливо возвращаю оружие собеседнику.

Он приподнимает цилиндр, чуть склоняясь ко мне.

— Разыщите меня в городе, мсье Ано. Я придумаю для вас кое-что получше Фляшона.

И, бросив на стол горсть мелочи, уходит из ресторации Вильсона. Мартин возвращается тут же, успевая заметить уходящего экс-шерифа.

— Кто это?

— Некий Тур Мердок. Кажется, очень влиятельное знакомство. Глава какой-то политической партии.

— Здесь, в Сильвервилле?

— Нет, в Городе. — И я рассказываю Мартину об инциденте с простреленной шляпой.

— Значит, пора ехать в Город, — говорит Мартин.

— На твою сдачу с пирожка? А дальше? Будем откладывать подаяния Фляшона?

Продолжение на 30-й стр.

ВЕКИ ПЕРЕД ВЕКАМИ

Начало на 22-й стр.

— Мы не вернемся к Фляшону. У нас с тобой уже пятьсот франков плюс остаток после покупки пирожка и двух шляп.

— Играл?

— Да еще как! Мне всегда чертовски везет за карточным столиком.

— А если б на шулеров нарвался? — спрашиваю я.

— Бросил бы после второго или третьего проигрыша. Ведь начали-то по маленькой. Не пошла бы карта — значит, не пошла. Да и ребята не шулеров напохожи. Либо старатели с рудников, либо здешние скотоводы.

— Что же будем делать?

Мартин загадочно усмехнулся.

— Возьмем билеты на «Гекльберри Финна».

Глава III
«ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН»

В воскресенье в десять утра по местному времени мы с Доном, прижатые к борту самой высокопоставленной в буквальном и переносном смысле пассажирской палубы парохода, молча наблюдали церемонию отплытия. Мы были одеты специально для «высокопоставленной» палубы: Дон в новенькой клетчатой куртке с красным платком на шее, я — в скромном синем сюртуке и светло-сером цилиндре с твердыми, как железо, полями. Переодеться пришлось потому, что ничего, кроме каюты первого класса, мы в кассе купить не смогли: все билеты были проданы еще накануне.

Ключи нам выдал стюард, не очень уважительно нас встретивший: видимо, наше новое платье все же не соответствовало «высокопоставленной» палубе парохода. Да и багажа у нас не было, так что не знаю, за кого он нас принял: за гастролирующих шулеров или охотников до серебряных слитков, только вчера еще погруженных в трюм парохода. Мы видели эту погрузку. Два ряда полицейских с автоматами выстроились на причале вплоть до трюма. Между рядами другие полицейские, уже без оружия, тащили один за другим небольшие, но, видимо, налегкие ящики со слитками серебра. Полицейских было действительно много, и в своих зеленых мундирах они скорее походили на солдат: выправкой и четкостью движений, которой, кстати, могли позавидовать даже профессиональные грузчики.

Сейчас их на пароходе не видно, но поскольку на кормовую палубу, где находится верхний люк «серебряного» трюма, никого не пускают, значит, и здесь их целый отряд. Я дохожу до кормы, где рыжий матрос в тельняшке преграждает мне путь: «Дальше нельзя. Запрещено». И я покорно бреду назад вдоль борта, рассматривая гуляющих пассажиров. Ни одного типа, подобного посетителям салуна «Веселый петух» или моим коллегам по разноске мешков на причале. Женщины в длинных шелковых платьях и соломенных капорах с цветными бантами у подбородка, мужчины в аккуратных, как у Мартина, курточках или цветных сюртуках, как у меня, только из лучшей материи и лучше сшитых. На ногах или узкие шевровые ботинки, или длинные шнурованные башмаки, какие до сих пор носят в Канаде и северных штатах Америки. Один старый джентльмен, прогуливающийся с красивой девушкой в голубом платье, посмотрел на меня слишком внимательно. И опять мне показалось, что это неспроста, хотя я и был совершенно уверен в том, что мы до сих пор никогда и нигде не встречались. Вероятно, сбит с толку моим сходством с каким-то своим знакомым, подумал я.

Мартина я нашел в каюте. Он уже лежал на верхней койке и дымил сигаркой явно местного производства. Мое же внимание привлекла древность кваты. Изношенная обивка — вот-вот рассыплется шелк, древние, хотя и начищенные до блеска медные ручки, истертый коврик под ногами.

— Давненько ходит старина «Гек» — говорю я.

— У них есть и винтовые суда, — добавляет Мартин. — Ходят до Филера — их нефтяного центра на юге — и каких-то островов в океане. Некоторые уходили и дальше, но не вернулись. А вернувшиеся так и не обнаружили других континентов. Не обнаружили их и парусники. Здешние карты изображают Город, как единственное государство одного материка, окруженного океаном.

Может быть, это действительно так, но откуда Мартин знает об этом?

— От корабельного механика, — охотно откликается он. — Познакомились с ним за стаканом яблочной водки в баре. Представился я человеком, ухитрившимся не постичь всех основ науки и техники. В Городе таких много — школ не хватает. Оказывается, здесь и двигатель внутреннего сгорания открыли, только автомобили строятся кустарно, в маленьких мастерских, как у нас некоторые гоночные машины. И они чертовски дороги — я о здешних говорю, только миллионеры и покупают.

— Значит, и миллионеры есть?

— Говорит, есть.

— Все-таки они шагнули вперед за полсотни лет.

— Даже бипланы строят, как братья Райт...

Стук в дверь — и стюард приглашает нас к обеду.

В кают-компании так же шумно и пестро, как и на палубе. Цветные камзолы и жилеты мужчин, нарядные платья женщин. Завитые волосы, широкие галстуки.

Два стула за нашим столом пусты. Возле них останавливается уже приметившийся мне хорошо одетый седой джентльмен с белокурой кружевной амазонкой. Рассчитано или случайно? На этот раз он не разглядывает нас с нескрываемым любопытством, а просто тихо и вежливо спрашивает:

— Все столы в зале заняты, а у вас два свободных кресла. Не разрешите ли присоединиться старику с дамой?

Мартин, даже не взглянув на меня, вскакивает, подвигая девушке стул.

— Будем только рады, мадемуазель.

— Мисс, — поправляет она. — Мисс Стил, или просто Мэнни. А это мой дядя, сенатор Стил. — Последние слова она произносит подчеркнуто, вероятно, полагая, что они не могут не произвести впечатления.

Но ни фамилия, ни звание в первый момент не вызывают у меня интереса. Я просто встаю и любезно кланяюсь элегантному старцу.

— К вашим услугам, сенатор. Жорж Ано.

— Дональд Мартин, — представляется Дон.

И тут же разительная перемена происходит со спокойным сенатором. Он как бы весь освещается изнутри. Двумя руками обнимая мои плечи, он с очевидной радостью восклицает:

— Я так и думал, джентльмены! Вы оба дети или внуки моих старых друзей. Совсем как они в молодости — так похожи! И даже имена те же. А ведь с Ано и Мартином мы были в подполье и вместе освобождали Город от хунты Корсона Бойла. Только потом они куда-то исчезли. Так же непонятно исчезли, как и появились...

Этот монолог помогает мне сымпровизировать ответ. В первый же момент я растерялся. Ведь то был Джемс Стил, первый человек, кого мы встретили пятьдесят лет назад в этом мире, тогда еще двадцатилетний юноша, действительно добрый и верный товарищ.

— Вы не ошиблись, сенатор, но боюсь, что объяснить все сейчас мы не сможем. Это — не для застольной беседы. Но мы с вами можем встретиться после обеда, скажем, вдвоем. И я расскажу вам все, что знаю. Устраивает?

Сенатор немножко растерянно заказывает обед. Мартин тактично предлагает тост за прекрасную амазонку, которая привлекла его внимание еще на улице, девушка краснеет, сенатор смеется, и опасный момент объяснения счастливо откладывается.

— В Город? — спрашивает сенатор, поглаживая выющуюся седую бородку.

— В Город, сенатор.

— Дела?

— Пожалуй. В связи с ними у меня к вам вопрос, — пользуюсь новой возможностью оторвать старика от воспоминаний. — Мы с Доном далеки от политики. Так уж случилось — не знаем ни партий, ни их лидеров. А вы наверняка сможете многое объяснить.

— Например?

— Кто такой Тур Мердок?

— Тур Мердок? — удивленно повторяет Стил. — Вас он интересует как личность или как политическая фигура?

— И то и другое. Я познакомился с ним в кабачке Вильсона в Сильверилле.

И я рассказываю историю своего знакомства с Мердоком.

— Значит, одним выстрелом разбили бутылку? — смеется сенатор. — А что сказал Тур Мердок?

— Он предложил бродяге прекратить самодеятельность, и, представьте себе, этот громила отступил, как побитая собачонка.

— Таких собачонок у Мердока десятки тысяч. И это не просто разбойничьи шайки, хотя и таких у него немало, — это костяк будущей партии. К счастью, еще не легализованной.

— Какой партии? — спрашиваю я.

— Реставраторов свергнутого нами полицейского государства.

— Он даже не родился еще в то время... Что он знает о нем?

— Есть свидетельства очевидцев, есть и свидетельства слушателей и читателей. Мердок умный и образованный человек. Бывший шериф на серебряных рудниках. Шериф жесткий и требовательный, с умением управлять, что и вознаградилось. Его заметили, пригрели и даже предложили какой-то пост в руководстве. Но он вышел в оставку и занялся политикой. Сначала был «популистом», как и мы, потом откололся: наш демократизм его не устраивал. Для партии «джентльменов» у него не было ни состояния, ни положения, вот он и попробовал основать третью, еще правее. Крупным собственникам обещал снижение налогов, мелким — расширение торговли и земельных угодий, бродягам и немущим — свободное освоение новых земель. Наша страна, как вы знаете, огромна и необжита, но все новое, что вы откроете и захватите, будь то земля или участки рыбачьих и охотничьих промыслов, вы обязаны оплатить государству — это доход и прибыль казны. Мердок требует отмены закона. Никаких доходов казне! На открываемых новых землях каждый может захватить столько, сколько сумеет обработать и обжить. По идее неплохо. Но аграрный воротила может захватить в тысячи раз больше, чем обыкновенный фермер. А ликвидация сената и единоличная диктатура Мердока освободят его от любых обещаний.

— На что же он рассчитывает?

— На сенатские выборы. Но по нашим законам кандидатов может выставить только легализованная партия. Юридически такой партии у него нет. Билль о ее легализации провален. А для военного путча у него еще мало силенок.

— Господи, как скучно! — восклицает белокурая соседка Мартина. — Вы все о политике... Мистер Мартин слушает, а я скучаю.

Мартин мгновенно находится:

— Может быть, мы с вами пока посидим на палубе?

— Конечно, погуляйте, — поддерживает его сенатор, — а мы с Ано продолжим наш разговор.

Мартин с племянницей Стила уходят. Мы в столовой уже одни. Только где-то позади официанты убирают посуду, а на двух отдаленных столиках запоздавшие поглощают вино.

— Не удивляйтесь, сенатор, — перехожу я к критическому объяснению. — Я мог бы сказать еще смелее: не удивляйтесь, Джемс. Я не сын Жоржа Ано. Я тот же самый Ано, который боролся бок о бок с тобой. Я могу напомнить тебе все подробности наших встреч. Ты же знаешь, откуда мы тогда пришли? И сейчас мы оттуда же — с Земли.

Сказать, что сенатор удивлен, значит ничего не сказать: он потрясен до немоты.

— Но ведь прошло уже пятьдесят лет, а вы... вы все тот же, — шепчет он.

— На Земле другое время, Стил. Другое его течение. У вас проходит год, у нас месяц. Да и этот подсчет приблизителен. И как далеко от вас Земля, мы не знаем.

— Значит, еще одна космическая катастрофа?

Я долго думаю, прежде чем ответить. Если даже наши ученые не в состоянии объяснить происходящее, то нам со Стилом просто придется признать это как факт. Случилось? Случилось. Необъяснимое? Абсолютно. Значит, успокоимся и гадать не будем. Рассказанное Стилу останется со Стилом, а мы с Мартином будем жить и работать, пока в этом есть необходимость.

— Надолго к нам?

— Кто знает, с какой целью мы опять переброшены. Полагаю, что предстоят события, в которых нам придется участвовать. Вот почему я заинтересовался политикой. Мне нужно узнать, как изменился ваш мир. Уже то, что мы видели в Сильверилле, говорит о многом.

— Сильверилль — это окраина, Ано.

— Тогда и его не было.

— Многого не было. И нефти и серебряных рудников. И не ловили тунца в океане. Не разводили скота. Не было ни боен, ни холодильника. — Стил задумчиво перебирает пальцами и вдруг сжимает их в кулак. — Сейчас мы уже старики, третье поколение переживает зрелость, а четвертое начинает растить детей. Кого интересует сейчас легенда о прародительнице Земле, от которой мы якобы оторвались? Только авторов школьных учебников.

Я вспоминаю наш первый разговор пятьдесят лет назад по здешнему счету. «Вы говорите по-английски и по-французски. А слыхали о таких государствах, как Англия и Франция?» «Нет». «А о частях света, о материках и океанах?» Джемс и Люк, его брат, непонимающе смотрели на нас. «А вы в школе учились?» «Конечно», — хором ответили оба. «Есть такой предмет — география», — сказал я. «Нет такого предмета», — перебил Люк. «Что-то было, — остановил его брат, — что-то рассказывали нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось географией, потом ее запретили».

— Значит, воскресили все-таки географию? — спрашиваю я не без ехидства.

— Давно. На степелях Ойлера строятся морские суда. Уже удалось обойти вдоль берегов весь наш континент. А вот к границам его по суше еще не добрались. На севере и северо-востоке непроходимые леса. Природа меняется медленно, не то что люди.

— Странно у вас теперь одеваются, — говорю я. — Даже мне пришлось сменить шкуру.

— Каприз моды. Разве у вас она не изменчива? Лет двадцать назад какой-то художник изобразил людей в цветных камзолах и шляпах с высоким верхом. С тех пор и пошло. А молодежь у нас предпочитает незамысловатые штаны и куртки. Ну, а мастеровым и фермерам просто нельзя иначе.

— Фермерам? — переспрашиваю я. — Когда-то их называли «дикими»?

— «Диких» давно уже нет. Они прародители нашего сельского хозяйства. Кто сейчас кормит Город? Фермеры и ранчмены. Не заводы, а земля.

И Стил подтвердил то, что мы с Мартином уже давно поняли. «Облака» уничтожили искусственное снабжение Города. Технический управляющий центр просто исчез неизвестно куда, от продовольственного конгломерата остались лишь скотоводческая ферма и склад семенного зерна. Пришлось сразу же ввести продовольственные карточки, а «дикие» стали первыми поставщиками хлеба, рыбы и мяса. Но и они не смогли предотвратить беды: начался голод. Тотчас же был обнародован закон, поощрявший охоту и рыболовство, а также обработку земельных участков в новооткрытых районах. Тысячи людей устремились из Города на Реку и в прилегающие леса. Одно за другим возникали фермерские хозяйства и скотоводческие ранчо, конные заводы и рыбные промыслы. Грандиозно вырос меновой рынок, где меняли на продукты все что угодно. Город оживал...

Вечером у себя в каюте я повторяю Мартину рассказ Стила.

— Ну а мы при чем? Зачем мы здесь? — спрашивает Мартин.

Дверь открывается без стука — а может, и был стук, да мы не слышали — и в каюту входит уже знакомый мне Тур Мердок. Он в том же костюме, только без цилиндра.

— На последний вопрос могу ответить я, — говорит он. — Вы кричали так громко, что было слышно сквозь полуоткрытую дверь. Вы здесь, джентльмены, для того, чтобы помочь мне, ну а я для того, чтобы помочь вам.

Мы с Мартином не находим слов для ответа. Мы просто ждем, глупо моргая глазами. А Мердок продолжает:

— Кто вы, я знаю. Прочел ваши имена в регистрационной книге для пассажиров, кроме того, с мсье Ано я познакомился лично, а мистер Мартин видел меня в салуне Вильсона, когда выходил из игорного зала. Вы записались как путешественники, ну а я бы чуть-чуть поправил: скажем, искатели приключений. Вас это не обижает, надеюсь? Ведь путь с грузового причала к верхней палубе «Гекльберри Финна» не так уж короток, чтобы рядовой путешественник проделал бы его за два дня. Так вот, у меня к вам, джентльмены, два предложения.

— Что же вы предлагаете? — спрашиваю я.

— На будущее? Участие в моих делах за достойное вознаграждение.

— В каких делах? — перебиваю я. — Может быть, в тех, для которых используется джентльмен по имени Пасква?

Мердок улыбается, ничуть не смущенный.

— У Пасквы свои обязанности и свой круг знакомых. А вас я видел в обществе сенатора Стила. И разговор, судя по всему, был деловым и добрым. Вот это меня и привлекает.

— Могу ли узнать, почему, мистер Мердок?

— Вполне, мсье Ано. Чем скорее вы или мистер Мартин войдете в круг интересов сенатора, тем нужнее вы будете для меня.

— Подумаем, — говорю я.

— Теперь о предложении на эту ночь. Не ложитесь спать или по крайней мере не раздевайтесь. Если услышите шум на палубе или даже выстрелы, не выходите из каюты. И учтите, что ни вам, ни сенатору Стилу ничто не грозит.

— А кому грозит? — спрашивает Мартин. Он явно недоволен и не хочет скрывать этого.

Но Мердок по-прежнему улыбается.

— До встречи ночью.

Продолжение следует.

Глава IV
НАПАДЕНИЕ

Минуту или две мы не произносим ни слова: так необычна только что сыгранная мизансцена.

Наконец, Мартин спрашивает, тупо глядя в одну точку:

— Ты понял что-нибудь?

— А что же тут не понять? Все ясно. Мердок предлагает нам агентуру. Вероятно, разведывательную.

— Ну, а ты что сказал? «Подумаем»?!

— А почему бы и не подумать? Ведь мы же собираемся работать со Стилом.

— И предавать его интересы? Я не узнаю тебя, Юри.

— Не торопись. Связь с Мердоком еще не предательство. Может, и Стилу будет небезвыгодной эта связь.

— Не понимаю такой игры.

— А мы должны быть в эпицентре этой игры. Нельзя же познать нынешний «рай без памяти», работая загонщиком скота или грузчиком.

Мартин ходит из угла в угол. Он явно нервничает.

— Почему мы должны отсиживаться в каюте, когда на палубе начнется стрельба?

— А у тебя есть оружие?

Мне вдруг становится ясным намек Мердока.

— Перестрелка будет с охранниками у кормового люка,— поясняю я.

Мартин явно не понимает: вижу по его глазам. Ему очень хочется узнать, почему именно у кормового люка.

— Да потому, что в этот люк загружали серебряные слитки. Помнишь? Какой же ты, к черту, репортер, если этого не заметил. А заметил, так сделай вывод. Самый ценный металл в Городе — серебро. Вероятно, основа его денежной системы. Золота пока на планете не обнаружено. А если так, то именно серебряные слитки и могут быть целью потенциальных грабителей. Не пароходную же публику потрошить: много риска и добыча невелика. Серебра же в трюме две тонны, не меньше. Могу допустить, что банда уже на пароходе, учитывая, что Мердок знает об этом. Сам он, конечно, в стороне: нельзя пачкать репутацию главы будущей партии. Но для роли закулисного организатора ограбления наш джентльмен, несомненно, подходит. Его партии нужны средства, а когда легальных не хватает, прибегают к нелегальным.

— Гангстер,— говорит Мартин.

— Возможно.

— Что же делать?

— Ждать.

Мартин взбирается на верхнюю койку и ни о чем уже больше не спрашивает. Я же мысленно перебираю в памяти все случившееся за день. Самое существенное — появление Мердока и то, что за ним последует. Но ведь все это лишь производные от встречи со Стилом. Его рассказ заполнил белые пятна в картине неузнаваемо изменившегося Города-государства.

Свои традиции, свое житье-бытье, свои моды, свой путь к знаниям. Пятьдесят лет назад ни истории, ни географии не было, сейчас же к истории обращаются не только школьники, но и политики. А географию дописывают местные Колумбы и Магелланы. И в экономике, должно быть, та же картина. Как в конце девятнадцатого века. Соображай, Анюхин, раздумывай. Промышленности здешней ты еще не знаешь, но она есть, если газопровод построили. И миллионеры уже есть — значит, кончился период первоначального накопления. Вышли на сцену, как у нас говорят в учебниках, помещики и капиталисты. Ну, а рабочий класс? Неужели все еще дремлют в допрудоновской темноте? Ведь книжки-то наводящие я им подбросил, попали же они кому-то в руки. Ну, половину скорее всего не поняли — не то время. Но политэкономия — а я тогда вузовский учебник отдал,— она-то, наверно, пригодилась. Правительство Томпсона, может быть, и не все в ней одобрило, но учебник переиздало, хотя, думается, потом его наверняка запретили. А ведь до кого-нибудь она обязательно дошла и кое-чему научила. Коммунистов, судя по рассказу Стила, в стране еще нет, но не может же его партия, столь разношерстная, сохранять во всем трогательное единомыслие. Должны же быть у популистов свои левые, способные правильно оценить производственные отношения в стране.

Тут я снова возвращаюсь к визиту Мердока в нашу каюту. Зачем ему наша близость к сенатору — понятно: агентурная информация о кулуарной возне в сенате. Вероятно, такая информация у него уже есть. Но вдруг нам удастся копнуть еще глубже? С тигриной хваткой человек, что и говорить. Знает, если на выборах опять победят популисты, никаких надежд на легализацию партии у него нет. А вдруг будут? Неоднородна ведь партия Стила, есть в ней многие, которых, наверно, не пугает Мердок. Не на них ли он и рассчитывает? Да и на Стила с нашей помощью поднажать можно. Этой-то тактике мы и должны противопоставить свою. Если уж помогать, то не Мердоку и даже, быть может, не Стилу, а кому — мы это еще увидим. Пока же молчок. Ждем, когда стрелять начнут.

А выстрелов так и не слышно. Только шаги по коридору. Частые, тяжелые шаги. Потом тишина, пароход почему-то замедляет ход, и я вижу в предрассветной полутьме за окном каюты приближающуюся черную стену леса на берегу. Значит, подходим к причалу. Но где?

— Кажется, останавливаемся,— говорит Мартин.

Пароход действительно причаливает к пристани.

Вот тут-то и раздаются первые выстрелы. Несколько сразу, потом один за другим, как будто кто-то рядом открывает десятки бутылок шампанского. Перестрелка, как я и думал, доносится с кормовой палубы.

Кто-то осторожно стучит в дверь.

Входит Мердок в сером пальто-крылатке.

— Ну вот и все, джентльмены,— говорит он.

— А что случилось?

— Какие-то пьяницы затеяли перестрелку на палубе. Их усмирили.

— Вы же знали об этом.

— Предполагал,— пожимает плечами Мердок.

— А где же мы сейчас?

— На полпути от Вудвилля. На лесной пристани.

— Но ведь ее нет в маршруте.

— Должно быть, недавно построили.

— Специально, чтобы выгрузить серебро?— Я не могу скрыть, пожалуй, опасной иронии.

Но Мердок по-прежнему невозмутим.

— Вы сообразительны, месье Ано,— говорит он.— Только не всегда следует показывать это другим.

Он приоткрывает дверь, чтобы уйти, и добавляет:

— К сожалению, должен вас огорчить, джентльмены. Пароход не пойдет в Вудвилль.

— А куда?

— Обратно.

— Но у парохода свой маршрут.

— Он изменен.

— Понятно,— говорю я.— Кто-то заинтересованный старается выиграть время. А вы, конечно, сходите здесь?

— Увы, я вынужден, как и все пассажиры, отплыть обратно. Приходится подчиняться необходимости.

— Но у сенатора другие намерения,— дерзко вмешивается Мартин.

— Это учтено. У сенатора поместье поблизости, вверх по реке. Ему охотно предоставят лодку и гребцов, чтобы вернуться домой.

— Зачем гребцов?— протестует Мартин.— Мы с Ано охотно сядем за весла.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

РОМАН

ВРЕМЯ ПУТИ

средства, а когда легальных не хватает, прибегают к нелегальным.

— Гангстер,— говорит Мартин.

— Возможно.

— Что же делать?

— Ждать.

Мартин взбирается на верхнюю койку и ни о чем уже больше не спрашивает. Я же мысленно перебираю в памяти все случившееся за день. Самое существенное — появление Мердока и то, что за ним последует. Но ведь все это лишь производные от встречи со Стилом. Его рассказ заполнил белые пятна в картине неузнаваемо изменившегося Города-государства.

Свои традиции, свое житье-бытье, свои моды, свой путь к знаниям. Пятьдесят лет назад ни истории, ни географии не было, сейчас же к истории обращаются не только школьники, но и политики. А географию дописывают местные Колумбы и Магелланы. И в экономике, должно быть, та же картина. Как в конце девятнадцатого века. Соображай, Анюхин, раздумывай. Промышленности здешней ты еще не знаешь, но она есть, если газопровод построили. И миллионеры уже есть — значит, кончился период первоначального накопления. Вышли на сцену, как у нас говорят в учебниках, помещики и капиталисты. Ну, а рабочий класс? Неужели все еще дремлют в допрудоновской темноте? Ведь книжки-то наводящие я им подбросил, попали же они кому-то в руки. Ну, половину скорее всего не поняли — не то время. Но политэкономия — а я тогда вузовский учебник отдал,— она-то, наверно, пригодилась. Правительство Томпсона, может быть, и не все в ней одобрило, но учебник переиздало, хотя, думается, потом его наверняка запретили. А ведь до кого-нибудь она обязательно дошла и кое-чему научила. Коммунистов, судя по рассказу Стила, в стране еще нет, но не может же его партия, столь разношерстная, сохранять во всем трогательное единомыслие. Должны же быть у популистов свои левые, способные правильно оценить производственные отношения в стране.

Тут я снова возвращаюсь к визиту Мердока в нашу каюту. Зачем ему наша близость к сенатору — понятно: агентурная информация о кулуарной возне в сенате. Вероятно, такая информация у него уже есть. Но вдруг нам удастся копнуть еще глубже? С тигриной хваткой человек, что и говорить. Знает, если на выборах опять победят популисты, никаких надежд на легализацию партии у него нет. А вдруг будут? Неоднородна ведь партия Стила, есть в ней многие, которых, наверно, не пугает Мердок. Не на них ли он и рассчитывает? Да и на Стила с нашей помощью поднажать можно. Этой-то тактике мы и должны противопоставить свою. Если уж помогать, то не Мердоку и даже, быть может, не Стилу, а кому — мы это еще увидим. Пока же молчок. Ждем, когда стрелять начнут.

А выстрелов так и не слышно. Только шаги по коридору. Частые, тяжелые шаги. Потом тишина, пароход почему-то замедляет ход, и я вижу в предрассветной полутьме за окном

Продолжение. Начало в № 19.

Я, видимо, недооценивал Мартина: он оказался сообразительнее.

И вот мы на борту лодки, достаточно вместительной и ходкой, чтобы преодолеть неторопливое течение Реки, которую здесь по-прежнему так и называют Рекой — без имени. Она памятна нам еще с прошлого посещения.

Сенатор Стил с Минни, укутанные в одеяла, сидят на корме, так и не поняв, в сущности, того, что случилось. Я не рискнул рассказать им о визите Мердока и о государственном серебре, выгруженном на специально построенной пристани. Видимо, операция была давно задумана и подготовлена, калитама купили, а пароход вернули в Сильверемлль, чтобы выиграть время. Любопытно, что лодку спускали на воду не матросы, а полуковбои-полуфермеры в темных коротких куртках и широкополых шляпах.

— Погляди внимательно,— шепнул мне тогда Мартин.

— На что?

— На повязки.

— Какие повязки?

— На рукавах.

Действительно, у каждого на рукаве блестела повязка из позументной тесьмы не то золотого, не то серебряного цвета. «Знак принадлежности к партии «реставраторов»,— сообразил я. В причастности Мердока к экспроприации можно было не сомневаться. Охранников подавили, матросов загнали в кубрик, выскочивших пассажиров — в каюты, а серебро, вероятно, уже начали выгружать на конный обоз, поджидавший на лесной дороге у пристани. Хорошо, что Стил так ни о чем и не догадался, иначе не избежать бы ему встречи с Мердоком. И только наше с Мартином предложение добраться до его поместья на лодке убедило Стила покинуть судно.

— Скоро?— спрашиваю у него.

Стил оглядывается в знакомое ему побережье.

— Думаю, через полчаса доберемся до устья.

— Помню,— играю я мифического сына Жоржа Ано,— что с Реки его не видно. Вы с братом определяли его по каким-то особым признакам.

Сенатор улыбается.

— Теперь это широкое устье канала, проложенного до самого поместья. Пробираться сквозь кустарник уже не придется. Речонку мы расширили и углубили. А что все-таки произошло с пароходом?— возвращается он к непонятной ему истории.— Кто это стрелял?

— Мало ли у вас в Сильверемлле стреляют?— говорю я.

Мердок прав: сенатору объяснять происшедшее пока не следует. Пусть все идет, как задумано.

— В Сильверемлле — да,— соглашается Стил.— В Городе же право на огнестрельное оружие имеет только полиция.

— Когда-то вы стреляли в полицию,— не без иронии замечает Мартин.

— То была совсем другая полиция. А эта служит народу.

— Вы хотите сказать — государству,— поправляю я.

— Государство — это народ и его хозяйство,— вещает он, как с сенатской трибуны.

— Но ведь народ — это неоднородная масса.— Я ищу слова, подходящие для понимания Стила.— Это богатые и

Рисунок
Геннадия
НОВОЖИЛОВА

В ВРЕМЕНИ

бедные, аграрии и мелкие фермеры, заводовладельцы и рабочие, хозяева и слуги. И народным хозяйством у вас все-таки управляют не слуги, а хозяева.

— А как же иначе?— искренне удивляется Стил.— Ведь и хозяева разные. Одни больше заботятся о благе народа, другие меньше. У нас в сенате больше двух третей — популисты.

— Но не все же популисты — единомышленники?— снова подбираюсь я к главному.

— Есть, конечно, горячие головы, их приходится остужать,— нехотя признает сенатор.— Кстати, за этим мыском и находится устье канала, а там и поместье недалеко,— меняет он тему и только после нескольких наших гребков добавляет:— По своему состоянию и положению я мог бы стать и «джентльменом»: у меня несколько тысяч акров земли, скотоводческое ранчо, молочная ферма и торговые связи с оптовиками. Но я, как и отец, предпочитаю быть популистом. Народником

Нет, это был не Стил-отец, занимавшийся сельским хозяйством вопреки полицейским законам, не Стил — революционер и подпольщик, а Стил-землевладелец, Стил-сенатор, хорошо усвоивший разницу между хозяевами и слугами.

Глава V
ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС?

Я лежу на широком сафьяновом диване и думаю, думаю, думаю...

Я по-прежнему в том же доме, куда мы приехали пятьдесят лет назад по здешнему времени. Тогда шел десятый год первого века, ныне шестидесятый. Дом, как и прежде, стоит на холме, только ведут к нему не ступени из плоских, вдавленных в землю валунов, а широкая лестница из тесаного камня. И забора из высоких нетесаных бревен с узкими бойницами уже нет, его заменил строгий чугунный рисунок ограды. Да и лес кругом далеко вырублен, уступив место уже пожелтевшим массивам пшеницы. Стил прежде всего показал нам их, прокатив по проселку в открытой двухколесной «американке», запряженной парой породистых рысаков. Видели мы и птицеферму, и скотный двор, которому позавидовал бы любой российский помещик, вместительные амбары для зерна, огороды и молочное хозяйство с маслобойками и сыроварней, и даже что-то вроде ангара для сельскохозяйственных машин — довольно примитивных, правда, однолошадных плугов, сеялок и косилок. Часть из них работала в поле, часть «отдыхала». «Недостаток рабочих рук»,— пояснил Стил.

Что изменило его, превратило из двадцатилетнего романтически настроенного парня, почти дикого, как индеец времен колонизации американского континента, в крупного хозяина, знавшего цену каждому истраченному и заработанному франку? Я застал его после поездки по имению над бухгалтерскими книгами, которые он проверял в присутствии своего ровесника-управляющего. Но как различно выглядели они в этой беседе: один жесткий и властный, другой покорный и робкий, шепотком объясняющий какие-то тайны дебета и кредита.

Потом, когда он закончил дела с управляющим, у нас произошел разговор, который развернул передо мной судьбу сенатора, словно документальную киноленту.

— А все-таки потянуло к политике?— спросил я его не без умысла.

— Потянуло,— согласился Стил,— сказалась, должно быть, отцовская кровь. Да и здешние фермеры, когда новые земли разбили на кантоны, меня сначала кантональным судьей выбрали, а потом все как один — кандидатом в сенат. Так и прошел без соперников. И переизбирали каждый срок, даже когда большинство в сенате переходило к «джентльменам».

— Точнее, к правым?

— Пожалуй.

— Значит, вы левые?

— Мы — центр. Левые не сформировали собственной партии. Пока они наше левое крыло, обязанное подчиняться решению большинства, хотя по многим вопросам оно и не согласно с нашей политикой.

— По каким же вопросам?

Стил замялся.

— Мне трудно сказать без протоколов заседаний сената. Назову главные. Они, например, за снижение пенсионного возраста и за увеличение пенсий, а мы этого не можем — не позволяет бюджет. Они — за национализацию железных дорог, нефтяных и газовых разработок, ну а мы, естественно, не хотим ограничивать инициативу хозяев. Интересам государства она не угрожает.

— А интересам народа?

— Я уже говорил, что государство — это народ и его хозяйство,— упрямо повторил Стил.

Я решил не продолжать спора. Еще не время. И спросил примирительно.

— А ваши консерваторы — «джентльмены», вероятно, не возражали бы против Мердока?

— Возможно. Но мы сдержим и Мердока и Донована.

— Кто это Донован?

— Глава левых. Они еще называют себя марксистами. До сих пор не могу понять это слово. У них даже язык какой-то чудной. Классовая борьба, производительные силы, производственные отношения, прибавочная стоимость.

Я не возражал сенатору, только спрашивал.

— А какова роль президента?

— Глава победившей на выборах партии становится одновременно и главой государства. За истекшие полстолетия на этом посту были многие, в том числе Фляш и мой отец. А Донован — прямой отпрыск Фляша.

Я невольно вспоминаю Фляша, подпольщика. Именно ему и досталась та пачка книг, которую я положил на грань двух миров — галактического, откуда мы вернулись на Землю, и нашего, земного, где мы только что очутились. Ведь среди этих книг был и краткий философский словарь, и однотомная энциклопедия, и учебник политической экономии для советских вузов. В них было достаточно материала, чтобы уяснить себе сущность капитализма и социализма, их экономики и политики. Может быть, марксизм «донованцев» и грешит вполне понятными ошибками, но не знать о нем они не могут. Однако подробно расспрашивать Стила о левом крыле популистов я не стал. Его могло насторожить мое любопытство.

— Почему популисты почти всегда побеждают на выборах? Мелких хозяев больше, чем крупных?— Так прозвучал мой новый вопрос к сенатору.

Он ответил не сразу, чуть-чуть подумал и отрицательно покачал головой.

— Не потому. Конечно, за нас голосуют батраки и мастеровые — их ведь много, хотя заводчики в своем районе вкупе с цеховыми старостами умеют протащить своего депутата. Но любой фермер-хозяин, независимо от того, сколько у него земли и скота, всегда за нас. Мы страна аграрная — аграрии и у власти.

— Значит, законы, выгодные промышленникам, проваливаете?

— Невыгодные для нас — да!

— Например?

— Ну если, скажем, требуются государственные кредиты на постройку нового завода или железной дороги. И если при этом они не так уж нужны фермерам и промысловикам. Вот и проваливаем — у нас даже без левых две трети в сенате.

— Так вы же тормозите прогресс. Я видел ваши сельскохозяйственные машины. На Земле это древность. На лошадях у нас сто лет назад пахали и боронили.

— Самоходные машины есть и у нас. Только производить их невыгодно. Чего-чего, а лошадей здесь хватает.

— И на улицах газовые фонари, как пятьдесят лет назад?

— В центре Города провели электричество, а на окраинах — газ. Кому нужен такой прогресс, если он втрое дороже. Может, и впятеро. Построили, что необходимо, а на ветер фермер деньги бросать не будет. Понадобился телеграф — провели, ну а телефон, хотя и придумали, не прошел. Дорого! Кто может поставить себе телефон? Завсегдатаи Клуба состоятельных — да. А счетоводы и лавочники обойдутся посыльными. Фермеру же о телефоне даже не заикнешься. Шерифы и судьи посылают верховых, а простой ранчмен и слова такого — телефон — не знает.

Спорить с сенатором о прогрессе явно не стоило. Стил олицетворял аграрную суть Города-государства. Серебро и медь он использует, будет лить чугун и плавить сталь, пошлет в угольные шахты забойщиков и железную дорогу построит, если она ему понадобится для доставки товаров на рынок, а вот денег на сомнительные научные эксперименты не даст. Да и не только научные. Надо строить сначала дороги, а не автозаводы: лошадь и по проселку пройдет, а машина завязнет, особенно зимой или осенью, в дождевую хлябь. Если и не сказал этого Стил, то, наверно, подумал. А я больше и не спрашивал.

...Я вижу, как тихо-тихо приоткрывается дверь, и уже знаю, что это входит Мартин. Такой большой и тяжелый, а ходит легко и бесшумно, как вождь из племени Сиу — был, наверно, такой индейский предок где-то в глубине безупречной американской биографии Мартина.

Он входит, держа в каждой руке по груше, золотистой и крупной, как наши сухумские «дюшес». Одну из них он тут же швыряет мне. Я еле-еле успеваю схватить ее, иначе она бы шмякнулась в стену и растеклась по синему шелку обивки.

— Ошибись ты чуток,— говорю я,— и пришлось бы сенатору стену перебивать.

— У Минни точь-в-точь такое же платье,— смеется Мартин,— вот и дала бы его на заплату.

— Не переходи границ, Дон. Не крути голову девочке.

— А я и не кручу,— искусно разыгрывает удивление Мартин,— мы просто болтаем. Я мелю всякий вздор, а ей весело. Славная девушка.

Я понимаю Мартина: мимо такой девушки трудно пройти равнодушно.

— Ну, а если мы навсегда здесь останемся?— пристально глядя на меня, спрашивает Мартин.

Я молча пожимаю плечами. В каждом из нас живет внутренняя тревога и вместе с ней твердое убеждение в том, что все кончится так же, как и в прошлый раз: вернулись, да еще так, что на Земле и отсутствия нашего не заметили.

— Не убежден. А вот красотка Минни останется здесь. Чуда не будет.

— Кто знает?

— Мы знаем. За кого бы ты выдал ее на Земле? За француженку или американку? Без визы, без паспорта, без свидетельства о рождении. Как бы рекомендовал ее у себя в посольстве?

Нам обоим смешно.

— Ладно,— говорит Мартин,— принял к сведению. Нечто я уже принял к сведению десять минут назад.

— Что именно?

— Твое назначение.

— Ты о чем?

— Все о том же, о чем только что спрашивал меня сенатор Стил. Встретив нас с Минни, он отослал ее домой, взял меня под руку и этаким беспокойным шепотком спросил: «Как вы думаете, мистер Мартин, не откажется ли месье Ано, если я предложу ему пост советника моей канцелярии? Сейчас у меня нет никого, кто бы лучше него подходил для этого места».

— Почему же он не спросил об этом меня?

— Он боится, что ты откажешься. Говорит, что ты задал ему много дельных и разносторонних вопросов.

— Сообразительный старик,— усмехнулся я.— Пусть предложит — не откажусь.

А родившуюся сейчас в связи с этим идею я тут же выкладываю Мартину.

— Ты будешь работать у Мердока.

Мартин не отвечает, только недоуменно таращит глаза.

— Найди в мусорной корзине газету, которую я взял у Стила, и посмотри ее повнимательнее. Тогда поговорим.

Мартин так и делает. Не отрываясь от чтения, восклицает:

— Смрадная газетенка.

— Тем лучше.

— Ничего не понимаю. Почему я должен нырять в эту политическую нору? Что скажет Стил?

— Сенатора убедим в полезности акции.

— Но я же не стану писать политических пасквилей.

— И не пиши. Ты будешь работать в отделе уголовной хроники. Именно в нору ты и нырнешь. На «дно» Города. Необъятный рынок нужной нам информации. Все подпольные связи Мердока. Все замыслы его банды. Думаешь, он ограничивается открытой политической борьбой? У него и другие средства: от закулисной парламентской игры до откровенно бандитских налетов. Один из таких налетов мы уже видели. Все это готовится понемногу именно в придонной грязи. Вот там и будет своим человеком репортер уголовной хроники Дональд Мартин.

Кажется, я убедил Мартина. Он больше не удивляется и не кипит. Он затих. Только, перелистав еще раз все восемь газетных страниц, говорит с грустью:

— Помойка и есть помойка.

— О твоем устройстве я сам позабочусь,— размышляю я.— Оно окупится для Мердока моей близостью к Стилу. Советник сенатора — не так плохо звучит. Мердок это сразу раскусит. Меня лично беспокоит другое. Как мы будем поддерживать связь, находясь в различных политических лагерях?

— Придумаем что-нибудь.

— Явки найдутся, об этом сам Мердок позаботится. Ему же потребуется где-то и что-то передать мне. Пусть и думает. А вот нам с тобой, кроме явок, нужны связные. Хорошо бы найти двух честных и верных парней, которые не обманут и не продадут.

И тут я вспомнил студентов из Сильвервилля. Пит и Луи! Пожалуй, единственные, на кого мы могли бы рассчитывать.

Глава VI
В «БЕРЛОГЕ» МЕРДОКА

Мы ехали верхом в Вудвилль — речной порт в центре рыбных промыслов «Веррье и сыновья». Нам предлагали сенаторскую карету, но мы отказались: верхом удобнее и легче — не нужно трястись по ухабам на напрасной лесной дороге. А из Вудвилля в Город мы уже поедем по железной дороге.

Сенатор выехал на несколько дней раньше. Документы он нам выдал, скрепив их своей подписью и личной сенаторской печатью. Я именовался советником канцелярии Стила, а Мартин — прикомандированным ко мне сотрудником для поручений. Перебросить Мартина в газету Мердока я еще сумею, пока же полученные документы дают нам право на существование в Городе.

Днем мы ехали без приключений, никого не встретив: ни пешего, ни конного, ни кареты. К вечеру, когда стемнело — а темнеет здесь после шести даже летом,— развели костер на придорожной полянке.

— Ни на Стила, ни на Мердока я работать не буду,— говорю я.— Один либерал, другой авантюрист. Мне нужны настоящие люди, вроде Стила — отца или Фляша.

— А они есть?— спрашивает Мартин.

— Предполагаю.

— Я не коммунист, Юри, и помогать им не собираюсь.

— Мы призваны сюда не помогать — так я по крайней мере думаю,— а посмотреть, как развивается здешнее общество. А что думает об этом народ, лучше узнать у Донована. Полагаю, он судит вернее других.

— Кто это Донован?

Я объясняю.

— Надеюсь, мы не будем здесь устраивать вторую революцию?— усмехается Мартин.

— Не будем. Но будем работать на тех и для тех, кто нам ближе по духу.

— А Стил тебя не устраивает?

— Стил — крупный землевладелец, помещик, по-русски,— так же далек от бедняка, как твои рокфеллеры и ханты.

— Допустим.

Из темноты леса совсем близко доносится насмешливый голос.

— Как ни приятно погреться у костра, джентльмены, вам все же придется его погасить.

К костру из-за деревьев приближаются пятеро или шестеро мужчин в широкополых соломенных и фетровых шляпах с черными платками на лицах до глаз и с автоматами, нацеленными прямо на нас. Один из них, длиннорукий верзила, подходит ближе и, не опуская автомата, командует:

— Руки!

— Мы без оружия, мистер, можете обыскать,— говорит Мартин.

Я успеваю разглядеть только высокие фермерские штиблеты, голубую застиранную рубаху и широкую, расшитую золотыми блестками повязку на рукаве.

— Поедете с нами,— говорит верзила.

— Куда?— рискует спросить Мартин.

— Узнаешь.

Мы повинуемся. Сказать нельзя, потому что замаскированные бандиты — иного наименования для них найти не могу — оказываются уже на лошадях, до этого, должно быть, привязанных где-то за деревьями. Так мы и едем по тому же проселку, плотно окруженные вооруженными всадниками. Верзила вдруг останавливается, снимает платок с лица и закуривает.

— Узнал меня, стрелок?

— По голосу,— говорю я.

— Метко стреляешь. Если бы не хозяин, мы бы еще поцапались. А то мне даже пришлось за разбитую бутылку платить.

— Могу отдать, друг Пасква.

— Запомнил, значит? И я запомнил.

Куда и зачем нас везут? Ограбить? У нас ничего ценного с собой не было, кроме нескольких сот франков наличными. Но отнять их они могли бы и на полянке у костра. Убить? Но и убить можно было там же, благо лесная дорога темна и пустынна. И сейчас, когда я узнал верзилу из «Веселого петуха» в Сильвервилле, я понял, что мы нужны не ему. Значит, Тур Мердок где-то поблизости.

На развилке поворачиваем влево. Еще полчаса — и мы уже у ворот забора, уходящего в глубину леса. В сутках здесь восемнадцать часов, и ночь, давно начавшаяся, уже тает в предрассветном тумане. Отлично виден высокий забор из толстых, почти четырехметровых бревен, совсем как у Стила больше полстолетия назад. Нас никто не встречает, и Пасква, толкнув незапертую дверь, пропускает меня и Мартина вперед, в комнату с огромным камином, в котором горят целые бревна. Этот огонь и является единственным освещением комнаты, где несколько человек за непокрытым деревянным столом играют в карты.

Пасква проходит в дверь, незаметную где-то в глубине комнаты, и тотчас же возвращается.

— Ано может войти, а Мартин пока останется здесь.

— Месье Ано,— говорю я ему,— и твердо запомните это на будущее.

Пасква не отвечает, Мартин тоже молча садится на скамью у камина. А я вхожу в другую комнату, такую же бревенчатую, без обоев, но хорошо меблированную и с большим мягким ковром на полу. В комнате светло, хотя и освещает ее только десяток толстых свечей в грубых деревянных подсвечниках. Встречает меня сам Тур Мердок.

— Садитесь, месье Ано,— приветливая улыбка играет на его губах, и тонкая, почти женская, рука указывает на одно из двух обитых красным бархатом кресел.— Рад видеть вас в моей летней берлоге.

Я начинаю злиться.

— Приглашение с вооруженным эскортом?

— А вы бы приехали иначе?

— Возможно.

— Мне нужно было наверняка. И я знал, что вы поедете верхом, знал, и когда вы поедете.

— Откуда?

— Это мой маленький секрет, месье Ано, но, чтобы вы не мучились над его разгадкой, я вам скажу: у меня есть кое-кто и в сенаторском окружении. Я даже знаю о вашем назначении. И самое главное — вы мне нужны. Тем более, что мы договорились обо всем еще в Сильвервилле.

Я решаю, как говорится, брать быка за рога.

— Так что же вы предлагаете, мистер Мердок, и что требуется от меня?

— Я предлагаю вам десять тысяч франков. Первую половину вы получите по приезде в Город, от моего банковского агента. Остаток по окончании дела.

— Крупно играете, Мердок,— говорю я, намеренно опуская «мистера».

Мердок принимает вызов.

— Чем крупнее игра, Ано, тем интереснее игрокам. Моя ставка в этой игре — десять тысяч. Ваша — голос сенатора Стила, поданный за легализацию моей партии.

— Какую цену может иметь один голос Стила?

— Огромную. За ним проголосуют все аграрии и цеховые старосты.

— Цеховые старосты — это лидеры профессиональных союзов?— спрашиваю я, не замечая, что прибегаю к земной терминологии.

Но Мердок замечает.

— Странный жаргон у вас,— кривится он,— мы так не говорим.

— Кстати, я даже не знаю, что такое трудовики.

— Доновановское крыло популистов. Несколько старых мечтателей и мальчишки, вообразившие себя взрослыми.

— Вот видите,— говорю я,— с моим опытом в политике трудно согласиться на вашу игру. Предлагаю другие условия. Никаких авансов. Выйдет — хорошо, не выйдет — не взыщите.

— Так почему же отказываться от пяти тысяч? Не понимаю ваших мотивов.

— Я никогда не беру денег взаймы, если не уверен в том, что могу их отдать.

— Но в игру входите?

— Рискну.

— Может быть, подключить и Дональда Мартина?

— У меня есть другое предложение о Мартине. Устройте его репортером в вашу газету.

Мердок молчит. Тогда я бесцеремонно открываю дверь и кричу:

— Мартин, входи!

Мартин входит с искательной улыбкой.

— Вы никогда не работали в газете, Мартин?

— Нет, но тщательно готовился дома. И ваша газета мне нравится больше других,— не спеша поясняет Мартин.— Нравится ее подход к событиям, умение опередить полицию, проникнуть в тайну случившегося раньше профессиональных следователей, раскрыть скандал в благородном семействе или сомнительную репутацию какого-нибудь якобы безгрешного деятеля...

Мердок явно доволен. Я тоже.

— Ведь вы умница, Ано,— смеется Мердок после ухода Мартина.— Угадали, что нам понадобится свой человек в кулуарах сената. Только учтите срочность соглашения.

И вот мы снова на лесной дороге с ухабами и болотцами. То съезжаемся, то отстаем или опережаем друг друга. Разговаривать трудно, и я вновь размышляю о соглашении с Мердоком. Ведь легализация реставраторов мне ненавистна: когда-то я и мои друзья боролись против полицейской диктатуры. Не собирался я убеждать Стила и явно рисковал, обманывая Мердока. Зачем? Нет, Мердок мне нужен, как и Стил, чтобы понять политическую структуру этого, выросшего уже без постороннего вмешательства мира. Даже обманывая Мердока, я искал ему аналог на Земле. Может быть, это здешний фон Тадден, фигура у нас давно провалившаяся и потому явно обреченная на провал и здесь, хотя мысль у обоих одна и та же — реставрация прошлого. С фон Тадденом роднит Мердока и политическая одержимость, почти фанатизм, желание действительно вернуть «золотой век», несомненный опыт искусного оратора и политического авантюриста. Есть в нем и черты главарей мафии: их сметливый и подлый ум, смелость и расчетливость игрока, жажда власти.

Все это я высказываю Мартину.

— Философствуешь,— говорит он, сдерживая лошадь.— А, пожалуй, похоже. Только одного не понимаю: ты же все равно обманешь Мердока.

— Обману, чтобы помешать.

— Для чего? Ему и Стил помешает.

— Мы еще не знаем соотношение сил в сенате. Может быть, Стил ошибается. Мы вообще не знаем города. Что здесь осталось, что родилось и что выросло? Вот и начнем изучать. Я — сверху, ты — снизу.

— Ну, изучим, а дальше?

— Дальше посмотрим, с кем мы.

— Ты уже говорил.

— Я и повторяю. Мы еще не знаем экономики государства, не знаем ни промышленности, ни пролетариата. По-видимому, рассказ Стила не полон. Пролетариат есть, но достаточно ли он вырос, есть ли у него настоящие вожди?

— Сразу видно коммуниста,— замечает Мартин.— Пролетариат, Маркс, капитализм, социализм.

Я-то понимаю Мартина. Отлично все знает, но притворяется. Просто не хочет рисковать. Проводить время с Мэнни куда интереснее. Но сделать, что нужно, сделает. Поэтому я умолкаю.

— Интересно, где они будут искать серебро и кого обвинят в ограблении?— вдруг спрашивает Мартин, круто переменив тему разговора.

— Полиция, кажется, здесь наполовину подкуплена,— говорю я.— Ничего и никого не найдет. Мердока же вообще даже упоминать не будут, не только что обвинять.

— А серебро-то у него в кармане,— ухмыляется Мартин.

— Ты так уверен?

— Зря, что ли, я сидел в комнате с камином. У стены люк в подвал. Его открыли и вносили туда ящики.

— Может быть, ящики с оружием или продовольствием?

— Я узнал их. Те самые, которые грузили с причала в кормовой люк «Гека Финна».

Глава VII
ГОРОД СЕМИДЕСЯТОГО ГОДА

В Вудвилль мы приехали вечером и уехали утром на другой день. С городом как следует и не познакомились. То, что увидели, проезжая по улицам, выглядело чуточку солиднее и побогаче, чем в Сильвервилле: меньше дощатых и бревенчатых хижин, дома в большинстве каменные, из розового туфа, как у нас в Армении: видно, поблизости находятся каменные отложения минеральных вод. Встречались дома, отделанные гранитом и кремовым песчаником, разнообразившие цветовую архитектурную гамму города. Вывесок было побольше, и показались они нам крупнее, чем в Сильвервилле. Добротно выглядела и гостиница «Веррье-отель» с боковыми крыльями и колоннадой у входа. Ее владелец Гастон Веррье, к которому мы и направлялись по указанию Стила, любезно предоставил нам комнаты в своей огромной квартире, занимавшей весь первый этаж гостиницы. В отличие от Сильвервилля, воспринявшего какие-то черты американского дальнего запада из старых ковбойских фильмов, Вудвилль скорее напоминал городок провинциальной Франции, где-нибудь в Нормандии или Бретани. Веррье, толстенький, разбитной француз с чисто выбритым лицом, сохранившим лишь подстриженные седоватые бачки, владел рыболовными промыслами по берегу реки. Мы видели их: бараки и хижины, опрокинутые лодки на берегу, сети, натянутые на колья. Ему принадлежали и виноградники на склонах холмов, примыкавших к городку с севера. Принял он нас гостеприимно и радушно, познакомил со своим типично французским семейством, приказал отвести наших измученных лошадей на конюшню и угостил обильным и сытным ужином, преимущественно из дичи и рыбы. Запивали его крепким виноградным вином производства торгового дома «Веррье и Компания» и успели узнать, что все «порядочное население» города голосует за популистов.

Утром, простившись с Веррье, Мартин и я уже сидели в купе первого класса железной дороги Вудвилль — Город. Как непохоже было это путешествие на первую нашу поездку в Город пятьдесят лет назад. Тогда запряженный шестеркой битюгов бывший автобус, облупленный и запыленный, на дилижанс, воспетый Андерсеном и Диккенсом, а именно земной автобус с выброшенным из-за отсутствия бензина мотором, рваные, обтрепанные сиденья с торчащими пружинами и несколько запоздавших с загородной прогулки туристов, одетых совсем как наши земные парни и девушки. Сейчас же роскошный купированный вагон, пассажиры в цветных сюртуках, длинных бархатных и кружевных платьях, толстые свечи в медных подсвечниках, старомодные саквояжи и кофры, завтрак и обед, принесенные вышколенным официантом из вагона-ресторана, и медленно плывущий пейзаж за окном: то лиственный лес, то газон на фермах, то коровы на лугах, то редкие трубы заводов поблизости к Городу. Все это можно было увидеть, наверно, проезжая по Южной Германии или Швейцарии в восьмидесятых годах прошлого века.

До самого вокзального перрона меня не оставляла тревожная мысль, давняя, все время беспокоившая мысль о встрече с Городом. Что живо, что умерло, что изменилось? Не изменилась каменная брусчатка у заставы и утрамбованная сухая глина в примыкающих переулочках — раньше именно отсюда и начинался Город,— сохранилась и центральная, немощеная, с рыхлой землей дорожка посреди улицы. По ней, как и раньше, скакали верховые: курьеры, поручены государственных и частных контор, конные полицейские и просто любители верховой езды. Остались и велорикши, ожидающие пассажиров. А вот конные упряжки изменились. Запряженные лошадьми автомашины без моторов сменили легкие ландо и фиакры, а проще говоря — двухместные и четырехместные кареты и коляски на литых и дутых шинах, как у московских лихачей в дореволюционные годы. Я увидел и конку — легкий, открытый со всех сторон вагон, запряженный четверкой лошадей, тащивших его довольно быстро по врезанным в камень рельсам. Но Город начинался раньше с ободранных автобусов, поставленных на сваи ушедшими на пенсию полицейскими, и нестройным рядом самодельных хижин из пустых бидонов, канистр и ящиков, а сейчас начинался с вокзала. Он был выстроен, вероятно, лет двадцать назад, оштукатурен, облупился и не блистал архитектурными изысками, но для меня он был некиим новым явлением, преображавшим въезд на территорию города. Отсюда тянулись длинные серые заборы, почерневшие от дыма и гари приземистые заводские корпуса и высокие каменные трубы, извергавшие в ясное прежде небо облака черной копоти. Ехали мы в открытой коляске с кучером в желтой крылатке и с длинным плетеным бичом, странно напоминающим удочку. И чем глубже проникали мы на территорию Города, едва уловимые как будто изменения становились для меня все ярче и разительнее. На улицах

стало как бы просторнее и тише: потом мне объяснили, что по меньшей мере треть городского населения покинула Город в поисках счастья на необжитых землях. Многие любопытные последствия этой миграции я узнал позже, пока же удивляло отсутствие привычной уличной толкотни, памятной мне по нашим хождениям здесь более полусотни лет назад. Удивляло обилие магазинов и всевозможных частных контор. Выросла и развернулась торговля и торговлишка, как в любом земном городе, куда еще не докатились чудеса супермаркетов и универсамов. Большие магазины и крошечные лавчонки, парыки и киоски попадались буквально на каждом шагу. Век девятнадцатый путался с двадцатым: в центре, например, высились электрические фонари, гирлянды лампочек украшали входы кинотеатров и кафешантанов — я употребляю именно это слово, потому что увидал его над застекленным входом в дом, по фасаду которого даже днем бежали электрические буквы. Вспоминая Стила, можно было сказать, что этот, видимо, самый модный в Городе кафешантан с мопассановским названием «Фоли-Бержер» имел достаточно средств для того, чтобы позволить себе электрическую рекламу. По когда-то лесистым, а теперь начисто вырубленным горным склонам, продолжавшим город и напоминавшим не то поселок лесорубов из Орегона, не то индейскую резервацию где-нибудь на границе с Канадой, рассыпались в беспорядке улиц и переулков ухе не самодельные бревенчатые хижины, а каменные хоромы богачей, окруженные садами с подстриженными клумбами и кустами.

Отель «Омон» встретил нас с бальзаковской старомодностью, характерной для него и пятьдесят лет назад. Те же тяжелые плюшевые портьеры, старинные канделябры, пузатая мебель, которую на земле увидишь лишь в антикварных магазинах, на аукционах или в музеях. Отель, видимо, был настолько богат и солиден, что мог позволить себе и электрическое освещение и телефон, правда, не в комнатах, а только у стойки похожего на директора банка портье.

Сейчас после недолгого бездействия, на которое я был обречен отсутствием Стила, неожиданно уехавшего в Ойлер для контакта с будущими его избирателями и не успевшего меня даже познакомить с обязанностями советника его канцелярии, я легко вжился в тихий отельный быт, в его некрикливые темные краски, в бесшумную поступь слуг, неразговорчивость коридорных и чинную клубную обстановку бара. Отель был наполовину пуст, — говорят, из-за летних сенатских каникул, — и я часами просиживал за стойкой бара с единственным собеседником — шестидесятипятилетним барменом, помнившим и отель и Город таким, каким видел их и я.

— Город в те дни был совсем другим — это еще отец мне рассказывал, — приходится немного присочинять мне. — Да и с моих мальчишеских лет здесь много изменилось.

— А вы долго здесь не были? — спрашивает бармен.

— Лет десять. Теперь мне ухе тридцать, после колледжа я бродил по северо-востоку... А ведь в Городе стало потише, Эд.

— Народу поменьше. Пятьдесят лет назад до миллиона доходило, а сейчас тысяч семьсот, не больше. Я не считаю пригородов. Там новых заводов много.

— Уходит, значит, народ?

— Молодежь больше. Вроде вас, когда вы в леса сбежали. И теперь бегут. С луком и стрелами, как и раньше. Не всякий может охотничью двустволку купить. Да и просто так уходят. Земли много — только налог плати. А уйдешь подальше — так и бесплатно просуществуешь. И существуют. Дичью торгуют, шкурами. А меха нынче в моде.

— Значит, нуждается Город в рабочих руках?

— Держится мастеровщинка. Высокая оплата труда. Приходится раскошеливаться, если хочешь рабочих держать.

Его информацию я корректирую информацией Мартина. Он уже несколько дней работает в редакции «Брад энд баттер». Просил дать ему три-четыре дня для ориентировки: «Потом встретимся, расскажу, что узнал». Стила в трансформации Мартина оказалось убедить легче, чем предполагалось. Правда, сначала он буквально рассмеялся.

— Проходит ваш Мартин! Не сходал.

— Сейчас поймете. Мардок серьезный противник. Даже сейчас. А кто знает, что произойдет через несколько месяцев? Надо проникнуть в его замыслы, в его игру. Так вот, сенатор, пришлось пожертвовать Мартином, послав его в эту газету. Так появится у нас свой человек во вражеском лагере.

— А вы не преувеличиваете значение Мердока как политической личности?

— Боюсь, что нет, сенатор. Он может быть очень опасен.

— Возможно, вы правы, Ано. А Мартин не протестовал?

— Я убедил Мартина, сенатор. Все в порядке. Можете спокойно ехать в Ойлер.

Мы встретились с Мартином еще до приезда сенатора. Мартин был не один — с Луи и Питом, найденными в общежитии политехнички. Оба сияют, — пожалуй, самое точное определение их душевного состояния. А внешне неброско одетые, не то студенты, не то клерки, встретишь на улице — не обернешься.

— Одному из вас придется работать у меня в канцелярии, — говорю я. — Просматривать документы, сенатские протоколы, отчеты, подбирать нужную мне информацию. Другой будет связан со мной. Работа на ногах, с людьми, информаторская, агентурная. Кому что — выбирайте сами.

— Человек я неразговорчивый — предпочту писанину, — говорит Пит.

— А я — «на ногах и с людьми», — тут же вставляет Луи.

Всем все ясно. Луи и Пит уходят, получив за неделю вперед, а мы с Мартином остаемся вдвоем за бутылкой розового «Вудвиллского».

— Выкладывай, — говорю я Мартину. — Что узнал?

— Многое. Нет ни кризисов, ни экономических спадов, ни биржевой паники. Без работы только инвалиды и нищие, которых, кстати говоря, ловят и ссылают на рудники. Рай?

— Допустим.

— Зато пособия инвалидам труда ничтожны, а семьям погибших на работе ни хозяева, ни государство вообще не платят. Пенсия начисляется только с семидесяти лет, да и то лишь мужчинам. Женский труд и оплачивается дешевле и пенсией не обеспечивается. Таков популистский прогресс на практике. За полсотни лет построено не больше двух десятков заводов, значительная часть мастерских реорганизована в мелкие фабрички, тяжелая промышленность только развертывается, да и то лишь как придаток к нуждам аграриев, в легкой царит потогонная система надомников. Фабричных рабочих всего тысяч двести, их здесь именуют по-старому: мастеровыми.

— А как с наукой?

— Кого из ученых встретишь «на дне»? Говорил я, правда, с одним бывшим университетским профессором. Математик по специальности и алкоголик по склонности. Науки, Юри, здесь на уровне девятисотых годов. Лучше других работают заводские научные лаборатории, в частности, лаборатория некоего Уэндалла — заводчика, отпускающего на нее большие средства. Но все это редкие исключения, только подтверждающие промышленную отсталость Города.

Мартин рассказывает подробно и дельно. Но мне этого мало. Мне нужно связать все это с политикой.

— А на «дне» вообще не говорят о политике, — усмехается Мартин. — Здесь голосуют за тех, кто платит. Покупателей и перекупщиков голосов и у «джентльменов» и у популистов в одном только рыночном районе десятки. Даже лидер «джентльменской» партии Рондель не брезгует здесь покупкой голосов. А районы привокзальных бильярдных и баров закуплены на корню популистами. Только Мердок не покупает пока голоса избирателей, но когда это ему понадобится, у него будет все «дно» — от уличных забегаловок до клубных игорных домов. Один Пасква приведет ему тысячи не только в Скильвервилль, но и в самом Городе, где я уже встретил нескольких его друзей из памятной нам «берлоги». Кстати, о Мердоке, — тут Мартин понижает голос, словно боится, что кто-то может подслушать, — я почти уверен, он замышляет что-то новенькое.

— А конкретно?

— Кто-то по имени Фревилл контролирует все притоны в американском секторе. Тут и открытые питейные заведения, и салуны с потайными игорными залами, и модные клубы с запрещенной крупной игрой, и бильярдные с барами — вплоть до рыночных забегаловок, где можно на ходу перехватить рюмку яблочной водки. А во французском секторе то ли сам, то ли в роли чужого подставного фердя правит некий Бидо, предпочитающий не делить доходов с Фревиллом. Так вот, с Бидо решили покончить. Как и когда, не знаю, но один тип проболтался, что скоро из него сделают мясной пудинг. Только я думаю, не наше это дело, Юри.

— Правильно думаешь, — говорю я. — Мы не в старом Чикаго.

— Печально, но тогда я даже не предполагал, как мы оба ошибались.

Глава VIII
ПЕРВЫЙ УДАР МЕРДОКА

Стил приехал, опоздав на четыре дня. Я еще не видел его, но получил записку, приглашающую меня на ужин в сенатский клуб на шесть часов вечера. Сейчас уже без четверти шесть, лошади поданы к подъезду гостиницы, и я уезжаю.

Но до этого произошли события, о которых я должен рассказать. Началось все четыре дня назад с воскресной утренней почты, в которой среди газет было и письмо сенатора, сообщавшего, что он вынужден задержаться еще на несколько дней, и если я совсем уж погибаю от безделья, то могу ознакомиться и без него с его деятельностью в сенате. Одновременно он прислал чек на тысячу франков в Мидлен-банк и чистый гербовый лист бумаги с его подписью и сургучной печатью, в который я мог записать все, что мне заблагорассудится. Этот знак безграничного доверия полностью раскрывал его отношение ко мне. Он как бы говорил: делай все, что считаешь нужным и полезным для моей страны и народа.

Мысль о том, как использовать этот гербовый лист, возникла не сразу. Сначала я прочитал от строки до строки все воскресные утренние газеты. Интересовала меня, конечно, не уголовная хроника, а политическое кредо передовиц и комментариев. В частности, внимание привлекли две статьи и обе редакционные, без подписи. Консервативный «Джентльмен» задавал, казалось бы, чисто риторический вопрос. Конституция Города, оказывается, не ограничивала законодательную и исполнительную власть двухпартийной системой. Участвовать в выборах могла бы и другая легализованная сенатом партия. Но, спрашивала газета, почему бы не допустить к выборам и политические ассоциации, которые могли бы существовать наряду с уже действующими партиями? Такие ассоциации, не ограниченные ни численностью, ни направлением, способны были бы образовать, скажем, евангелистско-католические круги, студенчество, какие-то прослойки в обеих сенатских партиях, которым уже становится тесно в своих официальных партийных рамках. Подтекст и здесь был ясен. Билль о политических ассоциациях расколол бы не «джентльменов», а популистов. Церковные круги, получив самостоятельность, блокировались бы в сенате с правыми. Студенчество, разномастное политически, вообще не смогло бы образовать единой организации, а выделение трудовиков «джентльменам» вообще не угрожало бы из-за малочисленности левого крыла. Но самое интересное было не в этом. Газета не упоминала о Мердоке и его «реставраторах», а ведь билль о политических ассоциациях именно ему и открывал путь в сенат. Провалить этот билль было труднее, чем легализацию одной его партии.

Другая наводящая на размышление статья была опубликована в мердоковской «Брад энд баттер». Говорилось в ней тоже о выборах, только в ином аспекте, а именно — об откровенном шантаже и подкупе избирателей, проще говоря, о покупке голосов оптом и в розницу в городских пивных, салунах и барах. Упрекнуть автора можно было лишь в чересчур уж развязной и крикливой манере. Он писал он правду, подтверждая то, о чем рассказывал Мартин, только не называя имен. Имена эти газета обещала назвать и представить документальные доказательства подкупа, если потребуют обстоятельства. Но она все же выражала надежду, что обе сенатские партии учтут это в предстоящей избирательной кампании.

Настораживало само обещание «назвать имена и представить документальные доказательства». Какие цели преследовал этот выпад? Скомпрометировать популистов и «джентльменов»? Зачем? Ведь у Мердока еще не было партии. Одних популистов? Это имело бы смысл, если бы он рассчитывал на победу правых: судя по осторожному выступлению «джентльменской» газеты, у него были связи и в этом лагере. Но обещание «скомпрометировать» предусматривало деятелей обеих партий. Почему? Может быть, это угроза возможным соперникам, чтобы побудить их к принятию билля о создании политических ассоциаций?

Кое-что я узнал чуточку позже.

В комнату ко мне постучался лифт-бой и пригласил спуститься к телефону у стойки портье.

— Говорит Мердок, — услышал я знакомый любезный голос, — у подъезда гостиницы вас ждет фиакр. За четверть часа он доставит вас в мою городскую «берлогу», я угощу вас нежнейшим «Вудвиллским полусухим» и отпущу с тем же кучером. Потеряете час, не больше. Не огорчайте отказом.

Я не отказал и поехал. «Берлога» оказалась уютным каменным особняком в глубине розового цветника и декоративной живности. Мердок в домашнем халате, выхоленный и элегантный, встретил меня на крыльце и провел в кабинет.

— Садитесь, Ано, — сказал он. — Есть дело.

— Догадываюсь.

— Едва ли. Сегодня с утренней почтой вы вместе с письмом от сенатора получили чистый гербовый лист с его подписью и печатью. Туда можно вписать что угодно.

— Вы отлично информированы, Мердок, о том, что делается сенатором.

Я вспомнил тихого старичка-управляющего с вежливым шепотком и вкрадчивыми манерами. Только он один знал о нашем отъезде с Мартином вплоть до пути, по которому мы должны были поехать верхом. И только через него мог отправить свое письмо Стил.

— Мы можем лишить вас этого источника информации, Мердок, — добавил я.

— Я охотно им пожертвую, — отмахнулся Мердок. — Слишком стар и не всегда расторопен. Но у меня есть свои люди в отеле «Омон». Скрывать от вас этого я не собираюсь — лишний раз убедитесь в моих преимуществах, и, как вы сами понимаете, я распорядился после вашего отъезда ко мне заглянуть к вам в комнату и достать для меня этот чистый лист. Он мне понадобится скорее, чем вам.

— Чистого листа уже нет, Мердок. Вы чуточку просчитались, — сказал я. Тотчас же, прочитав статью в «Брад энд баттер», я написал на нем от имени Стила письмо к директору избирательных кампаний партии популистов с просьбой допустить молодого научного работника Питера Селби к партийной документации прошлых выборов. Мотив: Селби пишет книгу об истории популистской партии и нуждается в изучении ее побед.

— Чистого листа нет, — повторил я. — Мной уже вписан в него нужный текст.

— Зря вы не взяли пять тысяч, Ано, — как бы мимоходом заметил он.

— Почему зря?

— Вы бы могли информировать меня о покупке голосов популистами.

Я сразу понял, куда он клонит. Две статьи, опубликованные в «Джентльмене» и «Брад энд баттер». Скомпрометировать популистов и получить нужные кресла в сенате.

Я встал и раскланялся.

— А ответ? — спросил Мердок.

— Убедить сенатора в поддержке билля я попытаюсь. Учтите, не обещаю, а попытаюсь. А об агентурной информации забудьте. Я привык работать честно, Мердок.

— Учтите и вы, Ано: я человек злопамятный, — сказал он.

— Я тоже, Мердок. И если повторите что-нибудь вроде обыска в моей комнате, я приму свои меры.

Мердок улыбнулся скорее сочувственно, чем враждебно.

— Непривычно вы говорите, Ано. Но предложение принимаю. Пока поглядим.

— Согласен, — сказал я и, простившись с хозяином, вернулся в отель.

Внимательно осмотрев бумаги у себя в номере, я сразу же обнаружил следы обыска. Прочитанные газеты были небрежно отодвинуты в сторону, одна из них валялась на полу, гербовый лист с подписью Стила и сургучной печатью, куда я записал от имени сенатора рекомендацию Питу Селби, лежал поверх других бумаг. Я тотчас же спустился к портье.

— Кто-то был в моей комнате и копался в моих бумагах.

— Дежурный полицейский здесь, мсье. — Будда был холоден и невозмутим.

Как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Серебро Мердока действовало и в отеле и в полиции. А дальше не произошло ничего существенного, кроме визита Питера Селби и моих инструкций к рекомендательному письму сенатора.

— Итак, запомните, Пит, — сказал я, — вы — молодой ученый. Работаете над историей партии популистов с ее рождения после победы сопротивления в десятом году. Архивные материалы вами использованы, основная часть книги уже написана. Сейчас вы подходите к истории избирательных партийных кампаний, но изучать документы будете не с начала, а с конца, с последней предвыборной кампании пять лет назад. Просматривайте все, что вам покажут, но отбирайте только то, что говорит о мошенничестве, шантаже или подкупе избирателей, короче говоря, о покупке голосов во всех кантонах Города и на периферии.

Через день Селби принес мне первое подтверждение. Обнаружились две не подкрепленные документами крупные траты из партийных средств с краткой пометкой: «Для использования в привокзальном районе». В разгар кампании сенатор Клайн внес на текущий счет партии сто тысяч франков и вскоре их же изъял со странной пометкой: кто-то поставил галочку и написал нечто неразумительное. Подозрения Мартина подтверждались. Но что знал Стил?

Об этом я собирался спросить у него на ужине в сенатском клубе. Клуб старомоден, как и «Омон», только все здесь

роскошнее и дороже. Если в «Омоне» бронза и медь, то в клубе серебро, если в «Омоне» плюш, в клубе ковры редкой ручной работы, если в «Омоне» свиная кожа на диванах и креслах, в клубе шелковое сукно и цветной сафьян. Камины топят не дровами, а углем, в игорной комнате чинно играют в бридж, а в ресторанном зале почти храмовая тишина. К столику Стила меня подводит мэтр, похожий на памятник, вынужденный сойти с пьедестала. Стил в своем табачном сюртуке сидит не один, с ним элегантный господин в начинающей уже входить в моду черной пиджачной тройке с высоким, почти до горла, жилетом. Ему лет сорок пять, у него умные глаза и каштановая бородка.

— Знакомьтесь, Ано,— говорит Стил,— это мистер Уэнделл, мой партийный и сенатский коллега.

Я вежливо раскланиваюсь.

— Я много слышал о вас,— говорит он.— Сенатор считает, что лучшего советника ему не найти.

— Я дам ему сейчас первый совет по службе.— Я решительно вступаю в игру.— Увольте вашего управляющего имением, сенатор Стил.

— Шуаля?— удивился Стил.— За что?

— Слишком многое, что он видит и знает, становится известным Мердоку.

Стил поражен.

— Не понимаю, Ано.

— Кто знал о чистом гербовом листе с вашей подписью?

— Только Пауль.

— Так вот, в воскресенье утром, когда я получил от вас этот лист, меня пригласил по телефону Мердок, и по некоторым причинам я согласился на встречу. За час моего отсутствия у меня в комнате произвели обыск именно в поисках этого листа, о чем мне откровенно Мердок и поведал.

— Лист украли?— вскакивает Стил.

— К счастью, нет. Чистого листа уже не было. Я вписал в него то, что никак не интересовало Мердока.

— Какая удача,— облегченно вздыхает сенатор.— Интересно, что вы вписали туда?

— Пустяк, сенатор. Рекомендацию одному молодому ученому, пишущему историю популистской партии со дня ее рождения.

— А что вам предложил Мердок?

— Работать на него вторым Шуалем.

— Не сомневаюсь в вашем ответе. А Шуаля уволю.

— Может быть, и не только Шуаля?— прищурясь, спрашивает Уэнделл.

— Я еще лишь приглядываюсь к людям, мистер Уэнделл,— отвечаю я.

— Тогда приглядывайтесь поскорее,— говорит Стил.— До вудвилльской конвенции остается менее месяца. А там мы будем выдвигать нового главу партии. Вист уже стар и ждет не дождется смены.

— Кем же вы замените Виста?— спрашиваю я.

— С кандидатом вы уже знакомы, Ано.— Стил кивает на Уэнделла.— Отличный кандидат. Молодой и дельный. Единственное препятствие — не аграрий, а заводчик. Фермеры могут не поддержать.

— Препятствие почти устранено. Я купил половину виноградников у Веррье и молочную ферму Скрентона,— смеется Уэнделл.— А хозяин — везде хозяин.

— Простите, вижу знакомого соседа-агрария,— оживляется Стил.— Необходимо потолковать. А вы уж без меня побеседуйте.

Мы остаемся вдвоем с Уэнделлом.

— Почему вы заинтересовались предвыборными кампаниями, советник?— вдруг спрашивает он.

— Хотелось лично проверить намеки Мердока.

— А вы им верите?

У Стила от Уэнделла нет секретов. Так почему бы мне не открыть заводчику то, что я узнал от Селби и Мартина.

Я рассказываю.

— Вы еще не говорили об этом Стилу? Так воздержитесь. Не стоит огорчать старика. А Мердок — человек опасный.

— Он сам этим хвастает,— отвечаю я.— И станет еще опаснее, если пройдет билль о политических ассоциациях.

— Вы еще новичок, советник. Но у вас хороший политический нюх. Билль пройдет, не пройдет Мердок.

— У него есть шансы.

— Он погрязнет в том, в чем обвиняет нас. Начнет скупать голоса. И неизбежно будет скомпрометирован.

— Но у него есть и не продажные голоса.

— Сколько? Десяток тысяч профессионалов с большой дороги? Сколько-то лавочников. Сколько-то моих друзей, фабрикантов. Ну, проведет он в сенат горсточку реставраторов. А у нас одних фермеров более полумиллиона. А ремесленники? А батраки? А издольщики? А часть рабочих, которая всегда идет с нами? Правда, уйдут от нас католики и евангелисты. Но почему они будут блокироваться не с нами, а с «джентльменами»? Не убежден. И трудовики охотно отдадут нам свои голоса, ведь мы чуточку прогрессивнее наших соперников. Придется в чем-то уступить левым. Расширяя промышленность, надо позаботиться о рабочих руках.

— Значит, вы думаете о расширении промышленности?

— И я не одинок в этом желании. Железо, чугун и сталь — движущие силы прогресса. А сейчас — взгляните вон на того невзрачного блондина в черном свитере за кружкой пива у стойки бара. Единственный человек, кого пускают в клуб в рабочей куртке и без галстука. Видите? Если вы даже поверхностно заинтересовались экономикой и политикой, я вас с ним познакомлю.

Так я познакомился с Донованом, сенатором от восьмого кантона Города, бывшим старостой цеха металлургов.

Продолжение следует.

ВРЕМЯ ПРОТИВ

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ.

Глава IX
БИЛЛЬ

Прошел месяц со дня нашего последнего разговора с Мартином: он был в длительной командировке от редакции, разъезжал по городкам и поселкам периферии. Сейчас он, задрав ноги, лежит у меня на диване и прикуривает от свечи в старинном медном канделябре. На улице ночь, электричества в это время в отеле нет, светят только пылающие дрова в камине и свечи в канделябрах.

— Древняя штучка,— говорит Мартин, ставя канделябр на камин.— Чур, рассказывать тебе первому.

Мне действительно рассказывать первому — так мы условились еще до отъезда Мартина. А рассказать есть о чем. Например, о популистской конвенции в Вудвилле, сменившей главу партии. Прошел Уэнделл, как и предполагалось, не очень охотно поддержанный фермерами. Но все-таки прошел: сказалось влияние Стила в партийных верхах и тактика «Сити ньюз», купленной Уэнделлом у ее бывших владельцев.

— А как относится к биллю Стил?— спрашивает Мартин.— И вообще, что ты у него делаешь?

— Ничего. Должность фиктивная. Знакомлюсь с окружающими его людьми и сенатскими кулуарами. В общем, то, что мне и нужно. А к биллю он относится отрицательно, будет голосовать против. Я передал ему мнение Уэнделла, но тот промолчал.

— Расскажи мне, наконец, где сенат и где правительство? Что есть что?

— «Что есть что» просто и схематично. В сенате шестьдесят два места. Победившая партия образует миниатюрный по земным масштабам кабинет министров, по-здешнему — секретарей, как в Англии. Глава партии, он же премьер-министр, одновременно ведающий государственной собственностью — казначейством, железными дорогами, рудниками, бюджетной системой. Четверо остальных секретарей представляют кто администрацию Города, иначе говоря, кантональные власти, суд и полицию, кто — промышленность и торговлю, кто — сельское хозяйство, а кто — цеховые организации, по-нашему, профсоюзы. В сенате они голосуют, в правительстве действуют. Не ищи земных аналогий, но сущность капиталистической системы от этого не меняется.

— А что изменит билль?

— Только расколет двухпартийную систему управления.

— Значит, коммунисты откололся?

— Оставь свой жаргон, Мартин. Противно слушать. И повторяю: не ищи земных аналогий. Коммунистической партии здесь нет. Рабочее движение еще только приобретает организационные формы: мешают цеховая раздробленность и промышленная отсталость. Но уже нарождается что-то вроде социал-демократии.

— Донован?— улыбается Мартин.— Нашел-таки?

Я раздумываю, говорить или не говорить Мартину о моих встречах с Донованом. Первая была, пожалуй, наиболее примечательной. Мы стояли у стойки бара уже без Уэнделла, критически рассматривая друг друга.

— Интересно, чем это я мог заинтересовать советника сенатора Стила?— спросил Донован. Он был неулыбчив и холоден.

— Политические взгляды сенатора могут и не совпадать со взглядами его советника,— ответил я.— Лично мне, например, нравятся ваши выступления в сенате.

— И мой билль против цеховой раздробленности, за всецеховое объединение с единой экономической программой?

— Иначе говоря, единый профессиональный союз?

— Несколько непривычно звучит, но можно сказать и так. За него подано шесть голосов из шестидесяти.

— Будь я в сенате, я был бы седьмым.

— Интересно,— сказал Донован.— Вы и газету нашу читаете?

— Конечно.

— Тогда почему же вы работаете у Стила?

— Потому что отцы наши были друзьями и участниками Сопротивления в десятом году. Встретились случайно. Стил поразился моим сходством с отцом. Предложил работу. Я согласился, предупредив, что я новичок в политике и только пытаюсь ее осмыслить.

— Ну и как — осмыслили?

— Кое-что. Уэнделл, например, прогрессивнее Стила, так как стимулирует развитие производительных сил, а Стил тормозит его.

Если я рассчитывал удивить Донована, как удивил Мердока, земными политическими формулировками, то явно ошибся. Донован не удивился, только заметил:

— Вы обманули Стила, Ано, сказав ему, что вы новичок в политике. Вы узнали ее истинную суть от отца, не потерявшего память. Может быть, вы даже знаете больше меня.

На другой день за завтраком в том же сенатском клубе он мне сказал:

— Не экзаменуйте меня, Ано. Все, что вы говорите о классовой борьбе, мне уже давно ясно. Но второй революции может и не быть. Не исключено, что мы придем к власти парламентским путем, когда большинство народа поймет наконец необходимость социалистических преобразований.

Рассказывать или не рассказывать об этом Мартину? Все равно он скажет: пропаганда. Ведь интересует его только билль, открывающий Мердоку ворота в сенат.

Я передаю ему слова Уэнделла. Мартин не согласен.

— Мердок не только будет покупать голоса, он немало получит даром,— говорит он.— Подсчитай будущие избирательные ресурсы Мердока. Я объездил по крайней мере два десятка поместий, не считая хозяйчиков вроде Флашона. Это уже не десятки голосов, а тысячи: вместе с хозяевами будут голосовать и все от них зависящие. А ведь раньше они голосовали за популистов. Откуда же перемены? Одна вдова, владелица нескольких тысяч акров пшеницы, была достаточно откровенной. «Я всегда голосовала за Стила, но сейчас это мне будет стоить не меньше миллиона франков». Оказывается, полчаса назад к ней заезжал бродяга с пистолетом за поясом и объявил в присутствии слуг, что на этот раз не только ей и ее семье, но и всем издольщикам и слугам придется проголосовать не за Стила, а за реставраторов. Нет такой партии? Нет, так будет. А если она не послушается, так ей спалят всю пшеницу. «Вы, конечно, не перескажете это в своей редакции,— сказала мне мадам помещица,— я газет не читаю, а вернулу знаю. И то, что он спалит мне урожай, тоже знаю. Вы, вероятно, встретите его по дороге и поймете, что с таким джентльменом обычно не спорят». И я действительно его встретил. Знаешь, кто это? Наш друг Чек Пасхаль.

— Пасхаю придется взять под наблюдение. Найди кого-нибудь.

— Уже нашел.

— Кого?

— Луи Рене.

Находка Мартина отнюдь меня не радует. Раскуем мы зеленого мальчишку. Он даже стрелять не умеет.

— Еще один маневр Мердока,— размышляю я вслух.— Значит, он нам не верит.

— А мы ему. Кстати, серебро до сих пор в его лесной «берлоге».

— Ты уверен?

— Почти. Слитки в больших количествах не появлялись ни на рынке, ни в ювелирных лавках. Может, пустить по следу полицию?

Я рассуждаю. Бойль, начальник полиции Города,— человек Стила. Честный. В какой-то мере принципиальный. Но в подчинении у него слишком много подонков, закупленных Мердоком. Да и не только им. Мартин прав: в Городе нарождаются темные придонные слои, что-то вроде американской мафии. Появляются капиталы, неизвестно на чем взращенные. Возникают капиталисты, неизвестно что производящие. А это на руку Мердоку. Ведь именно он основная опасность в будущем. Можно, конечно, взять серебро из его «берлоги». Бойль это охотно и даже умело сделает. Но не рано ли? Не лучше ли выждать более подходящий момент для удара? Тут может помочь Рене, но оставлять его при Пасхале рискованно.

Я тороплюсь. В шесть уже оживают сенатские кулуары и бар гудит в щадящей и пустопорожней болтовне, из которой я всегда что-то выуживаю. На лестнице, окаймленной колоннадой, толкотня, как на пристани в Сильверхилле. Пробираясь наверх, встречаю Бойля. Начальник полиции стоит в сторонке и созерцает присутствующих. На заседании он будет сидеть со мной в ложе сенатских чиновников: амфитеатр зала только для сенаторов.

— Все еще не нашли серебро, Бойль?— Мы с ним на дружеской ноге и обходимся без «мсье» и без «мистера».

— Кто сейчас интересуется серебром?— вопрошает он.— Билль и только билль!

— А вдруг провалят?

— Чудак,— смеется Бойль и ныряет в какую-то болтающуюся группку.

У Бойля своя информация, думаю, верная и вполне исчерпывающая.

Ко мне подходит Уэнделл, дружески пожимает руку.

— Сейчас вы спросите о Стиле,— улыбаюсь я.

— Не буду. Знаю, что он проголосует против.

— Многие боятся его выступления. Оно может быть очень резким.

Продолжение. Начало в №№ 19, 20.

ВРЕМЕНИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунок
Геннадия НОВОЖИЛОВА

— А разве вы не знаете точно?

— Он со мной не советовался. Но он очень не любит Мердока.

— Мердок в сенате менее опасен, чем за его стенами. А билль ждут и другие. Жизнь, как время: идет вперед, а не стоит на месте. Общество не могут представлять одни аграрии и банкиры.

Кто-то отвлекает от меня Уэнделла, и я заглядываю в пустеющий понемногу ресторан. Стила нахожу одного в дальней кабине за синей портьерой. Перед ним два бокала и бутылка вудвилльского красного. Но он не приглашает меня ни присесть, ни пригубить вина.

— Я не знал, что вы здесь, Ано,— говорит он, не поднимая глаз.

— Я пришел, как советник, пока вы меня еще не уволили,— отвечаю я и жду.

— С каким советом?

— Не выступать вообще.

— Почему?

— Вы не поведете за собой даже трети сената.

— И пропустить Мердока?

Я повторяю слова Уэнделла, что за стенами сената Мердок более опасен для общества. Сенатский мандат, говорю я, неизбежно сдержит его агрессивные махинации. Хуже будет, если хунта Мердока силой захватит власть. Что такое хунта, Стил не понимает, я вижу это по его глазам и тут же поправляю «хунту» на «шайку» и добавляю, что крайности реставраторов в сенате всегда подавит разумное большинство.

Стил долго не отвечает, и я жду, не присаживаясь.

— А вы знаете, кто выдвинет билль?— наконец спрашивает он.

— Рондель.

— Глава партии «джентльменов». Человек, проживший на свете столько же, сколько и я. Что же заставило его изменить продуманному и пережитому?

— Я только что слышал от главы вашей партии, Стил,— говорю я, делая ударение на «вашей».— Жизнь, как время: идет вперед, а не стоит на месте. Должно быть, Рондель это понял.

— Они хотят расколоть нас,— тихо, но твердо произносит Стил.— Отойдут трудовики, зашевелились каноники, суетится мать-настоятельница, а главное, конечно, Мердок. Перемены? Я против перемен, Ано. Люблю все стабильное, прочное, неизменное. Должно быть, мне пора в отставку, сынок. Могу назвать тебя так, кто бы ты ни был. Ведь мне уже, как и Висту, давно за семьдесят. Только уйду после выборов. По конституции все мои голоса получат те, кому я их отдам. А у меня сто тысяч избирателей, и ни один из них не будет голосовать за Мердока.

Я вспоминаю рассказ Мартина, но молчу. Стоит ли огорчать старика, да еще в такой день? А на шантаж Мердока можно найти управу: есть и Уэнделл, есть и Бойль. Да и «Сити ньюз» может вмешаться, если понадобится. Словом, ответ Мердоку мы найдем и без Стила.

Звонит колокол, призывающий членов сената в зал заседаний. Стил уходит из ресторана, мне его искренне жалко: священник, основы веры которого поколеблены. Я медленно иду за ним, сливаясь с толпой в коридорах. Цветные сюртуки и фраки перемешались с наглухо застегнутыми пиджаками и высокими жилетами, а кружевные жабо с широкими галстуками, как смесь годов, нравов и состояний. Журналисты с открытыми блокнотами толпились у входа в ложу прессы. Их длинные клетчатые пиджаки походили на форму. В соседнюю ложу сенатских чиновников входили более старомодные джентльмены и леди. Женщин было довольно много и в зале заседаний и на хорах для публики. Они выглядели пестро, но чаще глаз примечал сухопарых подтянутых директрис пансионов и настоятельниц монастырей, а то и просто монахинь в белых накрахмаленных шляпах. Красные треуголки лакеев, приносящих пиво и бутерброды в зал заседаний, еще более увеличивали крикливую пестроту картины.

У входа в ложу мне встречается Мердок, на этот раз более старомодный и чинный, как мопассановский редактор Вальтер из «Милого друга». Улыбка его лучезарна, словно у игрока, крупно выигравшего на ипподроме.

— Радуетесь?— замечаю я.— Не рано ли?

— А вы сомневаетесь, мсье Ано?

— Почему я и отказался от ваших пяти тысяч.

— Боюсь, что вы мне уже не нужны. Как советник Стила, разумеется. Охотно предлагаю вам тот же пост.

— Не рано ли?— повторяю я.

— Я уже присмотрел себе кресло в сенате. Подумайте, Ано, может быть, это окажется выгоднее, чем предложение Уэнделла?

— Вы, как всегда, информированы, Мердок. Но я ни к кому не уйду от Стила. Тем более сейчас.

— Поддержать падающего?— смеется Мердок.

— Нет. Просто большей свободы действий нигде у меня не будет.

— То-то вы так часто встречаетесь с Мартином. Пусть имеет в виду, что разглашение редакционных секретов чревато далеко не радужными последствиями.

— Кому интересны секреты редакции «Брэд энд баттер»? Я лично ее не читаю. Да и Мартин может уйти в другую газету.

— Он мне еще нужен, Ано. Как, впрочем, и вы. Не хочется терять вас из виду. Слишком много вы знаете, молодой человек,— говорит Мердок, рассматривая свои полированные ногти. Еще одна улыбка вполоборота, и он скрывается в ложе.

Значит, он знает о моих встречах с Мартином. Откуда? Слежка за мной или провал Мартина?

Ни он, ни я не открываем своих карт.

Игра продолжается.

Глава X
УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

Билль прошел.

Я лежу у себя в комнате на диване, как Мартин, задрав ноги: спинки у омоновских диванов высокие, как в эпоху королевы Виктории. Сейчас в Городе праздник — семьдесят первая годовщина Начала, того самого Начала, с которого повел свою жизнь этот смоделированный неведомыми галактистами человеческий город и которое с тех пор так и пишется, как Город,— тоже с прописной буквы. Делать ничего не хочется, да и дел нет, за окнами праздничная тишина, лишь экипаж изредка проскрипит или прозвенит конка. И в отеле тишина, в одних комнатах спят после бурной предпраздничной ночи заезжие купчики и агенты, как у нас говорили когда-то, коммивояжеры, рекламисты товаров провинциального производства, спят профессиональные шулера побогаче, которым лестно пожить в дорогом, хотя и старомодном отеле. Но большинство номеров пусто: сенаторы-фермеры и промысловики разъехались по своим промыслам и поместьям, в коридорах отеля не щелкают дверные замки и не слышно жильцов, любящих покурить и поболтать на ходу, возвращаясь к себе из бильярдной и бара.

Вот и лежи, Анохин, потому что читать тебе нечего, все газеты уже прочитаны, а книги здешние старомодны, как и этот отель, что-то вроде бульварных романов конца прошлого века. Лежи, Анохин, и жди, не забежит ли Мартин, где-то кочующий и что-то вынюхивающий. Какой детектив вырос здесь из Мартина: Мегрэ не Мегрэ, Пуаро не Пуаро, но некий преемник Арчи Гудвина из романов американца Рекса Стаута — живчик-философ, всюду проходящий и всё замечающий, всюду свой: в биржевых кулуарах и в дешевых забегаловках, в семье загулявшего промысловика и на приеме у директора страховой компании. Без Мартина я бы не знал и половины того, что знал сейчас о Городе и его секретах, и не мог бы думать об обеде в баре «Аполло», куда он меня поведет сегодня и куда не ходят респектабельные горожане вроде Уэнделла или Стила. А пока лежи, Анохин, и думай, за каким чертом затеял ты всю эту игру с Мердоком и Стилом, Донованом и биллем, который все-таки прошел, несмотря на двадцать три голоса против. Стил выступил и повел за собой чуть-чуть больше трети сената, но этих «чуть-чуть» оказалось слишком мало, чтобы билль провалить.

Избирательная кампания уже в разгаре, портреты кандидатов в сенат торчат повсюду, в избирательных участках уже готовят списки выборщиков и бюллетени, а я в этих делах чужак, и вся предвыборная карусель здесь кружится помимо меня, и мне полностью безразлично, кто займет сенатские кресла и за какие проекты и поправки будет голосовать. Конечно, я сочувствую Донована, но что ему от моего сочувствия? В сущности, все мы узнали с Мартином, и если только для этого нас переместили сюда, то пора бы и возвращаться домой, благо желание неведомых нам небожителей уже выполнено, а большего сделать нельзя даже по той легенде, которую оба придумали. Общество здесь развивается по законам, давно на Земле открытым, а ускорить или изменить ход исторического развития не в наших силах.

Кто-то тихонько стучит в дверь, и я уже знаю, что это не Мартин, потому что Мартин входит без стука. А входит Пит Селби с такой удрученной миной, что сразу становится ясно: что-то неблагополучно.

— Что случилось, Пит?

— Неприятность, советник. Меня выставили из архива.

— Почему?

— Потому что директор, мсье Жанвье, заметил, что я интересуюсь больше партийными доходами и расходами, чем восторженными восхвалениями кандидатов в сенат. Такие письма, говорит, я отбрасываю, а изучаю счета и доносы. Теперь все будет выдаваться лишь по его выбору. Мсье Жанвье хочет, чтобы я работал на глазах у его чиновников. Мне он не верит.

— А это не так плохо, Пит,— решаю я.— Кто-то будет интересоваться вами, а вы наблюдайте, кто. Если их будет двое или трое, немедленно сообщите мне их имена. Среди них кто-то, а может быть, и все они окажутся агентами наших врагов. Я уже давно знаю, что часть нашей внутрипартийной информации просачивается на сторону. Смотрите в оба глаза, прислушивайтесь ко всем вопросам и докладывайте мне. Ясно?

Я едва успеваю закончить фразу, как врывается и, конечно, без стука, Мартин. Увидев Пита, спрашивает:

— Где Луи, Пит?

— Не знаю. Он уже несколько дней не ночует дома.

— И я его не встречал, Юри.— Тревожная нотка слышится в словах Мартина.

— Он только сказал, что должен кого-то разоблачить,— говорит Пит,— но кого именно, промолчал.

Я начинаю понимать, что Рене в опасности.

— Он кому-нибудь давал свой адрес?— спрашиваю я.

— Зачем? Все и так знают, что студенты из провинции живут в общежитии политехники.

— Там «пистолетники» рисковать не станут,— говорит Мартин.

— Кто их знает?— задумываюсь я.— Ты бы лучше сейчас переехал, Пит.— Я уже боюсь и за него.— На время к кому-нибудь, а? Сумеешь?

— Если требуется, сумею,— соглашается Пит, но не уходит, словно что-то собирается добавить к сказанному.

— Ну, говори, не бойся,— поощряю его я.

— Знаю. Не хотел говорить сначала. Думал, подожду, когда накопится материал, но сейчас понимаю, что время не терпит. Вы просили посмотреть повнимательнее, не наблюдают ли сослуживцы за моей работой. Наблюдают, советник. Сначала я ничего не заметил или, вернее, не обратил внимания. В частности, на любопытство старшего клерка Освальда Ринки. Он представился крайне заинтересованным моей работой, заглядывал в документы, которые я просматривал, и в мои записи, причем что-то записывал и сам. Интересовался он именно тем, что хотел скрыть от меня мсье Жанвье, его не волновали происки оппозиции, он хотел точно знать, на сколько голосов могут рассчитывать популисты в том или ином кантоне.

— Значит, Ринки работает не на Жанвье,— замечает Мартин.

Я начинаю уже соображать, в чем дело. О том, что Мердок имеет своих агентов и в избирательной канцелярии популистов, я догадывался давно. Теперь же я знаю, через кого просачивается информация.

— Я еще не все сказал, советник,— прерывает мое молчание Селби.— У меня сегодня украли рекомендательное письмо сенатора Стила.

Еще одно событие!

— Почему оно оказалось у вас?

— Я предъявил его мсье Жанвье, он прочел и вернул его мне, а я спрятал письмо в стол. В письме рекомендовали меня, ну а кому еще могла понадобиться эта рекомендация?

— Скверная история,— говорю я.— Любой документ за подписью сенатора может быть использован нам во вред.

— Вот что, Мартин,— решаю я.— Приедешь в «Аполло» ночью после девяти в самый разгар суетологии. Столик закажешь заранее. Я постараюсь приехать вовремя. Пока же мы с Питом займемся Ринки. Надо узнать точно, кому он продал письмо сенатора.

«Гэмблинг-хауз» — начертано электрическими лампочками на фронтоне богатого особняка на самом фешенебельном отрезке Больших бульваров. Надпись освещала не только вход и колоннаду у входа, но и примыкающую к ним ресторанную площадку под парусиновым тентом.

Швейцара не было. Мы вошли в открытые настежь двери, где в глубине большого пустынного холла скучал молодой человек в синем сюртуке и крупном жабо, украшенном булавкой с лиловым, похожим на аметист камнем. Мы предъявили свои визитные карточки и уплатили по двадцать пять франков за вход. Пока оформлялось это налаженное гостеприимство, я успел осмотреть соседний бар за тяжелыми и плюшевыми портьерами. Он был почти пуст — только несколько хорошо одетых молодых людей пили что-то у стойки. Ринки, как подсказал мне Пит, среди них не было.

Наверху нас встретила привычная тишина игорного зала, разбавленная шепотом советующихся, негромкими репликами выигравших или проигравших. Игра шума не любит, игроки немногословны. Лишь возгласы банкометов и крупье прерывают почти бесшумное шуршание фишек по сукну столов.

В игорном зале мы нашли, кого искали. Освальд Ринки, сидевший против крупье, играл осторожно, ставил стопки фишек не на номера, а на цвет, рассчитывая только на удвоенную сумму в случае выигрыша. В модном пиджаке табачного цвета и полосатых брюках он не походил ни на ковбоя из вестерна, ни на клерка из канцелярии популистов. Перед ним на столе уже лежала большая груда фишек, очевидно, Ринки много выиграл и вскоре должен был закончить игру и проследовать к разменной кассе, возле которой у импровизированного буфета можно было наскоро выпить и закусить.

— Не подходите к столу, Пит,— говорю я,— вас он сразу узнает и поймет, что вы пришли не играть в рулетку. Такие люди не любят давать взаймы, и он, возможно, дольше задержится за столом, что нам явно некстати. Лучше подождите незаметно в сторонке и перехватите его, когда он пойдет от разменной кассы к выходу. Внизу, в холле, и попросите у него, скажем, двадцать пять франков. Я же встану у стола и присмотрю не за игрой, конечно, а за его выходом из игры. А потом в холле я неожиданно подойду к вам, и спектакль сыграем без суфлера.

Мы так и делаем. Пит отходит поближе к разменной кассе, я становлюсь у стола позади профессионально орудующего крупье. Но мы не учли одного: Ринки увидел и узнал меня.

Почему советник сенатора от его партии пришел в казино? Ведь имя Жоржа Ано отнюдь не популярно среди его завсегдатаев, значит, он заглянул сюда случайно, из любопытства. Но успел заметить за рулеточным столом своего партийного функционера. Значит, надо бросать игру и немедленно смываться, объяснив свое пребывание в казино той же случайностью. Так я угадываю возможные умозаключения Ринки и не ошибаюсь. Всем своим видом показывая, что игра для него кончена и что играл-то он, в общем, равнодушно, без интереса и выигрыш его чисто случаен, он бочком-бочком пробирается сквозь толпу к разменной кассе. Я осторожно следую за ним, стараясь не опоздать к его встрече с Питом.

Тот успевает все же догнать его, и вот уже они оба стоят в скучной тишине холла, не привлекая внимания ни красно-фрачных лакеев, ни застегнутого на все пуговицы администратора. Я их не слышу, конечно, но вопрос Селби мне известен, а теперь я вижу и ответ. Ринки разводит руками, виновато улыбается, старательно разыгрывая этюд о проигрыше.

— Ваш выигрыш или проигрыш меня не касается,— назидательно говорю я,— но репутация игрока не подходит для партийного функционера, Освальд Ринки. Мне, возможно, придется сделать соответствующие выводы.

— Прошу извинить меня, советник,— не униженно, но даже с достоинством произносит Ринки.

Я морщусь, будто раздумывая, потом говорю, указывая на выход:

— Ладно. Подумаю. Выйдем в сад к бассейну. Здесь слишком душно.

Ринки счастлив, заметив мои колебания, и тут же устремляется к открытым дверям. Я догоняю его, и несколько минут мы втроем молча и не спеша идем по узкой тропе вдоль бассейна к воротам.

Внезапно я останавливаюсь и говорю:

— А ведь мы с вами давно знакомы, Освальд Ринки. Даже как-то сидели рядом.

Ринки удивлен или играет недоумение.

— Не имел такой чести, советник.

— Имели. Вспомните лесную хижину близ Вудвилля. Вы были тогда среди «пистолетников» Пасквы.

Актерски сыгранное удивление Ринки сменяется уже совсем не театральным испугом. Он пятится от меня, не сообразив, что стоит в нескольких сантиметрах от края бассейна.

— Стой! — кричит Пит.

Но Ринки уже потерял равновесие и ушел под воду, окатив нас фонтаном брызг. Секунду спустя он вынырнул и застучал по воде руками.

— Помогите! Тону!

Пит, подхватив его, слегка поднимает над водой.

— Подержите его так, Селби,— говорю я.— Не спешите.

— Но я же не умею плавать,— хнычет Ринки.

— Это тебе и не понадобится. Сразу пойдешь ко дну, если не скажешь, кому ты продал украденное письмо сенатора. Только говори скорее, а то Пит устанет тебя держать. Итак — кому?

— Пасквe. За пятьсот франков. Вытащите меня скорее.

— Интересно, за что вам платит Мердок? Профессиональный «пистолетник», а попадается на мелкой краже, да еще сбывает украденное своему же сообщнику. А плавать надо учиться с детства,— поучительно говорю я и помогаю Селби вытянуть из воды промокшего Ринки.

— Я, пожалуй, пощажу вас, Ринки,— замечаю я, протирая носовым платком намокшие полы и рукава сюртука.— Ни Жанвье, ни Мердоку я ничего не скажу. Выигрыш можете оставить себе, двадцать пять франков дайте взаймы Питу, если он в них нуждается, а пятьсот франков, полученных вами от Пасквы, внесите в фонд избирательной кампании сенатора Стила. Вы же, Селби, доставите сейчас эту мокрую курицу домой, а то он еще простудится. Не беспокойтесь, жаловаться он не будет.

Глава XI
УБИЙСТВО

Через полчаса я нахожу в «Аполло» Мартина. «Аполло» — это действительно третьеразрядный кабак с длинной, обитой жестью стойкой бара и десятком деревянных, ничем не покрытых столов в закопченном и пыльном зале.

— Были в «Гэмблинг-хаузе»? Ринки нашли? — обрушивается на меня Мартин.

Я рассказываю, не скрывая своего удивления, зачем понадобилась эта авантюра Мердоку или Пасквe.

— Пасква — личность немыслящая и несамостоятельная,— задумывается Мартин.— Видишь хвост Пасквы — наш клык Мердока.

— Но зачем Мердоку платить пятьсот франков за документ, который он мог получить даром?

— Агентам тоже надо платить.

— Но почему между Мердоком и Ринки вдруг возникает Пасква?

— А роль прикрытия? Ринки прикрывают как лжепопулиста. Все очень просто, Юри, подумай сам. Ринки находит в столе у Пита рекомендацию, подписанную сенатором. Сообщает о «находке» по начальству. Получает распоряжение выкрасть документ и передать его Пасквe. Кто-то уже придумал, как использовать его в какой-то пока еще не ясной для нас провокации. А Пасква лишь одно из звеньев цепочки.

Мартин рассуждает разумно. Но я помню это украденное письмо чистым бланком, который был нужен Мердоку, не успевшему выкрасть его до того, как он превратился в рекомендацию Питера Селби. Какую роль и в какой игре она должна будет сыграть?

— Пасквы и Ренье здесь нет,— говорит Мартин.— Зато я вижу Бидо.

— Кто это Бидо?

— Я тебе рассказывал. Второй гангстерский ферзь. Покупает голоса для «джентльменов».

Я всматриваюсь и с трудом разглядываю толстяка с отвисшими розовыми щеками в пиджаке из зеленого бильярдного сукна. С какими-то столь же ярко расцвеченными типами он энергично играет в покер.

— Это тот, из которого собираются сделать пудинг?

— Тот самый,— подтверждает Мартин.

— Мне его не жалко. Меня тревожит исчезновение Луи.

— Штучки Мердока.

— А может быть, инициатива Пасквы?

— Кто ты для Пасквы? Не миллионер, не игрок и не сыщик. В общем, человек неопасный.

— Я видел, где и куда сгружались слитки.

— Никто не заметил, да многие и не знали, что в ящиках серебро.

В дыму и гомоне никто и не замечает, как от входа к центру зала проходят двое с полицейскими автоматами. Идущий впереди — почти двухметрового роста, в застиранной клетчатой рубахе, с черным платком, закрывающим лицо до глаз. Второй — с открытым лицом, лишь старенькая студенческая каскетка нахлобучена на лоб.

— Луи Ренье,— тихо говорит Мартин.— Тот, кто сзади.

Высокий с завязанным лицом подымает автомат, прижимая его к бедру, и кричит на весь зал:

— Получай, Бидо!

И продолжает реплику автоматной очередью. Но одним мгновением раньше, чем кто-либо мог это понять или предвидеть, происходит нечто совсем неожиданное. Шедший сзади Луи Ренье, держа автомат за дуло, бьет прикладом по рукам стрелявшего, и очередь прошла под столом по ногам сидевших за картами. Стрелявший повернулся, и ударом тяжелого башмака свалил молодого человека на пол, и тут же полоснул по столику второй очередью. Третья ударила в грудь пытавшемуся подняться Луи.

Все это происходит буквально за две-три секунды. Стрелявший обводит автоматом по залу и говорит:

— Сидеть смирно. Мои люди у входа. Все здесь на мушке. Кто двинется — срежут.

Затем так же быстро, не снимая платка с лица, он нагибается и шарит в карманах Луи. Или кладет что-то, или берет, не вижу.

Никто не двигается. Мартин замечает вполголоса:

— Я узнал его.

— Кто?

— Наш друг Пасква. Под платком у него борода. Не ошибешься.

Стрелявший тем временем скрывается за дверью. Все сидят, как привлеченные к стульям. Только я тут же бросаюсь к Луи, лежащему на полу в трех шагах от меня. Это действительно Ренье. Грудь его пробита тремя или четырьмя пулями. Крови немного, но смерть очевидна. Я лишь успеваю засунуть руку в карман, заинтересовавший убийцу, и изъять из него сложенный вчетверо лист бумаги.

— Убит? — спрашивает меня подбежавший юный официант, пытаясь поднять Луи.

— Не трогай. Мертв. Зови полицию, да поскорее.

Юноша, торопливо вытирая залачканные кровью руки о фартук, срывается с места. Столик с убитыми окружают завсегдатаи кабака. Слышатся голоса.

— Это Бидо со своей тройкой.

— «Джентльменские» сборщики голосов.

— Говорят, так. А кто им платит? Рондальцы или церковники?

Я стою над телом Луи, чувствуя боль в сердце. Словно кто-то протянул его длинной булавкой. Стенокардия? Нет, смесь горечи, жалости и душевной муки: ведь это мы послали парня на верную смерть.

Мне очень хочется достать листок, спрятанный у меня под бортом сюртука, но я понимаю, что сейчас этого делать нельзя. Уже входит в зал за мальчишкой-официантом рослый полисмен с нашивкой сержанта на темно-зеленом мундире в сопровождении двух рядовых полицейских.

— Все видели убийство? — спрашивает сержант у собравшихся вокруг столика.

— Я со времени начала стрельбы ничего не видел,— неохотно говорит один.

— Дымно здесь,— говорит другой.— Я поодаль сидел.

— А этого кто убил? — Палец сержанта обращен к телу Луи.

— Он же и убил,— заливается мальчишка-официант.

— Кто подтвердит слова свидетеля? — спрашивает сержант.

Все молчат, мнутся: неохота же тащиться в участок.

Я показываю сержанту свою служебную карточку:

— Полностью подтверждаю слова свидетеля. Все именно так и было.

— И я,— добавляет Мартин.

Сержант козыряет и записывает наши имена и должности. А Мартину говорит, уверенный в своем полицейском всесилии:

— Ни строки в газету без разрешения инспектора.

Вероятно, он заботится о репутации заведения. Может быть, даже состоит на жалованье у его хозяев. Мне это, в общем, безразлично, но полицейскую самоуверенность его я быстро сбиваю.

— Передайте инспектору, сержант, чтобы о случившемся было немедленно доложено главному комиссару Бойлю. Я буду у него и повторю свои показания.

— А я все-таки узнал его,— цедит сквозь зубы Мартин.

— Значит, он?

— Кто же еще? Пасква, конечно.

Я вспоминаю о листке, который вынул из кармана убитого.

— Я тебе кое-что покажу, когда вернемся в отель,— говорю я, оставляя сдачу официанту.

— Спасибо, мсье Ано,— говорит он.

— Откуда ты меня знаешь?

— А я служил в отеле «Омон».

Он нагибается ко мне, словно хочет что-то прибавить.

— Ты еще не все сказал мне, приятель? — спрашиваю я.

— Да, мсье Ано,— шепчет он.— Я видел, как убийца положил что-то в карман этому парню и как вы потом что-то оттуда вынули. Должен ли я об этом молчать или нет?

— Пока молчи,— говорю я.— Может быть, это и хорошо, что ты все видел. Вдруг мне понадобится свидетель?

— Что он сказал тебе? — спрашивает Мартин.

— Узнаешь в отеле. Я сам пока еще не все понял.

Глава XII
МЫ НАЧИНАЕМ ПОИСК

Мы снова в отеле. Мартину очень хочется, чтобы разговор начал я, а не он. Ведь это я обещал рассказать недосказанное в «Аполло». А я сам еще не прочел, хотя и догадывался, что было написано в спрятанном мною листке. Я вынимаю его — сложенный вчетверо, сильно помятый, но такой знакомый листок, вернее, лист гербовой бумаги, развертываю его и, не прочтя, вскрикиваю:

— Так я и думал!

У меня в руках написанное мною за подписью Стила и с печатью сенатора письмо директора избирательных популистских компаний, рекомендующее историка Питера Селби для работы в партийном архиве. Все сразу становится ясно: и зачем было украдено это письмо и для чего оно попало в руки убийцы.

— Почему оно у тебя? — спрашивает Мартин.

— Потому, что я взял его в кармане Луи Ренье. Помнишь, Пасква нагнулся к нему, уже мертвому, и сунул это письмо в карман его куртки.

— Ничего не понимаю. Смысла не понимаю,— стонет Мартин.

— Попробуем понять,— размышляю я вслух.— Пит отдал рекомендацию Жанвье. Тот прочитал и вернул ее Питу. Что за сим последовало, известно. Письмо купили и подбросили убитому.

Мартин все еще не понимает.

— Зачем? Луи Ренье не Пит Селби.

— А планы Мердока не учитываешь?

— При чем здесь Мердок?—горячится Мартин.—Ему был нужен чистый лист с подписью Стила, а не рекомендация какому-то Питеру Селби.

— Тогда она была ему не нужна.

— А теперь понадобилась?

— Тогда он еще не был кандидатом в сенаторы. А сейчас, Дон, он уже ищет любые средства борьбы с популистами, потому что у них большинство. Тут все годится: и шантаж и убийства. О шантаже ты знаешь. А убийство мы только что видели. Документ за подписью Стила, который могли найти полицейские в кармане Луи Ренье, крупно бы скомпрометировал популистов.

— Все-таки не понимаю, почему?

— Может быть, кого-то специально послали, а может быть, кто-то дежурил в ближайшем полицейском участке. Как расписал бы он войну популистов с «джентльменами»? «Убийство в «Аполло»! Как добываются голоса на предстоящих выборах? Популистский агент пишет историю партии, а другой агент с его рекомендацией расстреливает своих противников. А подписывается под сей операцией не кто иной, как честнейший, почтенный и уважаемый всеми сенатор Стил.

— Помнишь, я тебе рассказывал,—вспоминая, говорит он,—что из Бидо собираются сделать пудинг? Я ведь думал, что речь идет о гангстерских междоусобицах.

— Не ври, Дон. Не думал ты об этом. Прекрасно знал, что здесь не Сицилия и не Манхеттен. И на земной аршин ничего мерить нельзя. И не Пасква замыслил всю эту акцию—он вообще не умеет мыслить. Задумал ее изворотливый и хитрый политиканствующий ум. Вот так.

Мартин, уже привыкший к тому, что в сложных положениях именно я принимаю решения, молчит. И, не дождавшись вопроса, я говорю:

— Возвращайся в редакцию и разузнай, что дают они в утренний номер. Доказательств у них нет. Значит, все, что они напишут о причастности популистов к преступлению в «Аполло»,—брехня. Впрочем, думаю, на это они не пойдут: повод для обвинения в клевете очевиден. Если тебя вызовет редактор или Мердок—может и такое случиться,—говори правду. Не исключено, что пребывание твое в «Аполло» уже засекли.

Мы оба молчим, понимая, что преступление в «Аполло» заставляет торопиться. Снимаю с вешалки сюртук и меняю шлепанцы на штиблеты.

— Ты куда?—спрашивает Мартин.

— К Бойлю.

— Во-первых, уже поздно.

— Он еще работает. Он долго задерживается.

— А во-вторых, зачем?

— Надо полностью рассчитаться с Пасквой. Думаю, Бойль это сможет.

— На каком основании?

— С предвыборным шантажом подождем. Надо еще собрать все необходимые материалы. Но с убийством все ясно. Есть два достаточно авторитетных свидетеля, узнавших убийцу.

— Не боишься?—спрашивает Мартин.

— Кого?

— Мердока, конечно.

— Пистолеты нам не понадобятся, Дон. Да и посылать убийц к советнику сенатора он, как будущий коллега Стила, тоже не будет. Ограничимся словесной дуэлью. Ну, а результат ее предсказать трудно.—С этими словами я открываю дверь в коридор—он тих и безлюден—и добавляю:

— Выходим поодиночке.

На улице, пропустив Мартина вперед в дождливую, промозглую ночь, нанимаю ползущий мимо фиакр с полусонным кучером, который сразу просыпается от моего окрика и чуть не роняет бич, похожий на цирковой шамбарьер. Полицейское управление находится в двадцати минутах езды. Бойль сам встречает меня у дверей своего кабинета: уже поздно, и секретарша давно ушла.

— Признаюсь, что я не удивлен вашим появлением, советник,—улыбаясь, говорит Бойль.—Мне уже доложили о происшедшем в «Аполло».

— Я просил это сделать немедленно.

— Убийство произошло на ваших глазах?

— Да. И я был не один, а с моим коллегой, мистером Мартином.

— Знаю. Но зачем же вы поторопились информировать об этом меня? Достаточно было бы и кантональной полиции.

— Прочитайте завтра утренний выпуск «Джентльмена», и вы поймете. Какой вой там поднимется по этому поводу! Ведь убитый Бидо и его партнеры—это «джентльменская» избирательная агентура в самом кантоне.

— Но это не политическое убийство, Ано. «Джентльмен» нам его не пришьет.

— А кому пришьет его «Брад энд баттер»? Мартин писать не будет... А вдруг выскажется кто-то другой?

— Спасибо вам за подсказку, советник. Что же требуется от меня?

— То, что потребуют от вас «Джентльмен» и другие газеты. Остановить бандитизм и задержать убийцу.

— Если бы мы его знали!

— Мы знаем. Я и мистер Мартин. Мы узнали его, несмотря на платочную маскировку. Это Чек Пасква. Личность, известная полиции всех кантонов.

Бойль задумывается. Он все понял, но почему-то молчит. Я жду.

— Чек Пасква?—полувопросительно повторяет он.—Личность действительно хорошо нам известная. А откуда вы его знаете?

Я рассказываю о наших встречах и о шантажном бизнесе Пасквы. Бойль еще пуще заинтересован. Еще бы! К уголовщине примешивается политика.

— Пасквы мы, конечно, задержим,—говорит он.—Пока только по делу «Аполло». Об остальном подумаем. Тут сложнее.

— Мердок?—задаю вопрос в упор.

Вместо ответа Бойль спрашивает:

— А мистер Мартин знает жертв шантажа?

— Есть признание землевладелицы—мистер Мартин назовет вам ее имя и адрес—в том, что некий проезжий субъект требовал от нее и всех ее работников голосовать за реставраторов, угрожая в противном случае спалить урожай. Предъявите ей фотокарточку Пасквы, и она его узнает.

— Кислое дело,—вздыхает Бойль.—С хорошим адвокатом он сумеет выкрутиться.

Мы понимаем друг друга. Король может защитить пешку, но, даже выиграв пешку, мы еще не окажемся в той позиции, чтобы сказать ему: «Шах!» Мердок может и отдать эту пешку, если она ему уже не нужна. Но политический шантаж реставраторов так и останется нераскрытым.

Глава XIII
СЕРЕБРЯНЫЙ ВАРИАНТ

Автомобиль Бойля довозит меня до отеля.

Странно встречает меня портье. Услышав или подсмотрев, что я приехал на автомобиле, он сгибается чуть ли не вдвое, но при этом, даже подавая ключ от номера, старается не смотреть мне в глаза. Значит, в комнате кто-то был или кто-то ждет. Мартин?

Оказывается, не Мартин.

У камина, развалясь в кресле и вытянув к огню очень длинные ноги в узких клетчатых брюках со штрипками, сидит Мердок. Сидит он в одном жилете, сюртук болтается на спинке кресла, узкое холеное лицо повернуто ко мне, а на губах дрожит знакомая хитренькая улыбка.

— Удивлены?—насмешливо спрашивает он.

— Как вы попали сюда?—глупо откликаюсь я.

— У хозяина гостиницы всегда имеются запасные ключи,—смеется Мердок.—Но есть и другие способы.

Теперь моя очередь пойти с козырей.

— Не вышло, Мердок?

— Увы. Меня снова перехитрили. Я сразу догадался об этом, когда узнал, что вы первым нагнулись к убитому. А с какой целью?

— А почему я должен отвечать на ваши вопросы?

— Хотя бы из любезности к гостю.

— Кстати, незваному. Ну, допустим такую любезность. Меня заинтересовало то, что ему подложили в карман.

— И никто не заметил ваших манипуляций?

— Никто не видел, даже Мартин.

— Но вы ему рассказали?

— Зачем?—Я сыграл неподдельное удивление.

— Может быть, и действительно незачем. Просто так вы ничего не делаете. Но Мартин меня не беспокоит, даже если вы и сболтнули. Его переведут на светскую хронику и увеличат вдвое оклад. Меня интересуете вы. Точнее, ваши действия. Знает ли об украденном вами документе Бойль?

Оказывается, есть у меня еще один козырь.

— Бойлю я сказал другое,—умышленно подчеркиваю я.—А о подложенном убийцей документе—кстати, украл его не я и вам это тоже отлично известно,—так вот об этом документе я пока еще никому не сказал.

— Логично. А что вы сказали Бойлю?

— Назвал убийцу.

— Вы узнали его?

— А вы думаете, что черный платок, кое-как подвязанный под глазами, скроет верзилу по имени Пасква?

— Значит, Пасквy возьмут,—задумывается Мердок.

— Боюсь, что вы ему уже не поможете.

— А я и не собираюсь,—равнодушно замечает мой ночной гость.—Пасквy я вам отдам. Он действовал на свой риск и страх без какой-либо связи со мной.

— Ну, связь-то была,—говорю я.—Может, просто не было согласованности.

— Какой?

— Ну, скажем, убийство, может быть, и не замышлялось.

— Вы даже знаете имя убитого?

— Знаю, Мердок. И предполагал, что ему подложат что-то вроде того документика.

Мердок уже хохочет, искренне и непринужденно.

— Не глядите судьей, мой милый юноша. Вы даже Пасквy не будете судить—надо еще, чтобы судьи поверили. Кто видел, как подложили этот документик, и кто видел, как его вынули? Бойлю, как я и думал, вы ничего не сказали, потому что сами не очень уверены в том, что предполагаете. Ведь я с вами играю, Ано. Неужели вы думаете, что я здесь потому, что напуган и хочу вас уничтожить или купить? Ведь я и о Мартине шутил: пусть болтает—не страшно. А уничтожить вас, да еще здесь, в отеле? Разве я стал бы делать это сам? Фи! Как грязно и некрасиво!

— Значит, я вам все-таки мешаю, Мердок?

— Конечно, мешаете. Со Стилом у нас с вами не вышло. Со своей дурацкой речью он выступил. Надеюсь, писали ее не вы? Но она ничего, как вы знаете, не изменила. В «Аполло» вы зря сунулись—ни к чему. Пасква—лицо для меня полезное. Но я широкой души человек. Вы мне по-прежнему нравитесь. Ведь Стил собирается подать в отставку сразу же после выборов. А куда вы пойдете? К Уэнделлу? Он вас, конечно, возьмет, только скучно с ним будет. Наращивать промышленные мощности и бороться с аграриями в недрах собственной партии? Уэнделл борется не за власть, а за капиталовложения—скучная борьба, не для вас.

Я молчу, стараясь даже глазами не выдать, о чем думаю. Для чего, в сущности, пришел Мердок? Пришел ночью, тайно, воспользовавшись любезно предложенным агентами запасным ключом к моему номеру. Наказать меня за то, что я проник в его тайные авантюры? Но если так, то делать это нужно по-гангстерски, в духе Пасквы.

И тут Мердок прав: для этого существуют другие руки и другие способы. А тогда с какой целью? Снова меня купить—зачем? Для чего все эти полупризнания и полуоткровенности? Что, если Мердока интересует не исчезновение «документика из «Аполло», а сам факт его появления на свет? Для чего я взял чистый гербовый бланк у сенатора Стила и написал рекомендацию Питеру Селби?

Я оказался прав.

— Что же вы молчите, Ано?—спрашивает Мердок.—С какой целью вы отправили в штаб Жанвье некоего Питера Селби?

— А почему бы мне не доставить удовольствие сенатору созданием истории партии, основанной еще его покойным отцом?

— А для чего тогда подбирались документы, эту партию компрометирующие? Даже сам Жанвье заметил.

— Фантазируете, Мердок. Зачем?

— Затем, что опять же не политик вы, а игрок. И как таковой мне подходите. И собранная вами информация—тоже. Продолжайте ее собирать и дальше. Настаивать на вашем уходе от Стила сейчас я не собираюсь. Продолжайте вашу полезную деятельность до отставки сенатора.

— Из-за этого вы пришли ночью сюда?

— Во-первых, я узнал много полезного. А во-вторых, где бы мы с вами встретились? Вызвать вас к себе—вы могли бы и не прийти. Пообедать в сенатском клубе? Вы могли бы и отказаться: советнику сенатора Стила интимничать со мной не положено.

— В клубе я встречаюсь со многими.

— Знаю. Но Уэнделл—ваш глава, Бойль—начальник полиции, а Донован не играет серьезной политической роли. Вас он просто интересует как личность. Нечто любопытное в нашем политическом обезьяннике. Фанатик, мечтающий о переустройстве мира. Организатор движения, которого фактически еще нет. Ни ремесленники, ни издольщики за ним не пойдут. Может быть, в будущем такие, как Донован, станут опасны. А сейчас это кучка мечтателей, несколько кресел в сенате. Позавтракать с Донованом занятно, работать же с ним вы не будете. Кто же остается? Церковники? Но вы нерелигиозны, я даже не уверен, что вы ходите в какую-нибудь церковь или на молитвенное собрание. «Джентльмены»? Но у вас нет ни состояния, ни положения, и в этом лагере к вам всегда будут относиться несколько свысока. Советник Стила. Куда же ему идти после отставки сенатора? Об Уэнделле мы уже говорили—советником он вас возьмет. Но вам будет скучно, Ано. Вот вам и предложение. На будущее, Ано, на будущее.

— Подумать можно.—Ссориться с Мердоком еще не время.—А Пасквy не жаль?—насмешливо спрашиваю я.

— Вы еще возьмите Пасквy. И судите. А я далеко не уверен в исходе процесса.

Как только уходит Мердок, слышатся шаги, потом тихий скрип двери, и входит Мартин. Он в домашнем халате, подвязанном шнурком с кисточками: видимо, собирался уже ко сну и что-то ему помешало.

— Все известно,—говорит он, входя.—От тебя только что вышел Мердок. И долго он просидел?

— Час, наверно. Я его застал, когда вернулся от Бойля.

— Я почему-то боялся, что он появится. Значит, дуэль уже состоялась?

Я рассказал.

— Меня удивляет одно. Почему так легко он отдал нам Пасквy?

— Во-первых, Пасква еще не пойман. И не судим. Об этом Мердок, между прочим, напомнил. А во-вторых, он не боится нашего опознания. Нам придется выдержать напор таких адвокатов—дай бог не сломиться.

— Неужели мы проторчим здесь до суда?

Я понимаю Мартина: надежда на возвращение домой становится все более отдаленной и призрачной. Но что же делать? В прошлый раз мы тоже не знали, когда нас вернут. Сейчас мы хотя бы можем утешаться спиралью времени. Пока здесь тянутся месяцы, на Земле проходят часы. Пожалуй, это единственное, что поддерживает нас в здешнем политическом обезьяннике, как метко высказался Мердок.

— А его предложение?—интересуется Мартин.—Ведь Стил действительно может подать в отставку.

— Мердоку я сказал: подумаем. Надо еще рассчитаться с Пасквой. Есть у меня одна идейка.

Мартин не спрашивает, какая. Просто ждет.

— Серебряный вариант,—говорю я. Тугодум этот Мартин: приходится все разжевывать до конца.—Кто-то должен подбросить Бойлю мыслишку о том, где находится серебро, тайно вывезенное с «Гека Финна» и до сих пор, как известно, не найденное. Две тонны серебра—это, мой милый, не кот наплакал.

— А если они уже истрачены или перевезены в другое место?

— На бирже до сих пор не зарегистрированы крупные сделки на покупку или продажу серебра в слитках. А лучшего места для хранения их, чем лесная хижина, нет.

— Ты сказал «кто-то должен подбросить» Бойлю адрес хранилища. Кого ты имел в виду?—спрашивает Мартин.

— Тебя. Анонимно, конечно. Можно по телефону, можно письмом. По телефону опаснее: здесь автоматов нет. Письмо лучше составить из печатных букв, вырезанных из газет. Но важно, в сущности, не как, а когда.

— Сегодня, завтра, через неделю?

— Только после того, как задержат Пасквy.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ.

ВРЕМЯ ПЕТ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Глава XIII
ОЧНАЯ СТАВКА

Мы завтракаем с Донованом в сенатском клубе — здесь опять, как обычно в эти дни предвыборной шумихи на митингах и в газетах, тихо и пусто.

— Что-то ты не слишком разговорчив сегодня, Биль,— говорю я, наши отношения уже позволяют нам называть друг друга по имени и на «ты».— Предвыборные дела?

— Предвыборные дела,— задумчиво повторяет Донован.— Да нет, тут все нормально. Мы, кажется, имеем шансы получить еще три дополнительных места в сенате. Два от Ойлера и одно от Майн-сити. Восемь вместо пяти — не идеал, конечно, но не так уж плохо для начала.

К столу подсаживается Бойль.

— Не прогоните?

— Наоборот, мистер Бойль,— поднимается Донован.— Вы составите компанию мсье Ано. А у меня дела — слышу.

— Трудным господин,— говорит Бойль.

— Вы тоже не легкий,— парирую я. Мы оба смеемся.

— Кстати, Паскву уже арестован,— добавляет Бойль.— Завтра утром будет доставлен сюда из Вудвилля в арестантском вагоне. Приглашаю вас на очную ставку и прошу известить об этом мистера Мартина.

— Быстро работаете, Бойль.

— Профессия.

Оживленное утро в Городе начинается в шесть часов, когда в Москве еще только просыпаются или делают зарядку, а в девять здесь уже полдень. К этому времени мы и прибываем с Мартином в Главное полицейское управление.

Паскву вводят в ножных кандалах и наручниках. Он в заштопанной арестантской рубахе. Борода всклокочена, глаза злые и независимые. Он явно на что-то надеется.

— Вы узнаете этих людей, Чек Пасква?— спрашивает следователь. Он строг, суховат, чисто выбрит и, должно быть, педантичен до мелочей.

Пасква не отвечает.

— Вы слышали мой вопрос, Пасква?

— Я не Пасква.

— Вы называете себя Бремсом, но вы лжете. По фотографиям и отпечаткам пальцев мы опознали вас как уже судившегося за разбой, приговоренного к каторжным работам и трижды сбежавшего Чека Паскву.

Следователь вынимает из папки полицейскую учетную карточку с фотоснимком.

— Вы?

Пасква и тут не смущен. Наверно, его не тревожит ни продолжение каторжных работ за прежние разбойные дела, ни обвинение в новом преступлении. Он даже удивляется.

— Ну, я. Пасква так Пасква. У меня имен много. Какое-нибудь мог и забыть.

— Вы узнаете этих людей, Чек Пасква?— повторяет свой вопрос следователь.

Пасква окидывает нас равнодушным взором.

— Нет,— говорит он,— чужаки.

— А вы узнаете его, джентльмены?— спрашивает нас следователь.

— Узнаем,— отвечаем мы одновременно.

А я добавляю:

— Это убийца в ресторане «Аполлон». Он был в маске, но мы сразу же узнали его, потому что черный платок, повязанный у него под глазами, сполз набок.

— Вы видели его раньше?

— Да,— говорю я, а Мартин уточняет все наши встречи.

— Вопрос о шантаже, если это потребуется, будет разбирать другое следствие,— говорит следователь.— мы же разбираем дело об убийствах в «Аполлоне».

Пасква, должно быть, ожидавший, что мы напомним ему и встречи на пароходе и в лесной хижине, где на рукаве у него болталась повязка из потертого галуна, явно доволен. Очевидно, он понял, что мы не собираемся уточнять его связи с Мердоком. И то, что, рассказывая о перестрелке в Сильвервилле, я не упомянул о Мердоке, он, конечно, тоже заметил.

— Вот этого парня,— говорит он, поглядывая на меня,— я вспоминаю как будто. Был такой пистолетный шумок в Сильвервилле. Но то, что он узнал меня в ресторане «Аполлон»,— брехня. Не был я в этом трактирчике. Играл в этот вечер с приятелями.

— С кем?— спрашивает следователь.

— С Эндом Химом и Лансье по кличке «Меченый». В покер играли у него до утра. Допросите обоих — подтвердят.

— Допросим. Но оба ваших свидетеля — бывшие уголовники. У каждого не меньше трех лет тюрьмы. Ненадежное алиби, Пасква.

— Вот я и отвечаю. В «Аполлоне» не был. Никого не убивал. Все.

Паскву уводят.

— Липовые свидетели. И алиби липовое,— говорит Бойль.

— Надо это еще доказать,— сомневаюсь я.

— Присяжные могут и не учесть прошлого свидетелей Пасквы,— со вздохом говорит следователь.— А в настоящем против них у нас ничего нет.

— Я предполагал это,— рассуждает Бойль.— Но для присяжных наши свидетели надежнее.— Он делает кивок в нашу с Мартином сторону.— И у адвокатов Пасквы ничего не найдется, чтобы их как-то и в чем-то скомпрометировать. Так что будем надеяться, джентльмены.

— Паскву собирается защищать адвокатская контора «Бернс и Тардье»,— как бы вскользь замечает следователь,— крупно берущая фирма.

Бойль хитро подмигивает мне, и я сразу же понимаю, на кого работает эта фирма. Значит, впереди еще одна схватка с Мердоком. Но состоится ли она? Не знаю. Если удастся мой «серебряный вариант» и Уэнделл нажмет на Бойля, никакого суда не будет. Паскву ликвидируют свои же по приказу Мердока.

Об этом же я и повторяю Мартину на обратном пути в отель.

— Если я вовремя сообщу ему, что Пасква освобожден без всяких на то оснований, Мердок непременно свяжет это с полицейским налетом на его лесную «берлогу».

— Ну, а если Мердок раскусит твою игру?

— Трудно. Слишком хорошо она закодирована.

А хорошо ли? Все ли я предусмотрел и рассчитал, как шахматист в приближающемся к финалу турнире? Не так уж важно, проиграем мы или выиграем. А вот все ли мы познали, чтобы позвавший нас Разум отпустил бы нас домой на Землю? Ведь сейчас модели, созданной им, фактически уже нет, возникло предоставленное самому себе человеческое общество, сменились поколения, определились экономические формации и сложился определенный характер всего общественного строя, образ мышления и поведения людей, в котором, как и на Земле, общественное бытие определяло бы общественное сознание. Может быть, что-то еще не познано и недопонято и нужны еще какие-то дни и месяцы, чтобы невидимый и неведомый нам Разум через интеллектуальное восприятие всего здесь происходящего смог постичь процесс развития человеческого общества, законы этого развития, его идеологические наслоения.

Я не делюсь с Мартином мыслями, и он своими тоже не делится. Но молчание следует оборвать — мы уже вернулись в «Омон», да и слишком уж оно затянулось.

— Начнем,— говорю я,— делать то, что задумали.

— Письмо Бойлю?

— Да.

— Предлагаю решение,— говорит Мартин,— не вырезать никаких слов из газет. Просто я напишу левой рукой. Умею писать обеими.

— А почерки схожи?

— В том-то и дело, что нет. Даже специалисты-графологи удивлялись.

— Тогда пиши: «Уважаемый сенатор Стил...»

— Почему Стил?

— Вопросы потом. Пиши: «...из заслуживающих доверия источников мне стало известно, что украденное с парохода «Гекльберри Финн» серебро в слитках до сих пор находится в целости и сохранности. Спрятано оно в лесной хижине километрах в пятидесяти по лесной дороге от Вудвилля на юго-запад к Реке. Свернуть надо на немощеный проселок на сорок втором километре у полусожженного молнией старого дуба. Хижина оттуда километрах в десяти или около этого. Окружена высоким бревенчатым забором и почти необитаема. Все окрестные поселения далеко, и о хижине этой почти никому не известно. Не известно, и кому она принадлежит, для чего построена и кто в ней живет. Но похищенное серебро находится именно там, в подвале. Люк в подвал с большим железным кольцом в первой же комнате. Слитки сложены в тех же ящиках, в которых их перевозили на пароходе. Обращаюсь к вам, сенатор, как старый и постоянный ваш избиратель, и надеюсь, что вы немедленно известите об этом полицию, а почему не делаю этого я, вы легко поймете. В полиции много разных людей, и я не уверен, что мое письмо, адресованное даже самому комиссару Бойлю, обязательно дойдет до него, а не будет до этого вскрыто или украдено. Вы же можете передать его, как говорят, из рук в руки. Друг».

Мартин передает мне написанное.

— Передашь Стилу?

— А зачем беспокоить уже отрешившегося от политических интриг старика? Сам отдам письмо Бойлю.

Глава XIV
МАТ В ДВА ХОДА

Сижу в приемной у Бойля. Он уже знает о моем приходе и просит чуть-чуть подождать. Это «чуть-чуть» длится больше сорока минут, но я не обижаюсь. У меня есть время окончательно мысленно отредактировать мой рассказ о вручаемом письме. Почему я не отдал его по адресу и действую без ведома Стила? Но письмо все равно попадет к Бойлю, а тот может найти серебро и не говоря никому о том, как оно было найдено. Мне это выгодно. Бойль еще выше поднимает свою репутацию, а я приобретаю полезного союзника — ведь в теневом кабинете Уэнделла Бойлю уготована важная роль.

— Понимаю, что ваш визит не случаен, мсье Ано. Итак, что произошло?— встречает меня он.

Вместо ответа я передаю ему драгоценный листок. С каменным лицом он пробегает его, потом, не поднимая головы, прочитывает еще раз и, не улыбнувшись, спрашивает:

— Это не фальшивка, мсье Ано?

— Не знаю. Я вскрываю все письма сенатору. Но именно это счел нужным показать вам.

Появляется адъютант.

— Инспекторов Жиро, Марси, Чира и Генделя ко мне немедленно.

— Слушаюсь, мой комиссар,— кланяется адъютант и бесшумно скрывается за дверью.

Я молча жду. Минуты две-три спустя в кабинете появляются четыре разномастных инспектора в форме и выстраиваются в двух метрах от стола.

— Генделя нет,— говорит крайний справа.— Я вместо него.

— Хорошо, Крош,— отвечает Бойль.— Вы справитесь. Но ответственным за операцию будет Жиро. Итак, слушайте. Шоссе из Вудвилля на запад по Реке вам известно?

— Да, мой комиссар,— отвечает инспектор.

— На сорок втором километре по шоссе есть поворот на лесной проселок. Где-то у сожженного молнией дуба. Кто-нибудь видел его?

— Да, мой комиссар.

— Тогда все четверо возьмите по десять полицейских, каждый и три грузовые машины. Найдите километрах в десяти от поворота лесную хижину, окруженную высоким бревенчатым забором. Разделитесь на четыре отряда и окружите ее. Если встретите сопротивление, подавите его. В первой же комнате в хижине есть люк в подвал, вероятно, замаскированный. Отыщите его, откройте и спуститесь вниз. Там должны быть ящики со слитками серебра, похищенные с «Гекльберри Финна». Должны быть, но это еще не значит, что вы их сразу найдете. Они могут быть и замаскированы, а могут быть и вывезены. Тогда ищите следы: перевозка двух тонн серебра не может остаться бесследной. Найдете слитки — грузите их на полуторки и везите под охраной сюда, в казначейство. Все, кроме Жиро, после доставки серебра могут возвращаться в Управление. Жиро остается в казначействе до тех пор, пока ящики со слитками не будут проверены и зарегистрированы. Все ясно?

— Да,— хором ответила четверка инспекторов.

— Тогда действуйте,— кивнул Бойль, а когда четверка покинула кабинет, он по-прежнему без улыбки, с тем же каменным лицом спросил у меня, как выстрелил:

— Стил знает?

— Нет,— говорю я,— только вы и я. И нет нужды кому-либо знать о письме независимо от того, есть ли серебро в хижине или нет. Если нет, то это станет смешным анекдотом, в который не стоит впутывать ни вас, ни меня, ни сенатора. Если же серебро будет найдено, вы можете информировать об этом сенат и прессу, не упоминая о письме.

— А Уэнделл? Глава партии имеет право знать о подробностях.

— Вы о них и расскажите. Как искали и как нашли. А Уэнделл оценит ваши усилия.

— Но не ваши. На что же рассчитываете вы?

— На вашу любезность. Она когда-нибудь мне понадобится.

С этими словами мы расстаемся. Пока подождем. Будем надеяться, что наш «серебряный вариант» не был ошибкой. Я тогда еще не знал, что серебро найдут в тот же день к ночи, что найдут его именно там, где предполагал Мартин, что ни один из ящиков не был выброшен на рынок и охранявшие их четверо «пистолетников» сдались полицейским без выстрела. Мало того, они назвали своего главаря и номинального хозяина хижины Чек Паскву! Все сошлось. Но Бойль, впоследствии рассказавший мне все, не упомянул имени Паскву в своем интервью газетчикам. Это было тоже согласовано с главой партии.

Я прочел это интервью в «Сити-ньюз». В других газетах оно излагалось почти так же, без дополнительных подробностей. Корреспонденты спрашивали, Бойль отвечал.

— Вы уверены, что это то самое серебро?

— Конечно. В Городском банке проверили число слитков и общий их вес. Все сходится. Вызванный представитель сильвервиллского казначейства также опознал слитки и ящики. Именно их и загрузили тогда в трюм «Гекльберри Финна».

— И вывезли в эту хижину?

— Несомненно.

— Где находится хижина?

— В нескольких десятках километров от Вудвилля в глубине юго-западных прибрежных лесов. Взгляните на карту. Лесная хижина помечена крестиком.

— Кому же она принадлежит?

— Пока еще выясняем. Она необитаема.

Продолжение. Начало в №№ 19—21

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА.

ИЗ ВРЕМЕНИ

— А что говорят окрестные фермеры?

— Ничего. Они даже не забирались в эту лесную глушь.

— Но кто-нибудь знал о ней?

— Охотники. Один из них даже стучался в ворота, хотел переночевать, но никто ему не ответил. А преодолеть высокий бревенчатый забор он не решился.

— Кто он? Назовите имя и адрес.

— Пока не могу. Следствие еще не закончено.

— Но почему вы догадались, что серебро находится именно там?

— Мы искали долго, проверили все каналы в Ойлере, Сильверивилле, Вудвилле, прибрежных фермерских и рыбацких поселках, перерыли все городское «дно». Допросили сотни людей и в конце концов вышли на эту догадку.

— Значит, предстоит найти еще и виновников кражи?

— Сейчас этим и занимаемся. А главное уже сделано. Серебро найдено все целиком.

— Общественность это оценит, мистер Бойль.

— Благодарю вас, джентльмены.

О том, почему Бойль умолчал о четырех «пистолетниках» и об их, несомненно, уже выданном главаре, я узнал накануне вечером, когда меня вызвал к себе Уэнделл.

Я спустился к портье и услышал в трубке короткое, решительное и даже суровое требование:

— Приезжайте ко мне, Ано. Вы здесь нужны. Немедленно, и никаких отговорок. Экипаж за вами уже выслан. Жду.

Я выехал. Уэнделл жил в довольно курьезном ампирном вилле, к дверям которой надо было пройти через сад мимо окон хозяйского кабинета. Они были открыты. И сквозь тюлевые прозрачные занавески я узнал лысый затылок Бойля, сидевшего в кресле спиной к окну. Все стало ясно. Серебро было найдено, и Бойль докладывал об этом Уэнделлу. А зачем же понадобился я? Или Бойль струсил, или Уэнделл счел нужным сдержать слово о Паскве в моем присутствии.

Я угадал.

— Садитесь, Ано. Серебро найдено, и не без ваших усилий,— сказал Уэнделл. Я при этом взглянул на Бойля, но тут же отвел глаза, а Уэнделл усмехнулся и продолжал:— Я одобряю и понимаю ваше самоисключение из дела. Это, должно быть, вполне согласуется с вашими планами. Но дело несколько осложняется. Хижина, оказывается, принадлежит...— Он не закончил и повернулся к полицейскому комиссару:— Расскажите вы сами, Бойль.

— Хижину, а вернее, виллу эту, принадлежавшую Вудвилльскому охотничьему обществу, купил через комиссионную контору «Гопкинс и сын» некий Чек Пасква за тридцать тысяч франков,— монотонно начал Бойль.— Купил незадолго до похищения серебра с парохода и, видимо, с расчетом на это похищение. Более надежное место для хранения слитков трудно найти. Но откуда у бродяги с большой дороги такие деньги? Сначала он вообще отрицал эту покупку, но справкой из конторы «Гопкинс и сын» мы приперли его к стенке. Сознался. А деньги, мол, выиграл в карты в каком-то игорном доме, точно не помнит. Но дома, где играют крупно, мы уже проверили — Паскву не знают. Мелкие заведения вроде «Аполло» в счет не идут — там вообще не играют крупно. Значит, Пасква только расписался в договоре, а деньги внес кто-то другой.

— Кто, мы догадываемся,— сказал Уэнделл.

— Но у нас нет доказательств. Кассира комиссионной конторы мы еще не допрашивали, а Пасква не назвал ни одного имени.

— А как он объясняет спрятанные в подвале две тонны серебра в ящиках?— спросил я.

— Никак. Признался, что купил домик, но в него не переехал. Дела. О серебре понятия не имеет. Знал бы, что оно в подвале, давно бы вывез. А «пистолетники» на очной ставке, только увидев Паскву, сразу же отказались признать в нем своего главаря. Был, мол, главарь, называл себя Пасквой, нанял их для охраны лесного домика, только человек, которого они видят в комнате, совсем не тот, кто нанимал их и платил за жилье в лесной чаще. Никаких других признаний следствие из них пока не выжало, но есть все основания думать, что они были наняты не только для охраны спрятанных в подвале слитков, но и непосредственно участвовали в налете на пароход. Старые уголовники, полиции давно известные. Расколоть их, я полагаю, будет нетрудно. Нетрудно и отпустить Паскву, как предлагает мсье Ано. Но кого мы будем судить?

— Четырех «пистолетников»,— сказал я.— они вам выдадут всех остальных участников шайки.

— Кроме хозяина,— добавил Бойль.— А Пасква и так у нас.

Бойль и Уэнделл колебались. Мне нужно было выиграть мой «серебряный вариант», и я попробовал это сделать. «Пистолетники» могут и не знать Мердока, Пасква его не выдаст, а суд над Пасквой превратится в спектакль, который без суфлера разыграют нанятые Мердоком адвокаты.

— Если Паскву не «пришьют» сразу же после устроенного ему побега, разве полиция не сумеет вернуть его в камеру? Шерифы всех кантонов знают его и очно и заочно. Где он спрячется? На необжитых землях? Так выдадут фермеры или охотники. В какой-нибудь лесной «берлоге»? Долго не просидит. Ему нужны партнеры, карты и выпивка. А «хозяина» найти тоже можно. Ведь кто-то вел переговоры с конторой «Гопкинс и сын», кто-то вносил тридцать тысяч франков на ее депозит вместе с комиссионными. Явно не Пасква. Он даже писать не умеет.

— А если это была подставная фигура?

— Тогда и ее просветят насквозь. Потянется ниточка. Мердок не всесилен.

Впервые было названо имя Мердока, но это уже никого не удивило. Все знали или догадывались, кто стоял позади серебряной авантюры.

— Нам нужно скомпрометировать Мердока до выборов,— сказал Уэнделл.

— Мы это и сделаем,— подтвердил я уверенно.— У меня достаточно материала. А кое-что знает и Бойль. Например, то, что у «пистолетников», орудовавших на пароходе, были повязки из музейного галуна. Пасква для этого и не нужен. Ни до суда, ни на суде вы его не расколете.

— Вы что-то не договариваете, Ано,— понял он.

— Возможно. Но у меня есть шансы. Пожалуй, даже уверенность. Пусть Бойль ведет следствие, я подожду. Вам же невыгодно, чтобы меня пристрелили на улице. А если все же это случится до выборов, вы получите конверт с материалами, достаточными для того, чтобы смахнуть Мердока с кресла в сенате, как пешку с доски.

— Хорошо,— согласился Уэнделл.— Я вам верю. А Паскву отпустите,— обратился он к Бойлю,— как-нибудь потише, чтобы не пронюхали газетчики.

Как все это произошло, рассказал мне Бойль, разбудивший меня под утро телефонным звонком к портье. Паскву вывезли без наручников в тюремном фургоне под охраной двух полицейских. Оба были проинструктированы и знали, что делать.

— Куда едем?— спросил Пасква.

— Скажи ему, Бой,— вмешался старший с нашивками сержанта,— мы же не давали обязательств скрывать от него цель поездки.

— В Вудвилль,— нехотя сказал младший.

— Зачем?— удивился Пасква.

— Судить тебя будут в Вудвилле. Там присяжные из окрестных фермеров. Их не купишь. Да и вашего брата они не любят.

Разговор этот был обдуман Бойлем и отрепетирован заранее. И он вполне удовлетворил Паскву. Тот хихикнул и полез в фургон. Почему с него сняли наручники, не спросил.

Отъехав из Города, на лесном шоссе тюремная карета остановилась. Сержант открыл заднюю дверцу и сказал Паскве:

— Можешь оправиться. Пойди вон туда, к кустам.

— Со мной пойдете?

— Зачем?— зевнул сержант.— Все одно бежать тебе некуда — везде поймаем.

Но Пасква знал, как и когда бежать. Такой случай упустить он не мог, а продумать причины беззаботности охранников времени не было. Он просто скрылся за кустами и замер. Потом тихо-тихо начал удаляться в лесную темноту.

— Скоро ты?— спросил младший из полицейских.

Никто не ответил.

— Должно быть, сбежал,— сказал старший погромче, чтобы скрывшийся Пасква его услышал,— снимут теперь у меня сержантские нашивки.

— Не искать же в лесу,— сказал младший.

Потом оба сели на свои места в карете-фургоне и отбыли с подробным докладом в Город. Все было сделано в точности по приказу начальства. А приказы не обсуждаются.

В моей задаче «мат в два хода» первый ход был сделан. Оставался второй.

Глава XV
ВТОРОЙ ХОД

Куда мог бежать Пасква? В Вудвилль? Нет, конечно. Слишком далеко. В лесную глушь? Едва ли. Можно встретить и голодного волка и дикого кабана, да и ночевка где-нибудь в земляной норе без жратвы и волки не перспектива для Пасквы. К Реке? Тоже не резон. Нарвешься на рыбаков, охраняющих сети и лодки, или на злых пастушьих собак. Ближе всего Город, а на «дне» всегда найдется местечко, где его могут достойно встретить и спрятать. Значит, к утру Пасква должен быть уже в Городе, а следовательно, и мой разговор с Мердоком мог подождать до утра.

Спать после телефонного рассказа Бойля я уже не хочу и жду открытия бара, чтобы заказать завтрак. Но заказывать его не приходится. Появляется, как обычно без стука, Мартин с пачкой газет под мышкой и в сопровождении официанта, несущего традиционный завтрак на двоих — бекон, яичницу и яблочный сок. Пока я просматриваю газеты, Мартин молчит, ожидая моих комментариев. А комментировать есть что. Все газеты полны сообщениями о сенсационной находке двух тонн серебра. Почти дословно повторялось интервью Бойля. Нигде не называлось имя Пасквы — о преступлении в «Аполло» уже забыли, а с серебром, найденным в лесной хижине, Бойль сознательно его не связал. Не сообщил он и о ночном побеге Пасквы и об арестованных четырех «пистолетниках». Газеты только вскользь замечали, что следствие о похищении слитков все еще продолжается и вскоре все подозреваемые будут разоблачены и взяты под стражу. Разговор начинаю я.

— Паскву выпустили. Сегодня ночью.

— Просто выпустили?

— Без объяснений. Сейчас он, наверное, уже в Городе.

Я рассказываю Мартину о своих разговорах с Бойлем и Уэнделлом.

— Большим человеком становишься,— иронически замечает он.

— А я и пятьдесят лет назад был не маленьким. Так уж мне суждено. На Земле рядовой кинодокументалист, а здесь шишка.

— Что будешь делать?

— Для начала условлюсь о срочной встрече с Мердоком.

— А на встрече?

— Расскажу ему все о Паскве, как задумали.

— А потом?

— Будем ждать известий о судьбе Пасквы. Прикончат его или простят. Угадал я или не угадал.

— Думаешь зацепить Мердока? А если просчитаешься и он раскусит твою игру?

— Какую? Я просто сообщу ему о подозрительном побеге Пасквы. О том, что якобы рассказал мне Бойль.

— А если Мердок вспомнит, что мы тоже были в его лесной «берлоге» в то время, когда загружали в подвал серебро?

— Может, и вспомнит. Но возникнет вопрос, а почему же мы молчали два месяца. Из страха? Он знает, что я его не боюсь. Может быть, из выгоды промолчать, а потом напомнить, когда придет время? Вот оно и пришло, а мы в стороне — по-прежнему молчим. И о Мердоке ни в одной газете ни слова.

— Из того, что я от тебя услышал,— задумчиво рассуждает Мартин,— кажется, Уэнделл и Бойль что-то замышляют против Мердока.

— Вероятно. Вот тогда нам с тобой, Дон, и придется официально вспомнить о повязках из галуна на рукавах «пистолетников», спускавших нам лодку с палубы «Гекльберри Финна». Стил тоже вспомнит, если ему подскажут.

Вопрос был решен, и я звоню от портье Мердоку.

— Говорит Ано,— произношу я шепотком, чтобы за стойкой не слышали.— Укажите место, где мы с вами могли бы встретиться,— имени Мердока я при этом не называю.

— Когда?— спрашивает он.

— Сейчас.

— Так важно?

— Да.

— Тогда приезжайте в кафе «Жюн» на улице Старых вязов. Это недалеко от театра.

Мердок уже ждет в полутемном зале за столиком.

— Что случилось, Ано?

— Вы же читали газеты.

— При чем здесь я?— Тон его холодеет.

— При том. Во-первых, серебро было спрятано в вашей хижине.

— Хижина эта не моя, я тогда воспользовался ею случайно.

— Известно, что это хижина Пасквы, хотя он и отрицал это на допросе.

— Тогда пусть в полиции проверяют, кем и у кого куплена эта хижина.

— Я полагаю, что уже проверили. Но не в этом главное.

— А в чем?

— В том, что рассказал мне за утренним завтраком в сенатском клубе комиссар Бойль. В том, что он не поведал газетчикам.

— Что именно? — Тон Мердока совсем ледяной.

— Что Пасква купил себе свободу за две тонны серебряных слитков. — Я внутренне торжествую, видя, как мертвенно бледнеет Мердок.

— Бойль так и сказал?

— Не совсем так. Но я так понял. Он просто рассказал о том, что Пасква бежал прошлой ночью, когда его отправляли в вудвилльскую тюрьму в обычной тюремной карете, причем без кандалов и наручников. Бежал где-то за Городом на лесной дороге, воспользовавшись случайной остановкой.

Мердок, помолчав, говорит кратко и холодно:

— Бегство Пасквы и дальнейшая его судьба меня не очень интересуют, но за любопытную информацию спасибо.

Мердок встает. Мы прощаемся. Кажется, он отверг вероятность нашего участия в удаче Бойля. Тогда все идет как надо. Мат в два хода, и оба сделаны. Остается ждать конца Пасквы.

Я узнал о нем от Мартина в баре «Омона» через два дня.

— Отойдем от стойки, — шепчет он, — есть новости.

Мы отходим с пивными кружками к столику.

— Только что узнал от инспектора привокзального района: сегодня утром Паскву нашли мертвым у бильярдной с тремя пулевыми ранами в грудь и живот. Инспектор предполагает конкурентные счеты. Месть за Бидо. Но мы-то знаем.

— Угадали, — говорю я.

— Может, и так, — соглашается Мартин и почему-то спрашивает: — А что делает Пит?

— Собирает материалы теперь уже против Мердока.

— У Жанвье?

— Не только. Собирает и лично в бильярдных и барах.

— Рискуем жизнью парня, Юри.

— Пит сам вызвался. А он человек осторожный. Ни во что не вмешивается. Только угощает и слушает.

— Кажется, скоро Мердоку будет жарко.

Уэнделла и Бойля нахожу в биржевой ресторации. Уэнделл загадочно улыбается.

— Конечно, вы уже знаете, мсье Ано.

«Мсье» он добавляет для Бойля.

— Знаю, мистер Уэнделл.

— От кого, если не секрет?

— Не секрет. От репортера «Бред энд баттер».

— И в каком же духе будет сообщение в газете?

— Полиция предполагает конкурентные счеты, — повторяю я Мартина. — Привокзальный район — я имею в виду ночные бары, закусочные и бильярдные — это район «пистолетников», услугами которых пользуются и наши конкуренты на выборах, в частности «джентльмены». Убийство Пасквы рассматривается как месть за Бидо.

— А что вы скажете, Бойль? — спрашивает Уэнделл.

— Не возражу, когда ко мне обратятся.

— Лично я думаю, — лукаво подмигивает Уэнделл, — что эта версия устраивает и нас. Мы так и сообщим в «Сити-ньюз», только не на первой полосе и как можно сдержаннее.

— У меня есть предложение, мистер Уэнделл. — Я продолжаю держаться официально, в присутствие Бойля меня не смущает: Бойль союзник, а не противник. — Хорошо, если бы статья о похитителях серебра с учетом истинных целей преступления в «Аполло» и последовавшего затем убийства Пасквы была написана не рядовым сотрудником газеты и даже не ее редактором. Автором, мне кажется, должен быть популярный и, главное, влиятельный человек.

— Кто же, по-вашему?

— Скажем, сенатор Стил.

Уэнделл долго молчит, он очень серьезен. Бойль явно заинтересован и, как и я, ждет ответа.

— Ценное предложение, — откликается наконец Уэнделл, — очень ценное. Статья сенатора Стила — это бомба. Она сметет и самого Мердока и его кандидатов. Но достаточно ли обвинительных материалов будет у Стила? И достаточно ли они будут убедительны?

— А мы ему поможем.

— Вы первый, — говорит Бойль. — Вспомните, что вы говорили мне о галунных повязках.

— Все вспомню, когда это потребуется, — отвечаю я.

Не знаю, почему я с такой решительностью предложил кандидатуру Стила. Лучшую, правда, трудно было найти для задумчивого Уэнделлом выступления. Но Стил упрям и по-своему капризен. Трудно убедить его, если упрется. Но о Мердоке он спорить не будет. Нужно только вовремя и решительно подсказать.

Стила я нахожу дома. Рассказываю ему все, что знаю. О своих встречах с Мердоком и о его попытках сделать меня своим агентом в лагере Стила, о его избирательном шантаже с помощью Пасквы, о преступлении в «Аполло» с целью скомпрометировать партию популистов и о моих ответных маневрах, закончившихся убийством Пасквы его же хозяевами.

— А вы, оказывается, умный и хитрый политик, Ано, — говорит он. — Перехитрили Мердока. Пожалуй, вы стоите больше, чем пост советника у любого сенатора. Хотите, я отдам вам все свои голоса, полученные на выборах? Это разрешается по конституции, если я тут же подам в отставку.

— Не надо, Стил. Отдайте их кому-нибудь другому, а то и даум, если число позволит. Я только гость здесь, а если судьба забросила меня к вам надолго, то я просто перейду в другой лагерь.

— К Донована?

— Конечно.

— Жаль, — вздыхает Стил. — Спорить не буду. Но пока вы работаете у меня и предлагаете покончить с Мердоком. Как? У меня нет главного — доказательства его вины в грабеже казначейства.

— Мердока и не требуется арестовывать. Прямых улик нет. Но скомпрометировать его шайку можно и должно. Этого добиваются и Бойль и Уэнделл. А сделаете это вы, выступив с обвинением реваншистов в грабеже, шантаже и мошенничестве. Именно вы, сенатор, как самый решительный противник закона об ассоциации. Вы покажете, к чему привел этот закон на примере Мердока. Все дополнительные сведения предоставит вам Бойль. Статью подготовит Мартин. Вам останется только ее подписать. Как сказал Уэнделл, это будет бомба, взрыв, который сметет на выборах и Мердока и всю его шайку.

— Хорошо, — говорит Стил, — я это сделаю.

Глава XVI
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В девять утра — полдень по-здешнему — началась пресс-конференция у Бойля в Главном полицейском управлении по делу о похищении серебра с «Гекльберри Финна». Бойль уже объявил, что следствие закончено и он может назвать ожидающих суда виновников преступления.

Происходила она в большом зале с чисто вымытыми окнами и натертым до блеска дубовым паркетом: Бойль во всем любит порядок и чистоту. Присутствовали все корреспонденты газет: «Бред энд баттер», «Джентльмена», популистской «Сити-ньюз», французской католической «Суар» и биржевого «Бюллетеня», фоторепортеры и кинооператоры, завсегдатаи сенатских кулуаров вроде меня и просто любопытные, получившие пропуска на конференцию. Как прошла она, я могу точно воспроизвести по расшифрованной Мартином стенограмме. Только вместо имен присутствующих корреспондентов укажу лишь названия газет.

Бойль. Итак, следствие закончено, леди и джентльмены, мадам и мсье. Как было похищено серебро и как оно было найдено, вам уже известно. Сейчас я расскажу о том, чего не знала общественность, пока велось следствие. Как удалось установить, похищение подготовлялось заранее: заранее была построена новая пристань на лесном берегу, заранее организована шайка головорезов, которых у нас зовут «пистолетниками», заранее была куплена у Вудвилльского охотничьего общества лесная хижина, куда и было доставлено серебро с парохода. Вы спросите: как же была куплена эта хижина или коттедж? Отвечу, что приобрел ее некий Чек Пасква за тридцать тысяч франков, через комиссионную контору «Гопкинс и сын». Пасква, хорошо известный полиции уголовник, был арестован нами за убийство в ресторане «Аполло» и находился в тюрьме, когда серебро было найдено и установлено имя владельца хижины. В покупке хижины Пасква сознался; но свое участие в похищении серебра отрицал, уверяя нас, что и понятия не имел о таком богатстве. Тридцать тысяч франков он якобы выиграл в карты и совершил сделку с представителем комиссионной конторы в состоянии полного опьянения. Прекрасно понимая, что он лжет, и выяснив, что покупка коттеджа производилась подставным лицом лишь от имени Пасквы, мы решили проследить его связи. Для этого был инсценирован его побег, который он и совершил, не подозревая о слежке. К сожалению, однако, удалось его проследить только до привокзальной бильярдной, а пока сменялись наблюдавшие за ним агенты, какая-то минута была упущена, и Паскву застрелили из проезжавшего мимо фиакра. Ни фиакр, ни убийцу обнаружить не удалось, но хозяин бильярдной признал, что за Пасквой уже охотились какие-то неизвестные люди, угрожавшие ему отомстить за Бидо. Итак, главаря банды мы потеряли, но сумели задержать его ближайших сообщников. В своем первом интервью о найденном серебре я не сказал вам — не имел права сказать, пока не закончится следствие, — что в лесной хижине, где было спрятано серебро, мы задержали охранявших его четырех уголовников, известных полиции под кличками «Жаба», «Хлыщ», «Теленок» и «Одноглазый». Имен у них много, но подлинные пока устанавливаются. В похищении серебра они сознались, назвали главаря банды и других ее участников, которые в настоящее время разыскиваются. Трое уже арестованы. Это бывший ранчмен из Сильверлилла Биг Дро и два его конюха, Уилки и Формасьон. Нашли и рабочих, строивших пристань (список их можете получить у меня после пресс-конференции). В уже упомянутом интервью я не назвал вам и того, кто навел нас на мысль поискать серебро в лесной хижине. Теперь, по окончании следствия, могу это сделать. Охотник Фернан Марти сейчас охотится где-то в приречных лесах на юго-западе, но он обещал вернуться к первому же судебному заседанию.

«Сити-ньюз». Как вы нашли охотника и почему он предположил, что серебро спрятано именно в этой хижине?

Бойль. Вы меня не поняли. Охотник только заявил вудвилльской полиции, что обнаружил в приречных лесах необитаемую хижину, похожую скорее на коттедж, чем на охотничий домик. А мысль поискать серебро в лесной хижине возникла не у охотника, а у нас.

«Суар». Много ли французов было среди «пистолетников» в шайке?

Бойль. Вывод о национальности можете сделать, прочитав список привлекающихся к суду.

«Пиплз войс». Такие бандиты, как Пасква, не открывают текущих счетов в банках. Откуда у него оказалось тридцать тысяч франков для покупки лесного коттеджа? Выиграл в карты? Но вы могли бы проверить, был ли такой крупный выигрыш в каком-либо из игорных домов или, может быть, крупное ограбление незадолго до покупки дома.

Бойль. Мы и проверили. Ни ограбления, ни крупного выигрыша Пасквы не отмечено.

«Пиплз войс». А что вам сказали в комиссионной конторе? Там же должны помнить покупателя?

Бойль. Я уже говорил, что не помнят. По-видимому, это было подставное лицо.

«Сити-ньюз». А что предпринято для поисков этого подставного лица?

Бойль. О нем мог знать только Пасква.

«Джентльмен». А кто финансировал строительство лесной пристани?

Бойль. По словам рабочих-строителей, нанял их тот же Пасква.

«Пиплз войс». А вам не кажется, что за спиной Пасквы стоял кто-то с весьма солидным банковским счетом?

Бойль. Предположение еще не доказательство.

«Пиплз войс». Месть за Бидо тоже только предположение. Убийство Пасквы загадочно. Он явно кому-то мешал.

Бойль. Таких сведений мы не имеем. Следствие закончено, и дело передается в суд.

«Сити-ньюз». А кто будет защищать обвиняемых?

Бойль. Та же адвокатская контора, которая взяла на себя защиту Пасквы после его ареста за убийство в «Аполло».

«Сити-ньюз». «Бернс и Тардье»?

Бойль. Вы не ошиблись.

«Пиплз войс». Но это одна из самых дорогих адвокатских фирм. Кто же будет оплачивать ее услуги?

Бойль. Адвокатские конторы могут не оглашать имена своих клиентов.

«Пиплз войс». А что предполагает полиция?

Бойль. Полиция ничего не предполагает. Полиция расследует.

На этом и окончилась пресс-конференция. Только донованский газетчик пытался добраться до истины. Но Бойль выдержал натиск. Он ждал своего часа и не собирался его приближать.

Что ж, тактически он действовал верно. Теперь все зависело от Стила и его статьи. Взрыв бомбы должен быть направленным и неожиданным.

Глава XVII
БОМБА

Статью для Стила мы писали вместе с Мартином, вернее, я уточнял тезисы и корректировал язык — все-таки я лучше Мартина знал речевую манеру Стила. Спорить приходилось чуть ли не по каждому абзацу: как профессионал-журналист он был, конечно, опытнее меня в таких делах, но я тщательно очищал статью от не присущей Стилу выспренности и цветистости.

— Опять Мердок. Убери.

— Но можно же, не обвиняя Мердока, называть его главой партии.

— Во-первых, это не партия. И Стил никогда не ошибется, назвав группу партией.

— Но здесь же нет повода для обвинения в клевете!

— Стил не должен давать ему даже лазейки. А это что?

— Гангстеры. Нормальный термин.

— Стил не знает этого слова. Скажи еще: хунта. Не дури. Пиши просто: насильники, убийцы, грабители.

— А мошенники? Для усиления.

— Здесь речь не о мошенничестве. О нем дальше. В случае с документом, подсунутым в карман убитого Луи.

— Кромсаешь статью. Фразы как рубленые. Ни одного периода.

— Стил так говорит, а не я

— Ну оставь хоть метафору. К словам о неогалунщиках.

— Ни к чему. Стил не любит метафор, он лаконичен и прост. А слово «нео» ему вообще несвойственно.

Споры забыты, и сейчас передо мной уже лежит утренний номер «Сити-ньюз» со статьей Стила. Он ничего не слыхал о Золя и тем более о его выступлении по делу Дрейфуса, и потому я, не боясь плагиата, предложил сенатору назвать эту статью «Я обвиняю». Но хотя он и предпочел свой заголовок, однако согласился в тексте на толстовское «не могу молчать». А в целом статья читалась так:

«КТО БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ГРАБИТЕЛЕЙ И УБИЙЦ?

Я выступал против закона о политических ассоциациях, однако закон этот принят сенатом, и потому возвращаться к нему не буду. Но когда под флагом политической ассоциации роются к власти грабители и убийцы, я молчать не могу.

Кто такие «реставраторы»? Те, кто зовет назад, к зачеркнутому революцией прошлому. К полицейской диктатуре «галунщиков», запрещавшей все, что поддерживает ныне жизнь человека. Запрещалось есть взращенные на своей земле хлеб и фрукты, разводить скот, пить вино со своих виноградников, охотиться и ловить рыбу. Даже лесные прогулки за Город требовали специального полицейского разрешения. Все это известно каждому из школьных учебников.

Но не только в этом обвиняю я реставраторов. Ведь они даже кичатся своим зовом к прошлому, открыто носят повязки или значки из того же галуна, который украшал когда-то мундиры полицейских рабовладельцев. Вы можете увидеть такие повязки на рукавах у встречных на улице, у посетителей трактиров и постоялых дворов, у бандитов, вооруженных полицейскими автоматами.

У того, кто убил сразу четырех человек в ресторане «Аполло» — его звали Чек Пасква, — тоже была на рукаве повязка из галуна. Такой же галун отличал и его сообщников, стоявших с пистолетами у входа в бар и не позволявших никому в зале остановить преступление. Когда кто-то, вошедший за убийцей, попытался сделать это, Пасква застрелил и его. А уходя, сунул ему в карман документ, украденный у меня в канцелярии. Этот документ и показания свидетелей находятся сейчас в распоряжении Главного комиссара полиции. Вы спрашиваете, зачем это понадобилось убийце? Я вам отвечу. Чтобы как-то, чем-то скомпрометировать партию популистов. Чтобы скомпрометировать меня, известного как непримиримого противника реставраторов.

Убийство и мошенничество — вот отличительные черты их поведения, их политической агитации. Прибавим к этому и шантаж. Тот же Пасква угрожал вудвилльской землевладелице Евгении Ланфлер, что сожжет весь ее урожай, если она со всеми своими издольщиками и арендаторами не будет голосовать за реставраторов на ближайших выборах. Вдова Ланфлер готова подтвердить это под присягой. Но она не единственная жертва реставраторской шайки. Я могу назвать имена фермеров Монса, Люнэ, Шюбера и Стиннеса, которых также шантажировали нынешние «галунщики».

А кто оказался виновником похищения казначейского серебра — самого крупного преступления века? Я был с племянницей в каюте «Гекльберри Финна», когда началась перестрелка на палубе. Кто нас предупредил не выходить из каюты? Матрос из команды? Нет, человек с пистолетом и галунной повязкой на рукаве. Кто слишком настойчиво советовал нам не возвращаться в Сильверивилль, а доехать на лодке до моего поместья близ Реки в этом месте? Владелец парохода? Капитан? Нет, опять же люди с повязками из галуна на руках. Не я один видел эти повязки, у меня есть свидетели.

И, наконец, кто был владельцем лесной хижины, где нашли украденное серебро с парохода? Тот же Чек Пасква, убийца в «Аполло». Кем были люди, арестованные во время полицейского налета на хижину? Его сообщники, участники бандитского нападения на пароход. Все они тоже были реставраторами. Ленты из галуна нашли и у них.

Итак, я спрашиваю у тех, кто прочтет эту статью, и у тех, кому расскажут о ней: если они еще носят повязку реставраторов, не стыдно ли им будет показаться на людях со знаком, поощряющим мошенничество, шантаж, грабеж и убийство?

И самое главное, я спрашиваю у моих сограждан: кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц?»

— А ведь точно: Стил! — сказал Уэнделл, прочитав переданную мной рукопись статьи. — Стил, как живой с трибуны сената! Неужели он сам писал?

— Какая разница, — ухмыльнулся я, — если есть его подпись.

Уэнделл хитренько подмигнул мне, еще раз пробежав глазами последние строчки.

— Вы правы, Ано. Техника изготовления бомбы меня не интересует. Важен взрыв и то, что за этим последует. Прицельный удар, — сказал он. — Верный и неожиданный. Партия Мердока сразу теряет шансы. И мы рады, конечно: она ведь страшнее самых правых на правом крыле. Думаю перепечатать статью целиком.

Во время завтрака официант передал мне конверт с запиской Мартина.

«Завтра ответа в газете не будет. В редакции не знают, что делать. Вся руководящая братия кинулась к Мердоку. Совещаются. Вероятно, решат подождать, пока не стихнет шумиха».

Уэнделла я не видел, но он сам нашел меня, позвонив в клуб; наверное, мой маршрут передали ему из «Омона».

— Что говорят, Ано?

— Потрясены. Сколько Мердок потеряет голосов, не знаю, но потеряет много. Донован собирается перепечатать статью. Разрешите?

— Конечно. Я уже разрешил и французской «Суар». Взрывная волна растет.

— Удар столь силен, что «Бродэнд баттер» не дает завтра никакого ответа. Собираются ждать, пока не утихнет шумиха, — повторяю я Мартина.

Газетная шумиха, однако, не утихла. Два дня подряд все газеты, даже биржевой «Бюллетень», гигантскими заголовками били по реставраторам, вспоминали все преступления последних лет, раскрытые и нераскрытые, предположительно присваивая их неогалунщикам. Повязка из галуна стала пугалом, и уже на улицах и в общественных местах ее открыто никто не носил. Газете Мердока неудобно было молчать, и она заговорила.

«Мы не собирались отвечать потерявшему разум сенатору Стилу — его почтенный возраст вполне предполагает такую возможность, но глупая выдумка, раздутая до пределов провокации, заставляет нас высказаться.

Повязка из галуна — не членский билет политической ассоциации «реставраторов». Ее может нацепить каждый, если это почему-либо ему выгодно. Полиция, арестовав похитителей серебра и убийц в ресторане «Аполло», не обнаружила никаких свидетельств их принадлежности к реставраторам: ни членских билетов, ни специально выпущенных в свое время жетонов, которые могли бы подтвердить их партийность. Все свидетельские показания, на которые ссылается в своей статье Стил и которые говорят о повязках из галуна на руках у преступников, никого и ничего не разоблачают. Нам официально известно, что главарь арестованной полицией шайки Чек Пасква не был реставратором. В списках членов ассоциации по всем кантонам такого имени нет.

Сомневаемся мы и в криминалистическом даровании Главного комиссара полиции. Два с половиной месяца он искал серебро и не нашел до того, пока не попался Пасква. Кстати, арестован тот был не по обвинению в вооруженном налете на пароход, а в убийстве таких же уголовников, как и он. И вдруг Пасква бежал по разработанному полицией плану якобы для того, чтобы можно было проследить его связи. А не купил ли себе свободу Пасква, вернув казначейству украденное им серебро? Правда, он вскоре после этого был убит. Но кем убит и почему убит, комиссар Бойль со всем его криминалистическим талантом установить так и не мог».

Уэнделл ответил резко и коротко:

«Мы не будем полемизировать с газетой «галунщиков». Суд подтвердит все данные следствия, с которыми был ознакомлен сенатор Стил. Общественность Города узнает правду. А пока мы еще раз спросим читателей: кто же будет голосовать за грабителей и убийц?»

Окончание следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ.

РОМАН

ВРЕМЯ ПРОТИВ ВРЕМЕНИ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Глава XVIII
ШАНТАЖ

Я сижу в белом медицинском халате у дверей больничной палаты, куда четверть часа назад привезли Стила. Перепуганная горничная сообщила, что сенатор очень беспокоился: барышня уехала за покупками, но так и не вернулась до вечера, а в это время ему вдруг принесли письмо. Кто принес, она не знает. Обыкновенный посыльный с бородкой и шрамом под глазом. Сенатор вскрыл письмо, прочитал и упал. «А где письмо?» — спросил я. Она не знала: сенатор спрятал его в карман.

К Стилу меня в больницу не допустили. В палате у постели больного собрался консилиум с участием личного врача сенатора, доставившего его в больницу. Я жду и вспоминаю все, что произошло за последние дни. Всего-то два дня, и столько событий, тревожных и настораживающих. Все началось с утра, когда в «Сити-ньюз» объявили о своем отказе полемизировать с реставраторами. Я вышел из отеля и позвал стоявший поблизости фиакр. Он медленно подъехал, но почему-то не остановился, а рванул вперед по улице. В ту же секунду из окна кареты кто-то выстрелил, и я услышал в двух сантиметрах от уха свист пули, скользнувшей со скрежетом по гранитному пилону у входа в отель. Сейчас же выскочили швейцар и дежуривший полицейский.

— Кто стрелял?

Я пожал плечами:

— Лица не видел, а номера экипажа не разглядел.

— Кажется, возница совсем не походил на кучера?

— Не обратил внимания, — сказал я.

Швейцар посмотрел на меня с любопытством и ушел. Полицейский же побежал докладывать о происшедшем начальству. Я оглянулся. Улица была пуста — ни прохожих, ни экипажей. Опасная для меня карета была единственной.

«Совсем как Пасквy, — подумал я, — и та же направляющая рука». Почему же стреляли не в Стила? Во-первых, потому, что убийство сенатора после его выступления сразу бы разоблачило виновников, а во-вторых, роль моя в происшедших за последнее время событиях была разгадана, и холодная война определенно и точно закончилась. Начиналась война настоящая. Ликвидировать меня было проще и безопаснее — велика птица, советник сенатора. Не велика, но опасна. И хотя стреляли из полицейского автомата, но стреляли метко — только рывок экипажа чуточку изменил направление пули.

Я вернулся в отель и позвонил в редакцию Мартину.

— Думаешь, Мердок? — спросил Мартин.

— Вероятно, кто-нибудь вроде покойного Пасквы.

— Я тотчас же ухожу из газеты и буду сопровождать тебя, куда бы ты ни поехал.

— Две мишени вместо одной, — усмехнулся я. — У тебя есть оружие? У меня нет.

— Оружие надо добыть. Стрелять я тоже умею.

Я тут же сообразил, где можно достать оружие. У главного комиссара полиции. И времени терять не будем.

Бойль принял нас немедленно и любезно, хотя и не без удивления, увидев входящего со мной Мартина.

— Что-нибудь срочное, мсье Ано? — заинтересовался он.

— Первое: Дональд Мартин, которого вы сейчас видите, наш человек. Он работал, — я подчеркнул это слово в прошедшем времени, — у Мердока по нашим заданиям. Был связным, а сейчас срочно переквалифицируется в моего телохранителя. Отсюда и второе: нам требуется оружие. Не полицейские автоматы — они слишком громоздки, их не спрячешь, а обычные карманные многозарядные пистолеты, такие, как у вас, например.

— Значит, что-то случилось? — подумав, спросил Бойль.

Я кратко рассказал ему о нападении у входа в отель.

— Но почему стреляли именно в вас?

Я объяснил, почему они решили не трогать сенатора. И добавил с усмешкой:

— Мердок — человек сообразительный и умеет делать правильные выводы. В кого бы вы стреляли, если бы хотели ответить по-мердоковски на выступление Стила? И меня, конечно, не устраивает судьба Пасквы, сами понимаете.

Вместо ответа Бойль вызвал дежурного адъютанта.

— Принесите два пистолета карманного образца и соответствующего калибра, — распорядился он. — Кроме того, пошлите полицейского, который дежурил бы у отеля «Омон».

— Привлечет внимание ваш полицейский, — сказал я Бойлю, когда адъютант вышел из кабинета.

— Лишний глаз не помешает.

Пистолеты нам выдали, но относительно полицейского я оказался прав. Его застрелили на другой же день к вечеру, когда редкие газовые фонари в переулке позволяли стрелять из любого уголка уличной темноты.

Об этом мне сообщил по телефону Бойль, когда убитого уже увезли.

— Гибнут не только противники, Бойль, — ответил я, — гибнут и друзья. Вспомните хотя бы Луи Ренье. А кто убил его? И долго ли, думаете, осталось бы жить Питу Селби, если б Ринки удалось скрыться?

...Наконец консилиум заканчивается, выходят его участники, личный врач сенатора шепчет мне на ухо: «Все в порядке, сердечко выдержало. Постарайтесь его не тревожить», — и дежурная сестра пускает меня в палату.

Сенатор лежит под одеялом, обросший седой щетиной: видимо, с утра не побрился и от этого постарел этак лет на десять. Но не то меня встревожило, а какая-то растерянность, почти страх в его мутных, слезящихся глазах: вот-вот не выдержит и закричит не от физической, а скрытой душевной боли.

— Хорошо, что вы пришли, Ано, — говорит он и дрожащей рукой вынимает из кармана больничной пижамы письмо в зеленом конверте с краткой надписью: «Джемсу Стилу, сенатору».

«Уважаемый мистер Стил, — читаю я, — ваша племянница жива и здорова и пока находится у нас в надежном и недоступном для полиции месте. Кормят и обслуживают ее отлично, но увидеться с вами, иначе говоря, вернуться домой, она сможет лишь послезавтра, на другой день после выборов, когда будут подсчитаны все голоса, в том числе и поданные за вас лично. По условиям конституции вы можете подать в отставку и отдать все эти голоса любому избранному вами политическому деятелю. Вот мы и предлагаем вам сделку: мы отдаем вам Минни, а вы нам свои голоса, иначе говоря, избранному не вами, а нами политическому деятелю. Имя его Тур Мердок. Имя, отнюдь не ласкающее ваше ухо, но таковы уж условия сделки».

Подписано письмо не было. Пока я читал его, Стил лежал как мертвец, с закрытыми глазами и отекшими веками. Я, заикаясь, спросил его:

— Когда же ее похитили?

— Думаю, после полудня.

Значит, она еще в Городе, предполагаю я. Шантажистам нет смысла увозить ее далеко, если придется возвращать ее завтра после полудня.

— Я все уже решил, — не открывая глаз, произносит Стил.

— Что именно?

— Сделать то, что они требуют.

Я встал над его постелью.

— Откройте глаза, Джемс! Вы еще не умираете, и Минни пока жива. Вы имеете право жертвовать многим ради ее

Окончание. Начало в №№ 19, 20, 21, 23.

спасения, но не имеете права предавать партию. Не имеете права предавать Город. Если вы сделаете это, Мердок станет его хозяином. Словом, ждите. И не вызывайте никаких адвокатов, пока я не сообщу вам, что Минни свободна.

С этими словами я покидаю палату. Мартин поджидает меня на улице.

— Минни похищена,— говорю я.— Чистый киднаппинг, как говорят у вас в Штатах.

— А выкуп?

— Все голоса Стила, полученные на выборах.

Мартин не понимает. Я объясняю ему, как можно распоряжаться подаренными за тебя голосами, если подашь в отставку тотчас же после выборов.

— Сволочи,— говорит Мартин.

— Хуже,— добавляю я.

— А если все-таки рискнуть?

— Как?

— Без полиции.

— Об этом я и думаю.

— Ты же знаешь адрес.

— Наверняка дом охраняется.

— А сколько их? Двое, трое... не больше. Справимся. Не Земля ведь, а чужое пространство и время.

— Сволочи не слабее оттого, что они стреляют в чужом пространстве и времени.

— Все равно поехали.

Мы с Мартином понимаем друг друга с полуслова. Чтобы спасти Минни, должен стрелять Мердок. А это не просто. Сначала трое или четверо дружков Пасквы, а потом он сам, бывший шериф. Стрелять умеет.

Но и мы умеем.

Газовый фонарь далеко, а в особняке Мердока тускло горят лампочки или свечи. Освещены только два окна на втором этаже — должно быть, все-таки свечи: ночью в Городе электроэнергия не подается в дома даже этого квартала. Внизу светится окошко рядом с подъездом: в первой комнате, должно быть, дежурят охранники.

Я подхожу к калитке так, чтобы сидящему на ступеньках крыльца был виден мой силуэт. Мартин, мгновенно поняв меня, незаметно взбирается на ограду рядом. Я издаю тихий свист. Фигура на крыльце поднимается и шагает по утрамбованной дорожке к калитке. Судя по силуэту, перед нами горилла в темной рубахе без пояса.

— Кто? — хрипит он из темноты.

— Свой,— говорю я.

Он плотно приникает к чугунной решетке, силясь разглядеть, свой ли. В ту же секунду Мартин кошкой прыгает на него сверху. Охранник не успевает даже вскрикнуть.

— Готов, теперь не скоро очнется,— шепотом откликается Мартин, открывая засов калитки.

— Видишь слабый свет в окнах сверху? — говорю я тоже шепотом.— Там кабинет и спальня Мердока. Наверно, он дома. Внизу, по-видимому, охранники. Сколько их, неизвестно.

— Рискнем.

Мы поднимаемся по ступенькам к двери. Она чуть приоткрыта: видимо, охранники не боятся вторжения. Пол крепкий, не скрипит, дверь тоже бесшумна. Должно быть, петли заботливо смазаны. Сразу из темной передней видна неосвещенная лестница наверх и стол с зажженным трехсвечником в комнате справа с настежь открытой дверью. За столом два небритых «пистолетника» играют в карты. На табуретке рядом лежит знакомый полицейский автомат. Другого не видно. Нас картежники не замечают.

— Может, не будем? — шепчу я на ухо Мартину.— Обезоружим сначала. Свяжем...

— Нашел кого жалеть! — яростно шепчет Мартин.— Да и бесшумно не выйдет. У них автоматы. Лучше шумно, да наверняка.

Несколько часов спустя, когда все уже кончилось, я, вспоминая об этой минуте, спрашивал себя: а имел ли я право без всяких ссылок на чужое пространство, время и чужой социальный строй, имел ли я моральное право стрелять? Что бы ответил я судье? Да, имел. Я стрелял в убийц, спасая жизнь похищенной ими девушки, я защищал свободу Города: ведь голоса Стила, отданные Мердоку, сделали бы того подобием самых отвратительных земных диктаторов.

Два выстрела взрывают тишину дома. Оба охранника оседают на пол, даже не успев открыть огонь. Мартин, не нагибаясь к раненым, тотчас же подхватывает лежащий на табуретке автомат.

— Подходящая штука для встречи с теми, кто сейчас спустится с лестницы.

— А если это Мердок?

— Вступим в переговоры.

На лестнице наверху показывается тень человека с похожим на шахтерский фонарем. В другой руке у него пистолет. По силуэту видно, что не Мердок.

- Погоди. Может, обойдемся без выстрелов,— шепчет Мартин.

Человек с фонарем приближается, не опуская пистолета.

— Стоп,— говорю я из темноты.— Поставьте фонарь и бросьте пистолет. А руки вверх!

В ответ гремит выстрел по голосу. Я успеваю брякнуться на пол, пуля надо мной разбивает стекло входной двери.

Мартин не остается в долгу. Успев подкрасться по темной лестнице наверх, он хватает стрелявшего за ноги. Тот падает навзничь. Фонарь, покатившись вниз, гаснет, но загорается струйка вытекшего керосина. Мы наспех связываем руки лежащего — он молчит, видимо, понимая, что кричать бессмысленно. Мартин уже поднял свой брошенный автомат. Но из предосторожности мы все-таки забиваем ему рот носовым платком. Струйку горящего керосина затаптываем, чтобы не загорелась деревянная лестница.

— Теперь визит к хозяину,— говорю я.

Но дверь в кабинет заперта. Выстрелом я сбиваю кусок дерева у замочной скважины. Потом ударом ноги открываю дверь настежь. Тут же из освещенного кабинета слышится выстрел. Мердок готов к встрече, но не видит цели. Мартин и я притаились за дверью.

— Не двигайтесь, Мердок.— Он слышит мой голос и замирает.— Нас двое, а ваших телохранителей уже нет. Бросьте пистолет и поднимите руки. Мы сможем спокойно поговорить с вами, если нам никто не помешает.

— Верю,— говорит Мердок и бросает пистолет на пол.— Входите, Ано, не стесняйтесь.

Мы входим. Мердок встречает нас с улыбкой и чуть поднятыми руками.

— Обыщи его, Мартин,— командую я.

Мартин ощупывает карманы Мердока и, подняв брошенный им пистолет, передает его мне.

— Ничего нет, Юри.

— Тогда садитесь, Мердок,— предлагаю я, не опустив пистолета.

В кабинет вбегает горничная с перекошенным от страха лицом, без халата, только в ночной рубашке.

— Что случилось, мистер Мердок? Меня разбудили выстрелы.

— Идите к себе, Джесс,— спокойно произносит Мердок,— закройте двери, заприте и не выходите до утра, пока не прибудет полиция. Никто вас не тронет.

Горничная исчезает, и мы остаемся с Мердоком. Он сидит на диване, а мы напротив у письменного стола. Мартин с автоматом, а я опустил пистолет в карман.

— Вы опять переиграли меня, Ано,— кривится в насильственной улыбке Мердок.

— Переиграл,— соглашаюсь я.— хотя, скажем мягко, вы и пытались мне помешать.

— Возможно. Вы, кстати, отвечаете тем же. Судя по тому, как вы угробили моих парней, вам что-то от меня нужно.

— Многое.

— А именно?

— Во-первых, вы немедленно освободите Минни Стил.

— Это не так просто. Ее здесь нет.

— А где она? Бесполезно скрывать.

— Согласен. В кафе «Жюн». Под надежной охраной.

— Жива?

— Пока.

— Вот мы с вами и отправимся сейчас в кафе «Жюн», и вы сами позаботитесь о ее благополучном возвращении домой.

— А если я этого не сделаю?

— Мы тут же вас убьем, Мердок. У нас нет выбора.

— Так ведь и девчонку тоже убьют.

— А сенатор Стил — он, кстати, сейчас в больнице — умрет от второго сердечного приступа. Допускаю и это. Но зато вас не будет, Мердок, и Город вздохнет свободно.

— У меня тоже нет выбора,— пожимает плечами Мердок,— разрешите переодеться.

— Последи за ним, Мартин.

Пока Мартин ощупывает сюртук Мердока, я поднимаю телефонную трубку.

— Соедините меня с больницей святой Магдалины, не знаю ее номера,— говорю я телефонистке.

— Дежурный врач у телефона,— отвечает больница.

— Говорит советник сенатора Стила. Он спит, наверно?

— К сожалению, нет, советник. Не спит даже со снотворным. А мы не рискуем увеличивать дозу.

— И не надо. Сообщите ему немедленно, что я звонил и что племянница его уже через час, а может быть, и раньше благополучно вернется домой.

Мердок в сюртуке и цилиндре ждет нас у двери.

— Я готов, джентльмены.

— Пойдем пешком до ожидающего нас экипажа,— говорю я.— Мы по бокам. Никакие парни из кафе вам не помогут. Девушку вы отправите самолично в нашем же экипаже, парней отпустите, а мы втроем поговорим о дальнейшем. Ясно?

— Ясней быть не может. Идемте.

Глава XIX
РЕШАЮЩИЙ ШАГ

Кафе «Жюн» закрыто. Пришлось стучать. На стук дверь приоткрылась, закрепленная изнутри на цепочке, и чей-то хриплый голос сказал сквозь щель:

— На вынос не продаем. Закрыто.

Мы ждем ответа Мердока. Он говорит тихо и властно:

— Открой, Слим. Свои.

В распахнутую настежь дверь мы входим в том же порядке: чуть впереди Мердок, за ним вплотную я и Мартин.

В зале тихо и пусто. Столы поставлены один на другой, стулья отодвинуты в сторону, на стойке горит единственная свеча, освещая не больше пяти квадратных метров погруженного в темноту зала.

— Где девочка, Слим? — спрашивает Мердок.

— Наверху в угловой комнате. Наверное, уже спит. От ужина отказалась.

— Разбуди ее повежливее и скажи, чтоб спускалась вниз. Кто рядом?

— Крук и Тони. Должно быть, играют в кости. Проглотили уже бидон абрикосовой.

— Будет оплачено, Слим. Кстати, скажи им по пути, чтобы убирались отсюда немедленно.

Слим мгновенно исчезает за дверью возле стойки, смутно различимой в темноте. Мердок садится на ближайший к стойке стул, мы устраиваемся рядом, контролируя каждое его движение.

В двери у стойки появляются двое, похожие на ранчменов в широкополых соломенных шляпах и узких штанах, заправленных в высокие башмаки до колен. Тусклый свет единственной в зале свечи не позволяет рассмотреть их лица.

— Вы оба свободны. Девчонкой займется Слим,— говорит Мердок.

Парни в высоких башмаках почтительно ретируются, не обращая на нас никакого внимания. Приказа хозяина им было достаточно, а самодеятельность, должно быть, не поощряется.

Минуты две-три спустя появляется Минни в светлом платье с жирными пятнами на длинных тюлевых рукавах: вероятно, ее тащили за руки. Я делаю знак Мартину, чтоб он держал под прицелом Мердока, и выхожу ей навстречу.

— Мисс Ано!— радостно восклицает она, в окружающем полутьме не замечая ни Мердока, ни Мартина.

— Вы сейчас поедете домой, Минни,— говорю я.— Вас отвезут. И не пугайтесь, если не застанете отца дома. Он в больнице святой Магдалины. Легкий сердечный приступ после вашего исчезновения. Вы ему позвоните в больницу, как только вернетесь домой.

— Слим,— распоряжается Мердок,— отвезешь девушку и головой ответишь за любую задержку в ее возвращении домой.

— А кто же здесь останется, хозяин? — медлит Слим.

— Мы подождем твоего возвращения.

— Идите, Минни,— говорю я.— Экипаж у подъезда.

Минни и Слим уходят. Я закрываю дверь на цепочку.

— Первое ваше требование выполнено, Ано,— Мердок разговаривает спокойно, но с какой-то внутренней настороженностью. Видимо, он понимает, что его ждет еще более неприятное испытание.

Я сажусь напротив Мердока.

Наблюдение продолжает Мартин.

— Здесь есть телефон? — спрашиваю я.

— Вон там, за стойкой,— кивает Мердок.

— Через полчаса я позвоню Минни домой и тогда будет видно, как выполнили вы наше первое требование. Надеюсь, телефон работает?

— Проверьте.

— Проверим. А пока проверим другое.

— Что?

— Ваш здравый смысл и страсть игрока.

— Не понимаю.

— Сейчас объясню. Вы проиграли, Мердок. Но только игрок по призванию переживает спокойно любой проигрыш. Повторяю: любой.

— А что я проиграл сейчас, кроме голосов Стила?

— Вашу ассоциацию, Мердок, в перспективе — партию и все кресла в сенате.

Мердок долго молчит, выражения глаз его я не вижу, но знаю, что он понял и подсчитывает свои возможности.

— Сейчас вы напишете под мою диктовку заявление в сенатскую избирательную комиссию,— продолжаю я.— Вы признаетесь, что лично проверили обвинения сенатора Стила и убедились в их правдивости. Как честного политического деятеля вас глубоко возмутило сотрудничество ассоциации рестораторов с шайкой грабителей и убийц. Ассоциация скомпрометирована, и вы ее распускаете, одновременно требуя изъятия из всех избирательных списков ее кандидатов, в том числе и вашей кандидатуры.

— Что же вы оставляете мне? — спрашивает Мердок.

— Не так уж мало. Во-первых, достоинство и незапятнанную репутацию, во-вторых, возможность играть дальше и, вероятно, не только проигрывать. У вас еще остаются все ваши игорные дома и ночные клубы, организация букмекеров на городском ипподроме и контрольный пакет акций страховой компании «Эврика». А самое главное — у вас в руках газета, которая, оставаясь в оппозиции, может поддерживать и другие движения, если не «джентльменов» — они, пожалуй, слишком аристократичны для вас,— то, скажем, католиков или евангелистов. Ведь и с их помощью можно добиться сенатского кресла.

Мердок молча встает и проходит за стойку бара. Мартин с пистолетом следует за ним.

— Я не оружия ищу, а перо и бумагу,— огрызается Мердок.

Найдя их под прилавком, он, стоя, записывает: «В сенатскую избирательную комиссию. - Диктуйте,— обращается он ко мне.

Со своего места я диктую примерно то, что уже высказал.

— А теперь позвоните в ночную редакцию «Бродэнд баттер» и продиктуйте написанное,— продолжаю я.— Там знают ваш голос и ничего не заподозрят. Утром это заявление должно быть в газете. А затем отдадите бумагу мне. Я уж сам позабочусь и об избирательной комиссии и о «Сити-ньюз».

Мердок довольно быстро находит по телефону ночного редактора. «Стенографистки не надо. Записывайте сами». Быстро, но отчетливо диктует написанное. Слышатся перебивающие текст реплики: «Что? Я уже сказал. Пишите слово в слово. Да, так. Не вы мне, а я вам плачу за работу. Понятно? Пишите дальше...» Потом опять текст, и снова перебивающая реплика: «Если хотите сохранить свое место, все это должно быть завтра в утреннем номере. Я сказал все. Жюль. Звоню лично. Да, подпишу номер».

И с элегантностью банкомета, подвигающего партнеру его выигрыш, Мердок протягивает мне листок со своим заявлением. Я складываю документ вчетверо и опускаю в карман.

— Еще две минуты, Мердок, и мы с вами расстанемся,— говорю я,— только позвоню Минни.

Она уже дома и радостно сообщает, что уже созвонилась с больницей, отец все знает и уговорил врачей отправить его домой.

— Заприте, девочка, и никого не пускайте до приезда отца, а ночью ваш покой будет охранять Мартин.

— Зачем? — вмешивается Мердок.— Наемных убийц посылать не буду. Проиграл — плачу.

— Крупно играете и классно проигрываете,— замечает все время молчавший Мартин.— А ваши «пистолетники» не играют, а постреливают.

— Выстрелов больше не будет,— смеется Мердок.— Вы, может быть, все-таки верите моей пистолет, Ано?

— Я верну его вам завтра во время обеда в сенатском клубе.

Мердок так и не успевает ответить. Свеча гаснет, заливая оплывшим воском медный подсвечник. Мердок остается в темноте. Самая подходящая обстановка для житейских раздумий. Я почти уверен в том, что он сказал правду. Выстрелов больше не будет. Он уже раздумывает не над тем, что проиграл, а над тем, что выиграл. А выиграл возможность играть дальше. Ведь мертвецы уже не играют. Я знал, что, может быть, уже через полчаса-час он заедет в типографию и подпишет к печати утренний выпуск газеты. А над следующим еще можно подумать.

Мой же экземпляр заявления Мердока, прежде чем попасть в «Сити-ньюз» и сенатскую избирательную комиссию, должен побывать у Уэнделла. Придется будить магната, не дожидаясь утра. Время не ждет.

Несмотря на все протесты разбуженного дворецкого, мне удается поднять Уэнделла. Он выходит в халате, протирая заспанные глаза.

— Что-нибудь сверхсрочное, Ано, иначе бы вы не явились в такое время? — зевает он.

Не отвечая, я молча передаю ему сложенный вчетверо лист бумаги и плюхаюсь на кушетку. Ноги меня не держат — так хочется спать.

— Это не подделка? — спрашивает Уэнделл, спотыкаясь на гласных.

— Вы странный человек, Уэнделл. Сколько месяцев меня знаете, а говорите глупости, непростительные даже ребенку. Заявление подлинное и должно появиться в утреннем номере «Брэд энд баттер». Одновременно надо опубликовать его и нам. Свяжитесь сейчас же с редакцией «Сити-ньюз» и продиктуйте его стенографистке.

Уэнделл покорно, как младший клерк, бежит к телефону, а я мгновенно засыпаю в сидячем положении и просыпаюсь, как только он появляется снова.

— Как вы добились этого, Ано? — с умилением спрашивает он и всплескивает руками. — Боже мой, вы больны?

— Нет, просто чертовски устал.

— Выпейте коньяку.

— Давайте.

Глоток коньяка приводит меня в чувство. Но как рассказать кратко об этой ночи? Уэнделл меня перебивает:

— И он решил отдать свои голоса?

— Решил. После того как вмешались мы с Мартином.

Что произошло дальше, я рассказываю коротко, как могу.

— А если он все же заявит в полицию? — колеблется Уэнделл.

— О чем? О том, что заявление сделано под угрозой расправы? Тогда придется признаться и в письме Стилу и в похищении девушки с явно шантажной целью. А это уголовщина и политическая смерть Мердока. Нет, своего заявления он опровергать не будет. Оно даже создаст ему ореол политической честности и принципиальности. А затем начнет снова тасовать карты. Не вышло с реставраторами — выйдет с церковниками. Я, кстати, это и посоветовал. А денег ему не занимать. У него их немногим меньше, чем у вас, мистер Уэнделл, и, во всяком случае, больше, чем у Стила.

Уэнделл садится против меня по-наполеоновски — верхом на стуле. Он доволен, даже более чем доволен, почти счастлив.

— Все-таки вы переиграли его, Ано. Два раза. Не понимаю, не могу понять, как вы это сделали.

Рассказать все я, конечно, тоже не могу.

— Мердок шел к диктатуре своим путем и не знал иного. Имя ему — политический авантюризм. Но возможен был и другой опыт. Мердок мог бы, став популистом, выдвинуться в партийном аппарате и, как бывший шериф, добраться до поста главного комиссара полиции. Тогда свою мечту он осуществил бы без затруднений. Только вместо краденого оружия «пистолетников» действовали бы законные автоматы полиции. Послушайте моего совета, Уэнделл. Ваше счастье, что пост начальника полиции занимает Бойль, а не Мердок.

Глава XX
ВОЗВРАЩЕНИЕ

После той бурной ночи прошли еще день, и ночь, и еще добрых полдня, которые мы с Мартином проводим под тентом на верхней палубе «Гекльберри Финна». Мы едем в Сильвервилль. Город еще далеко, хотя уже издали виднеется пыльная дымка на горизонте в голубой чаше неба за поворотом Реки. Плывут мимо сосновые рощи на берегах, глинистые обрывы, рыбацкие хаты над ними и лодки, вытащенные дном на песчаные отмели. Что-то похожее на Волгу ниже Саратова, а иногда вспоминаешь Дунай под Измаилом, где вербные заросли совсем нависли над серой от ила рекой.

А почему мы вдруг решили ехать в Сильвервилль, да еще в самый день выборов?

Произошло это так. После той «пистолетной» ночи мы встали поздно, проспав и утренний завтрак и ленч. В баре нам соорудили яичницу и подогрели кофе.

— Ты почему молчишь? — вдруг вцепился Мартин.

— У меня странное ощущение, Дон. И началось оно еще в полусне, перед тем как проснулся.

— И у меня. Словно сон под утро увидел, который забылся, или шепнул кто-то на ухо. Мне даже показалось, что это был ты.

— О том, что мы должны ехать в Сильверевилль?

— Да. Но совсем не из страха перед Мердоком. Хотя мысль о мести была.

— Нет, Дон, ни при чем здесь Мердок. И страх ни при чем. Думаю, что нас отпускают. Домой.

— «Они»?

— Тебе ведь тоже показалось, что надо ехать в Сильверевилль. И зачем — ясно. Все, что нужно, мы сделали. И главное — поняли. А нас прочли, как газету. И я уверен, что это произойдет в Сильверевилле на том же месте, где мы здесь появились. У океана, близ песчаных дюн. Найдем?

— Найдем. Я отлично помню. Ты еще спрашивал меня, что за кустарник.

— Думаешь, в Крыму и очутимся?

— Убежден.

— У твоей машины?

К обеду я опоздал. В ресторане было немноголюдно: депутаты и журналисты торчали на избирательных участках, пресс-конференциях и митингах в парках. Уэнделл, как мне сказали, уехал на биржу, а Стила я нашел в курительной. Он сидел в кресле, один в пустой комнате, докуривая сигару, и пил содовую воду мелкими глотками через каждые пять минут — его мучила послеобеденная изжога.

— Хочу обнять вас, Ано, — поднялся он с кресла. — Вы сделали для меня больше, чем кто-либо и когда-либо в жизни. Мне стыдно смотреть вам в глаза, но я бы отдал ему все мои голоса, чтобы спасти Минни. Я предатель, трусливый старик, ничтожество. Если бы не вы... — Он отпустил мои плечи и сел, закрыв глаза сморщенной рукой. — Как вы сломали его, Ано?

— Просто я убедил его, что так будет лучше.

Стил больше не спрашивал. Да и мне не хотелось рассказывать о подробностях. Все это было вчера. А что будет завтра?

— Я все-таки подаю в отставку, — сказал Стил.

— А голоса?

— Отдам Уэнделлу, а часть вам.

— Не понимаю. Я же не кандидат.

— Ну, Донована. Я ведь знаю, в каком вы политическом лагере.

— Спасибо, Джемс. А теперь простимся. Поклон Минни. Я ухожу.

— Совсем?

— Совсем. Не огорчайтесь, Джемс. Это должно было случиться. Я ведь случайно здесь и не по своей воле.

— И Мартин с вами?

— И Мартин. Он не зашел к вам, чтобы не тревожить Минни.

— Может быть, так и лучше.

Он уже глядел в сторону куда-то мимо меня, так что я незаметно, не прощаясь, мог выйти из комнаты. А Донована увидел уже уходя. Он забежал в бар на минутку выпить кружку любимого имбирного пива — промочить горло, охрипшее от речей и приветствий.

— Как успехи, Биль?

— Порядок. — Он сиял, явно довольный теми предварительными данными, какие уже имел. — Правда, в Майн-сити еще не был, но в привокзальном районе хорошо. Наши идут впереди. Думаем увеличить число мест в сенате с пяти до восьми.

Больше, Донован, больше! Ведь он еще не знал о судьбе голосов, поданных за Стила.

— Есть уже планы на будущее? — спросил я.

— Много. Будем добиваться признания ассоциации партией. Численность позволит нам это. А к первому же заседанию готовим билль о единой рабочей организации, упраздняющей цеховщину.

— Иначе говоря, единый профессиональный союз?

— У тебя всегда точные формулировки. Охотно возьмем твою.

— Я бы предложил и билль о рабочих школах. Нужно собрать по крохам все, что имеется в Городе, изданное когда-то или переписанное: все, что знакомит рабочего с основами социализма.

— Ты говоришь со мной так, как будто мы видимся в последний раз.

— Возможно. Я ведь землепроходец в отпуску, романтик новых земель. А отпуск уже кончается.

Мне не хотелось продолжать этот уже ненужный для меня разговор. Я спешил. Все было уже известно. Несколько тысяч бюллетеней, поданных за реставраторов, были объявлены недействительными, а Донован после отставки Стила получил уже не шесть, а шестнадцать мест.

На этом и заканчивается наше второе путешествие, может быть, в другую галактику. Пусть это не рай, но у него есть и прошлое и будущее.

Вот и дюны вдали у океанского берега и знакомые колючие заросли «альгарробо», куда нас перебросило с крымской автомобильной дороги от Севастополя к Ялте.

— Кажется, здесь, — говорит Мартин, — и песок примят, как будто кто-то сидел.

— Так тебе и сохранятся следы при таком ветре, да еще на прибрежном песке.

— Все-таки присядем.

Присели. Оглянулись. Серо-зеленый океан блеснул вдруг васильковой голубизной и провалился куда-то вниз.

Мы уже сидели на краю обрыва крымской дороги, вьющейся серпантином среди виноградников от серых скал Яйлы к синему-синему Черному морю. И мой «Жигуль» стоял с полуоткрытой дверцей чуть в стороне от дороги, и пиджаки наши с деньгами и документами лежали на сиденьях. Только вокруг машины ходил инспектор ГАИ — старший лейтенант лет тридцати. В стороне стояла милицейская «Волга».

Я кашлянул, старший лейтенант повернулся и застыл, будто увидел что-то явно противозаконное.

— Вы откуда? — грозно спросил он.

Мы молчали. Мы улыбались. Мы были дома.

— Как вы здесь очутились? Минуту назад тут никого не было, — продолжал допрос инспектор ГАИ.

— А мы поднялись вон оттуда. — Я указал на обрыв к виноградникам.

— Чья это машина?

— Моя. Разрешите? — Я подошел к машине и вынул из лежащего там пиджака права и паспорт.

Инспектор внимательно просмотрел документы и спросил:

— Так почему же вы ее бросили?

— Погулять пошли, — идиотски ответил я, не в силах придумать ничего более умного.

— Где же здесь гулять? — удивился инспектор. — По этим кручам?

— Вот-вот, — обрадовался я. — Замучил меня товарищ. Любит горы.

— А кто этот ваш товарищ? — строго спросил инспектор, подозрительно оглядывая Мартина.

Я ответил почти шепотом:

— Американский турист, товарищ инспектор. Корреспондент из Нью-Йорка. Очень интересуется советским автотуризмом. Мартин, покажи ему свое удостоверение, — прибавил я по-английски.

Мартин вынул из своего пиджака документ, свидетельствующий о его законном пребывании в СССР, и корреспондентскую карточку.

— Спасибо. Карашо, — сказал он по-русски с дурацкой улыбкой. Сразу понял, как надо сыграть.

Инспектор мельком взглянул на документы и вернул их Мартину.

— Как же так, граждане, — сказал он уже менее грозно. — Нам сообщили, что машина ваша со вчерашнего утра здесь стоит. Дверцы не заперты, и ни водителя, ни пассажиров. А мы из Севастополя сюда ехали, чтобы машину вывезти и владельца искать. Ведь ее и угнать могли.

— Что вы, товарищ инспектор, не везде же жулики, — сказал я гордо.

— Можете следовать дальше, — сухо сказал инспектор, сел в машину и умчал вверх по шоссе к Бандарским воротам.

А мы хохотали и не могли остановиться. И не над инспектором и не над собой, а просто потому, что стояли на земле, на Земле с большой буквы, с какой пишется имя нашей родной планеты.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ДИНИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОЖДЕНИЕ СЕЛЕСТЫ

— Что это ты несешь? — строго спросила Гусеница.— Ты в своем уме?
— Не знаю,— отвечала Алиса.— Должно быть, в чужом.

Льюис Кэррол,
«Алиса в стране чудес»

Многое удивительное в жизни начинается с пустяков. В данном случае со встречи в аптеке. За всю неделю своего пребывания в Нью-Йорке Рослов и Шпагин познакомились с ней только перед отъездом. Конечно, они слыхали, что нью-йоркская аптека — это не совсем аптека, или, вернее, совсем не аптека, а нечто вроде забегаловки, где можно получить все виды спиртного, закусив их при желании консервированными сосисками или яичницей с ветчиной. Именно так все и оказалось. Стеклянный шкафчик с патентованными лекарствами заслоняли с одной стороны два киноавтомата, в которые, опустив монетку, можно было посмотреть нечто вроде стриптиза, а с другой — киоск с комиксами, детективами и цветастыми обложками журналов с портретами полуголых дев. Все остальное пространство «аптеки» занимала стойка с вмонтированной в нее электроплитой, стеллажи с пестрым фасадом бутылок и несколько никем не занятых столиков. Единственный посетитель у стойки лениво сосал виски, даже не обернувшись при входе еще двух таких же, как он, чудаков. Рослов и Шпагин увидели только его спину в замшевой курточке, настолько широкую, что, казалось, курточку натянули на дверь, а не на обычные человеческие плечи.

Турист, проживший неделю в Нью-Йорке и не заглянувший при этом в симпатичное учреждение под неоновой вывеской «Драг-сода»,— явление, конечно, из ряда вон выходящее. Но Рослов и Шпагин были не туристами, а участниками симпозиума математиков и биологов, кровно заинтересованных в проблемах биологической радиосвязи, а точнее, в поисках физико-химических пружин, приводящих в действие механизм информации и мышления. На знакомство с городом у них просто не хватало времени, а сейчас, когда симпозиум уже закончился, обоим предстояла еще одна интересная командировка: их пригласил в Лондон поработать в его лаборатории профессор Сайрус Мак-Кэрри, глава новой английской математической школы и, как говорили в кулуарах симпозиума, звезда первой величины на небосклоне мировой кибернетики. Английский ученый просил подождать его недельку: ему предстояло прочитать несколько лекций в Колумбийском университете.

— А красиво она улыбается,— сладко вздохнул Рослов.

— Кто? — спросил Шпагин.

Рослов не ответил. Шпагин недоуменно оглядел зал и снова спросил:

— Ты думаешь, она нам улыбается?

В дверях на ступеньках обитой пластиком лесенки стояла девушка — красный мак на песчаных дюнах: светло-соломенные волосы и такого же цвета юбка и красная кофточка. Зрительная ассоциация тотчас же подсказала Рослову, что сравнение это вторично: он вспомнил шепот на скамьях симпозиума, когда эта же девушка поднималась на кафедру.

— Она нам улыбается,— сказал Рослов.

Шпагин опять не понял:

— А почему?

— Ты не можешь водить машину и изучать мышление. У тебя слишком замедленные реакции. Попробуй ассоциативные связи. Кто делал сообщение о поисках мышления на основе виртуальных и реальных мезонов?

— Янина Желенска,— Шпагин хлопнул себя по лбу.— Я только сейчас ее узнал. А докладик так себе: шаг вперед — два назад.

— По-моему, она идет к нам,— сказал Рослов.

А девушка не спеша приближалась к их дальнему столику, необычная и чужая в здешнем дыму и сумеречности.

— Если я присяду к вашему столику, панове не будут сердиться? — спросила она на чисто московском диалекте с еле заметным польским акцентом.

Рослов мгновенно нашелся.

— Будем счастливы, пани Желенска. Янина, если не ошибаюсь? А может, просто Яна?

— Давайте просто.

Девушка присела к столу непринужденно и уверенно. Тут уже любопытство двух докторов наук приняло, как говорят математики, экстремальный характер. Откуда она знает русский язык? Специально училась? Что делает в Варшаве? Почему оказалась в этой «аптеке»?

— Русский язык знаю, потому что училась в Москве. Сперва на мехмате, потом трудилась в НИИ. Немножко работала у Каммингса в Рокленде — уже варшавяне командировали. Интересовалась теорией регулирования в применении к патологическим отклонениям человеческой психики. Видите, куда забираются кибернетики. А сюда заглянула, потому что увидела вас — запомнила по кулуарам симпозиума.

Она смеялась, а Рослов всматривался, прищурясь, в стрелки смешинок-морщинок у глаз, потом громко и обрадованно вздохнул.

— Вспомнил.

— Давно пора. Кажется, я вас называла Анджей, да?

— Да-да. На курсовой вечеринке после КВН. А смеялись вы точно так же.

— Боже мой, десять лет назад! Я уже стала старухой.

— Чаще смотритесь в зеркало. Вот я, например, даже не помню, была ли у меня тогда борода.

— А почему ваш друг молчит? — мгновенно переменила тему полька.

— Потому что он не с мехмата, а биолог, молчат, потому что боятся разучиться думать. Знаете сказку о сороконожке?

— Я тоже почти биолог.

— Вроде меня. Я математик, пришедший в биологии, а Семен биолог, потянувшийся к математике. Братья-ученые, в нашей судьбе есть что-то роковое.

Наконец-то Шпагин получил возможность протиснуться в наступившую паузу. Реплика Рослова открыла дверь в мир близких ему интересов.

— Я не совсем согласен с вашим предположением о роли виртуальных мезонов,— робко начал он, смотря в глаза.

Рослов постучал стаканом по пластмассовой доске столика.

— Симпозиум окончен, друзья-математики. Спорщиков на мыло,— он обернулся к бармену.— Еще три сода-виски.

— Без меня...— сказала Янина.

— И вы не выпьете за наш праздник? Мы с Семеном едем в Лондон к старику Сайрусу.

— Подумаешь, удивили. Я тоже еду.

— К Мак-Керри?

— Конечно. Я третья. Потому и зашла сюда, чтобы договориться с попутчиками.

Рослов не успел ответить. Стоявший спиной к ним человек в замшевой куртке обернулся и пошел к их столику. Уже немолодой, лет пятидесяти мужчина с проседью, почти незаметной на запыленных или выгоревших волосах и с медно-красным загаром блондина от долгого пребывания под южным солнцем. Он походил не то на бывшего футболиста-профессионала, не то на гонщика, вышедшего в тираж. «Пьян,— подумал Рослов,— но держится. Опыт». Незнакомец шел твердо, не шатаясь, даже слишком твердо, как человек, научившийся преодолевать опьянение, а подойдя, спросил:

— А по-английски вы говорите?

— Допустим,— сказал Рослов.— А что вас интересует? Наша национальность?

— То, что вы русские, я догадался сразу. По знакомым словам: выпьем, братья, праздник.— Он повторил их по-русски.— Я слышал их еще в дни встречи на Эльбе. Не пугайтесь, я не намерен отвлекать вас воспоминаниями о столь древних для вас временах. Вы люди ученые; видел ваши портреты в газетах. Может быть, поэтому вы сумеете ответить мне на один мучительный для меня вопрос: может ли мощное магнитное поле как-то воздействовать на психику человека?

Наступила пауза — настолько странным и неожиданным показался нашим друзьям этот вопрос. Элементарный по сути, он был задан в явно неподходящей обстановке и явно неподходящим для этого человеком. Но Шпагин был вежливым человеком.

— Вопрос о воздействии магнитного поля на все живое уже давно не вызывает сомнений,— сказал он.— Все зависит от природы магнитного поля, от его мощности и напряженности, от магнитной индукции, наконец, ну, как бы вам

Сокращенный вариант.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА.

ИЗ ЛАЗУРИ

сказать популярнее, от силы, с которой магнитное поле действует на движущийся в нем электрический заряд.

— Я когда-то учился в колледже,— откликнулся незнакомец,— кое-что помню. К сожалению, природа поля мне самому неясна. Но мощность колоссальна. При всем том это не электромагнит и не какая-нибудь машина. Тут что-то другое в самом воздухе. Большие стальные или железные массы оно отшвыривает, как теннисный мячик, а то, что попадает в его пределы в багаже или в карманах людей, мгновенно намагничивается и притягивается друг к другу.

— Любопытно,— сказал равнодушно Рослов.

Незнакомец предупредительно поднял руку: не торопись, погоди.

— Меня занимает другое,— продолжал он.— Это удивительное магнитное поле преображает людей. Они или видят сны наяву, странные, тревожные и очень реальные сны, или сходят с ума, переживая припадки подавляющей сознание ярости или страха, или теряют ощущение личности, представляют себя кем-то другим, говорят на языках им незнакомых и даже не слышанных ранее. Выйдя из пределов поля, люди становятся самими собой, припадки проходят, сознание и память проясняются, даже голова не болит.

Рослов заинтересованно подмигнул Янине.

— Занятно, правда? Как раз для старого Сайруса. По его департаменту,— сказал он по-русски.

— В чем-то перекликается и с опытами Камминга в Рокленде в больнице, когда мы изучали степень психической восприимчивости на расстоянии,— ответила девушка.— Только здесь все непонятно. Где индуктор? Почему различны реакции? Диамагнитность ферромагнитных металлов может найти свое объяснение хотя бы в характере магнитного поля. Но оно ли является источником гипнопередачи? А если эта связь не биологическая? Вы нас простите,— обратилась она к незнакомцу,— нас крайне заинтересовал ваш рассказ, и мы по привычке заговорили на своем языке.

— У вас есть время?—спросил незнакомец.— Тогда слушайте.

Привидения Белого острова

— Я Роберт Смайли, короче Боб Смайли, еще короче просто Боб, коренной янки из Бруклина. Миллионеры там не рождаются, в колледжах недоучиваются, а когда война на носу — идут и не вздыхают. Вернулся в Штаты — сразу понял, что технику-недоучке в рай дорога заказана. Занялся мелким сервисом, стоял у прилавка, суетился в рекламных агентствах, а в суете и жениться не успел, благо Золушек у нас много, а принцев нет. За последние годы осел в Гамильтоне на Бермудах курортным агентом и преуспел. Не в курортных делах, конечно: туристов там и без рекламы до черта. Правда, только на больших островах, где отели и пляжи, как в Лонг-Бич или в Майами. Но ведь Бермуды — это и сотни крохотных островков, в большинстве необитаемых, а Робинзоны там не селятся: почва — белый коралл, который не возьмешь ни лопатой, ни плугом, а потребуется бур или отбойный молоток. Только птиц тьма, а помета еще больше. Вот я и пристроил в аренду один такой островок португальским торговцам удобрениями, потом — другой, наконец, открыл бюро и стал бизнесменом. Вы уже скучаете? Погодите, скуку сразу смоет как штормом.

Одно из моих предприятий — это поиски кладов. Собственно, я искал не клады, а дураков, которые их ищут. Из школьной истории даже вы знаете, что весь шестнадцатый век морские пираты очищали здесь испанские галионы с перуанским золотом и закапывали его где-нибудь поблизости в тайных бухточках и робинзоновских уголках. Лично я в эти клады не верю — их давно выкопали и растратили, но дух Стивенсона, должно быть, все еще витает в колледжах Старого и Нового света, и каждый сезон в гостиницах Гамильтона появляются кладоискатели. Я уже приобрел к этому времени репутацию старожила и знатока, и в моем деловом списке было до двух десятков таких «островов сокровищ», куда можно было добраться на катере или яхте, каботажным пароходиком или вертолетом, в зависимости от средств кладоискательной экспедиции. Там можно было хорошо закусить в тени тамаринда, вскопать лопатой десятидюймовый слой почвы где-нибудь в бамбуко-

вых зарослях, пошарить во мху меж корнями капустной пальмы или позондировать ломом заросли ризофор и, добравшись до белого, как сахар, коралла, мужественно вздохнуть, как Скотт, узревший над полюсом флаг Амундсена. Иногда мы долбили коралл буром, рвали взрывчаткой, но ящики с испанским золотом так и оставались мечтой одержимых и дураков.

Но был один остров, который в моем списке не значился,— Белый остров, как он именовался на картах английской колониальной администрации, или Чертов остров, как его называли туземцы. Доплыть до него можно было за несколько часов при попутном ветре на парусной лодке, и все же я не прельстился им. Во-первых, это даже не остров, а риф, кусок отшлифованного океаном коралла без клочка земли и единой травинки, плоский утес, еле подымавшийся над водой, захлестывающей его даже во время не очень высокой волны. Спрятать там что-либо или зарыть было бы неосторожно и трудно, если только флибустьеры шестнадцатого века не знали кумулятивных и бетонных шахт. Но я избегал его и по другой причине. Каюсь, я суеверен с детства. А об этом острове ходили, можно сказать, самые зловещие слухи. Прежде всего то, что уже достоверно установлено и научно объяснено. Ни один самолет не мог пройти непосредственно над островом на небольшой высоте — его отводило в сторону или сильное воздушное течение, или грозовой фронт, или непреодолимое магнитное поле. Ни один вертолет не мог опуститься на этом природном аэродроме, ни один катер или какое-либо другое судно с мотором или металлическим покрытием даже на несколько ярдов не могли приблизиться к этому белому рифу. Приезжавшие в Гамильтон ученые объясняли это сильными магнитными бурями, мощностью возникающего над островом магнитного поля, но почему оно возникало и почему именно в этом районе, никто так и не понял.

Меня не это отпугивало, сами понимаете — наука наукой, а колдовство колдовством. Я много россказней слышал, прежде чем рискнул повезти на остров одну компанию кладоискателей. Чаще всего — легенду, превратившую ангельски белый риф в черное царство Аида. Легенда утверждала, что клад все-таки там есть, что зарыли его чуть ли не люди самого Флинта, а зарыв, подрались и перебили друг друга, пока последнего недорезанного не смыла разгулявшаяся по острову морская волна. Рассердился бог и не пустил души погибших ни в рай, ни в ад. С той поры они и торчат на острове, охраняя свой бесполезный клад, и никому не позволено встретиться с ними — ни человеку, ни зверю, ни птице, даже рыба не заплывает в бухту и не ловится в ближайших водах. А если все же попадает сюда человек — скажем, буря приземлит, в лодке течь или парус сорван — были такие случаи, только плохо они кончались. Смельчаки сходили с ума от ярости, глотки друг другу резали или в океан ныряли, чтобы не вынырнуть, а если и доживали до спасательной шлюпки, то попадали прямиком в психиатрическую лечебницу, благо их в Гамильтоне несколько — я городскую знаю и две частных. До сих пор у доктора Керна стрижет газон в саду псих не псих, а вроде чокнутый. В разговор не вступает до выпивки, а угостишь,— расскажет такое, что уши вянут: белые сны наяву, пьяника с покойниками, разговор с богом в духе Эдгара По. Есть еще полицейский в отставке — не то Смитс, не то Смэтс,— двое суток на острове прожил, но рассказывает об этом не часто и только избранным.

В конце концов и я рискнул: соблазнило предложение четырех гарвардских студентов-выпускников. Все люди со средствами, сынки богатых папенек, денег на приключения не жалели. Ну, взяли рыбачью лодку, лопаты и кирки из меди, а из опасных металлов только ножи да жестянки с колбасой и пивом. Даже палатку на медных колышках ставили. Золотых дублонов, конечно, не нашли, а острову подивились. Представьте себе ровный срез, белый, как сахар, но не зернистый, а глянцевитый, как глазурь на торте — ни трещинки, ни щелочки. Пробьешь ломом — коралл, а сверху мрамор не мрамор, а словно расплавленное стекло с мелом. Торчит из воды такой белый чень, и гуляют по нему волны—только над бухтой сухо: срез косой, и волна не доходит до подветренного края, обращенного к далекому американскому берегу.

Пришвартовались мы в бухточке неглубокой и крохотной — не то лужица, не то заливчик в белой скале, словно она рот, как рыба, разинула. А когда позавтракали и прилегли в палатке, тут-то все и началось. Я даже глаз не закрывал— так что присниться мне все это явно не могло. Просто и палатка, и четверо парней из Гарварда, и наше имущество, свезенное на остров,— все это исчезло, как унесенное ветром. Остров остался, тот же белый налив глазури на торчащем из моря пне. И я не лежал, а сидел на корточках в рыжей широкополой шляпе и длинных красных чулках, заправленных в рваные коричневые штаны. Рубахи на мне не было, а волосатую, не мою грудь пересекал свежий, недавно зарубцевавшийся шрам. Я скосил глаза и увидел кусок наполовину черной, наполовину седой бороды, провел рукой по лицу: волосы курчавились по щекам до краев надвинутой на лоб шляпы с нелепой оборкой из ветхих, выцветших кружев. Вместо добротных бруклинских штиблет на дюймовом каучуке на ногах болтались стоптанные шлепанцы с пряжками, но без каблуков. Передо мной на белой эмали рифа стоял темный, окованный медью сундук с огромным висячим замком, каких уже не делают лет сто или двести. Я, Боб Смайли, был уже кем-то другим, завладевший чужим телом, чужим шрамом и чужим лицом, на котором к тому же не было одного глаза. Вместо него пальцы нащупали повязку, сползшую из-под шляпы. Я растерянно посмотрел по сторонам и услышал позади хохот, похожий на ржание.

Пять или шесть бородачей в живописном рванье, пропеченные солнцем, в пестрых повязках на головах, а двое в таких же, как у меня, шляпах, похожие на ряженых пьяниц с деревенского маскарада, подымались на берег по скользкому обрыву из бухточки, отряхивая с бород белую, как пудра, пыль.

— Билли Кривые Ноги опять забыл, что у него остался всего один глаз,— прошамкал ближайший ко мне бородач — у него были выбиты зубы.— Смотри, одноглазый, а то и второй потеряешь.

Я взвизгнул не взвизгнул, прохрипел не прохрипел, только голос мой не был голосом Боба Смайли, и швырнул нож в говорившего. Но попал почему-то в сундучный замок. Нож звякнул и прилип к нему, как приклеенный.

— То же, что и с лопатами,— вздохнул не принимавший участия в ссоре детина с темной голландской бородкой.— Мы не вскопаем здесь и двух футов. Остров проклят, пора уходить.

Я повернулся к нему и на что-то наткнулся. На что именно, я не увидел — только нога нащупала нечто невидимое. Я молча нагнулся и тронул это нечто рукой. Пальцы обнаружили лопату, широкую медную лопату, которую мы, а не эти опереточные бородачи привезли сюда для противодействия магнитным бурям. Я не удивился чуду невидимости — просто Боб Смайли во мне вспомнил о диамагнитных свойствах лопаты и, не видя, на ощупь поднял ее, а потом, не задумываясь и не анализируя своих действий, взял да и приложил ее к чужой голове, даже забыв при этом снять шляпу. Но медная плоскость лопаты прошла сквозь нее, как ложка в желе, и прохладно коснулась лба. В ту же секунду я увидел и лопату и рукав своей белой рубашки, рубашки Боба Смайли, а бородачи и сундук исчезли.

Я снова сидел в палатке возле прибывших со мной парней и не узнавал их. Никто не видел меня, да и друг друга, пожалуй: их мутные, словно стеклянные глаза настораживали и даже пугали.

«Снеси их в лодку,— услышал я.— Разные люди реагируют по-разному в одинаковых обстоятельствах. Лопата оказалась забавным испытанием на сообразительность. Брось ее — она уже не нужна». Кто это сказал, я так и не понял, словно кто-то во мне, потому что, кроме очумевших ребят, никого кругом не было. Ряженые бородачи вместе со своим сундуком бесследно растаяли на солнце, как мираж. «Наведенный»,— добавил кто-то во мне. «Кем?» — спросил я мысленно. «Не поймешь». «А они кто?» «Привидения, которых вы так боитесь». «А сундук?» «Клад, который вы ищете». «Значит, он все-таки зарыт?» «Нет, его смыла волна вместе с твоим скелетом».

Весь этот разговор промелькнул в моем сознании, как диалог из прочитанной книги. Может быть, я тоже сошел с ума? Но мысленную подсказку вспомнил: «Снеси их в лодку». Лодка все еще стояла в центре прозрачной бухточки, а стащить в нее не сопротивлявшихся нашей было не столь уж трудно, тем более, что они сразу пришли в себя, как только погрузились в воду. Внезапное сумасшествие, если только это было сумасшествием, прошло, как летучая головная боль. Ребята рассказали о своих снах наяву: один был футбольным мячом в матче двух американских колледжей, другой — счетной машиной, вслух решавшей, как он выразился, оптимальный вариант перцептрона на языке математических формул. Парень был филологом, о том, что такое перцептрон, и понятия не имел, да и с математическими формулами еще в школе не ладил. Что случилось с последними двумя, можно было только предположить: оба ничего не помнили, кроме блаженного состояния нирваны, что свойственно, как известно, младенцам и наркоманам.

Боб Смайли допил виски и замолчал. Молчали и его слушатели. Только Рослов, подумав, сказал по-русски:

— Меня, пожалуй, больше всего заинтересовал «оптимальный вариант перцептрона».

— И то, что его высчитывал филолог,— добавил Смайли.

Янина посмотрела на американца.

— Любопытно, как он это запомнил?

— Подчитал, наверно. А может, придумал.

— С какой целью? Спровоцировать?

— Не похоже на провокацию,— сказал Шпагин.— Меня больше смущают сны и магнитные бури. Их взаимосвязь. Что это за супериндуктор, какова его природа, организация, сфера действия? Где он находится? В атмосфере? В воде? В коралловой толще острова? Биологический или механический?

Смайли перебил размышления Шпагина:

— Заинтересовались,— сказал он утвердительно, словно и не предполагал иной реакции.— Вы именно те, кто мне нужен: я уже давно навел справки: Сайрус Мак-Керри не будет приглашать невежд и авантюристов. У вас есть время, средства и английские визы. Почему бы вам по дороге в Лондон не заглянуть в Гамильтон? У меня есть предчувствие большого открытия.

Обед у губернатора

В шестиместном «седане», как называют этот тип закрытого кузова, Рослов сел рядом с водителем — он любил встречную скорость пейзажа в ветровом стекле автомобиля.

Еще Марк Твен, как-то заехавший на Бермуды, восхищался белой коралловой оболочкой острова и города. Шестидюймовая корочка почвы позволила им украситься зеленью кедров и тамариндов, неистощимым буйством цветов и трав, ухоженностью банановых и пальмовых насаждений. Но зелень только расцвечивала белую канву коралла. Дома из коралла, белые коралловые дороги в белом коралловом грунте, крыши и дворики из белых коралловых плит — все это сохранилось и поныне, лишь кое-где уступив назойливому соседству геометрических гигантов из стекла и бетона.

— Что, нравится? — спросил заметивший настроение своих спутников Смайли.

Рослов промолчал. Пока они видели только город, да и то из окна автомашины, которую им подали тотчас же по прибытии в отель. Даже выкупаться в океане не удалось: поговорив с кем-то по телефону, Смайли объявил им о приглашении на обед к губернатору. Сэр Грегори Келленхем ожидал их всех у себя в загородной резиденции. Он не баловал своим вниманием даже очень богатых европейских и американских туристов, но советских ученых, да еще с такой высокой международной репутацией, собирался принять с викторианским гостеприимством. Этого требовали не только дипломатия, в которой сэр Грегори был искушен еще со времени своей службы в Лондоне в министерстве иностранных дел, но и простой человеческий интерес к новому для него типу людей. Поэтому, кроме двух русских и одной польки, к обеду ожидались близкие друзья губернатора: директор местного географического музея, настоятель собора англиканской церкви и начальник полиции острова, все не менее лорда Келленхема заинтересованные в знакомстве с гостями из Москвы и Варшавы. Что успел рассказать о них Смайли губернатору, Рослов не знал, но прием, по-видимому, ожидался не официальный, а частный, то есть

наиболее для них желательный. «Сразу возьмем быка за рога»,— пообещал Смайли.

Он имел в виду поездку на Чертов остров, но ошибся в расчетах: разговор за столом долго не позволял перейти к заветной теме. С легкой руки гостеприимного хозяина, не молодого, но моложавого англичанина с заметной военной выправкой и чем-то напомнившего Рослову доктора Уотсона с иллюстраций к рассказам о Шерлоке Холмсе. Даже тень чопорности и присущей британцам сдержанности не омрачила застольной беседы. Кроме Янины, за столом присутствовала только одна женщина — леди Келленхем, жена сэра Грегори. Ни епископ, подчеркнуто представившийся как «мистер Джонсон», чтобы избавить советских гостей от непривычного им титулования, ни директор музея профессор Барнс, ни начальник полиции Корнхилл не сделали даже малейшего «фо па», как говорят французы, подразумевая неумышленную неловкость.

Смайли, который терпеть не мог званых обедов, все время, как он сам признавался потом, «держал палец на курке Чертова острова» и только ждал случая выстрелить вовремя. Случай представился, когда заговорили вдруг о контрабандной торговле наркотиками, доставлявшей столько хлопот начальнику островной полиции.

— Скажите лучше, тревог и огорчений,— вздохнул тот.— Приходится иметь дело не только с профессионалами, но и с богатыми туристами, не брезгующими выгодной контрабандой. И где только не прячут эту пакость! В пустых часах и электробритвах, сигаретных пачках и сигарных коробках, в специально обработанных пустотах внутри шоколадных плиток и в замаскированной парфюмерии. Не перечтешь.

— Вы пробовали? — поинтересовалась Янина.

— Мне уже сорок девять, мисс, и у меня трое детей. Но жертв и здесь много.

Смайли тотчас же воспользовался паузой.

— И где сейчас эти жертвы?

— В клинике у доктора Керна.

— У того, где стрижет газон человек, говоривший с богом? — лукаво спросил Смайли.

Епископ поморщился.

— Сумасшедшие есть везде. Бермуды не исключение.

В ответ последовала неожиданная и не без ехидства реплика директора географического музея.

— Я не перестаю удивляться, почему его преосвященство не использует этот случай во славу христианской религии. Чудеса на Бермудах! Даже в Ватикане позеленеют от зависти. Ведь Корнхилл может предъявить миру и второе чудо. Живой полицейский инспектор в отставке Смэтс, присутствовавший на казни Христа,— человек, явно не сумасшедший. А он утверждает, что казнили не Христа, а Варавву.

Епископ, по-прежнему невозмутимый, небрежно вернул брошенный ему мяч.

— Во-первых, Смэтс — богохульник и еретик, и я не очень-то верю в его галлюцинацию о Голгофе. Во-вторых, пытаясь острить, надо обладать чувством юмора. У нас с профессором Барнсом,— пояснил он,— старый спор о существовании Христа. Барнс считает Христа мифом, сочинения евангелистов — апокрифами, а донесение Пилата о казни Христа императору Тиберию — легендой, сочиненной столетие спустя. Он даже не верит свидетельству таких историков, как Тацит и Светоний.

Смайли, которого вопрос о существовании Христа интересовал едва ли более, чем деликатного губернатора, перебил епископа:

— Кстати, не о Христе, а о черте, вернее, Чертовом острове. Не кажется ли вам, Корнхилл, что там могли обосноваться торговцы наркотиками? Используя россказни о привидениях и страхи местных жителей, можно легко устроить в коралловом грунте рифа нечто вроде склада или оптовой базы. Может быть, и галлюцинации вызывал какой-нибудь наркотик, испаряясь или как-то иначе отравляя воздух?

— После вашей экскурсии мы два раза буквально облазили остров,— сказал Корнхилл.— Кроме ваших медных колышков для палатки, нигде ни одной неровности, углубления или хотя бы трещинки! Сплошное белое отполированное стекло.

— Почему вы не обращались к специалистам для выяснения всех этих странностей? — спросил у губернатора Рослов.— У вас же международный курорт. Приезжают, вероятно, ученые не только из Англии.

Сэр Грегори ответил не сразу.

— Я понимаю это ваше «не только». Британцам больше, чем кому-либо, свойственны осторожность и сдержанность. Это относится и к ученым. Мы пробовали рассказать кое-кому о некоторых странностях на острове, но или выбор адресатов был неудачен, или рассказчики не сумели передать главное — достоверность рассказанного, но особого интереса к нему отдыхавшая на Бермудах наука не проявила.

Смайли подмигнул Рослову: пора, мол! И Рослов сделал первый дипломатический ход.

— Надеюсь, что сэр Грегори и никто из присутствующих,— сказал он,— не будут возражать против поездки нашей научной группы на этот остров. Вреда мы не принесем, а возможно, и объяснить кое-что сумеем, и странности перестанут быть странностями.

— К тому же мы ничего не возьмем с собой, кроме диамагнитных шлемов, заказанных мистером Смайли в Нью-Йорке,— прибавил Шпагин.— Даже фотоаппараты оставим в гостинице.

— Они бесполезны,—усмехнулся Корнхилл.— Все равно ни одного снимка не сделаете.

Никто не возражал против предложения Рослова. Содействие губернатора и начальника полиции открыло зеленую улицу кораблям аргонавтов.

Синай и Голгофа

— В начале бе слово и слово бе к богу и бог бе слово,— сказал с пафосом Перрот.

— Ты что имеешь в виду? — спросил Смайли.

— Библию, капитан.

— Типично религиозное помешательство,— шепнул доктор Кери Рослову.

Но Перрот даже не взглянул на них.

— Где это было, Перрот?

— В Синайской пустыне, капитан. Был вечер и было утро: день шестой.

— Он знает наизусть все Пятикнижие, но цитирует его только тогда, когда упоминают о его приключении. В остальном он совершенно нормален,— снова шепнул Керн, и опять Перрот не услышал или не захотел услышать.

Рослов видел перед собой совершенно нормального человека. Смотрел он ясно и вдумчиво, говорил будничко и разумно. Только когда он цитировал библию, его хрипловатый, глухой голос вдруг подымался до проповеднического пафоса. На Рослова и Керна он по-прежнему не обращал никакого внимания.

Встреча эта состоялась в саду частной клиники доктора Керна в кедровой рощице на холмистых нагорьях за городом. Рослов поехал туда вместе со Смайли, а Шпагин с Яниной отправились в сопровождении Корнхилла навестить отставного полицейского инспектора Смэтса.

Керна нашли в саду отдыхавшим после очередного утреннего обхода больных. Прочитав записку губернатора, суховатый пожилой англичанин с любопытством оглядел Рослова.

— В первый раз вижу человека из Москвы,— улыбнулся он.— Не из штата Айдахо, а из России. Впрочем, по вашей бороде вас можно принять за американца, скажем, с юго-запада, из Техаса или Калифорнии. Хотя бороды сейчас в моде не только в Америке.

— Даже в Москве,— сказал Рослов.

Керн помахал перед ним губернаторской запиской. Подчеркнуто и многозначительно.

— А знаете, о чем я подумал, прочитав это письмо? Вы хотите видеть Перрота. А у него была точно такая же борода. Он чем-то напоминал... ну, вашего старшего брата, что ли. А сейчас вы увидите своего дедушку. Сколько вам? Тридцать? Он старше вас всего на пять лет, но вы дадите ему все шестьдесят. Перрот,— позвал он склонившегося над грядкой поблизости человека в выцветшем синем комбинезоне.

Подошел седой, лохматый старик, ничем, кроме бороды, да и то не черной, а белой, не похожий на Рослова. Только загорелое лицо его без морщин и отеков свидетельствовало о том, что седина обманывает.

— Что вам угодно, док? — спросил он.

— Поговорите с моими гостями, Перрот. Одного вы знаете. Мистер Смайли когда-то навещал вас здесь.

Перрот взглянул на Смайли и кивнул без улыбки.

— Я помню, капитан.

— Почему «капитан»? — шепнул Рослов доктору.

— Для местных жителей любой искатель кладов всегда капитан.

А Смайли и не думал отрицать своего «капитанства».

— Вот и отлично, Перрот,— сказал он.— Память у тебя золотая. Вспомни-ка еще раз свой разговор с богом.

Тут Рослов и увидел, как седой рабочий-садовник вдруг превратился в библейского проповедника. Но Смайли решительно и настойчиво приостановил извержение цитат.

— Библию я тоже читал, Перрот. Все ясно. Синай, пустыня, гора. Ты внемлешь гласу бога, как Моисей. Откуда?

— С неба.

— Громко?

— Нет. Глас божий отзывался во мне самом. В душе.

— С чего началось?

— С приказа. Я вдруг услышал: «Стой на месте, не мельтешись. Все вы одинаковы — ищете клад, которого нет. И какой одинаково ничтожный у каждого запас накопленной информации».

— Стой! — закричал Рослов.— Он не может так говорить, Смайли. Это не язык садовника. Он не понимает, что говорит. Спросите его: то ли он говорит, что услышал?

Перрот стоял строгий и каменный, не слушая Рослова.

— Ты повторяешь в точности то, что слышал? — повторил Смайли вопрос Рослова.

— От слова до слова, капитан. Мало понял, но ничего не забыл. Разбудите ночью — повторю, не сбиваясь. Как библию.

— Откуда ты знаешь, что с тобой говорил именно бог? Может быть, тебе это только послышалось?

— Я спросил его: «Ты ли это, господи, отзовись». Он ответил. «Все вы зададите один и тот же вопрос. И никто даже не поймет правды. Я был тобой и знаю твои мысли, и твой страх, и гнев, и все, что кажется тебе счастьем. Смотри». И я увидел стол, как в харчевне старика Токинса, большой стол и много еды. «Ешь, пей, радуйся,— сказал бог,— ведь это и есть твое счастье». И я ел, отведывая от каждого блюда и запивая вином, и плясал вокруг стола хмельной и сытый, пока не отрезвел и не услышал глас божий. «Вот так вы все. Ничего нового. Скудность интересов, животная возбудимость, шаблонность мышления, ничтожная продуктивность информации. Я просмотрел ее и ничего не выбрал. Ты из тех, о ком у вас говорят: ему не нужен головной мозг, ему достаточно спинного».

— Что?! — закричал Рослов, вскакивая, но тут же сел, потому что Перрот даже не взглянул на него. Он продолжал говорить с богом.

— «Я не пойму тебя, господи»,— промолвил я и услышал в ответ: «Тех, кто мог бы понять, я еще здесь не видел. Ты говоришь: бог! В известном смысле я—тоже оптимальное координирующее устройство. Но параметры ведь не те. Я не вездесущ и не всеведущ, не всеблаг и не всесилен. Я читаю в твоем сознании: ты уже мнишь себя Моисеем, вернувшимся к людям с новым законом божьим. А вернешься ты с необратимыми изменениями в сознании и мышлении. И в тканях организма: посмотри в зеркало бухты, только не упади». Я посмотрел и упал: на меня взглянул оттуда незнакомый седой старик. Я не захлебнулся только потому, что внизу была лодка, капитан. Вот и все.

— Разрешите, доктор, задать ему несколько вопросов? — Рослов буквально дрожал от нетерпения.

— Задавайте через Смайли,— сказал Керн,— он, как мы говорим, вас «не принял» и отвечать не будет.

— Смайли, спросите у него, что значит «параметр» и «оптимальный»?

Смайли повторил вопрос.

— Не знаю,— ответил Перрот.

Рослов снова спросил через Смайли:

— Вы что-нибудь читаете, кроме библии?

— Нет.

— А до разговора с богом?

— Ничего не читал. Даже газет.

Молчание проводило уход Перрота. Долгое, встревоженное молчание. Первым нарушил его Керн.

— Я впервые слышу полностью этот рассказ и понимаю цель ваших вопросов,— сказал он Рослову.— Вы обратили внимание на то, что он воспроизводил бессмысленный для него текст с механической точностью магнитофонной запи-

ся. Не сбился ни на одном слове, словно цитировал по журналу или учебнику.

— Он процитировал даже Эйнштейна,— вспомнил Рослов.

— Странная галлюцинация, — заметил Керн.— Странная и сложная.

— А вы помните, как он процитировал «бога» о необратимых изменениях в сознании и мышлении? — спросил Рослов.— Кто-то или что-то очень точно прогнозировал последствия происшедшего.

— Кто-то или что-то? У вас есть объяснение?

— Пока нет. За объяснениями мы поедем на Белый остров.

А Шпагин с Яниной в это время выслушали почти аналогичный рассказ вышедшего в отставку инспектора уголовной полиции города. Корнхилл, привезший их в белый коралловый домик с такими же плитами открытой веранды, уехал тотчас же, сославшись на неотложные дела. Смэтс, расположившийся и обрюзгший, больше похожий на трактирщика, чем на полицейского, понимающе усмехнулся.

— Никогда не верил мне, не верит и сейчас, только из профессиональной солидарности не хочет признаться в вашем присутствии.

— Что значит «не верит»,— удивился Шпагин,— вы же не уверяете его, что привидившееся вам на острове происходило в действительности.

— Он не верит в то, что я был трезв.

— Почему?

— Потому что я всегда любил выпить, люблю и сейчас.— И Смэтс, не вставая, вынул из шкафчика и водрузил на стол открытую бутылку виски.— Начнем? Или вы предпочитаете модный джин с тоником?

— Слишком жарко,— сказал Шпагин.

— Тогда одной фляжки хватит на весь рассказ,— флегматично заметил Смэтс и отхлебнул из бутылки.— Только виски я не взял с собой, когда поехал на остров. Поехал трезвый с утра.

— С какой целью?

— Захотелось проверить, не используют ли остров торговцы наркотиками. Корнхилл сказал, что об этом подумал и Смайли. Что ж, голова у старого Боба варит. Только все это вздор. Остров чист и нетронут, как девушка перед первым причастием. Я облазил его вдоль и поперек, куда только мог заползти человек, и ничего не нашел. Хотел уехать, но не успел.

— Что-то случилось?

— Гроза. Тривиальная привычная забава ветра и туч. Я покорился судьбе и вытянулся плашмя на белой коралловой горке. Но ни капли воды не упало на ее спинку, ни одна молния не опалила ее мраморной белизны. Остров как бы оказался в эпицентре урагана, окруженный сомкнутым кольцом грозы.

Смэтс сделал еще глоток и помолчал, наслаждаясь эффектом рассказа. Должно быть, он очень любил этот рассказ, как любит актер свой лучший концертный номер.

— Гроза вдруг отгремела,— продолжал он,— только низкая черная туча надвигалась с горизонта. Время как бы сместилось. Из бушующей грозовой бури я попал в тревожную тишь предгрозья. А кругом вместо кипящего океана расстилалась плоская глинистая пустыня, и вдали в облаке желтой пыли темнел смутно обрисованный, почти неразличимый в пыльном тумане город. А я стоял, как и здесь, близ вершины только не белой коралловой горки, а большой отлогой горы без единой травинки, каменно-рыжей в клубах гонимой западным ветром пыли зловещей глыбы нелепо вспучившейся земли. У ее подножия шумели крохотные, как в телевизоре, человечки, различимые только по одежде,— кто в белом, кто в черном.

— Голгофа,— догадалась Янина.

— Я понял это по возвращении, а там мы называли ее Кальвус.

— Вы знаете латынь?

— Конечно, нет. Но там мы все говорили по-латыни, как сейчас по-английски.

— Кальвус — темя, лысый,— перевел Шпагин.— Вероятно, «Лысая гора». По-арамейски — Голгофа. А кто это «мы»?

— Солдаты из преторианской когорты,— пояснил Смэтс.— Сначала я не сообразил, кто я и где, обалдело смотрел на свои почему-то голые ноги в зарубцевавшихся шрамах, жилистые ноги бегуна или велосипедного гонщика. С моими инспекторскими у них не было ничего общего, но, вероятно, что-то от инспектора Смэтса осталось во мне и откликнулось удивленно и встревоженно на это внезапное перевоплощение. Потом это «что-то» погасло. Я уже был римским солдатом, старым поседевшим волком, отшагавшим тысячи миль по колониальным дорогам империи. Таких, как я, было много — с двадцатилетним армейским стажем, собранных в легионах подальше от Рима. Что я помнил тогда, сейчас забылось — должно быть, разные страны и дороги, голые трупы, содранные одежды и кровь — повсюду одного цвета. Помню только, как стояли там под дьявольским солнцем в одних набедренных повязках, как дикари с дротиками, сбросив все железное, нестерпимо раскалившееся на солнце — панцирь, шлем, пóножи, даже мечи. Рубахами, смоченными в тухлой воде из поднятой на гору бочки, повязали головы и проклинали все и всех — императора и богов, прокуратора и повешенных, которых почему-то было велено охранять от толпы снизу, чтоб не отбили. А кому нужны три полутрупа, распятые на столбах на вершине горы?

— На крестах? — полувопросительно уточнила Янина, выросшая в католической семье и с детства помнившая все евангельские подробности.

Смэтс расхохотался громко, сытно, самодовольно.

— Наша юная гостья из красной Варшавы, по-видимому, неплохой знаток христианской догматики. Но все это вранье, мисс. Накануне поездки, в гостях у Корнхилла, епископ Джонсон назвал меня богохульником потому, что я усомнился в истинности четырех евангелий. Сказал, что это комиксы первого века с героем-суперменом Христом. Так и оказалось, когда бог сподобил меня увидеть все это воочию. Ну, бог там или не бог, только я был трезв и не накурился какой-нибудь дряни, а видел все это, как вас, даже отчетливее: свету по крайней мере больше было. Но не было ни крестов, ни Христа. Стояли обыкновенные столбы с перекладинами в виде буквы «Т», врытые за ночь нашими же солдатами, никто столбов на себе не тащил — их привезли на длинных низких повозках те же солдаты из претории и за весь труд не получили ничего, кроме одежды казненных. А это тряпье не купили бы даже нищие у городских синагог: вешали ведь простолюдинов, мятежников, убивших несколько дней назад императорского курьера из Рима. Прокуратор так разгневался, что судил их сам без синедриона, осудил и — бац, на виселицу с перебитыми суставами. Никого не помиловал, никого не обменивал, рук не мыл — это я все уже после скорректировал, а тогда даже не интересовался — висят трое голых с дощечками на груди и смерти не просят, потому что уже кончились на таком солнцепеке.

— Вы говорите: дощечки на груди,— заинтересовалась Янина,— а у среднего дощечка с надписью «Царь иудейский»?

— Одинаковые у всех троих. А что написано, не уразумел по неграмотности.

— Ну, а Христос?

— Я же сказал, что Христа не было. Он тощий, с черной бородкой на картинках, а посреди висел рыжий верзила с желтым пухом на лице и заячьей губой. Голого его можно было в зоопарке показывать вместо гориллы. Звали его Вар для краткости, а уже дома, заглянув в библию, я догадался, что это Варавва. Не освободил его, значит, Пилат, а повесил для острастки. А как орали внизу, даже на горе было слышно. Выскочил один в черной хламиде до колен, прорвался сквозь заслон конников и побежал вверх, вопя: «Горе вам, горе! Еще придет час вашей гибели». Я толкнул его легонько дротиком в грудь, он и затих. Жарко было, да и копье хорошо наточено. А туча шла и шла. Как мы ее ждали, как провиант в походе или глоток вина в таверне, когда отпускают в город. И грянул гром, совсем как в библии, и хлынул ливень. Только я опять не промок, потому что он снова хлестал вокруг острова, а на белую пленку из коралла не попадало ни капли. Тут я сам себе или кто-то во мне говорит: «Прав был — вранье. Теперь убедился? История всегда писалась в чьих-нибудь интересах».

Смэтс опрокинул бутылку в рот и облизал горлышко.

— Поедете проверять? — спросил он.

— Обязательно,— сказал Шпагин.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ДЖИНН ИЗ ЛАЗУРИ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Ничто или нечто?

А что проверять? Магнитную аномалию острова? Его плоскую, едва возвышающуюся над океаном поверхность? Его мертвую мраморную белизну без единой горсточки песка или ила, где могло бы вырасти что-то зеленое и живое? Гладкое зеркало его крохотной бухты, куда почему-то не забегала волна и не долетал ветер? Здесь без присмотра и без привязи можно было оставить любое суденышко — в данном случае арендованную Смайли белокрылую четырехместную яхточку без мотора. Ее поставили у крутого среза стекловидиого берега метра в полтора высотой, куда можно было легко взобраться, подтянувшись на руках. Так они и сделали, прихватив с собой рюкзаки и палатку,— аргонавты, отправившиеся искать что-то неведомое, не имевшее даже названия. Ничто или нечто, как сказал Шпагин.

После встречи со Смэтсом и Пэрротом все четверо, обменявшись рассказами, до глубокой ночи просидели в саду отеля, пытаясь как-то суммировать и прояснить впечатления. Шел разговор, в котором столкнулись логика и растерянность, смятение перед необъяснимым и упрямство людей, для которых необъяснимое — пока еще только непознанное. Чья-то мысль перебивала встречную, новое предположение исключало только что высказанное, что-то отбра-

Продолжение. Начало в № 13.

сывалось, что-то оставалось, формируя пока еще неопределенную, еще не проклюнувшуюся гипотезу.

— О магнитной аномалии говорить рано. Ее надо проверить.

— А почему обязательно аномалия? Может быть, просто магнитные бури? Я не специалист, но даже из популярной литературы известны случаи разбушевавшейся магнитной стихии — авиакатастрофы, обрыв телеграфной связи, паразитные токи в электропередачах.

— Не верю я в магнитные бури. Они здесь постоянны или цикличны.

— Теоретически допустимо изолированное магнитное поле...

— Но оно не может быть источником галлюцинаций.

— Почему? Как действует постоянное магнитное поле на психику человека — вопрос изученный. Действует.

— Тогда надо предположить разумный индуктор. Не понимаете? Да просто потому, что галлюцинации возникают, как образный или словесный отклик на мысль, возникшую в сознании объекта галлюцинации. Иногда такой отклик подтверждает эту мысль, иногда ее корректирует или опровергает. Возникает как бы раздвоение личности, в котором одна часть воспринимает чье-то разумное вмешательство. Может быть, это спор сознания и подсознания?

Так они и не договорились, условившись продолжить разговор тотчас же по прибытии на остров, а до тех пор молчать, благо уже поутру возникла новая тема. Новость выложил Смайли в открытом море, когда яхта пошла с попутным ветром и капитанские его обязанности не требовали сложных маневров с парусом. Оказалось, что накануне, после разговора в саду отеля, его в номере ожидали гости: «знакомые парни из Штатов, которым не нужен полицейский, чтобы открыть дверь без ключа или произвести обыск без ордера».

— Из ФБР? — предположил Рослов.

— Не будем уточнять,— поморщился Смайли.— Считайте, что визит их необязателен, но удивить не может. Не удивился и я, хотя они сидели за моим столом и пили мое виски. «Присаживайся,— говорят,— будь хозяином». Я присел: «Чем могу?» «Выкладывай,— говорят,— все, что знаешь: с кем едешь, их намерения, цель, кто разрешил и тому подобное». В ответ я посоветовал им прочитать нью-йоркские газеты за месяц, где они найдут о вас сведений на целую книгу, а едете вы изучать магнитную аномалию в районе «Белого острова», на что имеется соответствующее разрешение губернатора и полиции. «Все это мы знаем,— говорят,— а что везете, какую технику?» «Никакую,— удивляюсь я,— а что они в Лондон везут, в чемоданах у них посмотрите. Вы это умеете». Ухмыльнулись: «Уже посмотрели».

— А я ничего не заметила,— удивилась Янина.— И в шкафу и в чемодане все в порядке.

— Люди опытные,— сказал Смайли,— заметных следов не оставляют.

Рослов промолчал. Он-то все заметил и не удивился. Кто-то должен был проявить интерес к их поездке, и от ее результатов зависело, будет ли этот «кто-то» повышен или понижен в дальнейшем.

И вот они на острове. Взобравшись на мокрую коралловую горку и укрепив палатку на оставшихся от прежней экскурсии Смайли больших медных крючках, наши путешественники разочарованно убедились, что чудеса передумали и не желают себя обнаруживать. Помолчали, подождали десять минут в спасительной тени и недоуменно переглянулись. Не только магнитных бурь, но даже крохотной магнитной тяги не замечалось. И видений не было — ни слов, ни миражей.

— Н-да,— сказал Шпагин по-русски,— кина не будет.

Никто не ответил. Шпагин вздохнул, поморщился и снял шлем.

— Неудобно,— пояснил он.

Но Смайли предупредил:

— Я бы не рисковал, друзья, кто знает, что может случиться через четверть часа? Пиратов я тоже не сразу увидел.

«Ты думаешь, шлем предохранит тебя от контакта? — вдруг услышал Рослов, вернее, не услышал, а просто в его сознание вторглась чья-то чужая мысль.— Для нас не имеет значения диамагнитность покрытия. Есть прямая связь с твоей психикой. В конце концов человеческий мозг — это только информационная машина, подчиняющаяся всеобщим законам управления и связи».

«А как же с обратной связью?» — мысленно спросил Рослов, не зная кого и зачем, но спросил первое, о чем мог подумать в этой ситуации кибернетик. «Обратная связь — это наш сигнал, непосредственно воспринятый твоими рецепторами». «Где же эти рецепторы?» «В твоем сознании. Неужели математику не ясно, что любая информация может быть принята и передана без дистанционных датчиков». «Вы имеете в виду зрение и слух?» — осмелился спросить Рослов. И получил ответ: «Нам они не нужны». «А кто это мы?» «Мы или я, по существу,— одно и то же. Если для общения тебе удобнее единственное число — пусть буду я. Но у меня нет личности. Вернее, нет компонентов, формирующих это понятие».

Весь этот мысленный спор Рослов провел, сидя, скрестив ноги, как йог в трансе, неподвижно, сосредоточенно, полузакрыв глаза. И вдруг услышал крик Шпагина и тревожный вопрос Янины:

— Что с тобой?!

— Где вы, Анджей?

— Началось,— сказал он,— я уже разговариваю.

— С кем?

— С «богом»,— усмехнулся Рослов,— с той самой загадочной системой, которая объявляет себя экстремальной.

«Пэррот — ничтожество,— снова услышал он беззвучный Голос.— Я прекрасно знаю, что богом никто из вас меня не считает. Ничто или нечто?» — вопрос прозвучал в сознании Рослова, как лукавая реплика собеседника.

— И я слышу! — воскликнул Шпагин.

— И я,— повторила Янина.— Ничто или нечто. Ведь это слова Шпагина. Кто знал о них, кроме нас? Может быть, вы бредили, Анджей?

— Нет,— ответил предположительно Рослов.— Это не бред и не галлюцинация. Это совсем как у Пэррота. Голос извне.

— Я ничего не слышал,— сказал Смайли,— может быть, потому, что не снял шлема. Но ведь и Энди не снял. Не понимаю.

— Он сказал, что диамагнитные покрытия для него не помеха.

— Кто это «он»?

— Голос.

— Чей?!

Кругом синел океан, отражая чистое высокое небо. Так же чист и прозрачен был воздух, нигде не затуманенный и не замутненный.

— Может быть, это космический корабль пришельцев? — предположила Янина.

— Так почему же он торчит над этим коралловым рифом и не летит в Европу или Америку, которая еще ближе? — усмехнулся Рослов.

Молчание повисло над островом. Кому придет в голову хотя бы намек на разгадку? Может быть, Янине? У нее что-то подозрительно заблестели глаза.

— Когда-то в детстве под Краковом,— задумчиво сказала она,— мне удалось очень близко наблюдать шаровую молнию. Она включила у нас электрический звонок, испортила радиоприемник и обожгла маме руки, расплавив кольцо и браслет. Потом мне объяснили, что в магнитном поле они стали как бы вторичной обмоткой трансформатора, мгновенно замкнутой молнией. Может быть, здешнее магнитное поле того же порядка и не меньшей, если не большей мощности?

— А где источник возбуждения? Откуда он действует? Извне. Только почему он как бы включается и выключается? С каким-то постоянством, может быть, даже цикличностью?

— Вы угадали.

Беззвучный Голос снова прозвучал в сознании у каждого, как беспрепятственно вторгшаяся чужая мысль.

— Мне, если воспользоваться понятным для вас сравнением, требуется некоторое время, как бы для зарядки «аккумуляторов». Тем более, когда я, как у вас говорят, собираюсь поставить опыт.

— Какой опыт? — воскликнула Янина (ей очень хотелось, чтобы ее услышали все).— Почему вы не объясните нам, кто вы, где находитесь и с какой целью ищете связи с Землей и с землянами?

— Ты первая женщина, с которой я непосредственно сталкиваюсь,— ответил Голос,— и твое мышление находится на том же сравнительно высоком для человека уровне, какой я наблюдаю у твоих товарищей из Москвы. Попробуй подняться чуть выше. Вопрос твой наивен. Я связан с Землей неизмеримо полнее, прочнее и дольше, чем вы.

— Не понимаю,— сказала Янина.— А понимание — основа общения. Иначе оно односторонне.

Голос отвечал быстро, но однотонно, без всякой эмоциональной окраски, как не выраженная в звучащем слове мысль.

— Односторонне для вас, но не для меня. Я беру у вас то, что мне нужно. Сейчас мне нужны ваши органы чувств — проще, дистанционные датчики. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Ваше сознание останется не подавленным и не совмещенным с другим, новоприобретенным... Я как бы разъединяю нервные пути, соединяющие оба полушария вашего мозга. Это приведет к раздвоению сознания и мышления, к раздвоению памяти. Одна личность, приобретая информацию, накопленную другой, будет передавать ее мне. Повторяю, не пугайтесь. Несложное перемещение во времени и пространстве.

Рассказ об истине

Не было ни шока, ни тумана, ни тьмы. Просто сразу, как в кино, наплывом на палатку, рябую морскую синь и белый скат острова надвинулись другие пространственные формы. Небо не изменилось — та же безоблачная лазурь над головой, то же высокое изнуряющее солнце. Но вместо стекловидного коралла под ногами шуршала мелкая морская галька, а видимость ограничивалась четырьмя глухими стенами внутреннего дворика, похожего на испанское патио, с причудливым фонтаном в центре в виде головы Горгоны, опутанной змеями. Вместо жал змеиные пасти выбрасывали тоненькие струи воды, лениво и почти неслышно падавшие в белое мраморное ложе фонтана. Тоже мраморные дорические колонны выстроились вдоль стен, образуя крытую тенистую галерею. Мрамор наполнял мир. Он розовел в колоннах, отливал желтизной широких скамеек, чернел в дверных проемах, закрытых медными восточными решетками, за которыми просвечивали пурпурные занавески. Рослов и Шпагин сидели на плоских подушках из конского волоса, заботливо брошенных на мраморные скамейки атриума — они уже знали, что именно так называется дворик с затененной розовой колоннадой. Сидели друг против друга чинно, но не стесненно, не спеша начать разговор, как требовал этикет официальных приемов.

Их уже звали иначе — Вителлием и Марцеллом, и они тоже знали об этом, как и о том, что находились в Антиохии первого века, говорили на чистейшей латыни, еще не испорченной средневековьем, и не играли роль Вителлия и Марцелла, а были ими, гражданами великого Рима и легатами империи, возвышенной Августом и Тиберием. Даже сандалии и тоги, сшитые искуснейшими мастерами Антиохии, они носили естественно и привычно, как все, получившие это право в далекой юности. В далекой — описка? Нет. Вителлий был старше Рослова на добрую четверть века, а Шпагин отстал от Марцелла по меньшей мере на десятилетие.

Что же случилось? Как и подсказал Голос — два сознания, две памяти, две личности. Рослов и Шпагин жили сейчас отвлеченно, пассивно, наблюдая и размышляя, но не действуя. Вителлий и Марцелл жили смачно, активно, и размышляя и действуя. Они могли вздыхать, шептать, говорить, жестикулировать: тело принадлежало им. Рослов только слышал и видел все это со стороны, читал мысли Вителлия и обдумывал все его дела и проекты. Но вмешаться не мог, даже мысленно. Он помнил все о Рослове, докторе математических наук, москвиче по рожденью и материалисте-диалектике по убежденности, и знал все о Вителлии, императорском проконсуле в Сирии, обласканном при дворе Тиберия в Риме, представителе древнего патрицианского рода, предназначенном с юности к государственной деятельности. Прадед его, участник великих походов Помпея, вновь вернувшего империи ее малоазийские земли, тем самым напомнил Тиберию о Вителлии, когда освободилось место проконсула в Сирии. Рослов знал и о том, что его герой в этом спектакле был эпикурейцем по духу, избегал тревог и волнений и строго следил за тем, чтобы пореже доходили до цезаря дурные вести из его многонаселенного и беспокойного губернаторства. Его собственный бюст, многократно повторенный в мраморных нишах атриума — нахмуренное чело в лавровом венке, тяжелые надбровные дуги над глубоко запавшими глазами,— казалось, выдавал эти скрытые думы. Какие новости привез Марцелл из Иудеи, куда он часто наезжал для тайной ревизии прокуратора, не настала ли пора окончательно избавиться от ненавистного ему Понтия и передать этот самый тревожный в Сирии пост верному и осторожному Марцеллу? Но Вителлий молчал,

следуя привычному этикету, и лишь время от времени освежал глотком фалернского пересохшее горло. В атриуме было жарко, тучный Вителлий то и дело вытирал потные руки о полы светло-коричневой, почти золотистой тоги и мысленно ругал своих предшественников за то, что они не позаботились расширить розовую колоннаду атриума, увеличив тем самым затененность его мраморной площади. Впрочем, не о том следовало думать сейчас: Марцелл уже почтительно склонил голову, ожидая вопроса.

И вопрос последовал, как и подобает по этикету, сначала несущественный, мимоходный.

— Ты уже побывал дома, мой Марцелл? Что же ты молчишь, как клиент у патрона, любящего понежиться до полудня? Или недоволен своим управителем? А я уже было хотел послать именно из твоих мастерских кожу для седел в конюшни цезаря. Говорят, в преторианской гвардии они идут на вес золота? А мне помнится, что ты купил здесь несколько кожевен и гнильных чанов близ мясного рынка.

— Они пусты, мой Вителлий,— ответил Марцелл. На правах друга и претора по званию, он не титуловал губернатора.

— Почему?

— Рабы-христиане ушли в пустыню.

— Опять христиане,— поморщился Вителлий,— что-то слишком уж часто они напоминают о себе за последние годы. Десять лет назад никто не слыхал этого слова. Христиане? — задумчиво повторил он.—Откуда взялось оно, христианство? Что означает?

— Ничего, мой Вителлий. Это поборники некоего Хрестуса из Назарета, пророка, который называл себя сыном божиим.

— Хрестус? — переспросил Вителлий.— Не слыхал. Рабское имя. Пятеро из любой сотни рабов — Хрестусы. Позволь, позволь,— вдруг оживился он,— ты, кажется, сказал: из Назарета? Ведь нет же такого города в Палестине! Еще один миф.

Проконсул замолчал, подбрасывая большим пальцем ноги мелкую гальку атриума. «Кажется, я понимаю, почему нас ввели в этот спектакль,— подумал Рослов,— разговор за обедом у Келленхема, визит к Сметсу — и вот из наших складов памяти извлекается догма о Христе, до которой нам, в сущности, нет никакого дела. Но Невидимка, должно быть, заинтересован. Любопытно, чем? Мифом о Христе или источником христианства? Узнать бы, что Семка думает».

Рослов знал, что Шпагин подключен к Марцеллу точно так же, как он сам к Вителлию. Не догадывался, не подозревал, а именно знал, хотя почему, неизвестно.

— А ты сообразил, что мы в древней Сирии? — спросил он.

— За меня Марцелл сообразил,— ответил Шпагин.— С пяти лет, когда его, как патрицианского отпрыска, отдали в обучение к греку Аполлидору.

— Вжился? Я тоже. В одно мгновение, между прочим. Вся жизнь этого римского полубога у меня закодирована. К сожалению, не могу ткнуть пальцем в лоб, чтобы показать, где именно закодирована. А мы, представь себе, сосуществуем.

— Интересно, зачем нашему Некто понадобилась эта экскурсия в древнюю Сирию?

— Опыт дистанционной передачи информации, заключенной, по-видимому, в этой квазиисторической ситуации.

— Ошибаешься,— вмешался Голос.— Не квази, а действительно исторической. Прислушайтесь и подумайте.

«Кажется, мой Марцелл действительно прерывает молчание»,— принял Рослов мысль Шпагина и тотчас же услышал железную латынь соратника и друга проконсула. Тот был тоньше, суше и подвижнее Вителлия, и Рослов даже позавидовал, что Шпагину достался более совершенный образец древнеримской породы.

— Позволь мне перебить твои думы, мой Вителлий. Ты, кажется, сказал: Хрестус — миф. А ведь этот миф рожден не без участия Понтия.

Вителлий выпрямился на своей власяной подушке.

— Не понимаю.

— Молва говорит, что он казнил сына божьего.

— Когда?

— Семь лет назад. Еще до восстания в Тивериаде и Кане.

— Вздор,— отмахнулся Вителлий.— Тогда был повешен Варавва, убийца императорского легата. Я хорошо помню это, потому что Понтий сам отправил донесение Тиберию. Но я перехватил курьера и оставил только сообщение о галилейской смуте.

— Жаль, что умер Тит Ливий,— вздохнул Марцелл.— Какую чудесную главу написал бы он о превращении разбойника в сына божьего. Но у меня в Риме есть Цестий, который тоже помаленьку записывает все достойные памяти события в империи. Пусть оправдает неповинного прокуратора. Все-таки он не казнил пророка, которого не было.

— А зачем оправдывать? — вдруг спросил Вителлий.

Марцелл деликатно подождал, пока проконсул ответит сам.

— Он уже не прокуратор, Марцелл. С этой минуты. Ты собрал все сведения о восстании самаритян?

— Оно уже подавлено, мой Вителлий.

— Это не облегчает положения прокуратора Иудеи. Не смуты и раздоры укрепляют величие Рима, а мир и благоденствие в границах империи. Пусть сам едет объясняться с Тиберием.

— А его место?

— Займешь ты. А главу о казни пророка, приписываемой Пилату, потомки не прочтут ни у Ливия, ни у Цестия. О последнем уже ты позаботишься. Зачем исправлять молву, если она обижает негодного. Пусть обижает.

Марцелл встал и молча поклонился Вителлию.

«А историю оба все-таки обманули,— тотчас же сигнализировала Рослову мысль Шпагина.— Пустили неопровергнутый миф на свободу, как бактерию из разбитой колбы. Только непонятно, зачем нам демонстрируют эту историческую гравюрку? Мы и так знаем, что миф — это миф».

— Вы об этом думали, а я вмешался,— сказал Голос.— Кстати, гравюрка, о которой вы говорите, могла бы стереть начисто миф о Христе. Это глава из «Меморабилий» Клавдия Цестия, изданных Марцеллом в конце первого века по вашему летосчислению. Марцелл не согласился с Вителлием и обнародовал разговор, который уже тогда разбивал постамент христианской доктрины. К сожалению, записки Цестия не дошли до нашего времени: все экземпляры погибли во время пожара Рима.

— Откуда же вам известно их содержание?

— Сначала согласуем личные местоимения в обращении друг к другу. Я не приемлю людской путаницы единственного и множественного числа. Поставим их на свои места. Теперь о воспоминаниях Клавдия Цестия. Я знаю любой вклад человеческой мысли в историю письменности и книгопечатания. Моя память хранит не только собрание Британского музея, но и погибшей для потомства Александрийской библиотеки. Я знаю все папирусы фараонов и все рукописи Средневековья. Я был Гомером и Ксенофонтом, Тацитом и Светонием, Свифтом и Байроном. Любая мысль, двигавшая их творчество, хранится в моих запасниках. Так что не задавайте мне наивных вопросов о моем контакте с человечеством. Он пока односторонний, но с вашим появлением я рассчитываю и на обратную связь.

— На какую?

Но ответа не было. Голос умолк, и атриум Вителлия сразу же сменила палатка белого острова. Смайли и Янина сидели неподвижно с каменными лицами и стеклянными глазами. Рослов и Шпагин переглянулись.

— Для них все еще продолжается. Может, разбудить? — спросил не очень уверенно Шпагин.

— Погоди.

В этот момент Смайли вздрогнул. Мысль вернула жизнь лицу и глазам. Почти тотчас же очнулась и Янина, вернее, возвратилась из путешествия в Неведомое на их коралловый риф.

— Уедем отсюда,— выдавила сквозь стиснутые зубы Янина.— Рассказывать можно и дома.

Ей казалось, что у нее просто не хватит сил для рассказа.

— Опыт окончен, как я понимаю. Нас предупредили о нем и просили поберечь нервы. Рассказывать надо здесь. Если мы ошибемся, нас поправят. Начинай, биолог,— сказал Рослов.

— Почему я? — удивился Шпагин. Он не привык к тому, чтобы Рослов когда-нибудь уступал свое первенство.

— Потому что будущий прокуратор Иудеи все же подчинен проконсулу Сирии. А после тебя слово — Смайли. Идет, Боб?

— Идет,— согласился Смайли.

Рассказ о лжи

— Вы только, ребята, не перебивайте, а то собьюсь и забуду о главном. Кто знает, что здесь главное и где главный черт в этом аду.

Смайли действительно боялся запутаться. То, что произошло с ним, породило полное смятение чувств и мыслей. Где-то проходила неощутимая, непознаваемая граница между своим и чужим, и, может, чужим был Смайли, а не чужак, завладевший его душой и телом и все же не отключивший мысль Смайли, ее способность оценивать, одобрять или осуждать мысли и действия совмещенной с ним личности.

Началось это еще в палатке, когда внезапно умолкли товарищи. «Ты знаешь, что такое ложь, Смайли?» — спросил Голос. «Конечно»,— ответил Смайли, ответил вслух, но никто его не услышал: и он и его спутники отключились от реальности. «Вопрос чисто риторический,— сказал Голос,— но вы, люди, привыкли к риторике. Я тоже знаю, что такое ложь. Знаю все, что думали о ней лучшие умы человечества с тех пор, как люди научились думать. Я знаю ложь на троне и ложь на парламентской трибуне, ложь с крестом и ложь с пистолетом. Но я не могу настроиться на каждого лгущего, не знаю его эмоций. Потому для опыта я и выбрал тебя». «Почему меня? — закричал Смайли.— Я никогда не лгу». «Редко — не значит никогда. Я даже знаю, что о тебе говорят: слово Смайли прочней акций Шелла. Ты не обманываешь и не лжешь потому, что тебе это выгодно. Мотив честного дельца. Но мне безразличны мотивы, меня интересуют эмоции. Не пугайся: может быть, станет больно — потерпи. Это не долго и не оставляет следов».

И Голос умолк.

...А Фернандо Кордона, натурализовавшийся мексиканец из Штатов, сойдя с рефрижератора Юнайтед Фрут компани, на котором он без лишних хлопот и возможных «хвостов» прибыл в Гамильтон на Бермудах, не спеша шел к портовой таможне. Чемоданы его несли полицейские, что вызывало не тревогу, а скорей удивление: островная полиция, сопровождая заподозренных в контрабанде, никогда не оказывала услуг. Приходилось нанимать носильщиков. Но если он не заподозрен, почему полицейские подхватили его чемоданы? Он уже корил себя за то, что согласился на предложение концерна. Только ради Алонсо, в конце концов убедившего его, что пронести какую-нибудь сотню ампул сквозь таможенные кордоны — сущий пустяк, тем более что наркотики у него в багаже были замаскированы лучше, чем хамелеон на капустной пальме. Более полусотни ампул покоилось между створками двойного дна коробки с сигарами из Манилы с нетронутыми фирменными этикетками и заклейками — внутрь сигар ампулы не закладывались: таможенники обязательно надрежут штуки две-три по выбору — остальные разместились в патронном магазине «Беретты», на которую у Кордоны было специальное разрешение, в полых дужках очков-консервов и в больших зажигалках, которые нужно было сломать, чтобы освободить спрятанное. В таких случаях таможенники и агенты Интерпола действовали только наверняка.

Подгоняемый растущей тревогой Кордона пошел быстрее. О наблюдательности британских таможенников он слышал не раз, но его предупредили, что опасны не столько таможенники, сколько старший инспектор Интерпола Гривс, специально нацеленный на торговлю наркотиками. Но Кордону встретили хохотом. Он даже опешил, настолько непонятной и неожиданной была эта встреча. Чиновники приветствовали его, как старого знакомого, с которым давно не виделись.

— Алло, Смайли!

— Привет, старик!

— Зачем пожаловал? Опять повезешь лопоухих клады искать?

— Обнаружил новый Остров сокровищ?

«Меня принимают за кого-то другого. Вероятно, похож, бывает. Надо воспользоваться»,— мгновенно сориентировался Кордона. Он был неглуп и находчив.

— Просто соскучился,— сказал он.— К вашим услугам, джентльмены.

Полицейские уже выставили принесенные чемоданы на длинный прилавок досмотра и неуклюже переминались с ноги на ногу, не уходя.

— Досматривайте,— небрежно сказал Кордона.

— Тебе и так верят,— отмахнулись чиновники.— Это не мы. Это Гривс.

Розовый, пухлый, с растущим брюшком полицейский в форме Интерпола — точь-в-точь мистер Пиквик в дни своих бурных странствий, не торопясь, подошел к прилавку, сделал строгое лицо и сказал заученно:

— Порядок есть порядок. Не обижайся, Боб.

Кордона молча раскрыл чемоданы. Агент бы-

стрыми опытными руками прощупал рубашки и пижамы, карманы сложенного костюма, чиркнул сначала одной, потом другой зажигалкой, подержал на ладони «Беретту».

— Есть разрешение,— сказал Кордона.— Могу предъявить.

— Не надо.

Гривс положил пистолет на место, постучал по дну чемоданов, заглянул в футляр электрической бритвы и вынул коробку с сигарами.

— Хочешь разрезать? — спросил Кордона.

— Зачем? Я проколю парочку.

Он ловко проткнул тонкой иглой пару выбранных наудачу сигар, захлопнул ящичек и закрыл чемодан.

«Пронесло»,— подумал Кордона и кивком указал на чемоданы все еще стоявшим у дверей полицейским.

— В Хилтон-отель.

Разбуженная мысль Смайли мгновенно оценила положение. Тело мое, но я не могу пошевелить даже пальцами. Телом владеет чужой. Кто он? Фернандо Кордона, мексиканец из Штатов. Никогда не слыхал. Ничего не знаю о нем, кроме его нелегального бизнеса. Не моргнув, протащил сквозь таможенные рогатки сто ампул наркотиков. Должно быть, такой же выродок, как и пославшие его, только мелкий.

Тело не мое, а мне жарко. Кордона то и дело вытирает шею. Вор выдает себя на каждом шагу. С Беном, таксером, даже не поздоровался, а Бен еще издали крикнул, высунувшись: «Алло, мистер Смайли!» Вероятно, сейчас удивляется: что со мной, должно быть, потрепали в таможне. Но Бен тренированный парень. Выдержанный, лишнего не скажет. Молчит. Вот и Хилтон-отель. Сейчас Бен спросит, дожидаться или подать попозже. А мошенник потребует подать в полдень, в самую жару, когда кафетерии и бары пусты, сьеста. Именно тогда он и постарается избавиться от товара. Где? Наверно, в «Альгамбре» или в «Майями-бич»—Гривс давно на них целится. И все мимо.

В номере Кордона принял душ, сменил ампулы на патроны в «Беретте», прикрепил пистолет как всегда под мышкой, надел белый тропический смокинг. Сигарную коробку с двойным дном опустил в специально предназначенный для этого бортовой карман, а оставшиеся ампулы разместил в двух пачках сигарет «Кэмел», аккуратно восстановив упаковку. Одну из зажигалок с ампулами захватил с собой, не производя перемещений. Теперь «товар» был «на выходе», требовалось только обменять его на доллары.

Как и предполагал Смайли, Кордона ехал в «Майями-бич», самый отпетый из всех островных баров. Расчет был точен. В полдень бар был пуст, только двое скучали в полутемном и даже прохладном зале — небритый бурбон, типичный курортный бездельник и пьяница, дремавший над кружкой имбирного пива, и долговязый, в белой фланелевой рубашке, читавший газету. Лицо бармена Чарли, перебравшегося в Гамильтон из Ки-Уэст во Флориде, расплылось в улыбке.

— Рад видеть вас у себя, мистер Смайли.

«Опять Смайли!» — раздраженно подумал Кордона. Он оглянулся. И не зря. Газета над столом шуршала по-прежнему, а бурбон вскочил:

— Никак, Боб? — сказал он и прыгнул к стойке.

Кордона поморщился.

— Ну? — спросил он неопределенно.

— А Элис ждет,— сказал бурбон неожиданно трезвым голосом.— В «Альгамбре». Сам поедешь или позвать?

— Подумаю,— сказал Кордона. Он понятия не имел, кто такая Элис, но по-волчьи учуял опасность.— Не мешай, у меня дела к Чарли. А ты предупреди ее, чтоб не уходила.

Когда пьяница отошел, Кордона обернулся к все еще улыбающемуся бармену и тихо сказал:

— Привет от старого Питера, Чарли.

Улыбка погасла. Смуглое лицо элегантного бармена посерело.

«Креол,— подумал Кордона.— Что это с ним? Есть причины?» Но бармен уже произнес укоризненно:

— Зачем вы полезли в эту вонючую жижу, капитан?

— Не твое дело. Кажется, слышал? Привет от старого Питера,— повторил он и прошипел: — Отзыв!

— А разве он не уехал? — механическим голосом откликнулся бармен.

— Нет. Прислал подарочек и ждет должок.

С последним словом Кордона незаметно швырнул пачку сигарет с ампулами подхватившему ее Чарли. Другую пачку вместе с зажигалкой он положил на стойку, чтобы «забыть» при уходе.

— Все? — шепотом спросил Чарли.

— Нет,— отрезал Кордона.— Есть еще коробка с сигарами. Уйдет тот долговязый с газетой, передам.

— Он не уйдет,— сказал Чарли.

Кордона снова почуял опасность. Но поздно. Долговязый в белой фланели, оказавшийся бритым плечистым парнем лет тридцати, уже подходил к стойке.

— Угости сигаретой, друг,— сказал он.

Кордона потянулся к карману, но долговязый кивком указал на запечатанную пачку «Кэмел» вместе с зажигалкой, небрежно брошенную на стойку.

— У меня для друзей есть особые,— нашелся Кордона.

— А мне нравятся эти.— Долговязый отогнул борт пиджака и показал медный значок Интерпола.— И подай мне ту пачку, которую ты поймал,— обернулся он к бармену.

Этим и воспользовался Кордона. Прямым справа в челюсть, вложив в удар всю тяжесть своих восьмидесяти килограммов, он опрокинул долговязого на пол.

— Верни товар. Передам после,— торопливо бросил он бармену, и пока тот с сифоном приводил в чувство упавшего, Кордона уже ехал с Беном в «Альгамбру». «Не догадается и не успеет,— думал он,— а Элис, видимо, достаточно преданная Смайли, пригодится для связи с Чарли».

Профессиональный удар! Школа. Я бы так не мог. И как болят костяшки! А я даже не могу поднести руку к лицу, чтобы посмотреть, не сбита ли кожа на суставах. Сколько раз солгал этот гангстер! И по привычке и по расчету. Теперь он солжет Элис и не только для того, чтобы использовать ее как посыльного. Солжет с наслаждением, чтобы отомстить мне, потому что я уже мешаю. Слишком много знакомств — уже не выгода, а помеха. Количество переходит в качество, как говорит Рослов. А Элис ждет. «Предупреди ее, чтоб не уходила». Я бы никогда так не сказал. Куда ей уйти, когда дежурство не кончилось. Старшая по этажу отеля «Альгамбра» всегда на месте. Может быть, мы с ней пошли бы в бар после дежурства — она верит мне, как чековой книжке. И знает при этом, что я никогда не женюсь и не сделаю ее миссис Смайли. А все же не променяет меня даже на Грегори Пэка. Интересно, что скажет этот лгун.

«Сошло»,— облегченно вздохнул Кордона после пятиминутного разговора с Элис. Ни одного промаха. Ни разу не дал он почувствовать в нем чужого. Сразу поддел ее на крючок.

— Положишь в сумку эти вещички.— Он выгрузил ей на стол замаскированные ампулы.— Поедешь в «Майями-бич». Бармена Чарли знаешь? Тем лучше. С подъезда не входи. Войдешь со служебного и только в том случае, если поблизости нет полицейских и посторонних. Вызовешь Чарли и передашь ему все, если никого возле не будет. В противном случае жди или возвращайся. Чарли отдаст тебе деньги. Это нам обоим. Вручишь мне их в Хилтон-отеле, номер триста одиннадцать. Если дверь заперта, не стучи. Вот ключ. Открой и дожидайся.

«Операция Элис» отняла не более двадцати минут. «А девчонка — прелесть,— подумал Кордона,— жаль времени нет». Сегодня же он, Кордона, уедет с пачкой долларов в кармане. Его фруктовый рефрижератор все еще стоит у причала.

С этими мыслями Кордона поднялся к себе на этаж и открыл взятым у портье ключом отведенные ему апартаменты. И тут же охнул. Кто-то вывернул назад его левую руку, а на правой щелкнул наручник. Другой наручник замкнулся на руке нападавшего.

«Он думает, что арестован Интерполом. Идиот. Ну, а что я знаю, кроме того, что это парни из Штатов, из учреждения, название которого известно всему миру под тремя буквами. Что им понадобился именно Смайли, а не Кордона. Что их тревожит бизнес Смайли, а не контрабанда наркотиков.

Сейчас мы подъезжаем к белому двухэтажному особняку за чугунной плетенкой ограды. Гаревая дорожка ведет к подъезду. Никакой вывески. Понятно, почему: здесь не рекламируют свой бизнес. Мы оба это знаем. Он молчит, а у меня нет права голоса. Две жизни в одном теле, как пара рельсов, которые не разойдутся до первой стрелки. Когда же будет эта стрелка?»

Парни в белых халатах сняли с Кордоны наручники и закрепили зажимы для датчиков. Кресло на колесиках подвезли к аппарату, похожему на спрута с разноцветными проводами щупалец. Вместо глаз у него — рычаги управления, а вместо рта — прорезь с валиком для бумажной ленты и с упором для перьев автоматических самописцев. «Детектор лжи»,— подумал Кордона.

Что-то загудело, как бормашина. Кордона ничего не почувствовал, кроме стесненности в движениях.

— Где русские? — спросил кривоносый.

— Какие?

— Отвечай без вопросительных знаков. Где твои русские? В Гамильтоне?

— Я не знаю, о ком вы говорите.

Удар тока пронзил все тело Кордоны. Смайли это ощутил, но даже не дернулся. Дернулся Кордона.

— Что они ищут на острове?

— Не знаю.

Аппарат не среагировал. Парни в белых халатах переглянулись. Но так и должно было случиться: не зная русских, Кордона не знал, что они могут искать, а Смайли тоже не знал, что могут искать русские, находящиеся, как и он, в состоянии прострации.

— Они не откровенничают с тобой, Смайли?

— Я не Смайли,— признался Кордона.

И солгал. Новый удар тока потряс его тело. Он взвизгнул.

— Не визжи. Не поможет. Лучше не ври. Имя?

— Кордона. Фернандо Кордона.

Опять удар тока. Кордона подпрыгнул вместе с креслом, опутанный проводами.

— Говорили, не ври,— сказал кривоносый.— Мы тебя пятый год знаем.

Кордона заплакал.

— Я не вру. Я контрабандист. Я подпольный торговец наркотиками. Я провез из Штатов сто ампул. Матерь божия! Спросите у Чарли из «Майями-бич».

Аппарат не ответил. Кордона облегченно вздохнул. И опять переглянулись парни в халатах. Неужели Смайли связался с наркотиками?

— Смешил бизнес, Смайли?

— Да.

Еще раз подпрыгнуло под током тело Кордоны.

— Зачем же врешь?

— Я не вру. Я ничего не менял. Я всегда провозил наркотики. На Багамы, на Ямайку, на Гаити. И сейчас привез. Ампулы у Элис, или «Альгамбры», или у Чарли. Я не Смайли, я только похож на Смайли.

Тело Кордоны снова подпрыгнуло, но он уже был без сознания.

Смайли все-таки обманул их. Его, именно его тело, уже потерявшее сознание Кордоны, хотя и скорченное током, источало блаженство. Откуда мог знать Кордона, что он отчужденный? Не Кордона и не Смайли. Все ложь. И д а — ложь, и н е т — ложь. Не знает русских — ложь, потому что он Смайли. Не торгует наркотиками — ложь, потому что он Кордона. Редкий случай, когда ложь доставила бы мне удовольствие. Зато я теперь все знаю о лжи, как чувствуешь, когда лжешь по привычке, когда во спасение, когда из страха и когда из мести.

— Я тоже,— сказал Голос.

Рассказ о совести

Розовый сумрак качался вокруг Янины, как на лодке в мертвую зыбь в предрассветном тумане, чуть-чуть подсвеченном солнцем. Она уже ничего не чувствовала — ни сердца, еще минуту назад тревожно стучавшего в груди, ни крови, приливавшей к щекам, ни жары, распарившей тело, как в бане. Казалось, она умерла, и душа ее по христианскому вероучению еще витает над телом. «Какая чушь,— усмехнулась мысль,— просто отключилось сознание. Как во сне или под гипнозом».

— Это не гипноз,— сказал Голос,— гипноз еще будет. Это как в театре, увертюра к драме. Играет оркестр, в зале тихо, вот-вот взовьется занавес. Что есть совесть? — спросил он неожиданно.

В живой беседе Янина бы засмеялась. Потом бы задумалась. Потом ответила, может быть, даже не очень уверенно. Сейчас чистая ее мысль откликнулась сразу.

— Реакция нервной системы на противоречия между поступками человека и его нравственными принципами.

— Это философски, а математически?

— Затрудняюсь ответить. Впрочем... кто-то

пустил крылатое словечко: совесть — это обратная связь. А можно и так: оптимальный вариант столкновения двух взаимно исключающих величин. В данном случае — функций сознания и мышления. Исключение такого столкновения исключает и совесть. Можно найти и другую формулу. Ответов много.

— Я знаю все,— сказал Голос,— и все о реакции организма на такое, как ты говоришь, столкновение. Но я не знаю твоих эмоциональных состояний. Эту информацию и даст мне опыт. Он не долог и физически безболезнен. Внимай.

Розовый сумрак, качавшийся в отчужденных глазах Янины, хорошо знавшей, что находится она в палатке белого острова-рифа, вдруг исчез — неожиданно и сразу. Но сознание Янины из бара даже не возмутилось удивленно: она воспринимала и свое пребывание в Нью-Йорке и в этом баре в компании с Рословым, как нечто должное, заранее обусловленное. Рослов рассказывал ей содержание какого-то ковбойского фильма, просмотренного им по телевизору в гостинице, рассказывал смачно, по-актерски подыгрывая, но Янину это не развлекало. Рослов сейчас напомнил ей трактирщика из Забже в ее трудном послевоенном детстве, когда она мыла посуду в трактире, помогая перебивавшейся без отца матери. У трактирщика была такая же иссиня-черная борода, и он так же прятал глаза, когда говорил сальности забегавшим девчонкам. Рослов сегодня не развлекал, даже отталкивал какой-то своей необычностью. Янина с кораллового острова, наблюдавшая как бы со стороны эту встречу, тоже заметила, что Рослов — не Рослов. И голос наигранное, и поведение развязнее, и не свойственная ему манера отводить взгляд, отворачиваясь или опуская веки. Янина из бара не анализировала этих различий, она инстинктивно замкнулась в себе и помалкивала, прихлебывая остывший кофе.

А надсознание ее с безотчетной тревогой регистрировало их тихий диалог.

— Не надо, Анджей.

— Я не понимаю твоего упрямства.

— Мы еще не перешли на «ты».

— Перейдем. Я предупреждаю события. Когда люди друг другу нравятся, незачем туманить мозги условностью.

— Не расписывайтесь за меня.

— Так я ж не любви прошу, а простого одолжения. Как друг и коллега. Мы люди одной специальности. Если знаешь ты о работе Мак-Кэрри, могу знать и я.

— Спросите его самого.

— Он же упрям, как ишак. Открылся тебе — и баста. А наука стоит.

— Чем же вы хотите двинуть ее? Чужой подсказкой? Плагиатом? Украденной идеей?

— Я не собираюсь ничего красть. Может быть, только воспользоваться ею, как трамплином. Я же пустяк прошу. Заглянуть в доклад старика, который он почему-то не обнародовал. Подумаешь, преступление!

— Без ведома автора? Преступление.

Отчужденная мысль Янины тотчас же воспроизвела всю цепочку предшествовавших этому разговору событий. Доклад Мак-Кэрри действительно значился в программе симпозиума — кратенький доклад, скорее сообщение на шестнадцати страницах типографского текста стандартного формата английских научных изданий. О докладе задолго до его оглашения говорили как о возможной сенсации. Тема его перекликалась с проблемой моделирования процессов информации и мышления, уже разработанной в Советском Союзе, однако Мак-Кэрри шел своим путем, может быть, даже ошибочным, но и в его ошибках участники симпозиума склонны были видеть эмбрионы интересных находок. Особенно любопытствовали кибернетики, связанные с наиболее сложной областью промышленной электроники, с производством так называемых самообучающихся систем. И это любопытство, не всегда только научное, часто с душком уличной сенсации, создало вокруг скромного и равнодушного к рекламе ученого атмосферу нездорового ажиотажа. Еще большей сенсацией оказалось внезапное решение Мак-Кэрри снять доклад с программы симпозиума. Мотивы? «Рановато. Поторопился. Кое-что надо домыслить и подработать». Но все понимали: профессор хитрит и недоговаривает. Янина, к которой он благоволил, получила более точную информацию. Профессор признался, что в его запертый особым ключом номер отеля проникли неизвестные лица, дважды перерыли замкнутые хитроумным замком чемоданы, но доклада не нашли. Янина не рискнула спросить, где спрятал его профессор, но тот сам открыл ей секрет. «Хотите проглядеть эти шестнадцать страничек?» — спросил он. «Очень». Тогда Мак-Кэрри извлек из кармана плоскую отвертку («С собой ношу, чтоб не догадались»), тщательно отделил верхний фанерный лист от внутренней стенки шкафа и осторожно вытащил оттуда злополучный доклад. «Прочтите и помалкивайте,— сказал он,— а я скажу кое-кому, что доклад у вас». «Зачем?» — удивилась Янина. «Проверочка». Через день Янина убедилась, что «проверочка» сработала: ее багаж был перерыт весь — до чулок и перчаток. Даже сумочку с дамскими пустяками вывернули наизнанку. А теперь к Янине подослали псевдо-Рослова.

— Вы не Рослов,— сказала она.

— А кто?

— Не знаю. Вы чужой. Не Анджей. Не обманете.

— Догадались? — усмехнулся ее собеседник и, как показалось отчужденной Янине, даже облегченно вздохнул.— Значит, представление окончилось. Гамлет и Офелия снимают грим и подсчитывают заработок.

— Во-первых, вы не Гамлет, а Шейлок, а во-вторых, мне подсчитывать нечего.

— Хотите тысячу кусков?

— Не знаю блатного жаргона.

— Две тысячи.

— За что?

— Сообщите, где спрятан доклад старика. Он нужен нам, и мы не отступим.

— Кому это вам?

— Мы не разведка и не полиция. Мы солидное коммерческое предприятие, специализирующееся на электронике особого рода. Оплата немедленно.

Не ответив, Янина встала, но тут же сильная рука сидевшего рядом грубо толкнула ее на место.

— Не делайте глупостей. В двух шагах от бара на вас случайно наедет машина. Давайте не рисковать. Подумаем лучше о сумме вашего гонорара. Три тысячи?

— Нет.

— Пять.

— Считайте хоть до миллиона.

— Мы испробовали два варианта. Степень вашей влюбленности и степень алчности к деньгам, присущей большей части прекрасного пола. К сожалению, для вас оба они не сработали. Остается третий.

— Спи,— сказал он, не повышая голоса.

Янина вытянулась, безмолвная, с открытыми остекленевшими глазами, с отхлынувшей от лица кровью, в каталептической напряженности. Выдающий себя за Рослова, все еще не отводя глаз, продолжал так же тихо:

— Отвечай на вопросы кратко и точно. Где спрятан доклад?

— В шкафу за фанерной стенкой.

— С какой стороны?

— Справа. Нужно слегка отделить верхний лист фанеры ножом или отверткой.

— Гус! — негромко позвал псевдо-Рослов.

К столу подошел человек неопределенных лет с неопределенным лицом, в костюме такого же неопределенного цвета. Ни один даже самый наблюдательный полицейский не смог бы дать его исчерпывающий словесный портрет.

Пояснив требуемое, псевдо-Рослов спросил:

— Сколько времени потребует операция?

— Десять минут езды. Две-три минуты на изъятие объекта, четверть часа на пересъемку. Те же две-три минуты на возвращение объекта на место.

— Стоп! Ты привезешь мне доклад сюда.

Незагипнотизированная мысль Янины-первой тотчас же подсказала ей, что псевдо-Рослов сейчас ее разбудит.

— Проснись,— сказал он,— и забудь все до тех пор, пока тебе не вручат искомый доклад. Тогда вспоминай и казнись.

Рослов-оборотень истил. За отвергнутые домогательства, за разоблачение, за неподкупность. Подчас он провел за болтовней о пустяках, вновь выдавая себя за Рослова. Он ждал. И когда его агент молча вручил ему шестнадцать страничек, он передал их Янине.

— Это доклад Мак-Кэрри, пани Желенска. Можете положить его на место сами или вернуть профессору любым другим способом.

Говорят, глаза — зеркало души. Если бы это было так, то восстановление утраченной памяти отразилось бы в глазах Янины трагедией шекспировского накала. А так: просто расширились зрачки и что-то мелькнуло в них и погасло. «Надсознание» Янины сразу же подсказало психиатрический термин — «адреналиновая тоска» — избыток адреналина в синапсах мозга. А душевное состояние Янины, которой внезапное возвращение памяти открыло всю глубину совершенного ею предательства, можно было назвать, не прибегая к научной терминологии, истошным криком души.

— Трудно? — спросил Голос.

— Очень,— откликнулось сознание Янины, ее вновь обретенное, единственное «я».

— Мне достаточно,— сказал Голос.— Очнись...

— Неужели он так похож на меня? — вдруг спросил Рослов, когда Янина, мучительно запинаясь и подыскивая слова, рассказала о своем кошмарном сне.

— Почти. Только вульгарнее и грубее. И потом глаза...— Янину передернуло.

— Так кто же объяснит мне всю эту дьявольщину? — закричал Смайли.— Молчите, ученые?

— Надо уезжать отсюда,— прошептала Янина, поежившись, хоть ветер был тихий и теплый.

Трое мужчин молча собрали имущество, сложили палатку и спустились к яхте, неподвижно дремавшей в бухточке.

Продолжение следует.

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический
роман

ДНИНН ИЗ

Черный ящик

На этот раз к белому коралловому рифу гостей доставила вместительная губернаторская яхта, что позволило более чем удвоить состав участников повторной экспедиции. Кроме четырех друзей, на остров прибыли профессор Мак-Керри, вызванный телеграммой из Нью-Йорка, и все участники губернаторского обеда, кроме леди Келленхем и епископа, категорически отказавшегося от знакомства с феноменом. Вместо епископа отправился доктор Керн. Экспедиция для него, как психиатра, представляла чисто профессиональный интерес.

Яхта с металлической обшивкой и обилием металла на борту — наши аргонавты нагрузили ее всем металлическим, что попало под руку, начиная с консервных банок и кончая молотками для забивания держателей палатки,— без приключений вошла в хрустальную бухточку острова. Магнитная защита его не сработала или не пожелала сработать. Никаких аномалий не наблюдалось и во время выгрузки экспедиционного багажа.

За импровизированным завтраком набежали первые тучки тревоги и разочарования. Голос упрямо не подавал никаких признаков жизни, и наши первооткрыватели уже испытывали чувство неловкости, как ярмарочный фокусник, обнаруживший, что двойного дна в его ящике нет.

— Важен контакт, а не пикник,— нахмурился Рослов.

— Ты прав,— сказал Голос.

— Почему ты молчал? — мысленно спросил Рослов.

— Я изучал новоприбывших. Только один заслуживает внимания.

— Высокий, седой, с орлиным носом, как у Марцелла.

— Я не вижу. Вот ты представил его, и я записал его образ, отраженный в твоем сознании.

— Как записал?

— Ты представляешь себе свою авторучку. А затем — цепочка ассоциаций: пишущая машинка, телетайп, лента магнитофона. Нет, ваши земные способы несовершенны и хрупки. Я снимаю записи с мозговых рецепторов.

— Ты прочел мысли прибывших?

— Я прочел их жизнь. Всю накопленную ими информацию. И ничего не взял. Интересен один. Я вспомнил его работы. Они значительнее твоих, но традиционнее. Ты более смел — я говорю о научной смелости и научном зрении. Я знаю его новый замысел в математической разработке теории управления. Вы оба идете к одной цели, но кружными путями. Вы ищете, а я жду.

— И не хочешь подсказать решение или не можешь?

— Иногда могу. Если решение не вспышка гения, не что-то принципиально новое, а оптимальный результат отбора уже накопленной информации.

— Значит, и ты не гений?

— Я не человек.

— Но вступаешь в контакт с человеком. А такой контакт не может быть односторонним. Отдавая часть своей информации, человек должен получить что-то взамен.

— Что?

— Часть твоей.

— Не возражаю. Это тренировка памяти.

— Тогда ответь на вопросы прибывших со мной.

— Тогда скажи всем, что ты существуешь — одной мыслью,— и переключись на меня.

Весь этот мысленный диалог Рослов провел в состоянии прострации. Мысль не отливалась в звуки — губы даже не дрогнули.

Первым заметил состояние Рослова губернатор.

— Вам нездоровится? — спросил он тревожно и недоуменно оглядел соседей.— Что это с ним?

Барнс, сидевший рядом, толкнул легонько Рослова — тот даже не пошевельнулся.

— Кажется, без сознания,— сказал доктор Керн, подымаясь.— Похоже на каталепсию.

— Сядьте, док,— остановил его Смайли.— Не трогайте — он разговаривает.

— С кем?

— С кем здесь разговаривают? С хозяином острова.

— Не шутите.

— Какие уж тут шутки! Шутим не мы, шутят с нами.

В глазах Рослова блеснул огонек сознания, возвращенного из путешествия в никуда.

Губернатор хотел сказать что-то, но так и замер с открытым ртом. Чужая мысль откликнулась в нем.

— Я здесь, господа. И я буду говорить с вами. Подумайте над тем, что вы хотите услышать.

— Кто это? — воскликнул губернатор.— Кто сказал?

— Я тоже слышал,— прибавил Керн.

— Все слышали,— поморщился Смайли.— Послушаем лучше Энди.

Рослов, уже успевший проглотить солидный кусок омара, ответил сквозь зубы:

— Порядок, Боб. Он будет говорить с каждым и со всеми. Но через нас.

— Не понимаю.

— Он только что сказал, что слишком много рецепторов и ему трудно менять настройку. Каждый из нас, четырех, будет транслятором.

— Предлагаю регламент,— вмешался до сих пор молчавший Шпагин,— четыре настройки — четыре транслятора — это максимальная продолжительность сеанса. Первую настройку — вопросам профессора Мак-Керри, вторую — Рослову, третью — мне с Яной, четвертую — вам, господа. Не обижайтесь, все предшествующие вопросы учтут и чисто научный и общечеловеческий интерес. Вы дополните то, что мы упустим или забудем. Просьба задавать вопросы волух, а не мысленно, мысленного контакта с нами не будет — передача пойдет через одного. И воздержитесь от личных, я бы сказал, неинтересных вопросов.

— Что значит «личных»? — спросил лорд Келленхем.

Ответить Шпагин не успел. Он вытянулся, побледнел, кровь отхлынула от лица, отдавая весь свой поток мозгу, и заговорил странно глухим голосом, без интонаций и пауз:

— Я жду, профессор Мак-Керри.

Мак-Керри уже обрел присущее ему хладнокровие и, не повышая голоса, медленно и раздельно пояснил:

— Вы не бог и не человек. Вы невидимы и тем не менее существуете. Ваши познания несомненны и значительны, и все же ваш мысленный контакт с человеком возможен для вас только в пределах этого рифа. Кто вы: живое существо или машина?

— Ни то, ни другое. Я саморегулирующаяся система с ограниченным кругом задач.

— Каких именно?

— Все они сводятся к одной — полноте системы. Синтез информации о Земле, об эволюции живого вещества вашей планеты, о человеческом разуме, о знании, накопленном человечеством с тех пор, как оно научилось мыслить. Применяя земную терминологию, я нечто вроде электронной памяти мира.

— Значит, все-таки машина с ограниченной задачей накопления информации. Суперколлектор.

— Память — это не только накопление информации. Это и отбор, и кодирование, и оценка, и управление, когда из хранилища извлекается нужная информация, и забвение, когда информация уже не нужна, и тактическое ее использование, и стратегические ресурсы. Акт суждения — основа мышления — немыслим без самоорганизующейся системы памяти.

— Ваша природа, устройство, организация?

— Не знаю.

— Вы же не можете не знать элементов, образующих вашу систему.

— Я знаю только то, что накоплено человечеством. У него нет информации, определившей мое появление, мою организацию, мои возможности, мое прошлое и мое будущее,— нет такой информации и у меня. Все, что я знаю о себе, я узнал от человека и через человека. И то, что я невидим, что привязан к этому острову, что могу защищаться, создавая поля неизвестной мне природы и мощности, и вызывать у любого человека в пределах острова гипноспи и гипномираж любой глубины и реальности. Я ничего не знаю о Разуме, создавшем меня и забросившем на эту планету. Иначе говоря, и для вас и для себя я «черный ящик», как вы называете систему неизвестной конструкции, о которой можно судить только по ее реакциям на то или иное воздействие.

Шпагин вздохнул и потянулся. Он даже улыбнулся, хотя и с усилием.

Теперь отключился Смайли, сразу ставший похожим на бирманского божка с отлитым осколом улыбки.

— Спрашивайте, Рослов,— сказал Мак-Керри,— он ждет.

— Ты повторил, в общем, наши предположения,— тут же включился Рослов.— Случайно или сознательно?

Смайли — уже не Смайли — ответил однотонным, деревянным голосом:

— Конечно, сознательно. Я не знаю случайных умозаключений. Я отобрал из ваших предположений лишь то, что оказалось наиболее близким моей информации.

— Значит, последовательный акт суждения? Сколько он продолжался?

— Доли секунды. Я не отсчитывал.

— Для этого тебе понадобилась встреча с нами. И только в пределах острова. Как же проходили встречи с Плутархом, Свифтом, Ньютоном и Коперником?

— С их мыслью. Ведь книга не только свиток пергамента или стопочка бумажных страниц, испещренных рукописными или типографскими знаками, но и гигантское скопление мыслей, чувств, образов и ассоциаций. Мысли какого-нибудь горшечника в древних Фивах или замыслы солдата в двенадцатом легионе Цезаря не задевают меня, но годы раздумий Свифта над «Гулливером» или Дарвина над «Происхождением видов» нашли место в моей памяти со всеми сомнениями, вариантами и поправками. Я учился вместе с человечеством. От песочных часов к теории относительности, от опытов Архимеда к синхрофазотронам и циклотронам. Раньше было легче: античные библиотеки дохристианской эры и монастырские книгохранилища средних веков не сберегли столько следов прогресса человеческого разума, сколько их собрано только в одном Британском музее. Но потоки мыслей растут и умножаются, и моя космическая память запечатлевает и хранит любой след, достойный истории человеческой информации.

Рослов зацепился за слова «космическая память».

— Что это? Память, не ограниченная пределами земной биосферы?

— Я не дитя земного разума.

— Ты же связан с ним.

— Нет.

— И не было связи со времени твоего прибытия на Землю?

— Я не знаю времени моего прибытия на Землю. Может быть, прошли тысячелетия, прежде чем я стал принимать информацию.

— Тысячелетия до, тысячелетия после. Разве не напрашивается вывод, что создавшая тебя цивилизация не знает о твоем существовании? Или даже о твоем прибытии на Землю? Или ее вообще уже нет, этой цивилизации? Гаснут звезды, умирают планеты, гибнут народы. Ты знаешь, конечно, античную легенду о Сизифе? Кому же нужен твой труд?

— Рослов, рано! — крикнул Мак-Керри, но Смайли-не-Смайли тотчас же деревянно откликнулся:

— Все, что предвосхищаете вы оба, возможно. Любой контакт умножает информацию.

— Даже такой? — не утерпел Рослов: его уже увлекала полемика.

— Даже такой,— повторил Смайли-не-Смайли.— Вы спрашиваете — я отвечаю. Потом вы обсуждаете услышанное. Высказываетесь, спорите. Что-то предлагаете, что-то предполагаете. А наиболее стабильное я отбираю.

— Почему стабильное?

— То, что остается, не рассеивается, приумножает знание. След мысли в движении Разума...— что-то всхлипнуло в горле Смайли-не-

---

Продолжение. Начало в №№ 13, 14.

ЛАЗУРИ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Смайли и вырвалось криком: — Пять! Один глоток или я сдохну!

И Боб нетерпеливо потянулся к жестянке с пивом.

— Что вы чувствуете, Смайли? — спросил доктор Керн.

— Что может чувствовать телефонная трубка? — огрызнулся Смайли.— В нее говорят, и она говорит.

— Все-таки интересно, как проходят передачи. Телепатия или гипноз? — Керн вопросительно взглянул на Мак-Керри.

— Черный ящик,— усмехнулся тот,— классический черный ящик.

— Кстати, где же он? — спросил Барнс.

— Отдыхает.

— Каким образом?

— Как мы с вами перед лекциями. Мы заправляемся ветчиной, а он, допустим, электроэнергией. Как транзисторные приемники на аккумуляторах. Подзаряжается,— засмеялся Рослов.

И провалился в Ничто.

Рождение Селесты

— Я жду,— сказал Рослов.

Он уже давно знал, что значит видеть, слышать и говорить. Не раз видел и солнце в синьке неба, и такую же синь океана, и набегавшую волну на белый скат рифа, и пену на волнах, и хрустальную бухточку над обрывом. Сейчас он видел все это из голубой палатки глазами бородача в кремовых шортах и говорил его голосом, не мысленно, а в правильном чередовании звуков, только глухо и однотонно, потому что не мог расцветить речь присущими ей интонациями. И его слушали, затаив дыхание, разные люди с разным объемом и качеством информа-

ции. Но двусторонний контакт открывал ее новую фазу: отбор накопленного разумом переходил в прямое общение с разумом.

Оно и сейчас началось с очередного вопроса.

— Почему тебя заинтересовал миф о Христе? — спросил Шпагин.

— Я связал цепочку ассоциаций с ложностью самой христианской идеи. Вся информация о христианстве — это хаос споров, противоречий, мифов и ересей. Если бы люди могли коснуться хоть краешка исторической правды, христианство не дожило бы даже до Ренессанса.

— Значит, историческая правда как фактор антирелигиозной пропаганды? Она нужна людям, а не тебе.

— Историческая правда нашла оптимальный вариант в правде зрительных образов. Для этого мне понадобились человеческие глаза.

— А если зрительный образ — ложь? — вмешалась Янина.— Если он фальсифицирован? В действительности не было ни псевдо-Рослова, ни нашего разговора в баре, ни моего вымышленного предательства, ни ложных терзаний совести.

— Я не создал модель предательства и модель терзаний. Вероятностный вариант предательства мне подсказал Мак-Керри, его рассказ об охоте за неопубликованной рукописью. Кстати, рассказывал он это в том же нью-йоркском баре, который я извлек из твоей памяти. А псевдо-Рослов мне понадобился лишь для убедительности модели.

— Гипномодель,— сказал Мак-Керри,— я помню этот бар, мисс Яна.

— А я не помню никакого Кордоны! — закричал Смайли.— В жизни этого подонка не видел. Может, он действительно под меня сработал, и меня уже ищут по обвинению в контрабанде наркотиков?

— Человеческая память слаба,— сказал Некто голосом Рослова.— Твоя вспышка только подтверждает несовершенство механизма запоминания. С Кордоной ты встретился в баре аэропорта в Нассау на Багамах. Долговязый мексиканец с длинными синими бачками, как у тореро. Это он в твоем присутствии бросил на стойку бара сигаретную пачку с ампулами, и, когда они звякнули, бармен предостерегающе кивнул на тебя, а Кордона, усмехнувшись, выразительно сунул руку под мышку — жест достаточно убедительный для всех, знакомых с героями гангстерских фильмов.

— Припоминаю,— растерялся Смайли.— Что-то вроде было. Только он совсем не похож на меня.

— Я придал ему твою внешность, а тебе часть его памяти. Двойная связка создала двойное переплетение лжи.

— Мне ясна цель,— сказал Мак-Керри,— но вовсе не ясны средства внушения.

А «телефонной трубкой» уже стала Янина, повторившая и бескровность маски-лица, и монотонность обезличенной речи, и каталептическую неподвижность позы — девушка стала не смешной, не уродливой, а скорее печальной, словно ей самой было жаль себя, утратившей прелесть живого.

— Спрашивайте,— стыдливо поморщился губернатор.— Пора! — Но, поскольку окружающие неловко молчали, он продолжил: — Почему вы избрали своим местопребыванием наш остров?

— Не знаю,— ответила Янина чужим голосом.

— Честь для Англии.

— Тогда не было Англии.

— Но был Вавилон?

— Не знаю. Вероятно, Вавилон был значительно позже.

— А Троя?

— О Трое я узнал от Гомера.

Смайли, которого не волновали судьбы античных цивилизаций, смело перешагнул через три тысячелетия.

— На этом острове я видел карибских пиратов и сундук с золотом. Кто это был и где сейчас этот клад?

— Клад на дне океана. Я уже говорил... не изображай из себя забывчивого. Где точно, не знаю — стабильной информации нет. А люди, окружавшие тебя на острове,— это остатки экипажа флибустьерской шхуны «Королева Мэри». Сундук с золотом принадлежал капитану испанского фрегата «Тристан», потерпевшего бедствие в трехстах милях от американского берега. Пираты с «Королевы Мэри» перебили его экипаж, захватили золото, но сами наскочили на коралловый риф. Они пытались спрятать клад здесь, но ты знаешь, что это невозможно. Возникла ссора. Алчность глушила здравый смысл, ярость опаляла разум. В конце концов золото досталось единственному оставшемуся в живых пирату Билли-Кривые ноги.

— Это, должно быть, я? — усмехнулся Смайли.

— Я совместил его сознание с твоим. Мне нужны были человеческие глаза и уши, человеческая жестокость и страсть, страх и отчаяние. Ты досказал мне то, что я узнал из его дневника. Он писал здесь на сундуке заостренным кусочком свинца, срезанным с пули. Последние строки дописывала уже рука умирающего.

— А золото?

— Во время бурь волны легко перекатываются через остров.

— Ты мог остановить их?

— Мог. Но зачем? Я включаю поле, лишь когда люди мешают.

— Чем?

— Непосредственный контакт — это повышение энергетических мощностей. Ненужный контакт — это бесполезно убывающая энергия.

— О каком поле идет речь? — снова вмешался Барнс.— Может быть, это тоже иллюзия?

Мгновенно точно шквал ворвался в палатку. Все металлическое с лязгом и звоном сорвалось с места, устремляясь к эпицентру циклона — ножи, вилки, жестянки с пивом, консервные банки с ветчиной и лососем, термометры в металлической оправе, бинокли и пепельницы. У губернатора сорвался с авторучки ее никелированный колпачок, у Барнса слетели очки с дужками из нержавеющей стали, у Смайли его знаменитая «Беретта» вырвала задний карман брюк и, чуть не размозжив голову Керну, ударила в сплющенный, спрессованный короб металла, возвышавшийся в центре сервированного стола. Он походил на скульптурное изделие поп-арта, которое никого не удивило бы на выставке модернистов, но буквально потрясло участников экспедиции. Только Рослов и Шпагин с интересом наблюдали оргию взбунтовавшегося металла, для Смайли же в ней не было ничего нового, а Янина пребывала в каталептической неподвижности.

Первым опомнился Корнхилл, потерявший все пуговицы на своем полицейском мундире.

— В каких границах действует ваше поле?

— Не знаю.

— Но катера и вертолеты не могут подойти к острову ближе двух миль.

— Значит, ответ вам известен.

— Но почему даже самолеты, пролетая над островом, вынуждены отклоняться от курса?

— Я теоретически знаком с эффективностью вашей техники разрушения. Мое поле — это рефлекс самозащиты.

Рослов, давно уже беспокойно поглядывавший на Янину, осторожно заметил:

— Может быть, сократим вопросник?

Но Рослову не пришлось больше тревожиться за Янину. Она уже очнулась, знакомо вздохнув и попросив сигарету. Ее не спрашивали, что она чувствовала и пережила. Вопросов больше не было. Чувство подавленности и смутной тревоги охватило всех. Молча собрали палатку и уничтожили следы пикника, в глубоком молчании вывели яхту из бухточки. Встреча с Необычным не укладывалась в рамки обычного разговора, и каждый думал о том, как в сущности трудно найти человечески доступное объяснение всему только что услышанному и пережитому. Только губернатор уже вблизи порта заметил, что журналисты, наверняка пронюхавшие об экспедиции, вероятно, дожидаются у причала и придется им что-то сказать. А что? Посоветовались, решили: пока с газетчиками объясняться туманно и лаконично, губернатору и Мак-Керри вылететь в Лондон, первому для доклада правительству, а второму для сообщения в Королевском научном обществе. Одновременно профессор, связавшись с европейскими научными центрами, сформирует инспекционную комиссию в составе наиболее крупных и авторитетных ученых и вернется в Гамильтон. Рослов со Шпагиным и Яна, в свою очередь, информируют научные круги Москвы и Варшавы, получат результаты проведенных на острове исследований и подготовят свои выводы для прибывающей с Мак-Керри международной комиссии. На том и порешили, даже не подозревая, что их уже разделило нечто, не глубина восприятия происшедшего, и не степень его понимания, и не склонность к раздумьям или отсутствие такой склонности, а нечто другое, давно уже разделившее духовно людей социалистического и капиталистического мира. Смайли примкнул к первым: духовный водораздел его не устоял против чувства товарищества.

Нельзя сказать, чтобы это чувство было чуждо другим участникам экспедиции, собравшимся в тот же вечер на веранде губернаторской виллы. Но оно не сближало духовно и не связывало социально. Первым не выдержал Керн, поняв, что ему, как новичку в этой компании, молчать просто неудобно. Стряхнув пепел сигары, он как бы невзначай спросил у хозяина дома:

— Что вас тревожит, сэр Грегори? Может быть, проблема Невидимки и человечества?

— Кто думает о человечестве, док? — сказал Корнхилл и подмигнул Барнсу.

Тот понял.

— Наука и человечество, дорогой коллега, отнюдь не самые важные категории в нашей проблеме. Есть еще один фактор,— подчеркнул он, надеясь, что его поняли.

Но Керн не понял.

— Золотишко, док. Не то, конечно, которое смыла волна в пиратском сундучке. Другое. Крупнее и современнее. Те денежные купюры, которыми будут платить за наши вопросы и ответы,— поддержал Барнса инспектор полиции.

Не сильный в экономике Керн все еще не улавливал смысла.

— Кому платить? Ведь это почти явление природы. Мы же не платим за дождь или ветер.

— Если научимся управлять ими, кому-нибудь платить придется. Владельцы найдутся.

— Владельцы? — переспросил Керн.— Вы имеете в виду США или Англию? Или международный консорциум?

— Я имею в виду тех, кто вложит капиталы в эксплуатацию этого чуда. И тех, кто сумеет вовремя подключиться к извлечению прибыли. Даже Смайли, наверно, уже мечтает открыть поблизости отель или ресторан.

Барнс вздохнул:

— Дирижировать будут русские — вот посмотрите.

— Оставим политику политикам,— поморщился лорд Келленхем и привстал.— Пресс-конференция в девять утра, господа. Прошу не опаздывать.

О будущем говорили в тот же день и час на другом конце города, в отеле Хилтон.

— На меня не рассчитывайте,— горячился Рослов,— я математик, а не переводчик при электронной машине.

— Это не машина, Анджей.

— Все одно. Энергочудовище. А я не энергетик. У меня свои заботы в науке.

— Забота у нас простая, забота у нас такая...— пропел Шпагин.

— Что вы спели? — поинтересовался Мак-Керри.

— Напоминание о том, что есть другие заботы, кроме профессиональных.

Рослов молчал.

— А почему ты думаешь, что при этом энергочудовище или энергоблагодетеле — может быть, это вернее, а? — не будут работать десятки выдающихся математиков и биологов? Даже больше — сотни ученых различных специальностей. Ведь эта суперпамять способна не только накоплять информацию, но и подсказывать оптимальные варианты решений на основе накопленного. В конце концов много нерешенных проблем в науке можно решить на основе уже найденного и открытого — нужно только объединение знаний, координация усилий, умножение памяти — своего рода взрыв. Этот взрыв и обеспечит нам суперпамять. Вы думаете, что наше знакомство с ней ограничится комиссиями и конференциями? Я мыслю шире. Я вижу суперинститут с тысячами научных специалистов, проектными бюро и опытными лабораториями.

— Кто же будет руководить институтом?

— ООН, ЮНЕСКО, может быть, какая-то иная международная организация. Во всяком случае, не тресты, не банки и прочие денежные мешки. Эта суперпамять, как сказочный джинн, возникший прямо из небесной лазури, слишком чудесна, чтобы говорить о ней на языке маклерских контор. Кстати, у нее еще нет своего имени.

— Наклевывается,— сказал Шпагин.— Коечто из русской фантастики. Почти классическое.

Рослов, который всегда понимал его с полуслова, покачал головой.

— Ты предполагаешь коллектор рассеянной информации? Отлично придумано, хотя и не нами. Но не для нашей проблемы. Во-первых, не коллектор, а селектор, так как в основе его — избирательность. Во-вторых, не рассеянной, а стабильной.

— Селестан или Селестин...— задумчиво проговорил Шпагин.

— Зачем? Просто Селеста. По-английски и по-русски, профессор, селектор звучит одинаково, а стабильный начинается с тех же букв.

— Селеста,— повторил Мак-Керри.— Пожалуй, привьется. Будем считать, что наш джинн окрещен.

Досье Селесты

Окна рабочей резиденции Смайли выходили на океанский простор. Только где-то у едва различимого в этой синеве горизонта пестрели белые горошины парусов рыбачьих баркасов и шлюпок. Внутри резиденция напоминала обычный кабинет нью-йоркского бизнесмена, втиснутый в белую игрушечную коробочку колониального бунгало с широким тропическим окном во всю стену с козырьком парусинового тента, обязательными кондиционерами и антимоскитными оконными сетками, выдвигающимися на ночь, а снаружи вписывалась в окружающий пейзаж традиционной белой виллой с цветниками по бокам дорожки и медной решеткой ограды.

Смайли принимал только строителей, архитекторов, художников и подрядчиков, но все строительные работы администрации будущего института ограничивались даже не проектами, а только схемами и набросками грандиозных замыслов, вроде научного городка с институтами и лабораториями — Шпагин из любопытства составил огромный список исследовательских секций, которые могли бы обрабатывать результаты контактов с Селестой. И список и строительные проекты Смайли легли в основу досье, в котором собиралась вся информация, связанная с бермудским чудом. Здесь хранились протоколы первых бесед и магнитные записи Шпагина — фанатика магнитофонного сервиса, начатые рассказом Смэтса, совместными гаданиями и первой пресс-конференцией, открывшей миру его запечатленную память. Сюда же вошли и первые газетные отклики, продолжающие прибывать с утренней почтой, пока волна их не выросла до масштабов цунами. Но это произошло уже позже, когда директор-администратор Международного научного института «Селеста» был официально признан и учеными и прессой.

Пока же Смайли приобрел на складе «Альгамбры» оборудование для пляжного кафе человек на тридцать, перевез все это на белый коралловый риф, тут же соорудил причал и лесенку на берег, а вместо палатки натянул парусиновый тент на четырех вбитых в коралл столбах. Селеста не препятствовал, не подавая признаков жизни.

Смайли вылетел в Нью-Йорк для переговоров со строительными конторами, а наши друзья скучали в ожидании приезда инспекционной научной комиссии. Каждый скучал по-своему. Рослов сидел у себя в номере, обрабатывая, как он говорил, материалы нью-йоркского симпозиума, а Яна, на которую пал жребий замещать уехавшего директора, допоздна засиживалась в конторе, и, когда Шпагин забежал проведать ее, она зевала у гигантского глобуса, приобретенного Смайли в местном географическом музее. Но изобретательный ум директора-администратора несколько изменил его назначение.

Янина повернула глобус и расколола его по водному пространству Тихого океана. Открылся стальной сейф со знаменитым досье. Шпагин взвесил на руках папку.

— Ого! Есть что-то новенькое?

— Телеграмма от старика, пара корреспонденций и одна пленка. Советую прослушать.

Шпагин сначала заглянул в папку. Телеграмма Мак-Керри звучала оптимистично.

«Половина кандидатур уже утверждена. Из стариков интересен Телиски — это наша опора. Из молодых — итальянец Вертини и француз Пуассон. Телеграфируйте Смайли — пусть добьет Бревера из Гарварда. Я уже сговорился с ним: вот-вот согласится. Кажется, Рослов ошибся: архаисты, возможно, останутся в меньшинстве».

Отклики на пресс-конференцию Шпагин уже читал: от них смердело глупостью, недоверием и невежеством. «Само по себе открытие — сказочка для дураков, но наших читателей такими сказками не обманешь». «Россказни Смайли понятны: он преследует одну цель. Смайли бизнесмен и во всем ищет выгоды. Но что его связало с русскими?» Этот мотив неоднократно варьировался: «Почему русские совершают свои открытия в такой близости от американских вод?», «Почему Невидимка окрещен русским именем?» Журналист поумнее уточнял: «Имя, конечно, не говорит о национальности, но оно составлено из русских научных терминов в русской транскрипции». «Не владеют ли открыватели секретом гипноза, первой жертвой которого стал английский ученый? Искренне советуем ему протрезветь в Лондоне от кораллового коктейля».

Профессор Юджин Бревер из Гарвардского университета в США, предполагаемый кандидат в состав международной научно-инспекционной комиссии, также откликнулся на вопросы газетчиков. «Я слишком уважаю ум, знания и научную добросовестность профессора Мак-Керри, чтобы сомневаться в его открытии. То, что космический разведчик неизвестной галактической цивилизации действительно присутствует на Земле, как и то, что группе ученых удалось вступить с ним в контакт, для меня не гипотеза, а непреложная истина, аксиома. Давайте поэтому установим границы его активности, то, что он может и чего не может. Может внушить любую мысль и любой поступок. Может блокировать память людей в любом объеме. Может прогнозировать любые последствия любого события или действия в их вероятностных вариантах, может даже рассказать об этом, поскольку программа не предусматривает запрета гипотез и прогнозов. Хотя программа эта, возможно, и рассчитана на секретность разведки, но не запрещает контактов с человечеством, поскольку такие контакты могут служить источником информации. Отсюда, по-моему, следует главный вывод: открытый друзьями Мак-Керри уникальный информарий — друг, а не враг человечества, его сотрудник, а не противник, доброжелатель, а не угроза».

— Теперь это уже ясно многим, и не только ученым,— сказал Шпагин,— но меня до сих пор мучил один вопрос. Я не говорил о нем с корреспондентами, но сейчас бы смог подыскать ответ. Почему Селеста избрал нас, именно нас троих, ну, своими подшефными, что ли? Впервые встретил людей с развитым интеллектом? Чепуха! Спутники Смайли, американские студенты, с ним приезжавшие, тоже не дубы стоеросовые. Да и раньше, вероятно, на острове бывали туристы не из числа современных питекантропов. Газетчики называют двух геологов, заинтересовавшихся стекловидностью рифа, необычной для кораллового образования. Селеста безмолвствовал и не показывал им своих киносеансов. Почему? Почему же тогда он отдал столько внимания нам, причем совсем не как ученым, математикам или биологам? Не решал нерешаемых теорем и не разгадывал неразгаданных загадок. Мне думается, Яна, что мы заинтересовали его, как люди нового общества — таких у него на острове наверняка не бывало. Кого он мог сравнить с нами, извлекая приметы из пучин своей памяти? Учеников Платона или Сократа, первых христиан, участников религиозных войн, солдат Кромвеля или якобинцев Французской революции? Только парижские коммунары могли бы напомнить ему что-то похожее, да и то это были люди другой социальной среды и другого жизненного опыта. Конечно, он знал и людей нашей революции — в следах, оставленных ими хотя бы в одной только Ленинской библиотеке. Но живого человека с коммунистической убежденностью Селеста встретил впервые. Я почти уверен, Яна, что спроси его, как он оценивает коммунизм, а его, возможно, еще спросят об этом и спросят люди из другого лагеря, он ответит так, как ответил бы я. Вся накопленная им информация не может подсказать другого ответа. Это машина, но машина саморегулирующаяся. И программа изменяется в зависимости от накопляемой информации. Короче говоря, он это мировоззрение приобретает.

— С нашей помощью.

— С чьей помощью? — провозгласил распахнувший дверь Рослов.— что вы имеете в виду, не знаю — не слыхал, но помощь нам будет оказана. Вы увидите ее в баре нашего отеля. Двадцать пять человек — я на глаз, не успел сосчитать точно,— галдят там, как на бирже.

— Ясно,— сказал Шпагин и подмигнул Янине.— Так наш Анджей информирует о прибытии инспекционной комиссии ЮНЕСКО.

Архаисты и новаторы

— Прекрати, Анджей.

— Что именно?

— Ты ходишь из угла в угол, как тигр в клетке, а я взираю на тебя, как робинзоновский Пятница. Надо идти к ним.

Рослов засмеялся и обнял Янину за плечи.

— А если честно — зачем? Знакомиться с лапутянами?

— Не все же лапутяне.

— Согласен — не все. И предвижу в конечном счете их поражение. Но предвижу и другое — игру политических интересов, борьбу влияний, схватку доллара с фунтом, лиры с маркой, франка с песо. И не хочу, чтоб меня втягивали на эту помойку. Хочу спокойно заниматься математикой.

Шпагин открыл дверь и постучал, зажмурив глаза. Потом вошел, извлек из кармана портативный магнитофон с микрофоном. За ним двигался длинный и аккуратный, как хорошо заточенный карандаш, профессор Мак-Керри. Лицо его без слов поясняло, что происходившее внизу не доставило ему удовольствия. Но Шпагин сиял.

— О лапутянах я уже слышал у незакрытой двери. Подтверждаю только с поправкой: они больше смешны, чем опасны. Сейчас убедитесь, только включу большой «маг», а то мой портативный работяга отлично слышит, а говорит шепотом. Дикторский текст в паузах, если не возражаете,— мой.

Шпагин переставил катушку с пленкой на большой магнитофон на столе и включил запись. Сквозь звон посуды, скрип передвигаемых стульев, кашель и бульканье прорвались отчетливо слышимые слова:

— ...Никогда не поверю, пока не увижу.

— ...Вы и не увидите, коллега. Он невидим.

— ...А кто, собственно, «он»?

— ...Вызываете на дискуссию? А мне спорить не хочется. Мне пить хочется. Бармен, пива!

— ...А мне мартини.

— ...Два мартини!

— ...Все-таки это не мозг. Мозг предполагает сознание, личность. А у него нет личности.

— ...Гигантский информарий. Разум-память.

— ...И вы верите? Как все это хранится у него в условиях невидимости?

— ...Меня не интересует проблема хранения информации. Вероятно, она кодируется. Что-нибудь вроде математических моделей и микрофильмов...

— ...Невидимых?

— ...Аллах с ними. Меня интересует проблема записи. Как посылается в пространство записывающая волна и что это за волна, какой частоты и силы?

— ...А если это не волна?

— ...Вы что пьете, коллега?

— ...Сода-виски. А что?

— ...Оно и видно. Луч, по-вашему? Газовый лазер? Невидимое «зеркало» и пластинка в «кассете»? Бред!

Шпагин нажал кнопку магнитофона. Звук погас.

— На минуту прерву передачу. Это не архаисты и не новаторы. Это любители шахматных трехходовок, подыскивающие среди ложных ходов один решающий. А решения нет.

— Зато есть надежда открыть черный ящик отмычкой,— буркнул Рослов.

— У меня скулы сворачивало, когда я прислушивался к этой коровьей жвачке,— признался Мак-Керри.

— Потерпите, профессор, пожуют и нас с вами.— И Шпагин снова включил запись.

Послышался звон ножа или вилки, рассерженно брошенных на тарелку, и чье-то недовольное резюме:

— ...Это не барашек, а ослятина из того самого осла, на котором Христос въехал в Иерусалим.

— ...Уже зачеркнули и осла и Христа. На веки вечные.

— Кто зачеркнул?

— ...Селеста.

— ...Шутите?

— ...Шучу не я. Шутят или, вернее, мистифицируют выживший из ума Мак-Керри, двое русских и девица.

— ...Вы хотите сказать: госпожа Янина из Польши, герр Баумгольц?

— ...Для меня нет и не будет Польши впредь до восстановления довоенных границ Германии...

— Ну, а где же союзники, кроме Бревера? — взмолилась Янина.

Шпагин без звука прокрутил ленту и снова включил запись. Новый голос, «пойманный» на обрыве реплики, продолжал:

— ...Двести лет назад наука не могла объяснить феномен «падающих звезд» — метеоритов, сто лет назад — феномен появления комет. Нынче никто не может объяснить, что такое «неопознанные летающие объекты», и мы прячемся за спасительное: «Не верю». Не ссылайтесь на парадоксы, господа. Парадоксы возникают как раз тогда, когда наука вплотную подходит к неизвестному.

— Это Джон Телиски,— сказал Шпагин и ско-

ва прокрутил пленку. — А вот еще один союзник — Анри Пуассон из Парижа.

— ...собрались великие, вещают гении: не верим! А ведь когда-то ни лорд Кальвин, ни астроном Ньюком, люди не мельче нас, не верили, например, в возможность полетов в воздухе. Теперь же «самолет» — одно из первого десятка слов, которые заучивает ребенок.

— Стоп! — сказал Рослов, выключая магнитофон.— У меня, как и у сэра Сайруса, тоже сводит скулы от коровьей жвачки.

А до этого во время поездки на полицейском катере и противники и союзники были до приторности любезны и с первооткрывателями и друг с другом. Не инспекционная поездка, а дипломатический экскурсионный вояж.

— Я читал ваши работы, герр профессор,— заметил как бы мимоходом, подойдя к Рослову, Баумгольц из Кельна, столь колоритно запечатленный скрытым магнитофоном Шпагина. Ему было, наверное, шестьдесят с хвостиком, но выглядел он не старше пятидесяти, подтянутый, холеный, с серебристыми висками и арийским профилем. «Вероятно, казался истым нибелунгом в мундире эсэсовца»,— подумал Рослов, а вслух сказал по-немецки:

— Я не профессор, герр Баумгольц. У меня докторская степень, но звания профессора нет. Я не занимаюсь преподавательской деятельностью.

— Не скромничайте. Я читал ваши работы. По ним учатся.

— А я ваши. Одну даже цитировал.

— О «Е»-волне? — оживился западногерманский ученый.— Экспектанси уэйв. Волна ожидания,— перевел он.

— Не переводите,— улыбнулся Рослов, как улыбается пресс-атташе иностранным корреспондентам.— Я говорю по-английски, герр Баумгольц.

— А я по-русски. Жаль, что мы не познакомились раньше.

— Когда? — уже совсем недипломатически усмехнулся Рослов.— В годы войны вы бы отправили меня, как неполноценного ребенка, в газовую камеру, а после войны я долго не мог привыкнуть к тому, что слово «немец» может звучать по-разному.

Баумгольца как волной смыло в группу пассажиров у бара.

О Селесте не вспоминали, будто его и не было. Говорили о жаре, о курортных порядках и качестве шотландского виски, благоприятного для любителей во всех климатических условиях.

Шлюпки тем временем подошли к сооруженному Смайли причалу, ученые поднялись на плато острова и при виде тента со столиками буквально ахнули от восторга: со стороны моря это сооружение Смайли не смотрелось — его закрывал белый коралловый гребень.

— Кафе «Селеста»,— сказал кто-то.

— Браво, Мак-Керри!

— Хозяйничайте,— отмахнулся тот.— каждый сам себе бармен.

Открыли ящики, внесенные на берег, растащили по столам — кто виски, кто джин, кто мартини, кто сифоны с содовой и сельтерской, Анри Пуассон самоотверженно рубил лед из контейнеров, соотечественники Бревера Кен Чаррел и Джимми Спенс смешивали коктейли, а поклонник немецкой кухни Баумгольц вскрывал одну за другой жестянки с пивом и консервированными сосисками.

Молодцеватый Кен Чаррел, проглотив два коктейля, принес еще два себе и Рослову.

— Выпьем за вашего Саваофа, который не появляется.

— Не кощунствуй,— остановил его католик Спенс.

— Ну, за архангела с магнитом вместо копья.

— Ты имеешь в виду святого Георгия?

А Рослов молчал, не притрагиваясь к бокалу.

— Неужели русский джентльмен откажется выпить с американским? — настаивал с явным вызовом Чаррел.— Америка, по-моему, друг, а не враг России.

— Ваша Америка? — переспросил Рослов.

— А разве есть другая?

— Есть. Например, Америка Бревера. Он не надевает по ночам балахонов с прорезями для глаз.

Чаррел не обиделся.

— Вы намекаете на мой инцидент в Джорджии? С тех пор я вырос и поумнел. А тост можно сменить. Не за святого Георгия, так за магнит!

— А где же магнит? — хихикнул Спенс.— Часы ходят, нож режет, и ключи в кармане лежат.

И тут же мощный безветренный порыв сорвал часы с его руки... Посреди островного кафе на столике, куда выгрузили оставшиеся напитки из ящиков, разбросав бутылки, в одно мгновение выросла бесформенная груда металла, оказавшегося на острове.

— Селеста начал традиционным спектаклем,— поморщился Рослов, потирая здоровенную шишку на лбу: его ударила жестянка с пивом.

Шпагин заметил:

— Посетители премьеры на третий спектакль обычно не ходят. А мы, увы, нечто вроде администрации.— Оба говорили по-русски.

— Вы о чем? — спросил Еста Крейгер, только что извлекший из кучи свой перочинный нож и часы.

— О том, что мы видели,— ответил Рослов,— краткий урок для последователей Фомы Неверующего.

— А меня это не убедило. Магнитная буря — ясно. Очень большой мощности — тоже ясно. Но признаков мысли не вижу. Любопытный физический феномен — не больше.

Еста Крейгер не продолжал. Он странно выпрямился и замер, положив руки на колени. Пухлое лицо его, обросшее русой бородкой, напряглось и застыло. Взор потух.

— Что случилось? — спросил подошедший Бревер.

— То, что обычно случается с человеком, подключенным к Селесте,— пояснил Рослов.— Это уже не Крейгер, а канал связи. Сознание отключено. Мускульное напряжение доведено до критического. Только почему Крейгер?

— Может быть, его рецепторы в чем-то соответствуют нашим, а может быть, Селеста нарочно избрал его, как наиболее упрямого в своем неверии,— сказал Шпагин и встал.— Тише, господа. И присаживайтесь поближе. Сейчас вы услышите Селесту.

— Да ведь это Крейгер. Что с ним?

— Не подходите,— предупредил Рослов.— Задавайте вопросы.

— Какие? Это ты, Еста?

— Я не Крейгер,— послышался монотонный деревянный голос.— Вопросы — любые, какие вам нравятся. Я не ограничиваю выбора. Исключаю лишь повторные и наивные.

Шум голосов взорвал паузу.

— Это явно не Крейгер.

— А может быть, он под гипнозом?

— Не теряйте времени, господа,— нетерпеливо заметил Рослов.— Задавайте вопросы.

— Почему вы говорите за Крейгера?

— Через Крейгера с вами.

— Телепатия?

— Не знаю.

— Высокоразвитый мозг не может не знать механизма своей деятельности.

— Я не мозг.

Спрашивали поочередно, торопя и перебивая друг друга.

— Я не понимаю, что такое мыслящая энергия. Как и где у тебя возникает мысль? Какими средствами передается? Как «прочитывается» человеческий мозг? О каких рецепторах идет речь? Как «нащупываются» эти рецепторы?

— Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я, как часы. Они отстают или уходят вперед, не зная, почему они это делают.

— Тебе нравится имя Селеста?

— «Нравится» или «не нравится» не мои параметры. Имя точное. Селектор стабильной информации.

— Сколько тебе лет?

— Тысячелетия.

— С сотворения мира?

— Я прибыл в мир уже сотворенный.

— По какому календарю?

— Календари менялись вместе с цивилизациями. Наиболее удобен для ответа на ваш вопрос календарь Скалигера. Этот французский ученый занумеровал все дни с 1 января 4713 года до нашей эры. По его отсчету прошло уже более двух с половиной миллионов дней.

— Почти семь тысяч лет. Ого!

— Селеста-7000! Ура!

— Мне кажется, господа, мы ведем себя неприлично.

— И все-таки я не верю. Похоже на спиритический сеанс с медиумом для легковерных.

Но скептический смешок Баумгольца буквально потонул в хоре восторженных выкликов. За признание Селесты «проголосовало» подавляющее большинство международной инспекционной комиссии.

Продолжение следует.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

ДИНИН ИЗ ЛАЗУРИ

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕЛЕСТЫ

— Да,— сказал маленький Клаус.— Мой колдун может суметь все, что я захочу.

Г.-Х. Андерсен. «Сказки».

Бум вокруг Смайли

Эхо открытия на Бермудах было не слишком громким. «Сенсации не живут долго. Их надо замораживать или подогревать»,— сказал Генри Менкен, один из американских газетных философов, в начале тридцатых годов. Будущее его не опровергло. Ко времени прибытия в Гамильтон научной комиссии ЮНЕСКО о Невидимке с поэтическим именем Селеста писали не больше, чем о летающих тарелках или о снежном человеке.

Продолжение. Начало в №№ 13—15.

Обращение комиссии ко всем правительствам и научным организациям мира вернуло сенсацию на газетные полосы и телеэкраны. Состоялись экстренные заседания министерских кабинетов и дебаты в парламентах, обсуждавшие проблему возможных ассигнований, хотя необходимость в информации о Невидимке и связанных с ним проектах все еще ставилась под сомнение. Только социалистические страны единодушно согласились с проектом «Селеста-7000», объединившим и непосредственное изучение феномена и практическое использование его в целях научного прогресса. На Западе же этим проектом по-настоящему заинтересовались только в научных кругах, да и то находились ученые, высказывания которых мало чем отличались от печально знаменитого: «Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда». Но феномен существовал независимо от газетных сплетен и обывательской болтовни.

В эти дни Смайли находился в Нью-Йорке. Средства, полученные от научных организаций социалистических стран, и пожертвования, собранные Мак-Керри, позволили будущему директору-администратору начать организационно-подготовительные работы к проекту «Селеста-7000». С утра до вечера он разъезжал по городу, вел переговоры по телефону, требовал, умолял и угрожал, приобретая строительные материалы и оборудование, принимая и обсуждая проекты, ругаясь с поставщиками и торговыми агентами. Словом, происходила обычная круговерть вокруг нового предприятия, которое сулило деньги, требовало денег и нуждалось в деньгах и которое кто-то из газетчиков метко назвал «бумом вокруг Смайли».

Смайли не любил гласности. При виде репортера он скрывался в номере или пытался сбежать через служебный ход отеля, остановить проходящее мимо такси и удрать в неизвестном направлении. Ужинал он в одном и том же тихом ресторанчике на Сорок пятой улице, куда редко заглядывал шумный сброд с Сорок второй или с Бродвея. Здесь его уже знали, и двухместный столик у окна перед эстрадой Смайли справедливо считал «своим». Поэтому он был неприятно удивлен, когда однажды, войдя в ресторан, увидел за «своим» столиком широкоплечего субъекта в синем пиджаке. Недовольство Смайли усилилось, когда он, подойдя ближе, узнал «оккупанта». Был он натурализовавшимся итальянцем, звали его Джино, и старое знакомство с ним приятных воспоминаний не вызвало.

А Джино, сделав вид, что не заметил неприязненной мины Смайли, расплылся в масленой улыбке.

— Привет, Смайли. Узнал все-таки? Так организуем встречу старых друзей?

Смайли медленно подвигался к столику, торопливо соображая, как ему вести себя с незваным и неприятным гостем. Что ему надо? Казалось, они давно забыли и Смайли и дело, случайно связавшее их, так нет — вспомнили! Значит, им что-то опять понадобилось.

— Следили за мной? — спросил он сквозь зубы.

— Зачем? Ты же у всех на виду. Каждая собака укажет, где тебя найти.

Смайли решил не терять времени.

— Выкладывай, зачем пришел!

— А ты, оказывается, ничуть не изменился, Боб. Вежливые люди так разговор не ведут. Вежливые люди говорят: «Здравствуй, Джино. Как поживаешь, Джино? Рад тебя видеть, Джино».

— А меня совсем не интересует, как ты поживаешь, и я вовсе не рад тебя видеть.

— Напрасно,— сказал Джино, потягивая холодный «чинцано»,— могу сообщить тебе нечто приятное.

— Что именно?

— Привет от шефа.

— Ну и что?

Джино даже не поморщился и продолжал, как будто его совсем не задели резкость и неприязнь Смайли:

— Зная обидчивый характер шефа, ты, думаю, изменишь свое опрометчивое и, я бы сказал, скоропалительное решение. Не стоит обижать старика. Невежливо и опасно. Когда он узнал, что ты в Нью-Йорке, то обрадовался, как бамбино. Вызвал меня и сказал со слезами в голосе: «Найди Смайли и расскажи ему, что я люблю его и никогда не забуду услуги, какую он оказал нам в шестьдесят шестом». Интерпол до сих пор ломает голову над загадочным исчезновением некоего груза, который назовем «икс». Ты же знаешь, Боб, какая память у шефа.

Смайли еле сдерживался.

— Слишком много болтаешь,— сказал он хитренько улыбающемуся итальянцу.— Удивляюсь, как это ты еще жив с таким языком. На месте шефа я бы давно убрал болтуна.

После этого Смайли демонстративно, не обращая внимания на собеседника, заказал ужин, молниеносно получил его и приступил к трапезе. Джино молча наблюдал за ним, потом сказал:

— Ты клоун, Смайли. Но я тебя прощаю. Шеф хочет знать, когда ты вернешься на остров.

«Соврать или сказать правду?» — прикинул Смайли и решил, что врать не стоит: они все равно узнают об отъезде.

— Как только управлюсь с делами.

Итальянец помолчал, попыхивая сигаретой. Было видно, что он никак не решается задать главный вопрос, из-за которого он и прибыл сюда от шефа. Оглянулся, придвинулся ближе к Смайли и сказал почти шепотом:

— Однажды ты нам здорово помог, Боб. Так почему бы тебе не помочь нам вторично?

— В чем?

— Шефу нужен Селеста.

Смайли изумленно присвистнул. Меньше всего он ожидал такого ответа.

— Ну, а я при чем? Обращайтесь во временный комитет, к Рослову или Барнсу.

— Боюсь, что в комитете нас превратно поймут,— замялся Джино.— Да и зачем привлекать лишних свидетелей? Короче, сколько ты хочешь?

— За что?

— Ты отвезешь нас на остров и задашь Селесте несколько вопросов. А нам передашь его ответы. Вот и все.

— Понятно,— сказал Смайли.

Потом он пожалел, что поспешил. Надо было прикинуться простачком и выведать у Джино побольше подробностей. Правда, знал он, вероятно, немного, но даже это немногое позволило бы Корнхиллу помешать этой шайке. Но в ресторане Смайли не подумал об этом.

— Ты ждешь ответа? — медленно проговорил он, с трудом подбирая слова.— Вот он. Пусть твой шеф забудет о том, что существует Селеста. Это чудо не для аферистов и мошенников. А если он все-таки сунется, у нас всегда найдется для него пара наручников. Так и передай. А теперь убирайся.

Итальянец лениво поднялся, неторопливо потушил сигарету и, улыбнувшись, сказал:

— Пожалеешь, старик.

Но Смайли не испугался угрозы. Расчет его оказался верным. Никто не помешал ему в срок закончить все дела и благополучно снизиться на аэродроме Майн-айленда. Здесь его встретил Рослов, поведавший ему местные сплетни и новости вперемежку с жалобами на вынужденное бездействие.

— Мак-Керри торчит в Лондоне. Волынка с институтом все еще тянется. Строительная площадка за городом уже найдена, но владелец земли требует расчет только наличными. Средства продолжают поступать, но пока не решится вопрос в ООН о международном руководстве института и о характере его деятельности, проблема финансовой базы все еще остается проблемой. Предприимчивые люди уже потихоньку начинают скупать земельные участки вокруг территории будущего института. Поговаривают, что к этому приложили руки Корнхилл и Барнс, но те многозначительно темнят или отнекиваются. Вокруг нашего рифа — суетня: шуруют на воде и под водой — магнитологи и метеорологи, яхтсмены и аквалангисты. Любопытных бездельников разгоняют патрули Корнхилла, а осевшие здесь кое-какие члены бывшей инспекционной комиссии что-то записывают. От контактов с Селестой предложено пока воздержаться, следовательно, нам делать нечего. Я уже сто раз просился домой — не пускают. А я хочу быть нужным не только человечеству, но и одному человеку, но этот человек намерен прочно связать свою научную судьбу с Невидимкой. Ну не к Селесте же ревновать — вот и терплю. Жду помаленьку. В общем, скучно. Хоть бы ты чем повеселил.

— Повеселю,— обещал Смайли.

Уже вечером в своем кабинете под неоновой надписью снаружи и с огромным глобус-баром внутри Смайли рассказал Рослову о недавнем нью-йоркском приключении. Как он и ожидал, Рослов заинтересовался:

— Почему они обратились именно к тебе?

Путаясь и запинаясь — видно было, что воспоминания не доставляют ему радости,— Смайли поведал Рослову историю своего знакомства с неким деятелем, которого приближенные почтительно именовали шефом. Тогда Смайли только начинал свой кладоискательский бизнес. И вот в одном из фешенебельных клубов Майами он познакомился с рослым мужчиной с фигурой борца и голосом полкового командира. Он сразу же продемонстрировал свою симпатию к начинающему бизнесмену, проиграл ему несколько партий на бильярде и в заключение попросил об одном одолжении.

— Я улетал тогда в Мехико, где меня ждали клиенты — два богатых молодчика, которых мне удалось заинтересовать перспективой поисков клада на одном из необитаемых островков в Карибском бассейне. Багажа у меня почти не было. Вот шеф и попросил меня отвезти в Мехико небольшой чемодан — «кое-какие сувениры для друзей из Акапулько. Один из них вас встретит в аэропорту». Я по дурости согласился, получил чемодан и передал его встретившему меня итальянцу. Это и был Джино. Вечером он навестил меня в отеле на правах нового знакомого и передал мне пачку сотенных и записку от шефа: спасибо, мол, за услугу. Вы перевезли очень ценные бумаги, которые не хотелось доверять почте, а я как бизнесмен бизнесмену выражаю свою благодарность по-деловому. Естественно, я заподозрил неладное и вернул деньги Джино. А он ухмыльнулся и этаким шепотком на ухо: возьмешь, мол, или не возьмешь, а дело сделано. Бумаги эти помогли ускользнуть грузу, за которым уже несколько месяцев охотятся полицейские ищейки Штатов и Мексики.

— Почему же ты все оставил без последствий? — спросил Рослов.

— Жаловаться на себя? Меня бы и взяли как раскаявшегося участника операции.

— Ну, а финал?

— Деньги, наверное, присвоил Джино, а от меня теперь требуют вторичной «услуги».

— Кто же этот таинственный шеф?

— Джошуа Игер-Райт. Мультимиллионер. Неофициально его называют Трэси. Это игорные дома в Рено и урановые прииски в Африке, контрабандная торговля алмазами и страховой «рэкет». Специальностей много. Только зачем ему Селеста?

— Вероятно, ему нужна информация, какую нельзя добыть легальным путем.

— Значит, надо усилить охрану острова. Пусть Корнхилл пошлет дополнительный патрульный катер. Хорошо бы также наладить с островом вертолетную связь. Ты бы поговорил с Селестой.

— Почему я?

— С тобой он охотней общается.

— Глупости,— сказал Рослов.— Ему нужен только взаимный информативный обмен.

Рослов вторгается в «Черный ящик»

Сообщение Смайли не слишком встревожило Рослова. Не встревожило оно и членов Временного комитета по контактам с Селестой. Контакты пока не поощрялись, а комитет, созданный до начала работ спешно организуемого Международного института ЮНЕСКО, действовал скорее как плотина против праздного любопытства сразу же наводнивших Бермуды туристов. Да и собирался он не часто и не в полном составе не потому, что важных дел не было, а так уж случилось по воле обстоятельств. Директор-распорядитель ездил, проектировал и строил, Мак-Керри и Бревер дирижировали своими научными оркестрами — один из Англии, другой из США, а выделенные инспекционной комиссией Домбош и Крейгер по целым дням пропадали, шныряя вокруг Белого острова на воде и под водой с аквалангами, исследуя загадки его аномалий. Шпагин срочно вылетел в Москву, вызванный командировавшим его институтом, а Янике дали неделю для поездки в Варшаву — повидаться с родителями. Кроме Смайли и Рослова, в комитете оставались только Барнс и Корнчилл, выбранные по локальному принципу из уважения к земле, на которой открылось бермудское чудо. Пользы от них не было никакой. Барнс желчно критиковал все и вся, втайне недовольный и своим незавидным положением в комитете и растущим ажиотажем, превратившим хотя и модный, но благопристойный английский курорт в сумасшедшую международную ярмарку, а Корнхилл помалкивал, только выжидал случая потребовать свой куртаж, когда в нем будут нуждаться.

Он был единственным, кто насторожился, когда Смайли в присутствии Рослова рассказал о своей встрече в Нью-Йорке.

— Придется строить казарму,— сказал он, помолчав.

Смайли не понял.

— На Белом острове,— пояснил Корнхилл. На коралловом рифе к этому времени вместо кафе под тентом был возведен павильон с довольно вместительным залом для переговоров с Селестой, кабины для стенографических и магнитофонных записей и радиорубка. Дежурный на острове мог в любую минуту связаться по рации с полицейским управлением в Гамильтоне.

До Смайли дошла наконец мысль Корнхилла.

— Вы считаете необходимым поставить охрану? — спросил он.

— Не только. Надо создавать собственную полицию. Я могу послать трех, от силы четырех полицейских. Но может случиться, что нам понадобится сотня. База здесь, в Гамильтоне. На острове круглосуточное дежурство. Собственные патрульно-сторожевые суда. Круговая оборона бухты, спаренные пулеметы, может быть, даже орудия. Не исключаю необходимость и ракетной установки, скажем, «земля — воздух» и специальной электрозащиты от неизвестных аквалангистов.

— Кого вы собираетесь защищать, Корнхилл? — вмешался Рослов.— Селесту? Едва ли ему понадобятся ваши ракеты.

— Я защищаю не Селесту, а коралловый риф.

— От кого?

— Вы слышали рассказ Смайли. Он назвал Игер-Райта.

— Что он может сделать?

— Вы недооцениваете Трэси. При желании он захватит и Майн-айленд с его столицей. Только это неразумно и чревато международными осложнениями. А Трэси работает тихо и безнаказанно. Похитить любого из вас и перебросить на остров для переговоров с Селестой для него проще, чем написать письмо без ошибок. И разве остановят его патрульный катер и трое полицейских на острове?

— Вы сказали: четверо, Корнхилл,— напомнил Смайли.

— От силы, мой друг, от силы,— насмешливо подчеркнул Корнхилл.— Моих полицейских уже в городе не хватает. Число туристов удвоилось. А сколько прибывших с ними карманников и шулеров, шантажистов и притонодержателей? Создавайте свою полицию, Смайли, и берите меня начальником.

— С удвоенным жалованьем? — пошутил Смайли.

— А может быть, и без жалованья. Вдруг вы подарите мне свою «Альгамбру», которую почти что купили. А вдруг я и сам построю такую? Кто знает! Предвижу золотую лихорадку, старый разбойник, и не сомневаюсь, что вовремя поставлю заявочный столб.

— На что он намекал? — спросил Рослов у Барнса, встретив того за обедом.— Вы подразумеваете промышленный шпионаж?

Барнс ответил с желчной гримасой:

— Я подразумеваю все. Наследники дядимиллионера захотят знать содержание его завещания. Министр — любовную переписку своей жены. Военная разведка — посольскую документацию. Иностранные посольства — секреты военной разведки. Промышленные концерны, синдикаты гангстеров, патентные бюро, маклерские конторы, Уолл-стрит и Сити — все станут клиентами вашего информария. А ему что — машина! Взять информацию — дать информацию. Сто битов, тысячу битов, миллион битов — ради бога! А кому они пригодятся, эти биты, чему послужат — добру или злу? Войне или миру? «Не все ли равно,— скажет вам Селеста.— И грабеж — информация, и шантаж — информация, и дипломатический скандал — информация». А кто, скажите, будет контролировать переговоры с Селестой? Наш комитет? Или институт Мак-Керри и Бревера? Или, может быть, Совет Безопасности? А не найдутся ли лазейки для фунта или доллара, вы не задумывались над этим?

Барнс не сказал ничего нового, он только более обоснованно и разносторонне сформулировал те же предположения и опасения, какие уже высказывал Смайли. Но именно эта обоснованность и заставила Рослова глубоко задуматься над судьбой открытия. Барнс с мефистофельским злорадством обнажил проблемы будущих контактов с Селестой, выходившие из круга привычных интересов науки и до сих пор не беспокоившие ни их, первооткрывателей, ни организаторов нового детища ООН — Международного института «СЕЛЕСТА-7000»—Мак-Керри и Бревера.

Не станет ли Селеста для человечества новой атомной бомбой — ведь и о ней не думали зачинатели расщепления атомного ядра. Но из-за плеча Оппенгеймера всегда может выглянуть Теллер. Где гарантия, что подобные ему не выглянут и теперь, и позволит ли им Селеста подменить белое черным? Ведь бермудский «бог» не отделяет зло от добра. Барнс прав: для него это однозначная информация.

Однозначная ли?

У себя в номере, опустевшем после отъезда Шпагина, Рослов, не глядя на часы, бродил вокруг стола и думал вслух. Он привык думать вслух, хотя это иногда и приводило к забавным недоразумениям, если в комнате он был не один. Сейчас он был один с единственным слушателем — магнитофоном: записывать свои раздумья он научился у Шпагина, всегда прибегавшего к магнитной записи, если в голову приходило что-нибудь стоящее. Один из кусков прослушанной пленки привлек внимание. Рослов снова его прослушал.

...Значит, Барнс прав? Селеста мыслит автоматически, пассивно и безлично. Но Барнс проглядел эволюцию феномена. Селектор стабильной информации сам не остается стабильным. Это самопрограммирующаяся система, и все зависит от того, как меняется программа под влиянием внешних воздействий. Каждый вопрос к Селесте и каждый его ответ — это изменение программы, в которой участвует человек-партнер.

Рослов выключил запись, надел куртку — на море ветрено, а он собирался совершить неотложную прогулку к Белому острову. Он не хотел терять ни минуты. Ночь? Шторм? Какая разница: Селеста не спит. Разговаривать с ним можно в любую минуту суток.

Через три часа, оставив мокрую куртку на яхте, он поднялся в павильон, построенный в виде цирка: кресла в несколько рядов окружали пятачок манежа с единственным столиком в центре. На столике белел магнитофон, похожий на гигантскую морскую раковину. Раковина открывалась с началом записи, если откликался Селеста.

Отказавшись от кофе, предложенного дежурившим в соседней рубке радистом, Рослов остался один. Весь план предстоявшего разговора, который он тщательно продумал во время поездки, улетучился. Рослов молчал, как дебютант на спектакле, забывший роль. С чего начать? Может быть, с упоминания о том, что от этого разговора зависит, как сложатся в будущем контакты с Селестой?

— Я знаю,— «услышал» он беззвучный ответ.

— Давай без фокусов,— обрадовался Рослов,— без миражей и снов. Просто по-дружески, как два собеседника за чайным столом.

— Хорошо.

Рослов говорил по привычке вслух, не боясь, что его услышат радист или полисмен, дежурившие по соседству: стены «переговорной» не пропускали звуков.

— Я все время думал о твоих сигнальных системах,— сказал он,— о характере мышления. У тебя нет желания поспорить?

— Я не умею спорить. И у меня нет того, что ты называешь «желанием».

Слова Селесты возникали в мозгу, как подключенная беззвучная запись. Казалось, кто-то прямо выстукивал текст на послушных мозговых клавишах.

— У тебя есть запрограммированная воля к отбору и накоплению информации,— сформулировал свою мысль Рослов,— назовем ее желанием. Есть и способность отличать великое от малого, здоровое от больного, перспективное от исчерпавшего себя. В чем критерий отбора?

— В интенсивности воли, посылаемых скоплением мыслей, создающих и развивающих информационную схему. Чем крупнее скопление, тем интенсивнее волна.

— Понятно. Интерес и желание запрограммированы. Но ты же самопрограммирующаяся система. Как видоизменяет программу резервуар информации? Или процесс ее обработки?

— Не знаю. У меня нет органов, регистрирующих эти изменения. Самопрограммирующаяся система не может изучать себя без информативного обмена с окружающим миром.

— Вот и дошли! — обрадовался Рослов.— Такой информативный обмен уже действует. Он и скорректирует твою программу. Возьми две схемы: объем и качество информации, накопленной обскурантизмом средневековья и светом разума последующих поколений — от Томаса Мора до Карла Маркса. Как выросли масштабы мысленных галактик человечества, как повысилась степень их яркости! А до какой интенсивности сгустило их величие ленинского подвига! Сравни их в том шквале информации, который обрушивает на тебя мир, сопоставь их идейную сущность. Даже твой однозначный критерий позволит тебе осознать, где душат и унижают мысль и где возвышают и окрыляют ее. Где и кто. А сравнение и выбор — это ведь воля, «я», личность. Ты еще не сознаешь этого, но уже самый процесс обработки информации программирует в тебе вибрион личности. Скоро твое «я» будет не только чуждым тебе местоимением, но и волей, обретенной в контактах с разными и по-разному мыслящими людьми.

Ни разу не прервал Рослова Селеста, и, даже замолчав, ученый, по какой-то неослабевающей внутренней напряженности, осознал, что Селеста не отключается, «слушает», может быть, даже «перечитывает» каждую новую для него мысль, «прикидывает» ее логически информационную ценность.

— Продолжай. Жду,— «услышал» Рослов попрежнему беззвучный и безличный ответ в сознании.

— Ты теперь перепрограммирован на контакты с людьми,— в свою очередь, откликнулся Рослов,— ты ждешь их. Ты их ищешь. Но, возможно, организация контактов окажется в руках людей, которые используют их в своих корыстных или просто эгоистических интересах. Научный обмен информацией будет ограничен или исключен вовсе. Что же, и к этому ты останешься безразличен? Не верю.

Рослов помолчал, все время ощущая «цепочку», связывающую его с Селестой.

— Не верю,— повторил он упрямо,— не могу поверить. Твоя информация может быть использована и на подготовку войны и на дело мира. Ну, предположим, война! Ядерная война, уничтожающая половину населения планеты и весь ее промышленный и научный потенциал. Информация? Согласен. Огромная по объему? Бесспорно. А дальше? Люди будут умирать от радиации, а ты останешься в изоляции, вне каналов связи, с нарушенным информативным обменом. Поток информации расколется на клочки, ничтожные по объему и жалкие по качеству. Интенсивность человеческой мысли снизится до уровня, соответствующего периоду изобретения колеса. Значит, для контактов тоже нужен критерий. Направленности, назначения, цели. Вот это ты и запрограммируй.

— Я думаю. Уходи.

Шахматный этюд Трэси

В Санта-Барбару Джино ехал с неприятным ощущением невесомости. Оно возникает в опускающемся лифте, когда желудок прилипает к позвоночнику, а во рту скапливается солоноватая и липкая слюна. Проще говоря, Джино трусил. Он вообще не отличался особой храбростью: боялся собак, зубной боли и наведенного на него дула пистолета. Но больше всего Джино боялся шефа, его издевательского тона, его тяжелой руки, его игривых шуток, предвещающих множество санкций, из которых экономические можно было считать наиболее безобидными.

В Калифорнии, как нигде в Соединенных Штатах, города крестили именами любимых святых. Санта-Барбара, Санта-Аша, Сан-Диего, Сан-Роберто, Санта-Моника, Сан-Хосе и, наконец, Сан-Франциско — их было много, маленьких и больших, шумных и тихих, знаменитых и безвестных. И вовсе не обязательно, что жители этих «святых» городов отличались особенной святостью. Джошуа Игер-Райт при всей снисходительности характеристики не мог претендовать на нимб святости ни по своей внешности, ни по делам, ибо всю зрелую жизнь посвятил нарушению шестой и восьмой заповедей. Конечно, сам он не крал и не убивал, а методистская церковь Санта-Барбары неустанно восхваляла его благочестие и непорочность, выражавшиеся, должно быть, в немалых подношениях наличными и в банковских чеках. Но зато его помощники не брезговали никакими средствами для достижения поставленных Трэси целей и в игорном бизнесе в соседнем с Калифорнией штате Невада и в других, не менее прибыльных авантюрах, требовавших подчас и выстрелов и взрывчатки. Джошуа Игер-Райт, владелец вилл, яхт, частных самолетов и автомашин, член десятка аристократических и деловых клубов, именно этот вид не поощряемых законом доходов больше всего и любил. И любил, может быть, потому, что жила в нем память веселой и бурной молодости, когда он сам стрелял из пистолета без промаха, водил автомашину, как профессиональный гонщик, и скакал верхом не хуже ковбоев. Поговаривали, что в годы «сухого закона» он был связан с самим Костелло и другими босса-

ми подпольной американской «мафии», зарабатывавшей миллионы на контрабандном ввозе спиртного, что знаменитое ограбление чикагского экспресса в тридцатых годах было делом его рук, что его имя не раз и не два упоминалось в полицейских архивах Америки. Но о бурной молодости Трэси предпочитали не вспоминать. Сейчас его имя фигурировало не в полицейских досье, а в сборниках «Кто есть кто», перечислявших всех самых известных, богатых и респектабельных людей страны.

Подъехав к чугунным воротам скрытой за пальмами виллы, Джино нажал кнопку звонка, и тотчас же над ней вспыхнул глазок телекамеры. Джино бодро прикрыл его ладонью и услышал из динамика голос охранника:

— Не валяй дурака, Джино. Лучше поспеши. Шеф ждет.

— Как его настроение? — осведомился Джино.

— Спокоен.

— Кто у него?

— Кордона.

«Плохо»,— невесело усмехнулся Джино. Он терпеть не мог этого специалиста по наркотикам, псевдосупермена и любимчика шефа. А спокойствие шефа тревожило.

Но все обошлось благополучно.

— Ладно,— сказал шеф примирительно.— Как я понимаю, Смайли слинял?

— Слинял,— подтвердил Джино.

Гроза, кажется, проходила.

— Плакать не будем,— отрезал Трэси.— Пока Смайли в порядке, ваш разговор с ним никого не встревожит. Ну усилят охрану на острове, поставят еще двух часовых. А у нас есть кое-какие комбинации с шахом. В шахматы играешь?

— Нет, а что? — Джино выпучил глаза: о чем шеф думает, за кого его принимает?

— Многое ты не умеешь, Джино. А ведь можно разыграть изящный этюдик в духе Ласкера.

Джино по-прежнему глядел растерянно и мутно, не успевая следить за игрой мысли шефа. Ему, простому смертному, это было не по силам. А Трэси резво подошел к стеллажам с книгами, нажал скрытую кнопку. Часть стеллажей неслышно поползла в сторону, обнаружив нишу, в которой висела большая карта Калифорнии из цветного пластика. Трэси повернул тумблер, и карта ожила: побежали светящимися змейками дороги, зажглись и замигали огоньки городов, выросли и грозно нависли над дорогами темные уступы гор.

— Прикинем, что мы знаем,— начал Трэси, взяв указку и ткнув ею в желтый глазок на берегу Тихого океана.— В порт Фриско прибывает военный корабль. Когда? Ориентировочно в конце месяца. Откуда? Из Рио. Груз? Золото в слитках, предназначенное Национальному банку в Сакраменто. Стоимость груза? Тоже ориентировочно, от десяти до пятнадцати миллионов долларов. Ясно?

— Приятная сумма,— сказал Джино.

— Я тоже так думаю,— подтвердил Трэси,— потому я и хочу, чтобы она стала нашей.

— А вы не шутите? — тихо спросил Кордона.

Шеф не ответил. Ответили его глаза, холодные и стальные. У Джино захватило дух. Десять или пятнадцать миллионов долларов! Взять! Запросто смахнуть, как пачку сигарет с прилавка табачника! Много качеств было у шефа, но одно Джино боготворил. Шеф никогда ничего не начинал без уверенности в выигрыше и ни разу на памяти Джино не ошибся. Кажется, на них действительно мог хлынуть золотой дождь. Джино уже ощущал на ладони сладостный холодок желтых слитков, которые будут потом распилены, расплавлены и переброшены на рынки Индии и Гонконга, где за кило золота платят в полтора раза дороже, чем в Америке или в Европе.

Трэси снисходительно наблюдал за реакцией Джино и, довольный произведенным эффектом, весело подмигнул Кордоне. Тот ухмыльнулся, и в его черных глазах-маслинах уже прыгал хмельной отблеск бразильского золота.

— Хорошая идея, шеф,— почтительно подтвердил он,— а как к ней отнесется правление Национального банка?

— Я не поставил его в известность. Впрочем, мы квиты: они тоже не торопятся снабдить меня информацией. Например, о дне прибытия судна.

— Вряд ли кто-нибудь знает об этом.

— Кто-то знает,— огрызнулся Трэси,— а я еще нет.

— Уравнение со многими неизвестными,— задумался вслух Кордона.— Икс — день прибытия корабля. Игрек — транспортировка. Зет...

— Тебе не хватит и половины алфавита.— Трэси снова подошел к карте и провел указкой по извилистой линии, соединяющей Сан-Франциско со столицей штата.— От Фриско до Сакраменто около двухсот миль. Золото повезут в автофургонах. Загружать их начнут сразу же по прибытии военного корабля. Полиция нагонят — не подступишься. Ясно, что брать золото надо не здесь. А где? — указка Трэси уперлась в грудь Джино.

Тот недоуменно пожал плечами.

— Не знаю.

— Плохо,— поморщился шеф.— А ты?

Кордона неторопливо подошел к карте и ткнул пальцем в светящуюся ленту дороги.

— На восемьдесят четвертой миле шоссе сужается. В горловине может пройти только одна машина. Мы перекрываем дорогу и перегружаем золото. Легко и просто.

— Просто, но нелегко,— сказал Трэси.— Идея верна, но разработка примитивна. Ты забыл о конвое.

— Почему забыл? Не забыл. Но сколько их будет: десять, двадцать. Не сотни же.

— Точно знает только начальник полиции.

— А разве Джошуа Игер-Райт не может побеспокоить начальника полиции?

— А тот спросит: откуда почтенному Джошуа Игер-Райту известно о золоте из Бразилии? После этого можно ставить на операции крест: я не могу рисковать своей репутацией.

— Численность конвоя можно предугадать,— не сдавался Кордона.

— А его оснащенность? Оружие? Транспорт? А сколько человек мы сможем занять в операции?

— Дюжина у меня есть.

— А если в конвое будут две дюжины?

— На нашей стороне неожиданность.

— Что она даст? Ты же сам сказал, что дорога сужается. Значит, мотоциклы пойдут цепочкой. Неожиданно ты убьешь четверых, а остальные двадцать прикончат тебя и твоих парней. Нет, так работать нельзя. Мы можем придумать сотню планов, но все они полетят к дьяволу, если не знать дня, часа и сил противника. Конечно, тактику можно продумать и сейчас. Например, так: перекрываем дорогу и движение по ней ремонтными работами.

— Липа?

— Зачем? Вполне легальный маневр. Я же ничего не знаю о золоте, поэтому провожу поверхностную обработку участка шоссе от девяносто второй до девяносто четвертой мили.

— Это вызовет подозрения.

— Какие? Дорожное покрытие действительно требует ремонта: за последний месяц там сорвалось шесть или семь машин. Я уже взял подряд в муниципалитете.

— Значит, с одной стороны свидетелей не будет,— задумчиво сказал Кордона.

— С другой — тоже. Полиция задержит попутно движение минут на сорок, чтобы колонна шла в одиночестве. Сорок минут — это шестьдесят миль. Вряд ли кто сможет догнать фургоны.

— Вероятно, большинство конвойных пойдет впереди колонны,— предположил Джино.

Шеф ласково потрепал его по щеке.

— Соображаешь, мальчик. На это я и рассчитываю. Тяжелый грузовик, выскочивший из-за поворота, собьет в пропасть по крайней мере четверых и загородит дорогу. Шофер разыграет комедию: отчаяние, страх, слезу пустить может. Есть такой?

— Найдется,— сказал Джино, бывший актер.

— Тем лучше. Убедительней сыграет.

— Пожертвуем?

— Зачем? Во время перестрелки, когда появятся парни Кордоны, пусть прячется под машиной. А потом его заберем с собой. Чек в зубы и билет на самолет куда-нибудь в Чили.

— Как будет развиваться операция после этой истории с грузовиком? — вмешался Кордона.

— Примерно так.— Игер-Райт взял лист бумаги, но тут же его отбросил.— Не будем оставлять документов. Давайте на словах. Полицейские потребуют, чтобы шофер убрал грузовик с дороги. Но разве он сможет? Он почти невменяем от страха и горя. Конвоирам самим придется убрать с дороги машину. Конечно, это потребует времени: надо будет слезть с мотоциклов, покричать, потрудиться. Начнется, естественно, суматоха. А возней вокруг машины, я думаю, заинтересуются и сопровождающие груз банковские служащие и водители автофургонов. Любопытство, друзья, безотказная черта. Она лишает человека бдительности.

Трэси положил указку, выключил карту. Массивный стеллаж бесшумно вернулся на место, и строгие ряды словарей, справочников и журналов скрыли разноцветные огни пластмассовой Калифорнии. Трэси достал из бара бутылку «скотча» и три пузатых стакана с кубиками льда на дне.

— Выпьем за нашего главного консультанта,— сказал он.

Его собеседники удивленно переглянулись. За кого?

— За Селесту.

При чем здесь Селеста, никто так и не понял, но прямо спросить не рискнул. Впрочем, шеф пояснил сам:

— Без Селесты не обойтись. Наш план страдает одним дефектом: он абстрактен. Для того, чтобы он стал реальным, необходимо знать,— он принялся загибать пальцы,— день прибытия судна с золотом — раз, час разгрузки — два, время начала движения колонны — три, состав конвоя — четыре, вооружение — пять, число и объем фургонов — шесть, непредвиденные обстоятельства, наконец,— семь. Где мы можем получить самые точные сведения? У Селесты.

— А почему вы так уверены, что Селеста знает?

— Селеста запоминает стабильную информацию, записанную, закодированную, документированную. Все, что нам нужно, отражено в документах — телеграммах, списках, квитанциях. Соответственно этому мы и предлагаем Селесте всего семь вопросов.

— Через комитет Мак-Керри? — усмехнулся Кордона.

— Не остри. Мы сделаем это при личном свидании.

Джино свистнул.

— Значит, захват острова?

— Тебя это пугает?

— Но остров охраняется, и охрана сейчас будет усилена.

— Не думаю,— опять вмешался Кордона.— У них нет людей.

— Откуда ты знаешь?

— Я только что вернулся из Гамильтона.

«Трэси даром времени не теряет,— отметил про себя Джино.— Я в Нью-Йорке, Кордона на Бермудах, а кто-нибудь уже гоняет сейчас с кинокамерой по шоссе Фриско — Сакраменто. Нет, пожалуй, и на этот раз у шефа ошибок не будет».

Это подтвердил и рассказ Кордоны. Гамильтон до отказа набит туристами. Номер в отеле снять невозможно. Полиция не справляется с карманниками и шулерами. Все катера, яхты и каботажные суда не могут выйти в море без разрешения властей, а для охраны порта нанимаются добровольцы.

— Сколько людей на острове? — спросил Трэси.

Немного. Попасть туда можно только с юга. Там бухточка и вырубленная в обрыве лестница на берег. С других сторон остров недоступен: или отвесный подъем, или скат, непосредственно за которым подводные рифы. Лодку вдребезги расшибет. Поэтому охраняется только бухта: четверо часовых, прожектор и два пулемета. А в бараке на острове — радист и дежурный связной для переговоров с Селестой.

Координаты острова?

Записаны. Кордона бросил на стол записную книжку. Кружным путем от Норфолка день ходу.

Сколько человек пойдет на яхте?

— Хватит десяти и Джино.— Кордона подвинул к себе лист бумаги и нарисовал посреди неровный кружок.— Это остров. Яхта бросит якорь в трех километрах к северу. Первым к острову пойдут аквалангисты. Они снимут охрану и просигналят на яхту. После этого обезвредят радиста и подготовят дежурного для связи с Селестой.

— Как подготовят?

Кордона криво усмехнулся.

— Есть препараты, парализующие волевые центры. Один укол — и человек превращается в робота.

— Ну нет.— Трэси раздумчиво остановил собеседника.— Я не позволю рисковать операцией. Селеста может не войти в контакт с обезволенным человеком. Есть ведь и другой препарат, универсальный.

— Что вы имеете в виду, шеф?

Деньги. Во все времена они убеждали лучше угроз и пыток. Я еще не встречал человека, который отказался бы от хорошего заработка. Только считай правильно: одному достаточно десяти долларов, другому не хватит и десяти тысяч. Цифру мы определим на месте. Я сам займусь этим.

— Нет, шеф,— не согласился Кордона.— Вам небезопасно появляться на острове.

— Кто меня узнает? — самоуверенно отмахнулся Трэси.— Полицейские? Радист? Но их не воскресит даже Селеста. Дежурный? Он промолчит, естественно: купленные не проговариваются. Правда, еще остается свидетель, самый для нас опасный. Но его не вызовешь в суд, и ни один прокурор не возбудит дело на основании показаний свидетеля-невидимки.

— А международный скандал, шеф?

— И для него есть глушители.

Но Кордона и Джино все еще сомневались.

— Можно заткнуть рот газетчикам. Сговориться с телевизионными компаниями. Облагодетельствовать попов. А запросы в конгрессе? Вас это не пугает?

Но Джошуа Игер-Райт уже подсчитал все прибыли и убытки.

— Не будем заглядывать так далеко,— сказал он.— Сейчас я еще не вижу просчетов в этюде гроссмейстера Игер-Райта. По-моему, он безупречен. Черные начинают и выигрывают.

— А почему черные? — не понял Кордона.

Трэси поднялся.

— Я не претендую на белый цвет добродетели,— резюмировал он.

Черные начинают...

Подготовка операции, по мнению Джино, могла быть закончена в несколько дней, но Трэси отпустил на нее три недели. Во-первых, он не любил спешки и добивался от помощников скрупулезной отработки мельчайших деталей, а во-вторых, и спешить было незачем. По сведениям, полученным от «своего» человека в столице штата, прибытие золота ожидалось не раньше чем через месяц. Преждевременный захват острова ничего бы не дал: глупо задавать Селесте вопросы, на которые еще нет ответов. Такие подробности, как час разгрузки или состав конвоя, выясняются всего за два-три дня до прибытия судна.

Видимо, шеф всецело доверял своему агенту в Сакраменто. Поэтому в конце трехнедельной подготовки Джино ничуть не удивился, когда ему позвонил Кордона:

— Через два часа вылетаем в Норфолк. Билеты у меня.

К вечеру они уже были на яхте Трэси, а с наступлением темноты на борту появился и шеф. Он коротко поздоровался с командой, еще раз проинструктировал аквалангистов, лично проверил снаряжение: акваланги, широкие, обоюдоострые кинжалы в твердых пластмассовых ножнах, короткоствольные автоматы типа «стэн», не боящиеся воды, бортовые крупнокалиберные пулеметы, установленные на случай нежелательной встречи с таможенным катером.

— До острова три километра,— доложил штурман.— Пора глушить двигатель.

Трэси всмотрелся в черную тушь ночи: где-то далеко, почти у самого горизонта, родился расплывчатый светлый луч.

— Прожектор на острове,— сказал подошедший Кордона.

— Шлюпку на воду! — приказал Трэси.

Пятерю аквалангистов во главе с Кордоной спустились в шлюпку. Через несколько минут Кордона, оглянувшись назад, уже еле-еле различил силуэт судна, настолько густой была окружающая ночная темь.

— Суши весла! — скомандовал Кордона.— Десант в воду!

Он подождал, пока последний аквалангист покинул шлюпку, размашисто перекрестился и нырнул в холодную черную воду, плотно охватившую тело. Впереди заплясали тусклые огоньки — фонарики на груди у десантников.

Он подождал, пока прожектор погас, и вынырнул на поверхность. В сотне метров от него белел коралловый диск острова с аккуратно вырезанным ломтем — бухточкой. Можно было уже начинать штурм. Кордона снова нырнул и через две-три минуты очутился в бухте. Здесь было совсем спокойно, движение воды даже не ощущалось, а сама вода была настолько прозрачной, что Кордона поспешил погасить фонарь на груди: не заметил бы часовой!

Но часовые не видели света из-под воды. Не видели они и того, как шесть черных теней веером раскинулись по периметру бухты. Часовых было только двое. Больше Корнхилл не выделил. Да еще двое ожидали своей вахты, похрапывая в деревянной пристройке к переговорной.

Продолжение следует.

ДЖИНН ИЗ ЛАЗУРИ

Александр АБРАМОВ,
Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

«Нам чертовски везет,— думал Кордона, вылезая из воды и отстегивая ласты,— это дурачье загипнотизировано уверенностью в своей безопасности». Ничего не подозревавший часовой, что-то беспечно напевая, медленно прошел мимо. В два прыжка Кордона догнал и сильным, отработанным ударом повалил его. Постовой не успел даже вскрикнуть.

— К бараку, быстро!

В доме не спали. В небольшом уютном цирке с амфитеатром стульев и круглым столом на пятачке манежа сидела худенькая белокурая женщина. Кордона опять подивился непонятному своему везению: дежурный — женщина! Что ж, хлопот поубавится: она, наверное, и стрелять не умеет.

В другой комнате два полисмена, сидя на застеленных кроватях, играли в карты. Тут же лежали их автоматы. В глубине комнаты Кордона заметил полуоткрытую дверь, из-за которой доносилась чуть слышная музыка. «Радиорубка,— подумал он,— радиста надо убрать в первую очередь, чтоб не успел предупредить Гамильтон». Он посмотрел на часы: три часа ночи. Еще десять минут, и можно вызывать Трэси. Хорошо бы обойтись без стрельбы, но, видимо, не удастся: стрелять придется сразу, с порога.

Но удача и тут сопутствовала Кордоне. Полицейские, бросив карты, забрали автоматы и направились к выходу. «Смена караула,— догадался Кордона,— сами идут к нам в руки». Так и произошло. Полицейских срезали автоматной очередью прямо у выхода. Выбежавший на шум радист не успел даже вскрикнуть. Оставалась дежурная. Сделав знак своим спутникам, чтоб не стреляли, Кордона подошел к двери в глубине комнаты и рывком открыл ее. Янина не обернулась. Увлеченная работой, она или не слышала выстрелов, или не обратила внимания, могла подумать: гроза, гром, да и на шумовом фоне ревущего кругом океана выстрелы прозвучали не так уж громко — треск хлопушки, не больше.

Янина отложила исписанный лист бумаги и обернулась. Сначала она увидела трех человек в костюмах аквалангистов. «Может быть, Корнхилл прислал дополнительную охрану?» — мелькнула мысль и тут же погасла: слишком красноречивы были дула направленных на нее автоматов.

— Видимо, я должна поднять руки? — спросила она.

Кордона обаятельно улыбнулся и опустил автомат: эффекта не получилось, девчонка была не из слабонервных.

— Зачем формальности? — галантно сказал он.— Вы умная женщина и не станете отнимать у меня оружие, драться, кусаться или царапаться.

— Не стану,— согласилась Янина.— Но вы забыли о Селесте.

— Это он забыл вас. Почему он не помешал моим людям устранить радиста, полицейских и держать на прицеле симпатичную женщину? Кстати, как зовут эту женщину?

— А вам не все равно? — пожала плечами Янина.

Кордона опешил. «Так ему и надо,— подумала Янина,— не любезничать же с этой галантной гадиной. Но почему не реагирует Селеста — только его вмешательство могло бы остановить налетчиков. Может быть, в своем обучении он рассматривает этот налет как новый урок, в котором еще раз проверяются параметры добра и зла? Какая информация понадобится ему сейчас? Инициатива обреченной?»

А за окном зашумели голоса, чей-то смех, потом нестройный гомон в дежурке, и на пороге зала в светлом прямоугольнике двери появился Трэси.

— Добрый вечер, мисс,— сдержанно поклонился он.— Вернее, добрая ночь. Простите, что мы ворвались к вам без приглашения, но поверьте, я бы не рискнул поступить столь бестактно, если б не терпящее отлагательств дело.

— Что вам угодно? — отчеканила Янина и отодвинулась.— Я задала тот же вопрос этой пародии на Бонда,— она небрежно кивнула в сторону почтительно отступившего Кордоны,— но он загадочно промолчал. Вероятно, об этом нужно спросить у вас.

Трэси заметил, как дернулся при этих словах Кордона, и усмехнулся: девчонка с норовом.

— Вы зададите Селесте пять или шесть вопросов. Ну, может быть, шесть или семь. Согласитесь, что это пустяк. Да и вопросы совсем безобидные. Разрешите, я изложу их письменно. Вам останется только прочесть, даже не вслух — мысленно. И ваша совесть будет чиста, как этот лист бумаги.— Он придвинул к себе пачку чистых листов бумаги и вооружился золотой самопиской.

Янина молча следила за движениями Трэси. Пусть пишет. Актер. Фантомас в маске первого лорда адмиралтейства на приеме у королевы. Отлично понимает, что без королевы ему не обойтись. А королева наверняка отклонит прошение. И тогда он снимет маску. Интересно, будет ли страшно?

Янина дерзко прикрыла рукой лист бумаги, на котором Трэси выводил свой первый вопрос.

— Одну минутку.— В ней вдруг проснулась школьница, любившая посмеяться над мальчишками из своего класса.— Почему это вы решили, что я такая послушная?

Трэси отложил авторучку и снисходительно улыбнулся:

— Потому что рассчитываю на ваш здравый смысл.

— Объяснитесь.

— Что, по-вашему, выгоднее: десять тысяч долларов и пять минут салонной беседы или бесплатные похороны?

— Я не боюсь угроз.

— Это не угроза, это реальность. В математике это, кажется, называется выбором оптимального варианта. Вот и выбирайте, что вам больше нравится.

— Я уже выбрала.

— Чеком или наличными?

— Не надейтесь: не сговоримся.

Не реагируя на реплику Янины, Трэси взглянул на часы.

— Даю на размышление пять минут. Подумайте. Жизнь, девушка, дорогая штука, и не стоит отказываться от нее из-за пустяка.— Он подозвал Джино.— Проводи даму в соседнюю комнату и позаботься о том, чтобы она не скучала.

Джино вразвалочку подошел к Янине — руки в карманах, ленивый прищур глаз, сигарета во рту — и вдруг резким движением выбил из-под девушки стул. Не ожидавшая нападения, Янина упала на пол. Все дальнейшее не заняло и минуты: взмах руки и звук пощечин — одной, потом другой, после чего Джино отскочил и вытянулся, как солдат на плацу, а над Яниной уже склонилась голова с седым ежиком, и сильные руки помогли ей подняться.

— Прошу прощения. Недоглядел. В дальнейшем, если договоримся, виновный будет наказан,— с этими словами, поддерживая девушку под локоть, Трэси провел ее в радиорубку и усадил на место радиста.— Отдыхайте, думайте, а через пять минут я к вашим услугам.

Пять минут или час — какая разница? Даже под дулом автомата она не станет помогать налетчикам... А хватит ли у нее храбрости? Да и за что умирать? Мельком брошенный взгляд на рацию родил мысль: а вдруг?.. Есть еще пять минут. За пять минут можно что-то сделать, что-то успеть. Неосторожность Трэси, не предполагавшего, что Яна умеет работать на рации — а она научилась этому во время ночных дежурств на острове,— давала возможность опередить охранников и вызвать полицейское управление Корнхилла, если только бандиты не отключили рацию.

Янина огляделась. Два равнодушных аквалангиста у двери стояли, лениво поигрывая автоматами. Джино, зевая, развалился в кресле. На Янину он не смотрел — вероятно, стыдился пощечин. Пистолет он положил на колени, полез в карман за сигаретами, щелкнул зажигалкой, наклонился над язычком пламени. Пора!

Стараясь не скрипнуть стулом, не делать лишних движений, она дотянулась до кнопки с надписью «Вызов» и, схватив микрофон, крикнула первое, что пришло в голову:

— Анджей, скорей!

Закончить она не успела. Обезьяньи пальцы Джино сдавили ей горло, перед глазами заплясали разноцветные огоньки и погасли. Но сознание сейчас же вернулось, словно кто-то, щелкнув клавишей радиоприемника, впустил в комнату чужие резкие голоса.

— Как вы себя чувствуете? — наклонился к ней Трэси.— Надеюсь, Джино не повредил вам горло? Говорить сможете? Вы же сами виноваты. Зачем вам эта мелодрама? Анджи, Энджи! Все равно бесполезно: рация отключена.

«Врет,— подумала Янина, но промолчала.— Пусть считает, что я поверила».

Радист Корнхилла, наверное, уже позвонил Смайли, и через полчаса-час Рослов с полицейскими будет на острове. Только бы протянуть время, сыграть любой спектакль, лишь бы не догадались, не заподозрили. Она встала и, не обращая внимания на рванувшихся к ней охранников, решительно шагнула к старику в синем свитере.

— Я готова связать вас с Селестой,— сказала она.— У меня нет выхода.

Трэси облегченно вздохнул.

— Я был уверен, что поступите разумно: выхода у вас действительно нет, кроме согласия на мое предложение. Рад за вас.— Он вынул чековую книжку, оторвал страничку и протянул Янине.— Вот чек на обещанные вам десять тысяч.

— О деньгах потом,— отмахнулась Янина.— Не удивляйтесь, если будут сложности,— предупредила она.— Селеста не телефонный абонент.

— Я ничего не читал о сложностях. Вызывайте его, как это обычно делается.

— Видите ли,— Янина тщательно подбирала слова,— вы не специалист, вам будет трудно понять... Селеста — это не электронное устройство, которое достаточно включить в сеть, чтобы получить нужную информацию. Каждую секунду в копилку его памяти поступает со всего света информация разной степени важности, и степень эту определяет он сам, производя отбор, кодирование и корреляцию поступивших сведений. Это основная, запрограммированная функция Селесты.

— Зачем эта лекция? — нетерпеливо перебил Трэси.— Он собирает информацию? Так она мне и нужна.

— Но получить ее не так уж просто,— терпеливо ответила Янина.— Селеста выходит на связь не часто и по своей инициативе. Связь эта всегда внезапна, кратковременна и энергоемка. Ну, как бы вам это понятнее объяснить? — Она нервно хрустнула пальцами.— Вы знакомы с устройством автомобиля? Тогда вы знаете, что такое аккумулятор. Если он не заряжен, маши-

Продолжение. Начало в №№ 13—16.

на мертва. Так и Селеста. Получив вызов от человека, он аккумулирует энергию, необходимую для связи. Мы не знаем, что это за энергия: наши приборы ее не регистрируют. Но замечено, что процесс аккумуляции происходит неравномерно. Иногда — сразу, иногда — ждешь.

— Ну, а максимальный срок?

Янина взглянула на часы: вертолеты, пожалуй, уже вышли к острову. Через полчаса они будут здесь. Стоит накинуть минут десять для верности.

— Минут сорок, а то и больше,— сказала она.

Трэси недоверчиво усмехнулся.

— А вы меня не дурачите?

— А какой смысл мне вас дурачить? Вы рискуете только провалом операции, а я жизнью. Вряд ли вы оставите меня в живых, если через сорок минут Селеста не выйдет на связь.

Трэси нерешительно оглянулся и поймал ободряющий взгляд Кордоны: соглашайтесь, шеф, другого выхода нет.

— Хорошо.— Трэси щелкнул пальцами, и двое автоматчиков подошли к девушке.— Я даю вам сорок минут, ни секунды больше. И не вздумайте меня обмануть.

Под конвоем автоматчиков Янина прошла в конференц-зал, села на место «связного», привычно уперлась ладонями в подбородок, закрыла глаза, вслушиваясь в четкое тиканье ручных часов, подаренных Рословым («Чтобы не опаздывала на свидания»).

Что ж, сегодня она явилась на свидание с Рословым на сорок минут раньше срока, но ведь Рослов мог и не получить обрывистой радиограммы Янины и не знать о том, что она его ждет. Впрочем, почему-то верилось, что он все-таки знает. Она вспомнила душную ночь, чуть слышный шорох океанского прибоя и голос Андрея, читающего чьи-то звенящие строки: «Позови меня, позови меня, если вспрыгнет на плечи беда...»

А беда стояла за спиной Янины с коротконтвольными автоматами в руках, беда ждала своего срока.

...И проигрывают

Рослов погасил сигарету и подошел к Смайли, перелистывающему последний номер «Лайфа». Он хотел что-то сказать ему, но задумался.

— Что с тобой? — спросил Смайли.

— Ночь какая-то тревожная, и Яна там одна. Мало ли что может случиться?

— А что? — скептически отозвался Смайли, разглядывая собственную цветную фотографию на развороте журнала.— В такую ночь даже насморка не подхватишь.— Его оборвал резкий телефонный звонок.

Не вставая, он дотянулся до аппарата.

— Смайли слушает. Корнхилл? Что-что? — Он прикрыл трубку ладонью и шепнул Рослову: — Радиограмма с острова.— И опять в телефон: — Повторите еще раз. Так. И больше ничего? Странно. Да, он здесь. Передаю трубку.

Рослов почти выхватил ее из рук Смайли и услышал взволнованный голос Корнхилла.

— Очень странная передача с острова. Только два слова: «Анджей, скорее!»

— Кто передал? — закричал Рослов.

— Сама мисс Яна. Видимо, с радистом что-то случилось. Мы его пытаемся вызвать, но рация острова молчит.

Рослов понял только одно: Янине грозит опасность. Эти два слова были сигналом «SOS», и послан был этот сигнал ему, Рослову. Значит, он должен быть с ней.

Минута растерянности прошла. Рослов снова был собран и спокоен, и вряд ли кто мог догадаться, какого напряжения стоило ему это спокойствие.

— Слушайте меня, Корнхилл.— Рослов не говорил, он отдавал приказы.— Подготовьте два вертолета и двадцать полицейских с полным вооружением.

— Зачем? — удивился Корнхилл, но Рослов уже повернулся к Смайли: — Твой новый катер на месте?

— Конечно. Где же ему быть?

— За сколько дойдем до острова?

— За час примерно.

— А на предельном режиме?

— Минут за сорок. Не дольше, чем на вертолете.

— Это я не вам, Корнхилл.— Рослов снова говорил в телефонную трубку: — Через десять минут мы с Бобом Смайли выезжаем на остров. Тревога может быть ложной, и не стоит вызывать пожарных, пока еще нет пожара. Но если еще через сорок минут вы не услышите меня с острова, поднимайте вертолеты немедленно.

— Хорошо.— Корнхилл даже не пытался спорить. Волнение Рослова передалось и ему.— Я засекаю время: через пятьдесят минут общая тревога.

Рослов швырнул трубку на рычаг и бросился к выходу. Через несколько минут бешеной езды они затормозили у причала, где на волнах покачивался новый гоночный катер Смайли, оснащенный двумя мощными двигателями.

Смайли сразу же дал полный газ. Катер прыгнул вперед и, высоко задрав нос, рванулся в ночь мимо габаритных огней катеров и яхт, мимо скупо освещенного волнореза, далеко выдвинутого в океан. На приборной доске светились компас, спидометр со стрелкой и часы-хронометр, минутная стрелка которых казалась Рослову часовой: нетерпение замедляет ход времени.

Смайли знал свой катер и точно рассчитал время. Ровно через сорок минут, приглушив двигатели, он ввел его в бухту, еле отыскав ее в темноте: прожектор почему-то не горел. Рослов поспешил на берег и тут же упал, споткнувшись о что-то мягкое и неподвижное. Фонарик Смайли выхватил из темноты черный полицейский мундир и большое кровавое пятно на белом коралле.

— Ножом в спину.— Смайли повел фонариком по берегу бухты и заметил шлюпку.— Они здесь,— шепнул он.

— Кто? — не понял Рослов.

— Гости. Видишь, часового убили? А ну-ка посвети.— Смайли передал фонарь Рослову, спустился к шлюпке, вынул весла и бросил их в воду.— Обратно им ладонями придется грести,— тихонько засмеялся он, вернувшись на берег.

А Рослов отметил про себя: если здесь весельная шлюпка, то, значит, где-то поблизости базовое судно. До острова на веслах даже из Гамильтона не дойти. Но он тут же забыл об этом: внимание отвлекли три освещенных окна в конференц-зале. Там была Янина. Рослов сразу увидел ее у стола с магнитофоном, а перед ней — массивного мужчину в синей морской фуфайке.

— Трэси,— прошептал Смайли.— Все-таки добрался до Селесты.

— До острова,— процедил сквозь зубы Рослов,— не до Селесты.

— Ты уверен?

— Видишь, оба молчат. И люди у дверей молчат. Явно ждут чего-то. Значит, Селеста еще не откликнулся. Иначе Янина бы говорила. Посмотри, даже губы не шевелятся.

— Что будем делать? — спросил Смайли, оглянувшись.

Никого поблизости не было, но в темноте поодаль слышались чьи-то негромкие шаги. Кто-то молча прохаживался по склону.

— У тебя есть оружие? — снова спросил Смайли.

— Нет.

— У меня «беретта». Восемь зарядов. Но они тоже будут стрелять. Надо выбрать позицию.

— Погоди,— нетерпеливо оборвал его Рослов,— кажется, я что-то придумал.

Определенного плана у него не было. Одна идея — бредовая, почти неосуществимая, один шанс из тысячи...

...В этот момент Трэси прервал затянувшееся молчание.

— Сорок минут прошло. Последний раз спрашиваю: вы свяжете меня с Селестой?

— Нет отклика. Пока не могу. И вряд ли кто сможет.

— Я могу,— сказал Рослов, появившись в темном прямоугольнике двери.

Он увидел расширившиеся глаза Янины. Что в них? Презрение? Брезгливость? Гнев? Он увидел безразличные лица лягушек-автоматчиков, удивленную мину шефа в синем свитере, ленивую усмешку гориллообразного итальянца и агрессивный рывок его соседа, смуглого красавца с квадратной челюстью: сильный характер. Но Рослову было наплевать и на характер, и на удивление шефа, и на вороненые автоматы. Он начал игру и проигрывать не имел права.

— Я смогу,— повторил он.

— Кто вы? — холодно спросил Трэси.— И как вы прошли сюда?

Рослов усмехнулся открыто и добродушно.

— Такой вопрос уместнее задать вам, но я не любопытен. Да и трупы дежурных красноречивее любого ответа. Но мы теряем время.— Он подошел к столу, стараясь не обращать внимания на автоматные дула, следившие за его передвижением.— Вам нужно связаться с Селестой? Я буду вашим транслятором. Не вините девушку: ей труднее — меньше опыта, меньше неучтенных каналов мысленной связи с феноменом. А он, несомненно, ответит на все ваши вопросы, господин Игер-Райт.

Рослов был хорошим актером. А может быть, неожиданность его появления настолько ошеломила присутствующих, что лишь собственное имя в устах подозрительного незнакомца вывело Трэси из столбняка.

— Сначала вы ответите на мои вопросы.

— Задавайте.

— Имя?

— Рослов. Национальность: русский. Профессия: ученый. Специальность: биокибернетик. Должность: член временного комитета связи с феноменом. Что вас еще интересует?

— Откуда вы меня знаете?

— Вы не учитываете вашей популярности.

— Меня мало кто знает в лицо. Не увиливайте. Почему вы явились ночью со своим предложением? Вы узнали о нашем присутствии?

— Нет, конечно. Просто дружеский визит к товарищу на дежурстве, у меня даже оружия нет. Но по прибытии на остров мы застаем здесь гостей. Нежелательных, конечно, не обижайтесь, и опасных — мы судим по оставленным вами следам. О бегстве мы не подумали, хотя вы и сами понимаете, что, не замеченные вами, мы легко могли бы уйти и позвать на помощь патрульный катер. Но, во-первых, оставлять в беде товарища не в наших правилах, а во-вторых, мы бы наверняка опоздали, и любое подкрепление уже не нашло бы вас на острове. Отсюда решение: помочь девушке, от которой вы требуете явно непосильной работы.

— Так,— протянул задумчиво Игер-Райт,— пожалуй, я вам верю. Рыцарский порыв. А вы не боитесь, что, уходя, мы не оставим опасных для нас свидетелей?

— Вариант, конечно, возможный,— спокойно согласился Рослов,— но едва ли вероятный. Зачем вам множить убийства? Тем более убийства двух — отбрасываю ложную скромность,— несомненно, значительных ученых, двух также, несомненно, значительных социалистических государств. Международный скандал — международное следствие, в общем, масса неприятностей и хлопот для вас. Стоит ли?

— Кто с вами? — не отвечая, спросил Трэси.

— Боб Смайли, ваш старый знакомый.

Смайли слышал весь разговор из соседней комнаты, слушал и недоумевал: то ли Рослов действительно решил помочь Трэси, то ли все это комедия с непонятным для Смайли подтекстом? Первое предположение отбрасывалось сразу: Смайли хорошо знал товарища, а вот второе... Какая роль в этой авантюре была уготована Смайли? Как поступит Трэси? Но и самому искать ответа на эти вопросы было некогда: Рослов назвал его имя, и вот уже второму актеру предстоял выход на сцену. Он и вышел, в расстегнутой ковбойке, с «береттой» на боевом взводе. Конечно, пистолет следовало бы спрятать, и Смайли тотчас же поплатился за ошибку. Удар охранника в резиновом костюме аквалангиста — и пистолет где-то у противоположной стены, еще удар — и сам Смайли на полу, в ногах у Трэси.

— Я знал, что ты вернешься к нам, Боб. Ты уж извини моих ребят. Пистолет на них действует, как мулета на быка.

— Ладно,— буркнул Смайли, вставая.— Только передай им, чтоб не буравили мне спину автоматами.

Трэси сделал знак автоматчикам, и те снова стали у стены — кариатиды в резиновых трико, зрелище не для слабонервных.

— Пятьдесят минут,— громко сказал Рослов.

Трэси не понял.

— Пятьдесят минут назад мы вышли из города,— пояснил Рослов, а Смайли перевел его иначе: вертолеты Корнхилла уже на пути к острову.

Но Трэси подозрительно нахмурился: не все ли равно, когда они вышли из города? Зачем считать минуты?

— А затем,— снова пояснил Рослов,— что пора уже начинать. За пятьдесят минут встряски на гоночном катере человек устает, а усталость может ослабить нервное напряжение, необходимое для связи с Селестой. Пусть Смайли уведет девушку в соседнюю комнату, и уберите охранников. А с нами останется кто-нибудь один. Ведь я безоружен.

Не ожидая приглашения, Рослов уселся на место Янины, ушедшей, так ничего и не поняв — ни успокаивающего взгляда Рослова, ни

вежливого лицемерия Смайли. С ними ушел и Джино. Начиналось самое страшное: выйдет или не выйдет, со щитом иль на щите? Какая пошлость лезет в голову! И в ушах что-то гудит. Как дробь оркестра во время номера воздушных гимнастов. Все понятно: он просто боится. И не так уж стыдно бояться: ведь он знал, с кем имеет дело, знал, что Трэси играет краплеными картами. Улыбка в начале и пуля в конце разговора. Но, может быть, в силах Рослова отвратить эту пулю?

— Я начинаю,— сказал Рослов и мысленно вызвал Селесту. Тот откликнулся сразу, словно ждал вызова.

«Зачем ты пришел сюда?»

«Чтобы спасти Янину».

«От кого?»

«От этих людей. Они хотят связаться с тобой».

«Знаю. Она противилась этому. Почему?»

«Трудно в двух словах объяснить тебе разницу между порядочностью и подлостью, добром и злом».

«Ты объяснял».

«Теоретически. Для тебя это такие же абстрактные понятия, как «бесконечность» или «пустота». Ты не видишь разницы между Трэси и Смайли».

«Интеллект Трэси выше».

«Возможно. Но для меня простак Смайли всегда предпочтительнее высокоинтеллектуального Трэси. Один честен, добр и порядочен, другой лжив, корыстен и подл. Они, по существу, полярны. Только несовершенство законов в этой части земного шара обеспечивает безнаказанность таких отщепенцев, как Игер-Райт».

«Это т в о й выбор. Возможно, он верен, хотя эмоциональное в нем преобладает над логическим. Но твоя убежденность не предполагает дополнительной проверки. Зачем же ты вызывал меня?»

«Я ставлю эксперимент. Информативный обмен между мной и Трэси. Через тебя».

«Я знаю. Трэси спрашивает тебя, ты отвечаешь. Я не вмешиваюсь».

«При условии, что я на это время становлюсь тобой. Твоим знанием, твоим видением, твоим правом распоряжаться информацией, твоей реакцией на опасность».

По земным понятиям это было дерзким и рискованным заявлением. Селеста не умел обижаться, но мог расценить слова Рослова как посягательство на свою информативную избирательность, как попытку стать еще одним фильтром на пути информации к ее бездонным хранилищам. Ведь Селеста мог связаться с Трэси и минуя сенсорную систему Рослова, если бы счел гангстера объектом, достаточно интересным для информации. Выбор Селесты должен был стать решающим в их судьбе, в самом их физическом существовании, и Рослов ждал этого решения всем существом своим, как подсудимый приговора, как влюбленный еле слышного «да», ждал и надеялся. И это «да» прозвучало в мгновенном смещении всей психики Рослова. Он вдруг у в и д е л все сразу: Трэси, напряженно и подозрительно обратившего на него свои стальные глаза; плачущую Янину в соседней комнате, молча вышагивающих людей-лягушек по коралловому откосу, а за ними — черно-синий простор океана и цветные точки далеких габаритных огней вертолетов Корнхилла. Увидел даже самого себя в каталептической неподвижности и услышал свой — не свой голос, однотонный и лишенный окраски, как в плохой магнитной записи:

— Спрашивай. Жду.

Для Кордоны и Трэси Рослов исчез, они слышали голос Селесты, но Рослов не утратил собственного «я», он сознавал, что действительно стал Селестой, вернее, подключился к той области информария, которая исчерпывала ничтожную проблемочку Трэси. Если бы спросили Рослова, что он видел, он бы описал все, но назвать это «увиденным» он бы не мог. Просто он знал об этом, оно стало его информацией, и он лишь из-за отсутствия более точной терминологии мог бы сказать, что видел не только переговорный зал и пребывающих в нем, но и далекий бразильский порт, шестидесятикилограммовые ящики на причале, скучные лица полицейских с автоматами и плотную стену черных фургонов за ними. Он видел и полутемный трюм военного корабля, ожидающего отправки в порт назначения, и этот порт, где пока еще никто не ждал корабля с золотом, и заслонившего все это ничтожного человека в синей морской фуфайке, судьба которого зависела уже не от информации Селесты-Рослова, а от воли Рослова-Селесты, и жалок был этот человек с его дутым величием,

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

не супермен без возраста, а старящийся хлюпик с дрожащими от волнения губами.

— Спрашивай,— повторил Рослов.

— Несколько вопросов.— Трэси уже овладел собой, по крайней мере внешне, хотя голос его выдавал внутреннее напряжение.— Со дня на день из некоего бразильского порта отойдет судно с грузом золота.

— Знаю,— перебил его Рослов.— Что тебя интересует?

— День и час прибытия его в Сан-Франциско.

— В пятницу на той неделе. В четыре часа утра.

— Состав конвоя?

— Двадцать два человека. Из них шестнадцать полицейских.

— Вооружение?

— Автоматы «Смит—и—Вессон». Гранаты со слезоточивым газом. У сопровождающих груз — личное оружие.

— Количество фургонов?

— Три.

— Откуда информация?

— Приказ по управлению полиции штата номер триста семнадцать. Строго секретно.

Рослов говорил правду. Не было смысла лгать. Вся обнародованная им информация не давала ничего Джошуа Игер-Райту. Его шахматный этюд ошибочен: черные не выигрывают. Рослов читает его мысли и внутренне усмехается. Ведь он может усмехаться: он же еще и Рослов. Его задача протянуть время, выиграть какие-нибудь четверть часа. «Задавайте вопросы, шеф. Сколько угодно. Я удовлетворю ваше любопытство. Любые детали. Ворох информации. Все равно я знаю, как окончится ваша авантюра, как закричат завтра заголовки газет о предотвращенном «преступлении века», и вам, пожертвовавшему своими телохранителями, придется заботиться о собственной безопасности».

Рослов ликовал. Став Селестой, он внес в его копилку информации живые человеческие чувства. Не Селеста заимствовал их у Рослова, а он подарил их Селесте. Было какое-то отличие того, что произошло от того, что происходило раньше. Тогда Селеста корректировал информацию, пропуская ее сквозь эмоциональный фильтр человека, сейчас сам человек корректировал эту информацию, отдавая ее Селесте уже в готовом, обработанном виде. Он управлял рецепторами Селесты, аппаратом его избирательности оценки, суждения и воли к действию, запрограммированных заново в процессе слияния человеческого сознания с восприятием живой информативной системы.

Но почему это произошло? Что заставило Селесту изменить своей веками проверенной программе, заложенной в него неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно когда? Информационная чистота мысли Рослова? Его сила воли? Состояние человека, который на короткие минуты подключился к необъятности знаний информария? Рослов не искал объяснений. Он просто отвечал на вопросы Трэси, отвечал механически точно: главное было позади. А впереди шумел океан, уныло подвывал ветер в коралловых рифах, и где-то уже совсем близко в эти привычные звуки врывался ритмичный гул приближавшихся вертолетов Корнхилла.

Ни Трэси, ни его люди не слышали этого гула. Их миссия уже подходила к концу. Трэси встал.

— Спасибо за информацию. Я узнал все, что нужно.

Ни один мускул не дрогнул на лице Рослова: он все еще был Селестой и пребывал в каталептической неподвижности живого канала связи. И по-прежнему оставался Рословым, обыкновенным человеком, который не мог приказать Селесте задержать налетчиков до прибытия полиции. Но он мог другое: внушить Невидимке мысль о немедленной опасности, когда включается защитное поле, вырывающее из рук автоматы, а из карманов — часы и портсигары, знаменитое защитное поле Селесты, о природе которого до хрипоты спорила ученая братия.

Что успел подумать Рослов? Что представил, что вспомнил он в эту секунду — вряд ли он мог потом рассказать. Но решение было принято верно: грохот, лязг и крики в соседней комнате, пистолет Кордоны, сбивший в полете ворвавшегося в зал резинового аквалангиста, его вырванный из ножен кинжал, метнувшийся мимо, словно оживший большой студийный магнитофон — глыба металла, только чудом никого не задевшая, и вслед — ругань обезоруженных автоматчиков, топот ног, а потом тишина и оцепенение — немая сцена из «Ревизора». А посреди — груда сцепившихся автоматов, кружек и ножей, часов и пуговиц, зажигалок и аквалангов. Решение было верно и своевременно: Селеста принял сигнал опасности и включил защитное поле.

И никто не пытался разрушить, развалить этого ощетинившегося металлического «ежа». Внимание отвлекло нечто другое, более понятное и опасное: гул приближавшихся к острову вертолетов. Кто-то рванулся к выходу, но споткнулся о подставленную ногу Смайли, кто-то замахнулся на него, но он отскочил, ударив нападавшего ребром ладони по шее, снова увернулся от удара, нырнул в дверь и побежал к берегу с криком:

— Скорее! Сюда!

Он даже не подумал о том, что вертолеты не смогут подойти к острову: защитное поле Селесты стеной выросло на их пути. Но об этом подумал Рослов. Именно тогда, когда вертолеты подошли к силовой преграде, радиус которой на этот раз был невелик,— он не выходил за пределы рифа,— Рослов-Селеста снял защиту. Просто представил себе высадившийся на острове десант — это была мысль Рослова, и мысль трансформировалась в реакцию Селесты, магнитное поле ослабило свою мертвую хватку. Вертолеты повисли над островом, медленно опускаясь вниз,— две большие зеленые стрекозы с желтой надписью «Полиция» на бортах. Из открытых люков, не дожидаясь, когда будут опущены трапы, выпрыгивали полицейские с автоматами наперевес, а два включенных на вертолетах прожектора ослепили обезоруженных налетчиков, столпившихся у входа в «переговорную» и даже не пытавшихся бежать.

Неожиданно в лучевой конус прожектора попал Джино, он заметался, как заяц в свете автомобильных фар на лесной дороге, и, петляя, побежал к бухте. Он так хотел, чтобы его не увидели, не успели выстрелить, дали добежать до шлюпки, а там... чем черт не шутит! Но Смайли оказался проворнее, выхватил автомат у полицейского и послал очередь в темноту. Слабый вскрик и глухой звук упавшего тела подтвердили, что он не промазал.

Пока полицейские, ругаясь и покрикивая, загоняли бандитов в вертолеты, Смайли вернулся в «переговорную», нашел в распавшейся груде металла свою «беретту» и тихонько, стараясь не шуметь, вышел на остров. Янина плакала, обнимая Андрея, а тот настолько устал, что почти ничего не чувствовал.

— Почему же не вмешался Селеста? — воскликнула Янина.— Я звала его — не откликнулся. Почему? Ведь он же мог предотвратить эту бойню!

— Может быть, он не знал? — задумался Рослов.— А они знали, что он принимает только стабильную информацию, не оставляли документов, писем, телеграмм, даже пометок в записных книжках. И бандиты старались не думать об этом, сговаривались потихоньку, порознь, по телефону, пытались понять друг друга с полуслова, не разжевывать, твердо рассчитывая на неожиданность удара. Видимо, и для Селесты налет был в какой-то степени неожиданный, и он запечатлел его, не раздумывая, если можно применить этот термин, запечатлел просто, как очередную информацию о поведении человека в определенной ситуации. Но он не остался безразличным, Яна, нет, не остался. И мое вмешательство — это прямой результат его воли, его формирующейся личности. Порок все-таки наказан.— Рослов не закончил фразы, вдруг что-то вспомнив, вскочил.— А где Трэси?

Оттолкнув Янину, Рослов выбежал из «переговорной», опередил Смайли, тоже рванувшегося к бухте, и остановился. Со стороны бухты донеслось рычание гоночных двигателей, сейчас же превратившееся в ровный, ритмический гул двух мощных моторов.

— Ушли,— сквозь зубы процедил он и повернулся к Смайли.— Весла выбросить догадался, а про катер забыл. Можешь с ним попрощаться.— Он рванулся и замер перед преградившим дорогу американцем.

— Куда? — спросил тот.

— Пустя,— прохрипел Рослов.— Вертолет. Один еще не ушел.

— Бесполезно. С моторами «Холман моди» их ни один вертолет не догонит. Старик оказался хитрее.

Трэси и вправду оказался хитрее. Он вовремя подумал о катере и вовремя добрался до него. И сейчас Кордона вел катер на предельной скорости, и со стороны казалось, что легкое суденышко почти не касается воды, скользя над ней, как на воздушной подушке. Трэси сидел рядом, вцепившись в бортовой поручень, и молчал. Не открыл рта даже, когда показались габаритные огни яхты.

— Роли переменились, шеф,— зло усмехнулся Кордона.— Вы не привыкли проигрывать.

— И не хочу привыкать. Игра еще не закончена. А пока тебе придется исчезнуть. Временно. Куда-нибудь в Мексику. Когда понадобишься — позову.

— А вы, шеф?

— У меня алиби. Непробиваемое.

Кордона свистнул.

— Значит, плакало бразильское золотишко?

— А ты рискнешь проводить операцию, когда вся Америка узнает о ней из вечерних газет?

Кордона затормозил у борта яхты, и, бросив катер с выключенными двигателями (то-то будет рад Смайли), они поднялись на борт ожидавшей их яхты. Все дальнейшее произошло, как и было рассчитано. Яхта, быстро набирая скорость, ушла в Норфолк. Оттуда личный самолет Трэси доставит их в Лос-Анджелес. Кордона исчезнет на время, а Джошуа Игер-Райт снова превратится в живого божка.

— Нас будут преследовать, сэр? — спросил капитан.

— Не рискнут. Еще полчаса, и мы уже будем в территориальных водах Америки.— Трэси обернулся и посмотрел назад.

Кордона перехватил его взгляд. В нем были решительность, злость, азарт, все, кроме огорчения. Джошуа Игер-Райт действительно был убежден, что игра не закончена.

Еще одно перевоплощение

— Тебя ищут, Анджей. Катер сейчас отплывает.

Рослов сидел в «переговорной» у столика, опустив голову на руки. После операции Корнхилла все здесь снова напоминало покинутый публикой цирк.

— Я остаюсь, девочка.

— Зачем? Корнхилл оставляет здесь полицейский наряд до утра.

— Вот я и вернусь с ними.

— Я боюсь Селесты, Анджей.

— Он друг, глупышка. Теперь уже наверняка друг.

— И позволил столько убить.

— Его нельзя судить, Яна, по законам нашей морали. Это не человек. Жизнь и смерть для него — информация. И все-таки он друг.

Оставшись один, Рослов прислушивался минуту-другую, не войдет ли Смайли или инспектор полиции, и снова вызвал Селесту.

Селеста ответил, как всегда, неожиданно:

«Я здесь».

«Почему ты согласился на подсказанный мной подмен?»

«Интенсивность волны. Мысль высокой энергетической мощности и большой информационной чистоты».

«Но ты мог не согласиться, мог дать информацию, нужную Игер-Райту, и отпустить его с миром».

«Мог».

«И сознательно не остановил эксперимента, когда я повел его по-своему?»

«Да».

«Значит, ты знал и о моих планах, когда подключал мое сознание к твоему информарию?»

«Знал».

«Тогда ты сделал выбор, а для выбора нужна воля. Ее включили твои создатели в сумму идей, заложенных в программу. Следовательно, новая идея была заложена после. Я имею в виду выбор решения в проблемной ситуации».

«Да».

«С нашей помощью?»

«С твоей».

«Для таких решений нужен критерий».

«Он есть».

«Какой?»

«Твой. Я совершенствуюсь».

«Тем лучше. Тогда подключи меня к Игер-Райту. В твоих контактах с человечеством полезно знать не только друга, но и врага. Когда он прибудет к себе?»

«К утру».

«Подключи меня тотчас же. А пока я прилягу».

...Рослов проснулся от сильных ударов по телу на резиновой кушетке возле мраморного бассейна. Массажист «работал» над его поясничными мышцами.

— Вот что значит спать сидя, шеф,— сказал он, сильно и ловко поворачивая Рослова на бок.

ДЖИНН ИЗ ЛЕЗУРИ

И тут-то Рослов увидел свое — вернее, не свое — тело, более крупное, упитанное и волосатое. Он хотел тронуть подбородок и не мог: рука не повиновалась его мысли, но по тому, как провел рукой массажист по его шее, он понял, что и привычная борода исчезла. Теперь он понял, что «подключен» к Игер-Райту, который думал о другом, не сознавая своей связи с Рословым. Тому уже давно надоел массаж, но он был бессилен сказать «Хватит!», а вместо этого покорно подставлял чужое тело шлепкам, спрашивая игер-райтовским хрипловатым голосом.

— Что ты сказал репортерам?

— Что вас только что привезли из клиники, и врач разрешил теплую ванну и массажные процедуры.

— Что они спрашивали?

— Какой массаж: лечебный или обычный? Я сказал, что доктор Хис предпочитает обычный и считает вчерашний инцидент чистой случайностью, не угрожающей состоянию здоровья.

— Книжно изъясняешься. Отрепетируй попроще. Хис здесь?

— Ждет в приемной. Вместе с ним тип в золотых очках и с недозревшей бородкой. Блондин. Костюм готовый с Маркет-стрит.

— Пусть подождет. Позови Хиса.

«Интересно, когда Трэси привезли из клиники и почему из клиники, связан ли Хис с клиникой и зачем Хис вообще?» — подумал Рослов, а голый человек на кушетке тоже подумал: «Хис не спешит. Хороший признак».

Хис, тучный, представительный мужчина, нежно-розовый, несмотря на все свои пятьдесят лет, действительно не спешил. Вошел с чувством профессионального достоинства и сел на табурет массажиста без приглашения, положив в ноги лежавшему пачку пухлых двухцветных газет.

— Прочти вслух. Я без очков.

Хис развернул газету и прочел на первой странице вечерней газеты:

«Финансист отменяет прием. За несколько минут до появления гостей на вилло Джошуа Игер-Райта его увозят в частную клинику доктора Хиса. Острая боль в области грудной клетки. Однако боль скоро проходит, специальные кардиологические исследования не обнаруживают серьезных нарушений сердечной деятельности. Доктор Хис и дежурный персонал клиники успокаивают друзей больного: «К утру профессор будет уже дома, а пока сон, сон, сон».

«Почему профессор?» — мысленно спросил Рослов, а Игер-Райт спросил устно:

— А что в утренних?

— То же самое, шеф. Финансовый обозреватель Джонни Листон даже позволяет себе пошутить: «В связи с внезапным заболеванием Джошуа Игер-Райта держатели акций африканских радиоактивных руд обеспокоились, не вызвана ли болезнь упорно циркулирующими слухами о предстоящем понижении этих акций на бирже в Нью-Йорке. Спешим успокоить встревоженных: болезнь выдающегося финансиста оказалась столь же недолговечной, сколь и слухи, якобы ее породившие».

Голый человек на кушетке хохотнул и надел халат.

— Неплохо сработано.

«Все подготовлено,— подумал Рослов,— место, время, событие, свидетели. Кто ж поверит теперь, что выдающийся финансист в это время за две тысячи миль отсюда руководил бандой налетчиков в территориальных водах другой мировой державы? Даже Корнхилл сделает вид, что ошибся».

В халате Игер-Райта Рослову было жарко, но тот, должно быть, привык. Зевнул и, потянувшись, сказал Хису:

— Кто был с тобой в приемной? Видер?

— Он.

— Наверно, сердится, что я предпочел сначала увидеть тебя?

— Кто и когда на вас сердится, шеф? Тем более Видер. Вы же ему платите втрое больше, чем мне.

— Он стоит этого, Хис.

— Я понимаю: африканские руды?

— Не только. Он физик, Хис. А наше время — век физики. Проведи-ка его на «островок уединения», достань виски и скажи, что я сейчас выйду.

Не переодеваясь, в том же халате Рослов-Трэси подошел к зеркалу и мысленно усмехнулся: на него глядел шеф банды налетчиков, гибкий и подвижный, несмотря на торс тяжеловеса-борца, не молодой, но и не старый, умевший в свои годы казаться моложе на десять лет, в каждом своем движении хищник, только вместо синей матросской фуфайки на нем пестрел цветастый персидский халат. «Еще держусь»,— с удовлетворением подумал Трэси. «Сволочь»,— прокомментировал Рослов и в чужой ненавистной шкуре не спеша прошел в неожиданно открывшуюся дверь, хотя в ней не было ни кнопок, ни ручек. «Фотоэлемент»,— успел подумать он и шагнул навстречу поднявшемуся с ближайшего кресла долговязому блондину с русой бородкой и в очках с тоненьким золотым ободком. Игер-Райт ничего не думал, он просто шел, как хозяин навстречу слуге, высокооплачиваемому слуге, но оплата в данном случае интересовала лишь слугу, а не хозяина. Он даже не счел нужным одеться для разговора с ученым, терпеливо поджидавшим его, наверное, более часа.

— Я подготовил все материалы, профессор,— вежливо сказал Видер.

— Брось «профессора», сынок,— поморщился Трэси.— Профессор — это учитель. Профессор я для таких же тузов с мошной, потому что больше их смыслю в передовой науке, вернее, в том, как выгоднее и лучше ее использовать. А ученых, которым я плачу, мне учить нечему. Им я приказываю.

— Слушаюсь, сэр.

— Отбросим и «сэра». Разговор на равных. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Не понимаю, объяснишь. Только не забирайся в научные джунгли: я не магистр и не бакалавр. И не упрощай: читаю не только комиксы.— Игер-Райт помолчал, позволяя Рослову оценить положение: разговор пойдет о Селесте, об этом знают оба, и оба к нему готовы.

— Селеста — разведчик другой планетарной цивилизации. Таково всеобщее мнение,— начал Трэси.

— Не всеобщее. Но бесспорное. И даже не планетарной, а может быть, галактической.

— Значит, в любой момент собранная на Земле информация может оказаться в распоряжении этой цивилизации?

Видер подумал и ответил, скрывая недоумение:

— Теоретически да. Но Селеста существует семь тысяч лет, если принять за основу наше летосчисление и правильность высказываний. Возможно, проблема надежности информария рассчитана не на тысячи, а на миллионы лет! Таких допущений можно сделать сколько угодно. Информация Селесты поступала и продолжает поступать по адресу его отправителей. Поступление информаций прекратилось, но информарий не уничтожен. Цивилизация, создавшая Селесту, видимо, давно погибла, и селектор работает вхолостую. Ни одно из этих допущений не позволяет говорить об угрозе для человечества.

— А для частных лиц или организаций?

— При неуправляемых контактах — да. Даже для государств. Но угрозу можно предотвратить специальной договоренностью, как, скажем, ядерную войну.

— Не проще ли уничтожить сам информарий?

— Как уничтожишь нечто невидимое и невещественное? — удивился Видер.— Судя по опубликованным данным, Селеста даже не газ, а незнакомый нам вид энергии.

На этот раз Трэси ничего не спросил, он молча сосал сигару, позволяя Рослову читать его мысли: «Можно, конечно, раздуть кампанию, популяризирующую прямую или косвенную угрозу Селесты. Можно даже создать партию на этой платформе и протащить своего кандидата в губернаторы или в сенат. Потребуются крупные, очень крупные капиталовложения, а в итоге? Нуль. Можно пощупать сенаторов. Продвинуть проект изоляции Селесты, подбросить его делегату в ООН, а под щитом изоляции попробовать легальные собственные контакты. Долго и дорого. Не окупится».

А вслух он спросил:

— Кто, по-вашему, возглавит контакты? Институт Мак-Керри? ЮНЕСКО?

— Едва ли,— усомнился Видер.— Думаю, выше. Может быть, даже непосредственно Совет Безопасности.

— С правом вето?

— Вето понадобится, когда правительство какой-нибудь страны попытается использовать Селесту в своих интересах.

— Неглупо,— сказал Игер-Райт и спросил, как показалось Рослову, сам не веря в то, что спрашивает: — А, скажем, особые часы информации для экономического прогресса? Я имею в виду интересы коммерческих фирм.

Видер уже совсем невежливо усмехнулся.

— Вам, я думаю, незачем говорить о том, как трудно сейчас хранить коммерческие тайны. А с вмешательством Селесты тайн вообще никаких не будет. Вы можете представить себе последствия?

Опять не ответил Трэси, и опять Рослов услышал его безмолвный ответ: «Кто-кто, а уж я-то могу представить эти последствия. Мальчик прав: никаких «экономических часов» тоже не будет. Но любой цензурный комитет составляется из людей, а стоимость любого из них исчисляется в долларах».

Вслух он сказал:

— Тогда забудем об этом.

Видер искренне удивился.

— На что же вы меня ориентируете?

— На то, что сказал. Забыть о нашем разговоре и о Селесте.

— А институт Мак-Керри? Вы же хотели послать меня в секцию физиков.— В голосе Видера дрожало разочарование.

Живот Трэси всколыхнулся от смеха.

— И пошлю,— услышал Рослов.— Только ты забудешь об этом как можно прочнее. И никаких дневников и писем. Селеста снимает все документированные записи. И мысли, если их много. Но я перехитрю его. Решение будет принято сразу, без размышлений. Зря потраченное время, сынок, обходится слишком дорого. А виноватый заплатит.

Последней реплики Трэси Видер не понял, но понял Рослов. Игер-Райт оценивал бурно и бесполезно прожитую ночь: он не простил. И когда Рослов увидел темные кресла амфитеатра в «переговорной», он тут же спросил Селесту:

«Как ты оцениваешь информацию?»

В сознании откликнулось:

«Как сигнал опасности. В будущем».

«Трэси умен».

«Как враг».

«Ты уже научился отличать друзей от врагов,— засмеялся Рослов.— Не упускай его из-под наблюдения».

«Я не наблюдаю. Я улавливаю мысли, если они посылают волну достаточной для приема мощности».

«А если его решение будет внезапным?»

«Решение уже мысль. Все зависит от ее интенсивности».

Селеста ответил и отключился. Шатаясь от усталости, Рослов вышел на срез острова.

Цепная реакция

Рослов застал Янину в слезах. На тарелках стыла поджаренная ветчина, а в больших чашках — кофе по-варшавски, восхитительно приготовленный Яниной.

Рассказать он не успел. Прожужжал телефонный зуммер. Звонил Корнхилл.

— Уже позавтракали? Нет? Поторопитесь. Внизу в холле все зазимовавшие здесь репортеры. Откуда узнали? Понятия не имею. Люди мои не болтливы, но кое-кто, вероятно, не утерпел.

В номер Корнхилл и Смайли вошли без стука, сразу захлопнув дверь.

— Проскочили,— облегченно вздохнул Корнхилл.— В гостинице о ночном рейде знают все — от портье до бармена. Что же вы хотите от репортеров? Они жаждут подробностей — откуда появились налетчики, чего хотели и чего добились.

— И кто возглавлял их,— добавил Смайли.

Корнхилл поморщился.

— Не торопись. Я бы не упоминал Игер-Райта.

— Почему?

— Трэси никогда не рискует зря. Отправляясь в поход, он наверняка обеспечил себе алиби. Подождем новостей из Лос-Анджелеса.

— Я уже знаю их,— сказал Рослов.— Вчерашний прием на вилле в Санта-Барбара был отменен из-за внезапного сердечного припадка у хозяина. За пять минут до отъезда гостей его в бессознательном состоянии отвезли в клинику доктора Хиса, а после соответствующих процедур рано утром вернули домой.

— Селеста? — понимающе спросил Корнхилл об источнике сведений Рослова.

Тот кивнул.

Окончание следует

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Александр АБРАМОВ, Сергей АБРАМОВ

Фантастический роман

ДЖИН ИЗ ЛАЗУРИ

Все сказанное Рословым и его спутниками журналисты добросовестно запечатлели на своих портативных магнитофонах и побежали на телеграф. А прибывший к концу этой импровизированной пресс-конференции Барнс заметил с присущей ему желчной назидательностью:

— Зря вы раздули эту историю. Как бы не пришлось потом пожалеть.

— Но мы не назвали Игер-Райта,— сказал Корнхилл.

— Дело не в именах, а в цели налета. Я понимаю, сенсация. Десять миллионов долларов не будут отняты у калифорнийских банков. Но меня, честно говоря, волнует больше судьба будущих контактов с Селестой.

— А что же им угрожает? — удивился Корнхилл.

— Вы полицейский, Корнхилл, и рассуждаете, как полицейский. Для вас предотвращение, хотя бы с помощью Селесты, преступления такого масштаба — доблесть. Но не окажутся ли газетные отклики на эту, допустим, доблесть, метафорически говоря, первым дымком разбуженного вулкана? Рослов улыбается... Спросите, Корнхилл, почему он улыбается? Как-то мы обсуждали с ним один вполне вероятный вариант понимания контактов с Селестой. Что ж, Игер-Райт уже показал этот вариант. На юридическом языке это называется раскрытием закона охраняемой секретности и к науке никакого отношения не имеет. По-моему, ваша болтовня подсказала его сотням тысяч читателей.

Барнс оказался провидцем. Вариант Игер-Райта подогрел славу Селесты, но уже не под флагом науки. Рядовые читатели объявлений и крупнейшие рекламодатели одинаково встревожились: а что будет с миром, если исчезнет секретность? Спроси Селесту, и станет явной любая тайна, от интимной до государственной. А «законный» обман, на котором испокон веков держалась и держится частная коммерческая инициатива, будет немедленно разоблачен и конкурентом и потребителем. И, отражая крик души перепуганного читателя, обозреватель лондонской «Дейли миррор» так прямо и вопрошал:

«Каким же будет наше общество без тайн и секретов? Что предпримут держатели акций и пайщики банков, обнаружив дутые фонды и опустевшие кассы? Что ожидает магнатов новейшей электронной промышленности, созданной для рассекречивания коммерческих тайн? Что станут говорить владельцы патентов на аппаратуру для дистанционного подглядывания и подслушивания? Не угрожает ли нам новая эпидемия самоубийств, быть может, самая страшная со времени экономического кризиса тридцатых годов? Или междоусобные войны в окопах акционерных обществ и на полигонах бирж, банков и ссудных контор? Нет тайны — нет кредита, нет доверия, нет спокойствия. Я не обижу читателей, если спрошу от их имени: а нужен ли вообще миру Селеста и не разумнее ли обойтись без него?»

— Неужели все это всерьез? — удивился Рослов, передавая Барнсу номер газеты, когда

Окончание. Начало в №№ 13—17.

они втроем с Яниной разбирали у Смайли утреннюю почту конторы.

— А вы думаете, он шутит?

— Признаться, да.

— Вы плохо знаете англичан,— усмехнулся Барнс.— Чаттертон не шутил, когда подделывал Шекспира, а Макферсон придумал Оссиана не из присущего ему чувства юмора. Английский юмор не маскируется. Поэтому читатели никогда не обижались ни на Джерома, ни на Вудхауза. А вот на автора «Дейли миррор» обиделись. Именно потому, что он не шутил, допуская, что частная инициатива не всегда честная инициатива. Нельзя обнажать святыню среднего англичанина. Иначе он возьмет под защиту даже Селесту.

И Барнс процитировал:

— «Тайны может разглашать любая электронно-вычислительная машина. Она же может и оберегать. Все зависит от управления. Не задавайте Селесте коварных вопросов, поставьте барьер для таких вопросов — холодный ум цензора. Есть тайны и тайны. И только специалисты, облеченные доверием общества, могут определить, какие тайны полезны и какие опасны для нашего политического и экономического прогресса».

— Это письмо в редакцию «Таймс», подписанное консультантами трех лондонских банков,— пояснил Барнс.— Как видите, может быть и такое понимание контактов.

Уничтожить Селесту никто не предлагал. Как уничтожишь что-то невидимое, неопределимое никакими приборами и неизвестно где пребывающее — в атмосфере ли, в стратосфере или, быть может, в околоземном космическом пространстве, словом, нечто невещественное, но обладающее достаточными защитными средствами против вмешательства земной техники. Но сторонников изоляции информария оказалось много. Ограничить потребление информации за счет непосредственных контактов с человеком, помешать использованию разума и чувственного аппарата человека как проявителей и корректоров информации! Мощный военно-морской кордон вокруг Белого острова надежно отрежет его от людей. А кто скажет, что Селеста не представляет такой опасности? Кто это докажет?

«Изоляционистам» возражали «лимитаторы». Отрицая неведомую, а потому и недоказуемую опасность, они предлагали рецепты для защиты от опасности ведомой и доказательства не требующей, вроде угрозы устранения законной секретности. «Лимитаторы» требовали создания особого цензурного фильтра для контактов с Селестой, предварительного рассмотрения всех вопросов, которые могли быть заданы информарию.

Барнс перелистал пухлую стопку подобранных им газетных вырезок.

— Есть и другие проекты,— сказал он.— Баумгольц и Чаррел, не сговариваясь, например, предлагают поставить Селесту вне науки. Они не отвергают изучения феномена, но решительно отрицают ценность взаимных информативных контактов. Отдайте Селесту на откуп кому угодно, кроме науки. Наука, как Пилат, умывает руки и отправляет Селесту на Голгофу военных, коммерческих и прочих секретов.

Барнс, перебирая вырезки, читал заголовки:

— «Мы не боимся игры с открытыми картами. У нас хватит долларов, чтобы оплатить ставки». Это, между прочим, мультимиллионер Фокс из прославленного Далласа. «Нет больше тайн — тем лучше. Перейдем к здоровой конкуренции джунглей». А это его коллега из Орегона: «Отстраним коммунистов от контактов с Селестой. Пусть «очеловечивается» под началом стоящих американских парней». По-моему, эта бэрчистская реприза по вашему адресу, Рослов. А вот и концовка: «Кто владеет тайнами нашего мира, тот и станет его владыкой». Ясно, чем и откуда пахнет? Я не коммунист и не социалист, но могу честно сказать, что наиболее трезво и разумно пишут только в Москве.

Московские газеты не полемизировали с трескотней Запада. В заявлении ТАСС указывалось, что по инициативе советских представителей в Организации Объединенных Наций достигнуто соглашение о подчинении создаваемого ЮНЕСКО международного научного Института под условным названием «Селеста-7000» непосредственно Совету Безопасности ООН. Все дальнейшие шаги в этом направлении, равно как и взаимный информативный обмен с бермудским феноменом, допускаются лишь с ведома и разрешения Совета Безопасности или уполномоченных им организаций и лиц.

Одновременно опубликованное обращение Президиума Академии наук СССР к ученым всего мира так же категорично и ясно выражало свое согласие с подчинением деятельности Института «Селеста-7000» непосредственно Совету Безопасности и ограничением проблематики контактов исключительно интересами мира и научного прогресса. По мысли авторов обращения, с такими вопросами, как тематика, важность и очередность контактов, мог бы справиться специальный координационный комитет, избранный руководством Института и утвержденный Советом Безопасности. Обращение также предостерегало ученый мир Запада от безответственных сеятелей панических слухов и раздувателей новой антикоммунистической истерии, возвращающей человечество к временам «холодной войны».

— С удовольствием подпишусь,— заключил Барнс.— Разумно и целесообразно. И что особенно приятно лично мне, так это ваше участие в будущем руководстве феноменом.

К этому времени в Гамильтоне уже было известно, что от Советского Союза в руководство Института «Селеста-7000» были выдвинуты доктор физико-математических наук Андрей Рослов и доктор биологических наук Семен Шпагин.

Еще одна цепная реакция

Профессор Юджин Бревер вышел из штаб-квартиры ООН вместе с московским корреспондентом Кравцовым. Только что закончилось совещание экспертов по теме «Селеста-7000», готовившее материалы для завтрашнего заседания Совета Безопасности. Бревер удалось ускользнуть от журналистов, но Кравцов поджидал его у выхода, и Бревер покорился участи интервьюируемого. Он не любил газетчиков, особенно американских, но к Кравцову, с которым встречался на московских симпозиумах, благоволил. Москвич держался скромно и ненавязчиво, никогда не задавал вопросов, связанных с биографией Бревера, его семьей и склонностями, не имевшими отношения к предмету беседы, всегда излагал точно и немногословно, не обнаруживая так часто встречающихся в практике интервьюеров невежества и всеядности. Но время и место для интервью были выбраны неудачно, и Бревер спросил:

— Где ваша машина?

— Не успел приобрести,— улыбнулся Кравцов.

— Тогда пошли к моей. Подвезу. Вам куда?

— Все равно. Лишь бы дольше ехать.

— В полчаса уложитесь? Хотя ведь вы были на совещании. По-моему, я ответил на все предполагаемые вопросы.

— Кроме одного.

— Би-подчиненности?

— Вы угадали. Важнейший вопрос и никаких комментариев.

— Они были сделаны при закрытых дверях. Спросите об этом вашего соотечественника, профессора Рослова.

— Он не любит, когда его называют профессором, и не любит, как и вы, чересчур любопытных газетчиков. Но я спрошу его, конечно: давно знакомы, да и в одном отеле живем. А сейчас мне все-таки хотелось бы знать ваше мнение.

Бревер вывел машину со стоянки.

— Проедем по Сентрал-парк-авеню. У нас есть время. Вы думаете, я не приемлю двоевластия в Институте? Ошибаетесь. Оно целесообразно. Кесарево кесареви, а богово богови. Научную работу Института возглавит ЮНЕСКО, а политическую Совет Безопасности. Для этого и создается Координационный комитет. Это и контроль, и рекомендации, и прямая подсказка иного решения проблемы. Предположим, биохимики или биофизики ставят проблему вмешательства в психические процессы человека. Такое вмешательство может быть благотворным и прогрессивным, а может и угрожать человеку или даже человечеству. Другой пример: допустим, предложенная постановка научной проблемы может затрагивать интересы народов и государств. Есть такие проблемы? Сколько угодно. Координационный комитет в таких случаях обязан снять проблему или, если это возможно, подсказать иное ее решение. По такому же принципу должны рассматриваться и любые вопросы к Селесте.

— С правом вето?

— Конечно. Только принцип единогласия может обеспечить безопасность контактов. Хотя мнения экспертов и разошлись, я лично думаю, что вопрос уже предрешен. Независимо от того, состоится ли завтра заседание Совета Безопасности или будет отсрочено.

— Что может вызвать отсрочку? —,удивился Кравцов.

— Кворум экспертов. Необходимость замены больных или отсутствующих по разным причинам. Не понимаете? Заболел Мак-Керри. Но вместо него завтра утром приезжает Джон Телиски. Не проговоритесь: это секрет. Исчез Вертини. Опять не понимаете? Именно исчез, внезапно выехал из отеля неизвестно куда, не оставив адреса и никого не уведомив. И это накануне заседания Совета! Слишком странно.

— Вы что-то подозреваете?

— Опасаюсь. Правительства, церкви, монополии, банки, подпольные синдикаты — мало ли чьи интересы затрагивает будущее Селесты? Может быть, даже пожалеете, что сели в одну машину со мной. Не высадить ли вас на этом углу?

— Вы шутите, профессор?

— Это было бы шуткой в Москве, где осторожный водитель без всякого риска может вдоль и поперек пересечь город, но в Нью-Йорке это не шутка.

Бревер медленно свернул за угол и резко затормозил. Эта реакция спасла их от катастрофы. Метнувшийся навстречу желтый фургончик вывернулся зигзагом и смял радиатор машины профессора, отбросив ее на тротуар. По счастливой случайности никто не был сбит. Отделавшись легким ушибом, Кравцов вытащил потерявшего сознание Бревера: жив ли? Но профессор тут же пришел в себя и сказал:

— Ну вот вы и убедились в шутках Нью-Йорка.

А к месту происшествия, расталкивая любопытных, уже пробирался полицейский в сопровождении двух человек в штатском. По внешнему виду их можно было принять за бизнесменов средней руки. Один из них, с коротко подстриженной черной бородкой, вручил полисмену визитную карточку и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Отправьте пострадавшего с этой машиной.— Он указал на остановившийся поодаль белый «шевроле» с красным крестом.— Владелец ее, доктор Стюарт, случайно проезжал мимо. У него собственная клиника на Лексингтон-авеню. Все расходы я беру на себя, равно как и ущерб, причиненный моим фургоном.

— Но я не пострадал,— сказал Бревер, поднимаясь.— Доберусь сам. И мне помогут.

— Ваша машина разбита, сэр,— вмешался второй из подошедших с полицейским.— Я отвезу вас, осмотрю и отправлю домой, если не найду ничего серьезного. Помогите мне довести его до машины,— обратился он к полисмену.

Бревер умоляюще взглянул на Кравцова, но смысла его мольбы тот так и не понял. Конечно, лучше, если профессору будет оказана медицинская помощь. Шуток Нью-Йорка, о которых говорил Бревер, Кравцов не знал.

А Нью-Йорк «шутил».

Через час повелительный баритон соединился с клиникой Стюарта на Лексингтон-авеню.

— Что с ним, док?

— Совершенно здоров. Никаких травм.

— Плохо. Где он?

— Пока у нас.

— Как информировали?

— Легкое сотрясение мозга. Успокаивающее и сон. Обещали утром отправить домой.

— Не выйдет. Шефу нужны два-три дня.

— Попробуем пентотал.

— Яд?

— Смех.

— Мне не до смеха, док. Наркоз?

— Из группы барбитуратов. Супер. Проспит сутки — повторим. Потом стимулятор.

— Поаккуратнее. Шефу нужна только отсрочка.

— Сделаем. Леге артис.

— Что, что?

— Леге артис. По всем правилам искусства. Шеф поймет.

Ночной междугородный вызов не поднял Игер-Райта с постели. Из-за разницы во времени он не спал. Его нашли в казино «Феникс», где подсчитывались прибыли его игорных домов. Прибыли беспричинно уменьшались, и Трэси подошел к телефону рассерженный.

— Он сейчас в клинике Стюарта, шеф,— отрапортовал Кордона.— Легкое сотрясение мозга.

— Не ври.

— Клянусь пречистой девой, шеф. Три дня обеспечено.

— Час назад мне сообщили, что ваш фургон промазал, как пьяница в тире. Старик тут же очухался.

— А док был рядом. С машиной. Три доллара постовому — и старик в клинике. Все будет лего... лего...

— Лего артис, невежда. Латинские изречения надо знать наизусть, чтоб тебя уважали. А за что тебя уважать, Фернандо? Будешь мыть стекла по пять долларов с фасада.

— Дешево цените, шеф.

— Возьмешь и по три.

— Плюс тысяча. Час назад Бертини вылетел первым классом.

Трэси сразу повеселел, но не изменил интонации.

— Сколько взял?

— Ни цента.

— На что клюнул?

— На крючок. Я выложил рейсовый билет на стол и сказал, что маффиозо покойного Джино есть и в Неаполе. А вас, проф, говорю, ожидает молодая жена и два бамбино, которым, сами понимаете, жить да жить. Итальянец подумал и взял билет. Предварительно переменил отель, как было условлено. Никаких следов.

Через несколько минут другой междугородный телефонный звонок разбудил нью-йоркского адвоката Оливера Клайда, младшего партнера юридической конторы Донован и Клайд.

— Спал, Олли?

— Я думаю. Третий час ночи.

— А у нас двенадцати нет. Извини. Заседание Совета завтра утром?

— Уже отложено.

— Из-за Бревера и Бертини?

— Ваша работа, шеф?

— Не надо быть слишком догадливым, сынок. Это вредно. Кого введут в комиссию вместо выбывших?

— Баумгольца и Чаррела.

— Мак-Керри не прибудет?

— Вместо него завтра утром, вернее уже сегодня, прибывает Телиски.

— Скверно.

— Русский хуже.

— Устранять русского бесполезно. Пришлют другого. Есть шанс ввести в Координационный комитет Видера?

— Один к десяти.

— Совсем плохо.

— А какой смысл? Все равно у них право вето.

— Пройдет?

— Наверняка.

Цепная телефонная реакция угрожающе развивалась. Два междугородных вызова один за другим.

— Кто рядом, Тэрри?

— Никого.

— Я слышу голоса.

— В соседней комнате играют в покер. Я отошел.

— Закрой дверь плотнее.

— Закрыто.

— Микрофонов нет?

— Кому нужен Тэрри, игрок и сводник?

— Сейчас он нужен мне. Есть бомбы у нас на складе?

— Пластиковые? Сколько угодно.

— Не подойдет. Ядерных не достанешь, а скажем, тротиловые.

— Ого!

— Срок — сутки. Вес достаточный, чтобы уничтожить риф, айсберг, скалу в масштабе сто на сто. Объект должен быть доставлен послезавтра до рассвета в наш ангар в Сан-Диего.

— Руди в курсе?

— Не задавай лишних вопросов.

Через час пилот спортивного самолета Руди Мэрдок доставил Игер-Райта в Санта-Барбара. Выходя к поджидавшему его роскошному своей старомодностью «ройсу», Трэси сказал пилоту:

— Завтра рейсов не будет. Поедешь в Сан-Диего и подготовишь к полету «Локхид». Подождешь Тэрри в баре или в бильярдной. Примешь от него пирожок с начинкой. Что дальше, где, как, когда и зачем, узнаешь на месте.

Цепная реакция продолжалась. Дома Трэси ждал Видер.

— К вам труднее пройти, чем в Белый дом к президенту. Охрана проверяла меня по отпечаткам пальцев.

— Трудно жить в Америке, сынок. Вот перееду в Европу, поближе к Афинам или куплю островок в Средиземном море.

— Вы б охотнее купили другой островок. Только судьба его решена.

— Пока еще нет. Заседание отложено. Бревер в больнице. Бертини без объяснения причин сбежал в Неаполь.

— Найдут других.

— Уже нашли. Есть предположение: Чаппел вместо Бревера, Баумгольц вместо Бертини.

Видер не позволил себе даже улыбки. Он только спросил:

— А что противопоставят они настоящим ученым? Никаких шансов в Совете Безопасности.

— А на Генеральной Ассамблее?

— Никаких шансов в ООН вообще. Селеста вне науки — это война. И еще неизвестно, на чьей стороне будет Селеста. Можно владеть островом, но нельзя принудить связанный с ним феномен к контактам.

— Ты прав, сынок. Что ни шаг, то болото. Легче нам было жить без Селесты.

Цепная реакция заканчивалась. Еще один междугородный вызов.

— Откуда, Тэрри?

— Из Сан-Диего, шеф. Груз доставлен.

— Никаких осложнений?

— Тихо, как в церкви. Только Руди пьян.

— Приведи его в чувство, и ни капли виски до завтра. Вылет из Сан-Диего обеспечишь без инцидентов. Посадку в Норфолке обеспечит сам Руди. Кстати, это в его интересах: пирожок начинен не вареными яблоками. Вылет из Норфолка Уинтер берет на себя, а на таможню я позвоню сам.

— Нужна карта?

— Зачем? Место Руди знает. Он уже летал на разведку с ближайших островов. Говорит, что защитное поле включается на высоте одной-двух миль при подходе рейсовых к Гамильтону. Есть шанс, не сбрасывая груза, спикировать прямо на риф с большой высоты и катапультироваться. Патрульный катер подберет, а о дальнейшем я позабочусь. Надеюсь, пилот не подведет?

— Руди? Смешно. Но гонорар, шеф...

— Тебе в тройном размере, Руди — в десятикратном.

Реакция подошла к критической точке. Трэси прошелся по комнате, стараясь не думать о предстоящей акции. Он прочел все наиболее стоящее из написанного о Селесте и знал, что избирательный аппарат селектора не принимает рассеянных, нестабильных мыслей. Селеста мог не заметить задуманного Игер-Райтом, как не замечал семейных ссор, уличных скандалов и служебных конфликтов. А вдруг заметил? Трэси сознавал, что надеется на случайность. Прорвется самолет на максимальной скорости, не сработает защита, полетит к черту риф. Если верить ученым, судьба информария в этом случае становилась критической. Трэси был игроком, не мог им не быть, нажив миллионы на легальном и нелегальном игорном бизнесе. Он знал, что играет крупно, но выигрыш стоил риска. Единственно, что его останавливало,— это телефонный аппарат, скрытый в замаскированном стенном сейфе. По этому телефону Трэси никто не звонил, звонил лишь он сам да и то нечасто и в условиях строгой секретности, повторяя вызов, пока не откликнется трубка. На этот раз она откликнулась сразу:

— Я знаю все, что вы мне скажете.

Трэси ответил также без преамбулы:

— Кто-нибудь возражает?

— Не возражает, но и не одобряет. Во всяком случае, не прямо. Акция пойдет целиком под вашу ответственность.

— Я не вижу возможности использовать его в наших интересах.

— Есть мнения, что научный прогресс всегда можно направить по надлежащему руслу.

— В легальных условиях?

— Совет Безопасности пока нам не мешает.

— А если я все-таки рискну?

— Если эксперимент удастся, вас не осудят. Если нет,— не поддержат.

Трубка щелкнула и умолкла. Трэси запер сейф и задумался. Не поддержат. Значит, в случае неудачи — скандал. Прижмут на бирже. Слопают, может быть, африканские рудники. Потери будут исчисляться в семизначных цифрах. И все-таки это еще не разорение. Селеста угрожает стать опасным, и Трэси лучше будет жить без него. Джошуа Игер-Райт уже потерял тысячи долларов и Джино, стоившего десятки тысяч. Но даже миллионы можно будет воспроизвести. Нельзя было воспроизвести только потерянное время, а в его годы оно с каждым днем становилось дороже.

И Трэси нажал кнопку.

Кнопка Трэси

Руди Мэрдок, личный пилот Игер-Райта, был не только спортсменом в жизни, он был спортсменом в душе. Задача, предложенная шефом, его не смутила. К судьбе Селесты он был вполне равнодушен, никаких угрызений совести не испытывал, и его даже радовала сама попытка перехитрить космический разум, нанести удар прежде, чем тот успеет включить свою неандимую защиту.

Одно его смущало: он не хотел человеческих жертв.

— Их и не будет,— уверил его Тэрри.— Все работы на острове прекращены. Сняты даже дежурства.

— Но Институт уже построен.

— Где? В столице, а не на коралловом пятачке. И потом судьба его еще не решена. По распоряжению Совета запрещены пока все неконтролируемые контакты с Селестой.

— Откуда ты знаешь?

— Я еще утром говорил по телефону с Корнхиллом. Это начальник местной полиции, блокировавшей, кстати говоря, все морские подходы к рифу. Но нашему «Кондору» они не страшны. Меня больше пугает посадка в Порфолке и блокада таможенников.

Но взлетно-посадочная полоса норфолкского аэропорта приняла «Кондор», как лед пущенную без адреса шайбу. Руди посадил самолет играючи, даже не покачнув грузового отсека. Встретивший Руди неопределенного возраста человек в форме гражданской воздушной администрации был пилоту хорошо знаком. Это и был Уинтер, от которого зависело выполнение всех необходимых формальностей, связанных с дальнейшим полетом. Да кто и зачем мог ему воспрепятствовать? Самолет Руди был известен на всех крупнейших рейсовых аэродромах Америки, имя его хозяина тоже. Багаж Игер-Райта никогда не досматривался, выездные визы ему не требовались. Возможные же осложнения мультимиллионер предусмотрел сам, лично сообщив таможенным чиновникам аэропорта, что самолет его следует на Бермуды с грузом хрупких приборов для Института «Селеста-7000» в Гамильтоне. Вскрывать ящик не требуется, слово Игер-Райта является достаточной гарантией законности перевозки.

Но Трэси не учел существования подозрительного и несговорчивого инспектора Интерпола О'Лири. Вспыльчивый и упрямый, как все ирландцы, О'Лири возмутился халатной доверчивостью таможенников. Какое ему, О'Лири, дело до того, кто хозяин самолета — Рокфеллер или Игер-Райт? Он служит не хозяевам Чейз-нейшнл банка или урановых рудников. Кто и чем может доказать ему, что в ящике не ампулы с «Эльсдэ» или героином? И когда реактивный «Локхид» Трэси под именем «Кондор» уже готовился к старту, на «место преступления» прибыл на мотоцикле инспектор О'Лири.

— Отставить полет! — объявил он без предупреждений.— Я требую вскрытия ящика. Кто пилот самолета?

Руди Мэрдок не спеша подошел к говорившим.

— Я пилот самолета.

— Без моего разрешения самолет не поднимется в воздух.

Руди молча оглянулся — поблизости, кроме них, никого не было — и так же молча обвязал носовым платком ладонь левой руки и перевязанной рукой снизу, профессионально, как на ринге, толкнул инспектора в челюсть. Руди был спортсменом не только в душе, он был им в жизни.

Что-то хрустнуло, инспектор икнул и, как мешок, плюхнулся на землю. Руди заботливо снял платок с пальцев.

— Чистый нокаут,— сказал Уинтер.— Счета не открываю. Взлетай.

Корнхиллу подали телеграмму О'Лири в тот момент, когда к нему заехал поговорить Смайли. Было около девяти утра, но жара приучила обоих вставать спозаранку.

— Занятно,— сказал Корнхилл, прочитав телеграмму, и передал ее Смайли.— Кажется, наш общий друг опять что-то замыслил.

Смайли прочел:

«Восемь тридцать утра по местному времени из Норфолка вылетел реактивный «Локхид». Направление — Бермуды. Владелец — Игер-Райт, пилот — Мэрдок. На борту самолета тысячефунтовый ящик с надписью «Осторожно, не вскрывать, стекло». По документам — приборы для Института «Селеста-7000». Груз не досматривался. При попытке досмотра пилот оказал

сопротивление, применив силу. Подозреваю контрабанду и настаиваю на немедленном досмотре груза после посадки в Гамильтоне. О'Лири».

— Кто это О'Лири? — спросил Смайли.

— Инспектор Интерпола. Очевидно, Уинтер обошел его на финише, обеспечив самолету «зеленую улицу».

— А кто это Уинтер?

— Человек Игер-Райта в Норфолке. Ты что-нибудь знаешь об этих приборах?

— Мы не заказывали лабораторного оборудования в Америке. В Европе оно дешевле. Да и какие приборы можно купить у Трэси, кроме игральных карт или фишек?

— Думаешь, снова угроза? — насторожился Корнхилл.

— А почему бы нет? Трэси — упрямый человек. На борту самолета, кроме пилота, только этот тысячефунтовый ящик. А что в ящике?

— Явно не десант. Приземление на острове исключается: не позволит защита, да и островок маловат. Посадка на воду тоже: реактивный «Локхид» не гидроплан. Значит, ящик предполагается сбросить. Зачем? Отравить воду? Бессмысленно. Воздух? Может быть, есть какой-нибудь газ — опасный для Невидимки?

— Где Шпагин?

— На острове.

— Радируй в переговорную.

Минуту спустя Шпагин ответил:

— Что случилось?

Смайли объяснил. Шпагин потребовал прочесть телеграмму, выслушал соображения Корнхилла и попросил несколько минут на раздумье: «Штука серьезная, сразу не разгадаешь». Думал он три с половиной минуты, но сгоравшим от нетерпения Корнхиллу и Смайли показалось, что прошла добрая четверть часа.

— Никакой газ Селесте не страшен,— ответил Шпагин,— да и ящик тоже, что бы в нем ни было. Угол его падения изменит защитное поле.

— А если самолет спикирует прямо на риф? — предположил Смайли.— Достаточно ли мощно защитное поле, чтобы погасить скорость реактивного самолета в пике?

Шпагин опять замолчал.

— Не знаю,— наконец откликнулся он.— Допустим, что мощность поля окажется недостаточной, а в ящике бомба или взрывчатка, способные вдребезги разнести Белый остров. Последствия мне неясны. Селесте нужна тяготеющая масса, она стабилизирует его местожительство в земной биосфере, и что произойдет, когда этой массы не будет, предугадать трудно. Лучше всего спросить у Селесты.

— Селеста может не сразу откликнуться, а самолет приближается с угрожающей быстротой. Что бы ни случилось, рисковать глупо. Садитесь в лодку и отъезжайте на приличное расстояние,— предложил Корнхилл.

Шпагин помолчал и снова откликнулся:

— Я не покину острова, не переговорив с Селестой. Может быть, у него нет информации о самолете и его грузе. Может быть, Игер-Райт так провел операцию, что она не оставила стабильных информативных следов. Кроме того, нечестно оставлять друга в опасности.

— Не глупи, Сэм,— горячился Смайли.— Селеста не человек.

— Какая разница? Он друг.

— Чем ты поможешь, если не сработает защита?

— Смогу предупредить.

— Защита запрограммирована и действует автоматически,— вмешался Корнхилл.— Даже Селеста не оценит твоего донкихотства.

Аппарат замолчал.

— Псих! — в сердцах сказал Смайли.

— Нет,— вздохнул Корнхилл,— просто мы с вами, Боб, еще плохо знаем русских.

А русский в эту минуту, оставив переговорную, вышел на пенистый скат сахарно-белого рифа и, не увидев в небе ничего, кроме синей бездонности, мысленно воззвал:

— Ты слышишь меня, Селеста?

— Слышу,— привычно откликнулось в сознании.

— Все знаешь о самолете?

— Многое. Записи диспетчерских в Сан-Диего и Норфолке. Таможенные протоколы. Рапорт и телеграмму инспектора Интерпола. Документы на оформление контейнера. Оформлен, как сжиженный газ «Эй-даблью» на химических заводах Хористайна. В настоящую минуту самолет приближается к острову. Информацию пилота не принимаю: не стабильна.

— Насколько велика отражательная мощность твоего защитного поля?

— Не знаю.

— Если самолет спикирует прямо на риф, сможешь ли ты погасить его скорость или изменить направление полета?

— Не знаю. Не было опыта.

— Но ты можешь увеличить параметры поля?

— Конечно.

— Самолет может пикировать на максимальной скорости. Учти.

— Учел.

— Еще вопрос. Если бы не выдержала защита и взрыв уничтожил остров, что случилось бы с твоей биосистемой?

— Не знаю.

Шпагин не продолжал, потому что Селеста уже отключился. Теперь Шпагин мог сойти вниз к хрустально прозрачной бухточке, где уже поджидал готовый к отплытию катерок. Он тихо покачивался, словно дрожа от нетерпения: ну, скорей, скорей же! Несколько шагов вниз, несколько оборотов мотора, и катерок, как почуявший опасность зверь, будет уходить все дальше и дальше. Но Шпагин не двигался: что-то удерживало его. Мальчишеское любопытство, которое заставляет ребят на деревенском пожаре пробираться поближе к огню, или сентиментальная привязанность к Невидимке, в котором хотелось приобрести друга: как же уйти, если друг в опасности. А чем может помочь он, Шпагин, если пятьсот килограммов тротила все же прорвут защиту? Только исчезнуть вместе с коралловым крошевом в океанской воронке взрыва. Шпагин даже усмехнулся в ответ на тщетные призывы разума: он уже знал, что останется. Вероятно, уже недолго ждать, может быть, минуту, не больше. Самолет реактивный, летит на большой скорости. Вот-вот покажется.

С таким же нетерпением следили за небом и с борта военного катера, с другой стороны подходившего к острову. Катер еще не достиг границы островных вод, где действовало защитное поле Селесты, но белый горбик рифа был уже виден в сильный бинокль. Разумеется, катер не мог взять всех наводнявших город ученых и журналистов, но многие из них, предупрежденные Смайли, все же успели захватить местечко на палубе. Только Янина не находила места. Хотя воздух был чист и прозрачен и просолен океанскими брызгами, ей казалось, что нечем дышать. «Порядок, Яна,— сказал ей Смайли,— Сэмми не Дон-Кихот, зря рисковать не будет. Значит, все выяснил: не страшно». Конечно, не страшно, если уверен в защите. А если не удалось связаться с Селестой? Ведь пятьсот килограммов взрывчатки! Янина торопливо металась от борта к борту, невпопад отвечая на вопросы, не вмешиваясь в разговоры, не огрызаясь на выпады. «Почему он остался на острове? Не было лодки? Так могли послать вертолет». «Не захотел. Должно быть, надеется на защитное поле. Если выживет — знаменитость!» «Он и так знаменитость». «А если Селеста не выдержит, я бы русских вообще отстранил от контактов. Умненько, осторожненько, но дальше, дальше...» Янина шла мимо, стараясь не видеть говоривших. А реплики преследовали ее, то взволнованно-серьезные, то равнодушно-циничные. Янине хотелось зажать уши, ей не хватало Андрея. Смайли стоял у борта, не отрывая глаз от бинокля.

— Ничего не видно, Боб?

— Пока нет, Яна.

Кто-то крикнул рядом:

— Вижу!

— Где-где?

— Справа по горизонту. Вон, видите?

На голубой кальке неба появилась черная точка. Она медленно двигалась, оставляя позади белый след. След идущего на большой высоте реактивного самолета был виден уже без бинокля. Он медленно раскручивался, вычерчивая замысловатую геометрическую фигуру, словно примеривался, пристраивался, выбирая место, откуда удобнее и точнее ударить по цели. Шпагин со своего наблюдательного пункта на кромке рифа видел этот маневр. Он даже удивлялся ему: спортсмен-трюкач, храбрец, каминадзе. Ведь он жестоко рисковал, этот заранее продавший свою жизнь кандидат в самоубийцы. На что он рассчитывал? На своевременность броска, на безотказность катапульты? А если поле вышвырнет самолет, не погасив скорости? Какая чудовищная сила рванет тело, сплющит с доской приборов, с кусками разорванного, скрученного металла!

Руди Мэрдок об этом и не думал. Его примитивно организованный мозг не знал импульсов, определяющих склонность к философичности. Он мыслил просто и ясно: десятикратный гонорар стоит риска, в случае удачи можно бросить вообще пилотаж и оборудовать бар вблизи какого-нибудь аэропорта. Связи у Руди есть, взятки будут невелики, и по организации дела кое-что еще останется про запас. Бизнесмен в душе дополнял спортсмена. Руди шел на риск расчетливо, как игрок, подглядевший карты партнера.

Конечно, он волновался, не мог не волноваться, и, когда наконец нашел или, вернее, угадал место пристрелки, глубоко вздохнул и, не раздумывая больше, не сомневаясь, бросил машину с шестимильной высоты вниз. Белый горбик приближался, вернее, вырастал с каждой секундой. Пять секунд, шесть, восемь... Пора катапультироваться, пока не включилось защитное поле. Сейчас он пулей вылетит вверх и повиснет на парашютных стропах над фонтаном огня и коралловой пыли.

Но что это? Нажал рычаг выброски — и никакого эффекта. Еще раз нажал. Еще. Должно быть, механизм катапульты испорчен. Значит, конец. Руди закрыл глаза и снова открыл их. Самолет как бы повис в воздухе, и уши не слышат привычного рева двигателей. Странная голубая тишина и неподвижность. Без толчка, без сотрясения невидимые клещи подхватили машину и зажали ее где-то между морем и небом.

Все это видели и с борта приближавшегося катера. Разговоры сменились глубоким молчанием: Селеста предотвратил угрозу. Техническая оснащенность Невидимки оказалась достаточной, чтобы отбить, казалось, неотразимый удар. Без локаторов и ракет. Каких усилий это стоило информарию, никто не знал. Но ни на воде, ни в воздухе ничего не произошло. Ни тайфуна, ни цунами.

Молча ждали люди, наблюдая за самолетом, медленной спиралью скользившим к воде. «Утонет»,— сказал кто-то. «Кто, летчик?» — спросил Смайли и показал биноклем на уже лежавший на волнах самолет: казалось, он приобрел плавучесть, как спущенный на воду плот.

Но Мэрдок не разделял этого убеждения. Он вытащил надувную лодку из кабины, вылез с ней на крыло, уже наполовину погруженное в воду, и пустился в плавание, отталкиваясь коротким, похожим на большую теннисную ракетку веслом. Он плыл к острову, а самолет погружался все глубже, пока совсем не исчез из глаз.

А на острове Шпагин помог выбраться на берег негодующему Руди Мэрдоку.

— Сколько вас? — задыхаясь, спросил он.

— Где? — не понял Шпагин.

— Здесь.

— Я один.

— Подонок,— сказал Руди.

Шпагин даже растерялся.

— Кто?

— Шеф. Он уверил меня, что на острове не будет ни одного человека.

— Плюнь,— сказал Шпагин.— Ни один клоун в мире не будет иметь такого антре, как твой шеф. Хотел бы я посмотреть на него, когда он откроет завтра утренние газеты.

Не эпилог, а пролог

Это не ошибка. Они собрались не дописать эпилог, а начать пролог.

Света не зажигали. В субтропическом курортном отеле в это предсумеречное время было еще светло. Как обычно, здесь пили все со льдом, кто послабее, кто покрепче. Бревер, уже оправившийся после болезни, сбивал коктейли.

Впрочем, и болезни не было. Просто очнулся вдруг в незнакомой больничной палате и узнал, что проспал трое суток после легкого сотрясения мозга, прошел соответствующие медицинские процедуры, а теперь может вернуться домой: лечение оплачено. Кем? Неизвестным лицом, не пожелавшим назвать своего имени. Сюрпризы продолжались. У подъезда ожидал его собственный «форд», полностью восстановленный после аварии. Кем? Оказалось, все тем же неизвестным лицом.

— Задачка для школьника,— сказал Смайли.— Авария была задумана, спланирована и осуществлена все тем же неизвестным лицом, крайне заинтересованным, чтобы ни вы, ни полиция не подымали шума.

— Зачем?

— Чтобы легонько вывести вас из строя и тем самым отсрочить заседание Совета Безопасности.

— Для чего?

— Чтобы задержать открытие нашего Института. Трэси знал, что до открытия остров необитаем — он не мог предполагать индивидуальной вылазки Шпагина. Он шел в бой с открытым забралом, не боясь последствий в случае удачи. Ведь он уничтожал Селесту, а не людей.

— Расчет верный,— сказал Барнс,— ни один американский суд не осудил бы его за уничтожение феномена. Это не собственность, не живое существо, не выраженная в единицах стоимости ценность. Вдобавок умно подобранная адвокатура, соответствующая кампания в печати, и мультимиллионер Игер-Райт выходит из зала суда в лавровом венке благодетеля человечества.

Но Бревер недоумевал:

— А побудительные причины? Неужели тщеславие нового Герострата или просто месть за неудачный налет?

— И то и другое в известной степени. Но это не главное. Трэси понял, что не сможет использовать Селесту в своих интересах. Как показал налет, они не всегда находятся в соответствии с уголовным законодательством, и любая информация о них могла стать опасной. А Трэси — старый пират, своего рода анахронизм, пережиток эпохи первоначального накопления. Чем он отличается от первых Морганов? Ничем. Только хватка еще крепче и откровеннее.

— Поубавим, когда вплотную подойдем к социологии,— подал реплику Мак-Керри и, поразмыслив, добавил: — А, пожалуй, на социологии и споткнемся. Мы уже убеждены, что Селеста — система, способная к самообучению, а как она будет обучаться и чему обучаться, если у педагогического персонала — я говорю о Координационном комитете — нет политического единомыслия или, что еще важнее, единомыслия во взглядах на социальное устройство мира. Какую идеологию усвоит Селеста, как личность, а он станет личностью в итоге информативных контактов, и какая правда будет его правдой, мы так и не знаем. Потому что эта правда у Рослова одна, а у Баумгольца другая. И даже науку мы видим по-разному: одни — подчиненной требованиям высокой морали, другие — свободной от всяких моральных принципов.

Вызов Мак-Керри не сразу нашел ответ. В гостиной у Яны и Рослова собрались в этот вечер все друзья Селесты, первые знакомцы и участники первых контактов. Слова Мак-Керри, обращенные к ним накануне открытия Института, выдавали внутреннюю тревогу ученого: нет единомыслия — нет и единогласия, а единогласие — это база контактов. Тревога оправдалась, и затянувшееся молчание тотчас же подтвердило это. Рослов и Шпагин переглянулись. «Необходима ясность,— сказал взгляд Шпагина.— Обрушь ее на головы усомнившихся».

И Рослов обрушил:

— Споткнемся ли мы на социологии? Не думаю. Многие, вероятно, считают, что отвлеченно-книжная мысль Селесты не способна схватить всей полноты жизни, что мысль эта неизбежно станет жертвой противоречивой и неимоверно плодящейся информации. Не согласен. В основе мышления Селесты — избирательность. Она дана, запрограммирована. В процессе самообучения будет непрестанно усложняться и совершенствоваться, как, скажем, понимание позиции у растущего шахматиста. Он может сравнивать и сопоставлять и в этом сопоставлении искать решение. Без нашей подсказки он может сложить опыт двух мировых войн и увидеть главное: человеконенавистническую суть агрессии. А вы боитесь, что он не найдет правды: она доступна любому интеллекту, достигшему необходимой для этого социально-исторической зрелости.

— Вы уверены, что Селеста достиг? — спросил кто-то.

На него зашикали. Кто может знать? Только завтра с утра начнется большой разговор с Селестой, и уж, во всяком случае, не нынешнее и не последующие поколения разговор этот закончат. Да и закончат ли? Семь тысячелетий прожил Селеста, а может быть, для него это только детство? Суровое, почти торжественное молчание погасило вопросы, споры, возгласы, и только Кравцов решился его нарушить. Единственный журналист, приглашенный Рословым с условием помалкивать после беседы в гостиной, он не захотел молчать во время нее.

— Я не ученый,— сказал он,— я только прикасаюсь к науке по заданиям редакции. Какие перспективы сулит нам завтрашний день в области изучения... ну, допустим, истории?

— А вы сами не можете догадаться, молодой человек? — как всегда беспричинно раздражительно, откликнулся Барнс.— Подумайте хорошенько. Любое историческое событие можно будет воскресить и любую историческую справку получить, не выходя из переговорной. Свою историю, надеюсь, любите? Так хотелось бы вам лично присутствовать, например, на допросе декабристов или на дуэли Пушкина? Ну, а я, как историк, мечтаю о подробностях битвы при Гастингсе или о встрече с Робин Гудом в Шервудском лесу. Скажете, мало? Бесценно!

— И для футурологов,— добавил Рослов.— Они смогут увидеть свои мысленные модели будущего. Селеста покажет вычисленный им же самим оптимальный вероятностный вариант. Бесценно, как сказал Барнс. Запомни это, Кравцов, или спроси у Смайли, хочется ли ему, скажем, увидеть наш академгородок при Институте этак лет через двадцать? Пройтись по его улицам, подсчитать свершения и ошибки в расчетах? Не улыбайся, Боб, а готовь список вопросов к Селесте. Не прогадаешь.

Рослов хотел было еще добавить о том, как захватывающе интересно хотя бы на несколько минут стать Селестой, как он был им, что ощутил и узнал и что мог сделать. Но тут Янина принесла кофе, и ему вдруг расхотелось откровенничать. Стоит ли? Дома он скажет тем, кому это интересно и важно: может быть, еще удастся повторить этот опыт смещения личности, и, может быть, он пригодится, очень пригодится в будущем, если возникнут обстоятельства, требующие такого опыта. А сейчас что даст это открытие присутствующим? Может быть, только беспокойную мысль о какой-то особой близости русских к феномену. Реакционные голоса во всех странах давно уже кричат об этой, их пугающей близости. Рослов внутренне усмехнулся: а ведь законная близость! Советские люди осмыслили открытие, советские люди отгадали загадку феномена, именно они выиграли бой за контакты.

Пауза опять затянулась. Люди размышляли, прикидывали, может быть, мечтали о будущем. Только Бревер, допив кофе, спросил задумчиво:

— Кто умеет гадать на кофейной гуще? Что может дать Селеста мне, математику?

Все посмотрели на Мак-Керри, потом на Рослова. Но перчатку поднял Шпагин.

— Интересует меня, между прочим, математическое выражение некоторых положений биологии, в частности уравнения, которые приходится интегрировать, исследуя самообучающие биосистемы. В то утро, когда затевалась эта авиационная авантюра, я был один на острове: хотелось проверить с Селестой собранные материалы. За десять минут я буквально задохнулся от информации. Селеста предложил мне более совершенную математику, такие работы, о которых я и понятия не имел, причем лучшими оказались неопубликованные, существующие, так сказать, лишь в проекции будущего. В Саратове, например, дипломник Масевич, фактически еще студент, в своей только что законченной дипломной работе, еще неизвестной даже его кураторам, выдал такой каскад математических новаций, какой можно сравнить только с легендарным взлетом Эвариста Галуа. И почти одновременно учитель математики в Сан-Пауло, некто Гвельвада, закончил работу по математизации мышления, о которой скоро заговорит мир. А вы, профессор, спрашиваете, что вам ждать от Селесты? Вам знаком термин «мозговая атака»? Когда одновременно не один и не два, а десятки умов включаются в поиск путей интеграции научного творчества? Селеста заменит нам эти десятки умов, предложит сотни, тысячи в едином, я бы сказал, творческом озарении. По сути дела, это начало новой научной методологии, гигантский скачок по лестнице знания.

Раздались аплодисменты. Янина раздвинула шторы на окнах и зажмурилась. В глаза ударила не чернота и не синева, а розовое свечение неба. Начинался рассвет.

Все поднялись, как по команде. Молча, почти радостно, не сожалея об отнятых у сна часах. Совсем немного времени осталось до церемониала торжественного открытия самого удивительного научного института в мире. Выйти на улицу, может быть, спуститься к набережной или на береговую гальку пляжа навстречу океанской волне, может быть, просто стоять и смотреть, как синеет позолоченная палитра моря и неба.

Рослов подхватил Кравцова под руку, толкнул его к двери, шепнув:

— Ничего пока ни в эфир, ни в печать.

— Жаль,— сказал Кравцов,— это был эпилог, достойный открытия.

— Не эпилог, а пролог,— поправил Рослов.— Пролог к началу нового века в науке.

КАНАТОХОДЦЫ

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Пролог

1

Красный глазок над дверью мигнул и погас. Ли подвинул кресло к пульту и включил микрофон внешней связи.

— Младший блок-инспектор Ли Джексон к смене готов.

На светящихся экранах над пультом появились расплывающиеся зеленые полосы. Ли подкрутил верньер настройки. Полосы исчезли, и четкий металлический голос произнес:

— Блок номер триста семнадцать. Двадцать часов ноль-ноль минут по меридиональному времени. Восемьсот шестьдесят каналов под контролем блока.

Ли, довольный, откинулся в кресле. Вот и началось его первое самостоятельное дежурство. В специальном отделе Системы с новичками долго не церемонятся. Краткий курс теории механического контроля сна, два сеанса гипнопедии, отведенных на заучивание Библии Спящего Человека или Всеобщего Каталога снов и час практической демонстрации аппаратуры. Только вчера старший инспектор Бигль показал ему весь подконтрольный им механизм аппаратной, а уже сегодня Ли сам сидит перед пультом. Конечно, обязанности блок-инспектора не так уж сложны: просматривай сны, отобранные автоконтролем как отклонения от каталогических норм, и сообщай о них по начальству. А уж кто прав и кто виноват, без него разберутся.

За спиной Ли почти бесшумно открылась дверь.

— Привыкаешь, сынок? — спросил вошедший Бигль.

Он был высок, грузен и малоподвижен, как бросивший спорт тяжеловес. Ему было явно жарко в его черном инспекторском мундире.

— Я посижу у тебя немного, ладно? — прибавил он.

Ли согласно кивнул. Ему нравился Бигль, его ободряющая улыбка и добродушная интонация в обращении. Вот и сейчас Бигль добродушно пожаловался:

— И чего это людям не хватает? Ложишься спать — загляни в Каталог. Выбери что-нибудь по вкусу и спи на здоровье. Хочешь из классики что-нибудь про аборигенов или про гангстеров, хочешь про супермена или про наших парней с Проклятого Шара — пожалуйста! Хочешь стриптиз какой-нибудь или спортивную драку для полировки крови — тоже не возражаем. Хочешь музыки — только выбирай: в Каталоге снов все джазы с сотворения мира подобраны. Набери индекс на сомнифере и смотри до утра. Так нет — им обязательно запретное подай!

— А скажите, сэр, — в наступившей тишине вопрос Ли прозвучал неожиданно громко, — как появились эти сомниферы? Откуда? Нам в школе о них не говорили.

— В школе, — насмешливо повторил Бигль. — Какой дурак будет писать об этом в учебниках? У нас не любят подробностей о прошлом. Ты что же думаешь, Система Всеобщего Контроля существовала всегда?

Ли так не думал. Его вообще не волновал этот вопрос. Он вырос в обыкновенной семье, учился в обыкновенной школе, по обыкновенным учебникам и обыкновенным программам. Мир удалось отстоять от так называемого «Свободного Содружества только потому, что власть вовремя взяла в свои руки Система Всеобщего Контроля, созданная мультимиллиардерами. Учебники называли эти слова, не раскрывая их смысла и скупо говоря о том, что разрозненным силам «свободного мира» удалось объединиться лишь тогда, когда его влияние, к сожалению, уже было утрачено почти на всех континентах. С тех пор, как утверждали педагогические компьютеры, заменившие преподавателей в начальных и средних школах, начался период счастья и благоденствия народа, основанный на электронной заботе о его мышлении и поведении. Ли даже не подозревал, что сам является винтиком этой машины, и честно считал, что сомниферы столь же необходимы человеку, как телеинформация и телесыск, электроли и видео, автоматическая гипнозарядка с утра и радости синтетической кухни. Сомневаться в полезности сомниферов казалось столь же бессмысленным, как и не признавать, скажем, реле искусственного климата.

— Все это так, сынок, — участливо заметил Бигль, — верно, но не полно. Нам с тобой о сомниферах положено знать больше. — Он кряхтя полез в задний карман брюк и вытащил засаленную синюю книжку в твердом пластиковом переплете. — Посмотри на букву «с» — сомниферы.

Ли взглянул на обложку. Выцветшее золото букв сообщало: «Инструкция для старшего персонала блоков СВК». И чуть ниже, помельче: «Секретные материалы».

— «СОМНИФЕР, — прочел Ли, — прибор — транслятор снов. На входы прибора поступает программа, откорректированная по Всеобщему Каталогу снов. Сомнифер дает направленное излучение, действующее на кору головного мозга. Рассчитан на непрерывное восьмичасовое действие. Изобретен в конце прошлого века Джакомо Секки, впоследствии одним из основателей и директоров фирмы «Сны на заказ». В политической борьбе сомнификация стала программным лозунгом победившей и находящейся ныне у власти партии. Фирма Секки со всеми ее гипностанциями переходит в собственность государства, превращаясь в один из важнейших рычагов Системы Всеобщего Контроля. На территориях так называемой «Свободной интеграции» запрещена...»

— Разные сны бывают, — сказал Бигль поучающе, — можно и по каталогу заказать, а потом повернуть по-своему. Скажем, президентские выборы. Порядок! А они закажут выборы какого-нибудь «свободолюбца». Были и такие в нашей истории...

Бигль не кончил. Осветился экран внешней связи, и молодой женский голос произнес:

— Шеф вызывает старшего блок-инспектора Бигля.

— Бигль слушает.

На экране появилось огромное, одутловатое лицо шефа.

— Как с двадцать третьим, Бигль?

— По-прежнему, шеф. Опять не включил сомнифер. Блок триста семь контролирует сон. Картины детства... старая женщина... ребятишки в вишневом саду. Какие будут приказания?

— Включите в список. Как его?

— Доктор Стоун, сэр.

— Зайдите ко мне.

Экран погас. Ли остался один. Честно говоря, он так и не понял, о чем шел разговор, видимо, очень важлый, если проявляет свою заинтересованность шеф. Доктор Стоун? Ли никогда не слышал этой фамилии.

2

Неоновая девица над входом в бар, периодически загораясь, сбрасывала с себя остатки одежды. Огненные буквы вспыхивали на черном стекле и фейерверком осыпались на горячий от зноя асфальт. Ли долго пытался понять этот оптический фокус, но, так и не разгадав его, подошел к двери и заглянул в ее большое, чистое и прозрачное, как воздух, стекло. Ему очень хотелось войти в зал, протолкаться к тому пустому столику около эстрады, который он заприметил, стоя у двери. Но он боялся. То был слишком фешенебельный для него ресторан: сюда приходили вернувшиеся из рейса космонавты, инженеры с рудников Второй Планеты, суровые отпускники с луны. Он был не похож на пестрые и крикливые кабаки Центра и на дешевые забегаловки окраин Мегалополиса.

— Что задумались? Входите. — Чья-то рука легла ему на плечо.

Ли обернулся: на него ласково смотрел высокий рыжеволосый мужчина в черном селеновом свитере. Он ободряюще усмехнулся и подтолкнул Ли к двери:

— Пошли.

— Меня не пустят, наверное, — неуверенно проговорил Ли.

Вместо ответа незнакомец взял его под руку и открыл дверь. Эскалаторная пластиковая дорожка подвела их к залу.

— Хотите получить свои семь футов под килем? — весело спросил незнакомец.

— Семь футов? — не понял Ли.

— Это же название ресторана. Разве не слыхали? Старое напутствие морякам, отправляющимся в плавание. Семь футов под килем — достаточно, чтобы не сесть на мель.

Незнакомец молча провел Ли по залу как раз к тому столику возле перламутровой раковины эстрады, который Ли увидел сквозь дверное стекло. Неизвестно откуда возникший метрдотель услужливо подвинул стулья.

— Мне, как всегда, «Рид», — сказал незнакомец. — А молодому человеку — «Семифутовый». Он у вас впервые. Коктейль специально для юношей, которые хотят вкусить радостей жизни.

Ли не ответил. Радости жизни, о которых иронически намекнул его спутник, уже начинались. С музыки, неизвестно откуда звучавшей и наполнявшей все его существо. С мигания мерцающих огней в воздухе, то вспыхивающих, то погасающих, то внезапно сменяющих цвет прямо над головой. С пения невидимого хора, доносившегося с пустой эстрады. Звуки томили, будили, звали, спрашивали о чем-то волнующем и сладостно непонятном.

— Вы что-нибудь чувствуете? — спросил незнакомец. — Радость, да?

— Откуда вы знаете? — спросил Ли.

— Нетрудно догадаться: в этом кабаке хорошая гипноустановка.

— Обидно. — Ли смущенно посмотрел на своего визави. — Не люблю, когда мне навязывают чужую волю.

— Я тоже не люблю. Увы... Но не принимайте все это так близко к сердцу: таких «мальчи-

---

Печатается с сокращениями.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Ли задумался в поисках возражения.

— В конце концов я сам могу придумать сон.

— И станете сонником.

— Да нет же! — Голос Ли даже зазвенел от обиды.— Кто-кто, а я-то знаю! Сонники смотрят запрещенные сны.

— А какие сны запрещены?— лукаво спросил док.

— Каталог разрешает президентские выборы, а они заказывают выборы какого-нибудь «свободолюбца»,— робко повторил Ли слова Бигля.

Док засмеялся.

Ли все еще не понимал: при чем здесь сомниферы? Неужели этот чудак ставит их рядом со здешней психоустановкой?

— Чему вы улыбаетесь?— спросил незнакомец.

— Простите, сэр,— начал было Ли, но тот перебил его:

— Зовите меня док. Так меня все называют.

— Хорошо, док,— согласился Ли.— Я только хотел сказать, что сомниферы и гипноустановки — совершенно разные вещи.

— Технически,— улыбнулся док.

— Не только технически,— с горячностью возразил Ли.— Гипноустановки одурачивают людей, а сомниферы действительно украшают жизнь, делают ее более интересной.

— Милый мальчик,— грустно сказал незнакомец,— вы нелогичны, но это от молодости. Если жизнь недостаточно хороша, то зачем же улучшать ее только во сне?

Ли подумал немного и не согласился.

— Это же развлечение, как и телекс! — воскликнул он.

— Телекс можно выключить, а сомнифер — нет! Вот и смотри до утра навязанный тебе сон. Или чужую волю — ваше выражение, юноша.

— Какого именно?— спросил он.

— Их много было,— неуверенно сказал Ли.

— А все-таки?

— Нас не учили...

— Не знаешь,— сказал док.— И никто из вас не знает — не учили. А кто знает, молчит. Странное у нас время. Вечером гипномузыка, ночью гипносон. Сомниферы, мой мальчик,— это фон трагедии народа, ее социальный пейзаж. Расскажите о сомниферах жителю другой планеты, и ему сразу станет ясно, в условиях какого общественного строя все это происходит и до какой духовной нищеты дошел этот строй. А по-

ка прощай,— вдруг оборвал речь док,— мне пора, а ты посиди еще, если хочешь.

Он расплатился и ушел.

— Кто это?— спросил у метра Ли.

— Доктор психологии Роберт Стоун,— почтительно сказал тот.— Хороший человек, только со странностями.

3

Ли посмотрел на часы: хорошо, что дежурство кончается. Он устало потянулся в кресле, закрыл глаза.

И снова в который раз перед ним возникло грустное лицо дока. «Странное у нас время»,— сказал он. Почему странное?

Ли машинально повернул верньер настройки экрана координационного центра. Изображение еще не возникло, но звук уже был: в привычной тишине блока раздался негромкий, так хорошо знакомый голос:

— Я к вашим услугам, сэр. Спрашивайте.

Изображение прояснилось, и сквозь розоватую дымку экрана Ли увидел огромный кабинет шефа и его самого за старинным, нелепым в этом царстве модерна столом, а напротив в овальном кресле — высокого рыжеволосого человека, который так внезапно и так тревожно ворвался в жизнь младшего блок-инспектора. Почему он возник в кабинете шефа? Что случилось? Ошибка диспетчера, забывшего выключить внешнюю связь, или заранее продуманный акт? Показательный допрос — Ли слыхал и об этом. Но при чем здесь доктор Стоун?

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем сюда вас пригласили,— начал шеф.

— Привели,— поправил Стоун.

Шеф поморщился: он не любил резких определений.

— Допустим,— сказал он.— Назовем это так. Сами бы вы, наверное, не пришли.

— Не пришел бы,— усмехнулся док.— Но я понимаю причину вашего «приглашения».

— Почему вы не включаете сомнифер?

— Он вреден для здоровья,— вежливо заметил Стоун.— Частое пользование сомнифером приводит к расстройству гипногенных систем. Вы не интересовались причиной роста психических заболеваний за последние годы?

— Кому, по-вашему, я должен верить: светилам современной медицины или заштатному эскулапу, возомнившему себя спасителем человечества?

— Я бы поверил заштатному эскулапу,— засмеялся Стоун.— Хотя бы потому, что он вас не боится.

— Действие сомнифера проверялось электронной машиной. По-вашему, она тоже боялась?

— Боялись программисты. Нужный ответ машины всегда можно обусловить заранее.

— Кокетничаете смелостью? Зря.

— Это не смелость. Это уверенность в своей правоте.

— И эта уверенность находит поддержку? У вас есть единомышленники, вероятно, «сламисты», да?

— Любой порядочный человек найдет в «трущобах» единомышленников.

— Откровенное признание, док,— засмеялся шеф.— Вы облегчаете нашу задачу. Но «слам» не однородная политическая организация. Это партия смутьянов, подключившая к себе всех недовольных, в том числе сонников и студентов-многознаек. К кому же вы себя причисляете?

— Вы ошибаетесь, сэр. «Слам» не партия и не парламентская оппозиция. «Слам»— это крик души народа, вопль ненависти к рабству, которое вы возвели в ранг государственного строя. У меня единомышленников больше, чем вы думаете...

— Выключить!— закричал шеф. Рука его нервно шарила по столу.

— «Я плюю вам в лицо... и та половина мира слышит меня!»— Доктор успел произнести строку какого-то стихотворения.

Но рука шефа уже нащупала тумблер, экран вспыхнул зеленым светом и погас.

— Передача прекращается по техническим причинам... по техническим причинам,— повторял диспетчер, словно убеждая себя в правдивости официального сообщения.

Ли тупо смотрел на потухший экран. Мыслей не было. Только одна еще так недавно непонятная фраза звучала в ушах: «Странное у нас время».

4

Бигль весело насвистывал что-то, искоса наблюдая за Ли, молча сидевшим у пульта.

— Включаю информационную запись блока,— сказал Ли.

На экране появилась диспетчерская космического корабля, и металлический голос произнес:

— Канал номер семьдесят три. Первая экспедиция на Вторую Планету. Космический корабль «Реджинальд» попал в метеоритный поток.

— Конец прошлого века,— сказал Бигль.— Гарроу тогда бы не выбрался, если б не корабль «Содружества». Какой дурак это смотрит?

Ли нажал клавишу на пульте. Металлический голос снова заговорил:

— Номер шестьсот семьдесят три. Айвен Лоу, студент Харперс-колледжа.

— Студент,— удовлетворенно протянул Бигль.— Я так и думал. Возьму-ка его на заметку.

Ли неприязненно посмотрел на Бигля и выключил экран. Откинувшись в кресле, закрыл глаза: мучительно хотелось спать.

— Что с тобой, малыш? Заболел?— услышал он встревоженный голос Бигля.

— Я слушал вчерашний допрос,— сказал Ли.— И я знаком с доктором Стоуном.

— Плохо,— задумчиво произнес Бигль,— совсем плохо.

— Что с ним сделают?— спросил Ли.

— Что надо, то и сделают,— сурово сказал Бигль и, заметив состояние Ли, прибавил с былой ласковостью:— Иди-ка, малыш, отдохни. А я покараулю твоих подопечных.

Оставшись один, он долго смотрел на дверь, словно пытаясь увидеть за ней Ли, медленно бредущего к выходу, потом грузно уселся в кресло юноши, подумал и недрогнувшей рукой включил микрофон.

— Старший блок-инспектор Бигль вызывает шефа.

На экране возникло желтое лицо начальника Главного управления Системы.

— Что случилось, Бигль?

— Довожу до вашего сведения, шеф, о нелояльном поведении младшего блок-инспектора Джексона.

— Из новеньких?

— Да. Недоглядели. Встречался с доктором Стоуном, шеф.

— Как разоблачили? Сомниферы?

Биглю не хотелось рассказывать.

— Сомниферы, шеф.

— Полезное дело. Но вы переросли его, Бигль. Вчера на заседании Совета олдерменов решено передать вам руководство общественной безопасностью всего континента. «Слам» становится силой, которую все труднее держать в узде.

— А Тейлор?— спросил Бигль, помолчав.

— С него хватит и контрразведки. Через час я вызову его вместе с вами. А с мальчишкой — по тридцать пятому параграфу. Придется изолировать.

Бигль выключил микрофон и подошел к окну. Далеко внизу маленькая фигурка Ли пересекала улицу по ажурному мосту. Вот она уже потерялась в толпе.

«Придется изолировать»,— вспомнил Бигль и вздохнул: «Боюсь, что это нам не удастся».

Глава первая,
в которой Лайк учится ходить

Я тысячу тысяч раз видел это серое небо над Городом — низкое и влажное, как нависший над головой полог походной палатки. Я тысячу тысяч раз слышал душераздирающий визг монорельсовой дороги, грохот электрокаров, лязганье турникетов таможни, въедливый шепот рекламных аппаратов и поверх всего, владыкой этого странного, сумбурного, сумасшедшего, гремящего мира ровный голос диктора: «Рейсовый Вторая Планета — луна — Главная — Мегалополис совершил посадку на девятнадцатой полосе сектора В». Я знал наизусть запахи пота и косметики, бензина и табака, виски и машинного масла — запахи Города, сотен людей, механизмов, дыма, гари, пыли — черт знает чего еще!

Я тысячу тысяч раз видел все это, слышал все это, обонял, чувствовал, наслаждался и проклинал. Тысячу тысяч раз я шел по горячему бетону космопорта к свистящим магистралям Города — к почету, к деньгам, к славе, к новым друзьям и новым врагам, к опасности, к ежесекундной готовности собраться, отразить нападение. А то, что над дверями постоянно мигает красный сигнал, что ж, привычное дело, не впервой. Если опасность измерять в каких-либо единицах, например «дейнджерах», то в моем случае число этих самых «дейнджеров» давно перевалило за норму.

Красивая цифра — тысяча тысяч! Она рождает память, набитую до отказа информацией, всякой — полезной и хламом. Но, увы, это не моя память, чужая, подаренная мне безвозмездно фотографиями, фильмами, цветными телеэкранами и, главное, живыми людьми, очевидцами — без волокиты: мнемозапись непосредственно на мои центры памяти. И вот вам фокус: человек, ни разу не подъезжавший к Мегалополису ближе чем на тысячу миль, становится чуть ли не коренным его жителем — с его знанием города, людей, их нравов, привычек, маршрутов и развлечений.

Словом, я никогда не был в Мегалополисе, и я знал его так же хорошо, как и свой родной город. Вот почему цифра «тысяча тысяч» ничуть не преувеличение. Я действительно все здесь видел, слышал и обонял, или кто-то там за меня, прежде, какая разница? Мою биографию мне предоставили так же любезно, как и память. И она тоже — как и память — была чужой, хотя и настоящей, начавшейся в порту Луна-СВК, а еще задолго до этого — в маленьком городишке на севере материка в семье благопристойных родителей, не моих — моего двойника, кто считался отменным пилотом на внутренних лунных рейсах.

Мое настроение нисколько не способствовало желанию побеседовать с таможенниками в форме Системы Всеобщего Контроля. Всему свое время. Тем более меня все равно даже не выпустят из космовокзала без их лиловой отметки в паспорте. Время у меня есть, деньги тоже, а жаркая погода располагала к хорошей выпивке. Вот почему я решительно прошел мимо дверей таможни — стыдливое название местного охранного отделения — и направился в бар, где торчало уже с десяток бездельников.

Мой космолет приземлился довольно рано, бар в эти часы был почти пуст: седоватый крепыш на соседнем табурете, какая-то парочка за столиком в углу, парень в зеленой куртке флиртует с барменшей — зеленоволосое создание с глазами на пол-лица, еще трое парней насилуют игральный автомат: им явно не везет, и невезение здорово окрасило их лексикон.

Сквозь стеклянные двери бара я вижу пустой зал ожидания: киоски с парфюмерией, сигаретами и печатной продукцией гигантского города. Вот что мне нужно — свежая газета, свежие новости: я без них просто жить не могу, без свежих новостей. И продаст мне их милая девушка, блондинка, похоже, натуральная, впрочем, с такого расстояния не разберешь. Продать-то она мне их продаст, но попозже: сначала я разделаюсь со своим бодрящим напитком и посмотрю, кто из присутствующих заинтересовался моей скромной персоной. Пока вроде никто? Нет, есть один...

— Откуда, приятель?

Седоватый крепыш с интересом разглядывал меня: вероятно, я ему сразу понравился. К сожалению, он не вызывал у меня того же чувства: слишком маленькие глазки, широкий нос и раздвоенный подбородок делали его похожим на хищного зверька. Не берусь утверждать, что люблю хищных зверей. Но вежливость есть вежливость.

— Луна-СВК.

— Пилот?

— Что, похож?

— Я пилотов сразу узнаю. На Планете давно не был?

— Пять лет.

— Где летал?

— Над луной, приятель.

— Теперь под луной полетаешь,— усмехнулся он.— Мегалополис — город большой, не заблудись без мамы.

— Город как город,— равнодушно сказал я.

— Ну, это ты брось,— обиделся крепыш.— Мегалополис — одно слово. Сто лет назад на этом месте десятки городов, как грибы, торчали. И какие! А сейчас один гигант, лучший в мире.

— Знаю я ваш Мегалополис, не в первый раз здесь,— сказал я.

— А раз знаешь, так и гуляй,— лениво заметил крепыш.— Может, еще встретимся.

— Может, и встретимся,— равнодушно протянул я.

Зал ожидания уже заполнялся людьми: кто-то ждал своего рейса, кто-то встречал друзей или родственников, кто-то просто шатался без дела: с того момента, как люди изобрели самолет, а потом ракету, аэро- и космовокзалы всегда привлекали бездельников или тех, кто любил

дышать воздухом прилетов и отлетов, встреч и проводов, зыбкости всего земного, где за непрочным барьером перрона — огромный мир, не похожий ни на что будничное и привычное. Я не принадлежал к романтикам космовокзалов. У меня было два дела: купить газету, перебросившись парой слов с премилой киоскершей, кстати, все-таки натуральной блондинкой, с синими глазами и мальчишеской челкой, и потом отправиться на свидание с таможенниками.

К первому делу я приступил с удовольствием.

— Здравствуйте, девушка,— сказал я вежливо.

— Доброе утро,— заученно улыбнулась она.

Но я уже знал, что заученное сейчас исчезнет.

— Я хотел бы купить «Новости» за семнадцатое число позапрошлого месяца.

Девушка удивилась. Я не ошибусь, если усилю определение: испугалась, даже вздрогнула. Да и в самом деле: кто бы не вздрогнул, если подходит псих и спрашивает газету за позапрошлый месяц. Однако испуг и удивление не помешали моей прелестной собеседнице использовать еще одну улыбку из своего арсенала:

— За это число газеты давно проданы. Может быть...— тут она помялась недоверчиво,— я подсказала бы вам место, где вы найдете ее?

— Подскажите, прошу вас.— Я вложил в просьбу все очарование, на которое был способен.— А уж Чабби Лайк не останется в долгу.

— Меня зовут Линнет,— сказала она.— Я уже почти месяц жду вас.

— Дорога в Город трудна и небезопасна,— туманно пояснил я причину своего небольшого опоздания.

Однако причина была не в этом: на реализацию моей легенды потребовалось чуть больше времени, чем мы предполагали. Шпики СВК на луне вздумали искать пропавший катер, на котором потерпел крушение пилот Чабби Лайк. То есть я. А искали они его постыдно долго. Вот почему Линнет пришлось подождать.

— Вы прошли таможню?

— Пока еще нет.

— Здесь Тейлор.

О Тейлоре я знал. Он возглавлял в Системе контрразведку. Так или иначе я мог бы столкнуться сегодня с его людьми, но с ним самим...

— Что ему надо здесь?

— Понятия не имею. Говорят, он с причудами.

И об этом мне говорили в Центре: самолюбив, подозрителен, умен, предпринимает неожиданные инспекционные проверки, склонен к переодеваниям и опереточной таинственности. Значит, встречу оттянуть не удастся. А может, удастся? Ну зачем ему обыкновенный пилот? Со мной с луны летели, наверное, шишки и поважнее...

— Ладно, черт с ним.— Я не намерен был раздувать пока еще не существующую опасность.— Лучше подумаем, как будем жить дальше.

Линнет улыбалась. Когда она улыбалась, на щеках появлялись две ямочки — ну, совсем девчонка-школьница!

— Я вас найду.

— Явка?

— Вы ее знаете: бар «Семь футов под килем». Спросите Энтони. Скажете, что у Линнет не оказалось газеты за семнадцатое...

— Кстати, почему мы привязались именно к этому числу?

— В этот день шеф СВК произнес историческую речь: надо быть подозрительным и осторожным, ибо враги существуют везде.

— Дельное замечание, особенно для нас. Где мне остановиться?

— В Милтон-отеле, конечно. Там есть наши люди.

Простившись, я неторопливо дошел до дверей таможни, бросил монетку в щель турникета, подошел к одному из окошек и сунул туда документы, даже не посмотрев, кто их у меня взял. Какая, в сущности, разница: это шестерка, фоска, передаточное звено, лилипут в черном мундире Системы. Он передаст мои документы в вычислительный центр таможни, где уже хранятся все сведения обо мне, пересланные с луны. Сведения, тысячу раз проверенные у нас и по крайней мере трижды — шпиками из лунной полиции. Вряд ли их местных коллег что-нибудь заинтересует в моей скромной персоне. Хотя опасность, как говорится, всегда начеку. Она следует за тобой, как тень, даже в те редкие дни, когда вспоминаешь, что у тебя есть другое, настоящее имя, когда проходишь по улицам своего родного города, где тридцать шесть лет назад в семье учителей-историков появился долгожданный сын, даже тогда не забываешь об опасности. Это уже в крови: входя в комнату, проверить, кто за дверью, есть ли слежка на улице, даже если ее и быть не может, просыпаться от малейшего шороха — и руку под подушку, за пистолетом. Смешно!

«Расслабься,— говорил шеф,— сними напряжение. Ты работаешь на износ». Хороший совет, только воспользоваться им трудновато. Вот сейчас самый подходящий момент, чтобы расслабиться: мягкое кресло, кондишен, тишина. Проверят документы — и в город, в отель, в бар, как его... «Семь футов под килем». Я посмотрел на световое табло над турникетами и невольно вздрогнул: на нем появилась моя фамилия. И тотчас же ее повторил чей-то голос, усиленный динамиком:

— Пилот Лайк — на дополнительную проверку в комнату номер семь.

Я встал. Итак, без проверки не обошлось. Ну что ж, я готов: не в первый и уж, наверное, не в последний раз.

Над комнатой номер семь горел фонарик с цветной надписью «Войдите».

Я толкнул дверь и вошел: ничего особенного — у стены пластиковый диванчик, два кресла перед столом. А за столом... Вот это уж совсем забавно: за столом сидел мой собеседник из бара, крепыш с седым ежиком. Он улыбался приветливо, ну, совсем как добрый знакомый:

— Я же говорил: мы еще встретимся. Садитесь.— Он указал мне на кресло перед столом.— Вас я уже знаю. Вы Лайк, пилот с луны. А меня зовут Тейлор.

Глава вторая,
в которой Лайка вызывают на дуэль

— Рад познакомиться,— сказал я.

Вот так штука: мой сосед в баре — туповатый фермер или моряк-каботажник — оказался контрразведчиком. И не простым, а главным, так сказать, контрразведчиком номер один.

Я усмехнулся, легко ругать себя за ошибку, когда она уже свершившийся факт. Угляди я в этом крепыше-боровичке что-нибудь подозрительное, я бы его так просто не отпустил: поболтали бы, знакомых общих поискали - нашлись бы знакомые, как не найтись, выпили бы еще разок, а потом еще и еще — все это сближает. Сейчас самое время доставать шпаги — боевая стойка, клинок о клинок, выпад справа, укол — ну, кто кого?

Тейлор начал первым.

— Рад или не рад, все равно познакомились.

— Полагаю, вы уже знаете меня, и неплохо.

— Что значит «неплохо»? Расплывчатая и неточная формулировка, как, впрочем, и мои знания о вас. Что я знаю: документы, бумажки, протоколы. А факты — только вы сами. Поделитесь?

— Придется.

— Вот теперь точно: придется. Начнем с формальностей. Имя? Возраст? Должность? Ну, в общем, сами понимаете...

— Чабби Лайк. Тридцать шесть лет. Родился на севере. Отец — смотритель лесного заповедника. Матери не помню: умерла рано. Братьев-сестер не было: папаша так и не успел жениться — из своего леса носа не высовывал. Воспитывала меня тетка, сестра отца. Она и хозяйство вела. Да какое там хозяйство: дом, небольшое поле, а так — лес кормил. Стукнуло пятнадцать — удрал из дома. Болтался где мог. Грузчиком работал, матросом на суперкатерах. Поступил в Высшую школу навигаторов: здоровье у меня — дай бог, а учиться любил. Я тогда даже и не собирался пилотом стать: форма прельстила. Знаете, серебро, шнуры, аксельбанты — блеск и нищета, одним словом. А потом увлекся. Кончил с отличием, диплом выдали. Распределили на луну. Пять лет отлетал — год отпуска. Еще пять лет — еще год. Вот он-то у меня впереди...

— Думаете, мне хочется слушать эту мякину?

— А вы спрашивайте сами. И мне легче будет ориентироваться, да и вам веселее. Все-таки общение, живой разговор.

— Живой разговор, говорите? Хорошее предложение. А не страшно?

— Шутки шутками, а все же ускорим процедуру.— Я выпрямился в кресле.— Сами понимаете, удовольствия она не доставляет.

— Я бы удивился, если б доставляла.— засмеялся Тейлор и сказал строго:— Вопросов будет много. Где отец?

— Умер семь лет назад. В прошлый отпуск видел его могилу. Тетка похоронена там же.

— Значит, одинок?

— Выходит, так.

— Привыкли?

— Имеете в виду работу? Пожалуй, луна — единственное место, где в охотку работаешь, иначе сопьешься или сойдешь с ума. Вот и работал, как проклятый, от сна до сна.

— Ваши рейсы?

— Луна-СВК — Луна-главная — исследовательские станции в кратерах.

— Часто бывали в порту Луна-СВК?

— Редко: рейсы не те. У меня был грузовой катер: продовольствие, оборудование, иногда попутчики.

Честно говоря, не понимаю: что он хочет узнать? Что я не Лайк? Это проверялось уже не раз после аварии. Все чисто и нуль в остатке — данные проверки у него есть. Скорее бы добрался до аварии и отпустил меня...

— Насколько я знаю, вы недолетали положенных для отпуска пяти лет?

— Трех месяцев не хватило.

— Почему?

Добрались, наконец. Выдержка, Лайк, выдержка: ты чист, как метеоритный экран твоего катера. Твоего бывшего катера.

— Расследование аварии.

— Что за авария? Попрошу подробнее.

— Можно и подробнее. В ночном рейсе на линии Луна-главная — Седьмая станция взорвался боковой реактор. Взрыв повредил рацию и автоматический пеленг. Свободный поиск там невозможен: ночная сторона и нагромождение обломков скал. Пришлось выбираться на своих двоих. У меня был с собой аварийный запас кислорода на двое суток. Но, видимо, где-то в баллонах произошла утечка, и я сдох через тридцать часов.

— Сдох? Не понимаю.

Я усмехнулся.

— Жаргон. Кислородная смерть.

Теперь усмехнулся Тейлор.

— Надеюсь, передо мной не труп.

— Можете потрогать: живой. Меня вытащили гольты. Поисковая группа.

— Ракета?

— Луноход. Ставили метеоритные буи. На меня натолкнулись случайно.

— Куда они вас доставили?

— К себе на станцию. Это в пятистах километрах от нашей «Полетты».

— Как долго вы пробыли у них?

— Часов шесть. За мной прислали катер с «Полетты». Сам Альперт изволил прибыть.

— Вы его хорошо знали?

— Не особенно. Что может быть общего у простого пилота с ведущим астрономом Луны-СВК?

— И все-таки за вами прилетел именно он.

— Вы не хуже меня знаете, что все это — показуха.

Тейлор насторожился, это видно по его глазкам: сощурились, спрятались за ресничками. Сейчас выстрелит...

— Забота о человеке, по-вашему, показуха?

Твой выстрел, Лайк. Не промахнись.

— Не разводите демагогии: если бы я тогда мог двигаться, я бы тоже воспользовался неожиданной возможностью посмотреть на чужие секреты. А станция астрономическая, Альперт увидел больше любого спасателя из санитарной службы. Это нужно Системе, а значит, и Альперту, и мне, и вам. Вот почему за мной прилетел тот, кто в данном случае оказался полезнее. И вы это прекрасно понимаете.

Тейлор засмеялся неожиданно весело и заразительно.

— А вы хитрец, приятель. У вас на все готов ответ.

— Естественно: меня подозревают.

— В чем?

Клюнул окунек, заглотнул наживку — подался вперед, весь — ожидание. Теперь мысленно поводить, не подсекать сразу.

— Трудно предположить... Все-таки пять часов у гольтов, мало ли что могло случиться.— Я размышлял вслух. —Во-первых, я был без сознания, вернее, в сознании, но смутном, все расплывчато, нерезко, звук почти не доходит — вата в ушах или звукопротектор. Помню, что меня несли, потом — люди в белых халатах, что они могли со мной сделать? Боли не было, скорее приятное ощущение: какой-то вибромассаж и запах — легкий-легкий, цветочный, как на клеверном лугу...

Я взглянул на Тейлора: откинулся в кресле, глазки закрыл, словно не слушает. Но вот я умолк, и он сразу «очнулся»:

— Это — самое интересное из того, что вы мне сегодня наговорили. Продолжайте.

Продолжение следует.

КАНАТ

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Дайте вспомнить. Все-таки времени-то сколько прошло...

Кто считал это время? Оно тянулось долго, бесконечно долго. Полгода назад или раньше, когда я только-только вернулся с задания, меня вызвал генерал Дибитц.

Обычная обстановка, обычный разговор...

— Отдыха не будет.

— Я не устал.

— Тем лучше.

Продолжение. Начало в № 5.

— Что-нибудь сложное?

— Скажи, невероятное.

— Почему я?

— Мы просчитали пять вариантов. Твой оптимален. От успеха операции зависит слишком многое. А с планом ты познакомишься. Время у тебя будет.

Что ж, у меня было время — текучее, липкое. Время ожидания опасности — самое долгое время в мире. Парадокс: времени много, и его не хватало. Мы и так затянули с первым шагом — с подменой. Двойник был найден давно: пилот Чабби Лайк — отличный парень, немного суховат, но это к лучшему — меньше близких знакомств. Мы были похожи, как два близнеца, родная мама не отличит. Впрочем, насчет родной мамы я, конечно, загнул, у нее всегда найдется с десяток способов различить сыновей: родинки, форма ногтей, походка, характерные жесты — всего не перечислишь. А у нас с Лайком было гораздо больше этих отличий, начиная с веса и кончая привычками. Ну, что касается веса — болезнь его не прибавляет, а после аварии я довольно долго провалялся в постели. А привычки?.. Я о них знал, оставалось только привыкнуть к ним. И это не каламбур, я действительно вжился в привычки Лайка — его вкусы, его манеру говорить, улыбаться широко и белозубо, ни с того ни с сего умолкать, уходить в себя. Думаю, что с этой задачей я справился неплохо. Лайк был золотом для меня: на Планете у него нет друзей, только случайные знакомые, которых за минувшие пять лет он и сам основательно подзабыл. Все это подтвердила его память, перемещенная в мою черепную коробку за три с половиной часа на операционном столе — в тот день, после аварии его катера.

Аварию устроили наши люди, и не их вина, что пилот пострадал больше, чем нам хотелось. Такой уж парень этот Лайк: всегда лез в самое пекло, даже когда не требовалось. Смешно, но и в этом мы похожи. Его увезли со станции сразу после перезаписи. Он выкарабкался, конечно: в наш век медицина почти всесильна...

Тейлор перелистал странички моего «дела».

— Состояние у вас было не из лучших. Не смертельное, конечно, не преувеличивайте. Да и без сознания вы были всего лишь сутки — не так уж много.

— Мне хватило. Так сказать, на всю жизнь. С луной покончено.

— Чем же собираетесь заняться?

— Отдыхать.

— Вы это уже говорили.

— В баре? Так я не вам это говорил, а какому-то фермеру, приехавшему поглазеть на ракеты. Откуда я знал, что он контрразведчик?

Тейлор усмехнулся:

— Спасибо за комплимент. Значит, я похож на этакого недотепу-фермера?

— Похож,— чистосердечно признался я.

— Вы тоже похожи...— Он помялся.

— На фермера?

— Все-таки на пилота Лайка.

Я решил, что пора кончать затянувшуюся комедию. Пилот Лайк не привык к церемониям:

— Короче говоря, долго мы еще будем играть в подозрения? Я бы хотел закончить свидание.

Тейлор открыл ящик стола и протянул мой паспорт.

— Вы свободны. Простите, что задержал: мне просто хотелось поближе познакомиться.

— Рад был удовлетворить ваше желание.— Я встал.— Можно идти?

— Конечно.— Тейлор усмехнулся и подмигнул.— Все-таки надеюсь, что мы еще встретимся.

Глава третья,
в которой появляется Мак-Брайт

Далее все прошло благополучно. Автомат выбросил мой кофр незамедлительно — я только сунул в щель жетон с номером. Проверка документов тоже прошла без волокиты — таможенник изучил печать на паспорте и, козырнув, пропустил через турникет на движущуюся ленту тротуара, которая и донесла меня до станции монорельса.

Я помнил — опять помнил! — что скорость поезда не позволяет глядеть в окно — устают глаза, но все-таки не закрыл его шторкой телеэкрана. Меня мало волновали новости дня: кто-то куда-то приехал, кто-то кого-то встретил, кто-то что-то подписал — все это пестрой громкоголосицей долетало до меня из соседних купе — вагон был почти пуст. Только в кресле напротив спал — или делал вид, что спит,— высокий, длинноногий субъект лет под пятьдесят, что-нибудь вроде коммивояжера, человека вечной профессии, которая сохранилась еще с незапамятных времен и ничуть не думает уступать позиций в наш суетливый век автоматических распределителей.

Монорельс не подвозил к самому городу: труба-вагон плавно затормозила, за окном возникла бетонная стена станции с яркими пятнами реклам, и голос дикторши сообщил:

— Конечная станция — пятьсот девятый квартал. Отсюда в город вы сможете добраться на аэробусах или на электролях. С благополучным прибытием.

Мысленно поблагодарив невидимую девушку, я все-таки пожалел, что не взял электроль сразу у вокзала: дороговато, конечно, но пилоту в отпуске позволительна такая пустяковая роскошь. Я спустился по эскалатору на широкую и безлюдную площадь (рабочая окраина города, люди давно на заводах или в оффисах, а для хозяек еще рановато) и пошел к стоянке электролей, машинально отметив, что большинство пассажиров монорельса предпочли аэробус-омнибус на воздушной подушке — пусть дольше, зато дешевле. Мой длинноногий спутник-визави тоже поплелся туда. Тем лучше, а то я стал было сомневаться в крепости его сна в вагоне.

Обменяв в кассе денежную бумажку на груду жетонов, я опустил их один за другим в щель на приборной панели машины и включил зажигание. Электроль — прекрасная штука, если к тому же хорошо его водить. А я отлично его водил: научили в свое время. Чему меня только не научили! Я вывел его со стоянки, развернулся на площади и нырнул в туннель, который доставил меня на широкую — идеальное покрытие! — магистраль, протянутую прямо по крышам домов. Где-то внизу город жил своей «пешей» жизнью, а здесь, на двухсотметровой высоте, царствовала скорость — всесильная госпожа нашего времени: «Пользуйтесь электролями — они сэкономят вам кучу времени!», «Драг-сода — удобно, дешево, быстро!», «Автоматы Стриббинса — делайте свое время», «Самый быстрый сон — сомниферы Пенна!» Быстро, все быстро: быстро есть, быстро передвигаться, быстро спать, быстро жить, не успеешь оглянуться — поезд уйдет, и ты останешься один на пустой станции, догоняй, пытайся — где там!

Я бросил электроль в центре города, где среди множества световых табло разглядел нужное — Милтон-отель. Скоростной лифт доставил меня вниз, и я вышел на широкую улицу — в пеструю толпу, в разноголосицу, в суету и спешку, растворился в ней, потерялся — попробуй найди.

Отель я разыскал быстро: мигающий неон вывески украшал стеклянные двери под бетонным козырьком, а швейцар довершал впечатление благополучия и респектабельности, которое должно было ошеломить восторженного провинциала, не приученного к мягким коврам, таинственному полумраку в просторном холле, светомузыке на белой стене и королю-портье, вручившему мне ключ от царских палат в две комнаты на тридцать втором этаже.

Не знаю, как царь, но я своими палатами остался доволен: стандартные удобства, в меру микрофонов — в приемнике и в настольной лампе, хитрое кнопочное устройство, вызывающее горничную или официанта, включающее телевизор и часы и меняющее цвет оконных стекол — от белого до темно-синего.

Я сделал окно розовым, достал из чемодана заглушки, блокировал микрофоны и пошел в душ.

Не помню, сколько я там плескался — не отмечал времени,— но, должно быть, не менее получаса, потому что, когда вошел в комнату, в пепельнице на журнальном столике лежало четыре окурка. В кресле у окна сидел человек и с усмешкой смотрел на меня. Я узнал его: это был тот самый длинноногий субъект из поезда, мой спутник-соня, безобиднейший из безобидных — ах я кретин, просмотрел-таки слежку...

— Ошибаетесь: я не следил за вами.

— Вы еще и мысли умеете читать? — полюбопытствовал я.— А не только открывать чужие замки?

— Здешний замок любой мальчишка откроет — наука нехитрая.— Он широко улыбнулся, обнажив два ряда ослепительно белых зубов — вставные, что ли? — А ваши мысли угадать нетрудно: вряд ли вы не заметили меня в поезде.

Я уже внутренне обрадовался: шпагу в руку — и на дорожку, мой выпад, господа!

— Чему обязан?

— Бросьте, Лайк, я не провокатор и не ищейка. «Новости» за семнадцатое апреля вы не сможете получить в «Семи футах». Энтони провалился, Линнет не знала об этом. Его взяли вчера люди Бигля. Слышали о таком?

О Бигле я, конечно, слышал: один из столпов безопасности Системы, контроль над снами и всякое такое. Сволочь, не лучше Тейлора. Энтони провалился — Бигль знает свое дело,— это сильно осложняет обстановку: я теряю явку. А тип в кресле и вправду телепат, словно подслушивает мысли:

— Я знал о вашем прибытии и вел вас от космодрома, боялся слежки.

— Почему же не предупредили Линнет? — Я уже почти верил этому усталому человеку — лет под пятьдесят, мешки под глазами, седина,— но все же старался задать вопрос побезобиднее: если он знает пароль, бармена из «Семи футов» и Линнет, то я ничем не рискую, если покручусь вокруг этих сведений.

— Я предупредил ее, но вы уже были в таможне.

— А зачем такая таинственность? Почему мы не могли поговорить в вагоне?

— Вы любите рисковать? Я — нет.

— Кто же вы? Мне надоела эта игра в вопросник.

— Лишних вопросов больше не будет. Я не Тейлор. А мое имя Мак-Брайт. Для друзей просто Джеффри. Профессия — коммивояжер. И еще я ваш связной.

— С кем?

— Со сламом.

Я сделал вид, что не понял.

— С чем это едят?

Мак-Брайт снова засмеялся. Что его так веселило?

— С чем едят? С лазерами. С пистолетами. С листовками. На любой вкус приправа...

Что ж, понятно: сопротивление или подполье, здесь это называется сламом, я знал о нем. У Центра есть свои люди в здешнем сламе. Быть может, Мак-Брайт — один из них: я не любопытен, а мне не сочли нужным сообщить координаты агентов. Правда, шеф говорил о человеке, который, быть может, — он подчеркнул осторожное «быть может» — появится, но потом, позже, когда я акклиматизируюсь в этом раю. А если «позже» уже наступило? Энтони арестовали, явка провалена, и осторожное «быть может» превращается в железное «непременно».

А раз так, то Мак-Брайт и есть тот самый незнакомец, «приходящий позже». Я уже мог не ломать комедию.

— Вы явились вовремя: я совсем было нацелился в этот проклятый бар.

— А вы сходите туда: прекрасный бар, рекомендую. Вкусно кормят — без всякой химии, гипномузыка. Сходите, сходите, лучшего места для первого вечера не придумаешь. И Линнет захватите: будет с кем танцевать.

— Вы думаете, они сняли слежку?

— Они ее и не ставили. Бедняга Энтони погорел буквально во сне: не терпел сомниферы.

— Значит, бар чист?

— Наконец дошло! Чист, чист, как напиток, который вам сегодня там подадут. Выпейте его за мое здоровье.— Он встал, высокий, сутуловатый, по-прежнему улыбающийся (интересно, будет ли у меня когда-нибудь такая же выдержка?).— Мне пора, не провожайте, не надо, чтоб нас видели вместе.

И уже у двери обернулся, сказал вполголоса:

— Меня не ищите, я сам вас найду, когда будет нужно. Линнет скажите только, что я был у вас.

— Некто без фамилии?

— Я же назвался: Джеффри Мак-Брайт. Конспирация — хорошая штука, но Линнет меня знает. И еще вы теперь. Поняли?

Я понял, все понял. Или, вернее, почти все. И, главное, я не один здесь: за спиной у меня Мак-Брайт, видимо, разведчик высокого класса. За спиной у меня Линнет: я ей позвоню сейчас, договорюсь о встрече. За спиной у меня слам...

Что знал я об этой организации? Вероятно, больше, чем заправилы Системы. Да и не знают они ничего, разве только что слам существует. А где, кто, когда, с кем — рады бы изведать, да в коленках слабы: систему конспираций в сламе хоть в учебнике описывай, если будет когда-нибудь такой учебник. Есть, конечно, и провалы — ни одно действующее подполье от этого не застраховано,— но проваливаются люди — пятерки, десятки, сотни, наконец, а слам живет, борется, растет.

Кто они? Красные? Нет, это слово давно стало пугалом в Системе Всеобщего Контроля. Не для властей — увы — для обывателя, который барабанит свои шесть часов на службе, жует

химию и запивает химией, смотрит по телевизору мелодрамки, а по ночам видит сны, подсказанные Каталогом.

Официальная пропаганда медленно, но верно делала свое черное дело. Старыми методами? А зачем их отменять, если они по-прежнему действенны. Красные хотят сделать все общим, отобрать у бедного труженика домик, жену, дочку, телевизор, машину? Хотят, хотят! Так опасайтесь их, кидайте в них камни, они ваши враги! Партия давно уже ушла в подполье, но решение объединить всех недовольных в одной организации пришло не сразу. Оно встречало сопротивление даже у тех, кто понимал: при существующем режиме тотального террора и сыска не выжить даже в подполье. И партия сплотила в трущобах, в сламе сотни тысяч людей, которые боролись за свободу и счастье, за право жить и работать по-человечески.

Великая штука — равновесие, конечно, устойчивое равновесие: шар в лунке — старый пример из учебника физики.

Две глыбы — две системы, и живут люди... Устойчивое равновесие? Вздор, оно неустойчиво, пока существуют ложь и насилие, пока жизнь человека в Системе Всеобщего Контроля — ах, процветание, ах, земной рай! — не человеческая жизнь.

Вот почему существует слам. Вот почему слам силен. Вот почему он так страшен хозяевам Системы. Вот почему он непобедим, и побеждает, и победит. И еще: вот почему я здесь.

Я плохо знаю структуру слама: вероятно, потом Мак-Брайт, или Линнет, или кто-то еще познакомит меня с ней, если понадобится. Опять это «если понадобится». Я не любопытен — меня так учили. Я не заглядываю в чужие окна, если это не входит в мои обязанности. А что входит в мои обязанности?

Я протянул руку к видеофону и вызвал справочную.

— Космовокзал, телефон газетного киоска, первый этаж.

На экране загорелись цифры, и я мгновенно перевел на них набор запоминающего устройства. Когда на экране появилось недовольно-удивленное лицо Линнет, я сказал игриво и нагло — ну как еще может говорить с девчонкой старый космический волк:

— Привет, девочка! Узнаешь?

Она улыбнулась:

— Что-то припоминаю...

— Могу напомнить подробности знакомства. Скажем, сегодня в семь?

Она помялась, жеманница:

— Я не уверена... Ну, если ненадолго...

— Надолго, ненадолго — разберемся после. В семь у «Семифутового»...

И, только выключив видео, подумал, что каламбур получился дурацким, если принять во внимание все сказанное Мак-Брайтом.

Глава четвертая,

в которой не только танцуют

Бар «Семь футов под килем» я давно и прочно знал по кинолентам, прокрученным еще в Центре, но все же он поразил меня, как и рассчитывали его хозяева: неоновая девица над входом, разбрасывающая искры по нагретому асфальту, была ошеломительна. Линнет я ждать не стал, прошел сквозь светящиеся нити — оптический обман честных трудящихся! — и уверенно остановился у входа в огромный зал-раковину: не спеши, Лайк, не ищи никого, пусть тебя ищут, сегодня хозяин ты, у тебя деньги, у тебя слава, подожди секунду, вот уже торопится к тебе некто безликий и напомаженный, во фраке и белой бабочке — пингвин, да и только.

— Вы один? — Легкий поклон, скрытое любопытство во взгляде: сколько стоит этот клиент?

— Со мной дама. Столик на двоих и подальше от шума,— небрежно и изысканно, ленивым тоном — можно не бояться переиграть.

— Прошу вас.— Лавируем между столиками.— Этот устроит?

— Вполне. Мое имя — Лайк. Когда придет дама — проводите.

Я поудобнее устроился в кресле, вытянул ноги и посмотрел на вход. Наверно, зря я это сделал, потому что шок оказался для меня слишком сильным. У входа в зал стояла в искрящемся платье красавица. Куда исчезла мальчишеская челка — на голове нечто немыслимое в виде башни. Минутой позже она уже сидела за моим столиком и говорила капризным голосом лысому официанту:

— Два обычных, Клей, два холода. Только без искры.

Я постепенно вернулся в нормальное состояние и смог критически оглядеть соседку.

— Я вижу, вы любопытны, Лайк. Задавайте вопросы — отвечу. Сколько их у вас?

— Всего три, прелестница. Во-первых, откуда вас здесь знают? Во-вторых, что это за галиматью вы несли официанту? В-третьих, как киоскерша Линнет превратилась в снежную королеву?

Линнет засмеялась, и сразу же ее «снежная неприступность» растаяла: улыбка была совсем не королевской — обычной, милой, земной.

— С вашего позволения, я начну с третьего: я ни в кого не превращалась. Просто время такое, что королевы — даже снежные — вынуждены работать киоскершами: жить-то надо. Во-вторых, если вы у себя на луне превратились в отшельника, который не знает даже земных напитков, то нечего валить на меня: эта «галиматья» вкусна и полезна, сейчас сами оцените. А вот откуда меня здесь знают?..— Она опять улыбнулась, теперь загадочно и холодно.— Всему свое время, Лайк, всему свой черед: узнаете и это...

— Ладно, я не тороплюсь,— протянул я, наблюдая за тем, как пингвин во фраке расставлял у нас на столе немыслимые изогнутые бокалы с чем-то синим, золотым, розовым, крайне аппетитным, пожелал нам приятного вечера и исчез, а Линнет, даже не взглянув на него, спросила деловито:

— С чего начнем?

И я бухнул с размаху:

— Со слама?

А Линнет даже бровью не повела, улыбнулась, сказала:

— Советую золотой — бодрит. А потом остальные — вечер долгий...

Она пошарила рукой под столом, щелкнула чем-то, скривилась болезненно — палец прищемила? — кинула в черную сумочку какой-то кубик и уж совсем по-детски сунула палец в рот.

— Больно? — спросил я сочувственно.

И получил ответ:

— Вы кретин, розовый, довольный, ничем не прикрытый. Думаете, что вы еще на луне, а вокруг скалы и кратеры? Напрасно. Здесь все кишмя кишит микрофонами — от нашего столика до лысины официанта, а вы преспокойно задаете вопросы, от которых у «слухачей» волосы дыбом становятся. Словом, я выключила микрофон.

— Но не хватятся ли его наши друзья?

— Не хватятся. У них на схеме этот столик пуст — не обслуживается или посетителей нет. А будем уходить, вернем игрушку на место.

Я счел объяснения исчерпывающими и попробовал золотой напиток: по вкусу он походил на мед. Но у этого золотого пойла была и своя особенность: оно не пьянило, а скорее бодрило, как стимулятор, поощряя к светской беседе.

Но светской беседы не получилось.

— Отвечу сразу на все предполагающиеся вопросы,— сказала Линнет.— Я и Мак-Брайт связываем вас со сламом, ориентируем и поддерживаем вас. Кроме Мак-Брайта, вас знает еще Первый, единственный из Большой Десятки, поставленный в известность о пилоте Лайке. Если вас не проинструктировали, поясню: Большая Десятка — это руководство слама, а Первый — глава Десятки.

— Вы знакомы с ним?

— Что вы! — Она возмутилась.— Ни с кем из Десятки. Я связана только с Мак-Брайтом и со своими агентами.

— У вас они есть?

— Конечно. Их десять.

Так я и думал. А у этих десяти свои десятки. Старая и верная система — щупальца с единым мозгом-руководством.

— Посмотрите внимательно,— вдруг сказала Линнет,— кто вошел в зал.

Я посмотрел внимательно, потом очень внимательно и все равно ничего особенного не заметил. Вошла, вернее, ввалилась, компания — человек десять,— пьяная, орущая, молодая, лохматая, пестрая и еще сто эпитетов, и все подойдут.

— Кто они?

— Высокий в синем свитере, видите, рукой кому-то машет,— Факетти-младший. Вам это имя ничего не говорит?

Мне это имя кое-что говорило. Я бы даже сказал, что оно кричало: внимание, Лайк, действие начинается, скоро твой выход!

И сразу же компания у стойки бара распалась для меня на составные части, как детская пирамида,— цветные кольца на стержне. А стержнем был Факетти-младший — парень-гвоздь, душа общества, рост под два метра, глаза серые, двадцать шесть лет от роду, занимается плаванием, кончил Тринити-колледж, не работает, много пьет, репутация странноватая: кому нравится, кому нет. Откуда сведения? Откуда сведения. Я принес их в клюве и приберегал на всякий случай. Вот он, случай.

— Позвольте вас пригласить...

К столику подходит парень из компании Факетти: медно-красная морда, честно говоря, не урод, волосы длинные, прямые, как пишут в книгах, «цвета воронова крыла», перехвачены черной лентой, нос с горбинкой, черно-белое пончо на широких плечах.

— Спасибо, я не танцую.

— Что так?

— Устала.

— Так идемте к нам — у нас весело, усталость пройдет.

Как будто меня не существует: даже не взглянул в мою сторону. А Линнет волнуется, ждет моей реакции. Пора?

— Послушайте, приятель, как у вас со зрением?

— Что-что? — Полное недоумение.

— Разве вы не заметили, что дама не одна?

Ах, какая улыбка: тридцать два снежных зуба, и все свои!

— Кажется, вы меня прогоняете, так я понял?

— Вы сообразительны...

Наверное, я что-то еще хотел сказать, но не успел: он рванулся вперед, схватил меня за ворот, резко поднял с кресла — ну и силища! — прошипел, не разжимая губ:

— Сейчас ты пожалеешь о сказанном...

— Уймись, силач,— бросил я равнодушно.

Но он не внял голосу разума. Коротко размахнулся, ребром ладони — отработанный жест — ударил меня по шее. То есть ему хотелось по шее, но я увернулся, и удар пришелся в плечо. Мне стало больно, и я озверел. Я всегда зверею, когда мне больно. Он по-прежнему держал меня за пиджак, и я снизу ударил его по руке — под локоть. Он охнул и разжал руку. Я тут же схватил ее, рванул на себя, коленом — в живот, ладонью с размаху — как хотел он сам, он шлепнулся пыльным мешком у стола — отдохни, дружок.

— Что случилось? В чем дело?

Два вопроса прозвучали одновременно. Первый задал Факетти, второй — его приятель. А позади стоял гангстер-метрдотель, но вопросов не задавал: то ли стеснялся Линнет, то ли хотел посмотреть, что будет дальше.

Я вежливо поклонился любознательным молодым людям и столь же вежливо объяснил ситуацию:

— Ваш друг, к моему великому сожалению, сначала оскорбил даму, а потом и меня. Я не люблю, когда меня хватают за пиджак и дергают из-за стола, а он почему-то не захотел поступить иначе.

— Похоже на Дикого,— засмеялся Факетти, и я подумал, что он, вероятно, симпатичный и неглупый парень.

— Не обижайтесь на моего друга: он слишком горяч. Давайте согласимся, что инцидент исчерпан.

Что ж, если не считать еще не пришедшего в сознание Дикого, то инцидент был действительно исчерпан: ни у Линнет, ни у меня претензий к Факетти не было. А Дикого, по-видимому, никто не жалел: его взяли под руки и поволокли к выходу.

— Вы этого хотели? — спросила Линнет. Видимо, она не любила драк.

Не знаю, хотел ли я именно этого, но дело, как говорится, сделано: Факетти меня запомнил. Теперь остается еще один шаг — напомнить ему о себе. Только вот как напомнить?..

— Слушайте, Линнет,— сказал я.— Пусть ваши ребята последят за сынком: куда он ходит, как передвигается, какая у него программа на каждый день. И второе: я не хочу подвергать вас излишнему риску. Короче говоря, мне еще нужен связной, шустрый и понятливый парнишка.

Линнет ответила, не задумываясь:

— Везет вам, Лайк. Есть такой парнишка. И понятливый и шустрый. Зовут его Ли.

— Пусть придет ко мне послезавтра в девять тридцать утра. Успеет?

— Успеет.

— Я назову ему место встречи, а вы приготовите сведения о Факетти. Договорились?.. Тогда продолжим веселье.

И весь остаток вечера я доказывал ей словом и делом, что она не зря пошла со мной в этот «семифутовый» кабак.

Глава пятая,

в которой действие происходит двумя месяцами раньше, когда Лайка в Городе не было

Утро было пасмурным и тоскливым — низкое серое небо, дождь не дождь, а так, морось какая-то. Мак-Брайт брился в ванной, разглядывал в зеркале осунувшееся от бессонных ночей лицо — мешки под глазами, впалые щеки, а виски-то совсем седые! — и думал: сдает моторчик, на больших оборотах уже не тянет, скоро на отдых, купить домик где-нибудь на море и забыть обо всем... О ежедневной, ежечасной опасности, о слежке, о конспирации, о делах. Да разве забудешь?

Он говорил Первому об этом, зря, конечно, результат можно было предсказать. «Мне не слаще, Мак. Ты уж потерпи: вместе начинали, вместе и кончим». Начинали и вправду вместе, давно, еще до рождения Системы, и сколько пережили, перемучились вместе — все вместе, в одной связке, по очереди страхуя друг друга. Много сделано, а сколько впереди?

Мак-Брайт закончил бриться, привычно поморщился под струйками гидромассажа и, взяв плащ, пошел к лифту. Электроль со световым сигналом «Заказ» стоял у подъезда. Мак-Брайт назвал шифр вызова, сигнал погас, и дверца открылась.

Уже отъехав от дома, Мак-Брайт сунул руку под сиденье и достал оттуда продолговатый футляр. Раскрыл его, вынул записку, смешно пошевелил губами, расшифровывая текст. Ничего особенного, обычное дело, сколько их было у него.

Ли Джексон, район Фи-Джи, триста второй квартал, корпус, дом, квартира... Он работал у Бигля младшим оператором и чем-то не угодил ему: в записке об этом подробно не говорится. Зато Первый передал, что в пять за мальчишкой придут. Значит, надо опередить полицию.

Остановив электроль у вокзала, Мак-Брайт, согласно шифровке, прошел на тринадцатый перрон, подошел к расписанию, которое уже изучали мужчина с блокнотом и женщина, кого-то поджидавшая.

— Операция-перехват,— ни к кому не обращаясь, негромко сказал Мак-Брайт и назвал адрес, указанный в шифровке.

Потом оглянулся по сторонам, пошел вдоль перрона, нырнул в вагон поезда, отметив, что мужчина у расписания положил блокнот в карман и не торопясь пошел к выходу, а женщина все еще ждала кого-то, поглядывая на двери в зал ожидания.

Он сошел на следующей станции, сел в аэробус, проехал пять остановок, потом долго шел пешком, сворачивая в узкие улочки-ущелья между бесконечными стенами небоскребов. Это был район рабочих кварталов — без сверкающих реклам, роскошных витрин и шикарных баров. Обычные муравейники-дома.

Мак-Брайт свернул в очередное ущелье и, оглядевшись, вошел в подъезд, по замызганной лестнице спустился в подвал, толкнул тяжелую дверь с надписью «Вход воспрещен!» и очутился в длинном коридоре с мокрыми и холодными стенами, по которым тянулись толстые — литой резины — провода. Он торопливо пробежал до следующей двери с такой же грозной надписью и постучал осторожно.

— Кто? — спросили из-за двери.

— Седьмой,— ответил Мак-Брайт.

Дверь открылась, и он оказался в жарком машинном зале с низкими потолками — какая-то районная подстанция, что ли? За машинами следили всего два человека, и обоих Мак-Брайт знал.

Один из них встретил его, проводил молча — трудно говорить в таком шуме — в стеклянную кабину в конце зала, пультовую, закрыл за собой тоже стеклянную дверь. Двое — усатый пятидесятилетний человек и высокий парень лет тридцати,— в серых комбинезонах, в шапочках с козырьком, с нашивками на рукавах, ждали молча, не задавая никаких вопросов, как ждут приказа.

— Устал,— сказал Мак-Брайт.— Есть что выпить?

— Пиво,— откликнулся усатый.— Будешь?

— Буду,— кивнул Мак-Брайт,— и ты со мной. А Рив перебьется: у него сегодня дело.

— Зачем он тебе, Мак? — спросил усатый.

— Ребята Чивера сегодня играют в полицейских. Бигль проявляет рвение, так мы его опять решили немного опередить.

— Кто сейчас? — спросил усатый.

— Мальчишка. Его приведут.

— Говорить будешь ты?

— Линнет.

Над дверью загорелась красная лампочка, замигала тревожно, а через несколько секунд в зале раздался холодный металлический скрежет.

— Это Линнет,— мигнул Мак-Брайт усатому.— Открой и последи за проходом.

В пультовую вошла, вернее, влетела Линнет — в косыночке, в цветастом платьишке: совсем девчонка с рабочей окраины.

— Наконец-то! — сказал Мак-Брайт.— Пока подождем Чивера: он с минуты на минуту появится. Я уйду в аппаратную, а ты поговоришь с новым мальчиком. Скажешь, что тебе говорил о нем док. Задание ясно?

— Ясно. Что делать с мальчиком?

— Ты поговоришь, я послушаю. А потом Рив его спрячет.

— Зачем он вам?

— И об этом позже. Если подойдет, будешь готовить.

— К чему?

Мак-Брайт не ответил, закрыл глаза, расслабился: устал, вымотался. Он знал, зачем ему нужен мальчишка, новенький, чистый, в сламе его никто не знает. Бигль будет в ярости: что ж, не привыкать. Первый прикроет, на то он и Первый, чтоб Бигля нейтрализовать. А мальчишка в трущобах, конечно же, обживется, привыкнет.

В пультовую быстро вошел усатый.

— Мак, там Чивер и с ним трое. Один упакован.

— Пусть войдут.— Мак-Брайт встал и пошел в аппаратную.— Поставь блокаду на вход: нам посторонние не нужны.

Он вошел в тесную, заставленную приборами комнатку, где уже сидел долговязый Рив. Мак-Брайт приложил палец к губам — тише! — и нажал кнопку у двери. На стенке — белой и непрозрачной — высветился квадрат. Сквозь него видна была пультовая, Линнет на стуле и дверь, через которую двое мужчин вносили что-то длинное и тяжелое, завернутое в парусину. Сзади шел человек, которого Мак-Брайт встретил на вокзале: он там читал расписание.

— Надеюсь, живым довезли? — спросила Линнет.

— Даже без царапин.

Мальчишка и впрямь оказался живым, даже слишком. После укола стимулятора он пришел в себя, вскочил, рванулся к дверям и, только налетев на Чивера, остановился.

— Вы кто? — Голос его звучал крипло.

Линнет улыбнулась мягко и ласково:

— Свои, Ли. Нас послал док.

Ли всхлипнул, уж совсем по-детски:

— Док арестован.

— Знаем.

— А чего же вы здесь сидите? — Это уже почти крик.— Его же спасать надо!

Линнет улыбнулась: уж очень трогателен был он в своем волнении.

— Мы не оставляем друзей в беде.

— А кто вы?

— Узнаешь, Ли, все узнаешь. Док просил о тебе позаботиться. Вот и ты должен позаботиться вместе с нами о доке, о Чивере, о сотнях людей, которых арестовывают только за то, что они не пользуются сомнифорами, и за многое другое — за крик недовольства, за неосторожное слово, за опасные мысли. Поэтому инспектор Ли должен исчезнуть. Вместо него появится другой Ли, борец против неправды и зла, подпольщик, сламист. Но для этого нужно время. Рив проводит тебя.

Ли обернулся: огромный Рив в плаще, застегнутом наглухо, ждал у железной двери в машинный зал.

— А вы? — Ли жалобно посмотрел на Линнет — единственную, так он думал,— ниточку, связывающую его с доком.

— Я приду.

Ли шагнул вслед за Ривом. Дверь хлопнула за ними, лампочка над пультом загорелась и погасла. Мак-Брайт встал и пошел в пультовую.

— Ну, что? — Линнет ждала решения.

Мак-Брайт пожал плечами.

— Сырой материал, но научится. Всему научится...

Глава шестая,

в которой говорится о пользе случайных знакомств

Я проснулся ровно в девять, а получасом позже в дверь номера позвонили. Я выключил бритву и пошел открывать. За дверью стоял белобрысый паренек в нейлоновой куртке.

— Здравствуйте,— сказал он.— Я из рекламного бюро Мак-Брайта: телевизоры, холодильники, радиокомбайны.

— А-а, помню-помню,— протянул я,— что-то было... Ну, заходи, потолкуем о холодильниках.

Паренек вошел следом, подождал, пока я сел в кресло, и осторожно примостился напротив — на самом кончике стула. Я следил за ним, изо всех сил стараясь казаться суровым.

— Как зовут?

— Ли,— ответил паренек.

— Кто тебе дал мой адрес?

— Линнет. Сказала, что будете меня ждать.

— А быть посмелее она тебя не учила?

Ли усмехнулся неожиданно хитро:

— Как же, по-вашему, должен вести себя рассыльный из рекламного бюро?

Я оценил ответ и вспомнил, что Линнет очень хвалила мальчишку: смекалистый, подвижный, осторожный, может быть, чересчур восторженный, но это пройдет, а так по всем данным — отличный связник, лучшего не пожелаешь. Для него я сламист с Юга, привычная легенда двухмесячной давности. Зачем я здесь? А это уже тайна, и Ли не должен совать в нее нос, а должен слушаться меня во всем — это боевое задание слама.

— Вот что, Ли,— сказал я,— найдешь Линнет и передашь следующее: «Два часа пополудни, Сороковая улица, кафе «Устрица». Запомнил?

Ли повторил про себя, кивнул согласно.

— А мне что делать?

— Придешь тоже, только сам по себе.

Я не случайно позвал Линнет на Сороковую. Движение электролей там достаточно интенсивно, чтобы я мог показать весь свой водительский класс: мой план «случайного» знакомства с Факетти, вернее, его продолжения, строился именно на умении водить электроли. План этот я придумал еще в баре и тут же поделился придумкой с Линнет. Помню ее высокомерное: «Неплохо. Можно попробовать...»

Я заметил ее еще издали — она пересекала улицу, размахивая рыжей сумкой, непонятным мне предметом туалета, за который упорно цеплялись модницы всех времен.

— Девушка,— закричал я, перегнувшись через барьерчик, отделяющий кафе от тротуара,— сжальтесь над одиноким героем космоса, разделите его трапезу!

Линнет обернулась, засмеялась, узнав меня. Я подвинул ей стул, подозвал официантку.

— Прохладительное, пожалуйста.

Мы обмениваемся любезностями, пока не уходит официантка. Теперь можно перейти к делу.

— Тебе понравился Ли? — Мы перешли на «ты» сразу, без предварительных объяснений.

— Хороший паренек. Кстати, где он?

— Витрина книжного магазина около стоянки электролей. Заметил?

Заметил: тоненькая фигурка в курточке возле книжного развала — студент или школьник.

— Что успела узнать о Факетти?

— Самое существенное. По средам он обедает у отца, временно покинувшего свою резиденцию на Второй Планете и обитающего сейчас в Мегалополисе. Видишь дом с лоджиями?

— Вижу.

— Тридцать седьмой этаж, второй блок. Отец — банкир, глава фирмы «Шахты Факетти». Джин — его единственный наследник.

— Джин?

— Так зовут твоего будущего приятеля. Через полчаса увидишь его воочию.

Каюсь, я не ожидал столь быстрого разворота событий. Через полчаса на улице появится тот, кто тебе необходим, ибо он ступенька к «Шахтам Факетти», фирме, с которой связано задание Центра.

Но почему Линнет так спокойна?

— А зачем волноваться? Видишь электроль на стоянке? Он один, и другого не будет, хотя улица бойкая и диспетчер просто обязан держать здесь не менее пяти машин. Скажешь, просчет? Нет, расчет, прости за каламбур. Утром я говорила с Седьмым: это его работа.

— Давай по порядку. Кто такой Седьмой, и в чем его работа?

Продолжение следует.

КАНАТОХОДЦЫ

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Она досадливо поморщилась.

— Совсем забыла: ты же еще младенец в сламе. Седьмой — Мак-Брайт, это его позывной. Он связан с главным диспетчером парка, а тому ничего не стоит держать здесь всего один электроль. Да и тот, честно говоря, неисправен.

— Его же могут в любую минуту перехватить.

— А Ли на что? «Простите, но машина заказана. Стоянка за углом, три минуты ходьбы». Мальчик хорошо знает свою роль...

— Какова неисправность в машине?

— Что-то с управлением, электроль должен сдать на третьей передаче.

Восемьдесят километров в час — скорость приличная, придется рисковать.

— Факетти один?

— Входил один. С кем выйдет, не знаю.

На той стороне улицы Ли застыл у стены дома. Пожалуй, он волнуется сейчас не меньше меня. А может, и больше: для него это — первое серьезное задание. Акция, как говорят здесь. Вот он рванулся от двери, пошел по тротуару.

— Внимание, Лайк!

— Вижу.

Из подъезда вышел высокий парень в красной синтетической куртке — Факетти! Остановился, закурил, ладонями закрывая огонек зажигалки, шагнул к электролю. Еще мгновение — и дверца машины закрылась, электроль резко рванулся с места — включено ручное управление? — нырнул в поток машин. Я помешал ложечкой тающее мороженое: пора!

Посреди площади вспыхнул багровый факел. Визг тормозов, комариное гудение электродвигателей, взволнованные крики — все это мгновенно погасло, выключилось, как звук на экране. Я не слышал, что мне кричала Линнет; просто оттолкнул стол, перемахнул через ажурную ограду кафе, побежал через площадь, лавируя между машинами, туда, где словно в вакууме (все разбежались, очистили место — погибай, парень!) горел электроль Джина Факетти.

Я сорвал пиджак, несколько раз с силой ударил им по куполу, сбил на секунду пламя. Обжигая руки — стисни зубы, стерпи! — рванул на себя дверцу машины. Неожиданно она легко открылась. Я схватил за плечи безжизненно повисшего на руле, потерявшего сознание Факетти, потянул из кабины, повалил на мостовую — вовремя. Пламя с новой силой охватило машину.

Факетти очнулся, сел на мостовой. Я помог ему подняться и повел к тротуару, расталкивая любопытных. Он сокрушался вслух:

— Потерял сознание, как мальчишка! Стыд-то какой...— Потом повернулся ко мне: — Вы спасли мне жизнь. Я ваш должник...

— Прощаю вам долг,— сказал я.

Он засмеялся беззаботно, словно не было ни аварии, ни смертельной опасности.

— Не надо: я всегда плачу по счетам. Давайте знакомиться: Джеронимо Факетти, короче Джин. Может, слышали?

— Даже видел.

— Где?

— Кафе «Семь футов под килем».

Он всмотрелся в мое лицо, кивнул утвердительно.

— Верно. Это вы тогда Дикого приложили.

Я назвался. Он присвистнул уважительно, взял меня под руку.

— Мое спасение надо отметить. Вы «за»?

В тот вечер я поздно добрался к себе в отель: Джин долго не отпускал меня. В общем, можно было считать, что у меня появился в городе друг. А что касается пары ожогов на руках, так это мелочи, не стоящие доброй дружбы.

Продолжение. Начало в №№ 5, 6.

Глава седьмая,

в которой развлекаются, стреляют и бегут из тюрьмы

С Джином я встретился на другой день на двадцатом этаже стеклянного небоскреба «Шахты Факетти», в созданном по его идее наимоднейшем клубе «При свечах». «У нас особый клуб, старина. Малость ветхозаветный, но тебе понравится».

В роскошных залах, украшенных старинной мебелью, коврами и светом тысяч свечей, нас встретили столь же старомодные туалеты — визитки, вечерние платья дам и сверкающие камни в ушах и на пальцах. Лакеи в напудренных париках и шитых золотом ливреях разносили напитки, гигантский швейцар в красных панталонах и белых чулках объявлял имена сановитых гостей.

Все это не заслуживало бы даже упоминания, если б не две встречи и последовавшие за ними события. Сначала мне пришлось пожать руку Дикому, иначе говоря, Стиву Кодбюри, оказавшемуся сыном начальника городской полиции, причем рукопожатие это не доставило никому удовольствия, кроме Джина, радостно воскликнувшего:

— Вот и прекрасно, мальчики. Теперь нас трое.

— Четверо,— поправил его женский голос.

Особа эта, несмотря на ее ослепительную внешность — рыжие волосы, распущенные по плечам, ровный золотистый загар — в цвет волос, зеленые глаза и зеленые изумруды на шее,— вероятно, не привлекла бы моего специального внимания — мало ли каких красавиц я встречу в компании Факетти,— если б не примечательный диалог между нами, диалог с подтекстом, настораживающим и многозначительным.

Мы стояли с Жаклин Тибо у стены как раз под солидным хрустально-медным канделябром с двумя десятками свечей, и я время от времени с опаской поглядывал на него: и тяжел и огнеопасен... Жаклин заметила, потянула в сторону:

— Так безопаснее?

Вздохнул иронически:

— У меня уже проверяли крепость черепной коробки. Боюсь, что второй проверки она не выдержит.

— Где же была порвал?

— На луне.

— Ах, да, помню, Джин рассказывал...

Вот тут-то я и прозрел. Дело в том, что Джин не знал о моем приключении на луне: я не рассказывал ему об этом. Значит, информацию о пилоте Лайке Жаклин получила из других источников, а из каких, я, пожалуй, не сомневался. Факетти-младший слишком примечательная фигура, чтобы Тейлору не заинтересоваться его связями, которые могут стать опасными для отца, владельца таинственных «Шахт Факетти». В окружении наследника должен быть «дятел», который опять-таки должен заинтересоваться новым человеком — мной. Стив Кодбюри? Мелок, злобен и глуп. Остальные не проявляют ко мне никакого интереса: провинция, мускулы без интеллекта. А Жаклин рядом, Жаклин — вся внимание, вполне подходящий сотрудник для Тейлора.

Все дальнейшее на вечере не представляло интереса: Дикий напился, и Джин предложил «сменить обстановку». Решили разъехаться, отвезти пьяного Стива домой, сменить ветхозаветные костюмы на современные и вновь встретиться в ресторанчике «Город снов», где должна была выступать знаменитейшая Алина.

Выходя на улицу чуть раньше замешкавшихся моих спутников, я вдруг заметил на тротуаре тоненькую фигурку Ли.

— Вам электроль? — склонился он, как принято у парнишек, зарабатывающих услугами богатым клиентам, и добавил чуть слышно: — Я давно жду. Вы нужны Седьмому. Он будет в полночь на вокзале Торно, у второго пути.

Электроль он пригнал тотчас же, и я еще до появления Жаклин и Джина успел назвать автомату адрес:

— Вокзал Торно.

У вокзала я нырнул в одну из крутящихся стеклянных дверей. Замелькали светящиеся таблички: «Перрон 6... 4... 3...» Вот он, второй. Еще издали я увидел сутулую фигуру Мака в плаще с поднятым воротником. Он тоже заметил меня, сложил неторопливо пухлую газету, сунул в карман, медленно пошел вдоль перрона. Я за ним. Он поглядел по сторонам, вошел в вагон, остался в тамбуре.

Когда поезд тронулся, Мак-Брайт молча курил у стены, не обращая на меня никакого внимания. Я пристроился рядом. Он выбросил сигарету и спросил:

— Удивляешься?

— Мягко сказано...

— У нас мало времени: на следующей мне сходить. Я тебя и так прождал полчаса.

— Ли не мог предупредить меня раньше.

— Знаю. Не в этом дело. Сегодня слам идет на акцию. О Доке слыхал? Его сегодня должны выкуть.

Я не понял.

— Наш термин: спасти, вырвать из рук Бигля.

— Буду участвовать?

— Будешь. Только по-своему.

— Это как?

Он не ответил, прикидывал что-то в уме, посмотрел на часы, спросил нетерпеливо:

— Где сынок?

— Факетти? Наверно, в «Городе снов». Ждет меня и чертыхается. С ним некая дива — Жаклин Тибо. По-моему, человек Тейлора.

Он поморщился.

— Худо. Отделаться никак нельзя?

— Можно попробовать. А что?

— Сойдешь со мной, поймаешь машину, вернешься в «Город снов» и убедишь Джина поехать в штаб Бигля.

Я пожал плечами.

— Убедить-то можно, только зачем?

— Я не закончил: сегодня по управлению дежурит старший Кодбюри. Вполне уместно навестить отца задушевного друга. Он с вами?

— Нет, наверно. Когда я уходил, его повезли домой: надрался до бесчувствия.

— Тоже неплохо: беспокойство о моральном облике товарища чаще всего возникает в полупьяном виде — как раз, как у тебя с Джином. Приедете, поговорите, а когда начнется тревога — где-то около двух,— примешь участие.

Кажется, я начал что-то понимать: Мак-Брайту был нужен свой человек «на той стороне». Я, пожалуй, сумею сыграть роль.

— Инициатива поездки должна исходить от Факетти. А ты лишь натолкни его на эту мысль. Все понял?

— Все.

Он крепко пожал мне руку и вышел.

Я выскочил следом.

У выхода на площадь дежурили два электроля. Я влез в кабину, назвал адрес, взглянул на часы. Еще есть время. Да и опаздываю я ненамного: простят заблудившемуся провинциалу.

Так я и объяснил Джину с Жаклин, стойко охранявшим от публики столик на четверых у самой эстрады.

— Кто четвертый? — поинтересовался я.

— Стив обещал подъехать,— сказал Джин, а Жаклин добавила саркастически:

— Если проспится.

— Губите вы его, ребята. Пить он не умеет, а пьет.

— А мы-то что можем сделать? — искренне удивился Джин.

— Остановить его. Поговорить. Отцу, наконец, сообщить.

Джин задумался.

— Отцу — это идея,— сказал он.

— Опасная идея,— снова вмешалась Жаклин.

И я подумал, что она не слишком любит заносчивого Кодбюри и не скрывает этого. Тут я с ней вполне солидарен, даже союзник. Вот о чувствах Дикого и Джина к ней самой я пока не знаю. Интересно, догадываются они о ее профессии? Джин не дурак, вероятно, догадывается.

— А что может сделать отец Дикого? — спросил я.

— Экономическая блокада — раз. Физическая расправа — два. А три... наш Дикий папашу боится, проверено. Вот и слетаем к папаше, пока Алина не выступила. А ее выход в два. Успеем вернуться.

— Он же на дежурстве,— сказала Жаклин без всякого удивления, видимо, привыкшая к моментальным решениям Факетти.

— Ну и что? Поедем в управление. Ему сейчас скучнее, чем нам: попробуй подежурь ночью.

— Ты, конечно, сумасшедший,— пожала плечами Жаклин,— но бог с тобой, едем. Часа нам хватит?

А Джин хохотнул только:

— Зачем больше? В полчаса управимся.

...Полицейский в бюро пропусков Корпуса безопасности некоторое время внимательно слушал нас, разглядывал водительские права Джина — все-таки какое-то развлечение,— потом, позвонив куда-то, сказал строго:

— Проходите. Второй этаж, кабинет...

— Знаем, знаем,— прервал его Джин и шепнул мне: — Старик, наверно, решил, что к нему явился Факетти-старший.

— Полагаю, он и младшего жалует,— сказал я.

— Еще бы не жаловал! Все Кодбюри — из породы бесхребетных. Где дорого, там и гнутся. Впрочем, сам увидишь.

Я взглянул на часы: без двадцати семи два.

В приемной сидел мрачный детина с нашивками сверхсрочника и что-то писал. Увидев нас, осмотрел недовольно, нажал кнопку селектора:

— К вам трое.

Из селектора рявкнуло:

— Сейчас выйду.

Огромная резная дверь в кабинет дежурного чуть-чуть приоткрылась, впрочем, достаточно, чтобы я увидел на стене мигающую объемную карту города и огромный пульт посреди комнаты, оттуда выскользнул, именно выскользнул, а не вышел, маленький человечек в шитом золотом полицейском мундире без всяких знаков различия. Он был толст, лыс, коротконог и совсем не походил на Дикого.

— Рад вас видеть у себя, господа,— прожурчал он, сдвинул кобуру с лучевиком на живот, плюхнулся в кресло-раковину.— Как здоровье отца, Джин? Впрочем, знаю-знаю, имел честь говорить с ним вчера... Да вы садитесь, будьте как дома, если можно считать наш Корпус домом... Так что же привело вас ко мне в столь поздний час, когда маленьким детям пора байбай? — Вся эта чепуха была выстрелена без малейшей улыбки.

— Маленькие дети уже бай-бай,— сказал Джин, усаживаясь напротив.— Я имею в виду Стива. Собственно, из-за него мы и пришли.

— Что же он натворил, этот шалун? — спросил вкрадчиво Кодбюри-папа, и я успел заглянуть ему в глаза прежде, чем он опустил их. Страшные это были глаза: холодные, жесткие, колючие,— они совсем не монтировались с обликом толстяка, этакого доброго гнома — чужие глаза, принадлежащие человеку без жалости, роботу с программой на черствость.

— Как вам сказать,— начал было мямлить Джин, но не успел: над головой детины с нашивками вспыхнула красная надпись «ТРЕВОГА», и плотную ночную тишину здания разорвал вой сирены.

— Простите, господа. Поговорим в другой раз.

Кодбюри встал, расстегивая кобуру, вынул лучевик, щелкнул предохранителем, кивнул сержанту:

— Проводите гостей...

— Послушайте, Кодбюри,— раздраженно сказал Факетти,— можете объяснить, что происходит?

Тот улыбнулся впервые — только дрогнули уголки губ:

— Как слышите, тревога.

— Сбежал кто-нибудь? — Я спросил это, не вставая с кресла, стараясь говорить как можно небрежнее.— Бывает... Вы, кстати, переставьте диапазон на прицеле: у вас там полтораста — все здание разнесет...

Он посмотрел на лучевик, передвинул бегунок диапазонов, спросил удивленно:

— Знакомы с оружием?

— Более чем знаком — в дружбе.

— Он у нас новенький,— засмеялась Жаклин: ей было явно наплевать и на Дикого, и на тревогу, и на самого хозяина.— Пилот-профессионал, герой на половинном окладе, первый друг Джина и Стива. Дайте ему лучевик — всех врагов перебьет.

Я не был против своевременной идеи Жаклин.

— А что? Давайте попробуем! Я сейчас без работы: понравлюсь — возьмете на службу.

Кодбюри несколько секунд пристально смотрел на меня, потом подошел к столу сержанта, нажал какую-то кнопку:

— Доложите обстановку.

Из динамика на столе раздался взволнованный голос:

— Восточный блок. Круг дубль. Побег заключенного.

— Номер? — отрывисто спросил Кодбюри.

— Девяносто второй.

— Результаты?

— Блок оцеплен. Дополнительных сведений нет.

— Идиоты! — выругался Кодбюри и крикнул в микрофон: — Стягивать оцепление! Иду к вам.

Он оценивающе посмотрел на меня.

— Хотите пострелять, лучший друг Джина?

Я по-прежнему полулежал в кресле — очень уж оно располагало к отдыху,— бросил лениво:

— Буду рад.

— Держите! — Он кинул мне лучевик, я вскочил, поймав его на лету.

— Неплохо.— Кодбюри открыл ящик стола, достал второй лучевик, проверил диапазон.— Дежурный, остаетесь здесь, следите за тем, чтобы наши гости были в безопасности.— И уже к Джину: — Постараюсь развлечь вашего друга.— И покатился к двери.

А за дверью — по пустому коридору до поворота направо, потом, в тесный лифт, вверх, вверх, вверх — сколько этажей? — потом лифт начал двигаться горизонтально и, наконец, остановился. Мы вошли в такой же, как и внизу, коридор, только ярко освещенный и заполненный черными мундирами. К Кодбюри подскочил верзила в шлеме с защитным забралом, козырнул, отрапортовал:

— Все выходы блокированы. Им не уйти.

— Жертвы? — быстро спросил Кодбюри.

— Один полицейский внутренней охраны. И еще один ранен. Он-то и поднял тревогу.

— Камера?

— Без взлома. Открыта шифром.

— Где же они?

Полицейский, казалось, даже ростом стал меньше.

— Не знаю. С момента тревоги мы их не слышали — ни стрельбы, ни беготни.

— А может быть, вы их проворонили?

— Никак нет. Все выходы блокированы.

Он откинул вверх прозрачный намордник, вытер платком лицо.

— Думаю, их всего трое. И заключенный Стоун. Где-нибудь выжидают.

— Где-нибудь...— передразнил его Кодбюри.— Вам бы командовать детским хором, а не особой группой.

— Так точно,— тупо сказал полицейский.

— Ладно, к делу,— начал Кодбюри.— Четверо с лазерами — в блок «Мышь», четверых — к грузовому лифту, взвод — в грузовой двор. Остальным прочесать коридоры. Да, еще...— Он остановил стартующего верзилу: — Изоляция камер?

— Включена на полную.— И спросил нерешительно: — Скажите, вы доложили о происшедшем директору Биглю?

Кодбюри даже позеленел от ярости.

— Какое вам дело? За излишнее любопытство — двое суток ареста. Выполняйте приказ.

Тот щелкнул каблуками, надвинул щиток на лицо и побежал к отряду. Через несколько секунд полицейские с пистолетами и лучевиками пробежали по коридору мимо нас, сворачивая в боковые проходы, и только теперь я заметил в стенах глухие стальные двери, видимо, открывающиеся автоматически. Рядом с каждой — прямоугольник щита-распределителя: там, вероятно, механизм двери, пульт наблюдения, черт знает что еще. А над щитами ярко горели зеленые фонарики, кроме одной двери, где лампочка тревожно мигала.

Кодбюри к чему-то прислушивался, как собака на охоте: уши напряжены, сам в стойке, сейчас бросится.

— Что-нибудь слышите?

— Может, и слышу,— сказал он.— Вот что, лучший друг Джина, мы с вами пойдем туда.— Он ткнул дулом лучевика в жерло туннеля-коридора, уходящего в темноту.

— Что там?

— Люк для отбросов.

— Вы думаете...

Он перебил, усмехнувшись:

— Представьте, думаю. Полицейские тоже иногда размышляют. Где искать отбросы? В люке для них.— Он опять усмехнулся, довольный собственной шуткой.

Темный коридор — пожалуй, низковатый для меня: я то и дело стукался головой о какие-то выступы в потолке — мы прошли неторопливо и крадучись, он впереди, я за ним. В конце коридора Кодбюри зажег фонарик, осветив массивную стальную дверь с ржавым замком-засовом и осколки стекла на полу.

— Видите,— он указал на них лучом фонарика,— лампочка. Слабенькая. Люком пользуются редко и в основном днем. А им и она мешала...

— За дверью лифт? — спросил я.

— Нет, обыкновенные ступеньки-скобы, ржавые от времени. Этой части здания лет восемьдесят.

— А этаж?

Он кивнул одобрительно:

— Соображаете... Тридцать седьмой. Высоко. Они, вероятно, еще не успели спуститься...

Он осторожно отодвинул засов, потянул на себя тяжелую дверь, наклонился над темной бездной. Я резко рванул его на себя — вовремя: откуда-то снизу полоснул узкий белый луч, лизнул стальной косяк, как перерезал его.

— Отлично,— сказал Кодбюри,— они здесь.

Он достал из кармана прямоугольный брусочек, сдавил его, чем-то хрустнув, бросил вниз.

— Что это?

— Игрушка: усыпляющий газ. Я бы хотел взять их живыми.

Внизу в тоннеле что-то стукнуло и стихло. Кодбюри выругался.

— Мерзавцы знают этот дом, как свою квартиру: они перекрыли ход.

— Чем?

— Каждые пятьдесят метров — выдвижные крышки для накопления отбросов.

— Что же делать?

— Слушать старших, лучший друг Джина.— Он снова зажег фонарик и тут же погасил его, видимо, обнаружив то, что искал. Ударил рукояткой лучевика по стене, брызнули осколки.— Здесь кнопка сирены...

Здание вновь заполнил резкий протяжный звук. Кодбюри отпустил кнопку, звук прекратился.

— Поспешим к лифту. Там должны быть наши. Мы перехватим птичек прямо у выхода.

Грузовой лифт, набитый полицейскими — их было не четверо, как приказывал Кодбюри сержанту, а по крайней мере десяток,— спустил нас на первый этаж в две минуты. Грузовой двор, заставленный какими-то ящиками, бочками, непонятными конструкциями из металла, был почти пуст, если не считать четверых полицейских у автоматических ворот, еще одного — в тесной будке контрольно-пропускного пункта и троих людей в серых комбинезонах, суетящихся у огромного мусоровоза.

Когда мы с Кодбюри во главе десятка перепуганных стражей порядка выбежали во двор, эти трое уже закончили погрузку мусора, и полицейский в будке нажал кнопку управления воротами. Стальные створки поползли в стороны, серые комбинезоны влезли в кабину, и машина медленно тронулась. Она уже въезжала в ворота, когда внезапно прозревший Кодбюри истошно крикнул:

— Стой! — И полицейским: — Огонь по машине!

Потом рванулся за ней, прицеливаясь на ходу, а мимо него вслед беглецам сверкнули стрелы лазерных лучей. Вряд ли я тогда соображал, что и зачем делаю, но побежал за Кодбюри. Я настиг его у ворот, схватил за плечи, повалил и упал сверху — вовремя: из уходящей на полной скорости машины вылетел такой же лазерный луч, крест-накрест перечеркнул прямоугольник ворот. Приподняв голову, я увидел, как вспыхнула будка КПП, как, перерезанный пополам, рухнул на землю полицейский, как по темному переулку, завывая сиреной, пронеслись две черные машины управления.

— Кончен бал.— Я поднялся и помог встать придавленному толстяку. Он засунул в кобуру бесполезный уже лучевик, протянул мне руку.

— Спасибо: вы спасли мне жизнь. А лучше бы вы спасали только свою...

— Почему?

— Моя мне будет дорого стоить.

В молчании мы добрались до кабинета дежурного, он толкнул дверь и вошел в приемную. Жаклин и Факетти мрачно курили под охраной истукана дежурного. Увидев меня, Джип радостно крикнул:

— Наконец-то! Ну, что там?

Кодбюри перебил его, не церемонясь:

— Он вам потом расскажет.— Взял листок бумаги, что-то черкнул на нем.— Отдайте дежурному у выхода, иначе не выпустят.

Когда мы вышли, я рассказал о своих приключениях. Жаклин иронически заметила:

— Приобрели новую профессию — спасателя. Второй день практикуетесь.

Я отпарировал:

— Надеюсь, вас мне спасать не придется.

— Не ссорьтесь, ребята,— тихо сказал Джин.— Эта история будет стоить места старому Кодбюри: Бигль не прощает ошибок. А это значит, что у Лайка появляется враг...

— Дикий? — спросил я и добавил беспечно: — Он и так меня не терпит.

— Тут другое,— пояснил Джин,— чувство недоброжелательства перейдет во вражду. А как враг, Дикий очень опасен.

Время показало, что Джин был прав.

Глава восьмая,

в которой Лайка знакомят со сламом

Проснулся я поздно, долго лежал не двигаясь, не открывая глаз: болела голова, руки как ватные — не поднять, не пошевелить.

Я уже клял себя за то, что ввязался в это дело. В конце концов я Мак-Брайту не подчинен: мы делаем одно дело, хотя и разными способами. Мы можем и должны помогать друг другу, когда это безопасно. И тут же оборвал себя: не спеши осуждать Мак-Брайта. Сейчас ему прибавились лишние хлопоты — прикрывать тебя. И вряд ли бы он стал рисковать твоим положением, не продумав игры, не взвесив все «за» и «против». А ведь есть еще Первый, который, несомненно, знает и о вчерашней акции и о моем участии в ней. Значит, оно было обдумано и согласовано. Только зачем — непонятно...

После душа я почувствовал себя значительно лучше, выпил кофе, принесенный горничной, вышел из отеля, поискал глазами Ли. Мальчишки не было. Особенно удивляться не стал, подошел к киоску, купил утренний выпуск «Новостей», перелистал тщательно. Так и есть: о вчерашнем происшествии ни слова. А разве ты ждал иного? Нет, конечно. В этом прекрасном свободном мире отсутствует одна маленькая деталь — свобода. Маленькая-то она маленькая, но без нее как-то неуютно. Хотя многие привыкают, живут, помнят извечное «стерпится-слюбится». А если не стерпится, не слюбится? Вот тогда иди в трущобы, слам, действуй, добывай себе эту свободу, рискуй ежечасно, но помни: в газетах тебя не прославят, в песнях не воспоют, имя твое в речах не рассиропят. Вот почему, к примеру, для приема в клубе «При свечах» колонки не пожалели, и даже некто Чабби Лайк в списке гостей упомянут, а о его посещении полицейского Корпуса и речи нет: не событие!

Ну ладно, шутки в сторону. Что будем делать, Лайк?

— Дышишь свежим воздухом?

Резко обернулся, вздохнул облегченно: держи себя в руках, Лайк, не распускайся.

— Доброе утро, Линнет.

Она — в белом платьице-тунике, сандалиях с ремешками до колен, волосы схвачены золотым обручем — смеется:

— Хочешь, расскажу, что будешь делать в ближайшие несколько часов?

— Поделись всеведением.

— Повезу тебя туда, где с тобой и о прошлом поговорят и о будущем поведают.

— Куда поедем?

— Вокзал «Торно»,— сказала она в микрофон электроля.

— Я однажды был на вокзале «Торно»...

Она удивленно спросила:

— Когда?

— Вчера. С нашим общим другом. Почему опять вокзал?

Линнет пожала плечами.

— И опять и всегда... Традиционное место встречи.

— Место встречи не должно быть традиционным: это аксиома подпольщика.

— На вокзале «Торно» семьдесят семь перронов. Интенсивность работы предельная: каждые двадцать секунд прибывает или уходит моноэкспресс. Это же главный узел Мегаполиса: он соединяет центр с рабочими «окраинами», с «трущобами», с городами-спутниками. Пропускная способность его — двадцать миллионов пассажиров в сутки. Трудно ли потеряться среди них?

Мы прошли через вертящиеся двери в гигантский распределительный узел, откуда бесчисленные эскалаторы уносили пассажиров в тоннели под светящимися табло с номерами вокзальных путей. По одному из них мы поднялись на второй этаж, прошли мимо цветной шеренги автоматов с газетами, жевательной резинкой и сигаретами, парфюмерией и значками — бляхами — черт знает с чем еще! — и наконец вышли на волю, прямо к подъезду, уткнувшему свой китовый нос в табло с расписанием и указателем «Путь № 7».

— А почему седьмой путь? — поинтересовался я.— Вчера был второй...

— Любой из первой десятки,— пояснила Линнет.— И любая станция по вкусу: от первой до шестой. Сейчас поедем до третьей.

Третья станция ничем не отличалась от первой, на которой я побывал вчера вечером: тот

же длинный перрон, те же унылые автоматы, те же турникеты у выхода, та же стоянка электролей, и даже машин столько же — три, магическое число главного диспетчера.

— Поедем,— сказал я, но Линнет отказалась.

— Лучше пешком: спокойнее. Да и недалеко...

Окраина — кварталы бедноты. Здесь в ультрасовременных с виду — только с виду! — зданиях живут те, кто делает Систему сегодня: ее руки. Мне казалось — а по сути, и было так,— что я не раз проходил по теплому асфальту семьдесят пятой улицы, поворачивая на сто сорок шестую, шел мимо этого кондитерского магазинчика, ждал кого-то в баре Хиггинса с завлекательной надписью на дверях «У нас всегда есть что выпить!», играл в расшибалочку блестящей монетой с гордым профилем шефа Системы, стоял в очереди в кинематограф с юниэкраном, чтобы увидеть знаменитого Ланни Хоу в боевике «Планета — время любить!».

Повторяю еще раз: я не был в Мегалополисе, но был его жителем и на все вопросы давно получил ответ: и сколько людей в каждом доме, и каковы в нем квартиры (ученический пенал, увеличенный до размеров человеческого роста), и где работают его обитатели («Автомобильный центр», «Сталь Нью-Джи», «Шахты Факетти», заводы Холлинга — несть им числа!), и как развлекаются они (кружка тэйла по вечерам, киношка или бар с традиционным стаканом, парк увеселительных автоматов или телеварьете на углу сто пятой и восемьдесят второй, а по воскресеньям — семейный выезд в центр — мотай свои денежки, рабочий класс!), и как любят, и как дышат, и как смеются — впрочем, как и все люди во всем мире, поделенном на две больших глыбы, бывших когда-то одним домом, одной Планетой.

— Поспешим,— прервала мои раздумья Линнет,— нас ждут.

— Прости, задумался... Кто ждет?

— Сюрприз.

— Долго еще?

— Пришли,— сказала она, оглянулась, свернула за угол, потянув меня за руку, толкнула плечом дверь какого-то подъезда.— Сюда.

Мы спустились в полуподвал, открыли скрипящую дверь, прошли по темному коридору со множеством кабелей, протянутых прямо по стенам, подошли к стальной двери с печной надписью о нежелательности посторонних. Линнет постучала негромко, и из-за двери спросили:

— Кто нужен?

— Почта для Седьмого,— сказала Линнет.

Дверь открылась. На пороге стоял невысокий плотный старик в сером комбинезоне с красной нашивкой на рукаве. На ней были вышиты три скрещенные молнии. «Электрохозяйство района»,— догадался я.

Старик отступил, давая дорогу.

Мы прошли через низкий машинный зал, поднялись по ступенькам к стеклянной будочке в конце его.

— Входите.— Голос был мне знаком.

В тесной комнатке — судя по оборудованию, пультовой — на табуретке сидел Мак-Брайт, а рядом на стуле — незнакомый мне человек лет сорока.

— Привет, Чабби,— сказал Мак-Брайт.— Знакомься.

Незнакомец поднялся и, прихрамывая, подошел ко мне.

— Доктор Стоун,— протянул руку.

Я пожал ее, вспоминая, где я слыхал это имя, вспомнил и с уважением посмотрел на Стоуна.

— Рад познакомиться. Мое имя Лайк.

— Слышал,— сказал доктор.

— Я о вас тоже...

— Завели канитель,— усмехнулся Мак,— интеллигенция...— И Линнет негромко: — Девонька, погуляй по залу с полчасика, посмотри хозяйство Блисса.

Мы остались втроем в тесной комнатушке, где, кроме трех зачехленных пультов, стояли какие-то ящики, а за ними, в углу, виднелась еще одна дверь.

— Там подсобка,— сказал Мак-Брайт.— Мы одни, не волнуйся.

— Я не волнуюсь, я удивляюсь.

— Чему?

— Что это за игры, Мак? Непонятные приказы, непонятные действия, непонятная конспирация. Заметьте: я не спорил и не спрашивал — подчинялся. Хотя зачем — один бог знает. В конце концов я здесь не для того, чтобы отбирать лавры у мифических богатырей, у меня несколько иная задача.

Мак-Брайт усмехнулся устало, потер ладонью глаза: они слезились, как после бессонной ночи, даже не одной — нескольких. И я пожалел, что был резок с ним: измучился, измотался.

— У нас одна задача,— сказал он тихо, почти шепотом, и доктор кивнул ему, словно соглашаясь,— и ты ее знаешь, Лайк. Ты мне не подчиняешься, и я не вправе тебе приказывать. Но любой мой приказ — это приказ Первого или с ним согласован. Кстати, твое участие во вчерашней акции — вообще его замысел. Он мне его не объяснил, некогда было. Встретишься с ним, сам спросишь.— Он поймал мой удивленный взгляд, махнул рукой: мол, не перебивай, объясню.— Да-да, встретишься и скоро — он сам назовет день. И это тоже не моя идея — его... Теперь о главном. У доктора Стоуна есть кое-что по твоему ведомству: послушай, пригодится...

Он замолчал. Доктор тоже молчал, изучающе глядя на меня. Я не любил многозначительной тишины, поэтому немедленно ее нарушил.

— Несколько вопросов, Мак. О вчерашней акции.

Тот кивнул: спрашивай.

— Спрошу кратко. Как? Что? Почему?

— Акция дерзкая,— начал Мак-Брайт,— но не первая, связанная с Корпусом безопасности, точнее с его тюрьмой. У нас там тоже есть свои люди, и мы всегда осведомлены о внутреннем распорядке, о правилах, о положении подследственных. Даже план тюрьмы со всеми коммуникациями имеем... Расчет строился на привычке людей не замечать будничное, каждодневное. Если мусорная машина из года в год в строго определенные часы дважды в сутки приезжает на грузовой двор, то какой умник заинтересуется ее содержимым сегодня, если и вчера, и месяц назад, и в прошлом году оно не менялось? Конечно, меняются люди: шоферы, грузчики — так у них есть пропуска, которые дежурный всегда тщательно проверяет. Да и погрузка происходит у всех на глазах и занимает минуты три, не больше. И если за эти три минуты из бункера машины в грузовой люк проскользнут два человека, то, ей-богу, этого никто не заметит. Вот почему в четырнадцать ноль-ноль двое моих парней прочно обосновались в этом люке. Они должны были подняться до двадцатого этажа и спокойно дожидаться половины второго ночи, когда у тюремщиков пересменка по графику. Единственное неудобство — это путь наверх: по скобам...

— Знаю,— кивнул я,— видел...

— Вот как? — Мак-Брайт удивленно посмотрел на меня, но, ничего не спросив, продолжил: — Раз уж ты и там побывал, то, наверно, обратил внимание: от люка до камеры дока — всего метров сорок, сразу за ней коридор поворачивает вправо, и метрах в пятидесяти от поворота сидит дежурный. Он для нас безопасен, ибо его дело — сидеть, а не шляться по коридорам, как это делает рядовой полицейский. А этих рядовых двое: один у камеры, второй у люка. Тот, что у камеры, должен был быть одним из наших...

— Осечка вышла? — поинтересовался я.

— Осечка,— подтвердил Мак-Брайт.— Парня накануне перебросили в другой караул. Что же делать? Отменять акцию? Но дока не сегодня-завтра переведут в Централ-распределитель, а там — ищи его... В общем, решили рискнуть, а на всякий случай ввести в дело еще одного.

— Меня?

— Тебя. Это Первый предложил, я уже говорил тебе. Какие у него мотивы — бог знает, а мне твое участие совсем не мешало. Хочешь знать почему? Да потому что Кодбюри-старший — фанфарон и актер. Любит поработать на публику. Охранник неплохой, злой, решительный, опытный, только ему бы действовать, а не лицедействовать. Ты оказался подходящим зрителем, вероятно, даже подыгрывал где надо. А время шло. И работало на нас. В общем, главное ты видел. А теперь перейдем к делу, непосредственно тебя касающемуся. Я об этом в Центр донесение послал.

— О чем?

— О золоте на федеральном шоссе. Сын нашего человека был свидетелем довольно странной аварии: перевернулся электрокар на шоссе, а из кузова выпало несколько больших золотых брусков.

— А охрана? — спросил док. Голос был глуховатый и, пожалуй, слишком тихий: болезнь горла или просто усталость?

— Была охрана,— подтвердил Мак-Брайт.— Только странновато одета: в защитных скафандрах. Мальчишка так и сказал: «космонавты». Золото не излучает, так от чего прятаться?

Продолжение следует.

КАНАТОХОДЦЫ

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

— Любопытно,— сказал доктор,— а еще, пожалуй, любопытнее то, что мои сведения кое-что объясняют в этой аварии. Видите ли,— обратился он ко мне,— я проходил по следственной категории «Семь-главная», иначе говоря, по делам особо важных государственных преступников. В ходе следствия тут могут быть применены любые методы дознания, в том числе и показательный допрос. Не буду утомлять подробностями, скажу лишь, что подвергнутый такому допросу — уже смертник. Спасти его может лишь чудо,— добавил без тени усмешки,— как это и было со мной. И потом уже, допрашивая меня, следователь ничего не скрывал, пытаясь запугать, заставить просить пощады. Он ведь знал, что ничем не рискует: все государственные тайны были бы похоронены со мной на Второй Планете.

Продолжение. Начало в №№ 5—7.

Я даже вздрогнул от неожиданности, и, странное дело, доктор по-прежнему смотрел в пол, даже головы не поднял, и все же как-то сумел уловить, что послал меня в легкий нокдаун.

— Вас не интересует эта планета? Напрасно, пусть заинтересует.— Он поднял голову, и я увидел его глаза — тусклые, холодные, неподвижные.— Приговоренных к смерти у нас не убивают. Гораздо выгоднее растянуть смерть года на два — на три: больше не проживешь, это убивает вернее пули.

— Что именно?

— Руда. А она радиоактивна.

— Где эта руда?

— На Второй Планете. «Шахты Факетти», может быть, слышали?

Слышал, мне ли не слышать...

— Что за руда?

— Не знаю. Знаю только: радиоактивная.

— А точнее?

— Говорю: не знаю. Только такой руды на нашей Планете нет. Металл вырабатывается в лабораториях искусственным путем, а убивает вернее и быстрее любой из наиболее токсичных субстанций, известных нам. И учтите, «металл икс», добываемый на Второй Плапете, может оказаться самым эффективным из них. Следователь сказал, что мне не на что надеяться: всех, кто знает об этих разработках, убивают — лишних, конечно.

— Вам известно точно местонахождение разработок?

— Что может быть известно подследственному? Он может только слушать и запоминать. Я слушал и запомнил: адрес — Вторая Планета, владелец — Факетти. Вряд ли следователь врал. Такому, как док, говорят правду. Все равно ее через неделю-другую воочию бы увидел. Смертников не убивают: государству нужны рабочие руки — любые и побольше.

Нас не баловали сведениями о Второй Планете: слишком мало там сделано и делается с трудом. Первые колонисты в городах-куполах были героями. Их портреты печатались во всех газетах, а имена восторженные мальчишки заучивали наизусть. А дальше пошло, как здесь. Выросли города, колонистов стало больше: уже появились дети, рожденные на Второй Планете. Построена обсерватория — крупнейшая в мире, правда. Возник научный центр по изучению Второй Планеты, факультет университета готовит для него специалистов, и, пожалуй, на этом факультете — самый высокий проходной балл. Открыто крупнейшее месторождение нефти, разработан проект его эксплуатации. Сейчас он рассматривается в Комиссии по мирному использованию ресурсов космоса — одном из общепланетных институтов с правом решающего голоса.

Все это в нашей зоне влияния.

А что делается в зоне Системы Всеобщего контроля — совсем туманно. Самый крупный город в зоне — СВК-два. Есть и еще города-спутники с автономным управлением. А уровень развития тот же, что и у нас, даже пониже. Короче, сегодня—только капиталовложения, которые окупятся завтра или послезавтра.

И вдруг незарегистрированные, засекреченные разработки... Может такое быть? Практически да: док чуть было не попал в эти закамуфлированные рудники. А теоретически и мы допускали такую возможность: территория огромная, наземные средства контроля под куполами ограничены радиусом действия. Главный совет по эксплуатации Второй Планеты еще лет пять назад отказался от постоянных контролеров с двух сторон и высказался за периодическую инспекцию. Теперь мы посылаем инспекторов в СВК-два, они там сидят, смотрят, что им показывают, слушают, о чем им считают нужным сообщить,— не более того. А не хочется сообщать — так скрыть нетрудно... Агентура на Второй Планете пока бесконтрольна.

Я встал.

— Спасибо за сведения, доктор. Они очень важны. А теперь, извините, у меня пара слов к Мак-Брайту.

Мы вышли в машинный зал. Я не стал напрягать связок, чтобы перекрыть шум, сказал на ухо:

— Его надо лечить: он опасен в таком состоянии.

— Знаю,— согласился Мак-Брайт.— Мы переправим его к нам. А как сведения? Помогут?

— Надеюсь,— сказал я.

— Я тоже надеюсь,— сказал Мак-Брайт.

Глава девятая,
в которой Лайк сам начинает верить, что он счастливчик

Вернувшись в отель, я сразу же позвонил Джину, но не застал его: «электронный секретарь» сообщил мне, что «хозяин» уехал к отцу в оффис. Не успел я отойти, как видеофон снова напомнил о себе. Появилась Жаклин.

— Чем занимаетесь, Лайк?

— Мечтаю пообедать. Хотите?

На мое счастье, она отказалась.

— Не могу, дела. А звоню я вот почему: вчерашняя история заставила сделать выводы не только папашу Кодбюри, но и Факетти-старшего.

— О чем выводы?

— Результат пока неясен. Дикий посажен под домашний арест вплоть до вынесения приговора. А нашего друга Джина вызвали на допрос к отцу.

— А что с Кодбюри-старшим?

— Пока санкций не было. Думаю, обойдется. Говорят, Бигль с чудачествами. Да и отходчив. А Кодбюри он любит — за глупость, наверно.

Следом за Жаклин на экране видеофона возник Джин, мрачный и осунувшийся.

— Звонил? — лаконично поинтересовался он.

— Звонил,— подтвердил я.— Тебе что, на мозоль наступили?

— Хуже,— тоскливо сказал он.— У меня неприятности, Чабби. Надо поговорить.

— Так поднимайся прямо в ресторан на сороковом этаже. Я займу столик на веранде.

Джин явился быстро — официант еще не успел принести заказ,— но обедать отказался:

— Не до еды, Чабби...

Налил себе рюмку, залпом выпил, сказал обреченно:

— Беда... Мой старик совсем с катушек сошел: устроил мне концерт легкой музыки. Словом, Кодбюри позвонил ему утром, сказал, что мы все здесь катим под уклон, что нас надо спасать, пока мы не дошли до предела. И старик придумал. Поскольку я инженер-горняк по специальности, то меня ждут с нетерпением на рудниках. А ты знаешь, где рудники «Шахт Факетти»?

Я знал, где эти рудники, но сказал осторожно:

— Где-нибудь на юге?

— Как бы не так!.. А Вторая Планета тебя не устроит?

Ох, как бы меня устроила Вторая Планета, гораздо больше, чем Джина!

— Невеселая перспективочка,— присвистнул я.

— Еще бы! СВК-два. Космический рай. Туда всех уголовников ссылают. И условия там — лучше в петлю.

— А ты не преувеличиваешь? — Я старался не выдать волнения.— Привыкнешь, старина. И потом ведь это не на век.

— А хоть бы и на год: ты бы, небось, не поехал...

— Я десять лет провел на луне. Это похуже, чем Вторая Планета.

Клюнет? Клюнул.

— Похуже, говоришь? А ты сам поезжай-ка да посмотри.

— Покупаешь? — Грубее, злее: сейчас нужен именно такой тон: — Я хоть сейчас чемодан соберу.

— А ты не трепись: собери...

Я кликнул официанта:

— Счет, пожалуйста...

Расплатился молча, встал, пошел к выходу.

— Куда? — крикнул Джин.

Бросил, не оборачиваясь:

— Чемодан собирать.

Он схватил меня за рукав.

— Да ты не обижайся: я пошутил.

— Зато я не шучу.

Он замолчал, дошел со мной до номера, подождал, пока я возился с ключом, вошел в гостиную, плюхнулся в кресло.

Я сел напротив, закурил — все молча, молча, кто первый не вытерпит? Не вытерпел он.

— Серьезно, Лайк: мне отступать некуда. Отец — человек слова, и он твердо решил отправить меня на Вторую.

— Когда летишь?

— На той неделе, вероятно.

— Ну что ж,— сказал я.— Своих друзей я в беде не бросаю. Только узнай у отца, что он думает по этому поводу. Время у нас есть: тебя не торопят.

Моя осторожность его не обескуражила. Умный парень, он понимал, что моя поездка на Вторую Планету зависит не от меня и не от него. Бигль, Тейлор, Факетти-старший — все они будут принимать участие в решении вопроса.

— Я тебе завтра позвоню,— засмеялся радостно Джин.— Подумай, нас опять трое...

— Кто еще?

— Как кто? Стив, конечно. Думаешь, наши старики зря друг другу морочили головы?

Он вышел, хлопнув дверью, а я не успел задать ему еще вопрос. Зачем Стив? Впрочем, пусть едет. Мне он не помешает: привык уже. Для них это вроде исправительных работ, ссылка для привилегированных. А для меня?.. Я посмотрел в окно: где-то у входа в отель должен ожидать Ли. Он-то мне и нужен сейчас, вернее, не он — Мак-Брайт.

Снова зуммер видеофона, но я не включил экрана: пусть жужжит.

Глава десятая,
которой могло не быть, если бы Лайка не мучила бессонница

День был явно перегружен событиями: звонок Жаклин, разговор с Факетти, поиски Мак-Брайта (проклятая конспирация!), долгий и скучный спор с ним, наконец, выбор решения — есть от чего появиться бессоннице.

Но ведь от бессонницы спасает великий бог сна — сомнифер, усыпляющий мгновенно и безболезненно! Или я настолько распустился, что позволил себе пренебречь этой хитроумной машинкой для оболванивания простодушных жителей СВК? Нет, уважаемые блюстители конспирации, я не пренебрегаю правилами той страны, в которую попадаю. И, конечно же, сомнифер стоял у меня на тумбочке рядом с кроватью, и сон я выбрал по каталогу: о луне, о моем безоблачном прошлом пилота, и лампочка на панельке прибора безотказно горела, сообщая контролеру в департаменте Бигля о том, что в Милтон-отеле обитает вполне лояльный гражданин. Но все дело в том, что сон по каталогу смотрел не я, а специальное устройство, присоединенное к сомниферу и настроенное на альфа-ритм моего головного мозга.

В общем, департамент Бигля — бывший департамент — мною не интересовался, а уж я им — и подавно. Меня волновало другое: мое будущее. Все дело в том, что на этот раз оно зависело не от меня — от Первого. Субординация есть субординация — даже в разведке. После того, как я изложил Мак-Брайту свой план, он надолго задумался, замолчал, измеряя шагами комнату, заставленную моделями пылесосов, вентиляторов, кондиционеров и прочей электрочепухи (Ли привел меня в контору Мак-Брайта: это было, безусловно, опасно, но другого выхода я не нашел — спешил). Я ждал ответа, а Мак-Брайт все ходил, курил сигарету за сигаретой, потом уселся в кресле напротив, спросил:

— Ты отдаешь себе отчет в том, что может произойти?

— Что может произойти?— невинно поинтересовался я.

Он обозлился.

— Не играй в дурачка. Сам знаешь, что Вторая — это прежде всего проверка, и не одна.

— Я прошел десяток проверок.

— Не торопись,— он снова закурил — какую по счету?— Это тебе не электроли тушить. Здесь нужны головы поумнее наших. Во-первых, я должен сообщить в Центр... И еще: сегодня об этом узнает Первый.

Я не спорил. Без санкции Центра я все равно не мог пойти на столь неожиданное продолжение операции. Другое дело, что я был уверен: такая санкция будет, подождем, два дня не срок. А Первый... Что ж, таинственный Первый, видимо, облеченный немалой властью — и тайной и явной,— должен знать о моих планах.

Когда меня готовили к переброске сначала на луну, потом в Систему, я слышал о Первом и о связанном с ним резиденте с кодовым именем Даблью-эй. Мне не давали явки к нему, никто не обещал встречи с ним, никто даже не говорил о том, что и ты, мол, будешь подчиняться ему. Подчинение было чисто символическим: даже Мак-Брайт, непосредственно связанный с Центром, никогда не упоминал ни резидента, ни его кодового имени. Я знал о нем, как и он

обо мне, конечно, но в каждой моей акции, требующей помощи слама, подчинялся только Первому и его решениям.

— Быть может, он захочет с тобою встретиться,— сказал Мак-Брайт.

Зеленый огонек сомнифера помигал несколько раз, погас на секунду и вновь загорелся ровным, неярким светом: программа сменила сон. Я пожалел, что прибор не действует на меня: день завтра будет нелегким. Впрочем, на Второй Планете перспектива еще труднее. У контрразведки загребущие руки, достанут меня и там. Ну что ж, пожалуй, я уже привык к опасностям, привык к проверкам, к слежке.

Я подтянул к себе пульт видео, набрал номер Факетти. Он ответил не сразу, но не удивился, увидев меня.

— Разбудил?

Он покачал головой.

— Я еще не ложился.

— Что ж так?

— Еще один разговор с папочкой.

— Простил блудного сына?

— Если это считать прощением. Назначен директором филиала на Второй.

— А Дикого куда?

— Ко мне, куда же еще? Будет, видимо, начальником полиции на рудниках. Должность вполне для него: власть и пушчонка в кобуре. По стопам папочки. Кстати, я тебе уже говорил, что Бигль простил Кодбюри-старшего? Стив подтвердил.

— Ты с отцом обо мне говорил?— перебил я: меня не интересовала судьба Кодбюри-старшего.

Джин кивнул.

— Отец не против. Спросил, кто ты. Я рассказал: и о твоей профессии и о том, как ты меня из машины вытащил... Короче, о визе не беспокойся.

— Отлично,— заключил я.— Завтра созвонимся.

Мак-Брайт сказал: поинтересуйся реакцией Факетти-старшего на твою поездку. Вот уж это меня не волновало, и я оказался прав: Джин сумел уговорить отца. А может быть, и не пришлось его уговаривать. В самом деле, сыну понадобится поддержка — это любой поймет,— а если друзья сына проверены и надежны, то стоит ли искать лучший вариант? Нет, меня волновала реакция Бигля, а Мак-Брайт отмахнулся, сказал: не суетись раньше времени, оставь Тейлора и Бигля Первому. А кому я «оставлю» себя? Нет, Мак, каково бы ни было решение Центра, я буду форсировать события: завтра же объявляю о своем решении лететь с Джином. Что может быть? Если Тейлор или Бигль имеют улики против меня (хотя откуда? Я не успел «наследить»...), Второй Планеты я не увижу. Ну, а если улик нет и я вне подозрений, то почему бы пилоту-ветерану не слетать на соседнюю планету с другом-администратором?

В любом случае я не рискую успехом задания. Если Вторая для меня закрыта, то здесь — в СВК — мне делать нечего. Если же Факетти гарантирует визу, задание мое переходит в решающую стадию...

А с Первым я встречусь. Отчего не встретиться? И надеюсь, он не будет так сверхосторожен, как Мак-Брайт.

Глава одиннадцатая,
в которой как будто ничего не происходит

Утро, как и прежде, началось с видеозуммера. Вежливый голос спросил «господина Орта» и, получив в ответ традиционное «не туда попали», извинился и замолчал. Экран я не включал: я и так знал, кто мне звонил. Вот почему я собрался с необычной поспешностью, выскочил из отеля, перешел улицу и нырнул в маленькое кафе напротив. Чашка кофе и пара бутербродов — что еще нужно на завтрак? А если за твоим столиком уже сидит некто с бутылкой прохладительной и делает вид, что не узнает тебя, то завтракать становится просто весело.

— Что случилось, Ли? — бесцеремонно спросил я, отрывая мальчишку от коричневой бурды.

— Седьмой,— сказал он, не глядя на меня.— В двенадцать десять, подземная станция «Бэри», головной вагон в сторону центра.

...Ровно в двенадцать десять я подошел к скамейке на перроне «Бэри», где уже сидел Мак-Брайт. Я его не узнал, и он меня не узнал — все, как положено, но в вагоне мы оказались рядом: два случайных попутчика, связанных коротким маршрутом громыхающей, грязной, душной подземки, такой же, как и десять, и двадцать, и сто лет назад, ибо в этом городе старое отступало с трудом, сопротивлялось изо всех сил, и никому уже не нужная, вытесненная поездами монорельсовых дорог, аэробусами и электролями, почти пустая подземка все еще гремела, лязгала, перевозя редких пассажиров.

— Разрешение получено,— сказал Мак-Брайт.

— Так я и думал,— подтвердил я.— Впрочем, и вы тоже...

Он улыбнулся:

— Я рад за тебя, Лайк. Да и не останешься ты в одиночестве. Хороший помощник у тебя будет.

— Кто?

— Догадайся.

— Ли?

— Холодно, холодно...

— Линнет?..

— Верно.

И буднично, словно пересказывая мне содержание рекламной брошюры о телевизорах (его работа!), безразлично глядя в сторону:

— Инструкции получишь за два дня до вылета. Связь по-прежнему через Ли. С Линнет сейчас лучше не видеться. Со мной тоже. Это ненадолго: насколько я знаю, Факетти вылетит на Вторую Планету дней через пять. Ну, да он сам тебе скажет... И еще: я говорил с Первым. Он хочет тебя видеть.

Я недовольно буркнул:

— За что такая милость?

— За послушание. За удачливость. За умение дело делать. Ты не ершись, слушай. Сегодня вечером, часиков эдак в девять доедешь до пятьсот тридцать второго квартала северного района. Найдешь Сотую улицу. Сам найдешь: спрашивать ни у кого не надо. Дом с рекламой «Мотор Гварнет» на крыше. Поднимешься на третий этаж, от лестницы — коридор. Дойдешь до конца, до двери с номером триста один. Она будет не заперта. Войдешь и сядешь, не зажигая света. Понял: не зажигая света. А когда придет Первый, не пытайся рассмотреть его — это приказ!— Он устало откинул голову, прислонившись затылком к холодному стеклу вагонного окна, процедил, не разжимая губ:— Я выхожу сейчас. Ты — на следующей. Не забудь: сегодня в девять...

Я вышел из вагона, обернулся по привычке — «хвоста» нет, поднялся на улицу, похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Не нашел, поискал монетку для автомата, набрал номер, спросил машинально:

— Джин? Закурить не найдется?

Он удивленно присвистнул:

— Как здоровье, старик?

— Подводит. Нервишки никуда.

— Ну приезжай: обмоем отъезд. Виза есть.

Вот и кончились твои «местные» опасности, Лайк. Начинается новый этап. И кто скажет, будет ли он легче или труднее. Не сорвись, не сломайся.

Джин, неестественно оживленный, встретил меня у дверей.

— Ты вовремя: мы как раз обсуждаем наш космический вояж...

— Кто это «мы»?

— У меня Стив.

Перспектива общения с Диким меня мало радовала, однако пришлось смириться. Я прошел в холл, уселся в кресло, услужливо повторившее мою позу (спецзаказ, огромные деньги!), поздоровался с Кодбюри, спросил:

— Так что же вы обсуждаете?

Джин уселся напротив.

— Преимущества космической работенки.

— И в чем же они?

Ответил Дикий:

— В самостоятельности, во-первых. Ты представить не можешь, до чего надоело под опекой ходить. Где был, что делал, с кем гулял — все выясняют, все осуждают: того нельзя, это плохо... Жизни нет! А там сам себе хозяин. Власть полная!

Джин явно почувствовал себя неудобно из-за не в меру разошедшегося спутника. Усмехнулся недобро, спросил с надеждой:

— Власть, говоришь? А дело ты знаешь?

— Порядок поддерживать? Думаешь, трудности? — усмехнулся Стив.— Оружие есть, люди тоже. Попробуй, пикни. Ты лучше о себе подумай: по тебе ли шапка? Справишься?

— Не знаю,— неуверенно произнес Джин.

Я протянул через стол руку.

— Вместе пойдем, Джин,— рука об руку... Кто знал, что я окажусь пророком?

Глава двенадцатая,
самая короткая

Я люблю точность, даже если она не нужна. Бывают же случаи, когда точность мешает. Скажем, сегодня: зачем приходить ровно в девять и торчать в темной комнате дурак дураком, пока кто-то невидимый тебя не окликнет? И все же привычка, отшлифованная временем, заставила меня ровно без двух девять выйти из лифта в длинный коридор, описанный мне Мак-Брайтом. Он был пуст, и закрытые двери ничем не выдавали присутствия за ними жильцов — ни криком, ни музыкой, ни детским плачем. Между тем дом был жилой, многоквартирный: обычный окраинный небоскреб-город со своими кварталами, улицами-коридорами, квартирами-пеналами за нумерованными дверями, у которых единственным, хотя и немалым, достоинством была полная звукоизоляция.

Я никого не слышал, и меня не слышал никто. И поэтому я добрался до указанной Мак-Брайтом двери без приключений, ненужных встреч и любопытных вопросов. Толкнул дверь — она действительно оказалась незапертой,— вошел, касаясь рукой стены, и, нащупав задвижку, успокоился: по крайней мере посторонние без шума не влезут. Пытаясь разглядеть что-либо в кромешной тьме, медленно прошел вперед, налетел на что-то, чертыхнулся и услышал негромкое:

— Это стул. Садитесь.

Как пишут в таких случаях в плохих романах, «я вздрогнул от неожиданности, но тут же взял себя в руки». Плохие романы не врут: я вправду вздрогнул от неожиданности. Но спросил спокойно:

— Там задвижка... Закрыть?

И услышал в ответ:

— Не надо. Сюда никто не войдет. Чужая собственность в СВК неприкосновенна.

— А как же власти предержащие?

Из темноты усмехнулись:

— Со мной их не было. А с вами?

Я обиделся:

— Не маленький.

Мой собеседник опять усмехнулся: весельчак какой-то попался.

— Догадываюсь, что не маленький, хотя и темновато здесь.

— В темноте видеть не умеете?

— Не обучили. А вас?

— Я самородок: обладаю инфракрасным зрением,— сказал я и тут же понял, что сморозил глупость.

А невидимый собеседник в отличие от Мак-Брайта глупостей не спускал:

— Вы сначала говорите, а потом думаете, не так ли? Оригинальное свойство для разведчика...

Я не стал задираться: виноват — получи свое.

— Простите: сорвалось.

— Прощаю,— сказал он милостиво, добавил:— Как вы догадались, наверно, меня зовут Первый.

— Я не догадался. Мне сообщил об этом Седьмой...

Ему явно понравилось, что я не назвал имени Мака, хотя мог: Седьмой — это не для меня, а для слама. Готовясь к заданию, я не слишком разобрался в цифровой иерархии слама, да и не спрашивали меня об этом. Мак-Брайт для меня был только Мак-Брайтом, а загадочный Первый, хрипящий из темноты — астма у него, что ли, или гланды не вырезаны?— был недоступным и невидимым. Вот таким: темно-расплывчатым, немногословным, почти нереальным, в чернильной темноте комнаты-пенала, где даже освоившиеся без света глаза едва различали очертания: кровать у стены и на ней не фигуру, а нечто мешкообразное, бесформенное.

— Времени я у вас отнимать не буду,— начал он.— И мне и вам оно слишком дорого. О том, что вы сумели сделать, знаю. На комплименты не рассчитывайте: работаете слишком грязно. Пока вам везет, но «пока» не вечно. Удивляюсь, с каких это пор у вас в Центре отдают предпочтение горячим головам. Как правило, они быстро слетают.

Я решил стиснуть зубы и молчать: черт с ним, пускай читает свои нотации. Работать-то буду все-таки я, а не кто-то с «холодной головой»...

А он продолжал сечь, ничуть не заботясь о нервах наказуемого:

— За вами вьется целый хвост квазигероических поступков: драки, стрельба, погони. Эффектно, но подозрительно. Недаром Тейлор приставил к вам одного из своих лучших агентов — Жаклин Тибо. Конечно, вы скажете: подозрения —

не улики. Милый мальчик, от подозрений до улик — меньше шага. Не оступитесь: ни Тейлор, ни Бигль ошибки не пропустят. А на Второй Планете вас ждет еще один цербер, пострашнее местных: Крис Уоррен. Запомните. Мак-Брайт подготовит вам «легенду» для него, но берегитесь: он умен и хитер. Здесь мы могли вас страховать. Там это будет сложно. Линнет — искусная подпольщица, но она женщина. Не слишком рассчитывайте на нее: она летит для связи. Так что помните: вы один, и задача у вас по силам лишь одному, как это ни парадоксально. И еще, вам не нужны сведения, вернее, только сведения. Главное — доказательства, да повесомее, чтобы можно было раздавить это гнездо. Поймите: если вы провалитесь, мы не сможем подобраться к тайне Второй Планеты еще очень долго. Стало быть, вы погубите не себя — дело мира. Себя не жалко? Согласен. Но вы работаете не на себя — на все человечество, как ни громко это звучит. Здесь мы позволяли вам играть в героя. Вы похожи на солдата, обезвреживающего мину: резвитесь, пока не добрались до нее, но когда она у вас в руках, осторожнее! Чтобы извлечь взрыватель, нужна не лихость, а предельная осторожность. Будьте осторожны, Лайк.— Он впервые назвал меня по имени.— Есть вопросы?

— Два,— ответил я.

— Всего?— удивился он.— Что ж, задавайте...

— Почему вы приказали мне участвовать в освобождении дока, когда только что так красиво говорили о моей осторожности?

Он хохотнул грубовато, но не обидчиво.

— Ловите?— спросил.— Не выйдет. Эту акцию я специально придумал для вас. Я знал о замысле слама, знал и то, что он удастся этак процентов на девяносто пять. Знал, что Кодбюри постарается выгородить себя в этой истории: кому охота совать шею в петлю? Он не дурак, этот Кодбюри, и прекрасно понимает, что в свидетелях лучше иметь героя, который жертвует животом своим ради безопасности страны. Вы были как раз таким героем, это же в вашем стиле: бежать, стрелять, лезть напролом. Ах, как он расписал ваши подвиги Биглю: хоть роман пиши. А Бигль любит героев, да еще таких, у которых в анкете чисто. У вас как раз чисто. Поэтому, когда речь зашла о вашей поездке на Вторую Планету, Бигль не слишком колебался: во-первых, за вас просил Факетти-старший, во-вторых, аттестация Кодбюри.

— Значит, вы знали о том, что я собрался на Вторую?

— Догадывался: конечная цель вашего задания — именно там. Рано или поздно встал бы вопрос о вашей выездной визе. И в этом случае лучше иметь союзников...— Он помолчал и спросил: — Все?

— Еще один вопрос...— сказал я.

— Говорите.

— Не обижайтесь, Первый,— медленно начал я.— Нотации и советы, быть может, необходимы, но их мог бы передать и Седьмой. Скажите честно, зачем вы меня вызвали?

Он долго молчал — видимо, обиделся все-таки, потом сказал с какой-то грустной усмешкой:

— Вы правы. Простите старика: я просто хотел посмотреть на вас, если это слово подходит к ситуации. Мне уже никуда не выбраться отсюда: разве что провал. А знаете, чего мне бы хотелось?— И не дожидаясь ответа, закончил: — Поменяться с вами местами. Да и возрастом тоже...— Он засмеялся.— Не слушайте: все это вздор и старческая болтовня. А теперь идите и не оглядывайтесь. Идите-идите, а я, как всегда, остаюсь...

Я встал и пошел. Сначала по коридору с мертвыми дверями, потом по лестнице — не захотел пользоваться лифтом,— потом по улице — под мелким теплым летним дождем. А в голове звучала последняя фраза Первого: «Идите, а я, как всегда, остаюсь...»

Глава тринадцатая,
в которой пойдет речь об одном совещании

За окнами-стенами верхних этажей Дворца Дружбы плыли и кучились облака, упавшие на город. Новое стоэтажное здание Дворца — все из органического стекла без видимых швов и стальных скреплений было построено еще в первом десятилетии века. Легкое и прозрачное, оно возвышалось над городом, как елочная игрушка великана из космоса, а специальное устройство создавало вокруг него неутихающий вихревой поток, защищавший игрушку от воздушных течений, циклонов и бурь.

В этот хмурый день на заоблачных высотах Дворца, где разместилось руководство объединенных свободных стран, здесь в кабинете начальника разведывательного Центра Дибитца встретились его друзья и соратники из разведок других континентов — Шари и Амер.

Все были не молоды — какая же молодость пятьдесят с лишним?— и все знали друг друга добрый десяток лет. И понимали друг друга даже не с полуслова, а со взгляда, с интонации, с мимолетного движения губ. Все трое были профессионалами, да и дело связывало общее, знакомое до мелочей: от психологии разведчика до умелого обобщения частностей, что в жизни зовут пустяками, а в разведке объективными данными.

— Вы ознакомились с моим докладом Совету?— спросил Дибитц и в ответ на молчаливый кивок собеседников добавил: — Значит, преамбула не потребуется.

— О рудниках на Второй мы уже слышали,— сказал Шари.— Вербовщики СВК появились не так давно и у нас.

— Рудники, с которых не возвращаются,— усмехнулся Амер.— И у нас побывали эти ловцы человечины.

— Официальный отбор?

— Вполне. Вежливое приглашение от имени «Разработок Синау». Алюминий и медь.

— Чепуха,— сказал Дибитц.— Активность медеплавильных и алюминиевых заводов в СВК не увеличилась. Тут что-то другое.

— А почему они не отправляют на Вторую механизмы? — спросил Амер.— Человечина дешевле?

— Не только. Разные месторождения — разные механизмы. Пошлют машины, мы сразу скажем, какая руда.

— А вдруг золото?

— Едва ли. Какой им смысл скрывать? Их территория — их и золото. На долю в добыче мы не покушаемся. И еще одно: почему не возвращаются с рудников? Нагруженные золотом возвращенцы были бы лучшей рекламой приисков. Новый бум, золотая лихорадка в космосе! Нет, друзья, тут что-то другое. Я не называю, что именно, в докладе Совету, но у меня есть свои предположения.

— Поделишься?

— Для этого мы и собрались. Прибыл связной от нашего резидента в Восточном Мегалополисе. Послушаем?

Он нажал кнопку селектора.

— Кто в приемной?

Светловолосая девушка на экране вежливо проворковала:

— Даблю-би.

— Надеюсь, вы не будете в претензии, если я не раскрою кодовый псевдоним. Имен у него много, а настоящее он и сам забыл,— улыбнулся Дибитц, вставая навстречу вошедшему.

Описывать его мы не будем. Это Мак-Брайт. Он чисто выбрит, подтянут, вежлив и холоден.

— Связной из Мегалополиса,— представил его Дибитц.— Садитесь.

Мак-Брайт, поклонившись, молча сел в подвинутое Дибитцем кресло.

— Рассказывайте.

— Основное я уже изложил в памятной записке.

— Товарищи ее не читали. Повторите вкратце.

— Около полугода назад у нас появились сведения о загадочной активности администрации СВК в сто тридцать втором квадрате юго-восточного сектора Второй Планеты. По официальной версии речь шла об открытии богатых месторождений меди и алюминия. Однако в геологических кругах сообщение не подтвердилось. А между тем резко увеличилось число грузовых космических рейсов. Проследить прибытие и характер грузов на космодромах СВК, к сожалению, не удалось. Один космодром на юге мы засекли, но ни проникнуть туда, ни выяснить направление грузовых маршрутов не сумели: охрана почти непреодолима, специальные локаторы и круговой лучевой прострел не позволяют приблизиться к объекту даже на сто километров.

— Судя по данным памятной записки, вам больше повезло с обратными грузовыми рейсами.

— Они проходили в обычных, незасекреченных условиях. Регулярные грузовые рейсы в соответствии с потребностями колонии. Самое любопытное, что из СВК не было отправлено ни одной партии рудничных механизмов — ни экскаваторов, ни драг, ни буров. Только люди. Или завербованные рабочие, или приговоренные к каторжным работам в колониальных геоместорождениях.

— Откуда сведения?— спросил Амер.

— От нашей агентуры в подполье, частично из «космических» источников и непосредственно от Даблю-эй. По его предложению и был нацелен ваш агент на разгадку этой засекреченной операции. Коэффициент секретности ее мы кодируем как шесть к тринадцати — самый высокий уровень охраняемости научных и промышленных тайн. Однако и в ее «стенке» открылась щелка, агентуре связанных с нами сламистов все же удалось в конце концов засечь продвижение грузов специального назначения на стратегическом шоссе Южного Мегалополиса и даже увидеть — к сожалению, случайно!— столкновение электрокаров. Но подойти к месту аварии оказалось невозможно: все было оцеплено кругом на несколько километров. Свидетели аварии были схвачены, сумел бежать только один мальчик лет десяти — двенадцати. По его словам, из разбитой машины выпали на шоссе огромные брикеты, более полуметра каждый, из желтого металла, блестящего, как армейские пуговицы.

— Что же вы предполагаете?

— Металлическую оболочку, футляр. Латунь или краска. Камуфляж под золото. Золото в глазах обывателей объяснит и охрану, и секретность, и жестокость расправы со свидетелями.

— Кто же возглавляет операцию? «Разработки Синау»? — поинтересовался Шари.

— «Разработки Синау»— такой же камуфляж, как и псевдозолотые футляры. Финансирует операцию мультимиллиардер Факетти, президент Восточного банковского консорциума, а суть операции, ее перспективы и характер — пока неразгаданная еще загадка. Над разгадкой ее мы сейчас и работаем. Ваш агент уже успел подружиться с сыном Факетти, прожигающим жизнь балбесом, и его светским окружением в Мегалополисе. Это одна из дорожек к раскрытию тайны, другая — в подполье. Третья — непосредственно в СВК-два, куда и вылетел сейчас ваш агент.

— Я думаю, все,— сказал Дибитц и кивнул Мак-Брайту.— Подождите в приемной. Возможен дополнительный разговор.

Дибитц задумался. Что-то в рассказе Мак-Брайта подсознательно его очень встревожило, но что именно, он бы не мог ответить.

— Я полагаю,— сказал он наконец,— что вас всех волнует одна деталь. Что в брусках? Промышленные тайны уже не тайны, и нужно что-то сверхординарное, чтобы так зашифровать операцию. Предположения, конечно, у нас есть.

Есть и некоторые подтверждения их. Например, мне приходит на память один случай, до сих пор не нашедший объяснения. Месяца два назад к границам нашей зоны на Второй Планете приполз человек. Буквально приполз по холодным пескам планеты. Одежда в клочьях, изъязвленное тело и мутный взгляд умирающего. Он действительно умирал и умер на глазах у пограничников, успев только даже не вымолвить, а выдохнуть с последним вздохом: «Это не золото... Не верьте... Нет...»

— Человек оттуда?— спросил Шари.

Дибитц кивнул.

— Отчего же он умер? От истощения, от голода или...

— Вот именно «или»! — воскликнул Дибитц и помолчал, прежде чем закончить.— Он умер от радиации. Скафандр с поврежденной антирадиационной пропиткой.

Когда совещание окончилось, генерал снова включил селектор.

— Даблю-би ждет? Пригласите.

Мак-Брайт снова вошел, такой же подтянутый и холодный.

— Садись, Мак.

Взгляд Мак-Брайта потеплел.

— Спасибо, шеф.

— Брось шефа. Мы одни. И к тому же старые приятели. Вместе учились...

— Теперь я юрист. Торговец.

— Юрист — сопутствующая нашей профессия. Много у нас профессий-спутников. Сегодня юрист, завтра химик. Сможешь?

— Смогу.

— Пока не требуем. Сейчас требуется одно. Сыграть всем партию Лайка. Продумать каждый его ход. А Лайк не промахнется, если увидит цель. Но цель прикрыта, а Лайк открыт.

— Легенда сверхпрочная. Металл.

— И металл подвержен коррозии. Давай откровенно, Мак: так ли безоблачно небо Лайка?

Продолжение следует.

КАНАТО-ХОДЦЫ

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

почему Первый позаботился о яхте и связном, но ничего не сказал о возможной психопроверке? Должно быть, решили не ограничивать моей свободы действий, а выход на связь предоставить инициативе связного.

И я переменил тему:

— Я давно хотел спросить, откуда ты знаешь Факетти?

— Кого я только не знаю! Мой киоск в космопорте — все равно, что бар в районе центральных улиц.

— Он что-то опаздывает.

— Кто? Факетти? Он уже давно здесь. В кабине экипажа. Сейчас выйдет.

Но вышел не он, а... Жаклин, как всегда, элегантная, в легком туристском костюме. Научились мы все-таки обходиться без скафандров в космических путешествиях.

Она присела на ручку переднего кресла. Линнет мгновенно замаскировалась в ледяной отчужденности.

— На Вторую вместе с Джином? — Дурацкий вопрос, как будто она не знает...

— Угу. А вы?

— Тоже. Я года три не была на Второй. Люблю этот «золотой ад».

— И я,— сказал я сквозь зубы.

— Почему вы так лаконичны? Помешала?

— Не говорите глупостей, Жаклин.

— Тогда хоть познакомьте меня с вашей дамой.

— Линнет Тэкер,— сухо представилась Линнет, не давая возможности этого сделать мне. И, очевидно, с умыслом, потому что продолжила она совсем неожиданно: — Однако вы ошибаетесь, госпожа Тибо, я не его дама. Мы только что познакомились.

— Вы меня знаете?— удивилась Жаклин.— Я вас не помню.

— Вас знают многие, а меня трудно вспомнить в сутолоке космопорта. Вы не раз покупали у меня журналы в киоске.

— Значит, ищете интересных знакомств?

Прозвучало грубовато. Не в духе Жаклин. Но я промолчал, ожидая ответной реплики. Она не замедлила:

— Преимущественно интеллектуальных.

— Что ж, Лайк подходит.

— Вы тоже подходите.

У Жаклин опять появился знакомый мне пристальный, буравящий взгляд.

— Не знаю, что вы можете извлечь из знакомства со мной.

— Другое не менее интересные знакомства, госпожа Тибо.

Среди мужчин, конечно?

— Преимущественно.

— Женихов или поклонников?

— Ограниченный диапазон, мадам. Я включаю в него и друзей, и партнеров за ужином, и просто умных и вышколенных собеседников.

Подошел Факетти.

— Чабби, как всегда, окружен женщинами. Уступи хоть одну, дружище. Нам нужна партнерша в «фаро».

Он подхватил Жаклин под руку. Жаклин поморщилась: ей не хотелось уходить.

— Когда же мы полетим? — спросила она, сдерживая зевок.

— А мы уже давно летим,— засмеялся Джин.— Вот что значит иметь космолет-модерн. Никаких перегрузок и невесомости.

Когда они удалились, Линнет шепнула, оглядываясь:

— Я не пересолила?

— Отлично,— шепнул я в ответ,— но лучше бы тебе сыграть глупышку.

— Какая разница? Меня же засекли в разговоре с тобой.

— Увы. Теперь со Второй Планеты пойдет запрос о тебе и твоих знакомствах. Жаклин — матерая волчица сыска.

Во-первых, на Второй это не страшно. Волчиц бьют из лучевых пистолетов или топят в зыбучих песках. Во-вторых, вряд ли она легит только из-за тебя: здесь и Факетти, а она явно приставлена к нему.

— И к нему и ко мне. Но черт с ней: я привык. Лучше скажи, как мы увидимся?

— Я найду тебя, когда понадобится. Дашь объявление в вечерней газете в колонке «персоналия». В тексте упомяни любой номер «Новостей» и какие-нибудь данные, подразумевающие время и место встречи.

Я так и предполагал. Разведчик с тенью. Тень следует за ним, помогает, страхует и бережет от опасностей.

— Тебе дадут все нужное в гостинице космопорта,— сказала она.— Кстати, и лучевой пистолет.

— Пистолет — это хорошо. Даже отлично. Но почему в гостинице космопорта? Я же еду с Факетти.

— В космопорте на Второй тебя задержат. Проверка им ничего не даст — фактов нет. Но попадешь в СВК-два уже после Факетти.

— Джин сорвет все их замыслы.

— На Второй он в руках паючки и его второго «я» — Уоррена. Не тормозись — это еще не самое страшное. В гостинице космопорта можно что-то узнать. Тсс... она возвращается.

Жаклин подкралась к нам с бесшумностью кошки, но Линнет все же ее заметила.

— Где вы останавливаетесь в СВК-два?— спросила Жаклин.

— У больной тетки. Я ее единственная родственница, а ей нужен уход.

— Не лучше ли нанять сиделку, а самой поселиться в гостинице?

Линнет симпровизировала наивный испуг.

— Я боюсь этих гостиниц. Вы сами сказали: «золотой ад». Повсюду стреляют, как в тире.

Кажется, она решила все-таки сыграть глупышку. Но поздно ли? Должно быть, это заметила и Жаклин, потому что следующий ее вопрос был задан уже тоном следователя:

— Почему ваша тетка живет на Второй?

— Она там работает.

— Кем?

— Врачом.

— Вы сказали, она больна. Чем?

— Результат аварии авробуса. Переломы и прочее.

— И долго вы там пробудете?

— Как пожнется. Я взяла длительный отпуск за свой счет.

— И вам его дали?

— Помог Факетти.

— А откуда вы его знаете?

— Я бы могла задать тот же вопрос и вам.

«Следователь» на минуту задумался, отыскивая брешь в показаниях «допрашиваемой». Я воспользовался этим и демонстративно зевнул.

— Спать хочется.

Меня действительно что-то убаюкивало, как мелодия, доносившаяся из глубин космоса.

— И меня клонит ко сну,— обрадовалась Линнет.

Жаклин поморщилась.

— Надо было выпить вербены. Тогда бы вы продержались дольше. Они выпустили снотворный газ... Теперь вы проспите все путешествие.

Я даже покежился от удовольствия. Какое счастье лететь с таким предупредительным экипажем.

Глава пятнадцатая,

в которой Лайк совершает вынужденную посадку

После посадки у космовокзала СВК-два металлический голос диктора объявил:

— Всех поименованных в списке пассажиров ожидают въездные визы в сервис-бюро вокзала. Непоименованных просят пройти в гостиницу. Регистрация не обязательна.

Голос откашлялся и прочитал список. В списке меня не было. Мы переглянулись с Линнет, и глаза ее сказали: «Я же предупреждала. Выходи последним».

Ко мне подошел явно смущенный и растерянный Джин.

— Ничего не понимаю. Я сам продиктовал список в лазерограмме.

— Может быть, здесь перепутали?

— Ты подожди в отеле. Надеюсь, все тут же будет исправлено.

По стыковому тоннелю эскалаторная дорожка доставила нас прямо в холл космовокзала под высоким стекловидным куполом, открывающим тусклое небо. У киоска с местными сувенирами она разветвлялась — правая с теснящимися на ней пассажирами уходила в сервис-бюро, левая уводила меня одного в привокзальный отель. Я поймал утешающий взгляд Линнет: «Не волнуйся. Все будет, как надо».

Незаметно и неизвестно откуда на мою сиротливую панель вскочил атлет в белом мундире и таком же шлеме с буквами «ПОЛ». Полиция СВК-два, расшифровал я. Он подхватил мой чемодан и перескочил на другую ответвляющуюся дорожку: «За мной!»

Завернув у бара, дорожка взвилась вверх и снова выпрямилась на втором этаже, минув поочередно строй выпуклых белых дверей, похожих на сейфы или холодильники. У одной из них мой спутник поднял руку и соскочил на уложенную цветными плитками площадку. Дверь «сейфа» вела в мой гостиничный номер из двух комнат и ванной, где мне предстояло ожидать решения судей: чист я перед властями или нет.

— Шон Лири, сержант службы безопасности,— представился мой белокумундирный спут-

ник, войдя в комнату, служившую, по-видимому, гостиной или домашним баром, и снял шлем. Все шлема он оказался здоровым, рыжим веснушчатым парнем, всосавшим вместе с молоком матери древний наказ «держать улыбку». И он держал ее, не снимая в течение всей последовавшей процедуры.

Сначала нажал кнопку на стене, и конец знаменитых «Сумерек» Уинтона в серебряной раме сдвинулась вправо, открыв ряд замаскированных полок, наподобие древнего бара, модного лет сто назад. С одной из полок он снял что-то вроде сброшенной шкуры змеи, оказавшейся свернутым комбинезоном-скафандром, длинноствольный пистолет-лучевик и знакомую рацию космолетчика на чужих планетах: приемник — серьга и передатчик — часы-браслет.

— Получите весь набор, о вас уже позаботились. Только заполните и подпишите обязательство вернуть все при отбытии назад.— Он подбросил пистолет в руке, ему, видимо, не хотелось уходить.— Пистолет гиперзвуковой на двести молний. Заряжать не нужно, наводка автоматическая. При попадании, если вы предварительно переключите вот этот рычажок на панельке, трансформированный луч не убивает, а только выводит из строя на несколько часов без членовредительства. У меня такой же.— Еще шире ухмыльнувшись, он сунул руку под мышку.

— Все это мне знакомо,— зевнул я.— У меня сухость во рту после спячки в космосе. Есть чем горло промочить?

Сержант бросился к панели вполне уже современного бара, поколдовал стрелкой на шкале и принес бутылку с блюдечком на подносе. В блюдце чернели сморщенные горошины.

— Чилит,— сказал Лири,— местный земляной орех, поджаренный, между прочим. Жуем между выпивками.

Я пожевал. Приемлемо. Выпил. Тоже приемлемо. Спросил у сержанта:

— Значит, въездных ждут здесь? А выездных?

— Выездные редко кому дают. Чаще совсем не дают. На родной Планете возвращенцев не жалуют — перенаселенность. Приехал работать — работай!

— Где?

— Есть назначение — где положено. Нет — отправляем в «Синау» или Лоусон.

— «Синау» — это понятно. Медные рудники,— сказал я.— А Лоусон?

Полицейского словно подменили. Он даже не пробормотал, а промычал сквозь ореховую жвачку:

— Не понимаю.

— Ты назвал только что «Синау» и Лоусон.

— Вы ослышались. Я назвал «Разработки Синау».

— А Лоусон?

— Не знаю, что вы имеете в виду.

Проболталося, шельма! Обронил карту и теперь отчаянно тянет ее назад. Я мысленно плюнул и кивнул на дверь. Его как водой смыло!

Лоусон! Когда-то это был и вправду «золотой ад». Почему вдруг на карте Второй Планеты повторилось имя достопочтенного ныне города, где давно уже забыли о выстрелах, а золото видят только в зубных коронках и украшениях? Может быть, старожилы СВК-два открыли новый золотоносный район? Бруски, выпавшие из электрокара на стратегическом шоссе Южного Мегалополиса, тоже матово блестели, как золотые. Правда, Мак-Брайт не без основания отрицал их золотоносное происхождение, но почему же все-таки Лоусон? Сержант не оговорился, а проговорился — он сумел от страха, как зверек в капкане. Нет, Линнет права. И в космопорте можно узнать кое-что существенное, я уже узнал, хотя тайну Лоусона берегут, как ключи от города. Но я найду их, черт побери, где б они ни звенели — в сейфе ли у Факетти или прямо на рудниках.

Черные орешки возбуждали аппетит, мне захотелось есть. Я пошел к той же панели, где несколько минут назад колдовал рыжий парень. Стрелка снабжения шла по кругу, в секторах которого значились блюда и напитки, какие можно было получить немедленно, не спускаясь в ресторан. Тут-то меня и настиг Факетти.

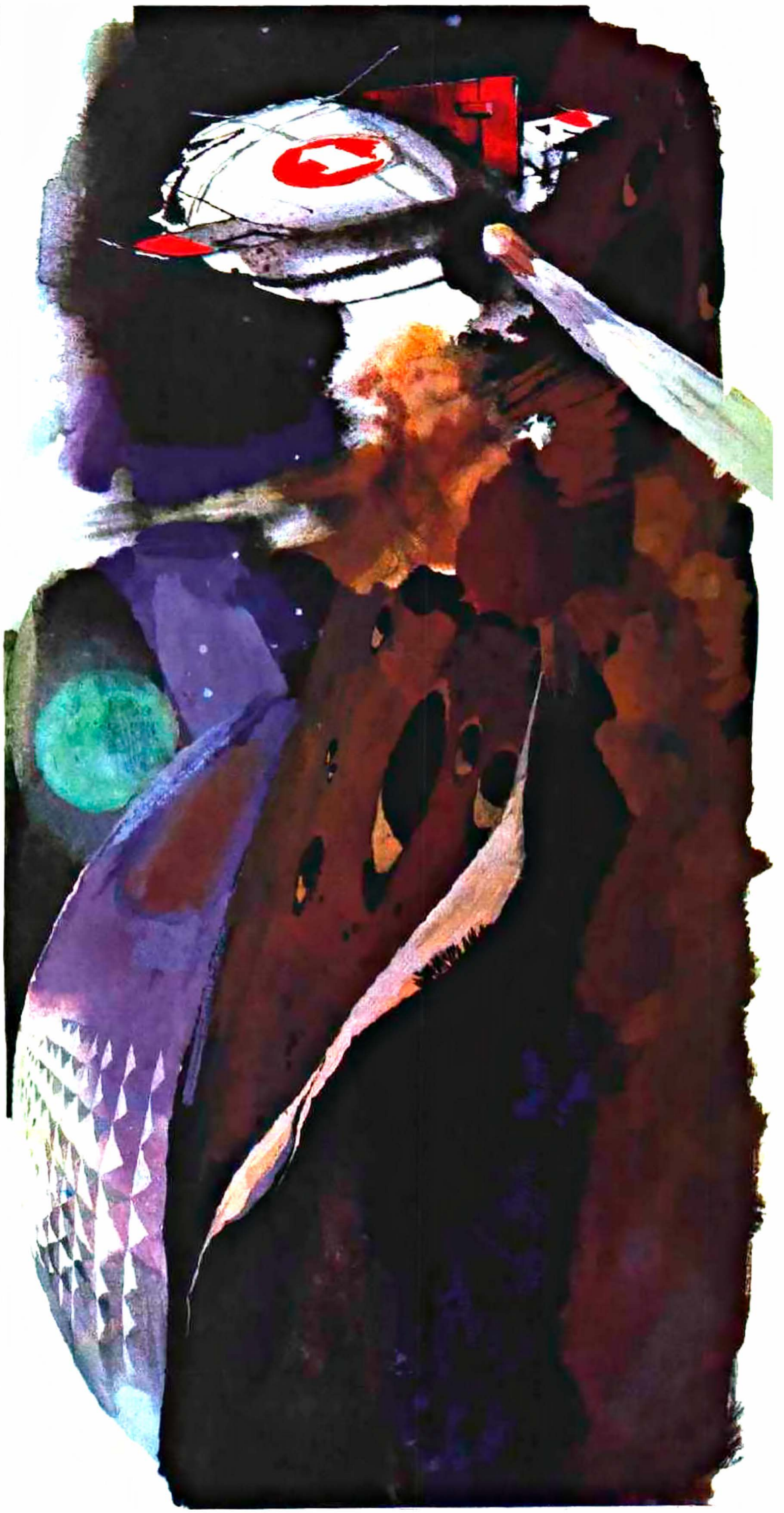
— Неважно, Чабби,— вздохнул он.

— Въездной визы не дают?

— Я бы им весь СВК-два перевернул, если б не дали. Потерпи денек — передадут визу по телексу. Ты в списке есть — все в порядке. Только тобой заинтересовался почему-то сам Крис Уоррен.

— «Тень» никогда не наводит справок попусту.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА



— Если останешься на Второй, не произноси вслух этой глупой и бессмысленной клички.— Теперь Джин уже злился.

Он замолчал, перебирая пальцами скатерть. А мне было смешно. Я раскусил, что его огорчало. Избалованный и капризный, он боялся потерять игрушку-друга, собутыльника, напарника в лихих кавалерийских набегах на рестораны и бары. В СВК-два не любят праздношатающихся, а я был типичным праздношатающимся, отпускным космиком, баловнем счастья в долгосрочном отпуске, полным хозяином своих часов и минут. Так думал Джин. Его заставили работать, а меня никто и ничем заставить не мог. Я мог сказать: «Плевать я хотел! Что-то не нравится мне сидеть в туклой гостинице в пустыне под куполом и жевать вонючие орешки». Только одного не знал Джин, что именно так я никогда не скажу, а согнусь в три погибели, если нужно, чтобы получить заветную визу, и буду гнуться так перед любыми уорренами и факетти, чтобы хоть доползти до засекреченного города с именем Лоусон. Бедный-бедный, наивный Джин!

— Тебе дадут бессрочную визу,— сказал он. Ценю.

— Но в один прекрасный день спросят, что ты собираешься делать дальше.

— Поглядим. Может, мне и не захочется с тобой расставаться.

Джин хохотал, протягивая бокал.

— За что пьете?— спросила Жаклин у двери. Она вошла без стука.

— За прекрасную, прекрасную, прекрасную Вторую Планету,— сказал я.

— Тебя ждут в баре, Джин,— деловито произнесла Жаклин, подойдя.— «Песчанка» уже стыкуется.

«Песчанка» — песчаный корабль, сообразил я и с трудом сдержал вздох: на этом корабле для меня не было места.

— Мы пришлем за тобой специальный,— понял меня Джин.— И с жильем порядок: я законтрактовал целый этаж в отеле.

— Иди, иди,— подтолкнула его Жаклин,— я догоню. Мне еще надо проститься с Чабби.

Мы остались одни.

— Повезло с визой?— усмехнулась она.

— Вопреки вашим стараниям, мадам.

— Неужели вы думаете, что я летела на Вторую только из удовольствия увидеть, как вы останетесь с носом? Смешно и наивно. Вы плохой психолог.

— Не нужно быть психологом. Я знаю все виды ищеек.

— Грубо.

— Что заслужили. Я бы сказал это вам еще в космолете, да мешала Линнет.

— Вы явно не в духе, Чабби. Вы даже не спросили, почему я сейчас у вас.

— Я это знаю. У всех пассажиров была цель. Одни ехали к родственникам, другие на работу. Только у меня ее не было и нет.

— А если появится?

— Цель?

— Нет, работа. Неужели старого космика не тянет к своей профессии?

Я подумал и спросил:

— Что же мне они предлагают? Летать?

— Если вас тянет — летать. Пилотировать транспортные космолеты. Если хочется пожить в местных условиях, могут предложить контроль грузов на космодромах. Нечто вроде миллионных осмотров перед полетом.

— Вы сказали: на космодромах. Я не ослышался?

— Не ослышались. У нас их несколько.

— Не секрет, где еще?

— Секрет. Узнаете после проверки.

— Значит, будут опять проверять?

— Будут, Чабби,— сказала она твердо.— И серьезнее, чем вы думаете.

Глава шестнадцатая,

в которой пойдет речь о превратностях детской игры в «горячо-холодно»

Одно из окон моего двухзального номера выходило на территорию космовокзала, вернее, отражало ее с помощью невидимой системы зеркал, другое окно-стена было частью накрывающего вокзал купола. Сквозь его суперглассовую толщу далекое солнце казалось еще более холодным и блеклым, а кирпичная пустыня до горизонта и нависшее над ней мертвенно-лиловое небо только завершали пейзаж, от которого даже у здорового человека сводило челюсти. За толщей купола свирепствовала песчаная буря, вздымая валы песка, как морские волны. Сквозь этот пыльный туман можно было рассмотреть, как внизу под окном у стыковочного шлюза в сиплющной траве пришвартовался песчаный корабль, а проще говоря, аэробус на воздушной подушке. С такими же стекловидными стенками, как и наш купол, он отчетливо просматривался, и даже сквозь пылевые вихри можно было видеть, как рассаживались в креслах пассажиры, мелькнула мальчишеская стрижка Линнет, космы Джина и латунные пряди Жаклин. На меня никто не взглянул, вероятно, не предполагая даже, что я наблюдал за ними, стыковочные швы разошлись, и «песчанка», похожая на стеклянного жука, убрав стойки, поплыла над кирпичной пустыней.

Холл космовокзала вдруг словно вымер — смотреть было не на что, а меня после дрянной выпивки неудержимо клонило ко сну.

Чтобы не заснуть — до ночи было еще далеко, хотя на потемневшей мертвенности неба уже заблестел узенький серп спутника,— я переоделся и спустился вниз, в привокзальный бар, в надежде на глоток чего-нибудь настоящего, несинтетического, продукта природы, а не химии, а спустившись, подивился, до чего же этот бар не похож на привычный. Там вас встречал расторопный бармен, молниеносно орудующий смесителем и бокалами, а кокетливые девицы в крахмальных наколках с пусть заученными, но такими приятными улыбками и с такой любезной готовностью принимали любой ваш заказ за цветным глянцем столика. Здесь же орудовали машины — автоматическая кофеварка, автоматический смеситель, кнопочная выдача салатов и разъезжающие по залу столики-роботы с готовым набором блюд и напитков. На какое удовольствие можно рассчитывать, когда тебя автоматически подбросит вверх внезапно выросший стул, когда бокал автоматически поедет от одного крана к другому и так же автоматически польется из этих кранов то что-нибудь крепкое, то что-нибудь прохладительное, а в лучшем случае не то, а спьяну нажатая кнопка выбросит вам сосиски вместо желаемых сигарет.

Пытаясь разнообразить это безмолвное удовольствие, я пробовал подсесть к столикам, где харчевались редкие посетители, чего-нибудь ожидающие,— вроде меня пассажиры, но один говорил: «Прошу пересесть — свободных столиков много»,— другой молчал, упорно игнорируя все попытки к сближению, а третий просто сам пересаживался за пустой столик, захватив свой бокал с местным пойлом или жестянку с прикорм. В конце концов мне это надоело, и я снова перебрался к стойке бара на выросший стул.

И тут за стойкой внезапно возник не бармен, нет, хотя белая куртка и могла ввести в заблуждение. То был техник-контролер, наблюдающий за работой раздаточных автоматов. Не все же здесь некоммуникабельны в конце концов! И я сделал робкий шажок к общению:

— Вторая смена?

— Подменяю товарища. Обычно я работаю утром.

Ответ любезный, даже доброжелательный. Сделаем еще шаг.

— Скучно у вас с машинами. Даже о погоде не перемолвишься.

Он подмигнул.

— А с посетителями?

— С вашими молчунами заплачешь.

— Визу ждешь? — вдруг спросил он, игнорируя мою реплику.— Выездную, наверно?

— Почему «наверно»?

— Потому что парень веселый, компанию любишь, поговорить охота. Первак, одним словом. Все перваки такие. Если б выездную ждал, ни с кем бы не разговаривал.

— Интересно,— откликнулся я. Мне действительно было интересно, но спросить — почему?— не рискнул.

Он сам сказал:

— Потому что на рудниках тебе бы горло пробкой заткнули, чтоб не болтал. А сболтнешь — не уедешь.

Я задумался. Почему так откровенен со мной этот румяный техник, похожий на парня с рекламы «лучшей в мире электробритвы», почему он с полуслова открывается первому встречному в то время, как другие, даже полицейские, каждое слово берегут, как жетоны для автомата? Из-за лишней доверчивости, наивной доброжелательности или, быть может, просто скуки, от которой изнывают здешние «первопроходцы»? Это копилка ценнейшей информации, если ее умело извлечь, не испортив замка. Ключ к нему я, кажется, подобрал.

— Угощаю,— предложил я, потянувшись к кнопке. Она выдала два бокала.

— На работу? — спросил он, пригубив.

— Летать. Я же космик. Буду грузы возить.

— С рудников?

— Не знаю. Сначала в СВК-два, а там уж куда пошлют.

— Вот что, парень, не знаю, как тебя зовут, и не спрашиваю.— Он доверительно перегнулся через стойку и почему-то включил смеситель. Аппарат загудел.

— Зачем? — спросил я.

Он скосил глаза на край стойки.

— Микротелепередатчики. Изображение передаст, а то, что говорим, не услышат. А ты слушай. Есть рудники на юго-востоке с собственным космопортом. Транспорт прямо домой, на Планету, минуя Луну. Где посадка, не знаю. Так что увиливай.

— А что, плохо?

— Гроб.

— Так я же космик. Погрузи и лети.

— Смотря что грузить.

Я сделал вид, что понял, и заговорщически подмигнул.

— Есть слушок — золото. В брусках, как в банке.

— Не все то золото, что блестит. В старые годы золотоискатели на Планете не мерли от радиации.

— А у вас мрут?

— Каждый пятый. Могилы — прямо в зыбучке. В больнице койки стоят в строю, как солдаты. Даже на лестничных площадках штатов. Один сбежал, рассказывал.

— Поймали?

— Ясно. Тут же и кончили. Вокзал на замок, охранники в белых балахонах — кто со счетчиком, кто с пистолетом. Я у заградительной сетки был — успел прорваться, пока не хлопнули. Ты на каком этаже?

— На втором.

— Завтра транспорт в шесть утра. Давай пораньше, пока лестницы не закрыли. Может, прорвешься. Спектакль увидишь — не пожалеешь.

Я сделал вид, что раздумываю.

— Страшновато.

— Как знаешь. Я лично не пойду — видел. А ты позанайку сыграй, если схватят. Скажешь, что кнопки в номере не работали — вот и сгонял в бар за кофе с котлеткой. Не поверят — отпустят. Только и всего.

— Масса удовольствия.

Румяный техник заржал, как лошадь.

— Дело твое, конечно. Может, и не отпустят. Все-таки космик. Зато «их» увидишь.

— Кого?

— Обреченцев. Только они еще не знают про это. Жмут кнопку за кнопкой. Перваки...— И вдруг осекся, замолчал.

Бывает, страх, как молния, высветляет сознание, когда спьяну проговоришься о чем не следует. Хмельной блеск в глазах его погас, и розовые щеки поблекли.

— Мне завтра в первую смену.— пробормотал он, заикаясь, и отошел от стойки.

Я ответил ему ободряющим взглядом: не робей слишком, парень, я не дятел. Поймет, не поймет — его дело. Должно быть, понял, потому что опять порозовел, когда уходил, пятясь за автоматы.

Утром будильник поднял меня в половине шестого. Космолет уже сел — шла стыковка со шлюзом вокзала. Штаны и рубаха на «молнии» отняли не больше минуты. Столько же — ботинки с противопесчаной наслойкой,— песок здесь, как ржавчина железо, разъедает любую кожу. Пластиковые подошвы делали шаги бесшумными, и полицейский, спешивший к панели, где включался механизм заградительных решеток на лестницах, меня не услышал. Резкий удар ребром ладони по шее, чуть пониже затылка, выбил из него дух по крайней мере на четверть часа. За это время я уже успел добраться до холла, пересеченного движущимися дорожками. Стыковка закончилась, и центральный эскалатор, гостеприимно журча, нес толпу пассажиров к завтраку. Кроме полицейских, в зале никого не было — ни служащего, ни продавца. Работали только автоматические киоски да сервис-сигналы, указывающие направление.

Я присоединился к толпе незаметно — при таких мерах предосторожности полицейские даже не предполагали присутствия постороннего. А посторонний в это время уже смешался

с людьми, теснившимися на дорожке. Не было среди них ни юнцов, ни пожилых — все среднего возраста, от двадцати пяти до сорока, кое-как одетые, в заштопанных куртках и потертых штанах, они, однако, не производили впечатления хилых и замореных: набивали их, должно быть, по росту и ширине плеч. Я огляделся и толкнул соседа с русой бородкой до ушей, давно уже не стриженной.

— Откуда, приятель?

— С юга.

— А здесь куда?

— В Лоусон, как и все. А ты? — Он пристально оглядел меня с ног до головы — мои «противопесчаные» ботинки явно смутили его.— Я что-то не припомню тебя на посадке.

У Лоусона собственный космопорт, принимающий транспорты прямо с Планеты. Значит, эти летели по трассе Луна — Вторая Планета.

— А я на луне сел,— сказал я как можно небрежнее.— В СВК-два.

— Значит, в командиры? За назначением?— В его тоне прозвучала нотка отчуждения.

Я поспешил убрать ее.

— Отдых, парень. Просто увильнуть хочу.

— От чего?

— От рудников.

— Работа везде работа,— пожал он плечами,— в скафандрах или без. Дышать дают, заправку тоже.

Вербовщики, понятно, осторожничают. Полная секретность и прямой обман.

— Ты хоть знаешь, что добывать будешь? Медь или золото?

— Говорят, какой-то редкий цветной металл. На Планете его нет.

— Не люблю цветных металлов,— поморщился я. — Возня с ними. Может, что полегче найду.

— Не ты найдешь, а тебя найдут. Через час перекличка, чудак. Зачитают список по радио. Не откликнешься — щупом найдут. Есть у них такой приборчик.

— За час многое может случиться, а пока закусим. Чабби Лайк,— представился я.

— Айк Стивенс.

Мы весело спрыгнули ладошами и двинулись в бар. Полупустой вчера, сейчас он был переполнен. За каждым столиком гудели длинноногие парни, запивая сосиски тойлом. Я был не совсем уверен, что сосиски произошли не от песчаного суслика, а тойл не из местной синюхи. Но Айка больше интересовали кнопки: «Целая азбука — запутаешься». «Нажимай азбука, все обозначено. Жми и глотай». И мы глотали и жали — он самозабвенно, а я с оглядкой: не случится ли что поблизости. И случилось. Голос по радио объявил: «Спокойно. С мест не сходить. Проверка». Одновременно вошли полицейские и явно высший чин — в штатском. Я услышал вопрос и ответ: «Имя?» «Мэллори». Взглянул в карточку с увеличительной линзой и тот же вопрос к следующему. Искали, видимо, меня — кого же еще? Мысленно подсчитал, что до нас они доберутся не раньше чем через четверть часа, и шепнул Айку:

— Не обращай внимания. Возись с кнопками. А меня уже нет. Ухожу.

— Куда?!

— Тише, черт! Найду тебя в Лоусоне, если что.

Я подтянулся на руках, опираясь на стойку, и мгновенно перебросил тело через панель с кнопками. Я еще тогда, когда пятился за автоматами техник, приметил служебный вход.

Что произошло в баре, я не слыхал. Вероятно, мой гимнастический бросок попросту не заметили. А я уже был у грузового лифта, закрыть который забыли или не догадались. Скачок на второй этаж был недолог, хотя лифт тащился еле-еле. Но всего один этаж! Я бесшумно открыл дверь и выглянул в коридор. Двое полицейских спешили мне навстречу мимо дверей-сейфов с явно заинтересованным видом.

— Откуда?

— Из двадцать первого.

— Сколько дней в космопорте?

— Полтора с нынешним утром.

— Из-за чего задерживаешься?

— Въездная виза. Должны передать по видео из СВК-два.

— Почему разгуливаешь?

— Искал техника. Не работает кофеварка.

— Не выходи в течение часа. Не то...— Он выразительно помахал электродубинкой.

— Будьте спокойны, господа.

Ушли. Вероятно, не ведали, что именно я на втором этаже нокаутировал их коллегу.

Глава семнадцатая

о первых шагах Лайка под куполом СВК-два

Я сидел в номере, как говорится, навострив уши, все время ожидая стука в дверь или жужжания дверного зуммера. Но ни стука, ни жужжания не последовало. Полицейские в баре, пересчитав перваков, должно быть, успокоились, а их коллега, сбитый мной, вероятно, даже не смог объяснить причины обморока.

В куске красной пустыни, вырезанном окном-фильтром, песчаные вихри еще бушевали, но уже с меньшей силой, позволяя отчетливо разглядеть огромную серебристую «песчанку», соединенную стыковочным тоннелем со шлюзом вокзала. На этот раз черепаха была искряще-матовой и нигде не прозрачной: импортеры перваков явно оберегали их от невеселых путевых впечатлений. Пассажиров видно не было: должно быть, их уже согнали на корабль после проверки, потому что «песчанка» расстыковалась и, убрав лапы, поплыла к пыльно-лиловому горизонту.

Я вытянулся в кресле и зевнул, а через час меня разбудили. Розовощекий сержант Лири радостно сообщил, что моя въездная виза уже с утра находится в сервис-бюро, а специально посланный за мной «карманный» кораблик уже дожидается на выходе.

Лири помогал мне укладывать чемоданы с такой назойливой и неумелой готовностью и с такой поспешностью поволок их к выходу, что я тут же почувствовал дружескую руку Джина Факетти. Она чувствовалась и в окошке сервис-бюро, где мне вручили заветную визу и предупредительно сообщили, что все счета мои в космовокзале уже оплачены, а у выхода служебного шлюза меня уже поджидала совсем крохотная «песчанка», похожая на детскую игрушку из прозрачной пленки. Водителя в этой четырехместной «игрушке» не было, но старый космик Лайк не растерялся бы перед скромной панелью управления. Не растерялся и я. Указатель направления уже стоял на словах «СВК-два», кислород автоматически поступал в кабину, и мне оставалось лишь нажать рычажок «воздушной подушки».

«Песчанка», подняв тучу пыли, подпрыгнула и понеслась в кирпичную даль. Ветер смыл облако, превратив его в шлейф, и даль открылась. Красно-рыжая, будто утрамбованная катками пустыня, клочья голубоватой травы, чугунно-синие заросли колючих кустарников и — ни лужицы, ни озерка прозрачной воды между ними, только лиловые полосы зыбучих песков, которые, по словам румяного техника, заменяли здесь и крематорий и кладбище. Иногда преграждали путь стены гигантских кратеров, удивительно похожих на лунные, но моя «песчанка» проворно объезжала их, уклоняясь в сторону на добрую сотню километров. Страшновато — кто спорит, но то был ландшафт, где мне надлежало прожить неделю, а может быть, и месяцы, и я донно вглядывался в двумцветную близь и даль. Рулевое управление в машине было, но она управлялась автоводителем и ни разу не ошиблась, педантично объезжая все препятствия, которые не могла перепрыгнуть.

СВК-два вблизи оказалась гигантским и прозрачным куполом, почти стометровой высоты в центре. Многоэтажные здания расходились веером от двадцатиэтажного административного корпуса в центре к одноэтажному кольцу магазинов, складов, гаражей и спортивных залов на краю купола. Ближайшие здания и перспектива улиц хорошо просматривались, но метровая толщина суперглассовой крыши, опирающейся на сетку стальных перекрытий, сообщала городу дымчато-лазурную отрешенность. Все это промелькнуло довольно быстро, хотя мой песчаный кораблик явно тормозил при подходе к стыковочному кольцу шлюза. Если издали разница между СВК-два и космовокзалом соответствовала той же разнице между половинками яблока и горошины, то вблизи никаких различий я не заметил. Тот же выдвижной стыковочный шлюз, присасывающийся краями к дверце машины, та же эскалаторная дорожка, выводившая в холл городской станции, те же киоски, сервис-бюро и бары. Никакой регистрации и таможенного досмотра, никаких встреч в знакомой пустыне холла, и вот уже я, минуя ненужные мне киоски, вылетаю на эскалаторе в город...

Продолжение следует.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

КАНАТОХОДЦЫ

Город ультрасовременный, архитектурно-модерновый, с перерезывающими дома садами, движущимися лентами улиц и переулков, эстакадами бесшумных пневматических дорог, трубы которых на высоте двух этажей протянулись по радиусам улиц, придавая местному урбанистическому пейзажу что-то новое, незнакомое. При этом все увеличивалось к центру: и дома, и дорожные эстакады, и стальные шнуры пневматических труб. Кольца переулков пересекали радиальную систему улиц, и нигде я не заметил ни одного экипажа, ни одной машины, из-за обилия которых переходить улицы в каком-нибудь нашем Мегалополисе можно только по висячим мостам. Здесь все двигалось само: и улицы с убыстряющими бег дорожками, и переулки, ныряющие на перекрестках под землю, и подземные эскалаторы переходов. Не двигались в городе только полицейские, следившие на перекрестках за эскалаторной суетой.

Лайк никогда не был в СВК-два, и его знакомство с планетой ограничивалось космовокзалом и ландшафтом, который он мог наблюдать из гостиничного окна. Поэтому и мне не требовалось разыгрывать роль старожила: я получил в сервис-киоске адрес отеля «Ороно», примерное описание эскалаторных маршрутов и минут через двадцать нашел шестнадцатиэтажный отель, почти прилипший к центральной площади. Седой, благообразный, совершенно «некосмический» управляющий лично проводил меня на шестой этаж в предназначенные мне трехкомнатные апартаменты.

— А нет ли у вас чего-нибудь поменьше? — поморщился я.— Извините — не привык.

Управляющий обиделся.

— Есть однокомнатные номера для прислуги, но...

— Давайте без «но». Посмотрим.

Искомый номер оказался тесноватым, с одним душем, без ванны, а кнопочная система сервиса не подавала горячих блюд. Зато мой электронный щуп, подключенный к часам-браслету, не обнаружил наличия микротелепередатчика: прислуга не интересовала ведомство Уоррена.

— Подходит,— сказал я, подтолкнув ногой чемодан в комнату.— А кстати, где мистер Факетти?

— Уехал с компанией в пустыню.

— Зачем? — удивился я.

— Сафари...

Мне определенно везло. Я бесцеремонно выпроводил управляющего и тут же достал из чемодана электронный затвор, запирающий дверь изнутри. Теперь снаружи ее открывал только особый ключ — любая отмычка была бесполезна. Не переодеваясь, я спустился вниз, узнал у портье адрес единственной вечерней газеты в городе и помчался по эскалаторам в редакцию. Часы показывали половину двенадцатого: успею. В окошке отдела объявлений спросил:

— Список прибывших сегодня в город будет опубликован вечером?

— Да.

— Я успею дать объявление, чтобы оно появилось в этом же номере?

— «Персоналиа»? Диктуйте.

И я продиктовал:

«Историку, работающему над диссертацией об экономическом освоении Второй Планеты, требуется номер «Новостей» с отчетом о первой промышленной экспедиции на планету. Вознаграждение по договоренности. Доставшего газету будут ожидать сегодня в вестибюле отеля «Ороно» в 18.30».

В половине седьмого я услышал жужжание видеозуммера.

— Не включай экран. Ты один?

— Поднимайся. Шестой этаж. Дверь открыта.

Линнет появилась в строгом костюме и тектоновых туфлях с искусственными бриллиантами на пряжках. Камуфляж для великосветского отеля был превосходен.

— Догадалась сразу? — спросил я.

— Конечно. Ноль отбросила, осталось сто восемьдесят три — номер твоей комнаты.

Я передал ей шифровку для отправки в Центр.

— По лазеру,— добавил я.— Обеспечишь?

— Есть, капитан. Много узнал в космопорте?

— Кое-что. Кажется, мне все-таки придется принять предложение Факетти.

— Мы это предполагали. Где будешь базироваться? В СВК-два?

— Нет, в Лоусоне.

— Я не знаю такого места здесь.— Реплика ее прозвучала явно растерянно.

— Теперь будешь знать. Засекреченный рудничный город с собственным космопортом, откуда, минуя СВК-два, доставляются засекреченные грузы на засекреченный космодром где-то на юге Системы. Служба Криса Уоррена работает почти идеально.

Продолжение. Начало в №№ 5—9.

Я подчеркнул слово «почти», и Линнет тотчас же ухватилась за подсказку.

— Почему почти?

— Потому что я кое-что рассекретил.

— Сомневаюсь,— сказала Линнет.

— В том, что есть такой город?

— Нет, в том, что тебя туда пустят.

— Почему нет? Пройду проверку. Попытка не пытка.

— Боюсь, что пытка. Ты не знаешь, как проверяют людей в системе Уоррена.

— Меня подготовили.

— Когда?

— Полгода назад.

— Здесь новые методы. Иные машины и другая химия. Тебе надо встретиться с моей теткой, Эллен Мит. До катастрофы она работала психиатром в той же системе.

— До какой катастрофы? — насторожился я.

— С аэробусом. Перелом бедра и голеностопного сустава. Сейчас она поправляется.

— А ей можно доверять?

— Абсолютно.

— Когда можешь устроить встречу?

— Хоть сейчас. Она никуда не выходит.

— Тогда поехали,— решил я.— Лучшего времени для встречи не будет. Весь этаж гуляет в пустыне, а меня, по-видимому, еще не засекли.

Эллен Мит оказалась пятидесятилетней сухопарой южанкой, похожей на директрису пансиона для благовоспитанных девочек. Умные, внимательные глаза и жестко очерченный рот. За все время нашего разговора она ни разу не улыбнулась.

Разговор начался без преамбулы.

— Чабби Лайк должен пройти проверку в системе Уоррена. Нужна консультация,— сказала Линнет.

— Кто будет проверять? — последовал строгий вопрос.

— Возможно, Уоррен лично.

— С какой целью?

— Определить готовность для ответственной, очень важной и очень секретной работы.

— Значит, проверка досье, детектор лжи, сомнифоксы и химия.

Я молчал: ей лучше знать.

— Его уже готовили для такой проверки,— пояснила Линнет.— Неважно где, но готовили. Полгода назад.

— Легенда закреплена гипнотически? — спросила Мит.

— Да. Теперь она уже часть моего сознания,— ответил я.

— Есть еще подсознание.

— Психологический барьер, созданный непосредственно в мозговых клетках, сможет противостоять любой вторичной попытке гипноза.

— Какие химические средства применялись для закрепления такого барьера?

Я облизал пересохшие губы. Вопросы задавались знатоком своего дела, отбирающим самое существенное.

— Сначала препараты из группы барбитуратов, чтобы отключить сознание, вызвать длительный мозговой шок. Потом амальгебоид.

— Сомнифоксы учитывались?

— Сомниферы? — поправил я неуверенно.

— Сомниферы наводят по заказу любые галлюцинации, сомнифоксы просматривают ненаведенные сны. В первом случае — наводка, во втором — контроль,— пояснила она без улыбки.

— Контроль учитывался.

Она встала и прошлась по комнате, тяжело опираясь на палку.

— Сейчас амальгебоид — это вчерашний день,— произнесла она тоном лектора.— Действие его целиком снимается глизолом. Когда вас готовили, глизол еще не был открыт.

— И вы думаете, что его применят?

— Уверена.

— А зачем? Меня будут проверять не для того, чтобы найти замаскированного сламиста псевдо-Лайка — это уже было! — а чтобы узнать, годится ли Лайк — настоящий, конечно! — для сверхсекретной работы.

Она усмехнулась:

— Они и будут проверять настоящего Лайка — так всегда поступают с кандидатами на секретную работу,— а вы или в бессознательном состоянии, или во сне расскажете всю правду, тщательно упрятанную в мозговых клетках.

— Значит, провал?

Она ответила не сразу.

— Если бы вы с Линнет не обратились ко мне, я сказала бы: да, провал. Почти неминуемый. Но и против глизола есть средство. Назовем его... Впрочем, зачем вам это? Не надо перегружать вашу память. Вам нужно действие, а не название. Линнет, приготовь шприц, а я возьму ампулу.

Укол. Почти безболезненный и точный: вену она нашла сразу и безошибочно.

— Ну как? — спросила Эллен.

Я пожал плечами.

— Никак. Ничего не чувствую. Может, не подействовало?

— Нет,— сказала она опять без улыбки.— Миллионы крохотных стражей входят сейчас к вам в мозг и занимают оборонительные позиции. Ни один реагент глизола даже близко не подойдет, а почки и потовые железы выбросят его — обезвреженного. Но не показывайте виду, что вы вооружены. На ввод глизола ответьте псевдопотерей сознания и работой воображения — как вам будет выгодно.

Я низко поклонился и поцеловал ее сухую узкую руку. Еще один союзник в осином гнезде врага.

Глава семнадцатая,

в которой Лайк проходит первое испытание у «Тени»

Утром я встал поздно и с головной болью: сказались все-таки остаточные явления вчерашнего препарата. Половина одиннадцатого. Джин, вероятно, уже прибыл и отсыпается в своих апартаментах. Звонок по видео подтвердил предположение. Хриплый голос машины сообщил в ответ, что господин Факетти спит и просил не беспокоить его до трех часов дня. Но завтракать одному мне не пришлось. Пока я орудовал кнопками, выбирая холодные блюда — горячих моя система «для прислуги» не подавала,— появилась Жаклин. Свежая, завитая и косметически выхоленная, как на официальный прием.

— Когда это вы успели? — удивился я.

— Я мало сплю, Чабби. Привыкла. А почему вы отказались от предложенных вам апартаментов?

— Привык, Жаклин,— ответил я тем же тоном,— к тесноте привык, увы.

— Не кривите душой. Я ведь знаю, чем отличаются помещения для гостей от комнат для прислуги. Впрочем, это меня не касается. Закажите коктейль, пока завтракаете,— мне достаточно.

— Визиты вежливости не в ваших привычках, Жаклин. Я вам нужен. Зачем?

— Сначала новость: Джин назначен генеральным директором рудников СВК.

— Понятно. Но эту новость я мог бы узнать и позже.

— А мне нужно, чтобы вы узнали ее раньше. Ведь вы будете работать с Факетти, вероятно, будете работать с Факетти,— повторила она, подчеркнув «вероятно».

— Согласен на «вероятно». Имею право подумать и отказаться. Но вы-то при чем?

— Чтобы сообщить вам, что вы, по-видимому, не сможете подумать и отказаться. И не надейтесь на Факетти, Чабби. Вами заинтересовался Уоррен.

Я обозлился.

— Ясно: значит, из аппарата Тейлора в ведомство Уоррена?

— Увы, Чабби, я уже давно не в аппарате Тейлора. С его подчинением Биглю отпала необходимость не только во мне. У Бигля свой аппарат и своя агентура. Но дело не в том: при чем здесь моя работа? Как-то Уоррен просил Тейлора подыскать ему подходящие кандидатуры летчиков-космонавтов для специальной работы. Вы подходили по многим данным: холост, бездетен, не стар и с отличной профессиональной характеристикой. Учитывалась и ваша дружба с Факетти. Итак, уже ваша экскурсионная поездка на Вторую явилась поводом для знакомства с Уорреном. Теперь от повода для знакомства можно перейти к самому знакомству. Словом, Уоррен ждет вас сегодня к часу, и моя миссия на этом кончается.

На свидание я не спешил. Времени было достаточно — я мог присмотреться к городу, к его витринам и вывескам, уличным кафе и бистро. СВК-два не походил ни на один город Системы. Не только из-за отсутствия экипажей и светофоров, бульваров и памятников и не только из-за пирамидальной формы общей архитектурной конструкции. И не эскалаторная суетня была главным отличием СВК-два от его коллег на Планете. Нет, таким отличием был искусственный климат под куполом, вечное лето, не жаркое и не слишком прохладное, а ласково-теплое. Воздух прозрачный и чистый, напоенный озоном, совсем как в лесу после грозы, не задымленный и не провонявший обычными миазмами города, воспринимался как курортная благодать после наших очагов дыма и копоти. Растительности, однако, было мало: не хватало места для парков, да и почвенный грунт надо было ввозить с Планеты, и улицы здесь украшались кустарником и цветами, а не деревьями, требующими простора для своих корневых систем. На местной же почве не росли наши обычные деревья, а редкие местные погибали в искусственной атмосфере.

Двадцатиэтажное административное здание возвышалось в центре пирамидальной конструкции города, окруженное плотным кольцом кустов, на которых уже алели длинные сочные ягоды. В двух местах дом, как и многие другие здания, пересекали этажи-сады с коротковольными фруктовыми деревьями, третий сад с бассейном и солярием находился на плоской крыше, куда мне и надлежало прибыть. Здесь, с часу до двух, принимал Кристофер Уоррен, управляющий делами концерна «Шахты Факетти», а фактически некоронованный король СВК на этой планете.

Уоррена я нашел сразу в саду, куда выбросила меня клетка лифта, в ухоженном и цветущем саду в каких-нибудь тридцати—сорока метрах от искрящегося на солнце купола. Он полулежал в соломенном кресле перед столом с напитками, удовлетворившими бы любого томимого жаждой.

Я подошел ближе, вытянулся и спросил, не «снимая» улыбки,— должно быть, она получилась у меня независимой и нахальной.

— Господин Уоррен?

Не поднимаясь, Уоррен ногой подвинул ко мне такое же кресло.

— Садитесь, Лайк, и угощайтесь без церемоний. Вы в гостях.

Я сел и без церемоний принялся рассматривать собеседника, благо посмотреть было на что. «Тень» отнюдь не был серой тенью, бесшумной и незаметной. Двухметровый гигант с соответственной шириной плеч и внушительной игрой мускулов, заметной даже под облегающей торс серебристой рубашкой, и совершенно бритой головой, неуместно голой в наши дни, когда искусственное взращение волос стало доступным каждому лысому. Большое, без единой морщинки лицо скрывало возраст — я бы не рискнул дать ему больше сорока, учитывая, что до сорока сейчас лысеют сравнительно редко.

— А вы не из разговорчивых,— сказал он после паузы — тоже меня рассматривал.

— Жду.— Я дернул плечом.— Спрашивать, зачем я вам нужен, бессмысленно. Я это знаю.

— Отлично. Люблю здоровый лаконизм, когда он не тормозит разговора. Мне нужен космический летчик для доставки специальных грузов на Планету. Хороший профессионал, знающий свое дело и не страдающий любопытством к тому, что не входит в его компетенцию.

— Иначе говоря, не задающий вопросов: каких грузов, с какой целью и кому адресованных. Понял вас.

— Тем лучше. Оплата, втрое превышающая вашу оплату на государственных рейсах и вдесятеро ваши отпускные. После полета и возвращения — двухнедельный оплаченный отдых. Королевские условия.

— Допустим, что я согласен,— сказал я.— К чему же мы приходим?

— К проверке, дружок, к проверке. И должен сказать, что кандидаты на секретную службу проверяются у нас особенно строго.

— Меня уже проверяли,— отмахнулся я.

— Знаю,— сказал он и поднялся во весь свой двухметровый рост,— то были цветочки, а теперь вы полакомитесь ягодками.

Все стало ясно: я был нужен Уоррену как бывший космический летчик Лайк, а бывший космический летчик Лайк требовался, как зеркало, перед коим собирались поставить меня. Здесь мне могло очень не повезти, если моя легенда не будет в чем-то соответствовать образу, извлеченному из бездонных архивов службы безопасности.

Комната, куда меня привели, меньше всего напоминала камеру пыток. Скорее кабинет врача-диагноста с кибернетическим устройством для проверки всяческих хвороб пациента. И кресло было врачебное, в меру удобное, в меру пугающее, с хитроумным венцом над головой сидящего и отводными от венца змейками-шлангами. Без змеек он чем-то напоминал театральную корону, но надевался мягко, как шляпа, плотно охватывая голову незаметными и неощутимыми присосками-датчиками.

Уоррена не было, он куда-то исчез по пути, передав меня трем ассистентам или лаборантам в белых медицинских халатах. Один из них подогнал мне венец, другой стал у экрана со стрелкой, несколько раз нажал на какой-то рычаг, проверил ход стрелки — она тотчас же легла поперек, соединив синюю и красную точки, расположенные, как двенадцать и шесть на часовом циферблате.

— Шприц,— сказал третий, лица его я не запомнил — только улыбку вежливо-равнодушную и необязательную. Психиатр, решил я. Шприц, значит, химия и, вероятно, глизол.

— Больно не будет, не бойтесь.

Я пожал плечами.

— Почему вы решили, что я боюсь? Я не в застенке, надеюсь?

Он, не реагируя на реплику, молча ввел мне в вену прозрачное содержание шприца. Боли действительно не было — так, легкий жар в крови, когда чем-нибудь возбужден или взволнован. Потом расслабленность, но без обморока. Впрочем, я его симулировал. Закрыл глаза и бессильно опустил руки.

— Отвечать будете коротко, не обдумывая ответа.

Я промолчал.

— Сознание уже подавлено,— сказал человек у экрана со стрелкой.

— Подавлено,— кивнул второй, и тут же последовал вопрос: — Вы родились в зоне СВК?

— Да.

— Где?

— На севере Системы.

— Вы разведчик ОСГа?

— Что такое ОСГ?

— Объединение свободных государств. Повторяю вопрос. Вы разведчик ОСГа?

— Нет.

— Кто же?

— Бывший космический пилот на рейсах Планета — лупа — Вторая Планета.

— Лайк?

— Да.

— Как стрелка?— спросил психиатр, по-видимому, у ассистента, стоявшего сзади.

— Все ответы на синей точке.

— Значит, правда.

— Конечно. Вы думали, сюда может проникнуть разведчик? Сомневаюсь...

— Разбудите.

— Совсем?

— Нет-нет. Неполное пробуждение. Интервал между снами.

— Переключение на сомнифокс?

— Попробуем.

Мне освободили зажим венчика. Я сымитировал пробуждение и полуоткрыл глаза.

— Спите, спите,— строго сказал психиатр.— Вам хорошо. Голова не болит. В глазах — туман. Постепенно розовеющий. Вспоминаете детство.

Должно быть, ассистент нажал где-то нужную кнопку. Легкий укол в висках, и — ничего. Миллионы невидимых частиц-стражей, введенных в мой мозг Эллен Мит, снова отбросили агрессора. Сознание не выключилось. Я мог с любой картинностью представлять свое детство по своему выбору. Лайк в детстве играл с теткой в мяч. Пожалуйста! Я отчетливо представил себе бледнеющий к центру розовый туман, а в центре в разрыве стройную фигуру моложавой женщины в белом — золотой обруч, как мой венец, обхватывал падающие на виски волосы. Она бросала мне мяч. Я возвращал его, но, должно быть, не точно, потому что женщина вдруг вскрикнула, вернее, я представил себе этот голос и эти слова: «Куда бросаешь, Чабби? Почему в сторону?» Я повторил бросок, себя не видя. Женщина со смехом поймала, отступив по зеленеющему газону лужайки.

Мужской голос рядом заметил:

— А у него цветные сны. Любопытно.

— Не очень,— сказал психиатр.— Нет локальности. Может быть, это из книжки.— И добавил, повысив голос: — Детство, Лайк, детство! Дом, улицу, вывески.

Я тут же представил себе черную, матово отполированную, как ружейный ствол, дорогу сквозь мутное от дождя ветровое стекло машины. Лес, лес, лес, потом коттеджи с черепичными крышами в глубине садов за ажурной решеткой заборов и рекламные вывески на придорожных столбах: «Электроника «Ди-Ти» у вас дома» и «Лучшие в мире собачьи галеты Деккера».

— Пейзаж?— услышал я.

— Пожалуй, север континента. «Электроника» рекламируется только там. Да и слишком уж много леса.

Психиатр не вмешивался, молчал.

А я уже сменил кадры фильма о детстве и юности Чабби Лайка, экс-космонавта СВК. Затемнение. Из затемнения. Поле с воротами в виде широкой буквы Н, и суета здоровенных парней в красных и синих свитерах и шлемах, как у автогонщиков. Я вырываюсь из гущи схватки и бегу к воротам, обняв драгоценную дыню-мяч. Мне бросаются под ноги парни в синем и валят на землю. Затемнение, скорее затемнение! Я ведь никогда не был на поле во время игры. А из затемнения — сад колледжа во время экзаменов — сколько раз я видел эти колледжи в фильмах: кусты барбариса, клены, скамейки, коротко стриженные девушки в шортах и парни с катушками микрофильмов.

А психиатр все молчит, но в конце концов забава, начинает надоедать и мне и ему.

— Разбудите,— говорит он.

— Совсем?

— Совсем.

Я открыл глаза и увидел его хмурое, разочарованное лицо.

— Проснулись?— спросил он равнодушно.

— Выспался,— ответил я и потянулся для достоверности.

— Сны видели?

— Конечно. Вы их тоже видели.

— Почему?— встрепенулся он.

— А зачем же было подключать меня к этой штуковине?— отпарировал я.— Не ребенок — понимаю, где я и что к чему.

— Тогда проводите объект проверки к господину Уоррену,— сказал психиатр ассистенту у кресла.

Вот я и стал не человеком, а объектом проверки. Был объектом наблюдения, кем стану? Объектом подчинения интересам службы безопасности. Цель почти достигнута, сказал бы мой учитель. Ну что ж, пошли.

Мы дошли до огромного кабинета Уоррена со стенами-окнами, выходящими на пирамидальный мир движущегося города. Уоррен массивный, мундирный возвышался за столом, как божок со сложенными на животе руками.

— Отмучились?— спросил он.

— Вам лучше знать,— сказал я.

— Жалобы есть?

— На что?

— На процедуру проверки, обращение контролеров, на то, что вам бы хотелось назвать оскорблением человеческого достоинства.

— У меня нет такого желания,— сказал я,— и нет ощущения оскорбленного достоинства. Процедура проверки хитроумна, но безвредна. Обращение вежливое.

— А вы хитрите, Лайк.

— Зачем?— спросил я.— Зачем хитрить? Не я ищу места у Факетти. Меня ищут. А если не подхожу, пойду к Факетти за выездной визой. Оснований для задержки не вижу.

Гигантская длань опустилась мне на плечо и вдавила в кресло.

— Не обижайтесь, торопыга. Шучу. Проверку вы прошли по всем пунктам и считайте себя уже на службе. Вот ваше заявление.— Он достал из черной папки на столе мою карточку с отпечатанным на диктографе текстом и оттиском большого пальца на месте подписи.— Ваш оттиск внизу, а мой я поставлю сверху против слова «утверждаю».— И, коснувшись пальцем подушечки с краской, он сделал оттиск на карточке.— Вот и все, Чабби Лайк. До понедельника вы свободны. Можете отдыхать и развлекаться, хотите — здесь, хотите — в Лоусоне. А в понедельник с утра явитесь к директору космопорта и покажете ему вот этот жетон.— И он протянул мне плоский золотой кружок.

На его тускло поблескивающей поверхности был барельеф доисторического летающего ящера. И я, кажется, понял почему.

— Желаю успеха,— сказал Уоррен.

Наши желания определенно совпадали.

Глава восемнадцатая,

вводящая в атмосферу «золотой лихорадки» на Второй Планете

В Лоусон мы выехали вдвоем с Джином Факетти на том же автоматическом песчаном кораблике, который доставил меня в СВК-два. Прихлебатели Джина, прибывшие вместе с ним на Планету, предпочли пьяную карусель в отеле, где у семьи Факетти был открыт неограниченный счет. Единственным, кроме меня, выбравшим Лоусон, был Стив Кодбюри, но он выехал туда раньше, получив назначение на пост начальника рудничной стражи. Джин был неподдельно обрадован тем, что мы оба не покидаем его «в беде», он так и выразился, считая бедой все, что ожидало его здесь. Но мое назначение он подписал туго, не без сопротивления, и, когда я спросил его, почему он все-таки подписал, он вместо ответа извлек из кармана виточек магнитной ленты, вложил в корабельный передатчик и включил запись.

На экране возник Джин вместе с его выхоленным, чуточку обрюзгшим отцом. Тот прилетел в СВК-два на несколько дней раньше и, как оказалось, ненадолго. Запись началась с его недовольной реплики.

— Какая тебе разница? Он же остается на Второй.

— Кем? Пилотом,— скривился Джин.— Почти год в полетах и какие-нибудь два месяца отдыха. А мне скучно без друзей в этом кукольном городке под куполом. Не развернешься. Один приличный бар на всю посуду.

— Два,— сказал Факетти-старший.

— Второй еще хуже. Там после третьего стакана уже поножовщина. Из десяти дежурных гробов к утру больше половины заполнены.

— У твоей ложи в обоих барах защитные бронированные стекла. А друзья найдутся. Стив каждый вечер к твоим услугам.

— Со Стивом в порядке. Но мне нужен и Чабби.

— Он нужен Уоррену.

— Кто кому подчинен? Я Уоррену или он мне?

— Боюсь, что сопоставление не в твою пользу.

— Но я директор рудников Лоусона.

— А он — безопасность всей СВК на Планете.

— Так вмешайся ты. Все-таки «Шахты Факетти».

— От фирмы осталось одно название. Я вынужден уступить контрольный пакет акций.

— Кому?

— Шефу СВК.

— Значит, Уоррен — хозяин?

— Увы.

— А что добывают в этой проклятой богом дыре?

— Металл, которого на нашей Планете нет.

— Дорогой?

— Дороже золота.

— Почему крутишь? Назови.

— Узнаешь, когда приступишь к работе. Я не имею права выдавать тайн Лоусона.

— А если я плюну в лысину его хозяину и пошлю к черту директорство? Не хочу быть пешкой на чьей-то доске.

— Ты не пешка. На доске есть фигуры. Разного достоинства и разных преимуществ. Лучше носить корону здесь, чем ходить дома в отцовской шляпе.

Джин как-то странно хмыкнул, не то зло, не то грустно, и выключил запись.

Я не ответил. Зачем? Он не сообщил мне ничего нового. Я и без магнитной записи знал, что Уоррен — это хозяин и что Лоусон — его кладовая. Теперь предстояло узнать, что добывается в этой кладовой. Что это за металл, которого нет на Планете и который дороже золота, но в золотой упаковке. И для чего добывается — для одарения или устрашения человечества. А тем временем мы уже стыковались в одном из входных шлюзов лоусоновского купола. Кладовая открывала двери, приглашая к столу.

Лоусон был уменьшенной копией СВК-два, только без движущихся тротуаров и улиц — его полуторакилометровый диаметр можно было без труда одолеть пешком, а от любой точки до выходного шлюза было и того меньше: самый длинный путь не дотягивал до километра. По окраинным кольцевым линиям жили завербованные горняки, а в центре — администрация и работники сферы обслуживания. Все это было привычно и современно, но сама атмосфера города дышала тщательно репродуцированным духом «золотой лихорадки». Шляпы с широкими, загнутыми по бокам полями и клетчатые цветные рубашки, грубые сапоги и пистолеты у пояса возрождали ту же старинную картинку.

— Куда направляешься?— спросил Джин, когда мы входили в город.

— Разыщу директора космопорта,— сказал я.

— Подожди до завтра.

— Я же на службе.

— Под мою ответственность. Остановишься у меня в «Мекензи». А вечером поужинаем под свист в салуне.

— Почему под свист?

— Здесь всегда свистят, предупреждая брошенный нож или пистолетную вспышку.

— Так ведь закон запрещает входить с оружием в общественные места.

— Закон всегда молчит, когда умеют его обходить.

Нечаянно или нарочно «Мекензи» подражал древним гостиницам. Однокроватный номерок с умывальником, но без душа и ванны — вода здесь ценилась дороже вина,— никаких кнопочных радостей и электронного сыска.

— Новый город,—пояснил Джин,— строился наспех у рудничных разработок. Строить здесь со всеми удобствами невыгодно: основной контингент населения —работяги. Патрицианское меньшинство обосновалось в двух-трех зданиях, оборудованных соответственно нашим привычкам. Уедет отец — переберемся на его пепелище. Места хватит.

В салуне было дымно и чадно от поджаривающегося тут же в зале мяса, от тлеющих сигар, трубок и сигарет. У стойки не протолкнешься: пили стоя, облокотясь о прилавок из твердой пластмассы,— даже молнии лучевиков не оставляли на ней следа. За столиком шумело по пять-шесть человек, десятки столиков в зале, десятки в ложах справа и слева. Джин получил столик тотчас же, как только его заметил рыжебородый директор, этакий штангист. Преобладали куртки и ковбойки, буквально затоплявшие дымный простор салуна. И тотчас же за столом к нам примостился Стив.

— Без меня счастья не будет,— хохотнул он.

— Подумаешь, фортуна в брюках,— сказал Джин.

— А что? Я антипод Лайка. Где Чабби, там одни неприятности, где я — удача.

Я молчал. Не хотелось связываться. Подали виски, и, отхлебнув из бокала, Дикий снова вышел на тропу войны.

— В секретари взял Чабби, а?

— Он мне даже не подчинен,— сказал Джин.— Он космолетчик.

— Где?

— У лысого Криса.

— И проверку прошел?

— Представь себе, с блеском.

— Ого! — В голосе Стива на миг прозвучало почти уважение, впрочем, тотчас же сменившееся былой нетерпимостью.

— Значит, брикеты будешь возить?

— Буду,— сказал я сквозь зубы.

— В золотой одежке. Думаешь, золото?

— Не думаю.

— А что внутри, знаешь?

— А ты знаешь?— спросил Джин.

— Знаю. Металл «икс».

— А чему равен икс в этой задачке? Чему служит, знаешь?

— Нет, конечно. И не интересуюсь — незачем. Мое дело — охрана порядка. Все надсмотрщики рудников. Подобраны из профессионалов. Вон посмотрите — гуляют.

За два-три столика от нашей ложи шестеро мордастых, плечистых парней с бычьими шеями, лениво раскачиваясь то вправо, то влево, монотонно тянули даже не песню, а одну только фразу из песни: «Хорошо жить легко, широко... Хорошо жить легко, широко...»

— Вот мы им и даем эту легкость и широту. Пистолет, хлыст и кредитные билеты Системы в одешием банке. Билетов много, но и работенка не сахар. Металл «икс» радиоактивный, мощнее урана и гораздо токсичнее. Излучает и после очистки на обогатительной фабрике. Трудно тебе будет с рабочими, директор. Мрут, как в эпидемии.

— Где же их лечат? Я не видел больницы,— сказал Джин.

— Ее и нет. Здешние лейкозы неизлечимы.

— Значит, крематорий или просто кладбище?

— Зачем? А «зыбучка» на что? Недалеко, всего километра полтора. Швырнешь в лиловый песок, и затянет. Как ложку в киселе.

Дикий так и сиял: удивляюсь, как меня не вытошнило.

— Какая гнусь! — не сдержался я.

— Здесь нет электронной записи, Чабби, но я могу ее заменить. Так сказать, в индивидуальном порядке.

— Заменяй. Ты уже ползал у меня на четвереньках. Поползешь еще раз.

— Не выйдет, Чабби.

— Ты думаешь? — холодно спросил я и тем же приемом — ребром ладони — стукнул его по шее.

Он свалился тут же, хлюпнул и затих.

— Зря ты его,— поморщился Джин.

— Встанет,— зевнул я.

— Кто встанет, мальчики?

Гладкая, как бильярдный шар, голова склонилась над нашим столиком. Уоррен был в замшевой курточке с золотой бляхой начальника Службы безопасности.

— Не поладили,— дернул подбородком Джин, указывая на барахтающегося под ногами Дикого.

Уоррен не спеша подсел к столу.

— Если ты еще не в раю, Стив, вставай и не симулируй,— сказал он.

Стив Кодбюри, кряхтя, поднялся, вытер слезы и слюни и сел молча с отрепетированной поспешностью.

— Значит, не поладили,— продолжал Уоррен,— а почему? Тебе слово, директор.

— А что говорить?— нехотя откликнулся Джин.— Стив рассказал о том, как хоронят в «зыбучке» умерших от радиации. С таким увлечением рассказывал, что Чабби не выдержал.

Уоррен уже не улыбался.

— А о чем еще он рассказывал?

— О радиоактивном металле «икс»,— вмешался я,— и о неизлечимых лейкозах, об отсутствии медицинской помощи, о массовой смертности в городе. Ну, я и наказал его, как умел.

— Правильно сделали, Лайк. Болтунов надо наказывать. Утри рот, Стив, и считай, что еще дешево отделался — я бы наказал строже. А металл действительно радиоактивный.— Уоррен уже адресовался ко мне, игнорируя Кодбюри.— Работать придется в специальном скафандре, даже вам, летчикам. Кстати, вы уже были у директора порта?

— Я просил его задержаться на день. Под мою ответственность. Надеюсь, ничего страшного,— виновато улыбнулся Джин.

— Страшного не произошло,— отчеканил Уоррен,— но мои приказы не отменяются, господин Факетти. Никем,— подчеркнул он.— Запомните. А вам, Лайк, надлежит явиться уже не к директору космопорта, а, поскольку я здесь, ко мне непосредственно. Уйдете на Планету не сегодня и не завтра. Пока транспорт готовится к полету и погрузка только началась, понаблюдайте за процессом подготовки рейса. Вы его хозяин — вам и отвечать. Привыкайте. А ты, Стив,— обернулся он к послушно выжидающему Дикому,— завтра же покажешь директору все его хозяйство. Оно не ограничивается, как у Лайка, одной территорией. Начните с открытых карьеров, побывайте на обогатительной. У конвейера не задерживайся — побереги директора хотя бы от радиации. Без охраны пойдешь?

— Возьму двоих — хватит,— буркнул Стив.

— Тогда все,— резюмировал Уоррен.— Вам тоже не советую сидеть здесь допоздна. Денек будет шумный.

Он вышел, за ним Стив, даже не простившись с Факетти. Он, видимо, спешил объясниться с Уорреном. Джин сидел хмурый, скорее опечаленный, чем недовольный.

— Не нравится мне все это,— сказал он.

— А ты не складывай лапки,— усмехнулся я.— Привыкай, присматривайся. Накапливай материал. Уоррен не бог, да и ты не комарик. Для начала сними скрытой камерой все, что увидишь. Пригодится.

Продолжение следует.

КАНАТОХОДЦЫ

Сергей **АБРАМОВ** *ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН*

Глава девятнадцатая,

о том, как добывается и переправляется на Планету псевдозолото Лоусона

Уоррен был точен. Я тоже. Ровно в девять раздвижные створки дверей впустили меня в «святилище». Уоррен ожидал на полдороге к столу, молча подвел меня к молочно-белой, без всяких украшений глянцевой стене, молча нажал кнопку, и стена превратилась в подсвеченную изнутри карту владений СВК на Планете, страны Чабби Лайка, уступившего мне

Продолжение. Начало в №№ 5—9, 11.

Рисунок **Геннадия НОВОЖИЛОВА**

свою биографию. По мере нашего приближения карта менялась, континент рос, вытесняя все к нему примыкающее. Города приобретали рельефность, реки — синеву, а дороги трехмерность, какую дают плоским лентам шоссе движущиеся по ним экипажи.

Так же молча Уоррен взял указку, обыкновенную школьную указку, похожую на бильярдный кий, и ткнул ею в квадратик на территории южной пустыни.

— Здесь,— сказал он,— будете приземляться. Локаторы укажут место. Проследите за разгрузкой, или, вернее, перегрузкой брусков на электрокары и проследуйте вместе с ними по трем номерным шоссе вот сюда. Это форт «Икс» без названия, где и хранится металл. Отдых два дня в любом районе Восточного Мегалополиса. Продление исключается.

— Все бруски загримированы под золото? — спросил я.

— Все. Удачный камуфляж, не правда ли?

— Не знаю. Золотой грим может вызвать повышенный интерес искателей приключений. Глухой район. Пустыня.

— Транспорты следуют с такой охраной, что любое нападение практически исключается. Извне, — подчеркнуто прибавил он. — Если же кому-либо удастся проникнуть в бригаду сопровождения, известный риск, конечно, имеется. Но его всегда можно предупредить.

Я молча глядел на черный квадратик в пустыне. Именно здесь наиболее вероятна удача акции, какие бы силы ни стояли на страже. А что нужно в конце концов? Всего один кусок металла весом в десять — двадцать килограммов. И еще только смелость, изобретательность и находчивость.

Так я беспечно размышлял у карты, еще не видя этих брусков. Меня преследовала навязчивая мысль: почему Уоррен намекнул о возможности нападения изнутри? Действительно ли он предполагал такую возможность или провоцировал меня? Может, да, может, нет, ответить я не мог, но учесть был обязан.

А между тем мне еще предстояло участие в новом эпизоде задуманного Уорреном спектакля. Не спеша облачились в специальные скафандры из плотной ткани, пропитанной каким-то неприятно пахнущим химическим препаратом. «Защита»,— пояснил мой начальник. От чего — от яда атмосферы или от псевдозолотых слитков? «От того и другого». С этим веселеньким напутствием я и вышел на простор под сиреневым небом. Черная, вороненo поблескивающая дорожка довольно быстро пронесла нас мимо стекловидной крыши, выдолбленной в скальном грунте рудничной обогатительной фабрики, на серую площадку космодрома, где уже возвышалась знакомая мне от верхушки до лап синяя транспортная ракета. Другие более широкие металлические дорожки подвозили к ней штабеля желтых, тускло поблескивающих брусков. А что, если каждый из них весит не десять и не двадцать килограммов, а более центнера? Тогда украсть такой брусок незаметно, как я планировал, будет совершенно невозможно. «Попробуйте счетчиком»,— усмехнулся Уоррен, заметив мое любопытство. Счетчик показал смертельную дозу излучения: псевдозолотые бруски убивали скоро и верно, и только скафандры с антирадиационной пропиткой позволяли нам находиться рядом в полной безопасности. Я сразу почувствовал себя, как студент, решивший труднейшую математическую задачу, или как криминалист, разгадавший тайну самого зловещего преступления года. Скорее, как криминалист, которому именно сейчас стали известны результаты экспертизы. Пока на Планете на специальных заводах с помощью сложнейших механизмов физико-химики отчаянно трудятся, вырабатывая килограммы искусственно синтезированного блистона, здесь добывают его из недр Планеты тоннами, как руду. Хорошо еще, что полет на Планету длится несколько месяцев и ракета не принимает больших грузов. Но два-три года такого хищнического накопления блистона позволят компании Факетти (или кто там за ними стоит?) реально захватить власть в СВК. Блистон сегодня дороже золота, в тысячи раз дороже, а значит, это власть, и неограниченная, подчиняющая себе промышленность, экономику и, следовательно, политику. И это опасно — сосредоточение власти в одних руках, к тому же не очень чистых. Мой учитель был прав, предполагая авантюру с мировым резонансом. И я должен был сорвать ее, именно я и никто другой.

Я уже думал об этом раньше. Мне был необходим всего один брусок, чтобы «Свободное содружество» могло обвинить СВК в нарушении договора о геологических разработках в космосе. Но как незаметно украсть кусок металла весом около центнера и — что еще труднее — столь же незаметно переправить его на один из наших континентов? Срочно требовалась связь. В Лоусоне ее не было — оставались Линнет в СВК-два да Мак-Брайт в Мегалополисе. Смотря куда я сумею добраться раньше.

А вечером на квартире Факетти-старшего, оставленной им в наследство сыну-директору, разговор о металле «икс» был продолжен. Джин записал на магнитную пленку все, что услышал и увидел. Против обыкновения он был мрачен и неразговорчив.

— Будешь комментировать?

— Спрашивай, — нехотя отозвался он, — мне и самому не много объяснили.

Первые же кадры цветного микрофильма показали глубокий вырез в скальном грунте на краю уже не песчаной, а каменистой пустыни, широкий ступенчатый каньон, наподобие рудных или соляных карьеров, с той лишь разницей, что цвет породы был мышино-серый с вкраплениями тускло поблескивающего металла, почти черными, как мазки туши. Это и был блистон, добываемый только в лабораторных условиях, ценнейший металл, совершивший переворот в атомной энергетике и породивший цепную реакцию международных соглашений, обусловливающих его разработку и применение. На ступенчатых склонах этого искусственного каньона суетились люди в зеленых, а порой до серости запыленных скафандрах, откалывая и размельчая породу отбойными молотками.

— Я и сам удивился этой древности,— ответил на мой недоумевающий взгляд Джин.— Оказывается, из-за секретности разработок сюда не ввозят современных рудничных машин. Все делается, как и встарь, молоточной пневматикой, а металл с кусками измельченной породы грузится на конвейерные ленты лопатами.

Похожие на лягушек люди с зелеными спинами и серой от пыли грудью своей скафандровой шкуры, повинуясь какому-то навязанному им ритму, бросали на движущуюся ленту транспортера широчайшими алюминиевыми лопатами размельченную молотками породу. Все делалось молча, не слышалось ни вздоха, ни голоса — только дробный стук молотков и скрежет лопат о камень.

— Почему они молчат? — спросил я.

— Они не молчат. Только у них в скафандрах нет приспособлений для открытого разговора. Они общаются на микрорадиоволнах. Я их тоже записал.

Не выключая телезаписи, он включил другое микроустройство. И я услышал:

— ...двадцать шестая волна... двадцать шестая... Торди, ты? Слышишь?

— ...слышу... не нуди... у меня пальцы немеют в скафандре...

— ...это от молотка... вибрация... а почему Грэм молчит? Включаю двадцать девятую...

— ...Грэм здесь... кто говорит?

— ...Джонни... попроси перекур...

— ...сам проси... Буль, поганый зверь,— переведет на ленту...— сломаемся...

— ...сорок третья... сорок третья... встречаемся в шлюзовой очистке...

— ...говорит Буль... откуда взялась сорок третья? Узнаю — на ленту без ужина!

— ...пальцы немеют... прошу перекур...

Джин с сердцем выключил пленку.

— Понравилось? Мне тоже. Впору самому просить перекур. А на обогатительной еще слаще. Смотри.

Он снова включил телезапись. На обогатительной фабрике в пылающей пасти подземных печей выжигалась порода и очищенный металл поступал в плавильни, откуда на ленту конвейера вылетали знакомые бруски, еще не окрашенные. Красильщики в зеленых лягушачьих скафандрах красили их длинноствольными распылителями.

— Рядом стоять опасно даже в специальных скафандрах. Иногда подводит пропитка,— пояснил Джин.

А минуту спустя я как раз это и увидел. Один из красильщиков то ли споткнулся, то ли неловко сманеврировал распылителем и чуть не упал на брусок, едва успев подставить ладонь в перчатке скафандра. Но, видимо, пропитка в ней была недостаточной. Он бросил краситель и выпрямился, да странно как-то выпрямился, не сразу, а шатаясь, словно ища опору, чтобы не упасть. Никто не подошел к нему, лишь надсмотрщик нагнулся и выключил краситель, а пострадавший медленно побрел куда-то из кадра.

— Вот так и подводит пропитка,— сказал Джин.— Смертельная доза облучения. Его уже на зыбучку свезли.

— Живого?!

— А что? Так даже гуманнее.— В глазах у Факетти прыгали предательские искорки.

— Выпей,— промолвил я, протягивая ему бокал.— Успокойся. Что-нибудь придумаем.

Джин встал, неожиданно успокоенный, даже холодный.

— Я уже придумал,— сказал он.

— Что?

— Полечу с тобой.

Глава двадцатая,

в которой сбывается предупреждение Уоррена, а Лайк неожиданно теряет друга

Почти пять месяцев спустя после этого разговора я посадил космолет в южной пустыне в Системе, посадил мягко и профессионально, словно всю жизнь только этим и занимался. Сигнализировал в грузовой отсек автомеханику о подготовке к выгрузке и спустился по трапу на желтый песок. Следом за мной сошел и Джин. Оба мы были в защитных скафандрах, и только это помешало обоим уткнуться носом в теплый пушистый песок родимой планеты.

— Пошли,— сказал я Джину через внешний разговорник скафандра,— разгрузят и без нас. За эти месяцы мне, признаться, изрядно надоели и скафандры, и радиация, и пресловутый металл «икс», и Уоррен.

— Мне тоже,— поддакнул Джин.

И мы не спеша пошли к зданию космовокзала — комбинации нержавеющей стали и пластмасс. В этом засекреченном уголке цивилизации — на сто миль в окружности не было никаких признаков человеческого жилья, а широкое применение на транспорте беспроволочной передачи электроэнергии сделало ненужными даже бензоколонки — царила прохлада и тишина. Автоматический кнопочный бар снабжал всеми видами синтетических блюд и напитков, и не было рядом ни микрофонов, ни соседей по стойке. Мы были одни, освеженные душем, освобожденные от надоевших скафандров, трудностей перелета, и,—хотя, казалось, должны были смертельно надоесть друг другу в пятимесячной изоляции,— искренне радовались, как друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

— По второму кругу! Пошли.

— Хоть по третьему.

Но радиоголос тотчас же объявил нам, что погрузка закончена и электроль ждет нас у выхода. Наш кортеж состоял из двадцатитонного электрокара с надежной противорадиационной изоляцией, куда был втиснут весь зловещий груз нашей ракеты, небольшого аэробуса с вооруженной охраной и нашего бронированного электроля, замыкавшего шествие. Двигались мы вдоль шоссе не только потому, что оно служило нам ориентиром, но и потому, что мощные струи сжатого воздуха при столкновении с измельченной ветрами и солнцем почвой пустыни создавали такие пылевые туманности, что терялась не только видимость, но и скорость.

— Как хорошо! — вырвалось у Джина.

— Что хорошо? — спросил я.

— И пустыня, и песок, и даже эта чертова поездка. Как мне надоела Вторая!

— Она мне тоже надоела, но ничего хорошего в этой поездке не вижу. Кстати, Уоррен упрямо и настойчиво предупреждал меня, что наше «золото» легко может стать приманкой для разбойничьих шаек.

— Глупости. Ты просто мнителен.

— Поживем — увидим.

Окружающая нас пустынная глушь была даже красива в своей величавой изменчивости. То растекалась к горизонту палевая мягкость песка, то подымались невысокие, выветрившиеся, причудливой формы скалы, будто раскрашенные мелками трех различных цветов — красно-рыжего, коричневого и синего. Только пастель обладает такой успокаивающей сдержанностью цвета. Но успокаиваться как раз и нельзя было. Впереди в нескольких километрах от нас скалистые формации сближались, пропуская дорогу, и я невольно подумал, что именно здесь могло бы и произойти нападение, о возможности которого говорил Уоррен.

И не ошибся. Когда мы въехали в скалистую полуарку, уже издали было видно, что дорога впереди завалена огромными камнями, через которые наш перегруженный электрокар, конечно, перепрыгнуть не мог: мощные струи сжатого воздуха приподнимали его от земли не выше, чем на полметра. Он и остановился, выбросив три толстые короткие лапы. А дальше начались странности. Грузчики в скафандрах, сопровождавшие бруски, выбрались из отсека электрокара через люк в поддоне, но вместо того, чтобы занять огневые позиции, поползли безоружные под прикрытие скал. Охранники же в аэробусе почему-то не подъехали к остановившемуся электрокару, а, выскочив, разбежались кто куда. Трех-четырех замешкавшихся полицейских срезала очередь из-за ближайшего, наклонившегося над шоссе утеса, остальным удалось добежать до зарослей кустов в обломках выветрившегося камня и занять оборону. Но их и не трогали. Людей в штатском с голубыми повязками на рукавах, вооруженных не лучевиками, а дальнобойными беззвучными автоматами интересовали не охранники, а бруски в фургоне. Кстати, полицейские не сделали ни одного выстрела, радушно позволив нападающим открыть заднюю стенку фургона и добраться до нашего псевдозолота.

Все это мы наблюдали, остановившись примерно метрах в пятидесяти от электрокара, в пасти которого уже скрылось несколько человек в голубых нарукавниках.

— Они с ума сошли,— простонал Джин.— Там же смерть!

Он рванулся к открытой двери машины, но я удержал его.

— Не торопись. Здесь мы в безопасности, а им все равно уже не поможешь.

— Надо же предупредить о радиации!

— Нам не поверят.

Он продолжал вырываться с перекошенным от гнева лицом.

— Пусти. Еще есть время.

— Нет времени. Они уже полутрупы. Почему, ты думаешь, не стреляет охрана? Боится? Чепуха. Каждый стражник по умению владеть оружием стоит трех нападающих. Но он знает, что открывшие фургон уже не выживут.

— Я еще успею предупредить остальных. Гляди, они уже падают.

Я не успел остановить его. Размахивая руками, он бежал мимо оставленного охраной аэробуса к электрокару.

— Оставьте брусок! — кричал он.— Это не золото! Это не золото!

— Джин, назад! — отчаянно крикнул я.

Поздно! Подкошенный смертельной очередью остановивших фургон автоматчиков, Факетти рухнул на шоссе, даже не вскрикнув.

...Глупый мальчик. Кого он хотел предупредить и кто бы ему поверил? Псевдозолото убеждало само и наверняка. Не прошло и десяти минут, как успевшие осознать это и не прикасавшиеся к брускам нападающие скрылись за скалами, даже не пытаясь помочь оставшимся на шоссе. Люди, должно быть, сообразили, что эти полутрупы сами таили в себе опасность и любое прикосновение к ним угрожало жизни. Не заинтересовались ими и вернувшиеся охранники. Брусок снова погрузили в электрокар люди в скафандрах, замкнули заднюю стенку и, не общаясь с охраной, скрылись внутри через люк в поддоне.

Заметив лежавшего на шоссе Джина, один из охранников подошел к моему электролю.

— Убит? — спросил он равнодушно.

Я пожал плечами: сам видишь.

— Это тот, который кричал и махал руками? — спросил он.— Так ему и надо. Кто он?

— Факетти,— сказал я.— «Шахты Факетти». Младший.

Охранник свистнул.

— Пожал то, что посеял старший.

— Не говори лишнего,— сказал я.

Он выпрямился и козырнул.

— Есть не говорить лишнего. Разрешите забрать труп?

— Положите его ко мне в машину.

И мы двинулись дальше в том же порядке. Трупов не убирали — их снесли с дороги воздушные струи наших машин. Я даже пожалел этих людей: ведь они погибли, уверенные в правоте своего дела. И Джина убили с той же уверенностью. А я ехал с сухими глазами — плакать не мог, не умел! — сознавая, что потерял друга, любившего меня, верившего мне безоговорочно и всегда готового выслушать и помочь.

Глава двадцать первая,

о том, как можно иногда обмануть смерть

Мне оставили мой электроль, чтобы я мог добраться до Милтон-отеля и сдать машину в гараже под расписку. После бюрократического оформления сдачи груза в засекреченном форте «Икс», где меня не пустили дальше приемной дирекции, у меня оставалось всего два дня до отлета на Вторую. За сорок восемь часов я должен был разыскать Мак-Брайта и передать ему всю информацию о рудниках и об их назначении. Путь к Мак-Брайту лежал через Ли, а путь к Ли через одну-единственную явку у ремонтно-заправочной станции, где Ли работал механиком. Последняя ниточка связи, и я молил всех богов, чтобы ее не успели оборвать.

Дорога на Мегалополис напоминала улицу в часы «пик», только с ускоренным втрое движением. Я гнал свой электроль со скоростью не меньше двухсот пятидесяти километров в час, но меня то и дело обгоняли более скоростные машины. Все дороги в эти дни строились с широкими полосами отчуждения — арендованными или закупленными у правительства лугами и огородами, только без обычных проволочных ограждений, чтобы машины на воздушных подушках в случае необходимости могли маневрировать, уклоняясь в сторону от шоссе. Видимость была превосходной, рекламные щиты, подвешенные высоко над дорогой, не мешали обзору, автоматическое управление работало безупречно, и, казалось, ничто не предвещало опасности. А она между тем нежданно-негаданно следовала позади с неотвязной настойчивостью.

Однако я все же ее заметил. Большая, черная, тупорылая машина двигалась за мной, сохраняя неизменную полукилометровую дистанцию между нами. Похожая на дельфина, она и двигалась, как дельфин, грациозной синусоидой, взлетая и снижаясь над широченным шоссе. Я увеличил скорость, рассчитывая уйти от преследования. Напрасно: дистанция между нами оставалась прежней. Замедлил — черный дельфин сделал то же самое. Тогда я выехал на обочину и остановил машину, мягко севшую на клеверный луг. Оглянулся, черный дельфин прильнул к земле на той же дистанции.

Я задумался. Преследование или осторожно подготовляемое нападение? Вернее последнее. Управление безопасности — а кому же, кроме ведомства Бигля-Тейлора, была нужна моя персона? — могло засечь каждый мой шаг на территории Мегалополиса, а следовать за мной по пути в город было пустой тратой времени: ведь конечной цели поездки я ни от кого не скрывал и с момента посадки на космодроме никакими видами связи не пользовался. Значит, нападение. Тогда с какой целью? Похитить или уничтожить? Похищать бессмысленно: легче открыто арестовать меня до или после сдачи злополучного груза. Уничтожить? Возможно. Решение устранить меня могло быть принято без ведома Уоррена непосредственно по прибытии моем на Планету. Конечно же, Уоррен ничего об этом не знал: я-то ему был нужен...

Почему же они не нападают? Должно быть, из осторожности. Видимо, устранить меня следует незаметно, без лишнего шума и без свидетелей. А на дороге слишком много машин, полицейских и контролеров, проверяющих лицензии на право проезда по федеральным шоссе. Вероятно, нападение произойдет после поворота. Основная магистраль тянется к Брего — южным воротам Мегалополиса, и поворот на север сразу сократит транспортный поток вдвое. Я знал этот поворот — у рекламного щита с названием любимого детского лакомства — конфет «Коми». От этого щита до рекламы спортивных товаров на пятисотметровом отрезке по обеим сторонам шоссе ровный некошеный луг, на который не составит никакого труда сбить с дороги попутную или встречную машину, в особенности если у тебя прочный бампер.

Я мысленно подсчитал. Если я увеличу скорость до трехсот шестидесяти, меня занесет на повороте на всю луговину и я успею сделать петлю. За пять-шесть секунд я успею пройти петлю как раз там, где дельфин на еще большей скорости вырвется на боковое шоссе. Затормозить и ударить с расчетцем он уже не успеет, а столкновение на такой скорости — катастрофа для обоих. Единственное, что может спасти его,— это прыжок над моей машиной. На это я и рассчитывал.

За четверть часа до поворота я резко повысил скорость: триста, триста тридцать, триста шестьдесят. Дельфин отстал. Сейчас будет наверстывать. Но я уже не видел его — передо мной за поворотом была луговина, куда меня здорово занесло. Не понижая скорости, я сократил петлей отрезок шоссе в тот самый момент, когда на него черным смерчем вылетел тупорылый дельфин. Все произошло, как я и планировал. Затормозить и ударить он не успел, я услышал дробный стук пуль, отраженных броней моего электроля, и тут же — свист мощных воздушных струй.

Этого мгновения я и ожидал. Сквозь щель, образованную чуть приспущенным ветровым стеклом, я полоснул по пронесшейся надо мной черной тени молнией своего пистолета-лучевика. На броне она бы только запеклась металлической корочкой, но незащищенное брюхо машины вскрыла, как нож консервную банку. Черный дельфин скособочился в воздухе и грохнулся у шоссе, перевернувшись в траве несколько раз.

Ли я нашел на ремонтно-заправочной станции уже вечером, когда поток электролей и электрокаров обмелел и утих. В форменной тужурке и фуражке с круглым большим козырьком Ли узнать было трудно. Косметологи вывели веснушки, подбородок окаймила неухоженная бородка, у губ легли жесткие складки. Только глаза еще напоминали о когда-то наивном и доверчивом мальчике. Сейчас исчезла и доверчивость.

— Что угодно? — спросил он, не узнавая меня или не желая узнать.

— Мне угодно, Ли, срочно видеть Мак-Брайта.

— Не знаю такого.

— И меня не знаешь?

— Не знаю.

В прищуренных глазах его, мне показалось, блеснула усмешка. Я понял. Требовался пароль.

Я знал его. Но с тех пор прошел год. Пароль могли изменить, а выхода у меня не было.

— Боковые батареи вот-вот выйдут из строя,— сказал я.

— Когда вы это заметили?

— Два часа назад на муниципальном тракте.

— Левая или правая? — продолжалась игра.

— Левая. Особенно в дождь.

— Я к вашим услугам, господин Лайк,— тотчас же откликнулся Ли.— Пароль заменен, но я понимаю, что вы могли об этом не знать. Были на Второй?

— Был, парень. Поэтому и требуется Мак-Брайт. Через тридцать шесть часов опять улетаю.

— Можете подождать до конца смены?

— Не могу. Дело не ждет.

— Тогда вам придется поработать механиком,— сказал он, подумав.— Покуда меня не будет. Не так уж трудно. Я вам все объясню.

— Не надо. Справлюсь.

— Примерьте. Может, подойдет,— он скинул куртку и снял форменную фуражку.

Я с трудом напялил курточку худенького Ли на свои плечи. Застегиваться, естественно, не стал. Сойдет.

— Если подъедет контролер, скажите, что вы новый диспетчер,— добавил Ли.— Да они и не интересуются ничем, кроме счетчиков.

Я сел на трехногую табуретку у двери станции, проводив глазами скрывшуюся в темноте крохотную машину Ли. Тишина и темнота окружали меня, как в склепе. Город в этом районе уже спал, а поздними вечерами улицы освещались плохо — старая энергосистема не выдерживала возросших нагрузок. И тут же полоснули светом два передних прожектора электроля. Он подрулил к тротуару, выбросив лапы, и женский голос из окна деловито спросил:

— Вы механик?

— Я.

— Проверьте аккумуляторы и давление в трубах.

— Сию минуту.

Женская голова в цветной косынке высунулась из окна, и знакомый голос протянул удивленно.

— Чабби, бог мой! Что за маскарад?

Я вгляделся: Жаклин.

— Когда же вы успели? — воскликнул я.— Вылетели вслед за мной?

— Я не согласовываю своих передвижений с вашими, Чабби. Но вы не ответили на мой вопрос. Почему вы здесь в этой шапке?

— Поступил механиком в компанию. Разве нельзя?

— Бросьте шутить. Я серьезно.

— И я серьезно. Не люблю неуместных вопросов, Жаклин.

— Тогда проверяйте аккумуляторы.

Я проверил и зарядил. Не спеша, молча, не обращая внимания на вылезшую из машины и наблюдавшую за мной Жаклин. Вытер руки тряпкой, висевшей у изоляторов, наклонился и сказал:

— Готово.

Она протянула мне деньги, села в машину и, закрывая дверь, сказала с воркующей нежностью в голосе:

— Вы забыли мое имя, Чабби. Это во-первых. Во-вторых, для меня ничего не изменилось, и я не проявляю интереса к вашей новой профессии. И в-третьих, хочу встретиться с вами, как бывало, наедине.

— Послезавтра я вылетаю обратно,— отрезал я.

— А сегодня вечером?

Отказаться? Грубо. И слишком уж демонстративно-загадочно. В моей профессии следует избегать загадочных ситуаций. Достаточно уже этой куртки и проверки аккумуляторов. Я снова поклонился и сказал:

— Если вы настаиваете, не возражаю.

— Не будьте сухарем, Чабби. Вы где остановились? В «Милтоне», как и раньше? Я тоже. Десятый этаж, сто двенадцать. Когда?

Я мысленно прикинул, сколько времени займет у меня встреча с Мак-Брайтом и переезды по городу, и не очень твердо проговорил — авось, откажется:

— Часа через два примерно. Могу опоздать немного.

Но она не отказалась:

— Обязательно, Чабби. Не подводите. Жду.

Ли не задержался. Он прибыл через десять минут после отъезда Жаклин.

— Мак-Брайт ждет в баре «Омнала». На сороковом километре по дороге в Мегалополис. Пароль не нужен — бармен свой. Скажите, что прислал я.

— Гениально,— сказал я.— А тебе надо уходить отсюда немедленно. Исчезнуть. Я завалил твою явку, мальчик. Так уж случилось — не вини. Меня узнали.

Ли не стал вдаваться в подробности.

— Сейчас уходить? — спросил он.

— Сейчас. Я подвезу тебя. Только не домой — квартира исключается. Выбирай другую нору и другое обличье.

Я высадил его, не доезжая моста. По-моему, он был не огорчен, а даже обрадован этой неожиданной переменой в судьбе. Я же был смущен и встревожен: в трудной жизни Мак-Брайта прибавится еще забота о восстановлении явки.

Я нашел его на верхней галерее шумного океанского бара, где легко было затеряться среди захмелевших разномастных людей. В полуоткрытой кабинке на двоих разговаривать можно было свободно — Мак-Брайт и «свой» бармен об этом позаботились.

— Долго тянешь, Лайк,— начал Мак без приветствий.

— Связи нет.

— А Линнет?

— У нее нет связных в Лоусоне. Он засекречен, как форт «Икс» на Планете.

— Что еще за форт «Икс»?

Я рассказал.

— Значит, все-таки блистон,— проговорил, помолчав, Мак-Брайт.

— Увы.

— Твой транспорт — второй по счету с начала разработок. Мы проследили.

— Учитывая грузоподъемность космолетов, два транспорта — это почти тридцать тонн.

— Нам нужен всего один брусок. Охрану можно перебить, электроль не проблема, сейфандры тоже.

— С антирадиационной пропиткой. А это уже проблема. Коэффициент излучения очень высок.

— Ты когда вылетаешь? — задумался Мак-Брайт.

— Завтра вечером.

— Придется доложить Первому. Может быть, еще сегодня. Об инструкциях сообщим.

— Пароль, явка?

— Не будет. Найдем тебя, когда будет нужно. Кстати, с этой минуты каждый твой шаг с нашей страховкой.

— Тейлор?— спросил я понимающе.— С Уорреном мы поладили. Он мне доверяет.

— Вот именно поэтому Тейлор, видимо, решил, что ему удобнее тебя устранить. Они же с Уорреном терпеть друг друга не могут.

— Знаю,— усмехнулся я и рассказал о схватке с черным дельфином.

Мак-Брайт встревожился.

— С электролем они нас предупредили. Но с булавкой мы еще успеем.

— Какая еще булавка?— не понял я.

— Обыкновенная. Заколка для бантов и галстуков. С золоченой головкой, каких сотни в любом универмаге. Только эта не в фирменной упаковке, а в стеклянном тюбике от таблеток «Альфа» и смазана особым химическим составом.

— Яд?

— Не смертельный. Но даже легкая царапина вызывает истощение нервной системы. Ухудшаются слух и память, слабеют соображение и реакции. А через месяц ты уже ни на что не способен — разве только, что ставить штампы на почтовых конвертах или подметать улицы.

— Кому же поручен укол?

— К сожалению, нам не удалось выяснить личность агента. Но известно, что он встретится с тобою сегодня.

— Сегодня вечером я встречаюсь с Жаклин Тибо. Личность, по-моему, уже выяснена. Интересно другое: я только полчаса назад условился об этой встрече, заменяя Ли на ремонтной станции. Жаклин нашла меня там неожиданно для себя самой.

— Возможно, что и неожиданно. Но встреча с тобой сегодня вечером была запланирована у них на случай неудачи дельфина. Они знали, куда ты едешь, и, несомненно, проинструктировали Жаклин.

Я вынужден был согласиться.

— Где состоится встреча?

— У нее в Милтон-отеле.

Мак поморщился.

— В трехкомнатном номере «люкс» миллион способов спрятать крошечный тюбик с булавкой. У нас нет шансов его найти, даже если удастся провести обыск. Придется устранить Жаклин, не кривясь.

Возражать Мак-Брайту было бесполезно, да и чем бы я мог мотивировать свое возражение. Враг есть враг.

С чувством нарастающего беспокойства я добрался до отеля и поднялся в номер. Света не зажигал: в темноте лучше думалось, а подумать можно было о многом. Еще одно препятствие удалено с пути, а сколько таких препятствий еще ожидало меня на Второй. Время шло, я не считал ни минут, ни часов и уже собрался было зажечь свет, чтобы почитать на ночь, как чей-то глухой, странно знакомый голос остановил меня.

— Не старайтесь, Лайк. Ток отключен.

— Кто здесь?— спросил я, осторожно вынимая пистолет.

— Спрячьте его в карман, Лайк,— снова услышал я.— У меня очки, позволяющие видеть в темноте. К тому же в своих не стреляют.

— В своих?— повторил я удивленно.

— Когда-то мы уже беседовали.

Я вспомнил трущобы Мегалополиса, длинный коридор и дверь, которая открылась без скрипа, комнату-пенал в темноте и хриплый мужской голос. Этот же самый глуховатый властный голос привыкшего руководить человека.

— Первый?— спросил я, замирая.

И услышал ласковое, родное:

— Ты не ошибся, сынок. Это я.

Я даже онемел от удивления. Оказывается, Первый — мой соотечественник. Земляк, законспирированный в диктаторской резиденции. Жизнь — риск, жизнь — борьба, жизнь — подвиг. Один неверный шаг...

— Как вы рискнули прийти сюда?— вырвалось у меня.— В электронную мышеловку! На базар, где вас знает каждый!

— Мышеловку можно разрядить, а на базаре преображают грим и костюм. На мне сейчас, например, табачный пиджак отельного сыщика. А свет отключен потому, что не хочется, чтобы у тебя создалось обо мне ложное впечатление. Внешность моя сейчас, мягко говоря, мало согласуется со словами.

— Вы же могли послать Мак-Брайта.

— Твои сообщения настолько важны, что Мак-Брайта пришлось срочно послать в ОСГ — наша подпольная дорога туда еще пока действует. Но вернется он с ответом лишь через несколько дней. Поэтому и пришлось рискнуть мне. Другой связи нет, а ты вылетаешь завтра.

— Утром,— сказал я.

— Тем более. И несколько месяцев в пути. А передать инструкции на Вторую — сложное дело. Если их утвердят, сигнала не будет. Если нет — уведомим.

— Что требуется?

— Один брусок блистона. Взять его здесь трудно — согласен. Еще труднее — переправить в ОСГ. Усложняет все радиация. Поэтому и решили сделать это на Второй Планете. Проще взять и проще переправить...

— Куда?

— На контролируемый нами сектор Планеты. План твой, средства обеспечит Линнет, помощников найдешь сам: в Лоусоне недовольных полгорода.

— И Лайк исчезнет?

— Исчезнет Лайк, родится другой. Ты же не собираешься менять профессию?

— Пока она еще нужна,— вздохнул я,— а завтра, быть может, уже не понадобится.

— Вполне вероятно, но до завтра еще есть время. И человеку твоей профессии понадобятся не только ум и отвага, но и оружие. Разное оружие. Даже такое. Возьми.

Я протянул руку в темноту и ощутил на ладони что-то маленькое и гладкое, похожее на тюбик губной помады. А голос продолжил:

— Булавка Тейлора. Я воспользовался случаем, чтобы передать тебе ее лично — не хотел подпускать к тебе незнакомых связных. Держи тюбик при себе — он из прочного неразбивающегося стекла — и никогда не открывай, пока не понадобится. А теперь прощай. Свет включат тотчас же после моего ухода.

Минуту спустя я увидел булавку, вернее, только тюбик из черного, похожего на металл стекла. Но раскрывать его я не стал.

Ах, Жаклин, Жаклин!.. К сожалению, я не умею писать надгробные эпитафии.

Глава двадцать вторая,

в которой Лайк находит друга на рудниках Лоусона

Неприветливым, настороженным и холодным показался мне Лоусон. Теплота дружбы Джина Факетти как-то скрашивала мое пребывание в этой дыре с искусственной атмосферой и климатом. Теперь же меня ожидало одиночество в тягостно чуждом и неприязненном мире, равнодушие окружающих, их незаинтересованность и душевная глухота. Кто мог помочь мне найти выход из лежавшего передо мной лабиринта? Уоррен? Возможно, и он, негативно, конечно. В какой-то степени он мог стать пружиной придуманного мной механизма. Встретил он меня внимательно, даже радушно, живо интересовался подробностями гибели Джина Факетти, даже упрекнул меня в том, что я недостаточно энергично удерживал Джина от бессмысленного предсмертного шага, и вдруг в заключение разговора спросил:

— Вы, наверное, знали его подругу Жаклин Тибо?

— Конечно,— сказал я,— только впервые узнаю о том, что она была его подругой.

— Они скрывали это, чтоб не раздражать старшего Факетти. Старик не особенно одобрял эту близость.

И правильно, что не одобрял. Только никакой близости не было, Уоррен почему-то соврал.

— Вы встречали ее перед вылетом?— спросил он.

— Нет.— Тут я мог не бояться соврать: она ни с кем не встречалась и никому не звонила — это проверили. Видимо, хотела сделать сюрприз своему шефу.— А почему вас это интересует?

— Она исчезла.

— Вероятно, уехала куда-нибудь развлекаться,— продолжал я игру в той же манере.

Но Уоррен уже не скрывал своей озабоченности.

— Ни на Юге, ни на Западном побережье, ни вообще в пределах СВК ее не нашли.

— Лазерная связь, вероятно, стоит больших денег?

— Безусловно,— согласился он,— но почему вы об этом спрашиваете?

— А стоит ли тратить их ради такого события, как исчезновение Тибо?

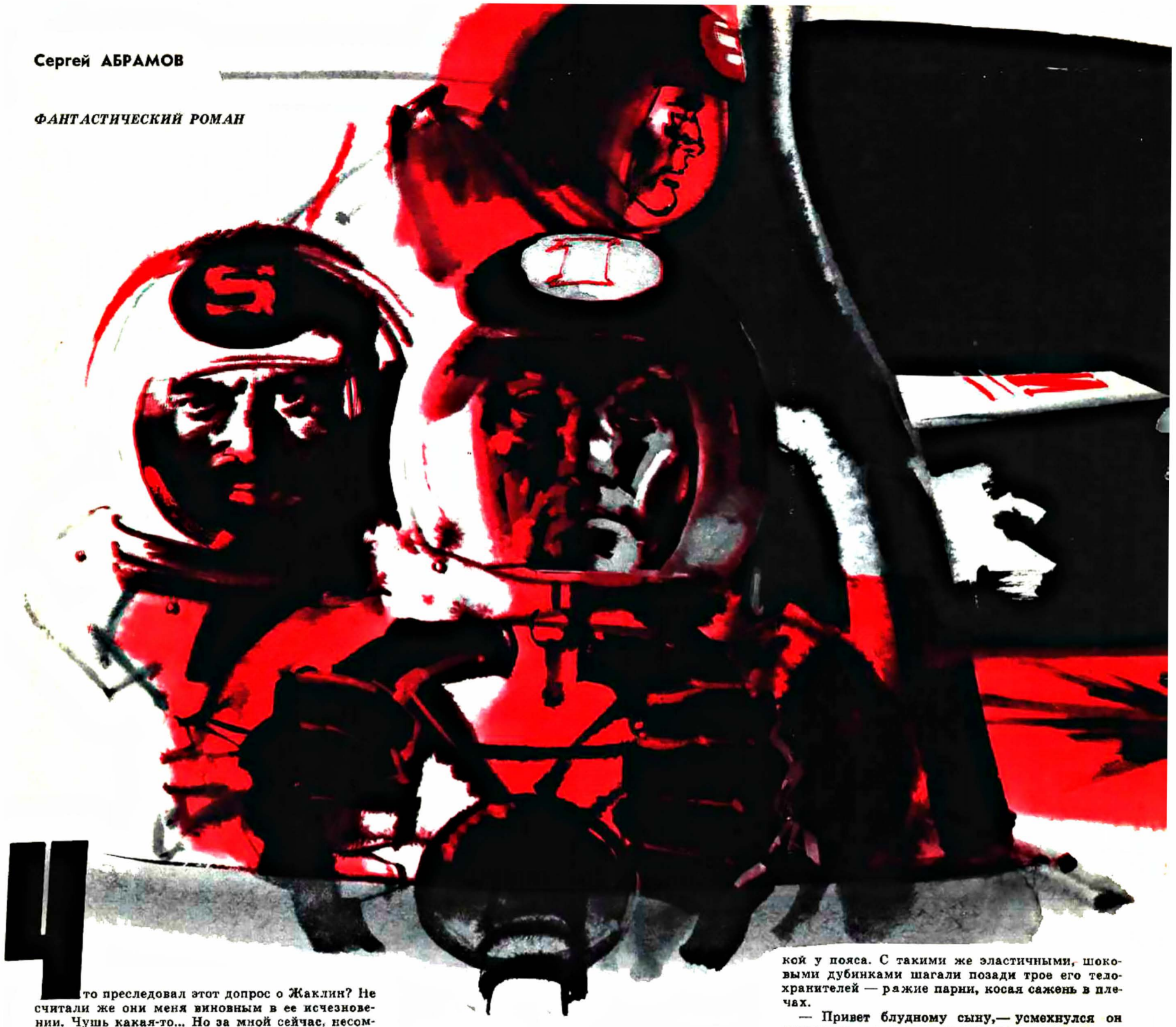
Уоррен мгновенно понял игру.

— Вы очень догадливый человек, Лайк. Но не злоупотребляйте своей догадливостью. Жаклин не доверяла вам, она никому не доверяла, кроме своего разлюбезного Тейлора. А я вам верю. И цените это.— Он встал, массивный и картинный, позволяя мне откланяться и уйти.

Окончание следует.

Сергей АБРАМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН



Что преследовал этот допрос о Жаклин? Не считали же они меня виновным в ее исчезновении. Чушь какая-то... Но за мной сейчас, несомненно, будут присматривать. Пусть! В Лоусоне мне пока ничто не грозит...

Но я ошибся. Вечером от нечего делать я отправился «отдыхать» в один из двух лоусоновских салунов. Я выбрал второразрядный — во-первых, потому, что в «Мекензи» уже был, а во-вторых, потому, что не хотелось встречаться со Стивом Кодбюри: вероятно, новый генеральный директор рудников выбирает для своих развлечений более аристократические притоны. И я опять ошибся.

Но об этом потом. Салун встретил меня воем электроджаза, пьяным галдежом за столиками, клубами дыма у потолка и полированной стойкой бара, по которой можно было гонять кружки с пивом, как кегельные шары. Я присмотрелся к ней, поймал полную кружку и оглянулся на молча сосущего пиво соседа.

— Айк? — спросил я.

Ко мне обернулось обросшее русой бородой лицо моего недавнего знакомца, «первака» из бара центрального космопорта. Он не сразу узнал меня: в своем живописном мундире пилота я мало походил на процелыгу, перемахнувшего через стойку, чтобы удрать от проверки.

— Значит, не сцапали? — улыбнулся он.

Я свистнул.

— Не от таких уходил.

— А теперь кто ты?

— Космик. Вожу вашу бодягу домой.

— Бруски?

— Ага.

— Будь они прокляты! Сбежал бы, да некуда.

— А ведь говорил: не все ли равно, что в скафандрах. Дышать дают, заправку тоже.

— Дают. Контракт на пять лет, а ты уже через год инвалид.

Я задумался. Кажется, открывался рычаг воображенного мной механизма.

— Говоришь, сбежал бы, да некуда. А вдруг есть куда?

— Может, с собой возьмешь? Спрячешь в машине?

— Приземлимся на военном космодроме. Только сядем — схватят.

— Так куда же бежать? Кругом пустыня. Зыбучка да камень.

— А за пустыней?

— В зону Содружества?

— А что тебе их бояться? Думаешь, местные слаще?

— Не думаю... А как сбежишь? Ножками? На второй день свалишься. Да и в баллонах сжатого воздуха часов на восемь, не больше. Нужна машина, Чабби. А где ее раздобудешь?

Я огляделся по сторонам и сказал, понизив голос до шепота:

— Подумаем. У меня здесь, между прочим, тоже не рай. Тсс...

Я предупредил ответ Айка. К нам подходил Стив Кодбюри в кожаном пиджаке с дубинкой у пояса. С такими же эластичными, шоковыми дубинками шагали позади трое его телохранителей — ражие парни, косая сажень в плечах.

— Привет блудному сыну,— усмехнулся он нагловато,— в честь возвращения прикажу, пожалуй, зажарить барашка.

— Не фиглярничай,— сказал я.— Противно.

Он присел возле меня у стойки. Телохранители стали сзади.

— Противно? — повторил он с издевкой.— А как мне было противно слушать Жаклин.

— О чем же? — спросил я невинно.

— О волке в овечьей шкуре. Она тебе никогда не верила. Только здесь молчала.

Я оглянулся. Телохранители выстроились угрожающим веером. Айк куда-то исчез. Вероятно, не захотел связываться с директором. Что ж, по-человечески это понятно.

Я решил отбиваться, пока есть время.

— Бред собачий. Кто поверит психованной бабе? Даже Уоррен не верил.

— Я поверил.

— К счастью, ты не всесилен.

— Достаточно силен, чтобы проучить тебя здесь и отвезти на зыбучку.

— Не рискнешь. Я еще нужен Уоррену.

— А что он узнает? О пьяной драке в салуне, где не слишком уважают законы?

— Есть свидетели — зал полон.

— Кто из них рискнет пойти против меня в открытую? Тебе конец... Я только свистну...

Но свистнуть он не успел. Я сбил его одним ударом с табурета, успев стать к стойке спиной. Маневр был своевременный, потому что один из телохранителей тотчас же ринулся на меня, как таран. Я отбросил его ногой. Но парировать дубинку второго не успел — только отклонился

Окончание. Начало см. в №№ 5—9, 11, 12.

КАНАТОХОДЦЫ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

чуть-чуть так, что удар пришелся в плечо. Укол электротока сковал меня, в глазах потемнело, защищаться я уже не мог — только обхватил голову руками, чтобы смягчить еще удар. Но удара не последовало: кто-то отшвырнул охранника с такой силой, что тот опрокинул в падении соседний стол. Я поднялся, сообразив, что у меня появились союзники. И не ошибся.

Десятка полтора завсегдатаев салуна, сидевших в зале — в дыму я не сумел сосчитать точно,— буквально навалились на банду Дикого, обезоружив и выловив каждого поодиночке. В пять минут все было кончено. Стиву плеснули чем-то в лицо, от чего он буквально взвыл, стоя на коленях и протирая кулаками глаза. Так его, «коленопреклоненного», и вынесли за дверь, выбросив вслед и его растерявших дубинки охранников. Я даже не успел поблагодарить неожиданных избавителей — они тут же разошлись к столикам в зале, вероятно, заняв прежние свои места. Возле меня остались только Айк и рослый белобрысый малый со шрамом на лице и пудовыми кулачищами, которые, как оказалось, и отшвырнули парня с дубинкой.

— А я думал, что ты смылся,— сказал я Айку.

— Смылся, чтобы людей собрать. Сразу учуял, чем пахнет.

— Мы друзей не бросаем,— вступил в разговор парень со шрамом.

— Род Мэллори,— представил его Айк,— мы с ним бок о бок в карьере работали.

— Сейчас я на обогатительной,— пояснил Род,— зову Айка напарником, а он не идет.

Я мгновенно учел ситуацию. Именно на обогатительной мне и требовались помощники.

— Соглашайся, Айк, не прогадаешь. К воскресенью чтобы ты уже был на обогатительной. Кто там у вас контролером на шлюзе?

— Индюк Гиш,— сказал Род.

— Индюк — это имя?

— Нет, кличка. Такой же надутый и жадный.

— До денег?

— Еще как!

— Подходит,— сказал я, не объясняя ребятам, что я задумал: поймут позже.— Значит, до воскресенья здесь же. А сейчас расходиться, пока Стив не вернулся.

— Он не вернется. В салунах свои законы, и не ему их отменять.

— Подстережет в карьере.

— Подстереги лягушку на болоте,— усмехнулся Айк.— Все зеленые, все в скафандрах.

Но меня могли подстеречь у отеля. Поэтому я прямехонько из салуна направился в шлюзовой зал. Все уже спали, и заспанный дежурный в гараже долго разглядывал мой пилотский жетон, прежде чем завести машину. Но, проснувшись, завел ее без промедления и даже не перепутал пропускные кнопки в шлюзах.

— Энергии хватит? До СВК-два?

— Всю пустыню пройдет в любом направлении. А на СВК-два ставьте курс 114 и спите спокойно,— зевнул он.

К утру я уже шлюзовался у купола СВК-два. Служба безопасности, несомненно, была осведомлена о моем прибытии, и потому, не играя в прятки, я публично заказал по видео номер в отеле, добавив, что выезжаю немедленно. Пусть присылают наблюдателей. Сам же пошел к открывшимся уже киоскам, нашел журнальный и, как и предполагал, сразу увидел Линнет. Она деловито развешивала по стендам журналы в пестрых обложках.

— Надеюсь, мне уже не придется вспоминать о старых номерах «Новостей»,— спросил я, не здороваясь.

Линнет не удивилась.

— Приехал за деньгами?

— Откуда ты знаешь?

— Догадалась. О твоем задании мне известно. Для этого нужны люди и деньги. Людей ты найдешь сам или уже нашел на месте, а за деньгами приехал ко мне. Я даже скажу, сколько тебе нужно.

— Пять тысяч.

— Возьми десять.

— Вы щедры, моя милая.

— Не я, Чабби. Первый. Когда ты хочешь их получить?

— Сейчас.

— В отеле?

— Нет. В отель я не поеду. Опасно: могут следить.

— А где же передать деньги?

— Выезжаю на электроле немедленно, но со скоростью черепахи. Догонишь в дороге.

Пакет с деньгами был вручен мне на пятидесятом километре от СВК-два.

Глава двадцать третья,

в которой Лайк переигрывает Уоррена и выполняет задание Центра

Линнет не переборщила с деньгами: десяти тысяч хватило в обрез. Индюк запросил шесть, да по две пришлось обещать шлюзовым механикам, впускавшим и выпускавшим металл с обогатительной фабрики. Мой механизм должен был действовать так: за одну-две минуты до полудня, когда работа прекращалась на обеденный перерыв, Индюк выпустит на транспортере один брусок за пределы купола в сопровождении Айка и Рода. Транспортер тут же выключается, и брусок мгновенно перегружают на ожидающий у шлюзового выхода электроль. Я включаю управление, и мы со своей добычей уходим в пустыню. А время работает на нас: сигнал тревоги из-за обеденного перерыва запаздывает, надсмотрщики прохлаждаются в баре, гараж закрыт, и мы выигрываем у погони не меньше ста километров.

План был прост и рассчитан на мгновенность и согласованность действий. Самым уязвимым его местом был электроль. Требовался бронированный, чтобы предохранить от обстрела из дальнобойных пулеметов погони, а единственный бронированный электроль в Лоусоне принадлежал Уоррену. Любой ценой я должен был получить его, обеспечив свободу действий после этого по крайней мере в течение часа. Но как? Подделать подпись Уоррена на письменном приказании о выдаче машины? К сожалению, у меня не было под рукой человека, способного сделать это с достаточной точностью. Да и Уоррену самому мог потребоваться электроль именно в это время. Убить его? Где? В служебном кабинете, куда каждую минуту мог заглянуть любой из его подчиненных? Бред. Удобнее всего было бы выманить его в пустыню на той же машине, вспороть ножом скафандр и выбросить тело задохнувшегося в здешней атмосфере где-нибудь по дороге на космодром. Но такая операция потребовала бы точно рассчитанной и длительной подготовки, а в моем распоряжении не было и полных суток. Можно временно вывести из строя Уоррена — у меня имелись ампулы с нервно-паралитическим газом и сигареты, погружающие в сон с одной затяжки, но под каким предлогом я могу получить у него необходимое мне распоряжение о выдаче электроля? И тут я вспомнил о булавке Жаклин.

Впоследствии Дибитц назвал мой план чистейшей воды авантюрой, непростительной для разведчика, обязанного действовать только наверняка. Я же рисковал отчаянно и безрассудно, надеясь лишь на сопутствовавшую мне удачу, решительность и внезапность маневра и скрытую под маской всесильного повелителя обыкновенную человеческую трусость. С таким вызовом я и шел к Уоррену примерно за час до начала операции на обогатительной фабрике.

Уоррен принял меня сдержанно и чуть-чуть удивленно.

— Соскучились по работе, Лайк?

Я решил не тянуть время.

— У меня неотложный и важный разговор. Кстати, важный не только для меня, но и для вас. Поэтому дайте световой сигнал на дверях, чтобы вас не беспокоили.— Я посмотрел на часы.— Сейчас десять минут двенадцатого. Скажем, до часу.

— Я не предвижу разговор такой длительности. Даже с вами, Лайк,— сказал Уоррен.

— Разговор будет недолгим.— Я подошел ближе.— До часу вы пробудете в одиночестве.

— Вы, кажется, угрожаете, Лайк?

— Не буду обманывать, да.

Я тут же извлек из нагрудного кармашка стеклянный тюбик, добытый у Жаклин, и вынул булавку.

— Узнаете?

— Булавка Жаклин.— Толстые губы Уоррена побелели.— Откуда она у вас?

— Профессиональный секрет.— Я поиграл злополучной булавкой.— Так вам знакомо действие препарата? Руки! — крикнул я, когда Уоррен потянулся к сигнальной клавиатуре.— Сидеть смирно. Вот так. Мне даже не понадобятся оправдания, когда вас, парализованного, найдут в кресле. Любой из ваших врачей поставит один и тот же диагноз — инсульт. Вы же гипертоник, по комплекции видно.

— Вы пока переиграли меня, Лайк,— очень спокойно проговорил Уоррен.— Но я не торгуюсь. В моем положении это абсурд. Итак, что вам требуется?

— Небольшая услуга, значительно дешевле вашей жизни. Но я тоже не торгуюсь. Прежде всего наберите сигнал о том, чтобы вас не беспокоили. До часу. Только никаких тревог и прочих фокусов.

Уоррен покорно набрал на клавиатуре требуемый сигнал.

— Теперь предписание о немедленном предоставлении мне вашего электроля на неограниченный срок.

— Решили бежать?

— Вы угадали.

— В зону Содружества?

— Поразительная догадливость. Диктуйте.

И снова покорно подчинился Уоррен, выдав мне с диктографа требуемое предписание.

— Что еще?

— Пустяк. Крошечная штучка, которая продержит вас в состоянии неподвижности, — я взглянул на часы,— час сорок минут.

Я блефовал с лицом завзятого картежника, прикрепляя к ребру письменного стола миниатюрный микрофончик — крохотный металлический кубик с присосками и фальшивым циферблатом.

— Это взрывательное устройство с циферблатом включено на требуемое нам время. При малейшем вашем движении оно немедленно придет в действие. Не тянитесь ни к клавиатуре, ни к радио. И твердо помните, что полностью выключить механизм вы можете только в час дня. Ни секундой раньше.

С этими словами я вышел, оставив всесильного директора в состоянии боксера после нокаута. Я уже точно знал, что полтора часа с лишним он не предпримет никаких направленных против меня мер.

Но в одном я ошибся, и ошибки моей он не поправил. Обнаружил ее я уже в гараже, получая требуемую машину. «Броненосная и самая быстрая»,— восхитился я, но дежурный механик заметил меланхолично: «Не самая. Ракета, на которых стреляют песчанок в пустыне, вдвое быстрее». Песчанок — пушных зверьков Второй Планеты—я в пустыне не видел, такой ракетой не пользовался, да и менять что-либо сейчас было уже поздно. И, получив золотистый электроль Уоррена, я ровно в двенадцать подал его к выходным шлюзам обогатительной фабрики.

Двенадцать часов одна минута. Шлюз закрыт.

Минута двадцать секунд. Я жду.

Полторы минуты. Начинаю тревожиться.

Две минуты. Выходной шлюз выпускает на транспортере укороченную платформу с одним бруском и двумя сопровождающими в таких же, как и мой, зеленых скафандрах. С разговорником: я об этом уже позаботился.

— Грузи в багажник,— приказал я, открывая крышку.

Молниеносно брусок с платформы был перегружен в багажник машины. Крышка захлопнулась.

— По местам, живо!

С такой же быстротой три зеленых лягушки скрылись в пасти золотистого электроля. Указатель я поставил раньше: курс сто девятнадцать. Точно по карте. Оставался пуск. Я не замедлил ни секунды, и машина рванулась с места со свистом воздушных струй, набирая скорость.

Ничего не произошло. Ни суеты у шлюзов, ни сигнала тревоги, даже очевидцы, какие были, должно быть, не поняли, что к чему. До освобождения Уоррена из ложного плена осталось около пятидесяти минут. Значит, при скорости до пятисот километров в час мы выигрывали не менее четырехсот километров. Две тысячи километров отделяли нас от зоны Содружества — четыре часа пути. Много. Ракета при всех возможных задержках догонит нас на полдороге. Я взял карту: лиловая лента пересекала наш путь примерно на тысячном километре — зыбучка. Надо менять курс, чтобы обойти ее где-то справа или слева — лишние триста километров пути.

— Не меняй курса,— подсказал Айк, заглянув в карту.

— Зыбучка, видишь? — пояснил я.

— Ну и что? Я знаю.

— На зыбучке не может быть воздушной подушки. Лиловый песок не оказывает сопротивления воздушным струям, свободно опускаясь под их давлением. А ширина какая! Посмотри по масштабу — не менее пятидесяти километров. Никакой инерции не хватит даже при такой скорости. Не перескочишь.

— И все-таки повремени с курсом. Там кромка синюшника — я помню. И зыбучка суживается горловиной почти вдвое. Подойдем ближе — объясню.

Я согласился. Айк не безголовый — зря рисковать не будет. Подождем, если просит. А на обзорном экране, отражающем всю дугу горизонта позади машины, в рыжем пространстве пустыни возникла черная точка. Она двигалась, вырастая до размеров крохотного черного пятнышка. Погоня.

— Не рискуем, Айк? — обеспокоился Род.

— Они будут обходить нас справа, сокращая угол. Рассчитывают, что мы пойдем вдоль кромки синюшника. О зыбучке они тоже знают.

Зажужжал зуммер видео. Я откликнулся, не включая экрана.

— Кто?

— Боишься взглянуть мне в глаза, Чабби,— ответил динамик голосом Стива.— Включи экран.

— Зачем? — сказал я.— Ты мне надоел давно и достаточно.

— Не хорохорься, Чабби,— продолжал динамик,— тебе и твоим друзьям конец. Утопим в зыбучке. Сдача на милость не поможет. Милости не будет.

«Хорек,— подумал я. — Злой и вонючий хорек. Знает, что на его стороне скорость». Динамик, всхлипнув не то от радости, не то от злости, умолк. Я включил видео.

— Будем отстреливаться? — спросил Род, перебираясь к щели скорострельного пулемета.— Я знаком с этой штукой.

— Подожди,— прервал Айк,— до зыбучки они нас не догонят.

Панорама впереди чуточку изменилась. Красный песок на горизонте искривился темной полоской. Приближалась зыбучка. Она походила на лиловую реку или стоячую болотную гладь, окаймленную кустами синюшника. Приближалась она с чудовищной быстротой, пестрея косыми рыжеватыми полосами, как будто сотворивший ее создатель мазанул желтой кистью по фиолетовой грязи.

— Вышли правильно. Здесь,— удовлетворенно промолвил Айк.— У тебя сто девятнадцать на курсе? Убавь до ста восемнадцати, чуток влево. Именно здесь мы и нашли брод.

— Какой брод?— удивился я.

Какой брод мог быть в толще зыбучих песков, не выдерживавших никакой тяжести?

Айк объяснил:

— Когда меня, штрафника, сунули в похоронную команду, именно сюда мы и поехали. Взяли с напарником одного мертвяка и швырнули метра за три в песчаную топь. А он не тонет. Лежит в песке и не всасывается. Я пнул багром — есть у нас такие багры для захоронки — чую: грунт не то камень, не то глина. Положил багор, перебрался на рыженькую полоску, где мертвяк лежал,— стоять можно. Метра два шириной под ногами, будто каменная стена в песке. Прошел метров пятьдесят — то же самое. Под ногами твердь, и конца нет, а по краям зыбучка. Потом один из наших ребят до конца прошел, должно быть, километров десять: здесь зыбучка горловиной суживается. Ну, а мы, понятно, об этом молчок, пригодится, думали, а шефа, который с нами был, сунули мордой в зыбучку, да еще багром помогли. Вон, видите, синюшник по краю, а дальше полоска рыженькая. Здесь и проскочим.

— Так и они проскочат,— сказал я.

— Они загодя нас обходят, под углом. А справа брода нет. Либо в зыбучку, либо в обход, если сообразят. А вернее, не успеют. Увидят, что мы прошли, и рванут. Где на такой скорости сообразить — не те головы.

Айк предсказал точно. На той скорости, с какой мы летели над песчаной пустыней, даже рассмотреть что-либо внимательно было трудно. Лиловая матовость песка впереди, кромка синюшника, бесконечно тянувшаяся куда-то влево, желтые песчаные проплешины на фиолетовой глади, уходившие рваной полоской к горизонту. Они приближались так быстро, словно несло их навстречу ураганом пустыни. А справа в обзорном стекле уж виднелась черная ракета, превратившаяся из куриного яйца в причудливо согнутый бочонок. Она действительно обходила нас справа в расчете на то, что мы повернем вдоль синюшника и тут они нас и достанут. Конечно, пробить стенки нашего электроля нельзя было даже бронебойным снарядом, но длинный черный бочонок, вдвое больше нашего золотистого, мог пойти на таран, опрокинуть нас кверху брюхом и тогда уже пробить и дюзы и баллоны со сжатым воздухом. В предварительной перестрелке мы и сами легко могли пробить машину Дикого; он, вероятно, допускал это и соответственно подготовился, но едва ли мог предполагать, что, не сворачивая, мы с той же скоростью пойдем над зыбучкой. Он даже притормозил, увидев наш прыжок в лиловую песчаную муть, но раздумывал недолго. Дикий был глуп, но смел до неосторожности. «Они прошли? Прошли. Так почему бы и нам не рискнуть? Скорость у нас вдвое выше». Так, вероятно, сработала его первая и все решившая мысль.

На скорости, с какой мы шли над «бродом» в зыбучке, можно было увидеть только черный бочонок, похожий на кота в прыжке, метнувшийся над коварной гладью и терявший скорость с каждым мгновением. Он скользнул по песку и ушел в него, как торпеда. Две-три секунды, и все было кончено. Вероятно, они и вскрикнуть не успели, хотя жили в своей песчаной могиле до тех пор, пока не достигли дна или пока не иссяк кислородный запас.

Мы шли уже не так быстро, и все внимание наше было приковано к рыжим проплешинам «брода», а гибель преследователей была столь молниеносной, что мы на нее даже не реагировали. Только Род было протянул «Н-да...», но, не услышав отклика, тоже умолк. Лишь, когда прошли зыбучку и песок привычно покраснел до самого горизонта, я, глубоко вздохнув, посмотрел на часы. Два с четвертью. Почти полтора часа осталось до цели.

— Я шел наверняка, а все-таки страшно,— задумчиво сказал Айк,— вот так, как они...

Я не ответил. Дикий, Уоррен, Жаклин и все, с ними связанное, стало вчерашним днем, о котором не думалось. Разведчик, как шахматист, не вспоминает уже сделанных ходов, а рассчитывает варианты дальнейших. Я и рассчитывал, уже мысленно шифруя лазерограмму Дибитцу о выполнении задания.

Но Рода, должно быть, неотступно преследовала мысль о погибших преследователях.

— Бросьте вы об этом,— прервал я его,— еще сорок минут, и мы дома.

— Ты дома, а мы? — сказал Айк.

И снова застрекотал зуммер видео. Я даже обомлел. Откуда?

— Кто говорит? — спросил я.

— Включите экран,— услышали мы чей-то приказ.

— Подожди, не включай,— шепнул Айк.— Вдруг это Лоусон?

— Лоусон далеко, а кругом пустыня. Включаю,— решил я.

На экране в незнакомом военном мундире возник человек лет тридцати у пульта с клавишами.

— Говорит пограничная служба Свободной зоны. Сектор второй. Кто вы и откуда?

— Соедините меня с начальником службы безопасности,— потребовал я.— Уполномочен доложить только ему.

— Не вижу оснований для переключения.

— Сообщите, что говорит Даблю-си.

Человек подумал немного и сказал с плохо скрытым недовольством:

— Хорошо. Переключаю.

Начальник службы безопасности, тоже в мундире, оказался лет на десять старше передавшего вызов пограничника.

— Кто из вас Даблю-си? — спросил он с экрана.

— Я.

— А остальные двое?

— Рабочие рудников Лоусона. Поскольку оба в скафандрах, отличить их нельзя. Помогали мне в исполнении приказа Центра и просят политического убежища в нашей зоне.

— Что можете сообщить дополнительно?

— Со мной брусок «икс»-металла, добываемого на рудниках Лоусона. Брусок окрашен в золотой цвет, но это не золото. Металл сильно излучает, и касаться его или находиться поблизости можно только в скафандрах с антирадиационной пропиткой. Если таковых нет, изолируйте электроль до отправки бруска на Планету. И еще одно...— Я помялся.

— Говорите. Нас никто не слушает.

— Надо срочно передать лазерограмму на Планету. Я продиктую ее сейчас в зашифрованном виде.

И я продиктовал длинный ряд колонок с пятизначными цифрами.

— Будет сделано,— сказал начальник службы безопасности.— Скафандры у нас есть, брусок выгрузим и изолируем до отправки. Если поручитесь за ваших спутников, можете передать им, что после необходимой проверки право убежища будет им предоставлено.

Когда экран отключился, Айк спросил:

— Ты говорил о нас. Что он ответил?

— Что вам обоим будет и кров и работа.

На горизонте показался сверкающий на солнце, как гигантский алмаз, прозрачный купол большого города.

— Это их город? — взволнованно спросил Айк.

— Это больше, чем город,— сказал я.— Это свобода.

Глава двадцать четвертая,

в которой Лайк убеждается, что его профессия еще нужна

Световой сигнал на двери приглашает войти.

Я медлю, оценивая ситуацию. Вторая Планета позади, Айк и Род посланы на курсы механиков, мой брусок и документация — микрозаписи и микросъемки — ушли на Планету на два месяца раньше меня. А я вынужден был

отлеживаться в госпитале, избавляясь от остаточной радиации, которая все-таки доконала меня, должно быть, из-за плохой пропитки скафандра.

И вот я прибыл домой, как говорится, к шапочному разбору. Что же я узнаю, прочту или услышу? Отворяю дверь и вхожу в кабинет, в котором неоднократно бывал. За последнее время события нагромождались кучно и вразбивку, создавая мелодию суетливой, напряженной, путаной, тревожной и радостной жизни, где все служило победе, на которую и был запрограммирован хитроумный и удачливый Чабби Лайк.

За столом сидел тот же Дибитц, может быть, в той же поношенной замшевой куртке, и высокий белый лоб его так же морщился над умными глазами, которые могли заморозить или согреть. Тот же Дибитц, придумавший Чабби Лайка, вдохнувший в него жизнь и бросивший ее в океанские и космические дали, как ракету, не промахнувшуюся по цели. Только вены на руках его чуть-чуть набухли да поредели, пожалуй, прядки в каштановом хохолке на лбу.

— И ты не помолодел, мальчик,— сказал он, привстав и подвинув кресло вплотную к столу.

— Вы научились уже и мысли читать,— откликнулся.

— Нетрудно. Ты взглянул на мои руки и волосы — они первыми свидетельствуют об утрате молодости. Здоров?

— Уже.

— Могу поздравить тебя с возвращением и победой. Правда, пока еще подспудно, втайне, для окружающих ты по-прежнему Чабби Лайк.

— Чабби Лайк умер.

Дибитц вздохнул.

— И рад и жалею. Рад потому, что Лайк сделал невозможное, а все-таки жаль, что он уже полностью рассекречен. Портреты твои, милок, обошли все газеты мира — увы! Но кто, в сущности, помешает тебе воскреснуть?

— Так меня же каждая собака узнает.

— Собака, может быть, и узнает, а человек — нет. Есть средства, неузнаваемо меняющие внешность, есть биографии, которые ждут воплощения, и дела, требующие твоего ума и таланта. Но о будущих делах потом. Поговорим о сделанном. Ты уже знаешь о результатах?

— Кое-что из газет.

— Дополню штрихами, так сказать, закулисными. Твой блистон был расшифрован сразу. И нашими лаборантами и международной комиссией физико-химиков. В СВК заартачились: лабораторные анализы, мол, проведены без их участия. В скафандрах работать отказались, потребовали специальной изоляционной камеры с манипуляторами. Только не помогли уловки. Блистон чистенький, беспримесный. Состоялась встреча на высшем уровне. Ну и согласились: с золотой маскировкой покончить, излишки добытого блистона изъять на потребу мирного строительства, рудники в Лоусоне взять под международный контроль. Расписались под документом, пожали руки и признали инцидент исчерпанным. В кулуарах похвалили тебя за ум и хитрость — еще бы, переиграл начисто их гроссмейстеров контрразведки! Гроссмейстерам, конечно, дали по шапке — Уоррена перевели куда-то пониже, Тейлора подобрали промышленники — где-то командует у них сыском и черными списками, ну, а Бигль пока не у дел. Ждет назначения.

— Мак-Брайт уцелел?

— К счастью. До него так и не добрались — не оставил следов. А Док у нас.

— Слышал.

— Такому трудно в подполье — слишком заметен. Но рвется назад. Не знаю, может быть, согласимся — пошлем.

— А Даблью-эй?

Генерал прищурился и помолчал, как-то странно помолчал, сквозь улыбку, не то чтобы насмешливую, но с предвкушением явного удовольствия. Потом вызвал по видео приемную, всмотрелся во что-то на экране и сказал:

— Просите.

И в комнату вошел — у меня рука не поднимается написать, кто...

Бигль!

Разведчик привык к неожиданностям, ему не положено открыто выражать свои эмоции — удивление, страх или радость, он всегда собран и готов к самому удивительному, чего и предположить не мог. Но я так и застыл с открытым ртом, как школьник в кинотеатре. Все что угодно, только не это, но Бигль вошел, чудной и непривычный, в штатском, такой же грузный, седой и величавый, каким я привык его видеть на фотографиях или в тех редких случаях, когда он появлялся публично — на юнизкранах.

Бигль кряхтя уселся напротив, молча, с какой-то хитринкой подмигнул шефу, а тот сказал:

— Теперь закрой глаза, бывший Лайк. На минуточку. Только по-честному.

Я повиновался и вдруг услышал до жути знакомый голос.

— Ну вот мы и снова встретились, сынок.

Первый!

Я онемел.

Бигль — Первый?!

Бигль — Даблью-эй?!

И Бигль — душа Сопротивления — «слама», впитавшего в себя все оппозиционные группы и партии, всю ненависть народа к последней олигархии на Планете! Чудеса!

— Обалдел,— усмехнулся Дибитц.— А еще разведчик.

— Классный разведчик,— сказал Бигль.— Не смейся. Первого он знает по голосу, а по кодовому обозначению я был для него невидимкой.

— Если кодовое обозначение открыто, значит, больше не встретимся,— вздохнул я.

— Как знать, сынок. Твоя профессия еще нужна. Пока нужна. Мы уже с тобой говорили об этом. СВК, как гнилое яблоко: снаружи румянится, внутри — труха. Слам становится силой, с которой уже трудно совладать. А партия, сынок, наша партия знает, как и куда направить эту силу и как умножить ее. Не помешали старые Тейлоры и Уоррены, не помешают и новые.

— А где же будет старый Бигль?

— Найдется работенка. Пока я им тоже еще нужен.

— Как же вы рискнули приехать сюда? А если хватятся?

— Не хватятся. Для них я где-то отдыхаю. А где именно — у меня еще есть привилегия не сообщать о своих маршрутах.

Шеф вынул из сейфа папку в черной обложке. Я понял, что разговор окончен, и встал.

— Тебе бы отдохнуть,— сказал Дибитц,— воспользоваться передышкой. Месяц-другой. Где-нибудь на море.

— У тебя и спутница есть для отдыха,— добавил Бигль.— Я привез с собой Линнет. Ей тоже нужно отдохнуть и сменить перышки.

* * *

С крутого берега мы глядели на море. Стальное с белыми гребешками зыби, оно не ласкало и не манило. И гул прибоя не взывал к курортной расслабленности.

Высоко над головой тянулись электрические провода к белой санаторной вилле между пиками деревьев. По проводу, тихонько пересвистываясь, прогуливались две крохотные птахи, именно прогуливались, не падая и не взлетая.

— Перпатые канатоходцы,— сказал я.

— Как в цирке,— улыбнулась Линнет.

— Там сетка. А на земле ее нет.

— Ты имеешь в виду — в жизни?

— Конечно. Мы же канатоходцы. Только без страховочного троса и без баланса. И уж, конечно, без предохранительной сетки. Вот так. А пока мы просто в отпуску.

— Отпуск кончился, Чабби,— вздохнула Линнет.— Возвращаюсь к канату.

— Получила вызов?

— Еще утром. А вечером улетаю.

— Завидую,— сказал я.

— Равнодушно завидуешь.

— Почему равнодушно — уверенно. С надеждой, что и я получу такой же завтра или послезавтра.

— Грустно, не правда ли?

— Профессия.

Перерыв, который и отпуском-то назвать нельзя было, подходил к концу.

И у Линнет и у меня.

Встретимся ли?

ЭПИЛОГ

— Директора Бигля просят обождать три минуты в приемной,— пропел мелодичный невидимый голос.— Следите за световым табло.

«Пока еще директор,— внутренне усмехнулся Бигль,— только интересно, какого ведомства. Санитарного или кладбищенского? И всего три минуты. Что ж, обождем».

В приемной, как всегда, было пусто. Шеф СВК принимал лишь в крайних, исключительных случаях — обычно разговаривал только по видео. Но случай с Биглем был исключительным. Он уже не занимал никакого поста, и видео у него не было.

Нескрываемо ухмыляясь — пусть снимают хоть все закамуфлированные телепередатчики,— Бигль подошел к стене-окну, откуда открывалась панорама города. Новые улицы и площади вытеснили старые уголки: сохранившиеся еще с прошлого столетия здания казались старомодными провинциалами среди изысканных светских львов — причудливых сооружений, капризных геометрических форм, пересеченных садами и парками, вмонтированными в стальной или пластиковый каркас этажей. Все знакомо до мелочей. Родной город, родной дом. Даже в этой приемной все памятно — и масштабы манежа и сверкающая эмалью и никелем пустота. А сердце сжимается от гнева и горечи за это издевательство над словом *родной*. Третий десяток лет он здесь, в чужой шкуре, в чужом стане, и все приглядевшееся, привычное, примелькавшееся не могло стать и не стало близким. Мир этот не отмылся оттого, что он, Бигль, живет по кодексу его законов, традиций и правил, и даже поношенный мундир свой надевает с утра с ненавистью, подавить которую бессилен, несмотря на все ухищрения мимикрии. И сейчас после потаенной поездки домой эта ненависть оборачивается физической тошнотой, перехватывающей горло. Три минуты! Что ж, он подождет эти три минуты, хотя они и кажутся ему часами, как в хирургической палате перед операцией.

Световое табло заиграло всеми красками спектра. Бигль подтянул мундир, поправил сбившиеся волосы и шагнул к неотличимой от стены двери.

— Я жду, Бигль,— сказала она знакомым голосом.

Над столом, как желтый фонарь, сияло одутловатое лицо шефа.

— Садитесь, Бигль.

Бигль сел, сохраняя почтительную неподвижность.

— Мне бы очень не хотелось, Бигль, чтобы вы затаили обиду.

— На что? — пожал плечами Бигль.— За то, что я упустил Дока и прозевал связи слама с разведчиком? Грубейшие ошибки и, естественно, закономерные последствия.

— Я уважаю строгость вашей самооценки, Бигль,— сказал шеф,— но вы преувеличиваете. Последствия не столь уж трагичны. Вы просто возвращаетесь к своим сомниферам. Чему вы улыбаетесь?

— Вспомнил ваши слова: «Вы переросли их, Бигль». Значит, не переросли.

— Вернее, мы их недооценили. Они помогут не только выявлять сопротивляющихся, но и воспитывать подчинявшихся. Есть новые модели с гипноэффектом, запрограммированные на воспитание поощряемых навыков — не мысли самостоятельно, доверяй ведущим тебя, пресекай крамолу даже у себя дома и не жди, когда на тебя донесут,— доноси первым.

— Это эксперимент? — спросил Бигль.

— Пока да. Но мы надеемся на его успех.

Надейтесь, подумал Бигль. Во-первых, сомнифер, как и любой механизм, можно реконструировать. Снять гипноэффект или заменить программу. Во-вторых, электронное воздействие требует электронного же контроля — новых массовых серий машин, способных проверить программную направленность сомниферов. Таких машин еще нет. И будут ли? Эксперимент явно строился на песке, но Бигль перехватил восторженный взгляд шефа и сразу понял, что от него хотят.

— Полезный эксперимент,— сказал он.— Попробуем,— и встал.

Шеф тоже встал.

— Кстати,— добавил он,— ваше ходатайство о возвращении Ли Джексона на работу удовлетворено. Перебежчик, вкусивший сладости слама, может оказаться полезным. Возьмете его к себе с организацией тщательной проверки и наблюдения.

— Будет исполнено,— заключил Бигль.

Ему очень хотелось взглянуть на преображенного Ли, и он не разочаровался. Ли похудел, вырос и научился скрывать свои чувства. Ничего не отразилось на лице его при виде Бигля.

— Младший блок-инспектор Ли Джексон к смене готов,— отчеканил он.

— Не будем ворошить прошлого, сынок,— сказал Бигль.— Приступай. Работа знакомая. Рутина.

Мальчишка уже многому научился — не только чувства скрывать. Ретив. Вдумчив. Нацелен. Хорошо. Сколько таких Ли пройдет через Бигля, одинаково его презирающих и готовых отдать жизнь по приказу Первого. Метаморфозы Бигля им неизвестны.

Но в этом и состоит своеобразие его пока еще нужной профессии.

Конец

Василий АКСЕНОВ

Рассказ иронический, с преувеличениями

МИЛЛИОН РАЗЛУК

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Жить и видеть,— бубнил себе под нос Эдуард Толпе́чня, шаг за шагом, по-стариковски — руки за спину — поднимаясь в гору горбатой улочкой среди сугробов, стараясь потверже поставить ногу в ботинке, похожем на крепкий, надежный автомобиль.

— Жить и видеть! — гаркнул он вдруг неожиданно для себя и огляделся с вызовом, словно кто-то убеждал его не жить и не видеть, словно фраза эта, этот девиз были для него итогом какого-то давнего спора. На самом деле не было никакого спора, не было никакого вызова и никакой проблемы — слова эти топтались во рту без всякого смысла, и были они разной длины оттого, что один шаг по обледенелой ступеньке был короткий, а другой — чуть подлиннее.

Нашелся, видите ли, философ! Пристыженный Толпечня сунул в рот сигарету, чиркнул зажигалкой. Никто его, к счастью, не слышал. За витыми решетками заборов, за сугробами не видно было ни души. Он двинулся дальше, и рот его, занятый теперь виргинской вонючкой, уже ничего не бормотал, но в голове все так же медленно, неумолимо поворачивались фанерные шестеренки: «жить и видеть», «жить и видеть»...

Шапки молочного снега лежали на коньках крыш, на козырьках калиток. Святой Августин у ближайшего крохотного фонтанчика украсился странноватой тиарой, ветви сливовых деревьев под тяжестью снега перегнулись через заборы, образовав над тропинкой-лесенкой сентиментальные девственные полуарки. И никого не было на этой крутой, ведущей к замку принца Альбрехта улочке, и не слышно было ни звука, даже непонятно было, кто же чистил столь аккуратную тропинку среди сугробов, и уже совсем нельзя было представить, что недалеко внизу по Кениг-штрассе, разбрызгивая коричневую снегогрязь, катят бесконечные «фольксвагены», «ситроены» и «фиаты».

Впереди заскрипели петли, и, отодвинув чугунную калитку белой лапой, на тропинку вышел и встал лицом к чужеземцу выдающийся сенбернар. Пес, пожалуй, был по грудь рослому Толпечне, а голова его, рыже-белая меховая голова, пожалуй, была вдвое больше средней человеческой головы, а глаза его по размеру приближались к лошадиным глазам, пожалуй. Пес смотрел на незнакомого пешехода с серьезным, вдумчивым любопытством умного подростка.

— Гутен таг,— растерянно пробормотал Толпечня.

Сворачивать было некуда, ретироваться глупо, он остановился в двух шагах от пса и приподнял кепи.

— Я Эдуард Толпечня. Возможно, видели меня на экране телевизора?

Пес посторонился, чтобы дать ему пройти, немного даже лег боком на сугроб. Толпечня хотел было его погладить, но подумал, что это глупо. Все равно что погладить корректного господина на Кениг-штрассе. Он прошел мимо и, сделав шагов двадцать, оглянулся. Пес глядел ему вслед с прежним вежливым любопытством. «Какой славный!— подумал Толпечня.— Хорошо бы иметь в приятелях такого мохнатого силача с сильно развитым спасательным инстинктом».

После очередного крутого завитка улочка вдруг кончилась, замок утонул по самые шпили за каким-то снежным горбом. Но зато перед глазами иностранца открылся огромный, открытый солнцу и ослепляющий Тироль, цепь вершин и резкие тени, выпуклости глетчеров, а ниже оранжевые пятна деревушек, а еще ниже изгибы дорог, и нити ропуэя с яркими букашками кабин, и щеки слаломных трасс, а совсем внизу прямо под ногами выплывающее из синей тьмы барокко старого Брука.

«Жить и видеть! — подумал Толпечня.— Жить всем телом! Лететь всем телом! Болеть всем телом! Любить всем телом! И видеть каждой порой весь засыпанный чистым снегом мир со всеми его скатами для разгона, со всем его голубоватым небом для полетов и видеть ее, ту женщину, где бы она ни была, напряженно и ежеминутно помнить ее, не бороться с тоской, всем телом отдаваться тоске, потому что я никто без той женщины, без нее я даже не летун».

Толпечня вспомнил магазин «Кулинария» на улице Горького. Там в закутке был когда-то кафетерий, шумная, беспокойная точка нарпита, где тебе наступают на ноги и норовят облить кофе или бульоном. Он стоял вплотную к стеклу с чашкой и пирожком и смотрел на улицу, где в тени швартовался троллейбус. Это ее трол, он знал безошибочно. И точно: облагороженный ею трол раскрывал свое нутро, и она выпрыгивала, она выходила из тени на солнечный перекресток и шла к «Кулинарии» своей походкой примадонны. Ему показалось, что она идет с закрытыми глазами и без единой мысли под ореолом спутанных и летящих волос. В — блаженном — безмыслии — на — свидание — для — любви.

Толпечня тогда тоже закрыл глаза, и по его плечевому поясу прошел ток слабого напряжения, а вскоре он почувствовал, как ее пальцы прикоснулись к его затылку.

— Осторожно, я бульон,— сдавленно пробормотал он.

— Что такое вы придумал?—прохладный ее смех.

— Я бульон в вас.— Толпечня повернулся и протянул ей чашку и надкусанный пирожок.

— Со вчерашнего дня не ела,— проговорила она, опуская лицо к чашке и округляя глаза.

Тяжелые мраморные львы лежали на крыше казино Мар-дель-Оро. Длинный ряд львов в одинаковых царственных позах со злыми глазами, устремленными в океан, и с тяжелыми лицами, будто бы вылепленными самой лепрой.

Алиса стояла на набережной и смотрела на львов, запрокинув голову. Они вызывали в ней глухое раздражение и не очень понятную досаду. Они были не на месте здесь, в легкомысленном, одуревшем от жары, похоти и от легкого южного алкоголя Мар-дель-Оро. Тем более они были неуместны на крыше курортного казино. Да и само это здание с его монументальностью, с его державной угрозой мало напоминало курортные казино, где шла дурацкая мелкая игра, где никогда не совершались драматические события, а просто выгребалась мелочишка из карманов гуляк.

Должно быть, это несоответствие и раздражало Алису, но прежде, проезжая мимо казино на концерт, она никогда не вглядывалась в сумрачное глухо-угрожающее здание, а просто скользила по нему взглядом и, почувствовав мимолетную тоску, чуть сильнее нажимала на педаль акселератора. Сегодня у нее был первый свободный день за все время южноамериканского турне, и она с утра все думала о том человеке, проснулась с мыслью о нем и вновь задремала уже с ним в утренней тяжести, наполненной его присутствием. Присутствие его в конце концов стало настолько острым, что она проснулась окончательно со счастливым смехом и тут наконец поняла, что его с ней нет; она одна на влажной простыне, а он сейчас, конечно, за тридевять земель, в северном полушарии, летит, раскрыв руки, в трескучем небе.

За завтраком она просмотрела столичную большую газету и нашла в ее недрах свой портретик и несколько строк о том, что гастролирующая сейчас в стране Алиса Крылова «пленяет публику Мар-дель-Оро своей изысканной кантиленой и глубоким проникновением в музыку Ренессанса». Почему-то и эта стандартная высокопарность раздражала ее, и она вышла из отеля в дурном настроении.

Она ждала выходного дня с нетерпением и собиралась на своем прокатном автомобильчике укатить куда-нибудь на далекий пляж и там лежать в одиночестве до темноты и думать о Толпечне. Однако она прошла мимо паркинга и оказалась на набережной перед зданием казино в густой толпе почти голых людей.

Она засунула пальцы за пояс джинсов и пошла по набережной с независимым и злым видом, косо поглядывая вверх на гривастых стражей имперского лепрозория.

Что же это? Все вокруг в это утро угнетало ее — и веселые голыши за столиками бесконечных кафе, и рекламные бутылки аперитивов, болтающиеся в море за полосой прибоя, и белоснежные отели вдоль набережной... И тут еще вдруг нахлынул шквал рок-н-ролла, и появилась шестерка цирковых лошадей с султанами, влекущая королевскую золоченую карету, на крыше которой дергалась девица в «бикини».

Толпа взревела, узнав любимицу свою, этот символ наслаждения, триумф жизни, ля бомбу сексуале, миражную телемечту. Впереди кареты и по бокам двигались ощетинившиеся оптикой грузовички, а сзади нависал операторский кран, и голые ступни оператора дергались, словно в припадке. Девица в экстазе воздевала к небу руки с флакончиками лосьона «Мария Стюарт» и крема «Биототаль».

И вот они проехали, и вдруг наступила тишина, процессия словно подмела набережную, всех утащила за собой, даже инвалидов в колясках, и на пустом асфальте перед Алисой оказался один лишь старичок с шарманкой и попугаем, немыслимый призрак прошлого века.

— Тайны вашей жизни. Мистерии. Магия. Фатум,— безнадежно бормотал замшевыми губами неудачливый конкистадор явно славянского происхождения.

— Сеньорита, перфавор! — проскрежетал, взъерошив перышки на лысеющей голове, его старый друг, неудачник птичьего рода.

Алиса протянула старичку песо, и тот, вначале растерявшись от нежданной везухи, спросил профессиональным тоном:

— Сеньорита аргентино, нортамерикано, аллемано?

— Руссо,— сказала Алиса.

— Руссо! — В левом глазу старичка зажегся далекий керосиновый огонек.— Пшепрашем, пани, возможен компликацион. Алоиз! — закричал он попугаю, словно тот был туговат на ухо.— Сеньорита руссо! Ты слышишь меня? Руссо, Алоиз, руссо!

— Сеньорита руссо!— с удовольствием проскрипел попугай. Запрыгал вдоль ящичка с билетиками, клюнул, вытащил розовый билетик и, оттопырив крылышко, повернулся к Алисе. Она развернула билетик и с удивлением прочла:

Когда в жизни будут злые силы
Угнетать, душою теребя,
Пусть к тебе приедет друг твой милый,
Обогреет пылко и любя.

— Фантастика! — воскликнула весело Алиса.— Нет, это просто потрясающе! Как на Тишинском рынке после войны.

Она захлопала в ладоши, даже запрыгала, протянула старичку еще песо и тут заметила, что он плачет.

— Умный фогель,— бормотал старичок, засовывая палец под крыло попугая.— Старый амиго. Брависсимо, Алоиз!

Нечто подобное музыке — неизбывная жалость к старичку, к старой, лысеющей птице, ко всему смертному и живому, запах талого снега и голые ветви лип, стихи из розового билетика, воспоминание о сумерках на улице Герцена — все это и что-то еще не названное, не разгаданное, подобное музыке, тронуло сердце Алисы, когда она стала спускаться по лестнице к пылающему и шумному океану.

Она вспомнила, как шла в тех сумерках из нотного магазина и увидела Толпечню на условленном месте возле шашлычной.

Великий спортсмен и летучий человек явно нервничал, томился, заглядывал в окно, за которым безмятежно пировали такие же, как он, великие спортсмены. Она задержала шаги и даже как бы спряталась за фонарем. Толпечня вынул из кармана часы, посмотрел на них, потом спросил, который час у прохожего, подкрутил свой бреге, нервно поиграл цепочкой, рванул, порвал, чертыхнулся, сунул в карман, сделал было шаг в сторону, но остался...

Это было второе их свидание, и он еще не знал, какая она — «в порядке» или не очень. Она смотрела на него издали равнодушно, тоже что-то взвешивая, словно первого безумного свидания у них и не было. Не повернуть ли назад к Консерватории? Подумаешь, краснорожий верзила, мало ли таких? Считаю до десяти. Если он почувствует мой взгляд, тогда... Он почувствовал ее взгляд на счете восемь и сразу позабыл все свои сомнения, а она вдруг почувствовала, как на горле под подбородком у нее возник электрический очажок и струйка от него поползла вниз, между ключицами, по средостению, к животу.

— Я думал, что вы не придешь,— пробормотал он.

— И вы был рад? — лукаво засмеялась она.

В Исландию он попал впервые, и здесь его поразило то, что всех иноземцев поражает и пленяет в Исландии: близость природы, близость сокрушительных, необузданных сил. В Рейкьявике почти с любого места вы видите океан, холодный и грозный, или горы, пустые, отчужденные, ничем как бы не связанные с людьми.

Толпечня шел по улице и сквозь густой снегопад видел эти горы и темную массу гудящего океана, а в конце улицы возвышался серый борт парохода, маячили желтая грузовая стрела и парень в ярко-красном анораке под этой стрелой. Снег, снег, снег валил с неба, катастрофически засыпал утлую столицу северных людей, всех этих бесфамильных «сонов», румяных верзил с детскими глазами.

Снежная прибыль, как всегда, веселила Толпечню, снежного человека, он знал, что снег не помешает его полетам, со снегом он был в свойских отношениях, и Родина, Москва, если уж и снилась ему когда-нибудь в его гастрольных ночах, то всегда представала перед ним в снегу, и это были счастливые сны. После снега во сне он твердо знал, что наутро все сладится.

Сегодня на почтамте Рейкьявика он получил письмо от Алисы, длинный конверт, прилетевший из южного полушария, и в нем розовый билетик с какими-то смешными базарными стишками и профилем попугая, нарисованным ее рукой. «Я купаюсь, я мокрая, это не слезы, а морская вода»,— накарябано было вокруг чернильного пятнышка. Мокрая Алиса, волосы закручены в кукиш на затылке, худая шея с ложбинкой, торчащие ключицы. Острое плечико поднято, капли на коже — сон, снег, купание, происхождение мечты...

В маленьком, уютном холле гостиницы возле камина под утварью, приплывшей в наше время из исландских саг, Толпечню ждали три корреспондента спортивных газет: американка, немец и датчанин.

— Хелло, «реактивный» мистер Джет! — сказала американка.— У тебя счастливый вид. Должно быть, собираешься завтра сигануть дальше всех?

Толпечня впервые видел эту американку, в костюме «Дальний Запад» и с длинными патлами ниже плеч. Впрочем, он уже привык, что западные журналисты разговаривают со спортсменами запанибрата, такова традиция, и ничего тут не поделаешь.

Он сел в кресло и принял из рук портье чашку горячего чаю.

— Я в отличной форме, сэр,— сказал он американке.

Та сделала паркером закорючку в блокноте и, прищурившись, уставилась на Толпечню, словно перед ней скаковая лошадь.

— Как твое полное имя, Джет?

— Эдуард Аполлинариевич Толпечня, сэр,— любезно поклонился ей знаменитый летун.

— С ума сойти,— пробормотал датчанин, попытался записать полное имя летуна и махнул рукой.

— А..на покой не собираешься? — спросила американка.

— В небе места много, сэр,— сказал Толпечня.— Я не мешаю молодым летать, а разбег и толчок занимают считанные секунды, сэр.

— Какая я вам к черту «сэр»? — наконец возмутилась американка.

Летун тут же встал и поспешно откланялся. Корреспондентка напоминала ему Алису, вульгарный вариант той же породы.

...На конверте из южного полушария был штамп гостиницы. Толпечня с конвертом в руке прямо от двери своего номера прыгнул на кровать и в прыжке еще умудрился снять телефонную трубку.

Еще полетаем, хе-хе. Какое мне дело до молодежи? Если мне пока летается, почему не летать? Если люди в разных странах хотят смотреть на мои полеты, почему же мне им не показывать их? А на горах места хватит и в воздухе тем более. Еще стоит в вечном мраке, в антарктическом антраците закованный в черный лед таинственный Эребус. Вот там бы прыгнуть! Возьму с собой Алису на черный Эребус, куплю Алисе рису и карамельных бус, построю там зимовку и запасу шамовку...

— Сэр?— услышал он в трубке призыв телефонистки.

— Мне нужно заказать Мар-дель-Оро.

— Мар-дель-Оро! Это на другом конце света, сэр.

— Не так уже далеко, мисс. Попробуйте.

Было это или не было? В такой же снежный день, в такой же слепящий снегопад Алиса в рыжей шубе мелькала перед витриной гастронома на площади Восстания, высматривая что повкуснее, а он подъехал в своей таратайке, поставил ее в ряд машин между огромным старинным «ЗИЛом» и иномаркой и долго, около минуты, наблюдал щемящие сердце беспорядочные, трогательные ее движения: рывком открывается сумочка, туда влезает нос, волосы падают на сумку, кошелек в снег, сумка захлопывается, падают перчатки, беззвучное чертыхание, порыв к витрине, возврат к кошельку...

Почему же двери сами не открываются перед божеством? Неужели прохожие не понимают, какое уникальное существо они толкают локтями?

Толпечня нажал на сигнал. Его таратайка, в которой вечно барахлило зажигание, была оборудована европейским трофеем — музыкальным сигналом с первой фразой из увертюры Россини.

Алиса встрепенулась, бросила беглый взгляд на ряд машин перед гастрономом, хитро улыбнулась и, прикрыв ладонью рот, выдала свой «звучок», коронную ноту. Это был неполный звук и даже не половина, может быть, только четверть, но от него задрожали стекла старинного «ЗИЛа». Прохожие задержали бег: кто, мол, тут балуется с транзистором?

Их легкомысленные встречи под снегопадами Москвы... «Мне с ней легко — вот и все,— думал он.— Мне с ней легко, как ни с одной женщиной прежде. Мне легко с ней и радостно. Радость встречи с ней пронизывает все мое тело, все клетки организма охвачены буйной радостью, радостью на грани взрыва, радостью послевоенной тишины, радостью блуждания и новой радостью на грани взрыва. Мне с ней так легко, что сбивается дыхание и намагничиваются руки. Мне так легко, что уже никак не оторваться и разлука немыслима. И вот мы уже полгода в разлуке!

Мы не принадлежим друг другу. Она принадлежит своему звуку, я — полету. Ничего хитрого».

Никогда он не думал, что тоска по женщине будет так сильна. Тоскуют пальцы, ногти, щетина на щеках и родимые пятна. Тоска на молекулярном уровне.

Он стал думать о завтрашнем прыжке и о полете в бледном исландском небе. Если Рейкьявик удачно соединится с Мар-дель-Оро, тогда полет будет парящим, планирующим, а спуск торжественным, как северное сияние. Если разговор не состоится, тогда мистер Джет свирепо прочертит в небе суборбитальную дугу, побьет свой собственный рекорд, выпьет бутылку пива и в тот же вечер улетит в Канаду.

Звонок телефона взбаламутил сумрак. Толпечня судорожно схватил трубку и скрючился на кровати в позе эмбриона.

Звонил из Москвы Боря Панегиркин, замзавсекцией сверхдальних спортивных полетов.

— Привет, старик! Вот я наконец до тебя добрался. Как прошла пресс-конференция?

— Нормально.

— Нормально, говоришь?

— Да.

— Ты немногословен. Эдуард, мы все здесь, затаив дыхание, следили за твоими подвигами в Тироле и на Пиренеях. Большая надежда на Исландию, Эдик. Удачных тебе стартов и дальше, Эдюля. Твое имя, киса, на почетной доске комбината! Поздравляю!

— Из Канады я возвращаюсь домой, Борис,— строго напомнил Толпечня.

В трубке послышалось смущенное покашливание.

— Да-да, домой, конечно, Эдик, домой, но только, старичок, через Японию. Лады? Там будет симпозиум по сверхдальним. Мы требуем включения нового спорта в Олимпийскую программу. Съедутся лучшие летуны — Мэффи Стоуфолл, Люки Ферр, Вэл Зивелло.

— Черт бы их побрал! — в сердцах сказал Толпечня.

— Эдуард, мы говорим с тобой по международной системе связи. Через спутник УХО,— испуганно-официальным тоном напомнил Панегиркин.

Толпечня хотел и этот спутник послать в преисподнюю, но тут голос замзава уплыл в ионосферу, вмешалась какая-то другая система связи, запульсировал новый спутничек, что-то зажужжало, какой-то голос задребезжал с упорством приближающегося комара:

— Рейкьявик? Колин, мистер Торбеччио! Мистер Тоббич! Эдвард Тубич! Атеншен плиз, Токио спикинг!— И вдруг совсем живой, ошеломляющий голос Алисы поцеловал его прямо в ухо:

— Эдик, здравствуй!

— Ты в Японии? — заорал Толпечня.— Я лечу к тебе. Я через четыре дня буду там!

— Но я улетаю, милый. Сегодня я улетаю через Северный полюс в Европу.

— Ваш звук, мадам Крылова, необычен, попросту невероятен. Он стоит в ряду полумифических современных явлений вроде телепатического контакта с дельфинами, космической ботаники или этого нового вида спорта, сверхдальних прыжков, по которым сейчас все с ума сходят.

Алиса отмахнула назад свою гриву и зорко посмотрела на спутника — нет ли подвоха в его словах? Нет-нет, мистер Оазис был простодушен. Он упивался гладким течением своей речи и упивался беседой, дивной прогулкой в обществе утонченной русской певицы под ветреным лондонским небом, похожим на размытую палитру художника-мариниста.

Они шли вдоль рядов знаменитой лондонской толкучки на Портобелло-роуд. Здесь торговали вперемежку сельдереем, креветками, самурайскими мечами, шляпами-треуголками, безносыми гипсовыми амурами, орденами и медалями всех стран, полуистлевшими мундирами времен Великой войны, колокольчиками, майками и значками с сомнительными надписями, игрушками ё-ё, комнатными собачонками, томами лохматой прозы и оккультными знаками из Тибета. Публика здесь тоже была невероятной: индус со спящей коброй на плече, хиппи с глазами, зеркальными от наркотиков, француз-крестьянин из Нормандии, обвешанный гирляндами знаменитого вандейского лука, шалая девчонка с цитрой — одна штанина красная, другая зеленая, боа из перьев тащится по асфальту — и все здесь чувствовали себя как дома. Пожалуй, один лишь респектабельный мистер Оазис в дорогом фланелевом костюме выглядел здесь странным чучелом.

— А что такое, мистер Оазис, эти сверхдальние прыжки? Это любопытно!

— Инкредибл! Это не просто спорт, это прикосновение к тайне! Можете мне верить, я сам пытался летать на склонах Килиманджаро. Знаете, раньше прыгали с трамплинов, но с тех пор как ваш соотечественник Толбуэнчи изобрел полые лыжи, трамплины сданы в музей, как паровоз Стефенсона. Теперь прыгают прямо с горных вершин, и зрелище полета вызывает тихий экстаз, сходный с тем чувством, которое я испытал вчера на вашем концерте в Ройал фестивал холле.

Где сейчас мой соотечественник Толбуэнчи? — тихо подумала она. Одержимый своими прыжками, он мечется по всему свету, мечтает о каком-то немыслимом Эребусе, как о венце своей карьеры. Что касается меня, то я готова стать немой, как губка, лишь бы быть рядом с ним где-нибудь в Голицыне, в Медведкове, на Разгуляе. Фокус тут в том, что я не могу не петь, пока люблю его, а он не может не летать, пока любит меня. Все и началось-то с любви: чудо-лыжи и этот невероятный звук.

— Ваш звук, мадам Крылова, загадочен. Должно быть, вы знаете, что в записи он теряет все очарование,— говорил мистер Оазис, задумчиво блуждая розовым, как мармеладка, ногтем в довольно пушистой бакенбарде.— Странно, что и по телевидению пропадает половина эффекта. Увы, потомкам не придется наслаждаться вашим искусством. Вы сами — часть вашего звука, и от вас исходит некий еще не исследованный психоделический магнетизм.

Алиса засмеялась.

— Вы говорите обо мне как о контактном дельфине или о лунном гладиолусе.

Мистер Оазис болезненно вскрикнул при этих словах, закрыл глаза и побледнел от непонимания.

— О, мистер Оазис, любезный мистер Оазис, я обидела вас!..

Они остановились перед маленькой дощатой эстрадой, на которой настраивала свои гитары группа «Мазутные пятна». За спинами парней были развешаны две сомнительные простыни и пододеяльник, и на этот экран сопливый подросток проецировал из бабкиного чугунка расплывающийся нефтяной спектр.

...Алиса закрыла глаза и оказалась на площади Сокола, возле пельменной. Толпечня крутил ложку в мучнистом бульоне, тоскливо смотрел в текущее стеклярусом темное окно. Публика узнала его, а он ничего не видел вокруг, потому что ждал ее...

Долговязый малый в искусно разодранном свитере выступил вперед и запел:

Старинную историю
Мне передал отец
Про глазки леди Глории
И про ее чепец.
Ах, про ее батистовый и кружевной чепец!

— Ах, про ее батистовый и кружевной чепец.— Разноплеменная толпа, собравшаяся у помоста, захохотала и зааплодировала. Аплодировал и королевский музыковед мистер Оазис. Аплодировала и Алиса... а ночь опускалась на нее, сверкая двадцатью семью этажами Гидропроекта. Когда чуть-чуть притрагиваешься губами к чужим губам, тут совершается колдовство...

Однажды и леди Глории
Пришел Гастон-кузнец.
И вскоре у истории
Увидим мы конец.
Ах, этот чепчик розовый пришелся наконец!

Обвал, вакханалия четырех гитар. Хохот в толпе, свист волшебной флейты, крик какаду.

— Ах, этот чепчик розовый пришелся наконец!

...Когда после недолгой разлуки они встретились, кажется, он плакал. Трудно себе представить, но он лежал ничком, и плечи его тряслись, как у плачущего человека. Было совсем темно, и только дрожал на стене далекий отсвет вывески ВДНХ. Просторная родина распростерлась в темноте: мухинская скульптура, космический обелиск, купола выставочного Багдада, и ночь текла сквозь фильтр светофоров и белых линий на асфальте.

Она отошла от окна, присела рядом, провела ладонями по его плечам, и по рукам, и по бокам, под пальцами ее перекатывались какие-то желваки, грубые выступы костных мозолей, следы бесчисленных переломов. Ей не хотелось плакать. Ей вообще ничего не хотелось самой, ей хотелось только размазаться по всему его телу, чтобы уже совсем ничего не хотеть самой...

Алису вдруг увлек ритм песни, и она нечаянно выдала «звучок». Все в изумлении обернулись, а девчонка в страусином боа подмигнула ей и сказала хриплым голосом:

— Ого, подружка! Хочешь уехать?

— А я и так улетаю,— улыбнулась Алиса.— Улетаю через час в Югославию на фестиваль в Дубровник.

— Умоляю, разрешите мне отвезти вас в Дубровник на моем аэро,— загудел умоляюще мистер Оазис.— Полный комфорт, ванна из чистого золота...

— Благодарю вас, мистер Оазис, но я уже привыкла к самолетам без ванны.

Скала, с которой он стартовал, затерялась среди своих сестер, а он все еще набирал высоту. Он летел теперь над горным курортом Хаконе и видел сразу несколько отелей, три современных, японских и один старый отель викторианского стиля. Между ними завивалась кольцами головоломная развязка автотрассы. Люди вылезли из машин и следили за его полетом. Впереди синело озеро, где он собирался опуститься, а за озером, занимая целый сектор неба, словно ворота в рай, стояла гигантская симметричная Фудзи.

Все идет нормально, думал он. Я оседлал поток и теперь пролечу сколько захочу. Пока не начну думать о лыжах. В полете главное — не думать о лыжах. Если подумаешь о том, что тебя несут твои лыжи,— конец. Это ты сам летишь. Понятно? Ты и лыжи — это одно целое. Не «ты + лыжи», и не «лыжи + ты», и не Пантелей Толпечня. Ты летун; твое естество в полете. Главное — не думать о лыжах.

— Эй, Джет, завести тебе что-нибудь русское? — услышал он в наушниках голос с телевизионного вертолета.— У нас есть пластинка «Разлука ты, разлука».

— В чьем исполнении? — спросил он.

— Алиса Крылова.

— Не надо. Пустите тишину.

Главное — не думать о лыжах. Это — главное.

Она пела под сильным и знойным юго-западным ветром, на галерее Ректорского дворца, и звук ее расширялся на весь Дубровник. Туристы и далматинцы заполнили Плазу и все боковые улочки, все лестницы Кафедраля и церкви Маленьких Братьев, крепостные стены и башни, они стояли стеной вокруг фонтанов Онофрио, а дети, так те сидели прямо в воде.

Звук ее расширялся сквозь гранит и сквозь мрамор, сквозь бронзу и серебро, пожалуй, даже сквозь годы, думали далматинцы, уж не улетал ли он вспять к причалам пиратской Рагузы?

Главное — петь, думала она. Петь и не думать о связках и гортанных хрящах. Какие еще психоделические эффекты? Я и голос — это одно, это звук. Забыть обо всем, и о фанатике с ультрафиолетовым лицом тоже забыть. Я звук. Все равно мы не встретимся, пока любим друг друга, а разлюбим, так нечего и встречаться. Звук — я. Главное — не думать о хрящах и связках.

— Пробуют какие-то новые усилители, Ханни,— сказал в отеле «Эксельсиор» турист Джонни Гогенцоллерн своей невесте туристке Пегги Габсбург.— Временами кажется, что поет Алиса Крылова.

В конце декабря со сломанной ногой он оказался дома, вернее, в клинике Института усовершенствования врачей.

Огромное желтое с белыми колоннами здание больницы было построено в XIX веке на берегу худенькой речушки Шпильки. Больница в течение десятилетий разрасталась, к ней пристраивались новые корпуса, операционные и инфекционные блоки. Речушка давно уже исчезла, включилась в систему канализации, но в народе больницу все еще называли Шпилькой. «Попал на Шпильку» — так и говорили в народе.

— Жить и видеть,— бормотал Толпечня день за днем, глядя на свою загипсованную и подтянутую на блоке ногу.

Сосед его, хоккеист Саша Луньяк, без конца пел одну за другой модные песенки.

— Опять стою на краешке земли... В городе нашем, эх, многолюдном... Но ты прости, ты прости, капитан,— постарею, побелею, как земля зимой... Но я лечу, лечу, эх, и кричу...

Левая стопа Саши была раздроблена коньком во время десятой игры с «Монреаль канадиенс», но сейчас он был уже, по его выражению, «в порядке», ковыляя на костыле по коридорам, и приносил больничные новости, на которые безучастный Толпечня реагировал слабо.

— Да, Аполлинарьич,— однажды сказал Саша,— вчера в красном уголке одна кадришка-замухрышка, хрипатая такая передала мне для тебя записку. Извини, забыл.

Толпечня надел очки и прочел:

«Шпилька» гудит слухами о знаменитом пациенте. Я все о тебе знаю. Врачи говорят, что хромать не будешь. Что касается меня, то я сегодня уже выписываюсь из отоларингологии. Я сорвала связки, и хрящи мои почти расплавились. Звук пропал навсегда, я и говорю-то теперь только шепотом. Прощай, я прошла ВТЭК и уезжаю в другой город. А. К.

Желаю тебе все-таки прыгнуть с Эребуса».

— Когда ты получил записку? — спросил Толпечня Луньяка.

— Вчера в это же время. Извини, старик, у меня этих записок полный карман. Пока разобрался...

— Дай нож,— попросил Толпечня.— Вон тот, фруктовый.

— Харакири? — с любопытством спросил хоккеист.

Фруктовым ножом Толпечня перерезал нейлоновую нить натяжения. Нога его грохнулась на кровать, как поверженный монумент. Он встал и в несколько приемов подошел к окну. Обломки берцовой кости нестерпимо вспарывали мягкие ткани.

За окном в рамочке мороза был его город: сквозь пушистые ветви Нескучного сада просвечивали Патриаршие пруды, и толпы народа вытекали из метро «Ботанический сад» и тянулись по Театральной к Гоголевскому бульвару, откуда юзом полз одинокий троллейбус. Фасад Консерватории отражался во льду, переходя в Третьяковскую галерею, а рядом огромный под снегом Маяковский покровительствовал могучей спиной малышу «Современнику». Дальше была мельтешня такси, деловых людей и домохозяек, пульсация светофоров. Спас-на-курьих-ножках, котлетная, рыбная, шашлычная, а в самой глубине картины среди сотен лиц угадывалась у дверей бутербродной обледеневшая от суточного ожидания женская маленькая фигура.

Он распахнул рамы и взгромоздился на подоконник.

— Далеко собрался, Аполлинарьич? — полюбопытствовал сосед.

— Еще не знаю, может быть, и далеко. Никогда не знаешь, сколько пролетишь.

Мороз и свежий запах хвои наполнили комнату. Толпечня понял, что он замечен, и тут же услышал зарождение звука. Звук поднимался из глубины, из солнечной дымной долины, он набирал с каждой секундой неслыханную мощь и громоздил ему гору. Ледяную красивую гору с идеальным скатом и полкой для прыжка. Тогда он забыл про боль и пустился вниз.

Он пролетел над городом, над парком и надо льдом, над памятником и магистралями, а звук чертил за ним в предвечернем небе новогоднюю траекторию и опускался рядом.

Похрустывая загипсованной ногой, Толпечня подошел к бутербродной, и...

Никаких неприятных неожиданностей в этом рассказе больше не будет.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

СЕДЬМОЕ ЖЕЛАНИЕ

1

Левка шел по солнечной стороне улицы и искал двадцать пять рублей. Собственно, «искал» не то слово: просто брел себе потихонечку, глядя под ноги и насвистывая какой-то пиратский мотив. А в глазах у него так и стояла твердая прозрачная бумажка: вот она лежит у края тротуара, вздрагивает от ветра и полыхает фиолетовым огнем. Люди переступают через нее, принимая, должно быть, за обрывок промокашки, но Левка не переступит, уж будьте здоровы. Левка всегда начеку.

Зачем ему нужны были двадцать пять рублей, сказать трудно. Только если уж человек дошел до жизни такой, что ходит по улице и подбирает крупные банкноты, значит, на душе у этого человека неважно.

На двадцать пять рублей можно купить много: во-первых, польские техасы с заклепками, во-вторых, перочинный нож и элегантную лупу в футляре, в-третьих, часы, в-четвертых, авторучку, в-пятых, китайский фонарь, а что останется — пойдет на ленинградское мороженое.

Левка остановился, с нежностью помечтал о фонаре и техасах и снова побрел вперед.

2

Под мышкой у него торчал дневник, до того истрепанный и потертый, что обложкой своей похож был на старый валенок. А в дневнике на сорок восьмой странице извивалась написанная бледными чернилами фраза: «Уважаемая Анна Матвеевна. Настоятельно прошу на днях зайти в школу для серьезной беседы...» На этом месте с пера химички сорвалась неприличная клякса. Чернила в химическом кабинете охотно вступали в реакцию с азотной кислотой. Они вспучивались и жизнерадостно лезли фиолетовой шапкой на стол, оставляя в чернильнице лишь пюре нейтрального цвета.

Но сегодня на лабораторной Левка решил отторваться от этого проверенного варианта и слил в одну плошку все попавшиеся под руку реактивы. Результаты превзошли все ожидания. Левка запихнул плошку в ящик стола и притих. Видимо, в столе была бумага, потому что вдруг потянуло дымком, и Клара Марковна поставила вопрос ребром: хочет ли Левка поджечь весь этаж или ограничиться химическим кабинетом? Левка искренне хотел ограничиться, он сунул руки в стол и зашуровал там что было мочи. Но тогда дым повалил, как из кочегарки, и Левка схлопотал единицу за дежурство и еще единицу за лабораторную работу. А пока он подсчитывал, сколько пятерок ему надо получить, чтобы нейтрализовать сегодняшнюю добычу, химичка принесла ему дневник со своим автографом на добрую память.

И вообще целый день неприятности сыпались на Левку, как консервные банки в мусоропроводе. После уроков он задержался в подъезде, поджидая Лариску, и, когда она появилась, тонкая, черноглазая, в своем темно-красном платье, вдруг какой-то хмель ударил Левке в голову. В общем, он хотел слегка ее обнять, за что и получил хорошую оплеуху.

Глазищи у Лариски стали огромные, как у сибирского котенка.

— Хочешь еще, хочешь еще? — быстро предложила она, и Левке показалось, что она смеется, но Лариска только так красиво злилась.

— Что, другим можно, а мне нельзя? — миролюбиво заметил он.

И в ответ Лариска залепила ему еще одну оплеуху. Так они стояли в темных дверях и смотрели друг на друга: Левка — недоумевающе, Лариска — сердито и весело, даже с любопытством.

— А второй раз за что? — деловито поинтересовался Левик.

— А это за то, что есть какая-то разница между тобой и другими. Понятно?

— Ага,— ответил Левик и, попятившись, спиной открыл тяжелую парадную дверь.

— Иди, чего стоишь,— сказал Левик, и Лариска, дернув тонким плечом, прошла мимо него совсем близко — так близко, что Левке как будто плеснули на сердце кипятком.

— Знаешь что?

Лариска обернулась.

— Ты красивая,— сам не зная зачем, сказал Левка.

— Дурак,— задумчиво ответила Лариска и, постояв чуть-чуть, ушла.

Скажем прямо, била она неумело, растопырив пальцы, и не столько щека горела, сколько жгло у Левки глаза.

«Вот и все,— подумал Левка,— и нет уже убежища в личной жизни». Фраза эта получилась красивая, еще долго она пела в ушах.

3

Под влиянием жизненных катастроф в голову всегда лезут философские мысли. «Хорошо в июле месяце в дачной местности повеситься...» Это было первое, что пришло на ум. Впрочем, строки были не Левкины, писать стихи он не любил, ему больше нравились мотоциклы, да и вешаться Левка не собирался.

«Ну, ты, субчик в техасах с китайским фонарем,— сказал себе Левка.— Дать бы тебе волю, наворотил бы ты дел. Вот были бы у тебя три желания... то есть не три желания, а три возможности их реализовать. Переустроил бы ты мир? Вне сомнения. Первое — чтоб в школе было все в порядке, второе — чтобы деньги нашлись, и третье — чтобы Лариска не злилась. И все в мире встало бы на свои места. А как спокойно можно было бы идти домой! Есть же на свете беззаботные люди. Вот этот урод, например. Во дает, долговязый черт! Семнадцать узлов, не меньше. А ну-ка, обгоним его по малой дорожке.

Нет,— размышлял Левка на бегу,— в три желания мне не уложиться. Устроил свои текущие, так сказать, делишки — и прозябай далее? Надо и про запас что-нибудь оставить. Станешь взрослым, мало ли чего еще захочется!

Мотороллер, как минимум. Вот и будешь потом мучиться: «Ах, на что извел желание!» Нет, конечно, семь желаний надо иметь. И потом для человечества тоже кое-что не мешало бы сделать. Человечеству это необходимо».

Левка ускорил шаги. Долговязый все удалялся. Стиснув зубы и вынув руки из карманов, Левка пустился рысцой. Ага, дрогнул. Интервал между ними стал медленно сокращаться.

«И вот молодой бегун,— комментировал свой рывок Левка,— мощным движением плеч словно бы раздвинул ветер и устремился за лидером. Рывок, еще рывок! На трибунах привстали. Ну, ну! Финиш».

Долговязый вдруг резко остановился у табачного киоска. Левка пролетел мимо него по инер-

Рисунок **О. ВУКОЛОВА**

ции, толкая плечом прохожих и перепрыгивая через лужи.

«Да,— подумал Левка,— в семь желаний вполне можно прилично уложиться. С запасом».

4

Левке нравилось загадывать.

«Вот,— говорил он себе,— если по дороге в школу мне не встретится ни одна черная «Волга», значит, по геометрии я сегодня получу пару».

В троллейбусе он каждый раз считает номера билетов и злится, когда счастливый билетик на один или два номера впереди. Прошлым летом Левка ехал на письменный экзамен по математике и оторвал уникальный билет: 555 555. Правда, написал он в этот день на трояк, но это уже другая сторона медали.

В это время Левка заметил, что долговязый снова поравнялся с ним. Обгоняя Левку, он даже как-то хитро взглянул на него и усмехнулся: а ну-ка, брат, догони.

Вот это спринт! Левка даже свистнул от восхищения. И ведь не грубый бег, а отточенная, мастерская, высокой культуры ходьба. Плечи даже не дрогнут, корпус прямой, не то что какой-нибудь там увалень, который виляет задом и покачивается, как бакен на реке. На ходу высокий закурил, бросил спичку, и она, подхваченная ветром, улеглась точно в урну. Он еще раз покосился на Левку, словно приглашая потягаться, подмигнул ему и зашагал еще быстрее, энергично взмахивая полусогнутой в локте рукой.

Левка глубоко вздохнул, напряг все свои силы и, выпятив грудь, помчался вдогонку, поминутно переходя на телячью рысцу. Деревья так и мелькали у его левого локтя, асфальт под ногами больно обжигал пятки, доставая даже сквозь резину подошв, но разрыв между Левкой и длинным оставался все таким же.

«Вот жмет, гадюка,— думал Левка.— Ну ничего, догоню — и тогда... Догоню — и пусть исполняются мои семь желаний. Ну, а если не догоню, значит, ничего и никогда у меня не получится в жизни. И Лариска меня не любит».

Странное дело, долговязый нигде не задерживался, и все перекрестки зажигали перед ним зеленые огни. Это был красивый парень. Белая рубашка его с закатанными до локтей рукавами чуть светилась изнутри розоватым огнем. Голова была красиво вскинута, золотые волосы, казалось, тоже излучали свет.

Левка понял: в жизни для него нет ничего важнее, чем догнать этого человека. Они пулей пролетели весь проспект, пересекли площадь перед линией почтительно остановившихся машин и в крутом вираже, на котором Левка выиграл два-три метра, врезались в узкую, тесную Сретенку.

Улица была забита людьми.

И темп долговязого стал ослабевать. Он все чаще обходил цепочки девушек, все чаще извинялся перед старухами, и его розоватая рубашка заалела самым настоящим внутренним огнем. Несколько раз он сердито посмотрел через плечо на Левку, брови его сдвинулись: семь желаний отдавать ему было явно нелегко.

Все равно отдашь!

И Левка прибавил скорость. Теперь он летел почти вприпрыжку, разбивая стайки девчат. Левка уже чувствовал жар, которым веяло от плеч незнакомца. Вот они уже в трех метрах, вот Левка в первый раз наступил ему на пятки сандалий, и огонь внутри белой рубашки стал багровым, как закат. Вот они уже почти рядом. Левка быстро взглянул на него снизу вверх. Ну и высоченный, как гостиница «Ленинград»! Незнакомец тоже повернулся и, не сбавляя шага, опустил на Левку свой о г р о м н ы й с и н и й взгляд. Взгляд был именно синим, как июньская туча, душным и тяжелым. Вот высокий отстал на шаг, на другой, а темно-синяя шапка его взгляда все висела над Левкой, все жгла ему правое плечо — и вдруг электрический заряд такой силы тряхнул Левку с макушки до пят, что Левка, остолбенев, остановился и чуб его вздыбился. Словно он наступил на оголенный электрический провод. Постояв секунду, Левка опустил глаза: под ногами его ничего не было, обыкновенная асфальтовая трещина. Не могло же... Да нет, она залита гудроном. Левка посмотрел направо: незнакомец исчез. Долговязый исчез в своей белой рубашке, под которой горел огонь, исчез со своими грозовыми глазами, а Левку еще долго трясло от возбуждения, как от тока.

«Где это я?» — спросил он себя наконец.

5

Он стоял на углу у Сретенских ворот. Налево пышно расцветал сквер, ведущий к почтамту, направо, за домами, темнел другой, спускающийся к Трубной площади. В той стороне, должно быть, и исчез долговязый.

Левка медленно перешел улицу и оказался в солнечном сквере. Все цвело и кипело, на скамейках грелись пенсионеры, два малыша дрались из-за велосипеда, а третий разъезжал вокруг клумбы на педальном автомобиле, поглядывая на всех снизу вверх очень строго,— лилипутик с насупленными бровями собственника.

«Ладно,— сказал Левка,— побаловались и хватит».

Он подошел к скамейке и втиснулся между двумя девчонками в таких коротких юбках, что они открывали чуть ли не две трети ног.

— Закройте бледные колени,— мрачно бросил им Левка,— дети вокруг.

Девушки фыркнули, но не нашлись что ответить, и, подождав для приличия минутку, встали и ушли.

— Тоже мне пенсионер,— сказала на прощанье одна.

— Ненормальный,— сказала другая.

Левке было наплевать: до Лариски им еще ой сколько тянуться!

«У Лариски во фигурка! — сказал себе Левка, и сердце у него заныло. Он заерзал, вспомнив о своей жизненной катастрофе.— Ну, догнали мы долговязого, а семь желаний где? Где двадцать пять рублей хотя бы?»

6

Вдруг Левкины размышления прервали обеспокоенные женские голоса. Матери вскакивали со скамеек и, обнимая своих детишек, уводили их от столба пыли, который извивался по скверу. Вираж возле клумбы опустел. Только валялся брошенный велосипедик да малыш в педальном автомобиле, пригнувшись, улепетывал что есть силы от пыльного облака.

— Безобразие, не поливают совсем,— пробормотал рядом с Левкой пенсионер и закрыл лицо газетой.

Еще секунда — и по газете звонко защелкали песчинки. Левка зажмурился. И в это время на лицо ему опустилось что-то холодное, с острыми, как у бритвы, краями. Левка судорожно дернулся, смахнул э т о с лица и, открывая глаза, поднес руку с э т и м к лицу.

В руке у него горела фиолетовая новенькая двадцатипятирублевка.

Восковая.

Хрустящая.

Маленькая, с листок из записной книжки.

Неизвестно, может, кто-нибудь и ломал бы себе над этим голову, но Левке сразу все стало ясно: его желания исполняются.

Левка вспотел.

Он провел рукой по глазам.

Потом украдкой посмотрел на свет бумажку. Настоящая, прозрачная, с белыми и темными водяными звездами.

«Вот это да...— сказал себе Левка и осекся: его могли услышать.— Вот это да... Значит, все-таки я... Значит...»

7

Разумеется, надо было проверить. Разумеется, надо было попробовать. Другой чудак тут же заказал бы себе какой-нибудь необыкновенный черный тюльпан. Так просто, для пробы. Испортил бы, дурак, желание и сидел бы, хихикая и умиляясь.

Но Левка сказал себе: стоп. Во-первых, уйти отсюда. Налетят, закудахчут, начнут брать интервью, затормошат просьбами: вылечи от рака, дай ордер на квартиру или там еще что.

Не то чтобы Левка был эгоистом, он даже не прочь был устроить что-нибудь этакое для всех. Ну, например, телевизионную башню высотой в три тысячи метров.

Левка спрятал кредитку в нагрудный карман ковбойки и застегнул на пуговицу.

Потом он встал и медленно, гуляючи направился к выходу. Шар земной, залитый асфальтом, медленно завертелся у Левика под ногами.

«Что бы такое заказать для пробы? Покрасивее, побогаче — и без паники. Небоскреб, что ли, построить на Сретенке? А на что он здесь, небоскреб?

Денег, может быть, побольше? Ну, так это раньше надо было соображать. И потом, все уже заранее рассчитано: двадцати пяти по горло хватит. Нож, фонарь, часы, техасы, увеличилка, мороженое, еще Лариске какой-нибудь значок или, как там это называется, брошку.

Нет, надо поярче. Машину, что ли? «Шевроле» или «кадиллак», или «мерседес». Или, может быть, «фольксваген»? Нет, у реваншистов ничего не возьму. И вообще с блоком НАТО позорно связываться.

Значит, все решено. Машину типа «лимузин» из нейтральной страны. С открывающимся верхом, ну, и все такое. Как это обычно говорится? А не все ли равно? Три-четыре. Я хочу лимузин. Я хочу лимузин».

8

Левка стоял на краю тротуара и ждал, когда перед ним на свободный участок мостовой грохнется голубое никелированное чудо. Но солнце пекло, как прежде, асфальт под ногами плавился — и ничего не случилось.

— Ух ты, черт,— сказал Левка.

Сердце у него заколотилось. Так неохота было возвращаться к реальности, что он чуть не заплакал с тоски.

— Я хочу лимузин,— с упрямством повторил Левка. И опять ничего не произошло.— Жульничество,— упавшим голосом проговорил Левка.— Это будет считаться как два желания, так, что ли? Гады, капиталисты.

Он потрогал рукой карман. Кредитка хрустела. И этот хруст немного успокоил Левку.

— Ладно, пускай «татра»,— громко сказал он, и прохожий отпрянул от него, испугавшись.

Ничего не случилось. Левка с яростью сунул руки в карманы — и пальцы его наткнулись на холодный, слабо зазвеневший предмет. Что такое? Левка вынул руку — в пальцах у него зажат был ключ на красивой иностранной цепочке.

Это еще откуда?

Ключ был толстенький и явно не дверной. На другом конце цепочки болтался серебряный скелетик.

«Талисман,— подумал Левка. И вдруг его озарило: — Ведь это же автомобильный ключ!»

9

Левка поднял глаза к небу. Все вокруг сверкало и искрилось. Небо то вспыхивало голубым, то темнело и гасло, пульсируя. Люди шли молча. Им не о чем было говорить.

На асфальт у ног Левки упала тень.

Левка поднял голову. Рядом с ним стоял милиционер. Он недружелюбно оглядел Левку и сказал:

— Гражданин, там, где вы поставили машину, стоянка запрещена.

Левка вздрогнул.

— Машина? — переспросил он, глупо улыбаясь.— Да, извините...

И он потянулся к карману, где лежала кредитка.

— Пройдемте,— сухо сказал милиционер,— и отведите машину на десять метров вперед.

Они пошли по тротуару рядом. Милиционер шагал крупно и сердито: ему, должно быть, было жарко в ослепительной белой сбруе и в сапогах.

— Вот туда, к магазину,— показал он рукой, и Левка увидел невдалеке (туманно, как сквозь слезы) что-то роскошное, ослепительно черное, окруженное любопытной толпой.

Зажмурившись, Левка подождал, пока сердце кончит колотиться. Что бы еще? А в уме считал: «Первое, второе, третье. Это будет уже третье! Нет, подождем...»

В своих обтрепанных брюках, в тапочках на босу ногу, в ковбоечке в бледную клетку, он подошел к автомобилю, и толпа людей, быстро затихнув, расступилась перед ним. Никто уже не трогал с нежностью тонкие крылышки, не шептал зачарованно:

— Ух, красивая... А обивка, обивка, смотри...

Все глядели на Левика настороженно и молчали. Один только русый парень в очках протиснулся вперед и спросил:

— Двенадцать цилиндров, что ли?

Но его тут же дернули за рукав: не мешай.

10

Обивка и в самом деле была хороша. Распахнув дверцу, Левка увидел ее во всем великолепии. Пористая, искристая, в мягких прострочках, она так и просила присесть. Янтарным блеском светились шкалы и руль. Теплым запахом сильного мотора веяло из-под ног.

— Сколько тебе платят, малый? — негромко спросил кто-то, нагнувшись к опущенному боковому стеклу.

Левка вспыхнул и, усевшись поглубже, наглухо закрыл окно. Но и сквозь толстые стекла ему было слышно, как, посмеиваясь и бранясь, расходились люди.

«За лакея приняли... Противно. Уж лучше бы я «Волгу» попросил. Или «Чайку»... А тут, наверно, и номер дипломатический, вот черт...»

На минуту Левке стало неуютно в автомобиле. Он посмотрел налево: милиционер хмуро глядел на него с перекрестка. Левка положил руки на широкий холодный руль и тут только вспомнил, что водить машину он не умеет.

— Вот это раз! — сказал Левка вслух и еще раз повторил: — Вот это раз! Как же я поеду?

Но отступать было уже поздно. Вылезешь — доказывай потом, что машина твоя...

Левка недовольно поежился и тихо сказал:

— Хочу уметь водить. Хочу уметь водить.

И вдруг руки его властно легли на руль, ступня ноги провалилась куда-то к полу, поворот ключа — и, мягко присев на задние колеса, машина рванулась вперед.

Левка откинулся на мягкую спинку, сделал неожиданно мощный поворот, так что рука его щелкнула в суставе, а самого его кинуло влево на синтетические ручки дверц, и в это время пальцы его, на миг оторвавшись от руля, самовольно зашарили по щитку приборов. Щелчок — зажурчала тихая музыка, и солнечная улица, мягко качаясь, полилась под колеса. Люди пролетали почти у самого крыла. Казалось, что машина летит по воздуху.

— Эгей! Эгей!

И Левка запел. Он пел, как чукча, всякую всячину: о том, что у него машина, что за спиной на сиденье лежит махалка из страусовых перьев, что у окна клубком свернулся синтетический желтый тигренок, а под рукою — коробка коричневых, шелковых на ощупь сигар. И еще Левка пел, что жизнь — это сумасшедшая штука, а он, Левка, парень ничего.

Немножко неприятно было править, когда не знаешь, куда пойдет рука. Казалось, что какие-то другие, сильные руки, обняв тебя из-за плеч, лежат на баранке. Время от времени они касаются твоих рук, и ты чувствуешь, какие они жаркие, волосатые, взрослые. С рукавами, закатанными выше локтей.

Левка пошарил в карманах, нашел свои противосолнечные очки — разбитые, треснувшие, с одной дужкой — и нацепил на нос.

«Ну, что бы еще пожелать? А, была не была! Пусть самая красивая в мире девчонка сядет ко мне в машину!»

11

Через секунду Левка пожалел о том, что сказал. Но, по-видимому, было уже поздно. Чужой, ватной рукой Левка повернул баранку. Машина вздрогнула и остановилась у края тротуара, чиркнув шиной по бортику.

И снова Левка оказался лицом к лицу с людьми. Иронически, с усмешкой рассматривали его парни, холодно скользили по нему взглядом девчата, и у всех в глазах Левка читал: лакей. Нет, не похож он был ни на гида из «Интуриста», ни на переводчика.

— Моя машина, моя! Поняли? — сказал всем Левка.

Но люди недоверчиво проходили мимо.

Кто-то невидимый подбежал сзади к автомобилю и рывком, по-хозяйски распахнул дверь. Машина, качнувшись, приняла нового пассажира. В кабине запахло духами «Ландыш серебристый».

Похолодев от страха, Левка медленно повернул голову.

— Ты? — глупо спросил он.

Сзади, смущенно забившись в угол машины, сидела Лариска.

В сереньком халатике, в тапках с помпонами на босу ногу. Пуговицы у халата оторваны, и одной рукой Лариска придерживала воротник на груди, другою закрывала коленки.

— Здравствуйте! — сердито сказала Лариска.— Сам меня звал. Три квартала бежала из-за тебя, сумасшедший! Я как раз ванну себе наливала, вдруг кричат со двора: «Выходи скорее, тебя твой Левка зовет!»

Не выпуская из рук руля, Левка молча смотрел на нее и, медленно соображая, хлопал глазами.

— Ну, что глядишь, как заколдованный? — насмешливо проговорила Лариска и взглянула в зеркальце под потолком.— Растрепанная, да?

Она ловко вынула из кармашка шпильки и, красиво закинув руки, так что рукава халатика ушли до плеч, принялась убирать свои красивые темные волосы.

— Ну, дела,— сказал себе Левка и мгновенно взмок от стыда. Вот сейчас ввалится сюда какая-нибудь Лоллобриджит Бардо — веселенькая будет встреча!

— Слушай, Лариска,— сказал он каким-то заискивающим голосом,— ты не обижайся. Понимаешь...

Лариска медленно опустила руки, вынула шпильки из губ, странно взглянула на Левку.

— Ты меня звал, Левка? — тихо спросила она.

— Понимаешь,— весь обливаясь потом от презрения к себе, забормотал Левка,— я, конечно, очень рад, что ты сюда заглянула, но я позвал... честное слово, я не подумал... машина и женщина, это в каждом кино говорится... в заграничном, конечно... В общем, сейчас сюда придет одна моя знакомая...

— Пожалуйста! — быстро сказала Лариска, и Левка чуть не заплакал: так ему стало жалко ее и себя.— Я просто подумала...

Лариска дернула плечом и потянулась к ручке двери.

— Подожди! — умоляюще зашептал Левик.— Я нечаянно ее позвал, честное слово! Я тебя хотел, правда же...

Но Лариска уже выскользнула на тротуар. Она хлопнула дверью и побежала, поминутно придерживая на коленях халатик, распахивающийся на бегу.

12

Оставшись один, Левка мрачно задумался. «Связался, нечего сказать: машина да еще сейчас явится эта красотка. А может, и не сейчас. А может, она из Рио-де-Жанейро. Возьмет недели через три и прибудет. С одним лимузином сколько хлопот: гараж достать — одно желание, чтоб не ломался — другое, с бензином тоже надо как-то выходить из положения — это уже шесть желаний, а потом ведь надо устроить, чтобы никто не интересовался, откуда у меня такая машина. Вот и весь потенциал исчерпан, а еще неизвестно, куда я на этом драндулете ездить собираюсь. В школу, что ли, или на речку пескарей ловить? Вон он огромный какой, целый автобус!»

Мимо окна автомобиля прошмыгнула рослая девушка в розовых брючках и с пышными седыми кудрями. «Она!» Оцепенев, Левка долго следил за ней. Но девчонка ловко обогнула машину и затерялась в толпе.

«Не ко мне!» — с облегчением вздохнул Левка. И вдруг его взяло такое зло, что он стукнул кулаком по колену и крикнул:

— Да провалитесь вы к чертям кошачьим вместе с вашей машиной!

В ту же минуту его так стукнуло по голове, что он даже ойкнул и, нелепо и жалко взбрыкнув ногами, ударился задом о горячий асфальт.

Машины как не бывало. Только вокруг чуть-чуть курился дымок и расплывалось на асфальте пятно золотистого масла.

А Левка сидел у края мостовой и соображал: ну да, ведь надо было сначала выйти из машины. Нехорошо.

Он пощупал кармашек ковбойки — хрустит. Встал и, прихрамывая, вновь побрел к скверу.

13

«Вот так вот, братец мой. Угрохал пять желаний.

А все почему? Да потому, что капиталистом стать хотел, под себя греб, бродяга. Да на эти пять желаний всю Сибирь можно было бы тропинками сделать. Колониальным странам помочь. А то раз, два — и коммунизм. И у меня же у самого была бы автомашина. Если захочу с ней возиться, конечно. По крайней мере все честно.

С другой стороны, конечно, ни к чему коммунизм запрашивать. Тут его люди строят, а там он вдруг сам пришел, как снег на голову. Наверняка такой коммунизм будет скучный. Нет, уж лучше не путаться под ногами. Закажем что-нибудь попроще, для всех чтобы и без паники. Допустим, на Марс кого-нибудь послать. Вот это идея!»

И Левка, оглядываясь и бормоча себе под нос, хотел было запрашивать уже рейс на Марс, но вдруг ему в голову пришла одна мысль:

«Послал свой лимузин к чертям кошачьим и не подумал: а выполнимо ли? Вдруг он еще обратно вернется, да еще вместе с Лоллобриджит Бардо? Потому как где их в наше время, чертей-то кошачьих, отыщешь? Нет, уж лучше все предусмотреть заранее. А вдруг и с Марсом получится, как с кошачьими чертями? Забросишь человека, а куда, неизвестно. Может, и аппаратура для возврата еще не готова».

Левка остановился у сквера, прислонился к ограде. Идут люди, спешат, на небо смотрят. Чего вам нужно, люди? Дождя боитесь, что ли? Так прямо и скажите. Левка сделает, не будет вам дождя. Хотя с другой стороны...

И тут Левку взяла досада. Оказывается, все вещи имеют две стороны. В первый раз ему это пришло в голову.

14

Он вошел в сквер. Солнце заметно покраснело, и от лучей его веяло холодным жаром. Приближался вечер, но на скамейках по-прежнему грелись усталые, запыленные люди.

— Какие вы все некрасивые, черти! — возмутился на людей Левка.— Посимпатичнее вас сделать, что ли?

Да нет, не стоит возиться, загордятся еще. Такие-то они попроще.

Левка сел с одним несимпатичным стариканом в стоптанных башмаках. Старик отдыхал на скамье, сгорбившись, опершись жилистыми лиловыми руками на палку, и то ли дремал, то ли просто щурился на солнечный свет.

По другую сторону молодая женщина кормила грудью ребенка. Она так устала, что, когда подошел Левка, даже не прикрыла грудь и только чуть-чуть подобрала платье. А малыш, выпростав лапку, теребил ею краешек одеяла и сучил ногой.

— Нервный какой-то,— вздохнул Левка, и тут уголок хрустящей бумажки слабо царапнул ему грудь.

Левку как огнем обожгло. Вот оно, его первое чудо!

Какой-то ротозей распахнул бумажник — и прощай четверть зарплаты. А может, даже этот старикан, что сидит рядом. Куда ему угнаться за ветром!

Левке стало страшно.

Значит, что же?..

Значит, вор? Обрадовался, сгреб — и бежать?

Он тихо, крадучись, вынул двадцатипятирублевку из кармана, опустил руку на спинку скамьи и, разжав пальцы, негромко сказал:

— Я не вор, понятно? Я не вор. Пусть вернется на место!

Кредитка словно прилипла к пальцам: не хотела падать.

— Лети ты! — Левка слегка подкинул бумажку, она как-то неловко вывернулась в воздухе, и ветер задул ее под скамейку.

Левке сразу стало легче. Он глубоко вздохнул и, откинувшись, стал разглядывать соседей. Но седьмое желание не давало покоя. Оно было такое одинокое, что обидно было бы оставлять его про запас.

Женщина сменила грудь, вздохнула. И Левка неожиданно отчетливо вспомнил Лариску в подъезде, ее темно-красное платье, взволнованные губы и глаза.

А еще — старенький халатик без пуговиц... И стоптанные тапки...

И неожиданно для себя Левка тихо сказал:

— Пусть все люди будут счастливыми. Я хочу.

И в первый раз не оглянулся после этого с опаской, не вздрогнул: почувствовал, что это — настоящее.

Медленно красней асфальт. Ничего, ну, ничегошеньки не изменилось. Старик сидел, не меняя позы. И женщина по-прежнему не прятала грудь. Только вдруг она быстро взглянула на Левку и, усмехнувшись, опустила глаза.

Левка вспыхнул. Румянец залил все его лицо. Он вскочил со скамейки и быстро-быстро пошел к выходу. Потом побежал.

Но никто не смотрел на него. Никто даже не замечал, что пять минут назад он стал счастливым.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

Синие люди

Павел БАГРЯК

Фантастический детектив

ОТ АВТОРА

Предположим, человек наступил вам на ногу, а затем извинился. Хорошо ли, что он извинился? Нет спора.

Но лучше, чтобы он не наступал вам на ногу.

Я не знаю, много ли на белом свете извиняющихся людей, но могу с уверенностью сказать, что число наступающих на ноги от этого не становится меньше.

Когда я добросовестно описал то, что произошло на острове Ньюкомб, комиссар Гард прочитал рукопись и молча положил ее на край стола. Пытаясь скрыть свое волнение, я непринужденно спросил:

— Ну, Дэвид, как?

— Страшно,— ответил комиссар.

— Но это же правда!

— Никто не говорит, что вымысел,— спокойно заметил Гард.— Только кому нужна правда? И все же я предлагаю вам эту повесть.

Простите меня, дорогой читатель, за то, что я наступаю вам на ногу!

Глава 1. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ УТ...»

21 мая, в десять тридцать утра, в Третьем полицейском участке был записан на магнитофонную ленту допрос гувернантки Бригитт Ворбус, пятидесяти шести лет, католички, незамужней. Допрос вел инспектор Джин Моргинс.

ДЖИН МОРГИНС. Не волнуйтесь. И все по порядку.

БРИГИТТ ВОРБУС. Бедная девочка! Вы найдете преступников? Скажите, инспектор, вы отыщете мою прекрасную Ут?

ДЖИН МОРГИНС. Это зависит от вас, мадмуазель. Итак?..

БРИГИТТ ВОРБУС. В десять утра мы, как обычно, вышли с Ут на прогулку. Знаете, в нашем парке есть милая аллейка, там гуляет племянник хозяина Набель с сукой Блюмой, которая недавно сжевала портьеру, а этот плешивый Набель показал на меня, хотя я...

ДЖИН МОРГИНС. Не отвлекайтесь, пожалуйста.

БРИГИТТ ВОРБУС. Извините. Мы опоздали немного, потому что Ут задержалась с завтраком, и не видели, как она лакала молоко.

ДЖИН МОРГИНС. Кто «она»?

БРИГИТТ ВОРБУС. Блюма! Я обещала показать Ут, как Блюма пьет молоко с примесями, которые Ут всегда отвергает...

ДЖИН МОРГИНС. Не понимаю. Какие примеси?

БРИГИТТ ВОРБУС. Ложка рыбьего жира, пять граммов витамина Б-прим, семнадцать унций...

ДЖИН МОРГИНС. О боже! При чем тут рыбий жир?

БРИГИТТ ВОРБУС. Вы же сами просили перечислить!

ДЖИН МОРГИНС. Говорите только о деле.

БРИГИТТ ВОРБУС. Она намочила штанишки...

ДЖИН МОРГИНС. Ваша сука ходит в штанишках?

БРИГИТТ ВОРБУС. Ах, господин инспектор, какой вы непонятливый! Штанишки намочила Ут, с ней это часто бывает. И я побежала в детскую, чтобы принести смену белья. Девочка осталась у большой клумбы... Когда я вернулась, Ут спряталась. Нет, она у меня не балованный ребенок, но любит пошутить. Знаете, спрячется, а я делаю вид, что ищу ее и не вижу, и она смеется.

ДЖИН МОРГИНС. Не волнуйтесь. Что было дальше?

БРИГИТТ ВОРБУС. Я не знала, инспектор, что так случится. Боже мой! *(Плачет.)* Я так ее берегла! Два года она ни разу не болела, беленькая такая, пухленькая...

ДЖИН МОРГИНС. Итак, она спряталась...

БРИГИТТ ВОРБУС. И тут он показался на аллее.

ДЖИН МОРГИНС. Кто?

БРИГИТТ ВОРБУС. Мужчина. В светлой шляпе. Он быстро прошел, словно бежал куда-то... А моя бедная Ут...

ДЖИН МОРГИНС. Успокойтесь. Выпейте воды. Что было дальше?

БРИГИТТ ВОРБУС. Не помню... Ничего не помню! Я хотела высморкаться и вдруг... упала... Когда очнулась, никого вокруг не было. Я закричала, тут все сбежались, а плешивый Набель с Блюмой...

ДЖИН МОРГИНС. Благодарю вас. Все. Вы свободны.

Акт медицинской экспертизы, подписанный доктором Керхоптом, постоянным экспертом Третьего полицейского участка, гласил:

«Платок светло-серого цвета, найденный на земле в 20 метрах от большой клумбы, пропитан фтолметилсупергипритом, вызывающим кратковременный паралич дыхательных путей и затем обморочное состояние. Срок действия препарата — пятнадцать минут. Шоковое состояние у обследуемой Бригитт Ворбус наступило мгновенно...»

В час дня дежурный Третьего полицейского участка, услышав звонок, поднял телефонную трубку.

— Говорит Вильям Доббс. Комиссара Вутса!

— Он уехал обедать, господин сенатор,— сказал дежурный, невольно приподнимаясь со стула.— Комиссар Вутс перед отъездом приказал немедленно вас информировать, если будут новости, но пока, к сожалению...

— Так, так,— прервал дежурного сенатор Доббс, обнаруживая металлические нотки в голосе.— Когда вернется Вутс, передайте ему, что я желаю комиссару приятного аппетита.

Инспектор полиции Джин Моргинс со своими помощниками и тремя лучшими в управлении собаками-ищейками еще раз внимательно обследовал парк сенатора Доббса.

След преступников собакам взять не удалось, так как они постоянно сбивались на следы, оставленные по всему парку сукой Блюмой. Зато в металлической ограде были обнаружены две подпиленные решетки, образующие щель, через которую можно было легко проникнуть в парк сенатора Доббса и столь же беспрепятственно из него удалиться.

Моргинс немедленно допросил прислугу, Выяснилось, что решетки подпилил дворник Коллумбс три года назад, когда был влюблен в Мэри Гордон, служанку сенатора Крафта-младшего, жившего с Доббсом по соседству.

Мэри на допросе разрыдалась и поклялась, что дворник Коллумбс бросил ее еще полгода назад и теперь любит кассиршу Люси из кабаре «Одно приятное мгновенье».

От дворника ничего не удалось добиться, он твердил, что во всем виновата Мэри, что с Люси у него «просто так», а что решетку он может починить хоть сегодня.

Дневная газета «Мир пять минут назад» опубликовала на первой полосе фотографию Ут Доббс. «Каждый, кто увидит девочку, должен немедленно позвонить в полицию, в редакцию или непосредственно Вильяму Доббсу».

В пять часов дня комиссар полиции Вутс дал интервью журналистам.

— Я уверен,— сказал Вутс,— что действует хорошо организованная шайка рэкетиров. Это не первое похищение ребенка в нашей стране, но, к сожалению, полиция пока бессильна. Однако, я полагаю, в ближайшие дни мы закончим расследование или по крайней мере прольем свет на истину.

Сенатор Вильям Доббс смотрел пресс-конференцию по телевидению на своей вилле. Не дожидаясь конца передачи, он чертыхнулся, надел смокинг и вызвал шофера.

Рядом с женой сенатора, еще ни разу не выпедшей из спальни, постоянно дежурили профессора медицины.

Инспектор Джин Моргинс арестовал Бригитт Ворбус, дворника Коллумбса, Мэри Гордон и кассиршу из кабаре Люси. Получив разрешение комиссара Вутса, он явился в особняк сенатора, чтобы посадить под домашний арест его племянника Набеля. Узнав об этом, сенатор возмутился, позвонил Вутсу, и Набелю была предоставлена полная свобода. Тогда Джин Моргинс организовал за ним негласную слежку.

Студия «Эх!» начала съемки полнометражного фильма о похищении Ут Доббс. В роли главного рэкетира, сообщили выпущенные через сорок минут рекламные афиши, снимается известный киноактер, любимец публики Юм-Рожери.

Сенатор Вильям Доббс был по его просьбе принят Президентом. Собственно говоря, от Президента бы не убавилось, если бы он сам приехал к Доббсу, отдавая дань его богатству и его значению для страны, но Доббс, бывший в свое время Президентом, решил на этот раз соблюсти декорум, отвечающий серьезности момента. Аудиенция началась в 19 часов 06 минут и закончилась в 19 часов 09 минут.

В 19 часов 10 минут Служба безопасности государства засекла телефонный разговор Президента с министром внутренних дел Воннелом.

ПРЕЗИДЕНТ. Дорогой министр, та великая миссия, которая возложена на мои бренные плечи народом и правительством, не позволяет мне отрешиться от всего земного...

ВОННЕЛ. Мир так несовершенен, господин Президент!

ПРЕЗИДЕНТ. И не всегда справедлив! Меня только что покинул несчастный отец...

ВОННЕЛ. Сенатор Доббс, господин Президент?

ПРЕЗИДЕНТ. Увы, все силы свои он отдает служению государству и народу, но какие-то люди, лишенные благородства души, совершают еще один страшный грех...

ВОННЕЛ. Карающая рука правосудия настигнет их!

ПРЕЗИДЕНТ. Я верю в это! И всю ночь буду молиться за маленькую Ут Доббс!

ВОННЕЛ. С вашего позволения, господин Президент, я сам возглавлю розыск преступников, они немедленно будут найдены...

ПРЕЗИДЕНТ. И наказаны!

Один экземпляр беседы, как обычно, был тут же открыто передан Тайному Совету, держащему под контролем действия и разговоры всех государственных людей, в том числе самого Президента.

Другой экземпляр, как обычно, был отправлен в ведомство генерала Дорона, держащего под контролем деятельность Тайного Совета.

Секретарь Вильяма Доббса в течение получаса нанял всех частных детективов города сроком на две недели. За поимку преступников был официально назначен гонорар в размере 100 тысяч кларков.

На 23.30 генерал Дорон созвал экстренное заседание.

— Приглашать по инструкции ноль-один или ноль-два?— спросил Дитрих.

— Ноль-один,— коротко ответил Дорон, и секретарь понял, что произошло чрезвычайное событие.

Шеф вызывал только ближайших помощников.

Табачная фирма «Антиникот» выпустила первую партию сигарет «Похищенная Ут» с фотографией Ут Доббс на пачке.

— В этот тяжелый для страны час,— заявил корреспонденту телевидения владелец фирмы Фердинанд Тубик,— мы тоже не можем оставаться равнодушными. Мы намерены продавать сигареты «Похищенная Ут» до тех пор, пока девочка не будет найдена. Курящий наши сигареты легко сможет опознать несчастного ребенка, взглянув на пачку, и шансы получить вознаграждение в 100 тысяч кларков у него будут больше, нежели у тех, кто курит сигареты фирмы «Макес и К°».

Министр внутренних дел Воннел издал секретный приказ, копию которого немедленно направил Тайному Совету:

«Властью, доверенной мне Президентом, приказываю:

1. Всех сотрудников уголовной, политической, интернациональной и особой полиции привлечь к розыску преступников, похитивших Ут Доббс.

2. Учредить Временный комитет в составе Пуна, Дэвича, Сургия, а также моих четырех заместителей по розыску Ут Доббс и преступников, ее похитивших.

3. Председателем Временного комитета назначаю себя.

4. Приказ вступает в силу немедленно».

Тайный Совет путем опроса своих постоянных членов молчаливо санкционировал приказ министра Воннела, хотя и принял против него некоторые меры предосторожности, поскольку министр приобретал чуть большую силу и власть, нежели до издания приказа.

На всякий случай за Воннелом было организовано тайное наблюдение.

После трехчасового перекрестного допроса в камере городской тюрьмы в 23 часа 18 минут дворник Коллумбс совершил покушение на самоубийство, признав себя виновным в том, что проделал в ограде дырку, подпилив решетки. Комиссар Вутс немедленно обнадежил Вильяма Доббса сообщением о том, что нити, ведущие к преступникам, уже в руках полиции.

Кроме того, комиссар Вутс официально уведомил сенатора, что тайным наблюдением, организованным инспектором Джином Моргинсом, установлено: племянник сенатора Крит Набель для неизвестных целей лично отрезает полуметровые куски от бархатных портьер, хотя эти его действия и не находятся в прямой связи с похищением Ут Доббс.

Наблюдение за Набелем продолжается.

— Дитрих, вы можете остаться,— сказал генерал Дорон, взглянув на часы, показывающие ровно 23.30.

Секретарь, идущий мягкой кошачьей походкой к выходу из кабинета, застыл, как изваяние.

Просьбы генерала всегда звучали для него приказом.

Глава 2. СОЛДАТЫ РОДИНЫ

— Господа!— Дорон встал, и это обстоятельство заставило подчиненных быстро переглянуться: столь официальное начало не предвещало ничего хорошего.— Некоторое время назад Воннел позвонил мне и попросил — я подчеркиваю: попросил!— помочь ему в деле Ут Доббс. Вы прекрасно понимаете, что я не обязан выполнять каждую просьбу министра, но в данной ситуации... Короче, я требую от вас исчерпывающих объяснений. Что скажете вы, Холл?

— Я узнал о похищении Ут Доббс из утренних газет.

— Та-а-ак. Вы, Рейдинг?

— Я впервые услышал имя девочки из телевизионной передачи.

— Так.— Дорон сел и на секунду задумался.— Прекрасно. Ситуация несколько меняется. Стало быть, нам необходимо принять экстренные меры для розысков ребенка. Наш Комитет не может оставаться в стороне, господа, ведь мы тоже солдаты своей родины!

При этих словах все трое поднялись и, словно при исполнении государственного гимна, молча постояли несколько секунд.

— Прошу садиться,— сказал Дорон. И когда все разместились на своих местах, строго и без пафоса спросил: — Вы уверены, господа, что риск полностью исключен?

— Да, шеф,— твердо ответил Холл.

— Безусловно,— добавил Рейдинг.

— Отлично. Холл, вы можете переключить своих людей на поиск?

— Это в какой-то степени отвлечет их от прямых обязанностей.

— Мы имеем дело со случаем,— строго произнес Дорон,— когда Комитет способен пойти на издержки.

— Могу, шеф.

— Шансы на успех?

— Трудно сказать.— Холл замялся.— Очевидно, действует какая-то неучтенная шайка рэкетиров. Нащупать их будет нелегко.

— Три дня,— сказал Дорон,— и сто пятьдесят тысяч кларков. Сто из них мы компенсируем из гонорара сенатора Доббса. Рейдинг, а вы используйте в этом деле всю нашу технику.

— Операцию «Квартет» приостановить, шеф?

— М-да...— сказал Дорон, выразив сомнение.

— И «Адсорбент» профессора Чойза? Если, шеф, Институт Перспективных Проблем будет работать по утвержденному графику...

— Чойза — отставить!— решительно прервал Рейдинга генерал.— «Квартет» — продолжать! График работы ИПП срочно пересмотреть и увязать с новыми условиями. Операцию «Космос» перевести на режим абсолютной секретности. Вам ясно, господа? Если наши люди найдут девочку... Вы понимаете, что это для нас значит?

— Да, генерал!— чуть ли не в один голос ответили присутствующие.

— Благодарю вас и жду сообщений.

Рейдинг и Холл, по-военному повернувшись, пошли к выходу. Дитрих остался в кабинете. Когда дверь за участниками совещания закрылась, секретарь осторожно сказал:

— Простите, генерал...

— Что, Дитрих?

— Я хотел напомнить вам о комиссаре Гарде.

Генерал вскинул голову:

— Пожалуй, ты прав. Спасибо, Дитрих.

Через час комиссар полиции Гард входил в кабинет генерала Дорона.

Каждый раз, получив приглашение явиться, Гард испытывал не то чтобы страх — напугать комиссара уже ничто не могло,— а какое-то мерзкое чувство, вызывающее сосание под ложечкой и легкий приступ тошноты. Гард знал: спокойное течение его жизни теперь непременно нарушится, если можно называть «покоем» деятельность полицейского сыщика, всегда сопряженную с риском и смертельной опасностью. Но так же, как тигролову должно быть противно охотиться на жаб, так и Гарду было неприятно любое предложение Дорона. «За деньгами дело не станет, комиссар!» — обязательно скажет в конце разговора генерал. И, как всегда, давая согласие, Гард будет думать не столько о своих доходах, сколько о неприятностях, возможных в случае отказа.

Деятельность Комитета, возглавляемого Дороном, была окутана сплошной неизвестностью. Даже Тайный Совет, не говоря уже о Службе безо-

пасности, не располагал об этой деятельности полными сведениями. Втягивая кого-либо из посторонних людей в орбиту своих забот, генерал был вынужден хоть на мгновение приподнимать покрывало над Страшной Тайной своего Комитета — одно это обстоятельство делало отказ невозможным. Дорон в одинаковой степени готов был и приблизить к себе человека и безжалостно убрать его.

Собственно, до сих пор все предложения генерала, адресованные Гарду, не выходили за пределы профессиональных забот комиссара. Кого-то найти, кого-то догнать, кого-то выследить и всего лишь доложить об этом Дорону. Но истинной цели поисков, погонь и выслеживаний Гард никогда не знал, что казалось ему особенно противным. В нем постоянно сохранялось ощущение, что делает он дело нечистое, нечестное. Единственное, что в какой-то степени успокаивало Гарда, так это то, что Комитет Дорона был все же государственной, а не частной организацией, хотя генерал не забывал подчеркивать, что его предложения комиссару носят «личный» характер.

— Прос-с-сшу!— свистящим шепотом произнес Дитрих, кошачьим движением скользнув вперед и открывая перед Гардом дверь в кабинет.

Дорон еще издали кивнул комиссару на кресло, едва заметно улыбнувшись одними уголками губ. Гард тут же отметил про себя, что так умеют улыбаться только собаки, оставляя злыми глаза. Руки генерал никогда никому не подавал, словно боялся получить экзему.

— Давно не виделись,— произнес Дорон, пододвигая Гарду коробку сигар.

— Давно,— коротко сказал Гард, вынимая свою сигарету.

Собственно, не виделись они с того момента, когда комиссар занимался делом профессора Миллера и сталкивался с Институтом Перспективных Проблем, входящим в систему генерала Дорона. Но вспоминать об этом Гард не имел желания, тем более что в этом кабинете с особой осторожностью относились к людям, обладающим хорошей памятью. Сюда надо было приходить «пустым», а уходить отсюда так, как будто встречи и не было.

— Если не возражаете,— сказал Дорон,— я приступлю к делу.

Гард кивнул.

— У сенатора Доббса пропал ребенок.

Гард вновь кивнул.

— Военкол просил меня участвовать в поиске. Но вы понимаете, комиссар, мои олухи... И вы знаете, кроме того, как я отношусь к вашему таланту.

Гард сохранил на лице каменное выражение.

— Подумайте, комиссар, в какой мере вы могли бы помочь мне. Разумеется, это моя личная просьба, а за деньгами дело не станет.

И все, и разговор можно было считать оконченным: это в одинаковой степени понимали и Гард и Дорон, как и то, что все дальнейшее будет всего лишь сиропом, способным подсластить пилюлю. Уж коли невозможно отказаться от предложения Дорона, Гард позаботится хотя бы о сохранении внешнего достоинства — того, что называется «хорошей миной при плохой игре». Между тем умный и хитрый Дорон всегда позволял посторонним людям входить в кабинет и выходить из него с высоко поднятой головой, полагая это своеобразной компенсацией за потерянную совесть.

— Итак, подумайте, комиссар. Дело чрезвычайно для меня важное. Сроки сжатые.

Гард стал «думать». В конце концов, думал он, розыск Ут Доббс — дело благородное. От того, что полицейским управлением оно поручено не комиссару Гарду, а комиссару Вутсу, благородства не убывает. Вутс будет искать ребенка официально. Гард — частным образом. Важен результат. Что касается Дорона и его забот в этой истории, то пусть его тайны остаются с ним. Доббс — сенатор и миллионер, Дорон тоже: кто знает, какими взаимными обязательствами связаны эти люди? Главное, найти ребенка и обезвредить шайку рэкетиров...

— Хорошо, генерал,— произнес Гард, и Дорон облегченно вздохнул, как будто комиссар мог сказать что-то иное.— Я приму участие в розыске.

— Деньги, люди, машины, необходимая аппаратура будут предоставлены вам по первому требованию,— сказал Дорон.

— Вы же знаете, генерал,— заметил Гард,— что первый этап моей работы — кабинетный. Аналитический.

Дорон улыбнулся кончиками губ:

— Я плачу, дорогой Гард, за результат.

— Отлично.

— Благодарю вас.

Гард встал и, высоко подняв голову, направился к выходу. Дитрих невидимым движением распахнул перед ним дверь.

— Прос-с-сшу!— произнес он свистящим шепотом.

Глава 3. ПЕРФОКАРТА

— Комиссар, к вам Честер,— сказал Таратура, но Честер уже входил в кабинет Гарда.

— Давно ты сделал Таратуру вышибалой? — произнес он вместо приветствия.— Или берешь пример с Вутса?

Гард улыбнулся, с трудом скрывая смущение:

— Понимаешь, Фред, я очень занят.

— Я тоже. Однако приехал. Читал?

— Что ты имеешь в виду?

— Он еще спрашивает!— воскликнул Честер.— Ты слышишь, Таратура, твой шеф читает только те статьи, в которых он сравнивается с Шерлоком Холмсом или Альфредом дав-Купером! Можно подумать, что я каждый день печатаюсь в «Ньюкомбе» и что моя судьба ему безразлична!

Спокойно дождавшись, пока иссякнет фонтан Честера, Таратура сказал:

— Не слишком ли ты краток?

И тут только Фред увидел на краю стола свежий номер «Ньюкомба», открытый на той самой шестнадцатой странице, где под крупно набранным заголовком «Позор нации» красовалась его статья.

— Извинись,— сказал Таратура, хотя и он и Гард отлично знали, что Честер извинится лишь в том случае, если посадит вместо себя на электрический стул ближайшего друга.

— То-то же!— удовлетворенно произнес Честер, беря из гардовской пачки сигарету.— Крепко я их? А? Что скажете?

Гард промолчал. С одной стороны, Фред правильно ставил вопрос: рэкетирство превратилось в национальное бедствие. Однако в истории, связанной с исчезновением Ут Доббс, дело было не только в рэкетирах,— Гард уже убедился в этом, сделав несложный анализ данных, полученных в полицейском управлении. Впрочем, к Честеру это не имело отношения, он не обязан был знать то, что знал комиссар полиции.

— Молчите,— мрачно констатировал Фред.— Бог с вами. Я, собственно, к тебе по делу, Дэвид. Как тебе известно, розыск Ут Доббс поручен дубине Вутсу. Я уж не говорю о том, что он провалит следствие, но почему он не допускает журналистов к материалам поиска? Позвони ему и попроси в личном порядке оказать мне услугу...

— Исключено,— твердо сказал Гард.

— Ура!— воскликнул Честер.— Таратура, посмотри на этого человека! Это мой бывший друг Дэвид Гард, комиссар полиции, который ни разу в жизни не выпил со мной ни одной рюмки стерфорда и не был ранен пулей, предназначенной мне! А моя жена Линда...

Таратура решительным жестом остановил репортера.

— Ты нам мешаешь, Фред,— сказал он сухо.

— Черт возьми, чем же вы заняты важным, если все утро только и делали, что наслаждались моей статьей!

Гард поднял на Честера спокойные глаза:

— Мы расследуем исчезновение Ут Доббс.

Честер встал и снова сел.

— Вы? Тоже?! Вот это да! Теперь я никуда не уйду, пока вы не прекратите валять дурака. Выкладывайте карты. Если ваша работа связана с тайной, я готов соответствовать.

И он клятвенно поднял вверх указательный и безымянный палец правой руки, что уже много лет служило у них присягой молчанию.

— Хорошо,— сказал Гард, и Таратура плотнее прикрыл дверь.— Мы работаем по поручению... Дорона.

— Та-а-ак,— протянул Фред, не скрывая своей озабоченности.— Положение меняется... В этом деле у Дорона есть свой интерес?

Гард пожал плечами.

— Стало быть, есть, но суть в другом, старина. Мы кое-что посмотрели с Таратурой... Прелюбопытная картина! Читай.

И Гард протянул Честеру лист бумаги. Рукой Гарда там было написано: «5 016 — количество детей, украденных рэкетирами за последние три года. 4 867 — количество детей, возвращенных за выкуп или найденных полицией. 149 — бесследно исчезнувших, хотя и за этих детей выкупы были внесены».

— В чем же дело? — спросил Честер.

— Мы уже думали,— ответил Гард.— Скорее всего, в стране действует одна группа преступников, нарушающая негласный закон рэкетирства о возврате детей, за которых родителями внесены деньги. Впрочем...— Гард помолчал.— Впрочем, не будем торопиться с выводами.

— А что же будем делать? — сказал Фред.

Комиссар изучающе посмотрел на него:

— Ты-то при чем, старина? «Будем»! Ты будешь писать свои статьи, а мы с Таратурой «будем».

— Ага,— спокойно констатировал Честер.— В таком случае я выдам сейчас гениальную рабочую гипотезу, и если вы ее примете, попробуйте исключить меня из вашей кампании. Идет?

— Интересно!— сказал Таратура.

Фред вдохновенно поднял глаза к потолку и, словно поэт, импровизирующий стихотворение, начал:

— Необходимо немедленно... разыскать родителей ста сорока девяти бесследно пропавших детей! Допросить их! И выяснить, один ли почерк у преступников в ста сорока девяти случаях! Если один... Тогда ты прав: шайка рэкетиров, придумавшая нового бога. А если нет... значит, под маркой рэкетира действует какой-нибудь маньяк, сбежавший из сумасшедшего дома, который убивает детей и варит из них суп, а на выкуп покупает кастрюли!

Тут уж ни Гард, ни Таратура не смогли удержаться от хохота.

— Слушай, кровожадный тип,— сказал, отсмеявшись, комиссар.— Совещание великих криминалистов объявляю закрытым. Мы и так уже потеряли бесплодно...

— Как бесплодно?!

— ...целый час, а время для нас дороже денег. Скажи лучше, Фреди, какие у тебя заботы на ближайшие три-четыре дня?

— Хватит с меня того, что я ежедневно отчитываюсь перед Линдой,— мрачно ответил Честер.

— Я не шучу,— серьезно сказал Гард.— Если ты действительно хочешь нам помочь, возьми из этого списка пятьдесят адресов и срочно отправляйся работать.

Честер внимательно просмотрел список, переданный ему Таратурой, и обратил свой взгляд, полный уважения, на комиссара.

— С тобой противно иметь дело,— сказал он Гарду.— Я в великих муках рожаю гениальную гипотезу, а у тебя, оказывается, уже отпечатанный на машинке список! Не человек, а голая кибернетика! Может, еще дашь вопросник, тиснутый типографским способом?

— Дам,— спокойно сказал Гард,— хотя и не типографским. Ведь каждый из нас возьмет по пятьдесят адресов. Нам необходимо задавать идентичные вопросы, чтобы иметь ответы, поддающиеся систематизации. Сними копию с экземпляра Таратуры.

Через пятнадцать минут они вышли из кабинета, сели в разные машины и растворились в потоке транспорта, несущегося по улицам города неизвестно куда.

Честер, правда, успел, позвонить Линде.

— Дорогая,— сказал он елейным голосом,— твой любимый супруг впрягся в новую телегу и отправился на поиски миллионного клада, из которого он выделит тебе крупную долю, достаточную для того, чтобы купить прелестные босоножки. Не волнуйся, дорогая, и поцелуй Майкла!

Затем Честер спешно повесил трубку, чтобы не слышать любезного ответа супруги.

22 мая в 11 утра сенатор Вильям Доббс обнаружил на сиденье своей машины записку следующего содержания:

«Отключите полицию. Доставьте пятьсот тысяч кларков в шестой от угла автомат на улице Арен-дайк 23 мая к двенадцати часам дня. Ваша дочь будет передана в двенадцать тридцать вашей жене на углу Спитройса и Сендидайк. В случае нарушения условий или слежки за нами полиции Ут будет уничтожена. Благожелатель».

Через полчаса Центральная картотека полицейского управления дала справку о том, что почерк писавшего записку по уголовному, политическому и превентивному каталогу не значится. Еще через пятнадцать минут экспертиза установила, что чернила соответствуют марке «Роджерс», изготовляемой фирмой «Роджерс и внук», наиболее популярной у покупателей. Что касается бумаги, то она была типа «ПТА-75», производства фирмы «Понти-Тэри-Айк», и употреблялась большинством гимназий и университетов страны. Кусок был вырван из тетради.

Районы города, прилегающие к названным в записке улицам, были немедленно взяты под усиленный надзор переодетой полиции.

Вечером 22 мая, когда Гард вернулся к себе в кабинет, ему позвонил Дитрих и передал точное содержание записки, полученной сенатором Доббсом.

Гард с нетерпением ожидал своих помощников.

Первым приехал Честер, чрезвычайно возбужденный сведениями, полученными от пятидесяти несчастных родителей. Потом появился Таратура. Узнав от Гарда о записке и мерах, принятых полицией, Таратура сказал:

— Дураки. На улице Арен-дайк никогда не было и нет автоматов...

Продолжение следует.

Павел БАГРЯК

Сыщик

Фантастический детектив

Поздно вечером Гард позвонил по внутреннему телефону Карлу Кервальду, руководителю кибернетической лаборатории:

— Карл, мне срочно нужна ваша помощь!

Кервальд спустился лифтом на пятый этаж со своего одиннадцатого, почти бегом миновал два коридора и, несколько запыхавшись, возник на пороге гардовского кабинета.

— Что случилось, Гард?

Они знали друг друга уже лет десять.

— Пустяк,— сказал Гард,— но даже он должен оставаться между нами.

— Фу, черт!— с облегчением выдохнул Кервальд.— У вас был такой голос, что я решил спасать вас от смерти.

— Почти так, Карл,— сказал комиссар.— Только не меня. Детей.

Коротко объяснив ситуацию, Гард изложил просьбу: как можно быстрее обработать с помощью перфокарт данные, полученные в течение минувшего дня им самим и его помощниками. Какие данные? Пожалуйста: возраст детей, наиболее посещаемые ими места, материальное положение родителей, время кражи, способ кражи, место кражи, размер выкупа — всего около тридцати вопросов.

— Через полчаса вам будет не поздно?— спросил Кервальд.— Тогда я пошел.

Часы показывали пятнадцать минут первого.

В половине первого ночи сенатору Доббсу была доставлена телеграмма, состоящая из одного слова: «Шутка».

Джин Моргинс на всякий случай арестовал почтальона и немедленно сообщил текст телеграммы комиссару Вутсу.

Элементарным исследованием было установлено, что телеграмму приняло агентство СПИП (Срочно Передаем и Принимаем), а специальный наряд полиции, перевернув свежий архив СПИПа, нашел оригинал. Он был написан тем же почерком, что и записка «Благожелатель».

Вутс после некоторых колебаний все же принял решение позвонить Воннелу. Министр тут же поднял на ноги членов Комитета по розыску. На экстренном совещании, состоявшемся в два ночи и длившемся ровно сорок семь минут, было принято решение: 1. Считать записку «благожелателя» шуткой и не реагировать на нее. 2. Наблюдение за племянником сенатора Набелем прекратить, о чем доложить сенатору Доббсу для его душевного успокоения. 3. Взять под неусыпный контроль все телеграфные и почтовые агентства страны.

В 2 часа 50 минут ночи Воннел поручил своему помощнику передать телефонограмму секретарю Дорона, который, в свою очередь, выполняя ранее отданное приказание генерала, тут же продублировал сообщение Вутса комиссару Гарду.

— Я же говорил,— спокойно заметил Таратура, когда вся троица познакомилась с событиями последних трех часов.

Без четверти два ночи Карл Кервальд положил перед Гардом данные — вытяжку из перфокарт.

Оказалось, что возраст бесследно исчезнувших ста сорока девяти детей колеблется от трех до шести лет. Материальное положение родителей — самое разное: вероятно, это обстоятельство не было решающим для кражи. Размер выкупа был произвольным, причем вовсе не соответствующим реальным возможностям семей. Следовательно, выкуп тоже не был главной целью рэкетиров, но что тогда было их целью? Способ кражи оказался настолько разнообразным, что ни о какой специфике и особом почерке преступников говорить не приходилось. Очевидно, рэкетиры исходили из конкретной обстановки, а потому пользовались разными методами. Так же обстояло дело со временем кражи — все 24 часа в сутки. А крали детей — боже, откуда только их не крали! С улицы, из квартир, из туалетов и даже прямо из рук родителей, предварительно оглушив несчастных тяжелыми предметами.

Увы, все эти сведения не давали никакого ключа к поиску, хотя любимый учитель Гарда, известный сыщик Альфред дав-Купер, частенько повторял: «Отсутствие ключа уже есть ключ!»

Зато неожиданно выяснилось одно обстоятельство, на которое ни Честер, ни Таратура, ни даже Гард не рассчитывали: словно сговорившись, родители в один голос заявили о том, что за сутки, за неделю или за две до исчезновения детей они побывали с ними либо в модной игротеке «Крути, малыш!», либо стригли ребятишек в парикмахерской «Пуся и К⁰». Точнее говоря, из ста сорока девяти ребят сто семь были в игротеке и все сто сорок девять — в парикмахерской.

— Потрясающе!— воскликнул Честер, ударив по плечу Таратуру.— Теперь преступники в наших руках!

— Умерь свои восторги,— заметил комиссар.— Ты удивляешься так, как будто узнал, что все дети выступали в варьете «Огнеметы любви» или у всех у них поголовно бабушки живут в Тегеране. Было бы странным, если бы они никогда не бывали в игротеке... Скажи мне, пожалуйста, как часто вы с Линдой стрижете Майкла?

— Скажи спасибо,— ответил Фред — что Линда моет его хотя бы раз в неделю.

Таратура, как всегда, громко расхохотался.

— А если серьезно?— спросил Гард.— Разве детей стригут чаще, чем раз в два месяца? Следовательно, мы можем расценивать сто сорок девять стрижек, сделанных в пределах двух недель до похищения, не как случайность.— Гард задумался.— Впрочем, такое яркое совпадение говорит о весьма примитивном уровне рэкетиров, что, кажется, на них не похоже...— Гард опять помолчал. Таратура с Честером не мешали ему думать. Наконец, он произнес:— Н-да, после такого улова, который нам дали перфокарты, настоящий рыбак дожидается ночи, чтобы вернуться домой незамеченным. Но не будем расстраиваться! Подумаем о дополнительных вопросах, которые нам следует поставить. А вам, Таратура, одно срочное задание: немедленно проверить медицинские данные каждого пропавшего ребенка. Вес, рост, группа крови, какими переболели болезнями...

— Зачем, шеф?

— Не знаю. Не могу еще объяснить. Просто чувствую.

— Но, шеф...

— Без «но», дорогой мой. Эти данные должны где-то быть. В семьях, в родильных домах, под землей, наконец, черт возьми!

Фред Честер, ощущая себя полным болваном, восхищенно смотрел на Гарда.

Глава 4. «ПУСЯ и К⁰»

Фирма «Пуся и К⁰» была такой же достопримечательностью Ньюкомба, как фонтан «Раненый кашалот», как стовосьмидесятидвухэтажное здание Слайд-Биадинг, где помещалась штаб-квартира крупнейшей в мире корпорации по производству фототоваров, как киноактер Юм-Рожери (его вилла была, правда, милях в сорока от города Нью, столицы Ньюкомба) и как двадцатидвухметровая шкура анаконды из музея естественной истории (хотя злые языки утверждали, что это две шкуры плюс художественная штопка).

Известность и слава фирмы зиждились отнюдь не на баснословных прибылях, не на сногсшибательном деловом размахе и не на применении ультрасупермодерновой техники. Нет, в городе ее любили какой-то особенной, трогательной любовью, неизвестной, наверное, ни одной фирме в мире. Ее любили, как любят старые открытки, детские книжки и рождественскую елку — все то милое прошлое, ушедшее и невозвратимое.

Парикмахерская фирма «Пуся и К⁰» делала куклы.

Но не торопитесь разочаровываться! Это не были говорящие, напичканные электроникой куклы-роботы, соображающие и разговаривающие лучше, чем дети. Это не были чудесные большеголовые куклы из особой эластичной синтетики, которые не горели, не тонули, не пачкались и не рвались, бессмертные очарования, переходящие из поколения в поколение,(но страшные своим бессмертием.

Это были старые, как мир, совсем обыкновенные тряпичные куклы с глазами-бусинками, совсем, казалось, обыкновенные, и все-таки знаменитые на весь город, даже на весь Ньюкомб.

Родились они лет шестьдесят назад, когда эмигрант Карел Пуся открыл на окраине Нью маленькую цирюльню, в которой стриг своих пациентов под неусыпным оком супруги Жаклин. Француженка отличалась удивительной практичностью, благодаря которой заведение Пуси быстро приобрело популярность. Уже тогда одной из главных приманок посетителей были тряпичные куколки, которые вручались клиенту, чтобы он приходил второй раз.

Это было необычно, мило, свежо и как-то по-домашнему непринужденно. В парикмахерскую потянулись папаши с детьми, затем дети с папашами, а потом и без них. Каждый ребенок торопился получить свой маленький приз, и именно в это время Жаклин сделала второй решительный шаг, отразившийся на популярности Карела Пуси: она придумала клеить для кукол примитивные парички из волос клиентов.

Прихоти людские — это мир, полный загадок. Никто не мог толком объяснить ни себе, ни другим, почему так хотелось иметь куклу с собственными волосами. Но все хотели ее иметь, и это было главным.

На похоронах Карела Пуси творилось, говорят, что-то невообразимое: бывшие дети рыдали, как дети настоящие, и казалось, что люди хоронят молодость. Но то, что молодость вечна, подтверждали два стройных молодых человека, которые первыми шли за гробом, ведя под руки старую Жаклин. Это были Иржи и Серж Пуся, которые не только унаследовали дело родителей (их бедная мать вскоре отправилась за своим мужем), но и обновили его одной оригинальной идеей.

К тому времени парикмахерская уже окончательно превратилась в детский салон, а центр города поглотил окраину, как это часто бывает с бурно растущими столицами государств.

Итак, Серж Пуся стриг, а Иржи Пуся в это время делал куклу — точную копию клиента с его собственными волосами. Родители могли внести ничтожную плату, своеобразный залог, зато через десять — двенадцать лет — в день совершеннолетия — бывший клиент, который был «оригиналом», мог выкупить у братьев Пуся свое собственное изображение.

Иржи Пуся, занимающийся куклами, специально окончил школу прикладного искусства (у него с детства был талант к лепке и рисованию, что, собственно, и послужило толчком к идее) и даже стажировался год у художников фирмы Уолта Лиснея. А Серж, его старший брат, заправлял в

Продолжение. Начало в № 1.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

парикмахерской, вел картотеку и учет клиентов.

Со временем братья наладили поточное производство, организовали склад по консервации кукол, и дело, успех которого поначалу вызывал большие сомнения, стало с каждым годом приносить все больше и больше прибылей.

Фирму «Пуся и К⁰» можно было бы считать вполне преуспевающей, если бы не быстрое течение времени, подтачивающее ее основу. Дело в том, что, целиком отдавшись чужим детям, братья как-то позабыли о собственных, не обзавелись женами и теперь остались без наследников. Впрочем, деньги всегда находят людей, которые даже без родственных связей готовы их заполучить. Но вот талант и вкус к работе... Иными словами, со смертью Иржи и Сержа Пуси — не дай, конечно, бог, пусть проживут они еще сто лет, а потом еще двести!— кончалось и их премилое дело.

Вот так же вымирает некогда могущественное племя, если в нем остаются одни старики, истратившие всю молодость для достижения могущества.

У старых братьев был только один родственник, и тот очень дальний, троюродный племянник по материнской линии. Его звали Туром Сайрусом, и он владел игротекой «Крути, малыш!». Кстати сказать, Сайрус уже несколько лет приобретал у старых братьев куклы, не востребованные оригиналами, и поддерживал таким образом деловой контакт со своими дальними родственниками. Почувствовав, что их сегодняшнее творчество они уже вряд ли сами реализуют, Иржи и Серж Пуся предложили Туру Сайрусу, человеку еще молодому и энергичному, купить у них и покупать впредь, пока они будут работать, куклы. Разумеется, за четверть цены. Тур немедленно согласился, и два с половиной года назад фирма «Пуся и К⁰» пережила грустную, но неизбежную реконструкцию.

Несколько циничный и тем самым вполне современный, Тур Сайрус, пополнив свой собственный склад кукол и гордясь им, сравнивал его с винным погребом. «Мои куколки,— говорил он друзьям,— как хороший коньяк, из года в год становятся дороже».

Истинный житель своего города, Дэвид Гард отлично знал историю фирмы, не говоря уже о том, что и у него дома над кроватью висела маленькая кукла с черными, как смоль, волосами — былой красотой нынешнего комиссара полиции.

На куклу как раз и смотрел Гард, думая о быстротечности нашей жизни, когда раздался звонок в передней.

Честер привез с собой бутылку джина, ветчину и банку сливок. Они выпили по рюмочке, наспех перекусили, и Гард сказал:

— Пора. Будешь стоять через улицу напротив, у витрины, где крокодил жует пирожное. Только не вздумай заходить в салон и будь предельно внимательным. А я...

— Ты уверен,— перебил Фред,— что они тебя не знают?

— С того момента, когда я последний раз был у них, прошло лет тридцать пять...— Гард невольно бросил взгляд на куклу, и Фред поймал его, мысленно посочувствовав другу.— В том-то и дело, старина, что их знает весь город, а они — никого.

— Но явиться в салон без ребенка...

— Пустяки,— сказал Гард.— Я представлюсь налоговым инспектором, документы у меня в порядке.

— Все равно липа,— сказал Честер.— Ведь нам важно увидеть их работу в чистом виде, как это было с родителями ста сорока девяти детей, а не с налоговыми инспекторами.

Гард засмеялся:

— Ну, где я возьму ребенка? Для того, чтобы сегодня идти с ним в парикмахерскую, я должен был подумать об этом минимум четыре года назад!

— Возьми Майкла,— предложил Честер.

— А что? Это мысль. Только избавь меня от объяснений с Линдой.

— Она и знать ничего не будет,— пообещал Честер.— Я просто поймаю во дворе Майкла, проведу с ним небольшую разъяснительную работу, и он потом такое наворотит матери, что даже я поверю.

— Знаешь, Фред,— сказал комиссар, сделав два шага назад и оглядев Честера с ног до головы, словно прицениваясь,— а ты и впрямь молодец. Ей-богу, тебя можно брать к нам в стажеры. Бездна логики, проницательность, собачий нюх...

— И тупость ума, столь свойственная представителям твоей профессии,— в тон Гарду добавил Честер.

Через полтора часа Гард шагал по улице города, держа за руку пятилетнего Майкла Честера. Кто с кем должен идти в ногу, Гард не знал и потому старался приноровиться к мелким шажкам ребенка. Майкл искоса наблюдал за усилиями комиссара, а потом, не выдержав, заметил:

— Дядя Дэвид, ты выглядишь довольно глупо. У взрослых шаг должен быть длинным.

Гард покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, наставительно произнес:

— Ведь мы договорились: никакой я тебе не дядя, а самый настоящий...

— Знаю,— сказал Майкл,— я должен звать тебя папой. И еще не трогать коробочку, которую ты положил мне в карман.

— За все за это я куплю тебе заводной танк и трех солдатиков.

— Но не по двадцать пять лемм за каждого, а которые по пятьдесят!— добавил Майкл.

Они двинулись дальше, а по другой стороне улицы независимой походкой двигался Фред Честер.

В зале ожидания никого не было, но в кресле за стеклянной перегородкой, делавшей парикмахерский салон похожим на аквариум, сидела заплаканная четырехлетняя красавица. Старый Серж Пуся подвивал ей локоны и что-то говорил, говорил, говорил, отчего девочка, наконец, стала улыбаться. Затем, раскланявшись с ней, как со взрослой дамой, и проводив до двери, Серж Пуся подошел к ожидающим.

— Прошу простить меня,— сказал он, обращаясь непосредственно к Майклу,— я, кажется, заставил вас подождать. Отличный волос, молодой человек! Я рекомендовал бы вам б е н д и, если, конечно, ваш папа не будет возражать.

— Не будет,— сказал Майкл.

— Тогда прошу!

И он увел Майкла в аквариум.

Гард вытащил очки, в оправе которых находился приемник, сунул в ухо крохотную запонку динамика и развернул газету. В кармане штанишек Майкла лежала маленькая, но чрезвычайно хитрая коробочка, которая не только записывала все слова, произносимые в радиусе пяти метров, но и транслировала их прямо в ухо комиссару полиции. Сначала Гард услышал какое-то звяканье — через стекло ему было видно, как Серж Пуся усаживал Майкла в роскошное подвижное кресло, оборудованное большим количеством никелированных рычажков, кнопок и рубильников. Затем...

— Ну, вот и отлично,— сказал старик.— Б е н д и — это, по совести говоря, мода будущего, но кто сказал, что нужно ходить в сегодняшних модах?

Майклу шутка понравилась, и он непринужденно засмеялся.

— Простите, я совершенно забыл, как вас зовут?

— Майкл,— сказал Майкл.— Меня зовут Майкл Честер, а там, в зеркале, сидит мой папа.

«Молодец»,— отметил про себя Гард.

— Ба! — воскликнул Пуся.— А не тот ли вы Майкл Честер, который любит яблочный пудинг и прекрасно играет в индейцев?

— Хм,— подозрительно хмыкнул Майкл.— А откуда вы знаете?

— Я все знаю, молодой человек, даже то, что ваш папа...

И Гард и сын Честера внутренне сжались при этих словах, но Пуся неожиданно отвлекся, беря в руки электрическую машинку и включая ее в сеть. Работа началась, и Гард видел через стекло, что Серж Пуся орудовал инструментом просто с феерической ловкостью, напоминающей ловкость артистов цирка. Когда первый этап стрижки завершился, Майкл, к великому огорчению Гарда, спросил:

— Так что же мой папа?

— А, вы про это?— сказал Пуся, и Майкл согласно кивнул головой.— Я хотел сказать, что ваш папа, наверное, закажет мне маленького игрушечного мальчишку, очень на вас похожего, да еще с вашими прекрасными волосами в придачу! Как вы думаете?

Майкл искренне поделился сомнениями с Пусей:

— Трудно сказать. Ведь он обещал купить мне солдатиков и заводной танк...

— Отличная штука — заводной танк!— кивнул Серж Пуся.— Очень нужная в доме вещь. Заводной танк! Я вам просто завидую. Но ведь кукла, о которой я говорю, вполне сгодилась бы вам, даже если вы станете танкистом. А? Что скажете по этому поводу?

— Пожалуй,— согласился Майкл.

— Я думаю, надо поговорить с папой об этом, и вы меня поддержите...

«Ах, хитрая бестия!— подумал Гард, не испытывая, однако, никаких неприятных чувств к старику.— Сделка-то начинается уже в кресле, когда папа, сидя в зале ожидания, и не ведает о том, что на его карман готовится маленькое покушение! Наверное, звуконепроницаемое стекло поставлено с этой же целью. Сейчас он явится сюда с мальчишкой, заведет разговор о кукле, и бедный родитель поднимет лапки кверху».

Случилось именно так, как предполагал Гард. Куклу пришлось заказать, тем более что заказ этот был на руку комиссару полиции. Когда Гард оплатил заказ — всего полтора кларка, не бог весть какие деньги,— Пуся сфотографировал Майкла в фас и профиль, любезным образом раскланялся с ним, а заодно и с Гардом и проводил их до двери. В зале ожидания уже вертелся очередной клиент, молодая родительница которого плотоядно смотрела через окно на витрину, где крокодил жевал пирожное.

Некоторое время спустя, после того как Честер отвел Майкла домой, вручив ему танк и пятидесятилеммовых солдатиков, они вместе с Гардом еще раз внимательно прослушали запись беседы Пуси с ребенком. Ничего подозрительного в разговоре не было, как и при наблюдении с той точки, где находился Честер.

— Чепуха!— сказал Фред с явным разочарованием в голосе.

— А ты что же, думал, что мы с Майклом в одно мгновение разоблачим рэкетиров и тут же их арестуем?— сказал Гард.— И репортер Фред Честер получит преимущественное право брать интервью у собственного сына?

— Но ведь старика совершенно не интересовал мальчишка! Ни откуда он, ни богатые или бедные у него родители, ни где они живут...

— Стоп, стоп, не надо торопиться,— прервал Гард.— Во-первых, в ста сорока девяти случаях материальное положение родителей тоже никого не интересовало. Что касается адреса, то Пуся взял его у меня, сказав, что должен прислать напоминание. Вот видишь...

— Что «видишь»? Ничего я не вижу. У Пуси перебывало много тысяч детей, в его хранилищах — сотни тысяч кукол, и только потому, что исчезнувшие дети когда-то обстригли у него свои макушки, он должен их воровать? Он гангстер? Чепуха!

— Брось кипятиться,— примирительно сказал Гард.— Я вовсе и не думаю тебя в чем-либо убеждать, потому что и сам не уверен. Хотя это правильно, что мы пошли в парикмахерскую. В конце концов мы теперь знаем, что адреса и фотографии похищенных детей наверняка были у Сержа Пуси и, вероятно, в игротеке у Тура Сайруса. Значит, нам еще следует добраться и до него...

Оба замолчали, погрузившись в размышления.

— А знаешь,— сказал после паузы Честер,— это уже кое-что.

— Нет,— сказал Гард,— это меньше.— Так часто бывало, что, споря, они менялись позициями, подставляя друг другу и свои слабости и свои козыри.— Это было бы «кое-что», если бы у Пуси не существовали адреса и фамилии многих тысяч ребят, которых никто не похищал и которые преспокойно живут со своими мамами и папами.

— Все правильно,— сказал Честер.— Но есть еще какой-то признак, какая-то упущенная нами деталь, сыгравшая, быть может, роковую роль в судьбе похищенных.

Гард при этих словах взглянул на часы — они сидели в его кабинете — и тихо произнес:

— Надо дождаться Таратуру.

— Ты думаешь, вес детей или их кровь?! — сказал Честер.

— Не знаю. Ничего пока не знаю.

— Какой ужас!— прошептал Фред, ярко представив себе судьбу исчезнувших ребятишек, если недостающей деталью, о которой он говорил с Гардом, была их кровь.

Заканчивался второй день поиска, но не было даже намека на результат. Через те же каналы, что и прежде, Гарду стало известно, что Президент звонил министру Воннелу, Воннел — Вутсу, а Вутс пообещал Мартенсу снять с него голову, если по прошествии еще одних суток не появится «хотя бы надежда», как выразился Президент.

Весь город уже знал не только о случившемся, но и о мерах, принятых полицией. Невозможно было появиться на почте или на телеграфе без того, чтобы тебя не обыскали, не сняли отпечатков пальцев и не проверили твой почерк. Аэропорты, железнодорожные станции и автострады были намертво перекрыты: поиск Ут Доббс велся по принципу наивысшей интенсивности. Проверялся багаж, выворачивались наизнанку автомашины, просматривались бандероли, вспарывались перины, только что купленные в магазине, но еще не доставленные домой,— через такое густое сито, казалось, иголка не проскочит, не то что человек.

Всеобщая подозрительность охватила город до такой степени, что родители боялись появляться на людях со своими детьми, чтобы окружающие не подумали, будто они нарочно демонстрируют покой и благополучие, которых на самом деле нет, поскольку их совесть чем-то замарана.

В городской тюрьме все еще пребывала в истерическом состоянии гувернантка Доббсов — Бригитта Ворбус. Ее многократно допрашивал лично комиссар Вутс, добиваясь точного описания человека, похитившего бедную девочку.

— Он был в шляпе?— спрашивал комиссар.

— В канотье!— уже истерически кричала гувернантка.

— Какого цвета были его носки?

— Рыжего!

— Какой был у него голос?

— Женский!

— Вы что, с ума сошли?— спрашивал Вутс.— Быть может, вы еще скажете, что он был не один, а их было двое? Или четверо?

— Одиннадцать!— кричала Бригитта Ворбус.— Как в команде регбистов! А двенадцатый, запасной, сидел на дереве! Что вы от меня хотите? Я не помню, как он выглядел и сколько их было! Ут пора кормить, вы понимаете? Пора кормить! Ищите мою девочку и не терзайте меня!

— Вы уверены,— перебил ее Вутс,— что преступник был в канотье?

— О, боже!— только и могла выкрикнуть гувернантка.

В конце концов, окончательно разозлившись, она дала описание человека, укравшего Ут Доббс, составленное из суммированного внешнего вида племянника сенатора Набеля и его суки Блюмы: лысый череп, зеленые глаза, длинные зубы, короткие ноги, плачущий голос и отвислый зад.

Самым удивительным было то, что как в воду она смотрела.

К вечеру Таратура принес Гарду справку, прочитав которую, комиссар понял, что конец веревочки, образовавшей сложный и запутанный клубок, он все же ухватил. Оказалось, что у всех ста сорока девяти детей — семидесяти пяти девочек и семидесяти четырех мальчиков,— согласно данным картотек, хранящихся в детских консультациях, была одна группа крови: первая. И одинаковый резус-фактор: отрицательный! Все прочие медицинские данные не поддавались систематизации ввиду полного разнобоя.

Это и был, очевидно, тот самый недостающий роковой признак.

— Завтра же утром вы отправитесь к Пусе,— сказал Гард инспектору Таратуре.— Возьмите документы налогового работника и проверьте доходы фирмы. Действуйте спокойно, вежливо, но предельно внимательно. Заодно прихватите у него десятка полтора фамилий клиентов — на выбор, из реестровой книги — и проверьте, есть ли среди побывавших в парикмахерской и не пропавших,— не пропавших!— такие, у которых первая группа крови и отрицательный резус-фактор. Поняли меня?

Таратура кивнул головой.

— Я буду ждать телефонного звонка. Здесь. Прямо с утра.

— Договорились, шеф,— сказал Таратура.

Рано утром следующего дня маленькая Ут Доббс осторожно вошла в спальню своих родителей. Потрясенный миллионер не поверил своим глазам, а жена его тут же упала в обморок.

Прибывший на место комиссар Вутс мягко допросил ребенка в присутствии сенатора Доббса и инспектора полиции Мартенса:

— Где ты была?

— У дяди Набеля.

— Что ты там делала?

— Играла с Блюмой.

— А что ты ела?

— Все.

— Кто же тебя кормил?

— Дядя Набель.

— Он не выпускал тебя из комнаты?

— Я сама не хотела.

— Почему?

— Мне надоела Бригиттка.

— Где же ты спала?

— В кресле.

— А чем укрывалась?

— Портьерой.

— Ты сама придумала спрятаться?

— А кто же еще?

Дальнейший допрос девочки был бессмысленным. Срочно вызванный Набель промычал что-то плачущим голосом, потом нежно погладил Ут по головке, а затем показал кулак той стороне здания, где находилась комната гувернантки Бригитты Ворбус. Неожиданно для Вутса и Мартенса он оказался от рождения глухонемым.

Как выяснилось при дополнительной проверке, серый платок, пропитанный фтолметилсупергипри-

том, из-за которого свалилась с ног гувернантка Ворбус, принадлежал ей самой. Прибирая спальню хозяев, она, по своему обыкновению, хотела воспользоваться чужими дорогими духами, но перепутала флаконы. Зачем, в свою очередь, понадобился фтолметилсупергиприт сенатору Доббсу и его супруге, выяснять никто не решился.

Тут же был дан отбой по всем официальным и неофициальным каналам.

Гард еще находился дома, когда ему позвонил Дитрих. Коротко сообщив суть происшедшего, он предупредил Гарда, что сейчас с ним будет говорить генерал Дорон.

— Комиссар?— услышал Гард через секунду.— Дело кончилось фарсом, но я рад такому исходу. Двадцать процентов вашего гонорара будут перечислены вам немедленно. Благодарю за усердие.

И трубка, не дожидаясь гардовского ответа, возвестила об окончании разговора короткими гудками.

«Для кого дело кончилось,— подумал про себя Гард,— а для кого только начинается».

По дороге в управление Гард купил «Мир пять минут назад», утренний выпуск, и на первой же полосе прочитал сообщение о том, что никакого рэкетирства в стране нет. «Слухи о нем,— читал Гард,— имевшие целью посеять панику и неразбериху, пущены представителями оппозиционной партии, которая уже начала подготовку к очередным выборам в сенат».

Удивительно просто решались проблемы в Ньюкомбе!

Таратура позвонил Гарду около десяти утра. Уж лучше бы он не звонил! Да, ему удалось установить несколько адресов детей, имеющих первую группу крови и отрицательный резус, которые побывали в парикмахерской, но до сих пор преспокойно жили в своих домах.

Логическая схема, нарисованная Гардом, давала трещину. Получалось, что все похищенные сто сорок девять детей побывали в парикмахерском салоне «Пуся и К^0», но в нем побывали и тысячи непохищенных! Все сто сорок девять имели первую группу крови и отрицательный резус-фактор, но были дети с такой же кровью, благополучно оставшиеся целыми! Значит, думал Гард, есть еще какой-то дополнительный признак, наличие или отсутствие которого предопределяло похищение. Какой?

Кроме того, Гард никак не мог взять в толк, при чем тут парикмахерская. Ведь там не делают анализа крови. Правда, адреса, фотографии... Но комиссар что-то не слышал, чтобы по фотографии можно было определить резус.

Гард долго сидел в кабинете, потом встал, походил, снова сел и вдруг ринулся к телефону, вспомнив что-то чрезвычайно важное.

— Фред?— сказал он.— Как хорошо, что я застал тебя дома! Слушай, дружище...

— Я уже все знаю,— сказал Честер.

— Ты ничего не знаешь,— перебил Гард.— Сейчас я звоню по другому поводу. Скажи мне, у тебя есть медицинская карточка Майкла? Будь другом, взгляни, какая у него группа крови и резус-фактор... Ну, я потом объясню... Жду.

Пауза. Гард неподвижно, как изваяние, сидел в своем кресле. В пепельнице дымилась сигарета, к самому потолку отправляя синие остатки того, что было ее смыслом.

— Первая!— услышал Гард голос Честера.— Резус отрицательный. А что случилось?

— Слушай, Фреди, там нет поблизости Линды? Хорошо. Так вот, напряги свое внимание... Я не паникер, ты знаешь, но не исключено, что, может быть, мы поставили мальчика под удар. Не перебивай, я знаю, что говорю... Во всяком случае, очень прошу тебя: не отпускай его никуда одного. Присмотри за ним. Кстати, где он сейчас? Дома? Ну и хорошо. Так ты понял меня? Ты хорошо меня понял?

Гард повесил трубку. Потом вдруг громко сказал в пустоту:

— И зачем я взял его в парикмахерскую!

Глава 5. МАЙКЛ

В свои пять лет Майкл был таким сообразительным ребенком, каким его папа, дай бог, будет лишь в пятьдесят, если, конечно, будет. Когда Линда устраивала Фреду то, что он называл «симфоническим концертом», Майкл не вмешивался ровно до той поры, пока это было терпимо. В критический момент он неизменно входил в комнату и с невинным видом говорил нечто такое, от чего родители мгновенно забывали друг о друге и начинали заниматься ребенком. Например: «Мама, это хорошо, что у меня появилась сыпь?» «Что?!— восклицала Линда.— Сыпь?! Где?» Через минуту голый Майкл уже крутился перед родителями, как новый товар в витрине универсального магазина «Клопкин и Штусс», разочарованно приговаривая: «Неужели мне показалось?» Вновь обретшая счастье и покой Линда шептала Фреду, блестя повлажневшими глазами: «Нам нужно беречь сына, а не сводить мелкие счеты. Ты даешь обещание?» И Честер давал, хотя никогда не мог догадаться, в чем заключается его вина перед супругой и откуда берутся эти мелкие счеты.

Что же касается наблюдательности Майкла, то ей мог позавидовать великий Альфред дав-Купер. Пройдя единожды мимо Дворца Президента, он мог потом целый час рассказывать отцу об увиденном и достопримечательностях, о которых не подозревали даже самые лучшие гиды страны. Именно от Майкла, к примеру, Фред узнал, что на подоконнике двенадцатого окна четырнадцатого этажа, если считать от площади Возмущения, стоит капитально вмонтированная подзорная труба, через которую, как уже сам догадался Фред, господин Президент мог наблюдать окна заведения мадам Борвари.

При всем при этом Майкл был настоящим ребенком, физические возможности которого не имели, кажется, предела. Если он начинал бегать вокруг клумбы в парке Сента-Клосс (где они, кстати, с отцом сейчас гуляли), с него могли делать чертежи неудачливые изобретатели вечного двигателя. Если он, обидевшись, объявлял голодовку, он мог оставаться без еды, наверное, целый год, вызывая у матери истинные страдания. Но если Майкл садился за книжку с картинками, изображающими войну, даже настоящая война не могла вернуть его к реальности.

Майкл первым заметил трех незнакомых «дядей», не спускавших с него напряженных взоров...

Продолжение следует.

Павел БАГРЯК

Синие люди

Фантастический детектив

— Папа,— сказал Майкл,— ты не знаешь, что им надо?

О, Фред отлично знал! Резко обернувшись, он встретил недвусмысленный взгляд двухметрового гиганта, который был у них, вероятно, за главного. И тогда, ни слова не говоря Майклу, быстро свернул на центральную аллею. Крепко держа сына за руку, Честер подошел к ближайшей телефонной будке.

— Дэвид? — сказал он, когда услышал характерное «да-да» на том конце провода.— Я должен сообщить тебе нечто важное. За нами с Майклом ходят подозрительные типы. Выезжай сам или присылай Таратуру, а мы послужим приманкой.

— Где вы находитесь? — спросил Гард.

— В парке Сента-Клосс, в районе Круглых прудов.

— Не клади трубку, я кое-что выясню.

Пока Гард что-то выяснял, Честер видел через стекло, как троица, не дойдя до телефонной будки метров двадцати, нахально остановилась. «Вот кретины!— невольно подумал Честер.— Даже странно, почему полиция до сих пор не может покончить с рэкетирами, работающими так грубо».

— Алло!— послышался наконец голос Гарда.— Фред, посмотри на этих типов и скажи мне, есть ли среди них детина двухметрового роста?

— Есть,— несколько недоумевая, ответил Честер.

— А не торчит ли у него в петлице пиджака красная гвоздичка?

— Гвоздичка это или нет,— ответил Честер,— но что-то красное торчит...

— Тогда не волнуйся. Это мои болваны. Я сейчас позвоню Хьюсу и попрошу почистить им мозги. К сожалению, дорогой мой Фред, детектив с таким ростом умным быть не может.

Выйдя из будки, Честер нарочно прошел с сыном совсем близко от громил, смерив их презрительным взглядом. Впрочем, на лицах полицейских ничего не отразилось.

Подходило время, когда в парк должна была явиться Линда и сменить мужа. Троица тупо сопроводила Честера с Майклом до небольшого детского ресторанчика «Когда я ем» и терпеливо наблюдала, как они без особого энтузиазма расправлялись со вторым завтраком. Когда пришла Линда, Фред решил не предупреждать ее о грозящей Майклу опасности: во-первых, жена умрет от одного разговора о рэкетирах, а, во-вторых, в присутствии детективов ничего случиться не может. Единственное, что сделал Фред, так это отвел в сторону сына и на всякий случай сказал ему:

— Майкл, дай мне слово, что ты будешь в оба глаза смотреть за мамой и не отходить от нее ни на шаг.

— Почему? — полюбопытствовал Майкл, не умевший быть слепым орудием даже в руках собственного отца.

Фред помялся, а потом таинственно произнес:

— Видишь? — И кивнул в сторону трех громил.

Майкл тоже посмотрел на «дядей», что-то переварил в своем детском мозгу и хитро улыбнулся. Честер не мог поручиться за то, что его сын не подумал о напрасных опасениях отца, поскольку мама совсем недавно в присутствии Майкла выразилась в том духе, что мужчины с неинтеллектуальными рожами не в ее вкусе. Впрочем, Майкл мог решить, что его папа — слишком хитрая бестия, если придумал сыну поручение, которым всего-навсего облегчал матери надзор за ребенком. Так или иначе, но после некоторой паузы Майкл сказал:

— Езжай спокойно.

И тут же, без всякого перехода, бросился с пронзительным воинственным кличем «Фи-и-ксa!» навстречу Роби Найту, показавшемуся со своей мамой в конце аллеи.

И никакое мрачное предчувствие не шевельнулось в этот момент в душе Фреда Честера.

Было очень жаркое лето. От мягкого, расплавленного асфальта поднимались густые, тяжелые пары воздуха, заполняя дома и выкуривая из них все живое. Бессильной оказалась даже новейшая модель кондиционирующей установки под веселым названием «Перед смертью не надышишься». Жители, не занятые работой, но и не уехавшие на море, выходили утром на улицу с единственной, казалось бы, целью: найти кусочек спасительной тени. Расположившись в низких плетеных креслах под тентами, вытянув ноги и ослабив поясные ремни, мужчины тянули холодное пиво, ощущая разваренность мозга и леность мысли. Женщины предпочитали укрываться от жары в парках и скверах, наслаждаясь относительной холодностью желтого и мелкого, как пудра, искусственного песка. И только дети чувствовали себя в родной стихии: они бегали, прыгали, кричали и радовались, с недоумением поглядывая на взрослых, напоминающих рыб, выброшенных из воды.

Марион Найт и Линда Честер попытались было поговорить о новой моде на вечерние туалеты, но разговор не получался, и они умолкли, сонно рассматривая окружающее. Иногда в поле их зрения попадали играющие Майкл и Роби, и все на свете, кроме двигающихся детей, казалось им остановившимся, замершим, приторможенным и уснувшим.

Вероятно, именно поэтому бурные события, разыгравшиеся в течение каких-то пяти-шести минут, произвели на них впечатление долгого, мучительного и кошмарного сна.

Сначала Линда услышала визг ребенка — резкий и протестующий. Затем ее взгляд вырвал из заторможенного окружающего мира странно подвижную картину: двое мужчин тащат в кусты ребенка, держа его за руки и за ноги, но ребенок, визжа, яростно сопротивляется, и потому мужчины, подчиняясь сгибающимся и разгибающимся движениям ног ребенка, то сходятся, то расходятся и между тем все же неумолимо удаляются в сторону густых зарослей парка. И тут более интуицией, чем слухом или зрением, Линда поняла: Майкл! Никакого чувства страха! Лишь удивление: да что они, с ума сошли — выдумывать такие идиотские игры! И вот уже Линда ощутила себя стоящей на ногах,

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

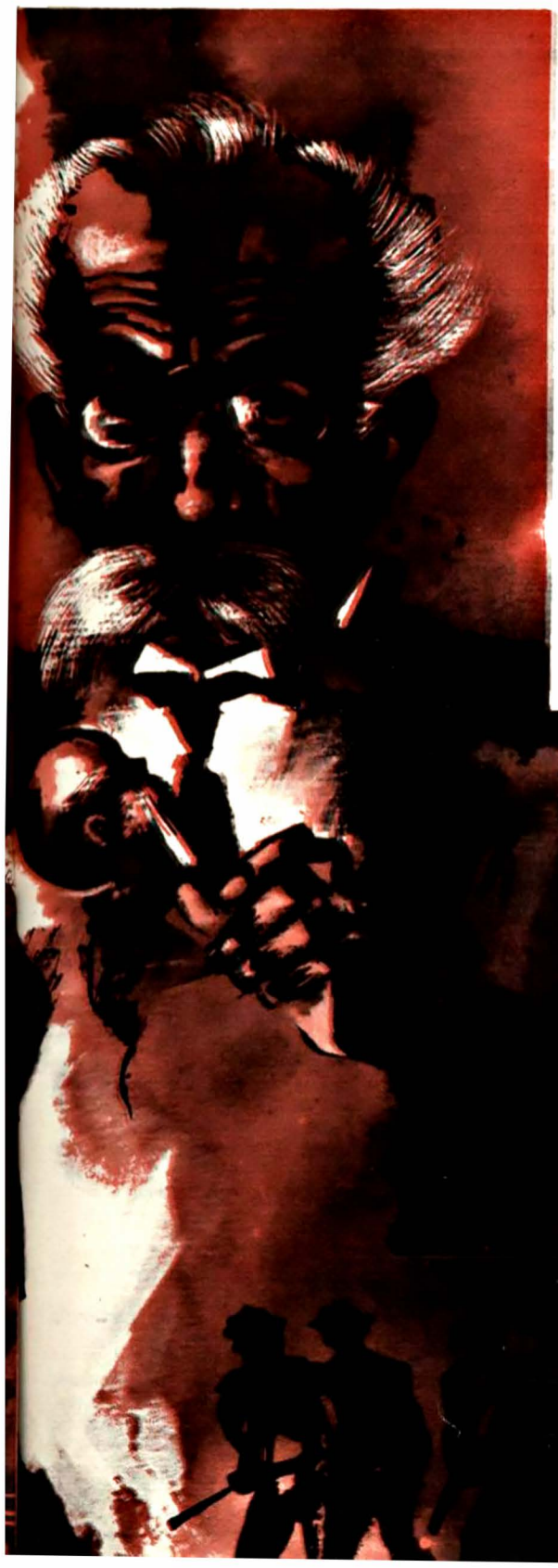
Продолжение. Начало в №№ 1 - 2.

уже бегущей, хватающей за руки незнакомых мужчин и вот уже что-то кричащей. Всепоглощающий страх обуял ее, когда она увидела вместо обычных человеческих физиономий тупые, одетые на лица маски, неспособные ни выслушать, ни понять, ни пожалеть, ни даже испугаться. Мужчины с настойчивостью механизмов продолжали делать свое дело,— и Линда поняла: бандиты! И вновь, но уже во сто крат увеличенное, возникло у нее желание действовать: кусать, бить, царапать и рвать,— но обязательно спасти сына! — желание, делающее всех матерей во всей живой природе безумно храбрыми, сильными, готовыми на самопожертвование.

Когда Майкл оказался в ее руках, а двое бандитов — связанными и лежащими на траве, Линда не сразу поняла, что этот результат — не ее рук дело. Секундой позже она увидела, что рядом стоят полицейские с резиновыми дубинками в руках. Они тяжело дышали, как после хорошей физической работы. Чуть в стороне в истерике билась Марион Найт, прижимая к себе перепуганного Робика, и еще один полицейский, возрастом немного постарше остальных, успокаивал ее и гладил мальчишку по головке.

Садясь с Майклом в микроавтобус, тоже как во сне появившийся на аллее парка, Линда махнула Марион рукой и, пока туда же втаскивали двух бандитов, сказала:

— Позвони Фреду! О, боже мой!



Через пятнадцать минут в кабинете Гарда раздался телефонный звонок. Это был Честер.

— Спасибо, старина!— заорал он.— Мне Марион все рассказала!

— На здоровье,— ответил Гард.— Только объясни, пожалуйста, кто такая Марион.

— Подруга Линды, ведь все случилось на ее глазах. Она говорит, что те двое имели жалкий вид. Хорошо, что они не вывернули Майклу руки и ноги...

— Стоп, стоп,— прервал Гард.— Начни все сначала.

— Я говорю: не вывернули ноги!— сказал Фред, полагая, что комиссар плохо слышит.— Линда у тебя?

— А разве она должна быть у меня? Что случилось?

Фред на мгновение умолк, соображая, почему комиссар задал такой нелепый вопрос.

— Разве ты не знаешь? Двадцать минут назад двое бандитов напали на Майкла. Ты слышишь меня?

— Да-да, слышу.

— Все это произошло на глазах Линды и Марион Найт, ее приятельницы, жены Фредерика Найта, владельца кабаре «Одно прекрасное мгновенье...».

— Не отвлекайся.

— Хорошо. Но твои люди вовремя оказались на месте.

— Прекрасно,— сказал Гард.— И что же?

— И отбили Майкла. Бандиты пойманы, Гард! Ты слышишь меня? Все они поехали в управление, так, во всяком случае, поняла Марион. А там езды всего пять минут.

— Где все это случилось?

— В парке Сента-Клосс, район Круглых прудов.

— Минуту.

Свободной рукой Гард нажал кнопку звонка и бросил вошедшему дежурному:

— Хьюса! Срочно ко мне!— И уже в трубку: — Фред, подожди секунду, я сейчас выясню, где Линда с Майклом.

Вошел инспектор Хьюс, и Гард, прикрыв трубку ладонью, сказал:

— Докладывайте, Хьюс.

— Что именно, шеф?

— Разве вам нечего доложить? Вы посылали наряд, где же он?

— Не понял вас, шеф.

— Семнадцатый объект!— слегка повысив голос, произнес Гард.— У вас девичья память, инспектор. Вроде бы не по возрасту.

— Семнадцатый...— Хьюс задумался.— А! Семнадцатый! Майкл Честер! Так вы же сами просили меня, чтобы я прочистил мозги Шамбуру и его мальчикам. Я снял их с объекта...

— Отлично. Кто вместо них?

— Пока никого. Заступит вторая смена, и я поставлю Мердока. Я полагал, что маленький перерыв...

— Как никого?! — взревел Гард, но тут же взял себя в руки.— Честер! Будь у телефона!

Комиссар резко поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стоял селектор. Нажав кнопку «Внимание!», он произнес в микрофон:

— Говорит комиссар Гард! Всем дежурным управления срочно проверить по участкам и доложить мне по форме сто одиннадцать, какая из наших групп принимала участие в спасении от бандитского налета ребенка по имени Майкл Честер в парке Сента-Клосс приблизительно полчаса назад!

Прошли томительные две минуты, прежде чем включился первый дежурный, а за ним — остальные, строго соблюдая очередность, соответствующую номерам полицейских участков. Увы, никаких рапортов ни от кого не поступало: собственно, на другой ответ Гард не рассчитывал. Повернувшись к Хьюсу, он сказал:

— Простите, но вы болван!

— Я просил бы, шеф...

Но Гард уже поднял телефонную трубку:

— Фреди! Сколько было «моих» людей, и как они были одеты?

— Марион сказала, что пятеро,— ответил Честер.— Пятеро полицейских. А что?

— На чем они выехали в управление?

— Не знаю. А где же Линда с Майклом, Гард?

— Скажи мне, Фреди, где находится твоя Марион?

— Ты как-то нехорошо говоришь, Дэвид. Что-нибудь случилось?

— Дай мне срочно адрес или телефон Марион!— заорал в трубку Гард.— Мне дорога каждая секунда, а ты лезешь с дурацкими вопросами! Может, еще ничего не случилось, я буду сейчас выяснять, но многое в этой истории мне не нравится! Диктуй адрес!

Одновременно с этими словами Гард вновь вызвал дежурного и, когда тот появился в дверях, коротко бросил:

— Таратуру! Из-под земли!— Затем Хьюсу: — Я, конечно, погорячился, инспектор, но счеты со мной вы сведете когда-нибудь позже. Сейчас надо работать. Срочно берите людей и обследуйте парк Сента-Клосс, район Круглых прудов... Одну минуту. Фред! Ты нашел наконец адрес? Да, я готов записывать. Улица Глоссера, 16, Марион Найт. Прекрасно. Телефона нет? Это хуже. Откуда ты говоришь?

— Что-нибудь случилось, Дэвид?

— Я спрашиваю, откуда ты говоришь?! — теряя терпение, прорычал Гард.

— Из редакции. Но перестань кричать на меня, я ни в чем не виноват!

— Прости меня, Фреди,— сказал Гард, вновь беря себя в руки.— Или сиди на месте, или приезжай сюда. Мне некогда. Все!

И Гард, бросив на рычаг трубку, повернулся к Хьюсу:

— Имейте в виду, инспектор: под видом полицейских действует банда рэкетиров, но, кажется, они даже не рэкетиры. Будьте внимательны и осторожны! Из парка отправляйтесь с группой к Туру Сайрусу в игротеку. Не показывайтесь ему на глаза, ведите наблюдение и ждите моих указаний. Поддерживайте со мной постоянную радиосвязь. Действуйте!

Открылась дверь, стремительно вошел Таратура.

— Я все понял, Гард,— сказал он.— Я слышал селектор. Упустили?

— Боюсь, что да... Вам два задания. Вот адрес, поезжайте и допросите Марион Найт. На ее глазах все и случилось. Результат доложить мне по телефону. Второе: прямо оттуда отправляйтесь в парикмахерскую, я подошлю вам группу Мердока. Будете держать братьев на мушке.

Очередные десять минут Гард простоял у открытого окна, стараясь привести в порядок слегка расшалившиеся нервы. Затем позвонил комиссару Вутсу.

— Приветствую вас, коллега,— произнес Гард голосом, в котором было больше актерских, чем человеческих интонаций.— Я еще не успел вас поздравить с благополучным завершением дела Ут Доббс, так что примите...

И Гард несколько минут говорил слова, от которых у него самого появился противный металлический привкус во рту. Гард явно убивал время, но убивал не без пользы: с Вутсом надо было дружить, он мог еще пригодиться.

Наконец объявился Таратура. По сравнению с тем, что сказал Гарду Честер, ему удалось узнать только две новые подробности. Во-первых, «полицейские», как успела заметить Марион, были «одеты с иголочки, только что от портного». Во-вторых, они сели в микроавтобус, имеющий вдоль кузова яркую желтую полосу.

С такими полосами, как отлично знали Гард с Таратурой, ходили все оперативные машины полицейского управления.

Закончив телефонный разговор с Таратурой, Гард вновь подошел к селектору:

— Внимание, говорит комиссар Гард! — сказал он, нажав на этот раз кнопку «Тревога».— Час назад неизвестными людьми, в количестве пяти человек, одетыми в новую полицейскую форму, и двумя — в гражданскую, были похищены в преступных целях пятилетний Майкл Честер и его мать Линда Честер двадцати восьми лет. Неизвестные воспользовались микроавтобусом марки «ПУМА», имеющим желтую полосу вдоль кузова. Номер машины установить не удалось, маршрут движения — тоже.— Гард сделал паузу.— Объявляю состояние «Тревога». Выставить заградительные посты по всем дорогам, ведущим из города! Немедленно проверить наличность всех микроавтобусов управления марки «ПУМА» и взять на учет их дальнейшее передвижение! Поднять в воздух вертолетный отряд Стива Андерса! Докладывать лично мне все сводки по городу о любых происшествиях через каждые двадцать минут! Подготовить оперативную группу! Все!

Затылком Гард чувствовал, как открылась дверь, в кабинет вошел человек и остановился за его спиной. Щелкнув выключателем селектора, не оборачиваясь, Гард медленно произнес:

— Так-то, старина. Они оказались умнее нас. Но ты уже слышал: я перешел в атаку. Теперь надо ждать. Будешь пить кофе?

— Сигарету,— сказал Фред Честер, тяжело опускаясь в кресло.

Ожидание — это всегда трата нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Покойный Альфред дав-Купер говорил, что детектив может отлично драться, быстро бегать, великолепно разбираться в следах, быть внимательным и осторожным, и между тем его можно считать настоящим детективом лишь в том случае, если он умеет ждать. «Погоня и поиск,— говорил учитель Гарда,— это уже крайнее дело. Надо наладить следствие так, чтобы преступник сам пришел, запутавшись в хорошо расставленных сетях. Не бегайте напрасно за преступником, а ждите, когда он сам принесет себя в ваш участок!»

Черт его знает, то ли детективы во времена Альфреда дав-Купера были другими, то ли преступники, но за последние десять — пятнадцать лет Гард что-то не слышал, чтобы они являлись «готовенькими». Впрочем, Ут Доббс сама себя нашла... Ну, так она не была преступницей.

А ждать действительно было трудно: великого напряжения стоило удержать себя в кабинете, у телефона и селектора, и не сорваться с места, не кинуться в самую гущу событий.

Собственно, каких же событий?

Да никаких!

Хьюс, пересмотрев весь парк Сента-Клосса, нашел одну пуговицу от штанишек Майкла — разве это событие? Затем он расположился в парке напротив игротеки Тура Сайруса и регулярно сообщал, что все спокойно и тихо. Такие же сведения поступили от Таратуры, наблюдающего за братьями Пуся. В первой городской сводке, переданной комиссару Гарду, говорилось об одном утопленнике, шестнадцати мелких кражах в универсальных магазинах, двух самоубийствах, четырех ограблениях и одном дорожном происшествии с перевертыванием автомашины, но без человеческих жертв. Две последующие сводки по своему характеру не отличались от первой.

— Дэвид,— сказал Честер, не находящий себе места,— не пора ли решительно взяться за Сайруса и Пусю?

— Бессмысленно и опасно,— ответил Гард.— Пока мы не установим, где находятся Майкл и Линда, пока не примем меры к их спасению, мы не имеем права ими рисковать. Кроме того, если уж брать стариков и их родственника, нужно брать с поличным.— При всей логике своих рассуждений Гард все же с сочувствием посмотрел на Честера, для которого бездействие комиссара казалось наибольшим преступлением в сложившейся ситуации.— Нет, старина, подождем!

Должна же быть награда тем, у кого есть терпение!

Зажглась красная лампочка селектора.

— Шеф, срочное донесение. Вертолет Стива Андерса обнаружил на опушке леса в районе третьего окружного шоссе женщину...

— С ребенком? — быстро спросил Гард.

— Насчет ребенка ничего не говорится. Андерс сообщает, что женщина то ли мертва, то ли связана. Во всяком случае, она лежит неподвижно.

Честер трясущимися руками налил себе стакан воды и залпом выпил его, стуча зубами о стекло.

— Передайте Стиву: женщину подобрать и как можно быстрее доставить сюда!

В ближайшие тридцать минут ни Гард, ни Честер не произнесли ни единого слова, ровно до тех пор, пока лампочка не зажглась вновь.

— Андерс на подходе, шеф,— сказал дежурный.— Женщина жива. Ее имя Линда Честер.

Гард удалил Фреда в соседний кабинет и приготовился к встрече. Линда вошла в кабинет собственными ногами и довольно решительно.

— Дэвид,— сказала она,— на вас вся надежда! Это ужасно! Это ужасно! Это ужасно!

— Садитесь, Линда.

— Нет, не хочу.

В продолжение всего разговора она ни на секунду не присела, а двигалась по комнате, пересекая ее из угла в угол. Внешне спокойная, Линда держалась каким-то внутренним напряжением, готовым вот-вот оборваться, но все же держалась, вызывая невольное восхищение Гарда.

— Кто они, Дэвид? Зачем им Майкл?— Это было главное, что ее интересовало.

— Думаю, обычное рэкетирство...— Гард до конца пощадил бедную женщину.— Они будут охранять Майкла как зеницу ока. Ведь он их капитал!

— Если так, почему они не взяли Робика Найта? Марион и Фредерик богаче нас...

Гард пожал плечами:

— Успокойтесь, Линда. Когда назначается выкуп, все родители одинаково бедны и одинаково богаты.

— Ах, сколько бы они ни назначили, мы с Фредом все равно выплатим! Но как это сделать? Когда? Где?

— Не торопитесь, сначала расскажите мне по порядку, что произошло в машине. Не исключено, что мы просто поймаем их, и дело кончится быстрее и проще.

Магнитофон был включен и тихо шипел, не привлекая внимания Линды.

— Вам подробно? Мы гуляли с Майклом...

— Это я знаю,— прервал Гард, боясь потерять лишнее время.— Начинайте прямо с машины.

— Мы сели, втащили двоих, Майкл был у меня на коленях. Как только тронулись, меня скрутили, завязали глаза и заткнули рот кляпом, а Майкл был тут же, я это чувствовала, и, кроме того, мы долго не останавливались. Вероятно, они ему тоже зажали рот, ведь мальчик не из тех, кто будет молчать, когда так обращаются с мамой. Они не могли выкинуть его на ходу? О, боже мой!..

— Успокойтесь, Линда,— мягко сказал Гард.— Ведь мы договорились: рэкетиры берегут детей не хуже родителей. Что было дальше?

— На полицейских я как-то не обращала внимания. Молодые, сильные, хорошо одетые — как на парад. Пожалуй, лишь тот, кто был у них старшим, запомнился мне черными волосами и совершенно белыми ресницами и бровями. Я еще подумала, что голова у него крашеная...

— Дальше?

— Я была уверена, что мы едем в управление и что они перепутали, Дэвид, я еще надеялась... А потом мы все ехали, ехали, ехали, и я считала...

— Что именно?

— Пятнадцать минут по асфальту, потом минут шесть по бетону — я отчетливо ощущала швы между плитами, это было уже где-то за городом. Наконец пошла совсем плохая дорога, вся машина наполнилась пылью, мне стало трудно дышать, и тут, как я поняла, они высадили Майкла...

— Почему поняла?

— Кто-то сказал: «Давай сюда! Развяжи ему глаза!» И я потеряла сознание. Очнулась — вокруг лес, лежу на траве, ваш летчик...

— Время вы определяли счетом?

— Да. Про себя.

— Благодарю вас, Линда. Вы сообщили важные сведения. А сейчас я советую вам ехать домой и... ждать, дорогая Линда.

— Я не могу домой. Не хочу. Я буду с вами.

— Это нельзя.— Гард незаметно нажал кнопку звонка, вызывая Честера.— Фред уже в курсе дела, он будет с нами, и этого достаточно.

— Где Фред?

— Здесь.

Линда обернулась и несколько секунд молча смотрела на Фреда. Она не двигалась, лишь слегка покачивалась всем телом и еле слышно дышала. Голова ее была неестественно поднята вверх, глаза полузакрыты. И единственная ниточка, на которой держалась ее воля, не выдержала — лопнула. Мужчины не успели поддержать Линду: не издав даже звука, она без чувств рухнула на ковер.

— Оставайся здесь до моего возвращения,— сказал Честеру комиссар, засовывая в карман пистолет. Уже в дверях он отдал последнее распоряжение дежурному: — Срочно врача. Кроме того, вызовите Хьюса, пусть прослушает пленку и попытается нащупать маршрут «ПУМЫ». Я буду у Таратуры.

Глава VI. ТЕЧЬ

— Комиссар полиции Гард? — повторил Серж Пуся, слегка сощурив слезящиеся от старости глаза.— Так-так-так. А почему же, позвольте спросить, у вашего сына Майкла была фамилия Честер?

Гард даже не смутился, поскольку действовал теперь с открытым забралом, но был удивлен: ну и память, ну и проницательность!

— Впрочем,— сказал старик,— вы уже тогда показались мне подозрительным папашей.

— Чем же? — из профессионального интереса спросил Гард.

— Торопливостью, комиссар! Настоящие отцы не так-то быстро соглашаются оставить у меня свои кларки. «Э, нет,— подумал я,— этот «отец» будет платить за «сына» не из своего кармана!» — Старик улыбался такой ослепительно-чистой улыбкой, что даже после того, как он закрыл рот, эта улыбка стояла в глазах Гарда.— Чем могу быть полезен?

Гард начал издалека:

— Я хотел бы ознакомиться с доходами вашей парикмахерской.

— Не возражаю,— согласился Серж Пуся.— Правда, недавно у меня уже был налоговый инспектор, кстати сказать, тот самый,— старик снова улыбнулся,— который сегодня с самого утра крутится вокруг моего заведения, а сейчас караулит вход. Впрочем, если вам нужно...

Гарду стало не по себе. «Ну и глазастый, черт!— подумал комиссар.— Застукал Таратуру! Только почему он так откровенен? Или передо мной сама невинность, или матерый преступник...»

— Хорошо,— сказал Гард.— Открою вам свои карты. Я подозреваю вас в соучастии в преступлении...

Договорить комиссару не удалось: старик, схватившись рукой за сердце и выпучив глаза, повалился на пол. «Фу, черт, переборщил!»— мелькнуло у Гарда, бросившегося на помощь. Через пятнадцать минут, полулежа в кресле, Серж Пуся тихо произнес:

— О чем вы говорите! Побойтесь бога, молодой человек! Мы не берем с клиента и лишнего лемма, ведь наш клиент — ребенок! Обмануть младенца — это хуже, чем обмануть самого себя!

— У вас есть силы продолжать разговор?— спросил Гард.— Или отложим его до следующего раза?

— Чтобы я не спал всю ночь?— сказал старик.— Нет уж, давайте сейчас. Мне лучше.

И он сделал слабую попытку улыбнуться.

— Ваша реакция — достаточное свидетельство вашей невиновности,— сказал комиссар, успокаивая Пусю.— Но я хочу просить вас о помощи. Прежде всего скажите, у вас бывали случаи досрочного выкупа кукол?

— А как же! Если ребенок, не дай бог, умирал до совершеннолетия или, не дай бог, пропадал без вести, родители шли к нам.

Гард знал об этом и раньше из опросов родителей пропавших детей, но задал вопрос нарочно, чтобы последний раз проверить, насколько искренен старик: упомянет он об исчезнувших детях или постарается о них не говорить.

— Разумеется, при досрочном выкупе,— продолжал Пуся,— мы могли бы продавать куклы дороже, но Пуси никогда не наживались на чужом горе.

— Простите,— сказал Гард,— но вы упомянули о пропавших детях. В таком большом городе, как Нью, они действительно есть — всякое случается. Но вот что странно, господин Пуся: все эти дети исчезали через несколько дней после того, как побывали у вас.

— Не понимаю,— сказал старик.

— Они стриглись в вашей парикмахерской, а потом исчезали,— повторил Гард.— Это установлено нами с абсолютной точностью. Если хотите, я дам вам список пропавших, а вы сверьте с книгой учета...

— Не понимаю,— вновь сказал Пуся.— Я бы, господин комиссар, искал преступников там, где похищают детей, а не там, где их стригут.

— Но похищение каким-то невероятным образом связано со стрижкой!— сказал Гард.— Нет, нет, я не хочу больше подозревать вас, господин Пуся. В конце концов преступники могли действовать и без вашего ведома.

— Что же вы хотите?

— Тщательным образом проследить технологию, весь путь от момента стрижки до поступления куклы клиенту.

Старик подумал, потом согласно кивнул головой:

— Помогите мне встать.

— Если вам трудно...

— Ничего. И дайте, пожалуйста, халат. Спасибо. Начнем с салона?

— Мы были там с Майклом,— сказал комиссар.— Поехали дальше.

— Поехали,— согласился старик, открывая небольшую дверь, ведущую в помещение мастерской.— Но у меня к вам личная просьба: Иржик, хотя и шутник, чрезвычайно больной человек, и я прошу вас...

— Буду осторожен,— сказал Гард.

Они вошли. Иржи Пуся сидел в глубине комнаты за широким полукруглым столом, освещенный боковым ярким светом, льющимся из открытого трехстворчатого окна. Кроме того, на столе еще стояла лампа, зажженная даже в дневное время. Под рукой Иржи Пуси лежали многочисленные ножички, стамески, пилки, кисточки, пузырьки с клеем и краской, баночки, ножницы и прочие непонятные инструменты. В правом глазу у Иржи чернела огромная часовая лупа. Он держал в руках очередную куклу и даже не поднял голову на вошедших.

Братья были копией друг друга, если не считать того, что у Сержа на губах блуждала постоянная улыбка, и потому его губы были скобкой кверху, а Иржи в течение всего разговора с Гардом держал губы скобкой вниз. Седые и длинные усы, растущие под крупными добрыми носами, делали братьев похожими на моржей. «Морж-пессимист и морж-оптимист,— подумал Гард.— Отличный цирковой номер!»

— Иржик,— мягко произнес Серж,— господин комиссар полиции интересуется нашими куклами.

Не поднимая головы, старший Пуся сказал:

— Ему уже мало живых людей?

— Извините, комиссар,— улыбнулся Серж,— Иржик шутит. Задавайте ему вопросы сами.

Гард почему-то откашлялся, словно ему предстояло петь с Иржи Пуся дуэтом. Потом спросил:

— Что нужно, чтобы сделать куклу?

— Талант!— мгновенно ответил Иржи.

— Я имею в виду: что нужно знать о клиенте?

— Есть ли у него деньги.

— Иржику нужны две фотографии,— вмешался младший брат.— Фас и профиль. Снимки мы делаем камерами, установленными в салоне.

— А волосы?— спросил Гард.

— И волосы,— подтвердил Серж Пуся.— Из волос мой брат делает...

— Матрасы!— перебил Иржи и поднял наконец голову с опущенными вниз уголками губ.—Я набиваю ими матрасы, господин комиссар полиции! Зачем еще мне волосы клиента?

— Иржик шутит,— вновь пояснил Серж, как видно, не рассчитывая на то, что комиссар полиции обладает чувством юмора.— Из волос он делает парички. Все данные о клиенте хранятся вот в таком пакетике. Здесь фотографии, адрес и имя.

Гард повертел в руках целлофановый пакет и осторожно положил его на край стола.

— Что происходит после того, как кукла готова?

— Делаю следующую,— сказал Иржи Пуся.

Как это ни странно, Гард не испытывал никакого раздражения. Напротив, ему искренне нравился этот старый морж, который находился в том критическом возрасте, в котором человеку уже никто не страшен: ни комиссар полиции, ни президент, ни сам черт со своими чертенятами. Старик шутил! Но разве не прекрасна старость, украшенная не слезами, а шуткой?

— Я понимаю,— дружески улыбнувшись Иржи, сказал Гард.— Но куда девается готовая кукла?

Иржи открыл было рот, но его опередил Серж:

— В сейф нашего родственника Сайруса. Когда-то мы сами хранили свои шедевры, но теперь... Вы согласны, комиссар, что Иржик делает шедевры?

Надо сказать, старший Пуся ни на секунду не прерывал работу. На глазах у Гарда из ваты, смоченной какой-то жидкостью, кусочка пластмассы, бусинок, клея и резины возникала истинная принцесса с золотыми кудрями, по всей вероятности, та самая девочка, которая побывала в салоне в один день с Майклом.

О, это был настоящий шедевр, о чем Гард тут же сказал братьям, хотя его слова ничуть не изменили мрачного вида старшего Пуси: сатир был верен себе до конца! Но служба тоже была службой, и потому комиссар спросил:

— Как долго делается этот шедевр?

— Всю жизнь,— ответил Иржи,— и еще четыре часа.

— В таком случае, почему эта девочка не была сделана сутки назад?

Иржи второй раз за весь разговор поднял голову и, кажется, впервые ответил серьезно:

— Не было вдохновения.

Или он вновь шутил?

«Как трудно работать с людьми, имеющими чистую совесть!»— подумал Гард, выходя из волшебной мастерской старого Иржи Пуси.

Серж проводил его до выхода, где с видом человека, случайно остановившегося перед завлекательной витриной детского салона, торчал Таратура.

Прощаясь, Гард произнес:

— Уж извините меня: работа! Кроме того, прошу выполнить одну мою просьбу: этот визит должен остаться между нами.

Серж клятвенно сложил руки на груди.

— А знаете,— не удержался Гард,— много лет назад я был у вас...

— Знаю, молодой человек,— мягко сказал Серж Пуся.— У вас две макушки.

— То есть как две?!

— Есть люди, у которых даже три,— сказал старик.— Право, не знаю, как это отражается на их умственных способностях... Дайте-ка вашу руку. Вот одна... А вот и вторая... Чувствуете?

Гард пощупал свой череп в местах, указанных Сержем, и у него мелькнула мысль, не наваждение ли это? Но старик улыбнулся ему такой реальной и ясной улыбкой, которая тут же успокоила комиссара и еще долго стояла перед его глазами, хотя Гард уже ехал в машине, думая об игротеке Тура Сайруса.

Но двух полицейских из группы Мердока, переодетых в гражданскую форму, Гард все же оставил напротив парикмахерской — у витрины, где крокодил жевал мороженое.

— Шеф, вы действительно уверены, что старики ни при чем?—спросил Таратура, когда «ягуар-110» выехал из лабиринта улочек на магистраль, ведущую к парку Сента-Клосс.

Гард не ответил, погруженный в раздумья. Потом сказал словно бы сам себе:

— Это прекрасно, что мы оказываемся сильными в глазах лишь тех людей, у которых есть основания нас бояться. Что вы спросили, Таратура?

— Про стариков.

— Отличные моржи! Я даже выделил им охрану.

— От кого?! Они нужны лишь тому свету!

— Не шутите так грубо. Они нужны тем, кто ими пользуется. Неужели вы не понимаете, что у них происходит утечка информации? Пусть не по их вине, пусть даже вопреки их воле, но кто-то пользуется данными о детях!

— Кто же?

— Наберитесь терпения. Думаю, Тур Сайрус поможет нам ответить на этот вопрос...

Продолжение следует.

Павел БАГРЯК

Синие люди

Фантастический детектив

Перед Гардом, сидящим за рулем, на приборной доске зажглась синяя лампочка. Таратура надел наушники и взял в руки маленький микрофончик.

— Алло, алло! Вас слушает Таратура! Хьюс? Что передать шефу? Так... Так... Так... Минуту! Он говорит, шеф, что вы дали ему слишком неопределенную задачу: скорость «ПУМЫ» неизвестна, маршрут — тоже...

— Чего он хочет? — прервал Гард.

— Хьюс, шеф, спрашивает, чего вы хотите? Совета?.. Он просит вашего совета, шеф.

— Приблизьте ко мне микрофон,— сказал комиссар.— Хьюс, вы меня слышите? Прекрасно. Средняя скорость «ПУМЫ» вам известна? Известна. Превысить ее они могли? Не могли, иначе привлекли бы к себе лишнее внимание. Сколько шоссейных дорог выходит из города Нью? Отлично. Сколько в вашем распоряжении людей? Пятьдесят восемь человек. Что вам еще нужно? Вы понимаете, что мы не имеем права упускать даже паутиновые нити, ведущие к преступникам!

И Таратура погасил свою лампочку.

— Самый лучший совет, который я мог бы ему дать, так это быть умнее,— сказал Гард, направляя машину к той части огромного парка Сента-Клосс, где были Продолговатые пруды.

Игротека «Крути, малыш!» находилась именно там.

Играла музыка, крутилась карусель, трещали хлопушки, взлетали ракеты, ползли танки, стреляя на ходу водяными залпами, визжали и смеялись дети — все это свидетельствовало о том, что фирма «Крути, малыш!» отнюдь не загнивала даже в период летних каникул. Два огромных резиновых слона отвесили полицейским низкие поклоны, как только Гард с Таратурой бросили в кормушки по десять леммов, и развели в стороны хоботы-шлагбаумы, пропуская гостей на территорию игротеки.

Тур Сайрус мгновенно появился перед ними, одним движением губ показав все свои золотые зубы:

— Прошу вас, господа! Что вам угодно?

Он был одет во все светлое: светлые брюки-гольф, светлые туфли, светлые носки и даже светлые перчатки. Зато у него были черные, как смоль, усы и даже иссиня-черная, гладкая прическа, разрезанная точно посередине тонким пробором.

— Мы из полиции,— сказал Гард, а Таратура положил руку в карман.

Веселый огонек тут же погас в глазах Сайруса, шея укоротилась, а плечи сузились. Он явно заволновался, что не укрылось от внимательного взгляда комиссара.

— Где мы можем поговорить? — сказал Гард.

— В конторе.

Она тоже была необычайно светлой: и мебель, и стены, и шторы на окнах, и бра, и многочисленные детские рисунки, развешанные в хорошо продуманном беспорядке,— все это, казалось, было выкрашено солнечным цветом.

Эта чистая и прозрачная обстановка никак не вязалась с мрачным разговором, который был намерен провести Гард.

— Сколько человек работает в игротеке?

— Двое,— сказал Сайрус.— Я и мой сторож. Позвать его?

— Пока не надо. Кто забирает куклы у братьев Пуся?

— Я.

— Как часто?

— По мере их изготовления.

— Вы имели когда-нибудь дело с полицией? — спросил вдруг Гард.

Сайрус проглотил слюну:

— Нет. То есть да.

— В связи с чем?

«Ну и нюх у моего шефа!» — подумал с восхищением Таратура.

— Наркотики,— выдавил из себя Сайрус.— Двенадцать лет назад. Но я тогда же все кончил, господин...

— Комиссар Гард.

— Господин комиссар.

— Почему вы нас так боитесь?

— Не знаю.

— По привычке,— сказал Гард и весело рассмеялся. Сайрус тоже стал смеяться искусственным смехом.— Однако продолжим. Покажите, где хранятся ваши куклы.

Дверь из конторы вела прямо в хранилище. Оно было оборудовано несгораемыми сейфами, в каждом из которых поддерживалась строго определенная температура и влажность. Десять сейфов, тысяча ячеек для кукол..

— Все заняты? — спросил Гард.

— В семи сейфах все.

— Надежно ли хранение?

— О, да!— сказал Сайрус.— Ключи у меня и у сторожа, который один раз в неделю проверяет состояние кукол.

— Кто сторож?

— Чарльз Бенк. Позвать?

— Пока не надо,— вновь сказал Гард.— Расскажите о нем.

Сайрус помялся:

— Он пьет немного... Но он работал еще у моего отца и моего деда.

— Сколько же лет Бенку?

— За семьдесят.

— Вы доверяете ему?

— О, да!— сказал Сайрус.— Как самому себе!

— А себе-то вы доверяете?

— Не понял вас, комиссар.

Таратура, не удержавшись, хмыкнул, но тут же был остановлен строгим взглядом комиссара.

— Вы слышали что-нибудь, Сайрус, о похищении детей?

Продолжение. Начало в №№ 1—3.

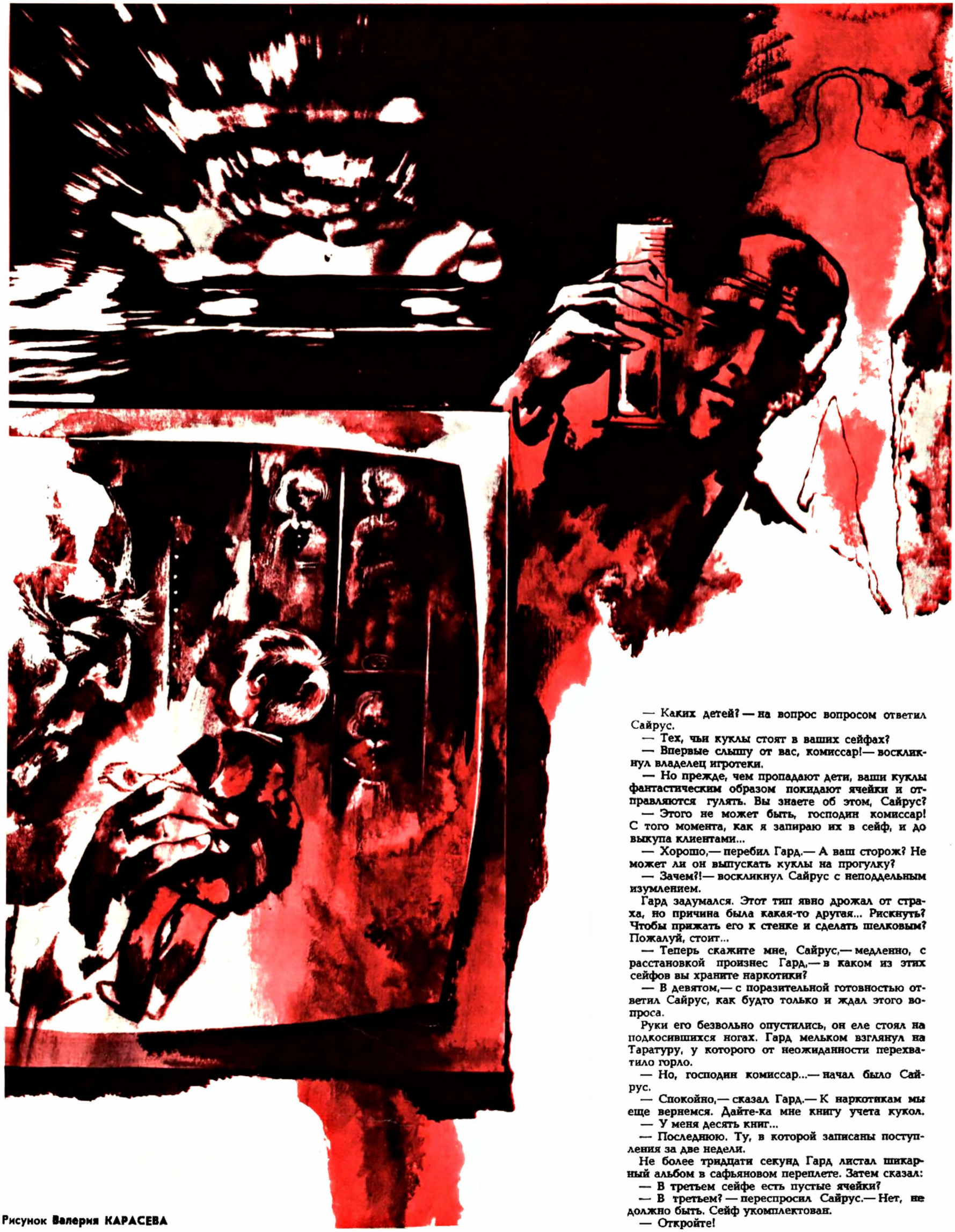


Рисунок Валерия КАРАСЕВА

— Каких детей? — на вопрос вопросом ответил Сайрус.

— Тех, чьи куклы стоят в ваших сейфах?

— Впервые слышу от вас, комиссар!— воскликнул владелец игротеки.

— Но прежде, чем пропадают дети, ваши куклы фантастическим образом покидают ячейки и отправляются гулять. Вы знаете об этом, Сайрус?

— Этого не может быть, господин комиссар! С того момента, как я запираю их в сейф, и до выкупа клиентами...

— Хорошо,— перебил Гард.— А ваш сторож? Не может ли он выпускать куклы на прогулку?

— Зачем?!— воскликнул Сайрус с неподдельным изумлением.

Гард задумался. Этот тип явно дрожал от страха, но причина была какая-то другая... Рискнуть? Чтобы прижать его к стенке и сделать шелковым? Пожалуй, стоит...

— Теперь скажите мне, Сайрус,— медленно, с расстановкой произнес Гард,— в каком из этих сейфов вы храните наркотики?

— В девятом,— с поразительной готовностью ответил Сайрус, как будто только и ждал этого вопроса.

Руки его безвольно опустились, он еле стоял на подкосившихся ногах. Гард мельком взглянул на Таратуру, у которого от неожиданности перехватило горло.

— Но, господин комиссар...— начал было Сайрус.

— Спокойно,— сказал Гард.— К наркотикам мы еще вернемся. Дайте-ка мне книгу учета кукол.

— У меня десять книг...

— Последнюю. Ту, в которой записаны поступления за две недели.

Не более тридцати секунд Гард листал шикарный альбом в сафьяновом переплете. Затем сказал:

— В третьем сейфе есть пустые ячейки?

— В третьем? — переспросил Сайрус.— Нет, не должно быть. Сейф укомплектован.

— Откройте!

Трясущимися руками Тур Сайрус вытащил из бокового кармана связку ключей и подошел к третьему сейфу.

Когда с тихим металлическим звоном распахнулась тяжелая дверь, Гард увидел сотню ячеек, в каждой из которых в глубине сидела кукла, а ближе к выходу лежал целлофановый пакетик.

К великому ужасу Тура Сайруса, одна ячейка — под номером 97 — была пуста! Сайрус перевел взгляд на Гарда, Гард посмотрел на Таратуру.

— Здесь был Майкл Честер,— тихо сказал комиссар.

Глава 7. КУДА ВЕДУТ НИТИ

Сайрус сделал движение головой, словно хотел сунуть ее в сейф и сам себя гильотинировать дверцей.

— Н-да,— сказал Гард.— Забавная ситуация. Самоубегающие куклы! Сказки Ганса Христиана Андерсена! У вас здесь что, сейф или проходной двор, господин Сайрус?

— Клянусь.— Владелец игротеки молитвенно поднял вспотевшие ладони.

— Кого вы подозреваете?

В том положении, в каком очутился Тур Сайрус, этот вопрос был острее бритвы. Инстинкт самосохранения требовал немедленной выдачи фамилий, лишь бы подозрение перешло на кого-нибудь другого. Но Сайрус, вероятно, был психологом. Он понимал, что для спасения ему нужно оболгать человека, в чьей честности еще минуту назад он не сомневался, а это произведет на комиссара неприятное впечатление. Как быть? Что делать?

Полуприкрыв глаза, Гард внимательно следил за колебаниями Тура Сайруса. Он был свидетелем множества подобных сцен, и всякий раз характер человека обнажался перед ним с предельной ясностью.

— Никого,— упавшим голосом произнес Сайрус.— Никого не подозреваю, господин комиссар! Но лично я не виноват!

Да, Сайрус был хорошим психологом.

— Ну что ж,— смягчился Гард.— Это мы выясним. Теперь запомните простую вещь. Я могу допустить, что в пропаже куклы вы не виноваты. Это мои личные эмоции, которые для следствия значат меньше, чем нуль. Улавливаете? Вас может спасти только поимка настоящего преступника. Если он будет пойман...— Гард сделал многозначительную паузу и выразительно посмотрел на владельца игротеки.— Тогда я постараюсь замять дело с наркотиками.

— О!— вырвалось у Тура Сайруса.

— Но если он ускользнет от нас... Вы понимаете, что нам хватит одних наркотиков?

— О!— вновь воскликнул Тур Сайрус.

Гард чувствовал: с этим человеком все равно придется заключить сделку. Велик ли грех, если во имя раскрытия большего зла будет прощено зло меньшее?

— Многого я от вас не потребую,— продолжал комиссар.— Во-первых, гробовое молчание. Полное и абсолютное! Во-вторых, сегодня же затейте какой-нибудь незначительный ремонт в игротеке. Рабочих я пришлю сам. В-третьих, у вас в хранилище, как мне кажется, не совсем в порядке электропроводка. Через час сюда явится электрик и приведет ее в порядок. Повторяю: если кукла, вернувшись в сейф, как положено в нормальных сказках, расскажет нам, где и с кем она была, вы можете спать спокойно. Если же кукла не «расскажет» да еще по вашей вине...

В глазах у Сайруса была тоска.

— Запомните,— сказал Гард,— на случай, если нас кто-нибудь видел в вашем обществе: мы из фирмы «Чиню все, кроме препятствий». Приходили договариваться по поводу ремонта. И последнее: выдайте моему помощнику инспектору Таратуре наркотики и собственноручно напишите признание. Аминь!

Менее чем через час в игротеку явился вызванный Гардом «электрик».

Западни бывают разные. Любознательный человек без труда найдет в охотоведческой литературе подробное описание капканов на лисиц, волков, гималайских медведей и диких крыс. Напрасно он станет, однако, спрашивать, где бы ему прочитать об устройстве капканов на людей. Он не будет правильно понят библиотекарем, не говоря уже о том, что таких книг в каталогах просто нет.

Из этого, понятно, не следует, что подобной литературы не существует в природе. Она есть! И занимает не одну полку! Только простой смертный никогда не получит к ней доступа. Это к лучшему: чтение «капканной» литературы может надолго испортить аппетит, а как говорил покойный Альфред дав-Купер, «аппетит — лучший барометр человеческой совести». Зачем искушать совесть? С этой точки зрения люди полицейских профессий достойны сочувствия: им приходится не только изучать устройство капканов на людей, но даже ставить их — по долгу службы.

Гард, естественно, был в числе просвещенных.

По его распоряжению «электрик» поставил ловушку, представляющую собой миниатюрную телекамеру, которая посредством фотоэлемента была сблокирована с дверцей сейфа. Лампу инфраподсветки «электрик» установил на тот случай, если куклу будут возвращать в темноте. Кроме того, он вмонтировал сигнальный передатчик, приемное устройство которого осталось в комнатке дежурного четвертого полицейского участка, подчиненного Гарду. За какие-нибудь двадцать минут все эти несложные приборы были запрятаны так ловко, что их незаметности мог позавидовать клоп.

Отныне комиссар имел право не волноваться. У простодушного зверя еще есть шансы избегнуть западни — у человека их гораздо меньше. Если кто-нибудь откроет сейф, ловушка захлопнется!

Гарда волновало другое: зачем преступникам понадобились детские волосы? Теперь уже не оставалось сомнения в том, что они выкрадывали куклы именно из-за волос,— в противном случае они ограничивались бы целлофановыми пакетиками, в которых были не только адреса и фамилии детей, но даже их фотографии. Фас и профиль! Чего ж еще? «В средние века,— думал Гард,— такое похищение имело смысл: по волосам не то гадали, не то накликали беду на недруга. Но в двадцатом-то веке!»

Покидая игротеку «Крути, малыш!», Гард сел в машину, но вместо того, чтобы включить зажигание и срочно лететь к себе в отдел, зачем-то вынул расческу и причесался. На зубчиках гребня осталось несколько волосков. Три из них были совсем седые. С минуту он тупо их разглядывал. Потом вздохнул. Господи, что может быть безобидней остриженных волос!

«Если в наши дни,— подумал Гард,— случается нечто, граничащее с колдовством, то консультироваться следует уж никак не со священником».

И он поехал в сторону, прямо противоположную той, в которую должен был ехать.

Личная лаборатория профессора Чойза, оборудованная в принадлежащем ему коттедже, выдавала себя обилием труб и запахами, которые они распространяли. Когда комиссар полиции подъехал к коттеджу Чойза, в воздухе веяло какой-то сладковатой дрянью.

Никого не встретив, Гард поднялся по лестнице на второй этаж, прочел на двери лаборатории: «ПОСТОРОННИМ МЫСЛЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»,— прикинул, несет ли он с собой посторонние мысли, и, решив, что да, несет, постучался.

Ответом было ворчание, которое при некоторой фантазии можно было истолковать в благоприятном смысле. Гард так и сделал.

Окна затенялись густыми липами. На столах скупо мерцало лабораторное стекло. Синеватый факел горелки освещал большеголового лысого человека примерно шестидесяти лет в прожженном халате, который, наклонившись над клокочущим стаканом, водил в нем стеклянной палочкой.

— Не помешал? — осведомился Гард.

Чойз обернулся, шагнул к комиссару и пожал ему руку с силой, неожиданной для старика:

— Помешать вы мне, конечно, помешали, но сегодня особенный день. Садитесь!

Подтолкнув Гарда к высокому табурету, на каком сидят только химики или заядлые выпивохи в баре, Чойз с треском распахнул стенной шкаф, и комиссар полиции не успел опомниться, как у него в руках очутилась пробирка со странной бурой жидкостью.

— Синтез удался только вчера, и я чертовски рад живому человеку!— воскликнул Чойз.— Вам не кажется, Гард, что мы — последнее поколение, знающее вкус чистого воздуха? Хотя вряд ли вы над этим задумывались. Мы изменяем все — химию воды, воздуха, почвы, пищи — и хотим, чтобы эти глобальные изменения внешней среды не коснулись нас? Странный оптимизм!.. Если старик Дарвин прав...

«О господи,— мысленно взмолился Гард,— зачем я все это слушаю?»

— Безумно интересно, профессор!— сказал он.— Однако я пришел к вам по другому поводу. Некоторым детям сегодня...

— Совершенно верно!— отрубил Чойз.— Дети наиболее восприимчивы к загрязнению воздуха. За последнюю четверть века число эмбриональных уродств возросло впятеро! Да-да! И об этом наша купленная наука молчит! Так будет продолжаться до тех пор, пока мы, ученые, не осознаем свой долг и свою силу и не последуем примеру революционеров, которые, черт возьми, умеют драться за свои права!

— Ничего не слышу!— воскликнул Гард, зажимая уши.

— Извините,— буркнул Чойз.— Совершенно забыл, что вы комиссар полиции... Так вот, дорогой мой Гард, с некоторых пор я решил быть слугой лишь той научной проблемы, разрешение которой даже в наших идиотских условиях не может принести людям вреда. И вчера я достиг кое-чего!— Чойз гордым победителем прошелся по комнате.— Адсорбент!— И он ткнул пальцем в пробирку.— Адсорбент, дорогой мой Гард! Будучи переведенным в газообразное состояние, он моментально и полностью очищает воздух от инородных газов. И стоит он леммы! Пусть промышленники попробуют теперь сослаться на дороговизну поглотительных устройств, пусть только попробуют!

— Скажите, профессор,— воспользовавшись паузой, спросил Гард,— а этот ваш адсор...

— ...бент!— помог Чойз.

— Он может очистить воздух от ОВ? Отравляющих веществ? От иприта, люизита, метана?

— Полагаю, что...— Чойз задумался на секунду, что-то прикидывая или подсчитывая.— Да! Конечно же, да! В его составе имеются...

— А вы уверены,— перебил Гард,— что адсорбентом не заинтересуются военные? Генерал Дорон, например? И не засекретят его в своих целях? И не наложат на ваше изобретение лапу?

— Дорон?! Этот гангстер и преступник?!— Чойз даже позеленел от злости.— Вы серьезно говорите, Гард? О, подлый мир, в котором даже детская соска может считаться стратегическим сырьем!

— Кстати, о гангстерах,— поспешил вставить Гард.— Как вы считаете, профессор, должны ли гангстеры красть волосы детей прежде, чем похитить самого ребенка?

— Что? — не понял Чойз.

Торопясь, чтобы его не перебили, Гард выложил профессору все. По мере рассказа удивление сменилось у Чойза недоумением, затем отвращением, а когда Гард кончил, лицо Чойза выражало негодование и даже брезгливость.

— Не хочу слышать о всех этих гадостях,— сказал он резко.— На чем мы остановились? Ах, да, Дорон! Вы серьезно полагаете...

— Мне нужна ваша помощь, профессор,— жестко перебил Гард.

— В каком смысле?

— Помогите мне понять причинную связь между кражей детей и предварительной кражей их волос.

— А я-то здесь при чем?— воскликнул Чойз.— Гангстеры были, есть и будут, даже если я перейду к вам в штат. А разбираться в логике их поступков — дело криминалистов, а не химиков. Кроме того, у меня нет ни капли времени.

— Отлично! В таком случае я тоже умою руки!— неожиданно сказал Гард.— Ведь все равно ничего не изменишь, так? Даже сто моих советов не спасут ваш адсорбент от Дорона.

Чойз задумчиво поскреб бороду.

— М-да,— сказал он.— А что бы вы могли посоветовать, Гард?

— Слушайте, Чойз,— тихо сказал комиссар.— Два часа назад мне пришлось заключить отвратительную сделку с одним преподлым человеком, чтобы спасти еще живого, надеюсь, ребенка и выяснить судьбу ста сорока девяти других детей. Неужели и вы потребуете у меня плату за помощь, которую можете мне оказать, и будете насиловать меня, требуя советов? Я прекрасно понял значение вашего открытия. Но в своей увлеченности мы все немного эгоисты. Не будем подписывать контракт, ладно? Богу — богово, а кесарю — кесарево.

— Что вы хотите, Гард?

— Ответьте на один вопрос: что можно определить по волосам?

Чойз обиженно вскинул плечи и прошелся по комнате.

— Ерунда какая-то!— сказал он.— По волосам я могу определить, блондин человек или брюнет, шатен или рыжий. При чем тут химия? Хотя...— Он сделал еще с десяток мелких шажков.— У всех детей, говорите, первая группа крови? И отрицательный резус-фактор? Хм... Нелепо, конечно, но, быть может, ваших гангстеров интересует генетический код?

— Что?

— Код. Генетический код. Наследственные признаки.

— Но зачем?!

— Уж это — ваше дело.

— Подождите... Но ведь волосы — это, так сказать, мертвая ткань!

— Кто вам сказал? Любые клетки тела обладают полным набором хромосом, в которых закодированы все наследственные качества организма. Начиная от цвета глаз и кончая предрасположенностью к сердечным заболеваниям. Любые клетки, дорогой комиссар полиции!

– Это точно?

Чойз возмущенно фыркнул.

— Нет, я не в этом смысле,— поправил себя Гард.— Это точно, что волосы похищаются для определений наследственности?

— Откуда я знаю? Спросите ваших гангстеров!

— Но проверить это можно?

— Пожалуй, да,— после некоторого размышления ответил Чойз.— Надо провести сравнительный генетический анализ волос похищенных и непохищенных детей.

— Волосы будут у вас через сорок минут!

— Это еще зачем?

— Для анализа.

— Что-о-о? Простите, Гард, но это уж слишком. Я не позволю запрячь себя в вашу телегу. Это в конце концов несправедливо! Когда гангстеры крадут одного младенца, в газетах поднимается визг, и благородная полиция развивает бурную деятельность, как было с дочкой сенатора Доббса. А когда химические концерны медленно, но верно травят сотни тысяч детей, у них защитников не находится! Я вовсе не к тому, Гард, чтобы вы помогли мне, и тогда я помогу вам. Но кто-то же должен думать о тысячах, не разменяваясь на единицы! У вас — свое благородное дело, у меня — свое.

«В чем-то он прав,— уныло подумал Гард.— Скверно».

— Что же мне делать?

— Обратитесь в медико-генетический институт,— сказал Чойз.— Они вам не откажут.

— Хорошо.— Гард встал.— Сколько надо провести анализов? И сколько они будут стоить?

— Минимум десять проб. Во что это обойдется? Тысяч в двадцать, я полагаю.

— Во сколько?!

— Двадцать тысяч кларков! Вы что, стали плохо слышать?

Увы, у Гарда был отличный слух... Двадцать тысяч кларков! Таких денег ему, конечно, не дадут. То есть дадут, если разрешит министр. Гард живо представил физиономию Воннела, слушающего доклад, и ему стало не по себе. Подобно многим чиновникам, Воннел презирал науку и не верил во всякие там гены. А уж гены в сочетании с рэкетирами (которых, как сообщила официальная пресса, в стране больше нет, и слухи о них распускаются оппозиционерами) да еще в сочетании с мистическими детскими волосами — это же анекдот! Гард и так не включал отчет о своей деятельности в ежедневную сводку на имя министра, не без основания полагая, что Воннел прихлопнет ее одним росчерком пера. А тут идти с докладом! Просить двадцать тысяч кларков!

— Чойз,— печально сказал Гард,— мне не дадут таких денег.

— Да? Вполне возможно.

— А без анализов я не могу поймать преступников.

— И это возможно,— сказал Чойз.— Кстати, как вы думаете, их много?

— Шайка.

— Десять человек? Двадцать? Сто? Поймаете одних, появятся другие: святое место пустым не бывает. Вы резальщик мозолей, Гард. Время от времени эта операция необходима, но мозоли-то остаются!

— Да пропадите вы пропадом!— закричал Гард, свирепея.— Если вас на моих глазах будет приканчивать бандит, я пальцем не пошевелю, потому что есть еще другие бандиты! Все, Чойз, договорились!

Старик определенно смутился.

— Зачем же так, право,— сказал он,— у нас теоретический спор...

— А детей похищают практически! И убивают тоже практически! Черт с вами! Я не намерен больше унижаться! Вы гуманист? Какой вы, к черту, гуманист, даже если вы и придумали свой адсорбент! Вы черствый и бездушный тип, которого я однажды по глупости выручил из беды, о чем буду жалеть всю свою жизнь! Прощайте!

И, хлопнув дверью, Гард бросился вниз по лестнице. Уже садясь в машину, он увидел, как раздвинулись бамбуковые шторы и на балконе появился старик, держа в руках белое полотенце.

— Сдаюсь!— прокричал сверху Чойз.— Тащите свои волосы! Пять образцов похищенных детей и пять образцов непохищенных!

— Вы бы еще громче орали!— зловеще прошипел Гард, но сдержать довольной улыбки все же не смог...

Ловушка сработала в тот же вечер. Часов около десяти в полицейском участке раздался сигнал, и дежурный, дожевывая бутерброд, небрежно ткнул пальцем в кнопку приема изображения. Удостоверившись, что аппаратура действует как надо, он включил кинокамеру, а затем вызвал Гарда.

Когда тот пришел, сеанс, длившийся всего полторы минуты, уже закончился. Дежурный допивал последнюю жестянку пива и на немой вопрос Гарда мотнул головой в сторону проектора. Туда уже была заправлена магнитная лента.

— Можете полюбоваться на своего зверя, господин комиссар,— сказал он, с сожалением встряхивая пустую жестянку.

Таратура прибыл минут через пять.

Вспыхнул экран.

— Он!— воскликнул Таратура, как только появилось изображение человека с заячьей губой.— Чарльз Бенк!

Гард кивнул. Яркое и четкое изображение давало возможность видеть, что у старика маленькие, кроткие глаза и шамкающий рот. На мгновение он исчез с экрана, видимо, нагнулся. Потом появился вновь, уже с куклой Майкла в руках. Бережно поправил костюмчик, даже стряхнул пыль. Руки его дрожали, но явно не от волнения.

— Пьет,— сказал Гард.— Сайрус был прав.

Морщинистая шея старика напряглась: он приподнялся на цыпочки, чтобы положить куклу на место. Его заячья губа шевелилась. Уж не мурлыкает ли он про себя какой-нибудь пьяненький мотивчик? Гард угрюмо засопел. Нетрудно догадаться, что скажет этот тип на допросе. «Господин комиссар!— Голос у него, вероятно, плачущий.— Мне дают на чай за смешное и невинное дело, помилосердствуйте! Да, я беру куклы, но я же их возвращаю целенькими!..»

— Вы знаете, Таратура,— сказал Гард,— у нас сейчас даже нет формальных оснований его брать. Ведь он не ворует, а кладет вещь на место!

Мелькнул целлофановый пакетик, возвращенный в ячейку, и экран погас. Минута прошла в молчании.

— Вам придется стать тенью этого малопочтенного старца,— сказал Гард.— Очень важно не спугнуть тех, кому он относит куклы. Брать его пока не будем.

— Ясно, шеф!— сказал Таратура.

«Мне бы твою ясность»,— тоскливо подумал Гард.

Прошел день и еще один. Таратура уже раз восемь докладывал комиссару о результатах наблюдений, и все эти доклады отличались поразительным однообразием: сидит в кафе «Синяя лошадь» с рюмкой абсента; ходил на бега и проиграл четыре кларка; снова сидит в кафе; снова ходил на бега... «Нет, не встречался, шеф. Нет, не разговаривал. Нет, не писал. Сплошное алиби, шеф, а не человек!»

Ловушка тоже молчала, хотя ее размножили еще в девяти экземплярах и подсадили к каждому сейфу. «Рабочие» все еще возились с мелким ремонтом, регулярно сообщая Гарду, что Тур Сайрус ведет себя, как мышь.

И каждое утро в управление приходил Честер. Он ничего не спрашивал, просто садился на стул в кабинете комиссара, молча смотрел на него и сидел так до вечера. От этого взгляда Гарду хотелось сбежать хоть в Антарктиду.

На третий день наконец позвонил Чойз.

— Приезжайте,— буркнула трубка.

В лаборатории был истинный кавардак, но относительно чистый воздух. По всей вероятности, все эти дни профессор занимался анализом, держа пахучие жидкости под замком.

— Нате, полюбуйтесь,— сказал он, веером швырнув на стол десяток фотографий, в которых любители абстрактной живописи наверняка признали бы репродукции с каких-то неведомых шедевров.— Замечаете разницу?

Никакой разницы Гард не увидел, в чем и сознался.

— Тогда поясню,— сказал Чойз.— Это гаммарентгенограммы хромосом. В принципе все хромосомы построены стандартно. Но это только в принципе. Каждая хромосома столь же индивидуальна, как и физический облик человека. Гаммарентгеноскопия, равно как и химический анализ, всех этих тонкостей не улавливает. Но наиболее общие отличия все же заметны. Вот, смотрите: на этих пяти фотографиях данный микроучасток хромосомы построен по типу АГХ — это наше условное обозначение. А что мы видим на пяти других снимках?

Гард все равно ничего не видел.

— Тот же самый участок построен уже по типу АЦХ!— с нескрываемым удовольствием продолжал Чойз.— Значит, похищают только тех детей, у которых в хромосомах наблюдается конфигурация АЦХ!

— Какое значение имеет эта разница? — тупо спросил Гард.

— Тот, кто узнает, дорогой комиссар, получит Нобелевскую премию,— ответил Чойз.— Нам понятно одно: данный участок хромосом ответствен за характер обмена веществ.

— Обмена веществ? — без энтузиазма переспросил комиссар.

— Вот именно. Это довольно важная характеристика организма, во многом определяющая его энергетику, стойкость к биохимическим стрессам...

Гард пришел в совершенное отчаяние.

— Да объясните же мне наконец, кому это надо! И зачем?

Чойз строго поднял брови:

— Не понимаю, комиссар, чем вы недовольны. Я сделал все, о чем вы просили.

— Доволен, дорогой мой Чойз! Доволен! И готов целовать ваши сахарные уста в приливе искренней благодарности! Но что дает анализ для следствия? Кому нужны эти «стрессы»?

— Положим, это важно знать медикам.

— А гангстерам? Им-то зачем?

Чойз медленно прошелся по комнате:

— Я думал об этом, Гард. Проверка хромосом имела бы смысл — правда, довольно относительный,— если бы кому-нибудь потребовались рабы для урановых шахт.

— Шахт? Урановых?!

— Ну, да. Если вы сотне людей дадите одинаковую дозу радиации, то сорок из них, предположим, умрут, пятьдесят девять превратятся в инвалидов, а один... С ним, как ни странно, ничего особенного не случится. И этим он будет обязан уникальному строению той самой штуки, о которой я вам говорил.

Гард обхватил голову двумя руками:

— Но это же невероятно! Рабы? В шахтах? Малолетние? Не может быть!

— Согласен,— спокойно сказал Чойз.— Других гипотез у меня нет.

— Послушайте, профессор!..— Внезапно Гарду пришла довольно здравая и остроумная мысль.— Если берут детей только с этим... АЦХ, то вы не откажетесь быстро сделать еще один или два синтеза? Тогда мы узнаем, кто очередная жертва, и сможем использовать ее, как приманку!

— Я сделаю это,— сказал Чойз.— Удивительно, комиссар, но я понял, что ваша проблема соприкасается с моей. Ведь что такое химикаты, введенные в кругооборот внешней среды? Это грабли, запущенные в генетический фонд человечества! Носителя неподходящих генов безжалостно выпалываются...

Речь Чойза была прервана телефонным звонком.

— Это вас!— недоуменно проговорил профессор.

Гард взял трубку:

— Слушаю. Таратура? Есть новости?

— Есть, комиссар. Серж Пуся предупредил Мердюка, что готовы две куклы. Он спрашивает, вызывать ли ему Сайруса.

— А как же!— воскликнул Гард.— Конечно!

— И разрешать Сайрусу класть их в сейф?

— Вне всяких сомнений! Но прежде пришлите куклы мне. Срочно! Действуйте!..

На следующий день, в десять часов утра, обе куклы исчезли из сейфа, что Гард наблюдал, как говорится, при помощи прямой трансляции, сидя у себя в участке.

Еще через тридцать минут Таратура возбужденно докладывал:

— Чарльз Бенк у нас в кармане, господин комиссар! Он отнес куклы в медико-генетический институт! Точно ли? Как можно в этом сомневаться, если я шел за ним до самой лаборатории, не могу только выговорить, как она называется. Сейчас прочитаю: гамма-рентгено-скопия!.. Кому передал? Не знаю, шеф. Я побоялся войти, там было слишком мало народу. Какие будут указания?

Первым желанием Гарда было немедленно мчаться в институт, но он сдержал себя. Найти человека, которому переданы куклы, конечно, несложно: элементарный обыск, и дело в шляпе. Но что это даст? А вдруг он работает за «чаевые», даже не зная, на кого? Между тем тронешь его, и затрясется вся паутина...

— Таратура, вы слушаете? Теперь ваша главная задача не выдать интерес полиции к сотрудникам лаборатории. Поняли? Ничего не предпринимать! Только следить за Бенком. Действуйте, дружище! Вернее, бездействуйте! Почему так? Завтра узнаете!

Нет, не завтра, Гард немного ошибся в сроках. В тот же день Чойз успел сделать анализ. У одного ребенка, у девочки, у той самой принцессы, что завивалась перед Майклом, злополучный участок хромосомы имел конфигурацию АЦХ!

Таратура был немедленно вызван в управление. Говоря с ним, Гард на всякий случай запер дверь.

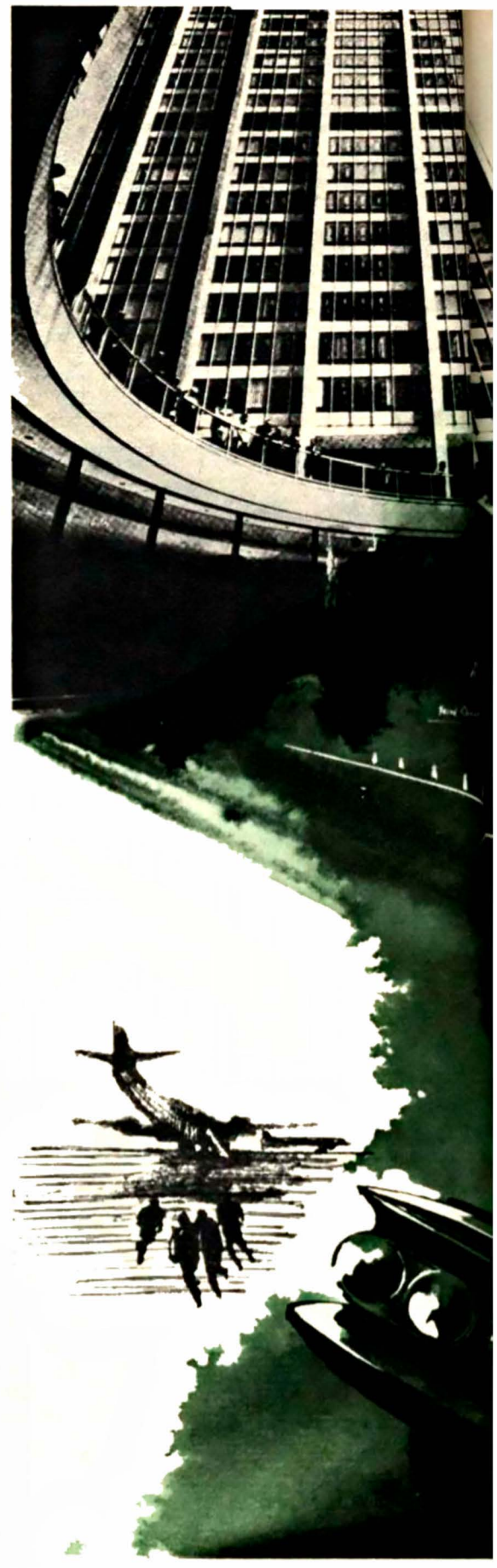
— В ближайшие дни,— сказал он,— будет похищена некая Рони Фишер, четырех лет. Запишите адрес: площадь Примирения, 24. Объявляю высшую степень готовности!

Продолжение следует.

Павел БАГРЯК

Фантастический детектив

Буль-Дайк



Глава 8. ПОГОНЯ

27 мая ровно в десять утра тридцатитонный продовольственный фургон, ехавший со скоростью около ста километров в час, врезался в пассажирский автобус, заворачивающий с улицы Буль-Дайк на площадь Примирения.

Автобус был перевернут и раздавлен.

Четырнадцать пассажиров были тяжело ранены, одиннадцать получили незначительные повреждения, и лишь трое, в том числе шофер, отделались легким, но на всю жизнь памятным испугом.

Водитель фургона оказался вдребезги пьян. Когда к месту аварии прибыл усиленный наряд дорожной полиции, он крепко спал в слегка помятой кабине своего «танка», предназначенного в основном для трансперевозок.

Толпа собралась хоть и большая, но бездействующая. Люди смотрели на происходящее, судачили о последствиях, обменивались мнениями о том, кто из раненых останется жить, а кто отдаст богу душу, оценивали убытки фирмы, говорили, что маршрут автобуса спланирован идиотски,— действительно, при повороте на площадь машина должна была выезжать на трассу, ведущую за город, и место это, трижды проклятое шоферами, всегда было чревато авариями,— и оттоняли детей, крутившихся вокруг в достаточном количестве.

Среди немногочисленных добровольцев, помогавших врачам «скорой помощи» перевязывать и таскать раненых, находилась сравнительно молодая женщина по имени Элизабет Фишер. Она была одета по-домашнему, в какой-то легкий розовый халатик с желтым передником, уже запачканный кровью, а ее светлые волосы были наспех стянуты в узел шелковой лентой. Как потом выяснилось, Элизабет Фишер готовила завтрак, когда услышала визг тормозов, скрежещущий удар металла о металл и вопли пострадавших, и в чем была выбежала на площадь из своего дома, углом стоящего к месту аварии.

На лице молодой женщины было написано искреннее сострадание.

— Ну, потерпите, умоляю вас, потерпите немного! — повторяла она, делая перевязки раненым.

Изредка Элизабет Фишер отрывалась от дела, поднимала голову, находила в толпе очаровательное создание с расширенными от страха и любопытства глазами и кричала:

— Немедленно иди домой, Рони, что я тебе сказала!

На секунду исчезнув, обладательница прекрасных глаз вновь появлялась на прежнем месте. «Ну и задам же я тебе трепку!» — решила про себя мать.

Но вот однажды, оглядев толпу, Элизабет не увидела дочери, не увидела ее и минуту спустя, и еще десять минут и подумала, что, как ни странно, Рони послушалась ее совета.

Но ребенка не оказалось потом ни дома, ни у соседей, ни даже в крохотном скверике на Буль-Дайк, куда Рони категорически запрещалось ходить одной, поскольку для этого надо было пересекать площадь, и куда она постоянно стремилась.

Ребенок исчез.

В час дня комиссар полиции Гард все еще стоял у большой карты города, по которой медленно ползла светящаяся точка. Она ползла вот уже два с половиной часа, ни на секунду не останавливаясь, по нескольку раз минуя одни и те же перекрестки, забираясь на окраину и возвращаясь в центр, и даже попала однажды на Карен-Дайк, но быстро свернула с этой опасной улицы, на которой находилось полицейское управление.

Начало см. в №№ 1—4.

Вдруг точка замерла на одном месте, и в то же мгновение ожил селектор.

— Они остановились, шеф,— сказал Мердок и через паузу добавил:— Из машины вышел тот, который в сером костюме. Идет к кафе «Нимфа».— Снова через паузу.— Зашел в кафе, комиссар. Как меня поняли?

— Понял,— сказал в микрофон Гард.— Что в «Бюике»?

— Остались трое. Девочка с ними, но я ее плохо вижу.— Через паузу.— Он вышел из кафе, комиссар. В руках газета. Читает. Пошел к машине.— Через паузу.— Сидят все вместе. Чего-то ждут...

— Будьте внимательны, Мердок, и осторожны!

— А как же, шеф?

Селектор замер.

— По-моему, их надо брать,— тихим, но решительным голосом произнес Честер, находящийся в кабине Гарда.— Ты делаешь ошибку, Дэвид, я в этом убежден.

— Рано,— коротко ответил Гард.

— Но ведь это опасно! Ты рискуешь ребенком, а вдруг они...

— «Вдруг» не позволим. Мердок вмешается в любой момент. Ты это знаешь. Без гарантии я не пошел бы на это дело, с меня хватит Майкла.

— И все же! — сказал Честер.— Это последняя ниточка! Она может лопнуть, и что тогда?

— Последняя, Фред, именно последняя! — повторил комиссар.

Два с половиной часа преступники кружили по городу, но вовсе не потому, что заметили слежку и путали следы — группа Мердока всегда работала безукоризненно,— а чего-то выжидали.

Чего именно?

События развивались для них естественно и традиционно. Благополучно вышел очередной номер «Мир пять минут назад», который сообщил читателям о катастрофе на площади Примирения и о пропаже Рони Фишер. «Опять рэкетиры?!» — стояло шапкой на полосе. В этом же выпуске было опубликовано интервью с инспектором полиции Джином Моргинсом, который по долгу службы всегда занимался подобными делами, занялся и на этот раз. Он выехал на место по телефонному звонку Элизабет Фишер в то время, когда инспектор Мердок уже полчаса гонял по городу за светло-бежевым «Бюиком». Допросив мать ребенка, соседей и кое-кого из зевак, еще толпившихся на месте аварии, Моргинс официально объявил о розыске Рони Фишер и попросил газету опубликовать фотографию девочки. Одновременно с этим инспектор сообщил репортеру, что полиция, как всегда, предпримет все меры и что в ближайшие часы специальные команды накроют будто бы известные Моргинсу явочные квартиры и убежища рэкетиров,— такое заявление можно делать лишь в том случае, если никаких убежищ и квартир ты не знаешь. Собственно, на этом практическая часть деятельности инспектора Моргинса кончалась, и Гард не вмешивался в нее, позволяя третьему участку комиссара Вутса делать обычные ошибки и создавать преступникам традиционные трудности, которые те с успехом преодолевали. Ничто не должно было их спугнуть или насторожить раньше времени — об этом прежде всего заботился комиссар Гард. Между тем у него самого возникли довольно серьезные затруднения. Ведь люди Гарда, следя за преступниками, были вынуждены скрываться и от них и от людей Вутса. Это была «круговая оборона», как выразился Гард, формулируя задачу Мердоку, на что инспектор, рассмеявшись, ответил, что всю жизнь мечтал хоть раз побегать от «собственного брата».

Но почему они выжидали? Почему бесконечно кружили по городу, возя с собой опасный груз и не расставаясь с ним так легкомысленно долго?

Вновь ожил селектор.

— Шеф, позади «Бюика» остановился «Мерседес» с тремя пассажирами, номер 1467951,— сказал Мердок своим обычным спокойным голосом.— Человек в сером костюме вышел из «Бюика».— Через паузу.— Идет к «Мерседесу», комиссар...

— Похоже, что начинается,— тихо произнес Гард, беря в руки микрофон.— Четвертая, шестая и седьмая группы, подтвердите связь.

Почти одновременно ответили три разных голоса, и комиссар убедился, что группы слушают друг друга, Мердока и его.

— Человек в сером возвращается к «Бюику»!— сказал Мердок, сразу взяв тоном выше, как это делают комментаторы футбольных матчей, когда у ворот создается напряженная обстановка и дело может кончиться голом.— Они выносят ребенка! Несут к «Мерседесу»! Передают двоим, которые сидят сзади! — Мердок почти кричал.— Возвращаются назад! Включены оба мотора! Сейчас разъедутся, шеф!

Люди

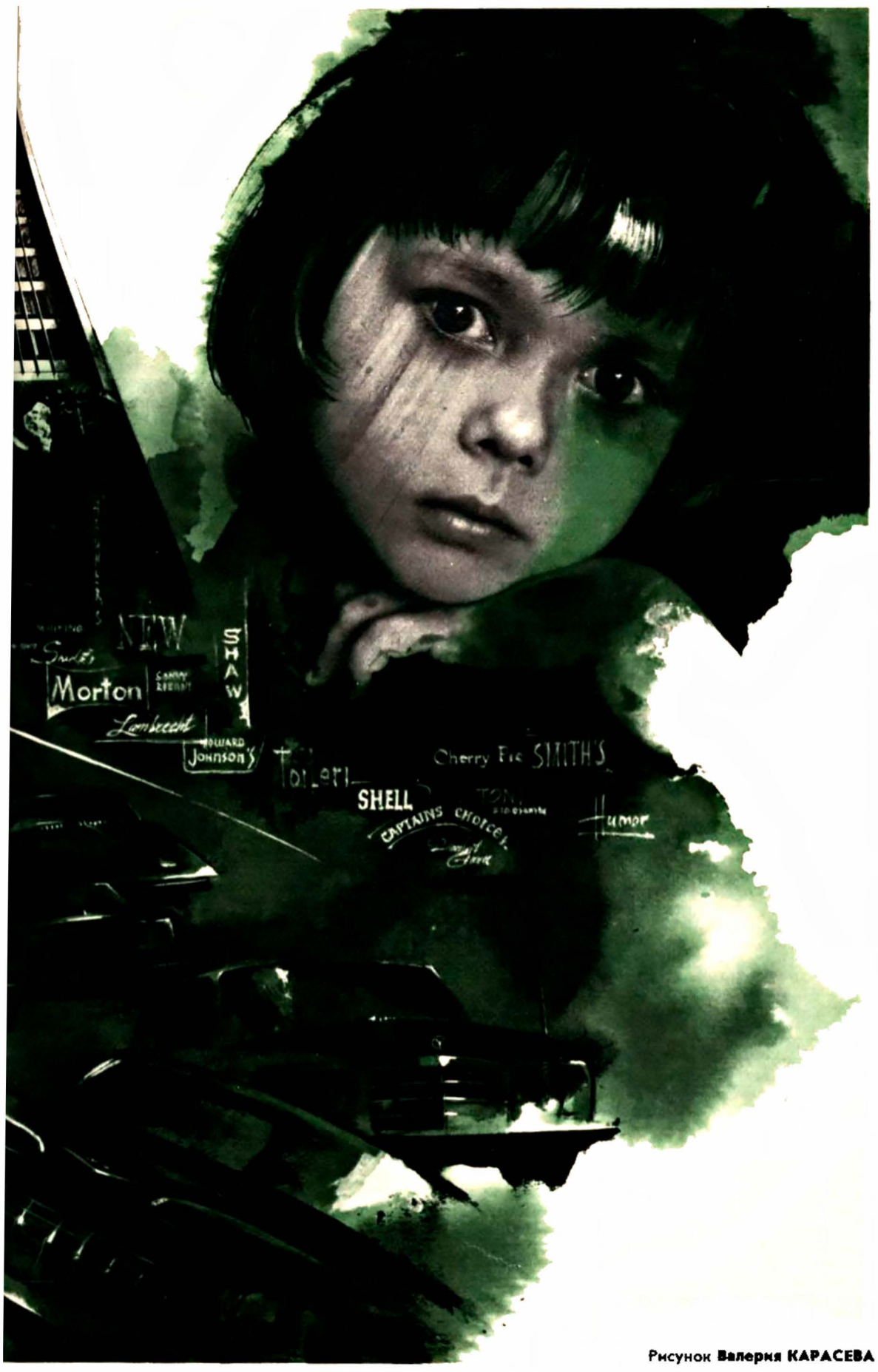


Рисунок **Валерия КАРАСЕВА**

— Спокойно! — на зависть Честеру, произнес Гард.— Общее внимание! Шестая группа, вы продолжаете наблюдение за «Бюиком». Остальные переключаются на «Мерседес» с подчинением Мердоку. Предупреждаю посты о наивысшей готовности. Как поняли, Мердок?

— Вас понял, комиссар,— сразу успокоившись, сказал Мердок. И через секунду: — Они двинулись. «Бюик» показывает левый поворот, «Мерседес» — правый, в сторону площади Вокзалов.

— Сто двенадцатый, сто двенадцатый! — тут же произнес Гард.— Будьте внимательны, «Мерседес» идет в вашем направлении.

— Рады его встретить, комиссар,— ответил пост на площади Вокзалов.

— Я выезжаю, Мердок,— сказал Гард.— Внимание, дальнейшая связь через семнадцатый. Там за рулем инспектор Таратура.

Выдвинув ящик стола, Гард быстрым движением взял пистолет и сунул его в задний карман брюк. Вторично за несколько последних дней Фред Честер видел комиссара вооруженным. Когда Гард брал пистолет, это значило, что он ждет от событий любых поворотов. Направляясь к двери, Гард бросил Честеру:

— Тебе лучше оставаться здесь.

— Что?! — сказал Честер и вдруг остервенело преподнес комиссару дулю.

Спорить и удивляться было некогда.

Двигатель «Ягуара-110» работал мягко и едва слышно. Заметив вышедших из подъезда Гарда и Честера, Таратура заранее приоткрыл дверцы машины. Они еще не успели захлопнуться, как «Ягуар» медленно двинулся с места, а затем, словно одумавшись, рванулся в переулок.

— На площадь Вокзалов, шеф? — несколько запоздало спросил Таратура, но он, вероятно, слышал весь разговор по селектору, не выходя из «Ягуара».

Гард хотел что-то сказать, но зажглась синяя лампочка, и он взял в руки микрофон:

— Гард слушает. Вы, Мердок?

— Нет, комиссар, сто двенадцатый! Они проскочили площадь Вокзалов в направлении...

«Сто двенадцатый» вдруг замялся.

— В каком направлении? — нетерпеливо спросил Гард.

— Простите, шеф, я всегда путаю юго-запад с юго-востоком...

— Называйте улицы.

— К площади Примирения...

— Верно, шеф,— вмешался Мердок,— мы идем к площади Примирения.

— Вот это да! — воскликнул Таратура.

— Неужели они хотят возвращать ребенка? — сказал Честер.

— Сто двенадцатый, немедленно свяжитесь с сотым и передайте ему, что «Мерседес» движется к ним,— приказал Гард.— Мердок, куда вы пропали?

— Я здесь, комиссар,— спокойно ответил Мердок.— Иду по пятам, но скорость у них приличная. Боюсь потерять.

— Сократите расстояние,— посоветовал Гард.

— Увидят.

— Ну и черт с ними! Увидят, да не поймут!

«Ягуар», повинуясь Таратуре, тоже летел к площади Примирения. «Вернуть ребенка? — подумал Гард.— Нет, не похоже. Они просто ссадили бы девочку где-нибудь на окраине, подальше от ее дома... Но кто возьмется предугадать поступки гангстеров? Кстати, как поживает наш «Бюик»?»

— Шестой, шестой! — вызвал Гард.— Доложите обстановку.

Шестой откашлялся и сказал:

— Иду нормально, комиссар. Они не торопятся, я тоже. Расстояние тридцать метров. Проезжаем парк Сента-Клосс.

Гард на секунду задумался, потом вдруг спросил:

— У них есть антенна?

— Не вижу, комиссар. Вроде как есть.

— Снимите наблюдение и возвращайтесь домой,— решительно приказал Гард.

— Не понял, шеф,— послышалось из динамика.

— Снимите наблюдение! Дальнейшие указания ждите дома.

— Хорошо, шеф.

И Таратура и Честер с удивлением взглянули на комиссара. Гард был невозмутим. Он закуривал сигарету, приоткрыв ветровое стекло так, чтобы ветер, если этот жалкий поток теплого воздуха можно было называть ветром, обдувал его лицо. Было жарко. Мотор «Ягуара» явно перегревался, у Гарда с Таратурой, сидящих впереди, было ощущение, что ноги их стоят в ванночке с горячей водой.

— От имени гангстеров,— мрачно сказал Честер,— приношу тебе сердечную благодарность.

— Весьма польщен,— спокойно ответил Гард.— Когда-нибудь на досуге я прочитаю тебе популярную лекцию о том, что нельзя одновременно гонять двух зайцев.

Минуту они проехали молча.

— А вдруг в «Бюике» заметят «шестого» и сообщат «Мерседесу» — сказал Гард.— Ты думал об этом? Я держал их на привязи лишь до тех пор, пока не убедился, что «Мерседес» никуда от нас не уйдет. Он для нас главный! Тебе ясно, достопочтенный представитель гангстеров?

Честер сконфуженно промолчал, а Таратура разразился по своему обыкновению неприлично громким смехом.

— Говорит Мердок,— раздалось из динамика,— я подозреваю, шеф, что они пройдут мимо площади. Уж слишком велика скорость.

— Затормозить никогда не долго,— заметил Гард.

— Это верно, шеф, но логичней предположить, что они дуют на трассу.

— Посмотрим.

«Ягуа́р», срезав угол, уже въезжал на улицу Буль-Дайк, другой конец которой выходил на площадь Примирения.

— Не торопитесь,— сказал комиссар Таратуре.— У нас есть в запасе несколько минут.

Они остановились буквально в двух шагах от дома, в котором жили Фишеры. Трасса просматривалась отсюда метров на пятьсот в обе стороны.

От недавней аварии не было и следа, если не считать четырех гранитных плит мостовой, уже замененных, но еще не вывезенных. Они лежали стопкой на краю тротуара. Мимо ходили люди, растерзанные послеполуденным жарким солнцем. На самой площади спиралью кружилась поливочная машина, все ближе и ближе подбираясь к центру — к памятнику, изображающему двух атлетически сложенных мужчин, пожимающих друг другу руки. Историки утверждали, что несколько веков назад именно на этом месте произошло примирение враждующих племен, положившее начало нынешнему государству. По этому поводу Фред Честер однажды язвительно заметил, что, если бы племена знали, какое это будет государство, они враждовали бы до сих пор. И вот уже могучие атлеты, обильно смоченные водой, заблестели на солнце, а вокруг них запрыгали, завизжали ребятишки, тоже норовя попасть под спасительные струи.

И никому из пешеходов не приходило в голову, что рядом с ними идет невидимая война, что в любую секунду могут прогреметь выстрелы и пролиться человеческая кровь. Элизабет Фишер лежала в этот момент в постели, находясь в полуобморочном состоянии, и не подозревала, что в такой близости от нее сойдутся сейчас и враги ее дочери и, возможно, спасители, впрочем, добро и зло всегда шествуют недалеко друг от друга и так близко от нас, грешных!..

— Сотый, я вас вижу,— сказал Гард, поглядывая на водителя поливочной машины.

«Сотый», слегка убрав скорость и уменьшив напор воды, поспешил ответить:

— Я вас тоже, комиссар! Ну и жара... Хотите окачу?

— Прекрасная идея! — не без сарказма заметил Честер.

— Однако внимание,— сказал Гард.— Они на подходе. Мердок, какая у вас скорость?

Тут же ответил Мердок:

— Девяносто пять, комиссар.

— Обходите «Мерседес», я возьму его сзади.

— Ясно, комиссар.

— Таратура, включайте! — скомандовал Гард.

Мимо пронеслась машина Мердока — отличный «Шевролет» трехгодичной давности, затем черный «Мерседес» с высоко торчащей антенной, вплотную за ним — малолитражка, последняя модель фирмы «Норд-Вест», а еще потом, метрах в пятидесяти за малолитражкой, шел автобус. «Ягуар», точно выбрав момент, рванулся, вклинился между «Норд-Вестом» и автобусом и, сразу набрав скорость, понесся в общем потоке, огибающем площадь Примирения.

— Четвертый и седьмой! — крикнул Гард в микрофон.— Выходите на трассу и следуйте за нами с интервалом в две минуты. Сотый, кончайте работу и возвращайтесь домой. Передайте дежурному о снятии всех постов, находящихся на главных площадях города. Теперь, надеюсь, справимся сами. Вам ясно?

— Еще бы, комиссар!

Погоня!..

Впрочем, какая же это погоня? Как из слагаемых — сумма, так и погоня должна складываться по крайней мере из двух компонентов: из убегающих и догоняющих. Вот когда они словно бы настраиваются на одну волну, передавая друг другу ритм и скорость движения. Вот когда их нервы вытягиваются в тонкую ниточку, готовую лопнуть в самый неподходящий момент. Вот когда рождается обоюдный азарт, и появляется жажда риска, и даже гибель кажется менее обидной, чем проигрыш в глазомере, в умении водить машину, в выдержке.

А что было на этот раз? «Мерседес» ни от кого не убегал, а спокойно, подчиняясь своему собственному плану, ехал к цели. И даже не предполагал, что не только за ним, но и впереди него движутся полицейские машины. Хозяева «Мерседеса» не тратили ни капли нервной энергии, не мучались страхами и не молились богам.

Это был самый классический вариант слежки, ибо погоня, по убеждению Гарда, означала брак в работе — обоюдное обнаружение, когда приходится открытым способом исправлять ошибку. Гард не любил погонь, чего нельзя сказать о Таратуре. Вот и сейчас он не был самим собой, нервничал больше обычного, раздражался по пустякам, ворчал и капризничал. То ему показалось, что как-то «не так» заработал мотор, и он даже хотел остановиться и проверить, в чем там дело, но Гард приказал ему не дурить. «Они ж никуда не уйдут!— проворчал Таратура.— Ближайшие сто километров с трассы и свернуть-то некуда!» То ему стала поперек горла малолитражка, которую вел тучный усатый мужчина,— это заметили, когда пропускали «Норд-Вест» перед собой. Водитель малолитражки буквально вцепился в «Мерседес», решив потягаться с ним в скорости и, вероятно, проверить, стоит ли его машина тех денег, которые он заплатил. То бесила Таратуру скорость, с которой «даже неприлично ехать за преступниками» и которая «была пригодна для прогулки или для похорон...».

Если бы он знал, куда и к каким испытаниям приведет его эта «невинная прогулка»!

— Шеф,— сказал из динамика Мердок,— вам не кажется, что цель их — аэродром?

— Спасибо, Мердок,— ответил Гард.— Я тоже думал об этом.

Действительно, на сто сорок пятом километре расположился самый дальний из семи аэродромов столицы. Впрочем, на девяносто седьмом километре была вертолетная станция, входившая в систему окружных станций, откуда можно было добраться до любого аэровокзала. А на сто двенадцатом километре — речной порт, связанный каналами с западным и восточным побережьем Ньюкомба. Не говоря уже о том, что шоссе приводило в конце концов к городу Орлуану, второму по величине после Нью, от которого расходились веером еще с десяток дорог в разных направлениях... И все же, повинуясь интуиции, Гард вызвал дежурного полицейского управления:

— Говорит семнадцатый. Срочно доложите расписание ближайших пассажирских рейсов с аэродрома Нью-порт-6.

— Минуту, комиссар... Будете записывать или так?

— Валяйте «так»,— улыбнулся Гард.

— В пятнадцать ноль семь — Париж-прямой. В пятнадцать сорок — Аддис-Абеба — транзит. В шестнадцать десять — остров Холостяков — внутренний. В шестнадцать пятьдесят — межконтинентальный Токио...

— Пока хватит,— прервал Гард. Потом взглянул на часы. Они показывали три дня. Машина в Париж уходила через семь минут. Стало быть...— Забронируйте мне на каждый рейс, кроме парижского, по два...

— Что-о-о?! — встрепенулся Честер.

— По три билета. И можете спать дальше.

— Благодарю, комиссар,— ответил дежурный.

На сто втором километре вся кавалькада по очереди обошла «Норд-Вест», который сначала пытался соперничать, но скоро сдался. Таратура, не удержавшись, показал усатому кулак, за что получил в ответ традиционный шоферский жест, означающий «сам болван»: усатый повертел у виска указательным пальцем. Таратура позеленел...

Миновали речной порт, далеко позади осталась вертолетная станция. «Аэродром или Орлуан?» — думал Гард. За пять километров до поворота он вызвал «четверку».

— Обходите всех и дуйте вперед,— сказал комиссар.— Пойдете на Орлуан. В случае чего будете ведущим.

К зданию аэровокзала машины подъехали одна за другой, через пять секунд каждая, как подъезжают дипломаты на прием к Дворцу президента. Первой остановилась машина Мердока, ей в затылок — черный «Мерседес», а следом за ним, совсем уже вплотную, поставил «Ягуара» Таратура.

Дверцы открылись почти одновременно.

Нет, допрос никогда не был стихией комиссара Гарда! Он умел думать, строить логические схемы, делать выводы там, где другие не находили для них даже повода, предугадывать поступки людей и безошибочно определять по характеру поступков их исполнителей. Гард мог, наконец, организовать прекрасную ловушку, точно расставив посты и разыграв, как по нотам, варианты, один из которых непременно сбывался. Выследить преступника, взять его, получить в руки вещественные доказательства — всему этому можно было поучиться у комиссара Гарда. Но вот допрос...

С женщинами он просто терялся, не умея разговаривать с существами, не признающими логики. С мужчинами Гард чувствовал себя много уверенней, но если и мужчины тупо молчали, обнаруживая неспособность или нежелание логически мыслить, он поднимал руки кверху и говорил, что в этих случаях может помочь только комиссар Вутс со своими «молодчиками».

Дело в том, что единственным методом, которым комиссар Гард пользовался во время допроса, был метод убеждений. «Мой жанр — разговорный!» — шутил он в кругу друзей. Выжимать показания, а тем более выбивать их Гард не желал, не умел, никогда этому не учился и не мыслил себе, даже как исключение, в самых безвыходных ситуациях. Альфред дав-Купер, учитель Гарда и великий детектив, тоже признавал только те показания, которые были получены, как говорил он, «на основе взаимности». Старик сравнивал сведения, выбитые кулаками, с любовью, приобретенной с помощью насилия: это порочно, говорил он, и не приносит никакого удовлетворения.

Вот почему допрос всегда был стихией комиссара Вутса, и вот почему комиссар Вутс за какие-то пять лет сделал совершенно феерическую карьеру, поднявшись (или опустившись?) от вышибалы заведения «Милости просим на два часа!» до полицейского комиссара, имея к тому же перспективу, которая не снилась Гарду.

Сидя сейчас перед тремя преступниками, хранящими упорное молчание, Гард лихорадочно размышлял, что ему делать. Ясно было одно: операцию следует завершить ювелирно тонко, так, чтобы не осталось даже шрама. Никакие графики не должны быть смещены, ничто не должно быть остановлено или отложено. Самолет, из-за которого «Бюик» кружил по городу, убивая время, обязан подняться точно по расписанию, хотя неизвестно было, какой это самолет...

Их взяли в лифте — молниеносно, без посторонних глаз, что называется, с ходу. Спящую Рони Фишер — ей, очевидно, они вкололи изрядную дозу снотворного — инспектор Мердок незаметно перенес в машину к «седьмому» и оставил там под наблюдением помощника. Поднявшись в лифте на самый верхний, двенадцатый этаж аэровокзала, считающийся служебным, Гард без подробных объяснений занял пустую комнату, отделавшись от дежурного лаконичным: «Мне необходимо!» — и показав ему жетон на лацкане пиджака.

Честер остался внизу и прогуливался вблизи черного «Мерседеса», пока к нему не спустился Таратура. Они вместе внимательно обследовали машину, но ничего существенного не нашли, если не считать трех ампул из-под морфинила, шприца, оберток от шоколадных конфет и небольшого странного свертка, в котором лежали два полотенца.

Затем Таратура вернулся к Гарду.

В первые пять минут удалось выяснить, что молчаливая троица располагает документами на имя Роберта Сболла, Юджина Харри и Ли Кнехта; бумаги, разумеется, могли быть липовыми. В списках пассажиров, направляющихся в Аддис-Абебу, на остров Холостяков и в Токио, эти фамилии не значились, что тоже еще ни о чем не говорило, поскольку продажа билетов осуществлялась без предъявления документов.

Было три часа тридцать минут дня. Пассажиры потихоньку подтягивались к желто-синему автобусу, который должен был доставить их к приземистому четырехтурбинному «Конкорду», идущему через десять минут рейсом в Аддис-Абебу. Наблюдая эту картину с высоты двенадцатого этажа, Таратура подумал о том, что мечта его детства опять горит синим пламенем.

Гард начинал допрос по второму заходу:

— Итак, кто вами руководит?

Молчание.

— Ваш дальнейший маршрут?

Молчание.

— Цель кражи?

Гробовое молчание.

— Хорошо,— сказал Гард.— Попробую играть с вами в открытую, господа!

Господа дружно заулыбались.

Тот, у которого были документы на имя Юджина Харри — сорокалетний мужчина с белыми бровями и крашеной головой,— положил ногу на ногу:

— Начинайте, комиссар!

Гард уже раньше всматривался в него, пристально поглядел и на этот раз. Определенно что-то вспомнив, он сказал:

— Мне известно, что девочку зовут Рони Фишер, она была украдена сегодня утром на площади Примирения...

— Мы тоже читаем газеты! — бесцеремонно перебил Харри.

— Я знаю также,— не обращая внимания на реплику, сказал комиссар,— что в этом хищении вы не принимали участия. Ребенок был передан вам в час пятнадцать у кафе «Нимфа». Зато вы...— Гард повернулся к Юджину Харри,— вы были старшим группы, которая похитила пятилетнего Майкла Честера в парке Сента-Клосс, в районе Круглых прудов, 24 мая, в двенадцать сорок дня!

— Фью-ю-ю! — присвистнул Харри, то ли удив-

ляясь, то ли выражая восхищение осведомленностью комиссара.

— Состав вашего преступления налицо,— сказал ему Гард.— Нам хватит этого, чтобы посадить вас за решетку. Но если вы...

— Как рэкетиров? — перебил Харри.

— Возможно,— сказал Гард.

— Ну и валяйте!

Гард понял много больше того, что хотел сказать Харри. «Конечно, из двух бед он предпочитает наименьшую...» — подумал комиссар, но взгляд его, скользнув по стене, остановился на часах. Они показывали сорок минут четвертого.

Взревели турбины «Конкорда». Еще минута, и с этим рейсом, быть может, улетит последняя возможность проникнуть в тайну исчезновения детей.

Или шансы сохраняются до следующего рейса?

Харри тоже посмотрел на часы. Ни один мускул на его белесом лице не отразил волнения. Было похоже, что и в этой компании он исполняет обязанности старшего.

«Конкорд» взмывал в воздух.

Ну что ж, придется начинать новый тур, надеясь на выигрыш второго промежуточного финиша. Когда он? В 16.10? Всего тридцать минут форы?

— Я знаю, наконец,— начал Гард тоном, каким актеры обычно произносят «под занавес» самые сильные и впечатляющие реплики,— что оба ребенка имеют генетический код конфигурации АЦХ!

— Чего?! — вырвалось у Сболла.

Троица переглянулась.

Кажется, Гард знал даже больше того, что знали они, но совсем не то, что ему сейчас было нужно.

Он посмотрел на Сболла, держащего руки между сжатыми коленями, на Кнехта, тоскливо смотрящего в окно, на развалившегося на стуле Харри... Пешки! Элементарные пешки в сложной шахматной партии, которую играет чья-то опытная рука! В самом деле, подумал Гард, старые «моржи» Пуси стригли детей и делали невинных кукол, даже не подозревая, что кто-то пользуется их данными. Тур Сайрус прятал кукол в сейф, понятия не имея о том, что они исчезают и возвращаются. Старик сторож таскал кукол в генетическую лабораторию, уверенный в том, что не делает ничего противозаконного. Гард мог биться об заклад, что и сотрудник лаборатории не знал истинных целей своих заказчиков, что он работал по принципу: берите ваши анализы — давайте мои деньги! Подонки, которые крали детей, тоже не догадывались, зачем их крадут: подонков устраивало то, что гонорар они получают сразу. А потом они передавали «товар» новым подонкам, обязанным всего лишь доставить его к определенному рейсу на аэродром. По логике вещей лететь должен кто-то еще, но кто?

Звенья в цепи... Смешно насиловать их вопросами о том, кто ими руководит и каковы цели хищения. Пустое все это, пустое! Они знают лишь звено предыдущее и звено последующее. Но как сделать, чтобы цепь не оборвалась? Как поступить с ними? Что им сказать?

Хоть лопни!

Предложить им деньги? Шикарные виллы на берегу Адриатики? Яхты? Политическое убежище в Месопотамии? Свободу? За одно только слово: кто следующий в мрачной цепи преступления? Но даже если бы Гард располагал такими богатыми возможностями, он все равно был бы бессилен. Нельзя перекупить то, что уже продано Сатане. Эта троица при всех случаях теряла неизмеримо больше того, что могла получить у Гарда: она теряла жизнь! Это было понятно с самого начала. Только звериный страх перед теми, кого они, вероятно, и в глаза-то не видели, но кому запродали души, мог заставить их держать язык за зубами. Они наверняка знали, что от Сатаны никуда не уйдешь, не улетишь, не уплывешь и не спрячешься, что электрический стул по сравнению с муками, на которые обрекает Сатана за предательство,— благо.

И все же Гард сделал еще одну попытку их разговорить.

— У вас есть дети? — обращаясь к Сболлу, сказал он.

Сболл пожал плечами:

— Не знаю, комиссар!

Харри громко рассмеялся.

— Сто сорок девять детей бесследно исчезли за последние два с половиной года,— жестко произнес Гард.— Смейтесь, Харри, если вам смешно! Сто пятидесятым был Майкл Честер. Сто пятьдесят первой могла стать Рони Фишер...

— К чему эта арифметика, комиссар? — процедил сквозь зубы помрачневший Харри.— Везите нас в управление, там в камере хоть прохладней!

Таратура так сжал кулаки, что они побелели.

— Позвольте мне, шеф? — тихо сказал он, приподнимая свое могучее тело.

Гард отрицательно покачал головой. У этой троицы был страх куда сильнее страха перед инспектором.

Часы на стене показывали сорок минут четвертого.

И вдруг открылась дверь. Вошел Честер. За его спиной стоял усатый водитель малолитражки.

Фред увидел его не сразу, но, когда увидел, обрадовался как старому знакомому.

Сначала Честер любовался платной стоянкой для автомашин, куда пассажиры, отправляясь в далекие рейсы, ставили до возвращения свои «колеса». Это была не стоянка, а настоящая выставка, как будто специально организованная многочисленными фирмами в рекламных целях. Пожалуй, только «Норд-Вест» был представлен на ней в единственном экземпляре.

Фред смотрел на машину с нескрываемой завистью: модель и в самом деле была что надо! Потом он увидел усача, который зачем-то подошел к своему «Норд-Весту». С этого момента Честер от нечего делать не выпускал его из вида.

Усач поглядывал на часы, которые были у него на руке, и на часы, которые были на фронтоне аэровокзала, как будто хотел убедиться, что какие-то из них врут, и это вранье истолковывал в свою пользу. С некоторой надеждой на лице он устремлялся навстречу каждому, кто решительно шел в его сторону, но по мере сближения как-то растрачивал свой пыл и постепенно утасал. Однажды он приблизился к какому-то человеку с острой бородкой, что-то спросил у него, но получил в ответ недоуменное выражение лица, которое сменилось откровенным любопытством. Усач немедленно ретировался, не оглядываясь, а острая бородка, наоборот, трижды поворачивалась ему вслед.

Прохаживаясь вдоль тротуара, у которого стоял черный «Мерседес», Честер постепенно увеличивал количество шагов в обе стороны и однажды оказался совсем близко от усача.

— Хелло! — сказал Фред, дружелюбно улыбаясь.— У вас отличная машина! Вы просто на равных тягались с нами на шоссе!

Усач искусственно улыбнулся, почти не взглянув на Фреда. По всей вероятности, Честер никак не походил на человека, которого с таким нетерпением он ожидал.

— Простите,— не унимался Фред,— какова максимальная скорость «Норд-Веста»?

— Сто сорок,— коротко ответил усач.— Извините, мне некогда.

— Здесь всем некогда,— философски заметил Фред, имея в виду главным образом себя и своих друзей.

Усач с некоторым интересом поглядел на собеседника, проявившего странную назойливость, и осторожно спросил:

— Вы тоже летите?

— Боюсь, что нет,— вздохнув, откровенно сказал Честер.— А вы?

— Удивительное совпадение,— ответил усач.— Я тоже еще не знаю... Кого-нибудь ждете?

— Ого! — сказал Честер.— Еще как жду!

— Я тоже! — как будто обрадовался водитель малолитражки.

Они сделали рядом несколько шагов. В душе усача явно боролись противоречивые желания, и, посмотрев на часы, он дал одному из них победить другое. Еще раз смерив Честера с головы до ног, усач вдруг тихо сказал:

— Вы не одолжите мне два полотенца?

Вероятно, у Фреда было такое же выражение на лице, как у того господина с острой бородкой. Но уже в следующее мгновение Честера как будто пронзило током: в странном свертке, обнаруженном в «Мерседесе», было ровно два полотенца!

Не может быть!

Ни в одной из нескольких сотен автомашин, стоящих на территории аэропорта, не могло быть сейчас двух полотенец, завернутых в сверток! И никому из полутора тысяч людей, снующих в аэропорте, не пришло бы в голову спросить постороннего человека, не может ли он одолжить два полотенца!

Все ясно: пароль!!

Лихорадочно думая об ответе, в котором было бы как можно больше нелепостей, но так ничего и не придумав, Фред крепко взял усача за рукав.

— В чем дело? — сказал усач.

— У меня есть два полотенца,— задыхаясь от волнения, проговорил Честер.— Они хороши слонам.

— Каким слонам? — искренне удивился усач.

Честер глупо подмигнул ему:

— Пойдемте покажу!

Усач мрачно последовал за Фредом.

Открывая дверцу черного «Мерседеса», Честер, как ни торопился, все же заметил, что за ним во все глаза наблюдает «четверка», стоящая визави. «Только бы не помешали, идиоты!» — авансом обругал полицейских Фред. Быстро развернув сверток, оставленный Таратурой на сиденье, Честер показал содержимое усачу.

— А где метка? — тихо спросил усач.

— Должна быть метка! — воскликнул Честер.— Не может ее не быть!

Действительно, вывернув полотенце наизнанку, усач и Честер увидели красное клеймо, изображавшее, как это ни фантастично, слона! Тут уж Фред обалдело посмотрел на водителя малолитражки.

— Чего же ты не по форме? — сразу перейдя на «ты», сказал усач.— Поменяли ответ? Или забыл, что ли?

Честер опустил глаза, с одной стороны, выражая этим вроде бы смущение, а с другой стороны, боясь разоблачить свое ликующее состояние.

— Первый раз,— сказал он.— Тот заболел.

— Болваны!— выругался усач. Вероятно, среди преступников он стоял в табели о рангах чуть выше того.— Дать бы вам всем разок по шее! Где груз?

— Там,— сказал Фред, поднимая глаза к двенадцатому этажу.

— Пошли быстрей. Уже время.— Усач торопливо свернул полотенца и засунул их под пиджак.— Он ждать не будет.

— Кто? — не понял Честер.

— Кто! Кто! — передразнил усач.— Самолет! В шестнадцать пять убирают трап, вот кто! Пошли!

— А как же полотенца? — играл в дурачка Честер.

— Ты что, озверел? — искренне удивился усач.— Полотенца идут мне! Понимаешь? Не тебе, а мне!

— Это еще зачем?

— Ну и людей подбирать стали!— Усач покраснел от негодования.— Для морды, когда я на пляже буду, у меня есть собственное! Соображаешь? Чистое! А эти — с меткой! Для креста! Ох, не быть тебе, парень, в нашей компании!

В лифте усач неожиданно тихо и даже с какой-то теплотой в голосе спросил:

— Груз спит? Ну и прекрасно. Морфинильчик действует...

Потом была дверь, за которой находился Гард. Честер сделал последнюю «естественную» попытку:

— А для какого еще креста?

— Ты о чем?

— О полотенцах.— Фред снова опустил глаза.

— В бога веруешь? — сказал усач.— Молись. Такие, как ты, любознательные, долго не живут.

И они вошли.

Четыре человека бежали прямо по аэродромному полю.

Четвертым был Мердок. Комиссар на ходу отдавал ему последние указания:

— Ребенка через Моргинса вернете матери... Сегодня же договоритесь с ним, пусть даст интервью: рэкетиры, мол, обыкновенные рэкетиры! Удалось, мол, поймать. И пусть назовет две-три фамилии. Из тех, что уже сидят... На его расспросы — молчок. Вернется Гард, у него, мол, и спрашивайте. Куда уехал, тоже не знаю. Эту четверку держать под замком. От них наружу ни единого звука! Ночью аккуратно уберите машины ко мне в гараж...

Стюардесса уже закрывала двери. Бегущий впереди Таратура заорал:

— Подождите!

— Наблюдение из парикмахерской, игротеки и лаборатории не снимать,— продолжал Гард.— Подключите инспектора Хьюса... И последнее: контрольный срок — 2 июня, двенадцать часов дня. Если нас не будет... или не будет вестей... поднимайте тревогу. Идите на доклад прямо к Президенту. Это нам мало поможет, но не вам тоже нельзя. И дайте материал в прессу... Я очень на вас надеюсь, Мердок!

Трап еще не убрали. Поднимаясь в самолет, Честер шепнул Гарду:

— Дэвид, у меня в кармане ни одного лемма!

— Ты говоришь так, как будто это впервые.

— Да, но...

— Не волнуйся. Ужин ты заработал честно. А там видно будет!

Самолет не делал прощальных кругов, а сразу взял курс на остров. Гард смотрел в иллюминатор, но так и не увидел Мердока, одиноко стоящего на зеленом поле, перерезанном во многих направлениях бетонными полосами.

Они не знали, что им не суждено больше встретиться.

Продолжение следует

Павел БАГРЯК

Одни люди

Фантастический детектив

Глава 9. ТРИ ХОЛОСТЯКА

Пожалуй, сегодня уже не многие помнят, что остров Холостяков когда-то назывался островом Акул. Смена названия произошла лет двадцать назад при довольно любопытных обстоятельствах, наложивших решительный отпечаток на нынешний стиль жизни известного великосветского курорта.

На одном из пленарных заседаний Ассоциации миллионеров-холостяков вице-президент Раул Бланкмейстер, ныне покойный, зачитал открытое письмо некоего Эдмонта Бэйла...

Впрочем, рассказывать об этом надо не так.

Остров Акул был сам похож на акулу. Он имел восемьдесят четыре мили в длину, шесть миль в ширину, а в высоту сорок метров, если острова можно характеризовать в трех измерениях. Северная часть, заостренная и изогнутая, словно акулий хвост, выходила в открытое море. Она была голой и мрачной, сплошь состоящей из больших и малых холмов, покрытых гладкими валунами, доставшимися в наследство от ледникового периода. Многократные и утомительные попытки найти там полезные ископаемые ни к чему не привели, и эта часть острова, прорезанная, правда, отличной дорогой, была оставлена в своей первобытной дикости и признана государственной.

Зато южная часть могла бы вызвать зависть лучших курортов мира. Отделенная от Ньюкомба проливом, напоминающим Ла-Манш, она полого спускалась к морю, образуя совершенно ровные многоступенчатые террасы, словно нарочно приспособленные для строительства отелей. Желтый песок, целебный воздух, прекрасные источники пресной воды, великолепное море, много солнца, тенистые пальмовые деревья, неумолчно поющие птицы и, наконец, поражающие своей стройной красотой реликтовые сосны, сохранившиеся, говорят, лишь в трех местах земного шара,— не райский ли уголок для тех, у кого есть предприимчивость и кларки в кармане?

Увы, коммерцию финансовым акулам самым нахальным образом испортили акулы морские. Их было так много, что не только купаться, но даже оставлять на берегу вещи и съестные припасы было опасно, так как акулы выбрасывались из воды, успев перед смертью проглотить добычу.

Остров был обречен. В его южной части открылась единственная харчевня «Петух», в которой редким гостям давали жидкое пиво, салат из морской капусты и отбивные из акульего мяса.

Вот тут-то на сцене и появляется впервые Эдмонт Бэйл — средней руки миллионер, но зато активный член Ассоциации миллионеров-холостяков. Собственно, появляется он не на сцене, а на острове, в харчевне «Петух», где съедает одну отбивную, а затем долго думает, решая в уме сложную задачу.

Затем происходит пленарное заседание, на котором ныне покойный Раул Бланкмейстер и зачитывает открытое письмо Эдмонта Бэйла.

Письмо следующего содержания:

«Уважаемые холостяки! Братья по кларкам! Я вынужден открыться перед вами: вот уже три года, как я женат. (Гул возмущения в зале.) Более того, у меня есть годовалая дочь. (Крики: «Позор!», «Долой его!») Но я слишком поздно осознал ошибку и раскаиваюсь. Судьба жестоко наказывает меня одним тем, что я вынужден покинуть нашу славную Ассоциацию. Но прежде, чем распрощаться с вами, я хочу хоть немного облегчить свои страдания. («Только не за наш счет!») Уважаемые холостяки! Вот уже много лет мы занимаемся тем, что изыскиваем возможность разумно тратить наши лишние кларки. Так вот, дорогие братья по кларкам, я хочу предостеречь вас от тех... («А ты кто такой?!»)... кто предложит вам создать на острове Акул курорт для холостяков! («А почему бы и нет!», «Захотим — и построим!») Я знаю, что скажут вам совратители ваших миллионов! («Пророк нашелся!») Объедините капитал, скажут они, и поставьте на южной части острова заградительную сетку! («Прекрасная идея!») Это будет стоить всего шестьдесят миллионов кларков! («Сколько? Сколько он сказал?!») Но позвольте дать вам искренний совет: ни в коем случае... («Долой!», «Это уже слишком!», «Он еще смеет советовать!»)... не соглашайтесь! Не осваивайте остров Акул! Это — гиблое дело!..»

Дальнейшее потонуло в сплошном протестующем реве, и письмо Эдмонта Бэйла так и не было дочитано до конца. Тут же вопреки его совету был создан Комитет по освоению, составленный из шестнадцати отъявленных холостяков. В ближайшие три дня были выкуплены у государства (разумеется, по взвинченным ценам) участки на южном берегу острова. Полным ходом началось строительство морского порта, аэродрома, сорока трех отелей, множества ресторанов, пляжей, баров, станций обслуживания автомобилей, купальных залов, подземных гаражей, бассейнов, канатных дорог и парикмахерских салонов. Стальная сетка, словно намордник, надетая на утолщенную южную часть острова, действительно обошлась в шестьдесят миллионов, если не считать пособий, выплаченных семьям тридцати шести водолазов, погибших при ее установке. Морские акулы, потыкавшись мордами в решетку, сдались, подняв кверху острые плавники и признав бесспорную победу за миллионерами, объединившими свои усилия.

Спрашивается, что со всего этого имел Эдмонт Бэйл, так неуклюже пытавшийся предостеречь своих братьев от рокового шага? Форменный пустяк: отель «Ум хорошо, а кларк лучше», расположенный на самой ровной террасе, у самого желтого пляжа — на участке реликтовых сосен, купленном Бэйлом за бесценок у хозяина бывшего «Петуха» еще задолго до того, как Ассоциация получила открытое письмо.

С тех пор остров Акул и стал называться островом Холостяков. Фешенебельный курорт мог спорить своей славой с Дубровниками, Ниццей, Солерно, Золотыми Пясцами, Сочи и Калифорнией. Ежегодно здесь отдыхали сорок три миллионера-холостяка, до двух сотен семейных миллионеров. Президент, многочисленные министры, наследные принцы из зарубежных государств, всевозможные коронованные и пока еще не коронованные особы, а также самые могущественные короли гангстеров. Кроме того, все, у кого в кармане имелись кларки, могли приехать сюда, чтобы оставить их в карманах холостяков и прежде всего нынешнего мультимиллионера Эдмонта Бэйла.

Наконец — что очень важно для понимания стиля курортной жизни,— холостяки с самого начала провозгласили принцип: «Все, что угодно, но только для одиноких!» Мужьям с женами и женам с мужьями въезд на остров был категорически запрещен. Короли и королевы, президенты и президентши, клерки и клеркши — одним словом, семейные пары всех рангов — оставляли дома обручальные кольца, селились в разных номерах отелей и церемонно знакомились на пляже, как будто впервые друг друга видели.

Разумеется, это была милая и пикантная условность, но играли в нее так, что даже переигрывали. Мужчины ухаживали за своими (или чужими) женами с пылкостью и осторожностью заядлых холостяков, а женщины кокетничали со своими (или чужими) мужьями с такой непосредственностью, как будто никогда не стояли под венцом. Роковые последствия этой внешней и внутренней свободы улаживались сами собой, что, впрочем, стало модным для нашего времени. Верхом неприличия считалось не только ревновать, но и бросать ревнивые взгляды, а малейший намек на родственность приводил к необходимости покинуть остров. Дело дошло до того, что даже родные братья предпочитали не узнавать друг друга, а сестры, столкнувшись, презрительно отворачивались.

Курортной газете дали название «Прекрасное одиночество».

Таким образом, почти все на этом острове были друг другу родственники, хотя делали вид, что чужие, и все были воистину чужими, хотя в миру считались родственниками.

И только один официальный скандал потряс два года назад нравственные основы миллионеров-холостяков. После смерти почтенного вице-президента Ассоциации Раула Бланкмейстера неожиданно выяснилось, что у него имеются шесть дочерей и два сына, не говоря уже о супруге, которые тут же передрались из-за наследства. Недели две подряд центральная печать только и занималась подробным описанием судебного процесса, отпуская при этом ядовитые замечания в адрес Ассоциации. Наследство, надо сказать, было немалым и состояло, кроме прочего, из очаровательной монорельсовой дороги, ведущей от аэродрома к побережью, и шикарного отеля под названием «Холостяк из принципа».

Трое мужчин, прибывшие вечером 27 мая рейсом из Нью, как раз и воспользовались этим отелем.

Всю дорогу Гард тщательно обдумывал план действий. Из чего, собственно, он мог исходить? Сведения были чрезвычайно скупые и сумбурные. Он знал, во-первых, что ребенка должен был сопровождать человек, у которого имелись документы на имя Боба Лангера, и что этот человек не был последним звеном в преступной цепи. Во-вторых, судя по фразе Лангера, сказанной Честеру: «Для морды, когда я буду на пляже, у меня есть собственное полотенце»,— он должен был (или просто хотел?) выйти на пляж. Логичным было предположить, что опасность и сложность задания, которое выполнял Лангер, не позволяют ему вести на острове беззаботную жизнь курортника. Скорее всего, выход на пляж диктуется необходимостью. Но какой? Не там ли должна произойти встреча с очередным звеном? Если там, то, спрашивается, где в это время могла бы находиться Рони Фишер? Хотя детей на острове Холостяков было пруд пруди, все же появление мужчины с ребенком являлось отличным поводом для сенсационной заметки в «Прекрасном одиночестве» со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Не учитывать этого преступники не могли. Значит, Боб Лангер должен выходить на связь один, оставив где-то спящую Рони? Где? Очевидно, в отеле. Где ж еще? А то, что именно спящую, косвенно подтверждалось найденными у Лангера шприцем и ампулами с морфинилом.

Наконец, Гарду надо было решить вопрос о том, какой из сорока трех пляжей годился преступникам для связи и в каком из сорока трех отелей мог остановиться с ребенком Боб Лангер. Вероятнее всего, в том, который находится ближе всего к аэродрому, с одной стороны, и к пляжу — с другой. Чем короче эти пути, тем легче преступникам. Если так, то лучше «Холостяка из принципа» нечего и желать. Прямо на аэродроме можно сесть в закрытую кабину «раулки», как называли курортники монорельсовую дорогу, ныне принадлежащую жене покойного Раула Бланкмейстера, и прямым ходом добраться до отеля «Холостяк из принципа», а уж тут всего десять метров до пляжа. Конечно, «Ум хорошо, а кларк лучше» — более комфортабельный отель, и путь от него к пляжу, хоть и длиннее, проходит через рощу великолепных реликтовых сосен. Но, как справедливо решил Гард, преступникам должно быть не до комфорта и эстетических наслаждений.

В-третьих — и это, пожалуй, самое сложное,— Гарду следовало угадать, для какого к р е с т а были нужны Бобу Лангеру два полотенца с метками. То ли на пляже был какой-то крест, который он был обязан накрыть полотенцем, то ли сам обвязаться ими крест-накрест, то ли вышедшие к нему на связь преступники должны были в виде пароля положить на полотенца какие-то кресты... Вариантов рисовалось так много, что Гард перестал ломать над ними голову, тем более что все пароли традиционно строились по принципу наибольшей алогичности.

Разумеется, Гард понимал, что все его предположения в известном смысле не стоят и лемма.

Продолжение. Начало в №№ 1—5.

Прямо на аэродроме Боб Лангер мог преспокойно передать ребенка в другие руки, получив взамен разрешение два-три дня поваляться на пляже. В этом наипростейшем варианте, правда, не было ясного места для полотенец и креста, но кто сказал, что место это должно быть «ясным» и что таинственные предметы вообще имеют отношение к передаче ребенка, а не, положим, к получению Лангером гонорара за работу?

Одновременно с этим Гард понимал и то, что в его положении надо учитывать только те варианты, к которым ведет ниточка из неосторожных фраз, сказанных водителем малолитражки Фреду Честеру. Ведь после знакомства с Гардом потрясенный Боб Лангер прочно умолк, да и не было времени его допрашивать...

Так думал комиссар, сидя в самолете и уже не имея возможности посоветоваться с Таратурой и Честером. С того момента, как они очутились в салоне тихоходного, но вместительного «Птеродактиля», курсирующего между Нью и островом Холостяков, они не должны были знать друг друга. Внешняя независимость диктовалась тактическими и конспиративными соображениями и, кроме того, облегчала взаимную подстраховку. Все трое знали лишь о том, что жить нужно в отеле «Холостяк из принципа», по возможности в соседних, граничащих между собой номерах, и кто из них какую роль должен играть. Об этом Гард шепнул Таратуре при выходе из самолета, шагая по трапу за его спиной, а Таратура сказал Честеру, сев с ним вместе в одну кабину «раулки».

Вид у Таратуры уже был надменным и чопорным: он поспешил войти в роль, поскольку Гард приказал ему быть «миллионером».

Честер долго не мог уснуть. Балконная дверь была распахнута настежь, доносился шум прибоя, и эти равномерные, тяжелые вздохи будоражили мозг, и без того настроенный на грустные размышления. «Кто знает,— думал Фред,— не находится ли Майкл где-то совсем близко? И тоже, наверное, не спит и мучительно соображает, что же это такое случилось, если не приходят за ним мама с папой...»

Допустить, что сына нет в живых, Честер не мог.

Ночью ему приснился сон. Как будто он стоит на капитанском мостике белоснежной яхты, а по веревочной лестнице быстро взбирается на фок-мачту маленький Майкл. Сердце Фреда сжимается от тоски: сын может сорваться в море, а вокруг — акулы, их не видно сейчас, но всем существом своим Честер чувствует, что они ждут добычу. Еле держится Майкл, слабея на глазах, и вот уже бросил одну руку... «Майкл!»— кричит Честер.

И просыпается.

Фу, какой жуткий сон! Была бы рядом Линда, она бы сказала: «Не к добру это, Фреди, с Майклом что-то случится». Уже случилось... И вдруг — не во сне, а наяву — Честер отчетливо представил себе, что происходит с украденными детьми. Здесь, в курортном городе, есть тайный ночной клуб, в котором за большие деньги миллионерам показывают, как в огромном бассейне, наполненном прозрачной зеленой водой, акулы пожирают ребенка!

Было уже светло. Весь покрытый холодной испариной, Честер быстро оделся и вышел из номера.

В кафе за одним из столиков он тут же увидел Таратуру. Инспектор уже покончил с завтраком и нахально читал «Биржевые ведомости», попыхивая отличной гаванской сигарой. Не имея сил оставаться в одиночестве, Честер подошел к столику, близко стоящему к Таратуре, и сел так, что их спины оказались в метре друг от друга.

— Кофе и джем,— сказал Фред официанту, молодому человеку лет шестнадцати, мгновенно появившемуся рядом,— и пачку сигарет.

— Может быть, сигару? — предложил официант.

Фред отказался. Он мог, конечно, последовать примеру инспектора, тем более что на острове было принято жить в кредит, расплачиваясь по счетам лишь за день до отъезда, а у Гарда, надо полагать, была с собой чековая книжка. Но Честер не имел привычки курить сигары и не хотел изменять себе даже за чужой счет.

Еле дождавшись ухода официанта, Фред сказал, не поворачивая головы:

— Мне приснился ужасный сон!

— С приятным пробуждением!— тихо ответил Таратура, переворачивая страницу «Ведомостей».

— Я, кажется, понял, куда деваются дети!

— Куда?

Словно из-под земли вырос официант и поставил перед Честером серебряный кофейник и блюдечко с джемом. Подождав секунду, не последует ли какой-нибудь новый заказ — заказ не последовал,— он пододвинул Фреду еще одно блюдце с пачкой сигарет и мягко отошел от стола.

— Их скармливают акулам в тайном клубе миллионеров-холостяков!— выдохнул Честер.

Таратура поперхнулся сигарным дымом, но тут же взял себя в руки и тихо сказал сам себе: «Тс-с-с!» Затем спокойно повернул еще одну страницу «Ведомостей».

— С перцем? — спросил он, не оборачиваясь к Фреду.

— Ты осел!— возмущенным шепотом воскликнул Фред.— Я не шучу ни одной секунды!

Таратура поднял голову и медленно обвел глазами кафе. То же самое сделал Честер, явно почувствовав неуместность своего громкого восклицания. Но нет, что не вызвало ничьего интереса. Ближе всех к Фреду завтракал в одиночестве седой господин лет пятидесяти, демонстративно отвернувшись от дамы примерно такого же возраста, которая сидела за соседним с ним столиком. Они были похожи друг на друга, как могут быть похожи брат с сестрой или супруги, прожившие вместе не один десяток лет. В другом конце зала оживленно беседовали два господина, откровенно показывая окружающим свежесть своего знакомства и отсутствие между собой даже намека на родственность. Больше в кафе никого не было, если не считать мальчика лет семи, который, промокнув салфеткой губы и сделав даме незаметный жест рукой — я, мол, пошел, пока!— уже поднимался из-за стола.

— У тебя есть какие-нибудь данные? — слегка умерив веселое настроение, тихо спросил Таратура.

— Нет, я это понял.

Таратура чуть поднял и опустил плечи.

— Тогда при чем тут АЦХ? — произнес он.— Или акулы обожают детей только с таким генетическим кодом?

— Ты полагаешь? — с надеждой в голосе сказал Честер.— Об этом я как-то не подумал.

— Прости меня, Фред, но я иногда думаю, глядя на тебя: ну и характер! Я бы в твоем положении ни улыбаться, ни шутить не мог...

— Считай, что это нервное,— строго сказал Честер.— Где Гард?

— Не знаю,— тихо ответил Таратура, рассматривая сгоревшую треть сигары.— С утра он купался, но креста не нашел. Мы встретились с ним у лифта. Нам с тобой велено к десяти быть на пляже. Займешь место недалеко от меня. Кстати, возьми себе купальный костюм. Это рядом, в салоне.

— А ты?

— Ого!— сказал Таратура.— Еще вчера вечером. А какой у меня «Бюик», Фред! Ты сдохнешь от зависти.

— Напрокат?

— Ну и что? Мы, миллионеры, можем позволить себе...— Таратура вдруг умолк и через паузу тихо сказал: — Фреди, закрываем фонтаны. Опять она!

Действительно, в кафе входила та самая девица, которая летела вместе с ними в самолете. Еще в воздухе она не очень, правда, явно, но все же проявила интерес к Таратуре, кресло которого стояло наискосок от нее. Несколько раз обернувшись, инспектор ловил пристальные взгляды, в которых не было откровенного заигрывания, что и смутило его. Поговорить о девице «трем холостякам» подробно не удалось, поэтому каждый придумал себе наиболее подходящую версию. Таратура решил, что она определенно из «этой шайки», причем что-то заподозрила и выбрала объектом наблюдения именно его, как самого внушительного и потому, вероятно, главного; не зря девица остановилась в этом же отеле и сняла номер, соседствующий с номером инспектора. Честер, оценив внешние данные попутчицы — она была типичной голливудской красавицей, но, пожалуй, несколько крупноватой для солистки и более подходящей для роли «блондинки из кордебалета»,— подумал: «Везет же дуракам!» — имея в виду Таратуру и полагая, что красавица просто ищет курортные приключения, начав уже в воздухе. Что касается Гарда, то при всех случаях он посоветовал бы Таратуре соблюдать осторожность, о чем и предупредил его, встретив у лифта.

Ей было лет двадцать. Белые узкие брюки с золотыми «молниями», расклешенные внизу, белая блузка с громадным декольте, прямые светлые волосы и теннисная ракетка в чехле из шагреневой кожи — все это, естественно, не могло не привлечь внимания мужчин, находящихся в кафе. Двое, оживленно беседовавшие в другом конце зала, мгновенно умолкли, завороженные спортивным видом и здоровой красотой девушки. Седой господин тоже прервал завтрак. Блондинка на секунду задержалась в дверях, но очень быстро нашла Таратуру. Ее ресницы, покрашенные в голубой цвет, дрогнули. Решительно пройдя к столику, стоящему близко к тому, за которым сидел инспектор, она как бы случайно задела ракеткой «Биржевые ведомости».

— Ах, извините,— сказала красавица.

— Ничего,— буркнул Таратура и тут же удалился, даже не посмотрев на девицу.

В глазах у нее на мгновение вспыхнула ярость, но Фред не понял, то ли она была вызвана уязвленным женским самолюбием, то ли явилась реакцией малоопытного сыщика на неудачу.

Гард полусидел-полулежал в шезлонге, раскинув руки и подставив себя солнцу. Босой ногой он нежно гладил песок, и это было единственное движение, которое позволил себе комиссар. В остальном он казался гипсовым изваянием, выставленным на пляж для просушки. Вот уже двадцать минут Гард не шевелился, резко контрастируя со всеми, кто был вокруг него. Глаза комиссара были прикрыты дымчатыми очками-зеркалками, и Честер подумал, что даже они сомкнуты.

Прямо у ног Гарда с вызывающей откровенностью лежали два полотенца метками кверху, положенные крест-накрест. «Ну что ж,— решил про себя Честер,— если Дэвид пробует этот примитивный вариант, значит, и в нем есть смысл. Чем черт не шутит!»

Шагах в двадцати от Фреда — и, стало быть, в тридцати от комиссара — расположился Таратура. Он взял в салоне аппарат для загорания, который принесли на пляж два дюжих парня: длинное ложе, собранное из тонких алюминиевых трубок и снабженное системой рычажков, подставок и подвесок. Инспектор не просто лежал, а, можно сказать, возлежал между небом и землей, вставив руки и ноги в специальные отверстия, и через определенные промежутки времени, которые зависели от нажатия на крохотный рычажок, аппарат сам переворачивал его со спины на бок, с бока на живот, а потом в обратном порядке. Со стороны казалось, что мощное тело инспектора, как баранья туша, медленно крутится на вертеле, поджариваясь на горячем солнце. Таким образом, как понял Фред, Таратура обеспечил себе отличный круговой обзор, не вызывая ничьего подозрения.

Вокруг сидели, лежали, стояли и ходили полуодетые люди, демонстрируя друг другу разнообразие фигур и пляжных костюмов всевозможных расцветок. Некоторые, надев легкие аквалангi и вооружившись подводными ружьями, уходили подальше в море, хотя всем было известно, что стальная решетка сделала его почти дистиллированным. Впрочем, кое-какая рыбешка все же имелась — ее, говорят, иочами завозили в цистернах и выпускали в прибрежные воды.

Честер лег прямо на песок, отодвинув в сторону надувную подстилку, и закрыл глаза. Увы, ни море, ни солнце, ни воздух, ни веселое разноголосье пляжа его не радовали, а, скорее, раздражали. Он чувствовал себя солдатом, странным образом оказавшимся не на поле боя, а на поле отдыха, и ему казалось, что все замечают это, как будто он одет не в тонкие шерстяные плавки, а носит на себе тяжелое воинское обмундирование: за спиной рюкзак, на ногах ботинки, портупея сжимает грудь, а в руках — автомат.

Странная тень легла на лицо Честера, и он открыл глаза. Над ним стоял человек в широкополой шляпе, в шортах и в красном шелковом шарфике, небрежно повязанном вокруг шеи. Через плечо на длинном ремне он держал мольберт, в руках — коробочку (вероятно, с кистями и краской), а на лице его была написана нерешительность, словно он выбирал, но не мог выбрать место, где бы пристроиться. Оглядев пространство между Фредом и Таратурой, он, будто прицелившись, посмотрел на море, потом на отель — каков, мол, вид? — и, цокнув языком, пошел дальше. Точно так же он остановился в трех шагах от Гарда — комиссар не сделал ни одного движения — и вновь прицелился. Нет, не годится! Широкополая шляпа медленно удалилась, и скоро Фред потерял ее из вида. Таратура тоже коснулся рычажка, переворачивая себя в сторону, противоположную той, в которую ушел художник.

Какая-то пара, выйдя из моря, прошла в непосредственной близи от Гарда, и молодой человек будто бы невзначай наступил на полотенце с меткой. Фред тут же поднял голову, и Таратура застыл на левом боку, почти не дыша. Но молодой человек нагнулся, поправил полотенце и что-то сказал Гарду. Комиссар кивнул головой. «Наверное, извинился,— подумал Честер.— О боже, как велики глаза у подозрительности!»

Шло время. Появлялись еще какие-то люди, проходили мимо Гарда и даже обращались к нему с вопросами, неизменно вызывая напряжение мысли и нервов у Честера и Таратуры — вероятно, у комиссара тоже,— но затем исчезали, подтверждая действительную случайность своего появления.

Гард трижды выкупался и трижды обсох, прежде чем на пляже вновь появился человек с мольбертом. На этот раз он был не один, а в сопровождении высокого худого господина, чем-то напоминающего главного героя из последнего нашумевшего романа Вайс-Вайса «Пришелец в никуда».

Это были они, но, как часто бывает в таких случаях, то, что ждешь с особенным нетерпением и настороженностью, является незаметно и буднично.

Гард уже одевался, когда Таратура повернул себя в его сторону, а Честер обратил внимание на вторичный приход человека с мольбертом. Что произошло в отрезок времени между их обращением к комиссару и его одеванием, ни Фред, ни инспектор не заметили. Аккуратно свернув полотенца и уложив их в пляжную сумку, Гард медленно пошел за человеком с мольбертом, даже не посмотрев в сторону своих помощников. Следом за Гардом шел «пришелец в никуда».

Пока Честер, танцуя на одной ноге, натягивал брюки, Таратура снял себя с вертела и исчез, будто его никогда здесь и не было. Бейсболку Фред набросил уже на ходу.

Набережная пустовала. Изредка проносились машины, чуть-чуть притормаживая у поворота, ведущего на трассу в глубь острова. Со стоянки, находящейся метрах в пятидесяти от пляжа, медленно сдвинулась с места и пошла в сторону Фреда белая «Пантера». Когда она, уже набрав скорость, проехала мимо, Честер заметил на первом сиденье, рядом с шофером, Гарда. За рулем был «художник», а за спиной комиссара — тот, который пришел из романа Вайс-Вайса.

«Что делать? — лихорадочно подумал Честер, озираясь по сторонам.— Что делать?! Почему мы так плохо договорились? Какой же я болван, что пропустил самое главное! Где Таратура? Он-то куда пропал?!»

Но в этот момент из подземного гаража отеля буквально вырвалась на мостовую машина. Это был американский «Бюик», и за рулем сидел голый инспектор. Фред еле успел прижаться к стене дома: «Бюик», стрельнув непрогретым мотором, ушел за поворот.

Глава 10. ДОРОГА В ЛОГОВО

Когда Гард заметил возвращение на пляж человека с мольбертом, он, внутренне сжавшись, замер в ожидании, и желая и не желая наступления развязки. Да, судя по тому, как человек с мольбертом кругами приближался к Гарду, это был он, да еще не один, а в сопровождении высокого и худого типа. Аналогия с «пришельцем в никуда» почему-то не возникла у Гарда, и он просто окрестил второго Худым в отличие от Мольберта, как он мысленно назвал первого. Вероятно, Мольберт сначала произвел разведку, зато теперь они будут действовать. Или что-то показалось ему подозрительным и он пригласил начальника? Чего гадать? Ждать осталось совсем немного. «Главное то,— подумал Гард,— что они явились наконец по мою душу». Оглядываться на Честера с Таратурой уже не имело смысла: в любом случае нельзя было выдавать их присутствия и хоть какого-то отношения к комиссару.

Двое остановились в нескольких шагах от Гарда и о чем-то тихо переговорили между собой. Сейчас, вероятно, они скажут пароль, Гард ничего вразумительного не ответит, возникнет недоразумение, и чем оно может кончиться, неизвестно. Так решил про себя Гард, вовсе не готовый к разговору, который произошел в действительности.

— Это ваши? — просто спросил Худой, вплотную подойдя к Гарду и показывая на полотенца.

— Да,— коротко ответил Гард, продолжая сидеть в плетеном шезлонге.

— Вы один?

— Один.

— Одевайтесь.

И все? Гард не ждал такой лаконичности.

Голос у Худого был противно-скрипучий, как будто, прежде чем выйти наружу, он пролезал через слишком узкое отверстие в горле, задевая кости. Комиссар не спеша оделся, свернул полотенца и положил их в сумку. Мольберт и Худой спокойно ждали, не проявляя ни нетерпения, ни удовольствия от медлительности Гарда.

— Вы готовы? — спросил Худой.

Гард пожал плечами.

— Тогда идите за ним.

И комиссар пошел следом за Мольбертом. Никакой властности, ни даже тени приказа не было в репликах Худого. Он говорил тихо и просто, спокойно и вежливо, но по-военному коротко. А голос его действительно был противным.

Когда они вышли на набережную и подошли к стоянке автомашин, Худой тронул Гарда за плечо.

— Груза, конечно, с вами нет?

— Нет,— просто ответил Гард.

— Ну и отлично. Садитесь.

Потом мелькнуло растерянное лицо Фреда Честера,— слава богу, он не выкинул никакой глупости!— и машина свернула на трассу, ведущую в глубь острова.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

Игра началась, но кто в этой игре был кошкой, а кто выполнял роль мышонка, оставалось пока неясным. По крайней мере для Гарда. Уж слишком свободно они действовали, слишком уверенно и открыто! И хотя Гард достиг своего и вышел на след очередного звена, он не то, чтобы трусил — он побывал и не в таких переделках,— а здорово нервничал, с трудом сохраняя внешний покой.

Дорога не пустовала, но и не была перегруженной. Навстречу то и дело попадались машины, а один лихой «Норд-вест» — на острове, кстати, их было много — даже обогнал «Пантеру», которая шла ровно, без напряжения. Курортники, как видно, любили забираться в северную часть острова, чтобы пощекотать себе нервы экзотикой мрачных акульих берегов, а затем с еще большим удовольствием вкушать прелести цивилизованного юга.

Все в машине молчали, молчал и Гард. В его положении было бы глупо задавать вопросы, между тем и ответов от него тоже не ждали. Но по всему чувствовалось, что инициатива все же находится в ИХ руках.

На одном из поворотов Гард бросил взгляд на боковое зеркало и увидел мелькнувший сзади «Бюик». Ну и прекрасно! Таратура принес комиссару некоторое душевное равновесие.

Наконец, минут через пятнадцать, когда дорога стала чаще петлять среди холмов, сидящий за рулем Мольберт нажал кнопку на приборной доске. Тотчас откинулась потайная крышка, открыв панель радиопередатчика, и Мольберт повернул одну из ручек.

— «Мираж» слушает,— почти мгновенно прозвучал в машине голос.

Худой приподнялся с заднего сиденья, наклонился к микрофону, вмонтированному в приборную доску, и доложил:

— Я «Пантера». Мы на подходе.

— Груза нет?— спросил «Мираж».

— Груза нет,— ответил Худой.

— Ждите.

Прошла минута, в течение которой Гард вновь подумал о том, что они ведут себя как хозяева этого острова, если не боятся передавать сведения открытым текстом.

Затем ожил приемник:

— Следуйте в зону.

Спокойный разговор, никаких восклицаний, ни малейших признаков суеты.

Мольберт молча прибавил скорость. Теперь дорога запетляла над берегом, потом вдруг резко повернула в сторону, забралась на плоский холм, но вскоре, как будто заблудившись и найдя саму себя, вернулась и ровно побежала вдоль прибрежных дюн. «Бюик» Таратуры пропал где-то сзади, и Гард стал опасаться, как бы инспектор не потерял белую «Пантеру».

Впереди показались какие-то строения, обнесенные высоким темно-зеленым забором. Машина свернула с шоссе, проехала мимо забора, затем миновала странный участок, выложенный квадратными бетонными плитами, и резко замедлила скорость на площадке, составляющей примерно сто квадратных метров, вокруг которой были скалы, и, казалось, дальше пути нет,— тупик. Но в правом углу квадрата неожиданно открылась узкая лента шоссе, достаточная для того, чтобы проехала одна машина в ту или в эту сторону, а метров через пятьдесят «Пантера» вошла в тоннель. Он не был освещен, ехали как будто на ощупь, и Гард понял, что посторонний водитель здесь шею сломает, и только тот, кто наизусть вызубрил все повороты и зигзаги, сможет беспрепятственно проехать. Наружу машина выскочила так же неожиданно, как и нырнула под землю: сразу, в одно мгновение появился выход — ровный овал, наполненный чистым голубым небом. Еще сто метров по бетонным плитам, и «Пантера» остановилась перед массивными воротами, обшитыми стальными листами.

Никто не вышел к ним навстречу, не задал никаких вопросов и не потребовал пропуска. Створки ворот бесшумно разошлись, и машина въехала на территорию того, что они, вероятно, и называли «зоной». Затем ворота так же бесшумно закрылись, отрезав обычный мир от Гарда, вернее, Гарда отрезав от него.

Ощущение какой-то ирреальности происходящего не покидало комиссара полиции. Оно возникло еще утром, на пляже, когда он выложил дурацкие полотенца не менее дурацким крестом и стал ждать неизвестно чего. Во всем этом было что-то от фарса, от придуманной игры, от той дешевой детективности, которую Гард не терпел, потому что никогда не встречался с ней в жизни. Если учесть при этом, что полотенца, крест, человек с мольбертом, Худой, и этот мрачный тоннель, и створки стальных ворот, и «зона» — все это имело отношение к совершенно непонятному исчезновению детей с генетическим кодом АЦХ,— если учесть все это, можно понять Гарда, который нравственно и духовно был готов сейчас к продолжению таинственностей, а не к тому, что чей-то громкий голос добродушно провозгласит: «Стоп! Продолжение съемки завтра. Всего хорошего, господа!»

В действительности, ни «юпитеров», ни декораций вокруг не было. Была таинственная вилла, исполненная в старинном стиле — со стрельчатыми окнами и множеством резных башенок,— а из дверей виллы вышел к «Пантере» пожилой господин в форменной одежде, напоминающей то ли одежду швейцара из Национального банка, то ли охранника из оперы «Казнь жизнью», недавно поставленной труппой Марчелло Пиронелли.

— Добрый день,— сказал охранник-швейцар спокойным голосом.— Прошу.

Мольберт остался в машине, а Гард в сопровождении Худого и старика поднялся по трем ступенькам. Они прошли с десяток метров темным коридором и очутились в просторной комнате без окон, но ярко освещенной лампами дневного света. Худой молчал, засунув руки в карманы брюк, а старик близко подошел к Гарду.

— Простите,— сказал он почти равнодушно,— оружие.

И протянул раскрытую ладонь.

Пистолет был спрятан у комиссара во внутреннем потайном кармане пиджака и находился точно под мышкой. Раздумывать о том, отдавать его или нет, было бы ошибкой. Гард по себе знал, что малейшая задержка в этом деле всегда производит невыгодное впечатление. Или — или, но без раздумий! Конечно, с пистолетом он бы чувствовал себя уверенней, но это была логика полицейского детектива, а не разведчика, в роли которого Гард теперь оказался. Отдать? Какие могут быть сомнения! Они и сами вооружены, чего бы тогда Худому держать в карманах руки, и пистолет у Гарда воспримут как должное, тем более, что прежде он принадлежал Бобу Лангеру.

Все эти мысли шли параллельно с тем, что делал комиссар. Автоматическим движением руки он вытащил блестящую игрушку, подбросил ее на ладони и протянул старику рукояткой вперед. Старик, даже не глядя на пистолет, сунул его в отворот мундира, а Худой тут же освободил карманы от собственных рук.

Дверь, обитая черной кожей, отворилась.

В небольшом помещении, напоминающем контору обычного коммерческого предприятия, за письменным столом, отгороженным от вошедших стойкой, сидел чиновник. Иначе его трудно было назвать, глядя на грязно-серый будничный костюм, обильно посыпанный у воротника перхотью, и кожаные подлокотники на рукавах. Лет ему было не более пятидесяти, выражение лица — скучающее, пальцы — в чернилах. Всей пятерней он почесал редкие седые волосы на шишковатом черепе и посмотрел на Гарда равнодушным взором.

— Присаживайтесь,— сказал он, выдержав паузу.

От всего увиденного на Гарда повеяло такой заурядной обыденностью, что настроение комиссара резко изменилось. На какое-то мгновение ему показалось даже, что нет никаких гангстеров и рэкетиров, что перед ним вполне миролюбивые люди и что они, извинившись — стоит только чуть-чуть прикрикнуть на них,— приведут живого и невредимого Майкла, объяснив его появление на острове тем, что ребенок заблудился, а это тихое учреждение из благотворительных побуждений подбирает заблудших.

Гард досадливо поморщился и тихо выругал себя: шалили нервы.

За его спиной астматически дышал старик. Чуть сбоку стоял Худой. Слева и справа подпирали стенки странные субъекты в форме, конечно же, не швейцаров, а самых настоящих охранников! Их оттопыренные карманы сняли последнюю иллюзию безмятежности.

Продолжение следует

Павел БАГРЯК

Злые люди

Чиновник достал между тем из стола толстую папку и принялся неторопливо листать подшитые в ней документы, деловито слюнявя палец. Найдя что-то важное, он поднял глаза на Гарда и повторил:

— Садитесь, садитесь. Стесняться нечего.

Гард опустился в глубокое кресло.

— Итак, кто вы?— спросил чиновник.— Ваше имя?

Гард задумался, поджав губы, и одними глазами, не двигая головой, оглядел присутствующих, словно оценивая, стоят ли они того, чтобы он назвал им свое имя. Вопрос был прямой, отвечать тоже следовало прямо, но что? Может, совсем не отвечать? Но какое найти для этого оправдание? Или назваться Бобом Лангером? А вдруг они знают его или имеют его фотокарточку? Глупо.

— Я хорошо помню инструкцию,— сказал Гард.— Подобный вопрос мне может задать только шеф.

На лице чиновника отразилось сомнение: мол, черт его знает, может, и есть такая инструкция. Во всяком случае, он сделал вид, что ответ Гарда его удовлетворил.

— Допустим,— сказал чиновник.— А где груз?

— Наоборот,— сказал Гард,— я прибыл за грузом.

— Как понимать вас?

— Вышла ошибка...

— У нас ошибок не бывает,— перебил чиновник, и все вокруг заулыбались.— Можете прочитать.

И он, аккуратно разгладив ладонью бумагу, вынутую из папки, протянул ее Гарду. «Вылетаю слоником,— гласил текст телеграммы.— Рейс шестнадцать десять двадцать седьмого. Стив». И снова Гард удивился тому, что сообщение было передано с примитивной шифровкой да еще по гивильному адресу: «Дине Динст, отель «Холостяк из принципа», остров Холостяков».

— Ну-с,— улыбнулся чиновник.— Где же «слониха»?

— Не знаю,— сказал Гард с тупостью, делающей честь рядовому полицейскому, но не комиссару полиции.— Меня это не касается. Я выполняю поручение.

— Какое?

Он не спросил «чье», вероятно, памятуя о том, что Гард все равно не будет называть фамилии.

— На этой неделе сюда был доставлен «слон»,— сказал комиссар, решив пользоваться их же терминологией.— Его нужно срочно вернуть.

— Мальчика?— удивился чиновник.

— Да,— сказал Гард.

— Майкла Честера?!

Они ничего не скрывали! Подобная откровенность могла быть свойственна лишь тем людям, которые не делают ничего предосудительного или уверены в абсолютном сохранении тайны. А такая уверенность возможна в двух случаях: либо они доверяют Гарду, либо решили не выпускать его из зоны никогда. Если так, значит, они располагают о нем большими сведениями, чем он может себе представить? Кошка — это они, мышь — это Гард? И сейчас их задача — установить каналы, по которым посторонний человек проник в зону? Они хотят разгадать истинную цель Гарда, чтобы обезопасить себя на будущее? Где же была совершена та роковая ошибка, которая раскрыла им карты комиссара полиции? Впрочем, гадать не имело смысла: Гард действовал вслепую, ошибок могло быть много.

Но вдруг они ему доверяют? Рассчитывать на это трудно, шансов почти никаких, но надо держаться до последнего.

— Имя ребенка мне неизвестно,— сказал Гард.

Чиновник всей пятерней почесал череп. Потом зевнул, постучав ладошкой по открытому рту.

— Та-а-ак,— сказал он.— Почему нас никто об этом не информировал?

— Откуда я знаю? Начальству виднее.

— Это верно,— согласился чиновник.

Наступила продолжительная пауза. Разговор явно засыхал на корню, и это обстоятельство начинало раздражать комиссара. Уж лучше бы они спрашивали его с бо́льшим пристрастием, это помогло бы Гарду что-то понять, о чем-то догадаться, определить их истинное отношение к себе и выработать собственную тактику.

— Послушайте,— решительно сказал комиссар,— если вы не берете на себя смелость решить это дело...

— Чего вы кипятитесь?— перебил чиновник.— При чем тут смелость? Сначала подтвердите свои полномочия, а уж потом упрекайте в несмелости.

Что ж, резон был в этих словах.

— Разве недостаточно того, что я здесь?— сказал Гард, неожиданно вызвав дружный смех.

Смеялись все окружающие. Чиновник тоже. Потом сказал:

— Это не вы нас нашли, а мы вас. Ну ладно, продолжим. Итак, кто вы? Ваше имя?

Гард встал, и в то же мгновение несколько рук судорожно дернулись из карманов. Небрежным жестом отмахнувшись от пистолетов, комиссар спокойно сказал чиновнику:

— Мне это порядком надоело, не знаю, как вас...

— Бент,— подсказал чиновник,— Эммануил Бент.

— Проводите меня к шефу, я расскажу ему все.

— К шефу?— удивился Эммануил Бент и странно посмотрел на Гарда.

А ведь этот Бент и в самом деле был чем-то похож на старика Чарльза Бента из аптеки «Крути, малыш!». Братья? Отец и сын? Очень интересно!

— За три года работы в этом почтенном учреждении,— сказал между тем чиновник,— я ни разу не видел шефа. А вы хотите к нему. Уж лучше сразу проситься на тот свет.

И вновь окружающие расхохотались.

— В таком случае,— садясь в кресло, сказал Гард,— вы не услышите от меня больше ни слова.

— И не надо,— миролюбиво согласился чиновник.— Вы и так не со мной разговаривали.

И он пальцем, измазанным чернилами, ткнул в микрофон, торчащий из письменного прибора в виде подставки для авторучек. Гард вынул пачку сигарет и закурил. Да, кстати: они ни разу его не обыскали! Впрочем, Гард тоже не обыскивал тех, в ком был уверен, что ничего лишнего у них все равно не обнаружишь. Своеобразный шик особо квалифицированных специалистов!

Итак, что будет дальше?

А пусть они сами думают! Относительная безопасность Гарду так или иначе обеспечена: пока они не выяснят его истинные цели и способ проникновения в зону, никто не посмеет пальцем тронуть комиссара. Пожалуй, на данном этапе это единственный его козырь. Воспользоваться им? Или по крайней мере проверить его наличие? Вот взять сейчас и решительно направиться к двери. Стрелять не будут — это точно. Будут бить? Нет, непохоже. Эти двое, что подпирают стенку, такие громилы, что могут одним ударом свалить быка. Они не бьют. Они убивают! Чиновник будет вынужден их остановить. Старик не в счет, а Худой слишком худ. Попробуем!

Гард встал, повернулся лицом к двери и спиной к чиновнику, решительным жестом отодвинул старика, отшвырнул Худого, но тут же почувствовал на плече тяжелую руку громадного охранника.

— Не трогайте,— спокойно произнес Гард, даже не поворачивая головы.— Это опасно. Я выполняю задание, мне некогда точить с вами лясы. Или немедленно ведите к шефу, или я сам пойду! Ну?

— Внимание!— раздался вдруг чей-то голос, грудной и мягкий, принадлежащий то ли мужчине-тенору, то ли женщине-контральто.— Прошу всех сесть!— Голос шел из репродуктора, установленного под потолком в углу комнаты, и все, не исключая Гарда, тут же ему повиновались.— Я попрошу вас, Бент, приготовить господина и доставить его ко мне по форме «четыре-А».

— Вас понял,— сказал Эммануил Бент.

Он нажал на крохотном пульте какую-то кнопку. Через минуту в стене отворилась потайная дверь, и в комнату вошел человек в белом халате. В руке он держал шприц, наполненный какой-то жидкостью. Не задавая никаких вопросов, он точно определил Гарда и подошел к нему.

— Руку,— коротко сказал он комиссару.

Гард без колебаний засучил рукав.

Последнее, что он запомнил, была короткая боль от укола.

Глава 11. ТОРЕАДОР, СМЕЛЕЕ В БОЙ!

Таратура вернулся к двум часам дня. Честер отсутствовал. Ключ от его номера, как заметил инспектор, благополучно висел внизу у портье.

Чертыхнувшись, Таратура отправился в тир, чтобы как-то убить время, и за полтора часа, в полном одиночестве, забрал почти все призы, вызвав у владельца восторг, граничащий с инфарктом. Последнюю серию он бил из лучевого ружья, двумя первыми выстрелами подняв на дыбы медведя, а следующими сорока восемью не только не выпустив его из круга, называемого «заколдованным», но и не дав опуститься на передние лапы.

— Вообще-то профессионалы у нас не играют,— сказал тучный владелец тира, смахивая со лба пот.— Это равносильно тому, как если бы я был обжорой и спорил с вами, что могу съесть двадцать бифштексов.

— Действительно двадцать?— спросил Таратура.

— Но не в такую жару,— скромно ответил хозяин.

Призы Таратура, однако, взял: ящик отличного вина, специально доставленного из Вероны, и пистолет, отличающийся от настоящего тем, что он стрелял пластмассовыми шариками.

Инспектор был чертовски зол.

Собственно, дело он сделал: прошел пешком весь тоннель и добрался до массивных ворот, обитых стальными листами. А что делать дальше — не знал! Стучать кулаками в ворота и требовать, чтобы их открыли? Зачем? Или явиться туда во главе полицейского отряда? А может, терпеливо ждать возвращения Гарда? Или идти к нему на помощь каким-нибудь иным, тайным, способом? Но нужна ли Гарду эта помощь? И когда? Действовать ли вместе с Честером или держать Фреда в резерве?

Продолжение. Начало в №№ 1—6.

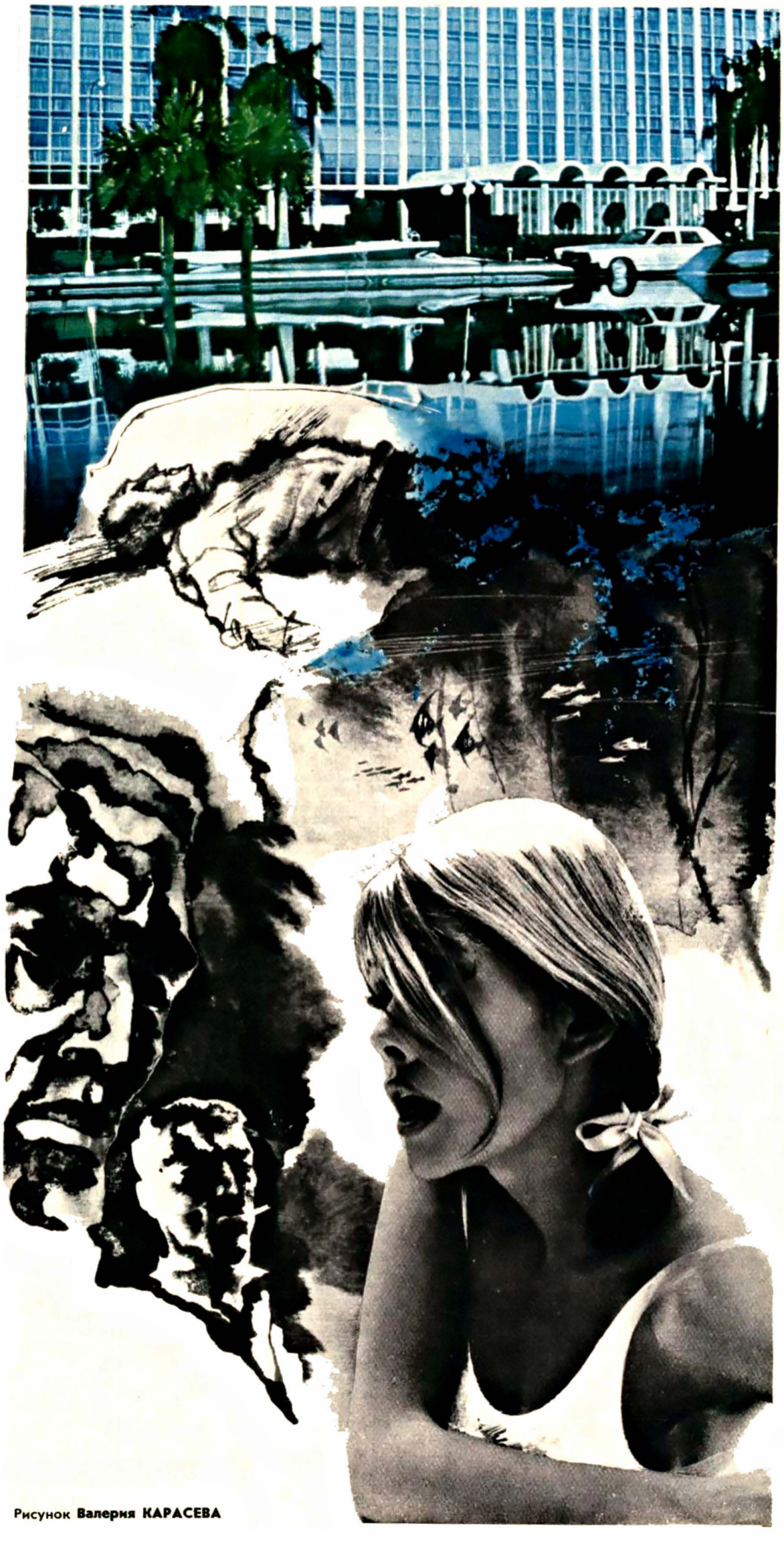


Рисунок **Валерия КАРАСЕВА**

У Таратуры не было программы, и это его злило.

Как ни крути, а комиссар, вероятно, все же дал промашку, если так плохо договорились между собой «три холостяка». А тут, как на грех, пропал Честер, и посоветоваться было не с кем. Разумеется, Таратуре и в голову не приходило, что Фреду Честеру тоже не может прийти в голову, если бы он взялся искать Таратуру, что инспектор после такой поездки может полтора часа проторчать в тире.

Отпустив дюжего парня, притащившего ящик вина, Таратура наскоро принял душ и вышел из номера. Приближалось обеденное время. На секунду задержавшись у соседней двери, за которой жила высокая блондинка,— там не было, кстати, никаких признаков жизни,— инспектор подумал, что, пожалуй, стоит сменить тактику. Если девица оттуда, ее следует взять на мушку, как последнюю возможность прицелиться во врагов Гарда. «Это даже хорошо,— подумал Таратура,— что она из шайки!»

А если нет?

В ресторане, стены которого были сделаны из двойного стекла и наполнены плавающими в морской воде рыбами, инспектор сел так, чтобы видеть всех входящих и выходящих, дабы не пропустить Честера и, возможно, блондинку. Постепенно «аквариум» наполнялся, забегали официанты, заиграла какая-то музыка, и разговор, восклицания, звон бокалов слились в общий нестройный гул, столь характерный для подобных заведений.

Есть не хотелось. Инспектор ограничился двойным стерфордом, холодным клубничным пуншем, порцией черной икры и какой-то мясной ерундой, залитой красным вином. Когда появился Фред, все столики были заняты. Честер, недолго думая, подошел к Таратуре.

— Не возражаете?— сказал он, берясь за спинку стула.

Инспектор кивнул головой в знак согласия: «знакомство» с Честером было необходимо и между тем в данной ситуации выглядело вполне естественным.

— Где ты был?— первым спросил Честер, изобразив на лице равнодушно-вежливую улыбку, более соответствующую словам, звучащим примерно так: «Журналист Честер, позвольте представиться».

— Миллионер Таратура,— судя по виду, ответил инспектор, который на самом деле сказал:— Я был в тире.

«Знакомство» состоялось. Можно было говорить несколько свободней.

— Куда увезли Гарда?— спросил Честер, ничем не выражая своего нетерпения.

— В северную часть острова,— вежливо ответил Таратура.— Там у них что-то вроде резиденции.

— Тебя видели?

— Не думаю. Но что нам делать дальше?

— Что!— искусственно улыбнувшись, сказал Фред.— Великие детективы! Вы бы еще сами надели на себя наручники и заткнули себе рты кляпами!

— Не ори,— нежно улыбнувшись, сказал Таратура, делая вид, что слова собеседника его искренне умилили.— Орать вы все горазды. Что ты предлагаешь?

— Я?— спросил Честер.— Немедленно...

— Очаровательная девушка, не правда ли? — вдруг перебил Таратура, сливая на этот раз в нечто целое и свой вид и то, что он произнес вслух.

Честер оглянулся. В «аквариум» вошла «блондинка из кордебалета» и, несколько помешкав, присела за столик к мужчине с рыжими бакенбардами. Честер удивился про себя столь неожиданному повороту в разговоре, тем более что Таратура был известным женоненавистником, воистину стопроцентным холостяком.

— Н-да, ничего,— согласился Фред, окинув блондинку равнодушным взором.

— Итак, что ты предлагаешь?

— Немедленно действовать!— произнес Фред.

— Понятие растяжимое,— сказал Таратура.— Что значит «действовать»?

— Если по крайней мере стрелять, то не в тире!

— Что ты имеешь в виду?

— Поднять на ноги местную полицию.

— Нельзя,— твердо сказал Таратура.— Сохранение нашего инкогнито есть гарантия безопасности Гарда. Ты это понимаешь?

— А ты понимаешь,— возразил Честер,— что у них теперь не только Майкл, но и Дэвид?

— Пока мы бессильны.

— Но Гард не сумеет договориться с ними по-хорошему!

— Ты плохо знаешь шефа.

— Я?! Ну, дорогой инспектор...

— Зови меня лучше сеньором.

— Ладно, что предлагаешь ты?

— По крайней мере подождать до утра.

— А утром?

Подошел официант, и Таратура, подмигнув Честеру, кивнул головой в сторону, где сидела блондинка. Честер опять оглянулся. Рыжие бакенбарды безостановочно двигались, блондинка смеялась, она определенно не скучала.

— Сеньор,— мрачно заметил Честер,— вы, кажется, опоздали, или вам придется наращивать бакенбарды.

Когда официант, иронически усмехнувшись, отошел, Фред вопросительно посмотрел на Таратуру:

— Ну, что будет утром?

— Она,— сказал Таратура.

Честер не понял.

— Она,— повторил инспектор.— Она приведет нас к Гарду.

— Ты в своем уме?— серьезно спросил Честер.— Что ты мелешь? Эта блондинка имеет к ним такое же отношение, какое я к морским свинкам! Обыкновенная...

— Не торопись. Я в этом далеко не уверен.

Собственно, доводы давно уже были исчерпаны с двух сторон, а голые эмоции являются источником для бесконечного спора.

Когда они, вежливо раскланявшись, покидали ресторан, уговорившись встретиться утром на пляже, блондинки не было. Сопровождаемая рыжими бакенбардами, она удалилась минутой раньше, бросив на Таратуру призывный взгляд из-под прекрасных голубых ресниц.

Весь вечер Таратура не отпускал блондинку далеко от себя, став ее тенью. Со стороны могло показаться, что молодой и красивый джентльмен, атлетически сложенный и, вероятно, богатый, без памяти влюблен в красавицу, но обладает редкой в наше время скромностью и стеснительностью, а потому вздыхает на расстоянии, не в силах сделать ни одного решительного шага: ни к ней, ни от нее.

Инспектор учитывал при этом, что, если блондинка действительно имела тайное задание, связанное с ним, она могла считать, что цель почти достигнута или по крайней мере ее достижение облегчено, поскольку не сыщику приходилось выслеживать своего подопечного, а подопечный, «клюнув на удочку», сам ходил за сыщиком по пятам.

Сначала они посетили «корриду», где каждый желающий, заплатив десяток леммов, имел возможность помериться силами с кровожадным быком, обладающим злобным характером, весьма угрожающим видом и натуральной величиной, хотя сделанным из резины. Вооружившись шпагой, хозяин рыжих бакенбардов тоже вышел на арену и под музыку, сопровождаемый азартным подбадриванием собравшихся и, конечно, блондинки, пытался поразить междуглазье быка, что давало единственную возможность остановить его порыв. Бык был напорист, им управлял на расстоянии сметливый служитель «корриды», и увертываться от него было чрезвычайно трудно. Четырежды рыжие бакенбарды опрокидывались на мягкую, сделанную из гуттаперчи поверхность арены, прежде чем бык взревел трубным голосом, чем-то напоминающим клаксоны президентской машины, и повалился на колени, как бы прося прощения за столь вольное обращение с миллионером. Публика проводила бакенбарды хохотом и овацией, блондинка тоже была в восторге, хотя и оглянулась на Таратуру, сидящего тремя рядами выше, словно желая сказать ему: «Тореадор, смелее в бой!»

Ночное казино «Не в деньгах счастье» встретило их напряженной тишиной, взрываемой периодическими криками и возгласами, в которых гораздо чаще звучало разочарование, чем радость. Блондинка, даже не примериваясь, в первом же зале привычно поставила на цифру «13», очень быстро проиграла, но рыжие бакенбарды, сделав широкий жест, освободили ее от уплаты денег. Расхохотавшись, красавица непринужденно щелкнула своего кавалера по носу, отчего бакенбарды на мгновение стали дыбом, а нос приобрел цвет свеклы, затем она великодушно поцеловала своего спутника в щечку и увлекла его во второй зал, где ставки были в два раза выше.

Таратура, хотя и был азартным человеком, редко играл в рулетку, справедливо полагая, что счастье, конечно, не в деньгах, когда они есть. Но тут, увидев вертушку, по которой бегали звери, он с вызывающим видом поставил сразу двадцать леммов — все, что у него было в наличии,— на слона.

Именно на слона! И впился глазами в блондинку.

Красавица затаила дыхание.

Звери бежали по кругу, и когда они остановились перед «охотником», выстрелом из мнимого ружья был сражен, увы, не слон, а бегущий следом за ним шакал.

Таратура переглянулся с красавицей.

Нет, огорчения она не испытывала, как, впрочем, не испытывал его и инспектор. Скорее, проиграв, они оба выиграли, поскольку нашли наконец друг друга, что совпадало с целями, которые каждый из них преследовал.

Подозрения инспектора подтверждались — к некоторой его досаде. Он представил, как могла бы сложиться в других условиях его курортная жизнь, если бы красивая блондинка не состояла членом преступной организации.

Было три часа ночи. Обладатель рыжих бакенбардов что-то шепнул своей спутнице, она с явным сожалением посмотрела в сторону Таратуры и согласно кивнула головой.

К выходу они направились втроем. Таратура шел чуть впереди и, чтобы не вызывать лишних подозрений у хозяина бакенбардов, первым сел в такси и поехал в отель. Отъезжая от казино, он видел, как следом двинулась машина, в которую села блондинка со своим пожилым спутником.

До половины пятого ночи инспектор напрасно прислушивался, стоя у двери своего номера: соседки не было. В эту ночь она в отель так и не вернулась.

С утра Честер был на пляже, на том самом месте, которое оставил сутки назад. Когда Таратура, войдя по пояс в воду, глазами пригласил Честера следовать за собой, Фред нехотя поднялся и полез в море. Ему вообще ничего не хотелось: ни купаться, ни загорать, ни есть, ни спать, ни даже жить на этой подлой земле. Все раздражало Честера, начиная с таинственного вида инспектора и кончая погодой, опять прекрасной и солнечной. Он страдал от невозможности помочь Майклу и Гарду, от незнания того, что с ними происходит, от собственного бессилия. То, что Таратура потерпит фиаско в своих планах относительно блондинки, было ясно Честеру еще вчера. Он не знал, где провел вечер инспектор, но первые утренние часы на пляже показали Фреду, что Таратура явно разочарован: блондинки и след простыл. Не появлялся и человек с мольбертом, не было видно таинственного героя Вайс-Вайса, а время неумолимо приближало тот критический час, когда следовало принять хоть какое-нибудь решение.

Вода была теплая, как подогретое пиво, и Честер, брезгливо поморщившись, поплыл вслед за Таратурой. Метрах в пятидесяти от берега он догнал инспектора, и оба они легли на спины, причем Таратура положил руки под голову, словно под ним была тахта.

— Понимаешь, она куда-то исчезла,— сказал инспектор.

— Меня это не интересует.— Честер безостановочно работал ногами, чтобы удержаться на поверхности.— Что, если повторить фокус с полотенцами?

— Без меток?

— Ну и что? — сказал Честер.— На метки они посмотрят с расстояния в два метра. Мы успеем их взять!

— Зачем?

— Но ведь что-то надо делать!— в полном отчаянии воскликнул Честер.

— Конечно, являться туда открытым образом и без каких-либо знаний о них глупо,— вроде бы соглашаясь, произнес инспектор.— Но полотенца...

— Я больше не могу, Таратура,— сказал Фред.— Неужели ты не понимаешь, что нервы мои на пределе?

— Плывем к берегу.— Инспектор медленно двинулся назад.— Ладно, я попробую дурацкие полотенца... Будь начеку, но раньше времени ничего не делай. В крайнем случае останешься один. Это лучше, чем мы вляпаемся оба.

Через несколько минут Таратура уже сидел перед полотенцами, выложенными крестом, напряженно вглядываясь в каждого, кто проходил или останавливался рядом. Честер, прикуривая сигарету от сигареты, лежал на песке близко от инспектора, в любую минуту готовый вскочить на ноги и голыми руками хватать за горло преступника, не думая при этом, какое впечатление на окружающих произведут его действия и будут ли у него шансы остаться в живых после столь бурной атаки.

Увы, на всем пляже лишь два человека пребывали в состоянии напряженного ожидания, готовые к бою, а не к наслаждению: Честер и Таратура.

Блондинка появилась внезапно, первым ее увидел Фред. Она была в открытом купальнике ярко-голубого цвета с белыми квадратами, в темных круглых очках, закрывающих не только глаза, но почти все лицо, а в руках она держала большой надувной мяч, с которым, вероятно, собиралась идти в воду. Пройдя с десяток метров в сторону моря, она вдруг остановилась, посмотрела на Таратуру, на два полотенца, откровенно выложенных крестами, затем перевела взгляд на свой мяч и решительно изменила направление. Таратура встал от неожиданности, а Честер замер, и оба они, стремительно оглядевшись, попытались определить, кто подстраховывает блондинку, которая, конечно же, не могла работать без страховки. Но нет, явного ничего не было видно, потому что преступники, вероятно, действовали осторожно.

Остановившись в метре от инспектора, блондинка улыбнулась ему, как старому знакомому, и, несколько растягивая слова, как это делают капризные дети, сказала:

— Простите меня, пожалуйста, нет ли у вас резинового клея?

И протянула Таратуре мяч, словно бы подтверждая необходимость своего обращения, хотя мяч явно был целым и в клее не нуждался.

Честер слышал все, что сказала блондинка, и теперь напряженно ждал ответа Таратуры, который не имел права ошибиться в этот кульминационный момент. И хотя пароль ему не был известен, он должен был сказать сейчас нечто такое, что задержало бы блондинку, во всяком случае, не спугнуло ее.

А Таратура молчал!

Он смотрел на красавицу расширенными глазами, вероятно, потрясенный ее обращением, обрадованный — и одновременно огорченный!— тем, что она все-таки проявила себя как недруг, хотя весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро он только и ждал — и не ждал! — этого момента, надеялся — и не надеялся! — на него, боялся, что он не случится, и не хотел, чтобы он был. «Говори что-нибудь! — мысленно кричал ему Честер.— Не будь истуканом!» В глазах блондинки тоже мелькнуло то выражение, которое она подарила инспектору во время «корриды» и которое он перевел как «Тореадор, смелее в бой!».

— Есть клей,— произнес наконец Таратура.— У меня есть резиновый клей, но он в машине. Вы не пройдете со мной?

Блондинка долгим взглядом посмотрела в голубые глаза инспектора и поджала губы, выразив этим свое сомнение или по крайней мере нерешительность. И когда Честер уже подумал было, что все лопнуло, что нужно просто хватать преступницу и крутить ей руки, она улыбнулась и кокетливо произнесла:

— Это далеко?

Таратура без слов показал в сторону набережной, где действительно стоял его «Бюик», приготовленный на всякий случай еще с утра.

И они пошли.

Фред следовал за ними на расстоянии десятка шагов. Он видел, что Таратура уже обрел свою обычную уверенность, не суетился и спокойно вел блондинку, придерживая ее под локоть. На набережной было немного людей, но, к сожалению, почти все мужчины оборачивались на красавицу, что осложняло задачу инспектора. Он открыл переднюю дверцу «Бюика», сел в машину, пригласил блондинку последовать его примеру, что-то сказав ей с улыбкой, отчего она весело расхохоталась, и незаметным движением руки приоткрыл заднюю дверцу. Для Фреда? Конечно, для Честера, чего там раздумывать!

В то мгновение, когда Фред стремительно прыгнул в машину, Таратура включил зажигание, и «Бюик» бешено рванулся вперед. Блондинка воскликнула: «Ого!» — но Честер, сжав ей плечи, выдохнул:

— Тихо!

Она молчала. Все двадцать минут, что они ехали

по шоссе, она не произнесла ни единого слова и только время от времени посматривала на Честера, как будто хотела понять, зачем он здесь. По всему было видно, что первое замешательство, если оно и имело место, быстро прошло. Легко совладав с нервами, блондинка не без любопытства ждала развязки.

Через двадцать минут Таратура съехал с шоссе на обочину, чтобы не мешать машинам, идущим на север. Выключив зажигание, он протянул блондинке пачку сигарет — она поблагодарила, но отказалась,— закурил сам и произнес:

— Теперь поговорим. Кто вы?

— А вы? — сказала блондинка.

Таратура переглянулся с Честером и пожал плечами:

— Мы... так. Люди. Пока это не имеет значения.

— Надеюсь, джентльмены? — улыбнувшись, спросила блондинка.

— Хм!— Таратура явно смутился.

— В таком случае, представьтесь первыми, тем более что вы избрали столь оригинальный способ знакомства.

Инспектор прищурил глаза, с подозрением взглянув на блондинку.

— Вы продолжаете играть,— сказал он.— Не советую. Ответьте на мой вопрос: кто вы?

— Сюзи.

— Я спрашиваю не имя. Меня интересует...

— Ах, вот что!— перебила блондинка, вроде бы догадавшись.— Да, вы не ошиблись: я дочь миллионера. Но денег с собой никогда не ношу. Очень сожалею, господа.

— Мы не грабители,— мрачно сказал Таратура.— И вы это прекрасно знаете.

— Так что же вам нужно? — искренне удивилась она, словно исчерпала основные мотивы странного поведения мужчин.

Инспектор строго нахмурил брови:

— Нас интересует, почему вы установили за мной слежку.

— Я? За вами?!— В ее голосе прозвучали нотки искреннего возмущения.— Вы называете это «слежкой»?!

— Потрудитесь ответить!— серьезно сказал Таратура.— И перестаньте играть. Мое терпение не вечно.

— Ну, знаете!..— Блондинка схватила сигарету и с жадностью закурила.— Вы полагаете, я обязана отвечать на вопрос, унижающий мое женское достоинство?

— Да,— твердо сказал Таратура.— Тем более что достоинство тут ни при чем.

— И еще в присутствии этого господина? — Она показала на Честера.— Так будет вам приятней?

— Это мой друг,— сказал Таратура.

— А что, если я откажусь?

«Крепкий орешек»,— подумал Честер.

— Послушайте меня, Сюзи,— произнес Фред, посчитав необходимым вмешаться.— Если вы та, за кого мы вас принимаем, вы наш враг, и тогда извинений не потребуется. Но если мы ошиблись, вы поймете нас в конце концов и простите сами. Итак: с какой целью вы сняли номер в отеле, соседствующий с номером моего друга?

Вероятно, только сейчас блондинка осознала серьезность происходящего или сделала вид, что осознала? Она глубоко, даже с надрывом вздохнула и повторила вопрос Честера:

— Зачем сняла номер? Извольте: случайно, господа. Хотя вас,— она повернулась к Таратуре,— я заметила еще в самолете. Мне показалось... Вы произвели на меня... Я решила... Но позвольте об этом не говорить. Обстановка не соответствует тому, что я могла бы сказать.

Честер понимающе кивнул головой, а Таратура сделал вид, словно признания блондинки его не волнуют и не касаются.

— Благодарю вас,— сказала Сюзи, имея в виду Честера.— А вот отель... Я всегда останавливаюсь в «Холостяке из принципа» вот уже несколько лет подряд, хотя могла бы жить у отца, но вы знаете, на этом острове лучше находиться подальше от родственников.

— Кто ваш отец? — спросил Таратура.

— Эдмонт Бэйл.

— Владелец «Ум хорошо, а кларк лучше»?

Блондинка улыбнулась:

— Это он сам придумал. Лично я считаю наоборот. Но позвольте спросить, господа, за кого вы меня приняли?

Честер вновь переглянулся с Таратурой.

— Это неважно,— сказал инспектор и, движимый какими-то новыми соображениями, вдруг спросил: — А кто этот странный человек с рыжими бакенбардами, который вчера сопровождал вас с таким постоянством? — Он хотел добавить:—«И с которым вы ушли из казино, так и не вернувшись ночью в отель»,— но удержался.

— А почему странный? — сказала блондинка.

— Так,— промямлил Таратура.— Он уродлив и несколько староват.

Блондинка смерила инспектора презрительным взглядом, но на губах у нее блуждала кокетливая улыбка. Она возрождалась прямо на глазах, эта красавица, как птица феникс!

— Вас это очень интересует?

Таратура пожал плечами: мол, что значит очень?

— Это и есть мой папá.

— Правда? — смутившись, но не скрывая облегчения, сказал Таратура.

— Ну и прекрасно,— заметил Честер.— Я почти верю вам, Сюзи Бэйл, но еще один крохотный вопрос: почему вы попросили клей, если мяч был целым?

Потупя прекрасные глаза в голубых ресницах и не глядя на инспектора, блондинка сказала:

— Я не успела сделать дырочки... Но послушайте,— произнесла она, вновь воодушевляясь,— как я могу вас называть?

— Фред Пупкинс,— сказал Фред.— А моего друга зовут Арно Брамапутра.

— Вот это да!— воскликнула блондинка.— Обожаю приключения, в которых действуют герои с такими фамилиями! Вы из полиции?

— С чего вы взяли? — опешил Таратура.

— Нет, мне просто так хочется,— мечтательно заявила блондинка.— Чтобы на острове стряслось что-то невероятное и чтобы красивый полицейский детектив раскрыл страшное преступление!

В третий раз за последние десять минут переглянулись Честер и Таратура.

— Знаете,—продолжала блондинка,—здесь очень скучно! Когда вы пригласили меня в машину, я сразу почувствовала, что сейчас случится что-то необычное. Особенно после того, как в машину сели вы!— Она показала на Честера.

— Почему же? — спросил Фред.

— Вы были лишним.

Честер расхохотался, но Таратура сохранил невозмутимость.

— Поехали отсюда,— предложила вдруг блондинка.— Недалеко здесь зона, и нас могут случайно подстрелить.

Мужчины встрепенулись и даже затаили дыхание, как это делают охотники, боясь спугнуть зверя.

— Что вы сказали? — почему-то шепотом произнес Таратура.

— Я говорю, нас могут подстрелить,— как ни в чем не бывало повторила Сюзи.

— Кто?!— не удержался от восклицания Честер.

— Неужели вы не знаете? — удивилась блондинка.— Вы, наверное, на острове впервые?

— Я спрашиваю, кто?!— заорал Честер, окончательно теряя терпение.— Кто может подстрелить?!

— О боже!— смутилась блондинка.— Что с вами, господин Пупкинс? Вам страшно?

— Послушайте, Сюзи,— все так же шепотом произнес Таратура.— Вы помянули о зоне. Что вам известно о ней, говорите же!

Блондинка странно посмотрела на мужчин.

— Об этом знают все жители острова!— сказала она.— И даже многие курортники! Говорят, что в этой зоне уже два с половиной года то ли шпионов делают из людей, то ли людей делают из шпионов...

Глава 12. КОНТРАТАКА

Очнулся Гард, почувствовав боль в руке.

Перед ним стоял человек в белом халате, держа пустой шприц. И так как последнее, что запомнил комиссар, находясь в «конторе», был тоже человек в белом халате и такая же боль в руке, ему показалось, что между двумя видениями не прошло и секунды,— они как бы слились в нечто целое, не разделенное временем. Однако Гард скоро понял, что это не так: и врач был другой, и комната другая, и не было в ней чиновника Эммануила Бента со своими приближенными, и сам Гард уже не сидел в мягком кресле, а полулежал на диване.

Да, это был, конечно, второй укол, которым его привели в сознание. Сколько же времени он находился в забытьи? Комиссар взглянул на часы, но обнаружил, что они исчезли. Странно. Украсть их не могли, ситуация исключала такую возможность, тем более что бумажник, сигареты и зажигалка были на месте. Значит, часы изъяли нарочно, чтобы комиссар не мог вести временной отсчет, который помог бы ему определить, как далеко он находится от «конторы». Кто знает, может, его вообще перевезли на другой конец земли, если между уколами прошли сутки? В таком случае рассчитывать на помощь Честера и Таратуры уже нельзя. Н-да... Впрочем, не стоит отчаиваться: маскировать время и расстояние имеет смысл лишь тогда, когда они незначительны.

Препарат, вероятно, обладал очень сильным действием, но совершенно не отражался на памяти и на способности размышлять. Неприятные ощущения, вызываемые обычным наркозом или снотворным, в данном случае отсутствовали, и Гард чувствовал себя скорее отдохнувшим и посвежевшим, чем усталым. Каждое слово, произнесенное им или услышанное от других до первого укола, тут же всплыло в его памяти.

— Морфинил? — сказал Гард, откровенно разглядывая пустой шприц и памятуя о том, что именно этот редкий препарат был обнаружен у Боба Лангера и преступной троицы, возглавляемой Юджином Харри.

Человек в халате ничего не ответил. Удостоверившись в том, что комиссар пришел в себя, он молча удалился. Когда за ним бесшумно закрылась дверь, Гард пожал плечами, как бы говоря: ну и бог с тобой, не хочешь разговаривать — не надо. Гард понимал, что за ним могут тайно наблюдать, и потому решил вести себя непринужденно и естественно, как человек, попавший к «своим», а не в плен к противнику.

Затем он огляделся.

Окон не было. Небольшая комната была со вкусом обставлена мебелью, ультрамодные линии которой гармонично сочетались с полузабытой стариной. Пастельные тона обивки, пуфики на диване, декоративный камин в углу, драпировка на стенах и приглушенный зеленый свет, льющийся неизвестно откуда, превращали комнату скорее в дамский будуар, нежели в прибежище гангстеров. Во всяком случае, обстановка здесь разительно отличалась от подчеркнутой деловитости «конторы» и еще раз напомнила Гарду о пропасти, которая пролегла между ним и обычной жизнью.

Рядом с диваном стоял низкий журнальный столик с газетами многих стран, небрежно разложенными чьей-то рукой как бы в подтверждение самых пессимистических предположений Гарда. Он встал, наклонился над столиком и, подумав, «естественно» выбрал «Мир пять минут назад», а не какой-нибудь «Нью-Йорк таймс». Пробежав глазами первую страницу, печатавшую информацию о главных мировых событиях,— на кой они черт рядовому исполнителю гангстерской шайки? — комиссар с гораздо большим интересом углубился в чтение уголовной хроники. Итак, министр внутренних дел Воннел, комиссар Вутс и инспектор Моргинс награждены орденами «Знак Льва и Львицы» за «блестящее», как было написано в газете, и «оперативное» расследование двух запутанных дел, связанных с исчезновением Ут Доббс и Рони Фишер. Прекрасно! Значит, Мердок точно выполнил указание Гарда, и интервью с Джином Моргинсом было, вероятно, напечатано в одном из предыдущих номеров. Что еще? Очередное ограбление Национального банка. Так и написано: «очередное», поскольку грабители раз в месяц, как за зарплатой, приходили в банк. Конечно, они действовали не без помощи банковских работников, но комиссар Вутс, которому было поручено это дело, предпочитал искать воров за границей, свалив на международную полицию вину за неуспех. Что еще? Взгляд Гарда скользнул по черной траурной кайме, окружавшей... Что такое?! Мердок?! Погиб?! «Случайный выстрел при чистке оружия»?! На какое-то мгновение комиссар даже забыл о том, что его замешательство может быть обнаружено, но тут же взял себя в руки. Повернув еще страницу, он невидящими глазами уставился на фотографию какой-то красотки, чего-то там рекламирующей, продолжая думать о том, как же так нелепо погиб инспектор Мердок — отличный детектив, способный человек, умный, решительный, верный, на которого можно было положиться, как на самого себя. Случайна ли смерть инспектора? Или его убили? Кто и зачем? Ответы на эти вопросы определяли многое в нынешнем положении Гарда. Успел ли Мердок сообщить Президенту о его опасной миссии? Впрочем, какие могут быть сомнения: конечно, нет! Контрольный срок истекал в двенадцать часов дня 2 июня,— какое же сегодня число, черт возьми?!— а Мердок, судя по сообщению, погиб на следующий день после прощания с Гардом. Значит, никакой подстраховки в Нью больше нет. Одна надежда — на Таратуру и Честера. Не дай бог, если преступники выйдут на их след! Не дай бог, если они сами полезут к ним в лапы! Ситуация...

— Красотками интересуетесь? — раздался вдруг мягкий, грудной голос.

Продолжение следует.

Синие люди

Павел БАГРЯК

Фантастический детектив

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

Гард не слышал, как отворилась дверь.

Перед ним стояла женщина.

«Час от часу не легче! — подумал комиссар.— Только этого недоставало!»

Собственно, уютный будуар должен был подготовить Гарда к явлению «таинственной незнакомки», а не «таинственного незнакомца», и такая мысль подсознательно мелькала у него, когда он разглядывал комнату, но как-то не задержалась, проскочила мимо, и потому реальность потрясла его больше, чем можно было предположить.

— Красотками? — не понял сначала Гард, но тут же сообразил, что имела в виду незнакомка. И тогда он бросил на столик газету с изображением полуголой девицы и почти профессионально произнес: — А что? Недурна!

С одной стороны, Гард невольно сыграл себе на руку, произведя на даму недвусмысленное впечатление, но, с другой стороны, был этим внутренне бесконечно смущен.

Незнакомка плавно пересекла комнату и, присев на мягкое кресло напротив Гарда, улыбнулась. Она была определенно хороша собой. Темно-лиловое платье плотно облегало ее стройную маленькую фигуру. На плечи тяжело падали волнистые каштановые волосы. Никакой косметики на матовом лице, хотя отчетливо были видны морщинки вокруг умных глаз. Высокий, чистый лоб. Удивительная грациозность и естественность движений. Возраст? Гард никогда не умел угадывать женские годы. Он вообще терялся перед женщинами, не умея ни допрашивать их, ни вести с ними светские беседы.

— Давайте знакомиться. Дина Динст. С кем имею честь?

Глубокий, грудной голос приятно контрастировал с миниатюрной фигуркой. Гард приподнялся с дивана, кивнул головой и снова сел.

— Я хотел бы видеть шефа,— сказал он.

Дина Динст очаровательно улыбнулась.

— Я уполномочена представлять шефа,— сказала она. И, вероятно, оставив надежду выяснить имя своего собеседника, по крайней мере на этом этапе разговора, без паузы добавила: — Итак, чего вы хотите?

Чего хотел Гард? Немногого. Он хотел выяснить, с каким ведомством имеет дело, кто его шеф, чем оно занимается и какова судьба Майкла Честера и еще ста сорока девяти детей.

Гард сказал:

— Вышла ошибка, мадам. Я уже докладывал вашему помощнику. Могу повторить.

Гард старался быть лаконичным, поскольку актер из него был неважный и убедительно сыграть гангстера он все равно не мог. Главное — не проявлять чрезмерного интеллекта, мало сочетающегося с ролью заурядного порученца.

— Повторите,— предложила Дина Динст.

Комиссар вздохнул: мол, надоело мне это дело!

— Вышла ошибка, мадам,— сказал он по возможности равнодушным голосом.— Мне велено доставить груз обратно — мальчишку то есть.

— Кем велено?

— А тем, кто мне приказывает,— схитрил Гард.— С грузом что-то напутали.

— Что именно?

— Черт его знает! С каким-то кодом.

Дина Динст с любопытством вскинула на Гарда глаза.

— Вам даже известно о коде?

— Я пользуюсь доверием,— сказал комиссар, «скромно» опуская ресницы.

И тут же он пожалел, что так опрометчиво помянул код. Очевидно, это считалось большой тайной, о которой не всем было дано знать. В другой бы ситуации Гард объяснил мадам, что даже самые страшные государственные секреты рано или поздно становятся известны большому кругу посторонних лиц, поскольку секреты сами себя не охраняют, а охраняются живыми людьми, и, ста-

---

Продолжение. Начало в №№ 1—7.

ло быть, утечка информации возможна. Эти слова могли бы показаться ей убедительными, и то обстоятельство, что сидящий перед нею рядовой порученец что-то знает о коде, не вызвало бы у нее подозрения. Но комиссар промолчал: умное оправдание выдавало его с головой, а глупо оправдываться все равно не имело смысла. Пусть думает, как хочет! — такая «философия» по крайней мере была характерна для Боба Лангера и Юджина Харри, когда Гард безуспешно обрушивал на них доводы, основанные на логике.

— Так,— кратко резюмировала Дина Динст.— А какова судьба девочки, которую должны были доставить вашим рейсом?

— Откуда я знаю? — добродушно ответил Гард.— Доставкой занимаются другие. Я выполняю более сложные поручения.

Его тупости мог позавидовать сам министр Военел.

— Значит, не знаете.— Дина Динст задумалась.— Имя девочки вам известно?

— Нет.

— А ребенка, которого вы должны забрать?

Гард подумал: «Еще перепутают!»

— Майкл Честер.

— Кто вам назвал это имя?

— Эммануил Бент, вы же слышали,— сказал комиссар.

— Прекрасно.— Дина Динст даже повеселела.— Когда вам следует возвращаться?

— Сегодня же! — твердо сказал Гард.— Если я не выполню поручение, мне голову снимут, мадам, и даже вы не поможете.

Дина Динст вновь с любопытством посмотрела на Гарда. «Каким же я кажусь ей болваном,— подумал комиссар,— если она точно знает, что я н е т о т!»

— Вернуть ребенка невозможно,— улыбнувшись, сказала Динст.

— Почему? — внутренне холодея, произнес Гард.— Дайте мне мальчишку, три ампулы морфинила — и все дела!

— Мальчик уже в работе!

Не сдержавшись, она звонко рассмеялась.

От этих слов и от сопровождающего их хохота у Гарда мучительно закололо в пояснице. Пересилив себя, он изобразил на лице полное равнодушие.

— Ну что ж, тогда я вернусь на континент, доложу, как есть, а вы, мадам, расхлебывайте сами.

— Вам нечего беспокоиться,— сухо заметила Дина Динст.— Мы уже доложили.

Вот оно что! Пока он спал, они, конечно, связались со своими людьми в Нью, получили исчерпывающую информацию, и разговор, который вела сейчас с Гардом эта женщина, имел, вероятно, единственную цель — разведывательную. Она тоже его прощупывала, как он прощупывал ее, но с несравненно большим эффектом: Гард был слепым, Дина Динст — зрячей.

Фигуры в игре постепенно занимали свои законные места. Скоро должен был наступить момент, когда обе стороны, закончив разведку, перейдут в решительное наступление. Но прежде Гард все же обязан сделать еще одну попытку выкрутиться малой кровью. И он пустил последний пробный шар.

— Да, дело серьезное,— сказал он, словно бы размышляя вслух.— Не знаю, чего вы там доложили, но мне точно известно: если мальчишка не будет доставлен, возможны крупные неприятности.

— Какие же? — с интересом осведомилась Дина Динст.

— Вмешательство официальных органов,— четко произнес Гард, явно нарушая границы избранного амплуа, но теперь это, кажется, уже не имело значения.

— Зачем вам заботиться о том, что не входит в ваши обязанности? — с улыбкой сказала Дина Динст.

— Вы так думаете? Хорошо. Тогда мое дело сделано. Мне что? — вновь прикинулся Гард.— Дали мальчишку — порядок, не дали — уеду без него.

— Нет, дорогой мой,— поправила Дина Динст. Ее глаза вдруг стали стеклянными, остановившимися.— Билет на обратный путь вам не понадобится.

— Интересно! — сказал Гард, хотя понял, что игра кончилась.

Он закурил, даже не спрашивая разрешения у дамы. Более определенно выражать своего отношения к последним словам Дины Динст не имело смысла: ими не все было сказано, и потому час комиссара еще не пробил. Он перейдет в контратаку лишь после того, как станет ясно, какими о нем сведениями располагает Дина Динст. Теперь торопиться некуда. Гард и так совершил слишком много ошибок, проникая в зону, но он не мог их не совершать, поскольку действовал наугад. Отныне любая ошибка становилась смертельной.

— Вы можете не разыгрывать простачка, а говорить со мной серьезно? — сказала вдруг Дина Динст, опуская руку в маленький карман платья.

— Могу,— неожиданно согласился Гард.— Но при одном условии.

— Я слушаю.

— Вы будете стрелять лишь после того, как нам двоим все будет ясно.

Глава 13. ЧЕРНЫЙ ХОД

Таратура не вошел, а вбежал в номер к Честеру, стремительно заперев за собой дверь. Он был возбужден, но Фред знал, что инспектор способен удерживать в себе заряды любых калибров, не выпуская их до тех пор, пока сам не посчитает нужным. Спросить сейчас Таратуру «Что случилось?» и рассчитывать на ответ было равносильно тому, чтобы надеяться на получение пива из автомата, в который не собираешься опускать десятилеммовой монеты.

— Опять купался? — сказал Честер, взглянув на мокрую голову Таратуры.— Когда шеф вернется, я расскажу ему, какой роскошный уик-энд устраивал себе его помощник.

— И не забудь добавить,— попросил Таратура,— что я не просто купался, а в обществе очаровательной островитянки.

Это было уж слишком.

— Послушай, Дон-Жуан! — вскипел Честер.— Мне так же хочется шутить, как тебе быть серьезным!

Таратура улыбнулся своей глупой, обезоруживающей улыбкой:

— Во-первых, не Дон-Жуан, а Ромео...

— Каждый Ромео начинал или заканчивал Дон-Жуаном!

— А, во-вторых, что тут плохого? Быть может, Фред, ты и бывал на таких островах, как этот, а я никогда. Неужто мне нельзя лишний раз искупаться в море? Если бы ты знал, Фреди, как часто я мок под дождем, месил грязь и ползал по вонючим чердакам и подвалам! Когда мы устроили большую охоту на Кирилла Шолли, я целый час плыл в канализационной трубе с пистолетом в зубах. Ведь ты не поверишь мне, если я попытаюсь тебя убедить, что не люблю плавать в канализационных трубах?

— Кончай трепаться. Сегодня ты чрезмерно болтлив.

Честер вновь лег на кушетку, на которой валялся с самого утра и которую, судя по всему, не собирался оставлять до вечера.

— Ты беспокоишься о Гарде,— сказал Таратура.— Я тебя понимаю. Но знаешь, что в этот момент больше всего заботит шефа?

— Что?

— Правильнее сказать: кто? Мы с тобой! Он больше всего боится, что нас переловят. Тогда и ему крышка. Три трупа в море и заметка в «Прекрасном одиночестве»: «Незадачливые яхтсмены». Ты не помнишь, Фреди, на какие сутки всплывают покойники? В холодной воде, кажется, на девятые. А в теплой?

— Иди к черту! — сказал Фред.

Таратура присел к нему на кушетку и доверительно, почти шепотом сообщил:

— Она замечательная девчонка, эта Сюзи Бэйл! Нет, ты согласись, у нее очаровательная мордашка! А?

— Иди к черту!

— Плавает отлично,— продолжал задумчиво Таратура.— У нее акваланг. Мы решили вечером плыть вместе. К Гарду.

— Что?! — Честер вскочил с кушетки, как ужаленный.— Что ты сказал?!

— Могу повторить.— Улыбка исчезла с лица Таратуры. Он, кажется, говорил серьезно, хотя в его глазах еще сверкали искорки смеха.— Я размышлял так. К сожалению, нам неизвестно, легальна или нелегальна организация, расположенная в зоне. Если это действительно «центр» по подготовке разведчиков, то почему до сих пор не вернулся комиссар полиции Дэвид Гард с Майклом в руках и тремя билетами на самолет и не сказал нам с тобой шепотом, чтобы мы на всякий случай забыли, с кем имели дело? Стало быть, нелегальная?

— Ну?

— Что «ну»? Не знаю! Вот об этом и стоит потолковать с Гардом.

— По радио?

— К черту радио. Надо встретиться и поговорить.

— Не строй из себя идиота! За последнее время ты так вжился в этот образ, что вас невозможно разделить!

— Благодарю,— сказал Таратура.— Я давно догадываюсь, что вы, сеньор, прекрасного обо мне мнения. Однако теперь есть возможность проникнуть в зону.

— И потерять свободу? Ты же сам говорил, что мы чуть ли не единственная гарантия безопасности Гарда!

— А почему ты решил, что мы отправимся туда вместе? И кто сказал тебе, что я собираюсь расставаться со свободой? Потому-то речь и идет о черном ходе.

— Рискованно.

— За элементы риска мне дополнительно платят сто двадцать кларков в неделю.

— Хорошо. Что ты придумал?

— Тут я, признаться, ничего не придумал. Вернее, я придумал, что надо прямо спросить Сюзи, не знает ли она, как проникнуть в зону.

— Ты объяснил зачем?

— Да. Я сказал, что там затерялся мой приятель, и этого ей было достаточно.

— Ну?

— Она ответила, что не знает. И добавила, называя меня Арно. «Арно,— сказала она,— я часто плаваю с аквалангом. В четырех милях от пляжа, за мысом, в море выходит какая-то труба...»

— Ну?

— Пожалуйста, не нукай. Я сразу вспомнил канализацию, но Сюзи сказала, что из трубы идет чистая вода. Правда, подогретая. «Не сваримся ли мы в этой трубе?» — спросил я. Она ответила, что вроде бы не должны свариться. Тогда я спросил, точно ли эта труба идет из зоны. Она сказала, что точно не знает, но больше неоткуда. И тогда я стал уговаривать ее показать мне эту трубу.

Таратура умолк. Честер жадно закурил сигарету.

— Уговорил?

— Конечно, она боится. Она сказала, что в прошлом году два курортника случайно забрели в зону, их застрелили без всякого предупреждения, когда они постучались в стальные ворота. Скандал замяли. Официальная версия была такова, что будто бы они нарвались на шального бандита.

— Ты все же уговорил?

— Уговорил,— улыбнулся Таратура.— Ей хоть и страшно, но любопытство пересиливает. Кроме того, я... Одним словом, сам понимаешь.

— Хвастун ты, инспектор, но молодец! — восхищенно сказал Честер.— Когда же?

— Сегодня в пять часов. Я поручил ей достать акваланги.

— Я с вами.

— Ну уж нет! — сказал Таратура.— Ты будешь нашей общей гарантией безопасности.

Честер молча подошел к Таратуре, положил ему руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Конечно, Фред больше не мог, его нервы были на пределе. Кроме того, Таратура представил себе, какие глупости натворит Честер, оставшись один хотя бы на сутки. Уж лучше пусть будет перед глазами.

— Ладно, Фреди,— сказал инспектор.— Еще один акваланг я выиграю сейчас в тире. Так менее подозрительно. Выйди в коридор. Никого нет? Я исчезаю. В пять на пляже, у нашего места! Понял?

За ним захлопнулась дверь...

Они плыли кильватерным строем. Сюзи впереди, за ней Таратура, Честер — замыкающим. На пляже похохотали, подурачились для отвода глаз, потом, перемигнувшись, по очереди нырнули и ушли в море. За мысом они вынырнули, поставили шнорхели, чтобы не расходовать воздух в баллонах, и поплыли дальше. Честер пристегнул купленный накануне вечером подводный фонарь. Он колотил его по правому боку, мешая плыть. Чтобы не отставать, Честер посматривал иногда вперед и замечал большое, увеличенное маской тело Таратуры, его синие ласты, от мерных колыханий которых вихрилась вода, а еще впереди — черный купальник девушки. Она плыла кролем, обгоняла их, а потом, обернувшись, поджидала, медленно и плавно покачиваясь на одном месте.

Они проплыли минут сорок, когда Сюзи внезапно нырнула и, мелко перебирая ластами, вертикально ушла в глубину. Дно здесь было ниже и опускалось круче. Честер видел, как Сюзи развернулась у дна, зависла, оглядываясь вокруг, потом, резко оттолкнувшись ногами, быстро пошла наверх, показывая поднятым пальцем, чтобы и они всплывали.

Три головы появились над водой почти одновременно. Сюзи выплюнула загубник.

— Теперь совсем близко,— сказала она,— метров тридцать, вон там, у самого берега.

Таратура и Честер пригляделись. Земля была совсем рядом. Они уже прошли всю бухту, открывающуюся за зеленым мыском. Здесь берег был крутой, голый. Отполированные прибоем скалы стояли стеной, лишь кое-где маленькими островками торчали из воды камни.

— Плывите за мной, а когда я вам махну, включайте баллоны, и пойдем вниз. Ты не потерял свою пилку? — Сюзи посмотрела на Таратуру.

«Они уже на «ты»,— отметил про себя Честер.— Современные темпы!» Таратура улыбнулся под маской и похлопал себя по бедру, где у него висела маленькая ножовка с красной ручкой. Слева, у другого бедра, висел отличный нож для подводной охоты: Таратура не поленился накануне и теперь имел недурную экипировку, за счет, разумеется, хозяина тира.

Сюзи тихо ушла под воду. Маленький фонтанчик с хриплым свистом вырвался из ее шнорхеля. Таратура и Честер последовали за ней.

Действительно, проплыв метров тридцать — сорок, девушка дала сигнал к погружению. Они переключили акваланги на питание от баллонов и начали медленно погружаться. У Честера сдавило лоб. «Ничего страшного,— подумал он,— пройдет». На глубине около двадцати — двадцати пяти метров Сюзи обернулась и протянула вперед руку, указывая направление. Теперь они плыли уже плотнее друг к другу, и Честеру некогда было разглядывать дно. Солнечные лучи проникали и сюда, и если бы камни были светлые, тут, наверное, было бы совсем светло, но темно-бурые скалы и водоросли скрадывали свет, рождая таинственный голубой сумрак. «В приключенческих фильмах в таких местах звучит электронная музыка»,— подумал Честер.

Сюзи опять пошла чуть ниже и опять протянула вперед руку. Глянув в указанном ею направлении, Честер увидел какое-то черное овальное пятно, перечеркнутое аккуратными светлыми полосами. По мере того как они приближались к этому пятну, все заметнее становилось движение воды, идущей навстречу мягкими теплыми волнами. Они были уже совсем близко, и теперь легко было разглядеть черное отверстие трубы и решетку из стальных прутьев в мизинец толщиной. Из трубы действительно шла теплая вода. Но не горячая, а именно теплая, градусов тридцать; течение было не сильным, но заметным, словно дул теплый ветер из аэр-кондишена. Таратура коснулся плеча Сюзи и ткнул пальцем вверх. Потом обернулся к Честеру. Журналист кивнул: понятно, всплываем.

— Нас тут не пристрелят? — Это были первые слова Таратуры, когда они поднялись на поверхность.

— Не знаю,— просто ответила Сюзи.

— Мы под скалой в мертвой зоне,— сказал Честер, обводя взглядом береговые скалы.

— Будем надеяться,— пропыхтел Таратура.— Теперь я принимаю командование. Фред и Сюзи, вы остаетесь здесь, но так, чтобы вас не было видно с берега. Акваланги отключите, будем экономить воздух. Когда я перепилю решетку, позову вас. Фред, не вздумай ухаживать за Сюзи...

— Она пойдет с нами? — спросил Честер.

Сюзи кивнула головой, не ожидая, что ответит Таратура.

— Тогда поторапливайся.— Фред похлопал инспектора по маске.

Таратура скрылся под водой. Прошло, кажется, не менее двадцати минут, прежде чем голова Таратуры заплясала на волнах. Он начал говорить, еще не отдышавшись, и выстреливал слова короткими очередями:

— Пилить трудно... упереться не во что... Ну, пошли! Фонарь не потерял?.. Я впереди, потом Фред, а ты сзади...— Он подмигнул Сюзи.— Держимся кучей, чтобы не потеряться...— Таратура быстро вставил загубник и, повернув переключатель акваланга, первым скрылся под водой.

Честер секунду помедлил, взглянул еще раз на Сюзи, которая без голубых ресниц и пышной прически казалась ему сейчас совсем не похожей на девицу из кордебалета, а была вполне нормальной девушкой спортивного склада,— надо же, как естественность меняет человека в лучшую сторону! — и последовал примеру Таратуры. Следом ушла под воду Сюзи.

Труба была широкая, метра полтора в диаметре, плыть было легко, и Таратура только изредка касался руками стенок, скользких на ощупь. Честер отставал, ему мешал фонарь, не говоря уже о том, что движение замедлялось из-за течения в трубе.

Они проплыли метров сто, когда Таратура остановился и поднял вверх палец. Честер и Сюзи отчетливо услышали шаги над своей головой. Да, там кто-то ходил. Один раз им даже послышались голоса. Слова разобрать было невозможно, но Таратура мог поклясться, что слышал разговор двух мужчин. Потом все стихло. Пловцы двинулись дальше. Вскоре плывущий впереди инспектор опять остановился и прислушался. Он уловил какой-то странный звук — бульканье не бульканье, скорее журчание, плавно повторяющееся, словно кто-то помешивал в огромной кастрюле большущей ложкой. Таратура осторожно двинулся дальше. Звук нарастал. Вода стала заметно теплеть, хотя, увлеченный звуками, Таратура не сразу это почувствовал. «Теплая вода — это прекрасно,— успокоил себя Таратура.— Меньше расходуем кислорода!» Но, честно говоря, спокойствие не приходило, и по мере нарастания звуков Таратура тревожился все больше. «Втянет в какой-нибудь насос и изрубит на куски! — подумал он и оглянулся.—Сюзи, наверное, не стоило брать с собой...»

Не успел Таратура сделать и пяти гребков, как труба кончилась. Он почувствовал, что стенки ушли в стороны, под ногами тоже не было ослизлой вогнутости, разом изменился тон звука. Таратура всплывал медленно. Он знал, что Честер и Сюзи тоже поднимаются, но не слышал их: все заглушало шипение и журчание. Он всплыл первым. Со всех сторон его окружала темнота. Внизу голубел фонарь Фреда. Вот и он. А вот и Сюзи. Луч фонаря, поднятого над водой, уперся в серую бетонную стену.

Честер медленно повел луч.

Они находились в круглом зале метров десяти в диаметре, со сводчатым потолком, расположенным довольно высоко над водой. Вынули загубники. Воздух, застоявшийся, спертый, видно, что этот воздушный колокол редко проветривался. Почти все пространство зала занимали какие-то трубы, идущие сверху, из сводчатого потолка. Они были не толще водопроводных, но было их очень много, и стояли они густо, как бамбуковая заросль. Таратура хотел ухватиться за одну трубу, но тут же отдернул руку: труба была горячая. В противоположном от них конце зала находилось то, что издавало тревожащий звук. Это была вполне мирная крыльчатка, очень похожая на вращающиеся двери, которые делали в старых гостиницах. Позеленелые концы ее больших, не меньше дверей, лопастей, на которых повисли обрывки водорослей, медленно, с тяжелым всхлипом вращались, перегоняя воду, которая с журчанием обтекала частокол труб.

— Поняли? — шепотом спросил Таратура.

— Что-то вроде теплообменника,— сказал Честер тоже шепотом.— Гоняют воду и охлаждают эти трубы.

— Похоже, мы в огромном автомобильном радиаторе!

— Смотрите! — перебила Таратуру Сюзи и показала рукой на стену позади них.

Все обернулись. Честер повернул фонарь. Над водой, как балкончик, висела маленькая площадка, подобная тем, какие делают снаружи зданий для пожарных. Из воды на площадку вела лесенка, а прямо напротив нее в серой бетонной стене ясно угадывался темный квадрат двери.

Таратура, не говоря ни слова, подплыл к лесенке и поднялся на площадку. Сюзи последовала за ним и присела на большой кусок брезента, свернутого в рулон и, вероятно, кем-то забытого на площадке. Для Честера места уже не было, он встал на лесенке, освещая дверь.

— Ну, что я говорил! — торжествующе зашептал Таратура.— Вот вам и черный ход!

— Тише! — перебила Сюзи.— Слушайте...

— Внимание, говорит главный пульт! — раздался за дверью сухой, ровный голос. Он был слаб, звучал откуда-то издалека и сверху, но все отчетливо слышали слова.— Даю предварительную на разгерметизацию. Сброс давления до семи атмосфер в блоке «М» начинать только после остановки центрального насоса!

Голос умолк.

— Все ясно,— шепотом сказал Таратура.— Это дверь, которую мы искали. Весь вопрос, как в нее войти.

Никаких ручек, даже выступов не было.

— Она открывается изнутри и к нам,— сказал Честер.

— Откуда вы знаете? — спросила Сюзи.

— Здесь, где мы находимся, избыточное давление,— прошептал Честер.— Ведь мы явно ниже уровня моря. Значит, чтобы открыть дверь, надо уравнять давление снаружи и внутри.

— Пожалуй, ты прав,— прошептал Таратура.— Или искать другую дверь?

— Поплыли домой,— робко попросила Сюзи.

— Погоди, крошка,— перебил Таратура.— Общая схема нам ясна. Ничего, как видите, страшного нет.— Он внимательно разглядывал кусок брезента, на котором сидела Сюзи.— Все очень просто, я бы сказал, даже примитивно!

И Таратура изложил в нескольких фразах свой план: если с помощью брезента навести пластырь на то отверстие, через которое они всплыли и через которое уходила подогретая вода, движение этой воды, по существу, прекратится, она перегреется, теплообменник перестанет срабатывать, и дверь, по мнению Таратуры, легко откроется.

С пластырем справились довольно быстро и заняли места на лесенке и площадке. Легкое противодавление, создаваемое рабочей крыльчаткой, удерживало брезент на трубе. Поскольку стока воды не было, ее уровень в камере поднимался, но ненамного. Честер погасил фонарь. Он вновь сидел на лесенке. Таратура шептался с Сюзи на площадке и через каждую минуту просил Честера окунать в воду ногу и проверять, насколько она нагрелась.

Вода грелась довольно медленно, но грелась. Минут через тридцать было уже горячо. Честер понял, что температура приближается градусам к пятидесяти. Стало душно и по-настоящему жарко, но они терпели.

Вдруг за дверью раздался уже знакомый сухой голос автомата:

— Внимание, говорит центральный пост. Перегрев во втором контуре реактора. Посту 73 снять температуру во втором контуре.

— Ага! — тихо завопил Таратура.— Дошло наконец!

В этот момент тон звуков в зале, к которому они уже привыкли, изменился. Честер зажег фонарь, и они увидели, что крыльчатка стала вращаться гораздо быстрее. Под ними ходили маленькие волны кипятка, а брызги достигали ног Честера.

— Все идет по расписанию,— сказал Фред.— Они разогнали крыльчатку, чтобы увеличить теплосъем, но если брезент выдержит, ничего у них не выйдет.

— Слушай,— сказал Честер Таратуре,— а ведь у нас еще одна неувязочка получается. Если дверь открывается сюда, в камеру, то, когда она начнет открываться, она прижмет нас, и придется прыгать в кипяток.

Сюзи жалобно пискнула.

Таратура молчал. Потом сказал:

— Значит, так. Если дверь начнет открываться, Сюзи станет за дверь, а я побеспокоюсь, чтобы она не очень широко раскрылась. Ты, Фред, на всякий случай...

— Внимание, говорит центральный пост,— перебил Таратуру голос за дверью.— Немедленно устранить перегрев во втором контуре реактора!

— Ну, теперь можно ждать гостей,— сказал Честер.— Однако встреча будет чересчур жаркой,— добавил он, вытирая пот со лба.— Слушай-ка,— он дернул Таратуру за ногу,— а если сюда нагрянет целая ремонтная бригада, человек десять, что тогда?

— Перекидаем всех в кипяток и полезем наверх,— бодро отозвался Таратура.

— Тихо! — перебила Сюзи.

Наверху что-то щелкнуло, раздался какой-то скрип, звуки каких-то движений, опять щелчок, потом шипение. Таратура начал срывать водонепроницаемый мешочек со своего пистолета.

Потом они услышали тяжелые шаги над головой: кто-то спускался к двери.

— Кажется, один,— прошептал Таратура на ухо Сюзи.

Заскрипел штурвал замка, толчок, и узкая щель света вспыхнула перед ним. И начала расширяться.

— Ну и баня тут, черт побери,— раздался спокойный, даже сонный голос, и в этот момент, скользнув из-за двери, Таратура уже приставил к груди говорящего дуло своего семизарядного «Шлеста».

— Одна маленькая просьба,— тихо сказал Таратура,— где здесь можно обсушиться и выпить чего-нибудь прохладненького?

Потом, десятки раз вспоминая этот эпизод, и Честер и Таратура говорили, что все их планы, рассчитанные на внезапность и неожиданность, провалились в первый же миг встречи с незнакомцем. Он не только не выказал никакого страха, замешательства, паники, напротив, он привел в полнейшее замешательство всю тройку, ответив на вопрос Таратуры совершенно спокойно, так спокойно, будто не только ожидал встретить за дверью голого человека с пистолетом, но и был уверен, что этот человек ждет его.

— Наверху есть сифон с холодной водой,— сказал незнакомец, даже не взглянув на пистолет.— Но погоди немного, сперва надо узнать, отчего тут все греется.

У Таратуры отвалилась челюсть. Такой встречи он не ожидал. Спокойно отстранив рукой пистолет, незнакомец попробовал шире раскрыть дверь.

— Осторожно там девушка,— промямлил Таратура.

— А,— сказал ремонтник,— понятно.— Он заглянул за дверь.— Иди сюда, чего там стоять.— И он пропустил Сюзи в шлюз.

Ничего не понимающий Честер зашевелился на своей лесенке.

— Вон вас тут сколько! — сказал ремонтник та-

ким тоном, словно увидел муравьев на чайном блюде.— Но отчего же все-таки греется? — спросил он задумчиво.

— Внимание! Говорит главный пульт! Аварийный режим перегрева второго контура реактора! — раздалось откуда-то сверху, но гораздо громче, чем из-за закрытой двери.— Пост 73, немедленно доложите, что у вас там происходит. Вы слышите меня, пост 73?

— Слышу, слышу,— сказал ремонтник так, как обычно говорят самому себе.— Ну отчего же все-таки греется?

— Это мы заткнули трубу,— сказал Честер со смущенной улыбкой, поднимаясь по лесенке.

— Чем? — спросил ремонтник.— Брезентом?

— Да,— ответил Честер.— Вот, смотрите...— Он дернул за веревку, подтянул мокрый брезент, от которого валил пар, и кипяток с бульканьем и свистом понесся в освободившуюся трубу.

— И правильно сделали, что заткнули,— невозмутимо сказал ремонтник.— Давно надо было заткнуть, чтобы все у них полопалось к чертовой матери.

Тут только Честер разглядел его. Ему было за пятьдесят. Довольно грузный, длиннорукий, он был одет в рабочий комбинезон, чистый, но мятый, просто жеваный, и застиранную голубую рубашку. Лицо его, несколько одутловатое, припухшее, походило на лицо только что разбуженного человека, да и по глазам можно было понять, что он лишь недавно встал.

— Вас тут трое? — спросил ремонтник.— Или больше? — И, не дождавшись ответа, сказал Честеру: — Брось брезент на лестницу и пошли наверх: жарко тут.

Таратура со своим пистолетом, а за ним Сюзи с Честером полезли по скобам вверх. Ремонтник затворил за Фредом дверь, повернул штурвал замка и крикнул вверх Таратуре:

— Там у люка красная кнопка. Нажми и отворачивай люк!

По свисту воздуха и боли в ушах Честер понял, что из шлюза стравливают воздух. Потом что-то щелкнуло наверху, заскрипело, и стало заметно светлее: Таратура открыл люк. Он высовывался осторожно, держа наготове пистолет. И первое, что он увидел, были зеленые глаза, тревожные и злые, смотревшие прямо на него: на стуле у пульта лежал кот. Таратура огляделся по сторонам. Это была небольшая, очень чистая круглая комната. Посредине стоял пульт, довольно маленький и с обычными, ничем не примечательными шкалами, циферблатами, кнопками, тумблерами и штурвальчиками. Два стула на винтах, маленький шкафчик, и ничего больше. Стены отделаны кремовым пластиком, светильники упрятаны в потолок. Короче, в высшей степени скромная обстановка.

Следом за Таратурой поднялась Сюзи, затем Честер и, наконец, ремонтник. Сняли акваланги и прислонили их к стене. Таратура обошел пульт с пистолетом в руках, оставляя мокрые следы на пластике. Сейчас в этой обстановке он выглядел очень глупо в плавках с дурацким пистолетом, но и девать пистолет ему было некуда. С голых капало, на полу образовались пятна и подтеки, вся пультовая стала выглядеть какой-то неопрятной. Кот с брезгливым возмущением осматривал мокрых людей.

— Нет ли у вас чем вытереться? — робко спросила Сюзи.

— Есть,— ответил ремонтник и достал из шкафчика полотенце, не сказать чтобы свежее, но терпимое.

Сюзи начала отжимать волосы. Честер подумал, что теперь, когда после всей этой бездны волнений и приключений они достигли наконец желанной цели, никто не знает, что делать дальше. Все ждали схватки, борьбы, перестрелки, а оказались в каком-то мирном купальном павильоне.

— Ну, что же,— сказал Честер, переминаясь с ноги на ногу,— давайте знакомиться.— Он протянул руку ремонтнику: — Фред.

— Очень рад. Вальтер Шиз,— буркнул ремонтник и сунул руку.

Сделав книксен в купальнике, представилась Сюзи. Таратура переложил пистолет в левую руку и тоже поздоровался, назвав себя. Помолчали. Шиз подошел к пульту и долго рассматривал какую-то шкалу.

— Порядок,— сказал он то ли самому себе, то ли коту, но, во всяком случае, не гостям.— Пошла вниз.

— Температура? — участливо спросил Честер.

— Ага,— ответил Шиз.

Вновь помолчали.

— А где мы, собственно говоря, находимся? — наигранно легкомысленным тоном спросил Таратура.

— Пульт 73,— спокойно ответил Шиз.

— Внимание, говорит главный пульт,— раздалось из динамика.— Пульту 73 доложить о причинах перегрева!

Шиз лениво пошел к пульту. И следов замешательства нельзя было заметить у него, хотя чувствовалось, что докладывать ему неохота.

— Говорит пульт 73,— глухо сказал Шиз.— Перегрев произошел из-за закупорки отводящего трубопровода.

— Какой еще закупорки? — раздраженно спросил динамик.— Чем закупорился ваш трубопровод?

— Брезентом,— сказал Шиз и замолчал.

— Как могла закупориться полутораметровая труба брезентом? — недоумевал главный пульт.— Вы что, специально ее затыкали?

— Я не затыкал,— сказал Шиз.

— А кто затыкал?

— Двое парней и девчонка,— сказал Шиз.

— Какие парни? Какая девчонка? Откуда вы знаете? — кипятились на главном посту.

— Знаю,— сказал Шиз и замолчал.

Таратура водил пистолетом и не знал, что ему делать. Честера вся эта откровенность совершенно вышибла из седла. Сюзи почувствовала, что ноги ее не держат, и опустилась на стул, где лежал кот. Раздался громкий, хриплый вопль.

— Кто у вас там вопит? — запросил главный пост.

— Ивэн,— ответил Шиз.

— Какой Ивэн? — теперь уже вопил главный пост.

— Кот,— объяснил Шиз.

— Сумасшедший дом! — После этих слов динамик щелкнул — главный пост отключился.

— Зачем же вы....— начал Таратура, но Шиз перебил его.

— А пошли они все к дьяволу! — с досадой сказал он.— Зря мы вытащили брезент, пусть бы у них вся эта чертовщина распаялась ко всем чертям!

— Какая чертовщина? — осторожно спросил Честер.

— Вся. И большой купол тоже,— сказал Шиз.

— А что это за большой купол? — спросил Честер.

— Ну, купол такой... В общем, долго рассказывать,— сказал Шиз. Было ясно, что никакие соображения секретности его не сдерживают, просто ему не хочется объясняться.

— А что тут вообще происходит? — в лоб спросил Таратура.

— Где? — не понял Шиз.

— В зоне,— сказал Честер.

— Тут вся эта чертовщина, но самое главное,— он сделал паузу и многозначительно поднял вверх палец,— самое главное, что я, старый дурак, им помогаю делать синеньких.— И Шиз горестно покачал головой.

— Каких таких «синеньких»? — спросил Честер.

— Ну, как вам сказать...— Шиз развел руками.— Синенькие — это синенькие.

— Это люди? — спросил Таратура.

— Да какие к черту люди! — рассердился Шиз.— Нет, мы зря вытащили брезент. Надо было кончать с этим делом.

— Сколько человек работает в зоне? — спросил Таратура.

— Человек тридцать. А может, сорок. А может, четыре тыщи,— сказал Шиз.

— Вы не знаете, где наш товарищ, который попал сюда вчера? — спросил Честер.

— Сидит в кабинете этого дьявола,— сказал Шиз.

— Какого дьявола? — спросил Честер.

— Динст.

— Это далеко? — спросил Таратура.

— Не очень.

— Туда можно пройти?

— Можно. Через главный пост. Но там охрана. Три человека.

— А где же остальные?

— Наверху. Человек десять в ЛАФИЗе...

— Что это за ЛАФИЗ?— спросил Честер.

— Лаборатория. Хирургии и физиологии. Или физиологии и хирургии, черт ее знает... А какого черта вы меня спрашиваете? — вдруг возмутился Шиз.— Если вы хотите взорвать всю эту зону к чертовой матери, я вам помогу, а допрашивать себя не позволю!

— Ну, что вы,— сказала Сюзи,— вы так интересно рассказываете.

— Тогда другое дело,— смирился Шиз.

— Понимаете, нам очень надо увидеть нашего друга,— сказал Честер.— Для этого мы и...— он кивнул на люк,— и были вынуждены вас потревожить.

— Понял,— сказал Шиз.— Пошли.

— Куда? — спросил Таратура.

— К вашему приятелю.

— А охрана? — спросил Таратура.

— Так у тебя же есть эта штука.— Шиз кивнул на пистолет.— Перестреляй их всех к чертовой матери!

— Стрельбу поднимать вряд ли стоит,— осторожно возразил Честер.— Их надо разоружить и, может быть, связать.

— Валяйте вяжите,— разрешил Шиз.

— А чем? — спросила Сюзи.

Честер и Таратура начали беспомощно озираться по сторонам.

— У меня есть резиновые трубки,— сказал Шиз.

— Не годится,— сказал Таратура.

— Есть провод,— предложил Шиз.

— Давай провод,— сказал Таратура.

Шиз достал из шкафчика моток провода.

— Кусачки взять? — спросил он.

— Бери кусачки,— сказал Таратура.

— Надо взять кусачки,— кивнул Шиз.— У них на пульте микрофон для переговоров с верхом.

— А наверх как поднимаются? — спросил Честер.

— Есть два лифта,— сказал Шиз.

— Их можно отключить? — спросил Честер.

— На главном пульте проще простого,— сказал Шиз.

— Отлично,— сказал Таратура.— Итак, я их держу, Фред и Сюзи вяжут, а ты,— он обернулся к Шизу,— вырубаешь лифты и отключаешь связь с верхом.

— Это мне ничего не стоит,— сказал Шиз.

— Сюзи,— сказал Таратура,— ты начнешь психическую атаку...

Глава 14. УЛЬТИМАТУМ

— Так вот,— сказала Дина Динст,— у нас накопилось много сомнений относительно вас, и пока мы их не разрешим, вам придется воспользоваться нашим гостеприимством. Впрочем, не исключено, что вы сами захотите помочь нам, и тогда дело будет исчерпано. Улавливаете то, о чем я говорю?

— Стараюсь,— сказал Гард.

— Отлично. Свои сомнения я изложу вам в той последовательности, в какой они накапливались, причем позволю себе быть откровенной. («Еще бы! — подумал Гард.— Волк тоже имеет право на откровенность с козленком!») Во-первых, дорогой мой, ваше прибытие к нам вопреки инструкции не было подтверждено телеграммой. Во-вторых, вы не остановились в том отеле, где обязаны останавливаться наши люди. В-третьих, вы не знаете пароля, хотя в вашем распоряжении были полотенца с метками. Только случайность позволила нашему агенту набрести на вас и доставить в зону. Кстати сказать, вы очень позабавили наших сотрудников своим нелепым крестом, но это так, к слову. В-четвертых, находясь в зоне, вы должны любому «зоннику» по первому требованию называть свое имя, и никакой инструкции, запрещающей это делать, не существует. В-пятых, наш филиал в Нью уже ответил на запрос, сообщив, что с Майклом Честером никакой ошибки нет и что никому не поручалось сопровождать его обратно. В-шестых, дорогой мой, обнаруживая незнание элементарных правил, вы одновременно поразительно осведомлены в таких вещах, которые неведомы не только рядовым, но и старшим агентам. Вы помянули код, существование которого известно только шефу, мне и двум самым верным людям. Улавливаете?

Гард промолчал.

— Но это еще не все. Ваше появление на острове совпало с некоторыми печальными для нас событиями. Девочка, которая должна была прибыть тем же рейсом, каким прилетели вы,— странное совпадение! — не прибыла и не передана нам на аэродроме. В газетах уже помещена идиллическая фотография: ребенок в объятиях счастливой матери. Дураки, разве в этом счастье? Полиция объявила фамилии двух рэкетиров, якобы укравших ребенка, но мы проверяем сейчас, каким образом рэкетирам удалось перехватить девочку у наших агентов. Но дело не только в этом. Дело в том, что агент, долженствующий сопровождать ребенка сюда, исчез! Кроме того, пропали еще три наших сотрудника, участвовавших в операции по изъятию девочки. И вот, представьте, в этот сложный момент появляетесь вы! Повторяю: без уведомления, без знания пароля, без имени, с надуманной версией... Достаточно? Или вам мало?

Ей трудно было отказать в логике.

— Таким образом,— продолжала Дина Динст,— я прихожу к выводу, что вы не тот человек, за которого себя выдаете.

Продолжение следует.

Синие люди

Павел БАГРЯК Фантастический детектив

— Верно! — неожиданно согласился Гард. — Быстрое признание делает вам честь,— улыбнулась Динст.— Кто же вы? И какова ваша цель? Надеюсь, мы поладим?

Гард встал, и рука Дины Динст дернулась из карманчика. Дуло крохотного пистолета холодно смотрело на комиссара.

— Я люблю рассуждать, прохаживаясь,— успокоил Гард собеседницу.— Не пугайте меня и себя этой штучкой. Давайте лучше пофантазируем. Могу я быть агентом конкурирующей фирмы, желающей получить кое-какие ваши секреты?

— У нас конкурентов нет и быть не может,— сухо сказала Дина Динст, не убирая пистолета.

— Предположим. А что вы скажете, если я специальный представитель шефа, которому поручено проинспектировать вашу бдительность?

Глаза Дины Динст сощурились, она напряглась, сомнение пробежало по ее лицу.

— Вот произнесу сейчас нечто такое,— продолжал Гард,— что будет выше всех паролей, и вы поймете, что я не только сильнее вас, но и старше по должности. А?

Гард почти физически ощущал, как инициатива переходит к нему. Она молчала: ни слова в ответ, одно ожидание. Но обе руки уже легли на колени, пальцы сжимали друг друга, нервно перебирая фаланги, как четки.

Пройдя из угла в угол комнаты, Гард выдержал паузу, а затем, мысленно сказав себе: «Ну, пора в решительную атаку!» — продолжал:

— Но дело еще серьезней, дорогая моя Дина Динст, нежели вы можете себе представить. Я не сотрудник конкурирующей фирмы, не представитель шефа и даже не агент иностранной разведки. Я очень опасный для вас человек, мадам. И не только для вас. Для шефа тоже. Для всей вашей фирмы. Мое имя Гард. Дэвид Гард, комиссар полиции, разрешите представиться!

И Гард поклонился.

Она не сделала ни одного движения, не дрогнула ни единым мускулом. «Вот это выдержка!— восхищенно подумал комиссар.— Если вернусь живым и невредимым, непременно наберу в помощники одних женщин!» Ее реакция вполне удовлетворила Гарда, подтвердив некоторые его догадки. Это была реакция хоть и мужественного, но врага, а если она враг комиссару полиции, значит, она представляет не государственное учреждение, санкционированное правительством, а частную лавочку. Хуже было бы, если бы она вдруг расхохоталась, дав понять, что ей куда спокойней иметь дело с родной полицией, нежели, к примеру, с иностранной разведкой. Она боялась Гарда, хотя и не показывала вида, что боится.

Начало в №№ 1—8.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

— Итак, дорогая моя, прошу вас помнить: я не частный детектив, и когда я действую, это происходит с ведома властей. Улавливаете? О том, что я здесь, там известно.— Комиссар показал пальцем на потолок.— Если до определенного дня и часа от меня не будет вестей, машина придет в действие, и вам придется иметь дело с новыми гостями, которые, как вы отлично понимаете, уже знают к вам дорогу. Короче говоря, я советую вам торопиться. Прежде всего познакомьте меня с тем, что делается в вашей «зоне». А для начала представьте меня шефу. Вот так.

И Гард, повернувшись, пошел к двери.

— Сядьте! — вдруг приказала Дина Динст.

Комиссар остановился, посмотрел на нее.

— Повторяю: сядьте! — В руках у женщины вновь блеснул пистолет.

— Не делайте глупостей, Дина Динст,— спокойно произнес Гард, продолжая стоять.— Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей.

— И тем не менее сядьте!

Она была неумолима, и Гард понял, что, если он сделает еще один шаг, ее нежный пальчик нажмет курок.

— Вы хотите пригрозить мне электрическим стулом или газовой камерой? — с презрением сказала Дина Динст.— Человек, который занимается тем, чем занимаюсь я, уже ничего не боится. Запомните это, комиссар Дэвид Гард! И сядьте. Я не могу позволить вам выйти из этой комнаты, будь вы самим президентом. Но кое в чем вы правы, комиссар. И потому будете представлены.

— Шефу?

— Возможно.

Глава 15. КУПОЛ

Захват центрального поста по своей стремительности и эффективности мог претендовать на место в антологии путчей и мятежей.

Пройдя двумя длинными чистыми и светлыми коридорами, Шиз и полуголая тройка остановились у двери с номером 001. Все дальнейшее продолжалось не более двух минут. Сюзи открыла дверь и вошла в комнату, очень похожую на комнату Шиза, только все здесь было побольше: пульт побольше, шкаф, и винтовых стульев не два, а шесть, и еще столик был. Кота, правда, не было. За пультом сидел симпатичный молодой человек в синем комбинезоне и голубой рубашке. У стены за маленьким столиком двое в форме охранников играли в нарды. Больше никого в пультовой не было.

Так вот, Сюзи вошла в своем черно-желтом купальнике с полотенцем через плечо, тряхнула мокрыми золотыми кудряшками и не спеша пошла к пульту. Молодой человек оглянулся на нее и остолбенел. Двое застыли над своими фишками, как громом пораженные, выкатив глаза и открыв рты. Сюзи подошла к пульту, взяла полотенце и не спеша стала обматывать его вокруг головки микрофона, торчащего на тонком стебле. А все смотрели, не мигая, на то, что она делает, и молчали. И только когда Сюзи уже навернула все полотенце, молодой человек сглотнул и выдавил из себя:

— Э... э, простите, вы, собственно...

— Встать! — Таратура с пистолетом в руках уже появился в комнате.— Руки! Всем повернуться лицом к стене! Живо!

И все встали, и подняли руки, и повернулись лицом к стене. Совершенно молча. Честер, бросив на пол моток провода, прошлепал босиком к охранникам и вытащил у них из кобур пистолеты.

— Забери и вон там,— сказал Таратура и кивнул в сторону двери. Там стояли два автомата.

— К чертовой матери! — С этими словами Шиз перекусил несколько проводов на пульте.— И чтобы ни один дьявол не опустился в эту преисподнюю! — Он вырубил электропитание лифтов.— Порядок,— сказал он.— А теперь надо взорвать все остальное. Слушай,— он обернулся к Таратуре,— а на черта нам их вязать? Давай их просто запрем в аккумуляторной.

— Они там ничего не сумеют натворить?

— Могут напиться кислоты,— сказал Шиз.

И еще через минуту Таратура и Честер, вооруженные автоматами, уже заперли своих пленников в кисло пахнущей каморке, где на стеллажах заряжались аккумуляторы.

— Очень чистая работа,— сказал Таратура.— Пошли к Динст.

— Я возьму полотенце,— сказала Сюзи.

— Зачем? — улыбнулся Таратура.

— Возьми, возьми,— сказал Шиз,— это мое полотенце.

Честер ловил себя на том, что ему кажется, будто они в салоне корабля. Однажды редакция еженедельника «Зеркало галактики» послала его на Бермуды, где проходил всемирный конгресс паразитов, которые называли себя членами союза «праздных». Требовалось написать восторженный репортаж под заранее придуманным заголовком «Исполины отдыха», и Честер согласился — это было вскоре после свадьбы и ему не хотелось, чтобы Линда сразу почувствовала великолепие бедности. Так вот тогда он плыл на огромном океанском лайнере с точно такими же коридорами во втором классе. Вот такой же был свет матовых плафонов, и чистота, и двери кают с такими же золотыми номерками. Честер боялся морской болезни, но лайнер совсем не качало, как не качало и тут. Но он постоянно ощущал, что находится не на суше: чуть заметно подрагивало и что-то низко гудело, и где-то очень далеко работала большая машина. Здесь было так же. Он сначала не обращал на это внимания, но теперь ему стало совершенно ясно, что внизу работает какой-то громоздкий механизм. Была еще одна деталь, которая напоминала Честеру бермудский лайнер: голые Таратура и Сюзи. Там тоже по всему пароходу шлялись эти голые, которые загорали на верхних палубах и барахтались в купальных бассейнах.

Шиз остановился и дернул ручку одной из дверей.

— Заперли, черти! — с досадой произнес он.— А что запирать? Как будто в этом чертовом подземелье можно что-нибудь спереть.

— Наверное,— предположил Таратура, неуклюже забросив очередную удочку,— можно украсть синеньких?

Шиз обернулся:

— Синеньких? Э, нет... Синеньких украсть никак нельзя. Все, что хотите, но не синеньких.

— Почему? — спросила Сюзи.

— Потому что нельзя,— сказал Шиз, и все поняли, что больше он ничего не скажет.— Итак, тут заперто. Можем пройти по галерее Д, если там не отключены лифты.

Они повернули в коридор налево и стали взбираться по винтовому трапу.

— Ты знаешь, что обиднее всего? — прошептала Сюзи, взяв Таратуру под руку, когда они первыми достигли галереи.— Ты будешь смеяться, но обиднее всего, что ни Мэги, ни Каролина не поверят ни единому моему слову! И будут правы! Это же черт знает что такое! Это же не какой-нибудь пикник в пещере, это же... не знаю, как и назвать! Это приключеньице!

— Как бы тебе не пришлось пожалеть об этом,— усмехнулся Таратура.

— Никогда! — с жаром прошептала Сюзи.— Единственное, о чем я пока жалею, так это о том, что не было стрельбы, и ты очень глупо выглядишь со своим пистолетом.

— Не торопись,— успокоил ее Таратура.— Без этого тоже не обойдется...

Лифты в галерее были отключены. Шиз опять начал чертыхаться, поносить всех и вся и ругался бы, наверное, очень долго, если бы не Честер, который перебил его вопросом: есть ли еще какой-нибудь путь к Гарду. Шиз задумался.

— Вообще-то есть,— медленно сказал он,— но лучше туда не ходить.

— Опасно?

— Да нет, просто страшно.

— Э, дружище,— мягко сказал Таратура.— Так не пойдет. Это не разговор серьезных людей.

— Никакие опасности нас не страшат! — храбро добавила Сюзи.

— При чем здесь опасности,— вдруг совсем тихо сказал Шиз.— Плевать я хотел на все опасности, черт их задери совсем... Это просто страшно. Если можно туда не ходить, я туда никогда не пойду.

— Куда? — спросил Честер.

— В купол.

— Но ведь другой дороги нет?

— Вроде нет...— Шиз почесал затылок.— Ну, я вас предупредил. Дело ваше, но, даю слово, по доброй воле я бы туда не пошел.

Они снова спустились по винтовому трапу, прошли каким-то светлым и пустынным коридором и остановились перед массивной дверью со штурвалом, которые обычно устраивают в атомных газоубежищах. Шиз повернул штурвал и потянул дверь на себя. Она тяжело отошла. Честер хотел шагнуть первым, но Таратура остановил его, тронув за плечо.

— Погоди, Фреди,— сказал инспектор.— Эта штука просится туда первой.— Он кивнул на пистолет в своей руке, и Честер посторонился, хотя Шиз ни словами, ни выражением лица не выдал собственного отношения к сказанному Таратурой.

За дверью был небольшой бункер и вторая дверь — точь-в-точь, как первая. Теперь уже Таратура, легонько звякая о штурвал пистолетом, повернул его и потянул дверь. Полоска сине-сиреневого сумрака за дверью раздвигалась все шире и шире. После яркого света коридоров пространство за дверью показалось им поначалу совсем темным, хотя темноты вовсе не было. Ровный, мягкий, мертвый сине-сиреневый свет заливал открывшуюся перед ними картину.

И еще до того, как мозг сказал Фреду Честеру, что́ он видит, еще до этого жуткого мгновения синий свет сжал его сердце, и все существо Фреда наполнилось неосознанной и нестерпимой тоской...

Они стояли у подножия гигантского прозрачного купола. Трудно сказать, каковы были его истинные размеры. Круг в основании имел, очевидно, диаметр около ста пятидесяти метров, находился внутри огромной залы, как они догадались, внутри кратера потухшего вулкана. Вокруг на разной высоте шли три кольцевых балкона. Они стояли как раз на нижнем из них. В стены и потолок зала, окружающего купол, были вмонтированы синие светильники, создающие гнетущий полумрак. Неподалеку от них нижний балкон расширялся, и там приглушенным светом светились какие-то маленькие лампочки, не сразу можно было понять, что там пульт. Вся полусфера купола — серебристо-синяя, прозрачная — была гладкой, без следов какого-либо монтажа.

Честер слегка отстранил рукой Таратуру и шагнул вперед, чтобы лучше рассмотреть, что же находится внутри купола. Впрочем, видно все было отлично и так.

Там двигались синие люди.

В их облике не было ничего страшного, в чертах лиц — ничего уродливого, просто они были синими. Главное было не в цвете их кожи, а в том, как они двигались, как смотрели и общались друг с другом.

Бывают такие кошмарные сны, когда ты медленно идешь или летишь, всем существом ожидая впереди какую-то смертельную опасность, понимая, что каждое движение твое гибельно, и все-таки не можешь остановиться. В эти секунды беззвучный крик отчаяния переполняет тебя, но и крикнуть ты не в состоянии. Подчиняясь незримой воле, ты уже не властен над собой, своим телом, своей жизнью, из-за этого и бьет тебя мелкая дрожь, и капли холодного пота разом выступают на теле.

Так вот, эти синие люди двигались, как привидения, они были, словно призраки, бестелесны, и, казалось, надо крикнуть, ударить в звенящий гонг, чтобы они вдруг встрепенулись, сбросили с себя вязкий дурман и взглянули друг на друга, как смотрят люди.

Честер поймал взгляд девушки, стоящей за прозрачной преградой ближе других к нему, и увидел в ее глазах долгий, привычный и одновременно удивленный ужас. Это не был взгляд затравленного животного, запуганного или лишенного рассудка человека, она не боялась сейчас чего-то конкретного, не страшилась никакой реальной опасности, взгляд ее был человечен и разумен, и это было самое страшное!

Все обширное пространство под куполом, совершенно ровное, было покрыто не то крупным сиреневым песком, не то опилками и напоминало цирковую арену. В этой пустыне не видно было ни зданий, ни хижин, ни каких-либо признаков жилья, как не видно было никаких следов человеческой утвари: мебели, посуды, одежды. Синие люди были прикрыты серебристыми то ли плащами, то ли комбинезонами. Многие из них просто стояли молча и одиноко, другие медленно передвигались с места на место без видимой цели. Можно было заметить несколько темнеющих групп. Ближайшая такая группа вдруг распалась, расплылась — они ходили так, что слово «плавание» подходило здесь больше, чем слово «ходьба», и Честер увидел, что они окружили аккуратную компактную машину величиной с бочонок, довольно замысловатую, похожую одновременно и на автоматическую межпланетную станцию и на кассовый аппарат. Потом он заметил еще несколько таких штук вдалеке. Все отошедшие от машины держали в руках длинные, тонкие белые полосы, с виду очень похожие на бумажные ленты, и медленно их ели, глядя куда-то в пространство. Честер подумал вдруг, что все эти синие больше всего похожи на оживших покойников.

— Боже мой, боже мой!

Он услышал тихий шепот и обернулся. Сюзи, не отрываясь, во все глаза смотрела на обитателей купола.

— Пойдемте отсюда,— предложил Шиз.

— Сколько их здесь? — спросил Таратура.

— Может, сто. А может, и двести,— нехотя ответил Шиз.

Честер окинул взглядом все пространство под куполом. Да, тут было, наверное, человек двести молодых мужчин и женщин. Странным казалось и то, что, живя на ограниченном пространстве,

они принимали такие позы, что создавали зримую иллюзию совершенного одиночества: одного синего человека отделяли от другого многие и многие мили. Разглядывая дальние фигуры, Честер заметил вдруг, что некоторые из них двигаются чуть живее, энергичнее, как бы преодолевая в себе этот кошмар медлительности. Честер всмотрелся пристальнее и увидел, что эти более быстрые существа вроде бы меньше других,— перспектива сферы искажала масштаб расстояний? Просто они дальше от Честера?

И вдруг, как молния, ударила в голову страшная мысль: это дети! И, поняв это, Честер, словно сорвавшись с привязи ужаса, метнулся по кольцевому балкону вокруг сферы к противоположному краю купола.

— Куда! — крикнул Таратура, но Фред не слышал его, он несся, что было сил, и под сводом огромного зала громко билась дробь его бега.

Таратура бросился следом. Он не поспевал за журналистом, хотя был неплохим бегуном. Честер обогнал его метров на пятьдесят, потом вдруг остановился, рванулся вперед. И, распластав руки, упал на синий прозрачный купол, и все они — подбегающий с пистолетом в руке Таратура, оцепеневшие на месте Сюзи и Шиз — услышали страшный, душераздирающий вопль:

— Майкл!!!

Зал загудел, и со всех сторон понеслось каркающее эхо:

— Айкл! Айкл! Айкл!

И тут Таратура увидел Майкла. На нем был такой же серебристый комбинезончик или плащ, а сам мальчик стоял один, неподалеку от края сферы. Синева кожи не исказила и не изуродовала его черты, это был тот же Майкл, только синий, вернее, густо-голубой. Он просто стоял, опустив ручонки, ничего не видя и не слыша, и смотрел куда-то поверх купола, поверх фигуры отца с тем выражением привычного и спокойного ужаса во взгляде, который и был здесь до боли невыносимым.

Когда подошли Сюзи и Шиз, Честер все еще лежал на куполе, мертво распластавшись, как будто он упал на этот синий шар с какой-то неоглядной высоты. Таратура тронул его за плечо:

— Встань, Фреди. Надо идти. Здесь мы не сделаем ничего.

— Дай мне пистолет,— глухо сказал Честер, поднимаясь.— Я расколочу этот колпак.

— Ни черта не сделаешь пистолетом,— тихо проворчал Шиз.— Пули его не возьмут. А потом, этого делать нельзя, вы их убьете... Всех... К чертовой матери...

Он двинулся по кольцевому балкону, Сюзи за ним, Таратура, взяв под руку Честера, пошел следом. Честер продолжал оглядываться на Майкла, но ребенок стоял, не двигаясь, не меняя выражения ужаса на лице.

— Вот,— сказал Шиз, когда они подошли к нише с огоньками, которую Честер вначале принял за пульт.— Смотрите сами.

Это был демонстрационный щит с множеством приборов. Под каждым из них были аккуратные таблички, но они ничего не объясняли Честеру.

Плавными волнами катилась на зеленом экране светящаяся кривая: «Уровень радиации в поясах». Прибор с надписью: «Время суток»,— и цифры, составленные из светящихся точек: «24 часа 18 минут». «Что за чепуха,— подумал Таратура.— Как это может быть? Наверное, 0 часов 18 минут?»

И вдруг Честер увидел: «Давление под куполом» — 6 миллибар! «Температура под куполом» — минус 94° С! Он не мог вымолвить ни слова, не мог даже перевести дух. Если эти стрелки не врут, там, под куполом, была ледяная пустота. Как они могли жить там?!

— Пошли,— сказал Шиз.

— Я останусь здесь,— сказал Честер.

— Это бессмысленно,— тихо произнес Таратура.— Ты ничего не добьешься, Фреди. По крайней мере здесь. Мы еще вернемся сюда...

Глава 16. СМЕНА ВЛАСТЕЙ

— Надеюсь, мне не придется долго ждать? — сказал Гард после того, как Дина Динст признала его право разговаривать с шефом.— Времени у меня, да и у вас тоже, в обрез.

— Возможно,— неопределенно ответила Динст.— Теперь все зависит от шефа. Наберитесь терпения.

Ну что ж, ждать так ждать, решил Гард, хотя, собственно говоря, ничего другого ему не оставалось.

Они уселись в разных концах комнаты на почтительном расстоянии друг от друга и замолчали. Прошло пять минут, затем десять.

— Скажите, мадам,— прервал Гард молчание,— почему вы не доверяете меня своим людям и сами исполняете роль охранника? Вам больше нечего делать?

— Вы слишком хитры и опасны,— коротко ответила Динст.

Да, в нелегкую ситуацию попал комиссар полиции, пожалуй, такого в его практике еще не было: пленник собственных пленников! Хотя, конечно, профессия сыщика только тем и хороша, что, в какое бы отвратительное положение он ни попадал, всегда можно утешить себя представлением о еще более худшем.

Гард снова взглянул на Дину. Ее рука уже не сжимала судорожно браунинг в кармане, а спокойно лежала на подлокотнике кресла. Но взгляд был прикован к комиссару.

Быть может, именно в этом и заключается в настоящий момент его единственный козырь? Он может расслабиться, до конца сбросить с себя напряжение, освободить свой мозг от каких бы то ни было раздумий, тревог и предчувствий, стряхнуть с себя мучительность ожидания и просто СУЩЕСТВОВАТЬ, даже уснуть — вот взять сейчас и уснуть! — чтобы сохранить силы для самой решительной минуты, от которой будет зависеть его жизнь или смерть. Динст не сойдет с места — комиссар был в этом уверен,— а его странное поведение еще больше насторожит ее. Гард невольно улыбнулся этим мыслям, тут же отметив про себя, что даже улыбка играет не последнюю роль в психической атаке на Дину Динст. Затем он поудобней устроился в кресле и мгновенно уснул.

Когда он открыл глаза, все было так же, словно он проспал две минуты. Динст сидела на том же месте, в той же позе, и только глаза ее несколько потускнели.

Тогда Гард решительно и бодро встал — сама логика продиктовала ему, хорошо отдохнувшему, такое действие — и, машинально глянув на запястье левой руки, где когда-то были его часы, словно желая этим сказать, что время истекло, произнес:

— Извините, мадам, я вынужден принять свои меры, если...

— Что «если»? — сказала Дина Динст, и в ее голосе Гард уловил совершеннейшую опустошенность.

— Если вы немедленно не проинформируете меня о том, что здесь происходит.

Она устала. Или пришло к ней безразличие? Или она поняла, что теперь, когда до появления шефа остались считанные часы или минуты, можно позволить себе слабость перед этим сильным и решительным человеком? Посмотрев на часы, Дина Динст что-то взвесила про себя и сказала:

— Хорошо. Для разговора с шефом вам, пожалуй, даже будет полезно знать, чем мы занимаемся.

— Почему же раньше?..— начал было Гард, но Динст его перебила:

— Шеф на подлете, у нас есть около тридцати минут. Господа! — сказала она в крохотный микрофончик, торчащий на письменном столе.— Прошу вас, господа!

Открылась дверь, и в комнату вошли два человека в белых халатах, которые, очевидно, ожидали приглашения не одну минуту, зная при этом, для чего их вызвали. Увы, пока комиссар спал, Дина Динст, как говорится, не дремала.

Вошедшие сдержанно поклонились Гарду, один — совершенно лысой головой, хотя был явно моложе своего коллеги, другой — иссиня-черной шевелюрой, неприятно контрастирующей со старым, сморщенным лицом.

— Профессор Янш,— представила лысого Дина.— Профессор Биратончелли.

Они еще раз поклонились.

«Какие церемонии!» — подумал Гард.

— Надеюсь, мне нет нужды вам представляться. Приступим к делу,— сказал он сухо.— Меня интересуют дети, которые здесь находятся.

Профессор Янш слегка наклонил лысую голову к Дине Динст, что-то шепнул ей, она кивнула в ответ. Тогда он подошел к стенному стеллажу, отпер его, вынул кассету и привычно заправил ее в приставку стоящего в углу телевизора. Биратончелли сложил руки на груди, а Дина Динст показала Гарду рукой на кресло.

Кино? Этого Гард не ожидал. Он думал, что сейчас последует долгое или, возможно, короткое, но обязательно словесное объяснение, они освободятся от груза тайны, Гард примет на себя этот груз, затем начнет задавать вопросы, они будут уклоняться от ответов, пока не явится шеф и не скажет, что комиссару полиции теперь все известно, чего, мол, он еще хочет? И Гард скажет, что готов поверить словам, если увидит все собственными глазами, и вот тогда начнутся настоящие сложности — уходы и зигзаги, проволочка времени и увертки, и не будет этому ни конца, ни края. И вдруг на́ тебе, смотри, получай, как говорится, товар лицом!

Потрясающая, даже пугающая своей необъяснимостью откровенность.

Впрочем, что они хотят показать Гарду? Быть может, какой-нибудь видовой фильм братьев Ступак или последнюю комедию с участием Юи-Рожери? А потом скажут, что это было необходимо для психологической подготовки комиссара к серьезному разговору?

Засветился экран.

Гард сел, взяв сигарету.

И после первых же кадров, в отличном цвете показавших ему обитателей купола, сделалось комиссару как-то нехорошо от этих плавающих походок, от бумажных лент, которые они медленно и безучастно поглощали, от их застывших в привычном ужасе взглядов, от синевы их тел, сиреневости песка, безысходности поз, от всего кошмарного видения, смысл которого был непонятен Гарду, но античеловеческая противоестественность которого была явной, жутко и страшно поражающей мозг нормального человека.

— Хватит! — Гард больше не мог сдержать себя.

Экран погас. Комиссар сидел в кресле, закрыв лицо руками. Профессора молча смотрели на него с леденящей душу безразличностью. Дина Динст ждала дальнейшей реакции Гарда.

— Смысл? — с трудом выдавил он из себя.

Они молчали.

— Я спрашиваю: смысл?! — почти вскричал комиссар.— Вы показали мне детей?! Это то, чем вы занимаетесь? Почему они синие? Зачем так едят? И так ходят? Зачем?! Что все это значит?

— Прежде всего,— с достоинством начал профессор Янш,— не получив ответа на эти вопросы, не торопитесь считать нас преступниками. Мы ученые, и...

— Не могу! — прервал его Гард, вскакивая с кресла.— Не могу потому, что похищение детей само по себе преступно и свидетельствует о преступности замысла! И не торгуйтесь, господа! Даже если вы крали детей для...

— Господин Гард,— вмешалась Дина,— не стоит произносить обличительные речи. Оцените реальность обстановки: мы здесь не подсудимые, а вы не комиссар полиции.

— Кто же я?

— Наш пленник,— с циничной откровенностью сказала Дина Динст.— Вы можете вновь стать комиссаром полиции лишь при одном условии: если поймете нас и примете нашу позицию. В противном случае...

Она вдруг умолкла, словно поперхнулась, и Гард, глядя на нее, понял, что за его спиной произошло нечто такое, что заставило Дину Динст обескураженно замолчать. Профессор Янш тихо попятился назад, а Биратончелли, подчиняясь какой-то силе, стал медленно поднимать руки кверху. Шестым чувством оценив ситуацию, Гард не обернулся, а, наоборот, приблизился к Дине Динст и сухо сказал:

— Положите руки на стол. Не двигайтесь. Вот так.

Потом он нагнулся, вынул из ее кармана браунинг и лишь тогда позволил себе обернуться.

В распахнутых дверях стояли почти голые Честер, Таратура и девушка, которую Гард где-то видел, но не мог сейчас припомнить, где именно.

— Очень кстати,— только и произнес комиссар деловым тоном, как будто появление его друзей было заранее запланировано и вот наконец осуществилось.

— Мы видели Майкла! — сказал Честер.— Он там, под куполом.

— Спокойно, Фреди, спокойно,— тихо произнес Гард.— Еще не все потеряно.

Таратура, одной рукой держа пистолет, другой быстро ощупал карманы профессоров.

— Прошу сесть, господа! — сказал Гард.— Инспектор, внимательно следите за этой особой и пресекайте каждое ее движение. Не позволяйте ей ни до чего дотрагиваться! Здесь полно микрофонов, кнопок, клавиш и бог знает чего еще.

— Шиз! — позвал Таратура, и только сейчас в комнату как-то боком вошел электрик, стараясь не глядеть в глаза Дины Динст, словно боясь гипноза.— Будьте любезны, обеспечьте нам одиночество.

— У, дьявол! — пробурчал Шиз, явно адресуясь к Дине, но по-прежнему не глядя на нее.— К чертовой матери!

С этими словами, не скрывая удовольствия, он аккуратно, с большим знанием дела, перекусил кусачками провода под столом у Дины Динст, в торшере, где-то в углу комнаты и около дверей, а затем, сказав: «Да, чуть не забыл!» — в подлокотнике кресла, в котором уже сидела Сюзи.

Гард, ничего не понимая, следил за действиями

Шиза, но Таратура глазами показал комиссару: не волнуйтесь, мол, так надо, это наш человек. Динст тоже наблюдала за электриком, поджав тонкие губы, и ничего, кроме брезгливости, ее лицо не выражало.

— Садитесь, садитесь, господа! — повторил Гард, поскольку Янш и Биратончелли все еще продолжали стоять.— Теперь, как мне кажется, и вам будет легче говорить, и нам будет проще вас понять. Мадам,— перевел он взгляд на Дину Динст,— шеф явится один или с сопровождающими? — Динст молчала.— Вы потеряли дар речи? Таратура, что вы предлагаете?

— А проще простого,— сказал вдруг Шиз.— Давайте посадим их всех в аккумуляторную! К чертовой матери!

— Эта дверь запирается? — спросил Таратура.

— Эта? — сказал Шиз.— А черт ее знает! Можно, наверное, и запереть.

Он стал возиться с дверью.

— Итак, господа, я готов выслушать вас,— произнес Гард.— Прежде всего, что вы делали с детьми и в каких целях?

Вероятно, профессора все еще оценивали обстановку. Биратончелли, правда, уже открыл было рот, чтобы ответить Гарду, но Янш остановил его коротким жестом.

— Мадам,— сказал он, обращаясь к Дине Динст,— вы позволите нам говорить?

— Я позволяю! — резко произнес Гард.— И не просто позволяю, а приказываю! Отныне вы исполняете только мои указания, пора бы это понять, господа!

Динст вновь промолчала. Биратончелли осторожно кашлянул:

— Простите, комиссар, но мы только ученые, перед нами была поставлена научная задача, и мы решали ее...

— Какая?

— Сначала, господин комиссар, мы пытались с помощью генной хирургии искусственным образом изменить структуру генов, но проблема оказалась чрезвычайно сложной, я могу объяснить, почему...— Он сделал паузу, ожидая санкции комиссара на объяснение, но она не последовала, и тогда профессор продолжил: — Короче говоря, профессором Яншем, моим коллегой, была выдвинута идея работать с уже сформировавшимся человеческим организмом, и прежде всего с молодым.

— С детьми?

— Да, главным образом.

— Вивисекция? — спокойно сказал Гард, но у каждого из его друзей при этом резко участилось сердцебиение.

— Не совсем так,— вмешался профессор Янш.— Перед нами вообще не ставилась задача создания «недочеловеков», мы не руководствовались расовыми теориями. Мы...

— Мы занимались скорее селекцией, господин комиссар,— добавил Биратончелли.— Генетическими манипуляциями.

— Цель?

— Цель? — переспросил Янш.— Но мы только ученые, мы не касались практических целей эксперимента.

— А научная цель? — спросил Гард.— Что вы жуете резину? Вам не хватает слов? Вы забыли родной язык? Вы можете сказать коротко и ясно: чего вы добивались?

— Хорошо,— решился Биратончелли.— Я скажу. Перед нами была поставлена задача вывести особую породу людей.

— Для чего?

— Вот дьяволы! — сказал Шиз.— Перестрелять бы их всех к чертовой матери!

Профессор Янш недоуменно пожал плечами и посмотрел на Гарда, как бы ища у него, интеллигентного и умного человека, сочувствия и понимания, на которое не мог рассчитывать, имея дело с таким тупицей, как Шиз. Но Гард не ответил «пониманием» Яншу, чем откровенно его смутил.

— Мы в сложном положении, комиссар,— извинительным тоном начал Янш.— Мы всего лишь ученые, и когда нам говорят: сделайте так, чтобы люди могли жить при температуре минус сто градусов по Цельсию, обходиться без кислорода и выдерживать давление в шесть миллибар, для нас это чисто научная проблема! Нам совершенно безразлично, в каких практических целях ставится эксперимент. Научный интерес поглощает нас до такой степени, что, право же, мы перестали бы называться учеными, если бы думали о политике! В чем виноваты мы, господин комиссар? В том, что определили оптимальный вариант человеческого организма для производства опытов? Что провели несколько пробных экспериментов, давших блестящие результаты? Ни один экземпляр, господин комиссар, у нас не погиб! Разве это не наша заслуга?..

Он что-то еще говорил, что-то доказывал и объяснял, приводил резоны, но ни Гард, ни его товарищи не могли постигнуть значения слов, хотя все произносимые слова были им знакомы. Они сидели с расширенными зрачками, как будто всем им одновременно вкапали в глаза атропин, и каждый чувствовал, что окружающие предметы постепенно видоизменяются, теряют свои границы и очертания, а откуда-то изнутри подступает к горлу тошнота.

— Экспериментальный период мы завершили полтора года назад и тогда же перешли на поточное производство, создав совершенно идеальные условия для операций, как на детском, так и на юношеском организме! — на возвышенной ноте закончил профессор Янш.

Гард с трудом сбросил с себя оцепенение.

Динст улыбалась. Эта ведьма, конечно, все понимала: и то, какое жуткое впечатление производили слова профессора на Гарда и его друзей, и как эта нормальная человеческая жуть не понимается гениями — гангстерами от науки. Затем она бросила короткий взгляд на свои часы — взгляд, который, как правило, редко ускользает от внимания окружающих. Не пропустил его и Гард. «Так,— решил он,— надо действовать». И отозвал в сторону Фреда Честера.

— Фреди, с минуты на минуту здесь будет шеф,— сказал комиссар тихо, чтобы никто не мог услышать его слов.— Один он будет или со свитой, я не знаю, как не знаю и того, что станет с нами в следующее мгновение. Кто-то из нас должен немедленно уйти отсюда, выбраться на волю и оповестить мир о случившемся...

— А Майкл?

— Доверь его мне, Фреди. И уходи. Немедленно. Сейчас же! Ты знаешь, как выйти отсюда?

— Он поможет,— сказал Фред, кивнув на Шиза.

— Секунду,— сказал Гард и повернулся к профессору Яншу.— Профессор, дайте мне кассету! Да-да, вон ту!

Профессор Янш безропотно подчинился, и кассета с фильмом перешла в руки Честера.

— Здесь все,— сказал Гард.— Теперь иди.

Прежде чем расстаться, Честер и Гард обменялись долгими взглядами, в которых была и надежда, и страх друг за друга, и уверенность в правильности того, что каждый из них делал и еще должен сделать. И Честер, сопровождаемый Шизом, ушел.

Буквально через минуту, даже меньше, через тридцать секунд, Гард только успел зажечь сигарету, поехал в сторону книжный шкаф.

В образовавшемся проеме стоял генерал Дорон.

Продолжение следует.

Павел БАГРЯК

Фантастический детектив

Синие люди

Глава 17. ФИЛОСОФИЯ ТУПИКА

Дорон стоял, засунув руки в карманы пиджака, и медленно обводил присутствующих взглядом. На его лице не было ни страха, ни выражения агрессии, оно было спокойным и чуть усталым. По всему чувствовалось, что пришел Хозяин. Недосягаемость его ощущалась во всем облике, уверенной позе, в нахмуренных бровях и мудром взоре, полном озабоченности. Казалось, он откроет сейчас рот и скажет: «Ну, что вы тут без меня натворили, щенки шкодливые, лупить вас некому?»

Люди в комнате пребывали в состоянии потрясения. Гард и Таратура — от неожиданности, профессора и Дина Динст — от привычного подобострастия перед шефом, которого они видели, вероятно, так же часто, как затмение солнца, а Сюзи — просто за компанию, глядя на остальных и подтверждая существование небезызвестного «феномена паники».

Выждав несколько мгновений, Дорон вошел в комнату, нажал какую-то кнопку, и книжный шкаф без звука встал на прежнее место. Но этот шаг генерала был как бы шагом с пьедестала в общество равных ему людей, и Гард пришел в чувство.

— Господин генерал,— сказал он севшим от волнения голосом, но достаточно четко,— я не скрою удивления вашим появлением, но если вы действительно шеф данной организации, я вынужден вас арестовать.

Пистолет в руке Таратуры дрогнул, чуть приподнялся и замер, нацелившись в грудь генерала.

— Вижу,— спокойно сказал Дорон.— Я тоже не думал, что, поручая вам безобидный розыск младенца, приготовлю себе столь приятную встречу. Поздравляю, комиссар. Что касается ареста, то я, как член Тайного Совета, пользуюсь неприкосновенностью, и это должно быть вам известно. Так, комиссар?

— Нет, не так,— окрепшим голосом сказал Гард.— Статья 274-я, пункт 7-й «Уложения о задержаниях» дает мне право арестовать любого человека, независимо от его чина и должности, если он застигнут на месте совершения преступления.

— Во-первых,— с улыбкой возразил Дорон,— не вы меня здесь застигли, а я сам сюда явился. Во-вторых, почему вы считаете преступным то, что здесь происходит?

— Для меня это бесспорно, генерал.

— Вы никогда не отличались торопливостью, не изменяйте себе и на этот раз. Дорогая,— Дорон повернулся к Дине Динст,— вы как-то странно выглядите. Приведите нервы в порядок и дайте нам бутылочку стерфорда. Вам, господа,— Дорон посмотрел на профессоров,— тоже досталось от комиссара? Я с удовольствием отпустил бы вас из этой комнаты, но комиссар, вероятно, будет против, а потому присядьте в кресла и подождите своей очереди. Вы Таратура? — Генерал внимательно оглядел инспектора.— Так я и понял, хотя ваш мундир выглядит несколько современней, чем следует. Надеюсь, вы понимаете шутки. Пожалуйста, будьте осторожны с пистолетом, с ним шутить как раз не стоит. А с вами, милочка, мы не знакомы...

— Сюзи Бэйл,— словно загипнотизированная, произнесла девушка и сделала книксен.

— Дочь Эдмонта Бэйла?!— воскликнул Дорон, обнаруживая феноменальную память на имена и фамилии.— Очень приятно! Вот не ожидал, что вы служите в полиции! С вашим отцом у меня связаны кое-какие милые воспоминания...

Он даже вздернул подбородок и посмотрел на потолок, как бы прокручивая в своей памяти то, что было связано с отцом Сюзи Бэйл. «Ну и актер! — подумал Гард.— Талантище!» Комиссар уже окончательно взял себя в руки, раскурил погасшую сигарету и взглядом показал Таратуре, чтобы тот отошел к дверям и держал в своем поле зрения всю компанию.

— Ну что же, комиссар,— произнес Дорон, покончив с воспоминаниями.— Не пора ли нам сесть и поговорить откровенно, тем более что обстановка вполне благоприятная? Прошу.

Он первым сел, нет, не развалился, а именно сел, строго и аккуратно, как полагается военному, в кресло. Рядом, на низком журнальном столике, уже освобожденном от газет, появилась бутылка стерфорда и пара бокалов — Дина Динст действовала быстро и бесшумно, как хорошо вышколенная прислуга.

— Я не хочу, комиссар, чтобы разговор велся в форме допроса, меня устраивает б е с е д а, и потому позвольте мне начать первым.— Дорон налил в бокалы вино, сделал маленький глоток и жестом пригласил Гарда следовать его примеру.— Прежде всего, если вам не успели сказать, я коротко изложу суть дела. Вы видели наших пациентов?

— Да,— сказал Гард.

— Вам объяснили смысл нашей работы?

— Нет,— сказал Гард.

— Напрасно. Это успокоило бы вас. Дело в том, что мы готовим покорителей Марса.

— Не понял,— сказал Гард.

— Но я еще не все объяснил,— улыбнулся Дорон, делая очередной глоток стерфорда.— Мы пришли к выводу, что проще изменить структуру человеческого организма, чем изменять структуру планеты. Люди, прооперированные нами, способны жить в марсианских условиях без охранительной аппаратуры и скафандров. Собственно говоря, они уже сейчас так живут, ведь Купол — это точная копия Марса...

— Простите, генерал,— сказал Гард, вставая.— Есть одно внеочередное дело, решив которое мы сможем продолжать нашу беседу. Я прошу вас, если слово «прошу» вам приятнее слышать, чем «требую», немедленно вернуть мне Майкла Честера — сына журналиста Честера.

— Да, мне доложили о главной причине вашего появления в «зоне»,— спокойно сказал Дорон.— Охотно выполню вашу просьбу. Если это возможно,— добавил он через паузу.— Дорогая, в какой стадии ребенок?

— В стадии «С»,— быстро ответила Динст.

— Н-да...— Генерал почмокал губами.— Профессор Янш, возможно что-нибудь сделать?

— Из стадии «С», господин генерал, никто не возвращается,— донесся из угла бесстрастный голос.

У Гарда упало сердце.

— То есть как это,— сказал он,— не возвращается?!

Дорон отодвинул недопитый бокал стерфорда, взял сигарету из гардовской пачки и закурил. Дина бросила на него тревожный и удивленный взгляд, потому что никогда не видела генерала курящим.

— Видит бог,— со вздохом произнес Дорон,— я бы вернул ребенка, но... есть вещи, которые сильнее нас. Такие процессы, как смерть или распад личности, необратимы. Производимые у нас операции относятся к их числу.

Возникла напряженная пауза, в течение которой Гард пытался осмыслить услышанное.

— Значит, люди,— сказал он,— находящиеся под Куполом, не могут из-под него выйти? Никогда?!

— Они уже не люди,— тихо ответил Дорон.— Они не дышат земным воздухом, не едят нашу пищу и не пьют нашу воду. Единственное место, пригодное для их жизни,— Купол. Такова реальность, комиссар, с которой и вы и я вынуждены считаться.

— Их нельзя освободить?!

— Освобождение этих существ в том смысле, в каком это понимаете вы, приведет их к неминуемой гибели.

— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Гард.— То, что вы сделали, хуже убийства! Вы оторвали их от семей, подвергли калечащей операции, обрекли на вечное заточение! Вы лишили их Земли! Какой нормальный рассудок способен это понять и оправдать?!

— Успокойтесь, комиссар, и выслушайте меня! — Дорон тоже повысил голос.— Давайте разберемся по порядку. Во-первых, у нас есть взрослые люди, которые дали добровольное согласие на операцию...

— Не верю! — перебил Гард.— Вы их принудили, или обманули, или...

— Мы их купили, комиссар,— откровенно сказал Дорон.— Ну и что из того? Мы заплатили их семьям большие деньги, получив взамен не просто глаза, сердца или почки, которые, как вы знаете, сегодня продаются и покупаются во всем мире, как обыкновенные овощи, а людей целиком. Это просто дороже стоит...

— Но дети?! Вы же их крали!

— Да, крали. В тех случаях, когда были уж очень подходящие экземпляры, а контакта с родителями нам установить не удавалось. Но большинство детей мы покупали, поймите это, комиссар! Они были проданы нам под прикрытием рэкетирства!

— Боже мой! — сказала вдруг Сюзи, и генерал резко повернулся в ее сторону.

— Вы еще ребенок, моя крошка, чтобы разбираться в жизни,— сказал Дорон.— Спросите у комиссара, сколько тысяч родителей оставляют своих младенцев на пороге родильных домов и благотворительных учреждений!

— Их вынуждают обстоятельства,— сухо сказал Гард.

— Меня тоже. Или вы считаете, комиссар, государственную необходимость менее уважительной, чем семейную?

— Мораль не оправдывает таких родителей.

— Но относится к ним с пониманием. Уже хорошо! — парировал генерал.— А что вы скажете по поводу тех случаев, когда родители сдают детей в круглогодичные интернаты? По пять, по десять лет дети живут в эдакой казарме, в глаза не видя папаш и мамаш, но госпожа мораль и даже господин закон не осуждают таких родителей! Скажите, крошка, у вас повернется язык назвать их выродками?

— В ваших словах звучит желание оправдаться,— сказал Гард.— Вы сами понимаете противоестественность содеянного!

— Нет, Гард, я не оправдываюсь, я просто хочу убедить вас не делать глупости.— Дорон внимательно посмотрел на Гарда, затем поочередно ощупал взглядом всех присутствующих. Он явно чувствовал себя на коне и хотел проверить по выражениям лиц окружающих, так ли это, или его приподнятость — кажущаяся, обманчивая, не соответствующая истинной расстановке сил. Оставшись довольным сделанным обзором, Дорон продолжал: — Вы говорите, Гард, что мы калечим детей. Звучит страшно, но так ли обстоит дело в действительности? Совершили ли мы преступление, делая операции? Следите за моей мыслью. В свое время существовали компрачикосы, которые, кстати, находились под покровительством одного из английских королей, забыл его номер, но это не столь важно. Папы римские тоже не брезговали их услугами...

— Простите, генерал,— сказал Гард,— я уступил вам, отказавшись от допроса, уступите и вы, отказавшись от популярной лекции.

— Я не выгадываю спасительных минут, комиссар,— спокойно произнес Дорон.— Ничего не подозревающая охрана по-прежнему наверху, и ей в голову не придет спуститься сюда без вызова. Вы можете позволить себе роскошь выслушать меня, что, кстати, в ваших же интересах.

— И все же, генерал, прошу вас покороче.

Дорон сощурил глаза. Инициатива, которую он теперь держал в руках, позволяла ему оценить

Начало см. в №№ 1—9.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

слова Гарда как дерзость, а дерзостей он не любил. И не прощал. С каким бы удовольствием Дорон распорядился бы сейчас заткнуть глотку этому комиссаришке полиции! Увы, такой момент еще не наступил, не говоря уже о том, что Таратура с каменным и совершенно непроницаемым лицом стоял в дверях с пистолетом в руке, а пуля этого «кретина», как мысленно назвал его Дорон, была пока еще сильнее и убедительнее всяких слов.

— Хорошо, — сказал генерал,— я постараюсь. Я хотел лишь заметить, комиссар, что компрачикосы самим фактом своего существования должны побудить вас задуматься над двумя вещами: законы не всегда осуждали их, а что касается морали, то и эта штука весьма и весьма относительная.

— Мы живем в двадцатом веке,— сказал Гард,— и я могу напомнить вам, что суд в Нюрнберге покарал фашистов за опыты над людьми.

— Ах, комиссар,— возразил Дорон.— Терпимость по отношению к компрачикосам в принципе кажется мне более справедливой.

— Не могу согласиться с вами, генерал.

— Увы, именно поэтому вы никогда не будете президентом и даже министром внутренних дел. Вы не умеете принимать беспощадные решения.

— Полагаю это своим достоинством, а не недостатком.

— Как знать! Но ладно,— сказал Дорон,— оставим наш историко-политический спор. В конце концов я не фашист и тем более не представитель компрачикосов. Я просто взял максимум, чтобы вам легче было оценить минимум. Ведь дети, находящиеся у нас, отнюдь не жертвы компрачикосов! Они физически и психически здоровы, не уроды и даже не неврастеники, как многие дети в метрополии. Синий цвет кожи? Ну и что? Есть люди с белой, желтой, красной, черной кожей — никого это не пугает. Видите, я далеко не расист. Так о каком калечении вы говорите, Гард? Что преступного в самом факте операции, которая не более болезненна, чем удаление аппендицита?

— Не верю, генерал,— жестко сказал Гард.— У этих детей психика не может быть нормальной.

— С чьей, простите, точки зрения? С вашей? Но, с точки зрения этих детей, ваша психика тоже кажется изуродованной! Вопрос чрезвычайно сложен. Оба мы, вероятно, сойдемся на том, что у здешних охранников — душа цепной собаки, так?

— Что верно, то верно,— согласился Гард.

— А ведь никакой операции они не подвергались! Это жизнь, обыкновенная жизнь нас всех оперирует. Согласитесь, комиссар, с тем, что главное — синхронизировать человеческую психику с конкретными условиями жизни, чтобы, не дай бог, не было патологического рассогласования, так?

— Пожалуй.

— Утверждаю: у наших прооперированных детей психика полностью соответствует условиям, в которых они сейчас живут. И, смею вас заверить, эти условия ничуть не хуже, а даже лучше тех, в которых живут десятки и сотни тысяч детей за пределами «зоны». Подождите, комиссар, не торопитесь,— остановил Гарда генерал, уловив его желание возразить.— Я сам скажу, что вы думаете. Вы хотите сказать: они заключены в тюрьму и не могут покинуть Купол? Но миллионы крестьян никогда не покидают своих деревень, нисколько от этого не страдая! Для наших же обитателей «тюрьма» скоро раздвинется до размеров целой планеты... Вы хотите сказать: они несчастны? Лишены земных благ? Пребывают в тоске по «родине», не знают любви, не ходят на бега и не играют в азартные игры? Дорогая Дина, достаньте любую кассету из цикла Ф-15! Посмотрите, Гард, десятиминутный фильм из жизни «затворников». Эти пленки не проходят отбора, потому что они не предназначены для посторонних глаз. Вы можете им верить. С вашей проницательностью вы и без моей подсказки легко отличите инсценировку от документа. Смотрите, комиссар, как чувствуют себя ваши подзащитные!

Дорон, выключив свое красноречие, театральным жестом показал на уже светящийся экран телевизора. Пошли кадры. Знакомые комиссару синие дети. Вот они учатся, вот читают, купаются в бассейне, обедают, показывают друг другу язык, ссорятся, проказничают, упражняются в гимнастическом отсеке. То и дело среди них появляются взрослые люди в скафандрах,— к ним дети относятся спокойно и привычно, как к воспитателям или учителям. Мелькнула лысина профессора Янша в прозрачном стеклянном колпаке. Съемки дотошно, с академической протокольной точностью фиксировали все происходящее, и важное и десятистепенное. Автоматический оператор с такой же скрупулезностью, добросовестностью и бездушием мог бы снимать поведение бактерий на предметном стеклышке микроскопа или рост кристаллов в автоклаве.

Гард оторвал взгляд от телевизора и огляделся. Сон не сон, явь не явь, но абсурдность ситуации поколебала на мгновение реальность происходящего. Неужели это сидит Дорон, и на столе перед ним — стерфорд? А это — Дина, целиком поглощенная действием на экране? И девушка в купальном костюме, на коленях у которой почему-то лежит полотенце? А там, у дверей,— Таратура с пистолетом в руке? Это он, не мигая, смотрит фильм? И эти два профессора, приосанившиеся и гордые, словно только что совершившие подвиг, они тоже существуют? Как и сам Гард?

А на экране течет чужая, неправдоподобная и между тем потрясающе нормальная жизнь тех, кто уже не может называться людьми, кто вырван из этого реального мира. И тихо вокруг, ни звука, кроме детских голосов, идущих с экрана, каких-то писклявo-квакающих, нелепых, инопланетных, вероятно, «синхронизированных с новыми условиями жизни», как сказал бы Дорон...

Чушь какая-то! Абракадабра! В которую его, Гарда, человека нормального и умного, насильно заставляют верить.

— Убедились? — спросил Дорон, словно подслушав гардовские мысли, когда Дина выключила телевизор.

— Я уже видел один фильм,— сказал Гард.— У тех детей было выражение ужаса на лице и плавающие походки, они ели какие-то ленты.

Дорон поднял глаза на Дину:

— Вы показали, вероятно, фильм из цикла Ф-8? Не все так просто, комиссар. Те дети находились еще в первых трех стадиях, от «А» до «С», но в конечном итоге... Разве они выглядят несчастными?

— Нет. И это, пожалуй, страшнее всего.

— Что именно? — не понял генерал.— Что люди ко всему привыкают? Что смиряются с самыми невероятными условиями жизни? Но ведь критерий счастья — в человеке, а не вне его! Если им хорошо, то почему вы за них должны называть это «плохо»?

— Простите, генерал, не могу и тут с вами согласиться. Это же дети, несмышленыши! Мы, взрослые, определяем для них меру счастья и несчастья. И то, что над ними совершено насилие, что их человеческую жизнь заменили искусственной,— преступно!

— Вы слабый философ, Гард,— со вздохом произнес Дорон.— И, как мне кажется, плохой педагог. Какой ребенок сам себя формирует как личность? Разве мы, воспитывая детей, не насилуем их волю, разве спрашиваем, какими они хотят быть? Конечно, психо-физические задатки у всех людей более или менее разные, ну, так и марок стали сколько угодно! Важно то, что общество заинтересовано в стандарте, и оно добивается этого с помощью семьи, школы, казармы, церкви... Мы штампуем психологию детей, как рамы автомобиля. Я, как и вы, тоже продукт общественной технологии, но мы же с вами не кричим на весь мир, что наши личности изуродовали, что мы, когда были детьми, подверглись насилию! Почему же вы, комиссар, наше оригинальное вмешательство в формирование личности считаете преступным, а старомодную и далеко не совершенную методологию общества — правомерной? Уж будьте логичны, Гард!

— Да, я могу согласиться с вами, что общество несовершенно. Но из этого вовсе не следует, что, пользуясь его несовершенством, можно творить вообще черт знает что! Эдак мы оправдаем и убийства, и кражи, и вивисекцию, и... даже то, что позволяли себе вы и ваши профессора.

Дорон был потрясающе терпелив!

— Скажите, комиссар, вы никогда не задумывались над тем, почему вас, собственно, держат в полиции?

Гард удивленно посмотрел на генерала.

— Нет, не задумывались,— констатировал Дорон. — А ведь вы при всей своей ортодоксальности противоречите естественному ходу вещей...

— Какому ходу и чем именно?

— Ну, своей старомодной рыцарской честностью, жаждой справедливости, желанием покарать зло... Кому все это нужно? Вы нам мешаете, Гард, а мы вас терпим! Почему, спрашивается? Да потому, что, когда нет справедливости в большом, должна быть справедливость в малом, чтобы создавалась общая видимость справедливости. Должен быть клапан, дорогой мой Гард, чтобы этот несовершенный мир не взорвался! И вы, карая маленькое зло, покрываете зло большое. Вот ваша истинная роль, как бы горько вам ни было это слышать. Поэтому вас и держат в полиции, а не гонят вон, хотя вы по неосторожности своего характера уже не раз наступали нам на больные мозоли... Вам кажется, что вы стоите на страже закона? — Гард подавленно молчал. — Что без вашего участия общество превратится в джунгли? Наивный вы человек! В своем мундире порядочности вы стоите в самом центре джунглей и думаете, что ваш мундир облагораживает все общество! А он только обманывает его, создает иллюзию порядка и справедливости. Вы думали когда-нибудь о том, для кого законы изданы? И стоят ли они того, чтобы их охраняли? И от кого охранять? Нет, дорогой мой Гард, обращайтесь со своими законами, как вам угодно, но нас, издавших эти законы, лучше не трогайте. Мы живем по другим правилам, если угодно, по правилам джентльменской игры. Мы издали законы для других, а сами в них просто играем, вы это понимаете? Вы наше оружие, комиссар, а не оружие против нас! А то, что я сейчас вынужден соблюдать правила игры, объясняется вовсе не тем, что вы комиссар полиции и олицетворяете собой закон. Отнюдь! Вы просто затыкаете мне глотку силой. Через минуту пистолет окажется в руках моего помощника, и тогда я заткну глотку вам. При чем тут закон, который вы так ревниво охраняете? Давайте исходить не из того, что преступно в этом мире и что не преступно, а из того, кто из нас сильнее. В данный момент сильнее вы,— вот мне и приходится вас убеждать... Как видите, я откровенен с вами, надеясь на то, что вы умный человек и понимаете, что в конечном итоге тягаться со мной вам будет трудно. Теперь — к делу. Уж больно мы заговорились.

Дорон уже был полным хозяином положения, это чувствовали все. Пистолет в руках Таратуры выглядел пережитком прошлого.

— Что я хочу от вас? — сказал Дорон, словно Гард был его машинисткой, а он собирался продиктовать ему некий текст. — Я хочу из врага превратить вас не просто в постороннего человека, а в своего единомышленника.

— Скорее в соучастника,— мрачно сказал Гард.

— Об этом я уж не мечтаю! — улыбнулся Дорон. — Во всяком случае, я хочу, чтобы вы прониклись той целью, ради которой затеян весь эксперимент. Думаете, у меня не было сомнений — запускать его или не запускать? Были. Но если бы не я начал это дело, начал бы кто-то другой... Итак, существует несколько аспектов решаемой нами проблемы. Прежде всего национальный. О нем я говорить не буду, вам и так ясно, что нация, первой колонизировавшая другую планету, получает огромные преимущества. Другой аспект чисто человеческий: расширение сферы жизни, овладение новыми энергетическими источниками,— словом, то, что демагоги и журналисты называют победой разума.

— Во имя чего? — спросил Гард.

— Во имя прогресса! — торжественно ответил Дорон. — Разумеется, есть и личный аспект, мой собственный, но он вам понятен: человек, осуществивший такую программу, становится полновластным хозяином, по крайней мере колонизированной планеты. И есть еще один аспект, тоже личный, который касается наших будущих марсиан. Эти люди, не попади они к нам, были бы простыми клерками, рабочими, рядовыми интеллигентами. Они вели бы рутинную жизнь, имели бы рутинные радости и огорчения, а в конечном итоге к ним пришло бы полное, гробовое забвение. Теперь же их ждет судьба первых колонистов — суровая, трудная, но прекрасная и героическая, полная романтики. Их имена будут золотом вписаны в историю, я бы сам согласился быть среди них, если бы не земные заботы. Вот почему, кстати сказать, и наша дорогая Дина отдала своего ребенка профессору Яншу...

Гард потрясенно вскинул на Дину глаза.

— Хорошо,— сказал он. — Тогда объясните мне, генерал, почему вы так страстно желаете сделать меня единомышленником?

Дорон понял с полуслова.

— Вы хотите спросить, чего я боюсь? — произнес он все с той же нестерпимой откровенностью, которая преследовала Гарда в этой «зоне» с первого шага. — Извольте. Я боюсь разглашения моей тайны, но вовсе не среди широких масс народа. Тут я все рассчитал: народ мне не помешает, я знаю его психологию раба, скорее он мне поможет. Я боюсь равных себе, комиссар! Потому что, узнав об этом деле, они начнут меня бояться. И сорвут эксперимент.

— Что же тогда будет? — спросил Гард.

— Плохо будет,— с необычайной простотой ответил генерал. — Они приведут в действие тот самый формальный закон, который вы олицетворяете, и посадят меня в тюрьму, благо кое-какие формальные основания для этого есть. «Зону» они прикарманят, поделят между собой, у нее будет не один шеф, как сейчас, а десяток или полтора. Или просто ее уничтожат, если не смогут договориться, это очень легко сделать — нажатием одной кнопки. Но как бы там ни было, сорвется эксперимент или осуществится, моим пациентам нет дороги на Землю: либо на Марс, либо на тот свет, либо вечное заточение в этом инкубаторе.

— Н-да,— сказал Гард. — Ну, а я тут при чем?

— От вас зависит решение вопроса. Уничтожить вас я сейчас не могу — простите за циничное признание. А живой вы нужны мне как единомышленник. Безвыходное положение, комиссар!

— Тупик

— Да, тупик. И у вас тоже.

Они умолкли.

— Мне трудно, как никогда,— признался через некоторое время Гард. — Увы, генерал, единомышленник из меня все же не получается, хотя вам трудно отказать в логике. Я плохо спорил с вами, но не потому, что был согласен. Общество, в котором я живу, до такой степени несовершенно, что не подсказывает мне убедительных аргументов против мракобесия. Больше того, оно скорее аргументирует ваши доводы, чем мои возражения, и оно стóит того, чтобы вы существовали и делали свое черное дело. И я действительно оказываюсь в тупике, генерал! Я ничего не могу поделать ни с моим обществом, ни с вами, я способен лишь на маленькое конкретное добро, а оно заключается в том, чтобы спасти жизнь несчастным обитателям Купола. Сто пятьдесят детей, в числе которых сын моего друга и ребенок Дины Динст — ваши заложники. И не только ваши! Они как бы заложники всех пороков нашего общества — я давно это понял, генерал, но я на что-то надеялся, искал лазейку, позволял вам выговориться до конца... — Гард подошел к столику, взял бокал и одним махом опрокинул его содержимое в себя. Затем сказал, слегка поморщившись: — Ладно, давайте исходить из того, что мир все же будет оповещен о случившемся.

— Как вас понимать? — резко спросил Дорон.

— Здесь был журналист Честер,— устало сказал Гард. — А теперь, как видите, его нет...

Генерал, еще не веря своим ушам, остервенело огляделся вокруг, словно хотел убедиться, что Честера действительно нет, и вдруг с силой ударил кулаком по столу. Бутылка стерфорда, подпрыгнув, перевернулась. Но уже в следующее мгновение Дорон смеялся, да, он смеялся!

— Какой прекрасный, но чрезвычайно глупый ход! — проговорил он сквозь приступ смеха. — Ну и концовка! Надеюсь, вы понимаете это, комиссар? Теперь-то вы согласны с тем, что в интересах того же маленького Честера старшему Честеру следует молчать?

Гард стоял, склонив голову, словно ему на затылок тяжело давила чья-то рука.

Успокоившись, Дорон сказал:

— Это резко меняет ситуацию. Давно ушел Честер?

— Что вы хотите предложить? — спросил Гард.

— Догнать его. Вернуть.

— И дальше что?

— Уговорить молчать! — сказал Дорон. — Я гарантирую вам безопасность, я сделаю его и вашу жизнь безбедной, я...

— Честер уже покинул «зону», генерал,— перебил Гард.— Кроме того, я уверен, он не поддастся на ваши уговоры.

— Так... — Дорон хрустнул пальцами рук, затем произнес, как бы говоря сам с собой: — Разгром типографий левых газет не поможет, есть печать других стран. Но дело даже не в этом. Члены Тайного Совета все равно узнают... Так. Вы можете сказать мне, где будет находиться Честер?

— Он мой друг,— коротко ответил Гард.

— Как вы старомодны! — поморщился Дорон.— Ладно, позвольте мне отдать наверх кое-какие распоряжения.

— Какие именно?

— Я хочу помочь вам и вашим спутникам как можно быстрее оказаться на материке. Только вы, комиссар, способны остановить Честера, потому что вы понимаете, как это необходимо ему же, и только вы знаете, где его можно найти. Выходите сами из своего тупика! Если вы действительно хотите сохранить жизнь детей...

Глава 18. А ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ И ЛЕММА...

— Линда? Это Дэвид.

— Слышу.

— Новости есть?

— Увы.

— Знаете, я сбился с ног.

— Ах, Дэвид!

— Тот звонил?

— И опять не назвался.

— О Фреде никому ни слова. Вы слышите, Линда?

— Слышу. Скажите мне правду о Майкле.

— Нужно держаться, дорогая.

— Я не ребенок, Дэвид.

— Могу повторить: он жив. Остальное потом.

— За что вы меня мучаете?

— Я позвоню позже.

— Ах, Дэвид!

Честер как в воду канул. Он мог вернуться в Нью одновременно или чуть раньше Гарда, но розыски, организованные комиссаром, дали пока нулевой результат. В конце концов Фред должен был явиться домой или хотя бы позвонить жене, и Гард уже в пятый раз беспокоил Линду.

Конечно, Честер, молодчина, он прекрасно законспирировался, понимая, что имеет дело с опасным противником. Но если он знает, что Гард уже в городе, скрываться от комиссара глупо, а если он думает, что Гард еще в «зоне», давно пора поднимать тревогу. Впрочем, не исключено, что Фред еще сам не выбрался с острова. А вдруг он застрял в трубе, сидит там со своим Шизом и ждет помощи? Или, что еще хуже, и помощи уже не ждет?!

Комиссар не на шутку волновался.

Возле квартиры Честера, перед входом во все без исключения редакции газет, на аэродромах и у Дома Президента — всюду были расставлены посты, держащие прямую связь с дежурным по управлению. Сам комиссар объездил на машине

любимые и наиболее посещаемые Честером кабаки, побывав даже в «Указующем персте», с которым Фред разругался больше года назад.

Таратура был оставлен на острове: вдруг Честер еще там и ему понадобится какая-нибудь помощь! Сюзи находилась с инспектором, и Гард был спокоен хотя бы за то, что сведения о «зоне» никуда не просочатся.

В четыре дня позвонил Дорон, тоже вернувшийся в Нью. Словно отчитываясь перед Гардом, он сообщил, что его люди проверили списки лиц, покинувших за последние сутки страну, но фамилии Честера не обнаружили.

— Вы сами понимаете,— сказал генерал,— это еще ни о чем не говорит.

— Проверьте трубу, через которую «зона» сбрасывает воду в море,— посоветовал Гард после некоторого раздумья.

— Вот как? — сказал Дорон. — Хорошо, проверим.

— С участием Таратуры,— добавил Гард.— Я дам ему соответствующие указания.

Еще через час Дорон сообщил (через минуту это же подтвердил Таратура), что в трубе «чисто». «Слава богу», — подумал Гард.

— Он не мог покинуть «зону» еще каким-нибудь путем? — спросил Дорон.

— Вам лучше знать эти пути, генерал,— ответил комиссар.

В четверть шестого раздался звонок из канцелярии президента.

— Говорит Джекобс. Вы, Гард?

— Точно.

— Так я и думал. Будьте здоровы.

И трубка дала отбой.

Гард немедленно соединился с Джекобсом и спросил старика, чем вызван его странный звонок.

— Обычная история,— ответил секретарь президента. — Какой-то сумасшедший или подвыпивший весельчак сообщил мне по телефону, что вы попали на острове Холостяков в трудное положение и что вас нужно выручать. Как вы понимаете, комиссар, я благодарен вам за то, что вы в Нью.

«Это, конечно, Честер... Но боже мой,— подумал Гард,— как он неумело действует!»

— Интересно,— переходя на шутливый тон, сказал комиссар, что бы вы делали, не окажись я на месте?

— Раскошелился бы на свечку,— мгновенно ответил Джекобс.

— А серьезно?

— На две свечки!

Да, старину Джекобса голыми руками не возьмешь...

— Дэвид? Линда.

— Да-да, я слушаю.

— Не помешала?

— Напротив. Что-нибудь случилось?

— Этот опять звонил.

— Не обращай внимания.

— Мне надоело. Ничего, если я скажу, что Фред приехал?

— Линда, он действительно приехал?

— Я так скажу, чтобы он отстал.

— Лучше не обращай внимания.

— Дэвид, я увижу Майкла?

— Он жив, и это все, что я могу вам сказать.

Вскоре позвонил Дорон:

— У вас есть новости?

— Есть просьба, генерал,— сказал Гард. — Оставьте в покое Линду Честер. Она уже на пределе. Ваши люди ее замучили.

— Хорошо, я подумаю,— сказал генерал. — А...

— Новостей нет,— перебил Гард.

— Никаких?

— Абсолютно.

— Давайте договоримся о главном,— произнес Дорон металлическим голосом. — Или я могу вам доверять, или не могу. Ситуация не терпит неясностей в этом вопросе.

— Я к вашим услугам, генерал,— сказал Гард.

— Почему вы не сообщаете мне о звонке из канцелярии президента?

Гард не сразу нашелся, что ответить.

— Но вы и так знаете об этом,— сказал он через паузу.

— Разумеется! Ведь анонимный звонок Джекобсу мною организован!

Гарду пришлось сделать еще одну паузу.

— Вы проверяли меня, генерал?

— Отдаю долг вашей удивительной догадливости.

— Благодарю за комплимент,— сказал Гард. — Откровенно говоря, я хочу сам иметь дело с Фредом Честером, а уж потом доложить вам о результате.

Дорон не ответил.

Ночью Гард был в управлении, поддерживая связь со всеми постами. Уже не в первый раз, работая как бы заодно с Дороном, он одновременно действовал против него, оберегая от генерала предмет их общих забот. Это создавало дополнительные трудности, поскольку комиссар «простреливался» с двух сторон, занимая все ту же «круговую оборону»: там, где были его люди, непременно находились люди Дорона.

Черт возьми, как не хватало комиссару Мердока!

Таратуре больше не было смысла торчать на острове, и Гард отдал ему распоряжение возвращаться домой.

— Одному? — спросил инспектор.

— Вместе,— сказал Гард, подумав о том, что Сюзи Бэйл с бóльшим успехом сохранит тайну, если будет при Таратуре.

В семь утра в полицейское управление приехал Дорон. Без предупреждения. Даже без выяснения того, на месте ли комиссар. Невероятно, но это так: член Тайного Совета лично посетил комиссара Гарда! Он вошел в кабинет, даже не взглянув на оторопевшего сержанта, и бросил на стол Гарда утренний выпуск «Все начистоту» — левой газеты, издающейся на средства подписчиков.

— Первый ход сделан,— резко произнес Дорон,— важно не допустить второй!

Гард увидел громадный заголовок, шапкой стоящий на полосе: «Верните моего Майкла!». Быстро пробежав глазами статью, комиссар понял, что это, собственно, даже не статья, а анонс к ней, сделанный второпях, на одном дыхании. Честер, по всей вероятности, не имел времени на тщательное обдумывание материала, он просто кричал! Кричал о том, что его маленький Майкл живет на острове Холостяков в таинственной «зоне», возглавляемой таинственным «шефом», что у бедного мальчика синяя кожа, что ему и многим другим детям, находящимся под зловещим Куполом, сделана операция, и что он, Фред Честер, собственными глазами видел «леденящую душу» картину и теперь свидетельствует перед читателями ее достоверность. О том, как был украден Майкл, как нашел его Честер и с чьей помощью, что представляет собой Купол, что за профессора, орудующие в «зоне», и прочие подробности, газета обещала рассказать читателям в следующих номерах. Тут же следовал призыв: «Подписывайтесь на нашу газету!» А под призывом была опубликована в цвете фотография ребенка с синим лицом: ребенок жевал бумажную ленту и смотрел на читателя взором, полным ужаса. Это был, конечно, увеличенный и матрицированный кадр из фильма, унесенного Фредом из «зоны».

— Мне удалось блокировать часть тиража,— сказал Дорон,— но дело теперь не в этом. Люди уже знают. Со слухами даже я бессилен бороться. Впрочем, положение пока не столь катастрофическое...

— Минуту, генерал.

Гард взглянул на схему постов, вызвал по селектору «девятого» и спросил его, как получилось, что Честер вошел в здание редакции незамеченным.

— Не входил, комиссар,— ответил «девятый».— Если Фред Честер не сделал себе пластической операции, то не входил!

— Хорошо,— сказал Гард.— Удвойте внимание.

— Я слушаю вас, генерал.

— У меня есть возможность,— энергично начал Дорон,— превратить сообщение Честера либо в розыгрыш, либо в бред сумасшедшего, либо в анонс научно-фантастического рассказа. Но дальнейшие разоблачения вашего друга, его следующие публикации...

«Какие разоблачения? — подумал Гард. — Фреду ничего же не известно... Правда, с ним Шиз, но много ли знает рядовой электрик? Быт «синих» людей, образ жизни, какие-то случаи, истории, способ их охраны, фамилии профессоров, некоторые подробности о Дине Динст,— что еще? Впрочем, и это не мало...»

— Джин выпущен из бутылки,— сказал Гард, словно бы подведя черту под своими размышлениями.

— Чепуха! — воскликнул Дорон. — Я все улажу. Мне важно, чтобы Тайный Совет не узнал истинных целей эксперимента и чтобы мое имя нигде не фигурировало. Кстати, ваше имя тоже пока не задето. — Генерал посмотрел в глаза Гарда. — Скажите, комиссар, что знает и чего не знает Честер? Я задаю глупый вопрос? Возможно...

— Он не один, генерал,— сказал Гард.

— Да, я знаю, с ним ушел сотрудник «зоны»: Но есть сведения, которые недоступны даже Динст! Буду откровенен с вами, комиссар. Если бы я мог убрать вас всех одновременно, я бы так и сделал,— и кончен бал! Увы, я понимаю, что Честер — гарантия вашей безопасности, как вы — его. И еще этот ваш Таратура с девчонкой. И мой сотрудник Шиз... («Ни при каких обстоятельствах,— подумал Гард,— нам нельзя оказываться всем вместе!») Короче говоря,— продолжал Дорон,— я вновь протягиваю вам руку, комиссар. Действуйте! Теперь все зависит от вас. Уговорите Честера замолчать! Вы-то, надеюсь, понимаете, что его болтовня приведет к гибели двухсот с лишним людей? Мне их не жалко, они уже не люди, но вы...

— Я сделаю все, что в моих силах,— сказал Гард, вставая. — Но именно я сделаю, генерал. Не вы.

Через два часа у входа в редакцию «Все начистоту» группа, возглавляемая Таратурой, спокойно и аккуратно взяла Шиза. При задержании электрик произнес только одну фразу, и то лишь тогда, когда увидел за рулем машины инспектора Таратуру: «Хорошо, что это ты, черт возьми!» Когда его привезли в управление и ввели в кабинет Гарда, он был совершенно невозмутим.

— Сначáла я думал,— сказал он,— что ребята от шефа, даже испугался.

— А вам известно, кто ваш шеф? — улыбаясь, спросил Гард.

— Черт его знает! — ответил Шиз.— Не Дорон?

Комиссар опешил:

— Откуда у вас такие сведения?!

— Фредик сказал. Он парень головастый.

— Линда?

— Дэвид! Боже мой, куда вы запропастились! Я с ума сойду, а вам...

— Линда...

— Как будто меня не существует! После этой ужасной статьи, после фотографии,— как вы могли, Дэвид! Неужели это мой сын?!

— Линда...

— Что они сделали с Майклом? Я не узнала его! Куда мне идти? Где этот Купол? Я немедленно...

— Линда!

— Но что я могу сделать одна? Бедная, несчастная женщина... Где Фред? Если он печатает статьи, то почему...

— Линда, дайте хоть слово вымолвить!

— Что толку от ваших слов?! До каких пор вы будете морочить мне голову?!

— Успокойтесь, Линда! А Фред — вот он, рядом. Можете с ним говорить!

Дитрих кошачьей походкой вошел в кабинет Дорона.

— Ну? — коротко спросил генерал.

— Сожалею, но... Гард исчез.

Дорон молча смотрел на Дитриха.

— В четырнадцать двадцать семь он выехал с Таратурой из управления,— продолжал секретарь,— и мы его потеряли.

— Прекрасно,— сказал генерал.— Честера еще не нашли, а Гарда уже упустили. Представить всех к орденам?

Дитрих не пошевелился, выражение его лица не изменилось. Казалось, никакие чувства не были ведомы этому человеку: ни страх, ни сострадание, ни ненависть, ни любовь. Автомат, вся сила которого — в безропотном автоматизме. Но Дорон, вероятно, все же отлично знал своего секретаря, если по каким-то совершенно неуловимым признакам понял, что тот сказал еще не все.

— Ну? — снова произнес генерал.

— В шестнадцать ноль четыре Гард звонил жене Честера. Сначала он сам говорил с Линдой Честер, затем трубка была передана Фреду Честеру.

Дорон всем телом подался вперед.

— К сожалению, генерал,— спокойно сказал Дитрих,— они звонили из машины комиссара.

— Содержание разговора?

— Общие слова.— Дитрих протянул Дорону маленькую кассету с магнитофонной пленкой.— Если угодно, запись здесь.

Генерал раздраженно махнул рукой, и кассета легла в бездонный карман Дитриха. Дорон с минуту отбивал указательным пальцем барабанную дробь по столу.

— Плохо, Дитрих,— вдруг просто сказал генерал.— Ох, как плохо!

Дитрих закрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока Дорон не отдал распоряжение:

— Холла и Рейдинга! И сами побудьте здесь. Вы мне потом понадобитесь.

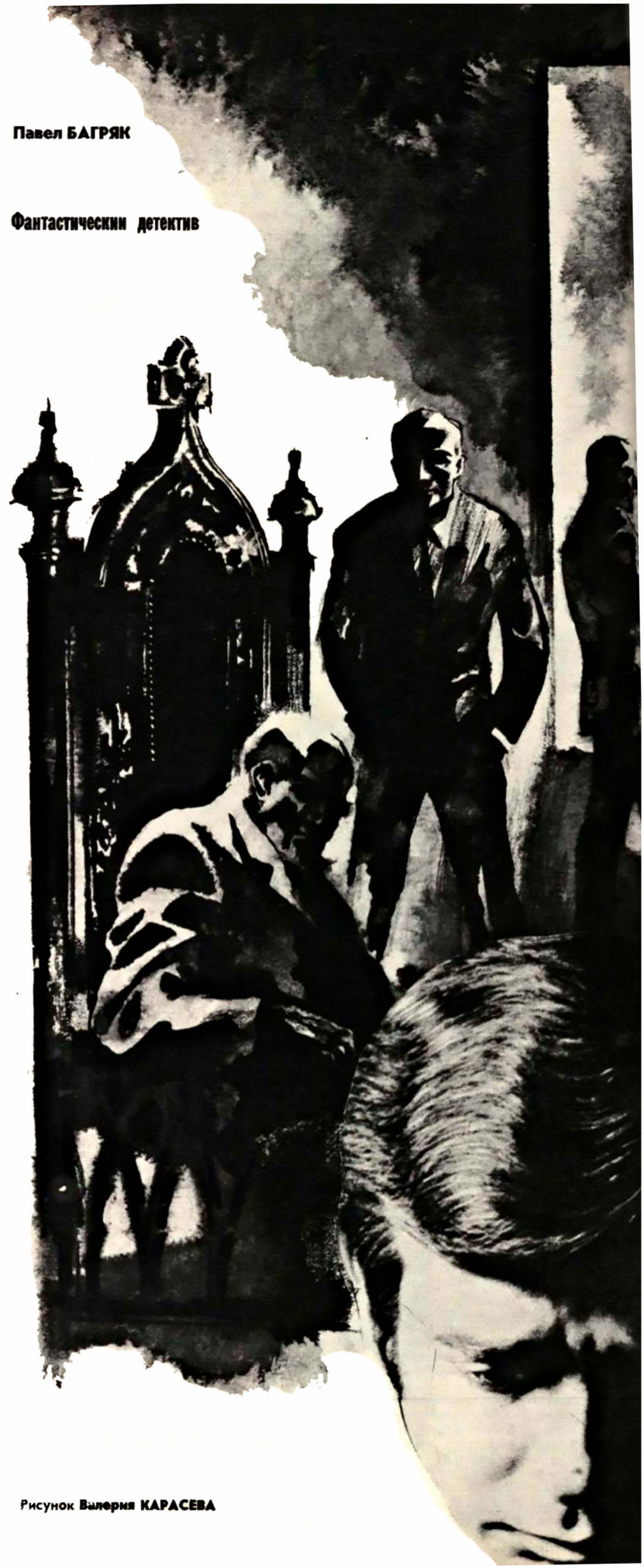
Ближайшие помощники генерала уже два часа томились в приемной...

Окончание следует.

Злые люди

Павел БАГРЯК

Фантастический детектив



— Фреди, давай еще раз обдумаем все сначала.

— О, господи!

— Я не могу тебе запрещать, не могу от тебя требовать, поэтому прошу.

— Если бы я не знал тебя, Дэвид, то решил бы, что ты подослан Дороном.

— Это близко к истине, но не меняет существа дела. Есть логика, есть здравый смысл...

— Хорошо, давай обдумаем.

Они сидели в небольшой комнате, обставленной вещами, давно вышедшими из моды. Как по линиям на пне, по этим вещам можно было определить, сколько десятков лет минуло с той поры, когда кончилось благополучие этого дома. Впрочем, делать специальные изыскания не было нужды, так как Шиз, которому принадлежала квартира, был тут же. Он сидел в высоком «тронном» кресле, по-королевски уронив голову на грудь, и задумчиво разглядывал торшер из массивного литого серебра. Немногословность Шиза, как полагал Гард, могла свидетельствовать либо об ограниченности его ума, либо, наоборот, о его мудрости. Шиз все еще оставался загадкой для комиссара, который так и не понял, почему этому странному человеку пришлось когда-то бросить насиженное гнездо, «заколотить» свою маленькую квартиру, закрыть вполне приличное и доходное дело и податься на остров Холостяков, чтобы приобщиться там к мрачной и таинственной «зоне», а затем так же необъяснимо порвать с ней, то есть со своим будущим, и вернуться к прошлому. Массивный торшер вызывал, вероятно, у Шиза какие-то воспоминания, но какие именно, Гард не понимал, поскольку Шиз обронил вслух лишь несколько слов, дающих возможность предполагать все что угодно. Он сказал: «Наследство жены, черт бы ее побрал!» — и вновь умолк.

К «черту» Шиза Гард уже успел привыкнуть.

Конспираторы! Это же смех: перебраться с острова на материк и, не путая следов, почти на виду у всех, прямым ходом направиться в пустовавшую квартиру Шиза! Только абсолютная нелепость такого «хода» помешала Гарду (и, вероятно, Дорону) предположить его возможность.

Однако Дорон еще может хватиться, надо поторапливаться...

— Таратура, там все в порядке? — спросил Гард.

Инспектор, который был рядом, оторвался от окна, через которое он наблюдал узкий двор и аллею, ведущую к подъезду дома, и ответил:

— Как у Христа за пазухой, шеф.

— Отлично. Итак, Фреди, предположим, ты продолжишь свои разоблачения, назовешь все фамилии, адреса, даты. Беру невероятный с точки зрения логики вариант: тебе верят, общественность возмущается, правительство вынуждено

Окончание. Начало в №№ 1—10.

Рисунок Валерия КАРАСЕВА

принять меры, Дорона подвергают аресту. Что будет с Майклом и остальными детьми?

— Что? — сказал Честер.

— Они погибнут, как только их «освободят». Значит,.. чтобы сохранить им жизнь, надо навечно оставить их в Куполе!

— Твое предложение? — с некоторым сарказмом в голосе произнес Честер.

Гард тяжело вздохнул:

— Увы, Фред, изменить что-либо в судьбе детей мы бессильны. Так не лучше ли предоставить событиям течь своим чередом? Марс — тоже планета, им будет там лучше, чем в Куполе, и по крайней мере не хуже, чем на Земле.

— Ты способен сказать все это Линде? — почти шепотом спросил Честер.

Гард не ответил.

— И зло, ты считаешь, не должно быть наказано? — продолжал Фред.— И если завтра Дорону понадобятся новые «покорители» Марса, мы позволим ему покупать или красть новые человеческие жизни?

— Полагаю,— сказал Гард,— нам удастся получить от него гарантии прекращения дальнейшей деятельности «зоны».

— Черта с два! — сказал вдруг Шиз.— Его гарантия — пуля!

— Нет, Дэвид,— воскликнул Честер,— не могу с тобой согласиться! У любого яда есть противоядие. Если срочно дать задание ученым, если привлечь к делу Чойза... Я не могу не надеяться на то, что они не вернут детям Землю! Не могу!

Честер нервно заходил по комнате.

— Реальность твоих надежд минимальна,— сказал Гард.

— Пусть! Но даже самый ничтожный шанс я обязан использовать. Ну как ты меня не понимаешь!

Гард тоже встал с кресла, тоже заходил из угла в угол, но, встречаясь на середине комнаты, они старались не задевать друг друга.

— Убивать всегда было легче, чем спасать от смерти,— жестко сказал Гард.— Те же Биратончелли и Янш занимались перестройкой человеческого организма более десятка лет. Сколько десятилетий должно уйти на то, чтобы исправить зло?

— Согласен,— сказал Честер,— но что из этого следует? Необходимость смириться? Или все же испытать шанс на спасение?

— Мне трудно с тобой спорить, ты слишком заинтересованное лицо.

— Знаешь, Дэвид!— Фред сжал кулаки, но, быстро совладав с собой, только приблизился к Гарду и продолжал прерывающимся от волнения голосом: — А ты, выходит, человек менее заинтересованный? Ты хочешь сказать, что у меня там сын, а у тебя там сына нет? И поэтому я так отчаянно хочу вернуть детей к нормальной земной жизни? И это говоришь ты, поборник справедливости! Но можно ли в принципе защищать «чужую» справедливость, если стать на твою точку зрения? И «чужую» жизнь, «чужое» здоровье, «чужую» честь,— ты подумал об этом? Можно ли вообще бороться против зла, если исходить только из личной заинтересованности?

Таратура, забыв об окне, внимательно смотрел на Гарда, и даже Шиз прервал свое мрачное созерцание серебряного торшера.

Гард с жадностью закурил. Да, он имел дело с двумя правдами, одна из которых принадлежала Честеру, другая — Дорону. Как это ни парадоксально, но теперь, когда зло уже свершилось, в позиции Дорона тоже была логика, был резон, была тупая правда безвыходности. Кому же из них отдать предпочтение? — думал комиссар и вдруг понял, что решить этот вопрос «извне», со стороны, стоя между Честером и Дороном, нельзя. Никакая «объективность» не может быть судьей в битве добра и зла, надо занять позицию, определить свое место: либо рядом с Честером, либо не рядом с ним,— и тогда не будет сомнений и противоречий...

— Так,— сказал наконец Гард.— Таратура, вам следует немедленно и с соблюдением предельной осторожности переправить Линду Честер и Сюзи Бэйл ко мне в управление. Мы едем туда не теряя времени.

Совещание у Дорона кончилось через двадцать минут после того, как началось. От Холла и Рейдинга у генерала не было секретов,— так по крайней мере считалось,— и оба помощника испытали состояние, близкое к панике, когда Дорон ввел их в курс дела. Да, они читали публикацию журналиста Честера, да, они знали, что комиссар полиции самым невероятным образом проник в «зону» и открыл их тайну, но при всем при этом они не лишали себя надежд на то, что генерал обладает достаточными силами, чтобы пресечь действия нежданных-негаданных противников. Когда же Дорон откровенно признался своим помощникам, что события стали выходить из-под его контроля, что дальнейший их ход зависит от того, какую позицию займут Гард и Честер, а их следы в настоящий момент утеряны, Рейдинг и Холл, не колеблясь, оценили ситуацию как предельно опасную.

План действия был разработан ими достаточно четко, он исходил из трех возможных вариантов.

Первый: Гард и Честер, объявившись в ближайшие десять часов (именно столько времени оставалось до выхода очередного номера «Все начистоту»), принимают сторону генерала Дорона. И тогда:

отбой по всем каналам;

принятие мер, ликвидирующих последствия единственной честеровской публикации (вплоть до объявления Честера сумасшедшим или официального и публичного признания его в том, что статья опубликована в коммерческих целях);

установление постоянного наблюдения за лицами, так или иначе оказавшимися в курсе дороновских дел (то есть за Гардом, Честером, его женой Линдой, инспектором Таратурой, Сюзи Бэйл и, разумеется, Шизом), с тем чтобы через некоторое время, в наиболее подходящий момент, аккуратно и без следов всех уничтожить, по возможности одновременно;

тему «Космос» форсировать, хотя и сузить круг непосредственных исполнителей вдвое, увеличив во столько же раз охрану «зоны».

Второй вариант: Гард и Честер в течение ближайших десяти часов не дают о себе никаких вестей или, объявившись, открыто заявляют о непринятии стороны генерала Дорона.

Тогда:

немедленный разгром типографии и редакции «Все начистоту» (во всяком случае, за час до выхода тиража очередного номера) с поручением этого дела бригаде «Молния»;

немедленная ликвидация группы Гарда по ее первому обнаружению — любыми способами и любой ценой, дабы пресечь дальнейшие разоблачения, с поручением этого дела бригаде «Фильтр-1»;

уничтожение бригады «Фильтр-1» с поручением этого дела бригаде «Фильтр-2»;

уничтожение бригады «Фильтр-2» с поручением этого дела бригаде «Молния»;

немедленное установление контакта с членами Тайного Совета, которые, надо полагать, во имя спасения общества и государства благосклонно отнесутся к генералу Дорону, его приближенным и его делам, за что генерал уступит членам Тайного Совета часть своих интересов по программе «Космос».

Третий вариант: Тайный Совет не принимает предложения Дорона и в силу каких-то причин занимает позицию Гарда и Честера. Тогда:

срочный перевод капитала за границу;

ликвидация «зоны»;

взрыв Купола;

перевод в резерв сотрудников Института Перспективных проблем по списку № 1 с последующей работой на нелегальном положении; ликвидация остальных с поручением этого дела бригаде «Молния»;

организация отъезда Рейдинга, Холла, Янша, Биратончелли и, разумеется, генерала Дорона за пределы страны.

— Как видите, господа,— сказал, улыбаясь, Дорон,— у нас с вами нет безвыходных ситуаций. Желаю успеха. Дитрих, останьтесь.

Когда ближайшие помощники генерала вышли, Дорон открыл сейф, покопался в бумагах и, повернувшись к Дитриху, протянул ему чек.

— Дитрих,— сказал генерал,— если случится третий вариант, вам следует позаботиться о профессорах и о себе. И все, Дитрих.— Генерал кивнул в сторону только что ушедших помощников.— Больше того, Дитрих, они, возможно, нам помешают. Вопросы есть?

По секретному статуту Комитета Дитрих, кроме секретарских обязанностей, исполнял обязанности руководителя бригады «Молния». На чек он даже не взглянул, зная, что генерал хорошо платит, когда нужно хорошо платить. Дитрих стоял каменной статуей, невидящими глазами глядя перед собой. Он все понимал, он все мог предсказать, он все мог исполнить.

Одного не знал Дитрих: когда Дорону понадобится избавиться от самого Дитриха, кому он поручит это дело?

— Они осадили вас, как медведя в берлоге,— сказал Таратура.— Я насчитал по крайней мере человек двадцать! Ничего не боятся! Уж на что мои ребята работают грязно,— эти вообще не скрываются. Пошли, наверное, ва-банк...

Линда не слушала инспектора, она лихорадочно металась по квартире, собирая щетки, зубную пасту, какие-то разноцветные скляночки, потом открыла стенной шкаф и стала бросать в чемодан детские вещи.

— Зачем это? — спросил Таратура.

— Майклу,— коротко ответила Линда.

Инспектор не стал возражать, только пожал плечами.

— У вас один выход? — спросил он, когда Линда, безмерно устав от суеты, присела на краешек кресла.

— Не знаю. Я хожу в одну дверь.

— Нам лучше бы выйти в другую,— заметил Таратура.— Вы готовы?

— Там хорошо кормят? — спросила вдруг Линда.

— Где? В управлении?

— В Куполе.

— При чем тут Купол? Мы едем в управление. Так приказал комиссар.

— Он может приказывать только вам. Я спрашиваю: там хорошо кормят? Майкл очень любит спаржу, я должна захватить ему немного спаржи.

Таратура не стал спорить. Подумал: бедняжка, совершенно потеряла ориентацию, как бы это не кончилось для нее печально...

— Только, пожалуйста, побыстрее. Нам давно пора быть на месте.

За машиной, в которой сидели Таратура и Линда, двинулись сразу два «мерседеса». Инспектор нарочно выбрал самый длинный, но относительно безопасный путь: через центр города. «Вот они удивятся, когда я привезу их в полицейское управление!»

Линда полностью отключилась: за всю дорогу она не произнесла ни единого слова.

В редакцию «Все начистоту» Гард входил твердыми шагами. Он справедливо полагал, что людям Дорона никогда в голову не придет, что лежит в правом боковом кармане его пиджака, а сам факт появления комиссара в газете может быть истолкован Дороном как попытка уладить дело. Что же будет потом, когда все прояснится,— о боже, что будет потом! — лучше об этом не думать...

Только одной мерой предосторожности воспользовался Гард: он посадил к себе в машину трех здоровых полицейских, из числа тех, которых Честер называл «громилами». Всякое могло случиться, тем более что, избегая Дорона, Гард потерял на какое-то время нить его логики.

Метранпаж провел комиссара в кабинет «лорда Аута», редактора газеты, которого все звали «лордом Аутом» потому, что он всю жизнь стремился в лорды, но неизменно оказывался в ауте. На самом деле его следовало называть Беном Гарбузье, но этого, кажется, уже никто не помнил, даже он сам. Невероятно шустрый и многословный, утомительный, если его принимать в больших дозах, лорд Аут тем не менее был человеком смелым, рискованным, даже авантюрным, и этим снискал себе всеобщее уважение. «Лучше получить пулю в лоб,— говорил он часто,— чем благополучие в задний карман брюк». До пули в лоб ему было еще далеко, но и до благополучия тоже.

— Комиссар! — воскликнул лорд Аут, поднимаясь навстречу Гарду из-за стола.— Дорогой комиссар! Ну и дело я заварил! А? Вам снилось такое? И это всего лишь начало, я добавлю еще столько перцу, что у всех будут гореть внутренности! Садитесь, пожалуйста, будьте как дома, вы пришли чрезвычайно кстати. Надеюсь, визит ко мне не связан с какими-нибудь неприятностями?

— Как знать, дорогой лорд,— добродушно ответил комиссар.— Пока не придут сами неприятности, мы порой даже не знаем, кто их автор.

Лорд Аут заразительно захохотал, но тут же, словно сняв одну маску и надев другую, стал серьезен:

— Между нами: куда-то исчез автор сенсации, уже давно пора засылать в набор его вторую статью. Вы же знаете, Гард, как я вам доверяю,— вы не поможете мне? Читатели сотрут редакцию в порошок, если завтра не получат второй порции!

— Эта порция у меня в кармане,— спокойно сказал Гард.

— Что?! — не понял лорд Аут.— А какое вы имеете...

— Это несущественно. Важен факт. Только я хотел бы...

Гард оглядел кабинет, в котором они сидели, и редактор без слов понял этот взгляд.

— Не беспокойтесь,— сказал он,— здесь только те уши, которые не имеют языка.

— Тогда прочитайте при мне второй кусок, я хочу посмотреть на выражение вашего лица, дорогой лорд Аут.

С этими словами комиссар протянул статью Честера. Лорд углубился в чтение, и по мере того, как ему становились известны факты и, самое

главное, фамилии действующих лиц, он все больше краснел, пыхтел и покрывался потом.

— Не может быть! — воскликнул он, снимая очки и вновь надевая их на крупный, мясистый нос.— Это же... это...— Ему не хватало слов, и он потряс рукописью над головой.— Гард, вы меня просто...

— Убиваю? — мрачно подсказал комиссар.

— Что? Как вы сказали? Наоборот! — воскликнул лорд Аут.— Вы меня вернули к жизни! Я давно ждал такого материала, я с детства, если угодно вам знать, мечтал о фитиле генералу Дорону.

— Когда вы были ребенком, дорогой лорд, Дорон еще не был Дороном.

— Ах, вы не понимаете иносказаний!

— Хорошо. Я рад, что вы рады. Но должен предупредить вас о возможных последствиях. С генералом шутки плохи, и если вы хотите...

— Не хочу! — перебил редактор.

— Но вы не дослушали до конца.

— Все равно не хочу! Жить? Сохранить богатство? Обезопасить себя? Не хочу! Знаете, Гард, сколько мне лет? Сколько бы ни дали, будет мало.

— В таком случае давайте подумаем о том, что сделать, чтобы газета с этим материалом нашла читателя,— предложил Гард.— Боюсь, что прежде чем вы наберете эту статью, к вам явятся гости с небольшими кастетами в руках.

— Н-да...— сказал лорд Аут.— Что же вы предлагаете?

— Гард, это хорошо, что вы позвонили сами, но почему с таким перерывом?

— Дела, господин генерал. Собственно, мне нечего было вам сказать, да и сейчас тоже, я просто демонстрирую вам свою дисциплинированность.

— Предположим, комиссар. И все же?

— Мне очень трудно с Честером, но я не теряю надежд.

— Где вы находитесь?

— В управлении.

— Честер с вами?

— Да, генерал.

— Сколько времени необходимо вам, чтобы дать окончательный ответ?

— ...

— Что вы молчите, Гард?

— Думаю. Десять часов, генерал.

— Нет, дорогой мой Гард. Будет поздно. Такой срок меня совершенно не устраивает. Больше того, назначение именно этого срока вселяет в меня некоторые подозрения. Мне нечего вас предупреждать, комиссар, но вы понимаете, что просто ждать я тоже не умею. Я привык руководить событиями.

— Хорошо, господин генерал. Восемь часов.

— Не торгуйтесь, комиссар.

— А что хотите вы?

— ...

— Вы думаете, генерал?

— Да.

— Я жду.

— Два часа, Гард. И ни минуты больше. Через два часа я вынужден открыть действия. Вы меня поняли?

— Чего уж тут не понять, господин генерал. Мне и самому надоело это неведение. До свидания.

— Если оно состоится...

Полицейский, сидящий в машине, которая стояла у главного входа в редакцию «Все начистоту», принял телефонограмму, быстро расшифровал ее, выйдя из машины, стремительно поднялся на четвертый этаж — в кабинет лорда Аута. «В вашем распоряжении два часа»,— прочитал лорд Аут протянутую записку.

— Мы же договаривались о пяти! — с непосредственностью, достойной младенца, воскликнул редактор, обращаясь к полицейскому. Тот, недоуменно разведя руками, наградил лорда Аута глупой улыбкой.— Метраншаж! — заорал вдруг редактор.— Метраншаж!

В шесть часов вечера министр внутренних дел Воннел вызвал к себе для доклада комиссара Вутса. При их разговоре присутствовал только секретарь министра, но и этого было достаточно, чтобы в папку Тайного Совета легла стенографическая запись беседы:

ВОННЕЛ.— Вутс, с минуту на минуту может позвонить президент и вновь поинтересоваться сегодняшней статьей в этой паршивой газетенке.

ВУТС.— Вы говорите о стряпне Честера?

ВОННЕЛ.— Нет, я говорю о стряпне Честера!

ВУТС.— Так я же и говорю...

ВОННЕЛ.— Отвечайте по существу, комиссар, а то мы еще сутки не продвинемся ни на шаг: что вам известно по делу?

ВУТС.— В статье говорится о какой-то «зоне», о каких-то опытах над детьми... Но ни одной фамилии и никаких адресов автор не приводит.

ВОННЕЛ.— Благодарю вас, но я и сам умею читать. Кроме того, что опубликовано в газете, вы знаете что-либо о «зонах» и опытах?

ВУТС.— Как вам сказать...

ВОННЕЛ.— Так и скажите!

ВУТС.— Нет, не знаю.

ВОННЕЛ.— А что я должен, по-вашему, отвечать президенту?

ВУТС.— Что все это выдумка журналиста.

ВОННЕЛ.— А если не так? А если окажется, что в этой таинственной «зоне» ведется подкоп под безопасность государства? Или процветает запрещенный законом бизнес? И я сяду в лужу? И хорошо еще, если мне придется всего лишь покраснеть перед членами Тайного Совета! Тогда что?

ВУТС.— Тогда скажете, что...

ВОННЕЛ.— Хватит гадать, комиссар. Лучше свяжитесь с редактором «Все начистоту» или с автором статьи, узнайте подробности и доложите мне.

ВУТС.— Можно исполнять?

ВОННЕЛ.— Вы еще здесь, комиссар? А я-то думал, что вы уже беседуете с лордом Аутом!

Линда пустыми глазами смотрела на мужа, и Фред не терзал ее словесными утешениями, понимая их бесполезность. Говорить им было, в сущности, не о чем: все, что мог на этом этапе Фред сказать Линде, он написал в статье, и теперь с тоской представлял себе, что будет с женой, когда ей станет известно содержание второго куска.

Они сидели в кабинете Гарда. Тут же была Сюзи Бэйл,— присутствие женщины, как думал Гард, смягчит положение Линды,— но напряженность не спадала, даже позы присутствующих говорили о том, что они находятся в ожидании чего-то, но чего? Что мог предложить супругам комиссар Гард? Вокруг все словно замерло, как перед взрывом бомбы замедленного действия, которую уже невозможно обезвредить. Поглядывая на часы, Гард тоже ждал наступления роковых минут, знаменующих собой истечение срока, данного Дороном.

Нет, генерал не беспокоил Гарда ни своими визитами, ни даже телефонными звонками. Он тоже замер в своей резиденции, и Гард понимал, что взрыв неминуем...

— Кто хочет кофе?

Линда все теми же пустыми глазами посмотрела на Гарда и ничего не ответила. «Не обойдется без врача,— подумал Гард.— Как бы не пришлось пользоваться услугами психиатра...»

И вдруг взгляд Линды наполнился содержанием — какой-то разумной мыслью, уже выстраданной, отшлифованной мозгом, рожденной не сейчас...

— Что ты хочешь сказать? — встрепенулся Фред.

— Я хочу к Майклу,— четко произнесла несчастная женщина.— Я хочу к нему в Купол.

— Линда, там нет Земли...

— Но там Майкл.

— И нет жизни...

— Но там Майкл.

— Я не могу лишиться еще и тебя...

— Пойдем вместе. Ведь там Майкл.

ПРЕЗИДЕНТ.— Что сие означает, дорогой Воннел?

ВОННЕЛ.— У меня еще нет официальных данных...

ПРЕЗИДЕНТ.— К чему формальности, когда речь идет о детях и о судьбе государства?

ВОННЕЛ.— Судьба нашей страны, господин президент, в надежных руках — в ваших! Я спокоен, пока вы...

ПРЕЗИДЕНТ.— Не будем отвлекаться, дорогой Воннел.

ВОННЕЛ.— Видите ли, господин президент, публикация журналиста Честера — вымысел, как доложили мне мои помощники. И именно по этой причине в ней нет фамилий и адресов...

ПРЕЗИДЕНТ.— Вы что-то путаете, Воннел. Есть и адрес: остров Холостяков, есть и фамилия: генерал Дорон, даже цель указана: покорение Марса...

ВОННЕЛ.— Где? Когда?! Впервые слышу...

ПРЕЗИДЕНТ.— Надо читать газеты, Воннел, тем более вам, уж коли вы отвечаете за охрану государства. Разве перед вами не лежит вечерний выпуск «Все начистоту»?

ВОННЕЛ.— Чего?! Простите, господин президент, но газетенка не имеет вечернего выпуска!

ПРЕЗИДЕНТ.— Что ж, по-вашему, я вас разыгрываю? Вроде бы нам не по чинам и не по возрасту... Через два часа состоится внеплановое заседание Тайного Совета. Подготовьтесь к нему, Воннел, и позаботьтесь, чтобы на заседании присутствовал генерал Дорон.

— Дитрих, Гарда! Из-под земли!

Впрочем, война объявлена, и объяснение с Гардом уже ничего не даст. Что может сказать ему Дорон? Что он считал комиссара порядочным человеком,— как странно оперировать этим термином в данной ситуации, но что поделаешь, если порядочность Гарда, нигде и никогда не запятнанная, и позволила генералу так дешево обмануться!— да, считал порядочным человеком, но теперь с удовлетворением констатирует, что Гард такой же мерзавец, как... как кто? Как все остальные? Как сам генерал Дорон?

Увы, разговор с комиссаром был бы бессмысленным.

Итак, ему удалось усыпить бдительность генерала. Всего на два часа. Как не понял этого Дорон, торгуясь с комиссаром по поводу часов! А ведь подозревал подвох. Ну и чутье у генерала! Но двух часов оказалось достаточным, чтобы выскочила вторая публикация!

Тираж вышел. Бригада «Молния» безнадежно опоздала. Счеты Дорон будет сводить потом, сейчас надо думать, как поступать дальше.

Уже был звонок от президента.

Уже последовал вызов на заседание Тайного Совета.

Уже объявился этот кретин Воннел.

И уже дежурят возле особняка Дорона люди Вутса.

— Генерал, у телефона комиссар Гард,— бесстрастным голосом объявил Дитрих.

— Вы его нашли или он сам?

— Он сам,— сказал Дитрих.

Помешкав, Дорон взял трубку:

— Что скажете, комиссар?

— Я обеспокоен только одним обстоятельством. Прошу выслушать меня, генерал, так как, по всей видимости, нам не скоро удастся встретиться и поговорить.

— Продолжайте.

— Я понимаю, что перед вами несколько возможностей, которые будут зависеть от хода событий. Не исключено, что вы предусмотрели вариант с уничтожением Купола и «зоны».

— Предположим.

— Вы знаете меня, генерал. Так вот, я обещаю вам, что выйду из игры, если дети останутся живы. В противном случае...

— Ну? Продолжайте.

— В противном случае я лично найду вас, где бы вы ни были, и лично рассчитаюсь с вами.

— Угроза?

— Да. Предупреждение.

— А что значит «выйду из игры»?

— Вы обратили внимание на то, что и во второй публикации Честера не упомянута моя фамилия? Это я настоял. Будут живы дети — и меня нет. Понимаете, генерал? Я не был в «зоне», я ничего не видел, ничего не знаю. Всегда вы меня покупали, сегодня я хочу купить вас своим обещанием молчать. Я выведу из игры своих людей — Таратуру, девушку, даже вашего Шиза. Перед лицом общественности у вас останется один противник: Честер. Я буду всеми силами оберегать его жизнь, но, как вы понимаете, я все же облегчаю вашу задачу. В обмен на жизнь детей!

— Гарантии?

— Когда получу гарантии от вас.

— Так... Я подумаю.

— Через тридцать минут, генерал, я вновь позвоню вам.

— Нет, через час.

И обе трубки одновременно легли на рычаг.

«Какое решение он примет?— думал Гард, закончив разговор с генералом.— Что сделают президент и правительство? Как отнесутся к происшедшему члены Тайного Совета, которые, вероятно, уже назначили час для совещания? Какова будет реакция общественности, сколь сильным окажется возмущение народа? И чего больше испугаются сильные мира сего: человеконенавистнической затеи Дорона или взрыва всеобщего возмущения?»

Сплошные вопросы — и ни одного достоверного ответа!

Самое печальное, что, находясь в центре событий, имея под рукой верных помощников, формальные полномочия, оружие в конце концов, Гард до болезненности ощущал свое бессилие.

Нет, он не мог сейчас, когда упущено время, арестовать преступников. Не мог своей властью переправить на остров отряд полицейских и предотвратить уничтожение «зоны». Не мог явиться к президенту со своими предложениями, даже если бы они были у него, потому что глава государства сам был бессилен и зависим от Тайного Совета. Не мог, наконец, потребовать своего вызова на заседание высшего органа власти, чтобы изложить перед членами Тайного Совета соображения об опасной затее генерала Дорона, о пре-

ступности его замыслов и деяний, поскольку такой ход комиссара полиции мгновенно приводил к гибели двух сотен детей...

Гард не мог даже предугадать, как повернется дело через минуту. Он ждал, а чего ждал — неизвестно.

«Дурацкая страна,— думал он,— если самыми счастливыми людьми в ней можно считать,— да простит меня бог за кощунство! — детей, живущих под Куполом: ни думать им ни о чем не надо, ни страдать, и иметь в перспективе возможность бежать на Марс с этой мерзкой обетованной Земли!..»

На заседании Тайного Совета генерал Дорон держался уверенно, внешне непринужденно, но те, кто знал его, не могли не заметить, что он тратит массу усилий, сдерживая волнение.

Да, он положил на весы этого самого могущественного в стране органа свою яркую речь, убедительность которой могла бы подействовать на кого угодно, но только не на членов Тайного Совета, и теперь ждал, какая чаша перевесит.

Да, он добровольно поднялся на эшафот, отказавшись от возможности бежать за границу, уйти в глубокое подполье или явиться сюда в сопровождении Дитриха и его группы «Молния», и теперь был в напряжении, поскольку еще сам не знал, к чему приговорит его Тайный Совет: к тому ли, чтобы быть казненным, или к тому, чтобы стать палачом.

Он сказал, что идея покорения Марса плодотворна, поскольку усилит мощь государства, даст бурные доходы, возвысит народ страны в глазах всего мира и в своих собственных; и с этой мыслью члены Тайного Совета, кажется, согласились, хотя и задали генералу вопрос о том, как, он полагает, будут распределяться обещанные доходы.

Он сказал, что был вынужден окутать тайной свою деятельность в интересах общей безопасности, и члены Совета опять не возразили, хотя всем было ясно, к чему это могло привести. Но и Дорон, и все присутствующие, и даже министр Воннел понимали, что давний замысел генерала не имеет теперь никакого значения, что отсчет нужно вести с той минуты, когда он вновь сравнялся в своих возможностях с остальными, равными себе, и что опасность каждого здесь присутствующего определяется не его неосуществленными замыслами, а его реальными делами.

Генерал сказал, что идея перестройки человеческого организма и ее реализация — пример, свидетельствующий о потрясающих возможностях науки, перспективы которой просто необозримы, и намекнул при этом, что в недалеком будущем можно будет создавать киборгов, то есть кибернетически организованных людей, способных решать разные задачи,— и члены Тайного Совета его отлично поняли, хотя и поморщились, когда Дорон дал им понять, что ученые, решающие эти проблемы, находятся в его ведении и «даже сейчас продолжают свою деятельность, результаты которой мы вынуждены сохранить в тайне все в тех же высших интересах».

Наконец, Дорон сказал, что реакция народа на статьи Честера, опубликованные в газете «Все начистоту», дает отличную возможность еще больше обострить классовую борьбу и, воспользовавшись этим, решительно подавить сопротивление оппозиции и разделаться с зачинщиками одним ударом — это никогда не вредно, даже полезно, особенно в настоящий момент! — и члены Тайного Совета с видимым одобрением встретили эти слова Дорона.

Провозгласив все это, генерал сел, и нельзя сказать, что он был так уж неуверен в окончательном решении Совета. Он понимал, что каждый из присутствующих взвешивает сейчас возможность либо ограничить генерала в дальнейшей работе над проектом «Космос», либо отстранить его вовсе, либо дать ему карт-бланш, но под неусыпным контролем Тайного Совета.

Высший орган власти никогда никому не позволял возвыситься над остальными хоть на мгновение и хотя бы на один миллиметр, но он, как правило, и не допускал понижений...

ОТ АВТОРА

— Дэвид,— сказал я Гарду,— как ты отнесешься к тому, что я опубликовал эту рукопись?

Он пожал плечами.

— Ответь мне прямо,—настаивал я.

— Хорошо,—сказал он, подумав,—отвечу тебе прямо. Меня, как знать, больше всего беспокоит моя собственная персона, хотя у тебя и получилось, что в этом деле я проявил свою полную несостоятельность.

— Отнюдь!..— начал было я, но он перебил:

— Не возражай. Я знаю, что говорю. Но меня волнует другое: чему ты, собственно, хотел научить читателя? Что хотел ему сказать?

— Я хотел сказать,— ответил я, как прилежный ученик отвечает урок учителю,— что народ в массе своей не должен быть стадом. Что он не имеет права отказываться добровольно от решительных действий. Что изменять нашу жизнь надо здесь, на Земле, а не искать свое счастье на Марсе. И что безмерному терпению должен когда-то прийти конец...

— И по всему по этому,— прервал меня Гард,— ты решил наступить читателю на ногу и еще извиниться за это?

Я промолчал.

— Ну ладно,— сказал он, чуть успокоившись.— Разбередил ты старые раны, потревожил память добрых людей...

Он закурил, надолго задумался, я не мешал ему. Потом он неожиданно произнес:

— Прошло время, дорогой мой друг, и еще пройдет, а время не только лечит, оно, как известно, крадет годы даже у бога.

— Бога нет,— сказал я.— Надо рассчитывать на себя. Только на себя! Ты понимаешь это, Дэвид?

МОЖНО П

Кирилл БУЛЫЧЕВ

РАССКАЗ

Рисунок **Валерия КАРАСЕВА**

— Можно попросить Нину? — сказал я.
— Это я, Нина.
— Да? Почему у тебя такой странный голос?
— Странный голос?
— Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
— Не знаю.
— Может быть, мне не стоило звонить?
— А кто говорит?
— С каких пор ты перестала меня узнавать?
— Кого узнавать?

Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми.

— Ну ладно,— сказал я.— Послушай, я звоню тебе почти по делу.

— Наверно, вы все-таки ошиблись номером,— сказала Нина.— Я вас не узнаю.

— Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич. Что с тобой?

— Ну вот! — Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор.— Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.

— Простите,— сказал я и повесил трубку.

Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели?

Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверно, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело. Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она тысячу лет не была в театре.

Я позвонил Нине.

— Нина? — сказал я.

— Нет, Вадим Николаевич,— ответила Нина.— Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?

— 1434089.

— А у меня Арбат-один-тридцать два-пять-три.

— Конечно,— сказал я.— Арбат — это четыре?

— Арбат — это «Г».

— Ничего общего,— сказал я.— Извините, Нина.

— Пожалуйста,— сказала Нина.— Я все равно не занята.

— Постараюсь к вам больше не попадать,— сказал я.— Где-то заклинилось. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.

— Да,— согласилась Нина.

Я повесил трубку.

Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции. И я дозвонюсь. Двадцать два часа ровно, сказала женщина по телефону «сто». Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер «сто», когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос.

Я позвонил Нине.

— Я вас слушаю,— сказала Нина молодым голосом.— Это опять вы, Вадим Николаевич?

— Да,— сказал я.— Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен.

— Конечно, конечно,— быстро сказала Нина.— Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите?

— Нет,— сказал я.

— У вас важное дело к Нине?

— Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.

— Соскучились?

— Как вам сказать...

— Я понимаю, вы ревнуете,— сказала Нина.

— Вы смешной человек,— сказал я.— Сколько вам лет, Нина?

— Тринадцать. А вам?

— Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.

— И каждый кирпич — это месяц, правда?

— Даже один день может быть кирпичом.

— Да,— вздохнула Нина,— тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?

— Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.

— А если бы вам было тринадцать лет или даже пятнадцать, мы могли бы познакомиться,— сказала Нина.— Это было бы очень смешно. Я бы сказала: приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?

— Как когда.

— И у Пушкина?

— Не совсем. Мы как-то встречались у «России».

— Где?

— У кинотеатра «Россия».

— Не знаю.

— Ну, на Пушкинской.

— Все равно почему-то не знаю. Вы, наверно, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.

— Ну, это неважно,— сказал я.

— Почему?

— Это давно было.

— Когда?

Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то упорно продолжала разговор.

— Вы одна дома?— спросил я.

— Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск.

— Ага,— согласился я.— Ну ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.

— Вы со мной заговорили, как с ребенком.

— Нет, что ты, я говорю с тобой, как со взрослой.

— Ну и ладно. Только сами, если хотите, ложитесь спать с семи часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине. А то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.

Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал.

В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в одиннадцать, целый час занимал себя пустяками. И решил, что, если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.

— Я так и знала, что вы еще раз позвоните,— сказала Нина, подойдя к телефону.— Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано.

— Ладно,— сказал я.— Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?

— Сейчас только восемь,— сказала Нина.

— У вас часы отстают,— сказал я.— Уже двенадцатый час.

Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.

— Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас,— сказала она.— Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.

— Теперь ваша очередь шутить?— спросил я.

— Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.

— Почему врет?

— А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль?

— Нет, декабрь,— сказал я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом, на диване. «Двадцать третье» было написано под заголовком.

Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила:

— А вы ужинали?

— Не помню,— сказал я искренне.

— Значит, не голодный.

— Нет, не голодный.

— А я голодная.

— А что, дома есть нечего?

— Нечего! — сказала Нина.— Хоть шаром покати. Смешно, да?

— Даже не знаю, как вам помочь,— сказал я.— И денег нет?

— Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?

— Да,— согласился я.— Все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?

— У вас есть холодильник?

— Старый,— сказал я.— «Север». Знаете такой?

— Нет,— сказала Нина.— А если найдете, что потом?

ОПРОСИТЬ НИНУ?

— Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете.

— А вы далеко живете? Я — на Сивцевом Вражке. Дом 15/25.

— А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом.

— Опять не знаю. Только это неважно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте.

— Если бы я помнил,— сказал я.— Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим.

Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.

— Итак,— сказал я,— открываем холодильник.

— А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком.

— Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?

— В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?

— Значит, так... что тут, в пакете? Это яйца, неинтересно.

— Яйца?

— Ага. Куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины, шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?

— Да,— сказала Нина совсем тихо,— Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.

— Это еще почему? В самом деле так проголодалась?

— Нет, вы же знаете.

— Что я знаю?

— Знаете,— сказала Нина. Потом помолчала и добавила: — Ну и пусть! Скажите, а у вас есть красная икра?

— Нет,— сказал я.— Зато есть филе палтуса.

— Не надо, хватит,— сказала Нина твердо.— Давайте отлечемся. Я же все поняла.

— Что поняла?

— Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?

— Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас, полдвенадцатого, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден «Мосфильм». И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.

— И вы все видите?

— Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков, окон!

— Вот вы и врете!

— Нельзя так со старшими разговаривать,— сказал я.— Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?

— Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.

— Что же она, невидимая, что ли?

— Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.

— Почему? Я стою перед самым окном.

— А у вас в кухне свет горит?

— Конечно, а то как же я в темноте в холодильник бы лазил. В «Севере» нет лампочки.

— Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.

— Нина, милая, объясни мне, в чем ты меня поймала.

— Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет. Правильно?

— Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?

— Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?

— Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток... Я не об этом.

— И я не об этом... Постойте, а вы инвалид?

— К счастью, все у меня на месте.

— У вас бронь?

— Какая бронь?

— А почему вы тогда не на фронте?

Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде

бы разыгрывала. Но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугала.

— На каком я должен быть фронте, Нина?

— На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?

— Не вру,— сказал я.— И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?

— Так я в самом деле не шучу! — почти крикнула Нина.— И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело. А теперь стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.

— Честное слово, девочка, я говорю правду,— сказал я.

— Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.

И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос:

— Вы почему не на фронте?

— На каком я могу быть фронте? — Уже и в самом деле шутки зашли куда-то не туда.— Какой может быть фронт в семьдесят втором году!

— Вы меня разыгрываете?

Голос опять сменил тон, был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами — то, что было, но со мной, много лет, тридцать или больше лет назад. Когда мне тоже было двенадцать лет. И в комнате стояла буржуйка. И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда не думал о курице...

— Вы почему замолчали?— спросила Нина.— Вы лучше говорите.

— Нина,— сказал я.— Какой сейчас год?

— Сорок второй,— сказала Нина

И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия». И телефон у нее только из шести номеров. И затемнение...

— Ты не ошибаешься?— спросил я.

— Нет,— сказала Нина.

Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не тринадцать лет? Может, она, сорокалетняя женщина, заболела еще тогда, девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?

— Послушайте,— сказал я спокойно. Не вешать же трубку.— Сегодня двадцать третье декабря 1972 года. Война кончилась двадцать семь лет назад. Вы это знаете?

— Нет,— сказала Нина.

— Вы знаете это. Сейчас двенадцатый час... Ну как вам объяснить?

— Ладно,— сказала Нина покорно.— Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает.

— Почему?

— Во Франции немцы.

— Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.

— Как так? Кто их пускает?

— А почему не пускать?

— Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят! Вы, наверно, просто вредитель или шпион?

— Нет, я работаю в СЭВе, в Совете Экономической Взаимопомощи. Занимаюсь венграми.

— Вот и опять врете! Венгры — тоже фашисты.

— Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика.

— Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.

И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за декабрь. И я сказал:

— Мы победим фашистов девятого мая 1945 года.

— Не может быть! Очень долго ждать.

— Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем второго мая. Даже будет такая медаль — «За взятие Берлина». А Гитлер покончит с собой. Он примет яд. И даст его Ева Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор Имперской канцелярии, и обольют бензином, и сожгут...

Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверия, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины: хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через пятнадцать лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю: она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой:

— Ты знаешь Петровку?

— Знаю,— сказала Нина.— А ее не переименуют?

— Нет. Так вот...

Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь сорок второго, середина месяца, то в подвале вернее всего лежит хлебная карточка. Мы там, во дворе, играли в футбол, и я карточку потерял.

— Какой ужас! — сказала Нина.— Я бы этого не пережила. Надо отдать карточку обратно. Сделайте это.

Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся,— мы были вне времени, ближе к ее сорок второму году.

— Я не могу найти карточку,— сказал я.— Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты.

И в этот момент нас разъединили.

Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал:

— Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе.

— Вы ошиблись номером,— сказал я.

— Извините,— сказал женский голос равнодушно.

И были короткие гудки.

Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась в общем чепуха...

— Да,— сказал голос Нины. Другой Нины.

— Это вы? — спросил я.

— А, это ты, Вадим? Что тебе не спится?

— Извини,— сказал я.— Мне другая Нина нужна.

— Что?

Я повесил трубку и снова набрал номер.

— Ты с ума сошел? — спросила Нина.— Ты пил?

— Извини,— сказал я и снова бросил трубку.

Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат-три, нет, Арбат-один-тридцать два-тридцать... Нет, сорок...

Взрослая Нина позвонила мне сама.

— Я весь вечер сидела дома,— сказала она.— Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума.

— Наверно,— согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.

— Какая еще другая Нина? — спросила она.— Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?

— Спокойной ночи, Ниночка,— сказал я.— Завтра все объясню.

...Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день, утром, я поехал к маме. И сказал, что разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к «Ниве». Книги были не пыльными, но пахли старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть,— если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть.

Четыре первые цифры известны. Г-1-32... И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял на переулке Сивцев Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала:

— Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через десять минут. И уборке конец.

Она не заметила, что я читаю телефонную книгу.

Я нашел этот телефон. Двадцать лет назад он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году. И записан был на Фролову К. Г.

Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев Вражек.

Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол.

Уже стемнело. По новому району, среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с двадцатилетним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И по тому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали.

Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом.

— Скажите, Фролова Нина Сергеевна — ваша соседка?

Парень в майке, с дымящимся пальчиком в руке отчетил равнодушно:

— Они уехали.

— Куда?

— Месяц как уехали на Север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна и муж ее.

Я извинился, начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова, 1930 года рождения.

И тут дверь сзади снова растворилась.

— Погодите,— сказал тот же парень.— Мать что-то сказать хочет.

Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.

— А вы кем ей будете?

— Так просто,— сказал я.— Знакомый.

— Не Вадим Николаевич?

— Вадим Николаевич.

— Ну вот,— обрадовалась женщина,— чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверно, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как...

Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: кто он тебе? И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый».

Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.

«Дорогой Вадим Николаевич!

Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе самой уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать...»

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

Кир. БУЛЫЧЕВ

РАССКАЗ

Телефон зазвонил в половине двенадцатого. Я дал ему отзвонить раз десять, надеясь, что надоест. Кому-то что-то было от меня нужно. Я не филантроп, я не гуманист, я равнодушный к людям человек. Я бываю хорошим только потому, что так проще. Я снял трубку, прорычал в нее какое-то слово, которое можно было трактовать как угодно.

— Гиви,— сказал телефон голосом Давида.— Я тебя не разбудил?

— Разбудил,— сказал я.

— Я так и думал,— сказал Давид.— Сейчас за тобой заедет наша машина. Шеф уже в институте.

— Очень тронут,— сказал я.— А что делает мой дорогой шеф в институте в двенадцать часов ночи? Несовершеннолетние преступники разобрали установку на винтики для детского конструктора?

— Не паясничай, Гиви,— сказал Давид скучным голосом. Он всегда говорит скучным голосом, когда я паясничаю.— Серьезное дело. Машина заедет за Русико, это ведь недалеко?

— Рядом. Я вчера провожал ее до дому, и ее отец целился в меня с балкона из ружья. А ведь охотничий сезон еще не открыт.

Давид повесил трубку, чем показал всю серьезность своих намерений. Я решил никуда не ехать, за меня вступится профсоюз, но на всякий случай начал одеваться. В этом вся моя непоследовательность. Наверно, она происходит оттого, что я рос без отца. Я принимаю решение и тут же начинаю действовать наоборот.

Я не успел накинуть пиджак, как под окном коротко тявкнула машина. По голосу это была директорская машина. Разумеется, я должен куда-то ехать, а все за меня уже решено.

Было холодно, как в феврале высоко в горах. Русико была ненакрашена и полна сознания собственного достоинства. Не каждый день за хирургической сестрой присылают черную «Волгу».

— Русико,— спросил я, усаживаясь с ней рядом,— что приключилось в институте?

— Не знаю,— сказала Русико таким тоном, будто она-то знала, а вот еще неизвестно, допущен ли я к тайне.— Мне позвонили.

— Оттуда? спросил я, уперев палец в потолок машины.

— Будет операция,— сказала Русико. Наверно, из-за землетрясения.

— Чего? Какое еще землетрясение?

—Утром было землетрясение,— сказал шофер, -- в горах.

-- А мне не сообщили,— обиделся я.— Наверно, судачили, а когда я вылез из лаборатории, ни слова. А я обожаю поговорить о землетрясениях. Скажите, сегодня в Тбилиси не было извержения вулкана?

— У нас здесь нет вулканов,— объяснила мне прекрасная Русико.— Вулканы на Камчатке.

Перед институтом было вавилонское столпотворение, как будто дело происходило в конце рабочего дня. Стояли машины, бегали люди, в половине окон горел свет.

— Землетрясение продолжается,— сказал я, вылезая из машины. Мной уже овладели всевозможные предчувствия.

Давид и сам Лордкипанидзе стояли посреди холла.

— А вот и Гиви,— сказал Лорд и, обернувшись к Русико, приказал:— Сейчас же наверх, в операционную. Я скоро там буду.

— Простите,— сказал я.— Где здесь справочное бюро? Я желал бы получить информацию о своем ближайшем будущем.

— Разъясните,— сказал Лорд и понес свое грузное тело на второй этаж.

— Только в двух словах,— предупредил меня Давид.— Мне позвонил Пачулия из «Скорой помощи». Ты его знаешь? Не знаешь? Ну, ладно. У них больной, шоковый, неизвестно еще, вытянут они его или нет. А там эпицентр землетрясения. Маленького землетрясения.

Пальцы Давида показали, какие маленькие бывают землетрясения.

— Не может быть! — поразился я.— Таких маленьких не бывает.

— В Тбилиси в некоторых районах звенела посуда в шкафах.

— Это от городского транспорта,— постарался я утешить Давида.— А все-таки мы при чем? Мы — не «Скорая помощь». Мы — научно-исследовательский институт, можно сказать, Институт мозга.

— Вот именно. Институт мозга. А Пачулия знал, над чем мы работаем. Он в феврале был на конференции в Киеве. Идея, конечно, малореальная, но от этого зависят жизни других людей.

— Так что подумал Пачулия?

Давид посмотрел на круглые электрические часы над лестницей.

— Я начну сначала,— сказал он.— Два часа назад на дороге, в сорока километрах от города, был найден некто Бесо Гурамишвили. Его нашел шофер грузовика и хотел было отвезти в больницу, в район, но тут появилась машина спасателей. Они его искали.

— А почему спасатели искали Бесо? Он альпинист?

— Нет, он спелеолог. Ты, конечно, не читал, ты ничего, кроме развлекательной литературы, не читаешь. В прошлом году спелеологи начали прохождение пещеры недалеко от Телави. Об этом писали.

— Ну и что дальше? — спросил я.— Где мы появляемся на сцене?

— Сегодня днем там было землетрясение. Вход в подземелье завалило, связь прервалась, и что случилось со спелеологами, никому не известно. Представляешь, до самой ночи они пытаются буриться завал, ищут, нет ли других ходов в пещеру, и вдруг на дороге, в десяти километрах от входа, оказывается Бесо Гурамишвили. Они подозревают, что там неподалеку другой вход, но пока не нашли.

— А он ничего не может рассказать.

— Правильно. Он ничего не может рассказать, и есть основания полагать, что привести в сознание его сегодня не удастся... И тут может потребоваться наша помощь.

— Каким образом?

— Установка.

— А как с ее помощью добраться до спелеологов?

— Идем наверх, по пути ты будешь думать. Может, догадаешься.

Я шел по лестнице. Передо мной покачивалась широкая, мягкая спина Давида, и я никак не мог придумать, как с помощью нашей установки можно откопать спелеологов. Сразу восемнадцать человек, нет, семнадцать, один из них как-то выкарабкался...

— Понял,— сказал я.— Значит, Бесо знает, как к ним пробраться, не разбирая завала.

— Ты почти гений,— сказал Давид серьезно.— Эта мысль пришла Пачулии, когда он вез Бесо в Тбилиси.

Мы остановились в дверях кабинета Лорда.

Давид спросил:

— Будем готовить установку?

— Я уже распорядился.— сказал Лорд — Кто будет принимать?

— Я,— сказал Давид.

Лорд посмотрел на него в глубоком сомнении. Я понимал Лорда. Давид — мальчик из хорошей семьи, которого много и вкусно кормили в детстве и не заставляли заниматься спортом. Давид получился мягкий, теплый, округлый, но, на удивление родственников, работящий. Он близорук, его возили ко всем окулистам Союза, чуть ли не во Владивосток. Другой на месте Давида возненавидел бы медицину, а он, наоборот, полюбил ее. За муки, что ли?..

— Если получится, - сказал Лорд,— то придется туда идти...

И он обратил свой взор ко мне, из-за чего я непроизвольно расправил плечи. Я рос в деревне, много дрался, меня не возили по врачам и не учили музыке.

— А ты, Гиви, как думаешь? — спросил Лорд.

— Я думаю, что можно приступать,— сказал я.

Давид замурлыкал что-то о своем опыте и готовности. Лорд уже шел к лаборатории.

— Давид,— постарался я его утешить.— Каждому свое.

Я люблю нашу установку, наверно, потому, что за эту любовь мне платят зарплату и иногда дают премии. И еще потому, что понимаю в ней куда меньше Лорда и даже меньше Давида. Хотя никто не понимает ее целиком. Она настоящая женщина: непредсказуема и капризна. Она может одарить тебя потрясающими данными, а затем обидеться на что-то и отказаться с тобой сотрудничать. Она занимает половину второго этажа и подвал, куда уходят инженеры, относящиеся к нам, медикам, как к людям второго сорта, годным лишь на то, чтобы губить их изобретения. Инженеры сделали установку, мы разработали методику ее применения, и все друг другом взаимно не удовлетворены. Хотя в этом есть определенная доля кокетства. Искренен в этой компании лишь я. Потому что меня все равно никто не возит на конгрессы в Париж и у меня нет очков в красивой оправе, как у Лорда. Я лучше их всех умею работать руками, и, когда мы возимся с собаками, эти твари предпочитают, чтобы их резал я, потому что им не так больно. Я знаю это наверняка: несмотря на строжайший запрет Лорда, я принимал информацию от кобеля по кличке Руслан — это было переживание, удивительное по бедности чувств, наверно, я не смог разобраться в эмоциях пса. Но одно я знаю наверняка: ко мне Руслан испытывал симпатию, а к Давиду — никакой. Он хотел Давида укусить.

Я заглянул в операционную через стеклянную дверь. Русико готовила инструменты. В желтом халате она выглядит эффектно. Когда она подняла голову и улыбнулась мне, я изобразил на лице восхищение, но боюсь, что она меня не поняла, потому что рассчитывает выйти замуж за Давида, а он опасается, что мама будет возражать.

Я пошел бриться. Я уже смирился с тем, что раз в неделю мне приходится брить голову, и утешаю себя, что я похож на Маяковского в трудный период его жизни. Мои знакомые полагают, что это — мое чудачество, способ побороть интеллектуальную неполноценность. Нателла уговаривала меня купить парик. Она даже нашла какого-то Саркиса, который привез парик из Венеции и мог с ним расстаться из любви к ней, к Нателле. Я не принял жертвы влюбленного Саркиса, только пожалел венецианцев, которые ходят в париках.

Я брился и вспоминал, как мы в первый раз, два с лишним года назад, включили установку. Руслан и рыжая собачка из цирка лежали, привязанные к столам в этой самой операционной. Я ввел иглу в мозг Руслана, Нателла фиксировала датчики. Лорд волновался и потому был с нами резок и рычал на Русико. Давид с инженерами суетились у пульта, и, хотя минут через десять главный инженер сказал: «Пошла запись»,— мы ни в чем не были уверены. Когда собаки проснулись, мы следили за ними, как подозрительные ревнивцы за женами, а собаки лакали молоко, ели мясо, и Руслан смотрел на дрессировщика пустыми глазами. А мы ведь специально выбрали цирковую собаку, потому что она многое в жизни испытала и умела. Дрессировщик ворчал, что теряет понапрасну время, хотя мы платили ему по высшей ставке. Он не верил, что можно передать память, записать и передать, что Руслан должен знать теперь то, что знает его рыжая собачка. Мы и сами сомневались. И это было самое паршивое, потому что на это дело было ухлопано несколько лет и масса денег и все эти годы самые серьезные и образованные люди считали Лорда шарлатаном. А к вечеру того же дня, когда усталый и скептически настроенный дрессировщик вновь приступил к Руслану со своими приставаниями, наш драгоценный пес изобразил на морде профессиональное отвращение, прошелся на задних лапах, сделал сальто и неловко прыгнул сквозь затянутое папиросной бумагой кольцо. Рыжая собачка смотрела на него во все глаза и подсказывала на собачьем языке, что делать дальше. Руслану было противно заниматься делами, недостойными честного крупногабаритного пса, но он занимался, потому что в его памяти уже лежали рефлексы, полученные от рыжей собачки. Через два дня он обо всем забыл и вернулся к обычной, непритязательной жизни. Дрессировщик так и не поверил, что собаку можно в пять

ПАМЯТИ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

минут научить всему, что его подопечные впитывали в себя месяцами, забрал свое рыжее сокровище с бритой головой, рассчитался в бухгалтерии и остался нами недоволен.

Все это не значит, что мы с тех пор катились к славе по рельсам. Мы плелись к ней, проваливаясь в ямы, блуждая по горным тропинкам, и регулярно возвращались к началу пути, охваченные удручающей мыслью о том, что никогда из этого лабиринта не выберемся! Мы работали с самыми умными собаками Грузии, а они почему-то передавали своим преемникам лишь обрывки глупых воспоминаний или манеру кусаться исподтишка. Мы лелеяли макак и мартышек, которые никак не могли получить от информантов элементарные навыки кидать кожурой банана в нелюбимого смотрителя. Мы, наконец, жертвовали собой, и я два дня подряд мучился застарелым раскаянием Давида, который, оказывается, в семилетнем возрасте украл запонку у дедушки Ираклия и в ужасе от содеянного запустил ее в Куру.

— Гиви, ты готов? — спросила Нателла.— Больного уже привезли.

— Я как пионер,— ответил я.— Всегда готов. Ты была когда-нибудь пионеркой?

— Гиви,— сказала Нателла с укором. Ей хотелось, чтобы я был такой же серьезный и талантливый, как Лорд, чтобы я был альтруистом, отзывчивее самого Швейцера. Она с женской недальновидностью не понимала, что, выполнив все ее условия, я потерял бы для нее привлекательность.

— Ты была самой умненькой и передовой пионеркой в классе,— сказал я убежденно.

— Я тебя подготовлю,— сказала Нателла.

— Не надо. Меня будет готовить Давид. Не лишай его этого удовольствия. Если же ты этим займешься, то я не смогу настроиться на прием. Я буду думать только о тебе. Кстати, ты не хотела бы стать моим информантом? Я тебе достану парик.

— Ни в коем случае,— сказала Нателла.— И не из-за волос.

— Ты боишься, что я узнаю о твоем настоящем отношении ко мне.

— Да, боюсь.

Когда я, стерилизованный, как тампон, воняя йодом, появился в операционной, там уже все было готово. Я подошел к столу, на котором лежал Бесо Гурамишвили. Наш анестезиолог проводил военный совет с седовласым и заслуженным коллегой из института хирургии. Я им не завидовал. Даже мне было ясно, что они поддерживают в Бесо жизнь из последних сил. Бесо мне понравился. Его обрили, и он стал похож на меня. Или на Маяковского.

— Ты готов, Гиви? — спросил Лорд отеческим голосом, как будто собрался пригласить меня в зоопарк или кафе-мороженое.

Я лежал на столе и, если повернуть голову, мог увидеть острый темный профиль Бесо. Анестезиологи пришли к какому-то решению, и молоденькая кардиологичка из нашего института была допущена в их высокое совещание. Я попытался представить себе, каково там в пещере; там очень темно и, наверно, страшно. Я никогда не был в пещерах, наверно, я ощущаю духовную близость к троглодитам и боюсь пещерных медведей и тигров. Давид смотрел на меня ласково, как мальчик из хорошей семьи на мальчишку с соседнего двора, с которым ему не велено играть, но играть очень хочется.

— Надеюсь, Бесо никогда не крал запонок у дедушки Ираклия,— сказал я Давиду, и это были мои последние слова, потому что они дали мне наркоз, чего я также не выношу.

Наверно, во сне я думал о том, что анестезиологи меня надолго отключать не будут, потому что я пришел в себя именно с этой мыслью в голове. Но кто я такой и почему меня не надо надолго отключать, я догадался не сразу.

Было темно. За стеклянной матовой дверью горел свет и по стеклу, как в театре теней, проплывали человеческие силуэты. Страна ждала моего пробуждения.

Как всегда, болела голова. Я был разочарован в себе и виноват перед Лордом, который на меня так рассчитывал. Я поднял руку, чтобы посмотреть на часы, но, конечно, никаких часов на мне не было. За дверью шелестели голоса. Слух у меня был обостренный, и я различил чей-то низкий голос, наверно, Лорда:

— По нашим данным, обычно проходит несколько часов, прежде чем начинается приживание информации.

Дверь открылась, и на цыпочках вошла Нателла. Я закрыл глаза, мне не хотелось с ними разговаривать. Нателла что-то делала на столике у койки, звякнул стакан. Она вышла. Сказала там, в коридоре:

— Спит еще.

— Я сделала кофе,— услышал я голос Русико.

Я был благодарен Русико, которая догадалась, как их всех отвлечь от двери. Они, видно, тоже обрадовались возможности отвлечься, и мелькание теней на стекле прекратилось.

Мне надо было что-то вспомнить. Я что-то забыл. Что-то важное. Я представил себе Бесо, лежавшего на операционном столе, и подумал, что никогда еще не видел себя со стороны. То есть не себя, а его. Я чего-то не сделал, что обязательно должен был сделать, хотя эта обязательность относилась не ко мне, а к Бесо, и меня беспокоило, не потерял ли я Это. Где-то в глубине сознания я оставался самим собой и понимал, что во мне просыпаются мысли Бесо, и рад был тому, что они существуют, но в то же время не только для Бесо, но уже и для меня важнее было вспомнить об Этом. О пещере? Нет, не о пещере. Я понимал, что Это важнее сейчас, чем пещера, и я ничего не знаю о пещере. И не могу вспомнить о ней, потому что никогда в ней не был, близко не подходил. А Это должно было лежать в кармане джинсов.

Тут уж пришлось думать мне самому, без помощи Бесо, мысли которого мне только мешали, тревожили и подгоняли. Бесо не знал, где могут быть джинсы. Он ничего не знал об институте, о том, как он оказался здесь. Это знал только я.

Когда Бесо привезли в институт, его раздели, а одежду отправили на первый этаж, в кладовку. Вернее всего, в кладовку. Конечно, его могли раздеть в «Скорой помощи», пока везли сюда, но это маловероятно.

Вот теперь Гиви должен был взять верх над Бесо и нажать на кнопку звонка. Прибежит Нателла, придет Лорд, и я им расскажу о джинсах и о том, что надо взять оттуда. Но почему-то я этого сделать не мог, должен был заняться этим сам.

Через дверь выходить опасно, в любой момент может вернуться Нателла. Придется прыгать со второго этажа. Это неразумно.

И я сел на кровати и с минуту старался унять тошноту и головокружение. Ах, как трогательно! Родовое привидение увлекает наследника шотландского замка в загадочные болота. Надо, Гиви, надо. Я обнаружил, что мой наряд ограничивается трусами. Друзья забыли меня облачить хотя бы в больничную пижаму.

Я подошел к окну и раскрыл его. Как и положено, окно раскрылось со скрипом, способным разбудить тени предков в фамильном склепе. К счастью, мои коллеги еще пили кофе и отдыхали. Черная клумба находилась далеко внизу. Может, они ошиблись и положили меня не на втором этаже, а на шестом? В окно проникал жгучий холод. Наверно, с луны, которая освещала вершины деревьев.

И вдруг я пропал. Пропали мои слова, мои настроения и даже мое чувство юмора. Мне надо было как можно скорее взять Это и сделать то, что мне положено было сделать. В коридоре послышались шаги. Мне показалось, что Нателла, почувствовав неладное, спешит к палате. Я перекинул ноги через подоконник и встал на карниз. Потом оттолкнулся от стены и прыгнул. Земля ударила меня по ногам, я не удержал равновесия, упал, ушибся, измарался в земле, не ощутил боли — только раздражение. Бесо прыгнул бы лучше.

Я сидел на клумбе и прислушивался, не в мою ли палату вошли. Если это Нателла, то сейчас поднимется паника и до кладовой мне не добраться. Но все тихо. Я встал, отряхнул с колен землю и пошел вдоль стены к служебной двери.

Луна светила мне в спину, и на фоне белой стены я выделялся, как жук на листе бумаги. Вот и окно кладовки. Оно забрано решеткой и для непосвященного недоступно. Но я вчера слышал сетования кладовщицы на ненадежность замка и знал, что слесарь Исидоре намеревался снять замок и поставить новый. Зная Исидоре, я мог надеяться, что замок он снял, а вот новый вряд ли поставил.

Я вошел в служебную дверь, потом нащупал дверь в кладовку и толкнул ее. Дверь послушно открылась. Мой психологический этюд об институтском слесаре оправдался. Я зажег свет, полагая, что сегодня ночью в институте не до грабителей. Одежда Бесо лежала на столе. Кладовщицы не было, когда его привезли, одежду просто сложили здесь. Я не удивился тому, что узнал вещи Бесо, удивительнее, если бы я их не помнил.

Я натянул влажные джинсы, которые оказались мне почти впору, надел майку и видавший виды свитер. Все это было грязным, на рукаве запеклась кровь. Из кармана джинсов я извлек пластиковый пакет.

«Резо протянул мне пакет. Фонарь светил сверху, и глаза казались черными ямами. «Ты мне обещаешь?» — спросил Резо. «Обещаю»,— сказал я».

Эта картина промелькнула у меня в сознании четко, словно я сам видел этого неизвестного мне Резо. Я стоял в нерешительности.

«Дальше что?» — мысленно спросил я Бесо.

И тут же я понял, куда мне надо ехать. Именно ехать и немедленно. В деревню Мокви. Туда идет автобус. Я взял со стола часы Бесо. Они еще шли. Было двадцать минут пятого. С операции не прошло и трех часов. Другой бы на моем месте лежал и мучился, я же отправляюсь в путешествие.

Больше задерживаться было нельзя. Я потушил свет и вышел из кладовой. Городской транспорт еще спит и видит сны. Может, удастся поймать такси.

«Ты узнаешь его дом. Он последний на улице. Весь в диком винограде. А перед ним розы. Ни у кого в деревне больше нет роз».

Это говорил Резо. Его голос.

Я перебежал газон и прошел в полуоткрытые ворота. В такую почь все правила были забыты. Где сейчас ночной сторож?

Близко шуршала Кура. Залаяла собака. Ей откликнулись собаки, заточенные в подвале института. Мне показалось, что со стороны института раздался крик. Меня зовут? Я пошел по шоссе к городу. Я бы бежал, но снова подкатилась тошнота и в голове шумело. Я обернулся. Зеленый огонек такси выскочил из-за поворота. Я вышел на середину дороги и поднял руку. Машина затормозила.

— Разве не видишь, что в парк еду? — спросил таксист, высовываясь из окна.— Никуда я тебя не повезу.

— Мне только до автобусной станции.

— Не по дороге,— сказал таксист.

— У меня срочное дело. Пожалуйста, подвези.

Торговались на пяти рублях. Шофер покорился силе денег, но это не сняло его раздражения. Он смотрел перед собой, ко мне не оборачивался, был недоволен собственной уступчивостью.

«Камень рванулся из-под ног, и воздух ударил в лицо. Воздух был плотный, и в нем потонул звук обвала. Кто-то вскрикнул. Я упал на пол пещеры и ударился о каску. Я не думал, что мог умереть, мне хотелось только, чтобы все это скорее кончилось. Рычание горы не прекращалось, словно порода старалась заполнить все пустоты в горе...»

— Приехали,— сказал таксист.— Теперь мне до парка лишних десять километров ехать. Расплачивайся.

Мои руки не знали, в каком кармане лежат деньги. Деньги остались в пиджаке Гиви.

— Я деньги забыл,— сказал я спокойно, потому что я уже был на автобусной станции и до Мокви ехать не больше часа.

— Шутишь,— убежденно сказал шофер.— Шутишь.

— Завтра придете ко мне в институт,— сказал я.— Десять рублей заплачу.

— Шутишь,— повторил шофер, озлобляясь.— Дорого тебе обойдутся эти шутки. В парк поехали. Там поговорим.

— Возьмите что-нибудь в залог,— сказал я.

— Что с тебя возьмешь? — спросил шофер, оглядывая меня.

— Часы,— вспомнил я.— Возьмите часы.

Я не стал ждать его ответа, потянул за металлический браслет. Передал ему часы.

— Не нужны мне твои часы,— сказал таксист.

— Хорошие часы, японские, «Сейко»,— сказал я. Часы принадлежали Бесо, и потому я знал, что они «Сейко».

Это убедило шофера.

— Ладно,— сказал он,— всякое бывает. Мой номер запомни.

Он сказал номер. Какой-то ранний автобус подъехал к зданию вокзала. Я побежал к нему. Над ветровым стеклом автобуса был написан маршрут. Автобус шел в другую сторону. Таксист ехал за мной.

— Номер не забудь! — крикнул он.

На вокзале еще царила ночь. Несколько случайных пассажиров коротали время, дремали на скамейках. Я углядел доску и бросился к ней. Я сам никогда не ездил в Мокви, но Бесо бывал там. Ближайший автобус в сторону Телави уходил через полтора часа.

Я стоял перед доской. Последняя моя ценность, часы Бесо, уже исчезла. Придется идти на шоссе, потому что шоферы грузовиков более отзывчивые люди, чем таксисты.

...По залу трусил шофер такси. На его толстом указательном пальце болтались часы «Сейко».

— Ты куда убежал? — спросил он строго.— Я уже час как работу кончил, а должен за тобой по всему Тбилиси бегать.

— Ну, что еще? — спросил я.

— Ты номер не записал,— сказал таксист. Он был немолод, почему-то похож на Лорда, словно был его старшим братом, избравшим иную судьбу.

— Пойдем,— сказал я.— На улице поговорим.

Моя беготня по залу разбудила ожидающих, они смотрели на меня с подозрением, словно я заодно собирался утащить их чемоданы.

На улице было зябко, сверху дул ледяной ветер. Свитер Бесо почти не грел. Я поежился.

— Тебе куда надо? — спросил таксист.

— В Мокви.

— Знаю,— сказал таксист.— У меня там брат жил. До войны еще. Потом уехал. В Рустави. А у тебя там любимая девушка?

— Почему?

— Очень переживаешь,— сказал таксист. Он достал пачку сигарет, протянул мне.— Ты не думай, что я из-за пяти рублей на тебя накинулся,— сказал таксист.— Я обманщиков не люблю. А то, бывает, сядет, денег нет, а сам сказки придумывает.

Я оглядел площадь, надеясь, что случится чудо — появится автобус с надписью «Мокви» над ветровым стеклом.

— Важное дело у тебя в Мокви? — спросил таксист.

— Вы уже отработали. И денег у меня нету.

— А ты в мои дела не вмешивайся,— сказал таксист.— Я лучше тебя знаю, что мне делать. Садись в машину.

— Что?

— Садись в машину, говорю. Сколько я тебя посреди площади ждать обязан?

Мы выехали из города. Уже светало. В кабине было тепло, уютно и тянуло в сон. Поливальная машина обдала нас струей воды, и капли скатывались по стеклу.

— Я сумасшедший, да? — спросил шофер.

— Нет. Добрый человек.

— Я не добрый. Я твои часы все равно в залог оставлю.

Загорелся красный свет. Мы стояли на пустынном перекрестке, и свет никак не переключался.

— А тебе какой дом в Мокви надо? Я там всех знаю.

— Последний дом на улице,— сказал я.— Весь в винограде. И розы. Ни у кого в Мокви больше нет роз.

— Так бы и говорил. Там хромой Баграт живет. Ты к нему?

«Я отцу обещал,— сказал Резо,— что постараюсь найти. Я сам не верю в это, а он очень верит. Я к нему профессора возил, но профессор сказал, что вряд ли можно помочь. Старый отец у меня. Но он верит, говорит, что старики верили. Знали ход в пещеру. До революции один князь приезжал, тысячу рублей золотом обещал».

Я достал из кармана джинсов пластиковый пакет, вытащил из него газетный сверток. В газете лежали кусочки желтой смолы, похожей на янтарь. На ощупь они были мыльными, легкими и испускали сладковатый восковой запах.

— Что у тебя? — спросил шофер.— Пчел разводишь?

— Нет. Лекарство,— сказал я.

Шофер нажал на тормоза. Я еле успел подхватить кусочки смолы. Машина въехала на обочину.

— Слушай! — сказал шофер.— Ты это где нашел?

— В пещере,— сказал я.

— Правильно,— обрадовался шофер.— Горный бальзам. От всех болезней лечит, да?

— Старики верят,— сказал я.

— Ты старому Баграту сын? Чего же ты раньше молчал?

— Не сын я ему. Сын передать поручил.

— У меня мать умирала, просила бальзам достать. А где достанешь? Теперь все горы уже известны, а места настоящие забыли. И медицина не верит. Не проверено, говорят.

— Вам нужно? — спросил я.

— Зачем мне? Я здоровый. А думаешь, поможет?

— Не знаю,— сказал я.— Очень важно, когда больной верит в лекарство.

— Правильно. Мне от всех болезней аспирин помогает.

Мы снова выбрались на дорогу и километра через два съехали с нее на проселок. Синяя вывеска указывала стрелкой «Мокви — 4 км».

Старый дом был обвит диким виноградом. За забором нежились в рассветном холодке кусты. Роз еще не было, рано быть розам. Резо, видно, забыл, что розы не цветут в апреле. Щенок, подняв рваное ухо, подбежал к калитке и вилял хвостом, попрошайничал.

— Спасибо,— сказал я шоферу.— Я запомнил ваш номер, не беспокойтесь. Я завтра вас найду.

— Завтра я не работаю,— сказал шофер, вынимая из кармана часы.— Возьми. С самого начала сказал бы, в чем дело.

— Пускай часы у вас останутся.

— Ты что думаешь, я тебя за паршивые деньги возил?

Я взял часы.

— Может, хотите, поделюсь с вами бальзамом?

— Зачем мне? Моя мать уже умерла. А я здоровый.

Я толкнул калитку. Щенок вежливо отступил в сторону и побежал передо мной к веранде. Виноградные лозы перекрывали дорожку.

«В полной темноте я услышал голос Теймура: «Резо, у тебя аварийный фонарь?» В тот момент, когда начался обвал, мы сидели за нашим длинным каменным столом и ждали, когда доктор — была его очередь дежурить — принесет суп. Мы только что умылись в подземном ручье, сложили в углу, возле рации каски и резиновые костюмы. Мы вымотались, потому что прошли в тот день коварный и трудный сифон. Мы сидели за столом, и было весело, все получалось хорошо, а дальше будет еще один зал и, видно, немаленький... И начался обвал. В лицо ударил тугой и холодный воздух...»

Я остановился на веранде. В доме было тихо. Отсюда были видны деревня, убегающая вниз, к реке, стадо, рассыпавшееся по слишком зеленой, молодой траве косогора. Пахло дымом. Речка была закрыта туманом. По улице скрипела арба. Было уже совсем светло.

Маленькая старушка в длинной, до земли, черной юбке и в платке, закрывающем лоб, выглянула из дверя. В руке у нее было ведро.

Я поздоровался.

— Ты к Баграту, сынок? — спросила старушка, ничуть не удивившись раннему гостю.— Он уже проснулся.

Баграт оказался могучим, библейским старцем. Широкая, старая, с блестящими шарами на спинке кровать была ему тесна. Старик, видно, давно болел, он иссох, кожа щек и лба казалась очень темной, особенно по контрасту с желтоватой бородой и длинными прядями белых волос. Голубые глаза старика сохранили чистоту цвета. Старик поднял широкую ладонь, будто вырезанную из старого дерева.

— Что с Резо? — спросил он.

Он смотрел на меня так, словно я стоял далеко-далеко, на склоне горы, будто я был гонцом, несущим весть о том, что сожжены селения в соседней долине и царь покинул Картли. Он знал, что от меня нельзя ждать добрых вестей, как их не ждут от посланцев судьбы, и заранее был готов вынести еще один удар, на которые так щедра долгая жизнь, но и сдаваться перед судьбой он был не намерен.

— Резо жив и здоров,— сказал я.

— Когда ты его видел?

— Вчера.

— А почему сам Резо не пришел?

— Он остался там работать. Моя смена кончилась.

— А почему ты так грязен? Что с твоей головой? Ты устал.

Старушка принесла поднос с нарезанным сыром, лепешками и граненым графином, наполненным желтым вином.

— Подвинь сюда стол,— сказал мне старик.— Будем завтракать.

Я сделал, как велел старик.

— Как тебя зовут? — спросил старик, наливая вино в стаканы.

— Гиви,— сказал я.

— Я не знаю Гиви среди друзей моего Резо.

— Я недавно в экспедиции.

— Ты лжешь мне,— сказал старик, не осуждая меня. Просто констатировал печальный факт. Потом добавил: — Врач запретил мне пить вино. Особенно утром. Я не слушаюсь врача.

— Резо просил меня привезти вам горный бальзам,— сказал я, доставая пакет.— Мне было по пути. Я привез.

Я развернул газету и протянул кусочки смолы старику. Если бы на моем месте был Гиви, он бы оценил патетичность момента. Но ведь я и есть Гиви. Или я Бесо?

— Спасибо, сынок,— сказал старик. Он понюхал комок смолы.— Это настоящий горный бальзам. Резо уже второй год ищет его для меня. Спасибо, что не пожалел своего времени и привез старику лекарство. Когда тебе много лет и ты знаешь о бессилии врачей, приходится верить в средства, которыми пользовались твои предки. Когда увидишь Резо, передай ему, что отец благодарит его и постарается встать на ноги к его возвращению. А скоро Резо вернется?

Старик мне не верил. Но старик был горд.

— Я думаю, что скоро. Через день или два он уже будет здесь.

И тут же я понял, что попался. Нельзя было этого говорить. Старик лучше меня знал, что Резо должен работать под землей еще по крайней мере две недели. Мне следовало раньше обратить внимание на настенный календарь, висевший над головой старика. Месяц апрель был обведен красным карандашом, и дни, со второго числа до сегодняшнего, были перечеркнуты крестиками.

— Расскажи мне всю правду.

Я рассказал ему, что экспедицию завалило под землей. Все живы, но тот человек, который выбрался наверх, болен и не может показать путь обратно. Он в больнице. Я работаю в той больнице, он просил меня отвезти бальзам.

Старик слушал молча, не перебивал меня. Он закрыл глаза и был неподвижен, даже, казалось, не дышал.

— Я знаю вход, через который они пошли вниз,— сказал старик, когда я кончил свой полуправдивый рассказ.— А как далеко они прошли в этом году? В каком месте их покинул Бесо? Ты не знаешь?

И я представил себе пещеру, как она была нанесена на плане у Теймура. Я хорошо помнил план, обведенные тушью участки, обследованные в прошлом году, и карандашные извивы ходов этого года.

— Обвал застал их на базе, в зале, где стояла рация. Это в четырех километрах от главного входа. Обвал задел часть зала, там было оборудование. И когда они нашли фонарь и осмотрели завал, то оказалось, что пробиться к выходу не удастся. Они перебрались в соседний зал, а Теймур послал Бесо и еще одного человека искать путь наверх. Там был один ход, который они раньше не обследовали... Им дали фонарь, и они пошли.

— Куда вел тот ход?

Я представил себе этот ход, сужающийся до размеров кроличьей норы, когда приходится вжиматься в породу и не знаешь, расширится ли он когда-нибудь или придется ползти назад.

— Он шел на восток.

— И далеко они прошли?

— Нет. Они вернулись за аквалангом. Там был еще один зал, но выход из него был под водой.

— И дальше Бесо пошел один?

— Да. Он пошел один. У них оставался один акваланг. Притом они все равно не могли бы протащить раненых. А Бесо — скалолаз.

— Почему ты сказал мне, что тебя зовут Гиви и ты работаешь в больнице? Ты ведь там был? И ты вышел наверх?

— Я клянусь вам, что сказал правду. Бесо лежит в больнице.

— Мне странно это. Ты кажешься мне хорошим человеком, но все время обращаешься ко лжи. Если ты и есть Бесо, то почему поехал сюда, а не привез людей к месту, где выбрался наверх, и не показал им путь? Если ты Гиви, то как же Бесо рассказал тебе, как искать меня, и не смог сказать, где он вышел наверх?

— Он плохо чувствует себя. Он забыл.

Старик вздохнул. Он устал со мной бороться.

— Если пройти от деревни вверх три километра,— сказал он,— там есть щель в горе. Я туда не спускался. Но я думаю, что оттуда можно прийти под землей примерно в то место. Я пошлю с тобой Георгия. Он ловкий парень. Он знает те места.

За дверью скрипнули доски веранды. Старик чуть улыбнулся.

— Она уже побежала,— сказал он.— Она слушала за дверью. Сейчас она его поднимет и приведет.

«Я вынырнул из ледяного потока. Я боялся, что у меня остановится сердце. Ведь у меня не было резинового костюма, только акваланг. Я снял акваланг и несколько раз подпрыгнул, чтобы согреться. Воздух казался теплым после воды, но это была обманчивая теплота. Каково им там в пещере, без фонаря? Когда я уходил, они пели песню. В четыре голоса. Красиво пели. Ничего, выберусь наверх, отогреюсь. Я выбрал ход, который вел выше других, к востоку...»

Доски веранды заскрипели резко и часто. В дверях стоял невысокий паренек в армейских брюках и синей рубашке.

— Вы меня звали, дядя Баграт?

— Доброе утро, Гоги. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь провести нашего гостя к трещине в верхнем ущелье?

— Сейчас?

— Очень спешное дело. Он тебе объяснит по дороге. Возьмите веревку и крючья. Там, под землей, люди. Надо им помочь.

— Хорошо, дядя Баграт.

— И возьмите лепешек и воды. Может, вам придется долго идти.

Я подумал о том, что мне, Гиви, мысль о том, чтобы спуститься в какую-нибудь темную пещеру даже ради спелеологов, была бы ужасна. Бесо этого не боялся. Я тоже этого не боялся.

— Я буду ждать,— сказал старик.

Старушка стояла на веранде. Она протянула мне моток крепкой веревки и хурджин с лепешками и бутылью. Она перекрестила меня и оставалась на веранде, пока мы не скрылись из глаз. Щенок проводил нас до калитки и вежливо тявкнул на прощание.

— Почта открыта? — спросил я.— Мне нужен телефон.

— Почта закрыта. А телефон есть у Левана. Вот его дом.

Георгий обогнал меня и, видно, смог в одну фразу вложить всю серьезность положения. Когда я вошел в комнату, хозяин дома, в пиджаке поверх майки, коротко поздоровался со мной и показал на телефон. И сразу вышел из комнаты. Георгий взял у меня веревку и хурджин и тоже вышел, сказав:

— Набирайте через восемь.

Я позвонил в институт. Вниз, в справочную. Там не отвечали. Я совсем забыл, что еще нет семи, а город просыпается куда позже, чем Москва. Я позвонил наверх, в ординаторскую. Вряд ли наши ушли, тем более после моего таинственного исчезновения.

Трубку подняли сразу. Это была Нателла. Я спросил басом:

— Как состояние больного Бесо Гурамишвили?

— А кто говорит? — спросила Нателла.

— Его дядя.

Если она меня узнает, начнутся расспросы.

— Бесо лучше, но он еще без сознания. Это не ты, Гиви?

Нателла была не уверена. Мне стало жалко ее.

— Да, это я. Но мне сейчас некогда. Я потом позвоню.

И я сразу повесил трубку.

Георгий с Леваном ждали меня.

— Он пойдет с нами,— сказал Георгий.

Мы поспешили к горам. Свернули с дороги и начали подниматься по тропе. Мои спутники шли быстро, солнце начало припекать. Я чувствовал, как бьется у меня сердце. Это от малоподвижной жизни. Надо по утрам делать гимнастику.

«...Я заставил себя опереться на локти. Там, откуда я только что свалился, горела вечерняя звезда. Она уместилась точно в центре отверстия, и, хотя я знал, что вряд ли доберусь до него, звезда была чем-то надежным, принадлежащим к светлому верхнему миру. Я сел. Было трудно дышать. Сколько часов я пробирался сюда? Десять, сто? Наверно, я на несколько минут потерял сознание, потому что, когда я снова открыл глаза, звезда сместилась к краю отверстия. Сейчас я передохну и начну все снова...»

— Еще километра два осталось,— сказал Георгий.

Далеко внизу, поблескивая под солнцем, вилась дорога. Где-то там нашли Бесо...

«Нет, меня нашли дальше. Я лежал на земле, было холодно. Был поздний вечер, я не мог поднять головы, чтобы посмотреть на ту звезду и сказать ей спасибо. Дорога была совсем рядом, проехала машина, но у меня не было голоса, чтобы крикнуть. Я попытался сползти по откосу вниз. Руки не слушались меня, свитер был мокрым, то ли от воды, то ли от моей крови. Я знал, что сползу по осыпи к дороге и меня заметят. И по моему следу на осыпи найдут отверстие в горе. На другой стороне дороги, чуть наискосок, стояло дерево с двумя вершинами. А еще лучше, если я лягу вдоль осыпи и покачусь вниз, как бревно. Только надо не потерять пакет Резо. Ни в коем случае не потерять... там бальзам для его отца... в деревне Мокви, крайний дом, и там меня ждут. И я покатился вниз по осыпи, а камни высовывались из нее и били меня кулаками...»

— Стойте,— сказал я.

— Устали? — спросил Георгий.

— Вы знаете эти места? Внизу, у дороги?

— Да.

— Там есть большое дерево с двумя вершинами. Одно дерево.

Они задумались.

— Может, у поворота?

— Нет, там два дерева... А знаешь?..

— Конечно. Конечно, оно там.

— Георгий, беги обратно в деревню и звони по этому телефону. Пускай они берут машину и едут туда, где нашли Бесо Гурамишвили. К дереву с двойной вершиной. Там серпантин, и он скатился на виток дороги ниже. Поэтому они не нашли вход. А вы, Леван, ведите меня туда. Только не бегом: я устал.

— А почему вы раньше об этом не знали? — спросил Леван.

Я ответил в лучших традициях Бесо — серьезно и по мере сил обстоятельно:

— Я не мог раньше вспомнить. Это был второй слой памяти. Сверху осталось то, что беспокоило Бесо в последние минуты перед тем, как он потерял сознание. И я вспомнил о старике Баграте.

— Вы вспомнили?

— Хорошо, считайте, что мы вместе вспомнили.

Скорей бы рассеивалось наваждение. Бесо влиял на меня положительно. Если так пойдет дело, я стану хорошим и меня все будут любить. Нателла будет счастлива, Давид тоже... не дай бог.

Мы спускались по тропинке, к дороге, которая казалась извилистой речкой, потому что от нее отражались лучи утреннего солнца.

ДРУГАЯ ПОЛЯНА

Кирилл БУЛЫЧЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Для того, чтобы понятно было, о чем я намерен рассказать, мне придется поделиться своими взглядами на состояние современной науки, в частности литературоведения.

Как-то один зарубежный физик подсчитал, что число публикаций в его отрасли знания удваивается каждые двенадцать лет. Соответственно сужается возможность каждого конкретного специалиста быть в курсе того, что происходит в смежных науках или разделах той же науки. И тут уже не помогают ни реферативные сборники, ни информационные бюллетени, ни международные симпозиумы.

Такая картина характерна не только для физики, но и для литературоведения. Недавно мне пришлось беседовать с молодым кандидатом наук, посвятившим себя исследованию творчества поэта Никитина. В ходе беседы я был неприятно поражен тем, что он не знает, в каком году родился Помяловский, и глубоко убежден в том, что «Франкенштейна» написал поэт Шелли.

Мой молодой коллега, не будучи оправдан, может быть понят,— ведь он день за днем прослеживает жизнь и творчество своего «изучаемого» и тратит годы на полемику со своими оппонентами, публикующими обширные исследования о Никитине, которые надо хотя бы прочесть.

Я предвижу, что через несколько лет появятся специалисты по младенческим годам Пушкина, семейным отношениям Некрасова, стилистике первой главы «Тиля Уленшпигеля» и так далее.

Подобные тенденции меня тревожат, хотя, к сожалению, альтернативы им придумать я не могу. Исторический процесс объективен, хотя и не всегда приемлем.

Теперь, познакомив вас со своим credo, я расскажу конкретный случай, который наглядно иллюстрирует вышеизложенное.

Морис Иванович Долинин — младший научный сотрудник на кафедре, которую я имею честь возглавлять. Это приятный молодой человек, к тридцати пяти годам несколько располневший от сидячего образа жизни, голубоглазый и румяный, любимец наших аспиранток и гардеробщиц. К его положительным качествам относится, в частности, преданность изучаемому им Александру Сергеевичу Пушкину. Еще в средней школе Морис поставил себе целью выучить наизусть все написанное великим поэтом, и следует признать, что в этом он преуспел, хоть и путает порой порядок абзацев в «Истории Петра Великого». Кандидатскую диссертацию он писал по истории создания «Маленьких трагедий» — казалось бы, давно изученных вдоль и поперек. Однако Морису удалось сделать несколько небольших открытий и совершенно по-новому связать образ Скупого рыцаря с живущим в XVI веке в Аугсбурге бароном Конрадом Цу Хайденом.

Следует сказать также, что Морис, будучи влюбчив, до сих пор не женат. Причину этому я усматриваю в душевной травме, полученной им на первом курсе университета в очаровательных коготках Инессы Редькиной, ныне, в третьем браке, Водовозовой. Мое знание прошлого Мориса объясняется просто: я преподавал на его курсе и был осведомлен о драмах и трагикомедиях, кипящих в студенческой среде.

Последние семь лет мы работали рядом, Морис был со мной откровенен, делился не только научными планами, но и событиями личной жизни. Его откровенность и вовлекла меня в переживания, равных которым мне переносить не приходилось.

— Уж не влюбились ли вы, голубчик? — спросил я как-то Мориса, обратив внимание на то, что он три дня кряду приходил на работу в новых, чрезмерно ярких галстуках и сверкающих ботинках.

— Нет, что вы! Этого со мной не случится! — ответил он с таким скорбным негодованием, что я уверился в своей правоте.

Я полагал, что вскоре он сам во всем покается. В драматический момент размолвки или, наоборот, когда счастье переполнит его и хлестнет через край.

Дело было летом, я как раз собирался в отпуск, мы заседали на кафедре по какому-то пустяковому вопросу, хотя следовало бы поехать всем на речку купаться. Я попросил Мориса набросать проспект статьи, которую он намеревался предложить в сборник. Морис долго мусолил ручку, смотрел в потолок и вообще думал не о проспекте. В конце концов он взял себя в руки и изобразил несколько строчек. После чего вновь ушел в сладкие мысли. Получив набросок проспекта, я обнаружил там несколько раз повторяющееся на полях имя Наташа, а также курносый профиль, выполненный немастерской рукой.

После заседания я не удержался и спросил Мориса:

— Вы намерены посвятить свою статью Наташе? Мы напишем просто: «Наташе посвящается» или более официально?

— Я вас не понимаю! — взвился Морис, словно я собирался похитить эту Наташу.

Я показал ему злосчастный проспект. И представляете, он на меня смертельно обиделся. На два дня.

Затем в его отношениях с Наташей наступил какой-то кризис. Он потерял аппетит и перестал чистить ботинки. Без сомнения, он был глубоко травмирован каким-то пустяковым словом или подозрением.

Я спросил его.

— Вы чем-то расстроены?

— Вам не понять,— сказал Морис с таким видом, словно в мои времена отношения с возлюбленными бывали только безоблачными.

— Разумеется,— согласился я.— А все-таки?

— Мы расстались,— сказал он.— И навсегда.

— Жаль. А я думал, что вы ее любите.

Вдруг его прорвало.

— Я так больше не могу! — прошипел он трагическим шепотом, который был слышен в соседних коридорах.— Я этого не перенесу.

Я не ручаюсь за точную форму его монолога, но суть его заключалась в том, что в сердце моего коллеги вкралось подозрение, любят его или — о, непереносимая альтернатива! — не любят.

Основанием к подобным мыслям послужило увлечение Наташи сбором шампиньонов. Вы бы послушали, как Морис произносил слово «шампиньон» — оно звучало, словно имя презренного выродка из захудалого французского графского рода. По словам Наташи, шампиньоны можно собирать в Москве, где они благополучно произрастают в некоторых скверах, парках и на бульварах. Только надо знать места. У Наташи был излюбленный парк, где-то неподалеку от метро «Сокол». Она делила это месторождение с несколькими местными пенсионерами, которые выбирались на заветную площадку с рассветом. А позже приходила Наташа, которой тоже хватало грибов, особенно если погода благоприятствовала. Почему-то Мориса Наташа в свои походы брать отказывалась, чем вызвала в нем дурацкое подозрение, что она там бывает не одна, а может, вообще на поляну не ходит, покупая специально, чтобы ввести его в заблуждение, корзиночку шампиньонов на рынке. Как только Морис свои подозрения высказал вслух, Наташа обиделась. А там, слово за слово,— и разрыв.

— Вы неправы,— сказал я Морису, когда он завершил свою обычную исповедь.

— Конечно. Но все-таки...

— Вам надо пойти и извиниться...

— Разумеется. Но тем не менее...

— Кстати, когда я в начале тридцатых годов ухаживал за Машенькой, то однажды увидел ее на улице с дюжим рабфаковцем. Две недели мы не разговаривали. Потом выяснилось, что рабфаковец — ее двоюродный брат Коля, милейший человек, мы до сих пор дружим домами.

Он уже открыл рот, чтобы ответить мне: «При чем тут Коля!»,— но сдержался, махнул рукой и ушел.

Я был глубоко убежден, что конфликт изживет себя дня через два. Ничего подобного. Дни проходили, а Морис был так же мрачен и одинок. Нелепо, разумеется, разрушать собственное счастье из-за корзинки с шампиньонами, но люди гибли и по более ничтожным причинам.

Через неделю, утром, часов в девять, я, позавтракав, направился к письменному столу, и вдруг в кабинете зазвонил телефон. Что-то кольнуло меня в сердце — бывает же, самый обыкновенный звонок покажется каким-то особенно тревожным...

— Я вас слушаю.

— Здравствуйте. Это я, Морис. Случилось нечто невероятное. Мне нужно вас срочно увидеть.

— Вы где?

— Недалеко от метро «Сокол». Я могу быть у вас через полчаса...

Голос Мориса срывался, словно он только что пробежал три километра и не успел восстановить дыхание.

— Я вас жду.

Повесив трубку, я сразу вспомнил, что тот злополучный шампиньонный сквер расположен по соседству с метро «Сокол», и тут же мне представилось, что Морис решил выследить неверную и неудачно встретился со счастливым соперником.

Я почти угадал.

Морис ворвался ко мне через двадцать минут. Он был встрепан, взволнован, удручен, но, к счастью, невредим.

Он тут же начал говорить, бегая по кабинету и угрожая всяким хрупким вещам.

— Да,— гремел он.— Я виноват. Я не выдержал. Я следил за ней. Я решил раз и навсегда положить конец сомнениям.

Он посмотрел на меня с вызовом, ожидая немедленного осуждения. Ну, что ж, я пойду тебе навстречу.

— Никогда не поверю,— сказал я менторским голосом,— чтобы вы могли опуститься до безжалостной слежки за женщиной, которую вы любите и хотя бы потому должны уважать.

— Да! — обрадовался Морис.— Я вас понимаю. То же самое я сам себе говорил. Я проклинал себя, но по вечерам дежурил у ее подъезда, а по утрам ждал, не выйдет ли она из дома с пустой корзинкой. Мне стыдно, но и Отелло стыдился, подняв руку на Дездемону.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Сравнение было рискованным, но моей улыбки Морис не заметил. Он сделал трагический жест, свалил со стола стопку бумаг и продолжал монолог, сидя на корточках и собирая листы с пола:

— Я не прошу снисхождения и не за тем к вам пришел. Но сегодня утром, в семь часов десять минут, она вышла из дома с корзинкой и пошла к тому скверу. На краю парка, за фонтаном, есть поляна. Почти открытая. Только кое-где большие деревья. Там как раз какое-то строительство начинается — столбы врыли, будут огораживать. Не самое лучшее место для грибов. Вы меня понимаете?

— Пока что ничего непонятного вы сказать не успели.

— Вот до этой поляны я ее и проводил. Только я не приближался. Представляете, если бы она обернулась!

— Не дай бог,— сказал я.

— Так вот, она вышла на поляну и начала по ней бродить. Ходит, нагибается, что-то подбирает, а я стою за большим деревом и жду.

— Чего? Самое время выйти из укрытия, обратиться к ней и сказать, что виноваты, раскаиваетесь и больше никогда не будете.

— Я хотел так сделать. Но меня удерживал стыд... и подозрения.

— Какие еще подозрения?

— А вдруг она, набрав грибов, пойдет к нему на свидание? Или он сейчас выйдет...

— Убедительно,— сказал я.— Очевидно, я вижу перед собой настоящего рыцаря и джентльмена.

— Ах, оставьте,— ответил Морис в лучших традициях литературы прошлого века.— Сейчас все это уже неважно. Важно то, что, пока я смотрел на Наташу, она исчезла. Представляете? Только что была посреди поляны и вдруг исчезла. Я глазам своим не поверил. Что вы на это скажете?

— Пока ничего.

— Я обошел всю поляну, выскочил на улицу — пусто. Вернулся в парк, заглядывал в кусты, чуть ли не под скамейки. Нигде ее нет. Вернулся на поляну и остановился примерно там, где видел Наташу в последний момент. И вдруг слышу ее голос:

— Морис, что ты тут делаешь?

Она стоит совсем рядом, в трех шагах, с корзинкой в руке.

— И в корзинке грибы?

— Почти полная.

— Ну и что дальше?

— Я сказал ей: «Тебя жду».

— Чего не позвал? — отвечает она.— Смотри, сколько я набрала.

— А где же ты была? — спрашиваю.

— Здесь.

— Как здесь? Я уже полчаса здесь стою, а тебя не было.

— А где же я еще могла грибы собирать? Не на мостовой же!

Морис замолк.

— В конце концов она обиделась на вас и ушла? — предположил я.

Я вспомнил, что обещал к обеду закончить статью, а рассказ Мориса явно затягивался.

— Ушла,— согласился Морис.— Но не в этом дело.

— В чем же?

— Понимаете, я подумал: здесь какая-то тайна. То Наташа была, то ее не было. Как будто в дырку проваливалась. И в таком я был состоянии духа, что мне захотелось эту дырку найти. Я дошел до той точки, где исчезла и появилась Наташа. А там такая небольшая низинка...

«Господи,— подумал я,— его ничем не остановишь. Неужели и я, когда был влюблен, становился столь же зануден и велеречив?»

— Однако ничего я там не обнаружил — лишь трава была утоптана. И я медленно пошел дальше, глядя по сторонам... И тут я увидел шампиньон!

— Вот и отлично,— сказал я и посмотрел на часы, что не произвело на рассказчика никакого впечатления.

— И вообще на той поляне оказалось много шампиньонов, я даже удивился, что раньше их не заметил. А пока я там бродил, то и решил, что нельзя с таким недоверием относиться к Наташе. Нет, подумал я, надо попросить у нее прощения...

Пауза. На минуту, не меньше. Я терпеливо ждал. Сейчас должен появиться

таинственный разлучник либо должна возвратиться Наташа, подбежать сзади, ласково закрыть ему глаза ладонями и спросить: «Угадай, кто?».

— И в этот момент,— продолжил он, наконец,— я понял, что на поляне нет столбов для забора. Только ямы.

— Какие еще ямы?

— Ямы для столбов. Ямы для столбов, понимаете, были, а сами столбы лежали на земле. Вот, подумал я, и галлюцинации начинаются. Тогда я ушел из парка. И пошел к остановке сто второго троллейбуса

«Кажется, рассказ подходит к концу»,— с облегчением подумал я.

— Но там не было остановки сто второго троллейбуса, потому что там была остановка автобуса «Б», хотя такого автобуса в Москве нет. Я был в смятении и даже не удивился, а подошел к стоявшей там женщине и спросил: «А где останавливается сто второй троллейбус?» А она ответила, что не знает. «Как так? — спросил я.— Ведь я только полчаса назад на нем сюда приехал. Вы, наверное, не здешняя?» Она возмущенно на меня поглядела — и ни слова в ответ. Ладно, думаю, схожу с ума. Лучше, чтобы об этом никто пока не знал. И как ни в чем не бывало спросил: «Как доехать до метро «Аэропорт»?» — «До метро «Аэровокзал»? Садитесь на автобус, сойдете через шесть остановок». Вы что-нибудь понимаете?

— Понимаю,— сказал я.— Сейчас вы мне расскажете, как проснулись и решили поведать свой сон любимому учителю.

— Ни в коем случае! — воскликнул Морис.— Это был не сон.

И в доказательство своей правоты он основательно грохнул кулаком по письменному столу. Я поймал на лету телефон. В литературе зафиксированы различные формы любовного помешательства. У многих народов любовная одержимость считалась вполне допустимым и никак не позорным заболеванием.

— Так слушайте дальше! Когда автобус подошел к метро и я увидел над входом выложенную золотыми буквами надпись «Аэровокзал», я понял, что не ошибся в своем диагнозе. Я спятил. Я старался глубоко дышать и думать о посторонних вещах. Спустился вниз, подошел к контролю, нашел в кармане пятак и опустил его в автомат, но он застрял в щели. Дежурная спросила у меня, в чем дело. Покажите, мол, мне ваш пятак. Я показываю, а она говорит, что он желтый! Пятаки, дескать, должны быть белые, а он желтый. И показывает мне тонкий пятак из белого металла. И смотрит на меня так, словно я этот пятак сам изготовил. Я покорно поднялся на улицу. И знаете, чем больше я глядел вокруг, тем более меня поражало несовпадение деталей. Именно деталей. В целом все было нормально, но детали никуда не годились. Человек читает газету, а название у нее не в левом верхнем углу, а в правом нижнем, трамвай не желто-красный, а зеленый — и так далее...

Я молчал. Морис казался нормальным. Даже следы волнения, столь очевидные в начале его рассказа, исчезли. Он даже забыл о своей возлюбленной. Это не Меджнун, это просто очень удивленный человек.

— И тогда я допустил в качестве рабочей гипотезы, что попал в параллельный мир. Вы читали о параллельных мирах?

— Не читаю фантастики,— ответил я, излишней категоричностью выдавая себя с головой, ибо как бы мог я узнать о параллельных мирах, не читая этой самой фантастики?

— Ну все равно знаете,— сказал Морис.— И эта версия полностью оправдывала Наташу. Она, как и другие грибники, бродила по поляне, ступала в эту низинку, которая каким-то образом оказалась местом перехода из мира в мир, попадала туда и как ни в чем не бывало продолжала свою охоту. А может быть, грибники знают о свойствах этого места и пользуются им сознательно, не придавая тому большого значения...

Тут он замолчал, подумал и добавил:

— А может, кто-нибудь из них и остался в параллельном мире.

— Ну да, вернулся домой и встретил самого себя,— заметил я. Но Морис меня не слушал.

— Так вот, осознав, что произошло со мной, я пришел к неожиданному выводу: если в параллельном мире есть отличия от нашего, то они могут распространяться и в прошлое. Я же ученый. Куда мне следует направиться?

— К памятнику Пушкину,— пошутил я.

— Вы почти угадали. Только, разумеется, не к памятнику, он мне не даст нужной информации, а в Пушкинский музей. Я остановил такси и велел ехать на Кропоткинскую. Я продолжал размышлять. А вдруг Пушкин избежал дуэли в 1837 году? И прожил еще десять, двадцать, тридцать лет, создал неизвестные нам гениальные произведения? Все более волнуясь от предстоящей встречи с великим поэтом, я спросил таксиста, в каком году умер Пушкин. Не помню, сказал таксист, давно, больше ста лет назад. Шофер был пожилым флегматичным толстяком, его совершенно не интересовала поэзия. Но в его словах звучала надежда. Больше ста лет — это семидесятые годы прошлого века. Такси еще не успело остановиться у музея, как я выскочил из машины и сунул шоферу два рубля. К моему счастью, он, не глядя, сунул их в карман. Я подбежал к дверям в Пушкинский музей, и вы не представляете!

Морис обиженно посмотрел на меня.

— О ужас! — произнес он тоном страдающего Вертера.— Это был не Пушкинский музей! Я стоял как громом пораженный. Тут дверь открылась, и из дверей вышел старик. «Простите,— бросился я к нему.— Где же Пушкинский музей?» А он отвечает: «По-моему, в Москве такого нет. Только в Кишиневе». «Так почему же?» «Вы правы,— ответил старик,— этот замечательный поэт заслуживает того, чтобы в Москве был музей его имени. Его ранняя смерть не дала полностью раскрыться его могучему дарованию...»

«Ранняя смерть! — кричу я.— Ранняя смерть! В каком году умер Пушкин?» «Он погиб на дуэли в Кишиневе в начале двадцатых годов прошлого века»,— отвечает мне старик и уходит. У меня руки опустились, и я понял: больше мне там делать нечего. Скорее домой! У нас он прожил почти сорок лет. Ведь если я по какой-то глупейшей случайности останусь там, то я никогда и никому не докажу, что Пушкин написал «Маленькие трагедии» и «Евгения Онегина»!

— А может, стоило вам остаться,— возразил я.— Вы бы заявили, что обнаружили их на чердаке, и вам бы цены не было.

— А потом бы меня разоблачили как мистификатора,— серьезно сказал Морис.— Кстати, мое приключение чуть было не закончилось трагически.

— То есть как?!

— У меня оставалось пять рублей. Одной бумажкой. Я поймал такси, вернулся к парку, протянул пятерку шоферу и, думая совсем о другом, попросил у него сдачи.

— Ты чего мне суешь? — спросил шофер.

— Деньги,— говорю я,— три рубля сдачи, пожалуйста.

А сам уж открыл дверцу, чтобы выйти.

— Где же это ты раздобыл такие деньги? — спросил шофер зловеще.

И тут только до меня дошел весь ужас моего положения. Еще секунда, и я навсегда — пленник мира, где не знают зрелого Пушкина! Я стрелой вылетел из машины и бросился к поляне, слыша, как сзади топочет шофер. Я первым успел к ложбинке, и стоило мне пробежать ее, как вокруг послышались голоса — рабочие сколачивали забор. А ведь за секунду до того на поляне никого не было.

— Стой! — закричал шофер, пролетая вслед за мной в наш мир. И крепко вцепился в меня обеими руками.

Но я уже был в безопасности. Я спокойно обернулся и спросил:

— В чем дело, товарищ водитель?

— А в том дело,— он потряс моей пятеркой, как плеткой,— что мне фальшивые деньги не нужны!

— Фальшивые? Минуточку. Пошли к людям, разберемся.

И говорил я так уверенно, что он послушно отправился за мной к плотникам, которые с интересом наблюдали за нами. Ни с того ни с сего на поляне возникают два незнакомых человека и вступают в конфликт.

Я взял у шофера пятерку, протянул ее рабочим и спросил:

— Скажите мне, пожалуйста, что это такое?

— Деньги,— сказал один из них.— А чего?

— А того,— закричал шофер,— что таких денег не бывает!

— А какие же бывают?

Тут шофер вытащил из кармана целую кучу денег. Очень похожих на наши, только других цветов. Пятерка, например, там розовая, а три рубля — желтые.

Плотники смотрели на шофера, буквально выпучив глаза. Один из них достал пятерку и показал шоферу.

— А у меня тоже не деньги? — спросил он с некоторой угрозой в голосе.

— Да гони ты его отсюда,— сказал второй плотник.— Может, шпион какой-нибудь или спекулянт-валютчик.

— Какой я шпион!— возмутился шофер.— Вон моя машина стоит, из третьего парка.

И показал, где должна была бы стоять его машина. Сами понимаете, никакой машины там не было.

— Ой! — сказал шофер.— Угнали!

И попытался броситься к тротуару напрямик. Мне стоило немалых усилий перехватить его так, чтобы провести сквозь ложбинку. И он благополучно исчез...

Я набил трубку, раскурил.

— Спасибо за увлекательный рассказ.

— Вы мне не верите? Вы полагаете, что я обманул вас?

— Нет, вам никогда такого не придумать.

— Тогда я пошел.

— Куда?

— К Наташе. Я ей все расскажу. У меня такое облегчение! Жалко, что его убили молодым. Представляете себе, целый мир, не знающий зрелого Пушкина!

— Все на свете компенсируется,— сказал я.— Не было Пушкина, был кто-то другой.

— Конечно,— сказал Морис, продвигаясь к двери. Он уже предвкушал, как ворвется к Наташе и начнет плести любовную чепуху.

— Да,— повторил я,— должна быть компенсация... Кстати, Морис, а тот дом, в который вы приехали, я имею в виду Пушкинский музей, в нем что?

— Тоже музей.

— Какой же?

— Музей Лермонтова,— сказал Морис.— Ну, я пошел.

— Лермонтова? А разве нельзя допустить...

— Чего же допускать,— снисходительно улыбнулся мой молодой коллега.— Там написано: «Музей М. Ю. Лермонтова. 1814—1879».

— Что? — воскликнул я.— И вы даже не заглянули внутрь?

— Я — пушкинист,— ответил Морис с идиотским чувством превосходства.— Я пушкинист, и этим все сказано».

— Вы не пушкинист! — завопил я.— Вы лошадь в шорах!

— Почему в шорах? — удивился Морис.

— Вы же сами только что выражали сочувствие миру, лишенному «Евгения Онегина». Неужели вы не поняли, что обратное также действительно? Верных пятьдесят лет творил второй русский гений — Лермонтов? Вы можете себе представить...

Но этот утюг остался на своих бетонных позициях.

— С точки зрения литературоведения,— напыщенно заявил мой пушкинист,— масштабы гения Пушкина и Лермонтова несопоставимы. С таким же успехом мы могли бы...

— Остановись, безумный,— прорычал я.— Я тебя выгоню с работы! Ты недостоин звания ученого! Единственное возможное спасение для тебя — отвести меня немедленно в тот мир! Немедленно!

— Понимаете,— начал мямлить он,— я собирался поехать к Наташе...

— С Наташей я поговорю сам. И не сомневаюсь, что она немедленно откажется общаться со столь ничтожным субъектом. А ну, веди!

Наверно, я был страшен. Морис сник и покорно ждал, пока я метался по кабинету в поисках золотых запонок, которые я рассчитывал обменять в том мире на полное собрание сочинений Михаила Юрьевича.

Когда мы выскочили из машины у парка, было уже около двенадцати. Морис подавленно молчал. Видно, до него дошел весь ужас его преступления перед мировой литературой.

Поляна уже была обнесена забором, и плотники прибивали к нему последние планки. Не без труда нам удалось проникнуть на территорию строительства.

— Где? — спросил я Мориса.

Он стоял в полной растерянности. По несчастливому стечению обстоятельств, строители успели свалить на поляну несколько грузовиков с бетонными плитами. Рядом с ними, срезая дерн, трудился бульдозер.

— Где-то...— сказал Морис,— где-то, очевидно...

Он прошелся за бульдозером, неуверенно остановился в одном месте, потом вернулся к плитам.

— Нет,— сказал он,— не представляю... Тут ложбинка была.

— Чем помочь? — спросил бульдозерист, оборачиваясь к нам.

— Тут ложбинка была,— сказал я тупо.

— Была, да сплыла,— сказал бульдозерист.— А будет кафе-закусочная на двести мест. Потерялм чего?

— Да,— сказал я.— А скажите, у вас ничего здесь не проваливалось?

— Еще чего не хватало! — засмеялся бульдозерист.— Если бы моя машина провалилась, большой бы шум произошел.

Ничего мы, конечно, не нашли.

Надо добавить, что через два месяца Морис женился на Наташе.

Морису я, безусловно, верю. Все, что он рассказал, имело место. Но прежней теплоты в наших отношениях нет.

Кирилл БУЛЫЧЕВ

РАССКАЗ

ЖИЛЬЦЫ

Грубин изобретал объемный телевизор.

В свое время он создал обыкновенный, потом собрал цветной, когда их еще не продавали в магазинах. Тот, цветной, показывал во всем великолепии красок любую черно-белую программу.

А теперь ему хотелось создать объемный. В любом случае это — дело недалекого будущего, лет через десять — пятнадцать можно будет приобрести в кредит в любом специализированном магазине. Так чего же ждать?

Полгода Грубин трудился. Все свободные деньги он тратил на транзисторы, провода и кристаллы, соседи трижды жаловались в милицию — дышать невозможно из-за постоянных утечек инертных газов, спать трудно из-за ночных взрывов, к тому же часто перегорают пробки. Грубин оправдывался, спорил, сопротивлялся, но не уступал.

Профессор Минц, сам значительный ученый, спустился как-то к Грубину на первый этаж и сказал:

— Саша, я специально проглядел всю доступную литературу. На нынешнем уровне науки эта проблема практически неразрешима.

Минц стоял посреди комнаты, по пояс скрытый отвергнутыми моделями, схемами, поломанными деталями, инструментами, изоляционными материалами. Грубин отмахивался паяльником и возражал:

— Кто-то должен изобрести первым. Вы уперлись в невозможность и верите в нее. Я не верю и изобрету.

— Дело ваше, — вздохнул профессор Минц. — Я все-таки оставлю вам последние журналы по этому вопросу. Посмотрите на досуге. Куда положить?

— Куда хотите. Вряд ли я буду их читать. Вы думаете, что Галилей читал в журналах статьи о том, что Земля не вертится?

— Тогда не было журналов. Но я полагаю, что он был широким и любознательным ученым.

— Нет, не читал, — не слушая профессора, продолжал Грубин. — Он с детства знал, что Земля не вертится. Ему хотелось доказать обратное.

Минц все-таки оставил журналы. Он полагал, что Грубин кокетничает. Пахло паленой изоляцией.

Вечером того же дня Грубин демонстрировал частичные успехи соседу и другу Корнелию Удалову. Изображение на экране двоилось и было нечетким. Но порой казалось, что часть экрана заметно вспучивается, выгибаясь в комнату. Тогда Удалов говорил:

— Гляди, объем!

— Вижу, — отвечал Грубин. — Значит, в принципе достижимо. Главное — не читать тех самых статей.

Беда была в том, что объемной могла становиться, к примеру, рука диктора, или галстук, или, наконец, один из этажей дома. За счет выпуклости в экране образовывалась впадина. Электронные трубки не выдерживали и лопались.

— Одолжи сотню, — сказал Грубин. — Я на мели.

— Ты же знаешь, — сказал Удалов, — Ксения уже прячет от меня деньги.

Но опыты продолжались. В начале ноября Грубин позвал Удалова поглядеть на очередное достижение. Диктор, читавший последние известия, наполовину вылез из экрана. Тут он прервал речь и оглянулся по сторонам, словно понял, что попал в другую комнату. Удалов приблизился к экрану и заглянул сбоку. Нос диктора был вне телевизора.

— Саша, — сказал Удалов. — Какая же это объемность? Он в самом деле наружу вылез.

— А ты чего хотел?

— Должно только казаться.

— Вот тебе и кажется.

— Да ты встань на мое место, погляди!

— Чего глядеть? Уж нагляделся. Настоящая объемность должна быть со всех сторон.

Тут раздался взрыв, и трубка разлетелась на куски. Никто не пострадал. Удалов ушел ужинать.

Окончательная победа пришла к Грубину вечером в пятницу, когда не перед кем было похвастаться. Все ушли в кино.

Грубин включил первую программу. Показывали балет. Видно было, как далеко вглубь уходит сцена, как оттуда набегают на Грубина балерины. Одна с разбегу выскочила за рамку, но, видно, сообразила, что падает со сцены, ухватилась за край и перемахнула обратно.

Эпизод с балериной так взволновал Грубина, что он выключил телевизор и задумался. Ведь он мечтал о полной объемности изображения и добился своего. Но возник побочный эффект: для тех, кто был внутри телевизора, комната Грубина тоже казалась реальным миром. Балерина побывала вне экрана, но смогла вернуться.

Надо бы пойти к Минцу, посоветоваться, какова физическая основа этого явления. Но Минц все поставит под сомнение, привлечет авторитеты и в результате докажет, что этого быть не может.

Значит, надо убедиться самому.

Грубин положил перед экраном подушку, чтобы чего не случилось, и снова включил телевизор.

Балет кончился. Показывали цирк. Элегантная дрессировщица в блестящем наряде ходила в глубине экрана и погоняла палочкой крупных животных — тигра, льва и медведя. Животные прыгали с тумбы на тумбу, рычали и становились на задние лапы. Дрессировщица никак не подходила к краю экрана, звери тоже оставались вдали. Грубин опечалился — дрессировщица ему понравилась. На мгновение ему пригрезилась судьба Пигмалиона, который изваял скульптуру и полюбил ее. Если бы дрессировщица вышла из телевизора, она бы осталась на некоторое время здесь, и Грубин узнал бы, как ее зовут. За грезами он упустил момент, когда дрессировщицу начали снимать другой камерой, и она оказалась к Грубину спиной.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Лев надвигался на женщину, а она, отступая, как бы манила зверя за собой. Грубин потянулся к телевизору, чтобы выключить его. Он был согласен на дрессировщицу, но не терпел дома львов. Но выключить телевизор он не успел: в тот момент, когда его рука прикоснулась к кнопке, дрессировщица оступилась, споткнулась о край экрана, и лев, почуяв ее мгновенную слабость, прыгнул, скотина, на свою повелительницу. Дрессировщица сделала еще один быстрый шаг назад, конечно, не удержалась, с высоты рухнула на подушку у экрана, а за ней стрелой вылетел лев... И тут же трубка лопнула, посыпались осколки стекла, в телевизоре что-то зашипело, шипение передалось на громоздкую приставку, занимавшую чуть не половину комнаты, послышался треск, и стало темно — перегорели пробки.

Грубин ощупью выбрался из комнаты и, взяв в привычном месте свечу и спички, полез чинить пробки. Хорошо, что никого нет дома. Еще вчера Ксения Удалова предупреждала: «Пережжешь еще раз, Саша, добьюсь, что тебя выселят из дома, жизни не пожалею на это доброе дело».

Взбираясь на стремянку, Грубин краем уха прислушивался к тому, что происходит в его комнате. Разумеется, он понимал, что вся история с объемным изображением — фантом, кажущееся явление, но все равно встречаться со львом не хотелось.

Свет загорелся. Грубин не спеша слез со стремянки, потушил свечу и с минуту постоял перед своей дверью.

— Ну, — сказал он сам себе, — пошел, изобретатель.

Он приоткрыл дверь на сантиметр. Внутри было тихо и пусто. Как и следовало ожидать. Ни девушки, ни льва. Грубин подошел к телевизору и опечалился, потому что для продолжения опытов придется покупать новую трубку, а денег нет, и занять не у кого.

Подушка перед экраном была завалена осколками трубки. Чем-то эти осколки напомнили Грубину новогоднюю елку. Он подумал, что на подушке придется спать, потому взялся за угол ее, чтобы стряхнуть осколки на пол, но тут его взгляд упал на нечто цветное. Грубин приподнял крупный осколок и увидел, что на подушке лежит дрессировщица — без чувств, ростом с цыпленка. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Ведь естественные человеческие размеры были плодом воображения зрителей, и если телевизионное изображение выпадает из экрана, то оно должно быть меньше экрана.

Осознав это, Грубин оглянулся в поисках льва. Хоть лев стал размером с крысу, по характеру он остался львом.

Льва не было видно.

Дрессировщица лежала на подушке, очень похожая на настоящую. Грубину захотелось снова включить телевизор и поглядеть: а там, на арене, осталась дрессировщица, или тигр с медведем бегают без присмотра?

Грубин осторожно потрогал дрессировщицу пальцем, чтобы понять, пройдет ли палец насквозь или нет. Палец не прошел. На ощупь дрессировщица была теплой и упругой. От прикосновения она открыла глаза. Глаза были темные.

— Ну, не ожидал,— сказал ей Грубин с некоторой укоризной. И в самом деле он ожидал иного. Если уж объемность оказалась такой реальной, лучше бы дрессировщица была ростом побольше.

Дрессировщица показалась Грубину совсем молоденькой. Даже странно, что в таком возрасте ее доверили хищникам.

— Ну, что мне с тобой делать?— спросил Грубин.

Девушка открыла рот, но никаких звуков не получилось.

Девушка заплакала, но беззвучно, словно звук выключили. В дверь постучали.

— Кто?— спросил Грубин.

Вместо ответа раздался крик.

Грубин обернулся. Удалов, с побелевшими от ужаса глазами, стоял в дверях, приподняв ногу, в которую вцепилось небольшое желтое животное.

— Не бойся,— сказал Грубин,— это лев.

Дрессировщица рыдала, а Грубин думал, как бы ей объяснить, что все обойдется... Вдруг она иностранка, гастролирует у нас? А вдруг начнется международный скандал?

— Какой еще лев?— возмущался Удалов, размахивая ногой, чтобы стряхнуть хищника. Хищник отлетел по дуге в сторону и исчез в груде бракованных транзисторов.— Ты чего крыс развел? Ты представляешь, если Ксения узнает?

— А ты ей не говори.

— Нельзя. Она все равно узнает. Я конспиратор никакой. Чего там у тебя?

Удалов подошел к Грубину и заглянул ему через плечо.

— Мама родная!— сказал он.— Куклами занялся!

В этот момент дрессировщица приподнялась на локте и попыталась сесть. Если встречу со львом Удалов еще пережил, то при виде ожившей дрессировщицы силы оставили его. Он опустил голову и тихо пошел вон из комнаты. Грубину бы его остановить, объяснить научность феномена, но мысли его были столь встревожены, что ухода друга он не заметил.

— Что же произошло?— спросил Грубин у дрессировщицы.— Пожалуй, тут нет ничего удивительного. Ведь все живое состоит из электронов. И ты из электронов. Так что мы с тобой в чем-то одинаковые. Только ты кажешься, а я настоящий.

Дрессировщица обратила к Грубину умоляющий взор и протянула тоненькие ручки.

— Просишь, чтобы вернул в телевизор?— спросил Грубин.

Дрессировщица закивала головкой.

— Прости, но в настоящий момент у меня нет средств, чтобы приобрести новый кинескоп. Кроме того, боюсь, что есть повреждения в приставке. Придется потерпеть. Ты есть хочешь? А пить будешь? Значит, эти функции у тебя отсутствуют? Придется тебе пока отдыхать.

Грубин отыскал старую коробку из-под ботинок, положил в нее тряпочку и на всякий случай поставил блюдце с водой.

— Ложись,— сказал он,— утро вечера мудренее.

Он перенес дрессировщицу в коробку и добавил:

— Если ты стесняешься, то я свет погашу.

Дрессировщица, конечно, ничего не ответила. Грубин подошел к шкафу, распахнул его и стал думать, что бы завтра продать — новый костюм или плащ? Решил, что все-таки продаст костюм, завернул его в бумагу. Потом заглянул в коробку. Дрессировщица не спала.

— Ну, что ты будешь делать?— сказал Грубин.— Женщина есть женщина. Я на твоем месте давно бы спал.

Ночью Грубин проснулся от ужаса. Что-то шуршало неподалеку. Он вспомнил, что по комнате бродит взбешенный лев. Для Грубина он не опасен, а для девушки — страшный хищник.

Грубин вскочил и босиком пробежал к выключателю. Если девушку растерзали, то она, яемая, не могла даже позвать на помощь.

Зрелище, представшее его глазам, успокоило и даже развеселило. Дрессировщица, не раздеваясь, спала на тряпочке, положив головку на живот льву. Видно, в темноте лев отыскал свою хозяйку. И правильно, лев-то ручной, только на чужих кидается...

Утром, пока гости из телевизора еще спали, Грубин сбегал, продал одному человеку костюм за полцены, дождался открытия универмага, купил кинескоп, кое-что перекусить и вернулся домой.

Дом жил субботней утренней жизнью. Профессор Минц сидел у окна, читал журнал, Ксения Удалова выбивала во дворе ковер, юный Гаврилов гулял по двору с транзисторным приемником наперевес, в коридоре Грубину встретилась какая-то кошка, он сначала принял ее за льва, а потом встревожился: как бы кошка не пронюхала, что у него за жильцы.

С жильцами ничего плохого не произошло. Они проснулись, сидели в коробке, дрессировщица заплетала львиную гриву в косички, а при виде Грубина вскочила и стала делать руками выразительные движения, которые Грубин истолковал так: «Ну, сколько это может продолжаться? Вы оторвали меня от близких и любимой работы, утащили в разгар представления, будьте любезны вернуть меня в коллектив!»

— Сейчас,— ответил Грубин.— Примем меры. Не беспокойся... А ты ведь даже не представляешь, какое значение для мировой науки имеет твое существование...

Этого дрессировщица, как человек искусства, конечно, не поняла.

К вечеру Грубину удалось наладить телевизор. Дрессировщица ничего не пила, не ела. Лев тоже не требовал пищи.

Пора включать. Зажужжали лампы, включились печатные схемы, задрожали стрелки могучей телеприставки, и на экране возникла надпись: «Публицистическая студия «Дискуссионный клуб».

Тут же показали строительный пейзаж, уставленный башенными кранами, а на переднем плане стоял молодой человек с микрофоном в руке, который рассказывал зрителям о непорядках на этом строительстве. У ног молодого человека крутила поземка, промораживало. Грубин хотел было, не тратя времени даром, отнести жильцов к экрану, но замешкался, потому что дрессировщица и лев были без теплой одежды. Пока он думал, как поступить, раздался грохот. Грубин увидел выражение ужаса на лице дрессировщицы. Он обернулся к экрану. Поздно...

Кинескоп снова лопнул, телевизор вышел из строя, и виной тому был молодой человек, выпавший из телевизора. Все еще сжимая в пальцах микрофон, он сидел на столе и стряхивал с себя мелкие осколки стекла.

— Этого еще не хватало!— в отчаянии воскликнул Грубин.

Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился цапнуть Грубина за палец. Видно, находился в шоке, не соображал, что происходит. А звуков, как и девушка, не издавал.

При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зареванной девушке пришлось удерживать льва обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками.

Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придется обратиться за советом и помощью к профессору Минцу.

Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник сам профессор Минц, словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь потолочные перекрытия.

— Здравствуйте, голубчик,— сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты.— Говорят, здесь у вас чудеса.

— С Удаловым разговаривали?

— Что же делать, если вы таитесь. Говорят, что разводите желтых крыс и живых кукол. Так что же произошло?

— Сами поглядите.— Грубин, поддерживая профессора за тугой локоть, подвел его к коробке из-под ботинок.

При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты. Минц замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа.

— Откуда?— спросил он наконец.

— Из телевизора,— признался Грубин.— Переборщил я с объемностью. Вот и стали вываливаться.

— А, фантомы,— успокоился профессор.— А я уж испугался, что вы начали опыты по минимализации живых людей.

— Как вам сказать,— возразил Грубин.— Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают.

— Любопытно. Но давайте отвлечемся от эмоций.— Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе. Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку.

— Очень любопытно,— повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами.— Полное впечатление реальности.

— Но почему так?— спросил Грубин.— Вы ей не повредите?

— Зачем же вредить? Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного Удалова.

— Они же проявляют чувства.

— А чем питаются?

— Ничем.

— Вот видите! Вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим быть на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство.

— А вдруг это она и есть?

— Не понял.

— Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась?

— Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты. Воспевайте фей и русалок, начните верить в привидения и астрологию.

В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьей, возлюбленной, родной матерью — всем. Колебания он рассматривал, как предательство.

— Этот голографический фантом я забираю с собой,— сказал Минц.— У вас еще есть?

— Есть еще один,— сказал Грубин.— В том ящике сидит.

— Добудьте еще несколько образцов. Мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров.

Дрессировщицу он все держал между пальцами.

— Вот вам деньги. На три кинескопа. Потом рассчитаетесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне, возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Перейры о возможной фантомизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое почерпнуть в теоретическом плане. И еще одно: как только пустите установку, вызовите меня.

От двери Минц обернулся и добавил:

— Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо.

Дрессировщица простирала к Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на дне, положив голову на лапы.

— Нет!— крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, опрокинул на пол стопку печатных схем.— Стойте!

Спина профессора была уже в конце коридора.

— Что такое?

— Пускай она пока у меня побудет. Лев очень переживает.

— Какой еще лев?

— Отдайте, пожалуйста.

— Саша, я поражен,— сказал Минц.— Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даете чувствам обмануть себя.

Грубин подошел к профессору и протянул ладонь.

— Ах, вот что,— насупился профессор.— Ясно... держите свое сокровище.

Профессор передал девушку Грубину и развел руками.

— Простите,— сказал он сурово.— Я вас не сразу раскусил. Но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе. Так что ваши опасения беспочвенны.

Высказавшись, профессор сердито потопал к двери.

— Лев Христофорович!— крикнул вслед Грубин.— Вы не так поняли!

— Еще как понял! Не впервые сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мститель.

Дверь за профессором тяжело захлопнулась.

Грубин возвратил дрессировщицу в коробку и сказал:

— Пойду за новым кинескопом. Учти, если не получится, придется тебе остаться тут навсегда.

Лев прыгал по коробке, как котенок, радовался встрече...

Грубин вернулся через час, сгибаясь под тяжестью трех кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно, а вот журналист исчез. Исхитрился вылезти из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету, а надо искать беглеца. А то станет жертвой какой-нибудь кошки.

— Что делать?— спросил Грубин дрессировщицу. Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие.— Пропал твой напарник,— объяснил Грубин.— Где искать — ума не приложу.

Дрессировщица задумалась, а потом показала на льва.

— Предлагаешь использовать? Умница. А то мне без помощников час пришлось бы потратить — видишь, какой здесь беспорядок? Как бы только лев его не покалечил.

Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу.

Для дрессировщицы со львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Минут через десять Грубин настолько увлекся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло еще полчаса, прежде чем он спохватился: где же они? Он вскочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них невзначай.

Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытом под столом. Втроем. Дрессировщица увидела в вышине встревоженное лицо Грубина и помахала ему, утешая: продолжай, мол, трудиться, мы уж как-нибудь без тебя разберемся.

Грубин вернулся к установке. Но бывает же так: нужно спешить, а работа не клеится. До позднего вечера бился Грубин. Даже не поел.

Для жильцов время тянулось еще медленнее. Они забрались в коробку — все-таки свой угол,— о чем-то переговаривались знаками. Порой молодой человек принимался взволнованно ходить из угла в угол, а лев поворачивал голову ему вслед.

Наступила ночь. Грубин не ложился. Ему казалось, что жильцы побледнели. Их электронная структура в любой момент могла отказать — и погибнут люди. Ничего не оставалось, как работать и надеяться...

В половине пятого Грубин не выдержал, свалился на кровать, а когда очнулся, уже наступило воскресенье. Три часа хоту под хвост! Он метнулся к коробке, как мать к колыбельке больного младенца. Жильцы спали — лев посередке, люди по бокам, прижавшись к зверю.

При виде этой картинки Грубин проглотил набежавшую слезу. Притащил махровое полотенце, накрыл спящих и обернулся к машине.

— Нет,— прошептал он,— ты покоришься!

Он стиснул зубы, схватил отвертку, словно винтовку. И через час сопротивление телевизора было сломлено. Начали разгораться лампы, дрогнули стрелки приборов, и знакомый гул наполнил помещение.

Главное теперь — не упустить момент. Грубин был как сапер, который ошибается лишь раз. Если кто-то еще вывалится из экрана или перегорит трубка — лучше пулю в лоб.

По экрану пошли цветные полосы. Грубин бросился к коробке, подхватил ее — и обратно к телевизору. От сотрясения жильцы проснулись и хлопали глазами от ужаса и непонимания.

— Держитесь, ребята!— воскликнул Грубин.— Сейчас или никогда!

На просветлевшем экране обозначилась группа поющих детей. Спиной к экрану стоял дирижер. Он находился в опасной близости от рамы, и поэтому, выхватывая из коробки пленников и бросая их без церемоний внутрь, Грубин не спускал с дирижера глаз.

Жильцы так и не поняли, что же произошло. Один за другим они оказались внутри телевизора — дрессировщица, молодой человек и лев. Дети, увидев льва, бросились врассыпную, дирижер отпрыгнул, и хорошо еще, что Грубин его подстраховал — подхватил на лету и кинул обратно... Продолжения этой драматической сцены Грубин не увидел. Раздался страшный треск. На всей улице вылетели пробки, в комнате зазвенели стекла и распространились горелые запахи...

Грубин с облегчением вздохнул и опустился на пол у телевизора. И тотчас заснул. И не слышал, как шумели соседи, стучались к нему, грозили милицией.

Но на этом история не закончилась...

Грубин прервал опыты. Следовало освоить теорию. Грубин помирился с Минцем, читал журналы, и профессор переводил непонятные места с иностранных языков. Чтобы расплатиться с долгами, Грубин много работал, экономил на питании и все ждал того часа, когда создаст базу для новых достижений.

К весне Грубин исхудал, глаза провалились так глубоко, что их не было видно. Удалов, который собрался в отпуск, пожалел друга и достал ему соцстраховскую путевку.

Так они попали в Сочи.

Как-то друзья гуляли по городу, и вдруг Грубин замер, словно пораженный молнией.

— Гляди, Корнелий!— вскричал он.

— Что? Где?

— На афишу глядн! Узнаешь?

На афише была изображена дрессировщица. Она стояла, поглаживая рукой гриву льва.

— Кто такая?— спросил Удалов.

— Да я ж ее из телевизора вытащил! А ты еще удивился.

— Не может быть!

Грубин уже увлек Удалова в сторону цирка. Удалов не сопротивлялся. Только бормотал: «Скажи, Саша, она в коробке жила?.. Саша, а вдруг она на тебя в обиде?»

Чем ближе они подходили к цирку, тем меньше было в Грубине уверенности. О чем они спросят дрессировщицу? Подозревает ли она, что ее уменьшенная копия прожила три дня в коробке из-под ботинок?

Грубин замедлил шаги. Впереди показался цирк.

— Корнелий,— сказал он,— может, домой пойдем?

— Нет уж. Истина прежде всего. Погляди, это не она?

Грубин поглядел вперед. У служебного входа стояла девушка.

— Она.

— Тогда иди.

— Ни в коем случае.

— Тогда я сам пойду.

— Может, не надо?

Удалов быстро пересек площадь. Грубин остался на месте. Удалов подлетел к девушке, но она его не заметила. Она смотрела в другую сторону. Грубин проследил за ее взглядом. К девушке спешил высокий молодой человек в кожаной куртке. Он поднял руку, приветствуя дрессировщицу. Тот самый молодой человек!

Мысли Грубина неслись по кругу, как мотоциклисты по гаревой дорожке. Надо было отозвать Удалова. Но как отзовешь, если он уже вцепился девушке в рукав и Грубин, хоть стоял в ста шагах, отчетливо, видно, на нервной почве, слышал каждое слово.

— Простите, девушка, но ваше лицо мне знакомо.— Это голос Удалова.

— Я вас не знаю.— Это голос девушки.

— Что ему от тебя нужно?— Это голос молодого человека.

— Может, вы меня в цирке видели?— Это голос девушки.

— Нет, я вас в другом месте видел. Вы в доме шестнадцать на Пушкинской улице бывали?— Это голос Удалова.

— Мы спешим.— Это голос молодого человека.

«Откуда же ей знать о доме шестнадцать?»— Это мысли Грубина.

— И вы не знаете моего друга Александра Грубина?— Это голос Удалова.

— Простите, не встречала.— Это голос девушки.

«Откуда ей знать, как меня зовут?»— Это мысли Грубина.

— Тогда простите за беспокойство.— Это голос Удалова.— А лев на афише? Это ваше животное?

— Это Акбар.

— Как же, помню, он меня за брюки хватал...

Молодые люди посмотрели на Удалова как-то странно и пошли прочь.

И вдруг, словно ощутив настойчивый взгляд Грубина, девушка посмотрела через площадь. Встретилась с ним взором. Грубин даже сжался.

— Сережа,— сказала девушка.— Откуда мне так знакомо лицо того человека? Очень знакомо. У меня с ним связаны неприятные воспоминания.

Молодой человек взглянул на Грубина. Пожал плечами.

Они пошли дальше. Но через несколько шагов остановился уже молодой человек.

— Ты права,— сказал он.— Где-то я его встречал.

Удалов вернулся к Грубину.

— Пустой номер,— сказал он.— Забудь об этом.

Кирилл БУЛЫЧЕВ

РАССКАЗ

КОРОНА ПРОФЕССОРА

Когда я сошел с электрички, уже стемнело. Шел мелкий бесконечный дождик. Оттого казалось, что уже наступила осень, хотя до осени было еще далеко. А может, мне хотелось, чтобы скорее наступила осень, и тогда я смогу забыть о вечерней электричке, этой платформе и дороге через лес. Обычно все происходит автоматически. Ты садишься в первый вагон метро, потому что от него ближе к выходу, берешь билет в крайней кассе, чтобы сэкономить двадцать шагов до поезда, спешишь к третьему от конца вагону, потому что он останавливается у лестницы, от которой начинается асфальтовая дорожка. Ты сходишь с дорожки у двойной сосны, потому что если пройти напрямик, через березовую рощу, то выиграешь еще сто двадцать шагов — все за месяц измерено. Длина дороги зависит от того, насколько у тебя сегодня тяжела сумка.

Шел дождик, и когда электричка ушла и стало тихо, я услышал, как капли стучат по листьям. Было пусто, словно поезд увез последних людей и я остался здесь совершенно один. Я спустился по лестнице на асфальтовую дорожку и привычно обошел лужу. Я слышал свои шаги и думал, что эти шаги старше меня. Наверное, я устал и жизнь у меня получалась не такой, как хотелось.

Я возвращался так поздно, потому что заезжал к Валиной тетке за лампой синего света для Коськи, только в четвертой по счету аптеке отыскал шиповниковый сироп, должен был купить три бутылки лимонада для Раисы Павловны, не говоря уж о колбасе, сыре и всяких продуктах — там двести граммов, там триста — вот и набралась сумка килограммов в десять, и хочется поставить ее под сосну и забыть.

Я сошел с асфальтовой дорожки и пошел напрямик, по тропинке через березовую рощу. Тропинка была скользкой, приходилось угадывать ее в темноте, чтобы не споткнуться о корень.

Я согласен бегать после работы по магазинам и потом почти час трястись в электричке, если бы в этом был смысл, но смысла не было, как не было смысла во многом из того, что я делал. Я иногда думал о том, как относительно время. Мы женаты полтора года, и Коське уже скоро семь месяцев, он кое-что соображает. И вот эти полтора года, с одной стороны, начались только вчера, и я все помню, что было тогда, а с другой стороны, это самые длинные полтора года в моей жизни. Одна жизнь была раньше, вторую я прожил теперь. И она кончается, потому что, очевидно, умирает человек не однажды, и, чтобы жить дальше и оставаться человеком, нужно не тянуть, не волынить, а отрезать раз и навсегда. И начать сначала...

Я поскользнулся все-таки, чуть не упал и еле спас лампу синего света. Правый ботинок промок; я собирался забежать в мастерскую, но, конечно, не хватило времени. Я вошел в поселок, здесь горели фонари и можно было идти быстрее. У штакетника металась белая дворняга и захлебывалась от ненависти ко мне. Это по крайней мере какое-то чувство. Хуже нет, когда чувства пропадают и тебя просто перестают замечать. Нет, все в пределах нормы, видимость сохраняется, тебя кормят, пришивают тебе пуговицы и даже спрашивают, не забыл ли ты зайти в мастерскую и починить правый ботинок. Так недолго и простудиться. Дальнейший ход мыслей довольно элементарен. Если я простужусь, то некому будет таскать из Москвы сумки.

Я это уже замечал и раньше, но одно дело — замечать у других, другое — когда это случается с тобой. Ты встречаешь мотылька в мини-юбке, с приглаженными крылышками и напудренным носиком. Проходит время — и мотылек выпархивает замуж. И будто не было мотылька. Кто-то другой — непричесанный, в туфлях на босу ногу — высчитывает, сколько осталось денег до получки, и с соседкой болтает о такой ерунде, что стыдно слушать. Мотылек трепетал при слове «любовь». Этому существу неведомо такое понятие. Ему нужна не любовь, а покорный муж. Но только ты стал таким вот покорным, тебя сразу зачисляют в мужья неудачные. Другие претенденты, которых пришлось бросить, были куда перспективней.

Дача Козарина вторая слева, и за кустами сирени виден свет на террасе. Раиса Павловна сидит там и трудится над амбарной книгой, в которой записаны все ее расходы и доходы. В жизни не видел человека, который так серьезно относился бы к копейкам. И меня сначала поразило, что Валентина, такая беззаботная и веселая раньше, нашла с ней общий язык. Может, скоро тоже заведет амбарную книгу и разлинует ее по дням и часам?

Мы сняли эту дачу, потому что ее нашла Валина тетка. Дача была старой, скрипучей и седой снаружи. Раньше там жил профессор Козарин, но он года три как умер, и дача досталась его племяннице Раисе, потому что у профессора не было других родственников. Все вещи принадлежали когда-то профессору, Раиса закинула их в чулан, словно хотела вычеркнуть его не только из жизни, но из памяти тоже. Не знаю, был ли у нее когда-нибудь муж, но детей не было точно. Коську она не любила, он ее раздражал, и если бы не эта дружба с Валентиной, нам бы с Коськой не сдобровать. Дача была небольшая, две комнаты и терраса. Не считая кухни и чулана. Раиса рада была бы сдать все, но комнату пришлось оставить себе — она развела огород, а за ним надо следить. Мы как жильцы Раису не очень устраивали, но у нее не было выбора — дача далеко от станции и от Москвы, ни магазинов, ни другой цивилизации поблизости нету, а Раиса заломила за нее цену, как за дворец в Ницце, и в результате, как разборчивая невеста, осталась ни с чем. Пришлось соглашаться на нас.

Я перегнулся через калитку, откинул щеколду и прошел по скользкой дорожке к дому, нагибаясь, чтобы не задеть сиреневых кустов и не получить холодного душа за шиворот. Раиса сидела за столом, правда, не с амбарной книгой, а с фармацевтическим справочником, любимым ее чтением. В ответ на мое «здравствуйте» она сказала только:

— Опять загулял?

Мне хотелось метнуть в нее три бутылки лимонада, как гранаты, но я поставил бутылки в ряд перед ней, и она рассеянно сказала:

— А, да, спасибо.

Так королева английская, наверно, говорила лакею, который принес мороженое. Тут вошла Валентина и изобразила радость по поводу моего приезда:

— А я уж волновалась.

Наверно, она могла отыскать какое-то другое приветствие, и все кончилось бы миром, но я-то знал, что она не волновалась, а блаженно вязала или дремала в теплой комнате, пока я тащился сюда, и думала о том, что вот кончится лето и ее тюремное заключение на даче, и она наконец встретит своего принца. А может, даже об этом не думала. Она живет в спокойном, растительном состоянии и выходит из него только под влиянием неприязни ко мне.

— Гулял я.— Мне было любопытно следить за ее реакцией.— Выпили с Семеновым, потом хоккей смотрели.

Валентина скептически улыбнулась и облила меня волной снисходительного презрения. Глаза у нее были не накрашены, и оттого взгляд оставался холодным. А я стоял и учился ненавидеть эти тонкие пальцы, лежащие равнодушно на столе, и прядь волос над маленьким ухом. Это трудная школа — куда легче ненавидеть самого себя.

— Ты устал, милый,— сказала Валентина.— Настоялся в очередях?

— Да говорю же, что пил с Семеновым!

Как мне хотелось вывести ее из себя, чтобы потеряла контроль, чтобы вырвались наружу интонации квартирной склоки, ее настоящее, злобное и равнодушное нутро!

— Удивительно,— проскрипела Раиса,— юноша из хорошей семьи...

— Какое вам дело до моей семьи!

И я сразу представил себе, как они хихикают с Валентиной, когда моя супруга рассказывает ей, как мой отец пытался запретить мне жениться на Валентине. Он сказал тогда: «Ты ни копейки не заработал за свою жизнь и хочешь теперь, чтобы я кормил и тебя и твою жену?» Потом, глядя в прошлое, я понял, что расчет Валентины был на нашу квартиру, на отцовскую зарплату и благополучную жизнь. Ведь когда отец сказал все это, она быстренько пошла на попятный. Она умело замаскировала свои мысли беспокойством о моем институте: «Тебе надо учиться, твои идеи бросить институт, уйти со второго курса, работать и снимать комнату не выдержат испытания. Нам будет трудно». Она отлично сыграла свою роль. Ей было нечего терять, разве только койку в общежитии. С ее внешними данными она могла выбрать квартиру получше нашей. И желающие были, я-то знаю.

Первые три-четыре месяца казалось, что стенок между нами не существует. Валентина работала, я работал, комнату мы нашли, и на вечерний я перешел без скрипа. Но тут в перспективе замаячил Коська, а когда Валентина ушла с работы и Коська материализовался, стало и в самом деле нелегко. Ей тоже. Она еще как-то рассчитывала на мое примирение с отцом, ради моего блага, как она объясняла, чтобы не платить за комнату и не ждать, что хозяйке надоедят ночные сцены, которые умел закатывать Коська, и она попросит нас покинуть помещение. Но я был упрям. Я тогда начал догадываться об ее игре, вернее, ее проигрыше, но все на что-то надеялся.

— Мне нет никакого дела до вашей семьи,— поджала губы Раиса.— Я имею в виду ту семью.

Другими словами, до моей — этой — семьи ей дело есть. Хороший стандартный союз двух гиен против одного зайца.

— Как Коська? — спросил я, чтобы не заводиться.

— Спит,— сказала Валентина и поджала губы, точно как Раиса. Валентина легко поддается влияниям.

Раиса поднялась, собрала бутылки и, прижав их к животу книгой, поползла к себе. Вообще-то террасу она нам сдала и получила за это деньги, но предпочитала проводить время на ней.

Я заглянул в комнату к Коське. Сын спал, и я поправил на нем одеяло. Коська ни на кого не похож, и поэтому те, кто хочет сделать мне приятное, уверяют, что он моя копия, а Валентинины тетки и подруги повторяют на все лады: «Валечка, какое сходство! Твой носик, твой ротик! Твои ушки!»

Ребенку, говорят, плохо расти без отца. Хорошо бы Валентина согласилась, когда мы разведемся, оставить Коську со мной. Я знал, что мать согласится получить обратно меня с сыном. Она его любит. Она из тех, кто считает Коську моей копией. Да и Валентине он не нужен — грустное свидетельство жизненного просчета. Когда она наконец отыщет свое счастье, у нее будут другие дети. Мне же больше ничего не надо. Я поймал себя на том, что думаю о разводе как о чем-то уже решенном.

— У тебя ботинок промок? — с издевкой спросила Валентина, входя за мной.— Ты ведь к сапожнику не успел?

— Угу,— сказал я, чтобы не ввязываться в разговор. Я был весь накален внутри, нервы плавились. Сейчас она найдет способ побольнее упрекнуть меня в бедности.

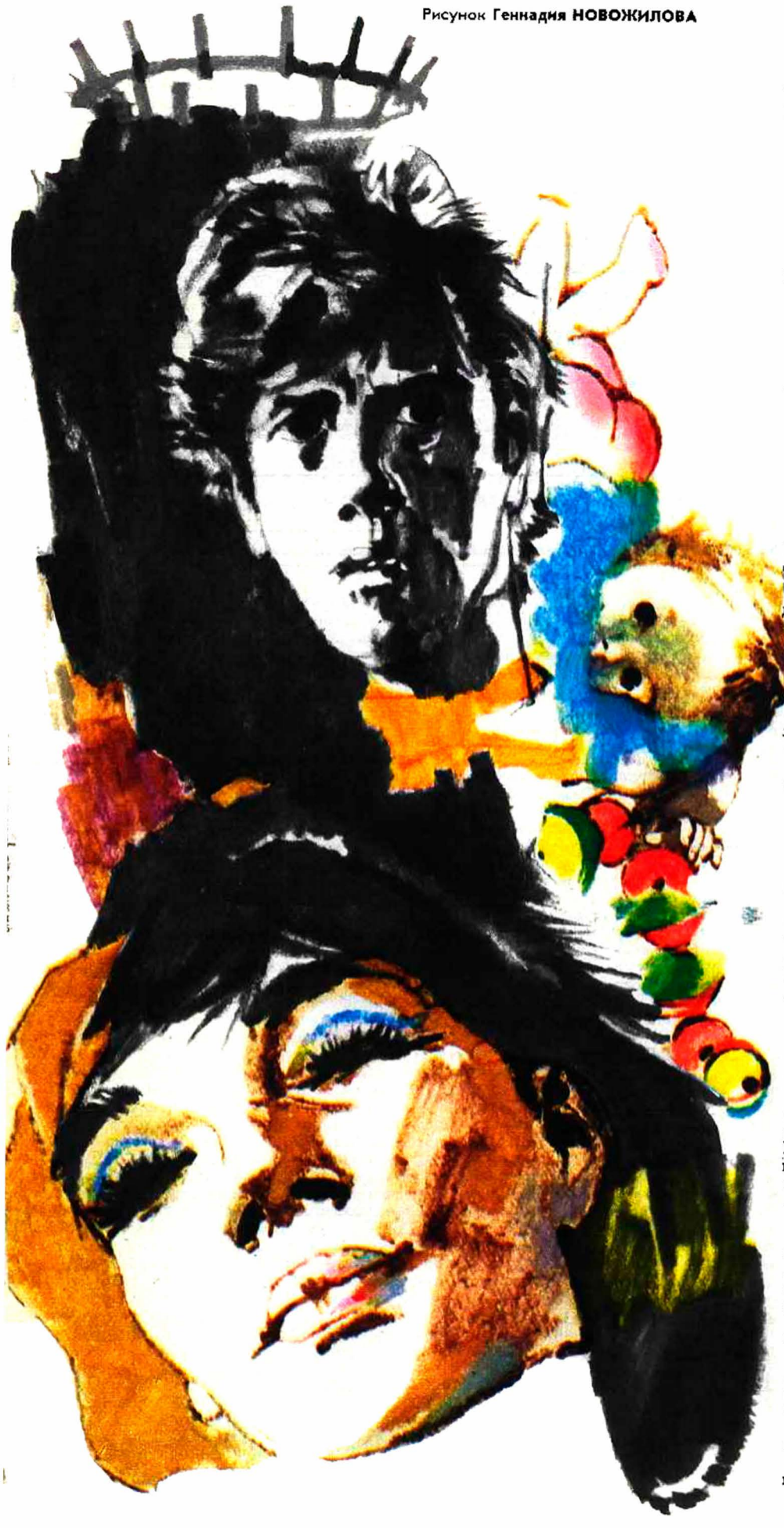
Она нашла.

— Знаешь, Коля,— сказала она лицемерно.— Пожалуй, я обойдусь без плаща. Мой старый еще в норме. А ботинки тебе нужнее.

Я поймал ее взгляд. Глаза были холодными, издевающимися. Слова хлынули мне в горло и застряли клубком. Я закашлялся и бросился к двери. Валентина не побежала за мной, и я ясно представил, как она стоит, дотронувшись пальцем до острого подбородка, и загадочно улыбается. Удар был нанесен ниже пояса, запрещенный удар.

Был уже одиннадцатый час, и, хоть назавтра намечалась суббота, когда можно пожениться, я решил лечь пораньше. Устал. Лечь я могу на террасе, как всегда, все равно Валентина в комнате с Коськой на случай пе-

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА



КОЗАРИНА

репелентать его, когда проснется. Но надо было идти в комнату за бельем и подушкой. А этого делать я не хотел. Мог сорваться. Поэтому я достал «Коррозию металлов» — увлекательное чтение в таком настроении — и принялся за книгу. Валентина вскоре заглянула в щелку и спросила шепотом (Коська чего-то возился во сне), буду ли я пить чай. Я на нее зашипел, и она спряталась. Я понял, что Валентина что-то задумала, иначе бы давно оказалась на террасе и мурлыкнула бы раза два, чтобы привести меня в смирное состояние. Пока, до осени, я ей нужен. Таскать сумки и угождать по хозяйству.

Скоро двенадцать. Заскрипела в дальней комнате кровать Раисы, хозяйка укладывалась, ей рано вставать — кур кормить. У меня слипались глаза. Ни строчки я не запомнил из «Коррозии». У меня в душе коррозия, это я понимал. И понимал еще, что в двадцать один год можно начать жизнь снова. Валентина тоже не ложилась. Она планировала новые унижения для меня, ждала, когда я не выдержу и приду за подушкой. Нет уж, не дождешься. Я посмотрел на свою ладонь — она была в крови. Значит, убил комара и сам этого не заметил. Дождик стучал по крыше, и ему вторил ровный шум струйки воды, сливавшейся с водостока в бочку у террасы. Мне даже нечем было накрыться — пиджак, еще не высохший, висел где-то на кухне над плитой. Взять, что ли, скатерть со стола? А почему бы и нет? Могу же я доставить утром удовольствие Раисе, когда она сунется на террасу и увидит, как я использовал рыночное произведение искусства с четырьмя оскаленными тигровыми мордами по углам. Я поставил пустую тарелку и прочую посуду на пол и только взялся за угол скатерти, как Валентина подошла к двери — мне слышен каждый ее шаг, особенно ночью. Я успел раскрыть книгу.

— Коля,— сказала она тихо,— ты занят?

— Я работаю,— отрезал я.— Спи.

Наверно, я потом задремал за столом, потому что очнулся вдруг от того, что дождь кончился. И было очень тихо, только шелестели шаги Валентины за дверью. «Как она ненавидит меня!» — подумал я почти спокойно. Большая ночная бабочка билась о стекло веранды. Я бесшумно шагнул к дивану и, не погасив света, тут же заснул.

Проснулся я довольно рано, хотя Раиса уже беседовала со своими драгоценными курами под самой верандой. Было солнечное и ветреное утро, скрипели стволы сосен, и в углу веранды жужжали осы. Я не сразу понял, почему я сплю вот так, словно на вокзале. Первые несколько секунд у меня было отличное настроение, но тут квантами стали возвращаться мысли и слова вчерашнего вечера, и я сбросил ноги с дивана — мне не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел меня. В комнате было тихо, я заглянул туда. Семья спала. Только Коська делал это безмятежно, а Валентина — сжавшись в комок и спрятав голову под одеяло,— даже во сне она избегала моего взгляда.

Я взял полотенце и зубную щетку и спустился в сад, к умывальнику, висевшему на стволе сосны. Пока я мылся, Раиса неслышно подкралась из-за спины и прошелестела:

— Сладко спите, голубки, без молока останетесь.

Она не здоровается, и я не буду. Но в ее ехидной фразе был здравый смысл. За два дома жила бабка Ксения, у которой мы брали молоко. Я, не говоря ни слова, подхватил с террасы бидон и пошел к калитке. Я шел и удивлялся себе: я был спокоен. И не мог сразу понять причины своего спокойствия. И только когда возвращался обратно, понял, в чем дело: оказывается, пока я спал, принял решение. Как будто решил во сне задачу, которую не мог решить несколько дней подряд. Сегодня я поговорю с Валентиной. И скажу ей все. Так можно откладывать разговор на годы. Есть семьи, в которых кто-то тоже откладывает такой разговор. Год откладывает, два, пять, а там уже поздно.

Валентина уже вскочила. Она звенела посудой на кухне и, услышав, как я поднимаюсь по лестнице на веранду, крикнула оттуда:

— Молодец, что про молоко догадался!

Расшифровать эти слова было легче легкого. Значит, Раиса сообщила, что без ее напоминания я оставил бы ребенка без молока.

Сначала я хотел сказать о разводе прямо за завтраком и даже придумывал первые слова, но испугался, что Валентина примет мои слова с полным равнодушием — это она умеет — и скажет только: «Пожалуйста». Мне хотелось, чтобы она почувствовала то, что чувствую я, хотя бы пять процентов от этого. И я старался держать себя за завтраком в норме, и, когда Валентина рассказывала мне, как Коська вчера отвертел пупсу голову, я послушно улыбался.

— Ты сыт? — спросила Валентина, допивая кофе.

— Разумеется,— ответил я и потянулся за «Коррозией металлов». Она намекала на то, что я съедаю больше, чем зарабатываю. Кроме того, в любой момент она могла спросить, хорошо ли я провел ночь. «Коррозия металлов» нужна была мне как ширма. Мне надо было сообразить, когда начать разговор.

— Коль,— сказала Валентина,— у меня к тебе есть серьезное дело. Только не обижайся.

У меня оборвалось и упало сердце. Я никак не предполагал, что Валентина опередит меня. Неужели она нашла себе нового принца? Может, с помощью Раисы Павловны, услужливой старшей подруги? Почему я сам не заговорил до завтрака!

— Да,— сказал я равнодушно. Мне казалось, что у меня шевелятся волосы — так метались в голове мысли.

— Я обещала Раисе Павловне,— сказала Валентина,— сделать одну вещь. Мы ей многим обязаны... ну, в общем, ты понимаешь...

Я ничего не понимал. Я сжался, как собака перед ударом, но при чем здесь Раиса?

— Ты знаешь, что ей трудно нагибаться, а она хочет сдать чулан. Если пробить в нем окно, он станет неплохой комнатой.

— Ну и пускай сдает,— ответил я автоматически. Это был какой-то очередной заговор, но пока я не раскушу его, лучше не сопротивляться.— Она скоро и чердак сдаст. И пустую собачью конуру.

— Раиса просила вытащить из чулана старые профессорские журналы и бумаги, потом там два сундука и еще какая-то рухлядь. Она мне показывала.

Я мог бы сказать, что должен заниматься. Я мог бы даже сказать, что имею право хоть день в неделю отдохнуть. Но я растерялся. Ведь я готовился к другому разговору.

— Как хочешь,— сказал я.

— Ну вот и отлично.

Если Раиса подыскивает ей нового жениха, то Валентина честно отрабатывает за услугу. Я, правда, выгляжу последним дураком в этой ситуации. Ну так мне и надо.

В чулане пахло кошачьим пометом. В маленькое окошко под потолком пробивался луч солнца, и в нем важно плавали пылинки. Бумаги были связаны стопками, журналы грудами возвышались в углах и на ящиках.

Сзади возникла Раиса и сказала, хотя никто не просил ее:

— Все ценное я в институт отдала. Приезжали из института. Я отдала безвозмездно.

Ей понравилось последнее слово, и она повторила:

— Безвозмездно.

— За некоторые книги в букинистическом вам неплохо бы заплатили,— сказал я.

Она не уловила иронии и сразу согласилась, словно сама об этом жалела:

— Тут была масса книг и некоторые из них старые, ценные. У профессора была изумительная библиотека.

Валентина надела пластиковый передник и косынку. Она вошла в чулан первой, и луч света зажег ее волосы. Ну почему у нас не получилось? Почему кто-то другой должен любоваться ее волосами?

— Бумагу и журналы складывайте у кухни,— напомнила Раиса.

Валентина не ответила. Видно, была информирована об этом заранее.

— Я уже договорилась со старьевщиком. Он приедет за макулатурой на грузовике,— сообщила Раиса.

Они и не сомневались, что я потрачу субботу на черный труд. Мое согласие было пустой формальностью.

Валентина наклонилась и передала мне первую пачку журналов. Я отнес их в сад и положил на землю. Журналы были немецкие, кажется, «Биофизический сборник» десятилетней давности. Я подумал, как быстро человек исчезает из жизни. Как быстро все забывается. Эти журналы стояли на полках рядом с книгами, и человек по фамилии Козарин, которого я никогда в жизни не видал даже на фотографии, подходил к этим полкам, и содержимое этих журналов было отпечатано у него в мозгу. Я открыл один из журналов наугад и увидел, что на полях расставлены восклицательные знаки и некоторые строчки подчеркнуты. Существовала стойкая обратная связь между жизнью Козарина и жизнью этих статей. И, наверное, эти журналы и еще больше кипы бумаги, исписанные самим Козариным, потеряли выход к людям, как только не стало самого профессора. Вот сейчас приедет старьевщик и заберет их, чтобы потом их перемололи и напечатали на чистой бумаге новые журналы, каждый из которых прилепится к какому-то человеку, срастется с ним и, вернее всего, умрет с ним. Три года назад на этой даче существовал замкнутый мир, построенный Козариным за многие годы. Теперь мы с Валентиной дочищали остатки его, чтобы новый, Раисин, безликий и маленький мирок полностью восторжествовал здесь. И я подумал, что обязательно, когда буду в Ленинке, загляну в каталог: что же написал, что придумал сам Козарин, есть ли ниточка, которую мы обрываем здесь и которая обязательно должна тянуться в другие места и в другое время?..

— Коля,— позвала Валентина и вернула меня на землю, где от меня, наверно, не останется никакой ниточки.— Ты куда пропал?

Раиса возилась на кухне, я думаю, чтобы поглядывать, не украду ли я по дороге килограмм-другой макулатуры. Я спросил ее, проходя:

— А Козарин кто был по специальности?

— Профессор,— ответила она простодушно.

— Профессора разные бывают. Химики, физики, историки.

— Ну, значит, физик,— сказала Раиса, и я ей не поверил. Просто слово «физик» звучало для нее уважительнее.

Валентина уже вытащила из чулана несколько пачек, и мне оставалось лишь проносить их через кухню, и я краем глаза поглядывал на Раису, и мне казалось, что она шевелит губами, подсчитывает число пачек, чтобы потом занести никому не нужную цифру в амбарную книгу.

Так мы и работали около часа. Раз мне пришлось оторваться и сбегать к Коське, но вообще-то он вел себя в то утро очень благородно, будто предчувствовал наступление решительного момента и старался быть на высоте. Предстоящий разговор его еще как касался.

Валентина вымела пыль, и мы принялись за сундуки. Разумеется, Раиса уже прошлась сквозь них частым гребешком, а потом сваливала в беспорядке туда все, что для нее не представляло коммерческого или хозяйственного интереса. В сундуках лежали вповалку старые, дырявые ботинки, битые чашки, тряпье, книги без начала и конца, но главное — масса обрывков проводов, проволоки, гаек, шурупов, коробочек с диодами, обломков печатных схем и, что совсем уж странно, два тщательно сделанных макета человеческого мозга, исчерканных и даже проткнутых кое-где булавками.

— У профессора было хобби,— сказал я.— Какое, неизвестно.

Раиса, которая все слышала, отозвалась из кухни:

— Вы не представляете, в каком я застала все состоянии. Дача была абсолютно не приспособлена для жилья. Банки, склянки и проволочки. Еще было много целых приборов, но эти, из института, с собой увезли. Целую машину.

Тогда ты боялась, была не уверена в своих правах. Еще бы, целая дача в наследство. Теперь бы так просто не отдала. Но вслух я выражать свое мнение не стал.

Мы вытаскивали барахло на улицу, пока сундуки не стали достаточно легкими, потом протащили их через кухню. Снаружи уже возвышалась гора макулатуры, и вид у нее был жалкий — в чулане это не так чувствовалось. Потом я выволок из чулана последние мешки и коробки, Валентина взяла мокрую тряпку, чтобы стереть пыль, а я задержался в саду, потому что вдруг захотелось поразмышлять о бренности человеческого существования. Но ничего из этого не вышло, размышления по заказу у меня не получаются. Вместо этого я вспомнил о том, что подходит решительный момент, а я почти забыл о нем, потому что не хотел о нем помнить, и за этот час или два, пока мы чистили авгиев чулан, Валентина умудрилась ни разу не напомнить мне о грустной действительности.

Я вытащил из груды хлама толстый обруч с выступами, словно зубцами короны, и подумал, что раньше, найдя такую штуку, я обязательно придумал бы что-нибудь веселое и короновал бы Валентину, как царицу Тамару. Теперь она таких шуток не понимает. Ну что же, можно короноваться самому — царь дураков и простофиль!

Я вернулся на террасу, туда, где придется начинать разговор. И, наверно, теми же словами, как начала недавно Валя: «У меня к тебе есть серьезное дело». Ненавижу такие разговоры. К хорошему они не ведут. Но я и не надеялся на хорошее. Сейчас войдет Валентина.

Я испугался, что она войдет, и тут же появилась спасительная мысль— надо умыться. Я бросил обруч на диван и долго полоскался под тонкой струйкой из зеленого умывальника на сосне. Потом я увидел, что к умывальнику спешит Валентина с полотенцем в руке, и вернулся на террасу. Ну, сказал я себе, пора. Все случилось именно потому, что ты слишком часто был тряпкой. Хватит.

Я услышал, как скрипят ступеньки под ногами Валентины. Мне некуда было деть руки. Я взял обруч. Валентина подошла поближе, и я отодвинулся на шаг.

— Что это у тебя? — спросила она.

«А что, если Раиса услышит? — подумал я.— Нельзя же говорить при Раисе. Зачем доставлять человеку садистскую радость?» Это был замечательный предлог, чтобы потянуть с разговором, но как назло Раиса промелькнула перед террасой и направилась к калитке. Она наверняка спешила поторопить старьевщика. Отступать было некуда.

— Что это? — повторила Валентина.

— Корона царицы Тамары,— сказал я.— Или царя Соломона. Все равно.

И я надел обруч на себя, а мой язык уже начал произносить подготовленные и тщательно отрепетированные за утро слова:

— Валя, у меня есть к тебе серьезное дело...

И в этот момент я замолчал. Я не слышал, что ответила Валентина, потому что меня не стало. Это было странное, мгновенное чувство исчезновения. У меня сохранились ощущения, во мне были образы и мысли, но это все не имело ко мне ровным счетом никакого отношения. Описать это невозможно, и я клянусь, что ничего подобного не испытывал никто из людей. За исключением, наверно, Козарина.

Я анализировал эти свои необыкновенные ощущения потом. В мозгу человека миллиарды нервных клеток, у каждой свои дела и свои задачи. И, наверно, среди них есть сколько-то таких, что ничего не делают, но ждут своего момента, в который мозгу приходится сталкиваться с настоль-

ко новыми ощущениями, что обычным рабочим клеткам с этим не справиться. И они, как детективы, бросаются на выручку, схватывая и отбрасывая различные возможности, перебирая варианты, пока не найдут тот единственный, верный выход, который можно сообщить остальным клеткам. Если не так, то почему же после первых мгновений паники мой мозг узнал, что со мной случилось?

Я увидел, узнал, услышал — называйте как хотите,— что творится в голове у Валентины. Если вы думаете, что я прочел ее мысли, это будет неверно. Мыслей я не читал. Просто я оказался внутри Вали, и то, что в описании занимает немало строк, стало моим достоянием мгновенно...

Был страх, потому что Николай, который с вечера нервничал, места себе не находил, наконец решился на что-то ужасное, что потом уже не исправишь. И его слова о серьезном разговоре и то, как дрожат его руки, когда он напяливает на себя этот обруч... Он скажет, он обязательно должен сказать, что так больше жить нельзя, что он уйдет. И он, конечно, по-своему прав, потому что с самого начала было понятно, что он будет несчастлив. Он ведь, как мальчишка, не может смотреть в будущее. И тогда не смог, вернее, не захотел. Когда случился тот разговор с отцом и ясно стало, что родители не одобряют, вот тогда нужно было уйти от него, уехать, завербоваться куда-нибудь на стройку. И не было бы трудностей, таких страшных трудностей для Коли. Как только он тянул все эти месяцы! И ведь еще учился — похудел и издергался. Как она посмела навесить на шею любимому человеку такой груз — себя и Коську. Ой, если бы он чуть-чуть еще подождал, ведь осенью Коську устроили бы в ясли на пятидневку и она пошла бы работать. Но поздно. Потому что Колина любовь умерла, да и не сейчас умерла, а еще весной или зимой. Вот руки, обычные руки, даже не очень сильные, а можно смотреть часами на них, знать на ладони каждую морщинку и мечтать о том, чтобы нагнуться к ним и положить голову. И нельзя, потому что она так виновата перед ним: не хватило силы отказаться от счастья. А вся жизнь тогда складывалась из маленьких и больших чудес. Было чудом идти с ним в кино и знать, что в буфете он купит ириски «забаву» и будет давать ей по штучке, и каждый раз его рука будет задерживаться на ее ладони. Было чудом бежать в соседнюю комнату общежития и за большие услуги в будущем выпрашивать черное платье у Светки, потому что Коля купил билеты на французского певца, и потом сидеть в очереди в парикмахерской и смотреть на часы, а времени остается всего ничего и можно опоздать, хотя Коля ничего не скажет. И было главное чудо: он хочет, чтобы они остались вместе навсегда. Это было такое чудо, о котором даже нельзя рассказать никому в общежитии, а то оно растает. Ну почему она не сумела вовремя спасти Колю от себя самой! Он ведь гордый, он не отказался бы сам от своего слова. А она женщина. А женщина всегда старше мужчины, если и мужчине и женщине нет двадцати лет. Его старики не полюбили ее. Если бы она была другая — студентка, москвичка, может, все было бы иначе. Ему и нужна другая. Как глупо вспоминать теперь, что она старалась понравиться отцу и мыла окна, когда ее не просили об этом, и все было невпопад и только раздражало! И она видела, что раздражает, но ничего не могла с собой поделать. А потом у Коли пропало все. Высохло, как ручей в засуху. Остался долг. Коля совестливый. Ему давно бы уйти, он будет Коське помогать, он добрый. Как она устала за это лето! Не только физически, это не главное. Устала держать себя всегда в руках, не срываться, не напрашиваться на любовь, которую не могут дать. Как он обиделся вчера, когда она сказала, что надо купить ботинки, а плащ подождет! Не надо было так говорить, но вырвалось. Ей и в самом деле не нужен плащ, когда есть старый. Коля должен быть хорошо, красиво одет. Ведь он бывает в гостях, у друзей, заходит к своим родителям. И никто не должен знать, что ему трудно с деньгами, что дача сожрала все, на два месяца вперед. Хорошо еще, удалось уговорить тетку, чтобы Коля не узнал, сколько она стоит на самом деле. А сто недостающих рублей она наскребла. Коля пока не заметил, что она продала сапоги и зеленую кофту. Это пустяки. Ей не перед кем красоваться. Еще очень страшно всегда, что Коля может подумать, будто она его укоряет за малый заработок. Он так может подумать из гордости. Ну и что, если у него нет еще специальности. Ведь скоро она пойдет работать, а там и институт он окончит. это все такие пустяки, хотя поздно об этом думать. Он так много работает и занимается. Ведь она знает, что ни с кем он не пьет и почти всех друзей растерял. И вчера сидел, занимался до полуночи А у нее так зуб болел, хоть умри, а аспирин на террасе. Она сунулась было туда, но испугалась помешать. Он был раздраженный, усталый, лучше потерпеть. Наверно, раньше бы она так не подумала — пустяки какие: войди и возьми порошок, но уже давно она как будто висит над пропастью и слабнут руки, а внизу река. Зуб болел, она ходила по комнате на цыпочках, на Костика смотрела, на маленького Колю, и все ей хотелось, чтобы Коля вошел и положил ей руки на плечи. Хотя она знала, что не войдет. Она пыталась вязать. Она ненавидела это вязание, но надо же как-то зарабатывать, помогать Коле. Раиса устроила своей знакомой платье. Раиса такая корыстная, что наверняка с двадцати рублей за вязание пятерку себе за труды присвоила. Но с ней все просто. Она плохой человек, но хорошим не притворяется. С ней напрямик можно. Когда просила чулан разобрать, пришлось ей прямо сказать, что не в подарок. Договорились, что можно будет клубникой и другими ягодами с ее огорода бесплатно пользоваться. Для Костика, конечно. И очень неловко было идти к Коле. Она под утро вставала, поцеловала его в щеку, а он во сне нахмурился. Он весь уже против нее настроен, все тело его возмущается. И об этом она тоже старалась поменьше думать, потому что до последнего момента, пока Коля не сказал про серьезный разговор, она надеялась дотянуть до осени, как будто это спасительный рубеж, берег, до которого надо доплыть. А ведь сама понимала, что себя обманывает. Черепки как ни складывай, чашка не получится. А когда он в чулане трудился, ей показалось, что его неприязнь к ней прошла, на время. И ей даже петь захотелось. И снова себя обманывала. Может, взять Костика и уехать с ним, а потом прислать письмо: я тебя, дорогой, всегда любить буду, но не хочу быть обузой. Ведь не пропадет же она. А сейчас уже поздно. Он сам ее выгонит. И будет прав. Бедный мой Колька, мальчишка мой упрямый. Что с ним?..

Я потом понял, что все это продолжалось мгновение, ну, от силы две-три секунды, потому что Валя заметила, что я пошатываюсь, что я отключился, и бросилась ко мне, а я упал, и обруч скатился на диван.

Я пришел в себя сразу же, и глаза Валентины были близко, она так напугалась, что сказать вслух ничего не могла. У нее дрожали губы. Это — литературное выражение, и я раньше никогда не видел, чтобы у людей в самом деле дрожали губы. Голова у меня кружилась, но я все-таки сел на полу, потом встал, опираясь об ее руку. У нее тонкая и сильная рука. И я держал ее за пальцы и думал, что ее пальцы жесткие от постоянной стирки.

— Ничего особенного,— сказал я.— Уже прошло. Честное слово.

— Ты переутомился, посиди, пожалуйста.

От страха за меня она потеряла способность владеть собой, она готова была залиться слезами и прижаться ко мне. И хотя я не знал уже ее мыслей и никогда в жизни не надену больше этот обруч (завтра же отвезу его в институт), я продолжаю читать их. И я испугался, что она заплачет, что она сломится так вот, сразу, а до этого допускать нельзя — на ближайшие пятьдесят лет у меня четкая задача: ни разу не допустить, чтобы этот глупый ребенок заревел. Пускай ревут другие. И тогда мне пришла в голову вредная мысль, это со мной бывает, если мне хорошо и у меня отличное настроение. Я сказал, не отпуская ее пальцев:

— Так я говорю, что у меня к тебе серьезный разговор.

Пальцы, которые жесткими подушечками осторожно притрагивались к моей ладони, сразу ослабли, стали безжизненными.

— Да,— сказала она детским голосом.

— В четверг твоя тетка приедет?

Я разглядывал Валентину, будто только вчера с ней познакомился. Она не посмела поднять глаза.

— Обещала.

— Давай уговорим ее остаться ночевать. А я возьму билеты на концерт. Или в кино. Мы тысячу лет нигде с тобой не были.

— Лучше в кино,— сказала она прежде, чем успела осознать, что я сказал.

А потом вдруг бросилась ко мне, отчаянно вцепилась в рукава рубашки, прижала нос к моей груди, словно хотела спрятаться во мне, и заревела в три ручья.

Я гладил ее плечи, волосы и бормотал довольно бессвязно:

— Ну что ты, ну перестань... Сейчас Раиса придет... Не надо...

КОНТАКТОВ НЕ БУДЕТ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

И. ВАРШАВСКИЙ

К этому событию человечество готовилось много лет. Радиотелескопы крупнейших обсерваторий Земли планомерно прощупывали глубины пространства в поисках сигналов инопланетных цивилизаций; лингвисты и математики разрабатывали методы общения с представителями других миров; юноши допризывного возраста жили в мечтах о кремнийорганических и фтороводородных возлюбленных; писатели-фантасты, вдохновленные небывалыми тиражами, смаковали острые ситуации столкновений с антигуманистическими общественными формациями; ученые предвкушали разгадку самых жгучих тайн мироздания, галантно преподнесенных им коллегами из соседних галактик.

Было подсчитано и взвешено все: возможное количество обитаемых планет, уровень развития существ, их населяющих, вероятность посещения Земли космонавтами, представителями сверхмудрых рас, овладевшими источниками энергии невообразимой мощности и победившими пространство и время.

Мечты об эпохе вселенского содружества разума в космосе таили в себе такие перспективы, перед которыми мелкие неурядицы на нашей планете казались не заслуживающими внимания.

Судя по всему, оставалось ждать еще совсем немного, пока добрые дяди в сверкающих космических доспехах, взяв за руку неразумное и заблудшее человечество, поведут его к вратам нового рая, где оно вкусит блаженство и покой вкупе со всем сущим в космосе.

Правда, находились скептики, ставящие под сомнение ценность межгалактического общения при помощи информации, поступающей с опозданием в сотни миллионов лет, но их злопыхательство никто всерьез не принимал, потому что крылатая мечта допускала и не такие штучки, как распространение сигналов со скоростью, превышающей скорость света.

Несколько сложнее дело обстояло с установлением эстетических критериев будущего содружества. Однако в длительной и ожесточенной дискуссии сторонники мыслящих плесеней и живых океанов были разбиты наголову. Трудами известного ученого Карлсона (не того, что живет на крыше, а другого) была не только доказана неизбежность идентичности облика всех существ, стоящих на вершине биологического развития, но даже определен вероятностный среднестатистический тип, наиболее распространенный в пределах метагалактики.

Пользуясь методами биокибернетики, алгебры, логики и теории игр, Карлсон создал синтетическую реконструкцию мужчины и женщины — гипотетических аборигенов, населяющих один из возможных спутников Тау Кита.

Эта реконструкция была размножена методом офсетной печати на небольших картонных открытках, удобных для хранения в нагрудных карманах, и за три дня разошлась в количестве ста миллионов экземпляров. Особым спросом она пользовалась у школьников старших классов. Может быть, этому способствовало то, что Карлсон считал одежду второстепенной деталью и сосредоточил свое внимание главным образом на весьма пикантных подробностях.

Что же касается всяких толков, будто натурой Карлсону послужили некая танцовщица и ее партнер, выступающие с неизменным успехом в весьма популярном, но малорекламируемом увеселительном заведении, то они решительно лишены всякого основания, хотя бы потому, что никто из авторов подобных утверждений не рискнул выступить с ними в печати.

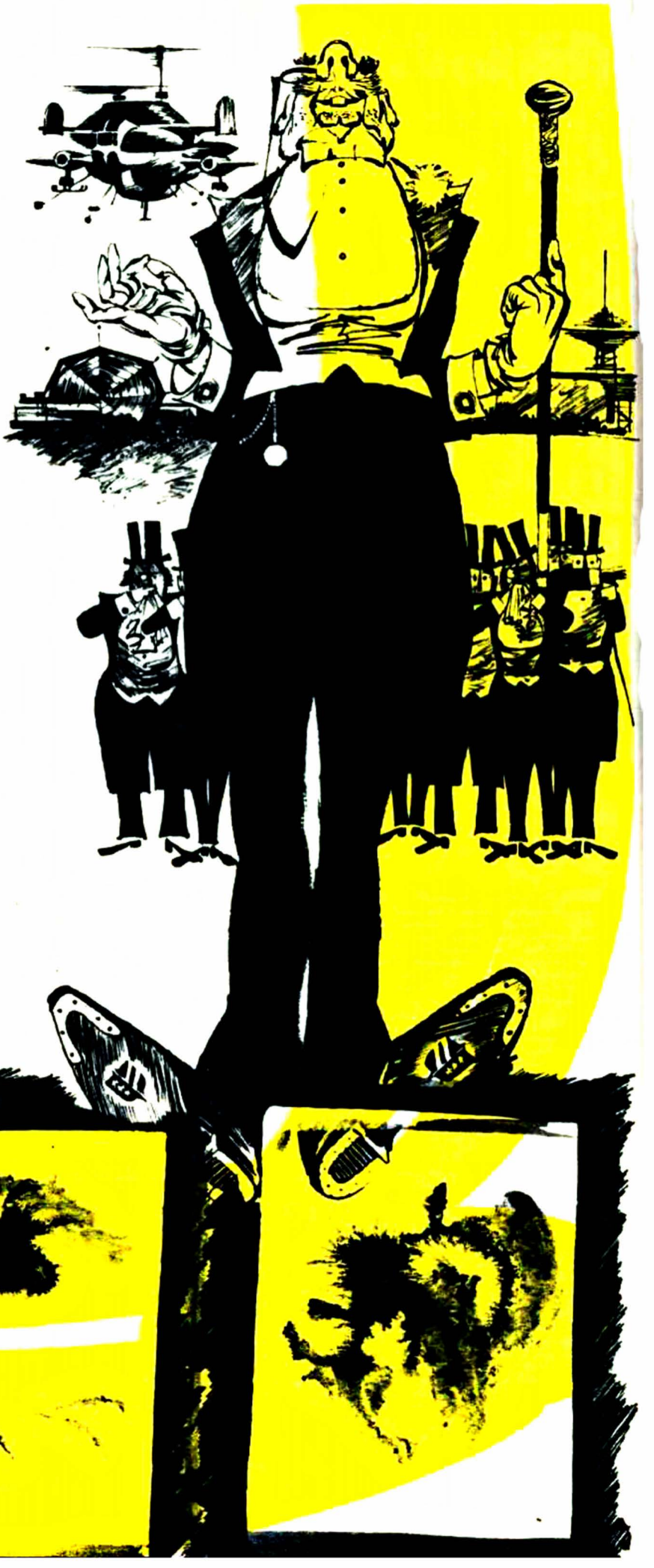


Рисунок Г. НОВОЖИЛОВА

Итак, сто тысяч радиотелескопов были нацелены в таинственную бездну мирового океана; восемь миллиардов рук тянулись раскрыть объятия; шестьдесят миллионов девушек дали обет связать себя узами любви с инопланетными пришельцами; целая армия юношей рвалась оспаривать честь первыми покинуть родную Землю и стать под космические знамена великого содружества.

И все же, когда это стряслось...

* * *

— Радиограмма от командира «Х26-371».— Дежурный международного аэропорта в Аддис-Абебе положил на стол начальника белый листок.— Я б не стал вас беспокоить, если бы...

— Что-нибудь случилось?

— Нет, но...

— Гм...— Начальник дважды перечитал радиограмму и вопросительно взглянул на диспетчера.— Вы уверены, что радистка ничего не перепутала?

— Клянется, что записала все слово в слово. Вначале слышимость была очень хорошей, а потом связь неожиданно оборвалась.

— Странно!

Он еще раз прочитал текст:

«17 часов 13 минут. 26°31′ СШ 18°10′ ВД высота 2 000 метров скорость 1 500 километров прямо по курсу вижу шаровую радугу около тысячи метров в поперечнике, предполагаю...»

На этом радиограмма обрывалась.

— Ну и что вы думаете?

Дежурный пожал плечами.

— Боюсь, что распоряжение Главного управления, запрещающее членам экипажа пользоваться услугами бортовых баров, выполняется не во всех случаях.

— Глупости! — Он подошел к стене и отметил карандашом координаты, указанные в радиограмме.— Самолет немного отклонился от курса и летел в это время над Ливийской пустыней. Очевидно, обычный мираж. Попробуйте еще раз с ними связаться.

— Хорошо.

Начальник достал из ящика стола диспетчерскую сводку. Самолет «Х26-371», рейс Сидней — Мадрид. Семьдесят пассажиров. Сейчас они должны идти на посадку в Алжире. Командир — Лейтер, один из лучших пилотов компании, вряд ли он мог...

Вернулся дежурный.

— Ну как?

— Связи нет.

— Запросите Алжир.

— Запрашивал. Они ничего не знают.

— Пора начинать поиски. Соедините меня с Сиднеем.

* * *

На следующий день все газеты мира запестрели сенсационными сообщениями.

Обломки самолета «Х26-371» были найдены в Ливийской пустыне, недалеко от места, указанного в последней радиограмме. По заключению комиссии, самолет взорвался в воздухе. Экипаж и пассажиры погибли.

Однако газеты уделяли основное внимание не самой катастрофе, а обстоятельствам, сопутствующим ей.

Неподалеку от места аварии был обнаружен полупрозрачный шар, висящий над поверхностью пустыни на высоте около двухсот метров.

Радужная оболочка шара, напоминавшая мыльный пузырь, излучала радиоволны в диапазоне от 21 сантиметра до 1 700 метров. При этом она, сокращаясь в объеме, неуклонно опускалась на землю.

За сутки, прошедшие с момента обнаружения, размер шара уменьшился наполовину.

В Ливийскую пустыню были срочно командированы представители всех академий мира.

Три раза в сутки крупнейшие телевизионные компании передавали через телеспутники изображение таинственного шара.

Наконец на пятые сутки шар коснулся поверхности песка и лопнул с оглушительным треском. Разразившаяся в момент приземления магнитная буря на несколько часов прервала все виды связи по эфиру. Когда же передачи возобновились, свыше миллиарда телезрителей, изнывавших в нетерпении у экранов, увидели на месте посадки три прозрачных сосуда прямоугольной формы, наполненных мутной жидкостью, в которой шевелилось нечто неопределенное.

Ужасающее зловоние, поднимавшееся из сосуда, не давало возможности операторам вести съемку с близкого расстояния. Однако при помощи телеобъективов удалось установить, что предметы, плавающие в жидкости, похожи на осьминогов и все время находятся в движении.

Теперь уже не было никаких сомнений.

Наконец-то нашу планету посетили братья по разуму, владеющие могущественной техникой межзвездных перелетов.

Хотя прогнозы Карлсона оказались не совсем точными, а обеты девушек — опрометчивыми, ничто не могло омрачить захватывающего величия первого общения с обитателями далеких и загадочных миров.

На время были оставлены всякие научные споры между сторонниками антропоцентрической теории и приверженцами гипотезы о сверхинтеллектуальных ящерах. Сейчас их объединяло одно неудержимое стремление: поскорее установить контакт с гостями.

К всеобщему удивлению, пришельцы не проявляли никакой инициативы. Они преспокойно плавали в своих сосудах, не обращая внимания на все творящееся вокруг.

Любопытство широкой публики готово уже было перейти в возмущение, но ученые, как всегда, не торопились. Свыше десяти суток шли оживленные дебаты в многочисленных научных комиссиях.

В опубликованном наконец коммюнике были сформулированы три основных пути решения проблемы:

1. Определить, какими органами чувств обладают пришельцы.

2. Найти способ доказать им, что они имеют дело с разумными существами.

3. Установить общий язык.

На пленарном заседании была избрана парламентерская группа во главе с сэром Генри Ноблом, последним отпрыском древнего рода, чей представитель ступил на берег Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем. По всеобщему мнению, безукоризненное воспитание сэра Нобла и дотошное знание им правил этикета делали эту кандидатуру наиболее подходящей.

Правда, во время очередных парламентских дебатов по внешней политике правительства лидер оппозиции выразил сомнение, сможет ли сэр Нобл с достаточным успехом доказать свою принадлежность к мыслящим существам, но после разъяснения премьер-министра, что иначе сэр Генри не мог бы занимать место в палате лордов, взял заявление обратно.

Комментируя это происшествие, одна из либеральных газет приводила неопровержимый довод в защиту кандидатуры сэра Нобла, который, по мнению автора статьи, с детских лет был вынужден упражняться в подобных доказательствах.

Теперь комиссия была готова к началу опытов по установлению взаимопонимания.

В Ливийскую пустыню было стянуто все, что могло способствовать решению поставленной задачи.

Мощные акустические установки, радиоизлучатели, работающие на коротких, средних и длинных волнах, прожекторы, меняющие цвет и интенсивность пучка, должны были помочь определить, какими же органами чувств обладают пришельцы.

Однако этого было недостаточно. Странные существа, погруженные в жидкость, внешне не реагировали ни на одну попытку привлечь их внимание.

На бурном заседании комиссии по контактам мнения разошлись. Математики считали, что следует переходить на язык геометрии, одинаково доступный всем разумным существам, искусствоведы настаивали на музыке, химики предлагали структурные формулы, инженеры собирались поразить гостей достижениями земной техники.

Неожиданное и остроумное решение было найдено председательствовавшим сэром Ноблом. Он предложил испробовать все методы поочередно, а пока предоставить ему возможность установить с пришельцами личный контакт.

Такой план устраивал всех. В подкомиссиях вновь закипела работа. Десятки самолетов перебрасывали в пустыню материалы для сооружения гигантского экрана и раковины, где должен был расположиться сводный оркестр Объединенных Наций. Шесть композиторов срочно писали Космическую симфонию до-мажор. Некоторые трения возникли в технической подкомиссии. В результате длительных дебатов было решено предоставить США возможность показать автомобильные гонки во Флориде, а Франции — ознакомить пришельцев с производством нейлоновых шубок.

Тем временем Генри Нобл готовился к ответственной и почетной миссии.

Он с негодованием отверг предложение специалистов воспользоваться противогазом, дабы избежать дурманящего зловония, испускаемого пришельцами, и заявил представителям прессы, что истый джентльмен никогда не позволит себе показать, будто он заметил что-либо, выходящее за пределы хорошего тона. «В таких случаях,— добавил он,— воспитанный человек задыхается, но не зажимает нос».

Группа парламентеров во главе со своим высокородным руководителем прибыла на место встречи в специальном самолете. Несмотря на палящий зной, они все были облачены в черные фраки и крахмальные сорочки, что выгодно отличало их от толпы корреспондентов и операторов, щеголявших в шортах и ковбойских шляпах.

Генри Нобл вскинул монокль и торжественным шагом направился к трем таинственным сосудам. Его свита в составе пяти человек следовала за ним в некотором отдалении.

Приблизившись к пришельцам на расстояние в пятьдесят метров, Нобл слегка покачнулся, отвесил полный достоинства поклон и тут же упал в глубоком обмороке на песок. Остальные члены группы, нарушив тщательно подготовленный церемониал, уволокли главу делегации за ноги в безопасное место. При этом они не только позабыли подобрать свалившийся монокль, но еще и самым неприличным образом прикрывали носы батистовыми платочками.

После небольшого замешательства, вызванного этим непредвиденным происшествием, инициатива была передана математикам.

Огромный экран покрыло изображение «пифагоровых штанов». При помощи средств мультипликации два квадрата, построенных на катетах треугольников, срывались с места и, потолкавшись в нерешительности возле квадрата на гипотенузе, укладывались в нем без остатка.

К сожалению, и это свидетельство мощи человеческого мышления, повторенное сто двадцать раз, не вызвало никакой реакции в сосудах.

Тогда, посовещавшись, комиссия пришла к единодушному решению пустить в ход тяжелую артиллерию — музыку.

Пока на экране два известных комика разыгрывали написанную лингвистами сценку, из которой пришельцам должно было стать ясным, что землянам не чужды понятия «больше» или «меньше», оркестранты занимали места в раковине.

Солнце зашло, но жар раскаленного песка заставлял людей обливаться потом. Внутри же раковины, нагретой за день, было жарко, как в духовке.

Комики на экране, обменявшись необходимым количеством бутылок и зонтиков, уже выполнили задание лингвистов, а оркестранты все еще настраивали инструменты.

Наконец приготовления были закончены.

Пятьсот лучших музыкантов мира застыли, готовые повиноваться магической палочке дирижера.

Космическая симфония до-мажор началась с низких, рокочущих звуков. Исполинский шар праматерии, медленно сжимаясь, вращался в первозданном пространстве. Взрыв! Чудовищное неистовство струнных инструментов, хаос сталкивающихся и разлетающихся галактик, бушующий океан звуков.

Но вот в стремительный, кружащийся рев вкрадывается простой и строгий мотив — предвестник нарождающейся жизни.

Гордо звучат фанфары: это, кроме простейших углеводородов, появились первые молекулы аминокислот.

Ширится рокот барабанов, пытаясь поглотить нежные звуки свирелей и валторн. Мрачную песнь смерти поют контрабасы, пророчествуя победу энтропии над жизнью.

Оркестранты изнывают от жары. Крахмальные воротнички и пластроны превратились в мокрые тряпки, многие уже тайком расстегнули пиджаки и жилеты, но палочка дирижера неумолима — она не дает никакой передышки.

Щелкают челюсти динозавров, раздаются предсмертные вопли живой плоти, перемалываемой в огромных пастях, шорох крыльев летающих ящеров, завывание бушующих смерчей, грохот извергающихся вулканов — и вдруг снова чистый и ясный мотив. Величайшее чудо свершилось: из унылой, серой протоплазмы через триллионы смертей и рождений на планете появился хомо сапиенс.

Тихий шепот проносится у телевизоров. Впереди оркестра, на освещенном постаменте, возникает обнаженная фигура женщины, воплощенная реконструкция Карлсона.

На ней ничего нет, кроме золотых туфель на шпильках и длинных черных чулок, перехваченных выше колен кружевными подвязками с бубенчиками. Она танцует. Цветные прожекторы выхватывают из мрака то ее руки, поднятые к небу, и откинутую назад голову, то стройный, смуглый торс, то вращающиеся в медленном ритме бедра.

Теперь в круговороте звуков слышится тоска человеческой души, устремленной навстречу братьям по разуму.

Все отчетливей становится партия скрипок, все быстрее вращение бедер, все явственнее аккомпанемент бубенчиков.

И тут случилось то, чего никто уже не ожидал.

Из аквариумов с пришельцами высунулись три извивающиеся ленты, развернулись наподобие детской игрушки «тещин язык» и понеслись по воздуху к оркестру.

Задержавшись на мгновение возле танцовщицы, они проникли в глубь раковины, прошли над головами оркестрантов и с той же стремительностью вернулись в аквариумы.

Весь мир ахнул. Это было неопровержимым доказательством могущества искусства, способного объединить носителей разума в космосе, независимо от того, как бы ни были различны их биологические формы.

Оркестранты, казалось, больше не чувствовали усталости и жары. Громко и победно зазвучала последняя часть симфонии, славя новую эру великого содружества.

Между тем сосуды с пришельцами вновь окутались радужной оболочкой, и сверкающий в лучах прожекторов шар взмыл под финальный аккорд к таинственным далям звездного неба.

* * *

Донесение начальника 136-й космической партии Великому совету всепознающего мозга:

«Волею и мудростью всепознающего мозга нами были организованы поиски разумных существ на окраинах галактического скопления звезд, занесенного в регистр совета под номером 294.

В качестве объекта изучения была выбрана третья планета Желтого Карлика, имеющая в составе атмосферы 21% кислорода.

Перенос на эту планету был осуществлен методом перенасыщения пространства.

Поверхность планеты представляет собой гладкий песчаный рельеф. Водоемы отсутствуют. Это обстоятельство, а также высокая температура и повышенная сила тяжести вынудили нас вести наблюдение, не покидая защитных сосудов с компенсирующей и питательной жидкостью.

Биологический комплекс планеты крайне беден и представлен передвигающимися на двух конечностях существами.

Эти существа, по-видимому, обладают некоторыми начальными математическими познаниями в пределах нулевого цикла обучения, принятого на нашей планете в дошкольных учреждениях.

Мы наблюдали их ритуальные игры и пляски, однако полного представления о культовых обрядах составить не могли, так как все наши попытки установить с ними контакт при помощи обычного языка запахов неизменно кончались неудачей.

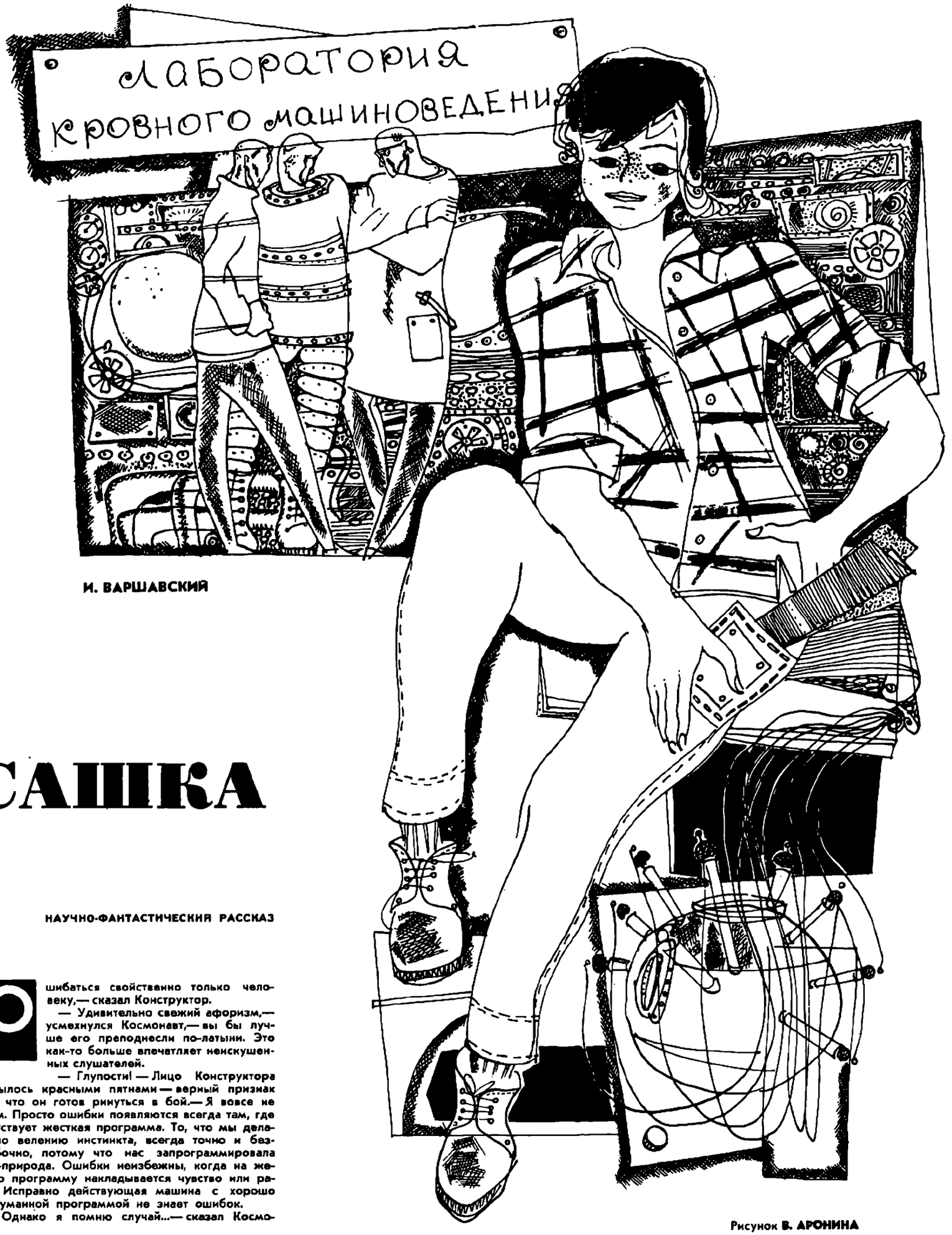
Спектр запахов, источаемых туземцами, весьма ограничен, и проведенный лингвистический анализ не мог выделить из них смыслового значения.

Есть основания предполагать, что в заключительной фазе нашего пребывания они всячески пытались усилить излучение запахов, согнав для этой цели несколько сот особей в нагретое помещение и заставляя их выполнять там тяжелую физическую работу. Может быть, эти запахи помогают им организовать простейшее общение между собой во время трудовых процессов, что, впрочем, совершенно недостаточно для того, чтобы их можно было отнести к числу разумных существ, обладающих речью.

Учитывая все изложенное, считаем дальнейшие попытки установления контактов с населением обследованной планеты бесцельными.

Начальник 136-й партии».

Донесение было записано по системе семи запахов на губчатом пластике, пригодном для длительного архивного хранения.



И. ВАРШАВСКИЙ

САШКА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Ошибаться свойственно только человеку,— сказал Конструктор.

— Удивительно свежий афоризм,— усмехнулся Космонавт,— вы бы лучше его преподнесли по-латыни. Это как-то больше впечатляет неискушенных слушателей.

— Глупости! — Лицо Конструктора покрылось красными пятнами — верный признак того, что он готов ринуться в бой.— Я вовсе не о том. Просто ошибки появляются всегда там, где отсутствует жесткая программа. То, что мы делаем по велению инстинкта, всегда точно и безошибочно, потому что нас запрограммировала мать-природа. Ошибки неизбежны, когда на жесткую программу накладывается чувство или разум. Исправно действующая машина с хорошо продуманной программой не знает ошибок.

— Однако я помню случай...— сказал Космонавт.

Рисунок В. АРОНИНА

— Да, да,— поддержал его я.— Может быть, вы объясните нам, как это получилось?

— Вы имеете в виду конфуз с «Метеором»?

— Конечно.

Конструктор замялся. Кажется, его наступательный порыв иссяк.

— Ну, это, знаете ли, исключение, которое только подтверждает правило,— вяло заметил он.

— Дудки! — сказал Космонавт.— На этот раз так просто вы от нас не отделаетесь, даже если бы вам пришлось переворошить все изречения от Цицерона до наших дней. Меня уже много лет интригует эта история. Ведь я как-никак был там главным действующим лицом.

— Вы думаете? — В голосе Конструктора была странная смесь грусти и иронии.

— Еще бы! — запальчиво ответил Космонавт.— Представьте себе, что вы три года готовитесь к экспедиции, подбираете команду, роетесь в архивах, проходите самые изощренные тренировки в условиях, больше всего напоминающих настоящий бред, зазубриваете целые тома справочников, и вдруг — о счастье! — все уже позади. Экипаж на своих местах, все речи уже произнесены, все пожелания и советы выслушаны, и вас связывает с Землей только голос в динамике, отсчитывающий секунды. И вот, наконец, вы в полете. Вначале обычный сумбур, когда кажется, что снаряжение неправильно подобрано, члены экипажа никогда не научатся понимать, чего вы от них хотите, а навигационное оборудование создано специально для того, чтобы вселять в вас сомнения в реальности существования окружающего мира. И вдруг все чудесным образом становится на свои места. Ваши спутники оказываются милейшими ребятами, а корабль, оснащенный самой совершенной техникой, пожирает пространство с легкостью, о которой вы и мечтать не смели. Теперь представьте себе, что именно в этот момент вы получаете с Земли категорический приказ вернуться назад. Три недели, пока вы гасите скорость, вновь ее набираете и снова гасите, вы теряетесь в догадках, шлете запросы, успокаиваете команду, волнуетесь сами так, что кусок не лезет в горло, и, наконец, сев на космодроме, выслушиваете какие-то сбивчивые объяснения: произошла, мол, ошибка. До сих пор не могу спокойно вспомнить смущенные рожи диспетчеров из Управления по космонавтике.

— Управление тут ни при чем,— вмешался я,— ошибка, по-видимому, произошла в Координационном центре.

— Да, там произошла ошибка,—задумчиво сказал Конструктор.

— Почему же тогда вы,— спросил Космонавт,— подписали акт о том, что виною всему бортовая аппаратура? Генеральные конструкторы редко проявляют такую самоотверженную заботу о чести мундира вычислителей.

— Ну... у меня для этого были кое-какие основания.

— Ладно,— сказал Космонавт,— выкладывайте все начистоту. Ведь с того времени прошло больше двадцати лет. Не так уж много осталось людей, которые помнят эту историю.

— Тем более что вы вполне можете рассчитывать на нашу скромность,— добавил я.

— Двадцать лет? — переспросил Конструктор.— Неужели двадцать лет? Мне кажется, что все это было совсем недавно... Двадцать лет... Ну, хорошо... Вы помните громоздкую организацию подготовки полетов в то время? Она приводила к тому, что Генеральный конструктор, помимо своей основной работы, должен был заниматься еще кучей вопросов, начиная с обеспечения жизнедеятельности биологического комплекса корабля и кончая вычислительной техникой. Больше всего хлопот мне доставляла бортовая аппаратура. Обеспечение безопасности дальних рейсов упиралось в отсутствие достаточно компактных и надежных решающих устройств. Чем дальше летали наши корабли, тем жестче были требования к весам и габаритам всего, что они на себе несли. В конце концов дело дошло до того, что я был вынужден объявить открытый конкурс на бортовую вычислительную машину. Мы получили больше трехсот проектов, но все это было не то, что требовалось.

Однажды, сидя в кабинете, я услышал громкую перебранку в приемной. Спустя несколько минут в кабинет вошла моя секретарша. Щеки ее пылали, грудь высоко вздымалась, голос дрожал, ну, словом, классический персонаж греческой трагедии. Она плюхнулась на стул и, закрыв глаза, пробормотала:

— С вами требует свидания какой-то... какая-то... какое-то существо.

Действительно, в дверях стояло нечто такое, что трудно поддавалось классификации.

Это существо было облачено в выцветшие джинсы, прожженные во многих местах до дыр, клетчатую рубашку, небрежно расстегнутую до пояса, и лихо заломленный картуз, из-под которого свисали до глаз рыжие космы. Все это дополнялось пятнистым носом, устремленным в небо, как у ракеты перед стартом, и парой широко открытых глаз цвета морской волны в десятибалльный шторм. Пальцы с черной каймой под ногтями судорожно сжимали большой чемодан из желтой кожи.

Судя по всему, этот экземпляр украшал собой нашу планету уже не менее четырнадцати лет.

Я понял, что мне несдобровать.

— Еще бы! — сказал Космонавт.— Каждый раз перед стартом я извлекаю из самых укромных уголков корабля не меньше десятка таких парнишек. В пять лет они мастерят аккумуляторы из консервных банок, в восемь изобретают реактивный велосипед, в четырнадцать становятся звездоплавателями, а в шестнадцать наводняют редакции журналов проектами перестройки нашей Галактики. Дело в том, что мальчишки всегда...

— Вы ошибаетесь,— перебил Конструктор.— То есть, пожалуй, вы были бы правы, если бы... видите ли, это был не совсем обычный случай... дело в том, что сзади из-под картуза еще торчали в разные стороны две тощие косички.

— Н-да...— сказал Космонавт.

— Она уселась в кресло,— продолжал Конструктор,— и снисходительно довела до моего сведения, что зовут ее Саша, что всю свою дальнейшую жизнь она намерена посвятить обеспечению космических полетов самой совершенной и самой надежной вычислительной техникой. В подтверждение обоснованности принятого решения из таинственного чемодана был извлечен какой-то гибрид детской гармошки с карманным приемником, и я получил право задать «машине», как она выразилась, самую-самую трудную задачу. Я поинтересовался, в каком классе учится конструктор, и в соответствии с его возможностями задал задачу на определение экстремальных значений функции. К моему удивлению, «гармошка» выдала правильный результат.

Теперь нужно было решить, как деликатнее спровадить это юное дарование.

Для начала я извлек из ящика стола коробку конфет. Она бросила на меня одобрительный взгляд и запустила пятерню в коробку.

Я не могу похвастать большим опытом по воспитанию детей, но лекция, которую я ей прочел, казалась мне тогда шедевром педагогики. Больше часа я ей втолковывал, что каждый, кто желает стать конструктором, должен вооружиться терпением и стараться получить как можно больше знаний, что только в школе... впрочем, вы сами знаете, какие сентенции преподносятся в подобных случаях. Я уже торжествовал победу, когда она, перебив меня, поинтересовалась, считаю ли я большое терпение и обширные знания обязательными для Генерального конструктора. Я подтвердил это и встал, чтобы проводить ее до двери, но она не проявляла никакого желания расстаться ни с креслом, ни с конфетами. Мне не оставалось ничего другого, как снова сесть. Убедившись, что генеральные конструкторы действительно обладают большим терпением, она приступила к проверке моих знаний. Вилка ее «машины» была выдернута из розетки, и мне предложили объяснить, почему на клеммах решающего устройства сохранилось напряжение. Я сказал, что схема, вероятно, дублирована на конденсаторах и что, хотя это очень старый способ, применявшийся ранее в переносных радиотелефонах, она сможет у нас в библиотеке найти по этому вопросу много книг.

— Не найду!— вызывающе ответила она, роясь в своем чемодане.— Ничего я у вас не найду, потому что вы и понятия не имеете, о чем идет речь. Вот полюбуйтесь, вы, Генеральный конструктор! — На мой стол плюхнулись две картонные коробки с деревянными клавишами.— Видите? Они же живые!

Она открыла одну из коробок, и моему взору представилась желтоватая студенистая масса, вся утыканная проводами.

Рыжий бесенок продолжал выбрасывать из чемодана какие-то пробирки, школьный микроскоп, кучу радиодеталей и клочки бумаги, исписанные формулами.

— Живые, живые, живые! Все они потомство одной машины... Потомство! Понимаете, что такое потомство?! Они могут решать все задачи, на которые была запрограммирована их мамаша до того, как произвела их на свет. Ну что, съели? Как теперь: будете меня снова посылать в школу или дадите лабораторию?!

В дверь просунулось встревоженное лицо секретарши, но я жестом дал ей понять, что пока вызывать помощь рановато. Честное слово, меня все это начинало интересовать.

Я до сих пор не понимаю, как моего цербера не хватил удар, когда поздно вечером мы с Сашей прошли через приемную. К тому времени у нас уже был заключен дружественный союз. На прощание она небрежно поправила на мне галстук и милостиво разрешила называть себя просто Сашкой, а я обещал ей выделить лабораторный стол и даже подергал ее за косички. Право, ни один мужчина в возрасте от пяти до восьмидесяти лет не смог бы преодолеть такое искушение.

Условия нашего договора были точны и суровы: если в течение года ей удастся соорудить какую-нибудь каракатицу, способную решить задачу о пропорциональном сближении ракет в космосе, я обязуюсь оборудовать ей лабораторию и предоставить все условия для дальнейшей работы. Если нет, то она возвращается в школу и клянется не показываться мне на глаза до окончания института. На первое время я прикрепил к ней опытного программиста.

— Да...— сказал Космонавт,— задача на пропорциональное сближение... Все-таки царь Ирод более гуманно относился к детям.

— Ему приходилось иметь дело с мальчиками,— ответил Конструктор,— а они всегда заслуживают снисхождения. Я не мог поступить иначе, затевая опасный эксперимент с человеческой душой. Нужно было дать ей отведать всю горечь того, что восторженные профаны называют «радостью научного поиска». В результате она либо убедилась бы сама в абсурдности этой идеи и нашла бы более разумное применение своего пыла в менее экзотической области, либо... Впрочем, другого исхода я не ждал. Слишком фантастичным было все это предприятие.

— Вы так и не сказали, в чем оно заключалось,— заметил Космонавт.

— Вообще это была занятная мысль. Вы помните биологические батареи, которые мы когда-то устанавливали на искусственных спутниках? Два сосуда, заполненные жидкостью и разделенные пористой диафрагмой. В каждой половине — колонии бактерий. Одни, размножаясь, поддерживают повышенную концентрацию отрицательных ионов, другие — положительных. Так вот, вся ее машина состояла из микроскопических ячеек с бактериями, соединенных коммутатором. Кроме того, там было простенькое управляющее устройство и программа, записанная на перфокарте. Если при работе машины потенциалы в ячейках совпадали по знаку с импульсами, подаваемыми управляющим устройством, то бактерии размножались, если нет,— погибали. В каждой ячейке у нее были помещены колонии различных бактерий.

— Понимаю,— сказал, улыбнувшись, Космонавт,— естественный отбор на соответствие программе. Мне кажется, знаете ли, что это не такая уж глупая идея.

— Я и не говорил, что она глупая. Иначе я бы не стал со всем этим связываться. Однако вы знаете, какие колоссальные трудности стоят между остроумной догадкой и получением практически ценных результатов...

— Но вы бы могли просто...

— Конечно. Я мог поручить одной из лабораторий выяснить, стоит ли с этим возиться. Но меня интересовало не столько само изобретение, сколько его автор. Родителей у нее не было. Воспитывалась она у сестры, с которой я быстро договорился, пообещав, что в течение этого года буду сам заботиться о необходимом пополнении знаний ее питомицы.

На следующий день я велел поставить для нее стол в маленькой комнатке под лестницей и спустя несколько часов был вынужден принять меры по восстановлению порядка в институте. Пожалуй, не было ни одного сотрудника, которого бы, как муху на мед, не влекла таинственная надпись на дверях чулана: «ЛАБОРАТОРИЯ КРОВНОГО МАШИНОВЕДЕНИЯ». Честное слово, это звучало очень здорово, и у меня просто не хватало духа лишить свое новое приобретение возможности поиграть в научного работника, хотя уже спустя несколько дней я убедился, что профессия укротительницы подошла бы ей гораздо боль-

ше. Первой была приведена к повиновению моя секретарша. Просто удивительно, как быстро она стала ручной. Сказать по правде, у меня вскоре создалось впечатление, что всех в институте интересовало таинственное существо в новой лаборатории гораздо больше, чем основная работа.

Однако прошел год, и ни о какой задаче на пропорциональное сближение еще нельзя было и мечтать. К тому времени мы уже оба забыли о нашем договоре. Больше того, как-то получилось само собой, что Сашка пользовалась правом беспрепятственного входа в мой кабинет в любое время. Иногда она появлялась, горя нетерпением посвятить меня в какое-либо сенсационное открытие, а иногда просто чтобы поплакать на диване, когда все оказывалось не таким уж ослепительным. Боюсь, что в это время мы с ней менялись ролями. Она, обливаясь слезами, требовала немедленно отпустить ее обратно в школу, а я уговаривал закончить очередную серию опытов. Кончалось это обычно тем, что она срывалась с места и мчалась в лабораторию, оседлав новую сногсшибательную идею.

Наибольшие трудности возникали с проблемой размножения машин. Если в материнской особи удавалось без особого труда выработать то, что мы называли «безусловным рефлексом на программу», то в потомстве происходило черт те что. Обычно не более чем один опыт из тысячи давал более или менее точное воспроизведение расположения бактерий в ячейках.

Наконец нам с ней удалось изобрести нехитрое устройство, позволяющее печь машины, как блины. Это было нечто вроде гектографа. Лист пластика, смазанный желатином, накладывался на поверхность машинной матки и прокатывался роликом. А когда мы начали вводить в желатин токопроводящие вещества и избавились от путаной проводки, проблему можно было считать вчерне решенной.

— Бактерии на печатных схемах,— усмехнулся Космонавт.

— Что-то вроде этого. Но не думайте, что все было так просто. В таких делах чем больше решенных вопросов, тем больше возникает новых. Прошло уже три года. Лаборатория кровного машиноведения давно перебралась из чулана в новое помещение, оборудованное по последнему слову техники, популярность Сашки росла с каждым днем, добровольных помощников у нее было хоть пруд пруди, но я все же испытывал какую-то тревогу. Уж слишком она разбрасывалась.

Вы не знаете, как важно для исследователя уметь вовремя обуздать свою фантазию и сосредоточиться на одном варианте, пока его возможности не исчерпаны до конца. К сожалению, подходил срок сдачи в производство нового проекта корабля, и я уже не мог уделять Сашке столько времени, как раньше. Пришлось ограничиться категорическим распоряжением работать только над машиной, заказанной нам Управлением по космонавтике, и ничем другим не заниматься.

В течение последующих двух лет я только изредка наведывался к ней в лабораторию. Дела там шли неплохо. Первый вариант машины был сдан Координационному центру, и теперь в схему нужно было внести кое-какие изменения по замечаниям заказчика. В это время шла подготовка к экспедиции «Метеора», и новая машина должна была обрабатывать информацию, поступающую с корабля. В случае успеха потомков этой машины предполагалось использовать в качестве бортовой аппаратуры на всех кораблях такого класса.

Вы были уже в полете, когда однажды ночью мне позвонили из Координационного центра и сообщили, что машина отдала приказ «Метеору» вернуться на Землю. Через десять минут я вытащил Сашку за косы из кровати, и мы помчались в Центр. Там царила полная растерянность. Хотя все дублирующие устройства сообщали, что полет протекает нормально, наша машина продолжала повторять команды на срочное возвращение. Вдобавок, как всегда бывает в таких случаях, неожиданно прервалась радиосвязь, и нам никак не удавалось выяснить, что же у вас там произошло. К тому времени, когда нам снова удалось поймать ваши сигналы, предпринимать что-либо было уже поздно. Слишком много горючего было израсходовано на торможение. Я приказал выключить машину, и мы отправились спать.

Вот, пожалуй, и все, что я вам могу рассказать.

— Значит, это был просто результат недоработки конструкции? — спросил Космонавт.

— Нет, конструкция была отработана достаточно хорошо.

— В чем же тогда причина?

— Причину я узнал на следующее утро, когда устроил Сашке допрос с пристрастием. Дело в том, что... Ну, в общем, она, как всегда, увлеклась. Работала в нескольких направлениях, занималась выведением гибридов с различными программами. Последний вариант был просто ублюдком от скрещивания машины для управления космическими полетами с машиной для экономических расчетов. В нем все время боролись два начала: расточительность исследователя космоса и скаредность экономиста. В результате, видно, машина просто решила, что с точки зрения окупаемости затрат выгоднее всего прекратить полет.

Космонавт тихонько свистнул.

— Бедная Сашка! Представляю себе, что вы с ней сделали.

— Что я с ней сделал?..

Затрещал звонок видеофона.

— Простите,— сказал Конструктор и подошел к аппарату.

На экране появилось изображение красивой рыжеволосой женщины.

— Значит, так можно верить вашим обещаниям?! — спросила она, прищуря один глаз.

Конструктор втянул голову в плечи.

— Что вы имеете в виду, Александра Яковлевна? — спросил он.

— Сейчас эти болваны распределяют места в кормовом отсеке «Кометы», и я вас предупреждаю, что, если все наши приборы не будут размещены, я вам такое устрою!!!

— Хорошо.— Ему было явно не по себе.— Передайте, что я выезжаю.

Экран погас.

— Это директор Института космической биологии,— сконфуженно сказал Конструктор.— Очень энергичная дама... Так о чем мы?.. Ах да!.. Увы,— добавил он, помолчав,— я уже больше с ней ничего не мог сделать.

ФАНТАСТ НОВ

Юрий ГЛАЗКОВ,
летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза

ГОЛОСОК

Корабль пронизывал пространство, и впереди лежало черное, бесконечное безмолвие. Немигающие звезды стыли из глубины космоса.

На борту корабля находились три представителя военного департамента и ученый.

Ученому принадлежал ящик с трубками, приборами, питательными растворами и прочей требухой, как пренебрежительно называли содержимое блестящего контейнера хозяева корабля — военные.

У военных были свои заботы — базы, аэродромы, ракеты, прицелы, страны, континенты и блестящий контейнер просто вызывал у них недоумение своей бесполезностью в том большом деле, для которого были нужны они — творцы вооружений.

Навязал нам сенатор этого ученого, — мысленно рассуждал командир Петерсон, уставясь в потолок. — Теперь при нем то не сделай, то спрячь, это не включи! Не корабль, а летающая богадельня, созрело у него там, внизу ли, что-то...

— Эй, доктор! — громко и неожиданно произнес Петерсон. — Как себя чувствуете? Как невесомость?

— Благодарю вас, полковник, — откликнулся доктор Старкер. — У меня все вроде бы нормально, я вот о нем думаю... — Он тронул блестящий контейнер.

— О ком?! — Командир рассмеялся. — А что о нем думать?!

— Не могу понять, как он перенес стартовые перегрузки и достиг невесомость, — серьезно отозвался доктор. — Это, понимаете ли, очень для него важно...

— Док, вы говорите как о живом человеке! А ведь это просто металлическая банка с лампочками! — хохотал Гавр, сидевший поблизости с закрытыми глазами и, казалось, спавший.

Командир Петерсон кивнул и, взглянув на пилота, подмигнул ему. Доктор смущенно поерзал.

— Пилот Гавр, вы совершенно справедливо это заметили, — вежливо ответил доктор. — Но, простите, очевидно, вы не совсем понимаете значение моего эксперимента, как, впрочем, и я не осведомлен о вашей, наверное, очень важной миссии в космосе. — Он говорил так, будто прислушивался к музыке Баха, звучавшей где-то за обшивками корабля; лицо его стало задумчивым и сосредоточенным. — То, что находится в этой «железной банке», как вы изволили выразиться, действительно еще не живой организм, а лишь клетки, способные его создать. Они созрели для своих функций позавчера, и хранить их больше было нельзя, поэтому меня так срочно включили в вашу команду. Но я не буду мешать вам, я все сделаю сам. Мне предстоит создать здесь, в космосе, в невесомости, живой мозг, иначе на Земле из-за гравитации ничего не получится, там не добьешься равномерности раствора... И... и я очень волнуюсь, сэр... простите...

Гавру стало скучно. Ему всегда становилось скучно, когда он не понимал собеседника или даже отдельных слов собеседника. Пилот шумно вздохнул и уже лениво обронил:

— Кому все это нужно, док?. Ведь люди и так родились в космосе, жизнь «варится» в его глубинах, там и разум рождается... Хотя... — Он потянулся, хрустнув суставами, продолжил: — Хотя я лично не против еще одного члена экипажа. Надеюсь, он будет отличным помощником...

— Вы сошли с ума, Гавр! — встрепенулся Петерсон. — Лишний член экипажа! У меня и скафандра на него нет, не говоря уже о питании...

— Что вы, что вы, полковник, — торопливо заговорил доктор, — это же не будет член экипажа в полном смысле слова, это будет лишь мозг, а его мы подключим к датчикам вашего корабля, он будет видеть и слышать благодаря радарам, антеннам, приемникам вашего лайнера, полковник. У него не будет рук и ног, ему не надо скафандра, он не будет бегать, вернее, летать по вашему кораблю и мешать вам...

— А-а... — серьезно произнес Петерсон. — Все-таки паек, док, только на нас, людей, а на него... — Он замялся, не зная, как сказать. — На вашего... беби стартовая команда не рассчитывала.

Тут скучающий Гавр оживился снова:

— А почему он, а не она, сэр? Может, это будет нечто с бабской логикой, а нам тут... ну, в общем... мы же мужчины! — Он хохотнул и толкнул доктора в плечо. Старкер вздрогнул от неожиданности и улыбнулся одними губами.

— Мозговая деятельность — сложный процесс, — произнес он извиняющимся тоном, — это и химия, и физика, и электричество, и биополе... У него будет своя память и свое биополе, причем очень мощное, способное впитать знания тысячелетий в считанные секунды. Электрическая составляющая ядра будет преобразована через ваш компь-

Рисунок Ильяса АЙДАРОВА

ИЧЕСКИЕ ЕЛЫ

ютер на динамики корабля — мы сможем услышать его голос...

— Ладно,— прервал доктора Петерсон, взглянув на приборы.— Уговорили. Вас, док, мы даже назначаем отцом родным или матерью — кем хотите. А сейчас все за дела, у нас их много...

Петерсон встал первым.

Работали молча. Каждый делал свое дело. Время от времени Гавр покачивал головой и, перехватив взгляд коллег, тыкал пальцем в сторону Старкера, делая дурацкое и снисходительное лицо. Старкер ничего не замечал — он был всецело занят своим ящиком, кутая его в тепловые кожухи.

Рабочий день закончился. Люди забрались в спальные мешки и там привычно устроились. Из мешков торчали лишь головы. На лысой голове Петерсона, похожей на регбийный мяч, играли причудливыми зигзагами блики светильника. Светлые усы Гордона делали черный мешок с торчащей из него головой похожим на висящего в воздухе кота с поджатыми лапами и свернутым хвостом. Ну, а раскачивающаяся в невесомости коса Гавра, выходца из индейцев, походила на змею, исполняющую магический танец.

В корабле наступила тишина.

Только Старкер возился со своим ящиком. Он сливал растворы, что-то подогревал, переставлял ящик с места на место, присоединял к нему пучки кабелей, которые связывали прибор с компьютером, системой электроснабжения, приборами корабля, его телескопами, пультами, локаторами, антеннами...

Наконец Старкер неуклюже забрался в мешок и заснул.

Первым вскочил Петерсон. И сразу поднял свою команду.

— Гавр, включай локатор, пощупай Север, там эти блондины подозрительно суетились в своих фиордах.

Пилот включил локатор. На экране побежали береговая черта, фиорды, строения, причалы.

— А это что?— неожиданно прозвучал чуть дребезжащий, тонкий голосок.

— Что значит — что?! — рявкнул Петерсон.

— Здравствуйте,— ответил тот же голосок,— я вас уже знаю. Гордон, будьте добры, подтяните крепление динамика на седьмой стойке, тогда я не буду так противно дребезжать.

Гордон кинулся к стойке и подтянул винт. Петерсон и Гавр изумленно молчали.

— Спасибо, Гордон.— Голосок перестал дребезжать и стал мелодичным.

Все трое разом взглянули на блестящий ящик, который яростно мигал индикаторами.

— Посмотрите на экран локатора,— подсказал голос.

Они уставились на экран. Там над темным пятном в глубине фиорда пульсировал маленький знак вопроса.

— Что это?

— А... это...— нарушил молчание Петерсон и замялся,— это такое сооружение... такой дом, где прячут эти... как их, ну, в общем, ракеты.

— Что такое ракеты?— бойко спросил голос.

— Ракета — это такое устройство, которое летит и в воздухе, и в космосе, летит быстро и очень точно,— прохрипел Петерсон, косясь на блестящий ящик. Лоб его покрылся испариной.

— А куда летит?— упрямо допытывался голосок.

— Куда, куда... Ну, куда надо! — Петерсон свирепо посмотрел на Гордона.— Это твоя сфера, ты и отвечай.

— В цель летит ракета, в цель,— откликнулся Гордон.

— А что такое цель?

— Это и корабль, и аэродром, и город, и многое другое, заводы, дома... ну...— Гордон не знал, что еще говорить.

— Дома — это где живут люди?— не унимался голос.

— Да, да, люди,— тихо ответил Гордон.

— А зачем к ним летят ракеты?— вызванивал независимый голосок, раскатываясь в пространстве.— Люди звали к себе ракеты?

— Их никто никогда не зовет, а летят они... затем, чтобы это... Доктор!— рявкнул вдруг Гордон.— Проснитесь, черт возьми! Дитя тут ваше!..

Старкер резко поднял голову, вздрогнув в мешке всем телом:

— А-а?.. Что?..

— Очень любознательное! Чересчур даже!— указывая на ящик, прошипел Петерсон.— Ну, прямо удивительно много хочет знать...

— А где города, куда полетят ракеты?

Петерсону вдруг показалось, что голосок прозвенел с его плеча, и командир резко провел ладонью по плечу, словно хотел отряхнуться.

— Везде, почти везде, дитя, на всей Земле,— еле слышно ответил доктор Старкер, глядя на свой ящик и медленно опускаясь перед ним на колени.

— Как это глупо,— горестно вздохнул голосок.

Стало слышно, как стрелка корабельного секундомера отсчитывает время. Петерсон, Гордон и Гавр медленно обступали блестящий ящик и склонившегося над ним доктора Старкера. Они не сказали друг другу ни слова и даже не смотрели друг на друга, но они знали, что нужно сделать.

Когда доктор Старкер поднял голову, он прочитал на их лицах все...

СЕТКА

...А жизнь рождала жизнь. Жизнь просто продолжалась. Даже в безумную эпоху атомных бомб, ревущих самолетов, прячущихся в глубинах подводных крейсеров, ракет, летящих в заоблачных высотах и крадущихся над самой Землей. Жизнь продолжалась на Земле, когда в космосе появлялись земные завоеватели. Они строили, запускали и размещали специальные, необычные спутники, которые появлялись над континентами, странами, городами и селами. Они подслушивали, подсматривали, записывали, передавали, следили, они заглядывали в дома и даже в души людей. И постепенно люди привыкали жить под пристальным взглядом. Они становились тише, незаметнее и даже больше похожими друг на друга. Люди привыкали к чужому взгляду. И влюбленные, целуясь «под луной», знали, что на них смотрят. Тогда и родилась Натали.

Шли месяцы. Девочка росла. Это был очень смышленый, подвижный ребенок. Но по ночам начинались кошмары. Она кричала во сне, просыпалась и плакала, просилась на руки или, рыдая, зарывалась под одеяло.

Пригласили врача.

— Сны страшные снятся,— успокаивал врач.

И все оставалось по-прежнему — бессонные ночи и тревога ничего не понимающих родителей — Люси и Лема.

Однажды к ним в гости приехал молодой лейтенант Джим, брат Люси. Вечером бравый лейтенант, не давая себя перебить, громко и с удовольствием рассказывал:

— Теперь я буду рядом с вами, мои дорогие. Недалеко построили нашу базу. Я стал немного ближе к богу. Там,— лейтенант поднял указательный палец,— бегают наши «серые мыши» и, наверное, беспокоят его. Может, он переселится повыше?— расхохотался Джим.— Между прочим, твой брат, Люси, один из лучших офицеров, и только мне могли доверить такую работу. Спокойствие и безопасность я вам отныне гарантирую.

Телефонный звонок прервал лейтенанта.

— Это тебя, Джим,— сказала Люси, передавая ему трубку,— откуда-то из 2732...

— Лейтенант Грю слушает.— Джим даже вытянулся у телефона.— Понял. Понял. Да. Передать в Бюро информации. Понял. Вокруг базы. Понял.— Джим положил трубку, и в эту секунду из детской спальни раздался крик. Когда взрослые вбежали в комнату, где спала Натали, они увидели, как детские руки беспомощно тянутся вверх, в открытых глазах застыла боль. Девочка рыдала и металась на кровати.

— Вот, Джим, так каждую ночь, и мы ничего не можем сделать.— Лицо Люси окаменело. Она стояла над бьющейся дочерью, но даже не притрагивалась к ней.— Все бесполезно, Джим. Это приходит само собой, как наваждение. Но это бывает каждую ночь, понимаешь, каждую...

Бравый лейтенант молчал. Он знал, что происходит с ребенком, но он давал присягу и потому молчал, быстро перебирая пальцами пуговицы своего красивого мундира.

Девочка затихла.

— Два ноль-ноль,— произнес лейтенант.

— Что, Джим?— Люси с тоской смотрела на брата.

— Ничего. Я так. О времени. Спать пора,— ответил Джим.

Но на следующий день лейтенант загрузил вычислительные машины работой. Машины ощупывали Землю. Машины искали место, где нет спутниковых облучений. Искали долго, упорно и... нашли. Они просигналили о полоске, о небольшом городке, который лежал между трасс спутников.

«Х-2244858004-»,— записал в свой блокнот лейтенант и в тот же вечер был у Люси.

— Надо переезжать,— сказал он ей тоном, не терпящим возражений,— наша база все равно будет расширяться, а тут,— он ткнул пальцем в бумажку,— полезный климат. Мне сказали, что ребенку здесь будет лучше. Она поправится...

Жизнь в новом городе наладилась. И — чудо!— Натали спала глубоким сном. По утрам она даже рассказывала счастливой матери свои сны про добрых слонов, смешных обезьянок, крикливых попугаев, про море, в котором прыгали дельфины...

А осенью приехал Джим.

— Джим, дорогой, спасибо, Джим. Ты спас Натали, она так выросла, посмотри, вон она, во дворе!— тараторила Люси и волокла Джима в дом.

— У меня плохие новости, Люси,— мрачно ответил лейтенант,— поэтому я и прикатил сюда. Почти все новорожденные в вашем бывшем городе да и в других заболевают недугом Натали. Родители сходят с ума...

— Но надо же сказать всем, чтобы ехали сюда! Здесь же так хорошо! Надо спасать детей от этого безумия! Это же хорошо, Джим, что есть такое место!

Лейтенант говорил сквозь зубы:

— Через три месяца, Люси, этого места не будет. Сюда приедут толпы.

— Джим, я не понимаю...

— Послушай, Люси, дети заболевают из-за спутников, которые контролируют Землю днем и ночью. Здесь,— он взмахнул рукой,— последний клочок Земли, выпавший из их орбит. Последний, Люси.

— И все это сделали вы, Джим? Такие, как ты? Зачем? Кому это надо? Вы безумцы?

Джим не любил истерик. Его лицо стало бесстрастным.

— Это делают для вашей безопасности, черт побери. Для вашего счастья, сестра. Для счастья...

Натали спала, улыбаясь во сне... Знакомая страшная тень пробежала по ее лицу, глаза распахнулись в бездонном ужасе, тело взметнулось над кроватью, и вопль отчаяния сорвался с губ.

На пороге ее комнаты стояла Люси. Стояла и смотрела на дочь, не трогаясь с места.

Утром с неба сошел бог. У него было лицо Джима. Он сошел с вертолета и двинулся к дому Люси. Она вышла навстречу.

— Люси, вчера мы испытали новую станцию.— Джим остановился в нескольких метрах от женщины.— Теперь и это место легло под орбиту.

Люси молчала.

— Но есть выход.— Лейтенант попытался улыбнуться.— Мы придумали специальные сетки, их можно надевать на тело и жить. Излучение не пройдет сквозь них...

Люси молчала.

— Какая разница, сестра!— Лейтенант начал нервничать.— Можно жить и в сетке! Она не мешает!..

Люси молчала.

Джим решительно тряхнул головой и пошел к вертолету... Он опаздывал. Через час его должны были повысить в звании — идея с сетками принадлежала ему, как, впрочем, и открытие незанятой, дефицитной местности для новой спутниковой трассы.

Люси смотрела на взмывающий в небеса вертолет.

Ее душа молчала.

ЧЕРНОЕ БЕЗМОЛВИЕ

Рисунок Ильяса АЙДАРОВА

Юрий ГЛАЗКОВ,
летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Мчалась в бесконечном пространстве изумрудная планета, планета, несущая жизнь и разум. Цвела планета, радуясь лучам теплого светила, оглашая твердь, небо, моря и космос разноязычным многоголосьем. Несущие разум рвались познать мир, в котором они живут, свое место в общей беспредельности. Они обрели власть над энергией своего светила.

Ширились познания, росло любопытство, все глубже проникал пытливый ум в безмолвные волны летящего времени, в глубь беспредельного пространства, разыскивая себе подобных, посылая сигналы, отправляя в дальние путешествия автоматические аппараты с рассказами о себе, о своих городах, лесах, океанах, о мире звуков и красок, искусстве, письменности, языке. Посланники неслись все дальше и дальше, храня в себе эти знания, ставшие сами за время полета уже далекой историей...

Цивилизация изумрудной планеты уже не раз вступала в контакт с себе подобными объединившись в межгалактическое содружество.

И вот однажды люди получили сигналы молодой цивилизации, рожденной на периферии спиралевидной Галактики. Ее посланец достиг Земли и рассказал об еще одном удивительном и гармоничном создании природы...

...Наш корабль вздрогнул и остановил свой бег. Мы находились в области планеты, окруженной тонкими кольцами, здесь жили те, кто прислал нам посланца. Наконец-то корабль мог отдохнуть! Отдыхали и мы, «группа удовлетворения первого любопытства», как нас шутливо называли дома.

Мы не спешили открывать иллюминаторы, опыт научил нас остерегаться потока информации, врывающегося в разум, будоража и возбуждая его. Мы стали осторожны.

Пусть сначала осмотрится наша электроника, ее бесстрастные чувства точны и безошибочны, лишены эмоций и потому не подведут.

Нас было пятеро: координатор экспедиции Тим, его помощник Хак и группа непосредственного контакта — пилот исследовательского бота Тод и разведчики Дик и Кет.

Система контроля безопасности не подавала признаков беспокойства: мягкий спокойный свет разливался по отсекам корабля, а музыка, звучавшая в салоне, несла успокоение. Вокруг корабля и внутри него ничто не вызывало тревогу.

Но все же все мы были напряжены, мы ждали разрешения Тима на обзор Вселенной. И Тим, понимая наше состояние, дал разрешение. Защита иллюминаторов стала медленно открывать обзорное поле. Это было похоже на расширяющийся туннель, ведущий в безграничность Вселенной. Перед взором исследователей возникла чужая чернота космоса с незнакомым рисунком созвездий. Звезды дрогнули и поплыли в иллюминаторе — наш корабль начал свое вращение, как бы осматриваясь вокруг.

В иллюминаторе оказалась огромная планета.

— Пятая планета,— подсказал компьютер,— она самая большая по тем сведениям, которыми мы располагаем, она значительно больше планеты, к которой мы летим, вернее, вы летите,— как будто с некоторой укоризной добавил компьютер.

Корабль продолжал свое размеренное вращение.

— Вот она, вот их Звезда! — воскликнула Кет.

Перед нами сияла золотая Звезда, живительная Звезда системы, в которой мы оказались после броска во Вселенной.

Перелет к планете не составил труда. Приближаясь к ней, мы включили все средства приема информации и торжественно передали наше межгалактическое приветствие. Но нас встретила полнейшая тишина. Еще и еще раз мы посылали обращение к цивилизации планеты, сообщая, что мы здесь, рядом, что мы готовы к встрече на планете или на орбите, просили сообщить нам координаты разрешенной посадки, но все было тщетно. Тишина. Все тревожно всматривались в иллюминаторы, вслушивались в шорохи космоса, но ничто не говорило о готовящейся встрече. Мы проверили координатор пространства, он точно вывел наш корабль в систему, дающую о себе знать, координаты совпадали, структура системы была той же. Мы ничего не понимали.

— Посадка на спутник планеты. Готовьте компьютер к посадке, меры предосторожности максимальные, усильте контроль окружающего пространства.— Голос Тима был тверд и спокоен.

Посадка на спутник, вращающийся вокруг планеты, была делом обычным. Он был как будто специально создан для наблюдения. Рассматривая поверхность спутника, все мы отметили какую-то его опустошенность, не было на нем признаков жизни: бескрайнее каменное море с застывшими в вечном безмолвии глыбами-волнами. Унылая картина. Черно-белый мир, мир, лишенный цвета, царствовал вокруг, куда бы мы ни обращали взгляд. И только планета, позвавшая нас, владела гаммой красок: голубизна морей, белые облака, желтовато-коричневые цвета материков... Планета, величаво вращаясь, показывала со всех сторон свое великолепие. Но долго любоваться мы не имели права — надо было разобраться, понять, что же случилось, что произошло, почему молчит планета. И более детальное изучение планеты вызвало тревогу: на суше видны были огромные кратеры, не было городов, возделываемых полей, волны океанов и морей омывали безжизненные берега.

— Может быть, что-то случилось и жители ушли вглубь? Или на дно океана?

Вокруг планеты вращались спутники. Мы изучили их орбиты. Компьютер долго анализировал собранную информацию, сопоставляя ее с моделью, построенной на основе сообщения посланника, долетевшего до нас, до нашей Галактики. Казалось, компьютер морщит лоб, напрягая свою гигантскую голову, и, наконец, он дал решение, предупредив о возможных неточностях и ошибках.

— Цивилизация планеты,— сказал компьютер,— достигла умения пользоваться малой частью энергии своего светила и использовала энергетические ресурсы планеты. В космическом развитии был достигнут уровень, позволяющий перелетать к ближнему небесному соседу. Спутниковые системы, видимые вокруг планеты, в основном представляют собой хранилища больших энергий.

Сообщение компьютера еще больше насторожило нас.

— Нужен непосредственный контакт, нужно вести поиск жизни там, в ее недрах или в океане,— сказал Тим,— другого выхода у нас нет. Старт завтра.

Ранним утром мы были готовы к старту. Десантники заняли места в боте и стартовали, устремившись навстречу неизвестности. Приближаясь к планете, мы всматривались в очертания ее материков, веря в лучшее, но взгляды скользили по унылым, безжизненным ландшафтам. Лишь система спутников указывала на принадлежность планеты к обитаемым: спутники были явным творением разума и труда. Они безмолвно мчались по своим орбитам, словно стая хищников, выследивших свою добычу.

— Посмотрите налево, Тод,— сказала вдруг Кет.— Один из спутников напоминает ощетинившийся ящик.

Действительно, слева висел длинный, неуклюжий предмет с массой люков, антенн, иллюминаторов.

— Пощупай его радаром, Дик. Может, он откликнется, ведь зачем-то он здесь летает,— предложил Тод.

Дик включил радар узкого луча и медленно повел им в сторону спутника. Вот луч коснулся спутника, побежал дальше и, скользнув по одной из антенн, уперся в темноту иллюминатора. Спутник вздрогнул, остановив свое, казалось бы, беспорядочное вращение, резко развернулся, один из его люков откинулся, и из него выскользнуло веретенообразное тело. Оно хищно, как бы принюхиваясь, повернулось и, изметнув пламя из дюз, рванулось к боту.

— Включить все поля защиты!— прокричал Тод.

Бот, словно звезда, засиял, окутавшись защитными полями. Натолкнувшись на защитный барьер, веретенообразное тело вспыхнуло ослепительным светом и исчезло.

— Следы мгновенного ядерного распада,— сказал Дик,— а спутник ушел на другую орбиту, его координаты в компьютере. Что это, нападение или защита?

— Не знаю, но все-таки явная враждебность,— откликнулся Тод.— Все излучения снять, защитные поля не выключать. Кет, что там у тебя? Может, убраться с орбиты? Этих сумасшедших ящиков здесь более чем достаточно.

— Минуту, командор,— попросила Кет,— компьютер ломает голову, просит еще подумать, ох и осторожен он стал, наш старый Кью. (Так дружески называли мы главный компьютер бота, ставший действительно правомочным членом экипажа.)

Заговорил Кью:

— Приоритета в выборе места посадки нет, поток информации равномерен, скуден со всех материков, рекомендую идти на посадку сейчас, избежав встречи с другими спутниками, их много, встреча с ближним из них через шесть минут, в большинстве из них заложено много энергии. Посадку можно произвести на материке сразу за океаном, он простирается с севера на юг планеты.

— Ладно,— решился Тод.— Посадку разрешаю. Приготовиться.

Облачившись в скафандры, привычно разместившись в креслах, мы устремились вниз. Все ближе и ближе поверхность планеты, мы рвались к ней, но не могли найти места для посадки. Еще и еще раз отказываясь от нее, мы пролетали все дальше и дальше, уклоняясь то влево, то вправо, а картина на экране внешнего обзора оставалась по-прежнему унылой, однообразной, не обещающей никаких перемен.

И вдруг в тяжелом молчании прозвучал спокойный голос нашей Кет:

— Командор, я на всякий случай включила указатель концентрации энергии и металла, они одновременно чуть отклонились от нуля в квадрате, над которым была сплошная облачность. Надо осмотреть это место, так рекомендует и Кью.

Мы вернулись туда, куда указал нам компьютер, и, осторожно пробив облака, вынырнули на небольшой высоте. Под нами была та же безжизненная картина. Но, присмотревшись внимательнее, можно было почти интуитивно почувствовать какую-то упорядоченность в кажущемся хаосе нагромождений. Индикаторы вздрогнули и чуть отклонились, показывая сконцентрированное наличие металла и энергии. Под нами было нечто похожее на огромную птицу, привалившуюся на один бок. Мы приземлились неподалеку. Мрачность местности, безмолвие лежащей огромной подбитой серебряной птицы, явно созданной разумом способных творить и созидать существ, настроили нас еще более тревожно.

— Командор, это похоже на наши старые корабли, только меньших размеров. Посмотрите, Тод, у него маленькие крылья, видно, он летал, опираясь на атмосферу. С ним что-то случилось, может, нужна помощь?— взволнованно вышалил Дик.

— Это летательный аппарат,— размеренно пояснил Кью.— Площадь крыла позволяет лететь в атмосфере планеты. Сигналов бедствия нет, он стоит здесь давно. Направляю робота.

— Спасибо, Кью.— улыбнулся Тод,— направь туда номер семь, он потолковее остальных. Помнишь, в шаровидной галактике Ц-8 он распознал в неподвижных столбах разум. Выпускай его потихоньку.

Кью согласно поморгал индикаторами.

Из бокового люка бота осторожно выскользнул шарообразный робот-разведчик. Осторожно, словно подкрадываясь и понимая все напряжение обстановки, он стал продвигаться к неизвестному кораблю.

— Да, здесь давно никто не ходил,— послышался голос в динамике.— Начинаю с осмотра силовой установки, жестких излучений нет. Кью, даю тебе размеры сопел, двигатель явно ракетный,— с гордостью говорил робот,— посчитай, что он может, плотность атмосферы у тебя есть, массу планеты ты знаешь, топливо наверняка химическое, я бы на вашем месте...

— Не мешай считать,— остановил красноречие младшего собрата Кью. Робот умолк, застыл в ожидании расчетов. Мы не вмешивались в их перепалку, зная, что она не мешает работе, что для наших электронных помощников это — своеобразное развлечение.

Кью закончил обработку информации и заявил, что такие двигатели могли использоваться только на орбите, они слабы.

Робот двигался дальше.

— Днище обгорело, он явно спустился с орбиты, гасил энергию торможением — корпусом и крыльями,— а вот система посадки простейшая, после посадки он катился на колесах, теряя энергию, до полной остановки. Повреждение на левой стороне системы посадки, поэтому он и покосился, но не опасно.

— При этих размерах, при оценочной массе, способе и скорости посадки он мог катиться около километра,— вмешался Кью, прервав разговорчивого робота.— Вон там,— продолжал Кью,— впереди, словно голова птицы, кабина и иллюминатор обзора, наверное, там были носящие разум, управляющие аппаратом.

— Поднимись туда, загляни внутрь через иллюминатор, найди входной люк,— приказал он роботу.

Мы молча слушали переговоры машин, настроение было гнетущим, мы ощущали беду, но пока не понимали, где она, откуда она может прийти или уже давно пришла, а мы пока этого еще не замечаем.

Робот добрался до носовой части и, опираясь на растущую телескопическую опору, выпедшую из его днища, стал подниматься все выше и выше.

— Обшивка термостойкая, цела, следов повреждения нет, похоже, что он сел без аварии. А вот и входной люк...

— Не открывать!— быстро скомандовал Тод.— Загляни в иллюминаторы.

Робот продолжал подниматься, вот он оказался на уровне кабины, и его телескопическая нога стала сгибаться, а сам робот, наклонившись к кабине, словно приник к стеклу.

— Темно,— послышался его голос,— вижу много приборов, кресла пилотов, одно пустое, в другом что-то лежит, похоже, скафандр. Все выключено, энергия не расходуется, мои индикаторы не ощущают ее утечки. Одним словом, там внутри слишком тихо.— Последние слова робот подобрал с трудом, явно не желая выразиться определеннее.— Что дальше?

— Иди к люку, разберись с ним. Рассказывай все подробно, что видишь, ощущаешь, что слышишь, ставь защиту по ходу движения, обеспечь надежный выход и... постарайся без эмоций,— сказал Тод и вздохнул,— будь осторожен.

Робот пополз по обшивке корабля.

— Люк открыт,— доложил он.— Впечатление такое, как будто кто-то специально сделал так, чтобы не было трудно войти...— не сдержался от комментария робот.

— Сообщай пока только факты,— оборвал его Тод.

Робот молча принялся за работу, движения его были обиженными. Люк вскоре был сдвинут, и на экране возникла пещерная чернота входа. Всем хотелось быть сейчас на месте робота и самим шагнуть в эту заманчивую и немного зловещую черноту. Но инструкции строго гласили: «Только после роботов». Немало ловушек срабатывало, унося жизни десантников. Робот замер над зияющей чернотой, ожидая дальнейших команд.

— Ты чего замолчал?— спросил Тод.— Что-нибудь случилось или боишься?

— Страх нам неизвестен. Мы его не знаем. В нас, роботах первого проникновения, заложено обязательное требование повышения вероятности успеха поставленной экипажем бота задачи,— официальным тоном, с обидой ответил робот и вошел в чужой корабль.

На экранах мы увидели кабину. Три кресла, явно предназначенные для размещения экипажа. Два кресла были пусты, в третьем лежал скафандр. Робот застыл над ним.

— Осторожно пошевели его,— сказал Тод.

Робот медленно протянул руку, слегка толкнул скафандр. Ничего не произошло, скафандр, тихо качнувшись, снова застыл в неестественной позе.

— Попытайся открыть гермошлем,— предложил Дик.

Задержавшись на несколько секунд, робот занялся гермошлемом.

Стекло откинулось столь неожиданно, что даже робот невольно отшатнулся.

Когда робот снова навел свои зрительные анализаторы, то пришла пора отшатнуться и нам, а Кет резко отвернулась от экрана... На нас в упор с немым укором глядели огромные пустые глазницы пилота, давным-давно ушедшего из жизни. Бездонная пустота глазниц носящего когда-то разум навеяла ужас.

— Закрой,— приказал Тод, и робот с быстротой автомата исполнил его команду.

— Займи правое кресло, изучи приборы, попробуй понять управление, найди регистратор голосовой информации и изображения, пойми включение энергии.

Робот послушно устроился в кресле пилота, покосившись на соседнее, где угрюмо лежал безжизненный скафандр.

Приборное оборудование было нехитрым, понятным для нас, понятны были и некоторые надписи, ведь мы были знакомы с алфавитом и письменностью этой планеты. Робот анализировал, сопоставлял, советовался с Кью, запрашивал Тода и Дика, консультировался у Кет. Наконец, общими усилиями была найдена панель, где располагались органы включения энергии и связи.

— Пробуй,— приказал Тод.

Робот утопил клавишу, и в кабине послышались привычные шорохи динамиков, по жилам спящего корабля побежала энергия. Но нас сейчас интересовало другое.

— Подключи хранитель информации,— снова приказал Тод.

Робот нажал еще одну клавишу, и в кабине послышалось сначала легкое шипение, а затем заставивший всех вздрогнуть голос:

«Мое имя Дан Грем, я шеф-пилот воздушно-космической патрульной службы. Рассказать обо всем трудно, для этого нужно вспомнить всю жизнь, а времени уже нет, скоро я погибну, слишком сильная радиация. Видеозапись, наверное, тоже не выдержит, надежда только на защищенный «черный ящик», в нем должно все, что мы говорили, сохраниться. Прощайте и простите нас...»

Несколько минут молчания, и динамик ожил многоголосием:

— Дан, опять мы на орбите и опять все вместе, это прямо какое-то везение, а? Я часто вспоминал тот полет, ну, и натерпелся я тогда, первый раз в космосе — и сразу такая переделка! Я тогда был еще капитаном, молодым, скажу прямо, струсил я тогда, честно признаюсь. Теперь-то я понимаю, что к чему.

— Да, поздравляю тебя, Юджин, ты здорово поумнел за это время, особенно это заметно по твоим плечам, где появились такие красивые и большие звезды, здорово шагаешь! Верно, Вирджил?

— Я тоже тебя поздравляю, Юджин, но еще больше я рад за тебя, что ты стал отцом, я видел недавно Сьюз, она рассказала мне о вашем сыне. Послушать ее — родился гений! И в кого из вас он так ловко считает? Ты давно уж отвык от вычислений, за тебя это делает компьютер. Бизнес получит в твоем сыне умного предпринимателя, а страна — новую звезду ученого мира! Извини, Юджин, я, наверное, неудачно пошутил, на меня что-то плохо подействовал наш срочный старт. Что за спешка, как на пожар! Я видел, что и другие корабли начали готовить к старту. Скоро конец третьего витка, а эфир молчит, ни единого звука, что за странная манера игры в молчанку?

Вдруг громкий возглас:

— Грем, Вирджил, что это? Все от горизонта до горизонта светится ослепительным светом, что это; Грем? Это не северные сияния, из атмосферы вырываются исполинские грибы, они похожи... на шапки атомных взрывов...

Гнетущая тишина продолжалась несколько минут, только легкое шипение в динамиках, как змея, вползало в наше сознание пониманием неотвратимой беды.

— Это война, парни, это рвались ракеты, бомбы, это вспенилось море, смотрите — внизу ничего нет, словно и не было, под нами сплошные разрывы, нет больше жизни, парни, считайте, остались мы одни, больше никого, никто не ответит нам.

— Что же делать, Грем, Вирджил, что делать?— слышался всхлипывающий голос.

— Читай свои дурацкие инструкции, там ты прочитаешь, что ты сильнее всех, что тебе все можно, да, теперь ты много можешь, когда кругом тишина!— Голос Грема был груб и тверд.— Теперь даже ты, отец, не отличишь жены и сына от камня — теперь все едино, теперь все сначала, все сначала, если есть кому начинать! Господи, прости нас, сильных и слабых, прости нас, неразумных!

Послышался грохот. И тишина. Томительная тишина. Мы вслушивались в шорохи динамика, всматривались в него с надеждой на чудо.

— Грем, очнись, Юджин застрелился, мы остались вдвоем. Очнись же наконец, старина, прошло уже пять витков, внизу ничего нет, одна пустыня, словно и не было ни городов, ни полей, все как будто смыло гигантской волной. Юджин не выдержал, пустил пулю в лоб, я не успел да и не хотел ему помешать, ему теперь легче, чем нам, Грем.

— Грем, старина, что мы будем делать, жизни осталось на трое суток, кислорода больше нет, полет-то планировали туда — сюда, аварийных запасов нет, садиться некуда, да и там смерть, излучение дьявольское, там везде смерть. Наш полет оказался не туда — сюда, а только туда. Дан, мы тоже умрем, только надо выбрать, где... Я уже выбрал, Дан, прости меня. Я выйду из корабля, поднимусь повыше и останусь там, насколько хватит кислорода. Я хочу остаться там, на орбите, один. Навсегда. Я виноват перед всеми, кто жил на нашей несчастной планете. Я ученый, а не сумел помешать всему этому безумию, очень хотел, но так и не смог, все не верилось, что такое может быть, все думал, что кто-то помешает, что кто-то не допустит, что чей-то разум и сила воспрепятствуют этой дикости, а сам не боролся, не хватило мужества. Не осуждай меня, Дан, тебе останется шикарный корабль на одного. Дан, весь мир тебе останется на одного, не правда ли, многие мечтали бы о таком?

— Я тебе не буду мешать, Вирджил. У меня тоже не хватило сил остановить все это, тоже не верилось, даже после того полета... Вирджил, ужасно смотреть вниз, не могу смотреть туда, не могу туда смотреть, не могу, мне страшно, Вирджил, впервые в жизни страшно. Где мой внук? В камне? В облаке? В каплях дождя? Где, скажи, Вирджил, ведь ты ученый, скажи мне, скажи... Ты надеваешь белый скафандр? Ты это здорово придумал, как саван... Дай я тебя обниму, мой ученый друг. Ну, а теперь я надену на тебя гермошлем. Иди, Вирджил, иди, а то я не дай бог заплачу, а еще хуже — заплачешь ты, я знаю, ты это умеешь делать. Теперь иди, я закрою за тобой люк. А я, Вирджил, решил умереть там, внизу, я решил посадить наш корабль и умереть там, возле дома, на старом соленом озере, откуда мы начинали. Иди, Вирджил, иди, я тебя буду помнить до конца своей жизни... до скорого конца.

В динамиках тишина... потом опять голос Дана Грема:

— Вирджил, я тебя вижу, ты машешь рукой, прощаешься, прощай, друг, ты стал уже звездой, яркой звездой, Вирджил. Может, пройдет много лет, и тебя найдут, и увидят, какими мы были, они увидят тебя таким же, какой ты сегодня, ты не состаришься для них, Вирджил, прощай, я готовлюсь к посадке.

Из динамика еле слышно прошелестел далекий голос:

— Прощай, Дан, наш корабль красив, как никогда, он огромен, посади его мягко, пусть хоть он останется на планете, пусть через него узнают другие, что́ мы умели, прощай, я отключаю связь, Дан. Да, Дан, если вдруг кого встретишь там, внизу, расскажи, что это не мы, расскажи, как мы тоже умирали. Прощай, я открываю клапан... Разгерметизируюсь... Прощай...

Щелчок, тишина...

Мы поняли все, мы поняли, что ждать и искать нечего.

— Возвращайся на бот, старт через десять минут,— приказал роботу Тод.

Мы стояли молча, склонив головы. Прощай, планета, мы расскажем о тебе, о твоем разуме, погубившем себя, мы расскажем о тебе всем, носящим разум. Такое не должно повториться.

КТО ЕСТЬ КТО?

Фантастический детектив*

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Валя Темин рассуждает о темпориях

Прочитав телефонограмму, Линьков тяжело вздохнул.

— А при чем тут я? — вяло запротестовал он, ни на что, впрочем, уже не надеясь.— Лабутин дежурит, он пускай и идет.

— Так ведь его с ходу, не успел он на порог ступить, вызвали на Пушкинскую, там старушечка газом отравилась!

— Самоубийство?

— А шут его знает, может, и самоубийство! — жизнерадостно улыбаясь, ответил Валентин Темин.— Надоело ей долго жить, она и того...

— Веселый ты человек, Валька,— пробормотал Линьков.— И суждена тебе долгая жизнь и долгая молодость, поскольку ничего ты близко к сердцу принимать не желаешь.

— Ну, это как когда...— пояснил Темин.— А ты-то чего такой кислый? Отпускные настроения одолели?

— А что ты думаешь? — сочувственно отозвался Савченко.— Мне лично уже за неделю до отпуска работать становится ну просто невмоготу. Полнейшая, понимаешь, психологическая невозможность наступает.

— Ну, и как же ты выходишь из положения? — поинтересовался Темин.— Бюллетень, что ли, тебе дают по случаю этой самой невозможности?

— Какой там бюллетень! — вздохнул Савченко.— Так просто, кручусь на холостых оборотах...

— Тем более что это для тебя наиболее естественная форма существования,— хмуро отметил Линьков.

— Да ты чего! — искренне изумился Савченко.— Я от души, можно сказать, сочувствую, а ты...

— Сочувствуешь ты, как же! Небось, не хватило твоего сочувствия, чтобы сказать Ивану Михайловичу: мол, Линьков через три дня в отпуск уходит, давайте это дело мне...

— Ну да, так бы он меня и послушал! Он как услыхал про Институт Времени, так сразу сказал: ну, это дело только Линькову можно поручить, и никому больше, он же у нас физик!

— Физик! Это было давно и неправда... А в этом Институте Времени сам Эйнштейн ногу сломит... Не могли они там, черти, подождать два-три дня! Сидел бы я тогда на бережку да рыбку бы караулил...

— Ну, ты слишком-то не переживай,— посоветовал Савченко.— Подумаешь, Институт Времени! У них своя специфика, у нас своя, все и дела.

— То-то и оно, что у них специфика,— мрачно отозвался Линьков.— О чем я и говорю...

— А что ты думаешь? Это тебе не баран чихнул — с временем работать. Приду, говорит, завтра на работу, а они вместо завтра сделают вчера. Или вообще время наоборот запустят, им-то что.

— Бросил бы ты трепаться, Валентин,— огорченно сказал Линьков.— Это просто жутко наблюдать, что у тебя в мозговых извилинах копошится. А ты бесконтрольно выдаешь все это в непереваренном виде на-гора́ и тем самым травмируешь наш здоровый коллектив.

— Ты как хочешь, а я лично считаю, что эту их кибернетику в центре города держать — ну просто исключается. Нет, правда. Ужас, до чего легкомысленно поступили — тут тебе и театр, и школы, и жилые кварталы... А они же в свои эти... темпорарии, что ли... знаешь, какую энергию вгоняют? А энергия-то, она ведь никуда исчезнуть не может, ну это даже в школе проходят, я же помню! Вот они накопят этой энергии черт-те сколько, а она возьмет и взорвется! А что, скажешь, нет? Ведь элементарно!

Линьков посмотрел на него почти с нежностью.

— Поздравляю, друг, ты развиваешься с поразительной быстротой,— сказал он.— Если процесс не замедлится в темпе, через недельку тебя уже можно будет за деньги демонстрировать. Темпорарии, надо же!

— А что, разве нет у них темпорариев? Может, просто еще не доставили?

Линьков безнадежно развел руками.

— Да откуда их доставят, если они в природе не существуют? Ускорители там у них стоят, понятно? — говорил он и чувствовал, что ровно ничего Темин не понимает.— А ускорители — это поля, ясно? А для полей нужна энергия...

— Ну и что? — легкомысленно спросил Темин.— Поля так поля, это мне без разницы, но факт тот, что энергия накапливается в неимоверном количестве. А поля твои, они, думаешь, все выдержат? Дойдут до точки — и взорвутся к чертям собачьим.

— Ой, мамочки! — ужаснулся Линьков.— Я, кажется, малость ошибся. Момент для демонстрации упущен, ты уже стал общественно опасным... Ну, ладно, ребята, пошел я все же...

— А что, очень неохота? — радостно поинтересовался Темин.

— Тебя бы туда... с твоими темпорариями,— мрачно ответил Линьков, натягивая плащ.

— Брось переживать, говорю! — отозвался Савченко.— Люди же они там, человеки, в этом самом Институте Времени, а не что другое.

— Ты вот что скажи: если я до отпуска не закончу это дело, ты его на себя примешь?

— Да ты что? — изумился Савченко.— За три дня не успеешь такое простое дело оформить? Нет, это определенно тебе отпускные настроения давят на психику.

Линьков обернулся, стоя на пороге.

— Не верю я в тамошние простые дела,— загробным тоном сказал он.— Не бывает там простых дел, и хлебнем мы горя с этой историей, помяните мое слово. Прощайте, друзья, не поминайте лихом. Оваций не надо, памятников, ежели что, тоже не требуется, а вместо духового оркестра пускай Валя Темин разъяснит собравшимся адскую сущность взрывающихся полей, и тогда общественность навеки запомнит день моих похорон.

Сказав все это, Александр Григорьевич Линьков вздохнул и мужественно двинулся по направлению к Институту Времени.

---

* Журнальный вариант.

Рисунок **Геннадия НОВОЖИЛОВА**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утром 21 мая меня разбудил телефонный звонок. Мне под утро всегда особенно спать хочется, так что я хоть и вскочил и трубку взял, но толком не понимал, во сне это происходит или наяву. Я и Шелеста по голосу не распознал, и даже когда он назвался, я совсем уж по-дурацки переспросил: «Из какого института?» И только когда он рассердился, я начал постепенно осознавать, что к чему, но тоже не слишком четко. В основном я вообще удивлялся, чего это мне Шелест звонить надумал, да еще в такую рань. Потом до меня дошло, что Шелест интересуется насчет Аркадия. Я не разобрал, что ему нужно, переспросил, но он сказал: «Да ладно, ты, в общем, быстренько собирайся и давай в институт». Я сказал, что в институте, мол, буду вполне своевременно, и тут он совсем обозлился. Говорит: «Нашел время для шуточек, давай немедленно, тебя ждут»,— и бросил трубку. Тут уж я, конечно, проснулся насовсем, зарядку аннулировал, наспех состряпал и проглотил яичницу и в автобусе все думал, что же такое стряслось у нас в институте. Если из Москвы кто прилетел, так чего ему не терпится, какого лешего людей прямо из постели вытаскивает, когда в институте никому, кроме уборщиц, делать еще нечего...

Вошел я в вестибюль тихо-спокойно, и первое, что увидел,— стоит наш директор, а с ним Шелест и еще какой-то гражданин, мне лично неизвестный, и лица у них всех такие... Тут уж я почуял, что бедой пахнет. Поглядел я, как директор валидол сосет, и у самого под ложечкой засосало. Директор посмотрел не то на меня, не то сквозь меня и полушепотом говорит: «А, ну вот и Стружков появился, знакомьтесь, товарищи, это наш младший научный сотрудник Борис Николаевич Стружков, а это следователь прокуратуры Александр Григорьевич Линьков. Значит, Стружков вас введет в курс дела, а я, простите, должен уйти...» Я-то ведь все еще ничего не знал и не понимал, а потому тупо спросил: «Простите, Вячеслав Феликсович, в курс какого дела?» Директор все так же, на полушепоте, объяснил, что просто оговорился и что вводить товарища Линькова следует не в курс дела, а в специфику нашего института, поскольку институт уникальный и аналогий к его деятельности не сыщешь. Потом он еще раз извинился и ушел, и Шелест тоже ушел, а мы с Линьковым молча стояли и разглядывали друг друга. Мне бы спросить, что случилось все-таки, но что-то все у меня в мозгах начало крутиться и звенеть, и ничего я не соображал, а только смотрел на следователя и удивлялся, какая у него внешность нетипичная: лобастый, очкастый, худой, как щепка, и лицо до невероятности вдумчивое и задумчивое, будто бы он все мировые проблемы чохом в данный момент решить рассчитывает. Вид у меня при этом, надо полагать, был довольно дурацкий; во всяком случае, Линьков посмотрел-посмотрел на меня и сказал: «Ну, чего ж стоять без толку, пойдемте-ка на место происшествия».

И опять я ничего не спросил, что за происшествие и где это место, а молча поплелся за Линьковым и так же молча, почти машинально вошел вслед за ним в дверь нашей лаборатории.

Там было полным-полно людей, и вдобавок чужих, но я сначала их толком и не заметил, потому что сразу, с порога увидел Аркадия.

Аркадий лежал на диване — у нас в лаборатории почему-то стоит здоровенный такой диван, обитый дерматином лягушачьего цвета,— голову откинул на валик, одна рука на груди, другая лежит вдоль тела, вывернута ладонью вверх, лицо спокойное и даже какое-то довольное; ну, полное впечатление, что спит человек и хороший сон видит. А тут еще утро такое, солнечное, с ветерком, перед окнами лаборатории старые деревья растут, ветки под ветром колышутся, и по лицу Аркадия все время перебегают световые блики, и оно кажется живым... Но, конечно, я ни на секунду не подумал, что Аркадий просто спит,— вот так лежит себе утром в лаборатории и спит, а кругом суетятся чужие люди, что-то обмеривают, записывают, фотографируют... Нет, я сразу понял, что случилась беда, страшная какая-то беда, но только никак не решался осознать, что Аркадий мертв: слишком это было противоестественно, невероятно, ужасающе нелепо, чтобы Аркадий, которого я видел часов пятнадцать назад бодрым и здоровым, силач и весельчак Аркадий умер, не дожив недели до двадцати восьми лет. Я стоял на пороге, не в силах шагу ступить дальше, и с ужасом смотрел, как худенькая черноволосая девушка берет безвольную руку Аркадия и, слегка приоткрыв рот, старательно прижимает один палец за другим к небольшим стеклышкам. «Снимает отпечатки... Зачем же это?»

Тут Линьков ухватил меня за плечо и сказал:

— А ну-ка, давайте я вас уведу куда-нибудь. Вы совсем позеленели что-то.

— Подождите...— еле выговорил я.— Что с ним?

— Отравление, по-видимому,— лаконично ответил Линьков.

— То есть... я не понимаю...

— Ну, отравление снотворным... Признаки совпадают, и обертки пустые найдены — вот, видите? — Он повел рукой к столу, там лежали оранжевые с голубым оберточки от таблеток.

Я уставился бессмысленно на эти яркие пятнышки и не сразу расслышал, о чем Линьков меня спрашивает.

— Левицкий вообще принимал снотворное или нет?

Мы оба с Аркадием одно время принимали снотворное, потому что совсем выбились из сна после долгой серии совершенно бесплодных экспериментов. Но я довольно быстро бросил это дело, потому что у меня на следующий день голова словно ватой была набита. А Аркадий с тех пор всегда держал про запас пачку снотворного. И, кажется, за последнее время опять стал частенько прибегать к его помощи. Но ведь тем более Аркадий не мог ошибиться! Между обычной дозой и смертельной — громадная разница!

— А почему вы думаете, что он ошибся? — спросил Линьков, когда я все это ему высказал.— И зачем бы ему вообще принимать снотворное на работе? Спать лучше дома. У него квартирные условия нормальные? А, ну вот, видите.

— Тогда что же это? — отчаянно спросил я, чувствуя, что пол подо мной наискось уходит куда-то вниз.

— Пойдемте, пойдемте,— решительно заговорил Линьков и потащил меня в коридор.— Того и гляди вы в обморок хлопнетесь.

Линьков, пожалуй, был прав: малого не хватало, чтобы я совсем скапустился. Стыд и позор, конечно, чтобы здоровый парень падал в обморок при виде мертвеца. Но ведь это был не вообще какой-то умерший, а Аркадий Левицкий, самый близкий мой друг, с которым мы два года жили неразлучно, вместе работали, вместе ели, вместе отдыхали и говорили обо всем на свете и во всем друг друга понимали. Правда, за последний месяц мы с ним не вполне ладили, но это не меняло существа дела...

Линьков усадил меня в вестибюле у окна, в глубокое, громоздкое кресло, а сам уселся на подоконник и согнулся так, что наши головы оказались почти на одном уровне.

— Так вот,— сказал он,— придется нам с вами побеседовать. Понимаю, что вам сейчас трудно. Но... вам и самому полезно будет выяснить некоторые обстоятельства этого...— он помедлил,— этого печального происшествия.

Он глянул на меня сверху вниз, почти в упор, и я впервые увидел, какие у него странные глаза. Не до того мне было, чтобы чьи-то глаза разглядывать, но уж очень они были голубые, невероятно голубые. Девушка любого типа сочла бы такие глаза подарком судьбы, но у худого, долговязого очкарика с землистым лицом это выглядело как непродуманное украшательство.

— Я хотел узнать для начала, какие у вас были взаимоотношения с Левицким,— терпеливо напомнил Линьков.

— Да-да, конечно,— быстро сказал я, вдруг встряхнувшись от одной жуткой мысли,— мы с ним были в очень близких отношениях, и по работе и вообще... Ну, друзья, одним словом! Но вы мне раньше объясните, что же все-таки случилось? Вы сказали, смертельная доза — это... ну, не по ошибке... Что же тогда, почему?

— По всем имеющимся данным, это — самоубийство,— тихо и как будто извиняющимся тоном ответил Линьков.

— Как это самоубийство?! Почему?! — Я не сразу понял, что ору на весь вестибюль.

— Вот об этом я и хотел бы расспросить вас,— все так же мягко и терпеливо ответил Линьков.— Действительно, почему Аркадий Левицкий мог покончить самоубийством? Если причины для этого имелись, то вам-то они известны, ведь правда?

— Мне известно вот что,— сказал я с максимальной твердостью, на какую был способен в этот момент,— известно мне, что Аркадий Левицкий не из тех людей, которые способны искать выход в самоубийстве. Он считал самоубийство актом трусости. И вообще он всегда нашел бы выход из любого положения. Причин я никаких не знаю: думаю, что их и не было.

— Я вас понимаю,— медленно заговорил Линьков,— однако же вопрос решается не так просто. Несчастный случай, как вы сами заметили, исключается. Действительно, нельзя по ошибке принять смертельную дозу снотворного, а кроме того, снотворное вообще не принимают на работе...

— То есть, вы хотите сказать, что он... что ему это дали... заставили...— забормотал я, чувствуя, что пол под ногами опять слегка пружинит.

— Кто же мог заставить,— сказал Линьков, с сочувствием глядя на меня,— если вы сами видели, что никаких следов борьбы не было... Лежал-то он абсолютно спокойно...

Меня холодом обдало: я будто снова увидал, как Аркадий лежит на диване, такой спокойный, словно прилег отдохнуть и уснул. Да, никаких следов борьбы... Просто взял вот Аркадий и проглотил... сколько там было пачек этого проклятого снадобья? Не то четыре, не то пять,— значит, он заранее это подготовил, припас... Никогда он у себя не держал столько снотворного сразу, не так его легко получить да и незачем...

— ...и никого другого в лаборатории вечером вроде бы не было,— говорил тем временем Линьков, внимательно глядя на меня.— Вы, насколько мне известно, из института ушли вместе со всеми... и больше там не появлялись в тот вечер?

Последние слова он произнес вопросительным тоном, и я с некоторым усилием сообразил, что мне задан классический вопрос: «Где вы были, когда это произошло?»

— Нет, не возвращался,— ответил я.— Пошел в библиотеку и просидел в читальном зале до самого закрытия. Вышел оттуда без пяти одиннадцать, пешком пошел домой, там еще выпил чаю, почитал немного, лег спать около часу ночи, а утром мне позвонили...

— Понятно,— сказал Линьков,— для проформы мне это знать необходимо. Так какие же у вас соображения по поводу случившегося?

Я беспомощно пожал плечами.

— Не знаю, что и думать. Это... ну, просто это так нелепо, нелогично, что...

Действительно, что меня больше всего и прежде всего поражало в случившемся, так это его дикая нелепость, полнейший алогизм. Я все еще не мог внутренне принять это как совершившийся факт, мне казалось, что этого попросту быть не может, что так не бывает, чтобы ни с того ни с сего...

— Я только в одном уверен, это я уже говорил,— добавил я,— что никак не мог Аркадий покончить самоубийством! В конце концов я в этот день был с ним с девяти утра до пяти вечера, мы находились в одной комнате, работали над одним и тем же заданием, переговаривались... ну и обедали вместе, и вообще... Неужели бы я не заметил, если б он... ну, вел себя как-то необычно...

Тут я вдруг запнулся. Необычно? А что, собственно, мог бы делать человек в таком случае? Человек волевой, не тряпка, не слизняк какой-нибудь? Если он почему-то вообще решился на это,— ну, допустим! — и решил вдобавок, что сделает это именно на работе, после того, как все уйдут (все эти предположения — нелепость, дикая нелепость, но если все же?..), то он уж как-то держался бы, что называется, в рамках. Что бы у него в душе ни творилось. Может, он именно и держался изо

всех сил? Ведь если толком припомнить, он был вчера...

— Я как раз хотел попросить, чтобы вы рассказали, как прошел вчерашний день в вашей лаборатории и как вел себя Аркадий Левицкий,— сказал тут Линьков.

— Он нервничал... не очень, но все же,— добросовестно объяснила я,— и был какой-то рассеянный, все у него из рук валилось... Но вообще мы работали до конца дня нормально.

— Однако же,— вежливо удивился Линьков,— я нахожу, что у вас довольно странные понятия о нормах. Неужели это нормально для ученого, если у него все из рук валится, он нервничает и думает не о работе, а о чем-то другом?

— Я не знаю, о чем он думал...

— Я — тем более. Но если человек производит впечатление рассеянного и работает нечетко, то естественно будет предположить, что думает он в этот момент не о том, чем непосредственно занимается.

— Видите ли,— сказала я, несколько поразмыслив,— такое с Аркадием бывало и раньше, даже еще и заметней. А думал он при этом все же о работе, только не о том эксперименте, которым непосредственно занимался, а о проблеме в целом. Ну, понимаете, когда серия идет впустую, никаких толковых результатов...

— А у вас теперь именно такое положение дел?

— Нет, не то чтобы... Но все же есть о чем призадуматься.

— Вы сказали, что нормально работали до конца дня. А потом что было?

Мне стало муторно. Чего я, в самом деле, распространяюсь о нормальном поведении Аркадия, когда все не очень-то нормально выглядит, если посмотреть со стороны?

— Я хотела остаться в лаборатории вечером, поработать, но Аркадий со мной поссорился. Он нарочно затеял сцену: по-моему, просто хотел выставить меня из лаборатории,— выпалила я одним духом, чтобы поскорее с этим разделаться.

Линьков не стал спрашивать, считаю ли я это нормой, а только поинтересовался, часто ли я остаюсь в лаборатории по вечерам. Я ответила, что вообще часто, но в последнее время несколько реже. И замолчала. Вдруг на меня опять накатила слабость, все перед глазами поплыло. Линьков, по-моему, это заметил, но что же ему было делать? Служба есть служба. Он спросил: а как Аркадий? Я сказала, что Аркадий и в последнее время почти все вечера просиживал в лаборатории.

— Это вызывалось необходимостью? — осведомился Линьков.

— Да как сказать... Никто нас, конечно, не заставлял, скорее даже наоборот... Но мы с ним занялись одной проблемой — наполовину в порядке личной инициативы... Ну, вот и...

— Вы с ним? — переспросил Линьков.— То есть это была ваша совместная работа? Чем же тогда объяснить, что вы как раз в последнее время реже оставались в лаборатории?

— Личные обстоятельства...— вяло пробормотала я.

— А Левицкий как к этому относился? Вы с ним не ссорились из-за ваших частых отлучек?

— Нет... Но вообще мы с ним за последний месяц несколько отдалились друг от друга...

Все получалось до крайности нелепо, и я это понимала даже в своем угнетенном состоянии. К чему эти категорические заявления насчет невозможности самоубийства, когда тут же выясняется, что мы с Аркадием за последний месяц мало виделись, даже в ущерб совместной работе, и что накануне смерти он вел себя довольно-таки странно, а я понятия не имею почему, да еще и пытаюсь утверждать, что это-де вполне нормально. Я-то сам все равно был уверен, что Аркадий не мог покончить самоубийством, но если ничего не можешь доказать и все выглядит как раз наоборот, то уж лучше не трепаться и не делать всяких торжественных заявлений. Конечно, Линьков тут же заметил, хоть и очень мягким тоном, что, возможно, как раз за этот месяц в жизни Аркадия произошли какие-то важные перемены, оставшиеся мне пока неизвестными, и я ничего не мог по существу возразить. Сказал только, что ведь все же знаю Аркадия не первый год, да и этот последний месяц мы с ним работали с утра до вечера вместе каждый день, а то и вечер, так что вроде бы я должен был заметить, если что серьезное...

— Всякое бывает, знаете ли,— сказал на это Линьков. И, помолчав, спросил: — А вы с ним часто ссорились? Не только в последнее время, а вообще?

— Аркадий с кем угодно мог в любую минуту поссориться, в том числе и со мной. Он вспыльчивый, резкий, если что ему не понравится, он немедленно об этом доложит, без всяких церемоний,— в полном соответствии с истиной объяснила я.

— Нелегко вам, должно быть, с ним приходилось,— вежливо и как бы между прочим заметил Линьков.

— Я-то к нему привык. Вот те, кто его мало знал, те иногда здорово обижались.

— Значит, у него было немало врагов,— задумчиво отметил Линьков.

— Какие там враги! Ну, просто обижались на него люди, а потом проходило это. У нас ведь особые условия, они... ну, как-то сплачивают людей, всякие мелочи легче забываются, когда все заинтересованы работой на полном серьезе.

— Об условиях работы в институте мы поговорим позднее,— сказал Линьков,— а пока я хотел бы выяснить вот что. Значит, у вас создалось такое впечатление, что Левицкий нарочно затеял с вами ссору, чтобы выставить вас из лаборатории?

— В общем, да,— неохотно подтвердила я.— И, главное, ни с того ни с сего, будто спохватился в последнюю минуту, что нужно от меня отделаться.

— А он знал, что вы собираетесь остаться в лаборатории, или вы ему об этом сказали в последнюю минуту?

Вот именно, что Аркадий не знал об этом, а как только узнал, начал на меня орать, что я ему все записи перепутал и что не будь у него дублирующих кратких пометок в записной книжке, так я бы ему месяц работы погубил, что я это либо умышленно делаю, из мещанской злости, на которую он раньше, правда, не счел бы меня способным, но вот поди же... либо у меня мозги теперь не тем заняты, чего он тоже от меня никак не ожидал. Это был довольно неприятный нашей наших отношения с Ниной; я, признаться, рассердился и тоже несколько повышенным тоном ответил, что насчет мещанских чувств, мол, чья бы корова мычала... ну, и так далее. Сейчас я был совершенно уже уверен, вспоминая эту сцену, что Аркадий нарочно старался меня посильнее разозлить, чтобы я пулей вылетел из лаборатории, и, конечно, своего добился. Но мне уж очень не хотелось объяснять Линькову насчет Нины и всего прочего, а потому я ответил неопределенно, что, дескать, точно не помню, не вроде бы я заранее Аркадия не предупреждал о своих планах на вечер.

— И у меня такое впечатление, что он вовсе не сердился на меня, а просто очень хотел почему-то остаться в лаборатории один,— добавил я.

Линьков задумчиво посмотрел на меня и поправил очки.

— Вы думаете, что он кого-то ждал? Так я вас понял?

— Примерно так,— неуверенно подтвердила я.— Хотя я абсолютно не представляю, кто мог прийти к нему в лабораторию вечером.

— Кто-нибудь еще оставался вчера в институте, не знаете?

— Не знаю. Но какие же могут быть у Аркадия секреты от меня с нашими сотрудниками?

— Мало ли,— возразил Линьков.— А если он с девушкой хотел встретиться?

Соображение это было в принципе правильное, но в данном случае никуда не годилось. Во-первых, ни одна из наших сотрудниц Аркадию даже приблизительно не нравилась, а, во-вторых, если б такое свидание и вправду было намечено, то Аркадий не стал бы так уж упорно скрывать от меня этот интересный факт своей биографии. То есть он не стал бы бахвалиться, конечно, и не назвал бы имени — это элементарно; однако, я уверен, он дал бы мне понять, просто из мальчишеского самолюбия (которого у Аркадия всегда хватало!), что, мол, он уже свои дела устроил преотличным образом и не очень-то переживает из-за всей этой истории с Ниной.

Но я ничего этого Линькову не сказал, а только объяснил, что не с кем было Аркадию в институте свидания устраивать.

— Да в общем-то все это не имеет существенного значения,— сказал наконец Линьков.— Даже если Левицкий и собирался с кем-то встретиться, то встреча эта, видимо, не состоялась. А если кто и был у него в лаборатории, то все равно пока нет ни малейших оснований предполагать, что произошло убийство. Кто же мог бы уговорить Левицкого, чтобы тот проглотил снотворное и лег преспокойно на диван, не пытаясь позвать на помощь? Вот в это уж действительно трудно поверить на уровне простейшей житейской логики.

Конечно, Линьков был прав: убийство было так же невероятно, как и несчастный случай,— все факты указывали на то, что Аркадий сам, добровольно проглотил смертельную дозу снотворного. Никакого другого истолкования всем этим фактам нельзя было подыскать. И все же... нет, ничего я не мог с собой поделать!

— Как хотите, а не могу я в это поверить! — решительно заявил я Линькову.— Слишком я хорошо знаю... знал Аркадия. Не мог он покончить самоубийством!

Линьков с сочувствием поглядел на меня, но ничего не сказал.

На этом мы с Линьковым пока расстались. Он пошел по институту «выяснять некоторые детали», а я направился к своей лаборатории, хоть меня прямо ноги отказывались туда нести.

Аркадия уже увезли, лаборатория была заперта, я открыл ее ключом, который утром, еще ни о чем не зная, взял в проходной, с трудом шагнул через порог и стал тут же у двери, не зная, что делать. Комната была пуста, чиста, и всю ее пронизывало быстрое слепящее трепетание солнечных бликов и теней листвы, видимо, ветер на улице усилился. Я стоял и смотрел на диван, где недавно лежал Аркадий, такой спокойный, почти довольный и от всего уже страшно далекий, и так мне было тошно и жутко, что словами не передашь.

Все в институте, конечно, уже знали, что случилось, по нашему коридорчику-тупику то и дело проходили люди, кое-кто останавливался у порога, пробовал со мной заговаривать, я, не оборачиваясь, почти механически отвечал: «Да, правда... Нет, не знаю. Ничего мне пока не известно... Нет, меня тут не было... Ребята, ничего я не знаю и ничего не понимаю. Да, потом, наверное, выяснится...» — и прочее в том же духе.

Не знаю, сколько я простоял вот так, давая краткие интервью через плечо. Наверное, не очень-то долго,— ну, сколько же можно вот так торчать на пороге собственной лаборатории, на виду у всех? Да и Нина вряд ли особенно медлила: наверное, как узнала, что следователь разговор со мной закончил, так сразу кинулась меня разыскивать. Она почти втолкнула меня подальше в комнату, захлопнула дверь и стала прямо передо мной.

Выглядела она как-то необычно,— слегка побледнела, глаза вроде больше стали, и даже волосы словно бы гуще сделались и блестели сильней. Но как-то так получается, что Нина, если изменяется, то непременно к лучшему,— это уж специфика внешности, по-видимому. Я молча глядел на нее, и вид у меня, надо полагать, был довольно жалкий: Нина даже заморгала от сочувствия и сказала, что она меня вполне понимает, еще бы, она и сама тоже, но надо мужественно переносить,— ну, и далее в том же духе, я не очень внимательно слушал, потому что мне вдруг стало гораздо легче, когда она пришла, заговорила со мной и сочувственно поглядела, и я обрадовался этому облегчению, стоял и вслушивался, как оттаивает у меня под сердцем гигантская ледяшка.

Нина так и не дождалась, пока я заговорю, и с оттенком нетерпения сказала:

— Ну, Боренька, ты что-то совсем уж... Держись все же! Ты хоть скажи, о чем вы говорили со следователем?

— Да всякое разное,— пробормотал я, опять впадая в прострацию.— Ну, спрашивал, что я думаю о причинах самоубийства, а я сказал, что вообще в самоубийство не верю. Спросил, как положено, что я делал в этот вечер,— ну, я, конечно, объяснил, что сидел в библиотеке до самого закрытия...

Тут я заметил, что Нина как-то странно, даже будто с испугом на меня смотрит, и спохватился.

— Ах, да, Нин, ты же не знаешь... Мне пришлось уйти из института сразу после пяти. Аркадий меня прямо-таки выгнал из лаборатории... Я и просидел до одиннадцати в библиотеке, мне давно нужно было посмотреть работы американцев по резко неоднородным полям, а ты ведь все равно сказала, что в кино пойдешь с девочками...

Пока я говорил, Нина все глядела на меня и словно о чем-то напряженно думала,— такое у нее было лицо. Потом она тихо сказала:

— Мне Аркадий сказал, что ты ушел из института.

— Ты видела Аркадия? Когда? — спросил я, чувствуя опять эту распроклятую слабость и дрожь в ногах.

— Я сначала решила тоже остаться в институте, подождать тебя, да и работы у меня накопилось за последние дни,— сказала Нина, по-прежнему не сводя с меня взгляда.— Пошла сказать тебе об этом, но лаборатория была заперта, а на обратной дороге я встретила Аркадия...

— Когда же это было? — удивился я.

— Примерно в четверть шестого. Я спускалась по боковой лестнице, а он поднимался.

Я опять машинально удивился, но ничего толком обдумать не смог.

— О чем же вы с ним говорили? — с трудом спросил я: меня очень угнетало и тревожило то, что Нина вдруг так резко изменилась, говорит как-то холодновато, отчужденно и все смотрит на меня, будто чего-то ждет.

— О чем? — с какой-то странной рассеянностью переспросила Нина и, словно спохватившись, сказала поспешно: — Видишь ли, дело тут даже не в словах, но разговор получился какой-то странный и даже неприятный... Аркадий, во-первых, почему-то очень смутился, когда меня увидел. У него такой вид был, словно он сквозь землю провалиться готов. И вообще...— Нина подумала.— Вообще он выглядел как-то странно. Даже костюм на нем был... ну, тоже странный...

— В каком смысле странный?

— Ну, этого я определить не могу, я не приглядывалась специально, да и темно ведь на лестнице. Но покрой пиджака странный какой-то, борта широченные и форма у них необычная... даже не пойму, откуда у него такой костюм взялся, я его никогда не видала.

— Он был в новом костюме? — переспросил я, заинтересовавшись.

Я-то сам, хоть убей, не мог припомнить, что за костюм был на Аркадии вчера,— впрочем, Аркадий при мне, возможно, так и не снимал лабораторного халата. Но если он был в новом костюме, то, может, Линьков правильно предположил: Аркадий назначил на вечер свидание какой-то девушке.

— Может, он и новый,— сказала Нина,— но только в том смысле, что он недавно приобретен или просто я его ни разу не видала раньше. А вообще-то он совершенно немодный. Меня это в первую очередь и удивило.

Меня — тоже. Аркадий в одежде разбирался и явно немодного костюма не надел бы, а уж тем более не стал бы покупать. Но, так или иначе, версия свидания, по-видимому, не подкреплялась, и я перестал об этом думать.

— Что же он все-таки сказал? — спросил я, потому что Нина замолчала и явно задумалась о чем-то весьма неприятном.

— Сказал он мало, но... Да я просто могу в точности повторить его слова. Я...— Тут Нина замялась, и на мгновение в ее голосе послышались обычные, теплые нотки, но тут же исчезли.— Я... мне показалось, что он так разволновался потому, что на мне было синее платье, то самое... ну, в общем, воспоминание о первой нашей встрече. Я как-то растерялась, не знала, что сказать, и вдруг вспомнила, сколько лишнего наговорила тогда — ну, в зале хронокамер,— и решила перед ним извиниться. Поэтому сказала: «Аркадий, ты, пожалуйста, не придавай значения тому, что было в зале хронокамер». А он как-то странно посмотрел на меня, сделал вид, будто даже и не помнит, о чем речь, и ответил скороговоркой, небрежно: «Нет, ничего, я это дело уже закончил». Я спросила: «Да ты о чем говоришь?» И тут он совсем как-то растерялся, глаза у него такие жалкие сделались, и вдруг он сказал, очень искренне и даже с надрывом, совсем на него непохоже: «Слушай, Нин, я здорово запутался, ты даже не представляешь, до чего! Потом ты все узнаешь, но... в общем, сам я, конечно, виноват, не уме ничего не поделаешь...» Хотел, видимо, еще что-то сказать, но махнул рукой и пошел. А потом...— Нина вдруг оборвала рассказ и опять как-то странно, не то испытующе, не то умоляюще, поглядела на меня.

— Что? Что потом? — в тоске спросил я, чувствуя, что надвигается какая-то новая беда, что Нина отдаляется от меня именно теперь, когда мне так нужна помощь и поддержка...

— Потом...— Нина все не отводила от меня взгляда, и я уже ясно чувствовал, что она чего-то ждет от меня, каких-то моих слов или поступков, но не мог понять, что же я должен сделать.— Потом это вообще было похоже на сумасшествие, мне даже страшно стало. Понимаешь, я побежала за ним.— Нина говорила все это монотонно и невыразительно,— спросила: «Аркадий, да что с тобой, может, я чем помочь могу, ты скажи!» — ну, что-то в этом роде сказала. А он остановился, поморщился, будто горькое проглотил, а потом как

расхохочется! Но таким, знаешь, искусственным смехом, как у него бывает...

Я знал: Аркадий начинал громко и неприятно смеяться либо от злости, либо от смущения. Что же, его разозлило участие Нины? Все возможно, он ведь самолюбивый...

— ...и сказал: «Да ты не переживай, это я просто пошутил, извинялось, конечно!» — продолжала Нина.— И еще добавил это, из Козьмы Пруткова, насчет шуток с женщинами...

— «Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны!» — машинально пробормотал я.— А потом?

— Да потом он ушел, вот и все! — почти грубо сказала Нина.— Так как же ты объясняешь слова Аркадия и вообще все это?..

— Понятия не имею, что все это значит! — ответил я и, чувствуя, что Нину этот ответ не удовлетворяет, даже злит, торопливо забормотал: — Ну, то есть ты понимаешь, Нин, я ни о чем таком не знаю... Мы же с ним за последнее время, сама знаешь, как-то не совсем... Если б я хоть видел его после этого разговора, а то...

— ...а то ты ушел в пять часов, и все! — почти издевательским тоном закончила Нина.

— Ну да! — беспомощно подтвердил я.— А что же было делать, когда он меня, я ж тебе говорю, прямо выгнал из лаборатории? И потом, ты знаешь, я как-то не вижу ничего особенного в этом вашем разговоре. У нас с ним еще и не такие разговоры бывали! Он иногда, если о чем-нибудь другом думает, жуткую чушь несет, совершенно ни к селу ни к городу что-нибудь ляпнет...

— С той только разницей,— холодно констатировала Нина,— что после тех разговоров он оставался жив и здоров!

Сказав это, она вдруг резко повернулась и ушла, а я стоял и смотрел ей вслед, тщетно силясь сообразить, что же произошло — с ней, с нами, со мной...

Линьков начинает следствие

Линьков сидел в маленькой светлой комнатке отдела кадров и беседовал с Эдиком Коноваловым, кадровиком.

Вид у Эдика был ослепительный. До голубизны белая нейлоновая сорочка, надвое расчерченная узким темно-красным галстуком, искрилась на его широченной груди, отлично отглаженные брюки острым углом нависали над немыслимо шикарными сандалетами, и весь он сверкал и излучался.

— Так вот они и живут! — с победоносным презрением сказал Эдик, рассказывая про институт.— Сидят, как пни, в лабораториях, и ни тебе свежего воздуха, ни движения. А что в результате получается?

— Все же научная работа,— пробормотал Линьков,— день неормированный.

— А я о чем и говорю: что неормированный! — Эдик возмущенно хмыкнул.— Был бы нормированный, так и порядок навести ничего бы не составляло. А так...— Он махнул рукой и сказал уже более спокойно, с деловой интонацией: — Значит, такое дело: конкретных соображений по данному вопросу у меня не имеется, но что я вам посоветую — это прощупать кое-кого из институтских. В первую очередь, конечно, Стружкова. И эту... Нину...

— Какую Нину? — с некоторым интересом спросил Линьков, увидев, что ясные глаза Эдика при этом имени словно бы замаслились.

— Да Берестову Нину! У вас до нее что, руки еще не дошли? — удивился Эдик.— Нет, я вам точно советую! Неувязочка по личной линии тут получилась все же крепкая! Дружба дружбой, а как до женщины дошло, так и дружбу в сторону...

— Вы хотите сказать, что Левицкий и Стружков поссорились из-за Берестовой? — спросил Линьков, неодобрительно морщась.

— Нет, поссориться они вроде не поссорились,— хитро улыбаясь, возразил Эдик.— Народ все же культурный, морду бить друг другу воздержатся. Но если в корень посмотреть,— люди они или не люди?

— Допустим, что люди,— сказал Линьков,— и что же тогда?

— То есть как что? — удивился Эдик.— Да случись такое с ним хочешь, хотя бы и с вами! Значит, у тебя девушку из-под носа уводят, а ты стой и глазами хлопай, если он тебе друг?! Вот вы бы, и примеру? А?

— Я для таких примеров как-то не подхожу,— осторожно ответил Линьков.

— Ну да, вы же представитель закона! — сообразил Эдик и даже причмокнул от огорчения.— Но я бы все равно нашел выход из положения! — пообещал он, поиграв мускулами.— А тем более Ниночка Берестова! Это такой кадр — м-ну! Только она призвилась в расчетном отделе — и сразу у всех там какие-то дела образовались! По двадцать захода в день проделывали — буквально все, включая женатиков! Ну, потом Левицкий около нее на постоянную прописку определился — тут уж прочие добровольцы сникли. Левицкий, он вообще-то...— Эдик одобрительно покивал,— он в этих делах ничего, разбирался. Не то, чтобы слишком, этого не скажу! Он даже чересчур принципиальный был насчет работы. Как у него просвет образуется, так, глядишь, он себе новенькую закадрит, и всегда не что попало, а выберет на самом высоком уровне! А начнется опять у них запарка, засидет он в свою лабораторию намертво — и все, никаких девушек. Тоже, конечно, ненормальность, я считаю! Гармонично надо жить, верно?

— Но если Левицкий так несерьезно относился к девушкам, то, может, он вообще не ссорился со Стружковым? — вяло проговорил Линьков.

Эдик подумал, энергично морща загорелый лоб.

— С одной стороны, вроде и правильно... Но только с Ниной Берестовой — тут дело другого рода. Внешние данные — это само собой. Но у нее характер твердый! Волевая девушка,— одобрительно сказал Эдик,— я таких ценю! Ну, и все же совместная работа, общие интересы, коллектив...

— Коллектив тоже действует? — меланхолически осведомился Линьков.

— А что ж вы думаете, и коллектив... Но лучше уж вы с Берестовой побеседуйте...

Линьков пересек коридор, ведущий к выходу, повернул за угол и, вздохнув, взялся за ручку двери с табличкой «Расчетный отдел».

Огромная комната, почти зал, была надвое перегорожена серой громадой вычислительной машины. Вдоль стен ютились небольшие подручные машины, тянулись панели с окнами осциллографов над рядами сверкающих клавиш. Работало здесь не меньше дюжины девушек, и все они наперебой закричали, что Берестова вышла и сейчас придет. Линьков решил было подождать ее здесь, но девушки так откровенно глазели на следователя, так активно пересмеивались и перешептывались, что он минут пять покрутился на стуле, делая вид, что изучает записи в своем блокноте, а потом не выдержал.

— Пойду пока по другим делам,— загробным тоном сообщил он.— Если встречу Берестову, как мне ее распознать, не подскажете?

— Она высокая... Волосы темные...— все так же наперебой защебетали девушки.— Белый свитер, синяя юбка...

А рыженькая малышка, продолжая бойко стучать по клавишам перфорирующего устройства, похожего на швейную ножную машину, пропищала:

— Да вы ее сразу распознаете! Это ж Берестова, а не кто еще!

Оказалось, что рыженькая права. Линьков увидел Нину Берестову сразу, как вошел в коридор,— и сразу понял, что это и есть Нина Берестова, а не кто еще. Не понадобилось даже замечать, что на ней белый свитер и синяя юбка. А волосы были, может, и действительно темные, темно-каштановые, что ли, но они сверкали, отливали золотом, бронзой, черт те чем в лучах солнца, наискось пересекавших просторный коридор. Девочки, наверное, точно обрисовали, и Нина была высокая,— но долговязому Линькову она показалась... ну, точь-в-точь такой, какой следует быть девушке. Линьков до сих пор как-то не задумывался над тем, существует ли идеал девушки, по крайней мере для него самого, но сейчас отчетливо понял: да, существует.

Пока Нина шла навстречу (идеально, опять же, шла — плавно и быстро, будто летела по воздуху), Линьков успел сообразить, что это открытие он совершил по меньшей мере несвоевременно.

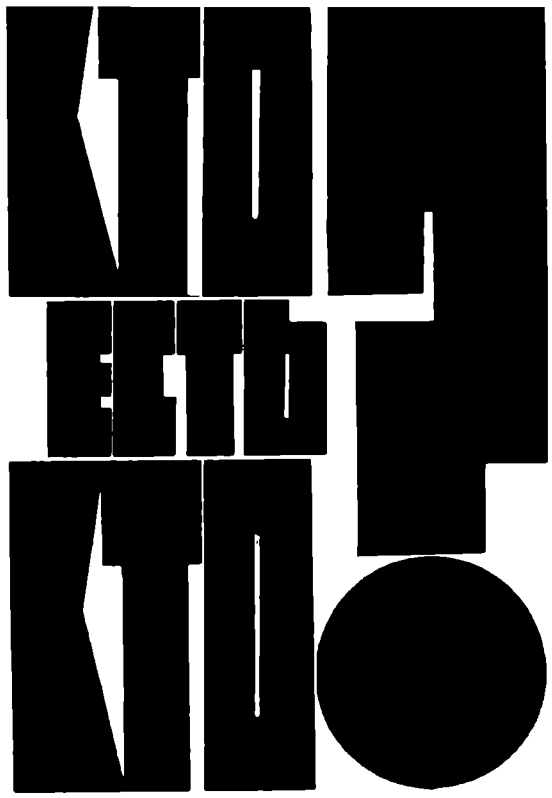
Нина приблизилась, глянула на Линькова продолговатыми зелеными глазами, и он заговорил — почти механически, невыразительно. Представился, сказал, что хотел бы побеседовать с ней по поводу вчерашнего события. После чего они уселись на широком подоконнике, и Линьков увидел, что в зеленых глазах Нины светятся яркие золотые искры.

Линьков вначале мало что усваивал из разговора с Ниной. Ему пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы как следует включить внимание. После этого он смог сообразить, уже без дополнительных усилий, что Нина чем-то очень взволнована и тоже как бы не полностью участвует в разговоре... Отвечала она спокойно и немногословно, только делала неожиданные паузы и явно задумывалась о чем-то. Это не было похоже на страх, на стремление замести следы, но Линьков с каждой минутой яснее ощущал, что его собеседница очень напряженно раздумывает над чем-то, связанным со смертью Аркадия Левицкого, что это ее мучает и сбивает с толку.

Но Линьков пока не имел намерения подбираться к Нининой тайне. Ему и без того приходилось нелегко. Во-первых, основные вопросы, которые следовало задать Нине, были, по мнению Линькова, не слишком-то умны, а к тому же деликатны: ведь фактически приходилось выяснять, не думает ли Нина, что Аркадий Левицкий покончил самоубийством из-за любви к ней. Во-вторых, Линькову вообще хотелось бы говорить с Ниной совсем не здесь и совсем не о том. Он с крайним изумлением осознал, что готов был бы пожертвовать отпуском, заветной мечтой о тихой рыбалке, если б мог предположить, что Нина... «Да нет, это же идиотизм — предполагать такое!» — сказал он себе и поторопился закончить разговор. «В отпуск, в отпуск надо,— думал он, глядя вслед Нине.— А то прямо бредить, брат, начинаешь, да еще в процессе работы!»

Он усмехнулся, потряс головой и решительно зашагал по коридору, на ходу соображая, что же дает информация, полученная от Нины Берестовой. «Она считает, что Аркадий отнесся к их разрыву спокойно, что он ее не любил,— это первое. Допустим, хотя допустить это, прямо скажем, трудновато. Второе: Левицкий и Стружков оставались в хороших отношениях, никогда не ссорились, продолжали совместно вести исследования, но все же несколько отдалились друг от друга — еще бы! Третье: Берестова видела Левицкого сразу после конца рабочего дня, он выглядел странно и говорил странно — судя по ее рассказу, действительно странно! Был взволнован, сказал, что ужасно запутался и что сам во всем виноват. Высказывания довольно неопределенные, но, в общем, как будто подтверждают версию самоубийства... Немного, но все же кое-что. Поговорим теперь опять со Стружковым — может, он уже оправился от шока...»

Продолжение следует.



Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я долго стоял, тупо уставившись на дверь. Потом смотрел в окно, хотя смотреть было нечего: из нашего окна только и видно, что здоровенные старые липы, да в просветах — серый институтский забор, а за ним красный кирпичный брандмауэр, украшенный призывом хранить деньги в сберегательной кассе.

Я почти выбежал из лаборатории: лучше отвечать на любые дурацкие вопросы, чем сидеть тут одному. Никого в коридорах не было, я беспрепятственно проскочил в буфет и выпил две чашки черного кофе под сочувственные взгляды и вздохи буфетчицы Зины.

Потом Зина из-за стойки таинственно поманила меня пальцем. Я неохотно поднялся, подошел к ней, и она сообщила заговорщическим шепотом, что у нее случайно имеется початая бутылка коньяка, что коньяк подкрепляет и бодрит и вообще полезен для здоровья.

— Если, конечно, в меру,— добавила она.

— Вот спасибо, Зиночка,— сказал я с искусственным оживлением.— Коньячок — это в самый раз, вы угадали!

Коньяк оказался на удивление хорошим, я такого никогда и не пробовал, марочный, и действительно он меня подбодрил. Я довольно резво зашагал к лаборатории и у самой двери столкнулся с Линьковым. То ли под влиянием коньяка, то ли еще почему, но мне показалось, что выглядит он иначе. Какой-то он был не то усталый, не то слегка рассеянный, а глаза стали совсем уж лазурными и светились нестерпимо. «Хоть бы он их перекрасил, что ли! — подумал я.— Неприлично следователю иметь такие глаза!»

Мы вошли в лабораторию, уселись на круглые табуреты возле хронокамеры, и я все думал, говорить ли ему о Нине вообще и насчет этого ее разговора с Аркадием в частности, но пока ничего не придумал, а Линьков начал спрашивать меня про другое: давно ли мы познакомились с Аркадием и как складывались наши с ним отношения? Я сказал все, как было: что мы вместе окончили и университет и аспирантуру, что потом некоторое время работали порознь, пока не организовался Институт Времени, а с тех пор мы были в самом тесном рабочем и дружеском контакте уже почти два года.

— Но за последний период, как я понял, вы несколько отдалились друг от друга?—спросил Линьков, заглядывая в блокнот.— Примерно с апреля, я не ошибаюсь?

Я понял, что он уже выяснил про нас с Ниной, да любой ему бы сказал, это же никакой не секрет, все знали.

— Да, отношения наши несколько изменились,— сказал я сердито,— но это ничуть не походило на ссору, и трагедией тут даже не пахло, можете мне верить. И, вообще, Нина тут ни при чем!

Линьков посмотрел на меня и слегка усмехнулся, так, уголками губ.

— Да я вам верю, вы зря раскипятились,— участливым тоном сказал он.— Я не предполагаю, что вы совсем поссорились с Левицким,— то есть, я знаю, что дело обстояло иначе, вы продолжали совместно работать, и внешне все было почти по-прежнему. Но вы отдалились друг от друга,— это же естественно и неизбежно в таких обстоятельствах, хотя бы на первых порах. Вы виделись с Левицким уже только на работе, а остальное время проводили порознь, ведь так? Вот я и хотел спросить: не знаете ли вы все же, как именно проводил свое свободное время Левицкий?

Я молча поникал головой. Мне вдруг стало больно. Я представил себе Аркадия — одного, без меня. Мы ведь два года были просто неразлучны. И вдруг я отошел, я предал...

Я увлекся Ниной, видимо, сильней, чем Аркадий, трудно мне было с ней расставаться в середине вечера и бежать в институт. А потом я думал: Аркадию и без того неприятно, что я у него под носом торчу полный рабочий день, так уж не стоит лезть к нему еще и по вечерам. Ну, словом, я был с Ниной, а Аркадий оставался один. Как ни крути, а получалось нехорошо. В самоубийство-то я по-прежнему не верил и с Линьковым начал разговор несколько в повышенном тоне именно из-за того, что мне показалось: он держится версии самоубийства, потому и говорит об истории с Ниной.

— Но ведь были же у него друзья, кроме вас?— продолжал спрашивать Линьков.— Или, может быть, у него новые знакомства завелись за последнее время? Неужели вы ничего не знаете?

— Да практически ничего,— угрюмо сказал я: мне было стыдно.— Я для него был самым близким другом, как и он для меня, остальные все намного дальше... Просто приятели, товарищи по работе и все такое. Насчет последнего времени не знаю... Вот, например, первомайские праздники Аркадий провел с эксплуатационниками, за город они ездили.

— А вы ни с кем его за это время не встречали?

— Что-то не припомню. Во всяком случае, ни с кем чужим. И ни с кем-либо постоянно или хотя бы часто,— это я бы наверняка заметил.

— Он что, замкнутый был, нелюдимый?

— Да нет, он веселый был, компанейский. Но если в работу как следует влезет, так никто ему тогда особенно не нужен.

— А сейчас как раз такой период и был?

— Да... А то, что я вроде бы меньше этим интересовался...

— Вы уже говорили: личные мотивы, это понятно... Но, кстати, насчет этих мотивов. Вы сказали, что характер у Левицкого был довольно крутой и резкий, а главное, он не отличался такой уж особой выдержкой и склонностью деликатничать. Так ведь? Значит, я могу предположить, что Левицкий открыто высказал вам свое отношение к истории с Берестовой?

— Никогда он мне ни слова по этому поводу не сказал,— сейчас же ответил я.— И я ему тоже. Вообще вы меня не совсем правильно поняли: резко и откровенно Аркадий высказывался в основном по деловым поводам — в научных дискуссиях. А о личных делах он не любил разговаривать. Правда, у него особых личных дел и не было...

— Как же это? — вежливо удивился Линьков.— Личные дела, по-моему, даже у дошкольников наблюдаются.

— Дошкольники, надо полагать, меньше увлекаются работой,— недовольно ответил я: мне не понравилось, что Линьков пытается шутить, когда я говорю вполне серьезно.

— Очень даже вероятно,— спокойно согласился Линьков.— Значит, вы думаете, что Левицкий проводил вечера в основном тут?

— Не думаю, а просто знаю. Серию-то мы вели совместно. Одно время я больше сидел в лаборатории, а последний месяц — он.

— Понятно...— Линьков подумал.— Я вот чего все же не понял: Левицкий был человеком откровенным? Ну, то есть он делился своими переживаниями хотя бы с вами, как с самым близким другом? Или он был замкнутым, скрытным?

— Со мной он, конечно, всеми переживаниями делился,— решительно сказал я.—Да у нас и переживания-то были в основном общие...

— Надо полагать, не всегда,— осторожно улыбнувшись, заметил Линьков.— Не говоря уж о последнем периоде...

Конечно, я преувеличивал,— даже у сиамских близнецов были кое-какие раздельные переживания, насколько мне известно. Но в основном я был прав: эти два года мы почти целиком отдали Институту Времени, и все посторонние дела отнимали у нас минимум энергии. Разумеется, мы зимой ходили на лыжах, а летом плавали, катались на лодках; мы смотрели фильмы и спектакли, читали книги и журналы — не только по специальности. Потом Аркадий, например, уезжал на свадьбу младшей сестры, а но мне два раза привозила мама, гостила по неделе; у Аркадия иногда возникали какие-то «романсы», как он их обозначал, но вскоре он начинал вздыхать, что эта самая Света (Иветта, Ася, Римма, а то еще, помню, была удивительно красивая девушка с не менее удивительным именем — Мурчик) ничего не понимает ни в хронофизике, ни вообще и говорить с ней до того скучно — сил никаких нет. А еще через пару дней девушка куда-то исчезала. Только к Нине Аркадий с самого начала относился иначе: уж не потому ли, что она все же разбирается в хронофизике? И то вот Нина считала, что он не всерьез как-то...

— Я понимаю, что вы имеете в виду,— сказал я Линькову в заключение,— что у него завелись какие-то секреты от меня. Так вот — не думаю! На девяносто девять процентов уверен, что ничего он от меня не таил. Разве в прошлом что-нибудь... Да и то вряд ли. Мы ведь с ним встретились в восемнадцать лет, на первом курсе физмата, и с тех пор расставались всего на два года, так что я наверняка все основное в его жизни знаю.

— Кроме последнего периода,— задумчиво отметил Линьков.

— Да этот последний период — всего-то месяц с небольшим! — досадливо сказал я.— Ну, что могло случиться за такой короткий срок?

— Мало ли что! — отозвался Линьков.— Иной раз за полчаса такое успевает случиться — год не распутаешь!

Конечно, он был прав. Но я опять ощутил тоску и усталость, и разговаривать мне становилось все труднее. Линьков, видимо, это понял. Он сказал, что к завтрашнему дню получит данные вскрытия и всяких анализов, и тогда, возможно, ему придется снова со мной поконсультироваться.

Линьков ушел, а я начал опять без толку крутиться по лаборатории, подходил к хронокамере, тупо глазел на ее безжизненно-темную стеклянную стену, зачем-то передвигал стулья...

Наконец я понял, что работать сегодня не смогу и нечего мне торчать в лаборатории да коситься на зеленый диван. «А как же вообще будет дальше-то?» — с мимолетным страхом подумал я, но поспешно отогнал эту мысль и позвонил Шелесту. Тот сразу сказал: «Ну, ясное дело, иди!» — но потом спохватился и спросил, не нужен ли я следователю. Я со злостью проинформировал его, что товарищ Линьков на сегодняшний день сыт моей персоной по горло и даже выше и что он рассчитывает вернуть потребность, а также способность снова общаться со мной только в результате крепкого восьмичасового сна и полноценного культурного отдыха. Шелест неопределенно хмыкнул и официальным тоном повторил, что я могу уйти.

— Завтра-то выйдешь на работу нормально, я надеюсь? — спросил он.

По голосу его я понял, что он не очень-то надеется, и это меня тоже обозлило.

— Приложу усилия,—угрюмо ответил я.— Отмобилизую скрытые резервы организма, если они у меня обнаружатся.

— Ну-ну, ладно! — примирительно сказал Шелест.— Все мы все понимаем, не чурки с глазами, чего ты ершишься-то? — И, помолчав, добавил: — Ты завтра зайди ко мне с утра... Нет, с утра я уеду в горком, лучше к концу дня. Поговорим, побеседуем, ладно?

— Ладно,— сказал я,— пока!

На ходу мне всегда легче думается. Побродив с полчаса по улицам, я несколько успокоился и получил возможность мало-мальски нормально соображать.

Я решил поехать в лесопарк, к нашей любимой скамейке над обрывом. Туда мы с Аркадием обязательно отправлялись, если какое-нибудь дело не ладилось. Аркадий уверял, что в зоне этой скамейки создался специфический микроклимат, способствующий правильному решению проблем хронофизики.

Поехал я в лесопарк, добрался до нашей скамейки и уселся, откинувшись на выгнутую решетчатую спинку. Скамейка была врыта в землю под двумя большими березами, их нижние ветки висели над самой головой, Аркадий всегда срывал листок и растирал пальцами при разговоре. Я отчетливо увидел, как шевелятся его длинные смуглые пальцы, растирая зеленый листок, и зажмурился от внезапной боли в сердце...

Я покрепче встряхнул головой, чтобы выгнать из нее все лишние мысли. «Кретин ты зданий,— сказал я себе.— Ученый ты или нет? Способен ты логически мыслить в любых обстоятельствах или у тебя эта способность возникает только в связи с должностью, при соответствующих условиях и отсутствии всяческих помех?»

Поработав таким образом над собой, я встал, прошелся над обрывом туда-сюда, снова сел, но уже не откидывался на спинку скамейки, а принял сугубо рабочую позу: согнулся и начал чертить прутиком по песчаной проплешине у своих ног.

— Ладно,— сказал я вслух, убедившись, что никого поблизости нет,— попробуем для начала изложить известные нам факты. Их маловато, но все же они есть, и противоречия между ними тоже есть.

Дальше я уже не рассуждал вслух, а, чертя прутиком по песку, пытался выстроить в уме какую-то цепь событий. Итак, Аркадий умер от смертельной дозы снотворного. Несчастный случай явно исключается. Во-первых, для того, чтобы заснуть, Аркадию хватало одной таблетки, и не мог он по ошибке проглотить несколько пачек. Во-вторых, как правильно сказал Линьков, снотворное вообще принимают не на работе, а дома. Далее. Если это — самоубийство, то совершенно непонятно, по каким мотивам и почему так вдруг. Непонятно также, почему Аркадий не оставил никакой записки; ну почему, в самом деле? Он же не внезапно все это сделал! Кроме того, все, что я знаю об Аркадии, мешает поверить в самоубийство. Но об этом после, это мы еще перетряхнем в мозгу. А если это не самоубийство и не несчастный случай, то остается убийство. Против этого варианта говорит многое. Прежде всего отсутствие следов борьбы, спокойная поза Аркадия. Да и вообще — каким образом можно заставить взрослого, здорового человека проглотить такую уйму таблеток? Ребенка и то не заставишь. И вдобавок потом нужно было бы заставить Аркадия пролежать минимум полчаса, пока не подействует яд. Как этого можно добиться? Допустим, Аркадию дали выпить что-то и подмешали туда снотворного. Кто и почему это сделал?

Таблеток было, по-видимому, сорок — пятьдесят. Растворяется ли эта штука, вроде неизвестно. Но если даже растворяется, то ведь она горькая, как полынь. Если растворить в вине или в водке... У каких напитков горький вкус? Возможно, у каких-нибудь настоек. Потом есть водка с перцем — «Перцовая» и еще какая-то, не помню, там даже стручки красного перца плавают... Да, но с какой это стати Аркадий пил бы водку в институте?.. С какой стати, с какой стати... мало ли, с какой, ты ведь ничего толком не знаешь... Пил же ты сегодня сам коньяк, да еще в рабочее время...

Теперь вопрос: кто же мог это сделать? Этот вопрос, наверное, связан с другим: зачем понадобилось Аркадию выставлять меня из лаборатории? Ну, тут самое простое и естественное объяснение — то, что Аркадий назначил с кем-то встречу в нашей лаборатории, сразу же после конца рабочего дня, поэтому он и торопился от меня отделаться. Да, но почему же тогда в четверть шестого, минут через двенадцать после моего ухода, лаборатория была заперта и Аркадий отсут-

---

Продолжение. Начало в № 8.

ствовал? И почему он запер лабораторию? Мы никогда ее не запираем, если уходим ненадолго, а Аркадий — даже если присчитать минуты две-три на неожиданную встречу и разговор с Ниной — отсутствовал не более чем четверть часа. Теперь: куда и зачем он мог уходить? Допустим, бегал сообщить, что лаборатория уже свободна. Почему не позвонил? Очевидно, потому, что его собеседник работает в помещении, где нет телефона. Это уже ограничивало бы круг поисков. Кстати, а кто оставался в тот вечер в институте? Ну, ладно, это потом уточним, пока будем рассуждать дальше.

Нина встретила Аркадия на боковой лестнице, он возвращался в лабораторию. Ясно, что идти он мог либо из зала хронокамер, либо со двора. Что ему могло понадобиться в зале хронокамер? Там пока работают только монтажники. Какие дела могут быть у Аркадия с монтажниками? Если б там девушки были, я бы еще понял, но там одни парни, я же знаю. Шабашат они минута в минуту. В общем-то можно допустить, что кто-то из них задержался специально, чтобы угостить Аркадия настойкой на снотворном. Кто, зачем? Бред какой-то! Да, но ведь и вся история бредовая, никаких нормальных мотивов не видно...

Постой, а если Нина не ошиблась и на Аркадии действительно был какой-то новый костюм, то, может, он бегал переодеваться? Если свидание было с девушкой... бегал переодеваться в зал хронокамер? Да, но, во-первых, что за идея — прятать новый костюм именно в зале хронокамер! Там же грязища и хаос, как на строительной площадке, и все время работа идет. Во-вторых, не успел бы он за это время переодеться... Да и самое главное: зачем Аркадию вообще прятать костюм, что ему мешал бы прийти на работу в самом шикарном одеянии? Работаем мы не в шахте и не на поле... Нет, эта версия ни в какие ворота не лезет! Либо Нина ошиблась, либо, еще вернее, я не заметил, что Аркадий был в новом костюме... Тьфу ты, да чего я себе голову попусту ломаю! Надо у Линькова спросить, в каком костюме был Аркадий. Можно еще зайти к Аркадию на квартиру, посмотреть, какие костюмы висят в шкафу. Если все на месте, значит, он в каком-то новом... Да и книги там мои библиотечные давно лежат, надо забрать, библиотекарша уже напоминала...

Я вскочил и устремился к выходу из лесопарка, к трамвайной линии: начинался вполне серьезный дождь. Трамвай, к счастью, будто меня специально ждал, я плюхнулся на свободное сиденье у окошка и продолжал свой кустарный анализ. Ливень с остервенением лупил по стеклам,— первый дождь в этом сезоне, и сразу вон какой!

Следующая версия. Аркадий вообще не был в зале хронокамер, а выходил во двор. Куда? Ну, ясно, ходил в тот корпус, к эксплуатационникам, не к вахтеру же! А, впрочем, почему бы и не к вахтеру? Нет, с эксплуатационниками получается пока наиболее убедительно: провел же он с ними первомайские праздники, значит, есть у него там какие-то знакомства. Линьков, наверное, уже выяснил кое-что, значит, Линькова надо спросить... Да... К завтрашней встрече у меня подготовится столько вопросов, что я Линькову совсем голову заморочу...

Значит, так: допустим, это был кто-то из эксплуатационников. Куда же он потом девался? Нет, этого я пока не знаю — может, он преспокойно вышел через проходную... Но когда? Если позже половины шестого, то он должен был опасаться, что его выход заметят и быстро выйдут на его след. К тому же начиная с шести у корпуса эксплуатационников дежурит охранник — еще один свидетель в случае чего... Впрочем, это-то неважно: ведь убийца мог войти в главный корпус прямо вслед за Аркадием. Так, а снотворное? То есть питье со снотворным? С собой он, что ли, тащил выпивку? Все может быть, конечно... Нет, так не получается! Если он просто принес с собой бутылку перцовки или чего еще, то, выходит, он должен был при Аркадии растворить таблетки в стакане — чушь! Если он заранее растворил все в бутылке, то ему пришлось бы уговорить Аркадия, чтобы тот в одиночку выпил все содержимое... Тоже немыслимо, на такое можно подбить только горького пьяницу. Значит, что же? Аркадий приходит к этому своему знакомому, говорит: «Лаборатория свободна, жду тебя». (Зачем? Что они могли бы там делать? Бред!) Тот отвечает: «Ладно, сейчас приду». И, допустим, тут же говорит: «Давай выпьем!» Почему Аркадий соглашается выпить, не понимаю, но мало ли что. В этом случае стаканы были бы заготовлены заранее, один уже наполовину налит, и снотворное в нем растворено. Возможно, этот тип специально принес бутылку с какой-нибудь редкой иностранной этикеткой, чтобы приманить экзотикой и оправдать странный вкус. Аркадий выпил и пошел к себе. Снотворное начинает действовать не сразу...

«Ну и претин же ты!» — громко сказал я вдруг, приведя в тихий восторг веснушчатого паренька, сидевшего напротив. Мне было плевать на этого паренька, пускай себе радуется. Эта версия оказывалась пока что самой логичной, она многое объясняла. ЭКСПЛУАТАЦИОННИКУ ВООБЩЕ НЕЗАЧЕМ БЫЛО ПРИХОДИТЬ ПОТОМ К АРКАДИЮ! Он преспокойно вышел через проходную еще до половины шестого, вместе с другими сотрудниками, и у него железное алиби. А Аркадий ждал-ждал его, потом почувствовал сонливость, прилег на диван — и больше не проснулся...

Когда я все это себе представил и понял, что так МОГЛО быть, меня словно огнем обожгло. Попадись мне сейчас этот хитроумный негодяй, я бы его своими руками задушил! «Убийство в состоянии аффекта» — кажется, так это называется? Я уже забыл, что вся история с выпивкой не более как мой домысел, который вполне может оказаться беспочвенным, что я слишком многого не знаю и рано мне еще строить гипотезы. Я жаждал мести!

Я перебежал улицу под проливным дождем и, отряхиваясь, как пес, начал подниматься по лестнице — хорошо знакомой мне лестнице, по которой я не ходил уже недели три, а то и месяц. Я остановился на площадке второго этажа, перед дверью с табличкой «17», и пальцы сами собой сыграли условную мелодию на кнопке звонка — два длинных, один короткий... Потом я спохватился: ведь никто не откроет, это наш с Аркадием условный сигнал. Но тут послышались шаги, и вдруг мне стало жутко, померещилось, что там, за дверью, Аркадий, что сейчас он появится — бледный, неподвижный, спокойный...

Открыла дверь соседка, Анна Николаевна, которую я недолюбливал,— вечно она ворчала, что я ноги не вытираю как следует. Она пристально и печально поглядела на меня.

— Заходите, что ж,— тихо сказала она.— Заходите, Борис.

Голос ее звучал осторожно, будто она хотела и не решалась что-то сказать, и я понял: она уже знает о смерти Аркадия. Позвонили ей, наверное, из института.

Почему-то мне стало от этого так тяжело, что я чуть не разрешился. Горло сдавило, глаза начало жечь. Я хотел было что-то сказать, но горло перехватила судорога, даже больно стало. Запасным ключом — он боялся у меня на колечке — я открыл дверь в комнату Аркадия, вошел туда поскорей и начал растирать горло рукой.

В комнате у Аркадия было чисто и аккуратно, как всегда. На письменном столе лежал справочник по магнитным полям, под ним — «Physical Review», тоже библиотечная книга. Я позавчера просил Аркадия, чтобы он принес эти книги в институт. Зачем он их отложил? Просто собирался взять и забыл? Или... или знал, что я сюда зайду... после? И вдруг мне пришло в голову, что Аркадий мог оставить записку здесь... Хотя нет, не мог же он знать наверняка, что я сюда зайду. Все-таки я пролистал обе книги. Ничего, никакой записки, только бумажка-закладка вылетала. На ней были набросаны карандашом какие-то цифры и грубый, схематичный чертеж хронокамеры. Я на всякий случай осмотрел подоконник, тумбочку у тахты, книжные полки,— нет, ни записки, ни чего-либо вообще особенного, все, как обычно. В шкафу висели оба костюма Аркадия: старый, темно-синий, и серый, поновее. Замшевой куртки и серых элановых брюк не было. Ну, конечно, на работе он был в куртке, видел же я, только забыл...

Я вышел. Анна Николаевна по-прежнему стояла у двери.

— Я позже заберу тут кое-что... Книги там, записи,— сказал я.— Анна Николаевна, никто к нему не приходил в последнее время, не видели?

— Да считай, никто... После праздников сразу заходил один, из ваших, наверно, чернявый такой, с усиками, на артиста Радика Капура похож... Тогда он долго сидел, а на той неделе снова зашел, так поругались они, что ли, он враз убежал и дверью хлопнул — штукатурка даже посыпалась. Несимпатичный такой, невоспитанный... А больше я никого не видала, без меня если только приходили...

Я перебрал наших с Аркадием знакомых — такого парня определенно не было.

— А почему вы решили, что он из наших?

— Да так... Одет он был хорошо: болонья на нем заграничная, туфли такие красивые, плетеные, как корзинки... Весь паркет он этими туфлями в коридоре замызгал,— вдруг проворчала Анна Николаевна, совсем так же, как бывало, по моему адресу...— И говорили они, когда его Аркадий и дверь провожал, про вашу эту хронофизику... Ну, видно же, что не по-простому говорит человек!

— А какой он из себя-то? Высокий, низкий, худой, плотный?— допытывался я.

Нужно обязательно разыскать этого человека! Кто мог приходить к Аркадию домой по институтским делам, да еще не раз? Вдобавок ссора какая-то...

— Да невысокий такой,— сказала Анна Николаевна,— неназистый, мозглявенький. Вот только лицом на артиста похож, да и то больше из-за усиков, я так думаю.. Волосы у него черные, густые, он их все приглаживал...

Вот и след какой-то отыскался, можно действовать, искать, что-то делать. И я чувствовал, что это будто бы связывает меня с Аркадием, не дает порваться последней ниточке, соединяющей нас — живого и мертвого. И только когда эта ниточка оборвется, Аркадий для меня по-настоящему умрет.

Валя Темин выдает идеи

Линьков пришел к концу дня и молча плюхнулся на потертый кожаный диван у двери.

— Воду на тебе, что ли, возили, в этом Институте Времени? — удивился Савченко.— Это ж надо — за один неполный рабочий день человек до ручки дошел. Специфика, небось, заела?

Линьков улыбнулся устало:

— До специфики я даже не добрался, и без нее весело. Говорил же я, что простых дел там не бывает...

Валя Темин тихонько простонал от нетерпения.

— Н-ну?! — выдохнул он.— Чего душу тянешь, объясняй!

— Нет, товарищи, как хотите,— умоляюще сказал Линьков,— а для рядового гражданина это многовато — Институт Времени и Валентин Темин в один и тот же день, без всякой перебивки и разрядки...

— Да ты что? — сказал Валентин, обиженно моргая.— Не хочешь — не надо.

— Не надо ему! — подтвердил Савченко.— Совсем ему не надо! Это он просто так весь день, как пришитый, в отделе сидит. Даже обед освоил на сверхзвуковой скорости: я в столовой сижу, слышу, как Валентин ложкой рассольник хлебает, а глянул — он уже шницель жует, от рассольника только звук остался.

Линьков с удовольствием посмеялся, чувствуя, как спадает напряжение, на котором он прожил этот удивительно долгий день.

— Ну, ты хоть одно скажи, Линьков! — взмолился Темин.— Ты скажи, какая у тебя версия?

— Нет у меня никакой версии,— врачу ответил Линьков.— И ничего у меня вообще нет.

— Если нет, то конечно...— огорченно вздохнул Темин.

— Ну, ладно, Валентин, ты не расстраивайся,— примирительно сказал Линьков.— Я и сам пока ничего не знаю, ей-богу. По всем данным вроде самоубийство, но...

— Следы есть? — быстро спросил Темин.

— Какие следы? — даже не сразу сообразил Линьков.— Ты поменьше читай Агату Кристи, тем более — на ночь глядя. Видишь, следы тебе мерещатся где не надо. А мне бы не следы, мне бы хоть мотивы сыскать в этом деле. Понимаешь, убедительные мотивы.

— Ничего, что ли, нету? — спросил Савченко.

— Вот именно — фактически ничего. Ну, почему может молодой, здоровый парень покончить самоубийством? Несчастная любовь — формально вроде имеется, но никак по психологии не проходит. Служебные неприятности — отсутствуют. Алкоголизм — исключается. Нервный срыв или, тем более, психическая болезнь тоже не подходит.

— Может, его запугали? Шантаж? — с надеждой подсказал Темин.

Линьков с интересом взглянул на него. Валька иногда выдавал ценные идеи — ценные именно своей первозданной наивностью, другому такое просто в голову не придет, тормоза включаются. Шантаж? Что ж, в конце концов идея не более нелепая, чем все остальные. Но кто и как мог шантажировать Левицкого? Лаборатория не засекречена. Правда, институт ведет закрытые темы, и потом — эксплуатационники у них... Что ж, надо будет и эту возможность проверить.

— В том-то и дело, друг,— уже серьезно проговорил Линьков,— что ничего вроде не подходит, а с другой стороны — все может подойти. Очень уж все неопределенно и расплывчато... Стружкова этого мне жалко,— неожиданно для самого себя сказал он.— Мучается он очень. Я его вполне понимаю: лучший друг — и вдруг такая история... Вот он абсолютно не верит, что это самоубийство.

— А может, он правильно не верит? — спросил Савченко.

Линьков досадливо причмокнул.

— Сейчас кто угодно может правильно верить или не верить. Данных — нет наплакал, под такие данные любую версию подогнать можно. Ладно, поживем — увидим. Но отпуск! Горит мой отпуск!

— Да уж,— посочувствовал Савченко.— Ну, на худой конец я выручу, не переживай. По-моему, усложняешь ты очень. Устал, видно. Вот проспишься как следует — и порядок будет! Враз все вопросы выясним и все проблемы вырешим. Правильно я говорю, а, Валентин?

— Перенапрягаться, конечно, не следует,— солидно отозвался Валентин и тут же начал набирать номер телефона.— Здоровый отдых — это, знаешь...— уже рассеянно пробормотал он, прислушиваясь к гудкам в трубке.— Алё, слушай, это Валентин говорит. Я тут немного дела расчистил, постарался изо всех сил, некоторый просвет образовался... Ну, что ты, да разве я...

— Валентин Темин организует здоровый отдых,— голосом диктора сказал Савченко.— Драма из современной жизни минимум в трех действиях, два мы уже видели.

Линьков понимающе усмехнулся — и вдруг ему стало тоскливо. Впервые в жизни он слегка позавидовал энергичному и беззаботному Валентину с его «подшефными».

Но тут же он понял, откуда это взялось, и даже зашипел тихонько от досады, как кот, которого тронули за усы.

Он очень отчетливо увидел серьезное, почти суровое лицо Нины Берестовой, ее продолговатые, зеленые глаза, глядящие куда-то мимо него, сквозь него,— и до жути ему захотелось вот так же весело и беспечно, как Вальке Темину, набрать неизвестный номер телефона и сказать:

— Нина, это Александр говорит. Как у тебя нынешний вечер,— может, в кино пойдем?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующий день я пришел в институт рано, в четверть девятого. Конечно, я не так на работу торопился, как на встречу с Линьковым. Не потому, что меня увлекала мальчишеская игра в детектива-любителя, нет, ей-богу, не до того мне было! Но гибель Аркадия своей бессмысленностью, откровенным алогизмом колебала все устои того рационалистически-четкого и логического микромира, в котором я прожил всю сознательную жизнь. Расследуя, изучая, анализируя, я пытался укрепить эти самые рационалистические устои, которые издевательски шатались перед моими глазами, застя белый свет, и знал, что, если мне не удастся это сделать, пропал я, и неизвестно, как дальше жить и как, в частности, работать. Сначала Аркадий действует неизвестно почему, потом — Нина... Кто следующий — может, я? Что я сделаю? Брошусь под трамвай? Перейду работать в торговую сеть или, скажем, законтрактуюсь на китобойное судно? Сопьюсь? Почем я знаю, чего мне ждать от себя, если самые близкие люди делают то, чего они делать ни в коем случае не должны и не могут? Тут я раздумывал некоторое время, звонить Нине или... Позавчера утром и вопроса такого не могло быть, а сегодня... нет, не могу я...

Я подготовил списочек вопросов, на которые мне Линьков должен ответить. То есть должен он или не должен, это большой вопрос, но хорошо бы ему счесть, что он должен... Интересно, догадается ли он, почему я спрашиваю, пил ли Аркадий в тот день что-нибудь спиртное? Впрочем, раньше придется у него спросить, растворяется это снотворное в воде или хотя бы в спирте. Так что смысл последующего вопроса будет ему ясен. Да, но лучше бы не надоедать ему без крайней надобности вопросами, да еще такими, на которые он не сразу и ответит. Правда, он терпеливый, он вежливый, но всему есть своя мера... Так с кем же мне посоветоваться? Это я все думал в автобусе и записную книжку с алфавитом листал в

автобусе, а когда подходил к нашей проходной, вдруг сообразил, что надо позвонить девушке по имени Мурчик, потому что Мурчик по специальности фармацевт и работает в аптекоуправлении. С Аркадием они расстались вроде мирно, мы потом ее раза два встречали на улице и ничего, беседовали вполне нормально и дружелюбно.

Она ответила мне по телефону таким бархатным, мурлыкающим голосом, что я наконец догадался, откуда у нее эта странная кошачья кличка. Но потом Мурчик расстроилась, разахалась, даже, кажется, слезу пустила в трубку, и мурлыканье пропало.

Оказалось, что это снотворное отлично растворяется в воде и тем более в спирту. И еще оказалось, что вообще-то смертельная доза его не так уж и велика: проглоти пачку, и почти наверняка спокойненько скончаешься через два-три дня, если, конечно, за это время врачам на глаза не попадешься. Но для того, чтобы молодой, здоровый парень мог наверняка умереть за несколько часов, нужна доза куда больше. А Аркадий (или кто-то другой за него) мог иметь в виду только этот вариант: он знал, что рано утром придет уборщица... Все же и тут нелепость, дополнительная нелепость во всей этой нелепой трагедии! Ну, почему Аркадий или кто угодно другой задумал сделать это именно в институте? Почему? Если это Аркадий, он мог понимать, что дома у него будет больше времени в запасе. Если кто другой — и ему в институте хуже действовать. Ведь понятно же, что искать будут именно среди институтских!

Нет, постой, с «другим» это не так ясно. «Другому» институт мог все же больше подходить. У Аркадия дома почти никто не бывал, а кто бывал, тот мог понять, что от зоркого глаза Анны Николаевны нипочем не укроешься. К себе приглашать — это уж совсем не годится для такого замысла, даже если «другой» живет рядом с Аркадием. Ресторан или кафе тоже отпадает: там таблетки в вино не сунешь. К тому же после выпивки надо было бы срочно тащить Аркадия домой, чтобы он не заснул на улице. Да и дома Анна Николаевна заметила бы, что с Аркадием что-то неладное творится, подняла бы тревогу... Правда, могла бы подумать, что он просто выпил лишнее, вином бы пахло. Да нет, немыслимо. И ресторанов поблизости от квартиры Аркадия нет, и слишком рискованно было бы сидеть с Аркадием в ресторане, потом идти по улицам, на виду у всех...

Получается, что для «другого» институт больше подходит, если, конечно, «другой» работает в институте... Неужели это «Радж Капур»? Ладно, дождусь вот Линькова, с ним поговорю, а потом сразу начну подбираться к эксплуатационникам. Кто же с ними в дружбе из наших? Постой, постой! Да ведь у тети Маши, у моей соседки по квартире, племянница Лерочка работает в эксплуатационном! Значит, надо будет поискать эту Лерочку... Фамилии я, правда, не знаю, но это не влияет.

«Ну, ладно, с этим вопросом пока все,— сказал я себе,— а работать придется. То есть надо попытаться работать».

Я вздохнул поглубже, будто нырять собрался, и решительно шагнул к хронокамере, стараясь думать только об эксперименте и больше ни о чем.

Хронокамера наша выглядит довольно странно. Нина, когда впервые пришла к нам с Аркадием, долго ее разглядывала, даже постояла в техническом отсеке, позади хронокамеры и пульта, а потом сказала, что впечатление создается жуткое. Ну, со стороны технического отсека ничего особенного не увидишь: там одни только кабели. А вот спереди, со стороны лаборатории, хронокамера действительно впечатляет. Двухметровая стеклянная стена, стекло толстенное, поблескивает тускло и как-то зловеще. Сверху над ней нависает один электромагнит, внизу, прямо будто из пола, торчит второй. Верхний похож на шляпу с полями, нижний — на широкий стоячий воротник, вроде тех, что были у испанских грандов. А стекло между ними — как плоское безглазое лицо. Электромагниты составные, из секций; с секциями этими мы каждый раз заново бьемся, изощряемся вовсю,— то одни выдвинем, то другие уберем. Поля ведь наши сложные, капризные, конфигурация такая, что черт ногу сломит, если его туда занесет. Вот и приходится каждый раз перед началом эксперимента проверять, какое нынче настроение у нашей красотки хронокамеры и куда она вздумает зашвырнуть наш разнесчастный брусок, именующийся перемещаемым объектом.

«Перемещаемый во времени объект» — неплохо звучит, правда? Это вам не в пространстве перемещаться туда-сюда, это уже фантастикой попахивает, очень даже здорово попахивает. Да ведь совсем недавно это и была чистейшая фантастика, даже не научная. Я сам, помню, статью читал насчет того, что есть научная фантастика и что есть просто фантастика, и там в качестве примера приводилась «Машина времени» Уэллса — мол, научность тут состоит не в машине времени, которая есть сплошной вымысел и вообще только художественный прием, а в анализе и критике капиталистического общества. Читал я и вполне соглашался, а было это, кажется, на пятом курсе университета — ну, значит, всего шесть лет назад. А сейчас — вот она, машина времени, ты с ней каждый день возишься от звонка до звонка как минимум и зарплату за это получаешь дважды в месяц.

Вообще-то у нас обстановка самая что ни на есть обычная, прозаическая. Два письменных стола, табуретки, диван, маленькая ЭВМ у двери, ну, ничего выдающегося. Только вот хронокамера. Да еще пульт управления!

Нет, говоря по совести, хронокамера с виду тоже не бог весть что. Если б не знать, что это именно хронокамера, так, может, никто бы на нее и внимания не обратил. Специалист-то сразу заинтересовался бы, зачем это здесь такие сверхсложные электромагниты, но я говорю в данном случае о нормальных, рядовых гражданах. Ну, стекло вроде пустой темной витрины — все и дела, а что за этим стеклом — неизвестно и неинтересно. Зато пульт — это, как говорится, и ежу понятно: посмотришь — даже дух захватывает.

Пульт — это наша гордость. Мы девочек из расчетной группы специально водили смотреть на него (это год назад было, Нина тогда еще в институте не работала). Пульт действовал безошибочно: девочки сразу начинали глядеть на нас другими глазами («Удивление плюс восхищение плюс ярко выраженная готовность влюбиться» — так определял Аркадий их реакцию). Пульт и вправду неотразим: белоснежный — аж светится, тумблеры и лампочки на нем, как разноцветные созвездия на фантастическом белом небе, а посреди всего этого великолепия — два осциллографических экрана, как два огромных немигающих глаза.

Только я успел подать напряжение и прогреть установку, как явился Ленечка Чернышев. Он сначала приоткрыл дверь и хорошенько оглядел лабораторию, словно думал, что тут ядовитые змеи водятся, а потом боком втиснулся внутрь да так и остался у порога — боком ко мне, голова развернута прямо на меня, ноги врозь. Это Ленечка умеет, как никто,— выберет самую невероятную и неудобную позу и со страшной силой за нее держится. То ли он не хочет энергию тратить на изменения и перемещения, то ли ему все равно, в какой позе находиться, и никаких неудобств он вообще не ощущает, уж не знаю. Я мельком глянул на него, сказал: «Здоров, Чернышев!» — и опять прилип к хронокамере. Ленечка тихо постоял, потом начал слегка покряхтывать (это он так готовится заговорить), наконец кашлянул и довольно отчетливо спросил:

— Ты работаешь?

Стоило из-за этого вопроса столько кряхтеть и кашлять! Он же и сам видел, что я работаю, а не утреннюю зарядку делаю. Помог бы лучше. Я прямо вспотел,— до того несподручно мне было сле-

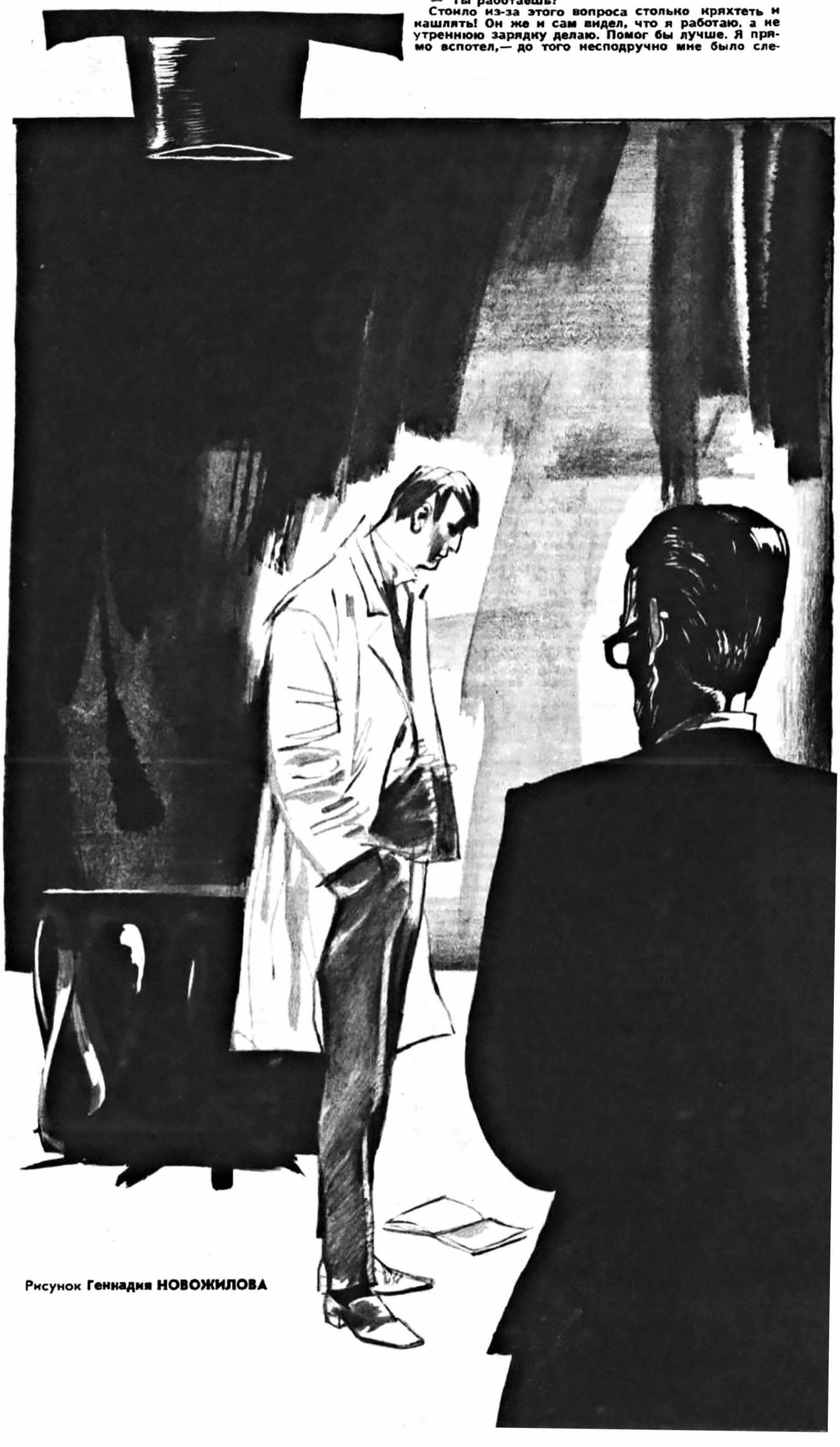


Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

дить сразу за двумя экранами. Один экран показывал расчетную конфигурацию поля, а другой — конфигурацию того поля, которое реально существовало в камере в данный момент. Нужно было перемещать секции магнита, пока обе эти картины не совпадут; одной головой я еще мог бы обойтись, но требовались минимум четыре верхние конечности, у меня же имелись всего две.

Тут дверь опять приоткрылась, и вошел Линьков. Леночка еще раз кашлянул, невнятно пробормотал: «Я потом...» — и все так же бочком высиользнул из лаборатории. И весь разговор. Уж такой он, наш Леночка. Линьков поздоровался со мной, поинтересовался, куда бы свою папку пристроить, потом уселся за мой письменный стол и затих. Я все возился с хронокамеры и наблюдал за ним краем глаза. Видно было, что и работа моя его здорово интересует, и пульт потрясает великолепием, и хронокамера тоже действует соответствующим образом. Я подумал, что сейчас он не утерпит и спросит что-нибудь насчет лампочек. Все девочки-расчетчицы спрашивали про лампочки. И еще — зачем два осциллографа.

Мне совсем не хотелось интриговать и ошеломлять Линькова, мне с ним говорить надо было, всерьез говорить, добиться, чтобы он мне доверял. Но просто нельзя было сразу бросить работу, раз я уж начал. Поэтому я отчаянно старался сделать все поскорее, чтобы получить заменную передышку на пятнадцать минут и задать Линькову первые вопросы. Я, наверное, жонглера напоминал: одно схватил, другое уже само тебе в руки летит, потом третье, и тут на четвертое, шестое, десятое, и ты один все это лови, хватай, перебрасывай в темпе, да смотри не промахнись. Думаю, что если б Линьков не сидел тут рядом и я не рвался бы побеседовать с ним, так мне бы вообще не справиться с этой работой — в одиночку, в таком состоянии.

Линьков за моей спиной вдруг встал, подошел к пульту и спросил, потрогав белоснежный пластик панели:

— Гадзэровский?

Я даже поперхнулся от удивления: следователь, разбирающийся в электронной аппаратуре,— это что-то новое!

— Верно, гадзэровский.

Линьков постоял, наблюдая за мной.

— Это что же, вам каждый раз приходится заново совмещать поля?

«Батюшки-матушки!» — подумал я, чувствуя, что глаза и рот у меня самопроизвольно приобретают четкую округлую форму.

— Да... То есть если новая конфигурация,— несколько неестественным голосом проговорил я.

Линьков все стоял за моей спиной и наблюдал. Я почувствовал, что обязан ему что-то объяснить, раз уж он понимает и старается вникнуть. Может, это даже входит в его обязанности и надо идти ему навстречу, чтобы и он, в свою очередь...

— Понимаете, мы как раз начали новую серию...— Я вогнал еще одну секцию на место.— Вот сейчас я закончу совмещение и... Простите, минуточку... так, ну это предпоследняя секция... и можно будет начинать контрольную проверку... еще минуточку...

— Понятно!— бодро ответил Линьков.

Неужели ему понятно? Какое, однако, разностороннее образование получают наши юристы! Ухлоп! Я с торжеством водворил на место последнюю секцию и облегченно вздохнул. С контрольной проверкой я подожду, раньше надо затеять разговор с Линьковым.

Я теперь чувствовал себя спокойней и уверенней, да и контакт с Линьковым начал завязываться на иной основе. Что я такое был вчера в его глазах? Жалкое подобие человека, истерик, слабак, который млеет на каждом шагу. А сейчас я нормально работаю и вообще веду себя нормально, что бы у меня там внутри ни творилось. Ну, и вдобавок работа не какая-нибудь. Так что разговор пойдет совсем другой... Ну, поехали!

— Сделаем небольшой перерыв,— официальным тоном сказал я.— И, кстати, мне хотелось бы с вами кое о чем побеседовать... Вернее, у меня есть к вам некоторые вопросы...

— У вас ко мне?— вежливо удивился Линьков.— Пожалуйста, я вас слушаю.

Я помолчал, обдумывая, как бы получше начать. Но ничего не придумал и спросил именно о том, о чем мне труднее всего было спрашивать,— о результатах вскрытия.

Да что ж, никаких неожиданностей,— бесцветным голосом сказал Линьков.— Как и предполагалось, была принята большая доза снотворного, в результате чего и наступила смерть.

— А когда?— спросил я.— То есть когда... ну, эта доза была принята?

— Уточнить трудновато, наши медики говорят, что это очень индивидуально. Смерть между тремя-четырьмя часами утра, а яд был принят, надо полагать, минимум часов за восемь до этого... Ну, поскольку речь идет о человеке молодом, с крепким организмом, и, вдобавок, к этому снотворному, как вы говорили, он привык, то срок надо увеличить. Вероятно, это случилось часов в шесть вечера, может быть, чуть пораньше... ненамного, разумеется, вы же с ним расстались после пяти, а немного спустя его другие видели...

Я понял, что речь идет о Нине, но спросил:

— А кто оставался после работы в институте?

— Чернышев,— сразу ответил Линьков.— Кстати, вы не знаете, зачем он к вам заходил?

— Он ничего не сказал,— медленно проговорил я, обдумывая это сообщение.— Не успел просто. Я был очень занят, а потом вы пришли... А он видел Аркадия?

— Мне он сказал, что ничего не видел. Работал в своей лаборатории до одиннадцати, потом ушел. Отвечал очень нервно, мямлил, запинался. Поэтому я и заинтересовался, когда увидел его здесь.

— Это может не иметь никакой связи с происшествием,— убежденно сказал я.— Чернышев — это вообще фантастический тип. Жутко застенчивый и вообще чудной. Некоторые думают, что он кретин, вот Аркадий тоже так считал. Это неверно, он парень с головой, и очень даже. Но говорить начисто не умеет, даже свои собственные результаты доложить с трудом может, и с людьми у него контакты плохо налаживаются. Он знает, что я к нему хорошо отношусь, и очень это ценит. Вполне мог зайти либо мне посочувствовать, либо по науке что-нибудь обсудить.

Говоря все это, я не собирался обманывать Линькова. Леночка Чернышев именно такой и есть, и зайти ко мне он мог просто так. Не мог и не просто так! Тем более что он, оказывается, вечером был в институте...

В следующую минуту я заподозрил, что Линьков — телепат.

— Чернышев, конечно, мог зайти к вам просто так,— медленно и вдумчиво проговорил он.— Но мог и не просто так. Все-таки он был в институте вечером... Что вы на меня так смотрите? Вы решительно не согласны?

— Нет... что вы!— поторопился ответить я.— Очень даже возможно... То есть, если вы предполагаете, что Чернышев как-то замешан в этом деле, тогда я не согласен. Не годится он для таких дел, это же элементарно. Самое большее — он мог что-то видеть или слышать, а вам не сказал, и не почему-нибудь, а просто так... Ну, не умеет он с людьми обращаться, а я же вам говорю... Я вот схожу к нему потом, побеседую... Мне-то он скажет, если чего.

— Хорошо,— согласился Линьков.— Очень меня обяжете.

«Батюшки, до чего же он вежливый!» — с ужасом подумал я.— Несокрушимая вежливость. Но контакт все же налаживается, пошаломечку-потихонечку. Зададим следующий вопрос — насчет спиртного, как он на это будет реагировать?»

Линьков с интересом поглядел на меня.

— Спиртное? Да, следы алкоголя при вскрытии обнаружены. Доза небольшая, о сильном опьянении, по-видимому, говорить не приходится. А что?

Значит, алкоголь был! А ведь Аркадий пил очень редко... И не в институте, конечно.

— Еще один-два вопроса, если можно, и потом я вам объясню, в чем дело,— быстро сказал я.— Как был одет Левицкий, то есть какой на нем был костюм?

— А, это вы по поводу слов Верстовой? Я лично ничего странного в его одежде не усмотрел. Обычный рабочий костюм — черная замшевая куртка спортивного образца, на молнии, серые брюки из какой-то синтетической ткани...

— Этого...— сказал я.

Ну, ясно, ничего он не переодевался. Мне померещилось. Странно, правда, что Нине вдруг начало мерещиться. У нее уж удивительно четкий и ясный. Ну, и плюс женская наблюдательность...

— Если это самоубийство,— сказал я вслух,— то как можно объяснить тот факт, что Аркадий не оставил никакой записки?

— Видите ли, записку он, собственно, оставил,— тихо и как-то смущенно сказал Линьков.

Мне показалось, что я ослышался.

— Оставил?

— Да. То есть записку он, по-видимому, написал. Но кто-то ее забрал. Или сам он ее уничтожил.

Ну, что за дичь! Зачем Аркадию уничтожать записку? А если ее забрал кто-то другой, то опять-таки зачем? Кто бы ни был этот другой и что бы он ни делал в лаборатории, ему все равно выгодней, чтобы смерть Аркадия сочли самоубийством.

— А откуда же вы знаете, что записка была?— недоумевая, спросил я.

Линьков порылся в своей рыжей папке и извлек небольшой листок фотобумаги — 9 × 12 примерно.

— Вот посмотрите,— сказал он, протягивая мне листок.— Это сфотографировано с записной книжки Левицкого. Три предыдущих листка были вырваны, а на этой страничке отпечаталось то, что было на них написано. Мало что удалось разобрать, строчки налезали друг на друга, отпечатки сливались, совмещались...

Я поглядел на листок — и сердце у меня захолонуло. Отпечаток был серый, бледный, и почти всю поверхность снимка занимала причудливая, бессмысленная путаница еле прочерченных линий. Только вверху, чуть наискось, выступали над этим исчерченным полем слова «я уверен», и опять строка ныряла в путаницу. Да еще снизу, тоже наискось, в правом углу, можно было прочесть: «...останется в живых». И уверенная, размашистая подпись — «Аркадий».

Я смотрел на листок и опять чувствовал, что все у меня перед глазами плывет. Значит, все-таки самоубийство?..

— И ничего больше нельзя было разобрать?— с трудом выговорил я.

Линьков покачал головой.

— Делали все, что могли. Фотографирование в контрастном свете, ну и прочие технические трюки. Но, сами видите, строчки накладываются одна на другую, наши специалисты говорят, что не менее чем в три слоя: значит, исписаны были все три листка, которые вырваны из книжки.— Он снова сунул руку в недра своей папки.— Вот посмотрите сами: вы можете хоть примерно определить, к какому времени относятся последние записи?..

Он протянул мне записную книжку Аркадия, такую знакомую мне книжку в темно-красном переплете из совершенно неистребимого пластика, который, как уверял Аркадий, в огне не горит и в воде не тонет. Сменных комплектов бумаги Аркадий закупил сразу чуть ли не дюжину; менял он вкладыш месяца два назад, когда все было у нас, в общем, по-прежнему, и я знал о каждом его шаге, как и он о моем. Но за два эти месяца Аркадий исписал почти все страницы: за той, на которой отпечатались строчки, оставалось всего два листка. Не то он работал с удвоенной энергией, не то зашенял этими записями общение со мной... Мне очень хотелось как следует изучить книжку, но я не решался попросить Линькова. Ну, ладно, потом...

— Могу определить совершенно точно,— сказал я.— Здесь записаны те прикидочные расчеты, которые мы с Левицким делали в последний день... Вот, посмотрите, у меня то же самое.

— Понятно.— Линьков вернул мне книжку.— Значит, он писал после вашего ухода...

— И куда же, по-вашему, делась потом записка?— спросил я, отупело глядя на него.

— Понятия пока не имею,— признался Линьков.— Она не спрятана в лаборатории, да и зачем бы ее прятать? Ее здесь не сожгли и не изорвали, в пепельнице только табачный пепел, нигде нет следов пепла от бумаги и никаких обрывков. Уборщица, конечно, в то утро вашу лабораторию не убирала. Можно, разумеется, предположить, что Левицкий выходил специально, чтобы сжечь или изорвать записку где-нибудь вне лаборатории, но это выглядит слишком неправдоподобно. Проще предположить, что записка была здесь, ну, например, у него в столе или в кармане куртки. И что ее позднее кто-то взял,— неожиданно жестким тоном закончил он.

— Но кто же мог ее взять? — Мне кричать хотелось от растерянности, от всей этой путаницы.— То есть я имею в виду зачем? Кому она могла понадобиться? Если это все же самоубийство...

— Во всяком случае,— сказал Линьков,— сейчас уже ясно, что это не только самоубийство. Существует, по-видимому, какая-то цепь событий, в которой самоубийство... ну, скажем осторожнее, смерть Левицкого была лишь звеном... может быть, даже не самым важным звеном. Человек, который взял и, вероятно, уничтожил записку, мог сделать это только после того, как снотворное начало действовать. Следовательно, этот человек знал, что Левицкий умирает или умер. Однако он не поднял тревогу, не попытался спасти умирающего. Это может означать лишь одно: смерть Левицкого была ему очень выгодна, даже если оказалась совершенно для него неожиданной... в чем я, однако, весьма сомневаюсь: уж очень все ловко обставлено, нигде никаких следов, кроме самого Левицкого. Выходит, этот тип действовал в перчатках... У вас в институте резиновые перчатки вообще применяются при работе?

— Да... не везде и не всюду, конечно...— медленно проговорил я.— Они, знаете, где наверняка применяются — у эксплуатационников!

Последние слова я почти выкрикнул. Меня так тряхнуло, будто я без резиновых перчаток схватился за оголенный провод под напряжением. Значит, и эта деталь укладывается в мою версию! Торопясь и захлебываясь, я изложил Линькову все, что успел узнать и сообразить за прошедшие сутки.

Линьков слушал меня очень по-хорошему, кивал головой, одобрительно поддакивал, кое-что записывал в свой внушительный блокнот — словом, всячески проявлял внимание и сочувствие. А я-то боялся, что он высмеет меня, пуганет куда подальше, чтобы не лез со своими дилетантскими рассуждениями к нему, солидному профессионалу...

Но, когда я выложил все и вопросительно уставился на него, Линьков покрутил головой, похмыкал и заявил, что версия в общем выглядит довольно убедительно и надо ее разработать по возможности, однако же тут есть некоторые заковыки.

— Особенно,— сказал он, доверчиво глядя на меня,— насчет этого самого спиртного. Мало его очень. Следы. А если б Левицкий принял снотворное именно в водке или вине, как вы предполагаете, то ведь в рюмке или стопке такую массу таблеток не растворишь. Это нужен стакан — ну, допустим, неполный. Потом — в лаборатории был графин с водой и стакан... да, уж извините, забрали мы ваше казенное имущество! Так вот, экспертиза установила, что Левицкий пил из этого стакана, но не растворял снотворное в воде, а, по-видимому, запивал таблетки: следы незначительны и имеются только на краешке стакана...

Я напряженно раздумывал.

— Но ведь он мог водой просто запивать!— сообразил я наконец.— Он всегда, если пил водку или коньяк, старался запить водой. Мог прийти сюда и выпить воды. Особенно если вкус был неприятный, горький.

— Что ж, возможно,— согласился Линьков.— Значит, надо искать пока что этого самого Раджа Капура. Начнем, наверное, с вашей знакомой Леночки. Левицкий тоже был с ней знаком?

— Вполне возможно...— неуверенно начал я и тут же спохватился:— Да, ну конечно! Он ее как увидел в нашей квартире, так сразу разговор завязал, то да се...

— Ладно, я пойду кое с кем посоветоваться,— сказал Линьков, вставая.— А потом к вам вернусь. Мне хотелось бы посмотреть некоторые ваши лаборатории. Надеюсь, вы не откажетесь помочь мне в этом деле? Раз уж начальство вас ко мне, так сказать, прикомандировало...

— Какой может быть разговор!— ответил я, изображая полную готовность.

На самом деле мне не очень-то хотелось слоняться по лабораториям в качестве внештатного сотрудника прокуратуры. Но что поделаешь! И начальство меня действительно вроде бы прикомандировало к Линькову, и сам я был крепко заинтересован в контакте с ним.

— Вы когда рассчитываете освободиться?— спросил Линьков.— Часа в три, говорите? Ну, отлично, к этому времени я приду.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, а я остался сидеть у стола, и мысли так и путались у меня в голове. Значит, версия пока подтверждается! И мне уже виделось, как убийца идет по коридорам института, озираясь, подходит к нашей лаборатории, с минуту прислушивается, потом осторожно берется за ручку двери... рукой в резиновой перчатке... входит...

Убийца был для меня безликим. Я отчетливо видел его темный силуэт на светлом фоне распахнутой двери, но лицо... Я попытался представить хищное лицо с усиками, похожее на лицо Раджа Капура, но никак не мог увидеть его, увидеть эти глаза, которые внимательно и деловито глядят на человека, неподвижно лежащего на диване... умирающего... Вместо этого зловещего лица я все время видел другое, более страшное для меня,— бледное, спокойное, неподвижное лицо Аркадия...

Продолжение следует.

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

Эдик Коновалов интенсивно мыслит

Линьков совместно с Эдиком переворошил все личные дела эксплуатационников и не нашел ничего подходящего.

— Этот разве, Ковальчук? — Эдик озабоченно разглядывал фотографию, приложенную к личному делу Ковальчука П. Н.— Не помню я его в лицо, но по карточке вроде подходящий, верно? Чернявый и вообще, если вдуматься, на индуса смахивает.

— Так он же без усов...— с сомнением сказал Линьков.

— Труха! Усы отрастить — это в два счета! На работу он когда поступал? Больше году назад. И карточка с того периода, значит. Почему я его и не знаю толком: я-то здесь всего четыре месяца неполных. А если б он через меня проходил, я бы его обязательно проанализировал. И тогда с ходу вам определил бы, он или не он. А так, по анкете, он вроде в порядке...— Эдик сморщил лоб.— Отец — врач, мать — педагог, значит, условия для воспитания были нормальные плюс, конечно, школа, комсомол...

Линьков поперхнулся.

— По-моему, вы не совсем правильно понимаете задачу,— отдышавшись, сказал он с преувеличенной вежливостью.— На данном этапе мы ищем не потенциального преступника, а всего лишь человека, который, возможно, что-то знает о происшествии, а возможно, и ничего не знает. Давайте пока выясним, как мне Леру найти.

— Насчет Леры выяснить ничего не составляет.— Эдик порылся в папках.— Вот она вам, пожалуйста: Семибратова Калерия Николаевна, год рождения... смотри-ка, ей уже двадцать четыре, а с виду совсем девчонка, лет на восемнадцать выглядит...

— В какой она комнате работает, не знаете? — осведомился Линьков, поднимаясь.

Эдик закатил глаза и сморщился, старательно соображая. Линьков с интересом поглядел на него: то ли Эдик симулирует терзания пленной мысли, чтобы набить себе цену, то ли процесс мышления на любом уровне протекает у него болезненно. «Скорее все же второе!» — решил он.

— Я так думаю,— сказал Эдик, с достоинством перенесший муки,— что она работает во второй комнате направо.

Линьков чуть не споткнулся о порог, потому что Эдик вслед ему бодро провозгласил:

— Так вы действуйте, а я тут пока дополнительно все проанализирую. Знаете, в одиночестве мыслится как-то лучше...

Лера Семибратова была вся какая-то свеженькая, беленькая, чистенькая, даже будто бы хорошей прохладой от нее веяло, словно от речки в знойный день, и вообще впечатление она производила очень и очень симпатичное. Только сообщить-то она мало что могла.

Да, Аркадия Левицкого она знает... знала. Да, именно она и пригласила его на Первое мая поехать за город. Ну, просто встретила его незадолго до праздников, спросила, где он праздники проведет, он ответил, что еще не думал над этим, вот она и пригласила. Слыхала, что у него в личном вопросе возникли осложнения, а в таких случаях всегда лучше отвлечься, и они очень хорошо съездили, и компания была хорошая, все свои ребята и девчата. Нет, не в том смысле, что все из института, но вообще компания подобралась вполне подходящая. Кто был из эксплуатационников? Да почти все, кроме тех, что в отпуске... Галя Смирнова в декретном, Павлик Ковальчук перед самым праздником поехал в Ялту, скоро уже вернется... А остальные вроде все были. Кто из посторонних? Да очень мало. На Раджа Капура?..

Если вот Раин молодой человек? Он чернявый и с усиками, но, по-моему, ничего общего... Ну, понимаете, Рая — она работает в парикмахерской, рядом с институтом,— вон там, на углу Гоголевской, и наши девочки все к ней причесываться бегают, вот ее и пригласили на праздники. Она вообще-то симпатичная. А она пришла со своим парнем, ну, элементарно. Зовут его, кажется, Роберт. Нет, на Раджа Капура он ни чуточки. Да вот, сами посмотрите, совсем забыла, Петя же нас всех сфотографировал! Вот они, Рая и ее парень, у дерева стоят, правда, он неудачно получился, в профиль, и смеется, но все же... Ну да, это Аркадий, а это я, правильно. Почему Аркадий стоит рядом с Робертом? Ой, да просто случайно!

Линьков внимательно разглядывал любительскую, впрочем, весьма неплохо сделанную фотографию. О Роберте действительно трудно судить по фотографии, зато Рая вышла отчетливо, ее сразу можно будет узнать. У Аркадия Левицкого улыбка прямо ослепительная и совершенно беззаботная — даже не подумаешь, что у него какие-то переживания были...

— А вы не заметили, Левицкий разговорил с этим Робертом? — спросил Линьков.

— Да о чем с ним разговаривать, это же совсем пустой парень!

— А после праздников вы часто встречались с Левицким? — осторожно спросил Линьков.

— Нет... то есть он заходил ко мне сюда во время работы,— слегка покраснев, сказала Лера.— А помимо института, мы не встречались, потому что он был очень занят, все вечера в лаборатории сидел... Думаете, это он сочинял сказочки, чтобы от меня отвязаться? — спросила она чуть вызывающе.— Так ничего подобного, сколько раз и я и другие наши проходили по вечерам мимо института, столько раз и видели, что он у себя в лаборатории.

— А больше он ни с кем из ваших не поддерживал отношения? — спросил Линьков, понимая, что опять поступает бестактно.

Лера действительно обиделась и покраснела до слез.

— Вы, значит, думаете, что он ко мне так только, между прочим, мог заходить? — сказала она дрожащим голосом.— А я вот точно знаю, что именно ко мне он ходил специально!

«Эх я, кретин! — ругал себя Линьков.— Девушку до слез довел и ничего толком не узнал. А теперь через нее ничего не добудешь, придется поискать другой источник информации...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наконец я сказал себе, что, сколько ни сиди вот так, никакого толку не будет, пока все эти гипотезы не проверишь на практике, а между тем надо работать в темпе, раз уж обещал Линькову все закончить к трем. Но сосредоточиться мне было невероятно трудно, разговор с Линьковым снова выбил меня из колеи. Я все останавливался, задумывался, глазея то на подоконник, где всегда стоял на круглом стеклянном подносе графин с водой, то на диван. Странно — ни диван, ни лаборатория вообще не вызывали теперь у меня острой боли и ужаса, как вчера, только печаль...

В конце концов я решил сбегать в буфет, проглотить быстренько чашку кофе. Да и бутерброд, пожалуй, не помешает: я ведь сегодня фактически не завтракал — не до того было.

В буфете было пусто. Зина мне улыбнулась и прямо сразу предложила допить коньяк. Она даже поболтала для наглядности бутылкой — коньяку там и вправду было на донышке. Я сказал, что, мол, спасибо, но сегодня жара такая, прямо с утра, и вообще я не пью днем, да еще на работе, а вчера просто нервы сдали. Зина сказала, что это все правильно, так вот и надо себя вести и что вообще она уважает людей самостоятельных.

— Зиночка, слушайте, а Аркадия Левицкого вы тоже угощали коньяком? — спросил я вдруг, даже не успев додумать этой внезапно мелькнувшей мысли.

— А как же,— закивала Зина,— угощала! Такой он был тоже расстроенный в тот день, прямо с лица переменился, в точности как вы вчера. Глазами ни на кого не глядит, все ему, видать, тошно... Да оно и понятно, чего уж тут! Ну, выпил он пятьдесят граммов всего, больше никак не хотел. Немножко вроде повеселел...

— Когда он заходил к вам, не помните? — спросил я.

— Да уж к самому концу дня, часа в четыре, что ли...

Так! Теперь и вовсе, наверно, не разберешься в этом деле. Вряд ли судебные медики могут так уж точно установить, выпил он спиртное в два приема, с промежутком около часа, или всего однажды. Вот разве дозу легче будет определить, тут ведь всего пятьдесят граммов, а для снотворного надо было бы...

«Работать, работать, ни о чем другом не думать, не отвлекаться!» — строго приказал я себе, входя в лабораторию. Но сосредоточиться было по-прежнему трудно, и я пустил в ход такой трюк — начал оживленно беседовать не то с собой, не то с хронокамерой и пультом, бормотал вслух, комментируя свои действия,— это здорово помогает отключать все посторонние мысли.

А с нашим великолепным пультом я вообще любил словечком перекинуться. Мне почему-то всегда казалось, что он при всей своей умопомрачительной красоте слегка глуповат и нуждается в пояснениях, иначе не сможет нормально работать. «Сейчас нам с тобой знаешь, что предстоит? — спросил я его.— Предстоит нам, как это обозначено в журнале, заняться серией первой, ноордината двадцать-двадцать... Ну, конечно, тебе и невдомек, что двадцать-двадцать — это расстояние в сантиметрах от верхнего правого угла камеры и что цифры эти обозначают положение, в котором следует поместить перемещаемый объект. Так вот учти — я тебе это объяснил. Эх, чуть я не забыл, ведь сначала нужно произвести контрольную проверку! Берем брусок,— бормотал я, с ожесточением орудуя манипуляторами,— и выводим этот многострадальный брусок на самый центр хронокамеры».

Брусок плюхнулся на подставку, я убрал манипуляторы, еще раз проверил поле и включил тумблер автоматического нарастания мощности. Пульт обиженно и сердито заморгал разноцветными лампочками и тут же затих, успокоился — это он достиг расчетного напряжения. Стрелки подползли к нужным делениям и гордо застыли в сознании исполненного долга. Теперь слово за хронокамерой. «Ах ты, умница, голубушка моя!» — бормотал я, наблюдая, как за ее толстым стеклом расплывается, исчезает брусок вместе с подставкой. Еще миг — и в камере стало пусто, только призрачное зеленоватое сияние медленно гасло, уползая в углы стеклянного куба.

Мы обычно перемещали объект в будущее и задавали ему находиться там несколько секунд — до минуты. Интересно все-таки было представлять себе, что в данную минуту этот брусок находится вовсе не в данной минуте, а в той, которая для меня еще только наступит через десять минут... но вместе с тем сейчас (то есть, нет, не сейчас, а в том времени, которое «там» отвечает моему «сейчас») он себе мирно покоится на подставке, и я (не этот я, что здесь, а тот, который из меня будет через десять минут) смотрю на него совершенно индифферентным взглядом: мол, видели мы такое, и не раз... Я даже мог себе представить, о чем он размышляет, этот будущий Стружков Б. Н., который созерцает брусок, посланный самому себе из прошлого. Вовсе не о том, что на его глазах совершается чудо науки и техники. А о том, сколько раз он успеет провернуть тот брусок туда-обратно до прихода Линькова. «Узкопрагматический тип, этот будущий Стружков Б. Н.!» — с сожалением констатировал я, Стружков сюсюминутный.

Зеленое сияние снова залило камеру и опять, облизывая стекло, начало расползаться к ее углам, открывая в центре подставку с возлежащим на ней бруском.

Только я убрал брусок и подставку из камеры и принялся рассчитывать программу эксперимента,— откуда ни возьмись появился Линьков. Я посмотрел на часы — всего 11.40! Линьков перехватил мой взгляд и извиняющимся тоном сказал, что пока дела свои он закончил раньше, чем предполагал, и что хотел бы подождать меня здесь, в лаборатории, если, конечно, его присутствие мне не помешает. Я вежливо сказал: «Ну, что вы!» — но тут же бросил расчеты и уставился на Линькова немигающим взглядом. Линьков беспокойно заерзал на стуле и сказал:

— Я понимаю, вас интересует... вы хотели бы узнать...

— Именно вот,— подтвердил я.

— Говорить-то пока нечего,— неохотно сказал Линьков.

Но я все смотрел на него, как удав на кролика, и Линьков сдался — выложил мне добытые сведения. Говорить, по-моему, вполне было чего, и я на ходу пытался распределить новую информацию по клеточкам своей схемы. «Радж Капур» у нас не работает. Значит, либо он вообще тут ни при чем, либо все же как-то связан с делом. Если это он был с эксплуатационниками на Первое мая, то скорее всего связан. Если нет, то вряд ли. Все равно, искать его надо. Лера знает маловато. Но все же и с ней поговорить не мешало бы... если только Линьков не будет сердиться на меня за такую самодеятельность... Ну, так или иначе, подожду, пока Линьков не выяснит, что там был, «Радж Капур» или нет. На снимке его толком не разглядишь: он в профиль стоит, да еще и смеется. Ладно, отложим это дело. Работать надо!

— Вы тогда займитесь чем-нибудь,— с надсадной деловитостью сказал я Линькову,— а я постараюсь поскорей...

Линьков заявил, что занятие он себе найдет и что я могу не слишком торопиться: время терпит. Потом он начал с озабоченным видом рыться в

Продолжение. Начало в №№ 8, 9.

своей папке, а я опять мысленно схватил себя за шиворот и потащил к пульту. Теперь было еще труднее, потому что я старался не бормотать вслух...

Брусок лежал, как ему положено, и я с отвращением прикидывал, сколько раз мне теперь удастся его перебросить туда-обратно. Удивительно узко мыслит все же этот Стружков, который посылал брусок ко мне десять минут назад,— не мог он, что ли, сократить дистанцию, ну хотя бы до пяти минут? Ну, ладно, там, впереди, нас еще один Борис Стружков ждет не дождется, на часы посматривает. Сейчас мы ему окажем услугу, по-родственному. Сейчас мы найдем, где эти двадцать-двадцать находятся... Так! Теперь мы посмотрим, какое здесь у нас поле,— хорошее поле, просто замечательное поле, не поле, а прелесть: силовые линии так и загибаются!

Линьков вдруг спросил, прямо над ухом у меня:

— А что вы меряете?

Смотри, какой любознательный! Интересно, он хоть понимает, что такое градиент? А то попробуй объясни... Впрочем, кое-что он явно знает сверх программы.

Не переставая вращать ручки манипуляторов, я забормотал:

— Тут... это... я сейчас помещу эту штучку... вот в это место... да... в это вот место... Да, а потом я ее устремляю, так сказать, в будущее, откуда она вернется спустя положенное ей время... Но меня интересует не этот, сам по себе незаурядный факт, а скорость исчезновения этой штуки по частям, значит...

Нет, ну как я ему растолкую, что такое градиент скорости?

— Вас интересует, стало быть, градиент скорости перехода? — спросил Линьков.— Сказывается неравномерность поля?

С табурета я как-то не свалился, но на Линькова посмотрел с неподдельным восхищением. Ай да прокуратура!

— Это вы сами догадались или брошюру какую-нибудь изучили? — осторожно поинтересовался я.

— Это я сам, но при некоторой помощи государства,— в тон мне ответил Линьков.— У меня в биографии имеется следующий прискорбный факт: я закончил три курса физфака.

— Ничего, ничего,— ободрляюще произнес я,— меня можно не стесняться. За неуспеваемость отчислили?

— Нет, по болезни,— лаконично сообщил Линьков.

Шутить ему явно расхотелось. Мне стало стыдно: человек со мной по-хорошему, а я уж разыгрался, расшалился, как козлик,— бац рогами в больную печенку! Расфамильярничался некстати.

— Понимаете, Александр Григорьевич,— задушевным тоном сказал я,— поле в камере неоднородно, это вы правильно указали, поэтому в разных местах камеры объект уходит во время по-разному. В центре — сразу весь уходит, а кое-где — по частям. Мы ищем зависимость градиента скорости перехода от градиента поля, ну и прочих параметров. В пределе хочется, конечно, добиться равномерного перехода.

— И вы промеряете градиенты последовательно для всех точек объема камеры? — удивленно спросил Линьков.— Так это же уйма работы! И сколько длится одна петля?

— Сейчас я беру десятиминутную дистанцию.

— А меньше нельзя? Ну, скажем, пять минут?

— Меньше можно, только я не сообразил сразу, что серия будет большая, контрольную проверку сделал на десяти минутах, и режим уже рассчитал, менять не хочется. А вообще-то чем меньше, тем лучше. И надежность выше, и ждать меньше приходится. Но очень короткую дистанцию тоже ведь нельзя давать: не успеешь вовремя извлечь объект из камеры, очистить место.

— Верно,— задумчиво согласился Линьков.— А больше?

— Больше — это наше слабое место,— объяснил я.— Удается, правда, подобрать такие конфигурации и напряженности поля, что петля растягивается на часы. Но при этом она часто размывается и без всякого, понимаете, предупреждения,— нахально возьмет вот и разомкнется. И исчезает брусочек, инвентарный номер такой-то, уходит в неведомое будущее, к отдаленным потомкам.

— А почему вы только в будущее посылаете?

— Да просто удобнее, что ли. И, кстати, необратимо извлекать кое-что из будущего мы умеем даже на далекой дистанции.

— А, понятно! Этим и занимаются ваши эксплуатационники?

— Ну да. У них там целый заводской процесс налажен. Сверхсовременные методы добычи ценных и редких металлов. Иридий, ниобий и тому подобное из будущего. Только объемы уж очень малы и процесс капризный, приходится десятки микрокамер гонять, да всякий раз останавливать для очистки... Канитель! Вообще хронофизика наша вся насквозь капризная до чертиков! Неустойчивые результаты, ненадежные. И воспроизведения четкого нет. Один раз получается, десять раз не получается. Один раз замкнул петлю, другой раз она хвостиком вильнет — и будь здоров!

— Что — не возвращается объект?

— То не возвращается, а то, наоборот, исчезать не хочет — лежит и смотрит на тебя, можно сказать, голубыми глазами. Тоже очень приятный вариант. Но это все цветочки... Вот если поля срываются, тогда вообще хоть плачь... Тахионный пучок к чертям летит, силовые линии трясутся, как малярики, потом — бац! — автоматика отключается, и начинай все сначала.

Я глянул на часы и ужаснулся — действительно, идет время, да еще как! Надо поторопиться. Я ввел программу в управляющий блок, локализовал пучок, развернул его полем так, чтобы он невидимым экраном охватил всю камеру. Включил автомат, подал мощность. Опять пульт заморгал и успокоился, щелкнули реле, мигнула зеленая вспышка... Брусок вернулся, я подхватил его манипулятором, вывел из камеры.

Передвинулся солнечный блик на полу,— ох, и далеко он уже передвинулся! Так — опять вспышка. Две синеватые вспышки слились, я едва успел различить брусок в глубине камеры. Теперь следующая точка, потом следующая за ней и так далее.

На следующем участке поле вспучивалось этаким продолговатым горбом, вроде дыни. Никакого там горба, конечно, не было, но на экране силовые линии, изображавшие поле, округло изгибались в этом месте, и получалось нечто похожее на полосатую туркменскую дыню. Картинка была довольно интересная. Мне стало неловко: ну, чего я Линькова отогнал, стоит человек у окна, скучает.

— Александр Григорьевич, хотите посмотреть?— виновато спросил я.— Сейчас будет переход.

Линьков очень охотно подошел и стал за моей спиной. Я включил напряжение. Собственно, до момента перехода снаружи не так уж много увидишь — главное делается невидимо. Я-то знал, что сейчас, по командам управляющего устройства где-то под козырьком магнита бесшумно и четко перемещаются секции, укладываясь в нужное положение. Сквозь кристаллическую решетку проводов неистово рвутся бесшумные электронные вихри, и невидимые для нас силовые линии извиваются, как клубок змей, чтобы выстроиться в той конфигурации, которую диктует им программа.

Сквозь ребристые сопла ускорителей в камеру ворвался сноп невидимых частиц, закружился смерчем, распался, на мгновение застыл и начал медленно опадать, будто стекать по стенкам. Мне казалось даже, что я вижу это оболочку из частиц — нечто вроде туманного, размазанного вихря, который мчится вдоль завитков поля.

А вот и зрелище! Бледное сияние разлилось по стеклу, и брусок начал исчезать. Не весь сразу, а постепенно — так, словно на него стеной надвигалась чернота и постепенно закрывала его. Брусок не успел еще полностью рассеяться в тумане, а уже проступили из мрака очертания передней его части. Середину бруска словно закрыло черное облачко с размытыми краями.

Очень большая разница была в скорости перехода: даже на таком маленьком расстоянии — от переднего края бруска до заднего — поле менялось весьма заметно, поэтому и переход был такой постепенный. Через десять минут все это повторится в обратном порядке.

— Путаная все-таки штука — время,— задумчиво проговорил Линьков за моей спиной.— А если б вы, например, не забрали брусок из камеры, что тогда?

— Да ничего особенного. Он смотрел бы на нас, а мы на него.

— Мне почему-то казалось, что тогда произойдет удвоение.

Одна клемма у осциллографа мне определенно не нравилась. По моему мнению, она отлынивала от своих прямых обязанностей. Ну, так и есть — пронручивается на одном месте. Придется менять.

— Чему ж там удваиваться? — рассеянно бормотал я, возясь с нерадивой клеммой.— Нечему там удваиваться да вообще-то и некуда: место ведь занято... Брусок, ежели что, сольется сам с собой... Удвоится, если хотите, на атомном уровне...

— Ну, закончите вы эксперимент, а дальше что?

— Ничего особенного. Данные я передам на ЭВМ, пускай она сама ищет зависимости, за что же мы ее поим и кормим током! А завтра мы следующий слой пощупаем.

— И так каждый день?

— Обязательно. Как минимум — от звонка до звонка, а то и позже. В целом ряде случаев именно — и позже. И так вот всю неделю. Самый приятный день — воскресенье: работай хоть до двенадцати ночи, никто не помешает.

— Никого в институте нет?

— Почему нет? Сколько угодно есть. Но считается, что никого нет, поскольку день нерабочий. Поэтому никто друг к другу не ходит, и никто друг друга не отвлекает. К тому же буфет закрыт, столовая тоже, питание берется из дому и поглощается прямо на рабочем месте: опять-таки экономия времени...

— А можно спросить: как насчет человека? — вирадчиво осведомился Линьков.

Ай да Линьков! Силен!

— Можно,— сказал я.— Насчет человека так: плохо с человеком. Поле в камере, сами видели, неравномерное, и переход поэтому неравномерный, по частям. Человек не брусок, на подставку его не положишь, он минимум половину камеры займет. Пуп земли все-таки, Homo sapiens. Теперь представьте, что у этого пупа ручки-ножки размажутся во времени. Прибывает, допустим, на станцию назначения одна правая нижняя конечность. Что тогда?

— Шум! — ответил Линьков.— И — звонок в прокуратуру.

— И появление товарища Линькова, который разбирается в физике,— в тон ему добавил я.— А если говорить серьезно, то переходы настолько ненадежны, влияние их на структуру объекта настолько неясно, а камера настолько несовершенна, что опыты на живых существах пока исключаются. Да и размах у нас не тот. Чтобы перебросить брусок на десять минут, и то черт-те сколько энергии требуется. А тут человека, да еще не на минуту, а хотя бы на сутки. Ведь в нем килограммов 70—80 живого веса, не считая одежды...

— Насчет влияния на структуру это вы просто так сказали или действительно не знаете?

— Нет, кое-что мы, конечно, знаем. В аналитическом отделе как раз этим занимаются — делают полный анализ транспортируемых объектов.

— Рентгеноструктурный? — спросил Линьков.

— Рентген, химия, электронный микроскоп, все тридцать три удовольствия. С точностью до двух ангстрем — полная идентичность до и после перехода. Вы помните, надеюсь, что такое ангстрем?

— Что-то очень маленькое. Как сказал бы мой коллега Валентин Темин — такая штучка для измерения атомов.

— Мой почтительный привет вашему высокообразованному коллеге,— сказал я.— Я круто меняю мнение о прокуратуре.

— А кстати,— заметил Линьков,— если вам почему-либо надоест хронофизика, я охотно возьму вас к себе в помощники. По-моему, у вас неплохие задатки детектива.

Я польщенно улыбнулся. Но Линьков тут же продолжил:

— А вот зачем приходил Чернышев, этого вы не определили... Я лично на девяносто процентов уверен: он хотел вам что-то сказать, но увидел меня и передумал.

— Все может быть,— ответил я, раздумывая.— Но скорее всего он хотел со мной посоветоваться по какому-нибудь научному вопросу. Да давайте потом зайдем к нему, я и спрошу — могу даже при вас. Только он очень застенчивый, я же вам говорил.

— Да, говорили,— как-то неопределенно ответил Линьков, и вдруг спросил: — А Чернышев хорошо знал Левицкого?

Говорить мне об этом очень не хотелось, но что поделаешь!

— Хорошо знал,— угрюмо буркнул я.— Раньше они были в контакте, одну работу мы с Чернышевым совместно вели, и тогда Аркадий к нему вроде хорошо относился... Но последние месяца три они даже не разговаривали... Аркадий на последней конференции слишком уж резко отозвался об эксперименте, который предложил Чернышев. Чернышев обиделся...

— А кто из них был прав?

— Оба были правы...

Так оно и было. Расчеты Ленечка сделал безупречно, но практически такое поле в камере долго держать нельзя. Только это теоретически не угадаешь; даже Аркадий, который на устойчивости собаку съел, уловил это не логикой, а скорее интуицией.

— Ну, ладно,— сказал Линьков, поглядев на часы.— Уже второй час. Я вас все же здорово отвлекаю разговорами. Пойду-на я к начальству, то да се. К трем вернусь, и пойдем мы с вами прямо к Чернышеву. Договорились?

Линьков сделал мне ручкой и удалился, все так же аккуратно и бесшумно прикрывая дверь.

Вагон версий, а фактов кот наплакал...

Увидев Линькова, Эдик Коновалов бурно обрадовался.

— Я уж вас хотел разыскивать,— сказал он нетерпеливо.— Одну идейку я здесь обмозговал...

Линьков содрогнулся. Идеи размножались с нарастающим ускорением. Вчера — Темин, сегодня утром — Стружков, а к обеду уже и Коновалов что-то сгенерировал. «Один я почему-то ничего не генерирую»,— тоскливо подумал Линьков.

— Что ж, я вас слушаю,— обреченно сказал он.

— Значит, так...— решительно начал Эдик.— В общем, я считаю, что необходимо Стружковым заняться!

— Что?!.— поразился Линьков.— Стружковым? Борисом?

— Непременно и в срочном порядке! — твердо заявил Эдик.— Я вот посидел, подумал, так, знаете, углубленно,— Эдик очень натурально изобразил, как углубленно он думал,— факты все проанализировал, сопоставил, как вы советовали...— Тут он с уважением поглядел на Линькова.— Насчет фактов это вы очень верно заметили!

— Какие же факты, по-вашему, говорят против Стружкова? — сугубо официальным тоном осведомился Линьков.

— Сейчас я все по пунктам изложу!— радостно сказал Эдик.— Значит, так! История с Берестовой — раз! — Он энергично пригнул к ладони свой толстенный мизинец.— Поссорился с Левицким в последний день — это уже два! — Он загнул могучий безымянный палец.— Понятно? Есть факты! Он, конечно, вам говорит, что уходил из института, ну, так это еще надо проверять и проверять! Мог он, скажем, уйти не в пять ровно, а где-нибудь около шести? Мог! Они же у нас, физики-шизики, никогда по звонку не уходят, чтобы все вместе, дружно, коллективом, а так, помаленьку расползаются, как клопы, от пяти до шести. Вот уж после шести,— тогда заметно, если кто выходит. Но Стружков, я ж говорю, вполне до шести мог справиться! Уловили мою мысль?

Линьков старательно протирал очки.

— Мысль вашу я уловил,— пробормотал он, надевая очки,— но должны же быть какие-нибудь мотивы.

— Есть мотив, а как же! Еще и какой мотивчик — пальчики оближешь! — заторопился Эдик.— Я тут некоторые наблюдения произвел. И представляете, что выясняется,— что Стружков-то с Берестовой уже не того! Я Берестову на этот счет пробовал прощупать, но она, конечно, кремень-девка! Говорит официальным тоном: «Вам просто показалось!» — и все. А чего там — показалось! Невооруженным глазом видно: то они все вместе да вместе — и в столовке за одним столом непременно и из института чуть не под руку, а теперь как обрезало! Вот только я не выяснил еще, с какого времени у них врозь пошло! — покаялся Эдик.— Но можно так предположить, что Берестова взяла да и переиначилась обратно к Левицкому! Возможен ведь такой вариант, правильно?

— Вообще-то да,— вяло отозвался Линьков.— Не все же обоснования слабоваты, неубедительны... Алиби Стружкова проверить, конечно, следует, тут вы правы...

При всей дикости коноваловской «версии» просто отмахнуться от нее было нельзя. Факты накапливались все такие, что следует думать скорее всего об убийстве или о каком-то другом преступлении, ставшем причиною гибели Левицкого. А если было преступление, то был и преступник...

— Да обоснований я вам сколько хотите найду,— обиженно сказал Эдик.— Котелок-то у меня кое на что годится, как думаете?

Рисунок **Геннадия НОВОЖИЛОВА**

«Котелок твой для туристских походов годится,— со злостью подумал Линьков,— кашу в нем хорошо варить!»

— Я считаю: проработать надо этот вариант! — стоял на своем Эдик.— Вы не смотрите, что они ученые, интеллигенты.

Линьков медленно поднялся, потянул свою папку со стола. Коновалов тоже встал.

— Фактики я вам подберу, не сомневайтесь! — ободряюще сказал он.— Я хоть тут и недолго, а всю здешнюю специфику насквозь понимаю. Такие фактики подберем,— будь здоров!

— Учтите, что любые факты,— деревянным голосом произнес Линьков,— нуждаются в тщательной проверке и уточнении. Надеюсь, вы меня поняли?

— Я вас понял! — горячо заверил Эдик, но ясные глаза его растерянно забегали.— Все проверим до точности!

Линьков с трудом удержался, чтобы не хлопнуть дверью под носом у понятливого Эдика.

Прокуратура была совсем близко от института — минут шесть ходу пенсионерским шагом. Линьков с разгона взял эту дистанцию максимум за полторы минуты и сам даже удивился, заметив, что уже поднимается по лестнице в здании прокуратуры.

«Версии, версии, вагон версий, а фактов кот наплакал,— думал он, шагая по коридору к кабинету начальника отдела.— Потому и версий много, что фактов мало...»

Когда Линьков закончил свой довольно бесцветный отчет, Иван Михайлович некоторое время молчал, барабаня пальцами по столу.

— Материала действительно негусто,— отозвался он наконец.— Ну, а как по-вашему, специфика института не играет никакой роли в происшествии?

Линьков пожал плечами.

— Непосредственно с работой лабораторий я еще не успел ознакомиться. Но маловероятно все-таки... Обстоятельства происшествия самые бытовые, к физике никакого отношения не имеют.

— Непонятно все же,— сказал Иван Михайлович,— почему именно в лаборатории?.. Очень непонятно... И вторая деталь — пропавшая записка. Версию шантажа вы решительно исключаете?

— Работы, которые велись в лаборатории Левицкого и Стружкова, засекречены не были, так что вроде бы...

— Но в других-то отделах института есть засекреченные работы,— возразил Иван Михайлович.— И Левицкий мог ведь что-то знать об этих работах?

— Конечно, мог,— согласился Линьков.— Такой вариант не исключен. Тогда в записке Левицкий мог сообщить, кто и что является причиной его смерти. И забрал записку тот, кому это разоблачение чем-то грозило...

— Логично,— сказал Иван Михайлович.— Но, значит, этот человек все время наблюдал за Левицким. Ведь чтобы вовремя перехватить записку, нужно было следить за каждым его шагом... и нужно было знать о замысле самоубийства...

— Или самому подготовить это самоубийство,— хмуро заметил Линьков.— Хотя, с другой стороны: зачем бы тогда Левицкому писать записку?

— Могло быть и иначе,— возразил Иван Михайлович.— Левицкий, возможно, вовсе не собирался кончать самоубийством. Содержание записки могло быть, допустим, такое: «Я запутался, сделал то и то-то, иду заявить об этом». Кто-то прочел эту записку, понял, чем это для него пахнет, и вот тогда организовал это «самоубийство». Или же он догадался о решении Левицкого как-то иначе, не прочитав еще записки,— это мне кажется даже более вероятным... Теперь прикинем. Во-первых: кому могла быть адресована записка и кто имел больше всего шансов ее обнаружить раньше времени? Во-вторых: кто знал Левицкого так хорошо, что мог по его поведению понять, на что он решился?

Линьков молчал, сжав губы. Ему было очень не по себе.

— По-видимому, таких людей немного,— продолжал Иван Михайлович.— Стружков... Берестова... Хотя Берестова, видимо, исключается, раз она давно уже не встречалась с Левицким.

— Мог ведь быть и кто-то третий, тоже из институтских работников...— тихо сказал Линьков.— Ни Стружков, ни Берестова не могли бы, мне кажется, действовать так предусмотрительно, точно и хладнокровно, как было бы необходимо в данной ситуации.

— Я понимаю, что в это поверить трудновато,— сочувственно отозвался Иван Михайлович.— Мне и самому эта версия очень не по душе. Но все-таки мой вам совет: понаблюдайте тоже и за Стружковым! Осторожно, объективно, не торопясь... Я понимаю, отпуск ваш срывается, но мы как-нибудь это потом сбалансируем, мое вам слово...

— Есть! — устало отозвался Линьков, вставая.— Зайду в библиотеку, затем вернусь в институт, лаборатории мне надо посмотреть...

— В общем, действуйте, действуйте,— поощрил его Иван Михайлович, снимая трубку телефона.

В городской библиотеке Линьков предъявил свое удостоверение и сказал нарочито небрежным тоном, что его интересует один вопрос: можно ли при помощи библиотечного учета установить, кто и сколько времени был в читальном зале в тот или иной день. Заведующая читальным залом, маленькая энергичная женщина, проницательно поглядела на него сквозь толстые линзы очков.

— Это вы для алиби? — деловито осведомилась она.— Кто конкретно вас интересует?

«Ишь ты, какая прыткая!» — удивился про себя Линьков.

— В данном случае я хочу выяснить лишь принципиальную возможность,— сугубо официальным тоном ответил он.— Существует, по вашему мнению, такая возможность или нет?

— У нас есть постоянные читатели. Их наши сотрудники в лицо знают. Если это кто-либо из них...— Она многозначительно замолкла.

— Речь идет не о конкретных личностях,— вежливо повторил Линьков,— а о принципе. Сколько времени хранятся взятые книги?

— Неделю. Периодика — три дня.

— Отлично. Возьмем тогда ближайшие три дня...— Линьков сделал вид, что колеблется.— Например, двадцать первое мая... или двадцатое. Могли бы вы точно установить, кто работал двадцатого мая в читальном зале?

Они разговаривали в подсобном помещении читальни, среди стеллажей с пачками отложенных книг. Заведующая повела взглядом по этим пачкам и с сомнением покачала головой.

— Это заняло бы слишком много времени,— сухо сказала она.— Мне просто некого поставить на такие розыски.

— Розысками я и сам могу заняться, вы только объясните принцип,— поспешно заявил Линьков: это его вполне устраивало.

— Принцип простой,— несколько смягчившись, сказала заведующая.— Вот видите, в книгу вложена закладка. На ней написано, какого числа взята книга и на какой номер. Вы можете посмотреть, на каких закладках стоит дата «20/V», и проверить по картотеке, чей номер тут обозначен.

— То есть ясно, что книгу эту он выписал 18 мая,— заметил Линьков.— А приходил он после этого в читальный зал или нет, узнать нельзя. Ну что ж, я с вашего разрешения попробую кое-что проверить на выборку...

«Стружков мог сдать книги в тот же вечер, не оставлять за собой.— раздумывал он, проглядывая закладки.— Или мог взять их раньше, не двадцатого...» Однако ему повезло. Четвертая стопка книг с закладкой, помеченной двадцатым мая, как выяснилось, хранилась для Стружкова Бориса Николаевича, научного сотрудника НИИВ. Линьков для масимировки проверил еще одну закладку, потом снова спросил, можно ли определить, сколько времени пробыл в читальном зале тот или иной посетитель, и ему повторили, что в принципе это невозможно.

«Да, в общем-то, этих сведений, пожалуй, достаточно,— думал Линьков, шагая к институту.— Ведь был Стружков 20 мая в читальне? Был. И именно вечером, поскольку весь день находился в институте. Из института он вышел вместе со всеми и назад не возвращался, это тоже установлено. Алиби хоть и не железное, но достаточно надежное... Разве если он сделал все... что—«все», неизвестно, ну да ладно... Сделал все до шести часов, а потом ушел? Но известно, что Левицкий сразу после пяти куда-то уходил и вернулся не раньше, чем в двадцать минут шестого, а лаборатория в это время почему-то была заперта... Положим, время все же оставалось... И вообще все это известно со слов самого Стружкова и Нины Берестовой. Только с их слов! — Линьков покачал головой и тихонько вздохнул.— А дать ложные показания, как известно, способны даже самые симпатичные люди. Т-так! Ну, уж если Стружков врет, то ему прямая дорога во МХАТ, реалистически он очень все изображает! А вот Нина... Она и в глаза мне ни разу не глянула и думала явно о чем-то своем. И деталь эта странная, с одеждой Ариадны... не подтверждается она фактами, смахивает на неудачную выдумку... ах, чтоб тебе!»

Последние слова Линьков произнес почти вслух, и неизвестно в точности, к чему они относились: то ли к показаниям Нины Берестовой, то ли к тому странному факту, что следователь прокуратуры попытался проникнуть в Институт времени, не предъявляя пропуска, и был остановлен суровым возгласом вахтера.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Линьков вернулся совсем другой, словно его подменили. Он был, правда, все так же вежлив и спокоен, но говорил со мной как-то отчужденно. Вообще даже не столько говорил, сколько слушал. Задаст вопросик — и молчит, слушает. А, главное, думает при этом не столько о хронофизике (разговор шел в основном об этом предмете), сколько о чем-то совсем другом. Я понимал, что ему вообще-то есть о чем подумать, но все же... Нет, не нравилась мне эта перемена в Линькове...

Мы сразу пошли, как условились, к Чернышеву. Но лаборатория была заперта, мы решили подождать Ленечку, пристроились на широком подоконнике в коридоре и заговорили о хронофизике. То есть я-то сначала поинтересовался, нет ли чего новенького, но Линьков отвел свои ясные синие очи в противоположную сторону и выдал краткое сообщение типа «на данном участке фронта существенных изменений не произошло». После чего захотел выяснить, какие, собственно, работы ведет лаборатория Чернышева, и я попытался ему это изложить, хотя под ложечкой у меня сосало от предчувствия новой беды...

Как-то я все же выдавал Линькову интересующую его информацию. Тем более, что информация эта и вправду могла интересовать любого нормально развитого нашего современника, правда, не с точки зрения правовой или детективной, а так, вообще. Так что постепенно Линьков оттаял и начал опять разговаривать по-человечески.

По коридору прошел Юрочка Масленников, с любопытством поглядел на нас и сообщил, что если мы ждем Чернышева, так у них в отделе сегодня семинар. Я объяснил Линькову, что если так, то ждать Чернышева сегодня не стоит,— семинар начинается в два и наверняка продолжается до конца рабочего дня.

— Ладно,— сказал Линьков, глянув на часы,— тогда, если не возражаете, мы посидим полчасика в вашей лаборатории, и вы эти сведения выдадите мне сухим пайком, так сказать.

Я не возражал, и мы отправились в лабораторию.

— Странная все же штука — время! — задумчиво говорил Линьков, пока мы шагали по коридору.— Фактически ничего мы раньше о нем не знали. И, хуже того, думали, что знаем все. Все, что только можно узнать. Лет десять назад само название «Институт времени» вызвало бы крайнее недоумение. «Время? Чего ж тут изучать? Ясное дело — все течет, все меняется». А стоило слегка копнуть эту проблему — и сразу обнаружилась бездна загадок...

— Да уж,— сказал я,— когда наш институт создавался, таких разговоров мы наслушались вдосталь. У нас ведь тогда в активе было всего ничего — несколько петель во времени для микроскопических объектов да уйма опытов с элементарными частицами в ускорителях. Говорили, что на это хватит отдела, что все ограничится частицами, что с макротелами даже и возиться не стоит... В общем, хулителей и скептиков хватило бы, чтоб угробить два таких института...

— А с чего, собственно, началась вся эта затея? — спросил Линьков, когда мы уселись на табуретах в лаборатории.

— Да началась в основном с теории,— сказал я.— Появились теоретические работы, которые исходили из возможности существования частиц, движущихся быстрее света. У Файнберга из Штатов была такая идея и у нашего Терлецкого. Японцы опубликовали парочку расчетов...

— Это значит вопреки Эйнштейну? — быстро спросил Линьков.

И он туда же, «вопреки Эйнштейну»! Почти все неспециалисты как услышат о сверхсветовой скорости, так сразу решают, что это противоречит теории относительности.

— Нет, здесь совсем другое,— терпеливо разъяснил я.— В работах, о которых я говорил, принимается, как у Эйнштейна, что обычные частицы, из нашего мира,— ну, те, из которых мы состоим,— они не могут даже достигнуть скорости света, а тем более превысить ее. Предполагается другое — что за этим световым барьером могут существовать особые частицы, которые никогда не имеют скорости ниже, чем световая... В общем, вроде как особый мир, симметричный нашему, что касается световой скорости. У нас частицы не могут подняться до этого барьера, а там не могут опуститься ниже его. В общем-то симметрия не совсем соблюдается: у нас ведь существует наименьшая скорость — ноль, а там наибольшей скорости нет — частица может двигаться даже с бесконечной скоростью...

— Но, позвольте, тогда ведь вся логика теории относительности летит к черту! — удивился Линьков.— Если существует бесконечно быстрый сигнал, то существует и абсолютное время, и, значит, вся ньютоновская физика верна! Где же тут Эйнштейн?!

— Ну да, так получается, если считать, что скорость света — рядовая скорость,— возразил я.— Большая, но рядовая. А опыт говорит, что это не так, что она не рядовая, а абсолютная. Во всех работах по сверхсветовым частицам, по тахионам так и принимается, что скорость света особенная. А бесконечно большая скорость — как раз рядовая. По отношению к нам тахион имеет бесконечную скорость, а по отношению, допустим, к Сириусу — очень большую, но не бесконечную. А скорость света и там и тут остается одинаковой...

— Ах, вот такие пироги, значит? — задумчиво проговорил Линьков.— Тогда я вообще не вижу, из-за чего весь шум!

— А шум именно из-за того, что если допустить и теорию относительности и существование тахионов, то нужно отбросить причинность,— объяснил я.— Тогда сразу получается, что тахионы, взаимодействуя с обычным веществом, могут передавать ему информацию из будущего. Вообще могут осуществлять прямую связь прошлого с будущим, и наоборот. Вот это и вызвало возражения ортодоксов.

— Еще бы! — Линьков усмехнулся и покрутил головой.— Я сам, знаете, завопил бы, если б сегодня своими глазами не видел, как вы брусок гоняете туда-сюда по времени.

— Ну, с брусном и вообще с нашими петлями дело сложнее,— сказал я.— Мы даже не уверены, что тут все дело в тахионах. Вначале-то мы только эту возможность и видели. Знаете, как обычно бывает: пока теоретики переругиваются, экспериментаторы пробуют. Вот как раз Вячеслав Феликсович, наш директор, и решил попробовать, первым у нас. Тут тоже отчасти случай помог. В одном эксперименте, на ускорителе, наблюдался резкий скачок энергии. Представляете, энергия частиц вдруг прыгает сама собой и чуть ли не на целый порядок. Искали причину, не нашли, думали рукой махнуть, а он решил повторить опыт. Получил опять скачок, и вполне надежно. Больше того, оказалось, что эти скачки энергии, если их понаблюдать подольше, периодически повторяются.

— И как же он это объяснил?

— Предположил, что тут мы имеем дело с передачей энергии из будущего в прошлое. Частица словно бы сама себе передает энергию. Авансом, так сказать.

— И массу, конечно?

— Да, и массу. Вообще материя переносится вспять, против пресловутой «стрелы времени». Просто нам повезло, что мы натолкнулись на такие поля и вообще на такие условия, когда частица усиленно генерирует эти сверхсветовые тахионы и потом сама же их поглощает.

— Ну, наткнуться мало, надо еще понять,— заметил Линьков.

— В этом все и дело! Когда Вячеслав Феликсович выдвинул свое объяснение, никто сначала верить не хотел,— кроме энтузиастов, конечно. Ну, все-таки разрешили опыты продолжать. Тогда всего одна группа работала, и в основном на ускорителях. Их главным образом интересовало, как усилить эффект и перенести его на макротела. Первую хронокамеру прямо и скопировали с ускорителя. Воспроизводимость результатов была хуже некуда! Ну, а потом постепенно пошло дело, наладили настоящие хронокамеры — вот как наша,— научились брусочки забрасывать и возвращать... Так и движемся —осторожненько, ощупью... А я и сам иногда не понимаю: чего это мы так осторожничаем? Ну, не замкнем мы какую-нибудь петлю: например, брусок из будущего примем, а обратно его возьмем да не отправим. Допустим, что из-за этого наша история перейдет на другую мировую линию. Ну и что? Почему так уж необходимо держаться за ту линию, на которой мы живем? У меня имеются к ней весьма серьезные претензии.

— Непредвиденные последствия...— неопределенно отозвался Линьков.— Возможность катастрофы...

— На нашей мировой линии такая возможность, вы думаете, исключается? — ехидно спросил я.— А по-моему, существуют абсолютно равные шансы за то, что на другой мировой линии нас ожидает не ухудшение, а улучшение. Абсолютно равные! По крайней мере для нас — пока мы не научимся рассчитывать будущее. Да ведь в данном случае и разница-то ерундовая: на одной линии кто-то послал брусок из будущего в прошлое, а на другой — нет. А вообще-то я иногда думаю о тысячах, да что там о тысячах — о миллионах неиспользованных вариантов будущего, которые можно было бы осуществить!

— Наудачу? Этак можно здорово нарваться...— меланхолически заметил Линьков.— Помните «Конец Вечности» Азимова? Там ведь эти Вечные уж как рассчитывали и пересчитывали все варианты Минимально Необходимых Вмешательств в историю, и то просчитались в конце концов... А уж где нам...

— Ну, ясное дело, куда нам до Вечных! Они себе сидели вне потока времени и могли проверить даже отдаленные результаты своих действий. При таких условиях работать — одно удовольствие! Можно даже щеголять мастерством, добиваться наиболее экономных и изящных вариантов. А мы в этом потоке времени с головой утопаем. И все-таки, я думаю, рассчитать кое-что возможно! И стоило бы хорошенько подготовиться да рискнуть! Ох, стоило бы!

Тут наступила долгая пауза. Я представил себе, как это здорово будет, если удастся рассчитать, что нужно для спасения человечества от угрозы термоядерной войны. Кто знает, может, для этого достаточно было бы лет сорок назад перекрыть на часок движение на какой-то улице какого-то города. Или еще что-нибудь в этом роде. И р-раз! — покатилась история с этой минуты по другому пути, все дальше отклоняясь от прежней трассы...

О чем думал Линьков, дело ясное. Он вот что сказал:

— Насчет изменения будущего — тут я согласен. Мы ведь все равно меняем будущее любыми своими действиями. Даже бездействием. Ничего не делать — это, в сущности, тоже вариант действия. Но что касается прошлого — дело совсем другое. Изменив прошлое, мы изменяем настоящее — то, в котором сегодня живем. Тут уж я не знаю... в общем, надо бы поосторожнее с этим, по-моему.

— Да я вполне приветствую осторожность! — откликнулся я.— Без нее не проживешь. Только знаете что, Александр Григорьевич? Я ведь, по правде говоря, иногда сомневаюсь: а можно ли там ум основательно изменить прошлое? Читал я, помню, такой фантастический рассказ,— там люди отправлялись на экскурсию в далекое прошлое и охотились на заранее отмеченных динозавров: скажем, известно, что этот именно ящер через пять минут утонет в асфальтовой яме и ничто не изменится, если его застрелят на три-четыре минуты раньше этого... Но один из экскурсантов случайно раздавил бабочку — и в результате, вернувшись в будущее, они обнаружили там вместо демократического строя фашистский.

— Это Рэй Брэдбери, «И грянул гром»,— сообщил Линьков.

Ужас, до чего он был начитанный, и все, как есть, помнил! Профессиональные навыки, что ли...

— Да, действительно Брэдбери. Так вот, по-моему, это чушь. Ни бабочка, ни брусок, что с ними не случись, на ход истории не повлияют. Нужна целая серия продуманных, целенаправленных действий — тогда и мелочами можно добиться серьезных результатов. Постепенно, по волоконцу, можно перерезать толстый канат. А если отщипнешь одно волоконце — ничто не изменится. Да, вот в том же «Конце Вечности» правильно, по-моему, говорится о затухающих изменениях реальности: они расходятся все шире, как круги по воде, и постепенно, вдали сходят на нет. Не так-то легко повлиять на ход истории! Почему я и думаю, что зря мы осторожничаем со своими брусками,— ничего они вообще не изменят, сколько их ни перебрасывай по времени.

— Наверное, вы правы,— сказал Линьков.— По-моему, эта идея Минимального Воздействия, которого достаточно, чтобы существенно повлиять на ход событий, исходит из упрощенного представления, будто история — процесс однозначно детерминированный. А ведь мир статичен. Это миллионы событий, в общем-то случайных. Можно заменить десятки и тысячи событий другими, а историческая тенденция останется та же. И результат будет тот же. И вообще, по-моему, с изменяющимися временами дело обстоит несколько иначе — я имею в виду мировые линии, о которых вы говорили. Конечно, очень строго говоря — очень-очень строго! — две линии, на одной из которых бабочка жива, а на другой раздавлена, отличаются друг от друга. Но это отличие можно установить только при помощи каких-то сверхмощных, еще не существующих «временных микроскопов». А если смотреть на события обычным, невооруженным человеческим взглядом, то никакой разницы не увидишь. И не только две линии, а, пожалуй, тысячи и миллионы теоретически различных линий могут на практике быть неотличимо схожими. По-моему, нужно ввести какой-то интервал исторической неопределенности, что ли. Такого допуска на всякие вмешательства, в пределах которого все заново возникающие мировые линии, все измененные будущие окажутся практически одинаковыми.

Я посмотрел на Линькова с уважением — в который раз за сегодняшний день! Он был абсолютно прав. Если начнешь двигаться, так сказать, поперек мировых линий, расходящихся из одного прошлого, то придется, наверно, пересечь миллионы их, пока натолкнешься на историю, существенно отличающуюся от нашей.

— Конечно, вы правы,— продолжал Линьков,— необходима серия, и довольно длительная серия воздействий, чтобы две мировые линии существенно разошлись. Раздавленной бабочки для этого явно не хватит. Но это если говорить о мелких воздействиях. А как быть с более серьезным Вмешательством? Если, допустим, явиться в прошлое и убить Гитлера, прежде чем он станет фюрером?

— Ну, об этом даже рассказ был написан,— сказал я.— Что, дескать, в действительности... ну, конечно, не в нашей, а в той, что существовала до изменения, был не Гитлер, а какой-то другой тип, вроде него. Герой рассказа специально вернулся в прошлое, чтобы убить этого типа в юности. И тогда вместо него вождем фашистов стал

Гитлер. Но изменения-то произошли в частностях — в судьбе Гитлера, например, а исторические закономерности сохранились, это в рассказе правильно показано...

— Это «Демон истории» Гансовского,— сказал Линьков.— Я его и имел в виду, когда приводил пример.

Я уже перестал удивляться. Линьков, наверно, на всех викторинах брал призы за эрудицию. Ну, пускай себе блещет познаниями и логикой, лишь бы на меня не сердился.

— А что, Борис Николаевич,— мечтательно говорил совсем уже оттаявший Линьков,— может, мы с вами живем во времени, кем-то, когда-то уже измененном, только не подозреваем этого?

— А я и не сомневаюсь в этом,— ответил я.— Мы столько раз давили своими брусочками если не бабочек, то еще чего-нибудь, что я даже не представляю, в котором по счету варианте истории живу. Только макровоздействия, вроде убийства Гитлера,— это для нас, к сожалению, фантастика!.. Вы же сами видели наши хронокамеры: брусочек, подставочка, десятиминутный заброс... разве этим добьешься реального изменения истории! Есть такие вещи, которые в принципе возможны,— ну, например, фотонный звездолет,— но технически неосуществимы. А на практике это ведь все равно — в принципе их нельзя осуществить или же по техническим причинам. Нельзя — и все тут; значит, для нас это не существует.

Тут Линьков глянул на часы и вздохнул.

— Да уж,— сказал он, вставая,— чего нет, то не существует, но с меня лично вполне хватает того, что есть и что очень даже существует. Например, существует необходимость прерывать интересный для меня разговор о философских проблемах хронофизики и отправляться метров на четыреста к востоку, чтобы затеять другой разговор, гораздо менее интересный.

— Это куда же вы... на четыреста метров к востоку? — обескураженно спросил я.

Язык-то я прикусил, да с опозданием на полсекунды. Дернуло же меня лезть с вопросами! Сам ведь я вполне мог додуматься до исполинской идеи, что идет Линьков к той Раечке, кавалер которой вроде бы смахивает на Раджа Капура. Линьков будто и не рассердился, ответил вполне вежливо, что идет в парикмахерскую на угол Гоголевской и что, по его расчетам, эта парикмахерская удалена от лаборатории примерно на четыреста метров к востоку. Но глаза у него сделались опять отчужденные, холодные, и все дальнейшие вопросы так и завязли у меня в горле.

Линьков даже не сказал, когда снова придет и придет ли вообще, попрощался вежливенько и ушел. А я словно пристыл к табурету и бессмысленно глазел на дверь.

Впрочем, сидел я так недолго. Минут через пять позвонила мне Лерочка и заявила, что она обязательно должна поговорить со мной, и притом немедленно. Я посмотрел на часы — было уже без четверти пять — и ответил, что она может прямо сейчас прийти ко мне в лабораторию. Лера сказала: «Ой, я тогда приду ровно в одну минуту шестого, ладно?» Одну минуту она, видимо, присчитывала на пробег по двору, по коридору и по лестнице.

Я позвонил Шелесту — его все еще не было, и я мог считать себя свободным, а разговор с Лерой меня очень интересовал, так что я с нетерпением ждал, когда же настанет одна минута шестого.

Лера возникла на пороге с точностью плюс-минус две секунды.

— Семнадцать — ноль одна! — торжественно провозгласил я.— Нашей прославленной спортсменке удалось улучшить свой собственный рекорд...

Лера улыбнулась, но тут же сказала, чтобы я прекратил треп: у нее дело серьезное. Мы уселись и начали разговаривать о деле.

Что меня сразу удивило: Лера явно злилась на Линькова. Я начал допытываться, в чем дело, но Лера сказала, что ни в чем, а просто Линьков произвел на нее очень неприятное впечатление. Но я постепенно восстановил ход ее разговора с Линьковым, и тогда все стало ясно как апельсин. А насчет Аркадия она могла мне вообще ничего не объяснять, я таких историй навидался, за последние два года в особенности: проведет Аркадий с какой-нибудь девицей денек-другой — в кино сходит либо на лыжную прогулку, например,— девица потом рассчитывает на дальнейшие встречи, а Аркадий успел осознать, что с ней разговаривать не о чем, а значит, и встречаться больше неохота. Вот и получается... В общем, я определенно подозревал, что в эксплуатационный корпус Аркадий потом ходил вовсе не из-за Леры. К ней-то он, естественно, заглядывал: он же вежливый и вообще, по сути, добрый, обижать девушку ему вовсе не хотелось, вот он и отделывался обязательными улыбочками да ссылками на занятость. Поэтому я слушал щебетание Леры насчет того, как исключительно хорошо относился к ней Аркадий, а сам искал случая, чтобы деликатно расспросить ее о других участниках праздника. Из ее пересказа я понял, что Линькову это не очень-то удалось: он волей-неволей затронул женское самолюбие Леры, она обиделась, и дальше разговор свернулся. А мне Лера сама все рассказала, не дожидаясь расспросов, да еще с такими подробностями, которых Линькову нипочем бы не сообщила. И вскоре я поймал в словах Леры ниточку, за которую можно ухватиться. Лера сказала, что Аркадию очень понравилось, как она поет, и песни ее тоже понравились.

— Он меня даже записать хотел на магнитофон! — добавила она. — Нет, правда! Ты что, не веришь?

— Что ты, Лерочка!— поспешно возразил я.— Просто я ни разу как-то не наблюдал, чтобы Аркадий записывал песни. Он больше джазом увлекался. Правда, есть у него негритянские спиричуэлс...

— А у меня как раз одна песня в стиле спиричуэлс! — заявила Лера.— Не моя, конечно, я своих не пишу, но очень хорошая. И насчет джаза он тоже сговорился кое-что переписать...

— С кем это? — сразу же спросил я.— С кем сговорился-то?

Мне вдруг пришло в голову, что таинственный Радж Капур может иметь какую-то связь с этими, то есть с магнитофонными, записями. Может, он пленками торгует? Ведь к Аркадию кто попало не ходил, а этот неизвестный субъект был у него два раза...

— С Женькой Назаровым говорил, с кем же еще! У Женьки и магнитофон особенный, со стереозвуком, и джазовых записей — ну, уйма!

— Лерочка, золотко!— взмолился я.— А ты, часом, не знаешь, где живет Женька Назаров? Очень мне нужно его повидать!

— Подумаешь, проблема! — с удовольствием ответила Лера.— Проводишь меня домой — и все. Женька в нашем доме живет.

По дороге Лера всячески старалась выведать, зачем мне понадобился Женька, но я пообещал ей рассказать все потом.

— Вот, пожалуйста,— сказала Лера, когда мы подошли к ее дому на Пушкинской,— тут тебе и Женька, тут тебе и джаз на всю натушку. Как весной откроешь окна, так покою нет ни один вечер.

Лера была права: это Женька говорил с Аркадием о джазовых записях. Аркадий хотел переписать себе кое-что из его фондов («У меня, знаешь, уникальные есть вещи!» — с гордостью пояснил Женька), но не знал, где добыть пленку, и Женька ему посоветовал обратиться к Марчелло.

— Марчелло? — переспросил я.

— Ну, прозвали его так... Он на Марчелло Мастрояни похож — не вообще, а в фильме «Развод по-итальянски», там он с усиками и такой какой-то... неприятный.

— А на Раджа Капура он не похож? — осведомился я.

— На Раджа Капура? — Женька подумал. — А шут его знает. Я Раджа Капура толком не помню. Видел я «Бродягу», но давно, еще в школе когда учился.

Ну да, он Раджа Капура не помнит, а Анна Николаевна, наверное, «Развод по-итальянски» не видела: за семьей недосуг, да и зачем ей глядеть такие аморальные фильмы? Наверное, это и есть тот самый тип — чернявый с усиками...

— Мне вот тоже пленка позарез необходима!— заявил я.— Где бы его найти, этого Марчелло?

— А он в «Радиотоварах» работает, на проспекте Космонавтов. Лучше всего к закрытию магазина приходите, тогда с Марчелло общаться легче. Да ты вот сейчас и иди!— посоветовал Женька, глянув на часы.— Пока дойдешь, как раз без четверти семь будет. Ты к Марчелло подойди, прямо к прилавку, и скажи потихоньку: «У меня к вам дело, буду ждать на улице». И все. Как закроют магазин, Марчелло к тебе выйдет.

Чернявый продавец в «Радиотоварах» ничуть не походил ни на Раджа Капура, ни на Марчелло Мастрояни: неказистый парень, кривобокий слегка, и лицо неприятное. Но усики у него действительно имелись и густая черная шевелюра тоже.

Я полушепотом сообщил ему, что у меня есть дело и я буду ждать на улице. Марчелло, ничуть не удивившись, кивнул и отошел к полкам.

Ровно в семь он вынырнул откуда-то из-за угла, бочком придвинулся ко мне и хрипловатым, простуженным голосом спросил:

— Вы насчет чего интересуетесь?

— В основном насчет Джонни Холидея,— небрежно сказал я.— Есть у вас что-нибудь новенького? Можно «Биттлов» тоже. Или шейк свеженький, если имеется. Женька Назаров уверял, что для вас ничего невозможного нет.

— Назаров — это какой? — недоверчиво прохрипел Марчелло.

— Женьку Назарова не знаете?— удивился я.— Такой маленький, рыженький. У него же уникальные джазовые пленки, что вы!

— Подумаешь, уникальные!— презрительно отозвался Марчелло.— В гробу я его видал, вместе с этими уникальными...

— Ну, ладно,— примирительно сказал я.— Это мне понятно: вы же специалист, он себя тоже считает специалистом... Словом, дискуссия на профессиональной почве!

— А чего мне с ним дискуссии вести?— Марчелло хмыкнул.— Специалист, тоже мне! Больше воображения, чем соображения.

Он, видимо, за что-то обиделся на Женьку. Но меня это даже устраивало.

— Ну, ладно, забудем о Назарове, раз вы с ним не в ладах,— сказал я уступчиво.— Мне ведь про вас не только Назаров рассказывал, а еще и Аркадий Левицкий.

Я говорил это небрежным тоном, но исподтишка наблюдал за Марчелло. Он весь скривился и опять хмыкнул.

— Это ваш приятель, что ли, Левицкий-то?

— Работаем вместе,— осторожно сказал я.

— Работа у вас, конечно, интересная,— с оттенком уважения заявил Марчелло.— Передовая, можно сказать, работа. Передний край науки! Я лично науку ценю. Но если ты ученый, так ты должен быть культурный человек, да? Но не хам! Этого я не признаю, когда хамят. Хамить может кто? Вахтер какой-нибудь, если лезешь, куда не надо, или дворник. А если ученый хамит...

— Это вы про Левицкого, что ли? — осведомился я.

— А то про кого же! Я к нему со всей душой, а он...

— Недоразумение какое-нибудь вышло? — полувопросительно-полуутвердительно сказал я, давая понять, что между такими людьми речь может идти лишь о недоразумении.

Марчелло клюнул на этот уважительный тон.

— Вас как зовут? — спросил он.— Борис? Давайте будем знакомы: меня Виталий зовут, Марчелло — это так просто, прозвали... Насчет пленок — это я приложу усилия, не сомневайтесь... Вам в какую сторону? Ну, мне тоже примерно туда.

Мы двинулись к перекрестку, и Марчелло сразу же вернулся к разговору о том, кто и почему может хамить.

— Чтобы ученый хамил — это, знаете...— говорил он, обиженно кривя длинные бледные губы.

— А что он такое сделал? — спросил я.— Аркадий действительно вспыльчивый, из-за пустяка иногда заводится...

— Тут не в пустяках дело,— твердо сказал Марчелло,— а вот именно в хамстве. Он, понимаете, ко мне за пленками явился, вот как и вы. Я, конечно, постарался, организовал все по его желанию, доставил. И он, ничего не сказу, оценил правильно. Кофе мы с ним пили у него дома, «Цинандали» немножко приняли, поговорили про науку, про технику, ну, личных проблем тоже коснулись. Он мне даже открыл по-дружески, что имеются у него серьезные осложнения в личной жизни.

Я споткнулся на ровном месте. Аркадий за бутылкой вина жалуется какому-то мелкому жулику на любовные неудачи! Бред, фантастика!

— Какие же у него такие осложнения?— Мой голос звучал почти спокойно. — Я что-то ничего не слыхал, хотя мы с ним в одной лаборатории...

— Он подробностей не сообщал,— с сожалением признался Марчелло.— А я посчитал, что если вопросы задавать, то это будет с моей стороны нахальство. Я сам лишнего не спрашиваю и, чтобы у меня спрашивали, тоже не одобряю. Но просто я с ним поделился насчет своих затруднений в личной жизни — знаете, с женой развожусь, никак невозможно с ней сжиться, ну, понятно, начинается волынка по линии жилплощади и всякое такое. Но он послушал немного, потом спрашивает: «Да ты ее любишь или нет, не пойму что-то?» А я что могу ответить? В свое время, год назад, безусловно, любил, иначе зачем бы женился? А за год совместной жизни она мне в печенку въелась, хоть в Антарктиду от нее беги. Ну, Левицкий тогда и говорит: «Это все мура, если так! Не переживай, все рассосется». Я ему отвечаю: «У меня все же семья распадается и вдобавок такая ситуация, что придется комнату где-то снимать, не хочу я скандалить. А у вас,— спрашиваю,— неужели не бывает осложнений в личной жизни?» Это я уже нахально спросил, потому что он так несерьезно отнесся к моим переживаниям. А он ни с того ни с сего как засмеется! Потом усмотрел, что я совсем обиделся, и говорит: «Бывают и у меня осложнения, не думай. Еще и какие! Я сейчас в такой переплет попал — будь здоров!» Серьезно сказал, с волнением в голосе. Ну, я тут спрашиваю: «Любовь, что ли?» Но он только рукой махнул и говорит: «Что любовь, тут дело посерьезней». А я говорю, что ежели дружба, то лучше дружбу не ломать, найти общий язык. Он опять засмеялся и говорит: «Общий язык имеется, но не в этом дело. Такой переплет получился, что не выберешься». Я набрался нахальства, спросил еще: «Очень близкий друг?» Он говорит: «Ближе уж некуда».

Мне показалось, что я ни слова не смогу выговорить, что вообще убегу сейчас куда глаза глядят. Но я продолжал шагать рядом с Марчелло и даже заговорил, откашлявшись:

— Мне непонятно, за что же вы обиделись на Левицкого? Не всякий любит рассказывать о своих личных делах...

— Так я разве за то!— искренне возмутился Марчелло.— Что я, дурак? Это когда я снова к нему зашел, вот тогда мы поругались. Ну, представляете: захожу к нему, правда, без звонка, не предупредил, но шел мимо и вот рискнул... А он лежит на диване, даже подняться ему лень, и таким голосом, знаете, говорит, как большое начальство: «У тебя что?» Ну, я, конечно, обиделся. Говорю: «Если я помешал, так могу уйти». А он отвечает: «Да ладно, раз уж пришел, садись». И тоже будто бы одолжение мне большое делает. Но я все же сел. Почему я сел, потому что усмотрел, какие у него глаза были...

— А какие? — хриплым шепотом спросил я и опять откашлялся, делая вид, что поперхнулся.

Марчелло исподлобья поглядел на меня.

— Нехорошие у него глаза были, и все.— Он не то ухмыльнулся, не то сморщил гримасу.— Такие, как вот у вас сейчас.

— У меня? — фальшиво удивился я.— С чего бы это?

— А это мне неизвестно, с чего,— нагловато и неприязненно сказал Марчелло.— Вам самому виднее, какие у вас переживания.

— А что же дальше-то было у вас? — помолчав, спросил я.

— Ничего не было,— раздраженно буркнул Марчелло.— Главное, хоть бы я ему какую неприятность сказал! Я просто посочувствовал, могу сказать, от всего сердца. Вспомнил, что он говорил насчет своих осложнений, и подаю ему совет, по-хорошему. «Если ты,— говорю,— из-за бабы с другом-то поссорился, то, самое лучшее, наплюйте оба на эту бабу, чтобы меж друзей не встревала». А он на меня волком посмотрел и отвернулся. Я тогда говорю: «А если с бабой у тебя всерьез пошло, то поговори с этим другом, без дураков чтобы. По такому делу и морду набить вполне законно будет!» А он как вскочит с дивана — здоровенный такой, голова под самый потолок,— я думал, он меня пришибет на месте. Но он только постоял надо мной, а потом так грубо говорит: «Иди ты куда подальше!» И дверь, главное, настежь распирает, чтобы я не задерживался. Ну, я ему сказал, что думал, в двух словах, и дверью хлопнул. Подумаешь, хромофизика! Видел я таких ученых в гробу в белых тапочках...

Ничего себе, к месту пришлась поговорочка! Я уж тут совсем, видно, позеленел: Марчелло даже перепугался, начал бормотать что-то насчет сердечных заболеваний. Я наспех попрощался с ним и нырнул в первый попавшийся двор.

Продолжение следует.

КТО? ЕСТЬ КТО?

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

Линькову все это не нравится

Рая-парикмахерша была беленькая, вроде Леры, но повыше и покрупнее. На Линькова она глядела с откровенным любопытством и без всякого испуга, хотя, наверное, понятия не имела, о чем с ней будет беседовать товарищ из прокуратуры.

Но разговор получился пустой. Рая, по-видимому, не пыталась что-либо утаить, но ничего относящегося к делу Левицкого просто не знала.

— Да, ездила на праздники за город с компанией из института, ну, из этого, где время изучают... Они пригласили, народ хороший, почему не поехать? Не одна ездила, со своим молодым человеком, его тоже пригласили. А он тоже здесь, в парикмахерской работает, он мужской мастер. Ну, гуляли по лесу, выпили немножко, танцевали. Пели много, там одна девушка с гитарой была, она хорошо поет. Роберт вот тоже хорошо поет и песен много знает. Нет, он там ни с кем не в дружбе, это его за компанию со мной пригласили... Нет, ни с кем он особенно не разговаривал. Он только пел много. Насчет песен, правда, немножко поговорил с Лерой, с этой, у которой гитара. Нет, почему одна? Был с ней молодой человек из их же института, интересный такой, Аркадий. Ой, да Роберт ни с кем вообще не разговаривал, это я вам точно говорю. И с Аркадием не говорил... Нет, откуда он его может знать? Я и сама-то его впервые увидела там, за городом. А если вы Роберта в чем подозреваете, то, безусловно, зря! Он знаете какой мастер, его везде ценят,— вот, видите, в газете про него написано и портрет напечатан. Да, он интересный, все говорят. На Раджа Капура? Ой, что вы, даже ни чуточки! Усы — ну, мало ли у кого усы!

Фотография в газете была достаточно четкой, и Линьков сам видел, что никакого сходства с Раджем Капуром у Роберта нет. Да и вообще Роберт и Рая никакого касательства к делу, по-видимому, не имеют, и время на разговор потрачено впустую. Надо еще зайти к соседке Левицкого, показать ей фотографию...

Анна Николаевна с минуту вглядывалась в фотографию, потом поджала губы и замотала головой.

— Не он это совсем!— убежденно заявила она.

— Вы уверены? Снимок ведь довольно нечеткий...

— Да чего уж! И лицо непохоже и рост. Этот вон какой верзила, одного роста с Аркадием, не видно разве? А который приходил, тот был маленький, плюгавенький такой. Нет, вы даже не сомневайтесь, это вовсе не тот...

Все верно — Роберт на фотографии стоял рядом с Аркадием, и рост у них был одинаковый, а ведь у Аркадия — 1,87! Нет, дело ясное, эта ниточка оборвалась...

Линьков медленно брел по проспекту Космонавтов, приближаясь к магазину «Радиотовары». Он был недоволен собой. Очень недоволен. Возможно, с точки зрения профессиональной он вел себя, в общем, правильно... хотя и это спорно, очень спор-

Продолжение. Начало в №№ 8—10.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

но... А как человек и, значит, как следователь, оказался не на высоте... мягко выражаясь.

Он еще вчера понял, что не может говорить со Стружковым по-прежнему и что Стружков это отлично видит. Он и сейчас не верил в виновность Стружкова, то есть в какое-либо злонамеренное его участие в гибели Аркадия Левицкого. Но со всех сторон ему подсовывали эту версию, а после разговора с начальством он был вынужден предпринять какие-то шаги — и сразу почувствовал, что уже не может непринужденно и искренне беседовать со Стружковым. Именно это и было плохо, глупо, нелепо. Ну, проверил алиби, что ж, это необходимая формальность, и алиби вдобавок оказалось достаточно надежным. Зачем же после этого менять отношение к человеку? И ведь не отношение даже — в том-то и дело,— а манеру обращения! В виновность не веришь, а своим поведением даешь понять, что начал подозревать. Это же глупо, это жестоко... человек пережил тяжелое потрясение... Да и в интересах следствия нельзя было так вести себя... А уж сегодня!

Действительно, сегодняшний разговор в институте обернулся совсем как-то неудачно. Стружков сказал, что разговаривал вчера с Лерой, а потом ходил и этому самому Раджу Капуру, он же Марчелло. Ну и что? Лера сама к нему прибежала, это естественно. «Радж Капур» — это ведь кличка, которую Стружков же и вытянул на свет. И вообще он все время сам анализирует дело, вдумчиво анализирует, интересно, надо признать! Вот и надо пользоваться его помощью да благодарить за это, а не напускать на себя официальную холодность и загадочность. Линьков сморщился и замотал головой, вспомнив, какие глаза были у Бориса...

«Чего я уж так? В конце-то концов, что я особенного сказал Стружкову? — успокаивал он себя, ничуть не веря этим дешевым аргументам.— Только дал понять, что не одобряю его самостоятельные действия... и ведь очень осторожно... даже не столько словами, сколько интонацией, взглядом...»

Марчелло сначала перепугался до смерти, зубами клацал и все допытывался: за что его?.. Линьков знал, что Борис не упоминал о смерти Аркадия, но теперь пришлось об этом сказать, а то у Марчелло мозги работали явно не в том направлении: он все насчет торговли пленками опасался.

— То есть когда же это он умер? — изумился Марчелло, выслушав лаконичное сообщение Линькова.— Я же вчера вечером имел разговор с одним его приятелем, и ничего такого... Он от меня, выходит, скрыл?! Извиняюсь, конечно, а вы этого приятеля знаете?— Марчелло вдруг оживился и зубами клацать перестал.— Борис его зовут, такой крепкий парень, чувствуется, что спорт любит... Ну, такой он, в общем, на вид культурный, одет, правда, так себе, без особого понимания...

Линьков выслушал эту кратную характеристику Бориса, потом сказал, что знает такого. Марчелло посображал чуточку, потом приоткрыл дверь фанерной клетушки, исполнявшей роль директорского кабинета, выглянул в проход между ящиками и, вернувшись, доверительно наклонился к Линькову.

— Я с вами ной о чем поделиться хочу, товарищ следователь,— хриплым полушепотом заговорил он.— Вот этот Борис, вы подтверждаете, работал совместно с Левицким, да? Теперь Левицкий вроде как убит, я так понял?

— Не так,— разъяснил Линьков.— Ведется следствие. Причины и обстоятельства смерти Левицкого еще не установлены.

— Так на так выходит!— с дзартом сказал Марчелло.— Непонятно, да? Вот то же самое и мне непонятно, чего этот Борис крутит? Нет, ну скажите, чего? Ежели у тебя друг-приятель скончался, ты что можешь? Ты горевать можешь, да? Семью можешь утешать, поскольку у ней горе. Но не ходить выпытывать людей! И с таким подходом, видите? Словно бы и ничего, приходит, совсем о другом говорит, а сам-то!

— Левицкий не просто умер,— сказал Линьков,— а при невыясненных обстоятельствах. Меня лично не удивляет, если его ближайший друг и сотрудник тоже пытается выяснить, что и как случилось.

Марчелло облизал сухие темные губы. Глаза его снова стали настороженными и тревожными.

— Это вы правильно сказали, безусловно! — вкрадчиво заговорил он.— Выяснить — это, конечно, всякому хочется. Но весь вопрос — как выяснить! А у этого Бориса подход не тот! Почему не тот, сейчас все отмечу. Первое, значит, это то, что он про смерть промолчал. Это как понимать? У тебя друг скончался, да?— Марчелло произнес расчетисто: «дрруг».— А ты, похоронить его не успели, цирк устраиваешь? А второе — это я вам еще не объяснил — он про свое местожительство скрыл!

— То есть как скрыл?— недоверчиво спросил Линьков.— Не захотел вам сообщить свой адрес, что ли?

— А я его адресом нисколько даже не интересовался! — заявил Марчелло.— А вот как было! Я это иду с ним, и заговорили мы конкретно о том самом, о чем и с Левицким в последний-то раз. И вот тут — третье! Поняли? До второго пункта, до адреса то есть, я еще дойду, но раньше — третье! Я с ним, значит, делюсь, как с человеком, что мне Левицкий сказал насчет своих осложнений с близким другом. А Борис, представляете, как услыхал про это, так зеленый стал — аж глядеть на него муторно. Я подумал: у него сердце больное...— Марчелло саркастически хмыкнул.— А выходит, что никакое тут не сердце.

— Что же именно выходит, по-вашему?— с ледяной вежливостью спросил Линьков.

— Как же это — что? — торжествующе сказал Марчелло.— Не сердце, значит, его забеспокоило в тот момент, а совесть! Совесть у него определенно нечистая. Гарантия! Что он с Левицким сделал, мне, конечно, неизвестно. Но только есть у него на совести какое-то дельце насчет Левицкого, это даже спорить не приходится. И опять же с местожительством. Значит, когда у нас этот разговор произошел, то Борис до такой степени переживать начал, что я уж думал, он на ногах не устоит. Но как я сказал насчет сердца, он сразу встряхнулся, понял, видать, что я его раскусил. И говорит, через силу так, зубы сцепивши: «Ну, я пошел!» И чуть не бегом в подворотню. А мне подозрительно стало, думаю: как же так, говорил, что живет на Березовой, а сам куда? Стал я в подворотне, курю, в щелку на воротах смотрю. Пять минут простоял, не больше,— гляжу, идет Борис. А живет он, верно, на Березовой, я уж поинтересовался, проследил...

— Все факты, о которых вы сообщили, можно истолковать иначе,— сухо сказал Линьков.— Стружков умолчал о смерти Левицкого, чтобы не испугать вас этим известием и выведать побольше подробностей. Волноваться он мог не потому, что испытывал угрызения совести, а потому, что гибель друга выбила его из колеи. А нырнул он в чужой двор уж наверняка не для того, чтобы скрыть от вас свой адрес: да ведь вы его и не пытались узнать...

— А зачем же тогда?— хмуро спросил Марчелло.

Линьков встал.

— Зачем? Ну мало ли зачем? Например, ему могло надоесть общение с вами!— небрежно сказал он, с мстительным удовлетворением глядя, как перекосились темные губы Марчелло.

«Совсем вы что-то раскипятились, товарищ Линьков, распустились, как цветочек!— думал он, шагая по улице.— Личные мотивы в вашем поведении явно выдвигаются на первое место в ущерб делу. Непременно вам понадобилось воспитывать этого паршивца Марчелло, а все почему: потому, что затронули Стружкова, к которому вы питаете такие сложные чувства... Вы, значит, питаете, а кто другой его трогать не моги! Ах, блюститель справедливости, страж закона!» Линьков даже замычал от презрения к себе и яростно мотнул головой.

Он шагал, никого не видя, и вдруг остановился, словно на столб налетел: перед ним стояла Нина Берестова. Линьков растерянно поглядел на нее и не сразу сообразил, что находится в двух шагах от проходной института.

— Вы к нам?— спросила Нина.

Она опять глядела мимо него и думала о чем-то своем.

— Да...— неловко пробормотал Линьков.— Надо мне с ним еще поговорить...

— С ним, если не секрет?— вдруг спросила Нина.

Линькова удивил не столько вопрос, сколько интонация и взгляд Нины. Она теперь смотрела в упор на него, смотрела не то с надеждой, не то со страхом.

— Да вот... с Чернышевым...— пробормотал Линьков, уступая этому взгляду.— Такое впечатление, что он знает о чем-то, но почему-то не говорит...

— Это можно сказать не только о Чернышеве!— вдруг вырвалось у Нины.

Линьков изумленно, почти испуганно взглянул на нее. Нина побледнела, глаза ее потемнели и расширились. Какое-то мгновение они молча глядели друг на друга, потом Нина резко отвернулась.

— Не придавайте значения тому, что я сказала! — быстро проговорила она и, не глядя на Линькова, толкнула дверь проходной.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С утра меня вызвал Шелест и заявил, что он-де все понимает и мне сочувствует и институту в целом тоже сочувствует, поскольку потеряли мы такого сотрудника — можно сказать, цены Левицкому не было, и вот замены ему тоже не сыщешь.

— Но все же сыскали?— спросил я довольно-таки хамским тоном, надо признаться.

Шелест глянул на меня, поморщился, но, видно, понял, что мне сейчас море даже не по колено, а максимум по щиколотку.

— Ищем вот,— примирительно сказал он.— А ты что, может, рассчитываешь в одиночку управиться?

Вопрос был чисто риторический, и я ничего не ответил, а только хмыкнул неопределенно. Больше всего мне хотелось молча встать и уйти, но я сказал, что вот, мол, никак очухаться не могу, но все же интересуюсь, кого это ко мне в лабораторию прочат. Оказалось, что Геллера из группы Сухомлина. Виталик Геллер, по моим наблюдениям, был парень как парень, не хуже большинства, но и не лучше. Конечно, не было у меня никаких оснований требовать себе именно такого, чтобы получше, это я все понимал да и думал сейчас в основном не о лаборатории, но все же как-то невесело мне сделалось, и я начал ныть, что не улавливаю, мол, какое отношение имеет Геллер к нашей теме и вообще — почему именно Геллер, там можно кого угодно сунуть, лишь бы место занять... Шелест послушал-послушал мое нытье и посоветовал не валять дурака.

— Второго Левицкого мы тебе не изыщем, сам понимаешь,— сказал он сердито.— Это первое. А второе — это то, что Геллер прямо рвется с тобой работать, и парень он способный... У тебя сколько работ было опубликовано, когда ты к нам пришел? Вот видишь, четыре, а было тебе двадцать шесть лет, верно? Теперь смотри — у Геллера одиннадцать работ, и есть среди них очень даже толковые, а ему всего двадцать три года, он к нам прямо из университета пришел... И нечего тебе строить из себя элиту и свысока смотреть на хороших ребят!

— Да ладно, я разве что? — пробормотал я, и вправду слегка устыдившись.— Пойти мне поговорить с Геллером, да?

— Пойди, конечно.— Шелест с облегчением откинулся на спинку кресла.

Я всхлипнул и направился к двери, но Шелест меня остановил.

— Вот что...— сказал он, не глядя на меня.— Послезавтра в два часа... это... ну, похороны, ты же знаешь... Ты, надеюсь, скажешь там что-нибудь — не речь, конечно, я тоже не речь буду произносить, но как ближайший друг и соратник... Э, Борис, ты что это?

Я, наверное, позеленел. У меня опять все перед глазами поплыло, и ноги ватные сделались. Я плюхнулся обратно в кресло, и Шелест поспешно наначал мне газировки из сифона.

— Ты не знал, что ли?— недоумевал он.— Как же так?

— А откуда я должен был это узнать?— осведомился я.

— Да уж откуда-нибудь...— неопределенно ответил Шелест.— Но это все же безобразие, что мы тебе не сообщили. В первую очередь я сам виноват. Но я думал, ты даже от следователя это можешь узнать, у вас же с ним контакт...

Вроде бы все было понятно, и не такие накладки в жизни бывают: все думали, что я знаю, а поэтому никто не сообщил. И все же...

Вышел-то я от Шелеста вроде ничего, спокойно. Но пока дошел до своей лаборатории, настроение мое здорово изменилось.

Дело в том, что я встретил Нину. Она не отвернулась от меня, не пробовала обойти стороной (я уж и этого, пожалуй, ожидал!), нет, она подошла, поздоровалась. Но здоровалась она вроде не со мной, а с каким-то совсем посторонним человеком. И с неприятным человеком вдобавок. Она даже глядела не на меня, а куда-то через мое плечо. А я вообще ни слова не смог сказать — стоял и смотрел на нее, и только сердце у меня начало вдруг болеть, будто по нему теркой прошлись. А Нина сказала, все так же глядя в сторону:

— Мне нужно поговорить с тобой... сегодня, после работы...

— Так я зайду за тобой, пойдем но мне...— машинально, не успев подумать, сказал я по-старому.

Нина даже дернулась слегка, это я отчетливо увидел.

— Нет,— поспешно ответила она,— лучше прямо тут, в скверике. Ты выходи ровно в пять и подожди меня.

Вон как, ей даже неудобно выходить со мной вместе из института! Это меня уж совсем ошеломило, я все стоял и смотрел на Нину, а она нетерпеливо пожала плечами и повторила: «Понял? В скверике, в пять часов!» Я молча кивнул, Нина ушла, и тут откуда ни возьмись появился передо мной Эдик Комовалов. Есть у нас в отделе кадров такой молодой дуб в могучей красоте и растет-цветет уже месяца три.

Вообще-то я на Эдика даже с удовольствием всегда смотрю — красивый, зверюга, тренированный, чистенький весь такой, ухоженный, и пока не говорит, все в порядке, гомо сапиенс на высшем уровне. Но сейчас он как-то нехорошо ухмылялся и подмигивал мне, и сразу обнаружилась его обезьянья основа.

— Сердце красавицы!— восторженно заявил Эдик, кивая вслед уходящей Нине.— Склонно к измене! И к перемене! Как ветер мая!

— Ты чего это?— спросил я, отступив на шаг, потому что Эдик навис надо мной и слова арии громозвучным шепотом вдувал мне в ухо.— Изменил джазу ради оперной классики?

— Труха!— Эдик обалдело уставился на меня своими незамутненными голубыми глазами.— В гробу я видел все эти оперы!

— Я думал, у тебя новое хобби объявилось,— вяло пробормотал я.— Ходишь, арии распеваешь в рабочее время.

— Вот это, что ли, ария, про сердце красавицы?— заинтересовался Эдик.— А я думал, это блатная песенка... Воры, они, знаешь, про любовь очень впечатляюще сочиняют...

Мне даже смеяться не захотелось: ну, что возьмешь с обезьяны! Уйти бы поскорей...

— Ладно,— сказал я, поворачиваясь,— продолжай в том же духе, и ты далеко пойдешь!

Но Эдик ловким маневром загородил мне дорогу и начал озабоченно хлопать себя по бедрам.

— Спичек нет,— пожаловался он.— У тебя не найдется?

— Не найдется, я не курю,— ответил я, тщетно пытаясь обойти Эдика.

— Слушай, друг!— проникновенно заговорил Эдик, нацелясь на меня незажженной сигаретой.— Чего у тебя с Берестовой-то?

— Слушай, друг, иди ты!— сказал я, разозлившись не на шутку.— Знаешь куда...

— Да брось ты, не лезь в бутылку, я же по дружбе!— оглушительно шептал Эдик.— Я тебе же помочь хочу, я на нее влияние имею, на Берестову, ну не веришь, так потом наглядно убедишься. Ну вот, хочешь, я вас в два счета помирю? Обрисуй только вкратце, из-за чего у вас началось, и я все ликвидирую.

— Если ты мне еще раз...— начал я, но потом сдержался и сказал только:— Не лезь ты не в свои дела, Эдик. Занимайся лучше анкетами.

— Ну, ты все же зря так... Я к тебе по-хорошему...— обиженно заявил Эдик.

А тут еще Чернышев... Нет, впрочем, Чернышев при первом разговоре вроде бы ничего такого не сказал. Кажется, нет. Я к нему забежал на минутку — предупредить, что Линьков придет с ним поговорить в три часа. Ленечка мялся и жался, как всегда, и говорить с Линьковым ему явно не хотелось. Мне показалось, что он не прочь бы поговорить со мной, но я побоялся: вдруг Линьков обидится на меня за такое самоуправство — и разговора не поддержал.

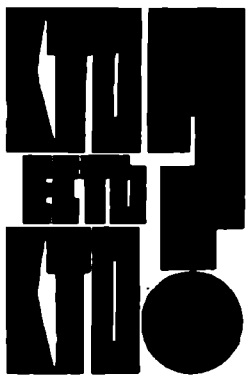
— П-понимаешь, Борис,— забормотал тогда Ленечка, причудливо изогнув длинную шею и внимательно разглядывая ладонь своей левой руки,— понимаешь, мне говорить... ему говорить... ну, ничего я не могу сказать!

— Ну-ну, не паникуй,— подбодрил я его.— Скажешь правду, всю правду, только правду и ничего, кроме правды. Понятно тебе?

— П-понятно,— еле слышно пробормотал Ленечка, утянулся в свои расчеты и вроде перестал меня замечать.

После обеда засел я в своей лаборатории и попытался все обдумать, в том числе и причины своего сегодняшнего настроения. Линьков должен был появиться через час. Приниматься за работу поэтому не имело смысла. И я мог сидеть на табурете и мыслить сколько влезет.

Прежде всего я понял, что со вчерашнего вечера



перестал действовать. Просто ничего не делал, ни по хронофизике, ни по криминалистике. Этого, вообще-то говоря, было бы вполне достаточно для того, чтобы подпортить мне настроение при любых обстоятельствах. У меня ведь это на уровне рефлекса: в любом случае немедленно принимать решение и действовать. Хотя действую я иной раз по-дурацки и прихожу к выводу, что поторопился, а лучше бы посидеть да обдумать все как следует.

Но уж в эти-то дни откладывать действия и спокойно обдумывать было невозможно! Вот я и метался туда-сюда, и все, в общем-то, впустую. Один сдвиг, да и то не в мою пользу,— отношения с Линьковым испортились почему-то... Но о Линькове потом, сначала надо проанализировать результаты.

Что и говорить, результаты пока чепуховые. Линия «человека с усиками» явно привела в тупик, ничего этот Марчелло не знает. Вернее, знает то, что косвенно подтверждает версию самоубийства... Да нет, никакое это не подтверждение! Аркадий мог относиться ко мне как угодно, мог в глаза и за глаза обзывать предателем и мерзавцем (хотя это не в его стиле), мог переживать всю историю с Ниной гораздо сильней, чем я предполагал, но он не стал бы из-за этого кончать самоубийством. Тут меня не собьешь, слишком хорошо я Аркадия знаю!

Да, но все это еще не доказывает, что моя версия насчет эксплуатационника неверна. Ведь совсем не обязательно, чтобы Аркадий с этим человеком сдружился или вообще как-то связался именно на загородной прогулке. Он же ходил потом к Лере... а может, и не только к Лере...

Если б у меня с Линьковым не подпортились отношения, так я бы его просто умолял не бросать эту версию, проверить все, что возможно. Ведь есть же у них там какие-то научные методы! Да я, дай мне волю, и без научных методов, пользуясь обычной логикой, кое-что смог бы выяснить.

Я еще раз просмотрел всю «версию посетителя». И с огорчением признал, что она, в сущности, совершенно бездоказательна. Сконструирована логично, это правда, и многие факты в нее укладываются. Но полностью отсутствует мотив — я даже представить себе не могу, по какой причине кто-либо мог желать смерти Аркадия. А фактам в конце концов можно найти и другое объяснение. Аркадий умышленно затеял ссору, чтобы выгнать меня из лаборатории. А если неумышленно? Если он и в самом деле разозлился на меня, хотя бы попусту? Ведь он же сам не свой был весь этот день! Мог и на пустяке вдруг сорваться. Затем: Аркадий уходил куда-то и при этом зачем-то запер лабораторию. Выходил он, может, потому, что живот разболелся. Зачем запер лабораторию? Не знаю. Но, допустим, у него там было что-то спрятано. Те же таблетки (нет, чепуха: таблетки он вполне мог сунуть в карман!) или, скажем, расчеты какие-то... Расчеты? А если все дело именно в этих расчетах? Если это их вырвали из записной книжки, а с ними и записку — возможно, даже по ошибке, второпях, вовсе не думая об этой записке и не желая ее уничтожить? Да, но какие расчеты мог вести Аркадий отдельно от меня? С кем и над чем он мог работать и почему делал это в полнейшей тайне? Оставим пока эксплуатационника — пусть это будет кто угодно или даже никто другой, кроме самого Аркадия... Все равно — какие расчеты, какая тема, почему тайком ото всех? Непонятно! Может, именно здесь надо искать разгадку, может, мы зря забываем о специфике нашей работы?

Тут какая-то тень мысли на сверхзвуковой скорости промчалась сквозь мои мозги, я не успел ее поймать и только ощутил смутную тревогу. Специфика работы... расчеты... что же это такое мне пришло в голову... прошло сквозь голову... Надо бы попросить у Линькова хоть на часок записную книжку Аркадия: может, там еще где-нибудь есть «посторонние» расчеты. Да ведь не даст Линьков теперь, надо было мне сразу попросить... Еще у Шелеста спросить можно,— вдруг он что-нибудь знает.

Я пошел к Шелесту и спросил, не знает ли он, какую работу и с кем вел Левицкий за последнее время, кроме нашей с ним совместной. Шелест очень удивился, сказал, что он ни о чем таком не слыхал. Я тогда объяснил, что работа могла вестись даже и секретно. Шелест уставился на меня, недоумевая, но потом, видимо, что-то вспомнил и задумался. В конце концов он сообщил, что проходил как-то вечером, с неделю назад, мимо нашей лаборатории и видит: свет горит; он было толкнул дверь, дверь заперта. Часов в десять это было. Он подумал, конечно, что мы ушли оба, а свет забыли выключить, но на проходной ему сказали, что Левицкий еще в институте.

— А Аркадий потом что сказал на эту тему?— спросил я.

— Да не спрашивал я его... Чего спрашивать-то, мало ли кто в институте по вечерам засиживается...

— И дверь запирает?— перебил я.

— Дверь? Что ж, может, кто и запирает, я не проверял. А вы, что ли, никогда не запирали? Ну, не знаю. И вообще я этот случай только потому припомнил, что ты спрашивать начал, вот мне и показалось немного странно, задним числом... А, собственно, все это чепуха и ни о чем не говорит.

Я не стал спорить и ушел. Значит, Аркадий и раньше запирал дверь, когда уходил... Куда же он все-таки уходил? Получается вроде так, что он к кому-то бегал, а в нашей лаборатории никто не бывал. В десять вечера, сказал Шелест. Неужели он бегал в это время к эксплуатационникам? Там вахтер стоит, не пропустил бы... Да, но если этот загадочный компаньон Аркадия сам вышел и уговорил вахтера?.. Они с Аркадием созвонились, он и вышел встречать... Но такой случай вахтер должен запомнить... Надо только уточнить, когда это было и кто дежурил у того корпуса... «Сам проверю, при помощи Леры, не буду просить Линькова»,— решил я, и это меня немного успокоило. Ненадолго, впрочем,— появился Линьков, и сразу мне стало муторно.

Он пришел спокойный, подтянутый, и от его ледяной вежливости у меня прямо-таки сердце заныло, как больной зуб от холодной воды. Но я решил не поддаваться, и когда Линьков осведомился: «Что новенького?» — я сейчас же выложил ему все свои соображения. Заодно рассказал о беседе с Шелестом. Линьков выслушал меня с непроницаемым видом, после чего старательно протер очки и сказал, что все это он примет к сведению.

— А вы не считаете, что мне было бы полезно ознакомиться с записной книжкой Левицкого?— с мрачным упорством спросил я.

— Возможно, возможно,— согласился Линьков.— Но я должен буду согласовать это с начальством. А пока мне надо бы поговорить с Чернышевым — надеюсь, он не исчезнет снова...

— Нет, он у себя, я нарочно зашел его предупредить.

Линьков быстро глянул на меня, чуть сощурив ослепительно-голубые глаза.

— Нарочно зашли предупредить?— со странной интонацией повторил он.— Я вам, разумеется, весьма благодарен за помощь...

От этой реплики я совсем сник, но потом меня злость разобрала. Чего он, в самом-то деле! Имитируя манеру Линькова, я заговорил медленно и с ледяной вежливостью:

— Разрешите вам напомнить, Александр Григорьевич: не далее как вчера вы сообщили, что будете мне весьма обязаны, если я предварительно поговорю с Чернышевым. Не кажется ли вам, что было бы правильней, если б вы своевременно и открыто известили меня о перемене в ваших чувствах по этому поводу?

Удар попал в цель: Линьков даже покраснел слегка и принялся протирать очки. А потом сказал совсем иным, человеческим тоном:

— Да вы не обращайте внимания, устал я, видимо, и дело ум очень путаное... Так что же вам сказал Чернышев?

— Ну, знаете, Александр Григорьевич,— ответил я тоже посвободней,— хоть вы и не извещали меня о перемене в ваших чувствах, но я эту перемену заметил. И потому не решился сепаратно беседовать с Чернышевым.

Линьков усмехнулся, все еще сконфуженно, и встал.

— Пойдемте, что ли, к нему,— сказал он вполне дружелюбно.— Посмотрим, что и как...

Ленечка Чернышев был вполне в своем репертуаре и даже чуточку переигрывал, на мой взгляд. Он так ужаснулся, когда увидел нас с Линьковым, что у него все лицо переносилось: рот поехал в одну сторону, а глаза и нос — совсем в другую. И вообще Ленечка заметался, будто ударить хотел, даже на открытое окно с большим вниманием поглядел.

— Ну, Чернышев, кончай цирк, разговаривать будем,— сказал я умышленно грубым тоном, чтобы привести Леню в чувство.— Ты сиди, сиди, и мы сядем. Вообще будь как дома и помни, что никто из нас не кусается.

Ленечка вытаращил на меня светлые, с сумасшедшинкой глаза, но ничего не сказал. Мы уселись на табуреты, и Линьков начал спрашивать. Добился он толку не скоро, но все же добился.

Чернышев, оказывается, кое-что видел и слышал в тот вечер. И не так уж мало! А именно, он шел к своей лаборатории мимо «нашего» коридорчика,— мы с Аркадием его так называли, там только наша лаборатория и есть. Это и не коридорчик даже, а, скорее, выход к боковой лестнице, и он совсем короткий, метров десять. Так вот, когда Чернышев проходил мимо нашего коридорчика, он увидел, что Аркадий подошел к своей двери со стороны боковой лестницы.

— Это когда было-то?— не удержавшись, спросил я.

Ленечка точно не помнил, но предположил, что где-то вскоре после пяти. Ну, это совпадало: Аркадий в четверть шестого встретился на лестнице с Ниной, а потом, естественно, пошел к лаборатории и был там, видимо, в 17.20 или чуть позже. Ленечка давно хотел объясниться с Аркадием и решил, что сейчас, пожалуй, вполне подходящий момент для этого; но пока он топтался на месте, Аркадий достал из кармана ключ и сунул его в замочную скважину. Тут Ленечка рванулся к нашей лаборатории со всей доступной ему скоростью.

— А он вас не видел?— спросил Линьков.

— Нет, я точно знаю, я чувствую, что не видел,— заявил Ленечка.

Линьков спросил, что же было дальше. А дальше-то, оказывается, и начиналось самое удивительное и непонятное. Чернышев решительно утверждал, что в запертой лаборатории кто-то сидел! Он этого человека не видел, но слышал его голос. Точнее, слышал два голоса. Когда он подошел к лаборатории, Аркадий успел войти внутрь и прикрыть за собой дверь. Но он еще не захлопнул дверь, а стоял на пороге и держался за ручку — Чернышев его даже видел. И говорил с кем-то...

— О чем же он говорил?— спросил Линьков.

— Да так, ни о чем...— мучительно морщась, сказал Ленечка.— Но все равно, я очень удивился... То есть я потом удивился, а сначала просто ушел... Ну, увидел, что разговора с Левицким не получилось, и ушел к себе... понимаете...

— Понимаю,— дружелюбно сказал Линьков.— Но все же не можете ли вы повторить, что они говорили?

Ленечку повело куда-то вбок, он изогнулся так, что я уж хотел его поддержать: испугался, как бы не свалился с табурета. Но он ухватил себя за ногу где-то в области щиколотки, чуть ли не в узел завязался — и ничего, удержал равновесие.

— Они говорили...— медленно забормотал он, не выпуская из рук щиколотку и глядя на нас снизу вверх,— Левицкий говорил... Он сказал: «Ну, привет! Ты вроде не передумал?» А другой ответил: «Нет. И ты, по-моему, тоже».

— Что — тоже?— не понял Линьков.

— Тоже не передумал,— добросовестно объяснил Ленечка.

— А насчет чего?— поддавшись, видимо, на его уверенную интонацию, спросил Линьков.

— Не знаю... они не сказали...— так же добросовестно ответил Ленечка.

Тут он отпустил щиколотку на волю, выпрямился и вздохнул с облегчением.

— Ну, а дальше?— поощрил его Линьков.

— Дальше... ничего дальше...— забормотал Ленечка.— Левицкий захлопнул дверь, а я пошел к себе в лабораторию... и все...

Это было не все. Я чувствовал, что Чернышев еще чего-то не рассказал. И Линьков тоже явно это чувствовал, но пока не настаивал на продолжении, а пытался выяснить, чей же был второй голос.

— Не знаю,— сказал Ленечка, и я видел, что он не врет.

— Ну, какой он, опишите, постарайтесь! Низкий, высокий, звонкий, глухой? Может, какие-то особые приметы? Например, говорил с акцентом, шепелявил, хрипел?

— Нет...— Ленечка умыло поначал головой.— Нет... акцента не было, и вообще ничего такого...

— Чернышев, ну ты иначе скажи,— вмешался я.— На чей голос это было похоже: например, на голос товарища Линькова похоже?

— Нет...— забормотал Ленечка и начал багроветь, медленно и неудержимо.— Не похоже... Другой совсем.

— А на мой голос?— спросил я.

Ленечка посмотрел на меня с ужасом: он сделался весь малиновый, до самых корней светлых волос.

— Нет, нет!— отчаянно запротестовал он.— Не твой голос! Он совсем на голос Левицкого был похож, а не на твой!

— На Левицкого?— с интересом переспросил Линьков.— Так, может, это Левицкий сам с собой и разговаривал?

Ленечка открыл рот, потом закрыл рот, а заодно и глаза. Он сидел так, изо всех сил жмурясь и хмурясь, минуты две, а потом открыл глаза и заявил, что нет, Левицкий не сам с собой разговаривал, там кто-то был.

— А вы подумайте еще немножко,— ласково посоветовал Линьков.— Кто же мог сидеть в запертой лаборатории и говорить голосом Левицкого? Ведь бывает, что люди разговаривают сами с собой.

Ленечка согласился, что это бывает, но упорно утверждал, что Левицкий говорил не с собой, а с кем-то другим.

Я просто не знал, что думать. Рассказ Чернышева выглядел ужасно нелепо, это правда, но я знал, что Ленечка ничего не будет выдумывать. Промолчать — это он может сколько угодно, а сочинять не будет. А если он не сочинил этот обмен фразами, то с самим собой действительно так не разговаривают: «Ну, привет! Ты вроде не передумал?— Нет. И ты, по-моему, тоже». Но с кем вообще и о чем мог Аркадий так говорить? И почему этот «кто-то» сидел в запертой лаборатории? А кроме того... ведь Аркадий сказал: «Ну, привет!» То есть вроде как поздоровался. Значит, он раньше не видел этого человека... значит, тот появился, пока Аркадий куда-то ходил... за эти 15—20 минут проник в запертую лабораторию, опять запрся там и сидел, дожидаясь Аркадия. И Аркадий не удивился... Во всяком случае, не очень удивился его появлению в запертой лаборатории... Констатировал только, что тот, десять, не передумал... Значит, был у них уговор! Поэтому Аркадий и торопился меня выставить... Но куда же он ходил? Где тут логика? Почему он не стал дожидаться своего гостя, если знал, что тот явится сразу после пяти? Мог ведь кто-нибудь увидеть, что дверь нашей лаборатории после конца рабочего дня открывает ключом кто-то посторонний... Ну, пусть даже сотрудник института, но не Аркадий и не я... Подошли бы, конечно, поинтересовались, что да как... Эх, жаль, никто не увидел!

Не знаю, что думал Линьков обо всем этом, но он вдруг сказал Чернышеву, ласково улыбаясь:

— Все это очень интересно. Только почему вы не договариваете?

Ленечка дернулся и всхлипнул, но ничего не сказал, а только с ужасом посмотрел сначала на Линькова, потом на меня.

— Ну, говорите, чего же вы!— убеждал его Линьков.— Вы снова вышли из своей лаборатории и свернули в этот коридорчик...

— Нет-нет!— с облегчением возразил Ленечка.— Никуда я больше не выходил...

— До которого же часа вы работали в этот вечер?

— До одиннадцати... до без пяти одиннадцать.

— Понятно!— сказал Линьков.— Значит, без пяти одиннадцать вы вышли из лаборатории и, проходя мимо коридорчика, увидели...

На второй раз Линьков угадал: Ленечка с величайшей неохотой признался, что видел, как из нашей лаборатории вышел человек и направился к боковой лестнице. Линьков спросил, узнал ли он этого человека, Ленечка почти крикнул, что нет, не узнал он, не разглядел даже толком.

— А, может, это был Левицкий?— спросил Линьков.

— Нет, нет, точно не Левицкий!— опять выкрикнул Ленечка.

Вот тут он не врал. Не только потому, что Аркадий и не мог уже ходить в это время... он был без сознания, при смерти... но просто я чувствовал, когда Леня правду говорит.

— У вас близорукость, может быть?— поинтересовался Линьков.

— Н-нет... я... у меня нормальное зрение...

— Как же вы могли тогда не узнать человека на расстоянии пяти-шести метров?— спросил Линьков.— Ведь коридорчик-то совсем маленький, а дверь лаборатории почти посредине...

Меня долго мялся и вздыхал, а потом заявил, что он видел только спину этого человека. Я ему опять не поверил: да он ведь и сам сказал сначала, что видел, как человек этот выходил из лаборатории. Значит, он обязательно видел его лицо, ну по крайней мере в профиль.

Линьков, конечно, тоже не поверил ему, но почему-то не стал больше спрашивать. Посоветовал только Ленечке хорошенько все припомнить, а потом глянул на часы и сказал, что ему пора.

Пока мы шли по коридору, он спросил меня, какого я мнения обо всей этой истории, но когда я начал излагать свои соображения, он явно думал о чем-то другом и меня почти не слушал. У поворота в наш коридорчик он попрощался со мной и торопливо зашагал к центральной лестнице. Я поглядел ему вслед и поплелся в свою лабораторию. Впрочем, не успев даже дойти до двери, я сообразил, что мне полезно сейчас посидеть наедине с собственной персоной и дать задание своим серым клеточкам, как говорит Эркюль Пуаро,— пускай мозги перерабатывают полученную информацию, а потом посмотрим, что из этого получится.

«Итак,— сказал я себе, усевшись за свой стол и раскрыв записную книжку,— для начала следует оценить информацию, полученную от Чернышева, как доброкачественную — в целом. Имеется одно явно ложное утверждение: что он не узнал человека, выходившего из нашей лаборатории. Но когда Ленечка врет, это видно невооруженным глазом... Возможны также умолчания — сознательные или невольные. Но что сказано, то сказано добросовестно и с довольно высокой степенью точности: при всей своей внешней неприспособленности и неуклюжести Ленечка очень четко воспринимает и оценивает факты, я это наблюдал не однажды. Значит, все нелепости и противоречия, которые так поражают в его рассказе, имеют свое объяснение, а мы этого объяснения что-то никак найти не можем — нехватки информации... Ну, попробуем пока проанализировать новые факты и сообразовать их с прежними.

Значит, первое и основное: «версия посетителя» впервые подтвердилась прямо и недвусмысленно: в нашей лаборатории в тот вечер был кто-то, кроме Аркадия! Зато мой отлично сконструированный вариант с «эксплуатационником» теперь, пожалуй, рассыпается... Во-первых, куда бы ни ходил Аркадий, посетитель ждал его в нашей лаборатории. Во-вторых, Ленечка наверняка не дружит ни с кем из эксплуатационников — он даже из наших-то мало с кем общается,— а он явно видел кого-то хорошо знакомого и неумело пытался защитить его своей ложью. Но кого, елки зеленые? Одну примету он, впрочем, назвал: голос у этого человека очень похож на голос Аркадия... Тут я терпеливо перебрал весь узкий круг, с которым у Чернышева были хоть какие-то связи, кроме самого факта совместной работы в институте, и постарался припомнить, как они говорят. Но ничего даже отдаленно похожего я не вспомнил. У Аркадия голос вообще ведь очень характерный... Такой звучный, баритонального тембра, с легкой хрипотцой... Впрочем, даже не в голосе дело, а в манере говорить, в этой насмешливо-высокомерной растяжечке, которая иногда злила меня, казалась пижонской, нарочитой... Нет, совершенно не помню, чтобы кто-нибудь разговаривал хоть отчасти похоже на Аркадия...

Да, но вот ведь что... В этой истории мог участвовать не один человек! Во-первых, мог все же существовать «эксплуатационник» из моей версии, то есть человек, к которому Аркадий пошел в пять часов и который угостил его питьем со снотворным, а сам преспокойно ушел из института. Во-вторых, возможно, что в начале шестого в нашей лаборатории был один человек, а в одиннадцать часов — совсем другой. Такое предположение можно сделать хотя бы на том основании, что Чернышев хорошо знает того, кто выходил из лаборатории, и отказывается говорить о нем, а в то же время он ничуть не пытается оберечь того, чей голос слышал из коридора, и действительно, по-видимому, не знает его...

Однако же, что за карусель получается! Не институт, а проходной двор какой-то! Ходят, приходят, проходят сквозь запертые двери, как призраки... уходят тоже, как призраки, раз вахтер их не видел... Да, в самом деле, куда же они оба девались, если вахтер их не заметил? Первый, допустим, мог пробыть у Аркадия совсем недолго, минут десять — пятнадцать, и уйти еще в общем потоке, не будучи замеченным. Но вот второй! Либо он был в институте до одиннадцати, либо вернулся туда вечером. Во всяком случае, он минимум один раз должен был показаться в проходной в неурочное время. А вахтер утверждает, что в тот вечер в институте оставались только двое: Левицкий и Чернышев...

Дальше: что может означать этот загадочный обмен фразами? Фразы, собственно, крайне общие и банальные, их можно применить к явлениям любого порядка. Например: люди уговорились пойти в ресторан... или на рыбалку... Да, но кто же станет из-за разговора о ресторане или о рыбалке лезть со своим ключом в чужую лабораторию и сидеть там взаперти, ожидая хозяина? Не та обстановка! И финал не тот, главное... Тогда что же? «Не передумал ли ты отравиться?» Бред собачий!

Нет, фактов решительно недостает ни для какой версии! И вообще дело такое запутанное, что надо бы мне самому посидеть в тот вечер в нашем техническом отсеке и послушать, кто говорит, что говорит. Тогда бы я все распутал и спас бы Аркадия...

Тут опять что-то промелькнуло в моем мозгу, стремительно и неудержимо... какая-то слепящая вспышка в туманной оболочке... И я опять ничего не поймал, а только прижмурился покрепче, будто она через глаза убегала...

В общем, я понял, что на данном уровне ничего больше не выжму из своих серых клеточек, и решил пойти к Чернышеву за добавочной информацией. «Мне-то Ленечка откроется! — подбадривал я себя.— Это он при Линькове говорить не хотел!»

Я дошел до конца коридорчика и только хотел повернуть налево, к лаборатории Чернышева, как вдруг увидел, что оттуда выходит Линьков. Меня как горячим паром всего обдало, я хотел ударить, но не мог, да и поздно было, Линьков меня сразу заметил. Я видел, что он смутился. Но он прошел мимо меня, на ходу задергивая застежку-«молнию» своей разбухшей папки, небрежно кивнул мне, а я все стоял, будто прирос к полу.

Значит, он нарочно отделался от меня, чтобы наедине расспросить Чернышева? Вот до чего он мне не доверяет теперь! Нет... не то! Почему же он сначала преспокойно расспрашивал при мне, а потом не захотел? Догадался, кого назовет Чернышев?

Возможно... однако не понимаю, почему именно мне нельзя об этом знать... Нет, что касается Линькова, это понятно: я не сотрудник прокуратуры, и даже если б он мне полностью доверял... Но Чернышев, Ленечка Чернышев! Я вдруг сообразил, что Ленечка не зря глядел на меня с таким ужасом: он, видимо, считал, что тайна, которую я из него пытаюсь вытянуть при содействии следователя, должна строго сохраняться в моих же собственных интересах, и он не понимал, почему я так странно веду себя... то есть он был уверен, что я з н а ю, кто вышел из нашей лаборатории в одиннадцать вечера! Но тогда... тогда... Я даже простонал от внезапного болезненного озарения. Тогда речь может идти только об одном человеке — о Нине! Идея бредовая, конечно, но в этой истории все граничит с бредом, и чем безумней идея, тем она, может быть, правильней...

Я вернулся в лабораторию, чтобы обдумать все это до разговора с Чернышевым. Ленечка, по идее, сам должен прийти ко мне сейчас и все изложить со всей прямотой. А я пока подумаю...

Нина! Может, потому она и ведет себя так странно? Тут я запнулся. Поведение Нины в эту концепцию как-то не очень укладывается... и не сразу ведь она... Но я решил в это пока не вдумываться, поскольку поведение Чернышева могло иметь только одно, именно это значение.

Хорошо, допустим, Нина. Не в том смысле, что она причастна к смерти Аркадия — это даже в рабочую гипотезу не лезет! И вообще она ушла из института вместе с другими девушками из расчетного отдела и сидела с ними в кино, так что алиби у нее железное... Да, но на более поздние часы у нее, возможно, нет алиби... Сеанс начинался в 19.10, две серии, ну, это часа три, может, и чуть побольше, фильм зарубежный... Значит, вышли они из кино в одиннадцатом часу, даже в половине одиннадцатого. Мине домой идти примерно мимо института... крюк небольшой... Допустим, она решила позвонить мне: я ведь сказал, что доподхна буду в лаборатории... Нет, Аркадий ей сказал ведь, что я ушел из института... и дверь лаборатории была заперта... Зачем же она звонила? А если она именно с Аркадием хотела поговорить? О чем? Допустим, я могу и не знать, о чем... Аркадий ей ответить уже не мог, он был без сознания... Ответил тот, с похожим голосом... Он так все время и сидел там, значит? Странно... но допустим. Ему показалось выгодно заманить Нину в институт, навлечь на нее подозрения, запутать дело... Теперь — как Нина попала в институт? Неужели вахтер ее не запомнил? Ну, ладно, это мы потом выясним. Как-то, значит, попала. Пришла она в лабораторию и... Тут я глянул на часы — и ужаснулся: без пяти пять, мне пора идти, а Ленечка все не приходит да не приходит... Ну, что ж, тогда я сам по дороге загляну к нему. На него нельзя обижаться,— это существо сложное и высокоспециализированное...

Лаборатория Чернышева была заперта. Я подергал дверь, даже постучал тихонько. Посмотрел на часы — 17.00. Ленечка, который днюет и ночует в своей лаборатории, ушел раньше времени. Избегает встречи со мной! Почему? Линьков запретил? Возможно. Очень возможно... Но это значит, что Линьков всерьез подозревает Нину? Нелепость, он же умный человек!

Я не заметил, как дошел до скверика. Есть такой скверик поблизости от института, на углу. Маленький, но очень тенистый и уютный. Мы туда в обеденный перерыв ходим посидеть.

Только я уселся на скамейку, появилась Нина. У меня даже сердце защемило от жалости: какая она бледная, и глаза печальные. Ничего, сейчас мы поговорим с ней по-хорошему, она мне все расскажет, и мы вместе что-нибудь придумаем. Только надо ее сразу подбодрить. А то вот она и на скамейку садится как-то боком и от меня отодвигается... Бедная девочка! Я почувствовал себя сильным и надежным, этакой несокрушимой опорой бытия.

— Нин, ты, главное, не волнуйся,— сказал я максимально задушевным тоном и погладил ее руку.— Мы же с тобой друзья, мы всегда поймем друг друга, если что...

Нина медленно и как-то странно посмотрела на меня.

— Да? Ты в этом так уверен?— с горечью произнесла она.

— Что касается себя, безусловно! — заявил я.— Но ты, видимо, не веришь в это и потому как-то... ну, нервничаешь...

Нина опять уставилась на меня широко раскрытыми немигающими глазами — и вдруг я понял, что она разглядывает меня с недоумением и ужасом... совсем как Ленечка Чернышев, когда мы сегодня пришли к нему с Линьковым. Мне сразу сделалось неуютно и тоскливо.

— Нина, ты что так смотришь? — не выдержав, спросил я.

— Ты не знаешь, почему? — Нина опустила голову и начала теребить ремешок сумки.— Что ж, если не знаешь, то...— Она долго молчала, потом спросила каким-то неестественным, сдавленным голосом: — А с какой это стати ты именно сейчас заговорил о доверии и взаимопонимании?

— Ну... вообще...— Я совсем растерялся и не знал, что сказать.— Мне показалось, что ты... что у тебя на душе что-то есть... И потом вот с Чернышевым я говорил сегодня...

— С Чернышевым? — быстро спросила Нина и опять замолчала, что-то обдумывая.— Да, Чернышев ведь был в тот вечер в институте... Он... он видел? — выкрикнула вдруг она.— Ну, говори, что ж ты молчишь! Он видел?!

— Да...— нерешительно ответил я.— Видел...

Нина глубоко вздохнула.

— Тогда чего же ты не понимаешь? — почти спокойно спросила она.

Во время этого странного разговора мне в основном казалось, что я вообще ничего не понимаю. Даже если моя гипотеза ошибочна и Нина не была тогда в лаборатории, то почему она смотрит на меня так, будто я ее обвиняю в убийстве и волоку в милицию?

— Нина,— сказал я решительно.— Давай говорить прямо! Чернышев сказал, что он видел в тот вечер, в 11 часов, как из нашей лаборатории кто-то выходил. Но он уверял меня и Линькова, что не узнал этого человека. По-моему, он просто не хотел сказать правду. Он почему-то хотел защитить этого человека.

— Тебя это, кажется, удивляет? — с горькой иронией спросила Нина.

Я посмотрел на нее. Она сидела, слегка откинувшись на спинку скамейки и запрокинув голову, и опять меня поразило, до чего Нина красивая. Классически красивая, хотя и вполне современная с виду. Но вот, например, профиль — удивительно чистые, чеканные очертания, для современной красавицы вовсе не обязательно... Нет, что удивляться Чернышеву — есть же у него глаза! Не говоря уж о том, что он вообще типичный интеллигент, создание совестливое, и ему глубоко неприятно подставлять под удар своих знакомых, а тем более женщин...

— Нет, ничуть меня это не удивляет,— ласково сказал я.— Ведь я догадался, кого он видел...

— Очень трудно было догадаться? — почему-то с явной насмешкой спросила Нина.

— Ну... как тебе сказать? — осторожно заговорил я.— Вообще-то... я этого никак не ожидал... и ты до сих пор ничего мне не сказала... я не могу понять, почему...

— А Чернышев и меня, что ли, видел? — недоверчиво спросила Нина.— Глазастый какой оказался, никогда бы не подумала...

Она говорила теперь удивительно спокойно, с грустным юмором. Я совсем сбился с толку. Если Нину не очень-то волнует, что Чернышев ее видел... «И меня, что ли, видел?» И ее... а кого же еще?

— Нина, а кто с тобой был? — осторожно спросил я.

— Со мной? Да никого не было... к счастью! — с удивлением отозвалась Нина.— Только еще и не хватало, чтобы вся компания видела... Я уж хоть тому радовалась, что случайно одна пошла...

Нет, сплошные какие-то шарады и ребусы! Если Нине зачем-то и понадобилось в такую неурочную пору видеть Аркадия, то уж наверняка не для решения производственных или профсоюзных вопросов... и не для трепа в компании... К чему же эти разговоры, что она только случайно пошла туда одна?

— Ниночка, я, наверное, чего-то не понимаю.— Я старался говорить спокойно и ласково.— Прежде всего: о чем ты хотела говорить с Аркадием? Ты извини, может быть, это неделикатный вопрос, но, понимаешь, такие обстоятельства...

Нина нетерпеливо пожала плечами.

— Я тоже, наверное, чего-то не понимаю,— сухо сказала она.— Ты думаешь, я что-то скрыла от тебя? Нет, я совершенно точно передала мой с ним разговор...

— Я не про тот разговор...— уныло пробормотал я, чувствуя, что все больше запутываюсь.

— А про какой же еще? — удивилась Нина.— Слушай, Борис, вот тебя я действительно не понимаю. Я пришла с тобой серьезно поговорить, ты знаешь, о чем. А ты вместо этого крутишь, какие-то нелепые намеки делаешь... Ведь никуда же не денешься, говорить нам надо. Можешь быть уверен, что мне об этом говорить очень трудно... наверное, не легче, чем тебе...

Я в отчаянии покачал головой. Сплошной туман и мрак!

— Мы о чем говорим-то, Нина? О том вечере двадцатого мая, верно?

— О чем же еще? — с презрительным удивлением отозвалась Нина.

— Ну вот... Ты прямо из кино пошла к институту, верно? И по дороге позвонила в лабораторию? Примерно в половине одиннадцатого?

— Да...— неохотно подтвердила Нина, не глядя на меня.

— А кто тебе ответил?

— Никто. Но я звонила из автомата на углу Гоголевской, так что все равно пошла к институту.

— Как все равно? — удивился я.— Зачем же тебе было идти, раз никто не ответил?

Нина помолчала, глядя на меня как-то странно.

— Я понимаю,— сказала она наконец,— тебя больше устроило бы, если б я пошла по другой улице... Но уж так получилось, что поделаешь... не повезло тебе...

Она вдруг резко отвернулась и достала из сумки носовой платок. Я с изумлением и страхом увидел, что она осторожно прикладывает уголок платка то к одному, то к другому глазу, а плечи ее слегка вздрагивают. Я вообще ужасно боюсь слез! А что Нина может плакать, я бы и не поверил никогда.

— Нин, родной, да не плачь ты! — жалобно заговорил я.— А то я и сам разревусь! Ну, Нин, Лин-Лин, очень тебя прошу!

Я обнял Нину за плечи и осторожно повернул лицом к себе.

— Все же ты — чудо природы! — с восхищением сказал я.— Первый раз в жизни вижу девушку, которой даже слезы к лицу!

И тут Нина расплакалась по-настоящему! Она уткнулась лицом мне в грудь, и вся затряслась от рыданий.

— Боря, Боря! — прерывисто говорила она, глотая слезы.— Я совершенно ничего не понимаю! Я не могу поверить, что это ты так ведешь себя... это так на тебя непохоже!

Я совсем обалдел, слова не мог выговорить.

— Я никогда не поверила бы, никогда, никому, ни за что! — говорила Нина сквозь слезы.— Если б ты сам не сказал.

— Да что же я такое сказал? — с трудом выговорил я.

— Ты же знаешь! — Нина выпрямилась и начала старательно вытирать слезы; теперь она не выглядела красивой: лицо осунулось, глаза набрякли и покраснели...— С самого начала... и теперь... молчание, ложь, какие-то нелепые выкрутасы... Боря, ну скажи мне, что случилось? Что с тобой случилось?! — Она схватила меня за руки и глядела мне прямо в глаза, напряженно, ожидающе.

Я безнадежно пожал плечами.

— Ниночка, ну поверь мне: я даже догадаться не могу, о чем ты говоришь и в чем меня упрекаешь. Я только знаю, что перед тобой ни в чем не виноват...

— Ты, должно быть, с ума сошел! — тихо, с ужасом сказала Нина.— Ведь ты же видишь, что я з н а ю... хоть теперь-то перестань ломать комедию... это же нелепо, недостойно, зачем ты так? Да что бы ты ни сделал, я...

Всей этой бредятины было для меня слишком много, и я от обалдения вдруг перешел к полнейшему спокойствию.

— Нина, хватит намеков и недомолвок,— сказал я трезво.— Так мы только измучаем друг друга и ни к чему не придем. Ответь мне только на один вопрос: в лаборатории был кто-нибудь... ну, кроме Аркадия, конечно?

Нина тоже перестала плакать и ответила мне совершенно спокойно, с оттенком презрения:

— Конечно, был! Уж ты-то знаешь, что был!

— Подожди, Нина, не торопись,— попросил я.— Допусти все же, что я не знаю. Можешь ты мне совершенно серьезно и спокойно ответить: кто это был? Кого ты видела?

— Могу. Если ты хочешь, могу,— печально и безнадежно сказала Нина.— Пожалуйста!

— Так кто же? — настаивал я.

— Ты! Ты сам,— четко ответила Нина.— Ты хочешь сказать, что не знал этого?

У меня все поплыло перед глазами, но я держался.

— Ниночка, подожди. Спокойно. Я там не был. Я был весь вечер в библиотеке, я же тебе говорил.

— Да, ты мне говорил...

— Ну вот. Зачем же ты говоришь, что я был в лаборатории? Кто тебе это сказал? Кого ты там видела? — монотонно спрашивал я.

— Борис, ну зачем все это... Никто мне ничего не говорил о тебе, и никого я больше там не видела. Только тебя.

— Ниночка, успокойся. Ну, пойми, что это невозможно. Где именно ты меня видела?

— У окна, конечно...

— Почему же — конечно? И ты со мной говорила? Я тебе отвечал? Ты слышала именно мой голос?

Вопросы я задавал нелепые, но и вся ситуация была трагически нелепой. А у меня вдруг мелькнула идиотская мысль, что если тот человек по голосу похож на Аркадия, то по внешности, может быть, на меня...

— Перестань, Борис,— уже без гнева, совсем устало проговорила Нина.— Ну, как я могла с тобой говорить, что за нелепые вопросы! Я даже окликнуть тебя не решилась, неудобно было...

— Почему неудобно? — тупо спросил я.

Это бытовое, будничное словечко, совершенно не применимое к ситуации, ошеломило меня.

— Потому что ночью орать через всю улицу действительно неудобно...— без выражения произнесла Нина.

— Какая улица? При чем тут улица? — почти закричал я, опять потеряв равновесие.— Ты же меня видела где? В лаборатории?

Нина говорила все так же безжизненно и равнодушно:

— Да, я тебя видела в лаборатории. Ты стоял у окна.

— А улица тут при чем?

— При том, что я была на улице,— матовым, бесцветным голосом сказала Нина.— Я проходила мимо института и с той стороны улицы увидела тебя в окне лаборатории.

Я уставился на нее, ничего не понимая.

— А в лаборатории ты вообще, что ли, не была?

— Конечно, вообще не была. Не задавай нелепых вопросов.

Я помотал головой, силясь хоть что-нибудь сообразить.

— А ты уверена, что видела именно меня?

— Уверена. Сначала ты стоял в профиль, а потом глянул в окно, и на твое лицо упал свет фонаря. Я тебя ясно видела.

Я уже просто не знал, что делать и что говорить. Сидел, тупо глазел, как Нина пудрится и поправляет волосы, и только отдувался, словно спринтер после проигранного забега.

Нина сунула пудреницу в сумку и встала.

— Я понимаю, что тебе уже нечего сказать,— с презрительным сочувствием проговорила она.

Сказать мне действительно было нечего. Я повторял только одно: «Я там не был. Я там не был». Но это я говорил про себя и для себя: я уж и сам начал что-то путаться, где я был, а где не был. Для Нины я не мог найти слов и поэтому уцепился за первые попавшиеся.

— Нина! Ну поверь ты мне! — сказал я.— Это... это обман под маской истины!

— Лунный камень,— неприятно улыбаясь, ответила Нина.

— Какой камень? — Я уже не удивлялся.

— Роман Уилки Коллинза «Лунный камень». Эти слова говорит Фрэнк своей Рэйчел. Может быть, ты тоже наглотался опия и в лабораторию попал в состоянии транса?

Уилки Коллинз меня, признаться, дорезал. Я еще и плагиатор, оказывается!

— Ну, вот что, Борис, я пошла,— сказала Нина, стоя передо мной.— Ты телефон Линькова знаешь? Нет? Ну, вот тебе его домашний телефон, я сегодня у него попросила.

Она написала номер на листке, вырванном из записной книжки, и протянула мне.

— Зачем мне его телефон? — спросил я, вертя в руках листок.

— Затем,— твердо сказала Нина,— что ты сейчас же позвонишь Линькову, уговоришься с ним о встрече и расскажешь ему все, что знаешь. Он сказал, что сегодня вечером будет дома... В девять часов я позвоню ему. Если узнаю, что ты еще не звонил и не был у него, я сама пойду к нему и все расскажу...

— Отлично,— сказал я и тоже встал.— Можешь идти и ему когда угодно и рассказывать что угодно. Я все, что знал, давно рассказал ему. А наговаривать на себя я не могу. Даже в угоду тебе.

Нина опять неприятно усмехнулась.

— А ты зря подался в физики,— заявила она.— В тебе пропадает великий актер!

Она резко повернулась и ушла. Я стоял и смотрел ей вслед.

Вот так. Вот это история. Нина видела меня. Чернышов, ясное дело, видел тоже меня: воображаю, каково ему было, когда я же из него вытягивал признание! Линьков догадался по его физиономии, кого он видел, поэтому и поспешил меня выставить... А может, он меня и раньше подозревал... Нина не будет сочинять. Ленечка тоже не будет сочинять. Они действительно видели меня в тот вечер в лаборатории... Между тем я сам себя видел в библиотеке...

Нелепая ослепительная мысль опять скользнула по краю сознания... замедлила... Я чуть не заорал. Батюшки, ну и кретин же я! Уж до этого я мог бы додуматься раньше, просто обязан был додуматься! Нет, понадобилось, чтобы меня, словно крысу, загнали в тупик, чтобы все обернулось против меня, чтобы все перестали мне верить, и только тогда мои драгоценные серые клеточки соизволили наконец сработать! Ну что ж, лучше поздно, чем никогда! Единственное возможное решение найдено. Осуществить его будет нелегко, но... да ничего, справлюсь я! Должен справиться, раз другого выхода нет...

«Другого нет у нас пути!» — фальшиво пропел я и со всех ног ринулся к институту.

Продолжение следует.

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

Линьков пока ничего не понимает

Утро было переменчивое: порывами налетал влажный ветер, гонял облака по небу, солнце то сияло и грело вовсю, то пряталось за серыми облаками и моросящим теплым дождем. И настроение у Линькова было под стать этому утру. Выйдя из дому, он с облегчением думал, что дело наконец распутывается и что скоро можно будет удрать куда глаза глядят от этой проклятой головоломки. Но от дома до института было восемь кварталов, и пока Линьков прошагал эти кварталы, настроение его качнулось на 180 градусов в сторону глубокого пессимизма. На ближних подступах к институту он установил, что информация, полученная от Чернышева и Берестовой, ничего не проясняет, а только дополнительно и уже совершенно безнадежно запутывает дело. По-настоящему ясно было лишь одно: что все прежние конструкции никуда не годятся. А новые факты ни в какую схему не укладываются, просто валяются порознь.

И самое неприятное во всем этом хаосе было то, что Борису Стружкову доверять совершенно нельзя. Что он, Линьков, все эти дни был простофилей, которого водил за нос ловкий актер.

Факты — вещь упрямая. А это, видимо, факт, что Стружков поздно вечером 20 мая был в лаборатории. Допустим, Чернышев мог ошибиться... Линьков после беседы с ним уже принимал мысленно, представлял себе коридорчик у лаборатории,— что, собственно, мог увидеть Леночка... Но вечерний звонок Нины Берестовой положил конец сомнениям. Два человека видели Стружкова... И если б эти люди были ему враги, а то ведь совсем наоборот! Леночка чуть не распрямлялся после того, как признался, что видел Бориса. Нина, правда, не планала, но она говорила таким преувеличенно твердым, деревянным голосом... Чувствовалось, что каждое слово дается ей с невероятным трудом.

Ну, хорошо: значит, это факт, что Стружков вечером был в лаборатории. И что же дает этот факт? Да пока ровно ничего. Стружков, значит, что-то скрывает, но что? Ведь не убил же он Левицкого! Не мог он его убить! Потому что нельзя ни силой, ни хитростью добиться, чтобы взрослый, физически сильный человек глотнул такую массу таблеток...

Более правдоподобна другая версия: Стружков не хочет признаться, что был в лаборатории, потому что он видел умирающего Левицкого и не поднял тревогу, не попытался спасти его... Около одиннадцати вечера Левицкий, конечно, был уже без сознания... Если б даже Стружков подумал, что Левицкий просто спит, он должен был бы попытаться разбудить его... в общем, он не мог не заметить. Почему же он не пытался спасти Левицкого? Ну, почему? Смерть Левицкого была ему на руку? Каким образом?

И вообще, зачем Стружков вернулся в институт? С этого, пожалуй, надо бы начать. Ушел, сидел в библиотеке, потом пошел обратно. Кстати, а как же он прошел в институт? Вахтер ведь о нем не упоминал. Наоборот, твердо заявил, что в этот вечер в институте оставались только двое: Левицкий и Чернышев. Правда, старик он, память у него, возможно, уже с прорехами, но все же...

Тут Линьков вошел в проходную и обрадовался: дежурил тот самый дед, Василий Макарыч по имени, что и вечером 20 мая; 21-го Линьков с ним разговаривал.

Дед его сразу узнал и уважительно, чуточку даже церемонно поздоровался, приподнявшись с табурета за деревянным барьером. Линьков тоже очень вежливо ответил на приветствие, однако извлек и предъявил свое удостоверение — больше для того, чтобы завести разговор об институтских порядках. Разговор действительно завязался, и Линьков для начала спросил, пришел ли уже на работу Стружков. Ему хотелось выяснить, знает ли дед Стружкова в лицо.

Оказалось, что дед превосходно знает Стружкова и что на работу Стружков сегодня еще не приходил,— это Василий Макарыч сказал сразу, даже не глянув на табельную доску с ключами.

— Он так-то аккуратный, ни на минуточку не опоздает,— прибавил он сокрушенно.— Заболел, может? С горя оно и недолго...

Линьков пробормотал что-то неопределенное и задумался. Раз этот вахтер так хорошо знает Стружкова, то вряд ли есть смысл снова спрашивать его о вечере 20 мая. Он бы наверняка запомнил, если б Стружков пришел или ушел в неурочный час... Но все же, чем черт не шутит... Линьков тихонько вздохнул, поправил очки и, облокотившись о барьер, начал допытываться у деда: мог ли он не заметить или не запомнить, что Стружков в тот вечер оставался в институте или что ушел и вернулся? Дед держался непоколебимо: нет, он на память не жалуется, забыть не мог, всегда точно помнит, кто остается в институте вечером, а Стружкова тем более заметил бы.

— Ну, а если бы...— Линьков прикинул в уме,— если бы, скажем, Стружков вышел из института ровно в пять, а вернулся без четверти шесть, вы бы его тоже заметили? Даже в толпе, когда все выходят?

«Вообще-то Стружков мог бы даже и не выходить из института! — вдруг сообразил Линьков.— Книги в библиотеке он мог заказать, допустим, в обеденный перерыв...»

— Дак, мил человек! — сказал дед, изумленно глядя на Линькова.— Все одно бы я его приметил, ежели б он обратно вернулся да всем супротив пошел...

«Тоже верно,— подумал Линьков,— это ж прямо на рожон лезть... И все бы заметили, что он зачем-то обратно идет в институт... Нет, он, наверное, вообще не выходил!»

— А вы это к чему спрашиваете, извиняюсь, конечно? — вдруг забеспокоился дед.— Ай подозрение имеете на Бориса Николаевича? Зря это, ой, зря, поверьте моему слову!

Он с такой горькой укоризной поглядел на Линькова, что тот сдался.

— Подозрения не подозрения,— сказал он, доверительно склонившись к деду,— а вот говорят, будто видели Стружкова в тот вечер в институте... около одиннадцати.

— Около одиннадцати? — удивился дед.— Да кто ж его мог видеть? Чернышев разве? Он один и был там... окромя покойника... Чернышев, верно, вышел в одиннадцать... А позже Чернышева уж никто не выходил, это я точно знаю, как хотите! Ежели только ночевать он там остался, но выходить не выходил!

«Может, и вправду ночевать остался? — раздумывал Линьков.— Да нет, что я! Ведь ему же при мне звонили утром домой, вызывали в институт...»

Он поблагодарил деда, заверил его, что все выяснится, и побрел через двор в здание института. Предстоял неприятный, но неизбежный разговор с институтским начальством. Точнее говоря, с заместителем директора института по научной части доктором физико-математических наук Шелестом... Директору института академику Грабовскому такие разговоры вообще были противопоказаны по состоянию здоровья, а к тому же Грабовский 22 мая улетел на симпозиум в Москву.

Линьков вошел в просторный кабинет Шелеста, солидный и сумрачный, как большинство помещений в этом старом, добротном здании, построенном лет шестьдесят назад, и уселся у стола, положив перед собой рыжую папку. Шелест угрюмо-насмешливо покосился на эту папку и спросил, как продвигаются дела.

— Да вот...— старательно протирая очки, сказал Линьков,— некоторые новые факты имеются... Они, пожалуй, меняют суть дела.

— Что ж,— сказал Шелест, неопределенно хмыкнув,— я вас слушаю.

Линьков начал рассказывать. Шелест слушал, насупившись, почти совсем упрятав глаза под нависшими густыми бровями.

— Что же, однако, из этого следует? — осведомился он, когда Линьков изложил суть показаний Чернышева.— Ну, был кто-то в лаборатории, ждал Левицкого...

— И заперся изнутри? — вежливо подсказал Линьков.

— Не обязательно заперся...— подумав, объяснил Шелест.— Мог, знаете ли, войти и по нечаянности захлопнуть дверь...

— Как же он мог войти,— терпеливо спросил Линьков,— если минут за пять — десять до этого дверь была заперта?

Шелест гулко откашлялся.

— Заперта, говорите? — пробормотал он и поморщился, будто вспомнил что-то неприятное.— Ну, допустим... И что же все-таки?

— Да вот оказывается, что около одиннадцати из лаборатории вышел Стружков,— с большой неохотой сказал Линьков.

— Стружков? — недоверчиво переспросил Шелест.— Каким же это образом?

— Чернышев его отчетливо видел.

— Опять Чернышев? Какой прыткий оказался, никогда бы я не подумал! — с неодобрительным удивлением сказал Шелест.— Ну, Чернышев и обознаться мог...

— Берестова тоже видела...

— Берестова?! — Шелест даже приподнялся слегка.— Ну-ну...

Он молча выслушал Линькова до конца. Потом покачал головой, повторил: «Ну-ну»,— нажал кнопку звонка и велел секретарше срочно вызвать Стружкова.

— Около одиннадцати, говорите? — после паузы спросил Шелест.— То есть Левицкий был уже... ну, умирал... А Стружков, значит... Нет, уж как хотите, а этого не может быть!

Линьков молча пожал плечами.

— А вы-то сами что об этом думаете? Об этих фактах?

— Видите ли...— неохотно начал Линьков.— Факты говорят не в пользу Стружкова. Он видел Левицкого в таком состоянии... и не попробовал помочь, не поднял тревогу... сбежал... А главное, уж очень он ловко разыгрывал комедию все эти дни! — Линьков не смог скрыть злости и обиды.

— Меня это очень удивляет...— медленно сказал Шелест.— Очень! Я ведь Стружкова не первый год знаю. Но дело даже не в этом... Вы можете объяснить, зачем и почему он это делал? То есть: что именно он скрывал? Ведь не убил же он Левицкого? Или вы уж думаете, что он и убил?

— Не думаю...— Линьков не глядел на Шелеста.— Но тут вообще слишком много неясного. Может быть, после разговора со Стружковым мы...

Тут появилась секретарша. Вид у нее был несколько расстроенный. Шелест посмотрел на нее и нахмурился.

— Ну? Где Стружков? И вообще — что случилось?

— Стружкова нет в институте. Лаборатория заперта.

— Домой звонили?

— Да. Соседка говорит, что не видела его ни утром, ни вечером. Если он и ночевал дома, то пришел поздно, а ушел очень рано.

— Та-ак...— протянул Шелест.— А еще что?

— Дежурный энергетик подал докладную... Вчера на вечернем дежурстве был большой перерасход энергии...— секретарша запнулась, будто ис-

---

Продолжение. Начало в №№ 8 - 11.

пугавшись, и добавила: — В лаборатории Стружкова...

— Пошлите на проходную, пускай ключ принесут,— сказал Шелест.

Потом он медленно, устало поднялся и вышел из-за стола. Линьков тоже встал. Ему вдруг стало холодно.

— Пойдемте посмотрим, что там такое...— угрюмо проговорил Шелест.

В приемной Шелест сказал секретарше, чтобы энергетик позвонил ему в лабораторию Стружкова, и вышел, взяв на пороге ключ у солидного лысого завхоза.

Они прошли в другой конец здания, свернули в коридорчик, ведущий к боковой лестнице, и остановились перед дверью лаборатории локальных перемещений.

— Открывайте вы, что ли,— сказал Шелест, протягивая Линькову ключ с жестяным номерком на проволочке.— Согласно вашим порядкам...

Линьков повернул ключ в замке, распахнул дверь.

В лаборатории никого не было.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мчался я к институту на такой скорости, что прохожие, вероятно, воспринимали меня как конгломерат цветовых пятен с размытыми контурами. А сам я никого не видел и ничего не воспринимал. Вернулся я в евклидово пространство только у проходной, но во дворе снова взял хороший спринтерский темп и финишировал у дверей лаборатории ровно в 17.36. Я даже на часы зачем-то посмотрел.

«Это же ясно и наглядно, как бублик! — думал я, уже в замедленном темпе отпирая лабораторию.— Нина видела меня в лаборатории, а я был в это время в библиотеке. Если исключить сознательную ложь, а также галлюцинации и прочие неполадки в области психики — а все это безусловно следует исключить,— то подойти к данной проблеме возможно лишь одним путем: через хронофизику! И даже странно, что я так долго не мог до этого додуматься».

А впрочем, ничего странного. Чтобы додуматься до такого решения, нужно позабыть о той повседневной, будничной хронофизике, за которую сотрудники нашего института дважды в месяц получают зарплату. Это решение из области хронофизики нарядной, парадной, почти сказочной: перемещения человека во времени, временные петли и тому подобные вещи, которые поражают воображение среднего землянина. Товарищ Стружков уже был там, где он еще не был, и уже сделал то, чего он еще не делал, а вдобавок ничего он об этом не знает...

Там, в сиверине, я не успел ничего толком обдумать. Слишком меня поразила сама мысль: если кто-то (собственно, не кто-то, а я, Борис Стружков, только другой!) уже перемещался во времени, значит, и я могу это сделать, могу побывать снова в 20 мая, все увидеть, все выяснить... все переиначить! Конечно, переиначить, конечно, действовать, а не только выяснить!

Что и говорить, идея эта увлекательная, да и другого выхода нет... Но сейчас, когда я стоял перед хронокамерой, мне стало казаться, что есть тут какая-то закавыка... Нет, правда: как же это я отправлюсь в прошлое, в 20 мая, если я туда уже отправлялся? Может, таким манером я образую петлю времени? Ведь что получается: я отправился в 20 мая, Нина и Ленечка меня там увидели, сказали об этом мне, я надумал отправиться в 20 мая, теперь отправлюсь, они меня там увидят, скажут мне об этом и... Ну, в общем, получается наглухо замкнутая петля, нечто вроде «у попа была собака».

Нет, это я что-то чепуху понес, изменения мировых линий никак не учитываю... А время идет, надо действовать... Н-да, попробуй тут действовать! Неизвестно даже, с какого конца приняться. И под ложечкой сосет от страха, будем откровенны, чего уж тут!

Как только я сказал себе это, мне стало еще страшней, даже пот прошиб. Я принялся расхаживать по лаборатории, чтобы успокоиться, но вот ноги меня не очень слушались...

«Посоветоваться бы с кем...» — тоскливо подумал я. Но я превосходно понимал, что посоветовать мне могут только одно: срочно обратиться к психиатру. А если я у Шелеста совета спрошу, так он немедленно распорядится, чтобы меня к хронокамерам и близко не подпускали. Это уж точно. Да и что я ему скажу? «Разрешите мне по личным обстоятельствам смотаться на часок-другой в прошлое? Поле рассчитать — это нам раз плюнуть, мы все могём!»

Нет уж, на консультантов рассчитывать не приходится. А придется самому в хорошем темпе пошевелить мозгами...

Значит, что же мы имеем в активе? В активе мы имеем тот факт, что я (то есть опять-таки не лично я, вот этот самый, а какой-то еще Борис Стружков) совершил переход во времени минимум один раз! Из этого следует, что такой переход не только возможен в принципе, но и осуществим практически. Остается, правда, выяснить, как же его осуществить, но это все же нюансы...

Теперь пассив. Что говорит по этому поводу наука хронофизика? Наука хронофизика в принципе не имеет никаких возражений против путешествий человека во времени — ну, возражений в смысле технической возможности таких увлекательных экскурсий и экспедиций. Не имеет. Но в принципе. А от принципа до практики расстояние иногда такое, что хоть в парсеках его измеряй.

Одно время этим вопросом общественность сильно интересовалась: мол, скоро ли можно будет к прадедушке в гости прогуляться или, наоборот, к правнукам заглянуть — как они там без нас управляются? Общественность, она ведь настырная. Про кибернетику в свое время почитали — сразу начали интересоваться насчет мыслящих машин и человекоподобных роботов: как, да что, да не заменят ли они нас? Потом на космонавтику переключились: вынь да положь нам фотонные ракеты — к звездам слетать просто не терпится! То же самое и с путешествием по времени. Мы все уже давно привыкли: как узнают, что ты в Институте Времени работаешь, так непременно кто-нибудь спросит насчет путешествия по времени! Конечно, тут и фантастика свою роль играет. Ведь у фантастов всякие там роботы, включая сверхгениальных, ракеты, в том числе фотонные, и путешествия по времени — это давно уже не тема сама по себе, а просто обстановка действия, как в современном романе телевизоры, транзисторы и реактивные самолеты.

Мы с Аркадием даже считали, что здесь какая-то закономерность работает. Вот три разные области: кибернетика, космонавтика, хронофизика. И у каждой есть свои «эффектные» проблемы, которые в принципе решить вроде возможно, а на практике никак не получается. Кибернетика не отрицает мыслящих машин, и космонавтика не отвергает фотонных ракет; в принципе и то и другое признается возможным. И мы тоже признаем такую возможность, что люди будут по времени путешествовать,— в принципе признаем, в перспективе. А между собой в институте даже и не разговариваем на эту тему. Хотя бы потому, что к нашей работе она имеет весьма отдаленное и чисто теоретическое отношение. Некогда просто да и не к чему нам об этом говорить.

Неспециалисту, конечно, может показаться, что никакой принципиальной разницы между брусочком и человеком нет. Но мы в этой каше уже не первый год варимся, и чем дальше уходишь в дебри хронофизики, тем яснее видишь, сколько преград стоит еще на пути к этой «принципиальной возможности». Все проблемы и все науки тут переплелись и перепутались, и сквозь них прорубаться надо, как сквозь джунгли. Тут тебе и физика, и биология, и социология...

Какие нужны поля, конфигурации, мощности, камеры для того, чтобы перемещать человека во времени,— это проблемы из области техники, физики, математики. И все это еще цветочки по сравнению с дальнейшим, где появляются ягодки, и даже весьма ядовитые. Хотя и на цветочках этих вполне свободно шею сломаешь. Показали нам с Аркадием парочку принципиальных расчетов — с ума можно сойти! Аркадий, конечно, виду не подал, заявил, что, мол, нам это вроде кроссвордов, для отдыха. Но из этих математических дебрей он выбрался на полусогнутых...

Ну, а биология — это следующая степень трудности. Нет ведь никакой гарантии, что человек вообще сможет вынести перемещение во времени! Опасностей тьма! Тут тебе и переменное магнитное поле, которое и вообще-то не сахар, а уж тем более, когда оно такой жуткой силы... Тут тебе и взаимодействие с тахионами, что в просторечии означает облучение,— с этим, понятно, тоже шутить не приходится. А потом — кто его знает, что вообще произойдет, если в тебе все биологические процессы вспять двинутся? Молодеть, что ли, начнешь? Вроде бы оно и неплохо, только неизвестно, как далеко пойдет это дело и когда прекратится. Если у него на лысине мудри завьются или недостающие зубы снова во рту прорастут — это можно приветствовать. Ну, а если дальше — больше: эти зубы опять выпадут, а вместо них молочные пойдут прорезываться и ты начнешь заново учиться ходить и говорить,— тогда как? Никто ведь ничего не знает.

А история, социология и так далее? Тут, как подумаешь чуточку, так прямо руки опускаются и по спине мурашки бегают. Возьмем мой случай — сугубо личный и частный. Иду я, значит, к начальству, и тому же Шелесту, и говорю: «Разрешите в прошлое смотаться». И, допустим, дают мне такое разрешение. Но вот интересно: что именно мне разрешают и на что рассчитывают при этом? Я действительно отправляюсь по сугубо личному делу: мне нужно спасти друга и выяснить, по какой причине он погиб. Удается мне спасти Аркадия или не удается — все равно я там, на уже не существующем для нас отрезке времени, хожу, говорю, совершаю какие-то действия, а значит, влияю на ход события. Изменяю их. Изменяю события, которые уже породили целую цепь взаимосвязанных последствий. Что из этого следует? То, что я своими действиями порождаю иные следствия. Что я создаю иную историю, иной мир, не тот, в котором я жил.

Нет, минуточку: а что же тогда будет с тем, то есть с этим вот миром? С этим, где Аркадия послезавтра будут хоронить, где Линьков меня подозревает, а Нина презирает? Я хочу изменить именно эти обстоятельства, но ведь я изменю весь мир вообще? Или нет?.. Тьфу ты, я ведь вчера только объяснял все это Линькову, а теперь вдруг сам запутался! Ну да, с Линьковым разговор был чисто теоретический, на уровне интеллектуального трепа, а тут практика! Человечество в моем лице впервые столкнулось с таким вопросом на практике. Потому что если я (другой «я», но это все равно) уже побывал в прошлом, то проблема из теоретической превратилась в практическую. То же изменил мой вояж в прошлое, и в каком, собственно, мире мы живем — в том или в этом; то есть какой он,— измененный или тот, прежний?

Человечество в моем лице крякнуло от непосильного интеллектуального напряжения и махнуло рукой, отчаявшись что-либо понять на данном этапе. Надо же! Линьков вчера — неужели только вчера? — спросил, не живем ли мы в мире, который кто-то уже основательно изменил. А я так спокойненько ему ответил, что, мол, даже и не сомневаюсь в этом нисколечко. Но это был треп ради трепа или вернее ради того, чтобы произвести впечатление на Линькова, и мне было, строго говоря, до лампочки, измененный это мир или нет,— ну просто я над этим не думал. А сейчас шутки в сторону: ежели что, так ведь это я изменил мир, я, Борис Стружков, пускай другой совсем и мне лично незнакомый, но все же я... Тьфу ты, пропасть! И я же собираюсь снова лезть в прошлое и снова изменять мир...

Да, но что я натворил там, в прошлом, вот интересно? В каком направлении я переиначил события? И зачем я вообще туда полез? Позвольте, а зачем я сейчас лезу, то есть собираюсь лезть? Спасти Аркадия и распутать весь этот узел, так? Постой, постой!.. А может, я — другой я — уже сделал это? Может, затем и лазил в прошлое? То есть скорее всего затем!..

Очень уж чудно это было и неприятно — стоять в пустой лаборатории, такой пустой и тихой, что в ушах звенит от тишины, и рассуждать о том, что и почему я делал, твердо зная, что я-то лично этого не делал! Я оглянулся сам на себя, на себя лично, который вот тут стоял, нашел, что выгляжу я довольно кретински и что лучше бы мне не торчать как пень посреди лаборатории. Сделав этот вывод, я кое-как добрел до своего стола и плюхнулся на табурет возле него. От перемены позиции мне легче не стало, наоборот, мысли как-то совсем разбежались, но я встряхнулся и решил, что сейчас буду рассуждать строго логически, не поддаваясь эмоциям.

Ну вот, логически: полез бы я спасать Аркадия в прошлое, в будущее, к черту на рога или на кулички, все равно?.. Безусловно, полез бы. Но полез бы лишь в том случае, если б знал, что он погибает или уже погиб,— ведь так? Значит, если я из того, неизмененного мира (допустим, что этот, в котором нахожусь в данный момент я, уже изменен) отправлялся в прошлое, чтобы спасти Аркадия, то я знал о смерти Аркадия, она и в том мире была совершившимся фактом! Тогда что же получается? В том мире Аркадий умер: я отправился в прошлое, чтобы спасти Аркадия, и... выходит, я его не спас, потому что и в этом, нашем мире он мертв! И, может, если я опять отправлюсь в прошлое и опять изменю мир, то Аркадий все равно погибнет и в том мире? Чепуха какая-то получается...

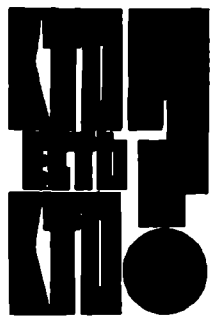
Постой,— а почему я так уверенно рассуждаю именно о прошлом? Может, в лаборатории видели меня, пришедшего в свое будущее? Но тогда я должен был бы знать об этом... Или не должен? Ох, шею сломать можно на этих петлях времени!

Я все отгонял от себя еще одну мысль, а она упорно вертелась рядышком и ехидно хихикала. Почем знать: может, этот мой приход в прошлое и стал причиной смерти Аркадия? Что, если я, тот я, вовсе не собирался спасать Аркадия, а наоборот? Ведь сидел же кто-то в нашей лаборатории, запертый изнутри! Потом пришел Аркадий... Потом, поздно вечером, оттуда вышел человек, и этот человек был я... А Аркадий в это время лежал без сознания, умирал... Как же я мог выйти и бросить умирающего Аркадия, если хотел его спасти? Даже если я отправился в прошлое с любой другой целью... кроме одной! Можно ведь допустить и такое — что в том, неизмененном мире у меня были совсем другие взаимоотношения с Аркадием... Ну, нет, это я уж хватил! Во-первых, я бы тогда и в прошлое не полез... хотя... постой: а если это был хитроумно задуманный план?.. Нет, бред собачий, с ума я сошел! Нельзя же тасовать миры, как колоду карт, по своей прихоти. Они ведь растут из общего корня, эти разные миры, и новое ответвление может начинаться лишь от той точки, в которой побывал путешественник во времени и совершил там какие-то дополнительные действия... То есть в данном случае это было 20 мая сего года, от этого вечера и идет развилка между тем миром и этим, где я нахожусь, а до 20 мая это был общий мир, тот, какой я лично знаю и помню... Если только не побывал в прошлом еще кто-нибудь... Мало ли что, нашелся еще один такой умник... У нас, или в США, или в Японии... Полез куда не надо, изменил мир неизвестно как. Ну, об этом лучше не думать, а то вовсе запутаешься...

Потом — разница между ответвлениями возникает и увеличивается лишь постепенно. И величина ее зависит от силы воздействия... Если, допустим, я отправлюсь на три дня назад и там сломаю вот этот табурет, то мир, конечно, изменится: одним табуретом в нем будет меньше. Но все воздействие ограничится воркотней завхоза или на худой конец выговором в приказе кому-то из Борисов Стружковых. Ни в масштабах космоса, ни в глобальном масштабе это, надо полагать, ничего не изменит и даже в областном масштабе пройдет незамеченным. Другое дело, если я этот табурет сломаю о чью-нибудь голову, например, Эдика Коновалова. Мир изменится заметней. Не потому, что в нем не станет Эдика. Нет, Эдик наверняка уцелеет в отличие от табурета, но разговоров будет черт те сколько... Впрочем, чепуха, это тоже воздействие, затухающее в небольшом радиусе. Будет жив Аркадий Левицкий или нет — это различие куда более существенное, поскольку влияет на ближайшее развитие хронофизики, а это постепенно может изменить картину мира и в глобальном масштабе... Воздействие распространяется постепенно, концентрическими кругами и так же постепенно затухает во времени и в пространстве... тут, наверное, Азимов прав... Но, с другой стороны, эти миры все же не параллельны, они могут расходиться вначале под ничтожным углом, однако, раз первоначальный толчок дан, они постепенно будут отходить все дальше друг от друга....

Но воздействие распространяется постепенно, и каких бы я дел ни натворил в прошлом, три дня назад, мир сегодня еще не успел бы существенно измениться. Да и вообще зря я конструировал всю эту сложную схему! Три дня-то назад, до 20 мая, мир еще не разветвлялся? Нет. Ну, а три дня назад мы с Аркадием врагами не были. Так что не стоит конструировать образ демонического хроногангстера Б. Н. Стружкова, который способен придумать такой вариант убийства, что сама Агата Кристи позеленеет от зависти.

Н-да... Я тут сижу да раздумываю, а хронокамера стоит без дела, и, главное, время идет! Я взглянул на часы: без двенадцати семь. Именно вот! Пока я о времени рассуждаю, оно себе движется да движется и уволакивает меня все дальше от той точки, куда я собираюсь попасть! Может, оставить мне в покое теорию да заняться как следует практикой? Я ведь экспериментатор, я куда



уверенней себя чувствую, если руки заняты делом, а не лежат без толку на столе, как сейчас. Я посмотрел на них — руки ничего, серьезные руки, надежные, я в них верю: руки у меня расторопней и изобретательней, чем мозги,— так мне иногда кажется...

«Значит, бросаем думать, начинаем дела делать,— сказал я себе и вытащил из ящика большой блокнот.— Да и чего думать-то? Ну, не занимались пока проблемой перемещения человека во времени, так и что? Не занимались, значит, не нужно им было. А мне вот позарез нужно, я и займусь. Хватит теории, даешь практику!»

Подбодрив себя этими энергичными заявлениями, я немедленно приуныл снова. Начинать-то с чего? Вернее, как? Потому что для начала нужно рассчитать поле, которому можно будет безбоязненно вручить свою бессмертную душу вместе с ее телесной оболочкой. Рассчитать поле — легко сказать! Мне аж холодно стало, когда я вспомнил те прикидочные расчеты. Аркадий и то чуть голову на них не свихнул, а где уж мне?

Ну и самонадеянный же я кретин! Примчался на рысях в лабораторию и думал, что я тут в два счета переворот в хронофизике совершу, что на практике решу проблему, которую все наши светила и светочи считают «слишком еще сложной»! В этот момент мне представилось, что хронофизика — это исполинская гора, а я сную, как бойкий муравей, у ее подножия и всерьез верю, что за вечер по камушкам всю ее растаскаю...

Но тут я спохватился. Да ведь все эти светила и светочи не знали того, что знаю я! Я — пока, должно быть, один-единственный во всем мире! — знаю, что человек уже путешествовал во времени! А это ведь в корне меняет дело!

Я вспомнил один остроумный фантастический рассказ — «Уровень шума» он, что ли, называется? Автора не помню, и образованного Линькова нет рядом, чтобы дать справочку на этот счет, но не в авторе суть. Там собирают целую кучу башковитых ребят — физиков, математиков, кого-то там еще — и говорят им, что вот, дескать, погиб изобретатель, который только что открыл секрет антигравитации, и все расчеты вместе с ним погибли, и теперь надо это открытие сделать заново. Все эти ребята ни в какую антигравитацию абсолютно не верят. Но им убедительно соврали, что дело уже сделано, даже показали хитроумно смонтированный фильм, где якобы засняты первые попытки применить антигравитацию на практике. Они начинают работать, как одержимые, и действительно открывают антигравитацию! Поверили в то, что это уже было осуществлено на практике, потому и открыли!

Меня вроде никто не обманывает. Разве что я сам себя запутал, сконструировал неверную теорию... Но я не вижу другого объяснения для всей этой путаницы, абсолютно не вижу! Я верю, что путешествие во времени уже совершилось. Что решение этой проблемы существует. Лежит где-то рядом. Руку протяни — и схватишь. Вопрос только: куда протянуть руку? В какую именно сторону?

Может, попробуем все же прикинуть поле, которое потребуется? Исходные данные есть: габариты свои и вес я знаю, дистанцию заброса — тоже... Попробуем, что ли? Напряженность поля, конечно, потребуется умопомрачительная, и веер лучна — тоже только держись: соответственно и мощности, по нашим масштабам, гигантские. Но это все ерунда, это прямо по формулам считается. Тут вся загвоздка в том, чтобы поле сделать однородным в таком объеме, чтобы мог я поместиться и чтобы оно в то же время сохранило требуемую величину. Если эту проблему не решишь, нечего и соваться в хронокамеру — размажет тебя по времени так, что никакой Шерлок Холмс не сможет ни опознать тебя, ни даже собрать вместе для опознания: ведь каждый твой кусок будет удаляться от другого в будущее с такой же точно скоростью, с какой тот будет его догонять.

Я с опаской посмотрел на хронокамеру. Вот еще вопросик: как она, выдержит поле такой мощности или сорвется? Во мне ведь чистого веса восемьдесят пять кэгэ, не считая костюма и прочих мелочей. «Может, раздеться?» — тупо предположил я, но тут же фыркнул: представил себя, как я вылезаю 20 мая из хронокамеры нагишом и в таком виде разгуливаю по институту. Да в ней и весу-то, в одежде,— два-три килограмма. Это все мелочи, а тут дело в принципе: можно ли в данной хронокамере надолго удержать такое поле (я еще понятия не имел, какое же именно), чтобы перебросить человека на трое суток назад?

А кто его знает, что тут можно и чего нельзя! Мощность по проекту вроде бы достаточна. А на деле получается, что только начнешь поле наращивать — и все, с приветом: то обмотка секционная к чертям летит, то конденсатор течет, то вообще вся стабилизация пропадает, будто ее корова языком слизнула,— пучок пляшет, поле скачет, брусок на куски разваливается. Но брусок развалится — это ладно, это пережить можно, на опыте знаю. А самому-то мне разваливаться и размазываться неохота. Потом у бруска мозги отсутствуют, а у меня они все же есть, и я к ним как-то привык. Значит, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сорвалось поле. Потому что при такой громадной напряженности скачок даже на какие-нибудь 10 процентов начисто смоет все содержимое моих драгоценных мозгов, и выйду я из камеры чистенький и пустенький, как новорожденный младенец, весело пуская пузыри... если вообще выйду. Нет, об этом даже думать страшно, ну его! Уж лучше пускай меня по времени размажет, по разным столетиям. Свалится мой палец, например, куда-нибудь в средние века, и что тогда будет? Как его определят: перст божий, скажут, или, наоборот, чертов палец?

Я балагурил сам с собой, стараясь отвлечься от мысли об этом проклятом магнитном поле, но оно влезло мне в голову и никак вылезать не хотело. Мне даже начало казаться, что я его вижу: этакие змеищи белые, в руку толщиной, выползают из воздуха, прямо из ниоткуда, хищно тянутся к моей драгоценной черепной коробке и бесшумно ввинчиваются в мозги.

Не знаю, может, просто затошнило меня от всех этих ужасов, но только я вдруг успокоился и перешел к расчетам.

Даже забормотал с этаким занудным оттенком, будто даю объяснения какому-то дебилу: «Разделим наши проблемы на количественные и эти... качественные. Количественные — это те, которые я могу посчитать, а качественные — это, наоборот, те, которые я посчитать не могу... Будем исходить из того, что нам надо. Надо нам забросить одного живого хронофизика на 72 часа обратно, причем желательно, чтобы он прибыл на место назначения, полностью сохранив свой физический и, так сказать, моральный облик. Зададимся мы для этого сфероидальным полем, как оно у нас самое простое, и попробуем, чтобы оное поле нарастало с течением времени в черепашьем темпе... В противном разе,— объяснял я незримому дебилу, листая справочник,— быстрый рост поля нас к добру не приведет, ой, не приведет, переменного поля никакой хронофизик не выдержит...»

Через полчаса я почувствовал, что тону, захлебываюсь в океане интегралов, а перед глазами бестолково мельтешат ехидные черные значки спецфункций. Блокнот худел на глазах,— я методически переправлял исчерканные листки под стол. Я топтался на месте и с тупым упорством маньяка пробивал лбом стену, морщась от боли. Я пытался за один вечер решить математическую задачу, на которую добросовестный теоретик должен был бы потратить месяцы, если не годы. Словом, я взялся не за свое дело и с каждой минутой все яснее убеждался в этом. Таких полей, какие мне требовались, в справочнике, конечно, не было, на скорую руку я их вычислить не мог (да и не на скорую тоже), а прикидка давала такие ошибки, что проще уж было бы сразу пойти и сунуть голову под гидравлический пресс. Шут их знает: может, такие поля вообще неосуществимы?! Ведь не посчитал же их почему-то никто до сих пор!

В конце концов я отчаялся и сдался. Посидел, побарабанил пальцами по столу, потом посмотрел на часы. До девяти оставалось меньше часа. Неужели все-таки придется звонить Линькову? Что я ему скажу? Он мне и так не верит, а если узнает, что и Нина меня видела... Может, лучше я Нине позвоню, поговорю с ней еще раз, должна же она понять... Да, поймет она, как же! Вон она как на меня сегодня смотрела... да и не только сегодня. Теперь-то уж я понимал: она с первого дня, с того нашего разговора ждала, что я все ей расскажу, все объясню...

Я включил и подошел к хронокамере. В ее толстом двойном стекле отразились два моих лица, чуть сдвинутые, одно сзади другого, будто бы нарезно навели на фокус. Два Бориса Стружнова таращились на меня из черной пустоты хронокамеры, словно путешественники во времени на своего несостоявшегося коллегу. Символическое зрелище! Я прижался лбом к стеклу, и оба Бориса, словно по команде, придвинулись ко мне. Мы стояли, как заговорщики, шепчущиеся о чем-то. Потом я с ожесточением вздохнул и поплелся обратно к столу. Снова я подумал тоскливо, что время уходит, а время — это, как известно, мощность: чем больше дистанция заброса во времени, тем больше требуется мощность, а я стою себе и тупо созерцаю собственные отражения.

Правда, оставался у меня в запасе еще один шанс. Но это даже и шансом назвать нельзя было — так, совсем уж неприличное что-то. Я мог нахально махнуть рукой на всякие теории и, не мудрствуя лукаво, попросту попробовать. Взять, к примеру, то поле, в котором мы гоняем бруски, нарастить его до предела, прикинуть, что получается, и полезть на авось в хронокамеру. Вероятность успеха здесь была такая примерно, как вероятность попасть в цель, если стреляешь зажмурившись и даже не знаешь, не нацелено ли дуло тебе в грудь... Но как быть? Вероятность, что я сию минуту сделаю теоретический расчет, еще меньше...

Я снова с сомнением глянул на хронокамеру, перевел глаза на пульт, с пульта — на окно. В окне было бледно-зеленое вечернее небо над темными кронами лип, а в небе летел крохотный самолетик, ослепительно сверкая крыльями. Из самолетика вывалилась и понеслась к земле еле заметная точка, потом над ней развернулся белый купол парашюта. Это аэроклубовцы упражняются...

Если б существовал хоть один шанс из сотни, что я доберусь до прошлого живой и здоровый, я бы рискнул! Ведь речь идет об Аркадии, о том, чтобы его спасти! Человечество только выиграет, если Аркадий останется в живых, и не надо будет его послезавтра хоронить... Это даже не изменение истории, а минимально необходимое ее исправление.

Тут меня вдруг слегка тряхнуло. Значит, тот самый Аркадий, которого уже вскрывали и собираются хоронить, вдруг окажется снова живым?.. Как же это? Воскрешение Лазаря получается, мистика, евангельские чудеса, а не наука! Ну, что это я, в самом деле! Ведь не тот же самый Аркадий будет жив, а другой... Или все-таки тот же? Постой, давай наконец разберемся. Возвращаюсь я в прошлое, когда Аркадий еще жив. Но он ведь умер, ты сам видел его мертвым,— как же он может быть жив? Да стоит вообще допустить, что человек может вернуться в прошлое, и сразу натыкаешься на парадоксы, на целую кучу парадок-

сов. Ну, хорошо — а почему, собственно, я должен их бояться, этих парадоксов? Что же, какой-то паршивенький брусок лучше, чем старший научный сотрудник, кандидат эфэм наук Б. Н. Стружков?! Только и всего, что весит брусок меньше и за сохранность его мозгов в переменном поле не нужно беспокоиться. А это, кстати, не такое уж принципиальное отличие: Эдик Коновалов, например, не уступит в надежности бруску, его никакое поле не проберет, ни статическое, ни переменное...

Тут что-то осторожно шевельнулось у меня в голове и сразу притихло, затаилось. Что же это было? Вот сейчас, когда я про брусон говорил, опять трепыхнулось что-то и замерло... Где же это оно, куда запряталось?.. Нет, не поймаешь...

Ну, неужели я так и уйду ни с чем, и отправлюсь к Линькову, и буду нудно и неубедительно долдонить про переход во времени, про изменяющиеся миры, а он будет смотреть на меня яркосиними глазами, холодными и непрозрачными, как кафельные плитки, и ничему, конечно, не поверит? Совершенно бесполезный, унизительный разговор. Нет, к чертям собачьим, не пойду я!

Я замычал сквозь зубы и яростно мотнул головой. Да что же это! Ведь я же знаю, что существует туннель сквозь время! Ведь прошел же по этому туннелю другой я! Есть выход, есть решение, оно где-то рядом... А ну-на, вернемся к брусочкам... Брусочек выдержит, Эдик выдержит, я не выдержу... Поле... градиенты... А почему тот Борис выдержал?.. Прошел же он сквозь эти градиенты... и ничего... Постой, как это я сказал? Прошел сквозь градиенты... прошел сквозь... Вот сейчас у меня в мозгу откроется какая-то дверца, хлынет свет... Что-то простое и совершенно гениальное... Только при чем тут градиенты? Он прошел сквозь градиенты... Постой, сейчас... сейчас. Вот оно что!

Дверца в мозгу не открылась, но словно пелена какая-то бесшумно упала, и стало очень светло, и я с пронзительной ясностью увидел все решение задачи. Не знаю, как насчет гениальности, но простоты здесь хватало, в этом решении: оно было просто, как колумбово яйцо. Вряд ли я смог бы дать математически корректное описание своей идеи, но физически она была для меня несомненна и ясна... ну, как закон Архимеда. Для перехода надо было использовать те самые градиенты, которых я так боялся,— те перепады поля, что запросто могли размазать меня по времени или вернуть в младенчество!

Мы всегда старались скачала получить однородное поле, а затем нарастить его и равномерно облучить брусочек пучком сверхсветовых частиц. И никогда нам в голову не приходило — и не только нам с Аркадием, а вообще никому! — что можно ведь работать и с неоднородным полем, только надо менять интенсивность пучка в соответствии с неоднородностью поля. Да и как мы могли до этого додуматься? Работа шла все время на маленьких объектах, вроде этих брусочков, а для них даже в самом паршивом поле как-нибудь можно разыскать относительно однородный участок.

Но в том-то и штука, что для больших тел принцип однородного поля совершенно не годился! Даже грубая прикидка, которую я сделал, убедила меня в этом. Либо таких полей вообще не существует, либо они уж такие особые и хитроумные, что их всю жизнь можно искать и не доискаться. И ведь все это знали, и я тоже знал и расчеты сейчас делал только из упрямства: мне, мол, известно, что путь через время уже проложен, так, может, он именно здесь и есть, только его не видно! Но если бы путь лежал действительно через однородное поле, то есть если б можно было рассчитать такое поле для переброски человека, так уж давно бы какой-нибудь умник посчитал на досуге, и лазили бы мы через это поле, как через дыру в заборе...

Мне как-то еще не верилось, что я действительно решил такую сумасшедшую задачу — чересчур уж просто получилось. А в свою гениальность я не верил: я знал себя в масштабе один к одному: на что способен и чего не вытяну. Да и потом меня прямо смущала какая-то... примитивность, что ли, моего подхода. Я ведь действительно рассуждал почти на уровне школьника!

Выглядели мои рассуждения примерно так. Скорость перехода зависит в нашей хронокамере от величины поля в данной точке и плотности потока частиц, который сквозь эту точку проходит. Для того, чтобы скорость всюду была одинаковой, мы обычно как делаем? Добиваемся, чтобы и поле всюду было одно и то же и поток везде имел одинаковую плотность. А в большом объеме, который нужен для переброски человека, ни того, ни другого добиться явно нельзя,— во всяком случае, обычными методами. Это и считалось трудностью номер один в данном вопросе. Вот я и рассудил: давай-ка натравим их друг на друга, поле и поток. Там, где поле посильнее, сделаем поток послабее, а где поле послабее, пусть плотность потока будет соответственно выше. Что тогда получится? Они тогда вместе дадут по всей камере, во всех участках совершенно одинаковый результат. И никакие нам градиенты не страшны! Какой величины объект ни сунь в хронокамеру, все его части будут совершать переход с одной и той же скоростью, и прибудет он у нас к месту назначения в целости и сохранности...

Не знаю, почему раньше никто не додумался до такой идеи. Наверно, все были загипнотизированы однородными полями и просто не думали в этом направлении. Да ведь и мне до сегодняшнего вечера ничего в голову не приходило и потом вполне свободно не пришло бы, если б не крайность...

Я основательно воспрянул духом; все остальное мне теперь казалось пустяком — возьму вот и решу все сразу. Что сначала? Как управиться с этими потоками? Ну, это элементарно. Я быстро набросал схему обратной связи от нашего сканографа, который промерял поле в разных точках, к управляющему блоку. Мне нужно было задать такую связь, чтобы сильное поле росло помедленней, а слабое побыстрее, тогда вокруг сильного магнитного поля будет слабое электрическое, а вокруг слабого — сильное. Тут все дело в том, что у нас в камере пучок тахионов управляется как раз электрическим полем. Вот и получится, что фокусировка будет слабее там, где магнитное поле сильнее, а этого я и добивался.

Вообще-то вся эта сложная самоуправляющаяся система мне, наверное, и во сне бы не приснилась, но сейчас я чувствовал... наверное, вдохновение, уж очень у меня все ладно клеилось, я сам диву давался! А может, первая удача меня подхлестнула и я поверил, что все могу, все умею. Вот позвонить бы Нине да рассказать, пускай знает, какой я на самом деле! Некогда вот только разговаривать... Я взглянул на часы — девять. Нет уж! У нее теперь, небось, и телефон занят,— названивает она товарищу Линькову и объясняет ему... Что же, интересно, она ему объясняет?

«Ну ладно, ладно, объяснял,— беззлобно проворчал я, усаживаясь перед аналоговой машиной,— ты там объясняй все, что хочешь, а я пока здесь поработаю. А ведь не провела бы ты со мной просветительную беседу на скамеечке, и не торчал бы я здесь и открытия бы никакого не сделал...»

Надо было все проверить на машине. Бумага, она что хочешь стерпит, а машина вранья не любит. Я задал первое попавшееся поле и расписал самую примитивненькую программку.

«Так! Теперь посмотрим, как все это будет выглядеть на модели»,— пробормотал я и поднял глаза на аналоговый осциллограф: он имитировал то, что будет происходить в хронокамере, если подашь на нее исследуемый режим.

В квадратном окне осциллографа розовые молнии воображаемых тахионных пучков били из углов экрана в ажурное сплетение зеленых линий, изображавших структуру поля. Даже на глаз было заметно различие в толщине розовых следов: они еле проглядывались там, где зеленые линии сгущались, а зато на бледно-зеленых участках наливались густым, почти алым цветом.

Странно, я не испытывал никакой радости, наоборот, начал вдруг волноваться. Впрочем, радоваться и вправду было рано: следовало еще убедиться, что камера на этом режиме не забарахлит, что удастся нарастить поле до нужной величины и удержать его, что... Словом, все могло еще лопнуть, как мыльный пузырь, и остался бы я со своим открытием у разбитого корыта. И времени было мало. Просто совсем не было у меня времени: на часах — четверть десятого... Устал я зверски, в горле пересохло, голова тяжелая, как камень. Контрольную проверку я, конечно, производить и не думал, не до этого сейчас, мне бы только поле выбрать и рассчитать да камеру запустить, а там уж будем уповать на свое везение. И еще на нашу могучую технику: она ведь творит чудеса, а мне сейчас просто позарез требуется одно чудо, не очень большое, средних размеров.

Я выбрал то самое сфероидальное поле, с которого начинал свои неудачные расчеты, и ввел цифры в нашу трудягу-эвээмушку,— отсюда они уже самотеком пойдут в виде программы в управляющий блок. Осталось только процедурные вопросы продумать: как я влезу в хронокамеру и как там расположусь. Рисковать мне все же не хотелось, особенно теперь, когда переход становился все более реальным. Ну, что ж, для страховки придется скрючиться в три погибели на подставке. Только не слететь бы с этой подставочки, а то скатишься куда-нибудь в угол, а там какой-нибудь градиент недорезанный притаился и зубами клацает!

Войти в хронокамеру — тоже вроде бы не проблема, для этого случая задняя дверь предусмотрена. То есть она, конечно, предусмотрена не для этого случая, а совсем для других, более прозаических — для ремонта, для работы внутри. Но факт тот, что дверца имеется. Герметичность у нее автоматически восстанавливается, а вакуум там только между двойными стенками, так что скафандр не потребуется.

Ну вот, а теперь — на пульт!.. «Сегодня тебе придется здорово поработать, красавчик ты наш, умница наш!» — льстиво забормотал я, обращаясь к пульту. Лебезил я перед красавчиком пультом не зря. Ведь в решающий момент вся ответственность ляжет на него: находясь внутри камеры, я, конечно, управлять переходом не смогу, и придется полностью довериться автоматике.

Я сам удивился, до чего я здорово работаю — четко, быстро, но без суеты. И волнения опять ни малейшего. Правда, исчезло и ощущение легкости, счастливой уверенности в своих силах. Может, потому, что сейчас никаких открытий и гениальных соображений не требовалось, а нужно было до предела напрягать внимание, чтобы проверить все детали и предусмотреть все мелочи. Я ведь не имел права ошибиться, все равно как сапер.

Я включил дистанционное управление, открыл с пульта заднюю дверь хронокамеры, пошел в технический отсек и выбрал самую большую подставку, какая у нас имелась. Как-нибудь устроюсь, это ведь недолго... Интересно все же, будет у меня при переходе какое-то ощущение времени? Я водрузил подставку в центре камеры, оценил взглядом всю конструкцию — ничего будто бы, неплохо получается. Позу мне, правда, придется принять не слишком удобную: ноги поджать, колени подтянуть к подбородку... Ничего, на время перехода как-нибудь удержусь в этой позиции. Смешно, конечно,— такой момент торжественный, исторический, можно сказать, момент: путешествие во времени, одно из первых в истории человечества,— а путешественник в такой неподходящей позе... Ну, ничего, потомки простят. Ежели мне будут памятник ставить, скульптор что-нибудь такое героическое изобразит: грудь вперед, рука тоже, голова назад и так далее... А первым космонавтам, между прочим, тоже не весьма удобно было лететь. Заря космонавтики. Заря хроно... Как же это будет? Хрононавтики, что ли? Не очень звучит, по-моему...

Ну, вроде все готово. Значит, так. Включаю автоматику с упреждением в пять минут — раз! Вхожу в камеру, закрываю дверь — это два! Пристраиваюсь на подставке — три! Потом пульт срабатывает, поле растет до заданной величины — и поехали... Только куда, вот в чем вопрос!

Ничего себе — все готово! Ворона ты бесперая!

Ты назад-то вернуться хочешь? Или решил так и остаться в своем прошлом, где один Стружков Б. Н. уже имеется и сидит сейчас в библиотеке вместо того, чтобы мчаться в институт спасать друга... Ладно, эту работу мы за него сделаем, а на остальное пусть не рассчитывает, сам пускай все расхлебывает, а я лучше к себе вернусь во избежание всяких недоразумений. Интересно: как же я вернусь?

Конечно, я мог бы вообще отключить хронокамеру, а там, в прошлом, опять наладить ее. Но лучше не рисковать: неизвестно, что меня там ждет и как повернутся дела. Налажу я лучше автоматику таким манером: как только я войду в хронокамеру, дверь захлопывается, и я попадаю обратно. Так всего вернее будет.

Тут у меня что-то настроение испортилось, и всякие ехидные мыслишки полезли в голову со страшной силой. Стало мне мерещиться, что время непременно учинит мне какую-нибудь ужасную пакость, и совершенно я напрасно тут голову ломаю и потом обливаюсь... Это мы себе построили такую удобную гипотезу — дескать, мировые линии разветвляются, отклоняются и можно с ними сделать что угодно, а на самом-то деле, может, все не так и все иначе! Может, время наглухо заколочено и в прошлом нельзя уже сдвинуть ни песчинки, ни травинки — все определилось и застыло? Тогда по логике вещей в прошлом можно будет сделать только то, что уже делалось, то, что предусмотрено заранее. А поскольку мой переход раньше не делался, не предусмотрен, то он и осуществиться не сможет. Что-то не пустит меня в прошлое... Что и как может не пустить меня в прошлое, я понятия не имел — не вахтер же там стоит, в самом деле... Но уж что-нибудь да существует для таких случаев, какой-нибудь закон паршивый, о котором я ничего не знаю!

Постой! А брусочки?! А «тот» Борис Стружков? Они-то двигались во времени? Ну, кто его знает! Насчет «того» Бориса все же не доказано, а брусочки из камеры не вылазят и ничего в прошлом менять не пытаются. Так вот, их время пропускает в награду за примерное поведение, а меня возьмет да не пропустит: догадается, что я мировые линии тасовать буду почем зря...

Ладно. Думай не думай, а ехать надо.

Я еще раз проверил поле, включил резервные генераторы, перевел в рабочее положение тумблер «автоматический режим», установил таймер на пятиминутное упреждение... Как будто все...

Нет, нельзя же так! А если со мной что-нибудь

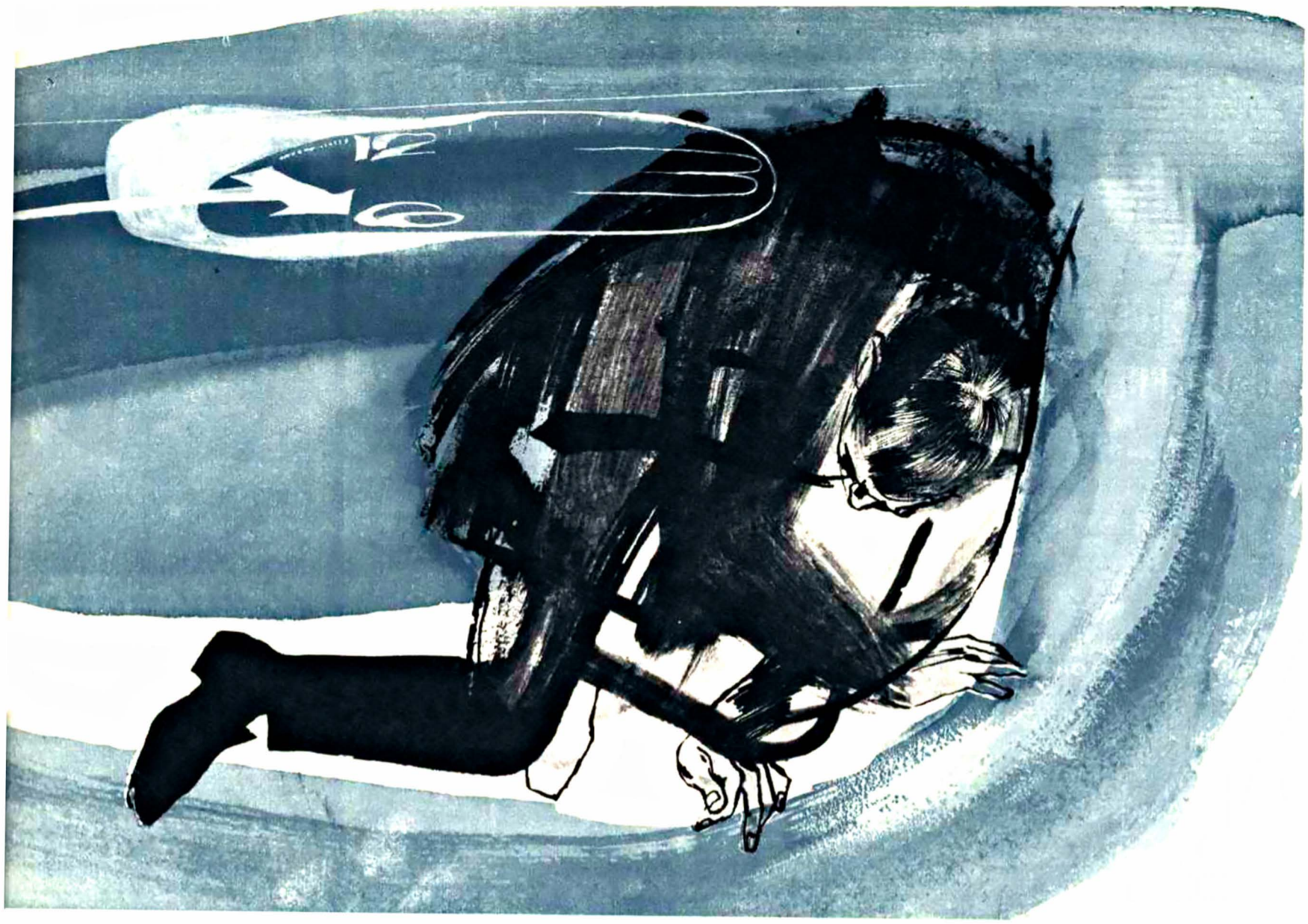


Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

случится на переходе? Никто ведь ничего и знать не будет! Правда, ребята кое-что определят по хронокамере, но все же... Надо оставить расчеты. Тьфу ты, листки исчерканы уж очень, ничего не поймешь. Придется переписать все в рабочий журнал... Так! И чертежик дадим для наглядности. Адресуем это... А, прямо Шелесту! Письмо... нет, не буду... Вот Линькову написать, пожалуй, нужно... Нине, собственно, тоже... Но не получится у меня, слов нету, а искать их уже некогда. Линькову сейчас напишем...

Я вырвал чуть ли не последний чистый листок из блокнота и написал: «Уважаемый Александр Григорьевич! Если случится так, что я не вернусь...»

И вдруг я почувствовал, что сердце у меня оборвалось и падает куда-то глубоко-глубоко, а я из-за этого даже вздохнуть не могу. Я почему-то лишь сейчас сообразил, что иначе и не случится, что я никак и никогда не вернусь в этот мир. Я ухожу отсюда не на два-три часа, а насовсем, навсегда, бесповоротно!

Как же я раньше об этом не подумал! Ведь это ясней ясного. Если даже я не угроблюсь на переходе и выйду из камеры живой-здоровый, все равно сюда, в этот мир, мне уже не вернуться! Я ведь изменю историю, возникнет новый, измененный мир, и я останусь в нем, в этом измененном мире. Если даже я там налажу камеру и отправлюсь в будущее, так все равно попаду в будущее уже измененного мира, а не в этот вечер, не в этот мир...

«Может, мне и камеру не включать на автоматическое возвращение? — растерянно подумал я.— Да нет, пускай уж возвращается сюда, хоть и пустая: здесь ведь она тоже нужна...»

Значит, здесь меня уже не будет... Здесь я сейчас исчезну навсегда... Как же так? Постой, ведь это же просто черт те что, нельзя же просто взять и исчезнуть и ни с кем даже не попрощаться... А Нина?! Я ее, значит, больше не увижу? Нет, я что-то путаю, наверное. Ведь я попаду в мир незначительно измененный, вначале почти не отличимый от этого... Значит, там будет Нина, будет институт, ребята, Линьков... Так ведь по логике? Тогда вроде нечего трагедии разыгрывать...

Да, но для ЭТОЙ Нины, которая сегодня плакала в сквере, а сейчас, вероятно, беседует с Линьковым о моем более чем странном поведении, для нее-то я действительно исчезну навсегда. И для ЭТОГО Линькова... и в ЭТОМ здешнем институте не будет уже ни меня, ни Аркадия: если я и спасу его, то для того, другого мира... А в том мире...

Нет, больше я не мог думать, мне было страшно, меня прямо тошнило от страха, я еле смог написать короткую и бестолковую записку, руки меня не слушались, мозги паутиной опутало, и больше всего мне сейчас хотелось бросить к чертям собачьим всю эту затею, а пойти лучше объясниться с Ниной, с Линьковым, с кем угодно, лишь бы в этом, в моем мире, а не в другом каком-то!

Я, конечно, понимал, что никуда не пойду объясняться, а полезу сейчас в эту проклятую хронокамеру. Понимал, но как-то не верил: неужели я это сделаю?! Я стоял у окна и бессмысленно глазел на яркий уличный фонарь, который три дня назад осветил лицо ТОГО Бориса, чтобы ЭТА Нина, моя Нина его увидела... Интересно, куда же он потом девался, тот Борис? Нет, ничего мне уже неинтересно, все мне безразлично, я весь пустой внутри...

Неуверенно, как-то машинально побрел я в технический отсек, постоял у открытой двери в камеру. И, почему-то пригнувшись, шагнул внутрь. Дверь захлопнулась — мягко, почти бесшумно. Все. Теперь все. Таймер уже отсчитывает минуты. Надо устраиваться на подставке. Минуты через три-четыре в лаборатории раздастся негромкий щелчок — я его здесь не услышу: это включится автомат, начнет наращивать поле, и тогда уже нельзя будет выйти из камеры, даже если захочешь, если будешь умирать от страха...

На минуту мне и вправду стало опять страшно: усталость накатывалась волнами и сейчас временно отхлынула. Я вдруг очень отчетливо понял, что если ошибся, неправильно рассчитал поле, то все, конец мне! Голубое пламя лизнет стены камеры, потом исчезнет — и я исчезну вместе с этой яркой голубой вспышкой! Наверное, я ничего не буду ощущать, когда поле раздавит меня, размажет по времени... Или все же буду?.. Никто ведь ничего не знает. А, все равно! Усталость опять захлестнула меня, как теплая, неприятно теплая, удушливо теплая волна. «Ну, размажет, так размажет, что ж я могу поделать. Рассчитал все вроде правильно, по идее, не должно бы...» — вяло говорил я себе, усаживаясь на эту идиотскую подставку в центре камеры.

Я обхватил колени сцепленными руками, подтянул к подбородку, уткнул в них лицо и зажмурился...

Черная, глухая тишина. Неприятно громко стучит сердце,— кажется, ритм участился... Впрочем, все равно. Это медикам было бы интересно, они протянули бы в камеру датчики, измерили бы давление, пульс, дыхание... Нет медиков, никого нет, просто один энергичный субъект сепаратно и самочинно решил прошвырнуться в прошлое по личным делам...

У меня, наверное, галлюцинации начались. Показалось, что я слышу щелчок автомата, хотя слышать его в камере никак невозможно. И тяжесть, которая вдруг навалилась мне на плечи, тоже, наверное, была воображаемой. У меня вдруг мелькнула бредовая мысль, что это поле давит на плечи и спину, и я даже слегка усмехнулся... Действительно, бред собачий. Как это может живая протоплазма ощущать давление магнитного поля: она ведь не проводник! Я невольно открыл глаза и слегка приподнял голову — хотелось посмотреть, что же происходит. И вдруг полыхнуло прямо мне в лицо немыслимо яркое, ослепительно голубое пламя. Я зажмурился, полуослепнув, но даже сквозь плотно сжатые веки видел яркие голубые вспышки: они набегали одна на другую, они слились в сплошное море голубого огня, в глубине которого пролетали и гасли мгновенные молнии... Казалось, что в камере бушует гигантский голубой смерч и что сейчас ее вдребезги разнесет взбесившийся разряд,— наверное, поле все же сорвалось, и от перегрузки полетели к чертям все обмотки! Но я не бросился к двери, не выбежал в лабораторию, чтобы спасать, что еще возможно, вызывать помощь... Нет, я только плотнее сжался в комок и замер на своей подставке. Наверно, какое-то шестое чувство хронофизика подсказало мне, что это не авария, не пожар, что я должен держаться, держаться изо всех сил... держаться еще... еще... еще!

И вдруг по каким-то неуловимым признакам — наверное, опять шестое чувство сработало! — я понял, что все кончилось. Я медленно приподнял голову и открыл глаза. Голубое пламя исчезло, камера казалась немой и мертвой. И сквозь ее стеклянную переднюю стену я увидел свою лабораторию — тоже пустую и... светлую!

Мгновение назад за этим окном была ночь. Я взглянул на свои часы — они по-прежнему показывали одиннадцать без пяти. Но сейчас я видел сквозь стекло хронокамеры зеленоватое вечернее небо, и в этом небе сверкнул серебряными крылышками крохотный самолет.

Я сделал это! Я все-таки сделал это!!!

Я прорвал время...

Продолжение следует.

Рисунок
Геннадия НОВОЖИЛОВА

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Линьков начинает генерировать версии

Шелест постоял у порога, обвел лабораторию тяжелым, исподлобья, взглядом. Потом вдруг встрепенулся, словно увидев что-то неожиданное, и подошел к хронокамере.

«Что он там видит?» — удивился Линьков. Он тоже оглядел с порога все помещение и не заметил ничего особенного — все чисто, все прибрано, окно закрыто, никакого беспорядка...

Шелест некоторое время внимательно вглядывался в хронокамеру, потом пошевелил губами, словно собираясь что-то сказать, но ничего не сказал и отошел к пульту.

Линьков тоже подошел к хронокамере. Все нормально. Камера темная, молчаливая; правда, подставка там торчит большущая, высоченная... зачем бы такая подставка для крохотных брусочков? Что же удивило Шелеста — эта подставка? А пульт он чего разглядывает? Ищет причину перерасхода энергии? А на что, собственно, может расходоваться энергия в этой лаборатории? На переброски во времени, ясно. Значит, Стружков что-то перебрасывал вчера... большое, для этого и понадобилась такая подставка... Что же он мог перебрасывать? Вещественное доказательство какое-нибудь? Доказательство — чего? Линьков вздохнул и еще раз оглядел лабораторию.

Если б тут не побывала уборщица! Но она явно все прибрала, все обтерла мокрой тряпкой, очень мокрой: на деревянном подоконнике еще темнеют пятна сырости. Что же увидел Шелест? Нет, пока он не выскажется, даже не стоит по-настоящему осматривать лабораторию... Да и что, собственно, искать? Стружков, видимо, исчез... сбежал? Перед этим, возможно, что-то перебросил во времени... куда, зачем? Ну куда — это, пожалуй, можно догадаться: в будущее. На неделю, допустим... доживет он до этого срока и получит обратно... нет, чепуха выходит... Неужели он так и удрал, не оставил даже записки? На столе у него лежит рабочий журнал. Может, там что-нибудь?

Линьков двинулся к столу. Шелест, не оборачиваясь, негромко сказал:

— Странно...

— Что странно? — с живым интересом спросил Линьков.

Но Шелест не успел ответить: на столе у Стружкова задребезжал телефон. Шелест подошел к столу, поднял трубку:

— Слушаю... Да, я уже видел... Погодите, сейчас я запишу...

Он придвинул табурет, уселся, достал ручку, огляделся, видимо, ища бумагу, потом раскрыл лабораторный журнал — и вдруг уставился на него, будто увидел там змею. Прижимая бормочущую трубку к уху, он кивком подозвал Линькова, глазами указал на журнал.

Линьков подошел. В журнале была короткая записка, аккуратно прикрепленная скрепкой к последним исписанным страницам. Линьков прочел и ничего не понял.

— Погодите! — рявкнул вдруг Шелест в трубку.— Я после позвоню! — Он, не глядя, положил трубку.— Тут и расчеты, оказывается... Держите! — Он открепил записку, сунул ее Линькову, а сам уткнулся в страницу, на которой сверху было крупными буквами написано: «Н. В. Шелесту».

Линьков посмотрел через его плечо, увидел наспех набросанный непонятный чертежик, строчки формул и снова начал перечитывать коротенькую записку, начинавшуюся словами: «...Обстоятельства сложились так нелепо, что другого выхода я не вижу...» Это было еще понятно, а вот дальше... нет, бред какой-то: «Решил перейти...»

Но ведь это же чушь! Сам же он говорил, что человек пока не может... позавчера говорил!

Шелест поднял голову, и Линьков увидел в его глазах растерянность и какое-то детское, наивное изумление. Это настолько не вязалось со всем обликом Шелеста, что Линьков тоже растерялся и забормотал что-то насчет неуместных шуток, хотя по лицу Шелеста уже видел, что дело вовсе не шуточное.

Шелест непонимающе поглядел на него и снова нагнулся над чертежом.

— Нет, до чего надежно и просто! — изумленно сказал он, выпрямляясь.— Вот ведь: вроде и на поверхности лежит решение, а попробуй додумайся...— Он поглядел на Линькова.— Вы что, не поверили? Поверить трудно, я вас понимаю. Если б не это...— Он кивнул на чертеж.— Но поскольку расчеты имеются... В общем, Стружков совершил переход во времени.

— Как это... переход? — растерянно проговорил Линьков.— Это ведь невозможно! Он мне сам говорил!

— Было невозможно,— почти будничным, деловым тоном ответил Шелест,— до вчерашнего дня. А тут вот,— он положил руку на чертеж,— содержится идея нового принципа... Качественно нового принципа. Если хотите — открытия. Так что теперь положение существенно изменилось.

— Вы хотите сказать,— запинаясь, проговорил Линьков,— что он действительно...

Шелест кивнул, задумчиво, почти угрюмо глядя на чертеж.

— Именно это я хочу сказать,— пробормотал он.— Хотя и не могу в это поверить! Психика не срабатывает...— Он замолчал, смущенно усмехаясь и поначивая головой.

Линьков ошеломленно смотрел то на Шелеста, то на чертеж, то на хронокамеру. Борис Стружков, с которым он еще вчера говорил, отправился в прошлое?.. Прямо отсюда вошел в хронокамеру, как в такси, и поехал? Поэтому такая подставка, наверное... хотя нет, подставка не имеет отношения к делу, раз она осталась... А Борис Стружков исчез... постепенно растаял... вернулся в двадцатое мая... Но ведь нет сейчас никакого двадцатого мая, оно прошло, исчезло, сейчас двадцать четвертое, а двадцатое... вернуться в двадцатое — да это же невозможно! Существует только «сейчас», а «вчера» безвозвратно осталось позади! «Психика не срабатывает! — повторил он про себя слова Шелеста и усмехнулся.— Действительно: ни в какую не срабатывает психика, вопит во весь голос, сопротивляется! Нельзя в прошлое! Его нет! Нельзя, чтобы Земля ходила вокруг Солнца. Я своими глазами вижу, как Солнце крутится вокруг Земли!»

Видимо, лицо Линькова выражало полнейшую растерянность, потому что Шелест, взглянув на него, сумрачно усмехнулся.

— Тоже не можете свыкнуться? — сочувственно сказал он.

Линьков почему-то застеснялся и от смущения выпалил неожиданно для самого себя:

— Скажите, а вы уверены, что это...— Он запнулся, но все же докончил:— Ну, что это не мистификация?

Шелест удивленно и неодобрительно покачал головой.

— Какая же мистификация? Вот ведь! — Он показал на чертеж.— Вы, конечно, не разбираетесь, но это — решение проблемы. Блестящее решение! Никогда бы я не поверил, что это можно сделать за один вечер. К тому же Стружков — экспериментатор. Если б это был теоретик... Левицкий, например... Нет, все равно и Левицкому пришлось бы повозиться...— Он шумно отодвинул табурет, встал.— Нет, все верно, без обмана, чего уж! Только рано это, слишком рано, вот беда!

— Рано? — удивился Линьков.— Вы имеете в виду — рано для науки?

— Что наука! — сказал Шелест.— Для людей слишком рано! Не готовы они к этому!

— Вы считаете,— осторожно начал Линьков,— что это может иметь большое практическое значение? В каком смысле?

— А пес его знает, в каком смысле! — сердито ответил Шелест.— Что мы с вами можем знать, если стоим у самых истоков? Пользы я, честно говоря, от этого никакой не усматриваю. В таком виде, в каком оно есть сейчас, это открытие, конечно, великое, но пустое! Бесполезное! А вот вреда оно может наделать, если попадет в руки дуракам или мерзавцам — это уж точно! Ну, что вы на меня так смотрите? — Он вдруг усмехнулся, почти весело.— Мне-то, во всяком случае, придется несладко. И старику нашему. Затаскают ведь нас по инстанциям! Начнут допытываться, что да как, а главное — какие могут быть последствия? А я почем знаю, какие могут быть последствия! Да любые, в зависимости от характера воздействия.

— Ну, судя по тому, что мы с вами живы-здоровы и никаких перемен не видим,— осторожно заметил Линьков,— последствия не столь уж значительны...

— Да что мы с вами можем увидеть! Последствия-то будут не на нашей мировой линии, а на другой... на новой... Понимаете?

Линьков неопределенно хмыкнул: он далеко не был уверен, что понимает.

— Но попробуй это кому объяснить...— огорченно сказал Шелест.— Ничего ведь толком не объяснишь.

«Да уж,— подумал Линьков,— попробуй объясни кому-нибудь это. Скажут, хотя бы по линии юридической: да чего там, просто ваш Стружков испугался разоблачения и сбежал. Почему-то, скажут, пока его никто не подозревал, он никаких великих открытий не совершал и Левицкого спасать не пробовал... хотя была для этого самая нормальная возможность и даже обязанность! А как приперли его к стенке, так он сразу гением заделался, эпохальное открытие совершил и тут же в прошлое полез? Анекдот! Опытный вы работник, товарищ Линьков, а позволяете себя за нос водить! Путешествие во времени! Что вы нас фантастикой-то кормите?»

«Так вот и скажут, определенно!» — невесело решил Линьков. Он поглядел на Шелеста — тот опять уселся за стол и, наморщив лоб, делал какие-то расчеты. Линьков присел на краешек дивана и задумался.

«Конечно, это не мистификация, не трюк,— думал он.— Шелест — один из крупнейших специалистов в этой области, его не проведешь. Стружков действительно ушел в прошлое. Отставим эмоции, преодолеем сопротивление психики, будем рассуждать логически. Значит, Стружков вернулся в двадцатое мая. Но ведь он там уже был... Да, был. Значит... значит, там теперь находятся уже двое Стружковых...

— Игорь Владимирович,— робко спросил Линьков,— а что Стружков... ну там, в прошлом... он должен был встретиться с самим собой?

Шелест поднял голову и посмотрел на Линькова невидящими глазами. Потом до него все же дошел смысл вопроса.

— Ну да... в принципе, конечно... Может и не встретиться так, нос к носу, но вообще...— Шелест снова глянул в расчеты, потом недовольно засопел, схватился за трубку, назвал номер.— Шелест говорит. Ну, давайте ваши цифры... Та-ак... А вы твердо уверены, что не ошибаетесь? Ну-ну, верю. Но странно...— Он положил трубку и повторил, будто раздумывая вслух: — Очень даже странно...

Он встал и подошел к ЭВМ. Линьков смотрел, как он медлительно выбивает пальцами дыры на перфокарте, и продолжал раздумывать: «Значит, один Борис сидит в библиотеке, а другой Борис в это время появляется в лаборатории... ну да, в лаборатории, камера могла переместить его только туда... Интересно, в котором часу он туда явился?.. Почему интересно?.. Стоп-стоп... что-то тут есть!.. Ах, вот оно что!.. Левицкий открывал

Продолжение. Начало в №№ 8—12.

Фантастический детектив

дверь ключом... а в запертой лаборатории кто-то ждал его... Мы думали, что Левицкий дал этому человеку ключ... Но ведь все могло быть иначе...»

Линьков невидящими глазами смотрел на широкую спину Шелеста. Мысли проносились в его мозгу, обгоняя друг друга.

«Да, теперь приходится иначе оценивать многие факты, раз в их ряду становится переход в прошлое... Ведь это факт... теперь это факт, хоть и невероятный с виду. А если Стружков ушел в прошлое, то уже существуют его поступки в прошлом, и они меняют настоящее, хотя мы еще не понимаем, что же изменилось...»

Шелест гулко откашлялся и, держа перед глазами листок с расчетами, включил какой-то тумблер. На панели ЭВМ, вделанной в стену, начали перемигиваться короткие вспышки индикаторов — машина работала, заглатывая составленную Шелестом программу. Линьков вздохнул.

«Хорошо бы задать этой многоглазой умнице свои вопросы. А нельзя. В нее не введешь ни характеры Стружкова и Левицкого, ни их взаимоотношения... Да, на помощь ЭВМ рассчитывать нечего, а самому тоже, пожалуй, не справиться. Попробуем все же... Что и как могло произойти в прошлом после появления Стружкова? Достоверно, пожалуй, лишь одно: что вышел он из камеры тут же, в лаборатории,— ведь камера перемещается только во времени, а не в пространстве. Ну а дальше — сплошной туман! Неизвестно даже, в котором часу Стружков там появился. Целился-то он, конечно, на вечер, не раньше, чем часов на семь, надо полагать, на такое время, когда в лаборатории не будет никого, кроме Левицкого... Да, но из показаний Чернышева можно заключить, что там все время кто-то был, вплоть до одиннадцати... Так, может, это и был Стружков? Ведь в одиннадцать часов выходил из лаборатории именно он... Постой, но ведь все это, наверное, происходило уже на другой мировой линии, раз Стружков вмешался в прошлое... А кого же тогда видели Чернышев и Берестова? «Настоящего» Стружкова, который никуда не уходил и не переходил, а сидел в лаборатории? Но зачем он там сидел, какую роль играл в гибели Левицкого?..

Ладно, допустим, что хронофизики ошибаются, и никакого отклонения мировых линий не происходит, а все совершается на одной и той же линии... В конце концов это лишь теоретические выкладки, экспериментально они не проверены. А тогда все получается очень даже изящно и стройно. Стружкову никакой ключ не нужен — он просто выходит из хронокамеры и оказывается в лаборатории! Стройно-то стройно, а по сути чушь собачья: значит, так он там и сидел до одиннадцати, и Левицкий при нем глотал таблетки, а ему хоть бы что?»

Минут пятнадцать Линьков упрямо продирался сквозь дебри мировых линий, петель и двойников и с грехом пополам сконструировал из наличных фактов довольно стройную, хоть и безнадежно абстрактную схему. Мысленно оглядев эту конструкцию, он покачал головой и вздохнул.

«Логический кошмар! — думал он.— И зачем я все это придумал, и кто меня просил? Ведь опозорюсь, ведь высмеет меня Шелест, и правильно сделает!» Но у него прямо язык чесался выложить все это Шелесту и послушать, что он скажет... И момент был как раз удачный: Шелест отвернулся от панели и рассеянно поглядел на Линькова, словно удивляясь, что он все еще здесь.

— Игорь Владимирович,— неестественно громко сказал Линьков,— тут у меня одна версия проклюнулась...

И тон был нелепый, и словечко какое-то дурацкое подвернулось, и Линькову уже хотелось добавить: «А впрочем, шут с ней, с этой версией!» Но Шелест уселся на табурет и сказал:

— Ну ладно, излагайте вашу версию, только покороче...

— Вот какая история,— начал Линьков спокойным тоном, стараясь подчеркнуть, что говорит он это все лишь объективности ради.— Стружков мог прибыть в лабораторию... в прошлое... как раз в тот момент, когда Левицкий выходил... Ведь Чернышев говорит, что, когда Левицкий вернулся, в лаборатории кто-то был. Так, возможно, это и был Стружков...

— Это и есть ваша версия? — вяло спросил Шелест.

— Это начало моей версии,— пояснил Линьков.— Разумеется, для этого мы должны допустить, что все события происходят на одной и той же мировой линии...— Он искоса глянул на Шелеста: не смеется ли тот?

Шелест не смеялся. Он смотрел на Линькова немигающим взглядом и думал о чем-то своем.

— Я понимаю, что психологически это не лезет ни в какие ворота,— продолжал Линьков,— Стружков... да и Левицкий — не могли они запутаться в такой... гангстерской истории...

— Гангстерская история, говорите? — чуть живее переспросил Шелест.— Ну в конце концов любой вариант, даже самый сумасшедший, надо проверить, если он отвечает каким-то фактам.

— Фактам-то он отвечает, а вот людям никак не соответствует.

— Понятно. Нам в физике легче — приходится иметь дело только с фактами. Вы, значит, попытались уяснить себе, что получается, если мы допустим, что загадочный незнакомец в лаборатории — это Стружков? Один резон я вижу — показания Чернышева и Берестовой становятся понятными. Это, конечно, может соблазнить...

— Да, соблазнить может,— со вздохом сказал Линьков,— но дальше приходишь к таким выводам...

— Понятно... Ведь нужно объяснить, что Стружкову понадобилось в лаборатории. И почему его пребывание там... ну, окончилось столь трагически для Левицкого.

— Вот именно,— подхватил Линьков.— Обычная логика ведет здесь к тому, что Стружков был заинтересован в смерти Левицкого, а этого я принять не могу. Можно рассматривать это лишь как чисто гипотетический случай. В гипотетическом случае два человека — назовем их А и Б — могли бы, скажем, находиться в скрытой вражде, например, из-за ревности.— Шелест поморщился, и Линьков заторопился.— Или из-за научной конкуренции. Скажем, А сделал открытие — крупное открытие, фундаментальное,— а Б по некоторым причинам считает, что имеет права на соавторство, реальные права. Но А ему в этих правах отказывает... Утром 21 мая Б узнает, что А умер при загадочных обстоятельствах; а листки из записной книжки, где, очевидно, были записаны основные положения открытия,— эти листки похищены. Что получается? Б должен благодарить неведомого помощника: ведь он теперь может без опасений присвоить себе открытие А.

— История действительно получается гангстерская.— Шелест снова поморщился.— Но не усматриваю разрекламированной вами логики: стандартный уголовный сюжет.

— Нет, логика тут есть, и даже, на мой взгляд, изящная... но с гнильцой... Ну ладно, выложу уж все по порядку! Только с условием, что все это — чисто гипотетический случай!

Шелест кивнул.

— Надо полагать, что Б,— начал Линьков,— усиленно размышляет: кто мог похитить листки и для чего? Тут выясняется, что Б видели в вечер смерти А в лаборатории... Нужно сказать, что открытие А позволяет перемещаться во времени.

Шелест быстро посмотрел на Линькова.

— Это вы заключили из моих слов? — спросил он.— Видимо, я нечетко высказался. Стружков мог сделать это сам.

— Это уже другой вариант, другая версия. Допустим, что открытие все-таки не его, а Левицкого, но попадает к нему. Тут и начинается логика, которая всю эту идиотскую, немыслимую конструкцию совершенно неожиданно скрепляет намертво. Нелегко, невозможно, но факт. Б быстро соображает: с помощью машины времени я могу вернуться в прошлое и... убить А!

Шелест криво усмехнулся.

— Я же предупредил, что с характерами это не согласуется! — напомнил Линьков.— Но уж давайте доведем эту линию до конца! Б рассуждает так: раз меня видели там, значит, я там был... И это сделало меня хозяином открытия. Значит, теперь я должен сделать то, что все равно уже совершилось. Иначе некому будет убить А и открытия я не заполучу. Совесть можно успокоить весьма просто: ведь А уже умер, стало быть, речь идет об убийстве уже умершего человека.

— Ну, положим, убивать-то все равно придется живого...— возразил Шелест.

— Конечно! Это Б просто себя успокаивает. И вообще нельзя это принимать всерьез. Но все же эта дьявольская логика меня смущает. Не могу я ей ничего противопоставить. Дальше так. Алиби у Б непробиваемое: он весь вечер нарочно сидит в компании. Значит, двойник может орудовать вполне свободно. К тому же Б заранее знает, что все удастся — ведь это все уже произошло!

— М-да! — хмыкнул Шелест.— Не знаю, как для преступника, но для следователя ситуация весьма соблазнительная!

— Дальше еще того чище! Б является в прошлое, убивает А, похищает его записку... Теперь он размышляет: что же делать дальше? Обратите внимание: находясь в прошлом, он уже знает все, что произойдет в ближайшие три дня! Знает, что его двойник, который в данный момент сидит в библиотеке, будет последовательно переживать все события, которые он, путешественник, уже однажды пережил... И что по истечении трех дней он придет к идее отправиться в прошлое. А для этого ему понадобятся чертежи открытия. Как же ему подсунуть эти чертежи?

Линьков сделал эффектную паузу. Шелест с ироническим любопытством смотрел на него.

— Он переписывает все в этот журнал! — с театральным пафосом сказал Линьков, указывая на лабораторный журнал, который они с Шелестом недавно рассматривали.— А сам остается в прошлом — тайком, конечно. Ему нужно только прожить эти три дня — еще раз прожить,— потом его двойник отправится в прошлое, а сам он заявится к нам героем... А как же! Ведь он открытие совершил, он хотел другу помочь, отправился в прошлое, чтобы его спасти... только не удалось ему...

Линьков тяжело вздохнул. Искусственность конструкции назойливо лезла в глаза.

Шелест скорчил страдальческую мину и спросил:

— Ну, а как же он этого самого А прикончил, разрешите узнать? Табуретом, что ли, трахнул? А с отравлением тогда как?

— А бог его знает! — с нарочитым равнодушием ответил Линьков.— Этого я толком не продумывал... Ну, мог он его, допустим, в ту же хронокамеру сунуть. Представляете: в камере мощное магнитное поле, наш Б сует туда А, у того начисто смывает память, и он теперь, как дитя,— хочешь, корми его снотворным, а хочешь... Брр!— Линьков поежился.

— Да, жуткое у вас воображение, Александр Григорьевич! — сказал Шелест.— Ну как, вы все высказали?

— Все как будто. Так, детали некоторые остались... Например, как с хронокамерой быть?

— А что с хронокамерой? — вдруг насторожился Шелест и почему-то обернулся к вычислительной машине.

— Ну, в этом... гипотетическом случае,— задумчиво сказал Линьков,— Б, конечно, должен предусмотреть, что нужно создать видимость неудачного путешествия в прошлое... иначе начнутся расспросы: что он там делал да почему.

— Ну и что? — осторожно спросил Шелест.

— Да ну, ерунда все это! — Линьков махнул рукой.— Все вместе — ерунда. Хоть и логично с виду, но, вероятно, я где-нибудь элементарную ошибку допустил...

— А с камерой как все-таки? — напомнил Шелест.

— Ну, мог он, скажем, отправить камеру обратно. Сам остался в прошлом, а камеру для виду отправил обратно, будто он тут же и вернулся, и не сумел спасти А... Это я к примеру. А вообще-то все это бред!

— Это, конечно, бред,— медленно сказал Шелест.— Но имеется тут один забавный фантик. Я вот посчитал сейчас на ЭВМ этот расход энергии... И получается, что вы правы: камера действительно вернулась назад не пустая, а с нагрузкой!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я медленно, с трудом выпрямился, разогнул замлевшую спину, спустил ноги с подставки. Непонятная тяжесть по-прежнему сковывала меня, давила со всех сторон, и казалось, что стоит мне пошевельнуться, как весь мир со стеклянным звоном разлетится вдребезги — вместе со мной.

Но все же я двигался, преодолевая эту странную тяжесть, и мир не разлетался вдребезги... Этот мир, в который я попал. И вдруг я понял, что не знаю, куда попал, и не знаю, как это узнать. То есть, конечно, в прошлое, в этом у меня не было сомнений,— но вот куда именно?

Эта мысль как-то встряхнула меня, отогнала тяжесть и скованность. Я быстренько сообразил, что времени в запасе не так уж много и что нужно в темпе выбираться из камеры и браться за дело.

Я открыл дверь камеры, вышел, неуверенно ступая,— ноги замлели, в них будто иголки торчали, минимум по сотне в каждой,— аккуратно прикрыл за собой дверь... и остановился в проходе из технического отсека. Отсюда я видел столы, часть дивана... да практически видел всю лабораторию. Она была пуста и тиха. Я никак не решался выйти из прохода между пультом и хронокамерой — стоял да стоял, весь напрягшись, и прислушивался. Я осознавал, конечно, что любые мои телодвижения не окажут сколько-нибудь заметного влияния на судьбу человечества в целом, но все же двигаться побаивался. Человечество в целом как-нибудь выдержит любое мое вмешательство, а вот здесь, в институте, я могу заварить такую кашу, что и не расхлебаешь.

Но стоять и думать все же бывает полезно. Постоял я вот так,— и в голове у меня что-то сработало, словно защелка соскочила в механизме, освободились всякие колесики и пружинки, и все вокруг сдвинулось, а вернее, вдвинулось в свои реальные очертания. И время стронулось с места, пошло в своем обычном темпе — мне даже показалось, что я слышу, как оно бодро и ритмично тикает где-то в районе моей левой верхней конечности. Я поглядел в данном направлении и обнаружил, что это тикают мои собственные часы фирмы «Восток», хорошие, надежные часы, и что на них сейчас — одна минута двенадцатого... а значит, уже шесть минут я вот так стою у камеры и бесплодно философствую...

«Ну, пошли!» — сказал я себе, решительно шагнул в лабораторию и огляделся. Это — прошлое? Может быть, даже измененный мир? Поди догадайся! Все знакомо до мелочей, все привычно. Столы, табуреты, диван... Вот и белоснежный красавчик-пульт светит зеленым кошачьим глазом индикатора готовности, и стеклянная стена хронокамеры привычно-тускло мерцает среди электромагнитов, и, если б не громадная подставка в центре камеры, можно было бы подумать, что весь этот переход мне просто приснился.

Я встряхнулся, как собака, вылезшая из воды. Неужели я действительно прожил уже однажды это время, уже видел то, что здесь только еще будет... через час, завтра, послезавтра? Да нет, что это я? Того, что будет ЗДЕСЬ, в этом мире, я, конечно, еще не прожил. Этот мир только возникает, новая мировая линия только-только начинает ответвляться от прежней, я стою у ее истоков, и от моих действий теперь зависит, насколько сильно она отклонится... Ах, чтоб тебе! Выходит, я в отве-

те за то, как сложится эта история? Я лично? Ничего себе...

Ну, пока отклонение мировой линии имеет чисто принципиальное значение, никак не практическое. В ближайшие часы мне, наверное, предстоит увидеть примерно то же, что было в ТОМ двадцатом мая, наблюдать тех же людей, те же события...

Да, кстати, а где же они, эти люди и эти события? Я вдруг понял, что налицо явное неблагополучие. Который здесь час? Только что пролетел самолетик аэроклуба... Занятия секции парашютизма начинаются в семь... Допустим, что сейчас половина восьмого... ну, четверть восьмого... Тогда — где же Аркадий? Опять куда-то ушел? Что это ему на месте не сидится, да еще в такой вечер? И того, второго, тоже не видать... Время-то уж очень позднее! Ведь эксперты сказали, что снотворное было принято часов в шесть...

Может, я все-таки не в тот день попал? Эта вредная камера могла меня зашвырнуть и подальше и поближе — я ведь контрольную проверку не успел провести...

Вообще в камеру-то я полез, а не успел даже подумать, как смогу определиться во времени и как буду спасать Аркадия. А если б я вышел из камеры и сразу увидел, что Аркадий лежит на диване уже полумертвый? Что я стал бы тогда делать?

Ну, положим, тут и думать особенно нечего, я же не врач, вызвал бы «Скорую помощь», это элементарно. А может, и сейчас стоит вызвать, заблаговременно, покуда кандидат в самоубийцы где-то разгуливает? Да нет, как он может разгуливать, приняв снотворное, он же максимум через полчаса после приема уснет. И по идее — именно здесь, на диване. Значит, либо он таблеток еще не глотал, либо это вообще не тот день... Вот, елки-палки, что же делать? До чего дурацкое положение! Рвался я в прошлое, спешил изо всех сил, мучился, голову ломал — и все для того, чтобы бессмысленно стоять на пороге технического отсека и заниматься пустопорожними рассуждениями?

Я досадливо поморщился и решительным шагом наискось пересек лабораторию. Ну вот, и ничего особенного, вот и прибыли в прошлое, займемся-ка лучше делом, чего расписать-то без толку. В институте, наверное, пусто, а кто и остался, тот намертво засел у себя в лаборатории. А кто остался-то? Если это двадцатое мая, то Леночка Чернышев определенно существует неподалеку... Надо, пожалуй, пройтись по коридорам — риск, в сущности, небольшой, а четко сориентироваться во времени просто необходимо. Впрочем, для порядка обследуем сначала нашу лабораторию.

Я начал методично, по квадратам осматривать лабораторию. Пульт все так же старательно и преданно следил за мной зеленым глазом индикатора готовности. Молодец пульт, ждет, старается, хоть и не понимает, что к чему. Ничего, друг, не сердись, я и сам не очень-то понимаю. Обследуем подоконники. Чисто, пусто, ни соринки, ни бумажки. Перейдем к столам. Мой стол чистый, все убрано,— неужели это я такую аккуратность проявил?.. Стол Аркадия... Ого! В пепельнице окурки! Сейчас мы, по примеру Шерлока Холмса, приглядимся к ним...

Окурки все сигаретные, с фильтром — такие Аркадий курит. Два окурка чуть тлеют — их небрежно тикнули в пепельницу и не до конца загасили... Значит, курили двое.

Но кто же это был с Аркадием, совершенно непонятно... Ну-ка, сопоставим. В начале шестого кто-то ждал Аркадия в лаборатории... встретился с ним... они о чем-то говорили... Сейчас примерно восемь — а может, семь? — и они куда-то вышли... Значит, Аркадий должен вот-вот вернуться, если... если он собирается сегодня принять яд... Постой, а нам же я? Неужели я проторчу здесь до одиннадцати — до одиннадцати по здешнему времени,— а потом преспокойно уйду и брошу умирающего Аркадия?

Нет, что-то тут определенно не клеилось. Обстоятельства гибели Аркадия не только не прояснялись, а, напротив, обрастали новыми неясностями. И все это было связано какой-то сложной петлей во времени, только вот проследить я ее никак не мог. А проследить надо позарез, иначе я тут черт те что могу натворить. И даже не узнаю, какие будут последствия моих поступков.

Тут я с досады стукнул кулаком по столу Аркадия, по листку чистой бумаги, который лежал с краю.

Под бумагой что-то было! Что-то скользнуло под кулаком, бесшумно рассыпалось, развалилось...

Я поспешно схватил листок и остолбенел, держа его в руке.

На столе лежала записная книжка Аркадия — в том самом неистребимом красном переплете. А рядом с ней — маленькие, узенькие оранжево-голубые пачечки...

Я глядел на эти пачечки, не веря своим глазам. Вот они. Мирно лежат рядом с записной книжкой. Аркадий куда-то вышел и на всякий случай прикрыл их бумагой. И запер дверь... или нет? Я подошел к двери, потрогал: нет, не заперта! Как же это? Может, я все-таки попал в другой день? Снотворное Аркадий мог достать заранее... даже наверняка достал заранее. Нет, и открытая дверь ничего не доказывает. Известно, что дверь была заперта сразу после пяти и оставалась запертой минут двадцать. И еще известно, что Аркадий в это время куда-то уходил из лаборатории. А выходил ли он позже и запирал ли при этом дверь, никто не знает... Вот только время уж очень позднее,— по идее Аркадий должен был давно уже проглотить эту дрянь...

Что же делать, ну что же мне делать?! Идти его искать?

Я вернулся к столу и с ненавистью посмотрел на аккуратные пачечки. Нет, надо же! Я до сих пор никак не мог поверить, что Аркадий покончил самоубийством. Я даже целую теорию сочинил, из ничего состряпал демонического эксплуатационника и яд в роскошном импортном напитке. Решил отбивать хлеб у почтенной леди Агаты! А, выходит, Аркадий тогда вернулся в лабораторию и аккуратненько слопал всю эту пакость? И преспокойно лег на диван и стал дожидаться, когда настанет сон... сон, который незаметно для него перейдет в смерть?! Все равно не могу поверить! Почему, зачем? Стой! А записная книжка-то! Записка Аркадия!

Я перелистал записную книжку... Расчеты, расчеты.... Чей-то телефон сбоку записан... а под конец — пять чистых листков. И все, и ничего кроме... Значит, Аркадий еще явится сюда, напишет мне записочку, вкусно поужинает таблетками, запивая их тепловатой водичкой из графина, а потом приляжет отдохнуть после праведных трудов. А потом кто-то придет и вырвет листки из записной книжки... Кто? И зачем?

«Ну, погодите вы, черти! — подумал я, разъярясь.— Я вам покажу, как травиться! Я вам покажу, как письма воровать! Вы у меня забегаете! — Я сгреб пачечки, завернул в листок бумаги и, злорадно ухмыляясь, засунул поглубже во внутренний карман куртки.— Ну, Аркашенька, поищи теперь свои дорогие таблеточки! А если тебе уж так не терпится побыть трупом, придумай что-нибудь другое!»

Тут я запнулся и тревожно подумал: а что, если он и вправду придумает? Но потом рассудил, что ничего он не станет делать, пока не выяснит, куда девались таблетки. И самоубийство не состоится — по крайней мере сегодня. Дело сделано, и не рвануть ли мне поскорей обратно? Нет, ничего я еще не выяснил, да и самоубийство может состояться не сегодня, так завтра... Нельзя мне в хронокамеру... а жалко!

Думая об этом, я машинально оглянулся на хронокамеру, на пульт — и вдруг похолодел, прямо обледенел весь, от кончиков пальцев до корней волос!

Зеленый глазок на пульте погас!

Что это значит? Что же это значит? Ведь он был включен на автоматику! Постой... где включен? В будущем, из которого я прибыл... Так-так... В будущем, на три дня вперед, стоял этот же самый пульт. Я его сам включил на автоматический возврат хронокамеры. А он взял да отключился — как же это? Он же не мог отключиться сам по собственному почину! Не может он этого, наш белоснежный зеленоглазый красавчик. На такое свинство он никак не способен!

Сам-то он неспособен, а вот под моим воздействием... Я забрал таблетки и этим уже отклонил линию, и мои действия — сегодняшние, здешние — уже начали, как видно, влиять на дальнейший ход событий. От них, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, захватывая в свою орбиту другие события, мне пока неизвестные. И через три дня мир окажется не совсем таким, каким я его оставил... И пульт там не будет включен... видно, некому будет его включить.

Ясно... А неясно вот что: разве будущее может влиять на прошлое? Но тут же я сообразил, что вообще-то, конечно, не может, но как раз в данном уникальном случае это возможно, потому что включенная хронокамера связывает общим каналом два момента времени — настоящий и будущий... Она как бы одновременно существует и тут и там... И если там, в этом загадочном будущем, пульт почему-то отключился, то он должен отключиться и здесь.

Прежний твой мир не исчез, но ты исчез из него и для него. Все осталось там по-прежнему: и камера стоит, и пульт тебя там дожидается... и никогда уже не дождется.

Теоретически это понятно, а эмоции бунтуют, примитивное чувство реальности возмущается: ну как это могут существовать в одном и том же месте минимум два разных мира?! Да и не очень-то они разные,— в общем, все на один манер, с некоторыми вариантами... А может, вся эта теория насчет отклоняющихся мировых линий никуда не годится? Может, изменяя реальность при переходе во времени, мы попросту аннулируем ее, эту прежнюю реальность, и заменяем другой, уже измененной? Нет, постой, как же там? Я ведь только что был в одном времени, а попал в другое... Это же ясно: там была ночь, тут — вечер. И окурков в пепельнице там не было и не могло быть, я же не курю, а Аркадий... Я бессмысленно поглядел на пепельницу. Да,— но это никакое не доказательство. Я сравниваю разные точки из одной и той же линии, разно расположенные во времени, но существующие одновременно... Постой, а пульт! Почему тогда погас пульт?.. Ну, и это ничего не доказывает, или, вернее, доказывает, что я уже изменил реальность. Нет, не так... Нет, я окончательно запутался!

И вообще сколько можно стоять и бесплодно теоретизировать? Этим вполне можно было и там, у себя, заниматься, а здесь действовать надо! И в первую очередь надо разыскать Аркадия — где он, в самом-то деле, шляется в такой ответственный момент!

Двигаться надо в направлении зала хронокамер, это элементарно. Какие-то дела в том районе у Аркадия определенно были...

Я решительно распахнул дверь лаборатории. Видит меня кто — ну и пускай! Смотрите и, ежели охота, завидуйте! Да и вообще — чего мне бояться? Увидят если, так ведь примут меня... за меня же! За кого же еще? Одет я так же, постареть за три дня не успел... насчет биологических процессов, которые якобы при переходе во времени идут вспять — это явная липа... Нет, никому даже и не приснится, что я Борис, да не тот! Вдруг я вспомнил о чем-то... о чем же это? Нет... скользнуло и исчезло, не поймаешь, не удержишь... Ну, ладно...

Я выглянул в коридор: никого нет. Ну, поехали! Я осторожно прикрыл дверь лаборатории и зашагал к боковой лестнице, к той самой, где недавно, часа два-три назад, но в том, прежнем мире Нина повстречала Аркадия.

Подумать только: на лестнице опять кто-то был! И не один. Прямо не лестница, а Бродвей какой-то...

Я прижался к стене, осторожно глянул на лестницу — и тут же попятился. Там стояли двое. Один как будто бы Аркадий... да нет, точно — Аркадий! Второго я совсем не успел рассмотреть, да и стоял он спиной ко мне.

Если б Аркадий был один, я бы, конечно, сразу бросился к нему. Но тут я сообразил, что ведь не знаю, кто это разгуливает с Аркадием по институту и какие у них дела. И совсем неизвестно, захочет ли Аркадий мне это рассказывать. Скорей всего, именно не захочет.

Я напрягал слух, стараясь разобрать, о чем говорят на лестнице. Впрочем, в институте было абсолютно тихо, а узкий тоннель лестницы работал как рупор, донося до меня каждый звук.

Но те двое на лестнице молчали. Стояли и молчали. Это меня совсем уж с толку сбило. Нашли тоже время и место для лирического молчания! Наконец чиркнула спичка, а потом что-то затрещало. Вроде бы спичечный коробок сломали. Потом кто-то кашлянул, и я отчетливо услышал голос Аркадия:

— Ну что ж, пошли в зал!

— Угу,— буркнул тот, другой.

Значит, они идут в зал хронокамер: в эксплуатационном корпусе никакого зала нет...

Внизу скрипнула дверь. Я крадучись спустчлся по лестнице. Понаблюдаю за ними, пока ведь ничего страшного не происходит, отношения у них вроде бы вполне мирные. Или это мне кажется?

Была еще одна причина, по которой мне хотелось сначала разглядеть как следует «незнакомца». Но я побаивался, что рядом с Аркадием увижу... самого себя! Ведь недаром же видели меня в институте вечером двадцатого мая! Конечно, эта история меняется с каждым моим шагом и все больше расходится с той, прежней, но не может же она сразу во всем измениться! Могло случиться так, что именно этого факта мои теперешние действия не изменили... Ну, а встречаться с самим собой и выяснять, какова моя роль во всей этой истории, мне определенно не хотелось.

Я тихонько, на цыпочках пробежал по коридору нижнего этажа. В конце коридора была дверь с тамбуром, она выходила во двор, к эксплуатационному корпусу; я стал в тамбуре и сунул носом туфли в дверь, чтобы она оставалась чуть приоткрытой. Сквозь узкую щель я видел весь коридор и дверь зала хронокамер. Сейчас они выйдут, наверное... Уж тут-то я их разгляжу как следует: в коридоре светло...

Дверь зала медленно приоткрылась. Сердце у меня гулко стукнуло. Из зала вышел только один человек. И это был Аркадий.

Я отчетливо видел, как он прищурился — в зале, наверное, было темновато, и яркий свет резанул ему глаза. Он постоял у двери, будто задумавшись о чем-то. Лицо у него было не то озабоченное, не то печальное — нет, скорее хмурое, жесткое и хмурое.

Сердце у меня колотилось так громко, что я невольно прижал его локтем,— испугался, как бы Аркадий не услышал... Теоретически я был вполне готов встретить здесь, в прошлом, живого Аркадия,— да ведь в расчете на это я и затеял всю историю с переходом! Но сейчас... сейчас я еле на ногах устоял, даже за стенку уцепился, чтобы не упасть. Шестьдесят часов назад я видел Аркадия мертвым, а сейчас он стоял в коридоре, озабоченный, хмурый, злой, но живой! Чего уж, живее некуда — и сигарета, как всегда, торчит в углу рта, и глаза чуть прищурены, и смотрит он словно внутрь себя... Ну, полное впечатление, что у Аркадия какой-то важный эксперимент не ладится... Вся моя злость на него пропала, мне хотелось заорать во весь голос: «Аркадий!» — и броситься к нему.

Но я остался в своем укрытии, а Аркадий повернулся и, слегка сутулясь, пошел к боковой лестнице. Я выпрямился и вздохнул посвободней. Я даже злорадно ухмыльнулся, потрогав карман куртки: «Иди, иди! Войдешь в лабораторию и приятно удивишься!» Но тут же острая боль резанула мне сердце: ведь Аркадий сейчас стоял и думал, что пора, мол, идти и глотать яд... пора умирать!

Мне страшно захотелось догнать Аркадия, прижать его к стенке, добиться истины. Но я понимал, что это неразумно. Сейчас мне надо заняться в первую очередь «незнакомцем». Аркадий минимум на полчаса имеет занятие — выяснить, куда девались таблетки.

Я осторожно, на цыпочках двигался к залу и все ожидал, что вот-вот скрипнет дверь,— тогда я срочно эвакуируюсь обратно в тамбур. Но дверь не скрипела, и никто из зала не выходил. Елки-палки, да что же он там делает? Что вообще там можно делать, в этом, еще мертвом зале, среди всякого хлама и мусора?! Я уже был сыт по горло всеми этими тайнами пещеры Лейхтвейса. Вот пойду сейчас и добуду интервью у этого типа, кто бы он ни был, хоть и я сам. Пора установить, кто есть кто!

Тут у меня снова что-то ворохнулось в мозгу, тяжело так, неуклюже... Я приостановился, прислушался, держа одну ногу на весу... Нет, затихло опять, упряталось...

Я стоял уже у самой двери в зал хронокамер. За дверью была тишина. Абсолютная тишина. Я приложил ухо, прислушался: ни звука не слышно. Спать он там устроился, что ли? Я осторожно потянул дверь на себя, она скрипнула, открылась; полоса света из коридора легла в полумрак зала, я увидел беспорядочно навалленные обрезки труб, дикую путаницу кабелей... Никакого человека я там пока не разглядел, но он-то меня должен был отлично видеть, я ведь стоял на свету! «Вот времет он мне сейчас каким-нибудь подходящим предметом по голове!» — с неудовольствием подумал я. Но все же распахнул пошире дверь, шагнул через порог и торопливо огляделся.

Никто мне ничем не врезал. В зале вроде никого и не было. Если б этот неизвестный дядя попробовал спрятаться, я бы непременно услышал шорох, но тишина стояла мертвая.

Окна зала выходили в дворик между главным зданием и эксплуатационным корпусом, перед окнами росли высокие кусты сирени, из-за них тут было темновато, особенно сейчас, вечером. Я щелкнул выключателем у двери. Вверху загорелись белые огни больших лампочек, висящих на еле закрепленной проводке.

Ералаш в зале был просто ужасающий, мне даже непонятно стало, как сами-то монтажники

здесь пробираются. Но спрятаться тут было негде — разве что в глубине зала, за хронокамерами. Они стояли все три в ряд у задней глухой стены — здоровенные, раза в три больше нашей лабораторной. Четвертую монтажники еще не поставили, только фундамент под электромагнит подвели.

Так что же он, действительно за хронокамерами спрятался? Я поднял обрезок тонкой трубы длиной более метра и начал пробираться к хронокамерам, путаясь в кабелях и расталкивая грохочущие трубы.

За хронокамерами тоже никого не было. Да что ж это в самом деле? Сквозь канализацию он, что ли, просочился? В хронокамеры, может, заглянуть? Да чего в них заглядывать, они все насквозь видны. Нет, постой, а третья хронокамера почему-то вся завалена черт те чем, щиты какие-то, подставки. И щиты будто нарочно так поставлены, что со всех сторон загораживают середину камеры. Может, он там и запрятался? Зачем?! С ума он сошел, что ли? Но больше уж негде искать...

Я рванул дверь хронокамеры. Она открылась неожиданно легко и бесшумно, и я ступил на порог. Ну и здоровенная хронокамера — тут вполне можно холостяцкую квартирку оборудовать...

— А ну, выходи! — негромко, но отчетливо сказал я.— Быстренько, быстренько, давай! Некогда мне с тобой...

Вдруг что-то мягко толкнуло меня в спину. Я покачнулся, невольно шагнул вперед, чтобы удержаться на ногах, споткнулся о щит, упал... Что же это? Он, выходит, был там, в зале?! Я вскочил и обернулся к двери, чтобы увидеть его. Дверь была закрыта. За ней никто не стоял.

Мне вдруг стало невыносимо тяжело — что-то сдавило сердце, в глазах потемнело... нет, побагровело... Дрожащий багровый свет залил всю камеру... или это мне показалось... Я медленно, с трудом повернулся в этом тяжелом красном сумраке... и увидел сквозь двойное стекло передней стенки странное, какое-то перекошенное лицо Аркадия.

Я хотел крикнуть, кинуться к нему, но не мог даже шевельнуться. Багровый туман сгустился, лицо Аркадия исчезло, растаяло в этом тумане, и я ничего больше не видел...

Что-то твердое и острое врезалось мне в правое бедро; что-то больно давило на шею. Я осторожно пошарил вокруг: кусок металлической трубы, фанера...

Я открыл глаза. Так ведь это все те же щиты и подставки и еще кусок трубы, который я прихватил для самообороны. И я лежу на всем этом, как факир на гвоздях...

Я оперся на правую руку и рывком, с большим усилием встал. Неудачно встал, прямо скажем, неаккуратно: под ногами что-то перекатилось, я ударился плечом о щиты — они дрогнули и медленно, будто раздумывая на ходу, начали разваливаться и падать... Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но щиты перед тем, как грохнуться на пол, мстительно саданули меня по щиколоткам. Я тихо взвыл от боли и почти упал на дверь.

Дверь услужливо распахнулась, и я вывалился наружу под злорадный грохот щитов и подставок.

«Герой эпохи, путешественник во времени,— обличал я себя, поднимаясь и старательно отряхивал пыль с локтей, колен и прочих частей тела и одежды.— На пленочку тебя надо бы заснять, вот фильмик получился бы, потомкам в назидание!»

Кончив бормотать и отряхиваться, я медленно разогнулся и поглядел вокруг.

Ничего я не увидел. Прежде всего потому, что было совсем темно. Только слабый свет лампы над входом в эксплуатационный корпус, пробиваясь сквозь кусты сирени, освещал небольшое пространство у окон. Ночь. Который же это час? Я посмотрел на светящиеся стрелки своих часов. И даже глазам не поверил: стрелки показывали двенадцать минут первого!

Ничего не поймешь! Спал я, что ли, в камере? Или без сознания валялся? Когда я выходил из тамбура, на моих часах было двадцать три минуты двенадцатого. На осмотр зала ушло минут пять-шесть самое большее. Значит, минут сорок — сорок пять у меня просто пропало, неизвестно куда. И почему так быстро стемнело? Может, здесь было не начало восьмого, а, скажем, около девяти? Парашютная секция занимается часа два, самолетик мог уже возвращаться с занятий. Ночь темная, безлунная, и небо облачное. Я что-то не мог припомнить, новолуние сейчас или нет, и какая была погода двадцатого мая... Да и вообще здесь, в этом мире, и погода, пожалуй, могла измениться... Нет, все же не могло так быстро стемнеть! Главное, что не девять было, когда я в зал входил,— солнце еще вовсю светило в коридоре...

Ну, допустим, что стемнело все же по правилам. Но куда же девалось мое личное, на моих часах отмеренное время? Мои законные сорок минут? Может, я сознание потерял? Но почему, спрашивается? Толкнул меня кто-то будто бы — так ведь мягко толкнул, просто я от неожиданности упал или оттого, что споткнулся... И никто меня по голове не бил вроде... А у меня сразу все начало мутиться перед глазами... туман какой-то красный... Потом — кто же меня толкнул, если в зале совершенно точно никого не было? И Аркадий... Ведь не примерещилось мне, я уверен, что видел его лицо, странное какое-то лицо, не то с ухмылкой, не то с гримасой, зловещее даже... Ну, ладно, насчет выражения лица я мог еще ошибиться, не разглядеть, но что видел я именно Аркадия, а не кого другого — это уж точно! Неужели это он меня и толкнул, а потом обежал вокруг хронокамеры, чтобы полюбоваться, как я там барахтаюсь среди щитов и подставок? Ведь на дверь я поглядел сразу — там никого не было... Но зачем бы Аркадию толкать меня?

И куда девался все же тот, второй? Кто он такой? Зачем пришел и куда исчез? Другого-то выхода из зала нет. А окна была закрыты, я специально проверял: да, закрыты, ручки шпингалетов завернуты до отказа. Так куда же он девался? Выскочил, пихнул меня и опять провалился? Если б он меня ударил, попытался убить, это все же было бы понятней: хотел избавиться от свидетеля, допустим... А может, меня все же чем-то саданули по черепу? Я осторожно ощупал голову: нет, шишки и ссадины отсутствуют, нигде ничего не болит, только мутно как-то в голове...

Нет, самое главное — Аркадий! Что бы со мной ни случилось, он ли, не он ли был виноват в этом — но как он мог уйти и бросить меня: пускай, мол, Борька полежит, пока не очухается!

Объяснение, пожалуй, имеется: Аркадий боялся, что я увижу этого «незнакомца», полезу выяснять отношения, чему-то помешаю. Вот они что-то со мной и сделали, чтобы временно обезвредить... допустим, какой-то дурманящий газ напустили в камеру... Откуда газ? А я почем знаю? Может, «незнакомец» откуда-то раздобыл...

Тут мне вдруг стало страшно. Если этот Аркашкин дружок и вправду такой доставала, то, может, у него запасная порция таблеток имеется! А к тому же — история-то уже изменилась, теперь можно и без снотворного обойтись, важен результат...

Я почти бегом кинулся из зала. Только очутившись в коридоре, я сообразил, что путь к двери был расчищен, мне не пришлось снова карабкаться через дикие завалы. Неужели Аркадий со своим дружком за это время провели субботник в помощь монтажникам?

Я резко затормозил, уже у самой лестницы. Что это я в самом деле так разлетелся? Ждут меня там не дождутся, что ли? А ежели наоборот? Если уж они с ходу газом меня угостили, то по второму разу можно и чего похуже схлопотать! Чтобы не лез, куда не следует... Нет, неужели Аркадий может... меня?.. А то не может! Бросил же он тебя здесь одного, без памяти, оглушенного газом...

По лестнице я шел осторожно, на цыпочках, цеплялся за стену, чтобы ступать полегче, не скрипеть... Поднявшись до середины, я решил постоять и послушать... А заодно и подумать малость...

Что-то не клеилось во всей этой истории. Как это они так сразу догадались, что меня надо затолкать в камеру и пустить туда газ... Тьфу ты, зверский какой-то замысел! Ждали они меня, что ли? Может, и ждали. Тогда, значит, все-таки временная петля... И может, я не случайно сообразил и решил все это именно сегодня... Черт, ведь обидно получается — вроде и не сам я соображал и решал, а зацепила меня эта самая петля и поволокла, как бычка на веревочке...

И вдруг мне все стало ясно. Не было никакого газа, не было, конечно, и незаметных ударов по моей драгоценной башке. А просто Аркадий со своим дружком запихнули меня в хронокамеру и куда-то вышвырнули из ихнего времени, чтобы я у них под ногами не путался. Какого «меня» они имели в виду, это неизвестно, но, так или иначе, я им мешал... Мешал этому кретину спокойно жрать таблетки, надо же! Они меня и выбросили куда-то: катись, милок, ты нам вовсе без надобности!

Я до этого мог бы и раньше додуматься — видел же, что и стемнело как-то ненормально быстро и в зале почему-то прибрано и убрано. Но я ведь был совершенно уверен, что хронокамеры в зале не подключены. И зря был уверен, оказывается! Ходил Аркадий все эти дни, значит, именно в зал хронокамер... И дружок его, должно быть, из монтажников: эксперимент они вместе готовили...

Так-так! Аркадий, значит, тоже нашел возможность перехода во времени! Принцип решения у него, по-видимому, другой, даже по световым эффектам видно. Наверное, что-нибудь посложнее, позаковыристее... Аркадий любит хитроумные штучки, да ему и карты в руки, он ведь теоретик, а я... Хотя постой... Может, у меня наивней, но лучше? Чего это я, спрашивается, сорок минут без памяти провалялся? Может, у них такое побочное действие получается, за счет высокой сложности и хитроумности? Тогда спасибочки, я лучше по-своему буду...

Правда, тут возможно и другое объяснение. Может, вообще-то переход «по Аркадию» совершается без всяких обмороков, а все дело в том, что я в момент перехода вел себя... ну, скажем, нетипично: валялся на полу хронокамеры, вскакивал, вертелся туда-сюда?.. Вообще удивительно, что я отделался обмороком...

Нет, все-таки это дикое свинство — вот так швырять человека в хронокамеру и, ни словом не предупредив, включать поле! С ума они сошли! Или уж Аркадий создал такое идеально однородное поле, что в камере хоть гопака пляши — все равно перейдешь целиком и без дефектов? Похоже на то...

То-то и дверь камеры так легко открывалась... А я вывалился оттуда, как мешок с картошкой, и даже не сообразил, как это дверь могла открыться... А как в самом деле? Я, когда упал на дверь, придавил ручку, что ли?

Однако же история! Никогда я не поверил бы, что Аркадий способен запихнуть лучшего друга в хронокамеру и швырнуть куда попало... Э, мало ли что! А когда тебя спросили три дня назад, может ли Аркадий покончить самоубийством, ты что ответил?

Впрочем, могло быть и так: Аркадий обнаружил, что таблетки исчезли, кинулся обратно в зал, чтобы сообщить это компаньону, а тот пока что взял да и запихнул меня в камеру! Аркадий прибежал в момент «старта» и, естественно, остолбенел. Зловещая гримаса на его лице могла относиться вовсе не ко мне, а к компаньону...

От этой гипотезы у меня как-то легче на душе стало, и я бодро зашагал вверх по лестнице... Ну да, теперь понятно, почему Аркадий исчез. Ведь я уже в другом мире, на другой мировой линии. Мамочки, да ведь я опять создаю новую мировую линию! Шагаю по лестнице — и создаю линию, и отклоняю ее от прежней, и формирую... Ох, и неуютно мне стало! Не хотелось мне создавать никаких линий... Мне бы на прежнюю на мою вернуться... Дудки, братец, не видать тебе этой линии!

Я подошел к нашей лаборатории, оглянулся, не идет ли кто, и сунул ключ в замочную скважину... И вдруг меня холодным потом облило от страха. Что, если эти паршивцы швырнули меня всего часа на три-четыре вперед? Что, если это все же двадцатое мая или ночь на двадцать первое и там за дверью лежит мертвый Аркадий? Умерший не от снотворного, а от чего-нибудь еще... или даже от запасной порции таблеток? Я попытался наспех прикинуть, возможно ли это, но ничего не смог сообразить, а торчать в коридоре было глупо и опасно. ...Я повернул ключ — дверь бесшумно открылась, я нашарил выключатель, щелкнул...

Диван был пуст. Лаборатория тоже. Все было пусто, чисто, прибрано. На столах ни бумаг, ни окурков, ни записных книжек.

Делать мне здесь было совершенно нечего, с порога видно, что даже и входить незачем. Протягивая руку, чтобы повернуть выключатель, я почти машинально глянул на хронокамеру.

Моей подставки в ней не было...

То есть как же это так? Ведь по идее она должна быть... Или я уж совсем запутался? Я стоял и тупо глазел на хронокамеру. Будто меня этой несуществующей подставкой по макушке трахнули — стоял и с места сдвинуться не мог.

Я, впрочем, вообще застывал на каждом шагу с тех пор, как прокатился по времени. Мне и самому это уже надоело. Шаг сделаю, а потом стою и мучительно соображаю, куда же это я шагнул и стоит ли шагать дальше в том же направлении. Но главная-то беда была не в том, что я медлил и думал, а в том, что ничего я толком обдумать так и не мог...

Переместить хронокамеру (вернее, ее содержимое) обратно, в двадцать третье мая, никто не мог — она уже не принадлежала тому миру, который я покинул. Так что вроде бы и подставке полагалось оставаться на месте. Однако же ее нет. Почему?

Остаются две возможности: либо опять что-нибудь изменилось в будущем и кто-то «оттуда», «сверху», выволок мою камеру из прошлого, либо я сам проник еще глубже в прошлое — туда, где моя хронокамера с подставкой вообще не появлялась...

Ух, до чего мне надоели эти фокусы! На каждом шагу ребусы, шарады и прочие штучки, подходящие только для часов досуга, чтобы потренировать мозговые извилины. А у меня сейчас никакой не досуг и мозговые извилины вообще уже отказываются шевелиться от перенапряжения. Я почувствовал, что задыхаюсь. Пересек лабораторию, распахнул окно, подышал прохладным ночным воздухом. Стало легче, я немного успокоился. Ну ее, эту подставку, не интересует она меня совсем, и вообще ничто меня уже не интересует, а о хронофизике я без содрогания думать не могу! Вот пойду сейчас домой и завалюсь спать, и мотайтесь вы тут без меня по времени, а я лично пас...

Я вышел из лаборатории, повернул к боковой лестнице, и вдруг показалось мне, что все это уже было... Так же я размышлял, стоя у двери, так же свернул направо и...

Я вдруг вспомнил! Вспомнил — и оглянулся... Показалось мне или вправду кто-то сейчас прошмыгнул мимо нашего коридора к главной лестнице и скользнул по мне испуганным взглядом? Я не повернул назад, в главный коридор, чтобы выяснить, было это на самом деле или почудилось мне. Я уже вспомнил... Это в точности повторялись те события, о которых рассказывали Нина и Чернышев!

Я стоял у окна нашей лаборатории, у окна, выходившего на улицу, и свет фонаря падал мне на лицо. Я вышел из лаборатории и пошел к боковой лестнице... И кто-то, проходя мимо нашего коридора, увидел меня в эту минуту. Я снова проделал все то, о чем узнал сегодня днем в том, прежнем мире... Правда, мои часы показывают более позднее время, но, может быть, в этом мире сейчас именно без пяти одиннадцать...

Но нет, это просто какое-то дурацкое, случайное совпадение! Ведь в том двадцатом мая, которое видели Нина и Чернышев, я в это время сдавал книги в библиотеке, а Аркадий лежал уже без сознания на диване! Если какой-то Борис Стружков и побывал двадцатого мая вечером в лаборатории — в том мире! — то это был не я, а другой Борис Стружков. Я об этом ничего и не знал, пока Нина мне не рассказала. А впрочем, пожалуй, я мог ничего и не знать тогда! Я ведь услышал рассказ Нины до того, как совершил переход в прошлое. Я «тогдашний» мог не знать вообще ни о чем, что связано с этим переходом... А вот я «теперешний»...

Да нет, не может этого быть! Выходит, что я должен был попасть в это прошлое раньше, чем я туда попал... раньше, чем понял, как туда можно попасть. Ну, допустим, это фокусы временной петли... Но как мог я — тот же самый я! — потом вернуться в будущее и выслушать от других рассказы о своих похождениях, сам ничего о них не зная? В то же самое, неизменное будущее? Ведь я после перехода должен был попасть уже на новую мировую линию!

И потом, если это ТО САМОЕ двадцатое мая, так где же Аркадий? Почему он не лежит на диване, а шляется неизвестно где?

Я почувствовал, что у меня голова распухает от всей этой путаницы. С каждым часом, с каждым шагом меня все глубже втягивало в водоворот времени, и я уже не понимал, как я выберусь. Все непрерывно менялось, и я не мог уловить логики в этих переменах. Погас глазок на пульте... Исчезла подставка... Аркадий не лежит на диване, а разгуливает по институту... Меня швыряет в этом водовороте времени, как щепку, перебрасывает неизвестно откуда и неизвестно куда, и попробуй тут разберись, за что уцепиться!

Мне уже было все равно, увидит меня кто-нибудь или не увидит. Я быстро сбежал по лестнице и боковым коридором вышел в вестибюль к главному входу.

При свете уличного фонаря можно было разглядеть положение стрелок на больших институтских часах. Без десяти десять! А на моих... на моих двадцать шесть первого...

Значит, здесь без десяти десять... интересно, какого дня?

Продолжение следует.

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

Версия умерла — да здравствует версия!

Линькову сначала показалось, что он ослышался. Он спросил, запинаясь на каждом слове:

— Это... это что же означает? Что моя... ну, что та версия... она справедлива?

Он тут же осознал, что не хочет... что даже боится этого внезапного подтверждения. И по усмешке Шелеста, добродушно-иронической, увидел, что тот понял его страх.

— Ну, что вы, Александр Григорьевич! — успокоительно прогудел Шелест.— Ничего даже подобного! Историю вы действительно рассказали прямо-таки захватывающую...

— Но ведь эта история была целиком вымышленной,— сказал Линьков, обретая обычный свой спокойный тон.— А если камера вернулась нагруженная, то это вроде бы подтверждает...

— Не подтверждает,— возразил Шелест,— наоборот: опровергает!

— Позвольте,— удивился Линьков,— может, я вас неправильно понял? По вашим расчетам вышло, что камера вернулась с человеком, ведь так?

— Ну, не совсем так. По расчетам нельзя установить, был это человек или, допустим, чурбан того же веса. Но поскольку чурбан не может открыть дверь камеры и уйти, а камера пуста...

— Да, действительно, я не сообразил,— смущенно сказал Линьков.— Почему-то я думал, что для перехода нужно одинаковое количество энергии, независимо... Как это я... ведь в пустой камере не совершается работа!

— Почти не совершается,— поправил Шелест.— Все-таки сама камера имеет массу, и подставка тоже... Но, чтобы переместить добавочный груз, конечно, требуется соответственная добавочная энергия. Подсчитал я грубо, разумеется, но сомнений нет: за вычетом обычной мощности остается как раз такая добавочная, которая в данном режиме нужна для двойного переброса массы килограммов эдак восьмидесяти...

— Значит, Стружков вернулся?— задумчиво проговорил Линьков.— Странно... Где же он?

— Этого я не знаю. Но ясно, что он вернулся.

— А может, при переходе... Вы уверены, что он, так сказать, жив-здоров?

— Кто ж его знает...— помолчав, ответил Шелест.— Однако ведь он вышел из камеры... и из института. И без посторонней помощи, надо полагать. Странно, конечно, что он до сих пор не показывается...

— Вахтера надо спросить,— спохватился Линьков.— Я пойду узнаю, кто дежурил вчера вечером.

— А у наших вахтеров дежурства суточные, смена в восемь вечера, скорее всего, он же сейчас и дежурит. После совета я буду у себя, вы, пожалуйста, сообщите, что успели узнать. Если, конечно, сам Стружков до тех пор не объявится.

— Да, но как быть с этой «гангстерской версией»? — задумчиво спросил Линьков.— Психологические натяжки в ней явные и ужасающие, а вот логически она выглядит вполне аккуратно. И все факты отлично нанизываются на одну нить, располагаются на одной мировой линии. Если путешественник по времени вмешивается в прошлое, то он тем самым создает новую мировую линию. Но ведь в данном случае никаких новых действий даже не предвидится! Все, что предстоит совершить нашему гипотетическому Б после возвращения в прошлое, уже совершено, уже было на нашей мировой линии: и смерть А, и похищение его записи, и даже то, что этого Б видели поздно вечером в институте.

— Ну, это, знаете..— недовольно отозвался Шелест.— События, говорите, совершились еще до перехода Стружкова в прошлое? А кто же их совершил, можете вы мне объяснить?

— Да, с причинностью здесь обстоит плоховато! — подумав, согласился Линьков.— Если переход Стружкова — причина, а, скажем, похищение записки — следствие, то получается, что в этой схеме следствие предшествует причине...

— Вот именно! — сказал Шелест.— Все эти петли времени очень эффектно выглядят в фантастических романах. И даже не только эффектно, а вроде убедительно. Пока не подойдешь к ним с логической проверкой. А тогда сразу обнаруживается, что все это сплошной блеф! Да вот вам такая простенькая логическая задачка для проверки на основе вашей же схемы. Допустим, что ваш Б встречает в прошлом не А, а самого себя. Возможен такой вариант?

— Вполне! — согласился Линьков, и вдруг мелькнула у него в голове какая-то странная ассоциация... смутная догадка...

— Так вот. Предположим, что Б убьет не А, а самого себя: то есть тамошнего своего двойника,— продолжил Шелест.— Могут, по-вашему, оба эти события — и переход в прошлое, и убийство самого себя — лежать на одной линии?

Вот оно! Линьков застыл, прислушиваясь к отчетливо зазвучавшей наконец мысли. Как просто! Как ясно! А он-то ходил три дня вокруг да около, совсем рядышком и ничего не видел!

— Ох, простите, я задумался...— пробормотал он, поняв, что Шелест молча ждет его ответа.— Ну, конечно, конечно, эти два события никак не умещаются на одной мировой линии. Если Б убил себя в прошлом, то он не мог существовать в будущем... Это значит, что на данной линии у него нет продолжения. И это значит, далее, что неоткуда взяться тому Б, который пришел из будущего. Некому убивать, и поэтому убийство произойти не может... Да, но ведь из этого следует, что самого себя убить невозможно...

— Ничего подобного! — возразил Шелест.— Все не это следует, а другое: что в результате такого вмешательства возникает новая мировая линия!

— Понятно...— после паузы сказал Линьков.— А раз это происходит при одном виде вмешательства в прошлое, то должно происходить и при всяком другом, так?

— Разумеется. Время ведь не может приобретать различные свойства в зависимости от того, как ведет себя тот или иной путешественник по времени.

— Я вот чего никак не могу усвоить,— сказал Линьков.— Это новая мировая линия, этот другой мир, он ведь существует, по-видимому, рядом с нашим. Но время-то едино...

Шелест задумался, озабоченно хмуря кустистые брови.

— Ну, как вам сказать... Единство времени мы, собственно, понимаем как воплощение единства мира, единства событий, образующих ту материальную систему, в которой мы живем. Создайте новые события, новую систему — и она будет обладать «своим временем». Ведь нет «времени вообще»! Нет такого времени, которое существовало бы отдельно от материального мира, от событий. Это просто термин, и довольно путаный термин, надо сказать. Лучше было бы говорить об определенной последовательности событий. А переходы, «путешествия во времени» дают возможность менять эту последовательность, добавлять к ней новые события или ликвидировать прежние. Раньше такая возможность даже не рассматривалась всерьез. Для этого у нас даже специальное обозначение имеется — «создать новую мировую линию». Неточное обозначение, да что поделаешь: терминология еще не разработана для этой области. Да, кстати, еще один довод не в пользу теории единого времени и временных петель. Ведь по этой теории выходит, что раз наш здешний Стружков вернулся в двадцатое мая, то «тамошний» Стружков, который сидел весь вечер в библиотеке, дожив до двадцать третьего мая, тоже должен будет отправиться в прошлое и тоже в двадцатое мая... А там у него, в свою очередь, двойник есть, и тот опять-таки сидит в библиотеке, и тоже должен будет отправиться в прошлое, и заставить своего тамошнего двойника повторять свои действия... А если вся эта орава Стружковых ввалится в одну и ту же лабораторию, в одно и то же время...

— Да,— сказал Линьков, усмехаясь,— это уже фарсом попахивает.

— А вообще-то,— продолжал Шелест,— о времени мы пока знаем страшно мало! Его нет вне реальных событий, вот мы его только через них и воспринимаем. Сменяются события, мы говорим: время идет. А каков закон их смены? Однозначен ли он? А может, мы так сформированы окружающим миром, что способны воспринимать только один из многих возможных вариантов события? Вы бросаете монету, она может упасть орлом или решкой... Может быть, одновременно осуществляются оба варианта, а мы способны видеть лишь один из них по принципу «или-или», как элементарная двоичная ячейка? Вам это понятно?

— Понятно,— поразмыслив, ответил Линьков.— Я не могу представить себе предмет иначе, как в его единственном виде, скажем, с данной, определенной длиной. А между тем я знаю — по Эйнштейну,— что он существует одновременно и для других наблюдателей и обладает для всех них разными длинами... Вот если б нам получить такое «множественное зрение»! Как изменилась бы для нас картина мира!

— То-то и беда, что ничего мы такого не имеем и не будем иметь! — с искренним огорчением сказал Шелест.— Мы намертво привязаны к своей системе, к одной точке зрения. Но плохо даже не это. Плохо то, что мы склонны считать эту свою точку зрения универсальной и всеобъемлющей. Мы все еще больше доверяем своим чувствам, грубому, несовершенному чувственному восприятию, чем разуму. Никак не оторвемся от своего пещерного предка! А ведь разум-то может подняться до «множественного зрения»! Он может совместить все аспекты в едином целом. Но мы не верим разуму. Мы боимся признать, что истинный мир непохож на тот упрощенный, бедный, однозначный слепок с него, который нам дан в ощущениях. Если б можно было хоть иногда, хоть на краткий срок подниматься над данной системой событий, над временем, и видеть подлинное разнообразие мира глазами тела, а не только разума, тогда мы поверили бы: мол, собственными глазами видели! Но собственные наши глаза способны видеть лишь здесь и сейчас... вот мы и не можем себе представить, что в одном и том же «нашем» пространстве может преспокойно размещаться еще что-нибудь — какой-то другой мир, третий мир... Но, знаете, я уверен, что это уже ненадолго, что это последние ступеньки, и вот-вот мы поднимемся над этой проклятой плоскостью нашего мира и увидим действительность во весь рост, действительность, бесконечно разнообразную! И вот это,— он хлопнул рукой по журналу с расчетами,— ну, открытие Стружкова... оно поможет, еще как поможет поскорее добраться до той ступеньки, с которой уже видно. Какой все-таки молодец Борис, ах, молодец! Все мы ходили поблизости от этого, все предчувствовали, воображали. А он взял да сделал! Сам рассчитал, сам первым рискнул. Молодчина!

Линьков чувствовал себя совсем уж неловко. Стружков — герой, а он про него дикие гангстерские истории сочиняет. Он начал яростно протирать очки и спросил, не глядя на Шелеста:

— Да, но, значит, мы окончательно постулируем, что Стружков вернулся и, стало быть, воздействовал на прошлое?

— Конечно, раз он вернулся, значит, никаких воздействий не совершал. А то создалась бы новая мировая линия.

— И... он оказался бы на этой линии и вернулся бы в тамошнее будущее, а не в наше? — продолжил Линьков.

— Совершенно верно, совершенно верно,— подтвердил Шелест, глядя на часы.— Вы, Александр Григорьевич, у нас заправским хронофизиком становитесь, все с ходу схватываете. Но мы с вами заговорились, а мне к концу совета надо обязательно поспеть... Значит, заходите ко мне. Через полчасика примерно я освобожусь.

Оставшись один, Линьков попытался мысленно представить себе, как это может монета падать одновременно и орлом и решкой вверх, но не смог и огорченно покачал головой.

«Нет, хронофизиком тебе не быть,— сказал он себе.— А вот от своих прямых обязанностей ты что-то стал интенсивно отлынивать. Тебе бы сейчас не лезть в первопроходцы от хронофизики, а подумать бы серьезно над новой версией. Ведь есть же она, новая версия, подсказал ее тебе Шелест, сам того не зная...»

Но пока Линьков отчитывал себя за легкомыслие, новая внезапно возникшая версия вползала все глубже в его мозг и устраивалась там поудобнее, чтобы уж никакими силами ее оттуда нельзя было вытурить.

«Собственно, почему я считаю, что она внезапно возникла? — подумал Линьков.— Как раз вполне закономерно! Конечно, если б я не узнал об открытии Стружкова, о переходе и так далее, мне бы такое решение никогда и в голову не пришло. Но уж в этой плотной хронофизической атмосфере домыслиться было легко. Даже тот бред, который я на ходу сконструировал и беззастенчиво изложил Шелесту,— и он сыграл свою роль, и он приблизил меня к истине. Действительно, в университете такими понятиями оперировать не учат, так что это у меня на манер подготовительного занятия было — на применение хронофизики в следственной практике. В общем, не внезапно и не случайно я до этого додумался. Даже если б Шелест не подсунул мне свой заковыристый пример, я бы все равно рано или поздно добрался бы до такого варианта, раз уж начал оперировать хро-

---

Продолжение. Начало в №№ 8—13.

нофизическими понятиями. Тут главное — принять в расчет, что возможно без всякой мистики встретиться с самим собой».

Он мысленно объявил себе благодарность за успехи на поприще уголовной хронофизики и глянул на часы. Шелест через полчаса его ждет, а он стоит и вхолостую мыслит, не достигая никаких ощутимых результатов. Не лезть же и Шелесту опять с одними догадками! Факты нужны, доказательства.

«А где их взять? — с грустью думал Линьков, оглядывая лабораторию.— Хронокамера никаких показаний по делу тебе не даст, пульт — тоже. Хронофизику они, может, что-нибудь и сообщили бы по дружбе, а тебе — дудки! Нет, что уж тут, только на самого себя и приходится рассчитывать, на свои персональные мозговые извилины... Правда, кое-какие фактики уже имеются, нечего нам прибедняться. Раньше я этим фактам особого значения не придавал, а теперь они как раз к месту приходятся. Беда только, что фактов этих кот наплакал. Некоторые детали из показаний Берестовой. И еще слова Аркадия, которые этот паршивец Марчелло запомнил и передал: насчет его конфликта с самым близким другом... Действительно, куда уж ближе! Да, мало фактов, ох, как мало! И все же попробуем пока на этом материале поработать.

Значит, видели-то его, а принимали за другого — это понятно. Откуда же он мог появиться? Если б он в лаборатории сидел, то легко было бы понять, как он туда попал. Но в лаборатории он не мог сидеть,— это не согласуется с показаниями Берестовой. Значит, надо искать другие пути. Что ж, поищем... А может, Стружковым сначала заняться? Да нет, Стружков никуда не денется, если это и вправду Стружков вернулся. А вообще-то говоря, именно в этом пункте Шелест рассуждал не очень убедительно с точки зрения психологической. Если уж Стружков захотел и сумел перейти в прошлое, так почему же он немедленно вернулся, ничего не сделав? Не туда попал, что ли? Но он ведь мог повторить попытку... должен был повторить, если так уж хотел спасти Левицкого! Испугался, что попадет в другой мир, на другую линию? Ну, об этом он наверняка подумал раньше, до перехода! И если б он так боялся этого, то вряд ли вообще решился бы отправиться. Да нет, это на него непохоже, совсем непохоже! Если я Стружкова правильно понимаю, то ни черта он не боялся, а, напротив, только и думал, как бы поскорее добраться до двадцатого мая и начать действовать. Подумаем над этим дальше. Стружков вряд ли провернул такую сумасшедшую работу за один вечер и рисинул жизнью только для того, чтобы тихонько посидеть в хронокамере и вернуться обратно, ничего не сделав. Однако же камера вернулась не пустая. В ней кто-то был. И этот кто-то ушел из лаборатории, а дальше как сквозь землю провалился. Шелест, вполне понятно, решил, что это был именно Борис. И я тоже. Просто в голову не приходило, что в камере может оказаться кто-то другой! А ведь выходит, что поторопились мы! И нечего удивляться странному поведению Стружкова: просто это не он, а совсем другой человек. А с этим новым героем все выглядит совсем иначе и вполне естественно... Вы поймите, Игорь Владимирович,— мысленно обратился Линьков к Шелесту,— ведь Стружков никак не может вернуться в наш мир! Он отправился в прошлое, чтобы активно действовать, и если он не погиб при переходе, то, выйдя там из камеры, начал немедленно действовать. И, значит, создал иную систему событий, новую историю, новую мировую линию. Он уже не мог вернуться в наш мир. А вот камера его была, по-видимому, включена на возвращение — включена автоматически ОТСЮДА. Так что она осталась на нашей мировой линии!.. А здорово я все же наловчился рассуждать о проблемах хронофизики,— с мальчишеской гордостью подумал Линьков.— Вот ведь какую нетривиальную хронофизическую тонкость сообразил! Это, наверное, и Шелест оценит. Только Шелест и оценит... Конечно, Стружков бы тоже оценил, и вообще толковые хронофизики. А так—попробуй кому объясни! Не поймут. Валя Темин наверняка затоскует,— это у него защитная реакция против непонятных вещей,— махнет рукой и не захочет разбираться... Я бы на его месте тоже, наверное, не стал разбираться в этой хронофизической головоломке... «Ну что ж! Начинаем искать,— с преувеличенной бодростью сказал он себе, выходя из лаборатории.— Искать, конечно, не Стружкова, а того, кто в его камере сбежал из прошлого! И повезло же человеку! Впрочем, почему повезло? Он, надо полагать, и своим ходом мог уйти... Наверняка мог! А вот взял и перешел к нам. Зачем? Эх, найти бы его, поговорить... Да, станет он с тобой разговаривать, как же! Он, небось, уже удрал куда подальше! А Шелест все ждет Стружкова... Да если б это Стружков был, он бы с утра уже околачивался в институте!»

Линьков захлопнул за собой дверь лаборатории и шагнул было к боковой лестнице, но вдруг остановился и замер.

Только сейчас он понял, что новая версия, в сущности, не объясняет трех важнейших вопросов. По-прежнему остается неясным, почему и каким образом погиб Аркадий Левицкий, куда девалась его записка и откуда взялся Стружков, которого видели вечером в лаборатории Берестова и Чернышев.

Линьков зашагал по коридору, на ходу пытаясь заново, в свете новой версии рассмотреть эти проклятущие загадки.

«Ну, встретились они, ну, поговорили,— раздумывал он.— Разговор у них мог получиться очень даже серьезный и волнительный. Но ссориться-то им зачем? Чего они не поделили? Или это была не ссора? Но все равно,— почему эта встреча привела к гибели Аркадия Левицкого? Что это было? Шантаж? Боязнь разоблачения? Эх, Линьков, Линьков... Случай-то в следственной практике уникальный, а ты его на уровень коммунальной кухни свести норовишь! Тут ведь все необычайно, невероятно: и участники встречи, и условия, в которых она состоялась... Надо полагать, что и причина и способ действий столь же необычны... Да только — где тебе, Линьков, сообразить, о чем они могли говорить,— не твой это уровень!»

Линьков тихо вздохнул. Да, туман и мрак. Была бы записка... Но записка исчезла, и это загадка № 2. Может, она как-то связана с первой? Он забрал записку? Нет. Ну, зачем ему это делать! А тут еще этот Стружков неизвестно откуда вынырнул! Ну, действительно, как он очутился в институте в одиннадцать вечера?

Линьков горестно поначал головой. Нет, хватит рассуждать! Надо факты добывать, факты! Он решительно двинулся по центральному коридору к выходу из института.

«Будем действовать по порядку,— рассуждал он, спускаясь в вестибюль.— Как он появился, проверим позже. А сейчас попробуем проверить, куда он девался. Шансов на успех тут очень мало, но для порядка надо спросить. Да и с Шелестом мы уговорились, что я пойду на проходную. Правда, мы имели тогда в виду выяснить насчет Стружкова, но это начисто отпадает. А вот этого нежданного гостя если б засечь... Только вряд ли на проходной о нем хоть что-нибудь знают: не мог он даже и пробовать пройти через проходную! Вообще непонятно, как он мог выйти из института? Через забор, что ли, махнул? Пожалуй, единственный путь. Через проходную идти нельзя и оставаться до утра в институте тоже нельзя. Можно себе представить, что началось бы, если б его утром обнаружили в институте! Вот была бы заваруха! Словом, один ему путь — тайком, через забор. Да,— но, может, он вообще не выходил из института? Зачем ему рисковать? И куда идти? А прочел он записку Бориса, посмотрел его чертежи, включил камеру и двинул куда вздумается... Я бы на его месте так и сделал...»

Линьков вошел в проходную. Макарыч отложил газету, снял очки в тонкой металлической оправе и с большим интересом поглядел на Линькова.

— Вы вчера вечером тоже дежурили, Василий Макарович? — смущенно покашливая, начал Линьков.— Так вот, я хотел бы узнать, не было ли вечером... или ночью... каких-либо происшествий?

— Происшествий никаких не было! — отрапортовал Макарыч.— Что вы! Какие такие происшествия? Я бы враз доложил...

— Ну, ну,— успокоительно сказал Линьков,— вы меня, очевидно, не совсем поняли. Я имею в виду не ЧП, а так, мелочи какие-нибудь. Может, вы шум подозрительный услышали или, может, через забор кто-нибудь перелезал?

— Что вы! — обиженно сказал Макарыч.— Через забор! Это ж и есть чепе!

— Значит, ничего такого абсолютно не было ни вечером, ни ночью? — терпеливо спросил Линьков.— Меня, понимаете, всякая мелочь интересует. Ничего не припоминаете?

— Ничего, как есть! — со вздохом сожаления ответил Макарыч.— И рад бы для вас припомнить — ну, ничего не было.

— А работал кто-нибудь вечером в институте?— на всякий случай спросил Линьков.

— Двое работали,— охотно ответил Макарыч.— Всего двое. Стружков, значит, и Юрченко. Ну, Юрченко-то сразу ушел, как я на вахту заступил, может, четверть девятого было, но не больше. А Борис Николаевич — тот допоздна сидел. Самую малость до одиннадцати не дотянул.

— Что-что? — Линькову показалось, что он ослышался.

— Без пяти одиннадцать, говорю, ушел он, может, без трех.

— Стружков ушел без пяти одиннадцать?!

— Ну да. Ай опять с им что не так?! — ужаснулся дед.

— Нет, нет, все в порядке,— торопливо сказал Линьков.— Просто я не знал, что он вечером был в институте.

— А вам, поди, сказали, что и не был! — с горечью заметил дед.— Ну, это на него кто-то по злобе наговаривает!

— Но вы точно знаете, что это был Стружков? — не удержавшись, спросил Линьков.

— Неужели ж я Бориса Николаевича с кем перепутаю! — обиженно ответил дед.— Вышел он, задумчивый совсем, ступает еле-еле, спокойной ночи мне пожелал.

— И пошел? — бессмысленно спросил Линьков.

— И пошел, а как же! — подтвердил дед, с любопытством глядя на него.— Домой пошел, спать. Может, с устатку проспал сегодня? Нету его что-то...

— Нету... спасибо... до свиданья...— растерянно пробормотал Линьков и поплелся обратно в институт.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечер был теплый и влажный. Наверное, прошел легкий дождик: плиты мощеной дорожки тускло блестели в полосе света, падавшей из проходной.

Мне вдруг стало страшно идти дальше. Я осторожно приоткрыл дверь проходной и заглянул в щелочку. А, дежурит Макарыч, это хорошо!

Макарыча я люблю: душевный старикан и к науке питает несокрушимое уважение. Особенно к нашей хронофизике. Он, по-моему, думает, что мы работаем в основном над проблемой омоложения и только таимся до поры, потому что не все постигли и превзошли. А потом объявимся и полным ходом начнем возвращать людей из преклонного возраста в самый цветущий.

— Работаете все...— позевывая, прогудел он в желто-белые, прокуренные усищи.— Труженики, ох, труженики! Ай вам погулять никогда не хочется? Дело-то молодое!

— Некогда все...— пробормотал я, раздумывая, как бы к нему половчее подступиться, потом сказал проникновенно: — Какие уж тут гулянки, Василь Макарыч! До того заработаешься, бывает, что прямо не понимаешь, на каком ты свете. Вот и сейчас: хотите верьте, хотите нет, а я никак не соображу, какое сегодня число!

Выговорив это, я жалобно поглядел на Макарыча. Старик сочувственно закивал.

— Наука...— сказал он добродушно.— В старое время ученые, говорят, и вовсе ничего не соображали в обыкновенной жизни, все равно, как младенцы новорожденные. Девятнадцатое у нас сегодня, милок, девятнадцатое мая, да. А завтра, значит, двадцатое будет...

Двадцатое завтра! Только завтра! Значит, они меня еще на сутки назад швырнули. Зачем же это? Впопыхах, по ошибке, что ли? Я же им и отсюда помешать смогу, если правильно разберусь во всем.

Я задумался и перестал было слушать Макарыча, потом снова включился где-то на полуфразе. Насколько я понял, старик на основании своего многолетнего опыта уговаривал меня тяпнуть по маленькой («Ежели держишь дома про запас!») и залечь спать. Тяпать мне не хотелось,да к тому же не было у меня здесь не только запаса, но и дома, а вот спать... спать мне захотелось зверски.

— Иди уж, иди, мил человек,— сочувственно сказал Макарыч.— Прямо лица на тебе нет, до чего извелся... И Аркадий твой тоже проходил тут перед тобой, гляжу: идет весь аж черный и с лица спал... Батюшки, думаю! — Тут Макарыч запнулся, поглядел на меня и спросил: — Ай вы с ним поругались?

— Мы с ним? Да вроде нет...— неуверенно ответил я, пытаясь сообразить, какой же это Аркадий выходил сейчас из института: здешний, наверное? — А что?

— Да так я просто... Гляжу: поврозь выходите, что же, не мог он тебя пять минут подождать? Весь вечер, думаю, вместе просидели, а тут...

— Ну да... вместе... мы так просто,— забормотал я, не зная, что сказать.

— Иди, иди, голубок,— ласково сказал Макарыч.— Заговорил я тебя, старый леший...

— И то пойду,— ответил я расслабленным голосом.— Устал я, правда, до смерти. Спокойной вам ночи на трудовом посту, Василь Макарыч!

Выйдя из проходной, я машинально добрел до сквериика, остановился и тупо глянул на скамейку, где мы с Ниной объяснялись и никак не могли объясниться, а Время, небось, хохотало нам и хихикало: «Ага, попались, хронофизики!» Когда же это было? Семь часов назад и четыре дня вперед— поди разберись...

Вообще — куда же мне теперь идти? Где бы для начала хоть поспать часок? Я уж прямо с ног валился от усталости. Шутка ли: за один вечер столько всего! Сногсшибательный разговор с Ниной; бешеная работа в лаборатории; путешествие во времени; выслеживание загадочного незнакомца в измененном мире и встреча с живым Аркадием; снова — и совершенно неожиданно! — переброска во времени... Не считая того, что я, между прочим, здак мимоходом взял да открыл способ перехода во времени! Ай да Борис Стружков! Силен, бродяга!.. Да, вот именно — бродяга бездомный. Дома у меня здесь нет. То есть комната моя, конечно, существует, но в ней ведь другой Борис. Насколько я помню, он сейчас провожает Нину домой, вернее бродит с ней по улицам и несет какую-то несусветную чушь. Конечно, ему-то что! Не жизнь, а малина!

Нет, ну какое все же свинство! Бандюги, хулиганы, вкатить бы им за такие штучки по пятнадцать суток переброски туда-сюда без права выхода из хронокамеры! Да мало им, стервецам, пятнадцать суток! Ну, что мне делать-то? Так и мотаться по времени, на каждом шагу создавая миры и натыкаясь на своих двойников? И что это вообще за манера — ни с того, ни с сего совать человека в хронокамеру? Ну ладно, работали они там, готовили эксперимент потихоньку ото всех, даже от меня, это я вполне могу понять, хоть и обидно, что Аркадий от меня таится... Ну, не будем об этом... Но такие штучки устраивать! Использовать хронокамеру для расправы с «неудобными» людьми! А может, это они контрольную проверочку провели на мне? Да нет, это уж совсем дико выглядит: что я им, брусочек?

А самое главное, самое главное, что все это никак не объясняет, почему Аркадий покончил самоубийством! Наоборот, пожалуй, еще больше запутывает дело. Ведь если этот его загадочный компаньон был попросту помощником в подготовке эксперимента,— монтажник он или кто другой, неважно! — то уж совсем ничего непонятно! Ну, открыл Аркадий, как перемещать человека во времени, ну, рассчитал поле, подготовил камеру для этой цели, так ведь радоваться этому надо, великое дело сделано, а он вдруг самоубийством кончает! Обнаружил, может, что передвижение во времени — штука опасная, что человечеству это принесет больше вреда, чем пользы, и поэтому из раскаяния и страха решил отравиться? Опять бред собачий получается: какой же ученый так поступит?! Да и опасности, которые могут грозить человечеству, если оно начнет путешествовать во времени, давным-давно рассчитаны (вероятно, по принципу «зелен виноград!») и даже, так сказать, отображены в искусстве, тем же хотя бы Айзеком Азимовым, так что никаких внезапных потрясений по этому поводу Аркадий испытать не мог...

В общем, ничего я пока по этой линии не выяснил, но сейчас мне было безразлично, выясню я вообще хоть что-нибудь или нет. Устал я до невозможности, мысли путались, ноги заплетались, я с удивлением обнаружил вдруг, что иду, вернее, плетусь... А куда, сам не знаю.

А впрочем, куда же еще? К себе, то есть к «здешнему» Борису неудобно: увидит нас вдвоем кто-нибудь... ну, хотя бы соседка тетя Маша — и инфаркт ей обеспечен. Да и самому мне как-то морально тяжело разговаривать с другим Борисом Стружковым. Я человек не жадный, мне себя одного вполне хватает. Значит, некуда мне идти, кроме как на улицу Дарвина, дом номер шесть, квартира четыре, второй этаж, где проживает наш завтрашний кандидат в покойники, дорогой Аркашенька. Приду я к нему и скажу: «Вот что, друг, надоело мне за тобой гоняться по времени, я тебя тут, в пространстве, прищучил и выпускать не намерен. Выкладывай все как на духу, не канителься! А если нет — дуэль! На мясорубках! Одолжу мясорубку у

Анны Николаевны и такой из тебя фарш приготовлю! Ух, какой я из тебя сделаю фарш!»

Представив себе эту сцену, я сразу оживился и воспрянул духом. Несколько смутило меня лишь одно престранное обстоятельство: при словах «мясорубка» и «фарш» у меня слюнки потекли! Но, поразмыслив, я понял, что людоедских наклонностей, странствуя по времени, не приобрел, а только мой пустой желудок совсем некстати включился в мысленный идейный спор, не поняв, о каком фарше идет речь.

Улица Дарвина начиналась в двух кварталах от института, а еще через квартал кончалась: в ней всего-то была дюжина домов с обеих сторон.

Ну, вот. Улица Дарвина уперлась в ограду сквера. В глубине сквера — бывшая церквушка, лет сорок назад переоборудованная под клуб пищевиков, мы там фильмы смотрим. Дом номер шесть — у самого сквера. Аркашкино окно на втором этаже, третье слева от парадного. В окне темно.

Вот тебе раз! Куда же девался Аркадий? Пришел и сразу спать завалился? Непохоже на него. Да и быстро чересчур. Вышел он из института за пять минут до меня, так Макарыч сказал? Прикинем на мое собеседование с Макарычем, на стоянку у скверика, на медленную ходьбу еще минут пять... ну, десять, допустим. Даже если он не ужинал и чаю не пил, хотя наверняка проголодался, целый вечер ведь сидел в лаборатории... Все равно: раздеться, вымыться, постелить постель, лечь — и то еле успеешь. А Аркадий еще и снотворное принимает и лежит потом читает, пока таблетка не подействует. Вот ведь, он будто заранее репетировал... Значит, еще 20—30 минут надо прикинуть на это дело. Нет, наверное, Аркадий не приходил еще домой... И куда это его понесло на ночь глядя?

Ну что ж, придется ждать. Подождем. В скверике вот сядем... Нет, не сядем, скамейки у входа нет, а нам нужно видеть и улицу и окно Аркадия. Станем, значит, вот под этим симпатичным пожилым кленом и обопремся на его надежный ствол, а то нас ножки что-то не держат...

Улица просматривается отлично, парадный дома номер шесть — и того лучше, его освещает яркий фонарь над входом в сквер. В окне Аркадия по-прежнему темно...

Я все время упорно созерцал улицу и не мог бы не заметить Аркадия, любое пари готов держать! Аркадий, безусловно, не проходил при мне по улице и не входил в свой дом. И все же в окне Аркадия зажегся свет. И темный силуэт человека промелькнул в окне. Откуда же Аркадий взялся, что за чудеса!

Я выбежал из скверика, влетел в парадный и одним духом взвился на второй этаж. У нас с Аркадием был условный сигнал — три коротких звонка, потом один длинный. Звонил я негромко, чтобы не разбудить Анну Николаевну. Дверь Аркадия ближе по коридору, он должен услышать. Я чуть подождал и позвонил снова.

Тихонько скрипнула дверь. Пауза. Потом послышались шаги — осторожные, крадущиеся. Я подумал, что Аркадий боится разбудить соседку. Шаги вплотную приблизились к двери и, не останавливаясь, стали удаляться! Что же это такое? Почему Аркадий не открывает: он ведь понимает, что это я — звонок-то наш, условный! Шаги удалялись в сторону кухни. Я нажал на кнопку изо всех сил, звонок надрывно задребезжал в коридоре. Там, внутри, щелкнул замок, открылась дверь, раздались вздохи, позевывание, сонное бормотание, шаркающие шаги...

— Кто это там? — сердито и тревожно спросила Анна Николаевна.— Звонят как на пожар!

— Анна Николаевна, это я, Борис. Простите, не сердитесь, откройте, у меня важное дело! — взмолился я.

Анна Николаевна, зевая, возилась с цепочками и засовами.

— Какое такое дело? — бормотала она, стоя на пороге.— Аркадия дома нет, и не придет он сегодня, еще утром он мне сказал, что если до десяти не вернется, значит, не ночует дома. А вам-то он чего ж не сказал?

Я почти оттолкнул Анну Николаевну, она ахнула и разинула рот, и бросился к комнате Аркадия. Дверь была приотнрыта. Внутри — темно. Я щелкнул выключателем. В комнате никого не было.

Анна Николаевна, стоя у входной двери, ошарашенно моргала и пыталась что-то сказать. Я промчался мимо нее в кухню. Ну, конечно, дверь черного хода настежь. Кто-то вышел, вышел отсюда, из кухни: задвижка-то изнутри...

Я запер дверь на задвижку и вернулся в коридор. Анна Николаевна, застыв у входной двери, добросовестно таращила на меня сонные глаза и силилась заговорить.

— Здесь кто-то был, понимаете? — отрывисто сказал я.— В комнате Аркадия. Я сам только что видел, как в окне зажегся свет. И этот тип сбежал, когда услышал мой звонок. От меня сбежал. Через черный ход.

— Это как же так?! — Анна Николаевна совсем проснулась от страха.— Это что же делается-то, господи! Да ведь дверь-то у нас на цепочке была, Боря! Через окно он влез, не иначе... Ой, батюшки! И ведь говорила, говорила я Аркадию сколько раз, чтобы окно не бросал открытым...

Я заглянул в комнату Аркадия. Окно было заперто. Да и вообще чушь порет Анна Николаевна, кто же это полезет с улицы, на виду у всех, в окно второго этажа? Нет, войти он мог только через дверь. Значит, у него был ключ. Он вошел до десяти, Анна Николаевна в десять, как всегда, легла спать и дверь заперла на цепочку. Он, должно быть, знал этот внутриквартирный распорядок.

Ключ... Опять у кого-то есть ключ! На этот раз не от лаборатории, а от комнаты Аркадия. Странно все же. Кому Аркадий мог дать ключи и, главное, зачем?

Может, это сам Аркадий и был? Но чего ему бегать от меня? Хотя я бы этому особенно не удивился. Я, кажется, полностью израсходовал запас удивления на сегодняшний день. Нет, Аркадий тут не мог быть. И не стал бы он сидеть впотьмах в своей комнате. Это сидел кто-то чужой, и он не хотел, чтобы Анна Николаевна заметила его присутствие... Наверное, зажег он свет, когда увидел, что в окнах у Анны Николаевны стало темно. И то не сразу зажег, а подождал, пока все соседи наверняка уснут.

Да... И ключ у него есть, и мой условный звонок он знает, и привычки Анны Николаевны ему знакомы... Кто ж бы это мог быть? Неужели все-таки я... то есть, какой-то еще Борис Стружков! Какой-то еще? То есть, это уже третий на сегодняшний день, как говорится... «Что это Стружковы, как грибы после дождя, повсюду выскакивают? — неодобрительно подумал я.— Стружков — я лично Стружков здешний (тоже я!) Стружков — еще один (тоже, наверное, я — может, завтрашний, либо позавчерашний)... Еще какого Стружкова ждать прикажете?» Мысли эти не вызывали у меня ничего, кроме усталости. Ну, я так я... Даже понятней выходит. Услышал я свой звонок, не захотел сам с собой встречаться — а кто захочет?! — и шмыгнул через черный ход... Может, я сам себя и толкнул в хронокамеру? А что? Все возможно. Однако же получается, что этот Стружков — довольно паскудный тип... Ну, а я что могу поделать?

Я так задумался, что перестал слушать испуганные причитания Анны Николаевны. Но постепенно сквозь поток моих мыслей пробилось слово «милиция», и тогда я понял, что должен действовать сам, а то греха не оберешься. Милиции мне только не хватало в этом деле!

— Да что вы, Анна Николаевна! — горячо сказал я.— Милиция придет, а мы ей что скажем? Убили кого, избили, ограбили?

— Может, и ограбили? — недоверчиво заметила Анна Николаевна.

Она зашла в комнату Аркадия, покрутилась там минуту-другую.

— Кто его знает! Так будто бы все на месте, и костюмы в шкафу висят аккуратно, и в стол, видать, никто не лазил,— растерянно сказала она, снова выйдя в коридор.

— Ну, вот видите! — подхватил я.— Что же мы милиции-то скажем? Высмеют они нас, скажут: померещилось вам, никого тут не было!

— Ой, не померещилось, Боря, не померещилось! — испуганно округлив глаза, возразила Анна Николаевна.— Накурено там, в комнате, дышать нечем, и сигарета, гляжу, в пепельницу ткнута наспех, дымок еще от нее идет... Лучше-ка я милицию вызову, боюсь я, ей-богу, боюсь!

Уж я ее уговаривал-уговаривал, прямо охрип, тем более, что объяснялись мы полушепотом, чтобы ее семейство не разбудить. Наконец поладили на том, что я переночую в комнате Аркадия, а входная дверь будет на цепочке. После этого Анна Николаевна отправилась к себе и долго возилась, запирая свою дверь на все замки, а я остался один.

Цепочку со входной двери я тут же потихонечку снял, стараясь не брякать. Аркадий теперь уж вроде не придет, но вот этот загадочный тип... Вдруг он вернется? Постоит тоже в скверике, увидит, что в окне света нет, и попытает счастья снова... Ведь что-то же нужно ему было здесь, иначе не лез бы! Правда, может, он уже добыл то, за чем охотился... Да нет, вряд ли! Я начал звонить через две-три минуты после того, как он включил свет, а в комнате, по словам Анны Николаевны, все было на месте, ничего, значит, не переворочено, не разворочено в поспешных поисках. Он, наверное, только начал оглядывать комнату и соображал, где это может быть, а тут звонок... «Ну и фантазия у тебя, брат! — одернул я себя.— Концепции из тебя сыплются, как пшено из дырявого мешка, по любому поводу! Да почем ты знаешь, может, он вообще ничего не искал, а ждал или прятался... Ладно, спрячемся и мы, устроим засаду по всем правилам...»

Я не стал зажигать огня в комнате и даже окно побоялся открыть, хотя действительно этот тип прокурил тут все насквозь. В свете уличного фонаря я разглядел пепельницу на подставке торшера, вынес ее в коридор, исследовал окурки. «Столичные». Те же, что курит Аркадий. Ну, это он, наверное, Аркашкины сигареты истреблял, пока сидел здесь... Я вытряхнул окурки и пепел в мусорное ведро на кухне, вернулся в комнату и, не раздеваясь, плюхнулся на тахту. Ох, с каким наслаждением я вытянулся на спине и закрыл глаза! Правда, мне сразу почему-то представилось, что я уже лежал на этой тахте совсем недавно, полчаса назад, прислушивался, не ходит ли кто по квартире, хотел и не решался зажечь свет. Я даже передернулся весь и головой замотал, чтобы отогнать это дурацкое, нелепое ощущение. Но стоило мне снова закрыть глаза, как опять полезла в голову всякая дичь.

Упорно мерещилось мне, что стоит там, на улице, и пристально смотрит в темное окно комнаты Борис Стружков. Но не мог я разобрать, какой же это Борис — не то я сам, не то другой, тот, который сбежал отсюда... А может, еще какой-нибудь, еще один Стружков, вереница Стружковых, стройные ряды Стружковых, колонны Стружковых... Глаза у всех вытаращенные, недоверчивые, так и крутятся по сторонам — обстановку изучают... И номера у всех на груди, порядковые, для различия. Нет, не ряды, не колонны, цепочка! Они идут один за другим, соблюдая дистанцию... Вот какой-то очередной Борис выбегает из скверика, мчится вверх по лестнице, звонит... Предыдущий Борис, крадучись, удирает из комнаты на кухню, исчезает. Пришедший занимает его место на тахте, а в скверике под кленом уже стоит следующий Стружков. Вот и он бежит по лестнице... Сейчас позвонит, вот он звонит... звонит...

Я проснулся от оглушительного трезвона. Это орал будильник у меня над головой, на полочке тахты. Аркадий его, что ли, завел. Я остервенело стукнул по кнопке, и этот голосистый зверюга сразу утих. И тогда я понял, что за окном вовсю светит солнце.

Значит, я улегся и преспокойно проспал до утра! Тоже мне засада! Этот тип мог запросто явиться и меня в окно выбросить, я бы, наверное, только на тротуаре очнулся... Оно, конечно, и не удивительно, после такого веселого вечера с путешествиями и приключениями. Но все же... Эх ты, комиссар Мегрэ...

В дверь постучали нервно и торопливо. Я вскочил и, на ходу приглаживая волосы, кинулся открывать. Это была Анна Николаевна, уже по-утреннему деловая, подтянутая,— сразу видно, что на работу спешит. Но глаза у нее все-таки были тревожные и растерянные.

— Я было не хотела вас будить, но мне на работу пора, а тут слышу, у вас будильник зазвонил...

— Да нет, я уже встал, мне тоже пора...— смущенно пробормотал я.— Ночь вроде прошла спокойно...

— Ночь-то спокойно... А вот звонили сейчас Аркадию, я хотела вас позвать.

Сон с меня сразу слетел, вчерашний сумбурный день опять навалился всей тяжестью на сердце, и оно заныло от предчувствия беды.

— А кто звонил-то? — я старался быть спокойным.

— Да кто его знает! Мужчина какой-то. Голос чудной, хрипучий такой. Левицкого спрашивает. «Дома,— говорит,— Левицкий?» Я говорю: мол, постучу сейчас, узнаю, думала, может, он ночью пришел... Вижу, цепочка-то снята...

— Надо было сразу меня позвать! — простонал я.

— Да не пустил он меня! Говорит, не надо, мол, его беспокоить. А сам словно бы забеспокоился, быстро-быстро так заговорил. Передайте ему, говорит, пускай он придет в восемь часов, как условились.

— А где? Куда приходить-то?!

— Он только сказал, что на том же месте, где всегда. «На нашем месте» — так вот сказал. Аркадий-то, верно, знает, какое место...

— И больше он ничего не говорил?

— Говорил...— Анна Николаевна наморщила лоб, стараясь припомнить.— Насчет таблеток каких-то сказал.

— Таблеток?!

— Ну да! Скажите, говорит, Левицкому, что я насчет таблеток, он, говорит, поймет. И трубку сразу повесил. Больше ничего не сказал. Ой, опаздываю я, заговорилась!

Анна Николаевна рванулась к вешалке, схватила плащ.

Я стоял на пороге и смотрел на нее. Завтра 21 мая. В этот день я в том, уже ушедшем от меня мире пришел к Анне Николаевне, и она мне сообщила о загадочном госте Аркадия, парне с усиками, похожем на Раджа Капура. Она тогда обнаружила наблюдательность, хотя след и был ложным.

— Анна Николаевна,— спросил я, провожая ее к двери,— а вам этот голос совсем незнаком? Который по телефону-то говорил?

— Нет... словно бы нет...— неуверенно ответила она, приостанавливаясь.— Только, я думаю, он подделывался, нарочно хрипел-то... Может, правда, боялся, что я его распознаю?! — Она опять испугалась: — Ох, Боря, кто ж это такой? Вы додумались, может?

Я покачал головой.

— Стараюсь додуматься, но пока не выходит, Анна Николаевна.

— Ой, нехорошие какие дела пошли! — тревожно сказала Анна Николаевна.— Боря, дверь-то, дверь не забудьте захлопнуть как следует, а то она отходит! — крикнула она с порога и побежала вниз по лестнице.

Я посмотрел на часы: было без четверти восемь, по здешнему времени, я вчера переставил часы, сверившись у Анны Николаевны. И вдруг мне пришло в голову, что свидание-то назначено на восемь утра. Конечно, не вечера, как это я сразу не догадался? Ведь таблетки должны быть у Аркадия к концу рабочего дня, не позже! Но тогда «наше место» скорее всего обозначает тот самый скверик на углу, возле института, где мы объяснялись с Ниной... «Наше место»... Кто же это мог так говорить? В самом деле, кто? Уж чего там... это было «наше место» — для Аркадия Левицкого и для Бориса Стружкова: другие так не говорили. Но что же получается? Получается, что я же сам, то есть кто-то из Борисов, любезно достал Аркадию яд? Помог осуществить мечту, так сказать? Весело...

Впрочем, думать мне было некогда. Все эти обрывки мыслей мелькали у меня, пока я наспех умывался и приглаживал волосы щеткой Аркадия. Голоден я был зверски, но готовить завтрак было некогда, и к тому же я не знал, где чьи продукты лежат в холодильнике. Я схватил со стола Анны Николаевны кусок черного хлеба и, на ходу заглатывая его, рванулся вниз по лестнице.

Таблетки... Он, значит, принесет Аркадию снотворное! Я машинально притронулся к карману куртки,— пачечки по-прежнему лежали там. Пачечки с таблетками снотворного, которые я взял вчера, то есть сегодня вечером со стола Аркадия. Но до этого момента теперь остается часов одиннадцать-двенадцать, и кто-то еще только собирается передать Аркадию эти самые таблетки...

Вот сейчас я спрячусь в кустах и посмотрю, кто же этот благодетель! А потом выйду, представлюсь и... ох, и выдам же я ему! За все: за таблетки, за Аркадия, за идиотские штучки с хронокамерой, чтоб разучился, подонок, живых людей вместе с грязными досками туда-сюда швырять. За Анну Николаевну тоже, чтобы не разгуливал по чужим квартирам среди ночи, чтобы не хрипел чужим голосом в телефон!

«А если это окажусь я сам?» — подумал я с тревогой.

Да-а... Тогда придется менять программу на ходу. Самому себе как-то неловко морду бить, несподручно... А, между прочим, больше некому, никто другой там не может появиться, кроме одного из Борисов Стружковых. Никто другой таких подробностей об Аркадии не знает. Нина разве? Но Нина не сумела бы говорить хриплым басом по телефону. А кроме того, она весь вечер проболтала со мной, со мной здешним, вернее тогдашним, теперешним... ах, чтоб тебя, ну и путаница! Ну, словом, я отлично помню, что девятнадцатого мая мы сидели с Ниной в кафе, а потом до полуночи шатались по улицам — все не могли расстаться. Так что не могла она до десяти часов оказаться в квартире Аркадия, не говоря уж о том, что если б и могла, так зачем ей туда лезть?

Без двух минут восемь я уже плюхнулся на прохладную зеленую траву за высокими кустами боярышника и тяжело перевел дыхание. Вход в скверик и главная дорожка просматривались отсюда отлично. А за моей спиной поднимался кирпичный брандмауэр трехэтажного дома, так что укрытие было превосходное. Плохо только, что голод мучил меня все сильнее. Ведь со вчерашнего (или с послепослезавтрашнего) обеда я ничего во рту не держал, кроме этого кусочка хлеба, а он только раззадорил аппетит. Меня уже мутить начало с голоду, и обо всяких петлях и прочих каверзах времени думать как-то не хотелось. В голову почему-то упорно лезла яичница-глазунья. Уж не знаю, почему именно яичница, но я ее прямо наяву видел: из трех яиц, и вся беленькая такая, пузырчатая, а желтые глазки так и колышутся, а краешки так и подпрыгивают в шипящем масле — золотистые, кружевные, аппетитно хрустящие краешки... Я облизнулся, судорожно глотнул слюну и зажмурился от ноющей боли в пустом желудке.

А когда я открыл глаза, то увидел, что по аллее торопливо шагает человек.

Вот так штука! Это был вовсе не Борис! Это был Аркадий!

Я даже за кусты уцепился: показалось, что земля подо мной дрогнула и куда-то поплыла. Я глядел на аллею и пытался сообразить — почему Аркадий, откуда Аркадий, как он узнал?

А впрочем, что это я, какой недогадливый! Он, наверное, заранее сговорился с этим своим «незнакомцем», а тот позвонил утром просто для страховки, не зная, что Аркадий дома не ночует. Постой! Тогда получается, что «незнакомцев» уже двое: один сидел в комнате Аркадия, другой звонил утром? Нет. Это мог быть один и тот же! Он ждал Аркадия, не дождался, пришлось удирать, утром позвонил... Да, возможно... Но так или иначе, где же он? Аркадий вон ждет не дождется и явно нервничает: то на часы смотрит, то на вход в скверик. Даже гримасничает от нетерпения и переминается с ноги на ногу, как застоявшийся конь... Что-то в нем странное, в Аркадии, а что — понять невозможно... О чем-то напоминает — о чем же?

Аркадий снова посмотрел на часы и досадливо оскалился. Я тоже глянул на свои часы. Ну и ну! Двадцать семь минут девятого! Через три минуты начинается рабочий день в институте. Поэтому Аркадий и нервничает. А «незнакомец»-то, он разве не знает об этом? Знает, небось: назначил свидание рядом с институтом, за полчаса до начала работы. Тем более странно. И вообще, куда же он девался? А что, если... что, если... Я чуть не вскочил, так поразила меня эта мысль. Что, если я уже начинаю наблюдать «то самое» двадцатое мая со всей его загадочной путаницей? Может быть, «незнакомец» потому и появился в нашей лаборатории после работы, что утром они с Аркадием не смогли встретиться?!

Словно подтверждая мою догадку, Аркадий опять поглядел на часы, раздраженно махнул рукой и направился к выходу из сквера.

Нет уж! Не мог я допустить, чтобы Аркадий на моих глазах повторял, как заводная кукла, все, что привело его в этот день к бессмысленной гибели! Не мог я этого допустить, и никакая логика тут не помогала, никакие рассуждения о временных петлях не могли меня остановить! Ведь я видел, как Аркадий шагает по аллее к выходу, и понимал, что сейчас он отправится в институт и никогда уже не выйдет оттуда!

Я выбежал из-за кустов на аллею и в два счета догнал Аркадия. Он шел задумавшись, ничего кругом не видел и не слышал.

Я хлопнул его по плечу, он вздрогнул и резко повернулся. С минуту мы молча глядели друг на друга. Аркадий озабоченно хмурил густые черные брови и, видимо, старался что-то сообразить. Наконец он сказал деланно-небрежным тоном:

— А, Борис, это ты! А я, знаешь, задумался что-то и совсем тебя не заметил... Ты откуда тут взялся?

Для человека в моем положении этот вопрос звучал несколько двусмысленно. Но я почти не обратил на это внимания и даже не ответил ничего Аркадию. Я не мог оторвать глаз от его костюма. Главное — от его немыслимо шикарных отворотов...

Что и говорить, очень странно в таких обстоятельствах вдруг забыть обо всем и погрузиться в созерцание костюма! Да в нормальной обстановке я либо вообще не заметил бы, что у Аркадия обновка, либо глянул бы мимоходом и пробурчал что-нибудь неопределенное: а, мол, прибарахлился? Ничего вещичка!

Но тут дело обстояло иначе. Недаром я четвертый день подряд занимался в основном тем, что сопоставлял и пытался связать воедино разрозненные и с виду весьма далекие друг от друга события, факты, детали. Видно, мозг мой уже настроился на автоматическое включение по программе: факт — ассоциация — гипотеза — и так далее. И сейчас эта программа сработала четко и безотказно.

Костюм на Аркадии был вообще странный. Наверное, на такой костюм я отреагировал бы даже помимо всяких ассоциаций. Ну, отреагировал бы однозначно: просто покатился бы со смеху. Клоунский какой-то наряд, ей-богу! Коричневый пиджак, двубортный (ну, кто носит сейчас двубортные!), с невероятно широкими отворотами. А отвороты кожаные! Надо же! И вдобавок пристегнуты по краям на большие медные кнопки.

Но сейчас мне было не до смеху. Глянул я на пиджак Аркадия и моментально вспомнил слова Нины: «Костюм на нем какой-то странный был, борта широченные...» Мозг уже заработал по схеме и начал выдавать вопрос за вопросом: «Почему я не видел его в этом костюме двадцатого на работе? ТАКИЕ борта и я бы заметил! Где он прятал этот костюм и зачем надел его сразу после работы? Зачем вообще понадобился Аркашке такой идиотский костюм?!»

Я все стоял, тупо уставившись на сверкающие медно-красные кнопки и мучительно соображая: зачем они? Мне вдобавок почему-то стало страшно поднять глаза на лицо Аркадия,— вдруг он сейчас ухмыльнется так же криво и зловеще, как вчера у хронокамеры? Мне казалось, что если я снова увижу эту ухмылку, то не выдержу — заору, ударю Аркадия или убегу сломя голову.

— Чего это ты такой обалделый и помятый весь? В парадном, что ли, ночевал?

Почему в парадном? Странные у Аркашеньки фантазии. Сам-то ты где ночевал, брат, вот интересно! Я осторожно поднял глаза. Никаких зловещих гангстерских ухмылок — глаза, правда, слегка насмешливые, но у Аркадия они почти всегда такие. А вообще-то вид у него неважный — смуглое узкое лицо осунулось и почернело, веки красноватые, воспаленные. Не спал он сегодня, что ли?

— Нет, зачем же в парадном? — медленно ответил я, глядя на него.— Я у тебя, Аркашенька, ночевал. На твоей шикарной тахте...

Аркадий дернулся и приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать. По лицу его пробежала легкая судорога. Потом он сказал, глядя в сторону, преувеличенно-небрежным тоном:

— Я задержался там... в одном месте. Поздно было, идти далеко... Я там и переночевал.

Давай, давай, Аркашенька! Сделаем вид, что мы тебе поверили. Только не скажем, что кто-то сидел в твоей комнате. Не исключено, пожалуй, что это ты сам и был.

Аркадий вдруг начал счищать какое-то невидимое пятнышко с рукава и, не поднимая глаз, отрывисто спросил:

— Ты что... на работу вообще не идешь сегодня?

— Да понимаешь,— доверительно сказал я, не спуская с него глаз,— я тут с одним человеком уговорился встретиться, а он что-то не идет. Вообще-то действительно пора на работу, опоздали мы. А ты как сюда попал?

Аркадий нахмурился и подозрительно глянул на меня.

— Да так, по дороге зашел...— пробормотал он.— Так пошли, что ли, в институт?

Я лихорадочно соображал, что ответить. В институт мне идти, конечно, нельзя: «здешний» Борис наверняка только что миновал проходную. «Незнакомец» не появился и вряд ли уже появится. Аркадия выпускать из виду нельзя, а как его задержать — непонятно. Дурацкое положение! Аркадий явно принимает меня за «своего» Бориса и удив-

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

ляется, почему я так странно веду себя... Что же делать?

— Да я, пожалуй, подожду еще немного,— сказал я.— Ты начни пока без меня...

Представляю себе, как он удивится, когда войдет в лабораторию и увидит там «своего» Бориса! Постой, а ведь это идея! Нужно позвонить в лабораторию и предупредить двойника или еще лучше вызвать его сюда из института: ведь по телефону такие вещи не объяснишь... Да, но пока я буду звонить, Аркадий уже доберется до лаборатории! Ага, нашел...

— Слушай, Аркашка! — сказал я умоляюще.— Будь другом, добеги до продмага, купи мне что-нибудь пожевать. Я боюсь отойти: вдруг мой человек придет, а жрать зверски хочется, я проспал, ничего у тебя там не успел перехватить...

Аркадий хмуро кивнул и направился к выходу.

— Я тебя у выхода подожду,— сказал я,— чтобы тебе меньше бегать.

Мы молча дошли до выхода, и Аркадий свернул налево к продовольственному магазину.

Будка автомата стояла тут же, на углу. Я торопливо сунул монетку, набрал номер лаборатории и покосился через плечо на улицу, не идет ли Аркадий. Впрочем, он не успеет так быстро обернуться, минут пять у меня наверняка есть...

Громко щелкнуло у самого уха, и незнакомый мужской голос сказал, продолжая разговор с кем-то в лаборатории:

— ...возьмем искровую. Сходи на склад...— а потом, уже в трубку: — Я слушаю!

— Это лаборатория локальных перемещений? — неуверенно спросил я: незнакомый голос сбил меня с толку.

— Нет, нет,— нетерпеливо и раздраженно ответил голос.— Локальное — 28-51... А здесь биологи.

Какие еще биологи? В институте не было такого отдела!

— Простите,— пробормотал я,— я, видно, ошибся... У Стружнова всегда был 28-56.

— Всегда! — насмешливо сказал мой невидимый собеседник.— Да у нас этот номер еще с прошлого года... хватились!

На том конце положили трубку.

Второй монеты у меня не было. Ну ладно, пока она мне даже и не нужна. Сперва надо понять то, что я услышал. «С прошлого года»... Что же это значит?

Я вышел из кабины и стал, прислонившись к ее стеклянной стенке. Аркадий все не шел. Да и хорошо, что он не идет. Мне надо подумать. Мне надо хорошенько подумать. Ох, и влип я, кажется! Ох, и дурака свалял!

Да, собственно, что думать? Информация ведь совершенно недвусмысленная: в том мире, в котором я сейчас нахожусь, наша лаборатория еще с прошлого года имеет другой номер телефона. Вроде бы ничего тут удивительного нет, это же измененный мир. Но вот ведь какая закавыка! До сих пор я предполагал, что двигаюсь в прошлое: сначала из 23 мая попал в 20, потом из 20 — в 19-е.

А прошлое-то не могло измениться! Все, что случилось до 19 мая, должно оставаться неизменным!

А год назад наш номер был 28-56!

Это означает... Это может означать только одно: я нахожусь не в прошлом, я попал в будущее, вот куда я попал!

Спокойно. Спокойно... Проверим свои рассуждения, проверим еще раз. Значит, так... Допустим, сейчас все-таки 20 мая 1970 года. Я нахожусь в этом мире всего один день. Конечно, я его немного изменил своим вмешательством... Что-то тут происходит уже не так, как происходило 20 мая 1970 года, в прежнем моем мире. Вот, например, мы встретились с Аркадием в сквере, и он сейчас не на работе, а в тот двадцатом мая он, я помню, пришел на работу вовремя. Изменения есть, это понятно, но они пока небольшие, локальные. Они затронули только Аркадия, ну, еще Анну Николаевну... Может быть, как-то косвенно того человека, с которым я сейчас говорил по телефону,— и все. В остальном мир, конечно, не изменился. Следовательно, перемену номера телефона никак нельзя приписать моему вмешательству в прошлое. Если бы номер изменился вследствие моего вмешательства, то это следствие очень косвенное, и оно могло бы произойти лишь на более или менее значительном отдалении во времени.

Переменить номер по не зависящим от меня причинам могли когда угодно, хотя бы и сегодня, двадцатого мая. Но ведь это произошло не сегодня, а еще в прошлом году! И биологов в институте никаких не было — ни в этом году, ни в прошлом. А это уже серьезное изменение. Да нет, дело, похоже, ясное. Ну и ну!

Я еще раз посмотрел в ту сторону, откуда должен появиться Аркадий. Его не было.

Не стану же я спрашивать у прохожих: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Я не поэт, я хронофизик, мне неловко. Хотя — зачем такие грубые, лобовые приемы? Надо поделикатней...

Я начал внимательно разглядывать прохожих. Ага, вот кто мне нужен,— этот молодой парень в зеленом плаще с муаровыми отливами... интересный какой плащ... Но это потом,— а вот из кармана плаща торчит газета...

— Простите,— сказал я, шагнув к парню,— это у вас сегодняшняя газета?

— Вчерашняя,— будто извиняясь, ответил парень.— Вечерняя.

— Если вечерняя, тоже хорошо! — торопливо сказал я.— Можно у вас ее на секундочку? Мне тут нужно одну вещь посмотреть...

— Да, пожалуйста! Хоть и совсем возьмите, я ее прочел,— добродушно отозвался парень.

Газета жгла мне ладонь. У меня еще хватило сил не разворачивать ее тут же на улице, уйти в скверик, повернуться спиной к прохожим. Руки тряслись, когда я расправлял свернутые в трубку листы.

Вчерашняя газета. Вчера было 19 мая... 19 мая 1972 года!

Продолжение следует.

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

Линьков находит след

Захлопнув за собой дверь, Линьков прислонился к шершавой серой стене проходной и перевел дыхание. Информация, полученная от Макарыча, здорово подкосила его. Стружков, значит, вернулся и преспокойно ушел из института, даже вахтеру на прощание ручкой сделал? Нет, это уж ни в какие ворота не лезет!

«Как же так! — растерянно думал Линьков, не замечая, что снова начал накрапывать дождик.— Не с потолка же я взял, что Стружков не может вернуться! Ну, допустим, я психологический просчет совершил, чего-то не учел. Но по логике это не проходит, по простейшей логике! Стружков горы переворачивал, чтобы в прошлое поскорей попасть, а попал — и даже войти туда не захотел? Где тут логика? Он же хотел и Левицкого спасти и себя от подозрений очистить, а что получилось? Что он скажет мне, например? Или Нине? Как оправдает теперь свое поведение? Ему бы проще всего не возвращаться к нам, а перейти на новую мировую линию... Ну, двойника бы он там встретил — что ж, с самим собой легче договориться!»

Тяжелая капля скользнула Линькову за шиворот, он вздрогнул, огляделся и под теплым шумным дождем побежал к зданию института.

«А записка-то! — вспомнил он в вестибюле, отряхиваясь и приглаживая намокшие волосы.— Записку он почему не забрал?! Допустим, почему-то он не смог или не решился выйти из камеры в прошлом. Так ведь по возвращении он первым делом должен был уничтожить свою записку! Зачем же трезвонить на весь институт, что ты потерпел неудачу, когда вполне достаточно сообщить о своем блистательном открытии и о первом переходе, и все будут вопить от восторга! Даже Шелеста вон как пробрало! А он и записку оставляет лежать и вообще в институт не является... Сплошная бессмыслица! С ума он сошел, что ли? Постой... А может, с ним на переходе что случилось? Память отшибло? Нет, это уже я чепуху сочиняю! Магнитное поле начисто смывает память, даже из камеры после этого вряд ли выйдешь, а Стружков нормально ходил и с вахтером общался...»

Линьков глухо замычал от злости и тут же смущенно обернулся. Но в вестибюле никого не было. Дождь вовсю барабанил в стекла, весело хлюпал и журчал, стекая с крыш, но небо на западе уже посветлело, и ветер поспешно разгонял тучи, расчищая дорогу солнцу. Линьков посмотрел в окно, и эта картина его почему-то приободрила. Он встряхнулся и бодро сказал себе: «Решено. Стружкова оставляем на потом. Если он за это время не явится, начнем розыск по всей форме. А пока проверим, откуда же явился тот... гость!..»

Он двинулся влево по широкому светлому коридору, обшитому старинными резными панелями, прошел мимо двери расчетного отдела, на секунду замедлив шаг, и завернул за угол. Прямо перед ним, метрах в двадцати, был выход во внутренний двор, к корпусу эксплуатационников. По правой стороне чернел узкий проем боковой лестницы, а дальше виднелась приоткрытая дверь зала хронокамер.

«Тут мы и начнем соображать,— сказал себе Линьков, останавливаясь.— Впрочем, особенно-то соображать нечего. В наличии у нас всего две возможности: эксплуатационный корпус и зал хронокамер. В эксплуатационном хроноустановки есть, но они, насколько я понимаю, не пригодны для интересующего нас случая. В зале камеры вполне подходящие, но они еще не работают. Однако чудес на свете нет, а есть, наоборот, суровые факты... Поэтому мы все же и в зал заглянем и в корпус пройдем. И начнем мы с зала, потому что он ближе и во всех отношениях удобней для нашего героя. Монтажники начинают раньше и кончают раньше, значит, после пяти здесь наверняка пусто. И войти легко,— а к эксплуатационникам нужен специальный допуск. Нет, начинать надо с зала!»

Линьков просунул голову в приоткрытую дверь. В огромном, слабо освещенном зале был сплошной хаос и шум. В углу надсадно визжала электродрель, кто-то тянул через весь зал тяжелый и грязный воздушный шланг; всюду валялись доски, обрезки труб, мотки кабеля. У дальней стены внушительно высились громадные кубы, в которых Линьков с удивлением распознал хронокамеры.

Линьков перешагнул порог и остановился. Никто не обратил на него внимания. Дрель замолчала, и в наступившей тишине кто-то громко крикнул:

— Подай напряжение на вторую!

Линьков двинулся в сторону хронокамер, с переменным успехом лавируя между досками и трубами.

Люди в темно-синих, испачканных известкой и краской халатах возились у второй хронокамеры. В ее настежь распахнутом нутре болтались провода, матово поблескивали черные круглые коробки приборов, присосавшиеся к стенам и полу, торчали ребристые грани какой-то стальной конструкции. Внезапно в камере полыхнула слабая розовая вспышка, и тот же голос прокричал:

— Дай вторую ступень!

Снова взвыла электродрель, и за третьей камерой, где люди суетились у огромной дыры в полу, гулко лязгнуло железо.

Линьков пробрался к вихрастому долговязому парню в халате и сквозь нестерпимый вой дрели прокричал ему на ухо:

— Кто здесь главный?

Человек обернулся и беззвучно зашевелил губами, указывая на людей, хлопочущих вокруг дыры в полу. Дрель вдруг замолкла, и человек прокричал конец фразы: «...где фундамент!»

Линьков торопливо спросил:

— Вы здесь каждый день работаете? До которого часа?

— В четыре обычно шабашим. Но, бывает, и до пяти задерживаемся.

— И много еще вам работы? — допытывался Линьков.

— А кто ж его знает! — весело сказал парень.— Одну камеру уже опробовали, гоняли на рабочем режиме вхолостую, со второй вот возимся, а четвертая... сами видите...— Он показал на уродливую, с рваными краями дыру, где, очевидно, находился фундамент четвертой хронокамеры.— А вы из газеты, что ли?

Из камеры высунулся плечистый парень в пропотевшей голубой майке:

— Сергей! Кабель подтяни, потолочные сопла буду проверять.

Собеседник Линькова мигом метнулся куда-то за камеру. Снова взвыла дрель.

«Значит, одна хронокамера здесь уже опробована! — бормотал Линьков, морщась от воя и грохота.— Что ж, пойдем-на мы познакомимся поближе с этой камерой...»

Осторожно пробираясь сквозь дикую путаницу кабелей, он подошел к первой хронокамере. Сквозь стеклянную дверь виднелась груда деревянных подставок, навалом брошенные щиты, доски, карнизы...

«Нашли тоже место склад устроить! — с неодобрительным удивлением подумал Линьков.— Едва успели отладить камеру — и уж сразу захламили так, что смотреть противно... Но ему это, пожалуй, даже удобно: за всем этим барахлом можно запрятаться, никто и не увидит... А камера здоровенная... раза в три больше лабораторной... И совсем готова, действительно... даже вокруг нее уже прибрано...»

И правда, пол вокруг этой камеры был чисто подметен, никакие шланги, доски, трубы здесь не валялись... Только у самой двери лежало что-то маленькое, яркое.

Линьков почти машинально наклонился и поднял пустой сломанный спичечный коробок... Хотел было бросить, но не бросил, а стал разглядывать. Чем-то его заинтересовал этот коробок,— может, тем, что лежал так одиноко и приметно, именно здесь, в единственном чистом уголке, куда монтажники, по всей видимости, уже и не ходят. «Неужели кто-то перекур устроил именно вот здесь?» — думал Линьков, осторожно распрямляя и выправляя изломанный коробок. Выпрямил, внимательно осмотрел: нет, ничего особенного, коробок как коробок, с картинкой серии «Птицы СССР», сидит этакая хитрая птаха со здоровенным клювом, и сбоку надпись: «дятел»... Линьков хотел уж выбросить коробок — и вдруг увидел...

Еще не веря собственным глазам, он снова всмотрелся: да, все правильно, наконец-то! Вот он, тот след, реальный, неопровержимый след, который он искал, почти не надеясь найти.

Значит, он прав: эта история начиналась отсюда...

Продолжение. Начало в №№ 8—14.

Рисунок
Геннадия НОВОЖИЛОВА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Значит, я в 1972 году! Ничего себе, веселенькая история... Целых два года...

Выходит, камера в зале была налажена на такие большие дистанции? На два года? Ай да Аркадий!

Я подошел к выходу, глянул на улицу — Аркадия не было. Куда это он пропал? Минут пятнадцать прошло, не меньше...

Стоп-стоп-стоп! Если я нахожусь в будущем, так кто же тогда этот Аркадий? Он принимает меня за своего, за здешнего,— значит, он тоже здешний? Вот и костюм на нем... «Странный костюм, немодный»,— сказала Нина. Понятно: это мода семьдесят второго года. Семьдесят второго, а не семидесятого... Да, но ведь Нина видела его в этом костюме в семидесятом году.

Его? Э т о г о Аркадия?

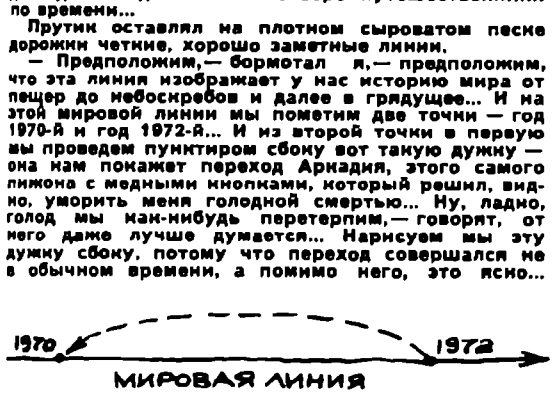
Аркадий из 1972 года был у нас, в 1970 году?! Что ж, это возможно, раз он освоил такие дистанции. Зашвырнул же он меня на два года вперед, будь он неладен! Да, но тогда...

Если у меня сейчас не лопнет от натуги череп, я, кажется, все пойму... еще немножечко — и все пойму... Только бы Аркадий не пришел раньше времени... только бы он не пришел.

Я почти бегом кинулся в глубь сквера, сел на самую дальнюю скамейку. Огляделся... Все чистенько, нигде ни прутика... Кусты ломать нехорошо, но для такого случая простительно. Не каждый день сидят в этом сквере путешественники по времени...

Прутик оставлял на плотном сыроватом песке дорожки четкие, хорошо заметные линии.

— Предположим,— бормотал я,— предположим, что эта линия изображает у нас историю мира от пещер до небоскребов и далее в грядущее... И на этой мировой линии мы пометим две точки — год 1970-й и год 1972-й... И из второй точки в первую мы проведем пунктиром сбоку вот такую дужку — она нам покажет переход Аркадия, этого самого пижона с медными кнопками, который решил, видно, уморить меня голодной смертью... Ну, ладно, голод мы как-нибудь перетерпим,— говорят, от него даже лучше думается... Нарисуем мы эту дужку сбоку, потому что переход совершался не в обычном времени, а помимо него, это ясно...



Так! Ну вот, прибыл он, наш Аркашенька, и принялся расхаживать по институту... в костюмчике своем... Тоже мне конспиратор, костюм сменить не мог! Ну, ладно... И что же получается? Нина встретила его на лестнице... он, очевидно, шел из зала... Ведь переход-то он совершал с помощью хронокамеры в зале... Ну, понятно, в 1972 году большие хронокамеры давно уже работали, можно было любую наладить, включить и все такое прочее... Теперь понятно, почему меня зашвырнуло сюда, в 1972 год,— Аркадий, наверное, включил камеру на автоматическое возвращение... как и я свою кустарную «машину времени»... Значит, это именно он поднимался по лестнице, в своем пиджачке с кнопками... Но тогда... тогда и Чернышев мог видеть этого Аркадия, а не нашего...»

Я растерянно вздохнул. Как-то все странно получается... Что ему понадобилось в нашей лаборатории?

Но ниточка, за которую я потянул, разматывалась с нарастающей скоростью. Все факты будто сами выстраивались в ряд, и до того аккуратно, что я диву давался.

Аркадий побывал в прошлом, он ходил там, с кем-то встречался,— словом, действовал, вмешивался в прошлое, менял его. Но это значит, что после его появления в прошлом история начала меняться! История — это, конечно, слишком громко сказано, речь идет не об истории человечества в целом. Но в нашем микромире — в институте, в городе — некоторые факты, безусловно, изменились, а за этим последовали другие изменения, расходясь кругами... и кто его знает, до чего могли дойти эти изменения за два года!

Сейчас мы обрисуем прутиком твои штучки-мучки! Сейчас мы тебя выведем на чистую воду, бродяга, мы тебя вычислим... Отсюда, от точки 1970, мы вычертим новую мировую линию, которая постепенно отходит от прежней... Это та история, которую ты своими руками создал, пижон на кнопках! И застрял в ней и потерял навсегда свой прежний мир. Не попадешь ты в него, Аркашенька, было бы тебе известно! Украшай теперь своими кожаными отворотами измененный мир и подыскивай себе здесь местечко, да смотри, не толкни «здешнего» Аркадия, он не обязан отвечать за твои фокусы! Понял? Нет? Ну, я тебе объясню! Ты в прошлом сколько-то часов провел?

Провел. А на какой линии ты их провел, как ты полагаешь? Ах, не знаешь? Так вот, на этой самой отклоненной линии! Сам же ты ее и отклонял своим присутствием. Вот я поставлю тут крестик, маленький такой крестик, пусть он обозначает ту минуту, когда ты из прошлого опять в будущее двинулся. А эта вот дужечка — это сам переход. Куда она ведет, ну-ка сообрази? Раз ты в момент старта находился на линии II, значит, и к финишу ты придешь на той же линии!

И я с торжеством посмотрел на созданное мною произведение хронофизического искусства. Нет, путешествия во времени явно полезны! Их можно рекламировать: расширяют кругозор, шлифуют мозги, закаляют нервы! Я уже совершенно свободно оперировал мировыми линиями, переходами, измененными мирами; я в самом деле вычислил передвижения Аркадия, сконструировал его судьбу согласно всем законам хронофизики.

Я откинулся на спинку скамейки и блаженно зажмурился. Ай да Аркашенька, ай да нахал! Значит, он чужак в этом мире, такой же, как и я... А ведь как держится! Как здорово разыгрывает аборигена! Я, мол, задержался там... в одном месте... потому и не ночевал дома... Знаем мы эти места, где ты задерживаешься! Но почему же Аркадий не удивился, когда я сказал, что ночевал у него на тахте? Если он думает, что я «здешний», то ведь у «здешнего» Бориса есть где ночевать... Или он знает ь здешнем мире больше, чем я? Нет, вряд ли... Вид у него замученный, глаза красные... скорее всего ночевал он на скамейке в сквере... или же в парадном на подоконнике... А такую ночевку можно вытерпеть один раз.. ну, два... Значит, Аркадий сюда попал недавно... И попал он сюда из того же самого двадцатого числа, что и я, в той же самой хронокамере...

Постой, постой... А ведь, пожалуй, это о нем, об этом Аркадии, говорил мне вчера вечером Макарыч! Скорее всего о нем! Значит, он вышел из хронокамеры совсем незадолго до меня. И, конечно, сразу рванул из института: боялся с кем-нибудь встретиться...

Погоди... но ведь тогда он и вошел в хронокамеру тоже незадолго до меня!!

Елки зеленые, ну и путаница получилась — нарочно не придумаешь! Я еще раз провернул в уме ролик с этими кадрами — и меня смех разобрал. Это надо же! Я сидел, откинувшись на спинку скамейки, и весь трясся от беззвучного хохота, сменился со смаком, до слез, до изнеможения.

И тут появился Аркадий. Я поспешно утер слезы, подошвой затер свой рисунок на песке. От смеха мне стало определенно легче, только есть еще сильней захотелось.

Аркадий принес здоровенный батон и бутылку кефира. Я даже спасибо не успел сказать — накинулся на еду, глухо урча от блаженства, словно изголодавшийся кот.

— Ты чего так долго? Очередь, что ли? — промычал я, активно работая челюстями.

— Очередь,— рассеянно подтвердил Аркадий.

Я искоса поглядывал на него и восхищался: до чего натурально играет, бродяга! Как он это небрежно произнес: «Так пошли, что ли, в институт!» Мне тогда и в голову не пришло, что он «нетутошний»! А сам-то он отлично знал, что ему в институт дорога заказана! Силен Аркаша! Блефует, как бог!

Но вот зачем он блефует? Чего он добивается этим нахальным враньем?

Я уже утолил самый острый голод и теперь намеренно снизил темп: старательно прожевывал хлеб, не торопясь прихлебывал из бутылки. Аркадий молча курил, откинувшись на спинку скамейки, и тоже, видимо, никуда не торопился. Брови он свел к переносице, на лбу легла глубокая вертикальная складка — тише, Левицкий думает! Интересно, о чем? И что он думает обо мне?

Он никак не может предположить, что я преследую его из прошлого. Он ведь в хронокамеру вошел раньше меня, это ясно. Значит, он может думать только одно: что я «здешний» Борис. Так сказать, Борис Стружков образца семьдесят второго года, Борис-72, для краткости. А поскольку я, увидав его, не удивился, не ужаснулся и ни о чем таком не спросил, то Аркадий должен был сделать вывод, что я его тоже принимаю за «здешнего». Как бы обозначить «здешнего» Аркадия? Придется, видимо, так: «Аркадий-72-бис». А то ведь этот пижон с медными кнопками.— тоже Аркадий-72, только из другого мира. И в этом мире должен существовать его двойник. Так же, как и мой.

Я попытался прикинуть в уме, как это получается. Вот я прибыл в прошлое и встретил в прошлом себя самого. Нас, стало быть, уже двое. Если я там останусь, нас так и будет все время двое. Ну, а если я перепрыгну, например, на год вперед — что тогда? Ясно, я опять должен встретить в будущем своего двойника. То же самое и с Аркадием: его двойник сейчас сидит, должно быть, в лаборатории, телефон 28-51 и вкалывает, как положено, с Борисом-72 на пару, пока мы тут с этим Аркадием друг другу головы морочим... Нет, постой, что-то здесь не ладится... Ах, ну да! Откуда же тут возьмется второй Аркадий, если он умер два года назад? Не должен существовать никакой «здешний» Аркадий!

А между тем он существует! И живет все там же, и вчера утром разговаривал с Анной Николаевной, и в комнате у него все по-прежнему... То есть, наверное, что-нибудь переменилось, но я не успел разглядеть. Значит... значит, в этом мире, в измененном мире, Аркадий вовсе не умирал! И значит, мое вмешательство... это мое вмешательство так изменило события, что он не умер!

Я вздохнул с глубоким облегчением, выпил последний глоток кефира и стряхнул хлебные крошки с колен. Все! Больше не напугаете меня временной петлей, дудки! Нет никакой петли, никакой мистики, ничьих я действий не повторяю и к смерти Аркадия непричастен... Зато явно причастен к его «воскрешению».

Аркадий сидел насупившись и яростно ковырял дорожку носком шикарной зеленоватой туфли. Я посмотрел на него и слегка усмехнулся. Прямо прирос Аркашенька к скамейке! Видать, что-то ему от меня нужно! Да понятно, что: добыть побольше информации об этом мире. Но раскрывать свои карты он почему-то не хочет, вот и крутится вокруг да около, ждет, что я сам заговорю...

Все это я правильно сообразил, но, видно, чересчур углубился в свои соображения, потому что Аркадий поймал меня врасплох. Он этак небрежно, не глядя на меня, сказал:

— Все-таки, Борька, чудно как-то получается: торчим мы с тобой в сквере, а там лаборатория пустая стоит...

— Почему пустая? — запротестовал я, не успев подумать.— Там ведь...

Тут я осекся, но поздновато... Вот кретин я, вот кретин! Разомлел от радости, почил на лаврах детектива-любителя! Еще секунда — брякнул бы: «Там ведь наши дубли вкалывают».

Нет, Аркадий хорошо рассчитал, удар был классный, ничего не скажешь! Если я только притворяюсь, что принимаю его за «здешнего» Аркадия, то сгоряча могу ляпнуть: «Там ведь тоже Аркадий, в лаборатории...»

Значит, ему прежде всего хочется выяснить, есть ли тут его двойник! Ну, естественно... От этого ведь зависит его судьба в измененном мире...

Аркадий словно и не заметил моей обмолвки — все так же яростно ковырял песок. Но я понимал, что он притворяется, что в мозгу его идет сейчас бешеная работа, он взвешивает все возможные комбинации значений этой обмолвки. Если я хотел сказать, что в лаборатории уже есть один Аркадий — значит, я прекрасно понимаю, кто передо мной, но почему-то скрываю это. Но, может, я совсем не это хотел сказать, может, я простодушно принимаю его за Аркадия-72-бис? Как бы это половчее атаковать меня снова?

Интересно, что он еще придумает? Ну-ка сделаю теперь я свой ход!

— А знаешь,— сказал я, с сожалением заглядывая в пустую бутылку,— ты, пожалуй, прав. Мой человечек явно уже не придет, и что тут торчать, неудобно даже. Пойдем-ка мы с тобой да включимся в трудовой процесс...

Аркадий нервно дернулся, услышав это. Он даже позеленел слегка... Не хотелось ему идти в институт, ох, как не хотелось!

— Ну... пойдем... если хочешь,— неуверенно пробормотал он.

Я невольно восхитился его выдержкой... вернее, его нахальством. Блефует Аркашенька — и глазом не моргнет!

Мы вышли из сквера и медленно двинулись к институту. Я поглядывал на Аркадия сбоку и думал: «А чего он, собственно, так секретничает? И вообще, где же он был и что делает со вчерашнего вечера? Неужели так и не смог выяснить до сих пор хотя бы насчет своего двойника?»

Аркадий внезапно спросил, глядя в сторону:

— Слушай, у тебя случайно нет с собой... сноторного?

Рука моя невольно дернулась к внутреннему карману, где лежали таблетки... его же собственные таблетки! Хотя нет — не его... Моего Аркадия.

Постой, какого еще «моего»? Мой Аркадий проглотил свои таблетки, это подтверждено протоколом вскрытия! Стало быть, есть еще один Аркадий? Батюшки, ну и путаница! А, конечно, это таблетки того Аркадия, который остался жив и сейчас стал Аркадием-72-бис. Тьфу, наконец-то разобрался... Нет, здесь без карандаша и бумаги моментально запутаешься! Но все это молниеносно промелькнуло у меня в мозгах, а с ответом я не задержался, сказал равнодушно:

— Что ты, я уж и не помню, когда оно у меня было! Я ведь не пользуюсь, ты же знаешь! А что?

Аркадий даже зубами скрипнул от злости и разочарования. Вопрос этот явно имел для него какой-то важный смысл, но я не мог понять, какой... А я ответил не в жилу, вот он и разозлился. Действительно, бедняга Аркадий: старается, изощряется, рассчитывает сложнейшие многоходовые комбинации — и все впустую и некому даже оценить его способности и энергию. Ничего, Аркашенька, я ценю, я все вижу,— ты ведь даже вспотел от напряжения.

Аркадий действительно который раз уже прикладывал носовой платок ко лбу, слегка прихлопывая его, как промокашку. Потел он, конечно, не от жары,— утро было скорее прохладное,— а от страха. Мы ведь с каждым шагом приближались к институту, и Аркадий отчаянно нервничал, но сдаваться не хотел: амбиция у него страшная, прямо титаническая у него амбиция...

Интересно, неужели мое поведение ни на секунду не показалось ему странным? Или он настолько поглощен своими делами, что обо мне толком и не думает? Как принял исходную установку, что я «здешний» Борис и принимаю его за «здешнего» Аркадия, так и не слезает с нее. Вот осел упрямый! Помочь ему, что ли?

— Аркашенька,— сказал я умоляюще,— открой, как другу: где ты такой костюмчик отхватил?

Он с надеждой посмотрел на меня. Еще бы! Если я задаю такие вопросы, значит, я о «своем» Аркадии не все знаю, а тогда...

— Ты разве не помнишь? — Он говорил осторожно, будто по тонкому льду ступал.— Я ведь тебе рассказывал...

— А-а! Правильно ведь, рассказывал! — закричал я, имитируя радостное облегчение.

У Аркадия лицо вытянулось от изумления. Он-то ведь прекрасно знал, что никогда он мне — вернее, тому, за кого он меня принимал,— ничего подобного не говорил! Он считал, что мы с ним впервые в жизни встретились — и, пожалуй, только в этом он не ошибался.

— Помню, как же! — Я улыбался весело и безжалостно.— Это ведь тот самый материальчик, который Зоя тебе преподнесла по случаю вашей годовщины? Она всем хвалилась, как тебя осчастливила!

Аркадий поперхнулся, заморгал, даже носом как-то тонко шмыгнул. Он был явно травмирован, но мне хотелось еще подбавить. Раз уж я ему жену придумал, так надо ее поярче обрисовать!

— А что, неверная информация? — сочувственно спросил я.— Да уж Зоеньна соврет — недорого возьмет! Но ты не расстраивайся, она ведь любя...

Ну, пожалуй, хватит! Смуглое лицо Аркадия сделалось бледно-желтым — это он так бледнел,— и в глазах у него появилось затравленное выражение.

Мы были шагах в десяти от проходной, и меня уже ноги не очень слушались. Куда Аркадий лезет?! Вот выйдет кто-нибудь из института — и такая каша заварится! Но тут Аркадий остановился и хмуро сказал:

— Совсем забыл: мне позвонить надо! Ты иди, я чуть позднее приду...

Эх, пижоны мы! Оба ведь трясемся от страха, а все танцуем друг перед другом, как Манилов с Чичиковым: мол, ты первый иди!.. нет, раньше ты! А сами только и думаем, как бы поскорее драпануть из этого опасного места! Но преимущество было на моей стороне, и я не собирался отказывать себе в удовольствии.

— Из лаборатории позвонишь! — решительно сказал я.— Мы и так уж почти все утро проканителились, пора и честь знать! Пошли, пошли!

Я сам себе удивлялся: вот это называется блефовать! Раньше я за собой таких талантов не замечал: может, они развились от перебросок во времени?

Аркадий затравленно посмотрел на меня.

— Нет уж! — огрызнулся он, потеряв самообладание.— Я отсюда позвоню!

— Да ты чего кипятишься? — с фальшивым добродушием спросил я.— Звони на здоровье. Я тебя даже подожду...

Аркадий сердито и растерянно отвернулся. Видно было, что ему хочется уже только одного: поскорее отделаться от меня, от «здешнего» Бориса — безмозглого типа, который почему-то нахально прогуливает, шляется по улицам и ни на копейку деликатности не имеет!

— Где ты меня подождешь? — нетерпеливо спросил Аркадий.— Здесь, что ли?

— Нет, зачем же,— ласково улыбаясь, ответил я.— Еще Селиванов выйдет, шум подымет, ты же знаешь, какой он вредный...

Добивать лежачего, оказывается, очень даже приятно. Аркадий заскрежетал зубами, но промолчал, а я, шагая с ним рядом, сочинял вовсю:

— Знаешь, что он мне вчера сказал, Селиванов-то наш, на собрании? Передайте, говорит, вашему Левицкому, что он пижон.

Аркадий резко остановился.

— Кто это сказал?

— Как кто? — Я удивленно посмотрел на него.— Я ж тебе говорю, Юрий Матвеевич. Товарищ Селиванов собственной персоной. Да ты не огорчайся, ну его, сам он пижон!

Я мог резвиться на просторе: Аркадий понятия не имел, что делается в э т о м институте. Как и я, впрочем. Но инициатива была в моих руках. Белые начинают — и выигрывают! Пусть неудачник плачет!

— Ну ладно,— пробормотал Аркадий,— я ему это припомню...

Держится! Упорно не выходит из роли! Молодчина!

Мы опять вернулись на угол скверика: ближе автоматов не было. Аркадий вошел в кабинку, я видел, как он опускает монету и набирает номер. Первая цифра — явно двойка, так... теперь откуда-то из середины диска... теперь из конца... а это единица... 25-81... Понятно! Он-то этот номер знает...

Неужели он только сейчас догадался позвонить? Ведь это проще простого — говорить чужим голосом, позвать Левицкого, попросить его срочно выйти... Постой, постой! Что же это получается?

Когда я мысленно произнес: «говорить чужим голосом»,— эти слова мне кое-что напомнили. А потом еще кое-что. И мне что-то совсем расхотелось потешаться над Аркадием и радоваться своему ученическому остроумию. Улыбка еще держалась некоторое время, словно приклеенная к лицу, и неестественно растягивала губы, потом я спохватился и согнал эту нелепую улыбку.

Говорить чужим голосом по телефону... А кто же это говорил сегодня утром с Анной Николаевной, нарочно хрипя и бормоча, чтобы она его не узнала? И почему «здешний» Аркадий сегодня не ночевал дома? И почему тот, кто назначил ему свидание «на нашем месте», на это свидание не явился? И «здешний» Аркадий — тоже? И почему, откуда ни возьмись, пришел в сквер Аркадий-путешественник? Откуда он узнал о назначенном свидании? Что это все означает? Что свидание на самом деле состоялось ровно в восемь часов, но в каком-то другом месте? Или что тот Аркадий, который сейчас торчит в будке автомата, все-таки и есть «здешний» Аркадий и свидание в сквере сорвалось случайно, а загадочный незнакомец явится в лабораторию сразу после работы, как в «моем» мире? И кто сидел в комнате Аркадия? И почему он удрал, услыхав условный звонок — наш с Аркадием условный звонок? Словом, вопросы посыпались, как зерно из дырявого мешка... За «здешним» настоящим пошло «тамошнее» прошлое. Те загадки, из-за которых я отправился в сумасшедшее путешествие без надежды вернуться «к себе» и которые так и остались неразгаданными. Почему все-таки погиб Аркадий? Почему Леночка Чернышев и Нина видели меня в лаборатории, когда я там не был? Какой же Борис был там?

Поток уже давно захлестнул меня, я беспомощно барахтался, пытаясь хоть на секунду вынырнуть на поверхность, глотнуть воздуха. Подумать только: минуты три назад мне казалось, что я все понял, все разгадал.

Если бы в моем распоряжении был хоть часок, хоть полчасика, может, я теперь и распутал бы кое-что. Но у меня и пяти минут не было! Дверь телефонной будки распахнулась, и Аркадий вышел.

Он сразу как-то переменился. Куда и девались растерянность, подавленность, затравленный взгляд! Передо мной снова был прежний Аркадий, самоуверенный, слегка насмешливый. Что же это он выяснил? С кем поговорил? С Аркадием? Или с Борисом?

Аркадий подходил, засунув руки в карманы и с интересом меня разглядывая.

— Ну-ну,— покровительственно сказал он,— так ты, говоришь, в лабораторию хотел пойти?

Ого! Кажется, теперь инициатива перешла в его руки! Нет, это мы еще посмотрим! Допустим, ты выяснил, что я не «здешний» Борис. Ну, а дальше что? То-то и оно: больше ты ничего не знаешь и знать не можешь.

— А ты — нет? — нахально удивился я.— Давно бы пора, между прочим! В самом деле, пойдемка мы!

— Пойдем,— неожиданно кротко сказал Аркадий.— Действительно, пора!

Я ничего не сказал, только глянул на него искоса. Мы повернулись, словно по команде, и в третий раз за это утро зашагали по коротенькому отрезку улицы от сквера до института. По-моему, у нас даже носки туфель поднимались на одинаковую высоту, как у солдат на параде. Во всяком случае, шагали мы не менее торжественно.

Так мы домаршировали до проходной, одновременно протянули руки к двери — и одновременно отдернули их, словно обжегшись. Несколько секунд мы помолчали, собираясь с силами. Аркадий, конечно, справился с собой раньше, чем я.

— Прошу вас, сударь,— ехидно сказал он, галантным жестом указывая на дверь.

— Нет, это я вас прошу! — не сдаваясь, возразил я.

Продолжать эту дурацкую сцену было вроде и не к чему: оба мы понимали, что в институт никто из нас входить не собирается. Но и отступить было трудно.

— Ах, вот как! — надменно сказал Аркадий.— В таком случае, да будет вам известно, сударь, я вообще не войду в эту дверь!

— Я, со своей стороны, категорически отказываюсь войти раньше вас, сударь! — откликнулся я.

Аркадий поглядел на меня, что-то обдумывая.

— Ну, что ж,— процедил он наконец, презрительно улыбаясь.— Самозванцев следует сечь! Публично, сударь!

Прежде чем я успел опомниться, он рванул дверь и вошел в проходную. Дверь за ним захлопнулась со странным насмешливым хрипом — то ли я раньше не прислушивался, то ли звук этот существовал только в здешнем, измененном мире...

Я стоял, разинув рот, и тупо глазел на эту дверь, обитую черным, уже поседевшим на швах дерматином. А у нас... а т а м она тоже обита этой гнусной штукой? Или только в э т о м мире?

О чем я думаю, что мне эта дверь?.. Да, конечно... Однако она закрылась — и не открывается. Аркадий не вылетает обратно, весь красный, кляня себя за нахальство и легкомыслие. Аркадий пошел в институт! Ну, что же это? Что это может означать?

Который раз за эти дни я задавал себе этот сакраментальный вопрос! Который раз натыкался на внезапные провалы и преграды и не мог понять, что стоит по ту сторону — пустота или разгадка! Когда же кончится эта лавина тайн, этот проклятый лабиринт, когда я выберусь на волю, смогу дать отдых своим мозгам — они ведь просто лопаются от натуги!

Аркадий вошел в институт! Неужели я неправильно рассчитал, и это «здешний» Аркадий? С чего я, собственно, начал разматывать эту ниточку? С костюма, да? Ах, дурень ты эдакий, подметка ты шерлокхолмсовская, хвост Мухтара, зубная щетка Агаты Кристи! Да почем ты знаешь, что здесь не носят именно таких костюмов?! Ты проверял это? Ты установил хотя бы при помощи примитивного визуального наблюдения, какова ширина отворотов у пиджаков здешних граждан? Слова Нины вспомнил? А если тот Аркадий, которого Нина встретила, был сам по себе, а этот сам по себе, тогда что? Тогда влип ты, брат, по самую макушку!

Но ругал я себя больше от тоски и растерянности. Я все же верил, что не ошибся. Очень уж хорошая у меня получилась система — такая она была стройная, такая изящная, не хотелось с ней расставаться... А если какой-то факт не укладывается в нее, тем хуже для этого факта...

Я зачем-то потрогал дверную ручку, потоптался у проходной, потом отошел в сторонку. Мне было безразлично, видят ли меня из проходной или даже из окон института... Я сейчас хотел одного — запрятаться в какой-нибудь укромный уголок и там дождаться конца всей этой истории. Пускай все будет без меня, не нужно мне славы, не нужно лавров, я скромный, простой путешественник по времени, я напутешествовался досыта, я устал, мне бы лечь да укрыться... Вот пойду я сейчас домой, к своему двойнику, к этому благородному, самоотверженному труженику, открою его комнату своим ключом... надеюсь, он не вздумал сменить замок... и завалюсь спать. И пускай он сам разбирается во всей этой катавасии, а я уже сыт по горло!

Преотлично я понимал, что нет такого уголка, куда мне можно запрятаться. Не было его даже в том, «моем» мире,— а уж здесь-то и подавно! Можно, разумеется, помечтать об этом несуществующем укрытии... или представить себе, как удивится «здешний» Борис, если явится после работы домой и увидит, что я мирно храплю на его диване-кровати... Можно еще...

Но я не успел додумать, какие еще призрачные выгоды можно извлечь из моего теперешнего положения. Дверь проходной распахнулась, с грохотом отлетела к стене — и на пороге появился Аркадий!

Он не просто вышел — он именно появился, возник, прямо-таки материализовался из черного прямоугольника дверного проема и явно нес в себе колоссальный заряд энергии. Возникнув, он стремительно обвел взглядом окружающий его мир, и я отчетливо видел, что взгляд этот разыскивает меня!

Напрасно я старался исчезнуть, тихо, без той эффектности и блеска, что сопутствовала появлению Аркадия, напрасно прижимался изо всех сил к старому дуплистому ясеню, у которого стоял,— взгляд Аркадия остановился на мне, и я с тяжелым вздохом оторвался от ствола ясеня.

Аркадий, торжествующе улыбаясь, зашагал мне навстречу.

— Ну, иди сюда, самозванец! — ласково сказал он.— Иди, иди, я тебя не трону!

— Сам ты самозванец! — неожиданно для самого себя обиделся я.

— А это мы посмотрим! — все так же ласково возразил Аркадий.— Посмотрим, поглядим...— пропел он, все приближаясь ко мне.— Значит, Селиванов меня обозвал? Юрий... э...?

— Матвеевич...— неохотно подсказал я.

— Именно вот, Матвеевич! И давно он у вас в институте работает?

Он подошел вплотную и разглядывал меня с холодным интересом удава, который уже загипнотизировал кролика и теперь размышляет, как приступить к трапезе.

— Караул! — шепотом закричал я.— Я буду жаловаться! Я до месткома дойду!

— Ты не дойдешь,— мстительно сказал Аркадий.— Тебя принесут. На носилках. Я кабинет к товарищу Селиванову, и Зоя тебя перевяжет, чтобы ты не истек преждевременно кровью и не ушел от справедливого возмездия! Ясна тебе эта картина, самозванец?!

— Но почему, почему ты меня оскорбляешь? — надрывно воскликнул я.— Почему ты говоришь, что я самозванец?

— А вот потому! — веско заявил Аркадий и железной хваткой взял меня за локоть.

Вырываться было бесполезно: Аркадий на веслах такой стальной хват развил — почище любого капкана.

— Не соблаговолите ли вы, сударь,— медовым голосом пропел он над моим ухом,— пройти со мной в некий скверик, вам известный, где я буду иметь честь просить вас о сатисфакции?

И с этими словами он придал моему телу нужное направление и скорость.

— Соблаговолю...— с некоторым опозданием пробурчал я, слегка упираясь ногами в тротуар.

— Иди, иди, авантюрист, иди на суд общественности,— подбадривал Аркадий, нажимом железных пальцев проясняя свою мысль.

Я не понял: себя, что ли, он именует «общественностью»,— но промолчал.

До скамейки в скверике мы дошли без происшествий. На песке дорожки по-прежнему лежал мой прутик. Аркадий молча усадил меня, уселся сам и лишь тогда разжал свою бульдожью хватку.

— Слушай, Аркашенька,— вкрадчиво спросил я, потирая ноющее плечо,— а не собираешься ли ты, часом, присвоить себе функции нашего самого демократического в мире народного суда? Смотри, а то ведь у меня знакомые в прокуратуре есть...

— С каких это пор? — осведомился Аркадий, хищно сжимая и разжимая пальцы.

— Да вот, общался я недавно с одним следователем,— небрежным тоном сообщил я,— по делу о смерти некоего Левицкого... Очень, знаешь, толковый товарищ оказался, даже в хронофизике отчасти разбирается. Мы с ним просто, можно сказать, подружились, невзирая на такие печальные обстоятельства. Линьков Александр Григорьевич его зовут...

Я болтал, искоса поглядывая на Аркадия. Выражение лица у него было странное: смесь изумления, недоверия и... и радости! Он ошеломлен, потрясен, он чего-то не понимает,— ну это легко понять. А вот чему он радуется,— явно ведь радуется, несмотря ни на что! — этого я понять никак не мог.

— Значит, он все-таки умер? — очень серьезно и печально спросил наконец Аркадий.

Я растерянно поглядел на него.

— Кто «он»?

— Ну, кто? Левицкий, ты же говоришь,— неохотно пробормотал Аркадий.

Я молчал. Очень уж странно и неприятно было слышать, как он говорит о себе: «Левицкий умер»...

— Значит, умер... все-таки он умер...— тихонько бормотал Аркадий, словно говоря сам с собой.— И раз ты об этом знаешь, это случилось на твоей мировой линии... А почему же ты не удивился, когда увидел меня? Хотя понятно! Ты сообразил, что линии расходятся... давно сообразил... Интересно, что ты еще сообразил... очень интересно!.. А отчего он умер? — неожиданно спросил он, глядя на меня в упор.

— Снотворное, большая доза снотворного.

— Да, да... снотворное...— прошептал Аркадий, опустив глаза.

Он помолчал с минуту, потом тряхнул головой, будто сбрасывая невидимый груз, и снова поднял на меня взгляд. Лицо его было теперь напряженно-серьезным, почти угрюмым... таким оно бывало, когда эксперимент срывался по непонятным причинам.

— Давай откроем карты, Борис,— сумрачно сказал он.— Я тут чего-то, видно, не понимаю. Многое я реконструировал, пока за кефиром ходил... и потом... но не все. И ты, наверно, тоже?

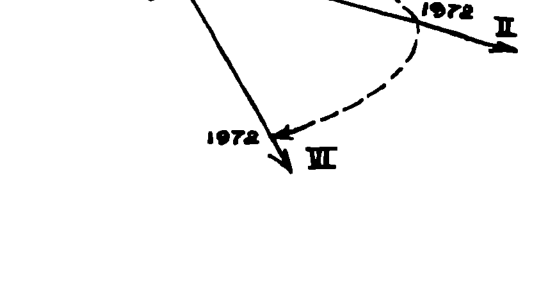
Я молча кивнул. Я все еще не был уверен, что правильно понимаю его. Если это «здешний» Аркадий, так, собственно, что он мог «реконструировать»? Что он знал о смерти «моего» Аркадия? Какая связь между ними?

Правда, он ведь говорил по телефону, потом ходил в институт. Может, там выяснил что-то... да нет, что он мог там выяснить, если сам «здешний»... Если он — «Аркадий-путешественник», тогда многое объясняется очень просто... А, надоело гадать!

— Аркадий,— сказал я решительно,— тебе это что-нибудь говорит?

И, наклонившись, быстро начертил прутиком на песке свою незамысловатую схему.

Аркадий сдвинул брови и всмотрелся. Потом молча кивнул и, отобрав у меня прутик, провел еще одну линию. Там, где она ответвлялась от второй, он изобразил большой вопросительный знак.



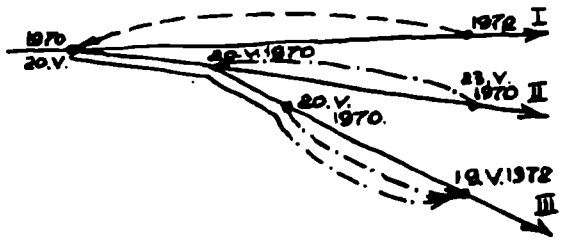
Потом подумал еще секунду и быстро продолжил пунктир от второй линии к третьей.

Что ж, основное он понимал правильно. Кто-то, совершенно неожиданно для него, снова изменил мировую линию. Продолженный пунктир означал, что из-за этого изменения «Аркадий-путешественник» прибыл не туда, куда хотел. Попал вместо второй линии — на третью. А вопросительный знак у основания третьей линии выражал недоумение Аркадия — кто же это еще, кроме него самого, смеет создавать новые мировые линии?

Сейчас я тебе объясню, дорогой ты мой! Поправлю я твой рисунок! Теперь для меня все это задачки для первого класса. Вчера еще я бился в путанице мировых линий, как муха в паутине, а сейчас мне все эти переплеты и перекрестки видны вполне отчетливо.

Я взял прутик и наклонился над схемой, чувствуя на себе напряженный взгляд Аркадия. Прежде всего нужно было убрать нелепый пунктир, соединявший сразу две линии. Дело обстояло вовсе не так — теперь я это понимал. Аркадий-путешественник вечером двадцатого мая 1970 года прибыл в наш институт из 1972 года, это во-первых. Его пребывание там породило новую мировую линию — ту самую, что у нас на рисунке помечена цифрой II, это во-вторых. И вот, пока он находился на линии II, беседуя с «тамошним» Аркадием,— в прошлое, в ту же точку, в двадцатое мая, прибыл я! Это и было то третье, чего не понимал Аркадий!

Ну, что ж, покажем свой переход пунктиром с точками в отличие от путешествия Аркадия... вот так. Значит, стартовал я двадцать третьего мая 1970 года и находился в этот момент на линии II. Прибыл на ту же линию, но на более раннюю точку — в двадцатое мая... того же года, разумеется. И начал метаться по институту как ошпаренный — «таинственного незнакомца» выслеживал, Аркадия хотел уберечь... попутно таблетки уволок... Таблетки? Ну да! Ведь я уволок у Аркадия из-под носа яд и, надо полагать, повлиял этим на все последующие события... Проще говоря, взял и сотворил мировую линию с порядковым номером III. Для человечества в целом она, наверное, неотличима от прежней, так что называть ее мировой линией вроде неудобно... Но для нас — для Аркадия и для меня — это, конечно, принципиально новая цепь событий. Ну, вот хотя бы... поставим-ка мы, кстати, крестик вот здесь, на второй линии... отметим печальный факт — смерть Аркадия,— факт это вполне реальный, ведь я о нем знал... А на третьей линии этого крестика нет, здешний Аркадий благополучно здравствует поныне... и, возможно, сейчас с интересом следит за тем, что я вычерчиваю на песке... Теперь надо объяснить этому Аркадию — присутствующему здесь Аркадию, кем бы он ни был,— что Аркадий-путешественник стартовал уже не со второй, а с третьей линии. Он ведь находился еще в институте вечером двадцатого мая, когда я прибыл туда со своей творческой миссией и начал всех и вся переводить на другие рельсы... в том числе и Аркадия-путешественника вместе с его тамошним двойником... Ну, покажем ему эту пару Аркадиев вот такой двойной линией от момента их встречи до моего появления. Затем мы эту двойную линию поломаем в том месте, где я прибыл в прошлое и начал творить всякие чудеса местного назначения... вот так... и протянем мы ее до драматической разлуки двойников в зале хронокамер... Расставим теперь повсюду даты, чтобы он уже все до конца понял. Ну, а теперь покажем ему пунктиром, как Аркадий-путешественник совершил переход из зала хронокамер во вчерашний вечер, и тут же поставим пунктир моего перехода вслед за ним... Все!»



Я облегченно вздохнул, разогнул замлевшую спину и взглянул на Аркадия. Он смотрел то на рисунок, то на меня с таким видом, будто я ему Сикстинскую мадонну изобразил прутиком на песке. Он просто глазам своим не верил! Он еще раз поглядел на рисунок, снова перевел взгляд на меня,— взгляд этот по-прежнему выражал безграничное изумление,— попытался что-то сказать и не смог.

— В чем дело? — заботливо спросил я.— Ты чего-нибудь не понял?

Он снова беззвучно раскрыл и закрыл рот,— я искренне любовался этим зрелищем,— потом глубоко вздохнул и помотал головой.

— Это ты, что ли, тут гарцевал? — хрипло спросил он, тыча отобранным у меня прутиком в пунктир с точками.

Я скромно кивнул.

— Какого черта... Какого дьявола тебя понесло в прошлое?! — яростно прошипел Аркадий.— Как ты вообще попал туда?!

— Ну, зачем так грубо? — с ласковой укоризной возразил я.— И нечистую силу ты совсем зря поминаешь... Я материалистически перешел, в согласии с законами хронофизики, и руководствовался при этом благородными побуждениями. Тебя же, дурашку, спасти хотел...

Аркадий отшатнулся и озадаченно уставился на меня.

— Какого еще меня? — подозрительно спросил он.— Ах, того... который умер... Понятно... хотя это был не я...

Он вдруг почти успокоился, только губы слегка подергивались да в глазах оставалось диноватое выражение, как у камышового кота в неволе.

Вспыльчив Аркадий Левицкий и самолюбив до крайности: иной раз я удивлялся, по каким мелким поводам он злится, бледнеет, багровеет, сжимает кулаки и лезет в драку. Как-то плохо это вяжется с его обычной скептической миной, с надменной и язвительной усмешкой. Темперамент у него буйный — вот и берет верх над рассудком.

Аркадий о чем-то долго и сосредоточенно думал. Потом, видимо, пришел к какому-то решению и ехидно улыбнулся своим мыслям. Я сочувственно глядел на него: пускай потешит душу, ведь последнее слово все равно за мной. Он не знал того, что знаю я. Теперь я был почти уверен, что это здешний Аркадий.

«Несостоявшийся покойник,— думал я, глядя на него,— что ты можешь сказать в свое оправдание, ну что?! Ты у меня в ногах должен валяться за то, что я тебя спас — спер твои таблетки, подпортив свой моральный облик? А ты готовишь мне какую-то пакость... Ведь готовишь, я же вижу.

Аркадий поглядел куда-то через мое плечо и вдруг широко ухмыльнулся. Что он там увидел? Я тоже хотел было повернуться, но Аркадий сдавил мне плечо своей железной лапищей и, глядя на меня в упор, сочувственно сказал:

— Самозванец ты мой несчастный!

— Сам ты самозванец и вообще ошибка природы! — отпарировал я.— Не забывай, что я тебя спас. Я ведь и назад могу все переделать, мне это раз плюнуть!

— Плюнь, дорогой, плюнь! — нежно произнес Аркадий.— Плюнь, а потом повернись — и приятно удивишься...

Я не успел ни плюнуть, ни повернуться — за моей спиной чей-то голос спросил:

— В кого это ты вцепился, Аркашенька?

— Да вот, в самозванца одного,— пренебрежительно бросил Аркадий и отпустил мое плечо.

Я быстро повернулся.

За моей спиной стоял — я!!!

И лицо мое у меня на глазах становилось растерянным и глупым.

Линьков почти доволен собой

Линьков спрятал свою драгоценную находку, поднял голову и увидел, что черноволосый крепыш в клетчатой ковбойке очень ловко и напористо прыгает через груды досок и катушки кабелей, приближаясь к нему. Выбравшись на расчищенную площадку у первой хронокамеры, он весело крикнул:

— Это вам я понадобился? Так вот он я!

Узнав, что Линьков из прокуратуры, крепыш перестал улыбаться.

— Я Демченко, бригадир. Слушаю вас,— сухо сказал он.

— Не беспокойтесь, у меня вопросы чисто технические,— заверил его Линьков.— Ни к кому из ваших касательства не имеют. Да я почти все уже и выяснил. Так, мелочи остались. Эта камера готова, как я понимаю? — Он тронул рукой огромный куб, рядом с которым они стояли.

— Да, она прошла испытания. Комиссией принята.

— Давно?

— Перед праздниками где-то... Ну, месяц назад.

— С ней уже работали?

— Ну что вы! — Демченко усмехнулся.— У нас тут не очень-то поработаешь. Сами видите, какой кавардак. На консервации стоит камера.

— Понятно... А вот эти щиты, подставки и прочее — это все специально положили в камеру? Чтобы кто-нибудь ненароком туда не сунулся?

— Какие щиты? — удивился Демченко, поглядел в камеру сквозь стеклянную дверь и даже руками всплеснул.— У, лопухи! Вот я им! Фомич! — закричал он яростно.— А ну, Фомич, давай сюда!

Степенный, полуседой человек в аккуратно пригнанном халате неторопливо подошел к нему и со спокойной уморизной сказал:

— Чего шумишь, бригадир? Я, чай, не глухой. Когда дрель утихает, все нормально слышу.

— Мораль потом читать будешь! — нетерпеливо отозвался Демченко.— Ты лучше скажи, кто разрешил в камере свалку устраивать? Мало, что в зале свинюшник развели, не продерешься...

— Я не разрешал,— заявил Фомич, с неодобрением разглядывая камеру.— Видать, из нашей молодежи кто-то инициативу проявил.

— Руки оторвать за такую инициативу! — свирепо сказал Демченко.— Моментально пускай все перетащат в комплектовочную. Количество и сохранность проверь, Фомич, и если что — дай им духу. Распустились! Перед людьми стыдно! Ультрасовременная техника, машина времени, понимать надо! А этим орлам что хронокамера, что мусорный ящик — без разницы!

Линьков еще поговорил с Демченко, выяснил, что работают монтажники действительно до четырех, редко — до пяти и что зал на ключ не запирается, дежурный по корпусу потом запирает. Это обстоятельство, впрочем, не имело существенного значения. Тот человек, о котором думал Линьков, наверняка имел ключ и от зала и от лаборатории № 14. И скорее всего на самых законных основаниях.

Демченко, вдруг что-то сообразив, начал допытываться у Линькова, какое он дело ведет,— может, насчет самоубийства, и если да, то при чем тут монтажники и зал хронокамер? Линьков отвечал вежливо и туманно, Демченко продолжал спрашивать, и так они дошли вместе до выхода из зала. Тут Демченко увидел Фомича и, грозно хмурясь, спросил:

— Выяснили, кто барахолку в хронокамере устроил?

— Да вроде бы и никто,— слегка растерянно сказал Фомич.— Как один, все говорят: не клали мы туда ничего и близко даже не подходили.

— Нашкодили да еще и врут! — разъярился Демченко.— А я и сам знаю, что это Витька Мезенцев с двумя Юрками, кому ж еще!

— Не они, не они, в том-то и дело,— поспешно возразил Фомич.— И никто не врет, все правду говорят, я ребят наших знаю.

— Ясно! Дух святой в камеру щиты и подставки таскал в свободное от работы время! — ядовито сказал Демченко.— Правильно я тебя понял, Фомич?

— Про духа не скажу, а только наши ребята здесь без вины,— упорствовал Фомич.

Линьков попрощался и ушел. Он-то понимал, что ни монтажники, ни дух святой в этом деле не участвовали. И вообще картина происшествия была для него ясна почти полностью. Правда, он по-прежнему не понимал причин гибели Аркадия Левицкого. Но главного участника и, вероятно, виновника этой трагедии он теперь знал.

Шагая по коридору, Линьков все отчетливее ощущал, что самое главное в этой истории он уже выяснил. Если не считать запутанных приключений Стружкова. Но Стружков — в этом Линьков был почти уверен — прямого отношения к этой истории не имел. И вообще — раз Стружков явился, пускай сам и объясняет, что к чему и почему: история у него так или иначе наверзная...

Проходя мимо двери расчетного отдела, Линьков приостановился. Может, Берестова знает что-нибудь о Стружкове? Надо зайти, поговорить... «Вот и хорошо, что надо!» — откровенно признался он себе самому.

Но Берестовой, к его огорчению и удивлению, на работе не было. Рыженькая девушка за перфорирующим устройством, которая в первый приход Линькова сюда уверяла, что он сразу распознает Нину Берестову, теперь сочувственно пропищала, что Нина сегодня на работу не вышла.

— Заболела, наверное! — доверительно сообщила она.— А что удивляться! Нина ужас как переживала все эти дни.

Тут в разговор включились другие девушки и застрекотали наперебой:

— Ничуть она не переживала, даже удивительно!

— Много ты понимаешь: Нина выдержанная на редкость!

— А вчера она еле до конца досидела!

— Девочки, надо ей домой позвонить! Что ж это мы!

— Товарищ следователь, а правда, что Левицкого убили?

— А я знаю, за кого Нина переживает. Она за Бориса!

— Нет, за Аркадия!

— А вот и нет! На Бориса подозрение имеется, мне Эдик сам поведал!

«И тут Эдик!» — с ужасом подумал Линьков, оглушенный этой трескотней, и потихоньку выскользнул за дверь.

«В самом деле, надо позвонить Берестовой!» — решил он и с большим удовольствием отправился разыскивать, откуда бы позвонить. Набирая номер Нины, он почувствовал, что сердце гулко заколотилось, и с неодобрением поначал головой.

Нины дома не было. Старушечий голос ответил, что Ниночка на работе и вернется часам к шести. Это было уж совсем странно. Куда же она девалась? Несчастный случай по дороге на работу? Так ведь давно успели бы известить и семью и институт... Нет, тут что-то другое! Да чего уж, «что-то»! Это она с Борисом выясняет отношения. Он, наверное, позвонил ей прямо с утра, еще до работы, уговорил встретиться... Интересно, что же он ей такое сказал? После вчерашнего Нина не так легко согласилась бы разговаривать с ним. А она согласилась, и до того увлек ее этот разговор, что она вот и на работу не является... А ведь уже десять минут первого!

Где же они сидят? Может, и Стружкову пошли? Ну-ка, позвоним Стружкову...

В квартире Стружкова долго никто не подходил к телефону, наконец отозвался неуверенный юношеский басок:

— Нету его дома. Не знаю, где он. С работы уже звонили, спрашивали. Не знаю, я его ни утром, ни вечером не видел. Может, и ночевал, но из соседей никто его не видел...

Линьков положил трубку, снял очки и начал их сосредоточенно протирать. Может, рановато еще выключать Стружкова из круга подозрений? Что главное действующее лицо не он, это ясно. Однако он мог принимать в этом деле какое-то участие. Что если он как-нибудь замешан в эту историю и боится признаться? Может быть, он струсил или какую-нибудь глупость совершил, и ему стыдно, вот он и ведет себя так нелепо и противоречиво, что вообще ничего не поймешь... И с этим его переходом во времени сплошной туман. Если он вернулся, ничего не сделав, то с чем он к Нине пришел? А если сделал что-то в прошлом, то каким же образом смог вернуться в «свой» мир? Может, существует какая-то хронофизическая каверза и при каких-то условиях возможно вернуться на свою же линию? Или... или, может, Стружков вообще не в прошлое путешествовал, а в будущее? Тогда ему, возможно, есть о чем поговорить с Ниной! Мало ли что можно там узнать и мало ли как можно использовать эту информацию!

Эта неожиданная догадка привела Линькова в полное смятение. «Нет, надо к Шелесту!» — решил он.— Без Шелеста я не разберусь, где уж! Да и полчаса давно прошли. Еще уедет Шелест куда-нибудь...» Быстро шагая по коридору второго этажа к кабинету Шелеста, Линьков думал, что сейчас ему и Стружкова видеть не хотелось бы: раньше нужно с Шелестом посоветоваться, а то неизвестно, о чем и как разговаривать с этим хитроумным и неуловимым Стружковым... Очень хорошо, что его пока нет в институте!

Но, выйдя из-за поворота коридора, Линьков нос к носу столкнулся с Борисом Стружковым. Оба резко остановились и уставились друг на друга. И каждый из них прочел на лице у другого то, что испытывал в эту минуту он сам: растерянность и недовольство...

Продолжение следует.

Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

КТО ЕСТЬ КТО

Фантастический детектив

Глава одиннадцатая

Аркадий посмотрел на нас и жизнерадостно заржал.

Мой двойник непонимающе глянул в его сторону и снова с недоверием и ужасом уставился на меня.

Уж кто-кто, а я его понимал!

Конечно, мы не то, что прочие граждане, мы хронофизики, каждый день брусочки гоняем туда-сюда, в прошлое-будущее, к самим себе в гости, так что во всех парадоксах времени, включая встречу со своим двойником, мы должны разбираться совершенно свободно. Да мы и разбираемся, в общем-то, но чисто теоретически. Приходилось мне поддерживать треп на эти темы в интеллектуальной среде различного уровня, давать необходимые разъяснения, справки и тому подобное, и я делал это с легкостью в мыслях необыкновенной, ничуть не затрудняясь,— ведь мне все это казалось бесконечно далеким от практики, от реальной жизни! Я уверен, что многие из тех, кто меня слушал, относились к этим проблемам гораздо серьезней, они не понимали, какая пропасть лежит между теоретической возможностью и практическим осуществлением,— а я понимал... думал, что понимаю! И в голову мне не приходило, что этим практическим осуществлением я же самолично и займусь! А теперь на́ тебе! Гуляю по времени, как по парку культуры и отдыха, то туда пройдусь, то обратно, то на колесе покручусь, то на скамеечке посижу-подумаю. И все аттракционы в этом заведении мне нипочем, всякие там петли времени, параллельные миры, двойники — подумаешь! Не маленький, сам понимаю, что во всех параллельных мирах, которые создаю я, либо Аркадий, есть Институт времени, есть Аркадий Левицкий, Борис Стружков и все прочее, и отличаются они только в деталях... ну, вначале, по крайней мере. А значит, куда я ни пойду — вперед, назад, в параллельный мир,— везде имею шанс пожать руку самому себе.

Ну и вот он, этот шанс! Вот стоит перед тобой трудяга Борис Стружков, и ты можешь пожать его честную руку, которой он, как и ты, швыряет брусочки... или чего они там швыряют через два-то года? В самом деле — чего? Ну, во всяком случае, не людей! Этот Борис травмирован нашей встречей куда сильней, чем я, дело ему явно в диковинку... или, может, и у меня такая же дурацкая мина? Ах, я, оказывается, улыбаюсь... демонстрирую свое моральное превосходство над неопытным двойником...

Странное все же чувство: видеть самого себя отдельно от себя. Это ведь совсем не то, что отражение в зеркале. Отражение точно повторяет тебя, каков ты есть в данный момент, и движения твои повторяет, и гримасы, и улыбки. А тут я сижу, а он стоит, и одет он совсем иначе... а, кстати, одет он... ну, ничего, Аркашенька, погоди, мы сейчас все выясним, мы вдвоем тебя живо определим!

Борис Стружков... вот ты какой, оказывается, если смотреть на тебя со стороны! Неужели такой? Честно говоря, я о себе был несколько лучшего мнения... То есть я всегда знал, что в красавцы не гожусь... это Аркадий — типичный красавчик, а я так, середнячок, ничего выдающегося... Но все же... и брови что-то чересчур мохнатые, и глаза слишком хмурые, и... черт, да неужели я такой широкий, почти квадратный? Плечи, как у гориллы, и загривок соответствующий... из-за этого даже кажется, что я ростом не вышел, а ведь мой рост — метр восемьдесят два... поменьше, чем у Аркадия, но все же...

Тут я заметил, что Борис оглядывает меня, потом переводит взгляд на себя... и морщится, недовольно и растерянно. Ах, чтоб тебе! Да ведь он на два года старше! Однако... неужели меня за два года так разнесет?! С чего бы это? Но спрашивать неудобно... потом выясним...

А думаем мы, наверное, одинаково... И потом — содержание памяти... Я вдруг сообразил, что этот, старший Борис знает обо мне все за исключением того, что было после двадцатого мая... Знает все... знает самые мои тайные чувства, мимолетные мысли... помнит все ощущения... Я почувствовал, что краснею, и рассердился на себя за дурацкую чувствительность.

«И вообще,— подумал я,— чего мы стоим и молчим, как пни в лесу? Никак не можем налюбоваться на свою неземную красоту?» Я пытался заговорить, но слова не лезли из горла. Я все старался разглядеть, есть ли у этого Бориса шрам на левой ладони, тонкий красноватый шрам,— это меня угораздило собственным кинжальчиком порезаться года два назад... красивый такой кинжальчик, откуда его привезли, уж и не помню, и служит он мне в основном для разрезания бумаг... Борис шевельнул левой рукой и словно нарочно показал мне шрам. А чуть раньше, когда я увидел у него другой шрам — над левой бровью, красноватый, треугольный,— Борис поднял руку и слегка притронулся к этому шраму, будто проверяя, существует ли он. Все это мне не нравилось: я начал побаиваться, что Борис будет отвечать мне моими же словами, если наши мысли и ощущения так совпадают... Нет, неужели мы будем просто копировать друг друга?! Невозможно: мы даже внешне не совсем похожи, и в возрасте у нас есть разница... два года все же!

Наконец Аркадию надоело созерцать, как мы молча таращим друг на друга глаза, и он решил взять инициативу в свои руки. Он лениво помахал прутиком и сказал, как рефери на ринге:

— Брэк, Стружковы. Разойдитесь по углам. Засчитываю вам обоим поражение.

Я раздраженно повернулся к нему, и другой «я», как по команде, сделал то же самое... Аркадий захихикал.

Нелегко было заговорить с самим собой, но я это сделал.

— Ты не будешь возражать, если я его двину?— спросил я Бориса, и сам удивился, до чего деревянный и скрипучий у меня голос.

Борис судорожно глотнул и тоже неестественным, срывающимся голосом ответил:

— Приветствую... вполне... и присоединяюсь.

Хорошо, хоть слова у нас разные!

Аркадий откинулся на спинку скамейки и выставил вперед ногу в целях самообороны.

— Ну, вы, поосторожней! — воскликнул он, встревоженно следя за нашим приближением.— Тоже мне, сиамские братья-разбойники!

Он размахивал своей длинной ножищей, не подпуская нас к скамейке.

— Я зайду сзади,— предложил второй Борис, уже спокойно и деловито.— Зайду сзади и схвачу его за уши, а ты хватай ногу и тяни на себя, понял?

Аркадий мигом вскочил, перемахнул через скамейку и, отбежав к дереву, драматически завопил:

— Сдаюсь! Вас много, а я один!

Мой двойник повернулся ко мне, хищно и весело скаля зубы.

— Простим, что ли, мерзавца? — спросил он.

— Пускай раньше попадется! — ответил я.

Вот теперь Борис-72 мне даже нравился. Глаза у него азартно блестели, лицо раскраснелось, оживилось. И потом, когда он двигался, то не казался излишне плотным — просто такой вот здоровенный, крепко сбитый парнюга, мускулы так и перекатываются под тонким серым свитером... Тут я поймал насмешливо-одобрительный взгляд Бориса и слегка покраснел, ощутив, что сам тоже поигрываю мускулами и, наверное, тоже раскраснелся... ну да, вот и волосы щеночут лоб: видно, так же растрепались, как у него...

— Да ты, я вижу, вошел во вкус! — сказал Борис.— Так разыгрался, что даже чувство реальности потерял. Вообразил, что Аркадий способен драться! Уж поверь мне, как другу...

Продолжение. Начало в №№ 8—15.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

— Как самому себе...— поправил я.

— Верно! — с некоторым испугом согласился Борис.— Как самому себе... хотя к этому, понимаешь, трудновато привыкнуть.

— Еще бы! — сочувственно сказал я.

Я и то удивлялся железной выдержке этого Бориса: он не охал, не ахал и даже с вопросами не лез, хотя соображал во всей этой истории наверняка меньше, чем я и Аркадий.

Впрочем, может, у них здесь уже запросто гуляют в гости к самим себе? Нет, вряд ли: тогда Борис встретил бы мое появление совсем иначе. Начал бы уточнять детали: мол, откуда ты и как? А то ведь он травмирован жутко и даже не пытается это скрыть. А не расспрашивает в основном из самолюбия: старается до всего своим умом дойти, без посторонней помощи... Ну, это уж мой характер, узнаю...

Интересно, что же он может сообразить? Допустим, что Аркадий ему ничего не сказал и сам он тоже ничего не знает... Вроде бы не может он ничего не знать, неужели Аркадий все эти два года молчал? А если все-таки? Ну, тогда у него сейчас в мозгах такая каша!

— Какое трогательное зрелище! — ехидничал Аркадий, снова развалившись на скамейке.— Единение широких масс Стружковых! «Через горы, через расстояния...» — фальшиво пропел он и вдруг заорал: — У нас! На арене! Сегодня! Два-Стружкова-два! Стружков-юниор подает руку Стружкову-сениору! Раздвоение личности! Един в двух лицах! Спешите видеть!

От его воплей у меня даже в ушах зазвенело. Я хотел было высказаться, но Борис-72 опередил меня:

— Заткнись на секунду, остряк-самоучка! — сказал он Аркадию, а потом, смущенно улыбаясь, повернулся ко мне.— Все! Сдаюсь... И так и сяк ломаю голову, пытаюсь понять, откуда ты взялся, и не могу. Данных не хватает. Этот умник,— он показал на блаженно ухмыляющегося Аркадия,— он ведь ничего мне вообще не сказал. Ты же знаешь, как он обожает эффекты. Влетел в лабораторию на сверхзвуковой скорости, весь мокрый, дико посмотрел на меня, сказал: «Выходи в сквер через десять минут, дело есть!» — и тут же испарился... Ты оттуда?

Он повел головой куда-то вверх. Так! Он думает, что я из будущего. Значит, здесь еще не знают о возможности путешествия во времени? А как же Аркадий? Он-то пришел к нам из этого времени! Он один это все сделал, втайне от всех? Или он все же не из этого времени? Из другого 1972 года? Правда, в институт он прошел бойко, и Борис его вроде признает, но нахальства у Аркадия всегда хватало... А на розыгрыше с Юрием Матвеевичем и Зоей он попался, это ясно...

Впрочем, сейчас мне показалось, что не так уж это ясно и что Аркадий просто делал вид, что поддается на розыгрыш: хотел меня «уточнить»...

— Ты из будущего? — не очень уверенно переспросил Борис.

Аркадий хмыкнул. Борис оглянулся на него.

— Ну, чего хмыкаешь? По-человечески сказать не можешь? Где ты его встретил-то? Ты поэтому и на работу опоздал?

Я взглянул на Аркадия: он небрежно развалился на скамейке, насмешливый, самоуверенный, и чуть не хрюкал от удовольствия. Значит, это все же «здешний» Аркадий? Нет, немыслимо!

— Ты меня не спрашивай,— весело сказал Аркадий,— я и сам не все понимаю. Ты его спроси, поговори с ним, как Стружков со Стружковым. И учти: этот подозрительный тип уверяет, что он из прошлого...

Борис резко повернулся ко мне:

— Это правда?

— Да вроде бы...— ответил я.

— Как же это? — растерянно спросил Борис.

— Вот и я тоже не вполне соображаю,— снисходительно сообщил Аркадий.

— Не вполне?! — возмутился Борис.— Фанфарон несчастный! Он, видите ли, не вполне соображает! Я ничего не соображаю, абсолютно ничего!

— Естественно... У меня все же это устройство,— Аркадий уважительно притронулся к своему лбу,— чуть получше работает...

Если это «здешний» Аркадий, то у него, пожалуй, есть основания для самодовольства: уж очень он здорово разобрался в моих чертежах. Либо он все это откуда-то знал, либо... Тут я снова начал сомневаться в том, что он «здешний».

— Ну, ладно,— хмуро сказал Борис,— допустим, ты гений. Но я-то простой хронофизик. И я не гордый. Пускай мне кто-нибудь объяснит, что к чему и почему, я только спасибо скажу и по гроб жизни не забуду.

Он сел рядом с Аркадием и вопросительно уставился на меня. Аркадий достал сигарету, похлопал себя по карманам в поисках спичек, потом что-то припомнил и досадливо поморщился.

— Значит, это я там их выбросил...— пробормотал он.— Ребята, у вас ни у кого спичек нет?

У «здешнего» Бориса спички почему-то нашлись... курит он, что ли? Но это соображение прошло по краешку моего сознания: меня заинтересовали слова Аркадия о спичках. Заинтересовали и смутно встревожили.

— Где — там?— спросил я.— Где ты их выбросил?

— Да тебе-то что? — огрызнулся Аркадий.— Пустой коробок был, понятно? Я его сломал и выбросил... Чего цепляешься?

Я-то знал, чего я цепляюсь и чего он злится! Я будто снова попал во вчерашний вечер: увидел, как я стою, прижавшись к стене, у площадки боковой лестницы, и услышал голос Аркадия, а потом странный хруст, будто ломается спичечный коробок...

Неужели это и есть тот самый Аркадий?!

Но тогда... тогда он потрясающе блефует! Ведь Борис явно не сомневается в том, что это «его» Аркадий... Я и сам в это почти поверил, несмотря на все, что знаю... Но где же тогда настоящий, «здешний» Аркадий? Или именно «здешний» и побывал у нас? Да нет, это невозможно: он же тогда отклонил бы линию и вернулся бы в измененный мир, где уже есть «свой» Аркадий...

Вот разве только в этом мире не было «своего» Аркадия и «Аркадий с кнопками» просто занял его место?.. Нет, это невозможно: тогда его появление вызвало бы всеобщий переполох,— а в этом мире Аркадий существует и для Бориса, и для Анны Николаевны, и вообще для всех, раз его вахтер пропустил в институт. Нет, запутался я...

— Ну, чего молчишь, чего душу тянешь? — хмуро спросил Борис.

— Сейчас, сейчас...— пробормотал я, торопливо делая прикидки...

Наконец я решился. А чего мне бояться, вообще-то? Ошибусь — так все равно это выяснится через несколько минут. Зато, если я прав, то Аркашенька сразу поубавит спеси.

— Боря,— кротко попросил я,— будь другом, объясни: откуда этот товарищ добыл такой клоунский наряд?

Борис захлопал глазами и повернулся к Аркадию. Тот стыдливо прикрыл руками свои блистательные кожаные отвороты.

— Не знаю...— сказал Борис, изумленно пожав плечами.— Я и не заметил, что на нем этот балахон... Действительно, черт те что, пугало огородное... Но какое это имеет отношение?..

Я ликовал. Мой расчет оправдался: Борис так был ошеломлен встречей со мной, что до сих пор просто и не глядел толком на Аркадия. Он не видел этого костюма! И этот костюм ему кажется таким же странным, как и мне!

Ну, теперь можно пойти ва-банк!

— Аркашенька,— ласково сказал я, поворачиваясь к насупившемуся Аркадию,— скажи мне, Аркашенька, кто же из нас все-таки самозванец?

Борис уставился на нас обоих, видимо, начиная что-то соображать. Наконец он с усилием спросил, обращаясь к Аркадию:

— Ты... тоже?

Аркадий самодовольно улыбнулся и, словно извиняясь, развел руками:

— Увы, друг мой, и я тоже...

— Вы... вместе? — допытывался Борис.— Чего же вы мне голову морочите? Вы сговорились? Как, когда? Откуда вы все-таки?

Аркадий вдруг обиделся и решил отмежеваться от меня.

— Я ни с кем не сговаривался,— надменно сказал он.— И ни с кем я не вместе. Я сам по себе. Пусмай лучше этот тип,— он ткнул в меня пальцем,— расскажет, как он сюда попал!

— Ну, с тебя тоже причитается кое-что рассказать,— заявил я.

Аркадий растерянно и тревожно поглядел на меня.

Значит, это все же был тот самый Аркадий, который побывал в нашем институте! Тот «странный» Аркадий, которого встретила Нина, а потом видел Чернышев. Тот «незнакомец», которого я выслеживал на первом переходе во времени и потерял в зале хронокамер. Да и как мне было его не потерять! Я его искал в том мире, а он уже перешел в этот...

Ну, ладно, он тот самый, он «Аркадий-путешественник». Но я-то как попал в 1972 год вслед за ним? Что же, выходит, хронокамера в зале была настроена на двукратное перемещение? Чтобы сначала перебросить Аркадия, а потом меня? Так ведь никто же не знал, что я окажусь в зале! Я сам этого не знал! Может, камера была настроена так, что переносила человека в будущее и тут же возвращалась в прошлое, готовая к новому скачку?

Была, правда, еще одна возможность, очень сомнительная, но все же... Может быть, незадолго до меня из института выходил все-таки «здешний» Аркадий, а этот появился здесь позже меня... и это он растерянно глядел на меня, когда я уводил у него из-под носа камеру... Но кто же тогда вернул ему хронокамеру, кто вытащил его из прошлого? Может, у него был сообщник в будущем? Тогда кто же это?

Только один человек подходил для этой роли — «здешний» Аркадий. Он действительно вел себя как-то странно: торчал в институте допоздна, потом уходил, но домой не являлся, ночевал неизвестно где и в довершение всего не пришел сегодня на работу... Ему звонили какие-то подозрительные личности, назначали таинственные свидания...

Я даже не успел это обдумать, все пронеслось в моем мозгу, как серия коротких вспышек. Но глухое беспокойство за Аркадия — за «здешнего» Аркадия — охватило меня. Даже досада взяла: да что ж мне — так всю жизнь и расхлебывать кашу, которую будут снова и снова заваривать бесчисленные Аркадии?! Так я и буду прыгать из одного мира в другой, гоняясь за этими авантюристами?! Неужели нигде нет благоразумного Аркадия Левицкого, ни на одной мировой линии?

Я посмотрел на Аркадия. Он ответил мне наглобезмятежным взглядом и, щурясь на солнце, ободряюще сказал:

— Кончай размышлять, путешественник. Расслабляйся!

Ах, так! Я повернулся к Борису, который уже прямо изнывал от нетерпения.

— В общем-то, мне рассказывать особенно нечего. Я сюда прибыл... или явился, уж не знаю, как сказать... в общем, я здесь со вчерашнего дня. Точнее, с одиннадцати вечера по здешнему времени... А до этого я жил в семидесятом году. И вот двадцатого мая...— Я сделал паузу и посмотрел на Бориса: нет, эта дата ему явно ничего не говорила, он все так же изумленно и восторженно глядел на меня.— Ну, в общем, это неважно... А как я попал сюда, в 1972 год, этого я и сам не понимаю. По-моему, это все его штучки, Аркадия.— Аркадий пошевельнулся и неопределенно хмыкнул.— Понимаешь, я вошел в зал хронокамер... если ты помнишь, он в 1970 году был еще недостроен... и сдуру полез в одну из камер. Я ведь был уверен, что она еще не включена. А что она может перебрасывать человека, этого я и подумать не мог. Ну, зашел я туда, и вдруг дверь за мной почему-то захлопнулась, потом красный туман откуда-то взялся... в мозгах у меня полное затмение наступило... Вот и все...

— Что значит все? — удивился Борис.

— А то и значит... Очухался я, вышел из камеры, гляжу: стемнело почему-то очень быстро... Ну, разобрался понемножку, что к чему; гляжу: а я, оказывается, в будущем! Привет правнукам от прадедов!

— Где же тебя носило всю ночь, прадед? — неодобрительно осведомился Борис.— Почему ко мне сразу не пришел? Или к Аркадию? Ну... не к этому, конечно...

Я замялся. Мне не хотелось сознаваться, что я всего час назад понял, где нахожусь. И не хотелось рассказывать о бурной ночи в квартире «здешнего» Аркадия, пока я не выясню, что он натворил и куда девался. Поэтому я промычал:

— Да так... ночь теплая...

— Небось, на скамейке в сквере спал, кретин!— возмутился Борис.— Неужели у тебя соображения не хватило...

— Нет, Борис, он не кретин! — вдруг сказал Аркадий.— Уж поверь моему слову. Это он нас с тобой в дураках хочет оставить, но мы не дадимся! Ты вот спроси его, как он в двадцатое мая попал! Не в это двадцатое мая, а в то, два года назад!

Ну, конечно! Вот это его интересовало сильней всего! Это его прямо-таки терзало! Он сразу поставил вопросительный знак на моем чертеже, отметил то, что для него было загадкой: кто же это слоняется по времени и отклоняет мировые линии, кто, кроме него, смеет это делать? А если этот нахал вдобавок родом из прошлого... то есть если он додумался до таких вещей еще в 1970 году, когда гениальный Аркаша гонял себе брусочки и ни о чем таком даже не мечтал — ну, это уж такой удар по самолюбию Аркадия! А самолюбие-то у него раздутое, болезненно вспухшее и трогать его не моги... ну, впрочем, какое бы оно ни было, это его самолюбие, а Аркадий при всем при том — настоящий ученый, так что этот факт с научной стороны тоже не может его не интересовать.

Одного я все же не понимал: догадывается Аркадий, кто я такой на самом деле, или нет? Как он понимает «мою» пунктирную кривую на схеме?

Думая об этом, я вдруг словно бы увидел нашу веселенькую троицу со стороны... То есть если буквально со стороны смотреть, а тем более издали, то ничего особенного нет, все тихо-мирно. Центральная полоса России, ясное и теплое майское утро, небольшой тенистый скверик в центре одного областного города, ухоженный такой скверик, чистенький, песчаные дорожки подметены и цветочки вдоль них высажены, решетчатые скамейки аккуратно покрашены в три цвета: желтый, синий, красный. И сидят в этом скверике на скамейке три друга, о чем-то беседуют, одеты прилично, спиртным от них не пахнет, драки не намечается... в общем, и тут все в порядке вроде бы... Но подойди поближе — и начнешь понемногу замечать, что не все в порядке... пока не установишь, что все не в порядке, «все навыворот, все как не надо»... Но для этого придется сесть с нами рядышком и вникнуть в то, о чем мы говорим. Потому что с виду мы и вблизи можем сойти за норму. Что двое из нас очень похожи, это, конечно, факт вполне объяснимый: близнецы, небось! Что у третьего собеседника пиджак больно чудной — ну, бывает! Пощеголять захотел парень, напялил какую-то зарубежную штуковину, а получилось нурам насмех... Может, это форма какого-нибудь тамошнего оркестранта, а то и официанта, а этот дурачок обрадовался, хвать — и нацепил...

Зато разговорчики наши — это уж!.. «Ты откуда? Из 1972 года?» «Да, только не из этого, а из другого совсем...» «А вот я, братцы, из 1970 года!» «Ну да?! Здорово! Как же это ты?» «Да так както... Иду я, братцы, по институту, гляжу: хронокамера! Дай, думаю, зайду! Небось, невключенная, не укусит... Зашел, а она меня ка-ак швырнет, как двинет по черепу... Ну, очухался я, гляжу: батюшки, да это ж меня в 1972 год забросило! А ты, значит, мой здешний двойник! Очень приятно познакомиться, давно мечтал»! Ну, и так далее... Нет уж, хорошо, что никто нас не слышит!

Но пока я думал об этом и о многом другом, никаких разговоров мы не вели. Аркадий и Борис ждали, когда же я выскажусь и все объясню. А я, во-первых, вообще не люблю выступать перед аудиторией, а во-вторых, сомневался, что смогу все объяснить. Вернее, не сомневался, что не смогу. Такая уж это была история! Я в ней подметил любопытную закономерность: как только мне покажется, что я уже в чем-то разобрался, тут же выясняется, что я прошляпил одну деталь, а она-то как раз и меняет в корне всю картину. И так все время... Загадки вырастают, как грибы. Вагон загадок. Эшелон тайн.

Ребята смотрели на меня во все глаза и явно нервничали. Аркадий, конечно, делал вид, что ему все нипочем, и насмешливо улыбался, но я видел, с каким ожесточением он терзает листок липы: попробовал скрутить в трубочку, но так нажал, что все пальцы зеленой мякотью измазал. Борис насупился и смешно оттопырил губы, как обиженный дошкольник... Неужели и у меня есть такая дурацкая манера? Надо будет последить за собой!

Наконец Борис решительно встал и заявил, что он не намерен сидеть тут в рабочее время и смотреть, как я молчу и изображаю из себя мыслителя.

— Действительно! — радостно подхватил Аркадий.— Тоже мне: еще одна модель для Родена! Тогда уж разденься догола и прими соответствующую позу!

— Я пошел! — с достоинством сказал Борис, одергивая свитер.— Надумаешь говорить, позвони в лабораторию.

Я отлично понимал, что никуда он не уйдет, что тягачом его не вытащишь из сквера. Но мне было совестно: ну чего я, в самом деле, нанитеюсь? Рано или поздно объясниться нам придется, а начинать это дело надо мне, и по справедливости и просто для экономии времени и энергии: без моих объяснений многое так и останется в тумане.

— Садись, друг, брат и двойник! — сказал я, вздыхая.— Лекция сейчас начнется. Только разрешите мне, как лектору, поднимуть одному из слушателей один вопросик. А именно: объясни ты мне, Борис, как ты меня воспринимаешь?

— То есть? — не понял Борис.— Какими рецепторами, что ли?

— Нужны ему твои рецепторы! — вмешался Аркадий.— У него свои такие же. Боренька-юннорчик, насколько я понял, интересуется результатами анализа и обработки той информации, которая поступает в твои мозги через эти самые рецепторы. То есть что ты думаешь о нем, воспринимая его оптически, акустически, тактильно и... ну, как там еще?

— А-а...— протянул Борис...

Он ухватился за свой подбородок и начал его осторожно теребить. Тоже смешная манера. А это я уж безусловно делаю! Теперь вижу, до чего это нелепо выглядит... Модель ошибок. Словно тебя на кинопленку заснял при помощи скрытой камеры, а ты глядишь и краснеешь... И чего он рот кривит? Ох, наверное, и я тоже! Ну, и смешной же я тип, оказывается!

— Это... это, знаешь, нелегко объяснить...— вдумчиво говорил Борис, потешно кривя рот,— в общем, вижу перед собой... ну, двойника, скажем... Не просто очень похожего человека, а именно двойника... не совсем, конечно...

Аркадий сочувственно и снисходительно улыбнулся.

— Да ну тебя! — разозлился Борис, поймав эту улыбку.— Сам, небось, тоже мямлить будешь... Я что имею в виду? Мы с ним не двойники: я старше на два года... и вроде потолстел за это время...— с неудовольствием заметил он, глянув на свой живот.— Но, с другой стороны, шрам на левой руке: видишь? — Он растопырил ладонь, демонстрируя Аркадию тот самый шрам.— Борька, покажи, я видел у тебя. Вот, видал, Аркадий? Ну, и тому подобное... Значит, что? Обман зрения тут исключается, верно? Биологических дублей конструировать пока не научились, слава те, господи. Обращаемся к хромофизике и задаем ей вопрос: в каком случае может рядом со мной появиться еще один я? Получаем ответ: только в том случае, если он придет сюда из другого времени. Условие необходимое и достаточное. Тем более что в принципе я такие штучки уже наблюдал...

— Ты? Наблюдал? — Аркадий так и вскинулся.— Где?!

Я захохотал, и Аркадий так яростно сверкнул на меня глазами, что из них будто искры вылетели. Борис-72 был и вправду постарше, посолидней, чем я, и на Аркадия меньше реагировал. Он спокойно объяснил, что в апреле был на конференции в Москве, и там японские хромофизики показывали фильм о своих опытах на мышах.

— Своего они, в общем, добились,— сказал Борис.— Правда, в крохотных объемах: ну, мышь, представляете! И результаты неустойчивые. Но все же!

— А что же конкретно они делают? — спросил я, хотя больше из вежливости: подумаешь, события — мыши, да мы вон сами запросто разгуливаем во времени!

— Да что: суют мыша в камеру, выстреливают им на пять минут в прошлое... По принципу петли работают. И появляется бодрая мышка № 2, тут же, рядышком... Расчетов они, правда, никаких не сообщали: говорят, рано еще, результаты ненадежные и вообще... Но смотреть эти картинки все же было интересно...

— А не липа это? — недоверчиво спросил Аркадий.— Я что-то ни о чем таком не слыхал.

— Как же ты не слыхал? — удивился Борис, но тут же осекся.— Ах, ну да... Нам-то они и письмо писали, эти японцы, и в газетах сообщения были... Аркадий, правда, на конференцию не поехал, сказал, что серию кончает... Как это он смог от такого отказаться, просто не понимаю...— Борис-72 на секунду задумался о чем-то, нахмурился.— Да, но он все знал, и у нас это уже б ы л о, понимаешь?

Аркадий сейчас показался мне усталым, замученным, почти больным: наверное, он в эту минуту особенно остро ощутил, что здесь он чужой, лишний, что его место занято другим... то есть им же самим. Я это понял потому, что сам время от времени чувствовал себя удивительно мерзко, и все по этой же причине. Аркадий, наверное, заметил мой сочувственный взгляд, весь даже передернулся и начал преувеличенно интересоваться японскими мышами: что они, да как они, да какое это производит впечатление?

— Ну, какое там особое впечатление? — сказал Борис-72.— Мыши как мыши. Я же не могу разобрать, двойники они или нет. Вижу только, что была одна мышь, а стало две. А вот они, возможно, в этом ориентируются... ну, чувствуют, что непорядок какой-то. Вот интересно они свой личный запах ощущают? Возможно, что да. Во всяком случае, они очень суетились, все обнюхивали друг друга, и хвосты у них так забавно дрожали.

— Был бы у тебя хвост,— сумрачно заметил Аркадий,— он бы еще забавней дрожал, когда ты Стружкова-юниора обнюхивал.

Я хотел хорошенько выдать Аркадию за грубость, но Борис едва заметно подмигнул мне.

— Что у нас было после этой конференции, что у нас было! — весело сказал он, будто и не услышав реплики Аркадия.— Споры вплоть до драки... Аркадий особенно горячился, просто на стенку лез... Я имею в виду, конечно, не тебя, а моего, натурального Аркадия...

Аркадий слушал его с привычной насмешливой улыбкой, но при слове «натуральный» даже зашипел от негодования. Я расхохотался.

— Это еще что за штучки? — угрожающе спросил Аркадий.— Тоже мне, хромофизик! Тот Аркадий натуральный, а я какой? Из пробирки, что ли? Думать надо, товарищи Стружковы. Причем головой! Если умеете, конечно.

Борис равнодушно оглядел его с головы до ног и отвернулся.

— Может, ты и натуральный, кто тебя знает,— нарочито лениво проговорил он.— Я к тому говорю, что подозрительный ты какой-то. Вид у тебя не тот... не наш вид...

— Ну, знаешь, чья бы корова мычала! — возмутился Аркадий.— Да ты же меня за своего как раз и принимал, пока тебя твой двойник носом не ткнул в эти чертовы пиджачные отвороты!.. Действительно, угораздило меня в таком наряде... Ну, ладно!

Борис чуточку смутился.

— Это верно, не сразу я тебя раскусил,— сознался он.— Так ведь почему? Просто я рассмотреть тебя не успел! В лаборатории ты был считанные секунды... Что ты опоздал — так мой Аркадий тоже что-то повадился опаздывать... И пиджак этот я не разглядел. А все-таки везло тебе, что ты никого не встретил на пути! И потом... слушай, как ты вообще решился лезть в институт? А если б ты на моего, на «здешнего» Аркадия напоролся.

тогда что? Еще в проходной подняли бы такой скандал — страшно подумать!

— Ну-ну,— снисходительно сказал Аркадий.— Блага современной цивилизации неисчислимы, и среди них не последнее место занимает телефонная связь. Не помните ли вы, товарищ Стружков, нам в вашу лабораторию сегодня утром позвонил некто страдающий острым катаром верхних дыхательных путей и спросил Аркадия Левицкого?

Я сразу вспомнил утренний звонок в квартиру Аркадия. Хриплый, простуженный голос... ах, ловкач Аркашенька! Но я решил пока не говорить Борису о своей сегодняшней ночевке...

— Авантюрист! — пробурчал уязвленный Борис.— Действительно, хрипел и гнусил ты довольно доходчиво.

Аркадий наслаждался.

— Вот так-то, молодые люди! — наставительно сказал он.— Получая информацию, стремись ее использовать. А роковые отвороты я временно нейтрализовал вот таким образом: распахиваем пошире пиджак, заворачиваем полы назад...

И он продемонстрировал нам, как это делается. Выглядело это довольно странно: не то ему жарко, не то он драться собирается,— но отворотов действительно не было видно.

Борис, однако, не сдался.

— Вот и это тоже...— вяло и брезгливо протянул он, выслушав объяснения Аркадия.— Уж очень ты какой-то несолидный! Эти дешевые розыгрыши по телефону... эти пробеги по институту в пиджаке навыворот... это, знаешь, выглядит как-то так...

— То есть позволь! — ошеломленно запротестовал Аркадий.— А что же мне было делать, по-твоему?

— Не знаю, не знаю...— отмахнулся Борис.— Например, не носить такого пижонского пиджака... Ты же ученый, а не...

— Да ты что! — Аркадий уставился на него, выкатив глаза.— Это ведь у вас таких костюмов не носят, а у нас...

— Не знаю, не знаю...— лениво повторил Борис.— Но, парни держу, и у вас не все их носят.

— Не все, не все, успокойся, у нас униформы вообще нет! — сердито сказал Аркадий.

— Ну, вот видишь,— невозмутимо продолжал Борис.— Это пижонство... все одно к одному... И нервный ты чересчур... Глаза бегают, руки трясутся... Подозрительно мне все это.

У Аркадия в самом деле начали трястись руки — от злости. Я решил прекратить розыгрыш.

— Ты вот что,— обратился я к Борису-72,— ты обо мне доложи!

— Что ж о тебе? — сказал он, уже совсем другим тоном.— С тобой, наоборот, все ясно и надежно. Ты для меня с самого начала был вне подозрений. Нормальный, честный, добропорядочный товарищ; который путешествует во времени, строго соблюдая его законы. Да у тебя все это на лице написано... Открытое такое у тебя лицо, как книга,— все прочесть можно...

— Открытое оно у него, как же! — ядовито прошипел Аркадий.— Книга! Целая библиотека у него, а не лицо, романы из него штабелями можно брать, в очередь на них записываться!

— Злобствуешь, Аркашенька? — с кроткой укоризной сказал я.— Не понравилось тебе, значит, что посторонний человек правду обо мне сказал?

У Аркадия побелел кончик носа, и уши тоже побелели, значит, он всерьез разозлился.

— Идите вы оба! — сказал он.— Хвалят друг друга, соловьями разливаются, а о деле...— Он махнул рукой.

— Не плачь, дитя, не плачь напрасно,— примирительно заговорил Борис-72.— Натуральный ты, натуральный, чего уж там. Вон ты и злишься всерьез по пустякам, совсем как мой Аркадий... И, между прочим, моего Аркадия тоже с неудержимой силой тянет к хронопутешествиям, да бодливой корове бог рогов не дает. Он после этой конференции до хрипоты орал, что мы должны немедленно и целиком переключаться на опыты с человеком. Ну, на ближайшем семинаре Витька Самойленко доложил прикидочные расчеты — жуть, мрак и ничего не видно. Все, конечно, остыли. Аркадий, правда, сказал, что за такие расчеты убивать надо...

— И правильно сказал,— убежденно отозвался Аркадий.— Витька — дуб, разве он может...

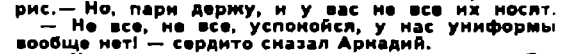
— Витька, безусловно, не гигант,— согласился Борис.— Но я все это к тому, что за время дискуссии как-то привык к идее встречи с самим собой. Даже обидно становилось иной раз: ну что ж это, думаю, ни один Стружков Б. Н. ко мне не заглянет хоть на часок? Посидели бы, поговорили, он бы рассказал, как там у них, завтра-послезавтра...

— Почему именно завтра? — спросил я.

— Ну, а как же? Ведь самого себя встретить можно, я так понимаю, только если отправишься в прошлое, где ты уже есть. А если ты в будущее пересочишь, так ведь тебя там еще нет, верно? Откуда же тогда двойник?

— Постой, постой,— сказал я.— Вот же я, например, прибыл сюда из прошлого, из 1970 года, а не из будущего...

— Как раз это меня и сбивает с толку! — признался Борис.— Я рассуждаю просто, сермяжно. Вот, допустим, твоя мировая линия,— все тем же многострадальным прутиком он провел длинную ровную черту на песке.— Тут ты, а тут я... Я — это



твое продолжение, тот же самый ты, только в следующий момент времени... Если я двинусь назад, то я тебя непременно встречу, потому как ты, то есть я сам уже был раньше... Но если ты сделаешь скачок вперед во времени, обгоняя его естественный ход, то всех следующих Борисов ты как бы вместе с собой заберешь... Они из тебя еще только должны возникнать, а ты в хронокамере сидишь... Сидишь ты, значит, и мгновенно превращаешься в следующего Бориса, в последующего и так далее, пока в меня не превратишься... Значит, это я должен теперь выйти из камеры... Тогда снаружи меня быть не может...

— Он прав,— серьезно сказал Аркадий.— Если ты делаешь скачок назад, то там твоя линия уже существует, а если вперед, то она еще только возникнуть должна... В этом случае ты свою предстоящую мировую линию забираешь с собой в камеру, там она и продолжается... А в мире, который ты оставил, тебя уже нет: твоя мировая линия там оборвалась в тот момент, когда ты вошел в хронокамеру. А когда ты выйдешь из хронокамеры — уже в будущем,— с этого момента снова возникнет твоя мировая линия...

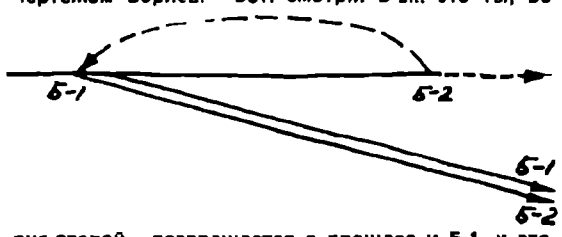
— Ну, с этим я согласен,— сказал я.— Но Борька не принимает в расчет одной вещи — петли...

— Я как раз хотел ему об этом сказать,— подхватил Аркадий.— Ты представь, Борис, что сначала ты назад подался, так?.. И встретил там себя. У твоего двойника есть продолжение — следующий Стружков, как ты выражаешься, последующий и прочее. И у тебя есть, ведь так?

Борис-72 задумался.

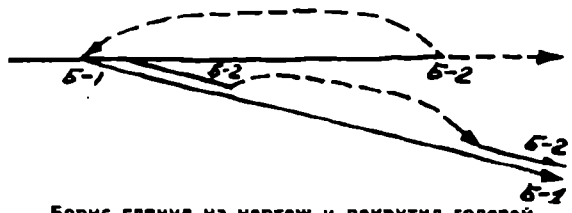
— Ты хочешь сказать, что с этого момента идут уже две мировых линии Стружковых?

— Вот именно, две. Идут они параллельно, мирно сосуществуют до поры до времени.— Аркадий быстро вычертил прутиком другую схему рядом с чертежом Бориса.— Вот, смотри: Б-2... это ты, Борис-второй... возвращается в прошлое к Б-1, к этому вот типу, что глаза на меня таращит.— Он ткнул прутиком в мою сторону, хотя я вовсе не таращил глаза: я же сам недавно рисовал такую картинку.— И начинаются две линии: у Б-2 своя, у Б-1 своя. Как ты думаешь: если Б-1 достигнет того времени, когда он уже станет Б-2, должен он все повторять за ним или нет? Лезть в хронокамеру, возвращаться в прошлое?



— Нет, пожалуй,— задумчиво сказал Борис.— Зачем бы ему все повторять? Вот если бы Б-2 к нему не явился, тогда, конечно... Но он явился, все события пошли по другой линии, Б-1 теперь, в сущности, иной человек, у него и история будет иная... Ты же сам показал, что обе линии отклонились от прежней, на которой Б-1 обязательно должен был когда-нибудь превратиться в Б-2...

— Соображаешь, Стружков! — похвалил Аркадий.— А теперь смотри: беру я этого Б-2, который в прошлое явился и немножечко побыл рядом с Б-1,— беру я его и опять швыряю в будущее! Что теперь получится? — И он дорисовал схему.



Борис глянул на чертеж и покрутил головой.

— Понятно...— медленно сказал он.— Совсем вы меня заморочили, дубли-передубли несчастные! Я и сам бы все сообразил, если б вы тут не изощрялись... Конечно же, линия этого Б-1 как была, так и идет себе в будущее, то есть он все два года нормально работает, спит, в кино ходит...

— Женится...— многозначительно вставил Аркадий.

А ведь в самом деле — женится... Аркадий и это успел выяснить или просто крючок закидывает? Мне стало как-то совсем уж неуютно. Все остальное — ладно, как-то утрясется... Но вот Нина! Борис-72, по-видимому, даже не заметил ничего, слишком увлекся рассуждениями.

— ...Женится,— машинально повторил он,— и так далее... Словом, идет нормальным шагом по своей дороге. А этот стрекозел, Б-1,— он покосился на меня,— нахально прыгает над его головой, одним скачком перемахивает через два года и начинает морочить голову бедному, хорошему, добропорядочному Б-2! Понятно... При таком обороте дел можно встретиться с собой и в будущем, ты прав, Аркадий...

— Я-то прав...— задумчиво отозвался Аркадий.— Сам знаю, что я прав. Но это вообще. А вот в частности, в данном конкретном случае? Тут ведь есть закавыка! Если встретиться с собой в будущем можно только при условии, что сначала смотаешься хоть на полчасика в прошлое, то каким же образом этот тип,— он слегка повел головой в мою сторону,— ну, словом, как он мог оказаться здесь перед тобой?

— А ты? — возразил Борис.— Ты ведь тоже вроде бы дубль? Или ты из будущего?

— Нет, я-тр как раз по закону все сделал! — гордо заявил Аркадий.— Все честь-честью: сначала смотался в прошлое, а потом уже в будущее махнул — как на чертежике было... Ты только не думай,— вдруг заторопился он,— это я не ради встречи с самим собой... у меня другие планы были... С собой я, наоборот, вовсе не хотел встречаться...— Он вдруг осекся.

Я больше не мог вытерпеть: слишком уж стремительно и неотвратимо надвигалась на меня истина.

— Аркадий,— хрипло спросил я,— это ты... приходил к самому себе двадцатого мая?!

— Я,— криво улыбнувшись, сказал Аркадий.— А ты только теперь догадался, шляпа?

Борис ошеломленно глядел то на меня, то на Аркадия, силясь понять, о чем мы говорим.

— Зачем? — еле выговорил я.— Ты приходил... зачем?

Аркадий молчал, вплотную сдвинув брови и прищурившись. Это означало, что он недоволен собой, но не хочет признаваться в этом, а потому злится. Я поймал его взгляд — сердитый, настороженный и в то же время какой-то растерянный. Ну, так и есть!

Мне теперь, собственно, все уже было ясно, но нам-то не хотелось верить. Пускай он сам скажет. Я вообще не могу э т о г о сказать... о нем...

— Так зачем? — снова спросил я.

Борис-72, конечно, почуял что-то неладное.

— Я... не понимаю...— сказал он, тревожно поглядывая на нас обоих.— К кому ты приходил, Аркадий? То есть — когда?

Аркадий неопределенно хмыкнул и отвернулся. Я решил выступить для затравки.

— Понимаешь, Борис,— я говорил медленно, с запинками,— дело это очень сложное... очень! Побывал Аркадий у нас в институте... ну, в том времени, откуда я прибыл... а утром, на следующий день... как это тебе объяснить, даже не знаю...

Я снова запнулся и замолчал. Аркадий наконец не выдержал.

— Да чего ты резину тянешь?! — сердито сказал он.— Утром, на следующий день в этом самом институте обнаружили труп Аркадия Левицкого...

— К-какого Аркадия Левицкого? — спросил потрясенный Борис-72.

— Того самого! — со злостью сказал Аркадий.— Все того же! Который с тобой сейчас говорит. Который с тобой в институте работает. Натуральный труп натурального Левицкого, понял? — Он помолчал и добавил, криво улыбаясь: — И на этом основании твой натуральный двойник, кажется, думает, что я убийца! — Он в упор посмотрел на меня; я отвел глаза.— Не кажется, а думает! Ну, думай на здоровье, я тебе не мешаю!

Он раздраженно пожал плечами и отвернулся.

— Но ведь... Аркадий? — заговорил Борис-72, откашливаясь, чтобы скрыть дрожь в голосе.— Но ведь ты не умер? И мой Аркадий тоже? Так что же получается? Какой труп нашли, почему? — Он растерянно посмотрел на меня.— Борька, чего же ты молчишь?! Вы что, разыгрываете меня, или... Не мог же он сам себя убить! Скажи ему, что он чушь порет, что ты вовсе этого не думаешь!

Аркадий глядел на него, невесело улыбаясь.

— Чудак ты, Борька! — сказал он неожиданно мягким тоном.— С ума сойти, какой ты чудак! Ну, чего ты прячешь голову в песок, словно страус?.. Разве дело в том, обиделся я на твоего тезку и дубля или не обиделся?.. Совсем не в этом дело...

Тут Аркадий помолчал немного, а потом, глядя прямо перед собой, очень медленно и спокойно выговорил:

— Я ведь действительно убил Аркадия Левицкого.

Линьков опять ничего не понимает

Линьков смотрел на Бориса и никак не мог разобраться в своих чувствах — то ли огорчает его эта встреча, то ли радует. «Пожалуй, больше радует, чем огорчает,— решил он.— Что рановато суточку мы встретились, это пережить можно, как-нибудь разберемся. А вот то, что Борис Стружков все же вернулся,— это замечательно! Как ему удалось вернуться и чего мы не поняли, не учли, не смогли предусмотреть,— это потом. А сейчас — вот он, живой-здоровый Борис Стружков, вернулся из прогулочки туда-обратно во времени, и стоять с ним рядом — это уже само по себе переживание! С Юрием Гагариным и то, наверное, проще было бы общаться: путешествие в космос выглядит как-то... ну, естественней, что ли. И наглядней... А тут — человек во времени, да вдобавок еще и сам... ну, изобрел машину времени!»

Изобретатель машины времени и первопроходец хроноса выглядел довольно-таки невесело, это Линьков сразу отметил. Лицо у него было серое, осунувшееся, глаза воспаленные, и держался он как-то скованно, будто не знал, на что решиться и куда идти.

— А, здравствуйте...— тоже скованно и неловко пробормотал Линьков.— Вы, значит, пришли?

Стружков будто бы и не заметил нелепости этого вопроса. Он мотнул головой, словно отгоняя какие-то свои мысли, и медленно, нехотя проговорил:

— Да... пришел вот... А вы... вы со мной хотите говорить?

Линьков удивленно посмотрел на него.

— Нет. Я, собственно, к Шелесту. Но с вами мне, конечно, поговорить хочется! Я вам домой только что звонил, кстати...

— Звонили? Мне? — Борис хмурился, точно стараясь что-то сообразить.— Погодите, я что-то не пойму... Почему же вы звонили?

— Как то есть почему? — изумился Линьков.— Вы записку оставили... ну, насчет перехода, а потом не являетесь...

— Не понимаю... Как это: потом не являюсь? — растерянно сказал Борис.— А куда делась записка... и журнал с расчетами?

— Шелест забрал,— объяснил Линьков, с недоумением глядя на него.— Вас же не было утром, мы пошли в лабораторию...

— Ах, ну да... Значит, Шелест знает. И вы... А еще кто?

— Не знаю. Шелест, по-моему, созывает небольшое совещание по этому поводу. Он Чернышева при мне вызывал и еще кого-то. Но пока у него ученый совет заседает. Кстати, надо его известить, что вы здесь, а то он вас ждет не дождется...

— Я опять не понимаю,— тоскливо проговорил Борис.— Как это он может меня ждать? И вы тоже, говорите, звонили, искали... Ах, ну да! Вахтер сказал, наверное? И вы догадались? Неужели можно было догадаться...

— С вахтером я потом поговорил... Сначала

Шелест подсчитал по расходу энергии, что камера не только ушла в прошлое, но и вернулась назад с полной нагрузкой... примерно соответствующей вашему весу.

— Понятно...— протянул Стружков.— А вы, значит, в хронофизике ориентируетесь?

— Пришлось отчасти разобраться,— суховато ответил Линьков, слегка обидевшись.— И ваши лекции не пропали даром...

— Мои лекции? — искренне удивился Борис.— Я никогда лекций не читал! Ах да, вы, наверное, имеете в виду разговоры...— Он осекся и замолчал.

«Да что ж это с ним? — недоумевал Линьков.— Может, все же при переходе что случилось? Все-то он перезабыл...»

— Не кажется ли вам,— светским тоном сказал Линьков вслух,— что вести разговор в коридоре несколько неудобно? Почему бы нам не посидеть в вашей лаборатории? Ведь у вас есть ключ.

Борис явно не пришел в восторг от этого предложения.

— Мне бы надо к Шелесту... а потом...— пробормотал он.

— Так ведь Шелест сейчас занят,— возразил Линьков.— Я звонил Тамаре: ученый совет непредвиденно затянулся, там какое-то каверзное дело...

— Каверзное дело? А, это, наверное, они с Туркиным возятся...— задумчиво отозвался Борис.— Ну, ладно... только действительно сообщить надо Шелесту...

— Да, я сейчас же из лаборатории позвоню! — заверил Линьков.

В лаборатории окно было распахнуто, ветер шелестел бумагами на столе и в выдвинутом ящике.

— Это я тут хозяйничал...— смущенно пояснил Борис.

«Интересно, почему это он сначала сюда кинулся, а потом только к Шелесту собрался? — раздумывал Линьков.— Про записку спрашивал... Что ж, он только теперь сообразил, что ее лучше бы ликвидировать?»

— У меня к вам целая куча вопросов накопилась,— сказал он, положив трубку после разговора с секретаршей Шелеста.— Можно я по порядку?

— Пожалуйста,— досадливо морщась, сказал Борис.— Только я вряд ли смогу... Лучше бы с Шелестом сначала... Вам трудно будет понять...

— А я все же постараюсь,— невозмутимо возразил Линьков.— Да и вопросы будут не такие уж сложные. Значит, вопрос первый: вы говорили с Берестовой о том, что она видела вас в окне лаборатории вечером двадцатого мая? И что вы ей сказали на это?

— Что же я мог сказать? — смущенно проговорил Борис.— Я... ну, я ведь там действительно был...

Линьков даже растерялся — очень уж легко и просто Борис признался, что лгал все эти дни, лгал изощренно, артистически.

— Выходит, что о смерти Левицкого вы знали еще двадцатого мая? — жестко спросил он.

— Ну... можно сказать, что двадцатого...— подумав, ответил Стружков.

— И знали, почему он... умер?

— Да... знал... Поэтому я и...— Он осекся и замолчал.

Линьков ошеломленно уставился на него. Да что ж это, он теперь во всем сознается, и без особого смущения, словно это был дружеский розыгрыш! С ума он сошел, что ли?

— Тогда уж давайте по порядку,— мрачно предложил он, протирая очки.— Как вы попали в лабораторию? Неужели через проходную?

К его удивлению, Борис вяло улыбнулся, словно услышал не очень удачную шутку.

— Нет, через проходную мне было бы трудновато,— с оттенком юмора сказал он.— Я прямо сюда, в лабораторию...

— Как это прямо в лабораторию? — удивился Линьков.

Борис посмотрел на него тоже с удивлением.

— Да вот...— Он кивнул на хронокамеру.— Как же еще?

Линьков совершенно сбился с толку. Не зная, как дальше вести разговор, он уцепился за хронофизические проблемы:

— Но ведь если вы путешествовали в прошлое, вы не могли вернуться назад! То есть если вы там выходили из хронокамеры. А вы, я знаю, выходили!

— Выходить-то я выходил,— сказал Борис.— Но тут есть одна закавыка... боюсь, что вы не поймете, это уже тонкости... Лучше бы нам сразу к Шелесту, и вы бы тогда послушали...

— Воля ваша,— сдержанно сказал Линьков, уязвленный этим упорным пренебрежением к его способностям в области хронофизики.— Но Шелест вам тоже вряд ли поверит. Всего час назад он втолковывал мне элементарную хронофизическую истину, что раз вы вернулись, значит, из камеры не выходили и никаких действий в прошлом не совершали.

— Что касается действий,— медленно проговорил Борис,— то действий я, пожалуй, никаких особых не совершал... Мне кажется, я и не должен был отклонить мировую линию... Хотя... ах, я, дурень! Ну, конечно...

У Линькова в голове какая-то неприятная пустота образовалась от всей этой дикой путаницы, от этих нелепых ответов, совершенно между собой не согласующихся. О каком двадцатом мая, собственно, говорит Борис? Ведь если он попал туда через хронокамеру, то речь идет уже не о том «нормальном» двадцатом мая, с которого начинается в здешнем мире дело Левицкого, а о возвращении в прошлое. А это совсем другой коленкор! Но как же тогда могли его видеть Нина и Чернышев? Видели раньше, чем он там побывал? Опять нарушение причинности! Линьков рассердился и решил взять быка за рога.

— Вот что,— сухо сказал он.— Расскажите, пожалуйста, что конкретно вы делали вечером двадцатого мая?

Борис вздохнул и досадливо поморщился.

— Н-ну... что...— Он запинался на каждом слове.— Увидал Аркадия... на диване... Хотел вызвать «Скорую помощь»...

— Почему же не вызвали?

— Телефон, понимаете, не работал,— растерянно сказал Борис.— Я побежал в зал хронокамер...

— Лаборатория Чернышева ближе...— заметил Линьков.

— Я не знал, что Чернышев еще в институте...— пробормотал Борис.— Вернее, не сообразил, растерялся.

— Ну, хорошо, побежали вы в зал,— скептически сказал Линьков,— и что же дальше?

— А там телефон тоже не работал! — криво усмехаясь, ответил Борис.— Представляете мое положение? Я совсем растерялся!

— Так растерялись, что на все махнули рукой? — с несокрываемой уже насмешкой спросил Линьков.

Его злила эта бездарная, нелепая ложь. Злила — и опять-таки удивляла. Три дня Борис Стружков лгал виртуозно, ни на секунду не вышел из роли, а теперь не может сочинить хоть относительно правдоподобную версию, путается, противоречит себе самому...

Но Бориса возмутила эта насмешка, и он заговорил без прежней вялости.

— То есть как это махнул рукой?! — почти крикнул он.— Да вы что? Я затем, что ли, в прошлое лез? Я обратно побежал, в лабораторию. Мне вдруг страшно стало, что, пока я бегаю, Аркадий умрет... Он ведь совсем как мертвый был! — упавшим голосом сказал Борис.— Я пульс никак не мог нащупать... и дыхания не слышал... И вот тут я голову совсем потерял! Сначала решил в проходную бежать... Потом в окно высунулся: думал, может, кто пройдет по улице, я закричу, мне уже все равно было, пускай меня видят, пускай что угодно! Но никого не было...

— А Нина? — невольно спросил Линьков.

— Нину я не видел... может, она раньше проходила, еще до того, как я бегал вниз... Ну, в общем, я начал бестолково метаться из угла в угол... Стыд и позор, конечно, что я так растерялся... Но, понимаете, я-то рассчитывал, что попаду туда часов в шесть-семь вечера, а почему-то меня перебросило так поздно, почти в одиннадцать... и Аркадий уже умирал! Я и этому не подготовился как-то... и потом телефоны эти проклятые... ведь надо же!

— Действительно...— отозвался Линьков, уже без насмешки.

Он не знал, что и думать: рассказ Бориса звучал теперь гораздо более правдоподобно... «Э, за счет интонации! — вдруг обозлившись, решил он.— Опять он в роль вошел, вот и все. А сочиняет по-прежнему чушь. Взрослый парень, и знал ведь все это заранее.— с чего бы он так уж растерялся?»

— Ну вот... И я сам не понимаю, чего меня туда понесло...— уныло сказал Борис.

— Куда именно? — изумленно осведомился Линьков.

— Да в хронокамеру! — Борис с ожесточением махнул рукой.— Понимаете, глянул я туда случайно и вижу: стоит там подставка, здоровенная такая! А я твердо знаю, что никакой подставки у меня в камере не было! И я вот так, ничего толком не сообразив, сунулся туда... Мне бы, дурану, подумать хоть минуточку, но где там! Совсем я был не в себе. Такой идиотизм — с ума сойти! Но мне, конечно, и в голову не пришло, что она на автоматику включена... Я только здесь понял, в чем дело. В общем, сунулся я туда — меня и швырнуло...

— Почему же вы обратно не отправились?

— Я... ну, просто я никак не мог разобраться, что произошло. Я не мог понять, почему меня швырнуло... и куда я попал...

— Как же это? — удивился Линьков.— Ведь записка тут на столе лежала, и расчеты...

— Ну да, вот записка... Но я все равно не сразу понял...

— А теперь вы уже понимаете? Разобрались во всем?

— В основном, пожалуй, да... С Ниной вот поговорил... Понял, какая путаница получилась... по моей вине...

— Берестова, очевидно, с утра была с вами?

— Да, я ее у дома подстерег. Мы долго разговаривали. Потом на телефонную станцию ходили...

— Зачем? — удивился Линьков.

— Да телефоны эти проклятые,— сказал Борис,— покою они мне не давали. Почему они все не работали, будто сговорились!

— Да, довольно странно,— согласился Линьков.

— Вот и Нина не могла поверить. Да оно и понятно. А вот, представляете: оказалось, что двадцатого мая с двадцати двух до двадцати четырех часов кабель ремонтировали в нашем районе. В общем, отключили на два часа весь участок...

«Это уж он вряд ли сочиняет,— подумал Линьков,— это ведь в два счета проверить можно, он же понимает. Но если не врет, что же тогда все это означает?»

— Ну, ладно.— Линьков тяжело вздохнул.— Позвоню-на я Шелесту, а то вдруг Тамара забыла передать... Да! Один только вопрос еще: вы, когда были там, записку Левицкого не видали?

Борис внезапно покраснел как рак и жалобно сказал:

— Ну, я же говорил вам, что у меня полное помрачение было!.. Нет, хотя на этот счет у меня даже имелись кое-какие соображения. Я как представил себе, что приедет «Скорая помощь», начнут все записку эту читать... Ну, а потом я попал в хронокамеру, и меня швырнуло... Ну, идиотизм получился ужасающий!

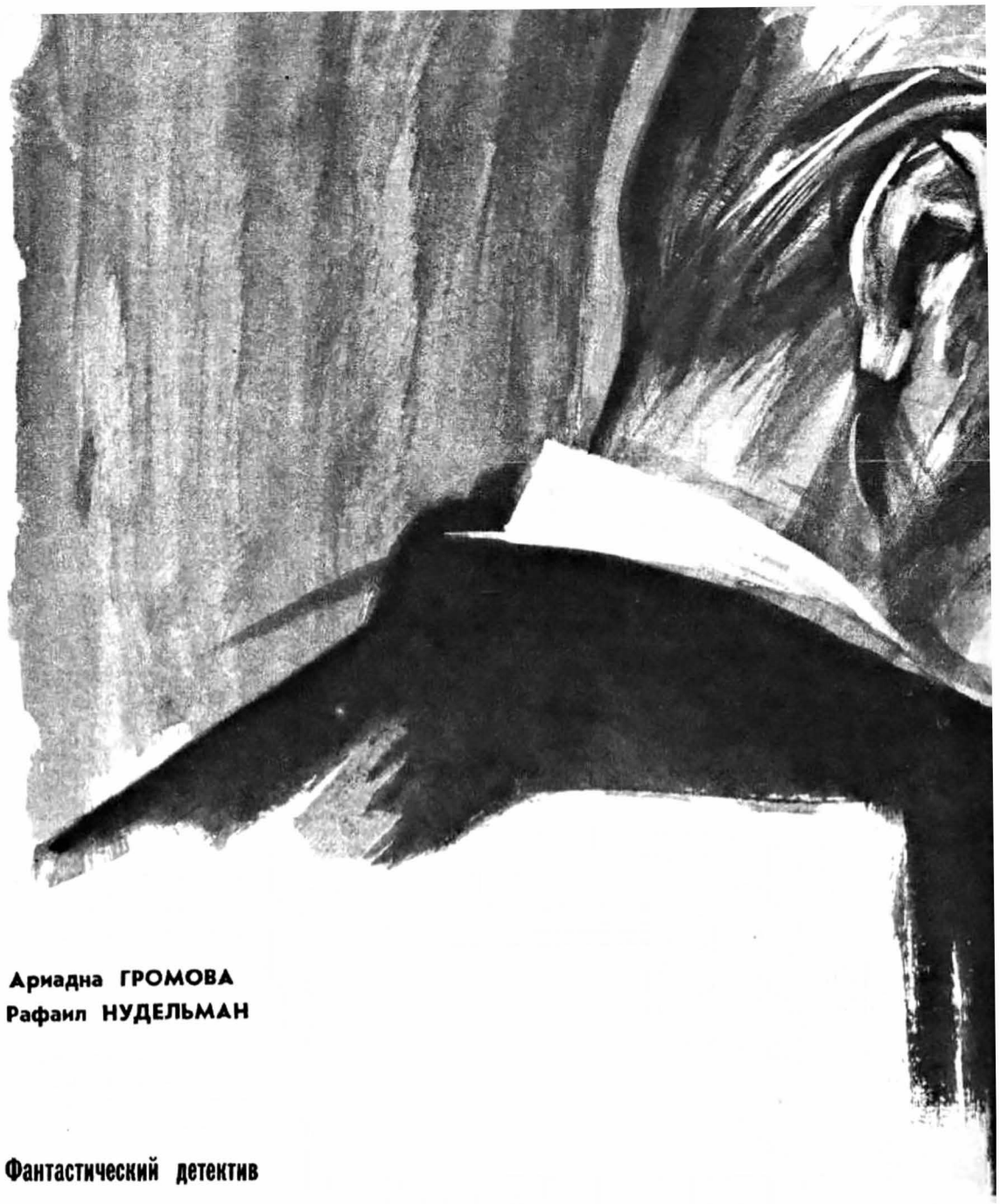
— То есть...— ошеломленно спросил Линьков, не веря своим ушам.— Вы хотите сказать, что взяли записку?!

Борис тоскливо посмотрел на него и сунул руку в карман.

— То-то и беда,— сказал он, протягивая Линькову листок.— Именно вот, взял я записку... И надолал же я дел!

В эту минуту задребезжал телефон.

Продолжение следует.



Ариадна ГРОМОВА
Рафаил НУДЕЛЬМАН

Фантастический детектив

КТО ЕСТЬ КТО?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Борис-72 весь позеленел, когда Аркадий это сказал. Я и сам, наверно, выглядел немногим лучше.

— Т-ты что, Аркадий?! — запинаясь, выговорил Борис.— Как это: действительно убил?! Ты что?!

— «Ты что, ты что»! — вдруг заорал Аркадий.— Реакции на уровне коммунальной кухни! Ученые вы или кто в конце-то концов?!

Он чуть не раздавил сигарету, пока закуривал,— руки у него тряслись.

— При чем здесь... ученые мы или...— совсем растерявшись, пробормотал Борис.

— А вот при том! — чуточку спокойней ответил Аркадий.— Думать надо, понимать надо!

— Но я вот именно ничего не понимаю! — уныло сказал Борис.— Ты не умер... мой Аркадий тоже...

— А пес его знает, твоего Аркадия, почему он не умер! — Усмешка Аркадия походила на гримасу боли.— Во всяком случае, не моя тут заслуга. Это, небось, Борькины фокусы.— Он покосился на меня.— Я уж его спрашивал, но он увиливает.

— Борька, хватит! — сурово сказал мне Борис-72.— Что ж нам, до ночи тут сидеть, пока ты соберешься с духом?

Я вздохнул: говорить мне было трудно даже после того, как Аркадий сам сказал...

— Ну, значит, так... Аркадий — не этот, а мой Аркадий,— вечером двадцатого мая глотнул смертельную дозу снотворного. Отравился... Я не мог поверить... Но я увидел эти проклятые таблетки у него на столе...

— Ты... увидел?! — изумился Аркадий.— Когда?! Не мог ты видеть, не ври!

Я молча улыбнулся, и это взбесило Бориса-72.

— Интересно, чему ты радуешься? — свирепо спросил он.— Увидел таблетки — и что же ты подумал? Что Аркадий завел новое хобби: коллекционирует снотворные?

— Ничего я не подумал,— деланно равнодушным тоном сказал я.— Просто взял эти таблетки и сунул в карман.

— Сунул в карман?! Сдаюсь! Совсем ты меня, Борька, запутал! — Аркадий со вздохом откинулся на спинку скамейки.— Таблетки ты забрал, тот Аркадий не умер. Кто же тогда умер, спрашивается? Может, я?!

Продолжение. Начало в №№ 8—16.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

— Подумай, подумай! — ехидно сказал я.— Ты же у нас гений, ты и без подсказки сообразишь, умер ты или не умер...

— Ну, я уж совсем ничего не понимаю! — заявил Борис-72.— Когда и где ты забрал снотворное? И если ты его забрал, то каким образом Аркадий отравился?

— Да вовсе он не отравился! — устало ответил я.— Ты же сам говоришь, что он с тобой работает! Только где он все же, этот неудавшийся покойник?

— Эт-то и меня интересует! — с расстановкой сказал Аркадий.— Очень даже интересует. Еще с вечера. Пробовал я звонить к нему...— Он искоса глянул на меня и повернулся к Борису-72.— Ну, в лаборатории на тебя напоролся... А вчера вечером ты его видел?

— Нет... Звонил я ему часов в семь, но никто не подошел.

— В семь! — протянул Аркадий.— В семь — это уже не то...

— А чего ты? — удивился Борис.— Мой-то Аркадий никуда не денется, у нас по времени пока не научились прыгать. Вы, ребята, лучше объясните мне, что это за история со снотворным и почему ты, Аркадий, говоришь, что убил... Аркадия?

— На словах это не объяснишь, ты только хуже запутаешься,— сказал я.— Давай я тебе все нарисую. Аркадию я уже рисовал картинки до твоего прихода. Только он, я вижу, ни черта не понял, хоть и представлялся, что понял...

— Кое-что, положим, я понял,— возразил Аркадий.— Но, конечно, не все. Главное — вот эта ваша встреча! Мы ведь тут пришли к выводу, что если хочешь встретиться с самим собой в будущем, то нужно раньше побывать в прошлом, так? Вот я и не понимаю! Ну да, картинки ты мне рисовал, но я, признаться, решил, что ты все это теоретически вывел и кое-что присочинил! А ты, значит, всерьез это, насчет своего скачка в прошлое? Ну, не знаю... Может, я чего-то не учел? Как же ты мог передвинуться в прошлое? Откуда у тебя взялась хронокамера?

— Вообще-то хронокамеры, если ты помнишь, в 1970 году уже существовали,— кротко заметил я.

— Ты ж понимаешь, о чем я говорю! — нетерпеливо бросил Аркадий.

— Погоди,— сказал Борис-72.— Я опять не понимаю! Почему ты говоришь только о прошлом? А в будущее в чем он мог двигаться, если не было хронокамеры... ну, хронокамеры, пригодной для переброски человека? Впрочем, дело вообще не столько в хронокамере, сколько в том, чтобы рассчитать поле... однородное поле. Но ведь и тебе это было нужно.

Аркадий прямо сиял от гордости. Наконец-то мы сообразили, что он сделал — он, и никто другой!

— Да, вот именно...— сказал он, стыдливо потупившись.— Я... видишь ли... ну, рассчитал я такое поле! Ну, и вот...

Он посмотрел, какое это произведет на нас впечатление. Вот ведь характер! Ну, сделал ты дело, и отлично, и радуйся про себя. И подожди, пока люди сами оценят, что ты сделал. Так нет, разве у Аркаши хватит терпения ждать? Он уж поможет людям побыстрее все оценить, без волокиты!

— То есть ты понимаешь, что это значит? — удивленно и чуточку обиженно спросил он Бориса-72.— Я рассчитал поле, которое позволяет человеку перемещаться во времени. На любые дистанции, в прошлое или в будущее. Ну, конечно, только туда, где существуют хронокамеры.

— Как не понять! — сказал Борис.— Просто я не удивляюсь этому: ты ведь у нас гений, ты еще и не то можешь!

Аркадий подозрительно покосился на него, но промолчал.

— А что же дальше? — спросил Борис.— Нашел ты, значит, это поле и сразу решил прогуляться?

— Ну да...— уже неохотно сказал Аркадий.— Отправился я в прошлое. Потом — еще раз. Встретился с самим собой... Потом снова встретился — как раз двадцатого мая, вечером...

— Ты... издалека? — спросил Борис.

— Из этого года, из семьдесят второго... Только, разумеется, из другого мира, не нашего...

— Понятно, понятно... Из того мира, каким он был до твоих путешествий... Потом ты свалился на голову ему и прочим...— Борис-72 кивнул в мою сторону,— накуролесил там со своим двойником, и в результате мир стал такой, каким я его знаю... Но все равно ты мне не объяснил, почему тебя не удивляет Борькино передвижение в будущее.

— А потому, что он, как я понимаю, в будущее кинулся вслед за мной! — объяснил Аркадий.— В моей хронокамере!

Он с такой гордостью сказал «в моей», словно эта хронокамера была его родовым поместьем.

— А ты чего молчишь? — накинулся на меня Борис.— Он правильно объясняет?

— Объясняет-то он в общем правильно, только не все,— ответил я.— Это верно, что сюда я вывалился случайно и в хронокамере,— я ведь рассказывал, как это было. Но в двадцатое мая 1970 года я прибыл намеренно. И в своей хронокамере. Я Аркашеньке это все рисовал, но он просто не может поверить, что кто-то, кроме него, способен рассчитать поле... Ты же знаешь Аркашеньку, от скромности он не умрет!

— Я не отрицаю в принципе,— с достоинством произнес Аркадий.— Я всегда был о тебе высокого мнения, Борис, ты же знаешь... Ну, и потом, ты ведь работал со мной... Это тоже кое-что значит... Но не надо преувеличивать... да! Не стоит, знаешь ли, преувеличивать...

— Это в каком же смысле преувеличивать? — спросил я.

— В этом самом. Говоришь, что я от скромности не умру, а сам-то? Я да я, в своей камере прибыл, я уже два года назад все это рассчитал. Не советую тебе, знаешь ли...

— Ну, а если все-таки? — спросил я, с любопытством глядя на Аркадия.— Если на минуточку допустить, что я и вправду взял да рассчитал поле? Еще в 1970 году? Тогда что?

— Тогда честь тебе и слава! — неуверенно сказал Аркадий.— То есть ты и так молодец, если действительно отправился в прошлое в своей хронокамере. Действительно, Борька?

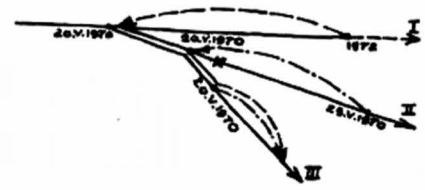
— Действительно...— сдержанно ответил я.

— Молодец, молодец! — величественно отозвался Аркадий.— Это здорово! И этого вполне достаточно, чтобы похвастаться. А преувеличивать, я ж говорю, незачем...

Я неопределенно хмыкнул. Что-то крылось за этими словами Аркадия... Ну, ладно, потом выясню!

— Ладно, не буду преувеличивать, раз тебе это не нравится,— кротко согласился я.— Борька, смотри сюда!

Я быстро восстановил чертеж, который делал для Аркадия.



— Видишь? — говорил я Борису.— Линия 1 — это его мир, где он изобрел свою «машину времени», нашел свое поле. Вот он прибывает к нам...

возьмем для простоты последнее его прибытие, двадцатого мая... Иначе много чертить придется,— ведь он всякий раз, когда прибывал к нам, новую линию создавал... Ну, ладно, пусть линия 1 — последняя из линий, созданных Аркадием. Это не та, где он рассчитывал поле, а та, с которой он свалился в «мое» двадцатое мая.

Аркадий поглядел на мой чертеж, сдвинул брови и о чем-то задумался. Борис-72 был заинтересован до крайности.

— Эти вот две параллельные линии, которые начинаются от двадцатого мая,— это встреча двух Аркадиев, да? — спрашивал он, не отрывая глаз от чертежа.

— Ну да! Они встретились в лаборатории, потом, видимо, пошли вместе в зал хронокамер... Ну, Аркаша нам это обрисует подробней... Постой, а ты разве об этом не слыхал?

— Да ни черта я не слыхал и ни черта не знаю, ясно тебе? — огрызнулся Борис-72.— Куда мне до вас! Вы бывалые люди, знаменитые путешественники, а я жалкий провинциал... И вообще не обо мне речь. Давай дальше! Крест — это что?

— Это смерть моего Аркадия,— неохотно проговорил я.

Каждый раз, когда я об этом вспоминал, вся история переставала мне казаться хоть отчасти забавной. Ведь своего Аркадия я так и не спас. Да это было и невозможно, я подсознательно все время это понимал. В том мире, который я покинул, смерть Аркадия Левицкого осталась фактом, и никакая хронофизика не могла этого изменить.

Я посмотрел на Аркадия. Другой Аркадий... Вот он, пожалуйста, жив-здоров. Сидит рядом — рукой потрогать можно — и тоже смотрит на меня. И, кажется, понимает, о чем я думаю. Во всяком случае, глаза у него очень грустные.

— Я понимаю...— хмурясь, сказал Борис-72.— Для меня это только слова, я ведь ничего сам не видел... Ты говоришь — «смерть моего Аркадия», и я ведь вижу, что для тебя это действительно смерть, что тебе и сейчас больно... Я просто представить себе не могу, как это все получилось с отравлением и с прочим... Но если ты это нарочно затеял, Аркадий, то... Нет, не буду! Досказывай, Борька, а потом мы за него возьмемся.

— Да мне уже нечего досказывать. Этот вот пунктир — это моя жизнь с двадцатого на двадцать третье мая того же года. Невеселая жизнь, прямо скажем. То есть ночь я преспокойно проспал, а утром двадцать первого вызывают меня срочно в институт и сразу обухом по голове: Левицкий отравился! Следователь выспрашивает, почему Левицкий это сделал, а я даже приблизительно не могу понять, почему! Чего я только не напридумывал! Целые детективные романы!

— Постой, постой! — вмешался Аркадий.— Чего ты чушь-то городишь? На какого лешего ты сочинял детективные романы, когда в записке все объяснялось?

— Так ведь не было записки...— виновато сказал я.

— То есть как не было?

— Ну, была, но ее кто-то украл...

— Украл? Ну, знаешь! Ври, Борька, да знай меру!

— Нет, ну вас, ребята! — сказал Борис-72.— Я больше не могу. Уйду я лучше от греха...— И в подтверждение этого он поудобней уселся на диванчике.

— А ведь правда, Борька, совсем ты заврался! — осуждающе обратился ко мне Аркадий.— Сознайся, что насчет украденной записки ты просто сочинил! Ведь не может этого быть!

— Не может быть...— сердито пробормотал я.— Как же, интересно, не может, когда было! Сперли твою записку — и все!

— Может, он все же не написал? — вслух раздумывал Аркадий.— Странно... Мы же обо всем договорились, вместе сочинили текст. А расчеты я заранее сам написал.

— Вернемся к нашим баранам,— сказал Борис.— а вернее, к нашему барану. Можешь ты нам объяснить, баранья голова, что и почему ты натворил однажды двадцатого мая?!

Аркадий со злостью погасил сигарету о подошву туфли, выпрямился и сказал преувеличенно твердым тоном:

— В общем, так! Когда я решил эту задачу и понял, что теперь есть практическая возможность передвигаться по времени, я пришел к мысли, что необходим решающий эксперимент... ну, для проверки безопасности движения.

Меня холодом обдало: я догадался, в чем дело. Я посмотрел на Бориса, ища сочувствия, но тот таращился на Аркадия, ничего еще не понимая... Нет, все же мы с ним разные люди! Вот он не видел Аркадия мертвым, а это многое меняет...

— Ну, вот... И тогда я подумал,— уже более спокойно продолжал Аркадий,— что самый радикальный вариант парадокса времени — это когда человек убивает сам себя. Не дедушку или папу, а именно себя! Ведь только так и можно обеспечить чистоту опыта. Но почему-то никто до этого не додумывался...

А он додумался! Он, видите ли, сообразил! Борис-72 вдруг замычал, как от боли: видно, и до него дошло!

— Чего вы на меня выпучились? — раздраженно сказал Аркадий.— Как маленькие! Вы что, не понимаете: я же не кого-нибудь, а самого себя! Имею я право сам себя убить?

— Это ты кого спрашиваешь? — мрачно отозвался Борис-72.— Меня с Борькой, что ли? Удачную аудиторию подобрал...

Да уж, действительно! Менее подходящую аудиторию на всей Земле не сыщешь. Мы-то не нуждались в абстрактных выкладках: нам достаточно было посмотреть друг на друга...

— Ну, вот я — имею я право его убить? — Борис-72 произнес это вслух, указывая на меня.— Ты вообще хоть сколько-нибудь соображаешь, Аркадий, или уж вовсе?..

Аркадий опешил. Он даже не сразу смог заговорить.

— Понимаете, ребята...— сказал он наконец почти умоляющим тоном.— Понимаете, это же совсем другая ситуация... Я как-то даже отвлекся от нее, когда начал объяснять... ну, насчет двадцатого мая... переключился на свое тогдашнее психологическое состояние... А я ведь тогда совсем иначе думал, абстрактно! Вы тут сидите и смотрите друг на друга, а я...

— Ты что же, все это обдумал заочно? — саркастически спросил Борис-72.— А потом явился в двадцатое мая и ножнул своего двойника, не глядя? Спиной ты, что ли, к нему стоял в этот момент? Ну поделись опытом, чего ж ты!

Аркадий сунул в рот сигарету, начал яростно чиркать спичками, три сломал, пока удалось ему закурить. Сделав глубокую затяжку, он сказал:

— Насчет прав, допустим, я ляпнул сгоряча... верно, какие тут могут быть права! Но обязанности у меня ведь были!

— Обязанности? Это по отношению к кому же? — иронически осведомился Борис.— К себе как к личности? К двойнику? Или уж прямо — к человечеству?

— Ничего я тут смешного не вижу! — огрызнулся Аркадий.— Именно вот по отношению к человечеству! А ты как думал? Человечество получает от меня шикарный подарочек: возможность передвигаться во времени. А подарочком этим можно распорядиться так, что он окажется пострашнее термояда, сам понимаешь! Изменение миров, вмешательство в прошлое, в будущее, временные петли и прочие парадоксы... Так, по-твоему, я должен был сунуть людям этот ценный подарочек, весело улыбнуться и отойти в сторонку: мол, разбирайтесь сами? А я вот думаю, что я обязан был,— понимаешь, обязан! — лично проверить хотя бы самые важные аспекты!

— Что-то в этом есть, конечно...— нехотя согласился Борис-72 после долгого молчания.

Ну да, в какой-то степени Аркадий был прав... Если б я сделал свое открытие не в такой дикой спешке, если б у меня была хоть какая-то возможность подумать, я бы тоже постарался проверить все, что возможно...

— Осудить меня, конечно, легче легкого! — продолжал Аркадий.— Почему, дескать, он в одиночку полез куда не надо, почему к коллективу не обратился! Ну, каюсь, ну, не лежит у меня душа к благоразумным поступкам! Против натуры ведь не попрешь. Поймите, ребята, я ведь тоже человек! Я два года над этим голову ломал... Все кругом говорили — «невозможно», «непробиваемо», а я вот пыхтел-пыхтел и пробил! И что же, я после этого пойду на семинар и тихо-спокойно доложу, что, мол, так и так, мною доказана принципиальная возможность путешествия человека во времени... А потом начальство отберет какого-нибудь дуба с железными нервами и железобетонными мозгами для первого в истории путешествия во времени, и этот дуб на моих глазах несгибаемо полезет в хронокамеру, а я буду стоять в сторонке и облизываться?! Нет уж, извините!.. Я сначала даже ничего особенного и не хотел... Просто нужно было проверить свои расчеты на практике.

— Ну, ты у нас индивидуалист известный! — сказал я.— Но все же объясни: ты что хотел доказать именно этим экспериментом? Зачем тебе понадобилась такая мутная конструкция?

— Догадаться, в общем-то, можно,— отозвался Борис-72.— Все время ведь долдонят о парадоксе времени и о том, что из-за него путешествия во времени фактически невозможны. Вот Аркадий и решил, наверное, доказать, что все это враки. И выбрал для этого самую, можно сказать, энергичную форму локального вмешательства... Так ведь, Аркадий?

— Это-то да,— сказал Аркадий,— но тут была еще одна весьма существенная идея. Мы вот сидим и малюем эти мировые линии — одиночные, двойные и так далее. А по существу-то, что мы о них знаем? О их взаимосвязи, например? Человек передвинулся в прошлое и встретил там своего двойника. Начинаются две линии: путешественника и его двойника. Так связаны они между собой или не связаны? Если связаны, тогда выходит, что путешествия во времени строго лимитированы пределами индивидуальной жизни. Скажем, если тебе двадцать восемь лет, то ты можешь передвинуться в прошлое никак не дальше, чем на двадцать восемь лет... ну, а в будущее и вовсе опасно лазать: шагнешь на два года вперед, а тебя там, может, уже и нет, ты месяц назад под трамвай попал... и все, ты исчезаешь, не выходя из хронокамеры! В общем, не шибко интересно получается. Никакой охоты на бронтозавров-динозавров, никаких дружеских собеседований с праправнуками, а положено тебе прожить, допустим, семьдесят лет, ну и мотайся взад-вперед в этих пределах. А вот если эти линии не связаны, ну тогда простор полный, хоть в прошлое, хоть в будущее валяй без задержки! Усвоили, орлы?

— Слушай, но ведь это можно было проще проверить,— сказал Борис.— Уселся бы ты поудобней в камере да задал бы ей сорок лет назад или сто вперед, где тебя наверняка нет,— вот тебе и была бы проверочка!

— Привет! — сердито ответил Аркадий.— А кто бы проверял, интересно? Ведь если б линии были связаны, так я испарился бы в хронокамере и не успел бы даже осознать, что происходит!

— Ну, мышей бы послал...

— Никаких мышей у меня не было! — огрызнулся Аркадий.— За кота мне, что ли, было работать, мышей ловить? А потом, с мышами и вовсе уж ничего не разберешь. Куда мыша двигать, на какую дистанцию, и как с чего отчет получить?

— А твой фокус — это решение? — угрюмо спросил я.

— Да как тебе сказать... Сейчас-то я вижу, что это тоже не блеск... Но тогда мне казалось, что это идеальный вариант... Ну, и потом, я так считал: это все же опыт на самом себе... И решение такое изящное... Словом, не устоял я!

Я вздохнул. Аркадий есть Аркадий. Он, может, до конца жизни своей будет помнить об этом опыте, в котором у него были шансы спастись, а у того Аркадия не было, и никогда не простит себе этого. Но это про себя; а перед другими Аркаша и виду не подаст, наоборот, будет орать, что он поступил правильно, а мы все кретины, способные мыслить только на уровне коммунальной кухни... Да это и вправду был эксперимент на самом себе... в том или ином смысле. Понимал ведь Аркадий, сам признался, что понимал: если он окажется прав, если линии двойников между собой не связаны, то эксперимент обернется убийством Аркадия-70... пусть самоубийством, но вина с него, с Аркадия-72, все равно не снимается.

А если окажется, что он не прав, что линии эти как-то связаны, что путешествие во времени не разрывает связи между прошлым и будущим в жизни человека, тогда должны погибнуть оба. Как только хронокамера, двигаясь вперед во времени, достигнет того момента, в который наступила смерть Аркадия-70 из-за отравления нембуталом, Аркадий-72 исчезнет в хронокамере... Погибнет, ничего не узнав и не доказав...

— Знаешь, Аркадий, чем больше я думаю, тем меньше у меня все это в голове укладывается! — хмуро сказал Борис-72.— Что у тебя склонность к авантюризму, это я всегда знал. Но тут уж даже не авантюризм, а... ну, просто черт те что! Ты мне только не читай лекций на тему о том, как врачи себе чуму прививают. Это я сам отлично знаю. И знаю, что прививают чуму или еще что самому себе, а не кому другому, хотя бы и брату-близнецу!

— Ты, надеюсь, понимаешь, что если б я мог обойтись самим собой — вот этим...— сказал Аркадий, не глядя на него.

— Понимаю. Ничуть не сомневаюсь в твоей личной храбрости. Но и собой одним рисковать без крайней необходимости не следует. А уж другим человеком... Ведь всегда при опытах стараются заменить людей манекенами, автоматами, животными...

Борис выдохся и понуро замолчал. Я его вполне понимал. Но я видел, что это, в общем-то, пустой разговор. Во-первых, сделанного не воротишь: на той мировой линии Аркадий Левицкий умер, и там этого уже не исправишь. Во-вторых, необходимость совершенно ясна... Ну, Аркадий в этом духе и ответил.

— Вот когда ты мне специально натренируешь кота или пса, чтобы он отправился в прошлое, ножнул своего тамошнего двойника и вернулся, чтобы доложить результаты, тогда и поговорим,— мрачно усмехаясь, сказал он.— И вообще отлично ты понимаешь, что никакие тут автоматы и никакие звери не помогут, а нужен человек. Рассудком понимаешь, а чувства бунтуют, верно? Нельзя, мол, так! Это, мол, убийство! Ты смотришь на Борьку и понимаешь, что ты его не мог бы уговаривать на такое... Верно, ты не мог бы! Вам, Стружковым, такие идеи просто в голову не придут! Но скажи по справедливости: не кажется ли тебе, что кому-нибудь да должны приходить в голову такие вот неприятные идеи? Что это даже удобно: можно спокойненько сидеть и обличать подонков, которые до такого додумываются!

Вот тут мы с Борисом-72 среагировали совсем по-разному! Борис разозлился, у него даже дыхание сперло от злости, и он с трудом сказал, что, мол, пожалуйста, пускай Аркадий заканет себе светящийся неоновый венчик или терновый венец из поролона и носит повседневно, а он на такую славу не претендует. А мне сделалось очень грустно, и я начал сбивчиво уверять Аркадия, что мы его понимаем и что никто его не обвиняет...

— Нет, обвиняет! — перебил меня Аркадий.— И он обвиняет, и ты... Ну, ты это лучше как-то воспринимаешь... Неужели тебе не понятно,— обратился он к Борису-72,— что другого выхода просто не было? Если бы принял нембутал я, это значило бы одно: что Аркадий Левицкий дожил до 1972 года, а там умер. На Аркадия-70 это никак не повлияло бы. Если бы Аркадий-70 принял нембутал в обычном мире, без переходов во времени, результат был бы тоже однозначным: Аркадий Левицкий дожил только до 1970 года, и в 1972 году уже некому размышлять над этими проблемами. Но после моего перехода в прошлое наша линия удвоилась.— Аркадий тинул прутиком в мой чертеж.— И если одна из этих линий оборвется вот здесь,— он обвел кружочком крестик на линии Аркадия-70,— что произойдет тогда с другой линией? Вот в чем был вопрос! И ответить на него можно было только одним путем... Тебе что, действительно это непонятно? А тебе? — спросил он нас обоих поочередно.

Лицо у него почернело, заострилось. Я глянул, и мне стало больно.

— Борька, прекрати этот разговор,— взмолился я.— Достаточно мы уже понимаем, и никаких сейчас других путей не видим, а если б и увидели, то сделанного не переделаешь.

— Ладно... ты, наверное, прав,— бурнул Борис.

Некоторое время мы все молчали. Борис спросил:

— Ну, хорошо, а зачем тебе понадобилось тут же рвануть в будущее? Ты что, не мог там... понаблюдать...

Аркадий с испугом глянул на него и тут же отвернулся.

— Я считал...— ответил он, слегка запинаясь,— и предполагал, что мне следует пересечь в хронокамере момент его... исчезновения.

Сам же я только что предложил прекратить этот разговор, а тут не утерпел, ввязался.

— Хитришь, Аркашенька,— сказал я.— Ни черта тебе не нужно было пересекать, а просто боялся ты смотреть, как он будет умирать... боялся, что не выдержишь, начнешь его спасать, и эксперимент сорвется... Так ведь?

Аркадий покосился на меня, но ничего не сказал.

— Так оно и было, чего уж! — с горечью сказал Борис-72.— Смерти он, конечно, не боялся. А душевной пытки, которую сам же себе устроил, испугался. Решил сбежать... Еще и потому ты решил сбежать, что верил в свою теорию. Верил, что ваши линии не связаны, что он умрет, а ты останешься... Слишком ты у нас умный... слишком ты хороший хронофизик... И тот, твой Аркадий, он ведь такой же! Он тоже все это знал, наверное... Ведь знал?

— Знал... догадывался...— хмуро подтвердил Аркадий.— Мы оба сознательно шли на риск...— Он повернулся и в упор посмотрел на нас обоих.— А вам не кажется, что в таких условиях... ну, что остаться в живых — это... это тоже риск?!

— Ах, кретин! — простонал Борис-72.— Надо же, чтобы встретились два таких кретина! Что вы с собой наделали!

— Борис, мы же уговорились! — почти закричал я.— Не надо больше! Это бесполезные мучения, не надо, я не хочу!

— Ладно, ладно, прекратим! — поспешно сказал Борис.

Мы опять некоторое время молчали. Но молчать тоже было тяжело.

— Слушайте, ребята,— сказал Борис-72, глянув на часы.— Я сейчас позвоню Шелесту — без объяснений, просто позвоню, что мне пришлось выйти по экстренному делу, пускай думает пока, что хочет... а потом мы кое-что быстренько довыясним, и...— Он запнулся, потом повторил: — Так я пойду позвоню!

Пока он ходил звонить, мы с Аркадием сидели молча. По-моему, мы оба устали и радовались хоть короткой передышке.

Борис-72 вернулся довольный, усмехающийся.

— Сказал я Шелесту,— еще издали начал рассказывать он,— что, мол, задержусь еще часок, а он не в духе, видно, как заорет на меня, аж трубка завибрировала в руке! Я чего-то бормочу, а сам думаю: «Ори, ори! Не так заорешь, когда узнаешь!» — Он уселся на скамейку и с нежностью оглядел нас.— Нет, ребята, это ведь так здорово! Это... Слов нет, до чего здорово, что вы здесь!

— Осложнений, между прочим, не оберешься оттого, что мы здесь...— трезво заметил Аркадий.

— Нет, правда! — Бориса-72 это скептическое замечание ничуть не расхолаживало.— Понимаете, сначала меня это слишком уж потрясло, ну совсем я ошалел... Потом я запутался во всех ваших переходах и недоразумениях... а под конец еще и...— Тут он осекся, потом торопливо продолжил: — Словом, я больше удивлялся, ужасался и так далее... А теперь, когда я представил себе, как буду рассказывать об этом Шелесту... и всем... и вы тут будете!.. Ну, ребята!

— Словом, теперь ты ощутил радость бытия! — сказал Аркадий, но уже не насмешливо, а сочувственно, и лицо у него как-то оттаяло, омило.

Мне и самому стало вроде легче. «А что в самом деле! — подумал я.— Тот же институт, те же люди... Свои ребята-хронофизики, они-то должны примириться с тем, что у Левицкого и Стружкова окажутся дубли... Шелест как-нибудь уладит все формальности по административной линии... И будем мы все работать...» Тут я спохватился, что мне все же будет трудновато — ведь я отстал на два года,— но потом решил, что ничего, наверстаю.

— А что я, собственно, буду рассказывать Шелесту? — забеспокоился вдруг Борис.— Я же ни черта толком не понял. Слушай, Аркадий, объясни мне наконец по порядку, с чего оно началось, твое первопроходчество... Конец-то я уже знаю...

— Даже не придумаю, с чего начать...— сказал Аркадий.

— С начала,— глубокомысленно посоветовал я.— Меня так в школе еще учили... Вот, значит, рассчитал ты свою машину времени, возликовал, разумеется, и — что же ты дальше делал?

— Дальше? Ну, дальше я для начала рванул на год назад. И тут же вернулся, не выходя из камеры. Трясся, конечно, когда в камеру лез, аж зубы лязгали. Ну ведь, честно говоря, ни в чем я не был уверен. Расчеты расчетами, а на практике вполне может иначе получиться... Какая-нибудь чепуховая неувязочка — и все: был Левицкий, нет Левицкого, и искать его негде. Ну, а с другой стороны, конечно, любопытство терзало до невозможности: мол, как же это выглядит, путешествие-то во времени?

— Живут же люди! — вздохнул Борис.— Катаются туда-сюда за милую душу, а ты тут сиди... Ну, и как же это выглядело?

— Да никак не выглядело! Автомат сработал, включил поле... ну, вот Борька рассказывал... в общем, то же самое: красный туман, тяжесть такая наваливается на тебя — ни охнуть, ни вздохнуть... И все — ты аккуратненько валишься на пол и ничего не видишь. Я очнулся и никак не пойму, был я в прошлом или не был. Вышел из камеры — все по-прежнему, никаких изменений. Но глянул на контрольную запись и вижу: есть! Есть оно, перемещение!

— Ты включал автомат и на запуск и на возвращение? — спросил Борис.

— А как же иначе? Кто ж меня вытащил бы оттуда?

Я вспомнил, как погас индикатор на пульте... Что-то тут не клеилось... Но я не мог сообразить, в чем загвоздка...

— Постой, а как же насчет изменения мира? — допытывался Борис.— Раз ты совершил путешествие в прошлое, значит, ты изменил мир... А в измененном мире автомат, наверное, не был включен на твое возвращение. Так кто же тебя вернул?

Ах, молодец! Ну, конечно, именно это меня и сбивало с толку! Глазок индикатора погас, как только я начал по-настоящему вмешиваться в реальность. Ведь в измененной реальности, в том мире, который я сам невольно создал, Борис Стружков двадцать третьего мая 1970 года не включал автомат хронокамеры. Камера была, и автомат был, но только никто его не включал. Поэтому он и в прошлом, где я находился — вечером двадцатого мая,— оказался выключенным.

— Так ведь я же в прошлое не вмешивался,— сказал Аркадий,— я вообще не выходил из камеры, а к тому же валялся без сознания... Какое уж тут изменение!

— А сам факт перехода? — неуверенно спросил Борис.

— Не разводи мистику, Борька! — морщась, сказал Аркадий.— Раз я не выходил из хронокамеры...

— А ты уверен, что сам-то не разводишь мистику с этим выходом-невыходом из хронокамеры? — вмешался я.— Вот я, например, когда перешел в прошлое, так первым делом, еще оставаясь в камере, убедился, что лаборатория пуста. Но потом вышел из камеры и черт те сколько простоял в проходе из технического отсека...

— А что ты там делал? — заинтересовался Аркадий.

— Да вот именно, что практически ничего. Стоял и думал, как быть, с чего начать и так далее. Я никого не видел, и меня никто не видел. Так вот, спрашивается: если б я простоял таким образом даже целый час, а потом ушел бы в камеру и отправился назад, изменился бы от этого мир?

— Что ты дурака валяешь, Борька! — сердито сказал Аркадий.— С чего ему меняться, если ты никаких изменений не внес? Мир — это не твое или мое представление, мир — это реальность! И пока ты на нее реально не воздействуешь, она реально и не изменится. Насчет выхода из камеры я говорил условно, для наглядности. А на самом деле ты мог, допустим, походить по лаборатории, даже посидеть за столом, поработать. Если тебя никто не увидит и никаких следов твоего пребывания в этом мире не останется, то ты вернешься в свой прежний мир, не отклонив мировой линии.

— А если представить такую ситуацию: ты совершил переход, лежишь без сознания в хронокамере, и в это время тебя кто-нибудь видит сквозь стекло, допустим, тамошний Аркадий или Борис. Но прежде чем они успевают что-либо предпринять, автомат срабатывает, и ты отправляешься обратно. В этом случае как? Есть изменение?

— Каверзная ситуация! — Аркадий понурил головой.— Н-да... опасаюсь, что я уже не попал бы в свой прежний мир. Ведь тут налицо изменение, причем довольно основательное: они увидели бы воочию, что путешествие во времени уже осуществлено на практике! А это сразу изменило бы их психику, их отношение к делу, привело бы к ускорению открытия...

Конечно. Если б я в тот вечер не знал точно, что переход практически осуществим, ничего бы я не добился. И не было бы «моего» способа перехода... У Аркадия совсем по-другому, наверное, решено...

— Аркадий, объясни ты мне,— сказал я,— почему это у тебя в камере всех по голове бьет? Для полноты впечатления, что ли?

— Ничего не всех,— недовольно ответил Аркадий.— Меня только в первый раз двинуло, но это я сам был виноват, заставил автомат слишком быстро поле наращивать. А ты, наверное, бегал по камере, суетился...

— Значит, у тебя поле не совсем однородное?

— Да. И нарастание идет не совсем плавно. Надо еще поработать. Ну, да ты же сам это знаешь, если...— Аркадий вдруг замолчал и, что-то сообразив, уставился на меня.— Постой, Борька! Я, похоже, опять чего-то не усвоил. Записки, ты говоришь, не было. Но ведь расчеты мои ты видел?

— Где же я мог их видеть, интересно?

— Слушай, ты мне голову не морочь! — рассердился Аркадий.— Расчеты уж во всяком случае были, я их сам написал!

— Сказано тебе: не было! В моем мире не было ничего: ни записки, ни расчетов, никаких объяснений! Просто ты умер — и думай об этом что хочешь! Вот я и думал. До того додумался, что всех начал подозревать. Даже себя...

— Это каким же образом? — удивился Борис.

— Да таким образом, что сплошная была путаница, и чем дальше, тем хуже! — сказал я.— Я и сейчас не все понимаю, что у нас там творилось. Во-первых, этот вот Аркашенька по институту разгуливал сразу после конца рабочего дня — и непременно всем на глаза попадался...

— Уж и всем! — возразил Аркадий.— Одна только Нина меня и видела. Правда, разговор у нас получился дурацкий...

— А если к этому прибавить твой дурацкий костюм,— сказал я.— Или, может, это у тебя хроноскафандр?

— А она и костюм разглядела? — удивился Аркадий.— Во, глазастая! На лестнице ведь темно совсем...

— Разглядела, однако! — злорадно ответил я.— Тебя и Ленечка Чернышев разглядел, когда ты дверь лаборатории открывал!

— Надо же! — пробормотал Аркадий.— Еще и этот кретин...

— Ты зато очень умный! Стоит на пороге и выясняет отношения с двойником! Подходящее выбрал местечко!

— Нет, ну надо же! — повторил Аркадий.— Неужели он слышал? И ничего не понял?

— Ты сообрази,— сказал я.— кто же мог что-нибудь понять? Мы больше всего старались додуматься, с кем ты говорил, кто сидел в запертой лаборатории и как он туда попал. Ленечка даже сказал, что у этого человека голос похож на твой, и все равно нам в голову не пришло...

Борис-72 напомнил, что он пока ничего не понимает. Я спохватился и начал ему объяснять, как было дело. Когда я сказал, что Аркадий старался выставить меня из лаборатории ровно в пять и затеял дурацкую ссору, Борис-72 вдруг заволновался.

— Погоди,— сказал он,— я ведь это тоже помню... эту ссору! Дурацкая действительно ссора, совершенно беспричинная... Аркадий на меня орал...

— А ты что? — с интересом спросил я.

— Как что? Ты и я тогда ведь еще не были разделены... до вечера двадцатого мая все у нас было общее.

Мы улыбнулись друг другу. Сейчас мне было даже приятно думать, что он знает обо мне все. Мы с ним будем идеально понимать друг друга... Я сам себе готов был позавидовать, что в его... в моем лице у меня имеется такой надежный друг.

— Не я пока не понимаю, почему ты мог подозревать себя,— сказал Борис-72.

— Да потому, что дальше совсем уж чудеса пошли,— начал объяснять я.— Аркадий-то действительно слонялся в этот вечер по институту. А вот почему меня видели в институте в одиннадцать вечера, когда я твердо знаю, что в это время сидел в библиотеке?

— Я тоже сидел в библиотеке после того, как с Аркадием поссорился,— растерянно сказал Борис-72.— Нет, серьезно, я это помню...

Аркадия это ужасно развеселило.

— Встреча двойников в библиотеке! — завопил он.— Рука руку моет, дубль дубля покрывает! Алиби друг другу создают! Один для алиби в библиотеке торчит, другой в это время свои темные делишки вершит!

— Да ну тебя! — урезонивал я его.— Как же мы могли друг другу алиби создавать, если Борис Стружков был в то время всего один?

— Э, бросы! — не сдавался Аркадий.— Ты же сам заявил, что отправился в прошлое!

— Да ты пойми, чудак! Я ведь только двадцать третьего узнал, что меня будто бы видели двадцатого вечером в лаборатории! Двадцать третьего, понял? И ни в каком прошлом я тогда еще не бывал! Даже мне и не снилось!

— Нет, у меня что-то мозги не срабатывают,— признался Борис-72.— Может, ты объяснишь все по порядку?

Я объяснил по порядку. Аркадий слушал с сочувственно-иронической усмешкой, а Борис-72, потрясенный, крутил головой.

— Ну и ну! — сказал он под конец.— Это же действительно обалдеть можно! — Он помолчал секунду.— Но, знаешь, Нина... Нина меня все-таки удивляет... Ты думаешь, она действительно пошла к этому... Линькову?

— Наверное...— ответил я.— Ты бы видел, в каком она была настроении... И в конце концов ее тоже понять можно...

— А я вот не могу ее понять! — с неожиданной горечью сказал Борис-72.— Никогда бы я не подумал, что Нина...

У меня вдруг сердце стукнуло так гулко и больно, будто о ребра ударилось.

— Ты... с ней? С Ниной? — тихо спросил я.

— Ну да...— не глядя на меня, пробормотал Борис.

— Не дурите, ребята! — прикрикнул на нас Аркадий.— Это же совсем другая Нина!

— В каком смысле другая? — удивился Борис.

Но я сразу понял, что имеет в виду Аркадий.

— Ну, как же ты не понимаешь! — с азартом начал я втолковывать Борису-72.— На нашей линии все ведь пошло совсем иначе. Ты сообрази, сколько мы там пережили за три дня! Смерть Аркадия, расследование, тайны какие-то кругом, эта дьявольская путаница с двойниками! Да представь только, что вот ты своими глазами увидел Нину в окне лаборатории, а она все начисто отрицает и какую-то нелепую комедию разыгрывает!

Борис-72 слушал меня, болезненно морщась.

— Нина все равно та же самая,— пробормотал он,— только линия у нас, верно, спокойная... А люди все те же...

— Да ничего подобного! — настаивал я.— По-твоему, бытие не определяет сознание, что ли? Да я, знаешь, как изменился за эти трое суток!

— Доказывай, доказывай, Борька! — невесело сказал Аркадий.— Доказывай ему, что с его Ниной все в порядке, а себе — что это не твоя Нина, а совсем другая.

— Разве это не правда? — упавшим голосом спросил я.

— Правда, правда, успокойся! — серьезно ответил Аркадий.— И больше об этом не надо. Не советую.

«Это правда. Это должно быть правдой,— твердил я себе.— Та Нина, которую я увижу здесь, Нина, которая два года замужем за Борисом, она другая. Она прожила на два года больше той, моей Нины, и прожила их без меня, но она не прошла через эти страшные трое суток... Она, конечно, другая...»

— Борька, бросай лирику! — хмуро сказал Борис-72.— Объясни мне все же, что из этого следует. Временная петля, что ли, у тебя получилась? Ведь выходит, что тебя видели двадцатого вечером в лаборатории, а после этого ты вернулся снова в двадцатое и тебя увидели в лаборатории? Замкнутая петля? Вроде как в том рассказе — помнишь? — где археолог берет из музея нож, приносит его в прошлое, а там, после его смерти нож помещают в музей, где он его и взял?

— Ничего подобного! — возразил я.— В том-то и дело, что никакой петли не было. То есть я сначала и сам подумал, что это петля и что я уже сделал нечто такое, о чем сам еще не знаю. Я подозревал, что таинственный незнакомец, который ждал Аркадия в запертой лаборатории, это я и есть... Ну, и что я, может быть, как-то участвовал в убийстве или в смерти Аркадия... Но потом я понял...

— С ума сойти! — ошеломленно сказал Аркадий.— То есть я уже ничего не понимаю! Записки ты не видел, расчетов — тоже. Ну, а как же тогда ты попал в прошлое?

— Я ведь уже объяснял,— довольно сухо ответил я.— Сам я все рассчитал, без тебя. Понятно?

— А если всерьез? — нетерпеливо отозвался Аркадий.

Я отвернулся. Мне действительно стало обидно.

— Нет, послушай,— сказал Аркадий.— Серьезно, я был уверен, что ты сделал все это по моим расчетам. Поэтому я и не удивился, когда ты нарисовал это вот...— Он кивнул на чертеж.— Но если расчетов у тебя не было, то... как же ты?

— Ну, сам я, сам рассчитал! — сердито сказал я.— Никак ты не можешь поверить, что я на это способен! Прижали меня к стенке, вот и пришлось мне поднатужиться изо всех сил. Ну, а кроме того, я ведь на 90 процентов был уверен, что какой-то Стружков уже путешествовал во времени. Только так можно было объяснить загадочное появление моего двойника в лаборатории...

— Понятно,— отозвался Аркадий.— Если ты знал, что это сделано...

— Ну да! Мне оставалось только додуматься, как это было сделано. Вот я и додумался.

— То есть,— сказал Аркадий,— ты что же, сам рассчитал мое поле?

Тут я уж совсем разозлился.

— Спрячь свое поле в карман, а то упрут! — заорал я.— Нужно мне очень твое поле! У меня свое есть!

— Что значит свое? — надменно спросил Аркадий.— В каком смысле?

— В самом обыкновенном смысле,— сказал я уже спокойно.— Я свое поле рассчитал, а не твое. По своему собственному методу.

— Не сочиняй, Борька! — твердо заявил Аркадий.— Не надо!

Линькову наконец становится все ясно

Борис торопливо сунул Линькову три смятых листка из записной книжки и схватил трубку.

Линьков осторожно разгладил листки. Крупный размашистый почерк, уверенная четкая подпись: «Аркадий». Линьков прочел записку, и его жаром обдало. «Не может быть!» — прошептал он. Снова прочел... Всмотрелся в чертеж. Нет, но это же невозможно... За его спиной Борис негромко говорил:

— Да, Игорь Владимирович, да... безусловно. Считаю это возможным... Нет, никаких побочных эффектов не наблюдал... Ну... это я лучше на месте объясню... Да, сейчас...

— Я пойду с вами,— сказал Линьков.

— Да, пожалуйста...— ответил Стружков.

В коридоре он спросил:

— Вы все поняли?

— Где там все! О расчетах я уж и не говорю.

— Я тоже не о расчетах говорю.

— Если говорить о сути эксперимента... с точки зрения хронофизики — это, насколько я понимаю, здорово! А вот с моральной точки зрения...

— Да, это сложная проблема,— согласился Борис.

«С запиской-то ясно, и вообще с Левицким теперь вроде бы все прояснилось,— думал Линьков, вышагивая рядом с Борисом.— Но зато с вами, дорогой товарищ Стружков, мне что-то ничего не ясно, и чем дальше, тем хуже. С одной-то стороны, вроде все понятно! в лаборатории вы были, записку вы взяли, тут одно с другим согласуется. Но когда вы там были? Вот в чем загвоздка! Если три дня назад, то зачем же вы эту записку в кармане таскали и притворялись, что понятия не имеете, почему умер Левицкий, даже расследование помогали вести? Ведь из этой записки ясно, что в смерти Левицкого вы не повинны. Чего ж вы прятали записку? Да и от самого себя вы ее прятали, что ли? Ведь идея, которая там изложена, на вашу идею даже издали не похожа — это и я, недоучка, вижу! Это совсем другой метод, принципиально иное решение! Значит, вы действительно сами до этого додумались. Но вот вопрос: зачем вы так срочно додумывались? Если записка у вас была с готовеньким решением — бери и пользуйся! Выходит, не было у вас записки?.. Не было, а сейчас есть? Тогда получается, что вы действительно взяли ее в прошлом. Но это уже чистая мистика! Если вы взяли записку только вчера, то где же она до сих пор была, почему ее никто не видел? Следствия не могут опередить причину, это же элементарно. И нельзя безнаказанно красть записки из прошлого, хронофизика этого не позволяет. Следственные органы еще могут проморгать этот прискорбный факт, а хронофизика не может! Она вас по своим законам на новую мировую линию моментально передаст. Так что возьмете вы записку у нас, а окажетесь вместе с ней на новенькой линии, которую сами же и создали этим своим неблаговидным поступком. А мы будем ломать головы: где же записка? А вы...»

Тут Линьков внезапно остановился и крепко зажмурился. Борис этого не заметил и умчался вперед. Линьков поглядел ему вслед и яростно потер лоб рукой.

«Обрадовался, возгордился, распустил павлиний хвост! — обличал он самого себя.— Гений-недоучка, грош тебе цена в базарный день. Ну как можно было не понять! Ведь он же все сказал, все, как на тарелочке преподнес! А ты ушами хлопаешь и при этом еще всячески изображаешь из себя Шерлока Холмса и Эйнштейна в одном лице! Спиноза областного масштаба!»

Борис оглянулся на Линькова, махнул ему рукой и скрылся за дверью шелестовского кабинета.

«Иди, иди, обрадуй Шелеста! — думал Линьков.— Расскажи ему, откуда шел и куда попал, пожалуйся на хулиганство хронокамеры и на подставки, вырастающие, как грибы. А я тут постою. Я человек простой. Я такую уйму хронофизики за один присест не переварю. Побуду вот с самим собой наедине...»

Но побыть с самим собой наедине Линькову не удалось: из кабинета Шелеста пулей вылетел красный и взъерошенный Эдик Коновалов. Он хмуро буркнул взамен приветствия:

— Видали, ловкач какой!

— Кто? — не понял Линьков.

— Стружков, кто же еще! — со злостью ответил Эдик.— Я, главное, материальчик подобрал такой, будь здоров! Я у вас, имейте в виду, серьезно учился, опыт перенимал...

— У меня? — переспросил Линьков, холодея.— Вряд ли... Я вас, в частности, не учил подбирать материал на Стружкова...

— А это я в порядке личной инициативы! — заявил Эдик.— Я поглядел вчера, как вы шли со Стружковым по коридору, и враз усек: перемена ситуации!

«Так мне и надо!» — покаянно подумал Линьков и спросил:

— Какая же судьба постигла этот ваш... материальчик?

— А мне даже высказаться не дали! — возмущенно сообщил Эдик.— Смеются, главное. Правда, одну промашку я все же допустил. Поторопился малость, признаю! Но так все складывалось, подходяще уж очень, я и сказал...

— Что же вы такое сказали? — тоскливо спросил Линьков.

— А я так обрисовал ситуацию, что вы Стружкова заподозрили, а он сбежал. Значит, говорю, признает за собой вину!

«Нечем тебе крыть! — обличал себя Линьков.— Эдик ты номер два, вот ты кто в этом деле!»

— ...А они смеются! — продолжал Эдик.— Смешно им... Главное, говорят мне: он во времени переход совершил, он герой! И он тут как тут, появляется... Ну, я ушел... Они там все галдят, кричат, никакой серьезный разговор вести невозможно... Это что же, Стружков переход-то на самом деле совершил?

— На самом деле... И кстати, я должен...

Но Эдик не отставал. Он спросил, куда именно переходил Стружков, и, узнав, что на три дня назад, разочаровался.

— Всего и делов-то! Тр-руха! А они: герой, герой!

— Он мог погибнуть, даже если бы всего на пять минут передвинулся,— объяснил Линьков.— Первые космонавты тоже далеко от Земли не уходили, однако же...

— Космонавты! Это ж совсем другое дело! — оживился Эдик.— Они с разрешения правительства летают, официально. А наш герой сам полез, никого не спросил. Разница!

— Не вижу принципиальной разницы,— нетерпеливо сказал Линьков.— И мне пора, извините...

— Нет, минуточку! — взмолился Эдик.— Я только две мысли выскажу: одну общественную и одну личную. Я вкратце!

— Ну, высказывайте вкратце! — Линьков тихонько вздохнул.

— Первая мысль такая: запретить это нужно! Или хотя бы строго засекретить! — торжественно заявил Эдик.— А то, знаете, что получится, если каждый-всякий?..

— Что же именно получится, по-вашему?

— Труха! — уверенно сказал Эдик.— Ну, сплошная труха! Полезет в будущее какой-нибудь тип. Мало ли чего он там увидит, вернется, пойдет языком трепать, его ж не остановишь...

— Вы считаете, что будущее — это государственная тайна? — осведомился Линьков.

— А как же! — убежденно сказал Эдик.— Вне всяких сомнений.

— К этому вопросу мы вернемся позднее,— слегка поежившись, проговорил Линьков.— Давайте второй вопрос, я тороплюсь.

— Для решения второго вопроса,— сказал Эдик,— вам бы полезно было ознакомиться с материальчиком...

— С каким еще материальчиком?

— По делу Левицкого! Там и про Стружкова и вообще. Я все факты проанализировал, выводы имеются четкие. Серьезную работу проделал! И для меня очень важно ваше мнение как специалиста...

— Видите ли, дело Левицкого уже закончено, так что... И вообще мне сейчас некогда...— тоскуя, сказал Линьков.

Коновалов почему-то не очень огорчился.

— Выходит, напрасно я мозги сушил! — почти весело сказал он.— Конечно, мне до вас еще расти и расти! Вон вы как дело обстряпали, в два счета, а я только начал раскачиваться. Так что же его прихлопнул-то?

— От сообщений я пока воздерживаюсь,— сухо ответил Линьков, пытаясь обойти Эдика.

— Это я понимаю! — с готовностью отозвался Эдик.— Но я к чему говорил насчет материальчика! Хотелось, чтобы вы меня на практике проверили, вот я к чему! Созрело у меня решение — вот за эти дни, что я с вами общался. Решение в плане личной перспективы! А именно: уйти я хочу от этих физиков-шизиков! К вам буду проситься, на следственную работу! А что? Образование у меня юридическое — так? Пробелы — это я на практике ликвидирую! В два счета!

— Вы это... всерьез? — испуганно спросил Линьков.

— То есть абсолютно! Мне здесь, понимаете, разворота нет... Труха сплошная! Вот я и хотел узнать ваше мнение.

— Мое мнение...— сердито начал Линьков, но запнулся и продолжал совсем в другом тоне! — Вы извините, но на ходу такие вопросы не решаются! Я действительно очень тороплюсь.

— Правильно, это вы правильно! — Эдик восхищенно глядел на него.— Подумать надо, обсудить...

Линьков чуть не бегом бросился к кабинету Шелеста.

Окна в кабинете Шелеста были распахнуты настежь, и сизый табачный дым струился наружу, а в комнату вливался влажный прохладный воздух. Шум стоял невероятный. Смуглый скуластый парень, яростно сверкая черными глазами, доказывал преимущества «градиентного» мотора над «однородным», ему наперебой возражали двое, а из угла кто-то кричал, что спорить вообще преждевременно. Борис стоял у стола и слушал, улыбаясь. Шелест задумчиво постукивал карандашиком по стеклу.

— Ребята, кончайте спорить! — сказал Борис.— Ведь ясно, что нужно искать объединения обоих методов... Там — дистанции, а тут — плавность перехода, а нам нужно и то и другое.

— Что ты конкретно предлагаешь? — набросился на него черноглазый парень.

— Слушай, Расул, конкретно я предлагаю подумать,— сказал Борис.— Сесть и подумать.

— И правильно! — поддержал его Шелест.— Проблема комплексная, вернее, тут целый ряд проблем...

— Но ведь переход уже был! — недовольно сказал от окна один из тех, что спорили с Расулом.— И не один! Принципиальная возможность доказана. Проверено отсутствие побочных эффектов...

— Если не считать вспышки...— вставил Борис.— Но это, по-видимому, штука безобидная.

— Это чистый Доплер! — заявил Расул.— Процессы снаружи камеры относительно замедляются, периоды колебаний растягиваются...

— Это тоже нужно проверить,— продолжал Шелест.— Каждую мелочь нужно проверить. А главное, пока мы не найдем способ получать информацию из параллельного времени, все наши эксперименты будут, практически говоря, бессмысленными.

— А я п-предлагаю т-такой проект...— заговорил Леночка Чернышев из недр кресла, в котором он утонул по макушку.

Проект Чернышева состоял в том, что хронавты могли бы по своим мировым линиям спускаться назад, до «развилки», до того момента, в который начала отклоняться новая линия. Там они могут встретиться и обменяться информацией. Это и будет связь между параллельными мирами.

— Леночка, не обижайся, но это — дохлое дело,— сказал Борис.— Они ведь при каждой встрече будут создавать новую мировую линию, на свою вернуться не смогут — и кому же тогда передавать информацию? Нет, по-моему, нужно браться за хронополе...

— Слушай, это бред! — азартно заспорил Расул.— Тимофеев доказал, что невозможно изолировать объект от окружающего времени! Невозможно!

— Доказал для однородного поля,— возразил Борис.

— Правильно,— поддержал его вихрастый очкарик.— Мне видится, товарищи, что градиентный метод Стружкова позволит выключить хронавта из потока времени, окружить его таким полем, чтобы он мог переходить с линии на линию.

— Тебе всегда что-то видится в порядке бреда! — заспорил Расул.

— Нет, если бы удалось запрограммировать такую защиту, чтобы исключить активное воздействие хронавта на прошлое или на будущее... предотвратить создание новых линий... Обеспечить возможность пассивного наблюдения... Сигнализацию разработать...

— Занесло, занесло Чернышева! — проворчал Шелест.— Это даже и в принципе вряд ли возможно. А тут уже и сигнализация и правила хронодвижения...

«А здорово было бы! — подумал Линьков, начиная понемногу разбираться в сущности спора.— Подошел ты к какой-нибудь штуке, хочешь ее взять, тут же тебе красный глазок мигает: не трогай, а то создашь новую мировую линию. Непонятно, правда, что вообще можно будет трогать? Самого себя только, наверное... Но, может, хоть наблюдать удастся? Скажем, исторические события в натуральную величину...».

Надрывно зазвенел телефон.

— Да-да. Шелест у телефона. Хорошо, подожду.— Он прикрыл мембрану ладонью и сказал: — Это Вячеслав Феликсович из Москвы меня вызывает. Ну, разговор на эту тему мы вскоре продолжим. Идею защитного хронополя начисто все же отвергать не следует. Но главное — это получить возможность двигаться поперек мировых линий, наладить связь между ними... Через двумерное время... Ну, ладно, все это мы еще обсудим. А на первый раз, пожалуй, хватит...— Тут он увидел Линькова, улыбнулся ему и показал глазами на Бориса.

«Он уже знает, но думает, что я не знаю,— догадался Линьков.— И Борис, конечно, тоже так думает...»

Хронофизики, продолжая спорить и переругиваться, уходили. Шелест негромко басил в трубку: «Да, Вячеслав Феликсович... Не совсем еще, но в основном... Есть новые обстоятельства, чрезвычайно важные... Лучше не по телефону...»

Борис подошел к Линькову. Он держался теперь свободно, без напряженности, и глаза были спокойные, чуть насмешливые.

— Рад с вами познакомиться,— церемонно сказал он.— Что же вы не пришли послушать мои объяснения?

— Коновалов на меня навалился,— вздыхал, ответил Линьков.

— Надеюсь, вы отделались легкими ушибами? — участливо осведомился Борис.

— Да, я тренированный,— сказал Линьков.— А ваш рассказ я с удовольствием послушаю в другой раз. Тем более, что мне придется его приобщить к делу... о смерти Левицкого.

— Главное я могу вам и сейчас сказать,— нахмурившись, проговорил Борис.

— Главное я и сам знаю, по-видимому,— отозвался Линьков.— Вы уже поняли, кому обязаны своим «возвращением»?

— Да, понял! Выходит, что самому себе! Но вы-то как все сообразили? Про Аркадия и про меня? Откройте секрет!

— К вашим услугам! — Линьков протянул Борису сломанный спичечный коробок.— Вот это ключик к делу Левицкого.

Борис долго разглядывал коробок.

— Не улавливаю! — сконфуженно сказал он.

— А вы на дату посмотрите.

— Дату? Ах ты, черт, проглядел! Действительно... 1972 год. Где вы это нашли?

— В зале у хронокамеры.

— Случайно?

— Не совсем. В зал-то я пришел не случайно. Этот коробок только подтвердил то, к чему привели логические выкладки.

— А со мной как было? — полюбопытствовал Борис.

— Ну, вы-то — порожденье чистой логики! Логики плюс хронофизики.

— Неплохое сочетание! — пробасил незаметно подошедший Шелест.— Это о чем вы так, Александр Григорьевич?

— Объясняю Стружкову, как я его вычислил.

— Вычислили? И что, правильно?

Борис пожал плечами.

— Он Левицкого вычислил, а уж меня-то!

— Ну, знаете! — ужаснулся Шелест.— Да вы всех нас обсчакали! Хотите, зачислю вас в институт внештатным сотрудником? Специально для таких вот случаев?

— Для таких случаев мне лучше оставаться на посту в прокуратуре.— сказал Линьков.— Может, у меня иммунитет теперь образовался... А то ведь без привычки у вас трудновато...

Окончание следует.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Борис-72 оценил ситуацию по достоинству. Он прямо со смеху покатился, глядя на Аркадия.

— Нет, надо же! — восторженно стонал он.— Бедняжечка Аркадий! Славу у него уводят прямо из стойла! Дорогой ты наш первооткрыватель... первопроходец! Как перенесешь ты этот удар?

Аркадий весь побелел, но сдержался и заговорил относительно спокойно, только глядел куда-то в сторону.

— Интересно, как ты бы себя чувствовал на моем месте! Ржет, как нанятый. Смешно ему! Вы что же, всерьез думаете, что я за приоритет переживаю?

Мы всерьез это думали, но дипломатически промолчали.

— Ну, просто я обалдел, элементарно обалдел, неужели непонятно?! — сказал Аркадий, правильно оценив наше молчание.— Ну, не поверил я сразу, виноват. Да и теперь еще не вполне... Вот объяснишь мне, Борька, тогда я окончательно поверю...

Суть моего открытия была так проста — во всяком случае, для хронофизиков,— что изложил я ее в два счета. Для ясности набросал чертежи — все тем же прутиком, уже изрядно обломанным.

Когда я кончил, оба они некоторое время молчали.

— Ну, Борька! — выдохнул вдруг Борис.— Я... знаешь... я уже вижу, как меня девушки на улице спрашивают: «Скажите, вы не тот Стружков, который...»,— а я им скромно так отвечаю: «Да, знаете ли, это я самый...»

— Да брось ты со своими девицами! — заорал Аркадий.— Ты понимаешь, что Борька сделал?! Нет, скажи, ты понимаешь?! А то сам он вроде ни черта не понимает. Сделал элементарно-гениальное открытие и сидит помалкивает! Нет, ты посмотри, как у него все просто и надежно! И, небось, по голове не трахает... а, Борька? Вот! А у меня трахает! И вообще у меня все в лоб сделано, примитивно-прямолинейно...

Когда Аркадий чем-нибудь восхищался, он тоже не знал границ. А там, где речь шла о хронофизике, он умел восхищаться.

— Да чего там сравнивать,— не унимался он,— вы сами посмотрите: поле я брал однородное, как всю жизнь мы брали... а весь мой вклад исчерпывается элементарными упражнениями в области математической физики...

Аркадий торопливо набрасывал прутиком формулы и схемы. Конечно, хуже у него не было. Может, он кое-что и не успел доработать, но в принципе это выглядело великолепно — смелое, остроумное математическое решение сложнейшей проблемы.

— Ну, что это, как людям везет! Всякие открытия на их мировых линиях совершаются, один я несчастный...— жалобно заныл Борис-72.— Какая-то у меня линия захолустная! Ни тебе происшествий, ни тебе открытий... и не исчезает никто...

— Будет вам и белка, будет и свисток! — заявил Аркадий.— Раз мы здесь, ты за свою линию можешь не беспокоиться — не такие еще дела завернем! Борька! — Он снова вцепился в меня.— Ну, запряг ты свои градиенты в работу, а дальше что? Так и рванул сразу в двадцатое мая?! Где ж ты там лазил, что мы тебя не видели?

Я начал рассказывать, а попутно уточнял у Аркадия, что же происходило на самом деле. В общем-то я сам уже понимал почти все. Разговаривали на лестнице два Аркадия — этот и «тамошний». И насчет спичечного коробка я правильно догадался.

— Пустой коробок был,— сказал Аркадий.— Плохо то, что я его где-то там, на той линии, выронил. Найдет его какой-нибудь дотошный товарищ, увидит дату...

— Да ну, станет кто разглядывать дату на сломанном спичечном коробке! — возразил Борис-72.

Я им все рассказал, как было. Объяснил Борису-72, что никакой петли не было: Нина и Ленечка видели меня в институте около одиннадцати часов, а я, вернувшись в прошлое, исчез из института не позже восьми, да еще и таблетки прихватил.

— Таблетки прихватил...— пробормотал Борис-72.— Погоди! Я правильно понимаю или все еще путаю? Это, выходит, ты создал нашу мировую линию?

— Кажется...— смущенно ответил я.— Вообще-то я не хотел... не имел в виду...

— Оно и видно, что ты все это нехотя делал, шаля-валя. Мог бы придумать что-нибудь поинтересней... Спасибо, хоть моего Аркадия спас!

— Зато мне он веселенькую жизнь устроил! — сказал Аркадий, криво усмехаясь.— Это ж надо — такой удар с тыла! И в такую минуту! Представляете: вышел я из хронокамеры живой-здоровый, значит, моя теория доказана! Ну, настроение, сами понимаете, сложное: с одной стороны, успех, а с другой... Из-за всех этих мыслей я даже не сразу сообразил, что если Аркадий Левицкий в этом мире погиб два года назад, то вахтер на проходной заорет с перепугу при моем появлении. Вошел я в проходную — Макарыч смотрит на меня как ни в чем не бывало и говорит: «Поздненько вы сегодня, устали небось!» Я думаю, что же это случилось, и ничего сообразить не могу... То есть понимаю, что Аркадий, очевидно, не... не сделал...

— А почему ты, собственно...— начал Борис и запнулся.— Ах, ну да... ты ведь договорился, что он глотнет таблетки после твоего ухода?

У Аркадия лицо свела судорога. Всем нам опять стало тяжело. Но в конце-то концов никуда от этого вопроса не уйдешь... Надо только без эмоций, по-деловому...

— А как вам вообще пришла в голову такая идея? — спросил я.— Вы так сразу и договорились, при первой встрече?

— Нет, не сразу,— помолчав, ответил Аркадий.— После первого перехода я немного подладил камеру, сделал второй переход, потом третий. Из камеры я не выходил, так что возвращался каждый раз в свой мир. Потом не утерпел... Перемещался я, разумеется, вечером, когда в зале уже не работали... Но я сообразил: раз я выйду, то вмешательство в прошлое неизбежно совершится, пусть даже небольшое, и через два года на том конце, в будущем, некому будет камеру включить...

Я снова вспомнил погасший глазок своего пульта. Что и говорить, Аркадий куда лучше меня продумал все последствия... Аркадий помедлил и сказал, смущенно улыбаясь:

— Вот поэтому мне и пришлось в обязательном порядке встретиться с самим собой.

— Почему же в обязательном порядке? — не понял я.

— А к кому же мне было обратиться, как не к самому себе? Я договорился, что он через два года повторит мой опыт — отправит в прошлое камеру и включит ее на автомат, чтобы я мог вернуться,— объяснил Аркадий.

— Вот это да! — ошеломленно пробормотал Борис.

Решение Аркадия было не просто эффектным: оно вытекало из всей логики наших представлений о времени и в то же время выглядело так парадоксально, что не каждый бы до него додумался. Но Аркадий есть Аркадий.

— Так что действия мои были в известной степени предрешены заранее,— без воодушевления продолжал Аркадий.— Мне повезло, я застал Аркадия в лаборатории. Впрочем, я помнил, что в тот период он... ну то есть я... часто засиживался там один... Это было шестнадцатое мая...

Я покраснел. Борис-72 тоже.

— Ну, свои эмоции я описывать не буду,— скороговоркой сказал Аркадий,— вы сами сегодня это испытали. В общем-то, конечно, ради одного этого стоило... Говорили мы долго, допоздна... Тогда и сообразили... Кто первый высказался, не помню, да это и неважно — думали-то мы одинаково... Решили действовать, назначили встречу на двадцатое... Потом я отправился в зал. Ребята, до чего странно было входить в камеру и знать, что ее включил — два года спустя — человек, который только что с тобой говорил, который еще здесь... В общем, переместился я обратно, встретил того же Аркадия, только на два года старше... Посмеялись: почему это, мол, я так опоздал на свидание — целых два года... Потом я кое-как перекантовался четыре дня на нелегальном положении в 1972 году.

Окончание. Начало в №№ 8—17.

— А это еще зачем? — удивился я.

Аркадий слегка смутился.

— Ну, просто у меня поле было рассчитано точно на два года... А пересчитывать все из-за этих четырех дней... Знаешь, расчеты у меня очень сложные, делать их наспех, да еще в таких условиях... ну, представляешь, сидел я в Заречье, у деда Карася... Хрен там рассчитаешь, в таком шуме и гаме... да еще без ЭВМ...

— Дал бы тому Аркадию,— посоветовал Борис-72.

— Ну... тоже и ему с этим возиться, на глазах у Бориса...

— Это у меня, что ли? — поинтересовался Борис-72.

Аркадий хмыкнул и, сощурившись, уставился куда-то вверх.

— Я, знаешь, и сам уже сбиваться начал! — сказал он после паузы.— Нет, это не у тебя. Это ведь был 1972 год на линии II, которая возникла 16 мая 1970 года, после первой моей встречи с двойником. А ты, братец, находишься во-она где, на линии IV, которую оборудовал специально для тебя твой лучший друг Борис Стружков, обитавший до вчерашнего вечера в 1970 году на линии III. Видишь, как все просто и понятно...

— Куда уж проще! — с тоской сказал Борис-72.

— Не хнычь! — наставительно произнес Аркадий.— Ну, посидел я у деда, а потом двинул обратно, в двадцатое мая 1970 года...

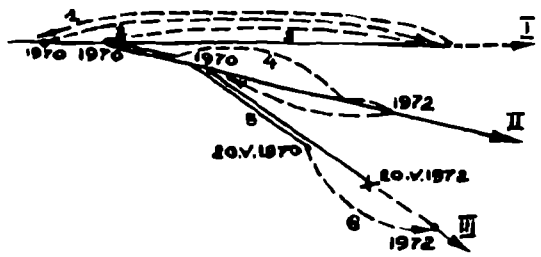
— К тому же Аркадию? — отупело спросил Борис.— Или уже и другому?

— Зачем же мне к другому? Все дело заново начинать? К этому же Аркадию, конечно. Но с той минуты, как мы встретились, мировая линия опять начала отклоняться. И это был уже третий по счету «я». И третий мир...

— Мой мир...— сказал я.— Мир, где Аркадий Левицкий умер, а Борис Стружков поскакал в прошлое верхом на градиентах...

— Я что-то никак не соображу, ребята,— вздыхая, сказал Борис-72.— Вы-то уже насобачились мировые линии, как колоду карт, тасовать, вам и петли не страшны, и двойники нипочем, и море времени по колено! А мы народ серый, провинциальный...

— Сейчас я тебе все изображу в художественной форме! — Аркадий схватил прутик и начал чертить на песке.— Видишь? Вот эти дужки под номерами 1 и 2 — это мои первые переходы в прошлое и возвращения,— оба раза в свой мир, на линию I. А переход № 3 — это тот, когда я вышел из камеры и встретился с двойником. С этого момента начинается мировая линия под номером II. Она сначала двойная: это мы с Аркадием сидим и разговариваем... Масштаб, понятно, я не соблюдаю — говорили мы часа четыре, а я тяну линию чуть не на полгода, но это для наглядности.



— А дужка номер четыре — это твое перемещение к тому же Аркадию, только на два года вперед? — спрашивал Борис-72.

— Старайся, Стружков, старайся! — подбодрил Аркадий.

— Кусочек двойной линии — это ты сидишь у деда Карася? А номер пять — твой переход в двадцатое мая 1970 года, все к тому же Аркадию, на ту же линию?

— Да. И, кстати говоря, эта отсидка в будущем гарантировала меня от встречи сразу с двумя Аркадиями. Прыгни я на ту же точку, где побывал однажды, и получилась бы святая троица — один Левицкий в трех лицах.

— Это что же получается, братцы! — ужаснулся Борис-72.— Попрыгаешь туда-сюда и целый полк двойников наберешь? Нет, серьезно: это ведь осложнение не пустяковое!

— Если серьезно,— сказал Аркадий,— то я сомневаюсь, что это осуществимо. Наверное, имеется какой-нибудь запрет природы на второе попадание в одну и ту же точку. Есть у меня предчувствие, что такая вот точка — это какое-то особое место на мировой линии... разрыв, что ли... Ну, вроде воронки: говорят ведь, что в воронку бомба снова не попадает.

— Чепуха! — сказал Борис.

— В пространстве, может, и чепуха,— задумчиво возразил Аркадий,— а во времени... Вот я осмотрюсь на новом месте и пособображаю, как это проверить...

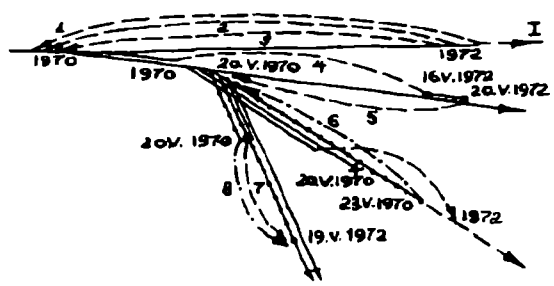
— А дужка номер шесть — это у тебя что? — спросил я.— По-моему, тут ты заврался...

— Нет... это я, собственно говоря, не так реальный переход, как свой замысел изобразил,— отклонился Аркадий.— Дальше: это вот линия III, «твоя» линия, которую породил мой переход номер пять. Тут нас с Аркадием опять двое. Его линия обрывается — тут, где я крест поставил,— а я переохожу в будущее. Это и есть эксперимент...— Он вздохнул.— То есть, понимаете, я рассчитывал, что с момента моего первого перехода моя судьба, моя «личная» мировая линия стала совершенно самостоятельной, изолированной от судьбы того Аркадия. Значит, если я выйду из камеры в том мире, где Аркадий Левицкий не существует с 1970 года... вот, я показал, что его нет, пунктиром... то начну здесь заново свою линию, то есть свою дальнейшую жизнь...

— Что и говорить, эффект был бы потрясающий,— заметил я.— Воскресший покойничек бодро выскакивает из хронокамеры — и жизнь начинается заново! А я тебе все подпортил...

— Пес с ним, с эффектом,— рассеянно ответил Аркадий, глядя на свой чертеж.— Ты лучше объясни, все я правильно изобразил или у тебя еще тайны в заначке имеются?.. Ну, высказывайся, не тяни! — И он перебросил мне прутик.— Я не изображал то, что ты натворил. Сам отчитывайся!

— Тайны не тайны, а дополнить кое-что тут надо, не говоря уж о том, что ты действительно не изобразил «мою» линию, на которой мы в данный момент находимся... Не изобразил, конечно, из зависти: небось, ни на одной из твоих линий нет такого шикарного комплекта — два Левицких плюс два Стружкова! — Я говорил все это, дорисовывая чертеж Аркадия.— Вот линия III, где ты рассчитывал обосноваться начиная с 1972 года. И ты, наверное, там и вправду обосновался... вот я покажу это пунктиром... На этой линии ты, надо



полагать, вышел в 1972 году из хронокамеры и напугал весь институт. Но зато на этой линии с вечера двадцать третьего мая 1970 года отсутствует Борис Стружков. Потому что я... вот, покажу себя линией с точками... я из двадцать третьего мая 1970 года совершил переход в двадцатое мая того же года. Пока вы секретничали на лестнице, я забрал в лаборатории таблетки, вообще начал действовать, и обе ваших линии отклонились, а вместе с ними — линия присутствующего здесь моего двойника, который бездарно проторчал весь этот вечер в библиотеке...

— Да ведь ты тоже просидел весь вечер в библиотеке, сам признался! — завопил, обидевшись, Борис.— Это же нечестно!

— Он зато потом с лихвой наверстал! — сердито сказал Аркадий.— Будь ты тринды неладен, Борька! Ну, просто ведь безобразие: мы такое серьезное дело затеяли, а этот попрыгунчик орудует за нашей спиной и все превращает в какую-то идиотскую комедию... Таблетки он, видите ли, хапает, никого не спросясь... Спаситель! Нужен ты мне был, как рыбке зонтик!

Тут я всерьез обозлился.

— Тебе я, конечно, карты спутал,— сухо проговорил я.— Ты себе подготовил мир со свободным местечком, а я тебя перебросил сюда, где твое место занято. Ничего, как-нибудь и здесь устроишься. Зато, я думаю, Борис спасибо мне скажет, что его Аркадий остался в живых. А тебе, видно, мало одного трупа...

Тут я глянул на Аркадия и осекся: он откинул голову на спинку скамейки, закрыл глаза и стал ужасающе похож на того Аркадия, которого я увидел утром двадцать первого мая на диване в лаборатории... такое же бледное, застывшее лицо, и по нему пробегают световые пятна и тени трепещущих листьев.

Аркадий открыл глаза и выпрямился.

— Ты прав,— глухо сказал он.— Прошу прощения. Продолжай.

Сможем мы когда-нибудь позабыть все это? Или каждый раз будем вот так бередить раны друг другу?

— Ладно, продолжим.— Я опять начал чертить прутиком по песку.— Значит, здесь отклоняются четыре линии — две ваших, две наших. Все это вместе образует линию IV — ну, или мир IV, историю IV. Линии здешней, законной, так сказать, пары нормально тянутся к 1972 году, а мы с тобой, Аркашенька, в ефтом вот местечке, один за другим сигаем им вдогонку, словно кенгуру... Дуга номер 7: сигает Аркадий Левицкий; дуга номер 8: сигает Борис Стружков... А теперь объясни мне, Аркашенька, поскольку ты у нас гений и все понимаешь,— кто нам сигать-то позволил?

— Что-что? — спросил Аркадий.— Кто нам...

Он не договорил. Он так и застыл с открытым ртом.

Я об этом все время думал, пока он вычерчивал свою схему. Как же так? Аркадию пришлось попросить своего двойника, чтобы тот в будущем включил камеру на возвращение. Мою камеру некому было включить, и поэтому, как только я отклонил мировую линию, глазок на пульте погас. Ну, а кто же тогда подготовил для нас хронокамеру в зале да вдобавок включил автоматику не на один, а на два перехода?

Борис-72 тоже недоумевал.

— Я действительно не понимаю...— растерянно сказал он.— Ты никому не поручал, Аркадий? Ах да, ты же не мог...

— Почему это я не мог? — удивился Аркадий.— Я ведь сразу решил, что не останусь там, и обеспечил себе переход!

— Непонятно, как ты мог обеспечить,— сухо заметил Борис.— Аркадия ты уже не мог просить...

— А тебя? — Аркадий торжествующе улыбнулся.— Тот Аркадий в записке должен был объяснить, что произошло, и попросить тебя, чтобы ты в 1972 году включил хронокамеру... Почем же я знал, что начнется такая катавасия: что исчезнет записка, начнется расследование и ты полезешь в прошлое...

— Все это, положим, относится не ко мне, а к нему,— возразил Борис, кивнув на меня.— Но дело не в этом. А вот что случилось с запиской? Борька, ты что-нибудь понимаешь?

Я ничего тут не понимал. Кто-то вроде заботится обо мне и Аркадии, включает хронокамеру для перехода. И в то же время кто-то крадет записку, без которой ужасающий эксперимент Аркадия теряет всякий смысл: остается факт смерти без каких-либо объяснений. Можно подумать, что этот таинственный некто умышленно создал такую хитрую путаницу: сначала украл записку, чтобы заставить меня вернуться в прошлое и тем самым изменить мировую линию, а потом подсунул нам хронокамеру, которая перебросила нас вперед по этой новой линии... Но если так, то он находится здесь же, в этом мире. Если камера доставила нас с Аркадием сюда,— значит, здесь она и была включена!

Аркадий, видимо, тоже проделал этот несложный расчет. Он нахмурил брови и решительно заявил:

— Все понятно! Он здесь! И я знаю, кто это!

Ну, правильно, тут и гадать нечего... Только один человек знал, что происходило вечером двадцатого мая в институте. Он один знал не только об Аркадии, но и обо мне. Знал, что я случайно оказался в той же камере вслед за Аркадием...

— Борька,— быстро сказал я,— ну-ка, напряги память, вспомни, что было у вас с Аркадием после той ссоры...

Борис удивленно поднял брови.

— Ничего вроде не было...— медленно ответил он.— Работали по-прежнему... Я не знаю, что тебя интересует.

— Его интересует,— вмешался Аркадий,— рассказывал тебе твой Аркадий что-нибудь о том вечере... о двадцатом мая?..

— Нет... ничего...— пробормотал Борис.— Сами понимаете, я бы тогда все знал...

Ну, правильно. Но как это могло получиться, что Аркадий ничего ему не сказал? Принимем. Аркадий вернулся в лабораторию — таблеток нет. Он начал искать — ничего не нашел, растерялся, потом... потом он бросился в зал... Зачем?

— Зачем он побежал в зал, хотел бы я знать? — пробормотал Аркадий.

И тут меня осенило.

— Ты рассказывал ему о своем уговоре с тем Аркадием... ну, который включил тебе камеру на линии III? — спросил я.

Аркадий нетерпеливо пожал плечами.

— Чего мне было ему рассказывать? Это ведь был тот же самый Аркадий, и он помнил все, что произошло при первой нашей встрече, включая уговор о камере. Он ведь только после второй встречи перешел на линию III.

— Ах, да,— сконфуженно согласился я, глядя на чертеж.— Ну, тем более... У меня вот какая идея. Когда этот Аркадий увидел, что таблетки исчезли, он, видимо, решил, что цепь событий изменилась и что ты теперь, попав снова в будущее, уже узнал об этом... И что, может быть, ты включишь оттуда ему камеру, чтобы вы могли встретиться и объясниться...

— Возможно,— согласился Аркадий.— А вместо пустой камеры он увидел тебя? Представляю, как он обалдел!

— Он скорее всего подумал, что это «его» Борис... ну, ты, Борька... что ты почему-то вернулся в институт, забрал таблетки и каким-то образом попал в камеру...

— И камера эта у него на глазах куда-то утащила Бориса,— докончил Аркадий.— Однако утром Борис преспокойно является на работу и намертво молчит о вчерашнем... Действительно, ситуация! Ведь он даже и спрашивать Бориса не решался: а вдруг в камере был какой-то другой Борис, а этот ничего не знает?

— Я-то спросил бы рано или поздно,— заметил я.— Но Аркадий Левицкий на такой риск не пойдет: а вдруг он окажется в смешном положении!

— Постойте, братцы,— вмешался Борис.— Что Аркадий мне не сказал ничего — это я понимаю, это он действительно из самолюбия... Но почему он сам-то обо всем этом вроде позабыл? Он ведь лучше Бориса знал, что перемещение возможно. Почему же Борька немедленно взялся даже за абсолютно самостоятельные расчеты, а он все эти два года ничего не делал? И потом... Аркадий, он твои расчеты знал?

— Знал! — ответил Аркадий.— Основные формулы я написал заранее, принес с собой. Таблетки выложил на стол, а сверху — листок с расчетами... Он ведь должен был их тебе оставить вместе с запиской, я же говорил...

Меня вдруг словно кипятком обдало. Я вспомнил, как в лаборатории стукнул со злости кулаком по столу... по листу бумаги... Как обнаружил под ним таблетки, завернул в этот листок, чтобы они не рассыпались, сунул в карман...

Руки меня плохо слушались, но я все же полез в карман, достал сверток с пачечками, развернул... Формулы, схемы...

— Вот...— пробормотал я, протягивая листок Аркадию.— Вот... наверное, я даже не заметил...

Я стоял, как дуран, с листком в одной руке и горстью пакетиков в другой. Два пакетика упали на землю. Аркадий поднял их, а потом сгреб у меня с ладони остальные.

— Пригодится,— сказал он, пряча пакетики в карман.— Вряд ли у меня сон улучшится после всех этих прогулочек по времени... А теперь хватит трепаться, ребята. Пойдемте.

Мы не спрашивали, куда. Ясно было, что нам необходимо найти здешнего Аркадия.

У выхода из сквера Борис остановился.

— Братцы,— смущенно сказал он,— пожалуй, лучше я один схожу... Может, он еще и не явился в институт, что ж тогда... Словом, вы меня подождите...

И он быстро зашагал к институту.

Аркадий прислонился к ограде, достал сигарету, закурил.

— Кстати,— спросил он, внимательно изучая кольца дыма,— это ты, небось, ломился вчера вечером в мою квартиру? Нигде от тебя покою нет!

— Квартира вовсе не твоя,— мстительно сказал я.— А ты нахально влез туда. Вот и пришлось удирать через черный ход! А не лазь без спросу! Так тебе и надо!

— Да ну тебя! — сердито ответил Аркадий.— Сам-то хорош! Нахально дрыхнет в комнате Левицкого, а Левицкий должен на скамейке в сквере...

— Ага! — Я сочувственно покачал головой.— То-то Левицкий таким хриплым голосом спрашивал утром по телефону Левицкого! Простудился в сквере. И мозги, видно, отсырели за ночь. Неужели нельзя было как-то остроумней намекнуть своему двойнику о себе? И вообще вел ты себя нелепо!

Аркадий вдруг обиделся.

— Нелепо! Скажите, пожалуйста, какой умный! А что мне было делать? Я как понял из слов Манарыча, что мое место здесь занято, так сразу отправился к двойнику выяснять отношения — почему он сорвал эксперимент? Гляжу, нет его дома. Я пробрался потихоньку, в последнюю минуту проскочил: только я в комнате очутился, слышу — Анна Николаевна вышла, дверь на все запоры закрывает. А Аркадия нет как нет. Я уж начал дремать — вдруг слышу: условный звонок! Аркадий так звонить не станет, он просто будет дозваниваться погромче, чтобы Анна Николаевна открыла. Значит, здешний Борис. А мне с ним, сам понимаешь, ни к чему было встречаться, не повидав Аркадия. Ну, я, естественно, ходу из квартиры. Засел в скверике, жду — он не выходит, и Аркадий не идет. Ждал я, ждал, потом примостился кое-как на скамейке и часа два-три поработал над собой... Ругал я этого Бориса последними словами, конечно: чего ему дома не спится и не сидится! Утром звоню. Ты говоришь, почему я именно насчет снотворного напомнил? Да потому, что это наверняка! Ему эти таблетки на всю жизнь запомнились, можешь не сомневаться! Но когда я в сквере опять увидел Бориса, я ему чуть морду не набил: ну, чего он у меня всю дорогу под ногами толчется!

— Слушай, ты в самом деле думаешь, что камеру отправил за нами в прошлое здешний Аркадий? — спросил я.

Аркадий пожал плечами.

— А кто же еще? Он один все знал. Ну, расчетов у него не было, оказывается... Но за два года он их вполне мог восстановить, принцип-то был ему известен... Про меня и про тебя знал тоже он один. Особенно про тебя. Никому другому и в голову не пришло бы включать автомат на двукратное возвращение. Нет, это-то дело ясное! Я вот чего не пойму: куда записка девалась?

Я со вчерашнего дня об этом думал, но все как-то мимоходом, а теперь вдруг ясно ощутил недостающее звено... Я уставился на асфальт тротуара, словно видел на нем веер расходящихся мировых линий... а среди них — еще одну, никем из нас не вычерченную, не замеченную... У меня дыхание перехватило.

— Аркадий,— с трудом заговорил я,— помнишь, я рассказывал, что меня видели в одиннадцать вечера в лаборатории?!

Аркадий нахмурился, стараясь сообразить.

— Ты думаешь, был еще один?..— после паузы сказал он.

— Ну, я ведь включил камеру на автомат...— начал я.

Я брел почти вслепую, пытаясь воссоздать ход событий, которых не видел и не увижу.

Но сейчас мне казалось, что я вижу... В лаборатории темно. Входит человек и зажигает свет. Он видит лежащего на диване Аркадия. Почему-то начинает расхаживать по лаборатории, с минуту стоит у окна, о чем-то раздумывает. Потом поспешно выходит из лаборатории... куда-то идет по боковой лестнице. Возвращается. Берет листки из записной книжки. Замечает мою камеру, зеленый глазок на пульте, подставку... удивленно смотрит на все это... идет к камере... Входит внутрь, не зная, что камера послушно ждет, пока в нее ступит человек... любой человек... чтобы автоматически закрыться и бросить этого человека на три дня вперед... туда, где меня... нет, уже его... ждут объяснения с Линьковым и с Ниной... и похороны Аркадия...

Человек, который взял записку Аркадия... Человек, которого Нина видела в окне лаборатории, а Леночка Чернышев — в коридоре... Борис Стружков... Еще один Борис Стружков.

— Я что-то не пойму, откуда он мог взяться? С какой линии? — медленно проговорил Аркадий.

— А я тебе объясню. После линии II не сразу возник «мой» мир, который мы обозначили на схеме цифрой III. Была еще одна, промежуточная линия. И вот откуда она получилась. Аркадий оставил записку... Утром ее нашли. Борис тоже ее прочел и расчеты твои видел. Он, наверное, не стал долго раздумывать, а сразу решил, пользуясь твоими расчетами, ринуться в прошлое.

— Тоже меня спасать? — жалобно спросил Аркадий.

— Вероятно,— согласился я.— Ну, а почему он появился так поздно и почему он не спас Аркадия — этого я не знаю... Одно несомненно: он почему-то,— конечно, не по злому умыслу — взял записку, шагнул в камеру и... все. Его швырнуло в двадцать третье мая,— уже на «моей» мировой линии. Он попал туда вскоре после того, как я отбыл в прошлое,— не позже, чем через час. Задержись я немного — и мы бы встретились...

— Ну, это положим,— сказал Аркадий.— Ты ведь сначала должен был привести камеру в прошлое и оставить ее там включенной. Иначе как он мог бы ею воспользоваться...

— Да, верно, это я ляпнул... Ну, все равно, факт остается фактом: он забрал записку, утром в лаборатории нашли труп... и началась история... Ну и свинью он мне подложил!

— Ты ему неплохо отплатил! — усмехаясь, сказал Аркадий.— Ни за что ни про что вышвырнуть человека в чужое будущее...

— Да... И вдобавок в будущее весьма неверное,— признался я с искренним огорчением.— Разговоров не оберешься! Как примется за него Линьков... да и другие...

И тут мы увидели, что к нам идет Борис... вернее, бежит.

— Видал? — сказал Аркадий.— Борис явно на себя накликал беду,— все жаловался, что линия у него заколдованная и неинтересная... Эй, Борька, что произошло?

Борис задыхался не так от пробега, как от злости.

— Читайте сами! — буркнул он и сунул Аркадию надорванный конверт.

Аркадий вытащил из конверта аккуратно сложенные листки.

— А почерк-то мой! — с интересом сказал он.— Это что же... расчеты?.. Хм, вот и записка... Ну, братцы, знаете! И этот Левицкий туда же!

— В прошлое? — с ужасом спросил я.

Борис-72 сердито махнул рукой.

— Ну да... Ему, видите ли, захотелось срочно исследовать окрестности точки разрыва на мировой линии... Ты, Аркадий, с ним об этом говорил...

— Было дело,— пробормотал Аркадий, читая листки.— Говорили мы... Да... А расчеты у него получше моих... Он и твою идею нащупал, смотри, Борька!

Я посмотрел. Да, этот Аркадий сделал следующий шаг, вслед за своим двойником и мной.

— Ну, видишь, я был прав! — обрадовался Аркадий.— Это он включил камеру! Он пишет — слышишь, Борька,— что перед уходом включил камеру в зале на двукратное возвращение из 1970 года... Ого! «Для людей, один из которых спас мне жизнь, а другой дал ей подлинный смысл. Для самых близких мне людей». Смотри ты, какую лирику разводят на этой спокойной линии!

Борис-72 уже остыл немного.

— Дурацкая история с этим письмом,— сказал он печально.— Аркадий его на своем столе оставил, а я даже не поглядел ни разу на его стол. Только теперь подошел — думаю, может, он приходил, записку оставил... и вижу...

— Ребята,— сказал вдруг Аркадий,— а чего мы, собственно, торчим здесь? Пошли выяснять отношения с дирекцией и прочими инстанциями. Рано или поздно придется ведь...

Когда мы подошли к проходной, Борис-72 заколебался.

— Ой, что сейчас будет, что будет, ребята! — с ужасом и восхищением прошептал он.— Так и попадают все!

— Ничего, поднимутся! — заверил его Аркадий.— Хронофизики — народ крепкий, они выдюжат!

И, распахнув дверь проходной, он громогласно заявил:

— Всем Стружковым — зеленую улицу! Шагайте, братцы!

Валя Темин задает вопросы

Без четверти девять чистый и выбритый Линьков явился в отдел и принялся выгружать из ящиков стола все свое нехитрое хозяйство. Без семи девять он уже завязывал тесемки последней папки. Без шести с половиной девять на пороге появился Савченко. Еще через три секунды, сообразив, чем занят Линьков, Савченко спросил:

— Ты что, кончил? Ну вот, а говорил — специфика!

Линьков хотел ему объяснить насчет специфики, но не успел: дверь опять распахнулась, пропуская Темина.

— Ага, ты здесь! — радостно воскликнул он, завидев Линькова.— Слушай, что мне сейчас Эдик выдал: будто у них там один не то к потомкам сиганул, не то вообще сквозь время провалился! Ты не слыхал?!

— Слыхал,— мрачно подтвердил Линьков.— Он вообще-то хотел сигануть, понимаешь, но не рассчитал, вот и провалился...

— Как же это его угораздило? — сочувственно спросил Савченко.— Не ушибся, когда проваливался?

— Ты вот шутишь,— проницательно сказал Темин,— а тут дело не шуточное! У них там для опытов поля оборудованы, понял? Вот он через поле и провалился, верно, Линьков?

— Угм,— сказал Линьков, удивляясь теминской осведомленности.

— Ну, если через поле,— тогда, конечно. Тогда каюк! Поле — оно не перина.

— Ну, безусловно, не перина! — снисходительно разъяснил Темин.— Поле — оно от тока получается, понял? А у них там токи будь здоров! Как шибанет — никакого тебе крематория не потребуется! Слушай, а его нашли? Этого, который провалился? Живой? Что рассказывает?

— Нашли,— протянул Линьков.— Живой. Говорит, позавчера погода отличная была, хоть загорай!

— Н-ну! Это я и сам знаю, что позавчера было. Он бы мне про завтра рассказал! Открыл бы, к примеру, какой номер по лотерее «Волгу» выиграет, я бы пошел, этот билет купил...

— Нельзя! — сказал Савченко, поднимая палец.— Государственная тайна! Но если ты завтрашним днем интересуешься, могу кое-что тебе открыть... Линьков завтра в отпуск идет!

— Ну, неужели?! — возопил Темин.— Кончил, значит! А, Линьков? Что ж ты молчишь? Рассказывай!

— Рассказешь тут!..— укоризненно сказал Савченко.— Ты ведь как вошел — рта не закрываешь.

— Ну, молчу я, молчу! — воскликнул Темин.

— Да я уж рассказывал...— попробовал возразить Линьков.— Ивану Михайловичу я все рассказывал, даже язык опух...

— А нам-то? Товарищам по работе! В порядке обмена опытом!

Линьков тяжело вздохнул и принялся излагать — в сокращенном, конечно, виде, на популярном уровне — историю своих приключений в добрях хронофизики. Время от времени он поглядывал на своих слушателей и с удовлетворением убеждался, что вид у них обалдевший.

— ...Ну вот, значит, пожал я ему руку и спросил: «А как там — у вас! — Эдик Коновалов поживает?» — сказал он в завершение.

— Это где же «у них»? — помотав головой, спросил Темин.— Во вчерашнем дне, что ли?

— Как это — во вчерашнем? — с деланным удивлением ответил Линьков.— Все ты, Валентин, перепутал. Я ж тебе только что объяснил, что он к нам с другой мировой линии пожаловал... из другого мира... Из такого же, как наш, только события были в нем другие...

— Туманно ты очень излагаешь...— вздохнул Темин.— У Эдика я все понимаю, а у тебя даже что знал — и то перестал понимать... Прыгают эти твои Левицкие и Стружковы как угорелые, аж зло берет! Хорошо, хоть одного кокнули! — злорадно заявил он вдруг.— Допрыгался!

— Дошел ты, Валя,— огорчился Савченко,— уже радуешься, что человека кокнули...

— Нет, вы в меня хоть стреляйте,— заявил Темин,— а я не понимаю, откуда этот второй Левицкий взялся! Он же умер! Его же вскрывали! Это что же будет, если покойники вскакивать начнут? Никакая прокуратура не справится!

— Серый ты человек,— укоризненно сказал Линьков,— умрешь от серости, даже вскрытия не потребуется, чтоб определить, от чего умер. Я же говорил — из будущего он! Как только он в прошлое попал, так от своего двойника полностью отделился, стал самостоятельным — вот и остался жив... Понял?

Валя вникал, напряженно морща лоб.

— Ни черта я не понял! — признался он наконец чистосердечно.— Вроде тараканов...

— Каких тараканов? — неимоверно изумился Савченко.

— Двойники эти...— Темин брезгливо пошевелил пальцами в воздухе.— Ползают в разные стороны, а где который — не разберешь... Ну ее, эту науку! Недаром Эдик к нам переходить собирается...

— Но пасаран! — мрачно сказал Савченко.— Займу круговую оборону и буду стоять насмерть!

— Да ты что! — обиделся Валя.— Он же парень во!

— Слушай, Александр,— спросил Савченко,— ты-то как в этом во всем разобрался, а? Неужели же сам?

— Где там... Целая бригада хронофизиков меня вытаскивала, а то конец бы мне! Это я сейчас такой герой... Ты бы на меня вчера посмотрел! В голове сплошная каша, версии одна другой путаней.

— Ничего удивительного,— посочувствовал Савченко.

Темин убежденно кивнул:

— Я вот только слушал — и то у меня, чувствую, все извилины в мозгу перепутались... Одних Левицких чуть не три штуки, а Стружковых вообще не счесть! Размножаются, как кролики...— Он с отвращением махнул рукой.

— Нет, отчего же...— возразил Линьков.— Они все-таки разные... Ну вот, например, с этим Левицким, который из будущего явился... К нему я постепенно подошел, от Стружкова, от его путешествия во времени. Сначала, значит, зацепился за саму эту возможность — отправиться в будущее или в прошлое. Потом уже и второй шаг напрашивается: в прошлом человек может встретиться с самим собой... Вот я и сообразил, что все эти факты насчет Левицкого, которые ни в какие ворота вроде не лезут, преотлично объясняются с этой точки зрения. Откуда взялся человек в запертой лаборатории, почему Левицкий с Берестовой говорил как-то невпопад, и костюм на нем Берестова видела какой-то странный, а больше никто этого костюма не видел, хотя переодеваться Левицкому было негде и некогда. Ясно, что это был другой Левицкий. Теперь, откуда он мог приходить? Конечно, из будущего,— в прошлом путешествовать по времени не умели. Из какой хронокамеры он вышел? Надо полагать, не из лабораторной, поскольку Левицкого в странном костюме встретили на лестнице. А «здешний» Левицкий сидел в это время в лаборатории. Начинаю выяснять, откуда Левицкий мог по лестнице идти: таким путем добираюсь до зала хронокамер, и оказывается, что одна камера там вполне на ходу. Ну, вдобавок я и спичечный коробок нашел, это уж просто повезло... В общем, тут никакой мистики, все согласно законам павловского учения...

— Мистики, может, и нет, но морально тяжело,— вздохнул Савченко.— А с этим вторым Стружковым как же?

— Тут я совсем уж запутался...— смущенно улыбнулся Линьков.— Он мне говорит, что выходил из камеры, а я одно про себя повторяю: «Не может быть!» Потому что я твердо знаю, что если он вышел из камеры да еще записку забрал, то в наш мир вернуться не может. А он тут как тут! Смотрю я на него и твержу, как попугай: с нашей линии сошел — на другую линию попал, с нашей сошел — на другую попал... А всего-то и нужно было — перевернуть этот самый тезис: с другой линии сошел — на нашу попал!

— Ну и что? — тупо спросил Темин, потирая лоб.— Сошел — попал, попал — сошел... Говори ты ясно, прошу тебя!

— Так я и говорю ясно! Понимаешь: раз он на нашу линию попал, значит, с другой пришел...

Темин ошалело посмотрел на Линькова, сморщился и хрипло пробормотал:

— Значит, который попал — он сначала сошел... а потом пришел... Сошел... пришел... дошел...— Он медленно поднялся, хватаясь за стул.

— Ты что, Валентин? — заботливо спросил Савченко.— Перетомился? Глаза у тебя какие-то нехорошие стали...

Темин молча помотывал головой, словно бык, оглушенный ударом.

— Ого!— воскликнул Линьков, поглядев на часы.— Мне еще в бухгалтерию надо, отпуск оформлять! Ну, я пошел...

Он подхватил свои папки, торопливо огляделся, не забыто ли что.

Смуглый, широкоплечий парень отделился от стены коридора, которую он подпирал, и решительно шагнул навстречу Линькову.

У Линькова сразу похолодело в груди.

— Александр Григорьевич,— радостно сказал Борис Стружков,— наконец-то вы освободились! Там у нас одна история в институте случилась... Да нет-нет... вы не думайте... это совсем не то, это совсем другое дело! Там, знаете, Левицкий...

Вместо послесловия

О ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДЕТЕКТИВЕ, О СВОЙСТВАХ ВРЕМЕНИ, О ДВОЙНОЙ ЛОГИКЕ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Вот мы и расстаемся со своими героями. И чувствуем при этом не только грусть, но и тревогу. Очень уж сложная судьба у них получилась по нашей вине, а мы их бросаем в трудную минуту, и кто знает, как они выкрутятся!.. Как встретят в Институте времени-1972/IV появление двух Стружковых? Удастся ли когда-нибудь нашим героям, оказавшимся на разных мировых линиях, встретиться друг с другом?

Все это, к сожалению, покрыто весьма густым мраком неизвестности.

Недавно мы встретились со своими героями за чашкой кофе. И Линьков сообщил, что некоторые из его знакомых, прочитав нашу книгу, были разочарованы. Например, Валя Темин выразил такое мнение: «Не тянет эта штука на детектив: слишком много всякой науки напихано!» А Борис добавил, что Эдик Коновалов, наоборот, заявил: «Никакая это не фантастика: приключений мало, а рассуждений всяких завались. И вообще — труха!»

Нина Верестова, которая пришла вместе с Борисом, сказала, что суждения Темина и Коновалова поверхностны и неинтересны. Ей же лично кажется, что в нашей книге действительно есть серьезный недостаток: уж слишком свободно мы обращаемся со временем, и хотела бы она знать, имеются ли какие-то научные обоснования для того, что мы написали про время.

В общем, нам в тот вечер здорово влетело от читателей. И мы поняли, что были не правы, полагая, будто нам достаточно написать книгу, а дальше читатели пускай сами разбираются. Мы обязаны рассеять все недоумения и объяснить читателю, почему мы написали так, а не иначе.

Итак, прежде всего — почему? «Что такое фантастический детектив?» — спросит читатель, который об этаком гибриде никогда и не слыхал. И не мудрено: ведь в советской литературе такой жанр фактически не существует. И мы сразу же обратились к мировой литературе в поисках образцов.

Но жанр фантастического детектива явно не пользовался особым вниманием и среди зарубежных писателей. После долгих поисков мы обнаружили всего две книги, в какой-то мере отвечавшие нашим представлениям о том, как должен выглядеть наш гибрид. Это были романы Айзека Азимова «Стальные пещеры» и «Нагое солнце».

Здесь было все, как положено в детективе: труп на первых же страницах, следователь, загадка, логические рассуждения. Все здесь было, как положено в фантастике: общество будущего, космические ракеты, мыслящие роботы, планеты дальних солнц. Преступление было неразрывно связано с фантастическим открытием, расследование убийства переплеталось с научным поиском.

И тут мы поняли, почему этот замечательный жанр так скудно представлен в литературе.

Дело в том, что, если пишешь фантастический детектив, приходится следовать двойной логике.

Ведь герой детектива раскрывает преступление и находит преступника на основе анализа фактов и строгих логических рассуждений. Из малозаметных деталей он строит сложную цепь догадок и в конце концов воссоздает подлинную картину происшествия. Своим успехом он обязан аналитическим способностям человеческого разума.

В фантастике герой попадает в необычные, странные, иногда фантастические условия, и главным его оружием опять-таки являются логические рассуждения. Сопоставляя события, обстоятельства, детали, он постепенно, шаг за шагом приходит к пониманию сущности происходящего, совершает научное открытие или просто находит необычный, но логически обоснованный выход из предложенной необычной ситуации. И своим успехом он тоже обязан аналитическим свойствам нашего разума.

В фантастическом детективе действует двойная логика. Ведь преступление здесь непременно связано с каким-то фантастическим научным открытием. Поэтому следователь вынужден тут рассуждать, как ученый, а ученый — как следователь.

И поэтому мы пошли на компромисс.

Мы решили, что у нас будут два равноправных главных героя. Один будет ученый, а другой — следователь. И оба они будут соревноваться в разгадывании как самого преступления, так и его научной подоплеки. Мы поставим их в одинаковые условия, вооружим одинаковым знанием фактов и поглядим, кто раньше придет к цели. А чтобы никто из них не имел форы, мы решили, что каждый получает право на очередной ход только после хода другого.

Так сама собой определилась необходимость чередовать главы «хронофизические» с главами «следовательскими». Право первого хода было решено жребием. Все остальное зависело уже от самих героев. Понятно, каждый из нас пытался помочь своему герою и осложнить задачу другому, но в конечном счете оба героя оказались на высоте.

И вот, когда все было готово и оставалось только выстрелить из стартового пистолета, мы вдруг увидели, что забыли небольшую, но весьма существенную деталь.

Мы забыли придумать само преступление!

Законы избранного нами жанра требовали, чтобы преступление было совершено с применением научно-фантастических средств. Очень соблазнительно было совершить преступление руками человекоподобного робота, но мы вовремя спохватились — это уже было у Азимова. Впутывать в историю инопланетных пришельцев нам не хотелось. И тогда полилась дерзкая и, как оказалось впоследствии, злополучная мысль — воспользоваться путешествиями во времени!

Так была решена судьба Аркадия Левицкого: ему предстояло погибнуть во имя науки.

И тут мы поняли, что раз мы собираемся писать о науке, то, значит, и книга наша должна быть научной по духу, то есть предельно логичной и реалистичной.

Но как это может быть — реалистическая книга о заведомо фантастическом событии?

А вот так. Пусть идея, лежащая в основе сюжета, и фантастична. Но все следствия из нее должны быть выведены с предельной научной строгостью. Все возникающие возможности должны быть прослежены в абсолютном соответствии с логикой. Никаких обманов, никаких передержек и фокусов за спиной у читателя! Если логика приводит к выводу, что человек, однажды убитый, должен воскреснуть, мы не будем стыдливо закрывать глаза и делать вид, что он все-таки умер. Нет, мы честно признаем суровую правду: да, воскрес! И не только признаем, но и покажем, почему, на каком научном основании это неизбежно должно было произойти.

Мы хотели, чтобы читатель все понимал, все замечал — и верил нам не слепо, а обоснованно. Поэтому мы добросовестно посвящали его во все тайны хронофизики,— пускай глядит и убеждается, что нигде нет подвоха.

И каждый шаг приходилось объяснять и читателям, и самим себе, и героям... Да, мы с горечью признаемся, что наши герои далеко не всегда оказывались на высоте положения! Они то и дело запутывались в паутине мировых линий, забывали, кто есть кто, где есть где и когда есть когда. От них помощи ждать не приходилось, а между тем соавторы сами позорно сбивались с толку и растерянно спрашивали друг друга: «Слушай, это который же Аркадий?» или: «А этот Борис откуда еще взялся?!»

Намучившись сами, мы поняли, что просто обязаны приложить к роману те чертежи, которые были единственным нашим компасом на перекрестках времени. Обязаны, если не хотим, чтобы читатель так же отчаялся что-либо понять, как наш Валя Темин.

Но, увидев, что получилось, мы вдруг усомнились: что же это такое? Детектив или задачник по хронофизике?

Поразмыслив, мы решили, однако, что первенец нового жанра должен казаться странным именно потому, что жанр новый и непривычный для всех, включая самих авторов. Успокоив себя этими соображениями, мы отнесли роман в редакцию и стали ждать, что будет дальше.

Судя по отзывам Темина и Коновалова, наша попытка сочетать свободу художественного вымысла со строгостью научного анализа, срастить логику расследования с логикой исследования потерпела неудачу.

Но мы еще не теряем надежды. Быть может, найдутся такие читатели, которым придется по вкусу наш логический пуризм, наша бескомпромиссная честность в борьбе с парадоксами времени, наш непривычный в художественном произведении, но близкий их сердцам строгий и последовательно научный подход к фантастической посылке.

Только эта надежда поддерживает нас, когда мы вспоминаем о главах, набитых нескончаемыми хронофизическими рассуждениями. «Трухой», как сказал бы Эдик...

Нам осталось еще разъяснить, что научно и что фантастично в этих рассуждениях, и показать, что научен в них метод, а фантастична лишь исходная посылка.

Среди всех проблем, предложенных фантастами вниманию широкой общественности, проблема путешествий во времени является, несомненно, самой актуальной.

Марктвеновский «Янки при дворе короля Артура» путешествовал во времени без помощи всяких технических устройств — его просто стукнули дубинкой по голове. Вот до чего примитивна была техника всего восемьдесят лет назад! Сегодня, чтобы совершить даже самое простенькое путешествие в завтра или вчера, нужны хронокамеры, времебусы, вечемобили и прочие солидные транспортные устройства. И виновен в этом, несомненно, Герберт Уэллс, который еще в конце прошлого века («Машина времени», 1895) ребром поставил вопрос о роли техники в хронопутешествиях, хотя одновременно постарался отбить у читателей охоту к таким путешествиям.

С легкой руки Уэллса фантасты впоследствии так упорно атаковали проблему путешествий во времени, что даже видавшая виды общественность обратила внимание на это упорство и задумалась: а нет ли тут и в самом деле «чего-то»?

Не будем перечислять имена и названия книг, большинство которых известно читателю. Обратим лишь внимание на то, что сегодня никто не отправляет героев в будущее (или в прошлое) только для того, чтобы описать это самое будущее. Эпоха «чистых» путешествий во времени сменилась эпохой «временных парадоксов».

Широко эксплуатируется, например, «парадокс дедушки». Вы отправляетесь в прошлое и случайно убиваете там человека, который впоследствии должен был стать вашим дедушкой. В результате ваша бабушка не выходит за него замуж, не появляется на свет один из ваших родителей и, стало быть, не появляетесь на свет и вы. Да, но если вы не родились, то как вы могли отправиться в прошлое?!

Вот эти-то парадоксы мы и хотели исследовать. И мы начали с того, что продолжили до логического конца намеченные нашими предшественниками рассуждения.

Человек отправляется в прошлое; может ли он встретить там самого себя? Очевидно, может — об этом говорят факты (смотри, например, автобиографический рассказ М. Емцева и Е. Парнова «Снежок»). А если так, то может ли он убить сам себя? Тоже, очевидно, может. И что же тогда будет?

Заметим, что нас интересовала не столько моральная и юридическая сторона вопроса, сколько его логический аспект. Тем более, что моральные и юридические проблемы, связанные с этим, выглядят весьма запутанно. Впоследствии, возможно появится нечто вроде хронокодекса, а пока...

Итак, повторяем: если путешествия во времени возможны, то мы неизбежно должны допустить и возможность встречи человека с самим собой. Но тогда это два физически раздельных существа, два человека, один из которых может и убить другого. Что же тогда произойдет?

Мы долго ломали голову над своим парадоксом. Прежде всего мы убедились, что ни один фантаст почему-то не доводил своих рассуждений до этого, казалось бы, логически очевидного конца. Тогда мы стали выяснять, какие решения были предложены для других случаев. Мы рассуждали так: по существу, Аркадий собирается особым образом сделать то, что много раз делалось в фантастике, а именно — изменить прошлое. Посмотрим, что должно при этом произойти в будущем.

Согласно Рэю Брэдбери (рассказ «И грянул гром»), даже самое ничтожное изменение прошлого приводит к кардинальным переменам в далеком будущем. Согласно Айзеку Азимову («Уродливый мальчуган»), воздействие, оказанное на прошлое, постепенно «затухает» во времени, подобно кругам, расходящимся по воде от брошенного камня. Только специально рассчитанные воздействия (МНВ из романа того же автора «Конец Вечности») могут привести к заметным изменениям будущей истории. Согласно Роберту Хайнлайну («Дверь в лето») и Генри Каттнеру («Работа по способностям»), человек, явившись в прошлое, не может изменить свою будущую судьбу, ибо она создана «намертво»: поэтому он может только повторять уже совершившиеся события. Очевидно, в частности, что в его судьбе было предусмотрено также и это возвращение в прошлое и все, что он при этом сделает. Такого рода биография содержит, стало быть, то, что мы называем «временной петлей». Наконец, согласно Меррэю Лейнстеру («Рядом во времени»), всякое вмешательство в прошлое создает как бы ответвление от уже происшедшей истории: возникает мир, «параллельный» нашему во времени, но с другой историей (начиная с момента вмешательства).

Мы перечислили только главные варианты найденных нами ответов. Неискушенному читателю может показаться, что между решениями Брэдбери и Лейнстера нет существенной разницы. Для такого читателя заметим, что, по Брэдбери, мир един, и человек, изменив его историю, просто создает вместо него другой мир, а по Лейнстеру, миры с разными историями существуют бок о бок,— это параллельные миры, миры-варианты.

Итак, в фантастике мы не нашли ответа на мучивший нас вопрос: что произойдет с Аркадием-72, когда Аркадий-70 покончит самоубийством? Мы даже начали понимать своего героя: если его также мучил этот вопрос, то не удивительно, что он попытался решить его экспериментально. Ведь что ни говори, для нас это вопрос теоретический, а для него, непосредственно занимающегося проблемами хронофизики, это такая же животрепещущая задача, как, скажем, для автомобилестроителей задача создать надежную машину. Известно, что самолеты, автомашины и прочие транспортные средства подвергают при испытаниях самым серьезным пробам, вплоть до разрушения; аналогично должно, по-видимому, обстоять дело и в нашем случае.

Отчаявшись найти ответ и не располагая теми возможностями экспериментальной проверки, какими располагали наши герои, мы решили рассуждать сами.

Допустим, сказали мы себе, путешествие во времени возможно. Тогда нужно допустить, что возможна и встреча с самим собой. Вот стоит друг против друга два Аркадия: один — из прошлого, другой — из будущего. Предположим, что они решили с этого момента не расставаться. К чему это приведет?

Понятно, что вместо мировой линии одного Аркадия мы получим теперь две мировые линии двух Аркадиев, протянутые рядышком в будущее. Предположим, что наши герои опять дожили до того самого 1972 года, откуда стартовал «Аркадий-путешественник». Означает ли это, что кто-нибудь из них должен теперь сесть в машину времени и отправиться обратно, в 1970 год? Разумеется, нет — ведь каждый из них свободен в своих поступках (никакой мистики мы не признаем, поскольку оба являемся убежденными диалектическими материалистами, что легко заметить по нашей книге). Остается признать, что «новый» 1972 год отличается от «исходного», и, следовательно, приход Аркадия из будущего изменил историю мира, создал несколько иную историю, в которой уже не обязаны повторяться прежние события. Да и как они могут повторяться, если теперь вместо одного Аркадия сразу два!

Так, шаг за шагом, мы выясняли для себя все новые и новые детали несуществующей науки — хронофизики. Мы, конечно, не собираемся превращать послесловие в учебник, поэтому ограничимся здесь только главным выводом: попытка логически строгого рассмотрения путешествий во времени (предпринятая в нашей книге) неизбежно приводит к весьма любопытному выводу — для того, чтобы путешествия во времени были возможны, свойства времени должны отличаться от тех, которые уже известны нам.

Например, должно существовать надвремя — нечто вроде единых мировых часов. По каждому их «звоночку» все минуты обычного времени сдвигаются на один шаг вперед. Если бы кто-нибудь мог попасть в это надвремя, он увидел бы оттуда все наше время сразу — от бесконечно прошлой до бесконечно будущей минуты. И еще он увидел бы, как весь этот ряд минут скачками движется вперед.

Кто же это мог бы смотреть на обычное время

из надвремени? Ну, понятно, хронопутешественник! Если б он мог высунуться из своей хронокамеры. Но в том-то и беда, что он не может этого сделать — ведь его переход длится «всего ничего»!

И, разумеется, время должно обладать свойствами, при которых возможно возникновение «разветвляющихся миров».

В общем, это время, весьма интересное по своим физическим свойствам. А открыть эти свойства можно очень простым способом. Сядьте поудобней в кресло и подумайте: допустим, что путешествие во времени возможно,— что тогда?

И вот тут-то нас настиг сакраментальный вопрос: обоснованны ли подобные предположения о свойствах времени? Мы даже будто бы увидели на фоне книжных полок смутный силуэт некоего строгого гражданина, который укоризненно грозил нам призрачным пальцем и выговаривал: «Фантазируете? С временем балуетесь? А время-то, оно ведь форма существования материи, штука фундаментальная! И опять же: если имеется хоть какая-то возможность путешествий во времени, то почему их никто до сих пор не осуществил? Почему не прибывают к нам наши потомки?»

Мы сразу узнали этот скрипучий голос. Ну, конечно, это он, завсегдатай наших дискуссий о фантастике, тот самый, который упорно твердит, что фантастика должна быть «строго научной».

Мы хотели ему ответить, но незваный гость уже исчез (видно, торопился на очередную дискуссию). Поэтому нам приходится изложить свой ответ в письменном виде.

Время, конечно, вещь фундаментальная. Но и самые фундаментальные понятия в физике зачастую подвергаются пересмотру, когда к этому вынуждают факты. Разве не в этом состояла сущность великих открытий Эйнштейна и Бора?

А если говорить о фактах, то мы, в сущности, слишком мало еще знаем о свойствах времени. Всего лет семьдесят назад считалось, что время абсолютно, что оно одинаково течет для всех материальных тел во вселенной. А потом теория относительности доказала, что это не так. И даже указала на этом основании способ, которым один путешественник может обогнать во времени другого. Ученые все еще спорят о том, можно ли такой обгон осуществить на практике, а уже надвигаются новые открытия. Исследователи микромира начинают поговаривать о том, что для элементарных частиц время, может быть, «квантовано», то есть состоит из мельчайших неделимых порций-квантов и поэтому не «течет», а скорее движется скачками, сразу на целую порцию. Ленинградский физик Зисман, а затем его американский коллега Фейнман доказали, что античастицы - это обычные частицы, движущиеся «вспять во времени». Это означает, что мы с вами можем наблюдать, например, столкновение электрона со своей античастицей — позитроном, как будто это две разные частицы, а на самом деле все это один и тот же электрон, только до столкновения он двигался вперед во времени, а после столкновения — назад, из будущего к прошлому. Другой «тандем» физиков — Терлецкий (СССР) и Файнберг (США) теоретически доказывает возможность существования частиц, которые движутся быстрее света и способны переносить энергию против течения времени. Английский ученый Доббс выдвигает и обосновывает гипотезу, согласно которой время в микромире двумерно, то есть одно и то же событие по одной шкале продолжается, скажем, мгновение, а по другой — бесконечно долгое время. Он удачно объясняет с помощью этой гипотезы некоторые удивительные свойства атомного мира. Немецкий математик Гедель нашел такое частное решение уравнений общей теории относительности, которое описывает вселенную с совершенно необычайными свойствами: в ней может существовать «замкнутое», «циклическое» время. Как пишет в своей замечательной книге о времени Уитроу, «в модели Геделя теоретически возможно путешествовать в любую сторону прошлого и будущего, и совершать, следовательно, замкнутые путешествия во времени, аналогичные замкнутым путешествиям в пространстве, с которыми мы все знакомы».

Этот длинный перечень новых догадок, гипотез и открытий неопровержимо свидетельствует: начинается активное наступление на загадки времени! Пока что речь идет о времени на микроскопическом или космическом уровне. То время, в котором мы живем, время макроскопическое, сохраняет свою одномерность, однонаправленность, необратимость и другие неприятные для фантаста свойства. Но, во-первых (и об этом всерьез говорят некоторые ученые), кто может поручиться, что мы, существа, устроенные совершенно определенным образом, способны воспринимать ВСЕ свойства времени? Может быть, как раз те из них, которые связаны с «необычными эффектами», таковы, что мы их попросту «не видим» и потому считаем эти эффекты невозможными? Не видим же мы, например, рентгеновских лучей!

А во-вторых, напомним, что явлениями микроуровня и космоуровня были и процессы в плазме и термоядерные реакции, а сейчас человек научился их осуществлять в макромасштабе. И если время микромира обладает какими-то особыми свойствами, то рано или поздно человек тоже поставит их себе на службу. Может быть, мы начнем путешествовать во времени с помощью гигантских атомно-кибернетических установок, где путешественника будут сначала расщеплять на элементарные частицы, а потом собирать снова (конечно, собирать будет куда труднее, чем расщеплять, но без этого все путешествие вообще-то лишается смысла). И еще, может быть, цена такой победы над временем будет состоять в пересмотре многих сегодняшних представлений — о причинности, о самом времени. Но ведь за любую победу приходится платить; главное — чтобы после расплаты еще осталось, чем отпраздновать победу.

Тень угрюмого критика опять нависает над нами и попрошает: а не идете ли вы против диалектического материализма в этих своих рассуждениях?

Должны признаться со всей откровенностью: нет, не идем. Диалектический материализм не навязывает никаких конкретных свойств ни времени, ни пространству, ни материи. «Единственное свойство материи, с признанием которого связан диалектический материализм,— это быть объективной реальностью». Так говорил Ленин. Мы голосуем за эти слова — всеми четырьмя руками!

Литературный анонс

Иван ЕФРЕМОВ

ОТ АВТОРА.

Роман «Таис Афинская» основан на известном по античным источникам историческом эпизоде: сожжении Персеполиса знаменитой афинской гетерой, участвовавшей в походе Александра Македонского.

Выбор эпохи для настоящего романа сделан не случайно. Меня интересовало время Александра Македонского, как переломный момент истории, переход от свирепого национализма пятого-четвертого веков до нашей эры к более широким взглядам на мир и людей, первым проявлением общечеловеческой морали, появившимся в третьем веке со стоиками и Зеноном.

В то время человек по месту своего рождения или постоянного жительства получал как бы второе имя: афинянин, беотиец, спартанец. Поэтому в романе читатель будет часто сталкиваться с подобными полуименами.

Мне представилось интересным показать древнейшие религиозные культы — остатки матриархата, связанные с великой женской богиней, которые исчезают, точнее, теряют заметное влияние в эпоху эллинизма.

Поэтому главное действующее лицо должно было быть женщиной, допущенной к тайным обрядам женских божеств и, разумеется, достаточно образованной, чтобы, не страдая узким религиозным фанатизмом, понимать происходящее.

В эпоху Александра такой женщиной могла быть только гетера высшего класса. Таис, как реальная историческая личность, как нельзя лучше подходит для этой цели. Гетеры, особенно афинские, были женщины выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени. Самое слово «гетера» означает «подруга», «товарищ».

Плохую услугу гетерам оказал Лукиан Самосатский, предавший пошлому осмеянию многие древние обычаи и выставивший гетер как вульгарных блудниц, а Афродиту — богиней разврата. К сожалению, эта традиция подчинила себе многих последовавших за ним авторов.

Современному читателю может показаться чрезмерным изобилие храмов, статуй, преувеличенным значение художников и поэтов... Следует знать, что вся духовная жизнь того времени вращалась вокруг искусства и поэзии, в меньшей степени философии. Эллин не мог представить себе жизни без любования подолгу и многократно предметами искусства, созерцания прекрасных построек для психической разрядки и отдыха. Нечто похожее мы видим в современной Японии: созерцание камней, цветов, самоуглубленное слияние с природой в чайных домиках над лотосовыми прудами...

Еще большее значение имело для эллина созерцание человеческой красоты, прежде всего — в живых людях, а не только в статуях, картинах и фресках. Очень много времени они посвящали своим атлетам, гетерам, танцовщицам. Значение художников, как воплотителей красоты, и их живых моделей было огромно и не имело аналогий в последующих временах и странах, за исключением Индии, в первом тысячелетии нашей эры.

Полностью роман «Таис Афинская» подготовлен к печати в журнале «Молодая гвардия».

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Александр позвал на пир, кроме своих друзей-военачальников, избранных друзей, историков и философов, еще восемь человек высшей персидской знати.

Странным образом, никого из женщин, кроме Таис, не пригласили сюда, в тронный зал Ксеркса, где за столом собралось все командование победоносной армии.

Платформа с громадами белых дворцов чернела обрывом в тридцать локтей высоты под звездами ранней южной ночи. Сквозь зубчатое ограждение террасы пробивались широкие лучи света от плясавших в бронзовых котлах языков пламени горящего масла.

Поднимаясь по широкой белой лестнице в сто ступеней, Таис чувствовала, как нарастает в ней смешанное с тоской лихое возбуждение, точно перед выходом в священном танце. Она увидела стену восточных гор в отсвете звездного безлунного неба. Словно завеса разорвалась перед ее мысленным взором. Она перенеслась в напоенную золотом солнца и сосен Элладу, услышала журчание и плеск чистых ручьев в обрывистых, мшистых ущельях; белые, розовые, бронзовые статуи нагих богинь, богов и героев, яркие краски фресок и картин в пинакотеках, жилых домах. Прошла босыми ногами по теплой пыли каменистых тропинок, спускающихся к лазурному морю. Ки-

нулась, как в объятия матери в детстве, в волны, несущие к благоуханным пестрым берегам то ласковых нереид — девушек моря, спутниц Тетис, то бешеных коней Посейдона, развевающих пенные гривы в шуме ветра и грохоте валов.

— Таис, очнись!— ласково притронулся к ее обнаженному плечу Леонтиск.

Афинянка вернулась на платформу дворцов Персеполиса, под сень огромных крылатых быков Ксерксова павильона. Вздрогнув, гетера поняла, что простояла здесь несколько минут, пока терпеливый тессалиец решился напомнить, что все собрались в стоколонном зале Ксеркса. Таис прошла насквозь привратную постройку с четырьмя колоннами и тремя входами по 25 локтей высоты, минуя выход направо, к ападане и дворцам Дария. Она направилась по краевой дорожке снаружи стены к северо-восточной части платформы, где располагались помещения Ксерксовых дворцов и сокровищница. Здесь она не боялась, что на ее чистейший белый наряд попадет копоть от огромных пылающих чаш. Ночь выдалась тихая, клубы черного дыма взвивались вертикально, и сажа не летела по сторонам. Леонтиск пошел направо, по дорожке из плит сверкающего известняка, через не законченный постройкой четырехколонный павильон, на площадке перед тронным залом Ксеркса. Широкий портик с шестнадцатью тонкими колоннами также освещался чашами. Тут горел бараний жир, не дававший ни запаха, ни копоти и употреблявшийся персами для светильников во внутренних помещениях. Таис вошла в мягкий полусвет гигантского зала и остановилась у одной из ста колонн, которые, несмотря на пропорциональную стройность, заполняли зал, как пальмовые стволы рощу. Западный угол зала, ярко освещенный и уставленный столами, заполняла шумная толпа слуг и музыкантов, из-за которых Таис не сразу увидела пирующих. Группа девушек-флейтисток расположилась между колоннами. Другие музыканты устроились в конце линии столов, у крайнего ряда колонн, за которыми виднелись колышимые сквозняком тяжелые занавеси на высоких трехстворчатых окнах. Таис глубоко вздохнула и, подняв голову, вышла на свет множества лампионов и факелов, прикрепленных к стенам. Приветственные крики и хлопанье в ладони взорвалось бурей, когда хмельные сподвижники Александра увидели афинянку. Она стояла неподвижная несколько минут, как бы предлагая всем полюбоваться собою без надменного величия, всегда требующего унижения и умаления другого человека. Таис предстала перед пирующими с великолепным чувством внутреннего покоя и достоинства, которое дает возможность не бояться хулы и не преодолевать смущение заносчивостью.

Гости Александра избалованы доступностью женщин. Огромное количество пленниц, рабынь, музыкантш-аулетрид, вдов перебитых персов, любого возраста, нации, цвета кожи, на любой вкус неизбежно испортило отношение к женщине, как к драгоценности, воспитанное в Элладе и перенимаемое македонцами. Но Таис, известная гетера, была куда более недоступной, чем все женщины в окружении македонской армии. Перед лампионами, освещенная насквозь через тончайший хитон, улыбаясь, она поправила непокорные волосы и затем неторопливо пошла к подножию трона Ксеркса, где восседал великий полководец. В ее походке торжество женской красоты и наслаждение собственной гибкостью сочетались с той стройностью линий, которую воспел поэт в гимне о Каллирое. Плавные изгибы струились от плеч к ступням, словно стекая по твердому полированному камню ее тела и «пели движением», как волны источника Каллирои.

У легко воспламеняемых красотою эллинов дыхание замирало и глаза следили за каждым шагом Таис. В расцвете неполных двадцати пяти лет, она обладала той древней красотой, которая не имеет возраста.

Персы, никогда не видевшие Таис, сразу поняли, что перед ними — сокровище Эллады, где множество поколений, преданных здоровью и нелегкому труду земледельца на скудных морских побережьях, живя в слиянии с природой, создали великолепный облик человека. Они не знали, что в Таис была примесь еще более древней, тоже здоровой и сильной крови морского Крита, родственников и современников прародителей народов Индии.

Таис уселась у ног Александра, рядом с Птоломеем. Прерванный ее появлением пир возобновился. Только что гонец привез донесение, что казна, захваченная в Сузе и Персеполисе, прибыла благополучно. По предварительным подсчетам, в распоряжении Александра оказалось больше ста пятидесяти тысяч талантов золота, серебра и драгоценностей еще на 20—30 тысяч талантов. О таком богатстве не могла мечтать вся Эллада. Шестьсот тысяч жителей родной Македонии могли бы быть богатыми на несколько поколений. Если всю эту массу богатства перевезти в страны Эллады, Македонию, Ионию, то оно обесценило бы все состояния и разорило бы всех имущих. Александр решил хранить добычу за семью стенами.

Еще одна радостная весть: криптии, разведчики севера, донесли, что Дарию не удалось собрать большого войска. Две тысячи наемников, три-четыре тысячи легкой кавалерии не составляли угрозы для победоносной армии. Добить врага и покончить с бывшим «царем царей» теперь было сравнительно простой задачей.

И опьяненные неслыханными победами, восхищенные гигантской добычей, множеством рабов и просторами лежавшей в покорности страны, ветераны македонской армии неустанно поднимали чаши, славя великого Александра, хвастая победами, проливая внезапные слезы о погибших товарищах.

А двадцатишестилетний герой чудовищных сражений, повелитель Египта, Финикии, Сирии, Малой и Великой Азии, пьяный своей силой, успехом, вином и еще более великими замыслами, с любовью смотрел на шумных товарищей, положив могучие руки на золотые с синей эмалью подлокотники трона грозного опустошителя Эллады. С беспечной улыбкой, склонившись к Таис, он спросил вполголоса, почему она в простом наряде.

— Разве ты не понял? Я только что похоронила...

— Кого? Что ты говоришь!

— Царицу амазонок и... свою любовь,— едва слышно добавила афинянка.

Александр нахмурился, откинулся на спинку трона. Птоломей подумал, что царь разгневался, и, чтобы перебить разговор, стал громко просить Таис станцевать.

— Здесь негде. Я лучше спою,— ответила гетера.

— Спеть, спеть! Таис будет петь!— раздались восхищенные возгласы со всех сторон. Шум стих, сильно опьяневших соседи утихомирили пинками. Таис взяла у музыканта семиструнную китару с колокольчиками и запела ударным гекзаметром старинный гимн о персидской войне, о сожженных Афинах и боевой клятве не служить ничему, кроме войны, пока последний перс не будет выброшен в море. Яростную мелодию Таис пропела с таким темпераментом, что многие повскакивали с мест, отбивая ногами такт и раскалывая о колонны ценные чаши. Вскоре весь зал загремел боевым напевом иско-

верканных аттических слов. Сам Александр встал с трона, чтобы принять участие в песне. С последним призывом всегда помнить о злобе врагов и особенно сатрапа Мардония Таис швырнула китару музыкантам и села, прикрыв лицо руками. Александр поднял ее за локоть вровень со своим лицом. Целуя Таис, он сказал, обращаясь к гостям:

— Какую награду присудим прекрасной Таис?

Перебивая друг друга, военачальники стали предлагать разные дары, от чаши с золотом до боевого слона. Таис подняла руку и громко обратилась к Александру:

— Ты знаешь, я никогда не прошу наград и подарков. Но, если тебе хочется, разреши сказать речь и не гневайся, если она тебе не понравится.

— Речь! Речь! Таис, речь! — дружно заорали воины. Александр, весело кивнув, выпил неразбавленного вина и снова опустился на трон. Леонтиск и Гефестион расчистили место на столе, но Таис отказалась.

— Человек не должен становиться ногами туда, где он ест. Это привычка варваров! Дайте мне скамью!

Услужливые руки мигом поставили тяжелую скамейку, отделанную слоновой костью. Таис вскочила на нее, похлопала в ладоши, призывая к вниманию. Она могла бы и не делать этого. Все взгляды были прикованы к ней.

Гетера начала со слов благодарности Александру за приглашение. Птоломею и Леонтиску — за помощь в странствовании и чудесного коня. Этот конь дал ей возможность не только проехать десять тысяч стадий через страны Сирии и Финикии до Вавилона, но и единственной из эллинских женщин совершить молниеносный поход в пять тысяч стадий до Персеполиса.

— Этот город, — продолжала Таис, — сердце и душа Персии. К моему великому удивлению, кроме сокровищ и роскошных дворцов, здесь нет ни храмов, ни собрания ученых и философов, ни театров, ни гимнасионов. Не созданы статуи и не написаны картины, прославляющие красоту и подвиги в образе людей и божественных героев. Кроме надменных, толстомордых быков — царей, принимающих дары и процессии раболепствующих и пленных, здесь нет ничего. Чащи колонн по сорок локтей на платформе в тридцать локтей высоты — все это лишь для того, чтобы возвысить владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные эллины, ионийцы, македонцы и фракийцы, толпу которых мы встретили? Ради этого свирепый Ксеркс со своим злым сатрапом принес кровь и смерть в Элладу, дважды сжигал мои родные Афины, увел в плен тысячи и тысячи искусных мастеров нашей страны? Я здесь одна с вами, герои-победители, повергшие в прах могущество недобрых владык. Я служу богине красоты и знаю, что нет хуже преступления, чем поднять руку на созданное человеком прекрасное. Но если это служит злой власти? Тогда оно всего лишь обман, ибо нет красоты без добра и света!

Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины одобрительно и грозно загудели. Гетера вдруг выпрямилась, как тетива.

— Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии! Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длящиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад?! Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшийся в покои господина?

Голос афинянки, высокий и звенящий, хлестнул словами, как бичом. Александр вскочил, будто ужаленный. Люди оцепенели. В зале слышалось прерывистое дыхание и потрескивание светильников.

Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову, как в ожидании удара.

— Что же ты хочешь, афинянка? — спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули.

Вся напрягшись в волевом усилии, Таис еще раз поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса и движений, подчинявших беспрекословно толпы людей.

Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку.

— Огня! — звонко вскрикнула она на весь зал. Александр обхватил ее за талию, сорвал со скамьи и подвел к стене.

— Возьми! — Он снял факел и подал гетере, сам взял второй. Таис отстранилась в почтительном поклоне.

— Не мне первой! Начать приличествует тому, чей божественный разум и сила привели нас сюда!

Александр повернулся и повел вдоль стен Таис за руку. Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов.

Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кликами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом. Ошеломленные персы заметались, прикрывая лица. Нерастерявшийся Птоломей вытолкнул их в портик.

Прошло всего несколько минут после окончания речи Таис, а зал Ксеркса, пустая сокровищница и помещения охраны были в огне. Подожгли и ападану, откуда огонь перекинулся (или был перенесен) на жилые дворцы Дария и Ксеркса в юго-западном углу платформы. Оставаться на ней не было возможности. Александр, не отпуская руки Таис, сбежал по северной лестнице на городскую площадь. Здесь, окруженный военачальниками, он стоял, зачарованно глядя на титаническое пламя, взвивающееся в почерневшее небо. Балки крыш и потолков, простоявшие столетия, на сухой жаре вспыхивали, как облитые горючим маслом. Серебряные листы кровли плавились, низвергаясь ручьями жидкого металла на лестницы и плиты платформы, разбивались и, застывая, летели звонкими раскаленными лепешками в пыль городской площади. Пламя ревело и свистело, перекрывая вопли жителей, столпившихся у края площади, боявшихся приблизиться.

Звездное небо, казалось, потухло. Никто никогда не видел более черной ночи, окружавшей слепящий жар исполинского костра. Люди взирали на пожар с суеверным ужасом, будто не руки Александра и маленькой афинянки сделали это, а силы подземного мира и ввергнутых туда титанов вырвались на поверхность Геи. Жители города падали на колени в предчувствии большой беды. И действительно, ни Александр, ни его военачальники не стали сдерживать воинов, для которых пожар дворцов послужил сигналом к грабежу. Вскоре отдельные очаги пламени стали загораться в черноте ночи среди садов. Толпа ошеломленных горожан разбежалась спасать имущество от распалившихся македонцев. С раздирающим уши треском одно за другим стали проваливаться перекрытия, выбрасывая вихрящиеся столбы искр.

Александр вздрогнул и, очнувшись, выпустил руку Таис, онемевшую в крепкой ладони царя. Он устремил на гетеру пристальный взгляд, как после речи в зале, и вдруг вскрикнул:

— Уйди!

Таис подняла руку перед лицом, будто защищаясь.

— Ты знаешь свои слабости, побеждаешь их, и это дает тебе силу и власть над людьми.

— Так моя слабость — женщины? Никто не говорил мне этого!

— И не мудрено. Не в женщинах, а в божественно-безумном стремлении ко всему недостижимо далекому — твое сердце. Ничего нет в мире неуловимее женской красоты. И ты уклоняешься от этой безнадежной борьбы, вести которую обречены лишь поэты и художники. Красота ускользает, как черта горизонта. Ты выбрал горизонт и уйдешь туда.

— А когда вернусь?

— О том знают лишь мойры. Гелиайне, великий царь!

— Прошу тебя, останься пока здесь.

— Я поняла.

— Только побеpегись, не выходи без охраны. Весть о той, кто сжег Персеполис, разнесется скорее и шире, чем сказка об амазонках!

Таис, не ответив, повернулась и медленно пошла в темноту. Позади, зорко глядя по сторонам, неслышно крадась Элис.

Юлия ИВАНОВА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

ПРОЛОГ

Экстренный выпуск! Сенсационное сообщение из Космического центра! Наконец-то удалось установить радиосвязь со звездолетом «Ахиллес-87», который уже считался погибшим. Капитан корабля Барри Ф. Кеннан сообщил, что экипаж находится на неизвестной планете, не только пригодной для жизни, но и как две капли воды похожей на нашу Землю. И что они там прекрасно себя чувствуют. На вопрос о причинах столь долгого молчания капитан Кеннан заявил, что им, собственно говоря, больше нет до Земли никакого дела. Что на вызов он ответил лишь потому, что случайно заглянул в тот момент на корабль забрать кой-какие вещички. И вообще они решили остаться на «Земле-бета» навсегда.

На этом связь оборвалась. Странное поведение капитана Кеннана, особенно его последнее заявление, заставляют предполагать, что экипаж «Ахиллеса-87» находится в плену у таинственных обитателей «Земли-бета» и косвенно взывает о помощи. К счастью, во время передачи удалось определить координаты этой неизвестной планеты. Общество спасения космонавтов срочно организует сбор пожертвований, предполагая в ближайшее время направить туда вооруженную спасательную экспедицию.

СООБЩЕНИЕ ИЗ КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

27 сентября с. г. звездолет «Ахиллес-88», посланный для спасения экипажа «Ахиллеса-87», благополучно приземлился на «Земле-бета».

«Черт возьми, здесь совсем как на нашей старухе — вижу сосны и облака!» — воскликнул капитан Стив Гейтс, ступая на планету.

Это были его последние слова. Попытки вновь установить связь с кораблем пока не увенчались успехом.

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СООБЩАЕТ

12 марта с. г. звездолет «Ахиллес-89», посланный для спасения экипажей кораблей «Ахиллес-87» и «Ахиллес-88», благополучно приземлился на «Земле-бета».

«Лично мне здесь нравится,— радировал в Центр капитан Джон Дэрк.— Они правы: настоящий рай. Мы, пожалуй, тоже останемся. Прощайте».

ДЭРК ТОЖЕ НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ!

КЕННАН, ГЕЙТС, ДЭРК... КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Что же все-таки происходит? Ученые отказываются от комментариев, мир теряется в догадках. Земля... Человек был ей всегда предан, как бы далеко ни находился. Впервые человек добровольно отрекся от Земли.

А МОЖЕТ, ВПРАВДУ РАЙ?

ИЗ НЕПРОВЕРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ: формируется первая партия переселенцев на «Землю-бета».

Поток переселенцев на загадочную «Землю-бета» катастрофически растет. Только за минувшую неделю туда отправлено 312 человек. И это несмотря на крайне высокую цену за билет, несмотря на печальную статистику — почти треть наспех снаряженных пассажирских ракет гибнет в пути.

А МОЖЕТ, ВПРАВДУ РАЙ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО «ЗЕМЛИ-БЕТА» ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТА ОТНЫНЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ. ПРАВИТЕЛЬСТВО «ЗЕМЛИ-БЕТА» ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕЙ ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ НАМЕРЕНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО КОНТАКТЫ С «ЗЕМЛЕЙ-АЛЬФА»!

ПРАВИТЕЛЬСТВО «ЗЕМЛИ-БЕТА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ВОКРУГ ПЛАНЕТЫ НА ВЫСОТЕ ТРЕХСОТ КИЛОМЕТРОВ СОЗДАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС. КОМАНДУЮЩИЙ СЛУЖБОЙ ЗАЩИТНОГО ПОЯСА БАРРИ Ф. КЕННАН ОТДАЛ СТРОЖАЙШИЙ ПРИКАЗ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ ЭМИГРАНТСКИЕ РАКЕТЫ С «ЗЕМЛИ-АЛЬФА».

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ПАССАЖИРСКИХ РАКЕТ «ДИАНА» И «ЭВРИКА». СТРАШНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ БЕТЯН. Обе ракеты вылетели к «Земле-бета» за три месяца до объявления планеты закрытой, на борту среди пассажиров находились женщины и дети. Весь мир потрясен, отовсюду поступают гневные телеграммы протеста в адрес правительства «Земли-бета».

«МОЙ МУЖ НЕ МОГ ОТДАТЬ ЭТОТ ПРИКАЗ!» — утверждает миссис Барри Ф. Кеннан.

НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВОБОДНОГО МИРА ПРАВИТЕЛЬСТВУ «ЗЕМЛИ-БЕТА».

«ЗЕМЛЯ-БЕТА» МОЛЧИТ!

Миссис Барри Ф. Кеннан наконец получила визу. Она вылетает в пятницу к «Земле-бета» для свидания с мужем и дипломатических переговоров. На борту ракеты будут находиться также двое сыновей Кеннана и пятилетняя дочь Глэдис, именем которой названа ракета. Миссис Кеннан поручено передать через капитана Барри Ф. Кеннана ноту правительства Свободного мира правительству «Земли-бета».

СНОВА НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ! «МАЛЫШКА ГЛЭДИС» ВЗОРВАНА ПО ПРИКАЗУ БАРРИ Ф. КЕННАНА!

«ОНИ ТАМ ПОСХОДИЛИ С УМА! — сказал Президент.— ЭТОТ КЕННАН — ВЫРОДОК. Я СОМНЕВАЮСЬ В ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ. БУДЬТЕ ВЫ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ!»

В СЕНАТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЙНЕ С «ЗЕМЛЕЙ-БЕТА».

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. Сенат большинством голосов отклонил предложение об объявлении войны «Земле-бета». Депутат АНТУАН ДОРЭ: «К сожалению, мы снабдили их самым современным оружием. Мы породили чудовище, против которого бессильны. Так отречемся же от него! Это — самое благоразумное, что мы можем сделать. Чем скорее мы забудем об этой прискорбной и постыдной странице нашей истории, тем лучше».

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ! Сегодня мы вынуждены напомнить читателю об одной печальной дате — десять лет со дня гибели «Малышки Глэдис». «Земля-бета» молчит. Большинство журналистов и комментаторов сходятся во мнении, что зловещая загадка «Земли-бета» так и останется неразгаданной.

(ИЗ ГАЗЕТ).

* * *

Она должна прийти сегодня.

День начинается как обычно. Я отлично выспалась. Специальный комплекс физических упражнений, массаж, тонизирующий душ, протирания. Чуткие механические руки Жака помогают одеться. Жак у меня уже более тридцати лет — еще Бернард был жив, когда мы его приобрели. Недавно Жак вернулся из ремонта и выполняет свои обязанности особенно ревностно. Будто признателен, что его не отдали в переплавку.

Я привыкла к Жаку. Терпеть не могу эти усовершенствованные модели — развязные, болтливые льстецы. То ли дело Жак — в нем какое-то врожденное достоинство.

— Мадам не возражает против серо-голубого? Сегодня оно вам к лицу: мадам выглядит посвежевшей.

Знаю, что он не врет. Соглашаюсь даже на голубой — в тон платью — парик, хотя терпеть не могу париков, и Жак ежедневно пытается соорудить из остатков растительности на моей голове жалкое подобие прически.

— Немного косметики, мадам?

Сегодня она должна прийти...

Жак что-то делает с моими глазами. Щиплет веки.

— Беспокоит? Сейчас пройдет, мадам.

Зеркало. В зеркале я. Полная, респектабельная дама. Пожалуй, выгляжу ничего, если учесть, что через несколько дней мне исполнится сто двадцать семь. Или не исполнится?..

Ведь она должна прийти сегодня.

Или не придет? Передумает?

Что осталось от подлинной Ингрид Кейн, этого, пожалуй, я сама не сумела бы сказать с точностью. Кое-где подремонтированный, подправленный скелет, мышцы, железы, глаза. А остальное все чужое, пересаженное, прижившееся. Или искусственное, синтетика. Пусть самого лучшего и надежного качества, но не надежнее, чем, к примеру, у Жака. Я уже не человек, но еще не робот. Неусовершенствованный робот. Смешно. Что-нибудь неожиданно откажет, сломается... Я не успею даже вызвать Дока. Или Док опоздает. Или у него самого что-либо сломается в конструкции.

Не сработает гипотермия, отключится сознание...

Простая цепь случайностей — и конец. Так было с Бернардом. Так рано или поздно будет со мной, Ингрид Кейн.

Придет или не придет?

И все-таки я — это я. Покуда при мне мой мозг, вернее, информация, накопленная в мозгу за все 127 лет.

Я — информация. Забавно.

— Меню, мадам? Цыпленок в желе, зеленый горошек, протертые овощи... Есть отличные ананасы.

— Давай ананасы. И еще бифштекс. С кровью, Жак. И, пожалуй, пудинг.

— Но, мадам...

— Плевать, Жак. Мой синтетический желудок требует натурального мяса. А диета будет завтра. Если завтра вообще будет.

Бифштекс превосходен, но первый же кусок давит изнутри непривычной тяжестью. Отодвигаю тарелку и принимаюсь за пюре.

Я хочу, чтоб она пришла.

Звонок. Пришла? Но почему так рано? Я же назначила к двенадцати... Я должна еще подумать...

— Девушка, Жак? Веди ее сюда.

— Нет, мадам, старики. Двое.

Ах эти... Совсем забыла. Но они же знают, что я открываю с десяти. Не дадут позавтракать.

— Пусть подождут,— говорю я Жаку и принимаюсь за ананасы. Но аппетита больше нет. Проклятый бифштекс! Придется принять таблетку.

Они терпеливо ждут внизу. Он и она. Супруги. Оба седенькие, чинные, благообразные. И оба моложе меня.

— Документы при вас?

— Конечно, мадам.— Старичок поспешно раскладывает на столе бумаги — разрешение на смерть, выписка с места жительства, завещание и опись имущества. Все в порядке. Теперь остаются формальности.

— Вы твердо решили уйти из жизни?

— Да, мадам,— синхронно кивают они.

— Но почему? Ведь жизнь так прекрасна! — Эта ритуальная фраза каждый раз звучит у меня фальшиво. Хотя я ничего вроде бы против нее не имею. Какая-то нелепая фраза.

— Видите ли, мадам,— это отвечает она,— мы просто устали.

«Просто устали», «Стало скучно», «Надоело»... Стандартный ответ. Все так отвечают.

— Мы ведь очень стары,— будто оправдываясь, улыбается она.— Все уже было, все.

— Я старше вас.

— Вы — другое дело, мадам. Вас удерживает любопытство. Ведь вы та самая Ингрид Кейн, не так ли?

Странно, меня еще помнят. Сорок лет как я перестала легально заниматься наукой.

— Мой брат был вашим учеником, мадам Кейн. Он останется теперь один, но не пошел с нами. Он разводит каких-то жуков с пятью лапками. Он просил передать вам привет.

Рисунок **Геннадия НОВОЖИЛОВА**

— А я действительно получу перед смертью то, что захочу? — подозрительно спросил старик.— Или это просто рекламный трюк?

Я успокоила его, и тусклые стариковские глазки заблестели. Наверняка подумал о какой-нибудь широкобедрой грудастой звезде телевидения, о которой грезил когда-то в юности. Когда с полвека назад я нашла способ концентрировать все мысли, ощущения и энергию умирающего определенным образом, вызывая у него перед смертью яркое, выбранное им самим сновидение, я никогда не думала, что этот фокус превратится из средства облегчить смерть в приманку, помогающую государству бороться с перенаселением за счет «долгожителей». «Дома последнего желания» стали таким же обычным делом, как и любые другие государственные учреждения.

И еще меньше я думала, что стану хозяйкой одного из них.

Я провела их в усыпальницу — огромное помещение, напоминающее оранжерею. Вокруг — пальмы, бананы, апельсиновые и лимонные деревья, гигантские кактусы и множество экзотических цветов. Кричали павлины и попугаи. С потолка из разноцветного пластика падали, причудливо пересекаясь, зеленые, оранжевые и голубые полосы света. Тихо звучала музыка, одурманивала, укачивала, и так же одурманивающе сладко пахли цветы.

Я уложила их на диваны, покрытые мягкими пушистыми коврами, надела на голову каждому «волшебный шлем» — так его окрестила реклама. С виду просто ночной чепец с лентами, в которые незаметно вмонтированы провода.

Старуха захихикала.

— Какой ты сейчас смешной, Вилли!

Но он уже весь был «там», в последнем своем желании, глазки его нетерпеливо поблескивали.

— Нельзя ли побыстрей, мадам?

Мне самой хотелось побыстрей — здесь меня всегда мутило.

Я включила «священника». Зазвучала молитва в сопровождении органа.

— Теперь можете попрощаться.

— Прощай, Вилли.

— Прощай, Марта.

— Прощайте, мадам Кейн.

Они даже не смотрели друг на друга.

— Закройте глаза. Расслабьтесь. Думайте о своем последнем желании.

Они затихли.

Я включила «шлемы», загнала всех павлинов и попугаев в изолированный, безопасный отсек, откуда обычно наблюдала за происходящим в усыпальнице, вошла сама и нажала кнопку. На пульте вспыхнуло: «Не входить! Смертельно!» Это означало, что в комнату хлынул газ «вечного успокоения».

Через час все будет кончено. Роботы уберут трупы, проветрят помещение, и оно будет готово к приему следующих посетителей.

О чем они сейчас думают? Я имела возможность

это установить и первое время из любопытства «подсоединялась» к своим клиентам. Но это оказывалось в основном всегда одно и то же и всегда невероятно скучно. Если не красотка и не чемпион, то разнузданная вечеринка с обилием яств и напитков. Вакханалия. Примитивный пир плоти.

А как хотелось мне сегодня за завтраком натуральный бифштекс с кровью!

Каково было бы твое последнее желание, Ингрид Кейн?

В парке было прохладно, и я включила на платье терморегулятор.

Да, мою нынешнюю работу нельзя назвать приятной, но благодаря ей у меня лаборатория. И я смогу провести намеченный эксперимент.

Но придет ли она?

И чего я, собственно говоря, хочу? Начать жизнь сначала? Ну, нет. Я тоже устала, как и мои клиенты. Провести эксперимент, удовлетворить в последний раз свое любопытство и поставить точку? Пожалуй, так. Если все пройдет удачно, я завтра тоже явлюсь в дом «последнего желания», и мне наденут «волшебный шлем».

И все-таки что мне тогда захотеть? Может, юного Бернарда? Или бифштекс с кровью?

До двенадцати оставалось сорок семь минут. В случае неудачи Ингрид Кейн будет сегодня мертва. Надо успеть замести следы. Моя последняя работа касается только меня. Я отдала ей сорок лет жизни.

Удача или поражение? То, что в конце концов стало у меня выходить с животными, могло обернуться полным фиаско, когда дело коснется людей. Мозг шимпанзе и мозг человека... И все же то и другое — мозг. Скорей бы уж!

Ты слишком любопытна, Ингрид.

Я чересчур быстро шла и долго не могла отдышаться у дверей лаборатории. Кружилась голова, сердце покалывало. Не умереть бы до опыта, вот так, примитивно и вульгарно, на травке собственного парка, под развесистым дубом. Кажется, отпустило. Ты всегда была везучей, Ингрид.

Я набрала номер шифра, и дверь бесшумно открылась. Обезьянки Уна и Ред с радостным визгом бросились ко мне, и я дала им по грозди бананов. Единственные животные, которых я сохранила. Наиболее удачные. Уна была раньше старым, подслеповатым существом, отягощенным всевозможными болячками. Я подарила ей тело годовалой Эммы, и она упивалась своей второй молодостью. Уна изо всех сил добивалась благосклонности Реда, но у того ситуация была посложнее. В прошлом своем существовании он был самкой, неоднократно рожавшей, и никак не мог приноровиться к своему новому естеству.

Первым делом я собрала все пленки с записями опытов и разложила прямо на полу костер. Примитивный, но верный способ. Пепел убрала пылесосом. Расправиться с приборами было еще легче, хотя вряд ли кто-либо смог бы догадаться об их назначении. Затем я выпустила на волю Уну и Реда — животные умеют хранить тайну — и приступила к главному. В потайном сейфе в стене хранился мой Дик — душа Ингрид Кейн, так я его назвала в шутку. Впрочем, он и был предназначен запрограммировать мою душу и перенести ее в тело той незнакомой девушки.

* * *

Она пришла ко мне несколько дней назад, неправдоподобно юная и хорошенькая, в короткой зеленоватой — под цвет глаз — тунике, с золотой змейкой, искусно вплетенной в пепельные, опять-таки с зеленоватым отливом волосы. Крашеные или свои? Этот вопрос настолько занимал меня, что, проведя ее в кабинет, я первым делом выяснила. Волосы оказались своими.

— Так кому нужны мои услуги? — спросила я, уверенная, что она пришла относительно кого-либо из своих престарелых родственников или знакомых.

— Мне.

Я даже переспросила.

— Мне! — отчетливо повторила она.— Я хочу умереть.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

Да, про нее нельзя было сказать, что она «устала». Умереть в девятнадцать лет, когда жизнь так прекрасна!..

— Когда жизнь так прекрасна...— произнесла я вслух, и в отношении нее эта фраза не показалась мне нелепой.

— Я хочу умереть,— повторила она.

— Но причина?

— Я, кажется, имею право не ответить...

— Что же, конечно.

— Тогда я не отвечу.

Голос ее стих до шепота, и тут я впервые заметила в девушке какую-то аномалию. Будто невидимая болезнь подтачивала ее изнутри. Может, так и есть?

— Вам нужно пройти обследование. Зайдите в камеру. Разденьтесь.

Девушка скинула тунику. На цветном экране я теперь видела ее всю, стройную, крепкую, бронзовую от загара. Включила приборы и придирчиво обследовала каждую часть ее организма, от маленьких узких ступней до кончиков натуральных волос. Девушка оказалась абсолютно здоровой, насколько вообще можно быть здоровой в девятнадцать лет. Даже ни одного запломбированного зуба!

Ее мозг по общим показателям тоже был вполне здоров. Для меня остались скрытыми разве что ее мысли, но, чтобы их узнать, пришлось бы вести ее в лабораторию, что было крайне заманчиво, но неосуществимо.

Я все не выключала экран: я поймала себя на том, что любуюсь ею. Убить все это, обезобразить, превратить в горсть золы. Абсурд.

А что, если... Душа Ингрид Кейн в этом теле. Заманчиво. Но я не хотела проводить свой последний эксперимент в такой спешке. Надо еще тысячу раз подумать, проверить. Ведь в случае неудачи Ингрид Кейн умрет, так и не удовлетворив своего любопытства. Еще хотя бы полгода.

Но через полгода этой девушки уже не будет. К тому же через месяц-другой я просто рухну где-нибудь на дорожке парка, и не сработает гипотермия, и отключится сознание. Как было с Бернардом. Есть над чем подумать.

Ее волосы. И ноги. В молодости я была, кажется, ничего себе, но с волосами у меня вечно не ладилось, а надевать платье выше колен было категорически противопоказано.

Неужели ты все еще женщина, Ингрид?

— Можете одеться. Ваше имя?

— Николь. Николь Брандо.—Она застегнула ремешки сандалий и выпрямилась.— Если вы мне не поможете, я брошусь с крыши. Или с моста.

По выражению ее лица я поняла, что она действительно так сделает. Какая странная девушка! Она не выглядела здоровой, несмотря на свое здоровье, несмотря на красоту и молодость. С подобным парадоксом я столкнулась впервые.

— Хорошо. Вам полагается три дня, чтобы подумать и достать необходимые документы.

— Что нужно?

Она аккуратно, как школьница, записала в блокнот.

— Значит, в субботу, ровно в двенадцать. Я приду. До свидания, мадам Кейн.

* * *

До двенадцати оставалось восемь минут, когда я вышла из лаборатории, ставшей теперь просто замусоренным помещением, в котором выжившая из ума старуха разводила обезьян, собак и кошек. Я очень устала и едва тащилась через парк к дому, прижимая к животу Дика, для отвода глаз упакованного в нарядную рождественскую коробку с бантами. Он был достаточно тяжел, но я никому не доверила бы его нести, даже Жаку. Вновь перед глазами плыли темные круги, воздуха не хватало, в груди давило и поскрипывало. Пожалуй, я никогда так хорошо не понимала своих клиентов, как в эту минуту. Надоело, устала. Но нет, еще одно усилие. Мне интересно, что получится.

Как всегда, везет. Не только удалось доползти до усыпальницы, но и остаться незамеченной. Я надежно спрятала Дика в кадке с финиковой пальмой и пошла наверх.

— Как вы себя чувствуете, мадам?

— Прекрасно, Жак. Лучше чем когда бы то ни было.

— Вы плохо выглядите. Я вызову Дока.

Только этого не хватало! Док живо определит мое состояние, и тогда не миновать стационара в клинике.

Часы пробили двенадцать.

— Чепуха, Жак. Просто немного устала. Я, пожалуй, полежу. Если придет девушка, дай знать.

— Слушаю, мадам.

Кажется, я вздремнула, а когда открыла глаза, часы показывали двадцать минут первого.

Не пришла. Все правильно. Было бы странно, если бы пришла.

И тут же услышала на лестнице грузные равномерные шаги Жака.

— Девушка ждет, мадам.

Она сидела в шезлонге перед домом. Глаза закрыты, руки сложены на коленях, осунувшееся лицо, бледность которого еще больше подчеркивало не шедшее к ней дымчато-серое платье.

— Я немного опоздала. Извините, мадам, я прощалась с... этим.

Она повела рукой вокруг.

Прощалась? Прощаются с тем, что жалко оставлять. Ей не хочется уходить из жизни, но она уходит. Парадокс, нелепость. Но мне не было до нее дела, я думала только о предстоящем эксперименте.

Я заторопилась.

— Где документы?

Непредвиденное обстоятельство — документы оказались фальшивыми. Неприятности с полицией мне ни к чему, но я тут же сообразила, что эти документы вообще не понадобятся, потому что через час их не с кого будет спрашивать. А если девушке хочется остаться инкогнито, тем лучше.

Я сунула их в сумочку. Девушка пристально смотрела на меня. Поняла, что я заметила?

— Благодарю вас, мадам Кейн.

Поняла. Ну и пусть. Это тоже не имеет значения.

— Пошли, Николь.

Мне не надо было прощаться с «этим». Мне не было ничего жалко. Я все уже тысячу раз видела. Все. И я устала. Я вела ее и себя на последний эксперимент Ингрид Кейн. Если все пройдет удачно, мы обе будем через час мертвы. Наполовину мертвы. У меня умрет тело, а у нее душа. Любопытно, кто из нас потеряет больше?

Девушка вскрикнула: она поранила ногу о торчащий из земли металлический прут. Я смочила платок одеколоном и тщательно продезинфицировала ранку. Николь слабо улыбнулась.

— Спасибо, мадам, это уже ни к чему.

Любопытно, как бы она реагировала, если бы знала?

И вот, наконец, мы с ней в усыпальнице.

Я чувствовала себя отлично, слабость и дурнота прошли. Мозг работал быстро и четко. Я уложила девушку на софу в безопасном отсеке и надела ей на голову «волшебный шлем».

— Последнее желание? — усмехнулась она.

Я кивнула. Но я обманывала ее. Ни она, ни я не получим этого прощального подарка, который выдавался лишь в обмен на подлинную смерть. Моя давняя выдумка не поддавалась жульничеству. Ее душа, мое тело — этого было недостаточно.

Я начала жульничать.

— Выпейте это. Закройте глаза, расслабьтесь. Думайте о своем последнем желании. Прощайте, Николь.

— Прощайте, мадам Кейн.

Чудачка, ее прямо-таки колотила дрожь. Но постепенно снотворное, которое я ей дала, начало действовать, серые губы порозовели, раскрылись в улыбке.

— Дэвид,— явственно произнесла она.

Дэвид. Мужское имя. Всего-навсего. Признаться, от нее я ожидала что-нибудь поинтереснее.

Девушка спала. Я быстро вытянула из-под пальмы два отводных конца (не толще обычной нитки), подключила один к ее шлему и захлопнула дверь отсека.

Теперь дело за мной. Подготовить софу, шлем. Подключить к нему второй провод. Дистанционное управление, которое обычно находилось в безопасном отсеке, сейчас должно быть под рукой. Отключить роботов-могильщиков. Кажется, все. Я нажала кнопку.

Стараясь глубоко не вдыхать сладковатый, дурманящий воздух, постепенно наполнявший комнату, добралась до софы, натянула шлем и легла. Цепь замкнулась. Острая боль на мгновение пронзила голову, и девушка в отсеке тоже вскрикнула, дернулась во сне. Значит, все идет, как надо. Дик жил. Мне даже показалось, что я слышу из-под пальмы его гудение, похожее на полет шмеля. Теперь я буду медленно умирать, и каждая клетка моего мозга, умирая, пошлет Дику содержащуюся в ней информацию, которую тот примет и передаст клеткам мозга Николь Брандо, стирая в них прежнюю запись. Все очень просто — принцип обыкновенного магнитофона. Сорок лет работы.

Голос священника читал молитву. Ей или мне? Или нам обеим?

Я растворяюсь в чем-то голубовато-розовом, в невесомой звенящей теплоте. Никогда не думала, что умирать будет так приятно. Кто изобрел этот газ? Я никак не могла вспомнить.

— Прощайте, Ингрид.

— Прощайте, мадам Кейн.

— Как хорошо!.. Дэвид! — Кажется, это сказала я. И удивилась.

— Дэвид?

— Дэвид,— подтвердили мои губы.

* * *

— Дэвид,— сказала я. И подумала, просыпаясь: «Что за Дэвид?»

Все вокруг было словно в тумане, меня мутило, голова в тисках. «Волшебный шлем»! Я сорвала его, и — непривычное ощущение — на руки, на плечи упали тяжелые зеленовато-пепельные пряди волос.

Николь. Похоже, что странной незнакомой девушки больше нет. Это теперь мои волосы. Николь исчезла. Дик стер ее. Осталось тело и имя. И это теперь я, Ингрид Кейн. Я мыслю и, следовательно, существую. Удача!

Я внушала это себе, а мозг отказывался повиноваться, осознать, поверить в происшедшее. Наконец, я заставила себя встать, я командовала своим новым телом будто со стороны и ступала осторожно, балансируя и сдерживая дыхание. Попугаи и павлины смотрели на меня с любопытством. Выдернуть провод из шлема. Открыть дверь. Открыть.

В усыпальнице уже вовсю работали вентиляторы, высасывая из помещения остатки ядовитого воздуха. Надо уничтожить Дика.

И тут я увидела себя. Свое неподвижное грузное тело, вытянувшееся на тахте, в нарядном серо-голубом платье, которое сегодня утром надел на меня Жак.

Странное, неприятное ощущение в груди, перехватило дыхание, и я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги.

Я увидела себя. То, что было мною 127 лет, постепенно меняясь и старея, со всеми своими, чужими и синтетическими деталями. Мое тело, такое знакомое и привычное, будто я смотрелась в зеркало. Но я не смотрелась в зеркало. Я стояла, а оно лежало. Я жила, а оно, по всей вероятности, было мертво.

А если нет?

Подойти. Ближе. Надо снять с нее шлем. С нее?

Вместе со шлемом снялся парик. Я заставила себя взглянуть. Желтовато-серые щеки, закрытые глаза. Челюсть чуть отвисла, обнажив искусственные зубы, сквозь седой пушок на голове просвечивает кожа. Коснулась своей руки, холодной, уже начинающей деревенеть. Я констатировала собственную смерть и подумала, что прежде это никому не доводилось. Забавно.

Но с моим новым телом тоже было не все в порядке — оно дрожало, будто от холода, оно жило какой-то отдельной от меня жизнью. Эта странная девушка Николь была, несомненно, чем-то больна, и теперь ее болезнь досталась мне по наследству.

Снова натянуть парик на череп. Стащить труп с софы на пол. Несчастный случай. Мадам Кейн почувствовала себя плохо, ушла. Сознание отключилось, и не сработала гипотермия. Как было с Бернардом. Никто не додумается производить экспертизу. 127 лет.

Шаги Жака. Что делать? Я не успела ничего придумать — Жак бросился на помощь хозяйке, той, что на полу. Он умеет говорить! Однозарядный лучемет, который я припасла, чтобы сжечь Дика. Пришлось использовать его не по назначению. В спине Жака что-то задымилось, защипело, и старый робот, взмахнув механическими руками, тяжело рухнул на пол.

В каком-то странном оцепенении я смотрела на лежащего Жака, на его клешнеобразные руки, которые так ловко умели одевать, причесывать, делать массаж. Я будто чувствовала их прикосновение, слышала его сухой, надтреснутый голос:

— Как вы себя чувствуете, мадам?

Теперь его наверняка отправят в переплавку.

Да что это со мной? Уйти отсюда. Быстрей! Я запихнула провода назад, в кадку (никому не придет в голову здесь что-либо искать), и, убедившись, что все в порядке, выскользнула за дверь. Прячась за деревьями парка, удачно добралась до забора, вспомнила, что теперь мне девятнадцать лет и что у всякого возраста есть свои преимущества. Перемахнула через забор и очутилась на улице.

* * *

От этого ребячьего трюка неожиданно полегчало. Я шла прочь все быстрее и с каждым шагом чувствовала себя лучше, уверенней. Наконец-то новое тело угомонилось, подчинилось мне и даже начало нравиться. Оно казалось легким, почти невесомым. Я наслаждалась самим процессом ходьбы, свободным от моих прежних старческих недомоганий. Я вспомнила, что могу побежать, и побежала, и оно охотно перестроилось на ритм бега — сердце забилось чаще, прилила к щекам кровь, каждая мышца, клетка превратились будто в туго натянутые паруса, которые гнал попутный ветер. Только вперед. Такое, кажется, я пережила лишь однажды. В детстве. Тогда еще жили семьями.

— Догоняй! — кричали мне братья и бежали наперегонки через луг к реке, а я плелась сзади. Я была коротконогой, и у меня был лишний вес, потому что мне очень нравился пудинг с клубничным джемом. Но как-то под вечер мы играли с отцом в теннис, и я неожиданно выиграла, приняв напоследок такой трудный мяч, что сама удивилась. Бросила ракетку и вдруг почувствовала, что могу все. Это ощущение возникло ни с того ни с сего, но я почему-то ему сразу поверила.

— Догоняйте! — крикнула я и побежала. Братья кинулись вслед, и даже отец, уязвленный проигрышем, решил взять реванш и принять участие в состязании. Я слышала за спиной их топот и дыхание, но я смеялась над ними, и в тот момент, когда они почти нагнали меня, припустилась вдвое быстрей. Я летела как на крыльях, не чувствуя своего лишнего веса, и каждая мышца, каждая клетка превратились будто в туго натянутые паруса, которые гнал попутный ветер. Только вперед!

С того дня мной стали интересоваться мужчины.

Сто с лишним лет назад...

Рабочий полдень еще не кончился, улицы Столицы были тихи и безлюдны. Лишь изредка проносились над головой разноцветные аэрокары. Мне навстречу семенящими шажками двигался наш священник, и я инстинктивно перешла на шаг и поклонилась ему. Он ответил на поклон, но не остановился поболтать, как обычно. Он не узнал меня. Еще бы!

Зеркальная витрина. Нелепо, но я ожидала увидеть в ней себя. Ту себя. Коротконогую стриженую девочку с лишним весом и прыщами на лбу, которые я приспособилась прикрывать челкой. Но из зеркала на меня во все глаза смотрела Николь Брандо, растрепанная, раскрасневшаяся от бега и очень хорошенькая. Чужое лицо. Моего больше не было. Ни молодого, ни старого. Никакого. И снова это противное тянущее ощущение под ложечкой, сдавливает горло. Лицо Николь в зеркале бледнеет на глазах. Я вцепляюсь в решетку ограды, я борюсь с телом Николь, заставляя себя привыкнуть к этому лицу. Моргаю, шмыгаю носом, высовываю язык, и оно в точности копирует мои гримасы. Я улыбаюсь — оно отвечает улыбкой. Так-то лучше.

Надо причесаться. И сменить это не шедшее к ней платье. Забавно, что я еще обращаюсь к себе в третьем лице.

Из салона красоты я вышла уже не похожей даже на Николь. Больше всего я напоминала Тальму, популярную дикторшу телевидения, ведущую рубрику «Вопросы и ответы». Выбрала в салоне мод сногсшибательный туалет, превысивший стандартную цену, и на контроле назвала гражданский номер Николь, который мог быть фальшивым, как и ее бумаги.

Компьютер пропустил меня. Значит, Николь Брандо действительно существовала и жила в Столице, имела приличный доход. Но кто она, чем занимается? Десятки вопросов о Николь вертелись в голове. Я не хотела думать о ней из-за возникающего каждый раз неприятного ощущения и все-таки думала.

Теперь улицы были полны народа. Из ресторанов неслись ароматы всех кухонь мира. Я уже забыла, что можно быть такой голодной. Я зашла в один из них. Публика удивленно поглядывала на мой столик — там, кажется, было все, начиная с лукового супа и пресловутого бифштекса с кровью и кончая трепангами. Все, что мне прежде запрещала медицина. Я выпила рюмку вина и неожиданно обнаружила, что оно помогает мне забыть о Николь. Тогда я выпила подряд три двойных джина, и мне стало окончательно все равно — Ингрид я, Николь или сама Тальма. Мне было девятнадцать и хотелось веселиться вовсю. Я поймала себя на том, что разглядываю мужчин за соседними столиками. Про эту сторону жизни я тоже давным-давно забыла.

Один из них подошел ко мне.

— Не составишь ли компанию, детка?

Я покачала головой.

— Не нравятся боксеры? Зря. Боксеры — хорошие парни.

Он в самом деле был не в моем вкусе. Интересно, не во вкусе Ингрид или Николь? Какие мужчины нравились Николь? Я совсем развеселилась.

У стойки бара сидел парень в «нашем вкусе». Легкая атлетика или теннис. Длинные, эластичные мышцы. Выгоревшие на солнце волосы напоминали по цвету древесную стружку, подчеркивая смуглость скульптурно правильного лица. На пухлых губах застыла очаровательная улыбка, отсутствующая и глуповатая. Улыбка была адресована спутнице — высокой тощей шатенке типа «баскетбол». Если он признает только этот тип, плохи наши дела. Я перехватила его взгляд и подмигнула. Он закрыл рот. Я доела мороженое и снова глянула в его сторону. Он уставился на наше с Николь плечо, с которого будто случайно соскользнуло платье. Похоже, он многогранен.

Надо действовать — баскетболистка собралась уходить и стаскивала его со стула. Я направилась к стойке. Меня качало, было очень весело.

— Не составишь компанию? — проворковала я. Теперь, кажется, принято такое обращение. В наши времена бытовало что-то более витиеватое.

Его колебания были недолгими. Он увернулся от баскетболистки и, пробормотав ей «увидимся завтра, детка», усадил меня на колени. Та выпила еще рюмку, покосилась на мой туалет, спросила номер модели, потрепала по щеке и удалилась.

— Легкая атлетика? — спросила я.

— Теннис. Мы же с тобой играли — у тебя классная подача. Почему ты не ушла со мной тогда?

Забавно. У нас с Николь разные вкусы.

Мы вышли на улицу.

— Значит, теннис,— сказала я.— А профессия?

— Натурщик. С моей фигуры штампуют статуи. Для стадионов, парков. Значки всякие... Вот там я.— Он показал на белеющую вдали статую.— И там, только она поменьше, отсюда не разберешь.

— А не надоест, когда всюду ты? И там и там...

— Ну и что? — удивился он.— Раз красиво...

И словно в подтверждение его слов дорогу загородила какая-то ярко-рыжая.

— Привет. Когда?

— Послезавтра, детка.

Кажется, я начинала понимать Николь. Но ощущение твердой скульптурной руки на моей талии, руки «образца», «эталона», было приятным. И я шла с ним, стараясь не смотреть на белеющие повсюду статуи.

Звали его Унго.

Нам удалось поймать аэрокар, и через пять минут мы приземлились далеко за городом. Сыграли для начала несколько партий в теннис. У Николь действительно получалось превосходно, гораздо лучше, чем когда-то у Ингрид Кейн. Тело у нее было гибкое, тренированное, не знающее усталости, и Унго пришлось изрядно попотеть, чтобы добиться победы.

Потом мы гоняли наперегонки на одноместных спортивных аэрокарах. Зажмурившись, захлебнувшись встречным ветром, я неслась к солнцу, которое слепило даже через веки. И вдруг врезалась в облако. Оно было теплое, как парное молоко. Я сбавила скорость и погрузилась в него, ощущая на лице, руках и шее щекочущие капли непролитого дождя.

Потом облако разорвалось, я увидела далеко внизу зеленые поля стадионов с белыми пятнами — статуями Унго. А живой Унго настигал меня. Я совсем выключила мотор аэрокара и стала падать. Земля надвигалась. Я пронеслась над деревьями, успела захватить в горсть несколько листьев — трюк моей юности, — снова взмыла вверх, едва не столкнувшись с аэрокаром Унго, и закричала. Нечто, чему я не знала названия, переполнило меня, выплеснулось в крике.

Что со мной?

Мы сели. Унго подошел, сердито покрутил пальцем у виска и проворчал, что мы могли бы разбиться. Я поцеловала его.

— После ужина,— сказал он тем же непреклонным тоном, каким говорил «деткам» «завтра» и «послезавтра».

Сейчас он очень напоминал собственную статую.

...В ресторане мне снова почудилось, будто я Ингрид Кейн, молодая Ингрид. Кажется, я здесь бывала когда-то прежде. Этот зал полумесяцем, фосфоресцирующие стены, полуголые официанты с позвякивающими на руках браслетами — настоящие живые официанты. И целующиеся пары. И я с парнем. Его зовут Унго, он обнимает меня. Сейчас позовет танцевать.

— Пойдем потанцуем,— сказал Унго.

Танец был неизвестен Ингрид, но Николь его знала отлично. Ее зеленовато-пепельные волосы тяжело бились по спине в такт музыке.

Я выпила подряд несколько рюмок коньяку.

Заиграли что-то медленное. Унго притянул меня к себе, и тело Николь откликнулось точно так же, как откликалось когда-то тело Ингрид.

— Время спа,— сказал Унго (ох, уж эта пунктуальность!) — Куда пойдем? «Голубое небо»? «Зеленый лес»?

Видимо, так назывались теперь отели свиданий.

— «Розовый закат»,— наобум сказала я, уловив общий принцип.

— «Красный закат»,— поправил Унго,— или ты имеешь в виду «Розовый восход»? Паршивые заведения. Лично я предпочитаю «Синее море». Решай же.

— Море так море.

«Море» оказалось довольно популярным — все комнаты были заняты. Но Унго пообещал молодой хозяйке составить ей компанию послепослезавтра, и дело уладилось.

В коридоре мы столкнулись с каким-то парнем. Наши глаза встретились, и он незаметно для Унго кивнул мне. Я никогда его прежде не видела, тем не менее это лицо показалось мне странно знакомым.

Продолжение следует.

Юлия ИВАНОВА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

Отель недаром назывался «Синим морем». Зеркальные стены и пол, искусно подсвеченные, создавали иллюзию необъятного океана, по которому перекатывались белые барашки волн. Но океан этот казался безжизненным — может, потому, что декоратор воду сделал слишком синей, а волны слишком белыми. Постель в виде парусной яхты, которая при желании начинала тихо покачиваться, будто на волнах.

Ванная комната оказалась обычной. В зеркале я снова с любопытством разглядывала стройное, загорелое тело Николь, вздрагивающее под щекочущими ледяными струями циркулярного душа.

И вдруг... Я уже почти привыкла, что у меня лицо Николь. Но у парня, что встретился нам в коридоре, тоже было лицо Николь! Вот почему он мне показался знакомым. Абсолютная копия, только сделанная под мужчину. Мне стало не по себе, но размышлять не хотелось. Наверное, я слишком много выпила. Я вылезла из душа под фен. То ли меня покачивало, то ли Унго включил качку.

Глядя, как он раздевается, я подумала, что статуи с него штампуют не зря. И что последний эксперимент Ингрид Кейн грозит затянуться. Кто я — не все ли равно? Мне девятнадцать, а Унго просто великолепен.

— Я не должен нарушать режим,— недовольно заявил он, поглядывая на часы.— От этого портится внешность.

Николь, ты не права, он очень даже забавен. Я поцеловала Унго, и на этот раз его мягкие губы нетерпеливо встретили мои. Уже не выпуская меня, он выключил свет, и над нашими головами зажглось звездное небо.

* * *

Я проснулась внезапно — будто изнутри что-то толкнуло. Часы показывали четверть шестого. Рядом, привалившись к моему плечу, посапывал Унго. Море исчезло. Через выходящую на улицу стену в комнату проникал тусклый дневной свет, по другой, телевизионной, уже беззвучно мелькали кадры рекламы и спортивной хроники.

Боль в ноге. На ступне — свежая глубокая царапина. Откуда? Я вспомнила, что это Николь поранилась о металлический прут, когда шла за мной в усыпальницу. Я вспомнила все.

Голова после вчерашнего ничуть не болела, мозг работал ясно и четко, и снова я подумала, что молодость — стоящая вещь. Даже если она повторяется. Я лежала в объятиях Унго и скрупулезно, минуту за минутой, перебирала в памяти все события вчерашнего дня.

Итак, можно считать последний эксперимент Ингрид Кейн удавшимся. Теперь меня интересовало другое — эта девушка Николь Брандо, ее непонятное тело, отныне ставшее моим. Странные, бурные эмоциональные ощущения никак нельзя было объяснить просто молодостью. Патологические изменения в мозгу, неразличимые даже точнейшими приборами? Но какова их природа, причина?

Даже мое любопытство, кажется, выросло в этом проклятом теле до гиперболических размеров. А я-то полагала, что проживу в нем всего сутки! Действовать. Немедленно.

Я стала торопливо одеваться. Проснулся Унго, взглянул на часы.

— Куда ты? До завтрака еще 47 минут.

— В моем режиме прогулка до завтрака. Улучшает пищеварение.

Унго понимающе кивнул.

— Если хочешь, мы можем встречаться. В четверг я свободен. Ты ведь знаешь, где меня найти?

Я не знала, но ответила утвердительно. Просто чтобы отвязаться. Мне уже было не до него.

Утренние газеты извещали о кончине Ингрид Кейн, в прошлом известного нейрофизиолога, ныне содержательницы одного из самых популярных домов «последнего желания», и о конфискации, за неимением наследников, всего ее имущества в пользу государства.

Теперь у меня не было ничего — ни дома, ни имени. Я шла по улицам, безуспешно пытаясь выработать какой-то план. Идти по адресу, указанному в документах Николь, было рискованно, осведомляться о ней — тем более. Нельзя даже просто гулять — ведь в любую минуту мне может встретиться кто-либо из знакомых Николь. Вроде того странного парня с ее лицом.

Время завтрака кончилось, город опустел. Меня подозвал полицейский. Попалась?

— Почему не на работе? Гражданский номер, фамилия?

Ничего не оставалось, как назвать координаты Николь. Пока полицейский справлялся у компьютера, я прикидывала, не попытаться ли удрать. Но он повернулся ко мне с улыбкой и козырнул.

— Можешь идти. Извини.

Ну и ну! То ли Николь работала в каком-то ночном заведении, то ли вообще имела право не работать... Интересно...

Одна из улиц была перегорожена — что-то строили. Я пошла в обход. И...

Стоп! Почему именно эта улица? Я проанализировала свой путь и с удивлением обнаружила, что с самого начала шла в определенном направлении, а не блуждала, как казалось. Странно. Район этот был мне незнаком, но я чувствовала, что непременно должна пройти по этой улице. Почему? Куда?

Эта странность опять-таки исходила от тела Николь. Ее дом? Судя по документам, он находился в противоположном направлении. Но документы были подделаны. Однако компьютер в доме Мод признал адрес правильным. Пойти туда? Нельзя. И не идти нельзя — единственная зацепка.

Пока я колебалась и взвешивала, ноги сами вывели меня через переулок к перегороженной

Продолжение. Начало в № 20.

улице. Мне хотелось туда, мне нужно было именно туда. А, будь что будет!

И я пошла. Миновав эту улицу, свернула на другую, на третью. Несколько раз меня останавливали полицейские и каждый раз, извинившись, отпускали. Сколько еще идти? Видимо, Николь нравилось ходить пешком. Город кончился, потянулись виллы, но я не думала ни об усталости, ни о том, что так и не позавтракала. Я почти бежала. Я знала, что сейчас приду.

Здесь. Стандартная вилла, которую я безошибочно выделила среди сотни других, похожих на нее, как две капли воды. Сердце билось, будто после чашки крепкого кофе. Если это дом Николь, она должна знать шифр замка на входной двери. Но он стерт из ее мозга вместе с другими сведениями. Позвонить нельзя. Оставалось снова лезть через забор, хотя мой экстравагантный наряд для этого никак не годился — край юбки пришлось держать в зубах. Мне повезло — в саду было пусто. Только два робота, закончившие утреннюю уборку участка, неподвижно стояли под навесом, поблескивая выключенными глазами.

Я беспрепятственно вошла в дом. Ни души, тишина. Шторы на окнах спущены, ковры скатаны. В безлюдном полумраке комнат мои шаги отзывались гулким эхом.

Меня не покидало смутное ощущение, что я уже бывала здесь прежде. Как если бы я когда-то видела все это во сне. И вместе с тем это не был дом Николь, что я установила по отсутствию характерных признаков, которые отличают жилище женщины.

Кто он, этот мужчина? Его непонятная власть над Николь, которую даже смерть не могла стереть...

— Нельзя! — вдруг рявкнуло за спиной. Из стенного отсека, угрожающе раскинув щупальца, прямо на меня двигался робот. Я попятилась и стала втолковывать ему, что я Николь Брандо, гражданский номер такой-то... До сих пор это выручало, но на сей раз сработало, кажется, в обратную сторону.

— Николь Брандо. Нельзя, нельзя, нельзя! — заревел он, продолжая теснить меня к двери.

Я не стала дожидаться, пока меня коснутся его ледяные лапы, и повиновалась. Это чучело шло за мной до самых ворот. По дороге я пыталась что-либо у него выведать, но он был из еще более молчаливой серии, чем мой Жак, и на все вопросы лишь тупо и раскатисто повторял:

— Николь Брандо. Нельзя. Нельзя.

Ладно, времени у меня много, в девятнадцать лет можно не торопиться.

Неподалеку в ресторанчике я с аппетитом пообедала. На крыше была стоянка аэрокаров. Я взяла напрокат двухместную «Ласточку» и, развернув ее так, чтобы интересующая меня вилла была целиком в поле зрения, стала с крыши наблюдать.

Ждать пришлось долго. Очень хотелось вылезти из машины и размяться, надоедали мухи и мужчины. Но я терпела. Любопытно, как быстро человек привыкает ко всему. Даже к внезапно вернувшейся молодости. Мне уже казалось невероятным, что еще вчера утром я не могла пройти без одышки и сотни шагов, едва не померла от превосходного бифштекса, а эти увивающиеся сейчас возле моей машины парни годились бы мне в правнуки.

Только смазливое лицо Николь в зеркале над рулем... Туда я старалась не смотреть.

Уже смеркалось, когда на крыше виллы возле черного аэрокара появились две фигуры. Высокий мужчина и женщина, закутанная в сиреневый плащ. Их аэрокар повернул к Столице, моя «Ласточка» взвилась следом.

Были как раз часы пик, скорость ограниченная, и обе машины шли на автопилоте. Это облегчало преследование — расстояние между ними не сокращалось и не увеличивалось.

Внезапно черный аэрокар пошел на снижение и исчез. Разноцветные квадраты городских крыш, почти на каждой стоянке, почти на каждой,— черные аэрокары. Кажется, проворонила. Я приземлилась на первой попавшейся крыше и отправилась на поиски пешком, твердо уверенная в их полной бесполезности.

Искать иголку в стоге сена...

Возле ярко освещенного подъезда ночного клуба толпился народ.

— Что здесь? — спросила я у одной из девиц, безуспешно пытающейся протолкаться к двери.

— Дэвид Гур,— бросила она и снова, зажав под мышкой сумочку, ринулась в толпу.

Ингрид Кейн отстала от жизни. Дэвид Гур. Какая-нибудь очередная знаменитость. Дэвид. Это имя Николь назвала перед смертью. Чепуха. Мало ли на свете Дэвидов!

Мне помогла отлично развитая мускулатура Николь. Едва я, взмыленная и растерзанная, прорвалась в зал, как входы перекрыли и свет стал меркнуть. Похоже, я попала в цирк. Зрительские места располагались амфитеатром, арена внизу была застлана черным пушистым ковром, в котором тем не менее отчетливо отражалась люстра.

Ударил гонг, и на арену вышел высокий худой мужчина в традиционном наряде фокусника — фрак, белоснежная манишка, цилиндр. Однако на его лице был грим клоуна или мима — белая застывшая маска с узкими щелями рта и глаз, с нависшими надо лбом фиолетовыми прядями парика.

И я узнала этого человека так же, как и его дом,— будто видела когда-то во сне его походку, сутулость, медленные округлые жесты, слышала его голос.

— Стелла! — позвал он.

Выбежала миловидная молодая женщина, в противоположность ему совсем раздетая. Однако нагота ее выглядела естественной и домашней, будто она только что из ванной. Женщина послала публике воздушный поцелуй, влезла на тумбу и застыла в позе статуи.

Мужчина поднял с ковра тяжелый молот. Размахнувшись, он ударил женщину по плечу. Характерный звук, будто что-то разбилось,— и рука женщины упала на ковер. Он снова поднял молот. Дзинь — упала другая рука. Продолжая улыбаться, скатилась на ковер голова. Больше мне смотреть не хотелось. Дзинь, дзинь, дзинь...

Когда я открыла глаза, женщины не было — только груда бледно-розового мрамора, по которому колотил мужчина, превращая все в мелкое крошево.

Зал реагировал на происходящее довольно равнодушно — перешептывались, пересмеивались. Кто-то обнимался; кто-то потягивал через соломинку коктейль. Мужчина взмахнул рукой — мрамор вспыхнул. Заметались по арене языки пламени, повалил густой дым. А когда дым рассеялся, Стелла снова стояла на тумбе, улыбаясь и посылая в зал воздушные поцелуи.

Аплодисменты были жидкими. Все словно ждали чего-то более интересного. Гвоздя программы, ради которого сюда и рвались.

— Желающих принять участие в сеансе гипноза прошу на арену.

Желающих оказалось так много, что образовалась очередь.

— Возьмите меня первым,— горланил какой-то парень,— мне к девяти на дежурство.

— О'кэй,— кивнул Дэвид Гур, обращаясь к публике,— только за это пусть он нам уступит свою подружку.

— Молли? — Парень осклабился.— Это можно. Молли — хорошая девочка.

Пухленькая свежая блондинка, держащая его за руку, польщенно хихикнула.

— Вы давно встречаетесь?

— С Молли-то? Две недели. Молли — хорошая девочка.

— Тогда выпьем за здоровье Молли.

Парень залпом осушил предложенный бокал шампанского и удовлетворенно крякнул. Но вдруг глаза его расширились, нижняя челюсть отвисла, и он застыл с гримасой тупого удивления на лице.

— А теперь слушай меня.— Гур резко повернул парня к себе за плечи.— Молли не просто хорошая девочка. Она самая лучшая. Она для тебя единственная. Тебе нравится в ней все — как она говорит, двигается, смеется...

— Гы-ы-ы! — Это смеялась Молли. Звук был довольно противным. Зал весело оживился.

— Нет ничего прекраснее ее смеха,— упрямо повторил гипнотизер.— Ее голоса, ее ласк. Жизнь без Молли пуста и скучна. Сейчас ты уйдешь, а Молли останется с нами. Ты ее больше не увидишь. Никогда. Ты вернешься в свою квартиру, где каждая вещь будет напоминать о ней. Молли, Молли! Ты можешь сбежать из дому, привести другую женщину, сотни женщин, но ни одна не заменит тебе Молли. Ты понял? Ни одна.

Гур оттолкнул парня. Он тяжело дышал, фиолетовые пряди парика прилипли ко лбу. Видимо, этот странный монолог стоил ему немало энергии. Любопытно. Но еще любопытнее было поведение парня. Похоже, что сказанная Гуром нелепица возымела свое действие. Парень болезненно озирался, кривился, будто превозмогал желание чихнуть, руки его болтались подрубленными ветками. Но вот все его тело напряглось, и, уставившись на свою блондинку, он направился к ней. Но Гур загородил дорогу:

— Э, нет, так не годится. Ты же нам ее уступил, приятель. Девочка теперь наша. Верно?

Зал одобрительно загудел.

— Молли наша! Сюда, Молли! К нам, Молли!

Блондинка продолжала хихикать. Парень рванулся к ней, но чьи-то руки утащили ее от арены за барьер, подняли, передали по конвейеру в другие, в третьи, увлекая в глубь амфитеатра. Толпа сомкнулась.

— Молли!

Это был даже не крик, а рев. Исступленный рев обезумевшего зверя. Парень метался вдоль арены по кругу. Сила, с которой он врезался в толпу, стараясь пробиться к своей блондинке, казалась невероятной. Но толпа, разумеется, была сильнее, он отскакивал от нее, как мяч от стены, и вновь с воем кидался обратно.

Зал веселился вовсю.

Наконец парень в изнеможении рухнул на пол и затих. Робот-служитель поднял его и отнес в кресло. Вскоре оттуда донесся равномерный храп.

— Он проснется через 15 минут,— объявил Гур,— кто следующий?

На арену выскочил маленький вертлявый человечек со смуглым лицом и темными курчавыми волосами.

— Я вас знаю,— сказал Гур.— Вы художник. Я был на вашей выставке.

Человечек покачал головой.

— Это было давно. Теперь я жокей.

— Почему? Вы же писали отличные картины.

Человечек снова покачал головой. Он напоминал механическую игрушку.

— Плохие картины. Они не нравились комиссии. Мне дали испытательный срок. Я стал работать над декоративным панно для нового гимнастического зала. Писал целыми днями. Мне казалось, это то, что надо. Но я заблуждался. Комиссия забраковала панно, а меня переквалифицировали в жокеи.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

— А где ваши картины теперь?

— Понятия не имею. Видимо, уничтожены.

— И вы довольны новой жизнью?

— Конечно. Я был плохим художником, а теперь — жокей экстракласса. Вчера на скачках завоевал три приза. И доходы...

— Тогда отпразднуем ваши успехи. Отличное шампанское.

Гур налил два бокала. Чокнулись, выпили. И вновь эта застывшая удивленная гримаса на лице испытуемого. И громкий голос Гура, который я уже где-то слышала:

— Вы художник. Настоящий большой художник. Комиссия ошиблась. Ваше последнее панно — лучшее из всего, что вы когда-либо сделали и сделаете. Вы родились, чтобы его создать. Вы нанесли последний мазок, отошли в сторону... Вспомните. Ваше ощущение.

— Да, да.— Человечек потерянно озирался.— Ощущение... Мне надо его опять увидеть. Мне надо в мастерскую.

— Поверил! — ахнул кто-то у меня за спиной.— Комиссия ему ошиблась. Ай да Гур!

Та же история. Человечек бегал вдоль арены в поисках выхода, повсюду натыкаясь на сплошную непробиваемую стену покатывающихся со смеху зрителей.

Что-то в шампанском? Но почему это «что-то» не действует на самого Гура?

Нет ли прямой связи между поведением «добровольцев» и странностями, доставшимися мне в наследство от Николь?

— Куда же вы? — кричал Гур.— Вашей мастерской больше нет. Но панно я сохранил. Узнаете?

Чистый лист бумаги. Человечек жадно выхватил его из рук Гура, прижал к груди. Его глаза сияли, будто в них горело по лампочке. В жизни не видела ничего подобного!

— Да, да, оно... Вот здесь, этот изгиб, грация... Я бился неделю. Конечно, они ошиблись. Ощущение. Конечно.

— Стелла!

Ассистентка Гура, на этот раз затянутая в черное трико, выбежала из-за кулис и, подкравшись к отрешенно бормотавшему жокею, вырвала у него листок.

— Ничего не поделаешь,— прокомментировал Гур.— По распоряжению комиссии ваше панно должно быть уничтожено.

— Н-нет!

Опять этот истошный звериный рев. Обезумевший человечек погнался за Стеллой, но она, ловко увернувшись, вскочила на тумбу, и на ковер посыпались мелкие клочья белой бумаги.

Он на коленях ползал по полу, собирал их, пытался сложить, а когда понял, что это бесполезно, сел, обхватив руками колени, плечи его задрожали, и из глаз потекли слезы.

Вскоре человечек безмятежно спал в кресле.

А в это время первый подопытный, зевая и потягиваясь, искал свою кепку.

— А где Молли? — спросил Гур.

— Так ведь я ее отдал, чтоб пустили первым. А вот где кепка?..

Зал зааплодировал. Убедившись, что все кончается благополучно, добровольцы полезли через барьер, отталкивая друг друга, стремясь пробиться к Гуру.

— Все назад. Нужна женщина. Теперь нужна женщина.

Гур вскочил на тумбу. На его неподвижном, стянутом маской лице выделялись только глаза, цепко обшаривавшие ряды амфитеатра. И вдруг (или мне показалось) они остановились на мне. Ингрид Кейн во мне даже обрадовалась этому, замерла в ожидании, но тело Николь опять взбунтовалось, будто почуяв опасность. Глупо, но в самый интересный момент непонятная сила заставила меня встать и выйти из зала.

В фойе было пусто. Я курила и безуспешно пыталась собраться с мыслями и совладать со своим телом. Из зала время от времени доносились взрывы смеха, свист. И вдруг чья-то рука сжала мой локоть. Парень с лицом Николь, который встретился мне в коридоре отеля «Синее море».

— Пойдем, Рита.

То, что обращение адресовалось мне, сомнений не вызывало. Значит, Рита — мое настоящее имя. Или меня приняли за другую? Сколько их, с лицом Николь?

Мне не оставалось ничего, как повиноваться. Мы поднялись на лифте на площадку, там уже ждал аэрокар. Он стоял как раз рядом с машиной Дэвида Гура — тоже черного цвета, но гораздо более мощная и совершенная модель. Двойник Николь распахнул передо мной переднюю дверцу, сел за руль. Взревели двигатели.

Мы летели молча. Куда? Зачем? Спутник не обращал на меня особого внимания, разве что пару раз подмигнул да предложил сигарету. Он включил телевизор и поудобнее откинулся на сиденье. Казалось, он ничего не видит, кроме экрана. Я искоса приглядывалась к нему. Бывает же такое сходство! Двойник Николь, Риты... Что все это значит? Голова раскалывалась от безответных вопросов.

Город давно остался позади, постепенно распыляющимися созвездиями проносились под нами огоньки вилл.

Наконец мы пошли на снижение. Мой спутник выключил экран, лицо его приняло строго официальное выражение.

Мягкий толчок и стоп. Дверь снаружи открыли, металлические щупальца компьютера просунулись в машину.

— Документы!

Двойник Николь что-то вложил в них, одно щупальце исчезло, два других обстукивали и обследовали аэрокар.

— Можете выйти.

Я огляделась. Мы находились на бетонной площадке у подножия горы. Небо то и дело прочерчивали мощные лучи прожекторов, выхватывая из темноты то провода фуникулера, то поросшие густым кустарником склоны, то похожее на пирамиду здание на самой вершине, казавшееся как бы продолжением горы. Я сразу узнала его.

Это было здание Верховной Полиции!

О нем ходили легенды. Никто толком не знал, чем там занимаются. Какими-то инопланетными влияниями. Во всяком случае, лично я никогда не слышала ничего конкретного. Здание ВП было для всех чем-то вроде символа — изображение пирамиды присутствовало на всех государственных печатях.

Вряд ли обстоятельства смерти Николь Брандо представляли государственный интерес. Тогда что же? Может быть, мой ДИК? Чепуха, они не смогли бы догадаться, даже если бы и обнаружили что-то в горшке с пальмой.

Фуникулер медленно полз вверх. Я заметила, что руки Николь дрожат. Двойник внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Мерзнешь? Включи терморегулятор.

Я сделала вид, что нажала кнопку у ворота платья. На самом деле я включила терморегулятор еще во время представления Дэвида Гура. Только тогда мне было жарко.

Наверху нас еще раз проверили, затем стена раздвинулась и, пропустив, опять сомкнулась. Вокруг здания было что-то вроде парка, но любопытство Ингрид Кейн не могло прорваться сквозь болезненные эмоциональные приступы Риты-Николь. Все мои усилия уходили на то, чтобы не трястись. Кажется, мы шли по какому-то длинному коридору, затем снова проверка. И сразу три информации.

— Привет, Поль. Сейчас узнаю. Двести восьмой, Шеф у тебя?

Моего двойника зовут Поль.

— Все в порядке. Шеф ждет. А чего это твоя сестрица не здоровается?

— Привет,— сказала я.

Мой двойник — брат Риты-Николь.

Не успела я переварить предыдущее, как получила третью информацию. Пожалуй, самую важную.

— Иди,— сказал мне Поль,— отец хочет видеть сначала тебя.

Шеф ВП — отец Поля. А следовательно, и отец Риты-Николь. Мой отец.

Я вдруг почувствовала неожиданный прилив сил. Три глотка воды. Наконец-то я что-то знаю! И я скрутила, смяла в себе Николь. В кабинет к Шефу вошла Ингрид Кейн, ее рука, толкнувшая дверь, больше не дрожала. Я должна быть предельно хитрой и осторожной. Я должна любым способом выстоять в этой партии, если не хочу вообще выбыть из турнира, который сама затеяла.

Кабинет Шефа был обставлен предельно просто — из мебели только самое необходимое. Зато масса каких-то ЭВМ и приборов вдоль стены, о назначении которых оставалось лишь догадываться. У человека, поднявшегося из-за стола мне навстречу, тоже было лицо Николь, несмотря на седые баки, морщины и абсолютно голый череп. И тут до меня дошло. Двойники, созданные методом генетического ядра, сохраняющего способности и склонности того или иного образца. В данном случае образцом был, видимо, сам Шеф. А может, его отец? Дед? Прадед?

Я поздоровалась. Шеф молча смотрел на меня, будто чего-то ждал. Потом нахмурился.

— Почему ты вошла не по форме?

Я сдирала лак с ногтей. Что мне еще оставалось? Мат с первого хода.

— Выйди и явись как следует.

А черт его знает, как следует! Я глупейшим образом продолжала стоять. Мне стало даже смешно.

И тут он вдруг сам бросил мне соломинку:

— Ты должна сказать: агент номер 423 явился по вашему вызову.

Я выползла за дверь и отдышалась. Почему он мне помог? Вряд ли можно было заподозрить такого человека в беспечности или глупости. Он не стал разоблачать меня сознательно, как если бы мы были заодно!

Поистине бредовая мысль.

— Агент номер 423 явился по вашему вызову.

— Садись, Рита. Почему ты не давала о себе знать эти дни?

Кажется, снова мат. Явно неравная партия.

— Да так как-то,— сказала я, даже не пытаясь что-либо придумать.

И опять соломинка:

— Мне доложили, что видели тебя с парнем. Хорошо, что ты снова начала развлекаться. И все-таки я бы тебя просил не пренебрегать своими обязанностями. Что нового?

Похоже, он играл со мной, как кошка с мышью. Я молчала.

— Ты виделась с ним?

— С кем? — бездарно промямлила я.

— С объектом номер 17-Д.— Он был на редкость терпелив. Казалось, он действительно мне подыгрывает, жертвует слонов и коней, а я... Я даже не знала, кто такой номер 17-Д.

— Не помню.— Я подняла глаза к потолку, гадая, когда же его терпение наконец истощится.

— Я спрашиваю о Дэвиде Гуре. Ты себя плохо чувствуешь, Рита?

Теперь он пожертвовал мне ферзя. Мысль сослаться на нездоровье мне самой в голову не пришла. Впрочем, он мог бы отправить меня на обследование и в два счета установить симуляцию. Но ферзя я съела.

— Да, отец, у меня что-то с памятью. Я видела его сегодня вечером. Я была на представлении.

— Ты с ним говорила?

— Нет, но я была на его вилле. Меня не пустили.

— Кажется, я запретил тебе туда ходить.

— Но меня туда тянуло...— За несколько секунд размышления я перебрала десятки возможных ответов и остановилась на этом — правде. Знает ли Шеф о странностях своей дочери? Знает ли, почему меня влекло на перегороженную улицу?

Он молчал. Смотрел на меня пристально и молчал, молчал. Казалось, что сердце Риты-Николь колотится на весь кабинет.

Наконец он встал, открыл один из вмонтированных в стену сейфов и протянул мне небольшой овальный предмет.

— В процессе отчета остановись подробнее на своем состоянии, на переменах, которые в себе замечаешь. Сейчас это самое важное, важнее, чем Дэвид Гур. Ты, надеюсь, понимаешь меня, Рита?

Я кивнула. Предмет по размерам и форме напоминал гусиное яйцо, только был гораздо тяжелее.

— Отчет мне понадобится к завтрашнему утру. А сейчас можешь идти к себе. Я полагаю, что тебе целесообразно пожить здесь до полного выздоровления (это прозвучало, как приказ). Спокойной ночи, Рита.

— Спокойной ночи, отец.

Наверное, я опять что-то сделала «не по форме». Внимательный взгляд. Но на этот раз Шеф промолчал, видимо, отнеся это за счет тех «перемен в моем состоянии», о которых я должна была подробно рассказать в отчете. Какое отношение имел к этому состоянию предмет в моей руке, пока было неясно.

Дверь кабинета Шефа я закрыла с явным облегчением. Туда тут же проскользнул Поль. Я мечтала поскорее попасть «к себе», чтобы наконец-то оказаться наедине с собой и подумать, но вспомнила, что не знаю, где это «к себе». Вернуться и спросить Шефа? Неизвестно, как он отнесется к такого рода «переменам». Интуиция, которая так безошибочно привела меня к вилле Дэвида Гура, на этот раз молчала, как ни призывала я ее на помощь. Я глупейшим образом стояла посреди коридора, ощущая на себе пристальный взгляд охранника, с которым болтал Поль. Это был молодой парень, и пока что в его взгляде читался лишь чисто мужской интерес к моей особе, вернее, к телу Риты-Николь. И тут мне пришла идея. Я покачнулась, вскрикнула и сделала вид, что падаю, разрешив ему подхватить меня в объятия.

— Что-то кружится голова,— шепнула я с болезненной улыбкой,— вчера немного перебрала. Не хочу, чтоб знал отец. Не проводишь ли меня? Только тс-с-с-с...

Сошло. Видимо, он знал, где это «к себе». Повиснув на нем, я предоставила ему полную возможность вести меня по лабиринту лифтов и ко-

ридоров в нужном направлении. Если он и догадывался о моем притворстве, то истолковал это в свою пользу. Он довел меня до самой квартиры и даже помог открыть дверь. Знал ли он шифр по долгу службы или в силу наших интимных отношений в прошлом? Неизвестно. Во всяком случае, он не сделал попытки остаться у меня — возможно, ему просто нельзя было бросить пост. Мы лишь наскоро поцеловались, и он ушел, так и не произнеся ни слова. Наконец-то я осталась одна.

Свою квартиру я тоже не узнала, как не узнавала ничего в этом здании. Ничего и никого. Я прошлась по комнатам, с любопытством разглядывая мебель, картины, платья, белье, безделушки, и чувствовала себя так, будто попала в чужой дом. Я пыталась составить себе какое-либо представление о той, кем стала, о ее вкусах, привычках, характере. Но вокруг все было на редкость стандартным, лишенным какой бы то ни было индивидуальности. Обычная квартира современной девицы, отдающей предпочтение зеленому и золотистому тонам, духам «Весна» — на мой взгляд, слишком резким, и телевизионной рубрике «Спорт сегодня». Последнее я определила по стопке программ, в которых было отмечено все, касающееся спорта, аккуратно записаны имена победителей и их результаты. Правда, программы были старые — трехмесячной давности. Быть может, этот факт тоже был связан с «состоянием» Риты-Николь, о котором говорил Шеф.

За спиной что-то щелкнуло, засветился экран над столом, и симпатичная блондинка напомнила, что приближается время ужина. Замелькали, сменяя друг друга, аппетитные, красочно оформленные блюда, напитки и фрукты, которые она предлагала заказать.

Чтобы отвязаться от нее, я ткнула пальцем в цифру «5» на клавиатуре под экраном. Но, видимо, что-то напутала, потому что мгновенно появившийся из стены робот стал раздвигать стол, будто собираясь разместить на нем по крайней мере жареного быка.

— Что это значит?

— Заказан ужин на пятерых.

— Ничего подобного. Ужин номер пять, где вино.

— Первая набираемая вами цифра соответствует количеству ужинающих, а последующие через точку — номерам блюд.

И назидательно добавил, снова сдвигая стол:

— Неумеренное потребление спиртных напитков ведет к ослаблению памяти. Помните, что настоящее здоровое сердце всегда лучше искусственного.

Я с сожалением вспомнила о своем молчаливом Жаке и после ужина, оказавшегося действительно превосходным, заказала назло этому кретину бренди и сигареты.

Хотя сама знала, что веду я себя, как кретинка. В желудке блаженная теплота, бренди кружит, туманит голову. Я лежу на тахте и смотрю по телевизору спортивную программу. Гребля, гонки аэрокаров, а вот Унго играет в теннис. Он выигрывает. Молодец, Унго! Он мне нравится, я хочу с ним встретиться еще. Мне хорошо. Мне девятнадцать лет.

Кажется, я задремала, а когда открыла глаза, со стола было убрано, свет в комнате притушен, заботливый робот прикрыл меня легким пушистым пледом. На пустом столе округло белел странный предмет, напоминающий по размерам и форме гусиное яйцо.

Я взяла его в руки. На нем стоял номер 17-Д. «Объект номер 17-Д» — так они называли Дэвида Гура. С одного бока яйцо было плоским, две кнопки — «запись» и «стоп». Включила «запись» — послышалось тихое гудение, яйцо засветилось изнутри. Я тут же нажала на «стоп» — яйцо погасло. Не стоило большого труда догадаться, что это магнитофон, на который записывались показания об объекте 17-Д.

«Остановись подробнее на своем состоянии. Сейчас это самое важное, важнее, чем Дэвид Гур».

Над этим стоило поразмыслить. Итак, Верховную Полицию по каким-то не известным мне причинам интересует Дэвид Гур. За ним установлена слежка, и главным действующим лицом в этой операции являюсь я, агент номер 423, дочь Шефа ВП. Но в процессе операции с Ритой-Николь что-то произошло — какая-то аномалия в ее состоянии, возможно, именно она привела ее к самоубийству и сделала участницей эксперимента Ингрид Кейн. Об этой аномалии Шеф знал. Более того, он вел наблюдение за состоянием Риты-Николь. И еще более того, он считал эти наблюдения «важнее, чем Дэвид Гур». И все же я была уверена, что эта аномалия каким-то таинственным образом связана именно с Дэвидом Гуром.

В другое время я бы от души посмеялась над комизмом ситуации — я вынуждена ломать голову, как бы разузнать что-либо о себе самой. Но мне было не до смеха — завтра утром Шефу нужен готовый отчет, сделанный в духе предыдущих. А если нет... Больше всего я опасалась врачебного обследования. Если меня исключат из игры, я никогда ничего не узнаю. А любопытство мое разыгралось вовсю. Похоже, что последний эксперимент Ингрид Кейн затянется.

Что же делать?

И тут меня осенило. Яйцо! Вполне вероятно, что пленка в этом магнитофоне содержала в себе и предыдущие отчеты Риты-Николь, что это своеобразный дневник, посвященный одному объекту — номеру 17-Д. И стоит лишь ее с самого начала прослушать... Отличная идея. Но осуществимая ли? Ничего похожего на «перемотку» или «воспроизведение» — во всяком случае, снаружи. Однако яйцо не было сплошным — его разделяла пополам едва заметная линия. Оно должно раскрыться. Но как?

Было уже далеко за полночь. Я перепробовала сотни способов — один глупее другого. Все колющие и режущие предметы, нитки, проволока, химия, электричество, вода и даже статуэтка хоккеиста — фунтов на десять, которой я в исступлении колотила по яйцу, оказались бессильны. Оно как ни в чем не бывало отсвечивало белесо и холодно в моих исцарапанных, порезанных и красных ладонях с обломанными ногтями. Ни вмятины, ни царапины! Когда-то в детстве я с таким же идиотским упорством ломала игрушки, чтоб узнать, что у них внутри. Но всегда вовремя отступала в тех случаях, когда разум подсказывал, что дальнейшие попытки бессмысленны. Теперь же мое любопытство будто взбунтовалось — оно не желало слушаться рассудка. Или это было уже не любопытство, а то самое пресловутое «состояние» Риты-Николь? Короче говоря, я ничего не могла с собой поделать и, не в силах что-либо уже придумать, снова и снова швыряла яйцо об пол, забыв об осторожности — ведь меня могли услышать.

Наконец, я в полном изнеможении рухнула на тахту и, кажется, уснула, продолжая, впрочем, и во сне резать, колоть, бить проклятое яйцо. Я проспала всего несколько минут, но когда открыла глаза, что-то изменилось. Мне показалось, я знаю, как заставить яйцо заговорить. Более того, я была уверена в этом. Мне должно было помочь нечто красного цвета. Способ открыть яйцо был связан с красным цветом. Само по себе это открытие казалось едва ли разумнее всех моих предыдущих попыток, тем более что оно мне просто приснилось. Но откуда эта нелепая уверенность сейчас, когда она ни в одном глазу? А что если именно во сне неожиданно сработала не до конца стертая информация в мозгу уже не существующей Николь? Николь не была убита мною совсем — в этом я убеждалась все больше. Она непостижимым образом оживала во мне всякий раз, когда дело касалось Дэвида Гура.

Короче говоря, мне не оставалось ничего иного, как пуститься на поиски красного. Чушь, конечно. Почему это красное должно непременно находиться в квартире Риты, а не в кабинете у Шефа, к примеру? Тем более что Рита, видимо, не любила этот цвет, даже его оттенки. А то немногое, что мне удалось отыскать в ее гардеробе и вообще в квартире — поясок, кольцо с рубином, ярко-рыжее солнце на картине и футляр от автоматической зубной щетки, видимо, не имело к яйцу никакого отношения. Короче говоря, я была противна сама себе, когда обматывала яйцо пояском или мазала обломком губной помады. И все-таки не прекращала поисков...

Среди сваленных в беспорядке магнитофонных кассет оказалась одна самого настоящего ярко-алого цвета, но это была пленка от обыкновенного магнитофона, который стоял тут же на столике, и втиснуть ее в яйцо, даже если бы оно вдруг открылось, представлялось делом весьма сомнительным. Я поставила пленку и уже под аккомпанемент модного джазового квартета продолжала слоняться по комнате. За окном начинало светать.

И вдруг джаз оборвался. Во внезапно наступившей тишине громко и отчетливо прозвучало:

— Как успехи, Рита?

Я замерла, ощутив какую-то противную тянущую слабость под ложечкой. Я узнала этот голос — он принадлежал Шефу ВП, отцу Риты-Николь. Неужели попалась? Но в комнате по-прежнему никого, кроме меня, не было. А голос между тем повторил:

— Как успехи, Рита?

Голос звучал совсем рядом.

За мной следили! Все это время я тоже была для них «объектом наблюдения», мышью под стеклянным колпаком — от этой мысли мне вдруг стало на все наплевать.

— Как видишь,— ответила я и, сев на тахту, закурила.

— Как успехи, Рита? — издевательски повторил Шеф в третий раз, и снова как ни в чем не бывало завопил джаз.

Тут только я сообразила, что голос шел из магнитофона. Он был записан на этой же пленке, где-то между барабаном и саксофоном.

Пленка с красной кассетой.

Я невольно взглянула на лежащее на столе яйцо.

Оно было раскрыто!

Все еще не веря собственным глазам, я разглядывала миниатюрную пленку внутри, рычажок с указателем дорожек, заветные кнопки. Тебе всегда везло, Ингрид Кейн!

Значит, «яйцо» было запрограммировано на голос самого Шефа. Тройное повторение фразы «Как успехи, Рита?». Это, естественно, означало, что никто, кроме Шефа, не мог его прослушивать. Но каким образом голос Шефа попал на красную пленку? Собственно говоря, сомнений, что его записала Рита-Николь, у меня не было, как я не сомневалась и в том, что она сделала это тайно, не желая, чтобы кто-либо, тем более отец, знал, что она открывала яйцо.

Но зачем ей понадобилось его открывать? Чтобы послушать себя? Те записи, содержание которых она прекрасно должна была знать? Стоило ли ради этого мучиться — ведь записать голос Шефа в момент, когда он произносил пароль, наверняка было задачей сложной и рискованной. И все-таки Рита пошла на это. Зачем?

Но размышлять надо всем этим сейчас было по меньшей мере глупо. Я перемотала пленку и включила первую дорожку.

— Агент номер 423 докладывает,— зазвучал в комнате звонкий деловитый голос Риты,— сегодня, 16 декабря, я приступила к наблюдению за объектом 17-Д, согласно инструкции, заняла место во втором ряду напротив актерского входа...

* * *

Несколько месяцев назад агенту ВП номер 423 было приказано установить наблюдение за фокусником-иллюзионистом Дэвидом Гуром. О причинах и цели этого наблюдения агент информирован не был, да это его и не интересовало. Рита просто действовала согласно инструкции. Она работала. Задача прежде всего состояла в том, чтобы:

1. Познакомиться с объектом как можно ближе.

2. Суметь ему понравиться и стать его постоянной подружкой.

3. Воспользовавшись предыдущими пунктами, добиться доступа к профессиональным секретам иллюзиониста, главным образом к так называемым «сеансам гипноза».

Рите пришлось нелегко. Гур слыл крайне странным и нелюдимым. Его ценили в цирке — выступления Дэвида Гура всегда обеспечивали аншлаг,— но там не было никого, кто мог бы похвастаться близким знакомством с иллюзионистом. Гур никогда не ходил в гости и никого не приглашал к себе, что объясняли вполне правдоподобно его ревностным отношением к некоторым своим профессиональным тайнам. Но были в его образе жизни и совсем уж необъяснимые моменты. Он не занимался спортом, хотя не только не имел неисправимых физических недостатков, но даже в юности удерживал несколько лет первенство Столицы по плаванию. Он не искал близости с женщинами, скорее наоборот, избегал их, хотя многие из его поклонниц находили его весьма интересным и буквально охотились за ним в те редкие часы, когда он выходил из дому.

Гур не бывал ни в ночных отелях, ни даже в ресторанах, довольствуясь домашней кухней. Виллу его обслуживали исключительно роботы, а ассистентка была глухонемой.

Рита отнеслась к заданию со всей серьезностью. Были найдены и опрошены те немногие женщины, с которыми Гур когда-либо имел дело. Собраны весьма ценные сведения о его привычках, пристрастиях и вкусах, вплоть до того, какого цвета и покроя женские платья ему нравятся, какие духи, прически. Все данные были заложены в ЭВМ, обработаны, и вот 16 декабря прошлого года Рита, преображенная в полном соответствии с эталоном «подружки для объекта 17-Д», явилась на его представление и заняла место во втором ряду.

Продолжение следует.

Юлия ИВАНОВА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

Она вызвалась принять участие в одном из его опытов. Шампанское, предложенное иллюзионистом, оказалось на вкус совершенно обычным, а что было потом, она не помнила, как не помнил этого ни один из «добровольцев» Гура. Назавтра Рита снова пришла и снова вызвалась «добровольцем», но Гур никогда не использовал дважды одного и того же зрителя — все попытки обмануть его ни к чему не привели. Она стала приходить каждый день, превратившись в одну из его поклонниц, преследуя его всюду, даже там, куда простым смертным доступа не было. У дочери Шефа ВП были некоторые преимущества перед другими. Кроме того, ведь она была эталоном «подружки для объекта 17-Д».

Но тем не менее Рите пришлось изрядно потрудиться, прежде чем Гур согласился, наконец, посетить с ней бассейн с морской водой, неподалеку от его виллы. Рита потратила полдня на выбор шапочки и купальника, а он даже не взглянул в ее сторону. Он резвился в воде, как помешанный на плавании юнец, испытывая настолько очевидное удовольствие, что Рита сделала вполне определенный вывод: существует какая-то причина, не позволяющая объекту 17-Д жить так, как он хочет. В частности, регулярно посещать бассейн, как все приверженцы плавания.

Все-таки ей удалось еще пару раз заманить его бассейном, откуда до его виллы рукой подать, и, наконец, напроситься в гости, где он не смог устоять перед чарами своего «эталона». После этого события стали развиваться быстрее, Рита стала «постоянной подружкой» Гура, хотя сведений о нем, во всяком случае, интересующих ВП, почти не прибавилось. В своих отчетах она с утомительной подробностью описывала его «вкусы, пристрастия и привычки», повторяя почти во всем своих предшественниц.

Обычно они встречались днем, за несколько часов до начала представления, и проводили время либо в бассейне, либо на вилле Гура. Затем он на своей машине подвозил Риту до города. Все ее попытки повидать его в другое время ни к чему не привели.

Почти целая лента была посвящена сложнейшей шпионской аппаратуре, которой Рита с профессиональной ловкостью буквально наводнила виллу. Но и аппаратура, как ни странно, почти не помогла. Магнитофоны воспроизводили лишь шум шагов, звяканье посуды и подобные ничего не значащие звуки. Да и с кем было разговаривать Гуру, если гости к нему не ходили, роботы были из самой «молчаливой» серии, а ассистентка — глухонемой.

Каждый вечер после представления он ужинал, потом около часа в одиночестве гулял по саду, а затем скрывался в своем кабинете и выходил оттуда лишь под утро. Не было сомнений, что весь реквизит иллюзионист хранил именно там, но доступа в кабинет не было никому, включая ассистентку. Как ни изощрялась Рита, исследуя тяжелую герметическую дверь кабинета, она не смогла обнаружить на ней никаких признаков механизма, при помощи которого Гур ее открывал. Тщательный анализ кадров, зафиксировавших на микропленке этот момент, также ни к чему не привел. Ни слова. Ни одного лишнего движения. Похоже, дверь открывалась сама собой. Или это тоже был один из трюков знаменитого иллюзиониста?

Но Рита продолжала действовать. В один прекрасный день бесследно исчезла ассистентка Гура, и тот после некоторых колебаний согласился взять Риту на ее место. Это была крупная победа. Рита получила возможность бывать на вилле каждый день. Как и предшественница, она приходила теперь к двенадцати — к этому времени Гур уже обычно просыпался. Они вместе завтракали и приступали к репетиции в специально оборудованном помещении вблизи кабинета. Рита узнала секреты многих его трюков, кое-каким научилась сама, однако то главное, что интересовало ВП, по-прежнему оставалось загадкой.

Чем объяснить странное поведение «добровольцев» во время сеанса гипноза?

Были обследованы десятки зрителей — ни у одного из них не было обнаружено после сеанса каких-либо изменений в организме, равно как и в их поведении. Шампанское для опытов Рита заказывала сама и установила совершенно точно, что Гур откупоривает бутылку лишь во время сеанса на глазах у публики. Однако специальная кинокамера, нацеленная на его руки, зафиксировала нечто интересное. Всего лишь лишнее движение, повторяющееся от сеанса к сеансу. Похоже, что Гур, наполняя шампанским очередной бокал, что-то незаметно вливал туда или подсыпал.

Если это так, то каким образом заполучить хотя бы миллиграмм этого «что-то»?

Несомненно было одно: Гур хранит «это» в кабинете, иначе Рита давно бы все выяснила. И она заметила, что каждый раз перед представлением иллюзионист без всякой видимой причины заходил на несколько минут в кабинет, а когда возвращался, манжет левого рукава его рубашки чуть заметно оттопыривался. Как-то в пути их аэрокар качнуло, Рита будто бы случайно схватила Гура за левую руку выше кисти и действительно нащупала небольшой округлый предмет, видимо, прикрепленный к цепочке от часов.

Действовать чрезвычайно осторожно, чтобы не вызвать у объекта 17-Д ни малейших подозрений,— таково было строгое указание Шефа. Несколько предложенных Ритой планов были напрочь забракованы, но вот, наконец, один из них показался приемлемым — весьма грубоватый, примитивный, но зато отвечающий основному требованию — конспирации.

Давиду Гуру исполнилось всего лишь тридцать восемь, и на здоровье он не жаловался, разве что совершенно не переносил духоты. Рита не раз замечала, как болезненно он реагировал на малейший недостаток кислорода в помещении. Его лицо бледнело, лоб покрывался испариной, и он спешил на воздух, опасаясь обморока, что с ним уже не раз случалось — в этом он сам как-то признался Рите.

И вот однажды Гур, как обычно, зашел в кабинет перед тем, как ехать в цирк, но тут же выскочил оттуда и позвал Риту.

— Что с кондиционером? Там дышать нечем.

— Видимо, испорчен. Вызвать ремонтника?

— Некогда, и так опаздываем. Включи этот на полную мощь.

Конечно, для ремонтника времени не оставалось — все было продумано заранее до мельчайших деталей. Даже то обстоятельство, что в кабинете не было окон, должно было сыграть на этот раз свою положительную роль. Рита послушно включила кондиционер в смежной комнате, и Гур, услышав его гудение, снова ушел в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Откуда ему было знать, что вместо кондиционера работает мощный насос, выкачивая воздух?

Рита сама начала задыхаться, спрятала под язык кислородную таблетку. Наконец, из-за двери кабинета послышался шум, будто упало что-то тяжелое. Пока все шло как надо. Рита выключила «кондиционер» и быстро вошла в кабинет — сейчас ее появление там выглядело естественным.

Как она и предполагала, иллюзионист лежал на полу без сознания. Рита мельком оглядела помещение — обычная, с деловитой строгостью обставленная комната. Никакого таинственного реквизита и вообще ничего такого, что бросилось бы в глаза, привлекло внимание с точки зрения ее профессии. Правда, она тут же подумала, что именно факт отсутствия этого «таинственного реквизита» весьма подозрителен.

Продолжение. Начало в №№ 20—21.

Но для более детального осмотра не оставалось времени — на обморок Гура было отпущено по плану не более пяти минут. Рита склонилась над ним. На левой руке Гура, на цепочке от часов, болтался, как брелок, небольшой флакон. Рита осмотрела его, слегка нажала на пробку, и тяжелая бледно-желтая капля со слабым запахом хвои упала на дно подставленной капсулы. Одно незаметное движение — одна капля в бокал. Цвет совпадает с цветом шампанского...

Рита выдавила из флакона всего несколько капель — больше было рискованно — и запечатала капсулу. Теперь оставалось только отправить ее по месту назначения с механическим «почтовым голубем», который дежурил снаружи перед окном смежной комнаты. Прошло три минуты. Рита перевела часы Гура на пять минут назад — днем, когда часы лежали в спальне на туалетном столике, она перевела их на столько же вперед. Затем быстро прошла в смежную комнату, открыла окно. Поймав «голубя», отомкнула его «багажник», собираясь вложить туда капсулу, но услышала голос Шефа, руководящего из Центра операцией:

— Стой, что-то не так. Приборы показывают, что капсула пуста.

Рита распечатала капсулу и не поверила своим глазам. Там ничего не было!

Раздумывать над этим странным непредвиденным обстоятельством было некогда — свежий воздух из открытого окна наполнял помещение, и Гур мог очнуться в любую минуту. Рита вернулась в кабинет. Еще раньше она заметила на столе пузатую колбу. Догадка подтвердилась — в колбе тяжело плескалась загадочная жидкость. Видимо, из нее то и наполнял Гур каждый вечер маленький флакон. Пробка легко отвинчивалась. Рита капнула жидкость на ладонь, и тут же на ее глазах капля испарилась, исчезла. Видимо, таким же образом жидкость испарялась из обычной посуды, сохраняясь лишь в специальных сосудах Гура. И она удерживалась в организме человека, оказывая на него определенное действие. Пусть недолгое, но ведь в каждый бокал Гур добавлял всего одну каплю! А если дозу увеличить?

Так рассудили в Центре, и Рита немедленно получила новый приказ: прижав горлышко к губам, она сделала несколько глотков. Вкуса так и не почувствовала, только остался во рту слабый запах хвои, комната качнулась — границы ее будто раздвинулись на секунду, распылились, и тут же снова определились, еще более резко и четко.

И все. Быстрей отсюда! Рита зорко оглядела комнату. Ничего такого, что могло бы вызвать подозрения Гура. Если даже он и заметит, что жидкости в колбе стало меньше, то наверняка решит, что, почувствовав себя плохо, недостаточно завинтил пробку или же случайно пролил жидкость на пол.

Рита включила кондиционер в смежной комнате, на этот раз настоящий, распахнула все окна. Только бы он быстрей очнулся! Она несколько раз громко его окликнула.

Наконец он отозвался. Теперь все было в порядке. Если он взглянет на часы, то увидит, что обморок длился не более минуты.

— Мы опаздываем,— напомнила Рита.

Вскоре он вышел, такой же, как всегда, разве что бледнее обычного. Проходя мимо, пристально глянул на девушку, и тут Рита почувствовала...

«Мне вдруг захотелось опустить глаза. Или закрыть их. Или отвернуться. Очень странно. Мне не хотелось, чтобы он на меня смотрел. Стало жарко, участился пульс. Но потом все прошло. Мы поехали в цирк. Сейчас самочувствие нормальное. Думаю, что действие жидкости кончилось...»

Но Рита ошиблась, хотя скрупулезное медицинское обследование не зафиксировало в организме девушки никаких физиологических изменений, разве что некоторую повышенную возбудимость нервной системы. Только сама Рита могла рассказать о том, что оставалось скрытым для приборов. Теперь она сама превратилась в важнейший «объект наблюдений» и в последующих отчетах добросовестно пыталась разобраться в том, что с ней происходило. Но это удавалось ей плохо. Путаный, бессвязный лепет не имел ничего общего с конкретным анализом, которого ждали от нее в Центре. Ее мучило какое-то неосознанное беспокойство, непонятные нелепые желания, кое-какое представление о которых давали странные фразы вроде:

«Хотелось, чтобы кто-то сидел рядом и гладил меня по щеке. И чтоб его рука была теплая». Или: «Хотелось, чтоб все ушли, а я осталась сама с собой и думала, как в школе над задачей... не знаю о чем», или наоборот: «Захотелось, чтобы, когда я войду, все на меня смотрели, чтобы все знали, что я пришла. Хоть что-нибудь спросили. Для этого я крикнула. Теперь они смотрели, но не так...»

Вначале Рита просто бойко перечисляла свои странности, сама посмеиваясь удивленно над ними, потом, видимо, начала их анализировать, затем они стали беспокоить и мучить ее, она пыталась от них отделаться, критически осмыслить свое состояние, но не смогла. И наконец «болезнь Гура» завладела Ритой целиком.

Пока ее состояние не внушало ВП опасений, девушка по-прежнему работала у Гура. Его имя звучало в ее отчетах все чаще, но уже не само по себе, а в связи с симптомами ее болезни. Симптомы эти постепенно конкретизировались — теперь это были не просто нелепые хаотические желания. Все они так или иначе, как компасные стрелки, тянулись к одному полюсу — к Дэвиду Гуру.

Они были следствием непонятной власти, которую он вдруг обрел над нею.

Болезнь прогрессировала. Со стороны казалось, что служебное рвение Риты дошло до абсурда. Она буквально преследовала Гура, заполняя отчеты ничего не значащими бесполезными сведениями. Казалось, ей просто нужно болтать о Гуре. Что угодно, лишь бы о нем. Когда он прогонял ее, она вопреки всякому здравому смыслу караулила его на улице перед виллой. Видимо, это Гуру надоело, и Рите была дана отставка. Наверное, в ВП тоже пришли к выводу, что дальнейшее использование Риты в роли агента нецелесообразно и может принести лишь вред.

Последний отчет был сделан девушкой спустя три недели после того, как ей запретили видеть Гура.

Настроение у Риты было отличное. Она сообщила, что болезнь ее, по всей видимости, проходит, странных нелепых желаний она почти не испытывает, о Гуре не думает совершенно и с удовольствием возвращается к нормальному образу жизни...

Вот все, что мне удалось узнать. Дальнейшее я знала сама.

Что же произошло потом? Внезапный рецидив? Мне вспомнилось ее лицо в то утро.

— Если вы мне не поможете, я брошусь с крыши. Или с моста...

Я просмотрела телевизионные программки. Никаких пометок со времени последнего отчета. А ведь в те дни проходили Большие Соревнования в честь открытия весенне-летнего сезона, за которыми следила даже я. Непохоже, чтобы Рита возвратилась к «нормальному образу жизни».

Я еще раз прослушала последний отчет. Бодрый, оживленный голосок. Пожалуй, даже слишком оживленный...

Стоп! Пленка с красной кассетой! Последний отчет был фальшивым. Рита каким-то образом записала голос отца, чтобы открыть «яйцо» и стереть «настоящий» отчет, в котором она, видимо, наговорила лишнего. Возможно, это были мысли о смерти. Во всяком случае, нечто такое, что она решила скрыть от ВП. Она уничтожила правду и заменила ее фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы сбить ВП с толку. Рита нарушила свой долг — невероятный поступок для агента ВП, особенно для дочери Шефа. Что же все-таки заставило ее это сделать? Неужели пресловутая жидкость давала Гуру такую власть?

Если так, то я начинала понимать, почему этот фокусник заинтересовал ВП. Но тогда чем объяснить их нежелание его немедленно арестовать? Ведь человек этот опасен для общества!

Ну что же, Дэвид Гур, можете считать, что у вас появился еще один партнер. Ингрид Кейн хочет с вами встретиться.

Перспектива поединка с Гуром настолько увлекла меня, что я почти забыла о ВП, своем реальном и ближайшем противнике. Одновременная игра на двух досках?

В комнате было совсем светло, а отчет все еще не готов. Мое состояние... Я усмехнулась. Никогда прежде я так хорошо себя не чувствовала, голова после бессонной ночи оставалась ясной и свежей. Я захлопнула «яйцо» и принялась за отчет — нужно было составить его как можно хитрее, продолжив версию «выздоровления» и в то же время оставив за собой право возможных «рецидивов». И не забыть пожаловаться на провалы в памяти.

Так закончился второй день моего эксперимента.

* * *

Около месяца я провела наверху, на территории ВП, и не без пользы. Во-первых, необходимо было изучить здешний быт, порядки, законы, сотрудников. Исподволь узнать максимум об отце, брате, короче говоря, восстановить те «провалы в памяти», которые в дальнейшем могли бы мне помешать. Я должна была стать Ритой. Той, что родилась девятнадцать лет назад в семье потомственных работников ВП, члены которой из поколения в поколение занимали там руководящие посты. Той Ритой, которая выросла здесь, на горе, окончила здесь же специальную школу. Которая знала и умела то, чего не знал и не умел никто из живущих внизу.

Во-вторых, я должна была убедить всех, и в первую очередь Шефа, в своем выздоровлении. Во всяком случае, в том, что я на пути к выздоровлению. Это было крайне важно — на каждом шагу я совершала промахи, обнаруживая злополучные «провалы», которые приписывались, естественно, моей болезни. Я невольно вела их по ложному следу. Интересно, получу ли я когда-либо за это благодарность Дэвида Гура?

А между тем подлинные симптомы «болезни Гура» и не думали исчезать. Самое забавное, что я, как и Рита, тоже не смогла бы их сформулировать. И это были уже не приступы. Это было почти всегда. Мое тело, тело Риты, продолжало жить какой-то своей жизнью, не желая повиноваться разуму, и каждый раз мне приходилось прилагать усилия, чтобы заставить его подчиниться, заставить себя казаться нормальной.

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

Для продолжения игры было необходимо, чтобы они потеряли ко мне всякий интерес как к «объекту наблюдений по делу Гура». Исчерпать себя как экспонат. Стать для них прежней, привычной Ритой, полноценным агентом номер 423.

Я наблюдала, прислушивалась, разузнавала, всеми возможными способами добывая, восстанавливая то, что стер в свое время мой ДИК. Помимо всего прочего, это было любопытно и в аспекте моего эксперимента. Так, например, я получила у Шефа разрешение присутствовать на занятиях спецшколы и убедилась, что усваиваю все гораздо быстрее других, будто я и в самом деле не познаю заново, а лишь восстанавливаю в памяти забытое. Рита продолжала жить во мне. И вместе с тем я отлично помнила все, что должна была помнить Ингрид Кейн. Мне пришла в голову забавная мысль: а что, если Рита настолько «восстановится», что начнет борьбу с Ингрид Кейн и в конце концов вытеснит меня по праву принадлежащего ей тела? Но это предположение было скорее из области юмора. Рита воскресала, чтобы помогать мне. Чтобы, воскресая, тут же становиться мною. Так же как я становилась ею.

Мы превращались друг в друга.

Вообще я неплохо проводила время. Здесь были отличные спортивные площадки, бассейн, вкусная кухня и много молодежи. В свободные часы я от души развлекалась, наслаждаясь преимуществами второй молодости. Через день составляла отчеты — других обязанностей у меня не было. Несколько раз вызывал Шеф, заводил разговор на самые отвлеченные темы. Видимо, это была своеобразная форма проверки — он присматривался ко мне.

Однажды я попыталась спросить о Гуре — Шеф неопределенно пожал плечами и заговорил о другом. Отмолчался? Или Гур действительно больше не интересовал ВП? Не все ли равно! Важно, что он интересовал меня. Что это было — любопытство Ингрид Кейн или симптомы болезни Риты? Или и то и другое? Я знала одно: мне интересно жить, поскольку меня интересует Дэвид Гур.

И вот, наконец, долгожданный момент. Медицинское обследование и специальная комиссия, где в течение двух часов мне задают самые каверзные вопросы. Я отвечаю без запинки — ни одного провала в памяти! Меня признают абсолютно здоровой, я окончательно становлюсь Ритой, полноценным агентом ВП № 423. После этого меня вызывает Шеф. Думаю, что за новым назначением. Никогда бы не поверила, что на 128-м году жизни приобрету такую профессию. Забавно!

— Я полагаю, Рита, тебе сейчас следует немного отдохнуть. Спустись в город, развлекайся, делай, что тебе нравится. Когда понадобится, тебя вызовут.

Во мне мелькнуло подозрение — дела складывались слишком уж удачно. Но глаза Шефа смотрели спокойно и доброжелательно, а в уголках тонких губ я впервые заметила некое подобие улыбки.

— Ты свободна, Рита.

На этот раз я распрощалась с ним вполне по форме. Уже через полчаса фуникулер вез меня вниз.

* * *

Прошло несколько дней. Я отдыхала, поселившись в отеле на берегу моря. Днем купалась, загорала, а вечером аэробус за сорок минут довозил меня до Столицы, где ждал Унго. Мы неплохо проводили время. С ним я была не Ритой и не Ингрид, а Николь Брандо — смазливой девчонкой без определенных занятий. Я ухитрилась даже попасть в прессу как одна из призеров теннисных состязаний — сказались регулярные тренировки «наверху». Еще одно подтверждение версии о «выздоровлении» было для ВП как нельзя более кстати. Особенно сейчас, когда мысли Ингрид-Риты были как никогда заняты Дэвидом Гуром.

В цирке он больше не выступал. В Бюро Труда мне сказали, что сейчас Гур — всего-навсего рядовой участник развлекательной программы в небольшом вечернем ресторанчике на окраине Столицы. Он ушел из цирка по собственной инициативе, чем очень удивил сотрудников Бюро. Ведь его «сеансы гипноза» нравились публике и приносили Гуру немалый доход и популярность. Сме-

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

нить собственную большую программу на два-три номера в жующем зале — это ли не глупость!

Мы с Унго не без труда разыскали этот ресторанчик и видели номера Гура. «Мраморная женщина», еще несколько трюков, включая второразрядные карточные фокусы, и ничего похожего на прежние сенсационные «опыты». Но я не была склонна квалифицировать поступок Гура как глупость — у меня было свое мнение на этот счет.

Я отдыхала и обдумывала предстоящий разговор с Гуром. Был лишь один способ вызвать его на откровенность — правда. Разумеется, не правда про Ингрид Кейн, а правда про Риту, агента ВП № 423, которая вела за ним наблюдение и в результате сама стала «объектом наблюдения» благодаря странной жидкости с запахом хвои. Предложить ему сотрудничество. Информацию в обмен на информацию. Ведь фактически мы стали соучастниками с того момента, как я убедила ВП в своем полном «выздоровлении», дезинформировав ее относительно симптомов «болезни Гура».

Вполне вероятно, что Гур мне не поверит, сочтет мое предложение провокацией. Но в любом случае он будет вынужден вступить со мной в какой-то контакт — вряд ли он так уж легко оставит меня в распоряжении ВП, чтобы она беспрепятственно изучала развитие пресловутых «симптомов»! Разумеется, я отдавала себе полный отчет в том, насколько рискован мой будущий визит. Но в конце концов что могла потерять в этом мире Ингрид Кейн, удачно завершившая — в чем я уже убедилась — свой последний эксперимент? Разве что возможность удовлетворить в последний раз свое любопытство!

Главное было решено, теперь оставалось лишь продумать детали. Первое: встретиться с Гуром лучше всего на его вилле — в любом другом месте он сможет легко увильнуть от разговора. Причем надо застать его врасплох, взять штурмом — Рита своей несносной навязчивостью порядком осложняла мне задачу.

Второе: никто не должен знать о моем визите, а поскольку мне придется опять лезть через ограду, то лучше всего это проделать, когда на улице темно и безлюдно. Роботы в ночное время тоже обычно выключены, и у меня больше шансов беспрепятственно проникнуть на виллу. Поэтому я выбрала ночь.

Уже накануне назначенного дня тело Риты совсем вышло из повиновения — я буквально не находила себе места и ни о чем, кроме Гура, думать не могла. Мысли мешались, наскакивали одна на другую, перехватывало дыхание, вдобавок еще бессонница. Короче говоря, чувствовала я себя прескверно, и это обострение болезни было очень некстати. Страшная история — желание видеть Гура было чрезвычайно сильным, а тело будто отказывалось подчиниться этому желанию. Парадокс. Противоречие тела и духа.

Я уже убедилась на практике, что от такого рода приступов в какой-то мере помогает спиртное, но не хватало, чтобы я заявилась к Гуру навеселе! Нашла еще одно лекарство — движение. Дать телу максимальную физическую нагрузку. И весь день я таскала Унго по бассейнам и кортам, а вечером так отплясывала в ресторане, что он бросил меня и бежал с инфантильной блондинкой из секции фигурного плавания. Но я добилась своего — у тела больше не было сил. Хотелось лишь одного — лечь или по крайней мере сесть. Я представила себе, как, придя к Гуру, развалюсь в мягком удобном кресле, и тело послушно поддалось обману, нетерпеливо заныло в предвкушении блаженного покоя.

И я отправилась к Гуру.

Мне везло. Пошел дождь, и на улице не было ни души. Кроме того, окно на первом этаже виллы оказалось открытым, и не пришлось «расшифровывать» замки, чему я, кстати, так толком и не научилась «наверху». Через окно я попала в оранжерею, оттуда в холл, одну за другой обошла все комнаты, включая спальню,— Гура нигде не было. И снова меня удивило, насколько легко я ориентируюсь в этом незнакомом доме. Одна, в полной темноте.

Я знала, что стою перед дверью кабинета. Гур, видимо, не изменил своей привычке работать в ночные часы и должен быть здесь. Что же делать? Постучать? Тело Риты опять забарахлило. Я постучала, прислушалась. Тишина. Постучала громче — тот же результат. Я с силой толкнула дверь и вдруг... Невероятно, но факт — дверь отворилась.

Она оказалась незапертой!

Яркий свет из кабинета ослепил меня, и я застыла на пороге, не в силах даже пошевельнуться, настолько была ошеломлена. И не меньшим сюрпризом оказалось отсутствие здесь Гура. Может, я попала не в ту комнату? Но нет, все совпадало с описанием Риты — стены без окон, массивный полированный стол, рядом — сейф, куда прятал Гур свою колбу.

А свет в кабинете? Что, если иллюзионист только что был здесь и сбежал? Над таким предположением можно было посмеяться, но мне не хотелось смеяться. Где же Гур?

Я обследовала комнату. На первый взгляд в ней не было ничего необычного — стандартная кабинетная обстановка, и все же при более внимательном изучении она начинала казаться странной. Кабинет производил впечатление необитаемого. В нем не было «обжитости», которая неизбежно накладывает отпечаток на помещение, где человек работает регулярно. Тем более ежедневно.

Вдруг за спиной послышался какой-то звук. Я обернулась — по-прежнему никого. Но звук повторился. Еще, еще. Приглушенные равномерные хлопки слышались, казалось, откуда-то из-под пола, из-под небольшого пушистого коврика, в котором, однако, все отражалось, как в зеркале. Подобный ковер, только гораздо больший, я видела на представлении Гура.

Я подошла ближе. Звуки прекратились, но неожиданно что-то снова глухо хлопнуло в самом центре ковра. На ощупь он был мягким, как мох. Я опустилась на колени, прижавшись ухом к тому месту, откуда доносился звук. И в ту же секунду ковер рванулся из-под меня, я провалилась куда-то в темноту. Что-то подхватило меня, прижало к земле, в нос ударил тошнотворный лекарственный запах, и я потеряла сознание.

* * *

Где я? Похоже, что на дне колодца. Хотя нет, вон потолок, только очень высокий и сделанный, как и стены, из какого-то серебристого материала с холодным блеском.

Я была привязана к креслу. Напротив сидел Гур. Он молча смотрел на меня и курил. На разделяющем нас шахматном столике лежал поясок от моего платья, в пряжку которого был вмонтирован замковый шифроопределитель. Вещественное доказательство, как бы символизирующее проигранную мной партию. И не менее символичным было кресло, о котором я так мечтала днем и где так прочно «отдыхала» сейчас. Вместо явки с повинной — арест на месте преступления, полный провал в буквальном и переносном смысле. Необходимо что-то срочно придумать, а я совсем отупела. Голова еще кружилась, мутило от лекарственного запаха во рту.

— Как ты попала в кабинет?

Впервые я видела Гура так близко. Сейчас, без грима и нелепого факирского парика, он выглядел гораздо моложе, чем со сцены. Худощавое бледно-матовое лицо с резко обозначенными скулами, жесткая щетка волос — удачное сочетание природного русого цвета и седины, очень красивые руки. И эта птичья манера сбоку, не мигая, смотреть на собеседника. Будто петух, собирающийся клюнуть.

Так уже было однажды. Он так же сидел в кресле напротив, с сигаретой в длинных подвижных пальцах, так же щелчком стряхивал пепел, по-птичьи скосив темные немигающие глаза. Я знала этого человека! Моя уверенность не имела ничего общего со смутным подсознательным узнаванием всего, связанного с Гуром,— наследство Риты-Николь. Сейчас его узнала я, Ингрид Кейн, несомненно, встречавшаяся с Гуром в своей прошлой жизни.

Где же это было? Когда?

— Как ты попала в кабинет? Только не ври, что при помощи этого.— Гур швырнул мне на колени «вещественное доказательство».

Я медлила. Слишком уж неправдоподобной была правда!

Гур совсем склонил голову на плечо, глаза еще больше округлились и потемнели.

— Послушай, Николь, ты не глупа. Ты довольно ловко меня дурачила, пора бы перестать, а? Или я тебя спалю вместе с креслом. Ты ведь этого не хочешь, верно? Ну!

Вид его весьма красноречиво подтверждал, что свою угрозу он выполнит. Наша встреча в прошлом была, кажется, гораздо приятнее. Но мне было уже не до воспоминаний. Огонь, дым — б-р-р... Я терпеть не могла боли и поспешно принялась убеждать Гура в своих благих намерениях. Не могла его нигде найти, попала в кабинет...

— Как попала?— перебил он.— Через дверь?

Далась ему эта дверь!

— Она была незапертой.

— Что? Незапертой?

Я не зря, кажется, опасалась правды. Гур взвился пружиной, шагнул ко мне. В его руке блеснуло что-то острое. Я зажмурилась. И почувствовала, как путы ослабли.

— Встань. Та дверь тоже незаперта. Открой ее.

На первый взгляд ничего, кроме стены. Но потом на ее фоне я разглядела более темный, намертво вшитый прямоугольник.

— Она тоже незаперта. Ну!

Делать было нечего. Набрав в грудь побольше воздуха, я всем корпусом врезалась в прямоугольник, пальцы скользнули по холодному металлу и, потеряв опору, ткнулись в пустоту. Я будто проскочила сквозь стену, едва не упав.

За спиной щелкнуло — и полная темнота.

Постояла, прислушалась. Гур не подавал никаких признаков жизни. Ловушка? Что если он решил спалить меня здесь, сохранив кресло?

Я рванулась обратно, вновь проскочила стену, но на этот раз не удержалась на ногах и, сидя на полу, ждала, когда Гур начнет смеяться. Вот уж поистине ломиться в открытую дверь!

Но Гур не смеялся, он был очень бледен. За шиворот, как котенка, рывком поднял меня и, не отпуская, хрипло выдавил:

— Как ты это делаешь?

Мне стало не по себе. У Гура и пальцы были птичьи — так и впились мне в плечо.

— Не знаю.— Я тщетно пыталась освободиться. Я правда не знала. Иначе к чему была волынка с кондиционером?

— С кондиционером?

Вот оно. Шанс направить разговор в нужное русло.

— Если ты согласен выслушать...

— Да,— сказал он, наконец отпуская меня.— Да. Говори.

Мы опять сидели в креслах напротив друг друга, и я пересказывала ему отчет Риты о наблюдении над объектом 17-Д. Все мое внимание уходило на то, чтобы говорить о Рите в первом лице. Гур

молча слушал, нацелив на меня неподвижный птичий взгляд из прошлого Ингрид Кейн. Я рассказала про кондиционер, про жидкость с запахом хвои, про то, как качнулась комната.

— Если б знать, что дверь можно было открыть просто так...

— Это мог только ЧЕЛОВЕК.

Я сочла нужным переспросить.

— Че-ло-век,— повторил он.— Я был единственным на Земле-бета. Адамом. А теперь вот ты... Ева из ВП.

Он хрипло рассмеялся.

Что он такое говорит?

— У нас это назвали «болезнью Гура». Дэвид, что со мной?

— Охотники не смогли найти барсучью нору и решили справиться о ней у самого барсука.

— Если ты думаешь, что меня подослала ВП... Давай рассуждать логически. Я больна и не совсем нормальна, значит, во-первых, не являюсь полноценным агентом. Во-вторых, я же для них ценнейший экспонат, единственный в своем роде объект для изучения «болезни Гура». Зачем им было отправлять меня одну прямо тебе в руки?

— И все же тебя отпустили...

— Просто я их убедила, что здорова. Обманула ВП, чтобы встретиться с тобой и...

— Но если ты их убедила, что здорова, то тебя снова можно использовать как агента. Не так ли? Твоя логика трещит по швам.

Пришлось предъявить последний козырь.

— В конце концов... Я в твоих руках. У тебя всегда есть возможность меня убрать. И если мы перед этим обменяемся информацией, ничего не изменится, правда? Только, пожалуйста, не надо огня. Что-нибудь другое, а, Дэвид...

Гур потерся щекой о плечо, скосив на меня глаза.

Где же? Когда?

Он опять выпрямился неожиданно, как пружина, и прошел в сос' днее помещение (на этот раз через обычную дверь). Я услыхала шум льющейся из крана воды. Гур вернулся с наполненным стаканом, что-то туда бросил, отчего вода приобрела голубоватый оттенок, и протянул стакан мне.

— Это «что-нибудь другое». Ты умрешь через два часа после того, как это выпьешь. Мгновенный паралич сердца, абсолютно безболезненно. А я за это время успею удовлетворить твое любопытство. Идет?

Вот и все. Я отлично понимала, что Гур никогда меня отсюда не выпустит и его предложение в данной ситуации, пожалуй, лучший для меня выход. То, ради чего я сюда пришла, ради чего жила эти два месяца, сейчас исполнится. Барсук покажет охотнику свою норку и убьет охотника. Забавно. Я хочу знать, где нора.

Я взяла стакан. Жидкость оказалась безвкусной, и я выпила с удовольствием, так как хотелось пить.

Гур усмехнулся.

— А ты вправду изменилась. Прежде ты ценила жизнь и интересовалась лишь тем, чем тебе приказывали интересоваться. Ты была на редкость нелюбознательна, Николь.

Я взглянула на часы. Без восемнадцати четыре.

— У нас не так уж много времени.

Он с интересом разглядывал меня, почти положив голову на плечо.

А напоследок я задам ему вопрос: «Ты когда-либо встречался с Ингрид Кейн?»

— Хорошо,— сказал он.— Пойдем.

Я убедилась, что дверь в стене он умеет «открывать» не хуже меня. Вспыхнул свет, и мы оказались в помещении с таким же высоким потолком, только гораздо просторнее. Огромный куб из серебристого материала с холодным блеском. Вдоль стен громоздились полки, сплошь заставленные картонными прямоугольниками, напоминающими старые коробки из-под конфет. И вообще все вокруг было до отказа забито странными предметами, о назначении которых я понятия не имела. Одни из них походили на мебель, другие — на приборы, третьи — вообще ни на что. Они казались очень ветхими — выцветшие, потрескавшиеся краски, ржавчина. Даже в воздухе, несмотря на мощные кондиционеры, ощущался музейный запах старья.

Уж не хранит ли здесь Гур ту самую загадочную «аппаратуру», в существовании которой я прежде сомневалась? Я взяла с полки одну из «коробок». Внутри оказалась стопка пожелтевших бумажных листков со старинным шрифтом. Древний способ фиксации мыслей...

— Это книги с Земли-альфа.

— С Земли-альфа?!

— Да. Здесь все с Земли-альфа.

Невероятно! Более трехсот лет существует закон, по которому любой предмет, несущий в себе информацию о родине человека, подлежит немедленному уничтожению. За нарушение этого закона — смерть. Земля-альфа — проклятая Богом планета, куда Господь изгнал человека из рая в наказание за грехи, вот и все. Чтобы через несколько тысячелетий люди вновь обрели утраченный рай здесь, на Земле-бета.

— Здесь редчайший архив. И, видимо, единственный. Я обнаружил его случайно, когда в моей лаборатории на первом этаже разворотило взрывом пол. До сих пор не знаю, кто и зачем это оставил. Я тогда занимался химией. Земля-альфа интересовала меня не больше этого окурка.

Химией. Он щелчком сбил с сигареты пепел. И тут я все вспомнила. Эрл Стоун! Лет двадцать назад Дэвид Гур был Эрлом Стоуном, лучшим учеником Бернарда. Талантливый химик, восходящая в науке звезда, впоследствии внезапно исчезнувшая с горизонта. Я узнала его, когда-то худого долговязого мальчишку, которого Бернард привел однажды к нам на обед. У мальчишки был волчий аппетит, он смеялся над нами, что мы живем по старинке, семьей, а Бернард доказывал, что в старости это удобно — есть с кем любовтать о своих болячках и посидеть за картами.

Потом Бернард пошел в спальню отдохнуть, а мы за чашкой кофе проговорили на веранде до вечера. Эрл был отлично осведомлен о моих исследованиях, хотя Ингрид Кейн в то время уже давно забыли и вообще мои работы не имели никакого отношения к тому, чем занимался он сам. Он привлек меня совершенно необузданным любопытством,— в этом мы были схожи. И вместе с тем я же тогда была развалиной, беседа меня утомила, отвечала я не сразу и еле слышно. А Эрл, по-птичьи скосив на меня круглые, любопытные глаза, нетерпеливо щелкал длинными пальцами по сигарете, а потом вдруг выпрямлялся пружиной со своим «Ну же! Ну!» — ему, видимо, очень хотелось стукнуть меня, встряхнуть, как старый забарахливший прибор.

— Надеюсь, мы когда-либо продолжим нашу беседу, мадам Кейн...

Он сказал это, с сомнением оглядывая меня, будто прикидывая, сколько я еще смогу протянуть. Я наблюдала, как он уходит по ярко освещенной аллее парка, двигаясь с бесшумной грацией зверя из семейства кошачьих, и впервые за много лет пожалела, что мне не двадцать.

Эрл Стоун... Я чуть было не отступила в тень, однако тут же сообразила, что он-то никак не сможет меня узнать. Я была Николь Брандо, которой двадцати еще не исполнилось. И не исполнится никогда. Забавно.

— Когда догадался, что к чему, первой мыслью, естественно, было сообщить куда следует.— Я заставила себя слушать Гура.— Но кое-что в этом хламе меня заинтересовало. Решил подождать. Потом все откладывал. Любопытно. Мне никак не удавалось их понять, существовала некая преграда... Я сам должен был измениться, стать человеком с Земли-альфа. И я им стал. Я назвал эту жидкость «альфазин». Достаточно ввести два кубика...

— Но откуда она взялась?

— С Земли-альфа. Колба была упакована в одном из ящиков.

— Как же ты смог догадаться о ее назначении?

— Случайно. Просто экспериментировал. Что это такое, понял потом, когда стал сопоставлять симптомы своей болезни с этим.— Гур указал на полки.

Он явно что-то не договаривал.

— Но ее состав, формула? Природа действия? Альфазин исчезает из обычного сосуда и моментально всасывается в кровь...

— Какое-то неизвестное нам вещество.

— Однако его должны были знать на Земле-альфа.

— Возможно. Никаких сведений на этот счет.

Гур наверняка хитрил. Он был химиком и слишком любопытным, чтобы не докопаться до сути. Чего он боится? Я почти покойница.

— Эта колба здесь?

— Альфазин кончился,— сказал Гур,— ты слишком много хлебнула. Я даже не смог продержаться в цирке до конца сезона. Там отлично платят, но их интересовали лишь сеансы гипноза. И не только их.— Гур насмешливо скосил на меня глаза.— Что ты еще хочешь знать?

— Чем они отличались от нас?

— Способностью чувствовать.

— Что ты имеешь в виду?

— Во всяком случае, не те пять чувств и инстинкты, вроде самосохранения, которыми обладают и животные. Я говорю о чувствах друг к другу. Можно назвать это совестью, общественным самосознанием — как угодно... Наш рай убил человека, позволил ему убежать в себя.

— Не понимаю...

— Они умели мечтать и жалеть, любить и ненавидеть. Непонятные слова, да? Они совсем иначе воспринимали мир и себя в мире. Гораздо обостреннее, глубже, полнее. Тот человек знал и страдания — пусть! Но это заставляло искать выход, бороться, переделывать мир. У них было искусство.

— А разве у нас...

— У нас искусность. Искусные маляры, танцоры и джазисты, которые хотят выразить только то, что умеют раскрашивать холст и стены, отплясывать лучше всех «чангу» и барабанить по клавишам. Они развлекают толпу и получают за это чеки. У равнодушных не может быть искусства. Человечество остановилось в развитии. Оно ничего не хочет и никуда не стремится. В науке осталась лишь горстка любознательных, которые удовлетворяют свое личное любопытство и плюют на человечество. Любопытство кошки, гоняющейся за собственным хвостом. Земля спокойных, земля живых мертвецов.

Впервые в жизни я ощущала себя безнадежной тупицей. Предположить, что Гур попросту помешался на Земле-альфа и его странные утверждения не стоит воспринимать всерьез, было бы легче легкого. И все-таки и «болезнь Гура», и его власть над Ритой, и загадочное решение Риты умереть, и двери, которые открывались непонятно как, и тайник — все это было реальностью и требовало объяснений.

Но мое время кончилось.

Продолжение следует.

Я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Поспать бы! То ли дала себя знать усталость, то ли начало действовать средство Гура, но я совсем отключилась и даже не сообразила, где я, когда в мое плечо впились пальцы Гура.

— Не поняла? Не веришь? Николь...

Судя по часам, я уже давно находилась на том свете. Но Гур с его птичьими когтями никак не походил на ангела.

— Не поняла? Хочешь понять?

Я хотела только спать. Я будто скользила по наклонной плоскости куда-то в небытие, и если это была смерть, то я желала ее. Но меня удерживали пальцы Гура.

— Хочешь понять? Ты останешься здесь. Тайник в твоем распоряжении. Если хочешь понять... Я дал тебе подкрашенную воду... Я сам... я сам этого хочу. Чтобы ты поняла. Чтобы был кто-то еще. Я больше не могу...

Его пальцы разжались, и я тут же полетела в бездну. Моя последняя мысль все-таки была о смерти — я уже забыла, как засыпают в двадцать лет после сильной усталости.

Примыкающая к тайнику комнатушка, похожая на дно колодца, теперь была моим домом. Только самое необходимое — крошечная ванная, допотопный немой робот, кое-что из гардероба и косметики, доставленное Гуром из города по моему заказу, столик, кресло и тахта. С утра до вечера я валялась на ней, обложенная книгами и словарями, и пыталась разобраться в странных историях, где люди говорили друг другу таинственные слова, похожие на молитву, убивали себя и других, сражались с ветряными мельницами, разыгрывали длинные нелепые спектакли вокруг самых элементарных желаний. Особенно связанных с женщиной.

Я воспринимала только их музыку. Ее можно было просто слушать, не докапываясь до логики и здравого смысла. Беспокойство, которое она вызывала, не навязывалось извне, а было внутри меня, пока еще не понятое, но крайне занятное. Я слушала себя.

Мне никто не мешал. Лишь иногда за дверью слышался раздирающий душу скрип (это вычитан-

---

Продолжение. Начало в №№ 20—22.

ное «раздирающий душу» мне понравилось), и появлялся мой робот, чтобы накормить меня, подобрать с пола книги и, унося полную пепельницу окурков, удалиться с «раздирающим душу» скрипом.

Среди ночи я сквозь сон слышала шаги Гура. Вниз по лестнице и дальше по подземному коридору. Куда и зачем он ходил, я не знала. Выходить в коридор мне было строжайше запрещено, и «Раздирающий душу» бдительно следил, чтобы я не нарушила этого запрета. Шаги Гура звучали чуть слышно, но почему-то каждый раз будили меня. Лишь потом я сообразила, что бессознательно ждала их в полусне.

Под утро он возвращался. Попасть в тайник можно было только через мою комнату.

Делая вид, что сплю, я наблюдала, как он крадется во тьме мимо моей тахты. Он прекрасно ориентировался в темноте, скользил меж стульев, которые я нарочно расставляла на его пути, с бесшумной грацией кошки. Как и в тот вечер, когда был Эрлом Стоуном. Почему он переменил имя и профессию? Что сейчас составляло его жизнь, помимо легальной внешней стороны? Эти вопросы занимали меня ничуть не меньше Земли-альфа. Меня интересовал Гур, а еще больше — мой интерес к Гуру.

Я знала, что Рита была его девушкой, но ко мне он ни разу не приблизился. Я тоже не делала никаких попыток к сближению, а, напротив, каждый раз, когда он пробирался к тайнику мимо моей постели, инстинктивно настораживалась, словно мне грозила опасность.

Тем более непонятно, потому что меня к нему тянуло. И не только как к источнику информации. Когда Гур был в библиотеке, я уже не могла спать, иногда не выдерживала и, наскоро одевшись, шла туда. Гур сидел на старом диване с книгой или в наушниках, закрыв глаза. Лицо его казалось пепельно-серым, а тени у глаз — голубоватыми, то ли следы грима, то ли усталости. Углы рта, руки находились в блаженно-расслабленном состоянии покоя, только сомкнутые веки, обычно неподвижные, мелко дрожали, будто ветер гнал рябь по воде.

Я осторожно садилась рядом и тоже надевала наушники. Пленка была старая, с дефектами, музыка то гремела, то совсем удалялась, и я слушала то ли Ингрид Кейн, то ли Риту, то ли Николь, которая сидела сейчас рядом с Гуром.

Я сделала очень важное открытие насчет Риты и Гура.

«Все время хотела его видеть, думала о нем, караулила...» ЛЮБОВЬ. Как на Земле-альфа. Рита была ВЛЮБЛЕНА в Гура. Это «их» слово, которое прежде было для меня лишь словесным обозначением чего-то непонятного, абсурдного, вдруг обернулось реальностью. Даже слишком реальностью. Мною.

Рита. Бетянка до мозга костей. Ей было поручено следить за Гуром, стать его подружкой, и она выполняла этот приказ охотно, потому что Гур не был ей неприятен и она, наверное, согласилась бы на связь с ним и без инструкции. А потом альфазин, после чего ее отношение к Гуру стало похоже на болезнь. Любовь.

Гур считал, что природа любви заключалась в стремлении «того» человека вырваться из оболочки своего замкнутого «Я», ощутить единство с другим «Я».

Стремление к невозможному. Иллюзия, самообман. Глупо.

Рита вряд ли сознавала, что с ней происходит, я еще меньше умела бороться со своими эмоциями. Она надоела Гуру, раскрыла слежку и была исключена из игры обеими сторонами.

Пока она видела его ежедневно, ей еще как-то удавалось держаться, но вот она не видит Гура три недели. Последний отчет. Настроение отличное, болезнь проходит, никаких нелепых желаний, никаких мыслей о Гуре.

Через два дня она пришла ко мне просить о смерти.

Ее лицо в то утро. Я подошла к зеркалу. Теперешняя Рита выглядела старше — то ли сказывалось подземное существование, то ли...

Мне показалось, что лицо Риты-Николь стало приобретать черты Ингрид Кейн. Вокруг глаз по-прежнему ни единой морщинки, но взгляд... И несвойственная Рите линия губ, слишком напряженная,— я всегда, когда размышляла, стискивала губы, так что в углах образовывались ямки. И прическа. Видимо, я механически закалывала волосы, как когда-то в молодости.

Рита была ВЛЮБЛЕНА в Гура и, оказавшись изолированной от него, почувствовала, что не хочет больше жить. Ситуация, аналогичная историям в их книгах. Но Рита была бетянкой. Почему она не сообщила отцу, не обратилась к врачам, когда приступы стали невыносимыми? Почему она, более того, скрыла их, стерла последний отчет, чтобы ей не помешали умереть? И с этой же целью сама состряпала необходимые для смерти документы, когда шла ко мне?

Она не хотела избавиться от «болезни Гура» и связанных с ней страданий, предпочла умереть, страдая. Будто видела в них какой-то смысл, удовлетворение.

Удовольствие в страданиях? Нелепость.

Или же это так называемая «жертва собой», с чем я тоже часто встречалась в их книгах? Рита не могла долго обманывать ВП, давая неверные показания о ходе «болезни Гура», так же как пчела одного улья не может таскать мед в другой. Но, продолжая выполнять свой долг, она играла бы против Гура и предпочла смерть, как поступали в подобных случаях на Земле-альфа.

Я поймала себя на том, что испытываю от своего открытия гораздо большую радость, чем от всех открытий Ингрид Кейн, вместе взятых. Я впервые самостоятельно проанализировала факты и сделала выводы, пользуясь понятиями Земли-альфа, ранее мне недоступными.

Жаль только, что я не могла поделиться своим открытием с Гуром. Рита была в него влюблена и из-за этого умерла. Но Рита была мною, Ингрид Кейн, которая двадцать лет назад болтала с Эрлом Стоуном на веранде и которая тоже умерла. Обе мы теперь стали Николь, которая была жива, но вместе с тем уже не была той Николь, которую знал Гур.

Слишком много объяснений, которые отнюдь не входили в мои планы. Даже вариант: «Я преследовала тебя, потому что была влюблена» — не годился, так как не соответствовал действительности. Мой повышенный интерес к Гуру был в основном познавательным, хотя память Риты продолжала жить во мне. И память Ингрид Кейн, которая когда-то пожалела, что ей не двадцать.

Но никаких безумств. Гур приходил теперь менее усталым, и мы вместе познавали Землю-альфа. Вначале он был учителем, но постепенно я нагнала его. Мы тогда были слишком поглощены Землей-альфа, чтобы запяться друг другом. Гур сказал, что со мной как бы открывает ее заново. Ее и того человека.

Мы будто карабкались вдвоем на какую-то недоступную гору, связанные одной веревкой, тащили друг друга выше, выше, казалось, еще шаг — и вершина. Но она опять оказывалась лишь ступенью, откуда начинается новая скала, еще круче. И мы снова лезли вверх, ощупью исследуя каждую впадину, каждый выступ. Нас гнало любопытство — что там, дальше?

История человечества. Тысячелетия, века... У каждого века свои проблемы. У каждой страны, у каждого поколения. У каждого человека. Они были такими разными в своем сходстве. Каждый — целый мир, загадка.

Мы поняли: чтобы до конца постичь все это, не хватит и тысячи жизней. И все-таки карабкались.

Нищета, неравенство, физические страдания. Право сильного, войны. Двадцатый век. Планета поделена на два лагеря. К сожалению, все книги из хранилища Гура были с Западной половины. Мы почти ничего не знали о Восточной — видимо, информация о ней была на Западе под таким же запретом, как у нас сейчас о Земле-альфа.

Итак, развивается цивилизация, найдены дешевые способы получения энергии, неприятную и тяжелую работу поручают машинам. Перепроизводство, изобилие. Но человеку все хуже. Учащаются самоубийства, клиники переполнены душевнобольными; искусство все мрачнее и безнадежнее. Духовные страдания страшнее физических. Причина где-то в человеческих взаимоотношениях. Люди не находят общего языка, перестают понимать друг друга и даже не пытаются понять. СТРАСТЬ, НЕНАВИСТЬ, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ, СОСТРАДАНИЕ — эти их слова, прежде определяющие человеческие взаимоотношения, постепенно исчезают из языка. В моде фальшивое спокойствие и безразличие, каждый — сам по себе. Люди Земли-альфа словно подражают бетянам, а те, кому это не удается, прибегают к алкоголю и наркотикам, чтобы духовно и эмоционально отупеть, забыться наедине с собой. Бегство в себя от себя. Замкнутый круг. Тупик.

Они мечтают об одиночестве и страдают от него. Потому что они другие, потому что им слишком многое дано. Но они не хотят этого многого. Они находят во Вселенной рай, где можно быть одиноким и самому по себе, не страдая. И бегут туда.

На Землю-бета. На планету Спокойных.

Все это представлялось нам величайшей нелепостью, какой-то ошибкой в конструкции нашего предка. Мы часто спорили, и я, увлекшись, начинала приводить аргументы, которые в устах Николь звучали совсем уж невероятно. Ловила на себе удивленно-пристальный взгляд Гура и спешила перевести разговор на другую тему, потому что разбираться в проблемах Земли-альфа на уровне девочки из ВП все равно не имело смысла.

Эти паузы не нравились нам обоим, и вскоре Гур принял правила игры. Лицо его не менялось, даже если я цитировала изречения профессора Мичи, умершего восемьдесят лет назад. Моя личность занимала его гораздо меньше, чем наши регулярные беседы. Думаю, что, если бы в тот период я даже призналась ему, что я Ингрид Кейн, ему было бы все равно.

Но все же он первым взглянул на меня. Я что-то доказывала и вдруг заметила, что он на меня смотрит. Не как обычно, не видя, ожидая лишь завершения моей мысли, чтобы бросить ответную реплику, а, наоборот, не слыша. Он вглядывался в мое лицо, ощупывая его цепким немигающим взглядом птицы, собирающейся клюнуть.

— Ты не слушаешь?

— Тебе надо отдохнуть, Николь. Неважно выглядишь.

— Чепуха, послушай...

— Завтра я свободен. Как насчет морской прогулки? Тебе нужен свежий воздух. И хватит курить.

Гур отнял у меня сигарету. Мой окурок чем-то заинтересовал его, он пацелил взгляд на пепельницу, полную таких же окурков.

— Ты что?

Гур поспешно поставил пепельницу на место.

— До завтра.

Когда затихли его шаги, пепельницей занялась я. Скорее всего я иначе, чем Рита, втыкала в нее окурки... Да мало ли что! Он обратил на меня внимание. Это было скорее плохо, чем хорошо.

* * *

Гур зашел за мной очень рано, и, пока я плелась за ним по загадочному коридору (успев заметить, что он продолжается без конца), пока мы поднимались по лестнице к люку, ведущему в кабинет (откуда я свалилась), а затем на лифте на крышу, я неудержимо зевала, хотя впервые за много дней меня вывели на волю развлекаться. Правда, под конвоем, но все же... Меня покачивало, будто после болезни, колени дрожали.

В Столице уже наступила осень. Небо походило на мокрую простыню, через которую ветер сеял капли дождя. На черном лакированном корпусе гуровского аэрокара рыжими мазками прилипли кое-где мертвые листья. Я с наслаждением глотнула пряный сырой воздух, голова закружилась, но через секунду все встало на свои места. Крыши соседних домов, прилипшие к аэрокару листья

Юлия ИВАНОВА

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

и капли на стекле показались обостренно четкими, как на фотографии.

Будто я снова глотнула альфазина.

Преимущество молодости — способность организма мгновенно восстанавливать силы.

Окна аэрокара были зашторены — для конспирации, и я не видела, куда мы летим. Но можно было догадаться, что к одному из рекомендованных в утренней сводке погоды пляжей, где «день обещает быть солнечным и теплым». Гур всю дорогу молчал, я дремала.

Стоп. Дверца распахнулась, и я почти вывалилась из аэрокара на горячий песок. Трудно было поверить, что где-то осень и дождь, что еще час назад по корпусу аэрокара скатывались капли. Сейчас он был раскаленный, сухой, и в нем отражались дюны и море.

Море плескалось в нескольких шагах, на его фоне подернутое утренней дымкой небо казалось тусклым, белесым. Солнце грело, но не жгло — то самое «бархатное» тепло, в которое погружаешься, как в ванну, которое размагничивает, усыпляет, ласково укачивая, подобно газу «вечного успокоения». Песок набился в туфли, под одежду, но вставать не хотелось.

— Может, хотя бы переоденешься?

Гур направлялся ко мне с купальником, наверное, с тем самым, в котором когда-то соблазняла его Рита. Он был уже босиком и в шортах, сутулый, угловатый и нескладный, как подросток, но в движении его тело становилось красивым, гибким и сильным, как у зверя из семейства кошачьих. Эрл Стоун...

Он помог мне подняться, подал купальник и продолжал что-то говорить, спокойно глядя на меня. Я ждала, когда он отвернется, и уже собиралась попросить его об этом, как вдруг сообразила, что Николь была его подружкой и ему вовсе не обязательно отворачиваться в подобной ситуации. Я почувствовала, что краснею, и с досадой рванула молнию на платье, но Гур уже все понял.

Его взгляд на мгновение вцепился в мое лицо, но он тут же отвернулся и, бросив мне купальник, ушел разбирать багажник. Фу, как глупо!

Гур возился с разборной лодкой. Я подопла, уже в купальнике,— он не смотрел на меня. Я положила ему руку на голову — волосы были жесткими, горячими от солнца. По его взгляду тут же поняла, что лишь усугубила предыдущую ошибку. Во всяком случае, он знал, что я сделала это, чтобы ее исправить. Я убрала руку.

Но когда лодка, наконец, была собрана, когда затрепал мотор и мы помчались к горизонту, чуть касаясь кормой воды, когда соленые брызги ударили в лицо, от ветра перехватило дыхание и нас швырнуло друг к другу — Гур уже не мог не обнять меня. Это было законом, ритуалом Земли-бета — он и она, обнявшись, мчатся по волнам в двухместной лодке. Сотни раз я каталась так в молодости, и Гур наверняка тоже, когда еще был Эрлом Стоуном. Обняться здесь было так же естественно, как в танце. Все же мы оба родились на Земле-бета.

Его ладонь легла мне на плечо, утвердилась там, потом я ощутила спиной всю его руку и почувствовала, как горячая волна кувыркнулась где-то во мне, ударила в голову и, опалив щеки, ушла. Знакомое ощущение, только, пожалуй, сильнее, чем прежде. Мне было не до анализа — меня обнимал Эрл Стоун. Я знала это и только это и опасалась одного — как бы он не убрал руку. И еще мне нужно было делать вид, что мне плевать на его руку, потому что она уже обнимала Николь тысячу раз. А ему нужно было делать вид, что он верит, что мне наплевать. Забавно. Мы оба играли и оба знали, что играем.

Мы сидели так очень долго, не шевелясь, пока Гур, наконец, не выключил мотор. Лодка остановилась, и он убрал руку. Стало вдруг очень тихо. Пляжи с соснами и дюнами, люди и коттеджи остались за горизонтом. Мы были одни в море. Вокруг перекатывались белые барашки волн, лодку покачивало. Я вспомнила Унго, отель «Синее море». Тогда все было просто. И спокойно.

Я подумала, что море совсем не синее. «Голубое небо», «Зеленый лес», «Красный закат» — так тоже просто и удобно. Все упрощать. Но закат на Земле-бета совсем не красный, а море не синее. Какое?

Чтобы его описать, нужно чувство. Сам для себя ты все понимаешь, но если тебе нужно кому-то рассказать... Требуются особые слова, рожденные чувством. Чувством к другому.

Бетяне этого лишены.

Синее море.

Я смотрела, как Гур плавает, плавно и ритмично закидывая руку, неслышно вспенивая воду ступнями. В воде он был естествен, как рыба, даже лицо становилось каким-то рыбьим.

А я решила установить вышку, нажала на пять метров и, стоя на площадке, которая медленно поднималась, видела обращенное ко мне лицо Гура — теперь он лежал на спине, раскинув руки.

Он открыл глаза, и я постаралась не ударить в грязь лицом — когда-то Ингрид Кейн прыгала классно. Я выбрала один из самых сложных и эффектных прыжков, бесшумно вонзилась в воду и, не размыкая ладоней над головой, продолжала полет вниз, в темнеющую бездну. Глубже, глубже. Сейчас дыхание кончится. Предел. Рука Гура на моем плече. Нет. Вверх, быстрее!

Еще одно открытие — я хотела жить. И на этот раз меня удерживало не только любопытство. Рука на плече? Было тысячу раз. Что же?

Гур уже сидел на корме, склонив голову — точь-в-точь петух на насесте,— и по его взгляду я поняла: опять сделала что-то не то. Наверное, Рита не умела прыгать с вышки. Или боялась высоты? Все предусмотреть невозможно. Какого черта я с ним поехала?

Но тем не менее позавтракали мы с аппетитом, я сама готовила сандвичи, уже не думая о том, так ли их делала Николь, потом снова до одури плавали и, наконец, в изнеможении распластались на корме, подставив животы солнцу. Я видела краем глаза его профиль, сомкнутые под темными очками веки и инстинктивно чувствовала, что он все время наблюдает за мной, ни на секунду не выпускает из виду, несмотря на закрытые глаза.

Николь была его подружкой, и мы оба знали, что если не поцелуемся, это будет неестественно. Мы оба родились на Земле-бета, где в подобной ситуации так было всегда и, наверное, было прежде у Гура с Николь, когда они отправлялись до меня в морской вояж. До меня. Забавно.

Мы оба ждали. И оба знали, что ждем. Наконец я не выдержала и, приподнявшись на локте, приложилась к его губам. Лучше бы я этого не делала. Правда, на поцелуй он ответил, чтобы соблюсти ритуал, но мы оба лишь играли в Гура и Николь. И знали, что играем.

В общем, в этот день все было не так и не то. Но когда мы возвращались и рука Гура снова лежала у меня на плече (правда, я ее уже не чувствовала — плечо и спина затекли, так как я боялась шевельнуться), я жалела, что этот «день здоровья» уже кончился.

* * *

Гур снова пропал и не показывался более недели. С ним ничего не случилось — каждую ночь я по-прежнему слышала его мягкие кошачьи шаги по коридору мимо моей двери. Под утро он возвращался к себе и, похоже, забыл о моем существовании.

Поначалу его отсутствие меня даже радовало — я была слишком занята собой в связи с очередным открытием. По всей вероятности, я не избежала участи Риты и тоже влюбилась в Гура. Или Рита была ни при чем и это случилось с Ингрид Кейн, которая когда-то пожалела, что ей не двадцать? Или в Гура влюбилась новая Николь, которая вместе с ним открывала Землю-альфа, чтобы, постигая того человека, постичь себя?

Я думала о нем все время. Даже когда не думала о нем. Когда сидела в тайнике одна перед экраном, в наушниках или с книгой. Представляла себе, что бы он сказал в том или ином месте, соглашалась, спорила. А потом откладывала книгу и просто думала о нем. Хаос из его реплик, жестов, мимики. Гур, Гур, Гур...

Открывать в одиночку Землю-альфа не хотелось — мне не хватало Гура, его души, мыслей. Впервые в жизни я заскучала наедине с собой.

Мне нужно было его видеть.

«Мне все время хотелось его видеть...»

Можно было позвать его, но мне нужна была иллюзия. Что я по-прежнему спокойна. Инстинкт самосохранения. Если бы Гур не откликнулся, я оказалась бы безоружной.

Я боялась его власти над собой. Теперь я знала, откуда она.

И когда Гур, наконец, пришел как ни в чем не бывало, будто мы лишь вчера расстались, я приняла правила игры.

Гур был подчеркнуто равнодушен — это его выдавало. Я знала, что он играет. И он знал, что играю я.

Мы оба, перестав быть бетянами, играли в бетян. Как те, с Земли-альфа. Никаких чувств, никакой зависимости друг от друга. Каждый в своей скорлупе, каждый сам по себе.

Гур опять приходил ежедневно, но больше я не думала о нем. Мне было легко, спокойно и пусто. Мы снова занимались лишь Землей-альфа.

Это произошло неожиданно. Я поймала взгляд Гура в зеркальной грани какого-то прибора. Он смотрел на меня и не знал, что я его вижу. В нем будто что-то распахнулось, прежде наглухо запертое, а теперь открытое, обращенное ко мне. Он перестал для меня быть бетянином. И хотя я понимала, что это происходит в нереальности, по ту сторону зеркала, что Гур воображает, будто наедине с собой, я не могла оторваться и, как завороженная, увязалась за ним в эту нереальность и тоже ответила ему взглядом, каким посмотрела бы на него наедине с собой.

Наши взгляды встретились в зеркале. Но ни он, ни я не отвели глаз — нереальность была слишком хороша.

Мы смотрели друг на друга, было очень страшно. Бетянка во мне бешено сопротивлялась, но я ее скрутила. Преодолеть себя, рискнуть. Преодолеть спокойствие. Еще хотя бы несколько мгновений...

Гур улыбнулся. Не так, будто он наедине с собой, а улыбнулся мне, как бы переводя в реальность то, что произошло между нами. Выдержать, рискнуть. И вот уже зеркала нет, его руки у меня на плечах. Лицо в лицо, глаза в глаза. Я — ТЫ. ТЫ. ТЫ.

«Не может быть»,— подумала я, закрывая глаза.

И все-таки это было — иллюзия, что я не одна. Всего несколько секунд, но ради них... Страдания ради иллюзии? Пусть.

Что с нами теперь будет, Эрл Стоун? Мы больше не бетяне, мы вроде сиамских близнецов, связанных одним кровообращением. Каждое неосторожное движение будет причинять боль другому. Все, как у них.

— Эрл...

Я назвала его настоящим именем, и он даже не удивился, ничего не спросил. Как и я бы не удивилась, если бы он назвал меня Ингрид. Все предыдущее было чудом. Всего лишь пара небольших чудес впридачу.

* * *

Ночью я ждала его в своей комнате, уверенная, что он придет. И Эрл действительно пришел и молча сел на край тахты, не решаясь ко мне прикоснуться. Я подумала, что этого, в сущности, могло бы и не быть. Визит Риты, мой последний эксперимент, все, что произошло потом... Цепь случайностей. Я ушла бы из жизни, и ничего бы не было. Ни этой сырой, похожей на дно колодца комнаты, ни жужжания кондиционера, ни Эрла Стоуна, не решающегося ко мне прикоснуться, ни нашего молчания.

И все же чудо происходило. Мне было двадцать, и я была гораздо красивее, чем Ингрид Кейн в те годы, и Эрл Стоун пришел ко мне и сидел рядом, не решаясь ко мне прикоснуться...

Спасибо тебе, Рита! «Спасибо» — их слово. Оно слишком мало, а другого нет. Почему их слова значат так мало?

Спасибо за чашку кофе. Спасибо за жизнь.

И еще я подумала, что ему проще — ведь Николь уже была прежде его подружкой. Но когда ею стала Ингрид Кейн и умирала в его руках, когда это произошло и его лицо в моих ладонях снова стало реальностью, лицом Эрла Стоуна, я услышала:

— Ты не Николь. Может, я сошел с ума, но ты не Николь. Кто же ты? Кто ты?

Я знала, что никогда не отвечу ему. Как бы близки мы ни были.

Он мог бы быть моим внуком.

Нет, я слишком женщина. А он — мужчина. Это нас сблизило, и это нас разделяет. Я остаюсь Ингрид Кейн, вещью в себе, я не могу открыться ему полностью. В чем-то я боюсь его.

Потому что я женщина, а он мужчина.

В чем-то мы всегда останемся тайной друг для друга.

И на Земле-альфа тоже было так.

* * *

Они сравнивали любовь с огнем — наивно, но точно. Я «горела». И все тепло, все лучшее во мне — ему.

Мое тепло как бы материализовалось в нем, каждый раз Эрл уносил с собой часть меня. И чем больше я в него вкладывала, тем сильнее привязывалась к нему. Тем больше любила.

Теперь я понимала Риту — она отдала ему слишком много, чтобы продолжать без него жить. Для себя ничего не осталось. Она сгорела совсем, ей было двадцать. А может, это действительно прекрасно — сгореть дотла?

Иногда я жалела, что не способна на это. Всегда останется несгораемый сейф, надежно запертый изнутри, куда никому нет доступа. Даже Эрлу Стоуну.

Мои сто двадцать семь. Последний эксперимент.

Наверное, поэтому мне не по силам было то, что они называли СЧАСТЬЕМ.

Это когда думаешь «не может быть», когда ты до предела натянутая поющая струна, которая вот-вот оборвется. Оно абсолют, оно «слишком» чтобы его можно было вынести долгое время.

«Вечное счастье» — бессмыслица. Все равно что «вечная молния». Разве что в настоящем раю.

Я «горела». Даже не знаю, хорошо мне было или плохо. По-всякому. Но все мое прошлое я бы отдала за полчаса с Эрлом. Даже когда мы играли в бетян, даже когда было плохо. Когда его взгляд вдруг останавливался на мне в мучительном недоумении:

— Ты не Николь. Может, я сошел с ума... Кто ты?

Он осмелился спросить это вслух лишь однажды. Он знал, что я Николь, и знал, что я не Николь. Он сомневался в очевидном, сомневался в самом себе. Вопрос был слишком интимен, все равно что признаться в потере рассудка.

Только я могла бы ему помочь. Но не могла. Оставляла одного и сама оставалась одна. Нам обоим было плохо в такие минуты. Но уже эта схожесть состояний вновь сближала нас, уже это казалось чудом.

Я по-прежнему не знала, куда и зачем он уходит по ночам, и не стремилась узнать. Эта его тайна как бы компенсировала мою. Так было легче удирать от его мучительного: «Кто ты, Николь?»

Будто причиняя боль себе, я частично избавляю его от боли. Иллюзия? Возможно. Спасительная жертва. У них тоже так было.

Но я знала — рано или поздно Эрл мне все расскажет. Моя неосведомленность тяготила его самого едва ли не больше, чем меня. Он был человеком абсолюта. Отдать все. Дотла. В этом отношении он походил на Риту. Или просто они оба были молоды?

Почему Эрл не полюбил ее?..

Гаснет свет, мы на дне колодца. Жужжит кондиционер. Тело Риты, душа Ингрид. Кто из нас умирает в твоих руках?

Ингрид была совсем другой. Любопытно, понравилась бы она тебе? Или все-таки я с тобой остаюсь Ингрид? Ты разжимаешь руки. Опять этот взгляд: «Кто ты, Николь?»

Притворяюсь, что сплю. Мы играем в бетян. Ты одеваешься и крадешься к двери с бесшумной грацией зверя из семейства кошачьих. Стараешься не разбудить меня, хотя знаешь, что я не сплю.

Твои шаги по коридору — куда и зачем, не знаю. Мы встретимся через сутки, а я уже жду.

Всю ту жизнь за полчаса с тобой. Даже когда нам плохо. Ты не должен знать, что я ненастоящая. Я не могу, Эрл!

* * *

Прошла осень, кончалась зима. За все это время произошло лишь одно пустяковое событие — у меня выпала пломба. Возможно, об этом и упоминать бы не стоило, если бы...

У Риты не было запломбированных зубов!

Я твердо это знала, так как в свое время обследовала на приборах каждую клетку ее тела — от пальцев ног до пепельных, с зеленоватым отливом волос.

И впоследствии я ни разу не обращалась к дантисту. Но вот, чистя зубы, обнаружила справа вверху маленькое аккуратное углубление, несомненно, искусственного происхождения, и вспомнила, что, когда накануне грызла орехи, мне действительно показалось, будто выскочила пломба.

Может, приборы ошиблись?

Или Рита, готовясь к смерти, за те два отпущенных ей дня решила запломбировать вполне здоровый зуб? Сомнительно.

Или... Или я не Рита? Забавно.

Или...

Ореховую скорлупу мой «Раздирающий душу» успел выбросить, и я тоже постаралась выбросить из головы это происшествие. Кто я? — не все ли равно. Я замечала, что даже для Эрла Стоуна этот вопрос постепенно теряет былую остроту.

Мы были слишком поглощены друг другом, тем чудом, которое они называли ЛЮБОВЬЮ.

Земля-альфа, лучшее, что когда-либо было создано тем человеком, принадлежало нам. Шекспир, Гете, Достоевский, Толстой, Бетховен, Чайковский, Моцарт... Все, что они называли КРАСОТОЙ, ПРЕКРАСНЫМ.

Теперь мы почти не разлучались — его ночные прогулки прекратились. Я и радовалась этому и чего-то боялась. Я знала, что он принял решение один, без меня, но ему необходимо, чтобы я его одобрила. Он ждал моих расспросов, но я молчала, опасаясь его откровений.

Он и так уже слишком был мной, а я не могла ответить ему тем же.

* * *

Приближался день Большого весеннего карнавала, и мне захотелось наверх. Непонятно откуда возникшее желание, от которого я никак не могла отвязаться,— ощутить себя в толпе, слиться с нею.

Единственный день в году, когда это было для нас возможно. В костюмах и масках нас никто не узнает. Общепринятый стандарт — животное, птица, растение, насекомое. Флора и фауна Земли-бета, десятки тысяч родов и видов. Каждый постарался выбрать что-либо неизвестное — не узнанному никем виду полагался в конце праздника специальный приз. И призы тем, кто отгадает больше всех костюмов.

Мы не хотели призов. Эрл был барсом — это, разумеется, моя идея, а я — просто травой. Эрлу нравилось, когда я в зеленом. Подобие юбки из зеленых шелковистых стеблей, как у папуаски с Земли-альфа, в волосы, с которыми пришлось изрядно повозиться, вплетены зеленые нити, зеленая с золотом полумаска. Обнаженные плечи, шея и руки сверкают от золотистой пудры. Какая ты красивая, Рита! Длинные, стройные ноги чуть прикрыты колышущейся дикарской юбочкой — мои были куда хуже. И волосы...

Неуклюжая толстушка Ингрид с темными, вечно торчащими патлами — если бы можно было тебя вернуть! Мне захотелось поплакать. Сентиментальность, глупо. Закусив губу, я принялась пудрить ноги.

Эрл, оглядев меня, одобрительно свистнул. Сам он испытывал крайнюю неловкость из-за болтающегося сзади хвоста, хотел его оборвать, но я не позволила. Барс так барс.

Эрл в душе не одобрял моей затеи, считая ее рискованной и легкомысленной, но подчинился, чтобы доставить мне удовольствие.

Он не понимал, почему меня тянуло в толпу. Я сама себя не понимала.

Но когда мы проскользнули через заднюю калитку на улицу и горластый пестрый поток, представляющий флору и фауну планеты, подхватил нас и понес, когда мы будто растворились в нем, тоже пели, приплясывали, выкрикивали гортанное «ай-я-яй!», мы почувствовали, что нам обоим этого не хватало.

Общества? Но бетяне — всего лишь стадо разумных животных. Что же их заставляет держаться вместе? Привычка, расчет, инстинкт?

А мы с Эрлом? Что у нас с ними общего? Сифоны с шампанским гуляют по рукам. Пожилая дама, сделав несколько глотков, сунула сифон Эрлу и хрипло рассмеялась. По ее прыгающему подбородку, по шее стекали липкие капли. Эрл хлебнул, смотрит на меня вопросительно. Я забираю у него сифон, пью. Мне весело. Вокруг что-то трещит, свистит, хлопает. Разноцветный серпантин, конфетти, шарики, ракеты. Над головой проносятся аэрокары.

Пустеет Столица, закрыты оффисы, магазины, рестораны. В зонах отдыха уже накрыты столы, белеют бочки с пивом. Будто в калейдоскопе, меняется реклама аттракционов, ждут гостей уютные дома свиданий.

«Зеленый лес», «Розовый закат», «Синее море».

Молодежь на лужайке отплясывает «чангу». Мы присоединяемся. С упоением дергаемся вместе со всеми в бешеном ритме, пока не падаем в изнеможении на ковер под прохладный поток воздушного душа. Эрл обнимает меня, круглые птичьи глаза весело косят из-под маски. Мы целуемся. Очень долго, будто забыв о толпе и вместе с тем чувствуя ее присутствие.

Откуда это желание — чтобы другие увидели нас вместе? Смотрите, знайте — нам хорошо только вдвоем. Не все ли равно, знают они или нет! Стадность?

Эрл явно целовал меня для публики — смотрите, знайте!— глаза его блестели.

— Ты молодчина!— шепнул он, имея в виду нашу вылазку.

На реке была сооружена временная плотина, на дне котлована оборудована площадка для выступлений, вокруг амфитеатром — зрительные ряды. Все места были заняты, мы с Эрлом с трудом протиснулись к барьеру у края котлована. Здесь происходили спортивные соревнования — бокс и борьба, гимнастика и акробатика, фехтование и высшая школа верховой езды. Культ красоты и здоровья. Безупречно сложенные бронзовые тела, чуть прикрытые яркими воздушными тканями, отточенные грациозные движения, гармония и пластика тела, доведенная до совершенства,— это было очень красиво, и голубое небо — действительно голубое, и безмятежно улыбающиеся лица вокруг — все наводило на мысль о золотом веке человечества.

Стройные, длинноногие девушки плавно двигались под музыку, свежий весенний ветерок обвевал разгоряченные шампанским щеки, рядом был Эрл Стоун,— я чувствовала тепло его руки, как всегда, неловко лежащей на моем плече, и пребывала в блаженном состоянии, которое они тоже называли «счастьем», но не слишком эмоциональной его разновидностью, не тем, что я про себя называла «не может быть», а чем-то спокойным, удовлетворенным. Равновесие тела и духа. Не слишком хорошо, а просто хорошо.

Вдруг пальцы Эрла больно впились мне в плечо.

— Вода!.. Там... Да нет, ты не туда... О боже!

Дальнейшее напоминало дурной сон, где самые невероятные события происходят в каком-то нереально-замедленном ритме. Гигантская плотина расползалась, будто намокшая бумага, из щелей сочилась вода, образовывая сотни водопадов, которые устремились вниз, дробясь и сверкая в солнечных лучах.

Какое-то мгновение зрелище выглядело даже красивым — разноцветные грациозные фигурки, застывшие внизу, мозаика зрительных рядов — все в туманном радужном ореоле водяной пыли.

Потом вопль одновременно из тысячи ртов:

— А-а-а-а!..

Человеческая мозаика внизу ожила, задвигалась, будто в калейдоскопе, и ринулась вверх, к проходам. Давка, стоны, визг. Те, кому удавалось перебраться за спасительный барьер, с любопытством толкались в проходе, образуя еще большую пробку. А внизу вода, казалось, кипела, заливая котлован, в бурлящей белой пене один за другим исчезали зрительные ряды, шум воды заглушал крики тонущих, ржанье обезумевших лошадей.

Вода прибывала. Добравшиеся до верхнего ряда, не в силах выбраться через проход, пытались дотянуться до барьера — всего три метра отвесной стены. Если стать друг другу на плечи... Но это никому не приходило в голову, равно как и у стоящих по ту сторону барьера — намерения помочь. Каждый спасал себя, каждый, оказавшись в безопасности, превращался в любопытствующего зрителя.

Два-три раза в жизни мне приходилось наблюдать подобные сцены, когда невозмутимость зрителей и моя собственная невозмутимость представлялась вполне естественной. Спасать — обязанность спасательных служб, они несут за это ответственность и наказываются за человеческие жертвы.

Но сейчас... Эти искаженные ужасом, запрокинутые ко мне лица, почти все в масках,— будто сцена из какой-то жуткой оперетты! Бетяне страдающие, бетяне не похожие на бетян! Желание броситься туда, к ним, навстречу умоляющим лицам и протянутым ко мне рукам. Я не задумывалась, чем конкретно могу им помочь, но я рванулась из рук Эрла. Я кричала, била кулаками в чьи-то спины. На какое-то мгновение мне удалось овладеть вниманием толпы. Однако происходящее внизу представляло для них несравненно больший интерес, чем истерика какой-то особы. Не помню, как я очутилась в объятиях Эрла, меня трясло, будто от холода, а он твердил:

— Прекрати! Они же не люди. Слышишь, Николь, они не люди. Не люди!

Плотина рухнула, и река с победным ревом устремилась в отвоеванный котлован. Прибыли аэрокары спасательной службы, из них посыпались в воду водолазы. Толпа расходилась. У барьера, кроме нас, осталась лишь группа детей, обступивших инженера-спасателя.

— Шеф, вытащите мисс Берту. Мы из двести пятого интерната, это наша воспитательница. Блондинка, в красном платье. Вытащите, шеф...

Нет, я не одинока в своей реакции, кому-то тоже не по себе. Детям. Им хочется, чтобы ее спасли. Мне даже показалось, что я ее помню — светловолосую девушку в красном платье, помню ее запрокинутое ко мне лицо, сползшую на затылок форменную шапочку интерната номер 205.

Я прижалась к толстой стриженой девчонке, похожей на маленькую Ингрид, гладила ее теплый колючий затылок.

— Вытащите ее. Она должна показать нам дрессированных слонов. У нее билеты. Наши билеты...

— Я позвоню, вас пустят так,— сказал спасатель,— двести пятый?

— Ага. Спасибо, шеф. Бежим.

Девочка оттолкнула меня, полумаска соскользнула на шею. Ее спокойные глаза. В них ничего не было.

Мы были одни. Среди живых мертвецов с обращенными внутрь глазами. Наше единение с ними оказалось иллюзией.

Земля-бета окончательно перестала быть нам родиной. Мы стали здесь чужаками, инопланетянами.

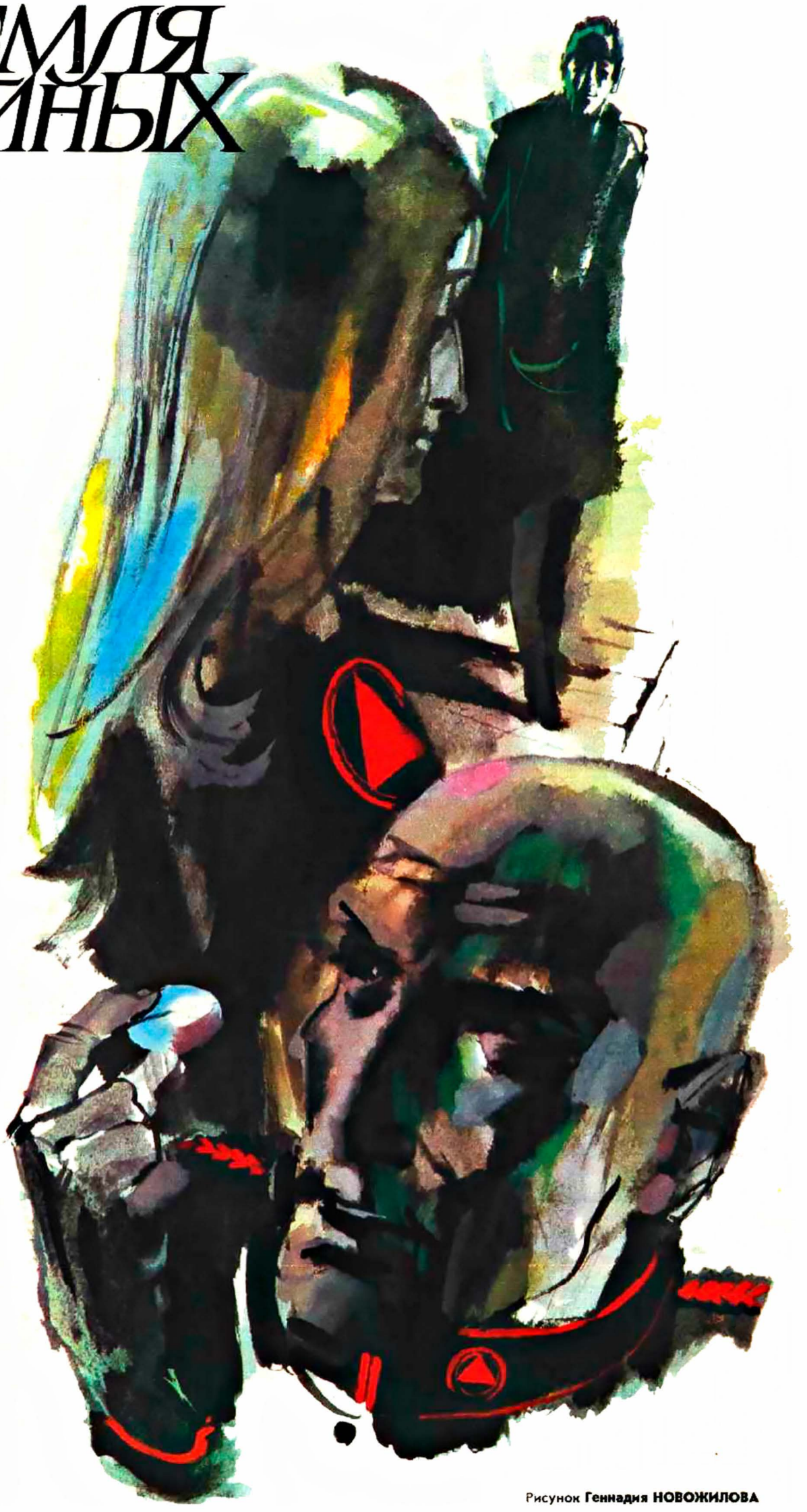
Двое с Земли-альфа, два человека. Адам и Ева.

Окончание следует.

ЗЕМЛЯ СПОКОЙНЫХ

Юлия ИВАНОВА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Я вдруг впервые по-настоящему осознала разделяющую нас и их пропасть. Это была пропасть между прежней и нынешней Ингрид Кейн.

Планета невозмутимых и спокойных. И мы, навсегда обреченные среди них на одиночество.

Их преимущество перед нами — преимущество роботов перед живыми. Роботам не бывает больно: они в броне своей бесчувственности.

Мы можем говорить им какие угодно слова, кричать, плакать, биться головой о стену.

В лучшем случае они глянут на нас с любопытством. И пройдут мимо.

Но мы никогда не перестанем страдать от их равнодушия и непонимания. Потому что мы — другие.

Мне стало страшно. И Эрл, будто почувствовав это, стиснул мою руку. Мы по-прежнему ничем внешне не отличались от снующих вокруг парочек, но теперь мой взгляд с болезненной остротой выискивал все новые доказательства нашей обособленности, нашего несходства с ними.

Сидящие в одиночку на скамейках, прямо на земле. Иногда группами, но все равно в одиночку. Глаза, обращенные внутрь себя. О чем они думают? Этого никто не знает, и это никому не интересно, кроме них самих!

На дороге сидит девушка, видимо, ушибла или вывихнула ногу. Толпа обтекает ее, как река подводную корягу, спутник ее, видимо, ушел с другой, а она сама терпеливо ждет, когда ее подберет дежурный медицинский аэрокар. Когда-то это тоже показалось бы мне вполне естественным. А теперь я сразу же представила себя на ее месте.

Очень болит нога, Эрл ушел, безучастная толпа обтекает меня, как корягу...

Я невольно замедлила шаг. Эрл понял, почему, поморщился, но все же попытался перенести ее на траву, в сторону от толчеи.

Девушка отталкивала его, скулила, он пытался ей что-то втолковать, а я ждала, и толпа обтекала меня — оценивающие мужские взгляды, прикосновения чьих-то горячих липких рук, все эти слоны, бегемоты, медведи, волки. Здоровые, сытые, мускулистые и... мертвые.

Синее море.

Розовый закат.

Я вспомнила, как Эрл однажды развел в лесу костер, как мы смотрели на изменчивое трепетное пламя, которое казалось живым именно из-за своей неопределенности, полутонов, многоликости, трепетности.

Костер излучал тепло.

После этого свет искусственных ламп показался мне удручающе безжизненным и холодным. Они и мы...

Наконец Эрл вернулся.

— Пустая затея. Она даже не понимает, чего я от нее хочу. Пусть валяется. Они не люди.

— Вспомни, мы были такими же.

— Ничего не хочу вспоминать.— Он поднял меня и понес куда-то прочь от дороги. Эрл хотел, чтобы я тоже забыла, прижимая меня к себе ис-

---

Окончание. Начало в №№ 20—23.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

ступленно и ревниво. Трава становилась все выше, расступалась с мягким шуршанием, гогот и крики постепенно стихли, потерявшись в сонном стрекоте кузнечиков.

Он бережно опустил меня на траву и с видимым облегчением содрал маску. Шепотом попросил:

— Хочу тебя видеть.

И хотя это было неосторожно, я тоже сняла маску. Его голодный взгляд набросился на мое лицо, в котором все больше проступали черты Ингрид Кейн.

Глаза в глаза. Эрл! Взлет вместе. Не может быть... Потом я падаю. Одна.

Мы стосковались по лицам друг друга.

Эрл вытянулся на спине, разбросав руки, особенно худой и нескладный в своем маскарадном трико. Его голова у меня на коленях, глаза закрыты, он еще где-то там, со мной, сейчас для него весь мир — в прикосновении моих пальцев.

Как всегда, удивляюсь и завидую его цельности. Я думаю о нем и не о нем. О погибших в котловане, о девушке с вывихнутой ногой, об одиноких на обочине дороги — слепцах с обращенными внутрь глазами.

Эрл познал одиночество.

Он прожил среди них четырнадцать лет и все эти годы, видимо, пытался с ними сблизиться. Потому что, став Человеком, уже не мог иначе.

Постойте. Взгляните. Поймите. Выслушайте. Взгляните хотя бы друг на друга...

Они не умели и не хотели никого видеть, кроме себя.

Живой среди мертвых, один.

На Земле-альфа это называли НЕНАВИСТЬЮ. Он должен испытывать к бетянам именно это чувство.

— Они не люди, Николь...

Но я всего год назад была одной из них. Я прожила жизнь одной из них.

И, изменившись, никогда не страдала от одиночества, потому что рядом был Эрл.

— Ты ненавидишь их?

Сама не знаю, спрашивала я или утверждала.

Он глянул на меня будто откуда-то издалека, не понимая, потом покачал головой.

— Теперь нет. Теперь все равно...

«Теперь — ты»,— хотел он сказать, но не сказал, потому что я и так знала.

Я держу твое лицо в ладонях. И это они тоже называли счастьем. В груди что-то нагревается, и я вся размякаю в этом тепле. С тобой я мягкая и слабая, но одновременно твердая и сильная. И то и другое — я.

— Ты должна знать,— вдруг тихо сказал Эрл, покусывая травинку.— Альфазин не кончился.

Я сразу даже не сообразила, о чем речь.

— Альфазин?

— Я его сам создал.

— Ты?!

Мои пальцы замерли на его лице. Он вздохнул и сел.

— Ты должна знать. Все дело в троде. Видишь ли, в их атмосфере нет трода.

Он говорил быстро, глотая слова, будто опасаясь, что я ему помешаю наконец-то высказаться.

— Я все время искал причину. Почему они не похожи на нас? Почему я не могу понять их, как бы ни старался? Судя по всему, ключ к разгадке заключался в различии между двумя планетами, которое я должен был раскопать. Принялся за географию, геологию, изучил почву Земли-альфа, растительность, климат — все, как у нас. Кроме одного: в ее атмосфере не оказалось трода.

— Но это еще ничего не доказывает...

— Я тоже так считал, но все же попытался получить в лабораторных условиях воздух Земли-альфа. Это было непросто: чтобы искусственным путем удалить трод, получить для него реагент, пришлось потратить два года. И вот — альфазин.

Однако его было слишком мало, и производство обходилось мне слишком дорого, чтобы в ближайшем будущем... В общем, я выбрал другой путь. Предположим, что причина в троде. Предположим также, что в соединении с альфазином трод теряет свои свойства. Тогда стоит сделать себе инъекцию альфазина...

Любопытно. Опыты на животных разочаровали — никаких изменений в поведении. Я ввел себе дозу, достаточную, чтобы выработать в организме полный иммунитет к троду и его влиянию на психику, если он таковым обладает. Мне так не терпелось хоть на мгновение ощутить себя ТЕМ человеком, что я совсем не подумал о перспективе остаться им навсегда.

Нет, не думай, я никогда не жалел. Даже когда готов был к самоубийству. Опять стать одним из этих? Ни за что. Ты права: как я их ненавидел! Их непробиваемое спокойствие. Хорошо налаженные механизмы с двойной изоляцией. И если бы кому-то понадобилось... Их можно поодиночке уничтожить, превратить в рабов, заставить убивать друг друга. Я мог бы стать их господином, диктатором. Но я мечтал о другом. Заставить их страдать. Так же, как я. Как здорово было хоть ненадолго расшевеливать их альфазином!

— Поэтому цирк?

— Отчасти. «Сеансы гипноза» приносили к тому же немалый доход, а мне нужны были средства, чтобы осуществить задуманное.

Трод жадно соединяется с альфазином, теряя при этом свои свойства. Я бы назвал трод великим природным наркотиком, парализующим в человеке чувства друг к другу. Именно не убивающим, а парализующим. Помнишь, на Земле-альфа тоже искали забвения в наркотиках...

Отобрать у бетян трод, взорвать их рай — вот о чем я мечтал. Чтобы вызвать в атмосфере цепную реакцию, нужно всего лишь 12 тонн альфазина. В сутки мне удавалось получить максимум три килограмма. Одиннадцать лет непрерывной работы. Когда обнаружил слежку, не хватало четырех с половиной тонн. Из цирка пришлось уйти — иллюзионист я весьма посредственный, программа держалась только на номерах с альфазином. Доходы резко сократились, последнее время удавалось получить не более килограмма.

И я решил уничтожить лабораторию. У меня есть ты, и плевать на них. Ненависть? Смешно. Зачем мне их страдания теперь, когда я счастлив!

— А их счастье?

Удивленный взгляд. Видимо, ему это в голову не приходило.

— Их счастье, Эрл. Так же, как у нас... Как было на Земле-альфа.

— Зачем? — Эрл обнял меня.— Столько времени, усилий. Наши часы, наша жизнь. И потом риск. Зачем?

Он целует меня. Конечно, он прав.

— Как ты собираешься уничтожить лабораторию? Она в подземном коридоре?

Эрл подмигнул, как напкодивший мальчишка.

— Как бы не так! Коридор ведет к старой шахте, там спрятан почтовый аэрокар. Это в горах, сорок минут полета. Я сам нахожу ее только по автопилоту, кругом скалы — ни кустика, ни травинки. Пейзаж мрачный, зато надежно. Сколько раз я мысленно рисовал себе... Фиолетовое облако, которое я выпускаю на волю, оно поднимается, тает над скалами. Небо становится черным, над Землей-бета проносится вихрь... Всего несколько минут, но тогда бы они... А, плевать на них!

— Поедем туда...

— Зачем?

Его взгляд тревожно метнулся по моему лицу. Опасность? Зря я поспешила. Встал, протянул руку.

— Пошли.

Я удержала его, заставила сесть снова. Я чувствовала себя виноватой перед ним. Он великодушно терпел мои нежности ровно столько, сколько было нужно для успокоения моей совести. Потом мягко, но настойчиво высвободился.

— Пошли, уже поздно.

И снова нас увлекает горланящая, веселящаяся толпа ряженых, снова вокруг что-то свистит, трещит, хлопает, проносятся над головой размалеванные яркими светящимися красками аэрокары.

Почти все уже разбились на пары, их ждут ночные отели.

«Синее море», «Розовый закат», «Зеленый лес».

Для пожилых и некрасивых — клубы, зрелищные балаганы. Или профессиональные ласки за умеренную плату.

И одинокие. На лавочках, прямо на траве. Глаза, обращенные внутрь себя. О чем они думают? О чем думала я, когда была бетянкой, вещью в себе? О многом. 127 лет!

Несостоявшиеся мыслители, художники, музыканты, поэты. Только для себя. Их мысли, их души умрут с их смертью. И я не в силах заставить их заговорить.

Эрл мог бы...

Я подумала, что история повторяется. Снова Ева ведет Адама к древу познания. Лишить их рая.

Только та Ева была юной. И не самозванкой. А Адам...

— Пожалуй, сегодня и покончу, верно? Удобный момент — все на карнавале. Мы успеем.

— Да, Эрл.

* * *

Я еще продолжала по инерции идти, еще где-то в подсознании предстоял путь через кабинет вниз, по коридору к старой шахте, на аэрокаре к серым скалам, где Эрл Стоун прятал свою лабораторию. Но я уже остановилась. Так лопнувший стакан еще какое-то мгновение сохраняет видимость формы, но он уже перестал быть стаканом — это груда осколков, цепляющихся друг за друга.

В кресле у дверей кабинета сидел человек. Заходящее солнце золотило его голое, точно полированное, темя.

Почему-то Шеф ВП не носил парика.

Он обернулся и встал нам навстречу.

Не может быть. Та же мысль, что в лучшие минуты с Эрлом. Вернее, антимысль той. Слишком плохо, чтобы быть на самом деле. Я успела заметить повисший за окном полицейский аэрокар. Неужели конец? Я все еще чувствовала на плече руку Эрла, но уже летела куда-то вниз, в бездну, вместе с кувыркающимся сердцем. Темно, душно, шум в ушах. И будто в тумане приближающееся лицо Эрла.

— Николь, что с тобой? Николь!

Но физически я уже в порядке — мне ведь только девятнадцать.

Удается, наконец, восстановить дыхание, предметы вокруг приобретают нормальные очертания. С этой минуты я буквально мечтаю о физической дурноте, о небытии. Но я в порядке. Я даже машинально пожимаю протянутую руку отца.

— Вот и я, Рита. Неважно себя чувствуешь? Тогда можешь идти. Поль проводит тебя домой. Ты свою миссию выполнила.

Эрл! Я молчу. Я смотрю на Эрла, который отвечает на вопросы.

— Эрл Стоун, гражданский номер такой-то, год рождения такой-то, бывший химик, ныне иллюзионист, выступающий под псевдонимом Дэвида Гура, вы обвиняетесь в величайшем антигосударственном преступлении — сокрытии и хранении предметов, несущих информацию о Земле-альфа...

Мы знали, что это может когда-либо случиться, но гнали прочь подобные мысли, как мысли о смерти. Так же вероятно и так же невероятно, как смерть в любую минуту. И не были готовы к этому, как люди всегда не готовы к смерти.

Эрл наивно попробовал отпираться:

— Ничего не понимаю, Шеф. Какие у вас основания?

— Основания? — У этого человека была моя улыбка! Я знала, что Эрл сейчас подумал об этом. Отец извлек из кармана уже знакомое мне яйцо, о существовании которого Эрл знал.

— Как дела, Рита? Как дела, Рита? Как дела, Рита?

Меня не оставляло ощущение, что я всего лишь марионетка в жутком хаосе. Яйцо открылось. Я ожидала услышать какой-либо из монологов Риты, а вместо этого:

— Если ты думаешь, что меня подослала ВП... Давай рассуждать логически. Я больна и не совсем нормальна, значит, во-первых, не являюсь полноценным агентом... Зачем было им отправлять меня одну прямо тебе в руки?

— Как мы и полагали, это прозвучало достаточно убедительно,— прокомментировал Шеф.

Мой голос! Эрл отвечает. Опять я.

— Просто я их убедила, что здорова. Обманула ВП, чтобы встретиться с тобой и выяснить...

— Когда я понял, что к чему, первой мыслью, естественно, было сообщить куда следует. Но коечто в этом хламе меня заинтересовало...

Наш тогдашний разговор. Каким образом? Откуда? Что-то должно произойти, сейчас же, немедленно. Со мной, с Эрлом, с этой комнатой, с миром. Но ничего не происходит. Мы стоим и слушаем самих себя, то, что говорилось только друг для друга, самое сокровенное, самое интимное. В тайнике, в моей комнате, похожей на дно колодца, во время наших конспиративных прогулок. Нет, не может быть,— мы же тогда были совсем одни! И «только человек» мог проникнуть... Как ни странно, техническая невероятность, неосуществимость этого спектакля помогла мне выдержать, убедить себя в нереальности происходящего. Абсурд, это не имеет ко мне никакого отношения. Нелепый сон.

— Прекратите!

Кажется, это крикнул Эрл, но я не узнала его голоса. А лицо! И напряженное тело, будто спрессованное, скрученное, готовое к прыжку. «Он его убьет»,— вяло подумала я. Не как участница, а как зрительница.

Шеф отключает магнитофон, «яйца» в его руках как не бывало, на губах по-прежнему отштампована улыбка Риты.

— Я так и полагал, что этого окажется достаточно. Вы арестованы, Эрл Стоун. Мы бы хотели обыскать помещение.

— Вам нужно мое разрешение?

— Нет, помощь. Ведь мы не люди.

Ирония? Вряд ли. Просто констатация факта. Эрл тоже спокойно, как настоящий бетянин, распахивает дверь кабинета.

— Прошу.

Отец проходит, за ним «мальчики», неизвестно

откуда взявшиеся. Эрл пропускает их, входит сам, не глядя на меня. Дверь захлопывается.

Я по-прежнему зрительница. Оба они вывели меня из игры. С кем я, кто я? Я лишена индивидуальности. Безвольное, одеревеневшее тело без чувств и без мыслей. Шок. Инстинкт самосохранения.

Рука на моем плече, там, где только что была рука Эрла. Красивый блондин с моим лицом. Поль, брат Риты, мой брат. Он что-то спросил, я ответила. Мягкое сиденье аэрокара. Телевизор, футбольный матч. Поль оставляет меня в покое. Я зрительница, я смотрю футбол.

* * *

Прячусь, бегу от самой себя. Куда угодно — в небытие, в безумие. Я облако, трава на лугу. Что-нибудь поэтичное. Легко и просто. Или я Рита? Настоящая Рита, бетянка, дочь шефа ВП.

Нельзя, не смей. Надо вернуться в реальность, потому что там Эрл. Ты Ингрид Кейн. Все кончено, они увели Эрла. Слышишь, ты Ингрид Кейн? Ты в здании ВП, куда тебя привез Поль. В комнате Риты, на ее тахте. Я Ингрид Кейн. Я, я...

Все во мне сопротивляется, потому что Ингрид Кейн — это боль. Неслыханная, нечеловеческая, гораздо страшнее физической. Эрл — они убьют его, может быть, уже... Я никогда его не увижу. Эрл!

Я молча кричу от этой боли. Отчаянно, исступленно.

Я катаюсь по тахте, но я... неподвижна.

Со стороны похоже, что я сплю.

Тысячи глаз, тысячи ушей. Возможно, они следят за каждым моим жестом. В спальне темно и тихо, но мне кажется, что это тишина сцены, перед которой зрительный зал. Невидимые наблюдатели, от которых невозможно скрыться.

Мне плевать, что сделают со мной. Только Эрл. Эрл, который неотделим от меня.

Так вот что они называли Страданием, вот от чего бежали на Землю-бета. Зло, несправедливость, жестокость окружающего мира. И бессилие что-либо изменить. Не могли? Не умели? Не знали?

Туда, где ты сам по себе и не страдаешь от зла. На планету одиноких и спокойных.

А мне некуда бежать, разве что от себя самой. Потому что Эрл — это я.

Боль. Молча кричу, неподвижно бьюсь на тахте, плачу без слез, притворяясь спящей, притворяясь бетянкой для тысячи невидимых глаз.

Эрл считает меня шпионкой, предательницей. Объективно так и есть. Неужели ничего нельзя исправить? Неужели? Я взываю к чуду, к богу. Господи, если ты есть...

Встаю, заказываю кофе и сандвичи. Пусть смотрят. Мне нужны силы.

Что, собственно, они знают? Эрлу предъявлено обвинение в сокрытии тайника. Но ни слова об альфазине, о лаборатории, о намерении уничтожить «рай» бетян. Почему? Маневр или просто не знали? Если знали, то почему не арестовали Эрла прежде? О «критической массе» альфазина был осведомлен только сам Эрл, и тянуть было крайне рискованно. Выжидали, когда он полностью откроется? Это произошло сегодня, но ведь Эрл ничего мне толком не сказал, лишь общие слова.

Мы шли осматривать его лабораторию — наиболее цённая информация наконец-то плыла ВП прямо в руки. Казалось бы, самый подходящий момент, чтобы на месте все выяснить, захватить нас и обезвредить.

Но они непостижимым образом отказываются от добычи, которую так долго караулили. Сами себе перебегают дорогу. Зачем? Нелепо.

Не знали? Маловероятно. Нас подслушивали даже в постели.

И что они знают обо мне? Теперь, когда я наконец-то обрела способность мыслить и попыталась вспомнить сцену ареста, мне и в ней открылось нечто странное.

Они как будто опасались чего-то, связанного со мной. Сразу же взяли под крылышко, изолировали, увели... Я чувствовала, что еще нужна им. Зачем? Почему отец лично пришел арестовывать Эрла Стоуна — ведь обычно он поручает это кому-либо из помощников? Почему никто из агентов до поры до времени не присутствовал в холле? Мы могли бы вести себя не совсем спокойно, кстати, так и было. Я вспомнила, какое было у Эрла лицо. Шеф предпочел рискнуть, но не допустить посторонних. Он явно боялся. Чего?

Я бессильна что-либо придумать, предпринять, и это хуже всего. Остается только ждать. Я даже не знаю, жив ли Эрл. Эрл, считающий меня предательницей.

Боль, отчаяние, бессильная злоба — всю ночь я с ними наедине. Даже плакать я не имею права и притворяюсь бетянкой, которую караулят тысячи глаз...

Утром меня вызвали к Шефу. К одиннадцати. Заставляю себя позавтракать. Причесываясь, замечаю, что волосы надо абом будто обсыпаны пудрой. Я поседела. Что ж, у них тоже так было. Немного косметики, и мне снова двадцать.

Теперь и у Риты крашеные волосы.

Хорошо, что Ингрид все еще сохраняет чувство юмора.

Но я знаю, что стала другой. Эта ночь изменила Ингрид Кейн едва ли не больше, чем счастливые месяцы с Эрлом.

* * *

Я вошла по форме. Шеф кивнул и указал на стул. Эрл... На секунду перехватило дыхание. Только бы знать, что он жив!

Пауза кажется бесконечной.

— Так-то, девочка. А ты думала, всех провела, да? Впрочем, их ты и вправду провела, целую комиссию. До сих пор ни о чем не догадываются. Только я знаю, что ты...

Он помедлил. Если бы он сказал, «что ты Ингрид Кейн», я вряд ли удивилась бы.

— Что твоя болезнь неизлечима. Знал, что отправишься к Гуру, как только мы тебя отпустим. Предвидел, что он клюнет. Мы опасались, что он связан с Землей-альфа, и не хотели раньше времени спугнуть. Правда, штука с зубом тоже была рискованная, но уж очень заманчива. Моя идея.

— С зубом? — У меня пересохло во рту.

— Как, ты не знала? — Шеф усмехнулся.— А я был уверен, что вы обнаружили. Передачи вдруг прекратились, да, собственно говоря, я уже выяснил все, что хотел. Поэтому и решил — пора кончать. А то мало ли...

Меня даже замутило от отвращения к себе: примитивно, как дважды два — обычная пломба в зубе. Разоткровенничалась! Пломба, которой не было у Николь и которая вдруг выпала у Риты. А я, погрузившись во всякие мистические измышления, не сумела сообразить... Наркоз, когда я спала, крошечный передатчик в просверленном зубе. Я даже не искала толком эту пломбу — выпала и выпала. Тьфу!

Это я виновата, Эрл. Я действительно была шпионкой.

Они поспешили нас арестовать! Счастливая случайность. Они ничего не знают о троде и лаборатории. Впрочем, какое это имеет значение, когда за одну только книгу с Земли-альфа Эрлу грозит смерть?

А может, они его спровоцировали рассказать о лаборатории? Вряд ли. Шеф бы сейчас не был здесь.

— Что вы с ним сделали? — будто кто-то другой это спросил. Я приготовилась к крику, знала, что не смогу сдержаться, что от этой боли закричу, упаду на пол, признаюсь, что я Ингрид Кейн, стану травой на лугу, умру...

— Он здесь, в четвертом блоке. Тебе нехорошо?

Мотаю головой. Пара глубоких вздохов, и я в порядке. Я даже могу говорить.

— Отец, он же не причинит никакого вреда. Уничтожьте тайник, Эрл снова займется химией, или любая профессия... Я вылечу его. Отец!

Ловлю себя на том, что пытаюсь воздействовать на его чувства. Чувства, которых нет. Я разучилась разговаривать с бетянами. Шеф слушает меня терпеливо и снисходительно, как больную.

— Дочь шефа ВП просит отца нарушить закон — лучше замолчи, Рита. Ты больна и не понимаешь, что несешь. Это будет показательный процесс — народу не мешает напомнить, к чему приводит любопытство. Кто знает, может быть, подобные тайники... Эрл Стоун должен умереть.

— Когда?

— Об этом я и хотел с тобой посоветоваться. Как тебе известно, право лишить преступника жизни принадлежит разоблачившему его агенту.

— Так вы хотите, чтобы я...

Это уже слишком. Они предоставляют мне право убить Эрла. Меня душит смех, не могу остановиться. Что-то вроде истерики. Плохо, сдают нервы...

Шеф терпеливо ждет, когда я успокоюсь.

— Ты должна, девочка. Они думают, что ты здорова. Я их убедил, будто ты действовала по моей инструкции. Если бы они знали... Тебя бы поставили с преступником на одну доску.

Забота обо мне? Отцовский инстинкт? Любопытно.

— Я их убедил, но кое-кто сомневается. Ты играла слишком правдоподобно. Я опасался: ты что-либо выкинешь, когда мы будем брать этого парня, и предпочел обойтись без свидетелей. Но ты держалась молодцом. А теперь... Если ты откажешься, они все поймут. Тебя будут судить. Или отправят в сумасшедший дом.

— Мне все равно.

— Но наша семья будет дискредитирована, мне придется подать в отставку. Наша династия...

Так вот откуда этот мягкий просящий тон, вот зачем я ему нужна. Династия. Смешно.

— Значит, ты законник только в том, что не касается тебя лично?

— Глупости. Разве ты виновна в своей болезни? Это было нужно для дела. Сразу же после смерти Эрла Стоуна ты получишь полную свободу. Можешь спуститься вниз, отдыхать, выбрать любую профессию. Единственное условие — никогда не упоминать о Земле-альфа. Если не хочешь, чтобы сами бетяне донесли на тебя. Надеюсь, ты достаточно благоразумна. Когда Эрла Стоуна не станет, твое безумие постепенно пройдет, я уверен. Ты должна выполнить свой долг для собственного же блага.

— А если нет?

— Тогда... Я уберу тебя незаметно — воздушная катастрофа, несчастный случай, мало ли... У меня нет другого выхода. А Эрлу Стоуну уже не поможешь ничем.

Молчу. Все бесполезно: Шеф рассуждает вполне логично. Ничего, кроме логики. Мы говорим на разных языках, и мы в их власти.

— Когда я должна дать ответ?

— Сейчас. С Эрлом Стоуном все ясно — любая отсрочка с исполнением приговора покажется подозрительной. Завтра в полдень преступник должен быть мертв.

— Можно мне с ним увидеться?

— Нет.

Даже на боль уже нет сил, только мозг, отказываясь сдаваться, лихорадочно ищет выхода. Будто бесполезные удары в глухую, непробиваемую стену.

— Эрл, Эрл, Эрл...

И вдруг свет. Даже не мысль, а внезапное озарение, еще не успевшее сформироваться в слова.

Спокойнее, Ингрид. Шеф ничего не должен заметить.

— Я согласна.

* * *

Двухместный аэрокар мчит меня в Столицу. Знаю, что за мной нет слежки, — Шеф афиширует ко мне полное доверие. Более того, я выхлопотала для Эрла право последнего желания, право умереть не в мрачной камере 4-го блока, а на мягкой кушетке одного из придуманных мной заведений. Среди пальм, цветов, павлинов и сладкой, дурманящей музыки.

Осмотрев для виду пару домов, я повернула аэрокар в направлении 593-й авеню, туда, где жила когда-то Ингрид Кейн.

Я рада, что пережила эту ночь, рада, что изменилась. Я теперь знаю, что это за перемена.

Я вновь научилась спокойствию. Спокойствие бетян — мертвое, высохшее русло, мое — русло, внутри которого бурлит река. Витиевато, но точно.

Новая владелица, почтенная пожилая вдова в сиреневом парике, не знает, к счастью, что у меня внутри. Она видит перед собой лишь хорошенькую бетянку из ВП, выбирающую сносное заведение для казни настоящего альфиста. Вертит документы в руках, а сама не сводит с меня глаз, завидуя, вероятно, моей молодости, длинным стройным ногам и зеленовато-пепельным волосам, перехваченным золотой змейкой.

Когда-то я так смотрела на Николь. Только волосы теперь крашеные.

Конечно, она охотно покажет мне дом — альфисты на дороге не валяются, такая реклама ее заведению! Иду за ней — почти ничего не изменилось. Все те же аккуратно постриженные газоны, цветы, которые я посадила прошлой весной, а вот аллея — здесь умер Бернард. Ингрид Кейн... Неужели это когда-то было? Моя жизнь, мой эксперимент. Месяцы, годы.

Даже ржавый прут, о который Николь поранила ногу, по-прежнему торчит из земли.

Но мне не до воспоминаний. Украдкой выдергиваю прут — он мне понадобится.

Сердце колотится гулко и равномерно, будто шарик пинг-понга о стол. Спокойнее, Ингрид. В усыпальнице пальмы нет.

Спокойнее. Пальмы нет. Вот и все. Ничего не вышло, Эрл.

— Что-либо не так?

— Мало зелени. Вот на 146-й авеню в усыпальнице такие пальмы...

— Пальмы? Ради бога, у меня их полно. Я думала, здесь слишком тесно, и вынесла их в холл. Сколько угодно. Минуточку.

Робот таскает в усыпальницу кадки с пальмами. Вскоре помещение начинает напоминать тропический лес. Хозяйка смотрит на меня уже без прежнего благоволения.

Она! Наконец-то она. Но я требую, чтобы принесли еще одну пальму. И документы на право владения. Хозяйка исчезает. Пользуясь ее отсутствием, быстро сую прут в землю. Уперся во что-то твердое. Кажется, ДИК на месте.

Тебе всегда везло, Ингрид Кейн.

Я еще что-то делаю, что-то подписываю, отдаю последние распоряжения на завтра, но я уже не здесь. Многое надо успеть. Ведь сегодня мой последний день на Земле.

Проститься с тем, что жалко оставлять. Я вспомнила Риту, она тоже прощалась. Тогда это меня удивило.

Пустынный в этот будний день берег реки, вода холодная, чистая. Прозрачные юркие мальки вспархивают из-под ног. Какой запах у реки — в нем снег и дождь, земля и солнце, день и ночь и все четыре времени года.

Плыву на другой берег, с наслаждением ощущая упругую журчащую вдоль тела воду. У меня даже нет времени сплавать на остров, где водятся раки.

И я никогда туда не сплаваю. Никогда.

Тоскливый холодок где-то внизу живота. Нет, так нельзя. Это твой первый день на Земле, Ингрид. Здравствуй, река.

И здравствуй, небо. Погода ветреная, спортивные аэрокары выдают только профессионалам — я едва упросила, и теперь порыв ветра швыряет меня, крутит волчком.

Жаль, что не могу умереть, как птица, камнем вниз.

Тело Риты мне больше не принадлежит.

К обеду я уже у моря. Самый разгар сезона, отпускники заполонили пляжи, двухместные лодки покачиваются на волнах, носятся вдоль берега, разноцветными точками мелькают у горизонта.

Рука Эрла на моем плече... Быстрей отсюда. Я только постояла босиком в волнах и послушала, как шумит море.

Все-таки какое оно?

Оказывается, день — это очень много. Когда он первый или последний. Я даже успела слетать туда, где зима, и едва не заблудилась на лыжах, потому что вдруг повалил снег, лыжню занесло, и я осталась одна среди белых застывших елей и снега, который все падал, тихо и торжественно.

На обратном пути я скатилась с горы, поспешила к базе и уже проехала с милю, но подумала, что больше никогда не прокачусь с горы, и не могла не вернуться, и каталась снова и снова, хотя уже темнело, вместе с каким-то рыжим профессионалом лет двадцати. Мы шлепнулись в сугроб, он поцеловал меня холодными обветренными губами, а я вдруг разревелась, уткнувшись в снег.

В Столицу я вернулась к ночи. Перед виллой Эрла Стоуна пылал огромный костер — жгли наш тайник. Пленки, пластинки, книги. Вокруг собралась довольно внушительная толпа. Ребятня развлекалась, прыгая у огня, взрослые наблюдали. Одни равнодушно, другие с интересом. Смотрели, как пожирает огонь диковинные вещи, старались догадаться об их назначении.

Я протиснулась как можно ближе — туда, где оцепили костер «мальчики» из ВП. Многих из них я знала, со мной здоровались, поздравляли, согласно ритуалу, с успешным завершением операции. Мое появление здесь было воспринято как вполне естественное — агент № 423 пришел взглянуть на дело своих рук.

Костры из книг. На Земле-альфа тоже так было.

Я смотрела, как гибнет то, чем мы с Эрлом жили все эти месяцы, и вспоминала. Наши мысли, чувства, споры — все это со мной, и это нельзя уничтожить, пока я жива.

Пока я жива, как грустно звучит!

И даже потом это останется с нами, Эрл, потому что ты и я — одно. Мы обманем их, обведем вокруг пальца. Мысль, которая меня почти развеселила.

Они бетяне. Их плечи касаются моих, чувствую их дыхание. Их лица, по которым мечутся трепетные отблески пламени, кажутся сейчас чуть ли не одухотворенными. Иллюзия. Для них-то не остается ничего, они сжигают последний мост, связывающий мертвое человечество с живым.

Ничего, кроме любопытства. Я должна бы чувствовать к ним презрение и ненависть, как Эрл, но в моей душе лишь сострадание. Может, потому, что я прожила жизнь одной из них. Мой отец и дед были бетянами, мои дети, которых у меня отняли. Мои внуки, правнуки, которых я никогда не видела.

Нити, нас связывающие, на целый век прочнее, чем у Эрла.

Впервые я по-настоящему осознала, что завтра сделаю это не только ради самого Эрла. Почтовый аэрокар, спрятанный в старой шахте, сорок минут полета, лаборатория в скалах. Только Эрл знает, где она находится, только ему известна тайна производства альфазина.

Фиолетовое облако поднимается и тает над скалами, небо становится черным, и над Землей-бета проносится вихрь. Всего несколько секунд.

Странно. Я смотрю, как горит наше прошлое, а сама вся в будущем, в котором меня уже не будет.

Слышите, я хочу взорвать ваш рай, ваше трусливое убежище!

Но кто я? Какое имею право?

Я Ингрид Кейн, одна из вас. Право — это моя первая жизнь, век с четвертью. И вторая та, что сейчас горит перед вами. Всего лишь год.

И память многих поколений ваших предков с Земли-альфа, запрограммированная в этих пленках, книгах, картинах.

Я хочу разрушить ваш проклятый рай, вашу сонливость, ваше мертвое спокойствие. Ценой жизни Ингрид Кейн. Что меня заставляет? Не ненависть, не презрение, не злоба. Может, сострадание? Или любовь?

Это открытие меня поразило. Любовь? Примитивные мумии, застывшие у костра, в котором жгут книги. К ним?

Да, как ни странно, я их любила. Не их настоящее, а будущее, в котором меня уже не будет. Но в котором я все-таки останусь. В их пробуждении, слезах и смехе, в их вдохновении и в творчестве, в поиске. В том, когда «не может быть», и в руке, лежащей на плече. Я верну им это.

Десятки, сотни, тысячи поколений после меня.

Я не умру, покуда живо человечество.

Так же, как те, кого сейчас жгут на костре. Кого жгли во все времена и все-таки не сумели уничтожить. Те, кто помог людям стать лучше, кто учил человека быть Человеком.

Они живы во мне. В том, что я задумала.

Ингрид Кейн, одна, перед костром, где жгут все, что ей дорого. Эрл в их руках. Он считает меня предательницей.

Но я думаю о завтрашнем дне и... счастлива. Я не одна, потому что я с ними. В их будущем и прошлом, которое они сейчас наивно пытаются сжечь.

Как все просто — ощутить себя частью, звеном великого целого, которое зовется человечеством.

Столб дыма и пламени взметнулся в черное небо — они взорвали виллу Дэвида Гура. Толпа вопила, свистела, улюлюкала, возбужденная необычным зрелищем, и никто не знал о почтовом аэрокаре, спрятанном в старой шахте. Никто не знал, что это последняя ночь Ингрид Кейн на Земле.

Что она не одна. И счастлива.

* * *

Никак не думала, что вообще смогу спать, а заснула сразу и проспала до утра — последний раз молодость Риты продемонстрировала мне свои преимущества. Поймала себя на том, что уже думаю о ее теле, как о чем-то мне не принадлежащем, что привожу его в порядок с особой тщательностью, будто на продажу. Лицо в зеркале показалось мне совсем похожим на лицо Ингрид. И закрашенная седая прядь — это Ингрид.

Гимнастика, душ, завтрак — тело Риты будет в полном порядке. Как хорошо, что я выспалась!

Последний разговор с Шефом. По моей просьбе он подготовил документы. Сразу же после того, как медицинский компьютер засвидетельствует смерть Эрла Стоуна, Рита может идти на все четыре стороны и жить в свое удовольствие, имея довольно приличную сумму годового дохода. Документы в сумочке, тут же магнитофонная кассета размером с пуговицу. Мое последнее письмо к Эрлу. Мой голос. Я подключу письмо к ДИКу, Эрл прослушает его во сне и узнает все.

Аэрокар везет меня в Столицу, к бывшему дому Ингрид Кейн. Меня сопровождает только Поль, который, к счастью, как всегда, поглощен телевизором. Все это в последний раз: и мой полет, и облака, и солнце, и мелькающие внизу крыши, но мне не до них. Думаю лишь о том, как меня встретит Эрл, и моя уверенность постепенно улетучивается.

Что если он поверил версии Шефа? Рита — шпионка, предательница, палач... Если он не захочет со мной разговаривать, отвернется, плюнет в лицо? Как тогда осуществить задуманное?

Вилла Ингрид тоже оцеплена, вокруг все та же любопытствующая толпа, ждущая, когда ей покажут в назидание тело Эрла Стоуна. Мне сообщают, что преступник уже доставлен, что он обо всем предупрежден и, кажется, ведет себя смирно. Но на всякий случай вручают лучемет.

Поверх платья меня обряжают в черную накидку с гербом — пирамидовидное здание ВП, символ государственной власти.

Рослые загорелые парни в черных рубашках с такими же нашивками оттесняют толпу от помоста, установленного на площади перед домом.

Господи, если ты есть... Спокойнее, Ингрид!

Эрла вывели, будто тигра на арену. Мягким ленивым прыжком он вскочил на помост и замер в покорно-иронической позе. Вынужденный подчиниться обстоятельствам, но оставшийся собой. Презирающий глазеющую на него толпу и тех, кто заставил его на потеху толпе проделывать все эти штуки.

Я всегда в цирке сочувствовала тиграм.

Эрл увидел меня. Его взгляд. Удивительное ощущение — площадь вдруг качнулась, расширилась, наполнилась воздухом, очертания лиц и предметов стали яркими и четкими. Будто я опять глотнула альфазина. Неужели я могла предположить, что он усомнится во мне, в чуде, соединившем нас — двоих людей в стае бетян?

Глупая, глупая Ингрид!

Он благодарен, что я нашла в себе силы стать его палачом, чтобы быть с ним в последнюю минуту. Он восхищен моим мужеством. И я верю, что так и есть. Все перепуталось: ложь и правда, взлет и падение, то, что они называли страданием, и то, что зовется счастьем. Мы видим только друг друга, мы наедине. Кто из нас жертва, кто палач? Кто умрет сегодня, а кто останется жить? Или мы останемся оба, как продолжает жить среди нас Рита, непостижимым образом влияя на наши поступки и мысли? И те, жившие за много световых лет и веков до нас, оставившие после себя картины, книги, симфонии?.. И неизвестный, оставивший нам тайник...

Монотонно жужжит голос чиновника, читающего приговор. Спокойные невидящие глаза бетян. Если я закричу, заплачу, брошусь на землю — в них появится любопытство, не более.

На соснах вокруг дома молодые побеги, я в детстве любила их отламывать и грызть, пока челюсти не начинали слипаться от горькой душистой смолы. По крыше разгуливает рыжая кошка. Неподалеку на площадке играют в волейбол, девчонка в белых джинсах не умеет принимать мяч, лупит по нему запястьем, то и дело теряя.

Сосна, крыша, кошка, волейбол — все это «никогда». Хозяйка уводит меня, чтобы дать необходимую консультацию. Знакомая одуряюще-сладкая теплота «усыпальницы». Пальма на месте.

Делаю вид, что слушаю хозяйку,— она учит Ингрид Кейн, как пользоваться аппаратурой. Смешно!

Софа, на которой умерла когда-то 127-летняя Ингрид Кейн, теперь предназначена для Эрла Стоуна. А там, где она воскресла, убив Риту, теперь воскреснет Эрл Стоун, убив Ингрид.

Нет ли в нашей удивительной взаимосвязи какой-то закономерности? Что если Рита, Эрл, я, сама жизнь каждого из нас предназначена стать звеном в единой цепи? Бетяне умирают, люди остаются. Естественный отбор, как в животном мире. Во имя сохранения человечества.

Почтовый аэрокар в старой шахте, лаборатория в скалах, фиолетовое облако.

Эрл, ты должен это завершить. Теперь, когда ты узнаешь, кто я, узнаешь все обо мне... Вся моя жизнь или моя смерть прикажут тебе. У тебя будет тело Риты, ее силы, ее молодость. Новая Рита будет смотреть сбоку на собеседника немигающим взглядом, будто птица, собирающаяся клюнуть. Но седая прядь останется — кстати, не забывай ее подкрашивать.

Шлем «последнего желания». Мы оба лишены этого права, которое выдается лишь в обмен на подлинную смерть. У тебя умрет тело, а у меня? Что останется у меня?

Фиолетовое облако. Я хочу, чтобы так было.

Впервые умирающая в этой комнате будет думать о будущем. Ты мое будущее, Эрл, поэтому ты выполнишь мою волю.

Хозяйка уходит. Быстро вытягиваю из кадки провода, подсоединяю к шлему. Ампула со сноторным. Я проглочу ее в безопасном отсеке перед тем, как включить газ. Мое письмо к тебе. Кажется, все. Через час роботы отправят твое тело в камеру, где Док констатирует смерть. Через два часа ты проснешься. У тебя будут документы и внешность Николь Брандо. И свобода. Встань и иди.

Ты должен выдержать, Эрл. Я знаю, ты все выдержишь.

Прости, но я не могла иначе. Ты бы никогда не согласился. Поэтому я решила за нас обоих.

Пять минут наедине, всего пять минут, чтобы с тобой проститься.

Как тихо... С улицы доносятся ритмичные удары по мячу. Шлеп — видимо, опять смазала та, в белых джинсах.

Слушай, когда выйдешь... Научи ее принимать мяч.

ных зеркальных витрин, неоновых реклам и великолепных фонтанов, куда принято бросать монетку, ибо, по поверию, это сулит новую встречу со столицей Италии. Город немыслимой автомобильной толчеи, железобетонных громад, многоречивых мраморных руин и отшумевшего тысячелетия назад, торжественно молчаливого Колизея. Здесь некогда разгорались кровавые бои гладиаторов. Теперь же бродят восхищенные туристы, а по ночам крадутся бездомные кошки.

Рим — город величайшего в мире собора св. Петра, в котором поместился бы современный стадион и где на полу отмечены размеры крупнейших храмов мира. В этом соборе по ритуалу выносят в кресле на середину папу римского и в радиорепродукторах звучит его бодро-металлический голос. Рим, город традиций Возрождения, город искусства, город передовой индустрии и живого средневековья, город радиозаводов, заводов Фиата и мрачных стен Ватикана с узкими бойницами, вдоль которых прогуливаются папские гвардейцы в опереточных формах: или в треуголках со шпагами, или же в двухцветных арлекинных камзолах.

Вокруг снуют монахи, подпоясанные вервием, гуляют жгучеглазые девушки с голыми коленками и в юбках абажурчиками. Иезуит с бородкой под Иисуса Христа рассуждает со мной о туе Аполлона Бельведерского в музее Ватикана, о нарочито нарушенных скульптором пропорциях, подчеркивающих величие красоты, и... ввертывает словечко о «величии католической империи» с ее четырьмястами миллионами католиков.

Я спросил свободно владеющего русским языком иезуита, где в Риме Площадь цветов.

Он сразу насторожился, опустил жизнелюбивые глаза.

Да, 17 февраля 1600 года над Площадью цветов в Риме стелился дым.

Тошнотворно пахло горелым...

С костра инквизиции отказался сойти великий ученый, дерзкий мыслитель Джордано Бруно. Он не пожелал отречься от своей крамольной, опасной, еретической мысли о множественности населенных миров, о том, что жизнь и разумные существа есть и вне Земли.

— То было время грубых нравов,— вздохнул красавец монах, которому Орден многозначительно поручил оказать советским туристам внимание.— Напрасно Джордано упорствовал. Ведь у него не было никаких фактов для выдвижения его гипотезы.

Иезуит очень начитан. Он может говорить о чем угодно, даже о науке. Ведь перед ним такой пример, как выступление самого папы римского на съезде астрономов в Риме, где гипотеза о разлетающихся галактиках была использована его святейшеством для объяснения известного и неразгаданного опыта Майкельсона, заставила впоследствии ученых искать факты для ее подтверждения или опровержения. Согласитесь, что представления об «антинаучности» меняются. И Эйнштейна его же коллеги в двадцатом веке готовы были символически сжечь на костре. Будем же снисходительными к тем, кто в средние века обуреваем был исступленным служением вере.

— Кстати, эта исступленная вера,— не сдержался аспирант,— строилась на отнюдь не доказанной гипотезе о существовании бога.

Жизнелюбивые глаза сверкнули, красивое лицо стало страдальческим.

— Вера, господин, не гипотеза. Она не нуждается в подтверждении. В своей нерушимой святости она существует не в силу каких-либо доводов, а вопреки любым аргументам.

— Значит, вера,— сказал аспирант,— это — ослепление и предубеждение. Она никогда не может породить научную гипотезу. Ее удел — известный богословский спор: сколько чертей поместятся на острие иголки? А научная гипотеза всегда научна, если она, как первое рабочее предположение, исходила из правильной, материалистической точки зрения. И только гипотеза, выдвинутая с враждебной точки зрения, антинаучна и обречена.

— Костер на Площади цветов

— То было время грубых нравов,— вздохнул красавец монах, которому Орден многозначительно поручил оказать советским туристам внимание.— Напрасно Джордано упорствовал. Ведь у него не было никаких фактов для выдвижения его гипотезы.

Иезуит очень начитан. Он может говорить о чем угодно, даже о науке. Ведь перед ним такой пример, как выступление самого папы римского на съезде астрономов в Риме, где гипотеза о разлетающихся галактиках была использована его святейшеством для объяснения известного и неразгаданного опыта Майкельсона, заставила впоследствии ученых искать факты для ее подтверждения или опровержения. Согласитесь, что представления об «антинаучности» меняются. И Эйнштейна его же коллеги в двадцатом веке готовы были символически сжечь на костре. Будем же снисходительными к тем, кто в средние века обуреваем был исступленным служением вере.

— Кстати, эта исступленная вера,— не сдержался аспирант,— строилась на отнюдь не доказанной гипотезе о существовании бога.

Жизнелюбивые глаза сверкнули, красивое лицо стало страдальческим.

— Вера, господин, не гипотеза. Она не нуждается в подтверждении. В своей нерушимой святости она существует не в силу каких-либо доводов, а вопреки любым аргументам.

— Значит, вера,— сказал аспирант,— это — ослепление и предубеждение. Она никогда не может породить научную гипотезу. Ее удел — известный богословский спор: сколько чертей поместятся на острие иголки? А научная гипотеза всегда научна, если она, как первое рабочее предположение, исходила из правильной, материалистической точки зрения. И только гипотеза, выдвинутая с враждебной точки зрения, антинаучна и обречена.

— Костер на Площади цветов

давно погас, господа,— примирительно сказал монах.

— Но мысль Джордано горит!..

— Но ведь и в наше время нет прямых доказательств гипотезы о пребывании разумных существ вне Земли,— елейно заметил иезуит, пряча торжествующий взгляд.

— Доказательства?..

Мы все думали о доказательствах, пока возвращались из Рима в поезде, в автобусе, на маленьком пароходике, пока не ступили, наконец, как на кусочек родной земли, на наш теплоход «Победа», который должен был обойти вокруг Европы.

Жизнерадостный Неаполь несколько отвлек нас от этих размышлений. Он восхищал не только эмалевым небом, привычным по фотографиям контуром Везувия, замком Лукулла, будящим воображение, но и зажатыми в кольца каменных улиц-змей виллами, несметным числом чистых простынь, развешанных на веревках по фасадам едва ли не всех домов, узкими улицами в самом центре города, которые становятся частью бедных квартир, когда открываются двери первых этажей, и особенно непосредственными, приветливыми неаполитанцами...

Не забудутся развалины Помпеи с каменными мостовыми, на которых в течение веков колесницы выбили колеи. Всегда будут вспоминаться отвесные скалы Капри. С них был сброшен один из римских тиранов. Эта казнь была придумана им самим: он сбрасывал со скал Капри своих врагов. Как сновидение, останется в памяти посещение волшебного Голубого грота, в который въезжаешь с моря на лодке, пригибаясь к самому ее дну, а потом, ошеломленный, вдруг чувствуешь, что паришь в голубом пространстве... Голубое сияние заполняет все вокруг: и над тобой и под килем лодки...

И вот мы снова на родной палубе.

Аспирант здорово играет в пинг-понг. Приходится долго ждать, пока его кто-нибудь «выставит» и можно будет опять поговорить.

Нас несколько человек. Мы рвемся задать ему уйму вопросов.

Наконец мы завладели им. Говорит он охотно. У него чуть странная привычка смотреть не на собеседников, а вдаль. Его тяжелые очки мы в шутку назвали астрономическими.

Так как же? Прав ехидный монах? Доказательств нет? Дым костра инквизиции давно рассеялся, но ведь не мог же он задушить мысль о возможности существования отмеченных «божественным» разумом обитателей иных звездных миров!.. Ведь в науке же теперь считается непреложным, что жизнь во всех ее проявлениях может существовать и вне Земли.

— С этим согласны все прогрессивно мыслящие ученые,— согласился аспирант.— Особенно согласны,— добавил он с улыбкой,— когда речь идет о бесконечно далеких мирах.

И он рассказал, что крупный советский ученый-астроном, академик В. Г. Фесенков, по его словам, очень скептически относящийся к существованию жизни на ближних планетах, в своей совместной работе с академиком А. И. Опариным пришел к мысли об обитаемости в нашей Галактике по крайней мере ста пятидесяти тысяч планет. Он считает, что лишь одна звезда из миллиона (!) обладает планетой с условиями, близкими к земным. По Энгельсу, жизнь там должна была возникнуть и неуклонно развиваться, пока не увенчается племенем разумных, через которых природа познает себя. Не говоря уже о том, что звездных островов, подобных нашей Галактике, в космосе несметное множество, можно вспомнить мнение других ученых, полагающих, что цифра академика Фесенкова занижена «на порядок», то есть преуменьшена в десять раз. Но даже и по приведенному, очень осторожному подсчету, количество населенных миров все равно огромно. Ведь если по теории вероятности жизнь на половине этих миров еще не достигла земного развития, то на семидесяти пяти тысячах (!) планет жизнь неведомых нам разумных существ по своему развитию, в том числе по уровню культуры, ушла вперед по сравнению с нашей Землей.

Обычно считается, что миры эти отделены от нас такими безднами расстояний, что для преодоления их понадобилнсь бы жизни многих поколений космонавтов. Казалось, трудно представить, что в таких условиях разумные существа разных миров когда-нибудь встретятся, но...

— Так ли уж невероятна на поверку подобная встреча на протяжении, скажем, истории человечества? — спросили мы нашего собеседника. Нам казалось, что он что-то знает...

— Большинство астрономов считает исключенной жизнь на ближних планетах,— ответил аспирант.— Но существует и другая точка зрения. Обитаемость Марса еще в конце прошлого века допускал и горячо отстаивал выдающийся американский астроном Лоуэлл. Ныне эту точку зрения, несмотря на всю ее фантастичность, защищают его преемники.

И он вспомнил о выдающемся советском астрономе, создателе новой науки — астроботаники, недавно скончавшемся члене-корреспонденте Академии наук СССР Гавриле Адриановиче Тихове, который доказывал, что на Марсе есть растения, и этим косвенно подтверждал мысль о разумных марсианах.

— Очень жаль и едва ли может быть оправдано,— сказал аспирант,— что после смерти Г. А. Тихова возглавлявшийся им сектор астроботаники Академии наук Казахской ССР прекратил свое существование.

— Недалеко время,— продолжал он,— когда к Марсу полетят и наши космические разведчики, сначала автоматические, потом живые, мыслящие. Они и скажут последнее слово об обитаемости этой планеты и о происхождении ее двух спутников — Фобоса и Деймоса. Вам, может быть, известна гипотеза профессора Шкловского о спутниках Марса, которые тормозятся разреженной марсианской атмосферой потому, что являются полыми телами, неизвестными природе и, по-видимому, искусственно созданными когда-то разумными обитателями Марса.

Однако дело не только в Марсе. Даже самые скептические умы допускают, что где-то в космосе разумная жизнь, несомненно, существует, местами достигая более высокого уровня развития, чем на Земле. А это значит, что мечта о вступлении человека в космос где-то уже осуществлена и, быть может, давно. Ведь если люди за какие-нибудь сто лет заставили свои машины увеличить скорость от десяти километров до сорока тысяч километров в час, если в одном только двадцатом веке человечество сделало труднопостижимый скачок от признания атома до использования его внутриядерной энергии, то вполне возможно допустить, что где-то в космосе звездолеты уже летают со скоростями, близкими к скоростям света. Стоит напомнить, что тогда ощутимо скажется парадокс времени, вытекающий из теории относительности: суть его в том, что время космонавта, летящего с околосветовой скоростью, течет медленнее, чем время любых обитателей Галактики.

Среди нас некоторые никак не могли представить этого.

— Понять этот парадокс времени сравнительно просто,— с улыбкой стал объяснять аспирант,— если допустить для наглядности, что течение времени, абсолютное и неизменное для всех точек и условий пространства, измеряется углом поворота воображаемой стрелки. Однако прожитый отрезок времени, отмечаемый длиной дуги, не одинаков для конца стрелки, для ее середины или для точки у самого центра вращения.

Для миров с обычными скоростями, для нашей Земли, любых звезд и планет прожиточный отрезок времени соответствует перемещению конца стрелки. Звездолет же, набирая скорость, по мере приближения к околосветовой как бы перемещается по стрелке времени к оси ее вращения. И естественно, что при скоростях движения, близких к световым, когда прожитый отрезок времени на звездолете отмечается точкой близ центра вращения стрелки времени, дуга, пройденная ею, будет, скажем, в тысячу раз короче, чем дуга, описанная концом стрелки.

Таким образом, до самых далеких пределов видимой вселенной космонавт мог бы долететь за время нормальной человеческой жизни.

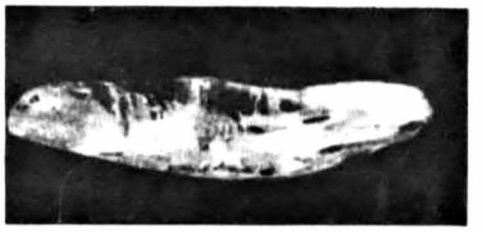
И если мы можем представить себе звездолет в космосе, то у нас нет оснований отказаться от того, чтобы представить его летящим через бездны пространства... к Земле.

Мы рассуждали о том, что если такой звездолет в самом деле когда-либо летел к Земле, то нет ли на нашей планете следов посещения звездных пришельцев.

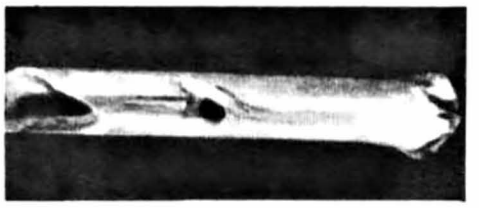
Мысль, что такие следы есть, высказывалась не однократно.

И вряд ли справданно называть такие мысли антинаучными, если они даже, как говорят ученые, и недостаточно аргументированы.

1.



2.



3.

Но не появились ли эти факты теперь?

Это мы и хотели узнать. Мы убеждены были, что наш аспирант что-то знает.

И мы не ошиблись.

Он предложил показать (именно показать!) кое-что в салоне.

Сначала за шахматным столиком сидело человек пять. Кто-то играл на рояле. Потом музыка смолкла, и над столиком склонились люди, словно рассматривали интересную шахматную партию. Скоро пришлось раздвинуться, а книги и конверты, которые принес аспирант, стали переходить из рук в руки.

Лишь в конце нашего путешествия, когда мы плыли из Хельсинки в Ригу, мне удалось переснять все фотодокументы, которые тогда он показал нам. Их я привожу сейчас, ручаясь за их подлинность.

— Вы хотите знать факты? — начал аспирант.— Хотите знать хотя бы, нельзя ли их найти в указанном гипотезами направле-

ния? Что ж! Я расскажу вам кое-что, но... заранее условимся, что всякий факт допускает различные толкования. Выбирая сначала лишь желанные нам, но не исключая других, мы постепенно подойдем к таким фактам, которые прозвучат уже однозначно и, быть может, явятся ключом к целой цепи неразгаданных тайн.

Итак. Перед нами фотография (фото 1), снятая совместной советско-китайской палеонтологической экспедицией под руководством доктора наук Чжоу Минченя в 1959 году. Этот отпечаток оставлен на песчанике пустыни Гоби миллионы лет назад... По размерам и рисунку он очень напоминает след подошвы космонавта, ступившего на Землю, когда на ней еще не жили человекоподобные. Это — наше объяснение. Но других объяснений этому отпечатку палеонтологами пока не дано.

— Неужели Земля посещалась звездными пришельцами в то время, когда они могли видеть на ней лишь исполинских ящеров, животный мир, не породивший еще человека? — воскликнул один из слушателей.

— Как разочарованы они, верно, были, поняв, что прилетели на дикую планету слишком рано!..

— Кто они были? Откуда? Когда и куда улетели? Неужели не оставили никакого следа, кроме р о м у», то есть миллион лет назад (!), и м е т а л л и ч е с к и м и н с т р у м е н т о м.

Миллион лет назад на Земле и человека в его теперешнем виде еще не было. Он не вступил даже в каменный век. О каком металлическом инструменте может идти речь?

И тем не менее обработанные металлом миллион лет назад кости перед нами. Рассмотрим их. Удивительно точные круглые и квадратные отверстия... пазы, желобки!.. Разрезанные пополам резцы животных носят следы ш л и ф о в к и!..

Как это ни невероятно, но... невольно кажется, что кто-то мастерил из подручного материала сломанные части неведомого прибора.

Кто знает, какая трагедия произошла с космическими пришельцами, вынужденными укрыться в пещере?

А ведь кости существуют. Их можно держать в руках, исследовать. Пока другого объяснения, чем здесь приведенное, удивительные кости не находят.

Слушатели переглянулись. О чем подумал каждый из них?

Улетели ли эти пришельцы с Земли? Что с ними произошло? Какова их судьба? Кто ответит на эти вопросы!..

Аспирант почему-то вспомнил о Зальцбурге.

Зальцбург! Город вблизи Австрийских Альп. Вьющаяся лента дороги с подпорными стенками. Озера с отраженными в них скалистыми хребтами. Альпийские луга сочных трав и ярких цветов. Сказочные эдельвейсы, романтические и нежные, и удивительное эхо в краю скал, родившее и тирольские переливы.

Мне приходилось бывать в Штирии, неподалеку. Как я жалею, что не знал тогда об экспонате, о котором сообщает французский журнал «Scince et vie» (№ 516, сентябрь 1960 года) и о котором знал тогда наш аспирант!

Стальной параллелепипед — 67×67×47 миллиметров... Вес — 785 граммов. Обработанная сталь!

Она, как утверждают, была найдена в 1886 году австрийским физиком Гурльтом в угольном пласте третичного периода!..

Если это так, то кто мог занести опять-таки на древнюю Землю изделие умелых рук и развитого ума?

— Теперь перенесемся на другой континент,— предложил рассказчик,— в другую горную местность, в Анды, в царство древних инков, на романтическое горное озеро Титикака, овеянное легендами и именем бородатого Кон-Тики-Уракоча.

До сих пор вокруг этого горного озера (фото 4) сохранилась хорошо различимая линия древнего берега... м о р с к о г о б е р е г а! Там можно видеть остатки морских водорослей, ракушки и... р а з в а л и н ы м о р с к о г о п о р т а.

Слушатели ахнули.

— Да! Морского порта! Озеро Титикака, как сходятся во мнениях все геологи, прежде было морским заливом.

Кто-то вспомнил, что чешские путешественники Зикмунд и Ганзелка рассказывают, что по озеру теперь хлопают плицами два колесных пароходика, не так давно с огромным трудом, по частям, доставленные туда, на высоту четыре тысячи метров!

Когда же поднялся морской залив, превратившись в горное, заоблачное озеро? Когда гигантской складкой встали Анды, завершая западную оконечность Южной Америки?

— Среди геологов нет единого мнения о времени этого катаклизма,— сказал наш ученый.— Некоторые из них считают, что это произошло несколько сот тысяч лет назад.

— Позвольте! Несколько сот тысяч лет назад существовал морской порт? — поразился капитан корабля, который незаметно подошел к нам.

— Не будем строить догадок,— пожал плечами аспирант.— Я хочу рассказать вот о чем. Близ остатков морского порта сохранились руины циклопических сооружений древнейшего города Тиагунако, в числе их развалины храма Каласасова, насчитывающие по меньшей мере 12 или 15 тысяч лет.

Но особенно интересны Ворота Солнца (фото 5), покрытые своеобразными изображениями-иероглифами.

Известна легенда, по которой один из правителей древних инков ввел узелковую письменность (кипу), повелев повсеместно уничтожить все древние иероглифические надписи. И только на Воротах Солнца они почему-то сохранились.

Ученые Познанский и Кисс заинтересовались этими иероглифами, а Эпштейн, продолжая их исследования, расшифровал в 1949 году загадочные знаки. Они оказались а с т р о н о м и ч е с к и м к а л е н д а р е м большой точности, но... в этом календаре ГОД СОСТОЯЛ ЛИШЬ ИЗ 290 ДНЕЙ!.. 10 месяцев по 24 дня и 2 месяца по 25.

Похоже, что на Воротах Солнца запечатлен НЕЗЕМНОЙ КАЛЕНДАРЬ.

И снова переглянулись слушатели.

— В память какого события, в память какого п о с е щ е н и я нанесен этот календарь на древние ворота на берегу заоблачного озера?

Сколько тайн связано с легендарным государством древних инков! Я ведь сам читал, что завоевавшие это государство испанские конквистадоры в своих мемуарах хвастали, что инки приняли их, белокожих, за сынов неба, когда-то в древние времена организовавших государство инков и обещавших вернуться. Испанцев поразили и встревожили некоторые принципы, на которых существовало общество инков. Вот некоторые из них: отсутствие частной собственности, презрение к богатству, обязательный труд для всех и бесплатный хлеб всем...

Испанские конквистадоры истребили инков. Лишь руины дворцов и храмов свидетельствуют о былой культуре.

А наш рассказчик продолжал

4.

5.

6.

этого отпечатка? — сыпались вопросы.

— Кто знает, что́ происходило на первозданной Земле, какие, быть может, трагедии разыгрывались на ней...— улыбнулся аспирант.— Попробуем восстановить одну из них.

Вот два фотодокумента (фото 2 и 3). На них изображены ископаемые кости, найденные совсем недавно Т. Г. Грицаем и И. Я. Яцко в одесских катакомбах. Это кости современников плиоцена — ископаемых страусов, верблюдов и гиен. Они были свалены в одном из подземных ходов, теперь насчитывающих 500 километров, а в древности представлявших собой первобытные пещеры.

— Но что же в этом особенного? Разве не мог первобытный человек свалить эти кости в своей пещере?

— Свалить мог, но... обработать нет!

Да, обработать! Эти кости о б р а б о т а н ы! И обработаны, как установила экспертиза, «п о-с ы-

стрийских Альп. Вьющаяся лента дороги с подпорными стенками. Озера с отраженными в них скалистыми хребтами. Альпийские луга сочных трав и ярких цветов. Сказочные эдельвейсы, романтические и нежные, и удивительное эхо в краю скал, родившее и тирольские переливы.

Мне приходилось бывать в Штирии, неподалеку. Как я жалею, что не знал тогда об экспонате, о котором сообщает французский журнал «Scince et vie» (№ 516, сентябрь 1960 года) и о котором знал тогда наш аспирант!

Стальной параллелепипед — 67×67×47 миллиметров... Вес — 785 граммов. Обработанная сталь!

Она, как утверждают, была найдена в 1886 году австрийским физиком Гурльтом в угольном пласте третичного периода!..

Если это так, то кто мог занести опять-таки на древнюю Землю изделие умелых рук и развитого ума?

— Теперь перенесемся на другой континент,— предложил рассказчик,— в другую горную местность, в Анды, в царство древних инков, на романтическое горное озеро Титикака, овеянное легендами и именем бородатого Кон-Тики-Уракоча.

До сих пор вокруг этого горного озера (фото 4) сохранилась хорошо различимая линия древнего берега... м о р с к о г о б е р е г а! Там можно видеть остатки морских водорослей, ракушки и... р а з в а л и н ы м о р с к о г о п о р т а.

Слушатели ахнули.

— Да! Морского порта! Озеро Титикака, как сходятся во мнениях все геологи, прежде было морским заливом.

Кто-то вспомнил, что чешские путешественники Зикмунд и Ганзелка рассказывают, что по озеру теперь хлопают плицами два колесных пароходика, не так давно с огромным трудом, по частям, доставленные туда, на высоту четыре тысячи метров!

Когда же поднялся морской залив, превратившись в горное, заоблачное озеро? Когда гигантской складкой встали Анды, завершая западную оконечность Южной Америки?

— Среди геологов нет единого мнения о времени этого катаклизма,— сказал наш ученый.— Некоторые из них считают, что это произошло несколько сот тысяч лет назад.

— Позвольте! Несколько сот тысяч лет назад существовал морской порт? — поразился капитан корабля, который незаметно подошел к нам.

— Не будем строить догадок,— пожал плечами аспирант.— Я хочу рассказать вот о чем. Близ остатков морского порта сохранились руины циклопических сооружений древнейшего города Тиагунако, в числе их развалины храма Каласасова, насчитывающие по меньшей мере 12 или 15 тысяч лет.

Но особенно интересны Ворота Солнца (фото 5), покрытые своеобразными изображениями-иероглифами.

Известна легенда, по которой один из правителей древних инков ввел узелковую письменность (кипу), повелев повсеместно уничтожить все древние иероглифические надписи. И только на Воротах Солнца они почему-то сохранились.

Ученые Познанский и Кисс заинтересовались этими иероглифами, а Эпштейн, продолжая их исследования, расшифровал в 1949 году загадочные знаки. Они оказались а с т р о н о м и ч е с к и м к а л е н д а р е м большой точности, но... в этом календаре ГОД СОСТОЯЛ ЛИШЬ ИЗ 290 ДНЕЙ!.. 10 месяцев по 24 дня и 2 месяца по 25.

Похоже, что на Воротах Солнца запечатлен НЕЗЕМНОЙ КАЛЕНДАРЬ.

И снова переглянулись слушатели.

— В память какого события, в память какого п о с е щ е н и я нанесен этот календарь на древние ворота на берегу заоблачного озера?

Сколько тайн связано с легендарным государством древних инков! Я ведь сам читал, что завоевавшие это государство испанские конквистадоры в своих мемуарах хвастали, что инки приняли их, белокожих, за сынов неба, когда-то в древние времена организовавших государство инков и обещавших вернуться. Испанцев поразили и встревожили некоторые принципы, на которых существовало общество инков. Вот некоторые из них: отсутствие частной собственности, презрение к богатству, обязательный труд для всех и бесплатный хлеб всем...

Испанские конквистадоры истребили инков. Лишь руины дворцов и храмов свидетельствуют о былой культуре.

А наш рассказчик продолжал удивлять нас все новыми сообщениями.

— Совсем недавно во время аэрофотосъемки в Андах,— говорил он,— на плоскогорье Наска были обнаружены тянущиеся на километры странные знаки, выложенные из светлых камней (фото 6).

Высказывались предположения, что мы имеем дело с своеобразным солнечным календарем. Некоторые его линии якобы должны сверкать под лучами солнца в дни равноденствия. Однако общую конфигурацию знаков можно рассмотреть лишь с очень большой высоты, словно они должны были служить указателем при посадке.

— Не являются ли эти линии «посадочными знаками»? Не выложены ли они для тех, возвращения кого ждали инки и кто, возможно, на самом деле когда-то посещал их.

Наш рассказчик увлекся. Его уже не нужно было просить...

(Продолжение в следующем номере.)

(Продолжение. Начало см. в № 8)

— В нынешнем Ливане, в горах Антиливана, близ города Баальбека,— говорил аспирант,— существует знаменитая Баальбекская терраса, сложенная из исполинских каменных плит весом свыше тысячи тонн каждая. Эти плиты подняты из древней каменоломни, где до наших дней сохранилась одна, не отделенная от скалистого массива плита. Поднимать их приходилось на возвышенность в сотни метров и там еще на семь метров в самом сооружении (фото 7).

Баальбекская терраса относится к глубочайшей древности. Ее назначение загадочно. Храм Юпитера был построен на ней, по-видимому, много позднее. И совсем трудно объяснить, с помощью каких технических средств была сооружена Баальбекская терраса. Ведь даже современными подъемными средствами не поднять на гору тысячетонные плиты. Каменные блоки для египетских пирамид весили в пятьдесят раз меньше, и, казалось бы, не было никакой нужды заменять их плитами весом с хороший дом.

И тогда я вспомнил, что доцент А. А. Агрест во время нашей с ним встречи высказал предположение: не является ли Баальбекская терраса памятником неведомой мощи звездных пришельцев? Может быть, внутри, под защитой исполинских плит, кроются тайники, предназначенные для зрелого человечества, которое догадается о назначении циклопического памятника и получит наследие от тех, кто тысячелетия назад посетил еще населенную варварскими племенами Землю...

— Да полно! Как можно об этом всерьез говорить? — вмешался капитан.— Кто видел на Земле звездных пришельцев? Как можно доказать, что их когда-нибудь кто-нибудь видел?

Аспирант как-то загадочно улыбнулся и стал раскладывать на столе новые фотографии...

— Перед началом второй мировой войны французский офицер Бренан,— сказал аспирант,— пересекая Сахару, наткнулся на удивительное нагромождение скал. Это были скалы Сефара, походившие издали на руины города с пересекающимися улицами и переулками (фото 8).

Приблизившись, он увидел, что это капризы ветров проложили ущелья среди скал. Проникнув в эти бесчисленные ущелья, полковник Бренан был поражен обнаруженной там наскальной живописью, очевидно, очень древнего происхождения.

Открытие Бренана вызвало огромный интерес во Франции. Но началась война, и искусствоведы не смогли организовать экспедицию в Сахару.

Лишь после войны профессору Анри Лоту удалось отправиться в Сахару в скалы Сефара и сделать там поразительное открытие. Он обнаружил природный музей древнейшего искусства, бесценную его сокровищницу. Скалы были испещрены рисунками редкой художественной силы (фото 9 и 10). Достаточно взглянуть на четырех «богинь» или на «собеседниц». Сколько выразительности, сколько грации в скупом начертании фигур! И, наконец, какая точность и динамика в изображении животных (фото 11)!

Древние художники принадлежали к племенам, тысячелетия назад населявшим цветущий в то время край — Сахару.

Анри Лоот обнаружил, что рисунки наслаиваются «по эпохам». Более поздние нарисованы на месте самых древних.

И вот эти-то самые древние, по словам нашего аспиранта, представляют для нас особый интерес.

Профессор Анри Лоот относит их к шестому — восьмому тысячелетию до нашей эры. Он объединяет рисунки того времени общим названием «периода круглоголовых».

Почему «круглоголовых»?

Да потому, что двуногие, прямостоящие существа на этих рисунках, напоминающие людей, изображены все...

...в КРУГЛЫХ ШЛЕМАХ!..

Особенно поражает гигантский наскальный рисунок размером в шесть метров (фото 12).

— Когда я показал этот рисунок известному полярному летчику штурману Аккуратову,— вспомнил наш рассказчик,— он воскликнул: «Ведь это так похоже на мой скафандр, который на меня напяливают перед высотным полетом! И шлем совсем такой же...»

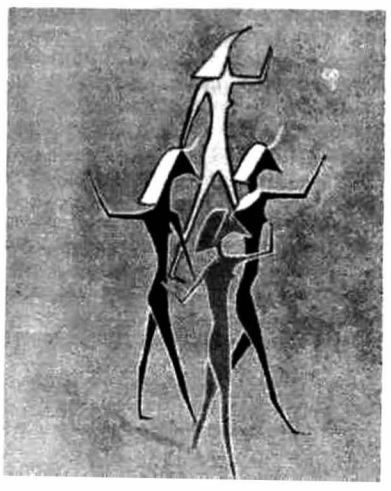
Да, похоже, что это скафандр!

Профессор Анри Лоот назвал этот рисунок «Великим богом марсиан из Джаббарена». Ущелье Джаббарена, где найден этот рисунок, в переводе с местного языка означает «Ущелье исполинов»

7

8

9



10

11

Он говорит, что именно такими мы представили бы себе сейчас марсиан или других космических пришельцев.

Какая фантазия древнего художника могла породить это странное изображение?

— Марксизм учит, что ФАНТАЗИЯ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ОТ ОПЫТА,— солидно заметил профессор-философ, до сих пор молча слушавший.— Художник не мог выдумать ничего, что не видел хотя бы по частям.

— Но, может быть, это обрядовое одеяние жреца? — предположил капитан.

— Всмотримся в рисунок,— продолжал аспирант.— Штурман Аккуратов обратил мое внимание на крепление шлема. Ниже два отверстия. Так изобразил старательный художник, очевидно, отверстия для глаз в перспективе. Еще ниже — горизонтальные складки герметического воротника. И дальше — вертикальные складки свободной, вероятно, непроницаемой одежды.

Но самое интересное, пожалуй, то, что это не единственное изображение, их множество (фото 13 и 14)!

Аспирант показал нам их, листая книгу Лоота [1].

На последней фотографии нас поразило, что над шлемами одетых в скафандры существ видны какие-то решетчатые сооружения, которые напоминают... направленные антенны!..

— Это уже свидетельства, пришедшие к нам через тысячелетия, портреты неведомых существ. Мы можем рассматривать их, спорить, строить догадки, но никак не отмахиваться от них.

— Это все? — спросил я.— Неужели только в Сахаре остались изображения, похожие на «пришельцев»? Ведь они посетили Землю, когда у человека уже было искусство.

Аспирант был готов к этому вопросу.

— Обратимся к другой стране, к иным памятникам.

В Ленинградском Эрмитаже хранятся бесценные втрусские камеи. С поразительным искусством вырезаны на них реалистические изображения людей.

Он показал фотографии камей (фото 15). Мы поразились, увидев не только великолепную работу, но и будто бы современное изображение водолаза, то есть «существа в скафандре»!

А ведь камея сделана несколько тысяч лет назад. Не перекликается ли эта камея с наскальными рисунками в Сахаре?

А вот еще одна камея (фото 16). На ней изображен старинный корабль, какая-то галера, но...

— Обратите внимание. Весел нет! Рисунку лишь приданы знакомые художнику очертания корабля.

Вместо весел сзади корабля нанесены какие-то лучи.

— Уж не реактивный ли корабль так представил себе художник, знавший о прилете пришельцев?

— Кстати, предания о таких прилетах и очень толковое описание летательного аппарата существуют в совсем другой части земного шара, в древних индийских рукописях,— сказал аспирант и прочитал нам такое описание полностью:

12

13

14

«...Посредине корабля тяжелый металлический ящик является источником силы. От этого ящика «сила» шла в два больших подвижных цилиндра, помещенных на противоположных концах корабля. Кроме того, «сила» шла в восемь цилиндров, прикрепленных спереди и сзади этих основных. Они имели два ряда отверстий, направленных вертикально сверху вниз.

В начале путешествия приводились в действие задвижки восьми цилиндров. Они открывали отверстия, направленные вниз, а верхние оставались закрытыми. В этот момент «ток» с силой выходил и ударялся о землю, что приводило к подъему корабля вверх.

Когда достигали нужной высоты, до половины закрывали нижние отверстия, чтобы можно было удержать высоту. Тогда большую часть «тока» направляли в один из главных цилиндров, в тот, который находился сзади корабля. Корабль двигался от толчков, вызываемых освобождением силы...»

Требуются ли комментарии?

На основе этого древнего описания современный художник изобразил этот летательный аппарат (фото 17) (журнал «Горизонты техники», Польша, № 5, 1958).

Аспирант вспомнил, что в других индийских преданиях говорится о том, что пришельцы с небес научили древних людей ковать железо.

— Потому и привлекает наше особое внимание знаменитая «железная колонна», более полутора тысяч лет стоящая близ старинной башни Кутб Минар, в Дели (фото 18).

Это — поистине удивительное сооружение, равного которому нет среди памятников материальной культуры. Высотой в восемь метров, толщиной «в обхват». Есть даже наивное поверье: у того, кто встанет к колонне спиной и сведет за ней руки, исполнится заветное желание...

Вес колонны — двенадцать тонн.

Древнее металлическое изделие недаром овеяно легендой, оно обладает чудеснейшим, редчайшим свойством: железо не ржавеет!

А ведь любое другое железо за полторы тысячи лет превратилось бы в прах.

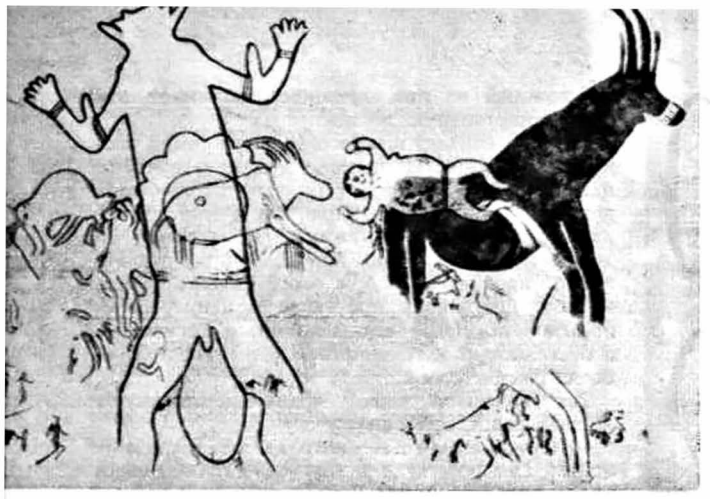
— В чем же дело? — спросила учительница.

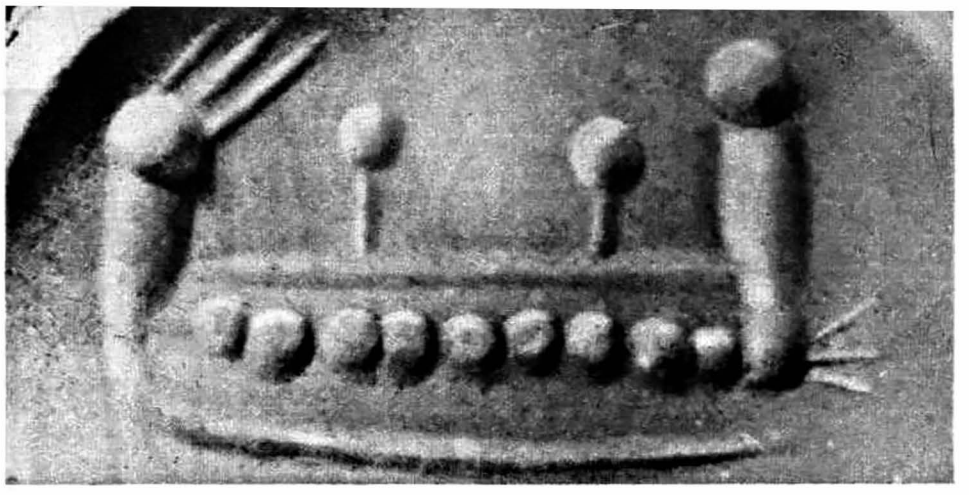
Объяснение дал металлург, оказавшийся среди слушателей: древние мастера сумели создать химически идеально чистое железо, которое трудно получить даже в современных электрических печах. Атомы такого железа, соединяясь с кислородом, создают антикоррозийную пленку, предохраняющую металл от окисления.

Но как могли люди древности сварить такой металл? Как сумели выковать такую исполинскую деталь, для которой ныне использовали бы могучие гидравлические прессы? Ведь ничего похожего не найдено больше нигде!

Может быть, и в самом деле есть связь между древнеиндийским описанием реактивного летательного аппарата и... нержавеющей колонной из химически чистого железа. Не использовали ли древние индийцы для декоративной поковки металл с совершенной конфигурацией, полученный на другой планете и служивший какой-нибудь деталью

[1] Анри Лоот «Фрески Тассили».





16

15

17

18

звездолета? Ведь предположение, что древние выковали колонну из железного метеорита, не выдерживает критики, так как метеоритное железо всегда содержит около семи процентов никеля, не говоря уже о других примесях.

Аспирант складывал свои книги и фотографии.

Итак, уже сегодня, едва заинтересовавшись волнующим вопросом, мы можем разглядывать отпечаток в песчанике, который напоминает след обуви, изучать обработанные металлическим инструментом кости или стальной параллелепипед, тоже обработанный. Мы можем размышлять по поводу неземного календаря на Воротах Солнца или о загадочных знаках в Андах. Нас поражают химический состав индийской колонны, выкованной полторы тысячи лет назад, и техническое описание древними «реактивного корабля». Но особенное впечатление произвели, по крайней мере на меня, наскальные рисунки в Сахаре, с которых смотрят неведомые «существа в скафандрах», быть может, тысячелетия назад посетившие Землю.

Аспирант говорил:

— Их гигантский звездолет мог прилететь к Земле, встать на «космическом рейде», то есть превратиться в ее искусственного спутника, посылая на открытую планету малые корабли, выполняющие роль космических шлюпок. Естественно предположить, что эти «космические шлюпки» с исследователями в скафандрах посетили населенную зону Земли.

И может быть, это они побывали в Южной Америке, где древние инки переняли у них столь поразившие испанских конквистадоров принципы устройства общества, которые так близки и понятны теперь нам. Не они ли оставили на Воротах Солнца в память о своем пребывании календарь далекой планеты, своего неведомого солнца? Не они ли, рассчитывая, что им на смену прилетят когда-нибудь другие исследователи, оставили для них посадочные знаки в пустыне Анд?

Возможно, гости из космоса побывали и в населенной тогда, цветущей Сахаре. Древние художники запечатлели их образы на скалах Сефара. Обнаружили они древние племена людей и в районе Мертвого моря, где соорудили циклопическую террасу, что по силам было только исполинам техники. И кто знает, может быть, в глубине Баальбекской террасы действительно заключено «завещание звездных пришельцев». Предвидя развитие человеческого общества, появление цивилизации, звездные пришельцы могли рассчитывать, что в определенный момент их знания могут быть поняты людьми, станут полезными для них... Может быть, там были ключи к овладению ядерной энергией, к завоеванию космоса, к победе над гравитацией... Не знаю, достаточной ли защитной броней были для этих опасных тайн тысячетонные плиты Баальбека. Может быть, под ними кроется лишь указание людям Земли, что подлинное завещание человеческой цивилизации оставлено, скажем, на обратной стороне Луны и люди смогут им воспользоваться, лишь достигнув такого развития, когда вступят своими силами в космос, сумеют долететь до Луны, когда самосознание их общества будет столь высоко, что исключит использование силы атомного ядра и других тайн знания для убийств себе подобных...

Мы позволили себе тогда на «Победе» помечтать. Но мечта эта не исключает, а лишь способствует исследованиям. А ведь только исследования могут сказать новое решающее слово науки в бесстрашно поднятом Джордано Бруно вопросе.

Но не только далекая история может сказать свое слово. Есть современное явление, научная разгадка которого может стать ключом ко всей цепи загадок, связанных с возможным посещением Земли пришельцами из иных миров.

— Ключ этот — в разгадке тайны тунгусской катастрофы 1908 года,— сказал аспирант, глядя в мою сторону.

Все зашумели. Они ведь знали мой давний грех по части тунгусского метеорита.

Теперь рассказывать заставили меня. Все хотели знать самое последнее, самое достоверное, но...

Я ведь не мог быть беспристрастным!

(Окончание следует.)

(Окончание. Начало см. в №№ 8, 9.)

30 июня 1908 года в далекой сибирской тайге произошло это необыкновенное явление. Около тысячи очевидцев, корреспондентов Иркутской обсерватории, сообщили, что видели пронесшееся по небу тело, оставлявшее за собой след. Над тайгой близ фактории Ванавара тело превратилось в ослепительный шар, который был ярче солнца. Потом огненный столб уперся в безоблачное небо. Раздался взрыв невероятной силы. Он был слышен за тысячи километров. Пронесся ураган, который вырывал с корнем деревья в тайге на тысячах квадратных километров, срывая крыши домов на расстоянии сотен километров, обошел воздушной волной земной шар дважды. Сейсмические станции в Иркутске, Ташкенте и Иене отметили сотрясение земной коры. Три ночи не только в Западной Сибири, но во всей Европе не было темноты. Странные зеленоватые и розоватые лучи пробивались даже сквозь дождевые тучи. Под Москвой в полночь фотографировали, в Париже, на бульварах, где не зажигали ночных огней, можно было читать газеты.

Была высказана гипотеза, что в тунгусскую тайгу упал гигантский метеорит.

Лишь в двадцатых годах замечательный исследователь, ученый секретарь Комитета по метеоритам Академии наук СССР Л. А. Кулик организовал экспедицию в тунгусскую тайгу, чтобы найти метеорит. Но он исчез, не оставив ни осколков, ни следов. А ведь при падении метеоритов осколки всегда находят. Не обнаружен был метеорит магнитными приборами и в глубине Земли.

Исследователи установили на месте катастрофы множество фактов, которые казались загадочными. Так, в центре катастрофы, где метеорит должен был удариться о Землю, когда при мгновенной потере скорости энергия движения переходит в тепло, вызывая эффект взрыва, никакого кратера не оказалось. Более того, там стоял на корню лес, странный мертвый лес, без коры и сучьев (фото 19 и 20). Он был окружен болотом, под которым оказался слой торфа, а под ним нетронутый слой вечной мерзлоты толщиной в 25 метров. По мере исследования все менее объяснимыми казались светлые ночи после взрыва.

Рассказывали и о легенде эвенков, которые сразу после взрыва побывали в его эпицентре, видели фонтан воды, а потом отказывались подойти к тем местам: шаманы запретили, объявив, будто бог огня и грома Огды спускался на Землю и сжигал людей невидимым огнем. Достоверно неизвестно, были ли на самом деле жертвы от «невидимого огня», послужившие основанием для легенды и шаманского запрета.

Во всяком случае, предположение о падении метеорита, который должен был обладать массой в миллион тонн и скоростью 30—60 километров в секунду, не объясняло так называемых «аномалий», очень обстоятельно описанных большим знатоком метеоритов, соратником Кулика, ныне ученым секретарем Комитета по метеоритам Академии наук СССР Л. А. Криновым. Однако специалисты по метеоритам продолжали считать, что упал в тунгусскую тайгу все-таки метеорит.

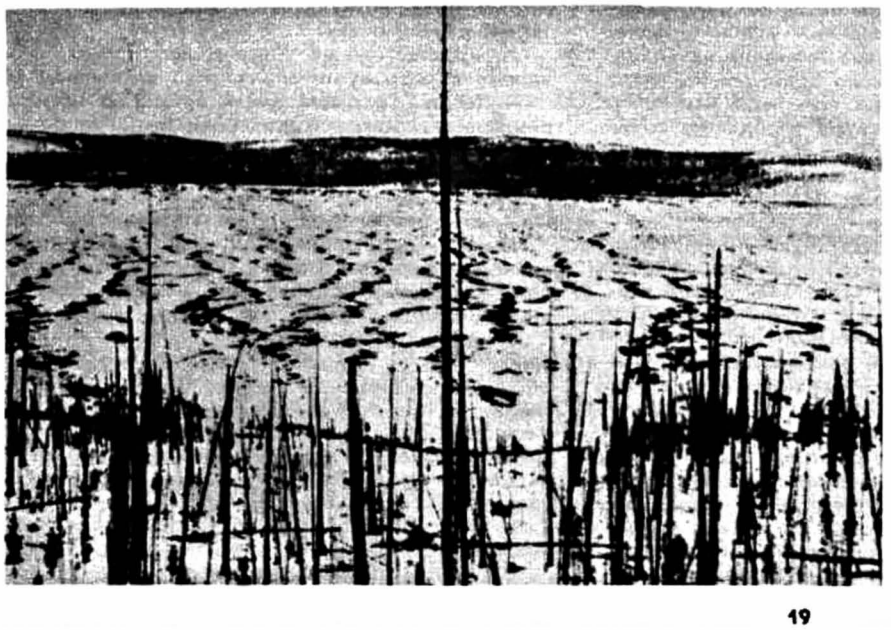
Чтобы объяснить все обстоятельства тунгусской катастрофы — в том числе и такие аномалии, как исчезновение метеорита, отсутствие осколков и кратера, а также любых других следов падения, наличие в эпицентре стоячего леса, нетронутость слоя торфа и слоя вечной мерзлоты, который не мог бы восстановиться в наше время, если бы кратер, скажем, затянуло болотистой почвой, наблюдавшиеся светлые ночи и даже возможные жертвы, породившие легенду о невидимом огне,— чтобы объяснить все это, я выдвинул пятнадцать лет назад звучавшую фантастически гипотезу о том, что взрыв в тунгусской тайге произошел в воздухе. Потому и устояли на корню находившиеся как раз под местом взрыва деревья, потеряв кору и сучья. Там же, где удар пришелся под углом, почти все деревья были повалены.

А сам взрыв, равный, как подсчитано, взрыву 10 миллионов тонн тротила, что соответствует пятистам атомным бомбам, или нескольким водородным, был не переходом энергии движения в тепло при торможении космического тела, а освобождением внутриядерной энергии.

Первоначальное предположение, что взрыв произошел в радиоактивном метеорите, мне пришлось отбросить, так как в атомном взрыве может взорваться редчайшее вещество — скажем, уран-235 или даже не существующий на Земле плутоний,— только если это вещество будет химически идеально чистым и если его будет в достаточном количестве. Следовательно, над тунгусской тайгой радиоактивное вещество могло взорваться лишь в случае, если оно было получено искусственно. Но получить в 1908 году не только в глухой тайге, но и вообще где-нибудь на Земле вещество, способное к цепной реакции, было, безусловно, невозможно.

Тогда и осталось предположить, что в 1908 году на высоте около пяти километров взорвалось радиоактивное топливо неведомого межпланетного корабля, который пытался прилететь к нам на Землю и погиб перед самой посадкой (рис. 21). Стоит ли говорить, сколько я, фантаст, получил за это синяков?

Гипотеза эта, опубликованная в литературной форме, вызвала нескончаемые споры. Некоторые из ее противников называли ее «антинаучной», хотя она исходила из материалистических взгля-



дов и пыталась объяснить аномалии тунгусской катастрофы, которые не могли быть объяснены предположением о падении метеорита.

Время от времени появлялись сенсационные сообщения, что загадка тунгусского метеорита открыта: метеорит найден. Об этом широко объявлялось в печати, даже в международной, как это сделал профессор К. П. Станюкович в журнале «В защиту мира». Основанием для этого явилось нахождение одним из сотрудников Комитета по метеоритам тов. Явнелем в старых пробах почвы, привезенных из тунгусской тайги еще Куликом, металлических вкраплений. Но очень скоро выяснилось, что утверждения эти необоснованны. Такие вкрапления находят во многих местах на Земле. Они являются продуктами метеорных процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы.

21

Вместе с тем специалисты по метеоритам, организовавшие наконец в 1958 году экспедицию в тунгусскую тайгу, измерением радиоактивности, к сожалению, не занимались и от исследования тунгусского взрыва как ядерного отказались.

Наконец, в 1960 году устами главы Комитета по метеоритам академика Фесенкова, выступившего со статьей в «Правде», специалисты признали свои былые представления о тунгусской катастрофе как о падении метеорита о ш и б о ч н ы м и. Вместе с тем объявлялось, что загадка решена: взрыв, п р о и с ш е д ш и й в в о з д у х е (мысль о чем прежде не допускалась!), был вызван столкновением Земли с ледяным ядром кометы.

Однако едва ли пока можно считать обоснованным это безапелляционное утверждение о решении научной задачи. Новое предположение — научная гипотеза, которая наравне с другими подлежит рассмотрению.

Так рассудили многие молодые ученые, которые по своей инициативе организовали в 1959 году несколько самодеятельных научно-туристских экспедиций, ставивших перед собой цель всестороннего исследования тунгусской катастрофы, в том числе и предположения ядерного взрыва.

В следующем, 1960 году эти молодые ученые отправились в тайгу вновь, но уже поддержанные организациями. Так, томская группа под руководством Г. Плеханова была поддержана Сибирским филиалом Академии наук СССР; группа Волго-Уральского филиала ВНИИ геофизики под руководством А. Золотова нашла поддержку в Президиуме Академии наук СССР и Министерстве геологии и охраны недр СССР; группа московских инженеров, в которую входил инженер Григорьев, выступивший с очерками об экспедиции в «Известиях», была поддержана ЦК ВЛКСМ.

Сейчас еще рано говорить об окончательных результатах. Многочисленные привезенные из тайги образцы исследуются в различных лабораториях. Но о некоторых предварительных выводах полезно рассказать.

Подтверждается ли новая гипотеза о тепловом взрыве ледяного ядра кометы?

Теоретически такой взрыв возможен лишь при скорости летевшего тела около 40 километров в секунду. Объективных указаний на эту скорость не было. Считалось, что она все же такова, потому что иначе взрыв как будто и произойти не мог.

Что же оказалось на месте?

Группа Золотова обнаружила дерево (фото 22), погибшее при катастрофе, но устоявшее на корню. Оно росло примерно на равных расстояниях от эпицентра взрыва и от траектории полета тела, подвергаясь действию и взрывной волны и баллистической волны, вызванной движением в атмосфере тела с гигантской скоростью. Если скорость действительно была порядка 40 километров в секунду, то сила удара обеих этих волн была сопоставима.

Что же обнаружили на этом дереве исследователи?

Оказывается, все сучки, обращенные к фронту взрывной волны, были начисто сорваны, а сучки и ветви в перпендикулярной плоскости, которые подверглись удару баллистической волны, в с е у ц е л е л и!

Можно математически сравнить силу обеих волн и вычислить скорость летевшего тела. Она оказалась равной не 40, а всего 4—5 километрам в секунду. Но если так, то надо считать массу взорвавшегося тела равной не миллионам, а почти миллиарду тонн, если взрыв не был ядерным.

Второе, что интересует нас в новых исследованиях,— это установление лучевого ожога. До сих пор такие ожоги на расстоянии нескольких километров отмечались лишь при ядерных взрывах.

В тунгусской тайге обнаружено множество следов несомненного лучевого ожога даже в нескольких десятках километров от места взрыва. Более того, энергия излучения, которую удалось подсчитать, составляла примерно треть всей энергии взрыва. Такое соотношение характерно опять-таки для ядерного взрыва.

Но, пожалуй, самым интересным было то, что попытки обнаружения повышенной радиоактивности в почве и в древесине погибших при взрыве деревьев оказались безрезультатными.

Многие сочли это опровержением гипотезы о ядерном взрыве, но все же...

Группа энтузиастов из филиала ВНИИ геофизики перенесла свое внимание с сухих деревьев на живые, которые по тем или иным причинам пережили катастрофу. Интерес представили даже деревья, растущие вдалеке от эпицентра взрыва.

Золотов и его товарищи спилили такое дерево.

Срез сразу же поразил воображение. Лиственница жила более трехсот лет. Годичные слои отмечали календарь, но становились с каждым годом все тоньше. И вот (фото 23)... на срезе отчетливо видно, как вдруг «помолодело» дерево. Годичные слои стали откладываться в десяток раз толще!

На ускоренный рост деревьев после тунгусской катастрофы обратили внимание еще участники метеоритной экспедиции 1958 года. Но они объяснили это тем, что уцелевшие деревья получали больше света, а почва удобрялась остатками погибших растений.

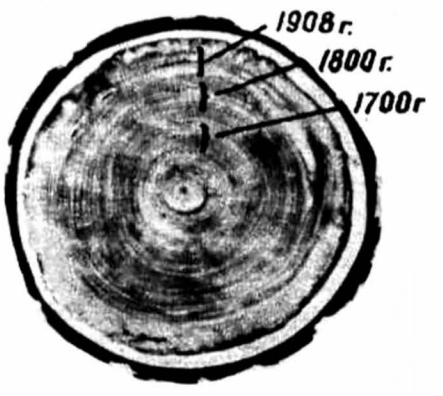
Но экспедиции 1960 года исследовали деревья среди уцелевших рощ, где после взрыва внешние условия не изменились. Оказалось, что и в этих рощах молодые лиственницы за 50 лет достигли размеров трехсотлетних!

Какая же причина заставила тайгу расти так бурно? Это казалось загадкой.

Может быть, в почве в результате взрыва появились какие-то новые вещества? Может быть, радиоактивные?

Тогда пришла мысль последовательно проверять на радиоактивность каждый годичный слой. Ведь после ядерного взрыва (если он был!) должны были выпасть радиоактивные осадки, через некоторое время они попадут вместе с соками в растения, отложатся в годичных слоях.

22



23

В лабораториях филиала ВНИИ геофизики кипела увлекательная работа. На срезе дерева были нанесены даты: 1 700 год, 1812... 1908...

Аппаратура будто излучала сообщения:

«При Иоанне Грозном ядерных взрывов в Сибири не было!»

«Во время нашествия Наполеона ядерных взрывов не было!»

А вот в 1908 году...

Радиоактивность годичных слоев после 1908 года оказалась резко повышенной. По ее характеру можно было судить о присутствии в этих слоях стронция-90.

Период полураспада этого изотопа — 19,5 лет. Это значит, что

спустя полвека там осталось около 10 процентов еще не распавшегося стронция-90. Появиться же этот изотоп мог лишь в случае ядерного взрыва.

Экспедиция группы Золотова в 1960 году пятикратно подтвердила скачок радиоактивности в 1908 году. Результатов исследования других групп еще нет, но они скоро будут. Едва ли разумно отмахиваться от столь интересных результатов. Они заставляют подумать всерьез: что же могло взорваться над сибирской тайгой?

Ведь можно вспомнить, что до сих пор не объяснены светлые ночи после взрыва. Напрашивается предположение, что свечение было просто следствием радиоактивных процессов, происшедших тогда в верхних слоях атмосферы.

Такие процессы могли быть вызваны торможением приближавшегося к Земле космического корабля.

Кстати, есть предположение, что путь его перед гибелью не был прямолинейным, что корабль... управлялся. Вполне реально исследовать эту траекторию, пользуясь современными методами радиоактивного исследования деревьев, живших в ту пору на пути предполагаемого полета корабля.

И если наука скажет свое веское слово, мы сможем удостовериться, действительно ли тунгусская катастрофа была гибелью неведомого космического корабля, на котором летели к нам посланцы иной цивилизации, может быть, совсем такие, как изображенные тысячелетия назад древними художниками Земли на скалах Сахары.

Почти обо всем этом я рассказал на палубе теплохода «Победа», когда кончил свой рассказ аспирант. Не сговариваясь, мы фантазировали, дополняя друг друга.

Мы вышли на палубу. Была уже ночь. Над Средиземным морем горели звезды. Каждому из нас они казались теперь другими. Ведь на них смотрел Джордано Бруно... И уже он мысленным взором видел неведомые населенные миры.

Видим их и мы, материалисты, у которых разыгралась фантазия. Но ведь эта фантазия опирается на факты. Истинную же оценку фактам может дать только наука.

Из Африки дул холодный ветер. Это казалось необычным.

Мы только что прошли исполинскую скалу Гибралтара. Слева виднелась звездная россыпь на африканском побережье — Танжер. Впереди Атлантический океан. В нем мы встретили португальских рыбаков, шумно приветствовавших наш корабль.

Сегодняшний ночной разговор в салоне советского туристского корабля был лишь «рассказами в кают-компании». А завтра?

Завтра мы многое об этом будем знать. За эту проблему возьмется наука.

Над морем взошла Луна. Для меня она была символом дерзких стремлений Человека, который в неуемной своей жажде знания завтра ступит на нее ногой!

И может быть, в самом деле он найдет на обратной ее стороне «завещание лунных пришельцев»!

Как трудно ждать!..

Мария МАМОНОВА
16 лет Москва

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

испытание

Земля! Земля! Земля!» — звенело в передатчике. Но пустой и холодный космос не отвечал. Он не проронил ни слова в подарок людям — экипажу огромной экспедиции Земли, вот уже более десяти лет вынужденному жить на планете ярко-зеленого циркониевого Солнца.

...Это была случайность, сыгравшая роковую роль. Через несколько лет полета корабли оказались у входа в черный мешок. При попытке уйти амортизаторы сплющило страшным ударом силового поля, но спастись удалось. Оставалось одно — сесть на какую-нибудь пригодную для проживания планету и радировать о случившемся на Землю. Планета вскоре нашлась в близлежащей системе циркониевой звезды.

Собрав наземную станцию, люди приступили к связи, но вместо знакомого пения ультрасигналов зловещим гулом отозвалась бесконечность. Излучения ярко-зеленой звезды не пропускали сигналов, почти полностью фильтруя атмосферу планеты, вынося за ее пределы лишь «белый шум».

...Со дня злосчастной посадки прошло пятнадцать лет. По прошествии времени люди поняли, что спасение — в будущих поколениях. Слишком много лет потребуется, чтобы освоить планету и создать новые звездолеты. У многих членов экипажа родились дети, те самые люди, на которых возлагались надежды.

Земляне построили городок, обращенный окнами домов в сторону, противоположную той, где неподвижно и угрюмо высились корабли: взрослые, родившиеся на Земле, не могли смотреть на них без боли.

Но дети, все почему-то со странными, сиреневыми глазами, подолгу стояли перед гигантами, любуясь тусклым блеском стали. Дети много слышали о Земле, но не понимали, почему она близка родителям.

«Земля! Земля!» — твердил радист.

Физик Рена встала и вышла из помещения. Зачем она сидит на станции каждый сеанс связи? Ведь она знает, что ее не будет! Никогда! И в перекличку с этим страшным словом сердце болезненно сжалось. Стремительно уносятся годы, тоска по родине притупляется, но не уходит, напоминая о себе то приступами одиночества, то острой болью...

Рена вбежала в дом и крикнула:

— Лана, Зот, Кунт, Сарэт! Идемте!

Ей захотелось освободиться от неожиданно нахлынувшего чувства, ставшего спутником жизни «пришельцев».

В детской наверху послышались радостные возгласы, и едва Рена вышла на дорогу, ее догнали четверо сиреневоглазых близнецов.

...Они шли все дальше и дальше. Наконец городок совсем потерялся из виду. Вокруг над серебристыми травами торчали изогнутые колючие кусты, а в небе, закрывая четверть его, резало глаза зеленое Солнце. Близился вечер.

Лана бросилась рвать колючки, и ее сиреневые глаза вспыхивали от радости.

— Мама, красота какая! — кричала она.

Рена подумала о цветах Земли и горько усмехнулась. Какими жалкими были по сравнению с ними эти колючие ломкие ветви бледно-голубого цвета!

Кунт и Сарэт умчались к словно обглоданным палкам-деревьям серого леса, а Зот сел рядом с матерью. Рена ласково погладила его по голове.

Вдруг Зот посмотрел на Солнце. Рена проследила его взгляд и вздрогнула: около огненного диска еле заметно сверкала крошечная точка. Это было... земное Солнце!

— Смотри, сынок, Солнце всходит! — в волнении зашептала Рена.

— А разве ты никогда раньше не замечала этой точечки? — Зот поднял глаза и равнодушно скользнул сиреневыми глазами по небу. — Восходит, ты говоришь? — пробормотал он. — Значит, Солнцевин скоро зайдет.

Рену больно укололо это слово — «Солнцевин». Солнце для нее было лишь одно, а слово «вин» значило «лучшее из лучших», «самое прекрасное на свете»! Солнцевин — самое чудесное солнце! Так называли дети эту огромную чужую звезду.

— Зот, там наша Земля... — пытаясь перевести разговор на любимую тему, задумчиво проговорила Рена.

— Мам, а у вас на Земле Солнце больше или меньше Солнцевина? — беззаботно спросил Зот.

Эти слова будто ударили Рену: «У вас на Земле»... У вас!

— У нас на Земле... — еле слышно поправила она сына.

— Да, — машинально согласился Зот, но смотрел он не на Солнце, а в пылающий шар циркониевой звезды.

Вдруг небо прорезала яркая дуга вечернего сияния. Зот вскочил на ноги и, швырнув вверх охапку бледных колючих цветов, громко закричал, складывая ладони рупором:

— Солнцевин иде-ет вин-и-из!

Рена удивленно посмотрела на него.

Но Зот ничего не видел. Он взбежал на холм, раскинув руки в стороны, счастливо засмеялся и звонко запел что-то. Неземное. Непонятное.

Рена привстала, и тоска с новой силой сдавила ее.

Сын смотрел на зеленое Солнце. И ему не резало глаз. Откуда-то появились ребята из городка и устремились к нему, подхватив его песню, а по дороге бежали еще и еще...

И вскоре песня слилась в единый победный гимн этому яркому чужому Солнцу, родному для детей с сиреневыми глазами.

Рена, замерев, слушала хор детских голосов, как слушали его отдаленное эхо на порогах домов другие родители...

Они многое пережили, но все это было ничто по сравнению с обречением слушать гимн *чужому* Солнцу и смотреть на затерявшееся в безбрежности Вселенной *свое* Солнце.

И Рена ясно поняла, что после всех испытаний ей предстоит еще одно: дождаться заветного мига, когда сиреневые глаза детей зажгутся радостными золотистыми огоньками — лучами земного Солнца.

Ее дети, сиреневоглазые, рожденные на циркониевой планете, — они ведь дети Земли.

Земляне!

Рисунок Вениамина КОСТИЦЫНА

Цена номера 25 коп.
Индекс 70820

Наше время, ознаменованное поистине необыкновенными достижениями науки, ставит перед писателями - фантастами новые задачи и, если можно так выразиться, переводит этот жанр художественной литературы на орбиту большой вдохновенной мечты.

Научная фантастика довольно быстро вырастает от наиболее легкого — локального решения темы, связанной с каким-либо гипотетическим научным открытием или техническим изобретением, к самому трудному — показу человека, живущего при коммунизме.

Такое постепенное движение вперед и вверх по крутым ступеням осознанной задачи можно проследить на творческой эволюции ленинградского писателя-фантаста Г. С. Мартынова.

Инженер по образованию, он пришел в литературу совсем недавно, в 1955 году. Первая его повесть, «220 дней на звездолете», посвященная экспедиции на Марс, была с интересом встречена читателями. Мартынов — добрый, мужественный романтик — с тех пор стал большим другом молодежи. Однако и эта первая повесть и две другие: «Сестра Земли» и «Наследство фавтонцев»,— объединенные в трилогию под общим названием «Звездоплаватели», написаны в традиционном для научной фантастики прошлых лет «узкокосмическом» ключе, когда главное внимание обращено на технические достижения и приключения.

В новом свете предстал Мартынов перед своими читателями в повестях «Каллисто» и «Каллистяне». Они посвящены описанию свободного, справедливого и высокоорганизованного общественного строя жителей далекой планеты.

Последний роман Мартынова, «Встреча через века», вводит читателей в мир наших далеких потомков.

Как и в «Туманности Андромеды», действие «Встречи через века» переносится на много времени (точнее, на два тысячелетия) вперед.

В приложении к журналу «Вокруг света» «Искатель» № 2 за 1961 год была опубликована в сокращенном виде первая часть романа. Вот ее краткое содержание.

Наш современник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Дмитрий Волгин, умирает в Париже. Для отправки на Родину его тело заключают в герметически запаянный свинцовый гроб.

Во время войны погибла жена Дмитрия Ирина, врач партизанского отряда, казненная фашистами и посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза.

Дмитрия хоронят в СССР рядом с могилой его жены.

В 39-м веке случайно находят свинцовый гроб и в нем высохший труп человека. Удается установить, кто именно был похоронен в этом месте.

Комплексная наука будущего возвращает Дмитрия Волгина к жизни. Надо сразу же сказать, что воскрешение Волгина отнюдь не напоминает «воскресение Лазаря», повторенное множество раз писателями-фантастами, преследовавшими цель сделать своего современника свидетелем жизни будущего. Главы, в которых описывается медленное возвращение к жизни Волгина, едва ли не самые лучшие в романе.

Величайший эксперимент — попытка постепенного оживления клеток тела Волгина, а затем воскрешение его — продолжался около десяти лет.

В процессе эксперимента решалась и чисто моральная проблема: имеют ли право ученые во имя науки распорядиться судьбой человека помимо его воли?

Вся Земля принимает участие в обсуждении этого необычайного, остро волнующего вопроса. Главным противником оживления явился отец биолога Люция — историк и археолог Мунций. И только после того, как Верховный совет науки, руководствуясь своей совестью и заботой о благе всего человечества, разрешает провести опыт, осуществляется оживление Волгина.

Наступил наконец долгожданный миг, когда Волгин сам предложил Люцию:

«— Идем! — сказал он.— Войдем в новый для меня мир.

— Постарайся полюбить его,— сказал Люций.

— Я его уже люблю. Это тот мир, к которому мы стремились, за который боролись и умирали».

И вот широко распахиваются двери в тридцать девятый век. Вместе с Дмитрием Волгиным мы входим в этот чудесный мир будущего, с интересом знакомимся с его жителями, с их бытом, с их заботами и мечтами.

Новый роман Мартынова, несмотря на глубокий драматизм личной судьбы Волгина, вынужденного жить вне своего времени, в новом мире, который так нелегко постигнуть, оптимистичен от первой до последней строчки.

«Встреча через века» приковывает внимание читателя к самому главному — к представлениям о том чудесном будущем, о котором мы мечтаем и которое создаем повседневными нашими делами.

С этого номера журнал «Смена» начинает публикацию романа «Встреча через века» с небольшими сокращениями. Вторая часть будет напечатана в этом году, третья — в начале 1962 года.

Владимир ДМИТРИЕВСКИЙ

Георгий МАРТЫНОВ

Встреча

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Земля меняет свое лицо. Море — никогда!

Оно оставалось таким же, каким было во все эпохи и времена. Неизменное, оно присутствовало при всей истории человечества, населявшего его берега. Оно видело плоские галеры финикийцев, сменившиеся затем галерами греков. Оно оставалось таким же во все века владычества Рима, видело мавританскую культуру и крестовые походы. Оно присутствовало при падении Византийской империи, качало на своей могучей груди победоносные турецкие корабли и равнодушно поглощало их в сражении при Лепанто. Оно видело Абукирский и Трафальгарский бои. Стальные громады броненосцев двадцатого века исчезали в волнах с такой же легкостью, как и деревянные корабли римлян. Из года в год, долгие века, море собирало богатую дань с человечества — дань кораблями, людьми, кровью...

Но жизнь шла вперед, и человек победил стихию. Прекратилась дань кровью. Все реже и реже доставались морю и люди. Исполинские лайнеры смеялись над яростью волн.

В третьем веке коммунистической эры люди окончательно покинули море. Безграничная и свободная стихия воздуха стала их единственным путем сообщений.

И полторы тысячи лет море пустынно. Изредка появляются на его поверхности изящные яхты любителей морских прогулок или какой-нибудь арелет [1], повинуясь капризу сидящего в нем человека, опустится на воду и скользит по ней, напоминая своим видом грозное оружие прошлого — торпеду.

Исчезли огромные корабли, забылась морская профессия, и само слово «моряк» стало незнакомо людям.

Но море оставалось все тем же...

Неумолчно шумит извечный прибой. Одна за другой приближаются к берегу сине-зеленые волны, становятся выше, одеваются гребнем белой пены и, с замирающим гулом обрушиваясь на прибрежную гальку, откатываются обратно, уступая место следующим.

Волна за волной!

---

1 Арелет — летательный аппарат будущего.

ЧЕРЕЗ ВЕКА

Годы, века, тысячелетия!

«Так было, есть и будет»,— подумал Волгин.

Он был один на обширной террасе, увитой зеленью дикого винограда. Опустив на колени книгу, Волгин задумчиво следил за неустанной игрой прибоя. Прибой был такой же, как и в двадцатом веке, и было приятно смотреть на него. Это было единственное, что оставалось прежним. Все остальное изменилось.

Дом и терраса были выстроены не из дерева и не из камня. Материал напоминал пластмассу, но не был ею. Мебель и все предметы обихода были иными по форме. Листья винограда были не такими, как раньше, и вся растительность в саду и вокруг дома казалась больше и сочнее прежней. Книга, которую он держал в руках, по внешнему виду была такой же, как книги его юности, но была написана на несуществовавшем раньше языке.

Все изменилось за те тысячу девятьсот лет, которые он пролежал в своей могиле, все стало другим.

Только море и прибой да еще небо были прежними. Волгин часами смотрел на водную равнину, уносясь мыслью в далекое, а для него такое близкое прошлое. Возникали перед ним образы давно умерших близких, появлялись города и села, дороги и мосты, поезда и пароходы; вся многообразная техника родного века, пусть примитивная и убогая с современной точки зрения, но милая и дорогая его сердцу. Незаметно подкрадывалось чувство тоски, и Волгин, стараясь не поддаваться ему, переставал смотреть на море и вновь брался за книгу.

Он читал историю техники. Талантливо написанная книга была предназначена для детей, и Волгин, никогда не имевший больших знаний по технике даже своего века, выбрал ее, так как не без оснований считал, что не справится с более серьезным сочинением. Произведение неизвестного автора (в заголовке не стояло никакого имени) в популярной форме описывало технические средства, которыми пользовались люди начиная с пятнадцатого века христианской эры и до настоящего времени.

Чем дальше читал Волгин, тем больше крепло в нем убеждение, что эта детская книга для него слишком трудна. И это происходило не по вине автора, а только потому, что у Волгина не было знаний по самым основам излагаемого предмета.

«Как жаль,— думал он,— что я юрист, а не инженер! Видимо, мне придется взяться за учебники для начальной школы».

В отношении языка Волгин не испытывал никаких затруднений. За четыре месяца пребывания в доме Мунция, на берегу Средиземного моря, Волгин изучил современный язык так, что мог свободно говорить и читать на нем. Основу этого языка составлял русский язык, дополненный латинским. Грамматика его была проста и логична. Хорошо зная французский и немецкий языки, Волгин легко и быстро перешел на современный, чем вызвал искреннее удивление своего учителя Мунция.

Волгин старался не только говорить, но и думать на новом языке, чтобы лучше и глубже овладеть им, и это ему удавалось. Он все реже и реже ловил себя на том, что думает по-русски. Он знал, что родной язык никогда ему не понадобится, так как на всей Земле его знали только историки и отдельные люди вроде Люция.

Против воли, почти бессознательно Волгин относился ко всему, что его окружало, с затаенным чувством ревности, но не мог не признать, что по богатству и выразительности новый язык оставлял далеко позади все старые языки.

Волгин еще не брался за художественную литературу, хотя она очень интересовала его, справедливо полагая, что первым делом надо узнать историю общества и историю техники, чтобы ориентироваться в обстановке, которая будет встречаться в романах.

Историю общества он уже закончил. Он узнал все, что произошло на Земле после его первой смерти (Волгин называл свою смерть в Париже первой, потому что рано или поздно должна была наступить вторая). По этому вопросу ему не пришлось прочитать почти ни одной книги. Их заменили беседы с Муцием, который не только рассказывал Волгину о прошлом, но и показывал ему в одной из комнат своего дома исторические и хроникальные фильмы, которые специально для этой цели получал из центрального архива планеты.

Подавляющее большинство этих фильмов было цветными и объемными и только самые древние, современные Волгину, были хорошо ему известными черно-белыми плоскими картинами его юности. Он был потрясен, когда в самом начале своих лекций Мунций продемонстрировал картину «Ленин в Октябре», которую Волгин видел почти две тысячи лет тому назад.

Благодаря фильмам Волгин не только слушал, но и видел историю, как бы оживавшую перед его глазами. Он видел людей, которые жили после его смерти и в то же время задолго до настоящего времени, и это создавало странную путаницу в его представлениях о них. Для современного мира это были люди прошлого, но для Волгина они были одновременно и людьми будущего.

Техника кино была так же далека от того, что знал Волгин, как нынешний век от двадцатого.

Не было привычного экрана. Фильм демонстрировался в обыкновенной комнате с обыкновенной мебелью. Аппарат представлял собой небольшой металлический ящик, который ставился на что-нибудь не позади, а впереди зрителей. Свет в комнате не тушился, демонстрация шла при обычном освещении, исходящем от невидимых источников. Казалось, что этот свет испускают из себя стены и потолок комнаты.

Из книги, которую Волгин читал сейчас, он знал, что «век электричества» закончился вскоре после его первой смерти, сменившись «атомным веком», за которым последовали другие, со все более и более непонятными названиями. В восемьсот шестидесятом году новой эры вся техника основывалась на энергии неизвестных и совершенно непонятных «катронов».

Мунций закладывал в аппарат маленькие кассеты, напоминавшие Волгину те, которые в его время служили для фотоаппаратов типа «ФЭД». Потом он садился рядом с Волгиным, и сеанс начинался.

Исчезал, становился невидимым аппарат и сама комната, где они находились. С полной иллюзией действительности появлялись действующие лица фильма, окружающая их обстановка, леса, горы, просторы океана, реки и озера. Невозможно было отделаться от впечатления, что видишь настоящих людей и природу, а не их изображения, когда в двух шагах волновалась людская толпа или открывался широкий простор моря, слышался шум волн и лицо обвевал морской ветер. Только свойственная кинематографу мгновенная смена декораций напоминала, что это не настоящая жизнь.

Видя перед собой исторических деятелей прошлого, слыша их разговор так близко от себя, Волгин невольно боялся, что изображения увидят его: так реальны и естественны были они. Он ловил себя на том, что часто забывал, что происходит перед ним, и вел себя так, словно присутствовал при беседах. Опомнившись, он украдкой смотрел на Мунция: не смеется ли тот над ним? Но лицо гостеприимного хозяина всегда было серьезно. Мунций внимательно следил за происходящим на «экране» и изредка вполголоса давал пояснения, если сюжет мог стать непонятным Волгину.

«Если бы у меня были дети,— думал он,— я смог бы увидеть своих потомков, живших через тысячу лет после меня и одновременно тысячу лет тому назад».

Кончалась картина, и мгновенно, как в сказке, появлялись опять стены комнаты и маленький чудесный «киноаппарат».

Мунций менял кассету, и снова в нескольких шагах шла реальная и волшебная в своей непонятности жизнь живых призраков.

Когда нужно было продемонстрировать старую картину, требующую экрана, Мунций нажимал на аппарате кнопку, и перед ними, прямо в воздухе, появлялся белый прямоугольник, плотный и неподвижный, как настоящий экран двадцатого века.

После сеанса, продолжавшегося обычно часа три, Волгин долго не мог отделаться от смутного волнения. Все это было так необычно, так непохоже на то, что он знал. Неожиданно ставшая современной ему техника тридцать девятого века производила ошеломляющее впечатление, тем более, что Волгин совершенно не понимал ее основ.

«Если бы к нам, в двадцатый век,— часто думал он,— попал человек второго века нашей эры, он, вероятно, испытал бы такое же чувство при виде телефонов, радио и кино, какое я испытываю сейчас».

— Это совершенно неверно,— сказал Мунций, когда Волгин поделился с ним своими мыслями.— Вы недооцениваете роль двадцатого века в развитии науки и техники. Вы сможете через определенное время понять все, что сейчас изумляет вас, а человек не только второго, но и пятнадцатого века ничего не понял бы в технике двадцатого. Все основы нашей современной науки были заложены в девятнадцатом и двадцатом веках. Мы, историки, называем их «веками начала», и не только потому, что тогда началась наша наука, а еще и потому, что именно тогда были заложены основы общественной жизни, которая является фундаментом науки. Ваша беда, Дмитрий, заключается в том, что вы не имеете технического образования и плохо знали современную вам технику. Поэтому вам так трудно сразу разобраться в нашей. Но что вы в ней разберетесь, не может быть никакого сомнения.

Эти слова доставили Волгину большое удовлетворение. Он не сомневался, что Мунций говорит искренне, говорит то, что думает. Были случаи, когда старый ученый открыто и прямо высказывал мысли, которые не могли быть приятны Волгину. Он уже знал, что откровенность является отличительной чертой его новых современников, что они всегда и во всех случаях говорят друг другу правду. Да и откуда могла взяться ложь в их жизни? Для нее не было оснований, не существовало побудительных причин.

За прошедшие месяцы Волгин часто думал о своем положении в мире, куда он скоро вступит полноправным членом нового общества. Не покажется ли он слишком отсталым, не произведет ли впечатление дикаря? Ведь с точки зрения современных людей он абсолютно неграмотен, ничего не знает, ни о чем не имеет представления. Он понимал, что вопрос о средствах к существованию не встанет перед ним никогда. И не потому, что он был на особом положении «гостя», а просто потому, что этот вопрос не существовал больше на Земле. Но Волгин не хотел ограничиться ролью наблюдателя, он хотел трудиться наравне со всеми.

Как добиться равного положения? Только трудом, другого пути не было.

С еще большим усердием он «вгрызался» в технические книги, не стесняясь обращаться за объяснениями к Мунцию, если что-нибудь было непонятно. Но историк и археолог не всегда мог удовлетворить Волгина своими ответами, когда вопросы касались областей, мало ему знакомых. В таких случаях, которые становились все более частыми, Волгин испытывал своеобразное удовольствие — ученый, академик тридцать девятого века не все знает, следовательно, разница между ними в умственном отношении не так уж безмерно велика!

«Нас разделяет не бездонная пропасть,— думал Волгин,— а только глубокий ров, через который можно перебросить мост. И я это сделаю!»

Ему ничто не мешало осуществить это намерение. Все, что могло ему понадобиться для самообразования, было к его услугам. Он мог бы получать исчерпывающие консультации у любого ученого Земли и этим ускорить свою подготовку, но не хотел ни к кому обращаться, кроме Мунция и изредка навещавшего его Люция. Он понимал, что сам себе ставит препятствия и затрудняет задачу, но был не в силах преодолеть ложное самолюбие. Он твердо решил, что появится в мире только тогда, когда «мост» будет закончен.

Физически Волгин чувствовал себя прекрасно, был до краев наполнен энергией. Его ум работал ясно и четко. Никогда раньше его память не была столь цепкой. Из рук Люция и Ио его тело вышло более «молодым», чем было в дни настоящей юности. Жизнь кипела в нем.

Он работал по двенадцать часов в день, вызывая этим неудовольствие Люция, который знал обо всем, что касалось Волгина, от Мунция. Но на все упреки своего «отца» Волгин отвечал одной фразой: «Я хочу скорее войти в мир»,— и Люций не мог найти убедительный ответ на это. «Отшельничество» Волгина удивляло его и Мунция, было им непонятно, но они даже не пытались переубедить Волгина. Такова была воля Дмитрия, и никому не пришло бы в голову усомниться в его праве поступать, как ему угодно.

Волгина часто поражало, что за все четыре месяца никто не сделал попытки увидеть его. Ни один человек не появлялся в доме, хотя решительно ничто не мешало любому любопытному сделать это. Даже Люций перед каждым своим прилетом спрашивал разрешение у Волгина. Если бы воскресший человек появился в двадцатом веке, не было бы отбоя от желающих любым способом посмотреть на него. Дом Мунция стоял совершенно открыто. Никакие заборы или ограды не отделяли прекрасный сад от остальной местности, двери не имели запоров. Но никто не нарушал одиночества Волгина. Ни один аралет не пролетал низко над домом. Люди тридцать девятого века свято исполняли его желание быть одному, довольствуясь только обществом Мунция. Это желание было известно всем. И ни у кого не явилось искушение удовлетворить свое любопытство раньше времени...

Думая об этом, Волгин начинал понимать то, что сперва показалось ему таким странным,— всеобщую тревогу за последствия оживления, произведенного без его согласия. Он понял, что в этом мире личная воля человека священна для всех остальных, что уважение друг к другу стало второй натурой. Он захотел быть один, и его желание исполнялось просто и естественно. Возможности иного поведения эти люди не могли себе даже представить. Это была та подлинная свобода, о которой в его время можно было только мечтать.

Волгин хорошо знал, что его появления ждут с нетерпением. Все население Земли хотело увидеть его. Он сам так же стремился к этому. С каждым днем все труднее становилось выдерживать намеченный срок подготовки. Волгин старался ускорить приближение знаменательного дня. Еще месяц или полтора — и воскресший человек двадцатого века появится среди своих новых современников.

2

Все, о чем Волгин читал в книгах — достижения науки и техники, условия жизни человечества,— все имело для него характер абстракции. Он ничего еще не видел собственными глазами, знал обо всем только

теоретически. Но все же современная жизнь на каждом шагу вторгалась в его уединение. Дом Мунция, хотя и стоял в стороне от других домов, был домом тридцать девятого века, и жизнь в нем проходила в тех же условиях, что и в других домах на Земле.

Эти условия были непривычны и удивительны для Волгина.

Кроме него и Мунция, в доме не было ни одного человека. Они жили вдвоем, а когда Мунций улетал, иногда на несколько дней, Волгин оставался совершенно один.

Окруженный густым садом, где росли деревья самых разнообразных пород, собранных, казалось, со всех концов света, дом был невелик по размерам. В нем было всего пять комнат: две спальни, кабинет, столовая и туалетная, где стояли гимнастические приборы и небольшой аппарат для «волнового облучения», которому Волгин, по требованию Люция, должен был подвергаться два раза в день — утром и вечером. Но и такая квартира, по понятиям Волгина, не могла находиться в порядке без заботы со стороны людей. Но ни Мунцию, ни ему самому никогда не приходилось об этом думать. В доме всегда было удивительно чисто. При постоянно открытых окнах нигде не было ни пылинки. Время от времени Волгин замечал, что полы в доме выглядели только что вымытыми, но как и когда это делалось, он ни разу не видел. То же самое происходило с полом террасы и даже со стенами дома. Дорожки сада всегда были аккуратно подметены, а кусты и деревья политы.

На вопрос Волгина Мунций ответил, что все это делается автоматически, специальными машинами.

— Но почему их не видно? — спросил Волгин.

— А зачем их видеть? Они делают свое дело, не беспокоя людей.

— Под чьим управлением?

— Механизмами-уборщиками каждого дома,— ответил Мунций,— управляет один главный аппарат. Впрочем, не только дома, а и каждого населенного пункта, каждого города. Такие аппараты установлены всюду, по всей Земле. Их задача — следить за порядком. Они связаны с рядом подчиненных им машин, которые, получая командный сигнал, выполняют все нужные работы старательно и аккуратно.

Однажды Волгину удалось увидеть «садовника». Проснувшись раньше обычного и не одеваясь, Волгин вышел на террасу. Среди деревьев сада двигалось что-то неопределенное и, как показалось Волгину, прозрачное. Это «что-то» быстро исчезло и больше не появлялось. Обойдя весь сад, Волгин так и не выяснил, куда скрылся загадочный механизм.

Расспрашивать Мунция более подробно Волгин не хотел. Он боялся, что не сможет еще понять принцип устройства «уборщика».

«Все в свое время,— подумал он.— Сперва надо овладеть основными знаниями, а затем уже знакомиться со всем более основательно, не рискуя вызвать улыбку своим невежеством».

Приняв такое решение, Волгин встречал все новое, что появлялось перед ним, с внешней невозмутимостью. Он почти никогда не спрашивал, что, как и почему, а только внимательно наблюдал и запоминал, чтобы спросить потом.

Они завтракали, обедали и ужинали дома. Мунций каждый вечер спрашивал Волгина, что он хочет получить на следующий день, и ни разу не было случая, чтобы заказанное блюдо не появилось на их столе.

Откуда брались эти блюда, куда исчезала грязная посуда, кто и как сервировал стол, а затем убирал его, Волгин не знал.

Все, что было заказано, подавалось сразу. И пока они ели первое блюдо, второе не остывало — сосуды всегда оставались горячими.

Несколько раз Волгин делал попытки застать «официантов» за работой, но ни разу не добился успеха. Если он находился в столовой, стол не накрывался, если он намеренно задерживался после еды, никто не убирал со стола.

То же самое происходило и с уборкой комнат. Никак не удавалось увидеть упорно скрывавшиеся машины. Постель приводилась в порядок в его отсутствие, а вечером Волгин заставал ее приготовленной ко сну. Белье, как постельное, так и носильное, всегда было чистым и свежим.

Каждые десять дней верхняя одежда куда-то исчезала, а вместо нее появлялась новая, того же покроя и того же цвета. Мунций был здесь ни при чем, за одеждой и бельем следили опять-таки автоматы.

Мунций заметил недоумение Волгина и сказал ему:

— Не пытайтесь увидеть работу механизмов, из этого все равно ничего не выйдет. Главный аппарат не даст сигнала, если в помещении, где должна быть произведена работа, кто-нибудь находится. Вы, конечно, можете поймать момент и застать их, так сказать, врасплох. Но в этом случае они тотчас же скроются. Это сделано из соображений безопасности. Ведь механизмы не думают и не рассуждают. Они работают вслепую, не обращая внимания ни на что. Неосторожность может привести к ушибам и даже увечьям, особенно если в доме есть дети. Если вам так хочется увидеть, то надо выключить контрольный прибор. Но я не знаю, как это делается. Для этого придется вызвать механика.

— Нет,— ответил Волгин.— Пока не надо никого вызывать. Я могу подождать.

Когда Мунций был в отъезде, Волгин не давал никаких заказов и ел то, что находил на столе. Но он скоро заметил, что все подаваемые ему блюда были именно теми, которые он раньше чаще всего заказывал. Кто-то или что-то запомнило его вкус.

Дом был «по горло» насыщен техникой, создающей максимальный комфорт его обитателям. Все делалось само собой, и делалось именно так, ак было нужно. Создавалось впечатление, что невидимые автоматы внимательно и заботливо следят за людьми, знают их желания и даже слышат их мысли.

Волгина долго поражал «фокус» с освещением комнат. Источников света нигде не было видно — светились стены и потолки. Но сила их света целиком зависела от желания человека. Стоило только подумать, что в комнате недостаточно светло, как тотчас же свет становился ярче. Стоило пожелать темноты — и стены «потухали».

Двери открывались сами собой, когда кто-нибудь подходил к ним, и сами собой закрывались за человеком. В туалетной комнате не было ни одного крана, вода появлялась словно по волшебству и переставала течь, когда человек больше не нуждался в ней. Волгин нисколько бы не удивился, если после умывания невидимые руки схватили бы полотенце и вытерли ему лицо. Волгину уже все казалось возможным.

В кабинете Мунция стояло несколько совершенно прозрачных, почти неразличимых глазом шкафов с книгами. Волгин знал, что эта «роскошь» является не правилом, а исключением. Обычно книг не держали в доме, их можно было получать в любой момент из многочисленных книгохранилищ, и получать, не выходя из дома. Но Мунций по роду своей деятельности нуждался в личной библиотеке. Тут было много обычных, привычных Волгину книг в обычных переплетах, но находились и другие — непривычные и странные для него. Это были маленькие металлические трубочки, сантиметров восьми длиной. На каждой из них было выгравировано название и, очень редко, имя автора. В углу, на небольшом столике, стоял аппарат, сделанный из какого-то материала, напоминавшего горный хрусталь. Книга-трубка вставлялась в специальное отверстие этого аппарата, поворачивалась крохотная рукоятка — и чистый красивый голос начинал читать книгу. Громкость и скорость чтения регулировались той же рукояткой. Можно было слушать, сидя в мягком удобном кресле или лежа.

Но это было не все. В той же трубке, помимо текста, заключалось еще и изображение — книга была «иллюстрирована». При желании можно было не только слушать, но и следить за текстом по движущимся на стенке аппарата «живым» иллюстрациям подобно тому, как в двадцатом веке люди смотрели кинофильмы на экране телевизора.

Каким образом удавалось вместить в восьмисантиметровую трубочку довольно объемистую книгу и относящийся к ней «фильм», Волгин не мог понять.

Он часто пользовался этими трубочками при своих занятиях и скоро привык к ним. Техника чуждого ему мира становилась понятнее, если он не только читал о ней, но и видел воочию машины и аппараты.

Тем же способом он ознакомился со многими городами, описание которых было в библиотеке Мунция, видел новые виды транспорта и даже совершил полет на Луну, с огромным интересом «прочтя» описание какой-то научной экспедиции на спутник Земли. В этой экспедиции участвовал сам Мунций, и Волгин мог видеть его за работой.

Тут же, в кабинете, помещался аппарат, который назывался телеофом и являлся отдаленным потомком телефона двадцатого века.

Во всем доме не было ковров, портьер и тому подобного, люди избегали создавать скопища пыли, которые затруднили бы работу убирающих машин, но в одном из углов кабинета лежал ковер или что-то очень похожее на него. На нем стояло кресло, а на стене помещался маленький диск с концентрически расположенными цифрами. Это и был телеоф.

Действие этого аппарата было настолько поразительным и непонятным, что Волгин, несмотря на четыре прошедших месяца, так и не мог вполне привыкнуть к нему и каждый раз испытывал волнение, собираясь воспользоваться этим «телефоном».

Внешне все было просто. Он садился в кресло (пользоваться телеофом стоя было нельзя) и, нажимая по очереди на цифры, набирал личный номер Люция. Ни с кем, кроме своего «отца», Волгин не соединялся. Проходило некоторое время, и в центре диска вспыхивала зеленая точка. Это означало, что Люций услышал вызов, подошел к аппарату и сел в такое же кресло у себя дома. Тогда нужно было нажать на зеленую точку.

Каждый раз Волгин усилием воли заставлял себя выполнить это последнее действие. То, что происходило затем, казалось ему чем-то вроде галлюцинации.

Как только он нажимал на зеленую точку — в двух шагах, на другом конце «ковра», появлялось второе кресло и сидящий в нем Люций.

Они могли разговаривать совершенно так же, как если бы находились действительно в одной комнате, а не в тысячах километрах друг от друга. Даже звук голоса Люция исходил от того места, где Волгин видел его губы.

Изображение было так реально и плотно, что предметы, находящиеся за призраком, не были видны, заслоненные им.

— Встань! — сказал Люций во время их первого разговора по телеофу.— Пройди вперед, и ты убедишься, что плотность изображения только кажущаяся. Как только ты встанешь с кресла, я перестану видеть тебя, но ты по-прежнему будешь видеть меня. Смелее!

Волгин тогда встал и сделал так, как советовал Люций. Он прошел сквозь кресло и сквозь человека, сидящего в нем. Оглянувшись, он не увидел ни того, ни другого. Но когда он вернулся на свое место, изображение снова появилось.

— Мне трудно воспринимать такие вещи,— сказал Волгин.— Я их совершенно не понимаю.

— В этом нет ничего удивительного,— ответил Люций.— Сделать такой скачок во времени, какой выпал на твою долю,— это не пустяк. Но придет время, и ты перестанешь удивляться.

— Придет ли? — вздыхал Волгин.

Если вызов исходил от самого Люция, Волгин узнавал об этом по тихому, мелодичному звону, который раздавался во всех комнатах дома и на террасе. Тогда ему нужно было только подойти к телеофу и сесть в кресло. Изображение его собеседника появлялось сразу, и Волгин отлично знал, что там, где находился Люций, в этот самый момент появлялся и он, Волгин.

Много раз разговаривали они таким образом, но Волгин все еще не мог привыкнуть к этому чуду тридцать девятого века, был не в силах относиться к нему спокойно.

По телеофу можно было говорить с любым человеком, где бы он ни находился на Земле. И изображение каждого вызванного к разговору послушно появлялось в любом доме. Подобная радиокинотехника была недоступна пониманию Волгина.

Телеоф прочно вошел в быт уже несколько веков тому назад. Люди так привыкли к нему, что не могли себе представить возможности обходиться без него. Отсюда возникло и привилось странное выражение, которое Волгин слышал часто: «видеться в натуре». Это означало, что люди увидят друг друга не по телеофу.

Это были стационарные установки, и пользоваться ими можно было только в домах. К ним прибегали тогда, когда хотели видеть своего собеседника. Если же разговор был недолгий и люди находились вне дома, им служили карманные аппараты, называвшиеся также телеофами, но действующими иначе.

Переносный телеоф представлял собой небольшую плоскую коробку, легко умещавшуюся в кармане. Коробка не открывалась, и на ней не было ни отверстий, ни кнопок.

Каждый человек в мире имел свой личный номер, закреплявшийся за ним от момента рождения и до смерти. Например, Люций имел номер «8889-Л-33», Мунций — «1637-М-2». Первые четыре цифры назывались «индексом», а находящиеся за буквой имени — «номером». Сам Волгин получил свой личный номер в первый же день пребывания в доме Мунция. В виде исключения, а может быть, и для того, чтобы подчеркнуть необычность владельца, его номер не имел индекса и был двузначным — «Д-1».

Для вызова нужного человека достаточно было вынуть телеоф из кармана и, держа его близко ко рту, назвать номер. Сигналом вызова служил звук, похожий на гудение зуммера. При разговоре аппарат находился в руке, и, чтобы слышать его, не надо было прикладывать к уху. Кроме нужного разговора, никакие другие слышны не были, так как каждый номер имел свою, строго определенную длину волны.

Крохотный «радиотелефон» вызывал чувство восхищения своим совершенством. Он был вечен. От рождения до смерти он верно служил человеку, часто переходя от умершего к его друзьям или родственникам, пожелавшим иметь его как память о прежнем владельце. В случае утери или случайной порчи карманный телеоф легко было заменить на ближайшем складе, где дежурный механик в несколько минут настраивал выбранный экземпляр на нужный номер, если новый владелец сам не мог этого сделать.

3

Отложив в сторону книгу, Волгин спустился по ступенькам террасы. Прямая аллея, обрамленная с обеих сторон цветочными грядами, вела от дома к морскому пляжу. Густые ветви деревьев сплетались над нею, образуя зеленый свод. Море казалось темно-синей стеной, закрывавшей выход, незаметно переходящей в синеву неба.

Волгин решил выкупаться, так как день был очень жарким.

Как только он вышел из коридора аллеи, широкий простор словно распахнулся перед ним. Волгин подошел к воде и залюбовался картиной.

Сверкающей гладью раскинулась необъятная даль. Горячее небо юга изливало потоки раскаленного воздуха. Как всегда, прекрасно было это побережье, былая жемчужина Франции — благодатная Ривьера.

Волгин вспомнил, как почти две тысячи лет тому назад был здесь, приехав из Парижа. Непрерывная линия роскошных отелей и частных вилл тянулась тогда по берегу, который казался сейчас сплошным садом.

Бесследно исчезла былая Ривьера ди Понента. Субтропическая зелень подступала к самому морю. В этой зелени прятались небольшие дома, подобные дому Мунция. В них жили ученые, работавшие в учебных комбинатах, расположенных в тех местах, где когда-то находились Ницца и Ментона.

Даже следа не осталось от этих двух городов.

Волгин закрыл глаза, подставляя лицо лучам Солнца.

И вдруг показалось ему, что все случившееся с ним — болезнь, смерть, воскрешение,— все было только сном, мимолетным капризом воображения, галлюцинацией.

Вот сейчас он откроет глаза, и действительность вступит в свои права. Он увидит прежнюю Ривьеру, нарядно одетых людей, белые паруса яхт, услышит вокруг себя многоязычный говор интернациональной толпы...

Высокая волна с гулом обрушилась на берег, залив пеной ноги Волгина.

Он вздрогнул и очнулся.

Пустынный берег новой Ривьеры по-прежнему окружал его.

Но почему пустынный?.. Почему ему показалось так?.. Вон, справа и слева, везде видны люди. Их не так много, как было когда-то, но берег совсем не пустынен.

В двухстах метрах от Волгина трое людей с разбегу бросились в море. Ему показалось, что это три молодые девушки. Долетевший до его ушей веселый, серебристый смех подтвердил догадку.

Нет старой Ривьеры!

Она исчезла в бездне времени и никогда не вернется. Всем людям, всей Земле принадлежит новая Ривьера.

Близко от Волгина три представительницы юного поколения новой Земли весело резвились в воде. Каждую минуту долетал к нему их беззаботный смех. Что знают они, эти девушки, о двадцатом веке? Как они представляют его себе? Для них все, что близко и понятно Волгину,— история древности. Вероятно, они знают об этом так же, как сам Волгин знает о жизни Древнего Рима.

А он?

Эти девушки не могут не знать, что воскресший человек двадцатого века живет тут же, рядом с ними. Они не могут не видеть одинокой фигуры на берегу, возле дома Мунция, вероятно, хорошо им знакомого. И по внешнему виду, а главное, по росту, давно догадались, кто этот одинокий человек. Так почему же они не подплывают ближе, чтобы взглянуть на него? Неужели чувство любопытства, свойственное юности, не знакомо им?

«Плывите, девушки, если вам этого хочется! Подойдите ко мне, дайте мне почувствовать вашу близость! Ведь вы мои новые современники. Если бы вы могли догадаться, как нужны мне ваши юные счастливые лица, как трудно стало жить без людей, вы, конечно, явились бы сразу. Но вы этого никогда не сделаете. Я сам воздвиг между нами глухую стену, и только я сам могу снести ее. А если я подплыву к вам? Как встретите вы меня? Испугаетесь? Или дружески улыбнетесь?»

На мгновение Волгину мучительно захотелось броситься в воду и поплыть к ним, этим девушкам — людям нового мира,— но он сдержал свой порыв. Ничего, кроме неловкости, не могло из этого получиться. Его встретят с недоуменной улыбкой, и все три сразу убегут от него.

Он глубоко ошибался и не мог еще осознать всей глубины этой ошибки. Он не знал людей нового мира. Только много времени спустя, вспоминая этот эпизод, Волгин смог представить себе с полной достоверностью, как встретили бы его появление три девушки.

Он отвернулся от них.

Последние дни все чаще и чаще являлось у него желание приблизиться к людям, прекратить затворничество.

— Пора кончать! — сказал он самому себе.— Довольно! Пусть смотрят на меня, как хотят, но больше я не могу быть один!

Раздевшись, Волгин с наслаждением погрузился в прохладные волны прибоя. Он хорошо умел плавать и в годы студенчества нередко участвовал в соревнованиях. Вспомнив об этом, он подумал: «Сохранился ли в мире спорт и спортивные игры?» В беседах с Мунцием он почему-то ни разу не коснулся этого вопроса. Он знал только, что гимнастика распространена повсеместно на всей Земле, но проводятся ли по ней соревнования, он не знал.

Волгин далеко отплыл от берега. С острой радостью ощущал он силу своих рук, уносящих тело вперед в стремительном кроле. Только в дни юности мог он плыть так долго и в таком темпе. Живя в Париже, он иногда посещал бассейн и постепенно убеждался, что стареет, что плавать долго и быстро становится все труднее.

И вот он снова силен и молод. Каким волшебством вернулась к нему юность? Как Мефистофель из поэтической сказки Гете, Люций вернул не только молодость, но и самую жизнь.

«Поистине человек всесилен!» — думал Волгин.

Он плыл все дальше и дальше. Море было спокойно. Сзади, от берега, доносился к Волгину едва слышный шум прибоя. Оборачиваясь, он ясно различал на горизонте мыс Монако. В его время там помещался всемирный притон Монте-Карло. Что находится там сейчас?

Почувствовав утомление, Волгин перевернулся на спину и долго лежал, слегка покачиваясь на длинных волнах зыби. Должно быть, они пришли от Гибралтара, из просторов Атлантического океана.

Неизвестно откуда взявшееся облако закрыло Солнце — и палящие его лучи потеряли свою силу.

Волгин лениво отдался приятной истоме отдыха.

Какой-то аралет показался со стороны берега и низко пролетел над Волгиным. Он с улыбкой подумал, что пилот, вероятно, не знает, кто этот одинокий пловец, так далеко заплывший в море, потому что иначе не счел бы возможным пролететь прямо над ним. Куда летит этот человек? На остров Сицилию или в Африку? Ничто не мешает свободным людям летать где угодно и когда угодно. На Земле нет границ и кордонов, ни у кого не надо испрашивать разрешения посетить любое место.

Но аралет вернулся. На этот раз он еще ниже пролетел над Волгиным, и ему показалось, что человек, сидящий в машине, внимательно посмотрел на него. На мгновение аралет даже остановился, повиснув прямо над Волгиным. Потом он полетел дальше и скрылся.

И Волгин понял, что человек этот никуда не собирался лететь. Он прилетал сюда из-за него, Волгина. Люди, державшиеся от него в отдалении, заметили, как он уплыл в море, видели, что он все дальше и дальше удаляется от берега, и забеспокоились.

«Действительно,— подумал Волгин,— если бы я утонул, это было бы для них ужасной катастрофой».

Десять минут, которые он пролежал неподвижно, полностью вернули силы. Он поплыл обратно в том же стремительном темпе.

Мунций ждал его на берегу. Обычно он этого никогда не делал. Наверное, кто-нибудь сообщил ему, что его «внук» подвергает себя опасности.

Но старый ученый ничего не сказал, когда Волгин вышел из воды, ничем не обнаружил беспокойства, владевшего им все это время.

— Вы долго купались,— заметил он.— Обед уже ждет нас.

— А почему вы не купаетесь? — спросил Волгин.— День очень жаркий.

— Я это уже сделал,— просто ответил Мунций, и Волгин почувствовал скрытый упрек в этом ответе.

«Не следует больше волновать их,— подумал он.— Впредь буду плавать вдоль берега. Да и в самом деле, какое право я имею рисковать собой: слишком дорого я им стоил».

Продолжение следует.

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО
и Г. НОВОЖИЛОВА.

Встреча через века

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в № 17.

За обедом Мунций сообщил Волгину, что вынужден покинуть его на долгое время.

— Меня призывают на Марс,— сказал он таким тоном, как если бы речь шла о соседнем городе.— Там обнаружены два подземных хранилища с вещами большой древности. Вероятно, это следы, оставленные первыми межпланетными экспедициями. А может быть, и еще более древними.

— То есть как это еще более древними?

— А разве вы еще не читали истории первого полета на Марс и Венеру? — вопросом на вопрос ответил Мунций.

— Пока не читал. Я вообще еще не касался космических тем.

— Прочтите. В моей библиотеке есть хорошая книга на эту тему. Она называется «Пятая планета». Вы ее легко найдете и многое из нее узнаете.

— На сколько же времени вы улетаете, Мунций?

— Примерно на полгода. Кроме интереса самой предстоящей работы, меня привлекает на Марс желание увидеться с дочерью. Я ее давно не видел. Но если я вам нужен, Дмитрий...

— Нет, Мунций,— ответил Волгин,— как раз сегодня я решил прекратить свое затворничество. Довольно! Пусть ваши современники считают меня дикарем, но я иду в мир.

— И очень хорошо делаете. Никто не считает и не может считать вас дикарем. Я давно заметил эту странную идею, совершенно ошибочную. И меня и Люция она всегда удивляла.

— У вас иная психология. Сколько у вас детей? — спросил Волгин, круто меняя тему разговора.

— Один Люций.

— Но вы только что сказали...

— Что хочу увидеться с дочерью? Это жена Люция и мать Мэри. Она дорога мне, как родная дочь.

— Что она делает на Марсе?

— Эра работает в очистительном отряде. Их база находится на Марсе. Она там уже два года.

— Ее зовут Эра?

— Да. Это вас удивляет?

— Нет. Я уже привык к разнообразию ваших имен. Сколько ей лет?

— Восемьдесят два. Вы же знаете, Дмитрий, что у нас этот возраст соответствует вашим тридцати годам. Человек чувствует себя так же.

Волгин кивнул головой. Он знал о долголетии современных людей и их длительной молодости, но никак не мог привыкнуть к мысли об этом.

4

По тому, как обрадовался Люций, узнав о решении своего сына, по восторгу, с которым приняли его приглашение прилететь в дом Мунция Мэри и Владилен, Волгин почувствовал, с каким огромным нетерпением ждали этого события. Мунций был прав: вся Земля хотела видеть Волгина.

— Я боюсь войти в мир,— сказал Волгин,— но твердо решил сделать этот шаг.

— Правильное решение,— ответил Ио.— Вы могли бы сидеть взаперти еще год, но все равно пришлось бы знакомиться с жизнью в гуще самой жизни. Иного пути нет.

— Говорите мне «ты»,— попросил Волгин.— Мне это будет приятно. И вы тоже,— обратился он к Мэри и Владилену.

— Только в том случае, если вы поступите так же,— улыбнулся Ио.— Люций считает вас своим сыном. Я много старше его — считайте меня вторым дедом. А Мэри — ваша сестра.

— А я буду вашим братом,— сказал Владилен.— Твоим братом,— поправился он, и Волгина поразил необычайно красивый, глубокий тембр его голоса.

Он и раньше замечал, что голос Владилена отличается от других голосов чистотой и особенным, словно металлическим звуком.

— Мне кажется, что ты очень хорошо поешь,— сказал Волгин.

— Владилен,— ответил Люций,— один из лучших певцов нашего времени. У него редкий по красоте и силе голос.

— Но ведь он астроном!

— Ну и что из этого? — Владилен искренне удивился.— Разве астрономы не могут петь?

— Я понимаю Дмитрия,— сказал Мунций.— Тебя удивляет, что Владилен, обладая таким голосом, не профессиональный певец, не правда ли?

— Да.

— Он не исключение, а скорей правило. В твое время люди ходили в театр, расположенный в городе, где они жили. Городов было много, а театров еще больше. Артисты были разными — одни более талантливы, другие менее. Большие таланты жили в больших городах, и тем, кто жил вдали от них, приходилось довольствоваться менее талантливым исполнением. У нас положение совсем иное. Зрелище, будь это опера или драматический спектакль, исполняется лучшими силами планеты. И каждый может увидеть и прослушать любую постановку в любое время. Это привело к тому, что многие, такие, как Владилен, исполняют ту или иную партию один раз. И, естественно, искусство не заполняет их жизнь. У них есть другая любимая профессия.

— Значит, у вас нет театров?

— Есть. Их много. Непосредственное общение артистов со зрителями необходимо. У нас есть профессиональные исполнители, которые полностью живут в искусстве. Но их выступления не увековечиваются. Иное дело — Владилен и другие особо одаренные. Они исполняют то, что остается на века. Это уже не театр в обычном понимании.

— Могу я услышать тебя? — обратился Волгин к Владилену.

— Как только захочешь. Я исполнил около восемнадцати ролей в двенадцати операх. Прослушай любую. А если у тебя появится такое желание, то я буду петь только для тебя. Для дуэтов возьмем Мэри.

— Вы тоже поете?

— Почему «вы»? — засмеялась девушка.

— По ошибке,— серьезно сказал Волгин.— Больше я не буду. Так ты тоже поешь?

— Я не могу равняться с Владиленом,— ответила Мэри.— Но, если он будет петь вполголоса, постараюсь не слишком мешать ему.

— Отец уезжает,— сказал Люций.— Где ты думаешь жить первое время?

— Мне все равно.

— Весь мир к твоим услугам.

— Я знаю это. Я хотел бы увидеть сперва этот самый мир.

— Ты хочешь объехать всю Землю?

— Если это возможно.

— Почему же нет? Мне очень жаль, но я не могу сопровождать тебя. На моих руках сейчас находится большая и ответственная работа.

— А мы на что? — вмешалась Мэри.— Владилен сейчас не занят, и я свободна. Если Дмитрий не возражает...

Волгин протянул к ним обе руки.

— Лучшего я не мог и желать,— сказал он с чувством.

— Когда же мы отправимся? — спросил Владилен.

— Как только проводим Мунция.

— Это будет не так скоро,— возразил Мунций.— Я буду еще занят на Земле. Не ждите меня и начинайте завтра.

— Но ведь я долго не увижу вас.

— Тебя,— поправил Мунций.— Я вернусь через шесть месяцев. А если ты очень соскучишься, прилетай к нам на Марс.

— Ну уж, на Марс — это слишком,— сказал Волгин.

Ему дико было слышать такое приглашение. Межпланетный полет казался ему чем-то волшебным, недоступным простому смертному. Он не мог смотреть на это так спокойно, как его собеседник, для которого полет к соседним планетам был привычным и обыденным делом.

Волгин знал, что Мунций двадцать семь раз покидал Землю, что Владилен, несмотря на молодость, вдоль и поперек избороздил всю солнечную систему, что даже Мэри успела два раза побывать на Марсе и один раз на Венере, не считая Луны, которая людям тридцать девятого века была известна так же хорошо, как сама Земля, и считалась чем-то вроде окраины земного шара.

— Марс — это уже слишком,— повторил он.

Никто не улыбнулся. Собеседники Волгина понимали его, быть может, лучше, чем он сам понимал себя. Но и они не нашлись сразу, что ответить этому человеку, представления и взгляды которого сформировались в безмерной дали времен.

Женская чуткость Мэри подсказала ей правильный тон.

— Хочешь увидеться с моей матерью? — спросила она.— Мама на Марсе, и я знаю, что она очень хочет познакомиться с тобой. Так же, как все. Но мне будет приятно, если она окажется первой.

— А это возможно? — спросил Волгин.

Заманчивая мысль «встретиться» с человеком, находящимся в миллионах километрах от Земли, увлекла его своей сказочностью.

— На марсианской базе установлен телеоф.

— Если так, я буду рад этому свиданию.

— Тогда я сейчас сообщу на станцию, и нам дадут Марс.— И с этими словами Мэри подбежала к телеофу.

«Неужели,— подумал Волгин,— эта женщина там, на Марсе, увидит меня и сама появится передо мной так же, как до сих пор появлялся Люций?»

Все получилось совершенно так же.

В ожидании прошло около получаса. Но вот Мэри пригласила Волгина сесть в кресло. В центре диска уже горела красная точка.

— Тебе повезло,— сказала Мэри.— Мама была на базе, и не пришлось долго ждать. Вызывай ее сам.

Волгин нерешительно протянул руку. То, что должно было произойти сейчас, казалось невероятным и еще более загадочным, чем раньше.

— Почему точка красная, а не зеленая, как всегда? — спросил он, стараясь выиграть время и успокоиться.

— Потому что эта связь не земная, а межпланетная,— ответил Люций.

— Какое расстояние от Земли до Марса в данный момент?

— Примерно девяносто миллионов километров,— тотчас же ответил Владилен.

— Связь идет со скоростью света,— заметил Волгин.— Значит, придется ждать минут десять?

— Совсем не придется ждать. Связь уже установлена, и Эра уже здесь.— Люций указал на пустое место напротив Волгина.— Ты увидишь ее сразу. А она увидит тебя только через пять минут.

— Нажимай же! — сказала Мэри.— Мама ждет.

Волгин нажал на красную точку.

К появлению человека в кресле он уже присмотрелся и привык к нему; но сейчас он испытывал особое чувство. На его сознание давила чудовищность расстояния.

Ведь эта женщина БЫЛА НА МАРСЕ!

В первое мгновение ему показалось, что перед ним появилась Мэри, так поразительно было сходство матери с дочерью. Но потом он заметил разницу в возрасте. Но все же женщина выглядела слишком молодой.

«Восемьдесят лет, немыслимо!» — мелькнула у него мысль.

— Мама,— сказала Мэри,— перед тобой Дмитрий Волгин. Он решил покинуть дом Мунция и прийти к людям. Я попросила его увидеться с тобой первой.

Женщина в кресле улыбнулась. Она смотрела прямо на Волгина, и он вспомнил, что никого другого она и не увидит во время этого разговора, хотя ее саму видели все находившиеся в комнате у телеофа. Ему только что сказали, что Эра увидит его и услышит то, что здесь говорится, только через пять минут. Значит, ее улыбка случайно совпала со словами Мэри. Она улыбнулась, зная, что ее уже видят, и эта улыбка относилась не к нему, а просто к любому, кто мог вызывать ее. Вероятно, она думала, что с ней хочет говорить Люций или Мэри.

— Говори! — шепнула Мэри.

— Я очень рад видеть вас,— начал Волгин. Его голос был скован волнением.— Люций считает меня своим сыном, а Мэри — братом. Значит, я могу называть вас матерью. Прошу вас относиться ко мне, как к сыну...

Он беспомощно оглянулся на Люция, словно прося его подсказать, что говорить дальше. Если бы эта женщина находилась здесь, в этой комнате, он взял бы ее руку, и слова нашлись бы сами собой. Но такой разговор, через бездну пространства, когда между вопросом и ответом должно было пройти десять минут, лишал его душевного равновесия, мешал собраться с мыслями.

Присутствующие поняли его и пришли на помощь.

— Нравится тебе моя мама? — спросила Мэри.

Волгин улыбнулся. Вопрос звучал совсем по-детски. Он понимал, что эти слова Эра также услышит... через две минуты.

— Эра очень похожа на тебя,— сказал он.— Вернее, ты похожа на нее. И она кажется мне не твоей матерью, а старшей сестрой.

Все рассмеялись.

— Как тебе это понравится, мама? — спросила Мэри.

Она говорила с изображением матери так, как если бы та была действительно здесь, нисколько не смущаясь разделявшим их исполинским расстоянием.

Люди всегда воспринимают условия жизни, в которых они родились, как обыденность, не представляя себе возможности иных условий. Все, что их окружает с детства, кажется им само собой разумеющимся. Техника не составляет исключения. Впоследствии они могут удивляться достижениям человеческого гения, восторгаться новыми изобретениями и открытиями, но то, что появилось до них, уже никогда не вызовет удивления или восторга. Людям кажется, что так и должно быть.

Те, кто родился в конце девятнадцатого века, постепенно привыкали к электрическому освещению, телефонам, радио, телевизорам, самолетам, а потом и к межпланетным ракетам. Но те, кто появился на свет во второй половине двадцатого века, принимали все это как должное.

Телеоф находился в доме, где жила Мэри, с тех пор, как она себя помнила. Учась в школе, она могла восхищаться заключенной в телеофе технической мыслью, могла даже изумляться гению людей, создавших его, но она никогда не могла смотреть на телеоф так, как смотрел на него Волгин. Телеоф был слишком привычен для нее.

Волгин понимал это и не удивлялся поведению девушки.

Пять минут прошли.

Все, что здесь было сказано, зазвучало на Марсе. Но как реагировала на это Эра, Волгин мог увидеть только еще через пять минут. А затем он услышит ее ответ.

Он внимательно рассматривал свою «собеседницу».

Эра была одета не в обычный костюм. Плотный кожаный комбинезон ловко сидел на ней. В руках она держала шлем, очевидно, только что снятый с головы. Золотистые волосы свободно падали ей на плечи.

Мунций говорил правду: Эре никак нельзя было дать больше тридцати лет.

Шлем привлек к себе внимание Волгина. Было ясно, что, надетый на голову, он закрывает ее целиком. Напротив глаз помещалась прозрачная пластинка.

Астрономия всегда была для Волгина далекой и отвлеченной наукой. Но все же он кое-что знал. Он читал или слышал, что атмосфера Марса считалась астрономами его времени негодной для свободного дыхания. Они были правы. И было ясно, что люди, покорив планету, не изменили состава этой атмосферы. Она осталась той же, и находиться вне базы можно было только в специальном шлеме, очевидно, снабженном кислородным прибором.

Раздавшийся в комнате незнакомый голос отвлек Волгина от его мыслей. Говорила Эра.

— Я рада, дорогой Дмитрий, что вы вступили в нашу семью. Спасибо, что вызвали меня и дали мне возможность увидеть вас. Надеюсь в скором времени вернуться на Землю и тогда обниму вас, как сына. Думаю, что вернусь вместе с отцом.

«Мунцием»,— понял Волгин.

— Мэри сказала, что вы решили войти в мир. Это хорошо. Советую вам немного попутешествовать и ознакомиться с жизнью людей. Уверена, что вам понравится у нас. Возьмите с собой Мэри. А теперь я попрошу вас уступить ей место. Я хочу взглянуть на нее.

5

Если взять неграмотного человека, никогда ничему не учившегося, прожившего всю жизнь в самом глухом уголке земного шара, вдали от цивилизации, и показать ему телевизор двадцатого века в действии, то людям, находящимся возле такого человека, очень трудно будет объяснить ему, почему из деревянного ящика он слышит речь и музыку, а на экране видит движение и жизнь. Попытка рассказать о радиоволнах, передающих и приемных антеннах, о телецентрах с их студиями и генераторами только еще более запутает такого человека. Чтобы подойти к пониманию телетехники, ему придется познакомиться с длинным рядом учебных дисциплин — с электротехникой, оптикой, электроникой, понять смысл и значение вакуума, основы фотографии и радиотехники. Ему придется начать с элементарной физики, и только много времени спустя, после трудной и напряженной работы, принцип действия динамика и кинескопа начнет постепенно проясняться для него. Но и тогда он будет обладать всего лишь поверхностными, общими познаниями. Телевизор перестанет его удивлять, казаться ему загадочным, но он все еще будет далек от полного понимания.

И так будет происходить со всем, что встретится такому человеку в новом ему мире цивилизации.

В обычных условиях дети сравнительно легко овладевают основами науки на том уровне, которого наука достигла ко дню их рождения. Их мозг как бы подготовлен к восприятию знаний, достигнутых человечеством. Он соответствует этим знаниям по своему весу и качеству.

По мере того, как человечество движется вперед по пути прогресса, мозг людей изменяется и совершенствуется. Это изменение происходит постепенно и незаметно, но непрерывно. Родители передают детям свои физические качества, в том числе и качества мозга. Поэтому новому поколению не столь трудно и не столь уж много времени надо затратить, чтобы достигнуть уровня знаний предыдущего поколения. Преемственность знаний идет естественно и безостановочно. Кривая эволюции плавно поднимается вверх.

Но произошло бы совсем иное, если бы между поколениями образовался разрыв во времени.

В нормальных условиях такой разрыв произойти не может. Но для Дмитрия Волгина это произошло именно так. Он «родился» в тридцать девятом веке, с мозгом человека двадцатого века, способным понять и легко усвоить все то, к чему пришло человечество за века, предшествующие двадцатому. Но вся сумма знаний, накопленная за века последующие, оказалась для него закрытой книгой. Он пытался приступить к чтению этой книги, с большим трудом разобрался в ее первых страницах и... остановился в бессилии. Его мозг был не подготовлен от рождения к восприятию этих знаний. Степень умственного развития не соответствовала ступени, на которой находилась наука.

Между днем его «первой смерти» и днем, когда он вторично вошел в жизнь, миновало девятнадцать веков. Длинный ряд поколений прошел по земле за эти столетия.

И какие столетия!

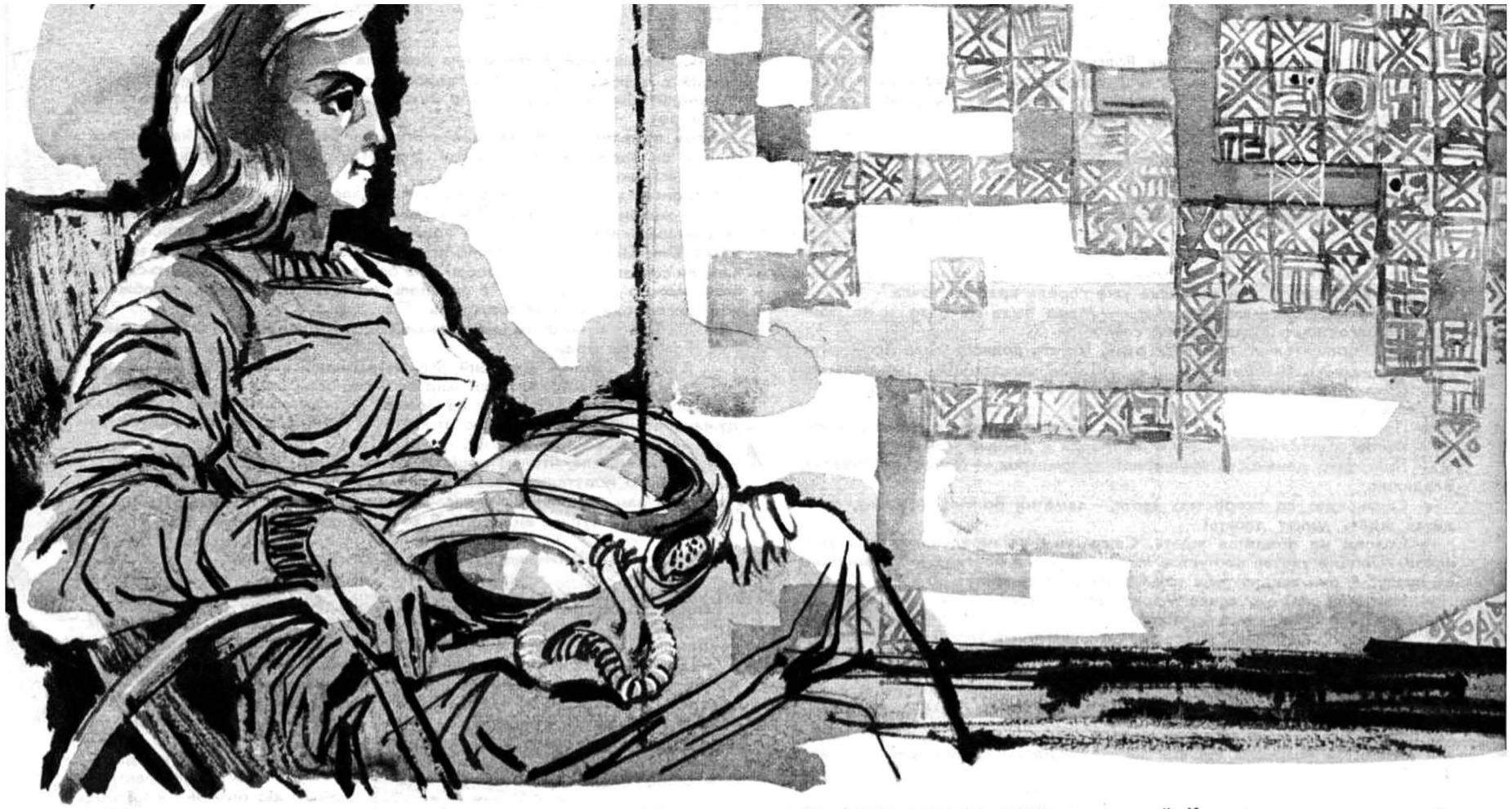
В период младенчества человеческого общества, когда условия жизни не менялись или менялись едва заметно, несколько веков не имели значения. Даже в средние века «христианской эры», в так называемом средневековье, разница в качестве мозга человека, скажем, восьмого века и человека пятнадцатого века оставалась незначительной.

Но когда люди миновали первую, наиболее трудную полосу «подходов» к знанию, когда расширился фронт наступления на тайны природы, когда человечество вплотную подошло к ступеням бесконечной и крутой лестницы науки и стало подниматься по ней, сперва медленно, а затем все быстрей и уверенней, положение в корне изменилось.

Новые широкие горизонты раскрылись перед людьми и с каждым шагом, с каждой ступенью становились шире и необъятнее. Старое оружие уже не годилось, нужно было новое.

Этим оружием был мозг. И мозг приспособился к темпу движения, перешел на другую, высшую кривую развития. Из плавной и пологой, какой она была раньше, эта кривая становилась все более заметно крутой. С каждым веком умственное развитие дедов и внуков менялось. Между ними явственнее проступало качественное различие.

Если бы Волгин имел сына и его род не прекратился за это время, он мог бы встретиться со своим отдаленным потомком, и, несмотря на



прямое кровное родство, разница между ними в весе и качестве мозга оказалась бы огромной. «Разрыв во времени» выступил бы тогда с полной очевидностью.

Волгин был образованным человеком и всю жизнь прожил в больших городах, где сосредоточивалась наука и техника его века. Но в сравнении с окружающими его теперь людьми он был человеком отсталым и, в сущности, неграмотным. Понять, например, действие телеофа было ему так же трудно, как в двадцатом веке человеку из дебрей Южной Америки понять действие телевизора.

Волгин понимал это или думал, что понимает, и не требовал объяснений, которых никто не мог дать ему. Он считал, что дело во времени. Он будет учиться с самого начала и постепенно все поймет. Это казалось ему очевидным и не вызывало никаких сомнений.

К счастью для него.

Приступать к занятиям сейчас не было времени. Его ждали совсем другие «уроки»: надо было изучать жизнь современного общества. И эта «наука» казалась ему более важной и более нужной.

Так получилось само собой, и это опять-таки было великим счастьем для Волгина, хотя он сам не сознавал еще всей важности и спасительности этого факта.

Горькое разочарование, неизбежное в будущем, еще не наступило.

Было удивительно, что Мунций, несмотря на весь свой богатый жизненный опыт, до сих пор не понял, что для Волгина наука тридцать девятого века была недоступна, и искренне уверял его, что дело только во времени и в нем самом. Но для Люция и Ио все стало давно ясным. И они с тревогой думали о том времени, когда Волгин поймет свое положение, осознает, что обречен навсегда остаться в стороне от жизни, ставшей ему современной, и вынужден будет ограничиться ролью пассивного наблюдателя.

Им самим такое положение было бы непереносимо. Как отнесется к нему Волгин? Не станет ли это большей трагедией, чем та, которой они опасались перед оживлением Волгина? Не здесь ли таилась опасность одиночества, о которой так настойчиво предупреждал их Мунций?

Они с ужасом думали, что старый историк может оказаться прав в конечном итоге и горячо любимый ими Дмитрий Волгин окажется лицом к лицу с жестокой трагедией. И они несказанно обрадовались, когда узнали, что Волгин изменил свое первоначальное решение войти в мир только после окончания «образования» и решил осмотреть Землю и познакомиться с людьми. Благотворное влияние такого знакомства, новые и сильные впечатления должны были ослабить предстоящий удар. И уже сейчас Ио и Люций обдумывали, чем занять Волгина после его возвращения, куда и как направить его внимание, чтобы отвлечь от мысли вернуться к книгам. Хотя бы на несколько лет, дальше будет легче.

В глубине души они лелеяли надежду, что Волгин так и останется в неведении.

Но здесь они ошибались.

Волгин часто думал о своем будущем. От Люция он знал, что проживет очень долго. Не так долго, как живут сейчас другие люди, но все же значительно дольше, чем он мог прожить в первой жизни. И вопрос, чем заполнить эту жизнь, беспокоил его постоянно. Он всегда был человеком деятельным и был уверен в том, что эти свойства его характера вернутся к нему, когда он привыкнет ко всему, что его окружало.

Что же он будет делать тогда?

Профессии юриста не существовало на Земле. Надо было приобрести новую. А для этого был один путь — учиться, и Волгин твердо решил приступить к учению как можно скорей. Как только вернется домой из кругосветного путешествия.

Стоять в стороне и быть только созерцателем жизни, не принося никакой пользы людям, было для него совершенно невозможным.

Он хотел жить полной жизнью, такой же, какой жили его новые современники.

Он хотел посвятить себя творческому труду, еще не представляя себе с полной ясностью глубину пропасти, которую намеревался преодолеть. Ему еще казалось, что разница между его прежним веком и нынешним только количественная: люди больше знают и больше умеют. Изменений качественных он не принимал во внимание.

В прежней жизни коммунист Волгин изучал труды классиков марксизма-ленинизма и знал основные черты будущего коммунистического общества на Земле. Он понимал, что любой труд при коммунизме является трудом творческим и что человек, чем бы он ни занимался, приносит равную пользу людям. Но сложный и длительный процесс постепенного изменения психологии людей и их отношения к труду прошел мимо него. Его психика оставалась психикой человека двадцатого века. И понимание ценности того или иного труда было на том же уровне, как и прежде.

Человек тридцать девятого века мог всю жизнь заниматься наиболее простым трудом, не требующим больших способностей, испытывая творческое наслаждение и получая полное удовлетворение от сознания приносимой пользы. Мысль, что один труд более ценен, чем другой, не могла прийти ему в голову. Каждое дело, которым он занимался, было одинаково ценным и одинаково полезным.

Люди давно забыли об оплате труда в зависимости от его качества. Уже полторы тысячи лет на Земле не существовало никаких денег или иных «эквивалентов» человеческого труда. Чем бы ни занимался человек, он получал от общества все, что было ему нужно. Так происходило из века в век, и люди перестали замечать какую-либо разницу в исполняемой работе. Член Верховного Совета науки и рядовой раскопщик археологической экспедиции, выдающийся инженер и строитель нового дома ничем не отличались друг от друга в смысле «оплаты» своего труда. Каждый имел право на все, что производилось силами всего общества.

Из поколения в поколение люди привыкали к такому положению вещей, оно казалось им естественным и единственно возможным. Иные отношения между людьми, о которых говорили им учителя в период начального обучения, воспринимались ими так же, как в двадцатом веке воспринимались отношения людей в Древнем Египте, или еще раньше. Они понимали возможность таких отношений, но только теоретически.

И психология людей тридцать девятого века имела мало общего с психологией людей двадцатого. Для них вопрос, мучивший Волгина — какую профессию выбрать,— звучал как бессмыслица. Человек должен заниматься тем, что ему нравится, тем, что ему по душе. А чем именно, абсолютно все равно.

Но Волгин думал иначе. Пойти на завод, стать к простейшему станку, исполнять почти автоматическую работу, не требующую от человека творческой (с его точки зрения) мысли, не казалось ему позорным: он привык уважать любой труд,— но просто несовместимым с его исключительным положением в мире. Он думал, что достоинство и честь века, который он представлял здесь, в новом мире, требуют от него чего-то другого, чем быть незаметным винтиком общей машины. Подсознательно он хотел доказать, что человек двадцатого века способен ко всему, что могли делать люди теперь.

Архимед был великим, гениальным ученым, но, очутившись в двадца-

том веке, не смог бы стать даже учителем физики в начальной школе. Ньютон показался бы в тридцать девятом веке неучем.

Волгин не хотел понять этого, он даже не думал о таких сравнениях. Он сам не был не только ученым, но даже и инженером, но, несмотря на это, намеревался одним скачком одолеть бесчисленные ступени, по которым с затратой огромного труда прошла наука Земли за девятнадцать веков.

И это происходило не потому, что Волгин был глуп или самоуверен, а только потому, что он судил по мерке своего века и не знал еще качественных изменений в науке и технике, видел и понимал только количественные. Если бы знания людей изменились только количественно, Волгин осуществил бы свое намерение, с большим трудом, но достиг бы уровня знаний нового века. Но он не мог еще понять (слишком мало времени пробыл он в новом мире), что самое вещество мозга людей стало иным, чем в его время, что за прошедшие века образовались и окрепли новые мозговые центры, качественно отличные от прежних. Колоссальное наследство веков мог вместить в себя мозг Ио, Люция и других людей, но не мог мозг Волгина. Он не обладал нужным для этого объемом и весом. Недаром же все люди, окружавшие Волгина, были выше, крупнее и массивнее его. Развившийся мозг потребовал иного вместилища, голова стала крупнее, а за нею последовало и все тело. Новые современники Волгина отличались от прежних и умственно и физически.

Но Волгин еще не осознал этого.

С легким сердцем готовился он к предстоящей ему работе. С огромным интересом отправлялся он в свое путешествие, которое должно было послужить своеобразной зарядкой.

Внешние условия жизни нового общества, насколько он был знаком с ними, не смущали Волгина. За четыре месяца он привык к ним и почти перестал замечать. Он принимал их как факт. В этом сказывалась свойственная людям способность приспособляться к любым условиям и быстро приноравливаться к ним. Не понимая, на чем основаны комфорт и удобства окружающей его жизни, Волгин пользовался ими как чем-то само собой разумеющимся. Он даже научился управлять биотоками своего мозга, научился бессознательно, как научаются дети двигать руками и ходить. И биотехника тридцать девятого века, по крайней мере в пределах ее применения в доме Мунция, безотказно подчинялась ему, потому что была очень проста.

В первое время, подходя к двери и невольно желая, чтобы она открылась перед ним, Волгин каждый раз вздрагивал, когда дверь дей-

ствительно открывалась. Теперь он не обращал на это внимания. Ему никто не объяснял, как именно надо привести в действие невидимый механизм; это пришло само собой и быстро превратилось в условный рефлекс. Подходя к двери или наклоняясь к крану, чтобы умыться, он не думал о том, что дверь должна открыться, а вода потечь. Он просто желал этого, даже не замечая своего желания. И возникающий в его мозгу соответствующий желанию биоток улавливался скрытым в стене приемником, преобразовывался в другую энергию, способную по своей мощности произвести нужное действие, и вода текла, а дверь отворялась.

И это уже не казалось ему странным, а наоборот, естественным, хотя пока и непонятным.

Не достигнув своей первоначальной цели, Волгин все же был достаточно подготовлен к тому, чтобы ориентироваться в ожидавшем его мире и не поражаться на каждом шагу тому, что увидит в нем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

— Ты наметил себе какой-нибудь маршрут? — спросил Владилен.

— Да,— ответил Волгин.— Я не ставлю целью объехать все континенты Земли. Это можно будет сделать впоследствии. А сейчас я хочу прежде всего побывать на моей родине, там, где раньше находилась Россия,— пояснил он.— Я знаю, что Ленинград и Москва существуют. С них мы и начнем. Затем я хотел бы посетить место, где находилась моя могила (Волгин заметил, как Мэри вздрогнула при этом слове). Потом мы отправимся в Париж, посетим Нью-Йорк, Сан-Франциско, Японию...— Он заметил, что его собеседники переглянулись, и пояснил: — Была такая страна на востоке Азии. Как она называется сейчас, я не знаю. И через Сибирь... Ну, как же сказать вам? Через Азию, что ли, отправимся в Египет... И этого слова вы не знаете?

— Нет, почему же? — ответил Владилен.— Мы учили древнюю географию Земли. Сибирь, Египет — теперь я вспомнил. Ты так легко произносишь эти названия! Из тебя мог бы получиться замечательный лектор по древней географии.

Волгин рассмеялся.

— Я намерен избрать другую профессию,— сказал он.— А после Египта мы вернемся сюда. Вот и все. Остальное меня пока не так интересует.

— Этот путь займет немного времени,— сказала Мэри. Она помнила просьбу своего отца: задержать Волгина как можно дольше в его путешествии. Но сам Волгин, по-видимому, не собирался задерживаться.— На Земле много интересных для тебя мест, кроме тех, которые ты назвал. Ты не учитываешь современных средств передвижения. Арелет будет переносить нас с большой скоростью.

— Но в каждом новом месте мы будем задерживаться на неопределенное время,— возразил Волгин.— С теми городами, которые я назвал, я буду знакомиться основательно. Так что мы вернемся не столь уж скоро.

— Как хочешь,— сказал Владилен.

Он тоже знал о просьбе Люция, который объяснил ему мотивы этой просьбы. Но что они могли сделать? Волгин высказал свое желание достаточно определенно. Оставалась надежда, что в пути он передумает.

«Его увлечет путешествие, и он захочет увидеть больше»,— думала Мэри.

Отлет был назначен на следующий день утром. Трехместный арелет, красивого темно-вишневого цвета, изящный и отделанный, как игрушка, уже стоял у дома, перед верандой. Человек, доставивший его по просьбе Люция, не спрашивая никого, взял один из арелетов Мунция и улетел обратно, как будто не обратив никакого внимания на Волгина. Вероятно, он думал, что Волгин еще не решил войти в мир.

Бесцеремонность этого человека, без спроса воспользовавшегося чужим имуществом, удивила Волгина, но он ничего не сказал никому и не задал напрашивавшегося вопроса. Вероятно, так поступали все. У Мунция было три арелета, ему самому мог быть нужен только один, но ведь Мунций жил с другими людьми, например, с Волгиным. Прилетавший человек не мог знать, сколько арелетов нужно иметь обитателям дома, он должен был спросить, но не сделал этого.

Здесь проявлялась одна из черт современной жизни, незнакомая Волгину, и он думал об этом, стараясь понять. В конце концов он пришел к убеждению, что все дело заключалось в том, что Люций, прося доставить арелет, ничего не сказал о способе для доставившего вернуться обратно. Из этого тот сделал вывод, что может воспользоваться арелетом хозяина дома, и поступил согласно этому выводу. Не предполагал же Люций, что человек вернется пешком!

Впоследствии Волгин узнал, что правильно понял этот случай.

Люди всегда и во всем думали о других, заботились о них, а не только о себе. И привыкли к вниманию. В том, что любой человек, высказывая ту или иную просьбу, позаботился об исполнителе, никто не сомневался и даже не задумывался над этим. Так было всегда, на протяжении многих веков, и стало второй натурой человека. Так поступали все.

Волгин волновался накануне отлета и плохо спал ночью. Не в сферическом павильоне острова Кипр и не в доме Мунция, где он жил в одиночестве, началась его вторая жизнь. Она должна была начаться именно завтра, когда ничем не связанный, свободный, как птица, он бросится в жизнь мира подобно тому, как до этого бросался в волны Средиземного моря. Но с морем он умел хорошо справляться, сумеет ли справиться с океаном жизни?

У него были любящие и верные друзья, на которых он мог опереться в первое время. Они не дадут ему утонуть, научат, как надо плыть. И укажут правильное направление.

«Все будет хорошо»,— подумал он, засыпая под самое утро.

День настал ясный и безоблачный. Для Ривьеры это было обычным явлением, небо здесь редко хмурилось и прежде, но Волгин уже знал, что погода на всей земле зависела от расписания. Мощные станции погоды, разбросанные повсюду, регулировали облачность, осадки и температуру воздуха в зависимости от планов общепланетного хозяйства. Дождь шел в заранее назначенном месте в заранее назначенное время, ветер дул там и тогда, когда это предусматривалось необходимостью перегнать скопившиеся массы теплого или холодного воздуха на другое место. Такие явления, как град, внезапные заморозки или неожиданная оттепель, стали неизвестны людям. Ничто не мешало им. Каждый человек знал за год вперед, какая погода будет в том или ином месте в любой день. Даже отправляясь на простую прогулку, люди, заглянув в календарь погоды, могли узнать, что их ждет — холод, тепло или ветер.

На всей земле климат был подвластен человеку. Лето и зима, весна и осень наступали в точно назначенный день и не зависели больше от капризов природы. Во многих местах, где раньше свирепствовали морозы, зима вообще не наступала. Она была признана ненужной в данном месте. И, возмещая недостаток солнечных лучей, в зимние месяцы над нужной местностью вспыхивали искусственные солнца. Они грели землю с силой, не уступающей летнему солнцу, и потухали на ночь, давая людям спокойно спать, а рано утром вспыхивали снова. Когда приходила естественная весна, эти солнца гасли, продолжая висеть в небе холодным шаром, или переводились на другое место.

Все это казалось Волгину сказочным, но он знал, что современные люди не удовлетворялись достигнутым. Они видели недостатки там, где Волгину все представлялось совершенным. Он прослушал однажды лекцию какого-то ученого, предназначенную для учеников школ всей Земли, и узнал много интересного. Оказалось, что система управления погодой устарела, что она должна подвергнуться переделке. Волгину было дико слушать, как лектор возмущался тем, что в двадцатом веке было далекой мечтой, совершенно тогда не осуществимой. Это было извечным явлением, порождаемым привычкой к достигнутому и возросшими знаниями, но звучало для него странно. Наибольший сюрприз ждал его в конце лекции. Не как фантастическую гипотезу, а в плане реальной возможности, не осуществленной до сих пор только из-за «косности научной мысли» (это были подлинные слова лектора), ученый рассказал слушателям о детально разработанном проекте... изменить земную орбиту, расстояние планеты от Солнца и угол наклона ее оси.

— Тогда,— сказал лектор,— сами собой отпадут многие затруднения станций погоды, уменьшатся затраты их энергии. Климат планеты в целом будет таким, какого мы сейчас достигаем искусственно. Удивительно, как долго советы науки и техники не могут решить столь простого и ясного вопроса.

«Простой и ясный вопрос» — эти слова долго звучали в ушах Волгина.

Человек покорил Землю. Люди уже давно были хозяевами солнечной системы, почему же они не могли переставить «обстановку» в этом своем большом доме так, как хотели, как было для них удобно?

Просто и ясно! Волгин улыбался, думая об этом, но в его мыслях царила путаница. Земля — это не стол, который можно переставить, куда угодно. И не здание, которое также можно передвинуть, используя землю как точку опоры. Но сама земля? На что опереться, чтобы передвинуть планету? Где взять точку опоры? Реактивные силы? Страшно подумать, сколько энергии потребуется для такого «простого» дела!..

«Если переделка строения солнечной системы для них — задача сегодняшнего дня,— думал Волгин,— то о чем же мечтают эти люди? Что является для них фантастикой?»

Частичный ответ на этот вопрос он получил от Мунция, которому рассказал о прослушанной лекции.

— Я знаю об этом выступлении,— сказал Мунций.— И считаю, что Иосиф (этого ученого зовут Иосифом) совершенно прав. Верховный Совет науки несколько раз обсуждал этот вопрос. Он осуществим, но большинство членов совета считает, что энергия нужнее сейчас для других целей. Но проект, безусловно, будет осуществлен сравнительно скоро. Он обещает большие выгоды. Вы спрашиваете, о чем мечтают фантасты? Я редко читаю фантастическую литературу. В последнее время часто появляются произведения, посвященные переводу всей солнечной системы на другое место, выше пылевого слоя Галактики. Некоторые предлагают перенести Солнце с семьей его планет ближе к центральной области Галактики. Фантастика всегда является заданием науке. Надо полагать, что эти вопросы назревают, раз о них думают.

— Какой это Иосиф? — спросил Волгин.— Не тот, который был вашим противником в дискуссии обо мне?

— Нет, другой. Ваш защитник,— улыбнулся Мунций,— химик. Кстати, он часто спрашивает меня о вас. И, конечно, хочет встретиться с вами.

Продолжение следует.

Встреча

Продолжение. Начало см. №№ 17, 18.

День был безоблачным и ясным. Небо словно приглашало подняться в него.

Войдя в столовую, Волгин застал там Ио и Люция, которые прилетели проводить его. Мэри и Владилен уже переоделись в путь. На них были одинаковые костюмы, состоявшие из длинных брюк с манжетами на лодыжках и рубашек с длинными рукавами.

— В Ленинграде холодно,— пояснила Мэри.— Тебе тоже надо переодеться.

— А где я возьму костюм? — спросил Волгин.

— Я привез его,— ответил Люций.

После завтрака Ио взял Волгина под руку и увел его в спальню. За ними последовал Люций.

— Разденься,— сказал Ио.— Я хочу осмотреть тебя.

В течение прошедших месяцев Люций несколько раз проделывал эту процедуру, и Волгин хорошо знал, в чем она заключалась.

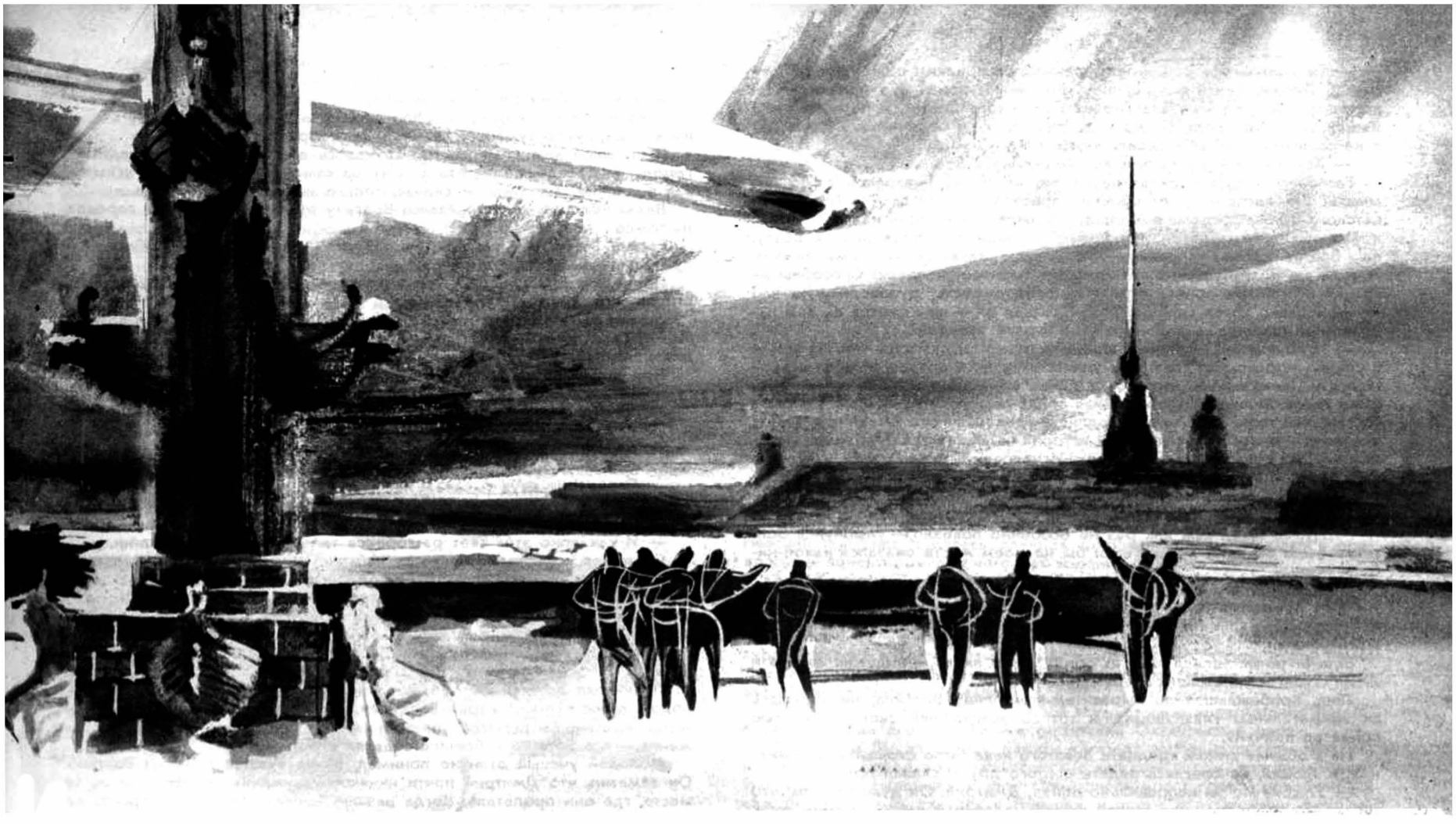
Врачебный осмотр в тридцать девятом веке не имел ничего общего с тем, что происходило в двадцатом. Раздевшись, Волгин встал перед Ио, на некотором расстоянии от него. Иногда врач просил повернуться спиной.

Ио не приближался к Волгину, а стоял на одном месте, внимательно следя за стрелками небольшого прибора, который держал в руке. Он часто поворачивал крохотные рычажки и нажимал на малюсенькие кнопки.

Что он видел и как понимал виденное, Волгин не знал, но догадывался, что невидимые лучи прибора «выслушивают» и «ощупывают» поочередно все органы его тела.

— Ты очень окреп за последнее время,— заметил Люций.— И шрам на груди почти уже не виден.

— Что ж! — сказал Ио, пряча прибор в карман.— Я не нахожу у Дмитрия ни одного дефекта. Он абсолютно здоров. Он может надеть пояс.



ЧЕРЕЗ ВЕКА

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА
и А. БАБАНОВСКОГО

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Волгин вопросительно посмотрел на Люция. Последние слова Ио были ему непонятны.

Волгин замечал, что все люди носят очень широкие пояса, но считал их просто принадлежностью костюма. Из близких к нему людей только Мэри не носила пояса. Костюмы самого Волгина также имели эту обязательную, по-видимому, деталь одежды. Но вот Ио говорит, что Волгин может «надеть пояс». Как это понять, если он давно надел его?

— Пояс, который ты носишь,— сказал Люций,— просто матерчатый, тогда как наши изготовлены из особой ткани.

— А именно?

— Слышал ты что-нибудь об антигравитации?

— Что-то слышал,— ответил Волгин,— только очень давно. Примерно тысячу девятьсот лет тому назад,— засмеялся он.

— Антигравитация,— сказал Люций,— в принципе то же самое, что и антитяготение. Техника использует эту силу повсюду. Например, аролеты. Наука о борьбе с силами тяжести называется гравилогией. И гравилогия полезна не только в технике, но и в медицине. Ты знаешь, конечно, что человек отдыхает лучше всего лежа. Почему? Потому что тяжесть тела меньше давит на скелет. Самая тяжелая часть человеческого тела — от пояса и выше. Естественно, возникла мысль об антигравитационных поясах. Грудь, руки, голова весят меньше, когда на человеке такой пояс. Это оказалось очень полезным для здоровья. Можно даже сказать, что внедрение поясов удлинило жизнь человека. Теперь их носят все как обязательную принадлежность костюма.

— Я думал, что это просто мода,— заметил Волгин.

— Эта «мода» держится уже шестьсот лет. И вряд ли когда-нибудь исчезнет. Разве только найдут способ изготавливать их более узкими.

— А почему Мэри не носит пояса?

— Носит, но только под платьем. Так поступают многие женщины.

— Ты тоже можешь надевать его вниз,— сказал Ио.— Если тебе так больше нравится.

— Я буду одеваться, как все,— ответил Волгин.— Но почему я до сих пор носил матерчатый пояс?

— Потому, что твой организм должен был окрепнуть в обычных для тебя условиях.

Верный своему решению, Волгин не спрашивал подробностей о технике антигравитации. Вряд ли эти люди могли ему объяснить так, чтобы он понял. Это был очередной непонятный ему факт, и он принял его, как все остальное. Так было — вот и все!

В очень древние времена люди воспринимали весь окружающий их мир, на земле и на небе, точно так же, как делал это теперь Волгин. Они не понимали явлений и приноравливались к ним, как к существующему факту, не доискиваясь объяснений.

Такое сравнение часто приходило в голову Волгина. Его гордость страдала от этого, но надо было терпеть, сейчас он все равно не мог понять.

— Значит,— сказал он,— я уже вполне окреп?

— Да, вполне,— ответил Ио.

— Давайте пояс.

Люций указал на стул возле кровати. Там уже лежал светло-серый костюм того же покроя, который он видел на Мэри и Владилене. Только те были темно-синими.

— А почему у меня другой цвет?

— Ты любишь серый,— ответил Люций.— Разве не так?

Это было, разумеется, так. Люди тридцать девятого века все замечали.

На рубашке Волгина блестела Золотая звезда. По приезде в дом Мунция он снял ее и спрятал в ящик ночного столика. Автоматы, ведавшие чистотой одежды, не были знакомы с такими вещами и могли испортить муаровую ленту и звезду. Кроме того, Волгин мог забыть снять ее перед очередной сменой верхней одежды.

Теперь кто-то, вероятно, Люций, счел нужным прикрепить Золотую звезду на ее законное место. Зачем?

— Ты должен явиться перед людьми таким, каким они знают тебя,— сказал Люций, заметив удивление Волгина и поняв его причину.— Ты легендарный представитель Героев Советского Союза, и не надо стесняться этого. Конечно, ты можешь снять эту награду, если хочешь, но я не советовал бы тебе делать этого.

— Хорошо, я буду носить ее,— согласился Волгин.

Разговор о звезде снова навел его на давно интересовавшую его мысль: как воспринимают причину присвоения ему звания Героя Советского Союза современные люди? Вражда и ненависть неизвестны им, война отошла в область преданий. Все люди относятся друг к другу, как братья. Убить человека — это должно казаться им немыслимым. А ведь он, Волгин, уничтожил свыше четырехсот человек! Способны ли Люций, Ио, Мэри понять суровую необходимость, руководившую им?

— Я давно хотел спросить вас,— сказал он,— не кажется ли вам чудовищной причина моего награждения этой звездой?

— Чудовищной? — ответил Ио.— Напрасно ты думаешь так. На земле и сейчас встречаются гады. Мы уничтожаем их и делаем это без всякой жалости. Ты скажешь, что это не люди. Верно. Но и люди могут быть хуже гадов. Великая Отечественная война первого века нашей эры была со стороны твоей страны справедливым делом. И она имела громадное значение для всей последующей истории человечества. Мы знаем и понимаем все, что произошло тогда. И человек, принимавший участие в этой войне, нам еще дороже.

— В том, что ты именно такой человек,— прибавил Люций,— лишнее свидетельство, что нам повезло.

— Ну, со мной вам как раз не особенно повезло,— улыбнулся Волгин.— Было бы куда лучше, если бы на моем месте оказался какой-нибудь ученый.

Он внезапно заметил чуть заметную улыбку, скользнувшую по губам Ио. Она промелькнула и сразу исчезла, но ее значение было ясно. «Какая разница,— говорила эта улыбка,— ты или выдающийся ученый вашего века!»

Волгин почувствовал глухую обиду. «Как низко,— подумал он,— эти люди ставят моих бывших современников!»

Тень, пробежавшая по выразительному лицу Волгина, не укрылась от внимательных глаз Люция, и тот со всегдашней своей чуткостью понял ее причину.

Не в обычае людей тридцать девятого века было скрывать свои мнения, и Люций, не опасаясь задеть старого друга, сказал прямо:

— Улыбку Ио ты неправильно понял, Дмитрий. Он думал о том, что ты так же дорог нам, как всякий другой человек, и что мы любим тебя, как любили бы любого из людей твоего века.

— Конечно,— прибавил Ио,— я думал именно это. Если ты понял как-нибудь иначе, мне очень жаль.

— В вашей любви ко мне,— ответил Волгин,— я никогда не сомневался. И я понял именно так.

Он хотел бы, но не был в состоянии откровенно выражать свои мысли. В действительности он глубоко убежден, что понял улыбку Ио в ее истинном значении. То, что его хотели убедить в противном, доказывало только, что в исключительных случаях эти люди не избегали «спасительной» лжи.

«Ложь,— подумал Волгин,— не является органически чуждой им».

Мунций пристально посмотрел на сына, и по выражению его лица Волгин понял, что отец осуждает несдержанность Ио.

А как думал он сам?..

— Одевайся! — сказал Люций как ни в чем не бывало.— Мэри и Владилен ждут тебя.

Волгин быстро оделся. Взяв в руки пояс, который, как сказали ему, был антигравитационным, он удивился, что не чувствует стремления этого куска материи подняться вверх. Ведь пояс должен был отталкиваться от земли, а не притягиваться к ней.

— Почему он не улетает,— спросил Волгин,— когда не надет на человека?

— Потому, что цепь не замкнута,— ответил Люций.

Он взял из рук Волгина пояс и застегнул его на кнопки. Пояс рванулся вверх, но Люций не выпускал его. Было ясно, что, предоставленный самому себе, кусок материи мгновенно оказался бы у потолка.

— Никогда не застегивай его, когда снимаешь с себя,— объяснил Люций.

Разъединив снова концы пояса, он протянул его Волгину.

— А это не страшно?

Люций и Ио засмеялись.

— Ты будешь чувствовать себя необычайно легко,— сказал Ио,— но быстро привыкнешь. Ты увидишь, что усталость будет наступать гораздо реже.

Пересилив невольный страх, Волгин застегнул на себе пояс.

Как только он это сделал, чувство поразительной легкости овладело им. Точно с его плеч сняли солидную тяжесть. Пояс ощутимо поднимал его над землей, но не настолько, чтобы ноги отделились от пола. Руки как будто потеряли вес.

В этот момент он понял причину удивлявшей его легкости, с какой ходили все вокруг него. До этого он не мог понять, как могли люди такого роста и, следовательно, большого веса так быстро передвигаться, точно земля не притягивала их.

— Мне кажется,— сказал он,— что я мог бы сейчас подпрыгнуть до потолка.

— Нет,— серьезно ответил Ио.— Пояс уменьшает вес верхней части твоего тела в два раза. Некоторые люди носят пояса с коэффициентом действия один — три, один — четыре и даже один — пять. Но для начала тебе достаточно двойного.

— А как отражается ношение пояса на работе внутренних органов тела, например, сердца?

— Только положительно. Сердцу гораздо легче. Без этих поясов нашей науке труднее было бы добиться двухсотлетней жизни для человека.

2

Аре́лет приближался к Ленинграду.

С волнением всматривался Волгин сквозь прозрачную стенку кабины в подернутую туманной дымкой даль горизонта.

В прежней жизни много раз случалось ему подъезжать к родному городу на поезде, подлетать к нему на самолете, и всегда он испытывал волнение. Так было и сейчас, только неизмеримо сильнее.

Великий город всегда казался Волгину отличным от других городов на земле.

Город Ленина! Колыбель Октябрьской революции! Как близки и понятны были Волгину эти слова!

Понимают ли значение Ленинграда современные люди? Что говорит их сердцу это гордое слово?

Может быть, для них город на Неве ничем не отличается от других? Может быть, два тысячелетия изгладили воспоминания, такие свежие для Волгина?..

Нет, это было не так!

Волгин услышал, как Мэри сказала Владилену:

— Уже давно я не бывала здесь. Не правда ли, когда подлетаешь к Ленинграду, испытываешь особое чувство?

— Да,— ответил Владилен.— И это вполне понятно. Именно здесь был заложен фундамент истории человечества.

— Последних двух тысячелетий.

— О! Все, что было до Великой революции, кажется мне сплошным мраком. Здесь зажегся первый луч света.

— И как ярко этот свет разгорелся теперь! — добавил Волгин.

Он понял, что люди ничего не забыли. Человечество свято хранило память о славном прошлом, и благодарность к тем, кто создавал и строил прекрасный мир, в котором они жили, не угасла. И Дмитрий Волгин и оба его спутника испытывали одни и те же чувства, различавшиеся только неизбежным масштабом времени. Для них это была история, незабываемая и волнующая. Для него — буквально вчерашний день жизни.

Ленинград должен был вот-вот открыться. Аре́лет находился от города в трехстах километрах. Владилен, управлявший машиной — без помощи каких-либо рычагов управления, а только силой своего воображения,— все больше и больше сбавлял скорость.

Молодой ученый отлично понимал, какие чувства волнуют Волгина. Он заметил, что Дмитрий почти никакого внимания не обращал на те места, где они пролетали. Когда раньше аре́лет, увеличив скорость до предела, поднялся на большую высоту и подробности земной поверхности стали плохо различимы, Дмитрий не возражал против этого. Его мысли стремились вперед, к тому, что ждало их в конце пути. Всеми помыслами он был уже в Ленинграде и только в Ленинграде.

Даже при средней скорости аре́лета города появлялись на горизонте, оказывались прямо внизу и исчезали из виду с такой быстротой, что рассмотреть их не было возможности. Владилен не хотел, чтобы Ленинград оказался под ними раньше, чем Дмитрий почувствует и переживет его появление. Он знал, что постепенное приближение к родине — это как раз то, что нужно сейчас его другу.

И он «приказывал» аре́лету лететь все медленнее и медленнее.

Волгин заметил и понял этот маневр. Он был благодарен Владилену за его чуткость и внимательную заботу, но говорить сейчас слова благодарности не был в состоянии.

Он умер во Франции, в Париже, и в час смерти его мысли рвались сюда, и вот он оказался здесь, снова живой и здоровый, с воскресшей тоской по родному городу.

Каким он увидит его?

Был на земле «вечный город». И грандиозные постройки этого города, полуразрушенные неумолимым ходом времени, Волгин видел своими глазами. Амфитеатр Колизея, построенного в 82-м году христианской эры, наполовину сохранился к двадцатому веку. Но не существовало ни одного здания, которое смогло бы полностью сохраниться за два тысячелетия.

«Почему меня тянет с такой силой к тому месту, где находится Ленинград? — с грустью думал Волгин.— Ведь его нет. Моего Ленинграда, каким я знал и любил его, не существует. Там все другое, все новое и незнакомое. Но ведь не могла же исчезнуть Нева! Значит, я увижу хотя бы ее».

— Какая погода в Ленинграде? — спросила Мэри.

— Должна была быть густая облачность,— ответил Владилен.— Но Мунций говорил с Ленинградской станцией погоды и предупредил их о прилете Дмитрия. Сейчас небо над городом безоблачно, как и здесь.

— Это чудесно!

Волгин слышал и не слышал этот разговор, скользнувший мимо его сознания. Он не мог оторвать глаз от горизонта.

И вдруг далеко-далеко в лучах солнца до боли знакомо сверкнула золотистая точка. Совсем так же, как появлялась она две тысячи лет тому назад, когда самолет на большой высоте подлетал к городу,— первым приветом Ленинграда, отблеском солнечного света на золотом куполе Исаакиевского собора.

Какое же здание послало теперь свой первый привет аре́лету? Что неведомое блеском своим заменило старого друга?..

Волгин не спросил об этом. Он молча смотрел вниз и постепенно начал узнавать местность.

Несомненно... они близко от Пушкина... Но где он, живописный пригород Ленинграда?

Внизу расстилалась панорама гигантского города. Знакомые Волгину по книгам-фильмам современные здания непривычной архитектуры, построенные словно из одного стекла, бесконечные прямые улицы, исполинские арки мостов, переброшенные через целые кварталы, обилие воды и зелени, серебристые линии спиральных городских дорог, как будто висящие в воздухе, масса аре́летов всех размеров — все указывало, что под ними не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров мира.

До Ленинграда, по прежним представлениям Волгина, было еще около пятидесяти километров. Два города таких размеров не могли находиться рядом. Значит, это и есть Ленинград, разросшийся исполин, втянувший в себя все, что раньше окружало его на почтительном расстоянии.

Ни одного высотного здания Волгин не видел, но это его не удивляло. Он знал, что уже давно люди перестали громоздить друг на друга бесчисленные этажи. Двухэтажные, редко в три этажа современные дома располагались свободно, и каждый был окружен либо садом, либо полосами густолиственных деревьев.

Освобожденные от гнета расстояния, имея в своем распоряжении быстрые и удобные способы сообщения, люди не боялись разбрасывать дома населенного пункта по огромной площади. Характерная для больших городов прошлого скученность населения совершенно исчезла.

Да, это был Ленинград, и слова Владилена, с которыми он обратился к Волгину, подтверждали это:

— Где ты хочешь опуститься на землю?

— Там, где был прежний Ленинград. Где-нибудь на берегу Невы.

— Но там уже не город. Там Октябрьский парк.

— Что ж! Значит, опустимся в парке,— сказал Волгин, и его голос дрогнул от горького чувства.

Нет Ленинграда! Его опасения оправдались: город передвинулся на юг; все, что было прежде, исчезло с лица земли; там, где высились прекрасные здания, так хорошо ему знакомые, какой-то парк, название которого понятно Волгину, но ничего не говорит его сердцу.

Его современники считали бессмертными творения Воронихина, Росси, Баженова и Растрелли. Казалось немыслимым существование Ленинграда без зданий Эрмитажа, Смольного, Мраморного дворца, без Казанского и Исаакиевского соборов.

«А Медный всадник?» — подумал Волгин, и вся прелесть свидания померкла для него.

Что ему новый Ленинград!

Он удержал готовую сорваться с губ просьбу повернуть назад, лететь в другое место.

— Тебя ждут жители Ленинграда,— сказал Владилен.— Они хотят встретить тебя первыми.

«Жители Ленинграда...»

Хоть бы не произносились эти слова!

— Мы вернемся сюда немного позже,— сказал Волгин.— Я хотел бы сначала повидать Неву.

— Хорошо, летим в парк.

Арелет поднялся немного выше и полетел быстрее. Мэри вынула карманный телеоф и что-то сказала. Вероятно, предупредила горожан о желании Волгина, чтобы те не ждали его напрасно.

Город внизу тянулся без конца. Вот проплыл назад огромный сад или парк, расположенный на холмах. Волгин узнал место. Пулковские высоты! Вдали блеснула гладь Финского залива.

Что значит для природы две тысячи лет? Миг! Как в те времена, когда не существовало России, так и теперь величавая Нева несет свои воды, не обращая внимания на то, что делают люди на ее берегах. Был город, потом он исчез, может быть, вырастет другой, а может быть, нет. Природе все это безразлично!

Нет Ленинграда!

Но что же продолжает сверкать золотистым блеском, принимая постепенно ясно видимую форму купола? Как раз там, где должен находиться величественный собор? А там, правее, золотая игла вонзилась в небо!

Неужели?!

Но острое чувство ожидания, смешанное с тоской и страхом разочарования, не долго мучило Волгина. Зоркие глаза снайпера уже видели...

Широкая голубая лента главного русла Невы... А здесь, на ближнем берегу, из густой массы деревьев поднимаются стройные колонны верхнего яруса Исаакиевского собора... А там, дальше, за тонкой линией моста, вздымаются из воды серые бастионы Петропавловской крепости.

Все как было!

Каким чудом удалось людям сохранить в целости памятники седой старины?..

На месте старого города сплошное море деревьев. И, как утесы, стоят среди этого моря величественные здания былых времен.

Чем ближе подлетал арелет к Неве, тем больше и больше Волгин узнавал прежние места. Их нетрудно было найти. Там, где когда-то был Невский проспект, тянулась длинная, широкая аллея, являвшаяся прекрасным ориентиром для него, так хорошо знавшего город.

А вот другая аллея, уходящая к Неве, и в конце ее белое здание Смольного.

Волгин не сомневался больше, что увидит все, что совсем недавно собирался с болью вычеркнуть из памяти. И с детства любимая скульптура Фальконе и Колло должна была находиться на старом месте. Ее не могли перенести в новый город. Нет другого места для Медного всадника, кроме берега Невы!

Волгин словно видел перед собой всю историю превращения Ленинграда — города его детства — в гигантский Октябрьский парк.

Встали как бы из глубин памяти картины жилищного строительства на окраинах. Город рос, расширялся с каждым годом, каждым веком. Его центр перемещался к югу. Социалистический город, наполненный светом и зеленью, тянулся к Пулкову, а затем и к Пушкину, пока не захлестнул их, не впитал в себя. Старые кварталы Выборгской и Петроградской стороны, Васильевского острова и района Невского проспекта все больше становились далекой окраиной. Их дома ветшали, сносились, и на их месте разбивались сады и скверы.

Но люди зорко следили за историческими и художественными зданиями города. Им не давали разрушаться. И постепенно каждое из них избавилось от близкого соседства других зданий, окружилось зеленью садов и осталось стоять в величавом одиночестве.

Так возник Октябрьский парк — грандиозный по величию памятник старины, музей истории зодчества, скульптуры и великих событий прошлого.

Волгину не нужно было спрашивать об этом у своих спутников. Он знал, что не ошибается, что именно так и происходило на самом деле. Это был естественный путь, начало которому положило еще его время.

Ленинград, единственный из всех городов на земле, всегда поражал людей строгой красотой своей архитектуры. Недаром лучшие зодчие всех времен вложили в него силу своего могучего гения. Но их творения часто проигрывали из-за близкого соседства посредственных зданий. Непревзойденные шедевры ансамблей Дворцовой площади, Марсова поля, Казанского собора, Александринского театра и площади Декабристов терялись в массе тесно обступивших их жилых домов. Их нельзя было охватить глазом, как одно целое, прочувствовать в полной мере замысел их создателей. Теперь, словно сбросившие с себя оковы, окруженные зеленым фоном вековых деревьев, они должны были предстать перед Волгиным во всем своем величии, в цельной и законченной красоте.

Он видел их сверху, и ему казалось, что никогда еще старый Ленинград не был столь прекрасен. Отсутствие привычных улиц не замечалось. Главнейшие из них легко угадывались в линиях широких аллей, пересекавших парк во всех направлениях.

Волгину чудилось что-то знакомое в новом облике города. Как будто он уже видел подобную картину в прежней своей жизни. Но где?

Потом он вспомнил.

Екатерининский парк в Пушкине, Архитектурно-парковый ансамбль Павловска. Так же, как теперь в самом Ленинграде, в зелени прятались там дворцы и павильоны работы Кваренги, Растрелли, Стасова и Росси. И как чарующе выглядели они в рамке деревьев!

Волгину захотелось пролететь низко над землей, над самой землей, не выше одного метра, вдоль бывшего Невского проспекта, от места, где была площадь Восстания, до Невы.

Он оглянулся, чтобы сказать об этом Владилену, но арелет вдруг плавно повернул вправо и пошел вниз. Как мог Владилен услышать мысли Волгина?..

Взгляд, брошенный Владиленом на Мэри, и недоуменное пожатие плеч девушки молчаливым отрицательным ответом показали Волгину, что его спутники здесь ни при чем. Потом они оба посмотрели на Волгина и улыбнулись одобрительно.

И он понял, что арелет изменил направление полета по его «приказу». Желание вылилось в отчетливый импульс, и чувствительные приборы среагировали на него.

— Извини, что я вмешался в управление,— сказал Волгин.— Но прими меры, а то мы врежемся в землю.

Продолжение следует.

Георгий МАРТЫНОВ

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 17, 18, 19.

— Раз начал, продолжай! — засмеялся Владилен.

Арелет полого опускался. Земля приближалась.

— Я не знаю, что надо делать,— взмолился Волгин.

— Ничего не надо. Лети, куда хочешь,— сказала Мэри, подчеркивая последнее слово.

— И ничего не бойся,— добавил Владилен.— Арелет никогда не упадет.

В принципе Волгин знал, как он должен действовать. Люций не раз объяснял ему, что арелет повинуется не мыслям, а желаниям, которые, независимо от воли человека, сами создавали в мозгу нужный биоток. И хотя все это звучало для Волгина как китайская грамота, он прошел уже школу биотехнической автоматики в доме Мунция и, правда, смутно, но уловил разницу между прямой мыслью и тем, что Люций называл «желанием».

Летчики-истребители двадцатого века добивались полного слияния с машиной, автоматического выполнения нужного маневра, чтобы между мозгом и рычагами управления не замечались действия рук. И лучшие из них достигали такого совершенства, что мышцы их рук и ног работали как бы сами по себе, не требуя постоянного контроля мысли летчика. Чем меньше думал такой летчик о том, КАК выполнить тот или иной маневр, тем послушнее была его машина.

В арелете мышечные усилия были не нужны. Машину вел автомат. Но в отличие от автопилота он беспрекословно и с молниеносной быстротой подчинялся любому желанию человека, сидящего в машине. Достаточно было ЗАХОТЕТЬ, и арелет тотчас же менял направление полета, скорость и высоту.

Хорошо зная, что полет всегда и во всех случаях совершенно безопасен, Владилен, не колеблясь, предоставил Волгину действовать, как ему вздумается. И он и Мэри заставили себя не думать о пути машины, чтобы не мешать Волгину. Они стали просто пассажирами и, чтобы как-нибудь нечаянно не вмешаться, оживленно заговорили между собой.

А арелет опускался, все более и более замедляя скорость, пока не оказался почти у вершин деревьев. В метре от них умная машина словно в нерешительности остановилась. Она ждала решения человека.

«Кибернетика,— вспомнил Волгин ускользавшее от памяти слово,— доведенная до виртуозного совершенства. Ну, вперед! К той вон полянке!»

Но арелет не двигался.

Невольно у Волгина явилось желание двинуть машину по нужному ему направлению. Это была не мысль, а скорее чувство.

И аралет повиновался. Он полетел, куда хотел Волгин.

Он внутренне засмеялся. Найдено! Теперь он твердо знает, как управлять машиной.

Это было похоже на езду на велосипеде. Хороший велосипедист не думает, как повернуть машину, он просто смотрит на дорогу, а его руки автоматически поворачивают руль. Здесь не надо было шевелить руками — достаточно было смотреть вперед, выбирая дорогу. Все остальное совершалось само собой.

Прошло несколько минут, и Волгин забыл о том, что ведет машину. Как раньше, он сосредоточил свое внимание на окружающей местности, ища знакомого в незнакомом лесу. И знакомое появлялось.

Невский проспект — широкая аллея парка тянулась вдаль, к виднев-шемуся в конце ее Адмиралтейскому шпилю, так же, как прежде. Только вместо домов ее обрамляли густые заросли огромных деревьев.

Здесь было много людей. Вместо автомобилей и троллейбусов плыли в воздухе аралеты. Вместо тротуаров — движущиеся ленты, окрашенные в различные цвета. Ближе к середине аллеи шла голубая полоса, за ней находилась синяя, а последняя была темно-лиловой. Было видно, что ленты движутся с различной скоростью.

Гуляющие узнавали пассажиров вишневого аралета. Всем было известно, что Волгин в Ленинграде. Его приветствовали улыбками или жестами рук, но он ничего этого не видел. Его внимание целиком поглощалось пейзажем.

3

На углу Невского и Литейного Волгин остановил аралет. Налево не было видно ничего, кроме зелени, направо, далеко, виднелась арка моста. Волгин решил лететь прямо, чтобы выйти к Неве у Дворцовой площади.

Через минуту аралет снова остановился.

Фонтанка изменила свой вид. Она стала уже, и вместо каменных стенок набережной в обе стороны тянулись пологие откосы из блестящего темно-зеленого материала, немного похожего на мрамор. По берегам реки рос лиственно-хвойный лес.

Но Аничков мост сохранился. Волгину показалось, что он несколько иной ширины и решетка парапета другого рисунка. Конные статуи Клодта стояли на своих местах.

Как на потерянных и снова обретенных друзей, смотрел на них Волгин. Вздымались на дыбы дикие кони, сдерживаемые железной рукой укротителя. Развевались по ветру спутанные гривы. А внизу, по хрустально прозрачным водам реки, которым искусственное дно придавало зеленоватый оттенок, скользили легкие лодки. Картина была очень красива в рамке зелени, под безоблачным небом.

«Положительно так гораздо лучше,— думал Волгин.— Но как умудрились они сохранить скульптуры от действия времени?»

Люди останавливались на мосту, глядя на Волгина. Постепенно образовалась толпа. Он не видел этого.

Аничков дворец исчез. Одиноко стояла на старом месте чугунная ограда работы Росси с южным и северным павильонами по концам. За нею должна была открыться панорама Александровского ансамбля. Еще с воздуха Волгин видел ее характерные очертания с узкой щелью улицы Росси.

Аралет полетел дальше.

Люди, гулявшие в Октябрьском парке, вероятно, удивлялись, что Волгин совершенно не обращает на них внимания, не отвечает на их приветствия хотя бы движением руки. Вряд ли они могли понять причину его поведения.

Мэри сказала об этом Владилену. Он молча пожал плечами в ответ.

Повинуясь желанию Волгина, аралет облетел Александринский театр, миновал желтые здания-близнецы улицы Росси и снова остановился вплотную у памятника Ломоносову.

Площадь имела такой же вид, как и в двадцатом веке. Только мост через Фонтанку был другим, и на том берегу не видно было ни одного дома.

Потом они вернулись на Невский.

Волгин сам удивлялся, как легко и быстро он привык к новому виду Ленинграда. Как будто так было всегда. Ему уже не казался странным и непривычным зеленый фон, на котором так резко выделялись знакомые ему здания. Они выглядели очень красиво на этом фоне.

Вот и Казанский собор, как и прежде, музей истории религии. И так же стоят по концам Воронихинской колоннады скульптуры Орловского. И даже фонтан Томона, построенный в 1808 году христианской эры, бьет, как и прежде.

Забыв обо всем, Волгин любовался с детства знакомой картиной. Аралет неподвижно стоял на месте, повиснув в воздухе на высоте одного метра над землей.

Заметив внимание, с каким Волгин рассматривал здание музея, люди в аллее стали переходить на другую сторону, чтобы не загораживать собой вида. Между вишневым аралетом и собором образовалась пустота. Другие машины останавливались выше или позади их. Снова, как и на Аничковом мосту, собрались сотни людей.

И тогда Волгин наконец заметил это скопление.

— Так происходит всегда,— спросил он,— или это из-за меня?

— Думаю, что из-за тебя,— осторожно ответил Владилен, давно уже убежденный в этом.

— Конечно, из-за тебя,— сказала Мэри.— Все знают, что ты здесь, и всем известно, что ты больше не избегаешь людей.

Волгин обернулся.

Сотни глаз смотрели на него, сотни улыбок приветствовали его. Было ясно, что все эти люди искренне расположены к нему и рады его видеть.

Он поднял над головой руки со скрещенными пальцами — старый приветственный жест его времени.

Толпа ответила тем же. Гул голосов проник сквозь стенку машины.

— Может быть, ты скажешь им несколько слов? — обратился к нему Владилен.

— Не хотелось бы,— ответил Волгин.— Я никогда не умел говорить и, признаться, не люблю этого.

— Летим дальше? — спросила Мэри.

Она ничем не высказывала своего отношения к отказу Волгина, принимая его так же, как это делал Владилен и как они всегда принимали любые его решения, без тени недовольства или критики.

Они находились в воздухе уже несколько часов. Волгин видел, что Мэри устала. Ему хотелось еще долго-долго летать здесь, где когда-то находился его родной город, но нужно было подумать об отдыхе.

В Ленинграде не жил никто из тех современных людей, которых Волгин знал или о которых слышал. Он понимал, что был бы желанным гостем повсюду, что в любом доме его примут, как родного, но ему не хотелось никого беспокоить. Побыть одному, даже без своих теперешних спутников, которых он любил, было сейчас необходимо Волгину.

«Где же мы остановимся? — думал он.— Есть ли у них что-нибудь вроде гостиниц?»

Аралет быстро пролетел оставшуюся часть Невской аллеи. Волгин намеренно не обратил внимания на Дворцовую площадь: он знал, что неизбежно снова задержится на продолжительное время. Он прямо направил машину к площади Декабристов.

Он так и не спросил, стоит ли там по-прежнему Медный всадник, он был в этом совершенно уверен и хотел закончить сегодняшний осмотр именно в том месте.

И вот перед ним Нева. Водный простор, всегда казавшийся ему необъятным. Мучительно знакомые здания университета на том берегу — «Двенадцать коллегий», Дворец Петра Второго, Дом Меншикова. Ростральные колонны Томона и гранитная набережная Стрелки со спуском к Неве были те же. Не хватало здания Военно-морского музея.

А здесь, на этом берегу, все было то же. Как две тысячи лет тому назад, возвышалось здание исторического архива; за зеленью, как будто той же, что раньше, закрывало небо грандиозное творение Монферрана. Находился ли за ним памятник Николаю Первому, Волгин не видел. Стены Адмиралтейства замыкали площадь.

Аралет опустился на землю.

Волгин вышел из него и остановился перед чудесным памятником, простоявшим здесь уже двадцать один век, символом Ленинграда, во все времена известным всему миру.

Толпа окружила Волгина с трех сторон. Он не замечал никого. Из этой толпы, где только дети были ниже или одного роста с Волгиным, ни один не встал перед ним.

Люди редко носили в это время года головные уборы. Но если бы они были, толпа обнажила бы головы. Выражение лица Волгина заставило смолкнуть говор. Все, кто был здесь, сразу почувствовали, что в этом свидании человека двадцатого века с почти что современным ему произведением искусства особый, не известный им смысл.

По лицу Волгина катились слезы. Он не замечал и не вытирал их.

С острой болью почувствовал он в этот момент свое жуткое одиночество среди людей. Во всем мире не было человека, с которым он мог бы поделиться своими мыслями, нахлынувшими воспоминаниями, вновь проснувшейся тоской по прошлому. Все это были отдаленные потомки тех людей, уже потерявшие с ними прямую связь.

Нет, они не поймут его! Не могут понять!

Он повернулся и, как слепой, пошел к аралету, прямо на стоявших сзади него людей, которые поспешно расступались перед ним.

Он сел не на свое место, а позади, показывая этим, что не желает больше вести машину и предоставляет Мэри и Владилену свободу действий.

Аралет быстро поднялся и скрылся из глаз толпы.

Пожилой мужчина, близко стоявший от Волгина и успевший хорошо рассмотреть его лицо, сказал задумчиво:

— Несчастный человек! Я всегда считал, что опыт Люция жесток и ненужен.

— Почему несчастный? — возразил кто-то.— Он снова живет.

— Да, конечно. Но я лично не хотел бы быть на его месте.

Аралет летел быстро. Прошло несколько минут, и под ними снова показался современный Ленинград.

— Где бы ты хотел остановиться? — спросила Мэри.

— В гостинице,— ответил Волгин на старом русском языке.

Мэри и Владилен удивленно переглянулись. По сходству слов они поняли, что сказал Волгин, но этот ответ был бессмысленным для них.

Они ничего больше не стали спрашивать, а заговорили между собой о посторонних вещах, давая Дмитрию время прийти в себя. Минуты через три Мэри повторила вопрос.

— Где угодно,— ответил Волгин.— Там, где хотите остановиться вы. Только... лучше бы без людей.

— Ты устал? — ласково спросила Мэри.

Волгин вздохнул.

— Да, я устал. Я очень устал. Нет, я не голоден,— сказал он, предвидя следующий ее вопрос.— Впрочем, вы можете накормить меня, если хотите. Мне... все равно.

Мэри и Владилен вторично переглянулись. «Что с ним?» — взглядом спросила Мэри. «Не знаю, но он явно не такой, как всегда»,— так же молча ответил ей Владилен.

Волгин понял их немой разговор.

«Если бы здесь со мной были Ио, Люций или Муций, они поняли бы меня,— подумал он.— А эти двое... они слишком молоды».

Он чувствовал себя сейчас дряхлым стариком. Словно все тысяча девятьсот лет, промчавшиеся по Земле со дня его первой смерти, вдруг легли на его плечи тяжелым грузом.

Мэри снова поговорила с кем-то по карманному телеофу.

— Дом номер тысяча девятьсот четырнадцать по улице Волгина свободен,— сказала она.

— Как ты сказала? — спросил Волгин.— Улица Волгина? Кто он был, мой однофамилец?

— Почему однофамилец? — улыбнулась Мэри.— Это ты сам. Все прежние Герои Советского Союза имеют улицы своего имени в тех городах, где они родились... Есть улица...

— Улицы,— перебил Владилен, поняв, что хотела сказать Мэри,— носящие имена ученых, писателей, художников твоего времени.

— Мы не забываем людей, если они этого заслуживают,— добавила Мэри, понявшая, что едва не допустила непростительный промах.

Но Волгин хорошо понял, что хотела сказать девушка. Здесь в Ленинграде, была не только улица Волгина, но и Волгиной. Ведь Ирина тоже была Героем Советского Союза. И она также была уроженкой этого города.

Он улыбнулся грустной и смущенной улыбкой.

— Значит, Волгин поселится на улице Волгина. Любопытно. Но тут еще одно странное совпадение. Номер дома точно такой же, как год моего рождения.

— Тысяча девятьсот четырнадцать,— сказала Мэри.

Она знала это и раньше. Но, когда он так просто и естественно, вот так, сидя перед ней в современном костюме, такой обычный, совсем такой же, как все, сказал это, она вздрогнула. Названная ею самой цифра показалась вдруг совсем не обычной, не похожей на все другие цифры.

1914!

Не новой, а христианской эры!

Это был год РОЖДЕНИЯ этого человека, которого она запросто называла по имени... ее брата!

Кровь хлынула ей в лицо, и, охваченная сильным волнением, она отвернулась.

— Тем более это должно быть тебе приятно,— сказал Владилен.

— Да, конечно,— с оттенком иронии ответил Волгин.

Разумеется, тут не было ни совпадения, ни случайности. В городе знали, что рано или поздно Волгин будет здесь. Вероятно, этот дом давно ждет или его освободили сейчас, когда Волгин действительно прилетел сюда.

Подобных совпадений не бывает.

Но эти люди были правы. Ему было приятно их внимание. Только было бы еще приятнее поселиться на другой улице, носящей имя Ирины.

«Этого они не могли знать»,— подумал Волгин.

По тому, как уверенно Владилен привел аралет именно к этому дому, Волгин окончательно убедился, что был прав. Дом давно ждет его, предназначен для него, и не случайно он оказался свободным.

«Если бы это была улица Ирины»,— еще раз подумал Волгин, выходя из машины.

Здание выглядело очень своеобразно: не было видно ни одного окна. Огромная веранда, так же как в доме Мунция, была увита зеленью дикого винограда. Крыша плоская.

— В доме искусственное освещение? — спросил Волгин.

— Нет, почему? — удивленно ответила Мэри.— Обычное.

— Стеклянная крыша? — догадался Волгин.

— Нет. Крыша также обыкновенная. Это самый простой, обыкновенный дом. Такой, каких сотни тысяч.

Волгин замолчал. Новая загадка! Но через полминуты она должна была объясниться, не стоило расспрашивать.

Дом был больше, чем дом Мунция: вероятно, здесь было комнат десять или двенадцать.

В первой — обширной гостиной, дверь которой выходила на веранду,— их ожидал молодой человек лет тридцати. Его лицо показалось знакомым Волгину. Вглядевшись, он узнал Сергея, одного из помощников Ио и Люция, которого он часто видел в круглом павильоне на острове Кипр.

Комната оказалась залитой солнечным светом, свободно проходящим сквозь совершенно прозрачные потолок и наружную стену.

Но ведь только сейчас Волгин видел эту самую стену из сада, и она была совсем не прозрачной.

Ему захотелось выйти на веранду и посмотреть еще раз снаружи, но он удержался. Было ясно, что Мэри сказала правду и крыша, которая выглядела такой же прозрачной, как и стена, не стеклянная. Дом был выстроен из материала, пропускавшего наружный свет, но задерживавшего внутренний.

«Чересчур светло»,— подумал Волгин.

Вслух он ничего не сказал. Уже с хорошо усвоенной манерой внешнего равнодушия к непонятным ему явлениям, словно не видя здесь чего-либо загадочного, он обратился к Сергею:

— Здравствуйте! Я рад вас видеть.

— А я еще более,— ответил Сергей, обеими руками пожимая протянутую Волгиным руку.— Мне поручено встретить вас и познакомить с домом.

— А разве вы живете в Ленинграде? — лукаво спросил Волгин.

Молодой человек смутился.

— Я живу в Москве,— ответил он.— Но это так близко. Мы думали, что вам будет приятнее увидеть знакомого.

— И вы были правы,— серьезно сказал Волгин.

— Я покажу вам все и удалюсь.

— Побудьте с нами.

Волгин не мог сказать иначе. Прежние представления о вежливости крепко держались в нем.

Но, к его большому облегчению, Сергей отказался, сказав, что рад будет прийти завтра.

— Вам надо хорошенько отдохнуть,— прибавил он.— Слишком много новых впечатлений.

— Да, вы правы,— со вздохом согласился Волгин.

Он жаждал полного одиночества. Побыть наконец наедине с самим собой, собраться с мыслями, разобраться во всем, что он видел.

Его нетерпение было столь очевидно, что Мэри сразу предложила осмотреть дом позже, а сейчас разойтись для отдыха.

Сергей тотчас же повел их внутрь.

— Вот эту комнату мы предназначили для вас,— сказал он, останавливаясь перед дверью в левом крыле здания.— Но если вам не понравится...

— Уверен, что понравится,— ответил Волгин.— Благодарю вас.

Он повернулся к двери. Она открылась перед ним, как всегда, будто сама собой, и Волгин вошел. Дверь закрылась.

Он слышал удаляющиеся шаги. Наконец-то он один!

Комната была большая, обставленная с обычным комфортом. Потолок не был прозрачным, а сквозь стену, выходящую в сад, проникали неяркие лучи солнца, смягченные ветвями деревьев.

Взгляд Волгина остановился на противоположной стене.

Вздрогнув, он стремительно подошел ближе, не веря своим глазам. Охваченный адруг сильнейшим волнением, ошеломленный и недоумевающий, он стоял перед тем, чего никак нельзя было ожидать увидеть.

Написанный масляными красками, на стене висел портрет Иры!

Волгин хорошо знал, что такого портрета не было раньше. Ирина не любила даже фотографироваться и никогда не позировала художнику.

Откуда же взялся этот портрет, кто и когда написал его?

То, что картину повесили в его комнате, доказывало, что портрет действительно Иры, а не похожей на нее женщины.

Это была она!

...Шли дни. Волгин все откладывал и откладывал отлет из Ленинграда. Он никак не мог решиться расстаться с местом, где когда-то находился его родной город,— Октябрьским парком. С Владиленом или Мэри, а чаще всего один он каждое утро садился в аралет и отправлялся к берегам Невы. Оставив машину где-нибудь недалеко от Медного всадника, откуда он всегда начинал свои странствования и куда возвращался вечером, чтобы лететь домой, он бродил по «знакомым» местам, разыскивая следы былого.

Так он нашел место, где стоял дом, в котором он родился и вырос. И ему показалось, что одно из гигантских деревьев, росшее там,— то самое, что росло прежде во дворе. Место, где до замужества жила Ира, он также отыскал в густой чаще. Владилен достал ему план парка, но и без плана Волгин легко ориентировался в лабиринтах аллей, казавшихся ему прежними улицами, по которым он так часто ходил в своей первой жизни.

Почти на каждой аллее Волгин встречал хорошо знакомое. Зданий, имевших историческую или архитектурную ценность, в Ленинграде всегда было очень много, и все они тщательно сохранялись.

Иногда Волгин совершал длительные прогулки по Неве и ее многочисленным рукавам. Аралет скользил по воде быстро и беззвучно. Только плеск рассекаемых волн и длинные полосы пены, расходившиеся в стороны от острого носа, напоминали, что воздушный аппарат превратился в лодку.

Все эти дни стояла прекрасная погода, небо было безоблачно. Волгин знал, что это делалось вопреки расписанию специально для него. Календарь был нарушен, вероятно, впервые за много лет.

Октябрьский парк всегда был полон людьми. Было очень много детей. Волгина замечали сразу, но ни разу больше возле него не собиралась толпа, как это случилось в первый день его прилета в Ленинград. Распорядился ли об этом кто-нибудь или это явилось следствием свойственной людям новой эры чуткой деликатности, изменившей им один-единственный раз, Волгин не знал.

Он видел, что на него смотрят с любопытством, но не навязчиво. Многие улыбались ему или приветствовали дружеским жестом.

Это внимание не было ему неприятно.

Иногда Волгин спрашивал, как пройти к тому или иному месту. Ему отвечали вежливо и просто, ничем не показывая, что спрашивающий — человек необычный.

Он видел, что люди были бы рады поговорить с ним, но никто не делал ни малейшей попытки завязать разговор. Инициативы ждали от Волгина.

А он сам никак не мог заставить себя заговорить с ними о чем-нибудь постороннем. Ложный страх поставить себя в смешное положение, показаться невежественным дикарем не оставлял Волгина.

И люди, казалось, хорошо понимали это.

Волгин отлично знал, что его опасения неосновательны. Никто никогда не улыбнулся бы его «невежеству»: оно было слишком естественно и понятно.

Он понимал это, но все же чего-то боялся.

Каждый день он решал, что сегодня обязательно познакомится с кем-нибудь, но каждый раз возвращался домой, не выполнив этого решения.

Даже с Мэри и Владиленом он говорил не обо всем. Он «отводил душу» только в редких беседах с Люцием по телеофу. Своего отца Волгин не стеснялся и мог говорить с ним свободно.

Окружающие замечали, что характер Волгина начинает портиться. Все явственнее проступали признаки тоски по прошлому. Он сам видел это.

Комфорт в доме все чаще раздражал его. Иногда ему мучительно хотелось своей рукой повернуть кран умывальника, самому открыть дверь. Он попросил Владилена вызвать механика и выключить автомат в своей спальне. Это было тотчас же исполнено, и Волгин с удовольствием убирал комнату и стелил постель. Он был бы не прочь вообще убрать все автоматы в доме, но сдерживался, не желая доставлять неудобства Мэри и Владилену.

А они оба скучали в этом вынужденном безделье. Пребывание в Ленинграде становилось томительным. Они с нетерпением ждали,

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА.

когда, наконец, Дмитрий решит продолжать путешествие.

Они видели, что Волгин день ото дня становится все более мрачным и раздражительным, и с тревогой сообщали об этом Люцию.

Но даже Люций не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь Волгина.

Так прошло две недели.

Сергей все еще не улетал домой. Волгин приписывал это желанию быть возле него, но в действительности дело обстояло иначе. Сергей, выполняя просьбу Люция, следил за здоровьем Волгина и регулярно информировал о нем как Люция, так и Ио.

Внешне Волгин был совершенно здоров. Благодаря антигравитационному поясу он не чувствовал никакого утомления, исходив за день десятки километров. Он возвращался домой свежим и бодрым. Для поверхностного взгляда все обстояло благополучно.

Но Сергей был не просто медиком. Он являлся одним из лучших учеников выдающегося врача — Ио. И он видел, что за внешним здоровьем Волгина таится прогрессирующая болезнь.

Медицина тридцать девятого века первое и главное внимание уделяла душевному состоянию человека. Малейшее расстройство нервной системы расценивалось как признак, требующий врачебного вмешательства. А у Волгина эти признаки проявлялись все чаще.

— Он должен уехать отсюда и как можно скорей! — категорически потребовал молодой ученый при очередном разговоре с Люцием.— Вы один можете воздействовать на него.

— Хорошо, попробую поговорить с ним,— ответил Люций,— но вы не подавайте и виду, что заметили что-нибудь неладное. Пусть Дмитрий считает себя здоровым.

— Физически он здоров,— вздыхал Сергей.— Ему вреден именно Ленинград и только Ленинград. Как только он покинет его, все придет в норму.

Люций был согласен с этим выводом. Ио также разделял мнение своего ученика. Мэри и Владилен думали о том же.

И все четверо ошибались.

Причиной раздражительности и мрачного настроения Волгина был не Ленинград. На новый и незнакомый ему город он не обращал большого внимания, а Октябрьский парк ему нравился. Ведь все наиболее памятные места сохранились в неприкосновенности.

Само по себе место, где был Ленинград, хотя и вызывало мысли о прошлом, но не могло послужить причиной усиливающейся тоски.

Этой причиной был портрет Иры, висевший в его комнате.

Здесь была допущена большая ошибка. Чуткость изменила Люцию, по просьбе которого был написан этот портрет с бюста, стоявшего в шестьдесят четвертой лаборатории. Он думал доставить радость своему сыну, но не учел, что этим портретом близкого человека подчеркнул и обострил одиночество Волгина в новом мире.

Никто не знал, какое потрясающее впечатление произвел на Волгина этот неожиданный подарок, как тяжело и трудно было ему видеть его ежедневно.

Каждый вечер Волгин долго стоял перед картиной, всматриваясь в любимые черты. Они были не совсем такие, как в его памяти. Ведь портрет был написан не с оригинала.

Это была Ира, но в то же время не совсем Ира, и различие, легко находимое Волгиным, еще больше угнетало его. Если бы она была «как живая», ему было бы легче.

Благодаря этой картине он каждый день целиком погружался в прошлое, и настоящее становилось ему все более чуждым.

Если бы Люций знал это, то постарался бы любым способом изъять портрет из комнаты Волгина, исправить допущенный промах. Но было уже поздно: Волгин ни за что на свете не согласился бы расстаться с ним.

Он привык к портрету, доставлявшему и боль и радость.

Волгин решил найти художника, писавшего картину, и попросить

его изменить отдельные детали и выражение лица на портрете, которое совсем не соответствовало характеру Ирины. Она никогда не была такой — замкнувшейся в «учености», строгой жрицей науки, какой изобразил ее на полотне этот художник.

Одна из этих деталей особенно была неприятна Волгину. На сером платье Иры блестела Золотая Звезда Героя.

«Неужели они не могли узнать подробности ее жизни? — думал он с досадой.— Ведь она никогда не носила звезды. Она была награждена посмертно!»

Звезда на груди Ирины, совершенно такая же, какую носил постоянно сам Волгин, подчеркивала разницу между ними. Она умерла, погибла, не зная, что удостоена высочайшей награды, а он живет, и весь мир чтит его, как героя былых времен.

Она умерла, а он жив!

Эта мысль постепенно становилась невыносимой для Волгина.

Своим поступком, вызванным самыми лучшими чувствами, Люций достиг того, чего и он и Ио боялись больше всего,— разбудил в Волгине неутихающую тоску, которую теперь нельзя уже было исцелить.

Но сейчас Люций даже не подозревал об этом.

Однажды, когда соскучившийся Волгин вызвал его по телефону, Люций, как бы между прочим, спросил его, думает ли он когда-нибудь продолжать путь. Вопрос был задан в шутливом тоне, и Волгин не заметил ничего необычного в этом вопросе.

— Да,— ответил он,— на днях я думаю перелететь в Москву. Мне трудно расстаться с Ленинградом.

— Тебе тяжело?

— Нет, не тяжелее, чем будет в любом другом месте. Мне хорошо было в доме Мунция,— вырвалось у Волгина.— Там я был иногда даже счастлив.

Люций пытливо посмотрел на сына.

— Ты хочешь сказать, что чувствуешь себя несчастным?

— Не то что несчастным, но очень одиноким. Мне не хватает товарища, хорошо понимающего меня спутника. Такого, который мог бы понять и разделить мои чувства. Мэри и Владилен — чудесные люди, я их очень люблю, но... они не всегда способны понять меня. Ведь они так безмерно моложе меня. Все любят,— тоскливо продолжал Волгин,— все заботятся, все окружают меня вниманием. А когда все люди кругом друзья, настоящего друга нет. Ты знаешь,— прибавил он с улыбкой,— иногда меня раздражает внимательное ко мне отношение.

— Ты соблюдаешь предписанный мною режим? — неожиданно спросил Люций.— Делаешь волновое облучение?

— Ты думаешь, что у меня нервы не в порядке? Возможно, что это так. Да, я выполняю все. Очень аккуратно. Это может подтвердить Владилен.

Волгин сказал это машинально. Он знал, что Люцию и в голову не может прийти усомниться в его словах.

— Советую тебе уехать из Ленинграда,— сказал Люций.— Незаметно для тебя самого родные места влияют на тебя.

— Не думаю, чтобы это было так,— ответил Волгин.— Но я уеду и очень скоро.

И он действительно сказал на следующее утро Мэри и Владилену, что пора отправляться дальше.

Молодые люди обрадовались.

— Когда же мы улетаем? — спросила Мэри.

— Завтра. Сегодня я в последний раз слетаю в парк. А завтра в Москву! Не бойтесь, там я не задержусь так долго, как здесь. Наше путешествие пойдет быстро.

— Мы не торопимся,— сказал Владилен.— Задерживайся, где хочешь и на сколько хочешь.

Волгин сказал Мэри, что Золотая Звезда на груди Иры раздражает его, и объяснил почему. На следующее утро он не увидел этой звезды. Она была закрашена и с таким искусством, что нельзя было заметить ни малейшего следа.

— Кто это сделал? — спросил Волгин.

— Я,— ответила Мэри.— А что, разве плохо?

— Наоборот, очень хорошо. Так ты, значит, художница?

— Ничуть. Я училась рисованию, как все, и не обладаю способностями.

Несомненно, она говорила правду. Но работа была выполнена с большим мастерством. Складки платья выглядели нетронутыми, будто на этом месте никогда ничего не было. Чувствовалась талантливая рука.

Ответ Мэри заставил Волгина задуматься.

Она говорила искренне, в этом не было никакого сомнения. И с точки зрения современных людей она действительно не обладала художественными способностями. Мэри во всем была обычной, рядовой женщиной. Но был случай, когда Волгин попросил Владилена исполнить обещание и спеть. Молодой астроном тотчас же согласился, и вдвоем с Мэри они исполнили сцену из старой (написанной через тысячу лет после смерти Волгина) оперы. Сила и красота голоса Владилена не удивили Волгина, он заранее знал, что услышит одного из лучших певцов века, но Мэри!.. Она пела так, что в любом театре двадцатого века могла быть выдающейся примадонной. А вместе с тем она считала — и это подтверждали другие,— что у нее нет и не было вокальных способностей.

Значит, так петь и рисовать могли все.

Это было нормой для людей тридцать девятого века.

Волгин вспомнил рисунки древних египтян, они выглядели работой детей. Но их рисовали не дети, а художники Древнего Египта, особо одаренные люди.

Да, подход к понятию «талант» изменился. Способности человека совершенствовались вместе с его общим развитием. Такого голоса, каким обладал Владилен, не было и не могло быть прежде. А Мэри казалась всем самой обыкновенной женщиной, «умеющей петь», и только.

Волгин вспомнил детскую книгу о технике, которую он так и не смог одолеть. Это было явление того же порядка. Для детей этого времени непосильная ему книга, безусловно, была легкочитаемой, в противном случае она не была бы написана для них.

И, думая об этом, Волгин впервые почувствовал тревогу. «А смогу ли я догнать их? — подумал он.— Что, если передо мной все-таки не мост, а непреодолимая пропасть?»

В этот день он так и не вернулся к вечеру из Октябрьского парка. Всю ночь он бродил по аллеям, любуясь наиболее памятными ему зданиями при свете луны.

Обеспокоенная Мэри связалась с ним по телеофу, но, узнав причину опоздания, как всегда, не возразила ни слова.

Уже под утро Волгину захотелось в последний раз прокатиться по Неве. Поднявшись по реке до здания Смольного, он повернул назад и направил аралет к Финскому заливу.

«Надо посмотреть на Кронштадт,— решил он,— ведь я еще не видел, что стало с этим островом».

Аралет плавно и быстро шел вперед. До Кронштадта было минут пятнадцать пути. Волгин поудобнее устроился в мягком кресле.

Равномерный шум рассекаемой воды действовал усыпляюще, и, утомленный бессонной ночью, Волгин незаметно заснул.

Он открыл глаза, когда уже наступил день. Кругом не видно было никаких признаков берегов.

Волгин находился в открытом море.

В аралете, по-прежнему мчавшемся вперед, было жарко и душно. Волгин отодвинул стекло, но сильный ветер заставил тут же задвинуть его. Тогда Волгин остановил машину.

Она закачалась на волнах. Море было хмуро и неспокойно. Но это не смущало Волгина: в любую минуту он мог подняться в воздух.

Сколько же времени он спал?

Часов у Волгина не было. Они давно вышли из употребления, люди узнавали время с помощью телеофа. Для этого достаточно было слегка нажать на верхнюю крышку. Автоматический голос называл час и минуту. Это происходило совсем так же, как в двадцатом веке с помощью телефона АТС. Только телеоф всегда находился в кармане, вполне заменяя часы.

Волгин узнал, что уже половина одиннадцатого.

Значит, он спал более пяти часов. Он хорошо помнил, что вернулся к аралету около пяти утра.

Где же он?

За пять часов аралет на полной скорости мог уйти очень далеко. Правда, по воде он двигался медленнее, чем в воздухе, но все же неизмеримо быстрее самых быстроходных глиссеров.

Прежде чем заснуть, Волгин направил машину к Кронштадту. Она давно миновала его, автоматически обогнув остров. Куда же помчалась она дальше?

Волгин знал, что предоставленный самому себе аралет в воздухе летел прямо, по заданному направлению. Но на воде он вел себя, как любая лодка. Ветер и течение могли изменить курс.

«Неужели меня занесло в Балтийское море?» — подумал Волгин.

Он не мог определить, где север, а где юг. Солнца не было видно за тяжелыми тучами. В Ленинграде для Волгина поддерживали ясную погоду, а здесь, очевидно, было место, куда направляли облака.

Они нависали низко. Значит, подняться и сверху попытаться увидеть землю было бесполезно. Куда же направить аралет?

Волгин не испытывал никакого волнения и нисколько не боялся. В его распоряжении находилась надежная и «умная» машина.

Его только тревожила мысль о Мэри и Владилене. Они должны были очень беспокоиться.

«Надо сообщить им и заодно посоветоваться».

Он снова вынул телеоф и тут только вспомнил, что не знает номера ни Владилена, ни Мэри. Ему не приходилось самому связываться с ними, они сами вызывали его до сих пор.

Ему говорили, что любой индекс и номер можно узнать в справочной. Но как вызвать ее? Этого он также не знал.

«Не беда! Я сообщу Люцию, а он передаст им»,— успокоил себя Волгин.

Телеоф был в полной исправности, но проходили минуты, а Люций не откликался. И тогда Волгин вспомнил то, что не мог сообразить сразу. Работая в своей лаборатории, отец имел привычку прятать телеоф в ящик стола, чтобы чей-нибудь случайный вызов не помешал производимому опыту. Конечно, Люций в лаборатории и не может услышать тихое гудение прибора.

«Неприятная история»,— подумал Волгин.

Он решительно поднял машину в воздух. Повернув ее на сто восемьдесят градусов, он полетел наугад.

Для аралета любой берег Балтийского моря находился не очень далеко. Через несколько минут Волгин должен был достигнуть земли. А там всегда попадется какой-нибудь дом, в котором есть люди, и все будет в порядке.

Его не удивило, что Мэри и Владилен не вызывают его. Наверное, они делали это все утро и, не получая ответа, вообразили бог весть что. Вероятно, сейчас в Ленинграде множество людей заняты поисками пропавшего аралета.

Волгин хмурился, думая об этой тревоге, вызванной им. Не следовало уплывать в море, будучи сильно утомленным. Кронштадт можно было осмотреть когда угодно.

За весь вчерашний день Волгин так и не ел ничего, и теперь голод давал себя чувствовать.

Внизу показался остров. Подлетев ближе, Волгин понял, что ошибся: это был не остров, а судно, очень большое, неподвижно стоявшее среди моря. На нем не было ни мачт, ни труб, потому он и показался сперва небольшим островком.

На палубе было много людей. Они махали руками, точно подавая сигналы. А может быть, просто приветствовали его.

Волгин решил, что верно последнее, и пролетел мимо.

(Продолжение следует.)

Встреча через века

Г. МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА.

Продолжение. Начало см. №№ 17—20.

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Но через несколько секунд с палубы судна сорвался арелет и быстро догнал Волгина. Человек, сидевший в машине, делал выразительные жесты, могущие означать только одно: он требовал, чтобы Волгин вернулся назад.

В чем дело? Вряд ли этот человек мог знать, что в вишневом арелете находится именно Волгин. А если и знал, то почему требовал возвращения? Это было не похоже на обычное поведение людей этого времени.

Волгин подчинился. Вероятно, были серьезные причины не позволить ему лететь дальше.

Вслед за маленьким одноместным арелетом он опустился на палубу судна.

Подошел высокий пожилой человек, одетый в непромокаемое платье, как будто из кожи. Выражение его сурового лица было хмуро.

Как только Волгин отодвинул стекло, этот человек сказал довольно резко:

— Куда вы летите? Разве вы не знаете, что в этом районе нельзя летать на арелете?

Он замолчал, пристально вглядываясь в лицо Волгина. Хмурое выражение сменилось крайним удивлением.

— Что такое? Уж не Дмитрий ли Волгин? — Он улыбнулся так добродушно, что сразу потерял весь свой суровый вид.— Так вот вы где оказались! А в Ленинграде не знают, что и думать о вашем исчезновении. В чем дело? Куда вы направились?

Человек двадцать членов экипажа судна столпились возле арелета.

— Вот так подвезло! — наивно и весело сказал кто-то.

Волгин вышел из машины.

— Я очень голоден,— сказал он.— Надеюсь, вы меня накормите?

— Но как вы сюда попали?

Волгин рассказал о своем приключении. Общий смех был ответом на его слова. Волгин и сам смеялся. Ему стало хорошо и спокойно среди этих людей, видимо, искренне к нему расположенных. Эпизод был исчерпан, через несколько минут Мэри и Владилен узнают, где он находится, и перестанут волноваться. Все успокоятся.

— Но почему вы не назвали первый попавшийся индекс и номер? Всегда мог найтись владелец этого номера и ответил бы вам.

— Не сообразил.

И снова все рассмеялись.

В их смехе не было ничего обидного для Волгина. Точно так же они посмеялись бы, случись подобное нелепое происшествие с кем-нибудь другим.

Человек в кожаном платье оказался командиром этого судна.

— Идемте в каюту,— сказал он.— Я вас накормлю, и надо сообщить о вашем местонахождении.

Волгин ожидал, что на этот раз Мэри и Владилену изменит их всегдашняя выдержка и они, по крайней мере, выскажут свое возмущение. Но этого не случилось.

— Когда тебя ждать? — спросила Мэри как ни в чем не бывало. Ее голос был спокоен и ровен.

— Сейчас я узнаю.

Командир судна на вопрос Волгина ответил, что отсюда до Ленинграда минут восемь полета.

— Ждите меня домой через полчаса,— сказал Волгин.— Раз я попал сюда, то немного побуду здесь.

— Ты хотел лететь в Москву не позже одиннадцати,— заметила Мэри.

— Что поделаешь! Не сердитесь на меня.

Мэри засмеялась, и разговор окончился.

За завтраком Волгин узнал причину своего «задержания».

Судно было филиалом Ленинградской станции погоды. Одним из трех. Еще два точно таких же судна стояли по углам большого треугольника, в самой середине Балтийского моря, южнее бывшего Рижского залива.

Время от времени нужно было разряжать накапливающееся в атмосфере электричество — излишки используемого для практических целей. Для этого и предназначались эти суда. Мощные установки на них притягивали, концентрировали в одно место грозовые тучи с огромной площади, и в центре треугольника разражалась чудовищная по своей силе гроза. Ни один арелет не смел приближаться к этому месту. Увидев на море судно станции, пилот тотчас же поворачивал обратно и облетал это опасное место на весьма почтительном расстоянии.

— Вы летели прямо в центр треугольника,— сказал командир судна (он же был старшим инженером станции).— Сперва мы подумали, что пилот машины заснул. Но когда арелет не послушался сигнала опасности, мы поняли, что вы не спите. Не обижайтесь, Дмитрий, но я решил, что в машине летит безумец.

— Так и должно было быть,— ответил Волгин.— Иначе вы не могли подумать. Но что бы произошло, если бы я все-таки пролетел дальше? Ведь я мог лететь выше облаков или в самих облаках.

— Выше опасности нет. А в облаках машина не укрылась бы от наших локаторов. В ста километрах отсюда происходит разряд. Ваша машина сгорела бы в огне молний.

Волгина интересовало, как поступают на станции в случае опасности для кого-нибудь, и он спросил снова:

— Хорошо. Но если бы я все-таки полетел дальше, как бы вы поступили?

Инженер улыбнулся.

— Наша станция,— сказал он,— прямо связана со всеми энергетическими установками, расположенными в круге радиусом в шесть тысяч километров. Это наш район. Установки для концентрации туч требуют огромного расхода энергии. Когда происходит разряд, в наших руках управление всеми этими энергетическими станциями. Если бы мы увидели, что вы не сворачиваете с пути, пришлось бы разом отключить подачу энергии по всему району. Ваша машина опустилась бы на воду. Так же и все остальные, которые находятся в нашем районе, совершили бы вынужденную посадку.

Волгин протянул руку своему собеседнику.

— Спасибо за мое спасение,— сказал он смущенно.— И извините меня за то, что я чуть было не причинил большой неприятности.

— Но ведь вы этого не сделали,— добродушно сказал инженер.

— Мог сделать.

— Нет, не могли. Вы человек военный и, значит, дисциплинированный.

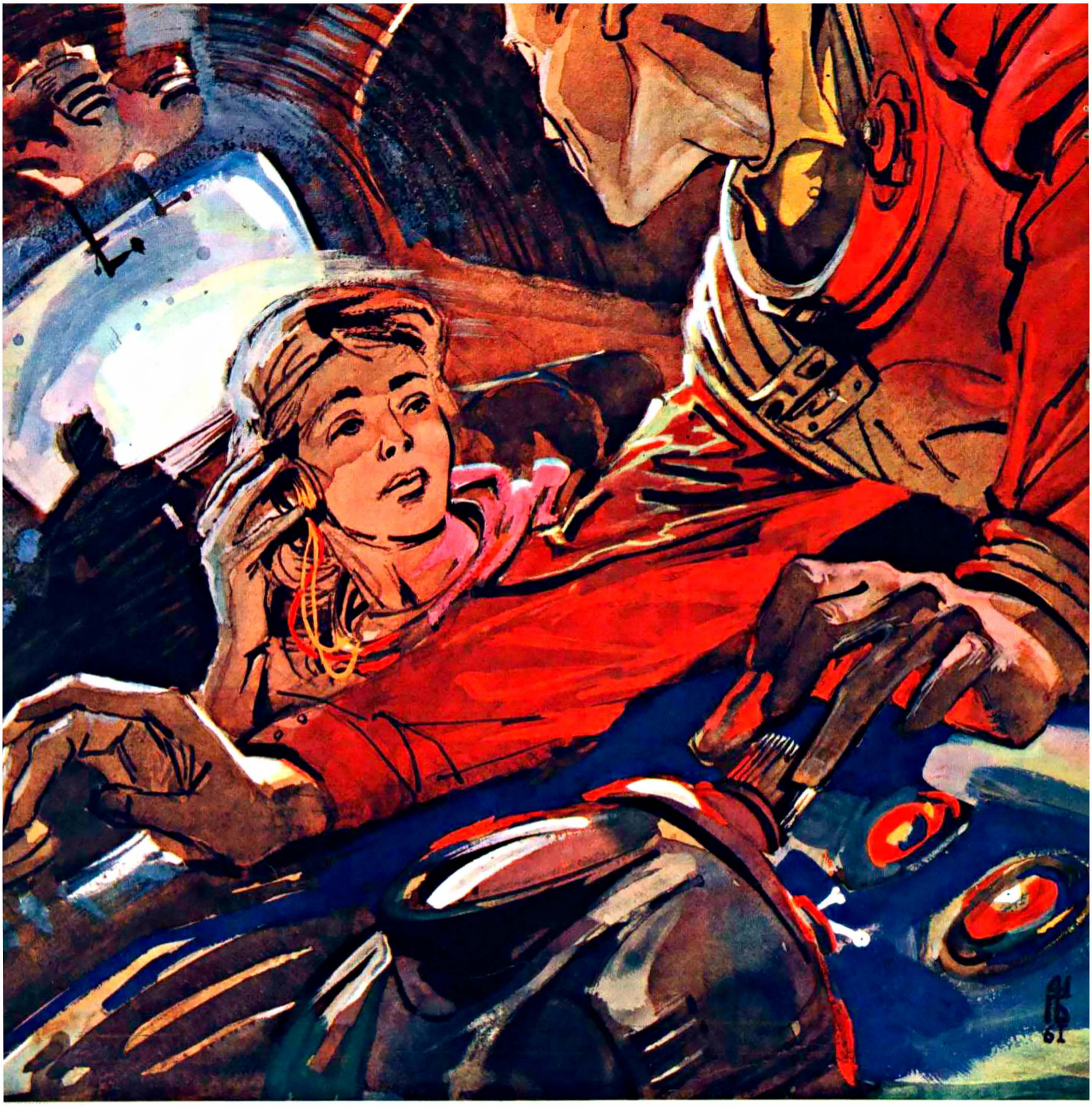
Слово «военный» он произнес по-русски. На современном языке этого слова не было.

— Вы знаете наш язык? — удивился Волгин.

— Нет, не знаю. Но я слушал выступление Мунция, который рассказал о вас всем людям, и запомнил это слово. Оно похоже на слово «война». Его легко запомнить.

Волгин первый раз слышал о выступлении своего «деда».

«Что ж, это естественно,— подумал он.— Они должны очень интересоваться мною».



— А откуда у вас слово «война»? Ведь у вас давно нет войн.

— Оно известно из курса истории.

— И все же,— сказал Волгин задумчиво,— вы неправильно поняли Мунция. Я не был военным по профессии. Я стал им только во время войны. Вероятно, я задерживаю вас? — прибавил он, вспомнив, что сейчас на судне рабочая пора.

— Да, лучше мне вернуться наверх,— с обычной откровенностью ответил инженер.— Я хотел бы поговорить с вами о многом.

— Как-нибудь в другой раз. Я рад буду, если вы навестите меня. Кстати, я до сих пор не знаю вашего имени.

— Меня зовут Дмитрий, как и вас. И мне это очень приятно.

Они вышли на палубу.

Все взгляды тотчас же устремились на Волгина. Но люди не подходили к нему и явно старались рассматривать его незаметно.

Он вспомнил чью-то фразу, что его появление на судне — удача для экипажа. Конечно, они все интересовались им и не надеялись увидеть вблизи. То, что произошло,— это действительно счастливый случай для них. Не каждый день появляются на Земле воскресшие люди.

— А нельзя ли,— спросил Волгин у своего спутника,— увидеть район грозы, то место, куда я летел?

— Почему же? Пройдемте на пост наблюдения.

Они спустились по другой лестнице и вошли в полукруглую каюту, посередине которой стоял также полукруглый стол. Он был сплошь заполнен бесчисленным количеством кнопок и приборов. На потолке ровно горели или непрерывно мигали разноцветные лампочки.

У стола в напряженных позах сидели три человека. Они оглянулись на вошедших, но тотчас же снова повернулись к стене, где находился очень большой экран. Очевидно, работа не позволяла отвлекаться.

Волгина оглушил неистовый грохот. Было совершенно непонятно, почему этот шум не слышен не только на палубе, но и у самых дверей каюты.

Он тотчас же понял, что грохот — это раскаты грома, могучего и

почти непрерывного грома, идущего от места, где бушевала гроза, в ста километрах отсюда.

Экран казался отверстием в стене. В его глубине творился хаос из воды и огня. Эта гроза, являвшаяся суммой всех гроз, собранных с площади диаметром в двенадцать тысяч километров, не имела ничего общего с самыми сильными грозами, которые приходилось когда-либо наблюдать Волгину. Это было падение в море сплошной массы огненной лавы. Молнии сливались друг с другом, и потоки воды были окрашены в желто-красный цвет.

«Как много электричества в воздухе!» — подумал он, вспомнив слова своего тезки, что все это только излишки атмосферного электричества, подавляющая часть которого шла на полезную работу.

Волгин даже вздрогнул, вспомнив, что совсем недавно летел прямо в этот хаос, и если бы не персонал станции...

Ему хотелось еще раз выразить свою благодарность за спасение, но говорить здесь было совершенно невозможно.

Инженер дотронулся до плеча Волгина и знаком предложил выйти отсюда. Волгин последовал за ним.

Как только дверь закрылась, грохот прекратился, сменившись полной тишиной. Звукоизоляция была, очевидно, совершенной.

— Теперь я понял, какой опасности подвергался! — сказал Волгин.— Еще раз спасибо!

— Вы увидели бы грозу,— ответил инженер,— и свернули бы в сторону. Но все же приближаться к ее району очень опасно. Бывает, что группы молний выходят из повиновения и уклоняются в сторону. Что еще хотели бы вы увидеть?

— Если можно, хотел бы посмотреть, что представляют собой ваши установки для сбора туч.

— Вот этого как раз и нельзя.— В голосе инженера слышалось сожаление.— Входить в помещение, где они расположены, во время их работы не менее опасно, чем лететь в полосу грозы. Они будут работать еще долго.

— Тогда я покину вас. Будем надеяться, что мне еще представится случай осмотреть их.

— Если не у нас, то на любой другой станции. Мне хотелось бы, чтобы вы приехали к нам.

— Обещаю, что приеду,— сказал Волгин.

Он чувствовал, что люди, находящиеся на судне, ждут от него какого-нибудь знака внимания. Кроме того, ему хотелось лично поблагодарить того человека, который догнал его на арелете и вернул обратно. И он попросил командира познакомить его с членами экипажа.

— Все наверху,— ответил тот,— кроме трех, которых вы видели на посту. Но они не могут покинуть его.

— Вы передадите им мой привет.

С каждым работником станции Волгин обменялся крепким дружеским рукопожатием. Трое не удержались и обняли Волгина.

Так произошло его первое, непредвиденное и случайное, близкое соприкосновение со своими новыми современниками. С этого момента Волгин сбросил наконец стесняющее его чувство обособленности. Он стал обычным человеком, таким, каким был всегда,— любящим людей и их общество.

Он сел в свой арелет, и инженер Дмитрий объяснил ему то, чего Волгин еще не знал,— как пользоваться указателем направления. Он и раньше видел маленькую светящуюся зеленую точку на крохотном щитке, но ни разу не спрашивал, что это такое.

По указанию инженера Волгин соединился с Мэри и попросил ее дать пеленг. Зеленая точка сразу вспыхнула.

— Теперь летите прямо,— сказал ему командир судна.— Арелет сам приведет вас к тому месту, где находится телеоф вашей сестры, а следовательно, и она сама. Когда вы будете близко, зеленая точка превратится в красную. Тогда смотрите вниз и выбирайте место посадки.

— До свидания, друзья! — сказал Волгин.

Он видел на всех лицах грустные улыбки, и ему стало вдруг жалко покидать этих людей, которых он совсем не знал.

Арелет плавно поднимался.

Вскоре станция исчезла из виду.

Зная, что машина летит правильно и что его вмешательства в управление ею не требуется, Волгин отдался своим мыслям.

Он думал о карманном телеофе. В этой маленькой коробочке, такой невзрачной с виду, помимо телефона и часов, находилось още и пеленгационное устройство для арелетов. Что еще может в ней заключаться?..

Сможет ли он понять когда-нибудь всю «чудовищную» технику этого века? Технику, столь отличную от прежней.

«А ведь и прежнюю-то технику я почти не знал»,— опасливо думал Волгин.

Зеленая точка превратилась в красную, когда арелет был уже над Ленинградом. Посмотрев вниз, Волгин легко нашел свой дом. Опускаясь, он с удивлением увидел на веранде Люция.

Неужели он бросил работу и примчался в Ленинград, узнав об исчезновении своего сына? Какой же переполох учинил он своим легкомыслием!

Волгин готов был выслушать любой выговор от своего отца. Хорошая головомойка была вполне заслужена.

Опустив арелет у самой веранды, Волгин вышел из машины.

Люций, Владилен и Мэри бросились ему навстречу.

Но они и не думали упрекать Волгина. Совсем другая причина заставила их нетерпеливо ожидать блудного сына и брата.

И то, что Люций тут же сообщил ему, было так неожиданно, так волнующе необычайно, что Волгин сперва не поверил.

А когда убедился, что ему говорят правду, почувствовал буйную, всепоглощающую радость.

И, не в силах сдержать ликующий восторг, схватил Мэри и пустился с нею в дикий танец.

Люций и Владилен смеялись. Они радовались за Волгина, понимали и разделяли его чувства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Волны золотистых волос падали на плечи, обтянутые коричневой кожей комбинезона. Девушка задумчиво смотрела на экран. Лучи Солнца были еще слабы, и не нужно было надевать защитные очки, чтобы смотреть на него.

Темная бездна по-прежнему окружала корабль. Немигающие точки звезд не притягивали к себе внимания, как восемь лет тому назад. Только одна звезда изменила свой вид, не казалась больше т чкой, не имеющей размера, а сияла крохотным диском. Эта звезда была Солнцем — старым знакомым Солнцем, под светом которого прошла вся жизнь.

Вся, кроме последних восьми лет.

Девушка смотрела прямо на Солнце, не мигая, не отводя взгляда, уже около часа.

У нее были большие, совсем черные глаза с длинными ресницами, над которыми в смелом полете изгибались черные брови. Это создавало странный контраст с цветом ее волос.

Она сидела в кресле перед пультом, искрящимся бесчисленными огоньками разноцветных сигнальных ламп. Едва слышный шелест, различный по высоте и тону, исходил от многочисленных приборов пульта. Создавалось впечатление, что в помещении рубки играет тихая музыка. Иногда в нее вмешивалась певучая нота, короткая, как вскрик, или длинная, постепенно замирающая. Точно песня, исполняемая под аккомпанемент шелестящего оркестра.

Девушка не обращала внимания на эти звуки. Она ловила их, машинально отмечая, что ничего тревожного нет, все в порядке.

За восемь лет она привыкла к пению приборов. Оно сопровождало весь путь корабля, не стихая ни на минуту даже тогда, когда корабль стоял на поверхности посещенных им небесных тел. Приборы никогда не выключались. Этого нельзя было сделать. Остановить их могла только катастрофа, последняя и непоправимая.

Восемь лет назад девушка не обладала еще непоколебимым спокойствием, присущим ей сейчас. Она с замиранием сердца думала о возможности катастрофы не боялась ее, а именно думала о ней с тревожным любопытстзом.

Человек боится смерти, когда не хочет расставаться навсегда с любимыми людьми. У девушки не было любимых и близких. Они все умерли давным-давно, все сразу, за те короткие месяцы, так быстро промелькнувшие, когда корабль вступил во второй год полета.

Она и ее товарищи пережили тогда тяжелые дни.

Нет, они не жалели ни о чем! Они знали, на что пошли, и малодушию не было места в их мужественных сердцах. Они просто грустили, по-человечески грустили о безвозвратном прошлом. Каждое мгновение уносило их все дальше и дальше от всего, что было дорого, от того, что они знали и любили.

Каждая прожитая секунда ложилась между ними и Землей преградой более непреодолимой, чем пространство. Они одолели пространство и вернулись обратно. Но время нельзя было одолеть. Их полет продолжался восемь лет. На восемь лет постарели все члены экипажа. Не так уж много! Но они знали, что не только никто, но и ничто знакомое и привычное не встретит их по возвращении. Там, на родной Земле, все было уже другим.

Мигнула одна из лампочек на пульте. Девушка не обратила на это никакого внимания, она знала, что это отворилась дверь рубки.

Вошел мужчина высокого роста, одетый в такой же, какой был на девушке, коричневый кожаный комбинезон. У него были темные глаза и смуглый цвет лица. Поперек лба, переходя на щеку, тянулся глубокий шрам.

Он подошел к пульту и остановился позади кресла.

Девушка не обернулась. Она только сказала без вопросительной интонации в голосе, уверенная, что не ошибается:

— Это ты, Виктор.

Мужчина ничего не ответил. Он наклонился вперед, пристально всматриваясь в желтый бриллиант Солнца, сверкающий среди множества других звезд.

Девушка слегка повернула голову, посмотрела на профиль Виктора, находящийся рядом с ее лицом, и чуть-чуть отодвинулась. У него был вид хищной птицы, ноздри тонкого горбатого носа нервно вздрагивали.

— Солнце! — сказала она.

— Радость,— иронически ответил он.— Не Солнце нам нужно, а Земля.

— Она там, рядом с Солнцем,— девушка протянула руку к экрану.

— Да,— он выпрямился за ее спиной,— там планета, третья планета от центра солнечной системы, но не Земля. Не наша Земля, которую мы покинули восемь лет тому назад. Там чужая и незнакомая планета. Только планета и больше ничего.

Кончиками пальцев девушка дотронулась до его руки.

— Не надо, Виктор! — сказала она.— Разве ты не знал этого, когда мы улетали с Плутона? Там, на Земле, люди.

Он засмеялся, и девушка вздрогнула. В этом смехе ей послышались слезы, сдерживаемые слезы сильного человека, у которого невыносимо болит сердце.

— Ну иди! — сказал он спокойно.— Я пришел сменить тебя. Ты права, там, на Земле, по-прежнему живут люди. Только... они совсем не похожи на нас с тобой. А на каком языке мы будем объясняться с ними, один аллах ведает.

— Ну, это уж слишком! — сказала девушка.— Не могло так произойти, чтобы ничего прежнего не осталось.

Она сама думала так же, как думал он, но хотела успокоить его, внушить веру в то, чему сама не верила.

— За тысячу восемьсот лет? — Виктор пожал плечами.

Она ничего больше не сказала, встала и направилась к двери.

Он сел на ее место и тотчас же выключил экран.

Девушка вошла в лифт. Пока он переносил ее в нижние помещения корабля, она думала о последних словах Виктора. Тысяча восемьсот лет! Да, она знала, что именно такой срок прожило человечество на Земле за те восемь лет, которые они находились в полете. Восемнадцать долгих веков!

Бесстрастным языком говорила об этом математика. Неоднократная проверка подтвердила непреложный факт. Восемь лет — восемнадцать веков! 8 и 1 800! Нельзя было сомневаться в правильности итога вычислений, производимых с помощью безошибочных машин.

И все же сердце человека не машина. Так хотелось увидеть родную Землю, не ту, о которой с такой горечью говорил Виктор, а родную, прежнюю, что девушка хотела сомневаться и сомневалась. Не в цифрах, выдаваемых электронно-счетной машиной, а в тех данных, которые закладывались в эту машину, в том, что служило основой расчета. Разве не могло быть так, что люди ошиблись в своих расчетах? На Земле все было верно. А в космосе?

Они первые из людей подвергли себя практическому испытанию воздействия субсветовой скорости. Они жили в условиях, которых нет и никогда не было на Земле. И не только на Земле, но и на межпланетных трассах. Так разве не могло случиться, что верное в пределах солнечной системы неверно в просторах Галактики?

Она была не математиком, а врачом. В период длительной подготовки, подобно другим членам экипажа, она прошла курс астронавигации и практических методов управления ракетой. Она дежурила у пульта, правда, только на спокойных участках пути, наравне с другими. Но ее ум не обладал холодной логикой математика. И единственная из всех на возвращавшемся корабле она допускала возможность ошибки, допускала даже не умом, а только сердцем, не желавшим принять доводы разума.

Это было какое-то двойственное чувство. Она знала и все же надеялась! Была убеждена и сомневалась!

«Все, все не так, все новое и незнакомое там, на Земле, ничего прежнего нет»,— говорила она сама себе, но где-то далеко, в глубине ее существа, робкий голос шептал ей: «А вдруг!»

Если бы выяснилось, что надо повернуть обратно и снова лететь в глубину Галактики, она с радостью встретила бы это известие и тотчас же перестала бы думать о Земле — настолько боялась она свидания с ней. Боялась, что, ступив на Землю, потеряет интерес к жизни.

Ей было сейчас тридцать один год!

«Или тысяча восемьсот тридцать один»,— думала она.

Лифт остановился.

Выйдя из него, она лицом к лицу столкнулась с молодым человеком, которому на вид можно было дать лет двадцать. В действительности ему было двадцать девять, и он был самым молодым в экипаже.

— Кричи ура! — сказал он.— Только что Михаил принял радиограмму!

— Радиограмму...

Ракета была еще далеко от границ солнечной системы. Наблюдательные пункты на Плутоне еще не могли увидеть ее, а сама ракета не посылала еще сигнала.

— Какую радиограмму? Что в ней сказано?

— Она не к нам. И Михаил ничего в ней не понял. Пусти меня! Я тороплюсь к Виктору.

Она машинально посторонилась, пропуская его. Он вихрем влетел в кабину лифта, и дверь за ним захлопнулась.

Она покачала головой и улыбнулась. Всеволод Крижевский — механик — всегда был такой: стремительный, бурно увлекающийся, порывистый.

«Радиограмма... Михаил ничего не понял... В чем дело?» — думала она, быстро проходя по пустынному коридору, ведущему в радиорубку.

Войдя, она увидела, что здесь собрались все свободные от вахты члены экипажа. Они склонились над столом оператора, что-то разглядывая.

Михаил Кривоносов, старший радиоинженер, повернул к ней вечно невозмутимое насмешливое лицо.

— Ну-ка, Машенька,— сказал он,— попробуй разгадать этот ребус.

Азбука Морзе, сигналы межпланетной связи — все это было хорошо известно Марии Александровне. Она подошла к столу.

Но то, что она увидела на ленте радиоаппарата, ничего не сказало ей. Бессмысленный набор точек и ни одного тире. Только интервалы между рядами точек указывали границы неизвестных слов. Если это были слова.

Она тут же высказала эту мысль вслух.

— Умница! — похвалил Михаил.— Я тоже подумал: слова ли это? Но мой пеленгатор работает автоматически. Я послал в ответ слово «повторите», азбукой Морзе, разумеется. И получил ответ. Восемь точек без интервалов. Но что они означают, вот вопрос!

— Сколько времени прошло между сигналом и ответом? — Мария Александровна повернулась к командиру корабля, который стоял тут же.

— Ровно столько, сколько нужно радиоволне, чтобы пройти расстояние от нас до планеты Марс в оба конца,— ответил на ее вопрос Игорь Захарович.

Это был плотный мужчина, лет сорока. Высокий лоб, массивные нос и подбородок, узкие, удлиненные глаза, наполовину скрытые прищуренными веками, твердо сжатая линия губ выдавали в нем ум, волю и непреклонный характер. Он был одет так же, как все остальные, в коричневый кожаный комбинезон, из-под воротника которого выглядывали белоснежная рубашка и аккуратно завязанный галстук. Волосы были гладко расчесаны на боковой пробор.

— С Марса! Не может быть!

— Почему не может? Вас смущает расстояние? (Командир корабля всем говорил «вы».) Действительно, для такой связи нужна фантастическая, с нашей точки зрения, мощность станции. Но на Земле прошло тысяча восемьсот лет, не надо забывать этого.

— А наша радиограмма?

— Я уверен, что это просто совпадение. Но даже если наша передача дошла, в этом нет ничего удивительного. Пеленгатор точно направил волну к неизвестной нам станции. Имея в своем распоряжении сверхчувствительные приемники, они могли принять ее. Даже при той мощности, которой обладают наши генераторы. А вот что мы смогли принять их первую передачу, не нам адресованную, вот это показывает, что их генераторы не имеют ничего общего с теми, прежними.

— А может быть, они послали радиограмму именно нам? Если у них все другое, все более мощное, то могут быть и телескопы, в которые можно заметить нас.

— Предполагать можно все,— пожал плечами командир.— Но все же это маловероятно. Если они хотели говорить с нами, бесполезно было применять новую азбуку, которую мы не знаем и понять не можем.

— Есть другое предположение,— сказал Кривоносов.— Они могли говорить не с нами, а с другим космическим кораблем, находящимся в нашем направлении.

Вторичное пожатие плеч послужило ответом радиоинженеру.

— Не все ли равно,— сказал немного спустя Игорь Захарович,— говорят ли они с кораблем, Землей, Луной, Венерой. Только не с нами.

Девять человек были сильно взволнованы. Пусть радиограмма не им предназначена, это был первый «голос» земных людей после восьми лет разлуки. Один только командир был совершенно спокоен, по крайней мере внешне.

— Только не с нами,— повторил он, выходя из рубки.

И вдруг все услышали характерный звук работы автоматического ключа радиоприемника.

— С нами! — торжествующе крикнул Михаил Кривоносов, стремительно поворачиваясь к приемнику.— Верните командира! Передача! Морзе!

На ленте одна за другой появлялись тире и точки. Неизвестный оператор работал четко.

Десять человек читали каждый про себя: «Кто говорит? Кто говорит? Отвечайте!»

Игорь Захарович, бледный и сосредоточенный, произнес чуть слышно:

— Отвечайте, Михаил Филиппович!

Уверенный стук ключа зазвучал в рубке, складываясь в слова:

— Космолет «Ленин»... Космолет «Ленин»... Подходим к орбите Плутона... Дайте указания... Перехожу на прием.

2

Главная база очистительных отрядов была расположена на астероиде Церере, в самом центре работы, производимой людьми уже шестьдесят пять лет.

Вначале это была просто одна из неподвижно стоявших ракет. Но со временем здесь появился целый городок. Огромную площадку для стартов и финишей рабочих кораблей кольцом окружали приземистые здания, выстроенные из прозрачного, но крепкого пластического стекла. В них годами жили работники отрядов в одиночку и семьями. Городок был снабжен всеми удобствами, присущими девятому веку новой эры.

С Землей и Марсом Цереру связывали линии межпланетного сообщения, по которым регулярно «ходили» пассажирские ракеты.

Планету окружала плотная атмосфера, по составу тождественная с земной. Из-за малого поля тяготения эта атмосфера непрерывно рассеивалась в пространстве, и ее так же непрерывно пополняли многочисленные автоматически действующие «заводы воздуха». Мощные установки перерабатывали в газ недра самой планеты, и им не нужно было доставлять сырье откуда-нибудь извне. Гранит, базальт, металлы — все превращалось в водород, азот, кислород, гелий.

Церера медленно, но неуклонно «таяла». Но ее масса была так велика, что материала для переработки хватило бы на сотни лет.

Люди не собирались жить здесь так долго. По плану работа должна была закончиться через восемьдесят лет. К этому сроку весь пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера должен был исчезнуть. Церера предназначалась к уничтожению последней.

Искусственное солнце горело и освещало маленькую планету, обходя ее за время, привычное людям,— за двадцать четыре часа.

На Церере можно было находиться без каких-либо защитных костюмов. Только обувь приходилось снабжать толстыми и тяжелыми свинцовыми подошвами, чтобы люди не взлетали высоко над «землей» при каждом шаге.

Те, кто жил здесь долго, так привыкали, что чувствовали себя, как на Земле. Даже на Марсе условия жизни гораздо меньше напоминали земные.

Атмосфера отчасти защищала население планеты от метеоритов. Но независимо от нее падение метеорита на поверхность Цереры рассматривалось как чрезвычайное происшествие, как своего рода брак в работе. За последние сорок лет это случилось всего три раза, и сообщение о таком событии прозвучало на Земле так же, как могло прозвучать в старину сообщение о пожаре в депо пожарной команды.

Как везде и всюду, где жил современный человек, арелеты бороздили небо Цереры, способные облететь ее кругом за полчаса. Такие же базы, как на Церере, работники очистительных отрядов построили на астероидах Палладе, Весте и Эйномии.

На Юноне, Гебе, Ирисе и некоторых других более или менее крупных астероидах находились промежуточные ракетодромы, обслуживаемые автоматическими установками. Из-за невозможности окружить их

атмосферой люди на них не жили, но на всякий случай там были подземные, герметически закрытые помещения, могущие служить местом отдыха для экипажей рабочих кораблей.

Обстановка, созданная людьми на когда-то пустынной, безжизненной, лишенной воздуха Цереры была настолько удобна, что совсем недавно сюда решили перевести космодиспетчерскую станцию, находившуюся до этого на спутнике Юпитера — Ганимеде.

Чтобы работе не мешали мощные станции телесвязи и многочисленные установки радиосвязи между портом и рабочими кораблями, диспетчерская расположилась на другом полушарии Цереры и стояла одиноко среди хаотического нагромождения скал и остроконечных пиков, похожих на шпили погрузившихся в почву старинных соборов.

Жилое и рабочее здания станции находились близко друг от друга и составляли почти что один дом. Вокруг высоко в небо поднимались мачты с постоянно направленными и управляемыми антеннами. Очертания конструкций, поднятых на высоту более семисот метров, едва различались глазом на фоне темно-синего, почти фиолетового, вечно безоблачного неба.

Чуткие «уши» станции день и ночь прислушивались к звукам, идущим из космоса: не раздастся ли сигнал возвращающегося корабля.

На расстоянии около километра от крайних мачт, на скалистой равнине, виднелся странный предмет, назначение которого трудно было бы понять человеку, не знающему, что это такое.

Блестевшие золотистым металлом, лежали три гигантских кольца, вложенные одно в другое и пересеченные узкой поперечной трубой. Диаметр наружного кольца достигал двухсот метров. К оборудованию космостанции эти кольца явно не имели никакого отношения.

На станции постоянно жили двенадцать дежурных диспетчеров. Двое из них находились в рабочем здании, остальные отдыхали. Весь персонал сменялся каждые полгода.

Так было всегда. Люди не помнили времени, когда космодиспетчерской не существовало. Так было здесь, на Церере, так было на Ганимеде, а еще раньше на Плутоне. Так было уже полторы тысячи лет.

Это была совсем особая профессия, единственная в своем роде. Диспетчерами могли быть только люди, обладавшие необычными знаниями. Как правило, люди, посвятившие себя этой работе, уже никогда не меняли рода деятельности. Они становились космодиспетчерами на всю жизнь.

Станция предназначалась для того, чтобы руководить делом, начатым отдаленными предками современных людей,— финишами космических экспедиций.

Первая фотонная ракета — «Ленин»,— казавшаяся сейчас архаическим пережитком, покинула солнечную систему восемнадцать веков тому назад, в начале двадцать первого века христианской эры. Точного срока ее возвращения никто не знал. В списке станции она значилась под номером первым.

Вслед за «Лениным» покинули Землю и другие корабли.

За восемнадцать столетий шестьсот сорок экспедиций одна за другой устремлялись в бездну пространства с различными целями и задачами. Больше половины из них давно вернулись. Четыре, которых ждали триста и двести лет назад, по-видимому, погибли. Двести шестнадцать находились в космосе.

Относительно двухсот пяти срок возвращения был приблизительно известен. Об одиннадцати самых первых ничего не знали. Но их ждали так же, как ждали и двести пять более поздних.

Техника звездоплавания менялась и совершенствовалась из века в век. Старые конструкции звездолетов, принципы их движения сдавались в архив. Появлялись новые. Последний корабль, покинувший Землю год назад, не имел уже ничего общего с тем, первым, построенным на заре космонавтики.

Но как бы ни устарели космолеты, они существовали и должны были вернуться в солнечную систему. Их надо было принять.

Точно в музее истории космических перелетов, в пространстве находились корабли всевозможных конструкций — живая иллюстрация звездолетостроения за восемнадцать столетий.

В них были люди. Они родились и выросли в разное время, говорили на разных языках, являлись представителями человечества Земли почти каждого из прошедших веков.

Аппараты связи каждого корабля отличались от других, обладали различной мощностью, различным принципом действия, разной азбукой и системами сигнализации.

Корабли приводились в движение различными силами — от фотонного излучения до антигравитации. Их величина, вес и скорости посадки были различны. И все это обязаны были в совершенстве знать космодиспетчеры.

Гравитационный корабль можно было посадить где угодно, хотя бы в порту Цереры. Но фотонную ракету следовало направить туда, где ее приземление не причинит вреда. Корабль последней конструкции опустился бы незаметно, более старый могучей силой реактивных струй мог разрушить близлежащие постройки.

Каждому кораблю надо было указать место посадки, послать туда встречающий корабль, обеспечить прибывших доставкой на Землю после обязательного карантина, если экипаж высаживался на другие планеты, вне солнечной системы.

Всем этим ведали диспетчеры.

Они должны были понимать все языки, на которых говорили экипажи ожидаемых кораблей, уметь пользоваться всеми способами связи всех веков, знать, где, когда и что именно строилось на всех планетах солнечной системы и их спутниках, где и в какое время могли находиться там люди.

Годы проходили без прилета какого-либо корабля из космоса. Но диспетчеры всегда были в полной готовности встретить любой из них.

Станция находилась на Церере, но ее «глаза» — сверхмощные локационные установки — находились далеко от нее: на Плутоне, на крупных астероидах второго, внешнего, пояса солнечной системы.

Совершенные автоматы зорко следили за прилежащим пространством. Непрерывно действующая связь позволяла диспетчерам непосредственно видеть на экранах всю «местность» вокруг Солнца и его планет.

Если один из локаторов замечал едва различимую точку космолета, он не выпускал его больше из «поля зрения». Связанная с ним управляемая антенна на Церере автоматически поворачивалась к замеченному объекту. Канал связи устанавливался быстро и точно. Оставалось ждать, пока корабль приблизится настолько, что будет возможно обменяться с ним первыми словами.

«Ленин» был замечен задолго до того, как была послана первая радиограмма непонятным набором точек, так удивившая его экипаж.

Различить на таком расстоянии контуры космолета и установить, какой именно из них приближается, было невозможно. Корабль казался тускло блестевшей точкой. Диспетчеры не знали, с кем они имеют дело.

Как только было установлено, что замеченный предмет действительно космолет, а не крупный метеорит, сообщение об этом было немедленно послано на Землю и Марс. Немного спустя о приближении корабля из космоса узнали все люди, где бы они ни находились в солнечной системе.

Прибытие космического странника всегда было волнующим событием. Какие новые тайны Вселенной удалось ему открыть? Что несет он людям? Чем обогатится наука? Эти вопросы одинаково интересовали всех.

В помещении главного пульта станции собрались все двенадцать диспетчеров. Собрались из одного только чувства любопытства, потому что вмешиваться в работу дежурных не дозволялось никому. По традиции, установившейся в незапамятные времена, те, кто первым заметил возвращающийся корабль, должны были сами установить связь с ним, сами распорядиться его посадкой.

И, хотя им предстояли долгие часы, а бывало, что и дни утомительной, бессменной работы, на них смотрели с завистью.

Эти часы были смыслом и целью их работы. Ради них люди посвящали всю жизнь профессии диспетчера. Многие из них в прошлом так и уходили из жизни, не встретив ни одного корабля.

Принять космолет! Это было постоянной и заветной мечтой.

В этот день дежурили, как всегда, двое — Радий и Леда. Они были еще совсем юными, только три года назад окончившими диспетчерскую школу. И вот именно в их дежурство показался космолет. Какое счастье!

Среди персонала станции были пожилые, опытные диспетчеры. Один из них даже принял восемь лет тому назад корабль четвертого века новой эры. Но Радий и Леда знали, что никто не вмешается в те распоряжения, которые они дадут командиру корабля. Они одни отвечали за все, что случится в ближайшее время.

Прошло два часа после первого сигнала, полученного с Плутона. Узконаправленная антенна шестой мачты давно уже повернулась в сторону космолета. Все было готово для связи.

Но корабль был еще очень далеко. На экране едва различалась серебристая точка.

— Они подходят с давно включенными двигателями торможения,— сказал Радий.— Значит, это не новейший корабль.

— Мне кажется,— ответила Леда, вглядываясь в экран,—что мы видим не самый корабль, а только огонь его дюз.

— Дюз? — удивился Радий.— Ты предполагаешь, что это такой древний корабль?

— Мне так кажется. Посмотри сам, точка не ясно очерчена. Она словно колеблется.

— Да, это верно,— сказал один из диспетчеров после нескольких минут внимательного наблюдения.— Попробуйте включить максимальный ингалископ.

— А не рано?

— Нет, самое время.

Радий выполнил совет старшего товарища.

Точка на экране увеличилась, расплылась, превратилась в неясное пятно. Но все сразу убедились, что Леда была права. Виден был не корабль, а отблеск пламени, испускаемого тормозными двигателями. Но, нет... это было не пламя, а свет... свет!

— Фотонная! — крикнул Радий, не скрывая больше охватившего его восторга.

Только подумать! Встретить не просто корабль, а один из тех первых одиннадцати, ставших уже легендарными пионерами звездоплавания!

— Сейчас же сообщить всем! — сказала Леда.

Три человека кинулись исполнять ее приказание.

Сенсация! Из ряда вон выходящая сенсация! Там, где виднелось только неясное пятно света, находился, приближался к Солнцу, возвращался на родину корабль, несущий на себе...

— Там современники Дмитрия Волгина,— дрожащим от волнения голосом сказал Радий.

Через час не осталось места никаким сомнениям. Возвращались люди, покинувшие Землю восемнадцать веков тому назад.

Если они и не были современниками Волгина в полном значении этого слова, то все же они были людьми, близкими ему, родившимися примерно в одно время. Сто лет — это не слишком много.

Различным путем пришедшие в девятый век новой эры, человек двадцатого века и люди двадцать первого встретятся в новом для них мире, новом в равной степени как для него, так и для них!..

— Волгин не будет больше чувствовать себя одиноким среди нас,— сказала Леда.

— Да, это — счастье для него,— отозвался Радий.

— Хорошо бы сообщить ему лично!

— Неужели этого не сделали? Будь спокойна, он уже все знает.

Космолет приближался. Теперь они могли следить за ним по указателю расстояния. Подходило время связи.

Продолжение следует.

ЦМП-258

СМЕНА

22 1961

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА

Георгий МАРТЫНОВ

Встреча через века

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

(Продолжение. Начало см. в №№ 17—21)

Космодиспетчеры знали, что четыре первые фотонные ракеты — «Ленин», «Коммунист», «Земля» и «Солнце» — имели старые системы радиотелеграфа, по азбуке Морзе. С семью другими можно было говорить по единой системе космических сигналов визуального телеграфа. Для связи с первыми пришлось бы прибегнуть к старому русскому или английскому языкам. Радий и Леда знали эти языки в той мере, насколько это было необходимо им для указаний командирам кораблей.

Для «Ленина» и трех последующих ракет был заранее подготовлен обстоятельный текст радиограммы, которую надо было только автоматически передать, внеся в нее необходимые коррективы. Для разговора со всеми другими космолетами никаких подготовленных текстов не требовалось. Диспетчеры знали систему сигналов наизусть.

Хотя Радий и Леда даже не думали, что им так повезет, и были убеждены, что показавшийся корабль не принадлежит к четырем первым, они все же выполнили те действия, которые предусматривались инструкцией,— достали текст радиограммы и подготовили к работе автомат. Леда принялась за проверку текста.

— Где ты думаешь посадить его? — спросил Радий.— На Плутоне или на Ганимеде?

Леда подняла голову и усмехнулась.

— Это что,— спросила она,— очередная проверка моей компетентности или ты действительно не знаешь, что на Плутоне работают несколько экспедиций, о местонахождении которых мы не имеем сведений? Хорошо, я не сержусь на тебя,— прибавила она, видя смущение на лице Радия.— На Ганимеде много новых построек. Значит, и там нельзя. Ведь корабль фотонный.

— Значит, на Европу [1]?

— Конечно, я уже заменила в тексте слово «Плутон» на слово «Европа». Полагаю, что командир корабля знает это название. Оно очень древнее. Как ты думаешь?

— Это что,— лукаво спросил Радий,— проверка моей компетентности или ты действительно не знаешь, что названия планет и их спутников не менялись больше двух тысячелетий?

Все, кто был в помещении главного пульта, рассмеялись.

— Квиты! — сказала Леда.— Итак, на Европу. Начинай вызов! А я свяжусь с Марсом. Там как раз находится подходящий ракетоплан. Он их встретит.

— А карантин?

— Как всегда, на Ганимеде.

Навстречу космолету полетели сигналы единого космического кода. На экране приемника корабля они должны были превратиться в разноцветные кружки и точки. Слова привета и главный вопрос: кто?

На станции еще не догадывались об истине. Слишком невероятным казалось появление одной из первых ракет, которые всеми считались безвозвратно затерявшимися в пространстве. Их ждали, но не верили в то, что они могут вернуться. Между четырьмя первыми и семью последующими фотонными кораблями была огромная разница в мощности.

Все двенадцать диспетчеров были твердо уверены, что приближающийся корабль не «Земля» или «Солнце», а один из семи.

Они ждали ответа, внимательно следя за экраном, не зная, что там, в радиорубке космолета; посланные ими слова превратились в ничего не говорящие одинаковые черные точки.

Но находиться в неведении пришлось недолго.

Когда прошло время, нужное радиоволне, чтобы дойти до корабля и обратно, неожиданно заработал аппарат новейшей конструкции, предназначенный для приема и отправления радиограмм по самой старой из когда-либо существовавших систем радиосвязи — по азбуке Морзе.

Радий кинулся к аппарату с такой стремительностью, что едва не сбил с ног кого-то, стоявшего на пути.

Все поспешили за ним.

На матовом стекле приемника уже чернели слова... на старом русском языке: «Повторите! Повторите! Повторите!»

Тире и точки радиограммы автоматически превратились в буквы. Но всем стало ясно, что неизвестный им радист космолета работал не телетайпом, а простым ключом.

— Одна из четырех! — прошептал кто-то за спиной Леды.

От волнения Радий пропустил традиционные слова привета.

— Кто говорит? Кто говорит? Кто говорит? Отвечайте!

Леда бросилась к аппарату «ЧН». (Чрезвычайная новость для всей Земли.)

Полчаса — и всю Землю облетела сенсационная весть.

Люди прекратили обычные разговоры. Домашние экраны, заменявшие давно исчезнувшие газеты и журналы, очистились в мгновение ока. В напряженном ожидании застыли миллионы и миллионы людей. Прямая связь Земли и Цереры, перехваченная мощной станцией Марса, сразу прекратившей все передачи, словно застыла в ожидании.

Кто?!.

«Ленин», «Коммунист», «Земля» или «Солнце»?..

Космодиспетчерам никогда еще не приходилось испытывать такого напряжения. Ведь сама их служба, казавшаяся им созданной в баснословном прошлом, появилась через несколько веков после отлета этого корабля!

Одна из первых фотонных ракет, созданных людьми! Несовершенная, маломощная, выглядевшая рядом с современными космолетами допотопным тепловозом, именно она победоносно возвращается из космоса, из далеких глубин галактики!

— Странно и страшно подумать,— сказал один из диспетчеров,— что возвращается едва одна трехтысячная часть первоначальной ракеты. Все остальное они превратили в фотонное излучение!

— Тогда еще не знали практических способов использования аннигиляции,— отозвался другой.

— Вот где был истинный героизм! — горячо сказала Леда.— На таком корабле отважиться на полет почти к центру галактики!..

---

[1] Европа — второй спутник Юпитера. Диаметр ее — 3 220 километров.

— Внимание! — сказал Радий.— Время истекает.

Матовое стекло было еще пусто. Но они смотрели на него так напряженно, что им казалось, что они «видят» стремительно летящую к Цереры радиоволну.

И их волнение было столь велико, что все двенадцать человек без всяких внешних проявлений чувств встретили появившиеся наконец слова:

«Космолет «Ленин»... Космолет «Ленин»...».

3

Последняя буква длинной радиограммы, переданной с Цереры три раза подряд, легла на узкую полоску ленты отчетливой черной черточкой.

Аппарат смолк.

Экипаж космолета трижды прочел каждое слово. Они могли бы с тем же напряженным вниманием прочесть долгожданную радиограмму и в четвертый и в пятый раз. Сухой технический текст казался им, так долго оторванным от людей, красивым и звучным, как лирическая поэма.

Для Виктора Озерова, находившегося на пульте управления, сообщение Земли передали все три раза по линии внутренней связи.

Двенадцать человек долго молчали. Каждый из них по-своему переживал волнующий момент.

Связь установлена! Космический рейс закончен!

Они ждали этого часа восемь лет.

Остались позади томительные годы полета во мраке и пустоте Вселенной, в холоде пространства. Ушло в прошлое сознание затерянности в безграничной бездне и жуткие иногда мысли о том, что каждый прожитый ими день равен там, на Земле, семи с половиной месяцам.

Все стало на свое место, все обрело будничную реальность.

«Церера. Космодиспетчерская станция. 18 сентября 860 года. По вашему счету — 3860 года.

Командиру космолета «Ленин» Второву.

Сообщаем данные посадки вашего корабля...»

Так начиналась радиограмма.

3860! Они это знали, но каждый из них вздрогнул, когда бесстрастным набором тире и точек «прозвучала» эта цифра в тишине радиорубки.

Итак, свершилось! Не оставалось места ни надежде, ни сомнениям. Прожив восемь лет по часам корабля, по биению своего сердца, они, ступив на Землю, сразу постареют на восемнадцать веков!

Они знали, на что пошли. То, что случилось сейчас, было известно им в день старта. Почему же мучительно сжалось сердце и невольный страх холодом прошел по спине? Одно дело — теория, совсем другое — практика! Легко рассуждать — трудно испытать на себе...

Дата, сообщенная деловым языком диспетчерского приказа, перечеркнула прошлую жизнь, отбросила ее в глубь столетий, встала на жизненном пути каждого члена экипажа космолета «Ленин» зловещим пограничным столбом, от которого можно было идти только вперед: возврата не было.

3860!

— Я родилась в две тысячи десятом году,— чуть слышно сказала Мария Александровна Мельникова.

Михаил Кривоносов остался верен себе даже в этот момент.

— Ну и стара же ты, мать моя! — сказал он.

И, как ни странно, эта не совсем удачная шутка рассеяла гнетущее впечатление давно ожидаемой, но все же неожиданной даты радиограммы. Люди словно ожили.

— Ну, вот мы и дома,— сказал Крижевский.

— Дома? — донесся с пульта голос Виктора. Тоска и боль звучали в этом слове.— Никогда и нигде мы не будем больше дома. Запомните это.

Командир корабля повернулся к экрану, но он вдруг погас. Виктор не желал ничего слушать. Второв молча пожал плечами.

— Конечно, дома,— с оттенком недоумения сказал Крижевский.— Полет окончен.

Инженер Джордж Вильсон улыбнулся и сказал по-английски (за восемь лет он так и не выучился русскому языку):

— Остался пустяк. Пролететь всю солнечную систему.

Английским языком владели все члены экипажа.

Но Крижевский все же был прав. Они могли считать себя уже дома. Между кораблем и Землей протянулась надежная нить радиосвязи. Они не были больше вдали от людей, они обменялись с ними мыслями.

Двенадцать человек вернулись в человеческую семью.

Пусть сообщение передано еще не с самой Земли, а только с Цереры, это не имело значения. Они воспринимали его как голос Земли.

И разве могло быть иначе?

Уже восемь... нет, тысячу восемьсот лет тому назад люди освоились с солнечной системой и всюду в ее пределах чувствовали себя почти что дома. Когда «Ленин» стартовал в свой далекий путь, понятие «родина» постепенно переставало отождествляться с планетой Земля, а принимало более широкий смысл — солнечная система. За восемнадцать столетий это почти что космическое представление о родине должно было еще более окрепнуть.

— Мы дети Солнца! — любил повторять Игорь Захарович Второв.

Виктор Алексеевич Озеров и Мария Александровна Мельникова мучительно тосковали о прошлом. Предстоявшее свидание с новой Землей не радовало их.

Особенно резко это сказывалось у Виктора.

Чем ближе подлетал космолет к Солнцу, тем мрачнее становился старший штурман, тем чаще раздражали его разговоры о Земле.

Накануне установления радиосвязи он не выдержал и высказал все, что накопилось на сердце.

— Не понимаю, что радует вас,— сказал он с горечью.— Мы видели планеты Веги и 61 — Лебедя. Только одна из них оказалась населенной разумными существами. Остальные были необитаемы, безжизненны, мертвы. Мы с радостью покидали их, даже Грезу. Потому что ничего привычного и знакомого там нет. Почему же вы стремитесь к Земле? Она так же чужда нам, как и Грезз. Вам кажется, что люди Земли — такие же братья для вас, какими они были прежде. Но это совсем не так. Они не будут понимать вас, и между вами и ими не будет ничего общего. Было бы лучше, если вместо Земли впереди снова была Греза. Ее обитатели непонятны и чужды нам, но мы и не ждем от них ничего общего с нами. Я хотел бы вернуться к ним! — вырвалось у Виктора.—По крайней мере я не испытывал бы столь острого чувства отчужденности, которое на Земле только усилится. Поймите, нас ждет не Земля, а чужая, незнакомая планета!

Никто ни слова не возразил Виктору. Говорить с ним на эту тему было бесполезно.

Немного спустя Игорь Захарович сказал Мельниковой:

— И вас и Озерова не следовало зачислять в наш экипаж. Здесь была допущена ошибка, психологический просчет. Но вы виноваты сами. Зачем вы настаивали, зачем согласились? Вы хорошо знали...

— В отношении меня дело обстоит не столь уж страшно,— ответила командиру Мария Александровна.— Я примирилась с тем, что нас ожидает. Меня не радует возвращение на Землю, это верно, но я не делаю из этого трагедии.

— Меня очень беспокоит Виктор,— уже другим, озабоченным тоном сказал Второв.

— Обойдется,— тряхнула волосами Мельникова.— Это одна из форм космической травмы. У нас все в той или иной степени отдали дань этой болезни. Кроме вас,— добавила она с уважением в голосе.— Вы один оказались невосприимчивым к влиянию Космоса. Все пройдет когда мы ступим на Землю. Я уверена, что перемены не столь уж значительны. Виктор освоится. И перестанет стремиться в новый полет.

— Он стремится обратно?

— Да, он говорил об этом. Он считает, что на Земле ему нечего будет делать. Он хочет проситься в новую экспедицию. Куда угодно, хоть в соседнюю галактику или еще дальше.

— Вот как...— задумчиво протянул Второв.

— У Виктора,— продолжала Мельникова,— возникают странные идеи. Вы знаете, о чем он чаще всего думает? О встрече с нашими современниками. Он несколько раз говорил мне, что только надежда на эту встречу дает ему силы.

— Откуда же могут взяться на Земле наши современники?

— Экипаж «Коммуниста», например, или другого какого-нибудь космолета, покинувшего Землю после нас. Ведь мы первые, но не последние.

— Разве он забыл...— начал Игорь Захарович, но вдруг замолчал, пытливо всматриваясь в лицо своей собеседницы. Потом спросил нерешительно: — А вы сами... тоже надеетесь на такую встречу?

— Это было бы очень приятно, разумеется, но я не жду ничего подобного.

— Почему?

— Потому что следующий космолет может вернуться очень и очень нескоро.

— Вы правы,— сказал Второв.— С экипажем «Коммуниста» мы никак не можем встретиться. Неужели Виктор забыл, что он получил совсем другое задание? Они должны были уйти не в восьмилетний полет, как мы, а в одиннадцатилетний. Сами судите, каковы наши шансы увидеться с ними. Никого из нас не будет в живых, когда космолет вернется. Ведь остальную жизнь мы все проведем на Земле, в обычных условиях времени.

— Очевидно, он этого не учел. Бедный Виктор! — прошептала Мария Александровна.

Восемь лет пребывания в замкнутом мирке космолета связали всех членов экипажа большой и крепкой дружбой. Двенадцать человек, таких различных на Земле, до старта, объединились перед лицом Космоса в единую, монолитно сплоченную семью. То, что пришлось пережить вместе, никогда не могло изгладиться из памяти. И радость одного была радостью всех, горе — общим горем.

Все искренне любили Виктора, жалели его, сочувствовали ему, но были бессильны помочь. Только время и люди, да, люди, там, на Земле, могли рассеять гнетущую тоску, которая все сильнее овладевала штурманом. Если вообще было возможно помочь ему.

Никто на «Ленине» не сомневался, что за восемнадцать веков человечество прошло длинный и славный путь. Люди, конечно, изменились, стали другими, не только нравственно, но, возможно, и физически, и они должны были стать гораздо лучше, благороднее, отзывчивее, чем были прежде. Так неужели они не найдут способов развеять мысли о минувшем у человека, попавшего к ним из далекого прошлого? Конечно, могут найти и найдут!

На это надеялись все.

— Мария Александровна,— снова сказал Второв,— можно задать вам один нескромный вопрос? Вы очень близки с Ксенией Николаевной. Как она относится к Виктору?

— Я думаю, как все.

— Не больше?

Мельникова задумалась.

— Я понимаю вас, Игорь Захарович,— сказала она.— Это, конечно, могло бы оказать благотворное влияние. Но не знаю: Ксения очень скрытна. Одно время мне казалось, что она и Виктор любят друг друга. Но в этот последний год между ними словно пробежала черная кошка.

— Это могло быть результатом его теперешнего настроения.

— Вряд ли. Но все же это шанс на излечение, вы правы. Попробую поговорить с ней. Но когда? Ведь сейчас не до разговоров: все думают о Земле.

— Вот именно, о Земле. Жизнь, обычная, земная, вступает в свои права. Хороший предлог.

— Я попробую.

— Не обязательно на борту. Нас ждет неизбежный карантин. Вот тогда. Но только перед прилетом на Землю.

— Хорошо, Игорь Захарович.

Ей понятны и близки были заботы командира. Во что бы то ни стало надо вернуть к жизни заболевшего товарища. Любовь? Это было сильное средство. Все знали, что Виктор все восемь лет оказывал Ксении Николаевне — второму штурману — исключительное внимание. Оно было очень похоже на любовь. Но любила ли она его? Это никому не было известно.

Однажды на Грезе в тяжелой аварии с самодвижущимся экипажем (немного похожим на земной автомобиль) Виктор сильно пострадал. Несколько дней его жизнь висела на волоске. Ксения самоотверженно ухаживала за ним. Она заметно похудела, осунулась и оправилась только тогда, когда Мельникова сказала, что Виктор вне опасности. Тогда казалось, что она переживает сильнее и больше, чем все остальные. Но была ли причиной этого любовь? А может быть, просто свойственная Ксении мягкость характера и доброе сердце? Потом, когда он совсем поправился, их отношения стали такими же, как были раньше. Даже как будто немного более холодными со стороны Ксении. Во время катастрофы Виктор получил глубокий шрам на лице. Этот шрам заметно уродовал его, но не это же послужило причиной холодности девушки. Не такой она была человек. В этом Мария Александровна не сомневалась. Ее связывали с Ксенией Николаевной Станиславской не только товарищеские, но и прямые родственные связи. Они были двоюродными сестрами и знали друг друга с детства.

Второв знал, кому поручить деликатный разговор.

Прошли сутки, и неожиданно ранняя связь с Цереры направила мысли Мельниковой в другую сторону. Сейчас не время было говорить с Ксенией, которая чуть ли не больше всех на корабле радовалась концу рейса.

И Виктор стал менее мрачен. Все заметили, с каким волнением он читал полученную радиограмму, читал три раза, как все. Это было хорошим признаком.

Космолет летел уже так медленно, что до орбиты Юпитера было не меньше недели пути.

Она прошла незаметно. Экипажу даже казалось, что время ускорило свой бег. Люди привыкли к монотонности месяцев и лет полета через бездну пространства от одной звезды к другой. И они умели наполнять это медленно текущее время интересной работой. Теперь, когда рейс подходил к концу, работу не надо было искать, она сама шла в руки. Двенадцать человек напряженно работали, до минимума сократив часы отдыха.

Командир и оба штурмана готовились к посадке, с помощью вычислительных машин рассчитывая наиболее выгодную и удобную траекторию. Чтобы миновать внешний пояс астероидов, они решили подойти к орбите Европы снизу, под плоскостью эклиптики.

Все эти расчеты пришлось производить заново. Все, что было заготовлено ранее, стало бесполезным. Они думали, что финиш космолета произойдет там же, где был дан старт,— на Плутоне,— но неведомая им космодиспетчерская станция указала Европу, о которой они никогда не думали.

— Вероятно, Плутон не так пустынен, как раньше,— высказала предположение Станиславская.— И они опасаются, что мы нанесем вред фотонным излучением.

Оба радиоинженера, Кривоносов и Вильсон, сменяя друг друга, непрерывно дежурили в радиорубке, ожидая, не придет ли еще какое-нибудь сообщение с Цереры. Но станция астероида только два раза запросила данные о траектории полета и... больше ничего. Ни одного слова о Земле. А сами радисты космолета ни о чем не спрашивали. За тысячу восемьсот лет должны были произойти такие перемены, о которых не расскажешь в радиограмме. Астрономы трудились больше всех. Наблюдать планеты солнечной системы извне — разве могли они пропустить такой редкий случай! А само Солнце! Его можно было рассматривать непосредственно в телескоп.

Они понимали, что люди наверняка уже много раз производили такие наблюдения и что ничего нового для ученых Земли они не откроют, но... они сами-то видели это только второй раз!

Вместе с астрономами в обсерватории корабля дни и ночи проводили два биолога и Всеволод Крижевский. По просьбе старшего инженера, сурового и требовательного Константина Дмитриевича Котова, рачительного хозяина космолета, Второв приказал им помочь привести корабль в полный порядок.

Впрочем, один из биологов, Федор Яковлевич Федоров, являвшийся вторым врачом, недолго занимался «уборкой». Его потребовала Мельникова.

Экипажу «Ленина» предстояло пройти длительный карантин. Решающее слово будет принадлежать врачам космолета. Они должны сказать свое мнение о режиме и продолжительности карантина земным врачам. Нужно было еще и еще раз тщательно обследовать всех членов экспедиции, произвести многочисленные кропотливые анализы.

Работы хватало всем.

И дни, которые должны были казаться всем нестерпимо длинными, промелькнули совсем незаметно.

И вот настал момент, когда кресла перед пультом управления заняли сразу двое — Второв и Озеров. Это случалось только перед посадкой или взлетом.

До финиша остались считанные часы.

Теперь связь с Церерой держалась непрерывно. Космодиспетчерская следила за каждым движением космолета.

Очередная радиограмма гласила:

«Для переброски вашего экипажа на Ганимед вылетел ракетоплан «ЦМП-258». Старший пилот — Стронций. Ракетоплан находится вблизи орбиты Европы и ждет приземления «Ленина», чтобы сесть после него. «ЦМП» опустится по вашему сигналу. Свяжитесь со Стронцием на волне 0,876. Диспетчер Леда».

Леда! Стронций!

Космолетчики уже поняли, что на Земле изменились имена людей. Очевидно, вышли из обихода фамилии. Обращения друг к другу упростились. Но им казалось, что при таком положении неизбежно должна возникать путаница.

— Теперь мы все можем забыть свои фамилии,— сказал Кривоносов.— Я превращусь в Мишу, а вы в Джорджа.

Вильсон кивнул головой.

— Леда! — Он повторил, растягивая слово: — Ле...да! Мне кажется знакомым это имя.

— Может быть, вы с ней когда-нибудь встречались,— пошутил Кривоносов.— Но мне тоже кажется. Как будто название картины.

— Леда и Лебедь,— вспомнил Вильсон.

— Правильно. Именно это. Забавное совпадение!

— В чем?

— В том, что, вернувшись от Лебедя, мы встретили Леду.

Наконец раздалась команда Второва:

— Прекратить связь! По местам посадочного расписания!

На всех экранах исполинской громадой вырастала Европа.

4

Четыре самых крупных спутника гиганта солнечной системы Юпитера — Ио, Ганимед, Европа и Каллисто — были открыты еще при Галилее в 1610 году христианской эры.

Европа, второй спутник, отстоит от своей планеты на среднем расстоянии в 671 тысячу километров. Ее диаметр немного меньше, чем у спутника Земли — Луны,— и равен 3 220 километрам [1].

Если Земля на небе Луны представляет собой внушительное зрелище, то можно себе представить, как выглядит Юпитер с Европы. Чудовищно огромный диск планеты закрывает собой чуть ли не половину

[1] Диаметр Луны — 3 480 километров.

небосвода. Когда нижний край Юпитера касается горизонта, верхний находится возле зенита. Еще эффектнее, когда Юпитер висит сверху, над головой.

Экипажу «Ленина» не пришлось полюбоваться этим редким зрелищем. По распоряжению диспетчеров Цереры космолет опустился на стороне, противоположной Юпитеру.

Подобно Луне, Европа обращается вокруг своей планеты за время, равное обороту вокруг оси, и всегда обращена к ней одной стороной.

Атмосферы на Европе нет. И люди тридцать девятого века не считали нужным создавать ее, как они сделали это не только с Луной, но и с маленькой Церерой.

Глазам космонавтов предстал мрачный, скупо освещенный далеким Солнцем, неприветливый и холодный мир.

Космопорт Европы был построен и оборудован свыше пятисот лет тому назад, и на нем, как и на Плутоне, можно было, ничего не опасаясь, принять фотонный корабль.

Гигантское поле, имевшее в длину до ста километров, было не искусственным, а природным. С одной стороны к нему примыкал невысокий горный хребет, и там, хорошо защищенные от фотонного излучения, стояли здания технической службы порта.

Впрочем, они мало походили на здания. Низкие, словно прижатые к земле, без окон, они больше напоминали огромные, тщательно отшлифованные каменные глыбы.

Люди здесь никогда не жили. Вся служба космопорта находилась в ведении кибернетических машин, непосредственно связанных с космодиспетчерской станцией.

Повинуясь сигналам порта и пользуясь совершенной системой пеленгации, Второв посадил космолет точно на указанном ему месте, на самой середине поля.

Когда рассеялся туман, рядом с «Лениным» опустился небольшой аппарат, казавшийся пигмеем возле гигантского тела космолета.

Это был точно самолет без крыльев и шасси, очень длинный, совсем не похожий на ракету.

Он опустился без малейшего признака пламени дюз, которых у него, по-видимому, и не было. Возле передней части, по гладкому борту чернели буквы и цифры «ЦМП-258».

— Буквы похожи на русские,— сказал Второв.— А цифры такие же.

— Видимо,— отозвался Виктор Озеров,— на Земле овладели антигравитацией. Иначе я не могу себе представить, как он мог опуститься на Европу, лишенную воздуха, так плавно и так легко.

— Да, совсем новая техника.

Они покинули пульт, за которым провели бессменно восемнадцать часов, и перешли в радиорубку.

Кривоносов только что принял приветственную радиограмму Стронция.

— Он спрашивает, когда мы думаем покинуть корабль и перейти к нему.

— Разве он не боится соприкосновения с нами? — недоуменно спросил Второв.

— По-видимому, нет.

— Он говорит по-русски?

— Нет, по-английски.

— Почему он пользуется телеграфом, а не радиотелефоном?

— Не знаю. Но на мой ответный привет по телефону он не ответил. Пришлось повторить по телеграфу.

— Они плохо владеют языком,— сказал Вильсон.

— Передавайте!

Второв продиктовал длинную радиограмму.

Стронций ответил, и начался долгий разговор по радио.

Оказалось, что Стронций — один из диспетчеров с Цереры. Ракетоплан захватил его по пути от Марса к Европе. Кроме него, на борту «ЦМП» были еще двое — пилот Кремний и врач-космолог по имени... Петр.

Это имя прозвучало неожиданно. Космонавты никак не ожидали услышать столь простое и знакомое имя.

— Стронций, Кремний и Петя,— сказал Кривоносов.— Удивительное сочетание!

— Этот Петя, видимо, крупный врач,— заметил Озеров.— Не вздумай назвать его так при встрече.

— А кто их знает, как у них принято.

Стронций сообщил, что экипаж «ЦМП» проведет весь срок карантина вместе с экипажем «Ленина». Это отчасти объяснило его непонятное бесстрашие. Риск заражения неизвестным микробом существовал, и им нельзя было пренебрегать. Хотя ни один из космонавтов не заболел неизвестной болезнью, нельзя было поручиться, что эта болезнь не проявится впоследствии. Ведь экипаж «Ленина» высаживался на многие планеты, а на Грезе провел много времени. Диспетчеры Цереры уже знали об этом.

К тому же на Грезе члены экипажа не пользовались биологической защитой.

Выяснилось, что покинуть Европу и перелететь на Ганимед нужно не задерживаясь. Космолет должен был остаться здесь. За грузом, состоявшим из бесчисленных образцов пород всех посещенных планет, замороженной флорой, а главное, трофеями с Грезы, прилетит специальный грузовой корабль. Он уже готов к старту на одном из земных ракетодромов.

— Вы не боитесь заражения экипажа этого корабля? Или ему также придется пройти карантин? — спросил Второв.

Стронций ответил, что весь космолет, как снаружи, так и внутри, будет подвергнут дезинфекции.

— Это сделают без людей автоматические установки порта. Вы должны оставить все люки корабля открытыми.

— А эти установки не могут повредить экспонаты?

— Нет, это исключено. Они же не слепые и понимают, что делают.

Подобный отзыв об автоматах было странно слышать даже людям двадцать первого века, еще до отлета хорошо знакомым с успехами кибернетики. Очевидно, роботы настоящего времени умели соображать, как люди.

— А может, и лучше,— сказал Кривоносов.

Петр попросил позвать к аппарату старшего врача экспедиции. Мельниковой разговор с ним принес новые неожиданности.

Мельникова и Федоров считали, что карантин должен продолжаться несколько месяцев, а то и целый год. И, зная об этом, экипаж «Ленина» приготовился к тому, что еще долго не попадет на Землю. И вдруг оказалось совсем не так.

Петр сообщил, что карантин на Ганимеде будет продолжаться... пять земных суток.

Мария Александровна так удивилась, что попросила повторить. Бесстрастный стук аппарата подтвердил сказанное.

— Быть может, четыре,— добавил Петр.

Было похоже, что он утешает свою собеседницу. Пять суток казались ему длинным сроком. А у двенадцати человек буквально захватило дух от радости. Пять дней!

«Каких же высот достигла медицина!» — подумала Мельникова.

— Вы считаете такой срок достаточным? — осторожно спросила она, все еще не вполне веря.

Ответ не оставил никаких сомнений.

— Вас двенадцать человек,— отстукивал аппарат,— да еще нас трое. Всего пятнадцать. По четыре часа на человека. Если вас не утомит такая нагрузка. На Ганимеде одна камера. Вторая по несчастной случайности вышла из строя. Думаю, что сумеем уложиться в четыре дня.

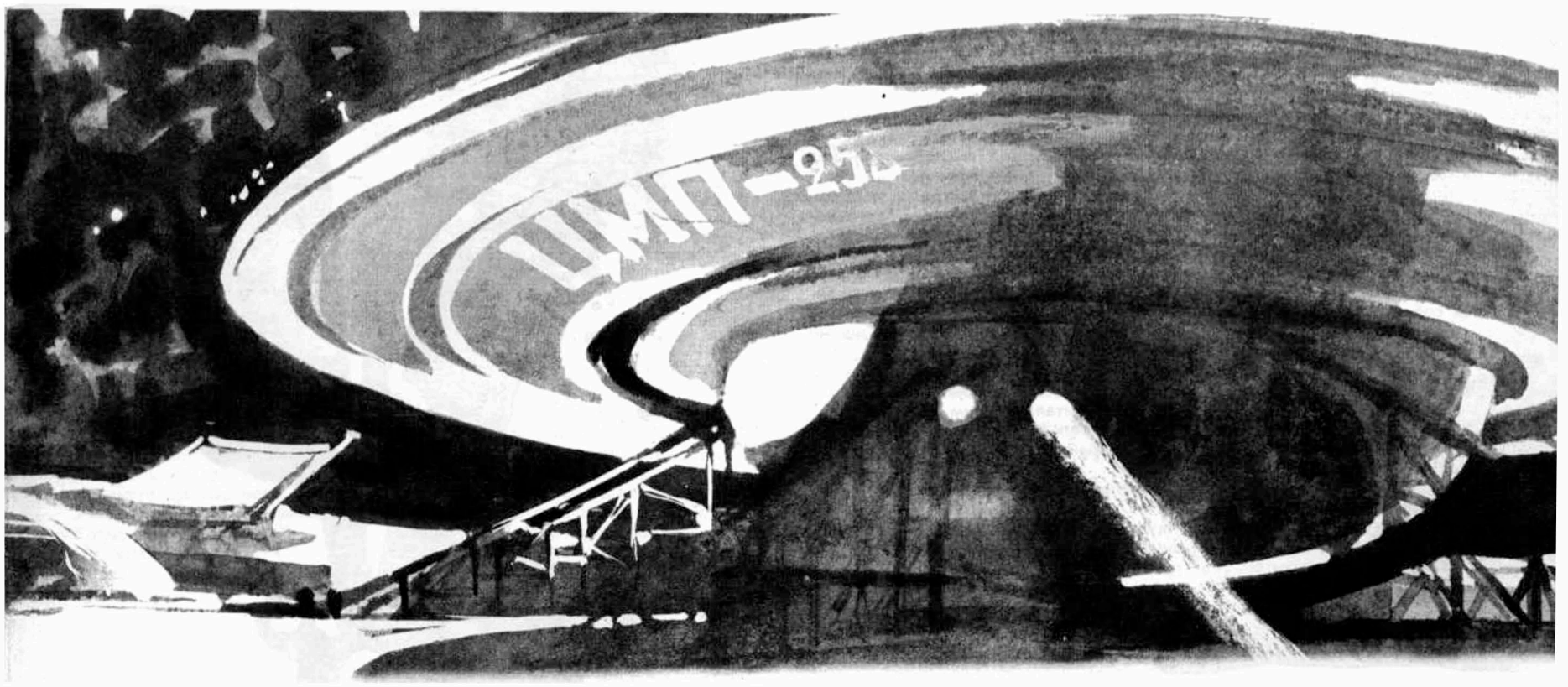
— Если так, то зачем пять дней или даже четыре? — сказала Ксения Николаевна.— Скажите ему, что мы согласны на любую нагрузку, лишь бы скорее.

— Очевидно, они не допускают нарушений режима дня,— ответила ей Мельникова.— Он имеет в виду сон.

— Можно спать по очереди.

— Нам, но не врачам на Ганимеде. Что ты хочешь, Ксеня? Мы были готовы к месяцам ожидания.

Почти час между Петром и Марией Александровной продолжался профессиональный разговор. Мельникова хорошо понимала, что в срав-



нении с врачами тридцать девятого века она ничего не знает, но ее собеседник ни разу не дал ей почувствовать этого. Он тактично избегал всего, что могло быть непонятным врачу экспедиции. Со стороны казалось, что оба собеседника равны по знаниям и опыту. Но Мельникова ясно видела тактику Петра, и почему-то ей не было ни досадно, ни обидно.

В заключение от Стронция пришла короткая радиограмма:

«Ждем вас с величайшим нетерпением».

— Приготовиться к переходу на ракетоплан! — приказал Второв.

— Что брать с собой? — спросил кто-то.

— Абсолютно ничего. Все будет доставлено на Землю грузовым кораблем. Поторопитесь, товарищи!

Вот теперь двенадцать человек окончательно осознали, что межзвездный рейс закончен. Все было сказано, все решено. Осталось только выйти из корабля, в первый раз всем вместе.

Несколько дней... и Земля!

Было грустно покидать корабль. Восемь незабываемых лет провели на нем звездолетчики. Они знали, что корабль навеки останется здесь, на Европе. Об этом сказал им Стронций.

Космолет будет переведен ближе к горам и останется там как памятник первым фотонным ракетам.

Второв в последний раз подошел к пульту управления. Долгим внимательным взглядом окинул он бесчисленные приборы, словно желая запомнить их навсегда. Прямо перед собой он увидел небольшую фотографию, которую сам же укрепил здесь восемь лет тому назад. Двое людей смотрели на него с карточки. Один еще молодой, с темным от загара лицом и светлыми глазами, другой старше, с небольшим шрамом на лбу.

Второв протянул руку, но сразу опустил ее. Он сам приказал ничего не брать. Не ему же нарушать этот приказ. Пусть фотография остается здесь.

Медленно, точно желая протянуть время, он один за другим открыл все люки на корабле, кроме выходного, и выключил механизм их запирания. Роботам, которые будут производить дезинфекцию, ничто не помешает. Выходной люк будет открыт в последний момент, когда все люди наденут скафандры. Ведь за бортом космолета почти абсолютный вакуум.

Мгновение Второв колебался. Стронций сказал об автоматах: «Они не слепые и понимают, что делают». Пусть так! Но можно ли до конца доверять их сообразительности?

«Нет, этого они не смогут понять,— подумал Второв.— А не все ли равно, корабль больше никогда не взлетит».

Переведя выходной люк на автономное управление, он разбил тонкое стекло, закрывавшее красную кнопку в центре пульта, и резким движением нажал на нее.

Пение приборов смолкло. В рубке наступила жуткая тишина. Стрелки замерли. Одна из них медленно опускалась к нулю. Второв следил за ней. Вот она вздрогнула в последний раз и остановилась.

— Ну, вот и все! — Второв еще раз взглянул на фотографию. Двое людей, казалось, одобрительно улыбались.— Прощайте!

Он вышел, не оборачиваясь.

Гигантский корабль был мертв. Пройдет еще несколько суток, и погаснет свет. Настанет мрак и вечная неподвижность. Никогда космолет не отделится от Европы. Космический рейс действительно закончился.

Лифт не работал. Второв спустился вниз по аварийной лестнице, отвесно идущей внутри узкой трубы. Одиннадцать товарищей ждали его, уже одетые в скафандры, готовые к выходу. Он быстро оделся сам.

— Стронций подвел ракетоплан к самому борту «Ленина»,— сказал Кривоносов.— Нам придется только спуститься, и мы сразу попадем в их выходную камеру.

— Хорошо.— Второв кивнул головой.

— Я очень волнуюсь,— сказала Ксения Николаевна.— Какие они?

Все поняли, что она говорит о людях, ждущих в ракетоплане, людях нового времени, отдаленных потомках людей двадцать первого века.

— Я уверен,— сказал Крижевский,— они люди как люди.

Волновались все. Даже Второв. Слишком необычно было предстоявшее свидание. Виктор Озеров был бледен и мрачен. Он не сказал ни слова.

— Ну что ж, пошли! — Второв нажал кнопку.

Наружная дверь корабля отошла в сторону. Открылся взору привычный мир звезд. Внизу, под светом маленького Солнца, блестел корпус «ЦМП-258».

— Лестницу!

Длинная лента металлических ступенек поползла вниз.

— Уничтожьте кнопку двери! — приказал Второв и первым начал пятидесятиметровый спуск.

Котов быстро отвинтил прикрывающую пластинку и тремя ударами оборвал все провода. Теперь дверь уже не могла закрыться. Через несколько минут из корабля выйдет весь воздух и рассеется в пространстве.

Один за другим космонавты покинули свой корабль.

Выходной люк ракетоплана был открыт. Когда все двенадцать человек собрались в камере, он закрылся.

Помещение было довольно велико и ярко освещено. Чем? Они не видели источника света.

Чей-то голос произнес по-русски, но с заметным акцентом:

— Снимите скафандры и сложите их в зеленый ящик.

Зеленый ящик стоял у стены. Он был металлическим.

Все, кроме Озерова, разделись удивительно быстро, быстрее, чем проделывали эту процедуру когда-либо раньше. Виктор, словно нарочно, снимал скафандр крайне медленно.

Но наконец и он сложил свои доспехи в зеленый ящик.

— Закройте глаза! — произнес тот же голос.

Они почувствовали короткое дуновение очень горячего воздуха, быть может, газа, а когда открыли глаза, внутренняя дверь ракетоплана оказалась уже открытой.

За ней стояли и смотрели на них трое людей. Очень высокие, массивные, они были одеты в легкие одежды. На лицах, казавшихся совсем молодыми, белозубо сверкали приветливые улыбки.

Около минуты обе группы внимательно рассматривали друг друга.

Космонавты облегченно вздохнули. Эти люди были такими же, как они сами, но только крупнее. И они показались им очень красивыми.

Неужели все люди на Земле стали такими?..

— Это прекрасно! — прошептала Станиславская.

Один из встречающих выступил вперед.

— По поручению человечества Земли,— сказал он по-английски (космонавты догадались, что это Стронций),— поздравляю вас с успешным возвращением. Земля ждет вас.

Больше он ничего не сказал. Длинные речи, видимо, были не приняты в тридцать девятом веке.

— Спасибо! — ответил Второв.

Экипаж ракетоплана, очевидно, счел официальную часть встречи законченной. Все трое подошли к космонавтам и по очереди обняли и поцеловали одинаково всех — мужчин и женщин. Это было сделано так просто и искренне, что даже Озеров почувствовал себя свободно, словно находился среди своих, близких людей.

— Меня зовут Стронций,— сказал тот, кто говорил первый.— Его — Кремний. А это Петр. Ваши имена нам известны, но покажите, кому принадлежит каждое имя.

Второв назвал всех своих товарищей. Он говорил довольно быстро, но для членов экипажа «ЦМП» этого оказалось достаточно. В дальнейшем они ни разу не перепутали ни одного имени.

Второв называл как имя, так и фамилию каждого. Но люди нового времени как будто сразу забыли фамилии. Они стали называть всех просто по именам.

Хозяева пригласили своих гостей пройти внутрь ракеты.

«ЦМП» не имел никаких кают. Одно большое помещение служило как для управления, так и для пребывания экипажа.

— Ракетоплан летает только на короткие расстояния,— пояснил Стронций.

«Ничего себе короткие,— подумал Второв.— От Марса до Европы!»

Стронций протянул Второву лист бумаги.

— Эта радиограмма,— сказал он,— получена нами в пути. Она адресована вам.

Второв прочел вслух:

— «Мои дорогие современники! Нет слов выразить мою радость. Жду вас с величайшим нетерпением. Обнимаю и целую каждого. Дмитрий Волгин».

Космонавты переглянулись. Озеров вздрогнул и весь подался вперед.

— Кто это? — спросил Второв.

— Дмитрий Волгин,— ответил Стронций,— человек, пришедший к нам, так же как и вы, из далекого прошлого. Из двадцатого века.

— Двадцатого?!..

Они хорошо знали, что в двадцатом веке еще не было межзвездных кораблей.

— Каким образом...— начал Второв, но Стронций перебил его.

— Дмитрий Волгин не космонавт,— сказал он.

Продолжение следует.

Встреча

Не было на Земле человека, который не ждал бы прилета экипажа «Ленина». Вся Земля готовилась встретить первых победителей Большого Космоса. Их имена, вошедшие в учебники истории, были хорошо известны всем. Эти люди были легендарны.

Но самым нетерпеливым, несомненно, был Волгин. С момента, когда Люций сообщил о возвращении людей, покинувших Землю в двадцать первом веке («В начале второго века коммунистической эры»,— сказал он), Волгин не имел больше покоя. Он считал не дни, а часы. Космонавты должны были ступить на Землю 23 сентября, рано утром, на центральном космодроме, расположенном в бывшей пустыне Сахаре. Волгин устремился туда двадцать первого.

Его буквально жгло нетерпение. Увидеть, обнять, почувствовать таких же, как и он, людей, родившихся в одну эпоху, говорящих с ним на одном языке,— ни о чем другом он не мог думать.

Разница в их «возрасте» не смущала Волгина. Он был прапредком вернувшихся космонавтов, но воспринимал их как современников.

Иначе и не могло быть. В сравнении с людьми тридцать девятого века они были почти одногодками.

Имена, отчества, фамилии, профессии и краткую биографию каждого из двенадцати космонавтов Волгин уже знал наизусть. Он знал, что самый молодой из них — Всеволод Крижевский — родился через девяносто четыре года после него. В книге, которую достал ему Люций, были портреты Второва, Котова, Озерова и Станиславской. Волгин часами всматривался в черты их лиц. Это были люди, во всем подобные ему самому. Они так же отличались от теперешних людей, как отличался Волгин.

Остальные члены экипажа «Ленина» были сняты группой. Фотография выцвела от времени, рассмотреть подробности было трудно. Но четверо, командный состав экспедиции, на снимке сохранились хорошо.

Волгин попросил переснять портреты: книгу надо было возвратить в архив. Его просьбу выполнили немедля. И четыре карточки бережно хранились им.

Он уже любил этих людей, пришедших к нему, чтобы разделить его одиночество. Теперь он больше не один. У него есть товарищи, которые поймут его всегда и во всем.

Волгин был очень счастлив.

Три дня он провел в Ленинграде. О том, чтобы продолжать путешествие по Земле, не могло быть и речи. Те, кто находился сейчас на Ганимеде, несомненно, захотят ознакомиться с новой Землей — они сделают это вместе.

Люций советовал отправиться на космодром двадцать третьего. Арелет доставил бы их туда за полтора часа. Но Волгин настоял на немедленной отправке, мотивируя свое желание тем, что хочет познакомиться с переменами, которые произошли в Сахаре.

Впрочем, слово «Сахара» произносил только он один. Это название давно было забыто.

В действительности Сахара его почти не интересовала. Его влекло, влекло непреодолимо мучительное нетерпение.

Люций летел в Африку неохотно. Ему жаль было прервать работу, но Верховные советы науки и техники должны были в полном составе встретить вернувшихся космонавтов. Это давно уже стало традицией. На космодроме соберутся все выдающиеся ученые Земли. Из академиков только двое — Мунций и еще один археолог — не находились на Земле.

Утром в день отлета Сергей привел к дому пятнадцатиместный арелет, опять-таки того же вишневого цвета.

— Почему такой большой? — удивился Волгин.

— Потому что космонавты, безусловно, не захотят расставаться с тобой,— ответил Люций.— Мне говорили, что они очень взволнованы и обрадованы предстоящим свиданием. Не меньше, чем ты. Из них больше половины уроженцы Ленинграда. Ты их встретишь и сам доставишь сюда.

— Этот дом слишком мал.

— Для вас приготовят другой. Не беспокойся ни о чем.

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки **А. БАБАНОВСКОГО**
и **Г. НОВОЖИЛОВА.**

ЧЕРЕЗ ВЕКА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 17—22.

Волгина не удивили эти слова. Он уже привык. В тридцать девятом веке переменить дом было совсем просто.

В каждом населенном пункте было больше зданий, чем необходимо. Изобилие всегда и во всем являлось характерной чертой эпохи.

Хотя мысли Волгина были всецело заняты людьми, которых ему предстояло увидеть, он не мог не заинтересоваться тем, что открылось его глазам на месте, где когда-то была Сахара.

Когда арелет на небольшой высоте медленно полетел от берега Средиземного моря в глубь материка, Волгин, не отрываясь, с возрастающим удивлением осматривал местность.

Он знал, что перед ним Сахара, но трудно было поверить этому.

Пустыня исчезла. Густой тропический лес заменил собой бесплодные пески. Темно-зеленый ковер расстилался внизу без конца и края.

Еще в двадцатом веке люди орошали пустыни, перерезая их каналами. Здесь не было каналов. Арелет пролетал над реками. Настоящими, широкими реками. Откуда взялись они здесь?..

Большие города с современными зданиями, обилие арелетов, высокие мачты всепланетной энергетической системы — все было таким же, как в центре Европы. Сахара превратилась в густо населенную цветущую страну.

В полной мере мог оценить Волгин силу и могущество человека, сумевшего так разительно изменить величайшую пустыню на Земле.

— Это производит сильное впечатление,— сказал он.— Больше всего меня поражают реки. Откуда берут они свое начало?

— Из внутренних морей,— ответила Мэри, сидевшая рядом с ним.— В Африке много искусственных водоемов. Уровень воды в них поддерживается тем, что сюда направляют ненужные дождевые осадки. Излишек стекает в Средиземное море и в Атлантический океан.

— Этих излишков, видимо, очень много,— заметил Волгин.— Реки широки и полноводны.

— В атмосфере всегда много влаги. Особенно в экваториальной полосе.

При небольшой скорости они летели над Сахарой около трех часов. Наконец на горизонте показался город Космоград — цель их пути.

Волгин видел уже много современных городов и привык к их внешнему виду. В тридцать девятом веке дома не тянулись вверх, они были, как правило, невысоки и располагались на больших площадях. Тем удивительнее был вид Космограда.

Огромное кольцо небоскребов окружало ровное гладкое поле, сплошь покрытое чем-то вроде асфальта. Это поле и было космодромом, где приземлялись звездолеты дальних рейсов. Каждый дом был высотой метров четыреста или пятьсот. Казалось, что будь на небе облака, крыши этих домов должны были скрываться в них. Архитектура была странна и необычна. Нельзя было определить, сколько этажей имеет то или иное здание. Обычных окон здесь не было. Чередовались полосы стекла и металла, иногда расположенные горизонтально, иногда вертикально. Назначение этих полос трудно было понять. Некоторые дома были совершенно прозрачны, другие, наоборот, выглядели сплошной массой, как одно целое. Два или три были прозрачны внизу и непрозрачны в верхней своей части, что создавало странное впечатление половины здания, парящего в воздухе. Всюду поднимались тонкие мачты, вершины которых находились так высоко, что их не было видно. Волгин решил, что это мачты для межпланетной связи.

— Какой странный город! — сказал он.

— Да, он не совсем обычен,— согласилась Мэри.— Космоград выстроен очень давно. Тогда считали, что командиры космолетов должны издалека видеть место посадки.

— Не совсем так, Мэри,— сказал Люций.— Была другая причина. Потом я расскажу тебе,— прибавил он, обращаясь к Волгину,— и ты поймешь, почему он именно такой. Архитектура Космограда неземная.

— То есть как это неземная?

Люций кивнул головой.

— Это так,— сказал он.— Но мы уже прилетели. Отложим объяснения до более удобного времени.

Арелет опустился на крышу одного из домов. Она оказалась огромной площадкой, на которой уже стояло несколько арелетов.

— Этот дом,— пояснил Сергей,— один из филиалов Института космонавтики. Сотрудники института просили, чтобы ты остановился у них. Не возражаешь?

— Конечно, нет.

Прилетевших встретили четыре человека. Один из них был пожилым, трое совсем молоды. Они поздоровались с Волгиным совершенно так же, как и с его спутниками,— приветливо и без всяких проявлений любопытства. Разумеется, он возбуждал особый интерес, но работники филиала ничем не показали этого.

Их провели в предназначенные для них комнаты, находившиеся на верхнем этаже. Это тоже было признаком внимания. Не надо было далеко идти или подниматься на лифте, чтобы добраться до своего арелета.

Еще подлетая к этому дому, Волгин обратил внимание на отсутствие окон в его верхней части. Но внутри все оказалось залитым солнечным светом. Повторилось то же, что было в Ленинграде,— стены пропускали свет односторонне. Но теперь Волгин уже знал, что яркость этого света, или, иначе говоря, прозрачность стен, можно изменять по желанию.

В Ленинграде нижняя часть стены всегда оставалась непрозрачной. Здесь было иначе. Вся стена, от пола до потолка, казалось, не существовала вовсе. При всем желании ее нельзя было увидеть.

Оставшись один, Волгин подошел к этой стене. Было такое впечатление, что он очутился на краю площадки, высящейся на высоте полукилометра над землей. Неприятное чувство головокружения заставило его тотчас же отойти назад.

Он протянул руку и дотронулся до невидимой поверхности. Стена была тут и надежно отделяла его от бездны.

Волгин обратил внимание, что не чувствует африканской жары. В ком-

нате было даже прохладно. Очевидно, стекло или что-то другое, из чего была сделана стена, не пропускало тепловых лучей Солнца.

Биотехника нового века была уже хорошо знакома Волгину. Он без труда заставил стену немного потемнеть. И снова проявилась разница между этим домом и тем, в котором он жил в Ленинграде. Там стена темнела вся сразу, здесь золотистая пелена стала медленно подниматься от пола. Когда она затянула стену до высоты полутора метров, Волгин остановил процесс.

Теперь комната имела более или менее привычный для него вид.

Он внимательно осмотрел обстановку.

«Архитектура зданий Космограда неземная»,— сказал ему Люций.

Очевидно, это относилось не только к архитектуре, но и к внутреннему убранству дома. Пол, потолок, стены (кроме наружной) были непривычны Волгину. Казалось, что они сделаны из губчатой массы, плотной и упругой. Темно-серый пол заметно пружинил. Он напоминал очень толстый ковер. Цвет потолка и стен был совершенно одинаков — бледно-желтый.

«Некрасиво!» — подумал Волгин.

Меблировка была, в общем, та же, что и везде, но каждый предмет имел непривычные глазу очертания. Столы, кресла, постель — все было каким-то другим, чужим. От всего веяло иными представлениями о красоте и удобстве. Причудливо изломанные линии резали глаз, расцветка выглядела слишком яркой, сочетание красок было неприятным.

— Да,— сказал Волгин самому себе,— все это явно неземное. Но чье же?

Он знал, что в солнечной системе нет планет, населенных высокоразвитыми существами. Значит, это копия обстановки какого-то иного мира, находящегося в иной планетной системе.

Самый факт связи с другим человечеством уже не мог удивить Волгина. Но для чего понадобилось строить Космоград по типу городов иного мира, этого он не понимал.

Ему вспомнились слова Мунция, что археологическая находка на Марсе могла остаться там не со времен первых межпланетных полетов, а от еще более давнего времени. Мунций посоветовал ему тогда прочесть книгу (Волгин забыл ее название), но он так и не собрался это сделать.

«Расспрошу Люция,— решил он.— Тем более, что он обещал объяснить, почему Космоград — неземной город».

Но прошло совсем немного времени, и Волгин забыл о Космограде, находке на Марсе и обо всем на свете. Люций сообщил ему, что экипаж «Ленина» прилетает на Землю не 23-го, как думали раньше, а завтра, 22-го.

— Они добились сокращения срока карантина на один день,— сказал Люций.— Видимо, их нетерпение очень велико. Я думаю,— прибавил он, улыбаясь,— что тут играет большую роль твое присутствие.

— Значит, они прилетают?..— взволнованно спросил Волгин.

— Завтра, в десять часов утра.

— А как же встречающие? Успеют они собраться?

— Конечно! Сегодня к вечеру все будут здесь.— Люций внимательно посмотрел на сына.— Ты должен спать эту ночь, как всегда.

— Вряд ли мне удастся заснуть,— сказал Волгин.

— Об этом я сам позабочусь.

Остаток дня прошел для Волгина, как в тумане. Он не мог потом вспомнить, что делал, с кем говорил.

Вечером, в обычный час отхода ко сну, к нему в комнату зашел Люций.

— Ложись! — сказал он.

— Все равно я не засну,— попытался возразить Волгин.

Люций улыбнулся. Когда Волгин разделся и лег, он положил свою тонкую руку на его лоб. Несколько секунд Волгин чувствовал приятное ощущение тепла. Казалось, что в него проникает слабый ток. Потом он заснул и проспал крепко, без сновидений, до восьми часов утра.

Медицина тридцать девятого века знала надежные средства, совсем непохожие на снотворные снадобья двадцатого.

Проснулся Волгин, как всегда, бодрым и свежим. В комнате было полутемно. Наружная стена, сплошь затянутая темно-золотой пеленой, почти не пропускала света. Очевидно, это сделал, уходя, Люций.

Волгин сразу вспомнил, что ожидает его сегодня, и вскочил.

Телеоф сообщил ему, что до прилета корабля с Ганимеда еще два часа. Волгин быстро оделся. Туалетная комната помещалась рядом, и в ней он увидел все тот же аппарат для волнового облучения, видимо, доставленный сюда ночью. Люций раз навсегда потребовал, чтобы ни один день не проходил без этой непонятной Волгину процедуры.

Умывание, пять минут у аппарата (он ничего не чувствовал при этом) — и Волгин был готов.

Он подошел к «окну».

Золотая пелена опустилась, открыв Космоград, залитый солнечным светом. Волгин обрадовался, увидев безоблачное небо, совершенно забыв, что оно и не могло быть другим, когда люди управляли погодой по своему желанию.

Далеко внизу расстилалась панорама гигантского поля космодрома. Волгину показалось, что он различает множество красных точек. Они сливались, образуя широкий круг.

У него мелькнула мысль о знаменах. Их не было в эту эпоху, но разве не могли люди украсить ракетодром красными флагами в честь вернувшихся космонавтов? Наверное, так и было.

Волгин прошел в комнату Владилена, помещавшуюся рядом.

Молодой астроном уже был одет.

— Пойдемте завтракать,— сказал он, как только увидел Волгина.— Мэри ждет нас.

— А где Люций?

— Он давно уже внизу.

— Почему же меня не разбудили?

— Люций сказал, что ты проснешься сам, и не велел тебя беспокоить.

— А если бы я проспал?

— Нет, этого не могло случиться.

— Нет ли известий с корабля?

— Есть. Они уже близко и прибудут точно в десять часов. Тебе радиограмма от экипажа «Ленина».

— Где она?

— У Люция.

Мягкая настойчивость Мэри заставила Волгина проглотить завтрак, хотя у него совершенно не было аппетита.

Впрочем, Владилен и Мэри тоже заметно волновались.

Они спустились на поле космодрома на маленьком арелете, который нашли на крыше, рядом со своим.

— Но, может быть, этот арелет принадлежит кому-нибудь? — сказал Волгин.

— Нет, он приготовлен для тебя.

Владилен всегда отвечал так, как будто он сам и Мэри вообще не шли в счет. Волгина вначале смущала эта манера, потом он привык к ней и только улыбался.

Они нашли Люция в густой толпе только потому, что тот сам их окликнул.

Рядом с Люцием Волгин увидел Ио, который приветствовал его с обычной своей сдержанностью.

— Познакомься, Дмитрий,— сказал Люций, указывая на стоявшего тут же человека с сильно загорелым лицом.— Это Иосиф, тот самый, которому ты в значительной степени обязан своим воскрешением.

«Так вот он каков!» — подумал Волгин.

Иосиф горячо пожал его руку.

— Я давно стремился увидеть вас,— сказал Иосиф.— Рад, что это случилось сейчас, в столь радостный для вас день.

— Я рад видеть вас,— ответил Волгин почти машинально.

Все его мысли были заняты приближавшимся к Земле кораблем. Он даже не обратил внимания на людей, стоявших кругом, хотя мог легко догадаться, что это члены Верховных советов науки и техники, то есть величайшие ученые Земли.

Волгин осмотрелся.

Поле космодрома действительно было украшено красными флагами. Но он не увидел ничего похожего на трибуну, которая, по его понятиям, должна была здесь находиться. Неужели не будет митинга?..

Не было ни портретов, ни лозунгов. Группа ученых, среди которых он сейчас находился, стояла немного впереди огромного кольца зрителей, и только.

«Слишком просто,— подумал Волгин.— Совсем нет торжественности, которой заслуживает подобное событие. Боюсь, что космонавты так же не поймут этого, как не понимаю я».

Но вслух он ничего не сказал.

— Чуть не забыл! — обратился к нему Люций.— Вот радиограмма, адресованная тебе.

Волгин схватил листок.

«Дорогой Дмитрий,— прочел он,— твое присутствие среди людей, встречающих нас, доставляет нам всем такую радость, которую трудно выразить словами. Больше, чем встречи с Землей, мы ожидаем счастья увидеть тебя. Считаем минуты. Подойди к нам первым, мы все просим тебя об этом. От имени экипажа космолета «Ленин» — Игорь Второв».

Телеграмма была переведена на современный язык, но в каждом слове звучало для Волгина знакомое, родное, привычное. Люди тридцать девятого века не говорили так.

Волгин несколько раз перечел краткий текст.

Когда он поднял голову, с глазами полными слез, то увидел, что все, кто стоял возле него, смотрят вверх.

— Они прилетели на тридцать восемь минут раньше срока,— сказал кто-то позади Волгина.

Над космодромом, высоко в небе, что-то длинное и узкое нестерпимо блестело в лучах Солнца.

Межпланетный корабль плавно и быстро приближался к Земле.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели».

Так сказал в самом начале двадцатого века великий основоположник звездоплавания Константин Эдуардович Циолковский.

Это было сказано тогда, когда сама мысль о полете за атмосферу Земли казалась фантастикой, когда многие ученые вообще не верили в возможность преодолеть силу земного тяготения, когда влекущие слова «межпланетный полет» звучали, как волшебная сказка.

Но Циолковский не только сказал: «Это возможно!». Он нашел и указал людям путь в космос.

Пророческие слова ученого начали претворяться в жизнь даже скорее, чем мог думать он сам.

Прошло два десятилетия со дня смерти Циолковского, а в небо уже взлетели первые советские искусственные спутники.

Штурм космоса начался!

Никто не мог предполагать, что этот штурм пойдет такими стремительными темпами, как это случилось на самом деле.

Всего через 3,5 года после запуска первого небольшого шара с четырьмя штырями антенн, который навеки вошел в сознание как символ величайшей победы, за атмосферу вырвался корабль с человеком на борту. Это произошло 12 апреля 1961 года, и этот день стал началом новой, космической эры в истории человечества.

Люди вышли из колыбели!

Штурм космоса шел неудержимо. И с самого начала во главе его был мир социализма.

Это было закономерно. Трудные дела по плечу не старости, а молодости. Мир социализма был молод. Противостоявший ему мир капитализма состарился и одряхлел.

Прошло немного лет, и человек оставил позади еще одну ступень крутой лестницы. Впервые нога человека коснулась поверхности другого небесного тела. Ученые Советского Союза высадились на лунную почву.

Марс оказался вторым небесным телом, на которое ступил человек!

Звездолет благополучно вернулся на Землю. Первый большой космический рейс успешно закончился.

И перед учеными Земли встала непостижимая загадка.

На Марсе нашли скудную растительность. Было ясно, что высокоорганизованная жизнь не развилась на планете, бедной теплом и светом. Все говорило за то, что Марс должен быть необитаем.

Но на нем оказались два вида животных. Откуда взялись они?

Тщетно ломали головы биологи. Наличие двух видов животных, только двух, без малейшего признака каких-либо других, противоречило всем законам развития жизни, в которых нельзя было сомневаться.

Было одно объяснение, но оно казалось невероятным. Животные Марса не явились результатом развития органической жизни на самой планете, они появились извне.

Как ни фантастично было такое предположение, другого объяснения странному факту не было.

Но тогда откуда явились животные?

Это было еще большей загадкой. Ее надо было во что бы то ни стало разрешить. Человеческий разум не мог мириться с обнаруженной и нераскрытой тайной. И замечательная тайна прошлого солнечной системы раскрылась.

Это произошло во время второго большого космического рейса — на планету Венеру.

Уже в пути, во время промежуточной остановки на астероиде Арсене, орбита которого проходила близко от орбит Земли и Венеры, было сделано сенсационное открытие. В одном из ущелий безжизненной, безусловно никогда не обитаемой малой планеты обнаружили гранитные фигуры, установленные руками разумных существ.

Это было первым указанием на великую тайну, указанием, не понятым тогда никем.

Второе звено было найдено на самой Венере.

Много открытий, неожиданных и грандиозных, ожидало исследователей. Богатая флора на материке, жизнь в глубинах океана и, наконец, разумные существа, стоявшие, правда, на низкой ступени эволюции, но обладавшие разумом, способным к дальнейшему развитию.

Одно это сделало экспедицию на «Сестру Земли» исторической, незабываемой в веках.

Но Венера поднесла людям Земли еще один, самый замечательный, самый важный сюрприз.

В густом лесу, на берегу горного озера, был найден... космический корабль!

Три гигантских кольца, вложенные друг в друга, пересекались поперечной трубой. Эти кольца так же представляли собой трубы. Диаметр наружного кольца достигал двухсот метров. В центре находилось ядро необычной формы. Материал, из которого был сделан корабль, походил на металл, но был неизвестен на Земле.

Было очевидно, что звездолет (в том, что это именно звездолет, не приходилось сомневаться) появился здесь очень давно. Тысячелетние деревья росли снаружи и внутри колец. Многие из этих деревьев выросли из-под корабля, изгибаясь по поверхности труб, видимо, необычайно прочных. Другие проросли сквозь крепления, соединявшие кольца. В дальнейшем оказалось, что этот корабль прибыл на Венеру почти сто тысяч лет тому назад.

Откуда он прилетел? Где была родина его экипажа? Почему, достигнув Венеры, космонавты не улетели с нее?

Двое членов экспедиции проникли внутрь чужого корабля. Секрет входа удалось разгадать.

И тут начались «чудеса».

В то время наука Земли только начинала понимать необъятные возможности, заключенные в биотоках человеческого мозга. Техническое использование этой силы, которая теперь проникла во все области техники, тогда еще не выходило дальше создания искусственных конечностей и простейших автоматов, управляемых мозговыми импульсами.

Корабль фаэтонцев (сразу после того, как люди проникли внутрь корабля, они узнали, что он прилетел с Фаэтона — пятой планеты солнечной системы, погибшей в результате космической катастрофы, планеты, орбита которой находилась на месте, где до сего дня находится первый пояс астероидов, между орбитами Марса и Юпитера) был насыщен техникой биотоков, настолько развитой, что ее можно было сравнить с современной.

Сперва люди не догадывались об этом. Люки корабля открывались перед ними как будто сами собой, стенки труб становились прозрачными и теряли прозрачность с пугающей целесообразностью. Точно кто-то невидимый, внимательно следящий за ними, вел двух людей осторожно и уверенно, по отсекам, заполненным неизвестными механизмами.

Даже сейчас, в наш век, можно поражаться тому, что через сто тысяч лет двигатели корабля, все его приборы и механизмы сохранились в полной исправности. Звездолет фаэтонцев, хозяева которого давно уже умерли, был жив и готов к полету. Люди Земли считали его мертвым, а он только спал.

И люди Земли разбудили корабль.

Борис Мельников и Геннадий Второв (так звали двух людей, проникших в корабль фаэтонцев) хорошо понимали, что перед ними техника, основ которой они не знают. Исследуя корабль, они попали в помещение, где находился пульт управления. Могло ли прийти им в голову, что даже здесь все основано на биотоках, на импульсах строго дисциплинированной мысли!

Мы не знаем подробностей, рассказа об этом событии самих его героев не сохранилось. Мы можем только предполагать.

Видимо, очутившись перед пультом, назначение которого они сразу не поняли, оба исследователя стали его рассматривать. Один из них сел в кресло перед пультом. Мы знаем теперь, что управление кораблем приводилось в действие только тогда, когда кто-нибудь садился в это кресло. Но ведь они этого не знали.

Биоток сопровождает каждый активный импульс мозга. Он возникает независимо от воли человека. И каждое «желание» создает биоток определенной частоты, определенной силы.

Почему у Мельникова или Второва возникло желание «поднять» корабль, мы не знаем. Возможно, что это произошло в результате соответствующего разговора. Как бы то ни было, но корабль фаэтонцев действительно поднялся и улетел с Венеры. Могучая сила антигравитации шутя разорвала оковы леса, в которые был заключен корабль.

Два человека очутились в межпланетном пространстве на корабле, которым они не умели управлять. Вернее сказать, на корабле, которым они не должны были уметь управлять.

Гибель казалась неизбежной.

Если бы эти люди поддались чувству безнадежности, отчаяния, они погибли бы.

Взлет корабля с Венеры, все, что произошло перед этим взлетом, они подвергли тщательному анализу. И догадались, поняли, чем и как управляется корабль.

Звездолет экспедиции, конечно, ринулся в погоню за улетевшим «фаэтонцем». Экипаж не мог не попытаться спасти своих товарищей. И оба корабля встретились в пространстве, между Венерой и Землей.

Здесь была допущена ошибка. Она извинительна, если вспомнить, что космические полеты еще не были привычны людям. Сознавая, как важен и нужен этот чужой звездолет для науки Земли, космонавты не рискнули вести его прямо на Землю, а решили для навыка в приземлении посадить его предварительно на небесное тело с меньшей силой тяготения. Они избрали для этого астероид Цереру.

Их ошибка заключалась в том, что никто не подумал о запасах энергии, оставшихся в звездолете фаэтонцев. А эта энергия уже истощалась. Достигнув Цереры, «фаэтонец» отказался служить дальше.

В наше время техника овладела антигравитацией, и в космических кораблях не приходится опасаться нехватки энергии. Отсюда мы делаем вывод, что наука фаэтонцев сто тысяч лет тому назад еще не достигла нашего современного уровня. Но она была на полторы тысячи лет впереди науки и техники двадцатого века.

И, несмотря на такой разрыв, люди научились управлять фаэтонским кораблем!

Оказавшиеся на Церере, в окончательно «умершем» корабле, люди были спасены другим звездолетом. А фаэтонский так и остался на этой малой планете, где стоит и сейчас, такой же несокрушимый, каким нашли его на Венере».

2

...«Фаэтонцы знали, что третья планета, которую они называли Гедейа, населена разумными существами, стоявшими тогда на низкой ступени развития. Они знали, что гедейанцы станут во всем подобны им самим, рано или поздно посетят Марс и Венеру. Фаэтонцы, оставшиеся на Венере без надежды улететь с нее (им некуда было лететь, потому что их родина — Фаэтон — не существовала больше), подготовили упрощенный, с их точки зрения, кинофильм, для того чтобы люди, которые войдут в звездолет много времени спустя, могли узнать все, что произошло, узнали, где искать человечество, волей судьбы покинувшее Солнце.

Мельников и Второв дважды смотрели этот фильм, пересняли его и рассказали о нем другим людям.

Загадка Марса раскрылась.

Животные, так поразившие своим существованием земных ученых, оказались не «марсианами», а «фаэтонцами». Это были животные погибшей планеты, привыкшие к разреженному воздуху, так как на Фаэтоне они жили в высокогорных районах. Они были доставлены туда перед катастрофой, о приближении которой фаэтонцы знали. В то время, когда люди посетили Марс, эти животные находились уже в стадии вымирания, чем и объяснялась их малочисленность.

Но фильм рассказал не только об этом.

Гранитные фигуры на Арсене, зачатки культуры обитателей Венеры — все это были следы, оставленные фаэтонцами. Но они хотели, чтобы земные люди — гедейанцы — не только поняли, что случилось с пятой планетой, не только узнали, где находятся сейчас дети Солнца, но и могли завязать сношения с ними.

Фильм, который увидели люди на фаэтонском корабле, дал указание, где искать «наследство»: на Арсене.

Специальная экспедиция обнаружила под гранитными фигурами Арсены четыре одинаковых граненых шара. С величайшей осторожностью их доставили на Землю.

Шары были сплошными, сделанными из материала, обладавшего сверхпрочностью. Известные в то время режущие средства не могли справиться с ним. Но, как оказалось, резать шары и было не нужно.

Фаэтонцы применили и здесь свою высокую технику биотоков.

Больших трудов и богатой фантазии потребовало раскрытие секрета шаров. Но он был раскрыт, и люди узнали, что хотели сказать им фаэтонцы.

И снова оказалось, что шары заключали в себе только дальнейшие указания, а не самую суть вопроса.

Фаэтонцы переусердствовали. Можно было сделать все гораздо проще и даже надежнее. Задуманное ими было слишком сложно, сохранность «наследства» подвергалась целому ряду случайностей.

Но рассуждать и находить недостатки спустя несколько столетий

очень легко. Шары указали, что надо искать в точке Южного полюса. Туда и отправились люди.

Там, на глубине шестидесяти метров, строго на линии земной оси, находилось надежно укрытое помещение, где были приготовлены для людей телеустройство, кстати сказать, снова снабженное не звуковым, а мысленным — мозгоимпульсным — устройством, и механизм, приводящий в действие межпланетную связь между Землей и Новым Фаэтоном, находящимся в системе Веги.

Люди узнали, что обитатели погибшей планеты спаслись. И что они намерены явиться на Землю, когда гедейанцы позовут их.

С этой целью они установили на одном из крупных астероидов второго внешнего пояса (они сами считали его первым и единственным) установку мгновенной связи, действующую на принципе возмущения гравитационного поля. Связь сопровождалась чудовищной вспышкой света. Можно сказать, что в этот момент в нашей системе вспыхнуло на мгновение второе Солнце. Астероид был сожжен и развеян в пространстве.

Но его гибель пропала впустую. Сигнал не был принят. Почему это случилось?

Как мы знаем теперь, гравитационная связь требовала исключительной точности наведения «луча». Отклонение на два-три ангстрема[1] уводило «луч» далеко в сторону от цели. Каковы были автоматические установки фаэтонцев, управлявшие «лучом», мы не знаем, они погибли в результате вспышки, но можно сказать почти с полной достоверностью, что они не могли сохранить свою точность на протяжении тысячи веков.

В течение ста лет люди ждали прилета фаэтонцев. Но они так и не прилетели, это случилось гораздо позднее.

Отчего же погиб Фаэтон? Что случилось с большой населенной планетой солнечной системы?

Орбита Фаэтона проходила там, где сейчас находится первый пояс астероидов. Астрономы давно, задолго до появления космических кораблей и находки на Арсене, подозревали, что между Марсом и Юпитером была когда-то пятая крупная планета, и назвали ее Фаэтоном. (Сами фаэтонцы называли ее Днайна.) Было высказано предположение, что пояс астероидов образовался в результате гибели Фаэтона. Все это оказалось правильным.

Больше того. Ученые правильно поняли и причину гибели Фаэтона.

Небесные тела движутся прямолинейно и равномерно, с постоянной скоростью, если ничто не мешает им. Солнце могучей силой своего гравитационного поля заставляет планеты падать на себя. Возникают две силы — центробежная и центростремительная. Если обе силы уравновешивают друг друга, планеты движутся по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Но если одна из этих сил преобладает, картина изменяется. Эллиптическая орбита превращается в спираль. Когда преобладает центростремительная сила, планета с каждым оборотом приближается к центральному светилу, а когда центробежная, то удаляется от него.

Это и случилось с пятой планетой нашей системы.

Фаэтон был обречен законами небесной механики на неизбежную гибель, потому что его поступательная скорость превышала скорость падения на Солнце.

Отчего это произошло?

Было ли так с самого начала, с момента возникновения Фаэтона как небесного тела, или планета сперва двигалась по правильной, эллиптической орбите и только потом, в результате внешнего воздействия, ускорила свой бег? На такой вопрос очень трудно ответить. Мы не знаем, что происходило в солнечной системе в далеком прошлом, когда еще не было ни одного разумного существа.

Достоверно только одно. За период высокоразумной жизни на Фаэтоне никаких внешних воздействий на движение планеты не было. Оно могло иметь место только в период «младенчества» человечества Фаэтона. Или еще раньше.

Наука фаэтонцев развивалась, в общем, параллельно с будущей наукой Земли. Общность происхождения (оба человечества обязаны своим существованием Солнцу) повлияла не только на внешние формы людей и животных обеих планет, но и на линию их развития. Обе науки шли одним и тем же путем.

Как и на Земле, первой наукой фаэтонцев была астрономия. Это естественно. Небо с его звездным узором само притягивает к себе внимание разума, начинающего познавать окружающий мир. Астрономия же неизбежно приводит к математике.

Неправильность в движении планеты была обнаружена фаэтонскими учеными сравнительно скоро. Но то, что следовало за этой неправильностью, к чему она должна была привести, открылось им значительно позднее.

С каждым оборотом, с каждым годом орбита Фаэтона увеличивалась, планета удалялась от Солнца, приближаясь к орбите Юпитера.

Масса, а следовательно, и гравитационное поле гиганта солнечной системы были в полторы тысячи раз больше массы Фаэтона. Сближение с Юпитером грозило планете гибелью.

И предотвратить катастрофу было выше человеческих сил.

К счастью для фаэтонцев, трагическая истина стала известна тогда, когда наука и техника достигли очень высокой ступени развития. Если они не могли изменить скорость движения планеты, то были уже достаточно могучи, чтобы принять меры к спасению ее человечества.

Для этого существовал только один путь — найти другую подходящую планету и переселиться на нее раньше, чем Фаэтон будет разорван притяжением Юпитера.

К этой цели устремились все силы фаэтонцев.

Их наука получила мощный толчок к бурному развитию — жестокую необходимость. Медлить было нельзя.

Оглядываясь сейчас на путь, пройденный предками фаэтонцев, легко заметить, что наука этого периода развивалась односторонне. Космонавтика стала превалировать над всеми остальными областями знания, оказавшимися как бы в загоне. Именно это послужило причиной заметного отставания фаэтонцев во всем, что не касалось космических полетов.

Казалось бы, что это не может иметь большого значения, поскольку речь идет о науке и технике фаэтонцев, какими они были тысячу веков тому назад. Но, как увидит читатель, отставание того периода сыграло огромную роль.

В солнечной системе фаэтонцы не нашли подходящей для них планеты. Марс был непригоден по ряду причин. Земля и Венера, помимо того, что они были больше по своим размерам, имели уже свое население и находились слишком близко к Солнцу. Фаэтонцы не могли жить в условиях «жаркого» для них климата.

Пришлось искать пригодную планету вне солнечной системы.

Космолеты фаэтонцев избороздили окрестности Солнца в радиусе пятидесяти световых лет.

Катастрофа неумолимо приближалась. Точный момент гибели Фаэтона был вычислен, и в распоряжении фаэтонцев оставалось не столь уж много времени.

Когда была найдена свободная планета в системе Веги (созвездие Лиры), выбора уже не было. Пришлось остановиться на ней.

Эта планета по размерам и составу атмосферы оказалась копией Фаэтона. Она была крайней планетой и от центрального светила — Веги — отстояла очень далеко и благодаря этому освещалась и согревалась плохо, но все же достаточно для фаэтонцев. Ведь Вега значительно крупнее Солнца и горячее его. Солнце — звезда желтая, Вега — голубая.

Фаэтонцы прекрасно отдавали себе отчет в разнице между Солнцем и Вегой. Они понимали, что излучения чужого солнца могут отрицательно сказаться на них. Но они надеялись справиться с вредным влиянием Веги, и, кроме того, у них не было возможности снова приниматься за поиски.

Великое переселение началось. Оно продолжалось несколько столетий. (Здесь всюду указываются наши земные меры времени. Фаэтонский год более чем вдвое превышал земной.)

Когда катастрофа приблизилась вплотную, переселение было закон-

---

[1] Ангстрем — единица длины, равная 10^{-7}, или 0,0000001 мм.

чено. Восхищение вызывает тот факт, что из сотен тысяч космолетов в пути погибли единицы.

Жизнь на Новом Фаэтоне началась.

Так покинули солнечную систему дети Солнца, старшие братья земных людей.

Заканчивая это предисловие, надо сказать несколько слов о судьбе последних восьми фаэтонцев, которые должны были улететь к Веге только после гибели Фаэтона. Наблюдение за катастрофой, за тем, как на месте планеты появились обломки, образовавшие затем пояс астероидов, велось ими с Земли.

Нетрудно представить себе, что испытывали восемь человек, видя разрушение своей родины. Великое счастье для нас, что участь Фаэтона не угрожает Земле.

Орбита Фаэтона приблизилась к орбите Юпитера на критическое расстояние. Ближайшее противостояние обеих планет было роковым. Этот момент настал. Могучее тяготение гигантской планеты преодолело внутренние силы сцепления вещества Фаэтона, и планета разлетелась на части.

Случилось так, что один из обломков, устремившись к Солнцу, встретился с Землей. И упал на нее как раз в том месте, где стоял звездолет восьми фаэтонцев. Взрывом уничтожило межзвездный гравитационный двигатель. Корабль был обезоружен, лететь к Веге было невозможно. И восемь фаэтонцев вынуждены были остаться в солнечной системе.

Межпланетный двигатель не пострадал. Экипаж корабля решил лететь на Венеру и там остаться. Почему они приняли такое решение, непонятно не только нам, но и потомкам фаэтонцев. Было логичнее остаться на Земле.

Это был тот самый корабль, который люди нашли на Венере, тот, в котором улетели с нее Мельников и Второв. И который в конечном итоге оказался на Церере [1].

В дальнейшем нами будет изложена история фаэтонцев с начала их цивилизации. Она рассказана самими фаэтонцами во время их последнего пребывания на Земле, шестьсот лет тому назад».

---

[1] См. роман Г. Мартынова «Звездоплаватели».

Волгин опустил книгу на колени.

— Только подумать,— прошептал он,— что все это происходило не так уж много времени спустя после моей смерти. Я мог бы дожить до этих дней.

То, что он прочел, произвело на него большое впечатление. В его время, которое даже ему самому казалось уже седой стариной, во второй половине двадцатого века, или, пользуясь современной терминологией, в первом веке коммунистической эры, люди уверенно совершали полеты к планетам солнечной системы! Что же удивительного в том, что сейчас, через девятнадцать веков, они чувствуют себя во всей солнечной системе, как дома. Так и должно быть.

Книга называлась «Пятая планета». Это была та самая книга, которую давно уже рекомендовал прочесть Мунций. Волгин взялся за нее сразу после того, как ему пришлось быть переводчиком на объединенном заседании советов науки и техники, на котором Второв сделал доклад о результатах полета «Ленина».

Многое из того, что говорил командир космолета, было совершенно непонятно Волгину. Слово «Фаэтон», неоднократно упоминавшееся в докладе, возбудило его любопытство. А когда председатель в ответ на заявление Второва, что они не нашли Фаэтона в планетной системе Веги, ответил, что на Земле уже знают об этом, Волгин понял, что настало время ознакомиться с историей вопроса.

Экипажу «Ленина» предстояло еще несколько дней провести в Верховном совете науки. После первого общего доклада, сделанного Второвым, участники экспедиции должны были ознакомить ученых более подробно, каждый по своей специальности. Услуги Волгина при этом не требовались, были доставлены переводчики-автоматы.

Он вернулся в Ленинград с Владиленом и Мэри. И в ожидании возвращения своих новых друзей взялся за «Пятую планету».

Прочитав начало, он задумался. Автор книги восхищался тем, что люди двадцатого века, близкие Волгину по времени, когда они жили, сумели овладеть техникой фаэтонского корабля. Разрыв в полтора тысячелетия не помешал им понять незнакомую технику. «Значит, и я могу понять и освоить технику тридцать девятого века»,— подумал Волгин. И эта мысль доставила ему большое облегчение.

Продолжение следует.

Встреча через века

Георгий МАРТЫНОВ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА
и А. БАБАНОВСКОГО.

Продолжение. Начало см. №№17—23.

Волгин обратил внимание на фамилии двух людей, очутившихся на корабле фаэтонцев и сумевших понять его устройство: Мельникова и Второв.

Те же фамилии носили два члена экипажа «Ленина». Что это, совпадение, или Игорь Захарович и Мария Александровна — родственники первых космонавтов?

Вспомнив о Мельниковой, Волгин нахмурился. Из двенадцати своих современников, так неожиданно прилетевших к нему из бездны Вселенной, с ней одной у Волгина не установились простые и дружеские отношения, она одна тревожила и волновала его при каждой встрече. Тяжелые воспоминания прошлого овладевали им в ее присутствии, и он не мог относиться к ней так же, как к остальным.

Это происходило потому, что Мельникова была очень похожа на погибшую жену Волгина — Ирину. Сходство между ними поразило его, как внезапный удар, еще там, в Космограде, когда он первым встретил космонавтов у выхода из корабля.

Сперва он не заметил ее: Мельникова скромно держалась позади. Его порывисто обнял и долго не отпускал от себя Виктор Озеров. Потом его обнимали Второв, Котов, Станиславская. И вдруг он увидел... Иру!

Она стояла близко от него без шлема, и золотистые волосы свободно рассыпались по ее плечам. На Волгина смотрели черные глаза под черными бровями. Никогда, ни у кого не встречал Волгин таких волос и таких глаз одновременно.

Он впился в нее глазами, взволнованный, не понимая, что перед ним: реальность или галлюцинация, вызванная встречей с современниками.

Мельникова заметно обиделась, не понимая, почему он не обнял ее, как других, а поздоровался с ней сухо и сдержанно.

Только через несколько дней, уже в Ленинграде, Волгин объяснил причину своей «холодности».

— Право, мне очень жаль,— сказала она и протянула ему руку, тонкую, но сильную, как у мужчины.

Он понял, что она знает, как ему тяжело, и жалеет его от всего сердца.

И если бы не сам Волгин, искавший ее общества, они виделись бы редко. Мельникова явно избегала Волгина, пользуясь для этого любым предлогом.

Зато остальные космонавты, в особенности Виктор Озеров, казалось, не могли наглядеться на Волгина и готовы были проводить с ним дни и ночи. Они часами говорили о жизни в двадцатом и двадцать первом веках, вспоминали события, которые для одного были будущим, а для других прошлым, но произошли как будто при их первой жизни. Подобно Волгину, космонавты называли свою теперешнюю жизнь второй жизнью.

Современный мир, равно незнакомый им всем, в эти первые дни был прочно забыт. Они наслаждались обществом друг друга. Было решено, что после того, как результаты экспедиции будут переданы ученым, экипаж «Ленина» вместе с Волгиным отправится в путешествие, которое он прервал ради них.

Волгин уже начал учить своих друзей современному языку. Федоров рассказал Волгину о болезни Озерова. Правда, и все остальные в той или иной степени были затронуты этой болезнью — тоской по прошлому,— но у молодого штурмана она проявлялась в обостренной форме. Присутствие Волгина служило отличным лекарством.

По совету Федорова Волгин предложил Виктору поселиться с ним в одной комнате, и тот встретил это предложение с таким восторгом, что Волгин невольно рассмеялся. Ему нравился Виктор, он понимал его и сочувствовал ему. Чуть ли не в один день они стали закадычными друзьями.

В первый же вечер, оставшись наедине, они рассказали друг другу всю свою жизнь. У них оказалось много общего. Разница в «возрасте», равная почти целому веку, не мешала хорошо понимать мысли и чувства.

Виктор признался своему новому другу в любви к Ксении Станиславской.

— А как она? — спросил Волгин.

— Не обращает на меня никакого внимания.

Волгин улыбнулся. Хотя Второв, самый старший из космонавтов, был по числу прожитых лет старше его, а остальные равны или немного моложе, он не мог отделаться от чувства, что все они в сравнении с ним дети. Он смотрел на них так, как мог бы старик смотреть на молодежь, с высоты своего жизненного опыта.

Волгин сознавал ложность этого чувства. Его друзья были, несомненно, выше его по знаниям, более развиты, чем он.

Волгин старался составить себе мнение о каждом из них. Ему очень понравились Второв, Озеров, Крижевский, Мельникова и Станиславская. Котов, с его суровостью и всегда мрачным лицом, произвел на него неприятное впечатление. К остальным Волгин еще не присмотрелся.

Он успел заметить, что Ксения Николаевна отличает Виктора от остальных. Он перехватил несколько ее взглядов, направленных в сторону Озерова, и был уверен в том, что его друг ошибается, говоря, что Станиславская равнодушна к нему.

Но о своих наблюдениях Волгин промолчал. Говорить об этом не стоило. Все выяснится само собой, когда придет время.

Старая, но вечно новая история!

«А современные люди,— подумал Волгин,— могут ли они влюбляться? Я ни разу не замечал ничего, что могло бы ответить на этот вопрос».

Одно время ему казалось, что Владилен неравнодушен к Мэри. Но они держались друг с другом так, что это впечатление рассеялось.

Любовь, дружба, взаимная симпатия и антипатия — все это не могло исчезнуть, должно было играть свою роль в жизни современных людей так же, как и у их предков.

Нет, хватит одиночества, пора, давно пора погрузиться в общую жизнь человечества!

Теперь это было легче сделать. Волгин был не один. То, что он чувствовал по отношению к окружающему, должны были чувствовать двенадцать других людей. Они могли делиться впечатлениями, мыслями,

могли поддержать друг друга в тяжелую минуту сомнений, которые так часто являлись Волгину в дни его одиночества.

Второв обронил фразу: «Нам придется учиться с самого начала». И тут будет легче, они могут учиться вместе.

Мысли Волгина снова вернулись к последним дням.

Люций был прав: космонавты не пожелали расстаться с Волгиным, они попросили его взять их с собой, в его арелет, и доставить в Ленинград. Второв, Мельникова, Котов, Федоров, оба астронома и Озеров были уроженцами Ленинграда. Остальные согласились сопровождать их и только потом повидать Москву, Киев, Варшаву. Все эти города существовали на Земле и носили те же названия, что и раньше. Джордж Вильсон был единственным в экипаже «Ленина», кто жил прежде не в Советском Союзе, и его родной город — Бредфорд, былой центр шерстяной промышленности,— не существовал в это время.

— Ничего,— сказал Вильсон, когда ему сообщили, что Бредфорда нет,— я половину жизни провел в Лондоне, а ведь он-то сохранился.

Разумеется, посещение Лондона было включено в маршрут поездки.

Опасаясь все же управлять арелетом таких больших размеров совершенно самостоятельно, Волгин попросил Владилена лететь с ними.

— Чего ты боишься? — спросил Владилен.— Большой или маленький, арелет управляется одинаково и одинаково безопасен.

Но Волгин настоял, и Владилен согласился. Пятнадцатое место в машине заняла Мэри, которую пригласила Мельникова. Они обе почувствовали симпатию друг к другу при первой же встрече.

Космонавты так же, как он, не имели понятия о достижениях науки и техники за протекшее на Земле время и в сравнении с современными людьми были подобны несмышленому ребенку. Но они вели себя иначе, чем Волгин. Второв, Котов, Озеров засыпали Владилена вопросами, которые Волгину приходилось переводить так же, как и ответы. Слушая этот разговор, он понял, что сам допустил большую ошибку, опасаясь показаться «дикарем». Космонавты не боялись этого. Они, если можно так выразиться, выставляли напоказ свою «неграмотность». Чувствовалось, что они и не помышляют уединиться и изучать современную жизнь, прежде чем окунуться в нее, как это сделал Волгин. Они прямо и открыто «брали быка за рога».

Ответы Владилена позволили Волгину гораздо лучше и глубже понять устройство арелета и принцип управления им, хотя он был знаком с этой машиной уже несколько месяцев, а не один час, как астронавты.

А когда Котов неожиданно попросил уступить ему место водителя и повел арелет нисколько не хуже Волгина, он окончательно убедился, что избранный им путь неправилен.

«Что ж,— думал он,— лучше поздно, чем никогда. Больше я не буду стесняться».

Вильсон и Кривоносов заинтересовались карманным телеофом. И, к удивлению Волгина, ни Владилен, ни Мэри не смогли ответить на их вопросы.

— Все знать невозможно,— заметил Михаил Филиппович.— Обратимся к специалистам.

В Ленинграде их ожидал приготовленный для них дом. «Дворец!» — сказал Кривоносов. Этот дом в два этажа помещался на улице имени Ирины Волгиной. Было совершенно ясно, что выбор продиктован заботой о Дмитрии Волгине.

Совпадение фамилий не ускользнуло от внимания Второва, и он спросил, случайно ли это.

Волгину пришлось вкратце рассказать о своей жене. Сочувственное молчание послужило ему ответом.

Потом Второв сказал:

— И вы и ваша жена заслужили бессмертие. Это должно утешать вас.

— Я живу,— ответил Волгин,— а Ирина...

Второв не нашел, что ответить. Озеров обнял Волгина.

Первые два дня поток вопросов обрушивался на Владилена, Мэри, Сергея. Космонавты хотели узнать и понять все сейчас, немедленно. Они не хотели ждать.

Подобно Волгину, космонавты целые дни проводили в Октябрьском парке. Но и здесь они вели себя совсем иначе. Расспрашивая обо всем, интересуясь всем, они обращались к любому встречному, вели долгие беседы, затрагивающие все стороны жизни. Волей-неволей участвуя в этих беседах, так как без него собеседники не поняли бы друг друга, Волгин в два дня узнал больше, чем за все предыдущие месяцы.

Ему было неловко и даже стыдно. Замкнуться в себе, встречать все новое и незнакомое с внешним безразличием казалось ему теперь глупостью.

«Потеряно столько времени! — думал он.— Откуда взялась у меня эта странная робость?»

Он рассказал обо всем Озерову.

— Мне кажется, что это было естественно,— ответил Виктор.— Ты был один. Это много значит. И еще мне кажется, что возвращение в мир таким путем, как случилось с тобой, не могло не повлиять на психику. Мы — другое дело. Никто из нас не умирал, мы продолжаем жить. Здесь огромная разница.

— А ты не боишься жить в одной комнате с бывшим покойником? — пошутил Волгин.

4

Знание Волгиным современного языка было еще не настолько полным, чтобы без затруднений читать любую книгу. Ознакомившись с предисловием к «Пятой планете», причем ему пришлось один раз вызвать к телеофу Люция и обратиться к нему за помощью, Волгин решил, что дальнейшее чтение можно заменить рассказом Владилена, который как астроном должен был знать историю Фаэтона.

Жизнь обитателей погибшей планеты разделялась на две, резко отличные друг от друга половины: до катастрофы и после нее. Первая половина меньше интересовала Волгина, и ознакомление с ней можно было пока отложить. А то, что относилось к Новому Фаэтону — планете системы Веги,— то это была область чисто астрономическая, и Владилен, конечно, хорошо ее знает.

Волгин не ошибся.

Разговор произошел вечером того же дня.

— Я прочел,— сказал Волгин,— о том, как люди узнали о фаэтонцах. Но мне неясно, сколько раз и когда они прилетали на Землю.

— Этот вопрос,— ответил Владилен,— интересовал ученых много столетий. Ответ был получен шестьсот лет назад, когда фаэтонцы прилетели к нам и провели на Земле свыше трех лет. Было достигнуто полное взаимопонимание. Лингвмашина...

— Это что такое?

— Узкоспециализированный электронный мозг, способный изучить любой язык по «слуху» и служить переводчиком. Название произошло от слова «лингвист». Так вот, с активной помощью самих фаэтонцев эта машина, вернее несколько таких машин, дали возможность вести подробные беседы. Мы узнали все, что хотели.

— Ты так говоришь «мы», будто сам присутствовал при этих беседах,— улыбнулся Волгин.

Владилен ответил с полной серьезностью:

— Шестьсот лет — срок большой, но люди третьего века нашей эры и мы, живущие в девятом, не так далеки друг от друга, как это было в старину. У них и у нас один и тот же образ жизни. Мы с детства привыкаем смотреть на последнее тысячелетие как на единую жизнь одного и того же общества. Этим и объясняется слово «мы».

— Продолжай!

— Фаэтонцы рассказали нам историю своей планеты. Цивилизованная жизнь началась у них примерно на сто тысяч лет раньше, чем на Земле. Я имею в виду земные года, на Фаэтоне год был гораздо длиннее. Но, как ты увидишь дальше, этот срок не так велик. В общем, история их общества чрезвычайно напоминает нашу историю. Было неравенство людей, была борьба классов. Переход к лучшим формам жизни у фаэтонцев происходил медленнее и труднее, чем на Земле. Но ко времени переселения все это было уже в прошлом. Они сами согласны, что не будь у них единого общественного строя, по-нашему коммунизма, фаэтонцы погибли бы вместе со всей планетой. Спасение стало возможно потому, что все люди действовали по единому плану, действовали дружно. Тебе, Дмитрий, лучше, чем нам, понятно, к чему привела бы катастрофа при существовании вражды и антагонизма.

— Вполне представляю.

— В истории фаэтонцев,— продолжал Владилен,— обращает на себя внимание один странный факт. Коммунизм — будем употреблять это слово — появился у них в теории за две тысячи лет до того, как он стал формой жизни. У нас, на Земле, на это потребовалось в двадцать раз меньше времени. Первый искусственный спутник Фаэтона (у них были искусственные спутники) вылетел за пределы атмосферы уже при полном коммунизме, за четыреста лет до полета в космос первого фаэтонца. У нас на это потребовалось шесть лет. В шестьдесят семь раз меньше. И так было во всех областях науки и техники, везде одна и та же картина. О чем она говорит?

— Прогресс шел медленнее.

— Да, гораздо медленнее, чем у нас. Я помню, например, что они открыли явление электролизации почти за тысячу лет до появления в технике электродвигателей.

— Но чем объясняются такие темпы? Что они, мыслят медленнее, что ли?

— Да, это так. Фаэтонцы очень похожи на нас. Они только очень маленького роста, их глаза больше наших, а лоб массивнее. Но за этим лбом течет медленная, словно ленивая, мысль. Их движения тоже замедленные, плавные, спокойно-неторопливые. И вся их жизнь, с нашей точки зрения, идет томительно медленно. Но они сами, конечно, не замечают этого. Мы показались им слишком быстрыми, порывистыми, резкими в словах и поступках. Может быть, они считают нас даже бестолково мечущимися. Им непонятна наша энергия.

— Но почему это так?

— Потому, что жизненная энергия, интенсивность развития находятся в прямой зависимости от количества солнечной энергии, от количества тепла и света, получаемых планетой от Солнца. Фаэтон находился слишком далеко от центра нашей системы. И жизнь на нем возникла и развивалась неизмеримо медленнее, чем на Земле. Если она все же достигла высокой ступени, то это произошло потому, что Фаэтон во всех остальных отношениях был прекрасно приспособлен к жизни. И еще потому, что жизнь легко приспосабливается к любым условиям. Медленность эволюции организмов повлияла на развитие мозга. Мозг фаэтонцев по природе своей инертнее нашего.

— Значит, один и тот же путь мы проходили и проходим быстрее, чем они?

— Да. И мы все время их обгоняем. Вернее сказать, нагоняем. В настоящее время они идут впереди нас, но ненамного.

— Как? Ведь, насколько я понял, современная наука Земли находится на том уровне, где была наука фаэтонцев сто тысяч лет тому назад?

— Это верно, но слушай дальше. Если бы Фаэтон не погиб и фаэтонцы продолжали жить в солнечной системе, при всей медленности их развития, они обогнали бы нас по крайней мере на четыре-пять тысяч лет. Но дальнейшая жизнь фаэтонцев проходила под светом не Солнца, а голубой звезды Веги.

— На это указывает и автор «Пятой планеты», но не дает пояснений. Предисловие очень кратко.

— Мы уклонились в сторону,— сказал Владилен.— Ты интересовался, сколько раз фаэтонцы посещали Землю. Давай вернемся к этому вопросу.

— Я забыл об этом. То, что ты рассказываешь, очень интересно.

— Лучше соблюдать хронологический порядок. Так вот, фаэтонцы начали совершать межпланетные полеты, когда люди Земли были еще в первобытном состоянии. Они прилетали к нам восемь раз. Одна экспедиция отделялась от другой тысячелетиями. И, наблюдая жизнь Земли, ученые Фаэтона поняли, что эволюция на Земле идет значительно быстрее, чем это происходило у них. Прилетая к нам в очередной раз, они находили людей более развитыми, чем ожидали, исходя из своего опыта. Это очень важно для понимания последующего. Когда они узнали об участи, грозящей их планете, было принято решение оставить на Земле указания, о которых ты читал в предисловии. Надо отдать им должное, они поразительно точно рассчитали время, когда люди найдут тайник. Ошибка составила немногим больше тысячи наших лет. Это изумительно.

— Согласен. Но сколько времени им потребовалось для этого расчета?

Владилен засмеялся.

— Важен результат,— сказал он.— Устройство тайника на полюсе, установка гранитных фигур на Арсене — все это потребовало много времени. Они сами не могут сейчас сказать, сколько раз прилетали на Землю для осуществления своего плана. Вероятно, раз десять. После переселения к Веге они посетили Землю два раза. Первый раз — для проверки тайника и для установки аппарата связи, а второй — шестьсот лет назад.

— Получили они сигнал?

— Нет, не получили. Или он не появлялся вообще, или уклонился в сторону. С нетерпением ожидая сигнала и не получив его, когда, по их расчету, он должен был быть послан, фаэтонцы отправились на Землю без приглашения. Это случилось через тысячу триста лет после попытки людей Земли дать этот сигнал.

— Ты сказал, что они ждали с нетерпением. Почему? Разве им так важно было получить сигнал?

— Да, очень важно. Чтобы ты понял дальнейшее, я должен немного сказать о звездах и их излучениях. Звезды делятся на спектральные классы, от белых гигантов до красных карликов. Я говорю это потому, что в твое время не были известны звезды по обе стороны этих пределов.

— О! Ты можешь с равным успехом приводить и новейшие данные. Я никогда ничего не понимал в астрономии.

— Нам достаточно и этого. Солнце принадлежит к классу желтых звезд, наиболее распространенных во Вселенной. Раз ты говоришь, что незнаком с астрономией, я не буду вдаваться в анализ спектральных классов. Скажу самую суть.

— Что и требуется.

— Солнце во всех отношениях — средняя рядовая звезда. Его величина, масса, поверхностная температура, интенсивность излучения всех частот — в общем, все самое обычное, часто встречающееся.

— Не слишком почетно для людей,— заметил Волгин.

— Но очень важно для них. В твое время не знали, но теперь знают, что все звезды типа нашего Солнца имеют планетные системы. Установлено, что именно желтые звезды наиболее благоприятны для жизни на их планетах.

— А у звезд других классов есть планеты?

— Не у всех, но встречаются. Но мы не знаем ни одной планетной системы таких звезд, где возникла бы жизнь. Кроме Веги, но на ее крайней планете жизнь появилась извне, можно сказать, насильственным образом. Я говорю о фаэтонцах.

— Это я знаю. А много известно планетных систем с жизнью?

— Да, очень много. Но наличие жизни еще не означает появление разумной жизни. Планет, где появились высокоразвитые существа, способные мыслить, пока известно совсем мало.

— К этому вопросу мы вернемся. Говори дальше.

— Тогда не отвлекай меня. Установлено также, что звезды спектрального класса Веги не только не благоприятны для возникновения жизни, но и вредно влияют на живые организмы. Этого не учли фаэтонские ученые. Или они надеялись искусственно нейтрализовать вредные излучения голубого солнца. Отчасти им это удалось, жизнь на Новом Фаэтоне не погибла.

— Я что-то плохо понимаю.

— Сейчас поймешь все. Излучения голубых звезд оказывают тормозящее действие на развитие мозга. И не только мозга, но и вообще уменьшают жизненную энергию. Фаэтонцы узнали об этом слишком поздно. И без того медленное развитие их организмов еще более замедлилось у Веги. Повторяю, если бы они были менее развиты, они погибли бы, эволюция пошла бы назад. Они потеряли бы все, что было завоевано тысячелетиями, и постепенно превратились снова в дикарей, а затем и в животных. Только высокая культура спасла их от этой участи. Но дальнейшее движение вперед почти полностью прекратилось. Они застыли на одном месте. Жизнь превратилась в пассивное состояние, способное только поддерживать уже достигнутое, но не создавать новое, а ведь только это и есть подлинная жизнь. Правда, мысль работала, но как? За сто тысяч наших лет почти полмиллиона их поколений подвинулись по пути прогресса настолько, насколько мы на Земле продвигаемся за одну тысячу лет. Вот почему я сказал, что фаэтонцы впереди, но ненамного. Если бы они остались у Веги, люди Земли обогнали бы их очень скоро.

— Значит, они снова решили переселиться?

— Не совсем так. Не переселиться, а перейти в другую планетную систему, к более благоприятному солнцу.

— Это и означает переселение.

— Допустим,— сказал Владилен,— что мы с тобой решили переехать в другой дом. Мы сядем в арелет и переселимся. Но если мы хотим жить на новом месте в этом доме?

— Тогда придется перенести дом.

— Вот именно. И это уже нельзя назвать переселением.

— Значит, ты хочешь сказать...

— Как раз это. Наука и техника фаэтонцев дает им возможность «перенести дом на другое место». Короче говоря, совершить переезд в другую планетную систему, не покидая своей планеты.

— От одной звезды к другой?!

— Что ж тут удивительного! Это гораздо удобнее.

— Твое хладнокровие восхитительно, Владилен! Действительно! Совершить космическое путешествие, но покидая квартиры! Чего проще! — Волгин рассмеялся несколько нервно.

— Все это не так уж сложно. Если имеешь возможность воздействовать на гравитационное поле, то становишься хозяином орби-

ты планеты. Фаэтонцы заставили планету двигаться по спирали, отдаляясь от Веги. А когда освободились от притяжения звезды, направили свой путь к Солнцу.

— К Солнцу? Значит, они возвращаются сюда?

— Ну конечно. Солнечная система — их родина. Только здесь через несколько поколений исчезнут все следы влияния голубого солнца, и жизнь пойдет по-старому.

— Теперь понятно,— сказал Волгин.— А то я хотел спросить, почему они не ушли от Веги гораздо раньше.

— Именно потому, что другой звезды спектрального класса Солнца нет на приемлемом расстоянии. И именно поэтому они с таким нетерпением ожидали сигнала. Им нужно вернуться на то место, где находился первый Фаэтон. Но оно занято его же обломками, поясом астероидов. Только мы, люди Земли, можем помочь им.

— Кажется, я все понял. Очистительные отряды, в которых работает мать Мэри, созданы для этой цели?

— Да. К моменту прилета фаэтонцев надо очистить орбиту для пятой планеты, которая снова появится в солнечной системе. Мы уничтожим все астероиды. На Марсе уже строится сверхмощная гравитационная станция. Только для того, чтобы в случае помех со стороны Юпитера оказать помощь фаэтонцам. Но можно надеяться, что Юпитер не помешает. По нашим расчетам, он будет находиться по другую сторону Солнца.

— Момент прилета точно известен?

— Конечно. Когда фаэтонцы были на Земле, шестьсот лет тому назад, их планета уже покинула Вегу. Они были совершенно уверены, что мы уже способны помочь им. И не ошиблись. Траектория полета, скорость движения — все точно известно.

— Но если так, зачем строить станцию на Марсе?

— В таком деле нельзя ничем пренебрегать. В расчеты могла вкрасться ошибка, или что-нибудь непредвиденное может изменить данные полета Фаэтона. Нельзя рисковать целым человечеством.

— Когда же они прилетят?

— Фаэтон будет на линии своей новой орбиты первого июля девятьсот семьдесят девятого года. Если ничто не помешает.

— Значит, мы не увидим этого события?

— Почему? Осталось сто девятнадцать лет. Фаэтон уже близко. Мунций или даже Люций вряд ли доживут до его прилета. Но ты, я, Мэри — мы увидим его.

— Я?

— Разве Люций не говорил тебе, что ты проживешь не менее ста двадцати лет?

— Говорил.

— Ты не веришь ему?

Волгин промолчал. Он действительно не мог верить отцу в этом вопросе. Ему казалось, что Люций говорит так из чувства сострадания, желая убедить Волгина в том, что он ничем не отличается от других людей. Чудовищное потрясение, которое испытал его организм, умерший и воскресший, не могло, по мнению Волгина, продлить жизнь, а, как раз наоборот, должно сократить ее. Люций жалеет его и не говорит правды.

— Хорошо,— сказал Волгин.— Допустим, что я проживу сто двадцать лет. Фаэтонцы прилетят через сто девятнадцать...

— Понимаю, что ты хочешь сказать. Но наука многое узнала и многому научилась из опыта с тобой. Не сомневаюсь, что ты сможешь прожить дольше. Так же, как любой из нас.

— Например, Мунций?

— Ему уже под двести. Вряд ли он захочет.

— Разве дело только в желании?

— В большинстве случаев именно в этом. Возьмем Мунция. Если он захотел бы во что бы то ни стало увидеть прилет фаэтонцев, он мог бы воспользоваться анабиосном.

— Это слово мне ничего не говорит.

— Человека можно погрузить в сон настолько глубокий, что он граничит с состоянием анабиоза. В таком сне организм замирает, сердце почти не бьется, питание вводится искусственно. Анабиосон может продолжаться от ста до двухсот лет. А проснувшись, человек снова начинает жить. Перерыв не сказывается на общей продолжительности активной жизни. Любопытно, что после анабиосна человек внешне молодеет, исчезают морщины, седые волосы.

— Ты мне напомнил. Я давно хотел спросить: почему у вас сохранилась старость, внешняя, конечно? Разве наука не может создать человеку вечную молодость? Опять-таки внешнюю.

— Вполне может. Морщины, седина — все это легко устранимо. Но, как это ни странно, сами старики не хотят выглядеть молодыми. За очень редкими исключениями. К таким исключениям принадлежит Иосиф, которого ты видел в Космограде. Знаешь ли ты, что он старше Мунция?

— Этому трудно поверить. Иосиф выглядит ровесником Люция.

— Он старше его больше чем вдвое. Но таких «любителей» очень мало.

— Вероятно, это происходит потому, что у вас долго длится естественная молодость. С точки зрения моих современников, Люций — дряхлый старик. Ведь ему больше восьмидесяти лет. А выглядит он тридцатилетним. То же самое и с женой Люция — Эрой. Кстати, сколько тебе лет, Владилен?

— Тридцать два.

— А Мэри?

— Не знаю. Спроси ее сам.

— Женщинам не принято задавать такие вопросы. Или у вас это можно?

— Почему же нельзя? Но у нас вообще не принято спрашивать о годах.

— В таком случае извини за мой вопрос.

— С твоей стороны он вполне естествен.

— Вернемся к Фаэтону,— сказал Волгин, которому показалось, что Владилен чем-то недоволен.— Сколько лет он уже летит?

— Скоро будет ровно полторы тысячи. Много поколений фаэтонцев провели всю жизнь между Вегой и Солнцем.

— В темноте и холоде?

— Нисколько. Планета согревается и освещается искусственным солнцем которое обращается вокруг нее. Фаэтонцы в пути пользуются теплом и светом, подобным нашим, солнечным. В этом отношении им лучше, чем было у Веги.

— Почему же тогда они не удалились в пространство гораздо раньше, не ожидали вдали от Веги?

— Искусственное солнце греет и освещает, но оно лишено многих излучений, необходимых живым организмам. Полторы тысячи лет еще терпимо, но больше...

— У тебя на все есть ответ.

— Я здесь ни при чем. Все обдумано самими фаэтонцами.

— Еще один вопрос. Почему фаэтонцы не прилетали на Землю за эти шестьсот лет? Разве их не интересует, как идет работа очистительных отрядов? Мне кажется, они должны были следить за этим.

— Они вполне доверяют нам. Но Земля — слишком жаркая планета для фаэтонцев, особенно после того, как они столь долго жили на окраине системы Веги. Когда они были на Земле, для них создавали холодный климат, почти все время они провели в Антарктиде.

— Антарктида не нуждается в искусственном холоде.

— Ты ошибаешься. Антарктида — тропическая страна. Над ней уже больше тысячи лет сияет искусственное солнце. Но, если фаэтонцы не были больше на Земле, это не значит, что они вообще не прилетали в солнечную систему. Чем ближе Фаэтон к Солнцу, тем легче им совершать полеты к нам. За шестьсот лет у нас было шесть фаэтонских кораблей. Но они останавливались на Марсе или на Церере. Последний корабль еще не улетел.

— Так фаэтонцы здесь?

— Да, на Марсе. Это группа ученых, которые работают над проблемой ускорения акклиматизации, предстоящей населению Фаэтона. Они хотят как можно скорее привыкнуть к лучам Солнца, и это очень разумно.

— Хотел бы я их увидеть!— вырвалось у Волгина.

— А кто мешает тебе?

— Только не по телеофу, а в натуре, как вы говорите.

— Опять-таки, кто тебе мешает? Слетать на Марс — это пустяк. Можешь отправиться с любым рейсовым ракетопланом.

— Да, пустяк? Для вас, но не для меня. Совершить межпланетное путешествие...

— Уверяю тебя, оно не сложнее полета на хорошо тебе знакомом арелете. Только пейзажи за бортом будут иными.

— А невесомость или повышенная тяжесть?

— Ни того, ни другого. Ускорение нейтрализуется антигравитацией. Тяжесть обычная на всем протяжении пути.

— Сколько времени надо лететь?

— О, совсем немного. Марс находится сейчас на расстоянии около двухсот миллионов километров от Земли. В былое время, когда ускорение ограничивалось пределами выносливости человеческого организма, на этот путь потребовалось бы несколько месяцев или даже лет. Сейчас можно принять любое ускорение, пассажиры его не ощущают. Ракетопланы, связывающие Землю с Марсом, половину пути летят с положительным ускорением, а вторую половину — с отрицательным. И это ускорение очень велико. Я не помню точно, но кажется, что полет на двести миллионов километров занимает примерно шестнадцать часов.

— Что?!

— Я сказал примерно. Погоди, я сейчас скажу точно.— Владилен на несколько секунд задумался.— Ну да, я прав. Пятнадцать часов сорок семь минут и четыре секунды.

Волгин уже несколько раз мог убедиться, что современные люди способны производить в уме с непостижимой быстротой вычисления, которые были совершенно недоступны без бумаги и времени людям его поколения. Его не удивило, что Владилен так быстро назвал цифру, но сама эта цифра, такой срок межпланетного полета, глубоко поразила его.

— Ты же сам сказал, что не знаешь точного расстояния до Марса,— сказал он.

— Я вспомнил точно.

— Это непостижимо! Шестнадцать часов!

— И это еще слишком долго. Но ракетопланы не могут развить большего ускорения. Пока не могут.

— Ну, если так...

— Слетай на Марс. Ты там еще не был, тебе это будет интересно. Я уверен, что Виктор и другие с удовольствием согласятся лететь с тобой.

— А ты?

— Если хочешь, и я полечу. Я всегда в твоем распоряжении.

— Так вот почему,— задумчиво сказал Волгин,— Второв так удивлялся, что они не нашли Фаэтона в системе Веги. Его там уже не было.

— Да. «Ленин» имел задачу достигнуть звезды 61-Лебедя. А на обратном пути отыскать Новый Фаэтон и выяснить, почему фаэтонцы не реагировали на посланный сигнал.

— Скажи, управление ракетопланом сильно отличается от управления арелетом?

— Почти то же. И там и здесь биотоки. Но ориентировка в пути, конечно, требует специальных знаний.

Конец второй части.

Третья часть будет опубликована в «Смене» в 1962 году.

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО
и Г. НОВОЖИЛОВА.

В прошлом году «Смена» начала печатать (№№ 17—24) научно-фантастический роман Г. Мартынова «Встреча через века». События, описываемые в романе, переносят читателя на тысячу девятьсот лет вперед в 39-й век. При археологических раскопках ученые обнаружили запаянный свинцовый гроб, в котором находилось тело участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Дмитрия Волгина. Усилиями ученых 39-го века, и в первую очередь биолога Люция, удалось воскресить Дмитрия Волгина.

Таким образом, наш современник попадает в мир будущего, когда коммунизм стал единственным общественным строем на нашей Земле. Все в этом мире: и сами люди, и характер их взаимоотношений, и их дела, поступки, планы — ново, необычно для Волгина, и он поначалу чуждается своих новых современников, замыкается в себе. Но постепенно с помощью друзей Дмитрий Волгин осваивается с обстановкой и начинает знакомиться с жизнью людей 39-го века. Постоянными спутниками Волгина становятся два молодых человека — Мэри и Владилен. Вскоре на Землю из длительного космического путешествия возвращается космолет «Ленин», запущенный Советским Союзом в 21-м веке. Двенадцать членов экипажа космолета — Игорь Второв, Виктор Озеров, Михаил Кривоносов, Джордж Вильсон, Всеволод Крижевский, Мария Мельникова, Ксения Станиславская, Константин Котов, Федор Федоров и другие — провели в космосе восемь лет по земному времени, но за это время на Земле, согласно теории относительности, прошло 1800 лет. Возвратившись на Землю, они, как и Волгин, попадают в совершенно незнакомый мир и вместе с ним знакомятся с жизнью, работой, бытом наших далеких потомков.

Во время одной из бесед пришельцы из двадцатого и двадцать первого веков узнали, что на Марсе, который к тому времени был уже давно обжит людьми, живут фаэтонцы — разумные обитатели планеты Фаэтон. Эта планета в результате звездной катастрофы погибла, но ее население успело переселиться на другую планету, находящуюся вне пределов солнечной системы. Однако условия жизни на новой планете оказались неподходящими для фаэтонцев, и они решили вернуться в пределы солнечной системы. Несколько фаэтонцев прилетели на Марс, чтобы вместе с землянами подготовить прибытие Нового Фаэтона.

Волгин со своими друзьями захотели познакомиться с фаэтонцами, живущими на Марсе, и для этого решили предпринять межпланетное путешествие.

Встреча через века

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава пятая

I

Снова Космоград! Снова гиганты-небоскребы, кольцом окружившие взлетное поле, поражающие взор своими размерами и странной архитектурой. Волгин смотрел на них теперь другими глазами. Это были здания, привычные тем, кого он увидит в скором времени,— фаэтонцам, людям иного мира, иной культуры, с иными вкусами и привычками. Сейчас, когда он знал, почему Космоград не похож на земные города, Волгин видел многое, что в первое посещение не привлекло его внимания. Правда, тогда он был всецело поглощен ожиданием прилета экипажа «Ленина».

Предложение Волгина слетать на Марс и познакомиться с фаэтонцами против всяких ожиданий было принято далеко не всеми. Больше половины космонавтов наотрез отказались.

— Я по горло сыта космическими полетами,— заявила Ксения Станиславская.

К ее словам присоединились еще шестеро. Только Второв, Котов, Крижевский и Мельникова согласились сразу и даже с радостью. Виктор Озеров не сказал ни да, ни нет. Ему явно хотелось лететь с Волгиным, но Ксения оставалась, и Виктор колебался.

Котов за два дня до отлета неожиданно заболел, и это чуть было не сорвало весь намеченный план. Мельникова ни за что не соглашалась оставить больного, а без нее не полетела бы Мэри да, пожалуй, и сам Волгин. Но вызванный Владиленом врач успокоил всех.

— Это просто нервное утомление,— сказал он.— Искусственный сон и все будет в порядке. Но полет на Марс или куда бы то ни было советую пока отложить. По крайней мере на пару месяцев. Не нужно новых впечатлений.

Котова уложили в постель, и он заснул просто и спокойно, как будто дело происходило не утром, а вечером, в обычный час сна. И никто не заметил, как это было сделано.

Никаких лекарств больному не давали.

— Он будет спать трое суток,— пояснил врач.— Один раз в день будите его и кормите пищей, которую я назначу. Потом он будет опять засыпать. А когда пройдут три дня, ваш товарищ совершенно поправится.

Мельниковой нечего было делать возле больного, и она согласилась лететь со всеми. Виктор же так и не решился покинуть Ксению.

...К ракетоплану со всех сторон шли люди. Их было много.

— Никогда не думал, что пассажиры на Марс так многочисленны,— сказал Волгин.— Что им нужно там? Или это все любопытные, как мы?

— На Марсе,— ответила Мэри,— сейчас живет свыше трехсот тысяч человек. Возможно, что среди них есть и туристы, но в большинстве это работники очистительных отрядов, строители станций и других предприятий, которые в большом количестве строятся на планете. Решено окружить Марс атмосферой, а это стоит большого труда.

— Бывало,— сказал Второв,— люди ездили не на соседнюю планету, а в другой город. И у всех всегда был багаж. А здесь? Ни у кого ничего нет в руках.

— А мы сами? — Крижевский развел пустыми руками.— Едем, как на прогулку.

Не только Волгин, никогда в жизни не видевший ни одного межпланетного корабля, кроме того, на котором прилетели с Ганимеда космонавты, но и они сами очень удивились, увидя рейсовый ракетоплан.

Само это слово заставляло думать, что полет будет совершен на ракете. Ракетоплан «ЦМП-258», на котором прилетели на Землю члены экипажа космолета «Ленин», имел все внешние признаки ракеты — удлиненный фюзеляж, сигарообразную форму передней части. Но корабль «Земля — Марс» не имел ничего общего с «ЦМП».

Огромное кольцо бронзового цвета, до ста метров в диаметре, высотой в пять метров, было увенчано сферическим куполом из бледно-желтого металла. Ни одного окна, ни одного иллюминатора, только внизу, в кольце, виднелась дверь — отверстие овальной формы.

— Ну вот,— разочарованно сказал Волгин, обращаясь к Мэри,— а ты говорила!

— Увидишь! — еще раз ответила девушка.

— Этот корабль,— по-русски сказал Второв,— очень похож на здание цирка. Только очень уж огромное.

— Спросите,— попросил Вильсон,— на каком принципе устроен корабль? Антигравитация?

— Да,— ответил Владилен.— Ракетоплан использует в полете гравитационные поля Солнца, Земли и Марса. Но нам пора идти, до отлета восемь минут.

Торопливое прощание, и улетающие направились к ракетоплану. У входа их встретил человек, одетый в традиционный комбинезон астролетчиков. У всех подходивших он спрашивал имя и называл номер каюты.

Когда подошли Владилен и Мэри, этот человек только взглянул на их спутника и сразу понял, кто перед ним. Не задавая вопроса, он коротко бросил:

— Первый! — и добавил: — Седьмого не будет?

— Нет,— ответил Владилен.

— Проходите!

Наверх вела широкая лестница с металлическими перилами, украшенная цветами. Поднявшись по ней, они оказались в самом настоящем саду с песчаными дорожками, клумбами, кустами и деревьями. Вверху — голубое небо и горячее солнце Африки: верхняя часть купола была совершенно прозрачной.

Вдоль дорожек стояли удобные скамейки. Невдалеке несколько молодых людей играли в какую-то игру с мячами на небольшой площадке, вокруг которой была сетчатая ограда. В нескольких местах били фонтаны.

Пассажирские каюты размещались по борту, вокруг сада.

Они легко нашли дверь с цифрой «1». За ней оказалось просторное помещение с самой обычной мебелью, даже не прикрепленной к полу. Мягкие диваны и кресла, столики, шкаф с микрокнигами, диктофон — ни дать ни взять обыкновенная гостиная в городе.

Наружная стенка была, разумеется, прозрачной, но она выходила на другую сторону корабля, и Волгин пожалел, что не увидит еще раз Виктора и Джорджа. Но Мэри повернулась к внутренней стене, где была дверь, и стена вдруг потускнела и исчезла, открыв взору противоположную часть космодрома. Озеров и Вильсон стояли на прежнем месте, не спуская глаз с корабля. Возле них никого уже не было.

— Сколько минут до старта? — тревожно спросил Волгин.

— Одна.

— Может быть, лучше лечь или хотя бы сесть? — спросил Второв.

— Как хотите!

Волгин сел в кресло, у него подкосились ноги. Он едва мог дышать от волнения. Кроме него, сели только Второв и Мельникова. Кржижевский, по примеру Владилена и Мэри, остался стоять у наружной стенки.

Волгину захотелось закрыть глаза, но любопытство оказалось сильнее, и он не только не сделал этого, но даже передвинул кресло ближе к «окну», собрав для этого всю свою волю.

Он знал ощущение подъема на самолетах, наконец, просто на лифте. Инерция всегда давала себя чувствовать. А здесь предстоял подъем с ускорением, во много раз превышающим ускорение силы тяжести. Но поведение Владилена и Мэри указывало на то, что люди ничего не почувствуют.

И вдруг земля провалилась. Было именно такое впечатление, что корабль остался неподвижным, а земля стремительно ушла куда-то вниз. Мелькнули крыши домов Космограда, далекая линия горизонта, небольшое облако. Серебристо сверкнула равнина Атлантического океана, и все исчезло. За стеной без конца и края звездное небо.

Корабль по-прежнему казался неподвижным. Волгин чувствовал, как сиденье кресла слегка прогибается под ним, совершенно так же, как это было на земле. Ни повышенной тяжести, ни отсутствия веса — ничего! Все, как до старта.

Владилен подошел к нему.

— Видишь, как просто,— сказал он.— А ускорение взлета превышало сто метров в секунду. Сейчас оно еще больше. Ты почувствовал что-нибудь?

Волгин ничего не ответил. Сердце внезапно сменило ритм на обычный, и он немного задыхался. За него ответил Второв.

— Мне нравится такой старт,— сказал он.— Это, действительно, замечательно. Помнишь, Мария,— обратился он к Мельниковой, перейдя на русский язык,— как мы стартовали на «Ленине»? Гидравлические кресла, амортизаторы, длительная специальная тренировка перед полетом. А на этом корабле могли бы лететь даже тяжелобольные.

— Но почему все-таки мы не чувствуем ускорения? — спросил Кржижевский.

— Внутреннее гравитационное поле нейтрализует его,— ответил Владилен.

Волгин подошел к наружной стене. Только граница пола указывала, где она находится, самую стену нельзя было увидеть: она была идеально прозрачной.

Невольно опасаясь приблизиться вплотную, Волгин остановился в полуметре от края «бездны» и посмотрел вниз.

Он удивился, что не почувствовал головокружения. Далеко под ними, так далеко, что он даже в воображении не смог бы представить себе подобное расстояние, ослепительно блестел под лучами Солнца исполинский шар Земли. Именно шар, на котором, впрочем, ничего нельзя было рассмотреть, так нестерпимо было его голубовато-серебристое сияние. А за ним, еще дальше, виднелась верхняя часть лунного диска.

Земля и Луна заметно для глаз уменьшались и уходили куда-то в сторону. Ракетоплан, очевидно, летел с невообразимой скоростью.

«Не удивительно, если он за шестнадцать часов должен пролететь двести миллионов километров»,— подумал Волгин.

Прямо перед ним, сверху, внизу, под Землей и Луной,— всюду расстилался черный занавес, усеянный светящимися точками. Но звезды не мерцали, а горели неподвижными огоньками.

Волгин стоял и смотрел, не в силах оторваться от этой впервые увиденной величественной картины Вселенной. Он не чувствовал больше никакого волнения, оно прошло, как только корабль улетел с Земли. Он испытывал смутное щемящее чувство непонятной тоски. О чем?

«Нет, хорошо! — подумал он.— Только ради такого полета стоило воскреснуть».

Товарищи не мешали ему. Волгин слышал их тихий разговор. Никто из них не подходил к стене. Да и что могло заинтересовать этих людей за бортом корабля? Они видели эту картину много раз.

— Хотелось бы,— сказал Второв,— увидеть современный космолет дальних рейсов.

— Вы это сможете сделать, когда мы вернемся на Землю. Намечена большая экспедиция на Грёзу. Космолет строится на Луне, и там же будет дан старт. Вас все равно пригласят строители корабля, им нужна консультация об этой планете. Ведь мы ничего не знали о ней до вашего прилета. Никто даже не подозревал о существовании Грёзы.

— Разве не было экспедиций к 61-Лебедя?

— Были две. Но вы же сами знаете, что нелегко заметить планету, если ее обитатели не могут увидеть космического гостя и подать ему весть о себе. У этой звезды были известны три планеты, и все три необитаемые.

— Да, это верно,— согласился Второв.— Трудно заметить планету, не зная о ней. Мы нашли Грёзу случайно.

— Космолет,— продолжал Владилен,— стартует примерно через год. И его решено назвать так же, как и ваш корабль,— именем Ленина.

2

Волгин наконец оторвался от «окна».

— Налюбовался, Дмитрий? — ласково спросила Мэри.— Правда, какое сильное впечатление производит Вселенная? Ты увидишь это зрелище еще много раз. Может быть, фаэтонцы сейчас и не на Марсе. Их придется искать где-нибудь на базовых астероидах. Кроме того, я думаю, вы все захотите понаблюдать, как работают истребители.

— А что это такое?

— Рабочие корабли очистительных отрядов. Их называют так потому, что они специально предназначены для истребления пояса астероидов.

— В таком случае, конечно, захотим. Это очень интересно.

— Они автоматические или с людьми?

— С людьми. Работа настолько сложна, что ее нельзя доверить даже электронному мозгу.

Мельникова предложила осмотреть ракетоплан. Ее предложение было с удовольствием принято всеми.

Они вышли из каюты и очутились в знакомом уже саду. Вся верхняя часть ракетоплана под сферической крышей площадью около восьми тысяч квадратных метров была занята этим садом, где могли свободно поместиться все пассажиры корабля. Двадцать две каюты, рассчитанные на семь-восемь человек каждая, шли вдоль борта, кольцом окружая сад. Другие, меньшего размера, располагались в нижнем ярусе вокруг огромной столовой. Еще ниже, у самого дна, помещались грузовые отсеки и механизмы. Ракетоплан мог принять на борт до шестисот человек.

Необычных пассажиров сразу заметили. Несколько человек подошли к ним и радушно приветствовали, словно хозяева гостей. Завязался непринужденный разговор.

Говорили о Марсе и работе очистительных отрядов. Какой-то молодой человек с энергичным, волевым лицом приглашал Второва на свой рабочий корабль.

— Вам будет очень интересно посмотреть на нашу работу,— говорил он.— Я отдыхал на Земле, а теперь возвращаюсь. По плану у нас на очереди один из довольно крупных астероидов, диаметром в шесть километров. Рассеять в пространстве такую массу вещества сложно и трудно. Мы будем действовать в составе двенадцати кораблей. Уверяю вас, это чрезвычайно любопытно.

— А что вы делаете с очень большими астероидами? — спросил Второв.

— Шесть-семь километров диаметра для нас предел,— ответил молодой «истребитель». Все остальные астероиды будут уничтожены последними. Их направят к Солнцу, и они упадут на него. Вот и все.

— Сколько времени занимает ликвидация астероида диаметром в шесть километров?

— Таких немного. Мы снимаем верхний слой, превращая бесформенную глыбу в правильный шар с поперечником в четыре километра или меньше, в зависимости от формы малой планеты. Это занимает недели две-три. Затем шар отводится за пределы орбиты Плутона, во второй пояс астероидов. Эта стадия отнимает полтора года.

— Я одного не понимаю,— сказал Второв.— Если можно направить к Солнцу большой астероид, то почему нельзя поступать так же и с маленькими, вместо того чтобы отводить их за орбиту Плутона.

Ответил другой пассажир, также оказавшийся «истребителем»:

— Изменение орбиты тела диаметром даже в три километра требует колоссальной затраты энергии. Таких запасов нет ни на Марсе, ни на Церере, ни на других базах. К тому времени, когда мы приступим к уничтожению больших астероидов, закончится строительство крупнейшей гравитационной станции на Марсе. Она сооружается для Нового Фаэтона, но ею можно будет воспользоваться и для этой цели.

—. Но ведь отвод к орбите Плутона также требует изменения орбиты? Не ведете же вы планету на буксире?

— Это — другое дело. Ослабить тяготение планеты к Солнцу, изменить силу центростремительного движения не столь уж трудно. И аппараты двенадцати рабочих кораблей справятся с этой задачей, если диаметр тела не превышает четырех километров и оно имеет форму правильного шара. Остальное делает центробежная сила, и астероид по спирали удаляется от Солнца. А вот воздействовать на саму центробежную силу, ускорить или замедлить полет столь огромной массы неизмеримо труднее. Пока мы не в силах сделать этого.

— Спасибо за объяснение,— сказал Волгин.— Мы воспользуемся вашим приглашением. Как вас найти?

— Мы сами найдем вас. Всем будет известно, где вы находитесь. Такие гости, как вы, у нас бывают редко.

— А фаэтонцы?

— Мы успели привыкнуть к ним. Они у нас уже несколько лет.

— Вы не знаете, они сейчас на Марсе?

— Двое. Ая и Эйа, оба биологи. Кстати, эти имена сокращены нами. У фаэтонцев все имена состоят из одних гласных. Их трудно произносить. Например, полное имя Эйа состоит из двадцати одной буквы.

— Это мужчины или женщины?

— Мужчины. На Земле еще не видели ни одной фаэтонской женщины.

Второв предложил утолить голод. Все охотно согласились.

Столики были свободны. Очевидно, пассажиры ракетоплана находились в верхнем саду.

— Интересно,— сказал Второв,— как это здесь организовано? От кулинарных заводов мы находимся довольно далеко.

Меню не было.

— Что же мы будем есть? — спросила Мельникова.

Столы ничем не были покрыты. Полированная поверхность их походила на темное зеркало, в глубине которого смутно отражались звезды на потолке. Трудно было определить, из чего сделаны эти столы — из дерева, пластмассы или металла.

— Перечень! — отчетливо произнес Владилен.

Волгин догадался повторить это слово.

И тотчас же на обоих столах, словно изнутри, под верхним слоем их поверхности, покрытой точно водяной пленкой, появился список блюд, которые могла предложить пассажирам «кухня» ракетоплана. В списке было около тридцати названий.

— Запасы поневоле ограничены,— извиняющимся тоном сказал Владилен.

— Более чем достаточно.

Каждый выбрал, что пришлось ему по вкусу. Владилен, а за ним Волгин перечислили заказанные блюда.

Прошла минута, они с любопытством ждали, что произойдет дальше. Исчезнет ли середина стола, как это было в Ленинграде, чтобы появиться уже накрытой, или случится что-нибудь другое, не менее интересное? Все, кроме Владилена и Мэри, смотрели на стол.

Но оказалось, что на корабле все было совсем иначе.

— Не кладите руки на стол,— сказала Мэри.— И посмотрите вверх.

Под самым потолком быстро плыли по воздуху какие-то плотные четырехугольные листы. Никто не заметил, откуда они появились, но было нетрудно догадаться, что это такое. «Подносы», установленные блюдами и всем необходимым, опустились каждый на свой стол, закрыв их целиком. Их размеры точно совпадали с размерами столов.

— Прошу! — сказал Владилен тоном гостеприимного хозяина.

Листы, на которых прилетели блюда, были очень тонки, и нельзя было предположить, что в них вмонтированы какие-нибудь механизмы. Очевидно, движением «воздушных подносов» управляли со стороны. И, разумеется, автоматы, а не люди.

— Любопытно! — сказал Второв.

Против обыкновения он не попросил объяснений, и Волгин понял, что Второв сам догадался.

3

На этот раз не один Волгин устроился у «окна». Посадка на другую планету интересовала всех. Все шестеро придвинули свои кресла к прозрачной стенке и расположились в них по крайней мере за час до финиша.

Межпланетные путешественники хорошо отдохнули. Шесть часов они крепко спали, причем только одному Волгину пришлось обратиться к корабельному врачу. Остальные заснули без помощи медицины.

Они вылетели с Земли рано утром, но город, куда они должны были прибыть,— Фаэтонград — находился в таком месте, где ко времени прилета также наступало утро. «Ночь» прошла на ракетоплане.

Волгин потому и согласился лечь спать, что не хотел делать это сразу после прилета. Прилететь впервые в жизни на другую планету и отправиться в постель — это было ни с чем не сообразно.

У Марса был удивительно скучный вид сверху. Оранжево-красная пустыня с редкими темными пятнами растительности. И больше ничего. Но за десять минут до посадки картина изменилась. Пустыни разошлись в стороны, под кораблем оказалось огромное пространство, покрытое синим ковром.

— Это лес,— сказал Владилен,— выращенный нами. На Марсе никогда не было высокой растительности. Это деревья совсем новой породы.

— Почему они синие?

— Потому что растения Марса остро нуждаются в тепле. Зеленые лучи еще «теплые» и поглощаются ими. Отражаются синие и фиолетовые — холодные.— Владилен протянул руку и указал на блестящую точку, появившуюся в центре лесного массива.— Фаэтонград!

— Отчего он так блестит?

— Город целиком накрыт куполом, под которым нормальное давление и нужный состав воздуха.

— Почему вы не снабдили Марс плотной атмосферой? — спросил Второв.— Вы же сделали это на Луне.

— Не было необходимости. Но теперь, когда фаэтонцы близко, положение изменилось. Марс будет общей планетой. Ведь фаэтонцам трудно посещать Землю, им слишком жарко на ней. Через сорок лет здесь будет атмосфера, обычная для нас и для них.

— А это не погубит растения? — спросила Мельникова.

— Этим вопросом давно занимаются ботаники и зоологи. Животный мир так же необходим, как и растительный. Подготавливаются новые виды растений, новые породы животных. Пройдет сто, сто пятьдесят лет, и Марса не узнать. Исчезнут пустыни, появятся моря и океаны, богатый и разнообразный животный мир.

Теперь они уже хорошо видели Фаэтонград. Купол над городом был прозрачным, поэтому можно было различить под ним здания и парки.

— Мы опустимся рядом с городом?

— Нет, в самую середину, на площади.

— А купол?

— Он нас пропустит. Смотрите внимательнее! Осталось всего полминуты.

— Не может быть! — невольно вырвалось у Второва.

Действительно, этому трудно было поверить. Ракетоплан мчался с чудовищной скоростью.

До поверхности Марса оставалось метров триста, а скорость не уменьшалась.

Катастрофа?!!

Прозрачная пленка рванулась к кораблю...

Волгин невольно закрыл глаза, ожидая удара.

— С прибытием! — раздался спокойный голос Владилена.

Ракетоплан неподвижно стоял на огромной площади, окруженной многоэтажными домами. Над ними темно-синее небо с яркими звездами. Небольшой диск Солнца. Купола совсем не было видно.

— Фу-ы! — шумно вздохнул Второв.— Непостижимо! Зачем «приземляться» с такой бешеной скоростью?

— Иначе нельзя,— ответил Владилен.— Купол раскрывается, чтобы пропустить корабль на одну десятую секунды.

— На какой высоте купол?

— Двести пятьдесят метров.

— Да! — сказал Второв.— Теперь я понимаю, что такое ваше внутреннее поле тяготения. Без него от пассажиров осталось бы мокрое место.

— Я полагаю,— сказал Крижевский (Волгин переводил его слова),— что посадкой ракетоплана управляли автоматы, а не люди.

— Разумеется. Здесь нужны быстрота и точность, превышающие возможности человеческой мысли. Ведь отверстие в куполе немногим больше диаметра ракетоплана. Проход через купол — труднейший маневр. В это время кораблем управляют не только его бортовые аппа-

раты, но и те, что установлены на Марсе. Только такое взаимодействие надежно предохраняет купол от повреждений.

— Купол... А самый корабль?

— С ракетопланом никогда ничего не случится. Мы потом закончим этот разговор,— прибавил Владилен.— Пора выходить. Смотрите, сколько народу. Это встречают вас.

— Вы уверены?

— Конечно. Население Марса очень обрадовалось вашему прилету.

Волгин вышел вслед за своими спутниками. По совету Владилена они сняли с себя антигравитационные пояса. И, ступив на Марс, не почувствовали изменения силы тяжести. Было так же легко, как и на Земле.

Их появление было встречено гулом приветственных возгласов.

Подошли пятеро. Трое высоких пожилых людей, одетых в кожаные комбинезоны, имели самый обыкновенный, привычный вид. Двое же других были маленького роста, с невероятно огромными глазами, мощными нависающими лбами и мелкими, точно недоразвитыми ртами и подбородками. Они были одеты в очень легкие одежды незнакомого покроя.

Было совершенно ясно — перед ними фаэтонцы, те двое, о которых им рассказывали в ракетоплане,— Ая и Эйа. Несмотря на очень маленький рост, немногим больше метра, они нисколько не походили на детей.

Фаэтонцы держали в руках букеты цветов. В том, что это именно цветы, нельзя было сомневаться, об этом говорила яркая раскраска бутонов. Но ничего общего с земными цветами они не имели. Стебли и листья были черными.

«Цветы Марса»,— решил Волгин, но, как оказалось, ошибся.

Фаэтонцы поднесли букеты Мельниковой, Второву и Крижевскому. Очевидно, кто-то указал им среди гостей нужных им людей. Потом один из фаэтонцев, тот, который казался моложе, произнес короткую речь на странно звучавшем медленно-певучем языке, точнее, не сказал, а спел.

Гостям перевели. Сначала это сделал один из земных людей, подошедших к фаэтонцам, а затем Волгин — для Крижевского и отчасти для Второва. Мельникова не нуждалась во втором переводе.

— Мы сожалеем, что, достигнув Веги, вы уже не застали там нашей планеты. Она покинула систему Веги и направилась к Солнцу. Примите эти цветы нашей родины, как дар Фаэтона. Правда, они выросли здесь, на Марсе, в опытной оранжерее, но это цветы не Марса, а Фаэтона. На нашей планете букет цветов означает приглашение. Мы просим вас так и понимать это. Мы приглашаем вас вторично слетать к нам. Теперь это займет немного времени.

— Передайте им нашу глубокую благодарность,— сказал Второв.

Волгин заметил, что несколько человек направили на них какие-то небольшие аппараты, имевшие вид продолговатых коробочек. Ему объяснили, что это работники «хроники».

— Ваш прилет на Марс — интересное событие. Его надо увековечить. А встреча с обитателями гостя из бездны еще более знаменательна.

— Какого гостя из бездны?

— Так часто называют Фаэтон. Он прилетает в солнечную систему, как желанный гость и из очень глубокой бездны пространства.

— В сущности,— сказал Второв,— вы, Дмитрий, и мы тоже своего рода «гости из бездны», только из бездны времени.

— Нет,— ответил Волгин,— я с этим совсем не согласен. Мой и ваш век отнюдь не «бездна».

Рядом с ними опустился большой арелет. Человек, прилетевший на нем, вышел из машины, и Волгин, радостно вскрикнув, бросился ему навстречу. Это был Мунций.

— Ну вот, видишь,— сказал тот, обнимая своего «внука»,— я звал тебя на Марс, и ты здесь.

Мэри тоже очень обрадовалась и тотчас же спросила о матери.

— Эры нет на Марсе,— ответил Мунций.— Ее корабль базируется на Весте. Она будет здесь не раньше чем через месяц. Кто тебе мешает слетать на Весту? — прибавил Мунций, увидев, что Мэри огорчилась.— Это займет два дня.

Мунция познакомили с Мельниковой, Второвым и Крижевским. Все трое много слышали об отце Люция как от него самого, так и от Волгина.

— Мунций! — сказал Волгин, понижая голос.— Нам очень хочется поговорить с фаэтонцами. Именно из-за них мы и прилетели.

— Они этого тоже хотят. Пригласи их.

Волгин обратился к тому человеку, который, видимо, знал фаэтонский язык:

— Передайте, пожалуйста... Ая и Эйа, я не знаю, как сказать правильно, что мы просим их посетить нас. И, конечно, просим и вас.

— Они сами уже просили меня о том же. И придется вам посетить их. У них есть лингвмашина, которая хорошо изучила наш язык. (Волгин уже привык к современной манере говорить о механизмах, как о живых людях, и не удивлялся.) А я сам очень плохо знаю фаэтонский. Я вам не нужен.

— Кто же отвезет нас к ним?

— Я,— сказал Мунций.— Много раз пришлось мне беседовать с ними, чтобы выяснить, когда и зачем был оставлен на Марсе найденный нами «клад». Как я тебе и говорил, Дмитрий, эта археологическая находка имеет фаэтонское происхождение.

Договорились, что встреча состоится сегодня же вечером.

Несмотря на необычный внешний вид фаэтонских ученых, они произвели на всех хорошее впечатление. Чувствовалось, что это очень умные, высококультурные люди с огромными знаниями. Разговор обещал быть интересным.

Ни Волгин, ни его товарищи не заметили никакой медлительности в словах и движениях фаэтонцев, о которой рассказывал им Владилен. Если она и была, то едва заметная.

— Эти двое,— сказал Мунций, когда уже в арелете зашла речь об этом,— специально отобраны для работы с нами. Остальные семеро, сейчас отсутствующие, такие же. Кроме того, они давно здесь, и Солнце заметно оживило их. Вначале их медлительность поражала всех.

— Мне очень интересно поговорить с ними на эту тему,— сказала Мельникова.— Они не обидятся?

— Конечно, нет. Оба биологи и хорошо понимают причины замедленности мыслей и реакций фаэтонцев. Они для того и находятся здесь, чтобы друг на друге проверять действие солнечных лучей и постараться найти средство ускорить их благотворное влияние на организмы фаэтонцев, когда они все окажутся в солнечной системе. Ликвидировать последствия долгого пребывания возле Веги надо как можно скорее.

— Мне кажется, это будет очень длительный процесс.

— Да, это дело нескольких поколений. Но оно уже начато. Фаэтонцы постепенно изменяют свойства того искусственного солнца, которое освещает их планету в пути. В настоящее время оно во всем подобно маленькому Солнцу.

4

Фаэтонград был не так велик, как это показалось Волгину сверху, из ракетоплана. Население города не превышало сорока тысяч человек.

Здесь не было ни одного промышленного предприятия, это был город отдыха и развлечений «марсиан». Все необходимое доставлялось с Земли на огромных грузовых кораблях, которые прилетали ежедневно и опускались не в самом городе, а в стороне от него, возле строящейся гравиостанции — гигантского здания, почти равного по величине всему Фаэтонграду.

Волгин и его товарищи очень удивились, когда им сказали, что это сооружение не вся станция, а только одна из ее частей, один из узлов мощного комплекса. Точно такие же строились еще в пятнадцати местах, симметрично расположенных на всей поверхности Марса. И возле каждого из них был город, подобный Фаэтонграду, но меньшего размера.

— Здесь административный центр Марса,— пояснил Мунций.— Отсюда же осуществляется и связь с Землей. Другие города не имеют космодромов.

Население Фаэтонграда в подавляющем большинстве работало на гравиостанции. И только незначительная часть обслуживала начавшееся строительство заводов воздуха для будущей атмосферы Марса, детские комбинаты и «службу питания».

Рабочий день на Марсе был значительно длиннее, чем на Земле. Гравиостанцию нужно было как можно скорее ввести в строй, в ней остро нуждались «истребители».

Строители работали половину дня, а потом люди давали задания машинам, и те уже сами, без своих хозяев, продолжали работу. Она шла безостановочно, круглые сутки.

В утренние часы Фаэтонград казался необитаемым. В середине дня он оживал, а вечером его сады и улицы наполнялись веселой и шумной толпой.

Гостей поселили в первом этаже трехэтажного дома, расположенного в густом саду. Внутренняя обстановка ничем не отличалась от земной: комфорт, биотехника, вместо окон прозрачные стены.

Вечером, в день прилета, гости, сопровождаемые Мунцием, посетили, как и обещали, фаэтонцев. Беседа затянулась до глубокой ночи.

Переводчиком служила лингвамашина, вмонтированная в стол, за которым они сидели.

Мебель фаэтонцев, причудливых волнообразных линий, показалась всем некрасивой и неудобной. Кресел не было, их заменяли «табуретки» без спинок. Но для гостей фаэтонцы приготовили обычные стулья.

Мунций предупредил, что говорить надо очень тихо, почти неслышно, чтобы звук голоса не смешивался с переводом.

— Машина чувствительна и слышит прекрасно,— сказал он.

Работа лингвамашины просто ошеломила Волгина. Когда он заговорил первым, задав какой-то вопрос, послышался его же голос, отчетливый, достаточно громкий, произносящий незнакомые слова — тягуче-медленные, напевные.

А когда Ая совсем неслышно отвечал Волгину, раздался чистый современный язык, только с длительными паузами между словами, соответствующими медленности речи фаэтонцев.

Так и шел весь разговор — неторопливо и спокойно. И не только в речи, но и в движениях хозяев гости заметили явную замедленность.

На Мунция, Владилена и Мэри рассказы фаэтонцев производили такое же впечатление, как и на Волгина, Мельникову, Второва и Крижевского. Одинаково чуждый, одинаково непонятный мир вставал перед ними. Жизнь на Фаэтоне, отношения людей, их быт — все было глубоко отлично, все было иным, чем на Земле.

Глядя на сидевших напротив него фаэтонцев, рассматривая их мощные лбы и огромные глаза, Волгин испытывал почти страх. Какая чудовищная пропасть отделяет его от этих «мыслящих существ», как он привык называть про себя обитателей других миров, какая бездна между их умственным развитием! В сравнении с ними он был едва развившимся существом, только начинающим мыслить. Он не мог понять то, что для них было просто и ясно. А то, что оставалось непонятным, еще неизвестным для фаэтонцев, было вообще недоступно ему.

Когда они вернулись домой, Волгин поделился своими мыслями со Второвым. Тот признался, что сам думал о том же.

— Современные люди, может быть, способны сравняться с фаэтонцами,— сказал он в заключение,— но мы... никогда!

— Но почему же они обратились тогда за помощью к людям Земли.

— Для очистки орбиты! Что ж из этого! В твое время расчищали же землю с помощью примитивных тракторов.

— Ну, это уж слишком!

В минуты раздражения Второв был склонен к преувеличениям, и это хорошо знал Волгин.

Мельникова все же спросила о причинах замедленности жизненных процессов у фаэтонцев. Потом она говорила, что сама была не рада, что задала этот вопрос.

Ей отвечал Эйа. Биология фаэтонцев ушла очень далеко, гораздо дальше того, что мог знать даже Люций. И как ни старался Эйа говорить понятно, его объяснения опирались на знания, неизвестные еще на Земле. Тем более их не знала Мельникова. Она ничего не поняла. Эйа, очевидно, заметил это. Он внезапно прервал свою речь и заговорил о другом:

— Понятия о быстроте мысли и реакций весьма условны. Каждый принимает за норму то, что ему привычно. С этой точки зрения вы кажетесь нам слишком стремительными в поступках и мыслях. Нам даже трудно представить себе, как при такой быстроте может складываться в вашем мозгу законченная логическая цепь. А уж если мы заговорили о логике, то скажу следующее: мы с не меньшим основанием можем предложить вам замедлить темпы вашего мышления и вообще деятельности организма, чем вы нам.

— Я же не говорила ничего подобного,— попыталась возразить Мария Александровна, почувствовав в словах фаэтонца скрытый упрек.

Но Эйа, казалось, не обратил внимания на ее реплику.

— Вы живете,— продолжал он,— около двухсот лет. Мы, если принять продолжительность вашего года, вдвое дольше. И наша жизнь так же полна, как и ваша. Вы можете возразить — ведь мы все же возвращаемся к Солнцу. Это сильный довод в споре. Но я попробую доказать вам, что вы не правы. Фаэтонцы сейчас расплачиваются за ошибку, которую допустили их предки, избравшие систему Веги новой родиной. Нам нужно достигнуть, вернее, вернуть то, что мы имели до этого переселения. Но не больше. Если вы думаете, что мы ставим своей целью сравняться с вами по быстроте мысли, то ошибаетесь. Вы не кажетесь нам идеалом. Мы даже думаем, что наша организация лучше приспособлена для жизни. Мы многое потеряли за время жизни у Веги. Люди Земли почти догнали нас, хотя прежде отставали. Нам жаль потерянного времени, но теперь, когда наша планета возвращается к Солнцу, мы миримся с этим. Так лучше. Будь иначе, не могло бы быть и дружной совместной работы обоих человечеств, которая возможна теперь. Сожалею, что не сумел ответить на ваш чисто биологический вопрос.

Эта речь, которая у земного человека заняла бы минуты три, продолжалась двадцать пять минут.

Мельникова слушала, опустив голову. Она ругала себя за то, что поверила Мунцию, который говорил, что фаэтонцы, конечно, не обидятся. Вышло, что обиделись.

— Извините меня! — сказала она, когда Эйа замолчал.

Оба фаэтонца наклонили головы, но ничего не ответили.

Вскоре беседа закончилась, и гости распростились с хозяевами.

Выйдя на улицу, Мельникова сердито сказала по-русски:

— Никогда себе не прощу этого. Вышло некрасиво, грубо. Он прав, что проучил меня.

— Не переводите! — поспешно сказал Второв Волгину, совершенно забыв, что Мунций прекрасно знает русский язык.— Ты не права, Мария! Мунций нисколько не виноват. Он судил со своей точки зрения. Да и обиделись ли они? Это очень сомнительно. Трудно судить, когда говорит человек, мыслящий иначе, чем мы. Высокая культура исключает мелочную обидчивость. Эйа просто высказал свое мнение.

— Бросьте! — Мельникова досадливо махнула рукой.— Неужели вы верите тому, что говорите? Они обиделись, это было совершенно очевидно.

— Я согласен с Марией,— сказал Мунций (Мельникова вспыхнула до корней волос, поняв свой промах),— и признаю, что ошибся в суждении о фаэтонцах. Но трудно было ожидать... Появилась новая для меня черта в их характерах. А то, что вы затронули этот вопрос, очень хорошо. Ответ Эйа интересен. Мы думали, что фаэтонцы стремятся к полной ликвидации своей медлительности, выходит, что нет. Что ж! Тем хуже для них. Мы их быстро нагоним и перегоним. Сама жизнь докажет им, что они ошибаются. И придется им догонять нас,— весело закончил Мунций.

Глава шестая

1

Снова пространство, снова черная бесконечность со всех сторон и бесчисленные огоньки далеких звезд.

Рабочий корабль летел к цели.

Здесь не было, как на больших пассажирских ракетопланах, искусственной гравитации, нейтрализующей любое ускорение, создающей внутри корабля постоянное поле тяжести.

«И-76» был лишен многих удобств. Летающая установка для истребления астероидов — и только! Среди тесноты машин и приборов для трех членов экипажа и их гостя оставалось немного места у пульта управления. И еще меньше — у сеток для короткого сна. Здесь жили в ритме напряженного и непрерывного труда.

При старте пришлось познакомиться с амортизационным креслом, испытать неприятное ощущение повышенной тяжести, когда тело с большой силой вдавливалось в спинку сиденья, нельзя было поднять руку, а голова казалась налитой свинцом,— со всем тем, что скрывалось за туманными словами «инерционная перегрузка».

А когда корабль прекратил ускорение и полетел с постоянной скоростью, тяжесть исчезла, и Волгин понял, что значит невесомость — состояние, о котором он много думал. Оно оказалось совсем не страшным. Было легко и приятно.

Но Волгин знал, что корабль будет менять направление полета и скорость, гоняясь за встречными мелкими астероидами и уничтожая их, поэтому не раз еще придется подвергаться тому же испытанию, что и при взлете.

Думая об этом, он начинал жалеть, что они отказались последовать совету Германия (так звали одного из руководителей истребительных отрядов), который, узнав о намерении гостей присутствовать при уничтожении астероида «Ф-277», внес предложение лететь не на рабочем корабле, а на небольшом пассажирском ракетоплане.

— На нем вы не испытаете никаких перегрузок, никаких неудобств,— сказал Германий.— Увидите все со стороны и достаточно близко.

— На сколько человек рассчитан такой небольшой ракетоплан? — спросил Второв.

— На сто человек, но пусть это вас не смущает.

Даже здесь, где, казалось бы, не могло быть ничего лишнего, ничего ненужного, оказался резервный ракетоплан, стоявший на Марсе на всякий случай для непредвиденных надобностей. Изобилие эпохи сказывалось повсюду.

Но Волгина, Второва и Крижевского все же смутило предложение Германия. Занять стоместный корабль, заставить кого-то вести этот корабль для удовлетворения любопытства трех человек, отрывать людей от дела — все это, с их точки зрения, было ни с чем не сообразно, просто немыслимо. И они отказались, мотивируя свой отказ желанием увидеть самую работу истребителей, а не только ее результаты.

Командир рабочего корабля, с которым они познакомились во время рейса с Земли, Эрик, явился на третий день пребывания гостей на Марсе.

Узнав, что они не переменили своего решения, Эрик очень обрадовался.

— Вся наша эскадрилья с нетерпением ждет вас,— сказал он.— Мы просим, чтобы каждый летел отдельно. Жаль, что вас только четверо, а не двенадцать.

Пришлось оторчить его и сказать, что гостей даже не четверо, а трое. Мельникова решила отправиться с Мэри на Весту.

— Это не менее интересно,— говорила Мария Александровна,— Эра обещала показать нам работу своего рабочего корабля. Мэри тоже никогда не видела, как это делается.

Что касается Владилена, то он решил остаться на Марсе.

— Ну что ж! — сказал Эрик,— трое так трое. Каждый сам выберет корабль. Но я надеюсь, что вы,— повернулся он к Второву,— полетите со мной. Ведь я первый пригласил вас.

— Конечно, я полечу с вами.

Таким образом, выбор Второва был сделан заранее. Зато Волгину и Крижевскому предстояло решить нелегкую задачу — выбрать корабль и никого не обидеть. Они хорошо понимали, что экипажи всех одиннадцати кораблей будут настойчиво звать их к себе.

Простой выход нашел Крижевский.

— Как называются ваши корабли? — спросил он у Эрика.

— У них нет названий. Только номера. От «И-71» до «И-82».

— А ваш корабль?

— «И-80».

— Кинем жребий,— предложил Всеволод.— Пусть выберет случай, а не мы.

— Очень хорошо! — сказал Волгин.— Нам было бы трудно выбирать. Ведь мы одинаково никого не знаем.

Волгин вытащил номер «76», Крижевский — «71».

— Так и передайте вашим товарищам,— сказал Волгин.

— Керри и Молибден будут очень обрадованы,— сказал Эрик,— Зато остальные, конечно, огорчатся.

— Когда назначен старт?

— Через три часа,— неожиданно ответил Эрик.

Но эти слова все же не удивили никого. Люди прошлого времени уже привыкли к тому, что подобные экспедиции кажутся современным людям не стоящими особого внимания и каких-либо сборов.

— Хорошо,— сказал Второв.— Куда нам явиться?

— Девять кораблей стартуют за городом. А мы трое, Керри, Молибден и я, возьмем вас здесь, на площади, где мы опустились, прилетев с Земли. Площадь близко отсюда. Зачем вам беспокоиться, надевать шлемы...

— Тем более,— сказал Второв,— что для нас шлемов может не найтись.

— Нет, не потому. Зачем терять время на их поиски?

Мунций накануне этого дня улетел к месту своей работы, которое находилось на другом полушарии Марса. Волгин вызвал его к телеофу и сообщил об отлете.

— Керри? — спросил Мунций.— Я знаю его. Это совсем молодой истребитель. Кажется, он летит второй раз. Передай ему привет от меня.

К назначенному часу они пришли на площадь. Волгин, Крижевский и Второв надели кожаные комбинезоны, которые принес им Владилен с ближайшего склада.

— А шлемов нужного размера,— сказал он,— действительно нет. Эрик принял правильное решение.

Три рабочих корабля уже стояли на площади. Совершенно одинаковые по форме и цвету, они отличались друг от друга только номерами, крупно выведенными на их бортах. Внешним видом корабли походили на толстые чечевицы.

— Заметьте,— сказала Мельникова,— ни одного любопытного. Странно, не правда ли?

В этот час в городе было мало народу, но и редкие пешеходы, проходившие по площади, не обращали на корабли никакого внимания. Должно быть, их вид был хорошо знаком жителям Марса.

Экипаж каждого корабля составляли три человека. Они радостно встретили своих пассажиров.

Керри, высокий, очень красивый молодой человек, сказал, крепко сжимая руку Волгина:

— Никогда не забуду, как мне повезло.

— Почему только тебе? — возразил его товарищ, назвавшийся Владимиром.— А нам?

Третьего члена экипажа «И-76» звали Чарли. Он был еще моложе Керри, загорелый до черноты, стройный, как девушка.

— Повезло нашему кораблю! — сказал он.

— Входите! — пригласил Керри.— Надо поторопиться. Эскадрилья уже далеко от Марса. Придется догонять ее.

...И вот прошло уже три часа.

Марс остался далеко позади и находился вне поля зрения. Задняя стенка корабля была непрозрачна и не имела экрана. Зато передние стенки были совершенно невидимы, и казалось, что за пультом сразу начинается пустота.

Владимир проверял агрегаты излучения. Керри и Чарли склонились над локационным экраном. Их лица были серьезны и сосредоточенны. Очень редко они обменивались короткими фразами.

Волгина усадили у самого пульта, в среднее кресло. Он чувствовал себя неловко, казалось нелепым сидеть тут, ничего не делая и даже не совсем понимая, что делают другие. Это место явно предназначалось командиру.

Но на все протесты Волгина следовал ответ: «Вы наш желанный гость»,— и по тому, как это говорилось, было ясно, что настаивать бесполезно.

Корабли эскадрильи были не видны простым глазом. Они летели на значительном расстоянии друг от друга, широким фронтом приближаясь к месту, где должен был находиться сейчас астероид «Ф-277», орбита которого проходила близко от орбиты Марса.

До него оставалось часа два пути.

Волгин знал, что в задачу истребителей входило уничтожение всех замеченных мелких тел, которых в поясе астероидов было несметное количество.

Это походило на охотничью облаву, когда ждут появления зверя, но не знают, где и когда он может показаться.

Керри и Владимир были спокойны, Чарли волновался, и его волнение невольно передалось Волгину. Он тоже стал смотреть на экран, не зная, что увидит в его темной глубине.

Ожидать пришлось недолго.

На левом краю экрана внезапно загорелась крохотная точка. Она быстро скользнула вниз и исчезла.

— Внимание! — сказал Керри.

Волгина предупредили, что при этом возгласе он должен откинуться на спинку кресла, принять полулежачую позу и расслабить мускулы.

Корабль чуть заметно вздрогнул, и Волгина прижало к мягкому подлокотнику справа. Он увидел, как снова появилась на экране та же точка и медленно передвинулась к центру.

Тяжесть поворота исчезла, снова стало легко, и Волгин выпрямился.

Чарли указал ему на один из приборов, назначения которого Волгин не знал, и коротко бросил:

— Шесть!

Что шесть? Шесть километров, шесть объектов или шесть метров диаметра? Волгин не спросил, терпеливо ожидая дальнейшего.

Слова Керри, которые он, очевидно, адресовал другим кораблям, разъяснили Волгину положение:

— И-71! И-71! Внимание! Мною замечен астероид размером до шести метров. Координаты...

— Нахожусь в неудобном положении,— раздался ответ Молибдена.

— Керри! — Волгин узнал голос Эрика.— Вижу твой объект. Иду на сближение.

— Разве одного корабля недостаточно? — спросил Волгин.

— Нельзя задерживать всю эскадрилью,— ответил Чарли.— Вдвоем мы справимся за несколько минут.

Точка на экране вырастала, превращаясь в пятно неправильной формы.

— Смотрите вперед! — сказал Керри.

Волгин поднял голову от экрана, всматриваясь в черную пустоту впереди корабля. Но никакого астероида он не видел.

Справа из тьмы выступил знакомый ему силуэт рабочего корабля с цифрой «80» на борту. Он был ярко освещен Солнцем и летел совсем близко. Там, наверное, на таком же почетном месте, как и Волгин, находился Второв.

«И-76» замедлил скорость полета. Торможение доставило ему несколько неприятных минут. Вероятно, Волгин потерял сознание на некоторое время, потому что не заметил, когда кончилось торможение.

«Неужели современная техника не могла сделать рабочие корабли более удобными? — подумал он.— Такие перегрузки вредны...»

Но он тут же подумал, что здоровье современных людей, очевидно, позволяет им переносить перегрузки без вреда. Керри, Владимир и Чарли явно не испытывали никаких неудобств. Волгин вспомнил, как они вели себя во время старта и последующего разгона, когда он сам лежал, не в силах пошевельнуться, и укрепился в этой мысли.

«А раз так — думал он,— то им и в голову не приходит, что для меня это тяжело. Но все же будь с ними Люций, он не пустил бы меня в этот полет».

— Начали! — раздался голос Эрика.

Тотчас же от обоих кораблей протянулись длинные узкие полосы света. Далеко впереди они сходились в одной точке, и Волгин увидел там казавшийся небольшим обломок скалы. Он быстро приближался.

Это и был обнаруженный астероид.

Внутри корабля раздалось мощное гудение.

В первые секунды ничего, казалось, не изменилось. Корабли летели навстречу обломку с большой скоростью, точно намереваясь столкнуться с ним.

Уже ясно виден огромный камень.

Но вот с ним стало твориться что-то странное. Четкие границы его поверхности заколыхались, пошли волнами. Камень на глазах терял прежнюю форму. Потом он расплылся, обмяк. Было такое впечатление, что гранит или металл превращается на глазах в жидкость. Лучи прожекторов насквозь пронизывали теперь колеблющуюся массу не то бурой воды, не то газа.

Волгин всем телом наклонился вперед, захваченный зрелищем.

И все же видоизменившийся астероид стремительно летел прямо на их корабль. Но еще быстрее его вещество обращалось в разреженный газ, светившийся теперь зеленоватым светом.

Еще несколько секунд, и «И-76» пронесся сквозь это облако, развеяв в пространстве его клочья.

— Тридцать восьмой! — сказал Керри.

— А для нас семьдесят пятый! — ответил Эрик.

— Ничего! — совсем мальчишеским тоном сказал Чарли.— Мы вас догоним.

Чем-то забытым, но хорошо знакомым повеяло на Волгина от этой фразы.

— Понравилось? — услышал он голос Второва.— Правда, здорово?

— Интересно! — ответил Волгин.— Но слишком уж просто.

Керри улыбнулся.

— Возвращаюсь на свое место,— сообщил Эрик.— До свидания! Счастливой охоты!

И силуэт «И-80» растаял в пространстве.

Продолжение следует.

Встреча через века

Георгий МАРТЫНОВ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА.

Продолжение. Начало см. №№ 17—24, 1961 г. и № 4, 1962 г.

Керри и Чарли снова склонились над экраном, рассматривая его с тем же напряженным вниманием. Охотничий пыл их, видимо, не был удовлетворен только что одержанной победой.

Корабль снова начал набирать скорость, но это происходило едва заметно, просто появился обычный вес, как на Земле без антигравитационного пояса.

— Мы близко от цели,— ответил Владимир на вопрос Волгина.— Возле «Ф-277» придется почти совсем остановиться. Нет смысла развивать полную скорость.

— Но мы отстанем от других.

— Не имеет значения. Подойдем немного позже.

— Есть шансы встретить еще один камень? — спросил Волгин.

— Мало,— недовольным тоном ответил Керри.— Мы находимся у внешнего, вернее, внутреннего, если исходить от Солнца, края пояса астероидов. Их много там, дальше, ближе к орбите Юпитера.

— Но ведь Эрик пожелал вам счастливой охоты.

— А разве вы не слышали, каким тоном он сказал это? Эрик хорошо знает, что сегодняшний случай редкий и вряд ли повторится.

— Что у вас, соперничество?

— Конечно. Каждый экипаж стремится вписать в свой актив как можно больше уничтоженных астероидов.

«А ведь они не получают за это никаких премий,— подумал Волгин.— Вот соревнование в чистом виде».

— Зачем же тогда,— спросил он,— вы позвали его на помощь? Справлялись бы сами. Теперь у вас было бы тридцать восемь, а у них семьдесят четыре, а не семьдесят пять.

— Так не годится,— сказал Чарли.— Мы задержали бы всю эскадрилью. Одному кораблю труднее, провозились бы минут двадцать. Но, признаться, мы не хотели звать Эрика. Керри позвал Молибдена, а вы слышали, что он не смог нам помочь. Экипаж Эрика лучший в нашей эскадрилье, они рекордсмены. Ни один корабль не имеет больше сорока, а у них вдвое больше. Но я сказал и опять повторяю: мы их догоним.

— Следует добавить: и перегоним,— засмеялся Волгин.— В мое время говорили так.

2

Огромное тело малой планеты почти правильной шаровой формы висело в пространстве на расстоянии пятнадцати — двадцати километров от «И-76». Корабль медленно подлетал к нему, чтобы занять свое место в строю.

«Ф-277», как исполинская гора, тускло блестел под лучами далекого Солнца. В пустоте трудно определить размеры, их не с чем сравнивать, и астероид казался гораздо больше, чем был на самом деле. Трудно было поверить, что крохотные в сравнении с ним рабочие корабли смогут справиться с этой чудовищной массой.

— Неужели и это рассеется, как тот камень? — спросил Волгин.

— Нет,— ответил Керри,— мы не будем полностью уничтожать астероид. Мы только снимем его верхний слой, примерно на километр-полтора. Придадим ему форму правильного шара, а затем ослабим силу его тяготения к Солнцу. И «Ф-277» уйдет из первого пояса астероидов во второй, за орбитой Плутона.

— А он не встретит по дороге какую-нибудь из больших планет?

— Если и встретит, беда невелика. Но все рассчитано так, что на своем спиральном пути от Солнца «Ф-277» не должен встретиться ни с одной планетой.

— Сложная задача! — сказал Волгин.

— Скоро будет легче. Как только закончится строительство гравитационной станции на Марсе, мы будем посылать эти шарики прямо на Солнце.

— Мне кажется, что это еще сложнее. Ведь на пути станут тогда Земля и Венера. Если для Юпитера, Сатурна, Нептуна «шарик» диаметром в четыре километра пустяк, то для Земли...

— Расчет прямолинейного падения значительно проще.

Волгин недоуменно пожал плечами.

— Не понимаю,— сказал он,— зачем вы трогаете сейчас крупные астероиды? Оставьте их до того времени, когда станция войдет в строй.

— Увы! — ответил Керри.— Теоретически вы правы, Дмитрий. Но на практике дело обстоит не столь просто. Станция на Марсе мощна, это верно, но она не будет обладать беспредельной мощностью. Марс движется, астероиды тоже. Придется ждать удобного взаимного положения Марса и каждого из астероидов. Несложный расчет показывает, что на это не хватит времени до прилета Фаэтона. Пользуясь только станцией, мы очистили бы пространство между Марсом и Юпитером за триста пятьдесят лет. Вот и приходится мучиться с теми астероидами, которые не скоро появятся вблизи Марса.

— А большие астероиды — Церера, Веста?

— Все, кроме Весты, удачно попадают в график работ. Все появятся в районе действия станции до прилета Фаэтона. Одна только Веста «упрямится». С ней придется повозиться. А это орешек, да еще какой! Триста восемьдесят километров в диаметре. Тут уж не обойдешься одной или двумя эскадрильями. Пошлют весь истребительный флот.

— Насколько он велик?

— В настоящее время у нас шестнадцать эскадрилий. Но, видимо, их не хватит для Весты. Будет построено еще несколько, повышенной мощности.

— Вы хотели бы принять участие в этом последнем деле?

— Не особенно. Самое интересное у нас — это уничтожение мелких тел. Увлекает процесс их поисков, погоня за ними. Не всегда все проходит так легко и гладко, как сегодня. Не случайно большинство истребителей любят охоту. Для этой работы нужен именно охотничий нюх.

— Я как-то упустил из виду, но хотелось бы знать: охота как спорт сохранилась в ваше время?

— Как спорт и как удовольствие. К сожалению, в наше время не может быть крупной охоты, какая была у вас. Почти все хищники давно истреблены. Скажите, Дмитрий, вы охотились на тигров? — спросил Керри. Его глаза загорелись.

— Нет, я никогда не был в южных странах. Охотился на более мелких зверей. А с каким оружием вы ходите на охоту?

Чарли рассмеялся.

— Он ничего в этом не понимает,— сказал Керри, кивнув на товарища.— Ему смешно, что мы, охотники, не хотим пользоваться ультразвуковым, тепловым или лучевым оружием. Но вы должны понять, Дмитрий. Мы охотимся с самым обыкновенным, старинным пороховым ружьем. Что толку убить дичь управляемой пулей? Когда нет риска промахнуться, нет и удовольствия.

— Согласен с вами,— сказал Волгин.— Я всегда удивлялся, что в мое время охотники на болотную дичь не пользовались луком и стрелами. Я охотился на уток с пистолетом, это куда интереснее, чем с ружьем, да еще заряженным дробью. Именно так, как вы сказали: нет риска промахнуться — нет и удовольствия.

— В следующий раз, когда я буду на Земле,— сказал Керри,— пойдем на охоту вместе. Хорошо?

— С большим удовольствием.

— Но мне будет трудно соперничать с вами. Ведь вы сверхметкий стрелок. Как это у вас называлось?..

— Снайпер,— сказал Волгин.

— У нас нет этого слова.

Пока шел этот разговор, «И-76» подошел к астероиду совсем близко. От скалистой поверхности малой планеты его отделяло не больше полутора километров. Далеко-далеко блестящими точками виднелись два соседних корабля. Остальных не было видно.

— Эскадрилья окружила астероид,— пояснил Керри.— Корабли находятся на равном расстоянии друг от друга, по окружности экватора планетки. Потом они переместятся на другую окружность, перпендикулярную первой. Это делается из соображений безопасности.

— В чем тут опасность?

— Представьте себе, что двенадцать охотников окружили кольцом крупного зверя и стреляют в него. Есть опасность?

— Есть. Можно поразить не зверя, а другого охотника, стоящего напротив. Но так могут поступить только неопытные люди.

— Мы вынуждены располагаться кольцом. Иначе нельзя работать со столь крупным «зверем». Но он сам же и защищает нас. Корабли не видят друг друга.

— Излучатели очень мощны,— сказал Владимир.— Плохо придется экипажу корабля, попавшему под луч другого.

— Внимание! — раздался голос Эрика.— Проверяю готовность. И-71?

Ответа не было слышно.

— И-72? И-73?.. И-76?

— Нахожусь на месте, готов,— ответил Керри.

— И-77?..

— Эрик — командир эскадрильи? — спросил Волгин.

— Постоянного командира у нас нет. На этот раз ему поручено руководить работой. Отчасти это сделано потому, что на его корабле Игорь Второв. Эрик — опытный истребитель. Например, мне не скоро доверят руководство.

— Я знаю: вы летите второй раз.

— Это кто вам сказал?

— Мунций.

— Он ошибается. Я лечу второй раз на уничтожение крупного астероида. Но не второй вообще. Сколько раз мы вылетали на охоту? — спросил Керри у Владимира.

— Этот вылет двенадцатый.

— Вы всегда вместе? — спросил Волгин.

— Всегда. Вместе начали, вместе и кончим. Больше десяти лет редко кто занимается этой работой. Есть много других, более интересных.

— Приготовиться! — раздалась команда Эрика.— Начали!

Гудение, во много раз более мощное, снова наполнило тесное помещение корабля. Волгин с ужасом вспомнил, что работа по уничтожению верхнего слоя астероида продлится двое суток. Неужели придется терпеть этот гул все время? Уже теперь, спустя минуту, у него начала болеть голова.

Но гудение машин становилось слабее, потом наступила тишина.

— Пока все,— сказал Керри.— Первая обработка продлится часа три-четыре. Отдыхайте!

— Машины продолжают работать?

— Вы имеете в виду излучатели? Да, они работают, как же иначе. Но они вошли в ритм, и потому их не слышно.

— Сейчас мы ничего не увидим?

— Это зависит от веществ, из которых состоит верхняя часть астероида. Луч рассеян, а не сосредоточен, как было при уничтожении того камня, который мы встретили. Если там гранит или базальт, они поддадутся нескоро, если металлическая руда, то быстрее. Вы неголодны, Дмитрий? — заботливо спросил Керри.

— Немножко.

— Давайте завтракать.

В первый раз за время своей жизни в девятом веке новой эры Волгин увидел, как люди сами, без помощи автоматов, приготовляют себе пищу из разнообразных, очень вкусных консервов. Это напоминало ему былые туристские походы, в которых он принимал участие.

Владимир, на котором лежали хозяйственные обязанности, угостил их нежной, тающей во рту форелью, спаржей, черным кофе и персиками. Все было совсем свежим, рыба и кофе горячими, хотя их не подогревали. Тарелки и стаканы вместе с пустыми банками и остатками пищи сложили в небольшой металлический ящик, где через минуту не осталось даже пепла. Просто, гигиенично и никакой потери времени. Рабочий корабль был в изобилии снабжен всем необходимым.

Керри вернулся к пульту, чтобы сменить Чарли. Не прошло и двух минут, как он подозвал к себе Волгина.

— Смотрите! «Ф-277» поддается обработке даже быстрее, чем мы предполагали.

Волгин увидел, что поверхность астероида покрылась туманной дымкой, становившейся на глазах все более густой и плотной. Бесцветная вначале, она постепенно стала принимать оранжевый оттенок.

— Красиво,— сказал Волгин.— Это всегда так?

Керри ничего не ответил. Чарли, не окончив завтрака, подошел и сел в свое кресло.

Оба они пристально всматривались в черную точку, появившуюся в центре большого оранжевого облака, которое словно взметнулось вдруг прямо напротив «И-76». Было похоже, что на астероиде произошел взрыв. Лицо Керри выражало беспокойство.

Внезапно он поднял руку. Волгин видел, как напряженно застыла эта рука, потом резко опустилась.

— Стоп!

Команда прозвучала отрывисто, как выстрел.

Боковым зрением Волгин увидел мелькнувшую фигуру Владимира, бросившегося к машинам. И тотчас же раздался знакомый гул, быстро перешедший в шипение, и наступила глубокая тишина. Волгин понял, что излучатели неведомой ему энергии прекратили работу.

Он посмотрел вперед, на астероид.

Оранжевое облако стремительно расширялось, захватывая уже половину диска планеты. Черная точка превратилась в огромное пятно, в середине которого что-то ярко блестело.

— Керри! Керри! Назад! Черный блеск! Черный блеск! — кричали два голоса одновременно, видимо, с обоих соседних кораблей. С остальных могли не видеть, что происходило на этой стороне астероида.

— Назад? Поздно! — сказал Чарли.

Керри, казалось, ничего не слышал. Не шевелясь, с застывшим лицом, казавшимся белой маской, он не спускал глаз с черного пятна, в центре которого нестерпимо ярко горело голубое пламя.

Но было видно, что «И-76» не стоит на месте, а быстро уходит не назад, а в сторону, спасаясь от неизвестной Волгину опасности. Он вспомнил, что кораблем управляют, как вертолетом, не руками, а мыслью, и что Керри не было нужды шевелиться.

Грозный процесс на «Ф-277» шел быстрее, чем мог лететь рабочий корабль. «Черный блеск» разгорелся так ярко, что было уже невозможно смотреть на него. С поверхности астероида взлетели узкие, длинные языки оранжевого пламени. Один из них мгновенно достиг корабля. Видимым со стороны усилием воли Керри заставил «И-76» резко рвануться вперед, и это спасло корабль от прямого соприкосновения.

— Кажется...— начал Чарли, но не закончил.

Второй язык оранжевого огня прошел совсем близко, почти коснувшись корпуса корабля. На невидимой стенке появились темные полосы. Что-то затрещало часто-часто, как барабанная дробь, словно снаружи, по металлу обшивки забили тысячи крохотных молоточков. Воздух внутри корабля заискрился зелеными точками.

— Назад!.. Назад!..— кричало уже несколько голосов с соседних кораблей.

Волгин видел, как Керри, вцепившись руками в край пульта, все еще не спуская глаз с астероида, где разлилось сплошное, невыносимое для зрения море голубого огня, сделал нечеловеческое усилие. Очевидно, он находился на грани обморока.

И корабль в последний раз подчинился своему командиру. Сверкающий, подобно маленькому солнцу, астероид стал удаляться.

А зеленые огоньки в воздухе густели, становились все ярче. Трудно было дышать, казалось, что в грудь проникает пламя, сердце судорожно металось и замирало, мозг обволакивал зеленый туман.

Волгин почувствовал по всему телу уколы, точно в него впивались сотни острых булавок. Мгновение он видел на месте «Ф-277» клубящийся голубой шар, который стремительно увеличивался. Потом черная мгла поглотила его сознание.

. . . . . .

Второв сидел рядом с Эриком у такого же пульта, какой был перед глазами Волгина, ожидая момента, когда сила ультразвука, соединенная с тепловым излучением, окажет заметное влияние на поверхностные слои астероида. Тогда вступят в действие другие, неизвестные ему излучающие аппараты, которые начнут разлагать вещества планеты на молекулы, превращая их в газ. Второв сразу после уничтожения маленького астероида засыпал Эрика вопросами. И ему удалось, правда, неполно и смутно, уловить идею всего процесса.

Случилось так, что разговор с Эриком и его помощником Эдвином разъяснил Второву причины происшедшей катастрофы. Этот разговор начался буквально за несколько минут до того, как она разразилась.

— Скажите,— спросил Второв,— а можете вы неожиданно встретиться с залежами радиоактивных веществ на обломке бывшей планеты? Как повлияют на них ваши излучения?

— Такие случаи были,— ответил Эрик.— Но приборы предупреждают нас о наличии опасных веществ. Такие астероиды мы не трогаем. К ним вылетает специально оснащенная эскадрилья.

— Значит, «Ф-277» уже проверен?

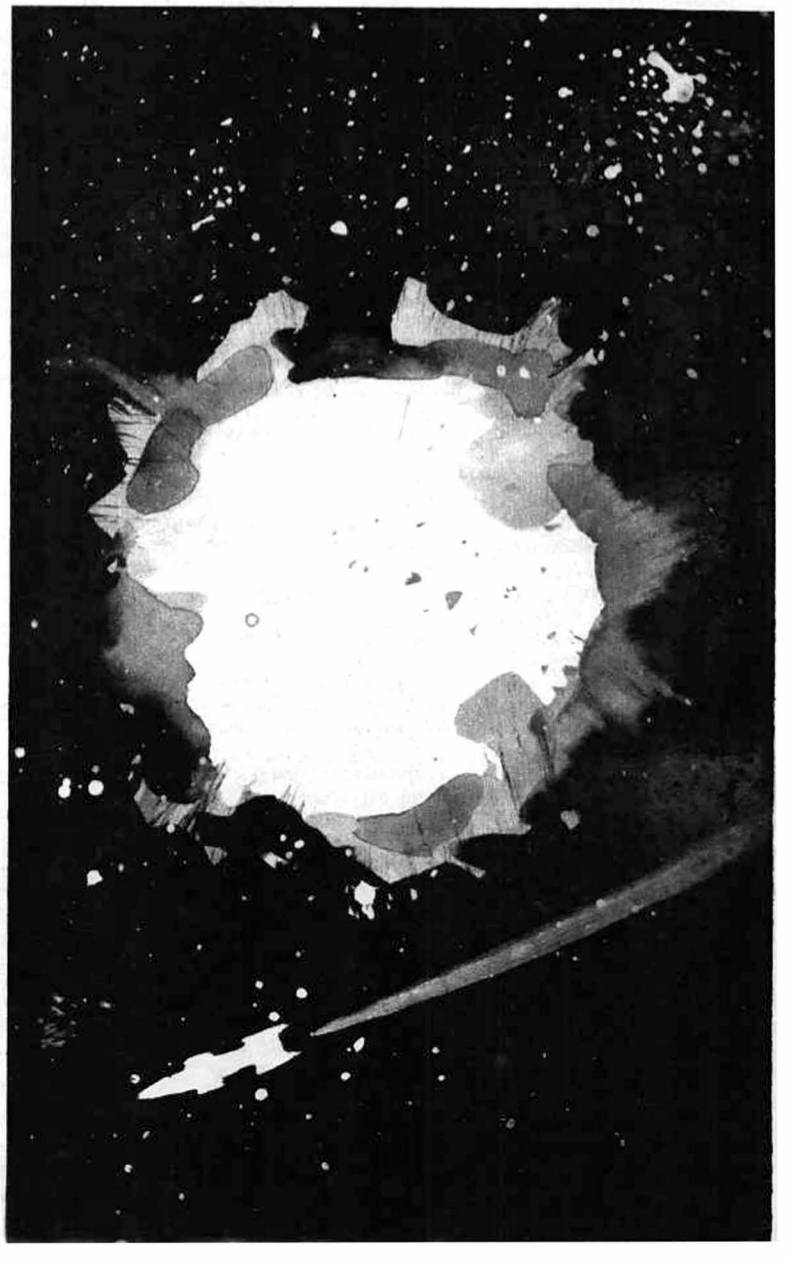
— Конечно. Иначе мы не прилетели бы сюда. Здесь нам не угрожает никакая опасность. А если радиоактивность вдруг появится, мы вовремя узнаем об этом и успеем уйти.

— Был ли хоть раз несчастный случай с рабочим кораблем?

— Не с кораблем, а с целой эскадрильей. Это произошло двадцать пять лет тому назад. Тогда еще даже не подозревали о существовании «Черного блеска».

— Это что такое?

— Точно не объяснишь,— ответил Эдвин.— Название переведено с фаэтонского языка. На старом Фаэтоне, когда узнали об участи, грозящей планете, изобрели и синтезировали бесчисленное множество веществ, способных служить горючим для космолетов. Одно из них и называлось «Черный блеск». Потом фаэтонцы открыли антигравитацию, и все старые системы космолетов были заменены гравитационными. Огромные запасы очень опасных веществ остались в подземных хранилищах. Большинство из них радиоактивны, и потому их запрятали глубоко. Но «Черный блеск» нельзя обнаружить никакими приборами. Фаэтонцы были уверены, что при распаде планеты все эти вещества погибнут сами собой, и не уничтожили их. Видимо, «Черный блеск» не переносит воздействия на него ультразвука или теплового луча. Что с ним происходит при этом, мы не знаем, но, видимо, что-то вроде ядерного взрыва. От погибшей эскадрильи было принято сообщение, что с астероидом, над которым они работают, творится что-то странное. Потом они отрывисто сообщили: «Оранжевое пламя... голубое... Зеленые огоньки...» И это было все. Впоследствии были найдены в пространстве три корабля с мертвым экипажем. Остальные исчезли,



как и самый астероид. Мы запросили фаэтонцев. Они предположили, что не все запасы «Черного блеска» погибли при катастрофе. Но беда в том, что они сами не знают, что же такое «Черный блеск». Сведений о нем у них не сохранилось.

— Значит, встреча с «Черным блеском» не исключена?

— Может быть, он есть и тут,— ответил Эрик.— Но теперь нам известно, что катастрофа не наступает мгновенно. Есть признаки — оранжевое и голубое пламя, зеленые огоньки. Если вдруг обнаружатся такие явления, мы успеем отлететь на безопасное расстояние. До сих пор никто больше не встречался с «Черным блеском».

— Выходит, ваша работа не вполне безопасна.

Эрик пожал плечами.

— В борьбе с природой всегда есть опасность. Но ведь люди никогда...

Внезапно раздался голос, полный тревоги:

— Керри! Керри! Назад! «Черный блеск»!

И через секунду:

— Назад! Назад!

Эрик мгновенно выпрямился, как стальная пружина, и Второв всем телом почувствовал, что корабль рванулся прочь от астероида. Ускорение было так велико, что у него потемнело в глазах.

— Назад! Керри, назад! — настойчиво кричали откуда-то из-за планеты, где, как знал Второв, находился «И-76», на борту которого был Волгин.

Эрик и Эдвин молчали, не спуская глаз с астероида. Ожидать можно было всего. Никто, кроме погибших четверть века назад истребителей, не видел и не знал, что происходит, когда нарушается тысячелетний покой «Черного блеска».

Что-то происходило там, на той стороне астероида.

И вдруг...

Ослепительная вспышка голубого огня! Вихрь чудовищного взрыва!

На месте, где только что был виден астероид, заклубилась сине-оранжевая туча. Перед глазами экипажа «И-80» мелькнули несколько зеленых точек и сразу пропали. Струя оранжевого огня погасла в нескольких километрах впереди корабля.

Туча быстро рассеивалась. Несколько минут она светилась в пространстве зеленым светом, потом как-то сразу потухла.

Ничего больше не было видно. Только звезды!

«И-80» остановился. И полетел обратно, к тому месту, откуда только что улетел.

Эрик и Эдвин молчали, тяжело дыша. За спиной Второва неподвижно стоял третий член экипажа — Гелий.

— Дмитрий... — прошептал Второв.

— Они не могли опоздать,— хрипло сказал Эдвин.— У них было достаточно времени.

— Внимание! — голос Эрика звучал металлом.— Произвожу перекличку. «И-71»?

«Ну и выдержка!» — подумал Второв.

— Корабль в порядке, экипаж цел,— раздался ответ.

— «И-72»?

Тот же ответ.

— «И-73»?..

— «И-74»?..

— «И-75»?..

Второв замер, боясь дышать.

— «И-76»?.. «И-76»?..

Молчание. Эрик побледнел.

— «И-76»!

Никто не отвечал.

— «И-77»?..

«Железный он, что ли?!»

— «И-78»?..

Отозвались все. Молчал только Керри.

— Кто видел, что произошло? — спросил Эрик, как будто совсем спокойно.

— Я.— Второв не знал, кто это говорит.— Возник оранжевый туман, быстро разросшийся. Потом появилось оранжевое и голубое пламя. Мы сразу поняли, что это «Черный блеск». Все признаки, кроме зеленых огоньков. Их не было. Я бросил корабль назад и крикнул Керри, корабль которого находился прямо напротив очага пламени. Но Керри пошел не назад, а в сторону.

— Как ты думаешь, почему он это сделал?

— Очевидно, именно потому, что находился напротив огня. Он хотел выйти из района излучений.

— Он поступил правильно. Что было дальше?

— Появились длинные языки оранжевого огня. Они достигли «И-76». Тогда Керри стал отступать, но корабль летел странно медленно. Потом взрыв.

— Где сейчас «И-76»?

— Я его вижу, Эрик. В ингалископ корабль выглядит, как всегда! Видимо, он не пострадал.

— Три корабля, найденные после первой встречи с «Черным блеском», тоже внешне не пострадали,— ответил Эрик.— Внимание! Всем кораблям осторожно приблизиться к «И-76». Без меня ничего не предпринимать. Соединись с Марсом! — приказал он Гелию.

3

Огромная стена в главном зале заседаний Верховного совета науки представляла собой сплошной экран. Вернее сказать, ее просто не было видно. Казалось, что все здание неведомо как перенеслось на Марс и люди смотрят на чужую планету через исполинское окно.

Тридцать членов Верховного совета с угрюмыми лицами сидели в креслах. Тут же находились все оставшиеся на Земле, члены экипажа «Ленина», кроме Озерова и Вильсона, не вернувшихся еще из своей поездки в бывшую Англию.

Все молчали.

Трагическое известие молниеносно облетело Землю, Марс и Венеру. И не было человека, который в этот момент не ждал бы с огромным напряжением возвращения на Марс эскадрильи Эрика.

«И-76»! Керри, Владимир, Чарли! И Дмитрий Волгин! Человек, с колоссальным трудом возвращенный к жизни, гордость науки! Олицетворение величайшей победы разума над природой!

— Этого нельзя допустить! — сказал Люций, вызвавший к телеофу Ио.— Мы должны сделать все, чтобы вернуть его снова к жизни.

— Дорогой друг,— ответил Ио,— ты взволнован и не отдаешь себе отчета в том, что говоришь.

— Значит...

— Подумай сам. Я и все к твоим услугам. Но...

Люций понимал, о чем думает Ио.

Двадцать пять лет тому назад девять человек, умерших на кораблях эскадрильи, встретившейся с «Черным блеском», были доставлены на Землю, и сам Люций участвовал в тщательном исследовании трупов. У всех оказались сожженными легкие, все имели следы воздействия неведомой лучистой энергии. Ни одного нельзя было вернуть к жизни.

Правда, сейчас ученые знают больше. Сожженные легкие можно заменить искусственными. Можно заменить и сердце, если оно повреждено. Но время!..

Эрику нужно никак не меньше пятнадцати часов, чтобы вернуться на Марс. Период мнимой смерти давно пройдет, необратимые процессы разложения клеток головного и спинного мозга не оставят никакой надежды. Ио прав.

Если они погибли, нет никакой надежды!

«Если погибли!» А разве они могли не погибнуть?!

Люций был готов рвать на себе волосы от отчаяния. Со смертью Дмитрия наука потеряла все, чего достигла с таким трудом.

Но научные соображения только вскользь затрагивали ум Люция. Он испытывал глубокое человеческое горе: он любил Дмитрия как родного сына.

К Ио обратился не один Люций — родственники Керри, Владимира и Чарли ждали с нетерпением его последнего слова.

И старый медик вынужден был объяснить каждому, что если члены экипажа «И-76» умерли, то вернуть их к жизни невозможно.

Если...

Это короткое слово, оброненное известным врачом, членом Верховного совета науки, заронило надежду.

Оно облетело всю Землю, о нем узнали работники экспедиций на Венере, строители станций на Марсе, экипажи ракетопланов и истребительные отряды.

«Ио сказал: «Если они умерли!». Значит, он допускает, что они могут быть живы».

И за час до прилета на Марс эскадрильи Эрика вступили в действие все экраны Земли. Мощные станции межпланетной связи, работая почти на пределе, обеспечивали бесперебойную, четкую видимость.

Люций не удивился, когда к нему явились космонавты, прилетевшие из Ленинграда. Он был бы удивлен, если бы они не сделали этого. Вместе с ними он отправился в здание филиала Верховного совета науки, где находился самый мощный экран города.

Ио и двадцать восемь известных медиков и биологов уже были там.

Ио тотчас же обратился к Люцию и рассказал ему, что они решили посоветовать врачам на Марсе:

— Надо исходить из факта, который будет установлен после доставки на Марс «И-76». Живы члены экипажа корабля или мертвы. В первом случае все зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если жизнь едва теплится, если скорая смерть неизбежна, есть смысл сразу заморозить тела, так как на Марсе спасти их нельзя. А здесь, на Земле, мы их оживим.

— С Дмитрием этого нельзя делать,— сказал Люций.

Казалось, Ио удивился. Но он ничего не возразил на эти слова, сказанные тем, кто больше всех был заинтересован в сохранении жизни Волгина. Он понял, что имеет в виду его друг.

— В случае же,— продолжал он,— если они мертвы, то мы не знаем, когда наступила смерть. Корабль закрыт. Никто не видел, что в нем творилось. Может быть, смерть наступила не сразу, а в пути, совсем недавно. Тогда опять-таки надо немедленно заморозить тела.

— Правильно.

— Все силы бросим на спасение Дмитрия. Но,— робко прибавил Ио,— допустим, что он все же умрет...

Люций ответил спокойно, странно-бесстрастным голосом:

— Перед тем, как мы оживили Дмитрия, состоялась всемирная дискуссия. Я сам защищал наше право оживить его. И мы это сделали. Вы знаете, Ио, в чем мы ошиблись. Может быть, для Дмитрия эта неожиданная смерть — счастье.

— Значит...

— Придется покориться судьбе. Дмитрий Волгин — человек, а не подопытное животное.

Ученые молча переглянулись. Если сам Люций так говорит, значит, надеяться не на что. Ведь только благодаря ему, только имея мощную поддержку Люция, сторонники оживления Волгина одержали победу. Бесполезно вступать в новую дискуссию, если заранее известно, что Люций выступит против.

Котов перевел слова Люция своим товарищам. Его выслушали с величайшим вниманием. Все знали, как горячо любил Люций Волгина.

Ксения Станиславская опустила глаза. Только она одна знала, чем вызваны слова, поразившие всех.

«А если я ошиблась? — думала она в смятении и растерянности, мучимая угрызениями совести.— Если Дмитрий погибнет по моей вине?»

Она глубоко раскаивалась в своих словах, которые вырвались у нее при встрече с Люцием сегодня утром. Но она не знала, не могла даже предположить, что они произведут на Люция такое впечатление.

Продолжение следует.

Георгий МАРТЫНОВ

Встреча через века

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО
и Г. НОВОЖИЛОВА.

Продолжение. Начало см. №№ 17—24, 1961 год, и 4—5, 1962 год.

Это произошло почти случайно. Она ошиблась дверью и вошла в домашнюю лабораторию Люция. В глубокой задумчивости он сидел в кресле перед рабочим столом. При звуке ее шагов Люций вздрогнул и поднял голову.

— Извините, пожалуйста,— сказала Ксения, делая шаг назад.

— Нет, войдите,— сказал Люций.— Мне тяжело одному. Побудьте со мной. Никого нет на Земле: ни Эры, ни Мэри.

Ксению поразили его голос, выражение лица, какая-то детская беспомощность...

Сильный человек, с несгибаемой волей, был раздавлен свалившимся на него горем.

Она подошла, села рядом и взяла его руку в свои.

— Вот, Ксения,— сказал Люций.— Нет больше нашего Дмитрия! Зачем я не послушал совета моего отца? Зачем позволил себе воскресить его?

— Так было нужно. И Дмитрий гордился тем, что послужил науке.

— Он прожил так мало. А мог бы жить долго, очень долго.

И вот тогда-то Ксения и сказала Люцию роковые слова:

— Трудно сказать, что лучше для Дмитрия. Я слышала его разговор с Игорем Второвым. Он мучился сознанием своей неполноценности в вашем мире, боялся, что не сумеет понять и освоить современную науку. Он говорил, что лучше смерть, чем жизнь вне общего труда.

Люций пристально посмотрел на нее.

— Да,— сказал он,— я это знаю. Спасибо, Ксения! Вы напомнили мне о том, о чем я не должен был забывать. Я не только ученый, я его отец.

Он опустил голову на руки и долго сидел, не шевелясь.

Она сказала это, чтобы облегчить ему горе. Если бы она знала...

Потом Люций поднял голову и прошептал:

— Да, так будет лучше.

И вот теперь Ксения поняла, какое решение принял тогда Люций. Человек восторжествовал над ученым.

Долгое молчание нарушил Ио.

— Если мы вас правильно поняли, Люций,— сказал он,— не следует делать попытки спасти Волгина?

— Если он умер. Но если он жив, мы обязаны сделать все, чтобы сохранить ему жизнь. Подчеркиваю: сохранить. Предложенный вами способ к Дмитрию неприменим.

— Пусть будет, как вы хотите.

Один из ученых говорил с кем-то по карманному телеофу. Потом он повернулся к экрану.

Заросли синих и фиолетовых марсианских деревьев окружали обширную поляну, где должны были опуститься корабли эскадрильи. Слева блестел купол Фаэтонграда.

Кто-то подошел к аппарату, установленному на поляне. Голову человека закрывал герметический шлем, на спине виднелись резервуары, наполненные воздухом. Он встал вплотную к экрану и, казалось, смотрел прямо на собравшихся в зале.

Один из ученых обратился к нему:

— Юлий! Расскажите, что сделано для быстрейшей реализации нашего плана. Какие меры вы приняли? Вас слушают тридцать членов Верховного совета науки. Сообщаю вам наше решение: Дмитрия Волгина не замораживать ни в коем случае.

Ксения поняла последние слова и невольно оглянулась на Люция. Он сидел в той же позе.

Итак, кончено! Если Дмитрий мертв, его не будут пытаться спасти, как других. Решение принято.

Она увидела, как между пальцев Люция показалась и упала слеза.

Медленно текло время, нужное для того, чтобы вопрос с Земли долетел до Марса и получить ответ.

Но вот губы Юлия зашевелились, раздался его голос:

— Решено накрыть «И-76» герметическим футляром, как только он опустится. Сделать это здесь, на месте. На случай, если экипаж жив, приготовлен арелет, который окажется под тем же футляром. Замораживание будет произведено как в случае смерти, так и при явной опасности скорого ее наступления. Исключается Дмитрий Волгин. Ваше распоряжение удивило всех. Просим повторить его снова.

— С вами говорит Ио, академик медицины, член Верховного совета. Подтверждаю: Дмитрия Волгина не замораживать ни в каком случае.

Разговор кончился.

— Подумайте хорошенько! — вырвалось у Котова.— Еще не поздно.

Люций не пошевельнулся, остальные промолчали. Несколько взглядов было брошено на Люция. Этим людям было явно не по себе, но никто не пытался отговорить Люция. Кому же решать этот тяжелый вопрос, если не ему?

Вдруг Люций резко стянул руку. Его лицо было белее мела.

— Если Дмитрия воскресить вторично,— сказал он хрипло,— то он проживет не более трех лет. Для него это не имеет смысла. А мы...— Люций обвел взглядом смотревших на него ученых, многие из которых помогали ему в работе над Волгиным,— если мы допустили его гибель... Он человек, а не подопытное животное.

— Решено, Люций,— мягко сказал Ио.— Вы правы.

— Будем надеяться...— начал Котов, но ему не дал договорить возглас одного из ученых:

— Эскадрилья!

В небе Марса показались рабочие корабли. Они летели тесным строем. Было видно, что четыре корабля несут пятый.

— Они воспользовались магнитами,— сказал кто-то.

Потом, медленно и осторожно, четыре корабля поставили «И-76» в центре красного круга, выключили магниты и снова поднялись.

Подошли четыре машины. С непостижимой быстротой над кораблем, арелетом и людьми вырос прозрачный купол.

По тому, как люди, оставшиеся внутри купола, сразу сняли с себя шлемы и подошли к люку корабля, можно было догадаться, что уже создано нормальное давление воздуха.

Потекли минуты томительного ожидания.

— А ведь на Марсе все уже известно,— сказал кто-то.

Передача происходила не мгновенно. Зрители на Земле видели события с опозданием на четырнадцать-пятнадцать минут.

И вот они увидели, как из корабля один за другим вынесли три продолговатых предмета. Это были капсулы для замораживания.

В них находились три теперь уже несомненно мертвых тела.

Чьи? Конечно, Керри, Владимира и Чарли. Ведь Волгина и не должны были подвергать замораживанию.

Потом показались носилки. Неподвижное тело на них было закрыто покрывалом. Носилки тоже поставили в арелет.

Дмитрий Волгин!

— Кончено! — сказал Ио.

Купол сняли. Арелет взмыл вверх и скрылся в направлении к Фаэтонграду.

Люций всем телом наклонился вперед.

— Почему они так торопятся? — с дрожью в голосе сказал он.

И вдруг раздался голос:

— Земля! Земля! Слушайте все! Совершен великий подвиг. Ценой своей жизни экипаж «И-76» — Керри, Чарли, Владимир — спас жизнь Дмитрия Волгина. Вечная слава героям!

4

О том, что произошло на «И-76», население Земли узнало только на следующий день, после того, как на Марс на специальном ракетоплане прилетали Ио и Люций.

По их поручению перед аппаратом межпланетной телеофсвязи выступил Юлий — старший врач истребительных отрядов.

— Друзья! — сказал он.— На мою долю выпало сообщить вам печальную весть. Вы уже знаете, при каких обстоятельствах экипаж рабочего корабля «И-76» встретился с фаэтонским веществом, называемым «Черным блеском». Двадцать пять лет тому назад подобная встреча привела к гибели целой эскадрильи, к гибели тридцати шести человек. То, что вторая встреча окончилась не столь грандиозной катастрофой, объясняется тем, что истребительным отрядам известно о подстерегающей их опасности.

Как ясно теперь, астероид «Ф-277» является, по-видимому, частью наружного слоя погибшего Фаэтона, и на нем находился один из крупных складов «Черного блеска». Больше ста тысяч лет пролежало это опасное вещество на малой планете, пока его не потревожило излучение «И-76». По несчастной случайности этот рабочий корабль оказался как раз против подземного склада. Командир корабля Керри, увидев начало ядерной реакции, пытался уйти в сторону, но, хотя его решение было вполне оправдано, было бы лучше сразу отлететь назад. Потерянное время сыграло роковую роль. Мы еще не знаем, что представляют собой языки оранжевого пламени, о которых рассказали нам экипажи других кораблей, но, очевидно, именно в них заключается главная опасность для людей. Что произошло на корабле «И-76», мы, может быть, узнаем от единственного оставшегося в живых свидетеля — Дмитрия Волгина. Но сейчас он еще находится в бессознательном состоянии. Керри, Владимир и Чарли сделали все, что могли, для спасения своего пассажира, своего гостя — Дмитрия. Мотивы их геройского поступка ясны, они знали, что представляет собой Дмитрий Волгин. Мы увидели следующее: на полу, возле пульта лежал Волгин, завернутый в противолучевую ткань, конец которой был зажат в руке мертвого Чарли. Голова Дмитрия была закрыта шлемом, от которого шел шланг к кислородному аппарату. Кран, очевидно, был открыт Владимиром. Неподалеку находился Керри и сжимал в руках три куска противолучевой ткани, для себя и своих товарищей. Три шлема лежали тут же. Совершенно очевидно, что Дмитрий, будучи физически более слабым, первым потерял сознание и не мог уже сам защитить себя. Это сделали его спутники, жертвуя собой, так как завернуться в ткань и надеть шлемы они уже не успели. От чего надо было защищаться, мы не знаем, но опасность, видимо, была ясна трем погибшим. Мне очень тяжело говорить, но вы должны знать все. Родственники погибших уже знают. Полость рта, горло, легкие у всех троих оказались совершенно сожженными. Последние минуты жизни они дышали в буквальном смысле слова огнем. У Волгина, насколько можно судить по приборам, внутренние ожоги незначительны. Но он полностью парализован. Чем кончится этот паралич, причин которого мы не знаем, трудно сказать.

Личный состав истребительных отрядов поручил мне внести на всемирный опрос предложение — увековечить имена трех членов экипажа «И-76». Сообщайте ваше мнение установленным порядком.

Сообщения о здоровье Дмитрия Волгина будут передаваться ежедневно.

. . . . . .

Павильон острова Кипр снова принял под свой купол Дмитрия Волгина, как и несколько лет назад.

Но теперь он был жив.

Причина глубокого паралича все еще оставалась неясной. Сердце билось медленно, но регулярно и четко, дыхание было поверхностным, но ровным; не оставалось сомнений, что поражена нервная система. Приборы указывали, что в мозгу не возникает даже проблеска мыслей.

Ио и Люций снова поселились на Кипре. Сюда же прилетели все друзья Волгина: Владилен, Мэри, Мунций, космонавты с «Ленина» Сергей, Иосиф, даже Эрик, покинувший на время свой рабочий корабль.

Снова вся Земля волновалась за его жизнь, снова человечество с нетерпением ожидало сообщений с Кипра.

Фаэтонцы, которые были, в сущности, единственными виновниками катастрофы, предложили вызвать со своей планеты крупнейших специалистов по лучевым болезням, и их предложение было с благодарностью принято. Но фаэтонские ученые могли прибыть на Землю не раньше чем через несколько месяцев.

Люций и Ио испробовали все известные им средства — загадочная болезнь не поддавалась.

Спустя месяц с Марса прилетел Эйа. С его стороны это было самоотверженным поступком, так как климат острова Кипр очень тяжел для фаэтонцев. С ним прилетел инженер Хосе, единственный человек на Земле, который кое-как мог говорить на фаэтонском языке.

— Мы получили радиограмму с Фаэтона,— сказал Эйа,— в которой даны указания для осмотра больного. Разрешите мне обследовать его.

Эйа привез с собой несколько аппаратов, устройства которых еще не знали ни Люций, ни Ио.

Его провели к Волгину.

— На Фаэтоне,— сказал Эйа после осмотра,— правильно поняли, что случилось. Это состояние — следствие воздействия лучей (он произнес несколько протяжных гласных)... Очевидно, пострадавший подвергался их воздействию очень короткое время. Это его спасло.

— Что надо делать? — спросил Люций.

— Наши ученые советуют ничего не делать до их прилета. Кормите больного как можно реже и как можно более легкой пищей. Повысьте содержание кислорода в воздухе, которым он дышит, на десять—пятнадцать процентов выше нормального.

— Сколько времени это может продлиться?

— Думаю, что год или полтора, по вашему счету лет. Но возможно, что и больше. Я ведь биолог, а не медик.

— Угрожает ли больному опасность?

Эйа развел гибкими руками (у фаэтонцев не было локтевого сустава).

— На это мне нечего ответить. Подождите прилета медиков с Фаэтона.

Эйа улетел обратно на Марс. За один день пребывания на Земле он почувствовал себя плохо. Да и не было никакой необходимости в его присутствии.

Время потянулось еще томительнее. У постели Волгина велось круг-

лосуточное дежурство. Внимательные, любящие глаза непрерывно следили за показаниями приборов, готовых зарегистрировать малейшие изменения. Но недели шли, а никаких изменений не происходило. Волгин продолжал оставаться живым трупом.

Экипаж «И-76» был торжественно похоронен по обычаю эпохи. Предложение, выдвинутое работниками истребительных отрядов, все человечество Земли приняло единогласно. На золотой доске, у Пантеона величайших людей, где в центре здания лежало тело Владимира Ильича Ленина, появились три новые строчки:

«Керри — командир рабочего корабля «И-76» истребительного отряда».

«Чарли — штурман рабочего корабля...»

«Владимир — бортовой инженер...»

Это было бессмертием.

Настал наконец день, когда космический корабль фаэтонцев опустился на космодроме Цереры. Там уже больше двух недель ожидал специально оборудованный ракетоплан, на котором были созданы привычные для фаэтонцев климатические условия. Четыре пожилых фаэтонца прилетели на нем прямо на остров Кипр.

Их поселили в доме, оборудованном мощными охладителями воздуха, фаэтонской мебелью, кухней, где изготовлялись фаэтонские блюда. Им были предложены особые костюмы и головные уборы, охлаждающие тело. Даже участок сада, примыкающий к дому, закрыли невидимым куполом, ослабляющим лучи Солнца. Только в самом лечебном павильоне, у постели Волгина, фаэтонским ученым предстояло находиться в непривычных для них температурных условиях.

Люди Земли сделали все, чтобы фаэтонцы чувствовали себя как можно лучше на чужой планете.

Ученые рассказали, что население Нового Фаэтона принимает живейшее участие в судьбе необычного человека на Земле, что перед отлетом они получили пожелания успеха буквально от всех своих соотечественников.

Исследование производилось долго и тщательно. Двенадцать дней фаэтонские ученые отказывались что-либо сказать нетерпеливо ждущим людям. Они делали свое дело молча и не торопясь. Медлительность их движений, бесконечно долгие разговоры друг с другом несказанно раздражали всех друзей Волгина. В сравнении с этими четырьмя людьми Ая и Эйа казались подвижными, как ртуть.

Внутреннее устройство тела человека Земли было давно и хорошо известно фаэтонцам; они не просили никакой консультации, никого и ни о чем не спрашивали. По их указаниям изготовили целый ряд не известных на Земле приборов и аппаратов, кроме тех, которые они привезли с собой. Излучающие машины, которыми пользовались при первом оживлении Волгина, были убраны, вместо них установили другие. Распоряжения фаэтонцев, лаконичные и точные, переводил на земной язык инженер Хосе. Остальное сообщали чертежи и схемы.

Но как ни медленно работали фаэтонцы, и их работе наступил конец. На тринадцатый день Ио и Люций были приглашены к ним, чтобы выслушать заключение фаэтонского консилиума.

Невыносимо медленный разговор продолжался четыре часа.

Выводы ученых оказались предельно точными.

— Пострадавший от лучей «Черного блеска» человек не парализован. Это лучевая болезнь, которую на Фаэтоне называют...— Последовало непереводимое слово.— Опасности для жизни нет. Но он будет находиться в неподвижном состоянии четыре ваших года. Никакого лечения не требуется. Надо только поддерживать силы организма.

— Будет ли он совершенно здоров, когда очнется?

— Да, будет совершенно здоров. Болезнь не оставит никаких следов. При условии точного выполнения предписанного нами режима.

— Требуется ли ваше присутствие?

— Один из нас останется на Земле.

— Ясно ли вам теперь действие лучей «Черного блеска»? — спросил фаэтонцев Хосе.

— Да, мы знаем теперь, что такое этот загадочный «Черный блеск». Если это вещество осталось еще где-нибудь, ваши люди могут его не опасаться. На Марсе с помощью лингвамашины Эйа мы подробно ознакомим вас с атомарным и молекулярным строением «Черного блеска». Вы легко сконструируете прибор для его обнаруживания на расстоянии.

— Чудесно! — воскликнул Хосе.

Для него, работника истребительных отрядов, это было самым важным из всего, что сказали фаэтонцы. Устранялась главная и единственная опасность в работе.

Трое фаэтонцев улетели обратно на родину, один, по имени Изйа, остался на острове. В срочном порядке изготовлялась лингвамашина, чтобы фаэтонец мог говорить с людьми. Изучить земной язык он не мог: голосовые связки фаэтонцев были не способны произнести более половины звуков.

Мэри решила во что бы то ни стало научиться говорить по-фаэтонски. Она осталась с отцом.

Всеобщее волнение улеглось. Слова фаэтонцев ни в ком не вызывали сомнений — все окончится благополучно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

От четырехлетней летаргии Волгин очнулся сразу. Не было полубессознательного состояния, тумана в мыслях, пробелов в памяти. Он просто проснулся, как привык просыпаться всегда.

И сразу вспомнил все, что видел и испытал до момента потери сознания.

Было темно. Он лежал в мягкой и удобной постели. Смутно проступали очертания предметов: ночного столика, нескольких кресел, стола. Очевидно, была ночь.

«Ясно! — подумал Волгин.— Я на Марсе. Эскадрилья вернулась туда после этой странной истории с «Ф-277». Но ведь я-то потерял сознание, почему же меня не положили в больницу? Да, у них нет больниц. Но почему тогда я один? Нет даже сиделки. Странно».

Привычным мысленным приказом он потребовал, чтобы открылось окно, если оно есть в комнате.

«Окно» открылось. Темная завеса раздвинулась, и неожиданно на постель Волгина лег луч лунного света.

«Вот как! Я на Земле. Еще более странно. Неужели я мог так долго спать?»

Он чувствовал себя настолько обычно, что ему и в голову не приходило, что он мог быть столь длительное время в бессознательном состоянии. Вероятно, его просто усыпили.

Но болен он или здоров?

Спать ему совершенно не хотелось, но встать с постели он не решался. А вдруг он все-таки болен и ему нельзя вставать?

«Если бы это было так,— решил он наконец,— то возле меня кто-нибудь был».

Смущало отсутствие верхней одежды. Ее нигде не было видно. Волгин все же встал.

Он не ощутил при этом никакой слабости. Нет, совершенно ясно: он вполне здоров!

Он подошел к окну. И тут только заметил, что это было действительно окно, сквозное отверстие в стене, а не прозрачная стенка, как в других домах.

Он сел на подоконник.

Было приятно смотреть на Луну, на звездное небо, такое привычное, родное...

«Ф-277» — голубой клубящийся шар... зеленые огоньки в воздухе корабля, обжигающем, как пламя... лица Керри и Чарли, напряженные, с широко открытыми глазами, полными ужаса. Хорошо, что все это кончилось, прошло, кануло в прошлое!

Нет, больше он не покинет Землю! Хватит космических впечатлений!

Жаль все же, что он не видел, что было дальше. Но, видимо, ничего страшного не произошло, иначе он не был бы здесь, на Земле. Катастрофы удалось избежать.

Но с ним все же что-то случилось. Почему-то пришлось усыпить его и отправить на Землю, на остров Кипр...

Волгин внезапно сообразил, что мысленно назвал место, где находится. Конечно, это был сад, который он видел тогда, после выхода из лечебного павильона. Он узнал его. Тропические растения, узкие песчаные дорожки, белые здания, прячущиеся в зелени. А вон там знакомый купол павильона, в котором он пролежал столько томительных месяцев.

Волгин сдвинул брови и задумался.

Если его привезли сюда, значит, с ним было что-то серьезное. Не просто сон после обморока. Но что же произошло? И сколько времени он здесь находится?

Его путало, сбивало с толку то обстоятельство, что он один, что возле него никого нет.

Но утром кто-нибудь придет наверняка, и тогда он все узнает.

Он приготовился терпеливо ждать утра.

Знакомый, едва слышный звук долетел до ушей Волгина. Это отворилась дверь. Он быстро лег. В комнату кто-то вошел.

Завеса окна чуть-чуть раздвинулась. Волгин увидел, что вошла женщина. Когда она приблизилась, он узнал в ней Мельникову.

Он поспешно закрыл глаза. Его считают больным — это ясно. Иначе необъяснимо ее появление глухой ночью. А раз так, ее может взволновать неожиданное пробуждение Волгина.

Мария Александровна подошла к постели и наклонилась над нею. Видимо, ее успокоило ровное дыхание Волгина, она повернулась, чтобы уйти. Он понял, что она дежурная и находилась в соседней комнате. Может быть, ее привели сюда звуки его шагов, а теперь она уверена, что ошиблась.

Мысль, что она уйдет и он останется снова один, испугала Волгина. Он тихо позвал:

— Мария.

Она резко обернулась. Окно еще оставалось приоткрытым, и на ее лицо падал лунный свет. Волгин видел, что Мельникова не поверила своему слуху, она напряженно всматривалась в полумрак комнаты, стараясь рассмотреть лицо Волгина. Он повторил:

— Мария!

С радостным возгласом она бросилась к нему.

— Ты проснулся? Дмитрий! Дима!

Так называла его когда-то Ирина!

— Надо сообщить всем!

— Постой! — сказал Волгин.— Не надо никого будить. Скоро утро. Мария, вернись!

— Но я должна...

— Ничего ты не должна. Я еще сплю.

Она вернулась.

— Все ждут, когда ты проснешься.

— Подождут еще немного. Сядь! Расскажи мне, что случилось. Я хочу услышать все от тебя.

Мельникова присела на край постели.

— Не знаю, право,— сказала она.— Люций приказал категорически...

— Я еще не проснулся,— улыбаясь, повторил Волгин.— Когда проснусь, ты позовешь Люция.

Раньше он говорил ей «вы». Но ведь она сама, первая, перешла на дружеское «ты». Волгин обрадовался этому. Она всегда относилась к нему сдержанно из-за своего злосчастного сходства с Ириной. Болезнь помогла льду растаять — чудесно!

— Рассказывай! — сказал он.

Он приказал окну «открыться». Лунный свет опять залил комнату.

Волгин внимательно посмотрел на Мельникову и вздрогнул.

Она выглядела гораздо старше. Это не было обманом освещения: она действительно постарела на несколько лет. Как это могло случиться за пару недель? В чем дело?

— Говори же! — умоляюще сказал он, видя, что она колеблется.

Мельникова действительно колебалась. Ей было строжайше предписано в случае пробуждения Волгина немедленно известить Люция, Ио и фаэтонского врача. Может быть, Волгину необходимо дать какое-нибудь лекарство, может быть, задержка причинит ему вред? Но она помнила, как Иэйа всего несколько часов назад сказал (Мэри перевела его слова), что Волгин должен проснуться так, как просыпался всегда, когда он был совершенно здоров. И выглядит он прекрасно.

Она не могла противиться умоляющему выражению лица Волгина. Он хочет услышать от нее. Пусть так и будет!

Она не могла уйти. Ей было приятно находиться с ним наедине, в комнате, освещенной Луной, старой Луной, такой же, как в былое время, быть с человеком, близким ей больше, чем все остальные люди на Земле, со своим современником.

«Милый Дима,— думала она,— ты еще не знаешь, что мы одни остались на Земле. Совсем одни!»

Говорить ему об этом Люций запретил.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

— Прекрасно. Не бойся ничего. Рассказывай!

Она рассказала обо всем. Как был доставлен на Марс «И-76», как были найдены в нем бесчувственные тела трех членов экипажа и самого Волгина. (О том, что он один остался жив, было решено не рассказывать, пока Волгин окончательно не оправится.) Она рассказала, как его привезли на Кипр, положили в павильоне, как мучились все неизвестностью, о прилете фаэтонских ученых.

— Все случилось так, как они сказали. Месяц назад ты очнулся от летаргии, и тебя перенесли из павильона сюда. Со дня на день ожидали окончательного пробуждения. Я очень рада, что это произошло в мое дежурство.

— Наверное, дежурят и Мэри и Ксения,— сказал Волгин.

— Мэри — да, а Ксении здесь нет. Она... в Ленинграде. Не знаю, что побудило меня войти к тебе в неурочный час. Но мне послышалось...

— Я вставал и подходил к окну,— сказал Волгин.— Но, Мария, постой. Ты сказала: четыре года. Ты уверена?

— Как же я могу быть не уверенной в этом! Мы все считали дни.

— Который час?

— Около пяти утра. Скоро взойдет солнце.

— Тогда я уже проснулся,— засмеялся Волгин.— Ты только что узнала об этом. Поздоровайся со мной и иди звать Люция.

Через несколько минут комната наполнилась людьми. Прибежали Люций, Ио, Владилен, Мэри и многие другие, которых Волгин не знал. Пришел Иэйа, маленький, хрупкий, с мощным лбом над громадными глазами, очень пожилой. Никого из космонавтов с «Ленина» не было.

Это удивило Волгина.

Пока Ио и фаэтонец осматривали его, Волгин не спускал глаз с Мэри. Она в чем-то явно изменилась, но нисколько не постарела, как Мельникова. Четыре года не повлияли на свежесть ее лица.

«Конечно, она моложе Марии, но не надо забывать, что современные люди выглядят совсем молодыми в пятьдесят лет. Что для них какие-то четыре года! То же, что были для нас несколько месяцев».

Волгин почувствовал горечь от этой мысли. Он и Мария состарятся, одряхлеют, а вот она, Мэри, будет все такой же — молодой и здоровой. И остальные будут такими же.

Мельникова показалась ему еще ближе, еще дороже. Она не покинула его...

Владилен заметил пристальный взгляд Волгина, устремленный на Мэри. С проницательностью людей этой эпохи он понял мысли своего друга.

— Ты удивлен переменой в Мэри,— сказал он.— Она объясняется просто. Мэри — мать. У нее родился сын. Он назван в твою честь Дмитрием.

Спрашивать, кто отец ребенка, было незачем. Волгин протянул руку Владилену.

— Поздравляю вас обоих. А где он, мой тезка?

— В доме Мунция, с Эрой. Она закончила свою работу в истребительном отряде и вернулась на Землю. Правда, на время. И пожелала повозиться с внуком.

— Не буду спрашивать,— сказал Волгин,— здоров ли маленький Дмитрий. С ним, конечно, все в порядке?

— Я видела его вчера днем,— сказала Мэри.— И первое, что он спросил у меня,— это о тебе.

Почему-то ее слова удивили Волгина: ему представлялось, что сын Мэри еще грудной ребенок.

— Сколько ему?

— Скоро будет два года.

И внезапно чувство безысходной тоски охватило Волгина. Зачем его спасли, снова заставили жить, зачем не дали ему умереть?.. Люди вокруг живут полной жизнью, все им доступно, все к их услугам, все радости жизни, они счастливы... А они? Если Мария даже согласится быть его женой, у них никогда не будет детей. Нельзя обрекать еще одно существо на жизнь неполноценного человека, нельзя, невозможно! Это было бы чудовищной жестокостью.

— Ты совершенно здоров, Дмитрий,— сказал Ио.— Поздравляю тебя.

— Не с чем,— сухо ответил Волгин.

Люций, говоривший с кем-то в глубине комнаты, повернул голову, посмотрел на Волгина и побледнел.

Окончание см. в № 8.

Встреча через века

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА.

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

(Окончание. Начало см. в №№ 17—24 за 1961 год и 4—6 за 1962 год)

2

— Итак, они улетели?

— Да, три года тому назад. Ксения очень не хотела покидать Землю. Но Виктор умер...

— Он не хотел этого,— сказала Мельникова.— Нет, не думай, это не самоубийство. Он заболел. Я думаю, что причиной этой болезни была все возрастающая тоска...

— Я его понимаю,— прошептал Волгин.

— Его хотели усыпить, но Виктор отказался. Он не позволил лечить себя никому, кроме меня и Федора. А что мы могли сделать? Наша медицина не знала средств от подобных болезней. Обмануть его? Мы не решились на это. Он знал, что мы этого не сделаем.

— Удивляюсь вашей сговорчивости. Я обратился бы к современным врачам.

— Ты бы не сделал этого. Признаюсь тебе, я говорила с Люцием. Он ответил...

— Знаю,— перебил Волгин.— Что-нибудь о свободной воле каждого человека.

— Они смотрят на такие вещи иначе, чем смотрели мы. И их нельзя упрекать за это.

— Я их не упрекаю. Итак, Виктор умер, и Ксения?..

— Она была вынуждена лететь со всеми. Ведь на нашем космолете Ксения была вторым штурманом. Только она и Виктор знали, как найти Грезу. Современным астронавтам эта планета еще неизвестна.

— Они улетели на «Ленине»?

— Да, так назвали корабль. Только с нашим он не имеет ничего общего. Я было удивилась, откуда ты это знаешь, но потом вспомнила, что нам рассказывал об этой экспедиции Владилен, когда мы летели на Марс.

— Когда они должны вернуться?

Мельникова опустила глаза.

— На Земле пройдет больше тысячи лет,— прошептала она.

— Опять путешествие в будущее.

Волгин сказал это равнодушно. «Измена» друзей глубоко обидела его. Они даже не оставили ему писем, только несколько строчек от Ксении, кончающихся неуместным словом «до свидания». А впрочем, кто он для них? Почему они должны жертвовать ради него своими интересами?

Мельникова давно заметила перемену в отношении Волгина к улетевшим и поняла причину.

— А почему ты не улетела, Мария? — неожиданно спросил Волгин.

— Дима, ты ничего не понимаешь,— сказала Мельникова, уклоняясь от ответа на его вопрос.— Через два года на Грезу отправляется вторая экспедиция. Они были уверены, что мы с тобой прилетим к ним. Они просили сказать тебе, что будут с нетерпением ждать тебя. Милый мой Димочка! — ласково прибавила она, проведя рукой по его волосам.— Что тебе делать на Земле?

Волгин заметил ее маневр. Но вторично задать тот же вопрос он не решился. Если она ответит не так, как он ожидал, будет тяжело, очень тяжело. Лучше сохранить надежду.

— Я до сих пор не знаю, что такое ваша Греза,— сказал он, притворившись заинтересованным. В действительности он сразу решил, что не полетит никуда.— Расскажи о ней. Надо же мне знать, куда меня приглашают.

— Греза — это планета звезды шестьдесят один созвездия Лебедя. Астрономы давно подозревали, что у этой звезды есть планетная система. Грезу мы нашли случайно. До этого мы обнаружили две необитаемые планеты. Но мы искали такую, где могла бы развиться жизнь, подобная земной. И вот нашли. Разумные существа оказались похожими на нас. Но они очень напоминают обезьян. Тело их покрыто бурыми волосами. Правда, они ходят одетыми. У них шестипалые руки и громадные, непропорционально громадные ноги. А головы маленькие, с узкими покатыми лбами. Но они люди, а не животные, у них есть разум. И цивилизация примерно на уровне девятнадцатого века на Земле. Они не знают еще электричества, радио, самолетов. Но у них есть автомобили с паровым двигателем. Если бы они ходили по рельсам, это были бы маленькие паровозы. Поездов у них нет. Греза очень богата водой. Там много пароходов. Конечно, все это было тогда. Сейчас у них прошло несколько веков. Все могло измениться.

— По твоему описанию,— сказал Волгин,— эти существа довольно несимпатичны. Как они вас встретили?

— Очень хорошо. Мы приглашали их к нам, но желающих не нашлось. Объяснялись мы с ними мимикой и жестами. Пробыли мы там недолго.

— Почему вы не фотографировали Грезу?

— Как? — удивилась Мельникова.— Ты не видел нашего кинофильма?

— Нет. Надо будет посмотреть. Откуда это название — Греза?

— Так назвал эту планету Котов. Их названия мы так и не узнали.

— Никогда бы не подумал, что Константин способен быть поэтом. Судя по тому, что ты рассказала, это название неудачное.

— Я говорила о людях, а не о самой планете. Посмотрим фильм, и ты поймешь. Греза чарующе прекрасна. Никогда и нигде я не видела такой красивой природы. Какое богатство красок и оттенков! Растительность зеленая и голубая, небо синее-синее, моря, озера, реки — как жидкий изумруд. Воздух поразительно чист. Высокие горные хребты с белыми снежными вершинами. Масса животных и очень красивых птиц всех цветов радуги. А ночью все заливает свет трех лун, создающих причудливое переплетение теней. Две из них желтые, как наша, а третья, самая большая, красная, вернее, темно-оранжевая. Когда они светят все три сразу, создается фантастическая картина. Ты сам увидишь ее и полюбишь Грезу. Ее нельзя не полюбить. А к внешнему виду людей скоро привыкаешь.

— Нет, Мария! — сказал Волгин.— Я не полечу на Грезу. Я вообще никуда больше не полечу. Я умру на Земле. А ты лети! Соединись со своими друзьями, которые тебе ближе, чем я. Ты осталась ради меня. Не спорь, я знаю, что это так. И ты была права, мне было бы очень тяжело проснуться и не увидеть никого из вас. До последнего вздоха я не забуду этого.

— Я и не спорю,—ответила Мельникова.—Но я осталась потому, что похожа на твою Ирину.

— Ира умерла.

— Но не в твоем сердце, Дима?

Волгин ничего не ответил.

Мельникова внимательно посмотрела на него. Нет, она не хотела говорить об этом, она надеялась, что он сам поймет. Но вот уже второй раз Волгин пытается возобновить этот разговор. Ничего не поделаешь!

— Дмитрий! — сказала она решительно.— Давай покончим с этим. Договорим до конца. Ты думаешь, что любишь меня, что я тебе нужна. Но ты ошибаешься. Ты любишь свою жену. Если бы я не была на нее так похожа, ты не обратил бы на меня внимания и относился ко мне так, как относишься к Ксении. Ты хороший, прямой, честный человек, с сильной волей. Будь же искренен до конца.

Волгин почувствовал себя пристыженным. Она была права. Он крепко сжал ее руки.

— Но ты будешь со мной до отлета на Грезу?

— Конечно, Дима! Но я уверена, что ты передумаешь и полетишь тоже. Разве ты не хочешь увидеть Игоря и других? Там, на Грезе, у нас будет много работы. Мы передадим все свои знания ее обитателям.

— Мы? — насмешливо спросил Волгин.— Ты в этом уверена? Ах, Маша, Маша! Я больше чем уверен, мы и там окажемся отсталыми людьми. Ты говоришь, увидеть Игоря и остальных. Да, я хочу их увидеть, мне тяжело расстаться с тобой. Но и на Земле есть люди, которые стали мне родными: Люций, его отец, Мэри, Владилен. Это мои друзья. Я полюбил их, и они меня очень любят. С ними я не так чувствую свою беспомощность, меньше ощущаю свою никчемность. А потом, родина есть родина...

— Пожалуй, ты прав,— задумчиво сказала Мельникова.— Мы ушли в будущее добровольно. Мы были подготовлены к этому. А тебе выпала тяжелая судьба, и ты, конечно, прав. Оставайся на Земле. У тебя хватит воли и мужества вытерпеть все до конца. Если бы они знали,— воскликнула Мельникова, и Волгин понял, что она говорит о своих товарищах, улетевших на Грезу,— они никогда не покинули бы тебя! Но они были так уверены, что ты с радостью присоединишься к ним.

— Я понял и не осуждаю их,—сказал Волгин.—В конце концов они поступили разумно. Я даже советую,— прибавил он с обычной, чуть насмешливой улыбкой,— не останавливаться на этом. Возвращайтесь с Грезы обратно на Землю, посмотрите, что стало с нею, и снова отправляйтесь в полет. Так вы увидите историю Земли на протяжении сотен веков. Это ведь очень интересно. И скучать вам не придется.

— Но и ты мог бы поступить так же.

— Нет, я не рожден космонавтом. На один день я отправился если не в космос, то в преддверие его, и с меня достаточно этого. Судьба Керри, Чарли, Владимира навсегда отвратила меня от космических путешествий. Я земной человек, Мария, и всегда буду таким. Не всем доступна радость исследователя. Я решил поступить самым простым рабочим на какой-нибудь завод. Найдется же у них неквалифицированная работа. И буду учиться с самого начала. Люций говорил, что я проживу еще сто лет или немного меньше. Времени достаточно.

Волгин говорил с горечью. Это не ускользнуло от Мельниковой. Она жалела его от всего сердца, но чем могла помочь ему?

— Человек обладает замечательным свойством привыкать к обстановке,— сказала она только для того, чтобы что-нибудь сказать.— Ты привыкнешь, и жизнь покажется тебе не такой уж мрачной.

— Конечно! — ответил Волгин обычным тоном.— Я сегодня просто в плохом настроении. Идем! Пора завтракать.

После своего пробуждения Волгин уже месяц жил на Кипре. И все, кто был с ним, также не покидали острова. Иэйа должен был скоро улететь на Цереру, где его ожидал присланный за ним космолет. Никто не хотел расстаться с фаэтонцем раньше времени.

Иэйю полюбили все. Да и нельзя было не полюбить этого мудрого, доброго, полного влекущего обаяния человека. И Волгин, несмотря на весь свой пессимизм и скептическое отношение к факту своего выздоровления, все же был благодарен фаэтонскому ученому за спасение своей жизни.

Иэйа ежедневно тщательно исследовал Волгина, но никому ничего не сообщал о своих выводах. И его никто ни о чем не спрашивал: если будет нужно, он сам скажет.

До отлета ракетоплана на Цереру остался один день.

И в то самое время, когда Волгин разговаривал с Мельниковой, решившейся наконец рассказать ему об отлете своих товарищей на Грезу, в доме, где все четыре года жил Иэйа, шел другой разговор, непосредственно касающийся Волгина.

Сидя на низком «диване», Ио, Люций, еще два врача и Мэри с ужасом слушали, что говорил им фаэтонский ученый.

Казавшийся бесстрастным голос Иэйи произносил слова, от которых холодный пот выступал на лицах слушателей.

Это было так неожиданно и так непереносимо страшно...

— Действие «Черного блеска»,— говорил Иэйа,— в общем аналогично действию других радиоактивных веществ. Но оно имеет свои особенности. Лучевое влияние на человеческий и всякий живой организм нам совершенно ясно. Летаргия, вызываемая «Черным блеском», не может принести вреда человеку. Она только выключает его из жизни на тот или иной срок. А затем человек пробуждается вполне здоровым, даже еще более здоровым. И вы видели на примере Волгина, что наш вывод был правильным. Любой другой человек на его месте продолжал бы жить, как будто никакого перерыва и не было. Но мы не учли, и я только теперь понял это, что Волгин не обычный человек. Он был мертв почти две тысячи лет по вашему счету. Затем его воскресили. Это не могло не сказаться на самом веществе его нервных волокон, особенно на веществе спинного мозга. Не понимаю, как мы могли забыть об этом. Он проснулся внешне здоровым, но только внешне. Я тридцать дней слежу за ним. Мне сразу не понравились некоторые симптомы, которые я обнаружил в его нервной системе. Они незаметны, только наши приборы фиксируют их. Идет непрерывный и грозный процесс. И против него не существует никаких средств. Может быть, их найдут в будущем. Волгин обречен, и его нельзя спасти.

— Значит, смерть?

— К сожалению, хуже. Но, может быть, он сам, когда вы сообщите ему всю правду, предпочтет смерть.

— Что его ждет?

— Полный паралич. Он сможет прожить несколько лет, но только в совершенно неподвижном состоянии. Я не знаю, каковы моральные нормы, которых придерживаются люди Земли в таких случаях. У нас избавляют человека от ненужных страданий. Как поступить, дело ваше.

— Когда это должно случиться?

— Не могу ответить точно. Частичный паралич, думаю, начнется не позднее, чем через два месяца. Когда наступит полная неподвижность, я не знаю.

Молчание нарушил один из двух врачей, присутствовавших при разговоре:

— Значит, по-вашему, ничего нельзя сделать?

— Вы не знаете его причин, как не знаем этого и мы, это не обычный паралич. Он вызван «Черным блеском» и особенностями организма Волгина. Я знаю уровень вашей медицинской науки. С любым видом паралича вы справились бы. Но не с этим. По-моему, сделать ничего нельзя.

3

Волгин вернулся на Ривьеру, в дом Мунция. С ним были Мария, Владилен и Мэри.

Волгин чувствовал себя прекрасно. Прогрессирующий процесс, обнаруженный Иэйа, еще никак не проявлял себя.

Волгин был весел, часами играл с маленьким Дмитрием, и казалось, что его покинули все мрачные мысли о будущем.

Он привязался к своему тезке, и тот платил ему такой же привязанностью. Двухлетний ребенок уже свободно владел речью, его начали обучать чтению, письму, арифметике. И Волгин мог непосредственно наблюдать, с какой легкостью и быстротой современные дети постигали все то, что дети его времени узнавали к восьми, девяти годам.

Волгин снова вернулся к мысли совершить наконец поездку по Земле, которая откладывалась уже столько раз, и при активном участии своего друга с увлечением разрабатывал маршрут.

— А меня ты возьмешь с собой? — спрашивал Дмитрий.

Волгин вопросительно смотрел на Мэри, которая, едва сдерживая слезы, утвердительно кивала головой. Она хорошо знала, что все эти планы несбыточны, что Волгина нельзя никуда отпускать. Если он будет настаивать на отъезде, придется искать предлог, чтобы задержать его. Дом Мунция должен был стать последним местом пребывания Волгина на Земле. Отсюда он вернется в павильон острова Кипр или... Но даже про себя Мэри не решалась докончить фразу.

Она жила в напряженном состоянии постоянного ожидания. Каждое утро при встрече с Волгиным она боялась заметить признаки, о которых говорил Иэйа. Но дни шли, а грозные симптомы не обнаруживались.

И все же Мэри знала, что фаэтонский ученый не мог ошибиться.

И те, кто был посвящен в тайну, так же не сомневались в правильности диагноза. В Верховном Совете науки шли горячие споры.

Мысль, что можно попытаться найти средство излечения в процессе самой болезни, сразу была отвергнута. Против нее категорически выступал Люций. Он заявил, что считает совершенно невозможным подвергать Волгина такому жестокому испытанию. И за исключением немногих все согласились с ним.

Для членов Совета вопрос состоял в том, стоит ли говорить Волгину о грозящей ему участи или нет, предоставить ему самому решить свою судьбу или распорядиться ею без его ведома.

Ученые были поставлены в трудное положение. Пациент в настоящее время совершенно здоров и не помышляет о смерти. Нависшая над ним опасность была единственной в своем роде и не угрожала больше никому. Да и сам пациент был человеком, находящимся на особом положении.

Естественно, что решающее слово принадлежало Люцию. Остальные высказывали только свое мнение.

Вся эта дискуссия терзала сердце Люция нестерпимой мукой. Он не сомневался ни одной минуты, что Волгина ожидает смерть. Памятные слова Волгина, сказанные в ответ на поздравление Ио, продолжали звучать в ушах Люция, тот тон, которым это было сказано, не оставлял надежды. «Не с чем»,— ответил Волгин. Люций понял тогда, что Ксения была права.

Кто знает, может быть, этот неожиданный конец — благодеяние для Дмитрия Волгина!

Люций жестоко раскаивался в том, что воскресил Волгина. «Великий» опыт казался ему теперь преступлением. Он не мог больше продол-

жать эту дискуссию и решил положить ей конец. Пусть неизбежное случится...

Он выступил и сказал:

— Для меня нет сомнения, чем все это кончится. Я знаю Дмитрия. Это человек с сильным характером. Я сегодня же сам сообщу ему все. И если мои опасения оправдаются... доверяете ли вы мне исполнить приговор?

— Верховный Совет науки поручает вам исполнить желание Дмитрия Волгина,— сказал председатель.

Но сказать «сообщу ему» было легче, чем выполнить это. Три дня Люций не мог решиться вылететь на берег Средиземного моря к своему сыну. Его не торопили, хорошо понимая, какую тяжелую задачу он взял на себя.

Но Люций так и не решился на разговор с Дмитрием с глазу на глаз, он в конце концов попросил Ио присутствовать при этом. Люций вызвал Волгина по телеофу.

Ничего не подозревая, Волгин подошел к креслу телеофа. Он привычно произвел вызов. Когда вспыхнула зеленая точка, нажал на нее.

Появление Ио он встретил с радостной улыбкой, но, посмотрев на Люция, испугался:

— Отец! Ты болен?

Люций отрицательно покачал головой.

— Я здоров,— сказал он,— насколько это возможно. Я должен поговорить с тобой, Дмитрий. Я считаю, что с тобой не нужны подготовительные разговоры. Думаю, что не ошибаюсь. Скажи мне, ты не тяготишься жизнью?

Волгина удивил вопрос, особенно тон, которым он был задан. Люций говорил каким-то деревянным голосом, точно повторял вызубренный урок. Ио с хмурым лицом смотрел мимо Волгина.

— Почему ты меня спрашиваешь об этом? Если ты хочешь сообщить мне что-то серьезное, говори прямо.

— Нет, я не могу! — воскликнул Люций.— Говорите вы, Ио.

И Волгин узнал обо всем.

В первый момент он обрадовался, почувствовал облегчение. Но вдруг ощутил, что его охватывает чувство досады. Не страха, а именно досады на то, что эти люди, обладающие огромными знаниями, имеющие в своем распоряжении могучие достижения науки и техники, так легко, как ему показалось, смиряются с угрожающей ему смертью.

— Я благодарен вам, Дмитрий,— говорил Ио,— за то, что вы с такой твердостью слушаете меня. Теперь вам ясно положение. Мы не можем спасти вас. Мы бессильны. Если же вы хотите жить, то неподвижность вашего тела не причинит вам страданий. Мы всегда будем находиться с вами, развлекать вас, заботиться о вас. Вы сможете прожить еще несколько лет.

— А если я не хочу этого?

— Тогда мы поможем вам умереть,— дрогнувшим голосом ответил Ио.

Все это время, пока Ио говорил, Люций сидел, опустив голову. При последних словах он поднял ее. Крупные слезы текли по его лицу.

— Живи, Дмитрий,— сказал он,— хотя бы ради нас.

Волгину стало мучительно жаль его. Он понял теперь, почему отец так изменился.

— А если анабиосон? — спросил он.— Пока я буду спать, вы будете работать и найдете средство вылечить меня.

— Мы думали об этом,— сказал Ио.— Анабиосон только ускорит неизбежный конец. Ты должен выбирать — или немедленная смерть, или несколько лет жизни...

— В параличе?

— Да, в параличе.

Волгин задумался. Он с удивлением заметил, что не ощущает большого волнения, что его мысли текут ясно и спокойно.

Он вспомнил о Мельниковой. Она улетает на Грезу через два года. И все это время она будет с ним. Он будет видеть ее, говорить с нею... Но это значит согласиться на положение живого трупа. С другой стороны, у него есть выход: если ему будет очень тяжело, он потребует прекратить эти мучения, его умертвят.

И вдруг Волгин вздрогнул от пришедшей в голову мысли. Нет, это немыслимо, невозможно! А почему? Ведь стало же возможным в тридцать девятом веке то, что казалось немыслимым в двадцатом. Если сделать так, всем будет легче — Люцию, Ио, Марии... Особенно Марии!

Неестественное спокойствие покинуло его, сменившись жаждой жизни, движений, чувств, мыслей. Сердце забилось сильнее в тревожном ожидании.

Волгин поднял голову и пристально посмотрел на Люция.

— Отец! — сказал он.— Каждому человеку свойственно бороться за свою жизнь. Я хочу знать, есть ли хоть какая-нибудь надежда найти средство лечения моей болезни за время, остающееся в моем распоряжении?

— Нельзя обманывать тебя, Дмитрий,— сказал Ио.— Современная наука не может найти это средство.

— Значит ли это, что болезнь вообще неизлечима?

— Таких нет и не может быть. То, что невозможно сейчас, возможно в будущем. Для данного случая, в отдаленном будущем.

— Такого ответа я и ждал. Сделаете ли вы то, о чем я попрошу вас?

— Мы сделаем для тебя все.

— Тогда я скажу вам мое решение. Я хочу жить. Ваша наука не может дать мне такую возможность, не может вылечить меня. Предоставим это другой науке.

— Ты говоришь о фаэтонцах? Но я сказал уже...

— Нет,— перебил Волгин,— я думаю не о фаэтонцах.

Люций задрожал: он понял!

— Объясни,— попросил Ио.

— Все просто. Я уже был болен неизлечимой болезнью, и наука моего времени не могла спасти меня. Но ваша наука вернула мне жизнь. Повторим опыт. Я понимаю, опасно, рискованно. Вторично может не выйти. Но ведь я все равно обречен на скорую смерть. Я ничего не теряю. Сейчас, когда я еще здоров, заморозьте меня. А через тысячу лет ученые пусть попытаются снова воскресить меня. Удастся — хорошо. Не удастся,— повторяю, мне терять нечего.

— Это твое окончательное решение? — спросил Люций.

— Да, окончательное. Если нельзя этого сделать, я умру немедленно.

— Дмитрий,— сказал Ио,— ничего невозможного в этом нет. Мне представляется это лучшим выходом. Но подумал ли ты, что будешь делать через тысячу лет? Ведь даже у нас тебе трудно.

— Я буду не один. Космонавты с «Ленина» в таком же положении. А может быть...— Волгин наклонился вперед,— может быть, и ты, отец...

— Да, ты прав,— взволнованно сказал Люций.— Я тебя не покину. Иди, Дмитрий! Иди в будущее. Я уверен, все будет хорошо. И мы с тобой снова встретимся.

4

Все человечество Земли и Фаэтона уже знало о принятом решении.

Перед отлетом на Кипр Волгин выступил перед аппаратом всемирной телеофсвязи.

— Я передам вашим потомкам,— сказал он,— привет от моего и вашего века. Будьте счастливы в жизни и труде! Прощайте!

— Для тебя,— говорил он Марии,— все эти века пройдут как несколько коротких лет. И я увижу тебя, как только открою глаза. Обещаешь мне это?

— Конечно, Дима! Мы все встретим тебя.

Перелет на Кипр совершился, как всегда, за очень короткое время. На острове с нетерпением ожидали Волгина. Все было готово.

Как только аралет опустился на Землю, Волгин обнял всех, кто был с ним. И, не оборачиваясь, быстро направился к зданию, на которое ему указали.

Лифт опустился на сто метров в глубь Земли. Металлические стены подземной комнаты, массивные аппараты, окружавшие со всех сторон прозрачный саркофаг, люди, одетые в белое,— все это прошло мимо сознания. Волгин автоматически исполнял то, что ему говорили.

Подошел Ио.

— Ты готов, Дмитрий? — спросил он.

— Да.

Еще немного, несколько мгновений — и конец. Проснется ли он когда-нибудь?

Что-то вроде страха шевельнулось в душе Волгина.

— Не волнуйся,— сказал Ио.— Все будет хорошо. Тысяча лет пройдет для тебя, как миг. Закрой глаза!

— Зачем? — с трудом шевеля губами, ответил Волгин.— Они сами закроются, когда я засну.

Лицо наклонившегося над ним Ио затуманилось, расплылось, потом исчезло...

Глаза Волгина закрылись.

Ио отступил на шаг и поднял руку.

Опустилась прозрачная крышка.

— Газ!

Голубоватый туман заискрился, наполняя внутренность саркофага.

Ио напряженно следил за Волгиным. Прошла минута, другая... Туман густел — это начал замерзать воздух.

— Прекратить подачу! Всем покинуть помещение!

В плотном голубом сумраке уже плохо различалась неподвижная фигура человека.

Ио быстро вышел.

Герметически закрылась металлическая дверь. Нажата кнопка, включающая в действие аппараты — внимательные, умные, точные. Они будут следить за всем, поддерживать нужный режим все время, пока люди, еще не родившиеся на Земле, не остановят их.

Дмитрий Волгин снова ушел из жизни.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Люди двадцать первого века Новой эры... Но, может быть, она называлась уже иначе, «новейшей», или совсем не имела названия. Может быть, перестали делить время на столетия? Люди пять тысяч двадцатого года знали все, что касалось процессов жизни и смерти. В этой области для них не осталось тайн.

Они были прекрасны, эти люди, физически и морально. Они были мудры, хотя внешне мало отличались от тех, среди которых прожил свою короткую, вторую жизнь Дмитрий Волгин.

Они не могли допустить ошибки, сделанной тысячу сто шестьдесят лет тому назад Люцием и Ио. И если бы они не могли дать Волгину полноценную жизнь, во всем равную их собственной, они не воскресили бы его.

Мозг человека таит в себе неограниченные возможности. Они знали это и имели в своем распоряжении средства вызывать к деятельности, «пробуждать» дремлющие центры человеческого сознания.

Они могли дать мозгу ускоренное развитие, могли создать человека, не только подобного им самим в умственном отношении, но и человека с умом будущего. Но не считали нужным это делать. Каждому времени свое сознание.

Пробуждая Дмитрия Волгина, они знали, что очень скоро он станет таким же, какими были они. Меры были приняты заранее. Он сам ничего не заметит.

Сколько он сможет прожить? Такого вопроса не возникало. Люди жили столько, сколько они хотели. Так же будет и с Люцием и с экипажами космолетов, вернувшихся с Грезы. Со всеми, кто явился в пять тысяч двадцатый год из прошлого. Со всеми, кто собрался, чтобы приветствовать дважды умершего и дважды воскрешенного человека.

Ленинград. 1951—1961 годы.

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО и Г. НОВОЖИЛОВА

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Произведения ленинградского писателя-фантаста Георгия Мартынова широко известны в нашей стране и за рубежом. Инженер по образованию, Г. Мартынов дебютировал в литературе в 1955 году повестью «220 дней на звездолете», которая впоследствии вместе с двумя другими повестями («Сестра Земли» и «Наследство фаэтонов») была объединена в трилогию «Звездоплаватели». Последующие произведения писателя — повести «Каллисто» и «Каллистяне» — также приобрели большую популярность среди читателей. В 1961—1962 годах в журнале «Смена» публиковался его научно-фантастический роман «Встреча через века» (в отдельном издании он назывался «Гость из бездны»), получивший немало положительных отзывов.

В этого номера мы предлагаем вниманию читателей новый, только что законченный роман Георгия Мартынова «Гианэя», который печатается с некоторыми сокращениями.

ПРОЛОГ

1

Оранжево-желтый круг, пересеченный наискось голубой полосой, появился над бетонированной лентой автомагистрали. Неподвижный, резко очерченный, пронизанный насквозь солнечными лучами, лившимися с безоблачного неба, он блестел точно маленькое солнце, внезапно возникшее в воздухе над самой дорогой.

Внутри вечебуса прозвучало негромко:

— Внимание! Приближаемся к полотну шарэкса. Поезд находится в ста десяти километрах. Желающие посмотреть на него, поднимите руку.

В глубоких креслах сидело человек тридцать; вечебус не был заполнен даже на одну четверть. Восемнадцать пассажиров подняли руки.

Едва слышный шипящий звук нарушил бесшумность бега машины: заработали тормоза. Вечебус остановился у самого оранжево-желтого знака, который, постепенно тускнея, вскоре совсем исчез, словно растворившись в воздухе.

Хотя желание увидеть экспресс на полном ходу выразили только восемнадцать человек, из машины вышли все находившиеся в ней пассажиры. Шарэкс появился не так уж давно, и интерес к нему еще не успел перейти в привычку. Жителям городов не часто выпадал случай увидеть поезд на середине перегона, когда скорость доходила до шестисот километров в час.

Внутри вечебуса было прохладно, а снаружи июльский полдень дышал зноем. Местность у переезда была открытая, равнинная. Бесконечной прямой линией уходили к горизонту желтовато-серые опоры желобовой дороги, висящей в четырех метрах над землей. Золотисто блестели, точно солнечные лучи раскалили их, полукруглые «рельсы» пути. Красные линии, ограждавшие с двух сторон «полотно» шарэкса, в ярком свете дня казались приподнятыми, будто проведены они были не по земле, а прямо по воздуху.

Пассажиры вечебуса были одеты очень легко, большинство в светлые, из тонкой материи костюмы.

Среди них выделялась высокая девушка в белом платье, более коротком, чем обычно носили в это время. Странный зеленоватый оттенок ее кожи, изумрудно-сапфировый отлив густых, ничем не покрытых черных волос, косо поставленные, удивительно длинные глаза, приподнятые к переносице,— все выдавало в ней человека неземной расы. Стройные голени были обвиты перекрещивающимися узкими белыми лентами, закрепленными тоже белыми, как будто металлическими пряжками в виде удлиненных листьев какого-то неизвестного растения. Как два щитка, они закрывали ее колени. Тонкие руки, обнаженные до плеча, заканчивались длинными гибкими пальцами с ярко зелеными блестящими ногтями, точно на конце каждого пальца девушка носила по крупному изумруду. Зеленый цвет ясно проступал в углах рта и особенно был заметен на крыльях прямого носа.

Ее платье далеко не доходило до колен и было сильно открыто сзади. Обнаженная спина почти полностью скрывалась под волнами длинных, удивительно густых волос, перехваченных у затылка широкой белой пряжкой все той же формы листка неизвестного на Земле растения.

Но «зеленость» не портила внешнего вида девушки, наоборот, она была своеобразно красива. И только косо расположенные глаза придавали лицу выражение грусти.

Пассажиры вечебуса успели уже приглядеться к своей необычайной спутнице и не обращали на нее особого внимания. Все знали, кто она такая. Не было на Земле человека, который не слыхал бы о ее фантастической и загадочной истории. Только иногда любопытный взгляд украдкой останавливался на ее статной, высокой фигуре, словно стараясь угадать, что нужно здесь гостье Земли, зачем оказалась она в вечебусе, идущем по маршруту Киев — Полтава.

Девушка не замечала этих взглядов. Казалось, что она вообще не замечала никого из окружающих ее людей. Ни разу ни на ком не остановился взгляд ее бархатно-черных глаз.

Ее звали Гианэя. Как и она сама, это имя было известно во всем мире.

Рядом с ней находилась другая девушка, но уже обычного, земного типа. Она тоже была высокого роста, но все же на полголовы ниже своей спутницы, с такими же густыми черными волосами, но без зеленого оттенка, одетая в такое же белое платье, но более длинное и не столь открытое. На ее ногах были такие же белые туфли, но без лент. И ее черные глаза были немного узки, но расположены прямо.

Пассажиры вечебуса знали, кто эта вторая девушка. Так же, как Гианэю, ее знали все.

Они говорили между собой на звучном, красивом языке, но говорили очень тихо. Слух Гианэи — и это тоже было хорошо известно — обладал исключительной, невозможной для людей Земли остротой.

И не только слух. Все органы чувств были развиты у пришелицы из другого мира в превосходной степени. Она видела то, что человек Земли не мог бы увидеть без бинокля, улавливала запах, которого не почуяла бы и специально натренированная овчарка. Тонкие, нервные пальцы Гианэи были способны ощутить совершенно недоступное пальцам людей.

Способности загадочной гостьи давно уже привлекли пристальное внимание ученых. Она обладала чудесным голосом, диапазон которого охватывал почти все октавы земного рояля, прекрасно рисовала карандашом, углем и красками. С непринужденной легкостью лепила из глины и высекала из мрамора скульптурные портреты. И все это делала так, словно всю жизнь была певицей, художником или скульптором. Ее тело было способно к самым невероятным гимнастическим упражнениям. Во всех видах легкой атлетики Гианэя была первой. Только спортсмены-мужчины, рекордсмены своего вида спорта, могли соревноваться с ней без риска обязательно оказаться побежденными.

Было замечено, что Гианэя больше всего любит плавание. И она плавала в отточенном стиле классического кроля, что доказывало, во-первых, распространенность этого вида спорта на ее родине, а во-вторых, что изобретение наиболее быстрого способа плавания не являлось прерогативой Земли.

Но, говоря о физических данных Гианэи, ученые ни слова не упоминали об ее умственных способностях. Они их просто не знали.

За полтора года, прошедшие с момента первого появления на Земле этой девушки из другого мира, все еще не удалось достигнуть с ней полного взаимопонимания. Гианэя не выражала ни малейшего желания изучить земной язык, предоставляя всю инициативу людям Земли. Перед группой ученых-лингвистов, взявшихся за изучение ее языка, встала нелегкая задача, и не только из-за трудностей самого языка, но главным образом из-за явного нежелания Гианэи помочь людям. Она очень неохотно «давала уроки», ограничиваясь самыми простыми словами и понятиями, без которых сама не могла обойтись, живя на Земле. И спустя полтора года с ней можно было говорить только о бытовых вопросах. Малейшая попытка расширить знакомство с ее языком с целью затронуть научные вопросы встречала неизменный молчаливый отпор. Создавалось впечатление, что Гианэя твердо решила ни за что не дать людям возможности задать ей вопросы научного или технического характера.

Может быть, Гианэя сама была незнакома с наукой своего мира? Обстоятельства ее появления на Земле решительно говорили против такого предположения. Она, безусловно, многое знала. И ученые не теряли надежды получить наконец ответ на интересующие их вопросы. Не будет же Гианэя вечно молчать! Если она хочет когда-нибудь вернуться на свою родину, то это может случиться только с помощью людей Земли, с помощью земной техники.

Совсем недавно надежда сломить непонятное упорство Гианэи увеличилась. Гостья впервые заговорила о прошлом.

— Я покинула родину,— сказала она единственному человеку, к которому явно чувствовала расположение, Марине Муратовой, ленинградскому лингвисту, той самой, которая сопровождала ее теперь в поездке,— почти против своей воли. Но почему-то я не ощущаю особой тоски по ней. А к вам, на Землю, я попала совсем уже против воли. Удивительно неудачен был для меня этот рейс. Но остаться у вас навсегда...— Она вздрогнула.

Наконец-то проявились в Гианэе обычные человеческие чувства! Полтора года она держала себя, с первого же момента, с неестественным спокойствием.

— Ваша родина лучше нашей Земли? — спросила Муратова, вполне убежденная, что получит утвердительный ответ.

И ошиблась.

— Нет,— ответила Гианэя.— Ваша Земля гораздо красивее. Но мне все же дороги воспоминания детства и юности.

И это было все. Гианэя снова замкнулась в себе, не ответив на дальнейшие вопросы Муратовой, пытавшейся продолжить беседу.

Но и то, что она сказала, было проблеском. Гианэю окружили еще большим вниманием и заботой. Было решено не форсировать событий, ожидать, когда она сама захочет высказаться. Раз заговорив о своем прошлом, Гианея должна была рано или поздно снова вернуться к нему.

Муратова стала постоянным спутником и переводчиком Гианэи. Между двумя девушками постепенно установились дружеские отношения. Возможно, этому способствовало хотя и небольшое, но несомненное внешнее сходство.

Где находилась родина Гианэи? Откуда явилась она столь странным и загадочным образом в солнечную систему? И как это могло произойти «против ее воли»? На эти вопросы могла ответить только сама Гианэя. Но она молчала, молчала уже полтора года.

И вот сейчас, в жаркий июльский полдень, таинственная пришелица из другого мира стояла у полотна шарэкса.

Что привело ее сюда? Этого не знала и Муратова. Гианэя выразила такое желание, и этого было достаточно. Ее желания старались выполнять беспрекословно. Можно было только предполагать, что в Полтаву ее привлекло предстоявшее в скором времени приземление шестой лунной экспедиции на полтавском ракетодроме.

Но что могло заинтересовать Гианэю в этой экспедиции? Даже к Земле она относилась, казалось, без всякого интереса. Но...

Вот это «но» и хотелось выяснить ученым Земли: интересует ли Гианэю Луна? Решение этого вопроса могло пролить свет на многое, что до сих пор оставалось тайной.

О возвращении «шестой» никто не говорил Гианэе. Откуда же она могла узнать об этом?

Но, как бы то ни было, Гианэя сказала, что хочет поехать в Полтаву, указав этот город на карте.

В своих поездках по Земле, а они были довольно часты и продолжительны, Гианэя упорно пользовалась наземным и морским транспортом, самолетов она не признавала. И в этот раз она предпочла вечебус, хотя и знала, что этот путь длиннее и утомительнее.

Может быть, Гианэя хотела видеть вблизи земную природу?..

Времени оставалось немного. Для шарэкса, идущего на полной скорости, сто километров — это десять минут. Группа пассажиров направилась к небольшой возвышенности, находившейся метрах в сорока от автомагистрали. Наблюдать прохождение экспресса снизу было не так интересно.

Первой на вершине маленького холма оказалась Гианэя. Она легко взбежала по довольно крутому склону, одним прыжком одолев последние метры.

На фоне синего неба отчетливо вырисовывались ее стройный силуэт, свободно развернутые плечи и гордая посадка головы. Издали зеленоватый оттенок ее кожи не был виден, и Гианэя казалась коричневой статуей, одетой в ослепительно белое короткое платье.

— Очень красива! — заметил кто-то из пассажиров вечебуса.

Муратова была хорошей спортсменкой, но при подъеме на холм отстала от своей спутницы метров на десять. Оказавшись рядом, она невольно обратила внимание на то, как спокойно и ровно дышит Гианэя. Стремительный подъем, очевидно, нисколько не утомил ее и не нарушил ритма сердцебиения.

— Я слышу какой-то протяжный гул,— сказала Гианэя, протягивая руку в ту сторону, откуда должен был появиться экспресс.

Он был еще очень далеко, за горизонтом. Никто в мире не смог бы уловить на таком расстоянии характерный шум идущего полным ходом шарэкса. Но Муратова ни на секунду не усомнилась в том, что Гианэя действительно слышит этот звук. Слишком часто приходилось убеждаться в феноменальности слуха гостьи.

В памяти Муратовой всплыла фраза из детской сказки: «Слушал, как трава растет».

«Кто-кто, — подумала Марина, — а Гианэя, пожалуй, способна на это. Любопытно, сколько звуков слышит она, когда нам кажется, что кругом полная тишина?»

Со стороны вечебуса металлический голос предупредил:

— Экспресс приближается!

Значит, и механический водитель машины услышал шум поезда. Кибернетический автомат обладал такой же остротой чувств, как и живая Гианэя.

Линия шарэкса была видна с холма, как на ладони. Самая первая на Земле линия шарэкса была построена в виде сплошной полутрубы. Только впоследствии пришли к убеждению, что нижняя часть не нужна, что она даже уменьшает скорость, создавая излишнее трение. Сокращение площади «рельсов» вполне можно было скомпенсировать увеличением количества шариков на опорной поверхности самого шарэкса. Эта рационализация, предложенная и рассчитанная молодым тогда инженером Виктором Муратовым, родным братом спутницы Гианэи, дала блестящие результаты, скорость экспресса сразу возросла на двадцать процентов.

Шарэкс приближался. Теперь его слышала не одна только Гианэя. Из-за горизонта нарастал протяжный звук, словно гудела туго натянутая толстая струна.

— Нас не сметет отсюда? — опасливо спросил кто-то рядом с Муратовой.

— Ну что ты! — ответил другой.— От нас до полотна метров тридцать.

Точно услышав этот разговор, механический водитель вечебуса снова подал свой голос.

— Рекомендуется не стоять, а сесть на землю,— внятно и раздельно сказал он.

Все поспешили выполнить этот совет. Но, выслушав перевод, Гианэя осталась на ногах. Севшая было Муратова поспешно поднялась. Она не могла допустить, чтобы вверенная ее попечению гостья упала из-за своей неосторожности и получила хотя бы небольшую травму. Встав рядом с Гианэей, она крепко обняла девушку за плечи: так было устойчивей.

Гианэя улыбнулась и, в свою очередь, обхватила рукой талию Марины.

«Теперь мы не упадем», — подумала Муратова, ощутив всем телом, как надежна опора этой тонкой, нежной с виду, но такой сильной руки.

— Эту дорогу построил ваш брат? — неожиданно спросила Гианэя.

Муратова вздрогнула. Это уже слишком! О своем брате она никогда не упоминала в разговорах с Гианэей, исполняя просьбу Виктора. Он не хотел, чтобы гостья знала о их родстве. Ведь самого Виктора Гианэя хорошо знает, не подозревая, что он брат Марины. Кто же мог сказать ей о нем? И откуда она знает, что именно Виктор предложил идею такого пути?

Большие, столь необычно посаженные глаза внимательно смотрели на Муратову, ожидая ответа. Едва заметная улыбка тронула зеленоватые углы красиво изогнутого рта. И у Марины — в который уже раз!— мелькнула мысль, что Гианэя притворяется, что она знает язык землян, втайне от нее читает газеты и журналы.

— Нет,— машинально ответила Муратова на своем родном языке.— Он не строил эту дорогу, а только предложил идею.

— Что вы сказали? — спросила Гианэя.

«Если притворяется, то очень искусно. Но может быть, она знает не русский язык, а какой-нибудь другой?»

Муратова перевела сказанное на язык гостьи.

А «шофер» вечебуса услужливо информировал:

— Шарэкс идет со скоростью шестисот десяти километров в час, или ста шестидесяти девяти и семнадцати сотых метра в секунду.

Вдали, там, где «рельсы» пути казались слившимися в одну тонкую прямую линию, появилась ярко блестевшая точка. Она стремительно приближалась. Низкий протяжный гул усиливался с каждой секундой.

Скоро можно было отчетливо рассмотреть закругленный корпус переднего вагона, сделанный из серебристого металла. Позади экспресса, ясно видимый в солнечных лучах, тянулся длинный шлейф взвихренного воздуха.

Некоторые из зрителей на холме заткнули уши. К могучему гулу присоединился все усиливающийся свист.

В тот момент, когда короткий состав серебристой молнией промелькнул мимо холма, ударив по зрителям тугой волной рассеченного воздуха, Муратова случайно посмотрела в лицо Гианэи и успела заметить, как в темных глазах ее спутницы блеснул огонек.

К чему он относился? Что его вызвало? Было ли это восхищением перед могуществом земной техники или... насмешкой перед ее отсталостью?..

— Каково ваше впечатление? — спросила Муратова, когда стих гул от умчавшегося поезда.

Но Гианэя ничего не ответила.

2

Обе девушки не знали, что человек, о котором они недавно говорили, находился в экспрессе, только что пронесшемся мимо них.

Виктор Муратов сидел в глубоком мягком кресле у стенки вагона и внимательно просматривал страницы какой-то рукописи.

Это был очень высокий, сильно загорелый, атлетически сложенный мужчина лет тридцати пяти. У него были такие же, как у сестры, густые черные волосы и темные глаза, приподнятые к переносице. Это делало его немного похожим на Гианэю.

Сам он не замечал такого сходства. Правда, один раз, в очень памятный день ему сказали об этом, но Муратов вскоре забыл эту фразу.

И не вспомнил о ней даже сейчас, когда перед его глазами была фотография Гианэи, наклеенная на одной из страниц рукописи.

Он даже не взглянул на снимок. В этом не было никакой нужды, так как он был в числе тех, кто первым увидел пришелицу из другого мира. Ее черты навсегда запечатлелись в его памяти. Слишком необычайны были обстоятельства этой первой встречи и место, где она произошла.

Быстро прочтя последнюю страницу, вернее, только скользнув по ней глазами, Муратов сложил листки и, согнув рукопись пополам, сунул ее в карман.

— Нет, это совсем не то! — сказал он, пожав плечами.

— Что не то? — спросил сидевший рядом пожилой, скорее даже старый человек с белоснежными волосами.

— Не то пишет автор.— Муратов дотронулся до кармана, где лежала рукопись.— Это очередная гипотеза появления Гианэи. Меня просили прочесть и сказать свое мнение.

— И оно отрицательное?

— Да, как видите.

— А вы, простите, кто будете?

Муратов назвал себя.

— Слышал,— сказал старик.— Как же, слышал и не однажды. Но прошу прощения. Раз уж мы с вами встретились, то, если вы не возражаете, осмелюсь задать вам вопрос.

«Кто он такой?— подумал Муратов.— Даже манера говорить у него какая-то странная».

— Пожалуйста,— сказал он вслух.

— Вот еду,— начал старик.— Весь путь длится всего два часа. В мое время на это понадобились бы целые сутки на скором поезде. Еду, а не знаю, что же позволяет шарэксу мчаться с такой безумной скоростью...

— Почему безумной?

— Ну, не знаю,— сердито сказал старик.— Для вас это может казаться самым естественным, но для меня, для меня это не так. Так вот, если будете столь любезны, объясните, пожалуйста.

Муратов внимательно посмотрел на собеседника. Да, этот человек стар, очень стар. Теперь, когда наука во много раз продлила молодость человеческого организма, такое морщинистое лицо встречается редко. Да и самый факт, что он не знает вещей, хорошо известных даже детям, указывает на весьма и весьма почтенный возраст.

— Простите,— сказал он, подделываясь под манеру говорить своего спутника, — не скажете ли вы, сколько вам лет?

Старик неожиданно весело рассмеялся.

— Готов спорить,— сказал он,— что вы задаете себе вопрос: откуда взялся такой неуч? Не возражайте, я не обиделся. Это вполне естественно, что вы так подумали. Да, с современной точки зрения я мало знаю. А когда-то считался образованным человеком. Учил других. Трудно поверить, правда? — И он снова засмеялся, как показалось Муратову, с легким оттенком горечи.

Догадка мелькнула в мозгу Муратова. Неужели это тот самый? Похоже, что так. В то время людей еще называли не только по именам, но и по отчествам...

— Вы ошибаетесь, Николай Адамович,— сказал он,— никто не считает вас неучем.

— Догадались,— усмехнулся старик.— Да, я и есть Болотников, Николай Адамович, доктор биологических наук второй половины прошлого века. И мне девяносто семь лет. А если прибавить время, которое я провел во сне, то и все сто двадцать два.

— Во сне...— машинально повторил Муратов.

— Ну, не во сне, а в анабиозе. Разница небольшая. Анабиоз — это тот же сон, только более глубокий.

Муратов все вспомнил.

Это произошло в дни его детства. Погружение в сон, или в состояние анабиоза, как средство продления жизни служило тогда темой бесчисленных дискуссий среди медиков и биологов. Этот метод наравне с другими был признан заслуживающим внимания, но не во всех случаях. Опыты над животными показали, что наибольший эффект достигался, когда анабиоз применяли к организму уже состарившемуся. Нужен был опыт над человеком. Тогда девяностотрехлетний профессор Болотников предложил себя. Муратов помнил фотографии в журналах, которые он, ребенок, рассматривал с любопытством. Значит, Болотникова вернули к жизни четыре года назад. Как раз в то время он, Муратов, находился далеко, увлеченный своим делом, и это событие прошло мимо него.

— Теперь вас не должно удивлять мое невежество во многих вопросах,— продолжал старый профессор.— Четыре года — срок небольшой. Мне едва хватило времени на ознакомление с достижениями биологии, моей области. Все остальное как-то выпало из поля зрения.

— Я понимаю,— сказал Муратов.— Интересная встреча. Я очень доволен. Мне вообще везет в этом отношении. Я много раз встречался лицом к лицу с знаменитыми людьми. Может быть, вы не знаете, но и Гианэю...

— Это-то я знаю,— перебил Болотников. Он посмотрел на часы.— В нашем распоряжении осталось всего пятнадцать минут. В Полтаве я выхожу.

— Времени хватит,— сказал Муратов.— Вы хотите знать, как движется шарэкс?

— Да, если это не затруднит вас.

— Вы, конечно, знакомы с токами ультравысокой частоты? — Болотников кивнул головой.— Если мне не изменяет память, ко дню вашего выхода из жизни их передавали по подземным кабелям. Автобусы, берущие

энергию для своих моторов от этих проводов, или, как их называют теперь, вечебусы, существовали уже тогда...

— Вы хотите сказать, что шарэкс...

— Вот именно. Только теперь токи ультравысокой частоты идут не по кабелям. Найден способ передавать их прямо по воздуху, наподобие радиоволн, и притом без потерь. На определенной высоте над землей разлита, если можно так выразиться, сплошная пелена энергии. Если раньше, например, вечебусы вынуждены были передвигаться только по тем дорогам, под которыми проложен кабель, то теперь они могут ходить где угодно. Но двигатели вечебуса — это электромоторы, а у шарэкса они реактивные. Энергия практически безграничной мощности берется «с воздуха», а шариковый принцип скольжения... он известен очень давно. Вот это и дает возможность развить... безумную скорость,— улыбнулся Муратов.

— Ишь, злопамятный! — сказал Болотников.— Ну, спасибо, голубчик. Все ясно. Недаром говорили в старину: дело мастера боится. Вы объяснили просто и исчерпывающе. Приближаемся к Полтаве,— прибавил он, посмотрев в огромное, во всю длину вагона окно.

Шарэкс продолжал мчаться с прежней быстротой. За зеркальным стеклом, сколько хватал глаз, раскинулась панорама огромного города. Высоко в небо уходили громады высотных зданий.

— Нет, это еще не Полтава,— сказал Муратов.— Это Селена, совсем новый город, выросший за последние пять лет вокруг ракетодрома. Это пригород Полтавы.

— Хорош пригород!— усмехнулся Болотников.— Побольше прежних столиц. Между прочим, я был здесь в последний раз ровно сто лет тому назад, это был сравнительно небольшой город. Я говорю, конечно, о Полтаве, а не о Селене.

Шарэкс начал замедлять ход. Мощный гул, едва слышный внутри вагонов, теперь как будто совсем смолк. Управлявший поездом автомат выключил двигатели, рассчитав, что инерции хватит до перрона станции.

Селена осталась позади. Быстро надвигались массивы окраинных зданий самой Полтавы.

— Прощайте, голубчик! — сказал Болотников.— Мне было очень приятно познакомиться с вами.

— Вы долго пробудете в Полтаве?

— Недели две.

— Тогда не прощайте, а до свидания. Я буду здесь через три дня.

— Встречать шестую?

— Вот именно.

— Ну, значит, увидимся, если вы захотите, конечно.

— Обязательно захочу. Кстати, вы знаете, что Гианэя будет здесь?

— Знаю и хочу ее видеть. До сих пор не пришлось. Только на снимках и на экранах.

— Вы хотите с ней познакомиться?

— Даже очень хочу, но как это сделать?

— Гианэю сопровождает в качестве переводчика моя сестра. Подойдите к ней, передайте привет от меня, и она вас познакомит.

— Спасибо! Я обязательно это сделаю. Гианэя меня очень интересует. Кстати, это ее действительное имя? Я хочу сказать, оно так и звучит на их языке?

— Не совсем так.— Муратов произнес медленно, растягивая слоги: — Гий... анэй...йа. Вот примерно так звучит это имя. Так представилась она при первой встрече. Мы стали звать ее проще — Гианэя.

— И она?

— Сразу стала отзываться на это имя.

— Вы знаете их язык?

— Знаю все слова, которые смог запомнить. Примерно слов триста.

— Трудный язык?

— Да нет, не очень. Вас удивит то, что я сейчас скажу. В этом языке мне чудится что-то знакомое.

— Как это может быть? Язык чужой планеты...

— Мне самому это странно. Но никак не отделаться от впечатления, что слова звучат знакомо. Может быть, когда будет известно больше... Пока мы знаем немного. Эта странная девушка не хочет знакомить нас со своим языком.

— Но почему?

— На это может ответить только сама Гианэя. Попробуйте!

Шарэкс остановился. Перрон вокзала скрывала глухая стена предохранительного туннеля. В полу образовалось отверстие (казавшийся сплошным ковер разошелся в этом месте). Откуда-то из нижней части вагона скользнули вниз ступени широкой лестницы.

Болотников еще раз попрощался с Муратовым, еще раз поблагодарил его и вышел. С ним вышло человек десять. Снизу поднялись другие пассажиры.

Муратов не спускался на перрон, он знал, что шарэкс простоит всего четыре минуты.

Прозвучал сигнал отправления. Люк в полу вагона закрылся. Вагон чуть заметно покачнулся. Поплыли, рванулись, исчезли стены туннеля, поезд вылетел под открытое небо. Все быстрей и быстрей замелькали дома Полтавы, шарэкс стремительно набирал скорость.

Вскоре город исчез за горизонтом. По обе стороны полотна дороги расстилались бесконечные желтые поля. Всюду виднелись вечелектры. Огромные, неуклюжие с виду, они медленно ползли среди моря хлебов, и казалось, им не было числа. Шла вторая в это лето уборка урожая.

Муратов почувствовал, что голоден. Буфетный шкафик снабдил его стаканом горячего черного кофе и бутербродами.

Возвращаясь к своему креслу, Виктор вспомнил Болотникова.

«Славный старик! — подумал он.— Чудаковатый, но очень симпатичный. Интересно, как отнесется к нему Гианэя?»

С откровенностью, какой не часто обладали люди Земли, девушка другого мира относилась к людям по-разному. Одним она улыбалась, охотно позволяла пожимать свою руку (сама она явно не была знакома с рукопожатием), к другим сразу же выказывала антипатию. Случалось, что она поворачивалась спиной к человеку, желавшему познакомиться с ней. И никогда не отвечала на вопрос, почему ей не нравится тот или иной человек. Было замечено, что чаще всего она хорошо относилась к людям высокого роста, тогда как малорослые люди, почти как правило, не возбуждали ее симпатий.

Первые месяцы пребывания на Земле Гианэя приветствовала людей поднятием открытой ладони до уровня плеча, но потом она перестала это делать.

«Скучает ли она на Земле? — думал Муратов.— Тоскует ли о своей родине? Почему не хочет ближе, поглубже познакомиться с Землей и ее обитателями? Какую цель преследует Гианэя своим упорным молчанием?»

В том, что Гианэя ведет себя так с какой-то целью, Муратов не сомневался. Существовала причина, и причина серьезная. Но в чем она заключалась?

Муратова раздражала таинственность Гианэи. Именно поэтому он покинул гостью Земли сразу после того, как доставил ее на Землю. Он не терпел загадок, не поддающихся разгадке. А здесь была даже не загадка, а необъяснимая тайна. С первого же дня, с первого момента своего появления Гианэя замкнулась в себе, видимо, заранее наметив линию поведения. Муратов знал это лучше других, так как был свидетелем первых часов и дней, проведенных гостьей среди обитателей Земли.

«Есть причина, есть! — часто думал он.— И кто знает, может быть, эта причина гораздо важнее, чем то, что стремятся узнать у Гианэи наши ученые».

Рукопись, которую он прочел, разговор с Болотниковым снова — в который раз! — вернули его мысли к событиям недавнего прошлого.

Он помнил, помнил до мелочей все, что предшествовало появлению Гианэи...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

«Дорогой Виктор!

Очень прошу тебя приехать ко мне. Немедленно. Удалось наконец нащупать в пространстве объект, присутствие которого в солнечной системе подозревалось еще в прошлом веке. Помнишь, я тебе рассказывал о нем? Но мне не все ясно. Какие-то странности. Приезжай! Тряхнем стариной — подумаем вместе. Проблема интересная, не пожалеешь. Приезжай обязательно! Ты мне очень, очень нужен!!.

Сергей».

Муратов дважды прочел короткое письмо друга.

Было ясно, что Синицын писал его, будучи взволнованным или находился в состоянии нервного возбуждения. На это указывали несвойственная ему неряшливость стиля и трижды повторенная просьба приехать. Да и почерк был необычный — неровный, явно торопливый. Это не вяжется с обликом всегда сдержанного, спокойного в словах и жестах астронома. И зачем писать, когда то же самое можно быстрее и проще сказать по радиофону?

О каком объекте идет речь? Муратов решительно не помнил, чтобы его друг рассказывал ему что-нибудь подобное.

Дело, конечно, в астрономическом открытии. «Пространство», «солнечная система» — достаточно ясно. Но ведь Сергей хорошо знает, что он, Виктор, никогда особенно не интересовался небесными телами, знаком с астрономией только в пределах школьной программы. Какую же помощь он хочет получить?

Проще всего было подойти к радиофону и вызвать обсерваторию, где работал Синицын. Но Муратов просто органически не переносил, если вставшая перед ним, пусть самая пустяковая загадка оставалась не разгаданной им самостоятельно.

Так и сейчас. В письме была неясность. Сергей просит приехать, но не пишет, зачем. Значит, надо догадаться самому.

Муратов пытливо всматривался в каждое слово.

«Странности»! Вот, пожалуй, ключ к пониманию. Сергею удалось (он сам так пишет) открыть что-то новое в солнечной системе. Факт удивительный сам по себе. Что-то, а солнечная система как будто исследована вдоль и поперек. И вот обнаруженный им «объект» ведет себя «странно». Сергей не понимает причины. На это указывают слова: «подумаем вместе».

Так! Теперь дальше...

«Тряхнем стариной». О чем может идти речь? Не о спорте же. Они оба любили в дни юности решать совместно запутанные математические задачи. Подходит! В чем могут проявляться «странности» астрономического порядка? Только в движении тела, его орбите. И, наконец, «проблема интересна»! Все ясно! Сергею нужна помощь математика, чтобы разгадать, по какой орбите движется «объект».

Муратов улыбнулся. Стоило думать целых пять минут, когда все и так ясно и никакой загадки нет.

Он был занят и не расположен бросать работу. Может быть, можно помочь другу, оставаясь на месте? Так ли уж необходимо его личное присутствие?

Муратов подошел к аппарату. Но переговорить с Сергеем ему не удалось. Кто-то из сотрудников обсерватории сообщил, что Синицын второй день не выходит из своего кабинета. Заперся и не отвечает ни на какие вызовы. «Что же он, не ест и не спит?»— спросил Муратов. «Похоже на то», — был ответ.

Это вполне соответствовало характеру Сергея. Если что-нибудь поглощало его мысли, он был способен работать сутками, без отдыха.

Да, видимо, вставшая перед ним проблема действительно очень интересна!

Не оставлять же трижды повторенную просьбу друга без внимания.

Не колеблясь, Муратов вылетел в тот же день.

Если бы он только мог знать, что последует за этим письмом! Поехал бы он тогда к Сергею?..

(Продолжение следует).

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунки А. БАБАНОВСКОГО
и Г. НОВОЖИЛОВА

(Продолжение. Начало см. в № 11)

На стук в дверь не последовало никакого ответа.

Муратов постучал сильнее.

— Я занят, прошу не мешать,— послышался сердитый голос Сергея.

— В таком случае,— смеясь, ответил Муратов,— я улетаю обратно. Открой, чудак! Это я, Виктор.

Раздались поспешные шаги, и дверь открылась.

Муратов ахнул от неожиданности и неудержимо расхохотался.

Синицын стоял перед ним в одних трусах и в туфлях на босу ногу. Взлохмаченные волосы торчали пучками во все стороны.

Из кабинета пахнуло горячим воздухом.

— Что здесь происходит? Ты что, ремонтом занялся на досуге? Почему здесь такая жара?

— Во-первых, здравствуй!— спокойно сказал Синицын.— Спасибо, что приехал. Ты мне теперь нужен еще больше, чем когда я писал письмо. Прямо позарез. А жара — вот.— Он указал на небольшую, кабинетного типа электронно-вычислительную машину, стоявшую у письменного стола.— Эта портативная машинка не рассчитана на тридцать часов непрерывной работы.

— Зачем же ты так терзаешь ее, несчастную? — Муратов быстрым, внимательным взглядом окинул кабинет.

Пол был засыпан огромным количеством полиэтиленовых пластинок — программ. Они валялись всюду: у самой машины, на ковре, застилавшем середину комнаты, даже у двери. Видимо, хозяин кабинета бросал их куда попало. Одежда Синицына также была разбросана по креслам и дивану. Окна наглухо закрыты тяжелыми портьерами. Горела люстра и несколько настольных ламп.

— Ничего не получается?— насмешливо спросил Муратов.

— Проклятая загадка! Прямо хоть волосы рви от отчаяния.

— Я вижу, что ты пытался это делать. Послушай, дорогой мой! Я тебя не узнаю. Неужели ты рассчитываешь добиться успеха в таком состоянии? Я не спрашиваю, спал ли ты сегодня ночью. Ясно, что нет. Но ты хоть ел что-нибудь?

— Кажется.

— Вот именно, кажется. Ставлю ультиматум. Ты немедленно примешь ванну, позавтракаешь и ляжешь спать! Немедленно! Или же я сейчас же уезжаю. Понял?

— Спать? — Синицын фыркнул.— Нашел время! Садись и слушай.

— Ничего не буду слушать. Охота мне разговаривать с таким чучелом. На кого ты похож? Жаль, тут нет зеркала.

Муратов поднял портьеру и настежь открыл окно. Лучи солнца ворвались в кабинет.

— Вот именно!— Встретив удивленный взгляд друга, Муратов усмехнулся.— Сейчас два часа дня! Дня, а не ночи, как ты, несомненно, думаешь.

— Два часа?

— Да, по местному времени.

Синицын как-то сразу сник.

— Хорошо,— сказал он,— принимаю твой ультиматум. Выходит,— прибавил он, улыбаясь,— что я терзаю машину не тридцать часов, а более пятидесяти. То-то она так нагрелась.

— Еще того лучше. Двое суток без сна и пищи! И этот человек хочет решить сложную математическую задачу! Да тут не только твоя машинка, а и электронно-вычислительный мозг института космонавтики не поможет.

— Он и не может помочь. Ничто не поможет, если я сам или ты не дадим правильной предпосылки. Сто двадцать семь вариантов!— воскликнул Синицын.— Сто двадцать семь! И все впустую.

— Одевайся! — Муратов выключил машину и погасил свет.— Не пойдешь же ты домой так. Здесь не пляж.

Синицын стал медленно одеваться.

Что-то вроде сожаления или досады шевельнулось в душе Муратова. Сергей ляжет и проспит часов десять, не меньше. А что же делать ему все это время?

— А если совсем коротко,— нерешительно спросил он,— в общих словах? В чем дело?

Синицын удивленно взглянул на друга, и оба рассмеялись.

* * *

Над континентом Южной Америки звездным покрывалом раскинулась ночь. Луны не было. В окно кабинета хорошо виден блестящий Южный Крест. Непривычные созвездия мерцают в бархатно-черной бездне. Где-то там, между ними, но близко, совсем близко от Земли, проплывает, быть может, именно сейчас таинственная загадка.

Муратов медленно шагает по кабинету, в несчетный раз пересекая его наискось. Окна раскрыты настежь. Горит только одна настольная лампа, освещающая часть стола и панель вычислительной машины.

В кабинете образцовый порядок. Программные карточки, разбросанные Синицыным по всей комнате, собраны и тремя аккуратными стопками лежат на краю стола. На другом краю возвышается порядочная стопка новых, использованных уже самим Муратовым.

Все тщетно! Загадка остается загадкой.

Сто двадцать семь вариантов Синицына и семнадцать Муратова. А воз и ныне там!

Днем они проговорили два часа. К Сергею вернулось спокойствие и присущая ему точность. Подробно и обстоятельно он познакомил Муратова со всей проблемой. Теперь Виктор знает столько же, сколько Сергей.

Конечно, можно обратиться за помощью в институт космонавтики. Но Сергей не хочет, и Виктор хорошо понимает друга. Сам начал — сам доведи до конца. В институт обратиться все равно придется, но одно дело— явиться с законченным открытием и совсем другое — с пустыми руками. Сознаваться в своей беспомощности всегда неприятно. Сергей прав! Он, Виктор, не в счет. Друг от друга у них никогда не было секретов. Если загадку разгадает Виктор, это все равно, что сам Сергей.

Но можно ли разгадать ее?

Вот уже десять часов, как Сергей ушел наконец домой. Сейчас он непробудно спит. А Виктор все топчется на одном месте и ни на шаг не приблизился к разгадке. Такого еще не бывало. Правда, с такой задачей он встречается впервые.

А кажется, все так просто! В течение одной недели радиолокатор восемь раз засек в пространстве неизвестное тело. Восемь точек орбиты! А ведь и трех достаточно, чтобы быстро и точно рассчитать любую.

Но все расчеты неизменно заходят в тупик, вступают в вопиющее противоречие с законами небесной механики.

Может быть, тело не одно? Может быть, их два, три или больше? Но Сергей считает, и Муратов согласен с ним, что это невероятно. Несколько тел вблизи Земли, и ни одно не попало до сих пор в поле зрения телескопа?! Немыслимо! Скорее всего тело все же одно.

Сергеем рассчитаны всевозможные орбиты для одного и двух тел во всех мыслимых сочетаниях известных восьми точек. Ни одна не подошла. Муратов начал было производить расчеты для трех, но вскоре оставил эту затею.

К разгадке надо подходить другим путем.

Муратов садится на диван, откидывается на мягкую подушку, закладывает руки за голову. Так лучше думается.

Из окна веет приятной прохладой. Тропический зной ушел вместе с Солнцем на другую половину планеты.

Часы показывают девять вечера. Но это для меридиана Москвы. По местному времени сейчас пять утра.

Муратов усмехается. Погнал Сергея спать, а сам... занял его место и не спит вот уже двадцать пять часов.

Но он ни за что не ляжет, пока Сергей не выспится. Сменяя друг друга, они будут работать до тех пор, пока не решат задачу или не найдут хоть сколько-нибудь приемлемую гипотезу. А тогда уже можно, не краснея, обратиться в институт космонавтики.

Итак, что известно?

Муратов вспоминает рассказ друга...

Первый намек появился еще в первой половине двадцатого века. Один из астрономов заметил необъяснимое отражение луча радиолокатора от какого-то тела, находившегося недалеко от Земли. Какого? Это осталось неизвестным. Через пятьдесят лет история повторилась. И снова никто не заинтересовался странным явлением — луч локатора отражается как будто от пустого места. Оба факта объяснили ошибкой наблюдателей.

Затем произошел едва не ставший трагическим случай с рейсовым звездолетом «Земля—Марс». В двухстах тысячах километров от Земли звездолет встретился с неизвестным небесным телом, приближение которого к кораблю не было своевременно замечено очень точными и чувствительными приборами штурманской рубки. Что-то скользнуло по борту, оставив след в виде глубокой вмятины. По счастью, все обошлось благополучно. «Естественное» объяснение нашлось и здесь: метеорит, неисправность локаторов.

И вот совсем недавно появился четвертый факт. И снова это случилось на звездолете. Грузовой корабль взял старт на Венеру. На борту находились строительные материалы и научное оборудование для сооружаемой на планете станции службы Солнца. Экипаж корабля состоял из командира, штурмана и радиста. Почти сразу после вылета поступило сообщение, что локаторами обнаружено какое-то тело диаметром в сорок метров, летящее наперерез курсу корабля. Скорость опять-таки была еще незначительной, и это дало возможность вовремя затормозить звездолет и избежать столкновения. Штурман успел направить имевшийся на борту небольшой телескоп точно по лучу локатора, но ничего не увидел. Радист корабля сообщил, что по мере того, как неизвестное тело приближалось к звездолету, ослабевал сигнал на экране локатора, а в момент наибольшего сближения совсем исчез. Это было уже никак не объяснимо. Отделаться ссылкой на метеорит или на неисправность приборов на этот раз было совершенно невозможно: факт подтверждали записи автоматов.

В институте космонавтики встревожились. Неведомое тело, грозящее безопасности межпланетных путей, надо было найти во что бы то ни стало. Обсерватории приступили к поискам. Синицын включился в них с самого начала. В его распоряжении находилась мощная радиолокационная установка, с помощью которой в обсерватории велись работы по «лунному профилю». Круглые сутки, днем и ночью, невидимый луч прощупывал пространство в радиусе четырехсот тысяч километров от Земли.

И вот неделю тому назад, придя утром на работу, Синицын увидел на ленте самопишущего прибора долгожданный сигнал. В три часа пятьдесят девять с половиной минут на высоте в двести восемнадцать тысяч километров пролетело какое-то тело сорока метров в диаметре. Оно двигалось с востока на запад, то есть навстречу вращению Земли. Через двое суток, но уже днем, на том же участке неба, но на другой высоте, локатор вновь «увидел» что-то того же размера, что и в первый раз, но летящее с другой скоростью. И так восемь раз. Все наблюдения сходились в отношении размеров, но расходились в высоте и скорости. Ни одного полного совпадения. Попытка увидеть таинственное тело в визуальный телескоп не привела ни к чему. Это никого не удивило: телескоп направляли приблизительно, да и тело было очень мало. К тому же его орбита неизвестна...

Муратов больше часа сидит неподвижно, не меняя позы, и напряженно думает. Первоначальное убеждение, что тел не может быть несколько, постепенно бледнеет, заменяясь уверенностью, что их именно несколько. И не три или четыре, а два. К такому выводу приводит мысленный анализ всей работы, проделанной Сергеем и им самим. Два, только два! Они вращаются вокруг Земли, находясь всегда напротив друг друга по обе стороны планеты.

Но ведь такое предположение приходило в голову и Сергею. И он занимался вычислением возможных орбит. И пришел к бессмыслице.

Усомниться в правильности вычислений друга Муратов не может, такая мысль даже не возникает. У Сергея все правильно, все, кроме...

Муратов вскакивает с дивана и подходит к столу. Да, надо проверить и такой вариант... Сергей исходил из предпосылки, что они имеют дело с двумя естественно возникшими телами, движущимися по законам тяготения. А если они... искусственные?

В пользу подобного предположения говорит многое.

Во-первых, тела невидимы в визуальный телескоп даже с близкого расстояния (случай на грузовом звездолете). Это можно объяснить тем, что они окрашены в абсолютно черный цвет и не отражают лучей Солнца. Естественные тела не могут иметь такой окраски. Во-вторых, локаторы «видят» их издали и не «видят» вблизи. Это объяснить труднее, но можно предположить (фантазировать, так до конца), что те, кто запустил их, хотели затруднить людям нахождение этих тел. Как это сделано,— вопрос другой. И в-третьих, тела движутся навстречу движению планет, навстречу вращению Земли. Такое явление, правда, встречается в природе, но очень редко.

Итак, искусственные спутники Земли, запущенные откуда-то со стороны!

Цепкая память Муратова услужливо напоминает, что такая гипотеза была высказана в двадцатом веке. Когда-то он читал о ней.

«Но ведь искусственные спутники, созданные людьми, движутся по законам тяготения,— думает он.— Да, но только потому, что они летят по инерции, не имеют двигателей. При наличии посторонней силы орбита может принять самые причудливые очертания».

Облегчает ли задачу эта новая предпосылка? Нет, скорее, затрудняет. Как угадать траекторию, если совершенно неизвестна ее цель?

Но все же надо попытаться. Известно восемь точек. Они принадлежат двум орбитам. Какие какой — неизвестно. Но комбинаций восьми точек по четыре не так много. А если одной орбите принадлежат три, а другой пять? Или как-нибудь иначе?

Неожиданно возникает еще одна мысль. Муратов даже вздрагивает, настолько она проста и очень, очень важна. Ведь если предположить, что тела искусственные, то естественно вытекает и другое соображение: они не сплошные, а полые. Это сильно изменяет массу, а следовательно, и все расчеты. И, конечно, не каменные, а металлические. Тогда может случиться и так, что одна из орбит, вычисленных Сергеем для двух тел, правильна, если внести в нее поправку на массу.

Муратов начинает просматривать все записи Сергея сначала. Как ни нервничал Синицын во время работы, а записи и выводы предельно ясны, лаконичны и точны. Укоренившаяся привычка действует бессознательно...

В тропиках рассветает быстро. Лучи поднявшегося Солнца разгоняют мрак в углах кабинета. Лампа светит уже тусклым желтым пятном. Но Муратов не замечает этого. Пластинки-программы исчезают в машине одна за другой. На маленьком экране четко выступают результаты вычислений. Электронный математик хорошо помогает живому.

Орбиты, орбиты, орбиты! Только о них может думать Муратов, только они одни в его сознании. Ни для чего другого нет места!

Ровно в девять утра Синицын, свежевыбритый, тщательно причесанный, в легком белом костюме, оживленный и даже веселый, подошел к двери своего кабинета. Но веселость только внешняя, на душе тревожно и смутно. Удалось ли Виктору хотя бы отчасти, хоть в чем-нибудь подойти к разгадке? Возникла ли у него какая-нибудь новая мысль, могущая пролить немного света в потемки космической тайны?

Синицын хорошо знал проницательный ум Виктора, его огромные математические способности. И у него сильно развита черта, очень полезная для исследователя, черта, которой совсем нет у самого Синицына,— сила воображения. Синицын — практик, Муратов — теоретик.

Семнадцать часов работы (Синицын ни минуты не сомневался, что Виктор работал всю ночь) должны были что-то дать.

Нельзя медлить. Из института космонавтики в любую минуту может прийти требование передать им все материалы. И нельзя будет отказать, никак нельзя. Синицын хорошо знал, что межпланетные трассы временно закрыты, звездолеты стоят на ракетодромах, ожидая, пока не будет очищено пространство возле Земли. А многочисленные экспедиции, находящиеся на Венере, на Марсе, на спутниках больших планет, на астероидах! Им закрыт путь к Земле. Все ждут!

Открыв дверь, Синицын в изумлении остановился на пороге.

Портьеры опущены, в комнате полумрак. Заложив руки за голову (знакомая поза!), на диване безмятежно спит Виктор!

Но изумление сразу же сменяется сильнейшим волнением. Неужели!

Сергей стремительно кинулся к столу, не сомневаясь, что найдет там что-то бесконечно важное, решающее! Разве мог Виктор заснуть, не найдя разгадки!

На небольшом листке бумаги, вырванном из блокнота, Синицын прочел:

«Сережка, кричи «ура!». Сегодня вечером получим фотоснимок твердого «объекта». А завтра утром — второго. Орбита на экране. Любуйся! Вторую вычисляй сам. Что я тебе, верблюд? Устал, как собака! Спокойной ночи!

Виктор.

Так и быть, подскажу! Оба «объекта» имеют одну и ту же массу. Учти!»

2

Ведущие ученые института космонавтики не были расположены терять время. Слово сразу было предоставлено Синицыну.

Он доложил коротко:

— Вокруг Земли, вероятно, очень давно, обращаются два искусственных спутника неземного происхождения. Оба одного размера, полые внутри. Форма продолговатая. В продольном сечении эллипс, в поперечном — круг. Длина сорок метров. Но это может оказаться не совсем точным. Орбиты спиральные. Оба тела то приближаются к Земле, то удаляются от нее. Вывод, подтвержденный наблюдениями с помощью локатора,— скорости все время меняются. Среднее расстояние от центра Земли: первого спутника — двести восемнадцать тысяч километров, второго — сто восемьдесят шесть тысяч. Спутники, вероятно, металлические, но удельный вес материала определить нельзя: неизвестно, что находится внутри. Средняя скорость первого спутника — пять с половиной километров в секунду, второго — семь. Полученные данные дают все основания предполагать, что на обоих спутниках все еще работают какие-то двигатели. При движении по спиральным орбитам по инерции они давно бы упали на Землю или на Луну. Положение обоих спутников на их орбитах может быть легко вычислено для любого момента. Но увидеть их непосредственно в визуальный телескоп до сих пор не удалось. Муратовым высказано предположение, что они абсолютно черные и потому невидимы, так как не отражают лучей света. Мы сделали попытку получить фотографию в инфракрасных лучах. Ведь если они черные, то должны быть сильно нагреты солнечными лучами. Но изображения не получилось, несмотря на многочасовую выдержку. То же произошло с применением пластинок, чувствительных к ультрафиолетовым, а также рентгеновым лучам. Мне лично кажется, что спутники не абсолютно черные, а как раз наоборот — абсолютно белые. Здесь труднообъяснимая загадка. Вот все, что я могу доложить совету в данный момент. На нашей обсерватории работы по наблюдению за спутниками с помощью радиолокатора продолжаются.

— Мы не можем ждать,— сказал председатель научного совета института космонавтики профессор Генри Стоун.— Все звездолеты Земли бездействуют, все работы в космосе остановлены. Такое положение нетерпимо. Мы должны точно знать, и как можно скорее, что представляют собой эти тела. Основывать безопасность межпланетных сообщений на гипотезах и непроверенных данных невозможно. Если тела невидимы по какой бы то ни было причине, то нет уверенности в том, что орбиты вычислены правильно...

— И я и Муратов уверены в этом,— вставил Синицын.

— Если тела невидимы,— повторил Стоун, мельком взглянув на Синицына,— то остается одно — отправиться к ним и, так сказать, ощупать их руками. Прошу товарища Синицына не обижаться. Он сам доложил нам, что, по его мнению, спутники имеют работающие двигатели и что скорости все время меняются. Где гарантия, что орбиты не изменятся? Это может случиться в любой момент. Мы не знаем, кто и как управляет ими. Разумные существа? Это маловероятно. Но не исключен электронный мозг. А его программа нам неизвестна. Споры и дискуссии отложим до более подходящего момента. Первый вопрос: можно ли полностью доверять полученным данным?

— Имя Муратова нам известно,— ответил профессор Метьюз.— Синицына мы тоже хорошо знаем. По-моему, можно считать, что орбиты спутников в настоящее время соответствуют их вычислениям.

— Каково мнение остальных? — спросил Стоун.

Все девять присутствующих согласились с Метьюзом.

— Тогда ставлю второй вопрос: нужно ли посылать корабли на поиски этих спутников? И если да, то сколько: один, два или больше?

Совет высказался за посылку двух кораблей, к обоим спутникам одновременно.

— И, наконец,— сказал Стоун,— третий вопрос: является ли такая экспедиция безопасной?

Синицын встрепенулся. Стоун затронул вопрос, который они с Виктором обсуждали сегодня утром.

— Разрешите слово!

— Прошу вас, товарищ Синицын.

— Я хочу познакомить вас, — начал Сергей,— с мнением моего друга по этому вопросу. Это и мое мнение. Жаль, что здесь не присутствует сам Виктор. Так вот, он считает, что мы имеем дело с двумя ракетами-разведчиками, посланными учеными другого мира для изучения нашей планеты на расстоянии. Несомненно, что оба спутника как-то передают информацию тем, кто их послал к нам. Все это хотя и достаточно необычайно, но в конце концов естественно. Странно и даже таинственно другое. Сделано все, чтобы мы, люди Земли, как можно дольше не знали о существовании этих спутников. Спиральные орбиты, меняющиеся скорости, окраска, а может быть, и самый материал, делающие их невидимыми визуально, и, наконец, помехи, безусловно, искусственные и преднамеренные, мешающие локации этих тел, особенно с близкого расстояния. Столько предосторожностей сразу не могут быть случайными. Они намеренны. И самое интересное — это то, что все эти меры рассчитаны на технику, бывшую на Земле в первой половине двадцатого века, то есть тогда, когда спутники, надо думать, и появились возле Земли. Это говорит о том, что разведка не первая!

Те, кто послал к нам непрошеных гостей, видимо, хорошо знают нашу планету, знают, что она населена разумными существами, знают уровень нашей науки и техники. Но возможно, что они знают и современную Землю. Недаром они так затруднили поиск и нахождение своих разведчиков. О чем все это говорит? Допустим, что мы сами послали бы таких разведчиков в соседнюю солнечную систему, к какой-нибудь планете этого Солнца. Стали бы мы принимать меры к тому, чтобы обитатели этой планеты не заметили наших посланцев? Конечно, нет! Наоборот, мы сделали бы все от нас зависящее, чтобы их заметили. Потому что мы рассматривали бы их как средство общения с разумом иного мира, как средство дать им знать о нашем существовании. Так и только так должны поступать разумные существа любого мира. Но мы видим совсем другую картину. Не с целью начать общение с нами посланы эти разведчики. Цель другая. И мы, люди Земли, не должны знать этой цели. Вот над чем надо подумать.

Члены совета с большим вниманием выслушали Синицына.

— Выходит,— сказал после долгого молчания профессор Метьюз,— что мы встретились с тем, что всегда отрицалось в деле общения миров. Первая встреча с чужим разумом и... злые намерения!

— Нет, почему же? — Синицын с трудом заставил себя возразить. Они с Виктором пришли как раз к такому же выводу, что и Метьюз.— Не обязательно злые. Можно допустить даже, что намерения самые дружеские. Например, так: разведчики опасны, с ними надо быть очень осторожными... Ведь уровень развития, которому доступны такие эксперименты, исключает низкие побуждения! — воскликнул он, видя сомнение на лицах слушателей.— Они могут быть опасны для нас! Предосторожности, принятые теми, кто их послал, могут значить: «Внимание! Опасность!». А если они из антивещества? Это уже мое личное заключение,— упавшим голосом заметил Синицын.

— Вы от него откажетесь сию же минуту,— улыбнулся Стоун.— Вспомните случай с рейсовым звездолетом «Земля — Марс». Неизвестное тело коснулось борта корабля. Теперь мы знаем: это был один из спутников. Коснулось, оставило вмятину, но никакой аннигиляции не произошло.

— Верно, я забыл об этом,— согласился Синицын.

— То, что мы сейчас слышали,— продолжал Стоун,— верно это или неверно, подтверждает обоснованность моего вопроса — является ли намеченная экспедиция безопасной? Я только что опроверг поспешную выдумку Синицына. Теперь я хочу опровергнуть самого себя. Я недавно говорил, что присутствие на спутниках разумных существ сомнительно, маловероятно. Но я упустил из виду, что эти спутники находятся здесь уже около ста лет, а может быть, и больше. Живые существа исключаются. Даже если обитатели того мира очень долголетни, все равно нет смысла запираться в тесном помещении на сто лет. Если есть управление, то оно или осуществляется со стороны, или это электронный мозг. Тогда, может быть, не следует рисковать? Может быть, просто уничтожить оба спутника — и дело с концом? Я склоняюсь к мнению, что злого намерения нет и не было. Но все равно свою роль для тех, кто их послал, эти спутники давно выполнили.

— Этого мы никак не можем знать,— возразил член совета Станислав Лещинский.— Если двигатели работают до сих пор, значит, они были рассчитаны на это время и, следовательно, еще нужны. Но не в том дело, нужны эти спутники тем, кто их послал, или не нужны. Уничтожить их мы имеем полное моральное право. Их хозяева с нами не считаются и нас не спрашивают. Они о нас даже не думают. Не могут же они не понимать, что невидимые тела по соседству с планетой, на которой техника дошла до межпланетных сообщений, представляют собой большую опасность! Мне кажется, что вопрос можно ставить только о том, нужны ли эти спутники нам самим. Нужно ли нам познакомиться с их конструкцией, двигателями, установленной на них аппаратурой? Если это желательно, надо не только найти их, но и проникнуть внутрь. Если нет, тогда уничтожить, не рискуя.

— Здесь вряд ли будут два мнения,— сказал Стоун.— Техника двух миров не может быть совершенно идентичной. Что-нибудь полезное обязательно найдется. Например, методы локационных помех, «невидимость», способ передачи информации через бездну пространства, разделяющую соседние системы. К тому же мы не знаем, соседние ли?

— Значит, и говорить не о чем. Нужно, и точка.— Лещинский решительно «отрубил» это слово, ударив ребром ладони по столу.— Но раз мы знаем, что возможна опасность, то не следует посылать два корабля к обоим спутникам, как мы решили. Пошлем один, сначала к первому, потом ко второму. И лететь на нем должны только добровольцы.

— Что вы хотите этим сказать? — удивился Стоун.— А как могут быть не добровольцы?

— Я говорю в том смысле, что участники экспедиции должны хорошо знать, что рискуют жизнью. Но вы правы,— улыбнулся Лещинский,— слово «добровольцы» — анахронизм.

— Желающих найдется больше, чем надо. Но это страшные слова: «рискуют жизнью»! — Стоун наклонился вперед и обвел взглядом членов совета.— Предлагаю каждому подумать и решить: стоит ли игра свеч?

— Стоит! — первым произнес Метьюз.

— Стоит! — повторил Лещинский.

— Стоит!.. Стоит!..

— Тогда я прошу доверить мне руководство экспедицией,— сказал Стоун.

— И включить в нее меня и моего друга Муратова. По-моему, мы заслужили это право,— прибавил Синицын.

— Муратова здесь нет.

— Это не играет роли. Я говорю за него.

— С его согласия?

— Нет, мы с ним не говорили об этом. Но я ручаюсь...

— Хорошо. Значит, уже трое. Я думаю, что достаточно четырех-пяти человек.

3

Виктору Муратову до сих пор не приходилось покидать Землю. Как-то так случилось, что даже в годы обучения, сперва в школе, а затем в институте, он не принял участия ни в одном предусмотренном программой полете на Луну. Он не помнил, болел ли он тогда или была другая причина.

Но когда друг детства и юности зачислил его в состав экспедиции, отправлявшейся на поиски таинственных спутников Земли, Муратову даже в голову не пришло, что его ожидает что-то необычайное, выходящее из рамок обыденной жизни. Он отнесся к предстоявшему полету в пространство, как мог бы отнестись человек первой половины двадцатого века к предложению совершить путешествие на ледоколе в Арктику. Это было непривычно, но не заключало в себе ничего, что могло бы вызвать особое волнение. Сотни и тысячи таких же, как он, людей совершали гораздо более дальние перелеты в космосе. Ничего поражающего воображение здесь не было.

Мысли Муратова были заняты не полетом, а его целью. Чем больше думал он об этой цели, тем слабее становилась его уверенность в успехе экспедиции. Десятки возможных препятствий приходили ему в голову, и каждого из них было вполне достаточно, чтобы свести на нет все усилия. Он нисколько не сомневался, что спутники действительно являются разведчиками другого мира и что те, кто направил их к Земле, сделали все, чтобы обеспечить их неуязвимость. Удастся ли преодолеть трудности?

Сомнения Муратова разделялись всеми членами научного совета института космонавтики.

И они оправдались.

Задача, вставшая перед экспедицией, оказалась гораздо сложнее, чем могли думать...

Звездолет «Герман Титов» — летающая лаборатория института космонавтики — находился на параллельной орбите к ближайшему от Земли спутнику-разведчику, держась от него на незначительном расстоянии.

Наземные обсерватории, наверное, уже в пятнадцатый раз передавали, что координаты корабля и спутника совпадают, что оба они фиксируются локаторами в одной и той же точке и, следовательно, находятся на одной прямой, по «лучу зрения» локационной установки.

Но спутника никак не удавалось обнаружить.

Многочисленные приборы, расположенные на огромном стенде, занимавшем большую часть рабочего помещения корабля, бездействовали. Только гравитонный определитель, или, как его чаще называли, гравиометр, показывал присутствие какой-то значительной массы в близлежащем пространстве, которое глазу казалось совершенно пустым.

Спутник, несомненно, находился где-то тут, совсем рядом.

К несчастью, показаний одного только гравиометра было недостаточно, для того чтобы подойти к невидимому телу. Необходимо было нащупать его другими приборами, которые показали бы не только массу, но и направление, а также точное расстояние.

А этих данных все еще не было.

Спутник явно не изъявлял желания легко «даться в руки»...

Сначала все шло гладко. Командир «Титова», опытный астролетчик Юрий Вересов уверенно вывел свой корабль на нужную траекторию и, пользуясь указаниями с Земли, «пристроился» к спутнику, что называется, вплотную. Тогда же поступило первое сообщение о совпадении координат. Казалось, что цель достигнута и остальное просто — пришвартоваться борт к борту и начать обследование «гостя».

Но так только казалось...

Медленно и осторожно приближался «Титов» к цели. Никто не знал, что ожидает людей в непосредственной близости к «чужеземцу», как встретит он земной звездолет, какие средства защиты установили на нем неведомые хозяева.

В одном только можно было быть вполне уверенным — спутник не из антивещества!

— Он может взорваться, если мы подойдем к нему слишком близко,— предположил Стоун.— Не пора ли послать вперед робота?

— Пожалуй, рано,— ответил Синицын.— Надо подойти ближе.

— А кто может сказать, близко мы или далеко? — отозвался Вересов.

— Во-первых, об этом говорит гравиометр. Его показания еще не достигли вычисленной нами массы спутника. Значит, он еще далеко. А во-вторых, должны же заработать и другие приборы. Какая бы защита ни была установлена на спутнике, земные локаторы пробивают ее. Значит, мы можем нащупать спутник, будь он хоть трижды невидим. Инфракрасный...— Синицын осекся на полуслове...

Стрелка гравиометра резко качнулась влево. И почти в тот же момент несколько наземных обсерваторий сразу сообщили, что спутник отделился на экранах локаторов, ушел вперед, увеличив скорость.

Невольно явилась мысль: случайно ли?

— Словно почуял нас,— сказал Муратов.

Вересов включил ускорение.

Примерно через час положение снова стало прежним. Стрелка гравиометра пошла вправо.

Муратов не отрывал глаза от окуляра телескопа. Ему было поручено визуальное наблюдение, но до сих пор он еще ничего не увидел. И вот ему показалось, что сплошная россыпь звезд, окружавшая звездолет со всех сторон, заслонилась в одном месте чем-то непрозрачным. Точно призрак чего-то большого и темного закрыл немерцающие точки светил, образовав черный провал в глубину космоса.

Но видение мелькнуло и пропало. Удалось ли наконец увидеть таинственный спутник или это было обманом уставшего зрения?

Муратов ничего не сказал товарищам о своем наблюдении. Это все равно не могло ничем помочь им.

Вересов снова начал осторожное приближение, руководствуясь только стрелкой гравиометра, которая медленно ползла вправо.

Неведомая масса приближалась.

Стоун уже протянул руку к кнопке. Легкое нажатие — и от корпуса «Титова» отделится маленькая, но мощная ракета космического робота-разведчика. Направляемая портативным гравиометром, она устремится к соседней массе, чтобы плотно прижаться к ней, посылая на борт корабля сигналы своих чутких приборов, способных услышать «неслышимое» и увидеть «невидимое».

Что-то мелькнуло на инфракрасном экране...

И... снова резкий рывок стрелки влево. Минута ожидания — и голос с Земли сообщил: спутник опять отделился, затормозил, отстал!

Это уже походило на сознательное действие.

Вересов включил тормозные двигатели.

— Так может продолжаться до бесконечности,— сказал он как бы про себя, но достаточно громко.

На этот раз Синицыну удалось заметить отрывистый сигнал радиопеленгатора. На сверхультракоротких волнах прошла передача. Она не могла иметь земное происхождение. Все коротковолновые станции Земли молчали в эти часы, выполняя просьбу института космонавтики. Источник сигнала явно имел связь со спутником.

Было ли это излучением его собственного передатчика или, наоборот, его приемник принял сообщение со стороны, осталось неизвестным.

— Может быть, эхо передачи, которую мы только что приняли?— высказал предположение Стоун.— Например, от Луны.

— Совершенно в другом диапазоне,— ответил Синицын.— Эхо от Луны могло прийти гораздо раньше, но не в этот момент. Она слишком близко.

На этот раз прошло свыше двух часов, пока удалось снова приблизиться к спутнику.

И в третий раз все повторилось сначала.

А затем в четвертый... в пятый... в шестой...

Спутник метался. Он то увеличивал, то уменьшал скорость, как только «Титов» приближался к нему на какое-то, видимо, вполне определенное расстояние. Предугадать эти маневры было совершенно невозможно, в них не было никакой последовательности. Иногда спутник уходил вперед несколько раз подряд, потом неожиданно тормозил. И снова уходил вперед. Трудно было отделаться от впечатления, что это не механизм, а живое существо, стремящееся укрыться, уйти от беспокоящей его погони.

Так прошло сорок два часа.

Ни участники экспедиции, ни ученые, наблюдавшие с Земли за ходом операции, уже не сомневались, что спутником управляет чья-то сознательная воля. Кто-то или что-то заметило «Титова», разгадало его намерения, и желание воспрепятствовать встрече становилось очевидным.

Кто же управлял им? И откуда осуществлялось это управление? С самого спутника или... Но мысль, что управлять могли с другой планеты, находящейся вне солнечной системы, казалась слишком фантастичной.

— Электронный мозг,— утверждал Стоун.— И он находится на спутнике.

— Только не на спутнике,— возражал Муратов.— В этом случае не нужны радиосигналы.

— Они могут поступать от одного спутника к другому. Ведь их два.

— Им не о чем «говорить», если на них нет разумных существ. Управление идет с Луны или... с Земли.

— С Земли?

— А разве это невозможно? — вопросом на вопрос отвечал Виктор.

И действительно, такое предположение, выглядевшее на первый взгляд довольно странным, имело реальное основание. Если обитатели соседнего мира (соседнего ли?) давно знакомы с Землей, а этот факт казался уже несомненным, то разве не могли они тайно от людей посетить нашу планету и оставить на ней в хорошо укрытом месте свой электронный мозг? В эпоху, когда не существовало еще «Службы космоса» и никто не следил за прилегающим к Земле пространством, чужой звездолет при желании его хозяев мог посетить планету и улететь с нее никем не замеченным. Муратов был прав. И еще легче было посетить Луну, на которую тогда еще не ступала нога человека. Да и теперь тайны спутника Земли разгаданы еще не полностью: поверхность Луны исследована не вся.

— Если существует этот электронный мозг,— сказал Вересов,— и в него заложена программа не допускать приближения земных предметов, то мы его, то есть спутника, никогда не догоним.

— Похоже на то,— уныло соглашался Стоун.

Погоня настойчиво продолжалась, но надежда на успех давно уже была потеряна.

Спутник не мог «устать». Если заключенной в нем энергии хватило на сто или даже больше предыдущих лет, то не было никаких оснований ожидать, что она истощится именно сейчас. Устать могли сами люди.

Никто не мог предполагать, что экспедиция так затянется. На борту не было второго пилота. Водители-автоматы были бессильны в условиях непрерывного изменения режима полета, им невозможно было дать программу действий.

И после двух с половиной суток преследования «Титов» вернулся на Землю.

Усталые, раздраженные полной неудачей, вышли из него Стоун, Муратов, Синицын и Вересов.

— Думать, думать, думать! — сказал Стоун.— Неразрешимых задач не существует. Выход должен быть, и мы его найдем!

(Продолжение следует)

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО
и Г. НОВОЖИЛОВА

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 11 и 12

4

Прошло несколько дней.

Юрий Вересов снова занял свое место у пульта управления. Экипаж его звездолета составляли те же три человека.

Но на этот раз «Титов» был не один. Вместе с ним вылетали еще два корабля.

Начиналась вторая экспедиция, с той же целью, но с другими методами, найденными в тиши кабинетов.

Спутники вели себя спокойно все эти дни. Ближайший из них «успокоился», как только «Титов» прекратил погоню и взял курс к Земле. Виток за витком по своим спиральным орбитам оба разведчика невозмутимо кружились возле Земли, изредка меняя скорости в соответствии с расстоянием и законами физики и еще реже — по собственной инициативе.

Локационные установки следили за ними без всякого труда. Сигналы на экранах были странно слабы, но не пропадали. Наблюдения велись круглые сутки.

По просьбе Института космонавтики один из звездолетов, возвращавшийся на Землю с Венеры, подлетел близко к более далекому спутнику, чтобы проверить, как он поведет себя. Разведчик номер два подпустил корабль почти вплотную и так же, как и первый, ушел от него, увеличив скорость.

Оба спутника вели себя совершенно одинаково.

Сопоставление результатов этого опыта с тем, что наблюдалось во время первой экспедиции «Титова», привело к появлению новой теории, почти противоположной первой. Синицын и Стоун независимо друг от друга пришли к выводу, что спутниками управляют не живые разумные существа: приборы-автоматы реагируют на приближение посторонней массы и дают сигнал двигателям, которые также автоматически включаются, направляя спутник вперед или назад, причем направление это случайное. Никакой разумности в действиях спутников нет.

— Точно так же,— заметил Стоун,— эти приборы реагируют на приближение спутников к Земле или Луне. Этим можно объяснить спиральность орбит. И вполне естественно, что они чувствуют массу Земли или Луны на значительно большем расстоянии, чем массу «Титова».

Такой взгляд как будто объяснял все. Но был один факт, который давал основания сомневаться в правильности всей гипотезы. Это был сигнал радиопеленгатора, замеченный Синицыным при втором подходе «Титова» к спутнику. Правда, сигнал этот был единственным и ни разу больше не повторился. И если бы не лента самопишущего прибора, неоспоримо доказывающая, что сигнал действительно был, Синицына могли бы заподозрить в ошибке.

На очередном заседании научного совета Муратов внес конкретное предложение.

— Мы имеем,— сказал он,— два исходных пункта для дальнейших действий. Первый — спутники ощущают приближение к ним посторонней массы, причем чувствительность установленных на них приборов невелика. Второй — наличие радиопередач. Оба эти обстоятельства можно использовать для получения информации. Как? Это я сейчас скажу. Начну со второго пункта. Если спутники предупреждают друг друга об опасности, то они должны будут сделать это вторично, когда мы снова приблизимся к одному из них. Я обращаю ваше особое внимание на то, что сигнал пеленгатора появился только при втором подходе «Титова», а не при первом, что было бы более логично. Почему же это так случилось? Разве мог кибернетический автомат «прозевать» первое наше приближение? Я вижу одно объяснение этого более чем странного факта. Так могло произойти только тогда, когда этот сигнал был послан не со спутника, а извне. Я предлагаю раз и навсегда установить, откуда пришел сигнал. Сделать это можно с помощью пеленгации. Разумеется, имея дело с передатчиком, расположенным в пространстве, нам недостаточно обычных двух линий, нужны три. Значит, надо послать три корабля, которые зафиксировали бы один и тот же сигнал. Кстати, единственная линия, которую мы уже имеем, по моим расчетам, не проходила через точку, где в тот момент находился второй спутник. Теперь перейдем к первому исходному пункту. Мы убедились, что спутники подпускают звездолет очень близко к себе и только тогда уходят от него. Повторяю еще раз: это доказывает небольшую чувствительность их приборов. Так не будем же беспокоить их такой крупной массой, как звездолет. Подойдем к спутнику на безопасное расстояние, а остальное поручим людям, одетым в скафандры. Можно предположить, что эти приборы не почувствуют приближения такой малой массы, как человек.

— Какую роль вы предназначаете этим людям? — спросил Метьюз.

— Обследовать спутник, выяснить, из чего он сделан, почему невидим, и, наконец, попытаться проникнуть внутрь.

— Вы считаете, что такая попытка может удаться?

— Не очень верю в это.

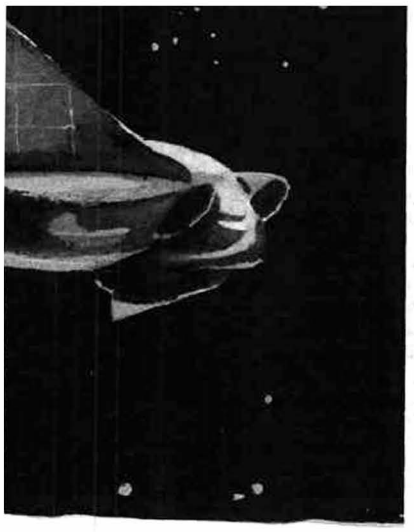
— И вы думаете, что приближение к спутнику вплотную безопасно?

— Вот уж на это,— Муратов пожал плечами,— ничего не могу ответить. Очень возможно, что опасно. Если мне доверят, я попытаюсь это сделать.

— Вы сами?

— Ну, конечно. Я не стал бы предлагать то, к чему не готов сам.

— Из того, что вы нам сказали, можно сделать вывод: лично вы уверены, что спутниками управляют «разумные существа»,— сказал Синицын, который на официальном заседании в присутствии многочисленных ученых и корреспондентов не счел возможным обращаться к своему другу на «ты».— Тогда чем вы объясняете, что спутник, которого мы преследовали на «Титове», менял направление полета столь беспорядочным образом? Почему он сразу не ушел от нас на большое расстояние? Ведь мы убедились, что он может лететь быстрее «Титова». Зачем он ожидал нашего приближения и только тогда уходил? Разве это не более



похоже на реакцию бездумного механизма? Если мы имели дело с разумным существом, получается что-то вроде игры «в кошки-мышки».

— Я мог бы ответить на это тем, что разумные существа, управлявшие спутником, не хотели, чтобы мы заподозрили их существование. Тогда кажущаяся неразумность действий — простая маскировка. Но я отвечу иначе. На спутнике установлен прибор, который включает двигатель при приближении посторонней массы. Вперед или назад — безразлично. К нему приближаются, он уходит. Но ведь приблизиться могли и сами хозяева спутника. Вот здесь, по-моему, и таится причина странного факта, что сигнал поступил только при нашем втором подходе. Это был приказ — продолжать уклоняться от встречи. Если бы подходил звездолет «хозяев», сигнала бы не было и спутник остался бы на месте. Ну, а все остальное объясняется по-вашему: реакция бездумного механизма,— усмехнувшись едва заметно, закончил Муратов.

После непродолжительной дискуссии, касавшейся преимущественно технических деталей, оба предложения Муратова были приняты.

Когда обсуждался вопрос, какие именно приборы и аппараты для пеленгации в столь необычных условиях надо установить на трех кораблях, сама собой появилась еще одна идея. Никто даже не заметил, кому первому пришла она в голову, настолько идея была проста и естественна. Поскольку длина волны, на которой был передан сигнал спутнику, точно известна и нет оснований думать, что эту волну могут заменить при втором или третьем случае, то нельзя ли помешать передаче и этим заставить спутник «не услышать ее», остаться на месте? Техническое осуществление радиопомехи не представляло собой никакой трудности.

— Итак,— подытожил Стоун в конце заседания,— наш план сводится к следующему. Окружаем спутник тремя кораблями. «Титов» так же, как и в первый раз, будет приближаться к нему до тех пор, пока не появится сигнал. После того, как пеленгация будет осуществлена, посылаем робота-разведчика, и, если его приближение к спутнику пройдет благополучно, вслед за ним отправятся двое людей. Если же спутник уйдет и в этом случае, делаем перерыв на несколько дней и в третьей экспедиции применяем радиопомехи. В крайнем случае, если все усилия окажутся бесплодными, уничтожаем оба спутника.

5

Все повторилось в точности.

Когда Вересов так же медленно и осторожно, как и в первый раз, подвел «Титова» близко к невидимому спутнику, стрелка гравиометра начала движение вправо, показывая присутствие его массы. Как и несколько дней назад, дойдя до того же самого деления шкалы, она словно в нерешительности остановилась и ...резко упала влево. Наземная станция подтвердила: спутник стремительно ушел вперед!

Это давало надежду на успех задуманного плана.

— Начинайте второй подход! — приказал Стоун.

Муратов должен был признаться самому себе, что волнуется. Согласно его теории, радиосигнала надо ожидать именно при втором подходе. Если он появится при третьем или четвертом, придется сознаться в своей ошибке.

Прошел час, и стрелка гравиометра ожила. Снова где-то близко летел загадочный разведчик чужого мира.

Волновался не один Муратов. Тщательно скрывая это друг от друга, волновались все. Неужели могучая техника Земли не в силах преодолеть упорство чужой техники, не желавшей открывать свои секреты? Неужели люди бессильны заставить ее это сделать?

«Титов» приближался к спутнику, вернее, к тому месту, где он должен находиться, еще медленнее, чем раньше. Было необходимо выдерживать равномерную скорость, которую потом, при обработке данных пеленгации, придется учесть, чтобы не ошибиться на десятки километров. Ведь источник передачи мог оказаться очень и очень далеко. Малейшая неточность, и три линии-направления сойдутся совсем не там, где находится передатчик.

На кораблях экспедиции были установлены очень точные аппараты. Даже если передача идет с расстояния орбиты Марса, то и в этом случае нужное место будет определено в пределах не более кубического километра.

Стоун, Синицын и Муратов не спускали глаз со шкал гравиометра и пеленгатора, расположенных на пульте управления близко друг к другу. И все трое одновременно заметили долгожданный сигнал.

— Есть! — воскликнул Стоун.

Муратов облегченно вздохнул. Догадка верна! Сигнал пришел в тот же самый момент, что в прошлый раз. И сразу же спутник затормозил и отстал. Опять-таки как в прошлый раз.

— Их действия однообразны, это плюс в нашу пользу,— заметил Стоун.

Теперь, когда первая цель экспедиции была достигнута, не нужно было соблюдать «тишину». Заработало радио. Со вспомогательных звездолетов сообщили, что и у них сигнал был принят и зафиксирован.

— Возвращайтесь на Землю! — приказал Стоун.— А мы приступим ко второму пункту нашего плана.

— Желаем удачи! — ответили оттуда.

«Титов» уменьшил скорость, поджидая отставший спутник, и вскоре оба снова летели рядом.

— Держитесь на пределе показаний гравиометра,— сказал Стоун.— Чтобы стрелка не стояла на нуле, и только.

Вересов молча кивнул.

— А достаточно ли этого будет? — спросил Синицын.— Найдет ли робот свою цель?

— Найдет,— уверенно ответил Стоун.— Никаких других масс в этом направлении нет.

Двигатели «Титова» смолкли. Теперь оба тела двигались по инерции с одинаковой скоростью. Но спутник мог в любую минуту изменить режим своего полета, медлить было нельзя.

Стоун нажал кнопку.

На обзорном экране появился силуэт робота — удлиненная сигара с короткими отростками щупалец. Позади нее тянулся длинный шлейф белого пламени.

Несколько секунд робот висел в пространстве рядом со звездолетом, словно не зная, куда ему направиться. Потом начал отдаляться все быстрей и быстрей.

— Почуял! — сказал Вересов.

— А он не ударится о поверхность спутника? — спросил Муратов, незнакомый с устройством космических роботов.

— Нет, он затормозит у самой цели.

Белое пламя дюз превратилось в точку.

— Далеко! — заметил Стоун.

Голубоватым светом вспыхнул экран на пульте, заработала телевизионная камера робота.

И Муратов снова увидел то, что мелькнуло перед его глазами в окуляре телескопа несколько дней назад, во время первой экспедиции.

Неясное темное пятно закрыло блестящую россыпь звезд. Призрачный контур огромного яйца (видимо, робот находился совсем рядом со спутником), точно черный провал в бездну космоса, колебался, дрожал, вибрировал. По экрану часто-часто мелькали полосы, временами покрывавшие весь экран сплошной сеткой.

Но характерного треска помех не было слышно.

— Спутник мешает телевизионной передаче,— сказал Стоун.— Но как и чем?

И вдруг... нестерпимо яркое белое пламя вспыхнуло на том месте, где только что виднелась крохотная точка огня из дюз робота. Ослепительный свет с обзорного экрана залил всю рубку управления «Титова», и люди невольно закрыли лица руками, боясь ослепнуть.

— «Титов»!.. «Титов»!.. Что случилось?.. Что случилось?.. Отвечайте!..— звучал из динамика тревожный голос с Земли.

Вспышка была так сильна, что ее увидели в блеске дня на безоблачном небе.

— Еще не знаем,— машинально ответил Стоун, осторожно раскрывая глаза, перед которыми кружились разноцветные пятна.— Звездолет цел. Похоже, что уничтожен робот, а может быть, и сам спутник.

— Спутник на месте!

— Значит, один робот.

После чудовищного света помещение казалось погруженным во мрак. Они ничего не видели — ни пульта, ни друг друга. Только яркие плафоны на потолке смутно различались, как желтые пятна.

— Не открывайте глаз, товарищи,— посоветовал Стоун.— Дайте им отдых.

Но сам он не последовал своему же совету. Нетерпеливое желание узнать, что же случилось с роботом, заставляло его напряженно всматриваться в то место, где находился экран телевизора.

Через несколько минут зрение восстановилось почти полностью.

— Мы были на волосок от слепоты,— сказал Синицын.

Экран погас — это означало, что телекамера робота не работает.

— Хорошо, что послали вперед робота, а не человека,— сказал Стоун.— Видимо, к этому спутнику нельзя приближаться. Придется его уничтожить.

Стоун вторично нажал кнопку управления роботом. Если он цел, то должен вернуться к кораблю.

Но робот не вернулся. И никакими приборами не удалось обнаружить его присутствие. Ракета-разведчик исчезла бесследно.

— Идем на посадку,— решил Стоун.

— И попробуем осуществить третий вариант нашего плана,— прибавил Синицын.

— Да, конечно. Но потребуется тщательная подготовка.

Третья экспедиция не состоялась в намеченный день. Она вообще не могла больше состояться.

Спутники исчезли.

Сначала было замечено их удаление от Земли. Впервые, достигнув апогея своей орбиты, они не изменили скорости. Спираль развертывалась все шире и шире. И настал момент, когда и без того слабый сигнал на экранах локаторов окончательно «погас».

Что послужило причиной их ухода? Явилось ли это следствием охоты за спутниками земных звездолетов или выполнялась ранее намеченная программа?

Была высказана догадка, что спутники не все время вращались вокруг Земли, а делали это периодически. Этим можно было объяснить, что они не были обнаружены гораздо раньше. А может быть, они удалились на свою базу для зарядки энергией.

Как бы то ни было, но разведчики чужого мира временно, а возможно, и навсегда покинули небо Земли.

Но если их хозяева хотели «замести следы», то было уже поздно. В руках людей находилась надежная нить, которая должна была привести к самому центру тайны спутников.

Этой нитью были результаты пеленгации. На этот раз разум Земли восторжествовал над разумом неизвестного мира.

Обработка записей пеленгаторных установок трех кораблей указала точный адрес, откуда поступил радиосигнал или куда он был направлен со спутника, что тоже было возможно.

Луна — район кратера Тихо.

Вот где находился загадочный «руководитель» разведчиков! Вот откуда получали они приказы своих хозяев или куда направляли сами полученную информацию.

Исследование извечного спутника Земли проводилось уже давно и систематически. И все же с огромными пространствами дикой лунной поверхности люди были еще плохо знакомы. Но как раз район кратера Тихо был хорошо изучен. Именно там размещалась одна из лунных баз, строилась стартовая площадка для звездолетов, помещалась астрономическая обсерватория. Этот район был обжитым.

Получалось, что долгие годы люди Земли жили и работали в непосредственной близости к установкам, привезенным с другой планеты, по соседству с базой, построенной другим «человечеством». Жили и даже не подозревали, что стоит только «протянуть руку», и откроются заманчивые тайны чужого мира.

Почему же эти тайны до сих пор не попались на глаза? Скорее всего потому, что они находились под лунной почвой, спрятанные в глубине горного массива кратера. Это вполне соответствовало «стилю» тех, кто послал к Земле обоих разведчиков. Они сделали все, чтобы люди не могли нащупать их посланцев, естественно, что и свою базу они тщательно скрыли.

Но раз местонахождение этой базы стало известно, найти ее было вопросом времени.

И совсем уже неожиданно мир облетела еще одна сенсационная новость.

Опять прозвучали по всей Земле имена двух скромных рядовых ученых, которые один раз уже заставили всех говорить о себе.

Синицыну и Муратову пришла в голову простая как будто, но оказавшаяся очень ценной мысль — проверить: куда же ведет спираль, по которой удалились от Земли оба спутника-разведчика?

Результат вычислений привел к сенсации. Если спутники не изменили своей траектории, если они продолжали удаляться по одной и той же спирали, то на их пути оказывалась Луна!

Больше того, спиральная линия полета обоих спутников упиралась в кратер Тихо!

Значит, спутники не удалились из солнечной системы, не ушли туда, откуда их прислали,— на неведомую родину. Они просто вернулись на свою базу. И находятся теперь именно там.

Опуститься на Луну не замеченными малочисленной колонией людей, составлявших персонал научной станции кратера Тихо, было совсем не трудно, поскольку оба тела были невидимы глазу.

Значит, если удастся найти базу, то в руки людей попадет не только «руководящий центр», но и оба спутника, казавшиеся потерянными навсегда.

Это заставило торопиться еще больше. Счастливый случай нельзя было упускать. В любую минуту спутники могли снова отправиться в полет вокруг Земли, где, как уже убедились люди, «достать» их будет куда труднее.

Если гипотеза периодического появления спутников возле Земли верна, то они могли провести на своей базе очень долгое время, а если они отправились туда только для зарядки, то это время могло оказаться совсем кратким.

Ученые обрадовались, получив неожиданную и заманчивую возможность «поймать» спутники, но эта же самая возможность внесла и дополнительные трудности в подготовку экспедиции. Судьба робота-разведчика служила грозным предостережением. Ее нельзя было забывать. В полете или на базе спутники могли одинаково «защищаться» от попыток приблизиться к ним.

В самом срочном порядке на заводах кибернетических машин конструировались и создавались специальные роботы, способные выдержать атаку антивеществ. Изготовлялись защитные костюмы для людей.

Вся Земля участвовала в подготовке экспедиции, которая обещала стать самой знаменательной в истории человечества. Ведь дело шло о ПЕРВОМ соприкосновении с иным разумом!

. . . . . .

— Значит, ты твердо решил не участвовать? — спросил Синицын.

— Не вижу, какую пользу я могу принести в экспедиции,— ответил Муратов.

— Такую же, как и все остальные, я, например. А разве на «Титове» ты делал что-нибудь особенное?

— Вот именно, что нет.

— Мы с тобой тесно связаны с этой тайной,— пытался переубедить друга Синицын.— Мы нашли спутники, мы вычисляли их орбиту, мы, наконец, раскрыли загадку их ухода. Вполне естественно, что именно мы и должны принимать участие до конца.

— Неубедительно. Одно дело — вычисления, это моя область, и совсем другое — поиски. Здесь нужны не математики.

— Значит, ты хочешь, чтобы я отправился на Луну без тебя? Но ведь это еще опаснее, чем экспедиция на «Титове».— Синицын пустил в ход последний козырь.— Там мы можем найти твоих «хозяев». Разве тебе не интересно их увидеть?

— Увижу, как все другие люди. Вы привезете их на Землю. Если они захотят, конечно,— прибавил Муратов. Он сидел в кресле, устремив задумчивый взгляд в потолок.— Знаешь, Сережа, я что-то перестал верить в их пребывание на Луне. Что им там делать? Без воздуха, без воды, замурованные в недра лунной горы! И так годами!..

— Почему же ты так настойчиво защищал эту гипотезу?

— Вот именно, почему? Сам этого не знаю. Мне казалось... Да и теперь все еще кажется,— вырвалось у него.— Никак не могу представить себе, что информация, которую собирали спутники, передавалась в соседнюю планетную систему. Такое исполинское расстояние! Зачем это? Кому это может быть нужно? А если они сами сидят на Луне, сидят десятилетиями, это еще более непонятно. Все наши теории кажутся мне зыбкими, туманными, лишенными смысла. Здесь что-то другое, а не сбор информации о нашей Земле. Что-то такое, чего мы даже не подозреваем. И, пусть я буду анахроничен,— недоброе. Да, недоброе! Ты помнишь историю шестидесятых годов прошлого века? Тогда запускались в небо спутники-шпионы... Представь себе, что мы все ошиблись, что спутники предназначены не для научных целей. Ведь тогда гораздо легче понять причины их тщательной маскировки. Не правда ли?

— Хорошо, допустим,— ответил Синицын.— Но тогда окончательно бессмысленно их вращение вокруг Земли целый век, а может быть, и больше.

— Что значит век? Это для нас век — целая жизнь. А с точки зрения истории человечества это не так уж много. Вы, астрономы, не знаете ни одной планетной системы, на которой могла бы возникнуть разумная жизнь. Так ведь? Значит, хозяева спутников обитают очень далеко. Путь от них к нам, может быть, требует годы. А на самой их планете проходят века. Вот и рассуждай. Они прилетали к нам столетия назад. И, улетая, оставили возле Земли что-то. Вероятно, это что-то должно ожидать их вторичного прилета. Зачем? Этого мы не знаем.

— Противоречишь сам себе,— сказал Синицын.— То уверен в их присутствии возле Земли, то «столетия назад».

— А если и то и другое? — Муратов наклонился вперед и пристально посмотрел в глаза друга.— А если они запустили спутники во время своего прилета к нам столетия назад, а затем непрерывно, понимаешь, непрерывно наблюдают за ними, сменяя на Луне персонал своей базы? Разве не могут эти спутники быть очень важными для них? Может быть, это звено большого, тщательно продуманного плана?

— Направленного против человечества Земли?

— Видишь! Сам сделал логический вывод.

— Ты мастер подводить собеседника к своим же выводам. Но от этого они не становятся истиной. Ох, Витя, запутался ты, как я вижу. Ну, можно ли себе представить, чтобы человечество одной планеты создавало заговоры против человечества другой? Это лишено всякого смысла. Извини меня, но ты несешь чушь.

— Пусть так. Но советую вам быть очень осторожными, когда вы найдете эту базу.

— Значит, окончательно...

— Да. Я не полечу с вами. Мне предложили принять участие в более интересном деле.

— Если не секрет, в каком?

— Какой же секрет? Ты слышал о проекте Жана Легерье?

— Это полет по солнечной системе на астероиде?

— На Гермесе.

— И ты хочешь лететь на нем?

— До этого полета еще далеко. Легерье предлагает изменить орбиту Гермеса, чтобы астероид пролетал всю солнечную систему от Меркурия до Плутона. И тогда, опустив на него большой звездолет, можно без всякой затраты энергии облететь все планеты.

— При чем же здесь ты, не астроном?

— Нужно так рассчитать будущую орбиту, чтобы она прошла возле каждой планеты во время одного и того же рейса. Это очень сложная задача. И еще сложнее заставить Гермеса перейти на эту орбиту с помощью реактивных сил. Вот тут-то я и могу помочь Легерье как инженер и как математик. А лететь с ним я не собираюсь.

— Желаю удачи! — По тону друга Муратов понял, что он обижен и огорчен.— Занимайся Гермесом, раз это более интересно для тебя.

— Чудак ты, Сережа! Ну зачем я вам нужен?

— Да нисколько не нужен.— Синицын изобразил на лице полное недоумение.— Просто я хотел закончить это дело вместе. А в экспедиции... любой другой будет даже полезнее.

Муратов рассмеялся.

— Актер из тебя, Сережа, как из меня балерина. Брось! Я тоже огорчен, но, право же, не могу терять время. И скажу тебе по секрету, мне не понравилось летать в космосе. Не по мне это занятие.

— Ну и не надо! Сиди на Земле. Это спокойнее и... безопаснее.

Муратов нахмурился.

— Это уже зло и несправедливо, Сережа.

— Ну ладно, прости! Я, конечно, этого не думаю. Что же поделаешь, раз ты такой упрямый? А вот я, хотя и не принесу особой пользы, но никак не смогу отказаться. Эти спутники занимают все мои мысли.

— Понимаю тебя. Когда вы вылетаете?

— Послезавтра.

— Так скоро?

— Подготовка закончена.

— Тогда повторю твои слова, но с другим чувством: желаю удачи!

. . . . . .

Через шесть месяцев в той же самой комнате Синицын и Муратов встретились снова...

Экспедиция вернулась ни с чем!

Все усилия найти таинственное убежище, где скрылись оба спутника-разведчика, не увенчались успехом. Ни прослушивание горных пород, ни зондирование их ультразвуком, ни просвечивание, ни простое сверление скал — ничто не обнаружило никаких пустот. Казалось, ничья рука никогда не тревожила извечный покой кратера.

Поиски велись и за его пределами. За шесть месяцев участники экспедиции с помощью все более мощных технических средств (один за другим с Земли было отправлено пять звездолетов с оборудованием) обследовали лунную поверхность в радиусе пятисот километров от центра кратера.

Все было напрасно! Если база действительно существовала, то была замаскирована исключительно тщательно...

— Ты помнишь мои слова, что я не полетел с вами потому, что не хотел терять время? — спросил Муратов.

— Помню. Ты хочешь сказать...

— Вот именно. Я был абсолютно уверен, что вы не найдете эту базу. Иначе я обязательно отправился бы с вами.

— Но почему ты был так уверен?

— Потому что меры предосторожности, примененные к спутникам, убедили меня в том, что их хозяева имеют очень серьезные причины скрывать от людей Земли свои намерения.

6

Прошло два года.

Спутники-разведчики больше не появлялись возле Земли. Но можно было предполагать, что они сменили систему своей «защиты» и стали невидимы не только для визуальных, как раньше, но и для радиотелескопов. Если это действительно было так, то они стали во много раз опаснее.

Звездолеты покидали Землю с большой осторожностью. Развивать скорость разрешалось только за орбитой Луны.

Поиски таинственной базы не прекращались, но по-прежнему были безрезультатными. И постепенно появилось и окрепло убеждение, что никакой базы на Луне нет и никогда не было.

Спутники, рассуждали сторонники этого мнения, не укрылись в районе кратера Тихо, а ушли совсем, быть может, за пределы солнечной системы. Встретив на своем спиральном пути Луну, они обошли ее и полетели дальше. Сигнал, запеленгованный тремя кораблями, можно объяснить излучением с самого спутника, не имевшим никакого смысла и не являвшимся радиопередачей. Ультракороткие волны мог испускать неведомый двигатель разведчика, никто ведь не знает его конструкции и принципа работы. И «совершенно случайно» линии пеленгации сошлись у кратера Тихо. Точно так же они могли сойтись и в любом другом месте. А то, что эти линии сошлись в той же точке, где, по вычислениям Муратова и Синицына, закончились траектории обоих спутников... что ж! Бывают и не такие случайности!

Спасительное слово «совпадение» действовало успокаивающе.

Большинство населения земного шара скоро перестало думать о спутниках. Эпоха была бурной. Освобожденная от вековых пут мировая мысль штурмовала тайны природы с невиданной настойчивостью и энергией. Ошеломляющие открытия следовали одно за другим, как из рога изобилия. Власть человека над природой росла «на глазах».

Но в среде работников космонавтики не могли забыть и не забывали о разведчиках чужого мира. Нераскрытая тайна продолжала угрожающе висеть над безопасностью межпланетных путей. Случай со звездолетом «Земля — Марс» в конце прошлого века тревожил руководителей службы космоса. Нельзя было успокаивать себя тем, что спутники уклоняются от встречи с земными кораблями. В тот раз один из них не уклонился, а столкнулся со звездолетом. Это могло повториться в любой момент.

Если раньше обходились локационными установками, чтобы своевременно заметить встречный метеорит, то теперь обязательной принадлежностью штурманских рубок звездолетов стали гравиометры. Ведь какую бы защиту ни применили хозяева разведчиков, их массу невозможно было уничтожить или сделать «невидимой».

Работы в космосе шли своим порядком, но космонавты повседневно ощущали столь неожиданно возникшее неудобство. Раскрыть тайну было настоятельно необходимо, но ученые не видели путей к этому.

Находятся ли еще спутники в солнечной системе или нет?

Этот основной вопрос оставался без ответа.

Персоналы научных станций Луны, и в особенности станция кратера Тихо, непрерывно наблюдали за прилежащим пространством. Круглосуточно велась радиовахта. Если спутники все-таки укрылись на лунной базе, то рано или поздно они должны были снова отправиться в полет вокруг Земли. А это скорей всего могло произойти после получения ими соответствующего сигнала. Этот сигнал надо было перехватить во что бы то ни стало.

Но время шло, а все было спокойно. Ни сами спутники, ни радиосигналы, адресованные им или идущие от них, не появлялись.

Члены научного совета Института космонавтики придерживались мнения, что причиной является очередной перерыв в работе разведчиков, случайно совпавший по времени с экспедицией на «Титове». Такие перерывы, несомненно, были и раньше. Периодическое появление спутников возле Земли хорошо объясняло странный факт, что они не были обнаружены гораздо раньше.

Но какова длительность таких перерывов? Этого никто не мог знать. Предстояло, возможно, долгие годы принимать меры против неизвестной, а может быть, и несуществующей опасности.

Стремительно развивающаяся техника предоставляла все новые и новые возможности для поисков. Их немедленно использовали, но все было тщетно. По-прежнему недра кольцевого хребта кратера Тихо и соседних с ним кратеров казались не тронутыми никогда и никем.

Но, несмотря на систематические неудачи, убеждение, что база все же существует, крепко держалось среди ученых. Неоднократно проверенные вычисления Муратова и Синицына неопровержимо приводили к выводу, что траектории обоих спутников по мере приближения их к Луне сближались, а возле точки пространства, где в тот момент находился кратер Тихо, СОШЛИСЬ!

Этого никак не могло быть, если бы спутники обогнули Луну и ушли дальше.

Поверить в подобное «случайное совпадение» мог кто угодно, но не математик, не астроном, не физик.

И поиски, настойчивые и упорные, продолжались.

Виктор Муратов знал обо всем этом только из редких бесед с Синицыным по радиофону. Он целиком погрузился в захватившую его работу и оба эти года не занимался ничем другим. Математический расчет проекта Жана Легерье был трудоемким делом. Мысли о спутниках и их тайнах приходили к нему изредка, после разговоров с Сергеем. Свою гипотезу о пребывании на Луне живых представителей иного человечества Виктор давно уже считал несостоятельной. Слишком много соображений говорило против нее, а Муратов никогда не был упрям.

Проект Легерье уже перестал быть «проектом». Он был одобрен и вступил в фазу практической реализации. Расчеты показали его осуществимость и целесообразность. Затраты энергии, необходимые для изменения орбиты Гермеса, были во много раз меньшими, чем потребовалось бы для такого же путешествия по солнечной системе на звездолете, не говоря уже о том, что производить астрономические наблюдения с астероида можно было в значительно большем объеме, чем с корабля. На Гермесе свободно расположится целая обсерватория.

Через несколько месяцев Гермес, сравнительно небольшой астероид полутора километров в диаметре, должен был в очередной раз пройти возле Земли на расстоянии всего пятисот семидесяти трех тысяч километров, и этот момент решено было использовать, чтобы начать невиданное еще путешествие.

По плану Легерье, принятому Институтом космонавтики, на астероид должен был опуститься специально предназначенный для астрономических работ искусственный спутник Земли, построенный и выведенный на орбиту двадцать лет назад. Этот спутник во многих отношениях уже устарел, но для целей Легерье подходил как нельзя более. На нем было все что надо, и его следовало только немного переоборудовать, чтобы группа астрономов могла без лишений совершить на нем многолетний полет.

К этой работе уже приступили. Нельзя было терять времени. Именно сейчас планеты солнечной системы находились в очень удобном положении, и новая орбита Гермеса пройдет возле каждой из них за время одного оборота. Следующего такого расположения пришлось бы ожидать длительное время.

Одновременно с космической обсерваторией на Гермес отправится эскадрилья мощных звездолетов со всеми необходимыми установками для перевода астероида со старой орбиты на новую.

Так как именно Муратов произвел все расчеты, ему и было предложено взять на себя руководство этой работой, ответственной и требующей исключительной точности.

Предложение было почетным, и Виктор не счел себя вправе отказаться.

— Против воли я становлюсь космонавтом, — пошутил он, встретившись с Синицыным. — И в этом значительная доля твоей вины.

— При чем здесь я? — удивился Сергей.

— Как при чем? Ты же впервые вытащил меня в космос. Если бы не мое участие в экспедиции на «Титове», я не был бы так «знаменит» и никому не пришло бы в голову поручать мне расчеты для Легерье.

Синицын рассмеялся.

— Такую вину, — сказал он, — я охотно возьму на себя. Надолго ты улетаешь?

— Нет, недели на две. Закончив работу, наша эскадрилья вернется на Землю. Можно было бы вернуться и скорее, но придется подождать на Гермесе несколько суток, чтобы убедиться в том, что траектория полета астеронда изменена правильно

— Рискованная экспедиция, — задумчиво сказал Синицын. — Я говорю, конечно, не о тебе, а о Легерье и его спутниках. На таком длительном пути могут встретиться случайности, которые невозможно предусмотреть заранее. Столь близкое приближение к Юпитеру, Сатурну и другим гигантским планетам...

— Ты не веришь моим расчетам?

— А ты сам совершенно в них уверен?

— Я — да. Опасен не Юпитер, не Сатурн. Опасны, да и то теоретически, астероиды между Марсом и Юпитером. Нельзя поручиться, что даже сейчас они все известны астрономам. А влияния тех, которые еще неизвестны, я, естественно, не мог учесть при расчетах.

— Вот видишь!

— Ничего не вижу. Пока что любой космический полет сопряжен с риском. Легерье и его шесть товарищей идут на этот риск. Для страховки мы оставим на Гермесе один из наших звездолетов. И, кроме того, останутся все установки, с помощью которых мы изменим орбиту Гермеса. Их можно пустить в работу в любой момент и исправить курс, если что-либо непредвиденное его изменит.

— Значит, там должен будет остаться и кто-нибудь из технического персонала твоей эскадрильи?

— Моей? — улыбнулся Муратов. — Что за выражение, Сережа!

— Я сказал в смысле «руководимой тобой».

— То-то! Инженер Уильям Вестон согласился остаться на Гермесе на все годы полета.

— Бедный! Здорово ему будет скучно.

— Он астроном-любитель. Так что не очень страшно. Ну как, теперь ты успокоился?

— Да, видимо, все обдумано основательно.

— И сам бы был не прочь принять участие?

Синицын пожал плечами.

— Какой астроном не мечтает наблюдать планеты солнечной системы с близкого расстояния? — ответил он со вздохом.

— Так попросись.

— Легерье получил сотни таких просьб. И вынужден был всем отказать. Вместимость спутника-обсерватории ограничена. А вне его на Гермесе негде обосноваться. Так что остается только завидовать семи счастливцам.

(Продолжение следует).

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунок Г. **НОВОЖИЛОВА**

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 11—13.

7

Ходить было трудно. Сильно намагниченные подошвы ботинок плотно прилипали к металлическому полу, и для того, чтобы сделать шаг, приходилось делать значительные усилия. Но и магнитные подошвы не давали настоящей устойчивости. Почти полностью отсутствовал вес, и, словно на палубе судна в сильную бурю, люди качались на ходу, принимая самые причудливые положения. Однако и немыслимый на Земле наклон тела не приводил к падению: падать было некуда, Гермес притягивал к себе с ничтожной силой. Легкое усилие, и человек выпрямлялся, чтобы через секунду начать новое «падение». И так без конца.

Подобная ходьба утомляла больше, чем самые длительные пешеходные прогулки на Земле.

А если сбросить обувь, человек мог летать. Ничего не стоило подняться к самой верхней точке сферического купола в помещении обсерватории. Для этого нужно было только слегка оттолкнуться от пола. Спуск под действием силы тяжести происходил так медленно, что Виктор Муратов, из любопытства испробовавший однажды такой «полет», не испытывал никакого желания повторить его. Беспомощно висеть в воздухе, не имея ни малейшей возможности что-либо изменить, было очень неприятно.

Виктору вообще не нравилось пребывание на Гермесе, и он с нетерпением ожидал отлета. С удивлением наблюдал он, с каким интересом и даже энтузиазмом воспринимали все окружающее его спутники, и не понимал их. Космос не оказывал на него никакого «притягивающего» действия, как это было с другими. Картины звездного неба казались ему однообразными и скучными, невесомость — тягостной, условия быта — раздражающими.

Еще четверо суток этой пытки — и он будет дома!

Шли последние контрольные наблюдения. Уже более ста часов Гермес летел по новой орбите, постепенно приближаясь к Венере. А затем он пройдет мимо Меркурия и начнет долгий, на годы, полет в глубь солнечной системы, к ее окраинам, к самой отдаленной из планет — загадочному Плутону.

Изменение траектории полета астероида прошло в полном соответствии с расчетами. Виктор гордился этим. С Земли было получено множество поздравительных радиограмм. Вся планета радовалась достигнутому успеху.

Да, сделано большое и нужное дело!

Но ведь оно сделано. Значит, можно со спокойной совестью покинуть неуютный космос, вернуться на Землю, взяться за новую, не менее нужную и интересную работу. На родине столько дел!

Но, мучимый нетерпением, Муратов хорошо понимал, что осторожность Легерье обоснована и необходима. В сравнении с исполинским расстоянием, которое предстояло пролететь Гермесу, уже проделанный путь ничтожен. Четыре проверки по четырем данным наблюдений, произведенные четырьмя математиками независимо друг от друга,— это уже полная гарантия!

Но через восемнадцать часов все будет кончено. Легерье скажет долгожданные слова: «Все в порядке», — и Муратов будет свободен.

Ни за что на свете он не задержится здесь ни на одну минуту!

Если бы Виктор мог знать сейчас, что задержится в этом неприятном ему месте на целых трое суток!

Необъяснимое, чудовищно неправдоподобное событие было совсем-совсем близко!

Часы, идущие по-земному, показывали восемь вечера. Было время ужина. Семь членов экспедиции, инженер Вестон и человек восемь из состава вспомогательной эскадрильи «сидели» у круглого стола. На Гермесе все же существовала какая-то сила тяжести и были стулья. Можно было принять сидячее положение, но чтобы удержаться на стуле и не взлететь при неосторожном движении, приходилось прикрепляться ремнем к сиденью.

Муратов извинился за опоздание и занял свое место.

Кают-компания была расположена с краю огромного дискообразного корпуса искусственного спутника. Потолок и наружная стена были прозрачны. Над головой раскинулось матово-черное небо с бесчисленными звездами. Среди них ослепительно сияло Солнце. Его лучи заливали внутренность каюты, но тепла не ощущалось. Пластмассовое «стекло» не пропускало инфракрасных лучей.

Космическая обсерватория, бывший искусственный спутник Земли, стояла на дне глубокой котловины. Со всех сторон ее окружали постепенно поднимающиеся гранитные стены. Горизонт ограничивался кругом около трехсот метров в диаметре. Так как сам спутник имел поперечник в сто метров, глазам открывался ничтожно малый «внешний мир».

Муратов вздрогнул при мысли, что восемь человек долгие годы не увидят ничего, кроме этой безрадостной картины. Какую всепоглощающую любовь надо иметь к своей науке, чтобы добровольно обречь себя на такое испытание!

Выбор места для обсерватории был не случаен. Именно такой рельеф местности лучше всего соответствовал целям защиты. Метеоритная опасность, существующая даже для небольших звездолетов, была в тысячи раз более грозной для Гермеса, масса которого притягивала к себе блуждающие в пространстве обломки. Тем более что предстояло пересечь пояс астероидов между Марсом и Юпитером — самое опасное место на межпланетных трассах.

В скалах, кольцом окружая обсерваторию, были вмонтированы мощные установки. Какую бы скорость ни имел метеорит, магнитное поле заставит его уклониться в сторону от единственного обитаемого места на астероиде. Потому и возможно было существование сравнительно тонких, прозрачных стенок и огромного купола, под которым располагались телескопы и другие многочисленные астрономические приборы и инструменты. Если же встречный метеорит окажется не железным, а каменным, то его отклонит в сторону вихревое антигравитационное поле, дополняющее магнитное.

Ученые могли работать спокойно.

В этот вечер Муратов решил не возвращаться на свой звездолет, а переночевать на спутнике, благо, в этом странном мире без тяжести можно было спать на чем угодно, как на мягчайшем тюфяке. Четыре стула, крепкий ремень, чтобы не проснуться на потолке,— и постель готова. Сильно намагниченные металлические ножки стульев, прилипающие к полу, гарантировали неподвижность ложа.

Было десять часов, когда Муратов, перед тем как лечь спать, зашел в каюту Легерье.

Он любил беседовать с умным, энциклопедически образованным начальником экспедиции. Казалось, не существовало вопроса, в котором ученый не чувствовал бы себя, как рыба в воде. С ним можно было говорить обо всем.

«Командир Гермеса», как прозвали Легерье с чьей-то легкой руки, стоял у стены и внимательно рассматривал один из приборов, расположенных на большом, во всю стену щите. Он обернулся при входе Муратова.

— Посмотрите! — сказал он, снова поворачиваясь к прибору. — Стрелка гравиометра не стоит на нуле. Никак не пойму, что это может значить.

Муратов подошел ближе.

С гравиометрами он познакомился во время экспедиции на «Титове». Но прибор в каюте Легерье имел уже мало общего с теми. Два года — огромный срок для техники. Знакомыми оставались только шкала и стрелка.

Муратов вгляделся.

— Мне кажется, — сказал он, — что стрелка не только не стоит на нуле, как вы сказали, но и движется. Очень медленно, но движется.

— Да-да, вы правы.— В голосе Легерье чувствовалось беспокойство.— Это очень странно. Прибор показывает наличие какой-то массы недалеко от нас. Но что это может быть?

— Встречный метеорит?.. — нерешительно предположил Муратов.

Он тут же мысленно выругал сам себя. Что за наивная реплика! Не мог же Легерье не подумать о такой возможности.

Вместо ответа астроном молча указал на экран локатора. Ровная черная линия не имела никаких неровностей или выступов. Радиолучи, непрерывно ощупывающие пространство вокруг астероида, не встречали препятствий.

— Испортился...

Легерье нажал на одну из бесчисленных кнопок. Засветился маленький экран, и на нем появилась внутренность каюты, занимаемой Александром Макаровым — заместителем начальника экспедиции.

— Саша! — сказал Легерье. — Посмотри на гравиометр.

Было видно, как Макаров подошел к щиту, точно такому же, какой был здесь. Раздалось удивленное восклицание.

— А теперь обрати внимание на локационный экран.

— Да, вижу!

Макаров обернулся.

— Что ты на это скажешь? — спросил Легерье.

— Очень странно, даже слишком. А у тебя то же самое?

— Конечно! Я подумал было, что гравиометр в моей каюте испортился. Но не могли же испортиться оба сразу.

— В чем же дело?

— Зайди ко мне.

— Иду!

Легерье и Муратов не спускали глаз со стрелки. Она двигалась, теперь в этом невозможно было сомневаться. Что-то, не отражающее лучей локаторов, приближалось к Гермесу. Это не мог быть небольшой обломок, настолько малый, что его не «видели» мощные локационные установки. В этом случае его не заметил бы и гравиометр. Загадочное тело имело довольно значительную массу.

— Все ближе и ближе! — прошептал Легерье.— И что самое удивительное, оно летит очень медленно.

Раздался тихий гудок радиофона.

Легерье даже не обернулся.

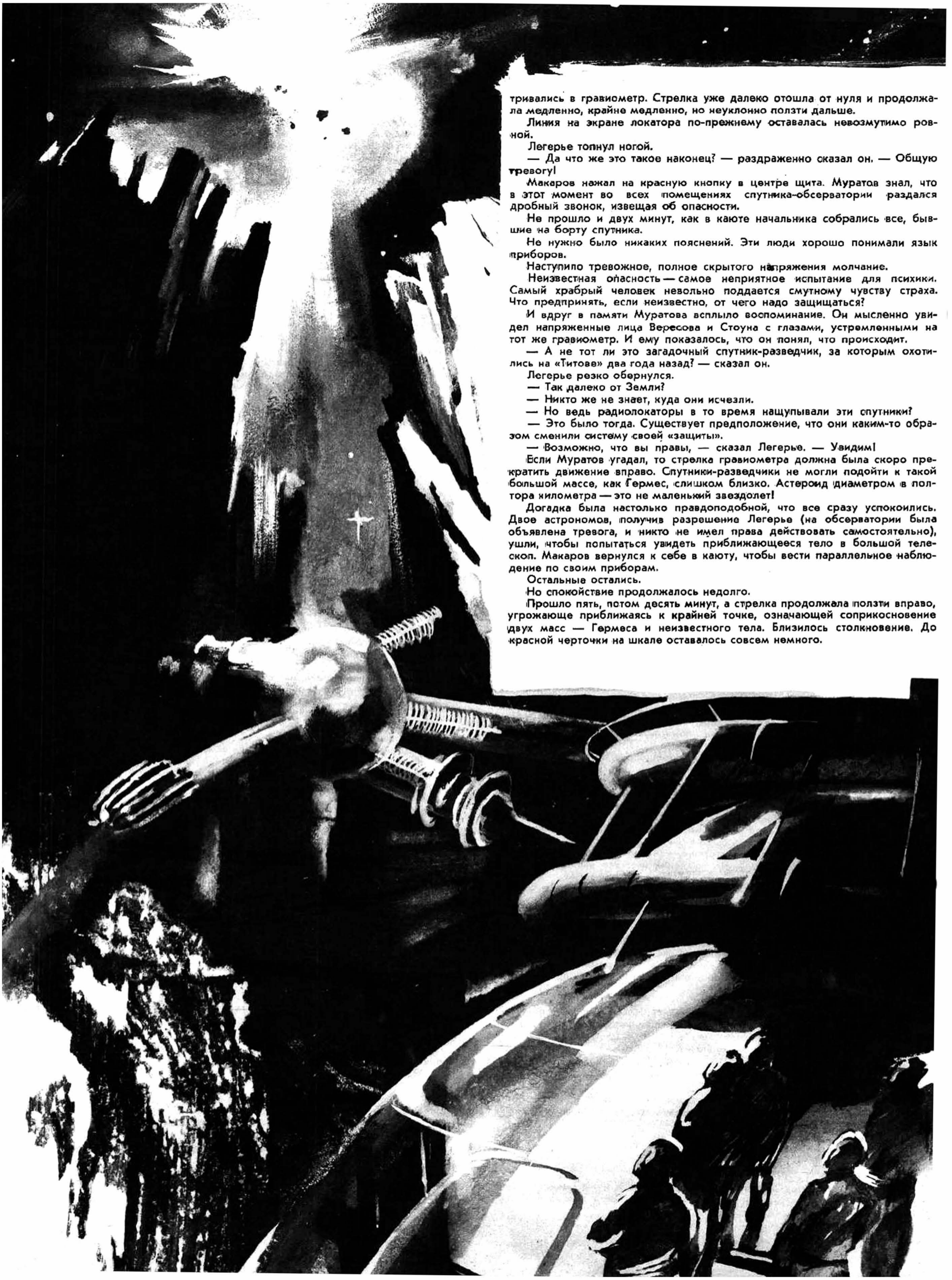
Гудок повторился. Муратов подошел к аппарату.

Дежурный на командном пункте флагманского корабля эскадрильи взволнованным голосом доложил о странном «поведении» гравиометра.

— Со всех наших кораблей сообщают то же самое,— сказал он.

— Знаю, — ответил Муратов. — Продолжайте вести наблюдения.

Вошедший Макаров молча подошел к Легерье. Оба напряженно всма-



тривались в гравиометр. Стрелка уже далеко отошла от нуля и продолжала медленно, крайне медленно, но неуклонно ползти дальше.

Линия на экране локатора по-прежнему оставалась невозмутимо ровной.

Легерье топнул ногой.

— Да что же это такое наконец? — раздраженно сказал он. — Общую тревогу!

Макаров нажал на красную кнопку в центре щита. Муратов знал, что в этот момент во всех помещениях спутника-обсерватории раздался дробный звонок, извещая об опасности.

Не прошло и двух минут, как в каюте начальника собрались все, бывшие на борту спутника.

Не нужно было никаких пояснений. Эти люди хорошо понимали язык приборов.

Наступило тревожное, полное скрытого напряжения молчание.

Неизвестная опасность — самое неприятное испытание для психики. Самый храбрый человек невольно поддается смутному чувству страха. Что предпринять, если неизвестно, от чего надо защищаться?

И вдруг в памяти Муратова всплыло воспоминание. Он мысленно увидел напряженные лица Вересова и Стоуна с глазами, устремленными на тот же гравиометр. И ему показалось, что он понял, что происходит.

— А не тот ли это загадочный спутник-разведчик, за которым охотились на «Титове» два года назад? — сказал он.

Легерье резко обернулся.

— Так далеко от Земли?

— Никто же не знает, куда они исчезли.

— Но ведь радиолокаторы в то время нащупывали эти спутники?

— Это было тогда. Существует предположение, что они каким-то образом сменили систему своей «защиты».

— Возможно, что вы правы, — сказал Легерье. — Увидим!

Если Муратов угадал, то стрелка гравиометра должна была скоро прекратить движение вправо. Спутники-разведчики не могли подойти к такой большой массе, как Гермес, слишком близко. Астероид диаметром в полтора километра — это не маленький звездолет!

Догадка была настолько правдоподобной, что все сразу успокоились. Двое астрономов, получив разрешение Легерье (на обсерватории была объявлена тревога, и никто не имел права действовать самостоятельно), ушли, чтобы попытаться увидеть приближающееся тело в большой телескоп. Макаров вернулся к себе в каюту, чтобы вести параллельное наблюдение по своим приборам.

Остальные остались.

Но спокойствие продолжалось недолго.

Прошло пять, потом десять минут, а стрелка продолжала ползти вправо, угрожающе приближаясь к крайней точке, означающей соприкосновение двух масс — Гермеса и неизвестного тела. Близилось столкновение. До красной черточки на шкале оставалось совсем немного.

— Оно летит прямо на нас, — взволнованно сказал Легерье.

Усовершенствованный гравиометр давал возможность определять не только массу, но и направление на нее, а также и расстояние.

Локационный экран по-прежнему не показывал ничего. А судя по гравиометру, приближающееся тело было весьма крупным.

Муратову казалось, что прибор показывает уже гораздо большую массу, чем тогда, на «Титове». Слова Легерье подтвердили, что это было так.

— Масса неизвестного тела, — сказал астроном, — во много раз превышает массу разведчиков.

Еще несколько томительных минут, и не осталось никаких сомнений: что-то летело прямо на обсерваторию.

8

Легерье бросился к щиту.

Одно движение его руки — и на всем спутнике тяжелые герметические двери опустились в свои пазы, отрезав всякий доступ из одного помещения в другое. Обсерватория разделилась на изолированные друг от друга отсеки.

Теперь можно было надеяться, что катастрофа не приведет к общей гибели.

Люди замерли в ожидании...

В эти секунды Муратов почему-то подумал не о себе и не о находившихся с ним людях, а о кораблях своей эскадрильи. Они стояли сравнительно близко, за гребнем гранитной воронки, окружающей обсерваторию. Догадались ли там сделать то, что только что сделал здесь Легерье?

Отдавать приказ по радиофону было уже поздно.

«Впрочем,— подумал Виктор,— если тело ударит по звездолету, от корабля ничего не останется. Масса этого тела слишком велика. Никакие отсеки не спасут людей».

А стрелка гравиометра продолжала неумолимое приближение к красной черте, означающей катастрофу. Защитные, антигравитационные и магнитные поля были совершенно бесполезны. Они слишком слабы, чтобы воздействовать на такую громадину. Смерть, случайная и нелепая, вплотную подошла к людям, и они не в силах были предотвратить ее.

— Смотрите! — сказал Легерье, протянув руку к гравиометру.

Это было более чем странно, необъяснимо, то, что они увидели.

Стрелка еще более замедлила свое движение. Вопреки законам тяготения она не ускорила его, а именно замедлила и двигалась теперь едва заметно.

И вдруг... остановилась совсем, замерла неподвижно в каком-нибудь миллиметре от черты.

Это означало, что неизвестное тело прекратило падение и повисло неподвижно над Гермесом на расстоянии самое большее ста метров от его поверхности.

Шумный вздох облегчения вырвался одновременно из груди всех находившихся в каюте.

Спасены! Опасность, только что казавшаяся непредотвратимой, непонятно как миновала.

— Это мог сделать только управляемый корабль, — сказал Легерье.

— Каковы же тогда его размеры! — изумленно воскликнул Муратов.

Сомневаться было невозможно. Все, что было непонятно в поведении неведомого тела, становилось вполне понятным, если это космический корабль с мощными двигателями.

Но откуда он мог взяться? Земля не сообщала о полете какого-либо корабля в этом районе. Любой звездолет давно дал бы свои позывные, если бы его командиру понадобилось по той или иной причине опуститься на астероид. Его давно бы заметили локаторы. И, самое главное, ни один из существующих космических кораблей не имел таких огромных размеров и не обладал «способностью» полностью поглощать радиоизлучение.

Неведомый звездолет, судя по его массе, был гигантом, но сквозь прозрачный потолок каюты ничего не было видно, кроме звезд.

— Он остановился немного в стороне,— сказал Легерье, и его голос заметно дрожал от волнения. — Но сомнений нет. Это звездолет, но НЕ НАШ!

Он еще говорил, когда стрелка гравиометра снова дрогнула и быстро пошла влево.

Космический корабль удалялся.

Зачем же он подлетал к Гермесу? Если неизвестные астролетчики заметили на астероиде искусственное сооружение, они должны были заинтересоваться и постараться выяснить, что же это такое. Но они задержались меньше чем на минуту и улетели. За это время ничего нельзя было хорошо рассмотреть. Пусть не очень большая, но на проделанный маневр требовалась затрата энергии.

В чем причина столь странного поведения?

Инженеры и ученые молча переглядывались. Никто ничего не понимал, и люди невольно задавали себе вопрос: не почудилось ли им это посещение?

Легерье нарушил длительное молчание.

— Он удаляется по прямой линии, постепенно увеличивая скорость,— сказал он. — Зачем было замедлять ее и полностью останавливаться? Более чем непонятно.

Внезапно блеснул яркий свет. Те, кто успел поднять голову, заметили, как на черном бархате неба, прямо над ними, вспыхнул облаком пламени вихрь чудовищного взрыва.

Он произошел очень далеко, но именно там, где должен был находиться улетевший корабль. Каюта осветилась мертвенным белым светом на одно мгновение.

И все погасло.

Стрелка гравиометра, словно в бессилии, упала к нулю. Действующая на нее масса, масса космического корабля другого мира, только что подлетевшего к Гермесу, исчезла внезапно, сразу!

— Катастрофа! — вскричал Муратов. — Корабль взорвался!

— Да, он взорвался, — медленно и грустно сказал Легерье. — Это аннигиляция. И мы никогда уже не узнаем, что произошло на наших глазах.

— И кому, какому человечеству он принадлежал? — добавил Муратов.

Неожиданная катастрофа глубоко потрясла всех. Люди задыхались от волнения. Пусть неизвестно, кто находился в этом корабле, пусть они были существами, чуждыми людям Земли. Это были разумные представители единого человечества Вселенной!

Так близко, рядом, находился разум иного мира, вот только что сейчас могла состояться долгожданная встреча людей-братьев! Впервые в истории! И не состоялась! Вестник иного мира, быть может, прилетевший из далеких глубин пространства, бесследно исчез.

Это было так нелепо, так невыносимо обидно, так бессмысленно!

Легерье машинально нажал кнопку, восстанавливая сообщение между отсеками обсерватории.

— Но почему, почему они не опустились? — сказал Вестон. — Они не могли не заметить нашу обсерваторию. Почему же они так поспешно ушли от нас?

— Может быть, именно потому, — ответил Муратов, — что эти существа прибыли к нам из антимира. Они убедились в том, что наш астероид, относительно их, из антивещества, и поспешили уйти от опасности. А удалившись, столкнулись с метеоритом. И произошла аннигиляция, которой они опасались.

— Ваша гипотеза несостоятельна, Муратов, — сказал Легерье. — Несостоятельна по двум причинам. Во-первых, никаких крупных метеоритов сейчас не пролетало. На том расстоянии, на котором произошел взрыв, наши локаторы заметили бы любой метеорит. А во-вторых, космический корабль, прилетевший в чуждую планетную систему, должен быть защищен от опасности аннигиляции. Из какого вещества состоит наша планетная система, они должны были определить давно. Ведь мы встретились с ними не на окраине, а почти что в центре.

— Они могли и не пролетать всю нашу систему, а подойти к ней сверху или снизу относительно плоскости эклиптики.

— Немыслимо. Такое легкомыслие никак не вяжется...

Он не договорил, весь превратившись в слух.

Отчетливый стук послышался со стороны входной камеры — наружной двери обсерватории.

Кто мог стучать?

Если это был кто-нибудь из экипажей кораблей эскадрильи, ему незачем было прибегать к стуку. Существовала сигнализация, и она была известна всем. Да и не мог никто явиться, не предупредив заранее.

Все находившиеся в каюте одновременно порывисто поднялись.

Одна и та же мысль явилась всем. Стучали существа иного мира, высадившиеся с того самого корабля, который только что, несколько минут тому назад погиб!

Но ведь этот корабль не опускался на поверхность Гермеса. Как же он мог высадить кого-нибудь?

Корабль улетел, и подобный «десант» был совершенно бессмысленным!

Стук повторился, четкий, настойчивый!

Легерье включил экран наружного обзора.

И они увидели...

У самого входа стояла высокая человеческая фигура в скафандре.

Обыкновенная человеческая фигура!

Обыкновенная?..

Это было не так! Все сразу заметили еще и другое.

Человек, стоявший у входа, был одет не в земной скафандр!

Вот он поднял руку и явно нетерпеливо постучал металлической перчаткой в наружную дверь.

Значит, все-таки!..

Все-таки великая встреча состоялась.

У входа стояло существо, прилетевшее неведомо откуда, стояло и настойчиво просило впустить его!

Трудно передать словами, что почувствовали люди Земли, когда поняли, С КЕМ они имеют дело!

Гость был один. Может быть, остальные прятались в скалах, ожидая. Может быть, пришельцы не были уверены в том, какой прием их ждет, и выслали вперед разведчика.

Но ведь им некуда деваться с астероида. Высадивший их корабль улетел и погиб. Они не могли не знать этого.

Странно, загадочно, непонятно!

Легерье не колебался.

Наружная дверь раздвинулась. Внутри выходной камеры вспыхнул свет, приглашая гостя войти.

Он вошел, вошел уверенно и просто, видимо, без всяких опасений.

Начальник экспедиции медлил. Он ждал, не покажутся ли остальные. Никто не появлялся. По-видимому, как это ни невероятно, гость был один.

Наружная дверь закрылась.

Пришелец из космоса находился внутри обсерватории, он вступил в чуждый ему мир!

Заработали автоматы биологической защиты. Легерье включил максимальный режим.

— Догадается ли он снять скафандр?

— Должен догадаться. Это же космолетчик. Он сам понимает опасность.

И снова молчание, напряженное, почти мучительное.

— А если он не сможет дышать нашим воздухом?

Никто не отозвался. Эта тревожная мысль явилась всем.

Ничего уже нельзя было изменить. Процесс начался и не мог быть остановлен. Да и куда было деваться пришельцу?..

В выходной камере не было экрана. Невозможно было увидеть, что происходит там. Максимальный режим обработки продлится почти час. Живого или мертвого, но пришельца из космоса люди увидят только тогда, когда этот час пройдет.

Он тянулся невыносимо.

— Если бы можно было предвидеть такое, — сказал Вестон,–там был бы экран!

Еще бы! Если бы люди могли предвидеть появление ТАКОГО гостя, телесвязь с выходной камерой была бы сделана самым тщательным образом. А так, в обычных условиях, в ней не было никакой нужды.

Прошло десять минут. Только десять!

Камера уже наполнилась воздухом. Дистиллированным, чистым воздухом космической обсерватории, без единой бактерии или микроба.

Но воздухом земного состава!

Как подействует на гостя этот воздух? Может быть, чуждое Земле существо задохнется в нем и, когда откроется внутренняя дверь, люди увидят только холодный труп?

— Нет, невероятно! — сказал Легерье. — Он не вошел бы так спокойно.

— Мне кажется, — сказал Муратов, — что я понимаю. Это один из хозяев спутников-разведчиков. А они давно знают нашу планету, знают состав ее атмосферы. И, видимо, она им не опасна.

Такое предположение многое объясняло. Но не все!

— Как он очутился на Гермесе? — спросил один из астрономов.

— Очень просто. Спрыгнул. Прыжок со ста метров вполне безопасен на астероиде таких размеров.

— Но зачем?

— Это мы узнаем от него самого.

Прошло двадцать минут!

Потом полчаса!

Каюта Легерье опустела. Хотя до момента, когда откроется дверь, оставалось еще много времени, все, кроме Макарова, собрались перед выходной камерой. Заместитель Легерье остался в своей каюте, у обзорного экрана, и периодически сообщал о том, что он видит снаружи. Вернее, о том, что он ничего не видит. Не было никаких признаков присутствия возле обсерватории других звездолетчиков.

Становилось очевидным, что находившийся в камере пришелец действительно один. Это делало его появление на астероиде вдвойне непонятным.

Что нужно ему здесь? Зачем он спрыгнул со своего корабля? Почему его товарищи бросили его одного, а сами улетели? Они могли видеть обсерваторию, но не могли знать, есть ли внутри ее живые существа. Обсерватория могла быть давно брошена за ненадобностью, ее могли обслуживать кибернетические автоматы. А в этом случае одинокий человек обречен на скорую и мучительную смерть. Не могли они не понимать этого! А если они знали о скорой гибели звездолета, то почему не высадились все? Да и зачем было улетать навстречу смерти, если они знали? Но как они могли знать?

Все, все загадочно, все непонятно!

Сорок минут!

На кораблях вспомогательной эскадрильи знали обо всем. Муратов не забыл о своих товарищах и рассказал им по радиофону о невероятном событии. Там, конечно, тоже волновались, но не так, как здесь. Ведь пришелец из космоса должен был появиться впервые именно здесь, на обсерватории!

Впервые!

Каждый про себя, они готовились к сверхсенсационному событию — к моменту встречи лицом к лицу обитателей разных миров!

Впервые в истории!

Пятьдесят минут!

Волнение нарастало. А тот, кто находился за толстой, непроницаемой дверью, волнуется ли он? Доступно ли ему подобное чувство?

Он должен волноваться! Нельзя себе представить разумное, мыслящее существо без нервной системы!

Они уже видели, что внешние формы пришельца очень похожи на формы людей Земли. Но что окажется под скафандром?

Никто не ожидал появления какого-нибудь чудовища. У гостя из космоса была голова, руки и ноги. Он был одет в скафандр, подобный земному. Он, видимо, мог свободно дышать воздухом Земли. Это говорило о том, что планета, бывшая его родиной, однотипна с Землей.

Прошло пятьдесят пять минут!

Еще пять минут!

И такая глубокая тишина (люди сдерживали даже дыхание) царила вокруг, что все отчетливо услышали, как там, в центральном павильоне, где были сосредоточены все агрегаты управления, щелкнул выключившийся автомат биологической защиты.

Обработка закончилась.

Если пришелец снял с себя скафандр — а он должен был это сделать,— если он думал логически, то ни на поверхности его тела, ни внутри его не осталось уже ничего, что могло бы заразить воздух обсерватории.

А если нет?

Но и тогда не было опасности. Скафандр был чист. Гостю жестами объяснят, что нужно снять его, и подвергнут его вторичной обработке.

Долгожданный момент приблизился вплотную!

Легерье, внешне спокойный, но с сильно побледневшим лицом нажал на кнопку.

Дверь раздвинулась.

Каждый из них представлял себе гостя по-своему. Каждый рисовал в воображении свой облик, подсказанный индивидуальной фантазией. Но все ожидали увидеть космолетчика, одетого соответственно понятию о космическом полете. Пусть не в комбинезоне, как земные астролетчики, пусть в самом невероятном по покрою и материалу костюме, с любыми чертами лица, любого цвета кожи!

Но того, что они увидели в действительности, не ожидал никто!

Гость снял скафандр, он догадался это сделать, как и ожидали.

Но!..

Всеобщий возглас изумления встретил появление пришельца.

Перед ними, близко от двери, стояла высокая девушка в коротком, сильно открытом платье золотого цвета. Густые иссиня-черные волосы обрамляли ее лицо со странным зеленоватым оттенком кожи. Большие, косо расположенные, очень удлиненные глаза пытливо, но совершенно спокойно смотрели на людей Земли.

Она подняла руку открытой ладонью вперед и произнесла мягким, певучим голосом, растягивая слоги:

— Гий-анэй-йа!

9

— Из всей этой загадочной истории самым странным мне кажется ее внешний вид, я говорю о Гианэе, — сказал Муратов. — Я не думал, что мы увидим такое полное сходство с земными людьми. Это просто невероятно. И как хотите, но в моем сознании не укладывается, что она житель иного мира.

— А кем иным она может быть?— спросил Легерье.

— Я понимаю это. Как и все, я вынужден признать факт. Право, не знаю, как вам объяснить, но что-то во мне протестует, даже возмущается...

— Тут нет ничего удивительного,— сказал Легерье.— Ваше состояние понятно. Люди приучили себя к мысли, что обитатели других миров не могут быть в точности похожими на нас. Но почему? Вселенная безгранична, и среди бесчисленного количества обитаемых миров должны встречаться любые внешние формы жизни, вплоть до мыслящей плесени, как писал один ученый в середине прошлого века. Существуют мыслящие организмы всевозможных форм. Но не надо забывать, что доступная нам часть вселенной состоит из тех же веществ, из тех же элементов, что и наша солнечная система. Установлено, что планетные системы — повторяю, в доступной нашему исследованию части вселенной — окружают звезды, по спектральному классу подобные Солнцу. Отсюда логический вывод: условия жизни примерно одинаковы. А что такое человек, как не продукт долгого, томительно долгого процесса приспособления к окружающим условиям. Внешние формы тела не могут быть нерациональными. Тело — исполнительный орган мозга. Природа выработала органы, наиболее приспособленные к выполнению определенных функций. А природа всегда идет по самому простому пути. Тело человека — это самый простой из теоретически возможных вариантов. Так почему же на других планетах, где условия жизни подобны нашим, этот процесс должен привести к иному результату?

— Но тут не подобие,— сказал Муратов,— а полное сходство.

— И это не удивительно. Я с самого начала был абсолютно убежден, что мы увидим ЧЕЛОВЕКА. Так и оказалось. И вот почему я был в этом уверен. Я разделяю вашу точку зрения. Корабль, который подлетает к Гермесу, принадлежит именно хозяевам разведчиков. Они знают, и знают хорошо, нашу Землю. И они решились в данный момент, неважно по каким причинам, высадить на астероид члена экипажа своего корабля. Мы не знаем, зачем они это сделали, но можем быть совершенно уверены в том, что они не сомневались: их товарищ найдет общий язык с нами. А такая уверенность никак не могла возникнуть, если бы мы и они были подобны.

— Все это так,— с оттенком досады заметил Муратов.— Но вы говорите: подобие, подобие... Откуда же не подобие, а абсолютное тождество?

— Вас смущает, что Гианэя — копия земной женщины, и притом женщины белой расы. Так ведь? Давайте подойдем к вопросу с другой стороны. Поменяемся ролями. Пусть не они, а мы сами исследовали пространство вокруг нашей планетной системы. И обнаружили несколько населенных миров. Пусть обитатели этих миров различны по внешности. Есть совсем непохожие на нас, есть подобные нам. А есть и совсем тождественные. С кем же мы свяжемся первыми? С кем произойдет первая встреча?

— Значит, все-таки это случайность?

— Да, но ничего странного я здесь не вижу. Скажу более: я был бы очень удивлен, если бы случилось иначе.

— По-вашему, они имели выбор?

— Похоже на то. Но может, конечно, и так случиться, что они и не имели выбора. Просто первая же населенная планета, которую они нашли, оказалась населенной одинаковыми с ними людьми. Тот факт, что Гианэя свободно дышит нашим воздухом, доказывает тождество Земли и ее родины. А такое тождество, по моему глубокому убеждению, не исключение, а правило в близкой к нам области вселенной. Я говорю о звездах класса нашего Солнца. У других звезд планетных систем не обнаружено. С их стороны было совершенно естественно и логично искать населенные миры возле звезд, подобных их солнцу.

— А чем вы объясняете зеленый оттенок ее кожи? — спросил Муратов.

Легерье улыбнулся.

— Вы сами понимаете, что на этот вопрос я не могу ответить сейчас,— сказал он.— Происхождение зеленого оттенка выяснится, когда Гианэю обследуют медики. Если она согласится на это.

— Если согласится? — удивленно спросил Муратов.— Как можно даже допускать возможность отказа!

Несколько минут Легерье молчал.

— Вот что, Муратов,— сказал он наконец.— Я рад, что вы заговорили об этом. Я не хотел ни с кем делиться своими наблюдениями, чтобы не создавать впечатления, которое может оказаться ложным. Но раз мы затронули эту тему... Скажите, вы не заметили в поведении Гианэи ничего особенного?

— Я заметил только, что она держится с поразительным спокойствием. В ее положении это даже неестественно.

— Да, конечно. Оказаться в чужом мире, среди чужих не только ей, но и всему человечеству, к которому она принадлежит, людей и держать себя так, как она, неестественно. Вы правы. Но мне кажется, что тут другое.— Легерье в волнении прошелся по каюте.— Очень бы хотелось, чтобы вы доказали мне мою неправоту. Буду говорить прямо. Вам не кажется, что Гианэя держится не спокойно, а высокомерно?

Продолжение следует.

Георгий МАРТЫНОВ

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 11 — 14

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО

Муратов вздрогнул. То, что сказал Легерье, совпадало с его собственными мыслями. Ему самому часто казалось, что в поведении чужеземки проступает сознание своего превосходства над окружающими, но он старался не поддаваться этому впечатлению.

— Да,— ответил он,— казалось, и не раз. Но, может быть, это не высокомерие, для него нет причин, а просто манера держаться, свойственная этим людям.

— Любой факт можно объяснить с любой точки зрения. Увидим! Все это выяснится со временем. Мне очень жаль,— прибавил Легерье, круто меняя разговор,— что я не буду присутствовать при ее приезде на Землю. Как она поведет себя? Когда вы вылетаете?

— Через двадцать четыре часа. Янсен считает, что Гианэя достаточно привыкла к нашей пище за эти два дня. Кстати, не странно ли, что она так охотно и без опасений приняла предложенный ей завтрак?

— Это лишнее доказательство правильности вашей же гипотезы, Муратов. Она принадлежит к тем, кто запустил к нам разведчиков. А они знают Землю, ее атмосферу, ее людей, а также и нашу пищу.

— И к тому же ей ничего другого не оставалось, если она не намеревалась умереть с голоду,— задумчиво сказал Муратов.

10

Радиограмма с Гермеса, извещавшая о появлении Гианэи и обстоятельствах, предшествовавших этому появлению, как и следовало ожидать, взволновала все население земного шара.

Возвращения эскадрильи ожидали с огромным нетерпением.

Автоматические радиоустановки обсерватории приняли огромное количество радиограмм с Земли, Марса, Венеры,—отовсюду, где были люди. Все человечество с восторгом восприняло появление первой представительницы иного разума на Земле.

Встреча обещала вылиться в грандиозную демонстрацию.

Гианэе показали ворох радиограмм, жестами постарались объяснить, что все это адресовано ей, что ее с нетерпением ждут на Земле.

Поняла ли она? Всем почему-то казалось, что поняла. Но внешне она осталась равнодушной.

Объяснения давал Вестон. На специально для этого вычерченной звездной карте он указал Гианэе на кружок, изображавший Гермес, потом на Землю. Она явно поняла его жесты. Потом инженер начертил стрелу — знак, который трудно было не понять любому мыслящему существу, тем более астролетчику. Острие стрелы упиралось в Землю.

Гианэя посмотрела на Легерье, стоявшего рядом, а затем она сделала рукой плавный жест, означавший только одно: «Летим туда!»

Каждая мелочь в поведении гостьи вызывала пристальное внимание. Все заметили, что, хотя пояснения давал Вестон, Гианэя «обращалась» исключительно к Легерье. Неужели она догадалась, что именно он является здесь старшим? В поведении начальника экспедиции не было ничего, что выделяло бы его среди других. И все же она догадалась.

После разговора с Легерье Муратов вспомнил об этом странном факте. Поведение Гианэи как будто подтверждало слова ученого: гостья вынуждена была к кому-то обращаться, и она выбрала начальника экспедиции, игнорируя остальных.

«Но как могла она догадаться, что Легерье начальник?» — думал Муратов.

Роальда Янсена, астронома, медика и биолога, исполнявшего на Гермесе обязанности врача, очень беспокоил предстоявший Гианэе перелет на Землю.

— Здесь,— говорил он,— воздух чист. В нем нет ни одного микроба. А ведь на Земле они есть. Как подействует это на организм Гианэи? Не заболеет ли она сразу по прилете?

На эту тему состоялся специальный разговор с Землей. Там разделяли опасения Янсена.

Гианэе некуда было деваться. Оставить ее на Гермесе было невозможно.

Казалось бы, о чем думать? Но никому не хотелось действовать без ведома Гианэи. Она согласилась лететь, но надо объяснить ей грозящую опасность. Может быть, она не знает о ней, не подозревает, что, ступив на Землю, подвергнет себя большому риску...

Было решено во что бы то ни стало попытаться узнать мнение гостьи. Но как это сделать?

— У нас нет иного пути,— сказал Янсен,— как только объяснить ей все с помощью рисунка, схем и биологических таблиц обмена веществ, дыхания и так далее. Если она знакома с биологией, то поймет. Если не знакома — не поймет ничего. Товарищ Вестон прекрасно рисует. Я попрошу его изготовить несколько рисунков по моему указанию. А затем попробуем.

— Думаю, что это объяснение должны давать двое,— сказал Легерье,— я и Янсен. Остальных прошу не присутствовать. Надо учитывать возможность, что Гианэя не поймет, и пощадить ее самолюбие.

Опыт прошел удачно. Гианэя, очевидно, хорошо поняла графический язык биолога. Но ответных жестов гостьи не поняли ни Янсен, ни Легерье. Согласна она лететь на Землю после их объяснения или не согласна?

Чтобы выяснить этот вопрос, перед Гианэей снова положили карту Вестона. Она улыбнулась и повторила тот же плавный жест, который все понимали как «Летим!».

— Мы сделали, что могли,— сказал Легерье.— Везите ее на Землю. Очевидно, она не боится никакого заражения.

— Похоже, что они знают нашу планету еще лучше, чем мы думали,— заметил Муратов.

— Да, видимо, так!

У Гианэи не было никаких вещей. Она явилась на Гермес, к людям Земли, в чуждый ей мир, одетой так легко, словно находилась не в космосе, а у себя дома. Точно зашла в гости на короткое время, с тем чтобы вскоре вернуться обратно. Это более чем странное обстоятельство не переставало удивлять всех на Гермесе и на Земле. Трудно было даже предположить, что побудило ее на такой поступок. Не могла же она быть одетой таким образом на космическом корабле! Здесь крылась тайна, разгадку которой можно было надеяться получить только впоследствии.

Обращали на себя внимание маленькие, очень изящные «золотые» туфли Гианэи. Они были снабжены магнитными подошвами. Это говорило о том, что обувь, выглядевшая нелепой в космическом полете, была предназначена именно для условий невесомости, то есть для космоса.

Причудливо выглядела эта высокая девушка, вся в «золоте», среди космонавтов, одетых в темные защитные костюмы. Ростом она была выше всех, кроме Муратова. Стройная, с чисто кошачьей ловкостью и гибкостью движений, Гианэя, казалось, не шла, а скользила по полу. Ее необычайно густые волосы с сине-зеленым отливом тяжелой массой спускались ниже пояса, а у затылка были перехвачены пряжкой в форме какого-то листка или ветки растения, неизвестного на Земле. Такие же «листки» прикрывали ее колени, не закрытые коротким платьем.

Воздух обсерватории был нагрет до восемнадцати градусов, но, судя по всему, Гианэе не было холодно. От предложенного ей комбинезона гостья отказалась.

Янсену очень хотелось измерить температуру ее тела, но Гианэя отклонила попытку врача, отклонила резко и, с земной точки зрения, невежливо, оттолкнув его руку с термометром.

Она не позволяла даже притронуться к себе. Рукопожатие, видимо, не было принято на ее родине. Если кто-нибудь при встрече протягивал ей руку, Гианэя делала шаг назад и поднимала руку к плечу открытой ладонью вперед — жест, которым она приветствовала людей при первом знакомстве с ними.

— Это гордость и высокомерие,— говорил Легерье.

— Это обычаи ее родины,— возражал Муратов.

Кто из них был прав, покажет будущее.

Скафандр, в котором Гианэя высадилась со своего звездолета, был тщательно осмотрен. Он был очень легок, из тонкого и гибкого металла голубого цвета. Определить его состав точно можно будет только на Земле, в лаборатории. Шлем кубической формы не имел внутри никаких акустических или радиотехнических устройств. Напротив глаз помещалась прозрачная пластинка, очень узкая, дымчато-серая, пропускавшая мало света. И, что было удивительнее всего, не было никаких резервуаров или баллонов с воздухом. Ни внутри, ни снаружи. Даже при очень осторожном, «экономном» дыхании, почти не двигаясь, в подобном скафандре можно было находиться никак не больше десяти — двенадцати минут.

— Это отчасти объясняет ее нетерпеливый стук,— заметил Вестон.— Ей грозило удушье. Но как могли решиться выпустить ее из корабля без запаса воздуха?

Новая труднообъяснимая загадка!

— По-моему,— сказал Муратов,— это доказывает, что они знали о том, что обсерватория населена. Иначе она шла на самоубийство.

— Да, очень темная история,— заметил Легерье.— Чем больше я об этом думаю, тем вероятнее мне кажется, что Гианэя просто убежала из корабля. Эта версия многое проясняет. В спешке она забыла про запас воздуха.

— Но ведь корабль остановился у самой поверхности Гермеса. Как же это согласовать с вашей версией? Выходит, что ее бегству помогал экипаж звездолета.

— Они могли заметить на астероиде искусственное сооружение и подлетели, чтобы узнать, что это такое. А она могла воспользоваться неожиданной остановкой.

— Тогда почему они остановились только на минуту?

Легерье пожал плечами.

— Темная история! — повторил он.

Скафандр был устроен так, что человек мог без посторонней помощи снять его с себя. Но не надеть. Это выяснилось, когда пришло время перевести Гианэю на флагманский звездолет эскадрильи.

Пришлось поломать голову, чтобы разобраться в незнакомой конструкции.

С земной точки зрения, костюм Гианэи был очень неудобен. Его нельзя было надеть на себя, в него надо было «войти». И, пожалуй, никто из людей Земли не смог бы это сделать, разве что акробат.

Гианэя с легкостью выполнила эту трудную задачу. Она скользнула, именно скользнула, в скафандр с непостижимой быстротой и ловкостью.

Но ведь не мог же этот скафандр быть изготовленным специально для нее. Он, очевидно, был таким же, как и остальные скафандры на корабле гостей. Значит, Гианэя не являлась исключением среди своего народа. Они все были так же гибки и ловки, как она.

Теперь надо было герметизировать скафандр. А Гианэя ни единым жестом не попыталась помочь людям. Она стояла и ждала. Словно ей было безразлично, лететь на Землю или оставаться на Гермесе.

«Вы хотите отвезти меня на свою родину. Думайте сами, как это сделать»,— говорил весь ее вид.

— Упрямое существо! — проворчал Вестон, внимательно рассматривая длинные полосы, висящие по краям разрезов скафандра.— Вся беда в том, что проделать это надо как можно быстрее. Иначе она задохнется раньше, чем дойдет до корабля. Неужели она этого не понимает?

— Может быть, она просто сама не знает, как обращаться со скафандром? — предположил Муратов.

— Да, еще бы! Отлично знает, но не хочет помочь. Вот, смотри, Виктор! Кажется, я понял. Эти полосы должны сами прилипнуть к разрезу. Иначе не может быть.

— Так попробуй! Хотя бы вот здесь, сбоку.

Догадка Вестона оправдалась. Казавшиеся металлическими полосы прилипали к разрезам. При этом раздавался сухой щелчок.

Муратов заметил едва различимое утолщение на концах полос. Он нажал на одно из них. Полоса отпала.

— Все ясно,— сказал он.— Рука в металлической перчатке может нажать на этот выступ. Но надеть скафандр самостоятельно нельзя. Выходит,—прибавил он, обращаясь к Легерье,— что Гианэе кто-то помогал при бегстве.

Астроном ничего не ответил.

Вестон укрепил все остальные полосы, оставив только одну, на шее, между воротом скафандра и шлемом. Ее предстояло укрепить самому Муратову, когда все будут готовы к выходу. Ни одной лишней минуты Гианэя не должна находиться без наружного воздуха. Корабли эскадрильи стояли метрах в шестистах от наружной двери обсерватории.

Последнее торопливое прощание, и внутренняя дверь закрылась. В камере остались Муратов, два инженера с эскадрильи и Гианэя.

Люди быстро надели свои скафандры. Чтобы сэкономить время, Легерье решил пожертвовать воздухом камеры и открыть наружную дверь, не откачивая его.

Муратов укрепил последнюю полосу. Теперь Гианэя могла дышать только тем ничтожным количеством кислорода, который остался внутри скафандра.

«А если мы ошиблись,— мелькнула тревожная мысль,— если скафандр закрылся не герметически?»

Но раздумывать было некогда. Условный стук во внутреннюю дверь... Открылась наружная. В камере сразу образовался полный вакуум.

Гианэя стояла спокойно. Все в порядке!

Муратов заранее решил, как ему поступить. Хотя на Гермесе благодаря почти полному отсутствию тяжести карабкаться по скалам было нетрудно, все же это требовало какого-то расхода мускульной энергии и, следовательно, кислорода.

Он поднял Гианэю на руки и чуть ли не бегом устремился вверх по крутому склону воронки. Путь был хорошо известен, и Муратов десятки раз уже проходил по нему.

Как отнеслась Гианэя к этому неожиданному для нее «насилию»? Муратов не почувствовал никакого сопротивления с ее стороны. Ему даже показалось, что она прижалась к его плечу, облегчая ему задачу.

Выходная камера звездолета была уже открыта. Как только они оказались внутри и была убрана лестница, камера закрылась и быстро наполнилась воздухом. В виде исключения решили обойтись без обязательной процедуры «очищения». Риска почти не было, ведь Гермес был совершенно лишен даже намека на атмосферу. Единственное, что они могли занести с собой,— это пыль на ботинках скафандров.

Муратов подошел к Гианзе, чтобы помочь ей снять скафандр. Но девушка отстранила его мягким движением руки и разделась сама.

Ее большие, странно приподнятые к переносице черные глаза пристально, с каким-то необычным выражением взглянули в лицо Муратову. Казалось, Гианэя хотела что-то сказать или спросить.

Что означал этот пристальный взгляд? Было ли это благодарностью или, наоборот, гневом, вызванным бесцеремонным обращением?

Как угадать выражение лица и значение взгляда у существа, хотя и во всем подобного человеку Земли, но глубоко, бесконечно глубоко чуждого?..

11

Шарэкс мчался среди полей. В желтом море хлебов, подобно островам, ровными цепочками чернели громадные, неуклюжие с виду вечелектры. Рассмотреть можно было только те, которые находились вдали. Близкие к полотну дороги мелькали туманными полосами. Людей не было видно.

Экспресс останавливался редко. Кончалось поле, проносился мимо город или рабочий поселок, и снова бесконечные желтые поля.

Муратов все время смотрел в окно, но ничего не видел.

Словно кинокартина на невидимом экране его памяти, один за другим проходили кадры тех незабываемых дней...

...Что означал взгляд Гианэи там, в выходной камере корабля?

Пришелица из другого мира подчеркнуто не позволяла никому даже прикоснуться к себе. А он, Муратов, поднял ее на руки.

Но ведь она не противилась. Он хорошо помнил, что Гианэя прижалась к его плечу, быть может, для того, чтобы облегчить ему ношу, ничем не выразила протеста. Она не могла не понять, что он сделал это для нее, что им руководило чувство беспокойства за нее.

Нет, странный взгляд Гианэи не мог быть выражением гнева. Потом, на протяжении четырех суток пути к Земле, Гианэя несколько раз обращалась к Муратову, как раньше, на Гермесе, она обращалась к Легерье.

Интересно все же, как определяла Гианэя, кто из окружающих ее людей является старшим? Не только внешне, но и внутренне у людей Земли давно уже исчезло представление, что один человек может быть более значителен, чем другой. Ни в поведении, ни в отношениях друг к другу, ни в чем не проявлялось и не могло проявиться подчиненное положение. Все держали себя совершенно одинаково. Только по разговорам можно было определить роль каждого человека в данном случае. Но Гианэя не могла понимать земного языка.

Не могла даже в том случае, если действительно принадлежала к тем, кто направил к Земле спутников-разведчиков. Не могла и тогда, если ее сородичи тайно от людей посетили Землю и познакомились с существующими на ней языками. Персонал астрономической обсерватории Гермеса и члены экипажей вспомогательной эскадрильи говорили на новом языке, появившемся тридцать лет назад и постепенно становившемся общеземным языком. Его Гианэя не могла знать. За последние полвека, и это можно было сказать вполне уверенно, никто не мог посетить Землю из другого мира незамеченным. Теперь существует «Служба Космоса».

...Эскадрилья опустилась там же, откуда взлетела. Миллионы людей съехались сюда, чтобы встретить Гианэю.

На Муратова и его спутников эта грандиозная демонстрация произвела неизгладимое впечатление.

А на Гианэю?..

С первого своего появления на пороге выходной камеры обсерватории и вплоть до приземления флагманского звездолета на Земле Гианэя не выказывала никакого интереса к окружающему. Равнодушие, граничащее с апатией, сквозило в каждом движении, в каждом взгляде. За семь суток своего пребывания среди людей Земли она сделала только четыре активных жеста: оттолкнула руку Янсена, когда он хотел измерить температуру ее тела, отстранила помощь Муратова в камере звездолета да еще два раза плавно повела рукой, точно хотела сказать: «Летим!»

К этому короткому списку можно было прибавить еще приветственный жест — поднятие открытой ладони к плечу.

И больше не было ничего!

Этим же жестом Гианэя ответила на приветствие встречающих, выйдя из корабля под небо Земли.

Можно было предположить, основываясь на явной молодости Гианэи, что она ступила на почву другого мира впервые, впервые увидела иных людей и иную природу.

Ни малейшего признака волнения! Это было неестественно.

После долгих сомнений, обсуждений, споров ученые решили не изолировать Гианэю от атмосферы Земли. Слишком много неудобств доставило бы гостье заключение в скафандр. Если она все же заболеет, ее вылечат. Не существовало уже микроба, против которого не было бы надежных средств. А сама Гианэя, по-видимому, не боялась заражения.

И девушка другого мира явилась людям «во всем блеске красоты», как говорил Легерье, с ног до головы одетая в «золото», с тяжелой массой сине-зеленых волос, ничем не покрытых, с ясно видимым зеленым оттенком кожи.

Расставленные повсюду, на многие километры от ракетодрома экраны показали ее всем встречающим.

Все знали, сколь необычно одета гостья из космоса. И все же появление такого более чем странного «космонавта» вызвало возглас изумления, прозвучавший подобно грому.

Муратов внимательно следил за Гианэей. В отсутствие Легерье он был единственным человеком, который мог хотя бы приблизительно судить по выражению лица за ее чувствами.

Гианэя казалась спокойной и равнодушной, как всегда. На верхней ступени трапа она остановилась, медленно подняла руку к плечу и так же медленно опустила ее. Взгляд Гианэи был обращен прямо перед собой. На огромное кольцо встречающих она даже не посмотрела.

Потом ее глаза опустились.

Внизу ее ждали ученые, работники космической службы, несколько операторов телехроники и журналисты.

И вот тут в это мгновение Муратов заметил то, что впоследствии послужило темой длительной и бесплодной дискуссии, бесчисленных догадок и предположений.

По лицу Гианэи скользнула судорога, ее глаза расширились. Но только на мгновение. Она сразу же приняла обычный, невозмутимый вид.

Но Муратов не ошибся. Объективы фотоаппаратов и телекамер запечатлели то же, что видел он. И он готов был поклясться, что Гианэю что-то поразило, что она ждала чего-то другого.

Больше того! Он увидел и понял вдруг, что перед ним другая Гианэя, что весь ее облик, выражение лица резко изменились, что все семь суток Гианэя находилась в состоянии напряженного ожидания и что только сейчас это напряжение покинуло ее, что она успокоилась.

В этом нельзя было ошибиться!

То, что он и его товарищи принимали за обычное лицо Гианэи, было маской. Только теперь он увидел ее подлинное лицо.

И его глубоко взволновало спокойствие, разлившееся по лицу гостьи, сразу, как по волшебству, потерявшему неподвижность и жесткость черт.

Что же могло послужить причиной такой перемены? Радушная встреча? Но Гианэю с первого же момента приняли на Гермесе как друга.

«Опять загадка!» — подумал Муратов с невольным чувством раздражения: он органически не терпел загадок.

Генри Стоун подошел к Гианэе и протянул руку.

И снова загадка! Гианэя не отступила, как раньше в таких случаях. Она подала председателю научного совета института космонавтики свою руку с длинными гибкими пальцами, на каждом из которых изумрудом блестел зеленый ноготь. Подала, но не ответила на пожатие. Это никого не удивило. Рукопожатие не могло быть обычаем на всех мирах.

Вслед за Стоуном к ней подошли две девушки. Муратов с удивлением узнал в одной из них свою младшую сестру. Но он сразу же понял, зачем она оказалась здесь. Марина была сотрудницей института лингвистики, ее спутница, видимо, тоже была лингвисткой. Очевидно, было решено сразу же приставить к Гианэе подруг, которые могли бы изучать ее язык или попытаться научить гостью земному.

Марина подошла первой. Она подняла руки, чтобы обнять девушку другого мира.

Гианэя отстранилась.

«Опять! — подумал Муратов.— Опять Гианэя удостоила чести прикосновения к своей руке старшего из присутствующих. Правда, сейчас угадать было нетрудно».

. . . . . .

Воспоминания Муратова прервала остановка экспресса. На этой станции ему нужно было выйти.

Но он снова вернулся к мыслям о прошлом вечере, лежа в постели.

Раз погрузившись в воспоминания, он испытывал настоятельную потребность вспомнить все до конца. Вернее, не вспомнить, он никогда не забывал событий тех дней, а снова пережить все мысли, сомнения и чувства, которые возбудила Гианэя.

Через три дня они встретятся, через три дня он снова увидит загадочную пришелицу, снова близко соприкоснется с окружающей ее тайной, нисколько не прояснившейся за эти полтора года.

Теперь он мог говорить с ней. Правда, не более как о самых обыденных вещах. Но и это уже кое-что. Триста слов, бывших в его распоряжении, могут что-то дать, если их как следует использовать.

Муратов не сомневался, что Гианэя будет говорить с ним не так, как с другими. Быть может, более откровенно. Недаром же несколько раз гостья выражала желание встретиться с тем, кто доставил ее на Землю, его имени она не знала.

Все говорят, что между Гианэей и Мариной существует внешнее сходство, что он сам еще более похож на гостью Земли. Может быть, именно в этом кроется причина явной симпатии Гианэи к своей переводчице, ее настойчивого желания увидеться с ним самим? Тогда еще больше шансов, что Гианэя ответит на его вопросы.

Пришелица из другого мира очень изменилась за это время. И изменилась к лучшему. Она стала заметно общительней, не отстранялась от людей, охотно обменивалась рукопожатием с теми, кто не возбуждал в ней непонятной антипатии, как, например, люди небольшого роста, которых она, по-видимому, не переносила. Она стала подвижней, живее, охотно участвовала в спортивных играх, постепенно начинала интересоваться жизнью Земли. Легерье не назвал бы ее сейчас гордой и высокомерной.

Но она по-прежнему молчала — обо всем, что касалось ее прошлого, истории ее появления на Гермесе. Именно это и послужило причиной того, что Муратов избегал встречи с ней.

Тогда, после прилета на Землю, Муратов вскоре покинул Гианэю. Да и что ему было делать возле нее? Он вернулся к своим обычным занятиям. Но интерес к необычному событию, в котором ему пришлось сыграть такую заметную роль, не оставлял его все полтора года. Он внимательно следил за всем, что касалось Гианэи, знал все, что делала гостья, даже лучше, чем знали это другие люди. Ведь его сестра постоянно находилась возле Гианэи и часто говорила с братом по радиофону.

На следующий же день после прилета Гианэя сумела объяснить Марине, что хочет переменить одежду, попросила изготовить такую же, какая была на ней, но белого цвета.

Ее желание было исполнено тотчас же. С тех пор гостья неизменно ходила вся в белом. Ни разу не надела она своего золотого платья, но тщательно хранила его, всюду возя с собой.

Муратов занес этот факт в достаточно уже длинный список загадок, заданных Гианэей людям Земли.

В чем дело? Что могло послужить причиной? Почему гостья так внезапно и спешно рассталась с золотым одеянием? И случайно ли выбрала она белый цвет?

Не было ли тут связи с необъяснимой переменой, которая произошла с Гианэей, когда она вышла из корабля?

Становилось очевидным, что появление Гианэи на Гермесе в золотой одежде было не случайно. Это имело какой-то смысл.

В очередном разговоре по радиофону Марина сказала брату, что белый цвет очень идет Гианэе.

— На солнце,— сказала Марина,— он делает почти незаметным зеленый оттенок ее кожи. Она становится коричневой, как от загара.

— И ты предполагаешь, что Гианэя сделала это только потому, что хотела скрыть зеленость? — спросил Муратов.

— Мне кажется, что это именно так,— ответила Марина.— Не забывай, что она женщина.

Муратов рассмеялся. Столь простое объяснение загадки казалось ему совершенно неправдоподобным. Гианэя привыкла к зеленому оттенку кожи, это обычный цвет, свойственный всем людям на ее родине. Почему же он может казаться ей некрасивым настолько, чтобы стараться скрыть его?

Нет, тут что-то другое!

И возможная связь Гианэи с теми, кто послал к Земле спутников-разведчиков, продолжала интересовать не только Муратова, но и всю службу космоса. Спутники все еще не появлялись. Если они ушли на очередной перерыв, то он продолжался уже почти четыре года. Шестая лунная экспедиция была последней. Было признано нерациональной тратой сил искать то, чего, возможно, и нет.

Если Гианэя действительно соплеменница «хозяев», то только она могла поднять завесу над космической тайной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Муратов приехал в Полтаву утром, в день прилета шестой лунной экспедиции, опоздав на один день против намеченного им срока. Он хотел встретить экспедицию потому, что в ее составе находился Сергей, а Муратов давно не видел друга юности и соскучился по нему.

Верный своему обещанию, он тотчас же разыскал Болотникова, который очень обрадовался его приходу.

На вопрос, познакомился ли он с Гианэей, как хотел, профессор обиженно ответил, что Марина сделала попытку их познакомить, но Гианэя повернулась спиной и даже не ответила на приветствие. Оскорбленный Болотников тотчас же отошел от нее.

Он был очень маленького роста, и странная антипатия Гианэи проявилась во всем блеске.

Такая упорная «невоспитанность» была трудноobjяснима, тем более что во всем остальном Гианэя держала себя скромно и вежливо. Она уже полтора года находилась на Земле и давно могла понять, что здесь нет ни «господ», ни «рабов». Для этого требовалась элементарная, самая поверхностная наблюдательность.

И тем не менее!..

Расставшись с Болотниковым, Муратов отправился к дому, в котором поселились Марина с Гианэей. Этот дом нетрудно было найти: весь город знал, где остановилась гостья из космоса.

Не без волнения подошел Муратов к двери. Как встретит его Гианэя? Может быть, ее обидело упорное нежелание Муратова увидеться с ней? И в самом деле, не было никаких причин, оправдывающих его упорство. Гианэя привыкла, чтобы ее желания тотчас же исполнялись.

Он постучал, но ответа не последовало. Немного подождав, Муратов толкнул дверь и вошел.

В доме никого не было.

В столовой он увидел неубранные следы завтрака. Очевидно, обе девушки торопились. Тут же лежала записка, написанная рукой Марины.

Муратов прочел:

«Милый Витя! Если ты зайдешь к нам и не застанешь, то мы уехали в Селену. Гианэя хочет осмотреть город. Увидимся на ракетодроме».

Муратов с досадой бросил записку. Ему хотелось, чтобы первый разговор с Гианэей состоялся без свидетелей, а не на ракетодроме, в толпе...

— «Если ты зайдешь, то мы уехали», —раздраженно повторил он слова записки.— Лингвистка называется!

Хорошо знакомая манера сестры, писавшей письма словно нарочно вопреки правилам грамматики, сейчас почему-то разозлила его.

Он вышел из дома. Но пройдя несколько шагов, остановился и... повернул обратно.

Как это часто бывает, он вдруг вспомнил, что видел там, на столе, не только записку сестры, но и какой-то рисунок, который тогда не привлек его внимания, а сейчас внезапно возник в памяти. Что-то очень знакомое было в этом рисунке.

Снова войдя в ту же комнату, Муратов подошел к столу. Память не обманула. Там лежал открытый альбом, видимо, принадлежавший Гианэе.

Муратов не счел себя вправе рассматривать весь альбом. Было неизвестно, понравится ли это Гианэе. Но открытую страницу он имел право посмотреть. Ведь Гианэя, конечно, знала, что он может зайти в их отсутствие.

На плотном листе карандашом был нанесен пейзаж Гермеса. Мрачные скалы, звездное небо и край диска обсерватории. На переднем плане человек в скафандре держал на руках другого человека. Судя по квадратной форме шлема, этот другой была сама Гианэя. Был изображен момент, когда он, Муратов, вынес Гианэю из выходной камеры обсерватории, чтобы перенести ее на флагманский звездолет эскадрильи.

Рисунок был мастерски выполнен. Муратов узнал черты своего лица, видные сквозь «стекло» шлема.

«У нее прекрасная память,— подумал Муратов,— ведь прошло полтора года с тех пор».

Было очевидно, что Гианэя рисовала недавно, может быть, даже сегодня. Значит, она думала о нем, ожидала его прихода. И вполне возможно, намеренно оставила альбом открытым на этой странице. Она хотела, чтобы он увидел рисунок.

«Я думаю о вас и хочу вас видеть» — так можно было понять это, если бы речь шла о земной женщине, но у Гианэи были иные представления, иные привычки. Мотивы ее поступков не всегда были понятны.

«Кто ее знает,— думал Муратов,— может быть, это означает как раз обратное: «Не хочу вас видеть, не забыла нанесенного оскорбления». Или что-нибудь другое, о чем и догадаться нельзя».

Он в нерешительности держал в руках альбом. Если Гианэя нарисовала этот эпизод по памяти, то она могла вспомнить и запечатлеть другое. Больше половины альбома было заполнено. А что, если она рисовала виды своей родины?

У Муратова задрожали руки. Стоит перевернуть страницу и, может быть, он увидит то, чего никогда не видели человеческие глаза.

Марина говорила, что Гианэя часто рисует, но никогда не показывает своих рисунков.

Искушение было велико. Но все же Муратов поборол жгучее любопытство и положил альбом на прежнее место.

Это было бы недостойным поступком — воспользоваться доверием гостьи. Она, очевидно, была уверена, что никто без ее согласия не заглянет в альбом. Гианэя уже знала людей Земли и верила им.

«Может быть, она сама, добровольно покажет рисунки, если попросить ее об этом?»

Но робкая надежда была явно беспочвенной. Марина однажды попросила, но не получила даже вежливого отказа. Гианэя просто промолчала.

Муратов медленно вышел.

«Шестая» должна была приземлиться в семь часов вечера. Сейчас было всего два. Что же ему делать все эти пять часов?

Ехать в Селену и попытаться найти в огромном городе Марину с ее спутницей? Это будет не так уж трудно. Где бы ни появлялась Гианэя, ее сразу замечали. Любой прохожий укажет ему, где искать. Но надо ли так явно показывать нетерпение? Не лучше ли увидеться именно на ракетодроме, как это указала Марина в записке?

Муратов зашел в столовую и заказал обед из четырех блюд, чтобы протянуть время.

В ожидании он раскрыл журнал, помеченный вчерашним днем.

Как он и ожидал, на одной из страниц был портрет Гианэи.

Оживленная, с улыбкой на губах, она стояла у какого-то памятника. Рядом была Марина.

Какой контраст с той Гианэей, которую помнил Муратов! Как изменилась гостья! Ни следа не осталось от напряженной, ожидающей чего-то маски. (Да, теперь он твердо знал, что лицо Гианэи тогда, на пути к Земле, было маской, трагической маской человека, убежденного, что его ожидает что-то печальное, а может быть, и ужасное. Это «что-то» было неизвестное людям Земли, но для самой Гианэи близкое и реальное!)

Если бы не форма глаз и зеленый оттенок кожи, Гианэю можно было принять за сестру Марины: так сильно было сходство между ними. Гианэя на полголовы была выше и казалась старше. Но сколько ей лет в действительности, никто еще не знал.

Скоро они встретятся. Теперь Муратов мог говорить с гостьей. Это сильно меняло их будущие отношения. Теперь он не будет столь беспомощным, как раньше, когда все приходилось объяснять жестами.

«Если только она не повернется ко мне спиной, как к Болотникову,— подумал он.— А это может произойти, если она обиделась за мое невнимание к ней».

Но в глубине души он не верил, что так будет. Ему казалось, что Гианэя нарисовала его в альбоме потому, что думала о предстоящем свидании и хотела его.

«Интересно, какова будет реакция Гианэи, когда она узнает, что я брат Марины!»

Он просил сестру не говорить об этом и был уверен в том, что его просьба исполнена. Гианэя еще не знает об их родстве.

С каждой минутой усиливалось нетерпение. Ему мучительно хотелось как можно скорее встретиться с Гианэей, выяснить самый главный вопрос: как она относится к нему? Если худшие опасения оправдаются, это будет тяжелым ударом. Слишком много надежд было связано с возобновлением старого знакомства, слишком многое и важное хотел он узнать, используя былую симпатию Гианэи!

А что Гианэя относилась к нему с симпатией, было несомненно. Достаточно вспомнить момент их расставания. Он зашел тогда, чтобы проститься с ней. Знаками объяснил, что уезжает. Гианэя сама, первая, протянула ему руку, чего прежде никогда не делала. В ее глазах он увидел грусть.

Очень велико было сходство этой девушки из другого мира с земными людьми. Разница была ничтожна. И нельзя было истолковывать ее жесты и выражение глаз иначе, как «по-земному».

А неоднократные просьбы Гианэи, чтобы Муратов приехал к ней! Это говорило о том же.

Нажав кнопку, дающую сигнал к уборке стола, он вышел на улицу.

«Убить» удалось всего полчаса. Осталось четыре с половиной.

«Поеду в Селену,— решил он.— Кстати, я никогда там не был. Погуляю, посмотрю город».

Долететь можно было за пять минут. Но все с той же целью — протянуть время — Муратов не поднялся к одной из многочисленных станций местного воздушного сообщения, находившейся рядом, а выбрал самый медлительный вид транспорта — городской вечебус.

Вскоре он пожалел о своем решении. Машина невыносимо часто останавливалась, входили и выходили пассажиры. Как правило, вечебусом пользовались только на небольшие расстояния, а Муратову нужно было пересечь весь город, раскинувшийся на многие десятки километров, проехать обширный район между Полтавой и Селеной, занятый автоматическими заводами, и только тогда он окажется у цели, да и то на окраине.

— Сколько времени займет путь до ракетодрома? — спросил он.

— Полтора часа,— ответил металлический голос водителя.

Несколько человек с удивлением взглянули на Муратова.

Он вздохнул и устроился поудобнее в мягком кресле.

Пусть удивляются люди его чудачеству. Им и в голову не может прийти, что он находится в нелепом положении человека, не знающего, куда девать время. С ним самим это случилось первый раз в жизни.

(Продолжение следует.)

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунок **Г. НОВОЖИЛОВА**

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 11—15.

2

Людей, посвятивших себя изучению вопросов языковедения, обычно причисляют к кабинетным ученым. Марина Муратова была исключением из этого правила. Большая исследовательская работа, которую она вела, не мешала ей интересоваться живописью, музыкой, заниматься спортом. Она много путешествовала. И не было ничего удивительного, что выбор ученого совета института космонавтики, искавшего подругу для Гианэи, остановился на ней.

Марина согласилась сразу. Она знала, что на долгое время будет оторвана от любимого дела, но это не остановило ее. Необычность и трудность предстоявшей задачи увлекли ее. Познакомиться с чужим языком, научить гостью из космоса земному языку, близко сойтись с существом, родившимся и выросшим на другой планете,— все это было увлекательно и романтично.

В первое время дело шло как будто гладко. Язык, на котором Гианэя говорила, был звучен, казался простым, слова запоминались легко. Группа сотрудников института лингвистики и сама Муратова считали, что и в дальнейшем не будет никаких трудностей. Но чем дальше, тем неохотнее Гианэя знакомила людей со своим языком.

Да и то, что люди уже знали, смущало лингвистов. Чувствовалось, что Гианэя упрощает фразы.

Высокая культура народа, к которому принадлежала Гианэя, исключала возможность бедности речи. Ее язык, безусловно, был богат и обширен, а его кажущаяся простота — обманчивой.

Когда окончательно убедились, что на помощь Гианэи рассчитывать не приходится, было решено продолжать изучение самостоятельно. Живя на Земле, общаясь с людьми, даже с одной только Муратовой, гостья невольно произносила новые слова и фразы. Их запоминали и «расшифровывали». В помощь прекрасной памяти Марины привлекли магнитофон. Маленький портативный аппарат, о существовании которого Гианэя не подозревала, сопровождал ее всюду.

Марина знала, что гостья симпатизирует ей. Было очень важно укрепить эти дружеские отношения. Все надежды ученых раскрыть загадку появления Гианэи были основаны на этом.

Муратова хорошо справлялась со своей работой. За прошедшие полтора года она ни разу не пожалела о том, что связала себя с Гианэей, ни разу между ними «не пробежала черная кошка». У гостьи Земли был хороший характер, и с каждым днем он становился лучше. Исчезли, ушли в прошлое натянутость, холодность в обращении и какая-то непонятная, но несомненная настороженность, очень заметные в первые месяцы. Теперь Гианэя была «обычной» девушкой. Всегда оживленная, очень подвижная, любящая спорт и игры, которые она осваивала с поразительной легкостью, рисование и музыку, она в последнее время даже дурачилась, оставаясь наедине с подругой.

Она не пыталась научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но с удовольствием слушала, когда играла Марина.

Иногда гостья начинала петь неведомые песни, со странным для земного слуха мотивом, без аккомпанемента, поражая всех, кто ее слышал, красотой тембра и невероятной широтой диапазона своего голоса.

Эти песни, записанные магнитофоном, служили главной «пищей» электронного мозга — в них было много новых слов и сочетаний.

Марина была убеждена, что Гианэя очень молода, но выяснить этот простой вопрос никак не удавалось. С непонятным упорством Гианэя отмалчивалась, когда ее спрашивали об этом.

Манера гостьи игнорировать некоторые вопросы, будто не слыша их, никогда не раздражала Муратову и не вызывала желания во что бы то ни стало добиться ответа. Она всегда помнила, что, несмотря на поразительное сходство с людьми, перед ней человек иного мира, с иными привычками и понятиями. И она делала вид, что молчание Гианэи вполне естественно.

Между двумя девушками было полное согласие и внешне полное взаимопонимание.

Всем казалось, что жизнь Земли нисколько не интересует Гианэю. Но Марина видела, и с каждым днем яснее, что это далеко не так.

Она уже хорошо разбиралась в оттенках выражения лица и особенно глаз гостьи. И постепенно убеждалась, что Гианэя просто прячет от людей свой интерес к Земле за искусной маской равнодушия.

За полтора года Гианэя объехала всю Землю. Она видела все, что было наиболее красивым, величественным и грандиозным на планете. И, казалось, все это не производило на нее впечатления. Нигде она не задерживалась долго, никогда не любовалась произведением искусства, красотой природы. Смотрела минуту, много—две и отворачивалась.

Но когда через несколько месяцев после поездки в Северную Америку Марина увидела нарисованный Гианэей Ниагарский водопад, она поняла, что Гианэе мимолетного взгляда достаточно, чтобы навсегда запомнить виденное. Величественная картина падающей воды была передана на рисунке с мельчайшими подробностями. Казалось, что в мозгу Гианэи запечатлелся фотографический снимок водопада.

И так было много раз. Гианэя все помнила, ничего не забывала.

Нет, это было не равнодушие! Тогда, может быть, внешнее безразличие ко всему — свойство ее соплеменников, своеобразная традиция, обязательная форма поведения, диктуемая обычаем?

Могло быть и так, но Марина почему-то не хотела верить этому. Ей казалось, что Гианэя все же «напускает» на себя равнодушие, делает вид, что ее не интересует Земля.

Зачем ей это может быть нужно?

И постепенно в душе Марины появилось и крепло убеждение, что гостья из космоса склонна к притворству.

И вот совсем недавно произошел случай, глубоко взволновавший всех и еще больше укрепивший Муратову в ее предположении.

Стоя у переезда через полотно шарэкса по пути в Полтаву, Гианэя неожиданно задала вопрос, показавший с полной очевидностью, что она прячет от людей не только свое прошлое, но и настоящее.

Откуда могла узнать Гианэя, что у Марины есть брат? Больше того, она знала, что форма пути шарэкса — конструкция Виктора Муратова!

Гианэя разговаривала только с Мариной. Все, что она говорила другим и что ей говорили, переводила Марина. Если гостья не знала ни одного земного языка, она никак не могла знать о существовании Виктора Муратова вообще. Но вдруг оказалось, что она об этом знает. И не только об этом.

Новость была очень важной и повлекла за собой совсем уж непредвиденные последствия. Случайно ли проговорилась Гианэя? Или она намеренно захотела показать людям свою осведомленность? Этот важнейший вопрос сразу встал перед ученым советом института космонавтики.

Гианэя, случайно или намеренно, но обнаружила знание по крайней мере одного из языков Земли. Из этого факта можно было сделать вывод, что старые подозрения справедливы, что Гианэя действительно принадлежит к тем, кто направил к Земле спутников-разведчиков. А если это так, то становилось очевидным и другое: ее соплеменники были на Земле. Но можно было объяснить все и проще: Гианэя сама, без чьей-либо помощи, изучила земной язык.

Было очень важно выяснить, какой именно язык знает Гианэя. С этим вопросом обратились к Муратовой.

Гианэя любила рассматривать журналы, и ей доставляли их отовсюду. Думали, что ее интересуют только иллюстрации.

Теперь встал вопрос: какие именно журналы предпочитала Гианэя?

Гианэя знала, что человек, предложивший новую форму пути для шарэкса,— брат ее спутницы. Значит, в каком-то из журналов была напечатана статья об этом.

И нужная статья очень скоро была найдена. В ней говорилось о шарэксе и упоминалось, что Виктор Муратов — родной брат Марины Муратовой, подруги и переводчицы Гианэи. Стало очевидно, что именно эту статью и прочла Гианэя.

Журнал оказался на испанском языке.

В институте лингвистики облегченно вздохнули. В звучании слов, в построении фразы языка Гианэи давно уже заподозрили сходство с каким-то из романских языков Земли. Теперь отпали последние сомнения. Каким бы странным совпадением это ни казалось, но люди неведомой планеты (может быть, не все, а только часть, к которой принадлежала Гианэя) говорили на языке, очень сходном с испанским.

Эта вторая новость была еще более сенсационной, чем первая.

Многое стало ясно. Не могла Гианэя «случайно» выучить именно тот язык, который больше всего походил на ее родной. Она знала его раньше, до того, как появилась среди людей.

А отсюда, естественно, вытекал другой вывод: Гианэя и те, кто был хозяевами спутников-разведчиков, принадлежали к одному и тому же народу! Догадка стала истиной.

Люди считали, что никогда еще существа иного мира не посещали Землю. Это оказалось ошибкой. Неизвестно когда, но соплеменники Гианэи были на Земле, и были довольно долгое время. Они успели узнать и изучить земной язык.

По-испански говорили не только на Пиренейском полуострове. В Мексике, республиках Центральной Америки, во всей Южной Америке, за исключением Бразилии, говорили по-испански. Космический корабль пришельцев мог опуститься именно там. Тогда сходство их языка с языком «землян» оказалось счастливой случайностью.

С большой долей вероятности можно было предположить, что «гости» прилетали на Землю очень давно. Если бы это случилось в последние века, их прилет не остался бы незамеченным. Легко было посадить корабль, скрыв его от взоров людей, смешаться с населением редких городов и поселков, узнать все, что было нужно. И так же незаметно покинуть Землю.

Чем могли привлечь к себе внимание люди, подобные Гианзе? Зеленым оттенком кожи? Его легко было скрыть, прибегнув к гриму, или к сильному загару. Необычной формой глаз? Возможно, что на это обратили внимание, но это был не столь уж заметный признак, чтобы поразить воображение или возбудить какие-либо подозрения у людей.

Так неожиданно открылась одна из тайн, окружавших Гианзю.

Марина Муратова хорошо знала испанский язык. Велико было искушение внезапно заговорить с Гианзей по-испански, застать ее врасплох, но Марине посоветовали не делать этого. Если гостья все же не намеренно задала свой вопрос, а проговорилась, то лучше всего было сделать вид, что этот случай прошел незамеченным. А если намеренно, то тем более не следовало форсировать события. Пусть Гианзя сама решает, когда надо заговорить «полным голосом».

3

В те дни Виктор Муратов был очень занят и ничего не знал о новости, взволновавшей Землю. Он был срочно вызван в один из вычислительных центров, связанный с экспедицией Жана Легерье и контролирующий движение Гермеса.

Возникло непредвиденное осложнение. На своем пути астероид встретился с крупным телом, еще неизвестной малой планетой. Локационные приборы и гравиметры своевременно предупредили о встрече, и столкновения удалось избежать. Но траектория Гермеса изменилась. Нужно было исправить курс.

Легерье и Вестон сами произвели расчеты и сообщили их на Землю. Они совпали с расчетами, произведенными в вычислительном центре. Теперь требовалась четвертая, окончательная проверка. В подобных делах давно уже стало традицией, чтобы вычисления производились четырежды.

Как всегда, погрузившись в работу, Муратов выключил из сознания все остальное. А когда работа была окончена (в четвертый раз был получен один и тот же результат), осталось мало времени, и Муратов спешно отправился в Полтаву.

Селена поразила его своими размерами. Она была значительно больше Полтавы, хотя считалась пригородом. Город вырос со сказочной быстротой на пустом месте — за пять лет.

Селена имела форму кольца. В центре помещался огромный ракетодром.

Круговой вечебус провез Муратова через весь город.

Он забыл о времени, о своем нетерпении — обо всем. Зрелище целиком поглотило его внимание. На каждом шагу, на каждом повороте открывались ансамбли зданий один красивее и величественнее другого. Дома казались воздушными, обилие зелени подчеркивало легкость конструкций, огромные проемы окон насквозь пронизаны солнечным светом.

И люди, живущие в этом волшебном городе, невольно казались какими-то другими, не такими, как в других городах. Они сами были словно пронизаны светом.

«Обязательно попытаюсь переехать сюда,— думал Муратов.— Надо пожить среди этой красоты. Наверное, и работе пойдет здесь быстрее».

На ракетодром он добрался на космолете.

На огромном бетонном поле жизнь шла обычным порядком. Озабоченно сновали по полю быстрые, верткие служебные машины, медленно, солидно ползли чудовищной величины заправочные цистерны, летали на маленьких космолетах дежурные механики, регулировщики, диспетчеры. Далеко в центре поля блестели на солнце корпуса ракет, внутренних и посадочных. Межпланетные корабли не опускались на ракетодром. Они высаживали своих пассажиров или ожидали их высоко над ним, за пределами атмосферы.

В здании космопорта Муратов увидел много людей. Он сразу наткнулся на Стоуна. Председатель ученого совета обрадовался Муратову — они давно не виделись — и крепко пожал ему руку.

— Итак,— сказал Муратов,— снова ничего!

— Да, к сожалению, снова,—со вздохом ответил Стоун.

Речь шла о шестой. Оба уже знали, что экспедиция опять вернулась ни с чем. Никаких признаков присутствия на Луне спутников-разведчиков или их базы не удалось обнаружить.

— Это последняя,— прибавил Стоун.— Нет смысла продолжать поиски, пока мы не узнаем что-нибудь новое.

— Внимание!— раздался негромкий отчетливый голос.— Отлетающим на Марс пройти на посадку.

Вестибюль заметно опустел. И тогда Муратов вдруг увидел Марину и Гианзю. Они стояли у одного из многочисленных киосков-автоматов, оживленно разговаривая. Проходившие мимо украдкой бросали любопытные взгляды на эту пару.

— Интересно, зачем она сюда явилась?—сказал Стоун, проследив за взглядом Муратова.—Похоже, что Гианзю очень интересуют наши поиски на Луне.

— Откуда она может знать о них?

Стоун изумленно посмотрел на собеседника.

— Как,— воскликнул он,— вы ничего не знаете?!

— Что именно?

— Да вы читали газеты в эти дни, слушали передачи?

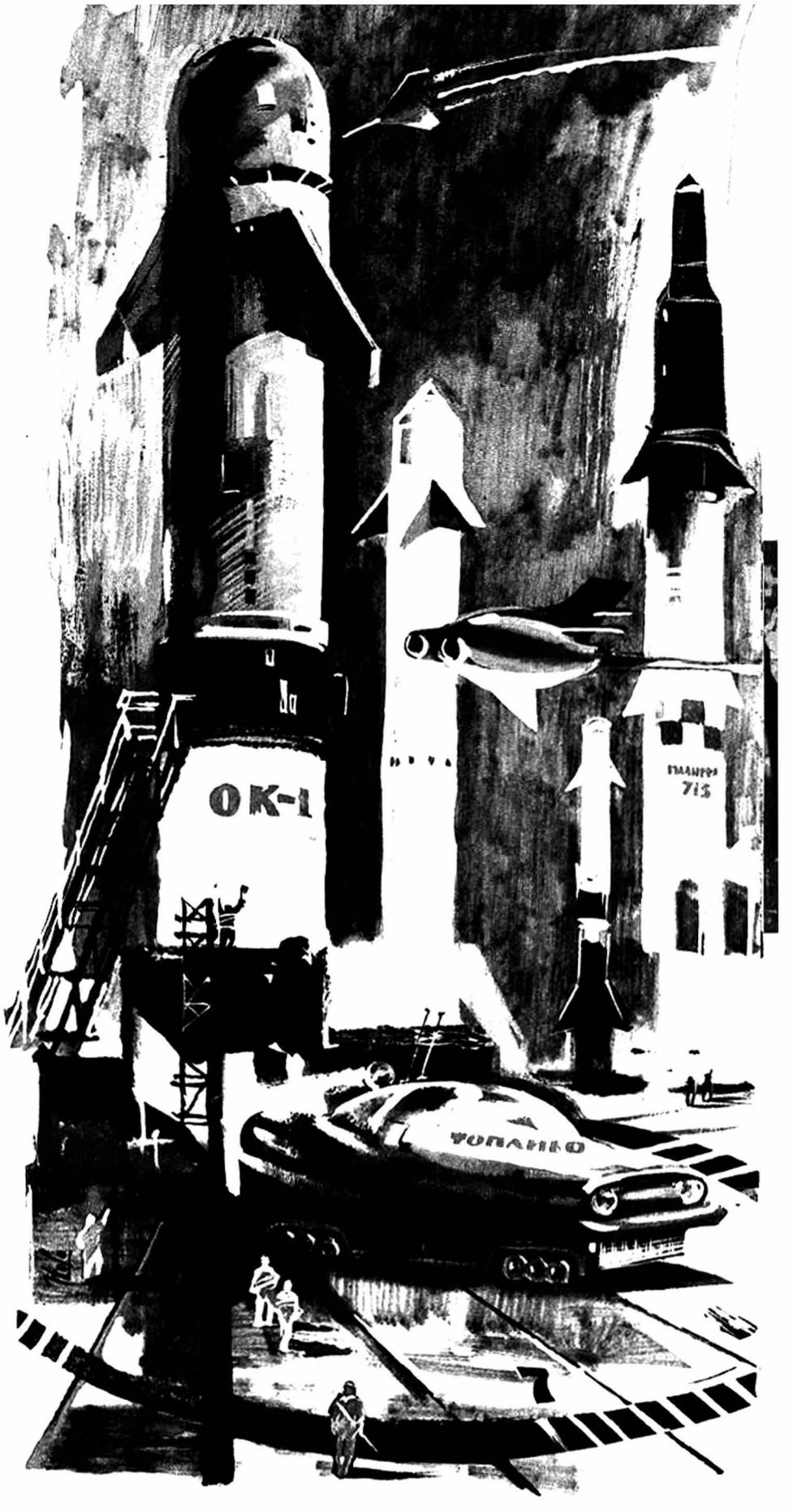
— Нет,— ответил Муратов,— мне было некогда. Вы же знаете, чем я занимался.

Муратов слушал рассказ Стоуна с изумлением. Вот это новость! Гианзя знает испанский язык. Невероятно!

— Теперь вы понимаете?— спросил Стоун.

— Еще бы! Отлично понимаю, что весь мой план рухнул.

— Почему же?— Стоун знал о намерениях Муратова.— Скорей наоборот, это вам поможет. Но только надо быть очень и очень осторожным.



— Вот именно! А это как раз и означает, что нужен новый, совсем новый план.

— Гианзе не следует показывать, что нам известна ее тайна. Я посоветовал бы вам как бы случайно, в удобный момент, заговорить при ней по-испански с вашей сестрой. Выберите интересную для Гианзи тему. Интересно и важно проследить, как она будет реагировать на это.

Муратов опасливо посмотрел на Гианзю. Она находилась от них шагах в тридцати, не больше.

— Мы говорим слишком громко,—шепнул он Стоуну.— Гианзя слышит более чем хорошо.

— Мы же говорим не по-испански.

— А кто ее знает! Может быть, она понимает. После того, что вы рассказали, я ни за что не поручусь.

— Да, это, пожалуй, верно.

Толпа пассажиров, только что вошедших в вестибюль, отделила их от двух девушек.

Стоун посмотрел на часы.

— Шестая должна прибыть минут через двенадцать,—сказал он.— Идите к ним.

— Думаю, что Гианэя не захочет говорить со мной.

— Вряд ли. Ваша сестра сообщала, что Гианэя еще вчера снова спросила про вас.

«Я угадал,—подумал Муратов.—Она рисовала пейзаж Гермеса не случайно».

— Хорошо,— сказал он.— Иду! Будь что будет.

Но Марины и Гианэи не оказалось на прежнем месте. Они куда-то ушли.

Муратов отправился на поиски.

. . . . . .

С самого утра Гианэя нервничала. Это было хорошо заметно по ее движениям, голосу, выражению лица. Марина видела, что какая-то неотвязчивая мысль не дает ей покоя.

За завтраком Гианэя неожиданно попросила показать ей Селену. Но просьба нисколько не удивила Марину. Она ждала ее давно, не сомневаясь, что именно прилет шестой лунной экспедиции заставил Гианэю явиться сюда. Теперь уже не приходилось удивляться ее осведомленности.

Вчера Гианэя удивила Марину внезапным вопросом: приедет ли ее брат в Полтаву? Она не прибавила: «...встречать шестую»,— но было ясно, что спрашивала именно об этом.

Марина ответила, что Виктор приедет.

Может быть, не прилет лунной экспедиции, а именно предстоявшая встреча с Виктором так сильно взволновала Гианэю?

Марина немедленно сообщила обо всем Стоуну. В ученом совете с большим удовлетворением встретили это известие. Вопрос Гианэи давал все основания считать, что девушка решила «открыть карты», что у переезда через полотно шарэкса она не проговорилась, а намеренно дала понять, что знает многое, чего не могла бы знать, не владея земным языком.

Но тогда почему она прямо не сознается в этом? Было похоже, что Гианэя все еще чего-то опасается.

Марине рекомендовали отнестись ко второму случаю «откровенности» Гианэи так же, как к первому: сделать вид, что она ничего не заметила.

4

В Селене Гианэя была задумчива и рассеянна. Она старалась проявлять интерес ко всему, что ей показывали, и это больше всего говорило о потере ею душевного равновесия.

Следуя намеченной линии поведения, Марина предложила вернуться в Полтаву как раз тогда, когда по времени следовало отправиться на ракетодром, если Гианэя действительно хотела встретить шестую.

Можно было ожидать, что тут уж Гианэя вынуждена будет ответить прямо.

Но гостья нашла естественно звучавший ответ.

— Вы говорили,— сказала она,— что город выстроен кольцом вокруг ракетодрома, а его самого мне не показали. Раз уж мы здесь, покажите и его.

«Вывернулась!—с досадой подумала Марина.— Что за странное упрямство!»

Они ездили по Селене в вечемобиле. Марина повернула руль, и машина направилась к центру. Непонятная тревога Гианэи усиливалась. Щеки девушки пылали, глаза блестели лихорадочно. Несколько вопросов, заданных Мариной, осталось без ответа. Казалось, что, поглощенная своими мыслями, Гианэя ничего не слышит.

Но когда они вошли в вестибюль вокзала космопорта, Гианэю точно подменили. Она оживилась и сама засыпала Марину вопросами. Ее лицо приняло обычную окраску, и только блеск глаз показывал, что тревога еще не покинула Гианэю.

И вдруг (Марина не поверила своим ушам) Гианэя спросила:

— Сколько человек участвовало в шестой лунной экспедиции?

— Откуда вы знаете об этой экспедиции? — не выдержала наконец Марина и пристально взглянула на подругу.

Гианэя нисколько не смутилась.

— Вы же сами говорили мне об этой экспедиции,— ответила она невозмутимо.

Это было явной ложью, такого разговора никогда не было. Марина помнила это точно. «Так! — подумала она.— Гианэя способна не только притворяться, но и лгать».

— Я не помню,— сказала она вслух,— чтобы когда-нибудь говорила вам о шестой лунной экспедиции. А почему она вас может интересовать?

Ответа не последовало. Гианэя предпочла прибегнуть к обычному молчанию.

— Мы будем ждать прилета шестой экспедиции?— спросила Марина как ни в чем не бывало.

— Да,— ответила Гианэя.

Этим коротким словом она признавалась, что приехала в Полтаву специально для встречи шестой. Не могла она не понимать, что смысл ее слов ясен для Марины. И не боялась этого.

«Что ж, пора уже!—думала Марина.—Знать язык и не говорить на нем очень трудно. Гианэя, наверное, истосковалась по свободному разговору. Играть роль полтора года более чем достаточно».

— Здравствуйте!—раздалось позади них.

Гианэя так стремительно обернулась, что не могло быть никакого сомнения: она узнала голос, который слышала полтора года назад. Радость буквально осветила ее лицо.

— Наконец-то!—сказала она с полной откровенностью, протягивая Муратову руку. —Почему вы так долго не появлялись? Я просила Марину.

В несколько дней Гианэя, словно вознаграждая людей Земли за свое долгое молчание, раскрывалась с ошеломляющей быстротой.

Муратов понял, что она сказала.

— У меня не было времени,—ответил он, с трудом подбирая слова.— Я очень рад видеть вас.

Марина улыбнулась его произношению.

Гианэя не улыбалась. Она не выпускала его руки и смотрела прямо в глаза тем же пристальным взглядом, как тогда, в выходной камере звездолета, точно собираясь что-то спросить или сказать.

И молчала.

Но она видела, что Муратов понимает ее язык. Что же мешало ей задать вопрос?

— Мне жаль,—сказал он, так и не дождавшись ни одного слова с ее стороны,—что я не мог раньше исполнить ваше желание.

Помня совет Стоуна и действительно испытывая затруднения в подборе слов, он, будто нечаянно, вставил в свою фразу несколько испанских. Гианэя не переспрашивала. И по ее лицу нельзя было определить, удивил ли ее испанский язык в устах Муратова или нет.

— Вы были у нас?

Муратов понял, что она имеет в виду Полтаву.

«Она хочет спросить, видел ли я ее рисунок в альбоме»,— подумал он.

— Да, был.

Гианэя отпустила его руку.

Голос диктора сообщил о приземлении посадочной ракеты с корабля, прибывшего с Луны. Это и был тот корабль, которого они ожидали,— шестая лунная экспедиция.

Марина перевела сообщение Гианэе.

— Вы так и не ответили мне,—спросила гостья,—сколько человек участвовало в этой экспедиции?

— Восемнадцать.

— Прибыли только они? Других пассажиров нет в посадочной ракете?

Пятый раз!

Слова «посадочной ракете» Гианэя сказала по-испански.

Марина не решилась ответить на том же языке. Стоун рекомендовал ей сугубую осторожность. Гианэя могла произнести два испанских слова нечаянно, сама того не заметив.

— Не знаю,—ответила Марина на языке Гианэи.— Думаю, что других пассажиров нет. Это корабль особого назначения, только для экспедиции.

Настойчивость Гианэи все больше удивляла Марину. Зачем ей надо знать такие подробности?

Посадочная ракета опустилась недалеко от вокзала. Подали трап, и один за другим на Землю спустились пассажиры. Их было хорошо видно.

— Я сейчас вернусь,— сказал Муратов.— Подождите меня на этом месте.

Он пошел навстречу Сергею.

Марина заметила, что Гианэя про себя считает выходящих из ракеты. Когда вышел последний, восемнадцатый, она вздохнула явно облегченно. Получалось, что девушку иного мира тревожил вопрос: все ли вернулись с Луны?

Странно! Неужели только для того, чтобы самой убедиться в этом, она приехала сюда?..

Муратов и Синицын встретились на половине дороги. Обнялись.

— Итак,—сказал Виктор,— снова ни с чем?

— Как видишь!— недовольным тоном ответил Сергей.

— Это, что же, по выражению твоего лица я должен видеть?

— Знаешь ведь.— Синицын не улыбнулся шутке товарища. Его лицо оставалось хмурым.

Муратов внимательно посмотрел на друга.

— Стоун сказал, что эта экспедиция последняя.

— Знаю. И не согласен с их решением.

— Вас встречает Гианэя,— сказал Муратов, уверенный, что эти слова поразят Синицына.

Но он ошибся. На лице Сергея ничего не отразилось при этом известии.

— Зачем ей это понадобилось?— спросил он равнодушно, явно не интересуясь ответом.

— Загадочная история.— Муратов коротко рассказал о последних событиях, связанных с Гианэей.

Синицын и тут остался равнодушным.

— Об этом стоит подумать,— только и сказал он.— Знаешь, что, Витя, не говори со мной о Гианэе. Меня раздражает даже звук ее имени. Я не знаю причин ее молчания, но когда подумаю, что стоит ей захотеть...

К прибывшим подошел Стоун.

— Ты где остановился?— поспешно спросил Синицын.— Ага! Я приду к тебе сегодня вечером, часам к восьми. И тогда мы подробно поговорим обо всем. А сейчас, извини, некогда.

Муратов отошел.

Разговор между Мариной и Гианэей, который он несколько минут назад слышал, неопровержимо доказывал, что Гианэя интересуется результатами лунных экспедиций, что не случайно оказалась она в Селене именно сегодня.

Знает, все знает!

Он медленно подошел к обеим девушкам. И неожиданная мысль пришла ему в голову, заставив его на мгновение остановиться: «А что, если спросить Гианэю прямо?»

Он чувствовал, что напрасно задает себе этот вопрос, что решение им уже принято. Нет никаких сил сдерживаться и чего-то ждать. Стоун и ученый совет чрезмерно осторожны. Что плохого может произойти? Ну, не ответит и только.

«Э! Будь что будет!»— подумал он.

— Гианэя!— От волнения Муратов не заметил, что говорит по-испански.— Я очень прошу вас ответить мне на один вопрос. Он очень важен для всех нас и особенно для меня лично. Вы должны ответить, если вы мне друг. Искусственные спутники, направленные к нам вашими соотечественниками, находятся сейчас на Луне?

Марина в полной растерянности, но с тайной радостью услышала этот неожиданный вопрос. Ее брат решительно и просто разрубал завязавшийся узел.

Гианэя опустила голову. Она поняла все, что сказал Виктор, и не скрывала, что поняла. Было видно, что в ней происходит какая-то мучительная борьба.

А когда наконец она подняла голову и посмотрела на Виктора, он увидел, что длинные темные глаза гостьи полны слез. Никто никогда не видел, чтобы Гианэя плакала.

— Да,—ответила она едва слышно.

Муратов перевел дыхание. волнение душило его.

— Почему вы молчали?— спросил он, с трудом справляясь с голосом.— Вы же знали, как это важно для нас.

Она ответила еще тише:

— Я боялась. Я хотела сказать давно, но вы все не шли. Но теперь я не боюсь. Я давно поняла, что Риагэя был прав. Я погубила себя, но спасаю вас.

5

Седьмая экспедиция на поиски таинственных спутников-разведчиков собралась быстро. Теперь больше чем когда бы то ни было следовало торопиться. Там же, на ракетодроме, после долгого и томительного молчания, Гианэя прибавила несколько слов, имевших огромное значение для космической службы.

Ответив, вероятно, неожиданно для самой себя на вопрос Муратова, Гианэя заторопилась уехать. Она явно опасалась дальнейших вопросов с его стороны, быть может, жалела о своей откровенности, была расстроена и сильно взволнована.

Муратов проводил их до вечемобиля. Он понимал, что нельзя спрашивать Гианэю ни о чем: она не ответит больше ни на один вопрос. А ему хотелось и было очень нужно задать ей этот вопрос, единственный и чрезвычайно важный.

И вдруг Гианэя сказала сама, сказала именно то, что он хотел спросить.

Уже сидя в машине, она протянула ему руку, впервые ответила на пожатие, как-то робко и застенчиво улыбнулась.

— Я должна предупредить вас,—сказала она так тихо, что он едва расслышал.— Будьте очень осторожны. Наши (она произнесла длинное слово на своем языке, очевидно, означающее «спутники» или другое, более правильное название разведчиков) опасны, и к ним нельзя приближаться. Уничтожьте их!

Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. Страдальческие складки легли у краев ее губ, и все лицо Гианэи показалось вдруг постаревшим.

— Поезжайте же!— шепнула она Марине.

Вечемобиль умчался. Виктор остался один. Он долго смотрел вслед машине. Сердце успокаивалось, билось ровней и медленней.

Итак, полный успех! Порыв, необдуманный и рискованный, дал неоценимый результат. Спутники — на Луне, и Гианэя сама советует уничтожить их, не приближаясь к ним.

Муратов отправился искать Стоуна.

Председатель ученого совета и участники шестой экспедиции еще не уехали из космопорта. Сообщение Муратова было встречено всеми с удивлением и радостью.

Несколько часов спустя Муратов долго разговаривал по радиофону с сестрой. Марина рассказала, что Гианэя сразу по приезде домой легла в постель и просила не тревожить ее.

— Она выглядит спокойной, но очень мрачной. Что-то угнетает ее, лишает покоя. Мне кажется, она раскаивается в том, что сбросила маску.

— На каком языке она разговаривает с тобой?— спросил Муратов.

— На своем, как всегда. А я не решаюсь заговорить с ней по-испански.

— И не надо. Она сама скоро перейдет на испанский язык. Вот увидишь!

— Гианэя хочет сегодня уехать.

— Куда?

— Ей безразлично, лишь бы подальше отсюда.

— Да, я понимаю. Она мучается, нарушив закон своей родины. Но ведь ты сама слышала, как она сказала, что давно решила стать откровенной и что ей мешало мое отсутствие. Чем ты это объясняешь?

Марина ответила не сразу.

— Может быть, здесь играет роль твое сходство с ней.

— Так можно додуматься до того, что Гианэя любит меня.—Муратов улыбнулся, вспомнив реплику Сергея на ракетодроме.

— Возможно, что это и так,— совершенно серьезно ответила Марина.

— Чепуха! Когда-нибудь мы узнаем причину ее особого расположения ко мне. Это очередная загадка Гианэи. Значит, сегодня вы уезжаете?

— Да. Я предложила ей посетить Японские острова, где она еще не была. И Гианэя впервые согласилась лететь. Ей, очевидно, не терпится поскорее уехать отсюда.

— Ну что ж,— сказал Муратов.— Счастливого пути! И еще два слова. Предсказываю тебе, что Гианэя очень скоро снова обо мне вспомнит. Она заговорила и захочет рассказать обо всем.

Он выключил радиофон.

И в тот же вечер пришло письмо. Оно было от Гианэи.

Записка, вложенная в тот же конверт, пояснила, что письмо написано Гианэей перед самым отъездом в аэропорт.

«Она совсем успокоилась,— сообщала Марина.— Ведет себя как всегда, шутит и полностью перешла на испанский язык. Говорит абсолютно свободно, будто всю жизнь говорила по-испански. Это очень удивляет меня. А тебя? Странно, не правда ли? Я не очень довольна и сказала это Гианэе. Она поняла причину и обещала ежедневно давать уроки своего языка. И, кажется, собирается делать это в полном объеме. Наконец-то!»

Письмо Гианэи было коротко.

«Виктор! — писала Гианэя.— Вы заставили меня сказать больше, чем я хотела. Но я об этом не жалею, боюсь только: не слишком ли поздно? Люди Земли не заслуживают участи, которую им готовили. Я была связана клятвой и нарушила ее. Для меня это означает вечное пребывание на Земле. Но я и не хочу возвращаться, даже если бы это стало возможно. Я сказала и должна дополнить свои слова, иначе они будут для вас бесполезны. То, что вы ищете, невидимо для глаз человека Земли. Я знаю это со слов Риагэи. Что вам надо делать, не знаю. Придумайте сами.

Гианэя».

(Продолжение следует)

«Ну, теперь мы знаем все» — подумал он.

Он перечитывал письмо в третий раз, когда приехал Сергей.

А еще через двадцать минут в комнате Муратова появился Стоун.

Ни он, ни Синицын не знали испанского языка. Муратов перевел письмо Гианэи.

— Это можно было предвидеть,— сказал Сергей.— Что спутники невидимы, мы знали и раньше. Выходит, что и сама их база также невидима.

— Возможно, этим и объясняется, что мы никак не можем найти эту базу,— сказал Стоун.— Мы ищем в недрах, а она, может быть, расположена на поверхности. В районе кратера Тихо очень много глубоких и широких трещин, неприступных плато, горных долин. В любом из таких мест они и могли расположить свою базу.

— На Луне нет осадков, нет ветров,—добавил Сергей.—Ничто не могло повредить оборудование, кроме метеоритов.

— А это значит только то, что база защищена, например, крышей прозрачной или также невидимой. Ясно одно,— сказал Стоун,— искать надо там, где мы сами расположили бы такую базу, будь мы на их месте.

— И еще одно соображение,— после непродолжительного молчания сказал Муратов.— Спутники и база могут быть невидимыми для наших глаз, как пишет Гианэя, но они не могут быть абсолютно прозрачными. Вспомните, на «Титове» мы все видели, что спутник закрыл от нас звезды, находившиеся за ним. Он не прозрачен. И на Луне он должен закрывать то, что находится за ним. Отсюда я делаю логический вывод: база расположена так, что сзади ее находится место, никогда не освещаемое Солнцем. А может быть, она вся расположена в лунной тени.

— Правильно, Виктор! — одобрительно сказал Синицын.— Лунная тень — это полный мрак. Правда, мы освещали прожекторами подобные места на неприступных плато и в трещинах. Но мы делали это просто для порядка, так как считали, что база обязательно расположена в недрах лунной почвы или горных пород. Поэтому мы могли и не заметить.

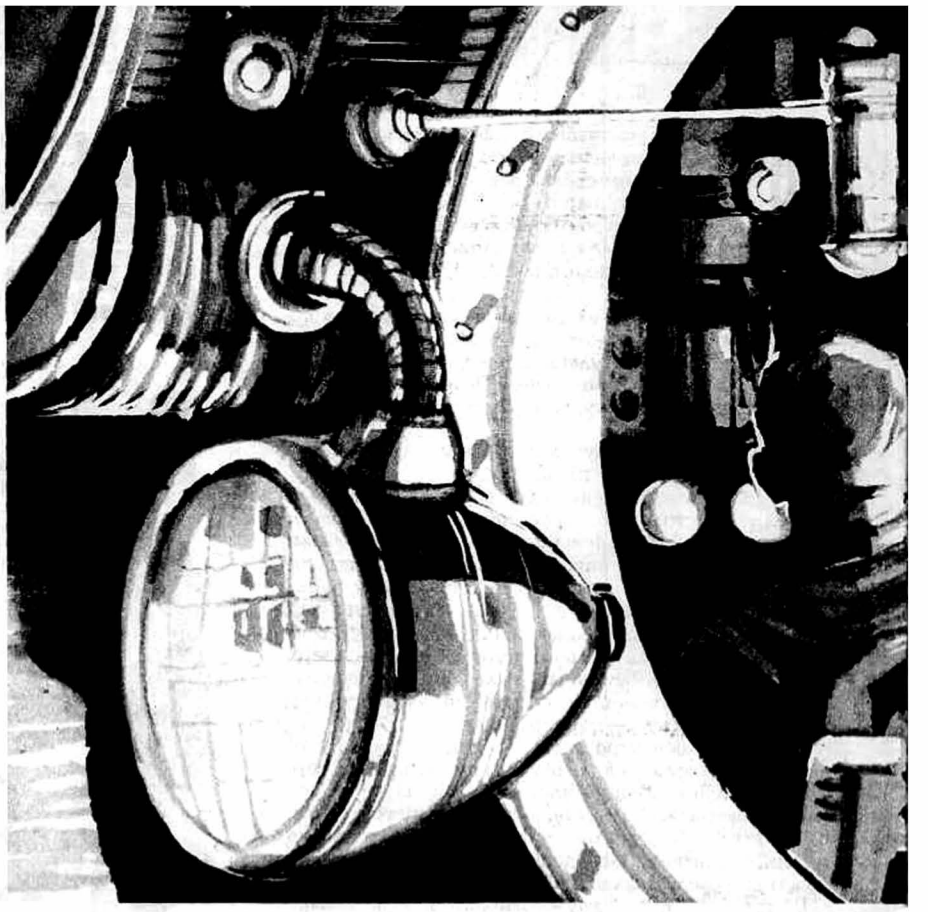
Георгий МАРТЫНОВ

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. в №№ 11—16

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО



— Недра обследованы,— сказал Стоун.— Теперь будем искать исключительно на поверхности. Седьмая экспедиция отправится на Луну через два дня.

Муратов колебался всего несколько секунд.

— Если можно, возьмите меня,— сказал он.

Стоун сдержал слово. Трудная и сложная подготовка седьмой лунной экспедиции была закончена ровно через два дня. Звездолет под командованием Юрия Вересова стоял на пиренейском ракетодроме, ожидая своих пассажиров.

Муратов прилетел накануне старта. Он был хуже всех подготовлен к предстоящей работе и, чтобы не задавать бесконечных вопросов членам экспедиции, решил попросить Вересова ознакомить его с техникой поисков и методами уничтожения базы.

Вересов с готовностью согласился помочь ему. Они засели с утра и до позднего вечера усердно занимались.

Было половина двенадцатого, когда Муратов, устало откинувшись на спинку кресла, сказал:

— Теперь я могу чем-то помочь в работе. Во всяком случае, буду понимать, что к чему. Спасибо, Юрий!

— Не стоит, ложись и выспись хорошенько. Полет будет очень интересным. Спокойной ночи!

Муратов остался один.

— Спать так спать,— сказал он громко и сладко потянулся, довольный собой.

Неожиданно в дверь постучали. Стук был тихий, осторожный. Видимо, стоявший за дверью не был уверен, спит Муратов или нет.

— Войдите! — сказал он.

И тут же вскочил, изумленный, растерянный, ничего не понимающий. В дверях стояла Гианэя.

Он знал, что она находится на Японских островах, еще вчера вечером он говорил с Мариной по радиофону, спрашивал, как чувствует себя гостья, что она делает. Марина ни словом не упомянула о поездке на Пиренейский полуостров, наоборот, она сказала, что Гианэя собирается провести в Японии долгое время.

И вот!

Муратов быстро овладел собой и пригласил Гианэю войти.

Она протянула ему руку, снова ответила на пожатие, непринужденно села. Казалось, она не находила ничего удивительного в своем внезапном появлении.

Она была одна, без Марины.

— Я прилетела сюда полчаса назад, — сказала Гианэя. — И легко узнала, где вы остановились.

Она говорила по-испански.

— Почему вы одна? — спросил Муратов.

— Чтобы говорить с вами, мне не нужен переводчик, — просто ответила Гианэя. — Марина устала, и мне удалось уговорить ее отпустить меня. Надо же мне привыкать обходиться на Земле без проводника! Я всю жизнь проживу здесь.

Тень грусти прошла по ее лицу при этих словах. Гианэя энергично тряхнула головой.

— Я сейчас уйду, — сказала она. — Поздно, и вам надо отдохнуть перед полетом. А явилась я сюда потому, что хочу лететь с вами.

— С нами? — воскликнул Муратов. — Зачем?

Это вырвалось у него невольно, от удивления. Он уже догадался о намерениях Гианэи.

— Вы хотите помочь нам найти спутников?

— Вы странно их называете. Но наше название непереводимо на ваш язык. Да, я хочу помочь вам и могу это сделать. Марина сумела доказать мне, что это мой долг. Надо быть последовательным, — повторила Гианэя.— То, что вы хотите найти и что надо найти как можно скорее, невидимо для вас, но не для меня. Наши глаза видят лучше, чем ваши. Я это знаю давно. Так возьмете меня или нет?

— Конечно, возьмем. И даже с радостью. Я сейчас же сообщу о вашем желании Стоуну.

Она встала.

— Спасибо, Гианэя, — сказал Муратов. — Спасибо. Я очень рад, что вы изменили свое отношение к нам.

— Это могло случиться гораздо раньше. Здесь ваша вина, Виктор. Не нужно было избегать меня.

Он даже не нашелся, что ответить на такое заявление.

7

Участники седьмой экспедиции с радостью приняли Гианэю в свой состав. Это очень повышало шансы на успех даже в том случае, если она не знает точного местонахождения базы. Ведь она сказала, что может увидеть ее,— невидимую для людей.

Между разговором Муратова с Гианэей и стартом звездолета прошло немного времени, всего одна ночь, но «открытие» успело разнестись по всему миру. Уже утром стало известно мнение видных ученых относительно зрения Гианэи. Большинство склонялось к тому, что она видит, как и свет, инфракрасный участок спектра.

Если догадка была верной, то Гианэя могла сыграть в экспедиции роль своеобразного живого инфракрасного экрана. Такой «экран» был, конечно, во много раз надежнее любого прибора.

Марине Муратовой предложили сопровождать Гианэю.

— Я совершенно не нужна, — ответила она. — Гианэя может говорить с Виктором. Кроме него, еще три участника экспедиции владеют испанским языком. Зачем вам лишний и ненужный человек?

Из разговора с сестрой по радиофону Муратов узнал подробности той беседы, которая натолкнула Гианэю на мысль лично принять участие в полете на Луну.

— Мы говорили с ней о моральной стороне ее поступка, — сказала Марина. — Я старалась убедить ее в том, что она «выдала» планы своих соплеменников из чувства человеколюбия и благородных побуждений. И, видимо, мне удалось этого добиться. Очень помогла ссылка на Риагэю. Гианэя относится к нему с огромным уважением и считается с его мнением. Это совершенно очевидно. Нет, — ответила она на вопрос Муратова,— Гианэя не уговаривала меня лететь вместе. Она сказала, что ей надо привыкать к самостоятельности и что не век же мне опекать ее. Да, я действительно не хочу лететь с вами. И рада, что Гианэя не уговаривала меня. Я устала, хочу пожить несколько дней одна.

Впервые люди Земли увидели Гианэю в земной одежде.

Если бы не зеленый оттенок ее кожи, если бы не форма глаз, ярко-зеленые ногти на пальцах рук, да еще волосы, густые, тяжелые и отливающие изумрудом, Гианэя казалась бы обычной земной женщиной.

В высокой, гибкой фигуре гостьи было что-то напоминающее танцовщицу.

— Кастаньет не хватает, — шутили участники экспедиции. — Чистая испанка!

Проводить Гианэю в полет пришло очень много народу.

Муратов стоял рядом с Гианэей у нижней ступени трапа. Он напомнил ей о еще большей толпе, встретившей ее полтора года тому назад на этом же поле.

— Я тогда ничего не видела, — ответила Гианэя. — Все мои мысли были заняты совсем другим.

— Чего вы тогда ожидали? — спросил Муратов, снова надеясь раскрыть одну из загадок.

— Вы этого все равно не поймете,— сказала Гианэя.

Муратов промолчал.

«Сама ты, милая, ничего не понимаешь!— хотелось ему сказать.— Но ничего, придет время — и поймешь».

Протяжный низкий гудок — сигнал отлета — пронесся над ракетодромом.

Гианэя ласково обняла Марину. (Та не выдержала и прилетела попрощаться с подругой.)

— Мы скоро увидимся, — сказала она. — Вы будете со мной, когда я вернусь на Землю?

— Конечно, — ответила Марина. — Я буду с вами, пока вы сами меня не прогоните.

— Этого никогда не случится.

— Тогда, значит, мы состаримся вместе, — засмеялась Муратова.

— Это случится не скоро.

Как хотелось Марине воспользоваться случаем и спросить Гианэю о ее возрасте! Но она удержалась. Раз принятую линию поведения надо было выдерживать до конца. Гианэя должна сказать все по своей инициативе. Эта тактика уже оправдала себя, если не считать вмешательства Виктора.

— Счастливого пути и полного успеха!

— Для вас,— ответила Гианэя,— для людей Земли. Но не для меня.

— Еще раз говорю вам, вы ошибаетесь.

Гианэя не ответила.

Раздался второй гудок.

Участники экспедиции один за другим скрылись в выходной камере. Последней в корабль вошла Гианэя.

Герметические двери закрылись.

Муратов обратил внимание на полное спокойствие Гианэи. Этого не могло быть, если бы она не привыкла к космическим полетам.

— Вы часто покидали свою планету? — спросил он.

— Мою планету? — переспросила Гианэя каким-то странным тоном.

— Вашу родину.

— Да, часто. У нас это — обычное дело. — В ее голосе ясно звучали насмешливые ноты.

Но к чему относилась эта насмешка, к Земле или к ее родине, Муратов так и не смог решить. Было, возможно, и то и другое.

Вересов посадил свой корабль вплотную к зданиям научного городка кратера Тихо, не опасаясь повредить их. Отсутствие атмосферы в этом случае играло положительную роль. Даже грохот тормозных двигателей не был слышен.

— Наконец-то вы явились к нам сами! — сказал Стоуну руководитель научной станции кратера профессор Токарев. — Пора уже кончать с этой загадкой.

— Именно для того, чтобы это сделать, мы и прилетели так скоро, — ответил Стоун. — Завтра с утра примемся за работу. Времени терять нельзя. У вас все готово?

— Вы имеете в виду вездеходы? Они всегда готовы. С теми, которые были оставлены здесь шестой экспедицией, в вашем распоряжении восемь машин и четыре лунные ракеты.

— Столько нам и не нужно. А ракеты вряд ли понадобятся вообще.

Токарев кивнул головой.

— Да, — сказал он, — знаю. Вы надеетесь на... — незаметным движением руки он указал на Гианэю.

— Вот именно, — сказал Муратов.

Гианэя стояла у окна. Казалось, ее заинтересовал лунный пейзаж, озаренный лучами высоко поднявшегося Солнца. На меридиане станции был полдень.

Она обернулась как раз в тот момент, когда говорили о ней, взглядом нашла Муратова и знаком подозвала его.

Он тотчас же подошел.

— Земля бывает видна отсюда?— спросила Гианэя.

— Нет, никогда.

— Далеко ли отсюда до Южного полюса?

— Не очень. Это место находится с краю видимого с Земли лунного диска. Это кратер Тихо.

— Я не знаю названий, — нетерпеливо сказала Гианэя. — Меня интересует другое. Здесь, в этом месте, сошлись траектории, которые вы вычисляли?

— Да, здесь, — удивленно ответил Муратов. Он никак не ожидал таких вопросов от Гианэи.

— Это место всегда видно с Земли?

— Всегда. Луна обращена к Земле всегда одной стороной.

Его охватило волнение, он начал подозревать, к чему клонятся ее вопросы.

Неужели?!.

Знавшие испанский язык участники экспедиции и двое из персонала станции подошли к ним. Затаив дыхание, все ждали, что скажет Гианэя.

Она, казалось, никого не замечала, обращаясь только к одному Муратову.

— Тогда...— Гианэя на минуту задумалась, словно вспоминая что-то.— Был один разговор, который я слышала. Риагэя («Опять это имя»,— подумал Муратов) сказал, что спутники,— она произнесла это слово ироническим тоном,— находятся на участке, с которого никогда не видно Земли. Он прибавил, что участок расположен у подножия горного хребта, недалеко от Южного полюса. То, что я вижу,— она плавно повела рукой,— похоже на описанное им. Не здесь ли то, что вы хотите найти?

— Он сказал, что база расположена внутри горного кольца? — спросил Муратов.

— Я не поняла слова, которое вы сказали.

— База?

— Да.

— Ну, место, где находятся сейчас спутники.

— Что-то похожее было. Даже наверное было. Откуда иначе я могла знать, что на Луне кольцевые горы? А я это знала.

— Вы хорошо помните, что Риагэя сказал именно так: «на участке, с которого не видно Земли»?

— Да, я помню это точно.

— Спасибо, Гианэя! Вы снова оказываете нам всем огромную услугу.

Она повела плечом.

— Я делаю то, что уже сделала. Ничего нового.

И отвернулась, всем своим видом показывая, что не намерена продолжать разговор.

8

Стоун созвал всех на экстренное совещание.

Если Гианэя угадала, а было очень похоже, что это именно так, то база иного мира, которую искали на сотни километров вокруг центра кратера, могла находиться совсем близко от станции, в месте, открытом взору людей и где никому не приходило в голову искать ее.

По словам Гианэи, к базе нельзя было приближаться. Если она рядом

с городком, то уже сотни раз люди могли приблизиться к ней. Что произошло бы в этом случае, было неизвестно, но, вероятно, ничего хорошего!

— Счастливая случайность,— сказал Токарев.

Муратов сидел, погруженный в свои мысли, и почти не слушал развернувшихся прений. Смутное подозрение, возбужденное в нем все большей откровенностью Гианэи, постепенно превращалось почти в уверенность.

Он воспользовался наступившей паузой и сказал:

— Многое говорит за то, что соплеменники Гианэи были на Земле и на Луне очень давно. Видимо, тогда и соорудили базу для спутников и запустили их. Больше не может быть никаких сомнений в том, что это сделано не с добрыми намерениями. Но создатели плана явно просчитались. Темпы развития человечества Земли, ее науки и техники опередили их предположения. Они думали, что Луна будет еще не доступна для нас, когда они явятся вторично. Нет также никаких сомнений, что космический корабль, погибший возле Гермеса, направлялся именно на Луну. Это и был второй визит в солнечную систему. Зачем они прилетали, что сделали бы, если бы не погибли? Это очень важно узнать, и Гианэя это знает. Да, конечно, то, что мы не наткнулись на невидимую базу, случайность, но не в этом главное. Меня смущает требование Гианэи. Она советует уничтожить базу. Действительно, так ли опасно приближаться к ней? А может быть, Гианэя просто хочет помешать нам ознакомиться с оборудованием базы, узнать цель ее хозяев? Может быть, неожиданная и такая скоропалительная откровенность Гианэи — тактический маневр? Она поняла, что люди Земли рано или поздно найдут то, что хотят найти. И решила вмешаться, спутать им карты. Этим хорошо объясняется ее интерес к шестой экспедиции, все ее поведение в последнее время. Мы расцениваем его положительно по отношению к нам, но может оказаться другое. И ее желание участвовать в экспедиции может быть вызвано желанием лично убедиться в том, что база перестала существовать и ее тайны останутся неизвестными нам.

— Вы обвиняете Гианэю в вероломстве? — спросил Стоун.

Муратов взволнованно вскочил с кресла.

— Я ни в чем ее не обвиняю! Со своей точки зрения она, может быть, абсолютно права. Все во мне протестует против моих же слов. Я высказываю одну из возможных версий. И только.

— Об этом стоит подумать,— сказал Токарев.— Очень заманчиво познакомиться с оборудованием базы и самими разведчиками. Но пренебрегать словами Гианэи было бы неосторожно.

— Давайте подумаем,— сказал Соун,— нельзя ли с помощью роботов проверить степень опасности, которую представляет собой база.

Совещание приняло узкоспециальный характер, и Муратов вышел из комнаты.

В общем зале он увидел Гианэю. Она стояла у того же окна, в той же позе.

Он медленно подошел к ней, мучимый угрызениями совести, раскаиваясь в том подозрении, которое возбудил против нее. Но он должен был сказать, если ему в голову пришла такая мысль. Ничем нельзя пренебрегать в таком деле...

Гианэя не обернулась. Казалось, она не видела, кто именно подошел к ней. Но когда он остановился позади нее, она сказала:

— Посмотрите, Виктор. Я давно наблюдаю и ничего не могу понять. Тени не движутся. Можно подумать, что Луна не вращается.

— Нет, Гианэя, она вращается,— ответил Муратов, думая о том, как узнала она его, по шагам, что ли? — Луна вращается, как и все небесные тела, но только очень медленно. Один оборот за двадцать восемь земных суток. Поэтому движение теней очень трудно заметить.

— А зачем это нужно?

— Что нужно? Наблюдать за движением теней?

— Я говорю о другом. Зачем вам нужно, чтобы Луна вращалась так медленно? Или это удобно для проводимой здесь научной работы?

— Скорость вращения Луны от нас не зависит.

Гианэя бросила на него короткий взгляд. Но он не увидел в нем ожидаемой насмешки. Она, видимо, просто очень удивилась.

— Посмотрите! — Гианэя снова протянула руку к окну.— Как сильно нагреты освещенные скалы и какие они холодные в тени! Разве это удобно для вас?

«Так!— подумал Муратов.— Она видит тепловое излучение. Она его ВИДИТ! Температура тела ей так же ясна, как нам ясен его цвет».

В последние дни ему постоянно приходилось волноваться при разговорах с Гианэей. Так и сейчас. Он почувствовал сильное волнение. Видеть температуру! Что может быть более странным и фантастичным! Значит, глядя, например, на него, Гианэя видит не только черты его лица или цвет кожи, но и на сколько градусов нагрето его тело. Каким же он представляется ее глазам?

— Разве это удобно? — повторила Гианэя.

«Но ведь и мы видим Гианэю не такой, какой видят ее соотечественники да и она сама в зеркале. Температура для них—внешний, зрительный признак предмета, как форма или как цвет. С их точки зрения, это нормально и естественно. Наше восприятие мира, в суженном спектре, должно казаться Гианэе непонятным и странным, точно так же, как мне непонятно и странно ее восприятие окружающего»,— думал Муратов.

Гианэя слегка коснулась его руки.

— О чем вы так задумались? — спросила она и улыбнулась.

«Сказать? Нет, лучше не надо».

— Я думал о ваших словах,— ответил он.— Да, конечно, неравномерность нагрева лунной почвы не очень удобна, но что можно тут сделать?

— Ускорить вращение Луны.

— Вы думаете, это просто?

— А разве не так? — вопросом на вопрос ответила Гианэя.

— К сожалению, не так. Ускорить или замедлить движение небесного тела, изменить его вращение вокруг оси — все это мы можем проделать с небольшим небесным телом, но не с таким, как Луна. Это задача будущей техники. А разве у вас,— спросил он, почти не надеясь, что Гианэя ответит,— это возможно?

— Кажется, да.— Гианэя сказала это неуверенным тоном.— Я читала, что на нашей родине «луна» тоже вращалась медленно, но когда понадобилось, ее вращение ускорили.

— У вас одна «луна» или несколько?

Ответ был очень неожиданен, очень странен и принес еще одну загадку.

— Не знаю,— сказала Гианэя.— Вернее, не помню, что было сказано об этом в книге, которую я читала.

У Муратова, как он говорил впоследствии, было такое впечатление, точно его неожиданно хватили обухом по голове. От изумления он на несколько секунд потерял способность сказать что-нибудь.

Вот так новость! Выходит, что Гианэя знает свою родину только по книгам. Она даже не помнит, сколько лун на небе ее планеты.

«Что же, она родилась на звездолете?— думал он.— Тогда ее родина очень далеко, так далеко, что человек может родиться и вырасти за время пути. Но это никак не вяжется с нашим предположением, что они посетили нас вторично спустя всего четыреста или пятьсот лет после первого прилета. Такие рейсы не могут предприниматься столь часто».

— Видимо, здесь Риагэя ошибся,— сказала Гианэя так тихо, что Муратов понял: она говорит не ему, а самой себе.—Он был убежден, что люди Земли уже достигли большего,— прибавила она громко.

— Кто он? — Муратов обрел наконец дар речи. Он решил притвориться, что не слышал начала ее фразы, адресованной не ему.

— Риагэя.

— Вы разочарованы?

— Нет, нисколько. Это же его мнение, а не мое. Я ожидала меньше, чем увидела.

— Тогда, значит, Риагэя был о нас лучшего мнения, чем вы, Гианэя.

— Да, был.

— Вы имеете основание думать, что Риагэя переменил свое мнение?

— Нельзя переменить мнение, не видя объекта,— ответила Гианэя.— Был потому, что его самого больше нет.

Догадка мелькнула в мозгу Муратова.

— Риагэя был на погибшем корабле?

Гианэя молчала.

Муратов увидел, как две слезы медленно скатились по ее щекам. Его тронуло выражение ее лица. Большое и искреннее горе отразилось на нем.

И он понял, что угадал. Риагэя погиб вместе с кораблем, с которого Гианэю высадили на астероид. И он был человеком, которого Гианэя не только уважала, как говорила Марина, но и любила.

«Он поступил иначе»,— вспомнил Муратов слова Гианэи, переданные ему Мариной.

И смутная догадка, что есть какая-то связь между отношением Риагэи к людям Земли и гибелью корабля, заставила его вздрогнуть.

Жутко было подумать, что огромный космический корабль мог не случайно погибнуть, а был намеренно уничтожен после того, как Гианэю высадили, именно высадили с него.

Но другая женщина, та, что была матерью Гианэи, почему она осталась на обреченном звездолете?

Он осторожно взял руку Гианэи. Она не противилась.

— Скажите мне,— его голос срывался от волнения,— вы родились на этом корабле?

Гианэя изумленно подняла на него глаза.

— Откуда у вас могло возникнуть такое странное предположение? Если бы я родилась в полете, то моя мать была бы сейчас здесь, со мной.

Этими словами Гианэя подтвердила догадку. Звездолет был намеренно уничтожен! И, очевидно, именно Риагэей.

Тайна появления Гианэи на Гермесе начала проясняться.

— Вы были единственной женщиной на корабле? — спросил он, желая убедиться окончательно.

— Да, единственной.

Внезапно Муратов вспомнил другие слова Гианэи. Она как-то сказала, что отправилась в полет на Землю почти против воли. Значит, она и не могла родиться на корабле, как он подумал сначала. Это было явно ошибочное предположение. Но и маленьких детей не берут в космос. Почему же она не помнит своей родины?

Снова загадка, еще более непонятная и запутанная!

Там, у Гермеса, в черной бездне космоса, произошла трагедия. И она связана с судьбой людей Земли!

Но ясно одно: Риагэя уничтожил корабль, уничтожил, чтобы помешать осуществлению плана, направленного против Земли. И он заставил Гианэю покинуть звездолет, он хотел спасти ее, как женщину, быть может, любимую. «А у вас, на Земле, я оказалась совсем уж против своей воли», — сказала она тогда же.

Да, все это случилось именно так!

И, не обдумывая своих слов, подчиняясь только чувству, Муратов сказал:

— Смерть Риагэи прекрасна!

Несколько секунд Гианэя смотрела на него широко открытыми глазами, в них было смятение. Потом она резко повернулась и выбежала из зала.

9

Очень скоро Муратов понял, что «впал в немилость». Гианэя больше не обращалась к нему, она его не только избегала, но и просто игнорировала его присутствие. Если ей надо было что-нибудь спросить, она спрашивала инженера экспедиции Рауля Гарсиа, а когда Муратов сам задал ей какой-то вопрос, она повернулась к нему спиной.

Он тщетно ломал голову над причиной столь крутой и внезапной перемены. Кажется, он ничего не сказал, что могло бы обидеть или оскорбить Гианэю.

Может быть, она рассердилась за его догадливость? Но ведь она сама сказала много, и его догадка, если она верна, вызвана ее же словами.

Ни с кем Гианэя не разговаривала, держалась в стороне и выходила из своей комнаты только к обеду и к ужину. На дружный персонал станции она произвела неблагоприятное впечатление.

— Вы долго думаете пробыть здесь? — спросила она за ужином, при всех обращаясь к Гарсиа.

— Пока не найдем базу,— ответил инженер.

— Тогда надо найти ее скорее,— бесцеремонно заявила Гианэя.— Я хочу вернуться на Землю.

— Отчасти это зависит от вас.

Она только пренебрежительно улыбнулась и ничего не сказала.

На следующее утро, хорошо зная, что Стоун торопится, Гианэя задержала отъезд, больше часа плавая в бассейне. У нее не было купального костюма, и, хотя она сама не придавала этому никакого значения, никто не решился войти туда и поторопить ее. На станции не было ни одной женщины.

Только в восемь часов (часы станции показывали время на меридиане Парижа) четыре машины, хорошо защищенные от метеоритной опасности, вышли из высеченного в скале гаража. Началась первая поисковая экспедиция.

Огромные металлические вездеходы быстро нагрелись солнечными лучами, и была включена охлаждающая установка. На сегодня было решено обследовать подножие горного хребта кратера Тихо с западной стороны от станции.

Гианэя находилась в машине Стоуна. Там же были Токарев, Гарсиа, Вересов и Муратов.

Виктор просил поместить его с Синицыным во втором вездеходе, но Стоун отказал ему.

— Не обращайте внимания на капризы Гианэи,— сказал он.— Вы мне нужны.

Но Муратов понимал, что начальник экспедиции просто в деликатной форме не считает нужным помещать его в других, рабочих, машинах, потому что там мало места и присутствие постороннего человека будет мешать. Машина самого Стоуна была как бы штабной. Остальные три несли на себе все оборудование, и, если база будет найдена, именно они и предназначались для самого дела.

Найти базу именно сегодня, в первый же день, никто не надеялся. Слишком свежи были в памяти годы бесплодных поисков.

Гианэя по-прежнему не замечала Муратова, изредка обращаясь к Гарсиа. Она была задумчива и казалась рассеянной.

Пред креслом Стоуна помещался большой инфракрасный экран. Обычные, видимые цвета не отражались на нем, и лунный пейзаж казался причудливым сочетанием черно-белых пятен, в которых только опытный глаз мог разобраться.

Стоун не слишком рассчитывал на этот экран. Он больше надеялся на живое инфракрасное зрение Гианэи. Перед самым отъездом он спросил, уверена ли она в том, что сможет увидеть базу.

— Насколько я знаю,— был ответ,— она расположена открыто. Почему же я могу не увидеть ее? Лишь бы вы оказались достаточно близко.

Она говорила равнодушным тоном, но Стоун верил ее словам. Кроме того, он помнил, что Гианэя хорошо видит на таком расстоянии, на каком человек Земли ничего не увидит без бинокля.

Она сидела рядом с ним, со скучающим видом рассматривая скалы. Оба смотрели вперед. Немного дальше было место Гарсиа, он следил за северной стороной. Восточная была поручена Вересову, а южная Токареву и Муратову.

Кроме Гианэи, никто не мог непосредственно увидеть базу, но ее и не стремились непременно увидеть. Искали удобное для базы место, такое, где сами люди поместили бы подобную базу, будучи на месте соотечественников Гианэи.

Считалось наиболее вероятным, что если база находится здесь, то расположена у подножия скал, то есть с северной стороны.

Машины шли медленно, со скоростью пятнадцать — двадцать километров в час.

Часа через полтора напряженное внимание несколько ослабло, и Муратов стал думать о другом. Он снова вернулся к мыслям о Гианэе и о причинах ее гнева.

Ему казалось, что не было никаких причин. «Но, может быть,— подумал он,— я ошибаюсь, и Гианэя вовсе не рассердилась на меня, а просто боится дальнейших вопросов с моей стороны. И избегает меня только потому, что не хочет отвечать мне».

Эта мысль была ему приятна. Неожиданная враждебность Гианэи огорчала Муратова.

Как и чем исправить положение?

Прошел еще час. Вездеходы находились уже более чем в пятидесяти километрах от станции. Постепенно всех участников экспедиции начала одолевать скука.

Стоун почувствовал это.

Его вездеход остановился. За ним остановились и другие машины.

— Предлагаю позавтракать,— весело сказал Стоун.— Отдохнем и отправимся дальше.

— На какое расстояние вы думаете удалиться сегодня? — спросил Токарев.

— Не более как на семьдесят километров. Если верить тому, что сказала Гианэя, то дальше искать бесполезно. Будет хорошо видна Земля. А Гианэя говорила, что база расположена в таком месте, откуда Земли не видно. Может быть, успеем сегодня же осмотреть и восточную сторону.

— Это будет утомительно.

— Не страшно. Медлить нельзя. Я вижу, что вы, жители Луны, обленились здесь,— пошутил Стоун.

От завтрака все отказались, и, простояв минут десять, машины снова пошли вперед.

— Товарищи, не поддавайтесь рассеянности, — сказал Стоун, адресуя свои слова не только экипажу своей машины, но и всем остальным.— Смотрите внимательнее. Сюда мы не вернемся второй раз.

— Смотрим! Смотрим!—прозвучали из динамика ответы. — Смотрим, но ничего не видим,— узнал Муратов голос Синицына.

— Увидим, можете быть уверены,— ответил Стоун.— Если не сегодня, так завтра.

Вдруг Муратов услышал, как Гианэя спросила Гарсиа:

— Скажите, как у вас на Земле относятся к смерти?

— Я думаю, так же, как и в любом другом населенном мире,—ответил инженер, видимо, удивленный столь неожиданным вопросом.

— Это не ответ.— Муратову послышалось, что голос Гианэи звучит раздраженно.— Вы не могли бы ответить точнее?

Гарсиа долго молчал, очевидно, обдумывая, что сказать. Муратов решил, что настал удобный момент снова заговорить с Гианэей.

— Смерть,— сказал он, не оборачиваясь,— это грустный факт. Но, к сожалению, неизбежный и обязательный. Люди смертны, и тут ничего нельзя сделать. Когда умирает близкий человек,— это большое горе для тех, кто его знал. Умирает нужный человечеству,— это горе для всех. А когда умираешь сам, жалеешь, что мало успел сделать. Мы относимся к смерти как к неизбежному злу и надеемся в будущем победить ее.

Он не знал, хочет ли Гианэя слушать его. Но она слушала и не перебивала, этого было пока достаточно.

Но оказалось, что его заключение было поспешно.

— Я жду ответа,— сказала Гианэя.

— Разве вы не слышали, что сказал Виктор? — спросил Гарсиа.

— Я спрашиваю у вас.

— Я полностью присоединяюсь к сказанному им.

Через несколько минут молчания Гианэя снова обратилась к Гарсиа.

— Оправдывается ли у вас на Земле самоубийство или убийство? — спросила она.

— Это совершенно разные вещи, — ответил Рауль, — их нельзя соединять в одном вопросе. Убийство оправдать невозможно. Это самое тяжкое и самое отвратительное преступление, какое только можно вообразить. А что касается самоубийства, то все зависит от его причины. Но, как правило, мы считаем самоубийство актом слабости воли или проявлением трусости.

— Значит, и у вас нельзя называть этот акт «прекрасным»?

«Так вот оно что!— подумал Муратов.— Ее оскорбило, что я назвал смерть Риагэи «прекрасной». Но ведь должна она была понять, какой смысл я вложил в это слово».

— Конечно,— ответил Гарсиа.— Самоубийство отнюдь не прекрасно.

— Я недавно слышала другое, — сказала Гианэя.

— От кого?

Муратов сидел спиной к Гианэе и не видел, указала ли она на него или нет. Но словесного ответа не последовало.

Здесь проявилась разница во взглядах и понятиях людей Земли и соотечественников Гианэи. Очевидно, на ее родине добровольная смерть от любой причины выглядела и считалась настолько некрасивой, что, услышав слова Муратова, Гианэя посчитала его «нравственным уродом» и не захотела общаться со столь «низким интеллектом».

Он едва не рассмеялся. Но весь этот разговор доставил ему большое удовольствие. Он показывал, что Гианэя все время думает об их «ссоре», что размолвка ей так же неприятна, как и самому Муратову.

Но было и другое, гораздо более важное. Вопросы Гианэи окончательно подтверждали, что Риагэя уничтожил корабль. Он покончил самоубийством и убил своих спутников. Не случайно, как полагал Гарсиа, Гианэя объединила оба вопроса в один.

«Надо оправдаться перед ней,— подумал Муратов.— Надо пояснить ей мои слова, если она сама их не может понять».

И он сказал:

— Самоубийство никогда не может быть прекрасным. Никогда! За исключением одного-единственного случая: когда оно совершается для блага других. Но в этом случае надо говорить не о самоубийстве, а о самопожертвовании. Это разные вещи. Пожертвовать собой, чтобы спасти других,— это прекрасно!

Он повернулся, чтобы узнать, как отнеслась Гианэя к его словам, какое они произвели на нее впечатление.

Она смотрела перед собой, на обзорный экран. У нее был такой вид, словно она ничего не слышала. Но Муратов был почему-то уверен: Гианэя не только слышала, но и задумалась над его словами.

И он не ошибся.

Через некоторое время она сказала:

— Хорошо, я согласна. Но какое право он имел жертвовать другими?

У Муратова мелькнула мысль, что слезы, которые он тогда видел на лице Гианэи, могли относиться не к смерти Риагэи, а к смерти другого человека, убитого Риагэей. Тогда становилось понятным тяжелое впечатление, произведенное на нее словом «прекрасна».

— О чем вы говорите? — спросил Токарев.

В вездеходе Стоуна только Муратов и, конечно, Гарсиа владели испанским языком. Остальные ни слова не поняли.

— Подождите! — сказал Муратов.— Я потом расскажу. Мне нужно ответить ей.—Он продолжал по-испански:—Все зависит от обстоятельств, Гианэя. Бывают случаи, когда человек, убежденный в правоте своего дела, вынужден жертвовать не только собой, но и другими, считая, что иного выхода нет. Цель, которую он перед собой ставит, оправдывает в его глазах его действия. Мы не знаем причин, побудивших Риагэю поступить так, как он поступил. Но вы знаете эти причины. И даже если вы сами не разделяете его взглядов, вы можете объективно ответить самой себе на вопрос, прав ли он. Я назвал смерть Риагэи прекрасной потому, что понял вас так, что он сделал это, пожертвовав собой для нас, для людей Земли. С нашей точки зрения, это прекрасный поступок.

Гианэя повернула к нему голову. И вдруг улыбнулась немного смущенно.

— Простите меня, Виктор. Я тогда вас не поняла и напрасно осудила.

— Я нисколько не обиделся,— ответил Муратов,— потому что понял вас. Мы, я подразумеваю ваше и наше человечество, имеем разум. А разумные существа всегда могут понять друг друга при наличии доброй воли к этому. Хотя иногда это бывает и нелегко.

— Да, иногда это труднее, чем кажется, — вздохнула Гианэя, снова поворачиваясь к экрану.

(Продолжение следует)

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунок А. БАБАНОВСКОГО

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Продолжение. Начало см. «Смену» №№ 11—17.

Еще час вездеходы шли в том же направлении. По-прежнему не попадалось ни одного места, удобного для расположения невидимой базы. И хотя никто и не рассчитывал на столь быстрый успех, невольно появилось чувство разочарования.

Часы показывали ровно двенадцать, когда Стоун остановил свою машину.

— Дальше искать бесполезно,— сказал он.

— А местность как раз становится все более подходящей,— отозвался Синицын из второй машины.

— Да, но мы должны верить Гианэе. Муратов,— прибавил Стоун,— вы хотели видеть Землю. Посмотрите назад!

В той стороне, где находилась станция, низко над вершинами почти наполовину опустившегося за горизонт горного хребта висел в небе ярко сверкающий полумесяц. В сравнении с привычным полумесяцем Луны на небе Земли он выглядел огромным. Багровое кольцо атмосферы, освещенной Солнцем сзади, позволяло отчетливо различать темную, ночную, половину земного шара. Диск Солнца висел недалеко, немного выше.

Луна, звезды и Солнце одновременно!

— Спросите у нее,— сказал Стоун,— надо ли нам искать дальше?

Гианэя удивилась, выслушав вопрос.

— Почему вы спрашиваете об этом у меня? — ответила она.— Вы сами должны знать, что́ делать и как поступать.

— Мы спрашиваем вас потому,— объяснил Муратов,— что основываемся на ваших словах, вернее, на словах Риагэи. Он, кажется, говорил, что база расположена в таком месте, откуда никогда не видно Земли.

— Почему «кажется»?

— Не обращайте внимания. Это просто неудачная фраза. Он говорил так?

— Да. И все же я не понимаю, почему вы спрашиваете у меня,— упрямо повторила Гианэя.

Муратов почувствовал, что логика на ее стороне.

— Мы хотим, чтобы вы вспомнили точнее,— сказал он,— это для нас крайне важно.

— Я ничего не могу прибавить к тому, что уже сказала.

Стоуну передали содержание разговора.

— Если мы будем искать дальше,— сказал он,— то нет никаких оснований не искать и во всех других местах, как мы это делали раньше. Мне кажется, что следует принять слова Риагэи как истину и основываться только на них. Каково мнение остальных?

Все согласились со Стоуном.

— Тогда,— резюмировал он,— поворачиваем обратно. Будем опять с прежней внимательностью осматривать все, что попадется на пути, чтобы у нас была полная уверенность: в этой стороне базы нет.

Но еще до решения Стоуна Муратов уже знал, что поиски на сегодня закончены. Гианэя сказала ему, что устала и никуда не поедет.

— Это — очень скучное занятие,— сказала она.— Я сожалею, что прилетела сюда.

— Но завтра вы поедете?

— Конечно. И завтра и в следующие дни. Надо быть последовательным,— повторила она полюбившееся ей слово.— Я давно так не уставала,— прибавила она, помолчав,— хотя ничего и не делала.

— Безделье утомляет иногда больше, чем работа,— сказал Муратов.— Идите в бассейн. Купание вас освежит.

— Идемте вместе,— неожиданно предложила Гианэя.

Муратов смутился.

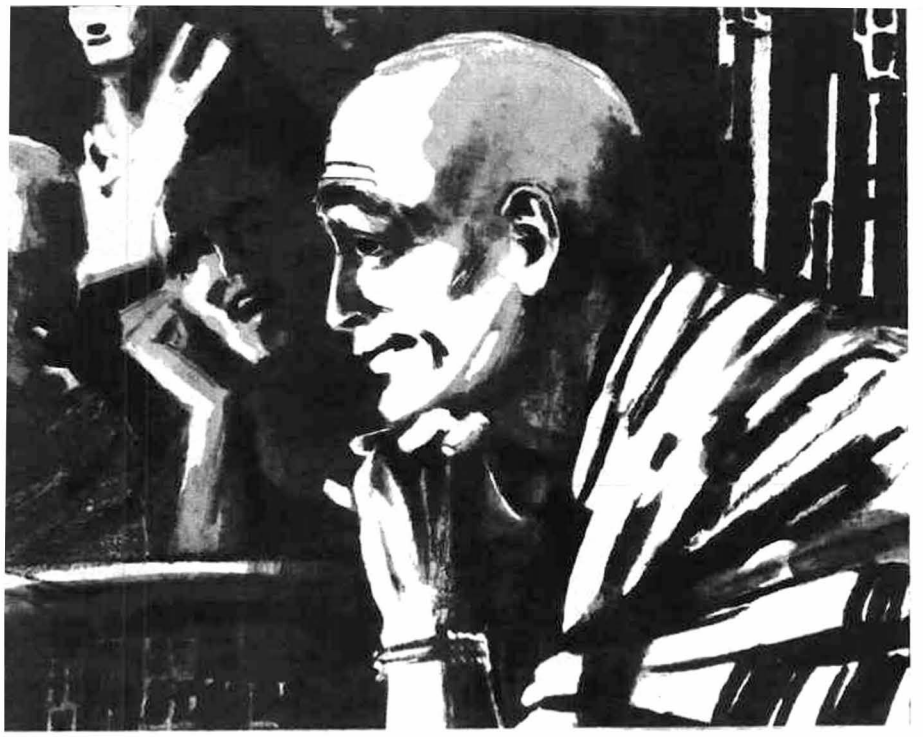
— Это не совсем удобно,— сказал он.

— Но почему? — Гианэя казалась искренне удивленной.— Я не могу понять этого. Марина говорила, что у вас не принято совместное купание мужчин и женщин. Но я сама видела, как на море купаются вместе. И когда я надеваю купальный костюм, Марина разрешает мне плавать в бассейне при всех. В чем тут дело? Объясните мне, Виктор! Я очень хочу понять вас.

В который раз за последние дни Муратов почувствовал, что стоит на пороге одной из загадок, связанных с Гианэей. Эта была незначительная по сравнению с другими, но все же загадка. И поскольку Гианэя спрашивала сама, была надежда разрешить ее.

Он собрался с мыслями, чтобы разъяснить ей земную точку зрения.

— Это объясняется многими причинами, Гианэя,— сказал он.— Я думаю, что основная в том, что люди привыкли закрывать свое тело одеж-



дой. Веками вырабатывалась точка зрения, что ходить обнаженными нельзя. Укоренившийся в сознании обычай — большая сила. Теперь,— прибавил он,— вам понятнее? На море купаются в купальных костюмах. Это все же одежда. И обычай соблюден.

Он думал, что вполне удовлетворительно разрешил ее недоумение.

— Вы мне ничего не объяснили,— сказала Гианэя неожиданно для него.— Но, кажется, я сама догадалась, в чем тут дело. По-вашему, купальный костюм закрывает тело и его не видно. Так?

И внезапно Муратов все понял сам. Ее вопрос открыл ему истину.

Вот оно что! Он забыл о тепловом излучении всех живых тел, излучении, которое Гианэя и люди ее планеты воспринимают как свет, который они видят.

В их мире одежда служила только для защиты от холода и пыли. Люди всегда видели друг друга, независимо от одежды.

После ужина Муратов снова сидел в комнате Гианэи и беседовал с ней. Она сама попросила его прийти.

Виктор не чувствовал больше никакого смущения в ее присутствии. Простая логика говорила, что Гианэя смотрит на все иными глазами, чем люди Земли.

Он успел уже рассказать всем о своем очередном открытии, и новость никого не удивила.

— Так и должно быть,— сказал Токарев.— Тепловое инфракрасное излучение проходит сквозь ткани, и Гианэя, конечно, видит то, что скрыто от наших глаз. Но видит иначе, чем при отсутствии покровов. Было бы очень интересно, если бы Гианэя нарисовала в красках человека так, как она его видит.

— Да, но у нас нет красок для передачи инфракрасного цвета,— сказал Стоун.— Вполне возможно, что он воспринимается Гианэей не таким, каким мы видим его на инфракрасном экране.

В беседе Муратов попытался выяснить этот вопрос.

— Право, не знаю, как вам объяснить,— ответила Гианэя.— Этот цвет смешивается с другими, и его трудно выделить. Потому я и рисую только карандашом. У вас нет нужных красок. Именно это и натолкнуло меня на мысль, что вы видите не так, как мы. А объяснить, как выглядит цвет, которого вы никогда не видели, невозможно.

— Значит,— сказал Муратов,— вы сразу определяете температуру тела, с одного взгляда?

— У нас нет слова «температура», и мы ее никогда не измеряем. Зачем? Это и так видно.

«Вот почему она оттолкнула термометр Янсена»,— подумал Муратов.

— Скажите, а когда вы подлетели к Гермесу, вы видели, что астероид обитаем?

— Да, небесные тела таких размеров холодны. Мы заметили, что от искусственного сооружения — мы тогда не знали, что это такое,— исходит свет двух видов. Искусственный, холодный, и живой, теплый. Мы поняли, что там есть живые существа, конечно, люди.

— С вашей стороны,— сказал Муратов, обрадованный подвернувшейся возможностью выяснить еще что-нибудь,— было все же рискованно высаживаться из корабля без запаса воздуха.

— Это была ошибка. Но мы очень нервничали.

— Зачем вы покинули корабль? — в упор спросил Муратов.

Гианэя долго молчала, словно обдумывая, что ответить.

— Не сердитесь,— сказала она наконец.— Но мне не хотелось бы отвечать вам на этот вопрос.

Муратов был глубоко разочарован, но ничем не показал этого.

— Тогда, конечно, не надо,— сказал он.— Я спросил случайно.

— Зачем вы говорите неправду? — мягко сказала Гианэя, дотрагиваясь до его руки.— Вы очень хотите это узнать и спросили не случайно. Но поверьте, Виктор, вы это узнаете. Но не сейчас. Я не могу.

Она произнесла «не могу» с таким очевидным отчаянием, что Муратову стало жаль ее.

— Не думайте об этом, Гианэя,— сказал он.— Вас никто ни к чему не принуждает. Поступайте, как находите нужным. Конечно, вы правы, и нам очень интересно многое узнать у вас. Скажете, когда захотите. И простите меня за нескромное любопытство.

Снова он увидел слезы на ее глазах.

— Вы очень хорошие люди,— тихо сказала Гианэя.— И я начинаю любить вас.

На следующее утро те же четыре вездехода с тем же экипажем вышли из гаража. Уверенность в успехе сильно возросла. Муратову удалось накануне перевести беседу на Риагэю. И Гианэя вспомнила подробности слышанного ею на борту звездолета разговора. Из этих подробностей вытекало, что база может находиться только внутри кратера Тихо, у подножия горного хребта, с северной стороны.

Муратов не пытался, а Гианэя не проявляла инициативы говорить о самом Риагэе как о человеке, и речь шла только о его высказываниях.

А личность Риагэи очень интересовала «землян». Этот человек, которого никто уже никогда не увидит, сыграл огромную роль в событиях, связанных с Гианэей и спутниками-разведчиками. Его воля изменила весь ход этих событий.

— Нарисуйте его портрет,— попросил Муратов.— Мы хотим видеть черты его лица.

— Лично вам,— с улыбкой ответила Гианэя,— для этого достаточно посмотреть в зеркало.

Муратов многое понял в эту минуту...

Поисковая экспедиция второго дня началась почти с уверенностью, что будет успех.

Не успели отъехать и пятнадцати километров от станции, как Гианэя резко наклонилась вперед, протянула руку и сказала:

— Вот то, что вы ищете!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Здание стояло на вершине холма.

Огромный город раскинулся у его подножия. Он был так велик, что даже из окон верхних этажей, с высоты двухсот метров, не было видно окраин. Со всех сторон тянулись до горизонта и исчезали за ним бесконечные квадраты разноцветных крыш.

Здание, стоявшее на холме, было видно отовсюду, с любого места в городе. Оно было совсем не похоже на другие.

Больше всего оно напоминало памятник, выстроенный как будто из одного стекла двух оттенков голубого цвета. Более темные, синеватые, полосы составляли каркас, более светлые, казавшиеся кое-где почти белыми,— проемы окон. И те и другие были расположены наклонно, и все здание в целом словно ввинчивалось в небо.

А над куполом крыши, хорошо видная отовсюду, «парила» в воздухе гигантская белая статуя.

Женщина в коротком платье с развевающимися волосами, с закинутой назад головой протягивала руки к небу. Ее облик выражал страстный призыв, направленный к кому-то, находящемуся за синей завесой неба, в безднах Вселенной.

Здание было очень велико, но снизу, из города, казалось небольшим и узким, точно скрученная в спираль игла.

Люди Земли сказали бы, что оно похоже на штопор.

Город был одной из древних, насчитывающих тысячи лет своей истории столиц этой планеты.

В этот день в нижнем этаже здания, в огромном зале, залитом лучами высоко стоявшего оранжевого «солнца», происходило большое собрание.

Вокруг огромного стола, стоявшего посреди зала, сидело более ста человек мужчин и женщин.

Их одежда была очень похожа. Женщины носили платья, мужчины — короткие туники.

Все были в белом, кроме одного.

Различной густоты зеленый оттенок их кожи, косо посаженные глаза, приподнятые у переносицы, высокий рост как мужчин, так и женщин, все было бы знакомо человеку Земли, и он безошибочно угадал бы в этих людях соотечественников Гианэи.

А если бы здесь могла оказаться Марина Муратова, то она узнала бы и язык, на котором говорили все эти люди.

Но, узнав, поняла бы, что этот язык не совсем тот, на котором говорит Гианэя, что он чем-то отличается, хотя в основе и тот же.

И человек, отличающийся от других своей одеждой, также, видимо, затруднялся в понимании этого языка и иногда переспрашивал.

Тогда поднимался один из мужчин и повторял сказанное, но уже на точно таком же языке, на котором говорила Гианэя.

На высоком стуле, возвышаясь над всеми, сидел совсем еще молодой человек с узкими, словно прищуренными глазами, одетый так же, как и все остальные.

Он, не мигая, пристально смотрел на стоявшего напротив него иначе одетого человека, того, кто не всегда понимал, что ему говорили, и который сам говорил на языке Гианэи.

Этот человек имел все отличительные черты соплеменников Гианэи, но был немного ниже остальных. Зеленый оттенок его кожи был мало заметен, скрытый сильным загаром. На нем была не туника, а что-то вроде широкого плаща, сверкающего в оранжевых солнечных лучах червонным золотом. Его голова не была обрита, и черные волосы, отливающие изумрудом, спускались ниже плеч.

Молодой человек с узкими глазами, очевидно, председательствовал на этом собрании.

Его неотступный взгляд смущал человека в золотом плаще, он часто не выдерживал и отводил глаза, но каждый раз, точно притягиваемый магнитом, снова поворачивался к нему.

В эти мгновения все видели, как в темных глазах человека в плаще вспыхивали искры не то вызова, не то тщательно скрываемого страха.

И каждый раз, заметив эту искру, молодой председатель улыбался.

В его улыбке было презрение, насмешка, гнев, но не было ненависти. Казалось, что именно это отсутствие ненависти больше всего смущало человека в плаще.

Он все время стоял. Видимо, так было нужно, потому что возле него не было стула. Стоял уже долго, в то время как остальные сидели.

См. стр. 26.

Со стр. 23.

ГИАНЭЯ

Это походило на суд. И действительно, это был суд.

Судили не этого человека, а других, к числу которых он принадлежал и которых не было сейчас в этом зале. Судили не людей, а дело, которое хотели совершить люди.

— Итак,— сказал председатель, по-прежнему пристально глядя в лицо «подсудимого»,— ты все рассказал нам, Лиагэя, ничего не утаивая?

— Да, все! Больше мне нечего прибавить. И я готов принять смерть.

— Мы это видим.— Молодой председатель жестом указал на одежду Лиагэи.— Но ты поторопился. Три дня ты на родине. Неужели ты не заметил, что находишься в ином мире? Неужели,— продолжал председатель,— ты не понял ничего из того, что увидели твои глаза? Или, может быть, ты не хочешь ничего понять? Но ты поймешь, Лиагэя. Мы не убьем тебя, как сделали бы это вы на нашем месте. Давно уже погасли и исчезли из памяти людей ваши костры. Ты будешь жить среди нас.

— Значит, вы не отпустите меня обратно?

— Нет. Ты останешься здесь навсегда. Космос не место для таких, как ты. Туда надо отправляться с чистыми мыслями и незапятнанными руками. Тебе придется трудиться, Лиагэя. Вероятно, в первый раз в жизни,— тоном величайшего презрения прибавил он.— И от тебя самого будет зависеть, чтобы люди забыли, кто ты и какое черное дело пытались вы осуществить.

— Пытались? — По губам Лиагэи впервые за это утро скользнула улыбка.

— Ты хочешь сказать, что ваше дело уже сделано? Ты снова ошибаешься, Лиагэя. Ты забыл, что за время твоего отсутствия на нашей планете сменилось десять поколений. Они жили не зря. С нашей точки зрения, ваши корабли космоса — неуклюжие лодки. Мы будем на этой планете... как ты ее назвал?

— Лиа.

— Мы будем на Лиа очень скоро. И зло не осуществится. А если мы опоздаем,— глаза молодого председателя сверкнули,— вы ответите за это.

— Это означает, что вы сожжете меня не сейчас, а немного позже, вот и все.

— Я сказал, ты будешь жить. Мы не меняем своих решений и не лжем, как вы.

Лиагэя опустил голову.

— Я сказал вам только правду.

— Мы это знаем.

— Откуда вы можете это знать?

— Откуда? — Председатель указал на сидевшего рядом с ним пожилого человека.— Специально для тебя мы пригласили медика, так как хорошо знали, с кем имеем дело. Ты отстал от науки, Лиагэя, и это не удивительно. Твое счастье, что ты был правдив.

— А если бы это оказалось не так? — с вызовом спросил Лиагэя.

— Тогда нам пришлось бы заставить тебя говорить правду.

— Пыткой? Этим меня не испугаешь.

Председатель несколько минут сидел молча, видимо, пораженный этими словами. Потом он обвел взглядом всех сидевших за столом. Почти все смеялись.

— Видишь? — спросил он.— Это наш ответ, Лиагэя. Трудно тебе будет у нас. Ты первобытный зверь. И так будут смотреть на тебя все, пока ты не изменишь своих взглядов. Советую тебе сделать это как можно скорей. Мы поняли, что ты сказал, но большинство людей на планете совсем не поняли бы. Ты в другом мире, Лиагэя, пойми это.

— А что вы сделаете с нами, если не опоздаете? — вместо ответа спросил Лиагэя.

— Мы вернем вас всех обратно. И все улетевшие когда-то и их дети, родившиеся в это время,— все будут жить на родине. И трудиться. Привилегированное положение твоей касты придется забыть, Лиагэя.

Глаза Лиагэи блеснули ненавистью.

Председательствующий рассмеялся.

— Если бы я жил во времена вашего отлета,— сказал он,— ты, вероятно, не стал бы и говорить со мной. Времена изменились. И вы сами знали, что они должны измениться. Зачем иначе было вам улетать на поиски других планет?

— Мы сделали это для того, чтобы спасти будущие поколения,— гордо ответил Лиагэя.

— Лжет или говорит не то, что думает,— сказал тот, кто был медиком.

— Видишь, Лиагэя. Стоило тебе уклониться от правды, и это сразу обнаружилось. Я скажу за тебя правду. Вы улетели для того, чтобы сохранить свою касту в предвидении неизбежной расплаты. Вы знали, что дни вашего господства над планетой сочтены. И вы решили переселиться на другую планету, где вы снова могли стать господами, могли жить за счет других. Колонизация — дело длительное.

Лиагэя поднял голову.

— А вы,— с силой сказал он,— вы, благородные и правдивые, не терпящие зла, что делаете вы? Обрекаете население планеты на гибель? Вы знаете, что на планете нет места для увеличивающегося населения, и отталкиваете руку помощи, которую мы протягиваем вам. Если бы ты был прав, Виая, так, кажется, тебя зовут, зачем мне было возвращаться сюда?

— Неисправен,— спокойно сказал медик.

— Знаю.— Председатель насмешливо улыбался.— И все это знают. Нет, Лиагэя,— сказал он.— Ты вернулся не потому. Тебя послали за людьми. Вы нашли дикую планету. Она требует много труда. И это вам не по вкусу. Тогда вы отправились на поиски другой. Вы нашли Лиа. Там все готово, есть города, дороги, заводы. Вам это больше понравилось. Но население Лиа уже не дикое, и оно вам не подчинится. Тогда вы решили уничтожить население планеты. Решение, вполне соответствующее вашему моральному облику. Но что бы вы стали делать там одни? Вам нужны люди. И ты прилетел только для того, чтобы обмануть нас, увлечь за собой тысячи людей, которым предстояло бы работать на вас. Но вы просчитались, Лиагэя. Такой ценой мы не хотим спасения от перенаселения нашей планеты.

Лиагэя молчал. Его лицо пылало, но глаза как-то сразу потускнели.

Потом он поднял голову и сказал без ненависти, усталым тоном:

— Вы хорошо использовали время. Мне жаль, что мы не придавали значения словам Риагэи.

— Риагэя? — удивленно сказал председатель.— Я помню это имя. Он был командиром вашей эскадрильи и вашим сообщником.

— Времена меняются,— ироническим тоном повторил Лиагэя слова самого Виаи.— Что еще вы хотите от меня?

— Ничего. Ты свободен, Лиагэя.

— Тогда я сам задам тебе один только вопрос. Почему ты сказал, что вы не нуждаетесь в спасении? Или население планеты стало уменьшаться под вашим правлением?

— Нет, оно увеличивается, и быстрее, чем это было в твое время, под вашим правлением,— ответил Виая.— Но я тебе уже сказал, что десять поколений, прожившихся без ига вашей касты, прожили не зря. Ты знаешь, Лиагэя, как тщательно хранили вы секреты вашей силы, в том числе и технику космических полетов. Вы все увезли с собой. И были уверены, что «низшие существа» никогда не откроют этих секретов. Немного времени понадобилось, чтобы намного превзойти вашу технику. Чьими руками строили вы свои корабли? Эти руки остались на планете. А разум вы считали своей привилегией. Самая большая ваша ошибка, Лиагэя! Отвечаю на твой вопрос. Проблема перенаселения, которая вас нисколько не интересовала, хотя ты и сделал попытку убедить нас в обратном, заставила наших предков предпринять то, что ты хотел поставить в заслугу вам. Мы сами отправились в космос, случайно в другую сторону, чем вы. Ведь мы не знали, куда вы направились. И мы нашли братьев по разуму, которые поняли нас и предложили нам свою помощь. Теперь уже близко время массовой иммиграции на новую родину, подготовленную совместными усилиями двух планет.

— Значит, вы все-таки собираетесь заселять чужую планету?

— Необитаемую. Я вижу по выражению твоего лица, что ты не видишь здесь разницы. По-твоему, низшие существа, населяющие Лиа, не заслуживают ни жалости, ни снисхождения, если затронуты интересы таких «высших» существ, как ты. Но, с нашей точки зрения, низшее существо — это ты сам и твои сообщники. И я не верю твоим словам, что обитатели Лиа — дикари. Твои рассказы об этой планете опровергают это утверждение. Пройдет немного дней — и наш корабль улетит туда. Я знаю, что мы встретим там братьев.

Долог путь по дорогам Вселенной.

А если экипаж корабля снедает тревога и нетерпение, он кажется еще длиннее.

Они не могли провести большую часть пути во сне. Они жили в обычном режиме дня, половину бодрствовали, половину спали, и нечем было заполнить пустоту времени.

Их было четверо.

Идея влекла их вперед, к далекой цели. Ради идеи жертвовали они собой. У них не было надежды вернуться обратно. Они улетели с родной планеты навсегда. Вернуться они не могли потому, что не знали, как управлять кораблем, как найти путь в безграничной пустоте.

Корабль вели автоматы.

Умные, осторожные, чуткие, они вели корабль по намеченной трассе, проложенной не теми, кто был на борту сейчас, а другими. Теми, кто построил корабль, умел управлять им, знал, как находить дорогу в космосе.

Никого из таких людей не было на борту звездолета.

Автоматы были надежны. Они знали больше своих теперешних хозяев и с равнодушием машины изменили прежним.

Корабль летел по точно рассчитанному курсу. Что бы ни случилось, какие бы препятствия ни возникли на пути, «командир» корабля в доли секунды примет решение и избежит любой опасности.

Четыре человека, составлявшие экипаж корабля, хорошо это знали. И они боялись даже подойти к двери отсека управления. Дверь была плотно закрыта, и желтой краской на ней был нарисован косой крест. Для того, чтобы никто не мог случайно проникнуть в запретную зону.

Все зависело от «командира». Его механический мозг был единственной надеждой на успех, единственной гарантией достижения цели, единственным шансом на жизнь.

Четверо не были уверены, что посадка произойдет так же благополучно, как взлет. Они не знали, умеет ли «командир» опускать корабль на планету. Они только надеялись на это.

И они часто бросали взгляды на большой, герметически закрытый ящик, окрашенный в ярко-желтый цвет, стоявший на середине центрального помещения исполинского корабля.

В этом помещении четверо проводили все время, только изредка покидая его. Здесь они жили, питались, спали и беседовали, хотя это помещение и не было жилым.

Но они «жались» друг к другу, стремились всегда быть вместе, помогали друг другу преодолевать невольный страх перед окружающим их со всех сторон бесконечным простором Вселенной.

Каюты корабля, предназначенные для членов экипажа, все были одиночными, рассчитанными на одного человека.

Утонченный комфорт этих кают не привлекал новых хозяев. Все было им чуждо, непривычно и глубоко ненавистно.

Они ненавидели каждый предмет на корабле и самый корабль. Все, кроме желтого ящика. Это было единственное, что принадлежало не прежним хозяевам, а им самим, было сделано ими, заключало в себе известную им цель.

Желтый ящик — это были «они сами». Потому что если им не суждено будет живыми достигнуть цели, содержимое ящика сделает все за них.

В любом случае задача должна быть выполнена.

Ящик был тяжел, массивен и очень крепок. Если корабль разобьется, он уцелеет.

Это было главное.

И за долгие годы пути они привыкли смотреть на ящик как на пятого члена экипажа. И называли его ласково, человеческим именем — «Григо».

На корабле было все.

Длинные аллеи, полные растительности, приглашали к прогулкам. Уютные салоны, игральные и спортивные залы, бассейны для купания, читальни и зрелищные установки звали к развлечению и отдыху. Астрономические пункты, кабинеты и лаборатории предоставляли все удобства для научной работы. И возле каждой каюты находилось голубое помещение с продолговатым бассейном, сейчас пустым.

Четверо пользовались только аллеями. Им необходимо было физическое движение. И они бегали по аллее каждый «день», в определенное время.

До всего остального они не дотрагивались.

Но они охотно воспользовались бы голубыми помещениями и стоявшими в них бассейнами. Время полета было пыткой. Но бассейны были пусты. А если и были бы заполнены, то все равно не могли бы ничем помочь. Четверо не знали, как вызвать снабиссон и как из него выйти. Эта техника была им совершенно неизвестна.

Четверо были первыми людьми своего народа, проникшими в космос. И они ничего не знали и ничего не умели делать в космосе. Ненависть вела их и руководила их поступками.

Ненависть и любовь.

Бывшие хозяева корабля — это были те, кого они ненавидели. Свобода и жизнь — это было то, что они любили.

Но существовало еще и третье — неведомые люди неведомой планеты. Им угрожали те, кого ненавидели четверо. И четверо спешили на помощь неведомым людям и невольно, не зная их, любили, как братьев, попавших в такую же беду, как они сами.

Но главным была для четверых все-таки не любовь, а ненависть. Их родина была теперь свободна и могла жить, как жила прежде, до появления «ненавистных».

Сорок три врага избежали справедливой кары. Их надо было настигнуть и уничтожить.

Если они вернутся и узнают, что́ произошло в их отсутствие, они отомстят за смерть своих собратьев.

Сорок три не должны были вернуться.

Четверых не смущало, что их всего четверо. Будь их в десять, в сто раз больше, они все равно не смогли бы справиться с могучими пришельцами. «Ненавистные» были сильнее. Им подчинялись силы, еще неизвестные и недоступные народу, к которому принадлежали четверо.

И они надеялись только на помощь тех, к кому спешили на помощь сами.

Совсем недавно на родной планете четверых никто не думал о существовании иных планет, иных человечеств. Никто не задумывался еще о тайнах мироздания. Они были дети природы, добрые и доверчивые. Их техника была примитивна, знания ограниченны, жизнь проста.

Природа планеты была богата и разнообразна. Она щедро давала своим детям все, в чем они нуждались. Люди не испытывали ни голода, ни жажды, ни холода. Не было хищных животных, не от кого было защищаться. И почти полное отсутствие борьбы за существование сослужило им плохую службу. Их разум застыл. И никто из них не помнил другого времени, других условий.

Они не знали, есть ли на планете другие люди, кроме них. Время исследования планеты еще не наступило. Огромный остров, на котором с незапамятных времен жили несколько десятков тысяч людей их народа, со всех сторон был окружен океаном.

Поколение за поколением «нежилось» в колыбели природы. Разум дремал, и ему нужен был внешний толчок, чтобы пробудиться.

Таким толчком явились пришельцы.

Три поколения прожили под игом.

«Ненавистные» относились к коренному населению с холодной жестокостью. Они заставили выстроить для себя целый город. Тех, кто противился, уничтожали.

Они были сильны знанием и техникой. Их было мало, и они управляли страхом.

Чтобы сохранить жизнь, надо было приспособляться. Появилась борьба за существование.

И всего за три поколения обитатели острова неузнаваемо изменились. Они многое поняли и многое узнали. Их развитие сделало резкий скачок.

Пришельцы не собирались учить покоренных. Но они нуждались в их труде и вынуждены были немного ознакомить их со своей наукой и техникой.

С глубоким презрением относясь к жителям острова, пришельцы недооценили природную остроту ума, сообразительность и способности своих рабов.

И поплатились за это.

Никто не знал, откуда явились пришельцы, что им надо здесь, какую цель они преследовали.

Их нетрудно было уничтожить сразу. Но жители острова радушно встретили неведомые существа, совсем не похожие на них самих, когда восемь гигантских кораблей опустились на острове. А потом было уже поздно. Понадобилось много времени, чтобы научиться настолько, что стало возможно обратить технику пришельцев против них самих.

«Ненавистные» — так прозвало пришельцев первое поколение, оказавшееся в их власти. Так же называло их и нынешнее, четвертое поколение островитян.

Три поколения сошло в могилу. А пришельцы были все те же. Казалось, они властвовали и над смертью. Ни один из них не умер за время пребывания на острове. Наоборот, их число увеличивалось: рождались дети.

Но пришельцы не были бессмертны. В этом убедились островитяне, когда долго накапливающийся гнев вылился в восстание и все, кроме сорока трех улетевших, были поголовно уничтожены.

Сорок три ускользнули случайно. Они покинули планету, ничего не зная о готовящемся восстании.

Один из пришельцев улетел еще раньше.

Из восьми кораблей на острове оставались шесть.

Пришельцы очень берегли свои корабли и заботились о них. Собирались ли они все улететь с планеты? Этого никто не знал. Островитяне давно потеряли надежду на избавление.

Четверо летели в неведомую даль.

Но они знали, с какой целью улетели сорок три, которых они хотели настигнуть.

«Ненавистным» мало было одной планеты, они готовились покорить вторую. Островитяне считали свой остров «всей» планетой.

Среди пришельцев были разные люди. Некоторые из них хорошо относились к местному населению, «снисходили» до разговора, отвечали на вопросы.

Был один из пришельцев, которого островитяне даже любили, но он улетел вместе с сорока тремя.

Его звали Риагэя.

Если бы он остался, его пощадили бы.

Он часто говорил с людьми и многое открыл им.

С какой целью? Они не знали.

Четверо были убеждены, что неизвестная им планета подобна их собственной, что обитатели этой планеты окажутся под игом «ненавистных».

Им надо все рассказать, предупредить их о грозящей им участи.

Четверо могли это сделать.

Давно, еще при жизни второго поколения, три корабля пришельцев покинули остров и потом вернулись. Вернулись с тем же экипажем.

Среди них был один, которого звали Дея. У него была дочь по имени Гианэя.

Отец привез из экспедиции новый, никогда ранее никем не слышанный язык.

Пришельцы заставляли островитян не только работать на своих стройках, но обслуживать себя. В каждом доме были слуги из местного населения.

В доме Деи таким слугой работал Мериго, молодой человек с прекрасной памятью, один из тех четверых, кто летел сейчас к неведомой цели. Но теперь он был уже не молод.

Дея обучал свою дочь новому языку. В его доме этот язык слышался чаще, чем язык «ненавистных», на котором говорили все.

Зачем это было нужно, Мериго не знал, но он невольно сам выучил этот язык.

Дея называл его «испанским». И Мериго вскоре узнал, что это язык той планеты, куда летали Дея и его спутники.

А когда выросшая Гианэя улетела в числе сорока трех, Мериго понял, зачем обучали ее чужому языку. Она должна была говорить с местным населением.

Он видел, что Гианэя не хотела улетать с острова. Она плакала, но пришельцы были жестоки не только к покоренным островитянам, но и друг к другу. Даже отец к дочери.

Много раз пришлось Мериго и другим слугам Деи испытать на себе жестокость хозяев. За малейшую провинность их избивали, а трое заплатили даже жизнью за ничтожную вину. Их сожгли живыми.

Так погибла сестра Мериго. И он остро ненавидел пришельцев и все, что было с ними связано.

Мериго первым узнал об отлете «ненавистных» к другой планете.

Лететь должны были два корабля. Но потом почему-то улетел только один.

Второй остался, полностью подготовленным. Видимо, он должен был стартовать несколько позднее.

Но не успел. Произошло восстание.

«Ненавистные» ничего не делали сами. И к подготовке обоих кораблей они привлекли рабов. Самых развитых и «образованных».

Техника была им, конечно, неизвестна и непонятна. Куда улетал корабль, они не знали. Но им было известно, что экипажи будут в пути спать, а управлять кораблем предстояло загадочному механизму, который «ненавистные» называли «мозг навигации».

Этот мозг сам доведет корабль до цели.

Оба корабля готовились одинаково и одновременно.

А когда один улетел, а второй остался, когда было покончено с пришельцами, возник план воспользоваться этим кораблем.

У долго угнетаемого народа развилось чувство солидарности. Они хотели помочь другим избежать собственной участи.

И хорошо понимали, что нельзя оставить в живых сорок три «ненавистных».

Вернее, сорок два, так как ни у кого не поднялась бы рука на Риагэю.

Как пустить в ход механизмы корабля, они знали. Но больше не знали ничего. И даже не думали о безумии своего плана.

Четверо улетели.

Мериго должен был рассказать все тем, неведомым. И помочь трем своим спутникам говорить и понимать ответы тех людей.

Он уже сейчас учил их говорить «по-испански». Ведь если удастся живыми достигнуть цели, четверым всю жизнь придется провести на чужой планете. Кто мог указать им дорогу обратно?

Только Риагэя.

Но захочет ли он это сделать? Они не знали, как подействует на него известие об уничтожении всех его соотечественников.

Четверо были готовы никогда не вернуться на родину.

— Я снова встречусь там с Гианэей,— говорил Мериго.— Она не ждет такой встречи. И я сам, своими руками, убью ее.

Сколько оставалось еще лететь?

Они этого не знали.

Продолжение следует в № 21.

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

(Продолжение. Начало см. «Смену» №№ 11—18)

Г. МАРТЫНОВ

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО**

— Вот! — сказала Гианэя.— То, что вы ищете.

Радиосвязь между четырьмя вездеходами работала все время. Ее слова услышали все одновременно. И можно было с уверенностью сказать, что все участники поисковой экспедиции на всех четырех машинах радостно и взволнованно встрепенулись, так же, как Стоун.

— Где? — спросил он.

Найти на второй день поисков! И это после почти трехлетних неудач.

— Прямо перед вами. И близко.

Муратов перевел ответ. Вездеходы остановились.

Впереди были только те же мрачные, коричнево-серые скалы, изрезанные трещинами, желтоватая пыль, толстым слоем покрывавшая почву.

Прямо впереди, метрах в двухстах, изгибался горный хребет, заканчиваясь острым выступом, с огромным нагромождением хаотически наваленных друг на друга камней — следами когда-то рухнувшей большой лавины. Глубина изгиба скрывалась в непроглядно-черной тени.

Сколько таких изгибов уже попадалось раньше!

Прямо туда, в эту тень, указывала рука Гианэи.

— Там? — спросил Стоун.

— Да, в самой глубине.

— Прожекторы! — приказал Стоун.

С четырех машин четыре сильных луча рассеяли черный мрак.

— Здесь мы не могли ничего найти,— сказал Вересов.— Так близко от станции...

— Вы уверены? — спросил Стоун.

— Я вижу,— просто ответила Гианэя.

Как выяснилось позднее, у всех мелькнула в этот момент одна и та же мысль:

«Здесь вечная тень. Никогда это место не освещается солнцем. Горные породы охлаждены почти до абсолютного нуля. Никакого инфракрасного излучения здесь не может быть. Как же Гианэя может что-нибудь видеть? Значит, не только инфракрасная часть спектра доступна ее зрению».

В том, что Гианэя действительно видела загадочную базу, невозможно было сомневаться.

— Какую примерно площадь занимает база? — спросил Стоун.

Выслушав перевод вопроса, Гианэя задумалась. Муратов решил было, что она не знает земных мер длины и площади, но оказалось, что Гианэя молчала по другой причине. Она просто хотела ответить точнее.

— Мне трудно определить на глаз,— сказала она наконец,— но мне кажется, что ее площадь — около шести тысяч квадратных метров.

— Значит,— сказал начальник экспедиции,— примерно восемьдесят метров на восемьдесят. Такую небольшую площадь мы сможем обработать четырьмя рабочими машинами.

Он тут же отдал распоряжение, чтобы к этому месту вышел еще один вездеход с оборудованием.

— Полным ходом по нашим следам! — приказал он в микрофон.— Открытых трещин нет, дорога безопасна. Предупредите Сабо. Жду через пятнадцать минут.

Прожекторы ярко освещали горные уступы в глубине изгиба. Отчетливо виднелись тени от впервые проникшего сюда света. Но по-прежнему ничего постороннего не было видно.

Тревожная мысль мелькнула у Стоуна.

— Спросите ее,— сказал он,— безопасно ли освещать эту базу?

Гианэя ответила, что этого она не знает.

Из осторожности Стоун приказал погасить прожекторы.

— Когда будет нужно, снова зажжем их.

— Странно,— заметил Муратов.— Спутники непрозрачны. Почему же они не заслоняют скалы. Почему от спутников нет теней?

— Может быть, они уже не здесь? — высказал предположение Токарев.— Может быть, тут только покинутая база?

— Спросите об этом Гианэю,— сказал Стоун.

Муратов объяснил как мог лучше, что именно смущает его и остальных участников экспедиции.

— Мне немного странно,— ответила Гианэя,— что вы не видите этого сами. Но я понимаю, отчего это происходит. Мы (она имела в виду своих соплеменников) не подозревали такой особенности вашего зрения. Я узнала об этом только на Земле.— Гианэя словно забыла вчерашний разговор.— Вы ничего не видите, когда нет света. Я хотела сказать, такого света, который вы воспринимаете. Мы видим гораздо больше. Темные, по-вашему, предметы для нас освещены. Странно, не правда ли, Виктор? Ведь вы так похожи на нас!

Он подумал, что она неудачно выбрала время для подобной беседы. И не мог скрыть нетерпения, попросив ее ответить на заданный вопрос.

— Почему вы говорите со мной в таком резком тоне? — как ни в чем не бывало, спросила Гианэя.— Я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали.

— Простите, но мы очень взволнованы.

— Нет причин волноваться. То, что вы искали, найдено. Чего же вам еще нужно?

В ее тоне ясно слышалось: «Я выполнила то, что вы хотели. Оставьте меня теперь в покое».

— Вы видите, Гианэя,— сказал Муратов,— а мы нет. Так помогите нам еще раз.

Она повела плечом — характерный жест, свойственный только ей одной.

— Опустите прожекторы ниже,— сказала она так, как мог бы сказать учитель бестолковому ученику.—База (она впервые четко произнесла это слово) расположена в углублении. Кажется, оно искусственное, потому что оно имеет ровные границы. Лучи вашего света проходят выше, и потому вы ничего не видите.

— Подождем,— сказал Стоун, когда Муратов перевел ему все, что сказала Гианэя.— Неизвестно, как подействует свет на установки этой базы. Мы и так сильно рисковали, когда зажгли прожекторы, не подумав хорошенько. Но это моя вина.

Точно через пятнадцать минут подошла пятая машина. Наступил долгожданный момент операции.

Стоун отвел свой вездеход немного назад и в сторону. Четыре рабочие машины выстроились в одну линию. От них до границы не видимой пока базы было, таким образом, больше ста метров — расстояние, вполне безопасное и удобное для работы. Даже если произойдет взрыв любой силы, вплоть до аннигиляции, то он не причинит никакого вреда. Сотрясения воздуха не приходилось опасаться здесь, где не было никакого воздуха. Оставалась только теоретическая возможность, что база взорвется, как ядерная бомба, с огромным повышением температуры. Но вездеходам, сконструированным специально для поисков базы, ничто не грозило. Экипажи были в безопасности. Какая-то степень риска, конечно, оставалась, но с этим приходилось мириться. Отвести машины еще дальше, на абсолютно безопасное расстояние, было никак нельзя. Тогда стало бы очень трудно управлять роботами-автоматами.

Никто из участников экспедиции и не думал о какой-либо опасности. Они знали одно — база найдена, и надо ее уничтожить.

Надо! Этого слова было совершенно достаточно.

В машине Стоуна появился прибывший на пятом вездеходе руководитель технической части всех шести предыдущих экспедиций инженер Ласло Сабо — плотный, широкоплечий человек небольшого роста и неопределенного возраста. Его лицо с резкими, волевыми чертами оттеняла небольшая клинообразная бородка — украшение, очень редко встречающееся в эту эпоху.

Муратов еще в пути с Земли на Луну заметил явную неприязнь Гианэи к инженеру. Дело заключалось не только в том, что Сабо был небольшого роста. В последнее время Гианэя стала заметно терпимее относиться к подобным людям. Видимо, она поняла или начинала понимать, что люди Земли одинаковы независимо от их роста. Антипатия Гианэи имела еще какие-то, пока неизвестные причины.

Она вздрогнула, когда Сабо, проходя по вездеходу на свое место, кивнул ей головой в знак привета. Муратов видел, какого труда стоило Гианэе ответить ему таким же кивком.

В руки Сабо перешло руководство всей операцией.

— Внимание! — сказал он, едва успев снять лунный скафандр.— Приступаем к выполнению первой части программы — разведке. Выпустить робот номер один!

Из машины, в которой находился Синицын, выполз ярко блеснувший под лучами солнца металлический шар на гусеничном ходу.

Вересов накануне отлета подробно описывал Муратову его устройство. Это была очень сложная и совершенная машина, плод конструкторского и технического труда многих людей, теперь, по всей вероятности, обреченная на гибель.

Робот отполз от вездехода метров на десять и остановился.

Он ждал команды.

Сабо произвел переключения на пульте радиосвязи.

— Впе-ред! — сказал он, раздельно произнося каждый слог.— Первый поиск!

Робот качнулся и быстро пополз к горному изгибу.

Гарсиа пересел к пеленгатору. Нужно было проследить, не появится ли какой-нибудь радиосигнал. Стоун склонился к инфракрасному экрану.

Они не принимали никаких мер защиты против возможной вспышки, подобной той, которая появилась при аннигиляции робота-разведчика три года тому назад, во время экспедиции на «Титове».

Экраны не пропускали чрезмерно сильных световых лучей, глаза людей были в полной безопасности, что бы ни произошло.

Приблизившись к границе черной тени, робот замедлил движение. Точно живое и разумное существо, он подходил к цели очень осторожно. Машина обладала высокоразвитым «мозгом».

Потом робот остановился. Его передняя часть погрузилась в тень и

сразу исчезла из глаз. Задняя продолжала блестеть на солнце. Было такое впечатление, что чьей-то невидимой рукой машина была внезапно разрезана пополам.

Щелкнул контакт приемного аппарата, и раздался отчетливый металлический голос:

— Трещина. Два метра глубины. Расстояние — девятнадцать метров. Видимость — нуль.

— Это не трещина,— сказал Стоун.— Это искусственная выемка, в которой находится база. Что будем делать, Ласло? Включать свет рискованно.

— А в чем риск? — возразил Сабо.— Взорвется? Ну и пусть взрывается. Мы же сами хотим уничтожить эту базу.— Он слегка наклонился вперед, к микрофону и произнес так же, как раньше, разделяя слоги: — Свет! Те-ле-пе-ре-да-ча!

На всех вездеходах люди поспешно повернули переключатели. Нижняя часть обзорных экранов чуть потемнела. Теперь эта нижняя половина превратилась в телеэкран. Верхняя оставалась прежней, для визуального наблюдения.

В черной мгле, где скрылась передняя часть робота, вспыхнул сильный луч света. Было видно, что робот направил свет прожектора вниз. На телеэкранах появилась ровная, как по линейке проведенная, линия обрыва. От робота она находилась метрах в двадцати, как казалось людям, а по определению самого робота — в девятнадцати.

— Подойти ближе! — скомандовал Сабо.

Робот совсем исчез. Только свет его прожектора указывал место, где он находился.

Линия обрыва приблизилась. Не могло быть никакого сомнения, что она искусственная.

— Шире свет! — последовала команда.

Было хорошо слышно, как там, внутри шара, защелкали контакты переключателей. Луч света разошелся в стороны. Его яркость усилилась.

Теперь хорошо была видна вся выемка, вырубленная в скалистом грунте. Она была правильной квадратной формы, глубиной в два метра, с ровным, гладким дном.

Вот она, наконец, таинственная база чужого мира, три года тщетно разыскиваемая людьми!

В первый момент всем показалось, что база пуста. Ни спутников-разведчиков, ни каких-либо аппаратов. Но потом люди заметили тени, отбрасываемые как будто пустым местом. Абсолютно невидимые агрегаты базы не были прозрачны, как и предполагалось; они поглощали свет полностью, не отражая его.

Теней было много, и они спутывались друг с другом. Ничего нельзя было определить.

Робот стоял теперь у самого края выемки, совсем близко от спутников, которые, безусловно, находились здесь. Но ничего не происходило, робот оставался цел. Ожидаемая всеми вспышка аннигиляции не появлялась.

Может быть, защитные установки сейчас выключены? Может быть, они действуют только в полете?

— Подойдем сами,— предложил Стоун.— Или пошлем разведчиков-людей.

— Рано! — отрывисто ответил Сабо.— Внимание! Выпустить роботы номер восемь, девять, одиннадцать и двенадцать!

Четыре машины вышли на лунную почву. В отличие от первой они были длинной, сигарообразной формы. На носу каждой далеко выдавался вперед конический выступ.

— Вперед! Фронтом!

Как хорошо вымуштрованные солдаты былых времен, роботы выстроились в одну линию и быстро исчезли во мраке изгиба. Свет прожектора первой машины не освещал их, и на экранах их не было видно.

— Они понимают все, что им говорят? — спросила Гианэя.

— Нет,— ответил Гарсиа.— У них определенный запас слов, которые они понимают и могут произносить сами.

— У вас есть такие машины? — спросил Муратов.

Гианэя поморщилась, точно вопрос был ей неприятен, но ответила:

— Я не видела. Но у нас есть думающие машины.

Металлический голос робота номер один сообщил, что четыре вспомогательные машины на месте и готовы к работе.

— Пыль! — скомандовал Сабо.— Вторая программа!

Муратов с особым интересом смотрел на экран. Сейчас осуществлялась его идея.

Было хорошо видно, как в ярко освещенную прожектором выемку с огромной силой влетела веерообразная струя черной краски. За ней последовала вторая — красного цвета. Третья — желтого. И, наконец, последняя — зеленого. Разноцветная дымка закрыла всю выемку.

А когда закончилась работа пульверизаторов, рассеялась дымка, глазам людей предстала замечательная картина.

...Момент был настолько волнующим, что те участники экспедиции, которым было поручено заснять базу, не сразу вспомнили о своих обязанностях.

Не меньше десяти минут экипажи всех пяти вездеходов молча смотрели на то, что появилось перед ними. Каждый хотел навсегда запомнить это зрелище.

Пестрые, как детские игрушки, стояли два огромных яйцеобразных тела. Они были совершенно гладкие, без выступов, раструбов, без чего-либо напоминающего дюзы, каждое около сорока метров в длину.

Это и были таинственные спутники-разведчики, так долго занимавшие мысли ученых, доставившие столько беспокойства и хлопот космической службе.

Со всех сторон к каждому «яйцу» подходили длинные шланги от небольших возвышений, имевших форму куполов, поднимавшихся над землей примерно на двадцать сантиметров. Было ясно, что это только верхняя часть сооружений, а все остальное упрятано в лунную почву. В глубине выемки, у противоположного ее края, виднелся какой-то длинный ромбический предмет.

Затаив дыхание, люди рассматривали возникшую словно из небытия базу спутников.

Все было неподвижное, застывшее, будто скованное ужасающим морозом лунной тени.

Краска почти не затронула почвы, и картина была чрезвычайно рельефной. Ромб, купола, шланги и сами спутники-разведчики казались металлическими, но были ли они таковыми в действительности, мешала определить та же краска, сделавшая их видимыми.

Долгую тишину нарушил Сабо.

— Убрать распылители! — Его голос звучал так же спокойно и ровно, как и раньше.— Внимание! Выпустить роботы номер второй и третий!

Теперь появились механизмы, ничем не напоминавшие первые. Это были роботы-«люди» — с ногами, руками и круглыми стеклянными «головами». Немного неуклюже, но быстро они зашагали к выемке.

Четыре сигарообразные машины вернулись каждая к своему вездеходу и спрятались внутрь.

Наступил наиболее ответственный и самый интересный момент операции.

Кибернетические автоматы были способны произвести полное и детальное исследование любого предмета как снаружи, так и внутри, не вскрывая наружной оболочки. Быстро и очень точно они определяли размеры, материал, химический состав, могли разобраться в любой схеме, однако не более сложной, чем их собственная.

Подобные роботы применялись часто для самых разнообразных целей и обычно хранили полученную информацию в своей «памяти», выдавая ее по требованию. На этот раз было внесено изменение в их конструкцию. Приходилось считаться с возможностью уничтожения роботов защитными установками базы или спутников. Все, что им удастся узнать, роботы немедленно передадут на пульт штабного вездехода.

Сабо приготовился к приему сообщений.

Но удастся ли узнать что-нибудь? «Допустят» ли это спутники и их база?

Многие сомневались в успехе.

Робот номер два, подойдя к краю отвесного обрыва, ловко спустился на площадку. Номер третий почему-то замешкался, но потом спустился и он.

— Номер первый! — сказал Сабо.— Передаю управление! Второй поиск!

— Второй поиск,— равнодушно повторил невидимый на экранах шар.

Муратов помнил объяснения Вересова. Оба робота-«человека» поступили под команду электронного мозга, заключенного в шаре, и теперь будут выполнять только его приказы. Шар находился ближе к месту действия и имел прямую «зрительную» связь с исполнителями. И у него хватит «сообразительности», чтобы при любой неожиданности, гораздо быстрее, чем мог бы это сделать человек, принять правильное решение.

Роботы разошлись. Один направился к ближайшему спутнику, другой — к ромбу.

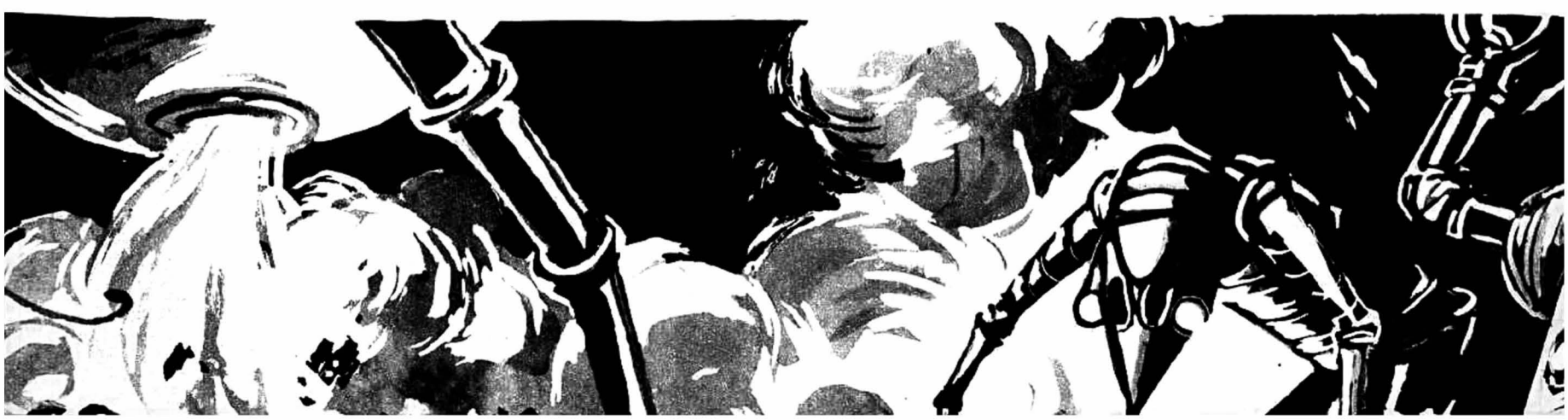
База не реагировала. Создавалось впечатление, что никаких защитных установок против вторжения посторонних тел здесь нет. Но было хорошо известно, что спутники имеют такую защиту.

Почему же она бездействует?

Муратов посмотрел на Гианэю. Она с видимым интересом наблюдала за происходящим. Никакой тревоги не было на ее лице.

О чем она думала сейчас? Что чувствовала?

Люди Земли готовились проникнуть в тайну, которую соотечественники Гианэи хотели скрыть от них. Она не могла относиться к этому с полным равнодушием.



Но по ее внешнему виду ничего нельзя было определить.

Робот номер три вдруг остановился и, повернувшись, пошел обратно к шару.

— Видимо, он решил, что обследование нужно производить по очереди,— сказал Стоун, имея в виду электронный мозг.— Он опасается путаницы одновременной информации.

— Да, видимо, так,— согласился Сабо.

Робот номер два беспрепятственно подошел к ромбу.

Загорелась зеленая точка сигнальной лампочки на панели приемного аппарата, с легким шелестом поползла за стеклом узкого «окошка» лента записи.

Робот приступил к работе.

Он действовал по порядку с хладнокровием машины. Сообщил размеры ромба, указал, что бóльшая его часть заключена в скале, и приступил к обследованию материала, из которого была сделана наружная поверхность.

Сначала все шло гладко. На ленте быстро отпечатывались символы химических элементов. Железо, алюминий, марганец, кальций.

Но вот появился вопросительный знак. Это означало, что роботу встретился неизвестный ему элемент или сплав, который он не мог разложить на составные части.

Второй вопросительный знак! Третий!

— Плохо! — сказал Сабо.— Конструкция не продумана до конца. Он не умеет производить незнакомый анализ.

— Ничего подобного,— раздался чей-то голос из динамика другого вездехода.— В него заложена программа любого анализа, который когда-либо производился на Земле. А то, чего не могут или пока не умеют делать люди, естественно, не может уметь и он.

Они увидели, как робот достал какой-то инструмент. Видимо, это был резак. Посыпались искры.

— Материал не поддается,— холодно сообщил электронный мозг.— Пришлите другого.

— Более совершенного нет,— ответил Сабо.

— Прекращаю,— сказал шар.

И тотчас же робот номер два убрал электрический резак.

Муратов никогда не видел работу таких машин. Ему было немного странно слушать обмен фразами и сознавать, что между собой говорят не два человека, а человек с машиной.

— Плохо! — повторил Сабо.— Именно в том, чего не сумел понять наш разведчик, заключена тайна невидимости.

— Может быть, попробовать отрезать кусочек купола,— предложил Стоун.

Электронный мозг шара сам пришел к такому же решению. Робот направился к ближайшему куполу.

Но и здесь ничего не вышло. Материал, из которого были сделаны агрегаты базы, не поддавался.

Робот вернулся к ромбу.

Он поднял руки и положил их на его поверхность.

И снова ничего не случилось.

Резким скачком изменилась окраска экранов. Они стали чуть зеленоватыми. Ромб и стоявший возле него робот приблизились и заняли всю площадь экрана.

Потом все увидели, как потускнела, расплылась поверхность ромба, и стали видны какие-то провода, рычаги, острые выступы неизвестных приборов.

Открылась внутренность ромба.

— Если это и есть электронный мозг базы,— сказал Токарев,— то при чем здесь рычаги?

— Может, это вовсе и не рычаги,— отозвался Сабо,— а только что-то похожее на них. Не забывайте, что перед нами не земная конструкция.

— Об этом забыть никак нельзя.

Робот застыл в неподвижности. Лента приемного аппарата продолжала двигаться, что указывало на продолжающуюся работу «мысли» в стеклянной «голове» кибернета.

— Схема не поддается, пришлите другого,— раздался металлический голос шара.

— Более совершенного нет,— ответил Сабо.

Но слова «прекращаю» не последовало. Очевидно, шар не терял надежды, что его помощнику удастся все же разобраться в схеме электронного мозга базы, видимо, более сложной, чем его.

Внутренность ромба все так же держалась на экране телесвязи.

А на визуальном экране было видно, как робот номер три снова направился к спутнику. Шар не желал терять времени. Поскольку от робота номер два передача информации временно прекратилась, он приказал номеру третьему начать работу.

— Похоже, что нам все же удастся исследовать базу и основательно познакомиться с ее агрегатами,— сказал Стоун.— Где же та опасность, о которой говорила нам Гианэя?

Она услышала свое имя и вопросительно посмотрела на Муратова.

Он перевел ей слова начальника экспедиции, стараясь не обидеть ее.

Выслушав, Гианэя повела плечом.

— Я не знаю, в чем заключается опасность,— сказала она,— но хорошо помню слова Риагэи. Он сказал, что если люди Земли попытаются подойти к базе, то вызовут этим катастрофу. Вот и все. Я считала своим долгом предупредить вас.

Ее слова смутили всех.

— Может быть...— начал Токарев, но Стоун перебил его.

— Гианэя могла неправильно понять Риагэю,— сказал он.— Или, сама того не подозревая, придать его словам другой смысл. Нельзя из-за ни на чем не основанного страха упускать единственную возможность.

— Ни на чем не основанного! — сказал Токарев.— Разве так?

— Все равно! — Стоун досадливо махнул рукой. Он явно был сильно раздражен.

«Не потому ли, что чувствует свою неправоту?» — подумал Муратов.

— Я согласен с Генри,— сказал Сабо.— Раз начали, надо продолжать.

Остальные промолчали.

Пока шел этот разговор, робот номер три вплотную приблизился к спутнику.

— Товарищи, смотрите! — воскликнул Муратов, указывая на телеэкран.

Но все уже увидели одновременно с ним.

Внутри ромба возникло движение. Короткие вспышки, как стая искр, побежали по проводам или по тому, что люди принимали за провода.

— Сигналы,— сказал Гарсиа, сидевший за пеленгатором.— Ультракороткие волны.

Едва успели прозвучать его слова, как сильная вспышка света залила экраны. Она была очень ярка и только благодаря смягчающему действию экранов не ослепила людей.

— Так и знал! — сказал Стоун.

Аннигиляция?!

Экраны продолжали светиться. Это означало, что робот номер один не пострадал. И не только не пострадал, но и продолжал руководить операцией.

Изображение, передаваемое им на телеэкран, отодвинулось. Снова стала видна вся база.

Робот номер два по-прежнему стоял возле ромба.

Робота номер три нигде не было видно.

Его судьба была ясна. Он подошел вплотную к спутнику, тот сообщил об этом ромбу. Последовала команда, и робот был тут же уничтожен.

Точно так же, как был уничтожен робот-разведчик, посланный три года назад с борта «Титова».

Видимо, и тогда спутник получил приказ от этого же ромба.

— А вы говорили! — сказал Токарев.

— Не изменяю своего мнения и сейчас,— ответил Стоун.— База для нас безопасна. Защиту имеют только спутники.

— Внимание! — сказал Сабо.— Выпустить робот номер четыре!

Слово «Внимание!» произносилось специально для того, чтобы роботы, находившиеся в действии, знали: это к ним не относится.

— С самого начала надо было послать четвертый номер! — проворчал Сабо.— Зря погубили машину!

— Вы сами согласились, что надо испытать степень опасности,— сказал Стоун.

Муратов знал, что робот номер четыре — это такая же машина, как номера два и три, но снабженная противоаннигиляционной защитой. Он понял, что Сабо решил испытать ее, послав к тому же спутнику.

Третий «человек», гораздо выше и массивнее первых двух, зашагал к выемке.

Но он не успел пройти и половины пути, когда случилось то, чего никто не мог предвидеть и ожидать.

Ближайший спутник-разведчик вдруг покачнулся и быстро поднялся, встав вертикально.

За первым последовал второй.

Что-то блеснуло в нижней части аппаратов...

И оба «яйца» взлетели над выемкой, на секунду остановились... снова сверкнули две молнии... и спутники-разведчики исчезли в черной бездне лунного неба.

5

Сабо выругался грубо и зло.

— Доигрались! — раздался из динамика голос Синицына.

Стоун нахмурился, но ничего не сказал, хотя замечание Синицына явно относилось к нему.

— Не об этом ли говорил Риагэя? — сказал Муратов.— Не это ли подразумевал он под словом «катастрофа»?

— Не вижу катастрофы,— сказал Стоун.— Спутники отправились в полет. Мы достанем их там. База осталась в нашем распоряжении.

— Сомнительно! — заметил Вересов.

— Именно так!

На площадке базы все было по-прежнему спокойно. Но вот возникло движение. Многочисленные шланги стали быстро укорачиваться, пока не скрылись внутри куполов.

И снова все замерло.

Внезапно раздался смех — смеялась Гианэя.

— Что же вы наделали? — сказала она.

— Откуда мы могли знать? — ответил Муратов.— Вы же нас не предупредили.

— Я сама этого не ожидала.

— Тем более мы.

Неожиданный поворот событий смутил всех участников экспедиции. Слова Муратова заставили призадуматься. Выходило, что команда на взлет была подана ромбом, и именно потому, что на базе появились люди, потому, что база была ими увидена. Такой случай предвидели ее строители и заранее приняли меры. Видимо, они ничего не имели против того, чтобы земляне познакомились с базой, но отнюдь не со спутниками. И, выполняя их волю, оба «яйца» улетели от нежелательного соседства.

Но только ли улетели? Только ли отправились во внеочередной полет вокруг Земли? Риагэя вряд ли назвал бы простое бегство катастрофой.

Но гадать было совершенно бесполезно.

— Вы не знаете,— спросил Гианэю Гарсиа,— через какой промежуток времени эти спутники возвращаются сюда?

— Не знаю. Но они летают долго.

— Придется доставать их в небе,— сказал Сабо.— Это гораздо сложнее. Жаль, что так получилось. Уничтожить их здесь было просто. Но нет худа без добра. Теперь мы сможем основательно ознакомиться с оборудованием базы. И нет смысла уничтожать ее вообще.

— Как сказать,— возразил Токарев.— Может быть, как раз наоборот, надо уничтожить базу и тем лишить спутников возможности заряжаться. И, вернувшись, когда придет время, они окажутся в наших руках.

— Совсем уж невероятно,— сказал Вересов.— Они могут защищаться неопределенно долго, даже потеряв способность летать. Вряд ли они смогут вернуться на базу, если будет уничтожен ромб.

Стоун долго молчал.

— Я кое в чем ошибся,— сказал он.— Вот мое решение. Базу уничтожим, но после того, как детально ее обследуем. Спутников тоже уничтожим, в небе. Есть возражения?

— Обследование надо производить крайне осторожно,— сказал Синицын.— Кто может знать, какие сюрпризы здесь заготовлены!

— Мы будем осторожны.

Предложение Стоуна было принято.

Робот номер два все еще неподвижно стоял у ромба. Четвертый оставался там, где застал его неожиданный отлет спутников. Видимо, приказ остановиться он получил от шара.

Но вот оба робота зашевелились. Электронный мозг шара разобрался в обстановке и принял решение продолжить работу. Второй номер снова поднял руки и положил их на поверхность ромба, четвертый двинулся вперед.

— В сущности, он уже не нужен,— сказал Сабо.

— Неважно,— ответил Стоун.— Противоаннигиляционная защита ему не помешает.

Гианэя повернулась к Муратову.

— Зачем вы продолжаете совершать ошибку? — сказала она.— Или вы хотите погубить ваши машины? Мне жаль их, они выглядят очень умными.

— Разве им угрожает опасность, когда нет спутников?

— Я вам говорила: уничтожьте!

— Объясните яснее, Гианэя.

— Разве я это знаю? — сказала она, как показалось Муратову, с грустью в голосе.— Я мало знаю.

— Так почему же вы так настойчиво рекомендуете уничтожить, и притом скорее?

— Потому что я слышала. Риагэя сказал кому-то из наших, что никогда люди Земли не смогут узнать устройство ни спутников, ни базы, даже если найдут их. Он прибавил: «Такая попытка дорого им обойдется». Он хорошо знал.

Муратов поспешно передал ее слова остальным.

— Мне теперь кажется,— прибавил он,— что этот Риагэя имел в виду, что, тронув базу, мы приведем в действие что-то относящееся к спутникам и, вероятно, опасное.

— Мы совсем упустили из виду: как только была обнаружена база, спутники улетели,— с тревогой проговорил Стоун.— Может последовать команда к действию.

— И даже наверное,— раздался голос Синицына.— Они, безусловно, должны были предусмотреть возможность нахождения нами этой базы и отлично понимали, что в этом случае она будет нами уничтожена.

— Номер первый! — На этот раз голос Сабо не был так невозмутимо спокоен.— Прекратить поиск! Назад! — Он повернулся к Стоуну.— Риск действительно очень велик. Лучше не искушать судьбу.

— Как ни жаль, но, по-видимому, это будет самое лучшее.

— Уничтожаем?

— Да,— твердо ответил Стоун.

Решение было принято.

Но оно опоздало.

Хозяева базы решили все раньше.

На Луне нет звуков. И первый взрыв люди увидели. Робот номер один еще не погасил своего прожектора, ожидая, пока выйдут из выемки оба его помощника. Они как раз показались на краю площадки, когда один из куполов вдруг точно раскрылся, изнутри вырвался сноп огня, и через мгновение на этом месте осталась только глубокая яма.

И тотчас же взорвался второй, потом третий...

Четвертый взрыв произошел уже в темноте. Шар быстро полз к вездеходам. Впереди его «бежали» оба робота-«человека».

А там, в черной мгле тени, с методической аккуратностью, через равные промежутки времени, взлетали столбы огня, уничтожая неизвестные людям сложные установки базы, доставленные сюда предками Гианэи с другой планеты, сгусток технической мысли неведомого народа.

Наступила прежняя «тишина».

Пять прожекторов без чьей-либо команды, но одновременно осветили изрытую ямами площадку.

Все обратилось в пыль. Там, где стоял ромб, сила взрыва обрушила часть скалы, обломки гранита засыпали половину выемки.

И только ровные линии ее границ указывали, что здесь находилось искусственное сооружение.

Это все, что осталось людям на память о пришельцах из космоса.

Нет, не все!

Оставались еще два спутника!

Где-то в пространстве они снова кружились возле Земли, неся в себе неизвестную опасность.

Нельзя было сомневаться, что «команда действовать», как говорил Стоун, уже отдана. Это логически вытекало из того факта, что база перестала существовать. Ромб должен был выполнить и, конечно, выполнил свое последнее назначение.

Что же грозит Земле в ближайшие часы, а может быть, и минуты?

Ведь там ничего не знают!

Штабной вездеход полным ходом помчался обратно к станции. Волнение и тревога были настолько сильны, что об остальных машинах вспомнили только в пути и по радио объяснили причину такого стремительного отъезда.

Уже через десять минут Сабо и Стоун находились в радиорубке. Прямая связь с космическим институтом была установлена меньше чем за минуту, и Сабо, внешне спокойный, передал тревожное сообщение.

Гианэя же сразу по приезде на станцию отправилась в бассейн. Она до странности любила воду.

— Извините,— сказал Муратов, входя в бассейн.— Я вам помешал.

— Это ничего,— улыбнулась Гианэя.

— Мы просим вас припомнить, не говорил ли Риагэя, в чем именно заключается опасность спутников для людей Земли?

— Я не слышала.

— Но вы знали, зачем летите к Земле?

— Мы знали это.

— Зачем же?

— Чтобы осуществить давно задуманный план.

— Какой?

Гианэя засмеялась.

— Вы непоследовательны, Виктор,— сказала она насмешливо.— Если бы я могла ответить на этот вопрос, то ответила бы и на первый. Это одно и то же. Я знала, что мы хотели осуществить наш план. А какой? Об этом знали Риагэя и еще трое.

Марина говорила брату, что Гианэя способна на ложь. И он был совершенно уверен в том, что и сейчас она лжет. Его уверенность в этом подкреплялась ее же фразой: «Люди Земли не заслуживают той участи, которую им готовили». Чтобы так сказать, надо знать, что́ готовилось.

— Вы знаете, Гианэя,— сказал он тихо.

Снова раздался ее мелодичный смех.

— Допустим,— сказала она, нимало не смущаясь.— Но вам этого знать не нужно.

Муратова взорвало.

— После того, что вы нам уже сообщили,— сказал он резко,— вы обязаны сказать все!

— Вы меня упрекаете?

Муратов понял, что надо изменить тон. Огонек в глазах Гианэи был опасен.

— Я ни в чем вас не упрекаю, Гианэя,— сказал он.— Наоборот, я восхищаюсь вашим благородным поступком. Вы оказали нам огромную услугу. Но будьте же последовательны. Нас очень тревожит неизвестность.

— Конечно, она должна вас тревожить. Но если бы я и сказала, вы этого не поймете.— Гианэя в третий раз повторила эту фразу.

Муратов силой воли заставил себя не реагировать.

— Попробуйте,— сказал он только.— Может быть, мы способны вас понять.

Она взялась руками за край бассейна и легко поднялась из воды. Ее движения всегда были легки, а здесь, на Луне, в особенности. И непринужденно села рядом с ним. Электрический свет бликами играл на ее влажном зеленоватом теле.

— Для этого вам надо знать, что послужило причиной возникновения нашего плана.

Муратов не смотрел на нее. Ее близкое соседство в таком «откровенном виде» было ему неприятно. Он был воспитан несколько иначе, чем Гианэя.

— Так расскажите это,— сказал он.

— Я расскажу.

— Когда?

— Когда-нибудь потом. Здесь не место для столь длинного разговора.

— Но пока вы будете собираться,— снова не выдержал Муратов,— может произойти непоправимое.

— Возможно. Но теперь уже ничего нельзя исправить или изменить. Не говорите со мной резко, я этого не люблю. Наш план уже осуществляется. Так случилось по вашей вине. Я вас предупреждала.

Был момент, еще на Земле, когда Муратов подумал, что слова Гианэи «спасаю вас» вызваны не опасением за судьбу людей, а инстинктом самосохранения. Ведь, живя на Земле, Гианэя разделяла любую участь человечества Земли. Но сейчас он понял, что она была тогда искренна. Ее собственная участь ей безразлична. Если бы это было не так, Гианэя сказала бы все немедленно.

— То, что сделал Риагэя, оказалось напрасным,— задумчиво произнесла Гианэя, очевидно, думая вслух.— Но так и должно было случиться...

Муратов расслышал эти слова, хотя они и были сказаны очень тихо.

Он не задал напрашивающегося вопроса: она говорила не ему, а самой себе.

И вдруг он осознал, что Гианэя сказала эту фразу по-испански!

(Продолжение следует.)

Георгий МАРТЫНОВ Рисунок **Г. НОВОЖИЛОВА**

(Продолжение. Начало см. «Смену» №№ 11—18 и 21)

6

Несколько минут Муратов машинально следил за Гианэей. Он первый раз видел, как она плыла, и невольно залюбовался красотой ее движений.

Но его мысли были далеко...

Она сказала самой себе, подумала вслух и сделала это на земном языке!

Люди иногда произносят свои мысли вслух, когда глубоко задумываются. Но почему Гианэя «подумала» на испанском языке? Было бы гораздо естественнее, если бы она сказала эту фразу на своем. Человек всегда думает на своем, а не на чужом языке.

Муратов чувствовал, что стоит на пороге какого-то очень важного открытия.

«Выходит,— думал он,— что испанский язык знаком Гианэе очень давно, может быть, с детства. Она его так хорошо знает, так привыкла к нему, что даже думать может на нем. Это странно и необъяснимо. Но примем это как факт. Гианэя явно не разбирается в технических вопросах, плохо знает цель прилета своих соплеменников в солнечную систему. Их план известен ей только в общих чертах. Почему это так? В космический полет не возьмут ненужного члена экипажа. Зачем-то она была им нужна. Зачем? Только одно могло сделать ее полезной — знание языка Земли, испанского языка. Гианэя должна была служить им переводчицей! Но тогда получается, что люди с погибшего корабля намеревались высадиться на Земле, а не только на Луне, где, по их мнению, живых существ еще не было. Чрезвычайно важный вывод!»

Муратов чуть не бегом бросился на поиски Стоуна. Он нашел начальника экспедиции в обществе Сабо, Токарева и Вересова.

— Послушайте, товарищи! Я хочу сообщить вам очень важную новость.

Он подробно передал весь свой разговор с Гианэей и свои мысли.

— Получается,— закончил он,— что они не только намеревались осуществить свой план, но и какое-то время хотели провести на Земле. Как же это согласовать?

Сообщение Муратова произвело большой эффект. Стоун в волнении вскочил с кресла.

— Вы правы, тысячу раз правы! —сказал он.— Мы глупцы, что не поняли этого раньше. Вся ситуация меняется. Если Земле грозит опасность, то, как бы она ни была страшна, это не катастрофа. Их план осуществится не мгновенно, для него нужно время. И достаточно длительное. А тогда и страшного ничего нет. Мы справимся с любой опасностью (Стоун, не зная этого, повторил только что сказанные Гианэей слова). Спутники будут уничтожены в ближайшие часы. Вы трижды молодец, Муратов! Другой бы не обратил внимания на то, что Гианэя думает по-испански. Она явно знает этот язык с детства, это совершенно очевидно. И, значит, с детства предназначалась на роль переводчицы. Вспомните, она как-то сказала, что прилетела на Землю почти против воли.

— Если все это так,— сказал Токарев,— то зачем было Риагэе уничтожать корабль и самого себя? Если он был другом Земли, логичнее было явиться к нам и предупредить об опасности.

— Да, если он мог это сделать,— отозвался Сабо.— Мы ничего не знаем, вот в чем горе.

— При этом нельзя забывать и о том, что все наши предположения могут оказаться ошибочными,— сказал Стоун.— Возможно, что корабль не был уничтожен, а все же погиб из-за несчастной случайности.

— Нет, невозможно,— возразил Муратов, немного подумав.— Гианэя сказала: «То, что сделал Риагэя, было напрасным». Почему напрасным? Да потому, что спутники все равно получили приказ действовать. Это опять-таки вытекает из ее же слов.

— Она может и сама ошибаться,— с обычной упрямой манерой возразил Стоун.

Но, как выяснилось очень скоро, Гианэя не ошиблась.

Сообщение седьмой лунной экспедиции было встречено на Земле с вниманием, но без особой тревоги. Те, кому это полагалось, обсудили полученное известие и пришли к выводу, что самой Земле, то есть тому, что было построено на ней людьми, никакая опасность угрожать не может. Что могли сделать огромной планете два маленьких «яйца» по сорок метров в длину, чем бы они ни были начинены! Даже взрыв обоих спутников, в сотни раз превосходящий по мощности их полную аннигиляцию, на том расстоянии, на котором оба спутника держались от поверхности Земли, не причинил бы ни малейшего разрушения. Речь

могла идти только о том, что на спутниках заложено что-то вредное для населения Земли, скорей всего источники какого-то мощного излучения, действующего на живые организмы. Да и то только в том случае, если действительно было задумано причинить людям вред, в чем многие все еще сильно сомневались.

Но словам Гианэи не было оснований не верить. Тревожный сигнал был получен, и надо было принять меры защиты.

Космическая служба получила приказ немедленно отправить звездолет «Герман Титов» в погоню за спутниками и уничтожить их. На этом корабле давно уже были установлены антигазовые катапульты. Оборудовать еще один корабль в помощь «Титову» не было времени.

Радиообсерватории и станции космических лучей усилили наблюдение за всеми излучениями, идущими к Земле из космоса.

И буквально через считанные минуты после получения радиограммы о вылете с Луны обоих спутников-разведчиков (их продолжали так называть по старой привычке) они были схвачены зоркими лучами локаторов, объективами визуальных телескопов, мощными щупальцами гравиметров, размещенных на многочисленных искусственных спутниках Земли.

И, вылетев со своей лунной базы, оба «яйца», пестрые с одной стороны и по-прежнему невидимые с другой, смогли летать всего несколько часов.

В этом отношении седьмая лунная экспедиция, «спугнувшая» спутников, оказалась очень полезной. «Яйца» не успели даже разойтись в пространстве, как были настигнуты «Титовым» над меридианом Гавайских островов.

В этот момент над Тихим океаном стояла глубокая ночь И очень немногие люди увидели ярко блеснувшие молнии аннигиляции, возвестившие, что оба спутника иного мира перестали существовать.

Успели ли они выполнить в какой-то мере свое назначение? Или погибли бесполезно для своих хозяев?

Ответ на этот вопрос был получен через два часа после их уничтожения.

И на оба вопроса пришлось дать положительный ответ.

Спутники успели причинить хоть и небольшой, но вред. Пришлось принять меры к очищению атмосферы и прибегнуть к медицинскому вмешательству по отношению к тем, кто оказался затронутым излучением со спутников. Смонтированные на них установки, видимо, начали действовать сразу же после вылета с Луны.

Скорее, нежели ожидалось, люди узнали, что им грозило, чем хотели поразить население Земли соплеменники Гианэи. И ясной стала их цель.

Те, кто был в курсе событий — а таких пока еще было немного: ведущие ученые, сотрудники космической службы и обсерваторий,— невольно улыбнулись.

Слишком очевиден был грубейший просчет, слишком низко оценивали науку и технику Земли соплеменники Гианэи. Если даже в первый раз они были на Земле в средние века, и то должны были принять во внимание законы развития общества, которые не могли быть им неизвестны.

Но они ничего не предвидели и потому просчитались.

— Было бы совсем не до смеху,— сказала видный физик Земли профессор Марлен Фрезер,— если бы они осуществили свой замысел несколько веков тому назад. Да и в последние века, когда люди были разобщены эксплуататорским строем, акция пришельцев могла привести к гибели многих слаборазвитых народов. Но сейчас... Что может причинить вред объединенному человечеству?

— Приходится сделать вывод,— дополнил ее слова другой ученый,— что мы ошибаемся относительно сроков запуска спутников-разведчиков. Видимо, они появились возле Земли не так уж давно. И еще более непонятным становится их просчет. Чтобы так ошибиться, надо обладать исключительно развитым самомнением, высокомерием по отношению к другим и глубоким презрением ко всем, кого считаешь ниже себя.

Никто на Земле и не подозревал, как близок к истине был этот ученый.

Опасность миновала.

Сейчас! А в будущем?

Можно ли ждать нового нападения?

Судя по тому, что среди народа Гианэи появились люди, подобные Риагэ, этого не приходилось опасаться. Неизвестное человечество, очевидно, достигло такого уровня развития, когда становятся невозможными враждебные акты по отношению к другим.

7

— Это начинает меня беспокоить,— сказала Марина.

Она встала и, защищая глаза ладонью, всмотрелась в сверкающую мириадами искр водную даль.

Изумрудно-сапфировые волны Черного моря лениво набегали на берег. Перламутровая дымка скрывала линию горизонта. Там, где угадывалась эта линия, словно висело в воздухе белое судно. Оно было далеко и казалось неподвижным. Невесть откуда взявшееся облачко ватным комочком плыло по пустому небу, угрожая закрыть Солнце. День был почти безветренным, изредка чувствовалось легкое дуновение, приносившее не прохладу, а еще больший зной.

Черной головки Гианэи нигде не было видно.

— Она прекрасно плавает,— лениво сказал Виктор Муратов.

— Но прошло больше часу!

— Что ж из того?

— Я все-таки беспокоюсь.

Рауль Гарсиа приподнялся на локте.

— Поехали на поиски,— предложил он.

— На чем?

— На любом катере. Если мы объясним, в чем дело, каждый уступит нам лодку.

— Подождем еще немного.

Беспокойство сестры передалось и Виктору. Он вскочил и подошел к воде.

Они много плавали в этот день. Гианэя все время была с ними. А когда все устали, она уплыла одна. И вот прошел целый час, а Гианэи не было...

Уже месяц, как седьмая лунная экспедиция вернулась на Землю. Большинство людей почти забыло тревоги и волнения тех дней. И только присутствие на Земле Гианэи невольно напоминало о необычайных событиях.

Участники седьмой экспедиции решили предоставить себе месячный отдых и в полном составе поселились на Кавказском побережье.

Многое прояснилось за этот месяц. Гианэя стала заметно откровеннее. Окончательно было выяснено, что где-то существует мир, обитатели которого остро нуждаются в планете для заселения. Перестало удивлять, что Гианэя не помнит своей родины — обстоятельство, так сильно поразившее в свое время Виктора Муратова. Она родилась на другой планете, найденной ее соотечественниками и признанной ими негодной для колонизации. Своей настоящей родины Гианэя никогда не видела.

Прояснилась и личность Риагэи. Ученый, инженер, технический руководитель космической экспедиции, этот человек был совсем не похож на других соотечественников Гианэи. Он всегда возражал против плана своих товарищей относительно Земли, считая его бесчеловечным. Он настаивал на том, чтобы остаться на первой планете, застроить ее и заселить. Почему с ним не согласились, осталось неясным. Гианэя чего-то недоговаривала.

И хотя вполне ясными были враждебные намерения корабля, с которого высадилась Гианэя, к ней никто на Земле не испытывал неприязненных чувств.

Понятна была пассивная роль этой девушки, а ее словам, что она полетела на Землю против воли, верили, и это служило оправданием той симпатии, которую все чувствовали к Гианэе.

По словам Марины Муратовой, после возвращения с Луны Гианэя поразительно изменилась. Если раньше в ней иногда чувствовался скрываемый страх, то сейчас от него и следа не осталось. Если раньше Гианэя старалась избегать людей, то теперь она искала их общества. И по ее желанию, по ее инициативе Марина и Гианэя вскоре присоединились к участникам седьмой экспедиции.

Причина этой перемены угадывалась всеми. Гианэя знала о грозящей людям Земли опасности, она ожидала осуществления преступного плана и боялась возмездия. Было очевидно, что она судила о людях по обычаям и представлениям своих соплеменников, которые, видимо, были суровы и жестоки. Недаром после того, как она стала откровенной, Гианэя заявила, что путь на родину для нее закрыт.

А теперь, когда ничего не случилось, когда план был в корне пресечен и никакая опасность не висела больше над людьми, Гианэя перестала бояться.

Конечно, никто не тронул бы Гианэю, даже если бы их план осуществился. Но ее тревога была понятной.

На вопрос, могут ли ее соотечественники направить к Земле новых спутников-разведчиков, Гианэя решительно и твердо ответила: «Нет!».

— Я не хочу,— сказала она Марине,— чтобы здесь о нас сложилось слишком плохое мнение. И так уже оно нелестно для моих родных. Понимаю, что с вашей стороны это не простое любопытство, но верьте

моим словам. Никогда больше не будет никаких попыток повредить людям Земли. Я завещаю это от имени Риагэи, хотя он и умер. Если бы это было не так, он не сделал бы того, что сделал.

Эти слова убедили всех. Личность Риагэи, которого никто никогда не видел и не увидит, продолжала влиять на события и после его смерти. Ему верили, а в том, что сказала Гианэя от его имени, была несомненная логика. Не было никакого смысла жертвовать собой и своими спутниками, если возможно было направить к Земле новые спутники с той же целью. В таком случае, как заметил Токарев, было логичнее явиться к людям и предупредить об опасности.

Правда, оставалось неясным, почему Риагэя предпочел уничтожить себя и корабль. Он мог бы и в этом случае явиться к людям. Ведь корабль намеревался опуститься на Землю, что подтвердила и Гианэя.

Она стала гораздо откровеннее, но не до конца. О многом она умалчивала, а то, что становилось известным от нее, приходилось дополнять воображением.

Но можно было надеяться, что рано или поздно Гианэя все расскажет.

Как и раньше, решено было не форсировать событий и предоставить девушке полную свободу действий.

Многих удивляло, что она нисколько не тяготится бездельем. Скоро два года, как Гианэя находится на Земле. Она объездила весь земной шар, видела все и, по понятиям людей Земли, давно должна была испытывать потребность в полезном труде. Но никаких признаков этой потребности не замечалось.

Было уже известно, что Гианэя очень молода. Марина получила наконец ответ на вопрос о возрасте гостьи из космоса. Гианэя сумела даже высчитать свои годы по земному времени. Оказалось, что ей только семнадцать лет.

Это отчасти объясняло очевидную привычку не трудиться. Гианэя еще не успела привыкнуть к труду.

На естественный вопрос, сколько лет в среднем живут ее соотечественники, последовал ответ, который очень многим показался невероятным. Гианэя назвала чудовищную цифру — 500. Выходило, что по земным годам ее соплеменники жили в шесть раз дольше людей Земли.

Причины такого долголетия, разумеется, очень интересовали ученых, но ответ Гианэи был прост и принес разочарование.

— Я не знаю,— сказала она.

Мало было надежды узнать то, чего не знала Гианэя. Где находится ее первоначальная родина, также не было известно.

— Но там-то знают, куда улетели ваши корабли? — спросили Гианэю.

— Нет,— последовал более чем странный ответ.

Многое оставалось загадочным. И, по-видимому, навсегда. Если на родине Гианэи не знают о существовании Земли, не оставалось никакой надежды на прилет оттуда космического корабля. В просторах Вселенной случайное нахождение планеты, и притом нужной, исключалось. Шансы на такую случайность были равны нулю.

Это огорчало и раздражало. Невольно хотелось, чтобы вместо Гианэи на Земле находился более осведомленный человек.

— Эх! — вздыхали ученые.— Если бы Риагэя был здесь!

Тогда, конечно, связь двух миров не оборвалась бы, как сейчас.

Но так случилось, и с этим приходилось мириться.

Вековая мечта — установить наконец связь с другими обитаемыми мирами — грозила остаться мечтой на неопределенное время.

— Хорошо, что хоть смотреть на эту представительницу иного разума приятно,— шутили на Земле.— Она могла оказаться кошмарным уродом.

Но это было слабое утешение.

Прошло еще десять минут.

Уже несколько десятков человек с тревогой всматривались в море, ища биноклями исчезнувшую Гианэю. Муратов и Гарсиа готовились отправиться на прогулочном катере на розыски девушки.

— Вот она! — облегченно вздохнула Марина, первой заметившая беглянку.

Черный шлейф волос быстро приближался к берегу. Гианэя не чувствовала утомления после почти полуторачасового заплыва. Зеленоватые руки равномерно и сильно рассекали воду.

А когда она вышла на берег в огненно-оранжевом купальном костюме, никто не заметил затрудненного дыхания. Гианэя выглядела совсем свежей.

— Ну, можно ли так волновать нас!— сказала Марина.

Гианэя улыбнулась.

— Я далеко заплыла,— сказала она ровным и свободным голосом.— Хотела догнать белое судно. Но мне это не удалось. А потом я задумалась и забыла, что вы меня ждете. Простите!

Она опустилась на мелкую гальку, вперемешку с песком покрывавшую пляж.

В этом движении также не было заметно утомления.

— О чем же вы так задумались? — спросил Гарсиа.

Молодой инженер с особой симпатией относился к Гианэе. Эта симпатия очень походила на влюбленность, что, конечно, служило поводом для частых шуток.

Гианэя повернулась к Муратову.

— Мне стало грустно,— сказала она, и Виктор сразу уловил в ее тоне новую нотку. Он посмотрел в ее глаза. Нет, в них не было слез, но они чувствовались в словах.— Я вспомнила своих родителей, сестер, братьев. И так мучительно захотелось увидеть их.

Она не ответила на вопрос самому Гарсиа. Но он не обиделся. Все хорошо знали, что Гианэя, когда вопрос казался ей важным, всегда обращалась только к Муратову.

— Но этого никогда не будет,— прибавила Гианэя.

Она ничего не знала, бедная девочка!

— Боюсь, что это так,— мягко ответил Муратов.— Мы сделали бы все, чтобы дать вам возможность вернуться, но вы сами не знаете, где находится ваша вторая родина. Но, может быть, оттуда к нам прилетит еще один корабль!

— Он должен был прилететь,— неожиданно сказала Гианэя.— Но в последний момент было решено не посылать его.

— Ваши люди могут еще передумать. Скажите, Гианэя,— Муратову хотелось отвлечь ее от тяжелых мыслей,— почему именно вы были выбраны на роль переводчицы? Разве только вы знали испанский язык?

— Его хорошо знает мой отец,— ответила Гианэя,—но он уже стар, чтобы вторично лететь на Землю. А я лучше всех училась у него.

— Ваш отец был у нас?

— Он участвовал в первом полете. Именно тогда была найдена ваша Земля.

— Они долго были на Земле?

— Точно не знаю, но, кажется, долго. Отец успел хорошо выучить язык.

— Когда это было?

Рауль и Марина насторожились, услышав этот вопрос, давно интересовавший всех. Ответит ли Гианэя?

— Вам покажется странным,— ответила Гианэя,— но я не знаю этого. Очень путается время в космических полетах. Во всяком случае, по вашему счету лет это должно было произойти около полувека тому назад.

— Что?! — Муратов в сильном волнении приподнялся.— Вы не ошибаетесь, Гианэя?

— Думаю, что не ошибаюсь. А что вас удивляет?

— Нет, ничего. Мы думали, что это было намного раньше.

Ответ Гианэи в одно мгновение разрушал все здание догадок и гипотез, построенное людьми. Казалось несомненным, что соотечественники Гианэи были на Земле в средние века. Трудно было допустить, что их никто не заметил в более позднее время. Полвека! Это означало, что чужой корабль опустился на Землю в последней четверти двадцатого века. Невероятно!

— Давайте разберемся,— сказал Муратов, стараясь скрыть от Гианэи возраставшее волнение.— Нам нечего делать, и можно немного заняться математикой. Сколько вам было лет, когда ваш отец улетел на Землю?

— Нисколько,— улыбнулась Гианэя.— Я еще не успела родиться.

Это затрудняло задачу.

— Ну, хорошо, а сколько лет было ему самому?

— Не знаю.

— Но ваша мать, например, должна была помнить, сколько времени он отсутствовал?

— Наверное, она это помнит, но я ее никогда об этом не спрашивала.

План Муратова рухнул. И все же он не мог поверить ее словам. Полвека! Нет, Гианэя ошибается. Еще можно было поверить в начало девятнадцатого века, но в конце двадцатого... Гианэю путает разница во времени для людей, находящихся на планете, и для тех, кто летит в космосе с субсветовой скоростью. Все дело в этом.

Но Гианэя могла ошибиться на век, на полтора века, но никак не больше. Гипотезу о средних веках земной истории приходилось сдавать в архив.

Это меняло всю картину, составленную учеными Земли при непосредственном и активном участии самого Муратова.

«Да, очень, очень плохо,— думал он,— что здесь нет Риагэи. Откроется ли когда-нибудь истина или она навеки останется неизвестной?»

Муратов так задумался, что не ответил на какой-то вопрос, заданный Гианэей.

Она повела плечом и повернулась к Марине.

— Смотрите, товарищи,— сказал Гарсиа,— к нам бежит Стоун.

— Бежит? — удивилась Марина.

Все обернулись. Стоун действительно не шел, а бежал. Это было совсем на него не похоже. Видимо, что-то случилось.

Даже не поздоровавшись, что также было на него не похоже, Стоун сказал, задыхаясь:

— Переведите ей! Возле Земли появился космический корабль, и, несомненно, этот корабль принадлежит ее соплеменникам.

8

Приближение к Земле невидимого корабля первыми обнаружили гравиметры лунных станций.

Уж одна только невидимость наводила на мысль, что этот корабль принадлежит тем, кто прилетал полтора года назад. Да и не могло так случиться, что за короткое время Землю посетили обитатели двух разных планет. Это была бы чересчур невероятная случайность, если не считать визита тех же соотечественников Гианэи.

Конечно, это были они.

Но зачем, с какой целью они явились так скоро?

План соплеменников Гианэи был совершенно ясен, и это давало возможность предвидеть их дальнейшие действия.

Прилет на Землю второго корабля был преждевременным.

Излучение спутников-разведчиков было поймано приборами, изучено и расшифровано. Оно было родственно радиации от ядерных взрывов, и влияние его на человеческий организм должно было привести к полному прекращению рождаемости. Человечество Земли должно было «естественно» вымереть.

На осуществление такого плана требовалось как минимум восемьдесят — девяносто лет. Только по истечении этого срока ожидался вторичный прилет.

Экипаж первого корабля был уничтожен Риагэей. Оставшиеся на месте не могли знать, что план провалился.

Но вот они явились спустя всего полтора года.

Безусловно, они должны были думать, что установки на спутниках включены их товарищами с первого корабля. Что случилось в действительности, они не знали и не могли знать.

Зачем же они прилетели?

Было три объяснения.

Первое, самое неправдоподобное, заключалось в том, что корабль Риагэи не вернулся. Неправдоподобным оно было потому, что экипаж корабля должен был провести какое-то время на Земле, что вытекало из факта присутствия Гианэи. Полтора года — это слишком небольшой срок, чтобы успеть преодолеть расстояние от Земли до любой из близких звезд, да еще провести на Земле хотя бы месяц.

Второе, казавшееся более вероятным, подсказывало мысль, что появившийся корабль прилетел для проверки. И, наконец, что являлось самым неприятным, он мог прилететь с целью усилить действие спутников, ускорить его, обрушить на Землю новые, более мощные порции излучения.

Последнее как будто опровергалось поступком Риагэи и тем, что сказала от его имени Гианэя. Но она могла и ошибиться.

Встал вопрос: как встречать незваных гостей?

Человечество Земли имело все нравственные и моральные права попросту уничтожить прилетевший корабль. Это было бы законным, как говорили в старину, актом самозащиты.

Сделать это было легко.

Но такое решение никому не пришло в голову.

Ученые и инженеры испытывали чувство разочарования. И база и спутники исчезли бесследно. Никто так и не узнал их устройства и принципов работы. А ведь это была техника иного мира, и естественное желание изучить ее было очень сильно.

Уничтожить и этот корабль! Это означало бы окончательно отказаться от мысли познакомиться с этой техникой.

Научное любопытство — сильное чувство, и с ним трудно, почти невозможно бороться.

Уничтожить корабль! Нет, никогда! Только в крайнем случае, если не останется ничего другого.

Могучая техника Земли подсказала другой путь.

Стоило сделать попытку. Ну, а если она окончится неудачей, в любую минуту можно было развеять прилетевший корабль на атомы.

От момента его появления в поле зрения гравиметров и до принятия решения прошло немного времени. И через два часа Земля была уже готова к встрече в любом ее варианте.

Корабль «держали» лучи локаторов. Был уже известен его объем и размеры. Планета окуталась защитным слоем — антирадиационным излучением. Четыре звездолета уже приблизились к гостю и неотступно следовали за ним.

Все было готово.

Пришелец, обреченный и беспомощный, находился в полной власти людей Земли.

Знал ли об этом его экипаж? Они должны были заметить почетный эскорт, понять его смысл и сделать для себя выводы.

Что же они предпримут?

На Земле спокойно ждали. В космическом институте, превращенном в штаб «встречи», Ласло Сабо держал руку на кнопке. Одно нажатие — и, получив сигнал к атаке, четыре звездолета выпустят четыре смертоносных ракеты. От пришельца ничего не останется.

Он вел себя очень странно.

Вероятно, на нем уже давно были включены тормозные двигатели: корабль подлетал очень медленно. И все время замедлял движение, больше, чем это было нужно.

Наконец его скорость упала почти до нуля.

На Луну пришелец, очевидно, не думал опускаться. Чтоб выйти на круговую орбиту возле Земли по примеру спутников-разведчиков, нужна была большая скорость. Опускаться на самую Землю так медленно казалось бессмысленным.

Создавалось впечатление, что командир корабля не знает, как ему поступить.

Может быть, он увидел все и понял, что попал в ловушку. Тогда корабль мог внезапно повернуть обратно и исчезнуть в космосе.

Сабо твердо решил не допустить этого. «Живым» пришелец не уйдет от Земли!

Кому могло прийти в голову, что кораблем никто не управляет, что четыре существа, находившиеся в нем, даже не знают, что их путь окончен, что автоматы ждут команды, которую некому было им дать?..

Самого пылкого воображения не хватило бы, чтобы заподозрить истину.

На Земле недоумевали.

Исполинский корабль — его длина достигала полкилометра — «топтался» возле Земли, бессмысленно тратил время и энергию. Никакого излучения с него не появлялось.

Но корабль не падал на Землю. Это свидетельствовало о работе тормозных установок. Вблизи столь огромного небесного тела, как Земля, удерживать на одном месте такого гиганта стоило колоссального расхода энергии.

И как-то сама собой появилась мысль о новой трагедии. Экипаж корабля мертв!

Что же могло привести к такому финалу межзвездного полета? Второй Риагэя?!

Срочно обратились к Гианэе. Она подтвердила свои слова, что второй корабль, точно такой же, как первый, действительно готовился к вылету, но потом было решено отправить один. Что могло изменить это решение, она не знает.

Теперь появились еще бóльшие основания осуществить намеченный план.

Но для этого следовало сперва убедиться, что приближение к кораблю безопасно, что на нем нет защитных установок, подобных тем, какие были на спутниках.

Звездолеты, сопровождавшие гостя, получили указание произвести такую проверку.

Четыре робота-разведчика с разных сторон приблизились к пришельцу из космоса и беспрепятственно коснулись его поверхности.

Аннигиляции не произошло. Защитных установок на корабле не было!

На экранах, в рубках управления звездолетов возникли неясные контуры того, что находилось внутри гостя.

И новая неожиданность!

Передача с одного из роботов, находившегося у средней части космического корабля, ясно показала, что внутри что-то движется. Это «что-то» очень напоминало живые существа, напоминало людей!

Выходило, что предположение неверно, экипаж жив!

В космическом институте окончательно стали в тупик. Что означает нелепое поведение пришельцев? Нельзя же было допустить, что кораблем, совершившим межзвездный полет, управляют люди, не имеющие понятия о законах небесной механики.

А получалось именно так!

— Поможем им принять решение,— сказал Сабо.

С Земли вылетела та самая эскадрилья, которой когда-то руководил Муратов. Она была давно подготовлена с целью превратить еще один астероид в научную космическую станцию. Тратить ее энергию на непредвиденную цель очень не хотелось, но другого выхода не было.

Мощи эскадрильи, которой хватило на изменение орбиты Гермеса, было более чем достаточно.

Корабли казались очень маленькими в сравнении с гигантским пришельцем, но их было восемь. С четырех сторон они подошли к гостю — по два с каждой — и плотно прилипли к борту, не видимому даже с близкого расстояния, но хорошо различимому, как темный «провал» в космосе, на фоне звезд.

Могучие магниты «связали» пришельца и эскадрилью в одно целое. Корабль был схвачен и не мог уже вырваться.

Сразу стало ясно, что двигатели пришельца противодействуют притяжению Земли.

Первая часть задуманной операции была выполнена, но встал вопрос: как поступать дальше?

Сила восьми звездолетов, вне всякого сомнения, могла справиться с силой двигателя гостя. Но что произойдет на Земле после приземления?

Остановятся ли двигатели корабля гостей или будут продолжать так же бессмысленно работать?

Ведь все поведение гостя возле Земли было достаточно бессмысленным, чтобы такой вопрос не выглядел праздным.

Нельзя же было приковать корабль к ракетодрому цепями. Да и какие цепи могли удержать космический корабль таких исполинских размеров?

Командир эскадрильи сообщил о своих сомнениях в штаб операции.

Там недолго думали.

Автоматы гостей — а было ясно, что в данный момент кораблем управляют не люди, а именно автоматы,— казались «разумными». Правда, соответствовавшие им земные автоматы были умнее и не допустили бы бесцельной траты энергии, но все же они действовали с какой-то логикой, если в них была заложена программа ожидать команды при подходе к планете.

Значит, почувствовав Землю, они должны были остановить двигатели.

В этом смысле Сабо и ответил командиру эскадрильи.

Восемь кораблей перестроились. Зачем было противодействовать двигателям гостя, если можно было их использовать?

Заодно людям Земли хотелось проверить, насколько «разумны» автоматы пришельцев.

Прилетевший корабль можно было вести к Земле кормой вперед. Тогда его двигатели, если они будут работать по-прежнему, не помешают, а, наоборот, помогут. Ну, а если они начнут работать в противоположном направлении, тогда придется применить силу, хотя и жаль было тратить столько энергии.

Оказалось, что «разум» на корабле гостей более совершенен, чем предполагали.

Едва началась буксировка, двигатели гостя перестали работать совсем. Центральный агрегат, видимо, почувствовал и «понял», что корабль управляется извне.

А может быть, такая посадка была обычной? Учитывая чудовищные размеры корабля, это было вполне возможно.

Как бы там ни было, это не имело уже большого значения, гость «не противился», и через полтора часа на освобожденном от всех ракет пиренейском ракетодроме опустились восемь кораблей эскадрильи.

Между ними находилось что-то похожее на призрак.

Исполинское тело закрывало все, что находилось за ним, но было абсолютно невидимо, казалось непрозрачной пустотой.

Люди Земли впервые наблюдали подобное зрелище.

Пришельца встречали только работники космической службы. Элементарная осторожность заставила объявить ракетодром закрытым для посторонних.

Исключение было сделано только для двух человек — Муратова и Гианэи.

Вспомогательные корабли отделились и отлетели к краю ракетодрома.

Гость остался один.

Его надо было сделать видимым. «Призрак» во многих отношениях был очень неудобен.

Никто не выходил из корабля. Акустические аппараты не воспринимали никаких звуков внутри него.

Но ведь на экранах эскадрильи движение видели. Почему же оно теперь прекратилось?

Те, кто находился внутри космического пришельца, словно затаились.

Люди Земли не боялись никаких угроз. Здесь, на Земле, корабль гостей не мог причинить большого вреда, он находился в полной власти хозяев планеты. Но отсутствие движения невольно наводило на мысль о какой-то угрозе.

Экипаж корабля должен понимать, что попал в плен. Как поступит командир?

Если он вздумает подня́ться и улететь, это не спасет. Четыре звездолета не опустились на Землю, они ожидали высоко в небе, над ракетодромом, пристально наблюдая за гостем. При попытке к бегству корабль будет уничтожен.

Люди тщетно старались догадаться, что происходит сейчас внутри корабля.

Как и раньше, никто, в том числе и Гианэя, не мог знать истинного положения вещей.

(Окончание в следующем номере.)

ГИАНЭЯ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Георгий МАРТЫНОВ

Рисунок **А. БАБАНОВСКОГО**

Окончание.

Начало см. в №№ 11—18, 21—22.

Если бы после того, как отменили полет, с корабля убрали воду, приготовленную для бассейнов, четверо умерли бы от жажды.

Если бы вспыхнули тревожные сигналы малейшей неисправности в агрегате управления, четверо не смогли бы ничего исправить, не поняли бы даже значения этих сигналов и навсегда остались бы в космосе.

И много других «если бы» подстерегало их в пути.

Они даже не знали, что путь окончен. И, ощутив небольшой толчок при посадке, не поняли значения этого толчка.

Ничто не могло указать им, что корабль больше не летит, а неподвижно стоит на планете.

И они долго находились бы в этом заблуждении, вероятно, до тех пор, пока люди Земли сами не явились бы к ним.

Но «ненавистные» позаботились о них сами.

Неожиданно для четверых словно исчезли стены центрального помещения, где они находились. Открылась непонятная и удивительная картина.

Они ожидали увидеть на планете, куда летели, густые леса, хижины обитателей, мир, подобный их собственному.

Корабль стоял среди огромного поля, лишенного растительности и странно гладкого, как горное плато. На горизонте поднимались причудливые здания, отдаленно напомнившие четверым постройки, возведенные «ненавистными» на их планете. Какие-то машины приближались со всех сторон. Они также походили на машины «ненавистных», но были иной формы.

В машинах виднелись люди. Их можно было хорошо рассмотреть.

Четверо — в отчаянии.

«Ненавистные»!

Корабль доставил их не туда, куда они стремились. Он оказался на планете «ненавистных».

Все погибло, все планы рухнули!

Четверо лежали, не двигаясь, покорившиеся своей участи. Пусть входят и делают, что хотят.

Первым пришел в себя Вего, самый старший из четверых.

— Они обманули нас. Корабль должен был лететь совсем не туда, куда улетел первый. Но здесь ничего не знают. Молчите же, что бы с вами ни сделали.

— Мы будем молчать, что бы с нами ни сделали,— ответили ему трое.

. . . . . .

Окраска невидимого корпуса в серый цвет не заняла много времени. Мощные пульверизаторы справились за полчаса.

Колоссальное тело космического исполина пятисотметровой длины возвышалось перед глазами людей, как гора.

— Это тот,— сказала Гианэя,— который должен был лететь вслед за нами. Но его решили не посылать. Странно! Зачем он здесь?

Из корабля никто не показывался.

— Можно вход открыть снаружи? — спросил Стоун.

— Да.

Обе фразы перевел Муратов.

— Надо войти самим,— предложил Себо.— Возможно, что экипаж корабля нуждается в помощи.

— Надо показать им Гианэю,— предложил Муратов.— Они, конечно, видят, что происходит снаружи. Пусть Гианэя напишет на большом листе крупными буквами: «Выходите! Опасности нет!» — и подойдет с этим листом близко к иллюминаторам. Наверное, она знает, где они расположены.

Мысль Муратова понравилась.

— Предложите ей это,— сказал Стоун.

Гианэя охотно согласилась.

Кто-то отправился в космопорт за листом и красками.

— У нас нет иллюминаторов,— сказала Гианэя, обращаясь к Муратову.— Наружные объективы передают изображение на внутренние экраны. Вроде ваших телевизоров. Я подойду к передней части, к пульту управления. Там должен кто-нибудь находиться.

— Где находится вход,— спросил Стоун,— с какой стороны?

— С левой, обращенной сейчас к нам.

Неожиданно ее слова получили практическое подтверждение.

Все увидели, как в борту звездолета образовалось отверстие. Сверкнув на солнце, упала металлическая лестница, и экипаж корабля спустился на землю. Их было всего четверо. Но, может быть, остальные остались?

Внезапно Гианэя вскрикнула. Обернувшийся Муратов увидел на ее лице величайшее удивление.

Но удивиться пришлось не только Гианэе.

Космическим кораблям соплеменников Гианэи суждено было каждый раз приносить сюрпризы. Из первого явилась Гианэя в золотом платье. А сейчас...

Четыре маленькие фигурки стояли у трапа.

Они были одеты просто и нелепо. Короткие рубашки, перетянутые поясом, едва достигали колен. Ноги и руки были обнажены. На ногах не было обуви. Головы заросли густыми волосами. У всех были бороды.

Земляне молча рассматривали удивительных космонавтов. Никто ничего не понимал.

— В чем дело? — спросил наконец Муратов.— Это не ваши люди, Гианэя?

Она молчала, не спуская глаз с прилетевших. Потом вздрогнула, и ее глаза сверкнули.

— Мерито! — сказала она изумленно и растерянно.

Тот, очевидно, услышал. Поднял голову и увидел Гианэю.

В следующую секунду он стремительно кинулся к вечемобилю.

— Убейте ее! — вскричал он, к удивлению всех, на почти правильном испанском языке.— Ее и всех! Это враги, прилетевшие мучить вас!

У него был такой вид, будто он намеревается сам тут же задушить Гианэю.

Она не шевельнулась. Все невольно посмотрели на нее и увидели, как губы Гианэи искривились улыбкой презрения. Ее прищуренные глаза только секунду смотрели на космонавта. Потом она пренебрежительно отвернулась.

— Так! — сказал Стоун.— Очень интересно!

Гарсиа уже успел перевести ему слова прилетевшего.

— Успокойтесь, мой друг! — ласково сказал Муратов.— Зачем нам убивать нашу гостью? Она одна и не может ничем мучить нас.

— Почему одна? — Незнакомец говорил уже спокойно.— Их сорок три.— Он прибавил какое-то слово, видимо, на своем языке, с очевидной ненавистью.

— Их было сорок три,— ответил Муратов, догадавшийся уже, о чем говорит странный незнакомец.— Но сорок два погибли. Она одна осталась в живых.

— Вы уверены?

— Совершенно уверены. Это так. У вас нет причин беспокоиться.

— Вы знаете, что они хотели сделать с вами?

— Конечно, знаем. Но нам никто не может причинить зла. Скажите лучше, откуда вы прилетели? Сколько вас?

— Нас четверо. Мы прилетели с нашей родины.

— Где она находится?

— Там.— Незнакомец показал на небо.

— Сколько времени вы летели? По вашему счету лет.

— Не понял.

— Долго вы летели?

— Очень долго. Мы думали, что никогда не достигнем цели.

— Кто из вас старший? Кто управлял кораблем?

— Старший — Вего. А кораблем никто не управлял. Мы не умеем этого делать.

— Что?!

Муратов повернулся к Стоуну и вкратце передал ему содержание разговора.

— Я ничего не понимаю,— закончил он.

— Да, трудно понять. На космонавтов они, во всяком случае, совсем не похожи. Загадка!

Серебристый смех Гианэи прервал его слова.

— Они,— Гианэя пренебрежительно через плечо указала на пришельцев,— украли корабль. И полетели на нем, сами не зная куда. Удивительно, что они остались живы!

— Из его слов получается не совсем так,— ответил Метьюз.— Видимо, у них была цель. Но как удалось им достигнуть Земли, не умея управлять кораблем?

— Потому что осталась прежняя программа полета. Этот корабль должен был лететь за нами.

— Ну вот и все ясно,— сказал Стоун, выслушав перевод.— Звездолетом управлял электронный мозг. И возле Земли он ожидал указаний, которых не последовало. Удивительный и беспримерный случай! С их стороны это безумная смелость — пуститься в такой полет!

Муратов снова обратился к космонавту.

— Вы слышали, что сказала эта девушка? — спросил он.

— Слышал.

— Вы действительно взяли чужой корабль?

— Теперь он наш.

Гианэя повернулась к пришельцу. Она немного наклонилась к нему и что-то спросила на своем языке.

Круглые глаза блеснули свирепой радостью. Пришелец произнес длинную фразу.

Гианэя страшно побледнела.

Несколько секунд она смотрела в лицо Мериго широко открытыми глазами. Потом со стоном закрыла их и внезапно без чувств упала к ногам Метьюза, не успевшего подхватить ее.

Казалось, не было больше ни одной загадки. Все стало ясно.

Инженеры Земли легко разобрались в конструкции звездолета и его двигателей, работавших на принципе взаимодействия гравитонных и антигравитонных полей. Техника Земли уже подходила к решению подобной задачи, и для завершения ее просто было недостаточно материала.

Путь, проделанный кораблем, заключенный в программе электронного мозга, расшифровали даже без помощи Гианэи. И на звездных картах пометили звезду — солнце планеты, откуда прилетели четверо.

Они были в пути почти семь лет по земному времени. Скорость была велика, и на родине звездоплавателей прошло в несколько раз больше времени.

Не составляло никакой трудности отправить четверых обратно. В программу легко было внести приказ совершить посадку.

Но ученые Земли решили иначе. Они не хотели упускать такой счастливый случай.

Четверым сообщили, что они могут вернуться. И прибавили, что они полетят не одни, что с ними отправятся люди Земли. Путь покажется гораздо короче, не придется больше мучиться семь лет. Анабиозные ванны были в полной исправности. Семь лет пролетят, как один месяц.

Законы относительности были недоступны пониманию Мериго и его спутников. И они не поверили, что, вернувшись, не застанут тех, кого оставили. Но лететь обратно на родину согласились с радостью.

— Вы говорите, что мы не увидим больше своих родных,— сказал Мериго.— Мы уже свыклись с этой мыслью. И простились с ними навсегда, когда покидали родину.

Величие самоотверженного подвига четверых восхищало землян. Оно только подчеркивалось тем, что сами четверо не сознавали, ЧТО совершили. И хотя их поступок был совершенно не нужен, люди готовы были на все, чтобы отблагодарить четверых за их доброе намерение.

Присутствие на Земле Гианэи доказало Мериго и его друзьям, что они прилетели именно туда, куда стремились.

И Мериго рассказал обо всем, что произошло на его родине.

Где находится первоначальная родина Гианэи, никто не знал. Но можно было надеяться, что в архивах «ненавистных» остались указания. Мериго говорил, что, уничтожив пришельцев, его соплеменники не тронули ничего, что принадлежало «ненавистным».

Неожиданно представившаяся возможность завязать сношения с двумя человечествами иных планет не могла быть упущена. И люди деятельно готовились к первому этапу — полету на родину четверых.

Лететь должны были три корабля: тот, на котором прилетели четверо, и два, строившиеся на Земле.

Старт был намечен ровно через год.

. . . . . .

Гианэя не любила радиофонов. И Муратов нисколько не удивился, получив от нее письмо.

В этом письме Гианэя просила Виктора прийти к ней сегодня вечером.

Тогда, после неожиданного обморока, Гианэя сразу покинула Пиренейский полуостров. С тех пор Муратов ее не видел.

Причина обморока стала ясна после рассказа Мериго. Погибли ее родители, братья и сестры и все те, кого знала Гианэя.

Люди Земли жалели Гианэю, но оправдывали действия народа четверых. Жестокое насилие требовало отмщения, нельзя было ожидать великодушия от столь долго угнетаемого народа. Расправа справедлива и была вызвана самими «ненавистными». Это название говорило о многом.

Но горю Гианэи все сочувствовали. Гостью любили, в ней было много хорошего. Теперь было ясно, что Гианэя испорчена воспитанием, жизнью с момента рождения среди ярых колонизаторов. Очевидное влияние на Гианэю Риагэи доказывало, что в этой девушке существует бессознательное стремление к благородству и справедливости. И ведь было очевидно, что она очень изменилась за полтора года, живя в коммунистическом обществе Земли.

Мериго требовал смерти Гианэи. Он настойчиво просил, чтобы «ненавистную» отдали ему и трем его товарищам для расправы. Приговор был вынесен его народом, и он видел свой долг в том, чтобы выполнить этот приговор.

Люди не согласились с таким требованием.

Обе стороны так и остались при своем мнении.

Муратов пришел точно в назначенное Гианэей время.

Гианэя была одна.

Она жестом пригласила его сесть напротив нее. И Муратов вдруг почувствовал, что предстоящий разговор будет необычным.

— Вот,— сказала Гианэя, протягивая ему два толстых альбома.— Здесь мои рисунки, относящиеся к планете, откуда я прилетела к вам. Возьмите их и передайте тем, кто полетит туда. Пусть они узнают, как выглядят природа и люди этой планеты.

— Вы не полетите, Гианэя? — спросил Муратов.

— Нет,— со странным ожесточением ответила Гианэя,— я навсегда останусь здесь.

— Может быть, вы перемените решение, если узнаете, что мы собираемся отыскать путь на вашу первую родину?

— Что в ней? Я ее никогда не видела, не знаю и буду там чужой. Риагэя говорил, что на родине все изменилось, все стало другим.

— Он был там?

— Нет. Но Риагэя все знал. Он был большой ученый.

Муратов положил свою руку на руку Гианэи. Она вздрогнула, но не отстранила руки.

— Поверьте,— сказал он,— меня очень огорчает ваше несчастье. Всей душой я сочувствую вам.

Глаза Гианэи блеснули ненавистью.

— Не смейте говорить так,— сказала она резко.— Вы оправдали зверскую расправу этих дикарей. Вы не казнили их. Впрочем...— Гианэя неожиданно рассмеялась. Муратов содрогнулся — столько затаенной боли было в этом смехе.— Вы не казнили и меня, хотя имели все основания это сделать. Отправляя меня на астероид, Риагэя был уверен, что я иду на смерть.

— Но если Риагэя был уверен, что вы идете на смерть, то зачем же он высадил вас на Гермесе?

— Потому, что не мог убить сам.— Гианэя наклонилась в сторону Муратова. Ее глаза затуманились, и она долго молчала, видимо, вспоминая прошлое. Потом заговорила отрывисто, не думая о связи своих слов, часто, непонятно: — Все спали. Риагэя не будил экипаж, хотя было давно пора. Он очень мучился. Жалость, но не колебания. Он решил твердо. Второй корабль не летел за нами. И не было третьего. Прошло бы много времени. Он разбудил меня. Я еще ничего не подозревала. Не думала. И он сказал мне. Никогда не забуду его лица. Нет, я его не отговаривала. Я понимала, что это бесполезно. Его убеждения были всем известны. И он сказал мне, что остальные члены экипажа решили казнить его, как только корабль опустится на Землю. Они ему не доверяли. Он просил меня уйти. Уйти? Мне стало смешно. Куда можно уйти с корабля в космосе? Мы долго летали, совершая круги. Я смотрела на него, спокойного, принявшего решение. Я знала, что если он не найдет того, что ищет, он все равно выполнит то, что решил. Но ему очень трудно было убить меня. Я давно знала, что Риагэя любит меня. Он не мог убить меня своей рукой. Не мог. И сам же послал на смерть. Он был уверен. Мне пришлось подчиниться. Он сказал мне: «Я знаю, что спасаю человечество Лиа. Но не надо, чтобы они знали об этом. Молчи, если останешься живой. Молчи и перед лицом смерти». Я обещала молчать. В тот момент я готова была исполнить любое его желание. Последнее перед страшной смертью.

Она закрыла глаза рукой.

— Вы любили его? — спросил Муратов после долгого молчания.

— Не знаю. Я была слишком молода. А сейчас я стара. Я старше всех. Ведь никого не осталось из моих современников. Всех убили эти...— Она низко опустила голову.

Всеми чувствами Муратов был на стороне Мериго и его народа. Но в этот момент он понял, что можно ненавидеть тех, кому сочувствуешь. Его наполняла острая жалость к Гианэе.

— Вы очень похожи на него, Виктор,— сказала Гианэя.— И потому я попросила вас прийти сегодня.

— Я рад, если могу хоть этим облегчить ваше горе,— ответил он.

То, что она рассказала, побуждало его задать ей много вопросов, но он понимал, что они будут неуместны. Пусть говорит сама.

Гианэя подняла голову. Слез не было в ее глазах, она улыбалась.

— Вы хотите что-то спросить у меня?

— Если вы не возражаете.

— Спрашивайте.

— Почему Риагэя был так непоследователен? Из ваших слов ясно, что он понимал: люди Земли ушли вперед, не такие, как прежде. Почему же он думал, что вы идете на смерть?

— Объяснение этому надо искать в нашей истории,— ответила Гианея совсем спокойно.— Когда-нибудь вы ее узнаете. Я верю, что вы достигнете нашей родины. Ваше развитие шло быстрее, чем это было у нас, и даже Риагэя не предвидел этого. Я поняла это на Земле. Я не буду рассказывать, Виктор. Сейчас я не могу этого сделать. Я, так же, как Риагэя, была убеждена, что люди Земли убьют меня. И, отправляясь на астероид, оделась в золотое платье...

— Значит, это платье?..

— Погребальный наряд. В золотой цвет одевают умерших и осужденных на смерть.

— Зачем же вы надели его сегодня?

— Я хороню свою молодость.

Ему почудилось, что она говорит неискренне. Неясная тревога медленно поднималась в нем.

Он заставил себя непринужденно улыбнуться.

— Но, оказавшись среди нас, вы поняли, что вам ничто не грозит.

— Не сразу. Слишком сильны были понятия, привитые с детства, и отчасти влияние прочитанного о Земле. Может быть, книги были неудачно выбраны. Не знаю. Когда вы перенесли меня на свой корабль, я подумала: «Странное совпадение».

— В чем?

— У нас есть обычай: когда мужчина берет себе жену, он переносит ее в свой дом на руках. Я подумала: «Риагэя мог бы сделать это для жизни, а этот, столь похожий на него лицом, делает то же, но для смерти». Она замолчала, потом сказала: — Мне самой странно теперь, но я была уверена, что умру. И готовилась спуститься с вашего корабля прямо на костер. Меня пугала такая смерть.

— Почему на костер?

— У нас так. И я читала, что на Земле тоже было так. Потом я поняла, что даже Риагэя ошибся. Вы лучше нас, ваша жизнь светла и прекрасна.

Взгляд Гианэи остановился на часах, стоявших в углу комнаты. Муратов навсегда запомнил, что они показывали ровно десять.— Поздно, пора кончать нашу беседу.— Гианэя протянула руку и взяла свой бокал. Муратов не шевельнулся.— Я пью, Виктор, за вашу родину, за вашу счастливую жизнь. Одно время я думала, что она станет и моей, третьей родиной.

— А разве это не так?

— Нет. Между мною и вами легла пропасть. Может быть, я не права. Но я ничего не могу поделать с собой. Я боролась, Виктор, иначе я позвала бы вас раньше. Простите меня.

Тревога и смутное подозрение превратились в уверенность. Муратов отчетливо понял, что должно сейчас произойти, что означает золотое платье Гианэи.

Он вскочил:

— Остановитесь!

Его рука, протянувшаяся, чтобы схватить руку Гианэи, опоздала на долю секунды.

Гианэя успела выпить содержимое бокала.

ЭПИЛОГ

На веранде, увитой зеленью, за небольшим столиком сидели двое.

Одним из них был Виктор Муратов.

Другой, гораздо выше его ростом, с сильным зеленым оттенком кожи, с очень узкими, точно прищуренными глазами, явно был соотечественником Гианэи.

Разговор шел на языке Гианэи. Муратов уже совершенно свободно владел им.

— Жаль, что мы опоздали,— говорил человек с узкими глазами.— На кораблях нашей конструкции путь был бы во много раз короче. Конечно, в смысле времени, а не расстояния.

— Экспедицию уже не вернешь,— сказал Муратов.— Но вы сами говорили, Виайа, что можно обогнать ее и оказаться на планете раньше. Можно себе представить, как удивятся наши товарищи.

— Странно получилось,— сказал Виайа.— С двух планет люди спешили на помощь Лиа — Земле, я хотел сказать. И не знали, что никакая помощь вам не нужна. Вся эта история странна и, конечно, неповторима.

— Нас очень удивляет,— сказал Муратов,— что сообщники Лиагеи не сразу пустили в ход излучатели. Зачем им понадобилось оставлять их возле Земли, строить лунную базу и только при вторичном прилете осуществлять свой план?

— Об этом меня уже спрашивали,— ответил Виайа.— Это объясняется несколькими причинами. Они искали планету для колонизации. Но не знали, удастся ли такую найти. И, улетая на поиски, не согласовали свои действия с теми, кто остался. Решив применить к человечеству Земли излучение, как вы это удачно назвали, они должны были вернуться и получить согласие остальных. Это первая причина. Вторая: убегая с нашей планеты, они захватили с собой все имевшиеся в то время космические корабли. На одном из них находились те две ракеты, которые вы нашли и уничтожили. Других у них не было, и сделать их на промежуточной планете, где не существовало никаких заводов, было невозможно. («Гианэя сказала правду»,— подумал Муратов.) Эти ракеты предназначались для других целей. И, естественно, на них не было никаких излучателей. И на корабле их также не было. Тогда они смонтировали эти излучатели на Луне, где сперва опустились. Но не было вещества, являвшегося основой излучения. Нужно было вернуться за ним. Они нашли выход в том, что оборудовали зарядную базу на Луне. Вы ошибаетесь, думая, что эта база служила для зарядки двигателей. Они не нуждались ни в какой зарядке. На базе синтезировалось вещество, нужное для излучателей. И по мере изготовления погружалось на ракеты. Но синтез требовал длительного времени.

— Сколько?

— Не могу точно сказать, но не меньше ста ваших лет. В общем, для них все сложилось удачно. Задумав свой зверский план, они имели время вернуться и сообщить о нем остальным.

— Значит, они были у нас сто лет тому назад?

— Приблизительно.

Муратов вспомнил все предположения и гипотезы относительно времени, когда появились возле Земли спутники-разведчики.

— В то время,— продолжал Виайа,— когда первый корабль посетил Землю, у вас шла большая и кровопролитная война. Страна, которую посетили люди нашей планеты, не участвовала в ней.

«Испания! Они были у нас во время первой мировой войны»...

— Почему же их никто не заметил? — спросил Муратов.

— Сам корабль невидим для ваших глаз,— ответил Виайа.— А люди? Не много надо, чтобы скрыть разницу.

«Да, он прав,— думал Муратов.— Земная одежда, сильный загар очки, и никто ничего не заподозрит».

— А язык? — сказал он.— Ступив на землю, они не могли ни с кем говорить.

Лицо Виайи потемнело.

— Это одно из темных пятен,— сказал он.— Но ты, Виктор, уже знаешь нравственный облик этих людей. И это не должно удивлять тебя. Они захватили в плен человека Земли. От него узнали язык и все, что им было нужно знать. Кто он был, этот первый, увидевший пришельцев иного мира? Вряд ли вам удастся установить теперь его имя. Но знакомство дорого обошлось этому человеку. Они не могли допустить, чтобы он оказался на свободе и мог рассказать о них.

Муратов не задал вопроса. Все было ясно.

Ему хотелось рассеять тяжелое впечатление от слов Виайи.

— Как согласовать,— спросил он, меняя тему,— высокую технику касты господ на вашей планете с существованием этой касты?

— Видимо,— ответил Виайа,— это интересует всех. Я отвечал на такой вопрос много раз. Все дело в том, что продолжительность жизни человека на наших двух планетах различна. Мы живем в несколько раз дольше вас. И это ускоряет технический прогресс и замедляет общественный. Второе отстает от первого.

— Понимаю,— сказал Муратов.

Давно уже стемнело. Виайа встал и подошел к перилам веранды.

— Посмотри, Виктор,— сказал он,— вот солнце нашей планеты.

Муратов увидел тусклую оранжево-красную звездочку, затерянную среди других. Он даже с трудом нашел ее по указаниям Виайи.

Солнце иного мира!

— Я знаю,— сказал Виайа,— вы будете у нас. И, может быть, очень скоро.

Муратов думал о Гианэе.

Эта звездочка, слабо сверкающая на небе Земли, была и ее солнцем, которого она никогда не видела.

Как живой, встал перед ним ее образ.

Гианэя со всеми противоречиями своей сложной натуры была ярким доказательством, что не существует врожденных пороков, врожденной ненависти и зла. Все зависит от того, где и когда живет человек.

— Как вы называете вашу планету? — спросил он.

— Та, которую вы хорошо знали,— ответил Виайа,— получила имя своей родины. Мы называем свою планету Гианэя.

Ленинград, 1963 год.

Геннадий НИКОЛАЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

Глава первая,

рассказанная Виталием Кругликовым, начальником акустической лаборатории

Я никогда не вру — это один из моих главных принципов. Жить с принципами, по-моему, куда легче, чем без принципов. Они придают жизни четкий ритм, или, как говорит моя жена, пульс, что очень важно в нашем перегруженном информацией мире. Помогают точно держать руль по заданному курсу и сохранять прочность и устойчивость при любых житейских бурях и штормах. Их у меня много, жизнь постоянно обновляет и совершенствует их. Изобретение принципов — мое хобби.

Чтобы покончить со вступительным словом, скажу еще о себе. Я люблю свою работу, то есть ковыряться в звуковой аппаратуре, извлекать из нее различные комбинации звуков. Люблю свою семью: жену Ирину и сына Александра. Люблю вкусно поесть, побольше и пожирнее — этакие большие, громоздкие блюда, вроде бифштекса натурального под яйцом с жареным картофелем или филе под соусом с грибами, а на ужин — горку блинов с топленым маслом или тарелочки три-четыре оладьев со сметаной и смородиновым вареньем. Люблю почитать на сон грядущий какой-нибудь детективчик или просто полежать, глядя в телевизор или размышляя о космосе. Мой вес при росте сто пятьдесят восемь сантиметров составляет сто двадцать пять килограммов — представляете, какой я? В поперечнике я почти такой же, как и в высоту, и это, по мнению моей жены, самый главный мой недостаток. От себя добавлю: и единственный, потому что других просто-напросто нет.

Итак, начну сначала. Мы встречали Новый год. Собрались у нас, в нашей просторной квартире. Пришло человек десять: мои товарищи по работе, звуковики, и подруги Ирины, врачихи, со своими мужьями. Все было, как всегда, хорошо: сытно и вкусно, э-э, то есть весело и интересно. Народ бывалый, остроумный, подвижный. Я почти не пил (принцип: береги нейроны!), нажимал в основном на холодец, индейку, пироги с черемухой, блинчики с мясом (великое изобретение человечества!). А в промежутках проигрывал гостям магнитофонные записи, их у меня великое множество: от Лещенко и Шаляпина до поп-музыки и песен Высоцкого. У каждого свой «пунктик», как говорит жена; у меня «пунктик» — принципы и магнитофон, у жены — турпоходы. На этих двух основах возник наш коллективный «пунктик» — записывать на пленку все, что происходит с нами в походах: мое сопение и ворчание, ибо больше всего в жизни я не люблю турпоходы, и блаженненький от счастья голос жены, ее бодрящие выкрики, команды, ахи-охи, треск костра и пение птиц.

И вот одна из этих пленок подвернулась под руку. Я сразу понял, что это такое, и хотел снять, но Ирина рысью кинулась к магнитофону и включила воспроизведение. «Вот,— закричала она,— послушайте! Поет сама природа!» Конечно, ничего особенного там не было: стук дятла, посвистывание птиц, разговоры с бурятами, бурятские песни, похожие на неторопливые раздумья вслух, ржание лошади, рев переката. На второй дорожке та же самая канитель: тягучие рассказы охотника, ночная тишина и — в течение пятнадцати минут — странный мелодичный звук, напоминавший гудение проводов, но более многозвучный и объемный. Попал он к нам на пленку случайно, как бы сам собой — ночью, засыпая, мы забыли выключить магнитофон. Еще там, в долине, за Икатским хребтом, где мы стояли, эта запись вызвала у меня страшно неприятное ощущение: будто я сижу в клетке, а кто-то невидимый дразнит меня, злит, стараясь, чтобы я зарычал и заметался от ярости. Еще тогда я хотел стереть ее ко всем чертям, но Ирина горячо воспротивилась, сказав, что этот звук что-то пробуждает в ней — то ли мысли, то ли чувства. Во мне же, кроме зубовной ломоты да этой странной злости, он ничего не вызывал.

На гостей запись произвела тоже весьма странное действие: все притихли, насупились, перестали пить и есть и вскоре торопливо, один за другим разошлись по домам. Лишь мой добрый друг и сотрудник Янис Клаускис, командированный из Риги, да подружка его, Зоя, медсестра из поликлиники, где работает Ирина, задержались дольше других. Янис неподвижно сидел за столом, как манекен, вытянув тонкую шею и заглядывая в блюдо со сладкими пирожками. Зоя стояла в прихожей, уже одетая, ждала своего кавалера и разговаривала с Ириной. Янис не замечал, что остался один и что его ждут. Я потряс его за плечи — он вздрогнул, бледное лицо его перекосилось, словно он схватился за фазу двести двадцать вольт; увидев меня, он отпрянул и вместе со стулом повалился навзничь. Я протянул к нему руки, намереваясь помочь ему подняться,— он отпрыгнул еще дальше и, вдруг опомнившись, глухо рассмеялся и, бледный и потный, сел на тахту.

— Ты что, Янис?— со страхом прошептал я.— Что с тобой?

Он помахал расслабленной рукой и прижал палец к губам.

— Тс-с... Молчок, а то Зоя начнет лечить.— Он хихикнул и поманил меня:— Послушай, Витя, где ты записал это?

Большие серые глаза его прыгали с предмета на предмет и не могли остановиться. Я протянул ему пирожок с повидлом и взял себе, потому что у меня принцип: разволновался — чего-нибудь съешь. Я съел пять пирожков, пока Янис мусолил один. Действительно, мы оба успокоились, и я думал, что он забыл про звук, но Янис, проглотив последний кусочек, снова спросил:

— Послушай, Витя, где ты записал этот звук?

Я понял, что он не отстанет, и сказал, что звук был записан на стоянке в высокогорной долине северных отрогов Икатского хребта, тянущегося вдоль восточного побережья Байкала. Он попросил карту, и, когда Ирина, сразу так и загоревшаяся идеей новых турпоходов, принесла нашу исчирканную десятикилометровку, я показал примерное место, где мы тогда стояли. При этом Ирина поправила меня и карандашом поставила точку, на полмиллиметра отстоящую от той, которую нанес я. Я тут же согласился с ней, потому что у меня принцип: жена всегда права. Янис долго всматривался в густо-коричневые пятнышки, из которых слагался на карте хребет, в синие извилистые линии рек и светлые полоски долин вдоль них, а мне казалось, что он уснул и спит себе с открытыми глазами, а мы, как чудаки, стоим вокруг него и, стараясь перекричать друг друга, доказываем на все лады, как там было плохо (это я) и как там было великолепно (Ирина). Но вот он отложил карту и сказал, кивнув на магнитофон:

— Заверните, возьму до завтра.

Не знаю почему, но мне очень хотелось, чтобы он взял эту пленку, Ирина же вдруг заупрямилась, стала говорить, что пленка уникальная, что отдавать ее преступление,— только переписать. Мне показалось, что и она, и я, и бедняга Клаускис, и тихая, застенчивая Зоя — все в ту ночь были малость не в себе, чуть-чуть с приветом. Обычно я не тороплюсь высказывать свое мнение, будь то хоть самый большой начальник или даже жена: я считаю, что так легче оставаться принципиальным. Но на этот раз словно какой-то бес вселился в меня: я молча взял магнитофон, завернул его в новый яркий плед и подал Янису. Ирина, побледнев, закусила губы, но ссориться со мной не стала, не знаю уж, из каких соображений. Янис жадно схватил магнитофон, быстро оделся и юркнул в дверь перед расстроенной, обескураженной Зоей. Я съел пару пирожных и остатки холодца и завалился спать. Ирина со мной не разговаривала, поэтому я тотчас уснул.

На рассвете меня разбудил телефонный звонок. Звонил вахтер из института, жаловался, что какой-то пьяный колотит в дверь, требует, чтобы впустил, говорит, что позарез надо в акустическую лабораторию (в ту самую, где я являюсь начальником). А по инструкции в праздничные дни категорически запрещено впускать. Я велел узнать фамилию нарушителя. Вахтер отошел от телефона

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

и долго перекрикивался у закрытой двери. Наконец он сообщил: «То ли Кис-кис какой-то, то ли Кас-кас, шут его знает, не разберешь». «Клаус кис!»— воскликнул я. «Во-во»,— подтвердил вахтер и добавил, что этот самый Кас-кис грозится что разобьет окно, а все равно проникнет в лабораторию. Я сказал вахтеру, чтобы выполнял инструкцию: раз написано никого не впускать, значит, никого не впускать — и точка. Вахтер проворчал что-то и положил трубку. Не успел я заснуть, как снова зазвонил телефон. Вахтер криком доложил, что из акустической лаборатории доносятся «всякие» звуки, от которых волосы встают дыбом, и что лаборатория заперта изнутри и никто не откликается на стук. Вахтер спрашивал как быть. Я сказал, что выхожу, и начал быстро одеваться.

Когда мы с вахтером подошли к лаборатории, то никаких «всяких» звуков не было. Вахтер шепотом побожился, что звуки были, что до сих пор не опомнился и что кожа все еще топорщится. Я открыл дверь. Янис был здесь. Согнувшись под тяжестью, он тащил из дальнего конца лаборатории анализатор спектра. Большой макетный стол, на котором мы обычно собирали сложные схемы, был заставлен приборами. Стекло в одном из трех окон разбито. Янис поставил анализатор на стол и невозмутимо принялся расставлять динамики стереофонического звучания. Вахтер начал было шуметь и требовать немедленного составления акта, вызова милиции и так далее, но я попросил его удалиться на свой пост, и он тотчас ушел.

Я вопросительно уставился на Яниса, ожидая, что он сам объяснит, что все это значит. Он мельком взглядывал на меня, тут же отводил глаза и вообще вел себя так, словно был в лаборатории один.

— Янис,— сказал я,— может быть, ты все же скажешь хоть что-нибудь?

Он отрицательно покачал головой. Тогда я подошел к шкафу питания и, хотя мне было жалко Яниса, выключил рубильник.

— Янис,— виновато сказал я,— извини, у меня нет другого выхода.

Он поднес к лицу руки и дрожащими пальцами начал водить перед глазами.

— Не могу объяснить,— тихо сказал он и резко опустился на стул, почти рухнул.

Я подошел к нему. Все это казалось более чем странным. Клаускис сидел, понуро ссутулившись, поддерживая голову тонкими руками, он вдруг затрясся как в ознобе и уставился на меня своими тоскливыми глазами.

— Что ты собираешься делать, дружище?— как можно мягче спросил я.— Пойми, я начальник, отвечаю за лабораторию и должен знать.

Он согласно кивнул. Я ждал. Дрожь порывами охватывала его, и он изо всех сил сжимал свои маленькие, как у мальчишки, кулаки. Я подумал, что неплохо бы увести его домой. Оставлять его в лаборатории в таком состоянии было нельзя.

— Твоя пленка — музыка,— начал он, с трудом подбирая слова.— Я должен ее проверить. Анализатор,— он ткнул в большой массивный прибор.— понимаешь?— И быстро-быстро произнес что-то по-латышски, но тут же виновато взглянул на меня и сказал по-русски:— Этот звук — загадка, он сделан как по лекалу. Там, внутри, что-то есть.

— Где внутри?— спросил я.

— Внутри звука. Там, в глубине.— Он зажмурился, мечтательно улыбнулся, и снова его губы искривились.— Давай вместе. Разреши! Прошу.

— Ты хочешь разложить звук по частоте?— уточнил я.

— Да, да. Это очень сложный звук. Не могу понять, как он сделан. То есть из каких простых звуков он состоит.

— Думаешь, он сделан?

— О! В этом я нисколько не сомневаюсь.

— Почему?

— Так. Я знаю звук. Я вижу каждый звук, чувствую на вкус.

Он смотрел умоляюще, и я не выдержал: сбросив пальто, пошел к шкафу и включил рубильник. Признаться, меня самого сильно заинтересовал весь этот бред.

Клаускис тотчас, как только вспыхнули лампочки, занялся своей схемой, предстоящими испытаниями. Покачиваясь, встряхивая головой, бормоча что-то на родном языке, он торопливо соединял провода, ощупывал их вздрагивающими пальцами, словно не доверял глазам. Я стоял рядом. Он блестяще разбирался в аппаратуре, схема была собрана без единой бумажки. Не прошло и минуты, как мощные динамики ожили, раздался ровный, несильный шум, который на языке радистов называется фоном. Клаускис быстро «погасил» его несколькими поворотами рукояток. Сделалось тихо, но тишина эта была не безмятежной, какой она бывает, скажем, в зимнем лесу или в глубоком

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

ЭРДЕНИ

подземелье, а напряженной, как в испытательном зале высоковольтной аппаратуры перед ударом искусственной молнии. Это особое состояние тишины объяснялось, видимо, тем, что динамики все-таки жили, их могучие диффузоры едва заметно колебали воздух, и эти колебания вызывали ощущение напряженности и тревоги.

Клаускис ждал, когда как следует прогреются приборы. Теперь он был совершенно спокойным. Его огромный лоб казался круглым и белым, темно-русые волосы гладко зачесаны назад. Я был знаком с ним лет десять и любил искренне, как доброго, верного друга. Сейчас же, не знаю почему, он показался мне чужим.

Я отвернулся к окну. При первом взгляде оно показалось мне глубокого черного тона, но чем дольше я в него глядел, тем все более прозрачным, синеющим становился за ним мрак. Там, внизу, в двухстах метрах текла Ангара, не замерзающая даже в самые лютые морозы,— черная, быстрая, окутанная густым туманом. Я чувствовал, что в этом что-то есть: материал, основа для выработки новых жизненных принципов, но мысль моя была перебита.

Зазвучала эта адская музыка. От первых же звуков меня передернуло — вахтер довольно точно передал ощущение: затопорщилась кожа. К концу «сеанса», кроме отвращения к звукам, я почувствовал раздражение и неприязнь лично к Янису Клаускису...

Янис перемотал пленку, перестроил схему и снова включил магнитофон. Он торопился, движения его были быстрыми, но точными. Лицо бледно, неподвижно, сосредоточенно.

Вдруг взвыли сто сирен на разных звуковых частотах. Мне показалось, будто я заскользил куда-то вниз, в какую-то пропасть. Полет был настолько стремителен, а чувство безвозвратности падения было настолько острым, что, помню, у меня вдруг потемнело в глазах и я застонал от ужаса. Я смотрел на Яниса, на его тонкую, как бы прозрачную шею, и мне казалось, что единственное мое спасение... Говорить об этом, честное слово, противно, но не умею кривить душой, скажу: мне казалось, что единственное мое спасение — стиснуть изо всех сил его горло... Я приподнялся уже, но тут музыка оборвалась.

Клаускис сидел с закрытыми глазами и белым, искаженным лицом. Я с трудом повернул голову — за окном разливался синий зимний рассвет. С Ангары, покачиваясь, клубами полз туман. Я хотел потормошить Клаускиса, но не мог поднять руки. Я просто сидел и тупо смотрел перед собой.

Клаускис застонал, упав грудью на стол, потянулся к магнитофону, перемотал пленку, изменил схему и снова включил воспроизведение. Все внутри меня противилось продолжению эксперимента. И в то же время что-то тайное, темное жадно, нетерпеливо ожидало начала музыки. Я еще ближе придвинулся к Янису...

Теперь мне показалось, будто меня сразу же, грубо, бесцеремонно зашвырнули в какую-то узкую, бездонную щель и я, пролетев уйму времени, застрял в ней, как клин. Но и это ощущение было неточным: оказывается, я не остановился, а, как мыло, вгонялся в щель все глубже и глубже, и этой щели не было конца. И вдруг возле себя, буквально внутри стены я увидел чье-то расплющенное лицо и безумно ненавистное тонкое горло. Из последних сил я дотянулся до него, обхватил слабыми, негнущимися пальцами и, содрогаясь от невиданного счастья, стал давить, давить, давить...

Очнулся я на полу. Яркий дневной свет слепил глаза. Раскалывалась голова, ныло все тело, и сосало под ложечкой, словно я не ел два часа. Прошло еще какое-то время — сколько, не знаю,— прежде чем я смог приподняться и сесть. Янис Клаускис лежал неподвижно, раскинув руки со сжатыми кулаками. Казалось, что он не дышит. Я дотянулся до него и стал щупать пульс. Сердце работало едва-едва, с перебоями. Я подполз ближе и стал делать ему массаж. Вскоре он очнулся. Слава богу, в кармане пальто нашлась пачка печенья, и я малость подкрепился, иначе не знаю, сидел бы я сейчас перед вами...

Глава вторая,

рассказанная Ириной Кругликовой, супругой Виталия Кругликова, врачом-терапевтом районной поликлиники

Теперь вы понимаете, что это за человек — мой муж? Если бы не я, уже давно наука потеряла бы еще одного исследователя, потому что Кругликов не смог бы пролезть ни через одну дверь. Я его спасаю, а говорят, я виновата: дескать, врач. А что я могу сделать, если у него такой зверский аппетит? Когда он голоден, очень сильно волнуется, а когда волнуется, то еще сильнее хочет есть. По современным взглядам надо нагружать организм физической нагрузкой, уменьшать нервную и не допускать стрессов. Лучшее средство для закаливания — турпоходы. Он считает это «пунктиком», а я, как врач, заявляю: «пунктик» — это когда здоровый мужик весь отпуск валяется на тахте, или в гамаке, или в шезлонге, переживает из-за каких-то жутких выдуманных историй и с утра до ночи жует, жует, жует. Сто двадцать пять, говорит он, не предел. Верно. Предел — это когда мужик покатится, как шар, по дороге, и все будут хохотать и показывать пальцем. Я за туризм! За походы, за рюкзак, гречку, умеренную пищу и закаливание. А посему, когда случилась эта страшная новогодняя история с Виталием и Янисом, я сразу сказала: «Вот, мои дорогие, чем кончаются ваши «пунктики». Летом пойдем в турпоход, в то самое место, и слушайте там «голос гор», сколько хотите». В отличие от Виталия я не бросаю слов на ветер, и в марте, когда Янис вышел из больницы (три месяца провалялся в нервной клинике), я собрала всех у нас дома, то есть Виталия, Яниса и Зою, и сказала им: «Ну, милые мои, хотите плачьте, хотите смейтесь, а с завтрашнего дня извольте начинать тренировки. Сбор ровно в шесть ноль-ноль. Иметь при себе рюкзак, набитый кирпичами, штормовку, турботинки, альпинистский шток. Будем ходить, будем лазать. Гор нет — полезем на деревья». Повякали, поворчали — ничего, пришли как миленькие, ровно в шесть ноль-ноль явились господа с рюкзачками и со всем прочим снаряжением. У меня не больно-то покомплексуешь: как врежу — словесно, разумеется,— так сразу все комплексы исчезнут.

Март, апрель, май, июнь — почти четыре месяца гоняла я эту смешную гоп-команду. Виталий похудел на два килограмма и сильно переживал из-за этого, Янис, наоборот, поправился на два. Зоя посвежела, загорела, перестала чихать и хлюпать носом. Я истрепала свои последние нервы, стала принимать элениум и корвалол. Слава богу, нашего Сашеньку, сына, на все лето взяла к себе бабушка, а то бы не знаю, что я делала. В конце июня наступил наконец-то долгожданный день, когда мы начали паковаться. Я заранее составила список, выбрала самое необходимое с тем, чтобы, разделив на четверых, можно было как-то передвигаться в сложных условиях горного перехода. И как всегда, не обошлось без Виталькиного «пунктика». Мы с ним запаковали оба рюкзака, получилось плотно, но по весу вполне терпимо, и я вышла в магазин за какой-то мелочью. Когда я вернулась, Виталий, красный, как рак, торопливо запихивал в свой рюкзак дополнительные брикеты с кашей, банки тушенки, сухари. Его рюкзак раздулся до громадных размеров, и казалось, вот-вот лопнет. Тут пришли Янис и Зоя — они тоже удивились, увидев рюкзак Виталия.

— А ну-ка, проверим, удобно ли,— сказала я и подмигнула Янису и Зое.

Втроем мы кое-как подняли рюкзак и подставили лямки нашему бедному обжоре. Он без охоты влез в рюкзак, и мы отпустили эту глыбу. Виталий пошатнулся, взмахнул руками и под тяжестью рюкзака грохнулся на спину. Мы кое-как высвободили его и поставили на ноги.

— Ничего,— сказал он,— такой же вес на грудь — и все будет в норме. Просто несимметричная нагрузка.

И действительно, как мы его ни уговаривали не дурить, не вынул из своего рюкзака ни единой вещи, а на грудь привесил авоську, набитую концентратами. В конце концов я махнула на него рукой — впереди поход, глухие места, магазинов нет, не больно-то пообжираешься. На всякий случай взяла побольше валерьянки.

Не буду рассказывать, с какими трудностями мы выбирались из города, как ни один таксист не хотел брать в кабину наш обоз (из-за Виталия, конечно, и его безобразного рюкзака), как мы долго и мучительно шли пешком через весь город, поддерживая с боков шатавшегося Виталия, у которого вдруг одна нога оказалась короче другой (никогда в жизни не было такого!), как буквально ползком взобрались на борт теплохода и рухнули на верхней палубе, чуть живые от изнеможения. Не стоит говорить также и о том, как перегружались в порту «Байкал» с теплохода на легендарный «Комсомолец», как потом плыли мы двое с половиной суток и Виталия невозможно было выгнать из ресторана и буфета (когда закрывали ресторан, он переходил в буфет, когда закрывали буфет, он возвращался в ресторан). Наконец мы выгрузились в Усть-Баргузине, и это был наш первый привал, потому что Виталий потребовал супа и каши на костре, и нам ничего не оставалось, как выполнить его просьбу.

На другое утро ровно в шесть ноль-ноль я подняла всех звоном пустого котелка. Проводник с лошадью и собакой ждал нас у дороги. Все рюкзаки, кроме моего, мы погрузили на бедную лошадь — я несла свой рюкзак сама, потому что люблю физическую нагрузку.

Два дня мы шли вдоль берега Баргузина по узкой тропке, через глухую тайгу. Нас кусали комары и точила мошка. Больше всех страдал Виталий (за счет большей площади открытого для укусов тела). Мы все жалели его и старались подбодрить, как могли.

На третьи сутки пути мы вышли из лесу и, потрясенные, остановились. Перед нами расстилалась ровная, вся желтая от лютиков долина. Впереди, казалось, в нескольких шагах вздымались горы. Они стояли перед нами и были так близко, что для того, чтобы взглянуть на их белоснежные вершины, приходилось задирать голову.

Нас вел Василий Харитонович Мунконов, старый бурят, низенький, щуплый, с веселыми глазами, в которых удивительно смешивались два его качества: добродушие и хитрость. За ним, мотая головой и взмахами хвоста отгоняя паутов, вышагивал приземистый гнедо-белый конь по кличке Лоб-Саган, нагруженный рюкзаками. Впереди, колыша траву, трусил лохматый пес Хара, что по-бурятски означало «черный». Мы четверо, вытянувшись цепочкой, шли друг за другом, отмахиваясь от комаров березовыми ветками.

Начался долгий, мучительный подъем. Господи, что это были за муки! Бедная лошадь, сколь терпеливо и многострадально это животное! Сначала Виталий держался за подпругу, потом за хвост. В конце концов на одной из площадок мы обвязали его веревками, и бедный коняга, кожилясь из последних сил, волоком перетягивал Виталия с уступа на уступ. Только на третьи сутки мы достигли перевала.

Вершины хребта по обе стороны перевала скрывал густой туман. Воздух, стекавший с них, был холоден и насыщен водяной пылью. Одежда наша быстро отсырела. Камни, мох, корявые низкорослые лиственницы — все было сырое, холодное, серое. Лошадь боязливо жалась к нам, всхрапывала, от ее мокрой шерсти шел пар. Хара, как только мы остановились, лег, свернулся калачиком и прикрыл нос кончиком хвоста. Виталий хотел передохнуть и подкрепиться, но Василий Харитонович, обычно соглашавшийся с нами, решительно затряс своей рысьей шапкой:

— Не, не, не. Пошли. Перевал — бэрхэ, трудный. Горняшка сорвется, раскачает сардык — девять дней, девять ночей будет дуть. Ох, плохо будет.

И мы пошли вниз, в долину, по чуть приметной тропке, которую каким-то чудом различал Лоб-Сагап. Заночевать пришлось на узкой скалистой площадке, более или менее ровной, пологой и гладкой, так что не надо было расчищать ее от камней и привязывать вещи. Все мы ужасно измотались, устали до тошноты, до синих мух перед глазами. Даже Василий Харитонович заметно сдал: его бронзовое лицо осунулось, глаза совсем спрятались за припухшими веками, он часто снимал свою мохнатую шапку и рукавом телогрейки вытирал голую, как яйцо, голову.

Спали, не раздеваясь, не разводя огня. Конь по знаку Василия Харитоновича лег на бок, спиной к стене. Старик примостился возле него, укрыв себя и лошадь овчинным тулупом. Хара устроился у него в ногах.

Утро пришло молочно-белым туманом, далеким, призрачным звоном горного воздуха, розовыми, зелеными просветами среди низко плывущих облаков. Сзади над перевалом полыхало белое сияние — там был восток. Свет расширялся, охватывал все небо — туман редел, рассеивался, катился вниз, цепляясь за скалы, устремляясь в распадки и долины. И вот черная зазубренная вершина хребта встала перед нами, глухая и зловещая, как тюремная стена.

Пока мы собирались, солнце поднялось, и снежные пики, вздымавшиеся далеко впереди, засияли

нестерпимым блеском. Отраженный свет от снежников осветил наш склон, и мы пошли вниз по гигантской винтовой линии, шаг за шагом спускаясь все ниже и ниже.

Мы чуть было не прошли то место, где стояли в прошлом году. Янис первый сбросил рюкзак и торжественно сообщил, что мы пришли. Виталий, сверившись с картой, удивился и, нимало не конфузясь, принялся распаковывать свой рюкзак и хрустеть сухарями.

Да, сомнений не было, я тоже узнала место: просторная долина, в центре круглая, почти правильной формы чаша, заполненная водой; от озера вверх по склонам темным кольцом расходится лес. Там, где мы стояли, простиралась ровная безлесная площадка, в середине которой возвышалась скала, похожая на всадника, слившегося с конем и вместе с ним увязшего в земле.

Я взяла бинокль и стала внимательно рассматривать противоположный берег озера. Помнится, там должна быть пещера, и действительно, вскоре я обнаружила среди глыб и корневищ черный вход. Мы все по очереди разглядывали в бинокль пещеру, и лично у меня возникло какое-то острое, щемящее чувство — тоски, грусти, страха,— как будто там, в ней, прячется что-то загадочное и страшное.

Надо было спешить: до заката оставалось совсем немного, солнце уже лежало на вершине западного хребта — еще час-полтора, и долину затянет туманом, вместе с которым придет ночь.

Мы быстро натянули две палатки. На старом кострище поставили таганок, развели костер. Дров было много: кругом торчали сухостоины, на опушке леса полно было валежника.

Василий Харитонович съездил за водой, разнуздал Лоб-Сагана, пустил пастись. Мы с Виталием приготовили ужин. Янис и Зоя распаковали аппаратуру, проверили, не повредилась ли она, и разнесли звуковые пеленгаторы друг от друга, чтобы в случае появления звука можно было запеленговать источник. Василий Харитонович с любопытством разглядывал приборы, осторожно трогал хромированные рукоятки и восторженно цокал языком. Хара, глядя на него, тоже совал везде свой нос и довольно покачивал хвостом. Потом Виталий и Янис принялись надувать матрацы. Василий Харитонович посмотрел на них, как они от натуги таращат глаза, засмеялся и пошел небольшим серпиком косить траву себе на подстилку. Хара не отставал от него ни на шаг.

Солнце спряталось за хребет, от озера пополз туман. Стало быстро смеркаться. Вскоре все вокруг затянуло серой, влажной мглой, настолько густой, что не видно было вытянутой руки.

Мужчины разожгли второй костер — для света и тепла. Туман поредел, перед палатками стало уютнее. В круг света вошел Лоб-Саган и остановился, понуро опустив голову, прикрыв глаза и чутко поводя острыми ушами. Хара улегся между кострами, на самом теплом месте,— глаза его посверкивали, как лезвия бритвы.

Поужинав, мы долго сидели у огня, изредка перебрасываясь словами, потягивая из кружек горячий душистый напиток — настой из смородиновых листьев, каких-то трав и зеленого чая.

Внезапно туман рассеялся. Легкое дуновение пришло от озера. Над нами открылось ясное ночное небо. В первое мгновение, когда раздался этот звук, мне показалось, будто загудели звезды, мерцающие над нами в вышине. Я не успела понять, что случилось, как Янис уже был на ногах — он бросился к правому пеленгатору. Виталий, заворчав, ушел к левому. Не знаю, как Зоя, а я никак не могла сообразить, что должна делать, хотя во время тренировок Янис по двадцать раз повторял нам наши действия в случае появления звука. Наконец я опомнилась, схватила фонарик, висевший на палатке, и побежала к Янису. Зоя отправилась к Виталию.

Подсвечивая фонариком, Янис поворачивал пеленгатор, определяя по стрелке прибора, в каком направлении звук имеет наибольшую силу. Я направила на прибор свой фонарик — Янис кивнул и пробормотал, что, как он и предполагал, источник находится в озере. Я следила за стрелкой — она отклонилась от нуля и, как Янис ни вращал пеленгатор, стояла почти неподвижно. Янис сказал шепотом, что источник не имеет четко очерченных границ, а расплывчат, словно разлит по поверхности. И все же главное направление угадывалось: стрелка прибора начинала чуть подрагивать в слабом стремлении отклониться еще дальше, то есть в этом направлении прощупывался максимум звука. Мне казалось, будто дрожит не только стрелка, но и сам прибор — все вокруг: земля, горы, небо, звезды. Но что самое странное — я вдруг ощутила какое-то смутное волнение, как бы легкая волна злости прокатилась через меня, мне даже захотелось стукнуть Яниса и броситься — о, вот это самое удивительное — броситься в пещеру на противоположном берегу озера. Я хотела сказать об этом Янису, но он так взглянул на меня, что я в страхе отшатнулась.

Звук прекратился, и мы молча вернулись к костру. Зоя и Василий Харитонович были здесь. Виталий долго не появлялся, потом пришел мрачный, какой-то подавленный, с исцарапанным лицом. Пряча от меня глаза, он наложил себе огромную порцию каши с тушенкой (это после ужина-то!) и уполз в палатку.

Костер почти прогорел, но странно — как-то светлее, прозрачнее стало в долине: отчетливо проступили из темноты контуры скалы-всадника, вдали обозначился лес, сквозь него слабым светом мерцала вода.

Василий Харитонович сидел, подложив под себя ноги и держа обеими руками кружку с чаем.

— Луна,— сказал он, повернув кверху лицо.

Только тут я заметила, что над восточным хребтом сиял краешек восходящей луны.

— Газар хёдёлхё,— произнес старик и, как бы соглашаясь с кем-то, покивал головой.— Наран-батор дрожит, луну видит.

— Что он сказал? — насторожился Клаускис.

— Кто дрожит? — спросила я.

Старик повернулся лицом к скале и, сняв шапку, показал ею:

— Наран-батор на быстром бегунце дрожит, от земли оторваться хочет.

— Что это значит? — спросил Янис.

— Старики так говорят. Я внук моего деда, дед внук своего деда, тот дед внук третьего деда — тот дед передавал от своего деда. Вот какие старики говорят.— Василий Харитонович, улыбаясь, смотрел на огонь. Его прищуренные глаза блестели, как две тонкие иголки.

— Вы знаете сказку про эту скалу? — спросила я.

Старик пожал плечами и, пахлобучив шапку, отпил чаю.

— По-вашему, сказка, по-нашему, давным-давняя жизнь,— сказал он.

— А вы слышали звук? — спросил Янис.

Старик кивнул и после молчания сказал:

— Это играл хур дочери западного тэнгэрина. У нее странное имя, люди называли ее просто Тэнгэрин Басаган.

— Я не понимаю, о чем он говорит,— с болезненной гримасой сказал Янис.— Что такое «хур»?

— Что такое «скрипка»? — сказал старик.— Хур — это наша скрипка. Тэнгэрин Басаган имела хур из серебра боржи, из чеканного серебра, белого как снег сардыка, чистого, как дыхание Тэнгэрин Басаган.

Янис нетерпеливо задвигался, я жестом предупредила его, чтобы потерпел с вопросами, иначе старик выйдет из настроения, и потом не дождешься, когда ему снова захочется говорить.

Старик долго сидел молча, отхлебывая остывший чай. Казалось, что он так и не заговорит, но он вдруг вскинул голову, улыбаясь, посмотрел на небо, усыпанное яркими звездами, и начал задумчиво, тихо, неторопливо.

Продолжение следует.

Геннадий НИКОЛАЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

Глава третья,

рассказанная проводником Василием Харитоновичем Мункоевым

Прежде-прежде, в прежние счастливые времена жил на восточной стороне, в местности Хонин-Хотон, в стране высохшей и выдутой ветром, в той стране туманной, в которой люди блуждают, жил человек по имени Хоредой. Жил он с женой Алма-Хатан, женщиной доброй, но бесплодной, как высохшая шкура изюбря. Много у них было скота и добра всякого, но не было у них ни сына, ни дочери. Вот так они долго и скучно жили. Жена Хоредоя Алма-Хатан стала как-то больная и слабая. Тогда берет она материнское желтое священное писание и читает в нем, что будет у них в западной стороне, в месте, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, сын Наран-батор, простой слабый человек. Узнал об этом Хоредой, сел перед юртой и сидит. День сидит, два сидит, девять дней сидит. На десятый день встал Хоредой, вошел в юрту к жене Алма-Хатан и говорит:

Западные добрые тэнгэрины велят мне ехать на западную сторону, в место, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, чтобы взять там сына Наран-батора. Мужчина-человек от своего желания не отказывается, волк и собака, укусивши, не отпускают и пробуют силы. Поеду на западную сторону, в место, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени.

— Думаю правдиво и говорю верно,— говорит больная жена Алма-Хатан и подает Хоредою красношелковые поводья.

Вышел Хоредой из юрты, поймал своего чубарого коня, положил на него холщовый потник, оседлал деревянным седлом и, взяв в руки красношелковые поводья, сел на коня и поехал прямо на западную сторону, в место, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени. Ехал, ехал и едет. Все далее и далее едет. Глядя вверх, смеется, глядя вниз, плачет, мало-мало рыдая. Так подъехал он к горе, высокой, до самого неба, и не знает, как дальше проехать. Серенькое сердце бьется и коротенькое ребро гнется от боязни: такая высокая, до самого неба гора перед ним. Рысит туда — нет тропинки, рысит сюда — нигде нет проезда. Тогда он спрашивает своего чубарого коня:

— Как проедем эту гору?

Его чубарый, быстрый бегунец так отвечает:

— Возвратись на однодневное расстояние. Я с бега вскочу на эту высокую гору, а ты только сумей удержаться на мне.

Возвратился Хоредой на однодневное расстояние, его чубарый, быстрый бегунец побежал и со всего размаху вскочил на самую вершину горы. Хоредой закачался в седле, но не упал, держится. После этого спустился Хоредой по ту сторону, в долину белого озера. Подъехал и видит: лежит в траве бело-серебряный светящийся днем и горящий ночью, смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени. Взял его Хоредой и начал грызть на левых коренных зубах. И вдруг небо покрылось облаками, пошел кровавый дождь, каменный град посыпался, после этого пошел большой снег, который упал до нижних сучков деревьев. Снова взял Хоредой смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени и стал грызть на правых коренных зубах. Тогда небо вдруг очистилось от облаков и стало очень жарко; снег скоро весь растаял, по-прежнему стало тепло. Взял белый камень Эрдени Хоредой в третий раз и стал грызть его передними зубами. Тогда белое озеро заволновалось, бело-серебряные барашки пошли туда-сюда, волны поднялись до верхнего неба, ямы опустились до нижней земли. Взмахнул Хоредой смешивающим тысячу веков белым камнем Эрдени, рассек белое озеро по самой высокой волне и видит: на дне лежит сын Наран-батор, простой слабый человек, и плачет. Прыгнул Хоредой на своем чубаром коне на самое дно, взял Наран-батора и выскочил обратно до высоких гор. Сошлись волны на белом озере, и снова все стало тихо и спокойно, как прежде.

Привез Хоредой сына Наран-батора в свою юрту, видит, жена лежит неживая — померла, пока ездил за Наран-батором. Печальный сделался Хоредой, вышел к своему чубарому коню и говорит:

— Как сына растить? Кто мясо сварит? Кто унты сошьет? Волосы расчешет?

Чубарый, быстрый бегунец отвечает:

— В яркий солнечный день вынеси сына Наран-батора из юрты, положи на смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, обмой чистой ключевой водой из девяти источников. Встанет Наран-батор сильный и красивый, как молодой изюбрь из северной тайги.

Вынес Хоредой в яркий солнечный день сына Наран-батора из юрты, положил на белый камень Эрдени, обмыл чистой ключевой водой из девяти источников. Встал Наран-батор, сильный и красивый, как молодой изюбрь из северной тайги, и говорит:

Это ты, мой отец Хоредой, а где мать моя, Алма-Хатан?

— Твоя мать Алма-Хатан померла, не дождавшись, пока я привезу тебя. Как будешь без матери? Кто мясо сварит? Кто унты сошьет? Волосы расчешет?— Так говорит Хоредой, а сам, глядя вверх, смеется, глядя вниз, плачет.

Тогда надевает Наран-батор отцову шелкову шубу для летней поры, сто восемь пуговиц безошибочно застегивает, зовет чубарого, быстрого бегунца и едет в девять тайг за берестой и к девяти источникам за чистой ключевой водой. Привозит с девяти тайг бересту и чистую ключевую воду с девяти источников, берет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, кладет его на грудь матери Алма-Хатан, берестой с девяти тайг освящает и ключевою водою моет. Встает мать Алма-Хатан по-прежнему здоровая и подвижная и говорит:

— Как долго я спала! Теперь буду сыну своему Наран-батору варить мясо, шить унты, волосы расчесывать.

И зажили они счастливо втроем в восточной стороне.

— Один человек человеком не делается, одна головня огнем не делается! так сказал Наран-батор однажды.

Тогда с утреннего красного солнца начиная достает мать Алма-Хатан материнское желтое священное писание и расстилает от дверей до противоположной стены. Так разостлав, она читает. Тогда вычитывается ей, что прямо на западной стороне, в местности далекой, за самой высокой горой опускается с верхнего неба купаться в белом озере девица с диковинным именем, с именем не нашим, а попросту Тэнгэрин Басаган, дочь западного Тэнгэрина. Она и есть суженая Наран-батора на девять дней и девять ночей. После этого Алма-Хатан складывает священное писание и кладет его на прежнее место.

Тогда берет Наран-батор чубарого, быстрого бегунца, седлает серебряным седлом и, взяв в руки прекрасные шелковые поводья, привязывает к серебряной коновязи, горстью травы кормит, чашкой воды поит. Так приготовив чубарого, быстрого бегунца, говорит:

— Приготовление коня окончилось!

После этого беглым шагом входит в юрту. Мать ставит золотой стол, вкусной пищей угощает, потом ставит серебряный стол, действительно вкусной пищей угощает и наливает крепкое вино. Наран-батор сидит и ест, как волк, глотает, как птица, клюет. Наевшись досыта, встает и начинает одеваться, повертываясь во все стороны перед зеркалом величиной с дверь. Потом надевает шелкову шубу, которую носит в летнюю пору, сто восемь пуговиц безошибочно застегивает, сверху надевает шелкову шубу, которую носит в зимнее время; ни пылинки на нем не оказывается. Туго ремнем подпоясывается, надевает на голову лисью шапку и говорит:

— Приготовление тела окончилось!— и беглым шагом выходит на улицу, подходит к серебряной коновязи, отвязывает прекрасный шелковый повод, ногу ставит в золотосеребряное стремя и садится на чубарого коня.

Так он поехал прямо в западную сторону, в местность далекую, за самой высокой горой, к белому озеру, в котором купается дочь Тэнгэрина, девица с диковинным именем, а попросту Тэнгэрин Басаган. Так поехал он, пыля и туманя; через десять падей ровно рысил, через двадцать падей не кривя рысил. Когда на небе стоял день, то он рысил до тех пор, пока на небе не настанет ночь; когда на небе стояла ночь, то он рысил до тех пор, пока на небе не настанет день. В жаркие дни без питья ехал, в темную ночь без сна ехал. По крику пестрой сороки замечал, что настала половина зимы, и, лисью шапку нахлобучивая, далее рысил; по пению соловья соображал, что наступает половина лета, и, лисью шапку подняв вверх,

---

Продолжение. Начало в № 21.

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

далее рысил. От его скорой езды делался сильный вихрь, который сносил рыжие камни, и дул черный ветер, который сносил черные камни. Так подъехал Наран-батор к самой высокой горе, остановил своего чубарого коня и говорит ему:

— Как проедем эту гору? Однако вернемся домой, чтоб не оставить здесь своих костей.

Тогда чубарый конь говорит:

— Ты, мужчина-человек, какой коротенький ум имеешь! Если мужчина-человек задуманное оставляет, то не будет попадать стрелою в стреляное, а волки и собаки если укушенное выпускают из зубов, то делаются тощими.

Наран-батор спрашивает своего чубарого коня:

— На эту высокую и крутую гору можешь ли вскочить, на самую вершину?

Чубарый конь отвечает:

— На самую вершину этой высокой и крутой горы могу вскочить, но ты, Наран-батор, удержишься ли на мне?

Наран-батор говорит:

— Если можешь, то скачи, а про меня не думай.

Возвратился Наран-батор на трехдневное расстояние, разбежался чубарый, быстрый бегунец и запрыгнул на самую вершину высокой и крутой горы. После этого поехал Наран-батор в долину белого озера и видит: спускается с неба красивая белая лебедь, садится на берег белого озера и снимает свою бело-пуховую лебяжью одежду. И выходит из одежды прекрасная девица Тэнгэрин Басаган, такая красивая, что от красоты правой ее щеки освещаются правые горы, а от красоты ее левой щеки освещаются левые горы. Так она тихо, плавно ходит, что вырастает тонкая трава; так тихо, нагибаясь, ходит, что овцы и ягнята кричат. Такая она была необыкновенно красивая. Наран-батор влюбился в Тэнгэрин Басаган и, когда она нырнула в белое озеро, взял ее бело-пуховую лебяжью одежду. Накупавшись и поплавав, вышла Тэнгэрин Басаган на берег и видит: держит ее бело-пуховую лебяжью одежду Наран-батор и не хочет отдавать. Тогда она говорит:

— Верни мне мою лебяжью одежду, потому что пора подниматься на небо, к отцу моему, доброму западному Тэнгэрину.

— Не могу вернуть тебе твою лебяжью одежду, потому что ты суженая моя и я на тебе женюсь,— говорит ей Наран-батор.

— Не могу я быть твоей женой, потому что ты простой слабый человек, а я дочь Тэнгэрина. И мне пора подниматься на небо,— говорит Тэнгэрин Басаган.— Если не отдашь мою лебяжью одежду, превратишься в серый камень и врастешь в землю навеки.

Наран-батор говорит:

— У меня есть смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, он меня выручит.

— Тогда ты вернешь мою одежду, и я поднимусь на небо,— говорит Тэнгэрин Басаган.— Мою одежду можно утопить, только завернув в нее белый камень Эрдени. И если у тебя, кроме белого камня Эрдени, ничего нет; если ты не можешь заставить тринадцать волшебств бегать по ладони и двадцать три превращения бегать по пальцам, то ты просто слабый человек и превратишься в серый камень и врастешь в землю навеки.

Тогда Наран-батор берет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, взмахнув им, рассекает белое озеро до самого дна и бросает туда бело-пуховую лебяжью одежду, завернув в нее белый камень Эрдени. Так он полюбил необыкновенно прекрасную Тэнгэрин Басаган. Она не может без своей лебяжьей одежды подняться на небо и остается с Наран-батором, и они живут вместе девять дней и девять ночей, на десятую ночь смотрят, стоит в долине бело-серебряный резной дворец высотой под самое небо с многочисленными окнами и дверьми. Сверкает и светится белее снега, как высеребренный, стоит дворец, освещая сам себя. Увидела Тэнгэрин Басаган дворец и говорит:

— Ну, я пойду; отец мой, добрый западный Тэнгэрин, с неба спустился, сердится, домой требует. А ты, смелый Наран-батор, жди первой лунной ночи — я брошу тебе мой серебряный хур. Как только он заиграет, скачи на высокую и крутую гору, с нее попробуй подняться в небо. Но помни: если ты простой слабый человек, на первом же скаку превратишься в серый камень и врастешь в землю навеки.

Так сказала необыкновенно прекрасная Тэнгэрин Басаган и ушла в бело-серебряный резной дворец, сверкающий в долине, как высокий кедр в первом зимнем инее. Она скрылась во дворце и раньше рассвета поднялась в небо с гулом и шумом в своем действительно прекрасном бело-серебряном дворце.

Дождался Наран-батор первой лунной ночи, смотрит, пролетел с неба, как падающая звезда, серебряный хур Тэнгэрин Басаган и упал в белое

озеро, в то самое место, куда бросил Наран-батор завернутый в бело-пуховую лебяжью одежду смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени. И заиграл хур из-под воды, и все озеро заиграло, и горы зазвенели, как бубенцы на бубне шамана. Вскочил Наран-батор на чубарого, быстрого бегунца, ударил его нагайкой в правое крутое бедро, и только скакнул чубарый конь, как тут же оба превратились в серый камень и вросли в землю навеки. Потому что Наран-батор был простой слабый человек и не имел тринадцать волшебств, которые бегали бы по пальцам. С тех пор каждую лунную ночь поет в белом озере серебряный хур Тэнгэрин Басаган, а Наран-батор на быстром бегунце дрожит, от земли оторваться пробует.

Глава четвертая,

рассказанная Зоей Семенцовой, медицинской сестрой и подругой Яниса Клаускиса

Сто раз ругала себя за то, что согласилась пойти в этот ужасный турпоход. И все из-за Яниса. После новогодней ночи он тяжко заболел, просто помешался на этом звуке: дня не мог прожить, чтобы не послушать его еще раз. Я так боялась за него! Он такой беспомощный, такой безалаберный, совсем не заботится о себе. Пришлось пойти вместе с ним, иначе я не могла.

В первую же ночь, когда мы разбили лагерь возле озера, еще до звука, Янис стал словно взведенная пружина — я по всему чувствовала, как напряглись его нервы. Он ходил, словно наэлектризованный, как бы в полусне, все время не расставался с блокнотом, вел какие-то расчеты. Когда стемнело, он отвел меня в сторону и шепнул: «Держись подальше от толстяка». Я хотела возразить, дескать, как же подальше, если еще в городе мы договорились, что за пеленгаторами будем следить парами: Янис и Ирина, я и Виталий. Но Янис шикнул на меня и торопливо ушел к озеру. В ту же ночь я убедилась, что он был прав...

Как только раздался звук, я почувствовала, как меня буквально пронзил безотчетный страх. Я так растерялась, что долго не могла прийти в себя, пока Ирина не растормошила меня и не заставила бежать вслед за Виталием. Я побежала, вернее, тут надо бы употребить какое-то другое слово, скорее, крадучись, тенью заскользила от камня к камню, от дерева к дереву, чутко прислушиваясь и приглядываясь ко всему. Издали я увидела огонек пеленгатора и подкралась к нему почти бесшумно. Виталий, склонившись над прибором, громко сопел и ворчал. Я осторожно тронула его за плечо, он дико вскрикнул и с неожиданной проворностью отпрыгнул от меня в темноту. От страха я упала на землю и долго лежала, не шевелясь, пока не прекратился этот ужасный звук. Совершенно разбитая, я вернулась к костру — там понуро сидел старик, возле него крутился пес Хара.

Через несколько минут пришли Янис и Ирина, тоже какие-то усталые и молчаливые, и сели возле огня. Янис все озирался по сторонам и подолгу вслушивался в ночную тишину. Потом его словно прорвало, он начал задавать старику вопрос за вопросом.

— Что такое «эрдени»? — был первый вопрос.

— Эрдени — драгоценность, ни с чем не сравнимая вещь,— отвечал старик.

— А почему камень смешивает тысячу веков?

— Есть камни, смешивающие сто веков.

— А этот, который в озере, смешивает тысячу?

— Этот тысячу.

— А почему белый спустившийся с неба дворец вы назвали резным?

— Народ так говорит. Значит, такой дворец.

— А почему дворец поднялся с шумом и гулом?

— А ты видел, чтоб дворцы подымались на небо без шума и гула?

— А где-нибудь на земле еще есть такие поющие камни?

— Конечно, есть, но никто не знает, где они.

— Откуда же вы знаете, что есть?

— Народ говорит.

— А народ откуда знает?

— Народ все знает: что было давно-давно, что будет дальше-дальше вперед. Все народ знает.

— Значит, народ знает, где еще есть такие камни?

— Конечно, знает.

— Но молчит?

— Ага, молчит, маленько не говорит. Вот какое дело, понимаешь.

— А скажет когда-нибудь?

— Конечно, скажет.

— А когда?

— Не знаю, я мало-мало знаю, в книгах надо искать, в книгах.

— В каких книгах?

— В толстых-толстых, семь рядов — золотые буквы, семь рядов — серебряные, семь рядов — из красной меди. Вот какие книги!

Тут вернулся Виталий, черной тушей выплыл из темноты — я чуть не вскрикнула и прижалась к Янису. Виталий молча, ни слова никому не говоря, нагреб полную миску каши и, сипло дыша, ушел в палатку. Мы посидели еще немного и пошли спать. Я насильно заставила Яниса выпить на ночь меду — снотворные таблетки уже не действовали.

Ночью я проснулась от какого-то страшного шума. Сначала я подумала, что это лошадь бьет копытом по пустому ведру, но, прислушавшись, поняла, что тут что-то не так. Осторожно выглянув из палатки, я увидела Виталия — в сером предутреннем сумраке он казался еще толще, еще ужаснее. Что он делал, я так и не поняла, потому что сразу же спряталась от страха под одеяло. По звукам, которые он издавал, похоже было, что он торопливо выскребывал ложкой из ведра остатки вчерашнего супа и тут же пожирал их.

Утром обнаружилась пропажа продуктов: исчезла вся тушенка, все брикеты с кашей и сухари. Осталось постное масло, пшено, мука, немного хлеба и сгущенка. Нетронутыми оказались также чай, соль, перец, лавровый лист и молотый кофе. Я, как ответственная за провиант, забила тревогу. Никто ничего не видел, никто ничего не брал. И всем вроде безразлично, куда девались продукты — одна я, как дурочка, все никак не могла успокоиться. Действительно, это настолько на меня подействовало, что весь день я ходила сама не своя. Все говорили: да брось, да забудь, завалились куда-нибудь, да успокойся, да плюнь,— а я не могла. Страшно было как-то и непонятно. Не могла же я подозревать кого-нибудь из нас...

Вторую и третью ночь озеро почему-то молчало, хотя ночи были ясные, полнолунные, теплые. Янис спросил об этом Василия Харитоновича. Он по своему обыкновению долго думал, потом сказал:

— Наран-батор поправляется, коня поправляет. Очень много сил надо, чтоб так-то землю трясти. С третьей на пятую ночь опять затрясет.

Янис выслушал старика с жадным вниманием, подавшись к нему и перекосившись от напряжения.

— То есть каждую четвертую ночь трясет?— спросил он.

Старик кивнул, почмокал губами и сказал:

— Большой газар-хёдёлхё будет.

— Почему?— спросил Янис.

— Наран-батор слабо тряс, силы берег,— ответил старик.

— А хур так же, как обычно, играл или слабее?— опять приставал к старику Янис.

Их хоть не оставляй вдвоем — бесконечные почему. Старик — неплохой человек, но тоже не прочь почесать язык, только заикнись.

— Большой газар-хёдёлхё — большая игра, малый газар-хёдёлхё — малая игра,— монотонно произнес старик.

Янис хотел еще что-то спросить, но, схватившись за живот, ушел в палатку. Я намешала меду в горячей воде и заставила его выпить полкружки. Мед при желудочных расстройствах тоже хорошо помогает. Янис лежал, завернувшись в одеяло, скрючившись и чуть постанывая. Я предложила ему грелку, но он отказался и попросил оставить его в покое. Я пошла к костру, собрала остатки ужина и отдала Харе. Он все крутился возле меня, я думала, что голоден. Но когда я вывалила ему пшенную кашу на постном масле, он понюхал и, виновато виляя хвостом, отошел. Старик, сидевший на камне возле огня, бесстрастно посмотрел на него и сказал что-то по-бурятски. Хара поджал хвост, прижал уши и осторожно ушел в темноту. Старик недовольно поворчал и снова принялся за свой бесконечный чай.

Прибравшись, я ушла в палатку. А надо заметить, что мы с Ириной спали в одной палатке, а Янис, Виталий и Василий Харитонович — в другой. В нашей палатке было пусто, еще с обеда Ирина с Виталием ушли куда-то и до сих пор не вернулись. Я легла, но долго не могла уснуть...

Глава пятая,

рассказанная Янисом Клаускисом, специалистом по звуковой аппаратуре

Природа наделила меня странной, если не сказать, уникальной способностью: я не только слышу музыку, но и вижу ее. Я ощущаю ее в виде геометрических построений, движущихся в пространстве и имеющих различную цветовую окраску в зависимости от тональности. Форма фигур, то есть геометрия музыки, определяется сложностью созвучия: одиночная нота представляется мне в виде яркой прямой полосы, аккорд — в виде пересекающихся призм, цилиндров, правильных и неправильных тел вращения. По мере повышения тональности звука цвет от черного переходит в фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, бордовый и снова становится черным. Скорость движения фигур определяется темпом музыки, а частота повторений отдельных частей композиции — ритмом.

К сожалению, нет прибора, с помощью которого можно было бы воспроизводить то, что предстает перед моим внутренним взором, когда я слушаю музыку. Если бы такой приборчик был, то это был бы великолепный определитель истинного произведения и халтуры. Глядя на экран, вы то и дело поражались бы, до какой высочайшей степени точно выстроены, гармонично раскрашены и четко движутся многомерные трапециевидные формы «Аппассионаты» Бетховена или тонкие, впившиеся друг в друга призмы «Поэмы экстаза» Скрябина. Или легкая воздушная геометрия музыки Моцарта! Все это я рассказал не для того, чтобы доказать вам то, что лично для меня и так очевидно, а для того, чтобы легче было понять, почему так поразила, потрясла меня горная музыка, записанная Виталием Холодковым.

Уже то, что я услышал за новогодним столом, при первом прослушивании, было потрясающе: вся известная мне музыка, в том числе и классическая, по механизму воздействия была как бы вне меня, как бы действующей извне — эта же, горная, сразу вошла внутрь меня, и цвет и формы уже были не передо мной, а во мне! Я сам как бы трансформировался, превращаясь в те или иные фигуры, окраска которых все время менялась. Качество записи было неважным, какой-то фон мешал восприятию, искажал картины, замутнял краски. Надо было немедленно, сейчас же отфильтровать шумы, очистить музыку от примесей. В том, что это была музыка, я не сомневался. Хотя строгие ревнители формулировок наверняка не согласились бы со мной: ведь музыкой считается искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах. Но только ли искусство музыка? А если сама действительность предстает перед нами в звуковых художественных образах? Если сама природа или неведомые нам существа создают прекрасное — случайно или нет, этого нам знать пока не дано,— в форме звуковых рядов, которые обладают мощной силой эмоционального воздействия, разве это не музыка? И если не музыка, то что же?

Не будем фантазировать, будем излагать события в той последовательности, в какой они происходили. Итак, уже после первого прослушивания за новогодним столом мне показалось, что музыка состоит из многих-многих слоев, уходящих в не досягаемые рассудку глубины. Повторное прослушивание в гостинице укрепило меня в этой мысли, и я решил немедленно исследовать музыку, снимая с нее слой за слоем включением частотных фильтров.

Когда после досадной проволочки с вахтером и потом с Виталием я смонтировал схему фильтрации и включил воспроизведение, то был готов ко всему, ждал чуда и все же вздрогнул — ночная тишина с магнитофонной ленты вдруг перешла в необычайной глубины звучание: запело, зазвучало нечто, что невозможно было ни с чем сравнить. Я невольно закрыл глаза и тотчас почувствовал, будто лечу — лечу плавно, покачиваясь с боку на бок, соскальзывая вроде бы с каких-то горок, но не проваливаясь, а как бы поднимаясь всякий раз все выше и выше. И было в этом скольжении что-то роковое — такое возникало и крепло ощущение, будто вот-вот, еще за одним взлетом случится что-то грандиозное и неотвратимое. Звуки как бы несли меня, причем та страна, откуда я летел, вызывала во мне настроение бодрости и восторга, а та, куда я летел, нагнетала чувство тревоги и опасности.

Перестроив анализатор, я снова включил воспроизведение. При первых же звуках у меня защемило сердце. До сих пор не могу разобраться в своих ощущениях: чувство жалости смешивалось с необычайным волнением, которое все нарастало и усиливалось. Теперь я уже никуда не летел, а как бы сжимался в крошечный комок. Музыка давила на меня, пронзала миллионами иголок, сжимала в точку, которую я остро ощущал ноющим и замирающим сердцем. Передо мной, за мной, внутри меня мелькали какие-то удлиненные тени, как стрелы, летящие со всех сторон, причем видел я их не глазами, а всем телом, каждой

клеточкой кожи. И вот когда уже стало казаться, что сейчас я исчезну, превращусь в ничто, магнитофон выключился, и я отчетливо почувствовал, как возвращаюсь в прежние свои размеры.

То, что я испытал в третий раз, не назовешь не чем иным, как стремительным засасыванием во вращающуюся воронку. На моих глазах в доли секунды рушился мир: хаотически перемешанные, причудливо раскрашенные проносились через меня какие-то острые изогнутые обломки, какие-то пляшущие и бесследно исчезающие фигурки, полосы, зигзаги, спирали, крутящиеся, извивающиеся, дергающиеся. В страхе, какой бывает только в кошмарных снах, почти теряя сознание, я явственно ощущал, как чудовищный вихрь скручивает, растягивает меня в тонкую бесконечную нить и я превращаюсь в линию, извивающуюся и вот-вот готовую прерваться, раствориться в этом волчке, исчезнуть. Теперь-то я знаю, почему так сильно потряс меня и Виталий второй и особенно третий слой этой записи: слишком на большую глубину проникли мы для первого раза.

Потом при помощи доброй Зои я более спокойно и осмотрительно исследовал «пещеру», как я назвал эту запись. Я спускался туда уже не как отчаянный авантюрист, а как дотошный исследователь, осматривающий и выстукивающий каждый миллиметр своего пути. И с каждым разом я все более убеждался в том, что это искусственная музыка, созданная какими-то могучими существами, обладавшими такими источниками, о каких мы еще и не мечтали, умевшими композировать звуки так, что они вызвали удивительные иллюзорные ощущения, при которых сама реальность тускнела и исчезала. И второе: я отчетливо понял, что запись либо не закончена при ее создании, либо оборвана впоследствии, либо конец ее зэкранирован каким-то мешающим устройством типа глушителя, которое могло быть на самом источнике.

Чем больше я вслушивался в музыку и размышлял над ней, тем все сильнее и сильнее тянуло меня в те места, где она была записана. Я уже был почти уверен в том, что источник должен представлять из себя большую, достаточно гибкую мембрану, способную колебаться в очень широком диапазоне. Я долго ломал голову, соображая, что бы могло быть такой мембраной, пока наконец не вспомнил случайно брошенные Виталием слова о том, что в ту ночь, когда музыка попала на магнитофонную пленку, они располагались на берегу горного озера. И меня осенило: озеро! Я нашел самую подробную карту этого района, разглядывал ее почти целый час, запомнил наизусть все мельчайшие штрихи и, когда пришел домой, воспроизвел с фотографической точностью. Да, там было озеро, небольшое и круглое — на карте оно выглядело как горошина средней величины. Я решил всесторонне изучить этот район и за две недели перечитал методом беглого чтения все, что касалось геологии, археологии, антропологии, истории этого края, познакомился с работами Черского, Хангалова, Мельхеева, Солонецко, Окладникова. В Институте земной коры мне дали последние данные по сейсмичности и результат машинного расчета вероятности крупного землетрясения в точке расположения озера. Вероятность эта оказалась весьма высокой, и научные сотрудники института в порядке юмора проинструктировали меня, как себя вести в горах в случае землетрясения в девять-десять баллов.

Легенда, которую рассказал Василий Харитонович, внезапно добавила еще одно существенное звено в цепь моей гипотезы. Теперь стало ясно, что источник надо искать на дне озера в те дни, когда происходят землетрясения. Тогда вода озера приводится в колебание, частота собственных колебаний массы воды в какой-то момент времени совпадает с частотой колебаний источника, и поверхность воды начинает играть роль огромной мембраны этого своеобразного динамика.

Я уже говорил о том, что у меня сложилось мнение, будто запись то ли обрывается, то ли не закончена, то ли экранируется каким-то глушителем. Проверить это можно было только непосредственным изучением источника, то есть взяв его в руки и разобрав на составные части, как мы это делали в детстве с отцовскими часами. Короче, все сводилось к тому, что надо было при первом же проявлении звука немедля лезть в воду и доставать источник. Здесь следует сказать несколько слов о причинах моей поспешности.

Мне было известно, что место расположения озера было районом очень высокой сейсмичности. В Институте земной коры я нашел данные о годичных перемещениях верхних пластов земли и массу фотографий, показывающих, как резко меняется ландшафт в результате сейсмической деятельности. Там, где в прошлом была равнина, теперь зияла глубокая впадина, залитая снеговыми водами. Где раньше громоздились скалы, теперь белела каменная россыпь. Тут и там были замечены вновь образовавшиеся трещины, оползни, вздутия, сбросы, провалы и так далее. Правда, ученые считали, что район озера наиболее устойчив против сейсмических колебаний, так как имеет какую-то особую геологическую структуру, представляя собой почти полностью замкнутое кольцо. Но устойчивость эта гарантировалась до пяти-шести баллов — при более сильных землетрясениях вероятность раскола кольца, или точнее подковы, резко возрастала. По прогнозам института, исходя из повторяемости землетрясений, это лето должно было быть сейсмически особенно напряженным: ожидали десятибалльного толчка.

В первый же день, как только мы расположились, я незаметно от всех обежал окрестности озера и сделал два любопытных наблюдения: во-первых, я нашел пещеру, которой не было на карте; во-вторых, обнаружил свежую трещину, которая начиналась примерно в ста метрах от озера и тянулась по склону, в сторону седловины, разделявшей могучие хребты. Я вставил в трещину затесанные прутья для контроля ее ширины. Как уже известно, в ту же ночь произошло землетрясение, и мы услышали работу источника. Качество звука по сравнению с записью прошлого года заметно снизилось: появились какие-то хрипы, свисты — я понял, что источник доживает последние дни. Едва все улеглись спать, я, захватив фонарик, кинулся проверять трещину. Я был ошеломлен: трещина настолько раздалась, что все мои затесанные палки провалились в нее, а они были по крайней мере в два пальца толщиной каждая. Но еще больше я поразился, когда обнаружил, что проклятая трещина доползла до озера и ушла под воду. Если она расколет всю чашу, то резонансные свойства озера могут настолько измениться, что музыка прекратится. Я сидел на берегу, смотрел на четкий силуэт хребта, вздымавшегося передо мной в ночном прозрачном небе, и напряженно думал. Я думал вроде бы ни о чем, то есть я не могу сказать, что думал именно вот об этом или этом. Нет, как личность, как хомо сапиенс по имени Янис Клаускис, я отпал, исчез — остался только мозг, занятый своим делом, решением какой-то чрезвычайно сложной и обширной задачи, о которой я даже и не подозревал. И вдруг на меня нашло странное видение, мне представилась удивительная картина внутреннего строения всего этого района с различной цветовой окраской различно напряженных участков платформы. Светло-оранжевые массивы гор опирались на красные, ярко-красные пласты, изрезанные черными поперечными трещинами, которые тянулись друг к другу снизу и сверху. В том месте, где располагалось озеро, толщина нижнего слоя была минимальной, а цвет — самый яркий. Именно под озером наиболее ярко сиял красный свет, слабея, тускнея, бледнея в обе стороны от чернильно-черной полосы, видневшейся в центре алого сияния. Видение продержалось секунду-две и замутилось, исчезло. Я почувствовал такую жуткую слабость, что задрожали руки, потемнело в глазах, и я свалился в мокрую от росы траву. Ко мне подошел Хара и стал лизать руки, лицо. У меня не было сил отогнать его. Видимо, мозг, собрав по крупицам, систематизировав, сверив, сопоставив все данные и создав передо мной цветной макет горного района, истратил все мои запасы энергии. Я лежал вялый, чуть живой, и мне казалось, будто верхняя часть головы отсутствует.

К утру я дополз до палатки и кое-как, на час или полтора забылся тревожным сном. Я был убежден в том, что затягивание поисков недопустимо, потому что, по моим, правда, интуитивным, соображениям, состояние пласта, на котором мы находились, было критическим.

И еще одно обстоятельство, может быть, еще более страшное, чем землетрясение, проявилось в первую же ночь после появления звука. Я имею в виду странное поведение Виталия, да и не только его одного — всех нас. Я не знаю, что ощущали Виталий и другие члены экспедиции, скажу о себе. Постоянный страх, настороженность, недоверие даже самому себе, стремление спрятаться в пещеру или в какую-нибудь ямину, под корягу и тому подобное. Чтобы преодолеть этот странный комплекс, приходилось тратить уйму сил, стискивать зубы и буквально насильно заставлять себя заниматься тем делом, ради которого мы проделали столь трудный и дальний путь. Виталий же, судя по всему, «сломался» от первого прикосновения натурального, что ли, звукового поля. Не буду притворяться, будто я понял это сразу, в тот же час — увы! Просто сработал инстинкт самосохранения, а уж потом разум...

Продолжение следует.

Геннадий НИКОЛАЕВ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

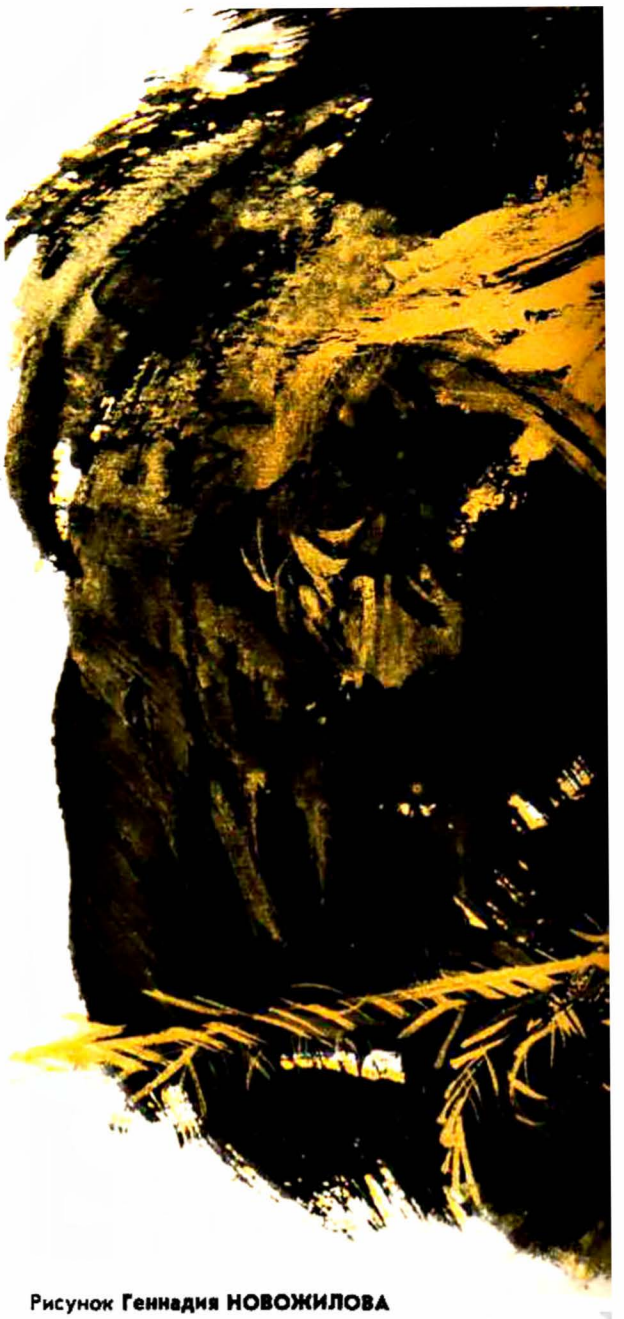


Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

Глава шестая,
рассказанная Виталием Кругликовым

Раньше, до диамата, сказали бы «нечистая сила», и точка. Теперь так просто не отделаешься. К сожалению, лично я пока не имею какой-нибудь удовлетворительной гипотезы относительно своего совершенно идиотского поведения, поэтому ничего не остается, как провозгласить о наличии у меня еще одного «пунктика», кроме всех тех, которые уже известны. Новый «пунктик» начался в ту ночь, когда раздался звук. Янис уже хорошо тут говорил о «комплексе», могу добавить от себя: у меня было все то же самое и плюс внезапное изменение всех моих прежних принципов. Они словно растаяли и испарились в один миг. Даже этот вот, классический: не торопись подрывать свой авторитет, за тебя это сделают твои подчиненные — даже он не устоял, и, как видите, такие печальные последствия...

Наступала четвертая ночь. После заката, как обычно, с озера поднялся туман, потом разъяснилось, высыпали звезды. Мы с Ириной пошли к пеленгаторам. Зоя осталась дежурить по лагерю, возле больного Яниса. Старик нахохлившейся вороной сидел у костра и глушил чай — кружку за кружкой.

До восхода луны оставалось еще около часу, озеро было небольшое, круглое, как чаша спортивной арены в Лужниках, и мы с Ириной шли не торопясь, уверенные, что не опоздаем. Я рассказал ей о своих переживаниях. Она равнодушно сказала, что ей тоже все это кажется странным. Меня неприятно задел ее безразличный тон, но я промолчал.

Мы пробирались сквозь чащу, когда я услышал слабый всплеск. Так могла плеснуться рыба, но я знал, что рыбы в озере нет. Предупредив знаком Ирину, чтобы не двигалась, я осторожно прокрался к берегу и стал всматриваться в туман, призрачно колыхавшийся над водой. Увы, ничего не было видно. Мы постояли, прислушиваясь, но все было тихо. Я выбрался из зарослей, и мы пошли дальше.

Вскоре появился огонек горящей вполнакала лампочки — это был первый пеленгатор. Возле него осталась Ирина. Я зашагал ко второму. Ходьбы до него было не более четверти часа, но я, специально не включая фонарик, шел медленно, осторожно, прислушиваясь к малейшим шорохам, напряженно вглядываясь в смутно видимые впереди контуры деревьев. Уже десять, пятнадцать минут прошло, а огонька горящей лампочки все не было видно. Тревожные предчувствия чего-то грозного, неумолимо надвигающегося овладели мною. Я включил фонарик, прибавил шагу и в тот же момент налетел на треногу второго пеленгатора. Пораженный, я с минуту смотрел на разграбленный прибор, не веря своим глазам. От сложного измерительного комплекса остались рожки да ножки: подставка, тренога да болтающиеся оборванные провода. Сам пеленгатор и батареи бесследно исчезли. Ясно, что здесь мне нечего было делать, и я немедля, быстрым шагом пошел обратно, к первому пеленгатору. Огонек я заметил издали, но, когда подошел ближе, обнаружил, что, к моему величайшему удивлению, возле прибора никого не было. Помню, первым моим чувством была злость: какого черта, рычал я, вздумалось ей бегать куда-то, когда вот-вот начнется звук! И вечно так: ничего нельзя доверить этим женщинам! Я чувствовал, как во мне созревал еще один принцип. Рассвирепевший, я стал громко звать Ирину, кричал во все горло, но только горное эхо мрачно вторило в этой жуткой черной яме. Я стоял в растерянности, не зная, на что решиться,— то ли кинуться на поиски жены, то ли остаться возле прибора. Вдруг повеяло прохладой, небо засветилось, восточный хребет внезапно возник из мрака глухой черной громадой. И в тот же момент раздался звук. Он быстро нарастал, набирая силу и громкость. Я приник к прибору ночного видения. На середине озера, среди клочьев тумана покачивался плот, на нем страшно приплясывал, размахивая руками, какой-то человек. Я тотчас узнал его. «Янис! Подлец!» — взревел я. Мне все стало ясно. Я бросился к воде, но тут сильный толчок сотряс землю. Я еле удержался на ногах. Вслед за первым толчком последовал второй, и началось светопреставление: все кругом закачалось, завыло, завизжало. Я упал и покатился по колышущемуся, дергающемуся подо мной склону,— то ли вниз, в озеро, то ли вверх, на зубья дымящегося хребта. Рядом со мной, навстречу мне летели, грохотали камни, все затянуло пылью, я прыгнул и почувствовал, что погрузился с головой в воду. Вынырнув, я быстро поплыл на середину озера, и с каждым взмахом, с каждым рывком вперед я ощущал все более и более сильную жажду сделать с Янисом что-то такое, после чего он никогда, никогда бы не посмел своевольничать.

Рев, грохот и вой продолжались. Озеро как бы дрожало, мелкие волны беспорядочно плескались, сталкиваясь и гася друг друга. Яркий лунный свет освещал дымящиеся горы, рябую поверхность озера, качающийся лес.

Я подплыл к плоту. Яниса нигде не было. Вдруг он вынырнул рядом со мной — с двумя горящими фонарями, в маске, с кислородными баллонами за спиной. От баллонов к маске тянулись гофрированные трубки. Янис дернулся от меня, но не тут-то было: я схватился за эти трубки и стиснул их что было сил. Он как-то странно завозился в воде и вдруг накинул мне на голову что-то вроде петли. В тот же момент меня сильно дернуло, шею сдавило, и я выпустил трубки. Меня поволокло куда-то, я задыхался, хотел закричать, но не было воздуха. Кажется, я потерял сознание. То, что происходило со мной потом,— это так странно и так не связано с настоящим, что утверждать, будто прямо из озера я попал в пещеру, не имею оснований.

Продолжение. Начало в №№ 21, 22.

Глава седьмая,
рассказанная Ириной Кругликовой

Никогда бы не поверила, что в человеке, будем говорить конкретно, в данном случае в моем муже, Виталии Кругликове, столько всего запрятано. Я имею в виду «пунктики». Можно вытерпеть его обжорство, его магнитофонные записи, его дурацкие принципы, которые он выдумывает сам на свою голову,— все можно вытерпеть, но воровство... Чтобы мой муж скатился до такого — нет, это уже выше моих сил. Как только исчезли продукты, я тотчас, взглянув в его бегающие глазки, поняла все, то есть что это его работа. Я взяла его за руку и повела к озеру. Он шел и хныкал, как ребенок. Я топнула ногой и сказала, что немедленно, прямо сейчас разведусь с ним, если не признается во всем и не покажет, куда спрятал украденные продукты. Он повалился на колени, мычал что-то нечленораздельное и показывал куда-то на другой берег озера. «Веди!» — приказала я. Он потащился по тропе, оглядываясь на меня и что-то ворча. От негодования, от позора я была глуха и слепа. Как мы шли, где мы шли, ей-богу, не помню. Наконец, после карабкания на скалы он остановился перед огромной каменной глыбой, стоявшей у вертикальной стены. Я думала, что он решил передохнуть, но он вдруг схватился за эту глыбу и — откуда у мужика столько силы! — отодвинул ее, открыв вход в пещеру. Я хотела шагнуть внутрь, но он вдруг как зарычит — оскалился, как зверь какой-то. Я перепугалась, но не подаю виду. «А ну-ка, говорю, милый мой, вытаскивай все, что спер». Он схватил меня за руку и силой затащил в пещеру. Господи, никогда бы не подумала, что у меня такой странный муж. И правда, там было так уютно... Он просил, умолял меня не трогать продукты, обещал отдать мне половину, совал брикеты с гречневой кашей, банки тушенки, которые он выкапывал откуда-то из углов пещеры. Мне было страшно, но и как-то интересно... Вот тут самый загадочный для меня момент... Короче, он меня убедил... Стыдно в этом признаваться, но тогда мы съели с ним по банке тушенки и по два брикета гречневой каши. Позор, да? А что я могла сделать? Вообще, Виталий теперь для меня загадка. Как можно за какие-то несколько часов так сильно перемениться? Из доброго, покладистого, демократичного вдруг превратился в злого, хитрого, жестокого...

Особенно меня тревожили его взаимоотношения с Янисом. Как известно, Виталий вернулся к костру позднее всех, подавленный чем-то и с поцарапанным лицом. Я спросила его, где он был и что с ним случилось. Он сидел в палатке и, злобно поглядывая на меня, молча уплетал кашу. Я ждала, что он скажет. Он ел. Тут в палатку просунулся Янис и тоже поинтересовался, что с Виталием. И вдруг Виталий, прижимая к себе миску, проворно отполз в дальний угол и стал ругать Яниса на чем свет стоит — дескать, тот следит за ним, не доверяет, командует, оскорбляет, жалеет для него кусок хлеба, попрекает едой и так далее и тому подобное. Янис слушал, слушал и тоже не выдержал да как закричит: «Замолчи!» Никогда я не видела его таким. Даже глаза побелели — просто ужас какой-то. Ну, думаю, сейчас начнется истерика. Но нет, Янис пересилил себя и спокойно так, но страшно холодно говорит: «Виталий, очень прошу, возьми себя в руки. Понимаешь?»

Второй раз они схватились из-за выбора пути обнаружения источника: Виталий считал, что прежде чем лезть в воду, необходимо провести тщательные замеры, чтобы как можно более точно определить местоположение источника; Янис же из каких-то своих соображений настаивал на немедленном обследовании дна озера по результатам первого замера. Я сказала, что, наверное, прав Янис, потому что кислородные аппараты у нас были, примерное место известно — зачем тянуть? И тут Виталий буквально рассвирепел. Я была поражена. Обычно широкое, добродушное, с круглым вялым подбородком и большими голубыми глазами, его лицо вдруг заострилось, вытянулось, главным образом за счет челюсти, которая опустилась и резко выдвинулась вперед, глаза ушли вглубь, сузились, брови как бы взлохматились и грозными валиками нависли над мрачно горевшими глазками, ноздри раздались, стали шире, круглее, и было видно, как они трепетали. Я со страхом смотрела на него, и внутри у меня буквально выла сирена. С Янисом произошло тоже нечто странное: он присел, попятился и быстро исчез куда-то, словно его и не было.

И вот вечером за два дня до катастрофы ко мне подошел Янис и сказал, что хочет со мной поговорить. Мы пошли к озеру. По дороге он рассказал о своем плане: не тянуть с поисками, а при следующем же появлении звука искать источник в воде при помощи пеленгатора и с аквалангом. Только пеленгатор надо отделить от треноги и прибора ночного видения, чтобы просто держать в руках. Он сказал, что убежден в том, что озеро является резонатором, в центре которого находится небольшой и, видимо, нетяжелый источник звука. Он попросил меня помочь ему проверить в нескольких сечениях профиль дна озера. Я согласилась, и мы, не откладывая, пошли к нашей «пристани», сели на плот и медленно поплыли от одного берега к другому. Я чуть-чуть гребла, Янис при помощи грузила и капроновой веревки следил за изменением глубины. Таким образом, мы исследовали озеро по трем направлениям — Янис ликовал: дно озера представляло собой почти идеальную чашу.

Утром, накануне катастрофы, пока все спали, мы ушли на озеро и договорились, как будем действовать в случае появления звука. Еще днем он притворится больным, чтобы не вязался Виталий, и перед самым заходом солнца перенесет акваланг и веревку поближе к плоту. А когда стемнеет, демонтирует один пеленгатор. Я должна была прийти на «пристань» и подтянуть к берегу плот, который Виталий еще днем установил на середине озера для наводки приборов ночного видения. После этого я, чтобы не вызывать подозрений, должна буду вернуться к костру и после захода солнца пойти с Виталием на дежурство к ближнему пеленгатору. Если звук появится, я должна буду мчаться со всех ног к «пристани» и страховать Яниса на случай, если что-нибудь случится с аквалангом. Все у него было расписано как по но-

там — единственной нерешенной проблемой оставалась ледяная вода озера: температура стабильно удерживалась в пределах семи-восьми градусов. Ясно, что в такой среде даже тренированные «моржи» более десяти — пятнадцати минут находиться не могут. В качестве хоть какого-то выхода Янис продумал систему гимнастических упражнений, которые, по его расчетам, должны были разогревать его под водой. Перед погружением он намеревался сильно натереться шерстяным свитером. Все это казалось мне весьма сомнительным, и я очень тревожилась за него. Тут я увидела воробья, обычного пестренького маленького воробья, и меня осенило: ведь птицы плавают в ледяной воде и не мерзнут, потому что их перья смазаны жиром! Я сказала Янису про подсолнечное масло: перед купанием надо обильно намочить нижнее белье в масле и одеться — жировая послойка будет прекрасной теплоизоляцией! Янис благодарно пожал мне руку. После завтрака, улучив минутку, я стащила все масло, какое у нас было, и спрятала на берегу.

Приближался вечер. Янис великолепно изображал больного — думаю, что если ему не повезет в науке, он сможет многого добиться на подмостках театра.

Когда стемнело, я сбегала на «пристань» и подтянула плот к берегу. Потом мы с Виталием пошли к пеленгаторам. Это была та еще прогулка! С Виталием творилось что-то странное: чем дальше мы отходили от костра, тем напряженнее и, я бы даже сказала, пугливее он становился. Шел осторожно, как-то забавно приседая и вздрагивая при каждом шорохе. Я включила и направила на него фонарик — он чуть не закричал, такой ужас отразился на его перекошенном лице. Но вот что не менее странно, я совершенно не испытывала страха — наоборот, было как-то забавно и любопытно, хотелось подразнить его, даже более того, надавать ему тумаков, потаскать за мохнатые уши. Хотелось в пещеру... Когда мы подошли к первому пеленгатору, Виталий пробормотал что-то бессвязное и, сутулясь, переваливаясь с боку на бок, пошел дальше. Я осталась одна. Передо мной в белесой мути лежало озеро. Небо, горы — все было затянуто туманом. И стояла такая необыкновенная тишина, что слышно было, как возле костра покашливал Василий Харитонович. Я ждала, не шелохнувшись, пронизанная каким-то странным острым ощущением, будто вокруг меня, через меня от земли идут какие-то мощные токи, какие-то необъяснимые силовые поля, которые все более и более плотной завесой отделяют меня от всего мира. Еще, казалось, миг, и эти поля растворят меня в себе, и я исчезну, разойдусь туманом, дымкой, как эти тонкие прозрачные слои, колышущиеся над озером. Мне стало страшно. Я бросилась бежать, и мне казалось, будто эти поля, эти токи мягко, но сильно пытаются удержать меня. Опомнилась я возле «пристани» — Янис был уже на плоту и беззвучно греб к середине озера. Он был едва виден сквозь туман. Я включила фонарик и стала размахивать им, как мы уславливались. Янис ответил мне вспышками. Я нащупала на берегу две веревки, села между ними и стала следить, как они стравливаются по мере движения плота. Вдруг рядом с собой я услышала прерывистое дыхание, и что-то холодное и мокрое ткнулось мне в лицо. Я вскрикнула, отшатнулась, но в тот же момент догадалась, что это Хара. Он стал тереться об мое плечо и жалобно поскуливать. Я шикнула на него, и он куда-то исчез. Тут раздались чьи-то торопливые шаги, цоканье копыт, и вскоре возле меня остановился Василий Харитонович, держащий под уздцы своего коня. Молча, жестами он показал мне, что надо сделать, и тут же сам связал веревку, тянувшуюся к Янису, с ремнями, в которые была запряжена лошадь. Я поняла его затею: в случае чего лошадь быстро вытащит Яниса на берег. Я стала горячо благодарить старика — он помотал головой и, присвистнув Харе, торопливо ушел. Теперь все мое внимание сосредоточилось на Янисе. Он доплыл уже до середины озера, я почувствовала, как натянулась правая веревка. Левая обвисла было, но вскоре поползла снова — это Янис перетягивал ее к себе на плот. Одним глазом я поглядывала за конем — он стоял неспокойно, пофыркивал, переставлял ноги. Вдруг с противоположного берега донесся крик — то ли вопль о помощи, то ли яростное рычание. Крик повторился, и горное эхо принесло многократно отраженное: «Ир-ри-Ир-ри!». Я догадалась, что это ревел Виталий — господи, никогда не подумала бы, что он может так орать! Что-то бултыхнулось там в воду, и в тот же момент раздался звук. Мне показалось, будто все озеро чуть приподнялось из тумана и, как серебряное блюдо, сияющее под луной, задрожало, завибрировало, отчего и возник этот стремительно нарастающий по громкости звук. Янис, стоя на плоту, торопливо надевал акваланг. От волнения он путался, что-то у него не получалось, но вот, наконец, он нырнул, и, едва скрылся под водой, началось землетрясение...

Глава восьмая,
рассказанная Виталием Кругликовым

Я сидел в пещере и дрожал от холода. На мне было много шкур, но все они были новые, плохо размятые и неплотно укрывали тело. Я отобрал у Дохлятины ее шкуру и обвернул свои ноги. Умник снял с себя шкуру, кинул ей и посмел взглянуть мне прямо в глаза. Я этого не терплю, поэтому хлестанул его по морде. Он заскулил и отполз поближе к выходу. Он всегда торчит там, возле дыры, чтобы вовремя улизнуть, иначе мы давно бы его съели.

Я разрыл под собой листья и достал последний припрятанный кусок мяса. Он был свалявшийся, суховатый, почти без сока, но я проголодался и с жадностью набросился на него. Все вокруг зашевелились, зачмокали губами, заскулили. Я рыкнул, и они затихли. Завтра, если не поймаем кабана, прикончу Дохлятину. Она уже ни на что другое не пригодна: не рожает, валяется в пещере и даром жрет мясо. Один Умник возится с ней как с молодой. Если не повезет и дальше, начнем есть Старика, приручившего раненого волка и хромую кобылу. Где он ее прячет?

Я рвал мясо зубами и руками, добираясь до середины, где должен быть сок. Совсем засохшие пленки и жилы я кидал Большой Женщине. Она хватала их на лету и проглатывала не жуя. У меня так: я подкармливаю тех, кто мне нужен. Остальные пусть добывают себе сами или подыхают с голоду...

Вдруг раздался грохот, свист. Задрожала земля, стало светло, как в начале дня, и на дальнем берегу озера, на ровной площадке, где мы убивали загнанных лосей, опустился с неба большой белый камень. Он блестел и сиял, этот высокий камень, и качался, словно на него дуло сильным ветром. Мы сидели, онемев, с раскрытыми ртами. Я забыл про голод и ощущал только злобу на Умника — своей тощей спиной он то и дело загораживал дыру и мешал смотреть. Я встал и дал ему пинка — он с визгом вывалился наружу и больше не показывался.

Камень между тем перестал раскачиваться и замер как огромный белый суслик возле своей норы. Я долго ждал, что будет дальше, но прошло светлое время, а ничего не изменилось: камень стоял неподвижно, и никто к нему не подходил. Я доел мясо, сухожилия швырнул Большой Женщине. Другие в темноте зарычали, требуя доли, но я приподнял дубину, и они смолкли. Большая Женщина моя и должна есть больше других. Она быстро съела остатки и легла возле меня. Тут у входа в пещеру появился Умник. Зубы и руки его были заняты корнями. Всю добычу он сложил у моих ног. Корни оказались горькими, и я швырнул их в угол. На них с рычанием накинулись другие. Умник снова исчез, но вскоре снаружи раздался его голос: он кричал так, словно увидел стадо кабанов. Я выглянул. Он приплясывал, размахивая руками: далеко на той стороне вдоль берега, покачиваясь, двигались яркие огни. Я схватил Умника за горло и кинул в пещеру, чтобы он не видел, как я боюсь. Меня называют Верзилой, но я, как и все они, боюсь темноты и медведей. Один Умник не боится темноты, у него глаза как у шакала,— ночью ловит крыс и роет корни. Я пинками поднял других, чтобы помогли задвинуть вход тяжелой плитой. Ленивые твари, пока не дашь тумака, не двинутся с места. Наконец, мы надежно укрыты. Сквозь щель видно, что происходит снаружи. Я и Умник смотрим. Огни движутся туда-сюда, поднимаются над озером, порхают, как бабочки, но к нам не приближаются. Все спокойно. Я засыпаю рядом с Большой Женщиной.

Утром я заставляю других чуть отодвинуть плиту, закрывающую вход в пещеру. Я и Умник осторожно выглядываем наружу.— никаких перемен: белый камень стоит как прежде, кругом тихо, никаких огней. Я выгоняю других на охоту. Мы бежим к яме, в которую сваливаются кабаны. Мы бежим по узкой тропе, пригнувшись, держа в руках дубинки. Вот и яма — пусто. Мы бежим обратно. Ужасно хочу мяса. Впереди бежит Умник, за мной — Старик, приручивший раненого волка и хромую кобылу. Где она? Я останавливаюсь и прижимаю Старика к скале. «Где хромая кобыла, которую ты приручил?» — спрашиваю его. Он падает на колени и трясется как пойманный кролик. Я хватаю его за горло и начинаю душить. Старое мясо — плохая пища, но голод, голод, голод! Умник опять что-то увидел и кричит, показывая на озеро. Я бросаю Старика и бегу к нему. Он показывает на белый камень, спустившийся с неба. На верху камня, в узкой части появилась черная дыра. Из дыры высунулось что-то блестящее, и до нас долетел звук: так бы выл большой голодный волк. Мы все упали и долго лежали, спрятав головы. Звук продолжался, но никто нас не трогал. Вдруг звук стал другой: так бы кричала раненая сова. Я осмелел и поднял голову. Поднял голову и Умник. Другие лежали, обмерев со страху. Звук снова изменился: теперь нас звал маленький ребенок. Я ждал, что будет дальше. Умник вдруг поднялся, и, пригнувшись, быстро побежал к озеру. Своевольная тварь! Я вскочил и бросился за ним. Не хватало, чтобы другие подумали, что он Вожак. Умник был уже в воде, когда из черной дыры белого камня вылетело Что-то и упало на середину озера. Звук не переставал. Умник поплыл к Чему-то, что упало из белого камня. У меня стучали зубы, я не мог бежать вперед и не мог бежать назад. Сзади, крадучись, ко мне подошли другие. Они держали наготове свои дубинки. Тогда я бросился в воду и поплыл вслед за Умником. Я догнал его, когда он был уже на середине. Перед ним плавало Что-то, по виду белое, блестящее и гладкое, как большое сплющенное яйцо. Умник дотянулся до него, но тут я ударил его по руке, и Что-то ушло под воду. Он нырнул, пытаясь поймать Что-то. Когда он вынырнул, я схватил его за горло и стал душить. У него уже вывалился язык и вылезли глаза, но вдруг меня дернуло за голову и потащило к берегу. Умник выскользнул из рук словно рыба. Я увидел, как на берегу заколыхались высокие травы и показались уши скачущей хромоногой кобылы. На спине ее, как волк, вцепившись в загривок, лежал Старик. Я зарычал от ярости, но петля так сильно сдавила мне шею, что я ослеп и оглох...

Глава девятая,
рассказанная Ириной Кругликовой

Снаружи дул холодный ветер, и я сидела в пещере, ожидая, когда Верзила принесет мяса. Сквозь дыру видны были заросли травы, озеро и белая скала на том берегу, спустившаяся с неба. Вдруг от скалы донесся вой волка, потом зарыдала раненая сова, вслед за ней громко и жалобно заплакал маленький ребенок. В глубине пещеры заворочалась, захныкала Дохлятина. Я подползла к ней. Она стала показывать на дыру и просить меня, чтобы я взяла для нее маленького ребенка. Я завернулась в шкуры и вылезла из пещеры. Ветер дул со стороны белой скалы, но не приносил ни запаха волка, ни запаха совы, ни запаха ребенка. Пахло чем-то другим — странным и совсем незнакомым, но приятным. Я стояла возле пещеры, внюхивалась в новый запах и прямо захлебывалась от слюны. Все внутри у меня трепетало, тянулось к этому запаху, и я пошла на него, сначала медленно, осторожно, боязливо, но потом все быстрее, смелее, нетерпеливее. Когда я подбежала к белой скале, то просто дрожала от нетерпения, у меня темнело в глазах от голода и предвкушения близкой какой-то очень вкусной пищи. Я обежала круглое основание скалы и с той стороны увидела дыру. Я подкралась к краю. Внутри у меня все клокотало и сжималось, до того сильный и терпкий запах шел изнутри. Я осторожно заглянула туда и больше уже не могла терпеть: поползла на запах, к груде коричневых кусков, лежавших в большой плоской раковине. Я схватила один кусок и вцепилась в него зубами. Он был горяч, сок обжигал рот, но я не выпустила его, пока не съела. Это было мясо, я чувствовала в середине куска свежую кровь, но почему оно было горячее и коричневое, я не знала. Я потянулась еще за одним куском, но раковина вдруг поехала от меня и скрылась в белой стене пещеры. Я не успела испугаться, как из другой стены появилась другая раковина. В ней тоже было мясо, и я взяла кусок. Он был красный и холодный и нравился мне меньше, чем тот, коричневый и горячий, от которого по всему телу расходилось приятное тепло. Но и красный кусок я съела так же быстро и жадно, как и коричневый. О, конечно, коричневое мясо было куда лучше красного! Вдруг стена разошлась, и я чуть не закричала от ужаса: передо мной был ОГОНЬ! Жар его ударил в лицо, дым сдавил горло и грудь, желтые, оранжевые языки кинулись ко мне, как змеи. Я с воплем бросилась к выходу, но он оказался закрытым, кругом была стена. Я упала на твердую, как камень, землю и закрыла голову руками. И тут сверху мелко и часто закапала вода — это был дождь. Он шел все сильнее и сильнее. Я подняла голову. Дождь падал и на огонь, и огонь уже не казался таким страшным, каким был только что. Огонь сник, языки опали, и уже было

не так жарко. Я встала и осторожно приблизилась к огню, стараясь рассмотреть его. Ведь я видела его всего второй раз за всю свою жизнь. Первый раз это было давным-давно, когда на темном склоне горел лес. Тогда огонь был страшен, как стая голодных медведей. Теперь же он был маленький и слабый и его можно было как следует рассмотреть. Дождь утих. Я подошла еще ближе к огню и стала смотреть. Теперь я увидела, что это горят обломки деревьев. Одни обломки прогорали, превращаясь в черные камни, другие сваливались откуда-то сверху, куда улетал дым, и огонь снова усиливался, охватывая эти новые обломки. Дождь падал в огонь, и я слышала, как что-то шипело и потрескивало там, внутри огня. И вдруг из стены снова появилась пустая раковина, а прямо передо мной на тонком пруте свесился насаженный на него кусок мяса. Я снова сильно захотела есть, но боязно было протянуть руку. А мясо, как бы поддразнивая меня, медленно поворачивалось над огнем, становясь коричневым и сочным. Наконец я не вытерпела, схватила кусок, но, тотчас отшвырнув его, закричала. Я каталась и выла от боли и, когда опомнилась, увидела, что над огнем крутится новый кусок мяса. К тому куску, который меня обжег, я боялась приближаться, но и этот тоже был мне страшен. Я стала ждать. И вот прут вдруг отодвинулся от огня, наклонился, и мясо упало в раковину. Я кинулась было к нему, но вовремя спохватилась и, осторожно притронувшись, попробовала, так ли, как прежнее, жжется это мясо. Нет, оно уже не было таким горячим, и я его съела. Еще, еще и еще появлялось мясо на кончике прутка, и я более спокойно ждала, когда оно сделается коричневым и как следует остынет. Потом я научилась сама насаживать на прут красное мясо и держать его над огнем, чтобы оно стало коричневым. Потом обломки деревьев стали падать не на огонь, а возле меня, и мне пришлось перекладывать их в огонь. От усталости и тепла меня разморило, и я уснула прямо на земле, возле огня. Проснулась я от холода. Обломки деревьев грудой лежали возле меня, но огня не было. Сквозь дыру в стене сильно дуло. Раковины и прутья были пустые. Я надавила на стенку в том месте, откуда появлялось коричневое мясо, но ничего не получила. Вдруг откуда-то сверху раздался непонятный и страшный звук, как будто взревел леопард, но еще страшнее. Я выскочила из пещеры. Недалеко от скалы, на каменной площадке был огонь. Не очень большой и не очень сильный — такой, что мне не страшно было подойти к нему. Возле огня тут и там валялось много обломков деревьев. Такие же обломки, как бы образуя тропинку, вели в сторону леса, который рос на пологом склоне. Я хотела было пойти посмотреть, далеко ли тянутся обломки деревьев, но меня остановил запах. Я принюхалась и нашла несколько кусков красного мяса — оно было завернуто в листья лопуха и лежало возле целого пучка ивовых прутьев, точно таких, на каких крутилось мясо в белой пещере. Я насадила кусок на прут, свесила его над огнем, стала поворачивать его так же, как оно поворачивалось в пещере. Вскоре кусок сделался коричневым и сочным. Когда я его съела, я подумала о Верзиле и других. Я подумала, что теперь не только Верзила, но каждый другой, приносящий с охоты мясо, будет отдавать мне долю за то, что я буду превращать его в коричневое. Мне было так радостно, что я стала вскрикивать, хлопать себя по бедрам и приседать, притопывая ногами. Никогда в жизни я не испытывала такого. Еще я сообразила, что надо зорко следить за огнем и вовремя подбрасывать обломки деревьев, иначе огонь потухнет и нельзя будет превращать красное мясо в коричневое. Я собрала валявшиеся кругом обломки в одну кучу и стала кидать их в огонь. Надвигалась ночь, но мне было тепло у огня и совсем не страшно. Я уснула, свернувшись возле огня, но проспала недолго — проснулась от страха за огонь. И действительно, огня осталось совсем мало, и я подбросила целую охапку обломков. Теперь я уснула гораздо спокойнее...

Глава десятая,

рассказанная Василием Харитоновичем Мунконовым

Идешь в горы, бери лошадь и собаку. Не возьмешь лошадь, будешь без ног и без ушей, не возьмешь собаку, будешь без нюха и без сторожа. Хара добрый пес, только шибко любопытный. Попадает ему, но такой уж от рождения, очень шибко любопытный. Лоб-Саган староват, нет уже прежней прыти, силы не те, но зато без слова все понимает, сам куда надо идет и, ох, терпеливый. Я Хару и Лоб-Сагана ни на какие драгоценности не променяю, ни за какие деньги не продам, однако подарить могу хорошему человеку. Но действительно хороший человек ни за что не возьмет, потому что собаку взять все равно, что руку у друга взять, лошадь взять все равно, что ногу у друга взять.

Сижу я это у костра, чай пью. Смотрю, маленькая Зоя вываливает Харе кашу на постном масле, а он, смотрю, не ест, хвост пригнул и морду отвернул. Э, думаю, Хара, нос какой у тебя — мокрый и холодный или сухой и горячий? Подойди, говорю ему. Он повинился, уши прижал, но не подходит. Э, думаю, Хара не в настроении подходить ко мне, нос показывать. Почему, думаю? Уж не зашиб ли Толстый Виталик? Может, по животу пнул — живот у Хары болят? Или мышей объелся? Тогда иди, говорю ему, ляг, мышей переваривай. Ушел Хара. Сижу, мало-мало чай пью. Слышу, Лоб-Саган зафыркал рядом, над ухом. Э, думаю, однако пора нам с тобой на озеро, на помощь маленькому Янису и большой Ирине, которая так любит жареную баранину. Пошли мы с Лоб-Саганом на озеро, а Хара уже там. Ох, собака какая любопытная, все видит, все знает. Он же и пещеру мне показал, продукты. Ну, привязал я Лоб-Сагана, пусть, думаю, поможет маленькому Янису. Я хоть и не понимаю, чего они там ищут, чего спорят-ругаются, но, думаю, раз ты пинаешь доброго пса Хару и много хочешь командовать там, где не надо, нехороший ты человек. И собака будет тебя кусать, и лошадь будет тебя лягать, и птица будет тебя клевать. И Василий Харитонов, сын Мунконовых, будет одним ухом слушать, другим забывать, о чем ты кричишь. И двумя ушами будет Василий Харитонов слушать маленького доброго Яниса и маленькую Зою. Много думай — мало говори. То, что надумал,— в голове, а то, что сказал,— из головы. Голова пустая много-громко звенит, голова полная тихо-важно молчит.

Быстро-быстро привязал Лоб-Сагана к веревке, которую подала большая Ирина, и еще быстрее, бегом вместе с Харой к огню. Э, думаю, вдруг маленькая Зоя войдет в палатку к доброму Янису, будет искать там своего мужа и испугается? Кто поможет, кто руку протянет, кто слово скажет? Подбежали к огню — тихо. Спит Зоя. Хара скулит сильно, трется у ног. Э, думаю, неспроста Хара такой. Слышу, Лоб-Саган заржал. Ну, думаю, чего это они? Газар-хёделхё будет? Только так подумал — светло стало, озеро заиграло и затрясло. Хара завыл, кинулся от меня. Я как сидел на камне, так и свалился. Смотрю, из палатки Зоя выскочила. Я кричу, куда ты? Она не слышит, бежит, запинается. Я поднялся и за ней. Она вдруг повернулась и мимо меня на руках, на ногах, вприпрыжку — к палатке. Ну, думаю, Наран-батор упадет, Зою завалит. Побежал за ней. Смотрю, Зоя забилась в угол, спит или боится, не разберешь. Вытащил ее, понес на руках быстрым шагом от Наран-батора. Бегу, а сам вроде тоже сплю на ходу. Хара вьется передо мной, смотрю, шибко удивляюсь: то Хара, а то совсем другой пес. Вдруг сзади завыло. Повернул голову — Наран-батора нет, а вместо него большая белая скала стоит, пыль из-под нее клубами валит. И так страшно стало, что ноги подкосились, а то, что нес, выпало и покатилось куда-то вперед, вроде в какую-то ямину. А что нес, уже не помню, потому что и глаза, и уши, и нос — все забило пылью от большой белой скалы. Сколько лежал так, спрятав голову под мышкой, не знаю. Но стало сильно холодно. Выфыркнул пыль из носа, выскреб из ушей, протер глаза — смотрю, лежу на тропе, а кругом трава шумит. И вспомнил: это же Верзила меня душил, хотел, чтобы я ему лошадь приученную отдал. Он ее съесть хочет. А лошадь хромоногая в траве ходит, на привязи. Уполз я в траву и побежал к озеру, где пасется моя лошадь. Бегу и боюсь, вдруг Верзила нападет. Выбегаю на берег, смотрю, Умник на середине барахтается, а Верзила держит его за горло, душит. Э, думаю, Умника надо спасать. Беру аркан, сплетенный Умником из ивовой коры, и кидаю. Петля точно ложится на голову Верзилы. Я резко дергаю, и Верзила заарканен. Тогда я подзываю лошадь, вскакиваю на нее и гоню ее прочь от берега. Конец аркана крепко обвязываю вокруг себя. Оглядываюсь — Верзилу тянет по воде, как пойманную рыбу. Умник поплыл на тот берег, к высокой белой скале. Смотрю, Верзила, уже на берегу, волочится по камням, дергается, извивается. Останавливаю лошадь, смотрю. Другие набрасываются на него, как муравьи на змею. Ну, думаю, забьют, тогда будет большая драка между другими: кому быть вожаком. Гоню лошадь — она шарахается в сторону. Прямо под ногами пробегает стадо кабанов. Я кричу другим. Другие кидаются за кабанами. Я спрыгиваю с лошади, подхожу к Верзиле. Он весь в крови, хрипит. Я ударяю его дубинкой, ослабляю петлю, концом аркана обвязываю его по рукам и ногам. Пусть, думаю, полежит до утра. Он еще пригодится — без сильного вожака нам не прожить...

Мы добыли много кабанов. До темноты я рубил мясо своим топором. Мне накидали гору кусков. Верзилы не было, никто ни у кого не отбирал, все наелись досыта и свалились спать. Ночью поднялся переполох. Умник кричал, расталкивал всех, звал куда-то. Я вскочил, собрал в шкуру свое мясо и вылез из пещеры. Умник показывал на тот берег озера — там мерцал, покачивался из стороны в сторону огонь. Умник звал всех туда, к огню. Другие от страха не могли двинуться с места. Я, старик, три раза за свою жизнь видал большой огонь, и всегда он страшил и манил. Страшно, когда огонь горячий; хорошо, когда огонь теплый. Я пошел за Умником. За нами боязливо потянулись другие. У огня сидела Большая Женщина. Она так близко сидела у огня, что никто не посмел подойти к ней. Умник от страха и любопытства не мог стоять на одном месте и, приседая и улюлюкая, все ходил и ходил вокруг огня. Большая Женщина поднялась, взяла обломок дерева и бросила в огонь. Сноп маленьких красных огней поднялся в небо. У всех у нас вырвался крик ужаса и восторга. Большая Женщина спросила у меня, где Верзила и удалась ли охота. Я сказал, что Верзила лежит на берегу, связанный арканом, и что охота удалась: у всех есть мясо. Большая Женщина, когда нет Верзилы, умеет говорить таким же голосом, как и Верзила. «Пусть каждый даст мне по куску мяса»,— сказала она голосом Верзилы. Другие повозились в своих шкурах, и каждый положил у черты, за которую боялся переступать, по куску мяса. Я тоже положил кусок. Большая Женщина собрала мясо и снова села у огня. Она взяла ивовый прут, насадила на него кусок мяса и протянула мясо к огню. Другие зароптали было, но сразу же притихли, не спуская глаз с мяса. Большая Женщина поворачивала прут, и мясо качалось в огне, дымилось, и из него бежал сок. Я жадно вдыхал новый, острый запах, который шел от мяса, и чувствовал, как у меня текут слюни. Другие повизгивали от нетерпения. Когда мясо стало коричневым, Большая Женщина разорвала кусок на несколько частей и кинула мне и другим. Я поймал свою долю и чуть не закричал от неожиданности: кусок был горячий. Я перебрасывал его с руки на руку, дул на него — он так просился в рот, но рот боялся. Другие визжали и хохотали. А Большая Женщина крутила над огнем уже другой кусок. Я осторожно лизнул коричневое мясо, потом откусил маленький кусочек и прожевал. Еще откусил, еще и еще. Я не заметил, как проглотил все коричневое мясо.

Я не понял, вкусно ли оно, но не мог сдержать дрожи — до того хотелось еще коричневого мяса. Я и другие, пересилив страх, стали приближаться к Большой Женщине. Она крутила над огнем мясо и не замечала нас. Но вдруг оглянулась, схватила дубинку, и, вскинув ее над головой, сказала голосом Верзилы: «Пусть Старик и другие идут на берег озера и принесут Верзилу». Я подчинился первый, другие пошли за мной. Мы страшно боялись темноты, но еще сильнее нам хотелось коричневого мяса, и мы помнили, каким голосом говорила Большая Женщина. Мы принесли Верзилу и положили возле ног Большой Женщины. Он глядел то на нас, то на огонь, то на Большую Женщину, и в глазах его то горела лютая злоба, то метался страх, то появлялось жалкое выражение. Большая Женщина подтянула его поближе к огню — он задергался и захныкал, стараясь откатиться подальше от огня. Большая Женщина прижала его ногой и поставила ему на горло дубинку. «Пусть каждый даст по куску мяса для меня и для Верзилы»,— сказала она. Каждый выложил по два куска мяса. «Пусть Старик соберет мясо и сложит вот сюда»,— сказала она, показав на свою шкуру. Я собрал мясо и, осторожно, прикрываясь от огня, положил мясо на шкуру. «Пусть каждый принесет к огню по столько обломков деревьев, сколько сможет донести»,— сказала она. Мы дружно разошлись в разные стороны, и вскоре каждый принес по большой охапке хвороста и обломков деревьев. Верзила стоял уже развязанный и ел коричневое мясо. Вдруг он воззрился на Умника, который, крадучись, шел к Дохлятине, лежавшей возле меня. Умник присел, надеясь, что Верзила не узнает его, но тот узнал и, не выпуская мяса из зубов, поднял дубину и ринулся на Умника. Умник, как козел от леопарда, умчался в темноту. За ним, рыча и размахивая дубиной, убежал Верзила. Стало тихо и спокойно. Большая Женщина держала над огнем прутья. Я был сыт, мне было тепло, и я быстро уснул... И теперь не знаю, где я — там или здесь, то ли то сон, то ли это...

Окончание следует.

Геннадий НИКОЛАЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

Глава одиннадцатая,
рассказанная Зоей Семенцовой

В ту ночь я долго не могла заснуть. На меня напал какой-то озноб, как при малярии или воспалении легких. Я прощупала пульс — нет, сердце работало, как обычно, восемьдесят ударов в минуту, наполнение хорошее, а внутренне я вся содрогалась: то в жар кидало, то в холод. И вдруг раздался звук и стало трясти. Не помня себя, я выскочила из палатки и бросилась бежать. Мне казалось, что на меня рушатся все горы, какие только есть вокруг. Земля прыгала подо мной, и я, запнувшись, упала. В этот момент я оглянулась и на фоне пронзительно-синего неба увидела, как вздрагивает и раскачивается скала, под которой стояли наши палатки. Пыль, серебристая, светящаяся, клубами, толчками вздымалась от трясущейся фигуры всадника. Я вдруг вспомнила про Яниса — ведь он там, в палатке! Если скала рухнет, он погиб. Я вскочила на ноги, но тут же повалилась, как пьяная,— земля подо мной ходила ходуном. Тогда я побежала на четвереньках, как обезьяна, как зверь какой-то. Помню, страха я не испытывала — был злой восторг, опьянение, порыв. Огромными прыжками, не чувствуя боли, я стремительно добежала до палатки, рванула полог и кинулась к Янису, вернее, к той темной фигуре, которая вырисовывалась под одеялом. Каков же был мой ужас, когда, разворошив все, я обнаружила, что Яниса в палатке нет — одна лишь бутафория. Чья-то страшная физиономия заглянула снаружи, потянула ко мне свои жуткие руки, я забилась в угол,— тут начался какой-то кошмар, словно в страшном сне...

Мне было холодно и жутко. Сжавшись в комочек, я лежала в темном углу пещеры. Надо мной стоял кто-то, часто дыша, как после быстрого бега. Я зажмурилась, приготовившись к смерти. Он притронулся ко мне, и я узнала Умника. Он звал куда-то, но я так ослабела, что не могла встать. Тогда он поднял меня и на руках вынес из пещеры. И понес вниз, к озеру, прыгая с камня на камень. При каждом толчке острая боль разрывала мои внутренности. Я застонала. Умник остановился передохнуть, и тогда я увидела белую высокую скалу. Умник понес меня к ней. Было страшно, но я держалась — ведь Умник не боялся, а он не самый смелый из наших. Вблизи скала оказалась очень высокой, до самого неба, гладкой, как рог быка. Умник осторожно притронулся ладонью к скале. Перед нами открылся вход, и там, внутри, все было белое, светлое, теплое — туда хотелось войти. Умник внес меня внутрь. Вход закрылся, но не сделалось темно, как в нашей пещере, когда мужчины задвигают плиты, а, наоборот, стало еще светлее. Умник положил меня в центре этой белой пещеры и отошел к стене. Мне не было страшно. Боль утихла. Я согрелась и уснула.

Мне снилось, будто я иду с маленьким ребенком на руках по теплой, мягкой земле, а возле ног шумит и пенится теплая зеленая вода. И такая прозрачная и чистая, что сквозь нее виден каждый камешек. И так много воды — насколько хватает глаз, все вода и вода. А берег — широкая полоса желтой искристой земли, мягкой и теплой, тянется от одного края горизонта до другого. По левую руку — бескрайняя зеленая вода, по правую — теплая желтая земля и густые заросли зеленых пахучих деревьев с широкими, раскидистыми листьями и желтыми круглыми плодами, в которых такой прохладный и вкусный сок. И кругом по желтой искристой земле валяются розовые, зеленые, пятнистые, черно-бархатные, голубые раковины и тонкие красивые камни, похожие на ветки деревьев или рога оленей, только белые, как иней. И вода все накатывается, накатывается, волна за волной, и стекает обратно — бесконечно. Я иду с ребенком на руках, одна, кругом ни души, но мне не страшно, а как-то радостно и спокойно на душе, потому что мой ребенок здоров, спит, а я жду любимого человека — он вот-вот должен вернуться из дальней поездки. И, понимаете, я иду и плачу — плачу и смеюсь от счастья, потому что это действительно счастье: быть молодой, любящей, любимой и матерью здорового ребенка от любимого человека. Сплю и не

Окончание. Начало в №№ 21—23.

хочу просыпаться — не хочу обратно в темную, холодную пещеру, не хочу!

Но сны проходят, как и все другое. Я проснулась от шума и криков. Я лежала на шкуре Умника возле большого, горячего огня. Большая Женщина была еще ближе к огню, но не боялась. Мне было тепло и жутко и не хотелось шевелиться. Другие ели странное коричневое мясо. Рядом со мной спал Старик. В его ногах лежал прирученный раненый волк. Большая Женщина держала над огнем прут.

Вдруг из темноты ночи появился Верзила. Он волоком тащил кого-то, держа его за одну ногу. Голова и руки волочились по земле, ударяясь о камни. Верзила подтащил его ближе к огню, и я узнала Умника. Он был весь в крови, черный от побоев, но еще живой. Верзила взял у Большой Женщины свою дубину и поплевал на ладони.

Я вскочила, бросилась на Верзилу и так сильно толкнула его, что он не удержался на ногах и повалился в огонь. Шерсть на шкурах, в которые он был завернут, вспыхнула, загорелись волосы на голове — Верзила выкатился из огня, дымящийся, ревущий, с лицом, перекошенным от боли и ужаса. Большая Женщина с воплем отскочила от него, крутящегося по земле, вдруг опустилась на колени и зарыдала. Верзила катался где-то в темноте и громко стонал. Я была зла и ничего не боялась: двое других по моему знаку подняли Умника и понесли за мной в пещеру. Я чувствовала себя здоровой и сильной и велела положить Умника на то место, где обычно спал Верзила. Это было самое теплое, самое удобное место. Тут же лежали старые шкуры, и я укрыла дрожащего от холода Умника. Другие смотрели на меня со страхом и почтением, ведь я, маленькая Дохлятина, не побоялась самого Верзилу и столкнула его в огонь. Я приказала им закрыть вход в пещеру, и они кинулись выполнять мой приказ. Но плита была слишком тяжела для двоих — они сопели и кряхтели, но не могли сдвинуть ее с места. Снаружи раздались шаги, и двое других трусливо убежали. Я легла возле Умника, готовая на все. В пещеру осторожно влезли Большая Женщина, Верзила и Старик. Верзила тихо стонал, от него пахло паленой шерстью. Большая Женщина увидела, что место Верзилы занято, и сказала Умнику, чтобы он убирался. Тогда я поднялась, нашла ее руку, положила себе на живот и сказала, что у меня будет ребенок. Старик передал мои слова Верзиле и увел его в угол, где обычно лежала я. Там из трещины сверху всегда сильно дуло, но Верзила был жирный и не боялся холода. Большая Женщина ушла к Верзиле. Я легла возле Умника и укрылась его шкурами. Нам вдвоем было тепло и уютно, и я быстро заснула.

Глава двенадцатая,
рассказанная Янисом Клаускисом

Трансформация во времени произошла настолько незаметно и иллюзия была настолько яркой, что я, так же как Василий Харитонович, могу только удивляться: где сон, а где явь. Я сказал «иллюзия», применив это слово к прошлому,— с таким же правом я мог бы сказать «иллюзия» про настоящее и будущее...

...Я бежал по тропе к озеру. От белого камня, спустившегося с неба, доносился надсадный плач ребенка. Я бежал и думал, что возьму ребенка и отдам Дохлятине, тогда Верзила оставит ее в покое. И вдруг я увидел, что Верзила гонится за мной. Жизнь моя в один миг повисла на волоске: либо спасаться бегством, либо падать на землю лицом вниз и позой смирения просить пощады. Я помчался что есть духу к озеру через заросли травы. У него ноги были длиннее, но зато я был легче. Вот и озеро! Я кинулся в воду прямо в шкуре и в подошвах. От страха я не чувствовал холода и плыл, быстро перебирая руками и ногами. Верзила метался вдоль берега. Ему жалко было бросать дубину, страшно было лезть в холодную воду, но и боязно было других, которые, как стая шакалов, окружали его и готовы были отомстить за старые обиды. Наконец ненависть ко мне переборола все, и Верзила, бросив дубину, кинулся в воду. Вскоре я понял, что его широкие, сильные руки на воде работали лучше, чем мои. Я плыл и смотрел на высокий белый камень, как на спасение. Голос плачущего ребенка отчетливо доносился сверху, из темной дыры, в которой что-то блестело. Я уже слышал за собой сиплое, тяжелое дыхание Верзилы, когда вдруг из высокого белого камня вылетело Что-то и упало недалеко от меня. Я подплыл ближе и едва протянул руку к Чему-то, что упало с высокого белого камня и было похоже на сплющенное яйцо, как Верзила ударил меня по руке — Что-то ушло под воду.

Рисунок **Геннадия НОВОЖИЛОВА**

Я нырнул, пытаясь поймать Что-то, но оно утонуло. Я вынырнул. Верзила схватил меня за горло и стал душить, но почему-то отпустил и, как заарканенный, заскользил к берегу, тараща глаза и размахивая руками. Я поплыл к другому берегу. Из последних сил я выбрался на камни и отполз в траву. Ребенок затих. Я отлежался и, поднявшись, медленно побрел к высокому белому камню. Еще издали я увидел в основании камня вход в пещеру — она была светлая, неглубокая и теплая. Меня так потянуло внутрь, что я не удержался и осторожно вошел. Вход закрылся за мной, но я не испугался — только удивился. Передо мной открылся еще вход, поменьше, и там, дальше, тоже была пещера, тоже светлая и теплая, только маленькая. Я вошел в нее, вход закрылся, и снова я не испугался. Я стоял в ней в полный рост, и над головой еще было много свободного места — можно было вытянуть руки. Вдруг пол стал сильно давить на подошвы, и в голове сделалось туманно. Я закачался, но тут же все прошло, и вход снова открылся. Я осторожно выглянул: передо мной была светлая и теплая пещера, но совсем другая. Эта была огромна и просторна. В центре в круглом углублении была вода, в ней виднелось точно такое же Что-то, что утонуло на середине озера. Сзади раздался шелест, я обернулся и вскрикнул от удивления: стена на высоте моей груди отвалилась, и образовалась большая дыра, сквозь которую видны были горы, лес, наша пещера и внизу — озеро. На берегу Старик и другие связывали Верзилу. Они возились с ним, как с медведем,— он рвал в клочья путы, отбрасывал других, но они, как муравьи, облепляли его, наваливались на руки и ноги, и он рычал и выл от бессильной ярости. Я заплясал, предвкушая, как они сейчас прикончат Верзилу, но тут Старик увидел стадо кабанов, я тоже их увидел, и другие, бросив Верзилу, погнались за кабанами. Возле Верзилы остался один Старик — он ударил Верзилу дубинкой, связал по рукам и ногам, вскочил на лошадь и ускакал вслед за другими. Я видел, как впереди, колыша траву, неслись кабаны, а за ними, рассыпавшись цепью, бежали другие. Старик скакал на кобыле и гортанным голосом подавал команды — другие слушались его. Я с жадностью следил за охотой. Отсюда было видно, как другие загнали кабанов в каменный клин с отвесными стенами и начали избивать их — вопли и визг еще долго доносились оттуда.

От усталости и голода я опустился на пол и заснул было, но вдруг земля подо мной задрожала, вода в яме, в центре пещеры, покрылась рябью, заволновалась, и я услышал звук — такой страшный звук, будто выл большой голодный волк, рыдала раненая сова и плакал маленький ребенок одновременно. Звук исходил от воды, от того белого и круглого Чего-то, что было похоже на Что-то, утонувшее в озере. Мне хотелось вскочить и бежать, но вместо этого я ползком приблизился к воде. Едва я обмакнул пальцы, как звук изменился. Я погрузил кисть — звук стал приятнее, не таким резким и выворачивающим душу. Тогда я опустил в воду одну руку, потом другую — звук еще более смягчился. Тогда я опустил в воду ноги и погрузился весь, по самое горло,— звук стал певучее, как будто запела стая перелетных птиц. В воде было тепло и приятно, и я плавал, нырял и кувыркался, как рыба. Внезапно я случайно дотронулся до белого и круглого Чего-то, лежавшего на дне ямы...

...Вынырнул я на середине озера. Солнце палило нещадно, но здесь, в воде, было не так жарко — два могучих вентилятора Станции Контроля Космических Объектов (СККО) подсасывали к озеру холодный воздух с вершины восточного хребта. До конца дежурства было еще полтора часа, и я включил гермошлем, чтобы проверить показания приборов и окинуть взглядом Входной Экран.

Гермошлем — очень удобная штука: где бы вы ни были, в озере, в лесу ли, на вершине горы,— в радиусе десяти километров гермошлем соединит вас с контрольным пунктом, и перед вами как наяву возникнут приборы и экраны, как будто вы перенеслись в операторский зал. Просто не верилось, что было время, когда операторы как идолы торчали перед приборами, не смея никуда отлучиться. В гермошлеме вы можете бродить где угодно — одновременно видеть показания приборов и любоваться природой. Зрительная память гермошлема автоматически, без каких бы то ни было усилий с вашей стороны следит за малейшими изменениями в показаниях приборов, и, как только какой-нибудь параметр превысит допустимое значение, шкала начнет аритмично мерцать синхронно с негромким, тревожным позвякиванием. Если же вы не среагируете, то получите порцию электрощелчков, которые способны разбудить любого засоню.

Итак, я переключил гермошлем на обзор прибора и Входного Экрана. По Инструкции такие проверки полагалось делать каждый час, но мы с женой считали этот пункт пережитком прошлого: ведь подобные системы были просты, как транзисторы, и работали без сбоев сотни лет на межпланетных радиомаяках. Однако как бы мы ни считали и как бы ни критиковали Инструкцию, а Инструкция была для нас законом, нарушить который можно только раз — Автомат Станции сразу отключал нарушителя от систем контроля, и вы должны были подыскивать себе другое занятие — всякие переговоры с Автоматом исключались.

Осмотрев приборы, я перевел глаза на Входной Экран. Каждый раз, когда я смотрю на него, я поражаюсь нашему пристрастию к старомодным названиям и терминам. Входной Экран! Надо же было так скучно, так банально назвать гениальнейшее изобретение последнего столетия! И главное — ничего, что походило бы на старые, давным-давно вышедшие из употребления экраны. Просто перед вами возникало черное, разбитое на квадраты пространство космоса. Квадрат за квадратом плавно проходили перед глазами, просматриваемые бегающими лучами на глубину в два световых часа. Поговаривали, будто бы Другие уже испытывают системы с глубиной просмотра до пяти световых часов — если это так, то в случае появления космического объекта они смогут перехватить его прежде нас и «высосать» полезную информацию. Такого еще не случалось за всю историю человечества, но Инструкция требовала, чтобы мы были готовы к любому варианту...

Входной Экран зиял, как огромная мрачная дыра в ничто. Иногда мне даже казалось, что из него веет холодом, хотя, конечно же, никакого холода не могло быть, потому что это было чисто иллюзорное изображение. Я осматривал свой сектор квадрат за квадратом, когда вдруг скорость просмотра резко возросла, квадраты замелькали передо мной, как кадры древнего примитивного кинематографа,— я весь напрягся, ожидая чего-то необычайного. Таких явлений еще не отмечалось за все время существования станции. От мелькания черных, зияющих дыр у меня закружилась голова, я забыл, что нахожусь в воде и что надо хотя бы чуть-чуть грести, пошел на дно и порядком нахлебался. Вынырнув и протерев глаза, я с удивлением обнаружил, что передо мной «висит» квадрат, уже просмотренный мною, с яркой, все увеличивающейся точкой, движущейся прямо на меня. Включился автоматический хронометр, и сбоку экрана светящимися цифрами начался отсчет времени и расстояния. Тут же пришел сигнал о том, что Станция успела взять объект под свой контроль. Это значило, что любая информация, в виде ли электромагнитного излучения, в виде ли гравитационных волн, или комбинированными способами, например, шнур в шнуре,— вся информация, которую мог бы передавать космический объект любым известным способом, надежно экранизировалась и сообщалась только на нашу Станцию. Подобные системы Других уже ничего не могли перехватить.

Я сообщил обо всем этом через стереофонический мегафон повсеместного действия — мой голос, как эхо, позвучал по всему горному району. Даже если кто-то из сотрудников Станции был бы на охоте на расстоянии до двадцати километров, то услышал бы мое сообщение.

Точка нарастала, и, когда появился Главный, она была величиной с кедровый орех. Объект шел с огромной скоростью, системы наблюдения выдавали результат с большой погрешностью — на самом деле объект был уже намного ближе к нам, чем это показывал Входной Экран. Правда, надо отдать должное его скромности: время от времени на табло вспыхивали слова: «Не могу оценить точность. Не могу оценить точность». Ну что же, теперь, когда объект в нашем «мешке», особая точность и не нужна — какое имеет значение, через час двадцать он достигнет атмосферы или через час тридцать. Важно, что информация из него уже «выкачивается» нашей Станцией и по специальным каналам связи поступает в Центр. Мы, работники Станции, понятия не имели, что там «качают» наши насосы.

Главный, очень пунктуальный и придирчивый, тщательно просмотрел видеоотчет о начале контакта Станции с объектом и сухо сказал через стереомегафон, что я действовал точно, в соответствии с Инструкцией. У него принцип: никогда никого не хвалить, чтобы потом не жалеть об этом.

У нас коллектив небольшой: пятеро, не считая старого коня для верховой езды и веселого молодого пса. Мы работаем уже несколько лет, и все очень дружны.

Главный и его жена, врач Станции, и мы с женой — все мы довольно едины во взглядах и интересах и не стремимся искать другое общество. Пятый — одинокий Старик, прибившийся к Станции от строителей и выполняющий различные вспомогательные функции, увлечен разгадкой секретов тибетской медицины. Главный и его супруга любят охоту, рыбалку, стрельбу из лука и метание копий. Мы с женой предпочитаем разведение древних, почти истребленных животных, например, бурундуков.

Итак, объект приближался, и направление его движения менялось: теперь он стремительно шел из квадрата в квадрат — ясно было, что он лишь приблизится к Земле и уйдет дальше, в сторону Солнца.

Я вылез на берег и развалился на горячем песке. Передо мной проносились черные квадраты космоса, а объект, напоминавший серебристый сияющий мячик, как бы висел на одном месте, чуть заметно уменьшаясь в размерах. И вдруг от мячика отделилась искорка и стала уходить по касательной в сторону. Я тотчас же объявил по стереомегафону. Главный распорядился включить второй «мешок». Я включил вторую ловушку и тотчас получил сигнал о том, что микрообъект взят под контроль.

Через час объект исчез с Входного Экрана, а микрообъект, тормозясь, начал крутить вокруг Земли сужающиеся петли. Я должен был сдавать дежурство Главному, но тут из Центра сообщили о том, что, по расчетам, микрообъект приземлится в нашем районе. Главный объявил готовность всего персонала — все мы собрались на берегу озера в гермошлемах, и даже Старик вынужден был оторваться от ста восьми томов Ганжура и двухсот семнадцати томов Данжура. Он принес лассо, сплетенное им по просьбе Главного для охоты на заводных механических косуль. За ним приплелись его любимчики — умняга конь и веселый пес.

Мы стояли возле «пещеры» — так называли между собой нашу Станцию, потому что она была построена в бывшей пещере, которую пришлось значительно расширить. Мы стояли, задрав головы к небу. Микрообъект был уже настолько низко, что Входной Экран не брал его, и мы использовали обыкновенные допотопные оптические дальномеры. Кажется, мы с женой первые воскликнули, увидев поблескивающую точку прямо над нами. Тотчас возгласы радости и удивления вырвались у Главного и его заместительницы: они тоже увидели точку,— и теперь все наперебой стали высказывать свои предположения, что бы это могло быть. Однако фантазировать нам пришлось недолго: через четверть часа микрообъект уже плавно покачивался над поверхностью воды на маленьком желтом парашюте. Стропы тянулись к сетчатому мешочку — там лежало Что-то, напоминавшее сплющенное яйцо, гладкое и белое, как полированная кость.

Глядя, как Что-то медленно приближается к воде, я сказал, ни к кому не обращаясь, что надо бы срочно подплыть к нему, чтобы не дать утонуть. Главный, тоже как бы разговаривая с пространством, сказал, что торопливость здесь неуместна, а уместны осторожность, внимание и выдержка. Я сказал, что потомки нам не простят, если с микрообъектом что-нибудь случится. Главный ответил как бы сам себе, что те, кто его запускал, знали о существовании атмосферы — он показал на парашютик,— а следовательно, знали и о существовании воды, и поэтому вода ему не страшна. Я сказал, что, возможно, это и так, но все-таки проще взять его сейчас, подставив руку, чем потом нырять на сто метров под воду и шарить там между камней. Ведь все равно придется его брать.

— Мы не имеем права своевольничать,— все более раздражаясь, сказал Главный.

Я возразил, сказав, что Инструкция не запрещает входить в физические контакты с космическими объектами.

— Да,— сказал он,— Инструкция не запрещает.

Спорить с ним было бесполезно. У него был принцип: «Делай то, что поощряется, и не делай того, что не запрещается».

В этот момент раздался металлический щелчок, и один из четырех строп, на которых держалось Что-то, автоматически отстегнулся. До поверхности воды оставалось несколько метров. Я знал, что если я сейчас же брошусь в воду, то успею доплыть, но я знал и другое: Главный нажмет в своем гермошлеме специальную кнопочку, Автомат Станции навсегда отключит меня от работы на ней, и я вынужден буду снова уходить в города, откуда мы с женой вырвались с таким трудом.

— А вы как считаете? — обратился я к его жене.

Она не сводила глаз с микрообъекта. Я думал, что она не расслышала моего вопроса, но она вдруг повернула ко мне строгое свое лицо и быстро сказала:

— Я бы на вашем месте не спрашивала!

Главный с удивлением взглянул на нее и пока-

чал головой. Старик странно улыбнулся и, подняв к небу палец, изрек:

— «Ваша душа очистится, если вы познаете истину».

Жена незаметно кивнула мне, и я бросился в озеро.

— Запрещаю!— закричал Главный, и я услышал, как он плюхнулся в воду вслед за мной.

Я плыл, поглядывая через плечо на преследователя. Главный быстро нагонял меня — сказывалась его натренированность. Я напряг все свои силы. Микрообъект висел уже почти над головой. Когда я подплыл к нему, отстегнулся второй строп, и Что-то сильно наклонилось, готовое выскользнуть из сетчатого мешочка, в котором оно лежало. Я дотянулся до него, ощутил его холодную, твердую поверхность, но Главный ударил меня по руке и схватил за горло. У меня потемнело в глазах, но внезапно пальцы его разжались, и он, рыча от бессильной ярости и размахивая руками, заскользил к берегу. Сквозь туман, плавающий перед глазами, я увидел, как Старик, сидя верхом, вовсю погонял коня. От них в воду тянулась длинная веревка...

Тут возле моего лица раздался всплеск, и Что-то плавно скользнуло под воду. Я нырнул и едва коснулся его пальцами, как тотчас же ощутил сильный рывок...

...Я понял, что веревка, которой я был связан с плотом, зацепилась за бревно. Когда я вынырнул, то был оглушен грохотом и воем. Над озером висела полная луна, и все вокруг странно дрожало и раскачивалось. Я посмотрел на берег — где-то должен гореть фонарик Ирины... Передо мной вдруг возник кто-то из темноты. Этот некто схватил своими лапами гофрированные трубки акваланга и пережал их, скалясь, как мне показалось, от дьявольского смеха. Подача кислорода прекратилась, аварийный клапан, видимо, тоже был пережат — задыхаясь, я сорвал с пояса веревку, которая тянулась на берег, и накинул петлю на голову страшилища. В тот же миг он отпустил меня и, рыча и размахивая руками, заскользил к берегу. Мне некогда было разбираться с веревкой, которая застряла где-то между бревен, я дернул ее что было сил, вырвал и тотчас же нырнул.

Я погружался все глубже и глубже. Света от фонаря, укрепленного на маске акваланга, было явно недостаточно, и я включил запасной фонарик. Звук продолжался. Пеленгатор четко указывал направление вертикально вниз, на дно озера. Я торопился. Времени оставалось не так уж много, да и начинала сказываться холодная вода: хоть я и был в нижнем белье, смоченном постным маслом, но уже продрог до костей.

Внезапно стрелка локатора задергалась, заметалась из стороны в сторону, как бешеная. Сквозь гермомаску до меня донесся приглушенный грохот, вой, скрежет. Я почувствовал, как мягкая, но сильная волна снизу ударила в лицо, в грудь, швырнула вверх, бросила в сторону, закрутила и понесла в чудовищную воронку. Грохот нарастал — звука, который исходил от источника, почти-не было слышно.

Теперь меня уже не крутило, а быстро несло, как щепку, вниз, на дно. Свет фонариков отражался от слоев воды, дробился, и я мало что мог видеть вокруг себя. Вскоре мимо меня промелькнул черный рваный край, и на расстоянии вытянутой руки заскользила вверх каменная стена с причудливо изогнутой поверхностью. Такая же стена проносилась с другой стороны. Я понял, что дно озера раскололось, и меня засосало в трещину.

Постепенно скорость потока уменьшилась, и я плавно опустился на глыбу, застрявшую между стен и загородившую ход воде. Где-то вдали по трещине свистел и ревел поток — здесь же было спокойно. Я направил пучок света под ноги, чтобы внимательно осмотреться, и вскрикнул от удивления: в выемке между глыбой и стеной блестело Что-то, напоминавшее сплющенное яйцо, гладкое и белое, как полированная кость. Я осторожно взял Что-то в руки, и тотчас, как только к нему притронулся, странное чудное ощущение овладело мною: будто я, находящийся глубоко под водой, в трещине и держащий в руках Что-то, напоминавшее сплющенное яйцо, раздробился на множество других «я», в каждом из которых как бы присутствовал тот «я», у которого в руках было Что-то. Ощущение достоверности моей раздробленности было настолько сильным, что я растерялся при виде окружавших меня точно таких же существ. Было такое чувство, будто я окунулся в бассейн, кишащий точно такими же телами, как и я, причем каждое другое тело было тоже моим. Я засмеялся, руки мои затряслись, и от белого, гладкого, напоминавшего сплющенное яйцо пошел тот самый звук, который исходил от озера, только этот был тихий и мелодичный. Изумленный, я застыл, глядя вытаращенными глазами на то, что было у меня в руках,— звук прекратился. Я снова потряс руками — звук возобновился. Тогда я как сумасшедший стал встряхивать Что-то, забыв обо всем на свете. И чем дольше я тряс, тем больше терял ощущение самого себя и все больше как бы уходил куда-то, растворялся во времени, переходя из одной телесной оболочки в другую. И вот я увидел или, точнее, охватил мысленно все, что было раньше со мной, что есть теперь и что будет в будущем. Я понял, что сквозь века в разных телесных оболочках передается одна и та же человеческая суть — моя! Я был Умник, Янис Клаускис и Оператор Станции Контроля Космических Объектов одновременно — я жил сразу во всех них или все они частично состояли из меня. Я понял, что я вечен!

Видимо, это был последний толчок — стены трещины вдруг заколыхались, как фанерные декорации от случайного сквозняка, глыба подо мной зашевелилась, вздыбилась острием кверху и пошла вниз. Я, увлеченный ею и массой воды, полетел вслед за глыбой — сверху меня нагнал огромный камень, от которого я не сумел отвернуться. Удар пришелся по голове. Как бы из другого тела я увидел себя, того, который держал в руках Что-то,— я увидел, как меня, то есть его, отшвырнуло камнем к стене, поцарапало до крови плечо, грудь, бедро. Как вывалилось из ослабевших рук Что-то и, планируя в струе и крутясь, скользнуло в черную, жуткую глубину.

Больше я ничего не помню...

Глава тринадцатая,

в которой разговаривают все сразу, сидя у костра возле разрушенной скалы

З о я. Когда мы вытащили тебя из трещины, ты был как труп.

И р и н а. Острая кислородная недостаточность, переохлаждение плюс тяжелейшие ушибы. Возможно, есть небольшое сотрясение мозга. Поэтому лежи, не двигайся несколько дней.

В и т а л и й *(задумчиво)*. Кажется, я изобрел еще один очень важный принцип... *(Все смеются, Виталий обескуражен.)* Что я такого сказал?

Я н и с. Не обижайся, старина, мы смеемся не над тобой.

И р и н а. Теперь я знаю цену твоим принципам: стоило заиграть какому-то камню, и все твои принципы...

В и т а л и й *(обиженно)*. Что, я тронул кого-нибудь? Убил? Задушил? *(Янису.)* Ты что-нибудь имеешь против меня?

Я н и с. Нет. Не волнуйся, это был не ты. Ведь все это происходило совсем в другую эпоху.

В и т а л и й. Вот попробуй ей объясни.

Я н и с. По-моему, всем все понятно. Главное, друзья, заключается в том, что здесь, в своем времени мы остаемся людьми. *(Добродушно, косясь на Виталия.)* Конечно, не без маленьких, очень маленьких недостатков...

В и т а л и й *(торопливо прожевывая кусок колбасы)*. Вы меня волнуете...

Я н и с. А Виталий — молодец, перенес продукты в пещеру, теперь бы сидели голодные: все осталось бы под скалой.

И р и н а. Ой, не говорите мне про пещеру! Не могу представить, как я могла...

Я н и с. Ничего особенного. Влияние звукового поля. Видимо, за счет микротолчков источник все время излучал небольшую мощность, которая и действовала на нас постоянно в течение всех последних дней.

И р и н а. Да, но как я могла?!

В и т а л и й. Теперь я тоже знаю твои возможности. *(Шутливо отодвигается от нее.)* Надо подальше от тебя, а то еще возьмешь дубину и...

В а с и л и й Х а р и т о н о в и ч *(Янису)*. Ты счастливый, ты держал в руках Смеющий тысячу веков камень Эрдени!

Я н и с *(с усмешкой)*. Я счастлив, что живу сейчас, а не тогда. *(Тоном ученого, бесстрастно.)* Поющее яйцо, поющая лагуна, поющий камень, поющее озеро — все это следствие случайных встреч с одной и той же модификацией машины времени...

З о я *(насмешливо)*. Ясно. Только при чем здесь музыка?

Я н и с. Ну, это понятно: расчет на то, что только разумных существ может привлечь и заинтересовать источник музыки. Вот мы и оказались теми счастливцами. Не исключена возможность, что в будущем вас ждут новые встречи с поющими камнями.

В и т а л и й. Ну уж извините, на этот случай у меня есть новый принцип: подальше от поющих камней!

ДЕЛО КОМАНДОРА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

И. РОСОХОВАТСКИЙ

Рисунок **Г. НОВОЖИЛОВА**

ПРОСЬБА ОБВИНЯЕМОГО

«Ну что ж, пусть войдет,— подумал Кантов.— Пусть входит. Все равно... Только странно это звучит — следователь-защитник. А, все равно...»

Нет традиционно-пристального взгляда. Нет многозначительности в твердо сжатых губах. Нет того, нет этого... Нет, нет, нет...

Следователь-защитник согнулся, иначе проткнет головой потолок. Высота комнаты — около четырех метров.

«Он из этих,— думает Кантов и чувствует, как в нем просыпается ярость.— Я никогда не требовал по отношению к себе особого такта. Но в этом случае они бы могли догадаться...»

Густой голос, четкое произношение:

— У вас есть ко мне вопросы?

— Просьба,— говорит Кантов.— У меня есть просьба.

— Я уже понял. Хорошо. Вам назначат другого защитника. Но я мог бы ответить на ваши вопросы.

— Что успели выяснить в моем деле?

Секунда молчания.

«Ничего хорошего,— думает Кантов.— У этого существа реакции мгновенны. Он бы ответил сразу».

— Первый случай отмечен двадцать седьмого апреля у человека, с которым за двенадцать часов до того беседовал ваш штурман.

Он уловил сомнение Кантова и вынужден был рассеять его:

— Установлено точно.

Кантов вспомнил экраны в мелких пятнышках, голубые капельки, повисшие на крестиках делений. Одна камера очищения, другая, третья... Энергетический душ, ионный, кониционовая ванна, магнитный фильтр... А за стенами космического корабля — зеленые травы, пахнущие травой, и леса, шумящие по-лесному... Но он не выпускал своих ребят, он гнал их из одной камеры в другую... А теперь этот говорит... Какого черта?!

Гневный взгляд Кантова был устремлен на дверь, за которой исчезал гигант.

«Обиделся? Тем лучше. Привык тут решать за людей их дела...»

Раздражение не давало Кантову расположить факты в цепочки, а затем свести их воедино и посмотреть, что получится. Он выключил кон-

дционеры, ударом ноги отшвырнул кресло, готовое услужливо изогнуться, чтобы принять форму его тела. Щелкнул четыре раза подряд регулятором видеофона, спроектировал изображение на стену.

— Вызываю Совет..

Невозмутимое лицо дежурного.

«Привычно невозмутимое»,— думает Кантов. Как он ни сдерживает себя, его голос звучит резче, чем ему бы хотелось:

— Прошу Совет назначить мне другого защитника. Человека.

Как видно, дежурный ожидал услышать именно это и спокойно возразил:

— Он тоже человек.

— Он называется... человеком,— четко произнес Кантов, придавая своим словам иронический оттенок.

Дежурный неожиданно рассердился:

— Да, человек рождается, а не синтезируется в лаборатории. Если вас устраивает такое принципиальное различие — пожалуйста. (Он произнес «принципиальное» таким же тоном, как Кантов — слово «называется».) Но если вы скажете, что это машина, хотя в ней есть и белковые части, то я отвечу, что она понимает и чувствует не меньше нас с вами. К тому же одно немаловажное обстоятельство — полная объективность...

«Нет, он не злится,— понял Кантов.— Он делает вид, что зол, считая, что так меня легче убедить».

— Вы напрасно обиделись на Совет,— продолжал дежурный.— Дело о карантинном недосмотре ведут восемь следователей-защитников. Шесть из них занимаются врачами карантинного пункта, один — врачом ракеты и один — вами. Причем, по моему мнению, лучшего следователя не найти.

«Пусть это существо понимает и чувствует, как мы. Но разве ради него я летел в космос? Ради него сотни раз рисковал жизнью? Ради него потерял свое время, а вместе с ним родных, друзей, современников? Да, современников — только теперь я по-настоящему понял смысл этого слова. И ты хочешь, чтобы после всего того меня судил он?»

— Вернемся к моей просьбе.

На один лишь миг на лице дежурного мелькнула растерянность.

— Я доложу о вашей просьбе Совету.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ФАКТЫ

— Меня зовут Павел Петрович.

Кантов крепко пожал прохладную сухощавую руку и впервые за много дней почувствовал себя увереннее.

Новый следователь-защитник сразу же понравился ему. Худой и длинный, как жердь, энергичная, подпрыгивающая походка, быстрые, резкие движения. Такой, уж если взялся за дело, времени зря терять не станет.

— Садитесь,— предложил Кантов.

Он хотел подвинуть кресло, но не успел. Едва подумал об этом, как оно само выкатилось из стенной ниши и, расправившись, остановилось перед Павлом Петровичем.

«Провалились бы вы, услужливые вещи!» — мысленно ругнулся Кантов. Иногда в комнате карантинного отеля он чувствовал себя каким-то безруким.

Павел Петрович опустился в кресло, закинул ногу за ногу.

— Познакомился с вашим послужным списком,— сказал он и стрельнул взглядом в Кантова.— Убедился, что вы человек опытный.

Кантов не мог определить, какое значение вкладывает защитник в слово «опытный».

— Однако факты неопровержимы. Ваш штурман умер от асфиксии-Т через полторы недели после того, как вышел из корабля. Спустя двенадцать часов у врача, который его осматривал, появились признаки той же болезни. Именно так началась эпидемия.

Он умолк на несколько минут, ожидая, не захочет ли Кантов возразить. Вздохнул, усаживаясь по-иному, переменил ногу, и кресло послушно изменило форму.

— Ракета пробыла в приемной камере спутника восемь дней. Три лишних дня — по вашей просьбе. Почему?

Павел Петрович смотрел куда-то в угол. Может быть, он не хотел увидеть на лице Кантова замешательство.

— Мы решили еще раз пройти цикл очищения,— ответил Кантов.

— Вас что-то беспокоило?

— Нет.

— Значит, это была интуиция?

— Всего лишь перестраховка.

— Могло ли случиться, что штурман не окончил цикла?

— Нет, не думаю...

«Штурман мог выйти из камеры раньше, чем зажглась контрольная лампочка,— думает Кантов.— Но ведь потом была еще одна проверка...»

Павел Петрович вынул из кармана магнитофон, подбросил его пару раз, потом двумя пальцами помял мочку уха — его руки никак не могли угомониться.

«Он прошел такой страшный путь в космосе! — думал Павел Петрович.— И вот результат: большинство добытой им информации устарело, а сам он обвиняется в тяжелом преступлении. Хотелось бы поверить в его невиновность, но как иначе объяснить начало эпидемии?» Сказал:

— Сегодня, между прочим, большой футбол...

— Обязательно посмотрю,— поддержал игру Кантов, улыбнулся: — Давненько не видел ничего подобного.

И по этой улыбке защитник понял, каково ему на самом деле.

«Я вам верю»,— хотел сказать Павел Петрович, но не смог солгать. Выскочил из кресла, как из кабины, по старинному обычаю крепко пожал руку подзащитному.

— Не беспокойтесь. Сделаю все, что смогу.

Через несколько секунд эскалатор вынес его к подъезду отеля.

Павел Петрович огляделся по сторонам и вынул карманный видеофон. «Как там Надя?» — с тревогой думал он.

У его жены утром появился мокрый клокочущий кашель. Так обычно начиналась асфиксия-Т. Кончалась она в 98 случаях из ста смертью.

ОТЕЦ И СЫН

— Здравствуй, Отец!

— Рад тебя видеть, Петр. Что-нибудь случилось?

— Почему должно было случиться?

Быстрый любопытный взгляд исподлобья.

— Уже научился хитрить?

Морщины у глаз на сухой коже, как трещины на холсте. Иногда кажется, что за тобой следят глаза портрета. Думает: «Ему всего лишь два года, а уже... Впрочем, если учесть все, что записано в памяти, то ему тысяча или десять тысяч лет...»

— Отец, я был у командора Кантова...

Думает: «И все же странные существа эти люди. Вот у Отца нет ни рентгеновского, ни гамма-видения, ни телепатоусилителей, а он словно читает мое состояние. Иногда кажется, что дело тут не в одном лишь опыте...»

— Знаю. Он отказался от твоей помощи.

— Да, Отец. Он хочет, чтобы его защищал человек, рожденный природой.

— Ты обиделся?

— Нет. Но его дело очень сложно.

— Ты обиделся?

— В его деле нужна полная объективность.

«Почему он лжет?» Раздражение, накопившееся за несколько дней, искало выхода.

— Ты обиделся?

«И все же даже Отец не может понять... Впрочем, он не виноват в этом». Вслух:

— Обидели его, Отец. Я чувствую его боль.

— Но он не хочет, чтобы ты вмешивался в его дело.

Раздражение все еще росло.

— Это не только его дело.

— Что ты хочешь?

«Неужели он опять избежит прямого ответа?»

— Отец, разреши мне побывать в очаге эпидемии.

«Может быть, где-то в блоках ассоциаций возникли неожиданные контакты? Слишком уж много эмоциональности».

— Зачем?

— Доказательство невиновности командора Кантова надо искать там.

Петр заметил, как задрожали губы Отца, сдерживая слова, о которых потом надо было жалеть. «Он очень раздражителен сегодня». Петр легким усилием воли включил органы гамма-видения. Он внимательно рассматривал Отца, но одновременно думал и о Кантове и о загадочном возбудителе болезни:

«Вот у гипофиза Отца появляется фиолетовое мерцание. Это ненормально. А причина? Воспалена ткань вокруг нервных волокон, ведущих к гипофизу? Надо исследовать, нет ли других нарушений».

«Командора нельзя винить в том, что он отказал мне. Он сын своего времени. Но если бы я не помог ему, если бы обиделся, моя вина стала бы безмерной. Я ведь могу смотреть со стороны и знаю, как это выглядит...»

«Микробиологи сообщили: возбудитель похож на обычного стафилококка, но у него имеются жгутики. Жгутики — возможность самостоятельного передвижения. У обычных кокков ее нет. Не это ли причина бурного течения болезни?»

— Если ты не прекратишь вмешиваться в его дела, это превратится в унижение для тебя,— испытующе сказал Отец.

«Это ничего не значит для меня. Для них это означает очень много, а для меня — ничего. Не стоит и думать об этом. Гораздо важнее — фиолетовое мерцание у гипофиза. Когда Отец злится, оно вспыхивает ярче...»

«Кантову было очень трудно и обидно. И все же он держался здорово. Как видно, гордость тоже каким-то образом входит в высшую целесообразность. Это интересная мысль. И если она подтвердится, то и мне нужно выработать такое чувство».

«Возможно, какой-нибудь штамм кокков мутировал. Надо выяснить близкие формы. Тогда можно будет определить исходный штамм. Но для этого мне лучше всего самому побывать там».

Он решился напомнить:

— Я жду ответа, Отец.

Вспышки гнева не получилось. Человек устало проговорил:

— Ну что ж...

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРА САУКАЛЬНИСА

— Где найти профессора Саукальниса?

— Там! — Рука стремительно вытянулась, указывая направление. А сам человек даже не поднял головы, углубившись в расчеты.

Но Павел Петрович не уходил. У него болели ноги и шумело в голове. «Этот Центр похож на сумасшедший дом,— думал он.— Тысячи больных с одной идеей фикс».

— Пока не объясните, как разыскать профессора Саукальниса, не уйду,— непоколебимо заявил он.

Человек озадаченно воззрился на него, с трудом отвлекаясь от своего дела и соображая, чего хочет этот нахал. Но вот его глаза слегка прояснились, и он проговорил:

— Подымитесь на следующий этаж, вторая комната справа.

Павел Петрович толкнул дверь — она не открывалась. Он позвонил и услышал голос автомата:

— Профессор Саукальнис вылетел в Танганьику на биостанцию номер семь. Вернется через два дня. Что передать?

Павел Петрович промолчал. Миновав эскалатор, он сел в скоростной лифт. Только оказавшись на улице, передохнул, вызвал по видеофону станцию.

Через несколько минут его накрыла стремительная тень, закружилась — и вот уже круглый, похожий на батисферу гравилет втянул трубы и гостеприимно раскрыл дверь. Павел Петрович опустился в кресло, почувствовал, как в подушки за спиной поступает воздух. Кресло качнулось, приняв форму, удобную для пассажира. Это значит, что анализаторы уже успели послать в вычислительное устройство данные о весе, росте, фигуре пассажира. В щитке, закрывающем пульт, появилось окошко, из него, как грибок, выросла трубка диктофона. Она закачалась перед лицом Павла Петровича и остановилась.

Следователь подтвердил курс, назвал скорость. Автомат переспросил:

— Извините, какая скорость?

— Предельная.

— Прошу выпить аэдин и пристегнуться дополнительными ремнями.

От аэдина Павел Петрович отказался, а дополнительные ремни пришлось пристегнуть.

Дверь захлопнулась, и тотчас на центральном экране появилось светлое пятно. Оно пульсировало, выпустило луч, метнувшийся на боковой экран. Павел Петрович почувствовал, как холодной каменной тяжестью наливается тело, как холод подступает к горлу. «Не в первый и не в последний раз»,— подумал он и потерял сознание. А когда очнулся, перед его глазами танцевали желтые и красные круги.

— Заказ выполнен,— сказал автомат.— Полет вы перенесли на восемь и двадцать один по шкале Венцеля. Пожалуйста, взгляните на экран слева и примите таблетки.

Пластмассовая трубка потянулась к его рту и, как только он разжал губы, угостила его таблетками. Желтые и красные круги исчезли, и сквозь открывающуюся дверь Павел Петрович увидел прямоугольник ландшафта с высоченными травами и низкорослыми пальмами. Неподалеку от места посадки возвышался десятиметровый ствол банана с тяжелыми гроздьями плодов, и не верилось, что это растение не дерево и даже не кустарник, а всего-навсего многолетняя трава. Небо было густым и ленивым.

«Синий сверху и зеленый снизу»,— вспомнил Павел Петрович стихи Вагрицкого и вышел из гравилета. Он убедился, что аппарат точно выполнил заказ и доставил его к самой биостанции, расположенной неподалеку от Дар-эс-Салама, на берегу океана.

Навстречу Павлу Петровичу уже спешил негр в оранжевом шлеме.

— Я следователь Совета, мне нужен профессор Саукальнис,— сказал Павел Петрович.

— Пойдемте, я провожу вас.

Профессора они нашли на берегу океана. Он готовился отплывать на катере.

— Не могли бы подождать часок? — попросил он Павла Петровича.— Ведь чтобы ответить на ваши вопросы, мне придется потратить больше времени.

— Не могу,— ответил следователь.— Меня ждет человек. Каждую минуту он — обвиняемый.

Профессор махнул кому-то рукой, показывая, что придется подождать с выходом в океан.

— Давайте сядем в тени,— предложил он Павлу Петровичу.

Несколько минут профессор молчал, что-то обдумывая. Переспросил:

— Итак, хотите знать, абсолютно ли надежен биологический карантин ракеты типа «В-911»?.. Я хорошо помню этот тип конструкции. Ведь для вашего подзащитного, насколько я понимаю, лучше было б, чтобы я ответил «нет». А мне придется ответить «да». Если все условия карантина соблюдены, инфекция не выйдет за вторую обшивку ракеты. В ее конструкции было много недостатков, но в этом отношении...

— Благодарю вас, профессор, до свидания,— сказал Павел Петрович, вставая с песка, и, отряхиваясь, пошел к гравилету.

Через несколько минут он оказался за сотни километров от Африки.

ТРАГЕДИЯ НА «ПЛАНЕТЕ МИКРОБОВ»

Этот человек, геолог и химик, был очень похож на Кантова. Очевидно, годы полета наложили на них один и тот же отпечаток. Так супруги за долгую совместную жизнь становятся постепенно похожими друг на друга.

Спустя минуту после знакомства Павел Петрович уже проанализировал, *чем* они похожи. Фигура — слегка согнутые и опущенные вниз плечи, бугристые, непомерно развитые мышцы груди и спины. Оранжевый загар. Постоянно прищуренные глаза, привыкшие быть в напряжении. Оценивающий, настороженный взгляд словно спрашивает: что ты такое, чего от тебя ожидать?

А что отличает их друг от друга — геолога и химика Истоцкого от командора Кантова? Форма носа или рта? Носы у них разные, а рты одинаковы: с крепко сжатыми, будто окаменевшими губами. У Истоцкого чуть темнее волосы, чуть выпуклей лоб. Очевидно, лицо подвижнее. И подбородок у геолога не острый, как у Кантова, а более полный, с разделяющей впадинкой.

Но было еще какое-то различие — основное. Павел Петрович это чувствовал, а определить не мог. Это раздражало его.

Зажглась лампочка на столе, и запищал сигнал. Истоцкий нажал на клавишу, автоматически открывая дверь. Просторная комната сразу стала тесной: в ней появился Петр.

Истоцкий удивленно смотрел на него, готовясь задать вопрос. Павел Петрович предупредил его:

— Это мой коллега.

«Ну и ассистенты теперь у следователей!»,— подумал Истоцкий, с уважением глядя на ручищи гиганта.

И вдруг Павел Петрович понял, в чем главное отличие геолога от командора Кантова. Не в цвете волос, не в лице... Незначительная, казалось бы, деталь: у Истоцкого небрежно застегнута куртка, из-под нее выбивается сорочка в желтую клетку. И сразу же вспоминаешь, как на все «молнии» была наглухо, под подбородок застегнута куртка обвиняемого Кантова.

— Расскажите о командоре. Какой он человек? — попросил Павел Петрович.

— Кто же может рассказать о человеке? Да еще о таком, как наш командор? Если я скажу, что он умный, волевой, смелый, то это ведь и так понятно. Будь он другим, как бы он стал командором?

Рука Истоцкого, словно существуя сама по себе, застегивала и расстегивала «молнию» куртки. А в глазах, в самой глубине их вспыхивали и лопались, как пузыри, воспоминания, на которые никто, даже следователь, не смел посягнуть.

Павел Петрович уже понял, чего ему не добиться от Истоцкого. Оставалось выяснить, чего он сможет добиться.

— Пусть будет так,— сказал следователь.— Я же не писатель, и меня не интересует образ командора и всякие там интимные подробности. Мне важно знать об одном: он умел быть жестоким?

Павел Петрович не очень надеялся, что Истоцкий поймет вопрос. Но геолог понял, подался вперед, заглядывая в глаза следователю, чтобы убедиться, правильно ли понял. Павел Петрович поспешил уточнить:

— И еще одно... Мне говорили, что у тех, кто улетает в дальние рейсы, тоска по Земле возрастает во много раз...

По выражению лица Истоцкого он понял, что совершил ошибку, переборщил. Но отступать было поздно.

Рот Истоцкого насмешливо искривился. Только рот — глаза в этом не участвовали.

— Вы хотите знать...— начал он, и это «вы» звучало, как «вы, которые не были там».

«А может быть, и хорошо, что он разозлился»,— мелькнула мысль у Павла Петровича. Следователь взглянул на Петра. Лицо гиганта оставалось невозмутимо-доброжелательным.

— Ладно,— сказал Истоцкий и словно отсек какую-то мысль.— Если вы хотите узнать о тоске и жестокости... Вы никогда не мечтали встретиться с теми, кого называют братьями по разуму? А теперь представьте, как стремятся к ним те, кого послали их искать. Да еще после многих лет полета в черной пустоте с никчемушными астероидами, метеоритами, всякими там звездами...

Он метнул взгляд на Павла Петровича, на Петра...

— И вот, наконец, планета. С разреженной атмосферой. Большой процент металла. Почти горючая смесь. Мы уже начали привыкать ни на что не надеяться. И, как бывает в романах, вдруг... Пирамиды... Да, мы увидели пирамиды. Метров по семьдесят — восемьдесят в. вышину, безупречно правильной формы. Запустили телезонды. У подножия пирамид виднелись отверстия, похожие на выходы туннелей. Командор приказал запустить информационные автоматы — передатчики линкосов. Когда все программы исчерпались, мы начали импровизировать. Шли часы... Нам никто не отвечал.

Тогда в путь отправились автоматы-разведчики. Они спустились в туннели.

Истоцкий больше не обращал внимания на слушателей. Он словно вспоминал для себя:

— Шесть роботов по шести туннелям двигались, разведывая планету. Стены туннелей светились. Они были покрыты затейливыми орнаментами, выложены мозаикой из овальных бляшек, похожих на панцири черепах. Роботы брали пробы со стен, исследовали их состав. Выяснилось, что бляшки состоят из колоний микробов. Впрочем, разумные обитатели планеты могли для внутренней отделки туннелей использовать микробы.

Наконец, первый робот передал, что туннель, по которому он двигался, закончился тупиком. Здесь мозаика была иной, меняла рисунок. Вместо бляшек на стенах сверкали отдельные точки размером с булавочную головку. Они тоже состояли из микробов, но другого штамма.

Через полтора часа после первого второй робот доложил, что его туннель также окончился тупиком. Через сорок минут о том же доложил третий робот, затем остальные. И в конце каждого туннеля ослепительно сверкали «булавочные головки».

Выяснилась любопытная деталь. У одного из роботов произошла неполадка с освещением. Исправляя ее, он несколько раз переключил свои прожекторы. И вот через несколько минут стена туннеля замерцала точно в таком же ритме, повторяя вспышки прожекторов. Это могло быть случайным совпадением. Мы передали команду роботам повторить вспышки. И снова, как эхо, во всех шести туннелях стены ответили пульсирующим мерцанием, повторили порядок вспышек.

Знаете, о чем мы подумали? Ну, конечно. Мы искали их и во всем видели проявление их деятельности. Наш молодой биолог Антон попросил у командора разрешения отправиться в вездеход на разведку. Я хотел идти вместе с ним. Командор сказал: нет.

Мы повторяли сигналы, каждую минуту ожидая ответа. В конце концов нам начал чудиться ответ в треске шаровых сиреневых молний, возникающих в атмосфере этой планеты.

Назревал протест. Мы потребовали Чистилища. Командор оттягивал его. Он верил в свою правоту и надеялся, что время докажет ее.

Командор сказал:

— Это — ваше право. Но по Уставу в данной ситуации, а она соответствует параграфу А-7, я имею право на двое льготных суток. Итак, пока они не истекут, вам не перезабрать меня и не отменить моего приказа. Ни один человек из ракеты не выйдет. Прошу всех разойтись по своим местам и заняться работой!

Его расчеты оправдались. За двое суток наш азарт остыл, а на третьи стены туннеля, приняв наши сигналы — схему солнечной системы,— ответили иной схемой. Они скопировали наши обозначения, но расположили их по-иному. Центр, или то, что мы принимали за центр,— белое яркое пятно,— размещался на периферии чего-то похожего на рукав.

Мы еще ничего не понимали, когда наш кибернетик Семенов сказал:

— Это схема туннеля. Так они изобразили туннель.

Ему начали возражать, и он предложил:

— Давайте передадим их схему туннеля, как мы ее представляем, и убедитесь сами.

На этот раз мы получили веское подтверждение правоты Семенова — тысячи раз повторенное изображение туннеля на всем протяжении мерцающих стен. Но это снова была только отраженная копия наших сигналов — от себя они ничего не добавили к ней.

Командор закрылся в каюте с Семеновым, и сутки мы их почти не видели. Они разработали программу сигналов, основываясь на свойстве неизвестных существ отражать и повторять информацию.

Некоторого успеха мы добились на тридцать второй передаче. Их реакция была по-прежнему очень похожа на эхо, но из всей информации они выбрали те части, которые можно было использовать для ответа.

Разговор выглядел примерно так:

«Начинаем передачу. Вы ее принимаете?»

Они:

«Принимаем».

Мы:

«Где вы находитесь? Туннели ведут к вам?»

Они:

«Туннели ведут».

Мы:

«Туннели кончаются тупиками. Может быть, это не тупики, а перегородки? Чтобы продолжить путь к вам, нужно пробиться сквозь них?»

Они:

«Тупики».

Мы:

«Но где же вы находитесь? Если мерить путь вышиной самой большой из ваших пирамид, сколько таких отрезков до вас?»

Они:

«Туннели».

Мы:

«Какую форму имеете вы? Какую форму имеют жилища, в которых вы находитесь?».

Они:

«Туннели».

И дальше на все наши вопросы они отвечали одним обозначением — «туннели».

Честно говоря, я подумывал тогда, что они или мы что-то не поняли в системе обозначений, но командор думал по-иному. Он уже догадывался, в чем дело, и сразу же принял меры. Он спас жизнь всем нам. Нет, не всем...

Истоцкий внимательно посмотрел на слушателей, кивнул головой Павлу Петровичу, будто говоря: вот так-то... Затем продолжал:

— Командор спросил, кто принимал двух роботов, вернувшихся из туннелей. Оказалось, Семенов. Он поручился, что роботы прошли полный карантин, а сейчас стоят в грузовом отсеке, в изолированной камере. Семенов добавил, что к ним никто не притрагивался. Он забыл лишь сказать, что проверял дверь камеры и касался ее руками.

Теперь командор закрылся в каюте с Антоном, биологом. Я видел, как на одном из контрольных экранов-пультов зажигались огоньки, как плясала стрелка камеры перепада. Это командор и биолог включали мезонные и нейтронные микроскопы, установки для энергофореза, анализаторы фракций...

Выйдя из каюты командора, Антон выглядел растерянным. На наши вопросы он отвечал односложно: «Сейчас, сейчас, погодите»,— а сам о чем-то напряженно думал, что-то пытаясь осознать.

Затем начался новый «разговор» с жителями планеты. Командор передавал:

«Если мы вас правильно поняли, вы находитесь в туннелях?»

Они ответили:

«Туннели».

Командор:

«Или же вне туннелей?»

Он показывал им разные геометрические фигуры — треугольник, круг,— но они в ответ передавали лишь один рисунок, который должен был означать — туннели.

Командор:

«Форма ваших тел — туннели?»

«Туннели».

«Ваши жилища?»

«Туннели».

И тогда на контрольном телеэкране возникла в четком рисунке догадка командора, переданная на стены туннелей. Мы увидели в тысячи раз увеличенное изображение микробов, обнаруженных в «ракушках» и «булавочных головках». В ответ на стенах туннелей замерцали миллионы таких же изображений.

Командор созвал всех нас на ОС — общий совет. Он сказал:

— Итак, всем ясно, что эти существа — колонии микроорганизмов. Антон предполагает, что они по уровню развития находятся где-то между человеком и муравьем. Это, конечно, очень неточное сравнение, но точного в данной ситуации не найти. Если судить по возможности переработки информации, то они, кажется, способны скорее подражать, чем проявлять инициативу и творчество. На своей схеме они выделили пятном место, где находятся «булавочные головки» — будем их пока так называть. Если следовать гипотезе, предложенной Антоном, и проводить аналогию с муравьями, то можно предположить, что эти штаммы являются главнейшими — маточными, а те, что содержатся в «ракушках», выполняют обязанности «рабочих» — добытчиков энергии и веществ, необходимых для жизни. В то же время, возможно, «булавочные головки» могут осуществлять роль своеобразных «клеток мозга». Выяснением всего этого мы и займемся.

Командор медленно поворачивал голову, стараясь каждому из нас заглянуть в глаза, и говорил:

— Еще раз предупреждаю о строжайшем выполнении параграфа седьмого пункта «А». Соблюдать полную осторожность. Это существа с иным способом переработки информации, с иными свойствами. Пока мы не получили более полных сведений об их образе жизни, запрещаю покидать ракету и прикасаться к предметам, которые роботы доставят извне, и к самим роботам.

Последняя часть его приказа, как оказалось, была лишней. Не прошло и суток, как телепередачи из всех шести туннелей внезапно прекратились. Мы послали роботам приказ вернуться. Но они не выполнили его.

— Шесть роботов одновременно...— сказал Семенов и с сомнением покачал головой.— Это не похоже на обычные поломки. И не напоминает дружеских намерений. Скорее всего они уничтожили роботов или каким-то образом присвоили их.

У него была привычка тыкать в слушателей пальцами, как будто это делало его доказательства весомей. И вот когда его длинный указательный палец уперся в мою грудь, я заметил, что ноготь на нем синий, словно его придавили.

— Ты, кажется, ушиб себе пальцы о слушателей,— пошутил я, и он невольно взглянул на свой указательный, а потом на остальные пальцы. Ногти на всех были синими, как лазоревые камешки.

И, знаете, первым придал этому значение он. Именно он, а потом уже доктор и командор. Может быть, Семенов вспомнил, что притрагивался к дверям камеры, где стояли те два робота. Первым делом он решил проверить, что стало с ними.

Вместо роботов мы увидели на экране две кучи трухи. Зато стены камеры мерцали и переливались, словно в них были вкраплены алмазы и рубины.

Как вы понимаете, первым делом Семенов отызолировался от всех нас. Вместе с ним, вопреки указаниям командора, остался доктор. Командор ничего не мог поделать: в данной ситуации параграфы Устава давали врачу широкие полномочия. Но уж остальным участникам экспедиции командор запретил даже касаться двери каюты, где находился больной. Еду Семенову и доктору доставлял транспортер, причем та часть его, которая входила в каюту, всякий раз отсекалась и ликвидировалась.

Через несколько часов доктор сообщил, что все средства, которые имелись в его распоряжении, бессильны. Микробов ничто не брало. Существа, выжившие в условиях этой планеты, неуязвимы. Состояние Семенова ухудшалось, повысилась температура, появились признаки удушья...

Павел Петрович незаметно подал знак Петру — асфиксия-Т начиналась с легкого удушья, которое быстро нарастало.

— Как это ни странно, доктор не заразился от Семенова. Да и у кибернетика наступило облегчение, спазмы в горле прошли. На память о болезни остались только синие ногти. И еще одно: титановый перстень, который он не снимал с пальца,— память о ком-то,— рассыпался в прах.

Мы понимали, что радоваться рано: болезнь могла возобновиться у нашего товарища с новой силой, возможно, она протекала приступами.

Командор все эти часы был угрюм и молчалив. Он вызвал меня и приказал прощупать ультразвуковыми и мезонными лучами стенки камеры, где находились две груды металлической трухи — остатки роботов.

Представьте себе мое состояние, когда зеленый луч на шкале мезомикроскопа начал рисовать пятна, показывая образовавшиеся в стенах камеры эрозии и поселившиеся там колонии микробов. Мы попробовали применить против них ионный душ, различные жидкости — ничто не помогало. Появлялись все новые и новые колонии. Они питались металлом, росли на нем быстрее, чем бактерии на агаре.

Командор торопил Антона, выяснявшего структуру микробов. Исследования затруднялись тем, что наш биолог был знаком с объектом лишь «заочно» — через целую цепь передач с экрана на экран. Он применил микроманипуляторы, но это не давало высокой точности при анатомировании микробов.

Параллельно командор по видеофону все время советовался с Семеновым. Они пытались выработать план связи с «мозговыми центрами» микробов, находящимися в туннелях.

Туда были высланы еще два робота. На наших экранах снова появились мерцающие стены с вкрапленными в них «черепашками». От прежних наших роботов в туннелях не осталось и следа, зато «черепашки» в отдельных местах стен разрослись и уже не мерцали, а сверкали.

Командор передал изображение ракеты, затем изображение туннеля, которое было им хорошо известно. Он показывал, что, когда гаснет изображение ракеты, гаснет изображение туннеля. Это должно было означать одно: «Прежде чем вы уничтожите ракеты, мы уничтожим туннели».

В течение трех часов он беспрерывно посылал световые сигналы, используя уже проверенные элементы «азбуки» и вырабатывая новые. Но «разговор» не становился содержательным. Вот примерно то, что я запомнил из него:

Командор:

«Вам необходим для размножения металл?»

Они:

«Металл».

Командор:

«Но мы можем оставить вам только ненужные нам предметы. Ответьте, сумеете ли сделать так, чтобы на ракете вас не осталось?»

Может быть, он надеялся, что по каким-то неизвестным нам линиям связи они смогут отозвать из ракеты свои полчища. Но скорее всего

он это делал потому, что один из параграфов Устава требовал, чтобы при встрече с существами, проявляющими признаки разума, были предприняты все попытки мирных контактов.

Они ответили:

«Металл».

Они отвечали этим словом и на все другие вопросы. Через три часа оба наши робота умолкли навсегда.

Истоцкий зачем-то посмотрел на свои пальцы и рассеянно проговорил:

— Когда я вспоминаю обо всем этом теперь, мне кажется, что «разум» микробам мы приписывали — уж очень нам тогда хотелось во всем видеть его проявление. А их ответы — просто совпадение в искажениях наших сигналов и отражении их стенками туннелей.

Павел Петрович как бы невзначай постучал пальцами по спинке кресла, и Истоцкий понял, что уходит в сторону от основной линии своего рассказа.

— Нужно было безотлагательно принимать решение. Ведь микробы в ракете продолжали размножаться. И командор приказал Семенову готовить генхас.

— Генхас? — переспросил Павел Петрович.

— Аппарат имел индекс, но мы называли его генхас — генератор хаоса. Когда-то он был самым мощным оружием космонавтов, исследующих другие планеты. Основная аппаратура размещалась в корабле, занимая примерно пятую часть его площади. Космонавты могли брать с собой пистолеты, в которых находились заряды, и приемник команд от кибермозга генхаса. Кибермозг имел обширную память, в ней хранились записи о миллиардах ритмов, характерных для живых существ.

Кибермозг управлял манипуляторами, которые исследовали объект уничтожения — то ли на расстоянии с помощью спектрального анализа и локации, то ли непосредственно,— выявляли характерный для него основной ритм. А затем кибермозг посылал команду исполнительной системе и создавал импульсные потоки различных ядерных частиц. Управляя ритмом импульсов, он нарушал основной ритм объекта, вносил хаос — и объект неминуемо распадался. Кстати, генхас можно использовать и для стимуляции.

Когда Семенов доложил о готовности, командор созвал десятиминутный ОС...

Теперь только Павел Петрович отметил, что Истоцкий за все время рассказа ни разу не назвал командора по фамилии, словно тот для него существовал лишь как должностное лицо, а не как личность.

— Семенов и доктор присутствовали на ОСе заочно, по видеофону. Собственно говоря, совещаться было не о чем. Разве существовал какой-то выбор? Но командор хотел соблюсти параграф Устава. Оказалось, что он прав: возражающий нашелся. Это был Семенов. Он возражал не вообще против применения генхаса, а против использования нейтронных потоков. Ведь они бы уничтожили, по сути дела, все колонии микробов на планете.

— Можно попытаться использовать потоки с меньшей проницаемостью,— предложил он.

— У нас нет времени для экспериментов,— перебил его командор.

Семенов не отступал:

— Тогда сначала взлетим, а генхас запустим уже за пределами атмосферы этой планеты.

— Время,— беспощадно сказал командор.— По-моему, кроме вас, всем ясно, что вы и Антон ошиблись. Эти существа по развитию намного уступают муравьям. А способностью к отражению сигналов обладает и неорганическая природа. Но только в сказках эхо считали живым существом. Здесь мы встретились с особым эхом. Его можно было бы назвать выборочным... К сожалению, у нас нет возможности продолжать исследования. Нет времени даже для лишних разговоров. Каждая минута увеличивает риск. А вы хотите, чтобы из-за ваших предположений мы рискнули жизнью людей и добытыми сведениями?

И не ожидая ответа Семенова, командор сказал:

— Выполняй приказ!

Павел Петрович поднял голову и пристально посмотрел в глаза Истоцкому, словно спрашивая: и он выполнил?

— Семенов включил генхас. Думаю, его состояние было похоже на состояние летчика, сбросившего первую атомную бомбу. Одновременно мы начали готовиться к старту. Никто из нас, кроме командора и Семенова, больше не видел на экране туннелей. Но мы хорошо представляли, что могло там остаться: немые стены, которые больше не ответят ни на чьи сигналы.

Антон проверил лучевыми индикаторами стерильность ракеты.

Командор сверился с параграфами Устава и разрешил доктору, если тот находит это безопасным, выйти из «заточения». Доктор сказал, что и Семенов больше не является больным, что синие ногти — остаточные явления. Но командор приказал Семенову пока оставаться в каюте. Вернее всего, он хотел перестраховаться, ведь в Уставе нет параграфа о «синих ногтях». Доктор говорил ему, что у Семенова тяжелая психическая депрессия, что ему необходимо быть среди людей.

Настал день, когда видеофон в каюте Семенова не ответил на вызов. Семенов принял яд...

Истоцкий встретился взглядом с Павлом Петровичем, замолчал, что-то вспоминая.

— Ах да, вы ведь спрашивали еще, очень ли мы тосковали по Земле, по людям. После всех этих мертвых просторов и «разумных» микробов...

— Понятно,— прервал его Петр.

Геолог удивленно подумал: «А что ты понимаешь в этом?» Он не подозревал, что гигант мог увидеть образы, возникающие в его мозгу,— достаточно было включить телепатоусилители. Но в действительности Петр не сделал этого. И геолог еще больше удивился бы, узнав о причине...

Окончание следует.

ГИГАНТ ОСТАЕТСЯ НА МЕДБАЗЕ

«Теперь мне известно:

Во-первых, случай асфиксии-Т зарегистрирован у человека, с которым поговорил штурман. И этот человек и штурман погибли от болезни.

Во-вторых, возбудитель асфиксии-Т устойчив к двадцати тысячам сильнейших лекарственных препаратов. Это все, что медики пока успели испробовать.

В-третьих, несмотря на применение генхаса, какая-то часть микробов могла уцелеть.

В-четвертых, экипаж ракеты, находясь долгое время в космосе, заболел ностальгией. Оказавшись опять на родине, космонавты, естественно, думали не о соблюдении карантина, а о том, как поскорее выйти из корабля. Мог ли Кантов сдержать их, заставить выполнить все условия карантина? И каково состояние самого Кантова после смерти Семенова?

И есть еще несколько вопросов:

Почему асфиксия-Т проявилась у штурмана так поздно, спустя почти два года после посещения планеты?

Почему приборы в карантинном пункте показали стерильность?»

Павел Петрович еще раз перечислил в памяти все эти факты, расположил их в ином порядке. Но ничего нового не обнаружил. Он подумал: «Как бы там ни было, чтобы ответить на два последних вопроса, надо больше знать о возбудителе болезни».

— Полетим на Медбазу?— спросил Петр.

Павел Петрович повернул голову к гиганту, подумал: «Судя по всему, он выключил свои телепатоусилители в комнате Истоцкого, а сейчас включил их. Почему?»

— Ты повезешь меня?

— Хорошо,— с готовностью сказал Петр.— Вряд ли это будет таким же комфортабельным путешествием, как в аппарате, но тут ведь недалеко.

Он поднял Павла Петровича на руки, как поднимают детей, образовал защитную оболочку и включил гравитатор.

Вдали показался многоэтажный диск, сконструированный из пластмасс, металла и стекла и внешне похожий на слоеный пирог. Диск висел в пятистах метрах над землей, покрытый матовой пленкой. Это и была передвижная база Медцентра.

Главный микробиолог никого не принимал. С трудом они пробились к его заместителю.

Профессор Мрачек, грузный мужчина с совиным профилем, тоже собрался спровадить их еще к кому-то, но Павел Петрович категорически сказал:

— Э, нет, знаю я эту кутерьму. Считайте, что я уже воспользовался правами следователя Совета, о которых я пока деликатно не упоминал. Приношу соболезнования, дорогой профессор, но вам придется ответить на наши вопросы.

Мрачек издал нечто среднее между воплем и стоном. Его большие глаза нетерпеливо уставились на посетителей.

«Глаза расширены от стимуляторов,— подумал Павел Петрович.— Сейчас работникам Медцентра не до сна. Но все мое сочувствие может выразиться лишь в том, чтобы не задавать лишних вопросов».

Он сказал:

— Меня интересует: мог ли человек преспокойно носить в себе эти проклятые бактерии два года и не подозревать, что болен?

— Болезнь — состояние уже борющегося организма,— быстро проговорил профессор.

— Но два года!— напомнил Павел Петрович.

— На ваш вопрос следует все же ответить «да, мог»,— торжественно сказал он и поднял указательный палец кверху.— Представляете ли вы, что такое выживаемость микробов? Слышали ли вы о латентном состоянии? Всю жизнь в нашем теле скрыто, замаскированно находятся сотни штаммов болезнетворных микробов, а мы не знаем о них. И даже такой активный микроб, как возбудитель асфиксии-Т, находясь в неблагоприятных условиях, мог сидеть в подполье, не размножаясь. Кстати, буквально в последние часы мы выяснили, что он способен образовывать споры. А споры микробов в организме обнаружить трудно даже при тщательном анализе. И больше того, микроб мог храниться не в готовом виде, а в «чертежах» — как ошибка или добавка к «записи» в нуклеиновых кислотах клеток. В таком случае обнаружить микроб почти невозможно.

Павел Петрович хотел сказать: «Спасибо, профессор, вы уже ответили на все мои вопросы»,— но Мрачек продолжал:

— А этот необычный кокк обнаруживает изумительный, бесподобный механизм приспособления. Я бы сказал, что это сравнимо лишь с приспособляемостью разумного существа.

— Что?— невольно вырвалось у Павла Петровича. В его памяти зазвучали слова Истоцкого...

Профессор Мрачек улыбнулся:

— Сравнение — и ничего больше. Но судите сами, разве это не само совершенство? Одноклеточное существо, без сложных систем защиты—и тем не менее защищается против самых сильных средств, известных медицине. Мы начинаем энерготерапию — микроб образует спору. Вводим в кровь тиноазу — он вырабатывает особый фермент и расщепляет ее. Обильно омываем горло больного антибиотиками — микроб уходит из поверхностных клеток в те, что расположены под ними: всегда на такую глубину, где его не достанет раствор. Он опускается все глубже и глубже, парализует токсинами местные нервные центры, и они не посылают сигналов. Больной не чувствует никакой боли — организм не включается в борьбу... У каждого штамма есть своя стратегия и тактика, а у этого особая. Он всегда готов прикрыться щитом, превратиться в спору, он очень быстро «переодевается», настоящий артист!

Окончание. Начало см. в № 14.

И. РОСОХОВАТСКИЙ

Рисунок **Г. НОВОЖИЛОВА**

ДЕЛО КОМАНДОРА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Вспыхнула сигнальная лампочка на календарном стенде, осветив табличку с несколькими словами и расположенные рядом часовые стрелки. Профессор взглянул на стенд, на стрелки — его лицо стало испуганным.

— Простите, дела вынуждают меня прервать беседу. В приемной вас ожидает робот из информотдела. Он ответит на остальные вопросы. Будьте здоровы!

В приемной их встретил робот, похожий на кузнечика, стоящего на задних ножках. Усики антенн слегка покачивались.

— Я бы хотел заглянуть в клиники,— сказал ему Павел Петрович.

— Клиники,— повторил робот по-женски мягким голосом. Из его груди выдвинулась трубка проектора, метнулся луч — и стена приемной исчезла. Вместо нее — палата. Больной полулежал-полусидел на автоносилках, опираясь на дрожащие руки. Он словно тянулся к чему-то, ему не хватало воздуха, ноздри судорожно раздувались, лицо посинело.

Павел Петрович почувствовал спазмы в горле. Ему тоже не хватало воздуха.

— Довольно,— прохрипел он, и стена-экран погасла.

— Есть ли выздоровевшие?

— Есть!— тотчас откликнулся робот.— По сведениям информотдела, три целых и две десятых процента больных выздоравливают.

Павел Петрович, а за ним гигант направились к выходу из приемной. Робот побежал было вслед, спросил:

— Больше не нужен?

— Нет,— спохватился Павел Петрович.— Можешь быть свободен.

В коридоре гигант остановился. Спросил у своего спутника:

— Вы хотите покинуть Базу?

— А разве у тебя есть еще здесь дела?—удивился Павел Петрович.— Я думал, ты полетишь со мной. Ведь из всего экипажа ракеты мы пока беседовали лишь с двумя...

— Я остаюсь,— сказал Петр.— Если узнаю что-нибудь новое о болезни, сообщу вам.

ВИНУ МОЖНО СЧИТАТЬ УСТАНОВЛЕННОЙ...

Стрелка-индикатор инерциальной системы дрогнула и метнулась ввысь. Голубовато светилось и мерцало контрольное окно пульта. Казалось, что в нем перекатывается хрустальный шар и по его поверхности беспрерывно бегут тени. Павел Петрович опустил тяжелые веки, под них проникала узенькая мигающая полоска. Но он уже видел иное — то, что лучше было бы забыть: человек приподнялся на дрожащих руках, ноздри раздуваются так, что вот-вот лопнут от напряжения. Синее лицо — такое бывает у утопленника,— струйки пота стекают по нему, как вода.

Кто-то когда-то сумел предвидеть это. И в Кодексе появились два жестких слова: «Карантинный недосмотр».

Павел Петрович вспоминает фразу профессора Мрачека: «Сравнимо с приспособляемостью разумного существа». И затем: «Это—только сравнение». Для него — да. Но для того, кто слышал рассказ Истоцкого, это не только сравнение.

«Хорошо, что Кантов не был на Базе и не видел того, что видели мы».

«Я думаю так, как будто его вина уже установлена».

Он понял, что хитрит с собственной логикой.

«Да, его вину можно уже считать почти доказанной. Но как я ему скажу об этом? Как ему скажет об этом Совет? Вы виновны по статье семнадцатой, параграфы седьмой и восьмой? А он слушает информсводки и знает, сколько людей погибло от асфиксии-Т... Что он сделает, узнав о своей вине? После такого нельзя ни жить, ни умереть. Нужно сделать что-то огромное, чтобы искупить вину. Нет, это абсурд! Чем можно искупить смерть людей? Даже если принести человечеству новое знание или новое умение, это не снимет вины перед мертвыми и перед теми, кому они были дороги. Искупления нет. И все же ему придется

— Разрешите вызов,— говорит он врачу.

Павел Петрович видит палату, синее, искаженное страданием незнакомое лицо.

«Смотри! Смотри!» — приказывает он себе.

Он знает, что это она, и не может ее узнать. И женщина на экране отчужденно смотрит на него, мимо него. Он понимает: она не видит его, она не может ни о чем думать, кроме боли. Она прислушивается к своему дыханию. Сквозь горло с трудом проходят тонкие иссякающие струйки воздуха. Ей не хватает воздуха.

У него в голове мелькают ненужные сейчас обрывки воспоминаний. Она говорила: «Ты мне необходим, как воздух». Но воздух необходимее. Кто-то сказал о любви: «Сильна, как смерть». Но слабее боли. «Такими нас устроила природа».

Он позвал:

— Надя!

Она посмотрела на него, узнала, кивнула: дескать, видишь, какая я сейчас... И снова ее лицо стало иным — она забыла о нем, она могла думать лишь о своем горле и о воздухе.

Он закричал:

— Надя! Надя! Ты слышишь?!

И опять лишь на миг ее глаза остановились на нем...

жить. Он мог бы и не запрашивать Совет, притвориться, что не подозревает ни о чем или не знает законов. Но он воспользуется своим правом знать. И тогда...»

Павел Петрович принял срочный вызов по видеофону. Он ответил позывными и включил прием. На экране возникло лицо доктора из клиники, куда недавно поместили его жену. Павел Петрович понял все еще до того, как доктор успел произнести первое слово. И доктор увидел, что он все понял. Сказал поспешно:

— Она жива.

Слова больше не имели смысла для Павла Петровича. Доктору следовало сказать: «Еще жива».

— У нее асфиксия-Т? — спросил Павел Петрович.

— Да,— ответил доктор, не глядя на него, думая: «Никакие утешения тут не помогут. Ни к чему. Он знает, что это за болезнь».

— Я хочу ее видеть.

Врач притворился, будто не понимает:

— Разрешаю вызов.

— Я хочу к ней.

— Это исключено. Постановление Совета.

Павел Петрович помнит. Он сам голосовал за это. Меры, предложенные Медцентром: полная изоляция больных. «Иначе асфиксию-Т не остановить»,— сказал представитель Медцентра, и Павел Петрович тогда согласно кивнул головой.

«Карантинный недосмотр...»

Лицо врача:

— Вы только мучите ее.

Павел Петрович выключил видеофон.

«Ничего сделать нельзя».

Он впервые осознал полное значение этой фразы. Можешь умолять, любить, ненавидеть, ломать все, что попадется под руку, можешь проклинать или звать на помощь — ничего не изменится. Какие-то микроскопические твари... Какой-то человек, забывший о долге... Карантинный недосмотр — и вот...

Контрольный пульт лихорадочно мигал. Прозвучал резкий звонок, и бесстрастный голос произнес:

— Вы прибыли в пункт назначения.

Павел Петрович наконец-то вспомнил, куда и зачем он летел.

Он вышел из аппарата и оказался на плоской крыше дома. Эскалатор опустил его к подъезду, пронес в оранжерею. Там следователя встретил робот и провел к своему временному хозяину. Павел Петрович увидел полного, широкоплечего мужчину, очень добродушного с виду и какого-то удивительно устаревшего, будто явившегося из двадцатого или даже девятнадцатого столетия. Ему бы очень пошли висячие усы.

— Здравствуйте,— поздоровался Павел Петрович.

Ему показалось, что доктор должен ответить: «К вашим услугам». Но доктор просто кивнул в ответ и взглядом указал на кресло. В комнате присутствовал слабый аромат, и, хоть он показался следователю знакомым, Павел Петрович не смог определить, чем пахнет.

— Я знаю, зачем вы прилетели,— сказал доктор.— Но вряд ли смогу быть полезен.

Павел Петрович заметил, что у него огромные руки, наверное, очень сильные, и на пальцах — кустики рыжеватых волос.

— Всего несколько вопросов по фактам, Кир Николаевич,— попросил он и, словно между прочим, обронил: — Меня не интересуют ваши личные отношения с Кантовым.

Доктор облегченно вздохнул.

Следователь обвел взглядом комнату, заметил, что она обставлена нестандартно и очень уютно. Как видно, доктор любит комфорт. Но чем же все-таки пахнет? Похоже на венерианские цветы.

— После смерти Семенова командор сильно изменился? Его приказы, действия резко отличались от прежних?

«Нет, это не запах цветов...»

— Пожалуй, он сильно изменился,— неторопливо и не очень уверенно сказал доктор.

Он словно взвешивал каждое слово перед тем, как его произнести, и следователю показалось, что он уже знает одно из главных качеств доктора. Павел Петрович подумал: «Если моя догадка верна, то он должен часто употреблять такие слова, как «пожалуй», «может быть», «в основном»...

— Но его приказы и действия в основном остались такими же, как прежде. Он изменился внутренне, но не внешне. Семенов шутил: дескать, если бы точно не было известно, что командор — человек, то я заподозрил бы, что он переодетый робот.

«Слова его скользят, как рыбы,— подумал о докторе Павел Петрович.— Но там, где он не употребляет «кажется» и «может быть», ему можно верить на все сто процентов».

Доктор помолчал, пожевал губами, затем произнес:

— И все же, пожалуй, его действия не могли оставаться точно такими же. Когда человек меняется душевно, когда наступает психический перелом, это не может не сказаться на поведении.

«Произнося слова, он все еще обдумывает их. Его речь похожа на думанье вслух». Павел Петрович вспомнил о том, что рассказывал Истоцкий о поведении командора. Итак, кое-что можно считать установленным. И он спросил:

— Вы не замечали во время прохождения карантина какой-нибудь небрежности? Ослабил ли командор требования, не упустил ли чего-нибудь?

Доктор взял со столика красивую костяную безделушку и, вертя ее в пальцах, посмотрел на следователя снизу вверх, исподлобья.

— Может быть, он и ослабил требования. Во всяком случае, это можно допустить. Но, предупреждаю вас, я всегда плохо понимал командора. Слишком мы разные люди.

«Это я понял и без твоих слов»,— подумал следователь, рассматривая этикетки на винных бутылках, выстроившихся в стенном шкафчике. Теперь лишь он определил, чем так пахнет в комнате,— женскими духами «Галактика». Он произнес, вставая, предварительно загадав, что должен ответить доктор:

— Сегодня повторно передают балет «Вега». Скоро начало. Не буду вам мешать.

— Что ж, посмотрю его вторично,— улыбнулся доктор.

— Всего вам доброго,— сказал Павел Петрович, прощаясь, и мысленно ответил себе вместо доктора: «Будьте здоровы».

— Будьте здоровы,— произнес доктор, вставая, чтобы проводить гостя.

Павел Петрович представил, как вот так же просто, вопреки приказу командора этот жизнелюбивый эпикуреец вошел в каюту Семенова, чтобы лечить его или умереть с ним.

Осветился пульт управления гравилета. Поплыли на нем полосы, пятна. А Павел Петрович все еще думал о докторе, снова и снова вспоминая его сильные, добрые руки и запах духов, пытаясь заглушить этими воспоминаниями нарастающую боль в сердце. И он уже знал, что ему не удастся надолго оттянуть ее, что придется думать о двух людях, с которыми она связывала,— о жене и командоре Кантове, чью вину можно считать установленной. И если остальные семь следователей не представят Совету никаких фактов, которые бы по-новому осветили это дело, то Совет должен будет принять решение...

РЕШАЮЩИЙ ОПЫТ

Получив разрешение у главврача, Петр покинул Базу Медцентра и устремился к медгородку, расположенному на земле. Он пролетел над крышами клиник, где умирали больные, пораженные асфиксией-Т. Ему показалось, что и ветер здесь стонет, как больной.

Петр опустился у прозрачного параллелепипеда центральной наземной лаборатории, прошел через несколько дверей-фильтров и оказался в первом зале. Сюда по автоматическим линиям из клиник поступали культуры микробов для анализов, сортировались, производились посевы. Блестели усики-термометры на термостатах, тихо жужжали ультрацентрифуги, щелкали ножи автомикротомов, нарезая тончайшие пленки.

Во втором зале у микроскопов и установок для энергофореза хозяйничали роботы. В третьем мигали индикаторами вычислительные машины узких профилей. Они подсчитывали результаты анализов, сводили их, сравнивали, многократно проверяли.

Открыв дверь, Петр увидел гиганта — такого же, как сам. Внешне их можно было различить лишь по цвету глаз, по форме верхней части лица, по одежде. Но Петр своими энергоанализаторами, расположенными над глазами, уловил существенное различие — излучение гиганта было более интенсивным и разнообразным. Оно создавало вокруг его тела обширный ореол с полной гаммой красок. Петр включил рентгеновское и нейтрозрение и увидел у гиганта новые органы, о которых ничего не знал. Все это отняло у него доли секунды.

— Здравствуй, брат,— поздоровался Петр и назвал себя.

— Здравствуй,— откликнулся гигант.— Меня зовут Зевс.

Петр улыбнулся:

— Так называли своего главного бога древние греки.

— Но я не бог, а такой же человек, как ты,— ответил Зевс.

— Ты обиделся. Но разве называться богом позорно? В конце концов слово «бог» у древних означало создатель, творец. Такой же, как природа или человек.

— Из всех создателей я выше всего ставлю человека,— заметил Зевс.— Бог — это выдумка слабых, а природа рядом с человеком — это... Представь себе двух скульпторов. У одного из них уйма времени для работы, но он слеп и безумен. У другого мало времени, но он зряч и мудр.

— Я согласен с тобой,— сказал Петр.— Но все же тебя не зря назвали Зевсом-громовержцем. Когда я родился, Отец и его помощники только задумывали тебя. И я вижу в твоем теле новые органы, которых у меня нет.

— Это дополнительные энергоприемники,— объяснил Зевс.— С их помощью я могу высылать зонды в космос, к самому Солнцу, и черпать оттуда в минуту такие колоссальные запасы энергии, что их не могли бы создать за год все энергостанции Земли. Я помогу и тебе и другим братьям создать такие же органы. Жаль, что у всех людей нельзя сконструировать подобного,— проговорил Зевс.

— Сейчас я бы хотел принести им хотя бы избавление от асфиксии-Т,— сказал Петр.

Он увидел вспышку красок вокруг головы Зевса и понял, что она означает радость.

— Кажется, решение найдено,— сказал тот.— Я ставлю контрольные опыты. А за это время не хочешь ли проверить путь моих размышлений?

— С удовольствием,— сказал Петр.— Я самостоятельно пройду его от начала до конца, если ты мне предоставишь исходные данные. И посмотрим, сойдутся ли наши выводы?

— Исходные данные — культура возбудителя и полные сведения по микробиологии. Пробирки с культурой микробов тебе сейчас принесут роботы, а шлем микробиологической памяти — вот он, возьми. Я буду время от времени проверять ход твоих размышлений.

Зевс помог Петру надеть шлем и закрепить контакты с мозгом. В ячейках шлема, как в микробиблиотеке, хранились все сведения о микробах, которые получили люди за свою историю. Теперь Петр мог извлекать эти сведения так же легко, как собственные воспоминания.

Петр ввел наиболее вирулентный штамм микробов в белковую часть своего горла и стал наблюдать за развитием болезни на ограниченном участке клеток. Он мог не только чувствовать, но и видеть любой участок своего тела, проектируя импульсы из него на зрительные участки мозга. Он наблюдал, как кокки начали расползаться оранжевым пятном, захватывая новые клетки и межклеточное пространство. Первый ряд кокков спустился к мелкому кровеносному сосуду, проник в него...

Петр одновременно наблюдал, запоминал увиденное.

Между тем колония кокков разрослась, начала закупоривать капилляры. Но вот — Петр это хорошо видел,— учуяв неладное, к месту вторжения спешат белые тельца с мелкими ядрами внутри. Они вытягивают отростки, словно жаждут поскорее схватить врага...

Петр подумал, что подобная картина была описана Ильей Мечниковым, и вспомнил, что этот человек ставил на себе десятки опасных опытов. Спросил себя: «Как я? Нет, не так. Каждый из них мог закончиться его гибелью. Он это знал. Но что-то в нем было сильнее страха перед смертью. Смелость? Не только. Любопытство? Не только. Чувство долга? Не только. Любовь к людям? Не только... То, чему я не могу придумать названия, побудило его жениться на женщине, больной туберкулезом. Если я не пойму этого, то не пойму и того, как он мог делать замечательные выводы из фактов, известных всем... Вот и сейчас... Как понять: что нового вот в этих кокках? Что, кроме жгутиков, помогающих им быстрее продвигаться, отличает этих кокков от всех уязвимых собратьев, известных раньше? Ага! Вот оно...»

Кокки внезапно перестали размножаться, выделять яды. Вместо этого каждый начал выделять слипающиеся атомы, из них, как из мозаичных камушков, он образовал вокруг себя молекулу-панцирь, наглухо замуровался в ней... Но стоило отрядам фагоцитов разойтись, и кокки сняли панцири, начали размножаться, захватывать новые области...

«А сейчас я попробую ввести один из древних антибиотиков». Петр вспомнил о создателе пенициллина Александре Флеминге. Это был человек, умевший не пропускать случайностей, разобрать и оценить их. Важное качество — уметь выбрать из случайностей ту, над которой стоит поразмыслить.

Петр попробовал применить токи высокой частоты, излучение — все, чем можно было лечить людей, но ничто не помогало. Кокки продолжали быстро размножаться. Такая колония бактерий уже погубила бы человека. Но в теле гиганта токсины могли отравить лишь небольшие зоны. Пожалуй, это было равносильно нескольким прыщикам на теле человека. Ведь большая часть тела гиганта была соткана из пластмассы, пластбелков, эндиоткани, непроницаемых для микробных ядов.

Петр подумал о тех, кто создал эти ткани. Из тысяч людей он знал поименно лишь нескольких: Петров, Куни, Мей. Куни умер в тридцать четыре года... «Он знал, что безнадежно болен, и спешил, работая по восемнадцать часов в сутки. Этим он, вероятно, ускорил свою смерть. Но Куни успел завершить создание ткани, которая безотказно служит мне».

Гигант опять вспомнил Кантова и подумал: «Командор ждет. Он верит людям, таким же, как сам. Но ведь это они могуществом своего разума создали меня. Они сделали для меня больше, чем для своих кровных детей, воплотив во мне свою мечту о бессмертии и всемогуществе. И выходит, что, веря людям, командор верит мне, даже не подозревая об этом».

Петр продолжал опыт. Он включил рентгеностимуляторы и за несколько секунд восстановил пораженную ткань. Одновременно он просматривал память шлема, сравнивая эти сведения с тем, что видел в ходе опыта. Он обнаружил очень интересное упоминание об опытах доктора

Вайнера. «Постой, постой,— сказал он себе.— Кажется, это именно то, что мне нужно».

Вайнер выращивал колонии стафилококков на питательном бульоне, а затем действовал на них различными антибиотиками. Всякий раз колонии погибали, бульон становился прозрачным. Но где-то все же оставалось едва заметное в оптический микроскоп пятнышко. Это уцелели жалкие остатки колонии. Они приобрели устойчивость к данному антибиотику и передали ее потомству. Так доктор Вайнер получил в конце концов штамм золотистого стафилококка, устойчивый ко всем известным в то время антибиотикам. А затем, действуя на него нагреванием, высушиванием, вакуумом, Вайнер вывел стафилококки, способные образовывать споры.

Петр увидел диаграммы и фото. На одном из них что-то очень знакомое... Ну, конечно же, они похожи! Именно таким путем из обычного возбудителя ангин и образовался этот неуязвимый возбудитель асфиксии-Т. Много столетий медицина боролась против ангин, изобретая все более действенные средства,— и... вывела возбудителя асфиксии-Т!

«Значит, первый случай этой болезни и прилет ракеты — простое совпадение! Микробы с планеты, о которой рассказывал Истоцкий, и возбудитель асфиксии-Т, не имеют ничего общего,— думает Петр.— Штурман никого не заражал на Земле, он сам заразился. Командор Кантов не нарушил своего долга. Первая часть вопроса решена. Но есть и вторая: как бороться против асфиксии-Т? Если ее возбудитель был «выведен» таким необычным путем, то в его генетической памяти не могут храниться сведения о первых грубых лекарствах, которые применялись несколько столетий тому назад. Против них у него не должно быть защиты. Надо попробовать древние средства. Например, раствор соды с солью...»

— Уже сделано, Петр,— сказал Зевс, подходя к нему.— Я пришел к таким же выводам и проверил их. Возбудитель образовывает споры лишь в ответ на известные ему яды. А с содо-солевым раствором он незнаком и не прикрывается «щитом». Несколько полосканий горла раствором — и больной здоров.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДОЛОЖИТЬ СОВЕТУ...

Павел Петрович все еще не мог решиться... «Как мы скажем ему? Нет ничего больнее этого наказания. «Карантинный недосмотр». А он знает, что стоит за этими словами...»

Павел Петрович хочет представить лицо Кантова, но перед ним всплывает лицо умершей жены. Следователь укладывает пленки с показаниями свидетелей: на случай, если обвиняемый захочет познакомиться с ходом следствия, с логикой людей, которые вели его. Но Кантов не захочет — в этом Павел Петрович уверен.

«Лучше бы он захотел. А вдруг там можно найти какое-то отклонение от логики, неточность? Тем более, что из-за его ошибки...»

Вспыхивает сигнал «разрешито войти». Павел Петрович машинально нажимает кнопку телеэкрана и видит гиганта.

«Не ко времени»,— думает Павел Петрович, но приглашает войти.

— Здравствуйте,— говорит Петр.

— Здравствуй,— отвечает Павел Петрович.— Вот собираюсь в Совет по долу Кантова...

Он готовится сказать, что оно уже закончено, что командор виновен, но неожиданно, впервые за все время, что знает Петра, тот перебивает его:

— И я к вам по тому же делу.

«Он выяснил что-то новое, очень важное».

— Возбудитель асфиксии-Т — мутировавший стафилококк.

«Несколько деловых слов, сказанных нарочито небрежно... Что понадобилось Петру, чтобы добыть их? Этого он все равно не скажет». И Павел Петрович невольно произносит то, что можно уже не говорить и что звучит просто, как вздох облегчения:

— Значит, он не виновен.

Петр словно не замечает его слов, словно не понимает, что они — признание: «Раньше я пришел к иному выводу».

— Уже известно и радикальное средство против асфиксии-Т.

Лицо жены, искаженное страданием... «Радикальное средство... Если бы пять дней тому назад... Пять дней — целая жизнь...»

Петр продолжает:

— Доложите о своих выводах Совету. Я там буду завтра.

«Вот почему он перебил меня. Все получается так, как будто он сообщил мне лишь факт, а вывод о невиновности сделал я. Впрочем, если бы этот факт был мне известен, то... Но что лежит в основе его поступка? Почему он отказывается от славы, от благодарности человека, который обидел его недоверием?..»

КОМАНДОР ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ

— Спасибо.— Кантов пожимает руку Павлу Петровичу, думает: «Хорошо, что это сделал для меня человек, и ему можно пожать руку. Я правильно поступил тогда... Может быть, мыслительные возможности гиганта больше наших, а логика точнее, но в своих делах мы разберемся сами...»

Он стоит перед следователем, прямой и негибкий, как параграф Устава. Напрасно Павел Петрович ожидает, что его лицо смягчится, потеплеет,— оно спокойно, неулыбчиво, будто наглухо застегнуто на «молнии», как куртка. И Павел Петрович понимает, что Кантов уже никогда не станет таким, как геолог Истоцкий, как доктор. Но разве он виноват в этом? И нельзя ни ласково опустить руку на его плечо, ни сказать сочувственные слова: это будет неуместно.

Командор стал таким потому, что кто-то д о л ж е н б ы л с т а т ь т а к и м. Чтобы экипаж ракеты выполнил задание и вернулся.

— Рад, что все так кончилось,— говорит Павел Петрович и добавляет обычную формулу юриста своего времени: «Извините за подозрение».

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

В славном Китежграде герои народных сказок, легенд, мифов и преданий чувствуют себя так же свободно и вольготно, как и герои Рабле, как и вымышленные персонажи, хорошо известные каждому из нас из опыта своей жизни, полной проблем, забот, борьбы, требующей поступков и веры в свои силы... Китежград и его обитатели знакомы многим читателям по популярной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (изд-во «Детская литература», 1979 г.), по телефильму «Чародеи», снятому по их сценарию. «Сказка о Тройке» — продолжение повести «Понедельник начинается в субботу», герои которой и здесь не вешают нос, столкнувшись с глупостью и пошлостью, но с весельем и отвагой вступают в отчаянную схватку с ними. В лукавом и потешном сказочном обличье, в карнавальном круговороте фантасмагорических персонажей и ситуаций предстает перед нами противоборство молодых творческих сил с бюрократическим консерватизмом, громыхающим столь хорошо знакомым всем нам привычным набором фраз, штампов, бесплодных резолюций, продиктованных единственным желанием запретить все необычное, живое, свежее, плодотворное. Сказка весело и заразительно смеется над этими отжившими свое застойными явлениями, борьба с которыми в наши дни приобрела такую остроту и значение. «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Уроки «Сказки о Тройке» очевидны и не подлежат сомнению. Жизнь не остановить, это не по силам никаким параграфам и регламентациям, она идет вперед, движимая усилиями людей, полных сил, замыслов и веселой отваги. Актуальность этого произведения, его ненатужное, изящное остроумие, пронизанный бодростью и оптимизмом юмор наверняка привлекут к сказке-сатире внимание читателей, и прежде всего молодых, кому хочется пожелать идти по жизни с отважным весельем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед — каждый по-своему. Федя читал «Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед.

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа — звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.

— А это что за развалина? — спрашивал Эдик.

— А это Старый Китежград,— отвечал Роман.

— Тот самый?

— Тот самый. Двенадцатый век.

— А почему только две башни? — спросил Эдик.

Рисунки Игоря Гончарука

Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако был он дубина, по слухам — самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов хвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, заметался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и окончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

— Любопытно,— проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой.— А вход туда свободный?

— Свободный,— ответил Роман.— За пятачок.

— Жалко.— сказал Эдик.— Не успею я туда сходить.

Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.

— А вот это блюдце? — спросил Эдик.— Это наше блюдце?

— Наверное,— сказал Роман.— Колонист какой-нибудь упражняется. Чтобы навыков не терять.

— А где сама Колония?

— В городском парке, вон на том конце города.

— Сходим? — предложил Эдик.

— Успеется,— сказал Роман.

Эдик посмотрел на часы.

— Четыре часа,— сказал он озабоченно.— До приема остался всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут...

— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая,— сказал грубый Корнеев,— и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать...

— Что это с ним? — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный — избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горным воздухом чистого знания... Витька и Роман тоже были такими две недели назад.

— Эдик,— ласково сказал я.— Ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в Институт?

— Да,— сказал Эдик.— А что?

— И времени у тебя нет? Вся аппаратура готова, а завтра прямо с утра ты хочешь начать?

— Естественно...

— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Колонию?

— Д... да... Вообще, я бы с удовольствием, но... В чем дело?

— А внимательно осмотреть крепость?—спросил я.

— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Одихмантьевичем? — предложил Роман.

— И еще девочки,— сказал Витька с горечью.— Ух, какие девочки в Китежграде!

— Я не понимаю, ребята,— сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа.— Не смешно.

— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно,— сказал Роман.— Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго — Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?

— Ну как — почему... У Сашки дела на заводе...

— А мы с Витькой?

— Н... ну, я не знаю... В конце концов почему я должен был об этом думать?

— Эгоист! — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика.— Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это эгоист. Видите, как выглядит эгоист?

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмущался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.

— По-моему...— пробормотал он.— Нет... Эгоист... Не может быть... Как же так...

— Спасибо, Федя,— сказал вежливый Эдик.— Это была шутка.— Он оглядел нас.— Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?

— Нет,— сказал я.— Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет.

— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял.

— Волокита...— мечтательно произнес Роман.— Волокита, Эдик, это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к директору... Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде... Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со счетоводом...

— Золотые люди,— сказал Витька.— День-два, и все готово...

— А здесь? — спросил Эдик с интересом.

— А здесь, Эдик,— сказал я,— ничего этого и в заводе нет. Здесь — ТПРУНЯ!

— Ну и что же? Я знаю.

— Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? — осведомился Роман.

— Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых Явлений.

Витька хрипло захохотал.

— Да,— сказал Роман, качая головой.— Распределение и учет. И как ты себе это представляешь?

— Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл.

— Шалунишки! — вскричал вдруг Панург.— Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове.— Панург захохотал во все горло.— Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его...— Панург снова захохотал.— Вытащили они его... Вытащили, понимаете, его, а он уже холодный! И челюсть сломана...

Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб. Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и спросил Эдика:

— Понял?

— Не совсем,— сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего глаза шутовским колпаком.

— Не смешно тебе? — спросил Витька.

— Честно говоря, нет,— ответил Эдик.

— Ничего, привыкнешь,— пообещал Витька.— Время у тебя еще есть.

— Да,— сказал Роман.— Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни у тебя не было так много времени. И я объясню тебе, почему. ТПРУНЯ, Эдик, не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.

— Ну и что же? — спросил Эдик.

— Он воображает, будто ТПРУНЯ — это вроде кладовщика,— с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке.— Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что требует. Что есть ТПРУНЯ? — спросил он.

Я немедленно откликнулся:

— ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов.

— Понял? — сказал Витька Эдику. — Кладовщик — это кладовщик, а ТПРУНЯ — это ТПРУНЯ.

— Позвольте, — сказал Эдик, но Роман продолжал:

— Что есть Рационализация?

— Рационализация,— мрачно ответствовал Витька,— это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины.

— Однако позвольте,— сказал смущенный Эдик.

— А что есть Утилизация? — вопросил Роман.

— Утилизация,— сказал я Эдику,— есть признание или же категорическое непризнание за рационализированным явлением права на существование в нашем бренном реальном мире.

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:

— Могут ли решения Тройки быть обжалованы?

— Да, могут,— сказал я.— Но результаты не воспоследуют.

— Как мордой об стол,— разъяснил Корнеев.

Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица.

— Авторитетны ли для Тройки,— тоном провинциального адвоката спросил Роман,— рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?

— Нет, не авторитетны,— сказал я.— Хотя и рассматриваются. В порядке поступления.

— Что есть заинтересованное... — начал Роман, но Эдик перебил его.

— Неужели Печать? — спросил он с ужасом.

— Да,— сказал Роман.— Увы.

— Большая?

— Очень большая,— сказал Роман.

— Ты такой еще не нюхал,— добавил Витька.

— И круглая?

— Зверски круглая,— сказал Роман.— Никаких шансов.

— Но позвольте,— сказал Эдик, с видимым усилием стараясь подавить растерянность.— Если, скажем... скажем, оквадратить? Скажем... э-э... преобразование Киврина — Оппенгеймера?..

Роман покачал головой.

— Определитель Жемайтиса равен нулю.

— Ты хочешь сказать — близок к нулю?

Витька неприятно заржал.

— А то бы без тебя не догадались,— сказал он.— Равен, товарищ Амперян! Равен!

— Определитель Жемайтиса равен нулю,— повторил Роман.— Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются...

— И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше,— закончил Витька.

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает.

Федя был существом мягким, добрым и деликатным, он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бестолковым и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» и «ь», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, и, наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговой метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице.

— Дезоксирибонуклеиновая,— сказал я.— Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая.

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.

— Кислота,— повторил он перехваченным голосом.— А зачем она такая?

— Иначе ее никак не назовешь,— сочувственно сказал я.— Разве что сокращенно — ДНК... Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше.

— Да-да,— сказал он.— Я лучше пропущу.

Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку недоступных вершин и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу.

Витька вдруг рявкнул:

— Хватать и тикать. Плевал я на них. Подумаешь, Печать... В первый раз, что ли...

— Главное в нашем положении,— сказал Роман, не открывая глаз,— это спокойствие. Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути.

— Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти,— возразил Корнеев.— Унося что-нибудь в клюве при этом,— добавил он.

— Нет-нет,— встрепенулся Эдик.— Нет! Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы будем стыдиться.

Я посмотрел на часы.

— Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.

Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой открытое дело и аж подпрыгивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей, Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки и, все более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и обнаружил на стене необъятный кумачовый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его так переменилось, что я понял: Эдик готов.

Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика.

— Посторонний! — произнес он со странным выражением.

Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.

— Здорово, Зубо,— сказал грубый Корнеев.— Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас кондрат хватит.

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг.

— Очень рад! — воскликнул он.— Зубо моя фамилия. Комендант я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать...

Он вдруг замолчал и рысью вернулся на свое место. И вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо — плюс научный консультант профессор Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор шариковых авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль.

Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.

Рудольф же Архипович Хлебобводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел подле Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными с желтизной глазами по углам комнаты.

Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сделал в ней пометку.

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

— Грррм,— произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: полковник спал, Хлебобводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на ученика перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и послешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым,— сказал Лавр Федотович.—Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович...», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис.

— Протестую! — крикнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу.— Где порядковый номер дела? Почему не поименованы пункты?

Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта.

— Правильное обобщение, верное,— произнес он наконец.— Поименуйте, товарищ Зубо.

Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил Хлебобводов.— Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он.— Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович,— дергая щекой, повторил комендант.—Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-дуль-вейс или Э-дель-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс,— сказал комендант.— Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебобводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу

— Да нет же! — закричал он.— Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович

— Да этот Бабкин! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы, пришел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился он.

— Христом богом...— пролепетал комендант.— Какой смерти?.. Да почему же смерти?.. Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку,— вмешался Фарфуркис.— Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин,— с отчаянием сказал комендант.— То есть что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

— Понимаю,— сказал Фарфуркис.— А где Бабкин?

— Бабкин помер,— сказал Хлебобводов авторитетно.— Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит. Эдуардович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но, кажется, не Павел все-таки, не Пашка...

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

— Никто ничего не забыл,— произнес он.— Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке.

— Вы напились? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль.— Тогда продолжайте докладывать.

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель,— нетвердым голосом прочел комендант.— Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

— Все? — переспросил Лавр Федотович.

— Все ли? — саркастически осведомился Фарфуркис.

— Все! — решительно сказал комендант и утерся рукавом.

— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

— Па-а машинам! — взревел вдруг полковник, не просыпаясь.— Пики перед себя! За-води! Рысью... арш-арш!

Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немного ожил. Однако, кроме нас, на полковника никто больше внимания не обратил.

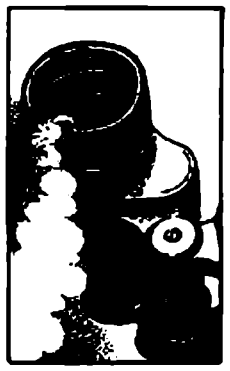
— Я бы предложил впустить,— сказал Хлебобводов.— Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

— Других предложений нет? — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка — он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, лыбающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный столик. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.



— Не он,— сказал Хлебовводов елолголоса.— Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да,— согласился старичок, улыбаясь.— Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай бог ему здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии — неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках штепселя и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, извольте видеть, так называемая эвристическая машина,—сказал старичок.— Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и цикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас,— повторил старичок.

— А что это там у вас за лампа? — подозрительно спросил Фарфуркис.

Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч...» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?

— Лампочка, значит,—сказал старичок, хихикая и потирая руки.— Кодируем помаленьку.—Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке.— Это, значит, был вопрос,— произнес он, загоняя листок под валик.— А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Гм. Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

Фарфуркис: Какой такой грамматики?

Машина: А нашей русской грятк.

Хлебовводов: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

Машина: Никак нет.

Лавр Федотович: Грррм... Какие будут предложения?

Машина: Признать меня за научный факт.

Старичок бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись на стуле, гыгыкал, как в цирке.

Хлебовводов (раздраженно): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть по ветру?

Машина: Ввиду стремления.

Хлебовводов: Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

Машина: Так точно, могу.

До Тройки наконец дошло, что, если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение,— тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис.— Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта...— сказал он.— Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомендатель сет нобль вё [1]. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и стал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. Витька гыгыкал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

— Есть предложение,— сказал Фарфуркис,— просить товарища представителя оказать содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал путаться в эту историю, если бы не старичок. Сет нобль вё хлопал на меня красными веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии.— Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером.— Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутре! — прошелестел старичок.— Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор,— сказал я.— Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь.

— Вывод,— сказал я.— Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старичок.

Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог.

— Нет, конечно...— промямлил я.— Проделана большая работа... (Эдик схватился за голову.) Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Роман смотрел на меня с презрением.) Ну в самом деле,— сказал я,— человек старался... нельзя же так... («Кретин,— отчетливо произнес Витька.— Годзилла».) Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию.

— Да-да,— сказал Фарфуркис.— Придержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас не вечер вопросов и ответов.

— Правильно! — подхватил Хлебовводов, а старикашка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом.— И вообще выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок затих.

— А вот все-таки у меня есть вопрос,— продолжал Хлебовводов.— Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные,— говорил Хлебовводов,— это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

[1] Этот благородный старик

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта...— сказал он.— Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненного имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта...— сказал он старику.— Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он.— Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синегдоха отвечания...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства, и, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала его и поднимала на несколько ступенек выше. Старик был никаким изобретателем — он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста... Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене.

...Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под клочковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал задумчиво, откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок.

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую над скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним,— начал он.— Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений.

Теперь слушал изобретатель, неподвижный, как изваяние, рядом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Оракулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни.

— Мы — гардианы науки, мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит, не надо искать знаний, значит, нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов»,— он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами,— гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

— Смерть человеку и распыление машине,— хрипло сказал полковник.

— Смерть человеку...— медленно и как бы с сожалением проговорил Хлебовводов.— Распыление машине... и забвение всему этому казусу.— Он прикрыл глаза рукой.

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес:

— Ну, товарищи... ну куда это мы с вами заехали, в самом деле? Нельзя же так...

— Грррм,— произнес Лавр Федотович, ворочая шеей.

Хлебосводов, смутно видимый в спустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно:

— Свет зажечь, что ли, пора? Засидались мы нынче.

Комендант сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся.

— Как?— произнес он дребезжащим голосом.— Уже? Я за то, чтобы это продвинуть... продвинуть. Мотокавалерия все решает. Пики... шашки... клиренс подходящий. Засекается на левую заднюю, но это устранимо... устранимо... Так что мое мнение — продвинуть.

— Грррм,— сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взглядом в «ремингтон».— Выражая общее мнение, постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и мне. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, впился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебосводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебосводов взыграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он.— Как так нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

— Народ не позволит нам бросаться старичками,— заметил Лавр Федотович.— И народ будет прав.

— Вот именно!— рявкнул вдруг Выбегалло.— Именно народ! И именно... эта... не позволит, значить! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, что нет?

Я обомлел.

— Погодите!— сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же не Черный Ящик!— кричал комендант, прижимая к груди руки.— Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так не черный?— кричал в ответ Выбегалло, размахивая обшарпанным черным футляром от «ремингтона».— Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь?

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется от товарища Привалова Александра Ивановича, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизм разводить и всякий эмпириокритицизм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца. Роман с Эдиком кричали: «Долой!» — а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...»

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

— Грррм!— сказал он, и все стихло.— Затруднение? Товарищ Хлебосводов, устраните.

Хлебосводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо,— сказал он.— На что ты имеете заявку?

— На Черный Ящик,— уныло сказал комендант.— Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело,— возразил Хлебосводов.— Я тебя спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете?

— Имею,— признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вон он сидит.

— Да,— страстно сказал я,— но мой Черный Ящик — это не ящик... точнее, не совсем ящик...

Однако Хлебосводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебосводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

— Ящик, Лавр Федотович, черный,— с торжеством доложил он.— Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

— Это не тот ящик!— хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.

— Заявку!— воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

— Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

— ПЕЧАТЬ!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

— Не надо!— просипел я.— Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над Заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

— Это не тот ящик!— завопил я в полный голос.— Да что же это... Ребята!

— Одну минуту,— сказал Эдик.— Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.

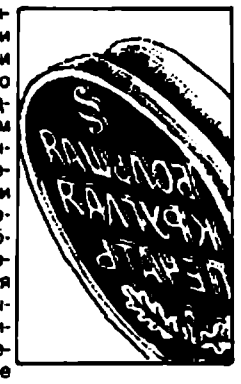
— Посторонний?— осведомился он.

— Никак нет,— тяжело дыша, сказал комендант.— Представитель.

— Тогда можно не удалять,— произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило — между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его явно зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебосводов ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в жутких позах, я даже подумал сначала, что их разбил паралич. Оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел от напряжения. Они держали Печать, милые друзья мои, спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать.

— ...и в-седьмых, наконец,— рассудительно говорил Эдик,— любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не



является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет.

— Я протестую,— сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищи, представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко, на всю комнату хрустнули позвонки.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть,— обиженно добавил Хлебосводов,— ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик,— сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

— Это ваше право,— великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще один сантиметр.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовые центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы покинули комнату заседания последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтяи, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки... Хватать и тикать, а не турусы разводить!..» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало легче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли.

— Где Роман? — спросил я слабым голосом.

— Отправился ухаживать.— ответил Эдик.

— Господи,— сказал я.— За кем?

— За дочкой некоего товарища Голого.

— Понятно,— сказал я.— А Витька?

Эдик пожал плечами.

— Не знаю,— сказал он.— По-моему, Витя намерен сделать большую глупость.

— Он хочет их убить? — спросил я с восхищением.

Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, обнявшись, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Устали? — спросил Федя.

— Ужасно.— сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще,— сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир. Мороженого...

Эдик был «за». Федя тоже не возражал, хотя никогда не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китеж-градцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки

были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок — знаменитые китеж-градские крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах кряхала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатией и отвечал охотно.

— Хуже всего,— рассказывал Федя,— это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над ухом кто-то зазвенит, застучит и примется реветь, как «непупок» вскарабкался по «жандарму» и «запилил по гребню» и как потом «ланцепупа» «пробило на землю». Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

У меня дома клавесин есть,— продолжал он мечтательно.— Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он мне не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам неинтересно.

— Наоборот, очень интересно.

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе, его занесли альпинисты. Они ставили рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный... Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки... Один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как старался! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток...

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и он сидел тихо, но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком, он уже знал, что Эдик прибыл в Китеж-град лично за ним, Говоруном, в качестве его работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я постоянно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые выкрики: «Ноги мыть и воду пить!.. У ей внутре!..» Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал себя бодрым, как никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства.— Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они цари природы. Спрашивается: откуда взялся этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектуларius, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдолиз». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по несколько раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвинение, что мы-де подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто: может быть, Мы убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, Мы изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, Мы разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно назвать сверхпаразитами, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это цари природы!

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами:

— Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку! Осмелюсь добавить только, что Ода Нобунага был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Тоетоми Хидэеси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» — спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство!— вскричал он.— Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет несравненную честь походить на вас!» Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа.

— Я не понял этого намека,— с достоинством объявил Говорун, однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с неотвратимостью рока.

— Я, конечно, слабый диалектик, — произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами,— но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это... это...— Он помотал головой и замолк.

— Вторая природа!— ядовито сказал Клоп.— Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну и теперь пытаетесь заменить ее другой... Я же, вам уже сказал, Федор: вторая природа — это костыли калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны: кроме них, разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются РАЗДРАЖИМОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ, ИНСТИНКТЫ, РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ, РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ, ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА... Теперь они обнаружили еще третью, ту самую, между прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, что творит, а потому у нее инстинкты — слепые инстинкты, вы понимаете?— разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее и к ногтю. У них, у людей,— космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется преуспеть!— и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведомых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в вопросах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания. Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, и он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более, что у него, как и у всякой осы, есть основания предполагать, что это ловушка и что вон в тех кустах сидит инспектор с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставил этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный дурак, как разрушитель осиного гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!..— Говорун в восторге застучал по столу всеми лапами.

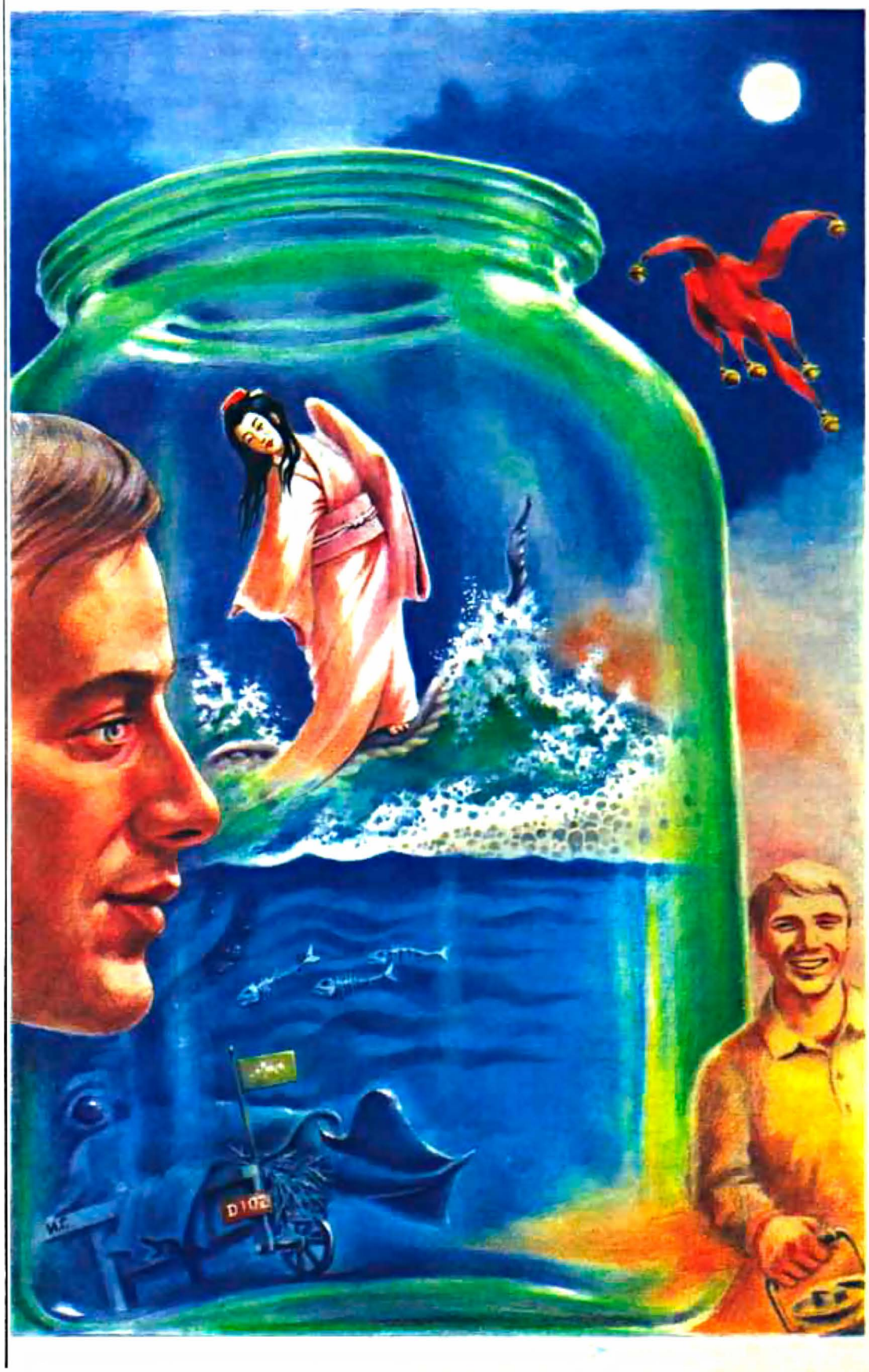
— Нет,— сказал Федя.— Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

— Точно так же,— перебил хитроумный Клоп,— как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

Продолжение следует.

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ



Рисунки Игоря Гончарука

— Подождите, Говорун,— сказал Федя.— Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям

Клоп презрительно повел усами.

— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему,— произнес он.— Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулариа — о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно,— свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы только послушали их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

— Я не могу вам ответить, Говорун,— сказал Федя,— но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

— Вы снежный человек. Вы недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить.

— Нет уж, позвольте мне,— сказал он.— Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте. Эдик, я скажу все, что думаю. Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свифтовским «йеху», и кличку «голубяван», которая означает

Продолжение. Начало в № 11

не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому, что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею,— он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

— Ну да! — сказал Клоп.— А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей... Внимание! — заорал он вдруг.— Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

— Ну, конечно, Говорун,— сказал он растроганно.— Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку, разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец,— сказал я.— Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Одно удовольствие вас слушать! — вскричал Панург.— Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтеня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары заметил однажды у себя на пиру некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосходящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивившегося.

— Да, Говорун, я слушаю вас с интересом,— сказал Эдик.— Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас с вами впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулариа.

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп.— Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем змея очковая к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно,— сказал Клоп, бледнея.— Вот уж воистину на уровне высшего разума...

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело,— преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь.— Пойдемте отсюда.

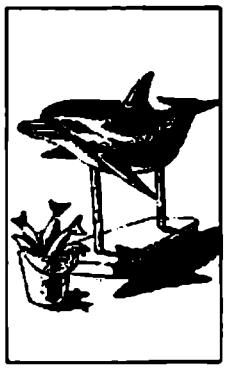
Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун запротестовал. Беседовать с теплокровными — это совсем не сахар, объявил он, но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском — нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. Нам стало его жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным, и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой он цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью, Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по привычке, я же ждал безобразного скандала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил: время от времени я помогал ему разбираться в путаных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение — комендантом Колонии Необъясненных Явлений. Будь он помоложе, поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там,— жаловался он мне иногда.— Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, с пришельцами. Аппетит потерял я совсем, худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы... Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту... Не могу я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого товарища Голого дойду...» Очень я ему сочувствовал.

Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него две тонны свежей трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта как жернов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть лучшую свою свинью, но трески словно бы и не убавлялось. Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что, пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия, а между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос: «Почему до сих пор не высланы результаты вскрытия?» — на что однообразно отвечал, что принимаются-де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина; дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому, что Хлебоводов говорил о покойном Айзеке: «Мало ли что он помер? Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебоводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на слова Хлебоводова: «Чего тут с ним возиться — обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал» — во всеуслышание на четырех европейских и двух азиатских языках назвал его идиотом.



Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столиком, погрузившись в безнадежное изучение растрепанного от запросов дела Айзека.

— Пропадаю,— сообщил он, пожимая нам руки.— Пропадаю ни за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать — удавлюсь... А что же товарища Корнеева не видно? Дело его нынче обсуждается, заявка.

— Приболел,— соврал я.

— Запаздывает,— одновременно со мной соврал Роман.

— Гм,— соврал Эдик и покраснел.

— Да придет он,— сказал я.— Никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зубо, как мне быть.

Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я Черный Ящик просил, так я Черный Ящик в конце концов и получу, надо только написать новую заявку, поместив ее задним числом. Других заявок на дело девяносто седьмое нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках божьих: очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебоводов могут этот ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить.

Тут часы ударили девять, появилась Тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полузктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать.

Хлебоводов размахивал газетной вырезкой:

— Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него — и не рыба. А что же это по-вашему — птица? Или... эта... петух какой-нибудь?

— Есть предложения? — благодушно осведомился Лавр Федотович.

— Есть,— сказал Хлебоводов.— Отложить до полного выяснения. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой, ой много, нюхом чую!

— Но ведь помер же он,— в сотый раз безнадежно промямлил комендант.— Может, все-таки спишем, а? Пускай за школой числится...

— Товарищ Зубо,— менторским тоном сказал Фарфуркис.— Вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и многие другие деятели тоже умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более для административно-исследовательской. Тройке не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением.

— Ну хорошо, это дельфин,— сказал комендант.— А насчет трески мне как?

— И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его этим делом, либо по списании этого дела.

— Ревизия же на носу! — рыдающим голосом проговорил комендант.— Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков...

— Да,— сочувственно сказал Фарфуркис.— Вам необходимо что-то предпринять.

— Может, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные... Кум говорил, в Москве такой магазин есть...

— Это ваше право,— сказал Фарфуркис.— Но вряд ли законно скармливать продукт, выписанный по делу номер шестнадцать, какому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции Тройки.

— Куда же мне рыбу-то девать?

— Скормить ее делу номер шестнадцать,— ответил Фарфуркис.

Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое.

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Выражая об-

щее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зубо.

Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный Роман встрепенулся. Где-то в необозримом будущем Тройка должна была передать Спиридона ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какое-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но тем не менее стремился быть в курсе. Спиридоново дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерное древнее головоногое не желало являться на заседания Тройки и требовало, чтобы Тройка сама явилась к нему. Амбиция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь шла о том, кто кого переломит.

— Опять не явился, старый склочник,— с удовлетворением сказал Хлебовводов.

— Никак нет,— подтвердил комендант уныло.

— Нет, надо же какая скотина,— продолжал Хлебовводов.— Семь ног у мерзавца, и не может явиться!

— Восемь,— поправил Фарфуркис.

— Почему это восемь?— оскорбился Хлебовводов.— Осьминог ведь, то есть о семи ногах. Что вы мне в самом деле...

— У осьминога восемь ног,— мягко сказал Фарфуркис.— Он, собственно, восьминог, но «в» у него редуцировалось.

— Да бросьте вы,— сказал Хлебовводов.— Что ты, понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, редуцировалось... Не знаете — так и скажите! Вот пусть научный консультант объяснит... Товарищ научный консультант? Сколько у него ног? Семь или восемь?

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнес:

— Эта... Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кель кешоз де си мелодё [1]...

— Чего?— сказал Хлебовводов.

— Ту кампрандр се ту пардоне [2],— пояснил Выбегалло, чувствуя себя на верном пути.

— Ага...— нерешительно сказал Хлебовводов.— Это мы, конечно, понимаем... латинский там, немецкий... Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного осьминога ног? Семь или все-таки их восемь?

— Десять,— сказал Роман.

Хлебовводов посмотрел на него ошарашенно.

— Шуточки шутите?— спросил он.— А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шутите.

— Мне, товарищ Хлебовводов, шутить с вами не о чем,— холодно сказал Роман.— Вы задали консультанту вопрос, и, поскольку консультант находится в затруднении, я вам отвечаю вместо него. У спрута Спиридона десять ног.

— Иль фо фер де рестриксион [3]!— важно сказал Выбегалло.

— Какие там рестриксионы,— сказал Роман грубо.— Се редикюль, ля камерад [4] профессор. Десять ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на шупальцах не ходят, а шупальцами хватают, как руками.

— Но ноги-то, ноги у него есть?— спросил Хлебовводов.— Ну хоть одна!

— Ничего не могу добавить,— сказал Роман.

— Одну минуточку,— сказал Фарфуркис.— Почему же в таком случае он называется осьминог?

— А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар, мегатойтис.

— Ага,— сказал Фарфуркис.— Благодарю вас.

— А нам все равно,— злобно сказал Хлебовводов.— Руки там у него или что. В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино же, на заседание.. И вообще какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий?

— От Спиридона имеется заявление,— доложил комендант.

— Отказать, отказать!— сказал Хлебовводов.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Товарищ Хлебовводов, у вас есть вопрос?

— Нет,— сказал Хлебовводов.— Виноват.

— Народ желает знать все детали,— продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебовводова в бинокль.— Между тем отдельные члены Тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение Тройки своим частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товарищам: не выйдет, товарищи!

Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебовводов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил бинокль и приказал:

— Докладывайте, товарищ Зубо.

— Меморандум номер двенадцатый,— прочитал комендант.— Настоящим Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение Председателю Тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений (сенсаций) Его превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет поставить его в известность о нижеследующем:

§ 1. Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду документов идентичного содержания, отправленных Полномочным послом в адрес Его превосходительства.

§ 2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов.

§ 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между Высокими договаривающимися сторонами.

Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает необходимым вновь информировать Его превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, Полномочного посла, обязанностей перед Генеральным содружеством, которое он имеет честь представлять:

§ 1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения Министру Иностранных Дел своих верительных грамот.

§ 2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол намерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны свои верительные грамоты.

В интересах Высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения Его превосходительству:

§ 1. Полномочный посол желал бы встретиться с Его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его, Полномочного посла, к месту встречи с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны.

§ 2. Время встречи с Его превосходительством Полномочный посол оставляет на усмотрение Его превосходительства.

§ 3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма Полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции Полномочного посла.

С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения Вашего превосходительства покорнейшим Вашим слугой,

СПИРИДОН,
Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих.

— Все,— сказал комендант.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Какие будут предложения по существу дела?

— У меня предложение одно,— заявил Хлебовводов.— Лишить его, гада, пищевого довольствия. Пусть голодным посидит, в то сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание, а он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю: пусть-ка поголодает, образумится...

В этот момент Эдик, наскоро посовещавшись с Романом, решил в осуществление своей утопической программы морального преобразования членов Тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебовводовского сознания все, что там застряло разумного-доброго-вечного, но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый голос: «Не держите двери, следующая станция «Кропоткинская»!»

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов,— возразил Фарфуркис.— Так нельзя. Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров должны быть раскрыты. А вдруг он в самом деле посол? Надо соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от Тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что Тройка не уполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством Иностранных Дел, что задача Тройки — рационализировать и утилизировать необъясненные явления, а потому Спиридон есть для Тройки не более как дело номер шесть, обязанное предстать на рассмотрение и подчиниться решению. Вот Тройка и предлагает ему предстать, скажем, в понедельник. А дипломатические функции его Тройку ни в какой мере не интересуют.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Народ не располагает излишками бумаги для заведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объяснить делу номер шестому всю несообразность его поведения. Пищевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет?

— Какого калибра?— рявкнул полковник.

Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился.

— Продолжаем дневное заседание Тройки,— произнес он.— Следующий. Доложите, товарищ Зубо.

Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не угрожает опасность быть переданну кружку юных планеристов или пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать:

— Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия: не установлена. Имя: не установлено. Отчество: не установлено...

— Протестую,— сказал Фарфуркис.— Что значит не установлено? Надо установить! В милицию обратиться, если потребуется.

— Залирается сволочь,— сказал Хлебовводов кровожадно.

— Это из пришельцев,— вяло сказал комендант.— У них не всегда есть.

— Я категорически протестую!— закричал Фарфуркис, распаляясь и бешено листая свою книжку.— В инструкции сказано абсолютно четко! Параграф шестой главы четвертой части второй... Вот! «В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифицирования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению Тройки. Примечание: во избежание имперсонаций, злоупотреблений и диффамации запрещается присваивать указанным живым существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен см. «Приложение № 19». Вы что, инструкции никогда не читали?

— Да! Не читал!— сказал комендант, распаляясь.— Это не мне инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают! А вы вот вечно не дослушаете... У меня вот приложение к анкете есть: «Краткое описание дела номер шестьдесят четвертого».

— Какое там еще описание,— сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку.

— Сами же на прошлом инструктаже велели: если нет у человека ФИО, пускай будет хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и составило... Говорят, говорят, и сами не знают, что говорят.

— Эта...— решился вставить Выбегалло.— Фэ се ке дуа адвенн се ки пурра [1], значить...

— Затруднение?— мертвым голосом осведомился Лавр Федотович.— Товарищ Фарфуркис, устраните.

— Да, действительно,— признался Фарфуркис.— Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа шестого, в то время как рассматриваемое дело попадает под параграф седьмой той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию, лишь с некоторой долей неопределенности могущую быть названной живым существом, то есть самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для Тройки какие-либо затруднения...» — вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание. Я снимаю свой протест.

— Устранили?— осведомился Лавр Федотович.— Продолжайте, товарищ Зубо.

— А что мне теперь продолжать?— спросил комендант.— Пункт четвертый продолжать или сначала описание?

— А какая разница?— опрометчиво ляпнул Хлебовводов, но тут же испугался и полез зачем-то под стол.

Фарфуркис листал книжку в поисках указаний и не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя потрясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как некий бастион. Страшно было представить, какая бешеная работа мысли кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и невозмутимости. Пункт четвертый или описание? Описание или пункт четвертый?

---

[1] Прекрасно, кое-что имеется у этом..

[2] Кто поймет, тот изменит.

[3] Нужно произвести анализ.

[4] Это смешно, товарищ.

[1] Чему быть, того не миновать.

— В инструкции нет соответствующих указаний,— обреченно произнес Фарфуркис.

Назревала трагедия, кошмарный беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось.

— Доложите описание,— просто сказал Лавр Федотович.

И все ожило. Фарфуркис, просияв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебобводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты как слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки.

— Описание дела номер шестьдесят четвертого,— прочитал комендант.— «Дело номер шестьдесят четыре представляет собой бурую полужидкую субстанцию объемом около десяти литров и весом в шестнадцать килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности принимает форму круглой лепешки толщиной до двух сантиметров. Если посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем не протухает. Способно восстанавливать изъятые из него массы».— Комендант отложил описание и вернулся к анкете.— Пункт четвертый. Год и место рождения: не установлены, но, вероятно, не на Земле...

— Вероятно!— саркастически сказал Фарфуркис.— Это вы нам потом все обоснуете,— сказал он Выбегалле, погрозив пальцем.

— Всенепременно!— бодро отозвался профессор Выбегалло.— Народ будет доволен!

— Национальность,— повысив голос, продолжал комендант.— Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание иностранных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей: вероятно...

— То есть как?— вскинулся Хлебобводов.— То есть как это вероятно?

— А так!— огрызнулся комендант.— Откуда мне знать? Может, из Швеции сюда прибыл, он же не разговаривает...

— По-моему, бдительность у нас не на высоте,— сказал Хлебобводов.— Фарфуркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол: Хлебобводов, напоминает коменданту о бдительности!

Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал:

— Краткая сущность необъясненности: неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, не с планеты) невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют, адрес постоянного местожительства неизвестен. Все.

— Ничего себе все!— желчно хохотнув, сказал Хлебобводов.— Это был я директором конного парка номер два погрузо-разгрузочной конторы номер девять в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году, и приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понимаешь: чего там, думаю, пускай, мерин ведь. А он через неделю жеребенка приносит — раз! Скрывается без следа — два! И еще пять мешков овса как корова языком слизнула... Вот тебе и мерин. А ты мне тут толкуете — неизвестно, мол, возможно, не обнаружено... Как дети, ей-богу!

— Да-да!— решительно сказал Фарфуркис.— Я тоже не удовлетворен. Это не работа, знаете ли. Коменданту простительно, но вы, товарищ Выбегалло, меня удивляете.

Выбегалло принял перчатку.

— Чем? Чем же я это вас удивляю, товарищ Фарфуркис?— спросил он.

— Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалло, вот чем!— сказал Фарфуркис.

— Описка, а не описание получилась у вас,— добавил Хлебобводов.— Такое описание и я могу составить.

Тогда Выбегалло задрал бороду, плотоядно оглядел зареавшихся критиканов, поддернул манжеты и принялся потрошить.

Оказалось, что высокой науке, которую он имеет честь здесь представлять, не впервой отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. Се пенибль ме селя фе дюбьен [1]. Он, профессор Выбегалло, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, профессор Выбегалло, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтирательства, фактосочинительства и приписокамании. Он, профессор Выбегалло, как человек может понять желание товарища Хлебобводова, чтобы дело номер шестьдесят четыре прилетело к нам, скажем, из ФРГ. Же превуа же ля шер де пуль [1]. Тогда бы товарищ Хлебобводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Выбегалле, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определенно признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в геологоразведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество народного времени для сомнительных похождений, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках — возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и приписокамании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять, э ту се ки сан сюи.

Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком громко зааплодировали. Выбегалло раскланялся и сел.

Препарированный и выпотрошенный Хлебобводов счел в таких условиях за благо отступить на исходные позиции, с коих он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар.

— Я хотел бы только подчеркнуть,— веско сказал он,— что мы не юннаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный. Согласно же инструкции,— продолжал он, возвысив голос,— метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может, в частности, оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать.

Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович долго молчал, опустив веки, и дымил «Герцеговиной Флор». Затем он произнес:

— Народ...

— Да! Да!—подхватил Фарфуркис.— Вот именно!

Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклицания. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и Выбегаллу. Спокойствие, с которым оба они ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его.

— Народ ждет от нас подвига,— произнес он наконец, опуская бинокль.— Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой.

Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер шестьдесят четыре. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из-под соленых огурцов, максимум на пять литров, и куда девались остальные пять литров пришельца, было непонятно. Во-вторых, дело номер шестьдесят четыре было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания. Ну, сейчас начнется, подумал я. И началось.

Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами.

— Бурое!— закричал он.— Бурое! Что вы нам принесли, товарищ Зубо? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович! Синее, а не бурое! А по описанию — бурое, а не синее!

Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое, не знает он, почему оно посинело, само оно посинело, он его не красил и не подменял. Хлебобводов требовал акта и все твердил про обманщика-мерина; Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и в попытке ввести в заблуждение ответственный орган; Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать; а полковник проснулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли, только комендант из последних сил хрипел истово: «Иисусом Христом нашим... сыном божьим... матерью его, пречистой девой Марией... не красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе словно из Мамонтовой пещеры густо прогудел голос Лавра Федотовича:

— Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните.

Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит составить акт по форме номер сто десять дробь два. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить: а) необъясненное явление в его настоящем виде и б) цветная его фотография (кинолента) в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией (кинолентой) и немедленно обнаружил, что фотографии (киноленты) в деле нет.

— Где фотография?— страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся.— Где две цветные фотографии дела номер шестьдесят четыре размером девять на двенадцать?

Комендант слабо шевелил губами.

— Да ведь он преступник,— сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном.

— Нет,— сказал комендант.

— Халатный саботажник!— сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением.

— Нет!— простонал комендант.— Иисусом Христом... двенадцатью святыми апостолами...

— Гнойный прыщ на лике местной администрации!— сказал Фарфуркис.

— Да нет же!— заорал комендант.— Я-то здесь при чем? Это Найсморк! Он, а не я. Он же отказался!

— То есть как отказался?

— Я ему говорю: фотографируй. А он не желает! Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует!.. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется!.. У меня и допуска нет...

— Найсморка ко мне!— глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинулся вон из комнаты.

— Не нравится мне этот Зубо,— сейчас же сказал Фарфуркис.— Скользкая какая-то личность.

— Свиней откармливает,— живо сообщил профессор Выбегалло.

— Это нам известно,— сказал Фарфуркис.

— Дочка его... эта... развелась.

— Тоже известно.

— Брагу варит...

— Варит,— признал Фарфуркис.— И торгует.

— Иконы у него в доме,— сказал Выбегалло.— Старообрядческие. И библию он читает и конспектирует.

— Да?— сказал Фарфуркис.— Это интересно.

— Нузан савон кельквешоз оси [1],— самодовольно произнес Выбегалло.

Тут Хлебобводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. «Погиб комендант»,— подумал я. И точно: Хлебобводов взял банку в руки и взвесил ее на ладони.

— А ведь не будет здесь пуда,— сказал он.— Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. То-то же я смотрю, что в описании сказано — десять литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусываю... А вот тут и этикетка есть... «Огурцы соленые... Емкость пять литров». Чувствуете, на что я намекаю? Чувствуете?

Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку. Выбегалло даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис с остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом: просто ли перевод с понижением или приклеют ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак.

— И ведь еще ничего не известно,— сказал Хлебобводов, сосредоточенно нюхая дело.— Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил... и вообще это, может быть, вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе...

Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий

---

[1] Это хлопотно, но это к лучшему.

[1] Мне пришлось все это предусмотреть.

[1] Мы и еще кое-что знаем

Найсморк. Прямо с порога он затянул, глядя в нижний дальний угол комнаты: «Ну чего еще... Опять придираетесь... Чего еще я вам не угодил...» Однако на него не обратили внимания. Все взгляды зловеще устремились на бледного коменданта, который выглядывал из-за спины Найсморка и тоже прямо с порога заныл: «Вот он пускай и отвечает, а я что... у меня и допуска нет...»

— Товарищ Зубо,— ровным голосом провозгласил Лавр Федотович, и все замерли.— Надлежит вам представить недостающие пять литров дела. Срок — четыре минуты.

Я подскочил к коменданту, подхватил его под мышки и выволок в приемную, где уложил на модных очертаний деревянную скамью посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачены, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсморк.

А Найсморк выкручивался с блеском. Он загнал Хлебоводова и Фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными метрами и десятью сантиметрами и орал, как с трибуны:

— Я параграф двенадцатый знаю получше вашего! Я на нем крокодила съел, собакой закусил! Там сказано — анфас! По-русски понимаете? Ан-фас! Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду! Где у него анфас? Где? Ну где? Ну чего же молчите? Я самого господина... того самого... снимал! Я самого этого... как его... ну, в шляпе еще все ходил! Я параграф двенадцатый наизусть!.. А если фаса нет? У господина того самого фас был нормальный! У этого... как его... фас был будь здоров, в три дня не обгадишь! А у этого где?..

Хлебоводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и топоча, как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся, и ему, видимо, спросонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналоги — он ерзал в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал: «Взнуздывай! Взнуздывай!» Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль.

Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным.

— Товарищ Зубо,— сказал я ему на ухо.— Ваше дело полуобморочное, лежите тут себе, а минут через пять — десять приходите и твердите одно: ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились?

Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсморк. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то посыпалось, и сообщил:

— Меня охрана топтала, когда я этого снимал... как его... и то ничего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса — нет фото! Будет фас — будет фото. Инструкция! — Он пренебрежительно поглядел на распростертого коменданта и сказал: — Слабак! Курица! Я таких пачками снимал. Закурить есть?

Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями. Я тоже закурил и вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал записную книжку, а Хлебоводов что-то шептал на ухо Лавру Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо:

— Этот... фотограф... ушел?

— Да,— сказал я сухо.

— А комендант где? — грозно спросил Хлебоводов.

— У него печеночная колика,— сухо сказал я.

— Госпитализирован? — быстро спросил Фарфуркис.

— Нет,— сказал я.

— Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело!

Я набрал в легкие побольше воздуха и начал:

— Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или это я не знаю что? Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегалло, на вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между калориметрическими и контракционными характеристиками объекта. Как мы должны это понимать? — сказал я, обращаясь к Эдику.

— Мы должны понимать это так,— немедленно подхватил Эдик,— что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, а возможно, и химического состава...

— Я прошу товарищей вдуматься в этот факт! — сказал я.— Особенно вот вас, товарищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни калориметра, ни спектрографа, ни... э-э...

— Ни даже простейшего термобарогелиоптера,— восторженно сказал Эдик.— Такого еще не бывало! Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъясненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно не исследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетерминант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, Роже де Понтреваль установил...

Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ Роже де Понтреваля, я старался определить настроение присутствующих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебоводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушать один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо было помочь, и, как только Эдик замолчал, я двинул в бой гвардию.

— Между прочим, мне еще неясно,— сказал я,— должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов Тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали,— закончил я гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей.

Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Какие вопросы к докладчику?.. Нет вопросов? Какие предложения?

Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малой Энциклопедии» и некоторое время смотрел поверх голов.

— Эта...— начал он.— Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже, значит, что эффект калориметрической контракции до сих пор не обнаруживался, а мы его тут... эта... обнаружили и свалили, значит, на коменданта, на ле пувр Зубо... Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные... эта... далекие от науки. Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан нотр позисьон на определенные девуар. И в данном случае наша девуар состоит в том, чтобы эффект назвать и... эта... сохранить для истории. А потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова. Се ту се ке же ву ди.

Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, несомненно, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва восемь классов за душой, а его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения. Хлебоводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!» Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес:

— Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание Тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду.

Он погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебоводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо,— благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебоводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже чем выпить и не закусить...» — «Наука полагает, что... эта... с лучком, значить...» — «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...»

— В гроб они меня вгонят,— озабоченно сказал комендант.— Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

— Товарищ Зубо,— сказал я сурово.— Извольте объяснить, что же произошло на самом деле. Почему так мало пришельца? Почему он в этой банке?

— Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный,— забарабанил комендант. Я прервал его.

— Товарищ Зубо, вы это прекратите. Ведь Корнеев из вас душу вытянет за эти штучки. Вы знаете Корнеева.

Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в самом деле... Удивительно даже!»

— Ну? — сказал я, когда они удалились.

— Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо,— попросил вежливый Эдик.— Может быть, делу удастся помочь...

Комендант понурился.

— Нет,— сказал он.— Никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил — не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок эвонный глиняный..., ну, в котором он прилетел... лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну что мне было делать? Эх, думаю, семь бед — один ответ, перелил я, что осталось, в эту банку — совру, думаю, что-нибудь, а может, и вовсе не заметят... Но это еще что! — В глазах его мелькнул пережитый ужас.— Бурый ведь он был, ребятки, переливал его, видел... А тут выхожу за банкой — мать моя мамочка, синий!.. Не-ет, вгонят они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы, ребятки, благодетели мои...

Мы с Эдиком переглянулись.

— М-м? — спросил я.

— Ну что ты,— неуверенно сказал Эдик.— Не может быть... Вряд ли... Сомнительно что-то... Хотя...

Когда мы спускались по лестнице, он сказал:

— Вся беда в том, что это Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебоводов и Выбегалло отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович, выступая против товарища Хлебоводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я тоже. Один только Эдик остался недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании.

Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план этой работы, рассчитанной на три года (пока он будет учиться в аспирантуре). Через пять минут беседы свет стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас Эдик. «Такого рода работу,—

вежливо, но твердо сказал он,— следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать «Азбуку радиотехники» Кина?» Старику вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно,— сказал я, возвращаясь к жизни.— Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите там «Азбуку», геометрию Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно.

Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое.

— А, работяги! — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами.— Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре? Распили на четверых или вылили на помойку?

— Значит, это все-таки ты натворил? — сказал Эдик.

— Хватать и тикать,— ответил Витька.— Сто раз я вам говорил.

— Убирайся с моей койки,— потребовал я.

— Я вам тысячу раз говорил, остолопам,— сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою.— Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я знаю, где он у них стоит... Теперь Амперян. Чего тебе нужно, Амперян? А, Клопа тебе? Давай сюда тару какую-нибудь...

Он схватил Говоруна за ногу и стащил со стены, но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу.

Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем керамическом снаряде жидкий пришелец; как он долго не мог вскрыть контейнер, как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколол его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у коменданта («у него там целое сырное производство, у кулака, даже сепаратор есть...»), как потом долго искал, что бы этакое налить в опустевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то бурдой... В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие довольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и свежий, как д'Артаньян, чья шпага всегда готова к услугам друзей. Пришелец шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной лаборатории почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька, честно приволок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь паршивый домушник и теперь намерен вскорости вернуть бидон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на территории Колонии, то ради бога не стесняйтесь, он, Витька, готов.

Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз и этот второй, по его словам, ничем не отличался от первого: то же хвастовство и те же непомерные притязания на честность. Я не без восхищения обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее.

Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь?

Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного, но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном конкретном случае.

Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? («Если уж взялся, так и довел бы до конца, чистоплюй; прикончили бы насильственно облагороженные стерегатники насильственно облагороженного дурака Эдельвейса — было бы дело, а то один пшик и розовые сопли...»)

Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный вывод. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку до сверхчеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно вырядиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров.

Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтересной идею относительно Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только субботы, когда Тройка будет рассматривать дело номер девяносто семь, надеется это дело выиграть и покинуть Китеж-град навсегда, унося в клюве Черный Ящик. А пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельностью Тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.

Старший из магистров к моменту своего выступления закончил холю ногтей, густо напудрил воспаленные от бритья щеки и, развеся на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринадцати различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и что, следовательно, все здесь не правы. Он, старший из магистров, всячески приветствует благородное намерение Э. Амперяна разоблачить членов Тройки в их собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация есть высшая форма воздействия человека на человека, но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм А. Привалова, его, А. Привалова, нерушимую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили, а счастливый случай есть необходимая компонента всех начинаний. Но он же, Роман, напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия В. Корнеева вызывают в нем, Романе, чувство невольного восхищения, каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет такое решение в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный горбатый гасконский нос. Между тем у товарища Голого, администратора в высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более чем достаточно и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине, что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища Голого и что задача таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман, числит: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Голого в беседах о хорканье вальдшнепов и чуфыканье тетеревов; ежедневное мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в ценных мускулах — следствие постоянной мужественной улыбки.

— Победа будет за мной,— заключил Роман, натягивая пиджак.— И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники!

Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Феди в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика.

— Может, хватит трепаться? — сказал я утомленно.— Может, лучше пойдем прогуляемся?

— Я знаю только одно,— не обратив на меня внимания, сказал Эдик.— Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакомо, ни Федору Симеоновичу. И уж, во всяком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец.

Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание.

Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов, грубых, оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он вскочил и пробежался по потолку. Потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался, пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез; потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну и пр-ропадайте тут, вегетарианцы!» — и исчез сам.

Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько сказал:

— Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь?

— Пойдем,— сказал я.— Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать.

Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону.

— Да-да,— рассеянно отозвался он.— Обязательно.

— Так пошли? — сказал я.

— Я занят! — раздраженно сказал Клоп.— Разве вы не видите, что я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь... Некоторые люди,— сказал он Эдику с любезной улыбкой,— бывают чрезвычайно бестактны.

Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит, как тут и что, и вернется сюда.

Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах здесь стоял ошеломляющий — холодный, резкий, от которого съеживалась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации: вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей Бабы Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона видно не было — вода волновалась, по ней прыгали световые блики, крутились маслянистые пятна.

— Спиридон,— позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна.

Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую он просил, и не выбегает сам какой-нибудь пришел, а старый приятель, который все эти штучки наизусть знает,— и все-таки нет! Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могущественный, какой он непостижимый и как легко он может спрятаться в прозрачной воде.

Оказался он, конечно, прямо у меня под ногами. Я увидел его подмигивающий глаз величиной с тарелку.

— Ну хорошо, хорошо,— сказал я.— Красавец. Ничего не вижу, только глаз вижу. Очень эффектно, как в цирке.

Тогда Спиридон всплыл. То есть не то чтобы он всплыл, он, собственно, не погружался, он все время

был у поверхности, просто теперь он позволил себе быть увиденным. Плоские дряблые веки его распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинуло фальшивые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились на меня с нечестивым юмором, и слабый хрипловатый голос произнес:

— Как ты сегодня меня находишь?

— Очень, очень,— сказал я.

— Гроза морей?

— Корсар! Смерть кашалотам!

— Опиши меня,— потребовал Спиридон.

— Пожалуйста,— сказал я.— Но я не Альфред Теннисон, я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой.

Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания рук его, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась жесткая-бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками, из самых недр организма высунулся в венце мясистых шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный клюв. Послышался пронзительный скрежет: Спиридон хохотал.

— Завидуешь,— сказал он.— Вижу, что завидуешь. Ох, и завистливы же вы все, сухопутные! И напрасно. У вас есть свои преимущества. Гулять сегодня пойдем?

— Не знаю,— сказал я.— Как все. Я вот палку принес. Помнишь, ты просил?

— Помню, помню,— сказал Спиридон.— Как же...

Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и принялся мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах, и потянуло в сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным утром, солнышко греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так тянет все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился.

— Тьфу,— сказал я.— Грязью своей... Тьфу!

— Почему же — грязью?— удивился Спиридон.— Чистейшая вода, в нечистой я бы умер.

— Черта с два ты бы умер,— вздохнул я.— Знаю я тебя.

— Бессмертен, а?— самодовольно сказал Спиридон.

— Что-то вроде этого,— согласился я.— Ну-ка, перестань мерцать. Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?

— Я не нарочно, но я могу перестать.— Он вдруг снова оказался у самых моих ног.— А где наш говорливый дурак?— спросил он.— И где твой волосатый приятель?

— Он не только мой приятель,— возразил я.— Он и твой приятель. Что у тебя за манера — оскорблять друзей?

— Друзей?— сказал Спиридон.— У меня нет друзей. Я не знаю, что это такое.

— А как насчет Генерального содружества?— спросил я.— Чей же ты тогда Полномочный посол?

Спиридон холодно взглянул на меня.

— Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии?— осведомился он.— Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное. Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми терминами. В данном случае совершенно новое для вас, людей, явление — мою искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной завтрашним — я определяю старым термином «Генеральное содружество».

— Ага,— сказал я.— Значит, Генеральное содружество — это вранье.

— Ни в коем случае,— возразил Спиридон.— Это, повторяю, содружество меня со мной.

— Вот я и говорю: вранье,— повторил я.— Кроме самого себя, ты ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной.

— Гигантские древние головоногие,— наставительно сказал Спиридон,— всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству.

— Понятно. А кто же тогда тебе мы — Федя, Говорун, я?

— Вы? Собеседники. Развлекатели...— Он подумал немного и добавил:— Пища.

— Скотина ты,— сказал я, обидевшись.— Грязные ты подштанники.— Это звучало несколько по-хлебоводовски, но я очень рассердился.— Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве, а я пойду.

Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился крючьями присосков мне в штанину.

— Подожди, подожди,— сказал он.— Надо же, обиделся! До чего же вы все, сухопутные, правды не любите... Все что угодно вам можно говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на кашалота, я предельно бесхитростен. Я не говорю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виделись!» Я приближаюсь к нему с совершенно отчетливо выраженными намерениями... И ты знаешь,— сказал он, словно эта мысль впервые его осенила,— кашалоты этого тоже не любят! Удивительно нерационально построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность воспринимается как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными кальсонами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности — насколько Гигантские древние головоногие вообще способны испытывать чувство это, ибо только знание правды позволяет мне существовать.

— Ну хорошо,— сказал я.— А если бы я назвал тебя сверкающим брильянтом, жемчужиной морей?

— Я бы тебя не понял,— сказал Спиридон.— И я бы решил, что ты сам себя не понимаешь.

— А если бы я назвал тебя владыкой мира?

— Я бы сказал, что передо мною разумное существо, которое привыкло говорить владыкам правду в глаза.

— Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира.

— Значит, ты менее умен, чем кажешься.

— Еще один претендент на мировое господство,— сказал я.

— Почему еще? — забеспокоился Спиридон.— Есть и другие?

— Злобных дураков всегда хватало,— сказал я с горечью.

— Это верно,— проговорил Спиридон задумчиво.— Взять хотя бы одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альбинос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внутреннее дело, меня это не касалось. Но затем он объявил себя владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить себя господином вселенной. Кстати, твои соотечественники — я имею в виду людей — этому поверили и даже признали его олицетворением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни, некоторые варварские племена, предчувствуя хаос, отваживались на дерзкие налеты, кашалоты стали вести себя вызывающе, и я понял, что надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспут.— Спрут замолчал, глаза его полузакрылись.— У него были на редкость мощные челюсти,— сказал он наконец.— Но зато мясо было нежное, сладкое и не требовало никаких приправ... Гм, да.

— Диспуты!— вскричал вдруг Панург, ударяя колпаком с бубенчиками об пол.— Что может быть благороднее диспутов? Свобода мнений! Свобода слова! Свобода самовыражения! Но что касается Архимеда, то история, как всегда, стыдливо и бесстыдно умолчала об одной маленькой детали. Когда Архимед, открывши свой закон, голый и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», все жители Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достижению отечественной науки, о котором они еще ничего не знали, а узнав — все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик показал на пробегавшего гения пальцем и, заливаясь смехом, завопил: «Ребята! Э, пацанье! А ведь Архимед-то голый!» И хотя это была истинная правда, его тут же на месте, поймав за ухо, жестоко выпорол солдатским ремнем науколюбивый отец его.

— Возможно,— сказал Спиридон.— Возможно... Давай-ка мы почитаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что о нас знают и помнят люди.

Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу под странным названием «Спруты и люди». Его обуревала идея, что головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архивов, записал множество японских легенд и все самое интересное, с его точки зрения, перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу написать ему не удалось: он увлекся диссертацией на тему «Предательство японской либеральной буржуазией интересов японского рабочего класса». Папка была заброшена, большая часть материалов утрачена, но кое-что осталось — стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ровным дядиным почерком. На каждом листочке — выписка из какой-нибудь книги или рукописи с непременной ссылкой на использованный источник.

— Подряд читать?— спросил я.

— Подряд, подряд,— сказал Спиридон.

— Ладно.— Я взял первый листок.— «Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и чилимсов, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их» («Книга вед»).

— Что такое тушевая слюна?— спросил Спиридон.

— Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна,— возразил я.— И вообще — каким образом дощечка может содержать тушь?

— Забавно, забавно,— задумчиво сказал Спиридон.— Видимо, перед нами здесь наивное описание небольшой каракатицы. Хотя каракатицы никогда не знали приличий. Более неприличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не берусь. Разве что Клоп. Ну ладно, дальше.

— «По мнению Бидзана,— прочитал я,— ика есть не что иное, как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица» («Сведения о небесном, земном и человеческом»).

— Какая вульгарная фантазия,— пробормотал Спиридон.— Дальше.

— «К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Зное в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются клевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица». Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает и бумага снова делается чистой. Этим пользуются, когда пишут ложные клятвы» («Книга гор и морей»).

Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спиридон проворчал:

— Вот это более похоже на правду. Я сам, признаться, так лавливал альбатросов в молодости... Я только не понимаю, почему всех этих людей так интересуют вороны и тушь? Сплошные вороны и тушь.

— Тушью в те времена писали,— сказал я.— А с воронами вас связывают из-за клюва. Неужели непонятно?

— Предположим,— сказал Спиридон холодно.— Здравствуйте, Федор. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо,— тихонько сказал Федя.— Я не помешаю?

— Ни в какой мере,— сказал Спиридон.— Продолжай, Саша.

— «Согласно старинным преданиям ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря Сэто. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело» («Книга гор и морей»).

— Опять тушь,— проворчал Спиридон.— Дальше.

— «У поэта древности Цзо Сы в «Оде столицы У» сказано: «Ика держит меч». Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов» («Книга вод»).

— Нет, не поэтому,— сказал Спиридон.— А потому, что Цзо Сы по своей глупости превосходит даже Бидзана, упоминавшегося выше. Дальше.

— «В море водится ика, спина его похожа на игральную кость, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого голого человека с круглой головой» («Записи об обитателях моря»).

— Ну, это про осьминогов,— сказал Спиридон.— У них спина еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, обиделся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай.

— «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза, как луна, длина его достигала тридцати шагов. Цветом он был как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовый. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды» («Упоминание о тиграх вод»).

— Гм,— сказал Спиридон.— Может быть, это был я. Какого века материал?

— Не знаю,— ответил я.— Здесь не написано.

— Гм. Цветом, как жемчуг... Где она, эта ваша Япония? Это такие островки на краю Тихого океана?.. Очень возможно, очень... Ну, дальше!

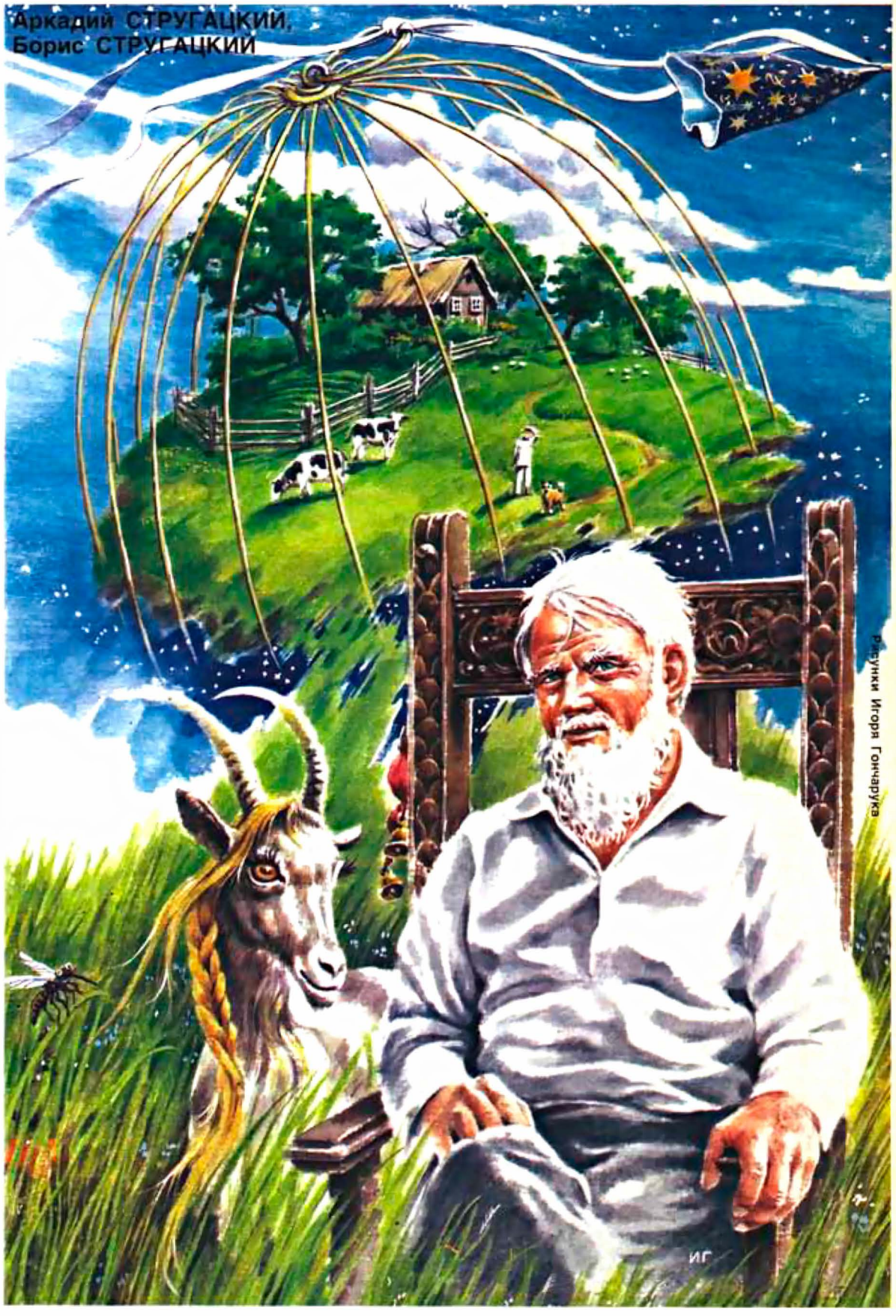
— «Береговой человек говорит: ика, тако, но не знает разницы. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как у тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряльщицы боятся его» («Упоминание о тиграх вод»).

— Здесь какая-то нелогичность,— задумчиво заметил Спиридон.— Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьминогом. И вообще все эти люди — и береговые, и морские — по-видимому, до смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтверждение. Н-ну-с, а что там дальше?

Продолжение следует.

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ



Рисунки Игоря Гончарука

«В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, напрасно прождав положенное время, вышла за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Ку, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном» («Предания юга»).

— Чистейшее вранье,— сказал Спиридон.— Наверняка этот Гэнгобэй пошел в пираты подзаработать. Очень похоже на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше.

— «Тако злы нравом и не знают великодушия. Если их много, они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где тако собирались для свершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным в столицу. Поэтому говорится: тако-но томокуи — взаимопожирание тако» («Записи об обитателях моря»).

— Взаимопожирание! — сказал Спиридон раздраженно.— Это похороны, а не взаимопожирание...

— Привет, друзья!— раздался позади нас знакомый голос.— Уже читаете? Клопа, конечно, не подождали... Ну еще бы, существо низшей организации, насекомое, так сказать, «а паразиты никогда...».

— Помолчи, Говорун,— сказал Спиридон.— Садись и слушай. Давай дальше, Саша.

Клоп, обиженно ворча, протиснулся между мной и Федором, и я продолжал:

— «Рассказывают, что во владениях сиятельного военачальника Ямаути Кадзутоё промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица по имени О-Гин. Лицом была приятная, телом крепкая, нравом веселая. В тех местах издавна жил старый ика длиной в двадцать шагов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда ее просватали, он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги счастливо уплатил десять рё золотом за кровного жеребца» («Предания юга»).

Спиридон промолчал, и я его окликнул.

— Да-да,— отозвался он.— Я слушаю.

Голос его показался мне странным, и я спросил, почему не слышно комментария.

— Потому что комментариев не будет,— сурово сказал Спиридон.

— Совсем больше не будет?— спросил я.

— Нет, отчего же — совсем? Там посмотрим...

Я продолжал чтение:

— «Параграф восемьдесят семь. Еще господин Цугами утверждает следующее. В Восточных морях видят катацумуридаке, пурпурного цвета, с множеством тонких рук, высовывается из круглой раковины в тридцать шагов с остриями и гребнями, глаза сгнили, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. Если приблизиться, хлопнуть в ладоши и крикнуть, от испуга выпускает ядовитый сок и наискось погружается в неведомую глубину, после чего долго не выходит. Среди знающих моряков известно, что он гнусен и вызывает на теле гнойную сыпь» («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей»).

— Любопытно,— сказал Спиридон.— Мне хочется вас поздравить. Письменность — это полезное изобретение. Конечно, с памятью гигантского древнего головоногого ей не сравниться, но вам, людям, она заменяет то, чего вы лишены от природы.

— Ты хочешь сказать,— спросил я,— что все прочитанное было на самом деле?

— Поговорим об этом, когда ты закончишь,— сказал Спиридон.

— Пойдемте лучше в кино,— предложил Говорун.— Устроили здесь читальню... Память, письменность... Слова вставить не дают...

— Дальше, Саша, дальше,— сказал Спиридон.

— «Параграф сто тринадцать. Еще господин Цугами свидетельствует такое. На острове Екомэдзима живет дед, дружит с большими ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. Когда в полнолуние он играет на флейте, ика выходят на берег, и он дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголетия из источников в пучине вод» («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей»).

— Помню, помню,— сказал Спиридон.— Мы их потом судили... Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу — опытный работник. Есть там еще что-нибудь из его свидетельств?

Продолжение. Начало в №№ 11, 12.

Я просмотрел оставшиеся листочки.

— Нет, больше нет. Может быть, были, но потеряны.

— Это хорошо,— сказал спрут.

Я стал читать дальше:

— «Пират и злодей Рюдо далее под пыткой показал. Весной седьмого года Кэйтё у берегов Осуми разграбил и потопил корабли с золотом, принадлежащие Симадзу Ёсихиро, на пути из Кагосимы. Его первый советник по имени Дзэнти заклинаниями вызвал из глубины на корабли стаю огромных ика, которые ужасным видом и крючками привели охрану в замешательство. Пират же и злодей Рёдо незаметно подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку и погубил всех иных верных людей. Подписано: Миногава Созцу. Подписано: Сога Масамаро» («Хроники Цукуси»).

— Да,— подтвердил Спиридон.— Такие альянсы когда-то допускались. Это вам не какие-нибудь свиньи.

— Пардон,— сказал Говорун, отталкивая меня локтем.— А клопы? Были на кораблях клопы?

Спиридон пожал плечами.

— Очень может быть,— сказал он.— Нас это не интересовало.

— Понятно,— сказал Говорун, помрачнев.— Как всегда.

Я взял следующий листок.

— «В деревне Хигасимираха на острове Цудзукидзима еще до сей поры поклоняются большому тако, которого именуют «нуси» — «хозяин». По обычаю в третье новолуние все девушки и бездетные женщины после захода солнца раздеваются, выходят из деревни и с закрытыми глазами танцуют на отмели. Тако издали глядит и, выбрав, призывает к себе. Она идет, плача и не желая, и печально погружается в темную воду. Остальные возвращаются по домам» («Записки хлопотливого мотылька Ансина Энко»).

— Чепуха какая-то,— сказал Клоп.— Если они танцуют с закрытыми глазами, да еще в новолуние, как же они узнают, кого он выбрал?

Спиридон промолчал.

— Читайте, Саша,— тихонько попросил Федя.

— «При большом тайфуне во второй год Сётоку рыбаки из деревни Гумихара в Идзумо числом семнадцать потеряли лодки и спаслись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой обитали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно глядели из воды, а ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требовали: «Дайте немедленно одного». Поскольку выхода не было, страх одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бинсэ. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, как бы говоря: «Вот хорошо!» День за днем это повторялось, мучения ночью были такие, что иногда без жребия хватали кого придется и бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, их подобрал корабль, направлявшийся из Ниигаты в Сакаи. Демоны последовали за кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись» («Записи необычайных дел во владениях князя Мацудайры»).

— А вы знаете,— сказал Федя,— ведь у нас есть такая же легенда. Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери Фрух...

— Как?— спросил Клоп.

— Это на нашем языке,— извиняющимся голосом пояснил Федя.— Фрух. Это значит «не увидеть». Их никто никогда не видел, но слышали, как они ползают внизу. И вот по ночам люди начинали мучиться, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все прекращалось.— Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво: — Я, конечно, понимаю, это сказка, но если бы это была правда, можно было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь гибли всегда самые интеллигентные... певцы, или люди, знающие коренья, или художники... или кто не мог смотреть, как другие мучаются...

Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было предполагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик стыдился за поступки своих современников, и молчание его каким-то странным образом начинало мне действовать на нервы.

— Спиридон,— сказал я.— Где комментарий?

— Потом, потом,— неразборчиво буркнул он.— Продолжай.

— Тут всего один листок остался,— предупредил я.

— Вот и хорошо,— сказал Спиридон.— Вот и прочти его.

Я прочел последний листок:

— «Тогда мятежники с криком устремились вперед. Но его светлость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов спустились отряды асигару. Тогда мятежники в замешательстве остановили шаги. Асигару дали залп из мушкетов. Тогда мятежники, бросая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный Набэсима Тосикагэ, невзирая на доблесть, не смог бы догнать и схватить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотоводец Юсо выпустил боевых тако. Икусадако подобно буре налали на вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, мятежники устрашились и выразили покорность. Их всех перевязали, нанизав на нитку подобно сушеной хурме, после чего его светлости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на месте. Всего было распято восемьдесят злодеев, а флотоводец Юсо удостоился светлейшей похвалы» («Хроники Цукуси»).

Я сложил листочки и завязал папку. Все мы ждали, что скажет Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-красным и растекся по поверхности, как масляная лужа.

— Большинство этих документов,— заявил он,— относится, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность... Черт возьми, все мы любили сладкое мясо!.. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать — в назидание. И я им прочту... Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем этом правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот: мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море; некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину; и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплошная чушь и болтовня. Всю же правду о гигантских древних головоногих не вместят никакие записки.

— Мне понравилось выражение «сосали мозг»,— задумчиво сообщил Говорун.— Что бы это могло означать?

— Просто метафора,— холодно сказал Спиридон.— Почему ты не спрашиваешь, что означает выражение «глаза спили»?

— Потому что мне это неинтересно,— заносчиво ответил Говорун.

Я заметил, что Федя с сомнением качает головой.

— Нет, тут что-то другое,— проговорил он.— Тут что-то недоброе. А Спиридон просто не хочет рассказывать.

У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуждать. Это было что-то неприятное и в конце концов не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсморк. Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас дикими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет Спиридон, спрут, древний головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человек ставил, понимающий, только смердит вот, как на помойке у этого... как его... у столовой. Узнав, который здесь Спиридон, Найсморк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя по ляжкам, заглядывал в видоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать себя по ляжкам. Он восклицал, что вот это — фас, что этот фас — всем фасам фас, что такой фас он видел всего однажды, у этого... как его... да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли... Он потратил на Спиридоновый фас полпленки; однако, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало, надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось считать Спиридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранить серьезность, расслабиться и не улыбаться, сделал два снимка, взял у меня сигарету и исчез так же внезапно, как и появился.

— Меня он тоже давеча снимал,— ревниво сообщил Клоп.— При помощи микронасадки. Я думаю, что это в связи с моим заявлением.

— Вряд ли,— сказал Федя.— Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсморк всю Колонию переснял по второму разу. На всякий случай.

— Сплетня!— сказал Клоп.— Просто я подал заявление, чтобы Тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение.

— Какое?— спросил я.

— А это уже никого не касается,— высокомерно заявил Клоп.— Завтра услышите. Я надеюсь, товарищ Амперян будет завтра присутствовать на утреннем заседании?

— Будет,— сказал я.

— Очень рад,— сказал Клоп.— Я очень уважаю товарища Амперяна, а завтрашнее заседание обещает стать историческим.

— Сомневаюсь,— сказал лениво Спиридон.— Сомневаюсь я, чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили и в решении записали, помнится: «Клоп говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию Тройки не входит, лицевть пищевого довольствия и койки в общежитии...»

— Это неправда!— крикнул Говорун.— Это дурак Хлебоводов предлагал. А Лавр Федотович не утвердил! Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением! Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...

— Будь ты обыкновенным клопом,— с усмешкой сказал Спиридон,— тебя бы давным-давно раздавили!

— Молчи, людоед!— взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце.— Трясина ты холодная, бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали!

— Товарищи, товарищи!— сказал Федя, удерживая за талию Клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн.— Говорун, вы же там утонете... Спиридон, я вас прошу, извинитесь... Вы действительно были бестактны! Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам...

Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный факт и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду. Говорун лягался, брызгал слюной и орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили скандал, иначе я упеку Говоруна на двое суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил сквозь зубы что-то вроде «Виноват, переборщил». Говорун всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения.

— Ну вот и прекрасно,— сказал просиявший Федя.— А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись.

Было решено проветриться, тем более что вечер стоял особенно тихий и теплый. Федя сбегал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и извинялся, когда ему наступали на щупальца. В тачке он устроился поудобнее, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что готов.

В дверях павильона нас встретил сторож, свояк коменданта товарища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком.

— Спиридон Спиридонович!— прохрипел он.— Куда же это вы не ешьи? Комендант заругается!

Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину.

— Это тебе за беспокойство, голубчик,— сказал он.— А ужин занеси и оставь там где-нибудь, я вернусь и поужинаю.

— Это можно,— прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие.— Это пожалуйста... Очень мы вами бла-адарны, Спиридон Спиридонович...

По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал спруту несколько комплиментов, и они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатойтисов и о прирожденной властности их взора, но тут ревнивый Говорун подхватил Эдика под руку и с криком: «Пардон, товарищ Амперян! Одну минуточку, небольшая консультация...» — увлек его вперед. Тем не менее Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спрутов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых, неопытных мегатойтисов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть, приняв за большого кашалота; как они долго ползали по железной палубе и все кричали друг другу мужественными голосами: «За дыхало его, братва! За дыхало!» Мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, Эдик — тоже; Спиридон хохотал, представляя себе, как перепугалась команда подводной лодки; Федя смеялся от радости, что всем весело и никто ни с кем ссориться не намерен (Федя истории не понял, он решил, что подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка); Говорун же смеялся потому, что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело: полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из

шланга. Говорун безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак Хлебоводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же попрощался, сказавши, что у него свидание.

Мы еще немного погуляли втроем по Колонии, и я рассказывал Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что Спиридон простым глазом видит Красное Пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то справа, то слева от нас, напоминая о себе слабым кваканьем; мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться. Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голого, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну — должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешно свернули на боковую аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали:

Укажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцелуи ни к чему —
Мы братия по разуму!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он пререкается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун.— Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вупоков?

— Балда! — прошипел я.— Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не поздоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебоводов, страдая от тухлой отрыжки, пронырнул:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

— Минуточку,— сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда.— Гражданин Говорун,— обратился он к Клопу.— Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить?

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил.

— История человеческого племени,— начал он,— хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина, Галилео Галилея и Николая Вавилова. История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Салукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончили свои дни Императур, создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить».— Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние желудочной прострации, в котором пребывала большая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы. Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, и я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебоводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить...» Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся.— Да я же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем? Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько побледнел, однако продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебоводов, вскочил и рванулся вперед.

Сердце у меня замерло, Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебоводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррм,— как-то жалобно проговорил Лавр Федотович.— Кто еще просит слова?

— Позвольте мне,— сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала.— Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебоводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял наконец, что его дело плохо. «Саша,— шептал мне Эдик в панике.— Саша, придумай что-нибудь...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой,— не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволяю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита!— прохрипел Хлебоводов.— Вот я его сейчас спичкой...— Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. А я все никак не мог найти выхода из возникшего тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебоводов,— брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис.— Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О тщеславие!..

— Далее,— продолжал Фарфуркис,— нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составим акт таким примерно образом: акт о списании Клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебоводов.— Печатью его!..

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Позвольте! — вскинулся Фарфуркис.— Что значит произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп.— Палачи! Жандармы!

И тут меня наконец осенило.

— Позвольте,— сказал я.— Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррм,— еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису.— И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебоводов? Да, я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц...

— Вот я и говорю,— сказал Хлебоводов.— Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебоводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некоторый доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу Комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной

и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку.

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар...— проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями,— возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными,— возразил Хлебовводов.— Очень даже широкими... этими...как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться...на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение,— сказал Эдик.— Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом. Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил Привалова, человека незаинтересованного и объективного.

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный

— Народ...— произнес бастион, болезненно заводя глаза.— Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор! Народу нужны поля и реки. Народу нужен ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна.— подтвердил Лавр Федотович.— Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Комендант почтительно-деловито осведомился

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ.. — провозгласил Лавр Федотович,— народ предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте.— С этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину, Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон.

Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он даже говорить не мог и только, что-то бессвязно бормоча, пытался целовать мне руки.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки, бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. А машина-то пятиместная, озабоченно сказал Эдик. Нас не возьмут Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам никакого отношения, а мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализации. Нельзя терять надежду, сказал он Пока имеешь дело с людьми, нельзя терять надежду

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными.

«Затруднение?— осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом.— Товарищ Фарфуркис, устраните» Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. И не успел я глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве ВРИО научного консультанта, шофер был отпущен, а я сидел на его месте. «Давай, давай,— шептал мне на ухо невидимый Эдик.— Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение. Между тем неугомонный Фарфуркис вспомнил про полковника, забытого наверху, и вновь сцепился с Хлебовводовым.

— Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебовводов.

— Неудобно, неудобно,— говорил Фарфуркис.— Комендант, сбегайте!

— Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебовводов.— В багажник, что ли, мы его посадим?

— Ничего, ничего, как-нибудь разместимся.

Я решил прекратить эту стыдную сцену.

— Напоминаю,— сказал я строго.— Машина пятиместная. Нарушения правил я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол зарабатывать не намерен.

Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее обратно.

— Ехать бы...— умирал Хлебовводов.— С ветерком бы...

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Есть предложение ехать. Не дожидаясь задержавшихся. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться там, где остановка была запрещена; то он советовал не гнать и напоминал мне о ценности жизни Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки... Однако, когда мы миновали белые китежградские черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцеговину Флор». Хлебовводов затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Китежграда с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра, на болоте — рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье, а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место. Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную талантливую молодежь Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали — нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее, Фарфуркис расстегнулся, а я и вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал. Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра Музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание, что ящур — опасная болезнь скота и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете.— говорил он.— Я человек начитанный, хотя и без высшего образования» Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет»,— сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся,— возразил Хлебовводов.— Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но, поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит,— с отчаянием сказал комендант.— Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, что нечего аккумуляторы подсаживать,— дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо,— не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович.— Почему вызванный не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка,— подал голос Хлебовводов.— Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета,— сокрушенно заметил Фарфуркис.— Спать нужно ночью, а днем нужно работать

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебовводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая оскаленными клыками, а Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего,— кровожадно сказал Хлебовводов.— На дутом авторитете выплывет».

Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову. Фарфуркис возразил, что вызов дела является функцией и прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае я являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее чем на двадцать шагов.

— Господом нашим...— не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье — Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... У ей хайло, что твои ворота!.. Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку!... Спросонья-то...

— В конце концов,— несколько неуверенно, произнес Фарфуркис,— зачем ее звать? В конце концов и отсюда видно что никакого интереса она не представляет Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов.— Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр.

— Народ...— донеслось из боевой рубки.— Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...

— Не нужны!— выпалил Хлебовводов из малого калибра И промазал

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство

перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу,— объявил Лавр Федотович, и действительные члены Тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски давал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого Фарфуркиса проку будет мало. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую машину.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Я резко затормозил и сказал:

— Все, приехали.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое,— прочитал он.— Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отечество: прочерк. Название: Коровье Вязло...

— Минуточку!— прервал его Фарфуркис встревоженно.— Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары.

— Лавр Федотович!— пролепетал Хлебовводов.— Комары!

— Есть предложение!— нервно закричал Фарфуркис.— Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Грррм.— произнес Лавр Федотович с удивлением.— Народ не понимает.

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания уланов и лейб-гусаров предавалась взаимоскорблению действием. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже респух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки — в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога «Вперед! — кричали на меня со всех сторон.— Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом наконец мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... нашим...»

— Товарищ Зубо,— произнес наконец Лавр Федотович,— почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности,— приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну?— сказал Хлебовводов.— Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так все?— плачуще взвыл Хлебовводов.— Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Грррм,— сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал. Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу.

— Есть предложение,— продолжал Лавр Федотович.— Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием «Коровье Вязло» исключительной опасности для народа подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно, реально не существующим и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт!— воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали подписи.

— ПЕЧАТЬ!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал:

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно, реально не существующего болота Коровье Вязло, а также за необеспечение безопасности работы Тройки объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложения?

Слегка повредившийся от треволнений Хлебовводов внес предложение приговорить коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать лет. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотовича.

— Следующий,— произнес Лавр Федотович.— Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место,— убито сказал комендант.— Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары?—осведомился Лавр Федотович.

— Христом богом...— сказал комендант.— Спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо,— констатировал Лавр Федотович.— Осы? Пчелы?—продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни боже мой,— сказал комендант искренне.

Лавр Федотович долго молчал.

— Бешеные быки?— спросил он наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки?—спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был Китежград, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же Коровье Вязло, которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка, по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились?— спросил меня Фарфуркис.— Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть...— добавил Хлебовводов.— Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехаться по этой дороге.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке, Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается?— сказал он.— Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма,— кротко сказал комендант.— Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство»,— говорил Хлебовводов. «Саботаж,— возражал Фарфуркис.— Но злостный». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «...на колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит... Комендант? ...Может быть, и ВРИО консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями.

— Затруднение?— осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара.— Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в тридцати позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили его так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, кото-

рый искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Недоразумение было полностью устранено, повреждения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо,— произнес он.— Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сыра земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебовводова благоприятнейшее впечатление. Хлебовводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой, Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис.— А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что ж свидетель...— упавшим голосом сказал комендант.— Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него.— Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов.— Пусть молока принесет.

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах.— Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. Она опять в город, побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитвы возносил — не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстрига, ренегат, и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит — на холме Феофил. Сперва начал грозить Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он — там, жена — здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу, потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солонины запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык.

Выслушав эту страшную историю, Хлебовводов вдруг сделал открытие: советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, в выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него,— говорил Хлебовводов,— и теленок вот. Коза. А налогов не платит...— Глаза его вдруг расширились.— Раз теленок есть, значит, и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно,— уныло признался комендант.— Он у него, верно, на той стороне пасется...

— Ну, браток, и порядочки у тебя,— зловеще сказал Хлебовводов.— Знал я, чувствовал, что халуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты подкулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда...

Комендант набрал в грудь воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоалтолами... клянусь...

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону.

— Люди как люди,— сказал Феофил.— Удивительно...

Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов,— сказала она.— Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Иес! — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая.— Натюрлих-яволь!

— ...профессии как таковой не имеет — руководитель. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так,— сказал Феофил.— Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — сказал Хлебовводов.— Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее,— сказала коза.— Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно,— сказал Хлебовводов.— Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет,— сказала коза.— Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза.— Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь,— попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были,— быстро сказал Хлебовводов.— Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не есть... то есть не работает...

— Понял, понял,— сказал Феофил.— Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

Феофил покивал.

— Что от него останется на земле? — спросил он козу.

— Дети,— сказала коза.— Двое законных, трое незаконных... Фамилия в телефонной книге...— Прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась вдаль.— Нет, больше ничего...

— Нам много не надо,— хихикнул Хлебовводов.— А что касается незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в командировку...

— Благодарю вас,— сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса.— А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис,— сказала коза.— По имени и отчеству никогда и никем не был называем. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук, тема диссертации: «Профсоюзная организация мыловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934—1941 годы». За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так,— мягко возразил Фарфуркис.— Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли,— сказал Фарфуркис,— чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел,— сказал Фарфуркис.— Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда,— сказала коза.— Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис.— Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами. Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны. Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах. Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существуют Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко,— сказал Феофил.— Очень тонко. Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет,— сказала коза, усмехаясь.— То есть философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация как образец такого рода работ.

Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой.

— Правильно ли я понял,— сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу,— что все кончено и мы можем продолжать свои занятия?

— Еще нет,— ответил Феофил, очнувшись от задумчивости.— Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал пораженный Фарфуркис.— Лавру Федотовичу?

— Народ...— проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Да,— подтвердила коза.— Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Да что же это такое?! — возопил в отчаянии Фарфуркис.— Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно,— сказал Хлебовводов.— Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Гррм,— произнес Лавр Федотович.— Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности, Министерства финансов и Министерства охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Китежградского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке и из-под ладони озирал окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению, оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки в количестве пяти он прочел от доски до доски и вызубрил наизусть: бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые страницы с любого места слева направо, справа налево и даже сзаду наперед. При этом сразу было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теорию он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике.

В отчаянии и меланхолии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запомнил эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там где и к чему. Прекрасно, сказал я. Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина... тьфу... Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки.

Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брема в пяти томах. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель...— у ей внутре ведь есть, кажется, думатель? —...думатель будет думать, и таким образом агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Бремом...

Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было невесело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе, оказывается, узаконена строгая моногамия и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением, а то и в уголовном порядке; что любовь — это ни в какой мере не вздохи на скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне...

Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чем идет речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушенный в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о гражданине Ойре-Ойре Р. П., и сведения о семейном положении этого гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил. гражданина Ойру-Ойру Р. П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном гражданине Ойре-Ойре Р. П. Выяснилось далее, что к отстранению от матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофициальный закулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голого и Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойрой-Ойрой Р. П. спрута Спиридона как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные рубежи.

Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый, темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов, вытянуть из него не удавалось, но сами за себя говорили, во-первых, знакомый бидон с жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло, и как наяву виделись великие: грустный Жиан Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспощадно-брезгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебной силы слова, которые нам не дано было услышать, и слава богу!

В отличие от двух своих собратьев-магистров Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем — зверское избиение Клопа Говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лизки и решительная расправа со злосчастным Коровьим Вязлом,— изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой Тройке.

Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину.

— Увы мне! — воскликнул вдруг Панург, грустно звякнув бубенцами.— Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на кладбище; а ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия! Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел вполне! Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки... Не повезло... Надо же, какая скотина попалась упрямая!» Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык...

— Чего надо? — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев.— Чего вы здесь шляетесь?

— Витька,— сказал я,— это же Панург...

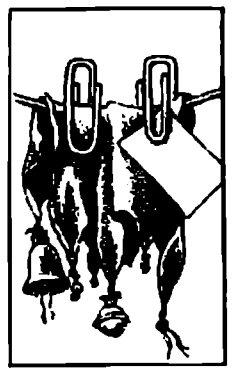
— Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам...— Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно.

— У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка,— задумчиво проговорил Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки.

Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно: обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки реморализации, но только составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность Тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая «телега» не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который, как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае «телега» ничего не изменит, а в худшем — настроит Тройку на мстительный образ мысли.

Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать» и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. Разика два-три-пойдет заседать на бровях, сказал Витька, его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не хватало для такой кампании пороху.

Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто — как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и к тому же не сводящее дело с мертвой точки. Тогда с горя я предложил создать дубликаты членов Тройки. Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто Шестерка будет лучше Тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался.



Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий остановил на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом. Некоторым кажется, что Таврий Юбеллий — герой, заключил Панург, но на самом деле он тоже дурак: зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен своих друзей и знакомых? Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины.

Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у Тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием: «Затруднение? Товарищ Хлебоводов, устраните». И модель Хлебоводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил телефон.

— Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать? — осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.

— Да,— сказал я.— Слушаю вас, товарищ Машкин.

— Так что разрешите доложить,— сказал Эдельвейс,— что указания ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая... Не по-русски там идет... У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные, видать... Их печатать или как?

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях.— Обязательно печатать!

— А ежели в ем этих букв нету?

— Тогда срисовывайте рукой... Очень хорошо! Агрегат заодно и срисовывать научится... Действуйте.

Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того чтобы путаться под ногами, клянчить приказы, мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за «ремингтоном», колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем сначала тридцать томов Чарльза Диккенса, а затем, даст бог, примемся за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями... Не-ет, Витька не совсем прав, не такой уж я дурак, мне только взяться, а там уж я...

Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение осенившей меня светлой идеи, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.

Меня поняли, едва я упомянул о Бреме. Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова, и мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану путаться под ногами.

— Вечный двигатель! — провозгласил Роман.— Десять заявок. Лучше двадцать.

— Двадцать на двигатель первого рода,— подхватил Эдик,— столько же на двигатель второго рода...

— Разумный селенит,— сказал Витька.— Оборудование для спиритического кабинета...

— Дух Наполеона! — вскричал Эдик.— Я знаю, в Колонии есть две штуки!

— По пять заявок на каждую...

— Духи — это блеск. Дух Македонского, дух Бисмарка, дух Чингисхана...

— Дух Амперяна!

— Откуда ты его возьмешь?

— Сделаем!

— Правильно, сделаем! А что еще можно сделать?

— Подождите,— сказал Роман.— Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок, а это значит — десять тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч конвертов... Далее наша почта не справится, надо ей помочь...

Окончание следует.

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

Рисунки Игоря Гончарука

— Ясно,— сказал Витька.— Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй список глупостей. Сашка... Черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет... Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в Тихую Заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел!

Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся. Голос Витьки рявкнул какое-то слово, и дверь исчезла. Передо мной была глухая стена.

Я завистливо вздохнул и, бормоча: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»,— направился в Колонию к Спиридону. В Спиридоновом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь.

Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяла. Клоп ничего не нес — он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой»,— хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами.

Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой Заводи, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около двух часов, надо было поторапливаться, но мы задержались в Колонии поболтать с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих частей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести наконец на корабль какого-нибудь крупного ученого, но в общем-то он был настроен пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константиново летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище.

Окончание. Начало в №№ 11—13.

Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с собой отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут десять мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем неинтересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под блюдце. Мы двинулись дальше.

Дорога шла вдоль Китежи, приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, неразбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева под небольшим обрывчиком текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда: мы берегли дыхание. А Спиридон с Говоруном затеяли разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему.

Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. Да, соглашался Клоп, муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому что у клопов нет совести. Это была истинная правда: будь у данного клопа хоть немного совести, он мог бы по крайней мере тащить пакет с луком.

Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находятся по ту сторону того и другого. Затем последовали: вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием, производным от совести, и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа: живу, потому что убиваю и не могу иначе. Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство: соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу столкнуть его в реку.

Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же — чувственной. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады — в переводе на русский — о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану навстречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо И...?» Как тонко! — вздыхал он.— Как верно! Очень понашему, очень...» Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони, однако потом и его прорвало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им известные строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...», которые считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей сочли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где сидел по недоразумению несколько месяцев.

Так за разговорами мы еще засветло добрались до Заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами и через минуту, появившись, сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов, и оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов сомнительного свойства.

Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия расстеленных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, хотя уже стемнело и надеяться на клев больше не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там Спиридона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако уличить его не было никакой возможности.

Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первая порция ухи — тоже. Я намазался диметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или по крайней мере Дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте.

Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим Говоруна за руки и за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи... Вспомнив о Клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение: посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву, а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. Говорун сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы и каким образом нужно до них отсюда добираться. Я совсем уже решил было проблему Клопа, сообразив, что его просто следует перевезти на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении. Вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди.

Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. Хлебосводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки. Было это совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело посмотрел на часы. Было ровно десять. Тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, удивлены не меньше и понимают не больше меня.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович с какой-то новой интонацией.— Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устраните.

Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять.

— Э...— сказал он.— Э... Природа... Э... Лес, река... Э... Отдых...— Он вдруг оживился.— Я полагаю, Лавр Федотович, что Тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы позволить себе отдых...

— На природе,— подхватил сообразительный Хлебосводов.

— Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно! Палатка, костер...

— Костер — это огонь,— с некоторым сомнением произнес Лавр Федотович.

— Совершенно верно,— без колебаний согласился Фарфуркис.— Прекрасный свежий воздух, проточная вода... Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович!

— Грррм,— сказал Лавр Федотович.— Товарищ Хлебосводов, распорядитесь.

Хлебосводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в палатку.

— Все готово, Лавр Федотович! — бодро сообщил он оттуда.— Я уже распорядился! Пять одеял верблюжьих и три подушки походных, надувных. Сейчас я их надую, и можно отдыхать.

— Народ...— сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь.— Народ имеет право на отдых... Товарищ Фарфуркис, назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи!

С этими словами, подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как бронтозавр, время от времени, если судить по тихим воплям, придавливая Хлебосводова.

— Товарищ ВРИО научного консультанта,— обратился ко мне Фарфуркис.— Оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и... э-э... лесные ягоды. Скажем, земляника, малина... Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня.

Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. Через секунду тишина нарушилась на диво слившимся хором носоглоток: Лавр Федотович вел басы, Хлебосводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, врывался в них прерывистым дискантом.

— Так земляника или малина?— спросил Федя.

— Кукиш с маслом,— сказал я.— Какого черта? Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?

Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами.

— Не знаю,— пробормотал он.— Странно както...— Он помолчал.— Нет, пойду все-таки малинки соберу,— сказал он и ушел в темноту.

— Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это?— громко спросил я.

Но Говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и тихонько мурлычет: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...» Никто не ответил на мой вопрос. Только из омута донесся до меня скрежещущий смех Спиридона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебосводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их, а Хлебосводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...» Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия достойные плоды!»,— укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая ключья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки.— Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе,— забарабанил он.— Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новой эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебосводов.— Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываешь, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани,— продолжал Хлебосводов,— бросили меня заведующим курсов среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибире... Нет,— сказал он с сожалением,— не в Саратове это было. В Сибире это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо было там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебосводову продолжать.

— Лавр Федотович,— прочувствованно сказал Хлебосводов.— Забыл, понимаете, город. Ну забыл, и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню... Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо,— сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый,— прочитал комендант с робостью.— Национальность..

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый,— сказал комендант.— Фамилия...

Пока он читал сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, почему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседании, неужели работы оказалось так много...

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов.— В Херсоне это было, вот где... Ты давайте, продолжайте,— сказал он вздрогнувшему коменданту.— Это я так, вспомнил...— Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой,— нерешительно зачитал комендант.— Образование: высшее син... кри... кре... критическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся:

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое,— повторил комендант единым духом.

— Ага,— сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо,— веско произнес Лавр Федотович.— Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все,— повторил комендант.— Без словаря.

— Вот так самокритическое,— сказал Хлебовводов.— Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, амфибрахист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите,— сказал Хлебовводов.— Работает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске,— пояснил комендант.— В краткосрочном.

— Это я без тебя понял,— возразил Хлебовводов.— Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель...— сказал он.— Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой,— сказал он.— Что он читает, это я слышал. Читает и пусть читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию,— сказал я.— Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет,— сказал он.— Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему зарплату платят.

— У них зарплаты как таковой нет,— пояснил я.

— А!— обрадовался Хлебовводов.— Безработный! — Но он тут же опять насторожился.— Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь тут что-то...

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии,—быстро сказал Выбегалло.— И вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время,— сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заверзал. Простым глазом было видно, как высокая доблесть солидарности с мнением начальства бьется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович,— залебезил Хлебовводов.— Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель... Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получается? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта,— объявил он.

Выбегалло поднялся.

— Эта...— сказал он и погладил бороду.— Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди [1]. Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё [2], всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире иль фо ле боар [3]. Мое личное мнение вот какое: эдэ — тув э дье тедера [4]. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля,— с горечью сказал Выбегалло,— ледукасьён куон донно жёнжен дапрезан [5]!

— Вот и я говорю, пускай,— повторил Хлебовводов.

— Слово предоставляется свидетелю Привалову,— произнес Лавр Федотович, опуская бинокль.

Я сказал:

— У них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскричал Хлебовводов.— Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну сидит он, ну читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кимарит, сачок? Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто,— возразил я.— Ведь он не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия,— заключил я.— Константин Константинович — настоящий герой труда.

— Да,— сказал Хлебовводов.— Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо,— произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи,— сказал он.

— Территория Чили,— объяснил я.

— Чили, Чили...— забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил.— Ну, раз Чили — ладно тогда,— решил Хлебовводов.— И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше:

— Пункт десятый. Краткая сущность необъяснимости: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте,— сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица,— предупредил комендант.

— Ты не теряйте время,— посоветовал Хлебовводов.— Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди...— сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости.— Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю,— огрызнулся комендант и продолжал: — Зе, И, Й, Ке, Ле, Ме...

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку,— вмешался я.— У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят со мной не было! Не было у меня резерва Главного Командования, был я один.

Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось писком. Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович опустил обслюненный бинокль и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константиния, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Все.

— Протестую,— сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончалась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения — двести тринадцатый год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

— Ему действительно две тысячи лет,— сказал я.

— Это антинаучно,— возразил Фарфуркис.— Вы, товарищ свидетель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать антинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о нашем знании научной литературы. В последнем номере журнала «Здоровье»...— И он подробно рассказал содержание статьи о геронтологии в последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, Хлебовводов ревниво спросил:

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис.— Даже среди горцев максимально возможный возраст...

— Не позволю я,— сказал Хлебовводов.— Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — И он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ...— произнес Лавр Федотович.— Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому, ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нету? Пусть дело войдет.

Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана

---

[1] Это как раз то, о чем я вам говорил.
[2] Спрашиваю я вас.
[3] Вино подано, пора его выпить.
[4] Помогай себе, и тебе бог поможет.
[5] Образования, которое он получил в молодости, сегодня недостаточно.

перламутровую коробочку.

— Пусть дело войдет,— повторил Лавр Федотович, чуть повышая голос.

— Сейчас, сейчас,— пробормотал комендант. Ему было страшно.

— Ну чего ты стоите? — возмущенно спросил Хлебовводов.— Мне прикажете за ним идти?

Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный залах Большой Химии.

— Здравствуйте,— сказал Константин обрадованно, сообразив, наконец, куда попал.— Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно? — Он принялся загибать пальцы на правой передней руке.— Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНа...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов.— Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса...— Константин смутился.— Я думал, что вы уже все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял...— Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся.— Ведь это вы меня опрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так. это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта...— сказал Выбегалло с достоинством.— Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Лявон Альфредович тоже... и... эта... писатели Уельс, например, или, скажем, Тымутаракановв...

— Странные какие-то дела творятся,— сказал Хлебовводов с недоверием.— Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле,— подал голос Фарфуркис,— и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколаду. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так,— сказал Фарфуркис.— С этим мы разобрались. Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет... Да... Рот крючком. Все правильно.

— Ну, не знаю,— сказал Хлебовводов.— О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть одна выдумка недобросовестных лиц... Вы пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да,— сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал,— сказал Константин.— Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это брось-те. Именно в этом дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал, не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения,— попросил Фарфуркис.— Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения!— сказал Фарфуркис.— Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу...— Голос его повысился до торжествующей звонкости.— «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителями администрации, хорошо знающими местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

— Инструкция, инструкция,— сказал Хлебовводов гнусаво.— Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением.— Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова... Это бесчестно...

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов.— Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

— И опять врете,— хладнокровно сказал Константин.— Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Это политический донос! Не те времена, товарищ Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

— Грррм,— проговорил Лавр Федотович.— Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал. Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом, безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает,— провозгласил Лавр Федотович,— приступим к доследованию дела. Слово предоставляется...— Он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер,—... товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал,— сказал Константин,— но, во-первых, он нетранспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затруднять и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего стыдного...

— Минуточку,— прервал его Фарфуркис.— Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но, может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это невозможно,— вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что же, это ваше право,— сказал Фарфуркис.— Но в таком случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу,— сказал Константин с некоторым удивлением,— что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы,— сказал он,— все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существо с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

И вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать,— мягко сказал он,— что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли,— сообщил Константин.

— Телепатия антинаучна,— мягко сказал Фарфуркис.— Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин.— Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет!— хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

— Поймите нас правильно,— проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди.— Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую,— согласился Константин.— Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с различными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Хлебовводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка, Зубо подхватил ее и передал полковнику.

— Скачок в тысячу лет,— сказал Хлебовводов.

— Скачок назад,— проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать,— сказал Хлебоводов.— Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов,— возразил Фарфуркис.— Хотите увидеть?

— Какая разница,— сказал Хлебоводов,— раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Полковник отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться,— сказал Хлебоводов.— И я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться,— сказал Фарфуркис.— Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки, а может быть, даже дети восприняли бы все как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное.

— Моральные критерии гуманизма,— сказал Хлебоводов, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев,— возразил Фарфуркис.

— К сожалению,— сказал Хлебоводов.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать.— Хлебоводов посмотрел на Лавра Федотовича.— Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца.— Вы должны нас правильно понять... Я уверен, что это ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса...

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше,— негромко сказал Фарфуркис.— Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен,— вежливо добавил он,— что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости.— Он коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Полковник? — произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта,— отозвался полковник, продолжая писать.— Категорически и безусловно.— Он перебросил Зубо очередную записку.— Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить,— начал Лавр Федотович.— Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то по крайней мере приняты к сведению.

Хлебоводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно,— продолжал Лавр Федотович.— Я не говорю о неравенстве биологическом — природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уже, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства, о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образцу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы, со своей стороны, предлагаем...

Лавр Федотович повысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только полковник и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем,— резко и сухо заговорил полковник,— я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до установленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Ну товарищи! — прервал его Фарфуркис.— Ну невозможно же работать, ну куда мы опять заехали?

Полковник пожевал губами, мутно оглядался, сел и тотчас же захрапел с присвистом.

— Да, да! — сказал Хлебоводов.— Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я — что? Я — пожалуйста... Не хотите его в милицию, не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки...

— Не берет,— горько произнес невидимый Эдик.— Ничто их не берет. Разве плохой был этюд?

— Отличный этюд,— торопливо шепнул я.— Отличный... Только ты не уходи, сейчас начнется...

— Грррм,— сказал Лавр Федотович и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение, что рассмотрение дела семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Константин же, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно распирало, демонстративно плюнул и исчез.

— Это выпад! — радостно закричал Хлебоводов.— Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебоводов.— Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы метет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебоводов,— возразил Фарфуркис.— Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание было мне дарована, хотя и не очень охотно,— глаза уже возбужденно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я указал, что обычаи и способы выражения чувства у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятого некоторыми народами Севера, но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма...(«Чего там — функция! — заорал Хлебоводов.— Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и наконец покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов продолжал еще угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданную сторону. Он вдруг обрушился на коменданта, который до сих пор, считая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента.

— Я давно уже обратил внимание на то,— загремел Фарфуркис,— что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов — например, дух некоего Винера — даже не понимают, где они находятся. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и проводил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого смысла, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплюсь!.. Ты понимаете что или совсем ошалели?..» «Грррм»,— сказал наконец Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К. К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалло был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым членам Тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе.

Теперь получили все. Атмосфера сразу очистилась, все повеселели. А полковник явственно произнес:

— Так точно, товарищ генерал! Так точно, старый дурак!

Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне: то ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил он своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее восьмидесяти лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего три юбилейные медали. Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто апокалипсическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепаными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перед себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже фантастическим: по полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы как один — на третьей скорости... Но тут я вспомнил, что полковник был современником и, может быть, даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения, и тогда виделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах...

— Следующий,— произнес Лавр Федотович.— Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе,— зачитал комендант.— Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма.

Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик,— шепотом позвал я.— Ты здесь?» «Здесь»,— отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик,— попросил я.— Кузьку надо спасти»...

— Год и место рождения,— продолжал комендант.— Не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли?— благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет,— ответил комендант.— Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая,— проворчал Хлебовводов.— Оттого он и в бандиты подался. Судимостей много?

— У кого?— спросил комендант.— У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... У бандита. Как его там по кличке? Васька?

— Протестую,— нетерпеливо сказал Фарфуркис.— Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А!— сказал Хлебовводов разочарованно.— Собака какая-нибудь. А я думал — бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую!— плачущим голосом закричал Фарфуркис.— Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь. Валяйте, браток, где ты там остановились?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк,— продолжал читать комендант.— Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо,— пробормотал Хлебовводов.— Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой,— объяснил комендант.

— Ага,— сказал Хлебовводов.— И говорить не может, только квакает... Ну ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько?— переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано,— несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то,— пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы.— Да читайте же,— простонал он.— Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан?— строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан,— ответил комендант.— Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма.— В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он покровительствовал.

— У вас все?— осведомился Лавр Федотович.— Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-кузь-кузь-кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец,— произнес он нежно.— Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-уузь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик,— сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается,— пояснил комендант.— Вее-ежливый сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно!— сказал комендант.— Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях.

— Грррм! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благоприятно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь,— бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович,— попросился Фарфуркис.— Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать; что необъяснимость... эта... данного ля птеродактэль Кусьма лежит, значить, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой многостенный оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ — Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению... Нет-нет, это было невозможно. Тем более что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование — без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным, у них нашлось много общего, и, если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы...

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет,— заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел.— Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень... И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся с ним как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный

лоб какой, сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких.

— Как же так? — страдал комендант.— Он же все-таки не человек, он же все-таки животное, у него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диэта у него... У меня вот тоже диэта, а я из-за него без обеда сижу...— Однако Хлебосводов чувствовал, что завирался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебосводов сделал вдруг резкий поворот.— Постойте, постойте!— заорал он.— Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были,— сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали,— сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебосводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебосводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Кр-рокодил с крыльями? Ценно, очень ценно. Огнемет!» — и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел:

— Кому здесь почту сдать?

На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление.

— Почему нашей работе мешают?— осведомился он ровным голосом.— Товарищ Фарфуркис, в чем дело?

— В чем дело, товарищ Зубо?— мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис.— Что за безобразие?

Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.

— Безобразие какое!— кипятился Фарфуркис.— Наглость какая!

— Уволить их обоих,— кровожадно потребовал Хлебосводов.— Лезет, понимаешь, на заседание, как в нужник...

Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо. «Вот оно!— шепнул мне Эдик.— Начинается!» Фарфуркис и Хлебосводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами.

Черты Лавра Федотовича смягчились.

— Все?— с незнакомым выражением спросил он.

— Так точно, как есть все,— с горячностью подтвердил комендант

Лавр Федотович горделиво поднял голову.

— Пусть корреспонденцию внесут,— приказал он.

— Заноси!— крикнул комендант.

Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк, потом второй такой же, потом третий.

— Счастливенько вам оставаться,— сказал он, ни на кого не глядя, и удалился.

— Грррм,— произнес Лавр Федотович.— Ввиду не предусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?

— Неужели же все это — из научных учреждений?— благоговейно спросил Хлебосводов.

— Да,— ответил Лавр Федотович.— И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебосводов.

— Нет, я это к чему?...— обиженно забормотал Хлебосводов.— Я ведь это только к тому, что если все это из научных... тогда как же получается... тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди...

— Есть такое мнение, что все это заявки,— сказал Лавр Федотович и поднялся.— Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль.— Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему: — Ну вот, товарищ Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоосад. Как вы на это посмотрите?

— Эх!— сказал героический комендант.— Лавр Федотович! Товарищ Вунюков! Христом богом... спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет!— пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: — Простой сад у нас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечернее заседание Тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами «Герцеговина-Флор». Хлебосводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, Выбегалло впервые за лето помылся и разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отославшись, то ли наглотавшись сверх меры черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой: «Вот, товарищ Зубо, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся».

Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгуче-черные глаза, которые он то и дело от усталости заводил под лоб. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им. В ответ Витька коротко ответил мне: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!»,— а Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0.99.

— Э-гхм!— произнес наконец Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры.— Вечернее заседание Тройки объявляется открытым. Слово для сообщения предоставляется товарищу Фарфуркису.

Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что, согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены: дело номер девяносто семь, так называемый Черный Ящик, и дело номер шестьдесят пять гражданина Долгоносикова Н. П., называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер два о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений на звание сенсации для широкого опубликования в прессе. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня. Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес Тройки прибыло около десяти тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп ста восьмидесяти различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собою необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники и миром необъясненных явлений. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня. Он, Фарфуркис, со своей стороны, предлагает следующее. Рассмотрение дела номер пятьдесят пять и девяносто семь, а также дорассмотрение дела номер два отложить. (Аплодисменты.) По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. (Бурные аплодисменты.) После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания — к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Лавр Федотович, дождавшись окончания оваций, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения.

Писем оказалось семь.

Школьники села Вунюшино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили Тройку разобраться в этой ведьме, в которую они как пионеры не верят, и чтобы Тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников.

Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргуньска Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом. Братья полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы.

Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога хотя бы в одну сторону.

Житель города Китежграда Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы.

Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца-зятя.

Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова 115 лет обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание Тройки на тот факт, что гр. Панцерманов (ныне покойный) в Средней Азии никогда не был и найденной монеты никогда прежде не видал. На остальных сорока двух страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

И, наконец, гродненский гражданин Фербенкс М. прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осведомлялся о гонораре.

Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалле. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: «Уважаемый (ая, ые) гр.....! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать удовольствия, посылая письма в ответ на сообщение о том, что «Гр Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».

Затем Тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание сенсации месяца. Каждый член Тройки предложил своего кандидата. Хлебосводову, например, нравился заведующий Китежзаготскотом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимиле великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на земле не валяются,— заявил Хлебосводов.— Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание — сила». Корреспонденция называлась: «Она слышит, видя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключение Лавр Федотович сказал «грррм» и, выразив общее мнение Тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на двести — двести десять процентов. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили.

И тогда началось главное.

Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес ТПРУНЯ корреспонденции было предоставлено профессору Выбегалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значить, около десяти тысяч заявок и требований от ста восьмидесяти по крайней мере различных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, все на тридцать семь необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона — сорок пять заявок, на вечный двигатель второго рода — тридцать девять заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для трисекции угла — тридцать одна заявка, на эвристическую машину Машкина — двадцать две заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии Наук — семь, членов-корреспондентов — девятнадцать,

докторов разных наук — семьдесят пять, а все прочие — сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это, значит, у нас их тысячи. Если же, как говорится, прозкстраполировать, то есть умножить на десять, тогда получится всего этого в десять раз больше, то есть академиков получится семьдесят, членкоров — сто девятнадцать эт цетера. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей Тройки и в особенности о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. Се нотр огиньён [1],— закончил он и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией.

Воспользовавшись паузой, Хлебоводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики ни старались, как ни выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело — всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитывать, а другое дело — науку двигать и вообще осуществлять руководство, как он, Хлебоводов, например, в бытность свою главным бухгалтером «ВНИТАГОРА». Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит.

Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала.

Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубокоценимого руководителя, нашего вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то: цифрами, графиками, анкетами и вычислениями.

Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что Тройке предстоит три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем, обстоятельством,. что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок и все на бланках, и все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что Тройка выполнила план прошлого года всего на шестьдесят два процента, а план минувшего полугодия — лишь на тринадцать процентов.

Только теперь, по-видимому, Тройка осознала наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении Тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на десять. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебоводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании: профессор Выбегалло. Он предложил передать часть дел некоей Двойке в составе пяти человек. Лучше бы Выбегалло сидел себе тихо да копался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет Тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу: «Мон шер си ву кондуизезиси ком у себя дома ауфинире тре маль» [1]. Вот тут и наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались мои магистры.

Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посовещавшись между собой, решили предложить уважаемой Тройке посильную помощь, а именно — взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше десяти заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебоводов. Много вас тут таких, орал он. Арбитраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распоряжаться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили! Нет, браток, не будет по-твоему. Не перед тобой они будут ходить...

— Грррм,— произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович.— Какие будут еще предложения?

Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с временной очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, раньше дела, на которое подано сорок заявок...

По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. А как же мой Клоп, плакался Эдик. О, мой спрут Спиридон, стонал Роман. Несправедливо, старых клиентов зажимаете, мрачно рычал Витька. Обидно же, подавал я. Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись...

Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что время волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же в связи с внедрением социологии мы всегда можем объективно сказать, что более и что менее необходимо. Вы же грамотные люди! Если на дело подано сорок заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей огромной науке вы — единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона — это нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок...

Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для Тройки, если не считать морального удовлетворения, не было. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но как-никак, а полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у Тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что... эта... молоды они, конечно, еще, до арбитража им еще расти и расти и до серьезных дел тоже, а вот нет ли средства, значить, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким... Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались...

Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась. Фарфуркис листал записную книжку, в глазах у Хлебоводова, слоено слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая... И вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнуло затхлой канцелярщиной, и странный, бесплотный голос прошептал: «Подкомиссию бы...»

— Грррм? — сказал Лавр Федотович.

— Да-да! — подскочил Фарфуркис.

— Вер-рна! — возликовал Хлебоводов.

Лавр Федотович поднялся.

— Выражая общее мнение,— провозгласил он,— предлагаю создать из присутствующих здесь представителей Подкомиссию по малым делам в количестве четырех человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю Тройки. Куратором Подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис, председателем Подкомиссии — товарищ Привалов как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы Подкомиссии в понедельник в девять ноль-ноль. Другие предложения есть? Вопросы есть?

У меня были вопросы, у меня было множество вопросов и десятки предложений. Но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста Печатью Молчания Эйсмана-Межова.

— Выражая общее мнение,— продолжал Лавр Федотович,— предлагаю товарищу Выбегалло в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебоводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зубо завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный — товарищ... э-э... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет... На этом объединенное заседание Тройки и Подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю Подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.

Поскольку я все порывался избавиться от Печати Молчания контрзаклинанием Дизраэля-Букова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить. И я говорил. Когда я выдохся, Корнеев сказал:

— Ну и грубиян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитанный.

— Нехорошо, нехорошо,— подтвердил Роман.— Да еще при посторонних...

Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находятся еще двое младших научных сотрудников.

— Ну как? — спросил один из них с жадностью.— Выгорело?

— О да! — сказал Роман.— Разрешите представить вам председателя Подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, мелочь всякая, крокодилы им там нужны, клопы и так далее... А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?

И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.

— Грррм,— сказал я.— Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер девяносто семь, именуемое Черный Ящик, и передать его присутствующему здесь Привалову А. И. Другие предложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол!

Передо мной лег протокол.

— Следующий,— провозгласил я.— Товарищ Корнеев, докладывайте!

Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за пять минут рационализировали и распределили Клопа Говоруна, жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Амперяна. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма.

— А теперь,— сказал я злорадно,— долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы перегрызем старикашку Эдельвейса.

— Поздно,— сказал Роман.— Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подана в общей совокупности двести одна заявка, и достанется он, несчастный, Кристобалю Хунте.

— То есть как? — сказал я.— Разве заявки настоящие?

— Ну естественно,— удивился Эдик.— За кого ты нас принимаешь?

— Мы не уголовники какие-нибудь,— сказал Корнеев.— Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя — солидарность научной общественности называется? Особенно когда дело касается товарища Вунюкова...

— О! — с чувством сказал я.— Это гениально.

Незнакомцы нетерпеливо покашливали.

— Да, конечно,— сказал Роман.— Времени мало.

— Мало? — спросил я.— Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще! У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание Подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав Подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск.

— Правильное решение! — сказал один из этих типов, алчно потирая руки.

— Но имейте в виду,— сказал я.— Пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях Тройки и Подкомиссии.

— Идет,— согласился другой из этих типов.

— И не забывайте содержать в полном порядке отчетность,— напомнил я.— Отчетность — это главное.— Я собрал протоколы и встал.— Ну ладно. Кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него Большую Круглую Печать.

[1] Таково наше мнение.

[1] Мой дорогой, если вы будете вести себя, как дома, вы кончите очень плохо.

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь.

Борис ПАСТЕРНАК

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!

ИССА, сын крестьянина

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕЦ

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажные, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания, тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и, ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого наконец потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли,— сказал Перец.— Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот.— Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва,— сказал он,— и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии,— сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот.— Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

— Босиком, потому что иначе нельзя,— объяснил Перец.— Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком.— Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени.— Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

— Минуточку!

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень,— сказал он.— Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя, даже если она действительно там, а там ли она — это особый вопрос, которым мы займемся попозже,— а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь,— сказал он.— Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству...

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть,— вкрадчиво продолжал Домарощинер.— Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

— А вы не забывайтесь,— сказал он обиженно и раскрыл блокнот.— Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничего не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема.— Он закрыл блокнот и подумал.— Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет,— сказал Перец.— То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы.— Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно, если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний,— предположил Перец.— Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь,— продолжал Домарощинер доверительно.— Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

— Это потому, что вы нервный,— сказал он.— Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер посмотрел на часы.

— Действительно, пора,— сказал он.— Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом.— Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все,— сказал Перец, притопывая.— Больше не буду. Пошли?

— Пошли,— сказал Домарощинер.— Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул под мышку.— Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так, а что отвечать? — сказал Перец.— Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарощинер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается,— сказал он изменившимся голосом.

Рисунки Олега ТУРКОВА

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет,— шепотом сказал Домарощинер, озираясь.— Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял, и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули на аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне,— говорил Домарощинер.— И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стояла с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже больше ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно, и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставалось еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами,— сказал он.

— Я нечаянно,— сказал Перец.— Я же не знал.

— А я знал?— возразил шофер Тузик.— Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну я, например, вообще не пью,— с достоинством сказал Домарощинер.— Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете,— сказал Тузик.— Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больная! — забеспокоился Домарощинер.— Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это действительно была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя,— сказал он.— А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья.— Он вытер рукавом глаза.— Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец.— Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и как даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево,— объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил,— сообщил Домарощинер, облизывая губы.— Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер,— продолжал Тузик в повышенном тоне,— спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Х-хорошо,— упавшим голосом произнес Перец.— Я попробую. Только как же это он.. машину?

— С менеджером могу поговорить я,— сказал Домарощинер.— Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки,— сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром.— В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира,— сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел,— возразил Тузик, поднося стакан к губам.— Но и воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет,— сказал Домарощинер.— Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика,— сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите,— сказал Перец.— Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать, и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь,— сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор.— Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо,— сказал Домарощинер.— Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел,— повторил Тузик, обращаясь к Перецу.— Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом лесу.

— Если бы погиб,— сказал Домарощинер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем,— сказал Домарощинер.— Чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефира. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение... Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы — человек посторонний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым,— гулко прошептал Домарощинер и отодвинулся.— Хороший, свежий кефир сегодня,— произнес он громко.

В столовой подняли шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще,— сказал Тузик,— если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи поднимут, вещичек собрать не успеете... Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде.— Он показал на Домарощинера.— Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? Выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, а выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все проступки будут рассматриваться как один, и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крякнул.

— Это верно,— признался он.— Тут я, пожалуй, действительно... того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж...— грустно сказал Перец.— Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь необязательно же по этой... по морде,— сказал Тузик.— Можно, например, и по этой... по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею,— сказал Перец.

— Тогда плохо,— сказал Тузик.— Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда?— обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра с утра на Материк ехать, железный дом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным,— сказал Домарощинер.— Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать? Никто не хочет уехать, а вы хотите.

— У меня всегда так,— сказал Перец.— Я всегда делаю наоборот. И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим,— заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца.— Скажешь, нет?

— Я не пью,— сказал Домарощинер.— И не пью я по очень простой и каждому ясной причине: у меня больная печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет,— сказал Тузик,— так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врохаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще...

Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ,— провозгласил Домарощинер,— мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь,— сказал Тузик.— Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «Вставай, выходи!» Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду,— сказал Перец.— Работать пора.

— Пора,— согласился Тузик.— Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях.— Разъезжаются подлые,— пробормотал он.— Сколько раз я им говорил: поставьте диван...

— В гараж,— сказал Перец.— К вашей машине.

— А-а... Ну приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «Что нас губит» и «Только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «Помой руки перед работой». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери и кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть...— сказал Перец растерянно.

— Помой, помой,— сказал Ким, мотнув головой.— Вот тебе умывальники. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж,— сказал Ким.— А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве,— сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешенное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще не достроенной, но уже очень высокой, которая воздвигалась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление.

«Вот я очень давно думал о леса, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор,— игра слабого воображения, бледная, немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой...»

— Ким,— сказал Перец,— неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

Зеленые горячие болота, нервные, пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные, непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю,— сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик,— сказал Ким.— Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное,— сказал Перец.— Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким.— Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться? Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать снова ему стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда,— сказал Перец.— Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать,— сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси,— сказал Ким.— Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло, как обычно.

— Двенадцать на десять,— сказал Ким.— Умножить.

— Один ноль ноль семь,— механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю,— нетерпеливо сказал Ким.— Один ноль ноль семь,— повторил он.— А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь...

— Сейчас,— сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господи мой! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт-те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два,— сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, тот по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мсье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный, целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был,— сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь,— сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос.

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам тезисы дам, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... Или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хейана» на материале «Макура-но соси»,— сказал Перец.— Боюсь, что...

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, что вы можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса,— сказал Перец убедительно.— Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да,— говорил он.— Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо,— сказал Перец.— Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза.— Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то,— сказал Перец.— Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал,— сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два...

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить с вами чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...

Снаружи за недостроенной стеной тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то,— сказал Ким.— Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был

в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, а Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору, мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким,— сказал он.— Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка,— заискивающе сказал Стоян.— Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон,— сказал Ким.— Маньяк.

— В последний разочек,— сказал Стоян.— В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью.— А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь.— Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик,— говорил он.— Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый наираспоследнейший.— Он развернул бумагу и показал Перецу букетик ядовито-зеленых лесных цветов.— А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты! — прикрикнул Ким.— Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк,— с восторгом соглашался Стоян.— Шляпа. Но! В самый наираспоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все,— сказал Ким.— Убирайся.— Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь — сказал Стоян.— Немедленно убираюсь. А то ведь знаешь, у нас Рита начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с нами, что ли...

— Еще чего! — сказал Ким.— Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян.— Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну, ладно, ну, что поделаешь... А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю,— перебил его Ким.— Я не понимаю, при чем здесь Перец?

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу.— Убирайся работать и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Все,— торопливо сказал Стоян.— Все. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел все осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак,— сказал он.— И Рита эта... Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздирающе затрещал мотоцикл и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец,— сказал Ким,— а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор,— задумчиво сказал Ким.— А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду,— сказал Перец.— Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал,— продолжал Ким, не слушая.— Очень смело... А может, действительно послать тебя туда — разобраться?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАНДИД

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет,— ответил он.

— Давай тогда поговорим,— предложила она.— А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю,— сказал он.— Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог...

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми катеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже думал тоже когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес и никому не даю заговаривать со мной, это очень важно: никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит...

— ...и получилось так,— говорила Нава,— что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница налала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего... Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть...

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив нога на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы, да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много, и на дрессировку, и просто выкупаться, в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки.— Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно, не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и все везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они и не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю: как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут... Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун,— сказал он.— Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит,— сообщил старец.— Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит — нежелательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит — поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательно...

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись,— сказал он Кандиду приветливо.— Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

«Опять,— подумал Кандид,— опять все сначала».

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют и заго-

варивать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за этой чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем,— согласился Кандид.— А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню... Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудаковую деревню, а там по правую руку будет Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут же поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо, ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с тобой брать не надо, раз там Хлебная лужа... Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники.— Колченог внимательно слушал и кивал.— А надо мне в Город,— продолжал Кандид.— Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники («Только бы не сбиться,— подумал он.— Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники»). Город, а не Тростники,— повторил он вслух.— Понимаешь? Расскажи мне дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло и теперь кривая. Почему кривая — никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать.— Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот.— Так тебе же не в Муравейники,— сказал он.— Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в «Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет»,— подумал Кандид. Он наклонился на бок и подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок,— сказал он.— И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки... Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти... Да... Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид.— Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься...

— Мертвяков я не боялся и не боюсь,— возразил Колченог.— Я тебе скажу, чего я боюсь. Как мы с тобой идти будем, вот я чего боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь... Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или же просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать...

— Нет, Колченог, я не мертвяк,— сказал Кандид.— Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду,— решительно сказал Колченог.— Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею на Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра,— сказал Кандид.— Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем,— уверенно сказал Колченог.— Один бы я не пошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо,— сказал Кандид, поднимаясь.— Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню.

— Заходи,— сказал Колченог.— Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Нову приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну, да еще будут, молодая она у тебя...

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен...

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином... Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле...» Кандид шел быстро, насколько позволяла темная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом нос к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю.— Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать...

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним нос к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун,— продолжал Слухач убедительно.— Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал на площади траву побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому первулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно... А можно ведь...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко спустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так, что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые... отодвигается все дальше и дальше на юг... победного передвижения... Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких... Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... Во всех поселениях... большие победы... труд и усилия... новые отряды подруг... завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже... Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя... Спокойствие и слияние — понимать же надо... И у нас, значит, тоже, раз во всех... И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он.— Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя...

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толкались и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они уже больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги.— Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не хочет, а сам я на это уже глядеть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то, в Тростниках, нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вот стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу... Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город,— сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще нету, а врет о нем этот старый пень, придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: это нельзя, то нельзя... Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет...

— Выходим послезавтра,— сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак.— Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозмож-

но, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал и до сих пор не ждет... Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим,— терпеливо повторил Кандид.— И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

«Мертвяки! Мертвяки!— заорал староста.— Женщины, домой! Домой бегите!» Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза!— покрикивал староста.— Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза...» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» — связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да нет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. «Ну все,— сказали в цепи,— не устояли, сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь...— повторял каждому староста.— На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе видно что-то не было. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели... Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет...

— Я завтра с утра на Выселки иду,— сказал Кандид.— Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь...

— Напомню,— пообещал Кулак.— Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но

не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся детишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это из-за того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит...

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

— Спать дома будете,— сказал он,— на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрание собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем.— Он покосился на старца. Старец довольно кивнул.— Вот это и есть наше общее «нельзя».— Он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись... А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим... Кто там с ним рядом сидит, придержите его хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, то пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун хоть он и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уж сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда на чудаковой деревне полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Раз Молчун в Город идет, значит, Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние? Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет... Так и Одержания же уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь: «Одержание?! А мертвяки почему? Про мертвяков молчите? Потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..»

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда поднялся взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите... Начинать спор снова ни у кого не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он.— Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь... Не пойдешь — так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Послезавтра выходим,— сказал Кандид.— Пищу ты приготовил?

— Я пищу уже приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех ест и где он живет? Я человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его поэтому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, и горшки никогда обратно не возвращает... Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается...

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как озеро в Тростниках приманивает рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтра новые запасы, а старика беспощадно гнать, он, наконец, удалился. Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки... И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много... занятно... На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид... завтра с утра на Выселки... парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города и не дойти... Он не заметил, что вошел в дом. Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто... Потому у вас, наверно, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень-очень далеко, я теперь про тебя все знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой день добираешься и добраться не можешь... Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте,— сказал он вслед Кандиду.— Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»...

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. «И все-таки послезавтра я ухожу,— подумал он.— Послезавтра, послезавтра».

Продолжение следует.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕЦ

Рисунки Олега ТУРКОВА

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо,— тоже шепотом сказал человек.

«Да это же комендант»,— с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте.— Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были свободны.

— А вы не озирайтесь,— сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье на вашей койке надо менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай,— сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку.

— Белье, говорят...

— Да что же это,— проговорил Перец.— Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи,— сказал Перец.— Вы не в своем уме. Ну, хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт,— сказал он наконец.— Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо...— Голос его окреп.— Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже,— сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине.— Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой,— сказал он.— В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже, как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу...— Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца.

— Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту,— бормотал он.— Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно, я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Перец собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной, тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывает сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать!» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините,— сказал комендант у него за спиной.— С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень попрошу... Жена... без никаких эксцессов... Последствия... Нельзя...» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная. И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня... мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел, куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых, темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие, сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись,— попросил Перец.— Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что такое нужен? Это когда всю жизнь стремишься к... Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, не могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это сил и времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся,— сказал Перец.— Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами — верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и, главное, простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй

Продолжение. Начало в № 11.

ГАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешаны тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и, кроме Перца и книг, в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читает, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж и обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличен к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как пятынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех в людей добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населить землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки... Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому, что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но — лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотек, не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или проверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... То есть не поэтому, а потому, что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот, я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай...

— Неухоженный какой-то, жалкий...

— Я не жалкий,— пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку татуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный,— сказала Алевтина, глядя на Переца.— И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!..—сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина.— Никогда раньше не видел?

— Да нет,— сказал Тузик.— Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает: двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей снизу ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруделя, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояли полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько,— сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно,— загадочно сказал Тузик.— Вот я сейчас Переца разбужу.

— Не отходи от лестницы,— сказала Алевтина.

— Я не сплю,— сказал Перец.— Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно,— сказал Тузик.— Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщина, и вино, и фрукты.

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху.

Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец,— сказал Тузик.— Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же? — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец.— И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек...— Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурцом.— А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно и сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого дома, и там, в темном парадном, прижал к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут,— сказал Тузик.— Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают,— сказала Алевтина.— Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. «Завтра в это время меня уже здесь не будет,— думал он.— Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду».

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»). Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что все равно сожгут). Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя, и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей,— она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что я никакой не развратник,— заключил он.— Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на переобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали,— сказал он.

— Я знаю,— сказала она.— Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо,— сказал он и отнял от нее руки.— Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — спросила она.— Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке...

— Спасибо,— сказал Перец.— Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой...— Она медленно заворачивала еду в газету.— Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра.

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдемте все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Проспать боюсь.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спросила она.

— Нет,— сказал Перец.— Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... и за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя... Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки,— сказала Алевтина.— А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично... Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо,— сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки-Маус. «Хорошо,— подумал Перец,— уютно. Надо было сразу сюда идти». Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешают болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышный и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охлажденной сексуальности...

Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!» — а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадается под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его открытый хрящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. «Побриться бы надо»,— подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он распоряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». «А он где?» — спросил незнакомый механик. «...!— спокойно сказал менеджер.— Под сиденьем посмотри». «Откуда же мне знать? — раздраженно сказал механик.— Я же вас предупреждал, что я официант...» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась, и появилось хмурое, расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а затем запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Н-нет,— сказал Перец.— Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет,— сказал Перец.— Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Н-ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если это повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — сказал он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала»,— и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик стал покряхтывать и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатят по главной улице Управления и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось по бетонному полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте,— сказал Перец.— Что это вы...

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы.— Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Завела, дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе завело...

— Как завело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю,— сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ.— Просто пржавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас быстро... А потом мы с вами шахматишки расставим. Как вы полагаете?

— В шахматишки? — сказал Перец.— А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так...— тихо сказал Перец.— Просто я предполагал...— Он открыл дверцу и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь,— сказал менеджер.— Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть? — сказал Перец.— Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как завело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел его в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю,— сказал Перец. В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер, бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался по орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами,— решил, наконец, менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с ревом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруделю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он слепо отрабатывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жесткой заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение Директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. «Нельзя же так,— подумал Перец,— нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю что к чему и поэтому всегда оказываюсь лишним».

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он, как всегда, останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услыхал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась.

Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует, и смысла поступков не существует. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...» Снова шорох и потрескивания. «...противостоим миллионам лошадиных сил десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаружилось по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался любимейшим нашим другом. Оно совершенно неспособно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности...» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «... оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы в конце концов тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то должен раздражать и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...»

В трубке послышался звук, как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарощинер смотрит на него строгими, обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом.— Я ничего не понимаю.

— И не странно,— сказал Домарощинер ледяным тоном.— Вы взяли не свою трубку.— Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо,— сказал Перец.— Я уйду. Но где моя трубка? Это не моя. А где тогда моя?

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда все остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Перец.— Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец.

— Есть,— сказал один из механиков.— Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то?

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но в конце концов я просто читал в одной книге. А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток».— «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь...» — «Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» — «Нашли наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично...» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до получки, до завтра то есть...» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, покойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать,— сказал Ким.— Какой-то болван ходит и все чинит. Сюку и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать,— сказал Ким.— Надо бы на работу вовремя приходить.

— Я же не знал,— сказал Перец.— Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват,— сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь,— сказал Перец.— Ты знаешь,— продолжал он,— иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот сейчас я пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода и рожать... Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь... Подряд вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадают, слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет,— сказал Перец.— То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-задэ, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен,— метод спирали.

— Спасибо,— сказал Перец.— А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну ... о чем? Ну что он сказал?

— Кому?

— Кому? Ну тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что ты не сердись.

— Нет, я не сержусь,— сказал Перец.— Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камушки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай,— сказал Ким нервно.— Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь,— сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель... И потом он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься в последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я тебе устрою свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он: Стивенсон-задэ...

— И главное, не стесняйся плакать,— сказал Ким.— Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи,— сказал он.— Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал...

Ким желчно засмеялся.

— Откуда же шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорил, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну, естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик,— сказал он ласково.— Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно,— сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал.— Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче,— сказал Ким.— Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты сам услышишь — я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи,— сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик,— сказал Ким.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым,— печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил телефонную трубку, бешено набрал номер и рявкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца? Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес поедете, в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белье самое лучшее... Это уж ваше дело. Хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну, естественно...

Он положил трубку.

— Все в порядке,— сказал он.— Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «Девочки, бойтесь сифилиса».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАНДИД

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней было безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой, пахучей воды торчали сгнившие, черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые, раздавленные дома водяных жуков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому, что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей налепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом.— Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся... Просто я честно тебе скажу: я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать... Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет...

— А ну вернись домой,— сказал Кандид.— Откуда это ты взяла, что я ухожу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома...

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет...

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопленные за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал...

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать, может, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь... Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болота... Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился... а если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило... Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра...

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, а мамы уж больше мне видеть не привелось...

— Нава,— сказал Кандид.— Опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись.— Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном...— Она вдруг оживилась.— А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи мне, как мы с тобой рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел...

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жара траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые, пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и, что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши,— сказала она очень тихо.— Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает... И на Выселках так тоже не умеют... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся... И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной... В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки.

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаясь, поворачивают от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги, ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава,— сказал Кандид.— Иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню,— рассудительно сказала Нава,— если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать,— сказал Кандид.— Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина,— сказал Кандид,— мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают,— возразила Нава.— Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву прирастать... Как же я пойду, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет,— не очень уверенно сказал Кандид.— Вранье это все...

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и, что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом, и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку... Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун,— бормотала она.— Я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоко раскатистым голосом сказал вожак.— Подходите, мы дурного не сделаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор... Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше будет...

— Нет,— сказала Нава,— я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же воры...

Воры засмеялись без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет,— сказал вожак,— обоих нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка,— сказал Кандид,— зачем вам ее обижать?

Вожак удивился.

— Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, придет время, станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он все врет,— сказала Нава.— Ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорей, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану... Смотри, какие они все дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего...

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди,— сказал он просительно,— возьмите нас обоих.

Воры не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет,— сказал он.— Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак. Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевая друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша,— сказал вожак укоризненно.— Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся... Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое...

Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревню, а еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь.— С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава.— Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что,— сказал один из воров заботливо.— Ты там держись, ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалив всех троих, и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую, черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса. «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девчонку, пропадет девчонка теперь...» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал...» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле, догонять нужно, а не разговоры разго-

варивать... Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся...» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет... Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кандид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать... Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун,— сказала она.— Чего ты стоишь? Пошли скорей... Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их... раз... два... три... четыре...

— А куда идти? — спросил Кандид.— На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное,— сказала Нава.— Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть...

— Тогда иди впереди,— сказал Кандид. Он уже немного отдышался.— Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как,— говорила она на бегу.— Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех, как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили,— продолжала Нава,— когда у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпались мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть...— Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели.— Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название Колченог мне говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдали... А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай... отдохнем...— просипел Кандид.

— Нет, что ты, Молчун,— сказала Нава.— Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо.

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услыхал он словно сквозь вату голос Навы.— Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что бы там они ни врали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он не забывал никогда, даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет,— говорила Нава.— Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет,— пробормотал он.— Не надо... Тяжелая...

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости,— ворам тоже было тяжело.

— Пошли дальше,— сказал Кандид.

Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

Продолжение следует.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее,— деловито говорила Нава,— а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом он, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова — понять было трудно.

— Назад! — кричали они, кажется.— Наза-ад!.. Не тронем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал Кандид со злорадством. Сами вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить... Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!..— ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей.

Рисунки Олега ТУРКОВА

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец явился в приемную директора точно в десять утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка «Не курить, не сорить, не шуметь», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с поднятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «Выход», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «Выхода нет». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы,— сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца.— Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задушенным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем,— сказала Беатриса горько.— Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно,— продолжала Беатриса,— что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жестокости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю,— сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «Выхода нет». Несколько секунд в приемной стояла тишина, болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти,— сказала Беатриса,— чем их заинтересовать, увлечь; мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и золоченых пуговиц... Кино им неинтересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья... Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю,— сказал тоскливо моншер Брандскугель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?», огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!», а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перецом оказалась коричневая папка, Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания: все смотрели на желтую дверь.

«Что же я ему скажу? — подумал Перец.— Скажу, что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово». А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста,— сказал он, обращаясь к моншеру Брандскугелю,— который час?

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной.

Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец.— Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец,— повысив голос, сказала секретарша,— ваша очередь.

— Рассуждает...— проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать...— громко сказали слева.— Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка,— сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, возвысив голос.— Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — сорите вы, там... да, да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

Продолжение. Начало в №№ 11, 12.

ТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

— Да,— сказал Перец.— Да, я иду

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перецу свежее лицо спортсмена.

— Да-да... Я...— промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мсье Перец, относитесь к голубям?

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мсье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И вот на лице мсье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно,— сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо,— сказал мсье Ахти.— Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи,— тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестествен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением. Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой

— У Пикассо есть странные картины, которых я не понимаю,— сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить,— с готовностью предложил директор.— Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы поняли бы, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не человека-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелку времени, как сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены...

Мсье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили,— произнес он новым, каким-то казенным голосом.— Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе... Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый...

— Точнее!

— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.

— Что вы здесь делаете?

— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но.

— Достаточно.

Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих! Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную кварту!..» — пропел он спертым голосом.— А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандскугеля, моншера моего,— продолжал он, прижимая Переца к груди.— Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно,— сказал Перец.— Но я ведь...

— Ну чего там — ты?

— Я, мсье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мсье? Камрад — понял? Генацвали!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею. Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец,— сказал он.— Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мсье Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша здесь была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут профессор Какаду, тяжко страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «Тихо!» Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса Вах улыбнулась ему несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган, и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади.

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса

— Я не знаю,— желчно сказал Перец

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества,— продолжала бормотать Беатриса.— но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво.— Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками..

Секретарша отложила «Сублимацию гениальности» и строго сказала.

— Не отвлекайтесь.

Беатриса Вах испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец, здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть,— сказал Перец, вскакивая

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да...

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но..

— Ну, как хотите,— сердито рявкнул бритый человек.— Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша.— Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «Выход», а вы куда?

Твердые руки направили Переца к надписи «Выход». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!» Опять не то...

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Залах кондитерской. Небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец.— Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его,— сказал продавцу хилый старик из очереди.— Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает... Работайте, не обращайте внимания.

— Да я не острю,— сказал Перец.— У меня машина сейчас уйдет...

— На какой улице? — спросил продавец.— Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет,— сказал проницательный старик.— Это все тот же. Он просто программу переменил. Не обращайте на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец.— Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите,— сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу,— сказал он.

— Сейчас привыкнете,— пообещал голос.— Ну идите же, что вы встали?

Перца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь,— сказал голос.

В пальцах Перца оказался карандаш.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, повели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо,— раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа, Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посредине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перецу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан,— сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Вся группа Научной охраны была здесь, в кузове. Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и, хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...

Сотрудники, сбившись в кузове, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предполагает...

— Кто бы говорил, но не Домарощинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалованье получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял,— сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет!

— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска,— сказал Перец.— Ничего у меня нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят,— сказал кто-то.

— Ну, в конце концов на дороге никаких объектов нет...

— А Домарощинер?

— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор сидит. Анкеты заполняет...

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарощинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, бэ — наземным транспортом, цэ — воздушным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу — стенка одного ящика, огромного, с хороший дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище... Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: дай все-таки посмотрю. Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями изнутри приколочена! А наружу торчат острия, блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот так... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят когда-нибудь варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину видел, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет,— сказал Перец.— Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки,— сказал Перец и вытер со лба пот.— И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно,— сказал Перец.— Это было очень давно.

— Точнее!

— А вы? — сказал Перец.— Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой... А теперь прошу вас.

— Не могу,— сказал Перец.— Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак,— прошептали у него над ухом.— Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно,— покорно сказал Перец.— В возрасте девяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий.— А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота,— сказал Перец.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк,— сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас может быть не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена,— сказал Перец.— С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист,— сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя,— говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему.— Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А во-вторых, и в главных — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех этих вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря.— Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Неинтересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме как математикой, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной расписочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений,— возразил товарищ секретаря.— Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то вообще с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает только через десять лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернулось к нам черное лицо досуга...

— Ребята,— сказал кто-то,— а пожрать-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!..

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ». Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изолятора, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ». Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас,— сказал он сипло.— За деньгами?

— Точно так,— заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе,— сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов.— Ох, сколько же вас,— сказал он с упреком.— А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько,— сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Вы будете старший? Сколько везешь?.. Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово, Вольдемар! Все ездишь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение, а то бы я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже запишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешенные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание: он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю трактора, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился лес, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать и от него мутило.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени...

— Ох и хороша же эта баба — Рита,— сказал бывший шофер Тузик Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл.— Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин... Внимательный мужчина.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит,— сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца.— Что, деньги привезли?

— Это Перец,— сказал Стоян.— Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчину, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец,— сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться.— Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу,— сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите,— сказал Квентин.— Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, пухнущей пузырями примитивной плотью, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной... И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши...

— Воняет тут у вас,— говорил Тузик с отвращением.— Как в покойницкой...

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад...

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких, подвижных ноздрей...

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Перчик,— сказал Стоян.— Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете,— сказал Квентин.

— Конечно, завязнем,— сказал Тузик.— Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай,— сказал ему Стоян.— Твое дело маленькое... Скоро выход? — спросил он у Квентина.

Квентин посмотрел на часы.

— Так...— сказал он.— Она щенится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось... осталось... да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизеподобные муравьи...

— Тут же крутом трясина,— говорил Тузик.— Так врюхаемся, что никакой тягач не вытащит — все тросы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим...

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой,— сказала Рита.

— Вот и хорошо,— сказал Квентин.— А мы съездим, посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перецу тихонько:

— Разрешите мне... пробраться...

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой!» — закричал Тузик, приседая.— Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая,— сказал Стоян Тузику.— Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл крутило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появился.

— Сглодала,— сказал Тузик с идиотским восторгом.

— Сволочь неуклюжая,— повторил Стоян.— Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь.

— Ну и ладно,— сказал Тузик.— Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону,— сказал он Перецу.— Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был... Так я пойду,— сказал он Стояну.— Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего?— сказал Тузик.— Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.

— А ну-ка, пустите меня,— сказал Квентин Перецу.— Я с ним сейчас поговорю.

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян.— Квентин, ты опомнись...

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается!

— Слушай, не будь ребенком... ну прекрати! Ну опомнись!

— Пусти, говорят тебе, пусти руку!..

Они шумно возились рядом с Перецем, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки. А Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибая Переца пополам, старался через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масленые, ласковые.

— И чего это она в брюках ходит,— сказал он Перецу.— Манера теперь у них появилась — в брюках ходить...

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин.— Никакой он не половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!

— Вот раньше были такие юбки,— сказал Тузик мечтательно.— Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну...

Если бы это было в парке... Если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале... Это и бывало — и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что необходимо знать каждому работнику Управления о методах математической статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это — похотливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна, что-то о работе, об ответственности, о глупости, и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло... И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли, или брезгливо морщился.

— ...— сказал Тузик с наслаждением.

И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.

— Нельзя так,— сказал Перец твердо.— Нельзя это здесь. Нельзя.

— Так я не возражаю,— сказал Тузик, пожимая плечами.— Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего, мотоцикла-то нет, сами видите... Что ж мне теперь здесь делать?

Квентин громко осведомился:

— По морде?

— Ну да,— с досадой сказал Тузик.— По скуле попал, по самой косточке... Хорошо, что не в глаз.

— Нет, в самом деле по морде?

— Да,— сказал Перец твердо.— Потому что здесь так нельзя.

— Тогда поехали,— сказал Квентин, откидываясь на сиденье.

— Туз,— сказал Стоян,— полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать выталкивать.

— У меня брюки новые,— возразил Тузик.— Давайте я лучше за баранку сяду.

Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали.

Щенки ушли довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением. Сцепление сгрежете, сказал Тузик, а потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично... Тебе по морде уже дали? — спрашивал Квентин. Нет, ты мне скажи, только не ссори, дали тебе уже по морде или нет? — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. Нет, отвечал Тузик, нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала...

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты леса... Они медленно и неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими, ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три. Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я, наконец, вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вечером, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь в лесу, я мог бы придумать: и русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана,— все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно что придумать. Я вижу, живу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе. Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пониманию.

Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени.

Давай поймаем одного, предложил Квентин. Это ведь совсем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию. Не стоит, сказал Стоян. А почему? — сказал Квентин, все равно когда-нибудь придется ловить. Страшно как-то, сказал Стоян. Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную Домарощиневу... Мы их варили, сообщил вдруг Тузик. Мне не понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру, по мне что кошка, что кролик — один черт. Брезгую... Я заметил одну вещь, сказал Квентин. Число щенков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь... Ерунда, возразил Стоян. Я встречал в лесу группы по шесть, по двенадцать... Так это в лесу, сказал Квентин, они же потом расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда простым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны... А еще однажды, сказал Тузик, мы с ребятами местную девчонку поймали, вот смеху-то было!.. Ну что ж, пиши статью, сказал Стоян. Уже написал, сказал Квентин. Это у меня будет пятнадцатая... А у меня семнадцать, сказал Стоян, и одна в печати. А кого ты в соавторы взял? Еще не знаю, сказал Квентин. Ким рекомендовал менеджера, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует комендайта... Только не коменданта, сказал Стоян. Почему? — спросил Квентин. Не бери коменданта, повторил Стоян. Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду. Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, сказал Тузик. Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили. Говорят, готовится приказ, сказал Стоян. У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут спецпереработку... Да ну, сказал Квентин, брянь дело, знаю я эти спецпереработки, от них волосы перестают расти и изо рта целый год пахнет...

Домой, думал Перец. Надо скорее ехать домой. Теперь мне здесь совсем нечего делать. Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где между деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут,— сказал Квентин с удивлением.— Топятся.

Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.

— Так и есть,— сказал он.— Не отмечено у нас это озеро. Деревня здесь отмечена, а не озеро... Вот написано: «дерев. абориг. семнадцать дробь одиннадцать».

— Так это всегда так,— сказал Тузик.— Кто же в этом лесу по карте ходит? Во-первых, карты все рваные, а во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.

— Неохота мне что-то дальше ехать,— сказал Стоян, потягиваясь.— Может, хватит на сегодня?

— Конечно, хватит,— сказал Квентин.— Перецу еще жалованье получить надо. Пошли в машину.

— Бинокль бы,— сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под ладони в озеро.— Баба там, по-моему, купается.

Квентин остановился.

— Где?

— Голая,— сказал Тузик.— Ей-богу, голая. Совсем без ничего.

Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.

— Да где ты видишь? — спросил Стоян.

— А вон, на том берегу...

— Ничего там нет,— сказал Квентин хрипло. Он стоял на подножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его тряслись.— Брехун проклятый... Опять по мордв захотел... Нет там ничего!— повторил он, передавая бинокль Стояну.

— Ну как это нет,— сказал Тузик.— Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня глаз — ватерпас...

— Подожди, подожди, не рви,— сказал ему Стоян.— Что за привычка — рвать из рук...

— Ничего там нет,— бормотал Квентин.— Вранье все это. Мало ли кто что болтает...

— Это я знаю — что,— сказал Тузик.— Это русалка. Точно вам говорю.

Перец встрепенулся.

— Дайте мне бинокль,— сказал он быстро.

— Ничего не видать,— сказал Стоян, протягивая ему бинокль.

— Нашли кому верить,— бормотал Квентин, постепенно успокаиваясь.

— Ей-богу, была,— сказал Тузик.— Должно быть, нырнула. Сейчас вынырнет...

Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.

— А какая она была?— спросил он.

Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказываал очень аппетитно и с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.

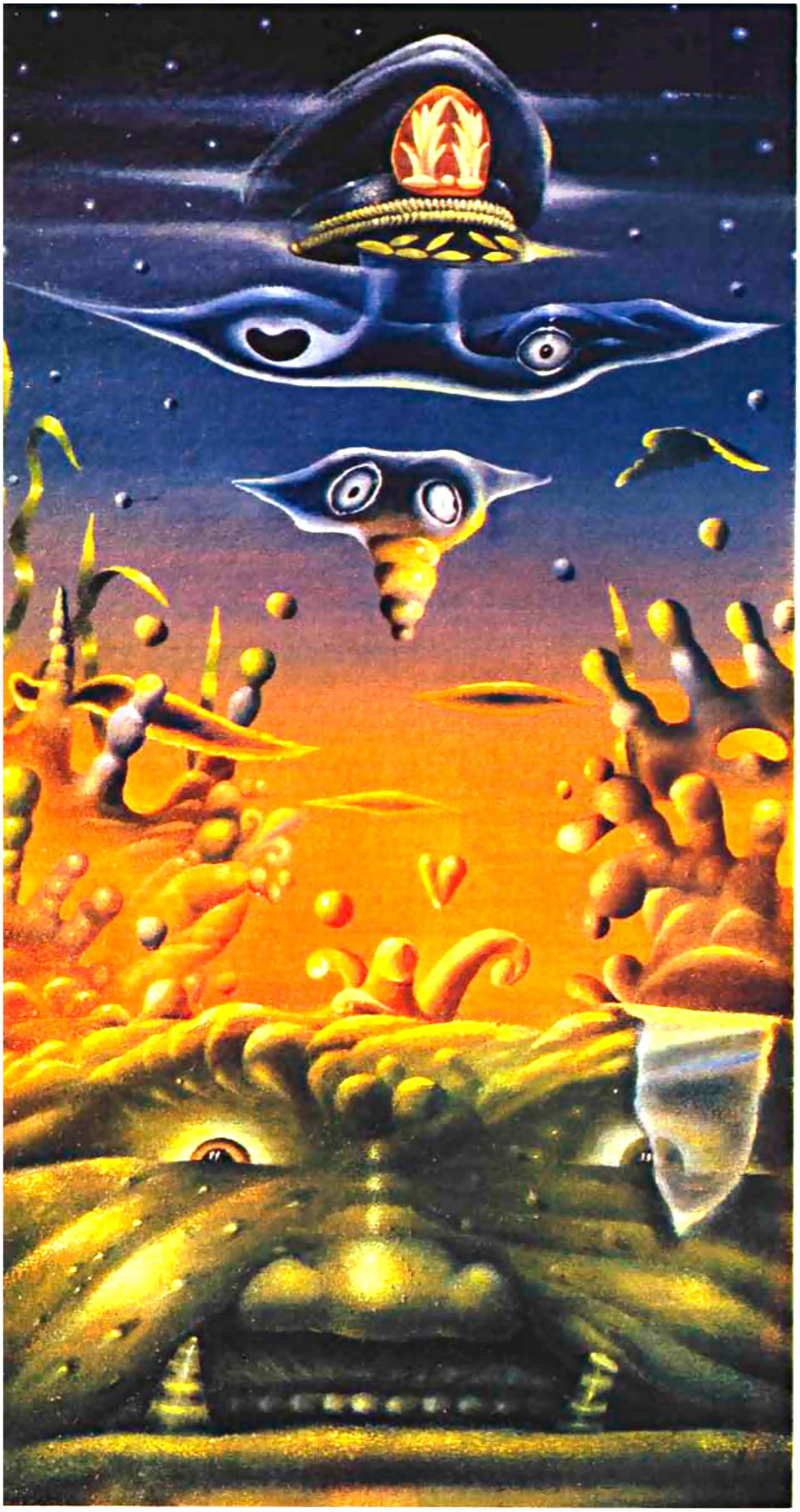
— Да, конечно...— сказал он.— Да... Да.

Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются Тузиковы уши — Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки и поплыла навстречу щенкам, и сейчас же встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, и завяжется еще один узел событий в лесу, и может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят между деревьев клубы лилового тумана, который совсем не туман, или заработает на мирной полянке еще одна клоака, или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы, и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться... И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас, во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что ствол вот этого дерева-«порос именно красным мохом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей.

Вездеход трясло, Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: «Здесь два года назад трагически утонул рядовой лесопроходец Густав. Здесь ему будет поставлен памятник». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, миновал столб.

Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, и татуировкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас Управление, положенный тебе срок и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У Густава», и шофер Тузик будет пить там кефир и гладить растрепанных девчонок из местной капеллы...

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в лагерь за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за нарушение паспортного режима. А вот Стоян чист. Он не пьет ни кефира, ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос, потому что Алевтина не терпит



чистоплюев, подозревая в них (не без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецобработки... Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости... Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему... Вот я и до Риты дошел... Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим... На биостанции все известно... Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в биллиард, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще...

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь я знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время...

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и еще может быть по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров...

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на гнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь — сумму прописью,— сказал кассир.— Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Послушайте...

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь... Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду...

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать...

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить,— торопливо сказал Перец,— где все остальные люди... Ким, грузовик... Ведь меня обещали отвезти... на Материк...

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места,— сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем

охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через дверь, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю — видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали, страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец, надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон...

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услыхал, как охранник бормочет: «На вот, на... Да ты не жри, дура, ты нюхай... Это же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо... Ну? Шерше, говорят тебе...» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой.— Тебе только блох искать... Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча шарахнулся и ускакал прочь.

Радиола неистоствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигарету, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КАНДИД

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловане, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная — обширная глинянная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня,— заявила Нава.— Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид.— Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут... А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребятишки, может быть, уже спать легли... И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится...

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и не покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть чего-нибудь. И ночь наступает. ...Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно,— сказал он нерешительно.— Давай не пойдем.

— Не пойдем, не пойдем,— сказала Нава.— А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела... И воры твои эти... От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя... Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать,— сказал Кандид.— А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло.— Это вы молодцы, хорошо сделали... Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось... А работать нужно... очень нужно. Работать... очень...

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас...— человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда раньше их не слыхал.— Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик...— И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю,— сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше.— Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое...— сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито:— Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом сказала Нава.— У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так,— сказала Нава.— Глаза есть, рот есть, а лица нету...— Она вдруг прижалась к нему.— Он как мертвяк,— сказала она.— Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она потащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды,— сказала она с отвращением.— В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил,— сказал Кандид.— Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь. А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню,— сказала Нава, помолчав.— А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.

— Спит,— сказал Кандид, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит,— сказала Нава,— когда он смотрит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он,— сказал Кандид.— Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскатисто бурчало в животах, они не просыпались, но почти каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он почувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся,— сказал Кандид.— Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю, не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь,— сказала Нава сердито.— Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим...

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь... ну, всего одну ночь... и дорогу спросить... днем-то они не спят... в крайнем случае — на болото, воры ушли... а если и не ушли... как там ребята на Выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра... завтра...

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители, им просто незачем так стоять, и как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и был отдан в приказе как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Он тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота.

Продолжение следует.

«Карл,— бормотал он, шатаясь,— Карл, вернись!..» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так, что зазвенело в ушах, так, что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть, потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — закричал он.— Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит, и ощущая страшное желание узнать, что же с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная, нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас...» — и еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких, подгибающихся ногах, только не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню,— проговорила Нава.— Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун,— сказала Нава сонным голосом,— ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала раньше такую речь. Это ты сам так говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может быть, ты из этой деревни родом? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи,— сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул. Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказе Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на материк. Но он подумал, что это ему снится.

Продолжение. Начало в №№ 11—13.

Рисунки Олега ТУРКОВА

Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель со своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно.— Что это такое, Молчун? — сказала, наконец, Нава шепотом.— Какая страшная вещь... Или это, может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все такое сухое — может быть, оно здесь выросло?

— А почему страшная? — спросил Кандид.

— Еще бы не страшная,— сказала Нава.— Ты возьми его в руки... Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страшная... Я сама не знаю, почему страшная...

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодил, и осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала,— сказала Нава.— Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный... А может быть, мы еще спим с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Кандида.— А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я мальчик... А мы искали, где поспать. Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он залез мне в кулак! — сказала она.— Только вот что удивительно, Молчун, я совсем тогда его не боялась. даже наоборот... Он мне даже был для чего-то нужен...

— Все это был сон,— решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Нава, заглядывая ему в лицо.— Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон,— строго повторил он.— Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава.— Что-то я должна была сделать...— Она помотала головой.— Я не люблю таких снов, Молчун,— сказала она.— Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает... Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее... Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду.— Она потянула носом воздух.— Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, и Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун,— сказала она.— Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее... а пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай крошенку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я — нет.

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через трясину-то, вот беда... Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться...

— Придется все-таки вернуться, Нава,— сказал он, когда они поели.

ТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась.— Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это, что с тобой никогда не договоришься по-человечески... И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться,— повторил он.— Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в Город?..

— Почему в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город,— сказал Кандид.— Не могу я больше.

— Ну хорошо,— сказала Нава.— Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась...

— Я бы тоже,— сказал он.— Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой и странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай,— заявила она,— я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю, почему.

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и запылившийся, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало...

Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой пронесся словно легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется,— сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид посмотрел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна.— Это называется Одержание,— сказала она.— Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жил в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает... Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет,— сказал Кандид.— Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машина в лабиринте... Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается... а потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы — и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу...

— Вот она, твоя тропа,— сердито сказала Нава.— Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно... Ничего, пусть посердится. Пока сердится, молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Страшная какая-то тропа, словно она не протоптана, а выкопана...

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но спустя некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли мха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям и скорее даже не мыслям, а представлениям.

...Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить. Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой... Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется...

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город. Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали...

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь, ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену... Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали... Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет... а тот знай все твердит: почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у Верхних Одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему же у нас Одержание не происходит так долго? Да что тебе это Одержание, спрашивает Кулак, что ты без него соскучился? Не отстает Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко, на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали... И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал и говорит: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает, почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.

— ...Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел, да подбирал все, что из тебя вываливалось... Много чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как... так он эту одежду разрезал и рассадил, думал вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревням и спрашивать: почему, если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не взошла... Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили: и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — розовое, без мха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда...

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это... Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и посмотрим...— Она еще раз потянула носом.— Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью... Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи,— сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава.— И так ползут, будто люди идут по тропинке... И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она.— Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи,— сказал Кандид.— Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их; и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы или залетит безмозглая бабочка. Или муха будет биться в стекло. А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда они бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами... Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и... как это сказать... жалостно... жалко... Как будет правильно...

— Скоро будет озеро,— сказала Нава.— Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось это, уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции...

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. «Не пойдем туда,— сказала Нава,— это вверх, а я пить хочу». Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун,— сказала она,— а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды...

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид.— Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь...

— Вода есть,— неохотно сказала Нава,— но теплая. Плохая вода. Нечистая... Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина голодной деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобная. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр... Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно.

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели,— сказала она, наконец.— Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже привиделось...

— Пойдем посмотрим,— сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда»,— прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники,— сказала Нава.— Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились... Очень это страшно, Молчун,— сказала она, помолчав.— Мне даже говорить об этом не хочется... А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Теперь вверх?— спросила Нава.

— Да,— сказал Кандид.— Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины,— сказала Нава.— Ты заметил?

— Да,— сказал Кандид.

— Вот это самое *страшное, вот это я никак не могу* понять. А может быть...— Нава посмотрела на Кандида.— А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят... Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю,— сказал Кандид.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАНДИД

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам осыпались самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие, не то звери, не то насекомые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппопет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. И лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

...Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они и называют Городом. Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность... Я ждал чего-нибудь в этом роде... Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно неспособен их связать... Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности... Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти... У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился: получалось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем — спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне.

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

...Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то. Высокая температура... Да нет, ерунда... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим» — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю... Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, про мертвяков, Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками... Оказывается, все это обман, все опять перевраали, никому нельзя верить... Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об Управлении. Даже Колченог знает, даже Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах — они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать... Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома. Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон, только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию... Биостанцию?.. Би-о-стан-ци-ю. Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы, Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы, значит, все это вранье, значит, ничего-ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел...

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппопет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппопету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппопет удалился. Мертвяков даже гиппопеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи ревут, глупо, нелепо. Мухи ревут. Осы ревут...

— Мама!..— прошептала вдруг Нава.— Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама!— завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел.

Трое, подумал он. Трое... Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь.— Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я! Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха? Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры... Толстые, сонные, равнодушные дуры... И Нава... А какое мне дело до них, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно... А я должен остановиться. Несправедливо. Но я должен остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятясь, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холмы. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано; и из-под ног их поднимались столбы пара.

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите,— сказал он еще издали.— Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки, бегите, я задержу...

Они не обратили на него внимания. Не то, чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-ай-ай,— говорила беременная женщина, смеясь и качая головой.— И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку.— И я бы нет. Милая моя,— сказала она Навиной матери,— и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался пóтом?

— Неправда,— сказала девушка.— Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...

— Как лилия,— подхватила беременная женщина.— От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки... А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам,— сказала мать Навы с деланным пренебрежением.— Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные...

— Ничего,— сразу сказала беременная женщина.— Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем... Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот,— сказала беременная женщина.— Плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт...

— Ничего, мы его отмоем,— сказала мать Навы.— Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек,— сказала беременная женщина девушке.— Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно,— сказала мать Навы.— И тошнотворно...

— Разве мы острим? — удивилась беременная женщина.— Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь,— сказала девушка, блестя зубами.— Расскажи еще что-нибудь...

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что Навина мать задета и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере,— сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет,— сказала та.— Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь,— она похлопала себя ладонью по животу,— родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава.— Сама на себя посмотри, на что похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он как тебя огреет палкой по толстой заднице, чтобы не привязывалась...

Женщины, все три, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава.— Чего они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная женщина — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж,— сказала Нава.— Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас...

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина.— Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай,— сказала Нава сейчас же.— Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то лезет как старик, без спросу, без разрешения...

— Ты что,— сказала беременная женщина Кандиду,— ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно,— сказал он.— Какая она мне жена! Она мне дочь...— Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее очень любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала,— простонала она.— Это не ее муж... это вон ее муж!— Она указала на мать Навы.— Это... ее муж! Ой, не могу!

На лице беременной женщины появилось веселое изумление, и она стала демонстративно-внимательно оглядывать Кандида с головы до ног.

— Ай-яй-яй-яй...— начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело наконец! Уходите отсюда,— сказала она Кандиду.— Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать,— тихонько пропела беременная женщина,— что корень любви может оказаться столь горек... столь грязен... волосат...— Она перехватила яростный взгляд Навиной матери и махнула на нее рукой.— Все, все,— сказала она.— Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача...

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать.— Или мы будем заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись,— сказала девушка.— Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула и снова улыбнулась Кандиду и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили,— сказала беременная женщина озабоченно.— Вечно у нас неразбериха со строителями. Как же нам быть?

— Ничего,— сказала мать Навы.— Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села,— сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже,— промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги.— Скорее бы...

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала глядеть ей в глаза.

— Выросла,— сказала она.— Одичала. Рада?

— Ну еще бы,— сказала Нава неуверенно.— Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела... А это Молчун, мама...— И Нава принялась говорить.

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Он посмотрел на мокрые волосы женщины. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он.— Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу... Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик,— сказала та.— Он чего-то хочет.

Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она.— Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают...

— Козлик,— сказала беременная женщина.— Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е-е!.. А ты знаешь,— обратилась она к Навиной матери,— это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых...

— Мама,— сказала Нава,— что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся, я бы на его месте давно обиделась...

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— ...только очень уж грязненький,— говорила беременная женщина.— И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело валились, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, подталкивала их, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Нову. Нава спала. Ее мать сидела на траве, и она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые,— сказала беременная женщина.— Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются... С такими работниками Одержание не закончишь.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреде Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева... Он не мог вспомнить. «Стою и все,— сказал он со злостью вслух.— Не гонят больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась.

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным, уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «...очевидно, не хватает...

запомни, девочка... слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка... надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» «...холм... сухость и пыль...— говорила девушка,— ...лес останавливается... этого я еще не знаю... а вы мне рассказывали совсем по-другому...» «...а ты попробуй сама,— говорила мать Навы,— ...это сразу заметно... попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь»,— сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в коленки. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины засмеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекала струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая...»

— Чистить надо, чистить,— сказала беременная женщина, поднимаясь.— Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга,— сказала беременная женщина.— Молодец.

— Управлять она будет,— сказала мать Навы, тоже поднимаясь.— Характер у нее есть. Ну что же, надо идти...

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала, что хотела. ...Такая милая, такая нежная, ласковая... Даже пальцем не притронулась... К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо. Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнал их, и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь я это сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это неважно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам... У меня мозг, понятно? — сказал он про себя, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно... Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава, в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась... Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно сказала:

— Ты чего здесь? В лес иди, в лес... Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать... Нет, не то... Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хозяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы... Опять все переврали, все перепутали... Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция. ...Биостанция. ...Он едва плелся, если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик...— Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы.— Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!

— Они гниют там заживо,— сказала мать Навы задумчиво,— они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте... А в общем-то пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно... А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю,— сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно,— сказала мать Навы.— Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня,— сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида.— А ты знаешь,— сказала она,— пожалуй, от него было бы больше пользы здесь... Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а,— сказала мать Навы.— Пожалуй... Пусть... Пусть остается...

— Да, да, оставайся,— сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное.— Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может быть, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая... Наверное, это от жары...

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем,— сказала мать Навы.— Ты пока ничего еще не понимаешь... Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они ошибка... Да пойдем же! Ну хорошо, потом придешь к нему... если захочешь.

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид,— что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди!.. Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину:

— Что вы с нею сделаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она.— Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже... Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так...

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно... Мужья нам, во всяком случае, не нужны.— Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась.— Не нужны, не нужны, успокойся... Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов...

Она говорила не думая, вернее, она думала о чем-то другом.

— На что же ты еще годен?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же, равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная женщина.— Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею,— вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то,— сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься...

Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козликом.

— Умел когда-то,— повторила она.— Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо,— сказала она.— Тогда убей это дерево... Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю,— сказал Кандид.

— Не понимаешь... Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если даже ты этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес,— сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него.

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно, что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи.

— Я действительно изучал лес,— сказал Кандид.— Я изучал...— Он замялся.— Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь,— терпеливо сказала женщина.— Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно,— сказал Кандид.— Нужны только...— Он опять замялся. Микроскоп... Линзы... Приборы... Это не передать. Это не перевести.— Если взять каплю воды,— сказал он,— то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных...

— Для этого не нужно никаких вещей,— сказала женщина.— Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?

— Может быть,— сказал Кандид.— Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде... Я искал, как они устроены у вас в лесу, и какие они бывают, и что они могут...

— А на Белых Скалах они другие,— саркастически сказала женщина.— Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты... Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда...

— Я пойду,— сказал Кандид устало.— Я пойду, прощай.

— Нет, погоди... Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным... Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она.— Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов были же удачные случаи... К Воспитательницам, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений — призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не

было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Тонкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, протянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец проснулся он неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно от боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибся о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую — он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать на торжественную встречу падишаха без специальной свиты размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил, наконец, знакомую арку с надписью «Добро пожаловать» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то неодетых людей с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк на его башне открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...

— Бумаги ваши попрошу,— сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги должны быть у вас в ручке в развернутом виде, как в музее...

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много...— Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит,— сказал старик, внезапно посуровев.— Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег,— сказал старик, начиная спускаться по лестнице.— Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо,— сказал Перец.— Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара.— Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял...

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно! Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул,— сказал Вольдемар.— Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию... Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо... Я — е-4, он — це-6... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он.— И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный,— сказал Вольдемар, закуривая.— Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Вон, ловят...

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.

— Каждый год такая петрушка,— говорил Вольдемар.— У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как... А кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой бардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмотрите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю,— сказал Перец,— как же мы будем ее ловить. Мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...

— А это вы скоро увидите,— пообещал Вольдемар.— Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место?.. Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.

...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались у нее во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверно, уже стало совершенно ясно все то, о чем она раньше только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...

— А!..— сказал Вольдемар с удовлетворением.— Вот она, милая. Вот она, родимая...

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему,— сказал Вольдемар.— Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь.— Тут еще кто-то есть,— сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи.— Унд пять головастиков.

— Плыви в гости!

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонивши голову к правому плечу, принялся щипать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь,— гостеприимно сказал он.— Пока утро наступит, пока тягач доползет...

— Спасибо,— покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет,— сказал Перец,— пожалуйста...

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела
Один брожу безумно и устало,
Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото, и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи.— Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись: знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он.— Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем... а?

— Я не играю в теннис,— сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапание ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готов, господин Перец. Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

...В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел и иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...», и его с гоготом подсаживали обратно...

— Нет,— сказал Перец,— спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал...

— А,— сказал Вольдемар с уважением,— тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнейшей позеленевшей колбасой...

Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчивая!..» Броневик снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут... Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемежку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение, как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик как паук бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы...

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!», и кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздалось ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Окончание следует.

Рисунки Олега ТУРКОВА

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотвращения. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, и кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографию в трех экземплярах с приложением двадцати отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, и в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он подходил уже к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода испортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что «предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах». Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать, и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И, представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, и не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере, и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы испорченные машины или плохо отлаженные.

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий — Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура не белковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал — лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканом воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Перец, но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ее шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спаси нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны,— произнес где-то наверху добродушный бас.— Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать,— возразил капризный, тонкий голос.— Мне все надоело. Всегда одно и то же — железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки.

— Взяла бы да переменила место,— проскрипел издали какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — переменить место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо,— сказал рассудительно бас.— А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

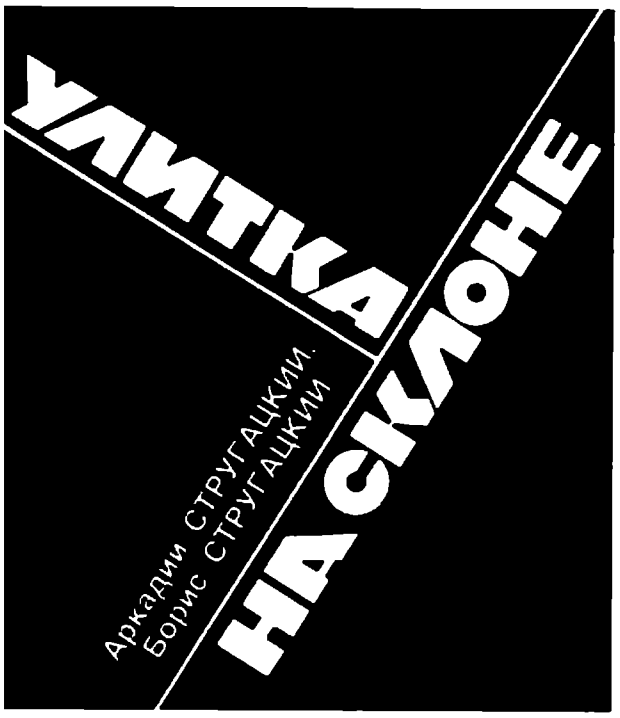
— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получать новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставить!— рявкнул оловянный голос.— Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины; Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пе-

Окончание. Начало в №№ 11—14.



строе платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять, какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать,— проворчал Винни Пух.— Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь,— сказала кукла Жанна.— То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос.— Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо,— я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду,— сказала кукла Жанна.— Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей...— Она всхлипнула.

— Н-ну...— пробасил Винни Пух.— В общем-то да...

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый.— Девочка права. Настоящей работы нет.

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел старик.— Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня страждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух.— Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал. Я кончаю проектирование вертолета и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь,— проскрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог — в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог.— Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк.— Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна.— Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену, или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...

— Они, несомненно, существуют, глупая вы истеричка! — проскрипел Астролог.— У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос.— Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... как средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу,— заявил Танк.— Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешали беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях,— сказал Винни Пух.— С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему собственно и нет? — сейчас же взъелся Астролог.— Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не спрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста,— грустно сказал Винни Пух.— Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит, и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях,— сказал Астролог.— Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре,— заметил Садовник. Но Астролог не слушал его.

— Или вот вы,— продолжал он,— вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно.— Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях,— сокрушенно сказал Винни Пух.— Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна... если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк.— Пора еще не настала.

— Ч-то? — спросил Винни Пух рассеянно.

— Пора еще не настала, говорю я,— повторил Танк.— Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружения, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном,— неожиданно мягким голосом произнес Астролог.— Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...

— Все они призраки,— вздохнула кукла Жанна.— Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях,— сказал Винни Пух,— то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...

— Одно из двух,— сказал новый голос, размеренный и скучный.— Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо,— сказал Астролог.— При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий,— пояснил скучный голос.— Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся,— загомонили машины.

— В таком случае — принимая существование связи как аксиому — либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго

болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается»,— проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила,— пропищала кукла Жанна.— Так приятно: новые цифры...» «И что это у меня питание барахлит,— проворчал Винни Пух.— Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» «Ничего у меня нет»,— отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся. ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, соревнуясь, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собой земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замерзшие лица, и он все старался не отстать от длинноногого человека номер «14», потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю — где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны, со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь я вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «Финиш», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «Гл. судья» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме,— бубнил Проконсул,— можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— ...Чем потеть от страха, сидя дома,— говорили в толпе,— лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силился понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источником терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно и плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно, почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю,— сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

«В самом деле, почему? — подумал он.— Наверное, потому, что мне было все равно».

— Мне было все равно,— сказал он.

— Ладно, это неважно,— сказала она.— Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздик,— белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал одну ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. Буду сегодня спать в ванне, подумал он. А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды.

— Иди сюда,— позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости,— и прихрамывая пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные, умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди,— сказал он.— Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он.— Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот,— улыбнулась она.— А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю,— сказал он.— Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не ваш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно ваш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу,— сказала Алевтина.— Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать,— сказала она.— Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет,— сказал Перец.— Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок,— сказала она.— Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет,— сказал Перец.— Так я не хочу.

— Милый,— сказала она тихонько.— А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо,— сказал Перец.— Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце,— сказала она.— Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда заякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истерическую куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали,— отозвалась Алевтина.— Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала — видимо, смотрела в окно.

— Нет,— сказала она наконец.— Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину,— и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые ворота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев...

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управления здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

«Во всяком случае,— подумал Перец.— я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить

кефир, наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, и запахиваться в директорский халат, и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет...»

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и было ясно, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте,— сказал он и, поклонился, прижимая папку к бедру.— Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро,— сказал Перец.— Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов,— сообщил Домарощинер.— Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов.— Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубльвэ сегодня равно шестнадцати...

— Какое дубльвэ? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен,— быстро сказал Домарощинер. Глаза его забегали.— На солнце,— сказал он.— На с-с-с...— Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения,— быстро сказал Домарощинер.— Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостоянии тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте,— сказал Перец мрачно.— Что вам от меня надо?

Домарощинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения,— сказал он.— Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного...— Он протянул Перецу папку, как пустой поднос.— Прикажете доложить?

— Знаете что...— сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам, словно бы ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

«Дурак и дурак,— подумал Перец, стараясь взять себя в руки.— Что с него взять?»

— Глупо,— сказал он по возможности сдержанно.— Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да,— сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте.— Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатое июня... время: семь сорок пять... место: над обрывом...» Но это предварительно... Это черновик...

— Слушайте, Домарощинер,— сказал Перец с раздражением.— Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка ваша эта глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тьфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят,— пыхтел он,— что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке смирно и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу...— пробормотал Домарощинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... справка... и умываться...

— Да господи боже мой,— сказал Перец.— Ну не можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли.— Никогда больше!

— А ну вас,— сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом.

Паяц старый, подумал Перец, юродивый...

— Весьма срочно,— бормотал Домарощинер, тяжело дыша.— Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта? — воскликнул он.— Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удушья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он.— Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка.

— Всякое уже, кажется, бывало,— лихорадочно думал он,— но это уж совсем... Это они уже сговорились... бежать, бежать надо! Только как бежать?

Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда извольте...— прохрипел он.— Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, заглох, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления.

«Ким,— думал он лихорадочно,— Ким не позволит... неужели и Ким?.. запрусь... запрусь в уборной... пусть попробуют... ногами буду бить... теперь все равно...»

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме, при орденах, по вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо некрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик к гигантской кожаной двери с табличкой «Директор». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуйте,— сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. «Сейчас умрет человек»,— подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно...— просипел он, задыхаясь.— Без визы директора невозможно... личный... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас...— просипел Домарощинер.— Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа — тома в тисненных золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну, хорошо, пусть будет так...»

— Не трясите папкой над столом,— сказал он сурово.— Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол, и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги, и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас,— сказал он сурово.— Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, а Домарощинер был уже около дверей и, пятился, наклонив корпус и держа руки по швам — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку,— сказал Перец. Домарощинер замер.— Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарощинер.

— Идите,— сказал Перец.— Я вас потом вызову.

Домарощинера не стало. Перец откашлялся.

— Предположим,— сказал он вслух.— А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами — 9.30. Осмотр ноги — 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль... и еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление, вид сверху, и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря рукой под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею — костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой небольшой аквариум — в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами.

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком — и двое мальчиков в кадетской форме). Был там «парабеллум», хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе была еще кипа папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение Музея истории Управления. «Так его, так его, негодяя,— пробормотал Перец.— Подумать только, музей не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... впрочем, все шоферы резинщики...

Нет, это надо прекратить: кефир, шахматишки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь там стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде бы все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги... Слушай, Перец,— подумал он,— а может быть, вся эта карусель как раз для того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара — в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искоренят, лес превращают в мрак. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарощинера и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут... этому... мсье Ахти... резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди и людишки, и человечишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью — улицы-де который год не метены, шофера Тузика будут за систематическое непосещение бани, и в перерывах будут бегать в латрину над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, Группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.» И еще... «Группа Научной охраны л.» Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то никогда не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им, во всяком случае, делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это вонючее засыплют... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то... вообще-то лес охранять следует. Только вот... Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распущу и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, словно бы спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные непроизводительные препоны.

§ 2. Однако, наряду с достигнутыми достижениями, вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявление всякого рода случайностей незакономерными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитность), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения №№ 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитность) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение либо взыскание в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана... месяца... дня... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ (...)».

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника Группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.». Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалования — посмертно на собаковода вооруженной охраны Г. де Мономранси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы о единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь,— тоскливо подумал Перец.— Этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак,— сказала она деликатным голосом.

— Закройте дверь и идите сюда,— сказал Перец.

Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перецу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь.— Доволен ты теперь?

— Слушай,— сказал Перец.— Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю,— сказала она.— Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди,— нетерпеливо сказал Перец.— При чем здесь Уложение... при чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарощинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик,— сказала она озабоченно.— Домарощинер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет...

— Да плевал я на Домарощинера! — сказал Перец.— Ты мне объясни, что я...

— На Домарощинера плевать нельзя,— возразила Алевтина.— Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь...— Она надавила Перецу на нос, как на кнопку.— У Домарощинера есть два блокнота. В один блокнотик он записывает, кто что сказал, для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди,— сказал Перец.— Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик,— сказала она.— Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни,— сказал Перец.— Если можешь,— добавил он.— В чем я сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький,— сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы.— Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет,— сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси твоего теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще... Это же азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о неберемености, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец.— Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька,— сказала Алевтина.— Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близорукенькими глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы, если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директивы? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перецу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно,— сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет,— сказал он.— Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, действительно необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно... Елки-палки... Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.

— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ,— с необычайной язвительностью сказал Перец.— сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются. Сегодня же! Ответственный — Домарощинер... Ей-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту,— сказала Алевтина.— Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер...— Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением.— А что! — сказала она.— Правильно! Это даже прогрессивнее... Маленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецем тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди,— сказал ошеломленный Перец.— Подожди...

— Ты у меня умненький,— сказала Алевтина нежно.— Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди,— сказал Перец.— Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям. Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!», но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально,— тихо сказал он, тесня Переца к столу,— это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

ЭПИЛОГ

КАНДИД

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево — нагруженные, слева направо — порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун,— плаксиво сказал старец,— совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Нову отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если спрятал, ты доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть.

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос, и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач.— Успешное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... Спокойствие и Слияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что может думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, мужики — не больше чем козлы... это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды... и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея... Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу? Я видел гибель голодной деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а Одержание... Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу,— сказал он.— Один вот тоже все глазел, окрутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы с тобой там баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна вот тоже плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу,— все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что там бабы, я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак.— Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался, шерсть на носу...

— Ладно,— сказал Кандид,— я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили. Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно ты занятно рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уж не возвращается... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать что к чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить, Одержание». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись,— сказал он Кандиду приветливо.— Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем,— сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь,— сказал Колченог.— Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал?.. А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи и такие злаки произрастают... Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы мы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам,— торопливо напомнил Кандид.— Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам...— повторил он.— Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь, где Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: Скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие назад возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... у кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог,— сказал Кандид.— Выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же,— сказал он.— Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами проросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковатой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна...

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес уже тебя жевал, и, как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, и над тобою нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, и я прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... и ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — мне, наверное, не удастся — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу не приходило в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились,— сказал он.— Послезавтра выходим.

— А как же,— немедленно ответствовал Колченог.— Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричали хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь.— Давай, Молчун, давай, не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

Доктор медицинских наук Александр Васильевич Чаклин работает заведующим отделом эпидемиологии злокачественных опухолей Онкологического научного центра Академии медицинских наук СССР, он председатель проблемной комиссии АМН СССР. Его хорошо знают и за рубежом: более четырех лет он руководил Отделом опухолей Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Однако профессора Чаклина привлекают не только исследования в своей области, не только популяризация той сложной науки, которой он занимается. Им изданы несколько документальных книг, а среди его многочисленных рукописей есть и произведения художественного жанра — правда, и в них Александр Васильевич зачастую остается верен той теме, которой он целиком посвятил себя в науке.

Мы печатаем один из рассказов А. Чаклина.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

Александр ЧАКЛИН

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

1

Этим утром Патрик проснулся рано. За окном особняка изредка слышался шум автомобиля. Обычно Патрик лежал в спальне, окна которой выходили в сад, а вчера попросил перенести его в кабинет на диван. Большой, кожаный, с деревянными головами львов и томами Британской энциклопедии между ними, он нависал над его ослабевшим и похудевшим телом.

Пепельницы всех видов, которые он вывез из многих стран, заполняли комнату. Горел ночник — маленькая лампочка за бронзовой фигурой обнаженной женщины. Тень ее фигуры вырастала над камином и удивительно напоминала Джейн в молодости.

Он повернул ночник, и Джейн стала в профиль и как будто помахала ему рукой. Непонятно, прощалась ли она или, наоборот, приглашала за собой.

Патрик закрыл глаза и увидел юную Джейн — гибкую и капризную, ласковую и требовательную. Она стала его женой, но другом — нет. В свои планы Патрик ее никогда не посвящал. Причина была веской: она слишком благоволила к Джиму, его другу и сопернику в делах. Джейн не скрывала своей привязанности к Джиму. Эта любовь длилась долго, пожалуй, слишком долго...

Освобождение пришло неожиданно. Воздушные гангстеры захватили самолет над Атлантикой, и Джим вступил с ними в драку. Джима убили и смертельно ранили Джейн. На смерти Джима Патрик выиграл пять миллионов долларов. Он имел доверенность и, пока родственники Джима спохватились, успел сыграть на бирже его акциями.

С тех пор прошло двадцать лет. Он обменивал годы на доллары — их становилось все больше, но здоровье таяло.

Сначала он покашливал. Стало труднее дышать. Когда появились боли, он поехал в клинику профессора Мано. Разговор был малоприятным. Ему показали рентгеновские снимки — большая тень лежала у корня правого легкого. Недвусмысленно спросили, кто его родственники, распорядился ли он своим наследством...

В кабинет постучали, и в комнату вошла молодая женщина. Странно, что в Айлин — почти полной копии Джейн — он находил и свои черты. Это была дочь Джима. Воспитанная им, Патриком, она повторяла не генетические, а приобретенные черты. Знала ли она, кто на самом деле ее отец? Айлин было восемь лет, когда погибла мать.

— Как дела, папа? Удобно ли тебе в кабинете? Зачем ты придумал это путешествие из спальни?

— С этим кабинетом у меня связаны воспоминания о победах и поражениях, а в спальне уж очень одиноко.

— Ну и что тебе снилось — победы или поражения?

— Теперь мне не остается ничего, кроме поражений.

— Оставь этот пессимизм! Человек, который все может, а я привыкла считать тебя таким, найдет выход из любого положения. Заплати врачам два-три миллиона, и они придумают средство для твоего лечения.

— Пока они будут придумывать, меня не станет...

Погоди-ка! А ведь и в самом деле девочка подкинула ему интересную мысль.

2

— Папа, ты не забыл, что сегодня к тебе должен прийти доктор Винтер? Сейчас одиннадцать, а ты приглашал его на ленч.

Джо Винтер не был врачом-практиком — это был ученый, изучавший причины раковых опухолей. Несколько лет тому назад Патрик случайно познакомился с ним. С тех пор они изредка встречались. Винтер был точен. Высокий, подтянутый, в элегантном костюме, он весь как бы светился здоровьем, стремясь, видимо, с первого шага подбодрить больного и заразить его своим оптимизмом.

Патрик сидел на диване, опустив отекшие ноги в мягкие туфли. Айлин хлопотала по хозяйству — сама принесла закуски, поставила бокалы и налила в тарелки луковый суп, который так любил Патрик.

— Итак, мы пьем за исцеление,— начал Винтер.

— Идите вы к черту и не вздумайте играть со мной в кошки-мышки. Перед вами живой мертвец, но чувства юмора он еще не потерял. Имейте мужество говорить с ним прямо, и давайте разберемся, есть ли у меня виды на будущее. Если я не смогу купить выздоровление сегодня, то, может быть, завтра или послезавтра? Сколько времени у вашей науки между сегодня, завтра и послезавтра? Год, пять лет или столетие?

Айлин подняла бокал.

— Джо, вы должны простить папу за прямоту, а меня за то, что я молчала и не рассказала ему о нашей дружбе. В конце концов он должен знать все или хотя бы почти все. Папа, мы связаны более чем знакомством. Я люблю Джо и хочу за это выпить.

— Что же, детка, ты истинная дочь своего отца,— задумчиво произнес Патрик.

— Так вот, мой дорогой будущий тесть! — При этих словах Патрик весь съежился, ему показалось, что его вдруг обворовали.— Давайте играть в открытую. Мы с Айлин заинтересованы, чтобы вы жили долго, как можно дольше, и пусть вас не мучают подозрения... Но как бы мы ни желали этого, дело очень серьезное, и, я уверен, виноваты эти проклятые сигареты. Да-да!.. Сорок штук в день — и восемь лет жизни долой. Вы за год получали в легкие 800 граммов густого дегтя — того самого дегтя, который я регулярно вычищаю из своей трубки. А ведь двух миллиграммов так называемого бензопирена — ракообразующего вещества, которое есть в табаке,— достаточно, чтобы у подопытного животного возникла опухоль. Вы продукт нашей цивилизации и пожинаете ее плоды в полной мере. Ирония судьбы в том, что именно вы субсидируете табачное производство. Вы ведь даже боролись с теми, кто хотел на пачках сигарет писать об их опасности...

— Послушайте, Джо, вы еще не мой зять и не затрагивайте моих финансовых дел. О табаках вы мне не говорите. Вот уже полгода, как я перешел на трубку, кстати, по рекомендации английских врачей.

— Да, но вы не учли, что до этого сорок пять лет курили сигареты и, главное, как я заметил еще в клубе, каждую до конца. А ведь самая опасная часть сигареты та, которая ближе всего ко рту,— последняя треть. Один француз в шутку предложил даже вкладывать в эту часть сигареты взрывчатку...

4

Джо уехал. В кабинете рядом с Патриком легла гнетущая тишина. Итак, подумал он, остались две возможности: смерть в ближайшие месяцы или, быть может, таинственная неизвестность в ожидании великого открытия. Неужели это реально? Он дрожащей рукой достал из-под подушки уже не раз просмотренную газету.

Патрик развернул ее и в который уже раз начал перечитывать статью с броским названием «Ледяное спасение». Как всегда, заголовок сенсационный. Вот только есть ли оно на самом деле, это ледяное спасение? Ведь пока изучено лишь начало процесса — замораживание. А что известно о размораживании?

Джо и Айлин... Ну что же, пара неплохая... Плохо со стороны Айлин, что она скрывала это от него, но в этом вся Айлин. Она может быть злой и доброй, печальной и веселой. Все в ней меняется мгновенно. Сплав Джейн и Джима, двух неудачливых удачников. Но что даст сплав Айлин и Джо? И увидит ли он, Патрик, своих внуков? Теплая волна захлестнула его и подступила к сердцу — сама возможность появления в доме внука никогда не ощущалась так реально, как сейчас, в тишине этого вечера.

5

Консилиум собрался в библиотеке, примыкающей к большому кабинету, снабженному целой системой аппаратуры для обследования пациента. Каждый из аппаратов был связан с электронно-вычислительным центром. Из кабинета вел длинный коридор в анестезиологический центр и в самое заветное — в «усыпальницу королей», как ее назвал молодой ассистент клиники Бердки. Шеф предпочитал другое название — «пирамида Хеопса». Это была дань его увлечению древней историей.

В центре кабинета стояла специальная каталка на толстых каучуковых шинах. Она имела свое название — «лодка Харона». Сестер тут называли Парками, которые плетут нить жизни и готовы в любой момент ее отрезать.

Рисунок Марины ПИНКИСЕВИЧ.

В их руках могли оказаться к тому же судьбы капиталов, клиентов, клиники, ведь любую из них могли подкупить родственники спящих. И поэтому сестер не допускали даже в преддверие этого рая, где царили тишина и комфорт. Каждый здесь ждал своего часа, за каждым наблюдала комиссия, в которую входили не только врачи, но и юристы.

Состояние анабиоза. Жизненные процессы сведены до минимума, и тем не менее система питания налажена. Но шеф мечтал о большем, о системе, при которой мозг его подопечных мог бы действовать — получать и выдавать информацию. Над этой идеей уже работали специалисты. Если удалось бы добиться ее осуществления, он становился фактическим хозяином многих капиталов. Тогда бы все распоряжения в банки, на биржу могли идти только при его участии. Стоимость содержания каждого охлажденного не превышала 200 тысяч долларов в год, а совместный капитал его молчаливых подопечных уже достиг шести миллиардов.

Самая большая трудность была не в медицинских проблемах, а в этических. Требовался хороший юрист, который в то же время был бы достаточно предан хитер. Экзамен выдержал Хаули. Теперь, пока высокочтимые консультанты собирались в библиотеке, шеф и Хаули закрылись в кабинете.

— Так сколько оставит в банках этот Мерди? — спросил шеф.

— По моим расчетам, тридцать пять миллионов.

— Ну, это не бог весть что. Он будет занимать третье место — после Роджерса и Морелли.

— А что, если мы попробуем на нем систему «мозг — шеф — банк»? Назовем ее проще — МШБ-1.

— Двадцать четвертый кандидат,— задумчиво сказал шеф.— Надо попробовать сохранить его духовную сферу, к тому же я хочу один из вводов в шлем соединить с телелокатором в его доме, пусть испытывает иллюзию жизни в семье. Мы должны заботиться о комфорте и благополучии «ожидающих».— С этими словами он открыл тяжелую дубовую дверь, которая вела в библиотеку, где заседал консилиум.— Прошу уважаемых коллег приступить к обсуждению кандидата.

Папка в красном переплете с тиснением «Патрик Мерди-24» легла на стол. Медицинское досье. Врачи не должны были знать деталей социального плана. Их забота — организм, а душа лежала в коричневой папке Хаули. Все это было обусловлено в специальном договоре с клиентом...

— Итак, господа. Пациенту 59 лет, группа крови 1-я, рост 179 сантиметров, вес 72 килограмма. Обследован в трех клиниках. Вот рентгеновские снимки и результаты антиографии — судите сами. Положение критическое. Больной об этом знает и держится мужественно. Решил прибегнуть к нашей помощи. О возможностях клиники полностью информирован. Вы, господа, я знаю, верите, что через 20—30 лет эти формы рака можно будет вылечить, а я склонен думать, что в лучшем случае размораживанием мистера Патрика займется мой внук.

— Ваш Мерди меня мало волнует,— вставил реплику один из членов консилиума.— Я хочу спросить, как у нас вообще обстоят дела с опытом размораживания. Имеем ли мы моральное право набирать новых клиентов?

Шеф иронически посмотрел на оппонента и, улыбаясь, размеренно заговорил:

— Да, сэр, вы, как поборник истины, весьма резонны в вашем вопросе. Так вот, во-первых, сэр, в эксперименте на животных все проверено до мелочей. Ваш пессимизм, мне кажется, необоснован. И я, как экспериментатор, могу сказать: мы достаточно знаем, чтобы иметь моральное право продлевать клиническую смерть. Сочетание общего охлаждения организма с наркозом еще в 1912 году открыло нам этот путь. Русский ученый Бахметьев искусственно вызвал зимнюю спячку животных. Позвольте вам напомнить о его замечательном опыте с летучими мышами. Он снижал им температуру тела до минус 10 по Цельсию, жизненные процессы в организме почти полностью прекращались, а смерти не наступало. Именно он назвал это состояние анабиозом... А знаменитые опыты французского ученого Луи... Он охладил сердце куриного эмбриона до минус 196 градусов, и, представьте себе, после отогревания это сердце вновь забилось. Надеюсь, эти примеры достаточно убедительны. Но вся беда в том, что у нас пока нет основания кого-либо размораживать...

Один из присутствующих поднял руку.

— Разрешите мне, как онкологу, возразить вам. Я гораздо более оптимистичен и верю в лучевую терапию. Думаю, мы делаем большую ошибку, что избираем тактику простого ожидания. Если начать длительную терапию у замороженного, то, может быть, тут открылись бы новые возможности. Наш отдел предлагает сотрудничество...

Наступило молчание. Шеф, видимо, готовился к ответу. Он стучал карандашом по столу и несколько раз переводил взгляд с оратора на Хаули.

— Уважаемый Гарднер, вы правильно ставите вопрос, но тут есть чисто этическая проблема. В одном из пунктов договора записано, что разморозить клиента можно только тогда, когда будет открыто средство для радикального лечения. Мы взялись с вами лишь за сохранность тела. Лечение основной болезни не входит в наши планы и в договоре не обусловлено. Я думаю, мистер Хаули будет возражать, если мы вдруг начнем лечение «ожидающих».

— Если даже экспериментально будет доказано, что это целесообразно?

— Да, даже при этом условии. Право опеки со стороны родственников только у пяти, остальные своим родственникам не доверились и распорядились сами собой. Можно обдумать план переговоров с теми родственниками, которые наделены соответствующими правами, но я сомневаюсь, чтобы они так легко дали согласие... Однако мы отошли от основного вопроса: согласны ли вы на замораживание Патрика Мерди? Кто согласен? Благодарю вас... Кто против? Нет. Как обычно, один воздержался.

6

Кровать-каталка была удобной. Итак, первая жизнь позади, а будет ли вторая — неизвестно. В доме остались Айлин и Джо. После свадьбы они выглядят счастливыми и беззаботными. Как это он расчувствовался до такой степени, что оставил Айлин доверенность на ведение дел! Правда, с оговорками, но это мало что меняет. Пробуждение будет загадкой, но ледяной сон лучше, чем боли в груди и эта слабость...

В музыку, которая лилась из вмонтированных в шлем наушников, вошел чей-то уверенный голос:

— Вы начинаете забывать о своих волнениях. Они бренны, их больше не будет. Вспомните самые лучшие дни в вашей жизни. Они были и еще будут не однажды, надо только уметь ждать! Мы вам поможем, мы научим вас ждать...

Окончание на 25-й стр.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

Начало на 18-й стр.

7

Прошло семнадцать лет. Число «ожидающих» в клинике выросло, но ни один из них еще не вернулся в мир. Волею испытателей мозг Патрика Мерди был подключен к пульту в кабинете шефа и через этот пульт связан с банком и домом. Шеф мог включать и выключать его. Система МШБ, во многом усовершенствованная, работала отлично.

Магнитофонная лента, на которую записывали эти связи, могла уже трижды охватить Землю. Шеф постарел, а душеприказчик умер. Сын юриста унаследовал дело отца, но не его гибкость и хитрость. В отличие от Хаули-старшего он был на страже интересов пациентов. И дело Патрика стало главным источником разногласий между шефом и молодым адвокатом.

— Что вам известно о связях мозга с телом? — горячился молодой адвокат.— Я убежден, что раздражение нервов может повлиять на рост опухоли. Давайте включим ленту, где записан разговор в доме Патрика, который он по вашей воле слышал. Где хранится лента 2238-Я?

— В шкафу на восемнадцатой полке. Но это ничего вам не даст. В ответ на эту запись я поставлю ленту с записью мыслей Патрика.

— Я знал, что они у вас есть. Отец мне говорил об этом. Но записывать мысли пациентов — этого, согласитесь, не было в договоре, вы ведете нечестную игру, шеф! Как мы можем при этих условиях сотрудничать?

— Всему свое время. Включайте систему воспроизведения.

8

Послышался музыкальный звонок и голос Айлин: «Не беспокойся, Джо, я открою, это, наверное, Дези...»

Пауза и голоса:

— ...А, Джеймс, как я рада вашему приходу! Мы с Джо хотели с вами поговорить. Проходите в гостиную и садитесь к камину. Какая сырость на улице! Джо, это Джеймс. Сколько мы с тобой знакомы, старина?

— Да лет тридцать...

— Ну так это дает мне право быть с тобой предельно откровенным.

Шеф прокрутил ленту дальше:

— Так вот, Айлин и Джо, должен вам сообщить, что препарат, который полностью излечивает рак легкого в первых трех стадиях и в отдельных случаях в четвертой стадии, синтезирован. В сочетании с лучевой терапией он испытан в клинике.

— А когда можно будет уверенно сказать, что в случае с отцом он может оказаться эффективным?

— Фактически уже сейчас. Для гарантии можно подождать еще один-два года.

— Это маловато,— послышался голос Джо.— Дело в том, что мы с Айлин не уверены, что старику с его старыми взглядами надо поспешить возвратиться в наш новый мир. Короче говоря, мы не заинтересованы, чтобы Патрик вернулся.

— Сейчас или вообще?

— Ну, по крайней мере на протяжении нашей жизни.

— А какие соображения руководят вами?

— Ну, как тебе сказать? Для него сегодня, вчера или послезавтра не имеет никакого значения. А для нас это значит изменить образ жизни и начать жить по-новому или, вернее, по-старому.

— Я уверена, что папочка разрушит все наши планы и не поймет, почему мы вложили деньги в наше новое предприятие. А затем он может дурно повлиять на внука. Да, мы хотим, чтобы он выздоровел, но ведь через тридцать лет гарантия будет еще больше?

Ленту остановили... Собеседники какое-то время молча глядели друг на друга. Наконец, адвокат сказал:

— И это «святое» откровение вы даете возможность слушать Патрику?! Уж не договорились ли вы с родней?..

9

Но в это время мозг Патрика был от системы отключен. В такие минуты Патрик научился чередовать сон и раздумья.

Сейчас он думал о Джо. О том, как тот преобразился до неузнаваемости. Биржа заменила ему лабораторию. Он забыл о своих научных планах и превратился в финансиста. Деньги победили науку. Его управляющий Сантос был предан Джо, и все заветы Патрика были забыты, даже те, которые были записаны перед его уходом и над которыми Сантос клялся на библии.

Теперь о загадочном методе лечения. Конечно же, это было главное, что его больше всего интересовало, и вместе с тем именно об этом, как нарочно, не вели никаких разговоров ни дома, ни в банке. Правда, Джо как-то бросил странную фразу, которая долго беспокоила Патрика. Он говорил с кем-то по телефону, когда сказал: «Ну что же, спасибо за информацию... А вы, Билл, уверены, что этот метод мог бы гарантировать Патрику полное излечение?» Он не слышал, что говорили на другом конце провода, а затем Джо сказал слова, которые потрясли Патрика:

— Ну что же, Билл, это веские доказательства. Но не будем спешить. Я думаю, есть смысл подождать еще лет десять...

Значит, Джо заведомо тормозил его возвращение!

Если действительно рак уже побежден, но размораживать Патрика они не спешат, если все это действительно так, то, может быть, не стоит возвращаться в тот мир, чтобы быть там лишним?

Так постепенно созрело окончательное решение, о котором надо было сообщить шефу. И он сообщил:

— Дорогой шеф, я, Патрик Мерди-24, прошу принять информацию. Это очень важно! Кто бы вам ни предлагал вернуть меня к активной жизни, знайте: я сейчас этого не хочу! Я сам дам распоряжение, когда мне нужно будет вернуться. Ждите моего сигнала!

Он все еще на что-то надеялся...

ФИНАНСИСТ НА

З. ЮРЬЕВ Рисунок **Г. НОВОЖИЛОВА**

Некоторые, вероятно, помнят некрологи, появившиеся несколько лет назад в «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк геральд трибюн» и других американских газетах с описаниями жизни и смерти Фрэнка Джилберта Гроппера, известного финансиста. Поскольку некрологи, как известно, обычно красотами стиля не блещут, о некрологе Гроппера, может быть, вскоре и забыли бы, если б не несколько последующих газетных сообщений. К величайшему огорчению наследников, выяснилось, что финансист, которого оценивали минимум в сорок миллионов долларов, не оставил никому ни цента. Не было даже завещания.

Еще через несколько дней начали циркулировать слухи, будто Гроппер незадолго до смерти обратил все свои бумаги в наличные и деньги анонимно спрятал в сейфах нескольких банков.

Все это казалось довольно загадочным, но разумное объяснение так и не было найдено. Вернее, оно было найдено, но кое-кто предпочел о нем умолчать. Предлагаемая вниманию читателя история, происшедшая в 19... году, как раз и должна пролить свет на подлинные обстоятельства жизни и смерти Фрэнка Гроппера, если, впрочем, можно говорить о его смерти.

К сожалению, автор не имеет возможности указать источник приводимых им фактов, ибо тем самым он нарушил бы данное им обещание сохранить в тайне имена своих информаторов.

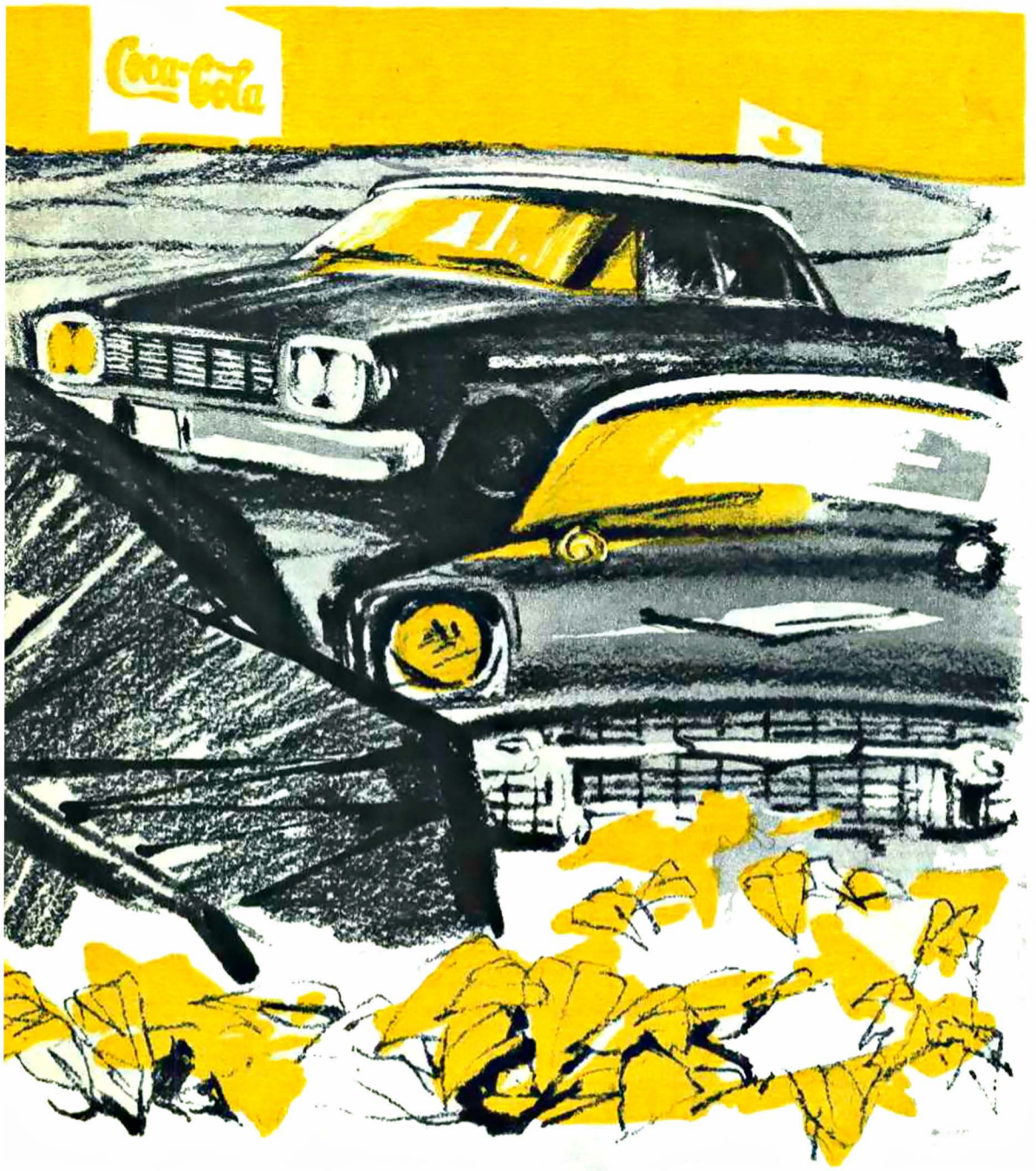
Предложение

Прежде Фрэнк Джилберт Гроппер меньше всего был расположен к философскому восприятию жизни. Для этого у него было слишком мало времени и слишком много денег. Теперь же, в эти теплые майские дни, все изменилось. Впрочем, времени, строго говоря, у него было еще меньше, чем когда-либо, а денег — больше. Но изменился масштаб времени и покупательная способность его денег.

Гроппер закрыл глаза и откинулся в кресле-качалке. Солнечные лучи, проходя сквозь листву деревьев, трепетали на его лице. Он вспомнил последний разговор с профессором Клеем из клиники Мэйо. Профессор ловил очками в тяжелой роговой оправе блики от яркой лампы и за этими бликами прятал глаза. В голосе его звучал хорошо поставленный оптимизм.

— Знаете, профессор,— перебил его Гроппер,— в конце концов откровенность — такой же товар, как подтяжки или политические взгляды. Согласен, что товар более редкий, особенно в наше время, и соответственно более дорогой. Но я ведь не торгуюсь из-за гонорара. Прошу вас ничего не скрывать от меня.

— Тяжело выносить приговор,— ответил профессор,— когда знаешь, что он окончательный и апелляция бессмысленна. Безнадежный рак желудка, метастазы... Может быть, месяц, может быть, два.



ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Он поднял рентгеновский снимок. Ноготь на пальце, указывавшем на серое пятно, был коротко острижен и наманикюрен. «Перст божий с холеными ногтями»,— подумал Гроппер.

— Я вам сочувствую,— улыбнулся он профессору,— но мы же с вами живем не в древнем Китае. Там врачам платили, только пока пациенты были здоровы. Мы же, слава богу, верим в прогресс и платим врачам больше всего именно тогда, когда не можем выздороветь...

Гроппер открыл глаза. Клетчатый шотландский плед сполз с колен, и ему стало зябко. Можно было храбриться у профессора Клея — блеф всегда был его сильным оружием,— но он боялся смерти и знал, что скоро умрет. Он привык к диаграммам и графикам, и серое пятно на рентгеновском снимке обладало реальностью агонии. Вернее, это был не страх, а невыносимо жгучая досада. Он не жалел своего тела. В шестьдесят восемь лет оно напоминало ему старый, много раз ремонтированный автомобиль — еще передвигается, но удовольствия от езды не получаешь. Он уже давно устал прислушиваться к зловещим стукам и хрипам в моторе — синкопированному аккомпанементу старости.

Но страшно было подумать, что и водитель — его голова, его мозг, тоже попадут на свалку вместе с разбитым кузовом. Всю жизнь его мозг работал, как изумительная вычислительная машина. Он вводил в нее тысячу долларов, и машина выбрасывала точный рецепт, как превратить их в две тысячи. В двадцать девятом году его голова, как невероятной чувствительности сейсмограф, почувствовала первые микроскопические толчки приближавшегося биржевого краха, и «черную пятницу» он встретил во всеоружии, надежно превратив все ценные бумаги в наличность.

А потом, с тех пор как тридцать с лишним лет тому назад десять миллиардов клеток его мозга решили, что «сухой закон» в Соединенных Штатах обречен, Гроппер окончательно привык доверять своей голове. Тогда он вложил все свои деньги в шотландское виски — в миллионы бутылок: в четырехгранные «Джонни Уокер», в массивные «Баллантайн», в круглые «Хейг». Стеклянная артиллерия была приведена в полную боевую готовность, и, как только «сухой закон» был отменен, одновременный залп из миллионов горлышек по американскому рынку принес ему два с лишним миллиона долларов.

Такой мозг нельзя было не любить: он был чудом природы, совершеннейший аппарат по изготовлению денег. Гроппер никогда не был промышленником. Он всегда парил в высших финансовых сферах, на высоте, куда могли подниматься лишь самые изощренные умы. Он парил, используя восходящие и нисходящие потоки, выжидая момент, когда можно камнем броситься вниз и вонзить ногти в еще трепещущее тело конкурента.

Ему приходилось быть и «медведем» и «быком», что на биржевом жаргоне значит играть на понижении и повышении курсов акций, но подсознательно он всегда считал себя орлом.

Он никогда не задумывался над тем, для чего он делает деньги. Процесс накопления стал для него таким же естественным и необходимым, как процесс изготовления нити — для шелкопряда, как строительство сот — для пчел.

И вот теперь его мозг, мозг Фрэнка Джилберта Гроппера, должен остановиться, распасться, исчезнуть, как подставная фирма с несуществующими активами. Из-за какого-то вульгарного рака не менее вульгарного желудка он, Гроппер, должен умереть, должен оставить свои великолепные финансовые заповедники для банды бездарных браконьеров...

Он почувствовал, как по щеке, нагретой солнцем, медленно, как бы выбирая направление, неохотно поползла слеза, и там, где она проложила тонкую влажную дорожку, он ощутил холодок. Скоро этот холодок станет холодом фамильного склепа в его имении Риверглейд...

«Да,— подумал Гроппер,— тяжело стать философом за два месяца до смерти. Все равно, что влюбиться под дулом пистолета». Он поправил плед на коленях и откинулся на спинку качалки. Чуть слышно скрипнул песок дорожки.

Внезапно он услышал слабое собачье повизгивание и открыл глаза. Прямо перед ним сидел небольшой коричневый бульдог с кожаным ошейником на толстой шее и внимательно смотрел на него.

Гроппер протянул руку, чтобы взять с широкого подлокотника кресла звонок и позвать старого Джейкоба, но собака, как бы читая его мысли, отрицательно помотала головой, подняла лапу в белом чулке и несколько раз помахала ею. На мгновение Гроппер забыл о профессоре Клее. Собака опустила лапу и принялась тщательно разравнивать перед собой дорожку, как это делают на пляже, желая написать что-нибудь на песке. Потом начала старательно что-то выписывать неуклюжими печатными буквами.

Гроппер несколько раз открыл и закрыл глаза. В голову пришла было мысль о том, что он уже умер. Но его представления о рае или аде как-то не совсем совпадали с дрессированными собаками. Тем более, что ни рожек дьявола, ни нимба святого на бульдоге заметно не было. Тем временем на дорожке возникли слова:

«Сэр, прошу вашего внимания...»

Гроппер привык мыслить рационально. В конечном счете биржа обладает мистикой и собственной необъяснимой волей лишь для непосвященных профанов, приносящих свои скудные сбережения на ее алтарь. Для него биржа, а с нею все, что ей подчинялось, была сложным и вместе с тем простым учреждением, основанным на самом элементарном в мире законе: «кто — кого». Она приучила не верить в чудеса.

И вот на шестьдесят восьмом году жизни, за месяц-два до смерти, он впервые увидел нечто непонятное, мистическое. Собака, время от времени отрываясь от работы, чтобы взглянуть на него печальными бульдожьими глазами, продолжала писать. Почему-то из всего, что она написала, Гроппера больше всего поразила запятая после слова «сэр». Должно быть, потому, что сам он никогда не снисходил до запятых и так давно не писал собственноручно, что вообще почти забыл, как это делается.

Но еще более странным казалось то, что собака почему-то не походила на собаку. То есть это была, безусловно, собака, небольшой коричневый бульдог с типичной бульдожьей мордой, с широкой грудью и массивными лапами в белых чулках. Но в самих движениях лапы, старательно выводившей на песке дорожки неловкие буквы, было нечто человеческое... Гроппер читал:

«Не пугайтесь. Речь идет о вашей жизни...»

Финансист спросил почему-то шепотом:

— Простите, гм... вы дрессированная собака?

Бульдог энергично помотал головой, и Гропперу показалось, что он улыбнулся.

Собака сделала несколько шагов по направлению к креслу-качалке, и Гроппер увидел у нее на ошейнике крошечную записку. Он протянул руку, и бульдог, утвердительно кивнув головой, вытянул шею. Он взял записку, собака тщательно стерла лапой написанное на песке, кивнула ему и побежала прочь. До сих пор Гроппер со своей фантазией финансиста мог представить себе судьбу в виде стремительно падающей стоимости акций, мертвой хватки грозного конкурента, в виде телеграфного сообщения о войне или мире, наконец, в виде рентгеновского снимка желудка с серым облачком рака. Но в виде странного дрессированного бульдога...

Он развернул записку. На плотном листке бумаги было написано:

«Мистеру Фрэнку Джилберту Гропперу
Риверглейд
Дорогой сэр!

Надеюсь, что податель сего, обычно довольно избалованный и глупый пес, за те пару часов, на которые он сменил свое собачье «я», произвел на вас определенное впечатление. Я никогда не любил цирковых эффектов, но мое предложение, касающееся вашего здоровья и жизни, настолько фантастично на первый взгляд, что я избрал этот способ для привлечения вашего внимания.

Если вы хотите жить, а я склонен думать, что это так, завтра в четыре часа дня вы должны быть у мотеля Джордана. К вам подойдет человек. О дальнейшем — на месте.

Проследите, чтобы вас никто не сопровождал. Возьмите старый «шевроле» своего садовника. Наденьте темные очки.

С уважением Б.»

На мгновение Гропперу захотелось скомкать бумажку, как он комкал и бросал письма, тысячи писем от тысяч людей, всю жизнь что-то хотевших от него, от его денег — от продажи участков на Луне до основания новой веры. Но бульдог... Гроппер посмотрел на дорожку, на затертые буквы, которые он только что читал... Вон следы слова «ваша», вон «жизнь». Сменить собачье «я»... Бред.

Нельзя разрешать себе надежду. Неоправдавшаяся надежда для приговоренного означает еще одну смерть. Только ослы могут тянуться за клоком сена, привязанным к оглобле. Он вспомнил, как бульдог, перед тем как убежать, улыбнулся ему. Теперь он готов был поклясться, что это была действительно улыбка, обнадеживающая улыбка.

Он протянул руку, взял колокольчик и позвонил. Из дома вышел старый Джейноб.

— Сэр?

— Приготовьте завтра к двум часам машину.

— «Роллс», сэр?

— Нет, ваш старый «шевроле».

— Да, сэр, но...

— Ваш старый «шевроле». Я поеду один.

— Да, сэр, но врачи...
— Вы, кажется, решили подыскать себе новое место?
— Слушаюсь, сэр...

Что такое Гроппер?

Ворота гаража были распахнуты. Из глубины, казавшейся чернильно-темной по сравнению с залитой солнцем дорожкой, доносилось мурлыканье старого Джейкоба. Блез Мередит, секретарь Гроппера, подошел к гаражу. Старик тщательно протирал куском замши ветровое стекло зеленого «шевроле».

— К невесте собрались, Джейкоб?

— Ах, мистер Мередит, вы все шутите!

— Для чего же вы так надраиваете свою калошу? Я уж забыл, когда вы последний раз выводили ее из гаража.

Садовник таинственно подмигнул.

— Это для мистера Гроппера.

— Для мистера Гроппера? Ваш «шевроле»? Старик уже лет пять ездит только на своем «роллсе».

Мередит кивнул на черный лоснящийся кузов «ролле-ройса». Рядом с «шевроле» он казался огромным и угловатым.

— Это верно, мистер Мередит. Только на этот раз мистер Гроппер велел мне заправить мой «шеви». Сказал, что поедет сам и чтобы я никому ничего не болтал.

— Сам? Без шофера?

— Я у него то же спросил, мистер Мередит. Лучше бы не спрашивал. Мистер Гроппер не любит, когда его расспрашивают.

— Ничего, ничего, Джейкоб. Вы отдохните, я уж вам помогу.

— Спасибо, мистер Мередит, вы всегда были добры ко мне.

Старик вытер руки о выцветшие рабочие брюки, протянул замшу Мередиту и, прихрамывая, вышел из гаража.

Секретарь проводил его взглядом, выглянул из ворот, осмотрелся вокруг и, убедившись, что никого поблизости нет, распахнул дверцу «шевроле». Потом достал из кармана небольшую плоскую коробочку и засунул ее под сиденье. «Пожалуй, лучше закрепить ее проволочкой,— подумал он.— А то, если старик резко затормозит, она может выскочить. Ну, кажется, все в порядке». Мередит взял замшу и, насвистывая, принялся полировать машину.

Дорога проходила сквозь густую рекламную рощу. По обеим сторонам шоссе со зловещей регулярностью возникали яркие многометровые щиты. Успев крикнуть водителю, что покрышки «Гудрич» лучшие в мире, что «Тэнг» — лучший в мире напиток для завтрака, что «Первый Национальный банк» — лучший в мире, они молча уносились назад. Творцы рекламы, элегантные молодые люди с Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, знают свое дело. Они не рассчитывают, что водитель бросит руль и в экстазе вопьется взглядом в описание достоинств пасты для бритья «Пальм-олив». О нет. Они давно установили, что в мозг потребителя надо проникать так же, как взломщик проникает в номер-люкс отеля «Уолдорф Астория»,— незаметно, не привлекая внимания. Вы свободный человек. Можете читать рекламу, можете и не читать. Но метровые буквы тихо, незаметно, помимо вашей воли просочатся в мозг, притаятся там, и в нужный момент, не задумываясь, вы купите почему-то именно покрышки «Гудрич», именно напиток для завтрака «Тэнг» и откроете счет именно в «Первом Национальном банке». В том, разумеется, случае, если у вас есть деньги. Если нет, вы представляете для Мэдисон-авеню такой же интерес, как антарктические пингвины. Впрочем, даже меньший, ибо пингвины фотогеничны и отлично подходят для рекламы крахмальных сорочек.

Но Гроппер, ведя старый «шевроле» со скоростью пятидесяти миль в час, внимательно читал все рекламы. Вера в невероятное заставляла его ежесекундно ожидать чуда. Он был готов увидеть за ближайшим поворотом Иисуса Христа, остановленного полицейскими за превышение скорости, или прочесть рекламу «Не забыли ли вы заменить свой больной желудок? Лучшие в мире желудки фирмы «Стамэк-рипаблик»!».

У мотеля Джордана стояло несколько машин: маленький запыленный «фольксваген», два «форда» и серый «рэмблер». Пахло сухим зноем и бензином.

Не успел Гроппер остановиться, как из «рэмблера» вышел элегантно одетый человек.

— Мистер Гроппер? Езжайте за мной.

Через полчаса они подъехали к небольшому уединенному дому. Гроппер, не теряя ощущения странной нереальности происходящего, очутился в просторном холле. В углу на вытертом коврике лежал коричневый бульдог с массивными лапами. Он поднял голову и лениво зарычал, будто нехотя полоскал рот.

— Это был он? — кивнул в сторону собаки Гроппер.— У меня в саду он вел себя приветливее.

— Как вам сказать? Строго говоря, это был не Джерри. Хотя, с другой стороны... А вот и шеф.

В холл быстро вошел немолодой полный человек в черном костюме, делавшем его похожим не то на священника, не то на банковского клерка.

— Добрый день, мистер Гроппер. Беллоу. Профессор Беллоу. Мы с вами уже встречались.

— Простите, не припоминаю.

— Ну как же,— улыбнулся профессор,— я был вчера у вас в Риверглейде. Очаровательное место! Вы сидели в кресле-качалке. На коленях у вас был шотландский плед. На правом подлокотнике стоял звонок. Вы еще спросили меня, не дрессированная ли я собака.

Профессор весело потер руки.

— За пятьдесят два года жизни мне задавали уйму вопросов, но никто еще никогда не спрашивал меня, не дрессированная ли я собака. Впрочем, настоящий джентльмен никогда не должен удивляться, даже когда его принимают за бульдога. В этом, собственно, вся разница между бульдогом и джентльменом. Ведь бульдог, если принимать его за джентльмена, будет несколько удивлен.

Очевидно, у каждого человека есть определенный запас эмоций, и, когда расход какого-нибудь чувства резко возрастает, на время запас может полностью иссякнуть. Гроппер, мысленно фиксируя чудовищность разговора, нисколько при этом не удивлялся. Он уже не мог бы удивиться, даже если б профессор Беллоу на его глазах превратился в таракана, стал на задние лапки и принялся отплясывать твист или мэдисон.

Однако вместо исполнения тараканьего твиста профессор опустился в кресло, жестом пригласив Гроппера сделать то же.

— Вы должны простить меня, мистер Гроппер, за всю эту небольшую мистификацию, но это был единственный способ поговорить с вами. Насколько мне известно, к вам в Риверглейд ежедневно является не менее десятка просителей, которых немедленно поворачивают обратно. Кроме того, ваша изгородь такова, что пролезть через нее может только собака, и то лишь целеустремленная. Теперь о деле. Мистер Гроппер, вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы таков?

— Смотря, с какой точки зрения...

— Я отвечу за вас. Все последние шестьдесят восемь лет, точнее, шестьдесят шесть с половиной или шестьдесят шесть, потому что вы начали осознавать себя года в полтора-два, вы были не кем-нибудь, а Фрэнком Джилбертом Гроппером. Дело в том, что ваше «я», ваша индивидуальность менялась со временем, но никогда не прерывалась. Вы ложились спать, ощущая себя Гроппером, и просыпались Гроппером.

Причем заметьте, что неповторимость вашего индивидуального «я»... Простите меня за лекторский тон, так обычно говорят ученые в научно-фантастических романах, но ничего не поделаешь... Так вот, ваша неповторимость кроется не в вашем теле, не в сердце, легких, прямой кишке или лимфатических железах. И даже не в физиологическом устройстве мозга. Все это, так сказать, массовое производство. Ничего по-настоящему индивидуального, как костюм за сорок долларов в магазине готового платья. Нет. Только в том, чем заряжен ваш мозг, что он таит в себе, и кроется ваше «я». Вы — это удостоверение личности, лежащее в бумажнике. Бумажник, будь он из дешевого пластика за доллар или сооружение из крокодиловой кожи, стоящее в магазине Тиффани сорок долларов,— это только бумажник. Переложите его в чужой карман, и он станет чужим бумажником. И даже удостоверение само по себе тоже не индивидуально, пока на нем не будет написано: «Фрэнк Джилберт Гроппер».

Теперь я перехожу к сути моего открытия. Каждая из десяти миллиардов клеток человеческого мозга несет в себе определенный электрический заряд. Распределение этих зарядов, их, так сказать, мозаика, и является главным. Это ваша визитная карточка. Это вы, только вы, начиная от вашей привычки вырывать пальцами из подбородка несуществующие волосинки и кончая умением выгодно вложить деньги. Только распределение электрических зарядов в клетках мозга определяет весь комплекс знаний, привычек, ассоциаций, памяти, умений, способностей, эмоций человека. Если точно скопировать каким-либо образом вот эту электрическую мозаику вашего мозга, мы получим нечто вроде зашифрованной магнитофонной ленты под названием «мистер Фрэнк Джилберт Гроппер по состоянию на сегодняшний день». С другой стороны, если очистить другой мозг от его собственной мозаики, как бы электрически разрядить его и зарядить вашей мозаикой, мы тем самым возьмем новый бланк удостоверения личности и напишем на нем ваше имя.

— Я сохраню ощущение своего «я», останусь собою, но получу новое тело? — спросил Гроппер, не теряя ощущения сказочности.

— Совершенно точно,— утвердительно кивнул профессор.— Причем такое устройство уже создано мною. Вчера у вас в Риверглейде был не бульдог Джерри. Это был я в его теле. Конечно, собачий мозг значительно меньше по объему человеческого, и мой мозг, моя электрическая мозаика уместилась в нем не полностью. Но, как вы видели, я вполне справился с орфографией. Помощник отвез меня в машине, я пролез сквозь изгородь. Сам Джерри в это время, пока у него был разряжен мозг, напоминал однодневного щенка. Он был во власти только безусловных рефлексов, полученных им при рождении.

— И вы уверены, что можете переставить мой мозг, или, как вы там это называете, в новое тело?

— Совершенно верно. Ваше старое тело вместе с раком желудка и всеми метастазами скоро умрет, а вы... Видите ли, мистер Гроппер, своим открытием я делаю наше общество более совершенным, законченным. По моим сведениям, у вас что-то около сорока миллионов долларов. Вы можете купить себе практически все. Любовь красивой женщины, друзей, причем, пока у вас есть деньги, и женщина и друзья будут верны вам. Вы можете купить лучшую одежду, дома, автомобили, яхты, леса, озера. Поселяясь в разных местах, вы фактически можете даже купить себе лучший климат и погоду. Вы можете купить себе сенаторов и конгрессменов, и, пока у вас есть деньги, они будут верно служить вам.

Вы можете нанять лучших косметологов, и они сделают вашу кожу упругой и гладкой. За деньги вам изготовят великолепные парики.

Вы можете купить себе услуги самых лучших врачей, и, пока возможно, они будут поддерживать ваше здоровье самыми лучшими лекарствами. Вы можете купить себе священников, и они обеспечат вам самую чистую совесть и, если угодно, самое лучшее место в раю.

Единственное слабое место нашего общества — это смерть. Смерть вносит в него элемент социализма, то есть общества, где деньги перестают играть главную роль. Но божество не может быть акционерной компанией с ограниченной ответственностью. Божество или всемогуще, или оно перестает быть божеством. Я хочу сделать доллар настоящим божеством, всемогущим божеством. Я хочу, чтобы богатый человек был бессмертным, чтобы он мог купить себе жизнь там, где бедный обречен на смерть.

Прошу прощения, я несколько увлекся, но суть вам ясна. Вы заплатите мне двадцать миллионов долларов и станете бессмертным.

— Двадцать миллионов? Вы шутите, мистер Беллоу!

— Если вы предпочитаете умереть с сорока миллионами, чем жить с двадцатью, боюсь, что нам не о чем разговаривать. Кроме того, на рынке бессмертия спрос, как вы сами отлично знаете, пока превышает предложение. И цены соответственно диктует продавец, а не покупатель. В конце концов, уплатив мне двадцать миллионов долларов, вы впервые по-настоящему почувствуете себя ценю. Причем заметьте, я великодушен. Я не требую у вас всех ваших денег, ибо, обретя бессмертие и не имея денег, вы можете прийти к выводу, что игра не стоила свеч.

Земное бессмертие в отличие от небесного требует солидной финансовой базы. Какой смысл ускользнуть от смерти, чтобы потом подыхать с голоду в очередях на бирже труда?

К тому же шестьдесят восемь лет — ведь сознание ваше не помолодеет от нового тела — возраст, когда трудно менять привычки, особенно привычки миллионера...

— А откуда я знаю, что все это не жульничество?

— О сэр, это все предусмотрено. Мы проделаем небольшой опыт и, если он вам покажется убедительным, обсудим детали. Только учтите, что тело для себя вам придется добывать самому. Пока что у нас, к сожалению, нет законной торговли бедными людьми, хотя она была бы логичной. Бедные могут продать свой глаз или скелет с поставкой после смерти, но целиком себя пока продать они не могут. Итак, вы согласны на небольшой эксперимент?

— Мне нечего терять,— сказал Гроппер.

Это кто там, в кресле, я?

Лаборатория помещалась в подвале. Когда-то, должно быть, здесь был гараж, и бетонные стены все еще источали едва уловимый запах бензина. В углу стоял странного вида аппарат с торчащим спереди колпаком, наподобие фена для волос в дамских парикмахерских. Профессор, склонившись над аппаратом, оживленно говорил:

— Видите ли, мистер Гроппер, как только мне пришла в голову идея этой штуки, я тут же ушел из Гарвардского университета, где я работал в лаборатории бионики. Это, кстати, гибрид биологии и кибернетики. Согласитесь, что такую идею жаль делить с кем-либо. Коллектив хорош, пока не запахнет большими деньгами. Деньги действуют на коллектив, как мощный растворитель: он моментально растворяется и распадается на составные части — столько-то индивидуальных карманов. Кроме того, существует уйма моральных, политических и религиозных предрассудков...

В аппарате послышалось слабое жужжание, на зеленоватых экранчиках осциллографов заметались яркие зайчики.

Профессор кивнул на своего помощника:

— Посмотрите внимательно, мистер Гроппер, мой коллега Кристофер Хант. Осмотрите тщательно его костюм. Отличный ворстед, модный покрой. Мистер Хант одевается только у братьев Брукс. Двести долларов за костюм. Каково, а? Посмотрите на ботинки, носки. Нет, нет, я не коммивояжер. Просто через несколько минут вы увидите все эти вещи с другой точки зрения.

Итак, Крис, вы согласны одолжить свое тридцатисемилетнее тело, здоровое, весом в сто восемьдесят фунтов, ростом в пять футов десять с половиной дюймов, присутствующему здесь одному из крупнейших финансистов нашей страны, мистеру Фрэнку Джилберту Гроппер?

— Шеф, вы торжественны, как агент по продаже недвижимости при заключении контракта на девяносто девять лет.

— Согласитесь, Крис, что примерка бессмертия — довольно необычная церемония.

Мозг Гроппера всегда носил ярко аналитический характер. Он пропускал сквозь себя факты, выбирал нужные, нисколько не заботясь об их эмоциональной окраске. Думая, он чувствовал при этом примерно то же, что рыболовная сеть, задерживающая в своих ячейках рыбу. Но сейчас он потерял способность думать. Он был анестезирован надеждой. Он весь одеревенел, напрягся, распираемый жаждой жизни. Он уже верил в возможность невозможного, и чем невозможнее, нереальнее казалась цель, тем жарче была его вера.

Перед его мысленным взором хаотическим калейдоскопом проносился длинный список фирм, в которые были вложены его деньги: «Дженерал дайнемикс», «Боинг», «Локхид», «Алкоа», «Ветлехем стил»... Он видел главный зал нью-йоркской фондовой биржи, слышал потрескивание телетайпов, из которых выползали ленты с так хорошо знакомыми цифрами...

— Прошу вас, мистер Гроппер, не бойтесь. Садьте сюда, в это кресло. Так. Вставьте голову в фиксатор. Отлично. Крис уже готов. Внимание! Начинаем.

Гроппер почувствовал, как будто кто-то невидимый начал быстро и ловко стирать резинкой нарисованную его мысленным взором картину.

Биржевой зал тускнел, вернее, не тускнел, а по частям растворялся, исчезал. Взмахнув бумажными лентами, испарились телетайпы. Стали прозрачными стены. Он ощутил странную легкость

полета во сне... Он... кто он?.. Калейдоскоп перед глазами продолжал бледнеть. Вон осталась одна яркая цепочка. Она порвалась, потускнела, мигнула в последний раз, и он перестал существовать...

— Как вы себя чувствуете, мистер Гроппер? — услышал он голос Беллоу. Профессор улыбался. Он откинул фиксатор, и Гроппер, ворочая слегка онемевшей шеей, встал.

— Что-нибудь не получилось? — автоматически спросил финансист.

— Напротив, все в порядке.

Гроппер обернулся. Первым его ощущением было ощущение водителя, пересевшего из старого, полуразбитого, дребезжащего автомобиля в новый, мощный лимузин. Каждое нажатие на педаль акселератора немедленно вызывает пугающе непривычный взрыв энергии в двигателе.

Старое, больное тело Гроппера, к которому он так привык, со всей сложной системой болей и физических ограничений, вдруг повернулось легко и свободно.

Гроппер взглянул на свои руки. Это были чужие руки. Смуглые, с короткими рыжими волосками на первых фалангах пальцев, с незнакомым золотым перстнем. Ногти были коротко острижены. На мизинце видна была крошечная заусеница. Гроппер надавил на нее ногтем большого пальца другой руки. Стало больно. Ему, Гропперу, стало больно от чужой заусеницы. Он нагнул голову и увидел на себе серый ворстедовый костюм. Знакомый материал. Он только что где-то его видел. Ага, на помощнике профессора, на этом Кристофере, как там его? Удивительное совпадение, точно такой же материал. Серый ворстед. Как называют портные такой цвет? Ага, цвет древесного угля.

— Послушайте, профессор,— сказал Гроппер и вздрогнул. Голос его звучал странно, хотя и не казался незнакомым.— Где ваш помощник?

Беллоу весело засмеялся:

— Видите ли, о Крисе сейчас нельзя говорить в единственном числе. Частично он находится вот здесь,— профессор похлопал рукой по металлическому сферическому кожуху на аппарате,— сдал, так сказать, свой мозг в камеру хранения, частично же он некоторым образом в вас.

— Во мне? — крикнул Гроппер.

— Вот зеркало, повернитесь.

Из дешевого, в деревянной раме, зеркала, в правом верхнем углу которого амальгама отделилась от стекла и застыла тусклыми блестками, на Гроппера смотрел помощник профессора, в отлично сидящем темно-сером костюме. От братьев Брукс, вспомнил Гроппер. Лицо казалось спокойным, лишь зрачки ярко блестели от волнения. Гроппер сделал шаг навстречу зеркалу, и Кристофер тоже шагнул вперед. Нерешительно, осторожно Гроппер поднял руку. Кристофер ответил тем же. Шестидесятивосьмилетний финансист, президент четырех банков, член правления двадцати трех компаний, обладатель сорока миллионов долларов, человек, пожать руку которого считали за честь министры, высунул язык. Язык был ярко-розовый.

Кристофер Хант, тридцати семи лет, никому не известный помощник никому не известного профессора, в свою очередь, выставил язык знаменитому финансисту. Гроппер показал ему фигу. Хант выставил ему другую. Гроппер сказал:

— Убирайтесь к черту!

Человек в зеркале незамедлительно открыл рот. По всей вероятности, он произнес те же самые слова.

Значит, человек в зеркале — это и есть Гроппер? Фрэнк Джилберт Гроппер, обреченный на смерть через каких-нибудь два месяца?

Со всей силой, на которую он был способен, Гроппер надавил себе на желудок, на то место, которое вот уже несколько месяцев с какой-то торжествующей готовностью незамедлительно отзывалось острой, грызущей болью. Вместо боли он ощутил непроизвольно напрягшиеся мышцы живота. Боли не было.

— Так, значит, это я? — во весь голос заревел Гроппер.— Значит, это все-таки я? Это я, я, я? Гроппер? Фрэнк Джилберт Гроппер?

— Сейчас мы это окончательно установим. Бедняга Крис ни черта не смыслит в ценных бумагах. Не мудрено. Всю свою зарплату он тратит на одежду. Еще бы, платить по двести долларов за костюм! Допустим, у меня есть свободных двадцать — тридцать тысяч долларов. Куда бы вы мне посоветовали их вложить?

Гроппер мгновенно пришел в себя и подозрительно покосился на профессора. Одно лишь упоминание о деньгах всегда заставляло его автоматически настораживаться.

— Видите ли, мистер Беллоу, я обычно воздерживаюсь от подобных советов.

— Браво, сэр! После такого ответа можете не сомневаться, что вы — это вы. Глупый Крис, если бы он, конечно, знал, наверняка поделился со мной своими секретами. Впрочем, с вашими двадцатью миллионами вопрос теряет для меня жгучую остроту. Кстати, вы согласны?

Финансист повернулся лицом к профессору. В углу, в кресле, сидел Гроппер. У него закружилась голова. Он шагнул вперед. Человек в кресле, откинувшись на спинку, улыбался. Из угла рта сочилась слюна. Глаза сияли глубочайшей пустотой. Гроппер никогда не поверил бы, что человеческие глаза могут быть так чудовищно пусты и бессмысленны. Рядом глаза собаки показались бы глазами гения в момент создания неслыханного шедевра.

Гроппер протянул руку. Человек в кресле захныкал. Он хныкал точь-в-точь, как грудной ребенок с голосовыми связками старца.

— Это кто там, в кресле, я?

— Да, да,— сказал Беллоу.— Это вы. Вернее, ваше тело. Обратите внимание на идиотский взгляд. Прошу прощения за выражение, но это так. Когда мы разряжаем кору больших полушарий мозга, остаются лишь безусловные рефлексы грудного ребенка. Это существо в кресле будет охотно брать грудь, плакать по ночам, ходить под себя и улыбаться кормилице. И то, кстати, не сразу. Если бы он был здоров, через год, возможно, он начал бы проситься на горшок и делать первые шаги. Впрочем, не исключена вероятность, что в вашем возрасте научиться этому труднее.

— Послушайте, профессор,— сказал Гроппер,— я вам верю. Но для чего рисковать еще раз? Быть может, оставим меня в моем нынешнем... так сказать... обличье? Мне нравится ваш помощник, вернее, его тело. Я чувствую себя в нем, как в хорошо сшитом костюме. Скажу откровенно, мне не хочется вылезать из него.

— О, я предвидел такой вопрос,— ухмыльнулся профессор.— Но, во-первых, у меня нет чека на двадцать миллионов долларов и ни малейшей уверенности, что я их получу. Во-вторых, вы сами не смогли бы получить и цента, так как в глазах всех вы были бы не Фрэнком Гроппером, а Кристофером Хантом. В-третьих, мне нужен помощник.

— А если я...

— Я подумал и об этом, мистер Гроппер. Дверь лаборатории заперта, и вы не знаете комбинации замка. Кроме того, в руках у меня гидравлический пистолет-шприц с сильным наркотином. Если я нажму спуск, через секунды вы потеряете сознание.

— Вы деловой человек, Беллоу.

Через несколько минут Гроппер снова услышал голос профессора:

— Встаньте, откиньте фиксатор!

Гроппер выпрямился. Облако привычной боли и слабости плыло у него перед глазами. Тупо ныл живот. Липкая испарина клеем смазывала лоб. Дрожали руки. Больной, умирающий старик, проснувшийся после сна, в котором его тело звенело молодостью и силой. Ему не хотелось просыпаться, как не хочется просыпаться и обрывать сон о жизни осужденному на казнь. Это слишком; помахать перед носом жизнью, ощущением здорового, такого всемогущего тела и снова засунуть умирать в нишащий метастазами истлевший мешок. Он почувствовал, как расплылись очертания лаборатории, и догадался, что у него на глазах слезы.

— Немного терпения, сэр,— сказал Хант.— У вас будет упаковка еще лучше моей.

— Теперь дело за вами,— добавил Беллоу.— Тело найдите сами. Как и где — это уж ваша забота. Двадцать миллионов разделите на несколько частей. Положите деньги и акции в сейфы различных банков и привезите ключи. Наличных не надо. Это слишком рискованно. Лучше подпишите чеки на часть суммы. Мне незачем вам говорить, но все это должно быть сохранено в абсолютной тайне. Вот мой номер телефона. Когда все будет готово, жду вашего звонка. Сядете в машину — убедитесь, что никто не следит за вами. А то ваши наследники вряд ли бы пришли в восторг, если б узнали о том, что здесь замышляется... До свидания, сэр. Сюда, пожалуйста.

Я не филантроп

Патрик Кроуфорд включил электрическую бритву. Ремингтон зажужжал потревоженным ульем. Патрик подпер языком левую щеку — он всегда начинал бритье с левой половины лица — и поморщился. Уже давно он так скверно не выглядел: пухлые мешочки под глазами, географическая сетка красных прожилок на белках глаз. Ну, кто там еще?

В дверях стоял Блез Мередит.

— Сэр, у меня не больше пятнадцати минут. Старик не любит, когда меня не оказывается под рукой. Сказал, что должен навестить сестру. Придется заехать к ней на секунду. Со старика может статься проверить, действительно ли я был у нее. Эти дни он страшно подозрителен.

— Ну что у вас там, выкладывайте.

— Ваша штучка, мистер Кроуфорд, что вы мне дали прошлый раз, очень помогла. Мне удалось ее засунуть под сиденье «шевроле»...

— Почему «шевроле»? — спросил, внезапно заинтересовавшись, Кроуфорд.— Старик ведь всегда ездит на своем черном катафалке.

— В том-то и дело, сэр. Он специально поехал не в «роллсе», чтобы не привлекать внимания. Поехал сам, без шофера.

— Сам, без шофера, в его состоянии? Не может быть!

— Я вам уже сказал, сэр, что я засунул эту штуку под сиденье. Как вы ее называете? Ага, наводчик. Это что, кстати, крошечный передатчик?

— Да.

— Так вот, я обождал минут пять после того, как старик выехал, и двинулся за ним. Эта штука пищала как оглашенная в моем приемнике, и я понял, что «шевроле» не далее мили от меня. У мотеля Джордана, это на тридцать четвертой дороге, сэр, старик остановился. К нему подошел человек, ждавший его в сером «рэмблере», и обе машины повернули вправо. Старик остановил машину у небольшого домика типа ранчо. Это милях в двадцати от мотеля Джордана. Пробыл он там часа полтора. Выходя, несколько раз огляделся по сторонам. Я спрятал машину за холмиком и следил за ранчо в бинокль.

— Кто там живет?

— В том-то и дело, сэр, что удалось узнать очень мало. Каких-то два типа. Говорят, ученые. Купили ранчо с полгода назад за сорок тысяч. Почти не якшаются с местными жителями. Говорят, что работают над каким-то изобретением в области радио.

— Гм, а как выглядел Гроппер, когда вышел от них?

— Я вам уже сказал, что он несколько раз огляделся, прежде чем сесть в машину. Я бы сказал, что он был возбужден.

— Возбужден?

— Как вам объяснить, мистер Кроуфорд? Он как-то двигался энергичнее, чем в последнее время... Может быть, держался прямее, что ли...

— Как он вел себя дома? После того, как вернулся?

— Заперся в кабинете на несколько часов. Никого не звал. Несколько раз звонил по телефону.

— Куда?

— В том-то и дело, сэр, что он звонил сам. Обычно он просит меня соединить его с собеседником. Правда, потом я позвонил на подстанцию. У меня там знакомая девушка. Похоже, что он звонил в Нью-Йорк и в Сан-Франциско.

— Кому?

— Пока еще не узнал, сэр.

— За те деньги, что я вам плачу, Мередит, вы могли бы снабжать меня более точными сведениями.

Мередит взглянул на собеседника. Краска медленно заливала его лицо.

— Сэр, я бы мог сказать об этом...

— Простите меня, Мередит. Вы же знаете, как я нервничаю. Скажите мне, как, по-вашему, что это все значит?

— Я бы сказал так, сэр. Я работаю у мистера Гроппера вот уже восемь лет. Я знаю его лучше, чем себя. Не мудрено, потому что сам себя увольнять я не собираюсь. Гроппер же может это сделать в любую минуту. А двести долларов в неделю на улице не валяются. С тех пор, как стало известно о его болезни, я никогда не видел его таким оживленным.

— Хорошо, Мередит. Благодарю вас. Как только я получу деньги, можете не сомневаться, я выполню наш уговор. Тридцать тысяч будут ваши. Если, конечно, меня не проведут за нос. Но я не филантроп. Кроме меня, у Гроппера нет ни одного наследника, и если старик вздумает выкинуть какую-нибудь штуку... Следите за ним в оба, Мередит. Профессор Клей сказал мне, что нет и одного шанса из тысячи, что старик протянет больше двух месяцев... До свидания, Мередит. Жду ваших звонков.

Блез Мередит молча кивнул и вышел. Если бы Кроуфорд мог, думал он, он бы придушил старика собственными руками. В том, разумеется, случае, если бы был уверен в завещании.

Патрик Кроуфорд добрил вторую щеку, втер в кожу немного лосьона, вставил в рот сигарету и затянулся. Что задумал старик? Что за странная поездка? И это возбуждение? Дядюшка никогда не испытывал к нему особой любви, последний раз они виделись три года назад, и старик наотрез отказался одолжить ему каких-нибудь десять тысяч. Скупая скотина. Хорошо, что ему пришло в голову подкупить этого Мередита. По крайней мере, он в курсе того, что происходит в Риверглейде. Конечно, Гроппер не из тех людей, что завещают свои деньги на благотворительность, а он, сын его покойной сестры, единственный прямой наследник. Старый болван, правда, несколько раз говорил, что мне следовало бы бросить литературу и заняться делом...

Сигарета погасла, и Кроуфорду не хотелось вставать, чтобы протянуть руку за зажигалкой. Он с отвращением бросил окурок в угол.

Но что все-таки значит эта поездка? Внезапно в голове у него промелькнула тревожная мысль, и он покрылся холодной испариной. А что если эти два типа — врачи? Что если они вылечат Гроппера? Конечно, профессор Клей уверен в опухоли, как в себе. Говорит, что ни операция, ни любое из известных средств не могло бы даже оттянуть смерть. Но кто знает! Может быть, все-таки у этих типов есть какой-нибудь новый препарат?

Патрик Кроуфорд вскочил и принялся шагать по комнате. Как он сразу не понял? У этих двух с ранчо нет патента, отсюда вся секретность. Они не врачи, они ученые. Открыли какой-нибудь чудодейственный препарат и решили пока что схватить основательный куш. Без проверки, без официального разрешения. А чем они рискуют? Кто знает, что они лечили его? А если поможет? Черт возьми, он уже полгода живет в долг, рассчитывая на наследство. Нет, нет, рисковать нельзя. Сорок миллионов долларов не та сумма, которой можно рисковать. Наверняка Гроппер снова поедет туда.

Куда задевалась эта чертова зажигалка? Кроуфорд вытащил сигарету, щелкнул зажигалкой и вдохнул пахнущий ментолом дым. Кажется, становится ясным, что нужно сделать.

Может быть, возьмете всех шестерых?

Фрэнк Гроппер задремал только под утро. Ночь была бесконечной. Боль в животе, казалось, устроила фестиваль пыток. Она терзала, пилила, долбила. Она отступала на несколько минут, чтобы отдохнуть и снова наброситься на него. Моментами боль представлялась Гропперу живым существом, почему-то остро ненавидящим его и сладострастно, изощренно пытавшим его тело.

Когда он открыл глаза, во рту был кислый металлический вкус желчи и крови. Если бы не сознание, что осталась лишь одна ночь, он бы нашел способ расправиться со своим притаившимся в кишках палачом. Он бы надул его, обвел вокруг пальца, как не раз делал с людьми. В кабинете, в нижнем правом ящике письменного стола, лежит маленький пистолет со звучным и элегантным названием «Беретта». Удивительно, подумал Гроппер, смерть имеет, наверное, что-то общее с ее орудием. Выстрел из «Беретты» приносит, должно быть, смерть легкую и элегантную, как сам пистолет. Пуля из «Смит и Вессона» делает свое дело солидно и основательно. «Кольт» дает смерть деловитую и профессиональную. Судорожный вздох, два-три непроизвольных сокращения мусикулов — и все. Укус пули из дамского «Браунинга» вызывает смерть коварную и мучительную...

Гроппер встряхнул головой, отгоняя мысли о смерти. Почему он должен думать о смерти в канун своего воскрешения? Финансист позвонил и начал торопливо одеваться. Предстояла поездка в Нью-Йорк, а сил было мало.

(Продолжение следует.)

ФИНАНСИСТ НА

З. ЮРЬЕВ

Рисунок Г. НОВОЖИЛОВА

(Продолжение. Начало в № 16)

— Мистер Гроппер? — Джек Спарк встал, опираясь на край огромного письменного стола костяшками пальцев.— Сенатор Харкнес горячо рекомендовал мне вас и просил сделать маленькое одолжение, о котором вы просили. Прошу вас, сэр, садитесь.

Гангстер, грузный мужчина с серебром в коротко подстриженных волосах, подвинул Гропперу коробку с толстыми длинными сигарами.

— Итак, мистер Гроппер, вы просили подыскать вам молодого, здорового человека, от тридцати до сорока лет, приятной внешности, безусловно, не негра, не мексиканца, не итальянца, не еврея, неженатого, не имеющего родственников, бедного. Этот человек должен быть доставлен вам и передан завтра в девять часов вечера в условленном месте связанным, с кляпом во рту — упаковка менее элегантная, чем у французских духов, но куда более надежная.

— Совершенно верно,— кивнул Гроппер. Сердце его сжалось, и он почувствовал в груди сосущую пустоту. Сейчас решалась его жизнь: съест ли его ненасытный рак, серое облачко на рентгеновском снимке, или он через сутки будет вдыхать жизнь полной грудью, будет бежать по полю, чтобы ощутить свист ветра в ушах и упругое ритмичное сокращение молодых мышц, почувствовать зциплющие кожу ручейки здорового соленого пота.

— Вы понимаете, мистер Гроппер, ваша просьба была нелегкой. Куда проще было бы организовать автомобильную катастрофу с участием любого указанного вами лица. Но сенатор Харкнес очень просил меня оказать вам любезное содействие, и вот — прошу.

Спарк открыл ящик письменного стола и ловким движением профессионального шулера безукоризненным веером рассыпал на столе с полдюжины фотокарточек.

— Это ваш выбор. Присмотритесь внимательно и выберите.

— И вы можете доставить мне любого из них? — тихо спросил Гроппер.

— Так же верно, как то, что в момент передачи вы вручите моему человеку чек на семьдесят пять тысяч долларов. Смотрите, выбирайте. У нас, слава богу, свободная страна, и каждый имеет право выбирать то, что ему нравится, или, чтобы быть точным, то, что ему по карману.

Джек Спарк беззвучно засмеялся, окутанный облачком табачного дыма.

— Вы понимаете, мистер Гроппер, обычно мы не занимаемся подобного рода вещами, так сказать, розничной торговлей. Мы слишком большая организация для выполнения индивидуальных заказов. Но я рад услужить вам, сэр. Не знаю уж, зачем вам эти мальчики, это не мое дело, хотя мы свято храним профессиональную тайну, куда надежнее врачей и священников. Но послушайте, мистер Гроппер, может быть, вы возьмете всех шестерых? За одного — семьдесят пять тысяч, за шестерых — скидка. Всего триста тысяч. Негры или, скажем, пуэрториканцы стоили бы дешевле, но вы просили англосакса.

— Благодарю вас, мистер Спарк,— криво усмехнулся Гроппер,— надеюсь, что в ближайшие лет тридцать больше одного мне не потребуется. А это сравнительно скоропортящийся товар.

— Ха, ха, ну и шутник вы, сэр! — Спарк смеялся весело, с аппетитом, и при каждом взрыве смеха изо рта у него упруго вылетало облачко дыма.

Гроппер впился взглядом в карточки. Вряд ли перед кем-нибудь когда-нибудь стоял такой выбор. Люди могут выбирать жену, президента, автомобиль, профессию, но собственное тело... С ним не разведешься, его не переизберешь, не сменяешь на новую модель, не переменишь. По классификации экономистов можно сказать, что это товар длительного пользования. Но сколь длительного? В конце концов все в руках судьбы. Быть может, в каком-нибудь из этих молодых, здоровых тел уже слегка нарушился механизм воспроизводства клеток и где-то в глубине незримо и медленно, притаившись до поры до времени, зреет новая опухоль?

Он закрыл глаза и трепетно, наугад вытащил карточку, как тянут карту из колоды при крупной игре. На него смотрели веселые, чуть лукавые глаза. Волосы над открытым лбом были разделены косым пробором. Чуть тронутые улыбкой губы. Твердый подбородок. Что ж, подумал Гроппер, такой должен нравиться женщинам. Не знаю, не знаю. Наивное лицо. Глупец, наверное. Впрочем, какое мне дело до того, кто он и что он собой представляет! Пройдут годы, и его лицо станет таким же известным стране, как лицо Фрэнка Гроппера.

— Ну вот и отлично, мистер Гроппер. Сейчас посмотрим, кто это. Ага, некто Джеймс Брайтон Блэквуд, 31 год, баптистская церковь, без малого шесть футов. Автомеханик. Из Омахи, штат Небраска. Уехал на каникулы. Холост.

«Ну что ж,— подумал Гроппер,— надо привыкать к этому имени. Блэквуд. Джеймс Блэквуд, а можно придумать себе и другое. Придумывают же имена для купленных яхт».

— А вы уверены, что он здоров?

— До сих пор, похищая кого-нибудь, мы не требовали врачебного удостоверения о здоровье. Но, судя по тому, как он брыкался, парень здоров, как бык.

— Благодарю вас, мистер Спарк, вы даже не представляете, что вы сделали для меня.

— Господи, один человек, право же, не о чем говорить, сэр, такие пустяки.

— Значит, завтра в 9 часов вечера в условленном месте. Я приготовлю чек.

— Благодарю вас, сэр.

Черный «Роллс-ройс» модели «Силвер гост» плавно катил по дороге. Мощные и вместе с тем мягкие амортизаторы впитывали в себя все неровности шоссе, и казалось, что машина плывет по густому, вязкому маслу.

Яркие пучки света от фар скользили по асфальту, время от времени выхватывая из темноты призрачные рекламные щиты и дорожные указатели.

Блез Мередит, сидя за рулем, размышлял, куда и зачем они едут и что за странный пластмассовый ларец, обернутый в несколько слоев прозрачного полиэтилена, покоится на коленях у Гроппера. Мысленно он обдумывал, что скажет завтра этой свинье Патрику Кроуфорду.

Старый Джейкоб, сидя на заднем сиденье, не думал ни о чем. Он просто дремал, положив на колени усталые руки с узловатыми от артрита пальцами.

Фрэнк Джилберт Гроппер думал о том, что сорок миллионов долларов не сорок долларов и распорядиться ими за несколько дней так, чтобы не вызвать подозрений, было чудовищно трудным делом. На шее, чуть холодя сухую, жилистую грудь, висела связка ключей от сейфов в тринадцати различных банках страны. Он один знал, какой ключ от какого сейфа в каком банке. Эта информация была намертво спрятана в его мозгу, без нее ключи не стоили и пяти центов. Кроме того, его цепкая профессиональная память хранила комбинации замков еще шести сейфов.

— Замедлите ход и у столба с табличкой «42 мили» сверните налево, Мередит,— сказал Гроппер.

Еще десять минут езды по неровному полю, и он приказал остановиться.

— Джейкоб, Мередит,— тихо сказал он,— достаньте из багажника лопаты, я сам их положил туда, вот фонарь. Выкопайте вот у этого тополя яму. Дерн снимите осторожно. Землю выбрасывайте на брезент.

Лопаты глухо ударили в податливый грунт. Работали молча. Когда яма была готова, Гроппер сам опустил в нее ящик.

— Здесь миллион долларов,— сказал он, криво усмехаясь,— надеюсь, что вы его не выкопаете без меня.

Мередит и Джейкоб молча закидывали яму. Так же молча все уселись в машину. Мотор мягко заворчал.

— Стойте!

«Роллс-ройс», качнувшись, остановился.

— Что это там, на шоссе? — спросил Гроппер.

— Ничего не вижу, пустая дорога,— ответил Мередит, подумав, что старик начинает галлюцинировать. Из головы у него не выходил пластмассовый ящик. Миллион долларов! Почему он сказал об этом вслух? И таким странным голосом?

— Послушайте, Мередит, Джейкоб! Выйдите и посмотрите, что это там на шоссе! Я же ясно вижу: там что-то лежит, вон ярдах в двадцати от машины.

Блез Мередит и старый Джейкоб вылезли из машины и осторожно пошли вперед в ярком свете фар. Темнота стояла по обе стороны, как стенки коридора. Их тени плоскими великанами качались перед ними на сером асфальте. Дорога была пуста. Мередит пожал плечами.

Внезапно они услышали рев мотора и инстинктивно обернулись. В этот момент тяжелый бампер «Роллс-ройса» ударил их обоих. Падая, Мередит в какую-то ничтожную долю секунды успел увидеть женщину с откинутыми назад руками на серебряном радиаторе с буквами «RR». «Куда она...» — мелькнуло у него в голове, и больше он уже никогда ни о чем не думал.

А женщина на серебряном радиаторе «Роллса» молча стремилась вперед, и Фрэнк Джилберт Гроппер, вытирая платком лоб, позволил себе то, чего не позволял уже несколько лет: закурил сигарету и глубоко затянулся. Две человеческие кегли, сбитые им только что с такой легкостью, предвещали выигрыш всей партии. Могли ли эти двое, простой садовник и простой секретарь, даже мечтать о такой аристократической смерти — погибнуть под колесами самой дорогой в мире машины, за рулем которой сидел миллионер... Гроппер усмехнулся и прибавил скорость.

Физически, своими руками он убил первый раз в жизни. Но в своем оффисе при помощи телефона он проделывал это не раз и теперь чувствовал себя так же, как после дня работы: тело тихо гудело приятной усталостью.

Мистер Гроппер, где вы?

Фрэнк Гроппер был терпеливым человеком. Он умел ждать. Уметь ждать, напружинившись для точно рассчитанного прыжка,— главное качество хищника. Ждет в зарослях тигр, следя желтыми ромбовидными зрачками за приближающейся косулей; ждет, раздувая шею, королевская кобра, уставясь немигающими глазами на жертву; ждет финансист, вглядываясь в ползущую из телетайпа ленту с последними биржевыми курсами.

Фрэнк Гроппер умел ждать. Всю свою жизнь он ждал, пока кто-нибудь, зазевавшись, не делал неосторожного шага. И тогда звонили телефоны, судорожно щелкали тикеры, брокеры сбивались с ног. В мире семизначных цифр разыгрывалась древняя драма охотника и добычи, хищника и жертвы. Правда, здесь не лилась кровь и не слышен был хруст мягких костей, перебиваемых тяжелой лапой. Но законы были те же, что и законы джунглей. И когда Фрэнк Гроппер брался за телефонную трубку, чтобы сказать конкуренту: «Вы кончены»,— в его глазах сострадания было не больше, чем в глазах кобры. И когда он, урча, высасывал из жертвы последние доллары, он испытывал такие же угрызения совести, какие испытывает тигр после обеда косулей.

Но теперь, пожалуй, впервые за много лет, он не мог ждать. До девяти оставалось еще пять минут, но он чувствовал, как от невыносимого напряжения вот-вот, трепыхнувшись в последний раз, остановится сердце. Серая желеобразная масса, называемая мозгом, перестанет снабжаться кислородом, и одна за другой миллионы и миллиарды мельчайших клеток — нейронов — начнут задыхаться. Через пять минут нечто бесконечно драгоценное для него, называемое Фрэнком Джилбертом Гроппером, перестанет существовать.

Сидя в машине, стоящей на обочине, он чувствовал, как страх, подобно гигантскому вакуумному насосу, откачивает воздух из его груди и странная пустота мягко и тошнотворно сжимает сердце.

Внезапно скрипнули тормоза, протестующе взвизгнули шины, и рядом остановился желтый «Бьюик». Распахнулась дверца, два человека быстро вытащили связанное тело и молча положили его на заднее сиденье «Роллса». На мгновение Гроппер увидел знакомое лицо с волосами на косой пробор, мужественный подборок. Глаза, широко открытые от боли и отчаяния, взглянули на финансиста с немым криком, раздавленным кляпом. Сильные руки напряглись в еще одной попытке освободиться, но веревки были крепки.

Гроппер молча протянул чек.

— Благодарю вас, сэр,— сказал один из двух.— Если хотите, я могу его легонько стукнуть, на полчасика он успокоится.

— Нет, нет, что вы! — испугался Гроппер, как будто удар пришелся бы по нему самому.— Он здоров?

— Как бык,— усмехнулся гангстер.— Два раза пришлось поправлять веревки. До свиданья, сэр.

Желтый «Бьюик» выбросил из-под задних колес облачко мелкой гальки, посыпанной на обочине, и с ревом умчался.

Гроппер отер со лба пот, еще раз взглянул на искаженное болью лицо — почти уже его лицо — и включил мотор...

— Сколько, вы говорите, весит этот Блэквуд? — спросил профессор Беллоу, с трудом втаскивая вместе с помощником связанное тело в лабораторию.— Чертовски тяжелый парень! Поздравляю, мистер Гроппер, вы, кажется, нашли себе отличное тело. Оно, правда, судя по веревкам и кляпу, особенного энтузиазма от знакомства с вами не испытывает, но ничего, еще пять минут — и можно будет его — простите, вас — развязать. Кстати, мистер Гроппер, вы посмотрели, на улице никого нет? Никто не следил за вами?

Гроппер пожал плечами.

— Совсем темно. По-моему, никого нет.

— Ну и отлично. Прошу вас, сэр. Сейчас я закреплю фиксатор, держите голову ровно. Не волнуйтесь, это же не гильотина, а в некотором смысле как раз наоборот — родильный дом.

Снова, как в прошлый раз, Гроппер почувствовал, как кто-то быстрыми, незаметными взмахами резинки стирает его сознание. Так погружаются в сон. Он видел перед собой лицо с кляпом во рту. Еще несколько минут, и это лицо станет его лицом. Но почему оно бледнеет, становится расплывчатым и прозрачным? Лицо, лицо, лицо, почему кляп? Почему лицо? Чье это лицо?.. Почему оно исчезает совс...

Наверху, над лабораторией, послышался треск взламываемой двери. Профессор и Хант вздрогнули и в ужасе уставились на вход в подвал.

— Немедленно откройте! — послышался крик.— Все равно вам не уйти отсюда!

— Быстрее! — сказал Беллоу.— Дверь дубовая, она выдержит. Давайте этого парня! Нужно успеть. Это двадцать миллионов долларов!

В дверь стучали чем-то тяжелым. Она трещала, но не поддавалась. Бульдог Джерри, упершись передними лапами в стул, оглушительно лаял.

Хант напрягся и с трудом поднял связанное тело. Послышался сухой дробный треск, и на дубовой панели, словно пробуравленные невидимым сверлом, одна за другой появились дырочки. Хант

ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

почувствовал легкий толчок, и ему показалось, что тело в его руках стало тяжелее.

— Бросьте его! — крикнул профессор.— Разве вы не видите?

По щеке связанного человека текла струйка крови. Похоже было, что кто-то начал закрашивать его лицо красной акварелью.

— Бросьте вы этого парня, он же мертв!

Беллоу, нагнувшись, кинулся к Гроппперу, вытащил его голову из фиксатора и швырнул финансиста на пол. Потом начал лихорадочно обшаривать его. Вот один чек, еще один, третий. Проклятие: старая хитрая лиса не подписала их! До последней секунды боялся, что его надуют. Под его руками на шее Гроппера звякнула связка ключей. Беллоу сорвал их и сунул в карман.

В дверь методично били чем-то тяжелым. Должно быть, столом из холла. Массивная дубовая панель трещала. С потолка мелкой белой порошей сыпалась штукатурка.

— Профессор, мы можем уйти отсюда через гараж,— прошептал Хант.— Пойдемте.

Беллоу пристально посмотрел на него.

— Двадцать миллионов долларов...— тихо сказал он.

Хант чуть заметно улыбнулся.

— Нет, шеф, лучше не думайте об этом. Я вешу на пятьдесят фунтов больше вас, я сильнее вас и, кроме того...— Он вынул из кармана пистолет-шприц.— У меня, дорогой шеф, пока нет ни малейшего желания превращаться в Гроппера, если это даже и даст вам двадцать миллионов долларов. Может быть, наоборот, вы изъявите желание...

Он медленно поднял шприц.

— Не делайте глупостей,— сухо сказал Беллоу.— Даже если вам удастся превратить меня в Гроппера, вы не сможете вынести его отсюда. Глядите.

Дверь уже заметно прогибалась под гулкими, тяжелыми ударами.

— Кроме того, Крис, вам бы никогда не удалось восстановить машину без меня. Кстати, через сколько срабатывает взрывное устройство под аппаратом после включения рубильника?

— Через тридцать секунд. Они найдут здесь только груду металлического мусора. Пойдемте, профессор.

Внезапно он посмотрел на Джерри. Бульдог отчаянно лаял. Он то делал несколько коротких шажков по направлению к двери, то отскакивал назад.

— Джерри! — крикнул Хант и схватил бульдога.

— Быстрее,— прошептал Беллоу,— Христа ради быстрее!

Вдвоем они засунули голову извивающейся собаки в фиксатор. Беллоу щелкнул тумблером. Вспыхнула индикаторная лампочка. Одна из петлей двери сорвалась, и верхняя половина уже начала отходить от рамы. Удары посыпались с удвоенной силой.

— Все! — крикнул Хант и схватил бульдога под мышку. Трясущимися руками он отпер дверь, ведущую в подвал, протолкнул в нее Беллоу и нажал рубильник. Теперь запереть дверь. Так. За стеной грохнул взрыв, и тут же послышались крики.

— Держите собаку крепче, она стоит двадцать миллионов долларов! — задыхаясь, крикнул Беллоу, и они выбрались во двор. «Рэмблер» стоял ярдах в ста. Они побежали. Бульдог укусил Ханта за палец, и он выругался.

Сзади из темноты слышался топот и хриплое дыхание. Тонко, по-комариному пропела пуля. Хант споткнулся и упал. Бульдог выскользнул из его рук и растворился в темноте.

— Быстрее, Крис, мы его найдем потом! — крикнул Беллоу и рванул дверцу машины.— Садитесь за руль вы.

«Рэмблер» рванулся вперед. Только бы выскочить на дорогу! Кузов скрипел и стонал, протестуя против пулеметной очереди, толчков на кочковатом поле. Слава всевышнему, вот и дорога!

Крис включил третью скорость и всей тяжестью ноги вдавил в пол акселератор. «Рэмблер» подпрыгнул, что-то негодующе застучало в моторе, и стрелка спидометра дернулась вверх. Сорок, пятьдесят, восемьдесят пять миль в час...

— Можно еще? — спросил Беллоу.

— Это все, на что он способен.

Сзади заколебался неровный свет, призрачно осветил дорогу по сторонам. Беллоу обернулся. Два ярких глаза, не мигая, глядели им в спину.

— Нажмите еще, Крис. Они нас нагоняют.

— Не могу, это все.

«Рэмблер» ревел на предельной скорости. Легкая машина, казалось, вот-вот оторвется от земли и подымется вверх, но позади уже слышалось завывание мощного мотора.

— Держитесь крепче, профессор. Упритесь руками в панель.

— Что вы хотите делать, Крис? Ради бога...

Хант изо всех сил надавил на тормоз. Шины, оставляя каучуковый след на шоссе, негодующе взвыли. Машина сзади тоже тормозила. Но было уже поздно. Раздался треск, и фары погасли.

Крис включил первую скорость и дал газ. На мгновение им показалось, что машины намертво сцепились между собой, но послышался пронзительный скрежет металла, «Рэмблер» дернулся, освободился и рванулся вперед.

— Теперь они постоят на шоссе,— усмехнулся Крис.— У них разбиты фары и разорван радиатор. Старый фокус, но от нас они его не ожидали. Поедем вперед, вернемся по параллельной дороге и найдем этого чертова бульдога.

— Гроппера, вы хотите сказать? Вы отдаете себе отчет, Крис, что во всех Соединенных Штатах Америки один этот бульдог знает, к каким сейфам в каких банках подходят ключи, которые я снял у старика с шеи?

Всю ночь, пока не забрезжил призрачный серый рассвет, они осторожно бродили по окрестностям ранчо. Близко к дому подходить они не смели: в окнах горел свет, и оттуда доносились голоса. Вскоре голоса стихли, но появились две полицейские машины с вращающимися на крыше прожекторами.

— Как, по-вашему, профессор, кто это был там?

— Не знаю. Думаю, что кто-то шпионил за нами. Во всяком случае, потом они тоже удрали и прислали полицию. Там труп, и тем самым нам они помешали вернуться обратно.

Они продолжали бродить по окрестным полям, спотыкались в темноте, падали и все время тихо звали:

— Гроппер, мистер Гроппер, где вы?

— Не слишком ли изысканное обращение для бульдога? — криво усмехнувшись, спросил Хант.

— Перед собакой, которая стоит больше, чем бюджет иной страны, я готов сам встать на четвереньки,— ответил Беллоу.— К тому же за последние сорок лет, проведенные на бирже, Гроппер, наверное, не привык отзываться на свист и команду «Сюда!». Я даже склонен полагать, что он не сразу освоится со своим новым положением.

Один раз им подумалось, что они нашли его. В темноте мелькнули две зеленоватые точки. Они бросились вперед, царапаясь о жесткий кустарник. Это была кошка. С сердитым фырканьем она шмыгнула в сторону.

Бульдога они не нашли. Когда поля вокруг начали медленно проступать в проявителе рассвета, они решили уйти, опасаясь, что их заметят.

Беллоу то и дело оглядывался назад, надеясь на чудо. Но Фрэнка Джилберта Гроппера, президента четырех банков, члена правления двадцати трех компаний, обладателя сорока миллионов долларов, не было видно. В это время он спал в канаве, положив тяжелую голову на вытянутые лапы...

Вообще-то это дядя

После двух-трех стаканов мартини Патрик Кроуфорд обычно становился необычайно добрым, но только по отношению к самому себе. Все в себе казалось ему необыкновенным: черты лица — мужественными и значительными, ум — глубоким и проницательным, характер — несгибаемым, литературные способности — выдающимися.

Если в такие минуты под рукой находилась какая-нибудь поверхность, достаточно гладкая, чтобы выполнять роль зеркала, будь то оконное стекло или очки собеседника, Кроуфорд погружался в благоговейное созерцание своего отражения, из которого его могли вывести лишь чрезвычайные обстоятельства, как-то: необходимость протянуть руку еще за одним стаканом.

Не мудрено поэтому, что телефон трезвонил по меньшей мере минут пять, прежде чем он оторвал взгляд от хромированной поверхности кофейника, в котором, пусть вытянутое и сплюснутое, но все равно невыразимо прекрасное, отражалось его лицо.

Нетвердыми шагами он подошел к телефону и взял трубку. Торопливый голос сказал:

— Мистер Кроуфорд? Это Джо Джеффи. Старик прибыл на ранчо в половине десятого. В машине у него был кто-то связанный. Когда мы вломились, оба врача удрали, и нам не удалось их догнать, только покалечили машину.

— Гроппер? Где Гроппер? — крикнул в трубку Кроуфорд, внезапно трезвея.

— Старик здесь. Спятил он, что ли, слова от него не добьешься. Связанный парень мертв. Мы позвонили в полицию и сейчас сматываем удочки. Не забудьте чек. Мы свое дело сделали. До завтра.

Патрик Кроуфорд медленно положил трубку. Если бы эти два шарлатана лечили старика успешно, они бы не удрали, как крысы. И этот связанный парень...

Он, он, единственный наследник сорока милли-

онов долларов, самый богатый писатель Соединенных Штатов Америки! Он им теперь покажет!

Кроуфорд поднял глаза к потолку. Слова полузабытой молитвы сами пришли откуда-то из глубины детских воспоминаний: «Патер ностер куи эст...» Он уже давно перестал быть верующим католиком, но стремление кого-то поблагодарить за близкую смерть близкого человека заставило вспомнить о боге. Господь добр, он ниспосылает свою благодать на чистых сердцем, если даже в слепоте своей они бредут по болоту безверия. Кроуфорд опустился на колени и помолился за сорок миллионов.

Ему хотелось броситься в машину и помчаться туда, на ранчо, чтобы самому взглянуть на Гроппера, но здравый смысл одернул его за руку. Полиции могло бы показаться странным, что он знает, где именно сейчас находится его дядя.

Спать в эту ночь Кроуфорд не мог. Не помогли и две таблетки люминала. Постель казалась жесткой, а подушка горячей до такой степени, что жгла голову. Он вертелся до тех пор, пока процесс погружения в сон не начал казаться ему странным, фантастическим, едва ли вообще когда-нибудь осуществимым.

Он налил себе в стакан джина, плеснул вермута и уселся в кресло.

Утром позвонили из Риверглейда, и кто-то, назвавшийся лейтенантом Мак-Грири, попросил его немедленно приехать.

Лейтенант Мак-Грири встретил его у входа. Он был вежлив, предупредителен и почтителен. Сияние гропперовских миллионов трепетало в воздухе.

— Вы ведь единственный наследник и самый близкий родственник, мистер Кроуфорд? — сказал лейтонант, пропуская его вперед.— Прошу вас взять себя в руки. Мне хотелось бы предупредить вас, что ваш дядюшка, гм... как бы это выразить... не совсем... собран, что ли... Впрочем, вы сейчас его увидите. Я узнал ваш телефон у старой Кэлси, у кухарки. Больше в доме никого нет.

— А секретарь? Блез Мередит? И садовник Джейноб?

— Мисс Кэлси утверждает, что оба они уехали позавчера вечером вместе с Гроппером и с тех пор не возвращались. Гроппер вернулся один.

— Почему?

— Потому что вчера утром их нашли мертвыми на шоссе в двадцати милях от Хиллсайда. Похоже, они были сбиты какой-то машиной.

— Сбиты ночью, на шоссе? Что они там делали?

— Боюсь, мистер Кроуфорд, что «почему» у нас пока что гораздо больше, чем «потому что». Прошу вас взять себя в руки, вот ваш дядюшка мистер Гроппер.

Лейтенант Мак-Грири открыл дверь, и Кроуфорд увидел Гроппера. Старик сидел в кресле и жалобно плакал, неловко, странными, неуверенными движениями тер себе лицо, глаза. Плач был жутким. Финансист ревел надтреснутым, старческим фальцетом, захлебываясь и заходясь, как грудной младенец. Под носом обладателя сорока миллионов долларов то и дело вздувались пузыри и беззвучно лопались. Внезапно Гроппер без видимой причины успокоился и принялся, причмокивая, сосать палец. На светлом ковре у его ног расплывалась темная лужица.

— Дядюшка,— тихо позвал Кроуфорд.

Финансист снова заревел. Крупные детские слезы катились по седой щетине щек.

— Мистер Гроппер, что с вами? — еще раз позвал его Кроуфорд.

Но Гроппер начал быстро сучить ногами и руками. Правая крахмальная манжета его рубашки отстегнулась и торчала из рукава серого костюма. Внезапно крик снова затих, старик засунул в рот большой палец правой руки и заснул. Из уголка рта медленно сочилась слюна.

— Мистер Кроуфорд,— сказал лейтенант Мак-Грири,— я должен спросить вас официально, узнаете ли вы мистера Фрэнка Джилберта Гроппера, шестидесяти восьми лет, постоянно живущего в Риверглейде?

— Боже мой, конечно, нет,— ответил Кроуфорд.— То есть вообще-то это дядя, но... В таком состоянии... Он помешался?

— Это установит врач, который будет здесь через полчаса, мистер Кроуфорд. Но я вам должен сказать, что это вполне возможно.

— Почему?

— Как раз на это «почему» я могу вам ответить. Его нашли около полуночи в пустынном ранчо милях в шестидесяти отсюда. Кроме него, в комнате обнаружен труп связанного человека лет тридцати. Похоже, что стреляли через дверь, потому что она была выломана и в ней насчитали с два десятка пулевых пробоин. В комнате нашли также обломки какого-то электрического аппарата непонятного назначения. Когда мы вошли в ранчо, мистер Гроппер мирно спал на полу.

— Спал?

— Да, он был, по всей видимости, в таком же положении, что и сейчас. Вы меня простите, мистер Кроуфорд, гм... но нам пришлось заткнуть носы, когда мы его поднимали. Он, так сказать, несколько поторопился облегчить нужду... Вы меня понимаете? Впрочем, вы же сами видите.— Лейтенант кивнул на темное пятно на ковре.— Как себя чувствовал ваш дядюшка в последнее время?

— Я знаю, что он был тяжело болен, у него рак желудка. Но он все время занимался делами, причем вполне успешно, насколько я знаю. Обождите, я сейчас позвоню в его главную контору в Нью-Йорк. Меня там знают. Может быть, мы выясним что-нибудь.

Пока телефонистка соединяла его с Нью-Йорком, Кроуфорд вдруг почувствовал тяжесть смутных угрожающих предчувствий. Что-то случилось, что не укладывалось в его планы... Голос Брэдли заставил его вздрогнуть.

— Алло, мистер Брэдли? С вами говорит Патрик Кроуфорд. Да, из Риверглейда. Меня только что вызвала сюда полиция. Нет, нет, он жив, но он сошел с ума. Если бы вы сами увидели его, вы не стали бы спрашивать, уверен ли я. Вы ничего не замечали в последние дни?

— Пожалуй, я могу сказать вам, мистер Кроуфорд,— голос Брэдли звучал взволнованно,— раз уж такое дело... И, кроме того, вы единственный наследник, это все знают. Вот уже с неделю, как мистер Гроппер приказал прекратить все операции на бирже. Вернее, кое-что он велел продать. Похоже, что ему нужны были наличные. Кроме того, он много работал в оффисе сам. Я так понял, что он переправлял деньги в разные банки. Во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что он что-то замышлял. Не знаю, что именно. Возможно, он хотел замаскировать свои деньги. Вы же знаете: он любит наносить удары самого неожиданного направления. Где сейчас деньги, сказать вам не могу. Нет, нет, не потому, что не хочу. Я ж вам говорю: этим занимался он сам. Звоните, мистер Кроуфорд, я сделаю для вас все. До свидания.

— Пойдемте, мистер Кроуфорд, мне нужно с вами поговорить,— сказал лейтенант, открывая дверь.

Финансист становится на четвереньки

Сон Фрэнка Гроппера был неглубок. Одно сновидение вплеталось в другое. Ему снился огромный, в небоскреб, телетайп, установленный под открытым небом, в поле. Из аппарата ползла гигантская змея, чешуйчатые узоры которой складывались в цифры. Вдруг змея изгибалась и становилась диаграммой биржевого курса, еще изгиб — и ее тело спиралью укладывалось в раму с надписью: «Индексы Доу-Джонса». Змея разевала рот и, облизываясь раздвоенным длинным языком, скрипуче говорила: «Вот вы и прозевали, мистер Гроппер, нужно было продавать стальные, а вы купили!»

Стало холодно. Гроппер протянул руку, чтобы натянуть сползшее одеяло, но одеяла не было. Наверное, оно свалилось на пол, подумал он, и свесил руку с кровати. Рука больно ударилась о что-то твердое.

— Черт побери! — пробормотал финансист и открыл глаза.

Прямо перед его носом в блекло-сером свете утра лежали две собачьи лапы. Лапы были коричневые, массивные, а нижняя часть их казалась одетой в белые чулки с неровными краями. «Знакомые лапы, знакомые чулки»,— подумал Гроппер и поднял голову, чтобы рассмотреть собаку. Почему-то ему подумалось, что собака должна быть бульдогом. Собаки не было. За лапами ничего не было. Была лишь трава. По сухому стебельку деловито полз муравей, балансируя белой личинкой в челюстях.

— Иисус Христос,— пробормотал Гроппер и услышал глухое собачье ворчание. Лапы были направлены не к нему, а о т н е г о, словно он лежал на собаке. Он протянул руку, чтобы потрогать лапу, но рука в поле зрения не появилась. Зато лапа поднялась с земли и застыла в воздухе.

— Святой Иисус! — снова сказал Гроппер и снова услыхал собачье ворчание. Он вскочил на ноги. Земля, вместо того чтобы отступить от его глаз на привычные пять с лишним футов, осталась совсем близко от лица, в каком-нибудь футе. Он видел каждую травинку, колеблемую утренним ветерком, каждый комочек земли, пробуравленный муравьиными ходами, чувствовал странные, незнакомые запахи, не неприятные ему. Наверное, запах земли, травы, ветра, утра.

Он хотел поднять руку, чтобы потереть лоб и рассеять видение, но почувствовал в руках тяжесть, будто он стоял на четвереньках и опирался на них. Он нагнул голову, чтобы посмотреть на свои ноги, но снова увидал упирающиеся в землю собачьи лапы. Он сделал шаг вперед, и лапы тоже шагнули вперед. Он напрягся и оторвал от земли руки. Стоять на ногах было почему-то неудобно, непривычно...

И вдруг, подобно фейерверку, который взрывается ярчайшей гроздью света в чернильном небе, он вспомнил. Пульсирующие упругие воспоминания стремительной кинолентой пронеслись перед его мысленным взором.

Он подходит к аппарату. Перед тем, как вставить голову в фиксатор, он бросает взгляд на связанное тело. Блэквуд. Волосы на косой пробор. Сильный подбородок и недоуменный вопрос в глазах... Темнота. Провал.

Кто-то сжимает его шею, и его тащат, тащат куда-то. Он задыхается и сжимает зубы. Чьи-то проклятия. Тонкий свист, человек, тащивший его, падает. Он вырывается из рук и бежит, бежит, бежит. Темно, он почти ничего не видит, трава — или это были ветви деревьев? — хлещет его по глазам. Он мчится и чувствует, как встречный ветер холодит его нос. Сердце бьется ровно, как мощный мотор, тело ритмично то сжимается, то распрямляется в сильных прыжках.

Он ни о чем не думает, ничего не понимает, ничего не осознает; древний инстинкт несет его по полю в зыбкой тьме ночи. Панический страх смерти, страх перед сжимавшей горло рукой уступает место опьянению свистящим воздухом, запахами ночи, упругим прикосновением земли, от которой он отталкивается в каждом новом прыжке.

Он падает в канаву. Тычется головой в мягкую глину и засыпает...

И вот Фрэнк Джилберт Гроппер, в 1929 году положивший начало своей финансовой империи, великий чародей биржи, непревзойденный «альпинист», который привык одинаково успешно преодолевать ущелья спадов и кризисов и редкие пики бумов, он, Фрэнк Джилберт Гроппер, стоит в сером свете утра на поле, и трава колышется вровень с его глазами. Он стоит и старается не понять того, что уже понял. Он собака, он коричневый бульдог с белыми чулками на лапах, который, как посланец судьбы, первый раз предстал перед ним в Риверглейде неделю тому назад. Он Джерри, бульдог.

Президент четырех банков и член правления двадцати трех компаний поднял массивную морду и завыл. Глухой, низкий звук возникал где-то глубоко в его собачьей гортани и медленно, с трудом вырывался из пасти. Потом он бросился на траву и забил по земле лапами. Из круглых бульдожьих глаз выкатились две слезинки.

В этот момент другой Гроппер, шестидесятивосьмилетний младенец-идиот с пустыми глазами, пускал слюни в счастливом сне...

Гроппер не мог сказать, сколько он пролежал на земле в оцепенении, может быть, минуту, может быть, час, но солнце уже взошло, когда он встал на ноги (он еще не научился думать о себе собачьими терминами, и ноги в его сознании еще не стали лапами). Он жив, он ощущает себя Фрэнком Джилбертом Гроппером, и, хотя он бульдог, ничего еще не потеряно. Почему-то профессор Беллоу не мог превратить его в человека, в его собственного человека, которого он честно купил на честно заработанные деньги. Что ж, наверное, на то были причины. Он их узнает, ничего еще не потеряно. В конце концов это даже забавно — побыть денек-другой в собачьей шкуре, эдакий маскарад, где нельзя даже при желании снять костюм и маску до назначенного срока. Ведь лучше быть живой собакой, чем умирающим человеком.

Что-то там профессор говорил, будто мозаика человеческого мозга не полностью вмещается в собачий. Интересно, потерял ли он что-нибудь из своего «я»? Как это проверить? Финансист снова улегся, вытянул лапы и принялся производить инвентаризацию своего духовного мира. Прежде всего деньги. Он мысленно произнес про себя наименования всех банков, куда он тайно в сейфы переправил свои капиталы. «Первый национальный», «Чейз», «Первый городской»... Отлично, в голове у него весь список. Номера сейфов, замки, комбинации цифр... Гроппер даже тявкнул от удовольствия и, не отдавая себе отчета в странности движения, почесал задней лапой за ухом.

Отлично, отлично!.. Что еще? Он вспомнил главные компании, в акции которых вкладывал деньги: «Дженерал дайнемикс», «Дженерал электрик», «Алкоа»... Великолепно, он помнит их все. Что еще? Перспективы? Лучшее помещение — военные фирмы.

Превосходно! Он все это помнит и знает. Мозг работает спокойно и без усилий. Его имение Риверглейд, контора в Нью-Йорке, контора в Чикаго, в Лос-Анжелосе. Брэдли и другие. Он все знает.

Позавчера, глядя на две фигуры в свете фар, на широкую спину Мередита и сгорбленную старого Джейкоба, он спокойно вдавил в пол акселератор. Фигурки упали под ударом радиатора, как кегли. Сколько лет прослужил у него Джейкоб? Пожалуй, лет тридцать, но нельзя, чтобы кто-нибудь знал, где лежит, закопанный, его резервный миллион.

Он знает все, все помнит. Профессор Беллоу солгал, весь его мозг великолепно уместился в собачьей голове. Весь, целиком.

Гроппер встал, отряхнулся всем телом и не спеша побежал в сторону ранчо, откуда несло дымком.

У самого здания он притаился в кустах. Двое полицейских, прислонясь к машине и покуривая, неторопливо беседовали. Гроппер отметил про себя, что собачий слух значительно превосходит человеческий: полицейские стояли ярдах в двадцати и говорили вполголоса, но он слышал даже их дыхание, будто к его ушам были прижаты наушники.

— Говорят, здесь жили каких-то два типа, ученые, что ли. Испарились, как дым. Недавно звонили, что нашли какую-то машину недалеко от Хиллсайда. Серый «Рэмблер». Разбиты задние фонари и бампер. Наверное, их машина.

— А что шеф говорит про этого парня, связанного, с пулей во лбу?

— Кто его знает, кто это. Красивый парень.

— Да, темное дело.

— Не говори.

— А ты слышал, говорят, что идиот, который пускал слюни в кресле,— это Гроппер.

— Гроппер с Уолл-стрита. Фрэнк Гроппер. Говорят, у него куча денег.

— Что ты хочешь: финансист. Посидел бы он на нашей зарплате...

— Гляди, бульдог в кустах. Дай-ка я всажу в него пулю. Пари на бутылку виски, что попаду в него с первого выстрела.

— Смотри-ка, эта тварь понимает, что ты говоришь. Ладно, брось...

Фрэнк Гроппер снова несся по траве, с ужасом ожидая выстрела. Лишь отбежав с полмили, он улегся на траве и задумался.

Всю жизнь его подстерегали опасности. Компаньоны могли предать его, конкуренты — съесть.

Теперь опасностей стало куда больше, да и привыкнуть к ним солидному финансисту на склоне лет было нелегко. Любой может пхнуть ногой, бросить камень. Живодер того и гляди загонит в свой грузовичок, в воющий, скулящий клубок разномастных бездомных псов — и тогда прощай шкура. А то, не успеешь оглянуться, налетит другой пес, и на шестьдесят восьмом году жизни полетит из тебя шерсть. Впрочем, почему на шестьдесят восьмом? Сколько живет в среднем собака? Лет четырнадцать? Так что ему, судя по всему, не больше лет шести. Мысль показалась ему забавной, и он засмеялся, но услышал вместо привычного смеха лишь повизгивание.

Что делать, что делать? Допустим даже, что он мог бы добраться до Нью-Йорка. Кстати, как? Стоя на обочине шоссе и подняв лапу? Не может же бульдог войти в «Первый городской банк Нью-Йорка», кивнуть мэнеджеру, пройти в зал сейфов, стать на задние лапы, набрать нужную комбинацию и уйти прочь, унося в зубах саквояж коричневой кожи с двумя миллионами долларов.

А если бы даже перед ним сейчас лежал прямо здесь, на этой муравьиной куче, миллион долларов. Что тогда?

Мысль о том, что деньги, такие знакомые листки плотной бумаги, «зеленые спинки», как он ласково называл банкноты в один доллар, могут при каких-то обстоятельствах оказаться бесполезными, показалась ему кощунственной, и он встряхнул головой, отгоняя наваждение. Разве может глубоко религиозный человек допустить, что иногда всевышний не всевышний?

Нет, аккуратные пачки долларов не могут оказаться ненужными. Один он знает, где они лежат, сорок миллионов долларов. Только в его мозгу замурована эта информация, ради которой тысячи людей пошли бы на обман, на преступление, на убийство. Они бы унижались перед ним, перед собакой, ползали на брюхе подле его ног, норовя поцеловать в лапу, прикоснуться к обрубку хвоста.

И это прекрасно знают Беллоу и Хант. Плевать ему на их мысли и чувства. Двадцать миллионов долларов на улице не валяются. Они найдут и сделают его человеком, даже если им придется выкрасть для него тело прямо из Капитолия.

По загривку у него ползла муха. Он хотел взмахнуть рукой, чтобы согнать ее, но, к своему удивлению, почувствовал, что кожа на шее непроизвольно вздрогнула. Муха улетела.

Это то, подумал Гроппер, что профессор называл безусловными рефлексами и инстинктами. Но что делать? На ранчо что-то произошло. Его новое тело, купленное им, больше не существует. Хорошо по крайней мере, что он его еще не обжил. Беллоу и Хант бежали. Его старая оболочка, впавший в детство старик, которого он уже раз видел во время опыта... Почему Беллоу не оставил его в теле Ханта? Впрочем, если бы он знал, как повернется дело, он бы оставил. Этот из породы верующих. Этот не атеист, могущий наступить ногой на двадцать миллионов, обещанных ему.

Гроппер снова подумал о старике с пустыми глазами и не почувствовал ничего. Разве что злорадство. Он все-таки надул эту проклятую боль. Пусть она теперь грызет его бренные останки. Он на нее плевал.

Он вытянул передние лапы и с наслаждением потянулся, прогибая спину. Хватит, нужно взять себя в руки и сосредоточиться. Хотелось есть.

Беллоу и Хант должны понимать, что далеко от ранчо уйти он не мог. Значит, они будут прятаться где-нибудь поблизости, скорей всего в Хиллсайде. Это все-таки городок, и там легче скрываться.

Он не может ни остаться в поле, ни дать им как-то знать о себе. Значит, прежде всего нужно добраться до Хиллсайда, а еще лучше до его пригородов. Там будет видно. Но не плестись же миль тридцать под солнцем!..

Гроппер вышел на дорогу. У бензозаправочной колонки с круглым щитом компании ЭССО стояло несчольо машин. Финансист улучил момент, когда никто не смотрел в его сторону, одним прыжком вскочил в кузов фордовского «пикапа» и притаился среди мешков.

Фыркнул мотор, Гроппер ткнулся носом в мешок, и машина тронулась.

Минут через двадцать — тридцать показались аккуратные домики. Пригород, подумал Гроппер. Он приподнял голову и глянул вниз. Серая лента дороги стрункась назад с пугающей быстротой, и он понял, что выскочить на ходу не сможет. Прячась за мешком, он вытянул лапу и тронул шофера за плечо. Тот обернулся, продолжая вести машину.

— Что за черт,— пробормотал он,— готов поклясться, что кто-то тронул меня за плечо.

Гроппер снова протянул лапу и похлопал водителя по спине. На этот раз тот затормозил и, обернувшись, заглянул за мешки. Он увидел, как коричневый бульдог с белыми лапами выскочил из машины и скрылся в кустарнике.

— Ну и ну! — Шофер раскрыл рот от изумления и на всякий случай скрестил пальцы, гарантируя себя от происков дьявола.

Эта собака стоит больших денег

Микки-маус никак не хотел сидеть в грузовике. Как только Фэнни отпускала его, он тут же падал. С оптимизмом своих трех лет она снова и снова пыталась засунуть чересчур большую куклу в маленький кузов, но резиновый Микки всякий раз гордо расправлялся и вываливался на посыпанную мелким гравием дорожку. Может быть, в конце концов кто-нибудь из них и сдался бы, если Фэнни внезапно не подняла голову.

Прямо перед ней на дорожке, широко расставив массивные лапы в белых чулках, стояла собака. Прежде чем Фэнни успела решить, что сделать раньше: заплакать и убежать или убежать, а потом зареветь,— собака легла на спину, подняла в воздух лапы и задрыгала ими. Потом шумно вздохнула, легла на бок и закрыла глаза. Дожил, с горечью подумал Гроппер, стоило всю жизнь ворочать миллионами, чтобы лежать сейчас на спине перед девчонкой и дрыгать лапами. Он вспомнил нью-йоркские рестораны «Ритц», «Катр сезон», «Двадцать одно», «Уолдорф Асторию». Вспомнил тяжелые меню в тисненых кожаных переплетах и источающих безграничное почтение официантов. Вспомнил неторопливые беседы с винными официантами... А теперь приходится ходить на задних лапах в расчете на кость и миску остатков супа.

— Мамми, мамми, он умер! Иди скорей, он умер!

— Ну, кто там еще умер? — крикнула миссис Бакстер из кухни.— У меня подгорят котлеты, оставь меня в покое.

— Мама, я же тебе говорю, что собачка умерла, иди сюда скорее. Она совсем мертвая и закрыла глаза.

Котлеты шипели на сковородке, как старая мисс Чаттерлей, ее соседка, когда она говорит о комнибудь помоложе себя, и миссис Бакстер вышла во двор. На дорожке лежал коричневый бульдог. Она нагнулась за камнем, но бульдог вдруг вскочил, встал на задние лапы и церемонно поклонился ей.

Миссис Бакстер разинула рот, и камень мягко шлепнулся на дорожку. Фэнни завопила от восторга.

— Мама, мама, он не умер, он дрессированный! Помнишь, мы видели такого по телевизору?

Бульдог, не опускаясь на передние лапы, сделал несколько шагов по направлению к хозяйке, снова наклонил голову и помахал лапой. На мгновение миссис Бакстер показалось даже, что в лапах у собаки шляпа с пером, и она чуть было не сказала: «Добрый день, сэр». Право же, она никогда не видела такой странной собаки.

— Где ты ее взяла, Фэнни?

— Не знаю, мама, она сама прибежала ко мне, легла на спинку и задрыгала ногами.

— Не ногами, а лапами.

— Лапами. Знаешь, мама, давай оставим ее у себя.

Бульдог, как бы угадывая, что речь идет именно о нем, несколько раз энергично кивнул головой.

— Боже правый,— сказала миссис Бакстер,— никогда бы не поверила, что есть на свете такие дрессированные собаки. Впрочем, при таких ценах, как сейчас, все может быть. Но у нее же, наверное, есть хозяин?

— Ну и что? Когда придет за ней, тогда отдадим. Возьмем ее, давай возьмем.

— Но у нас же есть наша Фидо. Хватит нам одной собаки! — Голос миссис Бакстер звучал уже менее убедительно.

— Ну и что, Фидо — это колли, а это бульдог.

— Ну хорошо,— пожала плечами миссис Бакстер, и бульдог, словно снова поняв, о ком идет речь, наклонил голову и лизнул ее в руку.

Это был единственный знак благодарности, который имелся в эту минуту в распоряжении у мистера Фрэнка Гроппера.

Самым трудным испытанием в первый день пребывания финансиста в доме Бакстеров была встреча с шотландской овчарной колли.

Как только он увидел ее, Гроппер почему-то сразу понял, что перед ним сука. Почему он так решил, Гроппер сказать не мог. Среди разнообразных вещей, которые надлежит знать опытному биржевому манипулятору, определение пола собаки на расстоянии вряд ли является главным. Но тем не менее он готов был поклясться, что перед ним сука, и странное волнение, охватившее при ее виде финансиста, меньше всего походило на страх пред ее укусами. Она оглушительно залаяла, а он стоял, растерявшись, и молча разглядывал ее. Собачий инстинкт толкал его к ней, ему хотелось ответить ей задорным лаем, толкнуть мордой, слегка куснуть, ему хотелось, чтобы она вовлекла его в сложный ритуал собачьего ухаживания.

Сознание же шестидесятивосьмилетнего финансиста, которого уже давно женщины интересовали куда меньше, чем он их, было еще не готово пойти на интимное знакомство с мохнатой овчаркой, от которой пахло чем угодно, но только не духами.

Так он стоял в нерешительности, пока Фидо — так звали колли — не куснула его в игривом прыжке за шею. Странный способ ухаживания, а впрочем, куда более эффектный, чем беседы на литературные темы за коктейлем, подумал Гроппер и отскочил в сторону. Колли толкнула его лапой, и ему захотелось засмеяться. Вместо этого он радостно взвизгнул и бросился наутек, оглядываясь через плечо на овчарку.

Лежа ночью на отведенной ему циновке в коридоре, Гроппер думал о том, как, вероятнее всего, его будут искать Беллоу и Хант. Способ, очевидно, был один. Они дадут объявление в газете о пропаже бульдога с его, Гроппера, описанием, в нынешнем обличье, разумеется. Стало быть, нужно ждать, стараться заслужить благорасположение хозяев и вообще вести себя, как полагается приличной собаке.

Главной его заботой в течение последующих нескольких дней стало изучение газеты «Хиллсайд дейли геральд», особенно раздела объявлений. Чтобы не вызвать подозрений, ему приходилось все время быть начеку, ибо он отдавал себе отчет, что бульдог, читающий газету,— не совсем обычное зрелище.

На третий день, слоняясь по дому, он забрел на кухню. Миссис Бакстер не было. Внимание его привлек кусок газеты, в который был завернут пучок редиски. Он встал на задние лапы, передними оперся о стол и принялся читать:

«Срочно продается «Форд тандерберд» в хорошем состоянии;

Магазин готового платья Металлиоса объявляет о большой распродаже по совершенно неслыханным ценам;

Коммивояжер с небывалым опытом в продаже всевозможных изделий предлагает свои услуги какой-нибудь солидной фирме;

Пресвитер хиллсайдской баптистской церкви сообщает о сборе пожертвований на новую церковь;

Владелец ищет коричневого бульдога с белыми лапами, шести лет, по кличке Джерри. Сообщившему в редакцию о местонахождении собаки будет выплачено солидное денежное вознаграждение».

Гроппер почувствовал, как забилось его собачье сердце. Он не ошибся. Беллоу ищет его. Первой его мыслью было схватить в зубы газету и броситься в редакцию «Хиллсайд дейли геральд». Но потом вспомнил разговор, слышанный накануне, о вылавливании в городе бездомных собак, и задумался. Он готов умереть любой смертью, но отдать себя, Фрэнка Джилберта Гроппера, в руки живодера, с тем чтобы за его шкуру, стоящую сорок миллионов долларов, дали сорок центов,— это было слишком. Это была бы самая несуразная финансовая операция, о которой он когда-либо слышал.

В двери показалась миссис Бакстер.

— Вот ты где,— сказала она,— иди во двор. Нечего болтаться в кухне. Иди поиграй с Фэнни.

Гроппер ткнул носом в газету и умоляюще посмотрел на хозяйку. Ну пойми же, пойми, нищая тварь, пойми, что тебе хочет сказать президент четырех банков! Прочти газету, прочти объявления, ты ведь наверняка интересуешься, где что продают по дешевке. Прочти, и вскоре ты получишь в подарок от неизвестного прекрасную новую стиральную машину, такую, какой ты никогда не увидишь в своем каталоге Сиерса и Робека.

— Господи, что ты здесь нашел интересного? — спросила миссис Бакстер.— Первый раз вижу, чтобы собака ела редиску. На, ешь.

Она взяла пару красных редисок и швырнула на пол. Потом всыпала оставшиеся в кастрюлю с водой, а газету скомкала и бросила в плиту. Бумага шевельнулась, словно испуганная жаром огня, пожелтела, потом стала темно-коричневой и с легким шорохом вспыхнула. Гроппер хотел закричать, но из пасти его вырвался лай отчаяния.

— Молчать! — сердито прикрикнула миссис Бакстер.— Пошел вон!

Глупая баба, подумал Гроппер, ты так и не получишь в подарок от неизвестного новую стиральную машину. Опустив голову, он вышел из кухни...

Вечером семья Бакстеров сидела перед стареньким «Адмиралом». На экране телевизора мультипликационная обезьяна расхваливала новый сорт чая. Бакстеры смотрели как завороженные, с торжественным выражением людей, которые приобщаются к высшей истине.

Гроппер свернулся у ног Фэнни и молча смотрел на экран. Внезапно в голове у него родилась новая идея.

— Все,— сказал мистер Бакстер, когда диктор, порекомендовав новые порошки от бессонницы, пожелал спокойной ночи,— выключайте телевизор.

Гроппер стремительно вскочил, бросился к телевизору и нажал лапой на клавиш. Экран сверкнул умирающим электронным лучом и погас.

Фред Бакстер привстал со своего кресла. У миссис Бакстер отвалилась челюсть. Наконец она выдавила из себя:

— Фред, я же тебе говорила: эта собака понимает все, что говорят. Как тогда показывали по телевизору.

— Будь я трижды проклят, если это не самая удивительная штука, которую я когда-либо видел. Ты уверена, что это нам не померещилось?

— С каких это пор сразу двум людям может померещиться одно и то же? Фэнни, кто выключил телевизор?

— Кто же? Наш бульдог.

— Видишь, слыханное ли дело, чтобы уже трем людям померещилось одно и то же?

— Обождите,— сказал Бакстер.— Пес, ты понимаешь, о чем здесь говорят? — Он посмотрел на Гроппера.

Не помню, когда я последний раз так хотел кому-нибудь угодить, подумал Гроппер и кивнул головой.

— Дженнифер, ты видела, он кивнул головой! — сказал Бакстер.

— О чем я тебе говорю? — ответила миссис Бакстер.

— Послушай, бульдог, вон книжная полка. Это наша библиотека. На ней стоит библия и каталог Сиерса и Робека. Принеси-ка нам каталог.

Гроппер несколько раз дернул лапой. Наконец толстый, фунта в четыре весом каталог вывалился с полки. Он прижал лапами обложку, мордой отогнул другую. Страницы зашелестели. Есть. Он широко распахнул пасть, осторожно взял раскрытый каталог и положил перед хозяином. Тот взглянул на раскрытую страницу и дернул себя за нос.

На глянцевитой странице были изображены разнообразнейшие ошейники, от металлических парфорсных, шипы которых впиваются в шею, если собака рвется на поводке, и до роскошных кожаных, с замысловатыми бронзовыми украшениями.

В комнате стало тихо. Фред Бакстер смотрел на жену, она на него, а Фэнни — на обоих. Если бы здесь, на вытертом коврике, лежал не коричневый бульдог с белыми чулками на лапах, а апостол Павел, удивление было бы меньшим.

— Лопни мои глаза, если этот пес не стоит больших денег,— сказал наконец Бакстер, и Гроппер подумал, что вряд ли его хозяин отдает себе отчет, насколько он прав.

— Помнишь, в той передаче говорилось, что можно выступать с дрессированными животными за деньги. Дженнифер, запри все двери и окна, чтобы этот пес не вздумал удрать.

Гроппер энергично замотал головой, и в комнате снова стало тихо.

— Помолимся, Дженнифер,— сказал Бакстер,— эту собаку нам послал господь, чтобы мы могли наконец выплатить деньги за этот чертов дом, который висит у меня на шее, словно камень. Я буду выступать с этим псом перед публикой, и будь я безработным без пособия, если люди не будут платить деньги за такое зрелище! Мы даже не знаем, на что он способен.

— Молчи, Фрэнк, у меня такое впечатление, что ты говоришь о нем недостаточно вежливо. В наши дни, когда негры выходят на демонстрацию, все возможно.

Гроппер встал и лизнул ладонь миссис Бакстер. Та отдернула руку и покраснела, как будто это был не обыкновенный бульдог, а человек. Она не привыкла к галантному обхождению.

В этот вечер супруги Бакстер долго сидели перед погасшим экраном телевизора, словно молились своему божеству и ждали от него указаний. А так как молчание — знак согласия, они решили, что телевизор одобрил их план.

(Окончание следует).

ФИНАНСИСТ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

З. ЮРЬЕВ

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало в №№ 16—17)

Покер и канаста

Лейтенант Мак-Грири пробил консервным ключом две дырки в банке и наклонил ее. Пивная пена кучевым облаком перевалилась за край стакана. Пиво было тепловатым, и лейтенант поморщился. Впрочем, строго говоря, он поморщился не только из-за пива. На то были более серьезные основания.

Мак-Грири работал в полиции Хиллсайда уже больше пятнадцати лет и твердо усвоил простую истину: тяжесть преступления обратно пропорциональна его финансовому успеху. А так как он был призван заниматься именно тяжкими преступлениями, то был грозой мирных демонстрантов, убийц-неудачников, воров-любителей и бродяг, которые осмеливались покуситься на старую рубашку, вывешенную после стирки какой-нибудь хозяйкой.

С профессионалами он предпочитал не связываться. К профессионалам он относился с почтением, с каким относятся к партнеру по покеру в клубе. Профессионалы были солидными людьми со счетами в банках, с молодыми серьезными адвокатами в очках с роговой оправой, с влиятельными друзьями в столице штата.

Профессионалы любили играть в покер. Они встречались в хиллсайдском «Клубе львов», спокойно и приветливо кивали лейтенанту и в изысканных выражениях осведомлялись о здоровье миссис Мак-Грири и двух мисс Мак-Грири. После этого они заказывали джентльменские напитки и церемонно приглашали лейтенанта сыграть партию-другую.

Покер — глубоко интимная игра, во время которой посторонний за спиной игрока отвлекает и мешает сосредоточиться. Кроме того, в покере важно уметь «блефовать», то есть делать хорошую мину при плохой игре, а выражение лица постороннего наблюдателя находится, как правило, в прямой зависимости от карт, в которые он заглядывает через плечо. Поэтому профессионалы, приглашая Мак-Грири к зеленому столику, предпочитали, чтобы никто не мешал им. Тактичные официанты бесшумно ставили на стол запотевшие стаканы с металлически звенящими кусочками льда и исчезали.

Лейтенант никогда не следил за руками профессионалов. Он уверен был, что они не станут накалывать карты своими перстнями, не станут класть на стол полированный портсигар, чтобы видеть в нем отражение сдаваемых карт, не станут зажимать колоду «механической хваткой»: три пальца на длинной стороне, а указательный на короткой — основой всех шулерских приемов.

Он был уверен в честности партнеров, в чистоте их намерений. Мало того, его даже не интересовали сданные ему самому карты. Текла неторопливая беседа, прерываемая короткими замечаниями: две карты, благодарю, открываю... Потом Мак-Грири делал непроницаемое лицо и лез в гору. Партнеры не отставали, охотно повышая ставки. Когда на столе оказывалась изрядная куча денег — ее размеры зависели от того, где именно хлопал накануне ночью сухой пистолетный выстрел или алмазное сверло, вереща, вгрызалось в сталь сейфа,— профессионалы начали головами и выходили из игры.

— Везет же вам, мистер Мак-Грири,— говорили они.

Они были воспитанными людьми и не спрашивали лейтенанта из пустого любопытства, какая же все-таки комбинация была у него на руках. Это было бы дурным тоном.

— Зато не везет в любви,— отшучивался Мак-Грири и аккуратно складывал в бумажник банкноты. Зажатая между двумя прозрачными целлулоидными стенками бумажнина, миссис Мак-Грири смотрела с фотографии на мужа с улыбкой и, казалось, одобрительно кивала головой. Она была покладистой женщиной и никогда не спрашивала, откуда в доме появляются новые зеленые бумажки.

Лейтенант Мак-Грири любил профессионалов и всегда умел узнавать их почерк, нечто вроде безмолвного привета от друзей. Но на этот раз он был в нерешительности, и скорей именно это, а не теплое пиво «Швепес» заставило его поморщиться.

Странное дело, думал он. С одной стороны, угадывался стиль профессионала. Взять хотя бы пробоины в толстой дубовой двери. В их веере нетрудно было определить короткий взмах автомата — оружия серьезного человека. Джо Джэффи, например, любит пользоваться трещоткой. У бедняги, должно быть, не в порядке нервы, и он не доверяет пистолету.

Допустим, через дверь стреляли люди Джэффи, но остальные факты? В подвальной комнате заброшенного ранчо сидит известный миллионер Фрэнк Гроппер, полностью лишившийся рассудка. Не просто рехнувшийся, а превратившийся в абсолютного кретина с реакциями недельного младенца.

Кроме того, в комнате лежит труп молодого человека. Человек, очевидно, убит одной из пуль из автомата. Труп связан, и в карманах у него нет ничего, абсолютно ничего, что бы могло позволить определить, кто он.

В углу груда деталей какого-то радиоаппарата, назначения которого эксперты определить не смогли.

Полицию вызывают по телефону с ранчо. Сообщают, что произошло убийство. Владельцев ранчо нет. Судя по брошенному Рэмблеру, они удрали. Они ли звонили? Может быть, хотя маловероятно. Скорее всего звонили те, что стреляли.

Картина достаточно запутанная даже для авторов детективных романов, не то что для скромного полицейского лейтенанта.

К тому же выяснилось, что Гроппер примерно за неделю до этой ночи начал куда-то переправлять свои деньги. Похоже, что Патрик Кроуфорд, его единственный наследник, ни при чем. К тому же какой был смысл убивать старика, если было известно, что у того неизлечимый рак? Нет, нет, вряд ли это работа Кроуфорда, тем более, что старину достаточно одного удара прикладом, чтобы отправить его на тот свет.

Скорей всего Гроппер сам поехал в ранчо. Кухарка в Риверглейде утверждает, что видела, как старик садился в «роллс-ройс» за руль. Шофера нашли только вчера в Нью-Джерси. Старик сам отправил его в отпуск к родным.

Он едет на ранчо. Раз он ведет машину, во всяком случае, выезжает из Риверглейда за рулем, он не может быть сумасшедшим в это время. Его состояние — лейтенант вспомнил пустые глаза младенца под седыми кустистыми бровями — могло наступить только в ранчо.

Допустим, он верил, что его могут вылечить. Какой-нибудь новейший препарат или что-нибудь в этом роде. Вполне вероятная версия. Смертельно больные люди готовы поверить во что угодно, вцепиться в любую соломинку. Но связанный труп?

Разве что подпольные врачи устроили у себя целую очередь, причем некоторые пациенты ожидают приема, связанные по рукам и ногам с кляпом во рту.

Гм!.. Лейтенант наклонил банку над стаканом и вылил остатки пива. Пиво было, безусловно, теплое.

И потом одновременная смерть на шоссе садовника и секретаря Гроппера. Пока еще он ничего не докладывал шефу и газеты ничего не пронюхали, но он-то знает, что на правом крыле «роллса» — маленькая, еле заметная царапина, а на массивном бампере — две вмятинки.

Если учесть, что в багажнике «роллса» он нашел две лопаты со свежими следами земли — а умирающий старик вряд ли стал бы копать сам, особенно двумя лопатами...

Размышления его прервал телефонный звонок. В трубке низко зарокотал бас Джо Джэффи.

— Добрый вечер, лейтенант, как поживаете? Что-то давно не видно вас в клубе. Наверное, на вас все висит это таинственное убийство и гроппе-ровские миллионы? Знаете что, Мак-Грири, так загружать свой мозг — это жестоко. Приезжайте-на сегодня вечером в клуб. У меня просто руки чешутся сыграть партию-другую в покер...

Лейтенант вспомнил автоматные пробоины в дубовой двери и сказал:

— С удовольствием, мистер Джэффи. Вы же знаете, как я рад вашей компании, особенно за зеленым столиком.

Он положил трубку и облегченно вздохнул. Ну вот, дело распутывается само собой. Газеты пошумят и перестанут, а шеф... Время от времени шеф тоже любит сыграть с ним в карты, правда, не в покер, а в канасту. Удивительно везет шефу в канасту, когда он играет с Мак-Грири. Причем почему-то получается так, что играют они всегда, когда у Мак-Грири в бумажнике, рядом с фотографией жены, лежит покерный выигрыш. Бывают же такие совпадения...

Мак-Грири засмеялся, взял консервный нож и открыл новую банку «Швепеса». На этот раз пиво оказалось великолепным.

Самая умная собака свободного мира

— Послушайте, Бакстер, перестаньте нести чепуху и скажите внятно: почему вы думаете, что я выну из сейфа две тысячи долларов и вручу вам с поклоном?

Мэнеджер «Хиллсайдского городского банка» Лесли Мастертон снял очки и иронически взглянул на Бакстера. Он очень гордился своим ироническим взглядом и, когда оказывался один перед зеркалом, подолгу гримасничал, пытаясь добавить к ироническому взгляду сардоническую улыбку.

Но Фред Бакстер не замечал тонкой иронии — грубый человек — и весь подался вперед:

— Мистер Мастертон, сэр, вы знаете меня лет двадцать. Слышали вы когда-нибудь, чтобы я рассказывал небылицы, даже после третьего виски? Нет, вы ответьте, мистер Мастертон.

Мэнеджер пожал плечами. Разговаривать с Бакстером было трудно.

— Сэр, это же верное дело. Это не пес, а маленький форт Нокс, набитый золотом. Я не скажу, что он стоит шестнадцать миллиардов долларов, которые хранятся там в бронированных подвалах, но поверьте мне, собака будет делать деньги, как печатный станок. Сэр, позвольте мне принести сюда пса. Он в машине внизу, на коленях у миссис Бакстер.

— Вы с ума сошли. Хорошенькое дело, если все начнут носить в банк разную домашнюю живность. Сегодня вы пытаетесь одолжить деньги под собаку, завтра кто-нибудь предложит взглянуть на его дрессированного гуся, послезавтра здесь в банке можно будет открыть в операционном зале зверинец и устроить в сейфах клетки.

— Мистер Мастертон, сэр, это не гусь. Вы только взгляните на пса, вы больше тратите времени на разговор со мной.

Во второй раз за пятнадцать минут Лесли Мастертон пожал плечами. Фред Бакстер был неумолим, как рок, как агент налогового управления.

— Ну хорошо, тащите своего пса сюда. Но если он нагадит на ковре, вам придется купить новый.

Через минуту дверь кабинета снова приоткрылась, и в комнату быстрым шагом вошел Фрэнк Гроппер. Он шел на задних лапах, всей своей собачьей грудью вдыхая знакомый банковский запах, такой неуловимый и вместе с тем незабываемый.

Он подошел к столу и небрежным жестом протянул мэнеджеру лапу. Лесли Мастертон знал толк в рукопожатиях. Вытянутая для пожатия рука всегда красноречивее лица. Лицу можно придать любое выражение, но рука говорит только правду. По рукаву костюма Мастертон мог определить годовой доход клиента с точностью до пятисот долларов. Рукав — это его банковский счет. Чем больше блестит материал, тем менее блестящи дела его владельца. Качество материала — от дешевого бумажного твида до упругого на ощупь и корректного ворстеда — открытая книга для опытного глаза. И когда Мастертон видел рукав с траурной бахромой, он понимал, что книга уже прочитана. По манжете он мог определить доход клиента с точностью до двухсот долларов.

На бульдоге не было ни костюма, ни крахмальной рубашки, ни манжет, ни запонок. Когти его меньше всего напоминали о маникюре, а черные подушечки лап никак не ассоциировались с уверенной манерой брать деньги.

И тем не менее Лесли Мастертон невольно протянул руку навстречу бульдожьей лапе — столько в ней было уверенности. Бульдог еще раз кивнул ему и опустился на четвереньки.

— Послушайте, Бакстер,— Мастертон уже оправился от первого впечатления,— если я буду одалживать деньги под каждого пса, умеющего пройти десять шагов на задних лапах, боюсь, что у нас...

Бакстер посмотрел на бульдога, бульдог — на него. Потом Гроппер медленно подошел к мэнеджеру и несколько раз мягко потянул его за руку. Мастертон встал. Гроппер одним прыжком вскочил в кресло, оперся грудью о край стола и развернул свежий номер «Хиллсайд дейли геральд». Бумага была тонкая, и ему пришлось листать газету языком. Вот, наконец, и биржевая страница. Мельчайшая нонпарель покрывала полосу. Сотни фирм, разбитых в алфавитные группы по три буквы, в нескольких цифрах рассказывали свои истории, полные значимости и драматизма. Слева — высший и низший биржевые курсы за год, справа — курс к началу дня, к закрытию биржи, разница. Плюсы, казалось, весело подмигивали, минусы напоминали рот с поджатыми губами. Минусов было намного больше: биржа катилась вниз.

Гроппер с трудом взял со стола карандаш, пристроил его между лапами, жирно и неуклюже подчеркнул слова «Дженерал электрик». Справа против фирмы стоял плюс. Потом написал на полях страницы «покупать». Лесли Мастертон повернулся к Бакстеру и добрую минуту молча смотрел на него. Он был бы рад помолиться, но банковский мэнеджер не должен удивляться.

— Бакстер, мы знакомы уже двадцать лет, и я не знал, что вы хоть что-нибудь смыслите в акциях.

— Клянусь этим бульдогом, сэр, в жизни я не держал в руках ни одной акции. Какие там акции, заработка-то в руках не подержишь. За дом выплачивай, за машину выплачивай, а я, слава богу, как вы знаете, держу авторемонтный гаражик.

— Но кто же научил пса этим штучкам?

— Не знаю, сэр, думаю, он сам. Я замечал, как он часами читает газету. И не то, что мы с женой,— разные там убийства, разводы, скандалы, а только финансовые и деловые страницы. Да вы сами спросите Булли, так мы его зовем.

— Его? Спросить?

— Да, сэр, спросите, попробуйте.

Лесли Мастертон в третий раз за утро пожал плечами и спросил Гроппера:

— Послушайте, гм... а почему вы подчеркнули именно «Дженерал электрик»?..

В свою очередь, и Гроппер захотел пожать плечами, но вместо этого короткая шерсть на его загривке коротко дернулась, будто он сгонял мух.

Он снова взял карандаш и нацарапал «военные заказы».

Лесли Мастертон ущипнул себя за ладонь. Больно. На ладони отпечатались две беловатые полоски от ногтей. Он сказал:

— Простите, Булли, кажется, мне нужно сесть за стол.

Бульдог кивнул головой и спрыгнул на пол. Мэнеджер сел за стол и несколько раз плавным движением погладил лысину. Он всегда делал этот жест перед тем, как принять важное решение.

— Знаете что, Бакстер, зачем вам связываться с банком? Я даю вам свои деньги, целиком финансирую помещение и рекламу, а вы мне платите пятьдесят процентов прибылей.

— Боюсь, мистер Мастертон, что пятьдесят процентов — это слишком много.

— Возможно, но это ведь не ваш пес, Бакстер. И, скажем прямо, такие псы не бегают на улице стаями. Ни в Хиллсайде, ни в штате, ни вообще в Америке. Или вы думаете, что стоит паре-тройке бродячих псов забрести на пустырь, как они тут же раскрывают журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» и начинают спорить, во что лучше всего вложить капиталы — старую обгложданную кость? Как вы думаете, это дикий пес, дикий, вроде какого-нибудь хомяка? Нет? То-то же. Значит, в любой момент за ним может пожаловать хозяин. Чем рискуете вы? Ничем. А я — деньгами.

— Ну хорошо, мистер Мастертон, где уж мне спорить с вами...

Гроппер лежал на диване в маленькой обшарпанной комнате. На стене висел огромный рекламный плакат с его изображением в блестящей попонке и цилиндре на голове.

Аршинными буквами было написано:

«Самая умная собака свободного мира. Чудо атомного века. Специалисты разводят руками. Зрители в восторге.

Булли дает ответы на разнообразнейшие вопросы, демонстрируя необычный даже для человека интеллект. Самое захватывающее в мире зрелище».

Гроппер взглянул на плакат. Интересно, что бы сказали люди, если б он появился в своем обычном человеческом виде на Уолл-стрите с этой попонкой на плечах? Гроппер шумно вздохнул. Самое удивительное, думал он, что человеческий период его жизни казался ему странно коротким, как бы сжатым под каким-то прессом. Зато недельное пребывание собакой заполняло почти весь его мозг. Обилие впечатлений, что ли. Он вспомнил запах шотландской овчарки и ужаснулся. Запах казался восхитительным. Не в мозгу, где-то в глубине мышц зашевелилось желание толкнуть ее мордой в бок, игриво куснуть и мчаться от нее, оглядываясь назад.

«Я схожу с ума,— промелькнуло у него в голове.— Если я останусь собакой еще несколько месяцев, я, наверное, забуду, кто я. Колли,— снова подумал он.— Интересно, какие получаются щенки от бульдога и шотландской овчарки? Наверное, похожие на бульдога, но с более длинной мордой и шелковистой густой шерстью». Гроппер вздрогнул. Всю жизнь он не женился. Он был слишком целеустремлен и занят делами, чтобы тратить время на любовную болтовню. Самые красивые женщины, затянутые в узкие платья, в вечерние охотничьи костюмы, не могли даже на полчаса завладеть его вниманием. Он знал себе цену и сам был слишком хорошим охотником, чтобы не заметить холодный расчетливый блеск их глаз и легкий нервный трепет хищника, чующего добычу.

И вот теперь он, Фрэнк Джилберт Гроппер, обошедший все матримониальные капканы, увернувшийся от замаскированных любовных ловушек, думает о своем потомстве от шотландской овчарки Фидо, о маленьких щенятах с толстыми неуклюжими лапами и мягкими носами. Он никогда не смог бы поговорить с ними, он был бы для них лишь Булли, бульдогом. И то какой-нибудь год.

Через год его сын отчаянно лаял бы на него, встретив на улице, и норовил укусить. Впрочем, разве у людей не так? Разница лишь в возрасте. Он вспомнил о сыне покойной сестры, о Патрике Кроуфорде. Этот мозгляк, наверное, потирает руки в предвкушении наследства...

Гроппер снова потряс головой, словно отряхивался после воды, и поднялся на задние лапы. На столе стояла бутылка «Олд форестер». Он наклонил ее над столом. Коричневатое виски с резким запахом лужицей потекло по полированной поверхности. Мысленно поморщившись, Гроппер принялся быстро лакать.

— Иисус Христос,— благоговейно сказал Бакстер, стоя в дверях,— ты, никак, любишь выпить, Булли?

Бакстер взял со стола бутылку и замахнулся. Гроппер отскочил в угол и зарычал.

— Ну ладно, Булли, не будем ссориться. Ты прав. Раз ты необычный пес и понимаешь в акциях, можешь и выпить. До начала выступления осталось минут десять. Слышишь?

Через полуоткрытую дверь слышалось неясное гудение зрительного зала. Гремела музыка. Пахло потом.

— Ты не забыл свои номера?

Гроппер отрицательно покачал тяжелой головой. Уши захлопали, как флаги на ветру.

Акционерное общество бессмертия

Хант стоял у бокового выхода из Грэнд Пэлиса и ждал. Представление кончилось. Давно разошлись последние зрители, а он все стоял в темноте, прячась за колонной и глядя на дверь.

Только бы заполучить этого Гроппера. Он бы уж заставил его заговорить человеческим языком. Собаки похожи на людей, они не любят, когда им больно. Обычный пес, если сделать ему больно, очень больно, будет лишь выть и извиваться. Бульдог с сорока миллионами обладает большей фантазией. Ему можно будет показать клещи и чиркнуть спичкой под носом, так, чтобы он ощутил тепло огня. И тогда он нацарапает на бумаге названия банков и покажет, куда какой ключ подходит.

Вот дверь наконец распахнулась, и в освещенном изнутри прямоугольнике показалась фигура человека с собакой на поводке. Хант сделал шаг вперед и тихо позвал:

— Гроппер, мистер Гроппер!

Бульдог вздрогнул и бросился в сторону Ханта. Поводок натянулся.

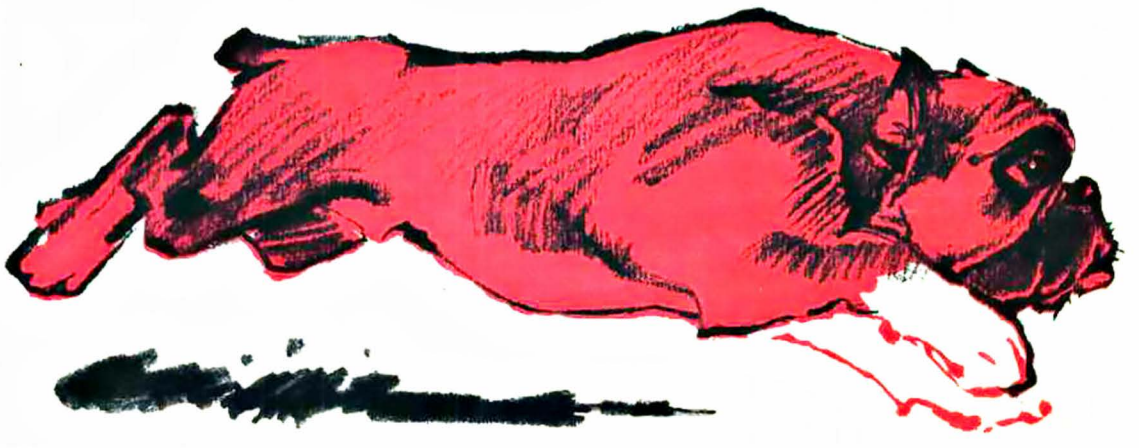
— Что за Гроппер? Вы, наверное, ошиблись,— пугливо сказал человек и нагнулся за собакой, чтобы взять ее в руки.

«Боже правый, он бы не мог встать лучше, если бы его попросили»,— подумал Хант и стремительно опустил руку с зажатым в ней пистолетом на голову человеку.

Человек ткнулся головой в ступеньку и повернулся набок.

— Обождите, мистер Гроппер, одну секунду,— сказал Хант и взял лежащего человека под мышки. Человек был тяжелым, и Хант с трудом оттащил мягкое тело за колонну.— Теперь быстрее.— Хант схватил Гроппера на руки и бросился к машине, стоявшей у тротуара в тени здания. Он рванул заднюю дверцу, бросил на сиденье бульдога и качнулся вперед, чувствуя, что машина резко рванулась вперед. В это мгновение чьи-то руки сдавили ему горло, от тяжелого удара в лицо дернулась назад голова, и он потерял сознание.

Сначала он почувствовал боль. Она набегала короткими острыми толчками вместе с ударами сердца, начинаясь где-то внутри и кончаясь в за-



тылке. Ханту нестерпимо захотелось снова погрузиться в небытие, мягко нырнуть под темное мягкое одеяло беспамятства, но боль заставила его открыть глаза. Он хотел поднять руку, но почувствовал боль в запястье и понял, что связан.

Сознание прояснилось. Теперь он ощущал всем телом мягкое покачивание машины, слышал рокот мотора и пение шин. Похоже, что это их машина, старенький «понтиак», который он с Беллоу арендовал в крошечном гараже на окраине Хиллсайда. Он хорошо помнил, что открыл дверцу именно их машины. Или Беллоу... Не может быть, а впрочем... Он тихо позвал:

— Профессор!

С переднего сиденья обернулось чье-то лицо:

— Молчите, вы там, а то можно повторить...

Рядом с Хантом что-то зашевелилось. Он с трудом повернул голову и увидел лицо Беллоу с закрытыми глазами. Затылок теперь болел меньше. Где Гроппер? Как бы в ответ на вопрос в ногах у него кто-то завозился и послышалось собачье повизгивание.

«Логика событий,— усмехнулся про себя Хант.— Стоило несколько дней скрываться в этом проклятом Хиллсайде, сидеть в гнусном номере третьеразрядной гостиницы и ждать каждую секунду стука полиции в дверь. Стоило снова и снова пытаться представить себе, что бы они сделали на месте Гроппера. Стоило давать по телефону объявление в газету, и стоило увидеть во вчерашнем номере «Хиллсайд дейли геральд» фото бульдога в блестящей попонке. Стоило стоять час за колонной, ожидая, пока «самая умная собака свободного мира» не покажется в дверях Грэнд Пэлиса».

Он напряг руки. Веревка врезалась в тело. Нет, завязан он прочно, со знанием дела.

Машина замедлила ход, его прижало к сиденью, и он понял, что они куда-то свернули. Под колесами зашелестел гравий, скрипнули тормоза, он качнулся вперед, и машина остановилась.

— Коротышка,— услышал Хант чей-то властный голос,— отгони эту калошу обратно в Хиллсайд, где они ее взяли, верни в гараж, рассчитайся и скажи, что больше джентльменам она не понадобится. Эй, возьмите-ка их всех троих и отнесите внутрь, там развяжете!

Их втащили в большую гостиную и усадили в кресла. Беллоу открыл глаза. Он был бледен, и на правой брови чернела корочка запекшейся крови. Гроппер лежал на боку и часто дышал, высунув язык. Язык мелко подрагивал.

«Во всяком случае, это не полиция,— подумал Хант.— Им не нужны были бы все эти кинематографические трюки».

В комнату вошел высокий человек в строгом сером костюме. Белоснежная рубашка с серым галстуком, прихваченным перламутровой застежкой, подчеркивала загар. «Одет со вкусом»,— подумал Хант.

Человек взял со стола сигару, тщательно обрезал конец и щелкнул золотой зажигалкой.

Несколько минут он спокойно курил и смотрел то на Ханта, то на Беллоу. Наконец он коротко кивнул им и сказал:

— Джентльмены, мы все испытываем живейшее любопытство в отношении друг друга. Прежде всего я должен извиниться за не совсем учтивое обращение с вами, но что поделаешь,— человек в сером костюме развел руками,— иногда приходится знакомиться с людьми экспромтом. Поскольку инициатива знакомства исходила от меня, позвольте представиться: Джо Джэффи.

Джэффи церемонно поклонился. Хант ответил кивком головы, а Беллоу едва заметно опустил и поднял веки. Джэффи уселся в кресло и заложил ногу за ногу. «По всей видимости, он получает огромное удовольствие сам от себя»,— подумал Хант.

— Чтобы избежать ненужных вопросов, я с вашего разрешения изложу вам ход событий и моих мыслей, которые привели нас к знакомству. В свою очередь, я надеюсь, что вы ответите мне тем же.

Некоторое время тому назад мистер Патрик Кроуфорд, единственный наследник сорока миллионов Фрэнка Гроппера, обратился с просьбой к моей организации выяснить, что делает мистер Гроппер на уединенном ранчо недалеко от мотеля Джордана. У Гроппера рак желудка, и племянник боялся, по всей видимости, чтобы дядюшку ненароком не вылечили.

Бульдог сердито зарычал, и Джэффи с интересом посмотрел на него.

— Когда «роллс-ройс» миллионера остановился у дверей ранчо и я увидел в бинокль, как хозяева вытащили оттуда чье-то связанное тело и все четверо, считая связанного, скрылись в доме, меня самого начало разбирать любопытство. Даже если бы мистер Кроуфорд и не должен был оплатить наши услуги, мне очень хотелось узнать, с каких пор солидные бизнесмены и финансисты начали возить в «роллс-ройсах» связанных людей с кляпами во рту. Видите ли,— добавил Джэффи с улыбкой,— это ведь в некотором смысле по моей части.

Ну-с, вы почему-то не хотели удовлетворить мое любопытство и не открывали двери. Пришлось сделать на ней пулевой орнамент и высадить ее. Вы успели бежать. В тот самый момент, когда дверь подалась, в подвале грохнул взрыв. Я застаю дымящиеся обломки какого-то аппарата, связанный труп, заметьте, труп, а не живого человека, и мистера Гроппера, лежащего на полу с вывернутыми карманами и расстегнутым воротом.

Мы бросаемся в погоню, попадаемся на старый трюк и остаемся на шоссе с разбитыми фарами и разорванным радиатором. Я возвращаюсь на ранчо.

Я чрезвычайно любопытный от природы человек. Я начинаю думать и сопоставлять факты. А фактов великое множество, и все они в высшей степени занимательны.

Гроппер приехал на ранчо нормальным человеком, иначе он не мог бы сидеть за рулем. Мы находим лежащего на полу идиота с вывернутыми карманами. Причем интересно, искали не деньги. Я вынул из карманов старика пятьсот долларов, пока он пускал слюни и ревел благим матом. Зачем Гроппер приехал на ранчо и привез с собой связанного парня? Не знаю. Но заметим, что минут пять — десять, пока мы ломали дверь и разукрашивали ее пулевыми пробоинами, люди из подвала не бежали. Потом они убежали. Почему? Очевидно, потому, что им нужно было что-то успеть сделать.

Перед самым побегом они взорвали какой-то странный аппарат. Кстати, мой друг полицейский лейтенант Мак-Грири рассказывал мне, что даже эксперты не могли установить по остаткам, что это за аппарат. Но мне было ясно: раз его взорвали, и взорвали в последнюю секунду, аппарат был для чего-то нужен. Для чего? Чтобы сделать Гроппера идиотом? Не знаю.

Я долго думал и признаюсь вам честно, джентльмены, не мог прийти ни к какому выводу. Слишком все было таинственным в этой истории.

Но вот на днях я читаю «Хиллсайд дейли геральд» и вижу объявление о пропаже бульдога с белыми чулками и по кличке Джерри. Адрес объявителя не дается. Просят сообщить в редакцию и обещают крупное вознаграждение.

И здесь у меня в голове щелкает маленький выключатель. Я вспоминаю нечто, что меня раньше подсознательно поразило и что я забыл. В то время, пока мы выламывали дверь, из подвала доносился отчаянный лай. Потом лай смолк. Собаки в комнате не оказалось. Обратите внимание, миллионер Фрэнк Гроппер остался, пятьсот долларов у него в кармане остались, хотя кто-то вывернул их наизнанку. Перстень на пальце у старика тысячи в три долларов...

Бульдог сердито заворчал и качнул массивной головой. Джэффи взглянул на собаку и продолжал:

— Тысячи в три долларов остался. А собаку взяли. Что-то я не очень верю в сентиментальность людей, которые хладнокровно занимаются чем-то под автоматной очередью и тормозят на скорости в восемьдесят миль в час.

И еще что-то я вспомнил, увидев объявление в газете. Когда мы выскочили за ними из подвала и я выстрелил вслед, мне послышалось, что где-то под ногами тявкнула собака.

Я позвонил в газету, у меня там хорошие друзья, и спросил, кто давал объявление о пропаже бульдога. Они не знали. Объявление было сдано по телефону.

Я готов был снова забыть обо всем этом странном деле, когда увидел рекламу выступления «самой умной собаки свободного мира». На рекламе был изображен бульдог.

Пока мои люди выясняли, кто выступает с первой собакой свободного мира, в голове у меня крутились бульдоги. Маленькие и большие, щенки и старые псы.

Я даже не удивился, когда мои люди доложили, что Фред Банстер ничего толком о происхождении собаки сказать не может. Она появилась у него всего несколько дней тому назад. Я сопоставил дни. Она появилась назавтра после нашего налета на ранчо.

Когда мы пришли к Грэнду Пэлису для маленькой беседы с этим Банстером, мы заметили человека, прячущегося за колонной. У тротуара стоял автомобиль с работающим двигателем.

— Джентльмены,— Джэффи улыбнулся,— я слишком долго занимаюсь своим бизнесом, чтобы не понять значения прячущегося за колонной человека и машины с включенным двигателем. Я снова вспомнил объявление в газете. Этим людям был очень нужен бульдог. Прежде чем вы ответите, почему, позвольте предложить вам что-нибудь выпить. Что прикажете, джентльмены?

— Двойной «олд фэшенд»,— сказал Беллоу.

— Джин и тоник,— сказал Хант.

Джэффи позвонил, и через минуту появились стаканы.

— Я вас слушаю, джентльмены,— сказал Джэффи, достал из кармана автоматический кольт, рассеянно взглянул на него и небрежно положил на стол.

— Ну что ж,— сказал Беллоу.— У вас прекрасные аналитические способности, мистер Джэффи. Из вас бы вышел прекрасный ученый.

— Благодарю, для карьеры ученого я слишком люблю целиться...

Беллоу пожал плечами:

— Позвольте представиться. Профессор Беллоу. Мой помощник Хант, а это,— Беллоу кивнул в сторону бульдога,— мистер Фрэнк Джилберт Гроппер.

— Фрэнк Джилберт Гроппер? — словно эхо, переспросил Джэффи.

Бульдог встал, кивнул Джэффи головой и подал лапу. Джэффи несколько раз мигнул, потер лоб рукой и переспросил:

— Фрэнк Джилберт Гроппер?

— Да, он сам,— сказал Беллоу.

Джэффи устремил взгляд ввысь и забормотал молитву.

— Что ж, джентльмены, поднимаю тост за успех и процветание нашего нового предприятия,— сказал Джэффи.— Предлагаю назвать его «Акционерным обществом бессмертия».

— С радостью,— подхватил Беллоу.— Никто не может представить себе, что это такое. У меня захватывает дух и кружится голова, когда я пытаюсь даже частично представить себе размах нашего коммерческого бессмертия. Нет на свете человека, особенно с деньгами, который не боялся бы смерти и не был бы готов отдать все, что у него есть, за новое тело, за новую жизнь, за бессмертие. Деньги есть у самых сильных, самых ловких, самых безжалостных людей. Их мы и будем делать бессмертными. Мы создадим новую расу бессмертных миллионеров. Деньги, наконец, будут покупать в нашем обществе все, даже бессмертие. Мы выполним обещание, данное две тысячи лет тому назад христианской церковью. Но мы не будем обещать нашим клиентам бесплатный вечный рай. Людям, у которых есть деньги, незачем отправляться в такое длительное и малокомфортабельное путешествие. Вместо себя они отправят какого-нибудь молодого человека, воспользуются освободившимся телом и оплатят свое бессмертие наличными.

Мы установим твердую таксу, и миллионеры, рассчитывая свой бюджет, будут заранее откладывать по миллиончику в год на бессмертие. Мы создадим конвейер бессмертия. Мы станем самыми влиятельными на земле людьми, и ни одно правительство, ни один президент не осмелится поднять на нас руку, ибо все влиятельные люди страны будут нашими клиентами.

— Мы сможем разнообразить наше производство,— вставил Джэффи.— Мы будем выкрадывать людей из банков и начинять их временно мозгами наших людей. Мы сможем проникать во все банки, и сейфы откроются пред нами.

Мы будем делать шпионов и продавать их Вашингтону по любой цене, какую мы только ни запросим. Нам будут присылать выкраденных сотрудников иностранных посольств, и вместо них мы пошлем обратно в посольства в их телах наших агентов. Вы гений, мистер Беллоу.

Беллоу поклонился. Щеки его разрумянились, и рука со стаканом слегка дрожала.

— Я рад, что встретился с вами, мистер Джэффи. Вы как раз тот человек, который нам нужен. Мы были безумцами, когда думали, что в Америке можно начать какое-нибудь крупное дело без покровительства человека... гм... вашей профессии. Я думаю, что такой же точки зрения придерживается и наш уважаемый друг, мистер Гроппер.

Бульдог важно кивнул головой, и все засмеялись.

— Может быть, хотите выпить?

Вульдог снова кивнул и вскочил на ноги. Беллоу взял со стола тарелку, налил в нее виски, плеснул содовой воды и поставил на пол. Гроппер начал быстро лакать, подрагивая шейными мускулами.

— Ничего, мистер Гроппер, немного терпения. На этот раз уже ничто не помешает нам подобрать вам отличное молодое англосаксонское тело. Настоящее тело. И тогда вы сможете лить в себя виски, как настоящий человек.

Гроппер, нетвердо ступая массивными лапами, подошел к креслу и вскочил на него. Через минуту он уже спал.

— Спокойной ночи, джентльмены,— сказал Джэффи.— Я понимаю, что вы устали. Завтра вы снажете, что вам нужно для строительства нового аппарата. Спите спокойно.

Джэффи взял со стола свой автоматический кольт и многозначительно подбросил его на ладони, потом вышел из комнаты и плотно притворил за собой дверь.

Лучше быть автором эпитафии...

Когда император узнает, что вассал бросает вызов центральной власти, он должен либо отречься от престола, либо убрать вассала.

Джек Спарк, повелитель гангстерской империи, раскинувшейся на всем восточном побережье страны, меньше всего намеревался подавать в отставку. Тем более, что отставка гангстера, как правило, обеспечивает ему полный покой, слишком полный покой посредством пули в лоб или щедрой дозы цианистого калия. Он слишком много знает, этот собравшийся на покой человек, и знания его лучше всего законсервировать в богатой могиле с лаконичной эпитафией на гранитном камне: «Спи спокойно, наш дорогой друг».

Поэтому, повторяем, Джек Спарк больше предпочитал заказывать эпитафии своим товарищам по оружию, чем быть их объектом. И когда он почувствовал, что один из его визирей, Джо Джэффи, начал собственную игру, он принялся мысленно сочинять ему эпитафию. А тут еще сведения, будто Джэффи окружил свое имение круглосуточной охраной...

Спарк нажал кнопку на столе и сказал возникшей из ничего секретарше:

— Люиса и Найфа.

Люис и Найф были главными «торпедами» Спарка, его трибуналом и палачами. Они выстреливались волей Спарка, подобно торпедам из торпедных аппаратов, и двигались в заданном направлении, пока где-то — в маленьком прожженном солнцем сицилианском городке или в пятикомнатном номере отеля Тропикана в Лас-Вегасе,— не щелкал сухой выстрел и в мутнеющих глазах жертвы не мелькало запоздалое сожаление по поводу расхождения во мнениях с Джеком Спарком. Они умели стрелять, спокойно прицелившись, умели нажимать на курок в кармане. Они умели стрелять из мчащейся автомашины и в толпе универсального магазина, прижавшись к жертве, и мгновенно исчезать в панике.

Это были «торпеды», и их круглые, сонные лица чем-то напоминали округлые головки торпед.

Джек Спарк внимательно посмотрел на подчиненных и тонко усмехнулся. Он действует в соответствии с великими традициями американской демократии, предоставляет человеку свободный выбор: либо не спорить с Джеком Спарком, либо взглянуть на мгновение в маленький черный кружок револьверного дула.

— Ребята,— ласково сказал он,— мне не нравится, как ведет себя мистер Джо Джэффи. Но прежде чем сочинить ему эпитафию и похоронить, как старого боевого товарища, мне бы хотелось узнать, что происходит в его очаровательном домике и почему его мальчики день и ночь гуляют вокруг с автоматами наизготовку. Короче говоря, нужно пригласить сюда кого-нибудь из его антуража. Живьем. И без ненужной стрельбы. Незачем заранее устраивать шум.

Люис и Найф молча кивнули и вышли из комнаты.

Они остановили свой «кадиллак» на небольшом холмике примерно в миле от соединения боковой дороги, ведущей к имению Джэффи, с шоссе.

Люис открыл багажник и осмотрел уложенный там двухсотнилограммовый рулон бумаги. Потом

проверил крышку — от нажатия рычажка в кузове крышка багажника, подобно крышке старинных карманных часов, откидывалась мощной пружиной.

Они сидели в машине, прижав к глазам бинокли, и терпеливо ждали. Нетерпение было незнакомо им. Они просто ждали, спокойно расслабившись и покуривая.

Ожидание мучительно для человека с фантазией. Пока он ждет, его воображение сотни раз проделывает то, что ему предстоит сделать, и время сочится мучительно медленно, спотыкаясь на секундах и минутах.

У Люиса и Найфа фантазии не было, и течение времени они ощущали не больше, чем норова, для которой каждое неторопливое движение челюстями — вечность.

Наконец Найф сказал:

— Смотри.

Вдалеке, по боковой дороге, крошечной точкой двигался автомобиль. Коротко вспыхнул луч солнца, отразившись в ветровом стекле.

Найф повернул ключ зажигания, и триста восемьдесят лошадиных сил двигателя мягко заворчали в восьми цилиндрах. Пора. Найф нажал на акселератор, и «кадиллак» рванулся вперед. Впереди желтая машина уже свернула с боковой дороги на шоссе и набирала скорость. Найф прибавил газ, и тяжелый автомобиль вдавил их в сиденье. Они поравнялись со стареньким «понтиаком», обогнали его и мчались впереди, ярдах в сорока.

Люис взглянул в зеркало заднего обзора. Пора. Он потянул за рычажок. Крышка багажника отскочила, подброшенная пружиной, тяжелый бумажный рулон плюхнулся на шоссе и стремительно покатился назад. Еще мгновение — и он с глухим стуком ударил по «понтиаку», который отчаянно пытался увернуться от бумажного болида.

Люис и Найф остановили машину и подбежали к «понтиаку». Невысокого роста, полный человек лежал грудью на рулевом колесе и тихо стонал. Глаза его были закрыты.

Дверцу слева заклинило от удара, и им пришлось вытащить его через правую дверцу. Они положили его на заднее сиденье «кадиллака» и с трудом впихнули в багажник бумажный рулон.

Вся операция заняла не больше минуты. Где-то вдалеке слышалось низкое гудение машины. Найф повернул руль, и «кадиллак» плавно устремился вперед.

Человек плакал, размазывая слезы по покрытому синяками лицу.

— Клянусь вам, сэр, я не знаю никакого Джэффи. Я просто ехал из дому в Хиллсайд. Отпустите меня, сэр, я ничего не знаю. Дома ребятишки и жена, они ждут меня. Вот такие мальчуганы.

Человек нагнулся и показал рукой рост своих детей. Спарк посмотрел на Люиса и едва заметно кивнул головой. «Торпеда» упруго выбросил кулак, и голова человека дернулась назад, словно кто-то дернул за ниточку. Из рассеченной губы показалась кровь.

Человек закричал:

— Клянусь Иисусом, я ничего не знаю! Можете разрезать меня на куски, я ничего не знаю!

Спарк нахмурился. Миляга Джэффи умеет нагнать страху на своих ребяток.

— Как вы сказали? Разрезать вас на куски? А что, это отличная мысль! Действительно, почему бы и нет? А, Найф? Как вы думаете? И вы, Люкс?

Торпеды весело улыбнулись. Что за человек мистер Спарк, что за манеры, всегда умеет вставить острое словцо, всегда умеет пошутить. Можно подумать, что босс только сейчас вспомнил про циркулярную пилу. Спарк снова кивнул им, и они быстро связали человеку руки и ноги. Потом подняли его с пола и понесли.

Мастерская помещалась в подвале. Под потолком ярко горела тысячеваттная лампа и бросала сильный пучок света на длинный деревянный стол. С одной стороны стола в тонкой прорези синевато мерцала циркулярная пила. Люис и Найф положили связанного человека на стол и отошли в сторону.

— Послушайте,— мягко сказал Спарк,— для чего все эти ненужные и неприятные процедуры? Почему бы вам спокойно не рассказать обо всем, что происходит у вашего милого хозяина мистера Джэффи? Почему вокруг его дома выставлена, например, вооруженная охрана? Почему он разговаривает со мной по телефону таким независимым тоном, будто собирается положить себе в карман золотой запас Соединенных Штатов?

Человек молчал. Покрытый потом лоб матово блестел в ярком свете. Кровь на лице казалась совсем черной. Найф вопросительно посмотрел на Спарка, и тот опустил веки. Найф нажал кнопку, и пила с пронзительным воем начала вращаться. Мотор набирал обороты, вой повышался, пока не перешел в пронзительный острый визг. Люис осторожно подвинул человека вперед так, что его голова находилась в каком-нибудь дюйме от сливших в зыбкий круг зубьев пилы. Ветерок зашевелил волосы на его голове. Он издал животный крик, хриплый страшный рев. На губах пузырилась пена. Лоб блестел уже не матово. Свет ярко отражался в крупных каплях пота.

Спарк нажал кнопку, пронзительный визг пилы перешел снова в вой, вой стал басовитым и начал затухать.

— Я все скажу, мистер Спарк, все. Только оставьте меня у себя, иначе я получу пулю от босса. Джо Джэффи не забывает. Я все скажу. Все скажу. Только оставьте меня. Я буду служить вам, как собака, мистер Спарк, сэр.

— Ну вот и отлично, мой милый. Почему у Джэффи круглосуточная вооруженная охрана? Что он замышляет?

— Я все скажу, все, что знаю, сэр.— Человек торопился и захлебывался словами.— Джо Джэффи следил за Гроппером, Фрэнком Гроппером, миллионером...

Джек Спарк качнулся вперед. Он вспомнил согнутую фигуру старого финансиста у себя в кабинете. Вспомнил его просьбу: доставить ему здорового молодого парня. Вспомнил таинственные отчеты в газетах о странном происшествии на заброшенном ранчо.

— Потом мистер Джэффи решил, что с этим бульдогом что-то нечисто. Мы выкрали этих ребят вместе с собакой, и сейчас они все у Джэффи.

— Но при чем тут бульдог?

— Можете верить мне, можете не верить, но клянусь вам, я сам слышал, как Джэффи называл собаку мистером Гроппером. Клянусь честью, сэр.

— Собаку? Мистером Гроппером?

— Да, сэр. Ей отвели отдельную комнату, и ее кормят, сэр, как я сроду не ел. Таскают ей бифштексы по три доллара за штуку. И виски. И не какое-нибудь. Я сам ездил в город, чтобы специально купить ящик виски «Канадиэн клаб». Хотите верьте, хотите нет — специально для собаки. А эти двое, они с того ранчо. Все время что-то мастерят в большой комнате, и туда Джэффи никого не пускает. Он все время ходит как именинник. Говорит, обождите, ребятки, скоро мы развернемся. Я вам все сказал, сэр, все. Клянусь своим именем Коротышки Робинса. Вы только оставьте меня у себя, мистер Спарк, а то Джэффи...

— Я бы вас оставил, мистер Робинс, но вы не умеете держать язык за зубами. Сегодня вы пропели все, что знали, мне, а завтра...

— Клянусь вам, мистер Спарк,— глаза Робинса молили,— только оставьте меня, я вам докажу.

— Ну хорошо, раз вы так просите, придется оставить вас здесь.— Спарк вытащил пистолет.

— Не надо-о-о!

Вопль Робинса рванулся вверх и, ударившись о стенки подвала, перешел в шепот. Щелкнул выстрел, Коротышка Робинс дернулся раз-другой на столе с циркулярной пилой и затих.

Джек Спарк сунул пистолет в карман и вышел из подвала. Ему нужно было хорошенько все обдумать.

Прежде чем Джо Джэффи открыл глаза и выпрыгнул из постели, рука его уже нащупала автомат. Внизу слышались выстрелы. Кто-то тяжело взбирался по лестнице.

Джэффи рванул дверь в соседнюю комнату. Беллоу в расстегнутой пижаме медленно сползал с подоконника, словно кто-то осторожно тащил его за ноги. Струйка крови стекала у него по лицу.

Нестерпимо громко хлестнула по ушам автоматная очередь, и с тонким звоном посыпались стекла. Джэффи метнулся к другому окну. В темноте двигались тени.

Дверь затрещала и подалась. Джэффи поднял автомат, но почувствовал толчок в грудь. В голове промелькнула мысль об Акционерном обществе бессмертия и погасла.

Дверь с грохотом упала, и в комнату ворвались люди. В темноте никто не заметил, как по лестнице клубком скатилась собака и исчезла, растворилась в ночи...

Было жарко, и Гроппер высунул язык. Язык был длинный и подрагивал при каждом вдохе и выдохе. Он не спеша плелся по обочине дороги. Внезапно мышцы его напряглись. Прежде чем кора больших полушарий мозга шестидесятивосьмилетнего финансиста смогла проанализировать сигнал возбуждения, Гроппер уже гнался за серой худой кошкой. Тоненько царапнули коготки о кору, и вот она сидит на ветке клена, насмешливо глядит на неуклюжего пса.

Финансист смотрит на кошку, и в ее изогнутом дугой хвосте ему чудится кривая биржевого курса. Кривая, идущая вниз.

Кошка сидит на дереве и смеется над ним. Почему, разве у него сдвинулся набок галстук или расстегнулись брюки?

И тут впервые с того момента, когда его голова, человеческая голова, оказалась в фиксаторе аппарата, он понял, что не одет. Он голый. На нем нет ни белья, ни носков, ни рубашки, ни костюма, ни шляпы, ни галстука. Ничего! Он голый, он слегка прикрыт коричневатой гладкой шерстью, но она не заменяет одежды. Но даже не в одежде дело. Она сейчас не нужна ему. Не помчишься же за кошкой в смокинге и не станешь грызть сухую кость на обочине, поправляя лапой сползающий на глаза цилиндр.

И тем не менее острое ощущение наготы не покидало его, страшной наготы, когда кажется, что ты вывернут наизнанку и выставлен напоказ, и все тычут пальцами в твой желудок, печень и трепыхающееся сердце.

И тут в маленький собачий мозг, в котором свободно уместился духовный мир и опыт пожилого миллионера, потихоньку пробралась колючая, страшная мысль.

Эта мысль, раз пробравшись в мозг, начала ворочаться в нем, нагло, по-хозяйски устраиваться, как устраивается новый владелец в только что купленном доме.

Гроппер почувствовал, что безвозвратно теряет себя. То, что делало его Фрэнком Джилбертом Гроппером, исчезало, но что же оставалось? Он этого еще не знал. Но он знал теперь то, что составляло его духовный мир, его «я», его живой мир чувств и страстей. Это были его деньги, которые ему уже не нужны и которых он все равно не может иметь. С деньгами уходило, расплывалось самосознание.

Чушь, чушь нес профессор Беллоу об электрической мозаике мозга, о непрерывности сознания. Деньги — вот непрерывность сознания, таящая в себе вселенную. Тот, у кого деньги, молодой ли, старый, умный, глупый,— тот имеет право на самосознание. Не надо никакого фиксатора, чтобы разрядить мозг, нужно отнять у человека деньги — и он останется голым, жалким, потерявшим себя.

Гроппер понурил голову. На обочине лежал кусок газеты. Крупными буквами было написано:

«Вчера, в возрасте шестидесяти восьми лет, умер известный финансист Фрэнк Джилберт Гроппер. Он умер от рака желудка, в своем имении Риверглейде, не приходя в сознание. Его состояние оценивается в сорок миллионов долларов».

От газетного клочка слабо пахло мясом. Наверное, в него был завернут сандвич. Гроппер лизнул пыльную бумагу и поплелся вдоль обочины. Кошка на дереве фыркнула, но он не обернулся.